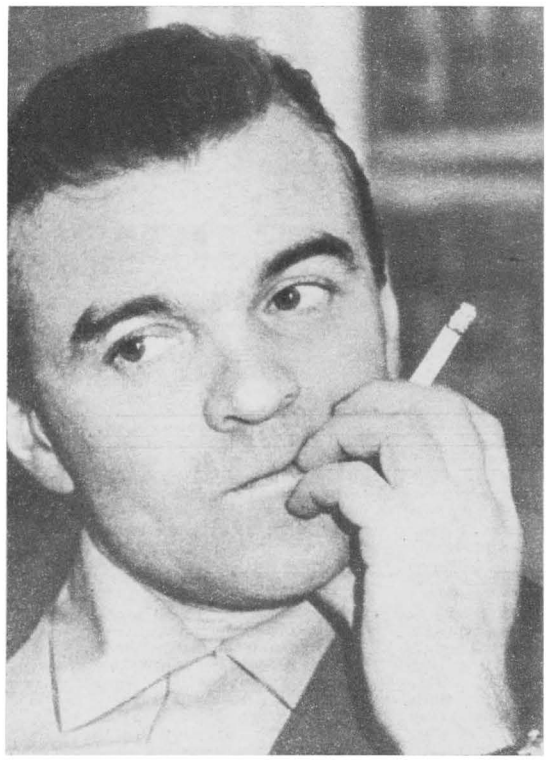


БЕРЕГ

Юрий БОНДАРЕВ

Рисунки И. ПЧЕЛКО.

Воздушный лайнер гудел реактивными двигателями на высоте девяти тысяч метров, и здесь в солнечном арктическом холоде за толстыми стеклами иллюминаторов сияли глыбами, проплывали по горизонту ослепительно-сахарные айсберги, а где-то в белой глубине, ниже их, закрытая сплошной льдистой грядой облаков, оставалась как бы потерянная земля.

И хотя сознанием измерялась страшная глубина под чуть-чуть вибрирующим, неуклонно летящим в поднебесье полом, в теплых салонах стало оживленно, уютно от солнца, от наконец начатого удачно полета после задержки из-за тумана на аэродроме. Везде потянулись, заслоились по салону в плоских сверкающих лучах легкие, особенно душистые сейчас дымки сигарет, пассажиры расстегивали привязные ремни, откидывали поудобнее спинки мягких кресел; везде зашуршали разворачиваемые газеты, розданные двумя очаровательными своей молодой стройностью и нежными, приглашающими улыбками стюардессами (будто сказочно сошедшими с реклам международных рейсовых расписаний); досасывались взлетные карамельки, которые несколько минут назад с теми же пленительными улыбками разносились на подносиках; потом уже в разных концах салона зазвучала русская и немецкая речь — мирно обволакивала общая дорожная успокоенность, безмятежное ощущение дорожного комфорта, надежда, что все обещает быть незатруднительным, удобным, как бывало и будет всегда.

Это освобожденное чувство оторванности от всего домашнего, будничного, первоначально возникшее на аэродроме и теперь раскованно-приятное в самолете, среди открывшейся солнечной высоты за иллюминаторами, приглушенного рева мощных двигателей, услышанной чужой речи, среди благостного салонного рая, ритуально освященного ласковыми улыбками длинноногих стюардесс, этих непорочных ангелов-хранителей душевного покоя в небе,— чувство не отягощенного заботами полета было знакомо Никитину, и он сбоку вопросительно взглянул на Самсонова — вместе им летать не приходилось ни разу.

Самсонов, еще опоясанный по круглому животу застегнутым ремнем, с рассеянным любопытством поворачивал голову к соседним через проход креслам — там, перелистывая на коленях журналы, громко разговаривали три пожилые, туристского вида немки, указывали дымящимися сигаретами на занавеску впереди салона, куда ушли стюардессы. Сквозь звон двигателей Никитин разобрал слова «эссен», «фрюштук» и сказал весело — хотелось говорить о пустяках:

— Платоша, расстегни ремень и не прислушивайся к чужому разговору. О чем они? О завтраке, как я догадливо сообразил, который сейчас неизбежен? Неплохо было бы закусить холодной курицей и выпить минеральной.

— Немочки умирают от голода,— ответил, вздыхая, Самсонов.— Говорят о том, что давно позавтракали в гостинице «Метрополь» и не мешало бы подкрепиться. Они из Кёльна. Милые создания... Только услышу эту речь, и срабатывает рефлекс. Интоксикация. В войну я с ними наговорился — сыт на всю жизнь...

— Нет, Платон, холодная курица после коньяка — это вещь в самолете незаменимая.

Самсонов отпустил ремень, пошарил кнопку для откидывания спинки кресла, неуклюже откинулся, долго сопел, обратив к Никитину широкоскулое свое лицо, вглядываясь усталыми, иконными глазами,— прежней колкой остроты не было в них, а была грустная подозрительность интереса узнать причину вот этой шутливой фразы Никитина, словно бы исповедующего сейчас этакую философию бездумного счастья туриста, беспечно полулежавшего в кресле и занятого лишь мыслью о холодной курице и минеральной воде.

— Я вижу, Вадим, что ты доволен началом одиссеи. Н-да, что-то будет.

— А знаешь, я рад, что лечу к немцам именно с тобой, Платоша,— сказал Никитин.

— Взаимно,— пробормотал Самсонов.— Это чувство имеет место.

Они были знакомы лет пятнадцать — семнадцать. В течение этих лет их пути нередко перекрещивались и почасту соединялись, книги обоих выходили почти одновременно. При всей разительной несхожести манер — жесткой эмоциональности, нервной обнаженности Никитина и спокойной, выверенной прозы Самсонова, что непостижимо противоречило внешним проявлениям обоих,— их довольно прочно упоминали рядом в одних и тех же критических статьях о послевоенном поколении, и хотя каждый понимал различность своих манер, разность во многом, их постоянно тянуло друг к другу — это объединенная одним опытом судьба поколения военных лет и что-то еще, за долгие годы знакомства неугаданное в общении, порой скрытое иронической полушуткой, даже в вечерних телефонных разговорах, приблизительно таких: «Загордился, Вадимушка? Не звонишь? Лежишь на диване, покуриваешь и пожинаешь лавры? Когда ты успеваешь повести строгать, классик? Негров нанял? Прочитал, прочитал. Профессор твой — ничего, девка на переправе с узкими глазками тоже ничего, а генерал — совсем не в дугу, интеллигентик он у тебя, таких не было. Вот, подожди, закончу свой опус — младенцами вы все окажетесь». «Не сомневаюсь, Платоша, весь читающий мир давно ждет по-

---

Главы из нового романа.

HAMI

трясений, и поклонницы уже выстроились с цветами у твоего порога, посмотри в окно и увидишь». «Подожди, Никитин, подожди, еще будешь проливать горючие слезы над моими страницами,— смеялся по телефону Самсонов, после чего на память говорил короткую мускулистую, прекрасную фразу, нагруженную настроением и смыслом.— Ну, позавидовал? Рвешь волосы? Вот так, ребятушки мои, писать надо. Три года обдумывал конец. Эх, какие вы ребенки еще!»

Самсонов работал чрезвычайно медленно, по строчкам, по абзацу в день, в сомнениях выдавливал слова с трудолюбивой мукой, веря и не веря в их силу, ненавидя эпитеты и все же густо насыщая ими фразу, до предельной тесноты, но при этом был всегда воздушен, тонок, особо прелестен конец вещи, последние главы. Однако, когда говорили ему о некоторой стилевой перегруженности, он держался за каждое слово, защищал его сопротивлением бычьим, багровел, загорался гневом, устраивая затяжные скандалы с редакторами издательств, и иные критики побаивались его неудержимых взрывов, ударов «под дых», иные считали его неудобоваримым крикуном, не стесняющимся грубых «кавалерийских наскоков» на собратьев по перу, ибо иногда, по случаю, встретив в кулуарах клуба какого-нибудь неосторожного критика, он кричал ему вспыльчиво:

— Артельные Сократы вы, домашние правдолюбцы, жуете и пережевываете оскоминные аксиомы за рюмкой водки? Вам нравится косноязычный телеграфный стиль? Я не телеграфист! Я слишком подробен? И останусь таким! Мне наплевать и позабыть все, что вы пролепетали здесь! Начхать! У меня диспепсия от вашего модного словотечения, от вашей менструации мысли. Я вас нежно люблю и обнимаю. Я иду в аптеку и покупаю камфару-рубини для очищения желудка!

Эта раздражающая многих упорная неподдаваемость Самсонова, наживавшая ему недоброжелателей и вместе почитателей (твердость уважают), более всего приближала к нему Никитина — в этом была военная косточка прошлого, та самонадеянная уверенность в себе, что так необходимо было тогда... После первой книги он привык к тому, что Самсонов ревниво, с особенным пристрастием читал его, скупо хвалил и ругал, вроде бы удерживаясь высказать окончательное суждение, причем толстоватое лицо возбужденно покрывалось красными пятнами, глаза под стеклами очков становились влажными, грустными, горячечными. И в те минуты представлялся почему-то Никитину его кабинет, неуютный, сумрачно темный от громоздких книжных шкафов, от старинного, с чудовищно-массивным чернильным прибором письменного стола, заваленного безалаберно рукописями, книгами, кругло и мелко исписанными листками бумаги, на них виднелись кольцеобразные следы, оставленные чашками кофе, который он беспрерывно пил во время работы, представлялась широкая тахта в углу, и его муки за этим столом и на этой тахте, где он, обессиленный, лежал, уткнувшись лбом в подушку, мыча, бормоча что-то в поисках слова, фразы,— так Никитин застал его однажды, зайдя утром в часы работы.

И стоило лишь вообразить страдания Самсонова перед чистым листом бумаги, его пытку неуловимым словом, как Никитин испытывал почти стыдливое чувство — он заставлял себя сидеть за столом часов по девять, но писал легче, быстрее, независимо от нескончаемой правки, и если процесс работы Самсонова можно было назвать мучительной каторгой (четыре часа в день), то его работа была каторгой двойной по протяженности, но все же сладкой. Поэтому, когда речь заходила о книгах Самсонова, он был чересчур мягок и полушутя говорил в таких случаях, что принимает и закономерность усложненной фразы, так как упрекать, пожалуй, следует только писателей-скворцов, беззастенчивых имитаторов чужих звуков, выдаваемых за найденные истины. Он, не желая обидеть Самсонова, не переступал порог полной искренности.

— ...Черт с ними, с немками и завтраками,— сказал Никитин, шире раздвинув шторку на окне.— Посмотри-ка на солнце, Платон, и к вечности прикоснись, земные заботы забыв... Ничего себе дую гекзаметром, кажется, отбиваю хлеб у поэтов?

— Боюсь, начнешь сейчас рявкать арии из оперетт на весь салон,— бормотнул Самсонов.— Чему восторгнулся?

— На земле осень, туман, а тут — чистота, голубизна, никакой осени — вот что прекрасно, Платоша!

За иллюминатором слепил в холодном пространстве металлический блеск высотного солнца, рафинадные торосы, курчавясь, неподвижно сверкали краями остроконечных вершин на бесконечной белой равнине застывших внизу облаков. В воздухе отовсюду излучался неограниченный снежный свет, этот свет ходил вместе с солнцем по салону самолета, пронизывая дымки сигарет над спинками откинутых кресел.

Самсонов нарочито-равнодушно скосился на ослепляющее стекло иллюминатора, проговорил:

— Лучше скажи вот что... Литературное общество в Гамбурге, что за фрукт, что за тажа штука? Какой ориентации? Задвинь занавеску, глаза режет...

Никитин наполовину задернул скрипнувшую рамками шторку, спросил:

— Что именно тебя беспокоит, Платоша?

— Хотел бы я знать, в какие западногерманские руки мы попадем. Тебя это не беспокоит?

— Насколько мне известно из писем некой фрау Герберт, они приглашают для встреч прогрессивных писателей мира. В том числе из Восточной Европы. Были поляки — мы приглашены вторыми. Но ты это знаешь.

— Положим. В общих чертах. А кто такая фрау Герберт?

— Не имею понятия,— ответил Никитин и написал пальцем на стекле невидимую фамилию «Герберт».— Судя по написанию фамилии, старушенция в белом кружевном воротничке, благородного, аристократического воспитания, влюбленная в русскую литературу — Достоевский, Чехов, Толстой,— ну, да вот прочитай ее последнее письмо...

Он достал записную книжку, вытянул из середины сложенное вчетверо письмо, и Самсонов развернул глянцевито-белую бумагу, плотно заполненную машинописным текстом, пошевелил бровями, стал читать, переводить, комментировать вслух.

— «Глубокоуважаемый господин Никитин! (Ах, ты, оказывается, господин. Ну, тогда все ясно... Как это тебя раньше не разглядели при папе, не вывели на чистую воду?) Литературный клуб города Гамбурга имеет функции встречаться за круглым столом... (Как модны стали эти круглые столы, Вадимушка, не за столом, а на тебе — за круглым... по темноте своей понял: значит, без острых углов) с писателями стран Европы, обмениваться мнениями о современной культуре, проводить дискуссии на тему «Писатель и современная цивилизация» в атмосфере дружелюбия, независимо от того, в какой стране живет писатель — в системе западного капитализма или восточного коммунизма. Три ваших новеллы, господин Никитин... (Новеллы, господин Никитин, смею вам заметить, по-европейски — романы, запомните глубокоуважаемый.)

— Благодарю вас, господин Самсонов, продолжайте.

— Продолжаю... переведены в Западной Германии издательством «Вебер», о вас писали в журналах «Штерн», «Шпигель», как о восходящей звезде на Востоке, и ваша последняя новелла «Дорога назад» пользуется у нас большим успехом... (Ты смотри, что делается, стал любимцем западной публики. Покорил Запад, посшибал всех с ног своей «дорогой» и еще сидит со скромным видом, как простой смертный!)

— Ерничай, ерничай, Платоша, но мотай на ус.

— ...в среде интеллигенции и молодежи, и мне приятно сообщить вам, что в моих книжных магазинах за две недели были распроданы все экземпляры... (Ого! Готовь чемоданы для гонорара, Вадимушка. Хоть шерсти клок... Разоряй капитализм дотла, пускай их по миру с протянутой рукой.)

— Читай, читай.

— ...Известный профессор литературы и критик из издательства «Родволь» доктор Кунц определил ваш талант как трагический, он писал, что у вас два кровных отца — Достоевский и Толстой,— а между тем я думаю, что вам гораздо ближе Чехов, хотя конец последней новеллы очень тяжелый, вы так омрачаете сердце! Вы так безжалостно погубили в начале войны своих героев, что слезы выступают на глазах и с печалью долго не расстаешься. Это так грустно. (Вот тебе и фрау, выдала по первое число, как какой-нибудь бодренький критик. Пессимист ты, оказывается, певец трагических сторон!)

— Как видишь.

— ...Простите, господин Никитин, за очень смелое с моей стороны замечание, но оно ведь высказано в личном письме, и если оно вас сколько-нибудь обидело, не обращайте внимания. Писатель не должен никого слушать, кроме себя... (О, эта фрау, оказывается, с хитрецой, ввинтила мысль о независимости писателя! Уже начала дискуссию — и все тут.)

— Читай дальше.

— ...Литературный клуб хочет, чтобы вы посетили нас, и послал вам приглашение 20 августа, но ответа от вас до сих пор не получили. Очень прошу вас ответить, как скоро можете вы быть в Гамбурге. Если у вас есть возможность посетить наш город в срок между 10 и 20 ноября, то мы сделали бы все, чтобы ваше пребывание у нас было приятным. Если вы не разговариваете на немецком языке, то мы будем рады вашему приезду с переводчиком. Примите с уважением и признательностью привет от вашего издателя, господина Вебера. С самыми наилучшими пожеланиями и ожиданием вас. Госпожа Герберт, член Литературного клуба. ПЭЭС. Сообщите перед вылетом рейс самолета, и на аэродроме в Гамбурге я встречу вас. Надеюсь, я узнаю вас по фотографии в вашей книге, в том случае, если вы, конечно, сильно не изменились.»

— Любо-пытно и занят-но,— сказал Самсонов, возвращая письмо Никитину, и, потянув воздух носом, возвел грустные, иконные глаза к потолку салона.— Будут рады и переводчику. В качестве инкогнито из Иностранной комиссии. Красиво! Я — переводчик. Вдвойне красиво! Бросил собственный роман на сто двадцатой странице, лечу в Гамбург, страдаю из-за тебя, как дурошлеп. Во имя каких благ? Не хватит коньячку, чтобы расплатиться со мной. Так-то! Но зачем я тебе как переводчик? Ты сам способен лезен унд шпрехен дойч! Для свиты, что ли, предложил меня?

— Мои знания в немецком языке по сравнению с твоими — горькие рыдания,— ответил Никитин.— Я хотел, Платон, чтобы именно ты поехал со мной. И не в качестве переводчика. Это проформа для Иностранной комиссии. Вдвоем нам будет легче во всех смыслах.

Самсонов снял очки и, кулаками протирая глаза, шумно зевая, заговорил фальшивым сквозь зевоту голосом:

— Жалко мне тебя, господин Никитин, что-то подозрительно шибко начали ласкать тебя на Западе. Смотри — головка не закружилась бы. Не вознесись в гордыне, не выпрыгни из штанов. Это я по поводу письма и прочая... Опасаюсь — кино тебя развратит, легкие деньги и всякие западные поклонницы типа госпожи Герберт. Паришь, как ангел, не приземлись, как черт.

Он снова зевнул, широко, по-сомовьи распахивая рот, отчего получилось растянутое завывание «аха-ха-ха-а», и Никитин засмеялся, сказал:

— Постараюсь следовать твоим руководящим указаниям, Платоша. Зеваешь же ты в высшей степени гениально. Неужели спать?

— Так вот, звезда Востока, вникни во все, рассчитай, подумай, сообрази, как жить дальше, а я пару минут шляфен, шляфен...

Самсонов скрестил руки на груди, прикрыл веки, глубоко дыша носом, лицо стало отрешенным, страдальчески сердитым, какое бывает в моменты отдыха у переобремененных постоянными заботами людей. Он задремал или хотел задремать после усталости суетных волнений, аэродромного ожидания, долгих разговоров, и толстоватые руки его, скрещенные на груди, его поза выражали покойное достоинство знающего себе цену человека.

«За кого сейчас его можно принять? — подумал Никитин, веселея, представив чужой взгляд на Самсонове.— Состоятельный отец

семейства. Благополучен, обаятелен в своей полноте, дела идут хорошо. Чем-то озабочен, хотя все стабильно. Что еще? Благоразумен, аккуратен, любит порядок в своем доме. Портрет не сомневающегося в истинах человека. Литературные реминисценции... Но почему я подумал об этом? Да потому, что отлично,— мне будет легче с ним...»

●

Еще чувствовалось подрагивание, невесомое ныряние пола самолета, еще звучал в заложенных ушах звенящий рев двигателей при посадке, поэтому, когда вместе с группой пассажиров они вошли через пневматические двери в стеклянное здание гамбургского аэропорта, окликнувший женский голос нечетко дошел до них:

— Господин Никитин?..

Довольно высокая, в темном костюме женщина лет сорока, с прядями чистой, аккуратной седины в каштановых волосах, улыбаясь им издали, сразу же быстро направилась к обоим из толпы встречающих около дверей первого зала, и Никитин, тоже улыбаясь, поставил тяжелый от четырех бутылок коньяка портфель, не вполне твердо проговорил на немецком языке:

— Госпожа Герберт! По-моему, я не ошибся? Здравствуйте! Да, я Никитин. А это мой друг — писатель Самсонов (Самсонов, чрезмерно корректный, сдержанно кивнул фрау Герберт). Значит, вы все же узнали меня? По фотографии? Неужели?

— Да, да, господин Никитин. Я очень рада, что вы приехали! Мы так долго ждали вашего приезда! Мы уже потеряли всякую надежду...

Она неожиданно крепко ответила на его рукопожатие, она смотрела ему в лицо, и в ее молодых, не соответствующих седине, возбужденно-радостных синих глазах мелькало подавленное улыбкой выражение, похожее на испуг и растерянность. Она повторяла:

— Да, да, господин Никитин... Я прошу вас к машине. Она здесь недалеко. Нет, сначала мы получим вещи. Как вы чувствуете себя после самолета?

— Терпимо,— ответил Никитин.— Спасибо. Кажется, живы оба.

И когда, в зале багажа получив вещи, вышли из здания аэропорта и фрау Герберт, не расслабляя на губах улыбки, незамедлительно повела их к стоянке машин, Никитин заметил, как на ходу она излишне торопливо и нервно принялась дергать, расстегивать замочек сумочки, доставая, по-видимому, ключик зажигания.

— Господа, только одну минуту... Мы сейчас поедем в отель. Чемоданы, пожалуйста, в багажник. Если вам удобно, господин Никитин, то сядьте рядом со мной. Так будет лучше разговаривать.

Машина госпожи Герберт, новый, весь влажно отливающий лаком вишнево-коричневый «мерседес», была удобна, вместительна — погруженные два чемодана поглотил огромный багажник, и здесь, в машине, сев возле фрау Герберт, Никитин внятно почувствовал пряный запах невыветренных духов, разбавленный горьковатой химией синтетической обивки, запахи чужой жизни, чужих вещей, всегда обостренно воспринимавшиеся им вдали от дома, и подумал томительно:

«Вот я и опять за границей».

— Сигарету? — спросила фрау Герберт.— Господин Никитин? Господин Самсонов?

— Спасибо, я до чертиков накурился в самолете. Подожду.

— Аналогично,— ответил Самсонов.— Воздержусь.

А она снова, торопясь, подергала замочки, расстегнула на коленях сумочку, тотчас вынула пачку сигарет, зажигалку, закурила с жадностью, выдохнула дым, толкнувшийся в ветровое стекло, потом стала натягивать перчатки, тесные, скрипящие тонкой искусственной кожей.

— Простите, одну минуту...— проговорила она.— Вы первый раз в Гамбурге, господин Никитин?

— Вы спросили, первый ли я раз? Да. Я вас прошу, фрау Герберт, говорить медленно. Иначе не пойму с непривычки. Лянгзамер, битте.

Она виновато поморщилась, на левую руку ее тугая и узкая, как змея, перчатка полностью не натягивалась, никак не поддавалась — тогда она сорвала ее с пальцев, скомкала, бросила на сиденье, к сумочке, и спросила очень медленно, поворачивая машину на мокрый брусчатник мостовой:

— Но хоть раз... когда-нибудь вы были в Германии, господин Никитин?

— Был в войну. Сорок пятый год, фрау Герберт.

— В Берлине?

— Нет, в трех городах. Берлин, Потсдам, Кёнигсдорф. Однако Кёнигсдорф — это дачный, маленький городок, вы можете его и не знать,— сказал Никитин.

— О боже мой, вы были в Германии! — одними губами выговорила она и, неутоленно затягиваясь сигаретой, опять спросила, выделяя каждое слово:— Скажите, господин Никитин, неужели мы все еще помним, что была война?

— К сожалению, фрау Герберт.

Он отвечал ей так же замедленно, вникая в звук немецкой речи, в растягиваемые ею точно на домашнем уроке фразы, и, отвечая, не без интереса глядел по сторонам на сумрачно-серый, ноябрьский, сыплющий мелким дождем город, насквозь сырой, набухший влагой, прижатый низко огрузшим над крышами пепельным небом, на рано зажженный свет за витринами магазинов, на непрерывное движение черных зонтиков по тротуарам, на их густое скопление на переходах под светофорами.

Он смотрел на обмытую, еще не по-осеннему зеленую траву тщательно подстриженных газонов, по которым ходили, белели пятнами нахохлившиеся чайки, и подсознание привычно пыталось задержать и эту морскую сырость, и сумеречность осенних улиц, и это скольжение мимо витрин одинаково влажных креповых зонтиков в туманце дождя, и механическое мигание на перекрестках светофоров, сразу сдерживающих и сразу выпускающих в ущелья улиц одержимые скопища машин. Непроизвольное запоминание, эгоистическая работа подсознания была второй сущностью Никитина, хотя он и знал, что многое, к сожалению, забудется позже, останутся лишь размытые временем детали или первые запахи, как запах химии и духов в машине, или вот этот быстрый жест, каким сорвала тесную перчатку фрау Герберт после того, как попыталась и не хватило терпения натянуть ее до конца, или как жадно прикурила она от крошечной золоченой зажигалки, дрожавшей в руке.

Он поглядел на нее вопросительно. Она нервным жестом стряхивала пепел с сигареты в выдвинутую пепельницу, невнимательно остановив взгляд на водяной пыли, лужицами оседающей на капоте. «Дворники» с однотонным трущимся звуком махали по грязному стеклу, размазывая туманные полуэллипсы, и, Никитин, разом ощутив промозглую влагу гамбургских улиц, постукивание капель по зонтам, запах намокших синтетических плащей в теплоте магазинов, где уже бледно горел внутри неоновый свет, сказал по-русски:

— Как осенний день на Невском. А, господин Самсонов? Похоже?

— Кисель,— отозвался Самсонов, завозившись за спиной.— Гамбургские прелести. Дождя нам не хватало еще здесь. Не могу, знаешь ли, с некоторых пор относиться к чертовой мокряди с равнодушием утки. Опасаюсь закряхтеть от радикулита.

— Простите, пожалуйста, за интермедию на русском языке,— сказал Никитин, обращаясь к госпоже Герберт, и пощелкал пальцами, подбирая фразу: — Мы говорим о том, что старые солдаты не любят осень. Потому что осенью начинают болеть раны. Грустная пора...— добавил он полушутливо.— Вы понимаете?

Было похоже, она поняла его, даже уловила намек, который он не вкладывал в свою фразу. Она взглянула пристально, дрогнула мягкими линиями бровей, четко темными по сравнению с белыми прядями волос, сказала пресекающимся от затяжки сигаретой голосом:

— Наверно, господин Никитин, мы все переживаем грустный возраст осени, когда ушло лето. Но после осени наступает зима. И тогда еще хуже. Зимой всем людям бывает так холодно... И даже у вас в России. Ведь возраст человека не имеет государственных границ.

— Вероятно,— усмехнулся Никитин.— Здесь никакие русские валенки не спасут.

«Дворники» скребущими радиусами ползали по стеклу, равномерно растирали мелкую, почти невидимую пыль нудного дождя; обдавая влажным шелестом, мимо запотелых окон справа и слева настигал, обгонял, проносился, гудел моторами соединенный металлический поток машин, нетерпеливо выбрасывая бензиновые клочья тумана на чернильный асфальт, устланный прилипшими листьями; и все так же скапливались, скользко блестели, толпились, бежали намокшие зонтики через переходы на перекрестках. Эти ноябрьские улицы Гамбурга, затянутые ненастными сумерками, с неурочным светом в магазинах и барах, вдруг показались Никитину совершенно промозглыми, тусклыми, обволакивающими машину знобкой сыростью — и захотелось скорей в отель, в теплый номер, уютный своей чистотой, тишиной, свежей постелью, переодеться, побриться, как обычно на новом месте, и сойти потом в ресторан, посидеть за чашечкой горячего, душистого кофе и тут обстоятельно расспросить фрау Герберт о дальнейшей программе, связанной с их приездом. Но при выговоренном ею слове «Россия», как это часто бывало за границей, он вообразил где-то позади, в скромном блеске московских фонарей вечерние переулки Арбата, оставленное им позади неизмеримое пространство, отделившее его на некий срок от забот, обязанностей, ежедневной работы за столом, к которому вернется, уже мучимый угрызением совести, уже невыносимо соскучась по дому, по кабинету, по притягательному и страшному в ожидающей непорочной тайне приготовленному листу бумаги — и, вмиг представив сладкое удовольствие своего возвращения и пытаясь вновь настроиться на волну разговора, сказал, скрупулезно соблюдая грамматическое построение:

— Если говорить о моем поколении, фрау Герберт, то молодыми, неунывающими и особенно счастливыми мы были весной сорок пятого года. Война кончилась. Все начиналось. А нам было чуть больше двадцати. Вот это было прекрасно. Я почему-то об этом подумал, фрау Герберт.

— Мальчишка,— басовито подал голос Самсонов.— Мне уже в ту пору стукнуло двадцать четыре. Экое ты дите был. Интересуюсь: детские пеленочки не возил в передке орудия?

— Больше того, патриарх, пеленки сушили на орудийных стволах после каждого боя... Извините, фрау Герберт, мы опять обменялись со своим другом любезностями на русском языке. Любезностями солдатского толка.

Она помолчала, струей выпуская дым в ветровое стекло.

— Но... можно надеяться, вы и сейчас не унываете, господин Никитин,— осторожно проговорила фрау Герберт.— Вы, я думаю, счастливы, здоровы. У вас ровное, хорошее настроение...

Никитин не совсем точно поймал оттенок смысла последней фразы и пощелкал пальцами, попросил помощи у Самсонова:

— Платон, будь добр, последнюю фразу переведи на язык родных осин. У меня всегда хорошее... и какое настроение?

— Ровное настроение, счастливый господин Никитин,— уточняя, перевел Самсонов и испустил носом протяжный звук: — М-м... Добавлю: производишь впечатление легкомысленного человека, лучезарная звезда Востока. Учти на будущее. Если от желчи болтаю пошлости я — мне начхать, тебе не позволено. Неси на себе печать счастливой солидности, классик. Так-то!

— Благодарю, ясно. Теперь переведи-ка мой ответ, я могу напутать сложный оборот, черт его дери,— сказал полусерьезно Никитин.— Простите за грубость, госпожа Герберт. Но кажется мне, что в моем возрасте ежесекундно и непробиваемо счастливыми могут быть лишь самодовольные дураки. Ровное же настроение спасает от многого. В том числе и от самого себя. Правда, не всегда удается.

— Я не хотела, господин Никитин...

Она обвела его лицо удивленно расширенной синевой глаз и, не закончив фразу, поспешно заговорила о другом:

— Господа, мы скоро подъезжаем. Вы будете жить в старинном и уютном отеле «Регина», который вам должен понравиться. Это за углом, господа.

Продолжение следует.

Юрий БОНДАРЕВ

Рисунки И. ПЧЕЛКО.

БЕРЕГ

Она остановила машину перед стеклянным подъездом отеля в узкой, заросшей деревьями улице, сравнительно отдаленной от непрерывно шелестящего шума, от ревущего потока машин, в котором все время двигались по городу, и здесь, взяв чемоданы из багажника, они вошли в просторный пустынный вестибюль, застеленный коврами, по-особенному тихий, где не слышен был даже бегущий по асфальту стук дождя. Отовсюду повеяло домашними запахами старой мебели, устоявшимся покоем, и, выражая услужливую приветливость на упитанном вежливом лице, вышел навстречу из-за стойки человек («Гутен та-аг!»), тоже по-домашнему спокойный, размеренный в каждом жесте. Он шепотом сказал что-то утвердительное фрау Герберт, воспитанным кивком пригласил Никитина и Самсонова к стойке, попросил паспорта и после минутной процедуры заполнения регистрационных бланков уважительно вынул из круглых гнезд ключи номеров с прикрепленными к ним маленькими деревянными грушами, подхватил чемоданы и, отражаясь в зеркальной стене, пошел к лифту в глубине вестибюля.

— Большое спасибо. Вы нас прекрасно довезли, фрау Герберт,— сказал Никитин.— Каково теперь дальнейшее?

— Говорить медленно, господин Никитин?

— Пока да, мне надо еще привыкнуть. Иначе замучаем переводом господина Самсонова.

Она улыбнулась.

— Я думаю, вы устали после самолета, и вам нужно отдохнуть. Но вечером я буду очень рада видеть вас у себя дома. Я заеду в семь часов. Теперь... пожалуйста, посмотрите свои комнаты, если хотите, переоденьтесь и спускайтесь вниз минут через десять. Я буду ждать вас в ресторане. Разрешите мне немножечко выпить с вами. Как это? На ваше здоров-вье-е? — по-русски добавила она протяжно и с некоторым смущением щелкнула пальцами, как это делал Никитин, отыскивая немецкие слова.— Так по-русски? Или я ужасно сказала?

— У вас прекрасное произношение, фрау Герберт. Через десять минут мы внизу.

В скоростном лифте они поднялись на пятый этаж и, выйдя в напоенный теплом длинный коридор, зеленеющий пушистой синтетической дорожкой, быстро нашли по листкам отеля номера своих комнат, расположенных рядом; двери предупредительно полуоткрыты, ключи в замках, чемоданы внесены.

В номере Никитина было по-осеннему сумеречно, и стучали, вкрадчиво царапали капли дождя по стеклу. Никитин снял плащ, нашел выключатель, зажег свет — и тут же пленительно засверкали свежестью, чистотой два белоснежных конверта-постели на широкой двуспальной кровати, выделились стерильной белизной подушки, казавшиеся даже на вид успокоительно-нежными, манящими покоем под кокетливыми абажурчиками в изголовье, наподобие юбочек; полированно засияли деревом большой бельевой шкаф, полуписьменный с конторками и приемником стол на тонких ножках, журнальный столик, осененный розовым куполом торшера, в окружении трех мягких кресел.

«Все педантично начищено и прибрано по-немецки»,— подумал Никитин, развязывая галстук, и прошел в ванную, чуть пахнущую озонатором, ярко залитую люминесцентным светом прямоугольных плафонов, чистоплотно блещущую зеркалами, кафелем, никелем вешалок, где над безупречной голубизной умывальника, заклеенного бумажной ленточкой «стериль», приятно белели разглаженные личные и мохнатые полотенца, затем он вошел опять в комнату, повалился в благодатно вобравшую его глубину кресла, вытянул ноги, наслаждаясь тишиной, удобством, подумал:

«Что ж, вот отсюда начинается отельно-ресторанная жизнь вперемежку с дискуссиями, приемами, аперитивами и разговорами. И десять дней, глубокоуважаемый Вадим Николаевич, покажутся вам вечностью, несмотря на заграничные апартаменты и радостный прием, оказанный какой-то не очень ясной фрау Герберт. Устанете, как черт в преисподней. Что ж, если уж приехали, то пусть жизнь идет так, как она идет, не торопить ее, не ускорять...»

Он не хотел в эту минуту думать о том, что осталось позади, далеко отсюда, за дождливым тысячекилометровым пространством, он не хотел думать о доме, потому что знал: через неделю начнется сумасшествие — неистребимая тоска по своему кабинету, по жене, по предзимнему ноябрьскому холодку московского воздуха.

«Все пока отлично»,— подумал Никитин и живо достал из чемодана галстук, купленный в Париже, свежую нейлоновую, тоже парижскую рубашку и, уже с удовольствием переодеваясь, чувствуя начало новой, праздной жизни, услышал стук в дверь, басок Самсонова:

— Готов? Не забывай, классик, нас ждет женщина.

— Заходи, рюмочку по-мужски не хочешь? В честь приезда,— сказал Никитин, продевая в манжеты запонки, и показал глазами в сторону расстегнутого портфеля.— Пока я тут, Платоша, занимаюсь экстерьером, достань, раскупорь и разлей по стаканам граммов по пятьдесят.

— Гляди-ка, тебе — приемник, а мне — транзистор, фитюльку, номера рядом, а классовое неравенство явное,— басил, скептически озирая комнату, Самсонов, при помощи зубов и дверного ключа раскупорил вынутую из запасов Никитина бутылку и, зазвенев стаканами на столе, разлил коньяк.— Ну, давай за мягкое приземление на земле гамбургской. Доложу тебе, что ты очаровал фрау Герберт. Заметил, как она на тебя смотрит?— Он понюхал коньяк.— Ах, аромат!..

Никитин надел облегавшую тело прохладную нейлоновую рубашку, надел пиджак и с тем же удовольствием обретенной чистоты и с тем же ощущением беззаботности взял стакан, коричнево блеснувший сквозь стекло коньяком, стоя чокнулся с Самсоновым, выпил эту крепкую, пахучую жидкость, разлившую веселое тепло в груди, крякнул, сказал:

— Хорошо пошло, прекрасно! Что касается твоей наблюдательности, то она у тебя, Платоша, шерлок-холмсовская.

— Прошу под коньяк.— Самсонов извлек из кармана две карамельки, одну протянул, как подарок, Никитину: — Закуси. Запасся в самолете. И двинем вниз, к фрау Герберт.

Посасывая карамельки, они спустились на лифте в вестибюль и тут, среди ковров, впитывающих шаги, среди зеркал и полумрака, чуть подсвеченного матовыми плафонами, заметив приветливый кивок из-за стойки знакомого портье, уже расположенно сказали ему «данке» и вошли в ресторан, странно пустой, притемненный, на стенах неярко горели бра, за огромными окнами серел водянистый сумрак, липли к стеклам дождевые капли.

Госпожа Герберт, гладко причесанная, приведшая себя в порядок, губы подведены, вся опрятная в своем темном костюме, сидела за столиком подле окна, закинув ногу на ногу; она оторвалась от карты меню, встретила их улыбающимся взглядом.

— Господа, мы должны решить: что мы будем пить и есть?

— Что-нибудь легкое. Чуть-чуть нежирной ветчины, сыр, кофе, что-то вроде завтрака,— ответил Никитин и положил на скатерть сигареты, предложил фрау Герберт: — Попробуйте советские. Крепковаты, но ничего.

Она аккуратно отшлифованными ногтями вытянула сигарету из пачки, попыталась прочитать название, но не прочитала и засмеялась.

— О, русские!.. Я не люблю легкие, и вы, пожалуйста, попробуйте.— И пододвинула к нему немецкие сигареты.— Но главное — что же пить? Коньяк? Виски? Немецкую или русскую водку?

— Русскую водку полагается пить в Москве,— отозвался Самсонов тоном притворного глубокомыслия.— В Германии, надо полагать,— немецкую. Я не совершил ошибку, господин Никитин?

— Если ты и ошибся, то ошибся гениально,— сказал по-русски Никитин и смело перешел на немецкий: — Немного вашей водки, фрау Герберт. Вкус шнапса со времен войны я уже совсем забыл.

— О нет! Теперь это другая водка, с войны прошло так много лет, все изменилось,— возразила госпожа Герберт, виновато взглядывая на Никитина, и сейчас же обернулась в затемненный зал.— Герр обер!..

Метрдотель, неслышно возившийся неподалеку, занятый сервировкой столика, подошел мягкой походкой, принимая такое же неподобострастное почтение, что было давеча и на лице старшего портье, вопрошающе наклонил к фрау Герберт лысую, в обводе седых волос голову; его накрахмаленная грудь, черный галстук-бабочка подчеркивали выработанный аристократизм солидного ресторана, его белая холеная рука синхронно повторяла каждое слово фрау Герберт, автоматическим карандашом заскользила по блокнотику. Потом опять благородный наклон головы, и опять бесшумной походкой незаметно удалился он в ровную полутемноту безлюдного в этот необеденный час зала.

— Господин Никитин, ваш гамбургский издатель, о котором я писала вам в письме, надеется сегодня встретиться с вами у меня,— заговорила госпожа Герберт и поставила сумочку на колено.— Он просил меня заранее передать вам благодарность и... гонорар за последнюю вашу книгу. Три с половиной тысячи марок. Он, несомненно, мог бы заплатить гораздо больше. Но, к сожалению, между на-

Продолжение. См. «Огонек» № 45.

шими странами не существует авторской конвенции. Господин Вебер богатый человек и не из тех, кто легко расстается с деньгами.— Она смущенно улыбнулась и передала Никитину довольно толстый конверт, украшенный типографским готическим оттиском издательства «Вебер-Ферлаг», следом вытянула из сумочки еще два конверта потоньше, договорила:— И здесь от нашего литературного клуба карманные деньги, по восемьсот пятьдесят марок, вам, господин Никитин, и вам, господин Самсонов.

— Спасибо вам и моему издателю,— сказал Никитин.— Не было ни гроша, да вдруг алтын. Это успокоительно.

— Миллионер, Рокфеллер, увезешь из Гамбурга запакованный в целлофане «мерседес».— Самсонов переложил деньги во вместительный бумажник, подумал и прицелился очками на фрау Герберт:— Интересно, а как же расходилась, то есть как раскупалась, последняя книга моего уважаемого коллеги?

— Была реклама, и книга разошлась как роман о советской интеллигенции в годы десталинизма. Господин Вебер хорошо знает, как можно вызвать интерес к восточному писателю, и умеет нажиться,— ответила фрау Герберт, в то же время наблюдая за Никитиным, который небрежно затискивал конверты во внутренние карманы, и внезапно спросила с растерянной заминкой: — Вы никогда не считаете деньги? Разве считать не принято в России?

— Принято и считаю,— сказал Никитин.— Но, кажется, мировой известностью пользуется немецкая аккуратность.

— О, это постепенно исчезает, господин Никитин.

— Даже в Германии?

— В России, наверно, плохо знают новую Германию.

Усталости сейчас не чувствовалось, как это было в машине на пути из аэропорта, и после выпитой рюмки коньяка в номере было ощущение начатого движения по течению, без насилия над волей, без напряжения, потому что все шло отлично, может быть, лучше, чем ожидал, и приезд и отель; и эти дурные деньги, присланные издателем, и деньги литературного клуба безоглядно освобождали его и Самсонова от унижающей бытовой стесненности. Кроме того, он теперь яснее понимал манеру речи фрау Герберт, милую медлительность ее интонации, теперь увереннее и решительнее справлялся с немецкими фразами — и было благодатное ощущение заграничного отдыха, заслуженного перерыва в работе, и не мучило разъедающее угрызение совести, что бывало дома в пустые дни, когда не находились точные фразы на измаранном листе бумаги.

Между тем официант ловко и быстро расставил на столе крошечные рюмки, на одну треть наполненные водкой, железные кофейники с изогнутыми по-восточному носиками, распространявшие шоколадный аромат кофе, маленькие фарфоровые молочники с горячим молоком, белые свежие булочки в корзинке, застеленной салфеткой, тонкие ломтики черного хлеба и на розетке квадратики масла, замороженные в холодильнике, покрытые капельками влаги.

И все это: ледяная, лишенная запаха водка («Ваше здоровье, госпожа Герберт»), и хрустящие булочки, намазанные маслом, и ветчина на пряно-сладковатом черном хлебе, и ароматный турецкий кофе, и пахучие пластинки сыра — показалось Никитину вкуснейшим; и он почти наслаждался какой-то бездумной физической своей легкостью, этим поздним завтраком, и этой тишиной пустого отельного ресторана, и беспрерывно моросящим ноябрьским дождем на гамбургской улице за окнами.

●

— Гамбург брали, если не ошибаюсь, англичане? Но любопытно — развалин нигде нет.

— Не брали, Платон, а вошли в сорок пятом. Предварительно разбомбили несколько кварталов и вошли весело и нетрудно. Бомбили — и потом заняли город, хотя тут им не сильно сопротивлялись. Разрушенные кварталы немцы, конечно, восстановили.

Дождь не переставал, нудно сеял над Гамбургом водяной пылью, серая мгла висела в воздухе. Скользкий тротуар сально блестел, мимо проносились, шелестели, отражались в асфальте отлакированные дождем железные стада машин; загорались то зеленым, то красным светом силуэты шагающих человечков на указателях светофоров, магически дисциплинируя скопления мокрых зонтиков и непромокаемых плащей перед границами переходов; неоновую бледность источало кренделеобразное «U» над спусками в метро; тускло зеленела трава бульваров, мокли в лужах ржавые листья, а по желтым островкам листьев бродили на газонах чайки, взъерошенные, озябшие,— пахло поздней осенью, было слякотно, промозгло, дышало сырой тяжестью близкого моря.

— Есть чему удивляться, Платон,— вполголоса говорил Никитин, мимолетно всматриваясь в буднично-спокойные лица прохожих.— Ходим мы с тобой по земле немецкой, откуда все началось, и, ей-богу, не верится, чтобы вот этот, например, добропорядочный дядя...— он взглянул на пожилого утомленного человека в клетчатом плаще, равнодушно покуривающего у дверей бара тоненькую, дешевую сигарку,— чтобы этот вот дядя во всю глотку орал «хайль» и стрелял в тебя или в меня под Сталинградом... Или вот этот?— И он опять перевел глаза на маленького, благодушного вида немца, приметного оттопыривающим пальто брюшком, который, выйдя из магазина, в одной руке держал зонтик над головой, а другой открывал ключом дверцу обляпанного грязью «фольксвагена» близ кромки тротуара.— Не похоже? Отец семейства, любитель пива, балагур, по вечерам усаживает детей на колени... Само добродушие. Мог он стрелять? Или расстреливать? Вешать? Вот штука, Платон, вот дебри...

— Кто же в конце концов орал «хайль» и стрелял? — заворчал Самсонов.— Все, оказывается, милые, добрые, прекрасные люди... Кто же стрелял?

— Не «кто», наверно, а «почему» и «зачем» — в этом суть.

— Вряд ли физиономии что-либо объяснят, Вадим. Наоборот, запутают.

— Посмотрим, посмотрим...

Возле каменно-прочного, дочерна закопченного вокзала с зажженной вверху синеватой буквой «S», с освещенными в утробе его огромными залами, похожими на магазины, Никитин задержался перед стеклянным газетным киоском, долго искал в пестро заваленной и завешенной иллюстрированными журналами витрине красочные суперобложки книг, поочередно читая заглавия вслух:

— «Кэнди». Роман о молоденькой девушке. «Убийство в Мадриде». Ясно. Что же у них в моде? Поправляй, Платон, если не так переведу. Франц Кафка уценен. Видишь? С 26 марок на 17. Чем объяснить? Недавний кумир Запада. Дальше — новинка в углу. «Письма Петэна жене из тюрьмы». Так, любопытно. Что этот субъект писал ей? «Тропик Рака» Генри Миллера. Эротический роман. Понятно. А это что? «Вторая мировая война». Уже интересно. Вот эту бы книжицу надо, Платон, перед отъездом приобрести.

— Погляди в правый угол на красный переплет,— сказал Самсонов, прислоняясь очками к стеклу витрины.— Цитатник Мао. Хо-хо! Рядом — «Умер ли Гитлер?». Интересно, кто покупает?

— Об этом надо спросить фрау Герберт. «Умер ли Гитлер?» тоже надо бы купить.

— Уверен? А таможня? Случайный осмотр? «Есть ли зарубежная литература?» И пошла писать губерния.

— Обойдется! Эти книги покупаются для личного пользования, а не для публичных библиотек. Все надо знать, абсолютно все.

— А что знать? Что не ясно? Кто стрелял, объясню. Все, Вадимушка, все, кому больше сейчас сорока двух. То, что некогда у нас писали о Гитлере: «сумасшедший», «бесноватый ефрейтор», «паралитик»,— объяснение неточное. А это была дьявольская личность, обладающая внушением. Когда он произносил речи, немцы, в особенности женщины, рыдали от восторга. Известно тебе?

— Ясно, ясно, да не совсем. Детали, существенные детали туманны, Платон, кто они, эти западные немцы, для меня, в общем, инкогнито. Унеексплоред. Белое пятно. Кто они? Что они? Те ли они? До сих пор не могу забыть «бефель» о трех солдатских добродетелях. «Верь в фюрера, повинуйся, сражайся...» Ладно, посмотрим. Ни в какие музеи мы, конечно, не пойдем. Музеи затуманивают все к черту. Мы сделаем одно исключение. Посмотрим памятник погибшим и порт. Главное — лица, лица на улицах и глаза... Согласен?

— Принимаю.

— Тогда — айн момент, уточним, где памятник.

Никитин расстегнул зашелестевший плащ, достал из бокового кармана план города, взятый в отеле, посмотрел на сеть улиц, сразу обсыпанную мелкими каплями дождя по глянцу бумаги, сказал, пряча план:

— Далековато отсюда. Но потопаем пешком, Платоша. Согласен? Хочу поглазеть на улицы. Пострадаешь?

Подобно тому, как первоначальное расположение и нерасположение к незнакомому человеку определял в большей или меньшей степени внешний облик его, так и первое ощущение неизвестного города (и не только за границей) подчиняло Никитина доверчивой силе толкающего любопытства, и его тянули хаотичность живой толпы, кипение ее на тротуарах, теснота метро и трамваев, переполненные пивные, маленькие бары, шумные увеселительные кабачки, торговые улицы, где ежесекундно появлялись, мелькали, выражали внимание, заботу, равнодушие, улыбались, хмурились, возникали как бы из вечности и тут же пропадали навсегда чужие лица, обрывки недослышанной фразы, взгляд, смех, чей-то жест...

И это высекало в нем искру волнения, и это, казалось, разрушая нечто свое, личное, соединяло его со всеми впервые увиденными людьми, и вместе неудовлетворенно разъединяла непознанная скрытность их жизни, в которую хотел проникнуть и не мог. Может быть, поэтому он любил заглядывать в окна, мучаясь неутоленным угадыванием нераскрытого. Забыто незадернутая занавеска, тень женщины, расчесывающей перед зеркалом волосы в глубине комнаты («одна она, кто с ней, кто она?»), темные дворы, наполненные тишиной ночи, обшарпанные парадные, таинственные лестничные площадки, отзвучивающие гул дальних шагов, стук двери в верхнем этаже, городские автоматные будочки, сплошь исцарапанные по стенам номерами телефонов и именами, оставленная на сиденье пустой машины пачка сигарет или забытый развернутый журнал на бульварной скамье вызывали у него то чувство ожигающего прикосновения к загадочной человеческой жизни, какое испытал однажды еще в детстве, когда случайно нашел на улице кем-то потерянный кошелек, новенький, красный, сверкающий золотистым замочком. Кошелек этот с томительным ожиданием непонятной вины был спрятан им в сарае-голубятне на заднем дворе за поленьями березовых дров. И иногда, сидя в полосах солнечных стрел сквозь щели, в душном запахе перьев и помета, он часами разглядывал кому-то принадлежавшие вещицы — мизерный перочинный ножичек, аккуратно сложенные три рубля, тюбик красной сладковатой на вкус помады, стертой сбоку о чьи-то губы, и, переживая тайное волнение, представлял эти вещи в чьих-то руках, представлял лицо, фигуру, голос незнакомой женщины. Он видел ее молодой, грустной, такой же изящно красивой, как и перламутровый ножичек, одинокой в своей комнате, где окно выходило на кирпичную пожарную стену, обогретую ранним солнцем по утрам. Но эта воображаемая им женщина не была похожа ни на одну из женщин в их доме и во всем замоскворецком переулке, у нее не было отличительных черт лица, фигуры, походки, она была лишь красивой, молчаливой, печальной, окруженная полутенью прохладной уютной комнатки, в которой должны быть старинный комод и зеркало. И тогда он воображал, как воровски летним утром подкрадывается к раскрытому окну незнакомки и бросает на розовеющий подоконник этот маленький красный кошелек, сохранивший ножичек, губную помаду и три рубля, и, весь млея от рыцарского восторга, слышит ее изумленный вопрос: «Кто там?»

То детское неудовлетворенное любопытство давно было забыто в подробностях Никитиным, оставалось тихим, смутным отсветом, однако в зрелые годы жажда узнавания скрытой

чужой жизни приносила ему почти болезненное удовольствие.

— Вот он,— сказал Самсонов.— Читай. «В память солдат и офицеров, погибших и пропавших без вести во вторую мировую войну. 1939—1945 годы». Дальше: «Германия останется, если даже мы все погибнем».

— Что ж, сильно сказано,— проговорил Никитин.— Давай-ка рассмотрим, Платон.

Этот памятник был тяжел, мрачен, чернел смоченным дождем камнем, немо, угольно выступали очертания барельефов, будто размытые темнотой ночи силуэты солдатских фигур, шагающих куда-то плотным строем — в ад или небытие; оружие, каски, едва различимые без выражения глаз смертные лица. Внизу на каменных плитах угрюмо отблескивали темные железные венки, стояли рядом свежие венки из цветов, прилипали к земле под дождевой пылью траурные ленты с белой и аспидно-черной бахромой, зловеще проступали на них знаки мальтийских крестов и лежали среди железных венков целомудренные астры, нежно-красные гвоздики, каплями крови обронившие на грязные плиты лепестки, расползшиеся по готическим надписям на венках:

«От солдат, воевавших в 225-й пехотной дивизии», «От резервистов бундесвера», «От бывших летчиков», «От бывших танкистов».

И вдруг пахнуло на Никитина железистым запахом земли, и будто послышались явственно какие-то голоса, разрываемые пулеметными очередями, чей-то вопль «Танки-и!», вырвавшийся из знойного пульсирования солнца, нанесло удушающим жаром горячей брони, возникшей черным боком в прицеле, его всего оглушило ревом танковых моторов, и разом тошнота подкатила к горлу, вызванная сладковатым, как трупная вонь, густым наплывом синтетического бензина, ударами пороховых газов...

«Галлюцинация»,— подумал Никитин, не в силах отделаться от ощущения боли в ушах, толчков подбрасываемого выстрелами орудия и от знакомого хрипловатого голоса, просторной, обнажавшей молодые зубы улыбки, дрожания белых коровьих ресниц командира второго взвода Шиканова, чей перерубленный наполовину голый атлетический торс теперь висел на ветвях сосны, напоминая подвешенную розовую тушу. Он видел: что-то ужасающе красное обрызгало, стекало по щиту поковерканного орудия, впитывалось в белый накаленный песок вблизи тихой реки Псел, вспыхивающей справа под нестерпимым солнцем. Танки пошли в атаку по левому берегу, и взвод Шиканова первым занял позицию на опушке урочища и не успел окопаться, открыл огонь, опередив на два снаряда взвод Никитина.

А вечером в занятом городке Гадяче пили после боя трофейный ром, и Никитин в какомто беспамятстве кричал удивленному командиру батареи, что это его взвод, Никитина, должен был занять позицию на опушке и стрелять первым, и Шиканов был бы жив. Он как бы оправдывался перед случайностью и перед собственным роковым везением. В ту пору он еще не понимал, что на войне никто не может обогнать, обойти, замедлить или перехитрить судьбу. Судьба Шиканова, мстя за поспешную неточность, настигла его и сделала беспощадную зарубку на миге вечности острым топориком смерти. Это мщение было предупреждающей казнью, которую суждено было видеть Никитину несколько раз и в других вариантах и которая все же не научила его благоразумию до конца войны,— молодости не свойствен опыт выверенного расчета. Но спустя много лет он не раз просыпался в холодном поту — во сне судьба заносила над ним свой мстящий топорик и опускала его на другого, на метр ближе или дальше. И тягостно было при воспоминании лиц и голосов погибших во время танковых атак — война неотделимо связана была с этим чудовищным и лживо-лицемерным выбором взвивающегося над головами топорика.

— Ты что нахмурился? — прозвучал голос Самсонова.— О чем думаешь? Пошли отсюда. Достаточно.

— Подожди. Посмотрим...

Никитин все глядел на распластанные, примокшие к темным плитам лепестки цветов, на колючее и влажное железо венков, облепленное кладбищенски поникшими лентами, и от

этих овлажненных цветов на камне, черных мальтийских крестов на лентах, мокрого крепа повеяло липким запахом чужой смерти, сгущенной трупной гнильцой из чащи, как бывало когда-то в осенних лесах, на раскисших дорогах, затянутых косым дождем, стучащим по папоротникам над канавами, на краях которых виднелись вдавленные в размытую глину немецкие коробки противогазов, сплющенные плоские котелки, перевернутые, налитые грязной водой каски. Тот липкий, трупный запах лесных дорог забивал ноздри, не давал дышать.

«Так что же это? — подумал Никитин с отвращением и неприязнью к самому себе.— Не могу побороть? Не могу забыть? Это сильнее меня? Почему я не могу представить другую смерть — немецкого солдата, слезы его матери, жены, невесты? Почему это не вызывает во мне никаких чувств?»

Осторожные шаги приблизились сбоку. К памятнику подошел сухощавый мужчина, высокий, в приталенном сером пальто, без шляпы, седеющие волосы причесаны на пробор, сухое, выбритое лицо было тускло, неподвижно, он одним пальцем поправил перекрученную ленту венка, где по траурному крепу белела готическая надпись «От солдат, воевавших в 225-й пехотной дивизии», и, склонив голову, стоял так несколько секунд в позе задумчивости.

«О чем думает этот немец — о бывших победах и поражении? О погибших однополчанах? По виду ему можно дать лет под пятьдесят. Значит, воевал. Где? На западе? На востоке?..»

И Никитин, подталкиваемый любопытством, готов был спросить, не приходилось ли ему воевать на Восточном фронте против русских в составе 225-й дивизии, но немец вроде бы почувствовал на своем лице внимание и, обведя Никитина непропускающим, холодным взглядом, пошел прочь от памятника; спину его плоско облегало модное осеннее пальто.

«По возрасту бывший гауптман или майор»,— подумал Никитин, он знал, что мог ошибиться, и тем не менее, продолжая угадывать, представил спину этого немца, затянутую в офицерский мундир, и спросил Самсонова, который протирал носовым платком стекла очков:

— Кто, например, этот? Видел, как он поправлял ленту?

— Немец, который стрелял в тебя,— досадливо ответил Самсонов.— Солдат — руки в крови. Тоска по силе и — «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес». Заметил выправку? Ого! Вон еще один. Не сомневаюсь, будущий сын бундесвера, кто-то дома исподтишка внушает мысль о былом величии третьего рейха.

Никитин посмотрел на подошедшего мальчика лет одиннадцати, в коротких штанишках, в белых, измазанных грязью гольфах; мальчик этот, лениво пожевывая резинку, начал бесцеремонно ходить по каменным плитам, балансировать, как на спортивной площадке, его желтые ботинки мяли рассыпанные лепестки венков; потом он напряг круглую попку, тонкие икры, подпрыгнул, коснулся рукой выпуклого ствола пулемета на барельефе и сейчас же, надув на губах пузырь жевательной резинки, спрыгнул с плит, враскачку зашагал к усыпанному островами листьев пруду за оградой, где пронзительно визжали чайки. Их резкий, скандальный визг на затемненной серовато-туманцем воде был возбужден чем-то; чайки по-змеиному хищно нацеливали клювы, гонялись друг за другом вдоль берега, суматошно били крыльями, и стая медлительных уток, вертя шеями, отплывала от них, покачиваясь на воде меж палых листьев. Мальчик же в запачканных грязью белых гольфах шел по кромке берега, мимоходом махал ногой на чаек и все надувал и надувал пузырь вытянутыми губами, пока он не лопнул. Никитин сказал:

— Том Сойер... Похож?

— Немецкого происхождения,— поправил Самсонов.— Ну, двинем дальше. Здесь ясно. На знаменитый Реепербан поедем? Или опять потащимся пешком? Ты не размок, Владимушка?

— Доедем под землей, черт с тобой.

Накрапывал дождь. Они спустились в промозглый сквознячок метро, в запах отсыревших плащей и зонтиков.

Продолжение следует.

Юрий БОНДАРЕВ

Рисунки И. ПЧЕЛКО.

БЕРЕГ

Когда они поднялись из метро на Реепербан, дождь перестал, тучи низко клубились над районом порта, над невидимым морем, небо набухло, тяжелыми глыбами ползло над кровлями.

Все здесь, даже вблизи метро, непохоже было на центральные, благопристойные улицы вокруг отеля, все говорило здесь о жизни иной, праздной, неестественно возбужденной, необычной, кем-то придуманной (на один вечер, на одну ночь, на один час) для туристов и торговых моряков разноязыкого мира, сошедших на сладкий, безотказно гостеприимный берег Гамбурга, готовый удовлетворить желания каждого, кто склонен был к разнообразным удовольствиям больших цивилизованных городов.

— Вот он, знаменитый район Сан-Паули,— сказал Никитин.— Секс. Вино. И увеселения.

— М-да,— промычал Самсонов.— Вижу.

Тут ярчайше пестрели на всех углах грубо разрисованные вывески баров, рекламы маленьких отелей свиданий, ресторанов, американских клубов, повсюду бросались, лезли в глаза названия дансингов, ночных кабаре, стриптизов — «Табу», «Калибри», «Мулен Руж», «Сафо» — и смотрели через стекла витрин цветные фотографии оголенных крупнотелых девиц, лежавших в прозрачных ваннах, или распростертых, как бы распятых на коврах, или закрывших испуганно-капризно лица распущенными волосами и игриво растопыренными пальцами то место, где должен быть фиговый листок; и повсюду странно выделялись торчащие груди, запрокинутые в позах изнеможения головы, напряженные шеи, гибкие руки в застенчивом движении ложного целомудрия, зрелые женщины и совсем девочки с невинно потупленными глазами, будто защищающие свою вдруг открытую наготу томной полуулыбкой. Это было какое-то перемешанное обилие женской плоти, обнаженная тайна напоказ, разъедающий толчок смещенного воображения, ядовито и искусственно создавшего сцены в нарочитом по своему бесстыдству уличном театре для заходивших сюда любителей эротического забвения.

В этот час Реепербан был довольно немноголюден, еще не зажигались ночные огни, не светились рекламы, еще не работали ночные кабаре, не открывались дансинги, еще не было вечернего оживления, какое мог представить Никитин по хаосу зазывных вывесок клубов, кинотеатров и стриптизов, но что-то работало уже в недрах улицы, с усталой механичностью начинало или продолжало ночную жизнь, темно шевелилось за стенами небольших отелей, за витринами стриптизов, во дворах и подъездах домов. И деятельного вида, атлетического сложения швейцары в форменных пальто, непроспанно зевая, расхаживали у закрытых дверей, порой отбегали на середину тротуара, наперерез прохожим, с нагловатой решительностью преграждали дорогу, вывертом показывая в ладонях фотографии, какие-то билеты, выкрикивая хрипловатой скороговоркой:

— Новое порно! Вход три марки!.. Три марки для информации! Очень дешево!..

— Пять марок за пятнадцать минут! Молодая шведка... Две красивые мулатки, которые хорошо понимают друг друга!.. Шведский секс! Французский вариант!..

Здесь, подобно теням, появлялись на тротуарах бесцветные, бледноликие молодые люди с торговыми плоскими глазами, в узконосых ботинках, скользящими телодвижениями выступали из подъездов, возникали из глубины улочек, вполголоса предлагая зайти куда-то. В то же время благообразно седые, одетые в черное мужчины беспощадно ловящими взглядами сутенеров следили издали за работой молодых людей, зорко проглядывали улицу. А везде, под окнами, возле подъездов и около дверей баров, поигрывая раскрытыми зонтиками, стояли проститутки, немолодые, потрепанные, до неумеренной яркости накрашенные, и рядом — молоденькие, в мини-юбках, повесив сумочки на руку, независимо курили, подрагивали ногами, обтянутыми сапожками.

На этой улице они не останавливались, шли, не отвечая на оклики, и теперь точно продирались через расставленную впереди колючую проволоку неотступно и секретно шепчущих бескровных молодых людей, держащих открытки в рукавах, сквозь как бы с угрозой наведенные взгляды солидных сутенеров, сквозь неуловимо сопровождаемое внимание дневных проституток, пожилых, тяжелых, матеро-опытных, и этих юных, внешне ангельски чистеньких, беловолосых, раскрывающих навстречу словно впервые подведенные синевой веки школьниц. И Никитин, чувствуя это окружение унизительной оголенности намерений, кем-то узаконенных, обыденных в своей простоте, подумал, что, видимо, здесь знали все, что можно было знать в темной бездне человеческой похоти, где заранее подробно были выучены роли, жесты, слова, позы, чтобы за цену, установленную по вкусам, можно было купить и продать вместе и в отдельности ноги, губы, грудь, живот, голос, всю изощренную воображением искусственную страсть,— он подумал об этом и внезапно ощутил тупое, гнетущее насилие над собой, и мохнатой лапкой сдавило сердце тихое удушье.

Они молча миновали квартал дневных проституток, и тут, на углу, перед заворотом в улочку, сутулый, старообразного вида швейцар, какие обычно стоят подле дверей отелей, в длиннополой форме, украшенной серебристыми галунами, плохо выспавшийся и плохо

Продолжение. См. «Огонек» №№ 45, 46.

выбритый, искательно закивал им морщинистым переутомленным лицом и заговорил полушепотом, умоляя подобострастно:

— Господа, только три марки... показываем короткие французские фильмы, привезенные с Плац Пигаль. Я вижу, вы не немцы, вам интересно будет взглянуть. Последние фильмы. Вот билеты, господа, три марки, это стоит... уверяю вас...

— Зайдем, что ли? — спросил неожиданно Никитин без полной уверенности, обращаясь к Самсонову.— Посмотрим ради интереса. Все надо знать, если так... Как ты?

— Давай уж, давай, бог с ним, соблазн есть,— ответил, неизвестно почему багровея, Самсонов и, отсчитав швейцару шесть марок мелочью, пробормотал: — Знать так знать...

Они вошли в узкую дверь, услужливо раскрытую забежавшим сбоку швейцаром, спустились по тускловатой каменной лестнице в подвал, пахнущий пряной сыростью, теплым одеколоном, отодвинули тяжелую захватанную бархатную портьеру, закрывавшую вход перед концом лестницы. И в слоистой темноте крохотного зала замерцал, засветился впереди маленький экран, где нагая женщина на краю широкой постели в истоме обнимала мужчину за мускулистую спину, терлась затылком о подушку — шел фильм без слов, без звуков, фильм движений, изображающий двоих в номере отеля.

Никитин с порога приглядывался в полутьме зальчика, отыскивая места,— стульев нигде не было. Стояло лишь несколько столиков, на стенах слабо горели красные фонарики, в углу из тьмы красновато проблескивали зеркала бара; и зальчик и бар этот в первый миг показались совершенно заброшенными, пустыми. Но потом завиднелись справа у зеркал три женские фигуры, сидевшие за крайним столиком возле какой-то боковой занавески, и оттуда послышалось протяжное:

— Хэлло-о!

И при фосфорическом мерцании экрана, отсвечивающего в мрачноватое пространство без стульев, видно было, как две девушки встали, неторопливо, покачивая бедрами, приблизились и затем, как это делают контролеры в кинотеатрах («айн момент»), провели их в полукруглую ложу, посадили к столику и затем, обдавая душноватым одеколонным запахом, сели между ними с той неспрашивающей уверенностью, которая означала, что так уж заведено в этом баре-кинотеатре.

Никитин не успел взглянуть на свою соседку, как тотчас же подошла третья девушка, по-видимому, официантка, посветила ручным фонариком. Он разглядел ее светлые волосы, продолговатое, неприступно-холодное лицо, лицо умной студентки; она сухо спросила, что господа намерены пить.

— Пить? — переспросил Никитин по-немецки и, немного озадаченный, взглядом подал знак Самсонову: «Бери командование на себя».

— Кока-кола,— заказал Самсонов для того, чтобы только заказать, и поэтому выбрал самый дешевый напиток.— Две.

«Кто же, собственно, эти девицы? Зачем они сели с нами? — подумал Никитин и здесь же вспомнил о предупредительных японских гейшах.— Вероятно, они служат здесь и своим вниманием обязаны занимать зрителей, совсем уж интересно, но, кажется, некстати».

Мгновенно принесли две ледяные бутылки кока-колы, две маленькие рюмочки с ромом, девушки зашевелились, заулыбались, разлили кока-колу, одна подала стакан Самсонову, другая — Никитину, и он наконец взглянул на нее: смуглая, скуластенькая, большие темные глаза ничего не выражали, тонкий свитер округливал ее сильную грудь, нога умело заброшена на ногу, узкая юбка стянулась, выказывая телесно белеющее колено.

Она отпила глоток из рюмки, качнула ногой, жестом попросила у Никитина сигарету, и он охотно угостил ее, зажег спичку. Огонек осветил чуть толстоватенький нос, густо начерненные ресницы, полные губы, колечком охватившие мундштук сигареты, ее круглые ноготки, отблескивающие багровым лаком. Она, медленно затягиваясь, опять качнула ногой, коснулась коленом Никитина и, улыбнувшись, легоньким кошачьим движением провела ладошкой по его волосам.

— Меня звать Гэда,— низким голосом сказала она, задержала палец на его щеке, ласково подергала, пощекотала мочку уха и добавила: — Кто ты — англичанин? Какой серьезный!

— Гэда? — повторил Никитин и убрал ее неприятно холодную, пахнущую горькой туалетной водой руку со своей щеки, давая понять, что не расположен к этому нестеснительному прикосновению, к этому изучающему его любопытству, и стал смотреть на экран, где в разных номерах отеля происходило одно и то же: она, обнаженная, сидя посреди постели, в задумчивости стягивала чулок, словно скручивала кожу на бледной ноге, открывалась дверь, входил он, сбрасывая пиджак, развязывая галстук, расстегивал рубашку, она, не успев снять второй чулок, опрокидывалась навзничь под его играющим мышцами стальным торсом. Из затмения возникал соседний номер, длинноволосая женщина, разъятоглазая, в одних сапогах выше колен, сладострастно ударяла себя хлыстом по плечам; потом заставленная мольбертами комната, похожая на мастерскую художника, голая натурщица у окна одной рукой кругообразно поглаживала живот, дрожа истонченными пальцами, другой, с порочной улыбкой, держала свечу около бедра; потом на утреннем песке пляжа мужчина заламывал назад руки по-звериному кричащей девушке, зубами вонзаясь ей в искусанную до крови

спину, и кто-то, гладколысый, уродливо сгорбленный, тоже голый, подглядывал из-за кустов и, суча волосатыми ногами, злорадно, гадливо смеялся...

Никитин смотрел сначала с невнятным интересом, затем с тоскливым, раздраженным сопротивлением, и тошнотный, вяжущий комок постепенно подступал к его горлу, будто на глазах били обмотанными ватой кулаками, истязали, мучили прекрасное человеческое тело, заставляли его корчиться, извиваться в больном сладострастии, уничтожающем презрительной ненавистью естественное сближение мужчины и женщины.

— Англичанин, пей...

Хмурясь, он оторвался от экрана, отвлеченный голосом, шорохом в ложе, и увидел при вспыхнувшем фонарике — зачем-то принесли на их столик вино, две густо-черные бутылки, четыре бокала, которые официантка молчаливо наполнила. Гэда пригубила бокал, искоса поглядывая на него, а официантка ушла за занавеску, скрывающую выход куда-то правее экрана. Занавеска эта подергивалась, колыхалась складками, и сжатый мужской шепот дополз оттуда в пустоту зальчика.

И тотчас глухое беспокойство возникшей нереальности смутным отражением малярийного бреда змеистым холодком стало вкрадываться в сознание Никитина. Уже происходило нечто несуразное, до глупости ненужное — фильм на экране, потные голые тела, темный закрытый бар в непонятно безлюдном подвале Реепербана, незаказанное вино на столе, шепот за занавеской, скуластенькая, никогда в жизни не виденная Гэда, прижимающая колено к его ноге. Что это? Нет, надо было сейчас же подняться, во что бы то ни стало сделать над собой усилие, выйти из нереальности этого подозрительного сырого подземелья, оторванного, казалось, от всего мира с его естественным светом, дневной серостью ноябрьского воздуха, живыми звуками, которые не проникали сюда, как сквозь железобетонную толщу. Было тихо, и в мертвенной немоте, после шевеления занавески, после сжатого мужского шепота за ней Никитин представил дикие, зловеще мрачные лабиринты этого не известного никому подвала, его мокрые нависающие своды, осклизлые стены, обросшие грязью, зловонные канализационные колодцы и стоки, где текла мутная городская жижа и где не могло быть ни единой человеческой души.

«Уходить, немедленно, как можно быстрей уйти отсюда!» — подумал Никитин и тут же услышал низкий голос Гэды, лихорадочно пытаясь понять немецкие фразы:

— Я вчера была у врача, у меня все в порядке. Я слежу за своим телом, англичанин...

Она, сонно улыбаясь, медлительно погладила свою грудь и бедра.

— Я хорошая артистка стриптиза, я здесь выступаю вечером. Ты посмотри, какая у меня грудь. Пощупай... И посмотри, какие бедра. Как у мальчика. Ты кто, англичанин?

— Нет.

— Поляк? Югослав?

— Нет.

— Может, русский?

— А разве русские здесь бывали?

— Бывал один. Симпатичный человек. Только шпион.

— Почему шпион?

— Русские все шпионы.

— Это фантастика, милая Гэда.

— Я вижу, ты медленно возбуждаешься,— сказала она и хрипловато рассмеялась.— Может, ты... этот? Может, ты другого хочешь? Не бойся, я умею все делать...

— Нет, милая, я ничего не хочу.

«Уходить, сейчас же уйти отсюда. Сказать об этом Самсонову!» — подумал Никитин, испытывая тревожную и душную тесноту во всем теле, и, уже совершенно не понимая, не видя смысла происходившего на экране — мелькали там те же голые фигуры мужчин и женщин,— он со смешанным чувством отвратительного страха, брезгливости и бессмысленности положения наконец повернулся к Самсонову и на первый взгляд не узнал его. Самсонов, придавленный в угол крупным телом другой девицы, мотал лиловым среди тьмы лицом, он бормотал что-то ненатуральным, сердитым голосом, он словно оправдывался, оборонялся изломанной усмешкой, и Никитин проговорил одним выдохом:

— Все, пошли отсюда!..

Самсонов с задышкой обратил на Никитина стекла очков, сипло сказал в пустынный зальчик бара:

— Счет!

Заколебалась, откинулась занавеска правее экрана, и не спеша подошла белокурая официантка, выражая и ртом и глазами целомудренную строгость умной студентки. Она положила два счета на столик, в ожидательной невозмутимости посветила ручным фонариком. Никитин не сумел просмотреть внимательно свой счет, потому что заметил, как мигом переменилось толстоватое лицо Самсонова, вскинутое к зажженному фонарику официантки, и голос его вскрикнул изумленно:

— Откуда такой счет? Вы ошиблись! Сто пятьдесят марок? Мы заказывали только кока-колу! Позвольте! Мы не пили вино!

— У тебя нет денег, англичанин? Не знаешь цен? — бесстрастным голосом проговорила официантка и наклонилась близко к нему.— Сколько ты можешь заплатить марок? Сколько у тебя всего денег?

— Сто марок,— запинаясь, солгал Самсонов.— Я могу заплатить только сто марок.

— Давай сто!..

Сапко дыша носом, опасливо соображая что-то, Самсонов извлек из внутреннего кармана портмоне, порылся в нем непослушными пальцами, но когда вытягивал две пятидесятимарковые купюры, официантка цепким захватом отогнула край портмоне, крикнула внезапно визгливо:

— Там еще есть деньги! Давай! И ты... плати! Тоже нет денег?

И зажатым в кулачке ручным фонариком властно и грубо ткнула в лоб Никитину, с искаженным злобой красивым лицом и вся готовая к действию, вплотную придвинулась, загородила экран. Никитин, никак не предполагая этой ее грубости, этого насилия, но понимая, что все теперь походило на угрозу и вымогательство, как-то обостренно уловил в углу подвала колыхание занавески — и двое мужчин боксерского сложения (один без пиджака, в белой рубашке, с распущенным узлом галстука, другой в темном свитере) поочередно вышли оттуда, демонстративно сели на высокие стульчики бара спинами к залу, покуривая в безразличном молчании.

— Фонарик надо использовать по назначению, уважаемая,— выговорил Никитин.— Так будет разумней.

Он не раз переживал тягостное состояние связанных рук, то состояние, какое потом повторялось во сне, когда душная, унижающая тебя сила выворачивает плечи, железным обручем давит горло, смеется при виде твоей покорной беспомощности. И это было то, что могло случиться здесь, сейчас, в безлюдно-зловещем подвальчике, здесь, в примитивной ловушке, отъединенной от наземного мира: драка, избиение, грабеж, возможное даже убийство, сырая клоака зловонных ходов, заброшенные колодцы городской канализации — ни одного свидетеля вокруг, никто никогда не сможет ни найти, ни узнать...

И, молниеносно осознав собственную беспомощность, Никитин сразу подумал, что нет и не будет благоразумного смысла выказывать сопротивления официантке, проявленное ошеломленным Самсоновым, и, еще стараясь быть спокойным, он небрежно пододвинул к себе свой счет — 143 марки, потом счет Самсонова — тоже 143 марки. Это была большая сумма, которая представилась ему ничтожно мизерной, малозначащей,— да, да, немедленно, не сомневаясь ни секунды, заплатить 300 марок и купить этим выход на ноябрьский воздух, приятный дождичек, мокрый асфальт... Какой никчемной, маленькой была эта сумма, покупающая возможность встать, откинуть тяжелую портьеру перед лестницей, подняться по ступеням из свинцовой полутьмы подземелья, из влажного запаха одеколона, исходящего от Гэды, безучастно посасывающей вино, уйти от злобного лица белокурой официантки, которая, изогнувшись, стояла над ними в позе, изготовленной на все — ударить, вцепиться ногтями в глаза.

С ожиданием облегчения, думая лишь о первых шагах по лестнице, Никитин отсчитал в пакете триста марок, равнодушно протянул их официантке, сказал: «Счет вместе»,— и она почти вырвала деньги у него; он коротко и тихо бросил Самсонову:

— Пошли отсюда, только быстрей!..

Официантка, собрав губы в жесткий комочек, выкладывала на стол сдачу мелочью. Двое мужчин все так же непроницаемо-безразлично сидели спинами к ним у стойки бара, покуривали молча.

«Скорее, скорее»,— толкал себя Никитин и вдруг, с ударившей в голову кровью, почувствовал, как Гэда схватила его за локоть, впилась в рукав плаща, не давая ему встать, и тогда, сдерживаясь немыслимым напряжением воли, чтобы не оттолкнуть ее («Она сейчас завизжит, крикнет, что ее избивают, и тут начнется!..»), он мягко разжал вцепившиеся в его рукав ногти и встал, ощущая мерзостное отвращение к своей фальшивой улыбке («Нет, ничего особенного не случилось!»), к своему голосу и неестественно вежливой интонации удовлетворенного полученным удовольствием человека:

— Данке шён... Ауф видерзеен...

Качнув животом стол, неуклюже вскочил следом Самсонов и, сопя, нагнув по-бычьи голову, двинулся к выходу,— и в ту же минуту Никитин пошел за ним, и после того, как на пороге отбросил захватанную портьеру, пропитанную омерзительной пряной сыростью, и увидел счастливый дневной свет вверху крутой лестницы, он еще неубежденно верил, что там, сзади, не опомнятся, не бросятся вдогонку...

Задыхаясь, они поднялись по каменным ступеням к выходу, откуда бело пробивался через стеклянную дверь реденький мерклый свет осеннего дня, а когда открыли дверь, когда вышли на улицу, на свободу, на простор тротуара, на прочную твердость влажного асфальта, оба возбужденно вдохнули горький водянистый воздух Реепербана и оглянулись по сторонам.

— К чертовой матери отсюда! — выговорил Никитин.— Ко всем чертям!

Швейцар стоял сбоку двери и сделал вид, что всецело занят соскребыванием пятнышка с борта зеленой шинели, морщинистое, измятое его лицо было не угодливым, а лживо-сосредоточенным. И Никитин поймал себя на злом и тайном желании — запомнить название бара, и это место, и это лживое лицо, которое могло быть случайным и неслучайным знаком в его судьбе.

— «Интим-бар»,— прочитал Никитин неоновую вывеску над дверью.— Отличное название для бардака сто первого разряда! Потрясающее по невинности заведение! Вот как бывает, Платон!

— Ах, идиоты! Идиоты! — вскрикивал Самсонов в невылитой ярости и ударял кулаком по своему потному лбу.— Триста марок! Ограбили! Изнасиловали! Среди бела дня! Как сусликов, как глупцов ограбили!

— Благодари бога, что все кончилось более или менее, Платон,— уже веселея, сказал Никитин.— Ну, что было делать? Заявить полиции, что ты возмущен неблагородством притона и будешь жаловаться канцлеру? Могло быть гораздо хуже. Учти, нас ограбили как англичан, но они еще не знали, кто мы. Ты слышал милый лепет этой прелестницы Гэды о русских? И обратил внимание на вышедших боксеров-мальчиков? Дредноуты в пограничных водах.

— Идиоты мы, идиоты! Вот кто мы! Триста марок!..

— Бог с ними, с марками, считай, что у нас их никогда не было! Точнее, любой гонорар в капстране — дурные деньги.

— Ан нет! Это уж нет, прости! Я тебе должен сто пятьдесят — и я их тебе верну. Расплата за идиотизм поровну!

— Никаких денег, видишь ли, Платон, я у тебя не возьму. О трехстах марках я уже забыл. Не было их.

— А я не живу в долг, ты тоже запомни!.. О, простаки, глупцы, надо же было попасть в такое положение, дураки, ослы, болваны! И каким же сволочам мы попались!

— Успокойся. Все прошло. Такого мы долго не увидим. Все равно любопытно, Платоша, ей-богу.

Никитин говорил и даже посмеивался, успокаивая Самсонова, багрового от негодования, от неудовлетворенной злости, а сам чувство-

вал, что стиснутое внутри унизительное бессилие не расслабляется в нем до полного облегчения. Студенческое лицо белокурой официантки, грубо ударившей фонариком его в лоб, ее базарные слова «И ты, плати!», и без единого посетителя мрачный подвал, и те двое мужчин с сигаретами в ленивом, угрожающем выжидании за стойкой бара, и Гэда, и незаказанное вино — все было примитивно разыгранным насилием, не имеющим никаких доказательств и улик против насилия. Ибо все случившееся выглядело обыденным, вполне естественным: и вино, и девицы за столиком, и мужчины за стойкой бара, готовые вступиться за оскорбленную и беззащитную девушку-официантку, которой не платят по счету... Виновных не было, вернее, они были: два зашедших в бар иностранца, желающих развлечься и позволивших себя ограбить, унизить, ударить...

●

Это был первый гонорар, три тысячи рублей, первые деньги после длительного безденежья, полученные в кассе солидного издательства,— три толстых плотных пачки, каждая перетянутая бумажной ленточкой, отмеченная печатью и какой-то росписью. Пачки эти приятно оттопыривали карман его старенького пиджака, и он, выйдя из подъезда издательства на солнценосный воздух июньского дня, переживал прилив счастья и от впервые непривычно увиденной и такой знакомой фамилии над рассказом в толстом журнале, и от долгожданного богатства, сладострастно давящего пачками на грудь.

В первом же табачном киоске он купил неправдоподобно дорогие папиросы «Герцеговина Флор» и в полусне наслаждения, забыв про долги, про неуютную, с нечистыми обоями комнату, снимаемую им возле Павелецкого вокзала, пошел по улице, летней, пестрой, горячей, в тени облитых полуденным зноем тополей. Он ликовал, он глядел на лица прохожих и радостно думал: нет, они не знают, что его имя сейчас вроде бы отделилось от него, что везде в газетных киосках продают новый журнал, в котором напечатан е г о рассказ, им написанный, им рожденный за шатким обеденным столом той неуютной комнатки с отставшими пожелтевшими обоями, и никто не знает, что он наконец может заставить этих прохожих, этих незнакомых людей на улице восхищаться, грустить, удивляться, и что он богат сейчас, и отдаст долги (комнатка, обеды хозяйки), и купит себе костюм, белье, ботинки, и еще останутся деньги для спокойной работы, чтобы снова удивлять людей и заставлять их преклоняться перед его благословенным талантом.

На углу он долго ходил вокруг газетного киоска, рассматривая сквозь нагретое солнцем стекло обложки книг и журналов, однако боковым зрением наблюдал за прохожими, покупающими свежие газеты, последний номер «Огонька», и взгляд его поминутно останавливался на названии толстого журнала, в котором был напечатан его рассказ. Он все время помнил запах типографской краски, исходивший от прекрасной гладкой бумаги, где стояла его фамилия, от печатных знаков и фраз, странно и черно заполнявших первую страницу, наизусть помнил начало рассказа, заранее представляя, что мог почувствовать человек, прочитав ее после заглавия «Однажды осенью», как казалось ему, дышавшего самим грустным запахом осени: «Дождь шумел в саду, стучал по крыше, по навесу крыльца, ветер косо гнал по лужам темные кораблики опавших листьев...» Он так неудовлетворенно работал над начальной фразой, уже написав весь рассказ, так длительно отшлифовывал ее, удлинял, сокращал, переставлял снова, убирал эпитеты, что она снилась ему как сладострастное наказание, как му́ка,— но в этой муке было наслаждение, и оно не имело конца, оно не прекращалось.

Покуривая папиросу, будто бы в состоянии рассеянной задумчивости, он ждал у киоска того сладкого тщеславного момента, когда кто-нибудь купит журнал с его рассказом, и про себя повторял наизусть начальную фразу, что должна обязательно броситься в глаза на первой же странице: «Дождь шумел в саду, стучал по крыше...» Какая все-таки это была отточенная, восхитительная фраза, заставляющая, конечно, читать дальше, не отрываясь, в особом грустном восторге перед осенними сумерками в маленьком городке на берегу реки с оголенным октябрьским садом.

Лицо старика продавца за стеклом киоска было до унылости будничным, он продавал газеты, отсчитывал мелочь двумя обмотанными несвежими бинтами пальцами, после чего доставал из-под полочки бумажный кулечек и равномерно жевал, оставляя на подбородке крошки лимонных вафелек.

«Что такое? Почему не покупают журнал? — думал Никитин, глядя на вяло жующего продавца, который, разумеется, должен был отлично знать о серьезности и популярности толстого журнала и вышедший номер предлагать каждому.— Сказать ему о журнале или не сказать?»

Он торчал около киоска минут двадцать, мешая здесь, его толкали, и старик продавец вдруг подозрительно уставился на него, привстав из-за кип газет, спросил скрипуче:

— А вам что, молодой человек?

И тогда с запылавшим лицом он взял журнал со своим рассказом, просмотрел оглавление, полистал, раскрыл то место, где черным шрифтом ударяла невероятной новизной его фамилия, пробежал первые строчки, сказал не без деланного удивления:

— А, вышел...

— Кто вышел? Новенькое? Автор-то кто? — И, по-мышиному похрустывая вафелькой, продавец взглянул на фамилию, на заглавие рассказа, точно в безрадостную пустыню посмотрел.

— Это мой рассказ,— с насильственным равнодушием человека, который перекупался в утомительном сиянии славы, сказал Никитин, испытывая томящее удовольствие от некоторой вопросительности в выцветших глазах продавца.

— Вы автор?.. Вы? Пишете? Так-та-ак!.. Никогда не видел таких молодых авторов... Вы, стало быть, писатель? Приятно видеть...

— Да, это мой рассказ,— повторил Никитин, нахмурясь, и полез за деньгами.— Дайте мне два журнала. То есть три журнала, пожалуйста. У меня нет ни одного экземпляра.

Он явно солгал — у него было два авторских экземпляра, а ему хотелось купить всю стопку вот этих приятно отливающих фиолетовыми обложками, еще не тронутых никем журналов, что были в киоске, купить с необъяснимой и алчной жадностью, будто могли они в одну секунду исчезнуть из киосков,— и тогда не будет печатных доказательств его авторства, так чудодейственно что-то решившего в его жизни.

— Прозаик Никитин? Ты, что ль? Опус свой скупаешь? Здорово, что ль!

Сильно окающий голос толкнулся в затылок Никитина, прозвучал бесцеремонно дерзким артистическим панибратством, и он поежился, ловя ладонью высыпаемую ему продавцом сдачу, обернулся, увидел молодого поэта Василия Вихрова, уже печатавшегося, уже многим известного в литературных кругах. Был он ржановолос, широкоплеч, шумен, похож на молодого Есенина не только молочно-здоровой деревенской внешностью, но и манерой читать стихи гулким баритоном нараскат: Никитин слышал его раз на студенческом вечере в университете.

— Прозаик... Талантище!..

Вихров, в потертом, помятом пиджаке, ворот поношенной рубашки распахнут, плохо причесанные волосы спадали на крепкий лоб, обрадованно, подобно веселому сельскому парню в порыве чувств, фамильярно облапил его сзади, говоря звучным распевом:

— Читал рассказ, читал, мы с тобой соседи в журнале, моя баллада там напечатана, не прочел? Прочти! А я твой опус прочел,— хорошо, здорово! Как у тебя там? «Огоньки шевелились в темноте», что-то вроде так... Это, брат, прямо строка из стихов! Талантище ты, Никитин, прорвешь пелену и в Чеховы на белом коне выедешь! Мо-ло-дец, прозаик, мо-ло-дец!

— Ты в какую сторону? — спросил, краснея, Никитин и покосился на продавца, который пожевывал вафельки, прислушиваясь к барабанному баритону Вихрова.— Ты не в центр?

— В центр так в центр! Пошли! Гонорарий получил? Обмоем, что ль? Твой рассказ, первую ласточку, и мою балладу! Посидим где-нибудь. Поговорим за жизнь. Поедем в Парк культуры на чистый воздух! У тебя как — дети не плачут? Жена не ждет? Свекровь со скалкой не встречает?

— Нет, я один.

— Потопали на троллейбусную остановку, Чехов! Грех первый рассказ-то не отметить! Чтоб дорожку обмыть и выстелить чистенько, понимаешь ты. Белой скатеркой в славу! Прозаик, чертище, божья искра у тебя, понимаешь ты?

Никитин хорошо помнил, что сначала звенела в душе легкая праздничная радость («наконец-то случилось важное в его жизни, удивительное!»), и оттого, что напоминанием о случившемся лежали рядом на столике журналы с его рассказом, и от знойного солнечного июньского дня, чудесно сверкающего в густой листве Центрального парка, в разноцветных стеклах летнего кафе, куда они зашли в эту дневную пору, и от первой выпитой рюмки, приятно затуманившей нескончаемые его муки работы по ночам, и оттого, что открывалось новое и прекрасное в его жизни, он неизбывно чувствовал веселую доброту, растроганность, щедрость, любовь ко всем людям, к предметам, к прохладной тени на полу, к жаркому солнцу начавшегося лета,— на терраску веяло запахами дерева, пресной листвы, нагретым воздухом чистеньких и подметенных вокруг кафе аллей.

Он с непроходящим наслаждением слушал Вихрова, много говорившего о поэзии прозы, о деталях рассказа, о боге, который волшебно водит кончиком пера в магические мгновения работы, о том, что некоторым фронтовикам-единицам выпала судьба, посчастливилось остаться в живых, чтобы сказать то, чего другие не скажут. И, слушая Вихрова, влюбленно глядел в его здоровое лицо, в искристые голубые глаза, страстные и горячечные увлеченностью пойманной мысли, на ржаные волосы, падавшие на лоб, и думал, какой все-таки любопытный парень этот Вихров, как самозабвенно верит в искусство и работу, в кристально отточенное изящество слова, над чем ежедневно мучился сам. Он слушал и укорял себя за то, что не знал его так близко раньше, до этой встречи, а знал лишь, что он воевал, заканчивал университет, печатался и слишком подчеркнуто окал, играя под простоватого парня.

Вихров произносил тосты за грубую и мужественную прозу, за женственную поэзию, за всю литературу, за ненормальных человеческих особей, так называемых писателей, которые выдумывают вторую жизнь божественной волей воображения; потом Вихров начал читать последние, еще не опубликованные лирические стихи. А Никитин, чем больше пил, тем больше восторгался Вихровым, его талантом, умом, душевной тонкостью и после каждого прочитанного стихотворения говорил: «Великолепно, здорово, отлично!» — и порывался обнять его в избытке восхищения и, окончательно покоренный, раскрытый, обнаженно-добрый, дважды поцеловал его, едва не плача от любви.

Но, растроганный наплывом восторга и доброты, он с внутренним ликованием все время помнил: судьба поставила значительную и драгоценную веху на нелегком его пути. Да, начиналась новая полоса его жизни, долгожданная, счастливая; этот первый напечатанный в толстом журнале рассказ должны заметить, появятся статьи на полосах газет, мнения критиков, единодушно утверждающие свежий дар одними даже заголовками «Талантливый рассказ» или «Талантливая лирическая проза». И будет радостное признание, начало известности, имя его откроется лучезарной вспышкой и станет любимым. И сбудется, наконец, давняя и лелеянная его мечта, как бы пришедшая из сладкого сна: он едет в метро, в троллейбусе, случайно бросает взгляд на девушку, читающую книгу, и видит свое имя на обложке, свои строчки на страницах, знакомые фразы, его фразы... «Он хлопнул дверью и сбежал с крыльца под шумящий дождь в тополях»... «Я не встречу,— сказал он грубо.— Прощай!» «Нет, — сказала она и погладила его по плечу.— Я приеду, даже если ты не встретишь»...

Продолжение следует.

БЕРЕГ

Юрий БОНДАРЕВ

Рисунки И. ПЧЕЛКО.

Он тоже произносил тосты, пил, предлагал выпить еще, слушал стихи Вихрова, умилялся и голосом Вихрова и его совсем на днях написанной любовной лирикой, пронзительной, грустной туманностью ощущений двух людей, его и ее, что расстались осенью на вечернем полустанке, озаренном тлеющим над рельсами закатом, думал влюбленно, что несомненно и навсегда обрел сегодня друга, единомышленника, одинаково чувствующего, одинаково понимающего, и был одновременно переполнен неизбывной радостью: «Да, мы сидим здесь, а ведь напечатан мой рассказ, и впереди еще много будет рассказов!..»

В этом летнем немноголюдном кафе они сидели до сумерек и не переставая читали стихи, с жаром и страстью говорили о вечной магии точного слова («Слушай, слушай, какая простота и гениальность: «Звезда печальная, вечерняя звезда! Твой луч осеребрил увядшие равнины...». Или вот: «Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты...» Это же с ума сойдешь: «Передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты...» А ты вот вникни только: «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые — как слезы первые любви!» Написать такое — и помереть спокойно можно! Великая литература, мировые гиганты!»). Спорили, соглашались, перебивали друг друга, плажали, теперь повторяя наизусть волшебные строки любимой прозы («Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России...»— вот удивительное начало рассказа, вот удивительное колдовство настроения! Лермонтов бесподобен! А Чехов — как он умел заканчивать свои рассказы! Помнишь фразу: «Мисюсь, где ты?»), опять произносили тосты, пили на десерт какой-то парфюмерно-сладкий ликер, запивали его кофе, объяснялись друг другу в любви, клялись в верности литературе, глаголу и эпитету, во взаимной мужской дружбе оставшихся в живых фронтовиков («Единицы нас, Вадим, остались, единицы!») и, наконец, будто вынырнули из тумана, опомнились — голубизна сумерек сгущалась в аллеях парка. Расплатились щедро и оба встали под насмешливый шепоток, под любопытными взглядами официантов, видимо, несмотря на щедрую широту платившего по счету Никитина (он искренне обиделся, когда Вихров полез за деньгами), принимали их не за совсем нормальных людей: разговор о литературе, крики, споры, слезы на глазах и обтрепанные пиджачки являли непонятное и загадочное противоречие.

А когда пошли по аллее парка, подувшей предвечерней прохладой по разгоряченным лицам, Вихров, потный, возбужденный, широ-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 45—47.

ко расстегнув на выпуклой груди рубашку, ржаные волосы прилипли ко лбу, охватил одной рукой Никитина и в хмельном упоении, не в силах остановиться, улыбаясь чему-то, начал читать стихи Бунина проникновенным, чуть охрипшим голосом.

«Отличные стихи,— думал потрясенно Никитин, вслушиваясь в сниженный баритон Вихрова и вместе слушая счастливо поющую струнку в самом себе.— Все отлично, и мне не стыдно, что я немного пьян. Но почему мы встали и так рано ушли из такого уютного для разговора кафе?»

И как-то невозможно было Никитину подумать и согласиться, что вот сейчас они выйдут из пара в толпы прохожих на темнеющих улицах, где бледным светом зажигались фонари, и расстанутся, то есть Вихров кончит читать стихи, перестанет говорить об алмазном блеске слова в поэзии Бунина, сядет в троллейбус, уедет куда-то на окраину Москвы, а он, Никитин, доедет в метро до Павелецкого вокзала и за углом переулочка увидит на втором этаже старого, облезлого дома окно своей унылой комнатенки, пахнущей плесенью и обветшалой, древней мебелью. Нет, нет, их разговор и восторг, их доброту друг к другу, к литературе, ко всем людям невозможно было просто так прервать, закончить: ведь все было сегодня необыкновенно!

— Честное слово, Василий, мне не хочется домой, и рано еще,— сказал Никитин.— Может, пойдем пешком до центра?

Тогда Вихров предложил «на посошок» просвежиться по Москве-реке на водном трамвайчике, вечерами свободном, не заполненном пассажирами, курсирующем до Кунцева и обратно, сесть можно на пристани в Парке культуры, а сойти где-нибудь в городе — и Никитин обрадовался этому предложению.

На речном трамвайчике зашли в буфет, чтобы выпить по последней рюмке коньяку, и здесь Вихров дон-жуански мигнул буфетчице, низенькой, полногрудой, черноглазой, в накрахмаленном халатике, нараспев прочитал ей лирическую строчку из Блока: «И каждый вечер, в час назначенный...» Буфетчица захихикала, расставляя на влажном пластике рюмки, кокетливо повела бровями: «Студенты, видать? Стипендию получили? Празднуете?» — а Вихров приятельски обнял Никитина и сказал ей, что перед прекрасными очами прекрасной незнакомки молодой, талантливый писатель, и посоветовал ему немедленно подарить, сделать дарственную надпись на экземпляре журнала с рассказом: «Пусть, Вадим, читает народ...»

Никитин, сконфуженно переспрашивая ее имя, тут же быстро сделал надпись в журнале под заглавием рассказа и, расплачиваясь за коньяк, принял вид богатого человека, не считающего деньги, не обратил внимания на сдачу, положенную буфетчицей на мокрое блюдечко.

Затем совсем одни они сидели в нижнем, ярко освещенном салоне, пили зачем-то шампанское, снова говорили, читали стихи, смеялись, обдуваемые водяной прохладой, нефтяным ветерком в открытые окна, за которыми шла, шумела мимо бортов москворецкая волна; трясся пол от глухой вибрации винтов, город сдвигался, поворачивался куда-то, плыл огнями над гранитными набережными, и спустя немного стало в салоне хаотично, уютно и весело.

Никитин был в состоянии любвеобильного блаженства (ему не жалко было и снять рубашку), сорил деньгами, угощал шампанским и шоколадом черноглазую буфетчицу, ее помощницу, сонную, толстую женщину, угощал коньяком двух парней-матросов с наглыми, загорелыми лицами, то и дело забегавших поглазеть, как гуляют в салоне два чокнутых человека, ничем не похожих на писателей. А буфетчица не без ложной угодливости приносила теперь на подносе бутылки прямо в салон; Никитин совал ей небрежно скомканные деньги, не спрашивал сдачу, потому что не прекращались тосты за литературу, за жизнь, за будущее, за прекрасных женщин. Потом Вихров, притомленный несколько, закрыл глаза и, подперев кулаком скулу, попробовал было затянуть густо и рокочуще «Из-за острова на стрежень», женщины подтянули сначала дружно, но спохватились, зашикали друг на друга («Тише, а то подумают — фулиганство!») и, хихикая, стали показывать пальцем наверх, где на открытой палубе сидели, кутаясь в плащи, два-три пассажира, они должны были сойти, кажется, в Кунцеве.

И в наркотическом угаре разговоров, в непрекращающемся возбуждении Никитин время от времени не особенно отчетливо слышал голоса среди накуренного, оголенно освещенного салона, видел незнакомые лица, женские и мужские, недоверчиво удивленные его щедростью, неблизкие ему, неинтересные («Почему эта буфетчица хихикает поминутно, и морщит губы, и поглядывает как-то намекающе? И почему у нее красивые глаза и какой-то плоский некрасивый рот?»), и тогда притупленный укол мутного стыда («Что же со мной происходит? Зачем я это делаю?») словно отрезвлял его.

Только в двенадцатом часу сошли с трамвайчика вблизи кинотеатра «Ударник», и Никитин, еще не остывший, еще расслабленный всем этим необычным днем и необычным вечером, начал убеждать Вихрова, что посадит его в такси, не пойдет домой, пока не проводит его до такси... И они двинулись к стоянке по набережной в сторону Балчуга, спотыкаясь, часто останавливаясь возле каменного парапета, чтобы закурить (курили же беспрерывно) и до конца высказать свою расположенность друг к другу, найденное единство душ и еще раз напомнить о том, что обязательно должны встречаться.

Им повезло: зеленый огонек такси одиноко замерцал на повороте из провала Пятницкой, приближаясь к стоянке около моста, они заорали «алё!», замахали руками, машина затормозила. Они по-братски обнялись, расцеловались — и Никитин вдруг остался один, неуспокоенный, взбудораженный, казалось, вмиг мелькнувшими часами разговоров, питья, курения, единомыслия, восторженных открытий, и вроде сейчас ему не хватало чего-то.

На Овчинниковской набережной, напротив кинотеатра «Заря», без зажженных реклам поночному темного, на углу пригашенной Пятницкой, редко желтеющей верхними окнами, сидела на парапете под фонарем группа парней, и, вероятно, после киносеанса, переговаривались, посмеивались, поплевывали с ленцой в черно-маслянистую воду Канавы; один, сутуловатый, кряжистый, в коротеньком пиджачке, мотая широкими брюками, как бы от нечего делать, для собственного развлечения, выбивал чечетку на тротуаре.

— Эй, друг, нет закурить?

Парень этот свистнул, завидев на набережной одинокого Никитина, и, когда тот, слегка пошатываясь, подошел, охотно протягивая пачку («пожалуйста!»), парень беззастенчиво, стремительно подцепил ногтями сигарету, поинтересовался, кивнул на остальных:

— Всем даешь? У всех кончилось, пусто у нас, кореш...

— Да, да, конечно, закуривайте, ребята.

Его обступили, толкаясь, и потянулись к пачке, быстрые пальцы жадно выдергивали сигареты; под светом фонаря окружили его чужие лица, молодые, настороженные, чудилось, не доверяющие его щедрости, но оттого, что было сегодня в Парке культуры и в светлом салоне речного трамвайчика, оттого, что сегодня свершилось в его жизни, он, рассовывая в руки парней сигареты, улыбался им, говорил с наивной широтой счастливца:

— Какая же это ерунда, ребята! Догадываюсь — нет денег на сигареты. Все мне знакомо. У меня бывало — ни копейки.

— Что? — спросил кряжистый парень, подозрительно ощупывая Никитина остро-раскосыми глазами.— Что сказал?

— Я очень хочу купить вам всем сигареты, ребята, ведь я знаю, что такое, когда нет ни копейки,— сказал Никитин, кивая, подхваченный соучастливой добротой к ним, и ничуть не разочарованный этой встречей, где нужна была его помощь на этой затихшей до рассвета Пятницкой, с потушенными рекламами маленького кинотеатра «Заря», в синевато-летней прозрачности ночи. «Да, да,— подумал он,— мне не хочется идти домой. Я могу хоть целую ночь бродить по Москве, встречать поздних прохожих, закуривать, знакомиться, разговаривать с ними, вот как с этими парнями. Как это прекрасно — знакомиться с людьми!»

— Знаете что? — сказал Никитин дружелюбно и просто.— Если «Балчуг» не закрыт, пойдемте в ресторан, кулим сигарет, какого-нибудь вина выпьем, поговорим... Хотите, ребята?

— За чей счет? Кто платить будет? — спросил кряжистый парень в коротеньком пиджачке, но подумал и сейчас же толкнул кого-то в сторону ресторана «Балчуг» за мостом.— Дуй туда!

Сразу двое парней бросились через пустынный мост к ресторану, светившему сквозь зашторенные окна; и видно было, как застучали они в задребезжавшую на всю улицу стеклянную дверь, затем появилась за стеклом фигура швейцара, донеслись требовательные голоса: «Открой, папаша!» — но дверь не открылась, темная фигура швейцара исчезла, после чего двое эти вернулись; один из них возбужденным шепотом сказал что-то кряжистому парню, и тот, хмыкнув, свинцово уперся глазами в переносицу Никитина, спросил, растягивая слова пришептывающей интонацией:

— Ты, фрайер! Знал, что «Балчуг» закрыт?

— Жаль. Что ж, очень жаль,—разочарованно сказал Никитин и вздохнул,— а мне хотелось, ребята...

— Врал, бухарик? — с злой, игривой нежностью выговорил парень и, откинув пятерней лохматые волосы, будто хотел ударить, подмигнул остальным, стоявшим молчаливой группой.— Угощать хотел, а денег нет! Денег-то у тебя — ни копья!

Никитин смотрел на скуластое лицо его, не ощущая опасности, как не ощущают боли или насмешки сверх меры счастливые люди, и было лишь непонятно, даже оскорбительно ему подозрение в обмане.

— Нет,— сказал он искренне.— Ты напрасно... деньги у меня есть.

— Врешь, нету у тебя гро́шей! А ну, покажи! — угрожающе и требовательно крикнул парень — и в этом резковатом «а ну» зазвучала нотка жесткой силы, и еще нечто хищное, ночное возникло в раскосых глазах, в широких его скулах.

И Никитин, уже трезвея от его недоброго взгляда, от этого неприятного голоса, увидел, как группка парней, исподлобно наблюдая за ними, чуть-чуть зашевелилась под фонарем и замерла в напряжении. «Сейчас что-то должно случиться»,— подумал Никитин, разом почувствовав сквозной холодок в груди, и, понимая глупость положения и не понимая того, что он зачем-то вроде бы должен оправдываться перед парнем, усмехнулся обиженно ему.

— Ты большой чудак, я вижу,— сказал Никитин, нащупал в заднем кармане скомканные деньги, наугад вынул новенькие пятьдесят рублей и показал их.— Нет, я хотел с вами, ребята...

В ту же секунду рука парня крючкообразно мелькнула впереди, движением защитительного инстинкта Никитин отдернул свою руку, пальцы парня успели вцепиться в край пятидесятирублевки, рванули к себе, выхватывая ее, послышался звук разрываемой купюры, и парень торопливо отступил на шажок, выговаривая хриплой задышкой:

— А ну, отдай всю бумагу, бухарик! Отдай сюда!

Позже, вспоминая ту ночь, Никитин думал, что если бы тогда парень спокойно попросил у него денег — пятьдесят или сто рублей, то он не отказал бы ему и был бы, наверное, доволен, совершив пьяный акт добра. Но было иначе.

— Зачем же? — шепотом выговорил Никитин, сначала не сообразив, почему парень не попросил у него деньги, а злобно, несправедливо попытался вырвать их, и мгновенная знойная волна темной жути, слепящей ненависти к этому парню, к его коротенькому пиджачку, к раскосым воспаленным глазам, к каждому его отвратительному жесту опалила Никитина; он договорил, зыкаясь даже:

— Тут вас шестеро... а я с тобой хочу драться, п-парень! Ну что ж, д-давай!..

И, готовый драться, сунул клочок денег в карман, стиснул кулаки, шагнул вперед отрешенно.

— Не подходи, падло! Я сифилитик! Не подходи! — взвизгнул парень, исказив рот

не то судорогой испуга, не то изумлением при виде внезапной отрешенности Никитина, и, отхаркнувшись, плюнул; плевок не попал в лицо Никитина, белым пятном прилип к груди, и только, как в тумане, уловив узкие глаза парня, Никитин кинулся к нему и с ненавистью и наслаждением ударил его в костистый, лязгнувший челюстью подбородок, в мокрый рот, захрипевший заглушенным криком. Но сзади что-то черно и сильно оглушило его по голове, фонарь качнулся вбок, мостовая жестко царапнула щеку, замелькали, хрипя, вскрикивая, тени над ним, забегали вокруг, заскакали ноги, по-звериному пронзил его чей-то голос: «В печенку бей, в печенку!» И он, чувствуя острые удары ног под ребра, под грудь, охваченный одной сумасшедшей и мстительной мыслью: «Подняться, лишь бы подняться!» — рванулся с земли, упираясь в асфальт двумя руками, неимоверным толчком вырвался из топота, толчеи окружавших его ног, метнулся вправо, влево среди полубезумных, почти нечеловеческих лиц, объединенных одинаковым оскаленным волчьим выражением, будто возбужденных видом крови. И без ощущения боли ударов, подчиняясь незнакомой, взорвавшейся в нем дикости, крича неистово и страшно: «Трусы! Сволочи!» — мотался в окружении тел, бил по этим ненавистным лицам, нагибаясь, выворачиваясь, едва не падая от бешено вложенной в сжатые до онемения кулаки силы, как обреченный дорого отдать свою жизнь. В то же время, безобразный, наверно, упоением неистовства, он еще одержимой памятью зрения лихорадочно искал взглядом лицо широкоскулого парня, стараясь прорваться лишь к нему, но тот возникал и пропадал за чьими-то спинами, плечами и там пронзительно вскрикивал подсказывающим голосом: «На землю его, на землю!»

Но когда на счастливый миг (это был счастливый миг!) он, задыхаясь, слыша, как трещит на нем пиджак, разрываемый в разные стороны крючьями рук, сквозь удары и пинки прорвался к парню, тот издал устрашающий взвизг горлом, отступая вдоль парапета набережной к мосту, и тут словно бы вокруг образовалась пустота, прекрасная, справедливая пустота, теперь никто почему-то уже не мешал им, а парень отходил по мосту боком и спешащими рывками вытаскивал что-то из кармана брюк, и вдруг блеснул длинной иглой распрямленный складной ножичек с серебристым тоненьким лезвием. И странно было — этот стальной блеск ножичка не вызвал у Никитина страха, наоборот, его слепо, неудержимо и яро кидала к парню какая-то разжатая до беспамятства пружина ненависти, которую ничем не мог в себе сдержать, и он упоенно, молитвенно, как в бреду, шептал:

— Ну, отлично, теперь мы один на один... Теперь я узнаю, стрелял ли ты когда-нибудь по танкам... («Зачем я говорю это? Почему это я говорю?») О, теперь все будет, как надо, трусливая ты сволочь... Такие и в войну были! О, такие, как ты, были еще в Древнем Риме... («Какой Рим? Зачем?») Ну что ж, ты или я?.. Посмотрим! Ты или я?..

— Не подходи-и! Сердце проколю! — заревел горловым голосом парень, исступленно тряся лицом, так что волосы забили по вискам его, и, прижавшись боком к перилам моста, остро выставил кулак с посверкивающим в нем прямым лезвием.

Должно быть, так озверело, устрашающе и утробно кричал первобытный человек, встречая черной ночью сильного врага мужского рода близ своей пещеры, замахнувшись, нацелясь смертельно-угловатым камнем, чтобы сделать прыжок и раздробить череп самцу чужого племени. Но пещеры не было, не было первобытного человека, была спящая Пятницкая, закрытый ресторан «Балчуг», мост через Канаву, широкоскулый, с омерзительно разбитым носом парень и он, Никитин, неузнаваемо окровавленный, истерзанный, в разодранных пиджаке и рубахе, глотавший кровь, наполнявшую рот, готовый в бешенстве и правоте бить, ломать, разрушать, защищать себя, свою наивность и что-то еще нематериальное, оскорбленное, раздавленное, но все-таки в те секунды Никитин уже не был Никитиным, а это придавало пещерно-дикое безумие тому, что он делал тогда...

— Хочу, чтобы ты все запомнил, сволочь!.. Нет, я этого не хотел!.. А вы шестеро на одного... Нет, нет, не в деньгах дело! — одеревенелыми губами шептал бредово Никитин, подступая к парню, к напряженно подрагивающему в его кулаке тоненькому, как игла, лезвию.— Ну, спрячешь нож? Или не спрячешь? Спрячешь? Или?..

— Не ле-езы! Проколю мошонку, падло! — опять взревел парень первобытным голосом угрозы и страха.

И в следующий миг Никитин почувствовал — по левой кисти болью скользнуло горячее, твердое, шатнулись впереди выкаченные злобой воспаленные глаза парня, черно открытый, сипом дышащий рот, на короткий момент увидел кровь на левой кисти, тотчас понял, что парень задел ее ножом, и, отклонясь, изогнувшись, правой рукой ударил его снизу в подбородок, услышал животный взвизг, выкрик ругательства, и опять перед ним промелькнуло полосами измазанное по скулам красным лицо парня, выкаченные из орбит глаза, и он снова ударил по близкому, влажному, отвратительному лику, с мстительным сладострастием вкладывая в эти удары нечто жгучее, клокочущее в его душе, кипящее и невыкипающее.

Потом сзади что-то тяжкое и темное обрушилось на него, резким толчком свалило с ног, и посреди суматошного топота вблизи головы, пинков, свиста, сквозь звон, заложивший уши, дошли до сознания два неясных вскрика, похожих почему-то на два обрывка ваты, летящих по воздуху:

— Шухер! Шухер! — И показалось ему: странно опустело везде, и нависла над ним тягуче звенящая тишина.

Тогда он вскочил, выплевывая кровь, шатаясь от чугунного шума в голове, но его властным охватом стиснул со спины какой-то незнакомый человек, говоривший ему: «Тихо, тихо!» — и, как в другом мире, увидел он парня у перил моста. Его держали за плечи двое милиционеров, жирные размазанные полосы обезображивали его широкий нос, его скулы; ножа не было. Парень, обессиленно вырываясь, дергаясь, не говорил, а выкашливал горлом:

— Шел домой, а он прицепился, гад!.. Пьянь проклятая! Шел домой, а он деньги стал требовать, гад!

А Никитин еле стоял, покачивался на ослабевших ногах, не было силы сказать ни единого слова, он только улыбался страшной улыбкой.

В милиции, куда привели их, парень рыдающим голосом кричал, повторяя, доказывая, что он шел из кино домой, а та вон проклятая пьянь начала приставать, полезла по его карманам и вырвала деньги, полсотни — и истерическими жестами показывал, каким образом все было: выворачивал наизнанку карманы и потрясал перед дежурным порванной пятидесятирублевой бумажкой. Капитан, брезгливо суховатый, широколобый, глянул из-за стойки взором внимательной подозрительности, взял обрывок пятидесятирублевки («Н-ну-ка...») и положил на стол. А Никитин, усаженный милиционером на крепкую, обшарпанную скамью, смотрел на парня, вспоминая его ощеренное лицо в момент плевка («Я сифилитик!»), его хрипевший злобой и страхом окровавленный рот во время драки на мосту («Сердце проколю!») — и едва не плакал от бессилия и ненависти: им не дали додраться один на один, там, на мосту, кто-то из той стаи по-темному, по-трусливому нанес ему удар сзади, свалил наземь, подставив ногу, и сейчас, вот тут в милиции, где без какого-либо сочувствия не могло быть понимания ни одной, ни другой стороны, невозможно было бы даже рассказать, объяснить подробности, причины всего, что произошло на набережной. Выкрики парня, его объяснения — «пьяный псих, бухарик», приставал, требовал деньги и затем, получив отказ, полез по карманам, чему доказательство — разорванная купюра,— это еще чем-то могло приблизиться к видимости правды, но то, что мог и хотел бы объяснить Никитин, выглядело необыденным, из ряда вон выходящим, ненормальным, а значит, затушевывало истину, или являлось неправдой.

«Ведь сегодня, именно сегодня произошло главное в моей жизни, и я, наверное, был счастлив, если это и есть счастье, и просто мне хотелось быть добрым ко всем на свете и к этим незнакомым парням, которых случайно встретил...»

«То есть как это добрым? Конкретнее».

«Ну, у меня были деньги, а у них не было сигарет, и мне хотелось угостить их. Да, купить сигарет, посидеть с ними и поговорить».

«Ночью? С незнакомыми людьми? С какой целью?»

«Вы понимаете — мне хотелось быть добрым. Со всеми. Разве с вами этого не бывает?»

«Мы, гражданин, все должны быть добрыми. Но по какой причине вам захотелось их угостить? Да какое вам дело до них? Вы кого-нибудь из них знали?»

«Не знал. Но разве это имеет значение?»

«Короче говоря, гражданин, вы пьяны были — так шли бы домой спать. Так ведь нормальные люди поступают».

«Нормальные — да».

«А вы что, на учете в психодиспансере? Может, у вас контузия после войны?»

«Пока нет, хотя контузия есть...»

«Где вы работаете?»

«Сейчас нигде. Дома. Вернее, снимаю комнату».

«Как так нигде не работаете? Получаете военную пенсию?»

«Нет, не получаю. После университета работал в газете, потом ушел. На что живу, трудно объяснить. Продал шинель, сапоги, офицерский компас... Что еще? Да, нагрудный знак «Гвардия» обменял на ботинки. Вернее, подарил его своему однополчанину, у которого два года назад украли в поезде все документы, знаки и ордена вместе с одеждой. А он мне купил и подарил ботинки».

«Значит, вы проживаете без определенных занятий и без трудовых средств к существованию? Так надо понимать?»

«Не совсем так. Средств у меня почти нет. Но я работаю целый день... с утра и до вечера. И ночью. Часто ночью. Почти всегда ночью. У меня нет сна. Вы знаете, как работал Достоевский или Бальзак? А Толстой, Флобер, Ренар? Вы читали «Дневники» Ренара?»

«Стыдно вам! Вы мне зубы не заговаривайте. Мы знаем, кто такой Толстой, разбираемся. Думаете, милиция, так здесь шухры-мухры, ушами холодными хлопают. Вон как — Толстого выдвинул. Вопрос ясный и конкретный — так чем вы занимаетесь? Род занятий?»

«Чем я занимаюсь? Род занятий? Хорошо, постараюсь ответить. Я с утра до вечера и ночью ищу фразу, нужную фразу и часто не нахожу... Но я хочу, больше всего в жизни хочу, чтобы люди смеялись, грустили, плакали над моим словом. Подождите, какую же глупость я вам говорю! Я другое должен объяснить. Посмотрите, посмотрите же на парня. Как он великолепно лжет! Во имя чего? Он не напоминает вам Иуду Искариота? Не напоминает вам моего командира орудия Меженина, в которого я стрелял в сорок пятом году и не убил?»

Этот диалог, проскользнувший в разгоряченном мозгу Никитина, только померещился ему, как во сне, и, зажимая носовым платком поцарапанную ножом кисть, он, сразу отрезвленный новой душной болью, увидел порочно враждебные глаза парня, возмущенно и подобострастно говорившего что-то возле стойки, гнусные темные разводы вокруг его глазниц и разбитого носа. Потом увидел под направленным брезгливым взглядом дежурного свой до неузнаваемости растерзанный пиджак, который с трусливым наслаждением стайного превосходства недавно рвали на нем чужие руки (как будто знали, что это единственный его пиджак), представил себя в нелепой реальности, избитого, грязного, и все свои воображаемые объяснения насчет рода занятий, одержимости Толстого и Ренара, насчет искания слов, любви и доброты,— и странный, всхлипывающий звук, похожий не то на смех, не то на задушенные в горле рыдания, услышал он. И со стыдом удивился, почувствовав, что с ним происходит что-то сумасшедшее, никак не подчиненное его воле,— неподвластный сладкий злорадный смех, неудержимые рыдания душили его, распирали грудь. И он, задохнувшись, глотая этот смех и рыдания, видел в середине серой, текучей пустоты поднятое приказывающе-властное, сухое лицо дежурного, свой раскрытый паспорт на смешно, по-школьному заляпанном кляксами столе, подле чернильницы, рядом чье-то удо-

стоверение, видимо, парня, на удостоверении смятый обрывок пятидесятирублевки и, стиснув зубы, с ужасом подумал: «Что это со мной? Какая-то истерика — хочется плакать и смеяться... Никогда этого со мной не было! Расшатались нервы, я собой не владею? Только бы не этот стыд... перед ними, на глазах у них...»

— Так это было, гражданин Никитин? — зашелестевшим серым песком достиг его слуха голос дежурного.— Вы в сильно нетрезвом состоянии, почти невменяемом, как видно и сейчас, пытались вырвать у гражданина Миляева деньги. Так это было?

— Да, да...— выдавил Никитин, и опять рыдающий смех вытеснился из горла, слезы катились у него по щекам.

— Верните разорванную купюру ее владельцу.

— Да, да, владельцу... пожалуйста...

Решенными движениями беспристрастной правоты крепкие крестьянские пальцы дежурного, отмеченные фиолетовым городским пятнышком чернил на суставе, неторопливо положили на удостоверение обрывок отданной Никитиным пятидесятирублевки, поверх другого обрывка, захлопнули удостоверение и протянули его суетливо перегнувшемуся к столу парню.

— Возьмите, гражданин Миляев, свои деньги. В банке обменяют. Итак, гражданин Никитин, у меня несколько вопросов для протокола.

«Только бы сдержаться... Только бы не это удушье... Я унижаю себя. Я выговорить слова не могу. Что же... Что же это со мной?.. Как с неврастеником. На фронте, если бы такое с моим солдатом случилось, я перестал бы верить в него»,— говорил себе Никитин, давясь подступающим к горлу комом горького смеха, металлическим вкусом слез, и чтобы не видно было мучительно судорожных глотаний, отвернулся, сотрясаясь словно позывами тошноты.

— За решетку таких прятать надо, пьянь рваную!.. Наблюет он еще у вас тут...— с дозволенным превосходством и подобострастием защищенного от насилия сказал парень и, как хозяин, узнавший свою вещь, поглядел на обе половинки пятидесятирублевки, затолкал их вместе с удостоверением в карман коротенького пиджачка, вновь заискивающе посуетился около стойки.— Мне идти, товарищ капитан? Я ведь рабочий человек, я ведь завтра в утреннюю. Не как другие...

И здесь все разжалось в Никитине. Парень стоял в двух шагах, вблизи деревянного барьера, скулы масляно лоснились, вспухший, осиненный рот зло и победно ощеривался, выказывая мелкие зубы. И не слова его, не подобострастный тон, не заискивание перед дежурным, а эта торжествующая победа гнусности, раскрытая ухмылкой, на какую-то долю секунды нарисовала в воображении Никитина картину иного торжества, о котором он даже и не подумал тогда на набережной, когда увидел нож в руках парня: да, да, этим ножом, если бы успел, он «проколол» бы и сердце распятого на земле Никитина и, не задумываясь, выколол бы глаза с этой же ухмылкой победившей трусости.

— А где же твой нож? — выдавил шепотом Никитин и, точно в беспамятстве, захлебываясь смехом и плачем, ринулся на парня, увертливо отскочившего назад,— кулак достал лишь его плечо, жилистое, костистое. Но, отскакивая, парень не удержался на ногах, потеряв равновесие, хлестко ударился спиной и затылком о стену и тут же с хрипящим взвизгом подскочил к Никитину, которого уже не без крутой силы схватили за руки два милиционера, снова потащив на скамейку, и не ударил, а по-рысьи изловчился страшными твердыми ногтями окарябать лицо Никитина от бровей до щек, целя, видимо, в глаза, и крик его бритвенным лезвием резанул по слуху:

— Видели? Видели?.. Он с ножом на меня!.. Нож он в Канаву выбросил! В Канаву, гад, выбросил!

Дежурный длинными прыжками выбежал из-за барьера, заученным движением поймал, завел обе руки парня на поясницу и так повел его к двери, гневно приказывая милиционерам:

— Обоих посадить! Только не вместе. Ясно? Обоих!

Продолжение следует.

БЕРЕГ

Юрий БОНДАРЕВ

Рисунки И. ПЧЕЛКО.

Часа через полтора в сумрачное помещение, насквозь пропахшее нечистым бельем, где на исцарапанной надписями скамье, морщась, вздрагивая, лежал Никитин, вошел милиционер и строго потребовал, чтобы тот умыл лицо и следовал за ним. Никитин умылся под краном милицейской уборной, вытерся носовым платком, и его вторично привели в комнату дежурного.

И, еще переживая чувство унижения при воспоминании о душащем его неподвольном полусмехе-полурыдании в присутствии милиционеров, Никитин вдруг с удивлением и тревогой увидел возле барьера дежурного пожилую сухонькую женщину, бледную, перепуганную, в старомодной шляпке, в стареньких туфельках, она смотрела на него взглядом беспомощного ребенка и повторяла почти шепотом:

— Вадим Николаевич, Вадим Николаевич, что с вами?

Это была его квартирная хозяйка Мария Павловна Стешнова, у которой он снимал комнату, вдова профессора-историка, умершего в войну,—существо доброе, стеснительное, краснеющее от любого грубого слова,— и Никитин, соображая, зачем, каким образом она оказалась здесь, мгновенно представил ее глазами свое разбитое, наскоро умытое лицо, донельзя разорванный пиджак и глухим голосом спросил дежурного, для чего в милиции Мария Павловна.

— Вызвал. По домашнему телефону, который вы сообщили,— ответил дежурный мрачно.— Вот ваш квартирант, Мария Павловна. Хорош? А?

— Я? Вам? Дал телефон? Что за ерунда!— не понимая, сказал Никитин.— Никогда! Я вам не давал никакого телефона!

— Что, что с вами, Вадим Николаевич, что с вами?— растерянно выговорила Мария Павловна и присела на краешек скамьи.— Вы же никогда не пили! Боже мой, кто вас так избил?

— Его изобьешь!— заметил дежурный; нетающий ледок стоял в его поднятых на Никитина непоколебимых, как сама истина, глазах.— Вот каким образом, Мария Павловна, на первый раз мы поступим, вот каким образом. На первый раз... Вы от нас берите его и везите на квартиру. Под вашу личную ответственность. Все. Идите. Вот паспорт. Не верится мне никак, гражданин Никитин, что вы статейки в печать пописываете. Напиваетесь и налеты на людей учиняете. Как это называть?

— Ради бога, Вадим Николаевич, ради бога, идемте скорее отсюда,— забормотала, оробело заспешила Мария Павловна.— Пойдемте домой, голубчик, вам холодный компресс надо. Как же вы сейчас на улицу покажетесь?

Она извинительно закивала старомодной шляпкой дежурному, взяла руку Никитина дрожащими пальцами и потянула осторожненько к выходу, вроде бы нисколько не уверенная, что вот сейчас ее выпустят отсюда вместе с Никитиным и все обойдется, все станет на прежние места.

— Извиниться бы вам следовало, гражданин Никитин,— сказал дежурный хмуро.— Ни в какие ворота не лезет, набезобразили...

— Голубчик, Вадим Николаевич, извинитесь, ради бога!

— Простите, Мария Павловна, одну минуту...— задержался Никитин, и злая едкость качнулась в его душе; он взглянул на дежурного насмешливо.— Вы правы. Я напиваюсь и по ночам граблю, вырываю у людей деньги. Вы со всей очевидностью установили истину. И мои деньги отдали этому великолепному, честному парню. Желаю вам всего хорошего. Черт с ними, с деньгами. Но извиниться, к большому сожалению, я не могу.

— Идите, идите!— раздраженно поторопил дежурный.— Болтаете много, гражданин Никитин! Оч-чень много болтаете, хоть и статейки пишете!..

Потом на улице, тихой, побеленной близким рассветом,— четко виден был сереющий асфальт, мостовая, рассеченная полосами трамвайных рельсов,— Никитин, подавленный вызовом Марии Павловны в милицию, неловкостью, все-таки спросил ее, неужели звонили на квартиру, разбудили ночью, справлялись о нем, и стал извиняться за глупейшее и непредвиденное беспокойство, по его вине причиненное ей ни за что ни про что в результате идиотского недоразумения.

А она сконфуженно слушала его, согласно встряхивала наивной и нелепой шляпкой и ничего не спрашивала, вздыхала тихонько, подобно кроткому ангелу-хранителю, не требующему оправданий.

«Как же я раньше... не знал ее?»— подумал Никитин.

Он жил у нее более года, но за это время, кроме обязательных фраз, они, казалось, не обмолвились ни одним искренним словом.

— Мария Павловна...— охрипшим голосом сказал, проклиная себя, Никитин, охваченный стыдливой и благодарной нежностью к ней.— Мария Павловна, простите... Я был неаккуратен... У меня просто не было денег. Я ведь должен вам за четыре месяца. А вы не спрашивали... У меня теперь есть деньги. Пожалуйста, я сейчас заплачу вам все... Простите меня...

И он поспешно принялся рыться в карманах, собирая смятые деньги, а когда уже в замешательстве пересчитал купюры несколько раз — денег, в общем, не было: от трех тысяч оставалось семьсот пятьдесят рублей с мелочью. Он вспомнил летнее кафе в Парке культуры, салон речного трамвайчика, где не Вихров, а он платил за все, и никак не мог взять в толк, почему же так много было истрачено денег — тем более в минуты драки, кажется, никто из парней не успел обчистить его карманы.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 45—48.

— Простите, Мария Павловна, я, по-моему, потерял деньги,— проговорил Никитин, сгорая от собственной лжи, и как-то спеша, неудобно начал совать ей в руку комок денег.— Здесь за два месяца... Остальные я потом, потом. Очень скоро, поверьте мне.

Она с испугом остановилась, пятнисто и ало краснея, что бывало при виде грубости или намека на грубость, замотала шляпкой смущенно.

— Бог с вами, Вадим Николаевич, какие сейчас деньги, послушайте... Не надо, не надо, ради бога. Когда будут, тогда и отдадите. Я потерплю, потерплю, мне сейчас не надо.

— Мария Павловна!— взмолился он.— Я прошу вас!

— Не надо мне, не надо,— запротестовала она и при этом руку протестующе завела за спину.— Идемте же, Вадим Николаевич. Сейчас вам надо холодный компресс на лицо, а то как же вы?.. И, пожалуйста, неудобство свое забудьте. У меня ведь сын был. Я многое понимаю...

Он шел рядом с ней, чуточку придерживая под локоть, как мог бы держать только мать, которой не было в живых, и всю дорогу бормотал ненужные извинения, боясь споткнуться и помешать движению ее легкого, сухонького тела.

Много лет спустя, будучи зрелым человеком, восстанавливая в памяти тот день и ту ночь, он испытывал странное, пугающее его чувство: упоение добром, щедростью и любовью было равно одержимому упоению ненавистью.

●

— Нас разъединяли забытые сороковые годы, но... сейчас нас разъединяют политические системы. Я за мир между русской и немецкой интеллигенцией, господин Никитин. Как по-русски? Н-на ваш-ше здоровье!..

— Эта русская фраза уже стала международной. Ваше здоровье, господин Дицман!

Они сидели около камина в большой гостиной госпожи Герберт, ворсистый ковер подстриженной лужайкой зеленел под светом торшеров, пружинил под ногами, потрескивали, несильно постреливали разгоревшиеся поленья, и вместе с благостным целебным жаром и вкусом коньяка, отпиваемого между фразами, Никитин чувствовал некое ироническое веселье духа, готовый вне зависимости от того, какие вопросы хотят и будут задавать ему, заранее безошибочно предположить степень отчуждения своего и чужого, пропитанного долей ядовитого политического скептицизма, всегда возможной межи, даже на этой домашней территории немецкой гостиной, с ее приятным, умиротворенным комфортом, коврами и тишиной, по-видимому, особенно располагающей для вечерних разговоров вблизи разожженного камина.

После того, как он и Самсонов вошли в гостиную и хозяйка дома, госпожа Герберт, привезшая их на машине из отеля, представила обоих собравшимся здесь, по ее словам, избранным, близким друзьям, после принятых в таких случаях поочередных знакомств, корректных вопросов о дорожной усталости, необязывающих замечаний по поводу сырой гамбургской осени, которая, к сожалению, в нынешнем году необычно дождлива и простудна, после вежливого выяснения, кто и что будет пить, господин Дицман, главный редактор крупнейшего издательства «Вебер», где были переведены последние романы Никитина, с некоторым подмигиванием завладел сразу двумя бутылками (мозельское и коньяк — про запас!) и довольно настойчиво отвел Никитина в угол гостиной, со смехом сообщив остальным, что он на время аннексирует советского писателя для выяснения некоторых истин.

Но госпожа Герберт весело сказала, что она не позволит отдавать русского писателя на растерзание альтернативами немецкому критику, ибо слишком хорошо знает эгоцентризм господина Дицмана, поэтому приглашает гостей к камину, поближе к огню, для общего разговора. И тогда заковылял к столику плотным коренастым телом, уютно развалился в мягчайшем кресле, заблестел лысиной краснолицый издатель господин Вебер, и гибкой змейкой села рядом его жена Лота Титтель, популярная актриса театра, высокая, узкобедрая, говоря хрипловатым, как бы ломающимся отроческим контральто:

— О, я хочу посмотреть на Восток и Запад. Чем это кончится? Объявлением войны?

Ни на минуту не сделав передышки, господин Дицман, одержимый жадностью натренированного ума, вгрызался в Никитина, словно обрадованный нечастой этой возможностью, и быстрота его речи, наркотический блеск подвижных глаз на бледном лице, его безостановочные движения сухих пальцев, которыми он то сжимал стекло бокала, пригубливая, то живо

подносил к островатому носу раскрытую пачку сигарет, порывисто втягивая табачный запах (он бросил курить из-за недавнего сердечного приступа),— его жесты и речь сначала настроили Никитина на полусерьезный лад, на свойственную литературным салонам игру умственных упражнений, он подумал: «Пожалуй, господин Дицман из бывших и ловких репортеров». Но чем дальше продолжалась эта «игра», тем все глубже и серьезнее погружался в нее Никитин, уже заинтересованно поглядывая на нервные руки Дицмана, когда тот, наслаждаясь платоническим вожделением, нюхал раскрытую пачку сигарет. Самсонов по просьбе Никитина переводил дословно только сложные фразы, и вид его был солидно-невозмутимым, пиджак, застегнутый на все пуговицы, круглился, натянутый животом; ему было жарко около камина, капельки пота выступили на лбу.

Госпожа Герберт сидела напротив Никитина, воротник черной кофточки, наподобие свитера, облегал белую шею какой-то грубоватой мужской нежностью, продолговатый золотой медальончик покачивался на мельчайшей цепочке, ее волосы, по-русски убранные пучком, поднятые над маленькими ушами, ровно отливали полосами седины, и эта заметная седина загадочным разительным несоотношением разрушала при беглом внимании чересчур аккуратную подобранность ее по-девичьи опрятной фигуры. И Никитин мимолетно подумал, что подобное несоответствие бывает у женщин, ни разу не рожавших, может быть, из-за нелюбви к детям, может быть, по причине аскетической воздержанности, которая заставляет тщательно и всю жизнь ухаживать за своим телом.

Это, видимо, было не совсем так — госпожа Герберт по-монашески не ограничивала себя, пила коньяк, много курила, ее глаза проступали за сигаретным дымом, казалось, налитые тихим возбуждением, пристально светились синей влагой.

Ее взгляд все чаще наталкивался на взгляд Никитина, как-то понемногу раздражающе начинал беспокоить его порой встревоженной мгновенной улыбкой, будто она подробно, украдкой для других, изучала и его костюм, и галстук, и его запонки, когда он отпивал коньяк или зажигал спичку, и ему невольно хотелось пошевелиться под ее взглядом, переменить позу, точно долго и надоедливо фотографировали его.

Раз госпожа Герберт, опуская улыбающиеся глаза, стряхнула пепел с юбки, затем тронула кончиками пальцев медальончик на груди, тогда Никитин не без досадливой подозрительности засмеялся в душе, предположив, что хозяйка дома на самом деле фотографирует его этой штучкой, возможно же, записывает его тайным крохотным магнитофончиком. «Но зачем? Прок-то здесь какой? Вздор и чепуха!» И, кратко ответив на очередной вопрос господину Дицману, он мысленно отверг унизительное свое предположение и, стараясь не смотреть на госпожу Герберт, вдруг вновь почувствовал на себе ее ищущий пристальный взгляд. Как от чужого прикосновения к коже, как от сквозного холодка, он нахмурился, взглянул и так неожиданно близко увидел ее лицо, не успевшее измениться, обмануть его, скрыться за дымком сигареты, что даже озяб, содрогнулся. Он был удивлен ее слабо дрожащей в уголках губ виноватой полуулыбкой-полугримасой, ее вопросительным и нежным, смешанным со страхом, излучением остановленных перед ним глаз, этим, чудилось, знакомым выражением, напомнившим что-то больно, туманно и неуловимо. «Что это напоминало? Что? Может быть, когда-то увиденный во сне синий над фантастическими крышами клочок непостижимого неба, может быть, утренний ветерок в радостном, как детство, солнечном поле с запахами весенних далей?.. Что это? Этого не может быть, я никогда не видел госпожу Герберт, никогда не встречался с ней, только здесь, в аэропорту, впервые... Игра подсознания? Мистика? Совсем хорошо... Не помню, нет, не помню, где я видел этот вопросительный, виноватый и мягкий взгляд. И почему она смотрит так на меня?— подумал он снова и постарался успокоить воображение раздраженным обвинением самого себя в мнительности, но нечто незавершенное оставалось в сознании, некий осколочек неразрешенного беспокойства, какое бывает при поиске утраченной в памяти чужой фамилии.— Нет, не встречал я ее никогда. Сорок пятый год? Война? Берлин? Мы стояли на немецких квартирах? Какая придет в голову несуразность! Помнить выражение взгляда? Я ее где-то видел? Да сколько лет ей было тогда, если уж так? Нет, ее лица я никогда не видел... Ток подсознательности, бред воображения. Однако, может быть, где-нибудь случайно — на улице в Москве, в поезде, наконец, за границей было очень похожее, оставшееся в памяти? Встречаются же люди в разных концах света с одинаковой внешностью, голосом, фигурой, как известно, двойники... Все это похоже на галлюцинацию! Со мной опять происходит неладное...»

Он знал, что был не очень здоров. В последние годы, после смерти шестилетней дочери Оли, с Никитиным от времени до времени случалось странное, порой никак разумом непонятное, лишь объяснимое одним — крайним переутомлением, расстройством нервов. Его стали угнетать по ночам бессонные приступы тоски, угрызения совести, необоримого одиночества,— и мучительным удушьем сдавливало горло, заслоняло дыхание, как в те страшные, незабытые минуты на кладбище, когда он поцеловал, прощаясь, ледяной треугольник ротика своей дочери и увидел сквозь полуприкрытые ее ресницы, опушенные снегом, васильковый, неживой цвет ее глаз, всегда сияющих ему открытой радостью, всегда готовых к смеху, игре, едва она с криком и визгом, мотая соломенными волосами, вбегала к нему в кабинет, словно бы скрываясь от кого-то, и потом с размаху прижималась к нему, вся пахнущая сладкой, детской и птичьей чистотой.

В тот зимний день на кладбище ему мнилось, он сошел с ума: он ощутил или ему вообразилось, что маленький холодный ротик дочери с нерастаявшими снежинками беспомощно слабенько шевельнулся в ответ на его последнее прикосновение, и этот пахнущий зимой холодок ее губ вполз в него бесконечной, разрывающей душу мукой.

Он не мог оставаться в Москве, в осиротелой, ставшей большой сразу квартире, где еще звучал, жил живой топот, визг, крики и запах Оли, где в кроватке еще лежали ее собранные игрушки. Он уехал из города и до одурения, до полной бессонницы, до галлюцинаций, работал на даче один, совсем один в пустом доме без телефона, поздними вечерами затапливал печь, часами смотрел на огонь, слыша осторожно скребущуюся возню мышей в старом шкафу, вздрагивая при выстрелах закоченевших в саду деревьев на лютом морозе. Раз глубокой ночью среди полнейшей тишины сидел за столом, залитым белым светом лампы, и внезапно, весь охолонутый ударом страха, услышал негромкий, вкрадчивый стук в окно кабинета, и, не находя силы выпрямиться, встать, отдернуть занавеску, он с ужасом предчувствия (кто мог стучать в окно второго этажа?) подумал о каком-то предупреждении рока, о каком-то сейчас случившемся несчастье с женой, и, мертвея, в ознобе, на непослушных ногах поднялся из-за стола, еле отодвинул занавеску, боясь увидеть и представляя за стеклом грозный и неотвратимый знак судьбы... Но там никого не было. Морозная ночь, чернея вершинами елей в темном небе над крышами поселка, сверкала в пустыне неба, переливалась созвездиями, и крупная, прекрасная, как первая любовь, голубая звезда нежно и косматo мерцала, пульсировала, порхала на одном месте — над заваленным сугробами коридором просеки.

И, прислонясь лбом к мерзлому стеклу, он тогда подумал, что Оля ушла из этого земного мира, так и не увидев, не познав, не ощутив вот такого ночного неба, в котором было все: жизнь, юность, молодость, ожидание любви, сожаление о невозвратимо прожитых годах и где была непостижимость Олиной смерти, уже выраженная беспощадной невозможностью видеть ни само это небо, ни это далекое, околдованное порхание пылающей звезды...

На рассвете, в глухой стуже, хрустящей, деревенской, сугробной, он побежал на станцию, разбудил ничего не соображавшего дежурного, кинулся к телефону, набрал номер московской квартиры, а когда отозвался в трубке сонный, захлестнутый испугом голос жены, спрашивающей, что случилось, задохнувшись, ответил шепотом: «Я хотел услышать тебя»,— и затем целый час стоял на перроне, курил, справляясь с сердцебиением.

Это тихое сумасшествие продолжалось до осени.

— Вы сказали, господин Дицман, что вы за мир между интеллигенцией. Какой смысл вы вкладываете в свой лозунг?

— Не лозунг, а вера, господин Никитин. В других лозунгах я давно разочаровался. Вы хотите коснуться политики?

— Сейчас — нет. Воздержимся по мере возможности.

— Если они объединятся,— проговорил все время молчавший господин Вебер и залился смешком, погонял соломинкой в коктейле ломтик лимона,— то организуется какая-нибудь чепуха и очень и очень большая говорильня. Каждый день начнут что-то придумывать немыслимое. Какую-нибудь карманную революцию. А я, не интеллектуал, а издатель, что буду делать я? Я останусь реалистом. Нет, нет! Я буду по-прежнему выпускать книги на спрос и выпускать программы по телевидению, скажете нет? По вечерам во всех немецких домах будут смотреть меня, а не слушать вашу заумную болтовню. Нет? Нет? Детективные фильмы, ревю, хорошая реклама — для немцев гораздо больше, чем словесные закавычки интеллектуалов.

— Теперь видно, что вы капиталист,— сказал Самсонов и пошутил:— Даже по внешнему виду вы похожи на представителя крупного капитала.

Господин Вебер, удобно развалившийся в кресле перед камином, полненький, краснолицый, с крепкой и гладкой лысиной, пил мало, казалось, в дреме потягивал через соломинку лимонный коктейль и после замечания Самсонова почмокал губами, небольшие умные глазки его стали чутко-внимательными.

— Внешне я похож на вас, господин Самсонов.— Принимая шутку, Вебер благодушно очертил соломинкой в воздухе габариты Самсонова.— Похож, хотя, по вашим законам, вы не имеете права владеть ни издательством, ни акциями телевидения. Нет? Нет?— Он тянул слова, произносил их полувнятно, однако эти вопросительные «Nicht? Nicht?» выговаривал жаргонной скороговоркой, что снижало серьезность его речи и располагало на мирный лад.— Судя по вашим... мм... печатным представлениям, по вашим карикатурам в газетах,— продолжал господин Вебер, и заплывшие смешливые его глазки задвигались весело,— капиталист — это кто? Господин с большим животом, в жилете, сидит на мешке с долларами, к тому же двумя руками душит горло бедного голодного рабочего, и зубы оскалены. Нет? Нет?

— Имело место, господин Вебер,— согласился Самсонов, потянув ниточку разговора к себе.— А как иначе прикажете показывать капиталиста? Разве это не отвечает сути?

— В этом случае вы можете со мной не спорить,— совсем добродушно возразил Вебер.— Я давно собираю коллекцию карикатур на капиталистов. Изо всех газет мира: я должен видеть свой облик в понимании других. Карикатура в ваших коммунистических газетах — это, надо полагать, политическое отношение к моему классу... И это мне интересно знать. Лота!— И он помахал соломинкой в направлении бутылок на столике, ласково прищуриваясь на молодую свою жену.— Что-что, а я умею считать, по два куска льда ты кладешь в виски. Не сядет твой голос? Нет, нет?..

— Ты почему-то хочешь знать, что думают о твоих деньгах люди, презирающие деньги,— сказала Лота Титтель низким контральто.— Твое хобби приносит тебе сомнительное удовольствие.

— Как у нас, так и у них политическая карикатура — жалкая и грубая пропаганда, рассчитанная на толпу!— вставил господин Дицман и поднес к носу пачку сигарет, вдохнул сильно запах табака.— Я не хотел бы сейчас копаться в дрянной политике! От нее болит голова. Не так ли, господин Никитин?

— Так. И не совсем так. Что может современный человек без политики?

— О, господин Никитин?

— Вот что я вам скажу, господа, насчет политики без всяких «о»,— решительно, по-мужски вмешалась Лота Титтель, и косметически

красивое, удлиненное ее лицо с веерообразными ресницами и ниточками бровей страстно порозовело.— Я почувствовала на своей шкуре эту самую политику, если хотите знать! И это было неприятно. Я недавно была приглашена в Польшу, пела немецкие песенки, немного классики, немного мировых шлягеров. Мне заказывали прямо из зала... Меня нигде так не встречали, как в Варшаве! Я просто влюбилась в поляков! Потом я допустила идиотский просчет. Мне нравится песня о Тамерлане. Очень популярная у нас, на Западе. Страшный восточный завоеватель, жестокий и сильный, после того, как завоевывал города, он желал обладать пленницами. И набрасывался на них, как зверь — р-р-р!— Она положила янтарный мундштук, заправленный ментоловой сигаретой, в пепельницу, изобразила длинными скрюченными пальцами, как Тамерлан, исполненный дикой страсти, набрасывается на пленниц, и продолжала:— Этот шлягер заканчивается пристальным взглядом в зал и вопросом: «А есть ли среди вас Тамерлан?» Сначала в зале было тихо, мне никто не аплодировал. И только через минуту похлопали из вежливости. Вот как я обидела моих любимых поляков...

— Когда вы едете, прелестная Лота, на Восток, следует тщательно выбирать репертуар,— не отнимая пачку сигарет от раздувающихся ноздрей, заметил иронически Дицман.— Восток не всегда воспринимает юмор западного толка. Между нами есть особенности.

— Разумеется, господин Дицман,— не без яда сказал Самсонов.— Восток до сих пор занят проблемами белых медведей, мешающих трамвайному движению, и проблемой покупки валенок для посещения театра.

— О, о!— вскричал, оживляясь, Дицман и, бросив пачку на столик, поднял обе руки.— Сдаюсь, атака с Востока! Тогда ответьте мне, господа русские, почему ваши солдаты насиловали немок, когда вошли в Германию?

— Насиловали? Вы убеждены?— удивился Никитин.— Так уж и подряд?

— Я знаю, господин Никитин. И не один случай.

— Но, может быть, потому, что в некоторых случаях немки сами хотели испытать этого восточного Тамерлана. Возможно считать и так?— ответил Никитин, сохраняя меру светской вежливости.— Категорическое утверждение всегда рискованно, господин Дицман.

Тотчас все повернулись к нему, настороженные повышенным интересом, вроде бы ответ его снял с чего-то табу, госпожа Герберт, опустив глаза, молитвенно тронула медальончик на груди, погладила, потеребила его, натягивая маленькую цепочку; господин Вебер сквозь пыхтенье пустил смешок, Дицман заострил насмешливый взгляд, приготовленный к возражению, однако Лота Титтель неожиданно подбоченилась по-крестьянски и, тряхнув по плечам золотисто-рыжими ручьями волос, воскликнула утвердительным голосом:

— Правильно, господин Никитин! Женщину невозможно изнасиловать, если она не желает! А я хочу сказать о другом — о поляках, господа! Я полюбила умных, тонких и музыкальных поляков. Они гостеприимны, воспитанны, они ничего не говорили о войне при мне. Они молчали. Они не хотели напоминать. Когда я сказала, что хочу посмотреть Освенцим, мне ответили, что этого не надо делать, мне, немке, будет неприятно. Тогда я настояла, и поехала в Освенцим, и сама увидела настоящий ад. Там можно сойти с ума, достаточно представить! Безмозглые садисты — вот кто они были, военные немцы! Мне хотелось царапать морды нашим эсэс! И вот что я вам скажу: теперь смешно говорить про какое-то дурацкое изнасилование бедных и невинных немок. Нам следует просто заткнуться!

— Война есть война, милая Лота,— сказал Дицман, усмехаясь.— Многим немцам, как типу, свойствен не садизм, а мазохизм, выраженный в беспрекословном послушании. Война — это приказ. Вы плохо знаете ту пору, прелестная Лота!

— Война — это дерьмо, дерьмо без всяких интеллигентских философий!— скандально оборвала Лота Титтель и дымящейся в мундштуке сигаретой показала на господина Вебера, взглянувшего на нее из глубины кресла нежно-снисходительными, расположенными к любой ее детской шалости, припухлыми глазками.— Мой капиталист не захотел взять на телевидение фильм, который я сняла в Освенциме. Он говорит, что этого никто не будет смотреть, а сам напичкивает программы дерьмовыми американскими детективами, этим киномусором вестернов для канализационной трубы! Одно и видишь: потертые джинсы на острых мужских виляющих задницах и — пиф! паф! Уэл, уэл!— Лота Титтель скривила рот, произнося задушенным басом «Уэл, уэл», и щелчками языка произвела звуки беглых выстрелов, нацеливаясь мундштуком в бокалы на столике.— Это нужно только телячьим мозгам, которых слишком много развелось за последние годы! Никто не желает как следует ни о чем подумать! Все думают день и ночь о холодильниках и машинах — и хотят делать деньги, как в Америке!

— Лота,— мягко сказал господин Вебер, по-видимому, привыкший к грубоватой несдержанности жены, и спрятал многоопытные свои глазки в бокале с коктейлем, погонял соломинкой ломтик лимона.— Ты в первую очередь очаровательная актриса, а не депутат бундестага от социал-демократической партии... Нет, нет? Сейчас никто не хочет возвращаться к прошлому, беспокоить себя, усугублять комплекс вины. Нет, нет?

Лота Титтель сделала резкий протестующий жест, опять тряхнула рыжими волосами.

— Потому что политика — все то же дерьмо, Карл! Все, как сумасшедшие, делают деньги, и скоро Германия превратится в последний американский штат в Европе! Мы скоро не будем видеть неба, как разжиревшие и похотливые свиньи! Тебя нацисты морили в концлагере, Карл, но и ты не хочешь ничего вспоминать! Деньги, деньги, деньги!..

Окончание следует.

Юрий БОНДАРЕВ

Рисунки И. ПЧЕЛКО.

БЕРЕГ

Господин Вебер, с прежней нежностью взглядывая на жену, почесал лысину, пососал через соломинку коктейль и заговорил тоном человека, безобидно желающего утвердить зыбкую непостижимость истины:

— В сорок пятом, когда освободили концлагерь, никто из нас не думал о деньгах, Лота. Я тогда был вот такой...— Вебер оттопырил мизинец.— Нет? Нет? Таким, господа, вы меня не можете вообразить. Я был тощий сморчок и едва мог двигаться от истощения... Но была уже свобода, и я смотрел со слезами на солнце, на траву — была сохранена жизнь, проклятая война закончилась, нацистов уже нет, тогда я был счастлив, господа!..

— Вас освободили русские или американцы? — поинтересовался недоверчиво Самсонов.

— Нас освободили американские солдаты. Они приехали на танках и сломали ворота. Втроем мы вышли из лагеря на дорогу и пошли в американский госпиталь. Со мной был англичанин, сбитый летчик, аристократический молодой человек, окончил Оксфордский университет, и двенадцатилетний мальчик, отец его умер в лагере. У нас не было сил в тот день свободы. Мы тащились по дороге и улыбались весеннему дню, как безумные счастливцы. Везде валялись в кюветах разбитые бомбежкой машины, и в одной, помню,— грузовой «оппель-блитц» — был разбит сейф с деньгами. Миллионы, целые миллионы марок пачками высыпались на асфальт. Что? Нет, нет? Марки летели по дороге, они скапливались в кюветах, липли к подошвам, просто как рекламные листки. Никто не обращал на них внимания. Жизнь, господа, пьяное ощущение жизни — и больше ничего! И только один наш милый мальчик собрал несколько купюр, как собирают почтовые открытки. Нет, нет? Потом мы дошли до американского госпиталя, упали на пол и заснули как убитые. Когда я проснулся, рядом лежал мальчик и с интересом смотрел на деньги...

— Как? Рядом лежал мальчик! — вскричал с живостью Дицман и закинул ногу на ногу, покачивая узконосым полуботинком, видна была подвижная щиколотка из-под узких брюк, обтянутая красным шелковистым носком.—Очень любопытно, господин Вебер! Нежный двенадцатилетний мальчик?..

— Вы, интеллигенты,— благодушно перебил Вебер,— всюду ищете секс.

— Ловлю вас на слове, господин Вебер! — засмеялся Дицман и заговорщицки стрельнул наркотически яркими глазами в Никитина и Самсонова.— Как звали мальчика?

— Я хотел сказать,— продолжал господин Вебер,— что через три дня было объявлено: старые рейхсмарки входят в обращение. Но и тогда мы не очень жалели, что не набили карманы деньгами... Что бы сделал сейчас я, если бы посчастливилось найти на дороге разбитый денежный сейф? Позвонил бы в полицию, может быть, и сошел бы с ума в психиатрической больнице от своей нерешительности. Нет, нет?

Его полнокровные красные щеки как-то плутовски надулись, он пырхнул рассыпчатым смешком, и тут Никитин сказал разочарованно:

— Какой хороший сюжет вы испортили, господин Вебер!

— Я продаю его вам в первозданном виде,— ответил довольный господин Вебер.— Вставите мой сюжет в роман, который я издам хорошим тиражом, пять процентов от проданной книги мне... Впрочем, можете заплатить черной икрой в Москве. Нет, нет?

— Контракт! Я подписываю чек! Но при условии, если в романе будет нежная история с мальчиком! — ернически воскликнул Дицман и выхватил из внутреннего кармана пиджака чековую книжку, потряс ею.— Думаю, что при вашем таланте, господин Никитин, вы эту пикантную историю написали бы весьма впечатляюще!

— В шутке явное предложение.— Самсонов толкнул под столиком ногу Никитина.— Ясно?

— Благодарю вас,— сказал Никитин.— Спрячьте чековую книжку, иначе вы соблазните меня лаврами Генри Миллера.

— Сюжет куплен за одну марку, господа! Разрешите мне быть поверенной господина Никитина?

Госпожа Герберт щелкнула замочком своей лаковой сумочки, повертела перед всеми новенькой металлической маркой и вложила ее в карман господина Вебера; тот, покрякивая, подмигивая, похлопал рукой по карману, говоря:

— Сюжет продан слишком дешево. Нет? Нет?

— Благодарю, госпожа Герберт, я готов вас взять в секретари, потому что уверен — не прогорю,— сказал Никитин.

Она улыбкой ответила на этот милый словесный пустяк, а он с насильной попыткой найти твердую точку ощущения, опять, как в раздражающем воспоминании забытой, вертящейся на памяти фамилии, подумал, что тот вопросительный, долгий, пристальный взгляд ее, удививший его, и постоянно улавливаемое им внимание ее, и эта полукокетливая улыбка были в схожих обстоятельствах и раньше когда-то: так же в некий час шло тепло от камина, тянулся сигаретный дым под куполом торшера, так же сидел он напротив какой-то женщины, говорил ей те же необязательные слова, какие говорил сейчас, и она отвечала ему неясной улыбкой, уже виденной им то ли во сне, то ли в прошедшем кругу другой жизни. Но при всем усилии памяти он не мог ничего вспомнить точно, ибо это были не мысли, а тени мыслей, не реальность, а белесая тень реальности.

«По-моему, она чем-то обеспокоена, она в чем-то опасается за меня,— думал Никитин.— И это передается мне — ее взглядом, улыбкой и вот этой маркой, которой она очень быстро закончила разговор».

— Как странно, господа, вы обсмеяли время, связанное с войной,— проговорил недовольно Самсонов, скрестив на груди толстоватые руки.— Деньги, мальчик, пикантные истории. В конце концов есть и серьезные понятия, связанные с прошлой трагедией Германии. Я имею в виду судьбу вашего народа, родины, ответственность перед будущим. За что погибли миллионы немцев?

Господин Дицман вскинулся, подпрыгнул в кресле, всплеснул всеми десятью растопыренными пальцами над столиком.

— Что? Понятия «родина», «народ»? «Ответственность»? Они давно потерпели инфляцию! Они были использованы Гитлером в нацистских целях и дискредитировали себя! Старые понятия «отчизна» и «долг» теперь опять используются маленькой кучкой реваншистов! Вы плохо знаете современного западного человека, если говорите о довоенных добродетелях. У западного человека нет сейчас родины в вашем понимании! У него есть паспорт, есть формальное гражданство, только это соединяет его с государством! На немецком паспорте написано: для всех стран! Для всех стран, господин Самсонов!

— Итак, я уяснил: полнейший космополитизм? Разумеется, так легче жить свободным интеллектуалам, в абстрактном мире, так сказать!

— Как? Космополитизм? Абстрактно? Ха-ха! Вы остроумно сказали!— вскричал Дицман.— Космополитизм — прекрасно, каждый свободен в выборе, и никому нет ни до кого дела. Но... свобода на Западе несет с собой и равнодушие и отчуждение друг от друга — парадокс современного мира! Я не хочу ничего приукрашивать, господин Самсонов! Западный интеллигент одинок. Очень одинок.

— Значит, при диктатуре нацизма не было... этого проклятого одиночества, отчуждения людей, господин Дицман?

— В той степени, как сейчас, нет. Было другое — страх. Сейчас не сажают в концлагери, не убивают, никого не преследуют... и в то же время отчуждение людей — не меньшая и не лучшая болезнь общества, чем проклятый человеческий страх! Да, это так!

— Тогда разрешите спросить: в чем дело? — упрямо выговорил Самсонов, выдерживая стремительный натиск Дицмана, и сильнее сплел руки на груди.— Выходит, что не плох был третий рейх с его понятиями фатерланда и «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес»?

— Вы хотите заподозрить во мне приверженца гитлеровской диктатуры?

— Не хочу. Но мне известно, что нацистский аппарат на десять процентов состоял из интеллигенции, господин Дицман. Именно в недалекой истории интеллектуалы Германии нередко играли роль своего рода духовной полиции. Я не знаю вас и говорю о той интеллигенции, у которой руки по локти в крови, извините за откровенность!

— О, господин Самсонов!..— с мягким упреком произнесла госпожа Герберт, взглянула на худощавое лицо Дицмана и потупилась.

«Подавил первые огневые точки, сейчас без передышки начнет утюжить траншею, узнаю Платона,— подумал Никитин, испытывая досаду на неумеренную резкость Самсонова, в запальчивости переступившего как бы запретный предел в споре.— Но почему мне кажется все время, что она не хочет никакого обострения спора и встревожена чем-то?

— Вы обвиняете нас в грехах наших отцов? — спросил господин Дицман, по всей видимости, не ожидая сердитой прямоты Самсонова и всем видом своим отказываясь что-либо понимать, страдальчески завел глаза к потолку.— Вы утверждаете, что кровь на руках наших отцов испачкала и наши руки?

— Говорите, говорите, господин Самсонов!— Лота Титтель, нетерпеливо взмахивая веерообразными ресницами, возбужденная выпитым виски, грубоватым напором этого неуклюжего русского, гибко полулегла в кресле, при этом ее тугая, тонкая, затянутая во что-то серебристое фигурка выражала острейшее любопытст-

Окончание. См. «Огонек» №№ 45—49.

во, и Никитину пришло в голову, что она, вероятно, еще не переутомленная жизнью и славой эстрадной певицы, любила смотреть бокс, спортивные состязания, даже случайные драки в кабачках, где с азартным удовольствием могла подбадривать обе стороны стуком кулачка по столу, пронзительным визгом и смехом, чего, наверное, никогда не сделала бы госпожа Герберт, вся тихо-скромная, утонченная, сдержанная.

— Ты слишком много сделал заявлений и задал вопросов, Платон,— сказал Никитин.— Боюсь, они не прояснят сущность дела.

В наступившей тишине, особенно длительной от размеренного потрескивания камина, господин Вебер издал невнятный звук не то хмыканья, не то мычанья, потом хитро заиграли какой-то мыслью сонные его глазки в щелках припухлых век, и он произнес довольнотаки бодро:

— Господин Самсонов, я не отношу себя к интеллектуалам, я издатель, я, с вашей точки зрения, капиталист, но э... позвольте вопрос? Что должно чувствовать наше сердце перед братской могилой или могилой одного человека? Здесь недостаточно слов и сострадания, нет, нет?

— Я говорил про ответственность,— угрюмо возразил Самсонов.— Без ответственности перед прошлым настоящее — лживый рай.

— Э-э... слова ограничивают сами себя — наше сердце неграмотно. Для того, чтобы слова обрели свой смысл, необходима ирония. Вы, господин Самсонов, слишком верите в прямые слова и чувства. Разве не возможно, что в этой братской могиле погребены и герой и очень слабый человек, который не вынес пыток гестапо, стал предателем и выдал настоящих героев? И вы сострадаете и ему, как герою. Нет, нет?

— Сострадаю предателю? Проливаю слезы? Никак нет! Наше отношение к людям и к интеллигенции должно разделяться по тому, с кем кто был — с палачами или против палачей.

— Э-э... вы меня не поняли, господин Самсонов, нет. Я о современном человеке...

— Я понял. И я о современном человеке. Вот вы, например.— И Самсонов с тяжелым упорством нацелился стеклами очков на господина Дицмана.— Вот вы... служили в гитлеровском вермахте, воевали?

Нога господина Дицмана, закинутая на коленку другой ноги, задвигалась неспокойно, и задвигался узкий полуботинок под заторможенный ритм его голоса:

— Да, конечно, я служил. Не будучи исключением.

— Где, интересно?

— В Берлине. Я воевал в фольксштурме. В конце войны я был мальчик, господин Самсонов, когда ваши подошли к городу. Это был март, апрель. Тогда вы уже наступали в глубь Германии, а мы оборонялись.

— И сколько вы убили русских? — спросил Самсонов и засопел, скулы его стянулись, окаменели.— Одного? Двух? Сколько?

Среди тишины жарким треском постреливали, пылали поленья на решетке камина; и в молчании этом все разом посмотрели на Дицмана одинаковым взглядом опасливого и принужденного участия, и холодноватой струйкой прошел ветерок напряженности по смеженным векам господина Вебера, по взмахивающим ресницам Лоты Титтель, по прозрачно бледному лицу госпожи Герберт — так показалось Никитину, едва он сопоставил этот добропорядочный уютный покой утепленной камином, коврами и светом торшеров гамбургской гостиной и страшное кровавое прошлое, вставшее между ними четверть века назад.

— Я не знаю, кого я убил, я не видел,— неровным голосом задавленного волнения проговорил господин Дицман.— Фаустпатроном я подбил один танк. Он назывался у вас «тридцатьчетверка». Я стрелял из подвала на набережной Шпрее, когда ваши продвигались к рейхстагу. Танк загорелся, и больше я ничего не видел. Следующий ваш танк... как его... «И-эс»... Иосиф Сталин, да? Второй танк заметил нас и выстрелил по окнам подвала. Мы быстро ушли.

Господин Дицман потискал пачку сигарет, понюхал ее, отбросил на столик, упреждая вопрос Самсонова усмешкой:

— А сколько немцев убили вы, господин Самсонов?

Самсонов ответил неприязненно:

— Я служил переводчиком в штабе армии, поэтому не стрелял... Вы фаустпатроном сожгли, если вам верить, один танк, значит, убили четырех советских танкистов. Во имя чего? Вы вольно или невольно защищали нацизм? Так?

— Господин Самсонов! — вскричал Дицман и повалился спиной в кресло, вскидывая нервные руки, мотая кистями рук, точно притворно пощады просил.— Я был мальчишка, зеленый глупец, с одураченным сознанием, я был только барабаном, на котором сколько угодно можно было выстукивать патриотические марши! И... если мы начнем упрекать друг друга, мы никогда не найдем общечеловеческую истину! Мы тоже потеряли более десяти процентов населения! Но я не думал спрашивать, сколько немцев убили вы, господин Самсонов, и сколько убил господин Никитин, а он не служил в штабе, как я знаю... а был офицером артиллерии и, значит, не ангелом во плоти и не гандистом! Не так, господин Никитин?

— Откуда вам так много известно про меня, не говоря уж о моем характере? — спросил Никитин с оттенком спокойного, шутливого интереса.— По-моему, мы встречаемся впервые.

— Разве не мог я вас встретить в войну? — засмеялся Дицман, и высокий женственный лоб его замаслился испариной.— Ну, например, в Берлине? Возможно? Могло так быть?

— Это почти невозможно,— ответил Никитин полусерьезно.— Я не люблю беллетристику, а тем более фантастику. Я реалист, господин Дицман.

— И в реализме многое возможно, так много, что даже об этом не подозревают сами реалисты! В Берлине сошлись вплотную две многомиллионные армии, и там я мог вас...— Дицман, раздувая тонкие ноздри, взял бокал и как бы задавил неприятно незаконченную фразу глотками вина.— Но я,— продолжал он, салфеткой вытерев губы и пьяно растягивая слова,— но я, если бы знал, что передо мной русский интеллигент, например, писатель Никитин, я не стрелял бы в него...

— Стреляли бы,— уверенно сказал Никитин.— И я бы стрелял, если бы вас встретил тогда. И это опять реализм. И ничего тут не сделаешь.

— Нет, вы бы не застрелили меня, именно вы...— очень тихо выговорил заплетающимся языком Дицман.— Вы были тогда мальчишка и не застрелили бы меня, тоже мальчишку... Я чувствую, я знаю. Или какую-нибудь немецкую девушку... Нет, вы не застрелили бы... Господин Самсонов решительнее вас: бац — и нет еще одного немца, ненавистного немца...

— Шумел камыш или тайны мадридского двора в стиле Кафки,— сказал Самсонов и вновь подтолкнул Никитина под столом: мол, что это за пьяные штучки, понимаешь ты что-нибудь?

И тут Никитин услышал запнувшийся, незнакомо умоляющий голос госпожи Герберт:

— Фридрих, перестаньте, пожалуйста, пить, я вас очень прошу. Если вы сдерживаетесь от курения, то поберегите свое сердце и от вина. Прошу вас...

Госпожа Герберт сидела, не подымая глаз, слабая, как ниточка, морщинка горечи разъединяла на переносице ее брови, ровные, темные по сравнению с ее белеющими сединой волосами, и это вынужденное замечание по поводу вина, это право упрека господину Дицману, названного ею по имени, Никитин почему-то воспринял позволенным на людях кратким раздражением, возникшим между друзьями, близкими или между мужем и женой и тотчас сглаженным внешним приличием воспитанной хозяйки дома, уставшей защищать гостей от нетрезвой навязчивости тесно приближенного к ней человека. «Кто он ей? Любовник? Родственник? — подумал Никитин.— Я не помню, чтобы она представляла его как мужа». И уже чувствуя, что надо как-то смягчить, ослабить вязкую неловкость между собой, Дицманом, госпожой Герберт и Самсоновым, он хотел пошутить по поводу иррациональной игры подсознания, однако его опередил Дицман.

Хлестко ударив ладонями по подлокотникам, он чересчур быстро, срыву поднялся, застегивая пиджак, смеясь и сгоняя смех с землистого, худого лица, освещенного блестящими глазами, проговорил с ожесточенной веселостью:

— Да, Эмма, вы умница. Благодарю. Я бы не хотел, чтобы у меня повторился сердечный приступ. Эта штука нужна.— И постучал пальцем в левую часть груди.— До свидания, господа. Мы еще не раз увидимся! Я действительно слаб после болезни. Еду спать!

Он сделал общий поклон и, высокий, прямой, слегка качаясь на долгих ногах, пошел по толстому ковру к двери.

— Фридрих! — вставая, проговорила госпожа Герберт.— В таком состоянии вам будет трудно вести машину! Извините, господа, один момент...

Она догнала его, и перед дверью Дицман, по-прежнему чересчур решительный, обернулся, вздернул плечо, сделал звонкий щелчок пальцами, словно поворотом включал зажигание, ответил ей смехом:

— Когда я выпью, я вожу машину, как гонщик, Эмма! Лучше, чем обычно.

Они вышли, дверь плотно замкнула безмолвие в гостиной, стало слышно похрустыванье, пощелкиванье поленьев в недрах камина, гости преувеличенно вежливо переглянулись, как бы чуть-чуть разочарованные неожиданным уходом хозяйки, прерванным разговором,— господин Вебер, весь утонув в кресле, дыша кругленьким, обтянутым жилетом брюшком, глубокомысленно почистил о жилет ноготь, своими полускрытыми одутловатыми веками глазками рассмотрел под светом торшера его полировку, затем со свистом, с бульканьем потянул через соломинку остаток коктейля из бокала, добродушно заговорил:

— Господин Дицман — великолепный главный редактор, талантливый эссеист, интеллектуальный человек...

— ...которого ты держишь в своем издательстве, как безотказного негра. У него месяц назад был сердечный приступ! — добавила Лота Титтель, наступательно вскинув подбородок.— Не так ли?

— Лота, Лота, Лота...— ласково и миролюбиво возразил господин Вебер.— Ты опять делаешь заявление как социал-демократ, а не как актриса. Нет, нет? Сердечный приступ господин Дицман получил не из-за больших денег, которые я ему плачу, а от невоздержанности, свойственной сейчас интеллектуалам, нет, нет?

— Вы не соскучились без меня, господа?

Вошла госпожа Герберт, приятной улыбкой гостеприимной хозяйки, даже спешащей походкой как бы извиняясь за свое отсутствие, но господин Вебер довольно проворно для своего грузного сложения встал, все так же по-домашнему благодушно сияя хорошими зубами, лысой головой, и за ним гибкой веточкой разогнулась и легко вскочила Лота Титтель, подхватывая сумочку с пола, зашуршав серебристой чешуей платья,— и оба вперемежку с благодарностями за прекрасный вечер начали прощаться с госпожой Герберт.

А она кивала, улыбаясь, однако не задерживала их, что часто бывает в русских домах, и они, отпустив ее руку, стали прощаться с Никитиным и Самсоновым, которые тоже встали следом за Лотой Титтель.

— И нам пора, госпожа Герберт,— сказал Никитин.— Спасибо вам...

— О нет, нет, нет! Одну минутку, господин Никитин! — вдруг перебила его она, смущенно глядя ему в глаза.— Я хотела бы вас задержать на несколько минут. Господина Самсонова, если он не возражает, подвезет до отеля господин Вебер, а я отвезу вас через полчаса. Я хотела бы поговорить с вами о предстоящей дискуссии. Это совсем немного отнимет у вас времени.

«Зачем она при всех отделяет меня от Самсонова? Что за этим стоит?» — подумал Никитин, чувствуя мерзкое неудобство колющего подозрения, какой-то внутренней тесноты, намеренный отказаться и вполусерьез, деликатно, настойчиво сказать об усталости, о головной боли, о предельной перенасыщенности впечатлениями, но проговорил тоном отвратительного самому себе согласия:

— Что ж.— И добавил излишне спокойно, обращаясь к Самсонову: — Я приеду и зайду к тебе. Не ложись спать. Подожди.

— Черт знает... Не приглашают ли тебя ночевать здесь?— вкось кинув сердитый взгляд на госпожу Герберт, ответил по-русски Самсонов, будто говорил о надоевшей погоде, и, багровея, заложил руки за спину, покачался взад и вперед на каблуках перед господином Вебером.— Значит, я могу надеяться на вашу любезность? Вы меня подвезете?

— Конечно, конечно! — тряхнула струями рыжих волос Лота Титтель, распространяя запах лавандовой свежести, и вторично по-мужски стиснула руку Никитина, сказала шепотом: — Нас, немцев, все же есть за что не любить, господин Никитин, стоит только вспомнить войну. О, это особая нация!

●

Они сидели на кожаном диване в библиотеке.

— Я прошу вас говорить медленнее. Иначе не все пойму.

— Господин Никитин, это было так давно, что мне становится страшно, когда я вижу этот альбом и вспоминаю, какие мы все были глупые и бесстрашные дети. Я хочу вам кое-что показать.

— Я не понимаю, что вы имеете в виду.

— Я имею в виду войну.

Она положила на колени альбом, обтянутый не то бархатом, не то темной замшей, и с некоторой неуверенностью расстегнула металлические замочки, робко полистала толстые листы. Эти махающие листы обдавали Никитина горьковатой сладостью, тленом пожелтелой, тронутой временем бумаги — это был запах всех семейных альбомов. Она что-то искала среди фотографий и вроде бы сразу не могла найти, а он видел из-за ее руки мелькающие на старинном глянце незнакомые лица пожилых мужчин, строго застывших, с кайзеровскими усами, на пробор причесанных, облитых тесными мундирами, — подбородки жестко подпирали стоячие воротники,— мужчин, по-домашнему расположенных в кругу семьи бок о бок с белолицыми женами в белых платьях, в окружении белокурых кудрявых детей, затем на блеске знойного песка возле танка возникла фигура молодого высокомерного офицера, на пилотку накинута маскировочная сетка, новенький «Железный крест» мерцал под кармашком черной танкистской куртки, и Никитин спросил:

— Кто этот офицер, госпожа Герберт?

— Мой отец, господин Никитин. Он погиб под Тобруком. В африканском корпусе.

— Значит, он служил у Роммеля? — сказал Никитин.— Тобрук — это сорок второй год. А ваша мать... надеюсь, жива, госпожа Герберт? — спросил он из деликатности, в то же время не понимая, зачем она листала в его присутствии этот семейный альбом, который имел отношение к ее родственному клану или, отчего-то казалось ему, к неприятно нервному, неприятно взбудораженному вином господину Дицману, после мутных его объяснений, связанных с войной, после того, как бросил он пропитанное ядом зернышко намека на некую реальную или возможную встречу когда-то, вызвав в душе отталкивающее подозрение.

И Никитин, нахмуриваясь от сознания непредвиденно глупого положения,— все разъехались, уехал в отель и недовольный его необдуманным согласием Самсонов, а он без каких-либо веских оснований возразить на приглашение задержаться остался здесь и теперь принужден был проявлять официальный интерес к родным госпожи Герберт, к чужим фотографиям в чужом альбоме, думал о своей опасной мягкотелости, податливой нетвердости, уже раздражавшей его сейчас.

— Моя мать умерла в тридцать шестом году, господин Никитин,— проговорила госпожа Герберт.— Но не отца и мать я хотела показать вам в альбоме... Вы не устали, господин Никитин? Я напрасно вас оставила?

— Нет, нет,— ответил он, проклиная эту ненужную свою деликатность, и, злясь на себя, поморщился, потер лоб, неловко сказал ей:— Простите, голова... это пройдет.

— Вам принести таблетку от головной боли?

— Спасибо. Это пройдет.

Она виновато посмотрела мягко светящимися глазами, обе ее руки лежали на альбоме и тоже, чудилось, в робком замешательстве, она молчала, медальончик на выемке груди колыхнулся, поднятый и опущенный дыханием, и Никитин, вдруг остерегаясь ее готовности к чему-то, подумал, что она, видимо, не

без колебаний намерена сказать ему нечто новое, серьезное, важное, чего он может не знать, не ожидать, не предполагать даже. И он проговорил, слыша неестественную спокойную нотку в голосе:

— Я вас слушаю, госпожа Герберт. Вы что-то хотите мне сообщить, кажется. Говорите же...

— Да, я хочу, господин Никитин.

Она взяла сигарету со столика; он предупредительно зажег спичку, она поблагодарила его несмело улыбающимся взглядом, потом все так же робко пододвинула альбом на коленях, спросила негромко:

— Господин Никитин, вам знаком этот дом в Кёнигсдорфе? Вы его немного помните?

И тотчас из глаз ее ушла улыбка, в них замерло влажным блеском, заискрилось осторожное внимание — она глядела на небольшой снимок, размером отличимый от других фотографий, вложенный в твердый пожелтевший лист альбома, где педантичной готической школьной надписью было выведено внизу:

«Кёнигсдорф. Вильгельмштрассе, 7, наш дом».

Этот снимок сделан был еще до войны, время наложило на него тусклую серость, но изображение еще оставалось крепким, четким, и хорошо виден был двухэтажный дом, похожий на все добротные немецкие дома немецких городков, мансарда краснела черепицей в горячих лучах солнца, вблизи — сосны, утренне высвеченные на одной стороне стволов, лужайка перед домом, сочно-зеленая, подстриженная, посреди которой лежал велосипед, возле присела на корточки загорелая девочка-подросток, на ней спортивный костюм, под шапочку убраны короткие желтые волосы. Девочка присела над никелированным рулем, а он металлическими рогами торчал из травы, по-летнему густой, счастливой...

— Вам знаком этот дом, господин Никитин?

Два пальца госпожи Герберт, зажимавшие сигарету, лиловели лаком ногтей, как бы случайно прикрывали лицо этой девочки, показывая Никитину дом,— он, охваченный туманным и жарким беспокойством, словно усилием расталкивая наслоения памяти, внезапно ощутил когда-то сладостное дуновение смолисто-терпкого, прогретого воздуха, облитую полуденным весенним солнцем стену дома, открытое окно, за которым была полутемь прохлады, звук патефона доносился из глубины дома, и в такой же сочной зеленой траве валялся посреди лужайки сверкающий велосипед с изуродованными прикладом спицами.

Да, когда-то был добротный и удобный немецкий дом в Кёнигсдорфе, в дачном городке под Берлином, подобный этому дому, окруженный соснами по краю лужайки, только орудия батареи были вкопаны метрах в ста пятидесяти за яблоневым садом с направлением стрельбы на шоссе по берегу озера, и «студебеккеры» стояли незамаскированные под пятнистой тенью сосен. Да, в таком же доме размещался взвод Никитина, заняв четыре или пять комнат, и был во взводе английской марки («хиз мастер») патефон и набор пластинок, взятых еще в Польше, на какой-то разрушенной вилле в лесу близ Варшавы и чудом сохраненных и довезенных до Германии.

Но было тогда что-то ужасное, преступное и радостное, связанное со звуками патефона из открытого окна, с запахом травы и махорки, солнечным майским утром и этими освещенными по одной стороне соснами, увиденными неожиданно им, что-то счастливое и нечеловечески жестокое, связанное с его судьбой, которая едва не сломалась, не повернула его жизнь в темноту, отделенную от всех неистовой злобой, любовью и жалостью.

Никитин помнил то ощущение конца войны и начала жизни, и ту свою неистовую одержимость жизнью, ликование молодости, и ту страшную серую стену, плотно замкнувшую его в те солнечные, тихие, зеленые дни за окнами добротного дома под соснами...

— Кто эта девочка? — глухо спросил Никитин и от удушья, от сердцебиения слегка выпрямился, чтобы в грудь больше вобрать воздуха; ему сейчас так неистребимо захотелось увидеть лицо этой девочки, как если бы лицо ее могло ему много объяснить, вернуть, напомнить навсегда ушедшее, прекрасное и страшное, расплывшееся, будто во сне.

— Девочка?—Пальцы ее, закрывавшие часть фотографии, заскользили, трепетно побежали по твердому листу альбома, и она вполголоса сказала: — Это я, господин Никитин.

— Вы? Это вы?

— На фотографии мне одиннадцать лет. В том году была одержана победа в Чехословакии, и мне купили велосипед. Отец очень любил и баловал меня после смерти матери...

— Ваш отец был уже в армии?

— Да... Посмотрите, господин Никитин, какой гадкий кенгуренок сидит в траве — руки длинные, плечи острые, весь из углов, фи, можно обрезаться!.. Подросток — неудачная пора девочки с манерами мальчика...

Нет, то было другое, он не помнил ни длинных рук, ни острых плеч, ни задиристого мальчишеского лица этой неуклюжей девочки-подростка, которой он никогда не видел. То, непостижимо связанное с обогретой солнцем лужайкой, соснами и велосипедом в траве, было такое пронзительное, такое мгновенно прошедшее, как давнее короткое потрясение, как горькая радость от чего-то свершившегося тогда, очень важного, главного, но упрятанного временем в памяти. И Никитин испугался мучительной жадности медленного узнавания, когда разглядывал дом, лужайку, сосны на фотографии, и вместе с тем он еще попытался зачем-то уверить себя, что это не совсем тот дом, не совсем та лужайка, не совсем те сосны, возвращенные изменчивой игрой ощущений, но уже знал, что, внушая самому себе сомнения, он не мог ошибиться, не мог обмануть свою память, отказаться от нее.

— Вы не помните этот дом, господин Никитин?

— В Германии мы не раз останавливались в таких домах,— сказал Никитин.— К сожалению, нет. Не помню.

Он так спокойно ответил ей, так решительно солгал, что опять почувствовал вцепившееся в горло удушье, недостаток воздуха и от сердцебиения и от ее долгого ошеломленного молчания, а оно, это молчание, физически давило на его плечи, на его грудь, на кожу лица, точно был миг совершенного им предательства, принятого ею, наверно, за ответ вялого равнодушия к тому, что он не держал в сознании или не хотел вспоминать: он имел право все забыть. И она сказала без особого выражения, однако голос ее в конце фразы подрезался до шепота:

— Да, да, господин Никитин, прошло столько лет. А в этом доме прошла моя юность...

Она судорожно затянулась сигаретой, сдула пепел с альбома и стала гасить сигарету, старательно приминая ее к донышку пепельницы, потупив глаза. А он с вежливым показным вниманием смотрел на фотографию в альбоме, ужасаясь и не веря тому, что подсказывала память, сравнивая вставшее словно из светлого тумана майского утра некрасивое, враждебное и прекрасное, как у мальчишки, лицо девочки, усеянное веснушками юной чистоты вокруг чуточку вздернутого носа, с этой взрослой утонченностью подведенных бровей фрау Герберт, ее маленьким ухом, видным из-за поднятых, стянутых сзади в пучок, побеленных аккуратной сединой волос, ее золотым медальончиком на груди, ее бледностью висков, на которых нежно проступали жилки... И в лихорадочном сопоставлении не находил ничего общего между той выдуманной воображением или забытой Эммой и фрау Герберт; казалось, бессмысленно сравнивал детский сон и настоящую реальность.

«Сколько же мы стояли тогда в Кёнигсдорфе? — думал Никитин, потрясенно отыскивая в глубинах прошлого ускользающую прочность того весеннего, далекого, почти недействительного.— Мы стояли там недолго, несколько дней, около недели. Так неужели фрау Герберт та самая Эмма? Неужели? Ей тогда было лет восемнадцать. И все, что произошло между мной, сержантом Меженины и командиром батареи Гранатуровым, было из-за нее? Не может быть! Как она меня узнала, если мы оба так изменились? В зеркало бы, в зеркало бы на себя посмотреть сейчас — седые виски, морщины под глазами!.. Как она могла узнать меня? Каким образом она узнала?»

— Господин Никитин... вы меня забыли, прошло столько лет... А я помню, как вы ночью и утром писали на бумаге: «До свиданья, Эмма». До сви-дань-я-а...

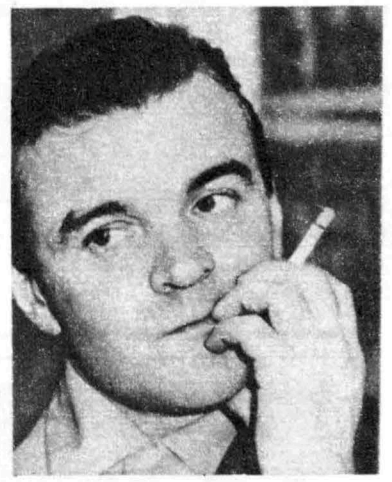
Этот голос фрау Герберт, сниженный, протянувший по слогам последнее слово, душно ожег его знойной волной, как в то невозможно давнее горячее военное утро под накаленной солнцем крышей мансарды,— ведь тогда перед распахнутым окном он сидел с нею за столом и по буквам выводил русские слова на теплом белом листе бумаги, а внизу возле дома уже не было машин, и лишь на лужайке ждал его «студебеккер» четвертого орудия, ждал, работая мотором, оттуда доносились голоса солдат, которые весело кричали им вразнобой: «Эмма, ауф видерзеен! Товарищ лейтенант, ехать пора!»

А потом он целовал ее с какой-то жестокой прощальной нежностью, тормошил ее, стискивал ее в объятиях, еле не плача, зная, что они больше не увидятся, и она, подняв мокрое, безобразно искаженное сдерживаемыми рыданиями веснушчатое лицо, не отпуская его, все повторяла, заикаясь, выученную ею русскую фразу: «Ва-ди-им, мил-ий, не-е з-забыв-ай мень-я».

Он оторвался от нее, скатился, сбежал по лестнице, и, когда садился в машину, она еще стояла в окне, но он не махнул ей, не повернулся к окну, не взглянул, крикнул сжатым голосом: «Поехали! Марш!»

— Госпожа Герберт...—сказал Никитин и, наклоняясь, не глядя ей в глаза, поцеловал ее ледяную, дрожащую руку.— Мне трудно поверить, Эмма.

Полностью роман Юрия Бондарева «Берег» будет напечатан в журнале «Наш современник».



Часть вторая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Что же было тогда?..

Четыре долгих года набирая сумасшедшую скорость, поезд войны ворвался в Германию, как бы вонзаясь раскаленными колесами в каменный тупик огромного поверженного Берлина, торчащего из горячей земли мрачными скалами обгрызанных бомбежками домов с чернеющими глазницами окон, наглухо закрытыми подъездами, где мертво остановились лифты, где на площадках лестниц не пахло из затихших квартир немецкими супами и не слышно было ни шагов, ни стука двери, ни обыденно-приветливых голосов раскланивающихся в подъезде соседей, ни этих вежливых «данке шён», «битте зер»— везде стыла сумеречная тишина пустыни без единого во всем городе выстрела. Последняя оборона Берли-

---

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки И. ПЧЕЛКО

на — рейхсканцелярия и рейхстаг пали. Все было кончено. Несколько дней неистово бушевавшие в городе пожары понемногу стихли, всюду нехотя рассеивались угарные дымы, и, словно из кроваво-аспидного месива, постепенно выявлялись площади и улицы, загроможденные угольными телами обгорелых танков, развороченными баррикадами, поваленными на исколотый снарядами брусчатник трамваями, и проступали тенями согнутые фонарные столбы, завалы обугленных кирпичей, еще теплых, еще курившихся. И на опустелых мостовых, перед баррикадами и за баррикадами, на перекрестках и углах центральных улиц, зияющих проломами витрин, под полусорванными пулеметными очередями вывесками магазинов и

Первая часть романа Юрия Бондарева «Берег» опубликована в журнале «Огонек», в №№ 45—50 за 1974 год.

парикмахерских, возле которых сверкали груды расколотого зеркального стекла, вблизи сожженных машин, бронетранспортеров, исковерканных орудий валялись расплющенные гусеницами цилиндры немецких противогазов, смятые каски с темными знаками орлов, зловеще раздавленные велосипеды, переломанные детские коляски, клочки камуфляжных плащ-палаток, серые русские ватники, обрывки грязных бинтов, распростертые плоскими змейками, автомобильные скаты, разбросанные взрывной волной; и кое-где среди обвалившейся на тротуар, остро срезанной чем-то стены можно было видеть в обломках мебели затянутое кирпичной пылью пианино, его по-мертвецки разъятое, беспомощно ощеренное струнное нутро, а над хаосом разрушения на верхнем этаже оставалась часть квартиры, часть стены, темнели прямоугольники на обоях от недавно висевших там фотографий, и люстра, чудом уцелевшая, стеклянным пауком покачивалась на паутине проводов меж пробоин потолка.

Весь этот огромный зловещий город, сплошь каменный, в течение нескольких дней, содрогаясь смертельными судорогами, оскаливался огнем и будто извивался в дыму, озлобленно вскидывал толстые багровые щупальца танковых выстрелов, тонкие плети пулеметных очередей, хлещущих по пролетам улиц, выбрасывал реактивные молнии фаустпатронов из угрюмых квадратных глазниц подвалов — он выл, кипел, конвульсивно корежился, гремел, захлестнутый пожарами, еще втягивая в себя, пожирая, как гигантский молох, последние жертвы, он погибал, но еще выжазывал свои девизы, свою неутоленную жадность к человеческой крови подтверждающими знаками на останках собственной плоти — на стенах домов, на мостовых, на заборах — «Berlin bleibt deutsch!», «Schlag neun Russen tot!», что означало: «Берлин останется немецким!», «Убей девять русских!».

Лишь 2 мая сникли пожары, но в воздухе висел горячий пар, напитанный удушающими запахами пепла, бетонной пыли, тяжкой горькостью жженых кирпичей с примешанным приторно-сладковатым душком где-то погребенных под развалинами трупов. Вверху обозначенных после буйства огня каменных коридоров, над закопченными улицами свисали зацепившиеся за балконы обрывки простынь, белых тряпок, слабый ветерок шевелил их и шевелил в черных провалах золу холодеющих пепелищ, бумажный мусор на засыпанных стеклом мостовых, покачивал оборванные электролинии, вытянутые к тротуарам с крыш, закрученные кольцами вокруг разбитых фонарей.

Но так по-весеннему солнечен, мягок был тот майский день, так сияли, крутились в высоком голубом небе облака, такая шла по нему неправдоподобная тишина, такое распространялось по городу чудовищное безмолвие, что до боли наполнялся, плыл звон в ушах, и казалось, не было нигде в этом поверженном городе ни одного вооруженного солдата, ни обывателя.

Однако это было не так. Берлин, занятый солдатами, танками, орудиями, машинами, повозками, командными пунктами, хозяйственными частями, саперами, связистами, спустя три часа после завершающего выстрела возле баррикадированных Бранденбургских ворот, в каком-то неожиданном оцепенении погрузился, как в воду, скошенный ничем не оборимым и оцепеняющим сном.

Это было почти повальное наваждение сна, не подчиненное уже сознанию, которое в неистовстве многожданного облегчения кричало, верило, ликовало, что кончилось последнее сопротивление в Берлине, последняя крепость — рейхстаг пал, и солдаты, бравшие Берлин, вроде бы остановились на бегу с неразжатым предельным напряжением, пьяные возбуждением, свершившимся наконец счастьем, ошеломленные тишиной. Все, пошатываясь, расстегивали пропотевшие воротники гимнастерок, трясущимися от усталости пальцами сворачивали цигарки и тут же со слипающимися глазами, иные даже не докурив на солнцепеке, валились под колоннами у нагретых ступеней рейхстага, на песчаные дорожки, на каменные плиты молчаливых кирх, на ковры богатых особняков, на постели брошенных квартир, валились, не раздеваясь и не откинув толстых стеганых бюргерских одеял, спали в танках и на снарядных ящиках, сидя на станинах орудий, стоя у котлов кухонь в неловких позах, лежа грудью на столах, на подоконниках,— пружина, сжатая четырьмя годами войны, наконец освобожденно разжалась, и ее крайней точкой окончательного разжатия были не еда, не глоток воды, а сон.

Сон этот, посреди еще местами дымившего Берлина, продолжался несколько часов, и хотя бессонно работали только командные пункты, беспрерывно передавая в соседние армии, в Москву весть о прекращении огня в центре «логова», о падении рейхсканцелярии и рейхстага, о самоубийстве Гитлера, никто из через силу бодрствовавших строевых или штабных офицеров не нашел бы в себе человеческой воли поднять скошенных усталостью солдат, отдать приказ прежним командным голосом, никто сейчас не имел на это права.

Облитый теплым майским солнцем с бездонно сияющего неба, затихший Берлин глубоко спал, и, как в затянувшиеся ночные часы, повсюду наглухо закрыты были подъезды, опущены металлические жалюзи баров и уцелевших витрин, но в сумрачно затаенных квартирах чужие испуганные глаза жадно и быстро приникали к щелям ставен, должно быть, веря и не веря в то, что видели на улицах своего старого немецкого города. Нигде уже не было видно былого масленого блеска, утренней чистоты вымытых мостовых, на всей скорости скользящих по этому блеску длинных машин генерального штаба, педантично выбритых патрулей, офицеров в плащах с пелеринами; нигде уже не было обычных ежедневных прохожих, приподымающих шляпы при встречах, покупающих в киосках свежие газеты, и молоденький, хорошо причесанный, веселый кельнер в белоснежном переднике уже не нес на подносе кружку холодного янтарного пива, не перебегал деловито улицу от ближнего бара к парикмахерской, где брился какой-нибудь любитель разнеженно отдохнуть в кресле после душистой мыльной пены на щеках, мягкой бритвы, кельнской воды, после горячего компресса, приятно распарившего кожу лица.

Прежнего добропорядочного, строгорежимного и размеренного Берлина не было.

Батарея, в которой Никитин командовал взводом, наступала вместе с пехотой восточнее Тиргартена по направлению к бункерам рейхсканцелярии, метр за метром продвигалась по широкой аллее, мимо какого-то глухого забора — с той стороны сквозь отдаленное гудение танков жарко и часто рассыпалась автоматная пальба, прострочена грубыми очередями пулеметов. И раза два почудилось,— донесся оттуда дикий утробный рев (так не мог кричать человек), и вездесущий подносчик снарядов Ушатиков, белобровый, длинношеий парень, по причине наивности не переставший всему удивляться, подбежал к Никитину и, испуганно вытаращив голубиные глаза, сообщил, что в проломе забора вроде видны под деревьями клетки со зверями, и, кажись, слон на горке с поднятым хоботом ходит, а танки наши, похоже, без выстрелов по дорожкам продвигаются, но по ним фаустники и автоматчики спереди лупят, и «тридцатьчетверка» перед мостиком горит.

Никитин по разговорам знал, что левее их дивизии введены в бой танки генерала Катукова, и в тот момент, когда Ушатиков сообщил о появлении «тридцатьчетверок» в зоопарке, почувствовал вдруг свои орудия вблизи бункеров и подумал только: «Рядом».

Двое суток через проломы в домах, по навалам кирпича и щебня в бывших квартирах, через обвалянные балки перекрытий батарея на руках подтягивала орудия до района «Zoo». Северо-западные подходы к зоопарку простреливались днем и ночью мощными точками обороны на углах забаррикадированных улиц — проскочить на машинах было невозможно. А когда наконец выкатили первые орудия на влажную прошлогоднюю листву огромного парка, еще сырого, сквозистого, пахнущего осенней прелью, но уже молодо и нежно зеленеющего листочками, когда открыли огонь по ближним самоходкам, стоявшим полудугой за кустами, всю батарею охватило неудержимое сумасшедшее неистовство.

Самоходки, медленно пятясь, отходили в чащу по каким-то знакомым им дорогам, вновь выползали на перекрестки аллей, пехота впереди залегала и подымалась, рассачивалась меж деревьев, автоматные очереди, беглые раскаты орудий срывали с сотрясаемых ветвей молодую листву, и дым выстрелов самоходок и выстрелов батарей, поспешно мелькающие в нем кометы разрывов сплошь скрыли черно-

БЕРЕГ

лиловой наволочью небо над парком, и потерялся отсчет времени — утро было, день или сумерки, и появлялась отчаянная мысль, что потонувший в непробиваемой мгле этот парк не в центре Берлина, а отъединен от всего мира, что впереди нет нашей пехоты, нет никакого продвижения, нет ничего, кроме огня, грохота, лязга и дыма... Изредка уловимое гудение танков за бетонной оградой, дикий животный рев оттуда, и оскалы пламени во тьме аллей, и жирно дымившие на перекрестках троп самоходки, и упругое дрожание земли, вздохи, сопение, завывание тяжелых снарядов на разных воздушных этажах зачерненного поднебесья, и бесконечные молотообразные удары разрывов в близком городе, недалекие строчки очередей — все это смешалось, задержалось, не изменяясь, на одном месте, там, где должна была быть недосягаемая орудиями оборона немцев и где ее не было.

Но вечером около орудий возникли неожи-

данно люди, двое мальчишек-связистов из пехоты. Они с треском катушек, с живой перекличкой, будто и немцев нигде не было, протягивали в потемках неизвестно куда линию; пробегая мимо расчетов, закричали что-то озорное, грубое, подначивающее артиллеристов, разглядев не лица, а черные, в пороховой саже маски вместо лиц, и, несдержанно хохоча, сообщили, как выстрелили: «Наши в бункерах! Во дворе одни мертвые фрицы! Хана там им полная! Оттуда на капэ связь тянем! А Гитлера, усатого черта, не нашли там!»

И молниеносно пропали в темноте, прокладывая тонкий провод по ветвям деревьев, а Никитин, до тошнотного предела изнеможенный нескончаемым боем, вчерашним выкатыванием орудий через проломы в домах, как-то потерял сразу, увидев связистов, азартно подгоняющее желание посмотреть ненавистную и долгожданную полосу сопротивления немцев, уже захваченную пехотинцами.

— Спать,— еле ворочая языком, безголосо выговорил он.— Кто хочет, принести воды, умыться и спать. До приказа.

Он так и не увидел эти бункера рейхсканцелярии. На рассвете, по холодку, его разбудили шум мотора, голоса — и он тревожно вскинулся на расстеленных под орудиями ветвях, отбросил шинель с головы. Рядом стоял часовой, наводчик третьего орудия Таткин, продрогший на ветерке парковой сырости, и зябко улыбался двойными заячьими губами в пшеничные усы, отпущенные, вероятно, для того, чтобы скрывать этот дефект.

— Что? — крикнул Никитин.

— Командир батареи прибыл,— ответил Таткин, покашливая и согреваясь нелепым приплясыванием.— Гранатуров-то наш... Да еще кухню приволок на автомобиле.

Вокруг было необычно тихо и светло. Нигде не раздавалось ни одного выстрела. Взвод спал между станин на брезенте, прикрывшись шинелями. А посредине аллеи, неподалеку, за орудиями, поблескивал новенький трофейный «оппель» с прицепленной кухней, уютный дымок струился под деревьями, и старшина батареи, быкообразный, неповоротливый, напружив багровую шею, отвинчивал на пару с поваром крышку котла, видимо, очень горячую — оба то и дело отдергивали руки, мотали пальцами. И, похрустывая влажными листьями на газоне, от «оппеля» крупными шагами шел командир батареи, старший лейтенант Гранатуров, поправляя мощными плечами накинутую длиннополую шинель, а из-под полы высовывалась перебинтованная кисть на марлевой перевязи. Матовое его лицо, заметное щегольскими косыми бачками и крючковатым носом с крутым вырезом ноздрей, всегда как бы готовое разозлиться, было сейчас оживленно. Он крикнул грубовато-весело:

— Никитин, жив? Штаб обороны Берлина взяли, а вы как на перинах дрыхнете, сундукилошади! Ну и батарея у меня! Подъем! Всем жрать! Старшина, раздай трофейный шнапс для бодрости духа да так накорми, чтоб животы трещали! Ясно? Небось, думал, Никитин, руку мне царапнуло, так я в госпиталь лягу? Ни хрена подобного! Перевязку сделали, укольчик в задницу всадили от столбняка на всякий случай, а потом в один дом на ночь спикировал, и — вот, как видишь, на «оппеле» прикатил с кухонным прицепом, ха-ха! А по дороге в зоопарк и на капэ полка закатил! У тебя, сразу вижу, связи с ним нет! Дьяволы-лошади, без меня-то вздохнули, видать! Где Княжко?

Гранатуров два дня назад был ранен на прямой наводке при обстреле занятой немцами станции метро на берегу Шпрее, оттуда был отправлен в медсанбат, и лейтенант Княжко, командир первого взвода, остался за него. Никитин, окончательно разбуженный рокочущим голосом комбата, хотел было доложить о продвижении взвода через проломы в домах к Тиргартену, о вчерашнем бое с самоходками, о том, что лейтенант Княжко, командуя своими двумя орудиями, находится справа на соседней аллее. Но Гранатуров слушать не стал. Он отсек его доклад взмахом здоровой руки и, глядя на зашевелившихся между станинами солдат, не отвел, а толкнул Никитина в сторону от орудий, сказал вполголоса, что — без бинокля видно — Берлину крышка и, по слухам в штабе, дивизию, надо полагать, будут выводить куда-то из города, поэтому на всякий случай приготовиться к маршу. И, сказав это, зашагал к солдатам, а они, донельзя вымотанные вчерашним боем, не отдохнувшие, спросонок крякая, сплевывая, прокашливаясь, закуривали щедро раздаваемые старшиной немецкие сигареты, глазели на трофейный «оппель», на прицепленную к нему кухню, и уже кое-кто, взбадриваясь, начал позванивать котелками.

— Ну что, что, ребята, возитесь, как жуки навозные? — крикнул Гранатуров.— Небось, по самоходкам стрелять — это вам не среди львов атаковать! Не ясно? — Он превесело выругался.— По дороге мы тут со старшиной в зоопарк завернули! Львы, стервецы, до сейчас по дорожкам расхаживают, волки вокруг слона стаей бегают, а бегемот в бассейне лежит с миной в животе. Вот где хлебнули славяне! Самоходки не в счет, ерундовина! Так или нет?

Слова Гранатурова о выводе дивизии подтвердились. В полдень второго мая был получен приказ — артполку сняться и двигаться по шоссе Берлин — Кёнигсдорф. Никто в батарее не знал причины спешной перегруппировки и, поговаривая об отдыхе, ехали по улицам Берлина в странной, опустившейся на землю тишине, такой пронзительно огромной, такой невероятной посреди голубого неба, обглоданных домов, дыма и развалин, что казалось, оглохли все.

«Их вайс нихт, вас золь эс бедойтен, дас их зо трауриг бин... Ди люфт ист кюль унд эс дункельт...» Черт, а как же дальше? Забыл. Кто это написал — Гете или Гейне? Лорелея, какая-то сказка о Лорелее!.. Кажется, с распущенными волосами сидела на скале, на берегу Рейна, а вокруг была потрясающая тишина и струились волны. А она зачем-то пела, и, по-моему, что-то грустное. Да, да, что-то такое грустное. Так кто же написал в конце концов — Гете или Гейне? Все забыл, вот молодец! В каком это учили классе? В восьмом или в девятом? Ах, какой умница, какой молодец, какой знаток немецкого языка! «Хенде хох», «нихт шиссен», «шнеллер», «шайсе». Ну это я знаю и весь мат немецкий знаю! Прекрасно, герр лейтенант! Итак, как же спросить, положим: вы читали сказку о Лорелее? Или, например, сколько стоит кружка пива?»

Никитин, нежась в постели под пуховой периной, листал разговорник, дурашливо разговаривал с самим собой и наслаждался прохладой, утренним покоем, розовеющими бликами на потолке немецкой уютненькой мансарды, где он спал один, отдаваясь часами благостному после сна ничегонеделанию. Целые сутки ему не нужно было беспокоиться о чем-то, отдавать необходимые распоряжения, лично проверять посты ночью, что нужно было обязательно делать на передовой, ожидать требовательного телефонного звонка, внезапного приказа, вызова к командиру батареи перед наступлением или перед маршем. Целые сутки стояли в маленьком городке Кёнигсдорфе, километрах в пятидесяти от Берлина, отведенные на отдых в сторону от главных событий, где-то еще происходивших, и дальний, чистенький городок этот, красно и весело сиявший черепичными кровлями, острием каменной кирхи, весь солнечный, провинциальный, весь в белой пелене зацветающих яблоневых садов и ранней, густой, снежно-белой сирени, нависавшей из-за оград над тротуарами, был совсем не тронут войной, не задет ни одним снарядом, ни одним выстрелом. Война прошла мимо него чуть слышимой в отдалении канонадой, дребезжанием стекол, низким ревом советских штурмовиков, лишь дважды прошедших над крышами во время боев в Берлине, как узнал потом Никитин. Но все же, когда артполк вечером входил в городок, угрожающе нарушая сон его соединенным гулом «студебеккеров», улочки были безлюдны, ни единого огонька не зажигалось в зашторенных окнах, и пятнами светлели на балконах траурно спущенные простыни.

Старший лейтенант Гранатуров отдал приказ занять огневые по юго-западной окраине, и Никитин разместил свой взвод в совершенно пустом доме, орудия были вкопаны на открытой позиции, в ста пятидесяти метрах за оградой яблоневого сада, за которым, как огромная вытянутая чаша, обводило окраину городка большое озеро, и был виден за озером темнеющий лес, полоска шоссе из леса, прорезанная меж весенних лугов (направление стрельбы),— там, в лесу, по сведениям Гранатурова, ночами «втихаря» еще шастали фанатичные «вервольфы», остатки разбитых на подступах к Берлину фашистских частей.

Но чувство привычной опасности на передовой, заставляющее спать с оружием на расстоянии протянутой руки, вскакивать при малейшем шорохе даже в состоянии мертвящего затишья,— это металлически острое чувство опасности исчезло по первому утру, смытое реденьким парным майским дождичком, текучей по яблоневым садам деревенской тишиной, солнечным, как радость, теплом на буйно зеленой и сочной после дождичка траве,— и вскоре мирно запахло в городке нагретым камнем, тонко-сладким ароматом сирени.

Целые сутки, каких, пожалуй, за всю войну не было, солдаты отмывались, отчищались, отстирывались, отглаживались, отъедались, разместившись в невообразимой домашней благоустроенности, под добротными немецкими крышами, где поражали аккуратностью чистые кухни, уставленные по полочкам разнокалиберными кастрюльками и баночками, где вконец удивляли отделанные разноцветным кафелем ванные с туалетом, роскошными зеркалами и пушистыми ковриками на полу, где в спальнях были невиданно широкие постели, толстые перины, мягкие подушки,— все представлялось фантастическим, начавшимся вчера праздником, и не верилось, что в нескольких десятках километров отсюда могли быть угрюмые развалины Берлина, пьяный угар горелого камня.

Из штаба полка, из дивизиона не поступало никаких приказов, и, кроме утренней и вечерней поверки, назначений в караул, батарея ничем военным не занималась, жизнь пошла вольно: спокойный завтрак, осмотр орудий, обед, длительный ужин, запиваемый «биром» и «шнапсом», отбой, разговоры о перепуганных фрау вместе с бесконечным курением пресноватых немецких сигарет, смехом, солеными шуточками, подначиванием разговеться немочками, которые кое-кому улыбаться из окон начали, шумная до полуночи игра в карты на трофейные зажигалки, кортики и пистолеты,— и детски безмятежный сон до утра. Война, Берлин, сопротивление эсэсовских частей в Австрийских Альпах, наступление наших армий в Чехословакии, этот фронтовой мир вроде бы незаметно отделился, отошел на тысячи километров, канул в туманную и далекую нереальность, и осталась только действительность — одурманивающая тишина, запахи весенней свежести, солнценосный воздух, наполненный прозрачной синевой, радостная беззаботность отдыха.

В городке еще были закрыты магазины, парикмахерские, пивные бары, но уже изредка на улицах стали появляться пожилые немцы в черных костюмах, вязаных жилетках; сторожко поглядывали они на орудия, на машины, на повозки; завидев же встречных солдат и офицеров, почтительно приподымали над головами фетровые шляпы, издали приготавливали заискивающие улыбки, бормотали с покорностью: «Guten Tag, Herr Soldat!», «Guten Tag, Herr Offizier!»

Никитин, как и все, пребывал в состоянии раскованной и ленивой беспечности, как и все, почти не думал, что ушедшая куда-то к близкому концу война может нарушить этот судьбой ниспосланный батарее покой, поэтому решил от нечего делать изучать немецкий язык по военному разговорнику, выданному офицерам на границе Германии.

И этим ранним утром он с благим удовольствием валялся на постели, разговаривал вслух, перелистывал разговорник и после крепкого сна, без тревог, без вызовов, овеянный этим счастливым покоем, особенно чувствовал свое отдохнувшее тело, свое физическое здоровье, чистое белье.

— «Их вайс нихт, вас золь эс бедойтен, дас их зо трауриг бин...» Так... переводим: «Я не знаю, что это означает, почему я такой грустный...» Вот это я помню,— говорил вслух Никитин, потягиваясь под пуховой периной и оглядывая веселенькую, залитую розоватым солнцем комнатку, оклеенную выцветшими обоями, разрисованными цветочками и листочками, поглядывая на фотографии усатых стариков при котелках и солидных старух в древних кружевных шляпах, на старинный потрескавшийся комод, бельевой шкаф, круглое зеркальце в рамке слева от двери, на столик с чернильным прибором и свечой, прикрытой колпачком, на весь этот кем-то по неизвестной причине оставленный уют.— В самом деле,— сказал Никитин,— мне грустно потому, что я не знаю, кто тут жил. Как это будет по-немецки? Кто — вер. Жизнь — лебен. Ну, а теперь, герр лейтенант, попробуем сложить фразу!..

Фразу, однако, он не сложил: на первом этаже хлопнула, ударила по тишине дверь, кто-то там вошел со двора, затем внизу рявкнула луженая глотка: «Подъем! Прекращай дрыхнуть, славяне!» — и сейчас же послышались заспанные голоса, покряхтыванье, смех сквозь протяжную зевоту, и чей-то тенорок спохватился, воскликнул:

— Ах, братцы, какую я бабенку во сне видел... Стоит она у забора и эдак с прищуром кивает, кивает мне...

— А ты что? Чесался, дурья голова, или действовал? Дальше что было?

— Рас-стройство!.. Всегда во сне как следовает не получается, известно, видение одно! — пояснил зубоскалящий тенорок.— Эх, ребя, гладкую бы какую-нибудь на эту перинку, под бочок, неделю бы не жрал, а только бы... Ты откуда прибег, сержант? Чего загремел? Гулял ночь никак, а людей чуть свет вздымаешь!

И переливистый командный голос сержанта Меженина:

— А ну, бриться, умываться, туалет навести, котелки в зубы — и за завтраком! Медведя давите много! Опухли от сна! Все! Подымайсь! Лейтенанта разбудили?

— Да пусть себе спит, чего ему...

Потом Никитин услышал скрип тяжелых шагов на лестнице, отбросил разговорник, потянул с кресла обмундирование и, быстро надев галифе, отозвался:

— Я встал, Меженин! Входите! Что за спешное дело? Надеюсь, не танковая атака? Нун, битте, херайн! — добавил он по-немецки.— Бит-те!

— Разрешите, товарищ лейтенант?

Вошел командир третьего орудия сержант Меженин, сильный, широкий костью, немного полноватый, в набело выстиранной гимнастерке, хромовые офицерские сапоги и погоны были влажны, как будто только что шел по росе, задевал плечами мокрые кусты. Его лицо с молочным румянцем, густыми ресницами, светлыми и жесткими глазами было бы красивым, если бы не нагловатая полуухмылка, которая что-то отнимала у него слегка попорченными передними зубами. Считали Меженина везучим бабником, неисправимым сердцеедом, повсюду заводившим неизменно удачливые связи, стоило лишь батарее задержаться на день или два под крышами. Он не скрывал этого, носил в нагрудном кармане коллекцию фотокарточек, исписанных трогательными строчками, и, захмелев, порой хвастливо говорил, что коли уж его судьба смертью обманет, то бабы по нему жалостнее жены на всей Украине и Польше поплачут, что-что, а вспоминать сержанта Меженина будут. Но был он и везучим командиром орудия — пришел во взвод в дни форсирования Днепра, ранен не был ни разу, и награды нетрудно находили его, не затериваясь в долгих госпитальных поисках.

Меженин, загадочно щурясь, небрежно бросил руку к виску, усмехнулся:

— Гутен морген, товарищ лейтенант, одно дело к вам есть. Посоветоваться не мешало бы. А?

Никитин посмотрел на сырые сапоги, на потемневшие в росной влаге погоны командира орудия и удивленно спросил:

— Вы что... не спали со взводом? Где вы были, сержант?

— У фашисточек не был. Хотя они, стервочки, сами лезут,— заговорил с дерзкой твердостью Меженин, нисколько не оправдываясь, а только уточняя дело.— Идешь по улице, а они из окон пальцами показывают и жесты всякие...

— И что же? Где вы были ночью?

Никитин взял с кресла ремень, приятно гладкий, отполированный, ощутил теплый кожаный запах и, наслаждаясь прежним чувством здоровья, молодости хорошо выспавшегося человека, затянул ремень на талии. Затем подвинул к боку тоже теплую кобуру пистолета, подошел к зеркалу и стал причесываться, сделав строгое лицо. Ему не хотелось сейчас выговаривать Меженину за явное его отсутствие во взводе без разрешения, портить настроение бодрого весеннего утра, и это была наигранная строгость, чтобы чем-то напомнить о пока никем не отмененной еще дисциплине, несмотря на отдых и бесприказное положение батареи.

Меженин был старше его на девять лет, опытнее, гораздо сильнее физически, обладал умением подавлять подчиненных ему солдат вспышками грубой насмешки, и подчас — один на один с командиром орудия — Никитин испытывал неудобство и раздражение от его выпирающей, незастенчивой силы.

— И что же? — повторил Никитин, кончив причесываться, и увидел в зеркале наведенный ему в затылок светлый независимый взгляд сержанта.— Что хотите ответить, Меженин?

— А я вот хочу спросить... Вы, товарищ лейтенант, в трофеях немецких и в часиках кумекаете что-нибудь?

— Не ясно.— Никитин дунул на расческу.— Вы о чем?

— Айн момент, товарищ лейтенант.

Меженин вышел за дверь и тотчас внес с площадки лестницы и опустил на пол брезентовый мешок, не до конца застегнутый металлической «молнией», лиловые остатки раскрошенной сургучной печати висели на суровых нитках в той части сломанной наполовину «молнии», где недавно, видимо, был сорван опечатанный замочек. Меженин присел к мешку и, снизу безгрешно глянув на нахмуренного Никитина, узловатой рукой, на которой виднелась старая синяя наколка «Шура», дернул «молнию». Из раздвинутого мешка вынул несколько толстых, склеенных желтой полоской пачек купюр, положил их на кресло, после чего достал маленькую, изящную коробочку, в каких ювелиры продают серьги и кольца, вытянул оттуда на узком ремешочке серебристые часики.

— Глянъте, товарищ лейтенант, штамповка или не штамповка,— сказал Меженин, невинно прикрывая ресницами глаза.— Вы по-немецки малость петрите. Тут на циферблате какая-то фиговина по-ихнему написана. По футляру если... штамповка не должна быть.

— Где вы это взяли? Откуда?

Меженин невозмутимо помотал часами на ремешочке, подышал на фосфорический циферблат, протер стекло пальцем.

— Виноватую голову меч не сечет, товарищ лейтенант.

— Не виноватую, а повинную,— поправил Никитин.— Виноватую как раз и сечет. Ну, так где же взяли?

— Законно все, безо всякого Якова,— снисходительно проговорил Меженин и выпрямился.— На ночь, было дело, оторвался я в полевой госпиталь к знакомым сестричкам, у одной там день рождения, законная, кажись, причина. А расположились они в Фейн или... Штейн...дорфе, хрен его знает... не выговоришь, в деревушке, в общем, километров шесть отсюда. Возвращаюсь, значит, на рассвете, через лес, глядь — справа, за кустами, чернеет что-то, похоже — машина, по виду штабная, разбитая вдрызг. Миной разворотило ее и изуродовало, как бог черепаху. Посмотреть надо бы, думаю, ради такого интересного случая. Подхожу, а в машине барахло всякое и еще ящичек и мешок. Чистенькие. Очень уж любопытно стало, и вскрыл я их. А в ящике — часы, в мешке — пачки грошей. Для удобства двадцать штук часиков в мешок, а остальные там оставил, ящик в кустах замаскировал, чтобы не соблазняло кого. Вот так было дело, товарищ лейтенант. Интересуюсь, что за часики — ценные или дерьмо?

— А документы? Там были документы? — спросил Никитин.— Не взяли?

— На кой они вам — для музея, что ли? Война сегодня или завтра кончается. А вы документики спрашиваете. Ценность-то какая? Дешевле чиха.

Внизу, на первом этаже, все громче, все отчетливее разносились звучные голоса солдат, гремели котелки — оживленная, без серьезных забот, но предприимчивая перед завтраком суета, перед общим сбором взвода за столом, общими разговорами перед дозволенными «шнапсом» или пивом, сполна отпущенными старшиной из трофейных берлинских запасов.

— Все знаете, я вижу, сержант. Что война кончается, ясно. А кто вам сообщил, что именно завтра кончится? Сам господь бог?

— Ноздрей чую, товарищ лейтенант. Для нас тут — все, шабаш, стрелять мы кончили.

— Хотел бы. Но ваше чутье, сержант, еще не аргумент.

Он, по обыкновению, уже говорил с Меженином чрезмерно официально, и это опять была выработанная норма защиты в общении со своим командиром орудия. Его нагловато-самонадеянная усмешка сомкнутыми губами, его с холодной пустинкой глаза постоянно выражали, мнилось, полускрытое презрение к Никитину, этому москвичу-лейтенанту, интеллигентному чисторучке, оторванному от мамы и папы, от сладких барбарисок, от задачек в школе, тогда как сам Меженин за тридцать прожитых лет хлебнул разного опыта через край.

— Посмотрим, какую ценность вы обнаружили, сержант.

Никитин взял новую тугую пачку купюр, увидел под черной печатью изображение орла, «Deutsche Reichsbank 5000» и швырнул пачку в раскрытый мешок, точно камень, не представляющий никакого интереса, потом осмотрел часики, протянутые Меженином, и за кончик ремешка опустил их в подставленную ладонь сержанта, сказал с брезгливым безразличием:

— Ерунда, Меженин. Рейхсмарки ни к чему, можно в печку. Часы — не швейцарские. Пасхальные подарки немецким солдатам. Поняли?

— Ясныть,— насмешливо смежил женские ресницы Меженин.— А может, товарищ лейтенант, рейхсмарки-то к чему? А? Миллион грошей... А?

— Возьмите мешок и идите к взводу,— сказал Никитин, прерывая разговор, и досадливо пощупал белесую щетинку на подбородке.— Думал, у вас дело, а оказалось, пустое. Скажите Ушатикову, пусть принесет горячей воды. Побреюсь и приду завтракать.

— Ясныть,— Меженин надвинул на бровь пилотку, взвалил мешок на скошенное полноватое плечо, вышел, застучал сапогами по лестнице, внизу скомандовал зверским голосом: — Ушатиков! Горячей воды лейтенанту для туалета! И...— Он срезал повелительную интонацию, добавил что-то не вполне расслышанное вверху Никитиным.

На первом этаже фугасным разрывом, сотрясающим стены, грохнул смех, охотно заржали крепкими глотками на ответное чье-то словцо, но в солдатском хохоте, фырканье не было недружелюбия или злобы по отношению к Никитину, он знал это. Весь взвод, выспавшийся, хорошо отдохнувший в тепле и домашней благодати, был расположен к любой шутке, к любой остроте, подхватывая ее общим гоготом

здорового веселья, то и дело вспыхивающего игривым огоньком.

«А Меженин недобр ко мне»,— подумал Никитин, раскладывая на подоконнике никелированную безопасную бритву, пушистый помазок, складной стаканчик-мыльницу и коробочку острейших золингеновских лезвий — целый набор, предназначенный, по-видимому, в 1943 году быть рождественским подарком для какого-то немецкого офицера вместе с набором датских консервов, изюмом, французским шоколадом и игрушечной картонной елочкой, упакованными в пакетах, которые были взяты в качестве трофеев в одном из товарных эшелонов под Житомиром.

— Что там у вас за смех? — спросил Никитин, когда самый молоденький из взвода, Ушатиков, радостно сияя до ушей, принес и поставил на стул котелок кипятку и тут же неудержимо залился тоненьким смехом.

— Да разве их поймешь, товарищ лейтенант,— заговорил он, прыская в ладонь,— слово какое скажут и ржут.— И Ушатиков по-бабьи хлопнул длинными руками по бедрам, излучая восторг и удивление.— Хохотуны, смешинка всем в рот попала!

— Остроты знакомы. Идите завтракать,— сказал Никитин, слыша взрывы хохота снизу, и внезапно улыбнулся, зараженный смехом солдат.

Солнце стояло над крышами, не по-раннему жарко припекало подоконник, плечо Никитину, а он с замедленным удовольствием не обремененного заботами человека брился перед зеркалом, чувствуя в раскрытое окно дуновение смолистого теплого воздуха от сосен, и этот аромат трофейного душистого мыла, вскипавшего нежной пеной под щекотными движениями помазка на щеках, и неторопливое прикосновение бритвы, после которой и без того чистая кожа становилась свежей, гладкой, молодой. Бреясь, он всматривался в свое лицо, в блеск выспавшихся глаз и праздно и весело думал, не отпустить ли ему тонкие усики, какие щегольски начали носить еще на Одере пехотные разведчики. Он оставил ради эксперимента до конца бритья светлую, очень реденькую полоску над верхней губой, но усики не придавали его внешности ни солидности, ни безмятежного щегольства; минуту он изучающе ощупывал их, затем сказал вслух: «К черту!» — и решительно отказался оставлять лишнее украшение, что, несомненно, вызвало бы кривую ухмылочку Меженина, его подъедающий возглас: «А лейтенант наш усики отпустил! К чему бы это?»

Закончив бритье, он смочил полотенце горячей водой и, разглядывая себя, обновленного, в зеркале, протер лицо, шею, грудь, испытывая бодрое настроение от прекрасного весеннего утра, и от этого парного компресса, от какой-то звонкости в каждом мускуле и оттого, что никуда не нужно было торопиться, ничего не надо решать, даже серьезно думать, чего нельзя было и предположить сутки назад в пылающем пожарами Берлине.

— Лейтенант, а лейтенант, завтракать,— сквозь пчелиное гудение послышался крик снизу: — Пиво стынет!

И Никитин, причесанный, застегнутый, провел влажным полотенцем по орденам, освежая эмаль, куда въелась пятнышками пороховая гарь, ощущая упругость тела и физическую чистоту, еще раз осмотрел свое лицо в зеркале и сказал опять вслух:

— Все отлично. И все прекрасно.

Когда же он спускался по винтовой лестнице в столовую, галдевшую голосами, и заскользил локтем по гладким деревянным перилам, его вдруг душным ветерком остановила мысль о том, что все это новое, легкое, бездумное, без близости войны, должно вот-вот оборваться, кончиться, исчезнуть, что он, его взвод в немецком городке живут в неправдоподобном и обманывающем тумане счастья, которое не может долго продолжаться. И вспомнил себя, грязного, потного, черного, с ввалившимися худыми щеками, каким предстало его лицо в том же зеркале позавчера ночью, после того, как, расположив солдат в свободном немецком доме, этом неожиданно посланном войной рае, он впервые перешагнул порог занятой им мансарды.

Продолжение следует.

БЕРЕГ

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки И. ПЧЕЛКО

ГЛАВА ВТОРАЯ

В столовой, большой, накуренной, наискось из окон пронизанной столбами солнца, заполненной солдатами его взвода, в толчее и хаосе оживленного говора, смеха, шуточек, общего возбуждения вокруг стола запоздалое появление Никитина сразу было встречено обрадованными возгласами: «А, лейтенант, давай на свое место, все готово!» — и тот укол тревоги на лестнице прошел мгновенно — прошел ненужным напоминанием об опасности некстати. И он снова подумал удовлетворенно: «Конечно, не стоит ничего вбивать в голову, пока идет все отлично! Главное — жив мой взвод и жив я! Что же еще нужно?»

Большинство солдат толпились у края стола, шумели позади сержанта Меженина, а он, стоя, коленкой придерживал мешок на стуле, вертел на ремешке вынутые из коробки часики, оглядывал солдат сощуренными глазами и говорил громко:

— Рассудим, братцы, что за это дело можно иметь? Поджаренную свининку, пиво и всякую немецкую жратву. Спрашивается: как такое сделать? Кумекаю: а раз плюнуть! Таткин, слушай сюда! После завтрака тебе сходить к хозяину закрытого магазина, что напротив, и предложить: мол, так и так, не желаете ли часики по обоюдному соглашению насчет обмена, полюбовно, хоть мы вас, сволочей, и придушить должны, а кое-как терпим! Нет возражений, пустить трофеи по этому делу?

— Какое там! Таткин сможет, он голова в цифрах! Счетоводом в колхозе на счетах чесал, небось, как на пианинах. Его б старшиной поставить, у него подсчет снайперский! — захохотали позади Меженина, и там, в толпе, любовно принялись тискать, хлопать по плечам, по шее низенького ростом, рыжего Таткина, всегда обстоятельно расчетливого, хозяйственного наводчика третьего орудия, который даже пригнулся, закашлялся под напором незлобивого солдатского подзадоривания.— Да если бы Таткин в интендантах ходил, второй раз Берлин брать можно было бы! Таткин у нас ровно генерал без звания, мозгой в разных направлениях ворочает!

— А в мешке никак все часики? — поинтересовался Таткин, польщенный всеобщим признанием своих хозяйственных заслуг, и раздвинул «молнию» мешка проворными руками.— Чего тут? Бумаги вроде шуршат... Что это такое?

— Миллионы, Таткин, в упор гляди, едрена Матрена! — крикнул Меженин.— Законные рейхсмарки, раскумекал, нет? Корову и дом целый можно купить да немочку в придачу, что пальчиком из окна за сигареты манит, понял? Гляди сюда, Таткин!..— И, заранее угадывая впечатление, которое он сейчас произведет, Меженин выхватил из мешка и хлестнул по краю стола пухлой пачкой купюр.— В каждой такой по пять тысяч! Понял, отчего козел хвост поднял? Держи эту пачку для разведки, Таткин, да разнюхай в любом магазинчике, берут их или нет? А с ними, братцы, жить можно будет!

— Неужто всамделе миллионы?— ахнул Ушатиков и по-птичьи вытянул через плечо Меженина длинную шею, стараясь поближе разглядеть деньги на столе.— Это мы навроде капиталистов? Мешок? Неужто настоящие? — вскрикнул он по обыкновению удивленно и восторженно.

— Выходит, миллионщиком ты стал, малец, раскрывай карманы!

— Да куда столько-то? Че делать-то? Ужасти!..

— С кашей съешь заместо закуски и добавку попросишь! Не растеряешься!..

В заразительном и любвеобильном порыве друг к другу, толкаясь, дурачась, солдаты теперь увесисто захлопали ладонями по плечам, по худенькой спине Ушатикова, успокаивая его этим дружным тисканьем, а он прыснул, залился жеребячьим смехом, как от щекотки, и тогда старший сержант Зыкин, командир четвертого орудия, человек в серьезных годах, семейный, рассудительный, не умевший радоваться долго, сплюнул цигарку, дососанную до губ, позвал внушительным голосом:

— Ушатиков!

— Что?

— Это как называется? — спросил Зыкин и показал коричневый обкуренный палец.— Понятие имеешь?

— Известно что, товарищ старший сержант, палец ваш, я не вижу разве? — заморгал Ушатиков с ничем не истребимой, обезоруживающей наивностью.

— Врешь, Ушатиков, не палец, а оглобля. Или, скажем, не оглобля, а курица,— сказал Зыкин в сердцах.— Посмотри, малец, лучше. Или без очков не видишь?

— Как так курица? Всамделе смеетесь, товарищ старший сержант?

— Замечание имею. Ты, Ушатиков, из смеха и вопросов состоишь,— проговорил Зыкин.— И какие такие философы, коровьи дети, у вас в Калуге родятся? «Неужто немцы?» «Неужто танки?» Все твои вопросы наперед знаю. И тут тебя опять как дубиной по голове удивление оглушило: «Неужто настоящие?» А ежели настоящие, ну чего ты с миллионами делать будешь? Живем мы, братцы, как на курорте, и ровно оглупели, как мухи! В голове — карусель.

— Но-но, Зыкин! — прикрикнул Меженин, мерцая глазами, и голос прозвучал властно.— Ты моих орлов не трогай! Если польза от чего есть, с какой стати ушами хлопать? Не заслужили, что ль? Верно, ребята? Ты, Зыкин, у нас святой, молись за нас! Трофеи по всем статьям взяты. И чин чинарем. Как, Таткин, нормальные гроши? Докладывай, бухгалтерская голова, чтоб все слышали, есть в них какая ценность, или я оглупел, как вон Зыкин говорит? Себе в карман миллион не положу, мама так делать не велела!

Он терпкой насмешкой подавил возражение Зыкина, и солдаты, посмеиваясь, одобрительно загудели, подмываемые любопытством, сгрудились за спиной рыженького Таткина, который между тем с деловой предосторожностью отодрал ногтем скрепляющую новенькую пачку купюр банковскую полоску, крякнув, священнодейственно послюнив два пальца, вытянул одну бумажку из пачки и, рассматривая против солнца, подозрительно покрутил ее и так и сяк; хитрое усатое личико его выражало важную работу и значительность действия.

— Похоже, не фальшивые,— сказал он.— Рейхсмарка тысячного достоинства. С такими дела не имел. Не знаю таких.

И он, бережно вложив купюру обратно в пачку, ударил пальцами о пальцы, точно пыль счищал.

— Так если ты, бухгалтер, счетовод и петришь в финансах, значит — будешь дело иметь! — возвысил голос Меженин.— Соображай, бухгалтерская голова, на полных денежных правах, понял, нет? Мы платим немчишкам, и все — законно!

— Давай, Таткин, давай! — послышались ободряющие голоса.— С паршивой овцы хоть шерсти клок! Они у нас, гады, без денег все брали, а мы как-никак по совести... А часики куда? Значит, мы теперь миллионщики, ха-ха! Ну, сержант, ухватистый ты у нас... А завтрак-то, братцы, про кашу и бир забыли! И лейтенант ждет!

«Глупо и непонятно. Зачем им деньги?» — подумал Никитин, молча наблюдая за Таткиным, за распорядительностью Меженина, за солдатами своего взвода, не в меру возбужденными этими деньгами и часиками — ведь еще сутки назад там, в Берлине, на аллеях Zoo, ничто не имело ценности, кроме одного-единственного — жизни.

— Меженин, уберите со стола всю эту ерунду! Пора завтракать, — сказал Никитин в момент краткой тишины и сел на «лейтенантское» место, добавил: — Мешок с трофеями спрячьте-ка под стол, а то очень много шума. Так что выдал сегодня старшина? Пиво? Раздавайте каждому по три бутылки, сержант, вместо ваших трофеев. Так будет лучше.

За завтраком пили пиво, шипевшее пеной из горлышек темных бутылок, наливали его в большие граненые кружки, взятые на кухне, чокались толстым стеклом под шутливые тосты, аппетитно ели кашу, звенели массивными золингеновскими ложками по фарфоровым тарелкам, тоже взятым «напрокат» в кухонном буфете, говорили, кричали, перебивая друг друга, вспоминали шестнадцать дней в Берлине, уличные бои и баррикады, как проламывались через квартиры, через стены домов к Тиргартену,— и, отмытые, покрасневшие, радостно хохотали при каждой пришедшей на память детали, а солнце яростно ломилось в окна, широко рассекало стол горячими белыми квадратами, пекло спины сквозь гимнастерки — становилось жарко. И в этом нескончаемом завтраке, тостах, неумолкающих разговорах, в сигаретном и махорочном дыму, вкусе чужого пива, в шумной тесноте столовой, весенней жаре было какое-то ненасытное, жадное и нетерпеливое пиршество людей, только что удачливо пролезших сквозь игольное ушко, все помнивших и все забывших для того, чтобы жить теперь.

Никитин отхлебывал пиво, смотрел на солдат, знакомых и чем-то незнакомых ему по новым жестам, улыбкам, тону голоса,— и за сутки ощутимая перемена этой окончательно счастливой судьбы теплым наплывом блаженства охватывала его. И сержант Меженин, весь прочный, с расстегнутым воротом гимнастерки, потный, без конца выкрикивающий тосты за «капут войне, за баб, за немчишек, которым всем передохнуть», и наивный круглоглазый Ушатиков со своим удивленным всплеском рук, готовый залиться звонким серебристым бубенчиком, охотно засмеяться любому посоленному слову, и хитренький Таткин, украдкой составляющий выпитые бутылки под стол, подальше от глаз начальства, и степенный, серьезный командир четвертого орудия Зыкин, глубокомысленно покуривающий гигантской величины махорочные самокрутки,— эти разные и близкие ему люди почему-то сейчас успокаивали его, вливали в душу растроганное и доброе согласие со всем их настоящим и прошлым, и невозможно было представить их другими людьми, усталыми, злыми, закопченными, которыми он командовал, ежедневно отвечая за жизнь каждого, и на которых недавно раздражался при виде той глупости с часиками и деньгами. И сожалея уже, Никитин подумал: «Почему я должен мешать им? Пусть делают, что хотят...»

Потом он подумал, что право на раздражение давало ему офицерское звание, хотя, может быть, у него не было права советовать им, принимать решения в житейских вопросах, потому что одно знал лучше их — то, что было огневыми позициями, орудиями, вычислением прицела и стрельбой, одно это, главное, связанное с жизнью каждого из взвода, держало и укрепляло уважение к нему, как если бы он был опытнее всех в понимании самого важного на войне, независимо от возраста.

Он командовал людьми, но не умел, подобно немногим солдатам, развести костер на ветреном морозе, не мог сварить по неписаным правилам суп на костре, ловко растопить в хате печку, переночевать с женщиной или, накрывшись плащ-палаткой, «проверить» улей на пасеке пустой деревни, выкачав необъяснимым способом полное ведро меда, не мог перед стрельбой и согреть спину, кругообразно потираясь о щит орудия, что часто делал в обороне зимой пожилой Зыкин. Однако он научился необходимой грубоватости, командному голосу, офицерскому самолюбию и тем крепким и спасительным в бою словечкам, которые не отличали его от других. Когда говорили о женщинах, он принимал снисходительно-знающий вид, ибо если бы Меженин, в особенности после Житомира, понял, что Никитин единый раз на войне по-настоящему обнимал и целовал женщину, он, вероятно, стал бы открыто презирать его интеллигентскую несуразность.

Разговоры за столом не умолкали, дым сгущался, волнисто покачивался над красными лицами, перемешивались взбудораженные голоса, будто опять с утра начался и продолжался вчерашний праздник, и Никитин не прерывал затянувшийся завтрак, не уходил из столовой, а приятно погружался в этот веселый гул, ощущая раскаленно пылающее за окном солнце и сияние мельчайших пылинок в его неиссякаемо яром потоке.

— А вот что, други мои, было, когда мы через проломы в Тиргартен шли,— степенно заговорил старший сержант Зыкин, посасывая толстенную самокрутку.— В четвертом, как помню, доме пролез я в дыру на размер проломленной печки, чтобы, значит, разузнать, как сподручнее орудие, дубину-то нашу, протаскивать. Дело к вечеру было. Залезаю в немецкую квартиру, мебель поломанная, темнота, пыль везде толщиной в палец, сквозь щель

Продолжение. См. «Огонек» № 12.

на потолке маленько светом брезжит. А до этого мы в соседнем подвале трофейных жирных консервов нажрались под завязку, живот крутит, спасу и терпежу никакого нет. Ну, как в таком положении орудие через пролом поволокешь, когда без удержу наизнанку выворачивает? И смех и грех. Только пролез я в дыру, ремень — на шею, автомат рядом положил и готов: присел, значит, орлом в углу, задумался, как полагается. Сижу и слышу: в темноте шорох какой-то, похоже — шебуршит что-то, потом кряхтенье началось — вздрогнул я даже и рукой за автомат. Глядь — в другом углу фриц сидит, тоже ремень на шее и тоже сильно задумался, как следовает, расположился, и вижу: автомат у ног...

— Ах ты, боже мой! Неужто фриц? Как так? Живой?—с ужасом изумления воскликнул Ушатиков и хлопнул ладошкой себя по бедру.— И впрямь живой?

— Это ты где, малец, видел, чтобы мертвый фриц с ремнем на шее по своей нужде сидел? — осуждающе глянул на него Зыкин, и вокруг разом засмеялись.— Так вот, увидел меня, моментом хвать за автомат, напрягся весь, застонал вроде, а в темноте разобрал я, в немолодых годах он уже. Что делать? Сидим секунды, не дышим и друг дружку из углов страшными глазами убиваем, друг дружку в плен берем. А тут так несет меня, что и никакой войны не надо, свет белый не мил. И в голове мельтешит что-то: думаю, если он первый начнет, тогда и я успею, мол... А он вдруг автомат свой осторожненько так положил и все смотрит, смотрит на меня, ровно овца больная. И я тоже свой на землю и тоже дурной овцой смотрю. Потом сделали мы это самое дело, он первый, как бешеный, вскочил, ремень в зубы, автомат на шею и в пролом — нырь, только задницей и блеснул! Ну, тогда и я встал... Вот такое было.

— Значит, испугался, Зыкин, а? — жестко хохотнул Меженин и ударил кулаком по столу, заглушая смех солдат.— Эх, евангелисты божьи! В церкву вам ходить! Да я б его не очередью, а одной пулей на дерьме срезал! Фрица пожалел?

Зыкин, размышляя, подул на самокрутку, сказал веско:

— Хоть умный ты, сержант, а дурак. В вечном деле все одинаковы. Тоже люди...

— Философ ты с куриных яиц, Зыкин! — ревниво сказал Меженин и бугорками прогнал желваки на скулах. — В этих случаях пусть лошади думают, у них голова большая... А я вот тоже раз в Берлине дуриком испугался, аж волосы дыбом. Возле того метро... Как эта улица называется? Унтер... ден... Линден, помните, ребята? Фрицевский пулеметчик никому дышать не давал — лупил с балкона очередями по перекрестку. Заметил, второй этаж, взбегаю по лестнице, ага, вот она квартира, звоночки, таблички, ударил плечом, а дверь, гадюка, открыта. В первой комнате — ковры, мебель, никого... Какая-то жратва на столе, бутылки, консервы. А квартира огромная. И пулемет смолк, тишина мертвая в доме. Держу палец на спусковом крючке, на цыпочках иду по комнатам, последняя дверь закрыта, я — торк ее. И враз за спиной кто-то человеческим голосом: «Ку-ку, ку-ку!..» Конец тебе, Меженин, думаю, все! Поворачиваюсь, как зверь, и режу очередями. Вижу — а это кукушка из часов выскакивает: «Ку-ку, ку-ку»,— а я по ней, по часам, по стенам, по зеркалам. Она выскакивает, а я по ней, по ней, сволочуге, пока вдрызг не раскокошил! Во, когда испуг был, Зыкин, а ты мне про поносного фрица вкручиваешь с философией от куриного нашеста! Хреновина! В рай ты мечтаешь попасть, Зыкин, вот твой угол зрения, тебе свечки по убитым фрицам ставить нужно! А в аду все равно встретимся — сколько ты немцев из своего орудия ухлопал? А?

— Напрасно часы и зеркала ты порушил,— рассудительно заметил Зыкин и начал слепливать новую цигарку.— В тебе черт сидит, Меженин, и хвостом вертит.

— Насчет хвоста это верно! — Меженин, жмурясь, как кот, с хрустом потянулся сильным, добротным телом.— Эту работу я уважаю! Эх, братцы, а до войны не то было. Работягой меня считали ударным. Бывало, придешь домой, головой ткнешься в подушку — мертвец! Жена с претензиями, конечно: «Нервы у тебя, значит, Петенька, очень здоровые». «Здоровые? — говорю.— Да я свои нервы давно на запчасти для трактора променял». Какая после этого любовь? Домкратом не подымешь! А на войне, что ж, здесь свободный разворот есть. Война кончится, братцы, и еще вспомним вольную жизнь!..

— Я и говорю, черт тебя изнутри ест,— повторил Зыкин.

— Всего не сожрет, что-нибудь да останется!

Меженин, как всегда, подавил Зыкина, всецело завладел общим вниманием взвода и, сладко потягиваясь, щурясь на майское солнце, поглаживал крутую, завешанную орденами грудь, — во всем удачливый красавец парень, которому прощалось многое за бездумную удаль, за разговорчивость, за необычную в бою везучесть, точно заговоренный он был и точно вместе с ним заговорен был его орудийный расчет, не понесший от границ Белоруссии ни одной потери. В бою с ним свободно и надежно было и было спокойно в любых обстоятельствах на передовой, он, чудилось, жил на войне, не задумываясь, прочно уверенный в неизменчивом везении своем и, не раз обласканный благосклонной судьбой, знал собственную цену в батарее.

— Вот поглядите, ребята, бухгалтер Таткин у нас топор-мужичок, а? — продолжал Меженин и, веселя солдат, подмигнул в сторону Таткина.— Молчит, как два умных. Тихий, цифры на уме, а ходок, видать, был — не приведи господь! Идет с работы, увидит какую-нибудь с толстыми ножками, счеты в кусты, и давай вокруг петушком круги делать. Рыжие, они бесовитые, опасные для девок, как дьяволы! Так, Таткин? Правильно говорю?

— Славяне, гляньте-ка! — крикнул кто-то, захохотав.— А Таткин три тарелки каши утер и полбуханки шорстнул, во-о аппетит!

Маленький, тщедушный, Таткин обладал на удивление неповторимым аппетитом, мог есть сколько угодно и когда угодно, порой грыз припасенные сухарики даже ночью на посту, похрустывая в темноте голодной мышью, и сейчас, застигнутый вниманием, не перестал жевать, острое его лисье личико было углубленным, серьезным.

— Соображаю я, товарищ сержант.— Он повел рыжими бровками на Меженина.— Об деньгах этих. Может, после завтрака и на разведку какого магазина идти?

— А ты, сообразительная голова, немецкий язык знаешь? Как говорить будешь: руками или глазами? — спросил Зыкин.

— Такое и без слов завсегда понятно. Деньги, они что... сами говорят.

— Таткин, люблю я тебя за расчетливость ума, а ты лучше скажи откровенно — куролесил, небось? — не унимался Меженин.— Гастролер ты, видать, и красивый мужчина был! И ростом вышел, и косая сажень в плечах, и на гармони вальсы наяривал! По всему вижу — ходок ты был неисправимый!

— В ум не приходило,— скромно опустил выгоревшие бровки некрасивый Таткин, и в этой его ангельской кротости было и нежелание и согласие участвовать в собственном розыгрыше, который время от времени падал на него и повторялся во взводе для общего увеселения.

— Врешь, Таткин, большого туману напускаешь! Рассказывай — послушаем, а потом я про Житомир кое-что веселое расскажу, хоть лейтенант чуть под суд меня не отдал! Да прошлое дело, анекдот получился. Рассказать, товарищ лейтенант, для смеху? Зуб на меня не будете иметь?

То, что Меженин не очень кстати вспомнил о Житомире, о том давнем и неприятном, что случилось там и что Никитин не хотел вспоминать, было словно бы направлено против него, против его стыдливой неопытности, распознанной тогда Меженины.

— А при чем Житомир, сержант? Все было глупо! — сказал он резко и, сказав, почувствовал, как запылало лицо под взглядом Меженина, густые женские ресницы его подрагивали в безвинном любопытстве.

— Не так, что ли, сказал, лейтенант? Я плохого не помню, а речь о бабах шла,— проговорил он.— А бабы на войне — тоже подарок или трофеи, так я считаю, ежели не вру...

— А я как раз о трофеях,— перебил Никитин, сердясь на звук своего голоса, на то, что придал какое-то значение словам Меженина о Житомире.— Именно насчет трофейных денег,— проговорил он совсем не то, что надо было сказать. — Зыкин прав: зачем они? Пришли в Германию, чтобы превратиться в торговцев? Часы — это другое. Раздайте их всем, Меженин, у кого нет. Хоть на посту будут точное время знать. А деньги... Никаких магазинов и никакой торговли. Ну-ка, Таткин, пересчитайте рейхсмарки («Зачем я сказал, чтобы пересчитали рейхсмарки?»). А лучше так: или сожгите их, Меженин, или сдайте в штаб полка, чтобы никаких глупых соблазнов не было. Не хочу, чтобы взвод оказался в дурацком положении купцов!

Он знал, что этим приказом мог разжечь в Меженине злость, задеть его самолюбие и одновременно мог возбудить недовольство солдат к тому, что он, командир взвода, решил сделать, как бы отнимая у них легкомысленную надежду на сладкую жизнь. Но невольно он отдал распоряжение, и все затихли, осторожно поглядывая на него, на Меженина, а тот, стиснув челюсти, всверлился в лицо Никитина жестко-светлыми глазами, выговорил, снисходительно ухмыляясь:

— Ясныть, лейтенант. Сделаю. Как приказано. Наше дело телячье.

И тотчас, загремев стулом, поднялся, весь расправился, красивый зрелой телесной ладностью, подошел к тому месту, где лежал мешок под столом, вытянул его, рванул «молнию», демонстративно-небрежно высыпал на стол перед Таткиным кучу плоских коробочек, разъехавшиеся пачки новеньких купюр и скомандовал:

— Кто не обжился часами, разбирай без паники! Таткин, считай гроши! Лейтенанту — право выбрать любые первые!

— Не надо. У меня еще ходят,— ответил Никитин и тут же подумал, что суеверно не заменял свои ручные часы, старенькие, почерневшие циферблатом от гари и окопной пыли, найденные им в офицерском блиндаже после почти бескровного боя под Гомелем.

В тот момент, когда солдаты, взбодренные командой Меженина, затолкались вблизи стола, охотливо разбирая наугад эти игрушечные на вид коробочки, в столовую вошел лейтенант Княжко, командир первого взвода, крикнул с порога:

— Здравию желаю, второй взвод! Привет, Никитин! Позавтракали? А почему кошку не кормите?

Он был очень молод, этот лейтенант Княжко, и так женственно тонок в талии и так подогнан, подтянут, сжат аккуратной гимнастеркой, крест-накрест перетянутой портупеей, и так нежно, по-девичьи зеленоглаз, что каждый раз при появлении его во взводе рождалось ощущение чего-то хрупкого, сверкающего, как узкий лучик на зеленой воде. И хотя это ощущение было обманчивым — нередко мальчишеское лицо Княжко становилось неприступным, гневно-упрямым, Никитина будто омывало в его присутствии веяние летнего свежего сквознячка, исходящего от голоса, взгляда, от всей его подобранной фигурки. Княжко был из московской профессорской семьи, учился на филологическом факультете, жил на Озерковской набережной, хорошо знал переулки Пятницкой, где жил Никитин, они никогда не встречали друг друга на замоскворецких тротуарах и сблизились только на фронте в конце сорок третьего года. Лейтенант Княжко прибыл, еще хромая, из тылового госпиталя, был назначен в батарею на место убитого командира первого взвода. До этого он служил в пехоте, командовал на Днепре ротой, но в связи с ранением и хромотой был не взят в стрелковую часть, а направлен по личному желанию в дивизионную артиллерию.

— Если нас посетил первый взвод, то, конечно, братский привет! — ответил Никитин, обрадованный приходу Княжко, испытывая странное подспудное чувство какого-то далекого июльского утра в замоскворецких тупичках с солнцем над заборами и тополиным пухом на мостовой.— Здравствуй, Андрей! А что такое — откуда у тебя кошка?

— Откуда, спрашиваешь? Это уж, второй взвод, недопустимое безобразие, на глазах у вас животное с голоду может умереть, а вы что?

Лейтенант Княжко выглядел, по обыкновению, педантично опрятным, ни единой складки на гимнастерке, светлые волосы причесаны на косой пробор, гладко влажны, грудь чуть выпукла, ослепляет полосой орденов, сапожки до безупречной чистоты зеркальны. Необычным

было то, что на сгибе руки он, словно фуражку на торжественном построении, держал лохматую дымчатую кошку и гладил ее зажмуренную, грязную морду, тыкавшуюся ему в плечо.

— Сидит, понимаешь, бедная, возле дома сирота сиротой и какую-то траву ест,— заявил Княжко.— Куда смотришь, Никитин? Ушатиков, дайте ей немедленно каши, накормите по-солдатски, а то к себе во взвод возьму!

Он на пол спустил с рук кошку, а она сейчас же легла на спину, показывая свалянную шерстку худого живота, потом разнеженно потерлась спиной о затоптанный сапогами ковер, ленивым движением лап будто приглашая продолжить начатую Княжко игру.

— Боже же мой, смотри ты, настоящая кошка! — ахнул, засмеялся Ушатиков, только что не без удовольствия наладив на запястье новые часики и мгновенно забыв про них.— Неужто немецкая? Кысанька, кысанька... Гляди, гляди, лапами что выделывает! По-русски она понимает? Как к ней обращаться-то?

— Только на чисто французском,— не улыбнувшись, Княжко щелчками сбил шерстинки на рукаве.— Немецкие кошки, как правило, воспитываются в лучших французских аристократических домах, но при этом не брезгают русской кашей. Вы поняли?

— Да я сурьезно, товарищ лейтенант... Ух, какая животная важная!

Ушатиков, вытаращив ласковые голубиные свои глаза, пощекотал кошке живот, кошка, продолжая играть, тронула, мягко ударила его лапой, а он заморгал, сидя на корточках, позвал разомлевшим, умиленным голосом:

— Кысанька, шпрехен, шпрехен, ком, ком, каши тебе дам... хенде хох, гут, гут, гутен морген... Ух, какая зверь солиднай!

— Вы ей голову заморочили,— не удерживая смех, сказал Никитин.— Наверное, немецкие кошки понимают один международный язык: кыс, кыс, кыс. Попробуйте. Если не пойдет, немецкий разговорник возьмите.

— А верно, товарищ лейтенант, должна соображать,— кыс, кыс, кыс! — умилялся Ушатиков и, пятясь на корточках, поманил кошку.— Сюда, сюда, я тебе и посудину найду. Сюда, сюда, в угол иди, а то невзначай раздавят тебя сапожищами-то...

— Есть что-нибудь новое, Андрей? — спросил Никитин.— Из штаба никаких слухов? Молчат до сих пор?

Лейтенант Княжко счистил прилипшие к гимнастерке шерстинки, якось поглядел на стол, сплошь заваленный купюрами, на сосредоточенного Таткина, перекладывающего пачки ровными рядками, на возбужденные лица солдат, которые, окружив Меженина, еще разбирали коробочки с часами, сказал:

— Все по-прежнему. Ни одного приказа. Интересно, где и какой вы банк конфисковали, Никитин? — Он вкладывал в вопрос иронию, но зеленые глаза его оставались серьезными.— В Берлине? Или Кёнигсдорфе?

— Просто хорошо живем, товарищ лейтенант! — откликнулся громко Меженин из гущи солдатской толкотни.— Только никто не завидует, хоть все удобства во дворе, телефон в аптеке! Прошу принять подарочек, гарантия известная — годик простучат!

— И много у вас подобных ценностей?

— Всем хватит, товарищ лейтенант, вагон и маленькая тележка! Возьмите вот эти плоские, на руке глядеться будут. И стрелка секундная есть.

— Ничего немецкого не беру,— суховато ответил Княжко.— Насколько мне известно, Меженин, это предпочитают делать похоронные команды.

— Новенькие, товарищ лейтенант, как из магазина. Не с руки сняты!

— Не имеет значения.

— Ясны-ыть,— протянул Меженин неопределенно.— Дело полюбовное, кому попа, а кому попадью. Наш лейтенант тоже с принципами. Засек!

Сощуриваясь, он завел, послушал часики и, разочарованный, бросил их на стол, они звякнули меж груды коробочек.

— Ну и прекрасно.— Княжко повернулся к Никитину: — Ты позавтракал, вижу? Пройдемся к орудиям. День сегодня отличный. Совсем летний.

— Просто великолепный день, — согласился Никитин и, надевая выстиранную вчера пилотку, предупредил Меженина: — Если из штаба будут звонить, сообщить немедленно.

— Не аристократично, но не плохо придумано,— сказал перед дверью Княжко, кивнув в угол столовой, где усердный Ушатиков на корточках кормил кошку из крышки немецкого котелка, старательно соскребывая с солдатских тарелок остатки пшенной каши.

Был час полного утра, тихие улочки провинциального немецкого городка были по одной стороне горячи, знойны, затоплены солнцем, по другой стороне лежала тень, еще прохладная, еще по-весеннему чуть сыроватая, и здесь в прохладном воздухе был особенно густо разлит сладковатый аромат ранней сирени, белой, пышной, отяжеленно свисавшей над железными оградами. И этот текущий по тротуарам дурманный дачный запах уже смешивался с неожиданными для покойных улочек дымками солдатских кухонь, бензиново-пыльным запахом машин, стоявших цепочкой вдоль подсохших обочин мостовых.

Мирный городок этот давно проснулся, ярко краснел черепицей, золотились стволы сосен, отдавались начальственные голоса старшин во дворах, занятых полковыми хозяйствами, гремели поварские черпаки о нутро отмываемых после завтрака котлов, кое-где в глубине окраинных садов отдаленно завывали моторы тыловых машин. На площади возле кирхи и вокруг на улочках появлялись группами солдаты, совсем по теплу, без шинелей, без ватников ходили посредине мостовых, с интересом разглядывая чужие вывески пансионов под голландскими фонариками, женские шиньоны в зеркальных витринах парикмахерских, опущенные жалюзи закрытых пивных баров, уютно отдыхая, покуривали, сидели на каменных плитах, гладких ступенях кирхи, грелись на солнцепеке, переговариваясь, задирали то и дело головы к острой готической высоте ее кровли, купающейся в теплой голубизне неба.

— Веселый городок,— сказал Княжко, чаще, чем Никитин, козыряя встречным солдатам.— Уютно жили. И вообще прекрасное время май!

Никитин спросил:

— Но где бюргеры, скажи ты мне? В подвалах сидят? Попрятались все? Или сбежали, как мои хозяева?

Это был, по всей видимости, типичный курортный городок, чистенький, удобный, вымытый, с множеством маленьких магазинчиков, ресторанчиков, баров и пансионов, куда на лето выезжали, наверное, отдыхать берлинцы, однако сейчас немецкая речь нигде не слышалась тут, и хотя солдаты, заняв дома, жили в квартирах вместе с хозяевами, повсюду на окнах были еще задернуты шторы, и лишь порой края их осторожно шевелились, когда близкий мотор машины или дребезжание кухни, взрыв хохота или звуки солдатского говора возникали, раздавались на улице.

— Думаю, немцы уже перестали надеяться, что мифическая армия Венка спасет Берлин. И все же чего-то ждут в страхе,— ответил Княжко.— По крайней мере хозяева моего дома перепуганы насмерть, еле дышат, ходят на цыпочках, говорят шепотом «Гитлер капут» и мелким бесом заискивают перед солдатами. И юлят передо мной, как перед генералом. Даже пытаются приносить какую-то жуткую бурду «кафе» в постель. Наверняка убеждены, что переживают нашествие Чингисхана. Но немцы есть немцы. Крафт, крафт! Преклонение перед силой.

— А мне любопытно, куда смылись хозяева моего дома,— проговорил Никитин.— Все оставлено — и никого.

— Ну вот тебе представитель арийской расы, легок на помине,— сказал Княжко, морщась.— И, кажется, навеселе.

Навстречу, в узоре тени железной ограды, за которой неудержимо, буйно, снежно цвела сирень, продвигался, непрочно ступая по каменным плитам, пожилой краснолицый немец в черной паре,— он приостановился вдруг, издали приподнял шляпу, обнажил малиновую широкую лысину и так, не надевая помятую шляпу, начал кланяться покорно и подобострастно, выговаривая заплетающимся языком:

— Guten Morgen, Herren Offiziere, guten Morgen... [1]. Рус карашо, Гитлер капут... аллес... Сталин гут, карашо, Гитлер плёхо, капут,— повторял он с какой-то заведенной пьяной нелепостью заученный набор слов, пока Никитин и Княжко не поравнялись с ним, потом красное его лицо заискивающе задрожало крупными своими морщинами.— Entschuldigen sie, Herren Offiziere, geben sie mir, bitte, eine Zigarette [2]. Рус карашо цигаретте... Водка гут...

— У тебя есть? — строго спросил Никитина некурящий Княжко. — Дай ему. Где он набрался, этот ариец? По-моему, славяне показали широту души. Наверняка.

— Битте. — Никитин раскрыл пачку трофейных сигарет, и немец этот, все не надевая шляпу, тихонечко кончиками ногтей вытянул одну, застонав, сладострастно понюхал ее; тогда Никитин сказал:— Возьмите несколько штук. А, черт, как это по-немецки? Bitte, nehmen sie noch Zigaretten, bitte, bitte! [3]

— O! Nur zwei Zigaretten, danke schön, danke schön![4] — заговорил благодарно немец и так же аккуратненько взял вторую сигарету, рассмотрел пачку и воскликнул с притворным недоумением: — O, «Juno», deutsche Zigaretten! Danke schön, entschuldigen sie, bitte, Herr Offizier[5]. Auf Wiedersehen!.. Рус карашо!

И, держа над потной лысиной шляпу, немец долго стоял возле ограды, оборачивался, провожая Никитина и Княжко улыбкой вставных зубов.

— Рус карашо, водка гут. Вот, оказывается, что,— сказал Княжко, на ходу гибким телом гимнаста подтянулся, сорвал за оградой веточку сирени, вдохнул ее дошедший до Никитина холодноватый росистый запах и тотчас сурово сдвинул атласные брови.— Я вот о чем хотел поговорить, Вадим. Еще неизвестно, зачем нас отвели в Кёнигсдорф. Думаю, не так просто. А после Берлина в батарее началась чепуха. Как будто война кончилась, и поголовно обалдели все. Из штаба никаких приказов. Свободного времени полно. Сегодня ночью вышел проверить часового, а его, миленького, на посту нет — оказывается, спит на диване мирным сном младенца и пузыри пускает. Это уже — из ряда вон! Завтра же начну заниматься с батареей усиленной строевой. Хоть чем-нибудь встряхнуть, хоть этим вернуть славян на грешную землю. Иначе превратимся мы тут в умиленных телят.

— Да, — сказал Никитин. — В моем взводе тоже что-то такое ерундовое. Но ты знаешь, я сам не могу отделаться от чувства, что все кончилось...

Они замолчали. По середине мостовой шла группа солдат-саперов, донесся смех, перебористые звуки губной гармошки.

— Твой Меженин, по-моему, занялся одними трофеями, — проговорил Княжко и, переложив веточку сирени из правой руки в левую, ответил на приветствие поравнявшихся солдат; один из них, веселый, хитроглазый, бедово играл «Катюшу» на губной гармошке.— И он давит на всех. Ты это замечаешь?

— Замечаю, но он прекрасный командир орудия.

— Ты либерал — адвокат девятнадцатого века,— сказал Княжко. — Не вижу в этом разумной полезности. Ты командир взвода, и ты должен влиять на солдат, пока не все кончилось...

— Неужели ты думаешь, что еще не скоро кончится?

От закрытого бара на углу под старой вывеской, где был изображен медведь с пенившейся в лапе кружкой пива, они свернули на боковую улочку, всю здесь заставленную машинами артиллерийских тылов, фурами и повозками медсанбата, сплошь заросшую вдоль тротуаров старыми соснами, прошли сквозь их желтую тень, и в конце улочки будто крыши раздвинулись впереди — ослепила глубинная прозрачность голубого волнистого воздуха над полями и погожего, голубого неба с легкими по высоте дымами весенних облаков, засияла солнечная даль молодой травы, разрезанная вытянутым за окраиной городка длинным зеркалом озера в песчаных, как курортные пляжи, берегах,—всюду, до горизонта стоял теплый майский полдень.

— Я думаю,— сказал задумчиво Княжко,— что мы не простим себе, если окажемся в бессильном положении...

Продолжение следует.

---

[1] Доброе утро, господа офицеры, доброе утро...

[2] Извините, господа офицеры, дайте мне, пожалуйста, сигарету.

[3] Пожалуйста, возьмите еще сигарет, пожалуйста, пожалуйста!

[4] Только две сигареты, большое спасибо, большое спасибо!

[5] О, «Юно», немецкие сигареты! Большое спасибо, извините, пожалуйста, господин офицер.

БЕРЕГ

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки И. ПЧЕЛКО.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В этом отдаленном от передовой тишайшем городке еще соблюдалась светомаскировка, и поздним вечером сидели с наглухо задернутыми шторами в большой комнате первого этажа, напоминавшей не то кабинет, не то библиотеку, с веселым азартом пили баварское пиво, раздобытое старшиной на берлинских складах, нещадно курили безвкусные трофейные сигареты и вели нескончаемые разговоры.

Было тут шумно, по-домашнему непривычно светился над столом стеклянный зеленый абажур керосиновой лампы, плыл в бесконечном течении сигаретного дыма, как в замутненной воде, покачивался фосфорической медузой среди поблескивающих корешков старинных книг в окружении оленьих рогов и темноватых картин, на которых сумрачными скалами возвышались под тучи очертания средневековых замков.

После ужина нежданно пришел, сопровождаемый младшим лейтенантом медицинской службы Аксеновой, комбат Гранатуров. Он громогласно сообщил, что в медсанбате соскучился по дьяволам-огневикам, надоело кушать манные кашки, и вот с Галочкой оказалось ему по дороге, стало быть, принимайте гостей, если, конечно, здесь еще считают его комбатом. Тут же из разговора, когда начали вспоминать события дня, Гранатуров узнал о трофейных рейхсмарках, совсем теперь бесполезных бумажках от наложенного Никитиным вето, и, развеселившись, недолго размышляя, посоветовал пустить их в умное дело — раздать для интереса тысяч по десять и перекинуться в двадцать одно, чтобы выяснить, кому все-таки в любви везет, а кому и нет, и, глянув подмигивающе на Галю, на сдержанного лейтенанта Княжко, предложил:

— Прошу вас, Галочка, попытайте счастья, сядьте с нами. Интересно посмотреть, как в этом случае везет женщинам.

— Зачем? Вы хотите меня лишить особенностей слабого пола, Гранатуров? — безразлично сказала Галя, садясь на кожаный диван под книжными полками.— Это вам лично мало что даст.

— Мне лично везет, как утопленнику,— вздохнул Меженин, выкладывая на стол из мешка пачки денег.— Хотел бы раз в медсанбатик попасть, товарищ младший лейтенант медицинской службы.

— Разумеется, началось бы невообразимое, за вами ходили бы по пятам с манной кашкой. Бедный медсанбат! — У нее был глубокий грудной голос, переплетенный тугой ниточкой насмешки, и, может быть, если бы не удлиненный нежный овал лица, нежная от вороненых волос и бровей белизна лба, она могла бы показаться не по-женски чересчур резковатой, как бывают неестественно решительны медсанбатские врачи и сестры в обществе солдат.

— Итак, начнем картежную жизнь! — скомандовал Гранатуров.— Ша, славяне! Ахтунг!

Меженин первый поставил в банк и, пощелкивая, поигрывая, треща чистенькой атласной колодой с двойными портретами Гитлера вместо обычных валетов, начал сдавать карты.

— Книги, оленьи рога, старинные гравюры. И даже камин,— проговорила Галя и, пробежав темными глазами по комнате, очень длительно поглядела на Княжко и Никитина.— Чей-то нарушенный русскими уют... Представляю, как они могут нас бояться и ненавидеть. Лейтенант Никитин, вы сами здесь расположили свой взвод?

— Именно,— сказал Никитин.— Пустой дом. Хозяев нет.

— А лейтенант Княжко в соседнем доме? Вы рядом?

— Вероятно,— сухо ответил Княжко.— Вероятно, мой взвод в соседнем доме.

— Огневые взвода располагаются рядом, чтоб вы знали, Галочка! — пророкотал весело Гранатуров, взяв выкинутую Мениным на стол карту.— Еще одну. Так... Еще на счастье. Да, судьба — котелок, жизнь — балалайка, перебор! Вот кому везет во всех смыслах, сержант, так это тебе! Пять сотен враз проиграл! Дьявол ты везучий! Попробуй-ка, везет ли лейтенанту Княжко!

— Не отрицаю, по слухам, мама меня в лапоточках родила.— Меженин, довольный удачливым началом, подправил выросшую кучку денег в банке, снова защелкал картами.— Говорят, раньше эксплуататоры женщин в карты проигрывали и выигрывали. На сколько идете, товарищ лейтенант? Вам без всяких-яких полное очко подкатит — тройка, семерка, туз... Не пойдете втемную? — спросил он Княжко и вскинул ресницы, жестковато-ласковым взглядом обвел Галю, откинувшуюся на диване; суконная юбка цвета хаки стягивала ее сжатые колени, поблескивали сапожки.— Вот ежели бы вы, Галочка, жили в те времена и вас проиграли, что б вы сделали, интересуюсь?

— Втемную — нет.— Княжко еще не раскрыл выложенные на скатерть карты, как лицо его будто заострилось от короткого Галиного смеха, от грудного звука ее голоса.

— Остроумно шутите, Меженин! Но отвечаю вам без шуток. Вы средневековый феодал сорок пятого года. Если бы вы меня выиграли, не дай бог, я положила бы под подушку остро наточенный кинжал.

— И, значит, убили бы, не пожалели?

— Не задумалась бы. Ни на секунду.

— Проглоти, сержант, и улыбайся. Ясно? — восхищенно вскричал Гранатуров и здоровой правой рукой выдернул из ножен на ремне трофейный, зеркального блеска кортик, повертел им в воздухе.— Не подарить ли, Галя? На всякий случай!..

— Семнадцать,— бесстрастно сказал Княжко и открыл свои карты. — Что у вас, Меженин?

— Девятнадцать, товарищ лейтенант,— ответил, дунув на карты, Меженин и ухмыльнулся.— Ваша бита! Без всякого шулерства, чинчинарем. Эх, а вот в любви не везет...

— Прочти-ка, Княжко, что за слова на лезвии.— И Гранатуров бросил кортик на пачку рейхсмарок перед Княжко.— Ты один у нас по-немецки стругаешь. Слова — будь здоров! Прочти всем!

— Blut und Ehre,— хмурясь, прочитал Княжко вычеканенные слова на лезвии и перевел: — Блют — кровь. Эре — честь.

Меженин ловкой перетасовкой опытного игрока выгибал, выравнивал, подготавливая в ладони скользкую атласную колоду, с ухмылкой догадался:

— В общем, кинжальчик удачу означает. Вроде нашего: «Или грудь в крестах, или голова в кустах». Вы как, товарищ лейтенант? Сыграете наудачу? Втемную?

— Сдавайте карты,— сказал Никитин.— Мне все равно. На весь банк, что ли.

— Философ ты, Меженин, дальше ехать некуда! — Гранатуров щегольским движением вложил кортик в ножны.— Эту штуковину, друзья мои, в Берлине взял в штабе летной школы «Гитлерюгенд» на Шпрее. Правильно — кровь и честь. Сильно сказано. Оттого и Галочке предлагал. Налить пива, Княжко?

— Нет. Не налить.

— Прости, забыл — ты у нас не пьешь и не куришь. Аскет. Танковая броня. Железобетон!

Он нашел на столе раскупоренную бутылку, черные, жгучие глаза его с вопрошающим интересом окинули Галю с головы до узких хромовых сапожек, сложенных крестиком, спросил, улыбаясь:

— Вам не скучно с нами, Галочка?

Она уже не оказывала никому внимания, как бы отсутствующе сидела в уголке старинного кабинетного дивана, подперев кулачком щеку, другой рукой листала на коленях тяжелую от коленкорового переплета книгу, снежной белизны ее лоб наклонен, темнели строго слитые брови, какое-то новое, задумчивое и сдержанное напряжение было в ее лице.

— Галочка,— нежно зарокотал Гранатуров и гигантским корпусом перегнулся к ней.— Ну, чего вы там в книгу хмуритесь? Поговорите с нами, бокал пивка выпейте, и все нормально будет. Если вас тут кто стесняет, так вы ноль внимания — вам все разрешено, вы, как-никак, а офицер, Галочка!

Но едва он проговорил это, перекидывая усмешливый взгляд на Княжко, как тот брезгливо поморщился и, суховатый, перетянутый по чуть выпуклой груди портупеей, с тщательно зачесанными на косой пробор светлыми волосами, сказал холодным тоном неудовольствия:

— Нельзя ли без навязчивости, товарищ старший лейтенант?

— Чего злишься, лейтенант, да неужели я тебя обидел? Или Галю обидел? — фальшиво изумился Гранатуров.— Вот тебе — и виноват без вины оказался!

— Насколько я понимаю,— продолжал Княжко непроницаемо,— младший лейтенант медицинской службы никому в батарее не подчинена и может поступать, как ей заблагорассудится. И ваши советы по меньшей мере лично мне кажутся смешными.

— Ай, лейтенант! Ай, Княжко, люблю я все-таки тебя и сам не знаю за что! — нарочито захохотал Гранатуров.— Ей-богу, люблю, хоть ершистый и упрямый ты парень, дальше некуда! Объясни мне — мы с тобой когда-нибудь на «ты» перейдем? Или ты выкать хочешь?

Лицо Княжко было по-прежнему бесстрастным.

— Я не могу ответить вам полной взаимностью, товарищ старший лейтенант. Мне удобнее обращаться к старшим по званию соответственно уставу.

«Нет, Княжко не забыл и не простил ему то старое, что было между ними,— подумал Никитин, рискованно набирая втемную четвертую карту.— Нет, он в чем-то непримиримее и решительнее комбата. И это знает Гранатуров и не хочет с ним ссоры в присутствии Гали».

— Конечно, проиграл, черт его дери! — сказал Никитин и положил деньги в кучу купюр на столе.— Вам действительно везет, Меженин.

— В лапотках, в лапотках я родился, товарищ лейтенант, не на городских коврах воспитывался!

— Лапотки — это похвально. Что ж, попробуем еще раз, как без лапотков повезет,— вдруг упрямо проговорил Княжко.— Только учтите — без темной. Сдавайте карту, сержант.

— Вы обратили внимание на библиотеку? —

Продолжение. См. «Огонек» №№ 12, 13.

вроде бы некстати спросила Галя, отрывая неулыбающиеся глаза от книги.— Кто, интересно, здесь жил? Куда они убежали? Наверно, сидели за столом по вечерам под этой лампой, мужчины в колпаках, женщины в халатах, читали эти старинные книги. Никак не могу представить, что они думали о войне, о Гитлере, о нас, русских... И бросили все — убежали.

— Совершенно пустой дом,— подтвердил Никитин.

— Пустой...— Она обвела взглядом купол запыленного абажура, просвеченного керосиновой лампой, картины в толстых рамах по стенам, кожаные потертые кресла, задернутые на окнах красные бархатные шторы, камин с бронзовыми миниатюрными фигурками нагих женщин, сказала:

— И даже остались древние весталки, покровительницы домашнего очага. Помните, Никитин? Я их запомнила по школе, когда изучали историю Рима. Вам не бывает, Никитин, почему-то грустно в покинутом чужом доме? Грустно и странно.

— А чего грустно? Нормально,— успокоил Меженин и дунул на карту, колдовски щелкнул ею себя по носу.— Вот и вразрез пошло. Тройка!.. Фу-фу намечается, едрена-матрена!..

— Весталок я плохо помню,— ответил Никитин и, слушая ее медленный глубокий голос, подумал, что она говорила это не ему, не Гранатурову, не Меженину, а лейтенанту Княжко, что она, вероятно, готова была сидеть вот так в одной комнате с ним, если бы даже он в течение всего вечера ни разу не обратился к ней,— или это только воображалось ему?..

— После войны замуж выйдете, еще такой роскошный уют заведете — закачаешься! — подмигнул Гранатуров.— Хотел бы я к вам тогда заехать, посмотреть на вас.

— Да?

— Не прогнали бы? Одним глазом посмотреть...

— Долго придется ждать. Очень долго, товарищ старший лейтенант.

— Почему долго? У вас и тут, Галочка, поклонников штабелями. Мизинчиком стоит пошевелить — и к ногам вашим по-пластунски поползут.

Она усмехнулась, рассеянно полистала книгу на коленях.

— Я разборчивая невеста, Гранатуров. Вы никак не можете поверить, что есть и такие ненормальные бабы.

— Ох, Галочка, мужчины тоже под ногами не валяются!

— Я с трудом терплю мужчин. Уж очень они мне надоели за войну.

— Кого же вы любите? Женщин? За женщин замуж не выходят. Запрещено!

— А какое кому дело, кого я люблю и выйду ли я замуж? Боже, как интересно! Вам это очень нужно знать?

— Какая милая пустопорожняя болтовня! — проговорил Княжко, как бы по вялой инерции раскрывая сданные Меженим карты, но губы его властно подсеклись, что бывало заметно в приступе сдерживаемой злости, и он договорил: — Лучше скажите, товарищ комбат, что нового в штабе полка? До медсанбата, по-моему, доходит больше слухов, чем до огневиков.

— Нового? — Гранатуров правой рукой откупорил пивную бутылку, позвенел бокалом о горлышко, чокаясь с бутылкой.— Галочка, за вас! Что нового? Пока полное спокойствие, други мои. Бои на западе. Да еще мелочь и ерунда — какие-то группки разбитых под Берлином частей в лесах кое-где бродят. Как видно, плена, сволочи, побаиваются, а деваться фрицам-то некуда.

— Вот это математический расчет! На два очка обчесали меня! Накатило вам, и вы, выходит, в лапоточках тоже родились? А?

— В тулупе, Меженин, в тулупе,— сухо сказал Княжко.— И помню, в валенках по коврам ходил.

— Лейтенанту Княжко во всем везет, первый в полку счастливчик! — подхватил, зарокотал Гранатуров, поправляя левую забинтованную кисть на марлевой перевязи, врезавшейся в погон.— Верно, Галочка? Живи он сто лет назад, быть бы ему гусаром. Скатерть белая залита вином... Так поется в песне? И командовал бы он гусарским полком, а не меня замещал.

— Нам пора, товарищ старший лейтенант,— сказала Галя и решительно захлопнула книгу, поставила ее на полку.— Я, как врач, должна напомнить — вы пока на лечебном положении.

— Галочка, золотце! — запротестовал Гранатуров.— В медсанбат? От прекрасного пива к храпунам в палате? Сил моих нет, душу вымотали, перестреляю я их как-нибудь, не выдержу!

— Если нет сил, оставайтесь. Хоть до утра. Сегодня я вам разрешаю. Но у меня дежурство. И, пожалуйста... хочу предупредить. Из возраста девочки давно выросла, поэтому прошу — никому не провожать меня.

— Без сомнения, вам пора,— холодно подтвердил Княжко, не взглянув в ее сторону.

— Да вы что? Одна? Ночью? В немецком городе? — Гранатуров с грохотом отодвинул стул, возвысился над столом огромным своим телом.— Я отменяю свое решение. Галочка! Я готов...

— Нет,— сказал Княжко ледяным тоном.— В городе патрули, и опасаться совершенно нечего, товарищ старший лейтенант.

— Разумеется,— кивнула Галя и засмеялась напряженно тихим, неприятным смехом...

Никто в батарее толком не знал о тайных взаимоотношениях командира первого взвода лейтенанта Княжко и медсанбатского врача Аксеновой, никто не видел, где, в каких обстоятельствах и когда встречаются они вне батареи, но все сначала догадывались, а позднее убедились, что знакомство это произошло полгода назад, уже на границе Пруссии — десять дней Княжко лечился в тылах артполка после того, как открылось у него пулевое ранение в ноге. Он вернулся, по-видимому, раньше срока, похудевший, замкнутый, ходил, еще сильно прихрамывая, и странно было видеть строгую сухость его и сдерживаемое недовольство, когда изредка возле орудий на марше начавшегося наступления притормаживала санитарная машина, отмеченная красным крестом, и медсанбатский врач, тонкобровая, вся хрупко-узенькая, темноглазая, с воронено-черными на белых щеках волосами, видневшимися из-под маленькой пилотки, не улыбаясь, подходила к орудиям первого взвода, некоторое время шла рядом с Княжко, помогающим себе при ходьбе палочкой. Она серьезно задавала ему какие-то вопросы, имеющие, вероятно, отношение к его раненой ноге, а он едва отвечал ей, неприветливый, вежливо-официальный, и тогда, казалось, нетерпеливо ждал одного — чтобы она поскорее уехала. И она задерживалась в батарее ненадолго, а потом Княжко ни словом не вспоминал о ее приезде, хмурясь под любопытствующими взглядами солдат, которые, боясь его спокойного гнева, вслух не говорили ничего. Раз Гранатуров, будучи свидетелем этой дорожной встречи, сказал, ревниво и бурно веселясь, в отсутствие Княжко, что, по ясной очевидности, лейтенант наш неисправимый девственник или баб боится, а миленькая помощница смерти не по адресу ездит, «понапрасну ножки бьет».

— Так вы сами подбейте к ней клинья; бабочка как полагается, все при ней, товарищ старший лейтенант,— подрагивая ресницами, дал совет многоопытный Меженин.— Грех теряться, когда рядом такой экземпляр ходит! Бог не велит. А добро пропадает.

И случилось так, что под крепостью Шпандау Гранатуров попал в медсанбат артполка по довольно легкой контузии — при обстреле привалило землей на НП. Он появился на батарее спустя неделю, громогласно-шумный, еще более расширившийся на тыловых харчах, привез с собой консервы, три бутылки водки, раздобытые у знакомых армейских разведчиков, сразу же собрал в своем блиндаже офицеров батареи и сержантов, устроил «обмытие возвращения блудного сына на родину», много пил, с загадочной значительностью, жгуче поводил чернотой зрачков по лицу непьющего Княжко, и когда Меженин не без подзадоривания попросил его рассказать насчет «чего такого прочего в медсанбатовских тылах», Гранатуров как-то по-шальному развеселено глянул на офицеров и тотчас, притворно скромничая, забасил:

— Неудобно, братцы, не поверите, скажете — травлю...

— А вы за нервы не тяните, товарищ старший лейтенант! — поторопил Меженин.— Сами в тылу бывали! Небось, оторвались?

— Ну, так вот, братцы, что произошло,— наконец как бы принужденно решился Гранатуров.— Медсанбат в немецком городочке стоял, тыл, аккуратненько, в палатах электричество, тепло и кофе — живем, как в сказке, и нет тебе передовой! А контузия у меня — чихнуть дороже, ходячий — просто отдых на курорте. И познакомился я, братцы, в медсанбате с одной женщинкой — фигурка, грудки, ножки, задумчивые глазки, скажу вам, как небесный ангел, а по внешности — царица Тамара. Как положено — градусник по утрам: «Как вы себя чувствуете?», «Принести ли вам книжечку почитать?», тити-мити, то-се, пятое-десятое, разговоры и всякое прочее. В общем, дело, вижу, закрутилось. Потом пошел я однажды после дежурства, вечерком, провожать ее, она у немцев на квартире жила. Пришли. Отдельная комнатка, ковер, шторы, кровать широкая, и немцы-хозяева нигде не шуршат, не слышно их. Все чистенькое, светло и уют. «Сядьте»,— говорит. Сел, смотрю на нее, соображаю. А она разом идет к буфету, и тут оказалось, что выпить нашлось, спирт медицинский. Я выпил, а она не пьет, сидит, на меня задумчиво смотрит. Ну, думаю, ясна обстановка, и, значит, без всякой подготовки перешел в атаку по всем правилам. Конечно, шепот, слова: «Нет, нет, не надо, оставьте меня, уберите прочь руки»,— вся побледнела, даже зубки стучат, а сама к кровати меня тянет и пуговки на себе расстегивает... А когда легли и я свет потушил, такое, братцы, началось,— тысяча и одна ночь. Декамерон. Не приходилось читать такую книжку, сержант?

— Быстро очень получилось у вас, товарищ старший лейтенант,— перебивая, усомнился Меженин.— Больно по-книжному выходит. Сопротивляются они долго, а после уж и силу уважают. А у вас — сразу...

— Чушь! Просто заливаете, комбат,— не поверил Никитин, испытывая вдруг болезненное сопротивление.— Признайтесь, сочинили эту историю в медсанбате. От нечего делать.

— Вру? — дико оскалив зубы, спросил Гранатуров.— Значит, вру? Пожалуйста. Вот фото на память подарила!

И, упираясь в безучастного к разговору Княжко азартно полыхнувшим взглядом, вынул из кармана гимнастерки фотокарточку и кинул ее на середину стола.

— Теперь как?

В ту же секунду лейтенант Княжко, мертвенно бледнея, встал резко и гибко, жестко скрипнув в тишине натянутой на груди портупеей, и в тот миг, когда правая рука его с неумолимой сумасшедшей быстротой упала на бедро, вырвав «ТТ» из тесной кожи кобуры, и, когда по-слоновьи заорал Гранатуров: «Ты что? Ты что? Спрячь пистолет, говорю! Брось!» — Никитина будто метнула к Княжко инстинктивная сила порхнувшей над головой опасности, металлический запах беды; качнулся стол от суматошного толчка обеих рук Гранатурова, зазвенело разбитое стекло, брызнуло что-то по доскам меж консервных банок, и Никитин четко увидел совершенно белое, отрешенное, мальчишеское лицо Княжко, его меловые губы выговорили отрывисто:

— Если вы, старший лейтенант, не попросите извинения за всю эту гнусность, я вас пристрелю как подлеца!

— Убери пистолет, Андрей, слышишь? Спрячь пистолет, слышишь? — повторял хрипло Никитин и с гневом обернулся к Гранатурову.— Попросите извинения, комбат! Слышите?

— Пошутил я, говорят! Не понял? — крикнул Гранатуров задушенно.— Шуток не понимаешь?

— Шутки глупца! — выговорил Княжко отчетливо и непримиримо, отстранясь от Никитина, обмякшим жестом вбросил пистолет в хрустнувшую кобуру, зачем-то провел пальцами по волосам и вышел в траншею быстрыми шагами.

Безмолвие стояло в блиндаже. Пожилой сержант Зыкин мрачно насупливался, крутил и не мог скрутить на коленях цигарку; Меженин, не шелохнувшись, ничем не выказав ни удивления, ни страха в момент стычки офицеров, был, казалось, раздосадованно углублен в изучение сивушной лужи, растекающейся по доскам из опрокинутой бутылки, принюхиваясь, заглядывал в раскрытые банки консервов. Гранатуров, сидя на нарах, шумно дышал, вытирал платком забрызганное лицо, и Никитин с неожиданной ненавистью к его косым бачкам, к его бревнообразной шее, свистящему дыханию спросил зло:

— Зачем вы здесь врали, комбат, как сивый мерин? Что вас дернуло ерунду молоть?

— С ума сошел!.. Вот психованный...— выдохнул Гранатуров, глотком проталкивая не то смех, не то всхлип в горле.— Щенок сумасшедший, скажи!..

— Так бы и погибли смертью храбрых, товарищ старший лейтенант,— заметил как бы между прочим Меженин и поковырял в банке консервов.— Вот, жаль, водку напрасно потратили.

— Что вам нужно было от Княжко, комбат? Зачем врать? — Никитин дернул со стола намокшую фотокарточку.— Здесь нет никакой надписи. Значит, вам ее никто не дарил!

— Не ваше дело, не в свои дела лезете! — разозлился Гранатуров и выхватил из рук Никитина фотокарточку.— Лейтенант Княжко в этих делах ясно кто? Как собака на сене, ни себе, ни другим. Заморочил голову бабе — и ни хрена. Ладно! Из-за бабы лезть в бутылку не хочу, разыграл я его или не разыграл — это уже тайна, покрытая мраком! — Гранатуров, потянув воздух ноздрями, сильными поворотами пальцев разорвал фотокарточку на мелкие кусочки и ударил ими о стол.— Нежные вы у меня, интеллигенты! Ох, уж святые, дальше некуда!

То, что произошло или могло непоправимо произойти между Княжко и командиром батареи, открыло Никитину многое, но эта вежливая жесткость его в обращении с Галей на глазах Гранатурова и ее терпеливое непротивление его официальному твердому безразличию больше всего поражали своей противоестественной неопределенностью и тем, что Никитин еще не в состоянии был всецело понять.

— Нет, товарищ старший лейтенант,— повторил Княжко голосом знакомого упорства.— Провожать младшего лейтенанта медицинской службы Аксенову вам не стоит. Я был бы рад, если бы вы посидели с нами.

— Господи боже мой, о чем вы говорите? — со смехом воскликнула Галя.— Это имеет какое-то значение?

— Мушкетеры у меня в батарее, мушкетеры! Атос, Портос и... как там еще? Хватит мне приказы-то отдавать, удивляете вы меня! — захохотал Гранатуров против ожидания дружелюбно.— Скажу вам, Галя: лейтенант Княжко крупно играет. Только попади под его власть — маму родную вспомнишь!

— Угадали, старший лейтенант. Игра крупная, иду на весь банк,— проговорил медленно Княжко.— Сколько у вас, Меженин?

Меженин, тасуя карты, прищурился на кучу рейхсмарок.

— Восемьдесят пять тысяч, товарищ лейтенант. Сразу? На все? Под корень срезать думаете?

— Я сказал: иду на все!

— Выиграть думаете?

— Надеюсь.

«Но ведь ему все равно, выиграет он или не выиграет»,— подумал Никитин и посмотрел с томящим угадыванием на Гранатурова, на Галю: он чувствовал явную нарочитость, мешающую угловатость разговора между Княжко и комбатом, но хорошо знал, что в противоположность Гранатурову Княжко не умел притворяться безобидным балагуром, отходчивым свойским парнем, чтобы по необходимости обстоятельств нравиться другим и нравиться самому себе. Это была его сила и его слабость.

«Неужели и здесь он волю испытывает?»

Он несколько раз видел, как в первоначальные минуты танковых атак Княжко с упрямо-твердым выражением лица стоял около орудий в полный рост, стоял минут пять, не пригибаясь при близких разрывах, визжащих осколками над головой, и, лишь бледнея, смотрел на вспышки танковых выстрелов, точно этим необъяснимым и бессмысленным риском на виду всего взвода судьбу испытывал. Необъяснимее было то, что, уже спрыгнув в командирский ровик, он почти гневно кричал по телефону, чтобы расчеты не маячили перед танками пристрелочными манекенами, после чего говорил Никитину, что теперь убил в себе зайца, и внешне был спокоен до исхода боя.

— Я пойду, я прощаюсь с вами, артиллеристы,— неустойчивым голосом сказала Галя и развернула конвертиком сложенную плащ-палатку, накинула ее на плечи.— Гранатурова я оставляю. Все будет в порядке. Медсанбат недалеко.

— Галочка! — вскричал Гранатуров с шутовским страданием.— Что же вы с нами делаете? Красивая русская... одна ночью? В чужом городе?

— Я ничего не боюсь, Гранатуров. Немцы не насилуют русских врачей. Спокойной ночи, артиллеристы.

Это «спокойной ночи» было обращено ко всем, и Никитин, страстно желая сейчас, чтобы Княжко взглянул на нее, оторвался от этой не имеющей смысла игры, сказал что-нибудь,

наконец, просто кивнул бы ей, увидел его ничего не выражающие глаза, непроницаемо нацеленные на карты, которые с оттяжкой выбрасывал перед ним в одержимом самозабвении Меженин. Лейтенант Княжко словно не расслышал ернического баса Гранатурова, не расслышал насмешливого ответа Гали, он прямо сидел за столом, аккуратный, способный мальчик, затянутый в подогнанную офицерскую форму, и, окутанный сигаретным дымом, зеленый свет абажура блестел на его чистоплотно зачесанном косом проборе, на тугой портупее, на серебряных звездочках новеньких, надетых в Берлине погон.

— Приходите к нам, Галя,— сказал Никитин, внезапно раздражаясь на Княжко, и проводил ее до двери.

Она приостановилась, завязывая тесемки плащ-палатки, темный треугольник волос, свисавший из-под пилотки, резко оттенял ее белую щеку, губы дернулись виновато и скорбно, и голос ее был негромок, пересиленно ровен, низок:

— Только вы единственный меня здесь любите, лейтенант.

И он понял, что она вкладывала в слова не прямое значение, а нечто иное — грустное, дружеское, благодарное, и, поняв, нахмуренный, неловко открыл дверь в коридор.

— Мы рады, когда вы приходите к нам, Галя.

— О, какая очаровательная псина! Откуда это? — воскликнула она в дверях и, распахивая полы плащ-палатки, наклонилась, стремительно подхватила на руки ободранную заспанную кошку, клубком свернувшуюся за порогом темного коридора, где из глубины комнат доносился храп солдат.— Это чья? Немецкая? Какая прелесть! Сто лет я не видела таких дурнушек!

Она, как ребенок, держала на весу вытянувшуюся всем длинным и мягким телом кошку, с сереющими сосками среди шерстки живота, худую, с длинными лапами, и радостно заглядывала темно-карими глазами ей в грязную, зажмуренную на свет морду. Потом, смеясь, прижала ее морду к щеке, к своим прекрасным вороненым волосам, умиленно говоря Никитину:

— Она мурлычет, го-осподи, худющая, ребра одни... Наверное, недавно у нее были котята. У нее есть котята? Или какая-нибудь сирота? Бездомная?

— Понятия не имею,— ответил Никитин.— Ее утром принес лейтенант Княжко. Со двора, по-моему.

— Лейтенант Княжко! — излишне оживленно проговорила Галя, все теребя, лаская притиснутую к подбородку кошку.— Могу я взять ее в медсанбат?

— Ну, зачем вам какую-то немецкую грязную кошку? — сказал Никитин, но его заглушил рокочущий наигранным возмущением бас Гранатурова:

— Эту замухрышку? В медсанбат? Доходяг уважаете?

Он поднялся из-за стола, скрипя сапогами, подошел к Гале, возвышаясь над ней, отчего сразу сделалось тесно, неудобно от его громоздкого роста, от его наклоненного сверху смугло-матового лица, окаймленного косыми бачками, от его сочного голоса:

— Да бросьте ее к дьяволу, Галочка, еще блох наберетесь! Нашли, ей-богу, паршака, последнего одра царя небесного, смотреть не на что!

— Так вы разрешаете или не разрешаете, лейтенант? — спросила Галя, глаза ее потухали, а пальцы медленнее и медленнее поглаживали, копошились в дымчатой шерстке кошки, и Никитин, сердясь и досадуя на молчание Княжко, поспешил сказать:

— Возьмите ее и не спрашивайте, если она вам нравится.

— А я говорю — бросьте паршивого блохаря, он вас заразит,— ласково загудел Гранатуров и жарко сверкнул зубами.— Завтра мои разведчики — хотите? — пять, десять, двадцать самых породистых в вещмешках со всего города принесут.

— Серьезно? Двадцать? И можно сто, товарищ старший лейтенант?

— Только прикажите — и все будет выполнено. Сотня разных немецких мурок будет у ваших ног, Галочка! Разведете их в медсанбате, и от мышей одни хвосты останутся.

Она посмотрела исподлобья вверх, на склоненного к ней Гранатурова, на его знойно-ослепительные, крепкие зубы, торопясь, выпустила на пол кошку, сказала с гримасой гадливой неприязни: «Да перестаньте же паясничать!» — и, порывисто запахивая плащ-палатку, вышла в темный коридор, наполненный сонной духотой, бормотанием спящих солдат. Никитин пошел за ней и молча проводил ее до двери, затем по лужайке двора к калитке, мимо неподвижной фигуры часового, окликнувшего голосом оборванной зевоты: «Лейтенант?» Месяц еще не взошел, лишь стояло маленькое зарево на востоке за парком позади кирхи, просачиваясь меж ветвей сосен, и на улице, безмолвно ночной, тихо осиянной оранжевым переливом брусчатника под теплым заревом, в тени низкой ограды, пахнущей водянистой свежестью сирени, он еще раз предложил:

— Я доведу вас до медсанбата?

— Ни в коем случае. Я дойду одна. Я хочу одна. Ну, скажите, кого и чего мне бояться?

Она, поворачиваясь, придвинулась к нему, и необычная в этой застывшей тишине ночи близость ее лица, разительность белой щеки и черного крыла волос опять больно напомнили что-то Никитину, то, чего не было, но могло быть, и это «что-то» звенело в нем тоненьким колокольчиком, словно стоял посреди каких-то далеких лунных переулочков с тенями от деревянных заборов, пахнущих впитанным за день теплом, перегретыми солнцем досками и сыростью апрельской земли в подворотнях. Он молчал, справляясь с мучительно-сладкой спазмой в горле, которая мешала ему сказать последнюю фразу: «До свидания, приходите к нам, на Гранатурова не обращайте внимания»,— и по отблеску ее белков уловил: она смотрела через его плечо на красновато теплеющий восход месяца за вершинами сосен позади кирхи.

— Какая ночь... Помните? «И звезда с звездою говорит...» И там еще чудесно: «Ночь тиха. Пустыня внемлет богу...» — сказала Галя шепотом.— И как далеко мы от дома... И как все грустно. И как все глупо со мной в конце концов!.. Ведь вы все знаете обо мне, правда? А я никогда не знала, я злилась, я смеялась над этим. Как глупо, господи! — Она подергала тесемки плащ-палатки.— Но ничего, лейтенант, это отвратительно, но я справлюсь, я справлюсь, буду укрощать плоть, голодать, как монашенка, и по утрам окатываться холодной водой... И худеть на черном хлебе. И стоять на коленях. Правда, меня с детства не научили молиться, вот беда! Что ж я буду делать? Что же тогда делать? Влюбиться назло в Гранатурова?

Она засмеялась странно, с горькой ожесточенностью, и в смехе этом, во вздрагивающих бровях ему показались слезы, но ее близко светившие из темноты глаза были сухи, горячи, пытались почему-то смеяться над тем, что не имело права быть смешным, а было неожиданностью, от которой не умирают, нелепостью, не случавшейся с ней и случавшейся с другими, чего она даже не могла представить раньше по отношению к себе.

«Зачем она так прямо говорит со мной?» — подумал Никитин, стесненный ее уничтожающей откровенностью, ее насильным сквозь слезы смехом.

— Я этого не понимаю,— сказал Никитин.

— Что понимать? Для чего? Разве это нужно понимать? Ох, какую ересь и чепуху я вам наговорила, лейтенант,— сказала она, запрокинув голову.— Сама я виновата... Идите играть в карты. Это мужское дело важнее всякой женской чепухи. Спокойной вам ночи, Никитин.

— До свидания, Галя. Приходите к нам завтра.

— Не обещаю, лейтенант. Возможно.

Никитин слышал, как зашуршала по ограде плащ-палатка, стала смутно удаляться под нависшей над тротуаром сиренью, и, отчетливо и звучно отдаваясь, застучали по каменным плитам каблучки сапожек. И он закрыл калитку, уже обеспокоенный тем, что могут подумать об его отсутствии, подошел по узенькой в траве дорожке к часовому. Тот переминался около дома, одолеваемый дремотой, рот его раздирала необоримая зевота, доносилось мычание, лающее покашливание; Никитин сказал тоном приказа:

— Часовой! Выйдите сейчас на мостовую и на всякий случай постойте там минут пять, посмотрите, пока врач Аксенова до перекрестка к медсанбату не дойдет.

— Ясно, товарищ лейтенант,— откликнулся часовой, и, переступая в траве, крякая, забормотал дремотно: — Эх, и ночь, звезды-то высыпали, как у нас в России, и месяц всходит. Не для солдат эта ночь, разные мысли в голову лезут...

— Что? — спросил Никитин.

— В такую бы ночь по деревне гулять. Девчата поют, а в полях тихо, только коростель дергает... Домой бы, товарищ лейтенант! — мечтательно заговорил осевшим после долгого молчания голосом часовой.— Вот стоял и думал: скоро, кажись, должно кончиться, шутка ли? В центре Германии мы, а домой когда? Эх, какой красавец на небе-то всходит,— снова сказал он, восхищенно глядя на широко светлеющее и багровеющее зарево над деревьями.— Весна-а... Домой бы, домой...

«Да, да, мы в Германии, и сейчас весна,— подумал Никитин впервые за эти дни вроде бы полностью ясно и осознанно, подхваченный молодым пульсирующим током радости, облегчающим, как счастливые детские слезы, опустошением.— Да, да, конечно, весна, и война кончается!»

Месяц всходил левее силуэта кирхи, показался из горячего бездымного пожара над соснами, отраженно вспыхнул в высоких стеклах колокольни, одна подставленная месяцу каменная стена посветлела, выступила из глубокой тени ограды, и улицы налились прозрачной молочной синевой, еще более загадочной, сгустившей темноту парка, тонкие голубые полосы пролегли по конькам соседних черепичных крыш — и спящий двор, где стоял Никитин, лужайка перед домом, песчаная тропка до самой калитки, прочерченная длинными тенями, застыли под месяцем в неподвижной прохладе травянистого воздуха.

«Ведь я не ранен, не убит, и моему взводу, несмотря ни на что, просто повезло в Берлине, а остальное — пустяки. И все хорошо, все отлично, и вот весна в Германии, и скоро конец войны, и как прекрасна эта лунная ночь в немецком городке, и мне двадцать лет, и все еще будет, все, чего не было...» — подумал Никитин с тем прежним сладко и больно зазвеневшим тоненьким колокольчиком в груди, какой ощутил он возле калитки, провожая Галю, чувствуя сухой блеск ее глаз на своем лице.

Это ощущение прилива молодости, прощающей доброты ко всему, похожей на рвущуюся из души нежность, счастливое ожидание чего-то нового, что было когда-то с ним в золотой поре детства и должно быть опять, предвиденно и скоро, это ощущение ожидания еще не свершившегося в его жизни, томящая готовность к предопределенному войной, неизведанному и радостному, возникали в нем с особенной силой при передвижении в горящие города, незнакомые, не до конца разрушенные, залитые по крышам домов заревом, отсвечивающими красным булыжником мостовыми под колесами орудий, или когда через мелкую сеть дождя размыто проступал в тумане на опушке влажного леса одинокий дачный домик, где, казалось, кто-то жил ничем не измененной, влюбленной верой в нерушимое прошлое, где были молодые прекраснолицые женщины и где в блаженном тепле, ласковом уюте могли встретить и полюбить его.

И под бегущий лепет дождя по капюшону, под чавканье грязи, под всасывающие звуки орудийных колес ему представлялся давний детский сон: какой-то фантастический поезд в золотистой, затопленной закатом степи идет меж густых трав, а он один в чудесно озаренном лиловыми лучами вагоне, испытывая нечто белое, светлое, чистое, стоит у раскрытого окна на душистом ветерке, видит эту совершенно сказочную, неземную, пустынную степь, огромные и нечеткие в первозданной гуще трав шары желтых марсианских цветов, видит ее глубоко дымящиеся желто-пепельным закатом горизонты, с очертаниями таинственных городов на розовых берегах заросших пальмами рек, влекущие таким обетованным обещанием приближенной радости, что ему хотелось долго и сладострастно плакать тогда. Такой степи никогда не было в реальности, и он не помнил, когда снился этот сон. Но он чувствовал его, как неясное и звенящее в нем воспоминание чего-то несбывшегося и счастливого в его жизни.

Продолжение следует.

БЕРЕГ

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки И. ПЧЕЛКО

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Между тем игра в карты кончилась. Меженин, лотный, возбужденный проигрышем, небрежно подгребал ворох рейхсмарок в сторону Княжко, а тот, засунув пальцы под ремень, легонько покачиваясь вместе со стулом, отсутствующе смотрел вверх, на абажур керосиновой лампы; старший лейтенант Гранатуров, в расстегнутой гимнастерке, мыча невнятный мотивчик, притопывая ногой, устанавливал на тумбочке патефон, взятый батареей в качестве трофея еще в Польше; дежурный связист убито спал за низеньким столиком под книжными полками, всхрапывал зверскими переливами, одна щека его вдавливалась в пилотку, положенную на полевой аппарат.

— Проводил-таки? Ну и как, Никитин?— подозрительно спросил Гранатуров.— Силен, силен, мушкетер! Тихой сапой действуешь?

— Не понял,— сказал Никитин.— Проводил до калитки и немного подышал свежим воздухом. В городке тишина, великолепная ночь. С какой стати, комбат, вы взялись за патефон? Все спят, солдат разбудите...

— Залпом «катюш» их не разбудишь, не то что музыкой! Храпом, дьяволы, пять патефонов заглушат — не почешутся! Ничего, под песенки крепче спать будут,— успокоил Гранатуров и, продолжая притоптывать ногой, начал перебирать пластинки.— По-польски тут... Вечерна година, значит — вечерний час? Как это, Никитин, ничего? Танго бы или что-нибудь душещипательное под настроение. Верно?

— Ставьте эту,— посоветовал Никитин и подошел к камину, потрогал на нем бронзовые статуэтки весталок.— Не ошибетесь.

Гранатуров поставил зашипевшую под иглой пластинку, грузно повалился в кожаное кресло так, что звякнули пружины, сполз в нем поудобнее, расслабил перевязь раненой руки, вытянул ноги и по-озорному заулыбался своими слепящими зубами, поглядывая на Княжко, на Никитина, сказал:

— А ничего живем, славяне. Роскошный дом, пиво, музыка, и война в зад не кусает. Ах, хорошо, братцы! И вот что скажу я вам, господа русские офицеры, заслужили мы божеский отдых, судьба нас приласкала — целыми остались, есть с чем в Россию вернуться. Главное — башка на плечах. Еще бы так месячишко отдохнуть и покантоваться, а потом — назад, в Смоленск, к родным березам! Ах, хорошо, братцы! Меженин!— крикнул он.— Давай-ка по-аристократически этот камин растопим! Дрова где-нибудь здесь есть? Под музыку огонек здорово пойдет. Жизнь мы заслужили, братцы! — сказал Гранатуров снова, заваливая голову назад и постукивая ногтями в подлокотник под ритм музыки.

— Музыка есть, а танцев не получается.— Меженин сгреб всю кучу рейхсмарок на конец стола подле Княжко и не без огорчительной досады от полного проигрыша, договорил натянутым голосом: — Ваши гроши, без дураков. Законно выиграли, накатило вам. Что будете делать с ними?

Княжко, не переменив отсутствующего выражения лица, взад и вперед раскачивался на стуле, рассеянно слушая музыку, глаза его смотрели в одну точку перед собой; и он ответил после молчания:

— В камин. Растопите камин.

— Не раскумекал, товарищ лейтенант.

— Так вам будет спокойнее, Меженин. Попробуйте-ка растопить рейхсмарками камин,— повторил Княжко задумчиво.— Я сжигаю свое мифическое богатство. Выигранное у вас.

— А-а, вон как вы решили? Чтоб, значит, дьявол не попутал? А нам — что! Сожгем! Было бы приказано!

С азартным согласием Меженин примерил расстояние до камина и стал незамедлительно швырять на его железную решетку груды рейхсмарок, затем поднес огонек зажигалки к пухлому вороху купюр, повел огоньком по краю бумаг. Купюры, тронутые пламенем, неохотно зашевелились, с шелестом загибаясь по углам, чернея,— и разом вспыхнули живым костром, снизу озарив весело-злое лицо Меженина.

— Вот еще,— и Никитин ногой подбил к камину мешок с оставшимися рейхсмарками.— Бросайте в огонь все.

— А, может, оставим на всякий случай? Как?— с надеждой спросил Меженин и вприщур глянул на книжные полки.— Вон топливато сколько, на год хватит, и еще останется.

— Делайте, что говорят, сержант. Все деньги в камин!

— Эх, и люблю же я вас, господа русские офицеры,— сказал Гранатуров размягченным тоном.— Люблю и уважаю вас, дьяволы... Братцы, спокойненько и тихо послушаем пластиночку. Помолчим малость.

Запахло в комнате дымком, теплым горьковатым пеплом, повеяло по ногам жаром огня, и забегали вихорьки пламени на железной решетке, и был домашний свет зеленого абажура над столом, и золотисто подсвечивались и камином и лампой корешки книг на полках, и стояла тишина во всем доме, и шипела заигранная донельзя пластинка, и женский голос пел на чужом языке, в котором звучали и горькая и счастливая влюбленность в поздние сумерки после разлуки и исступленное ожидание невозможной встречи, и лейтенант Княжко, заметный узким мальчишеским лицом, легонько раскачивался вместе со стулом, и старший лейтенант Гранатуров полулежал в кресле, матово-смуглый, с косыми бачками, погруженный в мечтательное состояние умиления,— все на мгновение представилось Никитину где-то виденным, бывшим где-то, как будто очень давно знал эти лица, и очень давно, тысячу лет назад, сидел вот в такой же чужой комнате с диваном, книгами, стеклянным абажуром и видел профиль Гранатурова сбоку патефона, вблизи влюбленного женского голоса, его забинтованную руку на перевязи, задумчивые глаза Княжко, Меженина на корточках, который пачками вынимал из мешка рейхсмарки и подкладывал их в огонь.

И прежде Никитин раза два ловил себя на этом зыбком ощущении, поражавшем его смутной знакомостью секунды: так или похоже было... Где? Когда? Но никогда в его жизни не было подобного немецкого дома с библиотекой и камином, где весело горели вместо дров новенькие немецкие деньги, никогда не было такого мертвящего, беспредельного покоя в мире, словно минуту назад кончился бой на улицах городка и оглушающая тишина, заполнив ночь, пала за окнами внезапно...

Женский голос уже кончил петь на польском языке о вечерних сумерках, когда она ждала его и он не приходил, рассыпались, обреченно упали и сникли звуки аккордеона, лишь шипела пластинка, вращаясь. Все молчали. Глядели на камин, на красные и невесомые взлеты пламени, до глухоты закованные ошеломляющей тишиной, мнилось, впервые ночью услышанной, поэтому опасной, как обман судьбы, как ложная надежда в десятках километров от войны, которая вроде бы исподволь, коварно испытывала их двумя беспечными днями блаженства. Пластинка перестала крутиться, остановилась, скрипнув иглой. И стало слышно порхание огня, мышиное шевеление сгорающих бумаг на решетке камина, куда, ни слова не говоря, подбрасывал рейхсмарки Меженин. Гранатуров очнулся первый, подтянул руку перевязью, в раздумчивости соединил косяком брови, и Княжко, теперь не качаясь вместе со стулом, вопросительно покосился на задернутые шторы, откуда вплотную подступала непривычная мертвенность ночи, без единого движения во дворе. Это было наваждение замороженного безмолвия, какое бывает в лунные ночи на передовой, околдовывающие траншеи немотой распростертого затишья, и Никитин, не слыша шагов часового под окном, подумал: «Заснул он, что ли?»

— Что такое? Кто там по дому шляется? Сортир никак кто ищет? — вдруг вполголоса сказал Меженин, обладавший звериным чутьем и слухом, и настороженно повернулся от камина к офицерам.— Ну и тишина. Ровно по кладбищу мертвец ходит...

— Проверьте-ка часового, Меженин,— сказал Никитин,— а то, похоже, все умерли в доме. В том числе и часовой.

— Сейчас проверить?

— Сейчас. Выйдите и посмотрите.

И тотчас, как только вышел Меженин, Княжко поднялся, оправил пистолет на боку, как всегда, упруго и подобранно натянулся в струнку, сказал серьезно Никитину:

— Мне пора во взвод. А часовых проверять не мешало бы каждую ночь.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 12—14.

Тогда старший лейтенант Гранатуров, еще пребывая, еще нежась в состоянии расслабленного умиротворения, задвигался атлетическим телом в кресле и, потягиваясь, заговорил благодушно:

— Не торопись, Княжко. Ничего с часовыми не случится. Уйдешь — скучно мне будет. Ей-богу! Посидим ради компании. Вот я тебя люблю, лейтенант, несмотря ни на что, а ты меня — не очень, как вижу. Кто старое помянет — тому глаз вон! Братцы, заведем еще какую-нибудь душещипательную...

Но он не закончил фразу: бегущий топот над головой, глухие вскрики донеслись со второго этажа, хлопнула верхняя дверь, затем точно чем-то толстым, ватным задушило вверху голоса — и Княжко, мельком взглянув на потолок, обратил спокойные зеленые глаза на Никитина, проговорил:

— По-моему, с твоими славянами происходит что-то... Не слышишь?

— Никто там у тебя шнапса не перехватил на трофейную дармовщинку? — спросил Гранатуров снисходительно.— Стекла не побьют, черти-лошади?

— Ерунда! Что там может быть? — выговорил, пожав плечами, Никитин; он хорошо знал, что на втором этаже, прямо над кабинетом, его комната, никто из взвода не располагался рядом, и никто в его отсутствие не заходил туда без надобности.— Подожди, я посмотрю и провожу тебя,— сказал он Княжко и пошел к двери, несколько тоже обеспокоенный непонятным шумом, голосами наверху.

В коридоре было тихо, темно, пахло душным деревом и солдатскими сапогами, в нижних комнатах разносился заливистый храп, сочное почмокивание, бормотание спящего взвода, и не слышно было ни шагов, ни шороха на втором этаже, на мансарде, куда вела деревянная лестница из закутка коридора за чуланом кухни.

— Меженин!— окликнул наугад Никитин в потемки спертого воздуха нижних комнат.— Где вы там?

Ответа не последовало.

Он подождал, уже озадаченный, и ощупью стал подыматься по шаткой винтовой лестнице на второй этаж, и тут, на темной площадке, остановился, прислушиваясь к тишине мансарды.

В следующую минуту он явственно уловил слухом какое-то протяжное, животное мычание, слабый, вырвавшийся стон из-за дверей своей комнаты, задавленный тяжелой возней, задыхающимся, хриплым шепотом: «Дура, дура, молчи, сволочь!»— и совсем не понимая, что здесь случилось, в чем дело, не понимая, кто мог быть ночью в его комнате, с ударившим приливом крови в висках сильно толкнул дверь мансарды.

— Кто тут?..— крикнул он.

Лунный свет в широкое окно обнажал половину комнаты, синей полосой отражался в зеркальной дверце открытого бельевого шкафа, скомканная груда одежды валялась на полу около опрокинутого венского стула, а на кровати в глубине мансарды возился, мычал, боролся, трещал пружинами неясно чернеющий комок тел, и первое, что отчетливее успел заметить он, было что-то задранное, круглое, белое, похожее на женское колено, которое вздергивалось, елозило, высвеченное луной, по одеялу, по краю сползшей к полу перины, и там, оттуда, от чернеющей груды тел, выдавливались, как из-под толщи подушки, зажатые вскрики:

— Nein! Nein! Nein!..

— Кто тут, черт возьми!..

И Никитин, ужасаясь тому, что сейчас, через секунду увидит кого-нибудь из солдат своего взвода, потихоньку затащившего немку сюда, на свободную мансарду, и, взбешенный этим предположением, кинулся к кровати, грубо рванул кого-то в темноте за крутое плечо, и, рванув, мгновенно узнал охриплый, пресекающийся руганью голос Меженина, квадратной массой отскочившего от постели: Меженин угрожающе возник перед ним в косяке лунного света — стеклянными шарами перекатывались сумасшедшие глаза на призрачно белесом его лице, чернел рот, раскрытый судорожным дыханием.

— Меженин! — отчаянно крикнул Никитин.— Ты что? Обезумел?

— Не лезь, лейтенант... Не мешай, лейтенант...— хрипел ему в лицо Меженин, обдавая удушливым махорочным перегаром.— Не лезь!.. Уйди! Какое твое дело, лейтенант? Уйди отсюда... уйди, уйди, по-человечески говорю!..

Нечто омерзительное, оголенное, как звериный оскал безумства, проглядывало в этом остекленненном мечущемся взгляде Меженина, в этом полоумном его бормотании, и Никитин, опаленный приступом отвращения и гнева, изо всей силы оттолкнул его от кровати, крича:

— Спятил? Кто эта немка? Откуда? Как она оказалась здесь?

— Шпионка, стерва, в дом пробралась...— просипел Меженин и, вроде сообразив, что надо теперь делать, с придыханием матерясь, бросился к постели, дернул на себя подушку, прикрывающую грудь без движения лежавшей навзничь женщины, цепко схватил ее за руку, рывком сорвал с постели.— Вставай!.. Говори! Зачем пробралась в комнату лейтенанта?.. А? Планшетку с картой стащить хотела? Говори, вражина, шпрехай, шпрехай, говорят!

Он так крепко держал, стискивал ее кисть, что она тоненько, жалобно вскрикнула, вся выгнулась назад: «Nein, nein!» — и при лунном свете увидел Никитин ее загнутую шею, молоденькое бледное лицо, зажмуренные от боли глаза, ее длинные, почудилось, синеватые волосы, некрасиво, растрепанно свесившиеся на одну сторону.

— Отпустите ее руку! Что вцепились в девчонку? Вы! Сержант!..— скомандовал Никитин неостывшим голосом.— Какая еще к дьяволу планшетка? Ерунду городите, планшетка всегда со мной! Как вы ее здесь застали? Что она здесь делала?

— Хрен ее знает, как сволочуга оказалась... Шкаф открыла... вещи выбирала... Вошел, а она окно пыталась открыть...— говорил Меженин, прерывисто и, выпустив кисть немки, пинком ноги разбросал тряпки на полу, а немка загнанным зверьком вдруг прижалась спиной к стене, затрясла головой, дробно стуча зубами, всхлипывая, повторяла стонущим шепотом: «Nein, nein, nein!»

— Заткнись, сука!— заорал с расхлестнутой свирепостью Меженин.— Завела свое «найн», как шарманка! Скажи лучше, зачем сюда пришла? Откуда пришла? Как?

— Не кричите, Меженин! Что она вам ответит, если не понимает по-русски! — И Никитин, еще не зная, что нужно предпринять, как поступить, безуспешно подыскивая неповоротливые в памяти известные немецкие слова, выговорил наконец: — Вер зинд зи, фрау... то есть, кто вы... откуда? Вер зинд зи?..

Немка звонко выстукивала дробь зубами, вжималась дрожащим телом в угол, и когда что-то ответила слабым глотательным звуком непонятное Никитину, он поймал только единственно знакомое слово «хауз» и требовательно переспросил:

— Хауз? Вер зинд зи? Варум хауз?

— Лейтенант! Слышь? — внезапно крикнул Меженин, срываясь к окну, и заколотил кулаком в задребезжавшую раму, распахнул одну половину.— Кажись, тревога!

В этот же миг внизу, под окнами, раздались голоса, суматошное топанье ног, следом взвился пронзительный окрик: «Стой, стой, стрелять буду!» — и клацнул затвор, опять затопали, забегали около дома, сверкнула зарницей багровая вспышка, прогремело, оглушило звоном, и в оглушенной винтовочным выстрелом тишине послышались тупые удары, ругательства, чей-то задавленный взвизг, потом на нижнем этаже заревел бас Гранатурова:

— Часовой! Сюда его, сюда! Кто такой? Тащи его, если жив!..

— О, Ku-urt! Ku-rt!— рыдающе вскрикнула немка и вытянутой тенью скользнула к окну, перевесилась вниз, по-детски затряслась, захлебнулась воплем и плачем:

— Bitte, nicht schieben! Kurt, Kurt!..[1].

— Меженин, ведите немку вниз! Быстро!

Никитин скомандовал это, сбегая по винтовой лестнице в густые потемки первого этажа, где потревоженно гудел из комнат говор разбуженных солдат, наткнулся на кого-то впотьмах, кажется, на заспанного Ушатикова, выскочившего в коридор («Тревога? Немцы?»), увидел настежь раскрытую дверь гостиной, хаотичное движение фигур за порогом и ощутил едкую тесноту в груди, какая бывает при настигшей неизвестности, молниеносно и неотвратимо изменяющей обстановку.

Когда он вошел, Княжко и Гранатуров уже стояли посреди комнаты, напряженные, хмурые, оба смотрели то на возбужденного часового, еще державшего карабин на полуизготове, то на безобразного своей крайней худобой мальчишку-немца лет шестнадцати, в очках, одетого в широкий не по размеру немецкий мундир, неимоверно грязный, прожженный на боку, свисающий на острых плечах; его огромные, покрытые пылью сапоги кругло расширялись нелепыми раструбами голенищ вокруг тощих ног, и видно было, как крупно ходили дрожью колени, обозначенные пузырями солдатских брюк.

Мальчишка этот, затрудненно дыша, облизывал растрескавшиеся губы, полузакрытый прилипшими волосами лоб лоснился обильным потом, острый носик на давно не мытом его лице восково выделялся, словно у мертвого.

— Ну? — густо прогудел Гранатуров и приблизился к немцу, сверху вниз окинул его черными, прожигающими глазами.— Откуда ты такой гусар, вояка появился? Вервольфик? Ну? Где оружие? Обыщи-ка его подробно!— приказал он часовому.— Всего обыскать, ясно? Выверни его наизнанку!

Часовой сделал грозные глаза, закинул за спину карабин и рыскающими жестами стал ощупывать, выворачивать карманы немца, объясняя при этом жаркой скороговоркой:

— Стою, луна как раз взошла... Слышу, шебуршит за домом, думаю — должно, кошка, или собака, или кто из наших по нужде вышел. Обыкновенное дело... Глянул — а под яблоней за домом фигура стоит и, похоже, на окно вверх смотрит. И очки под луной — сверк, сверк!.. Не-ет, думаю, очкариков в нашем взводе сроду не было. Выскочил из-за угла, ору: «Стой, стрелять буду!» А он — наутек, я в небо пальнул — и за ним. Подмял его, а он, гаденыш, визжит и — за руку укусил! Стукнул я его по шеям, конечно...

Поочередно выложив на стол донельзя несвежий, ржавого цвета носовой платок, солдатскую зажигалку-снарядик, смятую пачку сигарет «Юно», кучку пистолетных, маслянистых патронов, облепленных галетными крошками, маленькую фотокарточку в целлофане, все содержимое карманов немца, часовой старательно почистил руку о полу шинели, с видом доказательства показал Гранатурову запястье, пояснил озлобленно:

— Так в мясо зубами и впился, клеща немецкая! Из лесу, видать, вервольф, разведчик, не иначе — разнюхивал. Змееныш, а на вроде пацан?

— Все? — спросил Гранатуров, сверху вглядываясь в низко опущенную голову немца.— Значит, оружия нет? А ну-ка, часовой, осмотрите как следует место, где его схватили. Может, там что осталось.

— Слушаюсь. Сейчас мы.

Часовой пошел от немца боком, потом усердно затопал кирзовыми сапогами к двери и здесь на пороге оторопело посторонился перед Мененным, пропустив его; а тот, поигрывая желваками, втолкнул в комнату очень молоденькую немку, почти девочку, простоволосую, испуганную, в разодранном до бедра, ужасающе нечистом платье,— она будто из последних сил продвигалась по расшатанной жердочке через пропасть, балансируя над гибельной высотой, отчего неприятно были видны напрягшиеся ключицы в разрезе незастегнутого платья; пухлые искусанные ее губы вздуто чернели, как рана. Увидев мальчишку-немца, она вскрикнула задохнувшимся шепотом:

— Kurt! Kurt!..

И зажала ладонью рот, с отчаянием наклоняясь вперед, точно вдавливая рыдания в себя, а он, сгорбленный, повернул к ней грязное птичье личико, тряско запрыгали очки на восковом остреньком его носу, но не ответил ничего, только трудно сглотнул,— кадык бугорком пополз по горлу.

Никитин, еще помня белую коленку, елозящую по одеялу, задушенный крик «найн», смотрел на эту растрепанноволосую, некрасивую в своем разъятом страхе, молоденькую

---

[1] Не стреляйте! Курт, Курт!..

немку, на этого ссутуленного, безобразного в своей худобе и внешней воинственной нелепости мальчишку-немца, зачем-то ночью оказавшихся здесь, в занятом его взводом доме,— и все яснее чувствуя взаимосвязь между ними, проговорил спешно, опережая объяснения Меженина:

— Комбат, немку обнаружили в моей комнате...— Он запнулся и не назвал Меженина, чтобы сейчас не касаться некстати обостряющих положение обстоятельств.— В первую очередь надо выяснить... Непонятно, зачем ей надо было брать белье в шкафу...

— Она? Была в твоей комнате? — проговорил Гранатуров, ожигая испытывающими глазами немку.— Она? Каким образом? Откуда? Так вот, допросить их, допросить немедленно! Выяснить, кто они? Кто послал их? С какой целью? Лейтенант Княжко!..— Он властно взглянул на хмурого Княжко, ни звука в этом разговоре не вымолвившего, и добавил, как бы приготовленный разозлиться:— Ты у нас по-немецки соображаешь. Давай. Допроси их. Давай, Княжко, приступай!— поторопил он той приказывающей интонацией, в которой было и предвкушение сурового развлечения и опыт человека, взявшего на себя привычную ответственность.— Действуй, я буду вопросы задавать. Сейчас все выясним, зашпрехают гады, как миленькие!

Княжко поморщился.

— Я имею достаточное представление, какие следует задавать вопросы. Это во-первых. Во-вторых, когда мы с вами перешли на «ты»? Сегодня?

— Ладно, ладно в бутылку-то лезть! Выкать буду. Ладно.

— Благодарю.

И лейтенант Княжко, весь суховато упрямый, до предела заталенный ремнем и портупеей, шагнул к пленным и сейчас же заговорил по-немецки, обращаясь то к несуразно тощему юнцу, то к молоденькой немке, произнес несколько фраз довольно спокойно. Никитин разобрал одно знакомое слово «намен»,

понял, что он спрашивал имена, фамилии, увидел, как набряк страхом взгляд немки, как еле разлепились опухшие ее губы, и она ответила тающим шепотом:

— Emma... Herr Offizier...

Юнец молчал, туго глотая, точно воздух не мог из груди вытолкнуть, лишь челноком ползал по горлу кадык, и тогда Гранатуров, нависая над ним из-за спины Княжко, сильно ткнул пальцем ему в плечо:

— Что онемел, сосунок! Курт — твое имя! Так?.. Спросите-ка его, из вервольфа он? Из леса? Сколько их там?

Но Княжко оборвал его холодно:

— Вот что, товарищ старший лейтенант, если вы будете перебивать меня и тыкать в пленного пальцем, я прекращу допрос.

— Ладно, ладно! — заворчал недовольно Гранатуров.— Цирлиха-манирлиха много, как вижу. Что они с нами сделали бы, если б мы у них в лапах оказались? На огне бы поджарили!

— Кишки через нос потянули бы — и плакать не дали! — напористо вставил Меженин.— Да и немочка — фрукт: ишь, козочкой притворяется. Шпионка, сука!

Он топтался позади немки, поводил задымленными глазами по ее спутанным космами неопрятным волосам, по узеньким бедрам, по ее полным в икрах и тонким в лодыжках ногам. Он, видимо, не хотел простить и себе и этой невзрачной немке ее сопротивления в мансарде, тот крик сквозь толщу подушки — и, самолюбиво уязвленный, мстил ей и словами и взглядом злобы, которая была понятна Никитину.

«Что за ересь говорил он мне наверху? — подумал Никитин, опасаясь вспоминать скользкую черноту недавнего на мансарде.— В чем я могу его обвинить? В попытке изнасиловать вот эту немку? Но он не боится меня, потому что никто ничего не видел, а к немцам нет сочувствия ни у кого. Неужели я посочувствовал ей?»

За стенкой, в коридоре нижнего этажа, пронесся шум голосов, засновали шаги людей, дверь приоткрылась — в проем всунулось пожилое серьезное лицо командира четвертого орудия старшего сержанта Зыкина, он доложил сумрачно:

— К нам патрули прибыли! Кто стрелял, спрашивают. Враз прибежали!

— Поговори с ними, Никитин,— приказал Гранатуров.— И много не объясняй, не распространяйся, сами разберемся!

Никитин вышел в коридор, где желтым пламенем чадила немецкая жировая плошка, поставленная на тумбочке под вешалкой, и горели плошки в двух комнатах — там шатались по стенам тени взбудораженных солдат; около входной двери темнели три незнакомые фигуры в плащ-палатках, тускло поблескивало оружие. Сразу же к Никитину выдвинулся один из них, судя по фуражке, офицер, прямой, сухощавый, спросил с начальственным требованием:

— По какой причине на вашем участке возникла стрельба, товарищ лейтенант? Кто стрелял?

— Ничего особенного,— ответил Никитин, соображая, что объяснять подробности, значит — усложнять все, заранее вмешивать дотошную, всегда придирчивую комендатуру в дела батареи.— Перестарался часовой. Сами выясним причины.

— Открывать стрельбу ночью в немецком городе — это не «ничего особенного», а ЧП,— неподатливо возразил офицер.— Вчера, например, обстреляли штабную машину в лесу, да будет вам известно. Один наш солдат убит, двое офицеров тяжело ранены. «Ничего особенного...» Все трезвы в вашей батарее?

И он с недоверием приблизил свое строгое, немолодое лицо, беззастенчиво принюхиваясь к дыханию Никитина, затем оглянулся на солдат: они уже группами столпились в дверях комнат, смотрели оттуда объединенно и недобро, а старший сержант Зыкин в угрюмой замкнутости каменно уставился на огонек плошки. Взвод, не сговариваясь, общим молчанием поддерживал Никитина перед чужим начальством, хотя сейчас он сам до конца не сознавал, почему лгал офицеру из комендатуры и почему полностью не верил в серьезность того, что мог по долгу службы предполагать патруль.

— Насчет выстрела мы разберемся,— проговорил Никитин.— Больше вопросов нет? Я должен идти.

Офицер выждал немного.

— Смотрите, лейтенант, смотрите в оба! Распущенность в условиях Германии, знаете, до чего доводит?

— Будем смотреть в оба. Знаем.

Когда же патрули выходили, мимо них боком вскользнул, суетливо втиснулся клином меж их телами часовой, едва не запутавшись в плащ-палатке офицера, что заставило его удивленно откачнуться, загремел сапогами по коридору к Никитину, выговаривая на бегу:

— Нету, ничего нету, товарищ лейтенант!

— Голову сломите! — остановил его Никитин.— Как следует осмотрели вокруг дома?

— Чисто, на карачках по всем уголкам облазил, товарищ лейтенант. Ничего нету!

— Хорошо, идите на пост. И не дремать, ясно? — И, подумав, сказал ожидавшему приказаний Зыкину: — Проверьте часовых у орудий, пока тревоги не было.

В столовой продолжался допрос.

Мальчишка-немец, заикаясь, опустив маленькую птичью голову, отвечал на вопросы Княжко, очки сползали на кончик остренького потного носа, он с робостью глотал слюну в паузах между словами, вид его был все так же нелеп, жалок, пришиблен, и Княжко не перебивал его, выслушивал сосредоточенно-упрямо после каждой своей фразы.

Гранатуров, придерживая здоровой рукой раненую руку, ходил по комнате, мерил ее шагами, то и дело глыбообразно возвышаясь позади Княжко, подозрительно гмыкал, издавал горлом густые мычащие звуки, одними этими звуками сомневаясь, не доверяя робкому лепетанию на немецком языке, которое, казалось, не могло быть доказательным, обмануть его, как и пришибленный вид пленного. Меженин стоял за спиной немки, презрительно оглядывал ее с ног до головы, ее разодранное на бедре платье, и это явно мстительное, раздевающее презрение его было отвратительно Никитину — не исчезал, не выходил из памяти обезумелый удушающий табачным перегаром сип Меженина в мансарде: «Уйди, лейтенант, уйди, не мешай, говорю!»

— Громче, сосунок! Не нуди!— грозно скомандовал Гранатуров, оборачиваясь к уныло поникшему под его командой немцу.— Что шелестишь, как мышь в крупе? Конкретно спросите его, Княжко! Из верфольфа он? Да или нет?..

Стало тихо. Немка всхлипнула, и увеличенные глаза ее, наполненные влагой, еще больше раздвинулись, замерли на нетерпеливо-требовательном лице Гранатурова — гулкий раскат его баса повторным громом ударил по комнате:

— Конкретно: да или нет? Фашист он или сосунок всмятку? Каким образом оба очутились в этом доме?

Княжко покривился, будто от тупой боли, сказал бесцветным голосом:

— Перестаньте кричать, как на базаре...— Он говорил спокойно, но в тоне его накалялась тихая ярость.— Курт по фамилии Герберт, шестнадцати лет, месяц назад взят в вервольф, в боях не участвовал. Во что, впрочем, можно поверить. Дальше. Курт Герберт — родной брат этой девушки, Эммы Герберт. О чем сказали оба.

— Брат и сестра? Хо-хо! Знаем мы это! А, видать, спят в одной постели,— проговорил Меженин зло, однако Гранатуров, заглушая его, настойчиво повторил вопрос:

— Каким образом оба очутились ночью в этом доме? Цель? Какая цель была у обоих?..

— Вы что, меня допрашиваете? — спросил без интонации в голосе Княжко, и тихая ярость все упорнее нарастала в его глазах.— Так вот, слушайте внимательней! Как заявили Эмма Герберт и Курт Герберт, они хозяева этого дома. Представь, обнаружились хозяева.— Княжко вскользь усмехнулся Никитину, перевел дальше: — Жили здесь втроем с дедом, как я понял, с отставным полковником. Großvater ist Oberst? [1] — быстро спросил он обоих по-немецки, еще раз уточняя для себя, и в ответ молоденькая немка как-то уж очень поспешно закивала ему, лепеча с надеждой и заискивающим согласием: «Ja, ja, Oberst... Reichswehr» [2]. Да, отставной полковник, семидесяти пяти лет. Месяц назад выехал, а точнее, конечно, удрал в Гамбург, поближе к англо-американцам. Вероятно, как я думаю, боялся нашего прихода. Эмма Герберт осталась охранять дом. Тридцатого апреля, когда стали летать советские самолеты, ей стало страшно одной в доме, перевожу дословно, она взяла продукты из дома и стала жить у подруги в этом же городке, в каком-то сарайчике.

— Дед-полковник в Гамбурге у американцев, эта... козочка в сарайчике жила. А этот Курт... Черт Иваныч в лесах с автоматом шастал? — резко выговорил Гранатуров.— Ничего себе хозяева! С целью разведки в свой дом вместе с сестричкой пришел? Что им тут вдвоем нужно было? Вот главное! Кто их послал?

Тихая ярость, готовая вот-вот выплеснуться вспышкой (как ожидал Никитин), пригасла в глазах Княжко, он, похоже, намеренно не придал значения последнему вопросу Гранатурова и, обращаясь к одному Никитину, заговорил невозмутимо:

— У меня, видишь ли, нет желания пристрастно допрашивать, а тем более воевать с грудными детьми. Особенно вот с этими. Это — первое. Второе. Эти наивные дети узнали, что Берлин взят, пережидать нечего, и решили бросить дом, двинуть в Гамбург к своему престарелому и перепуганному нашествием русских гроссфатеру. Взять вещички, переодеться — и в дорогу... Этот Курт вернулся из лесу и сказал об этом сестре. Так они объяснили. И я готов верить, представь себе. Дальше. Эмма вошла в дом через черный ход со стороны сада. Курт ждал внизу. Кстати, этот Курт сказал, что в лесу за озером вервольфов человек двадцать: в том числе его сверстники, мальчишки лет пятнадцати-шестнадцати, во главе с ефрейтором из какой-то разбитой части. Вооружены автоматами и фаустпатронами.

— Та-ак! — длинно протянул Гранатуров, направляясь крупными шагами к Курту.— Та-ак! Автоматы и фаустпатроны? Двадцать человек? Тогда уж скажи, дорогой мой Курт, где они? Где располагаются вервольфы? Ни хрена за очками не видно!— Он витиевато выругался.— Во... зинд... вервольфы?..— крикнул он, подбирая немецкие слова, и бросил большую свою руку на кобуру...— Во... ист вервольф? Вифиль... километр? Шпрехе, щенок! Ну? Отвечай!

И Курт вобрал птичью голову в узенькие прямые плечи, на которых, как на вешалке, обвисал широкий, с прожженной полой мундир, облизнул губы, обметанные крупными каплями пота, залопотал что-то испуганное, неразборчивое, в беспомощности озираясь на сестру, и Никитину показалось, что даже оттопыренные ребячьи уши его побелели. А она в онемелом страхе, умоляя раздвинутыми на половину лица глазами и Гранатурова и Княжко, перестала дышать, неразвитая грудь ее круто поднялась, затвердела камешками, и наконец она выдохнула вскриком отчаяния:

— Nein, Herr Offizier, nein! Nein! [3].

И закрыла лицо ладонями, мотая спутанными волосами в приступе тоскливой незащищенности.

Струйки пота скатывались по грязным щекам Курта, голова все глубже уходила в плечи, тощая шея мелкими толчками все ниже нагибалась, и сутуло, углами проступили лопатки под мундиром, потом хлипкий кашель вырвался из остренького его носа, он подавился, поперхнулся и еле выдавил какую-то разорванную фразу, глотая ее вместе со слюной.

— Вчера в лесу обстреляли штабную машину,— вполголоса сказал Никитин, взглянув на Княжко.— Сообщил патруль. Он знает об этом?

— Вчера? Обстреляли?— подхватил Гранатуров. — Ну-ка, Княжко, вопрос щенку! Они стреляли?

«Неужели вот такие молокососы устроили засаду в лесу? — подумал Никитин, пытаясь соотнести обстрел машины с видом этой сгорбленной, жалкой мальчишеской спины немца и его мокро хлюпающего носа.— Просто не верится. Да им кашу манную есть, а не из ав-

---

[1] Дед полковник?

[2] Да, да, полковник... рейхсвер.

[3] Нет, господин офицер, нет! Нет!

томатов стрелять. Не может быть, чтоб такие, как он!..»

— Что там этот хмырь мокроносый мычит?— угрожающе спросил Гранатуров, не снимая руку с кобуры.— Если не ответил, повторить вопрос, еще повторить, Княжко! Вчера стрелял, а сегодня в разведку пошел? Эт-то пусть ответит!

Княжко задал вопрос и с подчеркнутой сухостью перевел:

— Он сказал, что вчера не был в лесу, а был в городе, у сестры. Кроме того, ефрейтор каждую ночь выбирает новое место ночевки. За разглашение тайны — расстрел. Некий Фриц Гофман был расстрелян за то, что поранил о сучок ногу, не мог идти... Ефрейтор зажал ему рот ладонью и выстрелил в сердце.

— Вот гад,— пренебрежительно сказал Меженин, не то имея в виду ефрейтора, не то Курта.— Повесить мало! Всех до единого! Я б им припомнил «Хайль Гитлер!» Они б у меня покрутились!..

Гранатуров, расставив ноги, медленно покачивался с носков на каблуки, скулы его заметно теряли смуглоту, приобретали серый оттенок.

— Значит?.. Отказывается говорить? Так я понял, Княжко? — сниженным до подземного рокота басом выговорил Гранатуров, зрачки его вдруг слились с шальной жутью глаз, и он дико тряхнул головой в сторону двери.— А ну-ка, выйдите все, только братца немочки оставьте! Я поговорю с этим онанистом, как фрицы с моим отцом и матерью в Смоленске разговаривали! Он у меня шелковым станет, мразь вервольфовская!.. Они еще будут вокруг нас с автоматами ходить!

— Змеиное семя! Чикаемся с ними! Все они тут — фашистское отродье, душу иху мотать!..— выматерился Меженин жестоко.— Наших людей мучили, а тут еще молчит, выкормыш гитлеровский! Стрелял вчера?

Никитин слышал о чем-то страшном, детально неясном, что случилось в сорок первом с семьей Гранатурова в Смоленске (отец его, кажется, был директором школы, мать — учительницей), о чем сам он мало говорил, и, подумав об этом, тут же увидел сплошной оскал зубов на посеревшем лице комбата, увидел, как напряглись слоновьей силой его плечи и чугунной гирей дрогнул и повис вдоль тела пудовый кулак. Он никогда не замечал этого ослепленного, ярого, звериного проявления в нем, и почему-то мелькнула мысль, что одним ударом Гранатуров легко мог бы убить человека. Но это звериное, темное, неосмысленное проявилось и у Меженина там, с немкой, в мансарде, точно бы зараза насилия полыхнувшим пламенем внезапно прошла от него к Гранатурову, как проходит безумие по толпе, слитно опьяненной жаждой мщения при встрече человеческого существа, вовсе не сильного, растерянного, несущего в себе понятие врага,— поверженный враг, еще жалко сопротивляясь, порой вызывает ненависть более острую, чем враг сильный.

Это не понял, а инстинктивно почувствовал Никитин, но в ту же секунду пронзительный взвизг немки прорезал тишину комнаты, и с рыданием она ринулась к Курту, по жестам, по голосам, по взглядам догадываясь, что должно было произойти сейчас; она вцепилась в шею брата и, наклоняя его маленькую голову к своему лицу, хватая его помертвевшее лицо скачущими пальцами, повторяла одно и то же с мольбой:

— Kurt, Kurt, Kurt!.. Antworte!..[1].

— Меженин! — заревел Гранатуров, надвигаясь на Курта.— Убери эту мокрохвостку к едреной матери! Выйдите все! Я поговорю с ним! И этот слюнявый скорпион стрелял в нас? А, Меженин?..

Меженин плюнул на ладони, растер, будто бы дрова рубить собрался, обеими руками схватил немку за плечи, рванул, оторвал ее от Курта, и тотчас же неузнаваемый, накаленный голос Княжко хлестнул зазвеневшим выстрелом:

— Назад!..

И, сделав два шага, подобно разжатой стальной пружинке, оттолкнул Меженина локтем и, бледнея, стал между Гранатуровым и Куртом, произнес непрекословным голосом приговора и Гранатурову и себе:

— Это вы сделаете только в том случае, если меня не будет в живых! Вам ясно, комбат?

— Меженин! Выйдите отсюда!— подал команду Никитин, горячо подхваченный решимостью Княжко.— Чтоб вашего духа здесь не было!

— Ишь ты, лейтенант!..

Меженин перевел задымленные бешенством глаза на Никитина, затем, по обыкновению смежив ресницы, для чего-то потирая жестко ладонь о ладонь, прохрипел Гранатурову: «Немчишки им, оказывается, дороже, а?»— и, переваливаясь, двинулся к двери, открыл ее кулаком, вышагнул и так стукнул дверью, что закачался огонь в лампе.

— Та-ак! — понимающе пропустил через зубы Гранатуров и отступил к столу, сел, отбросился на стуле, свесив на груди забинтованную руку.— Так, мушкетеры сказочные, значит, из-за немцев передеремся друг с другом в конце войны? Так вы добрее меня, значит? Вы чистенькие херувимчики, а я?..

Но уже видимым усилием заставляя себя остыть, овладеть припадком злобы, договорил почти охлажденно:

— Из-за этих щенков? Может, насмерть перебьем друг друга? Из-за них? Ох, Княжко, Княжко, как жить мы будем? Выключить бы против меня механизм надо! Враги мы или в одних окопах сидим?

Но Княжко молчал. Бледность не сходила с его лица, оно было все так же упрямо, твердо, и было странно видеть сейчас его новенькие парадные звездочки на погонах, зеркально отполированные хромовые сапожки, безукоризненный пробор аккуратно зачесанных светлых волос — и Никитин невольно подумал: «Да, он в самом деле — механизм».

— Так вот,— заговорил очень внятно Княжко, как бы ни слова не услышав из того, что говорил Гранатуров.— Совершенно ясно, товарищ старший лейтенант, что эти немцы — хозяева дома. Значит, дом принадлежит им. Им, а не нам. И это абсолютно справедливо. Поэтому пусть собирают вещи, то, что им принадлежит, и уходят, куда хотят, хоть в Берлин, хоть в Гамбург. Пусть уходят.

Гранатуров забарабанил ногтями по пустому стакану.

— И отделавшийся испугом божий одуванчик мотнет к своему ефрейтору? Так следует понимать, Княжко?

— О, как это опасно, товарищ старший лейтенант, если даже так! Двадцать мальчишек с сосками сидят в лесу, запуганные каким-то ефрейтором. Вот этот Курт достаточно убеждает, кто там еще остался.

— Ой, как мило!

— Что «ой»?

— Автомат и фаустпатроны — сосочки, Княжко?

— Думаю, что воевать надобно с достойным по силе противником, а не...— Княжко без прежнего любопытства посмотрел на тощую, затихшую в страхе фигуру Курта, на молоденькую немку, чуть приоткрывшую в кровь искусанные, вспухлые губы, закончил равнодушно: — А не с цыплятами.

— Ой, как все мило, лейтенант!

— Хочу напомнить,— непререкаемо продолжал Княжко.— Вы официально находитесь на излечении в медсанбате, товарищ комбат. Я замещаю вас на должности командира батареи. И я принял решение. Никакого боя не было. Мы их в плен не брали. Они сами пришли, как хозяева своего дома. И, повторяю, пусть уходят, если хотят. Ты, Никитин, надеюсь, не возражаешь?

«Да, Княжко — как механизм. Упрямо заведен ключиком в одну сторону. В обратную его не заведешь! Но почему он так уверенно принял решение, вот что неясно»,— подумал Никитин с осуждением и тайным восторгом перед непоколебимой убежденностью Княжко, зная, что тот теперь не согласится с любым возражением Гранатурова, как часто не соглашался с ним при выборе противотанковых позиций, и, зля комбата самонадеянным упорством, сам уточнял огневые для своего взвода. И Никитин, неполностью сознавая непреклонную правоту решения Княжко, но подчиняясь его знакомой, даже на миг не сомневающейся твердости, сказал:

— Я согласен с тобой. Боя не было, мы их в плен не брали.

— Прекрасно,— произнес Княжко.

Гранатуров, с вытянутыми на ковер ногами, развалясь, уронив к полу здоровую руку, сидел в позе утомленного человека, насмешливо и терпеливо выжидающего, чем все это может кончиться, а когда нахмуренный Княжко подошел к немцам и быстро заговорил с ними, он выдул всей грудью сильную струю воздуха, выговорил:

— Не много ли, Княжко? Не много ли на себя взято? Ох, как загнуто! Не заплакать бы от такого приказа...

Княжко, однако, не ответил ему, не прервал разговора с немцами, и Никитин видел, как дрожащее отвис подбородок у растрепанно некрасивой Эммы, как нервически толкнулась вбок, от плеча к плечу, продолговатая птичья голова Курта, и неизвестно почему пришла раздраженная мысль, что этот мальчишка, худой, нелепый весь, не от мира сего, так ни разу не снял во время допроса большие свои очки, придающие ему несуразный облик болезненного комнатного вундеркинда, безобразного марсианина, и стало смутно на душе — и он сказал неприязненно:

— Интересно, умеет ли он стрелять?

— И дурак умеет,— бросил Княжко и, заканчивая объяснительный разговор с немцами, заключил дважды произнесенными командами:— Аллес! Аллес!

Было непонятно — вслед за этим командным «аллес» Эмма узкими шажками приблизилась к Княжко, не подымая заплаканных глаз, сделала короткое приседание, затем неожиданно и несколько стыдливо присела перед Никитиным, сказала запухшими губами с подобострастной благодарностью: «Danke schön, Herr Offizier!» [2] — после чего тронула безвольную кисть своего брата, должно быть, еще не поверившего в спасение в этот последний момент, и с заискивающим лицом повела его за руку, видимо, на правах старшей сестры, к двери. Он пошел за ней, неуклюже заплетаясь сапогами, а ребячий, с глубокой ложбинкой, затылок его боязливо вжимался в воротник мундира, вероятно, ожидая окрика или выстрела в спину.

— Аллес! — повторил Княжко, когда дверь за ними закрылась, и, взглянув на ручные часы, сказал серьезно: — Кажется, пора подышать свежим воздухом перед сном. И заодно проверить часовых.

Минуту длилось молчание.

— Эх, господа офицеры, господа офицеры, аха-ха...— выдохнул Гранатуров, разжав сцепленные челюсти.— Много взято — кому платить? А если что, кому-то из нас придется отвечать... не погонами, а головой.

— Да? — бесстрастно удивился Княжко.— Что ж, погон пара, голова одна — отвечу, товарищ старший лейтенант.

Никитин сказал:

— Я с тобой. Сам проверю часовых на всякий случай.

— Проверять их надо без всяких случаев,— ответил Княжко и, чистоплотно сдунув невидимые пылинки с пилотки, надел ее.— Пошли, Никитин.

— А! Куда?..— спросил Гранатуров размышляюще, и задумчивое смуглое лицо его, повернутое к Княжко, передернулось тоскливо.— В медсанбат, а? Напрасно. Думаю, Галочка спит в это время, лейтенант.— И он затрещал стулом, с притворным томлением распрямился двухметровым телом.— Замещаете меня и взяли на себя все? Крепко! А если этот гадкий утенок со своим братцем пришла с целью пошпионить, то что вы ответите «Смершу», господа офицеры? Придумали ответ? Так вот: придумывайте за троих, чтоб скопом было. Я все-таки люблю вас, дьяволы, за рискованность!..

Княжко набросил на плечи плащ-палатку, не принимая полушутливого тона Гранатурова, жестковато ответил:

— Придумывать не стоит. Именно тогда займется трибунал мной, товарищ старший лейтенант.— Он строевым жестом поднес руку к пилотке, добавил смягченно: — Лучше всего — располагайтесь до утра на диване. Спокойной ночи!

Они вышли.

---

[1] Курт, Курт, Курт!.. Отвечай!..

[2] Очень благодарна, господин офицер!

Продолжение следует.

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки И. ПЧЕЛКО

ГЛАВА ПЯТАЯ

Глубокой ночью Никитин просыпался несколько раз, с чувством беспокойства ворочался, приподымал голову, прислушиваясь к неживому безмолвию дома, к застывшей, без единого звука тишине городка, из конца в конец залитого лунным светом. Сыроватой свежестью сирени, запахом цветущих яблонь тянуло прохладной струей в раскрытое окно, влажным ветерком омывало его горячее лицо. Среди пустынного сияния неба, над островерхими черепичными кровлями, на западе, недоспелым ломтем арбуза висела за соснами луна, и крыши, и сады, и улицы с серебристым переливом брусчатника — все было затянуто синим дымом, по-ночному неподвижно, только изредка возле дома шуршала трава под сапогами часового, и тогда Никитин, успокоенный, снова засыпал.

Уже на заре он вздрогнул в полусне от постороннего звука, раздавшегося где-то рядом. Он открыл глаза, и, поворачиваясь на бок, машинально рванулся к обмундированию на стуле у изголовья, к кобуре пистолета, положенной поверх гимнастерки, но тут же понял, что разбудило его внезапно: возникли шаги на площадке лестницы, потом слабенько постучали в дверь — и затихло.

Было светло и зябко. Стояло, сквозило через пламенеющие вершины сосен утро, раннее, розовое, прозрачно-чистое.

— Кто там? — крикнул Никитин.— Ушатиков? Вы?

В дверь опять негромко постучали — и сквозь повторный стук осторожный девичий голосок, замирая, пролепетал на немецком языке:

— Darf man herein, Herr Offizier? [1]

«Что такое? — подумал Никитин, встревоженный, восстанавливая в памяти все случившееся ночью, и в голове его туманно мелькнуло: — Это та фрейлен Эмма? Она вместе с братом собирала вещи в другой комнате на мансарде, когда я вернулся после проверки постов. Да, они должны были уйти утром... Зачем она ко мне? Что-нибудь хочет сказать? Сообщить? Что-нибудь произошло?»

И Никитин, еще нечетко соображая, поискал на всякий случай русско-немецкий разговорник и, не найдя его, потянул перину на грудь, откликнулся без уверенности:

— Входите. Herein. У меня не заперто.

Дверь легонько толкнули, она замедленно приотворилась, проскрипела — и в щелку сначала вдвинулся маленький поднос с чашечкой, две тонкие руки, торчащие из широких рукавов цветного халатика, и, держа подносик, боком вошла Эмма, закрыла дверь коленкой, застенчиво и робко улыбаясь вроде бы одеревеневшими губами:

— Guten Morgen, Herr Offizier, guten Morgen!..[2]

— Guten Morgen,— ответил Никитин, стесненный этим ее приходом, удивленный необычным видом этого подносика с чашечкой кофе, наверное, предназначенного для него, и, не сумев скрыть первой неловкости, покраснел и, запинаясь, усиленно напрягая школьные знания немецкого языка, попытался спросить:

— Was ist das? Warum? [3]

— Ihr Kaffee, Herr Offizier. Bitte schön [4].

Покачивая полами халатика, она подошла несмело, предупредительно-ласково кивая, поставила подносик на край постели, и он, до растерянности смущенный, даже отодвинул ноги под периной подальше от подносика, глядя на нее тупо-невыспавшимися, вопросительными глазами.

— Was ist das? Warum? — проговорил он одну и ту же школьную фразу.

— Bitte sehr, Herr Offizier, bitte sehr. Guten Morgen... [5]

— Guten Morgen,— пробормотал он, томясь и не находя, что сказать на ее улыбку, как возразить по поводу кофе, принесенного ему в постель.

— Bitte sehr...

Она тоже в замешательстве сделала вчерашнее полуприседание возле постели, ее раздвинутые волнением серо-синие глаза с осторожной прислушивающейся улыбкой смотрели на губы Никитина, а он ощутил: в комнате по-утреннему запахло туалетным мылом или едва внятным одеколоном (запах этот встречал Никитин в немецких офицерских блиндажах, и так же по-немецки источали лавандовую сладость вещи здесь, в пустом доме, когда они заняли его). И он зачем-то подумал, что она по аккуратной привычке умылась недавно холодной водой с ароматическим мылом, ее желтые, казалось, сплошь выгоревшие на солнце волосы были по-новому опрятно причесаны, отливали золотистым блеском; и еще бегло увидел он детские, густые, как у мальчишки, веснушки, они весело пестрили ее лицо вокруг чуточку вздернутого носа, и лишь один рот был прежним: некрасиво вздутым, искусанным.

Он отвел взгляд, вспомнив ее придушенной подушкой, распростертой, раздавленной на постели, где сейчас лежал он, ее зажатые вскрики «найн, найн», ее в сопротивлении двигавшееся колено под лунным светом,— и со стыдом от того, что она должна была помнить это, почувствовал влагу испарины на лбу.

— Danke [6],— чрезмерно официально сказал он, напуская на себя строгость, и в то же время подумал: «Как это неудобно — кофе в постель. Чего она ждет? Пока я выпью кофе? Что за обычаи? И что делать?»

Он решился и сел на постели, придерживая перину на груди, взял крошечную фарфоровую чашечку, отпил глоток теплой горьковатой жидкости, помедлил из-за неуверенности, отпил еще глоток, опустошая всю чашечку, и поставил ее на подносик.

— Danke,— сказал Никитин и, чтобы как-то выказать необходимую, вероятно, в таких случаях особую благодарность за оказанное внимание, сконфуженно солгал: — Прекрасный был кофе. То есть... wunderbar, ausgezeichnet Kaffee [7]. Спасибо.

— Bitte schön, Herr Offizier. Спа-ас-ибо?..

Она поняла и, продолжая улыбаться, сделала то странное покорное полуприседание, какое удивляло и озадачивало его,— от этого ее приседания в разрез халатика выглянуло ее белое круглое колено,— и он, уже горячо краснея, тотчас отвернулся к стене, снова вспомнив тот момент, когда вбежал в мансарду и различил на постели темную шевелящуюся массу и под лунным светом безобразно отогнутое это ее колено.

— Danke,— пробормотал Никитин и посмотрел на потолок, на его гладкую чистоту, по которому веерообразно и зыбко расходились розоватые блики солнца, как отражение в воде.

«Ей надо сейчас как-то сказать, чтобы она ушла,— поспешно подумал он, испытывая потребность высвободиться из необычного положения вяжущей скованности.— Она здесь, а я не одет. Как ей сказать: «komm», «weg», «zurück»? [8] Или махнуть рукой в сторону двери? Может быть, улыбнуться и сказать: «Danke, zurück»? Каким с ней быть — вежливым, строгим, официальным? Она видела меня вчера в том жутком состоянии. Я кричал на Меженина. И, наверно, она боится меня. Что она говорит? О чем она говорит?»

— Herr Leutnant... Hamburg... Kurt... dort... [9] — разобрал он отдельные, не ясно понятые слова из ее речи, неловко натолкнувшись на ее расширенные мольбой глаза.

— Черт... я не понимаю по-немецки,— сказал он.— Знаю немного. Что? О чем вы?

А она говорила что-то быстро, тревожно, заискивающе, тонкий голосок ее чуждо звучал, произносил немецкие фразы, сливаясь в какое-то беспокойство, в подобострастную просьбу, и Никитин, безнадежно силясь понять ее, вдруг смыслово соединил несколько знакомых слов «Kurt», «nach Hamburg» [10], увидев, как ее пальцы стали показывать на поверхности подносика шагающие ноги,— и он для подтверждения уже возникшей догадки переспросил:

— Как? Курт ушел?.. Kurt komm nach Hamburg? [11] То есть...— Он так же пальцами изобразил движение ног по перине, в конце движения начертил вопросительный знак, повторил: — Гамбург? Курт? Один? Kurt ein? А вы?

— Kurt, Kurt...— Она сине осветила его глазами, закивала так торопливо, что медно-желтые волосы рассыпались по ее щекам, но сейчас же с ожиданием и страхом прижала щепотку пальцев к груди, и вновь заговорила робко, спешаще, взволнованно, объясняя, прося его о чем-то.

Он не понимал и, не понимая, то слегка улыбался, то хмурился,— и это малейшее изменение его лица настороженным выражением обозначалось на ее лице, оно становилось то умоляющим, то недоверчиво-радостным, то

---

[1] — Можно войти, господин офицер?

Продолжение.
См. «Огонек» №№ 12—15.

[2] — С добрым утром, господин офицер, с добрым утром!..
[3] — Что это? Почему?
[4] — Ваш кофе, господин офицер. Пожалуйста.
[5] — Пожалуйста, господин офицер, пожалуйста. С добрым утром...
[6] — Спасибо.
[7] Прекрасный, отличный кофе.
[8] «Иди», «прочь», «назад».
[9] — Господин лейтенант... Гамбург... Курт... там...
[10] «Курт», «в Гамбург».
[11] Курт уехал в Гамбург? (искажен. нем.).

БЕРЕГ

погасшим; и тогда, наконец, он принял единственное решение.

— Послушайте... где-то здесь разговорник. Прошу, подайте мне его. Bitte, geben sie mir Buch. Klein Buch [1].— Он показал на комод.— Кажется там. Deutsche-russische... [2] Прошу вас. Bitte...

Она, вникая в его речь, проследила за его взглядом и тотчас сказала, округлив губы: «О!» — проворно поставила подносик на комод, обеими руками бережно, будто хрупкую вещь, взяла с комода еще довольно новенький, незалистанный разговорник, сделала шажок к постели, опять полуприседая:

— Bitte schön, Herr Leutnant.

Он развернул разговорник, пролистал главы «допрос пленных», «разговор в сельской местности» («А, все не то, все не то!»), остановился на главе «разговор с мирными жителями», сказал в приготовленном внимании к нужным фразам:

— Noch einmal... Sagen sie langsamer, bitte [3]. — Ich... bleibe-e... hier... mein Haus... mein Zimmer... [4] — для чего-то сама коверная грамматику, протяжно заговорила Эмма и при этом напряженнее и напряженнее прикладывала щепотку пальцев к груди, отрицательно качала головой: — Ich, ich... bleibe hier... Haus...

Наморщив лоб, он старательно искал в разговорнике соответствующие ее словам ответы («Haus» и «Zimmer» были известны со школы) и не находил ничего подходящего, кроме никчемных сейчас воинственных вопросов, что произносят надсадным криком между автоматными очередями: «В вашем доме не прячутся немецкие солдаты?», «В верхних комнатах никого нет?», «Кто хозяин этой квартиры?»

— Не понимаю... Nicht verstehen [5],— бормотал он, сердясь на себя.— Как болван, немой! Что вы говорите? Haus? Zimmer?

— Ein Moment, Herr Leutnant! Entschuldigen sie... [6]

Она села на край постели, заглядывая в разговорник, тихонько наклонилась, овеяв сладковатым запахом волос, сокровенно-теплым телесным запахом халатика; он рядом, избоку увидел край ее ясного, внимательного глаза, веснушки на щеке, край нежной, шелковистой брови и, покрываясь жаркой испариной от ее близости, непроизвольно отодвинул ноги под перину, ставшей неимоверно тяжкой, душной, подумал с мгновенным и привычным опасением:

«Зачем я позволяю ей смотреть в разговорник? Это все-таки военная тайна... Зачем она села на постель? Надо ей об этом сказать».

— О! — воскликнула она, водя мизинцем по строчкам, и обрадованно и вместе виновато попросила его шепотом: — Lesen sie mal auf russisch, Herr Leutnant [7].

«Как ей сказать? Как?»

Он не совсем отчетливо разобрал строчки под ее мизинцем с обгрызенным ноготком и не сразу прочитал вопрос по-немецки, суть которого стала явной лишь по переводу на русский язык: «Вы беженцы? Из какого города?»— «Нет, это наш дом, мы остаемся здесь».

— Ich bleibe. Ich bleibe... Kurt in Hamburg, ich bleibe [8],— говорила Эмма тихо, убеждающе и страстно, и тут он на ощупь догадался, что она умоляет, выпрашивает у него разрешения, хочет остаться здесь и боится, что ей не позволят этого — быть в доме, занятом русскими солдатами.

«Но почему ушел Курт, а она осталась? Ушел ли он действительно в Гамбург? — возникло подозрение у Никитина.— И почему она обращается ко мне, а не к Княжко? Ведь он допрашивал их вчера. Имею ли я право ей не разрешить жить в своем доме? Глупо!.. Если она осталась, то нет сомнения — Курт не ушел в лес...»

— Gut...— Он захлопнул справочник и бросил его на стул сверху обмундирования, придавленного кобурой пистолета.— Gut. Bitte. Gut. Das ist,— начал подбирать он слова.— Das ist... richtig [9].

— О, Herr Leutnant! Danke schön, danke! O, Herr Leutnant!

Она повернулась к нему, вся просияв, счастливо обдав его солнечной синью засмеявшихся глаз, и с легким стоном облегчения, с каким-то решенным замирающим выражением лица упала головой на его подушку, и вымытые, еще влажные волосы ее опахнули его душистой карамельной сладостью. Он почувствовал на своей шее ее обнявшие прохладные руки, тоже пахнущие туалетным мылом, почувствовал, как они, не размыкаясь, потянули его куда-то порывисто, в мягко-шершавую горячую бездну ее прижавшихся полураскрытых губ, не давших перевести ему дыхание, успел подумать, что происходит нечто ненужное, невозможное, опасное сумасшествие, которое надо сейчас, немедленно остановить, а ее дурманные, яблочного вкуса губы шептали что-то, нежно скользили, терлись, вжимались в его губы, и ее пальцы ослабленно искали его кисть, осторожно тянули вниз, в тайную, нагретую телом внутренность халатика. Он ощутил ее гладкий живот, атласно-гладкое бедро, до головокружения, до спазмы в горле пугающие обнаженной и страшной близостью,— и в ту же секунду сделал движение высвободиться из притягивающей тяжести ее тела с прежней мыслью о ненужном, опасном, противоестественном, что вчера ночью насильственно могло произойти и не произошло вот тут, на этой постели, между нею и Меженины и чего она сама хотела сейчас. «Зачем? — знойными искрами пронеслось в сознании Никитина, и он, взяв ее за плечи, покорно отдающиеся его рукам, чуть-чуть отстранил ее и в муке поиска потерянных где-то в тумане памяти слов прошептал отрывисто и хрипло:

— Эмма... nein...

— Sergeant nein... Soldaten nein! — вскрикнула она жалобно и, изгибаясь, прильнула к нему грудью, обняв его исступленно.— Danke schön, danke...

В этом его «найн» было что-то необъяснимое, чужое, невзрослое, никак не вязавшееся с его решительностью на мансарде прошлой ночью, он даже стиснул зубы от этого немужского вырвавшегося слова, встретив в упор раскрытую глубину ее глаз, недвижно-огромных, синеющих ему в глаза, почему-то вспомнил ощущение пронзительно тонкого и беспричинно радостного колокольчика, когда при восходе месяца над ночным городком он провожал Галю, подумал: «Я буду жалеть об этом? Я совершаю предательство?»

— Danke schön, mein Leutnant. Danke schön...

— Danke schön?...— проговорил он механически, едва понимая и не веря ей.— Warum? Warum?.. Почему «danke schön»?

— Ja, ja... Ruhig... Pst... [10]

Она вскочила с кровати, щелкнула замком двери и, мелькая ногами, вернулась к постели, покорно опустилась на коленки и припала лбом к его плечу, спутав, навесив волосы на лицо.

Он слышал ее шепот, прерывающийся дыханием; она, странно, уголками рта, улыбаясь ему из-за навеса волос, вдруг легла, гибко повернулась на спину и начала робкими рывками развязывать тесемки, с гримасой стыдливости сдергивать непослушный халатик и, уже бесстыдно вытягивая возле него длинное молодое тело, открыв маленькую млечно-нежную грудь, торчащую розовым острием соска, опять, зажмурясь, ощупью нашла его руку и провела ею по своим целующим губам, по шее, по груди, ознобно дрожа и всхлипывая сквозь стук зубов.

«У меня никогда еще этого не было. Только тогда, в окружении...— с ужасом подумал он, стараясь сдержать и не сдерживая передавшуюся ему дрожь ее тела.— Но ведь она немка, а я русский офицер...»

— Эмма... Эмма...

И он, оглядываясь на дверь, пересохшим голосом невольно повторял ее непривычное на звук имя, весь пронизанный знойным током, испытывая стыд, растерянность от своей нерешительности, и, преодолевая унижение нерешительности, убеждая себя, что это уже никогда не повторится в его жизни, губами отвел с замершего лица ее желтые, влажные, пахнущие сладкой карамелью волосы, приник, вдавился губами в ее ищущий, подставленный рот.

...Они лежали на чердаке среди неумятых груд старого сена, и он все время чувствовал, что она из темноты смотрит на него; в лучике лунного света, проникающего через щель крыши, глянцевито поблескивали ее глаза; она говорила, вздрагивая:

— Слушай, почему ты отодвинулся? Ты брезгуешь мной? Правда, мы так давно не мылись. Какие мы потные, грязные... Слушай, мы не прорвемся из окружения. Они утром войдут в деревню. Слышишь, как тихо?

— Да.

— Я сегодня почему-то испугалась смерти. Ты помнишь Клаву из противотанковой батареи?

— Да.

— Ее убило утром, когда мы хотели второй раз прорваться. Ты видел, как ее убило?

— Нет.

— Хорошо, что ты не видел. В воронке осталась санитарная сумка, нет, клочки — вата, бинты... и что-то еще страшное. А она была красавицей, помнишь? Вы все глазели на нее, когда она приходила ко мне. Но она была недотрога. И никто из вас... Я и сейчас помню, какие были прекрасные у нее глаза! И фигура. Как статуэтка. И ничего нет. И вот — все...

Он молчал, у него не было сил пошевелиться, ответить ей, вспомнить глаза и фигуру Клавы, санинструктора противотанковой батареи, где не осталось на второй день окружения ни одного целого орудия. Тогда, расталкивая сено, она пододвинулась ближе к нему, прижалась боком, с задержанным дыханием завела одну руку за его шею, другой стала расстегивать пуговицы на его пропотевшей за три дня боев гимнастерке, и, расстегнув пуговицы, неуверенно просунула маленькую кисть к потной, липкой его груди; ее узкая, огрубелая, несколько дней не мытая ладонь так незнакомо-нежно и так выжидающе гладила его грудь, касаясь кончиками пальцев его подмышек, что он подумал, внезапно замирая от темной ревности и от этих ее порочных прикосновений: «С кем у нее было так?»

— Слушай, у меня есть спирт в сумке,— зашептала она, похоже, плача, частым нажатием губ целуя его в край рта,— дать тебе? Хоть спиртом обтереть лицо. Только не смотри на меня. Я сейчас... Может, так нам будет лучше. Мы не вырвемся из этого окружения, я знаю. Хоть пусть будет так. У тебя когда-нибудь это было... с женщиной?

— А у тебя?

— Когда-то в детстве. Но это было игрой. В каком-то сарае... Понимаешь? Ты только не ревнуй. Разве тебе не все равно?

— Не знаю.

— Не надо ревновать. Ты лежи, а я буду целовать тебя. Потом ты меня будешь целовать.

В ту же ночь, перед холодным рассветом, когда они оба лежали истомленно, тесно обнявшись во сне после того, что вдвоем познали здесь, на чердаке окруженной деревни, он был разбужен гулкими вибрирующими звуками — дрожала земля в накатах внутренних сотрясений — и с острыми толчками в сердце открыл глаза. Обнимая его, она спала на его руке, и, словно успокоительно найдя защиту, лежала теплая тяжесть ее головы, лицо было детским, доверчивым, чуть обиженным, и он ощущал терпковато-миндальный запах ее волос, испытывая к ней какую-то болезненную жалость от вчерашних ее попыток быть чистой, тупую горечь оттого, что они не почувствовали друг от друга ожидаемого облегчения в неумелых и торопливых объятиях.

А за фиолетовым оконцем чердака все явственнее, все ближе накатывал клокочущий рокот моторов, вскоре желтый свет пополз по задребезжавшему стеклу, с улицы взметнулась из танкового гула неразборчивая команда на немецком языке... Он прислушивался, еще не видя, что было возле дома на улицах, но уже знал: немцы занимали деревню, где оставались после разгрома дивизиона лишь несколько солдат и они — двое. И с холодеющей пус-

---

[1] — Пожалуйста, дайте мне книгу. Маленькую книжку (искажен. нем.).
[2] — Немецко-русскую...
[3] — Еще раз... Говорите, пожалуйста, медленнее.
[4] — Я остаюсь... здесь... мой дом... моя комната.
[5] — Не понимаю.
[6] — Извините...
[7] — Прочтите по-русски, господин лейтенант.
[8] — Я остаюсь. Я остаюсь... Курт — в Гамбург, я остаюсь.
[9] — Хорошо. Пожалуйста. Хорошо. Это... это правильно.
[10] — Да, да... Тише...

тотой в груди он выпростал руку из-под ее головы, встал к чердачному оконцу. Загородив улицу, в огне фар густо шла колонна танков, тянулась по обочине двумя цепочками пехота.

— Вставай! Быстро! — Он потряс ее за плечо, лихорадочно застегнул ремень.

Она не сразу сообразила, в чем дело, сонная, скривилась даже: «Что? Какие танки?»,— но когда сообразила, он не дал ей сказать ни слова, шепотом скомандовал, чтобы не отставала ни на шаг, и, вздернув автомат на изготовку, откинул дверцу чердака, первый спустился по лестнице вниз, в сыроватые сенцы оставленного хозяевами дома.

Весь дом гудел, наполненный ревом танков, железным скрежетом гусениц, позвякивали стекла, оранжево вспыхивали под боковым скольжением танковых фар, и мелко звенела дужка порожнего ведра в сенцах, пропахших плесенью запустения.

— Мы не выйдем отсюда... Я так и думала,— сказала она шепотом, спустившись следом, и как бы без надежды на спасение прислонилась виском к его спине.— Куда нам бежать? Они убьют нас, лейтенант...

— За мной! Не отставать ни на шаг! Через огороды... к лесу! — выговорил он, раздраженный ее шепотом, ее плачем без слез, в котором было обреченное бессилие.— На! Возьми мой пистолет! Стрелять умеешь?

— Нет, нет... Я умею только перевязывать раненых.

— А, черт, смотри! Надо нажимать вот здесь. Спусковой крючок! Прицелиться и нажимать!

Потом они бежали огородами по разворошенным рыхлым грядкам, плохо видя среди темноты окраинные дома, проваливаясь в воронки, падая в жестяно звеневшее на ветру будылье кукурузы, они оба задыхались и теперь ничего не слышали, кроме бешеного стука крови в ушах. Слитый гул моторов, немецкие команды танкистов из открытых люков, низкое мелькание фар меж домов уже стали отдаляться влево — и они, бросками миновав огороды, добежали до края сереющего в рассветном воздухе поля, различая черную под пространством фиолетового неба гряду леса за ним.

Он не то чтобы пропустил роковой момент, когда на краю поля с сухим потрескиванием разрезала потемки ракета, пышно и фосфорически осветив воздух, деревянный мостик над полосой воды, он слишком поздно увидел впереди на бугре два силуэта, слишком поздно услышал лающий окрик «хальт!», и только кинулся на землю, за руку рванув ее, притиснув головой к колючей влажной стерне, автоматная очередь прогремела над ними.

«Хальт! Хальт!» — вместе с ударами сердца звучало в его ушах.

И, бросив для упора на предплечье ствол автомата, он прошептал ей с верой в единственный выход:

— Их двое... Они сейчас подойдут, я дам очередь!.. И бегом через мост! На мосту стреляй из пистолета, хоть в воздух! Поняла?

— Я постараюсь, я буду стрелять. Я поняла. Я буду...

Немцы не подходили. Смутно выделяясь на бугре, они стояли шагах в двадцати под звездами, переговаривались вполголоса, потом вновь оглушила разрастающимся треском, шипением ракета. И в тот же миг он разорвал, заглушил все звуки длинной ослепляющей очередью. Он стрелял снизу и снизу хорошо видел их на бугре, который проступал над рекой полукругом, был темнее рассветного неба, и хорошо видел, как они плашмя упали там, слились с землей.

В оглушенной тишине донесся спереди человеческий вскрик настигшей боли, звяканье железа, как будто автомат ударился на земле о каску, и с охолонувшим его чувством убийства и яростного освобождения после убийства он крикнул ей не своим голосом:

— Быстрей! Через мост! Не отставай! Только не отставай!..

Он вскочил и с тем же жадным чувством спасительного убийства, выпаливая очереди по бугру, бросился к мосту не напрямик, а делая сумасшедшие изгибы, зигзаги по полю, пока не находя открытого прохода к реке, а когда, перестав стрелять, выбежал на берег, пустой бревенчатый мост виднелся в пяти метрах перед ним, и вода отсвечивала под небом разлитым марганцем.

— Лейтенант, подожди! Я не могу... Подожди!..

Она догнала его, не в силах справиться с зашедшимся дыханием, лицо стало пугающе белым, и, в изнеможении придерживая санитарную сумку той рукой, в которой был пистолет, она выдавливала шепотом:

— Я упаду... Подожди, я не могу...

— Брось сумку, брось, говорят! За мной на мост! Проскочим — и в лес! Брось все! Беги на мост!

— Нет, не могу, милый, подожди...

Она, вконец задохнувшись, закрыла глаза, опускаясь на землю, и тогда, подчиненный грубой инстинктивной решимости, он дернул ее за плечи, потащил за собой, вытолкнул ее вперед, гневно скомандовал:

— Беги! Я — за тобой! Ну! Я прошу тебя!..

Они ступили на деревянные настилы, и тут она качнулась на подкошенных ногах, схватилась за перила моста и, перебирая руками, сделала так несколько вялых шагов. Она всхлипнула:

— Не могу, не могу...

— Ну! Что ж ты? Да что ты?..— крикнул он, матерясь в диком безумии оттого, что не мог заставить ее бежать и уже не имел права бежать сам, и опять с такой неистовой грубостью дернул ее за плечи, что она чуть не упала, отрываясь от перил.

— Быстрей, быстрей!

Но как только они побежали по мосту, сзади взорвалась, заколотила пулеметная очередь, трассирующие пули горячим сквозняком взвизгнули, пронеслись над ними, шевельнули волосы на голове, и он с разбегу бросил ее на настилы бревен и, лежа вплотную к ее телу, обернул к ней искаженное страшным криком лицо:

— Отползай! На тот берег! Я догоню!.. Ползи отсюда, быстрей!

Он минуту назад был уверен, что убил первой очередью тех двоих немцев на бугре, ох-

раняваших мост, но было ясно: кто-то третий еще оставался в береговом окопчике с пулеметом и открыл по ним огонь, скоро заметив их на мосту.

Ожидая тупой и огненный удар смерти, он хрипел: «Отползай, туда, за мост!» — и, не глядя, как она поползла — услышал лишь ее стон и ее передвижение по настилам,— посунулся под деревянную защиту перил, охваченный мертвящим ознобом, положил на бревно ствол автомата, ослепленный вспышками на бугре, молниями трасс, высекающими осколки щепы из крайних к воде лесин.

Палец потерял чувствительность на спусковом крючке, окаменел в упругом охвате морозного железа, а когда отдача очередей забила в ключицу, мысль о близкой спасительной воде не покидала его: если его тяжело ранит, то он еще сумеет подняться, перевалиться через перила — и ринуться туда, вниз, в вечное ничто или счастливую свободу.

— Отползай! Отползай! — кричал он.— С моста! Уходи с моста!..

Он стрелял длинными очередями, не отпуская занемелого пальца со спускового крючка, и еле очнулся от тяжкой тишины — автомат пусто клацнул без выстрела и смолк. В горячке он не рассчитал патроны. Обморочно звенело в ушах. Пулемет на бугре тоже смолк — вспышек там не было. Он вскочил и, пригибаясь, бросился по мосту к тому берегу, слыша в чудовищном затишье свое дыхание и гулкий грохот своих сапог по бревнам, с пьяным ощущением спасения, свободы пробежал до конца настила и там спрыгнул на землю, мешком скатился под насыпь в скользкую мокрую траву и, падая, задыхаясь, увидел то, что не предполагал увидеть после удачно законченной перестрелки и прорыва через мост.

— Что? Что у тебя?..

Она сидела под насыпью, расстегнув гимнастерку на груди, клочком ваты промокала, вытирала плечо, и он видел бесстыдно и страшно обнаженную, измазанную кровью ее грудь, которую этой ночью на сеновале (впервые в жизни) целовал, трогал, робко ласкал пальцами ее шелковистую кожу, видел вату, пузырек со спиртом, выливаемым сейчас на комок ваты, тот пузырек, вынутый ею тогда из сумки на чердаке, чтобы смыть с себя пороховой запах боев перед тем, как обоим испытать сладкую боль от первых прикосновений, от неумело слитых губ, ищущих любви, этого последнего успокоения, на колких ворохах сена, в лунном осеннем холоде окруженной немцами деревни.

— Когда тебя ранило? Где? Как это?..— повторял он, потрясенный видом крови на ее груди,— мягкость, и упругую нежность, и запах ее он еще до сих пор помнил — и с попыткой помощи, в ошеломлении неожиданной беды, рванул из санитарной сумки бинт, говоря прерывистыми выдохами: — Я перевяжу тебя. Мне удобней. Я помогу тебе...

— Да, помоги мне,— прошептала она смертельно посиневшими губами, не стыдясь его, а он видел, с каким трудом разомкнулись они, безжизненные, представил, насколько холодны они были сейчас, насколько не нужно им было теперь ничего, кроме его помощи. И в бессилии перед случившимся, не зная, чем облегчить ее страдание, ее боль, он содрогнулся от пронзившей его жалости к ней, от собственной вины и ненависти к себе: зачем он гнал ее, зачем заставлял бежать вперед, зачем командовал, грубо дергал ее за плечи, неужели на мосту она была уже ранена!..

— Ты прости меня... Я ничего не заметил, я не видел, когда тебя ранило! Тебя ранило на мосту?..— зачем-то говорил он в мутном ожесточении, сожалея и оправдываясь, и все поправлял и затягивал сползавший бинт на ее груди, на ее плече, ужасаясь набухающему темной влагой бинту и тому, что она долго не сможет, вероятно, вместе с ним двигаться.— Нам надо идти... пока темно,— убеждал он.— Ты можешь идти? Метров триста до леса, а там — уж все!.. Будешь держаться за меня... Мы медленно пойдем! Ты встань, встань, пересиль себя, встань и пойдем!

— Я не хочу в плен, лейтенант,— простонала она.— Но я не могу. Сейчас, подожди. Помоги мне, пожалуйста...

Он помог ей подняться и некоторое время держал ее в объятиях, растерянный, чувствуя вздрагивания ее обмякшего тела, ее потный лоб, прижатый к его подбородку; она держалась за его ремень.

Потом они пошли по полю, подобно неразлучным влюбленным, не разъединяясь, шли одинаковыми рассчитанными шагами, она, обвисая на нем, обнимала его за талию. А он не ощущал ни женственную упругость ее бедра, тершегося о его бедро, ни ее родственного тепла, слышал отдаленное гудение танков справа и за спиной, всякий раз оглядывался на разрывающий темноту свет ракет за рекой в стороне дороги, где катилась колонна, и, боясь увеличенной тяжести ее шагов, боясь, что она упадет, хриплым шепотом повторял, что главное — дойти до леса, главное — пройти это поле, а там уж отдохнем и прорвемся к своим.

В лесу они, подкошенные усталостью, упали на груду осенних листьев, и сразу тяжелое забытье бросило их в жаркую обморочную тьму, но, казалось, минуту спустя он был разбужен беспокойством, тревожно возникшими звуками — над шумящими деревьями, сквозь мотание ветвей и желтую метелицу срываемых ветром листьев светило студенистое ноябрьское солнце. Она, согнувшись, сидела возле, положив на колени пистолет, смотрела прозрачным долгим взглядом на свой палец, слабо трогая спусковой крючок, слезы текли по ее щекам, и почему-то она звала его плачущим голосом человека, который не в силах решиться:

— Лейтенант, лейтенант...

— Ты — что? — крикнул он и сел, выхватил у нее пистолет и, спешно пряча его в кобуру, выговорил с неприятием и непониманием: — Зачем? К чему тебе оружие? Зачем?

Она подняла голову к неяркому в оголенных ветвях солнцу, глотая слезы, по горлу прокатывалась судорога невылитого плача.

— Ты меня жалеешь, лейтенант? — спросила она, мокро хлюпая носом.— Мне приснилось страшное... Как будто я лежу в траве — и муравьи ползают у меня по лицу. Стало очень страшно — и я проснулась. Лейтенант... милый, ты будешь меня жалеть?..

— Перестань говорить об этом! — оборвал он, страшась ее слов о муравьях; он не однажды видел их на лицах убитых, как видела, наверное, она, и, не представляя ее мертвой, лежащей в траве, не хотел представлять муравьев на ее лбу, бровях, неподвижных, неживых губах, потерявших тепло дыхания.— Пошли! Какие муравьи осенью! Пошли! — хмуро сказал он, чтобы кончить этот разговор, и требовательно попросил:— И больше ни слова об этом! Дойдем как-нибудь. Здесь совсем недалеко.

Он подставил плечо, помог ей встать, и она, застонав, подаваясь к нему, внезапно неловко и преданно стала целовать каким-то очень холодным, запекшимся ртом его небритый подбородок, сукно насквозь пропотевшей гимнастерки около погона, и утраченный голос ее опять пронзил его огненной жалостью:

— Ты самый близкий, самый единственный... Больше у меня никого не было. Ты ведь любишь меня, лейтенант? Ты со мной не просто так?

— Пошли, я помогу, пошли! Я люблю тебя! — проговорил он глухо, не глядя ей в отыскивающие его взгляд глаза; он лгал ей: бегство из занятой немцами деревни, колонна танков на улице, стрельба в поле и на мосту, сознание безвыходного окружения, ее ранение, единственное желание — прорваться к своим через лес — все это выжгло, уничтожило в нем то, что было между ними ночью на чердаке.

— Пошли, нам надо! Опирайся на меня! Мы должны идти, мы прорвемся, осталось недалеко, за лесом — наши!..

Она подчиненно пошла с ним, обвив его за талию, ступала неровно, откидывая назад голову на ослабевшей шее, шепча изредка:

— Спасибо тебе, спасибо.

На вторые сутки у нее пошла кровь горлом. Это случилось утром после ночного перехода, после бесконечного блуждания по лесу, после того, как, окончательно выбившись из сил, они распластанно лежали в овраге близ ручейка на куче листьев и только дышали.

Потом ему послышался стон, кашель, мычание, и когда увидел ее изуродованное страданием лицо, на котором удивление и боль еще боролись со страхом смерти, когда увидел ее искривленные брови, непризнающие глаза, алую струйку крови, выползавшую в уголках рта, он, точно, затравленный, загнанный судьбой, заметался вокруг нее, ощутив рядом ледяной запах гибели. И, весь окаченный обмораживающим порывом несчастья, спрашивал ее, что надо делать, что ей нужно, что необходимо сделать, как помочь, хочет ли она пить, что она хочет... Но она, беспомощно хватаясь за землю, сжатая удушьем, не понимала, не слышала живого человеческого голоса, по-прежнему сопротивляясь тому, что, невидимое, неумолимое, наваливалось, душило ее грудь. Тогда он, крича что-то самому себе бессмысленное, дикое, для чего-то кинулся к ручью, зачерпнул пилоткой воду и обратно рванулся к ней с этой наполненной свинцовой влагой чашей, вылил всю воду на ее лицо, уже тихое, страдальчески прижатое щекой к листьям, обращенное в никуда, и, погружаясь в хлынувший ужас ее недавнего страха, он в ту секунду почти обезумело представил, как завтра или весной начнут шевелиться, ползать муравьи по вот этим ее бровям, по вот этим ее очень темным неприкрытым ресницам.

Он стоял на коленях и отупело тискал мокрый комок пахнущей потом пилотки, а зубы его выбивали дробь, и горло его замыкало сухими спазмами непоправимой вины и отчаяния.

Он похоронил ее в овраге, засыпав комьями земли и листьями.

Это была первая любовь Никитина на войне, если можно было назвать ее любовью.

«Скоро постучат в дверь — и все кончится...»

— Name, Name... mein Name Emma,— говорила она, тихо смеясь, и легким указательным пальцем надавливала в свою грудь, потом в его, допрашивала с ласковым пытливым лукавством: — Bitte, Name... Iwan? Johann? Russischer Name!.. Peter? Name...

— Вадим,— ответил он, поняв, что она спрашивала.

— Wadi-im,— произнесла она протяжно и обрадованно засмеялась, снова приложила щепотку пальцев к его и своей груди (так делала она тогда на допросе), выговаривая по слогам: — Wa-di-im, Em-ma, Wa-dim, Em-ma... Verstanden? [1] Wa-di-im,— повторила она и полуоткрытыми вспухшими губами мягко потерлась о его губы, и ее вымытые волосы щекочуще заскользили по лицу Никитина, обдавая конфетной и непросохшей свежестью.— Emma, Wa-di-im...

— Эмма,— сказал он шепотом и в звенящем дурмане вновь почувствовал, как ее длинное тело все плотнее, все гибче прижимается к нему, и рука ищет, нетерпеливо тянет его руку к гладкой, нежной коже затвердевшей маленькими сосками груди, и уже не сопротивляясь самому себе, окунаясь в волнистый знойный туман, он с желанием испытать то, что было несколько минут назад, начал целовать сквозь раздвинутые губы влажные зеркальца ее стиснутых зубов, ее в истоме последнего прикосновения выгнутую назад шею... а потом они лежали, утомленные, окутанные горячей пеленой, и, закрыв глаза, он улавливал в сознании нечеткие отблески тревоги.

«Что со мной? Почему это со мной? Как это со мной случилось?»

Он понимал, что с ним происходит что-то нереальное, отчаянное, похожее на предательство, на преступление, совершенное во сне, на недопустимое нарушение чего-то, будто он необдуманно переступает и переступил негласно запретную границу, которую в силу многих обстоятельств не имел права перейти.

«Если об этом утре станет известно в батарее, то как им объяснить? Что им ответить? А не все ли равно! Как странно, непонятно и как прекрасно случилось это! Теперь... что же теперь? — думал он в обволакивающей дреме, в каком-то физическом опустошении, не находя ясной логики, что могла бы с рассудительной точностью объяснить, как все случилось, от какого момента и зачем случилось.— Нет, я офицер, и должен отвечать за то, что делаю... Я никого не предал, и поэтому неважно, что будет потом со мной. Эмма, Эмма... Ей надо уходить. Скоро постучат в дверь — и все кончится...»

---

[1] Понял?

Продолжение следует.

БЕРЕГ

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки И. ПЧЕЛКО

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Входите, Ушатиков! Что, скоро завтрак?

— Поздравляю, товарищ лейтенант!

— Это вы, Меженин? С чем? Война кончилась?

— А вот какое утро, товарищ лейтенант. Солнышко светит, как в сказке, птицы поют, тишина — рай земной, а насчет конца войны сообщений не поступило. Хорошо спали?

— Прекрасно спал, несмотря на то, что проиграл вам вчера в карты. Где Княжко?

— На дворе. Рано пришел. Самолично готовится физзарядку с батареей проводить. Вроде занятий по строевой. Вот принес вам горячей воды — бриться.

— Спасибо за воду. Немного не ясно: почему вы Ушатикова заменили? Он что?

Сержант Меженин, умытый, выбритый до отшлифованной чистоты щек, подчеркнуто услужливо поставил котелок на подоконник, его светлые глаза невинно посмотрели на Никитина, точно между ними этой ночью ничего не произошло, глянули на смятую постель и притушенно помертвели. Никитин спросил официально:

— Вы хотели что-то доложить?

— Разговор личный есть, товарищ лейтенант,— лениво, без особой охоты проговорил Меженин.— Насчет вчерашнего. Объяснить надо. Дрозда вы вчера дали крепко. Бросились на меня чертом, еще чуток — и пистолет бы обнажили, а это дело не так было, как вам померещилось.

Никитин натянул хромовые сапоги, пристукнул каблуками об пол, не выявляя нужного интереса к объяснению Меженина.

— То есть? Что мне померещилось?

— Когда я на шумок пошел и ее застукал у гардероба, немочку, финтифлюшку эту рыженькую,— продолжал скучно Меженин, из-под заграды ресниц поглядывая на постель,— она в слезы от страху, видать, схватила меня за руку и к кровати потащила сразу, мокрохвостка фрицевская. Завалила на себя, ну, а тут вы... И привиделись вам сказки, страсти-мордасти. Вот так было...

Меженин невозмутимо лгал, но в этой лжи не было и намека на оправдание или вину его.

— Хотите рассказать мне сказки? — проговорил Никитин и переменил направление разговора.— Что во взводе — в порядке?

— Как в аптеке,— ответил Меженин будничным голосом человека, не омраченного угрызением совести.— А немочка-то, а! Бодливая козочка с копытцами. Сама орет «найн», а сама на себя валит. Видать, немецкие бабы за все хотят одним расплатиться. А вы не разобрались. Насчет этого щекотливого дела вы, откровенно скажу, человек малоопытный.

Еще вчера почти ненавидевший Меженина, почти решивший ничего не прощать ему после отвратительной сцены здесь, в своей комнате, Никитин, краснея, отвернулся, его ожег внутренний жар стыда, он не хотел возвращаться к тому неприятному, что было между ними, к той неприятной границе неполной справедливости, которая, мнилось, разделила и в чем-то порочно и тайно сблизила его с Мененим, и, превозмогая эту угнетающую непоследовательность, он ответил насколько возможно спокойней:

— Все, Меженин, это в последний раз. Я не хочу помнить. На этом закончим. Можете идти. Я спущусь через пять минут.

Однако Меженин не уходил; тогда Никитин подошел к зеркалу над комодом и, принимая занятый вид, пощупал щеки, как это делают перед бритьем, но тотчас краем зрения заметил в зеркале нагловато-дерзкую полуухмылку Меженина, показавшуюся из-за двух передних попорченных зубов лишней, чужой на его полноватом красивом лице. И Никитин словно ощутил тупой толчок в затылок, спросил:

— Что еще, Меженин?

— Да так, товарищ лейтенант...

— Что именно?

— Да с виду вы плохо ночь спали,— сказал Меженин и движением ресниц будто завесу сдернул с жестковато сверлящих глаз, достигших зрачков Никитина в зеркале.— Синячки у вас под веками, вид усталый, никак бессонница, а?.. Вы посты у орудий не проверяли утром, товарищ лейтенант? Из комнаты не выходили?

— Утром? Нет. А что такое?

— Сказки получаются. Чудеса-а!

— Какие сказки еще? Какие чудеса?

Лицо Меженина, уверенное, проясненное, перестало ухмыляться, голос его зазвучал позади тоном обыденного доклада, и в нем слабеньким оттенком сквозила мягкая издевка:

— Вместе с солнышком я сегодня встал, товарищ лейтенант, чтобы часовых проверить и заодно немчишек — на всякий случай. Подымаюсь по лестнице вот сюда, к их комнате, рядом с вашей, слушаю — никакого шебуршения. Глянул в дверь, не заперта, а в комнате — никого. И слышу, товарищ лейтенант, из вашей комнаты,— голос Меженина набрал полную меру вкрадчивого удивления,— из вашей комнаты, похоже, шепот какой-то, смех и разговор по-немецки... Думаю себе: что такое?..

Никитин, вспыхнув, обернулся, кинул пушистый от мыла помазок в кружку и, этой неудержанной вдруг вспышкой стряхивая темную тяжесть с затылка, что не проходила, когда говорил за спиной Меженин, спросил возмущенно:

— И что? Что вы подслушали?.. Стояли за дверью и подслушивали, как я вслух заучивал немецкие слова? «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten?»[1]. Так? («Что я — оправдываюсь перед ним? Я лгу — и оправдываюсь?») И что еще вы подслушали?

Меженин сонно сощурился в переносицу Никитину, разом заскучав замутненным взглядом, не возразил ни единым словом, и тот мгновенно подумал, что за этой внешней непробиваемостью стоит непрощающая память сержанта, подготовленно и рассчитанно взвесившая все, что произошло вчера между ними.

— Ну и что вы хотите сказать, Меженин?

— Выходит так, товарищ лейтенант, немочку вы у меня отбили,— проговорил Меженин, не придав никакого значения вспышке Никитина.— Квиты мы вроде с вами. Квиты, да не совсем.

— А если яснее! В чем мы с вами квиты?

Меженин, вприщур изучая переносицу и лоб Никитина, заговорил после недолгого раздумья:

— Да вот мысль пришла, товарищ лейтенант, как бы это сказать? За связь с немочкой офицера по шерстке не погладят. Разложение приклепают. В штрафной загреметь можно. Но я мужское дело понимаю. Шито-крыто, завязано. Только, за ради господа бога, предупреждаю: не давите вы меня. Не терплю, не люблю я узду, сами знаете. Характер такой. Это я тоже по-мужски говорю. Война вон большой шапкой накрывается. Конец скоро! Тихо, мирно доживем, довоюем как-нибудь.

Он говорил однотонно, неоспоримо, как говорят независимые люди, убежденные в своей силе, не сомневаясь, что их правильно поймут, и в самоуверенности его был опыт потертого обо все острые жизненные углы человека, готового не осложнять положение при взаимных условиях. И Никитин, уже теряя выдержку, все-таки спросил со злым любопытством:

— Значит, я во всем мешаю вам, сержант?

— По-мужски говорю,— скучно повторил Меженин.— Так лучше будет жить, товарищ лейтенант. Обещаю законно, один на один — спокойненько буду вам подчиняться, а уж вы в дела некоторые мои не суйтесь.

— Какие дела?

— Да мало ли какие,— ответил Меженин неожиданно закаменелым голосом.— Речка между нами протекает, товарищ лейтенант. Вы на этом берегу, а я — на том. Давно переплыл я ее. И, будь здоров, по ноздри нахлебался. А вы еще не поплавали. Не хлебнули сполна. По травке, как в детстве, бегаете, хоть и воюете, как штык. А разного-всякого ни хрена не чуяли. Вот об этом дела. Малец вы против моей жизни. Откровенно говорю. Так что — не мешайте!

— Слушайте, сержант! — не сдержавшись, выговорил Никитин.— Мало того, что вы под дверью шпионили, подслушивали, как старая баба, вы еще угрожаете мне! Так вот знайте: никаких ваших «спокойненьких» дел, вроде житомирских, не будет! Идите во взвод! Вам ясно? Идите!

Продолжение. См. «Огонек» №№ 12—16.

[1] Я не знаю, что это такое?

Меженин сокрушенно смежил ресницы, подвигал по скулам желваками, отчего маленькие, по-женски красивые уши его, казалось, зверовато прижались, предупредил дремотным тоном сожаления:

— Глядите, товарищ лейтенант, не обожгитесь об меня. Раскаленный я бываю, тогда сам себя боюсь. Хотел мужской разговор поиметь с вами. А вы мне старое вспомнили. Забыл я старое...

— Хотите, чтобы я вспомнил вчерашнюю ночь?

— Ссориться со мной не надо, лейтенант. Нужный я вам человек. А насчет вчерашнего — темненькое это... Ночью-то все кошки серы. Померещилось вам. В голову все может прийти, ни одна душа не видела. А у меня глаза есть... Бог свидетель...

Меженин, скромненько вздыхая, изобразил знак крещения, глянул намекающе на смятую постель, потом вроде бы нехотя повернулся и, раскачиваясь, вышел.

Он вспылил, не выдержал этой невозмутимой самоуверенности Меженина, его незастенчивой циничности, этой предложенной им полусделки, полусговора, что само по себе подтверждало наивную слабость Никитина; Меженин безнаказанно мстил ему за вчерашнюю ночь и вместе за прошлое, за Житомир, хотя впрямую разговор и не касался старого, кроме одной фразы: «А вы мне старое вспомнили...»

«Старое» было в сорок третьем. Да, Никитин хорошо помнил то раннее туманное ноябрьское утро, когда немцы начали контратаковать и охватывать танками еще спящий город, помнил, как он получил срочный приказ командира батареи выдвинуться к западной окраине, занять новую позицию на танкоопасном направлении. С этим приказом, вернувшись во взвод, он не обнаружил Меженина возле орудий. Он нашел его в одном из до-

мов, близ огневых, где размещались на ночь,— пьяного, безобразно опухшего, без гимнастерки, в обнимку с какими-то двумя молодыми женщинами, сидевшими за столом, хаотично заставленным грязными тарелками, порожними бутылками, банками консервов, сплошь заваленным плитками французского шоколада, кругами трофейной колбасы.

Вслед за Киевом Житомир взяли с ходу, немцы не успели вывезти продуктовые запасы, и батарея, поддерживая стрелковый полк, продвигалась мимо вокзала и первой наткнулась на оставленные склады в пакгаузах.

И тогда утром, найдя Меженина не во взводе, а в соседнем от огневых позиций доме, Никитин, не очень удивленный, приказал ему немедленно привести себя в порядок, умыться, одеться и идти за ним к орудиям. Однако Меженин, не дослушав его, шумно вздымаясь шатким телом из-за стола, вытолкнул навстречу ему визгливо захихикавшую, полураздетую женщину с черными непричесанными волосами, крикнул:

«Ты — интеллигент, лейтенант! Выпей-ка с нами и по-интеллигентски вот эту чернявую бабку попробуй, она в немецком госпитале работала, все знает! Небось, бабу ни разу в жизни не трогал! Веди ее в другую комнату, не робь, лейтенант!»

Он захохотал, в горле его буйно заклокотало, и Никитина передернуло.

«Я жду,— сказал он.— Жду на крыльце пять минут. Быстро собирайтесь, Меженин».

Он ждал на крыльце, он еще верил, что сейчас выйдет за ним многоопытный Меженин; тот знал: независимо ни от чего никто не был во власти отменить или изменить полученный приказ о выдвижении взвода на танкоопасное направление.

Но Меженин не вышел и через десять минут, и, еле осиливая нетерпеливую злость, Никитин снова вошел в комнату, душную от запаха водки, пота, жирных мясных консервов, опять с отвращением увидел блаженно-хмельное лицо Меженина, все так же без гимнастерки, в несвежей нижней рубахе, все так же сидевшего в обнимку с двумя женщинами; одна из них, черненькая, непричесанная, что давеча хихикала неприятно-визгливо, взасос целовала в разрез рубахи волосатую грудь Меженина, другая, крупная, широкоскулая, сипло шептала что-то ему на ухо, в то же время украдкой нажимала туповатыми пальцами на плитку шоколада, разламывая ее на столе.

«Меженин!— крикнул Никитин, чувствуя, что присутствует при совершающейся открытой мерзости, уже ненавидя это сизое, блаженное лицо Меженина и этих двух женщин, потных, полураздетых, неопрятных.— Марш отсюда, Меженин! Получен приказ — двигаться! Вы слышали, что я сказал?»

«Куда, во взвод? Куда двигаться?— выговорил Меженин, закатывая глаза, как от щекотки.— Киев взяли, Житомир взяли, лейтенант! Не заслужили, что ли, гульнуть разок? Зас-луж-жили кр-ровью — и точка! Говорю, бери черненькую, лейтенант! Я не жадный! Или уходи, не мешай людям, по-мужски говорю!»

«Если вы через десять минут не появитесь во взводе,— сказал Никитин,— я отдам вас под суд».

«Да хоть расстреляй!— заорал дурным голосом Меженин и, куражась, вскочил, рванул на груди давно не стиранную рубаху.— Расстреляй! А сначала хочу в раю побывать!»

Позднее Никитин не мог без содрогания вспоминать неестественность собственного положения, те слова о суде, грязную полутемную комнату, напитанную запахом еды, нечистого белья, и выпирающее бесстыдство женщин, дурашливо пьяный крик и хохот Меженина, или не желавшего, или переставшего понимать реальность обстановки.

Меженин пришел во взвод лишь вечером, после боя, весь отекший, мертвецки-синий, сказал Никитину: «Моя вина, лейтенант. Все, завязал!» Потом, посмеиваясь, заявил солдатам, что пробыл в медсанбате по причине отравления фрицевскими консервами и болезни желудка, а Никитин, почти необъяснимо промолчав, долго пытался убедить себя впоследствии, что простил Меженину страшное прегрешение на войне только потому, что взвод тогда не понес потерь, и потому, что Меженин не был трусом, считался лучшим командиром орудия в батарее.

Но то, что сейчас Меженин с едкой циничностью пошел на обострение отношений, приглушенных Никитиным, было, по-видимому, явным результатом двух прожитых неправдоподобно благостных и разлагающих суток вдали от войны, без ежеминутной опасности, когда всеми ожидалось: вот-вот нечто огромное должно измениться на земле, навсегда ослепить радостной синевой завоеванного и возвращенного мира, счастливым началом вечного праздника, обещающим новую нескончаемую жизнь, к которой каждый испытывал жадность по-разному.

«Что же мне делать? — думал Никитин, торопливо бреясь. — Я тоже не чист, я тоже в чем-то замешан... Со мной тоже случилось какое-то безумие?..»

Вся батарея была построена на лужайке; вокруг зеленела трава, везде сильно грело солнце, весенние запахи обогретой травы, цветущей вдоль забора сирени, белых яблонь то прохладными, то теплыми волнами ходили в утреннем воздухе, и эти запахи будто обмыли Никитина, когда он подошел к строю.

Лейтенант Княжко заканчивал физзарядку, что называлась особой «пехотной» физзарядкой, порой применяемой им на отдыхе,— рукопашный и штыковой бой, приемы его, ни разу не использованные в батарее ни одним солдатом на передовой, ни самим Княжко, были, по его убеждению, необходимой тренировкой для физической закалки тела, заученной еще в пехотном училище.

Княжко, голый до пояса, стоял на краю лужайки у принесенного (по его приказу) из города и воткнутого в землю рекламного щита, где изображалась гигантская бутылка пива, опрокинутая над кружкой, вожделенно кипевшей шапкой пены, и, держа винтовку с примкнутым штыком, говорил внушительно маленькому рыжему Таткину:

— Что у вас за движения? Как бегаете? Как держите винтовку? Мускулы дряблые, плечи опущены, смотреть на вас неприятно. Убрать живот, грудь развернуть, спину выпрямить! Посмотрите, как это делается!

Княжко втянул и без того плоский живот, слегка развернул плечи, и его тонкая, прямая, мускулистая фигурка налилась изящной упругостью силы, гибкой и литой собранностью. Точно мальчик в гимнастическом зале проверял послушность развитых мышц перед упражнением.

Низкорослый Таткин, лоснясь на солнце белокожей спиной и безволосой грудью, усиливался подтянуть ремнем складку отвислого живота, вбирал шумными вдохами воздух, несколько сконфуженный, и всегда хитроватое, подсчитывающее что-то, усатое личико его выражало серьезность попытки. Было известно, что наводчик Таткин, бывший счетовод, постоянно считал, высчитывал про себя, выверял все, что поддавалось какому-либо исчислению, неизменно делил на порции хлеб, взводный табак и сахар, цепко держал в голове количество не выданных старшиной сухарей, количество выстреленных снарядов, подбитых танков, полученных батареей орденов и медалей, и, зная эту его арифметическую способность, солдаты, возбужденные физзарядкой, весело наблюдали за ним из строя, беззлобным смешком и советами подбадривали:

— А ты на счетах отщелкай, Таткин, на сколько сантиметров комод подтянуть можно! Отрастил передний предмет на вольных харчах!

— Пузом не дыши, сатана рыжий! Ишь, пыхтит быком! Всех задерживаешь, ты носом, носом, ноздрей дыши, ровно коза!

Лейтенант Княжко на эти замечания холодно мелькнул зелеными глазами по батарее, и развеселые голоса солдат утихли разом при его команде:

— Самых знающих попрошу выйти из строя и показать Таткину последнее упражнение — бросок в атаку!

Никто из «знающих» не выходил из строя, никто не вызвался показать бросок в атаку, трезвым ветерком смыло на лицах запоздалые улыбки; и тогда Княжко приказал поежившемуся от звука его голоса Таткину:

— Еще раз! Вложить в атаку ярость, уверенность и силу! И лицо, лицо, ваше лицо должно напугать того, кого вы атакуете! Ясно? Еще раз! Держите!

И молниеносным броском передал винтовку Таткину. Тот неловко поймал ее захватом на грудь, крякнул, выставил штыком в наклон и затрусил, заколыхался рысцой вдоль строя по молодой траве лужайки.

— Стоп! — крикнул недовольный Княжко, подбегая к Таткину, и выхватил у него винтовку.— Отставить! Ваше счастье, что вы в артиллерии, а не в пехоте! Сходили бы в атаку только раз! И — конец, Таткин! Смотрите сюда! Всем смотреть сюда и запоминать! — громко скомандовал он батарее, и в один миг все весеннее и солнечное потускнело, изменилось здесь, на зеленой лужайке, вернее — изменилось, потеряло свои прежние черты лицо Княжко, оно стало страшным, искаженным злостью, свирепой одержимостью напора, его тело упруго и резко наклонилось вперед, винтовка в его руках, нацеленная жалом штыка в пространство враждебного мира, замерла в изготовленном смертном положении,— и он стремительными прыжками ринулся по лужайке к рекламному щиту, жутко крича что-то горлом нечленораздельное, вызывающее у Никитина мороз по спине.

Рекламный щит был уже в двух прыжках от сверкающей иглы штыка, и Княжко достиг его, изогнулся вправо, влево, его тонкий мускулистый торс напрягся в убыстренном скольжении, он косым и ловким выбросом вонзил острие штыка в середину рекламы, выдернул штык, вновь изогнулся, как бы уклоняясь от кого-то, и ударил сильно прикладом по краю щита, с треском валя, опрокидывая его на землю. Был все-таки в этой воображаемой борьбе некий невнятный момент, какая-то неясная грань, когда это действие могло показаться смешным Никитину, ненужной игрой в праздные упражнения, но вместе с тем в движениях Княжко была такая артистическая сила ненависти, такая пугающая ярость схватки, что возникло ощущение стальной пружинки, смертельно подвластной ему в этом броске.

— Ясно? — крикнул Княжко, обращаясь не к Таткину, а ко всей батарее, и мальчишеское лицо его приняло прежнее выражение холодноватого спокойствия, чуть упрямого, не разрешающего фамильярности высокомерия.— На этом закончим сегодня! А завтра повторим! Всем — раз-зойтись!

Он воткнул винтовку штыком в землю.

«Я знаю, зачем он это делает,— подумал Никитин.— Но почему я смотрю на Княжко, и мне кажется, что все скоро кончится не так, как мы хотим?»

Батарея, оживленная говором, смехом, рассыпалась между тем по лужайке, забелели в сквозистой тени сосен, среди яркой зелени незагорелые спины, иные кинулись умываться к водопроводной колонке под кустами сирени возле ограды, иные легли на траву, блаженно окунувшись в ее теплый пресный запах, не спеша закуривали трофейные сигареты, ожидая часа завтрака, а кухня уже безмятежно курилась легчайшим дымком за снежной кипенью яблонь около дома, и повар, багровый от пахучего пара, орудовал, помешивал черпаком в котле.

«Как же все это со мной? — думал Никитин, глядя на водопроводную колонку, где умывался Княжко, окруженный солдатами.— И все случилось сегодня, как в бреду, но было, было, а я не могу представить, что было у нас. Мы оба хотели этого? И она и я? И Меженин знает, что случилось?»

В это время сержант Меженин ленивой развалкой подошел к воткнутой в землю винтовке, его плечи, отлакированные солнцем, маслились потно, синяя татуировка выделялась распростертыми крыльями орла на волосатой его груди; он выдернул винтовку, почистил штык о траву.

«Так что же будет дальше?» — опять подумал Никитин и в тот момент, когда Меженин кончил чистить штык, вдруг перехватил мимолетно сощуренный взгляд сержанта на верхнем окне дома. И Никитин взглянул туда. Там за стеклом полукруглого окна мансарды, у края занавески светлеющим силуэтом стояла Эмма и смотрела вниз. Он увидел ее неотчетливо, как в жидком туманце, и тут же острое сознание несоединимой расколотости, разъединенности между ним и ею, сознание случившейся, невозможной, сделанной сегодня ошибки знобящим уколом прожгло его,

будто тайно предал самого себя перед всеми...

Она, немка, была там, во враждебном мире, который он не признавал, презирал, ненавидел и должен был ненавидеть, по которому он три года стрелял, испытывая неистовое счастье от одного вида охваченных дымом подбитых танков, она была в том мрачном, чужом, отвергаемом им мире, заставлявшем его после каждого боя хоронить своих солдат в заваленных прямыми попаданиями ровиках, писать самые трудные письма, эти объяснения, эти оправдания командира взвода, по выбору обманчивого топорика смерти оставшегося в живых. Она была там, на другом берегу, за разверстой пропастью, а он был на этом берегу, залитом кровью, и ничто не давало ему права, ничто не позволяло ему хотя бы на минуту забыть все и перекинуть жердочку на ту опасную противоположную сторону, где было недавно раннее утро, лавандовый запах ее вымытых волос, ее шершавые губы. «Как это получилось? Зачем же это получилось у меня? Я не прощу себе...»

Да, она была там... И она почему-то стояла за краем занавески в окне мансарды и, заслоняя глаза от солнца, смотрела вниз, на блещущую травой лужайку, где ходили, лежали, курили, шумно умывались под колонкой солдаты и где был он, среди своих, родственно связанный с ними всей судьбой, войной, всей жизнью, и отъединенный от нее этим солнечным оконным стеклом, сочной лужайкой, утренними разговорами солдат и невероятно тихим немецким городком, куда они пришли из Берлина через огромный, враждебный, убивающий мир.

— Наблюдает немочка-то, а? — сказал безвинно Меженин, проходя мимо Никитина, и, так же безвинно подмаргивая, помахал ей рукой.— Ишь, глазеет на русских, бесенок. На вас глазки пялит, товарищ лейтенант. Или шпионит немочка?

А она сверху заметила его жест, вспугнутой тенью отпрянула, исчезла в проеме окна, колыхнулась тюлевая занавеска, и тотчас знойными спиральками в голове Никитина пронеслось: «Вади-им, Вади-им»,— он сделал усилие над собой, голосом приказа сказал:

— Вот что, Меженин. Сегодня позавтракать, накормить людей без пива и шнапса. Через час — взвод к орудиям. Проведем занятие. Заниматься будем каждый день.

— Ясныть,— ответил Меженин, и в покорном подрагивании его ресниц таилось насмешливое согласие: «Я-то уж понимаю все».

«Нет, не все! Все кончено с этим!» — решенно подумал Никитин, овеянный чувством внезапного освобождения от чего-то недозволенного, поневоле совершенного им, мутно угнетающего его, и быстрыми шагами направился к Княжко, а тот, окатив себя водой до пояса, расхаживал подле плещущей струи колонки, осажденной солдатами, тщательно растирал полотенцем мускулистый, покрасневший торс.

— Я любовался на тебя, Андрей,— сказал Никитин.— Просто отлично! Пехота в тебе еще сидит.

— Детские игрушки,— ответил пренебрежительно Княжко и, недовольный, заговорил:— Марки, трофеи, карты, «двадцать одно», убиваем время, жиреем и начинаем разлагаться. И знаешь, почему? Все конца ждут, а конца нет. Зашвырнули нас куда-то на кулички от Берлина. А смысл? Не ясен, хотя на западе бои. Как наши новоиспеченные хозяева? Курт, значит, ушел? А эта Эмма осталась? — спросил Княжко.— Ты знаешь?

— Да. Ушел. В Гамбург,— сказал Никитин и сейчас же перевел разговор:— Рацию слушал? Что нового? Как там?

— В Берлине — никаких изменений,— ответил Княжко.

Перед завтраком проверяли огневые.

Позиция батареи начиналась в ста пятидесяти метрах от дома — орудия были врыты на краю поля за оградой яблоневого сада,— и они шли к огневым в полной тишине приозерного луга, еще росного, влажно-пахучего, трава сочно хлестала по сапогам, шли, как бывало когда-то давным-давно на подмосковных дачах, и Никитин, опьяненный этим утренним покоем открытых впереди голубоватых далей, солнцем, запахами согретой земли, струистым парком над озером, первым нарушил молчание:

— А вообще не верится, что не кончилась. Когда же, Андрей? Через две недели? Через месяц?

— Тогда, когда кончится,— резко ответил Княжко и приостановился, раздумчиво вглядываясь в земляные бугры недалекой огневой позиции.— Вот тебе ответ на твой вопрос: часового на батарее не вижу. Полнейшее курортное настроение у всех.

— Это началось в первый день,— сказал Никитин.— А что сделаешь, Андрей? Все чувствуют, что скоро...

— И твой часовой тоже? Где он?

Но Княжко ошибся: часовой находился на огневой позиции, полудремотно лежал посреди снарядных ящиков в нише, глаза и лоб прикрыты от солнца пилоткой, автомат покоился около ног, ремень распущен на животе. Заслышав рядом шаги, он подтянул ноги, сел, закрутил головой, громко откашлялся, давая о себе знать, на всякий случай угрожающе окликнул:

— Стой, кто идет? — И неудержимо заулыбался во всю ширину разомлевшего, потного лица.— А, товарищи лейтенанты! А я слышу — сюда никак...

— Снов не видели, Ушатиков? — поинтересовался Княжко бесстрастным голосом.— В горизонтальном положении мне, например, всякая дьявольщина снится. Какая, спросите? Ну, скажем, что часового вместе с орудиями и снарядами немцы украли. Возможно, Ушатиков?

— Не-е, не спал я, товарищ лейтенант, на солнышке чуток после росы подзакорал, очень ласковое солнышко-то,— еще добродушнее расплылся Ушатиков.— Откуда? Какие немцы-то? И не шелохнутся теперь. Берлин как-никак наш, дураки они, что ли? Во, товарищ лейтенант, что сержант Меженин мне подарил, время в аккурат буду знать. Трофе-ей!

И, чрезвычайно счастливый, он выставил на запястье часы, пленительно сияющие стеклом и никелем, послушал их, после чего удивленно сообщил шепотом:

— Тикают себе, фрицы, и тикают. И чего они тикают?

— Дети какие-то,— дернул плечом Княжко, хотя сам был, видимо, моложе Ушатикова года на два, и, сказав, опустился на станину посмотрел своими серьезными неулыбчивыми глазами на ниточку шоссе за озером, по которому в белесой дымке пыли двигались к лесу машины из городка. Спросил: — У вас что, первые часы за войну, Ушатиков?

— Не было у меня, мечтал я...— ответил длинношеий Ушатиков и осторожненько, эдак рукавом гимнастерки смахнул невидимые пылинки со стекла часов, протер никелированный ободок циферблата любовно.— А непонятное это дело — часы, ума не приложу. Крохотные колесики там крутятся. Живое все. Как дыхание в них. И идут себе, идут. Навроде крохотные человечки в них работают молоточками. А зачем людям время показывать, товарищ лейтенант? Вот интересно... Без него жить можно или нельзя? День так день, ночь так ночь. Зачем это все люди придумали? Чудно!

Наивный Ушатиков задавал обычные свои вопросы, по обыкновению удивляясь тому, чему не было смысла удивляться, и Княжко вроде бы начал злиться — теснее соединились на переносице брови, замкнуто обострилось повернутое к лесу его лицо, точно что-то неприязненное было в простодушных этих вопросах.

«Он не знает, что произошло утром со мной,— подумал Никитин, чувствуя томительный звон в голове.— Я не хочу вспоминать, но помню ее губы, ее влажные волосы... Как это забыть?»

— Никитин,— проговорил Княжко с раздражением.— Обрати внимание на лес. Или мне показалось, или какой-то славянин устраивает фейерверк немецкими ракетами. Вконец ошалели славяне.

— Где ракеты?— сказал Никитин.— Не вижу никакого фейерверка.

— Посмотри левее озера. Это опять к нашему разговору,— прибавил Княжко тоном утверждения, уже не сомневаясь в реальности того, что увидел.

— Левее озера?

Все было спокойно — солнечная иссиня-зеленоватая даль лугов, зеркальная чаша вытянутого озера, вспыхивающая белыми иглами поверхность воды, за ней опушка соснового леса в прозрачных струях чистого воздуха — всюду погожее утро, ровный блеск молодой травы, везде полная безлюдность, лишь далекая колонна машин на шоссе, пунктирной цепочкой текущая к лесу со стороны городка. Но потом слева от озера над вершинами леса, показалось Никитину, что-то неуловимо пыхнуло, мелькнуло искристой красноватой пылью, рассеялось радужной игрой света и волнистой дымки, будто угасающие хлопья ракет, и снова рядом с этой дымчатой пылью вползли в синеву неба четыре обесцвеченных солнцем огонька, бесшумно растаяли в тумане над лесом, слабо видимые в кратком изменчивом сверкании.

— Теперь видишь? — спросил Княжко.

— Только непонятно — зачем,— сказал Никитин.— Зачем забралась туда наша пехота? На кой черт она там?

— Хлебнули, видать, славяне и давай из ракетниц ворон сшибать, пострелывать в лесу!— округлил глаза Ушатиков, приподымаясь, изумленно вытягивая долгую шею, и так, полуднявшись, хлопнул руками по бедрам.— Это что же — от неча делать ракетами славяне балуются? Пехота наша матушка!

— Вполне возможно, Ушатиков,— сказал медленно Княжко и, одолевая голосом сомнение в себе, договорил Никитину:— Но для чего... какой наш дурак может без цели стрелять немецкими ракетами, во имя чего?

— Так наши же шалят, чего сумлеваться! Говорю, по воронам из ракетниц балуются! Вон колонна к лесу идет, «студебеккеры» наши! Откуда там немцам-то? — в суматошном всплеске радостной правоты вскричал Ушатиков, стоя в полусогнутом положении над бруствером.— Во-он наши машины идут!.. Видите?

— Да, это наша колонна,— сказал Никитин.

В ясном воздухе было видно, как в лес за вспыхивающим озером по белой ниточке шоссе втягивалась колонна — пять крытых брезентом «студебеккеров», доносилось издали комариное нытье моторов, по опушке зайчиками проскакали и исчезли отблески боковых стекол, кудрявые вихорьки обочинной пыли еще оседали вдоль шоссе, еще плыли сероватым заборчиком позади последней машины, вползшей в лес. Но в тот же миг, когда скрылся из поля зрения последний «студебеккер», три глухих разрыва вместе с несмолкаемо длинной пулеметной очередью рванулись оттуда, и раскатилось по далям эхо, бездымно взвились, прочеркивая искристые дуги, ракеты, следом с неистовой догоняющей торопливостью заработали в глубине леса автоматы, и тотчас Никитин хорошо увидел на опушке два «студебеккера»: они выкатывались по дороге задним ходом, пытаясь развернуться.

Первая машина развернулась, странно виляя, выдвинулась на шоссе, густо окутанная дымом, среди которого косыми багровыми лоскутьями полоскался сорванный брезент, затем весь верх кузова полыхнул широким огнем, и огненное тело «студебеккера», накреняясь, пошло заносом наискосок, ткнулось передними колесами в кювет, боком загородив шоссе. Вторая машина, тоже успевшая развернуться, не затормаживая, круто устремленная вправо, едва не врезалась бортом в пылающий впереди огромный костер, подпрыгивая на выеме кювета, на ухабах луга, обогнула подожженный «студебеккер» и снова выехала на шоссе, набирая предельную скорость по свободной полосе дороги.

Но как только она свернула с луга на шоссе и освобожденно помчалась, заметно оставляя позади горящий «студебеккер», из опушки леса горизонтально вылетел оранжевый скачок огня, и столбообразный разрыв встал левее машины. Второй вылет огня из леса аспидной чернотой поднял сзади кузов «студебеккера», вздыбил, толкнул его вверх, всплеснули над кабиной кроваво-алые космы — и этот клубок пламени, закрученного дыма сдвинулся с шоссе, перевалил через кювет, слепыми зигзагами пополз по траве луга и мертво застыл метрах в двухстах от песчаного берега озера.

— Дак что же это, а?.. Что ж это?.. Что ж это?..

Ушатиков, как стоял в полусогнутой позе, так и оставался стоять до этого растерянного, бессмысленного вскрика, и, вскрикнув, меш-

ком осел на снарядный ящик, перекатывая добелá обваренные непониманием глаза с Княжко на Никитина, а они не говорили ни слова, оба смотрели на шоссе, и молчание между ними росло, давило на Ушатикова тяжестью тревоги, смертным ожиданием неизбежно наступавшего часа.

— Дак ведь это ж танки по нашим машинам били,— пораженно прошептал Ушатиков.— Хосподи Сусе! Да откуда ж они? Значит, немцы там?

— Это била самоходка,— ответил Княжко машинально, словно про себя, трудно принимая какое-то решение, и внезапно крикнул звонко Никитину, которого резкий толчок действия бросил к казеннику орудия:— Стой! Нет смысла! Оставь! Километров восемь отсюда! Только снаряды испортишь! Не разрешаю!

— Две машины дуриком сожгли, две машины... Значит, наша колонна напоролась,— говорил тихо Никитин, глядя туда, за озеро, где в зеленом и солнечном блеске утра почти без дыма буйно горели два «студебеккера», настигнутые прямыми попаданиями самоходки. И тут увидел третью машину: непонятно как прорвавшаяся из леса на шоссе, машина эта, отдаляясь и отдаляясь к городку, сумасшедше мчалась в завесе пыли по ровной стреле асфальта, но невидимая самоходка, скрытая опушкой леса, теперь по ней не стреляла — «студебеккер», вероятно, уходил из поля точности цейссовского прицела.

— К телефону, Никитин! Быстрей! Пошли! Ушатиков, остаетесь! Наблюдать здесь! — скомандовал Княжко и стремительно, соизмеряюще глянул на пылающие машины, на опушку леса, там взлетела одинокая сигнальная ракета, взлетела и распалась слюдяными искрами в онемелой синеве неба. И на землю пала свинцовая, удушливая тишина.

Однако, когда Никитин и Княжко добежали до дома, в батарее было тоже неспокойно. Здесь услышали первые выстрелы, и солдаты высыпали из дома на лужайку, дожевывая галеты, иные с недопитым чаем в котелках, недоверчиво и пытливо смотрели в сторону сада, вокруг раздавались угадывающие голоса: «Мины никак наши в лесу подрывают? Или что?» — и сержант Меженин, посмеиваясь, пригашивал это возбуждение бодро зычным покрикиванием: «Ладно, ладно, чего без толку засуетились? Команда была? Продолжай завтрак, без нас разберутся! Чего взгагакались?» Но сейчас же взмахом длинных ресниц как бы жадно всосал в светлую глубину глаз серьезные лица приблизившихся офицеров, и желваки его набухли на скулах.

— Опять война? А?..

— Заканчивать завтрак! Батарея, тревога! — сломал голоса солдат командой Княжко и, прихрамывая, прошел в дом вместе с Никитиным, а тот на ходу повторил команду Меженину:

— Взвод, боевая тревога!

В той самой комнате-кабинете или гостиной, где прошлой ночью от нечего делать беззаботно играли в карты, пили пиво и слушали патефон, Никитин с кольнувшим сердцем неожиданно увидел низко склоненную фигурку возле закопченного зева камина, знакомые желто-медные волосы, рассыпанные по спине, и как-то сразу не понял, зачем здесь Эмма, присев на корточки, железными щипцами трогала, ворошила на решетке поддувала сгоревшие пачки рейхсмарок, выгребала их на совок. Она обернулась при виде вошедших Никитина и Княжко, вскрикнула: «Ай!» — и, выронив щипцы и совок на решетку камина, стремглав выскочила из комнаты.

— Немка-то,— сокрушенно цокнул языком связист, добродушный толстогубый парень, дежуривший у телефона,— жалко ей очень. Зашла сюда, увидела ихние деньги сожженные и чуть не заплакала. Что за шум такой, товарищ лейтенант?

— Дайте штаб дивизиона! — приказал Княжко.— Минута вам на связь!

— В секунду сделаю, товарищ лейтенант!— заелозил на стуле, встрепенулся толстогубый связист и закрутил ручку полевого аппарата.— Неуж немцы? Да откуда они? Неуж немцы?..

Продолжение следует

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки И. ПЧЕЛКО.

БЕРЕГ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

По всей вероятности, это была какая-то разбитая немецкая часть, вышедшая в лес, видимо, имея дальнейшую цель пройти либо к Берлину, либо вырваться на запад, но одно неясно было: почему не ночью, а утром немцы с неумной решительностью обнаружили себя, открыв огонь по нашей колонне «студебеккеров» на шоссе? Может быть, в этом была последняя жестокость перед гибелью, может быть, открытым нападением на машины некий потерявший меру надежды командир танковой части хотел нетерпеливым риском разведать, кто и какие войска стояли в городке по обводу окруженного и павшего Берлина.

Едва лишь Никитин подал команду: «Орудия на передки» — и увидел подбегающих к орудиям солдат, остро-щекотное чувство близко дохнувшего боя заслонило все, и оттого, что не было фронта, а случайность боя была настолько неотвратимой, ледяные иголочки закололи во всем теле, как бывало, когда батарея ночью вслепую попадала на минные поля.

Чувство это владело им до тех пор, пока на огневой в необычной нервозности ожидали машины, видя отсюда за преградительной стеной разрывов четыре тяжелые самоходки на шоссе и два бронетранспортера на лугу, которые медленно продвигались вне зоны огня соседних батарей, пока не прицепили орудия к машинам и не вывернули через сад и лужайку на улицу, оглушенную разноголосыми командами тревоги, ревом моторов, закишевшую солдатами, пока, делая остановки в заторах на перекрестках, наконец не выехали на восточную окраину, куда втекало это шоссе от леса.

Здесь опять остановились. Впереди, накрытые наволочью дыма, спаренно, хлестко и часто били противотанковые пушки, врытые в яблоневых садах крайних домов; слева низкие, верткие «доджи» с прицепленными орудиями выворачивали из дворов на улицу, мчались по боковому проселку, как бы чуть на срез, в обход самоходкам на шоссе; повозки и полевые кухни, дребезжа, неслись назад, в центр городка, загораживая путь встречному потоку; из машин прыгала на дорогу пехота, цепочкой перебегала в сторону озера, где рвались снаряды; какой-то пожилой, сурового вида подполковник, по-видимому, из штаба, выбежал к колонне батареи, приторможенной затором, бледнея лицом, ударил рукояткой пистолета по крылу машины первого орудия, в которой ехал Княжко, закричал что-то, указывая пистолетом на лес; Княжко приоткрыл дверцу кабины, выслушал его, кивнул и сделал знак Никитину: вперед!

Эта хаотичность перемещения, суматоха, эта неразбериха на восточной окраине, беглая пальба противотанковых пушек, крики команд, распоряжения предприимчивых в этих случаях старшин, стук уносящихся кухонных колес, удивленно-веселые и непонимающие лица солдат — вся эта знакомая по прошлым годам нервозность, непонимание, общее возбуждение не скрыли от Никитина некой логики: после Берлина и безмятежных дней отдыха никто не предполагал — не мог предположить даже — атаки немцев в тылу, но вместе с тем никто не думал и об обороне, никто не окапывался у окраинных домов, и знак Княжко «вперед», и бросок в сторону озера пехоты, и быстрый выезд по проселку «доджей» противотанковой артиллерии, как бы в обход сбоку самоходкам, объяснили Никитину, что бой будет не в городке, а вот здесь, за окраиной, на этом открытом поле, рассеченном шоссе, куда выдвигались на прямую наводку и противотанковые пушки, прицепленные к «доджам», и их батарея.

Но несколько минут спустя Никитин понял, что ошибся. Батарея противотанковых пушек, пыля по проселку, уносилась все дальше и дальше вправо, под острым углом к шоссе, пехота слева бросками перебегала в направлении озера. И, уже двигаясь прямо по шоссе за взводом Княжко, теперь словно совсем одни, навстречу самоходкам, Никитин привычно соображал, что километра через три надо съезжать в поле и разворачивать орудия, и видел сквозь лохмотья дыма катящееся первое орудие на прицепе, скольжение, прыганье солнца по его длинному стволу, так начищенному за эти дни соляркой, будто к смотру готовились, видел нечетко впереди ближнюю самоходку, ее смутную и неуклюжую громаду, резкие вспышки ее выстрелов за коричневым частоколом разрывов. «Вот сейчас, вот сейчас сблизимся и — «Орудия — к бою!», а машины — назад, в укрытие, сейчас здесь, вот здесь, в поле, все произойдет!» — вертелась в сознании Никитина одна и та же мысль, одни и те же механические команды перед последним километром сближения на дальность прямого выстрела. И, как всегда, мысленно высчитывая это расстояние, которое сейчас смертельно заколеблется на грани «или-или», на острие секунд черного и красного цвета, заранее представляя оголенность своих орудий, оставленных машинами посреди открытого поля под зорким чужим прицелом, он, как всегда, испытывал тоскливый приступ горечи оттого, что не все, вероятно, из батареи вернутся с этого поля...

— Везет нам, лейтенант, как утопленникам,— дошел до слуха Никитина голос Меженина, сидевшего в кабине рядом, голос, разбитый гулом мотора, громыханием кузова, и жесткий, представлялось, готовый к прыжку взгляд его, впаянный в шоссе, был тоже незнаком Никитину.— Все время на прямой... Отходят они, а? — снова крикнул он, суживая веки, точно дым и накаленный ветер, пронизывая стекло, хлестали по его глазам.— Смотри на самоходки, лейтенант!..

— Что, самоходки? Где видите, что отходят?

Ядовито-желтая, освещенная солнцем мгла сгущалась от разрывов по всему полю и не рассеивалась, скопленная, разрываемая ответным пламенем выстрелов, и на шоссе в щелях просветов появлялись, покачивались и таяли размытые контуры самоходок, и невозможно было сейчас определить, продвигаются они вперед, стоят на месте или отходят.

В то же время Никитин чувствовал по скорости и времени, что машины должны были уже проскочить эти километра три-четыре для сближения с самоходками, расстояние, необходимое для стрельбы прямой наводкой, и здесь было пора начать бой, открыть огонь. Однако передняя машина Княжко продолжала мчаться, не сбавляя скорости, и одно это обстоятельство сперва показалось Никитину каким-то затмением, сумасшествием первого взвода (лезть под выстрелы в лоб, не приведя орудия к бою!). Но, два долгих года зная Княжко, он и сейчас быстро поверил в его риск, в его расчетливость, и поэтому тоненькой горячей струйкой влилась в грудь Никитина странная надежда: бой кончится скорее, чем он думал. Неужели самоходки отходят?

Задним ходом самоходки действительно отодвигались к лесу, к той опушке, откуда вышли они, пятились по шоссе, бегло отстреливаясь, затем ближняя неуклюже развернулась, тускло скользнув под солнцем серой пятнистой броней, отрыгивая колючие трассы искр из выхлопных труб, отползая назад, и тотчас в мутной мгле, текшей вдоль шоссе, кругообразно, тяжело и грузно зашевелились три следующие за ней самоходки, стали отходить, вытягиваясь поочередно к опушке. Это Никитин теперь ясно видел и так же видел ясно два бронетранспортера, замедливших атаку на берегу озера, где падали и вставали фигурки нашей пехоты,— и бронетранспортеры начали откатываться к лесу, сверкая по этим фигуркам толстыми пунктирами крупнокалиберных очередей.

Немцы, по какому-то внезапному приказу предприняв нацеленную атаку на городок, отступали в лес, но то, что Никитин ощутил при этом мгновенную надежду на скоротечный исход боя, было его заблуждением, которое не имело облегчающего разрешения.

Самоходки с замедленным упорством отползали в глубь леса, густо гудя моторами, ломая молоденькие сосны, расползались в стороны от дороги на невидимые просеки, непрерывно и в упор били по шоссе, вплотную и тесно по двум сторонам зажатому стенами сосен, и шоссе уже казалось узким коридором лабиринта, толкаемым разрывами куда-то в адскую черноту, закипевшую, расколотую грохотом, заполненную до краев дымом, рвущимися всплесками огня. И, как в уплотненной темноте наступившего внезапно вечера, рассекаемого низкими молниями, невозможно было точно определить, куда отходили, откуда стреляли самоходки, как меняли позицию между деревьями, и Никитин с отчаянием от этой неясности положения, от этой слепоты, подавал команды, ловя на секунды стремительные выбросы прямого пламени из сбитого в темноту дыма, стреляя на ощупь, почти незряче, лихорадочно охваченный единственной мыслью: «Скорее, скорее! Выйти бы куда-нибудь из этого проклятого лабиринта, из этого проклятого коридора! Скорее, только бы скорее!..»

Он видел мелькание серо-грязных бликов возле орудий, угадывал лица расчетов, сквозь грохот слышал яростный, животный крик Меженина, матерившегося после каждого выстрела, и не видел слева, за шоссе, орудий первого взвода, около которых был Княжко, даже не смотрел в ту сторону: сразу, как только по команде Княжко привели к бою орудия на опушке леса, выкатив их на плотную прошлогоднюю хвою справа и слева от шоссе, и открыли огонь, прекратилась связь между ними.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 12—17.

В течение нескольких минут все исчезло, все утратило реальность — горячий пот тек по воспаленному лицу Никитина, глаза слезились от огненных толчков пороховых газов, брызжущих жаром осколков над щитом незащищенного орудия, и было ощущение железно порхающей в накаленном воздухе смерти, и она звенела ангельскими голосами, гремела, мстительно взвизгивала, в жадном поиске твердого тела наугад мокро врезалась в стволы сосен, топориками срубала ветви, вспарывала землю, вздыбливала асфальт шоссе, осыпая его разрушенную плоть на потные спины еще живых солдат, зачем-то тоже с одержимой ненавистью посылавших смерть наугад, как если бы в этом был весь смысл существования на земле. И немецкие самоходки и наши орудия, потеряв пространство, расстояние, видимость цели, стреляли, будто окончательно лишенные зрения, и ожидание слепого осколка и чувство, подобное буйному безумству рукопашной схватки впотьмах, которую ничем нельзя было остановить, охватывало Никитина нервной дрожью бессилия, страха и бешенства. Раз после разрыва, накрывшего сосну впереди орудия, он почувствовал вместе с жарким ветром сорванной хвои шлепок в лицо, инстинктивно схватился за обожженную щеку, посмотрел на пальцы — крови не было. Маленький, зазубренный осколок, раскаленный до фиолетовости, ударил его на излете и упал к ногам — знак и предупреждение смилостивившейся смерти. И отрывистый неподвольный смех вырвался из его горла: «Повезло, мне повезло!..» Никто не услышал его смех, и он, оглохнув от выстрелов, с тупой болью, со звоном в ушах поспешно искал слезящимися глазами взблески самоходок в дыму, невидимых, близких и неуязвимых, в неземном измерении отдаленных куда-то во тьму на тысячи километров.

— Скорее! Скорее!..

Несколько раз подносили снаряды, разгружая машины, груды горячих гильз валялись, скапливались между станинами, и эти гильзы кто-то расшвыривал ногами под беспрерывно выбрасывающим пороховой пар казенником, и звяканье гильз, и жестокая матерщина Меженина, и крики солдат сливались в сознании Никитина в это торопящее, полубезумное: скорее, скорее!

— Скорее!..

А когда впереди широко полыхнул в глубине чащи и устойчиво пошел вверх тусклый от толщи дыма огонь, Никитин не знал и никогда не смог бы узнать, чей это снаряд вслепую достиг самоходку,— там впереди на минуту смолкло, и он вдруг задохнулся ликующей беззвучной радостью сумасшедшего и, морщась, не сознавая, зачем торопит себя, подал команду третьему орудию:

— Меженин, вперед!..

Он вконец сорвал голос командами, он хрипел надсадно и, поворачиваясь к третьему орудию, встретил черное, потное лицо Меженина, набухшее желваками на скулах, зачерненные пороховой гарью озверелые лица солдат, удивленные, конъюнктивно красные глаза Ушатикова, крикнул опять сорванным горлом:

— Вперед! На колеса! Через кусты! Подальше от шоссе!

— Куда «вперед»? — злобно выговорил Меженин.— Ни хрена не видать, где они! Как у негра под мышкой! На рожон попрем? — И спросил, сощурясь: — Что со щекой? Царапнуло? Ну, лейтенант, сто лет жить!

— Пока они замялись — вперед! На колеса, вперед! — повторно скомандовал Никитин и отсекающе махнул рукой с неумолимостью приказа: — А ну, вперед, Меженин! Вперед!

Он не мог бы сейчас разумно объяснить, какая сила неодолимо приказывала, тянула его сойти с занятой позиции, переместиться хотя бы на десять метров, но тут с другой стороны шоссе дошел до слуха властный голос Княжко:

— Третье и четвертое орудия, впере-ед!.. Никитин, вперед!

По усиленному гудению моторов в дымном кипении впереди, по скрежету гусениц уже можно было понять: самоходки отходили по шоссе, по продольным просекам, и Никитин, вместе с расчетом налегая затекшим до окаменелости плечом на щит орудия, слышал, как меж раскатов разрывов в чаще где-то за лесом без передышки тоненько швейными машинами шили немецкие автоматы, вливаясь в грубый треск наших очередей, хлопающим звоном ударяли противотанковые пушки, вспомнил фигурки пехоты на лугу, приземистые и ловкие «доджи» на окраине городка, их выезд по проселку наискось к лесу, вспомнил и с едкой завистью подумал, что где-то недалеко идет другой бой, чужой, неопасный, что не было там этих незримых самоходок, этого кишевшего слепой смертью лесного коридора, и хрипло выкрикнул то, что скачками проносилось в мозгу:

— Вперед! Вперед, скорее!..

— На рожон пошли, ясныть! Сто лет вам жить с Княжко, лейтенант, сто лет! — выдыхал рядом Меженин, и сильное, жаркое плечо его теснило, вжималось в щит рядом с плечом Никитина, а ему почему-то мнилось, что сержант лишь делал вид усилия, но весь еще сопротивлялся новому продвижению орудия по его команде.— Сто лет будете...

— Не каркай, у тебя глаз дурной! — пронзительно взвизгнул голос Ушатикова откуда-то снизу, от колеса орудия, и снизу вскинулось всегда доброе, наивное его лицо, набрякшее сейчас лиловой краснотой, струйки пота, размывая пороховую гарь, бороздили его лоб, выкаченные натугой круглые голубиные глаза блеснули страхом суеверной приметы.— Не каркай на лейтенантов! Погибели их хочешь?

— Нас с тобой переживут и закопают, вот тут в лесу! Понял? Оставим тут дощечки после Берлина — погибли, мол, смертью храбрых! А, Ушатиков? — задушливым озлобленным хохотком ответил Меженин, и плечо его с обманным напором мокро, мясисто засуетилось около плеча Никитина.— Нам прикажут умереть — умрем! А чего? Раз плюнуть! Наше дело телячье... А последние орденки на грудь кое-кому схлопочем!..

Это влажное прикосновение его плеча, лживая подчиненность, фальшивый показ помощи, хохоток и разъедающие слова Меженина, в чем не было необходимого сейчас смысла, сначала не задели Никитина, воспринялись им выплеском запоздалого мщения в связи с недавним столкновением между ними, что Никитин не хотел помнить как ненужно-случайное, мелкое, происшедшее много лет назад, ничтожное по сравнению с тем, что объединяло их теперь, но замутненный рыскающий взгляд, брошенный и отведенный Мененином, вдруг поразил его. Нет, это было не злопамятство, не последствие их ссоры, а нечто другое, не заметное никогда раньше, о чем он не мог подумать и секунду назад. «Неужели это?.. Неужели?» Он не придал большого значения в начале боя тому, что не было слышно возле орудия обычных зверовато-азартных распоряжений Меженина, его обычных злых шуточек, перемешанных непристойными словечками, затвержденных жестами, вызывающими облегченный смех солдат, не видел его слева от щита или рядом с наводчиком (Меженин, помнилось, непрерывным мрачным матом подгонял подносчиков снарядов) и не видел, как, выкрикнув команду, он хлопал себя по животу, пританцовывал с хохотком: «Вот вам, фрицы!..» — и чего-то не хватало при стрельбе, что-то бесцветно оголилось, обеднело без его грубо-смелой энергии, вроде бы уменьшающей вероятность смерти, без его распорядительной отчаянной предприимчивости. И Никитин, толкая орудие, вытирая о плечо облитую по́том щеку, взглянул на Меженина и даже скрипнул зубами от пойманного мига догадки и ясности, которая была отвратительна ему.

Меженин шел за орудием, нагнув голову, рукой упираясь в щит, огрязненные гарью губы криво сведены судорогой, его покрытые масляным по́том скулы необычно обтянуло кожей до выпуклости костей, запепеленный, горячечный взгляд полуприкрытых ресницами глаз был опрокинут внутрь. Это выражение лица его поймал Никитин, и это было настолько новым, невозможным, разрушающим привычный облик Меженина, незнакомое лицо человека, приговоренного сегодня на неминуемую гибель, что Никитин, хорошо знавший подобное состояние по другим, лишь выдавил отрывистым шепотом:

— Меженин... что? Что? Меженин?..

Меженин с подергиванием головы усмехнулся мертвой, оскаленной усмешкой, потом глаза его, налитые злобной тоской, разверзлись, всосались в одну точку под щитом орудия, он просипел:

— На кой... хрен в пекло лезть, лейтенант? Четыре года было мало? Берлина было мало? Орденок лишний схватить захотели с Княжко? Ух вы, молокососы, интеллигенты, душу вашу мотать!.. Куда «вперед»? Зарыть всех захотели в конце войны?

В несдержанной злобе к своему замеченному Никитиным страху, к этому начатому продвижению вперед, за самоходками, он высказал то, о чем думал и боялся думать Никитин, о чудовищной для всех бессмысленности непредвиденного боя, ненужно и случайно навязанного предсмертной агонией немцев, в десятках километров от фронта, от разгромленного Берлина, вблизи уютного городка, где вместе с тишиной, беспечным отдыхом, солнцем, весной, запахом сирени носился головокружительно радостный ветерок конца войны и победы. Но он перестал думать об этом после первых выстрелов, после первой запылавшей самоходки,— и на срок, неумолимо выбранный судьбой, назад дороги не было, и в поисках лихорадочного исхода и действия мысли его были соединены на одном возможном, как спасительное разрешение всего: «Скорее вперед, только бы пройти, миновать гибельную слепоту лесного коридора. Только бы не дать пристреляться из укрытия самоходкам!..»

И он остро понял по себе, какая неотступная мысль раздавила, смяла Меженина, а поняв, ощутил парализующую отраву вылитого яда («Зачем? Сейчас? Рисковать? В конце войны?») и оглянулся на солдат, облеплявших орудия, с руганью, натугой толкающих неподатливые колеса, изнемогающих под тяжестью станин по его приказу и приказу Княжко. Он спрашивал взглядом, слышали ли они этот по страшной правоте неопровержимый протест Меженина, и одновременно еще подумал, что необоримый страх самосохранения перед последним шагом к выходу из неоконченного боя погубит их всех в оцепенелом бездействии — их всех просто расстреляют из-за деревьев самоходки в упор,— и это должен был знать Меженин, воевавший не первый день, приспособленный к войне гораздо ловчее, хитрее его, Никитина, в свои тридцать лет.

— Меженин, Меженин...— выхрипнул Никитин и перевел дыхание, ему не хватило воздуха.— Молчать, поняли? Ни слова, ни слова, Меженин!

Меженин, ощерясь, оторвал от щита орудия заволоченные мутью, невидящие глаза, веревками надулись жилы на его крепкой шее, и он вытолкнул грудью клокочущий шепот:

— Всех захотели рассчитать, всех?..

Обвальный взрыв, подсвеченный огнем, взлетевшим в дымной тьме леса, так сильно тряхнул землю под ногами, что, почудилось, она распоролась бездной впереди орудия, что-то огромное и темное вздыбилось там, жаром надавило в горло, качнуло орудие назад, туча горячей хвои и сорванной листвы смерчем пронеслась над головами, раздробленно закричали растерянные голоса солдат, фальцетом взвился изумленный вскрик Ушатикова: «Чего? Чего это они?..» — но Никитин, кашляя в горьком угаре тола, размазывая рукавом по влажному лбу больно влипшие иголки хвои, не мог ответить, не мог разобрать, что произошло за деревьями. Внезапный взрыв этот за деревьями похож был на грохот многотонной бомбы, на разрыв дальнобойного снаряда, однако не слышно было ни просверливающего поднебесье завывания его, ни знакомого рокота самолетов над лесом.

— Чего? Чего там? Себя подрывают?..

— Товарищ лейтенант!..

— Сто-ой! — крикнул Никитин.— Стой!

Там, где произошел непонятный взрыв, плотная матовая завеса скрывала все: шоссе, землю, деревья, небо, все заслоняла бушующая багровым и черным мгла, просеченная трассами бронетранспортеров, прорезаемая лохматыми кострами беглых разрывов: там, в дыму, вслепую вели учащенный огонь самоходки.

— Сейчас...— выговорил беззвучно Никитин и, присев на поваленную сосну, ощупью отдирая хвойные иголочки от исколотого лица, взглянул на сплошь исцарапанный, донельзя закопченный целлулоид планшетки, на карту и тут понял, что могло произойти впереди. Шоссе в лесу шло прямой нитью, проходило левее просеки через узкое озеро, по западному краю которого отмечен был на плотине деревянный мост. И тогда все стало яснее

ему: немцы, втягиваясь в глубину леса, переправились по мосту, затем подорвали его, после чего открыли огонь с того берега, вне досягаемости опасного для самоходок прямого выстрела орудий, отрезав им возможность сближения.

— Мост,— проговорил Никитин.— Неужели взорвали?

В тот же момент он убедился в этом без помощи карты: в прорехах мглы, чуть развеянной посвежевшим течением воздуха, с ярой неистребимостью майского дня длинными крыльями веера наискось пробивались в просветы сквозь дым солнечные лучи, скользили по расщепленным стволам сосен, по израненному асфальту, по желтому настилу хвои, и там, куда уходило шоссе, где вставали разрывы, проблескивало меж деревьев, отливало под солнцем свинцовым лезвием лесное озеро с кустистым противоположным берегом, откуда часто выскакивали вспышки выстрелов. И глухой шум, похожий на шум дождя, усиливающийся плеск воды дошли спереди до слуха всех прежде, чем каждый сообразил, что случилось там.

— Братцы, немцы мост и плотину взорвали! — крикнул кто-то с выражением догадки, изумления и страха.— Озеро тама! Сюда, на нас, вода идет! Вон как по шоссе пошла!

И Ушатиков, суматошно вскочив около орудия, вытянув подбородок из-за щита, вскрикнул тоненько:

— Дак что ж это?

Потом еще чей-то крик полоснул за спиной:

— Вода идет по шоссе! К нам прет! Гляди!

— Не орать, дышло вам в глотку! — заревел Меженин и тяжко опустился рядом с Никитиным на поваленную сосну, проговорил: — Чую, лейтенант, печенкой чую, не будет нам сегодня везения, отойти надо. Машины вызвать — и отойти к опушке... Верно говорю: выждем пока...

— Куда машины? На шоссе? Под прицелы самоходок?— отверг Никитин совет Меженина.— Отходить куда? Опять на опушку? А потом снова? Что, был приказ отойти?

— Какой приказ? Чей? Господа бога? Вы тут с Княжко хозяева! — оскалился Меженин.— По воде стрелять будете? Саженками плавать захотели на глазах у фрицев?

— Я вам сказал, Меженин, молчите, ни слова! Ясно? Ни слова!

И Меженин муторно выругался:

— Ну, так выроем мы здесь братскую могилу, герои цыплячьи! Попомните еще меня на том свете, душу вашу мотать!

— Марш к орудию, Меженин!

Было видно отсюда в длинных прорывах солнца, как с забурлившим напором вспучивалась, хлестала в развороченную брешь бетонной дамбы вода, заливая ртутным блеском полосу шоссе, низинку перед озером, движением по канавам закачала вдоль обочины кусты, растекалась вокруг корневищ сосен, и даже показалось, будто, выброшенные в проем дамбы освобожденной струей, забрызгали тусклым золотом, забились на мелкой воде, накатившей на толстый настил хвои, крупные, жирные карпы... Их судорожное биение на мелководье было похоже на всплески разрывных пуль.

— Гляньте, никак рыба? («Кто это кричал? Ушатиков? Чему он удивился?») Бра-атцы! Живая рыба! Дак что ж это!..

— Заткнись! — заорал Меженин и шагнул к орудию.— Рыбе обрадовался, щенок! Снимай штаны — плавать будешь, дуролом!

И все же Никитина еще не покидала надежда: вода не достигнет орудия, уйдет в низину, всосется в землю, затопит шоссе метрах в ста от озера, но вода прибывала, лилась в кюветы, раздвигалась по низине, а он, отвергнув предложение Меженина вызвать машины, знал, что расчетам не хватило бы сил опять на руках откатить орудие метров на двести-триста назад. Он видел тревожное ожидание на лицах замолкших солдат, мутные, тяжелые глаза Меженина и не отдавал никакой команды, соображая, что надо ему делать сейчас: нет, откатывать орудие назад было бы продлением повторного безумия, что уже походило бы на бегство, на отступление в момент отхода на тот берег самоходок, и это означало бы вновь начинать бой, вновь продвигаться вперед, потому что никто не отменял и не отменит приказ, отданный лейтенанту Княжко. И одно, что приходило в голову Никитину, было не облегчением, не выходом, не всеразрешающим осенением, а только вынужденным нетерпением, действием отчаяния, на которое бросала его колотившая молоточком мысль: «Скорее закончить, скорее закончить все это! Протащить орудия через лес, в обход озера, зайти самоходкам сбоку, и они отойдут! Но как? Как протащить? Нет сил уже ни у кого».

Продолжение следует.

БЕРЕГ

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки И. ПЧЕЛКО

— Никитин! Никитин! Что у тебя?

Он услышал резковато-звонкий голос Княжко; тот стремительным броском перескочил шоссе, подбежал к орудию, лицо обострено, покрыто какой-то злой, азартной бледностью, на лбу и щеках разводы гари, зеленые глаза быстро и испытующе промелькнули по фигурам солдат, толкнулись Никитину в зрачки пронзительным светом.

— Ну что, Никитин, плавать собрался?— крикнул Княжко с веселой и бедовой горячностью, возбужденный боем.— Слышишь, соседи вправо пошли, бой ведут черт те где! И пехота где-то запуталась! А мы их здесь настигли! Прекрасно! Давай с орудием через лес и в обход озера. Не медлить, давай! За моими орудиями! Пока огонь прекратить! Стрелять по необходимости и продвигаться!

— Ясно,— ответил и кивнул Никитин, чувствуя в жарком биении сжавшееся сердце от непоколебимой решительности Княжко, от его ясного, звонкого голоса, вдруг уничтожающего сомнения.

— Давай, Никитин! Давайте, ребята! Другого выхода нет!— закричал Княжко и тонким силуэтом в дыму перебежал шоссе, скрылся за деревьями, куда по траве пенистой гривкой катилась, расползалась безудержно вода выпущенного озера.

Меженин, пока говорил Княжко, глядел на него стоячим взглядом угрюмого противления, словно возразить хотел и ему и Никитину, но не возразил, а когда Княжко исчез за соснами, он ощерился по-дикому и сиплым голосом команды как бы вложил всю ненависть к кому-то:

— На колеса! Толкай, толкай! Навались, дышло в глотку, в печенку вас всех!

На него озирались неузнавающими глазами, хватаясь за колеса, за щит, за станины; и маленький, рыженький Таткин пробормотал что-то, морща раздвоенную губу под усами, испуганно хихикнул в ответ на этот звериный крик.

Орудия тащили по широкому, образовавшемуся болотцу между стволами сосен, колеса увязали в земляной жиже, проваливались в лесные выемы, затянутые водой, при частых вспышках за озером всем расчетом, всей тяжестью своих тел зачем-то вдавливали станины сошниками в размягшую почву; взвизги осколков раскаленной метелью проносились над щитом, вместе с удушьем сгоревших пороховых газов летела липкая жидкость в лица, стекала струями, нависала на плечах ошметками; в секунды разрывов сначала пригибались, садились кучей вокруг станин, но вскоре, вконец обессилев от стальной неповоротливости орудий, переноски ящиков со снарядами, оглохнув от слепой стрельбы самоходок, падали в хвойное месиво грудью, вжимались плашмя, сваленные ударами близких разрывов, взметающих комки грязи, окатывающих спины фонтанами воды; потом, подхлестнутые резким приказом невидимого Княжко: «Орудия, вперед!»— в изнеможении вставали, поворачивали к Никитину не лица, а черные, налепленные маски, изуродованные единым безнадежным вопросом: когда же конец, лейтенант?

— Еще, еще, друзья!— говорил Никитин с механической однообразностью, как в кошмарном забытьи внушая себе и им необходимость того, что они делали, и, качаясь, упирался плечом в неподатливое тело орудия, стороной слыша сипящие ругательства Меженина, яростно расхристанного, какого-то страшного во всем облике после приступа подавленности:

— Навались, навались, душу вашу мотать! Подыхать, так с музыкой! Нав-вались, в гробовую вас доску!..

А когда, продвинув орудия на несколько сот метров по лесному берегу озера, вышли на широкую сухую просеку из мрачной сгущенности дыма, из разжиженной водой низины, Никитин почувствовал, что не в состоянии уже стоять на ногах, и, ощущая дрожание ног, железистую горечь во рту, привалился боком к стволу сосны. Он отупелыми пальцами рвал ворот гимнастерки, он хотел глотнуть воздуха, задыхаясь, жаждая пить его пересохшим горлом; приступами его подташнивало, пот затуманивал зрение, оглушительно и молотообразно била кровь в висках. Он расплывчато видел справа приведенные к бою орудия Княжко — и не поддавалось воле понять, как и почему он здесь...

Все со стоном, мычанием повалились на землю около станин, уткнувшись лбами в прошлогодний пласт хвои. Меженин один, держась за щит, разевая рот надорванным дыханием, воспаленно, следяще смотрел на Княжко, который быстрыми шагами шел от своих орудий, на ходу вытирая носовым платком дочерна измазанные копотью мокрые руки. Княжко шел молча, сапожки его ступали упруго по траве, но легкое покачивание торса при еле заметной хромоте явно выдавало его безмерную усталость, наверное, скрываемую им как человеческую слабость, и досадливо-хмурый взгляд его нетерпеливо искал что-то, ощупывал лес на противоположном берегу озера.

— Тебе ясно, Никитин?— подойдя, заговорил он звенящим голосом.— Ушли! Ушли к черту! Взорвали мост и, пока мы здесь...— Он был раздражен, бледен, гимнастерка намокла на груди, влажные светлые волосы прилипли ко лбу, видимые из-под забрызганной темными пятнами пилотки, и не было сейчас в его внешности той безупречной чистоты, подогнанной опрятности, что всегда поражали Никитина.— Успели оторваться от нас! Ушли по шоссе! Ты понял? — продолжал Княжко, вглядываясь в противоположный берег, и стиснул в кулаке грязный носовой платок.— Знаешь, что получилось? А получилось вот что: не они от нас, а мы уходили от них. Идиотство, идиотство! Упустить три дрянные самоходки! Чтоб по тылам нашим шастали! Никогда не прощу себе!..

— Оставь, Андрей.— Никитин слабо передохнул, добавил с трудом:— Оставь... Послушай, Андрей, наверно, так надо. Кажется, это последний бой. Может быть, нам повезло.

— Что, последний бой? Последний бой должен быть боем, а не...— И Княжко через зубы выругался, чего он никогда не допускал прежде.

«Да, я не хочу этого боя,— подумал Никитин,— а он чувствует другое... Что он чувствует? Злость? Неудовлетворение?»

Все было необычно спокойным впереди, и слева, в низине, где они катили орудия, не рвались снаряды и не вставали разрывы вокруг разрушенного моста. По противоположному берегу озера текла розоватая наволочь тихого пожара, освещенного солнцем, дым, спрессовываясь под соснами, сваливался к воде — догорала там, никак не могла догореть вслепую подожженная самоходка, но рева моторов за деревьями задымленного леса, металлического лязга гусениц не было слышно... И не стало слышно спаренных издали хлопков противотанковых пушек, только слитое, будто пчелиное гудение роя доходило из глубины чащи, и где-то правее озера тоненькими строчками несмолкаемо резали, сплетались и расплетались автоматные очереди, игрушечно неопасные после недавнего орудийного грома, сотрясавшего лес.

— Пехота,— сказал Никитин утомленно.— Слышишь, Андрей?

— Это я слышу, что пехота,— отрезал Княжко, все комкая носовой платок в кулаке.— Три неповоротливые самоходки среди леса против четырех орудий — и упустили! Нет, эти самоходки на нашей с тобой совести, Никитин! Пошастают они теперь по тылам сдуру, не одного нашего уложат! Вот для тех и будет последний!..— Он повернулся к Никитину с выражением холодного упрямства, которое появлялось на его лице, когда был недоволен собой, и вдруг спросил: — Что у тебя со щекой? Когда задело?

— А, мелочь! Рикошетом. Осколочек. Ерундовый,— ответил Никитин, и на пересохших губах его выдавилась отвергающая никчемность объяснений улыбка. Ему даже в голову не пришло показать Княжко спрятанный на память в планшетку крохотный осколочек, не убивший его, а лишь напомнивший о том, о чем никогда не говорил сам Княжко, считая разговоры о случайности дешевым расслаблением слабонервных.

— Иди умойся в озере,— строго сказал Княжко, не высказав ничего по поводу царапины на щеке Никитина.— Вид у тебя, надо сказать...

Никитин чувствовал, каких усилий стоило бы ему заставить себя сделать на неподчиняющихся ногах шагов двадцать к озеру, уже наполовину очищенному от густоты дыма, двухглубинному в голубизне отраженного неба, спуститься к солнечной, невообразимо покойной воде, наклониться, зачерпнуть ее руками, хотел сказать: «Сойдет»,— но тут увидел заостренным вниманием взгляд Княжко, обращенный в конец просеки, где наперебой дробили яркий, теплый день дальние автоматные очереди, и тоже непроизвольно обернулся туда.

— Так,— сказал Княжко.— Соседи появились.

Там, в конце длинной просеки, золотисто отсвечивающей стволами сосен в мягкой прозе-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 12—18.

лени лесного коридора, возникла скученная группа людей, вынырнула из леса, оттуда долетел голос команды, и эта группа людей устремилась рысцой по направлению к озеру левой стороной просеки; впереди скачками бежал квадратный, в офицерской фуражке человек, в развевающейся плащ-палатке, с автоматом поперек груди; он, не оглядываясь, выкрикивал накаленно: «Не отставать, братцы, не отставать!» — и широко загребал по траве яловыми сапогами, весь верткий, шустрый, весь нацеленный одержимо при своем куцеватом, незначительном росте. Приближаясь к озеру, он первый заметил орудия на просеке, властно и упредительно вскинул руку с зычным приказом: «Стой! Ждать здесь! Отдохнуть!» — и, как шар, пущенный ударом, кинулся к орудиям, развевая крыльями плащ-палатку, крича на бегу:

— Артиллеристы, дьявол ваша бабушка! Загораете, пукальщики? Спины на солнце греете? Сачкуете?

Он, запыхавшись, подбежал к офицерам, одновременно обрадованный и злой, молодое, взмокшее лицо было отчаянно какой-то неразряженной отчаянностью недавнего боя, его видавшая виды фуражка с полурасколотым, покарябанным козырьком съехала на затылок, его угольно-черные быстрые глаза, обведенные ожженной краснотой век, всполошенно зыркали по орудиям, по Никитину, по Княжко, как будто не находили то, что должны были найти здесь.

— Вы буссольные сачки, тыловые артиллеристы, боги войны! По ком же стреляете? Окопались на солнышке — и дрыхнете! Попочки в целости сохраняете?— закричал он привыкшим к подхлестам пехотинским голосом, взвинченным негодующим презрением.— Здорово живете, тыловики рязанские! Попукали из пушек — и загорай? Бой для вас кончился? Сидите, гвоздь вам в карман!

— Ну, вы!..— неожиданно вскипел Никитин.— Чего орете, как лошадь, черт вас возьми! Откуда свалились?

Однако Княжко, дрогнув лишь бровью, не изменив холодно-упрямого выражения, выпрямился упруго, поднес ладонь к виску, спросил спокойным тоном, с сухой официальностью, за которой стоял сжатый гнев:

— С кем имею честь, разрешите спросить? Исполняющий обязанности командира батареи лейтенант Княжко. Представляюсь, чтобы вы знали, с кем имеете дело. Прекратите кричать и остыньте. Держите себя в руках! — Княжко поморщился.— Прошу объяснить, что за крик, в чем дело?

— Крикун не крикун! Бой идет, людей кладу, а вы, боги войны, на солнышке валяетесь!

Пехотинец заговорил убавленным тоном, несколько осаженный вмешательством Княжко, беспокойно зыркая то на своих людей, ждущих его в тени сосен, то на орудия, где, потревоженные зычным криком, шевелили головами расчеты,— и завиднелись там черные безобразные пятна вместо лиц. Пехотинец вдруг передернулся движением спешки, его плоский и вместе курносый нос расширенно прорезался ноздрями; и, выпростав руку из-под плащ-палатки, он в раздражении вздел ее к покоробленному козырьку.

— Командир роты старший лейтенант Перлин. Так, чтоб тоже знали, кто вас обложил. Ладно, баш на баш! — И, сверкнув зубами, так бросил вниз кулак от виска, точно шапкой об землю ударил.— Ладно! Поскалились друг на друга — и конец! Не чужие мы друг другу, ребята! Помог бы мне, лейтенант, ну? Огоньком бы меня поддержал! Ну? Никак я их, гадов ползучих, б... фрицевских, из лесничества не выбью! — заговорил он уже просительно и страстно.— Засели в доме, а там стены — во! Лупят из автоматов — и никак в лоб не атакнешь! И бронетранспортер их там еще поддерживает! Хоть землю зубами рви! Я вот сам со взводом в обход пошел, с тыла зайти, а это время, лейтенант, и тоже вилами писано! Дали бы по ним парочку снарядов, и выколупнул бы я их враз, как тараканов! А? Ну? Братцы, артиллеристы, подавить бы бронетранспортер парочкой снарядов — и крышка! Ну? Прошу, братцы, душой прошу! Не дайте роту положить, пехота — тоже люди! Крышка войне ведь, чуется, братцы, зачем людей ложить, жить-то всем охота! Огоньком бы нам помочь! Ну? Огоньком бы их, курв, выкурить!..

Никитин видел искательно требующее, уничтоженное, даже неловко-стыдливое лицо низкорослого старшего лейтенанта, командира стрелковой роты, еще минуту назад грубого, властного, видел встревоженно поднятые головы расчетов и среди других взглядов угрюмый и ненавидящий взгляд Меженина, направленный на пехотинца, этого раздавленного сейчас жалкой просьбой стрелкового офицера, вероятно, прошедшего огонь и воду. Но, вмиг опаленный злостью, подумал, что пехотинцу теперь не важно совсем было, как, зачем они, артиллеристы, оказались здесь, почему и в силу каких обстоятельств была взорвана дамба на озере и горела на том берегу самоходка, а важно было сохранить в последнем бою, в последней атаке людей своей роты возле какого-то лесничества. И он неприязненно спросил, не скрывая издевки:

— Зачем на вас плащ-палатка? Может, мешает атаковать? Или дождя ждете?

— Мешает? Хрена с два! Чтоб пули путались!— вскричал отшлифованным голосом старший лейтенант и, как-то нагловато веселея, потряс полами плащ-палатки, пробитой черневшими дырами.— Видел сколько? После каждой атаки отметина! С Днепра ношу! Заколдованный панцирь! Не за себя прошу, братцы! Войдите в положение! Не имею я права своих хлопцев после Берлина положить! Похоронился я их сотнями, куда еще больше! Жить-то кто-то должен. Или уж не люди мы!..

— Прекратите! Покажите на карте лесничество,— не без брезгливости перебил Княжко и вынул из планшетки новенькую, выданную еще перед Берлином карту.— Где оно?

— Эх, лейтенант! Да без карты — рядом! До конца просеки, потом метров триста по проселку. На северо-восток от озера, рядом!— Старший лейтенант тыкнул заскорузлым пальцем с въевшейся под ногтями земляной грязью в карту.— Ни к чему тебе, лейтенант, карту читать. Словам моим не веришь? Не штабист ведь ты? К чему карта?

— А затем, что хочу знать, выйду ли я от лесничества к шоссе,— непререкаемо отрезал Княжко, отодвигая палец Перлина на карте.— Я должен выполнять, чтоб вы знали, свою задачу, а не стрелять по лесничеству, где поджала хвост наша уважаемая пехота. Так,— сказал он, складывая карту.— Проселок через лес соединен с шоссе. Километрах в двух. Прекрасно... Ты как, Никитин? Возражений нет?

«Неужели он решил? —подумал Никитин, содрогаясь от неумолимого и педантичного упорства Княжко. —Он еще надеется встретить на шоссе самоходки? Нет, мы делаем безумство какое-то!»

— Ты командир батареи,— ответил Никитин глухо, и этот ответ был косвенным согласием его.

— С чужим документом в рай?— прохрипел Меженин около орудия.— Такое дармоедство, пехота, известно, как по-русски называется? Такое слово известно?..

— Тогда прекрасно,— непроницаемо проговорил Княжко, краем глаза глянув на Меженина, и потом, застегнув сумку, думая что-то свое, нахмурился на Перлина.— Прекрасно. Посмотрим ваше лесничество. Давайте своих людей, только быстро! Поможете расчетам катить орудия на руках! Командуйте!

— Молодец! Дьявол! Не забуду! Люблю такое! Уважаю! — закричал старший лейтенант и в счастливом порыве сорвал с шеи автомат, дал по воздуху оглушительную очередь.— Ко мне, пехота, ядрена ваша бабушка! Помощь прибыла! Берись за орудия руками и зубами! Быс-стра-а!

И с неостывающей неприязнью к старшему лейтенанту, к его шумной, крикливой радости, к пехотинцам, которые не состоятельны стали подняться в атаку, рискнуть, взять лесничество, на что пошли бы еще неделю назад, и поэтому сейчас охотливой трусцой бежали сюда по просеке за нежданной артиллерийской помощью, Никитин ощущал тягостное сопротивление своему согласию, этому решению Княжко, хотя в то же время знал, что другое решение быть принято им, вероятно, не могло.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Еще метрах в двухстах от лесничества, когда с криками, суетливой толкотней пехотинцев, обрадованно возбужденных артиллерийской подмогой, катили орудия полузаросшим лесным проселком, Никитин по звукам усиленной стрельбы за деревьями — по басовитому гудению крупнокалиберного пулемета, пронзительному лаю немецких автоматов, ответному треску наших очередей, пению излетных пуль в чаще, по рикошетному их щелканью о пощипанные стволы,— по всем этим звукам он угадывал и чувствовал необратимую реальность близкого боя, куда придвигались они, и все злее, все неотступнее нарастала недоброжелательность в душе к этому пехотному старшему лейтенанту, плосконосому, кривоногому, суеверно не снимающему свою потрепанную, пробитую пулями плащ-палатку. Ему, старшему лейтенанту, пройдохе и нагловатому крикуну, с непонятной фамилией Перлин, по первой видимости воображалось, что батарея хитроумно и вовремя вышла из боя, отсиживалась в стороне, благоразумно отдыхала, отлеживалась на солнцепеке тогда, как его пехота, погибая, исполняла свой смертельный долг без поддержки огнем, без артиллерийской помощи.

«Неприятный парень,— обозленно думал Никитин.— И какой отвратительный у него широкий, как будто перебитый нос».

Они быстро шли впереди орудий, Перлин, Княжко и Никитин, моталась полами, топорщилась старая, вылинявшая до грязной серизны эта плащ-палатка старшего лейтенанта, и раздражающе звучал его пехотный, хорошо поставленный командами голос, прерываемый азартным смехом:

— Сейчас мы им раздолб устроим, разъязви их в печенку! Ежели четырьмя орудиями жахнуть, как клопов из щелей выкурим! И атакнем! А я бегу в обход и думаю: ну, засели мы до второго пришествия! Во всех местах почешешься, глядь — вы! Ну, думаю, ежели бога нет, то бог войны есть! Ха-ха! («Зачем он так много говорит? Оправдывается?»— подумал Никитин.) Попробую, мол, этому богу помолиться... Сейчас мои два взвода дом блокируют! Ахтунг, братцы! Уже полегоньку. Отсюда дом — плюнуть ближе...

— Стой!— ни разу не вступив в разговор с Перлиным, скомандовал Княжко расчетам орудий.— Ждать здесь. Пошли! Покажите, что у вас,— приказал он Перлину.— Где позиции роты? Идите вперед.

Здесь, по открытой дороге, несколько метров еще шли в рост, но едва свернули вслед за Перлиным влево, в душную тень сосен, острые взвизги доставших сюда очередей, разбросанная дробь пуль по стволам, срубленные веточки хвои, падающие сверху, заставили инстинктивно пригнуться, посмотреть туда, куда их вел Перлин, продираясь своей «заколдованной» плащ-палаткой меж молоденьких елочек к сплетенному хаосу стрельбы за деревьями.

И тут, лишь прошли шагов сто, как натолкнулись на тело убитого немца, зеленоватым бугорком придавленного смертью к узловатым корневищам огромной сосны. В новом зеленом мундире, он лежал очень неловко, боком, в скрюченной позе будто навсегда застылого в агонии бега, одна нога подтянута к животу, другая, в неизношенном запыленном сапоге, вытянута, юное, уже подернутое трупной желтизной лицо мальчика притиснуто правым виском к сведенным в ковшик окровавленным пальцам, изуродовано окаменелой гримасой ужаса, рот стыло натянут в предсмертном, зовущем на помощь крике, но отросшие и по-девичьи нежные льняные волосы еще жили, светились в наклонных сквозь ветви стрелочках солнца, мерещилось, обманывая неисчезшим блеском собственную гибель, которую он встретил здесь. По его трупному лицу бурыми точками ползали муравьи, хлопотливо копошились в ресницах, выпивая последнюю влагу, заползали по неподвижным губам в открытый рот, и Никитин подумал, что убит он был час или полтора часа назад.

— Откуда здесь этот ребенок? — спросил Княжко, хмурясь, и кивнул Перлину.— Посмотрите у него документы. Кто он такой? Из гитлерюгенда? Или вервольф? Лет шестнадцать ему, наверно...

— Э, лейтенант, какая разница, шестнадцать не шестнадцать, чего тебе? — отозвался Перлин, смачно плюнув под ноги немцу.— Они тут отступали от опушки, к лесничеству. Да их не один по лесу лежит. Чего тебе? Руки марать и время терять...

Однако, присев на корточки, он с некоторой показной гадливостью поочередно вывернул все карманы убитого, но никаких документов не нашел, кроме необязательных и почти бесполезных вещиц, какие не носят провоевавшие и прошедшие долгую войну солдаты: маленький, никчемно изящный перочинный ножичек, какой-то потускневший значок с изображением кинжала и свастики, шомпольную цепочку, испорченный, без спуска крошечный браунинг, красный карандаш с обгрызенным колпачком, кучку начатых, раскрошенных галет; портмоне и фотографий не было. Этого убитого мальчика, видимо, еще ничего прочно не привязывало к земле — ни любовь, ни прошлое, ни пороки,— и, похоже было, нравились ему блестящие металлические предметы, как нравилось, вероятно, держать в руках автомат, готовый послушно сверкнуть огнем, подобно механической игрушке. И Никитин представил эту вожделенную страсть к металлу оружия по себе и по другим и свою влюбленность в личный пистолет после того, как впервые был получен он в день окончания военного училища, подумал: «Он еще недавно из школы».

— Мальчишка,— сказал Княжко с задумчивой неопределенностью.— Откуда он, интересно? Из городка? Как считаешь, Никитин?

— Может быть.

— Подох гитлерчонок, а дерьмо несусветное носил в карманах,— сказал Перлин и, подержав непригодные вещицы, бросил их на тело убитого.— Даже часов нет у мальца.

— Ох, и не обтесаны вы, офицер пехоты,— проговорил Княжко, и глаза его сердито вспыхнули, торопя Перлина.— Ну, вперед! Ведите вперед к позициям своей роты, старший лейтенант!

Никитин молчал. Он не любил задерживать внимание на убитых, на разглядывании их поз, порой чудовищно неудобных, безобразных, отмеченных навечно застывшей мукой или последней борьбой за жизнь, не выносил разглядывания их лиц, искаженных предсмертным удивлением перед законченными страданиями, со стеклянно выпученными глазами, каменными усмешками, мнилось, над живыми, или иногда успокоенных осмысленным отчаянием выбранного предела, поманившего в страшное, но пустынное ничто, откуда уже никто не стрелял, и Никитин не терпел хвастливых утверждений, что к этому нетрудно привыкнуть: вид чужой смерти предупреждающе напоминал о незащищенной хрупкости собственного существования на войне, беспощадно приближал, суживал круг вероятности, которая не имела границ только раз на войне — в первом бою.

«Для того немца был первый бой,— думал Никитин, шагая рядом с Княжко следом за Перлиным.— Он понял, что такое жизнь и что такое война, когда побежал от опушки под нашими выстрелами. Автомата тогда, наверное, у него не было. Он убегал от смерти и бросил оружие. Как ненужную игрушку. И все-таки, почему я думаю об этом?»

И чем ближе подходили к хлещущей впереди пальбе, к железному гудению пулеметного ветра, чем пронзительнее ударял по слуху свист очередей, тем холоднее, тошнотнее ста-

новилось на душе Никитина. Ему в тысячный раз, гарантированный одной верой в везение, приходилось перебарывать себя там, где над «или-или» ненавистно и всесильно господствовал заостренный топорик рокового случая, но после оборванного боя с самоходками это чувство сближения с опасностью было особенно неприятным, и, чтобы подавить знакомое ощущение морозящего холодка в груди, он посмотрел на Княжко, стараясь угадать, испытывает ли он сейчас нечто похожее, унизительное, мерзкое, как позыв необлегченной тошноты.

А Княжко шел, легко ставя сапожки, переступая корневища сосен, брови его озабоченно хмурились, и невозможно было понять, о чем думает он сейчас.

— Здесь! Стоп, артиллеристы! — скомандовал вдруг Перлин, останавливаясь в зарослях.— Гляди вперед! Отсюда из кустов все видать! Здесь и орудия ставить надо. Вон где они засели! Бронетранспортер за сараем. Слева от дома.

— Только вот что,— сухо сказал Княжко.— Прошу не указывать, как и где ставить орудия. Сами разберемся. Далеко ваше капэ?

— Рядом было. Давай сюда, лейтенант, за штабель дров. Там заместитель мой оставался. А! Здесь везде один выбор, везде может в морду клюнуть!— отозвался Перлин.

И, согнувшись, окликая кого-то, прошел еще шагов десять, правее кустов, к низкому штабелю аккуратненько сложенных дров, откуда мигом взметнулась навстречу, точно из-под земли, фигура молоденького младшего лейтенанта, юное, с оттопыренными ушами лицо засуетилось там, послышался зачастивший голос:

— Товарищ старший лейтенант, вернулись? А это кто такие?

— Тихо, Лаврентьев!— успокоил Перлин грубо.— Молись богу, артиллеристов привел! Лежите все, расчертовы курортники, как на пляжах, а атаковать дядя будет?

— А вы посмотрите, что они делают!— вскрикнул писклявым голоском Лаврентьев, голоском никак уж не пехотным, и Никитин без труда определил по свежему ремню, по расстегнутой и непоцарапанной кобуре младшего лейтенанта: воевал недолго.

Тут, метрах в двухстах от лесничества, рискованно было минуту задерживаться у крайних сосен, опушка прошивалась огнем, пули, звеня, стаями дятлов долбили по стволам — и всем троим пришлось встать за штабель дров, отойдя в укрытие, наблюдать отсюда: так было в той или иной мере безопаснее.

Лаврентьев, должно быть, обиженный грубым упреком Перлина в присутствии артиллеристов, продолжал стоять возле штабеля поленьев, независимо отряхивая прилипшие иголочки хвои с гимнастерки.

— Вот, братцы, какая загвоздка. Дом ясно видите?— проговорил Перлин, водя по пространству между деревьями красноватыми белками черных глаз, и неожиданно рявкнул на Лаврентьева: — А ну, прекращай игры, ныряй сюда, гер-рой лопоухий!

Да, спереди уже была та ясность, которую с неприязнью к Перлину, к его роте ждал Никитин. Эта ясность положения стрелковой роты, остановленной здесь немцами, заключалась не в растерянном бездействии пехоты, а в этом хорошо теперь видном за деревьями двухэтажном добротном доме, окруженном деревянными пристройками посреди просторной поляны, и было нечто беспорядочное, бешеное, как при недавнем столкновении с самоходками, словно бы обреченное на смерть последнее неистовство, в непрекращающемся слепом огне немцев. Пехота залегла под крайними соснами, не подымалась, не перебегала, не показывалась на открытом месте, а немцы без передышки стреляли по лесу, по каждому метру поляны: весь дом — от нижних выбитых окон до мансарды — оскаленно пульсировал автоматными трассами, и наполовину скрытый углом левой пристройки бронетранспортер, поддерживая крупнокалиберным пулеметом оборону дома, отрывисто, с промежутками, гулко выхаркивал белые пунктиры по низу сосен вокруг поляны, где виднелись ползающие фигурки пехотинцев.

— Вот какая карусель, братцы... Как только гансов-франсов как следует вы оглоушите, я и подыму хлопцев ракетой,— сказал Перлин, обтирая плащ-палаткой пот с широкого, обветренного лица.— Сигнал к атаке: красная ракета. Это чтоб вы моих не долбанули под сурдинку.

— На рукопашную они совсем не идут,— заметил Лаврентьев и, солидным кашлем обрывая немужественную писклявость голоса, вынул с суровой воинственностью из кобуры новенький пистолет «ТТ», показательно выщелкнул кассету, этим удостоверяясь в точном наличии патронов, необходимых при рукопашной.

— Вишь ты, какой шустрый у меня Лаврентьев! По рукопашной тоскует!— хмыкнул плоским носом Перлин.— А знаешь ли ты, друг сердешный, ситный, что за всю войну я разик в немецкой траншее героем прикладом помахал, да и то сразу на три месяца в капитальный ремонт угодил! Какая тебе, к богу, рукопашная, когда автоматная пуля есть, а штыками консервы открывают. Ладно, встрял в разговор ты с детским бредом не к месту, черт!

— А я мнение свое, товарищ старший лейтенант,— забормотал Лаврентьев, насупясь, и для чего-то подул в ствол пистолета.— У меня мнение такое.

«Какой прекрасный парень!»— подумал Никитин.

— Ясно,— сказал Княжко, чуть улыбнулся Лаврентьеву, который, по-видимому, тоже понравился ему, и приказал Никитину: — Здесь хватит одного орудия и двух ящиков снарядов, остальные пусть ждут вне зоны огня.

— Уверен, что достаточно одного орудия?— усомнился Никитин.— А не лучше ли все-таки поставить на прямую взвод?

Но Княжко перебил его:

— Абсолютно уверен. Не по танкам стрелять. Давай сюда меженинское орудие. Неплохая позиция вот здесь. Слева от штабеля дров. Веди орудие тем путем, которым сюда шли.

— Я пошел.

«Почему он так спокоен и так уверен, что можно поддержать пехоту одним орудием и двумя ящиками снарядов?— подумал Никитин.— Не преуменьшает ли он чего-то? Ему кажется, что все просто будет?»

Когда минут через пятнадцать тем же путем через лес при помощи взвода пехоты Никитин привел орудие, Княжко взад-вперед ходил по ржавой хвое около штабеля дров, похлопывал веточкой по колену, изредка взглядывал вверх, где звенели, пели, отскакивали рикошетом, расщепляли кору сосен стаи очередей, и, только что появился Никитин, начертил не спеша веточкой круг на земле, скомандовал ему:

— Орудие ставить здесь. Лучшей позиции нет. Бронетранспортер и дом — в секторе! Орудие к бою!

— К бою!— крикнул Никитин и, увидев, как расчет заработал за укрытием щита, раздергивая, разводя станины, тяжестью тел вдавливая сошники в песок, тотчас подал другую команду: — Вкапывать сошники! До упора! Меженин, следить, чтоб орудие не скакало! Точность! Точность!

Меженин, с застылым, точно бы не воспринимающим команды лицом, выдвинулся из-за щита орудия, побродил подрагивающими ресницами по поляне, по четко видным отсюда постройкам лесничества, внезапно взревел, покрывая голоса расчета:

— Вкапывать сошники! Станину вам в глотку!

И согбенно навис грудью над наводчиком Таткиным, елозившим на коленях подле прицела, рукой так надавил на его щупловатое плечо, что рыжая голова Таткина рванулась назад от боли.

— Чего?— вскрикнул он, и коричневые усы его, прикрывавшие дефект раздвоенной губы, обнажили оскал мелких зубов.

— Ну-ка, мотай, счетовод, к едреной матери!— выговорил осипло Меженин и, толчком подняв его с колен, толкнув его назад, грузно опустился к прицелу, вонзаясь бровью в наглазник панорамы.

— Вы, Меженин?..— проговорил Никитин. Он знал, какой хищной цепкостью, быстротой и мягкостью наводки владел он, бывший наводчик Меженин, но как-то необъяснимо было это его решение наводить самому.

Ответа не было, и Никитин не сказал ему больше ничего, уже ловя команду Княжко, знакомую, звонко-ясную, слегка растянутую на слогах:

— По броне-транс-порте-ру...

Ему показалось, что после первого снаряда от серого корпуса бронетранспортера брызнули искры, огненные колючки огня, пулемет захлебнулся на половине очереди, чадный дым круто взвился над постройкой закрученной спиралью, и затем что-то темное, напоминающее человеческие тела, стало переваливаться по борту, две тени зигзагообразными бросками кинулись к дому, и в следующую минуту Никитин, определив прямое попадание, подал вторую команду спешащим голосом:

— Правее ноль-ноль четыре, по углу дома, осколочным!..

Коротко лязгнул вбрасываемый в казенник снаряд, раздался удивленный возглас Ушатикова: «К дому бегут!» Одно плечо Меженина угловато поднялось, помедлило, скользяще упало в нажатии руки на спуск, и тут же затылок и полноватая спина сержанта отклонились назад при выстреле, скачке орудия, и снова потным лбом впаялся Меженин в наглазник прицела. Но когда отклонился он, сбоку мелькнул перед глазами Никитина его профиль — жестокая складка перекошенного рта, дикое выражение сдавленного ненавистью и как бы пьяного лица.

Второй разрыв черно-багрово взметнулся в двух метрах за темными фигурками, скошенно упавшими около угла дома, по стене которого хлестнуло осколками и дымом,— и Меженин, с жадным облизыванием сухих губ, опять впиваясь в прицел, выхрипнул не слова, имеющие смысл, а глухие силовые звуки, какие издают при рубке топором. И странной силой надежды на счастливый исход боя от этой слитости его с орудием, этой точности стрельбы дохнуло на Никитина, и все вчерашнее, враждебно-отталкивающее, возникшее между ними, мгновенно исчезло, растворилось, было забыто, прощено им, и было забыто, наверно, Меженином, опьяненным разрушительным азартом начатого здесь боя.

— Командуй, лейтенант, командуй!..

В тот момент, когда второй разрыв снаряда накрыл двух немцев на углу дома, позади бронетранспортера, среди оседающей пороховой мути внезапно легла на поляну тишина. Захлебнулся крупнокалиберный пулемет. Смолкли автоматы; осыпалось, звенело внутри пристроек стекло — и сейчас же какие-то слабые крики, похожие на истерические рыдания, донеслись из выбитых окон лесничества и тоже смолкли.

— Стой! Прекратить огонь. Неплохо, Меженин!

«Нет, это не я командую, это Княжко, это он».

Княжко, сдержанный, как обычно, выпрямленно стоял под сосной шагах в десяти левее орудия, похлопывая веточкой по колену, смотрел на дом с удивлением, даже с вниманием брезгливой жалости — так наблюдают за бессилием раздавленного на дороге животного, делающего попытку встать.

«Что он остановил стрельбу? Почему? Сейчас надо по окнам, хоть один снаряд по окнам!»— подумал Никитин, различая у штабеля дров вытянутые к орудию лица Перлина и молоденького Лаврентьева.

— Молодцы, братва! Давай, ребята! Крой их, артиллеристы! Вжарьте им, сволочам! — закричал Перлин, подбегая в своей раскрыленной плащ-палатке к Княжко, и махнул ракетницей в сторону дома.— Колупните их еще! И мы атакнем! Еще снарядиков, братцы, еще бы парочку, милые!..

— Никитин! По окнам, два снаряда!— приказал Княжко, на лбу его просеклась морщинка гнева, и он бросил вскользь Перлину:— Прошу вас не вмешиваться в стрельбу. И не кричать без толку. Иначе я прекращу огонь.

— Командуй, лейтенант, командуй!— сипел Меженин, не отрываясь от прицела, и вновь правое плечо его наготове поднялось в неуловимо-мягком ожидательном движении руки, легшей на спуск.— Командуй, лейтенант!..

Он, ни разу не оторвавшись от прицела, с тончайшей, молниеносной быстротой как будто чутьем угадывал последовательность стрельбы и торопил самого себя, Никитина, весь расчет, едва успевавший следить за его готовностью по одному лишь поднятию плеча.

— По окнам! Два снаряда, осколочным!..

Продолжение следует.

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки И. ПЧЕЛКО

БЕРЕГ

Продолжение. См. «Огонек» №№ 12—19.

Разрывов не было видно. Два снаряда разорвались внутри дома, тяжко тряхнули, подкинули его рассыпавшимся звоном. Клубы палевого дыма вывалили из окон первого этажа, и вдруг воедино слитый страшный вой человеческих голосов вырвался оттуда. Он вырвался из задымленных нижних окон, вой предсмертного отчаяния и обреченности, потом врезались в этот вой команды на немецком языке, одиночные выстрелы в пределах дома, и Никитин с ознобом по спине представил, что наделали там эти два осколочных снаряда, со снайперской точностью выпущенные Меженинным.

— Командуй, лейтенант, командуй! — повторял безумно и неудержимо Меженин, выхрипывая после каждого выстрела короткие горловые звуки, как при рубке топором. — Еще два снаряда! Еще! Командуй!..

Вой в доме не утихал.

— Что они там?— пробежало слабым ветерком по расчету. — Плачут, что ли? Кричат, а?

И Никитин увидел бледное, передернутое страданием и удивлением лицо Княжко, теребившего в руках прутик, поодаль лицо младшего лейтенанта Лаврентьева, с зажмуренными глазами, зажавшего ладонями уши, увидел Перлина, который с криком и даже хохотом удовлетворенного злорадства взмахивал ракетницей, раскрыливая плащ-палатку, и строевой голос его бил по слуху грубым матом: «Сдаются, гады, сдаются, так их!..» — и тут же, глянув на дом, Никитин поймал зрением что-то белое, лоскутом материи порхнувшее в окне и вроде бы тотчас срезанное кем-то изнутри глухим выстрелом. Это белое мелькнуло, пропало, но крик скопленных ужасом голосов рвался мутной волной из окон, то стихая, то нарастая, как бывает в охваченных пламенем и запертых домах во время пожара.

— Хрен вам сдаются, хрен сдаются!..— выговорил обрывисто и сипло Меженин, все не отрываясь от прицела. — Убрали белое, платочком махнули! Командуй, лейтенант, командуй! Еще пару осколочных туда! Шашлык из них... Кучу дерьма из них... Заряжай, говорю!

— Стой! Ни одного снаряда! — крикнул Княжко и, швырнув прутик, подошел к Никитину, мертвенно-бледный, упрямо сосредоточенный, быстро заговорил перехваченным возбуждением голосом:— Слушай... Это же наверняка мальчишки. Такие, как тот убитый... мальчишки!.. Не умеют же воевать. Похоже, мы в упор расстреливаем их! Белый флаг выкинули и убрали. Вервольфы или гитлерюгенд... Сомневаются, пощадим ли мы их. Боятся в плен... Стой, не стреляй!

За два года войны, с тех пор, как на Днепре Княжко пришел в батарею, Никитин не замечал ни оттенка, ни намека на сомнение, на нерешительность в нем, и то, что говорил он сейчас, было одной гранью правды или всей правдой, которую мог бы понять Никитин, если бы нетвердость решения присуща была Княжко, как свойственна была подчиняющая ему людей прямая сила, соединенная как бы с легким высокомерием.

— Что ты предлагаешь?—спросил Никитин.— Не понимаю... Что?

— Стой! Никому не стрелять! Пехота! Перлин! Ни одного выстрела! — прокричал Княжко, поворачиваясь к Перлину, подле которого тонким столбиком покачивался младший лейтенант Лаврентьев с яблочными пятнами на щеках.— Слушайте, Перлин, ни одного выстрела. Они и так сдадутся, Перлин! Стрелять только по моему приказу! Только по моему!..

И после того как он скомандовал это, все стало прежним в облике Княжко, только лицо не утратило прозрачной бледности. Он провел рукой по ремню знакомым жестом, чуть прямее над лбом поправил пилотку и, нахмурившись, зачем-то вынимая на ходу носовой платок из кармана, слегка заметно прихрамывая, пошел напрямую от орудия к крайним соснам, последним перед поляной. Там, уже ясно видимый в яркой прозелени травы, он решительно поднял платок над головой и, помахав им, закричал что-то на немецком языке — несколько фраз, отделяя их паузами. Никитин понял едва ли три слова: «nicht schießen» и «Junge», но совсем не предполагаемое и отдающее жутью действие Княжко, его приказ не продолжать неравный бой с засевшими в доме немцами, то, что казалось одной гранью правды или всей правдой, было и бессмысленным риском и выходом из безумия, которое тем же безумным шагом своего трезвого разума хотел прекратить Княжко, не выдержав этого животного вопля немцев, вызванного двумя выстрелами орудия по окнам в упор.

— Что делает? Куда пошел? Ку-уда-а! Лейтенант!..

Перлин ожег черными глазами Никитина, метнулся своей квадратной фигурой сбоку орудия; треща по сучьям сапогами, подбежал к штабелю дров, схватил растерянно испуганного Лаврентьева за портупею, затряс его, закричал ему в лицо:

— Быстро! По цепи! Чтоб ни одного выстрела! Душа из тебя вон! Ну!.. На крыльях лети!

И яростным толчком, взбешенный собственным бездействием, сдвинул дулом ракетницы с мокрого лба расколотый козырек фуражки, снова бросился к Никитину, перескакивая корневища кривоватыми ногами.

— Лейтенант, лейтенант! — Он почти ударил ракетницей по локтю Никитина, показал на поляну.— Он что? Ангел у вас? Святой? Да кому это нужно?

Но Никитин не ответил. Он чувствовал определенно одно: то, что делал сейчас Княжко, мог сделать только Княжко, и ни Перлин, ни он, Никитин, ни Меженин и ни командир батареи Гранатуров не в силах были бы его остановить, изменить его решение — он знал это.

Выстрелов не было. Воющие крики людей не затихали в лесничестве. Княжко, невысокий, узкий в талии, спокойный с виду, сам теперь похожий на мальчика, шел по поляне, размеренно и гибко ступал сапожками по траве, размахивая носовым платком. Он выкрикивал отчетливые немецкие фразы, прикладывая руку ко рту, чтобы яснее услышали его в доме. Обезумелые вопли впереди стали затухать. И видно было, как в нависшей звоном сжатой тишине возникли, появились пятна голов среди проемов нижних окон. Потом там раздались команды, визгливо вскрикнули несколько голосов, и тогда через мгновение неуверенно и робко полоснул белым на солнце опущенный из окна мансарды лоскуток.

— Ну! Все! Молодец ваш ангел! — задышал жарким табачным перегаром в ухо Никитина Перлин и вторично с нерассчитанной силой ударил его ракетницей по локтю. — Моло...

Никитин не успел раздражиться на грубую радость Перлина, не расслышал смятое проглоченное слово, крикнутое в ухо. Он увидел то, что еще не видел, вероятно, Княжко (потому что тот по-прежнему спокойно шел к дому): в верхнем этаже, в разбитом окне мансарды исчез, растаял белый лоскуток, и на миг зачернел, высунулся силуэт головы, кругло очерченной каскеткой, отпрянул в сторону, и нечеловеческий задохнувшийся крик глухо прокатился в глубине мансарды, и в ту же секунду невозможно длительным обвалом прогремел по поляне выстрел орудия — и все оборвалось там, на краю разверстой черной пустотой пропасти, затянутой дымом, точно ничего не было за ним.

Но этот обвал и белые вспышки автоматной очереди из окна мансарды, где кругло темнел силуэт каскетки, как будто толкнули в грудь Княжко, он сделал шаг назад, внезапно споткнулся и сделал шаг вперед, странно и тихо упал на колени, закинув голову, отчего свалилась с головы щегольски аккуратная маленькая пилотка, открыв светлые, всегда аккуратно причесанные на пробор его волосы, жестом невыносимой усталости провел носовым платком по лицу и, словно еще пытаясь оглянуться на орудие, в последний раз увидеть позади что-то, вдруг, уронив голову, повалился грудью в траву, едва различимый на середине сияющей под горячим солнцем поляны.

— Подарочек нам сделали! Угробили! Нашего лейтенанта угробили, сволочи!

«Что? Это голос Меженина? Он стрелял из орудия? Зачем? Княжко? Андрей? Неужели Андрей? Неужели он? Неужели это случилось? Это залегшая пехота? Перлин? Здесь? После самоходок? Сегодня? Сейчас? После того, как выбросили флаг о сдаче? Стреляли из мансарды? Ранен? Убит? В бою с мальчишками? Какие мальчишки? Кто-то кричал в доме! Зачем он пошел? Перлин? Что кричит Перлин? Что с расчетом? Где расчет? Где снаряды? Снаряды! Снаряды! Разгромить, уничтожить, сжечь этот дом! И туда, к Андрею, к Андрею! Я знаю, что он не убит! Нет, очередь в упор! В грудь или в голову? Снаряды! Снаряды!»

Крича что-то обезумелое, бешеное, проталкивая хрипом железный комок в горле, не слыша своего голоса и голосов людей, не видя их мотающихся за орудием белых лиц, Никитин, потеряв себя, всю нужную выдержку, с заслоненным темнотой сознанием, чувствовал, как содрогалось от выстрелов орудие, как что-то косматое и огненное рвалось, разлеталось кусками бревен впереди, как дым, подкрашенный красным смерчем, выталкивался из разво-

роченных окон мансарды, сплошь зияющей по крыше дырами, откуда сломанными ребрами торчали оголенные стропила под осыпавшейся черепицей,— и не мог опомниться, сразу очнуться даже тогда, когда чья-то рука захватом стиснула его сжатые в кулак пальцы, которыми он во время команд бессознательно бил по стволу сосны, ободрав, изранив их в кровь. Меженин стоял перед ним весь потный, черный от газовой копоти, одни глаза воспаленно краснели из очерненных гарью ресниц, отрезвляюще стискивал его кисть, говорил угрюмо и тихо:

— Снаряды кончились, лейтенант. Ни одного выстрела. Пошли туда.

— Что? Кончились? — не дошло до Никитина сквозь темную пелену, окутавшую сознание.— Как кончились? Убит? Княжко убит?

Он дрожал, ноги у него подгибались.

— Пошли, лейтенант, — повторил Меженин и, опустив глаза, медленно двинулся куда-то в отяжеленную сумеречную тишину поляны, заполненной дымом пожара...

«Снаряды кончились? Там Андрей... К Андрею! Убит? Убит?..»

На поляне, впереди за дымом, в жарком безмолвии без единого выстрела извивалось пламя, горело лесничество, справа и слева от пожара звучали весело-злые голоса пехоты, видимо, обрадованной своему завершенному броску к дому, нереальные осколочные звуки существ с другой планеты, не понимающих, что случилось, никогда не поймущих того, что случилось сейчас в мире. А там, перед лесничеством, на поляне, уже несколько минут лежал Княжко, опрокинутый огнем автоматной очереди в упор, и вокруг него уже витало безвозвратно короткое и беспощадно тупое слово «убит».

«Княжко убит? Андрей убит? Да это невозможно. Это ложь! Это ошибка! Кого угодно могло убить, только не его! Только не его!»

Мутная пелена покрывала сознание Никитина, и он еще не очнулся, не пришел в себя, когда шатко, как против течения, подошел и неясно увидел сначала не лицо, а тело Княжко в том неловком положении с подогнутой головой к руке, притиснувшей к груди окровавленный платок, будто скрывал, загораживал от людских глаз тот удар, который нанесла ему смерть. И зачем-то Перлин, этот командир роты, сохранявший своих людей около проклятого лесничества, в старой и нелепой «заговоренной» плащ-палатке, сидел на корточках, расширяя сбавленным дыханием ноздри неприятно приплюснутого носа. Тихонько вынул он из безжизненной руки Княжко платок, окрашенный цветом гибели, старательно ощупал его грудь крепкими куцыми пальцами и, обтерев пальцы о траву, поднял на Никитина угольные, по-собачьи виноватые глаза и отвел их вкось. Низкорослый, сильный, как сама жизнь, он привстал, закряхтел, сказал, кажется, умеряя насколько можно огрубевший от пехотных команд голос: «Двумя пулями сразу... около сердца»,— и Никитин при виде беспомощной позы Княжко, платка на траве, чувствуя, что может ударить Перлина, эту саму жизнь, сохраненную в грубой оболочке плоского лица, этого вдавленного посередине носа, луженого баса, крикнул со злобой и ненавистью:

— Слушайте вы, старший лейтенант! Снимайте ко всем чертям свою заколдованную плащ-палатку! Его надо на плащ-палатку... Быстро, говорят вам!

И с колотившей все тело дрожью наклонился к голове Княжко, осторожно, двумя руками повернул его лицо, бледное, забрызганное кровью, отрешенно спокойное и до непонятности юное, какого никогда не видел. И почувствовал, как что-то душит его, застревает в горле, что он сейчас заплачет или засмеется от тоскливой боли, от несправедливости того, что свершилось, от отчаянной утраты самого себя.

Это выражение на мертвом лице Княжко ничего не имело общего с тем выражением аскетической спокойной воли, которое подчиняло ему людей, оно было обращено в увиденное им в последний миг мирное прошлое — с иными, бывшими когда-то тихими обязанностями, с шуршанием книг, с дымящимся после дождя асфальтом возле школы, к тому детскому, ясному, забытому на войне и Княжко и им, Никитиным, как забыт был и голос матери. Но

Княжко редко говорил о прошлом, и это мальчишеское выражение придавали его лицу, наверно, светлые волосы, неизменно зачесанные на официально взрослый пробор, а теперь косым уголком сбитые на бледный висок, сбитые, видимо, в тот момент, когда, обожженный очередью в грудь, он упал на колени, для чего-то платком проведя по лицу.

— Товарищ лейтенант...

«Что? Кто? Зачем это меня зовут? Кто это? Меженин?»

— Товарищ лейтенант... Комбат приехал...

«Комбат? Откуда приехал? Какой комбат?»

Вокруг сгрудился расчет орудия, подавленно-угрюмые, молчаливые люди, незнакомо притихшие близ дохнувшей смерти, в не просохших еще гимнастерках, грязь размыта потеками пота на щеках, маленький наводчик Таткин ненужно мял у живота пилотку, в вытянутой шее, немигающих глазах Ушатикова застыло удивление перед тем, что всегда непонятно было разуму (ведь еще команды лейтенанта в ушах звучали, еще помнилось, как он, живой, гибкий и здоровый, с платком по поляне шел), а Меженин и этот пехотинец Перлин уже расстилали плащ-палатку, и Меженин с мрачной и бессмысленной аккуратностью все расправлял ее по траве, выпрямлял уголки, словно озабоченный тем, чтобы Княжко на ней удобно было. И это он говорил, разминая плащ-палатку, не глядя на Никитина:

— Комбат приехал, товарищ лейтенант.

— Кладите его,— сказал вполголоса Никитин.— Кладите на плащ-палатку. Понесем к орудию.

«Что я скажу Гранатурову? Рассказывать, как случилось? Повторять весь бой? Странно — Гранатуров и Княжко не были друзьями,— подумал вяло Никитин, как о чем-то лишнем, сложном, ненужном сейчас, отвлекающем в сторону от немыслимой и страшной простоты.— Да, да, Гранатуров жив, а Княжко убит...»

И Никитин посмотрел туда, куда не хотелось ему смотреть.

Да, он все-таки не выдержал, не высидел в медсанбате и приехал, не зная о конце боя, старший лейтенант Гранатуров, как приезжал в район Zoo и вчера ночью в батарею. Его роскошный трофейный «мерседес», неделю назад взятый на улицах Берлина, игрушечно поблескивал светлым лаком и стеклами в конце поляны, где начиналась, вероятно, лесная дорога, метрах в пятидесяти за позицией орудия. И сам Гранатуров, вылезший из машины, огромный, с толстой в бинтах кистью на марлевой перевязи, крупными шагами шел сюда, к замеченной им издали группе людей на поляне. И тут следом за комбатом вылезла из «мерседеса» Галя, захлопнула дверцу, сказав что-то шоферу, оправила пилотку на черных волосах и, по обыкновению строгая, тоже пошла к поляне позади Гранатурова, догоняя его.

«Она зачем? Почему он не один?» — мелькнуло в голове Никитина, и чугунная, болезненная тоска сдавила его всего.

И чем ближе они подходили, тем четче он различал их лица: смуглое, с длинными косыми бачками Гранатурова, напряженное, нацеленное чрезмерным вниманием в толпу солдат, и тонкое, сразу ставшее чужим, преображенным лицо Гали, поднятое в ожидании страха и муки.

Вглядываясь и не найдя среди солдат знакомую фигуру Княжко, она, наверное, особым женским чутьем мигом ощутила что-то неладное, случившееся здесь — и видно было, как она ускорила шаги, прижимая, будто в удушье, одну руку к горлу. И Никитин медленно встал, стискивая зубы.

— Где Княжко? Где Княжко? — закричал Гранатуров, подбегая к раздавшейся толпе солдат, темные глаза его изумленно выкатились, он, видимо, не предполагал увидеть то, что увидел отчетливо и реально, рот его польвиному раскрывался, и он обрывисто повторял:— Почему Княжко? Почему Княжко? Каким образом? Ты что молчишь, Никитин? Как это случилось? Здесь? Насмерть?

— Потом комбат, ради бога...

Никитин еще выговорил это, не узнавая собственного, перетянутого железной петлей голоса. В то мгновение он не знал, что может ответить Гранатурову, и не знал, что может ответить Гале, уже подошедшей к краю плащ-палатки и как-то нетвердо, с прижатой к горлу рукой остановившейся перед изголовьем Княжко. Никогда в жизни он не видел такой мраморной белизны лица, такой смертельной неподвижности в блестящих сухостью глазах, такой вороненой черноты волос из-под пилотки, крылом закрывшей белизну ее щеки. Рядом вместо Никитина сержант Меженин нехотя и хмуро рассказывал Гранатурову, потребовавшему объяснений, подробности последних минут жизни лейтенанта Княжко, до автоматной очереди из окна мансарды, а Галя, не размыкая бескровных губ, не задав ни одного вопроса, все омертвело молчала; она не слышала ничего, неузнаваемая в своей закованной стылости, глядела на планшет, на кобуру пистолета, снятые с Княжко, которые держал Меженин как доказательство его гибели. Потом судорога внутренней муки прошла по ее губам, и она со стоном опустилась на колени у изголовья Княжко, мелко дрожащими пальцами потрогала его измазанный кровью лоб (зачем в момент смерти он вытер его платком?), пощупала то место на груди, куда вошли пули, и отклонилась, выпрямилась, не подымаясь с колен, с зажмуренными веками, подставив лицо чему-то бесповоротно настигшему ее, непоправимо и окончательно понятому ею.

— Галя...— хотел позвать Никитин, но голос не подчинялся ему, и он, кривясь, лишь останавливающе толкнул в плечо Меженина.

Меженин замолк на полуслове, из-за плеча мутно покосился на Галю, и Гранатуров и Перлин одновременно повернули головы по направлению сумрачного взгляда сержанта. Перлин, раздавленный случившимся и присутствием здесь женщины, этого молчаливого младшего лейтенанта медицинской службы, потерянно замялся, перханьем прочистил горло, спросил сипящим шепотом Меженина:

— Она кто?.. Его пэпэжэ, что ли?

— Молча-а-ать! Заткнись! — заорал разъяренно Гранатуров, нависая гигантской фигурой над низкорослым Перлиным, и рубанул здоровой правой рукой возле его откачнувшегося плоского лица.— Молчать, твое дело телячье здесь! Молчать! Ясно? — Он обернулся к горящему лесничеству.— Подлецы! Шант-рапа фрицевская! Он к ним, чтобы кровь не проливать, чтобы их спасти, шел, а они, гадюки, по нему выстрелили! А! Вот они, сосунки, вот они! А ну-ка, хочу на них посмотреть, что это за воякн! А ну, пехота! Чего глаза лупишь? Прикажи подвести их сюда! Мигом!

От лесничества, охваченного жадными извивами огня по всему первому этажу, от горящих построек, густо замгленных дымом, где протяжно, с натугой мычала, по-видимому, раненая и задыхавшаяся в пристройке корова, приближалась группа людей, разношерстно одетых в немецкие мундиры, военные рубахи, в гражданские пиджаки, сбитая в тесную кучу группа пленных, сдавшихся во время атаки пехоты. Группу эту конвоировали двое солдат, сплошь увешанные трофейными автоматами; оба вопросительно оглядывались на молоденького младшего лейтенанта Лаврентьева, который, подгоняя пленных командой и взмахами пистолета, воинственно и споро шагал сбоку строя: «Vorwärts! Schnell!..» [1]

— А ну-ка, старший лейтенант, давай их сюда! Заверни их сюда, мерзавцев! — приказал Гранатуров Перлину и в злом нетерпении, не ожидая его распоряжения, крикнул пехотному младшему лейтенанту: — Эй, кто там! Офицер! Подведи сюда пленных! Бегом!

Младший лейтенант Лаврентьев что-то сказал конвоирам, те забегали вокруг пленных, тыча вправо дулами автоматов, закричали: «Шнель, шнель, фрицы!» — и кучка людей хаотичным стадом заколыхалась, задвигалась теперь быстрее, повернутая на поляну вправо. Лаврентьев обогнал пленных и, возбужденный боем, с яблочно-розовыми пятнами на щеках, юный, лопоухий, первый подбежал легонькой рысью, выпрямил ладонь у виска, вытянулся и запнулся на докладе, увидев Перлина, незнакомого старшего лейтенанта около него и группу артиллеристов со снятыми с потных голов пилотками.

— Товарищ старший лейтенант...

— Тебе что, есть о чем ему докладывать? — обрезал Гранатуров и, кивком указав на Перлина, шагнул к подходившей группе пленных, весь передергиваясь.— Стой! Хальт! Так вот вы какие! Решили насмерть драться? В конце войны! По безоружным русским офицерам стрелять? А ну-ка, посмотрю я на вас!

Пленные, остановленные криком Гранатурова и конвоирами, скопились еще теснее в темную кучу, измазанные пороховой гарью, изможденные лица грязно лоснились, десяток глаз, опаленных страхом, остекленело глядели на двухметровую фигуру Гранатурова, выросшую перед ними; рот его паралично перекашивало.

— Так что ж вы, ферфлюхтер, сыкуны гитлеровские, ночные горшки автоматами заменили! Стрелять захотели? — выговорил угрожающе Гранатуров, вонзаясь в лица немцев шальными, без зрачков глазами.

И тогда чей-то мальчишеский тоненький голос взвизгнул, всхлипывая, заплакал в середине строя, но тотчас другой голос из гущи сгрудившихся тел начальственно-резко прокричал что-то, прервывая этот всхлипнувший звук, разом возникло испуганное движение головами, и тут Гранатуров, растолкав первую шеренгу пленных, матерясь, выволок из толпы ширококостно квадратного, бородатого немца в вермахтовском изволженном пылью мундире и зеленой кепке; правый погон его был оторван, косо свисал на плече, его пронзительный взгляд, вздернутый вызовом ненависти, заметался, как в буйном безумии, губы ломались, чернели в густоте бороды, роняя под ноги Гранатурову сгустки змеями шипящих слов:

— Russisches Schwein!.. Alle sind Schweine. Iwan... Schweinedreck! [2] — И по-строевому круто поворачиваясь к безмолвной толпе пленных, еще произнес какую-то презрительную, оборванную гневным смехом фразу.

Это был выплеск, бессмысленное действие разрушенной последней силы и последнего бессилия, этот смех и жаркий огонек безумства, казалось, нервным током ударили всех. Меженин, вприщур, быстро глянув на немца, вздутыми бугорками перекатил желваки на подтянутых скулах, Гранатуров же изо всей силы за плечо рванул к себе бородатого немца, волчком крутанул его, ставя лицом к

[1] Вперед! Живо!..

[2] — Русская свинья!... Все свиньи... Дерьмо свинячье!

своему лицу, и, когда немец опять выхрипнул непонятную, захлебнувшуюся злобой фразу, увидел Никитин сухие и неподвижные глаза Гали, устремленные на толпу пленных.

— И таких бородатых брали в плен? Либералы! Ох, так вашу перетак, добренькие мы как-кие! — засмеялся Гранатуров тем смехом, которым смеялся только что немец, и левая, забинтованная его рука на перевязи угловато запрыгала вверх, а правая с яростной неудержимостью искала, хватала из-под вскинутой левой руки потертую кобуру пистолета, расстегивала неподатливую кнопку.— Таких? В плен? Чтоб они размножались? Чтоб жили? — говорил он, трудно дыша, отступая на два шага назад.— На плен надеются? На плен? Не-ет! Да я тебе, бородатая сволочь, за Княжко!.. А ну! — крикнул он, ринувшись к Гале, и, оскаливаясь, взбешенно втолкнул ей в руку пистолет.— К черту его! К черту! Я разрешаю! На тот свет! Стреляй в него, стреляй! Стреляй, я тебе приказываю! За Княжко! За Княжко!.. Стреляй!..

У нее вдруг, как от беззвучных подкатывающих рыданий, колыхнулась острая под гимнастеркой грудь, разительно черное крыло волос дернулось на ее мраморной щеке, и передние немцы, тупо глядевшие на ее аккуратно начищенные сапожки, на ее колени, еще не всё понимая, впаялись оборочным вниманием в ее пальцы: пистолет колебался в них неимоверной тяжестью поднятого смертельного камня.

Никто из пленных не успел, наверное, в ту минуту осознать, что эта русская фрейлейн с узким красивым лицом и сухими, никого не видящими глазами может сделать какое-то насилие над ними, может выстрелить, и крайний справа, худенький, светловолосый мальчик, в разорванном на локте мундире, совсем по-детски заискивающе и жалко попробовал поймать ее взгляд, робко улыбнуться ей, принимая лишь игру, в которую недавно играл и сам... И Никитин, тоже не поверив, что она выстрелит сейчас, неожиданно увидел, как она без кровинки в лице, кусанием бескровных губ подавляя невылитые слезы, сотрясавшие ее, так судорожно, так неумело поспешно нажала на спусковой крючок, что пистолет, грохнув выстрелом, живым комком выскользнул из ее пальцев. Она выронила его, хватаясь за висок, мотая головой, простонала: «Господи! Зачем же это?..»

Она явно промахнулась. Бородатый немец, оцепенело отвалив заросшую челюсть, отшатнулся вбок, пленные шарахнулись назад, давя друг друга. Передние взвизгнули предсмертным взвизгом, задние ошеломленно завыли вязким нечеловеческим воем гибели, какой полоснул Никитина по слуху при стрельбе орудия по окнам дома. И тот крайний справа, что пробовал робко улыбнуться, светловолосый, самый молодой, защищаясь, выставил вперед ладони, грязно-коричневые, испачканные землей, плача навзрыд в лихорадочном страхе: «Эсэс! Эсэс!» — и при этом ладонями ослабленно бил по спине отпрянувшего в его сторону бородатого немца.

— Ах, значит, ты, подлюга, стрелял? — И Меженин прыжком подскочил к бородатому немцу, упором воткнул ствол автомата ему в живот.— Ты, эсэсовская падаль, убил Княжко? Ты, ты, гадюка, из мансарды стрелял?

Он с такой мстительной силой ткнул стволом автомата бородатого немца под ложечку, что тот завалился назад, потерял равновесие, а когда попятился он, закричав что-то млеющим голосом, Меженин рывком вскинул автомат, прицельно и остро прищурясь:

— Так на́ тебе, падло, ответную!..

Короткая очередь в упор отбросила немца метра на три, зачернел задранный к небу заросший подбородок, слетела с головы каскетка, и, цепляясь сумасшедшим взглядом за воздух, немец упал спиной в траву, дугой выгибая там коренастое тело, тягуче мыча, кашляя на бороду алыми фонтанчиками крови. Вопль ужаса прокатился по толпе пленных, кто-то отчаянно зарыдал в голос:

— Nein! Nein! Nein!..

— A-a! И вы с ним, курвы! — Меженин, по-пьяному широко расставляя подсекающиеся в траве ноги, чтобы не упасть, развернулся с автоматом наизготове к пленным, жадным вдохом всосал воздух.— A-a! Клопы гитлеровские! Всех вас! Всех!..

И Никитин, растерянный, оглушенный воплем беззащитной толпы, с единственно ясным желанием остановить, прекратить это неожиданное кровавое безумие, охватившее всех, рванулся к Меженину, сзади кулаком ударил по стволу автомата и вырвал у него автомат, повторяя одно и то же:

— Стой, стой!.. Я тебе приказываю. Стой!..

— Ж-жалеешь? — прохрипел Меженин, пьяно облизывая липкую пену в краях рта.— Их жалеешь? А Княжко, Княжко не жалеешь? Добренький ты у нас, лейтенант!

— Никитин! Давай за Галей! — скомандовал Гранатуров тоном неохлажденной злобы.— Отведи ее в машину! Беги за ней! Что смотришь, как Иисус Христос? Быстро за Галей!

И Никитин понял, что ему не убедить ни Гранатурова, ни Меженина, что ему не хватает сейчас внушительной и резкой воли, непререкословной воли Княжко, и, дрожа в бессилии, с ненавистью к своей слабости, он внезапно выговорил свинцовыми губами:

— Если расстреляете пленных, комбат, ответите перед трибуналом! Я этого не забуду... никогда... Лучше уезжайте в госпиталь, слышите?

И пошел по поляне, которая ныряла, покачивалась под ним, бросая его из стороны в сторону, точно ноги не слушались, потеряли твердость земли.

Он нашел Галю на огневой позиции. Она сидела одна под щитом орудия на станине, вся съежась, опустив лицо в ладони, и он сел рядом. Она тряслась, стонала, вскрикивала в освобожденной тоске неудержимых глухих рыданий. Ее пальцы, закрывавшие лицо, были измазаны кровью Княжко, и сквозь них просачивались розоватые капельки слез, стекали по ее тонким, нежным запястьям в рукава гимнастерки.

— Галя... — безголосым шепотом позвал Никитин.

Она молчала.

— Галя,— повторил Никитин растерянно.— Я прошу вас...

«О чем я ее прошу? Что я говорю?..»

Она отняла руки от влажных щек, исказив черные брови, посмотрела на него с таким брезгливым отвращением, как если бы увидела раздавленную мокрицу на его лице.

— Трусы,— прошептала она, заглатывая злые рыдания.— Все вы... он был лучший... лучший из вас!.. Никто из вас... только он, он один погиб!.. О, как я вас всех ненавижу! — И окровавленными пальцами охватив горло и душа́, задавливая слезы, вскочила и, наклонясь вперед, пошла, побежала к машине, а он сидел на станине, вжимая в казенник грудь, где комком заледенело, застряло что-то тупое и жестокое, мешающее ему дышать.

«Только он... он один!..»

Было тихо. Горько и кисло пахло порохом и стреляными гильзами. Потрескивая, скатывалась черепица с пылающей кровли. Горело лесничество на поляне. Оттуда медленно продвигалась группа людей: в сторону орудия несли на плащ-палатке тело Княжко, и поодаль от этой группы солдат безмолвно колыхалась толпа пленных, подгоняемая конвоирами.

Позади молча шли Меженин и Гранатуров.

Продолжение следует в № 22.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Ему нужно было забыться, и он пил наравне со всеми, не чувствуя сивушного вкуса трофейного шнапса, только огненнее обжигало его, сжимало дыхание, и все труднее воспринималось происходившее вокруг — звуки нетрезвых голосов, стук бутылок и опорожненных стаканов о стол,— и было как-то противоестественно-невыносимо, что говор становился неумеренней, громче, гуще, как жарче и гуще становился воздух гостиной, освещенной керосиновой лампой под абажуром, той самой гостиной, где вчера ночью еще был живым лейтенант Княжко — играл в карты, наклоняя голову с зачесанными на косой пробор волосами, допрашивал немцев, ходил, говорил, оправлял портупею, приказывал, задумчиво глядел на огонь камина... А сейчас здесь, в этой гостиной, они поминали его.

И хотя после каждого налитого стакана Гранатуров, мрачно возвышаясь над столом, произносил: «Помянем лейтенанта Княжко»,— и хотя было многолико, тесно, даже оживленно от множества людей, от гула участливого хмельного объединения, не хватало чего-то главного, нужного, не восполнимого ничем, и необоримая гнетущая пустота тоской разрывала душу Никитина. Если бы он сам не видел, как погиб Княжко, как, ударенный очередью из окна мансарды, упал на колени и провел носовым платком по лбу, вроде бы пытаясь вытереть кровь, ему было бы легче во много раз. Но память его, отуманенная водкой, не выпускала, не высвобождала те последние секунды на поляне лесничества, которые были смертью Княжко, и то последнее мальчишеское выражение на бледном его, забрызганном кровью лице, и те непостижимо понятные, страшно подтвержденные рыданиями слова Гали: «Только он, он один погиб...»

Он почти не слышал ни слова из того, что говорили здесь, вспоминая Княжко, и порой ему хотелось вскочить из-за стола, уйти, оставить этот пьяный шум поминок, кинуться в медсанбат, найти там Галю, долго, ожесточенно просить прощения за себя, за всех, за всю батарею и в соединенном сладком отчаянном понимании друг друга покаянно встать на колени, целовать Галины пальцы и говорить ей о Княжко, о том, что он был смелее всех, умнее всех, честнее всех и что невозможно представить батареи без него, и невозможно заполнить неизбывную пустоту без него,— и дрожащими иголочками царапало Никитину горло, и он проталкивал глотками тугой комок слез, а горячая влага жгла веки, щекотала переносицу.

Со сцепленными зубами он отклонился в теневую полосу, очерченную зеленым колпаком лампы, незаметно обтер рукавом глаза, потом резко качнулся к столу, без приглашения Гранатурова решительно налил полный стакан водки, выпил и вдруг встал на непрочных ногах. Его подташнивало и пошатывало. Он не знал, зачем он встал, зачем ему надо было встать.

На него не обратили внимания — везде разговаривали, перебивали один другого, курили, ели столовыми ложками жирные свиные консервы из железных, торчащих зазубренными крышками банок; наводчик Таткин, не то смеясь, не то плача — светлые капли блестели на его рыжих усах,— обнимал за плечи Ушатикова (тот исподтишка гладил, растроганно кормил на коленях кошку) и говорил умиленным голосом, что, дай бы бог, война закончилась, детишек бы своих увидеть, целой ноги или руки ради этого не пожалел бы, а рядом — сквозь дым самокрутки пожилой командир четвертого орудия старший сержант Зыкин смотрел на Никитина с сочувственно-скорбным укором усталого человека. «Почему он смотрит на меня, будто я пьян? — горько и мимолетно подумал Никитин.— Нет, я совершенно трезв, просто у меня невыносимая какая-то тоска, и я не знаю, что мне делать. Зачем я встал? О чем они говорят? Но что я хочу? Что я хочу?..»

Казалось ему: было непростительным и ужасным то, что не в меру выпитая водка облегчала сознание и уже сняла с солдат давящую тяжесть дневного боя, недавних похорон, прощальный залп автоматов, который прозвучал на городском кладбище над пугающе свежим земляным бугорком, где слова на дощечке «погиб...» навсегда отделили от жизни лейтенанта Княжко, и никто, наверно, не помнил вороненое крыло волос на мраморно-белой щеке Гали, все время с закрытыми глазами окоченело стоявшей тогда возле Никитина, и никто из пьющих сейчас эту немецкую водку и жующих за столом эти трофейные консервы, без нормы отпущенные старшиной по приказу Гранатурова, не вспоминал безумный бой с самоходками, бой в лесничестве и тот чудовищный миг, когда ударила из окна мансарды автоматная очередь, никто не признавал свою вину в том, что удачливо миновало каждого и по несчастливой судьбе не миновало одного Княжко. И Никитин почувствовал, что готов ненавидеть всех их за гибельный сегодняшний бой, за отвратительно мелкие теперь разговоры, бестолковый шум в накуренной комнате, за выражение дурного возбуждения на потных и багровых лицах.

«Мне надо сесть и молчать. Я сейчас сделаю что-то злое, обидное для них... Что же... Что они? О чем, о каких нелепых пустяках они говорят?» — соображал Никитин, с насмешкой глядя на заметно захмелевшего Гранатурова, на его огромные пальцы здоровой руки, а тот двигал ими и вынимал какие-то бумаги из полевой сумки Княжко, взятой Меженином и в начале поминок положенной перед комбатом на стол.

«Что он?.. Что он там рассматривает? Какое он имеет право лезть в сумку Княжко? Я знаю: комбат не любил его. И Княжко не любил. Они только терпели друг друга. И зачем Меженин показывает Гранатурову какую-то записку? Откуда записка? Из сумки? Кажется, они говорят, что нужно сообщить родным о гибели Княжко. Кто напишет письмо?.. Гранатуров? Сам? Кто?..»

— Комбат...— глухо выговорил Никитин спадающим до шепота голосом и, собрав душного воздуха в легкие, повторил тоном неприятного самому себе накала: — Старший лейтенант Гранатуров!..

Гранатуров глянул на него проникающими подозрительными глазами, затем тяжело спросил:

— Что хочешь сказать, Никитин?

— Документы... сумку Княжко дайте мне,— с внезапной твердостью проговорил Никитин.— Я сам... напишу письмо...— Он усмехнулся, еще силясь быть внешне спокойным, но лицо не подчинялось ему, оно ощущалось им омерзительно каменным.— У вас, комбат, письмо к родным лейтенанта Княжко не получится. Вы... и Княжко — разные люди...

— Сядь, Никитин,— сказал Гранатуров сумрачно.

«Зачем я ему говорю это? К чему? — соображал Никитин, неясно сознавая собственную неправоту, и потянул пальцем за воротник гимнастерки, скользкий, влажный от пота.— Я свожу счеты после смерти Княжко? Так кто... кто виноват? Гранатуров? Меженин? Ушатиков? Или я? То безумие было сегодня... Все считали, что был последний бой? И жизнь каждого стала дороже? Нет, я много выпил, но я не так уж пьян. Я способен думать, значит, не пьян, как это кажется Гранатурову...»

— Сядь, Никитин,— свел брови Гранатуров и, дочитав записку, вложил ее обратно в раскрытую сумку на столе.— То, что вы друзья были, знаю. Возьми сумку. Напиши в письме, что, мол, лейтенант Княжко, ваш сын, погиб героической смертью в боях за Берлин,— добавил Гранатуров, наблюдая, как сумку Княжко передавали по рукам Никитину.— Покрасивее напиши. Атаковали, мол, танки. Был бой насмерть, лейтенант Княжко, раненый, не ушел с поля боя, самолично подбил несколько вражеских танков и погиб у орудия. Так написать надо. Погиб, как герой. Только так. Чтоб внушительнее было. Иначе...

— Нет! — И Никитин, будто накрытый горячей темнотой, с размаху ударил кулаком по столу, отчего задрожали, скандально зазвенели бутылки о стаканы.— Нет, не так, комбат! Совсем не так!

— Почему не так? — насторожился Гранатуров, и тень недовольства прошла по его смуглому лицу.

— Вранье писать?.. Красивое вранье писать о Княжко я не буду! Я напишу так, как все произошло!

«Что я так обозлился на него? Он хочет, чтоб внушительней было? Красивая глупость штабных писарей? Что это значит? Разве можно погибнуть внушительно и невнушительно? Да о чем я с ним говорю? При солдатах... И зачем я кулаком по столу?» — подумал Никитин, понимая неуместность спора, но в то же время, подхваченный каким-то жаром сопротивления, заговорил распрямленным голосом:

— Княжко был смелее нас всех. И погиб потому, что был лучше нас. Да, лучше. Тихо, Меженин! Какого черта вы улыбаетесь? — крикнул Никитин и снова стукнул кулаком по столу.— Расстрелять безоружного немца и последний дурак, последний трус сумеет! Трусость! Это же идиотство! Глупо все было! Стыдно было! Очередь в немца... А Княжко погиб... Не хотел крови. Он хотел прекратить бой! И мы, как трусы, как трусы...

«Странно они все смотрят на меня. Да, лицо. У меня отвратительное сейчас лицо. Я чувствую, как оно кривится и горит».

— Лейтенант, а лейтенант...

Меженин, подтолкнутый хмурым Гранатуровым, подошел к Никитину, тронул его за плечо, сказал негромко:

— Лейтенант, а лейтенант, пошли наверх, а? Я полегоньку провожу. День сегодня такой был...

Лицо Меженина, потное, серьезное и, мнилось, совершенно трезвое, совсем не такое, какое было, когда он стрелял в того немца, умело скрывало неискренность помощи, даже насмешливую издевку, как представилось Никитину, над его опьянением, и почему-то сразу охватили его в сером дыму жалостно-сочувственные взгляды притихших солдат. Но он

Продолжение. См. «Огонек» №№ 12—20.

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки И. ПЧЕЛКО

БЕРЕГ

не мог бы объяснить, сказать им, что нет и никто не найдет справедливости и веры, чтобы оправдать гибель Княжко, и нет у него сил заглушить незаполнимую этими поминками пустоту тоски, одиночества, неисчезающую железистую горечь, острием воткнувшуюся в грудь. Просто все потеряло нужность и значение, окраску и смысл: рядом уже не было и никогда не будет Княжко, с его аккуратно зачесанными на пробор светлыми волосами, с его всегда подшитым чистейшим подворотничком, легкой поступью хромовых сапожек, с его строгим, иногда высокомерным взглядом зеленоватых глаз, знающих что-то свое, не открытое никому.

Да, многое было бы иначе, если бы Княжко, живой, стройно затянутый портупеей, ясный и нераскрытый, как загадка, находился в этой комнате. Но Княжко не было ни где-то вблизи, в соседнем доме, ни тут, в гостиной, где должен был быть он, и все безвыходно растворилось, опустело, застыло в безрадостно тусклом туманце.

— Лейтенант, а лейтенант, пойдем, я провожу...

— Куда вы меня проводите? Зачем? Уберите руку ко всем чертям! — Никитин столкнул руку сержанта, увесисто легшую на плечо, с больным упорством встречая молчаливое внимание солдат, словно выпытывая, спрашивая у них, смогут ли они жить так, как жили до гибели Княжко, заговорил заплетающимся языком: — Мы все... еще поймем, мы все будем виноваты... за то, что он погиб, а мы остались живы... и еще думаем, что нам повезло. Мы ждали, что все сделает он. А он один не боялся смерти. Я ненавижу себя. И не могу всем вам простить. И себе. Трусости...

Вверх от стола пополз, вытянулся подбородок Ушатикова, переставшего кормить кошку на коленях, и над банкой консервов всколыхнулись рыжеватые усы осовелого Таткина, который слезливо-влажно взглянул куда-то в пространство, вздохнул:

— Жить бы ему да жить, царство ему небесное. Строг, но справедлив был.

— Ко... кошку он принес, помните? Накормите, говорит... Зачем же он к немцам, проклятым, пошел? — удивленно и протестующе залепетал Ушатиков, заморгав.— Себя не жалел, а они... Ух, проклятые!

— Вот то-то и оно! Виновных, выходит, когда стреляют, нет! — заключающе уронил Меженин и вразвалку подошел к своему месту, плотно сел около Гранатурова, налил в кружку водки.

— Оба умны, аж мозги светятся,— проговорил старший сержант Зыкин, в угрюмой раздумчивости катая комочки хлеба на клеенке.— Один про кошку, другой, мол, вины ничьей нет. Нету с нами лейтенанта — вот тебе вся правда сполна, Меженин! А живые, они за-всегда за мертвых отвечают. Видел я, как ты сперва... когда по самоходкам стреляли, себя-то потерял. Первый раз видел тебя таким. Смерть представил свою, небось, перед концом-то войны, а потом немца бородатого ухлопал. Это ты не за лейтенанта, за свой страх мстил. Вот она тебе правда, сержант, ежели так!

Желваки выпукло обозначились на скулах Меженина, длинные ресницы пропустили свинцовый свет глаз.

— Заткнулся бы ты, ангел без крылышек! — выговорил он, и медленная полуухмылка натянула кожу на его висках.— Чего гундишь понапрасну? Молчи себе в тряпочку! Понял? Да я б всех их ухлопал, всех на тот свет, если б некоторые жалостливые не вмешивались! Во, комбат, как они фрицев защищают! А?

Немецкая гостиная, керосиновая лампа и стол плыли в пелене перед Никитиным, и зыбко виден был под светом лампы Гранатуров, сидел, чернея косыми бачками, мрачный, не размыкая большого рта, и в полутени абажура проступали, меркло лоснясь испариной, собранные злобой скулы Меженина, этого давнего среди командиров орудий его любимца, явно уверенного в своей непогрешимой законной правоте, данной ему присутствием Гранатурова.

И Зыкин всердцах смахнул крошки хлеба с клеенки.

— По-русски говоря, убивец ты, ежели в

безоружного немца запросто пальнул. Сам, выходит, вроде палача какого стал,— сказал он истово.— Вот тебе и весь сказ. Смотреть на тебя неудобно. Не могу я тебя уважать, сержант, после того... При солдатах говорю. Да и при комбате сказано...

— Ма-алчать, Зыкин! Развели антимонию Иисуса Христа! Это мой приказ был! Пока война идет — никакой церемонии с немцами! Как что — в овечек превращаемся! Да они нас бы всех до одного! А мы еще будем разводить всякое сю-сю! — взбешенно вмешался Гранатуров.— Если уж всю правду-матку говорить, Никитин,— Гранатуров загремел столом, поднялся, забинтованная его рука вскинулась на перевязи,— то Княжко пожалел этих сосунков, а они в ответ на благородство — очередь из автомата. Не-ет, такое рыцарство — к богу в рай! Щечку подставлять, ударь меня! К кому жалость? К тому, кто из тебя кишки выпустит? Он был лучше всех, говоришь, Никитин? Ладно, пусть так! Прочитай его письмо... в общем, неважно, к кому оно, сам поймешь! Я любил Княжко за многие качества не меньше тебя и уважал, но... зачем ему нужно было? Он сам смерть искал... это я тоже сегодня понял!

— Врешь, комбат! Чушь порешь! Ты его любил! Ты его ревновал и боялся! — оборвал Никитин, заражаясь гневом и непримиримостью, грубо переходя на «ты».— Поэтому тебе не сиделось в медсанбате. Тебе никогда не быть таким, как он, никогда и ни в чем! Что касается Меженина, то лучше возьми его, комбат, к себе в ординарцы, пока не поздно! Терпеть я его во взводе не могу!

— Это что, Никитин, угроза Меженину?

— В штрафную грозит меня сплавить,— ухмыльнулся Меженин.— Вот как, товарищ старший лейтенант.

Удушливо спертая тишина пала в комнате, ощущалась, как физическое давление воздуха, как преграда, как выросшая стена, которую не было сил преодолеть, а он надеялся, что придет момент облегчения после высказанной им всем правды о Княжко, но не стало легче. Все, связанное с сегодняшним днем, с Меженины м, Гранатуровым, приехавшим не ко времени, все, связанное с гибелью Княжко, было стянуто в крепкий узел, сплетенный из трех дней предательски-коварного отдыха, мгновенно отбросивших войну куда-то в недосягаемо отдаленное,— и на предельной скорости, на полном ходу война ложно закончилась. А это был жестокий обман, которому поверили они три дня назад, когда вывели их из боев, из горящего Берлина; да, их обманули, и потом, сегодня утром, наступило безумие. И Никитин, чувствуя бесповоротность случившегося сегодня, выговорил с тоскливым отчаянием ярости:

— Противно, отвратительно! И ты, комбат, противен, и ты, Меженин! Как трусы, расхрабрились перед пленными... Противно, отвратительно! А Княжко погиб... Нет, мы все виноваты. Все до одного. И я. И все вы. Отвратительно!..

Его злые, в бессилии сжигающие самого себя слова срывались и падали острыми камнями и будто без всплеска уходили в глубину до звона в ушах спрессованной тишины, а из сероватого ее тумана смотрели на Никитина и плотно и душно окружали его молчанием удивленные глаза солдат.

— Не умеешь пить! — загудел бас Гранатурова.— Говори, говори, но сперва проспись!

— Не ори, комбат, плевать я хотел...

— Никитин! Придержи язык, забываешься, хоть ты и пьян! Знаешь, что за это?..

— Неужели ты думаешь, что я боюсь тебя, комбат! А потом... Ты сейчас не командуешь батареей, ты в медсанбате... и уезжай к черту!

С тошнотным головокружением Никитин взял сумку Княжко, стараясь не пошатнуться, повернулся и, усилием тела сохраняя равновесие, шагая чересчур ровно, пошел из комнаты. При выходе его качнуло; ударило плечом о косяк, и он выругался, захлопнул за собой дверь.

Галина!

Твои частые посещения батареи после моей выписки из медсанбата в высшей степени не нравятся мне. То, что было между нами, нельзя назвать тем, что бывает раз в жизни. Я относился к тебе в медсанбате, как ко всем врачам и медсестрам, а тот разговор ночью ты, наверно, поняла не так, как надо. Поэтому я вынужден высказать все. Я не имею права тебя любить, и ты не имеешь этого права, потому что на войне нет ни замка, ни дворца для Джульетты и Ромео в погонах. Извини за грубую насмешку, но каждый раз, когда (выражаясь военным языком) я принимаю решение, я делаю, может быть, не то, что мне хочется — возможно ли это понять?— а заставляю себя быть не тем, кто я есть на самом деле. И все-таки я сам не знаю, что я есть на самом деле. Больше всего не хочу показаться слабым перед самим собой... (зачеркнута фраза). Тогда ночью ты сказала, что я презираю, или боюсь женщин, или отношусь к ним по-книжному. Что ж... Какая прекрасная бывала тишина в кабинете отца и как прекрасно было лежать на старом уютном диване в какой-нибудь зимний день с метелью и сугробами во дворе и читать, читать или листать книги. Я был влюблен в девушек Тургенева, как это ни странно, и я был влюблен в Наташу Ростову. Ты права: на войне по-книжному ничего нет. А жаль: я хотел бы быть или рыцарем, или Андреем Болконским (мой тезка), хотя это смешно сейчас и даже смешно очень. Я терпеть не могу разные фронтовые флирты, эту постыдную любовь в окопной грязи, разговоры солдат по поводу этих всяких историй и ненавижу откровенности полковых донжуанов — омерзительно до предела. Я не хочу и не могу им уподобляться. Я дал себе слово еще два года назад... (зачеркнута фраза). Не хочу и не могу. Поэтому ничего серьезного между нами быть не может. Война есть война, и на войне не может быть никакой настоящей любви (какое странное и прекрасное слово!), а только видимость любви, пошлость, гадость...

Прошу тебя понять все правильно. Кроме того — меня ждут... (зачеркнута фраза).

Лейтенант Княжко.

Не зажигая керосиновую лампу, он прочитал это неотправленное письмо при свете ручного фонарика, а прочитав, погасил фонарик, ощупью сунул письмо в сумку Княжко, не находя воли встать, зажечь лампу, раздеться, и лежал распластанно на неразобранной постели. Его мутило, щекотно и мерзко теснило в груди, и постель головокружительно ныряла под ним, соскальзывала в бездну, тошнота подкатывала к горлу, но его не выташнивало — и не приходило успокаивающего освобождения от тяжкого и непривычного хмеля, который не помогал ему забыться.

«Значит, он ее не любил,— соображал Никитин, ворочая головой на подушке.— Или все-таки любил, но не хотел, чтобы между ними было что-то? Он был влюблен в книжных женщин? Кто эти тургеневские женщины? Кажется, изучали в девятом классе. А что изучали?.. Хорошо, что он не передал письмо Гале. Ни разу не видел, чтобы он писал в Москву письма. А ему, я помню, писала мать, очень редко...»

Звездная ночь смотрела в окно мансарды; близкий пожар от еще не взошедшей луны багрово тлел за высокими соснами, за кирхой, светился наклонными в тени улиц бликами на скатах черепичных крыш такого же мирного, как и вчера, провинциального немецкого городка. Но, казалось, прошло несколько лет со вчерашней ночи, и то далекое, давнее и сегодняшнее, возникали в сознании Никитина невнятными отблесками лиц, зеленой травы, стрельбой орудий, звуками моторов, обрывками фраз, криками, отдельными словами, они колючими буравчиками копошились в ушах, сверлили голову изнурительной болью. Томясь рвотным давлением в горле, пытаясь найти какую-то осмысленную прочность, одну решающую мысль, ничем не исправимую логику вчерашнего и настоящего, только что прожитого дня, он кривился, стонал, будто совершил нечто преступное, постыдное, позорное, чему не было прощения и оправдания.

«Ich weiß nicht, was soll es bedeuten...[1]»,— навязчиво появлялось и мерцающим готическим шрифтом, черной змейкой плыло и исчезало в коричневой темноте перед закрытыми глазами, и вновь появлялась протянутая змейка заученной фразы, и в ней был запах туалетного мыла, которым почему-то уже пахла эта неуловимая бархатная пустота. «Эмма! — внезапно толкнуло его, и он заметался на подушке, готовый спрятать лицо, зарыться в горячую ее мягкость от невыносимого чувства стыда, угрызения и раскаяния.— Что я наделал? Как это могло быть? Я не знаю, почему это произошло, это не имело права быть... Я с немкой? А Княжко погиб... Нет, это было предательство с моей стороны...»

Его затошнило, он успел вскочить с постели и словно на качающих его волнах подбежал к раскрытому окну, перегнулся через подоконник. Он давился, мычал, слезы заливали его лицо, он, проклиная себя, плакал, он хотел облегчения, хотел освобождения от несчастья, стыда, предательства, от давящей его тоскливой тяжести — и был противен самому себе в собственной слабости, в ненависти к этой физической беспомощности, к своему неумению пить, ко всей непонятной лживой запутанности последних дней, которые недавно имели, а теперь потеряли всякий смысл.

Потом он нащупал в потемках котелок с водой, оставшейся после утреннего бритья, облил голову и лицом вниз упал на постель, он стонал и терся губами о подушку.

«Ich weiß nicht, was soll es bedeuten...»

И опять эта фраза однообразно мелькающей каруселью завертелась в коричневом пространстве, из туманца вытекая над зеленой травой, плыла вверх и куда-то вправо в сумеречную пустыню, окрашенная розоватыми бликами освещенных низкой луной крыш, пропадала за незнакомо-странным силуэтом кирхи, за островерхими вдали кровлями и вновь выскальзывала слева, повторяла однообразное свое обморочное кружение, вызывая металлическую горечь, неразрешимое желание понять, зачем она, откуда она, почему она преследует неотвязно...

Затем уплотненная темнота свалила его в удушливый провал, и на жестком дне, на земляных комьях глубокого этого провала он, не находя удобного положения, лежа на спине, задыхаясь в сырости могильного запаха, с замороженным от ужаса сердцем, услышал, как заскрежетали лопаты и сверху кидаемая на него влажная земля начала засыпать ему лицо, глаза и неповоротной толщей наглухо заваливать, сковывать грудь.

...А он знал, что только его одного после боя принесли на плащ-палатке и опустили в вырытую яму на неизвестном кладбище, но никто не знал, что он был еще жив, что произошла непоправимая, роковая ошибка,— и его молча хоронили вместо кого-то. Там, наверху, где зловеще заскребли штыковыми лопатами, непроглядная подступала мгла, не видно было никого, не звучало ни единого человеческого голоса. А ему во что бы то ни стало надо было крикнуть, предупредить, что он не погиб, что его по ошибке хоронят живого. Его задавливало землей, и было уже нельзя набрать для крика воздуха, и тут сверху нависло из пустынного мрака, вгляделось в провал чье-то ухмыляющееся, беспощадное лицо с обнаженными попорченными зубами, и это лицо стало угрожающе кричать, торопить кого-то, командовать, чтобы быстрей засыпали могилу, потому что в ней никого нет... И он едва собрал последние силы, чтобы громко застонать, позвать на помощь невидимых солдат, но они не слышали ничего. И быстрее заработали, заскрипели лопаты, и твердые комья застучали ему в лоб, шею, забивая дыхание запахом мокрой глины, и кто-то там наверху по-женски заплакал навзрыд, прощаясь с ним, и одновременно с тупыми ударами земли в его тело кто-то запричитал в черной тьме печально и протяжно:

— А-а-а!

И, вырываясь из задушья смерти, он мерк нущим сознанием понял, кто был виновником этой ошибки, кто приказал солдатам похоронить его, и, придавленный глыбами земли, ее непроницаемой чернотой, он захлебнулся горькими слезами жалости к себе, исчезающим дыханием жизни заглотнул воздух и почувствовал, как кто-то трогает, гладит его грудь, плача над ним, тихонько поскуливая:

— Herr Leutnant, Herr Leutnant!..

...И тогда он рванулся к этому голосу, шепчущему из живого мира, и, весь охолонутый ледяным одиночеством смерти, такой явной минуту назад, очнувшись, вскрикнул:

— Кто это?

Вокруг была ночь, тишина, луна стояла высоко, в верхнем углу рамы, освещала мансарду.

[1] Я не знаю, что это такое...

Нет, он был жив, он дышал, он, открыв глаза, лежал на постели, и возле постели темнела чья-то наклоненная к нему фигурка, выделялась силуэтом на стуле перед кроватью, прохладные пальцы равномерно гладили его потную грудь, и неразборчивый голос шептал, прерываемый слезными всхлипами:

— Herr Leutnant... Herr Leutnant...

«Неужели? Кто это? Как она здесь? Это она? Эмма? Как она могла прийти? Да, это она, она»,— подумал он, тягостно вспомнив, еще не стряхнув кошмарный гнет сна, и пот стекал по его вискам.

Он был раздет, накрыт теплой и мягкой периной — видимо, она раздевала его, стягивала сама пропотевшую, пропахшую головой гарью гимнастерку, заляпанные грязью сапоги, укладывала на постель под перину, видя его в состоянии безобразного опьянения, и он, испытывая ожог стыда, резкую неприязнь к ней, будто был окончательно втянут в откровенное предательство, грубо сбросил ее руку со своей груди, сел на кровати.

— Уходи отсюда!

— Nein, nein! Herr Leutnant!..[1]

Она вся собралась комочком, сгорбилась и вдруг упала головой ему на плечо, осыпав его подбородок волосами, пахнущими туалетным мылом, истерично заплакала, водя мокрыми, в слезах губами по его щеке, умоляюще целуя мокрыми прикосновениями, а он чувствовал, как дрожало, судорогами напрягалось ее тело, выговаривал хриплым шепотом:

— Уходи сейчас же... Зачем ты пришла? Weg отсюда!

— Ich bin traurig, ich bin traurig...[2]

Он оттолкнул ее, непримиримо усмехнулся.

— Traurig? У тебя печаль? Какая? Ты, может, скажешь, что тебе жалко русского офицера? Ну, что тебе до него? Что? И какое отношение ты имеешь ко мне? Я сказал тебе — уходи. Weg!

Она как-то пришибленно замерла, услышав в его речи жестокие нотки, и при этом понятном ей слове «weg», опять всхлипывая, вскрикивая, так жалко, виновато обняла его за шею, ища примирения, оправдания, снисхождения, так горячо обливая его щеки обильными слезами, что он, сначала сделав попытку вырваться, оторвать ее руки, вдруг с закрытыми глазами стиснул зубы, растерянный, сломленный этим детским испуганным плачем, каким-то страстным порывом сочувствия, ее запинающимся шепотом, который убеждал, просил о чем-то, умолял его и вырывал этой мольбой из бредового отчаяния одиночества, из ледяной жути не исчезавшего в сознании сна:

— Ich bin traurig... Vadi-im! Entschuldige mich... Mein Vadi-im!..[3]

«Нет, нет, я никого не предал. Нет, я умер бы, если бы кого-нибудь предал! Что же это? Она не лжет? Она не может так лгать!» — подумал Никитин с томительной дурманной мукой, ощущая ее слезы на своем лице, ее мокрый кончик носа, вдавившийся ему в висок.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Она лежала, истомленно вытянув руки вдоль тела, чуть повернув в сторону заплаканное лицо, волосы рассыпались по подушке, текуче и мягко отливали под солнцем желтой медью,— дышала спокойно и ровно, как во сне; а он видел, что она не спала, сквозь полудремотно шевелящиеся ресницы следила за игрой чистого света по белизне потолка, по цветочным обоям мансарды, и подумал:

«Опять? Неужели? Все опять повторилось?»

А было уже утро, весеннее, свежее, безоблачное, где-то рядом, казалось, возле подоконника, трещали крыльями в саду птицы, слабо тянуло по комнате прохладным запахом обсыхающих после росы яблонь, и в сладком светоносном воздухе, золотисто вспыхивая, искорками рассыпая мельчайшую пыльцу, порхала под потолком, садилась на обои бабочка, залетевшая через раскрытое окно из сада.

Никитин впервые за войну видел этот живой осколочек когда-то бывшего зеленого и милого дачного лета, теплого, покатого к реке луга около забора, заросшего малиной, пушистыми островками одуванчиков среди полуденной травы, и, лежа на спине, долго наблюдал порхание бабочки, не двигаясь в оцепенении усталости, неизвестно зачем вспоминая знакомое со школы слово, которое Эмма могла понять, и сказал шепотом:

— Баттерфляй...

— Butterfly?

Она раздвинула полудремотные ресницы, еще мгновение сонно не понимая его, затем с робким удивлением обратила к нему лицо, пальцем коснулась его губ, поцеловала этот палец и прошептала:

— Butterfly auf englisch... Auf deutsch... Bitte, lerne doch Deutsch. Schmetterling, Schmetterling[4],— проговорила она по слогам и опять пальцем тронула, погладила его губы, с той же робостью ожидая, как он произнесет это слово.

— Бабочка, баттерфляй,— сказал тихо Никитин.— Очень похоже. Schmetterling? Нет, не похоже. Какое-то темное слово. Ты права, я плохо учил в школе немецкий. Ничего не помню. Отдельные слова и фразы, вроде «Ich gehe in die Schule»[5].

Она сморщилась совсем по-мальчишески, поняв лишь эту одну сказанную им фразу «Ich gehe in die Schule», но продолжала смотреть внимательно, вслушиваясь в его голос, и все не отнимала легонького пальца от нижней его губы, словно осязанием проверяла звучание чужого языка.

— Bitte, sprich[6],— попросила она.

— Кажется, в седьмом классе,— проговорил Никитин, не рассчитывая полностью, что она могла понять его,— нам задали выучить стихотворение Генриха Гейне. Из учебника немецкого языка... Ты знаешь такого поэта — Генриха Гейне?

— Heinrich? Heine?— Она скорчила жалобную гримаску, выражая недоумение, и быстро и доказательно заговорила что-то, однако тут же, смеясь, приподнялась, показала на свое ухо, на язык, поболтала меж зубов языком, как это делают дети «блы, блы, блы», и, притворно запротестовав, ладонью зажала рот ему; она убеждала его этим, что говорить сейчас так долго на разных языках не надо,— и упала навзничь, запредельно синея глазами, стала отыскивать на потолке бабочку, выговаривая суеверно и молитвенно: — Schmetterling, Schmetterling. Lieber Gott, Schmetterling!..[7]

Она соединила кисти рук лодочкой перед подбородком и с осторожным вдохом и выдохом торопливо зашептала непонятные бегучие слова, будто на самом деле облегченно молилась, заклинала и страстно благодарила кого-то, может быть, случайную эту бабочку, по суеверной примете залетевшую из сада в комнату, или же после ужасной ночи необычно тихое, светообильное, как радость, майское утро, или, может быть, счастливую судьбу в облике русского лейтенанта: ведь он первый защитил ее и вчера не погиб вместе с другим русским лейтенантом, позволившим ей и ее брату остаться в доме, занятом враждебными солдатами.

То, что Никитин не знал, о чем шептала она, а только воображением силился предположить, все же ревностно царапало его душу, точно в ее недавних слезах, сочувствии к нему, робкой и виноватой нежности проскальзывало нечто ложное, искусственное, заранее настроенное на возможность защиты с его стороны в доме, где стояли озлобленные вчерашним боем солдаты, которыми он командовал.

— Schmetterling, Schmetterling,— шептала она, провожая взглядом неслышное порхание бабочки под потолком, а Никитин, уже хмурясь, вопросительно глядел на ее лицо, оно неуловимо менялось, как тогда на допросе: то отблеск страха, то чистое выражение надежды появлялись и стирались в ее взгляде, то маленькими зеркальцами светились в грустной улыбке зубы, и, отражая улыбку, сине загорались глаза, заблудившиеся где-то в солнечном сверкании потолка.

«Что я делаю? Что же будет дальше? Чем это кончится? — в растерянном поиске ясности думал Никитин.— Мы не знаем друг друга, но как будто уже знаем и не стыдимся. И она лежит рядом со мной. «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, daß ich so traurig bin...»[8]. Да, да, это стихотворение Гейне, которое я вызубрил в школе. Я не досказал ей... А как дальше? Что дальше?.. «...So traurig bin...» А как же дальше?»

— Du bist... Schmetterling[9],— вдруг задумчиво проговорила она и, похоже было, жалея, благодарным нажатием мягко расслабленных губ поцеловала ему руку, подышала в ладонь, подумала и добавила, отделяя слова для понимания:— Und... ich... bin... Schmetterling. Vadim und Emma... Verstehst du mich?[10]

— Я бабочка? — догадался и усмехнулся Никитин.— Какая-то непонятная философия, Эмма. Меня можно сравнить с бабочкой?

— Philosophie? Es gibt keine Philosophie da![11]

Она, не выпуская его руки, проворно села на постели, откинув волосы, склонила голову, излишне серьезно изучила его ладонь, потом провела ноготком две скрещенные кривые линии, неуверенно сказала:

— Ein Mädchen namens Emma und ein junger Leutnant. Krieg... Schmetterling und das Mädchen Emma[12].

— Это, может, и правильно,— сказал Никитин.— Только ты, конечно, неправа насчет этой... Schmetterling.— Он, удивленный, повел головой на потолок, где желтым бликом прилепилась бабочка, и тотчас замолчал: в запасе не было ни одного нужного немецкого слова.

Это сравнение с бабочкой было, разумеется, чересчур сентиментальным, несерьезным, чересчур легковесным для него, четырежды награжденного боевыми орденами офицера, воевавшего три года, видевшего многое, что можно увидеть на войне, наученного принимать решения и отдавать приказы солдатам, подчиненным ему. Он считал себя вполне самостоятельным, опытным человеком, бывал порой самолюбив, вспыльчив и строг соответственно обстоятельствам, однако ни за что не признался бы никому, что вся его офицерская привычная жизнь была неестественной и вынужденной, а вся еще не прожитая жизнь — оборванное прошлое, летнее, солнечное, подробно не известное другим, о чем он иногда говорил одному только Княжко,— оставалась где-то радостным светом позади, в заросших старыми липами переулках лучшей в мире улицы Ордынки, в той особенно прекрасной, едва начавшейся жизни, будущее которой представлялось прерванным продолжением счастливых школьных лет. Но эта жалость Эммы, когда она поцеловала ему руку, и этот вроде бы намек на возраст («junger Leutnant») задели его, как напоминание о вероятной неопытности: «Она видела меня беспомощным, когда раздевала и укладывала в постель?»

— Насчет бабочки, Эмма, какая-то ерунда,— заговорил Никитин пасмурно, тщетно силясь найти немецкие слова.— Не в этом дело. А, черт, язык! Ну, как же тебе объяснить?

Он хотел сказать, что его невозможно так воздушно сравнивать с бабочкой, потому что он советский офицер и не боится ни бога, ни черта, ни немецких танков, ни осуждения солдат за то, что с ним случилось вчера, что он отвечает за поступки (в этом даже был подчеркнутый вызов), но в долгих муках поисков нашел лишь несколько ученических слов:

— Ich bin zwanzig Jahre alt[13]. («Глупость и ерунду порю! К чему это я сказал о своем возрасте? — подумал он, недовольный неуклюжим ответом.— Совсем не то говорю, сплошную говорю ересь...»)

— O, zwanzig! — Она просияла, обрадовалась и сейчас же для убедительности приложила щепотку пальцев к своей груди, сообщила о себе в третьем лице: — Emma ist achtzehn... Ein, zwei, drei... und so weiter![14]

---

[1] Нет, нет! Господин лейтенант!..

[2] Мне грустно, мне грустно...

[3] Мне грустно... Вади-им!.. Прости меня... Мой Вади-им!..

[4] Баттерфляй — это по-английски... По-немецки... Пожалуйста, учи немецкий. Бабочка, бабочка.

[5] Я иду в школу.

[6] Пожалуйста, говори.

[7] Боже мой, бабочка!..

[8] «Не знаю, что это значит, и грустен я отчего...»

[9] Ты — бабочка.

[10] И я — бабочка. Вадим и Эмма. Понимаешь меня?

[11] Философия? Никакой тут нет философии!

[12] Девушка Эмма и молодой лейтенант. Война... Бабочка и девушка Эмма.

[13] Мне двадцать лет.

[14] Эмме восемнадцать... Раз, два, три... и так далее!

— Семнадцать или восемнадцать? — сосчитал в уме Никитин, нечетко помня счет от десяти, а она, улыбаясь влажными зеркальцами зубов, перегнулась к краю постели, взяла его ручные часы, положенные им в изголовье на стул, отметила на циферблате ноготком три деления за цифрой пятнадцать, педантично отсчитала, точно ученику на уроке математики в школе: — Also, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn [1].— И, придавливаясь виском к его виску, воскликнула со смехом притворного испуга: — O, mein Gott, ich bin so alt! Eine richtige Großmutter! Vertehst du mich? [2]

«Без десяти восемь! — тревогой бросилось в глаза Никитину.— Через десять минут подъем. Неужели сейчас постучат?»

Он, не выдав беспокойства, прислушался к невнятным звукам внизу и начал застегивать на запястье ремешок часов, думая, как сказать ей, что нельзя оставаться больше, пора уходить, сейчас уходить, но его беглый взгляд в сторону двери, его скрываемая напряженность сразу же чутко передались ей, отразились страхом на веснушчатом лице, будто непредвиденное что-то вошло, незаметно прокралось в комнату тенью затаенной угрозы обоим.

— Was ist los? Soldaten?.. Was? [3]

— Эмма,— сказал он, затрудненно подбирая в памяти немецкие слова, испытывая новой шершавой болью ноющую вину перед ней.— Эмма... Тебе надо идти. Komm zurück. То есть мне... то есть нам пора. Сейчас подъем батареи. Komm, Emma... Auf Wiedersehen... [4] Я не хочу, чтобы тебя увидели здесь.

Она затравленным зверьком озиралась на дверь, на распахнутое окно, где в чистейшей голубизне погожего майского утра пылало солнце над садом, над красными черепичными крышами, потом на миг, в тишине мансарды, тоже прислушалась к завозившимся голосам на первом этаже, заглушенным полом, и с жалобным всхлипом, как в защите, приникла лбом к его плечу, обвила руками его шею, шепча по слогам:

— O, Vadi-im, mein lieber Vadi-im! [5]

— Auf Wiedersehen, Emma. Тебе пора. Уже утро. Эмма...

— Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen...

Она вскочила с постели, торопливо надела халатик на голое тело и, завязывая поясок, клоня голову, смиренной поступью кроткой подчиненной девочки пошла к двери, а он лежал, ослабленный, еще невесомо окутанный теплом, ватным туманом, еще ощущая протяжный шепот ее «Wiedersehen», и млечно-нежный запах ее шеи, горько-мятную конфетную сладость туалетного мыла, исходившую от ее желтых волос, но вновь подспудное, мучительное чувство бессознательно случайного, ничем не оправданного, совершенного им и ею в беспамятной отрешенности от всего, что было вчерашней и сегодняшней действительностью, тоненьким предупредительным колокольчиком тревоги звенело в нем, вызывая томящую, как неизвестность судьбы, опасность перед тем, что он знал и не знал.

Потом внизу грозно всколыхнутой волной прокатилась команда: «Подымайсь, второй взвод!» — и вскоре загалдели непроспанные голоса солдат, а минут через пять на лестнице зашаркали, приближаясь, шаги, послышалось покашливание, шаги замялись за дверью, и проник голос Ушатикова одновременно с несмелым стуком:

— Подъем. Вставайте, товарищ лейтенант.

— Да, я слышу,— ответил Никитин.— Я встал. Сейчас спущусь.

— Комбат ждет вас, товарищ лейтенант. Приказал к нему. Срочно.

«Гранатуров? Он здесь? — подумал Никитин при этом ворвавшемся из внешнего мира голосе и стуке Ушатикова.— Меня к комбату? Значит, он не уехал в медсанбат и ночевал в доме?»

Продолжение следует.

---

[1] Вот — пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать.

[2] О, господи, я уже такая старая — настоящая бабушка! Понимаешь меня?

[3] Что случилось? Солдаты?.. Что?

[4] Иди, Эмма... До свидания...

[5] О, Вади-им, мой любимый Вади-им!

Б

ЕРЕГ

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки И. ПЧЕЛКО

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В гостиной было по-утреннему просторно от солнечного света, и весело сверкала в окна ослепительной зеленью молодая трава на лужайке, как в то первое неожиданно благостное утро пробуждения после Берлина, и все было таким же мирным, весенним, обогретым. Только табачная вонь, кислый запах шнапса, неопрятный стол, заставленный пустыми бутылками, кружками, банками консервов, из которых торчали воткнутые в них ложки, окурки самокруток, растоптанные на полу, только эта неприбранность и невыветренный дух солдатских гимнастерок напоминали о том, что было здесь вчера.

Весь опухший до щелочек глаз, свекольно-багровый, с виновато поникшими усами, наводчик Таткин прибирал посуду на столе, тыкался в разные углы руками, стараясь не звенеть бутылками, складывал их в вещмешок; Ушатиков помогал ему, держал мешок, то и дело оглядываясь на диван недоуменными глазами. Там, в уголке, соединив колени, кругло очерченные юбкой, откинувшись затылком, сидела Галя, курила сигарету; ее взгляд безучастно бродил по потолку, не замечая ни солдат, ни старшего лейтенанта Гранатурова, неподвижной глыбой стоявшего около нее.

Когда вошел Никитин и сказал коротко «прибыл», они молчали, Гранатуров лишь хмуро повел бровями, нездоровая серизна проступала сквозь смуглоту его лица, выделялись темные одутловатые круги в подглазьях, старили его. Несколько секунд продолжалось молчание, пока Гранатуров против обыкновения ощупывающе, недоверчиво с ног до головы разглядывал Никитина, как бы совершенно незнакомого нового офицера из запасного полка, прибывшего в его батарею для прохождения службы.

— Н-да! — произнес густо Гранатуров и мотнул головой солдатам, которые все возились вокруг стола.— Выйдите, потом уберете!

— При этом положении полы бы вымыть полагается, товарищ старший лейтенант. Ежели по-русски...— втискивая бутылки в вещмешок, сказал Таткин и покосился на Галю.— Чать не в блиндаже, не в окопе, а тут он, в доме со всеми был, лейтенант-то наш. Эхе-хе, земля ему пухом...

— В немецком доме мыть полы? Что-то не понимаю! — зарокотал Гранатуров.— Он погиб как солдат на поле боя. А не в этом доме, в теплой постели! Пришел, Иисус Христос? — обратился он к Никитину.— Садись, правдолюбец. Ты мне оч-чень нужен. И вот Гале нужен. Она нас обоих хотела видеть. Садись. Выясним кое-что необходимое...

— Благодарю. Мне удобней будет стоя,— сухо ответил Никитин, еще внутренне не приготовленный сейчас к продолжению вчерашнего разговора, и подумал неприязненно: «Но зачем она? Зачем понадобилось ее присутствие для выяснения наших отношений?»

— А надо бы, товарищ старший лейте-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 12 20 22.

нант,— сказал не без убеждения Таткин и, крякнув, взвалил вещмешок на плечи, заковылял к двери.— Сродственникам и женщинам завсегда это полагается делать. А то нехорошо как-то. Не в окопе, а в доме жили.

— Идите! — отрезал Гранатуров.— Хватит тут лазаря петь!

Он сам закрыл за солдатами дверь, медленно вернулся к столу и, продлевая медлительность движений, посмотрел с долгим, выпытывающим вниманием на Никитина, проговорил, криво улыбаясь:

— Как спалось, лейтенант? Ты помнишь, что вчера говорил? Ты вчера правду говорил. Так?

— По-моему, да. Но стоит ли сейчас повторять? — ответил Никитин, не очень последовательно помня подробности своего впервые испытанного тяжкого опьянения, когда ему в бессилии и отчаянии перед незаполнимой пустотой хотелось вызвать на ссору Гранатурова и обвинить себя и всех, кто остался в живых, кто, казалось, не сознавал на поминках, что случилось вчера.

Гранатуров сел, привалился локтем к столу и уже острым, обрезающим взором глянул на Галю, которая молчала по-прежнему безжизненно, откинув руку с забытой сигаретой в пальцах.

— Так вот. Правда так правда, Никитин. До конца,— выговорил Гранатуров и повторил:— До конца. В сумке лейтенанта Княжко было письмо... Н-да, письмо Галине. Где оно? Принеси его и отдай. Ей отдай. Галине.

Никитин никак не ожидал, совсем не рассчитывал, что причина его вызова к комбату может быть связана с письмом, что разговор пойдет о письме Княжко, увидел тотчас же, как, уронив пепел на кожаное сиденье дивана, чуть-чуть вздрогнула, сместилась рука Гали и ее блестящие сухим блеском глаза точно в ту секунду неспокойно заметили его и поняли, что он должен что-то сделать, объяснить, сообщить ей... «Что, Никитин? Что вы узнали о нем и обо мне? И нужно ли это?» Но Никитин, соображая, что́ необходимо сейчас сказать Гранатурову, не отвечал ей, и она наконец спросила голосом крайнего утомления:

— Какое письмо, лейтенант?

— Письмо?..— проговорил механически Никитин, будто скользя на кромке отвесного обрыва, за которым лежал весь вчерашний день и где была смерть Княжко.

— Ну, что раздумываешь? — раздраженно загудел Гранатуров.— Что стоишь, ей-богу, как памятник? Отдай по адресу письмо. Не ясно, о чем говорю?

— Нет.

— Дурочку ломаешь, Никитин? Что не ясно? Где письмо?

— А что должно быть «ясно»? — сказал Никитин, вдруг вспыхнув злостью, как вчера на поминках, теперь явственно отдавая себе отчет, зачем ему, Гранатурову, надо было показать письмо Гале.— Во-первых,— проговорил он, захлестнутый неподатливым сопротивлением,— во-первых, комбат, лучше по уставу — на «вы»! Во-вторых, о чем вы спрашиваете? Никакого письма в документах лейтенанта Княжко не было. Вы, как и я, вчера слишком много выпили, и вам, комбат, привиделось какое-то письмо. («Значит, он до моего прихода мог сказать о письме Гале, а я лгу...— пронеслось у Никитина.— Значит, на самом деле он требует от меня голую правду, чтобы это письмо доказало ей отношение Княжко».) Простите, Галя,— договорил он умереннее, оборачиваясь к ней.— Это ошибка...

— Ты, Никитин! Льешь воду, врешь! Где письмо? Порвал?

— Если вы будете «тыкать», комбат, и орать, я уйду немедленно.

Гранатуров толкнул локтем стол, задребезжавший неубранными грязными тарелками, и встал, посерев лицом, видимо, уколотый болью задетой об угол стола раненой руки. Прижимая ее к груди, с выражением гнева и перебарываемой боли он приблизился к Никитину, опахнув госпитальным запа́хом какого-то лекарства, исходившего от несвежего бинта; глаза его без зрачков наливались шальным огнем.

— Ладно, давай по-интеллигентски на «вы». Дураком меня считаете, лейтенант? Много пили вы! Мне память пока еще не отшибло, я-то все помню! И помню, как вы, лейтенант,— Гранатуров интонацией насмешки выделил слово «вы»,— взяли у меня письмо. Знаете, Галочка,— он переменил тон, придавая голосу вкрадчивую мягкость,— знаете, что было написано в письме?

— Нет.

— Не знаете, что было в письме? Да, конечно, вы не можете знать.

— Нет. Не знаю.— Она сомкнула веки, вжимаясь затылком в спинку дивана, и судорога глотания прошла по ее горлу, а Никитина, как тогда на поляне, опять поразила вороненая чернота волос, косым крылом свисавших на мраморную белизну щеки.— Нет... не хочу знать,— проговорила она шепотом, не размыкая век, и морщинка страдания прорезала ее белый лоб.— Нет,— повторила она внятней и открыла глаза, в мертвенном спокойствии глядя на окно, где горячо обливало сосны косматое утреннее солнце.— Вам, комбат, я не верю...

Гранатуров вздернул мощными плечами, ноздри его зло раздулись, он выговорил:

— Ему верите? Ему, а не мне, Галя? А я, выходит, выгляжу врагом и болваном? Вот уж на самом деле без вины виноват! Не только вам известно, что я любил Княжко за храбрость, за многие качества, хотя не во всем его понимал. Я хотел, чтобы вы знали! Вам нужно знать правду, вам еще жить, Галя! У вас еще...

— Молчите, Гранатуров,— устало попросила Галя, и страдальческая морщинка на ее лбу углубилась, стала резче.— Бессмысленно это, Гранатуров. Не вам объясняться в любви к Княжко. Не вам...

— Бессмысленно? Ладно, пусть! Я не скажу больше ни слова! Даже если вы захотите. Даже если попросите. Никакого письма не было. Я ничего не говорил. Никакого письма, адресованного вам! Лейтенант Никитин прав. Все с этим! Конец! Я молчу!

Ему, вероятно, стоило большого напряжения смягчать взрывные порывы в голосе, и он начал ходить по комнате, с вывертом каблуков, с подчеркнутой прочностью делая повороты на углах, в то же время взглядывая на Никитина с бешено подкрадывающимся, непобежденным намерением человека, не сказавшего еще главного. И он приостановился, спросил, туго нажимая на слова:

— Значит, вы, лейтенант, всегда правду-матку в глаза режете? Или временами?

— Почему вы стали требовать какое-то письмо, товарищ старший лейтенант?

«Он никогда не простит мне этого»,— подумал Никитин, выдерживая невыпускающий, проломный взгляд Гранатурова, когда тот заговорил громко и жестко:

— Хотите быть чистеньким, лейтенант, беленьким барашком с беленькой шерсткой? За кого, интересно, вы меня принимаете? За бревно? А как же тогда ваша связь с немочкой? Что думать по такому случаю прикажете? Мне и это известно, лейтенант! Правда так правда. Скажите об этом при Гале. А то не поймешь, где правда, а где вранье!..

— Что известно?— перебил Никитин.— Что именно?

Из закопченного зева камина пахло горелой бумагой, холодной золой, и едким запахом пепла удушливо пропитан был голос Гранатурова, и глаза его тоже приобрели черно-фиолетовый цвет, цвет пепла, сбивающего дыхание.

— Известно то, лейтенант, что вы успешно ведете с немочкой войну в постели!— продолжал упорно Гранатуров.— Мало того, что вы защищали на допросе эту конопатенькую немочку, вы защищали ее брата. А братик ее... как его, Курт, что ли, сволочь сопливая, дал ложные показания: мол, несколько мальчишек, несколько щенков в лесу, а оказалось: самоходки на город в атаку пошли. И Княжко погиб. А братик удрал в неизвестном направлении. Это вам ничего не говорит? Кто же, выходит, виноват? Так где же опять правда?

Он не предполагал такого режущего темным подозрением вопроса, в котором уже было недвусмысленное жестокое недоверие, прямое, брошенное ему обвинение, и в замешательстве, еще не находя ответа, неопровержимых доказательств, подумал сейчас же: «Меженин, Меженин, это он!» И первым решением было лишь усмехнуться на прямолинейное обвинение Гранатурова, сказать: «Вы хоть соображаете, что говорите, товарищ старший лейтенант?»— и остаться внешне спокойным, как если бы не имело малейшего значения задерживать внимание на чьих-то домыслах, созданных подозрительным воображением.

«Это он, он!» — утверждал Никитин, неотступно думая о Меженине, о доносительном расчете его, о мстительно выбранном им моменте, и спросил совсем уж несдержанно:

— У вас, товарищ старший лейтенант, есть серьезные доказательства? («Что я говорю о доказательствах? — подумал он.— Как будто хочу выкручиваться, отрицать свое отношение к Эмме? Объяснять Гранатурову в присутствии Гали, оправдываться и унижаться?») — И он договорил:— У вас есть доказательства, что Курт пришел сюда как разведчик и после этого немцы пошли в атаку?

— Не исключено! — забасил Гранатуров.— А вы считаете — исключено? Тогда где он? Где скрылся? Куда он исчез, молокосос сопливый? Не отрицаю: я допустил слабость, когда вы с Княжко разрешили им тут остаться. Но вывод сегодня для себя сделал: место немочки в «Смерше». Там ею должны заняться!

«Смерш»? Не исключено?..» Нет, Никитин не чувствовал доверия к немцам и всякий раз, встречая пленных — первых в зимнюю пору Сталинграда и предпоследних в Берлине,— удивлялся их обыкновенному человеческому обличью, предельной усталости в глазах, порванному и грязному мундиру, их заискивающему и однозначному бормотанию: «Гитлер капут». Он всматривался в их лица, руки с целью как бы увидеть несмытые следы произведенной кровавой жестокости, которая должна была остаться на самой коже их ненавистными фашистскими знаками, и взятые в плен представлялись ему неразделимо одинаковыми: ради сохранения жизни они приняли людской облик, двуногие существа, пришедшие из другого мира, ночного, черного, убивающего. Нет, он не верил немцам и потом, перейдя границу Германии, и потом — в дни уличных берлинских боев, сталкиваясь с подобострастными взглядами городских жителей, забившихся под бетонные своды подвалов, не верил при кратких общениях в оправдательное сетование на сумасшедшего Гитлера, на фанатичных СС, повинных в войне. Он всех их мерил единой равной меркой возмездной и незаконченной вражды — ведь они начали войну — и вынужден был только быть внешне вежливым, чего требовала снисходительность победителей на территории побежденных.

То, что произошло здесь, в Кёнигсдорфе, он с самого начала не воспринял серьезно: этот мальчишка Курт и Эмма не были в его понимании настоящими немцами, что показывали русским покорно-искательные подобия улыбок, тайно приготовленные к мрачному оскалу (он еще в Восточной Пруссии замечал нередко, как смывало эти резиновые улыбки за спиной уходивших из занятых домов солдат). Та ночь, когда Никитин застал в мансарде сержанта Меженина вместе с немкой, вскрикивающей слезным безнадежным голосом «найн, найн!», и затем, когда смотрела на него обоих в минуты допроса, испуг, ужас на Эмминном лице, разодранное вдоль бедра платье, защита ею своего вконец растерянного неуклюжего брата — все вызывало у него не привычное, глухое подозрение к пленным, а какую-то неловкую жалость и даже сочувственное изумление. Но, может быть, все было оттого, что, чудилось, не могли, не умели лгать ее раздвинутые неестественно синие (не немецкие — таких он не видел) глаза, пухлые, некрасиво, до черноты искусанные губы, когда она пыталась объяснить причину возвращения домой, делали ее и взрослой и обезоруженно слабой, однако непохожей на брата, сутулого, тщедушного, с впалой грудью, словно бы в смертной жути послушного ей. Нет, тогда, на допросе, в ответах обоих не было скрытой страхом враждебной неискренности, которую ожидал Никитин увидеть на отчетливый миг. Потом было раннее, без войны утро, покой пробуждения в сказочно просторной постели под роскошной домашней периной, свист птиц среди благословенной тишины, стук в дверь, теплый аромат кофе среди солнечного веяния нагретого ветерка из сада, халатик, суженный пояском на талии Эммы, ее осторожная поступь, робкое сияние синевы ему в глаза: «Гутен морген, герр лейтенант»,— вымытые, рассыпанные по плечам почти медного

отлива волосы с запахом туалетного мыла, потом мягкие ее губы и все то дурманное наваждение, ненужное, как стыд, неожиданное, ошеломляющее, чему он позже не находил оправдания, что произошло случайно и не должно было произойти между ними, русским офицером и немкой. И он, презирая, обвинял себя, вместе с тем, точно с обмирающим перед обрывом сердцем, плыл в качающем его тумане, обволакиваемый нетерпимо радужной и терпкой мукой при воспоминании о ее млечно-белой, заостренной нежным розовым соском груди, покрытой пупырышками озноба, когда она лежала рядом, о быстро обвивавших его шею руках, о ее маленьких влажных зеркальцах зубов, приоткрываемых мальчишеской улыбкой: «Вади-им, майн либер Вади-им».

После вчерашнего безумия боя, после похорон и поминок, не облегчивших Никитина, а, наоборот, продливших безумие дня, он не хотел ни думать о ней, ни видеть ее, но неразрушимая тоска одиночества и тот страшный сон, ужаснувший ощущением собственной смерти, прерванный рыданием Эммы в темноте мансарды, ее искренние горячие слезы, размазанные на его лице, исступленные возгласы неловкой помощи: «Их бин трауриг, Вади-им!», наверное, это будто уж против всякой воли вновь бросило их друг к другу, сблизило их — неужели он мог так ошибиться и не понять, что в этом действии самосохранения она лгала и притворялась? Нет, нельзя было поверить в ее чудовищную ложь — нет, она понимала его, и просила прощения себе и Курту, и молила не думать о ней и Курте, как о тех немцах, которые способны были убить и убили Княжко.

— Хочешь доказательства, лейтенант? Доказательства спрашиваешь? А мне кажется, когда немочкой займется «Смерш», там будут все доказательства. Очень много совпадений, понял? Ночью появились в доме, как хозяева, ночью же братик куда-то исчез, а утром немцы пошли в атаку. Кому, спрашивается, поверили? Рассиропились, распустили слюни — поверили! Не так разве?

Никитин сказал:

— Этого Курта среди пленных не было.

— А кто убитых в лесничестве смотрел? Может, он был убит там и сгорел вместе с домом? Наивно, лейтенант, ох, как наивно! И смешно. До коликов в животе.

— Нет, я не верю, что он ушел не в Гамбург, а в лес,— проговорил Никитин.— Не может быть. Я не верю.

Гранатуров возвысил голос, мышцы на его сильной прямой шее вздулись:

— А я тебе не верю! Понял? Тебе не верю и твоей немке! И не доверяю тебе даже временное командование батареей! Хоть ты и остался единственным офицером! А теперь так. Чтоб было по-мужски. Я доносы на подчиненных не пишу. Не имею привычки. Сам напишешь рапорт в «Смерш», самолично: как было, как случилось, куда исчез вервольфовец и... о своей связи с немкой! Ах, простите, лейтенант Никитин, я опять перешел на «ты»...

— Как угодно. Только обо всем этом, комбат, будете писать вы.

— Что? Я? Вон как ты повернул!

— Даже, если... даже если пойду в штрафной батальон, не напишу ни строчки. Пока не выяснится. Вернулся ли Курт в лес, могут показать пленные из лесничества, позвоните в штаб, спросите. Да вы видели его? Какой он солдат? Птенец какой-то! На что он способен?

— Вон ка-ак! Храбрец ты, Никитин! А если все докажется, что тогда?

— Пленные наверняка его знали. И если уж Курт был посланным разведчиком, то я отвечу за все, а не вы!

— За что ответишь — за то, что войну с немочкой в постели ведешь? За то, что сначала пытался ее изнасиловать, а потом склонил к связи?

— Я... пытался изнасиловать? Откуда это известно?

— Мне все известно! Известно и то, что ты, лейтенант, хотел свалить всю вину на Меженина, он лично застал тебя за этой операцией в мансарде. Ты ведь у нас только кажешься херувимчиком с белыми крылышками! За все придется отвечать! За все! Это я при Галине заявляю тебе, лейтенант Никитин!

Его накаленные, шальные глаза, как в подтверждение прямых доказательств, метнулись по лицу Гали, которая все сидела на диване безучастно, с закрытыми веками, и эта непреклонная реальность угрозы низкой автоматной очередью пробила над головой Никитина. Эта обжегшая опасность, что хотела подавить и могла убить его, вдруг неподчиненно бросила его не ко дну окопа, а на открытое, без брустверов пространство, на оползающий край раскрытой в двух шагах бездны. По ту сторону провала стояли не немцы, стоял Гранатуров с поднятым автоматом, из-за спины поддерживаемый Меженины (тот невидимо присутствовал здесь), а по эту — он, Никитин, объединенный с немцами предательской связью, косвенно или некосвенно виновный в гибели Княжко. В этом ясном (косвенном или некосвенном) обвинении всего не договаривал Гранатуров, но вроде бы черный оттенок бессилия, уязвленного самолюбия перекинулся мостиком к Гале, едва только заявил Никитин в ее присутствии, что никакого письма, адресованного ей, не было, и нарастающая озлобленность Гранатурова, и унизительные слова о «войне в постели» — все вскинулось до ослепления в Никитине жарким ответным гневом, и стало сразу как-то безразлично, что будет потом.

— Слушайте, комбат...— выговорил он,— я помню, Княжко сказал: жаль, что теперь нет дуэлей...

— Подражаешь Княжко? — не совладал с собой Гранатуров и развернулся на каблуках к Никитину.— Перед Галиной хвост распускаешь? Не выйдет у тебя! Княжко — одно, ты — другое! Атос, Портос и мушкетер! Скаж-жи!.. Дуэль захотел? Ну, давай, давай! Пошли! Стреляться будем! Ну? Давай! Пошли!

И он, искособочась корпусом, охватил здоровой рукой кобуру пистолета на бедре, неудобно вздев забинтованную левую кисть к подбородку, и от этого исказился болью, оскалив крепкие белые зубы, подернутые влажной пленкой. Никитин смотрел на него: злость и бессилие боролись в его лице. Ничего недавнего не оставалось в облике Гранатурова, грубовато крикливого, но компанейского комбата,— просто заменили его вчера на той поляне возле лесничества, где утратил он легкость нрава, быструю свою отходчивость, ерническое балагурство,— и Никитин почему-то подумал, что то, прежнее, было лишь временной защитной игрой при жизни Княжко, которого с некоторых пор Гранатуров невзлюбил, ревновал и боялся. Он, наверное, обуздывал в себе приниженную силу вблизи ясного и твердого спокойствия Княжко, без трудных усилий полностью подчинившего батарею. Гранатуров был скован, связан чужой волей, оказавшейся выше его воли, а теперь Княжко не было...

— Глупо, комбат,— проговорил Никитин.— Я бы хотел подражать Княжко, да не получится... К сожалению, не получится.

Тогда Гранатуров сдернул руку с кобуры пистолета, через оскаленные зубы вцедил воздух, произнес ударяющим голосом:

— Запомни, Никитин! Все, что было раньше в батарее, кончилось! Княжко я кое-что позволял, тебе — нет! Сегодня поставлена точка! Порядок в батарее наведу свой. А эти интеллигентские штучки-дрючки, всякое сю-сю и всякое дерьмо — не допущу в батарее!

— Молчите! Оба замолчите!..

И Никитин, точно отсеченный от Гранатурова этим вскриком, этой запрещающей полумольбой Гали, почувствовал озноб на щеках — ее ярко-сухие глаза таким гадливым презрением вспыхнули на худом лице, с такой брезгливостью изломались уголки бровей — показалось, возникло между ними здесь, в комнате, что-то извращенно мерзкое, обнаженное, заставившее ее содрогнуться.

— Да, да... вас все-таки стоит ненавидеть, Гранатуров,— проговорила она шепотом, пальцами притрагиваясь к горлу и так помогая дыханию.— Вы взбесились, как животное... И никогда, никогда! Это была ошибка. Все между нами было ошибкой, это было от злости к нему, понимаете вы... Гранатуров? Понимаете?

Она даже стукнула ребром ладони по валику дивана, горячечно прикусив пугающе прозрачные губы, и Никитин, тоже будто ударенный ее словами, потрясенный ее нещадной и откровенной прямотой, подумал: «И это правда? Значит, между ними что-то было? Значит, Гранатуров тогда не пошутил, а только что-то преувеличил и хотел вызвать ревность Княжко?» — и взглянул на Гранатурова.

Тот одеревенело стоял около камина, потом все вроде для прыжка начало подбираться в нем, столбообразная круглая шея, плечи, раненая, на перевязи кисть, жалко торчащая из бинта ногтями, испачканными йодом, все сжималось, делалось меньше. И вдруг Гранатуров, сломленно сгорбив широкую спину, как если бы увидел нечто неумолимое, безвыходное, занесенное над ним, слепыми шагами пошел в противоположный угол комнаты, там постоял, долго глядел в пол, на затоптанный ковер, а когда теми же слепыми шагами пошел обратно к камину, насильственное покривление рта выкраивало мертвецкую, леденящую улыбку, на которую невыносимо было смотреть. Похоже было, он напрягался что-то сказать, но, видимо, силы уходили на одну его улыбку, тесной, не по размеру, маской надетую по-клоунски на рот.

— Вот как, Галя, вы со мной...— с хрипотцой сказал он.

И заведенно передвигая ногами, Гранатуров не дошел до камина, повернул к столу, пошарил по неубранным кружкам, сбивая их на скатерть, нашел чей-то не допитый вчера стакан, раздвинул им, как распоркой, эту заледенелую улыбку и, вылив водку в горло, сел, облокотился на затрещавший край стола, уперся лбом в пудовый свой кулак.

— Я пойду, комбат,— сказал Никитин, испытывая почти облегчение, потому что, загороженная кулаком, не была видна, не резала по глазам чужая, выдавленная страданием и растерянностью улыбка Гранатурова. Если бы он закричал на Галю, разбил стакан, опрокинул стул, все было бы более естественно, чем вот этот клоунский извив большого рта: наверно, так он пытался помочь себе, обороняться от непоправимой правды, без надежды высказанной ему только что Галей. По-видимому, Гранатуров, решив выявить истину отношений Княжко и Гали, не предполагал, что разговором о письме всколыхнет, зажжет в ней гневное неприятие, отрицание бесспорной ясности, которая была для нее мучением, неосуществленной возможностью и которая отбрасывала всякую иную возможность изменить что-либо сейчас. Но непонятно было, как хватило Гранатурову злого и веселого легкомыслия опорочить однажды Галю в глазах Княжко после того, что могло или не могло быть между ним и ею... Ведь был тот день, когда вернулся он из медсанбата довольный, отъевшийся на тыловых харчах, и был гусарский его смешок, загадочный взгляд на Княжко, циничные подробности рассказа о победной ночи, проведенной с красивенькой медсанбаткой в ее комнате, доказательно положенная перед офицерами на стол любительская фотокарточка Гали,— во всем же была цель, разрушающая, похожая на запрещенный удар правда, что была и в найденном письме Княжко, адресованном Гале и по случаю неизвестных обстоятельств не отправленном им.

— Уйди, Никитин,— сказал Гранатуров, тихо водя головой, вдавливаясь переносицей в кулак.— А насчет немочки — рапорт в «Смерш»... Нет, ты тоже не ангел, Никитин, не-ет...

И жалкая подавленность, безвыходная обреченность в его сгорбленной над столом атлетической фигуре, ожесточенно твердое молчание Гали, ее тонкое, с опущенными глазами, без кровинки, как вчера на поляне, лицо, бесконечная сиротливая вокруг пустота без Княжко, страшный сон, оставшийся в сознании, нежно-мягкие губы Эммы, ее плывущий над головой шепот «Ду бист майн шметтерлинг» («Почему бабочка? Почему?») — все было продолжением какого-то заразившего всех безумия, ложной верой в последний срок войны, ожиданием его в этом невиданно уютненьком немецком городке Кёнигсдорфе. Может быть, они, поверив в новую, счастливую полосу нефронтовой жизни, поспешили, забежали вперед: торопясь, обогнали судьбу, которую так суеверно опасались обгонять на передовой.

Надо было что-то делать, что-то решать, что-то понять до конца, надо было вырваться из этого проклятого, рокового наваждения, обманувшего их околдовывающим покоем, мирной белизной цветущих садов, ласковым майским солнцем, где для всех кончилась и коварно

не кончилась война и где погиб Княжко.

— Одного хотел бы, комбат,— глухо сказал Никитин,— чтобы рапорт в «Смерш» написал сначала Меженин. А потом уж я...

Гранатуров замычал, медленно повозил лбом по кулаку, не ответил, а Никитин пошел к двери, ощущая навязчивую потребность освободиться от душащей его тесноты, чем-то облегчить тупо давившую в душе тяжесть, выйти на свежий майский воздух, скорее бы вдохнуть лекарственный запах травы, молодой сирени на солнцегреве, посидеть где-нибудь в саду одному посреди весеннего мира, который обманул их, но все-таки был.

Он уже взялся за ручку двери и тут услышал окрепший грудной Галин голос позади себя:

— Подождите, Никитин. Я хотела вам сказать...

И он, поворачиваясь кругом, мгновенно подумал: «Вот главное, о чем она скажет сейчас... а для чего?» — и натолкнулся на ее не умеющие улыбаться глаза.

— Подождите, Никитин.

Она заскрипела сапожками и равнодушно, как посторонний предмет, обходя сгорбленную фигуру Гранатурова, нашла на столе пачку трофейных сигарет, резко чиркнула зажигалкой, закурила, с перерывами дыхания выпустила струю дыма, сказала:

— Спасибо, Никитин. («За что она благодарила его?») Не обижайтесь, если я не буду приезжать в батарею. Так будет лучше. Конечно, все знали, почему я приезжала.

Гранатуров оторвал лоб от кулака, мерзлая тесная улыбка его большого рта исчезла, брови горько-насмешливо подобрались, срослись над переносицей, а взгляд потемнел, обострился, проникал в лицо Гали, искал что-то и не находил.

А она, выдыхая дым через ноздри, поперхнулась дымом, коснулась пальцами груди, так всегда явно, остро и вызывающе обрисованной гимнастеркой, сжатой по талии ремнем, что Никитину иногда трудно было смотреть на маленькие, опрятно застегнутые нагрудные золотые пуговички. Ослепительно-вороненая чернота Галиных волос, ровная и тонкая бледность, чистые ногти, узкие бедра, даже походка и курение ее и неумение улыбаться всегда возбуждали в Никитине неопределенное чувство ревнивого волнения, смутно возникающей беды, но ее сдержанность не допускала вообразить, что она способна была по-земному любить кого-то, без брезгливости подставлять губы для поцелуев, обнимать, разрешать прикасаться к себе: он не мог вообразить ее наедине с мужчиной.

Она быстро погасила сигарету в пепельнице.

— Я старше его на три года, а... он был мальчик,— проговорила Галя поперхнувшимся горлом.— И я знала... Я знала, что ничем хорошим не кончится.

— Я пойду,— сказал Никитин, и вновь будто из бездонной глубины прорубленной вчера в его жизни бреши подуло знобким холодом пустынности.— Я пойду, Галя.

— Вы были его другом... и я хочу, чтобы вы знали. Я любила только его... и не строила воздушных замков, Никитин,— сказала Галя, и золотые пуговички на ее груди колыхнулись не то от противоестественного смеха, не то от подавленных рыданий.— Го-ос-поди!.. Разве можно на войне строить воздушные замки?

— Я пойду,— повторил он в четвертый раз и, чтобы не слышать ее, не видеть этих нездоровых глаз Гранатурова, похоже, еще жаждущих зацепиться с надеждой за что-то в лице Гали, распахнул дверь в полутемный, не по-утреннему тихий, напитанный духом пшенной каши коридор, и здесь, на пороге, снова остановил его буднично-бесцветный Галин голос:

— Никитин, прошу вас. Скажите Таткину, чтобы принесли ведро воды. Я вымою полы. И прошу вас еще — пусть никто мне не помогает. Я хочу одна...

«Она отделилась от нас,— подумал он.— Она уже не будет приезжать в батарею, теперь — нет...»

Продолжение следует.

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки И. ПЧЕЛКО.

БЕРЕГ

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Взвод завтракал без обычного утреннего оживления: в столовой позванивали ложки, не слышно было разговоров, смеха, шуток, лица солдат сосредоточенно наклонены, насуплены над котелками; сержант Меженин, сидевший во главе стола, похмельно-угрюмый, сизый, не притрагиваясь к каше, лениво отламывал кусочки хлеба, бросал их в рот, с бездумным равнодушием жевал, двигал челюстями. Заметив Никитина в проеме двери, Меженин против ожидания как-то чересчур уж взбодренно крикнул ему: «А, лейтенант!..» — и в светлых нагловатых глазах мутным отблеском прошла настороженность и сейчас же сменилась знакомым выражением бойкого внимания. А Никитин смотрел на него вопросительно и спокойно, спрашивая себя: «Что же я сейчас испытываю к нему? Злобу? Брезгливость?»

— Садитесь, товарищ лейтенант. Ушатиков, котелок каши командиру взвода! — скомандовал Меженин излишне распорядительным тоном.— Быстро! Что ты там, Ушатиков, возишься с кошкой, как младенец с чертихой? Кормить лейтенанта!

Лица солдат обратились к Никитину, но никто не отозвался, не улыбнулся на слова сержанта, все после вчерашних поминок, видимо, понимали, что между комбатом и командиром взвода не на шутку выросла стена раздора, догадывались, почему не уехал поутру в госпиталь Гранатуров и что за разговор мог быть минуту назад между ними. Таткин с уныло поникшими усами потревоженно замерцал в набрякших складках век рыжеватыми глазками. Ушатиков, украдкой кормивший кусочками мяса кошку на коленях, заморгал жалостливо при окрике сержанта и, не сталкивая кошку с колен, обтирая ладони о гимнастерку, привстал растерянно и снова сел, как бы не вполне сообразив, что хотел от него Меженин и зачем стоял в дверях и не входил в столовую лейтенант Никитин. И, сконфузясь, Ушатиков пробормотал:

— Голодная она, навроде как сирота...

— Малой ребятенок ты,— заметил старший сержант Зыкин и отложил ложку.— Голова у тебя — сирота. Ветер в ней гуляет, ровно в пустом сарае. Садитесь, товарищ лейтенант, перекусите малость.

Солдаты молчали, искоса поглядывали на Меженина. Он щурился, губы его раздвигала наигранная полуухмылка, чуть приоткрывая прокуренные передние зубы.

— Никак, голодать решили, товарищ лейтенант?

— Есть не хочу,— ответил Никитин и, подходя к столу, внезапно почувствовал темные, глухие удары в голове, сразу пересохло в горле, как тогда на поляне, когда стояли они за щитом орудия и когда пошел вперед по траве к лесничеству Княжко, и в крайние секунды чего-то непредвиденного, вот-вот готового свершиться по не уловимой никем причине, не выдержав этих секунд, упредительно нажал на спуск Меженин, и разрыв снаряда молнией сверкнул в верхнем окне, откуда прогремела потом автоматная очередь,— и, споткнувшись, сделав еще шаг, упал на колени Княжко, зачем-то вытирая лоб платком. «Я ведь не давал Меженину команды. Почему он стрелял?» — сквозь удары в голове вспомнил поразительно ясно Никитин, и вместе с отчетливой ясностью того момента, всплывшего в памяти, замутненной всем случившимся позже, он поразился и тому, что никто — ни он сам, ни солдаты — не обратил внимания, не помнил вчера этого. «Нет, никто его не обвинял... Выстрелил бы немец, если бы не Меженин?.. Но почему я обвиняю его? Что я чувствую к нему? Ненависть? Гадливость? Значит, ему полностью верит Гранатуров? Или хочет верить?»

— Спасибо, Зыкин, есть не хочу,— отчужденно выговорил Никитин, все не садясь за стол, оглушаемый биением крови в висках при звуке собственного голоса. — Так вот что я хотел...

— Сели бы с нами, товарищ лейтенант, голод не тетка. Чайку бы выпить?

— Голодает наш комвзвода, Зыкин, тоже для здоровья полезно. Всем бы нам поголодать, а то жрем немецкие харчи, пузо отрастили, ремень не затянешь, хо-хо!

«Зачем это говорит Меженин?»

— Так вот что я хотел сказать, сержант Меженин, черт вас возьми!..

Он еще не знал, что сделает именно в ту минуту, как выскажет сейчас предельно им понятое, выявленное, оголенное до смертельного обрыва, за которым наконец могло быть одно — последнее и облегчающее избавление от тошнотно душившей его ненависти к этому красивому, нагловатому, казалось, непробиваемому лицу, к полуухмылке, к этим попорченным зубам, к тому неурочному выстрелу из орудия и той кровавой расправе на поляне... И Никитин договорил вдруг разжавшимся металлической звонкостью голосом:

— Слушайте, Меженин... Если бы вчера вы погибли... еще в бою с самоходками... все было бы справедливо. Это ваша идиотская трусость была причиной смерти Княжко. («Как я странно, как определенно и уверенно говорю... Что же? Я понял, что теперь должен делать? Какое освобождение и уверенность — такого я давно не испытывал...») И запомните, пока не поздно. Если завтра я увижу вашу рожу в своем взводе, я вас расстреляю, не задумываясь... как труса и сволочь! За все... За Житомир, за Княжко, за всю вашу ложь и грязь! Вы меня поняли? Вы меня хорошо поняли, Меженин?

Ему было бы легче и проще, если бы он прокричал это в лицо Меженину, обуянный злобой и гневным приступом справедливости; крик раздирал ему горло, а он говорил с такой ледяной жестокостью, с таким ненормальным самоотречением, бесповоротно найденным выходом из безумной заразы, что страшно было слышать неизбывную и тихую решимость в тоне своего голоса, точно сейчас одной судьбой на виду у солдат взвода связывал и Меженина и себя, заранее приговаривая его к смерти, которая станет и собственным наказанием.

— Запомните: я сдержу свое слово. Пулю на вас не пожалею. Это — последнее, что я хотел вам сказать!..

Никитин видел, как синюшная бледность смыла похмельную одутловатость на щеках Меженина, как сероватым углом выступил не выбритый сегодня утром подбородок, но сержант сидел за столом, не подымаясь, заслонив стоячий взгляд густыми ресницами, потом механически стал отламывать, крошить кусочки хлеба, бросать их в рот. Меженин в молчании жевал, и буграми ходили его скулы, разом осыпанные зернистыми каплями пота.

Жаркая тишина утра увеличивалась, разрасталась в комнате до банной духоты, накаленной солнцем, и среди безмолвной затаенности всего дома было слышно, как спрыгнула на пол кошка с колен переставшего кормить ее Ушатикова, и Ушатиков, вытянув изумлением лицо, вылупив наивные глаза на Никитина, сполз со стула, ногой цепляя, задевая колено Таткина, однако тот не ответил ему ни жестом, ни словом, лишь точечки его зрачков сверлили Меженина, и все смотрели на него, а он по-прежнему невозмутимо жевал, ломал, царапал крепким ногтем ломоть хлеба на клеенке. Молчание гремело в ушах Никитина, и это молчание Меженина и солдат говорило ему, что после вчерашнего дня, после поминок никто никак не хотел раздорных поступков, никто не хотел осложнять отношений ни с сержантом, ни с ним, командиром взвода, потому что многое можно простить всем и каждому в отдельности, выйдя живым из боя.

И от полыхнувшей огнем мысли, выжигающей в сознании возможность примирения, от уже не подчиненного рассудочности решения его вдруг окатило морозящим сквозняком иознобно затрясло внутренней дрожью: «Именно сейчас, вот сейчас, сейчас последнее... если он скажет хоть одно слово в оправдание... это будет конец — между мною и им...» И, весь леденея в ознобе, готовый к самому последнему, весь словно погружаясь в затягивающий зыбучий сумрак, растворявший недвижные лица солдат, лицо Меженина, ощущая вокруг пустынную, нейтральную полосу молчания, он неявственно и нечетко разобрал среди неисчезнувшего свинцового давления тишины рассудительно-злой басок старшего сержанта Зыкина, который, угрюмо глядя в котелок свой, для чего-то торопился объяснить причину благоразумного молчания солдат его взвода:

— Неужто стоит, товарищ лейтенант, из-за такого дерьма в штрафной идти? Много будет о себе думать! Если разобраться, ему в базарный день полкопейки цена... Человека кусок!

Продолжение. См. «Огонек» №№ 12—20, 22, 23.

— Нет,— отрывисто и еле слышно выговорил Никитин.— Вы всего не знаете, Зыкин, всего — нет...

— Я и говорю, товарищ лейтенант: в дерьме испачкаешься — долго не отмоешься. Его лопатой выгребают.

И тут не выдержал Меженин, его будто ударил кто-то снизу в подбородок, голова вскинулась, желваки острыми камнями запрыгали на скулах, суженные глаза набухли кровяной мутью.

— Ах ты, падло колхозное! Меня хоронишь? Сговорились? А ты... сморчок московский, так твою растак! Мне угрожаешь? Да еще неизвестно... неизвестно, кто кого... закопает! Меня свалить захотели, падла! Да я вас зубами!.. Как кость перегрызу! Вы на меня? На меня?..

— Меженин! — крикнул Никитин и по молниеносному сигналу памяти опустил правую руку вдоль тела, на то место, где к бедру опасно придавливалась плотная тяжесть «ТТ».— Замолчать, Меженин!..

— Расстреляешь? Меня? Меня-а?..

Меженин выскочил из-за стола, с треском отталкивая спиной стул, отпрянул к окну, лицо, по-зверски оскалясь коричневыми зубами, моталось, передергивалось, и в следующий миг, хищно и ловко изогнувшись, издав глухой хекающий звук, он нырнул к полу, схватил стул двумя руками за ножки и, храпя грудью, занеся стул над головой, швырнул его в Никитина, который рывком инстинкта на шаг отшатнулся в сторону, все продолжая расстегивать кобуру немеющими в спешке пальцами.

Стул врезался в косяк двери, что-то тупое и жесткое ударило по плечу Никитина, а он вроде бы не успел увидеть полет ударившего его осколка — стул с отломанной ножкой упал, загремел по полу — и не успел четко увидеть обезображенного ненавистью лица Меженина, потому что все разом подернулось, замутнело белым, звонким, заполненным человеческими голосами туманом, и он шагнул в этот туман, споткнувшись обо что-то угловатое, твердое на полу, с неловкой тормозящей жесткостью в правой руке и правом плече невесомо вскинул неощутимыми пальцами «ТТ» и выстрелил дважды по какому-то неясному белесому облаку, имеющему почему-то не вид лица, а один дико, по-рыбьи разъяренный безголосым криком рот, мгновенно пропавший куда-то за горько обдавшую порохом пелену тумана...

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!..

«Все!» — подумал Никитин в сумеречной оледенело-спокойной остраненности, уже понимая, что сейчас совершил то, что вот с этой отсчитанной минуты меняло его жизнь, и почти не различал вокруг себя крики, размыто видя перед собой ошеломленное лицо Ушатикова, Таткина, Зыкина, знакомые и чужие лица солдат, подступившие к нему из тумана. Он незряче смотрел сквозь них, мимо них и для чего-то старательно и упорно, будто это было теперь главным, вталкивал в кобуру ставший в его руке скользким куском металла пистолет — и не попадал, не находил кожаное гнездо и, не найдя, сунул пистолет в карман, ссохшимся шепотом сказал первое, пришедшее из подсознания как необходимость:

— Зыкин... остаетесь за меня... Я сам сейчас доложу.

Он не расслышал ответа Зыкина, глядевшего откуда-то издалека пристально упрекающими глазами, но помнил, что его никто не задерживал, не останавливал, не отбирал оружие, не осуждал, и бессознательно, неизвестно зачем, он вышел в коридор и там, нагнувшись, повернул к выходной двери, чтобы, наверно, глотнуть свежего воздуха, сопровождаемый волнообразно вязнущими за спиной голосами (кто-то сзади взахлеб повторял одно и то же кому-то, выкрикивал в оторопелом непонимании, что лейтенант стрелял по сержанту, убил или ранил его), и, когда распахнул дверь в перегретый сладким теплом настоянный воздух, в жарко-солнечный блеск утра на зеленой лужайке, позади громче засновали шаги, раздались командные возгласы («Где, где?»), опять загрохотали по коридору шаги, и чей-то окрик, настигая, угрозой взвился над всплесками голосов:

— Никитин! Стой! Стой!

А он, переступив порог, шагнул на каменные плиты, проложенные к лужайке, шахматно исчерченной светом и тенями сосен, вдохнул водянисто-пресный запах травы, и сердце запнулось в тугом скачущем перебое, и потемнела лужайка впереди.

— Никитин, стой!

Он не оглянулся. У него толчками звенело в ушах.

— Никитин, стой, приказываю! Стой!..

Грохоча сапогами, затрудненно дыша, Гранатуров подбежал к нему, железной силой рычага рванул одной рукой за плечо, недоуменная рыскающая темнота его взгляда, выжигающе спрашивающая, кидалась то в самые зрачки Никитина, то на расстегнутую кобуру, он кричал, задыхаясь:

— Что? Что сделал, Никитин? Стрелял? Зачем? С ума сошел? Да ты что? Где оружие? Где твое оружие?

— Можете арестовать меня, комбат,— сказал Никитин.— Арестовывайте.— И в машинальном, полубезумном спокойствии расстегнул пряжку ремня.— Кажется, ремень снять... и погоны? И, кажется, нужна записка об аресте и конвоир?

— Где?.. Где оружие, я спрашиваю? Где пистолет? Заткнись, иди, вот псих, мушкетер несчастный!..

Всей громоздкой фигурой Гранатуров как бы заслонял Никитина от суматохи, передвижения, голосов в коридоре, толкал, теснил его локтем, придавливал коленом к стене дома, начал быстро ощупывать кобуру, оказавшуюся пустой, и тут же лапнул правый карман его галифе и, рвя наизнанку вывернутую материю подкладки, выдернул пистолет, вбросил его в свой карман, выкрикивая со злобой:

— Что же ты наделал? За что ты его? Что ты сделал? Что? На какой шаг пошел, на какой шаг, мальчишка! Думал чем-нибудь? Княжко подражаешь? Захотел жизнь свою исковеркать? Пострадать за правду? Интеллигенты, дьяволовы щенки молочные!

— Нет. Не то, комбат...

— Что «не то»? А ну! Иди вперед! — бешено крикнул Гранатуров, косо двинув плечом в спину Никитина.— А ну! В дом иди! Назад! Я тебя арестовываю! В дом, лейтенант Никитин! Ремень снять, погоны снять! Таткин, взять автомат — и ко мне!

Потом, уже проходя по коридору, вмиг затихшему, почудилось, по-вечернему совсем темному, разделенному нечеткими пятнами лиц вдоль стен, он снял ремень с пустой кобурой, отстегнул погоны, молча передал все это в чьи-то ковшиком подставленные ладони, удивился — «ковшиком!» — и здесь же, в коридоре, из открытой настежь двери столовой не сразу и не очень отчетливо услышал протяжно-однотонные, жалобные, зовущие стоны, затем дошел грудной командный голос Гали: «Да подложите ему шинель под голову!» И тогда он невольно взглянул в солнечную прорубь света, туда, в угол этой комнаты, куда стрелял он. Там, между Зыкиным и Ушатиковым, глядя вниз с серьезным, озабоченным лицом, стояла Галя, зубами разрывая индивидуальный пакет, но отсюда, из коридора, не было видно лежавшего на полу Меженина, загороженного столом. Стонал он. И что-то раскаленно зазубренными краями повернулось в груди Никитина: неужели это Меженин? Неужели это он?

Нет, так по-человечески жалобно, безнадежно не мог стонать Меженин, еще несколько минут назад выскочивший в неистовстве из-за стола, с истерической энергией намеренный защищаться, рушить, взорванный ненавистью к Никитину, к старшему сержанту Зыкину. И это он, Меженин, в затмении угрожающего действия, крича полоумным животным криком («Как кость перегрызу!»), швырнул в Никитина стул и, промахнувшись, ринулся к взводным автоматам, сложенным на полу.

«Нет, он не мог так стонать, это ошибка, это не Меженин, не он...»

— В госпиталь его! Быстро перевязку и на моей машине в госпиталь! — властно скомандовал за спиной Гранатуров в открытую дверь и выматерился муторной скороговоркой, переменил команду:— Стой! Без меня не отправлять! Не отправлять! Я сам с ним поеду! Выносите его к машине и подождать меня! Ну, вперед, вперед! — приказал он, подгоняя Никитина с грубой неутихающей яростью, кругто, нетерпеливо его тесня.— Быстрей, быстрей, говорят!

— Только вот что... Прошу не кричать на меня, комбат! — сказал Никитин, едва удерживая голос на краю безумного спокойствия.— Я пройду, куда вам угодно... в штаб полка, в «Смерш», куда хотите...

— Ма-алчать! Советовать мне еще будешь! — закричал Гранатуров, плотнее надвигаясь сзади и в затемненном, за кухней, тупичке коридора железной хваткой сдавил его плечо, пихнул к деревянной лестнице, которая вела на мансарду, где была комната Никитина.— Туда! Наверх! Запереть его! Таткин! Запереть его и охранять! Стоять возле двери и — ни на шаг, никуда не выпускать! Ясно? Отвечаете за него!

— Напрасно, комбат,— сказал Никитин, поймав зрением маленького, угрюмо-насупленного Таткина, потерянно замявшегося возле ступеней лестницы.— Я никуда не убегу. Нет смысла.

— Молчать! Наверх его, туда! Запереть и охранять!

И было еще одно — унизительное, не облегчающее, как бы последнее на этом пути к его комнате после ареста. Сопровождаемый вооруженным Таткиным, он стал подыматься по лестнице и посмотрел вверх на стрелы сквозных солнечных лучей, на пронизанное светом дня маленькое пыльное оконце. И ему вообразилось, ему померещилось: что-то белое легкой косой тенью мелькнуло, испуганно отскочило за щелью слегка приоткрытой на площадку двери, и мгновенно дверь захлопнулась, там, наверху, слабенько щелкнул изнутри ключ.

Он вошел в мансарду, полуобернулся к оставшемуся на пороге Таткину, не встретив его отпрыгнувшие к стене глаза, сказал: «Ну, охраняйте...» — но только закрылась дверь, ноги перестали слушаться, подкосились в коленях, он упал плашмя на постель, лицом в подушку, шепча в исходном приступе лихорадочного, удушливого отчаяния:

— Это все, все, это все...

Ключ заворочался в замке и отдался тошнотным звуком; опустилась на мансарду тишина; а внизу отдаленно жужжали, сталкивались разжиженные голоса.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

«Дяденька-а!..»

С левого берега пробила пулеметная очередь, высекла изо льда искры, и он пригнул голову, упираясь локтями в края проруби. Ремень натянулся, распарывал взлохмаченную воду толстой струной, и ощутимо на том конце ремня боролась неимоверная упругая тяжесть, рванувшая его за собой: Штокалов, вытолкнув из воды предсмертное, с белыми глазами, с исковерканным ртом лицо свое, хрипя нечленораздельное, исчез под кромкой проруби. Его неудержимо потащило туда, под синеватый ледяной срез, и мокрая лента ремня стала твердой, как железная палка, а этот металлический рычаг с гигантской силой повернулся, всплескивая волну, вправо и влево. И неведомое, ужасное, тайное, что было в этой студеной воде, повезло, поволокло Никитина за руку, на которой намертво был накручен ремень. И он, еще борясь с поворотами рычага, из последних усилий потянул к себе это живое, неодолимое, тяжелое, ушедшее под закраину проруби, чувствовал, как его волокло и волокло локтями, животом по льду к чугунно-черной воде, дышащей гибельным холодом. Не было уже никакой опоры, а его все быстрее, все наклоннее везло к обрыву проруби, снизу жгуче окатившей паром и брызгами голову, и он успел заметить справа, вблизи своего локтя, большого полосатого окуня, выброшенного разрывом, вмерзшего в обледенелые осколки растопыренными жабрами. Это было единственное препятствие, во что еще мог упереться его локоть. Он сделал скачок локтем, жесткая пряжка ремня бритвой резанула по ладони, а Штокалов все рвал ремень из глубины, дергал, тянул, чудовищными рывками увлекал его за собой, и закаменелый колючками жабер окунь, хрустя, прополз куда-то под грудь ему.

И потом ударил, хлынул в рот, в ноздри рвотный вкус зимней воды, а в мутном дыме ее замелькали впереди темные скользкие тени, похожие на вожделенно, остро растопыренные клешни голодных раков, которые со всех сторон спеша подползали к нему, туго зашевелились под ним, сталкиваясь, скрипя холодными панцирями на голом животе под шинелью, впиваясь рвущей болью...

Так на долю секунды представилась ему своя смерть, и тогда, в подсознании последнего напряжения не выпустить ремень, почти захлебнувшись поднятой волной, он очнулся от боя пулеметной очереди над головой — она пробила с того берега низкими трассами. Он лежал на самом краю проруби, стонал, вытаскивая воду, а в кровь изодранная об лед, сведенная судорогой рука закоченела, не выпускала, держала ремень, бессмысленно легкий, освобожденный. И посреди успокоенной полыньи тонко, стеклянно позванивали, терлись друг о друга льдинки, и круглыми чашами плавали две шапки — его и Штокалова, поношенная солдатская ушанка с пропотелой внутренностью, где по-хозяйственному была вколота иголка, обмотанная ниткой.

Штокалов... Когда это было? В сорок втором под Сталинградом на реке Аксай. Перед сумерками он шел из КП полка вместе с присланным за ним из штаба незнакомым связным по фамилии Штокалов, разговорчивым деревенским пареньком, похожим шустрой, прыгающей походкой на воробья, а через полчаса ходьбы в русле Аксая напоролись на немецкого пулеметчика, сначала упали на лед, поползли, затем кинулись под прикрытие берега, и здесь Штокалов провалился в развороченную, вероятно, утром тяжелым снарядом полынью, затянутую неокрепшей пленкой.

«Почему я думаю о Штокалове? И это не сон, и я не сплю, хотя нужно заснуть, но не могу и вижу все, и помню, будто вчера было... Там, в проруби, плавали две шапки, и, значит, я тоже мог тогда погибнуть. Штокалов погиб, а я остался... Почему, когда он провалился в ту прорубь, то не закричал: «Лейтенант!»,— а как-то непонятно вскрикнул по-деревенски: «Дяденька-а!» — вроде войны не было, а просто шли по льду в соседнюю деревню. И мне не хватило сил вытянуть его из полыньи; почему я не смог? И не смог спасти, вывести из окружения санинструктора — как ее звали? Кажется, Женя... И не хватило сил... чего-то мне не хватило остановить вчера Княжко, задержать и предупредить то, что произошло на поляне... Но в какой момент? Как? Никогда я не забуду, как Княжко упал на колени после автоматной очереди. Как странно, и зачем он провел рукой по лицу? О чем он подумал тогда?..»

В полуяви дремотного оцепенения, в горячей вечерней духоте прокаленной за день мансарды Никитин лежал на постели, облитый жарким потом, сердце билось, спотыкаясь, он слышал его глухие удары, а память не защищала, не подсказывала ему оправдания, и он не искал оправдания, очищения собственной вины, потому что невыносимее всего было то, что в те последние секунды чужой гибели он что-то не сделал крайнее, сверхвозможное и не смог, не сумел помочь, предупредить... И это ничем не оправданное бессилие, горечь вины были теперь до того неискупимы, и так отчетливо, реально повторялось перед ним вынырнувшее из черной воды проруби уже без надежды, уже смертное лицо Штокалова, его захлестнутый волной крик: «Дяденька-а!»,— так страдальчески и незнакомо были сведены влажные брови Жени, на которых он представил ползающих весной муравьев, и так по-детски косо лежала светлая прядь волос на бледном виске Княжко, что Никитин замычал, заскрипел зубами в оборении пронзающей боли и хотел вырваться из неумолимых тисков полусна — и тотчас нечто туманное, белесое выплыло, заметалось впереди облаком, возникло чье-то лицо, загородило другие лица. Оно было очень неясным, но оно угрожающе-враждебно оскалилось, отпрянуло в сторону солнечного окна, потом над ним сверкнули красным выстрелы, все поплыло звоном и тишиной, и неузнаваемый голос, захлебнувшись пораженно, разбух всколыхнутой чернотой безобразного страха: «Лейтенант стрелял по Меженину! Неужто убил?..»

Ему мерещилось, что он спал и видел одни и те же сны, но в то же время сознание словно бы отделилось от состояния сна, и он понимал, что не спит, плывет в зыбкой волне забытья и думает о муке невозможности оборвать этот бред, являющийся только зашторенной чем-то темным действительностью.

«Кто так страшно кричал? И о ком это? Какой лейтенант?— сумеречной полосой текло в сознании Никитина.— Нет, все не сон. Да это ведь было. Я, кажется, вошел в столовую, потом в моей руке был пистолет. Значит, я стрелял в Меженина. Выстрелил я... В столовой был завтрак. Были все... И теперь я отвечу. За то, что сделал. Что же дальше будет? Военный суд, разжалование, штрафной батальон, искупление кровью? Я совершил преступление. И я не имею права оправдываться. Нет, я не убил его... Он стонал. Его перевязывали. Да, я арестован, и лежу вот здесь на постели, и жду, когда меня увезут куда-то. Что ж, я сам знаю... знаю, что надо было иначе. Но как иначе? Неужели я жалею его? Так нужно было? Тогда зачем? Я плохо помню, что я делал. Кто виноват? Я? Он? Я мстил за Княжко? Защищал себя? Не мог ничего забыть?»

До того момента, когда память подсказала ему опустить правую руку на кобуру, до того стремительного мига, когда он нажал на спусковой крючок и прозвучал выстрел по белесому облаку, вставшему под окнами комнаты, в нем не было ни нерешительности, ни частицы сомнения, как если бы приказом разума, справедливым приговором спасал всю батарею, целый мир и карал предательство, трусость, ложь в лице одного человека, которого после вчерашнего дня ненавидел так, как никого в жизни. Но минут пять спустя, остановленный на лужайке Гранатуровым, арестованный, то есть уже обвиняемый, увидев под теми же сплошь солнечными окнами Галю, серьезно глядевшую вниз, в спешке разрывающую индивидуальный пакет, услышав протяжные стоны загороженного столом Меженина, он сперва не поверил, что этот ненавистный ему человек может испытывать человеческие страдания,— и что-то раскаленно прошло в душе Никитина. Нет, он сам принял решение совершить суд, знал, что последует за этим (арест, трибунал, штрафной батальон), нет, он вовсе не мстил, а очищал с себя, с Княжко, со всей батареи отвратительную, мерзостную, прилипшую слизь, но мгновенное раскаяние, жалость при той стонущей человеческой боли оглушили его, и в голове пронеслось: «Кто дал мне право?»

А потом, после ареста, лежа один, запертый в душной мансарде, охраняемой часовым, он вспоминал день за днем все, что было, как было, как обострялись его отношения с Меженином, стараясь заглушить одну боль другою болью,— и не то в дремоте, не то в бреду думал, какую боль должен был ощутить Княжко, ударенный очередью в грудь на той проклятой поляне, и понял ли он, что его убил Меженин, ненужным выстрелом орудия вызвав ответный огонь не поверивших немцев. Он, Никитин, не раз был в чем-то виноват, бессилен перед чужой смертью — как и тогда, в сорок втором, на реке Аксай и в том окружении,— и, наверное, на передовой многое простилось бы Меженину, стерлось следующим боем, осталось неопределенным, если бы не поминки, письмо Андрея и этот донос Гранатурову.

«Гнусность, подлость! Нет, я не должен его жалеть, я не имею права его жалеть. Я сделал то, что должен был сделать. Так должно быть со мной. Все шло к этому. Это началось давно... Но все шло к этому!..— повторялось в голове Никитина с такой четкой определенностью неисправимого положения, с такой готовностью пройти через свою кару, круто и ломко поворачивающую его судьбу в темное, неизвестное, что спотыкалось в удушье сердце от этой выделенной сознанием случившегося казнящей мысли:— Я сделал... Я сам хотел этого. Пусть будет так!..»

Измученный, весь в обильном поту, он вдруг открыл глаза и перевел дыхание, как после борьбы.

Было темно в комнате, и не по-вечернему, а по-ночному спала, везде таилась тишина — на нижнем этаже, за дверью мансарды, за черным окном; нигде ни звука, ни голоса.

«Теперь я не должен, я не имею права расклеиваться!— начал внушать себе снова Никитин, прислушиваясь к молчанию в доме, и сбросил затекшие ноги с кровати (сапог не снимал), зашагал по комнате наугад к двери, где, казалось, целый день не шелохнулся на посту часовой, и пошел обратно к постели и обратно к двери.— Тогда зачем же? Зачем так долго? Нет, скорее бы, скорее бы только!..»

Звучно взвизгивали старые половицы под ногами, деревянный их скрип, его шаги, шорох неподпоясанной гимнастерки заглушали дыхание, частые удары сердца. Он остановился, не зная, что делать, чем ускорить, убить время до утра, а утром, как он понимал, должно было проясниться все, решиться все твердо и бесповоротно.

«Сколько же?.. Сколько уже времени?» Он напряг зрение и пригляделся к ручным часам, подставляя их к проему окна: так немного светлее было. Стекло на циферблате голубовато расплывалось, отблескивало, но кое-как стрелки можно было различить: шел двенадцатый час. «Что делать до утра? Я не смогу заснуть...»

И его томила нагретая темнота мансарды, незавершенность какого-то действия; было душно. Он раскрыл створку окна, сел на подоконник. Снизу мягко и влажно подымался пряный запах; белели застывшим дымом яблони за оградой сада; было начало ночи, безлунной, теплой; слабая синева на западе, где давно истаял за лесами длительный закат, еле светлела под чернотой огромного неба, там играли теплыми веселыми переливами трапеции и стрелы высоких майских звезд. И всюду — около дома, над угольными тенями городских крыш, над редкими блестками звезд в озере, над опушкой соснового леса, откуда утром нежданно пошли в атаку самоходки,— стояло чудовищное безмолвие. Только в одной стороне, меж позицией батареи и озером, однотонно, скрипуче кричала ночная птица, и этот однообразно повторяющийся деревенский звук посреди пустынных холодеющих лугов на окраине спящего немецкого городка показался Никитину случайным, заблудившимся здесь, в каменной Германии.

«Кажется, кричит коростель. Как он попал сюда?»

Потом он ощутил страстное желание закурить, стал быстро шарить по карманам, нашел наконец измятую пачку и скомкал ее в кулаке — она оказалась без единой сигареты: выкурил днем последние, когда лежал на постели, запертый Таткиным в мансарде.

И, чтобы легче было, он сильно потер лоб, будто умываясь освежающим воздухом, затем бесцельно чиркнул зажигалкой, вторично чиркнул, задул огонек, сказал вслух: «Все!»— и тотчас дернулся даже от чужого голоса, внятно окликнувшего его, чудилось, рядом, из-за спины:

— Товарищ лейтенант!..

— Кто? Что?— Он спрыгнул с подоконника и вновь торопливо высек слабое бензиновое пламя, сделал несколько шагов к двери.

Там, за дверью, кто-то завозил по полу сапогами, кашлянул и полминуты спустя позвал напряженным шепотом:

— Товарищ лейтенант, с кем вы, а? Не спите, разговариваете вроде...

«А-а, часовой!.. Да, да, а я думал: начало мерещиться...»

И, узнав этот голос, несмелым шепотом проникший в комнату с площадки лестницы, Никитин, бессознательно светя зажигалкой, подошел к двери, спросил тоже шепотом:

— Это вы, Ушатиков? Вы Таткина сменили?

— Я, товарищ лейтенант.— Ушатиков притих по-мышиному, затем не то вздохнул, не то протяжно сапнул носом и почти неслышно:— Это я, Ваня Ушатиков, солдат ваш...

— Что в батарее, Ушатиков? Почему так тихо?

Никитин спросил это и замолчал, привалился плечом к косяку, виском прижался к твердому, пахнущему старой краской дереву. Его солдат Ушатиков, восемнадцатилетний паренек, стоял часовым возле запертой снаружи двери, там, на лестничной площадке, отделенный от него ничтожно малыми сантиметрами пролегшей сейчас между ними границы, которая определяла уже нечто неприступное, новое, неестественное в их довольно не длительных по времени отношениях. Самый молодой во взводе, Ушатиков пришел на передовую

лишь прошлой зимой, на территории Польши, и он по-особенному нравился Никитину, длинношеий, не потерявший простодушное любопытство после первых боев, наивный восторг удивления перед каждой, аксиомной для других деталью войны, постоянно заставлявшей его выпучивать круглые изумрудные глаза, ахать и как-то совсем уж не по-мужски всплескивать и хлопать руками по бедрам. Был он неизменной целью насмешек, но от него излучалась нехитрая, притягательная доброта, неиспорченная, угловатая доверчивость — до смешного заметные качества в соседстве с матерыми и повидавшими виды солдатами взвода.

— Значит, все спят, Ваня?— повторил Никитин, намереваясь поддержать, продолжить разговор, чтобы слышать этот робкий ответный голосок Ушатикова, и его возню сапогами, и смущенное его покашливание.— А где комбат? Уехал?

— Они с врачом в госпиталь Меженина повезли, давно уехали,— прошептал Ушатиков, и при этом вообразил Никитин, как он вытянул долгую свою шею к двери, сообщая недозволенное.— А внизу никто, кажись, не спит, лежат в комнатах... Старший сержант Зыкин там все о вас и Меженине говорит...

— И что же говорит Зыкин?

— Не надо было, говорит, товарищ лейтенант... сокрушаются во взводе-то. Сурьезный, говорят, очень вы были. Как же вам теперь? Засудят до штрафной али еще что? Погонют куда-нибудь арестантом, всю жизню молодую Меженин вам свихнул... Вот беда-то какая нашла! А сам Гранатуров, когда уезжал, очень строго приказал всем: чтоб ни одного слова никому, что в батарее произошло. Не в себе был... Аж в бога ругался. Зачем вы, а?..

— Я сделал то, что сделал,— сказал Никитин, покоробленный по-бабьи жалостливым сочувствием Ушатикова, его бесхитростным сообщением о разговорах во взводе.— Все было сложнее.

— А как же так, товарищ лейтенант, вышлото как неудобно вам!— заторопился за дверью шепот Ушатикова, и воображением увидел в темноте Никитин его моргающие глаза, они круглились испугом и удивлением.— Никудышный он человек, злой, ненормальный, да пусть себе ползал бы, как гадюка какая, авось, до смерти не укусил бы. Ведь немца убивать-то страшно, не то что своего, нашего. Я дома курицу, когда мамка просила, зажмуренный рубил — ужасть самому было. Зачем вы, товарищ лейтенант, сами хотели на такое отчаяние пойти?

— Нет, я этого не хотел,— сказал Никитин и, жмурясь, непроизвольно чиркнул зажигалкой, посмотрел на огонек.— Не хотел. Долго, Ваня, это объяснять. И зачем объяснять?

— Вроде сами вы хотели на отчаяние такое пойти, товарищ лейтенант. Заарестуют вас... Как без вас во взводе будет? Привыкли к вам. Лейтенанта Княжко убило, а с вами вот такое страшное дело. А мы-то как?

— Пришлют нового командира взвода. Да и война кончается. Очень скоро все кончится, Ваня. Я уверен.

По ту сторону двери непроницаемая, как чернота ночи, встала между ними граница неподвижности; не переступали сапоги по скрипучему полу, прекратился шепот, и опять представил Никитин близкого за порогом, понуренного в потемках Ушатикова, поставленного охранять его, командира взвода, и терзаемого наивным непониманием, сочувствием, страшной внезапностью всего случившегося.

«Он сказал «привыкли»,— подумал с тоской Никитин, зачем-то механически высекая и гася огонек зажигалки.— Да и я сам привык, до невозможности к ним привык!»

Они оба молчали, и вдруг громко шмыгнул носом Ушатиков, затоптался, передвинулся на площадке, и беспокойством вполз шепот сквозь тьму в комнату:

— Товарищ лейтенант, что вы там щелкаете? Не оружие у вас?

— Нет, Ваня, зажигалка. Очень хочу курить. Сигареты кончились. У вас что-нибудь есть покурить?

— Ах, господи!— ахнул Ушатиков и, вероятно, озадаченный, шлепнул себя ладонью по бедру.— А я-то думаю, защелкало у вас, не пистолетом ли балуетесь? Мысль дурная при-

шла: как бы с отчаяния в себя не пальнули! Господи, моя мама, есть у меня курево, есть! Сигареты трофейные. Цельная пачка есть...

— Если можно, откройте дверь. Дайте мне несколько штук.

— Да что ж вы раньше-то? Сейчас я... Ежели бы вы раньше, так я бы... Сейчас я ключом открою, только втихаря, товарищ лейтенант, ладно?

— Откройте.

Тихо звякнул, заскоблил ключ в замке, потом дверь отворилась, и в проеме темноты, теплой, плотно сгустившейся на маленькой лестничной площадке с голубоватым от звезд круглым оконцем вверху, неловко толкнулся навстречу своими горячими руками едва различимый за порогом Ушатиков, засовывая Никитину в пальцы пачку сигарет, бормоча сконфуженно:

— И как вы раньше-то? Не курю я. А так, для фасону. Со всеми дым когда пустить. Всю пачку возьмите. Не нужно мне...

— Спасибо.

Никитин нащупал сигарету, пламя зажигалки красновато осветило молодое удивленное лицо Ушатикова; поморгав, замерцали остановленные на жидком пламени, растерянно ждущие чего-то глаза, а юношеская шея его вытягивалась столбиком, вся открытая расстегнутым воротником гимнастерки. Спертая духота скапливалась тут, на тесной площадке, подымалась теплом из нижнего этажа.

— Может быть, вместе покурим, Ушатиков? — сказал Никитин. И, заметив, что не было при нем положенного часовому оружия, усмехнулся, спросил: — Ну, а где ваш автомат? Что же вы меня без оружия охраняете?

Он прикурил, но не затушил огонек зажигалки, смотрел на добрые губы Ушатикова — так было веселее, спокойнее как-то ему.

— В углу он... извините, товарищ лейтенант,— забормотал Ушатиков, повозил еле слышно сапогами, потупился, затем перевел разговор легонько:— И кошка, дура такая немецкая, пришла давеча снизу и пристроилась на половичке, спит себе, сатана, как русская, и никаких. Пристала ко мне,— ласково прибавил он, глядя под ноги.— Видите, товарищ лейтенант? Мурлычет себе, животная такая. Умная, ровно сродственника нашла. Тут и стою с ней, зашибить ее сапогом боюсь.

Но Никитин не проявил никакого интереса к кошке, молча дал прикурить Ушатикову и погасил зажигалку. Долго молчали. Ни единого звука не было в доме, погруженном в сонный час ночи.

— Эх, боже мой, боже мой!— шепотом заговорил грустно Ушатиков, сдерживая кашель, давясь дымом.— Не страшно вам? А утром как с вами будет, товарищ лейтенант?

— Я когда-то еще до войны читал, Ваня: за все надо отвечать и расплачиваться. За все. Понимаете, Ваня? Я раньше этому не верил.

— Да как так может быть?— не понимая, смутился и вздохнул Ушатиков.— А ежели какой человек только доброе делал? За что же тогда? Ах, боже мой, боже мой...

Они опять замолчали и так курили вместе среди несокрушимого покоя дома, разделенные порогом отворенной двери. Никитин — стоя в комнате плечом к косяку, Ушатиков — на лестничной площадке, и загорались, меркли впотьмах светлячки сигарет, несовместимо связывая их недоговоренностью, одинаково неразрешимой простотой и сложностью обстоятельств, которые так же не зависели от них обоих, как не зависело еще вчера утром многое, что принято считать судьбой, от команд, приказов Никитина, от нервной расторопности Ушатикова у затвора орудия в часы атаки и отхода через лес немецких самоходок.

— Товарищ лейтенант, слышите?— Вспыхнув, жарок сигареты выхватил, подсветил снизу лицо Ушатикова, и фосфорическими бликами тревожно скользнули его белки вправо влево, истаивая одновременно с тускнеющим угольком сигареты.— Все время так...— договорил он, прерывисто потянув носом.— С тех пор, как встал на посту, так и слышу...

— Что вы... о чем, Ушатиков?— спросил невнимательно Никитин.

И Ушатиков заговорил таинственным шепотом, проглатывая слова скороговоркой:

— То на цыпочках она к двери подойдет, поцарапается, как будто ногтем, и отойдет, то поплачет у себя тихонько, чтоб не слыхать под дверью, а слух у меня, как у собаки... Комбат на улицу ее не велел выпускать, а она выходить из комнатенки боится, товарищ лейтенант, а ей что-то надо. Немочка-то глазастая, шустрая такая, а вот боится нас, как зверей каких... Слышите, товарищ лейтенант, похоже, по двери скребется?

«Эмма, Эмма!— остро обожгло Никитина, и, глянув в темноту, где должна быть ее дверь, почувствовал, как знойно стало лицу и горячо сдвинулось, забилось в висках сердце, вспомнил тот момент, когда, конвоируемый Таткиным утром, без ремня и погон, арестованный Гранатуровым, подымался вот сюда по лестнице, и промелькнуло что-то быстрое, белое в дверной щели, а потом стукнула наверху, прихлопнулась дверь, испуганно щелкнул изнутри ключ.— Да, в той комнате... здесь рядом Эмма, это она...»

В течение многих часов, проведенных уже под арестом в своей мансарде, он почти не думал, не вспоминал о ней с последовательной и необходимой подробностью: все, казавшееся не главным теперь, измельченным, случайным, было вытеснено из головы огромным, совершившимся, что сделал он сегодня утром, и мысль к Эмме возвращалась непрочно, лишь начинал звучать, гадливо ворочаться в ушах голос Гранатурова — и, не соглашаясь, отрицая его подозрения, он, чудилось, ощущал слабый вкус ее шершавых губ, видел полураскрытые улыбкой влажные зеркальца зубов, сиявших после произнесенного по слогам, с радостным удивлением выученного русского имени: «Вади-им»... Но тотчас же он вытравлял и подавлял в душе это, связанное с ней, будто бы преступно притрагивался к чему-то запретному, никому не дозволенному, перешагнувшему установленные святые законы, что самой войной не разрешено было ему переступать.

— А Меженин давеча Зыкину врал, товарищ лейтенант,— стесненно проговорил Ушатиков,— навроде у вас с немкой амуры начались. Заливал по-лошадиному. Ужас как плел...

— Нет, Меженин не врал,— внезапно сказал Никитин.— Я знаком с ней.

Сигарета зарделась, Ушатиков замялся, издавая отпыхивающие звуки, глотая дым, выговорил:

— Как же понимать? Товарищ лейтенант... Любовь между вами? Боже мой... По-настоящему или как? Как же это такое?..

— Не знаю.

И какое-то новое противоречивое чувство испытал Никитин. Да, конечно, Эмма должна была слышать выстрелы, крики внизу, затем могла видеть в щелку, как его вели по лестнице без ремня и погон, и тут же, вероятно, могла подумать, что несчастье случилось из-за нее, перепугалась, заперлась в комнате, плача там одна, временами подходя к двери, в робости не осмеливаясь уже открыть дверь, выйти: часовой стоял на лестничной площадке, подобно угрозе, и никто не хотел ничего объяснить ей. И Никитин со злым стыдом к своей насильной попытке не думать, забыть, отдалить все, что напоминало об Эмме, об их несправедливой близости, что внушал он себе, предавая и себя и ее этим защитным самообманом, понял («Комбат на улицу ее не велел выпускать»), что подспудно тяготило его весь день.

— Ушатиков,— сказал Никитин, неожиданно решаясь и зная, что он наконец сделает сейчас.— Ушатиков, слушайте, это моя просьба к вам,— заговорил он.— Если вы согласитесь... Немка не имеет никакого отношения к тому, что произошло. Но она, наверно, думает, что виновата во всем. Я должен с ней поговорить. Объяснить ей. Вы понимаете? Я постучу к ней и поговорю. Все будет тихо, мы никого не разбудим. Вы понимаете меня?

— А как же... товарищ лейтенант, а как же мне быть?— замешкался и заелозил по полу сапогами Ушатиков.— Я как-никак часовой. Вы меня ведь сами уставу учили. И вы... нарушить разрешаете?

«Нет, какой все-таки милый и наивный парень этот Ушатиков! Он, кажется, извиняется передо мной?»

— Поймите, Ушатиков, я никуда не убегу, это для вас главное! Никуда не убегу! И бежать некуда!— сказал быстро Никитин.— Остальное не имеет значения. Верите мне? Или не верите?

— Да разве не верю я вам, товарищ лейтенант?— ответил Ушатиков с оторопелым согласием, но в голосе его пульсировало недоверчивое изумление.— Не знал я, совсем не знал, что с немкой у вас...

— Это важно, Ушатиков, очень важно. Я должен с ней поговорить. Сейчас поговорить.

И, чиркнув зажигалкой, он посмотрел в проем лестничной площадки, перешагнул порог, подошел к закрытой двери напротив, увидел — на ней розоватыми блестками задвигался отраженный свет,— постучал тихо, слегка прикасаясь пальцем, произнес шепотом:

— Emma, komm zu mir [1].

Однако там, за дверью, не отозвались, не было слышно ни шелеста, ни шагов, ни человеческого дыхания, нерушимая пустота ночи таилась в комнате, и Никитин постучал повторно и громче, опять позвал шепотом:

— Эмма, это я... Вадим, Эмма...

Вдруг невнятное шевеление, не то всхлипывание, не то вскрик послышались где-то внизу. Потом от самого пола неразборчивый этот шорох робко пополз вверх, убыстренней толкнулся к замку, но не сразу звякнул, заколебался в потянувшем по лестнице теплом сквознячке — и через щель приоткрытой двери свет тускловато загорелся в испуганных, огромных глазах Эммы, на ее волосах, неопрятно, длинно висевших вдоль одной щеки. Пальцы ее лежали на ключицах, будто зимним холодом обдало из коридора, и все беспомощно искривленное дрожанием пухлых губ, бровей, заплаканное ее лицо показалось Никитину в тот миг больным, обреченным, некрасивым, и с мукой полунемого, подбирая немецкие слова, он проговорил в отчаянном поиске нужного смысла:

— Emma, alles... alles... alles gut...[2].

У нее как-то ослабленно запрокинулось назад лицо, выгнулось горло, она мотнула головой, заплакала, вскрикивая, шепча:

— Herr Leutnant... Vadi-im! Alles sehr schlecht, sehr schlecht [3].

Бензин выгорал на фитильке зажигалки, пламя осело, немощно затухло, Никитин с поспешной резкостью нажал на колесико, брызнули искры, фитилек затлел багровым пятнышком, наконец пыхнул капелькой пламени и окончательно сник. Никитин выругался:

— Черт возьми, бензин кончился!

— Товарищ лейтенант... у меня есть,— забормотал рядом Ушатиков.— Возьмите...

Он взял зажигалку, на ощупь трофейную, австрийского производства, какие появились во взводе еще до Берлина,— крохотный артиллерийский снарядик,— и разом приостановил себя, не зажег ее и, словно забыв о потерянном праве принимать решения в своем положении, вполголоса проговорил с утверждением найденного выхода:

— Лучше будет поговорить в моей комнате. Так будет лучше, Ушатиков. Если что-нибудь... или приедет Гранатуров, сообщите... кашляните громче. Не хочу подводить вас. И не подведу. Вы понимаете? Понимаете?

И Ушатиков заговорщически и жарко зашелестел в темноте:

— Товарищ лейтенант, отсюда я каждый шумок снизу слышу. Слух у меня собачий. Не сумлевайтесь. Ежели что, посигналю.

— Эмма...— шепотом повторил Никитин и без света зажигалки (не хотел, чтобы Ушатиков видел их лица) раскрыл дверь в ее комнату, где молча стояла она, нашел, скользнув по теплому бедру, тонкую кисть ее опущенной руки, встречно и цепко впившуюся в его пальцы, осторожно повлек за собой:— Emma, komm zu mir! Komm zu mir! Ruhig, Emma!..[4].

— Vadi-im...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Как только Ушатиков закрыл за ними дверь и повернулся ключ в замке, они с такой нетерпеливой, горькой жадностью кинулись друг к другу, с такой молодой неистовостью сжали друг друга в объятиях, томительно и неутоленно ища губы, что она, тихонько плача, задохнулась, все еще повторяя вскриками между поцелуями: «Vadi-im, Vadi-im...» А он, ощущая

---

[1] Эмма, иди ко мне.
[2] Эмма, все... все... все хорошо.
[3] Все очень плохо, очень плохо.
[4] Эмма, иди ко мне! Иди ко мне! Тихо, Эмма!..

вкус Эмминых слез, спутанных волос на щеках, тоже с трудом отрываясь от ее ищущего мягкого рта, шептал какой-то непонятный самому нежный туман слов, соприкасаясь дыханием с этим теплом неровного, еле переведенного ею дыхания, и как бы вдали от всего, рассыпанными искорками, верховым ветерком проходила в голове отрешенная мысль, что бы ни было, что бы с ним ни случилось, он ничего не в силах был поделать, ничего не мог остановить. Его неодолимо тянуло вот к этим ее губам, слабому протяжному голосу, к ее улавливающим каждое его движение глазам, точно очень давно, забыто встречался и знал это ощущение где-то, знаком был с ней...

— Эмма, милая,— прошептал Никитин, не отпуская ее, стараясь увидеть и не видя в потемках близкое лицо.— Что же это? Как же это? Ты и я? Я русский офицер, ты немка... Ведь я не имею права, Эмма, милая... Я думал, что все просто так... как бывает вообще, знаешь? А это не так, не так, Эмма...

Она вытерла слезы о его щеку, охватив пальцами его затылок.

— Vadi-im, ich sterbe... Ich liebe dich. Ich liebe dich von ganzen Herzen. O, was wird mit uns weiter? [1].

Он помнил эти «wird» и «weiter», ему не однажды встречалось металлическое «mit uns» — клеймо на немецком оружии («Gott mit uns» [2]), и понял, что она спросила.

— Если бы я мог знать, что будет,— заговорил Никитин, произнося слова то шепотом, то вполголоса.— Если бы я знал, куда отправят меня, все равно, что мог бы я сделать и что могла бы ты сделать? И что вообще делать?— Он запнулся, он как в забытьи говорил по-русски, но сейчас же поймал в памяти знакомую по школе фразу из Гейне:— Ich weiß nicht, ich weiß nicht!..[3]. — Она молчала, держа пальцы на его затылке.— Ты здесь, в Кёнигсдорфе, а я в Москве, в России... И мы воюем с вами, с немцами. Если бы ты жила в России, если бы я тебя встретил в России. Я, наверно, такую, как ты, хотел встретить... Я, наверно, люблю тебя, Эмма, люблю тебя, понимаешь меня, Эмма милая?.. Я наверно, люблю тебя...

— O, Vadi-im, mein Lieber... Warum Rußland? Warum? [4].

Эммины пальцы дрожаще сбежали с его затылка, и все тонкое, ощутимое под руками тело ее выгнулось назад, соскользнуло вниз, она опустилась на пол, прижимаясь лбом к ногам Никитина, а он, немея в стыдливой растерянности, рывком поднял ее и с такой нежной силой стиснул, обнял за спину, что покорно подавшееся ему ее хрупкое тело сладкой исступленной мукой слилось с его грудью и коленями. Они стояли так в оцепенелом объятии, и он, будто бездонно погружаясь в предсмертный туман, губами хотел проникнуть в эти подставленные, солоноватые, овлажненные слезами губы, бессловно объяснить, передать ей то, что она еще не умела почувствовать.

— Эмма, Эмма,— повторял Никитин, чуть откидывая ей голову, отводя длинные растрепанные волосы со щек, чтобы заглянуть в лицо, светлеющее перед ним,— ты прости меня, что так получилось. Я не знал, что так будет. Я думал совсем другое, когда ты вошла тогда утром. Я, конечно, виноват. Я не знаю, кто из нас виноват. Нет, не в этом дело, не в этом дело...

— Vadi-im, ich liebe dich, ich liebe, ich liebe!..

Она все теснее, все крепче сцепливала его шею, дрожа коленями ему в колени, потом ноги ее обессиленно подогнулись, и с легким вскриком она потянула его вниз упругой тяжестью, словно вместе с ним падая на пол в изнеможении благодарности, восторга и страха от непонятных русских слов, от этого ответного, искреннего его порыва к ней, хотела доказать послушную преданность ему. И в обморочном звоне пустоты она шептала, увлекая его куда-то своими тянущими книзу руками:

— Vadi-im... Mein Lieber... Vadi-im...

А он с замутившимся сознанием, подчиненный ее намерению последней нежности, ее растянутым шепотом, вдруг подумал туманно, что в нескольких шагах, на лестничной площадке, возле двери, стоит, охраняя их, Ушатиков, что невозможно, нельзя забыть об этом, и, уже отрезвленный, удерживая Эмму за отклоненную спину, сжал плечи ей, заговорил и еще услышал пропадающий в глухоту темноты голос:

— Эмма, мы сейчас не должны. Этого не нужно нам сейчас делать. Мы просто должны поговорить. Эмма, сядь сюда. Вот сюда, на подоконник. Здесь будет удобнее.

Он обнял и подвел ее к окну, но когда подсадил на подоконник, она, должно быть, не поняла, что он готовился сделать и поймала, ласково притиснула его ладонь к своему обнаженному гладкому колену и так начала тихо сдвигать к бедру тонкую материю платьица. И, не отнимая руку, оправдывая самого себя, он стал целовать ее раскрывшиеся замершим ожиданием губы и даже зажмурился опять в затуманенном порыве отчаяния, не зная, что происходит с ним и с нею.

— Эмма, Эмма...

— Vadi-im, ich liebe dich, ich liebe...

— Послушай меня, Эмма,— проговорил Никитин, как в волнистом текучем дурмане.— Здесь произошло то, что тебе не нужно знать. Ты не имеешь к этому никакого отношения. Ты ни в чем не виновата. Ни в чем. И бояться тебе нечего. Понимаешь? Я должен уехать... то есть, меня утром не будет здесь. Но так уж случилось. Я очень любил лейтенанта Княжко. Со мной, черт знает, что случилось. И я тебя, наверно, теперь не увижу. Как и почему я могу опять попасть в Кёнигсдорф? Никак, я не знаю! А в штрафном нужно еще выжить, там все сначала. Но пусть бы... Хуже, чем было в Сталинграде, на Днепре или в Берлине не будет! И я знаю, что война кончается. И я никогда не попаду в Кёнигсдорф! Понимаешь? А я... я люблю тебя, Эмма. Я чувствую... и не знаю, что делать. Вот что случилось, Эмма... Я не знал, что так будет...

— Vadi-im! Ich verstehe nichts! Wozu Stalingrad? Wozu Berlin? [5].

Она склонилась с подоконника и зачем-то вжалась носом в его нос, а ее волосы щекотали подбородок Никитину прикосновением теплой свежести, и овевало сладковатым, неотделимым от нее запахом того первого утра, когда с чашечкой кофе на подносе она вошла, робея и притворно улыбаясь непонимающему его взгляду.

— Wozu? Wozu? Sprich Deutsch! Ich verstehe nichts![6]

— Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, — выговорил Никитин всплывшую в памяти выученную фразу.— Помнишь, я вспоминал стихи, которые зазубрил в школе. Кажется, в восьмом классе. Я хотел получить тогда «отлично» по немецкому языку. Но ты не знаешь эти стихи. Гитлер сжигал книги Гейне на костре. Я знаю, вас заставляли читать только Гитлера. «Mein Kampf»...

— Hitler? — вскрикнула Эмма и уткнулась лбом ему в грудь.— Hitler ist ein Wahnsinniger! Das ist ein böser Alpdruck! So sagte mein Vater, als Hitler den Krieg gegen Rußland losbrach. Aber wenn nicht dieser furchtbarer Krieg, so wäre ich dir nicht begegnet! So wärest du nicht nach Königsdorf gekommen. Verzeihe mich, wenn ich ungeschickt gesagt habe![7]

— За что ты просишь извинения? — проговорил Никитин, поняв в ее торопливой речи лишь отдельные слова.— Война от тебя не зависела. И не зависела от меня, Эмма, послушай...— Он снова чуть-чуть отклонил ее голову, заглядывая в переливающиеся влагой ее глаза.— Я не сказал тебе главного. Мы с тобой... завтра уже не увидимся. И я не хотел бы, чтобы ты думала не так, как надо. О том, что было. Я тебя очень люблю, Эмма. Ты к войне не имеешь отношения. Нет, конечно, ты имеешь отношение, но это совсем другое. Ты меня понимаешь? Это совсем другое...

— Sprich weiter. Um Gottes Willen, sprich! [8] — попросила Эмма и легонько потрогала кончиком пальца его губы, точно так — одним осязанием — улавливая и отгадывая смысл фраз.— Vadi-im, ich höre. Du mußt Deutsch lernen, und ich werde Russisch lernen[9].

— Я очень хотел бы, чтобы ты поняла. Подожди, я буду говорить медленно, по словам. Я хочу — ich will... чтобы ты поняла... Нет, забыл, как это по-немецки... хотя бы одну фразу: «Я буду тебя помнить». Как по-немецки «помнить»? Vergessen — забыть. Nicht vergessen, nicht vergessen! Понимаешь?

— Nicht vergessen? — повторила она и вся вытянулась к нему, приблизила светлеющее в темноте лицо, а невесомым кончиком пальца то нажимала, то отпускала его нижнюю губу.— O, Vadim! Lerne Deutsch, lerne Deutsch. Russisch, Deutsch... Warum so? Ein Moment, Vadi-im... Komm, Vadim![10].

Опираясь на его плечи, она спрыгнула с подоконника и затем упорно повлекла его за руку куда-то во тьму мансарды, в угол комнаты, там он, задержанный ее шепотом, предупреждающим «тсс», наткнулся, задел ногой стул, загремевший о тумбочку письменного столика. На этот стол после размещения взвода в доме он впервые обратил внимание, увидев на нем пластмассовый чернильный прибор, толстую оплавленную воском свечу, прикрытую колпачком, целлулоидный стаканчик, наполненный разноцветными карандашами, несколько учебников, по-школьному сложенных стопкой,— только потом он узнал, что эта комната, занятая им, была комнатой Курта.

— Vadim, nimm Platz. Bitte, lies, mein Lieber[11].

Но Никитин сразу не сообразил, зачем она потянула его сюда, в угол мансарды, именно к письменному столу Курта, для чего она принялась искать что-то здесь, в нетерпении выдвигая ящики, шурша в них бумагой; потом зажглась спичка. И спичка веселым розовым костерком осветила сложенные лодочкой ее ладони и ее глаза, пристально блестевшие перед его глазами: «Vadim, nimm Platz». Он догадался, молча пододвинул стул и сел, костерок спички дотянулся в лодочке ее ладоней к свече, вплавленной посреди воскового нагара, червячок фитилька вытаял, принял огонь, и Эмма со вздохом опустилась на подлокотник старого, потертого бархатного кресла около столика, задула спичку, исподлобно взглядывая на лист бумаги.

— Vadim, Russisch, Deutsch.— Она закивала.— Bitte, ich schreibe Namen: Vadi-im, Emma...[12].

Он смотрел в наклоненное лицо Эммы, на карандаш, очень четко и крупно выводивший немецкие буквы его имени,— видел край брови, прикушенные губы, крапинки веснушек вокруг немножко вздернутого нос а, видел, как под словом «Vadim», она нарисовала звездочку, замкнула ее кружком, возле написала «Rußland», затем на другом конце листа под словом «Emma» начертила кружок поменьше с микроскопической точкой внутри, написала под ним «Königsdorf». провела линию, соединяющую их имена через белое пространство бумаги, и на линии этой вывела три слова: «Ich liebe dich».

— Übersetze [13], — попросила она.

— Я люблю тебя,— ответил Никитин.

Она повернула к нему лицо, улыбнулась, осветив лучисто-радужной синевой глаз, протянула ему карандаш.

— Schreibe Russisch.

И Никитин написал рядом с ее фразой:

— «Я люблю тебя».

Она долго, внимательно разглядывала русские буквы, ноготком водя по бумаге, потом начала сравнивать немецкие и русские слова, спрашивая его нетерпеливым шепотом:

— Ich... und Russisch?

— Я,— ответил Никитин.

— Liebe?

— Люблю.

— Dich?

— Тебя. «Ich liebe dich».— «Я люблю тебя». Повтори, Эмма. Я — люблю — тебя.

---

[1] Вади-им, я умираю... Я люблю тебя. Я всем сердцем люблю тебя. О, что будет с нами дальше?

[2] «С нами бог».

[3] Я не знаю, я не знаю!..

[4] О Вадим, мой любимый... Почему Россия? Почему?

[5] Вадим, я ничего не понимаю! При чем тут Сталинград? При чем Берлин?

[6] При чем тут это? При чем? Говорн по-немецки! Я не понимаю ничего!

[7] Гитлер? Гитлер — сумасшедший! Это дурной, кошмарный сон! Так сказал мой отец, когда Гитлер начал войну с Россией. Но если бы не эта страшная война, я бы тебя не встретила! Ты никогда бы не попал в Кёнигсдорф. Прости меня, если я не так сказала!

[8] Говори дальше. Ради бога, говори!

[9] Я слушаю. Ты должен учить немецкий, а я буду учить русский.

[10] Русский язык, немецкий язык... Зачем так? Иди сюда, Вадим.

[11] Вадим, сядь. Пожалуйста, читай, мой дорогой.

[12] Пожалуйста, я пишу имена: Вадим, Эмма...

[13] Переведи.

— Я лю-у...— повторила она протяжно и медленно, выговаривая слоги: — лью-блью тье-бя.

— Да, я люблю тебя. Я люблю...

— О, Vadim, ich lerne Russisch![1] — Она даже засмеялась, обрадованная, удивленная своей способностью произносить непривычные для нее слова, и показалось — солнечный ветерок пробежал по лицу и сник.— Du fährst nach Rußland. Ich bin traurig. Ich sterbe. Tod[2],—сказала она и двумя вопросительными знаками перечеркнула линию, соединяющую их имена, нарисовала череп с перекрещенными костями и порывисто прильнула к Никитину, потерлась щекой о его висок. А он почувствовал колючее шевеление моргающей ее ресницы.

— Tod,— зашептала она.— Du fährst, und ich sterbe... Tod... Wie Russisch, Russisch?..

— Смерть,— ответил Никитин; ему изредка встречались на фронте названия немецких частей с этим значением: «Todenkopf», «Todenkampfdivision», против которых стояла батарея.— Зачем тебе по-русски знать это слово «смерть»?

— Смерч? — произнесла она, и щекочущая ее ресница, моргая, слегка махнула по его виску.

— Нет, это отвратительное слово, Эмма,— сказал Никитин.— Я его ненавидел всю войну. «Смерть», «гибель», «пал смертью храбрых...» Я не хочу, чтобы ты его запомнила. Лучше запомни другое. Хорошо? Запомни. Я сейчас напишу.

Она, слушая, вглядывалась ему в губы пристально ощупывающими незнакомые слова глазами, перевела взгляд на бумагу, на карандаш, которым он с тайным суеверием быстро затушевывал, уничтожал зловещий рисунок, как символ понятой ею неисправимой безвыходности положения, и на середине листа написал по-русски: «До свидания» и через черточку, слева — давно выученную в школе немецкую фразу: «Auf Wiedersehen».

— Kein Tod. Nicht Tod. Nicht vergessen, nicht vergessen[3], — заговорил Никитин. — Никто ничего не знает. И я не знаю, и ты не знаешь, как все может сложиться. Я на войне умирал несколько раз и не умер. Auf Wiedersehen, понимаешь, Эмма? То, что мы расстаемся,— это не смерть, мы не должны говорить о смерти, когда кончается война. При первой возможности я увижу тебя, Эмма.

Но едва ли наполовину Никитин верил в то, что говорил сейчас.

За три года фронта он научился подчиняться крутым обстоятельствам изменений, внезапности поворотов в судьбе всех и каждого, и не исчерпывалась наивная надежда, чудо вероятности, то есть неисповедимые дороги могли обратно привести его в Берлин, а значит, на час, на два, на сутки в Кёнигсдорф — это еще до конца не исключалось реальностью. Однако вместе с тем он с остротой нарастающей боли отдавал себе отчет в том, что они теперь не увидятся никогда: их разделяли не только обстоятельства случайности, но что-то большее, непреодолимое, сложившееся независимо от них.

— Во что бы то ни стало я постараюсь увидеть тебя, Эмма,— между тем говорил убеждающе Никитин.— Значит, до свидания. Я не забуду тебя, что бы со мной ни было. У нас в России, когда уезжают... когда прощаются, говорят: до свидания... не забывай меня! Вот смотри, я напишу, Эмма.

Он написал «не забывай меня», тут же увидел мерцающие точки отраженной свечи в обращенных к нему глазах, наполненных слезами: она не поняла,— и он схватил ее жалкую своей худой тонкостью руку, с неистовством нежности стал целовать безвольные Эммины пальцы, говоря ей:

— Я хотел бы, чтобы ты знала. Я буду помнить тебя, и ты не забывай меня.

Она слушала и не слушала его, закинув голову, стараясь не показать слезы, и влажная пелена, накапливаясь, стояла меж узких век, опасающихся моргнуть, и тогда он через меру осторожно повернул податливую кисть Эммы ладонью вверх, посмотрел с улыбкой:

— Помнишь?

— Я льюблю тьебья,— сказала она по слогам и, вздрагивая вся, клоня голову, свободной рукой выдвинула ящик стола, вынула чистый листок бумаги и, как носовой платок, приложила к правому глазу, потом к левому, пряча в бумаге лицо. — Was wird mit uns?[4].

— Милая, хорошая ты, Эмма. Я никогда не знал, ничего не знал, не верил. Я ненавидел всех немцев. А знаешь, какими казались мне немки? Или толстыми злыми старухами с хлыстом в руке, или молодые эти... знаешь, садистки с кукольными личиками. И ненавидел. Ненавидел всех... Потом в Пруссии... Ты непохожа на них, ты другая, Эмма, я люблю тебя... — Warum? Warum mußt du nach Rußland fahren?[5]. Вади-им, я льюблю тьебья! О Вадим!

— Что варум? Я не понял, не понял...

Он вдруг выпустил ее руку и с очнувшимся выражением обернулся к двери, прислушиваясь, а она гибко вскочила, отталкиваясь от кресла, ее широко раздвинутые глаза остановились на его лице неподвижным ужасом обреченной на казнь, ладони сдвинулись лодочкой перед шепчущими губами, будто поспешно молилась внутрь себя, заклинала кого-то, кто всезнающе распоряжался судьбой, войной, любовью, но уже мало чем мог помочь и ей и ему.

— Неужели Ушатиков?.. — проговорил хриплым шепотом Никитин.— Что там?

— Товарищ лейтенант...

С лестничной площадки донеслось покашливание, беспокойная возня ногами, и спустя секунды три отчетливый стук и опять голос: «Товарищ лейтенант!» — толчком бросили Никитина в сторону этих ворвавшихся звуков.

— Что там? Что, Ушатиков?

— Быстрей, товарищ лейтенант! Шум внизу какой-то! — засипел Ушатиков и по-кошачьи заскребся в дверь.— Связисты всполошились чего-то. Не пойму пока, чего они там. Не комбат ли приехал?

— Сейчас, Ушатиков, сейчас,— сказал Никитин.— Откройте замок. Сейчас.

А там, на нижнем этаже недавно спящего дома, шум возрастал, возрастали взбудораженные голоса, гулким дроботом пронесся топот сапог, одна за другой захлопали двери, выделился из этого шума, из суматошной беготни чей-то громкий возглас: «Зыкина к телефону! Товарищ старший сержант, боевая тревога! К аппарату, скорей!» И следом резкая, подымающая команда тревоги, явно долетевшая сюда, в мансарду, хорошо знакомая по грозной интонации, пронизала Никитина шершавым морозцем, и в голову пришла первая мысль: «Неужели немцы снова атакуют город?»

Он подбежал к окну, посмотрел на шоссе по направлению леса — ночь шла к рассвету, воздух везде голубовато, холодно посветлел, трапеции созвездий опустились, горели последним изнемогающим блеском в озере, над почерневшей кромкой лесов, и ровно среди темных трав белела за озером ниточка шоссе — все было предрассветно, спокойно, сонно. Было пока тихо и в городке — ни движения, ни команд, ни огонька в окнах. Только внизу, на первом этаже, перекликались, сталкивались голоса, бегали, стучали сапоги, и неутихающий шепот Ушатикова звал из-за двери:

— Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант!

И он сказал глухо:

— Эмма, тебе надо уходить...

Она, поняв, с криком рванулась к Никитину, с такой безнадежной мольбой, коленями, грудью вжалась в него, обхватив шею, пригибая его голову к своему лицу, исступленному, страшному выражением обреченности и страха, так впилась дрожащими губами в его рот, что он почувствовал скользкую влагу выбивающих дробь ее зубов:

— Vadi-im, Vadi-im...

— Эмма, милая... Тебе надо уходить. До свидания, Эмма. Я бы хотел, я очень хотел... Auf Wiedersehen, Эмма... До свидания...

Обнимая, целуя ее мягкие, растрепанные волосы, стискивая до хруста косточек ее обмякшие плечи, он спутанными шагами, преодолевая пространство комнаты, довел Эмму до двери — и больше не помнил ничего ясно: дверь, уже приготовленно открытая на лестничную площадку невидимым Ушатиковым, чернела, зияла отчужденным проемом теплых потемок — и она ушла туда, пропала в этой тьме, поглотившей ее, как непроницаемая глубина вечности.

После он вернулся в комнату, не зная, зачем, сел к столу и, задыхаясь, тупо смотрел на исписанный листок бумаги, на огонь свечи — желтый мотылек пламени распластывался, порхал, бился на одном месте от его дыхания.

По ступеням взбегали, грузно затопали сапоги, раздалась команда на лестничной площадке: «Ушатиков, марш в батарею!» — дверь настежь распахнулась, под сквозняком сильно заколебался, лег язычок свечи — и стремительно вошел Гранатуров, белела на груди чистая марлевая перевязь, лицо непроспанно-сероватого оттенка, в подглазьях темные пятна; но гулкий голос его, раскаленный возбуждением, загудел утробными перекатами:

— Эй, Никитин! Не спишь? Ну, лейтенант, воевать будем или под арестом сидеть? Слышал? Или не слышал? Ну? Что? Что смотришь?

Никитин, ни слова не говоря, мял в пальцах сигарету.

— Что смотришь, говорю? — густо крикнул Гранатуров.— Боевая тревога! Всей дивизии! И нашему артполку! Срочно снимаемся — и форсированным маршем на Прагу! Приданы танковой армии. Я только что из штаба. В Праге восстание против немцев! Все дивизионные рации ночью поймали сигнал о помощи. Чехи восстали и просят помощи! Ясно, Никитин? Идем на юг! В Прагу! В Прагу!

Гранатуров ходил по комнате из угла в угол, громоздкий, взбудораженно-жаркий, даже веселый, казалось; перебинтованная рука покачивалась на перевязи, а Никитин все мял незакуренную сигарету, не вполне сознавая, зачем Гранатуров говорит это ему, как бы вчера отделенному навсегда от войны, батареи, от самого Гранатурова ожиданием совсем иных обстоятельств за черной полосой угрожающе сомкнутого судьбой круга.

— Вот как? А дальше что? Дальше что со мной? — спросил хрипло Никитин и пересел на так и не разобранную днем постель.— Что мне, комбат?

Гранатуров приостановился подле кровати, выкатил свои шальные в красных веках глаза, наклонился и от оглушительного крика его лицо Никитина обдало знобким жаром:

— Все, Никитин! Богу молись! Повезло! Проскочило! В рубашке родился! Из строя только вывел лучшего командира орудия! Богу свечку поставь за то, что не убил! Да, проскочило! Ты ему задел пулей ухо, ранил ухо, понял? Плохо стреляешь из пистолета, хуже, чем из орудия! Хуже! Десять суток ареста отсидишь! Командир дивизии десять суток строгача тебе отпустил! Пожалел тебя, дурака и молокососа! После Праги, после Праги отсидишь! Ясно?

— А зачем жалеть меня, комбат?..— ссохшимся голосом выговорил Никитин, вспотевшие пальцы его влипли в сигарету, и горячо, больно хлынула кровь в виски, перемешивая, комкая, раздергивая мысли жгучей быстротой, словно бы сверкающая карусель повернула его и, размахнувшись на скорости, затормозила, выбросила силой случайности за пределы грозного круга, перехватывая дыхание, вытеснив воздух из груди: «Я не убил Меженина? Я промахнулся? Я ранил его? Десять суток ареста? Командир дивизии... Десять суток после Праги...»

Он молчал — ему не хватало воздуха. Он глядел в потолок, и странное, горько-щекочущее удушье запирало и отпускало его горло, и, сотрясаясь, не в силах справиться с собой, он неожиданно почувствовал, как неудержимо бьет его обрывистый смех вместе с колючими слезами.

— В ухо? Я ранил его? Зачем же это? Эту сволочь... И нужно было!

— Замолчать, Никитин! Истерика? Встань, встань,— скомандовал Гранатуров, гневно оскалив крупные зубы.— Мозги свихнулись? Или взбесился вконец? Встань и очухайся!

Но Никитин сидел на постели, слезы текли по его щекам.

---

[1] Я учу русский язык!

[2] Ты уезжаешь в Россию. Мне грустно. Я умираю. Смерть.

[3] Никакой смерти. Не надо смерти. Не забуду, не забуду. (Искаж. нем.)

[4] Что будет с нами?

[5] Почему? Почему ты должен ехать в Россию?

— Не кричи, комбат,— всхлипывающим шепотом сказал он.— Подожди... сейчас, сейчас все пройдет. Я его ранил? Неужели я его ранил? За ранение в ухо десять суток ареста. Это смешно. Нет, это не истерика. А может быть, истерика. Мне все рано. Что я должен делать?

Гранатуров ходил по комнате, крутыми поворотами срезая углы.

— Во-первых, слушай сюда, если еще что-нибудь соображаешь! — заговорил он и виртуозно выругался:— А, всех вас!.. Не исключено, что на марше тебя потребует к себе командир дивизии. Я доложил командиру артполка, а он доложил комдиву. Вот моя версия — запоминай: тебя, дурака стоеросового, спасал! Сержант Меженин не выполнил твоего приказа, вы повздорили, и ты сгоряча применил оружие, а теперь раскаиваешься. Ясно? Вот это ты и будешь отвечать командиру полка или командиру дивизии. Из-за вас, дуроломов, носить пятно на заднице батареи не намерен! Меженин, между прочим, версию знает, я говорил с ним. В госпитале говорил. Ясно, Никитин? Запомнил?

— Нет, комбат, не ясно,— выговорил Никитин, вытирая слезы на щеках.— Если уж вызовут, с Меженином я объединяться не буду. Я ничего не забыл, комбат. И если он вернется в батарею, кому-нибудь из нас все-таки придется пойти под суд.

— Спятил, Никитин? Да ты знаешь кто? Ты — псих, сумасшедший!.. На кой хрен в батарее мне твои принципы! Белыми ручками и в перчатках хочешь воевать? Где ты найдешь лучшего командира орудия?

— Я не изменю решения, комбат,— сказал Никитин. — Или — или. Даже если вызовет меня командующий фронтом.

— Дьявол бы вас взял обоих с моей шеи! Ух, как вы мне надоели со своим чистоплюйством! — загремел Гранатуров и ударом сапога растворил дверь, прокричал вниз раскатисто мощным строевым басом:— Ушатиков! Оружие, ремень, погоны — лейтенанту Никитину! Молнией сюда! — И мимо плеча глянув на Никитина, прибавил тише:— Примешь пока батарею, а после Праги видно будет.

Внизу, на первом этаже, не утихала беготня солдат, хлопали двери, будто поднялись сквозняки во всем доме, позвякивало оружие, вспыхивали громкие голоса, и во дворе и на улицах городка, налитых прозрачной синевой весеннего рассвета, заработали с пофыркиванием, с подвыванием моторы машин, и разнеслась под окном команда старшего сержанта Зыкина:

— Передки на батаре-ею!..

— Будет видно,— сказал Никитин.— Только последнее: мне нужно, комбат, отлучиться на три минуты.

— Куда?

— Это мое личное дело, комбат.

Продолжение следует.

БЕРЕГ

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки И. ПЧЕЛКО

Часть третья

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Глубокой ночью Никитин спустился в бар за сигаретами и, возвращаясь, уже выйдя из лифта в длинный коридор своего этажа с единообразными серыми прямоугольниками дверей, вдруг почувствовал, что забыл или не запомнил четырехзначную цифру занятого им номера,— и все эти размытые коридорным полусумраком двери представились ему совершенно одинаковыми. Он помнил, что, уходя, оставил включенной над постелью маленькую лампу, уютно и как бы стыдливо обернутую зеленым абажуром-юбочкой; и, хорошо помня об этом ориентире, наугад дважды толкнулся в незапертые комнаты с надеждой увидеть огонек ночника над кроватью, но там не горел свет, и душная, пахнущая синтетическими коврами темнота обдала его храпом, стонами, бормотанием спящих людей. Он минуту постоял, готовый иронически посмеяться над нелепостью положения:

«Н-да, чрезвычайно занятно, что называется — заблудился в трех соснах...»

Спал весь отель, и вдоль слабо освещенного пригашенными бра коридора призрачно темнели на бесконечной дорожке вереницы женских и мужских туфель, выставленных сюда для утренней чистки этажной прислугой.

«Славу богу, ботинок я не выставлял. Значит, здесь»,— подумал Никитин перед номером, где не было обуви, не без облегчения нажал на полированную ручку и теперь, не испытывая ни малейшего сомнения, шагнул в комнату.

И сейчас же в заминке остановился — яркий свет люстры и зажженных торшеров соединенным потоком хлынул ему в глаза; запахло пряным; от круглого журнального столика, заставленного бутылками, над которыми слоился сигаретный дым, настороженно обернулись двое мужчин, одетых в вечерние костюмы — черные галстуки выделялись на белых рубашках. Один, высокий, прямой, с иссиня-выбритым костлявым лицом, встал, устремленно подошел вплотную к Никитину, всматриваясь неузнающими глазами, затем пьяно и косноязычно сказал что-то на неизвестном немецком диалекте и, усмехаясь, кивнул на женщину, совсем молоденькую, совсем девочку, с короткими волосами, лежавшую на кровати поверх одеяла, полураздетую; сигарета дымилась в откинутой руке на подушке.

— Entschuldigen Sie bitte,— выговорил необходимые слова извинения Никитин и попятился в коридор, будто выталкиваемый прочь из номера хрипловатым женским смехом, и дверь захлопнулась.

На всем этаже стояла тишина, мертвенная, бескрайняя.

В полном безмолвии отеля он опять постоял несколько минут, уже с досадой, раздражением хмурясь, еще почему-то не разубежденный в том, что его номер именно и есть тот номер, в котором сидели двое неизвестных людей, а это походило на какое-то сумасшествие.

«Что за чушь! Они не могли быть в моем номере! Двое мужчин... и с ними женщина? Не может быть этого!»

Но в то же время его начинало охватывать почти необъяснимое чувство страха, подсознательного и неотвратимого, как во сне.

И это было точно такое же чувство, какое он пережил четыре года назад в осеннем неуютном Чикаго. Поздним вечером после какого-то приема, моясь в ванной своего огромного, мрачноватого, расположенного на шестнадцатом этаже номера, он сквозь шум воды расслышал двойной щелчок повернутого в замке ключа, тихое движение, легкий шорох и, быстро подняв голову, вздрогнул, покрываясь колючим ознобом: в раскрытую дверь ванной осторожно ступил какой-то длиннолицый незнакомый человек в намокшей шляпе, проскользнул по косяку плащом, осыпанным каплями дождя, и застыл черной фигурой на пороге, держа одну руку в кармане.

От страшного крика Никитина: «Кто вы? Какого черта вам здесь нужно?» — человек этот, кривясь ртом, качнулся бесплотным привидением назад и растаял, исчез, вроде его и не было. И тогда, ничего не понимая, выключив воду, роняя клочья мыльной пены, Никитин подбежал к входной двери, тщательно проверил замок, ощупал ключ. Замок был заперт на два поворота. Потом, не без подозрительности осмотрев номер — даже складки портьеры, бельевой шкаф, узкое пространство под кроватью, он выглянул в коридор, по-американски широкий, пусто освещенный из конца в конец,— там никого не было. И в тот миг, унимая биение сердца, он уверял себя, что ему все привиделось, показалось, что это тихое внезапное появление неизвестного человека в плаще могло быть только галлюцинацией, результатом долгого напряжения нервов. Ведь он отлично помнил, что, придя в номер, закрывал на два поворота ключа дверь, прочитав карточку-предупреждение, положенную, по-видимому, администрацией отеля на подушку: «Перед сном не забудьте закрыться на ключ». Никитин, однако, не мог успокоиться мыслью, что это была галлюцинация,— нет, он реально различил четкие щелчки ключа в замке, шорох плаща и ясно видел на пороге того человека, вошедшего в ванную, его шляпу, мокрый плащ, черты его бритого лица. «Кто это был? Зачем? В двенадцать часов ночи!..»

И Никитин, расстроенный, подавленный отвратительным лохматым страхом, без сил лежал в тишине своего пропахшего сигаретным дымом номера, погруженного в ночную неподвижность чикагского отеля, вновь вспоминая лицо человека, застегнутый плащ, увиденные им до мельчайших деталей. Потом он все же пришел к трезвому выводу: тот человек в плаще, наверное, будучи демоном надзора, получил неточную информацию о времени прихода Никитина в отель, что было вероятнее всего; невероятным же было то, что, слыша шум воды из номера, он живым привидением вошел, возник зловещей фигурой в ванной, как патологический убийца, маньяк из фильмов Хичкока — подобное действие Никитин объяснял элементом чисто психическим.

А позднее целую неделю его мучило и не покидало ощущение, похожее на непрекращающуюся зубную боль.

И сейчас, оглядываясь посреди пустынного коридора спящего немецкого отеля, среди нескончаемо унылого лентообразного кладбища женских туфель, мужских остроносых полуботинок, темневших у сплошь закрытых дверей, он вдруг с тою же тянущей болью ощутил свою заброшенность в накрытом тьмой, погибшем и погасшем мире, как будто навечно остался один в этом давно вымершем отеле, где, казалось, много лет не было никаких признаков человеческого дыхания и лишь напоминанием о когда-то живших здесь людях тянулись эти нетленные молчаливые вереницы туфель в безлюдном пространстве коридора.

«Очень интересно! Что мне приходит в голову? Сумасшествие так начинается или как-нибудь иначе?» — подумал Никитин и сжатый нарастающей тоской, одержимо подчиненный единственной мысли — скорее, скорее найти свой номер, уйти скорее из этой мертво давящей пустыни коридора,— он толкнул первую дверь справа, возле которой не было обуви, и тотчас навстречу ему густо пахнуло горячей темнотой, запахом лаванды, смешанным с запахом голого тела и влажных простынь.

«Нет, не этот! Какой же идиотизм!» И он, зло смеясь над собой, в растерянности, уже близкий к отчаянию, торопливо и решительно налег рукой на следующую дверь, но дверь эта не поддавалась: она была заперта изнутри...

Комната Никитина оказалась через два номера.

Когда он вошел и увидел знакомый огонек абажурчика юбочкой, покойно распространявший в полумрак зеленоватый ровный свет над постелью, отвернутую им перед уходом теплую перину-одеяло в белоснежном пододеяльнике-конвертике, свои вещи на письменном столе, свой чемодан на деревянной подставке и развернутый на подушке, весь сияющий зеркальным глянцем цветных фотографий «Штерн», что просматривал ко сну,— когда Никитин увидел все это, свое и чужое,

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 12—20, 22—24.

он с раздражением вытер испарину со лба и начал ходить по номеру, вслух ругая себя за неожиданную, глупейшую нелепость, за тот приступ неопределенного страха, пережитого им только что.

«Страх? Почему страх и даже ужас одиночества охватили меня там, в проклятом коридоре?» — необлегченно думал Никитин, бегуче глядя на мебель и предметы в комнате — на этот просторный бельевой шкаф, в котором, чередуясь, по неделям висели, оставив соединенные запахи, чьи-то костюмы, рубашки, галстуки, как сейчас висит и его костюм, на эту широкую двуспальную кровать с чистейшим, хрустящим бельем, где до него, Никитина, лежали, спали, храпели, целовались сотни или тысячи незнакомых ему людей, пахнущих лавандой, пóтом, кельнской водой, коньяком, сигаретами, губной помадой. И эту кнопку ажурной ночной лампочки нажимало множество чужих пальцев со следами вина, журнального цинка, противозачаточных таблеток, денег, которыми расплачивались за такси, за ужин в ресторане, за любовь женщин, приведенных в номер.

И Никитин почувствовал отвращение к этому сгущенному воздуху номеров и отелей, где невидимо оставались следы жизни разных людей, пришедших и ушедших, мнилось, в небытие, освободив другим маленькое и временное место на земле,— пропахшие чужими запахами бельевые шкафы, кровати и умывальники.

Никитин шагал по комнате, потирая грудь,— там остренькими лапками дрожал, бился в паутинке паучок бессонной тоски, испытанной им за границей не однажды...

Закуривая сигарету, он наконец подошел к телефону, нашел в записной книжке номер Самсонова (комнаты были рядом, но номерами на всякий случай они обменялись), позвонил, не скоро услышав заспанный голос, всполошившийся в трубке: «Это кто? Что? Вадим?»,— с извинениями за звонок ночью попросил его, если нетрудно, зайти на минуту к нему. «Да что случилось? Серьезное? Да сколько времени-то!» — загудел с сопением Самсонов, и звук его сонного голоса был почти родным, успокоительным, как замерцавший огонек в серой ночной беспредельности.

— Очень прошу, Платоша, зайди.

Минуты через две Самсонов без стука вошел в номер; просторная полосатая пижама топырилась на полнеющем животе, босые ноги в домашних шлепанцах, лицо помятое, на щеке красная полоса от подушки — все говорило о том, что он не мучился бессонницей, спал крепко в своем номере и, разбуженный, был раздосадован и удивлен неурочным звонком.

Самсонов грузным телом упал в кресло, хмыкнул, навел близорукие моргающие глаза на Никитина, спросил:

— Да ты знаешь, сколько времени-то? Третий час ночи. Бессонница? Димедрол есть? А ну-ка, попробуй.

Он извлек из кармана пижамы пакетик димедрола, вытряхнул на ладонь таблетку, налил в стакан минеральной воды.

— Прими. Даю гарантию. Проверено.

— Не то, не то, Платоша, совсем не то,— сказал Никитин и, потушив сигарету в пепельнице, зашагал к ванной, принес оттуда два пластмассовых стаканчика, подхватил с письменного стола бутылку коньяку, начатую в день приезда, плеснул в стаканчики, излишне весело предложил:— Давай лучше армянского. Вроде так — повнушительнее. И лечебнее.

— Это как понимать — посередь ночи? С какой стати разгулялся? За этим ты меня и разбудил? Эдак мы сопьемся с тобой за границей, дорогой друг и учитель! Не пошел ли ты в разгул на загадочных радостях?

— А, будь здоров, поехали, Платоша!

Никитин выпил, зажевал осколочком печенья, вытянутым из разорванной пачки, походил из угла в угол по номеру, постоял у окна. В колени дышало сухим теплом, пощелкивало электрическое отопление, осенняя ночь липла к стеклам сырой теменью, стучали набегом редкие капли, малиновый отблеск рекламы туманно разбрызгивался по мокрому тротуару на углу каменной улицы. Была глухая пора дождливой ноябрьской ночи в этом неприютном и огромном Гамбурге с неизвестной жизнью, точно опущенной сейчас в ненастную, просырелую мглу,— и то, что десять минут назад, бродя меж закрытых дверей длинного, серого, тусклого коридора, он ощутил себя одинокой песчинкой в вымершей навсегда пустыне, и то, что никак не исчезало ошеломляющее чувство узнавания, вины, неудовлетворения, необъяснимого стыда после разговора у госпожи Герберт, вызывало насильное желание оборвать, забыть, прекратить все и вернуть прежнее заграничное состояние не обремененного привычными обязанностями человека.

Но этот настрой не приходил, и глоток ожигающего коньяка и приход Самсонова не помогли ему, хотя чем-то домашним, обволакивающим повеяло от неуклюжей фигуры, заспанного его лица, от его комнатных шлепанцев на босу ногу.

«Как ему сказать, что у меня началось? — подумал Никитин, нахмуриваясь, и сел в кресло напротив Самсонова.— Как ему сказать?»

— С твоей бессонницей в алкаша превратишься,— проворчал Самсонов, нехотя пригубил пластмассовый стаканчик, смочил губы и крякнул.— Ну, что? Что загрустил, Вадик? — спросил он ворчливо и пошаркал шлепанцами, расставил толстые, обтянутые пижамой колени.— Об чем задумался? Об чем мысли? Ничего не стряслось? По какой причине тебя задержала у себя эта богатая госпожа? Если, конечно, не секрет. Делал автографы, или вели шумные беседы об искусстве? А ты знаешь, она еще, так сказать, ничего...

— Что «ничего»? — Никитин хрустнул пальцами, глядя в потолок.

— Ну, фигурка, глаза, седые волосы или покрашенные, бог его знает, сейчас это модно, в общем, что-то есть... Довольно-таки привлекательная еще немочка, хоть и не первой юности.

Самсонов снова смочил коньяком губы, наморщил брови, потянулся к разорванной пачке печенья на тумбочке и договорил не без иронии:

— Смотри, Вадимушка, держи ухи востро — околдует, очарует русскую знаменитость, и — опять же что? — пострадает отечественная словесность. Изнасилует, согласно западной сексуальной революции. Не опасаешься?

Никитин помолчал, медлительно разминая сигарету, и вдруг с какой-то подмывающей сердитой искренностью спросил:

— Ты знаешь, кто она?

— То есть как это? В каком смысле? Женщина, имеющая частную собственность. Довольно-таки богатая тетя из Гамбурга, видимо, меценатка, окруженная людьми, так сказать, искусства. С демократическим уклоном. Вот и весь пасьянс. За исключением того, чего мы не знаем.

«Стоит ли сейчас говорить все? Он может понять не так, как надо»,— подумал Никитин, как бы сразу останавливая себя перед препятствием, за которым было скрыто его личное, давнее, очень молодое и почти от этого полуявное, словно ускользающий в полудреме теплый солнечный свет на обоях милой далекой комнаты. Но ощущение давнего, юного, такого нереального, что, мнилось, проступило оно сквозь туманные пласты целой прожитой жизни, не его, Никитина, а совсем другого человека, приблизилось к нему сегодня из бывшего когда-то синевато-ясного майского утра, утратив грубую тяжесть прошлых оттенков, едва не затемнивших в конце войны его судьбу наивного в своей мальчишеской чистоте лейтенанта, командира взвода,— нет, позднее той раскрытой чистоты, той неосторожной решительности он уже не испытывал с безоглядной полнотой юности никогда.

— И все-таки ты знаешь, кто такая госпожа Герберт? — переспросил Никитин, ловя взглядом на полном лице Самсонова удивление.— Да, милый Платоша, такое бывает раз в жизни, вернее, не в жизни, а в забытых снах человечества.— Он опять похрустел пальцами, затем, с усмешкой разглядывая темную жидкость, поднял стаканчик, задумчиво договорил:— Давай за золотые сны юности. Мне что-то грустно сегодня, Платоша. Ужасно грустно. Даже тоска какая-то.

— Много пьешь,— заметил Самсонов и, насупленный, прикоснулся краем стаканчика к стаканчику Никитина.— Хоть, знаешь ли, и за сны юности... или там человечества. Но что с тобой, Вадик? Можно сказать, поднял с постели без порток средь ночи, хлещешь коньяк, как на свадьбе, бормочешь невнятный бред. А я — слушай и умней?

— Сон и бред. Именно сон и бред,— ответил Никитин и жадно выпил коньяк.— А скажу я тебе, Платоша, вот что. Не удивляйся, ибо сам не до конца верю, хотя это так. Госпожа Герберт — это некая Эмма, когда-то восемнадцатилетняя синеглазая немочка, с которой я совершенно случайно встретился в конце войны в Кёнигсдорфе. Батарея размещалась в ее доме. А Кёнигсдорф — это дачный, тихонький городок, куда нашу потрепанную дивизию отвели на отдых из Берлина. И перед Прагой. Вот кто такая госпожа Герберт... Не удивлен, Платоша?

Никитин выговорил это с размеренным нарочитым спокойствием, но кустистые брови Самсонова недоверчиво поползли на лоб, он поставил стаканчик на тумбочку, после чего звучно фыркнул губами и носом:

— Ересь научно-фантастическая! Действительно! Ну и что? То есть какая девочка? Какая Эмма? Нич-чего не понимаю! У тебя что — какие-то общения с ней были? Или что?

— Видимо,— сказал Никитин.— Мне было тогда... почти двадцать один. Двадцать шесть лет назад. Это было в мае сорок пятого года.

— Ой ли! Военный фольклор! — вскрикнул Самсонов, взметнув в воздух обе руки и опуская их на колени.— Ты бредишь наяву, Вадимушка, сочиняешь, выдумываешь несусветное! Как можно помнить какую-то девочку, хоть и синеглазую, двадцатишестилетней давности? И что уж такое у тебя было? Да и что могло быть, когда к немцам отношение было ясное!

— Было то, что могло быть, Платоша,— ответил Никитин.— Мы стояли в Кёнигсдорфе дней пять. Второго мая нас вывели из Берлина.

— И та девочка — госпожа Герберт? Господь бог. Ай, Вадимушка, Вадимушка, сейчас ты примешь димедрольчик, запьешь минеральной, укроешься потеплее одеялом, завтра проснешься со свежей головкой, готовый для дальнейших дискуссий.— Самсонов, широко раскрывая рот, завывающе зевнул:— Ава-ва-а... Не отдаешь себе отчет, как все гениально? Прошло четверть века, но ты вспомнил ее лучезарное, прелестное, невинное личико... и впал в меланхолию. Сюжетик восемнадцатого века, Вадим. А я ведь реалист как-никак.

Самсонов закончил зевоту сипловатым смешком, руки его соединились на животе, большие пальцы стали рассеянно постукивать, отталкиваться друг от друга, и нечто снисходительно-сонное появилось на его круглом, аляповатом, без очков лице, в подслеповатом прищуре повлажневших от сладкого зевания глазах.

— Перестань, Платоша, разыгрывать и валять дурачка. Я говорю совершенно серьезно. Ты способен воспринимать что-нибудь, или мне замолчать?

— Мои уши на гвозде внимания, Вадимушка! Только отдохнуть бы тебе...

Никитин курил, смотрел на непроспанного Самсонова, взявшего легковесно-недоверчивый тон, видимо, показывая этим насмешливую досаду к бесполезному разговору среди ночи, после телефонного звонка, прервавшего сон по причине чужой бессонницы,— и смешок, и зевание его, и ироническая непробиваемость начинали тоскливо раздражать Никитина, как и то нелепое бессилие в омертвело пустынном коридоре отеля с кладбищенской вереницей ботинок у дверей.

— Узнал ее не я,— раздельно сказал он, не скрывая возникшего неудовлетворения.— Узнала она. Вероятно, случайно. Разумеется, случайно. По фотографиям в книгах, которые переведены здесь. Собственно, поэтому она и пригласила меня. Да, госпожа Герберт, с которой мы оба с тобой познакомились,— та самая Эмма из Кёнигсдорфа, и это я знаю точно. Теперь можешь валять дурака и острить, Платоша, сколько тебе хочется.

— Ого-го-го, Ва-адик! Ну-ну, знаешь ли!..

Лицо Самсонова сначала распустилось в непритворном изумлении, но сейчас же собралось, теряя заспанную опухлость, близорукие глаза его потерянно сморгнули и до смешного беззащитными и выпуклыми стали.

— Ну-ну, Вадим! Вот оно, значит, ка-ак,— повторил он растянуто, вдохом вздымая грудь под пижамой.— Это ты меня окончательно огорошил, подожди, подожди, что-то я не совсем... Значит, она тебя через двадцать шесть лет узнала и пригласила? И что? Как она тебе это объяснила? Зачем пригласила? Ведь двадцать шесть лет — это уже все, все забыто, туман сплошной. Зачем она оставила тебя сегодня? Ты это можешь мне сказать?

— Спрашивай попроще. Думаю — одно любопытство ко мне.

— Любопытство... У нее? Неужели любопытство? Уверен? А как у тебя, Вадим? Только откровенно, если возможно... Мне что-то странновато было, знаешь ли, когда она начала тебя оставлять у себя. Скажи, у нее что, что-то особое есть к тебе?

— Думаю, нет. Но, представь, сразу вспомнил все. Будто вернулся туда, в сорок пятый. Даже сиренью запахло. В городке цвела сирень и яблоневые сады. Прекрасное было время, несмотря ни на что.

— Подожди, подожди... Как это — «прекрасное время»? Ты сказал, что знал ее несколько дней. У тебя что — серьезно было, что ли?

— Это трудно определить, Платоша. По крайней мере после войны я ее вспоминал не раз. Неужели ты можешь точно объяснить, когда это начинается и когда кончается?

— Ох, Вадим!..

— Что «Вадим»? Что ты хотел сказать?

— Я хочу сказать, Вадюшка, не пей больше коньяк. И... подожди. Не люблю телефоны за границей.

И Самсонов засопел, уперся в подлокотники, вытащил свое грузноватое тело из глубины кресла, отчего расползлись на пухлой волосатой груди отвороты пижамы, деловито потянул подушку с кровати Никитина, накрыл ею телефон на столе, предупредительно сказал:

— Не сомневаюсь: все номера, где останавливаются русские, достаточно озвучены. А мы слишком громко...

— Не уверен,— сказал Никитин.— А впрочем, можно и потише.

— Сейчас, подожди, надо было соображать раньше... Вот жили-были два идиота! Работает твоя бандура? Включал?

Самсонов зашмыгал шлепанцами по ковру в угол комнаты, где стоял на тумбочке приемник, наугад пощупал и принялся нажимать кнопки, они защелками костяным эхом. Потом возникли шорохи, сухой треск разрядов, обычные шумы радиопространства, вырвалась из недр приемника синкопическая музыка, где-то в оглушительной глубине тоненько проплетенная женским речитативным придыханием, неприятным сейчас в ночной тиши номера, и Самсонов после некоторых поисков покрутил рукоятку на шкале приемника, убавил звук, удовлетворенно заключил:

— Теперь договорим. Без свидетелей. Так-то лучше.

— Все знаешь, Платон.— Никитин усмехнулся.— Просто непревзойденный конспиратор.

— В двадцатом веке подобное знает и дурак,— отрезал мрачно Самсонов и зашлепал тапочками, задвигался по комнате, сверкая голыми, сливочно-белыми пятками.— Вот что я должен сказать тебе, Вадим. Все это не очень мне понятно. И не очень нравится мне,— заговорил он в сосредоточенном раздумье.— Вся эта странная лирика, которая уж совсем ни в дуду. Узнала, оказывается, тебя по фотографии, пригласила на дискуссии — что, почему, зачем? Разговоры, милые улыбки, вежливость, потихоньку отъединяет тебя от меня, сует нам деньги. Тебе с реверансом отваливает солидный гонорар, а этот шпендрик от журналистики, господин Дицман, еще вдобавок потрясает чековой книжкой... Не странно ли, Вадим? Давай тогда разберемся,— что и кто мы им? Кто ты ей — фрау Герберт? Господи веси — у всех у нас были молниеносные романчики в войну. Ну и что, прости меня грешного? Да я даже лиц не помню, не то что... А она, видишь ли, помнит. Пять дней виделись — а она, влюбленная девочка, помнит своего завоевателя. Не кажется ли тебе, что белые ниточки торчат?

— Помнить что-либо или не помнить — это, Платоша, твое личное свойство,— перебил Никитин.— Это не аргумент. Какие же ты ниточки имеешь в виду? Разумеется, происки с ее стороны? Или как еще? Неужели ты на полном серьезе?

Самсонов тяжеловато повалился в кресло, низко осевшее под ним, устроился поудобнее на мякоти подушек, и глаза его увлажнились возбуждением. Он выговорил:

— Какой ты, Вадим, смелый, вспомнил себя в двадцать лет возле орудия, фронт вспомнил! Или первый раз за рубеж попал? Нет, меня начинает поражать твоя наивная доверчивость ко всей этой подозрительной возне вокруг тебя, если уж хочешь знать мое мнение! Нет, недаром они крутятся вокруг тебя, и ты знаешь, почему? Меня-то, грешного, они совсем не знают. Я-то для них персона «инкогнито», но ты, так сказать, либеральный, известный и тэдэ и тэпэ, и др-р и пр-р, в их глазах кое-что! Я вижу, как они хватают каждое твое слово, в рот тебе смотрят: а нельзя ли поймать на чем?.. Ты не замечаешь? Может быть, я ошибаюсь? Тогда как все это объяснить? Лирическим экстазом твоей госпожи? Во имя каких причин она пытается нас разъединить? Хотел бы я это знать!

Лоб его свекольно побагровел, одно колено стало нервически подрагивать, отчего затряслась широкая штанина пижамы, и Никитин подумал, что ранимого Самсонова чем-то особо задевало вчерашнее вежливое и обидное отношение госпожи Герберт к нему, случайному, что ли, при своем коллеге, человеку, не вызывающему к себе достаточного интереса,— это, по крайней мере, могло показаться после того, как она разъединила их неожиданно для обоих. Но все же в том, вчерашнем, не могло быть серьезной причины избыточной нервозности, и сейчас ядовитая, упрекающая колкость, прорвавшаяся в тоне Самсонова, начала почему-то взвинчивать Никитина: то, что он прямо и искренне хотел сказать ему, было воспринято не так, как думал и ждал.

— Ты начинаешь злиться на меня, Платон,— сказал Никитин.— Но серьезного повода, кажется, не было. Правда? А то я тоже вскипячусь. И — никакого толку. Нервы у нас у обоих...

Он слегка притронулся своим стаканчиком к забытому Самсоновым стаканчику на тумбочке, миролюбиво пригласил этим жестом допить коньяк, договорил:

— Извини, Платон, что разбудил тебя. Может, отложим этот разговор до утра? Откровенно говоря, было мне как-то не очень... Вроде отошло. Вот теперь усну. Спасибо тебе...

У Самсонова рассерженно подтянулись мясистые щеки, и он крикнул шепотом:

— Послушай, Вадим, за кого ты меня принимаешь? За громоотвод? За Санчо Панса? Да я просто обязан злиться на тебя! Скажи, ради чего я поехал? Ради чего оторвался от работы — с какой великой радости? Более глупого положения не придумаешь! Переводчик при Никитине? Оруженосец? Комиссар? Немцы-то в этом уверены! Кто я при тебе? — Он колыхнулся в кресле, искоса поглядел на приемник, придушенно распространяющий в комнате дробь синкопов.— А тут еще преподносишь такие новости — очертенеешь! Скажу уж тебе совсем откровенно на родном, отечественном русском... Да, на языке родных осин скажу! Немочка, знаешь ли, в сорок пятом, эта милая госпожа Герберт, сюсюканье, и то и се — камуфляж гороховый! Не верю я их улыбкам, ни одному слову их не верю! Что-то они тебя слишком обволакивают, какие-то золотые клеточки раскидывают! Не замечаешь? Не чувствуешь?

И опять, когда произнес он это и по привычке своей плотно скрестил руки на груди, Никитин натолкнулся на необычно ядовитый, влажный блеск в глазах Самсонова, как будто теперь недоставало ему воли сбавить излишний пыл неудовольствия, и как-то стало холодновато, горько, пусто Никитину от этой бессмысленной атаки злости против себя...

Раз между ними было нечто похожее, несколько лет назад. Тогда они сидели в ресторане «Прага», оба изрядно выпив уже, и говорили разгоряченно о военном поколении, которое, несмотря ни на что, наконец пробило брешь, постепенно заняло высотки в литературе — из никому не известных лейтенантов в старшие офицеры,— и Самсонов, только утром приехавший из Ялты, где, как всегда летом, трудно и упорно, выжимая по полстраницы в день, работал над повестью, и все-таки загорелый, еще более потолстевший, вспотев и побагровев после четвертой рюмки коньяка, азартно кричал, что Никитин ткнулся темечком в Олимп, шагнул вверх, вот-вот схватит чин полковника, а он, Самсонов, пока ходит в строевых капитанах, но пройдет месячишков шесть, а может быть, и годик — и все полковники и генералы почувствуют, что остались они детьми...

«Нет, чтобы настоящее делать, Вадик,— говорил он, напирая животом на стол, качая его дыханием,— надо свинец в одном месте иметь — по строчке, по абзацику, по четверти странички в день. Нет, надобно добротный дом строить, чтобы щелки не было, чтобы двери не скрипели, чтоб иголку не просунуть в пазик какой-нибудь. Я скажу о войне всю правду и всю правду о нашем поколении. Вот закончу повесть — и в коротких штанишках вы окажетесь, в коротких штанишках! Жалко мне вас станет! Эх, букашечки-таракашечки, болтаться будете, хваленые прозаики, где-то там под ногами! Тю-тю, где вы там? Вот за это пью индивидуально, чтоб ты запомнил! — И, выпив и боднув воздух взмокшим лбом, взглянул на Никитина через стекла очков, отодвинул в сторону рюмки, тарелки с закусками, упер в край стола локоть, пошевелил пальцами, подобными сосискам, точно одержимый шутливой пьяной яростью.— А ну, Вадим, попробуем, кто кого, м-м? Может, положишь, а? Попробуй! По Джеку Лондону!»

«Ты, по-моему, ошалел, Платоша, после солнечной Ялты,— сказал Никитин и оглянулся на ближние столики.— Представь, что ты меня положил».

«О Вадик, давай по-мужски, я милостыню не беру,— возразил Самсонов и захватил, потянул руку Никитина, насильно установил ее в позицию.— Ну, начали, классик!»

«Ладно, не кричи на всю Ивановскую. Клади, геркулес!»

Не поддаваясь, Никитин изо всех сил сопротивлялся ему долго, но кисть Самсонова, огромная, неудобная для борьбы, потная, стискивала, давила с болью, с железным напором поворачивающегося ворота, ниже и ниже клонила его руку к столу, и он сдался в конце концов, очень пораженный в момент борьбы бешеной и неуклонной настойчивостью, почти враждебным взглядом Самсонова, утратившим вмиг выражение нетрезвой шутки.

«Вот таким образом прояснилось, можем расплачиваться, Вадим,— сказал Самсонов, отпыхиваясь.— Плачу я».

Однако Никитин тоже вынул бумажник и нашел нужным ответить легковесной чепухой, сказал что-то насчет тайных миллионов прозаика Самсонова, делающего широкие жесты, но тот запротестовал обидчиво и бурно, расплатиться Никитину не дал, выложил деньги на стол, добавил безумно щедрые чаевые («И наши гонорары не в дровах найдены, Вадимушка») и затем на стоянке такси простился с Никитиным сухо, наспех, оставив чувство неприятной озадаченности.

Позднее оба не вспоминали о разговоре, о «джеклондонской» борьбе в «Праге», ощущение того самолюбивого вызова заглушилось, стерлось, прошло, и было поэтому сейчас Никитину не по себе видеть здесь, не за столом московского ресторана, а в немецком отеле, ночью это вовсе не к случаю обвинительно-едкое, даже злое выражение на лице Самсонова. «К чему он это, боже мой? Он осуждает и предупреждает меня? Но почему так раздраженно, как будто унизить хочет за что-то?»

— Спасибо, и прости, пожалуйста, перебил тебе сон,— сказал Никитин, и вышла извинительная фраза его несколько натянутой, полуискренней.— Завтра договорим. Как жить дальше. Кажется, пора принять под коньяк твою спасительную таблетку — и гуд бай. Если проснешься раньше — буди, стучи, звони. Спокойной ночи, Платоша.

— Надеюсь, ты понимаешь все? — спросил Самсонов тоном подчеркнутой досады, уставясь на приемник выпуклыми, набухшими глазами.— Я говорил совершенно серьезно.

— Понял абсолютно. До деталей. Я тебе благодарен, Платон. Благодарю за умный совет.

— В таком случае немедленно ложись и вы-

спись как следует. Завтра обсудим все до конца. Я встаю рано — разбужу.

— Спокойной ночи, Платон. Допьем коньяк под таблетку?

— Ой ли! Не фальшивь, Вадим. Мне сейчас не очень нравятся, прости меня, твои неискренние потуги на парадоксы. Будь здоров, по европейскому времени я подыму тебя в семь! — выговорил Самсонов уже возле порога и, шумно, неуспокоенно сопнув носом, вышел из номера.

Стукнула защелка замка. И Никитин, оставшись один, запер дверь, посидел в кресле, заранее мучаясь бессилием, затяжным одиночеством бессонницы, после взял таблетку димедрола, оставленную Самсоновым на тумбочке, запил ее коньяком и стал раздеваться, думая томительно:

«Что ж, разговора, в сущности, не получилось,— оба мы остались недовольны собой и друг другом. Я хотел иного разговора. Но, кажется, он и любит, и ревнует меня, и не может через что-то переступить. Как глупо все, как это идиотски неприятно! Выспаться бы, забыть этот разговор к черту, встать свежим, спокойным, утром увидеть госпожу Герберт — и все станет яснее. Эмма, Эмма? Нет, никак не рассчитывал. Никогда не предполагал! Воистину неисповедимы пути, и мир тесен?.. Неужели госпожа Герберт — та самая Эмма? Что же это со мной?..»

Он разделся, закурил сигарету и перед тем, как лечь, в пижаме, босой, подошел по теплому синтетическому ковру к приемнику, из которого звучала в полутьме, вытекала назойливой струйкой музыка, поискал кнопку выключателя — и тут громкий непрерывный стук в дверь заставил его обернуться, крикнуть:

— Кто там? Ты, Платон? Что случилось?

— Я, открой!

Он, немного удивленный, отпер дверь — неуклюже зацепившись плечом за косяк, взъерошенной глыбой ввалился Самсонов и, хлопая тапочками по голым пяткам, заходил суетливо по номеру, проявляя несоразмерную для своего крупного тела подвижность: он, видимо, возвращался бегом и еще задыхался, говоря настигающим какую-то мысль голосом:

— Вот что я вспомнил, Вадим, вот что: тот немец, этот журналист, главный редактор издательства, как его... Дицман, Дицман... Помнишь, он задал тебе вопрос, будто встречал, видел тебя в Берлине в сорок пятом... Ты вопрос этот помнишь? Когда зашла речь о войне... Ты помнишь все ясно?

— Да, помню.

— И тогда он еще спросил меня, где я воевал. И повторил что-то такое непонятное, несуразное насчет тебя. Ты хорошо запомнил тот странный разговор? С какими-то все было намеками, с какими-то переглядками с госпожой Герберт? Потом он ушел... Этот подозрительный сексуальный философ, который еще чековой книжечкой перед тобой потрясал! Змеиная улыбочка, пальцы, как червяки, нюхает сигареты... Что же за намеки он делал, Вадим? Зачем? Какую цель преследовал? Ты помнишь, как он подвел разговор к тому, что ты не способен убить немца? Это был какой-то льстивый комплимент!..

— Мне? Не сказал бы. Не помню.

— Что «не сказал бы»? Что «не помнишь»?

Никитин присел на кровать, полистал «Штерн», бросил его на подушку.

— Дело в том, Платон, что господин Дицман в войну не встречался со мной, этого я не помню. Но в сорок пятом я встречался с другим немцем — его звали Курт. Он был родным братом госпожи Герберт. Перепуганный всем солдатик, мальчишка сопливый. Рассказывать все — длинно. Конечно, не исключено, что Дицман может что-то знать от госпожи Герберт. Допустимо. В сорок пятом судьба Курта в какой-то степени зависела от одного лейтенанта, моего друга, и меня. Курта взяли в плен уже после Берлина. А вообще, Платоша, не придаешь ли ты всему преувеличенное значение?

Самсонов возбужденно ходил из конца в конец номера и, похоже, плохо видя без очков, натыкался коленями на кресла, на подставку для чемоданов, на низенький журнальный столик; потом он стал возле кровати, и его овлажненные, чудилось, замученные глаза будто впрыгнули в зрачки Никитину.

— Много я видел наивняков, Вадим, но таких, как ты,— нет! Пойми же ты наконец, легкомысленный человек, что мы попадаем с тобой, что называется, в положение двух слепых, играющих в прятки в крапиве! Пойми же наконец, что ты не в России, и здесь может произойти все, что им угодно, как в том кабачке, и пожаловаться будет некому! Здесь, в Гамбурге, консульства даже нет! Боюсь, когда мы своей шкурой полностью поймем, чего хотят этот Дицман вместе с твоей милой госпожой Герберт, поздно будет!..

— Да ты что, дорогой Платоша? — не выдержал Никитин.— Куда тебя в дебри черт понес? Ей-богу, надоели сплошные восклицательные знаки. Твои подозрения имеют какие-го доказательства? О чем ты? Или просто шлея под хвост попала?

«Почему у него стали такие замученные глаза? — подумал он, замолчав.— Глаза древнерусской иконы, скорбящей по поводу нашей общей гибели... Вот сейчас что-то в нем изменилось. Неужели он убежден в том, что говорит, или за его словами скрывается нечто другое — ревность ко мне, как тогда, в «Праге»? Воистину неисповедимы пути... Он создает мнение о людях по первому взгляду, и, в сущности, ему и легче и труднее, чем мне. Ему труднее потому, что он логичен и способен беспощадно вынести приговор. В том числе и мне. Что ж, опять, опять парадоксы?»

А Самсонов двумя руками тер щекастое лицо и говорил твердым голосом найденной убежденности:

— Шлея? Если шлеей ты называешь разумный вывод, пусть будет так, Вадим! А вывод вот какой: как можно скорее уехать отсюда. Это — единственное разумное решение. Как можно скорее! Если угодно,— завтра утром или днем. Заказать билеты — и в Москву. Причину можно придумать любую: стенокардия у тебя или у меня, случилось обострение, перемена климата, что-нибудь в этом роде. Уезжать, немедленно уезжать, пока не поздно. Эт-то уж абсолютно ясно. Иначе увязнем четырьмя лапками, как мухи в меде!

— Что же, Платон,— сказал с усмешкой Никитин.— Или ты не доверяешь мне, или хочешь быть святее папы римского? Что тебе в голову ударило? О чем хлопочешь? Что суетишься? Черт знает что! При твоей комплекции ты должен быть спокоен, уютен, много есть, много пить, улыбаться, приятно острить, включать свое обаяние. А ты напоминаешь быка!

— Послушай еще раз,— проговорил с непреклонной настойчивостью Самсонов, пропуская слова Никитина мимо ушей, и, выставив пальцы, начал загибать их.— Первое, нам надо отсюда немедля уехать, а для этого — предварительно объяснить причину отъезда. Но это пустяки, детали. Второе, я беспокоюсь не о себе, а о тебе. Третье, ты воображаешь, что находишься не в Гамбурге, а в Калуге, что стоит позвонить в райком или в милицию — и все уладится! Так? Или...

— Мы сейчас поссоримся, Платон! Все твои расчудесные домыслы мало имеют оснований, ни в какие двери не лезут! Завтра мы никуда не уедем. Это бессмысленно. Не бросайся в панику раньше времени. Да что, собственно, ты вообразил? Меня опутают здесь господа Дицманы и силой оставят в Западной Германии? Зачем? Смысл какой? Кто я — физик, знающий секреты водородной бомбы? Глава конструкторского бюро? Кому я тут нужен?

— Значит, уеду я один,— выговорил через одышку Самсонов и самолюбиво сузил веки, улыбнулся.— Да, один,— повторил он зло.— Ты этого хочешь?

Никитин лег на постель поверх одеяла, заложив руки под затылок, сказал:

— Ну что ж, уезжай. Ты меня действительно долго предупреждал.— Он сказал это, испытывая отвращение к самому себе оттого, что не сумел притушить разговор, перейти на всегда спасительную иронию, и прибавил:— Во имя чего мы ссоримся, Платон? Стоило ли для этого ехать за границу?

— Перестань! Если бы я тебя, идеалиста несчастного, не любил, мне начхать было бы!.. Нет, без тебя я никуда не уеду, предавать друзей я еще не научился! Еще нет! — выкрикнул Самсонов повышенным голосом.— Но запомни, что я тебя, как подозрительный идиот, предупреждал! И высказал все! Если ты не очнешься — пропадешь! Встряхнись, Вадим, встань ножками на землю! Останови головокружение, а то завтра поздно будет, запомни это!

— Платон, я хочу спать. Таблетку я уже принял.

— А я тебе, субъективному идеалисту, повторяю, повторяю: останови головокружение, друг мой!..

— Платон, я хочу спать. Димедрол я уже принял.

Он не видел, как вышел Самсонов, но слышал, как лязгнул замок двери, потом как приглушенно хлопнула дверь в коридоре отеля, где начиналась ночная пустыня, слабо освещенная тусклыми бра, с прямой полосой беловатой дорожки, уходящей вдоль серых стен в сумрачную призрачность, с этими словно навечно отъединенными от людей, безжизненными вереницами туфель, попарно выставленных за каждым порогом,— ни движения не было там, ни голоса во всем отеле.

А здесь, в душном тепле номера, пахнущего сладковатой синтетикой, потрескивало электрическое отопление, изредка набегал, позванивал дождь по стеклам, и чуть внятный хрипловатый голос певца, перехваченный искусственной страстью, речитативом тек из невыключенного приемника, убеждал некую маленькую Мадлен остановить машину, сесть к нему на колени и расстегнуть пуговички платья,— здесь была кем-то продленная жизнь, непривычная, чужая, неизвестная, и, закрывая глаза, Никитин подумал:

«Почему все же мне так не по себе? Если бы встать, позвонить Эмме, пойти вместе шататься по ночному Гамбургу, под дождем, до утра говорить с ней. Но о чем? Что это решит? Или уехать, завтра уехать? Самсонов в панике, он испуган всем этим. Он слишком много узнал — и не сумел переварить. Чем же это должно кончиться?..»

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Вам нравится в Западной Германии, господин Никитин? О нет, я не так поставил вопрос. Вы не разочаровались в нас, западных немцах?

— Вы хотите услышать прямой и категорический ответ? Если бы я ответил «да», то обманул бы себя, если бы ответил «нет», то обидел бы вас поспешностью, господин Дицман. Без предвзятостей подписываюсь под словами одного умного немца, которые звучат приблизительно так: «Горечь и недоверие страны к стране отравляют израненное тело Европы». Неплохо сказано, правда?

— Цитата? Кто автор? Томас Манн? Ремарк?

— Стефан Цвейг, хороший немецкий писатель.

— К сожалению, Цвейг так старомоден и так давно умер, что уже мало кто помнит о нем.

— Напрасно. Он умер в сорок втором году, а сороковые годы — ближайшая история Германии.

— Западная Германия далеко ушла от сороковых годов. У нас говорят: мы проиграли войну политическую, а выиграли войну экономическую. Вам интересно знать, как случилась эта парадоксальная победа? После поражения рейха союзники стали демонтировать немецкие заводы и по репарациям вывозить из промышленных центров оборудование, но это были старые, господин Никитин, довоенные станки. В период «железного занавеса» между Западом и Востоком Америка начала вкладывать миллионы долларов в разрушенную германскую промышленность, очень широко открыла западным немцам кредиты, ввезла современное оборудование. И таким образом в течение кроткого времени обновила основной капитал, выражаясь по Марксу. Ведь вы — марксист... И наступил бум, что значит — обилие всех товаров, стабильная марка, расцвет экономики... Страшные сороковые годы давно забыты обывателем, он живет в новом измерении, он сыт и не помнит про карточки и эрзацы. Вы видели магазины Гамбурга?

— Да, прекрасные магазины, судя по витринам.

— Господин Никитин, я буду откровенен, я раскрою перед вами карты во имя истины. Западная Германия после войны уже как свинья зажралась, и мозги ее все больше заплывают жиром. Обыватели живут в одурманивающем мире товаров и превращаются в бездушные машины потребления. Разрешите взять у вас одну сигарету? Я бросил курить, но до сих пор мне приятен запах табака.

— Пожалуйста.

— Благодарю вас. Я с удовольствием понюхаю сигарету. Итак, дело в том, господин Никитин, что современные западные немцы слишком много думают о новых моделях «мерседеса», о холодильниках и уютных загородных домиках, и у среднего немца исчезает или уже нет ни высокой духовной жизни, ни духовной веры... Прагматизм подчиняет все. Истоки и модель — Америка. Боюсь, господин Никитин, что через несколько лет Советский Союз тоже зажрется, и у вас тоже исчезнет духовная жизнь: машина, квартира, загородный коттедж, холодильник станут богами, как на Западе. И вы постепенно забудете сороковые годы, войну, страдания...

— Вряд ли. Хотя знаю, что нас тоже ждет испытание миром вещей.

— И испытание верой.

— Что вы называете верой, господин Дицман?

— Ваша вера — коммунистический оптимизм. Вы практики, вы материалисты и идеалисты одновременно, вы еще хотите говорить о человеке, о неких идеалах и смысле жизни, хотя исповедуете древние догмы. А на послевоенном Западе этой веры в идеалы нет, все изверились в евангелическом добре и в человеке, старые боги-добродетели умерли, их нет, и нет, к примеру, уже понятия прежней семьи, любви, брака. На чем, по-вашему, держится современный мир?

— На ожидании и надежде, как я представляю.

— О, понимаю! Русские мечтают держаться на двух китах — всеобщего равенства и ожидания стереотипных равных благ для каждого, в то время как западный мир продолжает держаться на трех китах — спорте, сексе и телевизоре. И есть еще один мерзкий китенок — политика. Хочу заметить, что этот китенок плавает и на Востоке.

— Только два уточнения, господин Дицман. Во-первых, без этого китенка невозможно было существовать ни одному исторически известному нам обществу; во-вторых, не всеобщее костюмное равенство безымянных, одинаковых песчинок, а — я говорю прописные истины — равенство в распределении материальных благ. Думаю, что посредственность, способность и талант всегда будут отличаться друг от друга, если говорить о науке и искусстве.

— Вы, разумеется, против одинаковых песчинок?.. Но большинство человечества — анонимные муравьи, господин Никитин.

— Это — унылый тезис, господин Дицман, по-моему. Я за то, чтобы каждый прошел через обряд крещения и имел свое, собственное имя. В конце концов этот обряд можно назвать самосознанием.

— Вы романтик, что не заметно по вашим книгам. Не согласитесь ли вы, что большинство людей не знают, чего они хотят. Бифштексы? Машины? Телевизоры? В этом истина? В этом конечная цель? Нет, люди сами для себя — инкогнито. Как сделать, чтобы они поверили в самих себя? Революция? Вы, несомненно, стоите на этой марксистской точке зрения... Революция? Классовая борьба? В чем ее

последняя суть? Опять цель — холодильники для всех.

— Революция — это отрицание безнравственности и утверждение нравственности, то есть вера в человека и борьба, и, конечно, совесть, как руководство к действию. А вы сами сказали, что веры и идеалов на Западе нет. Я думаю, что вера — это эмоциональное отношение к надежде и истине. Если ее нет, выхода не вижу...

— Пока выхода нет, господин Никитин... за исключением одного паллиатива — соединить христианство с марксизмом. Я неверующий и в очистительных мессий не верю. Я верю только в этот странный симбиоз — выход для большинства анонимных обывателей. Пусть хоть во что-то верят.

— Вы в этом убеждены? Как же это сделать? Соединить несоединимое? Ведь Иисус Христос своей проповедью бездействия, как давно известно, разрушает человеческую энергию...

— Энергию? Энергию? Вы не договорили фразу: поэтому его и распяли... Вы хотели это сказать, господин Никитин?

— Нет, думаю, его распяли потому, что надеялись — придет второй мессия, который удовлетворит исключительно всех. Но такого не бывает.

— У вас в стране не запрещено говорить таким образом?

— Как видите, я говорю. Но... простите, непонятна причина вашего недоумения. Почему, собственно, в нашей стране это должно быть запрещено?

— Я удивляюсь потому, что у вас много лет был культ личности. Иисус Христос — тоже культ личности. Как и культ Сталина. Он тоже у вас был как бы сыном божьим. Вы молились на него.

— Послушайте, господин Дицман, позвольте мне, наконец, задать вам очень откровенный и, может быть, грубоватый вопрос. Я долго слушал вас, и разрешите все-таки вас перебить.

— Конечно, господин Самсонов! Вы действительно долго молчали, и я с удовольствием готов ответить на любой ваш вопрос.

— Не уверен, что мой вопрос доставит вам удовольствие, господин Дицман. И все-таки, какое вам, откровенно говоря, дело до нашего культа личности? Именно вам? И западным немцам? Что вы можете знать о культе?

— Я не хочу вмешиваться в ваши дела, но вы, господин Самсонов, находитесь в западной стране, где достаточно грязи и пороков, но где вы можете делать и говорить все, что хотите, до определенных пределов, разумеется. Вы не отрицаете наши относительные свободы? Я подчеркиваю: относительные...

— Хм! Парадокс! Тогда почему у вас травили коммунистов и запрещали компартию? Где свобода?

— Это одна из глупостей, которая возмущает и меня. Ни коммунизм, ни нацизм не угрожают Западной Германии. Для немцев достаточно одного коммунизма — в Восточной Германии. Это визитная карточка соседей, и она не всем нравится.

— Чем же она вам не нравится? Тем, что там другая система, которая вам не нравится?

— Тем, что мы живем в некотором смысле лучше, чем восточные немцы.

— А не возможно ли, что они рано или поздно будут жить во всех смыслах лучше вас? Что вы скажете в таком случае?

— Сейчас люди живут одним днем, господин Самсонов. Однако я хочу спросить господина Никитина. Вы тоже отрицаете, что находитесь в демократической стране?

— Мне трудно ответить категорически, потому что у вас я несколько дней. Что же касается прежнего вопроса, то некоторое количество лет назад известный вам маньяк из Мюнхена называл себя вторым Иисусом Христом, мессией, спасителем человечества. От славянской заразы и коммунизма. И пятьдесят шесть миллионов погибло в Европе и Азии. И славян и неславян.

— Не так быстро, господин Никитин, мне, простите, мешает ваш акцент, я понял, но не поймал тонкости вашей фразы. Намекаете на нацизм? На комплекс вины немцев перед человечеством?

— Никакой тонкости здесь нет. И никаких намеков. Я сказал, что веру в спасение человечества и добро можно понимать по-разному: брать злу на вооружение добро и добру — на вооружение зло. Это прекрасно знали еще в Древнем Риме.

— О да, о да! Такая тонкая рвущаяся грань лежит между добром и злом, в своем роде сиамские близнецы, соединяющиеся кровеносные сосуды, не так ли? И это наиболее интересная сторона внутреннего мира современного человека, зыбкость границы,— это ваш Достоевский, самое главное в его романах, которые пользуются на Западе большой популярностью. Вы об этом знаете?

— Чушь!

— Что, простите?

— Виноват, я сказал по-русски: «чушь»... Это, мягко выражаясь, по-немецки — «неточно», если говорить о Достоевском.

— Почему?

— По-моему, главное в Достоевском — поиск истины в человеке и поиск бога в мире и в себе. Для ясности богом будем считать — добро и прозрение. Вы не устали, господин Дицман, от нашего слишком умственного спора? Тем более, я очень плохо произношу по-немецки и, видимо, утомил вас. А оба мы утомили зал. Может быть, поговорим о чем-нибудь более конкретном? Вы не находите?

— Совсем нет, господин Никитин... Наш разговор — это скорее не спор... а откровенный диалог между Востоком и Западом на глазах аудитории, между восточным писателем и западным журналистом, и, кстати, по вниманию и тишине в аудитории я вижу, что у нас с вами есть точки соприкосновения, как это ни странно. У меня создается впечатление, что вы полемист и не раз встречались с западными писателями. Об одной дискуссии в Париже я читал, вы там выступали о социалистическом реализме, о смысловом искусстве. Я не ошибаюсь?

— С тех пор как моими романами и моей персоной заинтересовались на Западе, меня стали приглашать на международные дискуссии. И я люблю спорить как каждый писатель и хочу что-то понять — хотя бы позицию своего оппонента. Просто истина, господин Дицман,— чересчур абсолютная вещь. Если у вас болит голова, вы же не станете принимать лекарство от расстройства желудка. Если вы любите женщину, вы не будете обнимать фонарный столб и целовать его. Что бы вы ни утверждали, существует в мире абсолют.

— Прекрасно сказано, господин Никитин! Тем не менее я не соглашаюсь с вами. В понятие «любовь» современный человек вкладывает совершенно другой, индивидуальный смысл, чем вкладывал человек девятнадцатого века или человек довоенного времени. Здесь вы заблуждаетесь, вы имеете в виду одно позитивное начало, как объединение, но — нет и нет!— любовь современного человека — это и разъединение полов. Никто не знает, в чем любовь истинная. Любовь — всегда альтернатива.

— Это как же? Примитивно говоря, ну... элемент физический — вполне понятная истина: любовь мужчины к женщине и наоборот. Если же говорить о природной физической любви, то какую разъединенность и какую альтернативу полов вы имеете в виду?

— Господин Никитин, вы серьезный человек и постарайтесь меня понять не с точки зрения социалистической, а с точки зрения западной морали. Любовь в современном мире лишена ложных предрассудков, и свободной цивилизацией опрокинуты ложные сигналы «стоп», эти, пожалуй, архаичные запреты, которые сковывали свободу человеческих чувств между ним и ею, или... между ним и ним, или ею и ею... Каждый свободен в выборе партнера.

— Плохо понимаю. Вы говорите о гомосексуализме, что ли? Об извращении любви? Так я ведь реалист, я поклоняюсь истине. И я терпеть не могу искаженный мир в кривом зеркале комнаты смеха где-нибудь в Луна-парке.

— Не смейтесь, господин Никитин. Никто не знает, что в любви извращение и что не извращение, каждый предпочитает прислушиваться к голосу своего сердца. Больше всего извращений бывает в политике, ужасных извращений, которые убивают свободу человека.

— У вас, конечно, есть жена, дети, господин Дицман.

— К счастью, я не женат.

— Жаль. Тогда я не смогу привести нескромный пример, который вертится у меня в голове.

— Господин Никитин! Вы ничем не удивите нас, никаким примером, мы живем в эпоху сексуального взрыва, когда сорваны все покровы с человеческого тела и существует полная свобода выбора для задавленных прежде комплексов.

— Да, я имел удовольствие видеть взрыв комплексов на экране и на сцене в некоторых городах мира и у вас.

— О, прекрасно! И это было вам интересно как реалисту?

— Думаю, что реалисты не должны закрывать глаза на то, что есть. Знать надо все. Тем более что у нас в России, слава богу, не показывают аномалии любви со сцены.

— Момент, господин Никитин. У русских нет подавленных комплексов и, как вы сказали, аномалий любви? Вы утверждаете? Вы в этом уверены?

— Нет, не утверждаю. И это дело клиники. Но я не то хотел сказать, господин Дицман, и пусть простят меня женщины, сидящие в зале, за вынужденный аргумент... Представьте свою несуществующую дочь, прекрасное, юное существо, которое может в простой и тайной, как вселенная, любви принести миру не менее прекрасное существо, однако склонна любить не парня, а девушку,— вы закрыли бы глаза на эту неестественность, спокойно говорили бы о свободе выбора?

— Лично я не сказал бы ей ни слова. Пусть поступает так, как хочет. Не я, а она выбирает предмет любви.

— Не есть ли это антиистина, насилие над природой и истиной?

— Нисколько. В этом я вижу свободное проявление индивидуального «я», свободу личности.

— Тогда у меня нет доказательств. Проблема исчерпана.

— Я вмешаюсь, господа мужчины, с разрешения председателя! Это надо сказать!

— Ради бога, госпожа Титтель, пожалуйста, один ваш голос — наслаждение для всех!

— Петь я не собираюсь... А вот в любви все решает дело вкуса и нелепых наклонностей, так я думаю. Женщина, бесспорно, нежнее, но я предпочитаю неотесанного мужчину со всеми его мерзкими недостатками. Я читала Мопассана. У него есть хорошая фраза: да здравствует маленькая разница! Вот что я вам скажу. И за французского писателя не намерена краснеть.

— Глубокоуважаемая, прелестная госпожа Титтель, благодарю за реплику с места и замечу: именно вас боготворят, в вас одинаково влюблены и мужчины и женщины, потому что талант принадлежит всем! Уважаемые дамы и господа! Нам следует поблагодарить прекрасную госпожу Титтель, которая присутствует на нашем диспуте. Ваши аплодисменты и смех удовольствия я понимаю и присоединяюсь к ним... Так вы закончили, господин Никитин, тем, что исчерпываете проблему отсутствием доказательств, и я почувствовал в ответе какую-то хмурую иронию, не так ли?

— Не ошиблись. Я хотел сказать, что, вероятно, мы слишком вторгаемся в интимную область, которая не требует такого широкого обсуждения.

— И здесь вы глубоко заблуждаетесь! Эти вопросы широко дискутируются у нас и в печати и по телевизору, в том числе и закон об отмене запрета на порнографию. Не так ли, господин Вебер? Простите, господа, теперь я обращаюсь в зал. Не так ли, господин Вебер?

— От ваших умных проблем переворачиваются мозги... Когда собираются интеллигенты, начинается большая каша. И все вопросы упираются в секс.

— Ваша шутка одобрена аплодисментами, господин Вебер... Так или иначе, я склонен еще раз возразить господину Никитину. Если бы я запретил своей дочери, которой у меня нет, любить того, кого она выбрала, то, возможно, подчинившись мне, она сказала бы через несколько лет: «Отец, я несчастна, ты лишил меня любви!»

— Какая поразительная логика! И вы за такую свободу выбора? Так после этого вешаться надо! Знаете, прийти домой, найти покрепче крюк, снять ремень — и скорее, скорее

из этого свободного секса — в прекрасный ад! Вот это единственный не выбор, а выход из оскорбляющих человека непристойностей!

— Вы возмущены, господин Самсонов? А как вы думаете, господин Никитин? Видите ли вы в сексуальной проблеме непристойность?

— Что я думаю? Когда насилуют и извращают саму природу, она заболевает и погибает, и вместе с ней, конечно, человек. А это уже страшнее, чем заражение химическими отходами биосферы... Минуту, Платон, наклонись ко мне... слушай, держи себя в руках, твой горячий крик никого не убедит в этой дискуссии. Спокойней...

— А с какой стати я должен быть изысканно-спокойным? Неужели ты хочешь, чтобы я сидел и хлопал ушами, изображая милого русского, согласного со всякой чепухой? Бывают и пределы словоблудию, знаешь.

— А не думали ли вы, господин Никитин, что сам человек является извращением природы, не приходило ли вам в голову подобное сомнение? Кто установил, что есть нормальное и ненормальное? Неужели законодательствовал бог? А он — категория нормальная? Люди? А нормальны ли они? Что есть норма? С чьей точки зрения? Если слова, определяющие священный акт любви, люди употребляют как самые грязные ругательства, не извращены ли эти люди? Подумайте, подумайте над этим... А вспомните заборные надписи, надписи в общественных туалетах?

— Мы так далеко уйдем сейчас в споре, что опасаюсь — назад из безумия дороги уже не будет.

— Ха-ха-ха, благодарю вас за красивый аргумент. Вы не хотите продолжать разговор на эту тему, поэтому я позволю себе сделать некоторый вывод. Сознание человека Запада — я говорю об интеллигенции — слишком обнаучено, в то время как современная философия и социология не получили развития в странах социализма. Это была ваша защита веры, которая должна была держаться за счет расширенного оптимизма. Не так ли? Вы оптимист, господин Никитин, хотя у вас бывают грустные глаза и пишете вы трагические романы. Но и вы и вся ваша литература пытаетесь сохранить старый миф о человеке, созданный еще романтическим Шекспиром и вашим Толстым. Тот, кто у вас называется героем в жизни и литературе, в сознании западного человека оценивается совсем иначе, ваш герой в нашем понятии совсем другое.

— Внимательно слушаю. Продолжайте.

— Современный интеллектуальный западный персонаж, господин Никитин,— это химически очищенный, оголенный субъект рода человеческого, который двигается, как во сне. Независимая частная жизнь невозможна, возникло бессилие человека перед эпохой, расщепление личности проблемами: зачем, а что дальше? Западные интеллигенты не утверждают, как вся ваша социалистическая литература, а спрашивают действительность, задают ей вопросы, и нет ни судей, ни виновных... И это не модернизм, совсем нет, господин Никитин. Современному миру машин не нужны ни Шекспир, ни Толстой, ни Достоевский. Западный роман отошел от прошлого реализма потому, что хотел быть реалистичным. И это не парадокс. Роман — рентген, но без диагноза болезни, потому что врачи не знают, каким образом радикально лечить, этого не знает никто. Сейчас не может быть канонизированного писателя, как, к примеру, Толстой, Томас Манн или Золя, который заявлял, что знает о человеке все. Вы согласны с формулой Золя?

— Нет, не согласен. Мне кажется, что самоуверенность и вызов имели место в этом заявлении французских натуралистов. Впрочем, один русский классик, живший в одну эпоху с Золя, утверждал совершенно противоположное: никто не знает всей правды. Это ближе к истине.

— О! Господин Никитин! Вы сейчас заговорили, как западный писатель, и подтверждаете мою мысль!

— Это заговорил не я, а русский классик девятнадцатого века. Не делайте мне комплимента. Я горжусь, что имею отношение к великой русской литературе. Вот видите — вы заставили меня говорить высоким штилем.

Продолжение следует.

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки И. ПЧЕЛКО.

БЕРЕГ

Но как вы лично относитесь к той мысли, высказанной классиком: никто не знает всей правды? Вы ее не разделяете?

— Нет, я разделяю ее. Это вам кажется странным?

— Вы? Разделяете данную мысль? Вы можете пояснить немного подробнее?

— Если вы так удивились, то я попытаюсь... Я не раз думал об этом, господин Дицман. Мы знаем ряд истин, но это лишь слагаемые одной и главной. Мы не знаем конечную сумму истин. В противном случае: если бы мы все знали о человеке, не было бы никакого смысла писать книги, заниматься наукой и вести дискуссии, как мы ведем с вами. Человек — такая же тайна, как мироздание. А это было известно и две тысячи лет назад. Об этом думали и до нас. Я уверен, что если бы люди завтра открыли все законы мира, а знано открывает замочки на дверях в длиннейшем коридоре. Поэтому лично я убежден, что открытие огня, силы пара, электричества, атомной энергии — это не случайное познание, а по методу последовательных приближений подсказанное природой в определенный отрезок времени. Это вехи, отмечающие пройденный человеческий путь. Как и наша дискуссия, впрочем. Десять лет назад мы не могли бы так разговаривать, господин Дицман. Это тоже веха.

— Капитализм, по вашей теории, тоже роковое познание? Ияи, как вы сказали, приоткрывшаяся дверца?

— Да. С привкусом горечи.

— А социализм?

— Познание с ожиданием радости. Освобождение из плена страха. Познание истинной свободы.

— Ожидание радости? Предположим так. Но в вашей теории, господин Никитин, есть некий фатализм, а фатализм ничего общего не имеет с марксизмом. Вы ведь марксист, и вы верите в пролетарскую революцию и в диктатуру пролетариата. Разве это не является для вас главной истиной?

— Никакого фатализма. Я уточняю, господин Дицман. Социализм — это постижение наивысшей свободы человеком.

— Но свобода одного всегда ограничена свободой другого. Наивысшей свободы быть не может. Не так ли?

— Так. Это нравственное ограничение, которое рождает уважение человека к человеку.

— Я очень хотел бы услышать ваш ответ на предыдущий вопрос относительно главной истины. Где она, в политике или вне политики?

— Уважаемый господин Дицман! Вы с нелично вашей жизни? Вы ведь сказали, что никто не знает всей правды.

— Кажется, в ковбойских фильмах, чтобы попасть в цель, надо в течение трех секунд выхватить кольт и выстрелить. Вы выхватили кольт и выстрелили в меня первым, господин Дицман. Чтобы сделать ответный выстрел, потребовалось бы много времени.

— Загадочно... Опять я задал провокационный вопрос?

— Да что вы! Ни в коей мере. Просто ответ на ваш вопрос потребовал бы гораздо больше трех секунд. Для этого нужно было бы пересказать содержание всех моих книг. Так вот, смысл моей жизни — в этом.

— Я читал два ваших романа, господин Никитин, и смотрел два ваших фильма. Они недавно шли в Западной Германии. В них много трагического, грустного...

— Добавлю: и радостного, если быть точным.

— И тем не менее вы больше пессимист, чем оптимист. В ваших книгах нет умиления.

— Вы чересчур категоричны насчет пессимизма. Вы неправы, я оптимист. Мне все время кажется, что ключ от истины лежит в ящике моего письменного стола. Писание романа — это терпение и мучительный путь к цели. И все тогда наполнено смыслом. До следующей книги.

— Нонсенс, господин Никитин. Нонсенс! С одной стороны, вы утверждаете, что не знаете всей правды. С другой стороны, ваша литература призвана учить людей, вдохновлять их — в этом задача метода социалистического реализма. Таким образом, ваши романы — это прорыв из оков социалистического реализма. Не так ли? Недаром часть официальной совет-

---

чит, и человеческой души, то движение истории прекратилось бы. Нечего было бы познавать. Все найдено, раскрыто, все понято — проблемы жизни человечества исчерпаны до дна. Все веры, все философии, все искусство сразу бы умерли за своей ненужностью. Человечество закончило бы свой запрограммированный путь познания. И началось бы нечто абсолютно новое, с нуля. К нашей жизни это не имело бы никакого отношения. В кибернетическую машину Земли вселенная вложила бы новые параметры. Вот почему мы не знаем всей правды. Вас удовлетворил мой ответ?

— Господин Никитин! Вы говорили сейчас не как писатель, а как философ, я приятно удивлен, но я хочу только уточнить вашу мысль. Самой природой запрограммировано движение человечества к главной истине? По оживлению в зале я чувствую, что вы не менее меня заинтриговали аудиторию... Что же такое тогда человек? Орудие познания? Или случайность? Шестеренка в механизме мировых законов?

— Не удивляйтесь приятно, господин Дицман. Я не претендую на лавры философа, я не так уж самоуверен. Просто после сорока лет начинаешь задумываться над некоторыми вещами, которые в тридцать лет казались простыми, как апельсин. Человек на земле не случайность. Это, как известно, частица природы, познающая самое себя. Прекрасная формула, правда?

— Чья-то цитата? Гегель? Карл Маркс?

— Нет, Фридрих Энгельс. Частица — человек, познающая целое — природу, то есть познание, последовательно ведущее к дверям тайн и законов на пути к главной истине, которая ограничивает бесконечность и постепенпонятной настойчивостью задаете моему коллеге один и тот же вопрос, никак уж не касающийся литературы. Создается впечатление, что вы хотите не прояснить суть дела в нашем споре, а поймать оппонента на неточном слове, и это, с позволения сказать, вызывает мою недоуменную реплику!

— Как вы ошибаетесь, господин Самсонов, я не имею отношения к прессе Шпрингера!.. Господа, благодарю вас за аплодисменты, они, надо полагать, в большей степени относятся к заявлению господина Самсонова, который в чем-то не доверяет мне!

— Полагаю, что аплодисменты адресованы именно вашему остроумию, господин председатель, а я не хочу выхватывать из ваших рук заслуженную в поте лица славу! Но я повторяю: мы уводим дискуссию в сторону!..

— Итак, господин Никитин, ваш серьезный коллега своей репликой снимает мой трудный вопрос?

— Зачем же?.. Вы спросили не самое трудное. Наоборот, ваш вопрос чрезвычайно прост, хотя в нем и есть определенный оттенок, что и подметил мой коллега. Впрочем, это не меняет сути. Я верю в революцию и диктатуру пролетариата, потому что новая общественная формация — познание человечеством самого себя.

— Но по вашей теории это все же не главная истина?

— Главная истина впереди.

— Коммунизм?

— И коммунизм. Но и за этой высокой формой познания путь к истине не обрывается.

— Таким образом, как я понимаю, господин Никитин, вы хотите сказать, что смысл жизни в том, чтобы всю жизнь искать и познавать смысл жизни? Скажите, если мой вопрос, по реплике господина Самсонова, не прозвучит провокационно, в чем смысл вашей жизни, ской критики ругала вас!..

— Бывало и это, господин Дицман, однако я не польщен вашим экспрессивным заявлением. Так как вы заговорили о методе, то отвечу следующее: я безраздельно поклоняюсь одному богу — реализму. То есть я за смысловое искусство. Что значит писать по методу? Как это писать по методу? Неужели вы считаете, что перед тем, как сесть за письменный стол, писатель говорит себе: я напишу этот роман таким-то методом. По-видимому, в первую очередь он думает, что сказать и как сказать. И труд, труд, труд. Если это не так, то поясните, каким образом вы представляете работу писателя иначе? Приказы по телефону из Кремля? Или хмурый милиционер за плечом, читающий и корректирующий каждую строку? Любопытно, как вы это представляете?

— Я знаю: ваша литература должна воспевать советского человека и советское общество. У вас постоянно говорят об этом.

— Петь, воспевать — эти термины относятся к вокальному искусству, и тут я совершенно не компетентен. Что касается грубой прозы, то она исследует и познает характер отдельного человека и характер народа в целом. А всякое исследование — серьезный процесс, и он ничего не имеет общего с бодрой музыкой, которую передают в минуты физзарядки по утрам.

— И вы можете критиковать свое правительство? Например, высокого министра?

— Это дело фельетонистов.

— Благодарю вас, господин Никитин, за ответ. И последний вопрос, хотя я утомил вас. Вопрос к вам чисто личный. Испытываете ли вы прежнюю ненависть к немцам как к нации, которая воевала против России? Надеюсь, вы не находите в таком вопросе провокационного смысла?

— Нет, не нахожу. Я не испытываю ненави-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 12—20, 22—25.

сти к немецкой нации, как вы сказали, потому что всякий национализм — последнее прибежище подлеца. Народ никогда не виноват. Но наши взаимоотношения не раз замутнялись кровью. И я все время помню, что в последней четырехлетней войне Россия потеряла двадцать миллионов, а Германия — восемь миллионов человек. Это страшные, невиданные в истории потери.

— В шестом веке, господин Никитин, от легочной чумы погибло сто миллионов человек.

— В вашей фразе есть оттенок успокоительного сравнения. Однако те люди шестого века погибли не оттого, что стреляли друг в друга.

— Иные западные теоретики войны, в общем, умные люди, утверждают, что пролитая кровь — это смазочный материал истории, что это закономерность и необходимость, так как вся история — кровь. Утверждают, что последняя война смазала шестеренки ржавеющей германской машины.

— В данном случае вы имеете в виду неореваншистов?

— Не только.

— Так или иначе, спросите этих «в общем умных людей»: хотят ли они сами быть смазочным материалом истории?

— Ха-ха! Благодарю вас!.. Итак, дамы и господа, разрешите от всех вас пожать руку господину Никитину за искренние и нестереотипные ответы, которые — что я отмечаю с удовольствием — ломают решетку неприязни и отчужденности между интеллигентами наших стран. Я отмечаю приятную атмосферу дискуссии и благодарю вас, господин Никитин, хотя во многом я не согласен с вами. Но ваша мысль о том, что вы не знаете всей правды,— прекрасная мысль. Вы не знаете всей правды о капитализме, мы не знаем всей правды о вашем коммунизме! Не так ли?

— Как раз в заключение, господин Дицман, вы упростили мою мысль.

— О, нет, нет, я все отлично понимаю, господин Никитин, все нюансы, и чистосердечно благодарю вас. И вас, господа, за долгое и терпеливое внимание! До свидания, господа!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мелкая остроносыми ботинками, господин Дицман, в распахнутом плаще, веселый, возбужденный, последним сбежал по лестнице дискуссионного клуба, быстро оторвался от группы людей, задержавших его у выхода, легкой, танцующей походкой довольного собой человека подошел к Никитину, тесно окруженному подле машины молодыми людьми, по всей видимости, жаждущими получить автограф русского писателя. Ему с разных сторон совали отпечатанные программки дискуссии, протягивали через головы купленные на этом вечере его книги, тыкали в руки какие-то листочки бумаги, а он машинально, вроде бы бессознательно, вскользь отвечал на вопросы, чиркал свою фамилию, несколько раздерганный перебивающими друг друга голосами, и вместе с тем готовый рассмеяться, видел, как Лота Титтель, изогнув тонкий стан под прозрачным плащиком, по-крестьянски уперев кулачок в бок, кричала на растерянного бородатого журналиста, державшего блокнотик перед грудью:

— Ваша «Бильд» — дерьмо! И ваши вопросы — дерьмо! И ваш Шпрингер — дерьмо! Вы всегда пишете то, что взбредет в вашу свинячью голову! Ваша газета написала обо мне, что я сплю голая среди кошек! Откуда вы это взяли? Я ненавижу кошек! Вы слышали ответы господина Никитина — и пишите то, что слышали! Пусть знают присутствующие здесь господа, что ваша газета не годится даже на пипифакс! Вот что я вам скажу!

— Прелестная госпожа Лота устроила скандал журналистам! — воскликнул Дицман.— Отличный заголовок в завтрашних газетах!

Пожилые немцы, столпившиеся вокруг своих машин, с почтительной серьезностью, с любопытством оборачивались к знаменитой Лоте Титтель, которая под молниями блицев, воинственно подбоченясь, грубовато отчитывала замолкшего журналиста; и здесь же, в толпе, добродушно почесывал лысину, посмеивался рассыпчатым смешком господин Вебер, поглядывая на жену маленькими влюбленными глазками, а госпожа Герберт, уже торопливо открыв ключиком дверцу «мерседеса», почти нежно улыбнулась Никитину: «Господа, вам пора отпустить русского писателя»,— и ласково повела его, потянула к машине со словами:

— Пока Лота воюет с бульварной прессой, нам надо сесть. Где ваш друг? Господин Самсонов!— окликнула она, все так же улыбаясь.— Вы поедете в моей машине или с господином Вебером?

— Я прошу извинения,— отозвался господин Вебер и, наклоняя гладкую лысину, приложился к кисти госпожи Герберт, затем потискал руку Никитина.— Мне нужно прийти в себя от вашей большой говорильни. Вы обрушили на меня кучу умных слов, я должен переварить и отказываюсь от ужина. Иначе заработаю диспепсию. Но Лота — я уверен!— поедет с вами. Не в ее натуре быстро успокоиться, нет, нет! Господин Самсонов, господин Дицман, я с вами тоже прощаюсь...

Наконец, когда после некоторой суеты расселись в машине, а Лота Титтель, озаряемая на тротуаре вспышками фотоаппаратов, победно закончила, вероятно, не первую битву с представителем прессы и гибкой змейкой, шелестя кожурой плаща, обдав запахом духов, втиснулась между толстым Самсоновым и Никитиным на заднее сиденье, господин Дицман захлопнул за ней дверцу, не без притворной любезности помахал журналистам, проворно сел на переднее сиденье возле госпожи Герберт и засмеялся облегченно.

— Господа, мы вырвались из плена Шпрингера благодаря самоотверженности нашей прелестной Лоты и теперь будем наслаждаться завоеванной свободой! Я думаю, что нам стóит с поднебесных высот спуститься на землю и взглянуть на истину с материальной стороны. Нам следует восстановить затрату мозговой энергии. Во-первых, в каком ресторане вы хотите поужинать?

— Знаток всех ресторанов Гамбурга — господин Дицман,— ответила весело госпожа Герберт, натягивая перчатки.— Наши гости не могут знать всей правды о ресторанах, которые известны вам. Вы командуйте, я буду вести машину, у вас нет возражений?

— Сидеть в тихом семейном буржуазном ресторане и видеть сонные довольные рожи — брр!— как это уныло! Я хочу в шумные места. Чтоб было, что посмотреть,— вмешалась капризно Лота Титтель.— Иначе после дискуссии у нас лопнут головы, как бомбы! Поехали, господа! Мне хочется выпить, и как следует, вот что я вам скажу!

Госпожа Герберт начала осторожно выводить машину со стоянки в сторону сверкающей огнями центральной улицы за темным, без фонарей, парком.

— Стриптиз?— полувопросительно обернулся Дицман, живо блеснув узкими наркотическими глазами.— Но там нечего есть. Вино, оранжад, кока-кола, минеральная вода — и по горло женских поз. Этим сыт не будешь.

— В районе Сан-Паули — ресторан «Валенсия», это что-то забавное, и там хорошо кормят,— сказала Лота Титтель.— В полуподвальчике...

— Жрецы среднего пола? А, это представляет некоторый интерес.— Господин Дицман взглянул на часы.— У них уже начался сбор, но...

— Нет, нет, это, пожалуй, слишком...— запротестовала госпожа Герберт,— только не это. Что-нибудь другое. Господин Никитин и господин Самсонов, что хотели бы вы?

— Несмотря ни на что, они обязаны посетить особые места Гамбурга. Такого они никогда не увидят в скромной, как монастырь, России!— виолончельным голосом проговорила Лота Титтель и, вся шелестящая плащиком, съежилась, смеясь, нестеснительно просунула ладошки под локти Никитина и Самсонова, прижалась к ним.— Вы не протестуете, господа русские писатели? Насколько я знаю, у вас нет ни стриптиза, ни кабачков этих самых жрецов, ни порнофильмов, не правда ли?

— Вы правы, госпожа Титтель. Нет ни того, ни другого, ни третьего,— ответил Никитин шутливо.— В этом нам вас не догнать. Ресторан выбирайте вы. Я готов на любой. Как ты, Платон?

Самсонов, замкнуто глядя сквозь стекло на огни вечерних витрин, не проронивший ни слова после дискуссии, хмыкнул и заговорил тоном мрачноватой вежливости:

— А что-нибудь попроще, понормальнее у вас есть? Ну, скажем, обычный ресторан, где обедают и ужинают, ну, к примеру, простые немцы... обыкновенные немцы? Хотел бы поглядеть на них, господа интеллектуалы, может, так хоть познаем полностью правду. Я — за такой ресторан, если хотите знать мое мнение.

— О! О! О!— трижды воскликнул Дицман, мгновенно оживляясь, и поднял обе руки.— Я сдаюсь! Начинается социалистический реализм? Рабочий класс, прибавочная стоимость, производительные силы и производственные отношения! Отвечаю на ваш мрачный политический и, так сказать, провокационный вопрос, господин Самсонов. В Западной Германии не хватает рабочей силы, и здесь нет безработицы, поэтому нищие не роются в мусорных ящиках в поисках еды. Контрастов, как говорят и пишут у вас, вы не увидите. А вам они очень интересны? Они вас вдохновляют?

Самсонов фыркнул губами.

— Стало быть, у вас рай земной?

— Германия — и маленький ад и маленький рай, а вашим любимым простым немцам, получающим хорошие марки, господин Самсонов, по вечерам нет ни до чего дела, кроме жратвы и телевизора!— решительно вступила в разговор Лота Титтель.— Сидят себе у телевизоров и глазами жуют мещанские программы, которыми их угощает мой толстяк, умеющий делать деньги не хуже какого-нибудь янки!

Она упругой своей фигуркой заворочалась между Никитиным и Самсоновым, подперла кулачком подбородок, подалась вперед и вмиг изобразила накрашенным, удлиненным лицом дремотно-отупелое выражение по-бычьи жующего человека, сказала сонно:

— Вот что такое сейчас дурацкий телевизор для немца. Когда жуешь ртом и глазами, думать невозможно. Красиво, господин Никитин?

— Прекрасно изобразили,— ответил Никитин.— И хорошо сказали. Значит, жевательная резинка для глаз? Так надо понимать?

— Хорошего тут мало,— твердо, по-русски проговорил Самсонов, словно бы между прочим отвечая и Никитину, затем, выжав насильственную улыбку, спросил Лоту Титтель:— Вы понимаете всю пагубность одурачивания телевизором и не хотите внушить своему мужу, чтобы он изменил программу, сделал ее насыщенной смыслом?

— Я не хочу, чтобы мой муж разорился,— сказала со смехом Лота Титтель.— Нравится вам или не нравится, а в нашем обществе командуют деньги.

— Тогда простите меня, госпожа Титтель, ваша уважаемая западная интеллигенция разъедена конформизмом. Слова, все слова. Одни слова. Конформизм, прикрытый словами. И сотрясение воздуха!

— Платон, дорогой, не забывай, что ты гость, и воздержись поносить хозяев,— тоже как бы между прочим сказал по-русски Никитин, покоробленный насмешливой категоричностью Самсонова, которая время от времени мешала и сердила его на дискуссии, как и это вот невоздержанное заключение о конформизме, будто познанном им раз и навсегда. И, силясь сознательно вытравить, перебороть неутихающее раздражение против Самсонова, он подумал: «После вчерашнего разговора мы еще помним колкости, сказанные друг другу, и оба, конечно, не правы».

— Вы — очень серьезный и, должно быть, очень счастливый человек, господин Самсонов,— сказал Дицман выразительно, но ирония в его голосе кольнула Никитина: похоже было — сообразительный Дицман уяснил смысл русской фразы и объединялся с ним.

— Иногда убежденность,— проговорил Никитин,— мы воспринимаем как прямолинейность. И это часто говорит в пользу того, кто убежден, и о слабости того, кто в «да» всегда видит обратное «нет».

— Господа, прекращаем спор, будем считать, что мы нашли, потеряли и вновь нашли истину!— примирительно воскликнул Дицман.— А истина наша такова: интеллигенция всех стран, объединяйтесь!

— Я согласна с господином Никитиным. Западной интеллигенции не хватает твердой точки зрения,— сказала мягко госпожа Герберт и рукой в перчатке легонько поправила панорамное зеркальце у переднего стекла, радужно облитого подвижным неоном реклам.

«Да, вот она сидит, мы едем в одной машине в какой-то ресторан,— это Эмма, это

она... госпожа Герберт. И был когда-то Кёнигсдорф, и был май, и солнце, и мы были молоды, и ничто нас не сдерживало, даже война. И неужели тогда, в молодости, можно было вообразить, что мы встретимся в Гамбурге другими людьми... совсем другими, прожившими целую жизнь? Все это непостижимо, но это так...»

И он время от времени замечал, что она краем глаза взглядывала в панорамное зеркальце, то и дело вспыхивающее под близким светом фар задних машин, но эти белые вспышки мешали Никитину встретить ее взгляд, и он видел, как пробегали по ее щеке, по волосам, по уголку поднятого на секунду глаза блики уличных огней, видел обтянутые черной кожей ее руки на руле — и где-то в глубине сознания мучительно томила мысль о чем-то только что понятом и оборванном, неспокойном и незавершенном, что случилось с ним в далеком мире очень давно или в молодом полузабытом сне войны. В то же время шестым чувством Никитин угадывал, что она ни на минуту не забывала тот разговор в первый вечер, как не забывал его и он, и, вспоминая о ее виноватой сдержанности тогда, ласковой мягкости взгляда, с улыбкой обращенного ему в глаза, он сейчас испытывал болезненно разжимающееся тоскливое и горькое любопытство: в том разговоре не хватило смелости спросить, замужем ли она, счастлива ли, есть ли у нее дети.

«Это немыслимо,— подумал Никитин,— она сидит здесь, в машине, и я рядом с ней, а все прежнее осталось только в памяти».

— Господа, если сегодня я ваш гид, то наш план таков...— раздался впереди живой голос Дицмана.— Идея созрела в процессе движения. Мы идем в музыкальный ночной кабачок «Веселая сова». Но подъезда туда нет. Поэтому машину оставим на стоянке и дойдем пешком. По дороге я заведу мужчин в одну знаменитую улочку, где много весьма любопытного и пикантного, что есть только в Гамбурге. Приличным дамам вход туда, к сожалению, запрещен. Вот вам, господа, пример ограничения свободы! Через десять минут мы встретимся у «Веселой совы». Итак! Очаровательные дамы, у вас нет возражений?

— Какое неравноправие!— Лота Титтель сделала капризную гримасу и откинулась на сиденье.— Не похитят ли нас по дороге к кабачку иностранные моряки? И встретимся ли мы после этой улицы через десять минут? Это очень опасное для мужчин место.

— Мы будем ждать вас,— сказала госпожа Герберт и, поворачивая машину из хлынувшего навстречу сумасшедшего неистовства, хаоса огней к стоянке, опять мельком посмотрела в зеркальце,— и тут Никитину почему-то померещилось, что он ощутил, как сблизилось и разъединилось бесконечным пространством время, отдалив на целую жизнь (его и ее) лучшие годы молодости.

«Мог ли я, молодой, наивный, решительный, подумать в те невероятные дни после Берлина, что через много лет, через бездну двух с половиной десятилетий она, та милая Эмма, робко вошедшая в мансарду с подносиком, будет сидеть за рулем машины, говорить вот эти слова, искать моего взгляда в зеркальце, а я буду искать в себе то, что беспощадно стиралось временем?»

Позади главная улица Сан-Паули пылала огнями баров, ночных клубов, огромными вывесками кинотеатров, с буйным безумием веселья бежали в беззвездном небе над крышами огненные конвейеры, вращались раскаленные туманности, горизонтально и вкось скакали над металлическими заторами машин, пульсировали пунктиры реклам, смешанные извержения неона обнаженным светом изливались на тротуары, везде кишевшие черными толпами, а за углом центральной улицы, куда от стоянки повел их Дицман, было захолустно, полутемно, гулко звучали шаги прохожих, тускловато горели редкие фонари. Потом кинулась в глаза отдельная очень яркая лампочка сбоку железных ворот, в проем которых входили мужчины, возникая из темноты, и здесь, возле ворот, Дицман с загадочным лукавством понюхал незажженную сигарету, объяснил, снизив голос:

— За воротами — улица женщин, их квартиры. Одна особенность этого места: женщина не имеет права первая пригласить вас к себе, как обычная проститутка, право выбора только за мужчиной. Вы увидите — они сидят, как в витрине. Церемония следующая: если вам понравится девочка, вы должны постучать в окно и договориться о цене и о всем другом...

— Пожалуй, вы думаете, господин Дицман...— заговорил Самсонов, вынул носовой платок и так трубно высморкался, что запрыгали очки, побагровел лоб.— Пожалуй, вы думаете, что для нас какой-либо особый интерес представляет гамбургская проститутка?— договорил он сердито, обтирая крупный свой нос.— Для какой цели еще это?

— Что? Я крайне удивлен! Не воспитывались же вы в Ватикане!— вскричал Дицман и засмеялся.— Вы же мужчина! К тому же реалист. Вы не хотите познать капиталистический мир вблизи?

— Женщинам и юношам до восемнадцати лет вход воспрещен,— вслух прочитал Никитин объявление, подсвеченное сверху лампочкой, и добавил:— Заинтриговали, господин Дицман. Это любопытно. Я не возражаю. Даже наоборот — очень хочу посмотреть на капиталистический мир вблизи.

Он сказал это Дицману почти легкомысленно, при этом даже подмигнул Самсонову, но тот, замученно глянув на него (как прошлой ночью в гостинице), молча завел руки за спину, оттопырив живот под широким плащом, лицо брезгливо вздулось, стало нелепым, смешным от этой брезгливости, и Дицман вздернул плечи, сверкнув хорошими зубами.

— Вы чем-то встревожены, господин Самсонов? Страдает ваша нравственность?

— Должен вам сказать, что я не испытываю большого восторга, господин Дицман!

— Платоша, перестань,— сказал по-русски Никитин,— умоляю тебя, не надувайся. В самом деле, что ты хочешь доказать?

— Об этом я тебе расскажу в гостинице, если ты способен еще что-нибудь воспринимать. Если еще способен...

— Способен, способен... Пошли.

Эти железные ворота с незаметным входом сбоку заграждали узкую улицу, довольно сумрачно освещенную неяркими фонарями, но, против ожидания, многолюдную, заполненную мужчинами, их негромкими голосами, смехом, шарканьем подошв,— группами и в одиночку неторопливо шли они по тротуарам двумя встречными потоками, поминутно останавливались, как перед витринами магазинов, заглядывали в притемненные окна. А всюду на первом этаже были раздернуты занавески, и была оголенно видна внутренность маленьких комнат, обставленных недорогой мебелью; свечи горели на комодах, опрятно белеющих кружевными салфеточками, цветные подушки прибранно лежали под валиками диванов, дешевые репродукции, скорбные деревянные распятия темнели на голых стенах, и в первый момент представилось — манекены женщин были расставлены за окнами в разнообразных позициях. Без выражения лиц женщины смотрели на улицу, сквозь текущую мимо толпу мужчин, иные сидели, приняв позу безжизненной монашеской скромности, невинно сложив ладони меж обтянутых телесными чулками колен, обнаженных мини-юбкой, иные полулежали в креслах, независимо закинув ногу на ногу и чуть покачивая поблескивающим сапожком. Они шевелились, эти манекены, поводили густо подкрашенными глазами, закуривали, подносили с ленивой небрежностью сигареты к чернеющему рту, выпускали из кругло собранных губ дым к самому стеклу, задумчиво поправляли, доставая зеркальце, дешевые клипсы на мочках ушей, глянцевитым ноготком мизинца проводили по стрелочкам бровей. И особенно заметна была одна, белокуренькая, с бледным, худым лицом подростка: она, вся стройно напрягаясь в кресле против окна, грызла яблоко, по-школьному опустив ресницы, стеснительно жевала, нежная и гибкая, как у балерины, шея ее была непорочно юна, маленькие округлости неразвитой груди едва выступали под белой нейлоновой кофточкой. Она вдруг замерла, перестала грызть яблоко, как бы испуганная, застигнутая врасплох, когда высокий мужчина, грузный, одетый в серое клетчатое пальто, придвинулся с тротуара, постучал пальцем по стеклу. Проститутка детской рукой приоткрыла половинку окна, и он серьезно, деловито заговорил с ней. Она неслышно ответила, ясно глядя в его желтое, морщинистое лицо, улыбаясь застенчивой улыбкой девочки из интеллигентной семьи, но мужчина отрицательно мотнул головой, громко сказал: «Nein!» — и, неудовлетворенный ответом, отошел к другому окну. Он, видимо, выбирал предмет любви, соответствующий своей цене и своему вкусу, требовал от нее согласиться на что-то, и по несогласному короткому «nein» Никитин понял, что она не уступила ему, а он не уступил ей.

«Кто этот расчетливый немец?— подумал зачем-то Никитин.— Что он требовал от нее? Женат ли он? Холост? И часто ли он ходит сюда?»

Седоватый немец исчез в толпе, а мужчины все шли мимо окон, не видя, не замечая друг друга, казалось, в молчаливом отталкивающем разъединении самцов при поиске доступных каждому самок, преувеличенно рассеянно скользили взглядом по фигурам женщин за стеклами, и Никитину, как в первый день на Реепербане, стало как-то неудобно и трудно смотреть на эти похожие и непохожие женские лица в витринах, на их манекенные позы, на их черно накрашенные губы, на розовые ноготки холеных пальцев, зажимающих сигареты, на очень плоские или пышные бедра, на эти сильные ноги, крепко обхваченные модными сапожками по икрам, выставленные напоказ толпам мужчин на тротуарах. Однако в позах женщин чувствовалась словно бы одна и та же ложная игра, принятая всеми, попытка прикрыть грубую откровенность профессии. Нет, они не предлагали себя, не зазывали назойливо в свои комнаты, они внешне бесстрастным равнодушием отвечали на изучающее внимание проходивших мужчин, выражая недоступную спокойную холодность, в которой не было и намека на то, что здесь можно купить и бесстыдный опыт, и голос, распаляющий страсть, и заученное умение натренированного и приготовленного тела, изображающего механизм любви соответственно наклонностям, привычкам и желанию купившего его после другого или до другого.

— Господин Никитин, прошу вас сюда, обратите внимание...

И Никитин, отчетливо услышав рядом беглый стук по стеклу, увидел в двух шагах впереди Дицмана: тот остановился подле окна и, жадно нюхая незажженную сигарету, смотрел на смуглую, выделяющуюся маленькой черной, гладко причесанной головой проститутку, похожую на молоденькую испанку, одиноко и скромно сидевшую под распятием в кресле близ сиреневого торшера. На ее утонченном оливковом лице темнели угольные брови, темнели синими тенями на щеках неестественно длинные ресницы, два пальца молитвенно застыли у золотистого крестика на груди. Дицман громче постучал ногтем. И испанка, вроде просыпаясь постепенно, подняла глаза, лихорадочно блестящие неприступным монашеским фанатизмом, а он, быстрым взглядом ее оценивая, жестом показал, чтобы она повернулась в профиль. Она покорно подчинилась, слегка выпрямила шею и испытывающе глянула на него своим южным прожигающим взором, растягивая ярко-малиновые губы улыбкой. Дицман подумал, притворно-разочарованно покачал головой, и проститутка стоически поджала рот, медленно смежила наклеенные ресницы.

— Какая прелестная девочка!— зашептал Дицман.— Как она артистически играет целомудрие! Рафаэлевская Мадонна! Вы когда-нибудь видели такую красивую католичку?

— Признаться, господин Дицман, мне что-то стало не очень по себе в этом универсальном женском магазине,— сказал Никитин.— Все ясно. Наверное, не стоит больше задерживаться. Пора уже уходить. Тем более нас ждут.

— Разумеется, разумеется. Сейчас мы выйдем отсюда в следующие ворота... Но где наш серьезный господин Самсонов? Его еще не соблазнили гамбургские гетеры? Ах, вот он где, теперь я вижу его! Что его заинтересовало? Кажется, неразлучные подружки? А, это представляет незначительный интерес!

Самсонов в надвинутом на лоб берете, каменно заложив руки за спину, стоял на другой стороне улочки позади группы каких-то христосподобно длинноволосых молодых людей неопрятного вида; трое из них были облачены в лохматые до щиколоток шубы; все они взбудораженно теснились на тротуаре, нетрезво хохоча, понукающе советовали что-то на английском языке двум проституткам, видным в окне, — беленькой, с кукольным личиком, и

черноволосой, с сильным торсом борца, которые сидели, обнявшись, щека к щеке, невозмутимые, исполненные равнодушия, глядя куда-то поверх толпы юнцов, возбужденно кричавших им: «Фрау лесбос, браво, лесбос!..»

— Платон!— позвал Никитин и, увидев его набрякшее багровое лицо, сказал:— Мы уходим! Пошли.

— Должен вам сказать,— ядовито заговорил Самсонов, разрезав массивным утюгом своего плотного живота текущий мимо окон поток мужчин и подходя к Дицману,— что у вас действительно успешно совершена сексуальная революция. Но не хватает одного — сексуальной контрреволюции. Почему? Да потому, что мы дискутируем с вами о смысле жизни, о прогрессе, о человеческой личности,— да это же болтовня по сравнению с этим, так сказать, революционным переворотом!

Дицман тонко улыбнулся, раскланиваясь.

— Должен вам сказать, господин Самсонов, что некоторые немцы, поклонники нацизма, заявляют следующее: будь Гитлер, он пообрезал бы всем длинноволосым космы, запретил бы читать Кафку, подавил бы сексуальную революцию, уничтожил бы эти сексцентры и установил бы добропорядочную нравственность в покорной стране. Вы, таким образом, хотите объединиться с реваншистами? Во взрыве секса никто пока не знает всей правды. Пока — нет.

— Не объединяйте, прошу вас, меня с реваншистами!— проговорил Самсонов, выкатывая белки за стеклами очков.— А что касается «всей правды», о которой говорил господин Никитин, то не знаю, как чувствует себя мой коллега, но еще минута — и меня затошнит от этого мерзостного рынка похоти.

— Я завидую вашей похвальной чистоте, господин Самсонов!— засмеялся Дицман.— Вы либо толстовец, либо святой, но злой святой!

«Зачем он то и дело показывает зубы?— подумал Никитин и нахмурился.— Он как будто хочет поссориться не с Дицманом, а со мной и как будто хочет самоутвердиться в чем-то, доказать что-то мне. Глупо, вдвойне глупо и совсем уж некстати!»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

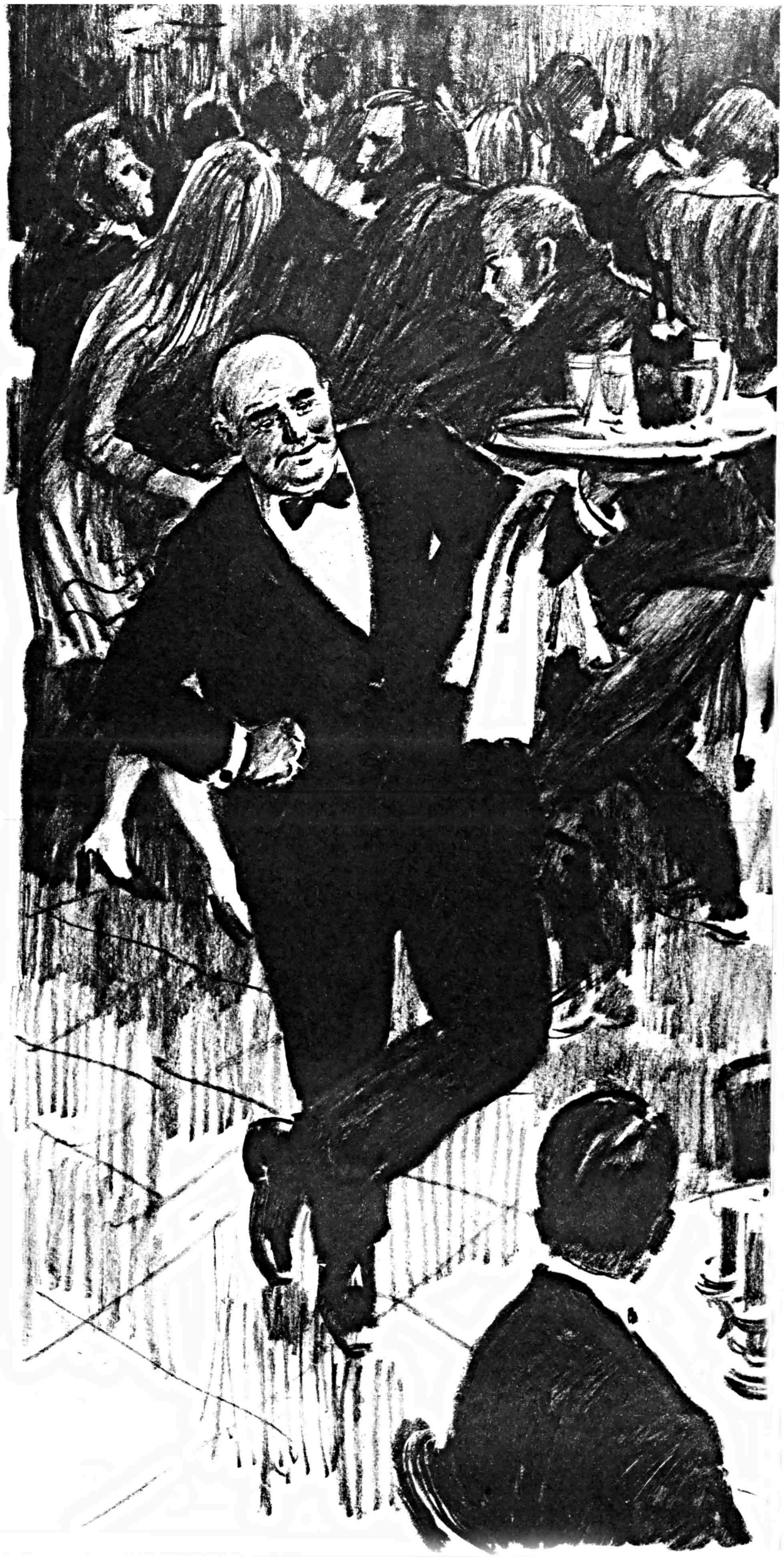
В этом кабачке, до отказа переполненном, шумном и дымном, по-видимому, хорошо знали Дицмана — приятный, скромного вида мальчик-официант провел их к зарезервированному столику в углу, уже приветливо накрытому чистейшей скатертью, салфетками, расставил бокалы и рюмки, принял заказ и, обрадованный, заскользил прочь, в обход толчеи танцующих молодых людей в розовых слоях сигаретного дыма. Вокруг горели на столиках свечи, покачиваясь от хаотичного топота, бешеного круговорота пар посреди залика, от оглушительно звенящих ритмов джаза, от смеха, говора, и было душно, жарко, подвальный воздух был сперт, нагрет дыханием, движением тел, потных лиц, мельканием длинных волос, взмахами рук, хлопаньем ладош, вилянием бедер, взлетом ног под куполами коротких юбочек.

«Кажется, мы здесь не очень отдохнем, в этой «Веселой сове»,— подумал Никитин, все же любопытно оглядывая кирпичные стены кабачка, сплошь изрисованные мелом, исчирканные надписями, завешанные разнообразными старинными часами без циферблатов и стрелок, старомодными женскими зонтиками и мужскими шляпами, поломанными остовами велосипедов, торчащих спицами колес, исковерканными автомобильными рулями меж стертых кругов резиновых покрышек; потом различил поблизости от стола, в нише, запыленную донельзя, изуродованную пишущую машинку, заставленную по краям пустыми бутылками, справа — потускневший, весь в паутине портрет Бетховена над тоже обезображенными, вывороченными клавишами пианино — и не без удивления перед собранной тут коллекцией хлама спросил Дицмана:

— Что же здесь — стиль или какие-то причуды? Могу догадаться, но все-таки?

— На это может ответить только сам хозяин кабачка,— ответил Дицман превесело и скосился на Самсонова.— А как вы находите это место после той улицы, которая вам так не понравилась?

— Разве не понравилось? Господина Самсонова не смогли соблазнить прелестные гамбургские девочки?— воскликнула Лота Титтель,



и брови ее взметнулись в игре осудительного удивления.— Никак не расшевелили красотки? В таком случае на вас надо было натравить змееобразную женщину вамп с острым бюстом и испепеляющим взором — ф-ф-ф! Смотрите на меня!..

И она точно начала заколдовывать его, помертвела зрачками, вытянула острые коготки с выражением преувеличенной страсти, изображая хищное положение кошки, нацеленной броситься из засады, но Самсонов, не поддерживая этой ее игры и особенно сейчас телесно прочный за столом, насмешливо-невозмутимый, обвел очками сгущенную толпу танцующих, ответил:

— Напрасный труд. Никогда в жизни я не покупал любовь женщины. Упаси бог испытать подобное унижение.

Лота Титтель сплела тонкие пальцы у подбородка, зашептала полусерьезно:

— Бог мой, вы сама невинность, господин Самсонов. Вы будете жить две жизни. Вы вознесетесь в небо, у вас вырастут белые лебединые крылья. При виде вас мне хочется молиться: о боже, спаси мою грешную душу, прости мне все грехи, все пороки всех мужчин, все вина, все сигареты. Вот какое влияние русского востока вы оказываете. Брошу петь, курить, пить, уеду к вам в Россию, уйду в какой-нибудь бедный сибирский монастырь!

— Благодарю вас,— снисходительно сказал Самсонов.— Примут ли? Не дорого ли придется заплатить за индульгенцию?

Госпожа Герберт, все время молчавшая, прикуривая от пламени свечи сигарету, внимательно, лучась глазами, посмотрела на Никитина — он одновременно потянулся сигаретой к огню — и тотчас улыбнулась ему смущенной и радостной улыбкой. Он, мимолетно ощутив этот вопросительный взгляд, тоже улыбнулся ей невольно. В глазах ее ясно отразились огоньки свечей, и почему-то они показались теперь не синими, а прозрачно-черными, переливающимися тревожно-ласковым влажным блеском,— и Никитин, внезапно задохнувшись от толчка в сердце, подумал, что она в этот миг подумала о том, о чем должен был бы помнить и он, что и дискуссия, и нескончаемые разговоры, и поездка в машине, когда она искала его лицо в зеркальце,— весь сегодняшний вечер, наверное, ничего не значил для нее, прошел в затянувшемся полусне, в ожидании чего-то, может быть, вот этой своей и его улыбки, будто ждала последней секунды, как тогда ночью в мансарде, где горела свеча на столе, светлела майская ночь за окном, а она, обреченная, смаргивая и задерживая слезы, выводила на листе бумаги русские буквы, зная, что это — последнее...

«Странно,— подумал Никитин с туманом в голове,— она сейчас взглянула на меня так, будто откуда-то издали напомнила вот одним этим взглядом, что мы прощались тогда и оба не надеялись ни на что, но вот все же случилось необъяснимое, непонятное... Нет, оказывается, я ничего не забыл. Или мне кажется, что я ничего не забыл, и я только внушаю себе, что помню ее лицо, брови, губы в ту ночь... Нет, я помню, как дрожали ее губы, как они были мягки, солоноваты, смочены слезами... как она не хотела уходить... как она готова была упасть на пол вместе со мной... как пахли ее волосы сладковатым туалетным мылом... Так что же это? Эмма — и госпожа Герберт? Госпожа Герберт — и Эмма? Осталось ли в ней что-нибудь от того, прошлого? И остался ли во мне тот давний и небезгрешно решительный лейтенант Никитин? Да, немыслимо, немыслимо все!..»

«Эмма... неужели вы помните?» — хотел сказать Никитин негромко, но голос его смяло, стиснуло колючими нажимами спазмы, и он, со смехом откашлявшись, проговорил тоном светской воспитанности:

— Фрау Герберт, простите, я несколько охрип, виновата дискуссия, поэтому мне надо бы помолчать... Простите...— Он продолжал, подбирая фразу, которая прозвучала бы, должна бы прозвучать вполне последовательно, вполне естественно в данной обстановке.— Вы довольны дискуссией?

— Очень,— ответила она, глаза ее засветились пристальнее, ярче, засияли безобманной тихой молодой мягкостью, и он опять подумал, что она ждала иного вопроса и поняла его короткую заминку после того, как оба они, на минуту освобожденные из чего-то и соединенные чем-то, улыбнулись друг другу, прикуривая от свечи одновременно.

«Вы, вероятно, хотели со мной поговорить,— сказали ее глаза.— Но почему вас что-то сдерживает? Разве так важно то, что вас сдерживает? Вы должны поверить мне — я с вами не фальшивлю, я не обманываю. Я помню, как все было. И я не жалею о том, что было. Вы понимаете меня?»

«Да, я хотел бы поговорить,— ответил он, глазами осторожно прикасаясь к теплому и лучистому свету в ее зрачках.— Я тоже помню, хоть это немыслимо, и кажется, что все было в другой жизни. Милый мой солдат Ушатиков стоял за дверью, а мы в последний раз при огоньке свечи писали на листке русские и немецкие слова, в которых были отчаяние, страх и такая юная неожиданная влюбленность, какая могла быть лишь тогда. Что же между нами тогда произошло? Солнечное весеннее утро, запах яблонь, стук в дверь, подносик с чашечкой кофе, заспанное, с виноватой улыбкой лицо, халатик, вспухлые, искусанные губы, влажные волосы... Ты помнишь, как в то первое утро пришла ко мне в мансарду?..»

«Да, я помню, помню,— согласно говорили ее глаза.— И мне хорошо смотреть на вас и на свечи и вспоминать то, что можете вспоминать и вы...»

— Господин Никитин, прошу попробовать отличное баденское вино! Оно чем-то напоминает русское шампанское. На ваш-ше здоровье!..

— Спасибо, господин Дицман. Но точнее по-русски будет так: ваше здоровье!

С преодолением он заставил себя переключиться на обычный лад, стряхнуть эту пелену, грустную и сладкую дрему, это наваждение тайного придумывания того, чего могло не быть за выражением пристально синеющих глаз госпожи Герберт. Он огляделся. По-прежнему, не умолкая, неистово отбивал апокалипсические ритмы джаз, колебались жаркими венчиками свечи на столах, в розоватой мути сигаретного дыма перемещались, пульсировали фигуры танцующих; приятно-вежливый мальчик-официант бесшумно возникал, наклоняясь из полумрака, и, обмотав бутылку крахмальной салфеткой, аккуратно разливал в бокалы красное густое вино; Самсонов, со скрещенными на груди руками, чрезмерно серьезно смотрел в сторону соседнего столика, где бородатый парень в курточке (цветной шарф обмотан вокруг шеи, прямые волосы спадают на плечи) бесцеремонно целовал в край рта худенькую, обмякшую до сонной истомы девицу, сидевшую сбоку молодого негра в грязносером свитере, который не обращал на них внимания, ел жирные макароны, ловко орудуя вилкой, и между глотками пива этой же вилкой под звуки джаза выбивал по краю стола синкопы; Лота Титтель раздумчиво покусывала жемчужными зубками длинный янтарный мундштук, гибкими пальцами поглаживала стекло бокала, по-видимому, согревая вино, ее густо-черные веерообразные ресницы равномерно взмахивали то на Дицмана, то на Самсонова (это красивое, пугающее резковатой мимикой и яркой косметикой лицо, мнилось, неспособно было ни при каких обстоятельствах смутиться); и Дицман, высоко подняв бокал, говорил с живостью:

— Здесь, в кабачке «Веселая сова», не произносят политических тостов, он вне времени, здесь надо пить, есть, веселиться, танцевать и не думать о серьезных вещах. Пьем, ваш-ше здоровье!

— А я вот что вам скажу без политики,— вставила Лота Титтель.— Интеллигенция всех стран, объединяйтесь! И никакого больше выхода нет, вот что верно, так верно!

— Интеллигенция — это не класс, госпожа Титтель,— заметил тоном насмешки Самсонов.— На какой позиции объединяться? На основе ревизионизма? Конформизма? На чем?

Она возразила:

— Наплевать! Я — за интеллектуалов, даже за сумасшедших, они дают идеи, вот и все. И Христос был интеллектуалом, вот что я вам скажу!

— Ваше здоровье, госпожа Герберт,— сказал Никитин и, вдруг неудержимо подчиняясь начатому внутреннему разговору с ней, добавил без слов, одной лишь улыбкой в глазах: «Давайте сейчас выпьем за то, что мы встретились,— хоть почему-то от этого и грустно, но все равно за это».

— Ваше здоровье, господин Никитин,— сказала она тихим голосом, и мягко искрящаяся длительная ответная улыбка, понятая им ясно, прошла в глубине ее глаз, тоже договорила без слов: «Давайте за то, что мы с вами помним, то было нашей молодостью. Я не хочу отказываться от того, что было».

— Появился мой отец, господин Дицман. Вы спрашивали о нем,— проговорил мальчик-официант, поставил бутылку на стол, и что-то нарушилось в его приятном лице, оно стало строже, бледнее.— Отец подойдет к вам...

— О, хозяин ресторана — веселый Алекс,— сказал Дицман Никитину.— Феномен Алекс, вы его сейчас увидите!

В это же время из красной полутьмы зала, из-за толпы танцующих вынесся маленький, толстый, круглый человек с подносом на руке, вытянутой над совершенно лысой головой; стремительные его глазки излучали молнии счастья, доброты, жизнерадостности, подбадривали, подмаргивали кому-то справа и слева, посверкивали в пространство веселой отчаянкой; на нем был прекрасный черный костюм, черная бабочка, снежной белизны нейлоновая сорочка; он крикнул что-то тонким хриплым голосом под гром джаза, какую-то, видимо, остроту музыкантам на эстраде,— вокруг за столиками пьяно засмеялись; затем порывистым разбегом легко вскочил на стул и, виртуозно крутя над головой поднос, уставленный бутылкой и рюмками, горловым натужным голосом запел, передразнивая певца, неистово завилял бедрами, изображая и пародируя телодвижения твиста, сейчас же вызвав во всем зальчике рев восторга, после чего кулаком ударил себя в грудь, вроде забивая внутрь голос, закашлялся, спрыгнул со стула и с энергией человека, спешащего за отошедшим поездом, подбежал к столику Дицмана, умиленно и счастливо крича:

— Господин Дицман! Госпожа Титтель! Я вас от всего сердца приветствую в своей уютной, злачной и отвратительной дыре! Добрый вечер, господа, добрый вечер! Побывав в моем кабаке, вы все крикнете потом: «Да здравствует «Веселая сова»! Госпожа Титтель, наша прекрасная Титтель, я вас, как всегда, с вашего позволения расцелую...

— Целуй, Алекс.

Она подставила губы, и господин Алекс поцеловал ее как-то по-клоунски смачно, звонко, таращась радостным изумлением, смеясь, моргая, кивая, и забегал, засуетился подле столика, начал мгновенно артистически протирать и расставлять рюмки. При этом он, не замолкая, говорил о погоде, о последней пластинке Лоты Титтель, о ее несравненном таланте, о бесподобных качествах чистой русской водки, принесенной им из холодильника специально для уважаемых русских гостей, потом сообщил даже, что со времен войны знает русский язык, с ужасающими гримасами краснощекого восторженного лица немедленно и безобразно доказал это, исковеркав несколько фраз: «Давай, давай... как дела, сажа бела, на чужой рот не разевай каравай». Но когда он на секунду замолкал, весь добродушный, эдакий неунывающий дядюшка,— нечто незащищенное проступало в нем, и вид его напоминал чем-то смешного, уставшего мальчика, возбужденного всем этим шумом, музыкой, танцами, смехом, говором, неестественным ресторанным весельем, которое он обязан был ежеминутно поддерживать здесь. И покуда господин Алекс священнодейственно разливал из ледяной бутылки в мизерные рюмки водку женщинам, говорил, делал различные жесты изумления, ужаса, восторга, Никитин не без интереса смотрел на него, думая: «Вот таким оживленным он бывает каждый вечер? Откуда эта невероятная энергия? Жесты, улыбки, ужимки... Сколько ему лет? Под пятьдесят?»

— Господин русский писатель, я вижу по вашим глазам: вы обещаете задать мне какой-то вопрос? Простите, но задам вопрос я, как хозяин этого кабачка. Вам приходилось в Гамбурге бывать в таких заведениях, где руками человека уничтожена цивилизация?

Господин Алекс, расплываясь радушным умилением, наполнил мастерским движением его рюмку, и маленькие, поощряющие к общению и шутке глаза этого живого толстяка доброжелательно заглянули в лицо Никитина, как несколько секунд назад заглядывали в лицо Дицмана и госпожи Титтель.

Никитин только засмеялся в ответ.

— Нет, в таком кабачке вы не бывали,— продолжал господин Алекс, уже забежав за спину Самсонова и наполняя его рюмку.— Здесь уничтожено время, здесь ничто не должно напоминать вам о том, что там, наверху, есть ужасная действительность.— Он пальцем показал вверх.— Здесь островок, отъединенный от безумного мира, здесь нет вонючей политики, мерзкой зависти, гнусного национализма! Здесь никто не распнет Христа, потому что вместо ржавых гвоздей я могу предложить только музыку, смех и вино! Вместо злобы я предлагаю улыбки. Когда людям много улыбаются, они становятся добрыми. Если бы люди старели только от смеха и улыбок, это было бы всеобщим счастьем! Не так ли? Сова — мудрость. Веселая сова — это веселая мудрость! Поэтому ко мне заходят и люди искусства! Но русские у меня впервые, и я от чистого сердца рад предоставить им свой кабачок! Веселитесь у меня! Радуйтесь! Смейтесь!..

— Может быть, я ошибаюсь, но вы... или бывший журналист, или бывший актер, господин Алекс,— сказал Никитин.— Я недалек от истины?

Господин Алекс закатил глаза, выражая испуг человека, потрясенного нежданным недоразумением.

— Нет, нет и нет! Я лишь клоун в своем ресторанчике. Я всю жизнь клоун. Журналист не любит людей и лжет, простите, господин Дицман, я имею в виду мрачных разбойников пера. А я клоун... Да, люби людей. Всех. И счастливых и несчастных. И даже врагов. Всех люби. Сейчас не война...

— Евангелие от Матфея,— сказал Никитин.

— Я не читал Евангелие, прости меня бог, господин писатель!

— И даже врагов? — спросил Самсонов, сопнув носом, и заерзал, поправил очки.

— Всех! Иначе люди превратятся в машины, пожирающие друг друга. Кто будет тогда рожать детей? Кто будет продолжать человеческий род?

— Хм, весьма любопытно,— сказал Самсонов.

— Я клоун, да,— задребезжал квохтающим, хриплым смешком господин Алекс и топнул короткими ножками, выставил локти фертом, сделал комичные, неуклюжие па, вызвав смех за соседними столиками.— Вот видите? Я хочу, чтобы у людей было настроение. Я не хочу грабить, лгать. Сейчас нет нацизма и нет войны. Я каждый вечер клоун здесь. Каждую ночь. Все смеются, и мне хорошо, как хорошо клоуну, у которого чиста совесть... Я стираю, я полощу свою совесть в смехе. Мне не нужно современного стирального порошка «ОМО»! Русские господа уже знакомы с моим прекрасным сыном?

И тут молчаливый, услужливый мальчик-официант, неслышно раскладывавший закуски на столе, поднял тщательно причесанную голову, и Никитину стало видно при свете свечей: капли пота бисеринками покрывали его ровно-белый лоб. Он сказал сдержанным голосом уважения и боли:

— Нет, папа, ты не клоун...

Господин Алекс всплеснул маленькими руками.

— Вы слышали, что говорит мой единственный, мой любимый сын? Он не хочет, чтобы я был клоуном. А я каждый вечер клоун, каждую ночь. А мой сын, студент, будущий адвокат, хороший сын, не хочет. В первый раз, когда мой сын пришел сюда помогать мне, он был потрясен, он чуть не плакал. У меня тоже разрывалось сердце. Он отвел меня за бар, погладил по щеке. «Папа,— говорит,— не хочу, чтобы ты клоуном был. Ты ведь не клоун». А я сам чуть не плачу от жалости к нему и говорю: «Все клоуны, все, кто у меня в ресторане, прекрасные люди, а жизнь — клоунада. Но мне здесь хорошо... Я клоун, как и все!..»

— Папа, я прошу тебя...— шепотом прервал сын господина Алекса и тотчас, на ходу составляя на поднос пустые кружки, отошел к соседнему столику, где рядом с целующейся парой молодой красивый негр доедал макароны и, жуя, вилкой выстукивал синкопы; негр знаком позвал его.

— Он прекрасный сын, единственный мой сын!— вскричал господин Алекс, сияя младенческими пухлыми щеками.— Но ему только двадцать лет, и он не знает, что был Маутхаузен, Бухенвальд и Освенцим, как знаю я. Почему я говорю об этом? В Америке живет мой друг, богатый человек, глава поп-арта. Я ездил к нему в прошлом году. Он пригласил меня в гости. Он живет в Нью-Йорке, большой роскошный дом, а везде окна сделаны, как решетки в концлагере, полосатые костюмы, вместо постелей — нары. Он не может забыть. Он сидел в концлагере вместе со мной... А мы ничего не можем забыть. И все забыли. Все! Поэтому лучше быть клоуном, мы разные клоуны, но мы клоуны. Я не признаю, нет, не признаю никаких национальностей, нет ни немцев, ни евреев, ни русских, ни американцев — все братья! Все равны, я всех люблю! Я всех жалею в этом страшном мире, где политика заставляет людей убивать друг друга! Господин русский, вы хорошо знаете этот вкус, попробуйте, и вы еще раз придете в мой кабачок выпить настоящей водки! У меня нет обмана.

И господин Алекс, семеня, бегая вокруг стола, поднес налитую рюмку водки прямо к губам Никитина, и тот непроизвольно взял из его энергичной руки рюмку, попробовал, озадаченный и смущенный излишним вниманием, сказал:

— У вас полагается дегустировать, или в «Веселой сове» особое уважение к русской водке?

— Неподдельная чистая русская водка!— тонко вскричал господин Алекс, воздев к потолку глаза с видом счастливого ужаса.— Здесь нет воды! Это «Столичная»! Вы вспомнили Россию? Я знаю, как тосковали по России русские в концлагере. Я рад, что в моем кабачке вы вспомните родину! И вспомните такую хорошую русскую песню... «Кат-тюшу» — про хорошую девочку Катюш-шу, которая любила яблоки и груши. Господа, приятного аппетита, я вас всех целую, я вас всех люблю! Вы приятные мои гости, а я ваш клоун. Я вас люблю!..

Господин Алекс поцеловал кончики своих пальцев, потряс ими в воздухе, как бы распространив этот поцелуй, эту любовь на всех и, напевая, виляя толстым задом под такты джаза, помчался куда-то в глубину зала, встречаемый смехом, приветственными возгласами за столиками.

— Очень любопытно,— сказал Никитин.

— После войны,— заметил Дицман, нюхая сигарету расширенными ноздрями,— он был так напуган, выйдя из концлагеря, что сделал пластическую операцию носа. Вы видели, какой у него правильный арийский нос? Сделал операцию, купил кабачок и стал клоуном. Он хочет, чтобы его любили все! Забавно, не правда ли? Прелестная Лота, напрасно мы сидим, я приглашаю вас танцевать.

— А возможно, чтобы и мы пошли танцевать?— улыбаясь, сказала госпожа Герберт.— Это не слишком для нашего возраста? Играют что-то медленное, но не знаю, что...

— А, все равно! Главное — принять решение,— ответил Никитин, и его будто подхватила горячая зыбь бездумного озорства, непонятного насмешливого мальчишеского вызова самому себе.— Правда, госпожа Герберт, я не занимался этим тысячу лет. Иду на явный риск. На мировой срам. На мировой позор. Но почему бы нет? Ты не возражаешь, Платон, пострадать несколько минут в одиночестве?

Самсонов отхлебнул вино из бокала, пробормотал пасмурной ернической скороговоркой:

— Надеюсь увидеть твист, шейк и танец живота — все вместе. Валяйте на здоровье, господа, веселитесь, а я понаблюдаю.

После взрывов и грома синкопов все сразу стало тихим, старомодным, даже сонным, озаренным мерцанием свечей,— в красноватом полусумраке усталые пары передвигались, плыли среди замедленного течения музыки, иные, обнявшись, дремотно ходили по кругу, иные в изнеможении чуть раскачивались на одном месте, потные, лохматоволосые парни, расхристывая курточки на «молниях», поворачиваясь возле своих столиков, то и дело хватали с них коричневые бутылки кока-колы, пили большими глотками, вытирали рты, передавали бутылки друг другу, но продолжали топтаться, утомленно подрагивать телом, как будто не могли остановить заведенно однообразную вибрацию ног.

Войдя в лениво-кругообразное течение толпы, Никитин внутренне изумился своей необдуманной дерзкой смелости — пойти танцевать с госпожой Герберт, в немыслимом ночном кабачке где-то в Гамбурге, и, подтверждая это наивное безумство, сказал ей:

— Хоть убейте, не знаю, что за танец, но вы уж подчиняйтесь мне, чтобы избежать конфуза. Я постараюсь вспомнить, как это делалось тысячу лет назад.

Она ответила ему согласной улыбкой, легонько погладив его по плечу, и он, ощутив ее осторожное прикосновение и ее спину в разрешенном и дозволенном объятии, запах сладковато-горьких духов, опять ясно представил то утро и прохладную влажность вымытых туалетным мылом волос, когда она с покорным отчаянием обняла его в первый раз: «Ах, герр лейтенант!..»

— Госпожа Герберт, я заметил, что вы молчали и о чем-то думали...— сказал Никитин, стараясь не видеть чистую седину в ее волосах, а силясь сравнить, сопоставить случайное, когда-то бывшее в их молодости благостное утро и вот этот прозрачно-синий, устремленный в его зрачки взгляд, в котором ему хотелось увидеть и ее и себя из неправдоподобно другой, чудилось, приснившейся жизни, где была райская тишина без войны, теплая трава, счастье светоносного весеннего воздуха.— Госпожа Герберт,— повторил Никитин шепотом, заглядывая в переливающиеся блеском влаги ее глаза,— я помню... я многое помню, госпожа Герберт...— Он помолчал, перевел дыхание.— ...Даже то, как вы учили меня произносить по-немецки «Шметтерлинг». Было солнце, раннее утро, в окно влетела бабочка. Помните? Потом эта фраза: «Лерне дойч, лерне дойч...»

— Lerne Deutsch?..— шепотом выговорила госпожа Герберт.— Вы помните? О господи!..

Ее пальцы повлажнели в его пальцах, ослабленные колени стукнулись о его колени, и это проявление какого-то невнятного страха и нескрытой радости пронзило Никитина зябким дуновением: неужели она не забыла, до сих пор помнила слова, которые они говорили тогда друг другу? Он сказал быстро:

— А вы помните, как я учил вас нескольким русским фразам?

Она засмеялась, приготовленно округлила губы и, разделяя слоги, выговорила по-русски:

— До с-ви-дань-я... н-не забы-вай мень-я...— И, сделав паузу, пожимая его руку влажными пальцами, прибавила:— Я льюблю т-тебь-я... Так? Так? Так?

Никитин не ожидал, что она могла вспомнить эти слова, выученные ею двадцать шесть лет назад, произнесенные им в майскую ночь с редкими крупными звездами над покойно спящим городком, когда вздрагивало от их дыхания пламя свечи, а они поочередно писали на листе бумаги русские и немецкие фразы, веря и не веря, что должны надолго расстаться. Нет, он знал и чувствовал, что завтра многое непоправимо изменится в его жизни и больше они не увидятся,— а она, цепляясь за слабенькую надежду, за невозможность, запомнила сказанные им русские фразы? Но, неизвестно почему, сейчас, все-таки пытаясь уйти от серьезного разговора, он пошутил:

— Когда в университете я изучал немецкий язык и, конечно, заваливался не раз, то вспоминал вашу фразу: «Лерне дойч, лерне дойч». Оказали на меня влияние, вот видите, как...

— Вы хорошо говорите по-немецки,— сказала она и, явно колеблясь, спросила неуверенно:— Ваша жена... она кто по профессии?

— Она врач. А... ваш муж?

— Он умер в пятьдесят четвертом году. Мы прожили вместе четыре года.

— У вас есть дети?

— Одна дочь. Но она не живет в Гамбурге. Вышла замуж и уехала с мужем в Канаду.

— А ваш брат? Я смутно помню вашего брата. Кажется, его звали Курт? Где он?

— В Дюссельдорфе. Он известный адвокат. Имеет свою контору. Много дел, много работы. Перед вашим приездом я звонила ему, он очень хотел приехать в Гамбург, но не смог.

— Скажите, я хотел вчера подробно спросить, каким образом именно вы пригласили меня на дискуссию? Как вы узнали? Неужели по фотографии?

— Я увидела вашу фотографию на книгах, которые издавались на Западе. Ваши романы проходили через мои магазины. Только после этого я их прочитала.

— И меня можно было узнать на фотографиях?

— Да. Я узнала.

— У вас лучше память, чем у меня. Слишком многое наслоилось в моей памяти после войны. Слишком много было всего. В общем, бóльшая половина жизни прошла, хотя об этом нет времени подумать, к сожалению.

— Я сильно изменилась, господин Никитин? Вы меня не узнали... Я совсем другая? Не та Эмма, правда?

— И я не тот лейтенант Никитин, которому было море по колено.

— Нет, для женщины срок в двадцать шесть лет — целая жизнь. Вот это и есть правда, о которой вы говорили.

— Этот срок чувствую и я. Иногда по утрам, во время бритья, смотришь на себя в зеркало и с наивной самозащитой думаешь: виски седые, но еще до пятидесяти чуть-чуть не дошло. А в сущности-то главные годы — там, за зеркалом... Истина довольно банальная, хоть некоторые, дожив до шестидесяти, часто оспаривают ее. Но до шестидесяти дожить надо...

— Вы говорите «главные годы»? А я думаю, я уверена... Вы должны быть счастливым человеком, у вас... семья, работа, вы известны... Разве у вас не все хорошо?

— Более благополучного человека, чем я, нет.

— Вы сказали в шутку или серьезно?

— Я хотел вас спросить... Скажите, вы все понимали, что происходило тогда в вашем доме среди русских?

— Я боялась за Курта, за себя. Я знала, что вы меня спасли.

— Вас спас, если говорить о прошлом, не я, а лейтенант Княжко, помните того лейтенанта, который хорошо говорил по-немецки?

— А я знала, что вы меня спасли. Тот лейтенант был строг и очень серьезен, признаться, я боялась его, а вы...

— Таких, как лейтенант Княжко, я больше не встречал в жизни, мне его не хватает до сих пор. Но такие погибали, как правило. Это уж какая-то страшная была закономерность.

— А вы, слава богу, остались в живых.

— Мне повезло... Когда нет таких, как лейтенант Княжко, то нет и настоящих друзей, и вообще многое в мире тускнеет. Я его настолько не могу забыть до сих пор, что он мне снится. А утром чувствую такую горечь, что места себе не нахожу. Как после смерти своего сына. Простите. Мы говорили о Княжко, и я, кажется...

— У вас... умер сын? Когда?

— Четыре года назад. Тогда я едва не потерял и жену, единственного друга: у нее началась нервная болезнь. Подождите, мы говорили о Княжко, о том лейтенанте, моем военном друге. Вы его, конечно, помните...

— О, я не буду ничего спрашивать. Я понимаю, как ваша жена... и вы... Я понимаю, почему у вас бывают грустные глаза, да, заметила, извините. Я не подумала, когда сказала, что вы должны быть счастливым человеком. Извините, пожалуйста, меня. Может быть, нам пора сесть, выпить вина? Мы долго танцуем. Я уже хочу выпить и очень хочу курить. Да, да, здесь душно... но мне как-то немного холодно...

— Вы нездоровы, госпожа Герберт? У вас действительно ледяные руки. Вы, вероятно, плохо себя чувствуете?

— Нет, нет, это тоже нервное. У женщин бывает такое нервное. Я просто, как вы сказали, вспомнила свои лучшие годы. Но их нельзя назвать годами. Это были дни... Какой-то детский мираж, какой-то сон... Господин Никитин, вы слушаете музыку? По-моему, сейчас танцуют твист или шейк. Мы мешаем молодым... Давайте лучше сядем, выпьем вина и покурим.

— А руки у вас не согрелись — ледяные...

— Выпьем вина — и все пройдет. Я немного устала.

— Тогда давайте сядем.

— Простите, господин Никитин, ваш коллега господин Самсонов, несомненно, решительный человек, знает, что мы с вами были когда-то знакомы?

— Это не имеет значения. А что?

— И вы не хотели, чтобы он подробно знал?

— Я об этом не успел подумать.

— Благодарю вас. Пойдемте к столику.

Продолжение следует.

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки И. ПЧЕЛКО

ГЛАВА ПЯТАЯ

Они вышли из убыстренного круговорота танцующих и подошли к своему столику; Дицман и Лота Титтель еще танцевали; Самсонов, скрестив на груди руки, сидел в одиночестве.

— Не показали вы ни твиста, ни свиста, ни шейка, ни бебейка... как это там по-современному называется,— сказал он.— Скромничали, не по моде скромничали...

— Господин Никитин, налейте, пожалуйста, мне вина,— попросила госпожа Герберт, торопливо доставая сигарету из пачки, а когда Никитин налил ей вина и она, словно утоляя жажду, отпила несколько глотков, ему явственно послышалось: зубы ее позванивали о край стекла. И Никитин опять спросил:

— Вы нездоровы, госпожа Герберт?

— Здесь в подвале как-то душно и сыро,— сказала она вскользь и, прикуривая, извинительно посмотрела на него поверх желтых венчиков свечей.— Простите, господин Никитин, это бывает со мной... Я устала немного. Этот джаз, шум, теснота... Господин Алекс был прав: да, да, клоунада...

— Одуреть можно,— подтвердил Самсонов.— С ума сойти... Вакханалия двадцатого века. Для этого веселья нужны крепкие нервы и кашу овсяную надобно есть.

Она беззвучными глотками допила вино, и Никитин снова подлил ей, замечая и дрожь ее зубов и одновременно этот ее взгляд, пытающийся стесненно извиниться перед ним, но в странном, направленном ему в лицо внимании боролись улыбка и нерешительное желание сказать что-то,— вероятно, присутствие Самсонова мешало ей сейчас.

— Я хотела бы, господин Никитин...

«Эмма, прежняя Эмма, глаза остались те же, все в глазах»,— подумал Никитин, и нечто еще, тихое, мягкое, беззащитное, проступавшее в ее синеющем взгляде и особенно в голосе, совсем уже слабое, женское, внезапно тронуло его смутной нежностью к этой немолодой Эмме, в которой непонятно почему сохранилось, еще жило, не обманывало его прежнее, давнее, узнанное. И тут же он подумал, что ничего похожего в реальности не может быть, что все это — и доверчиво-беспомощное выражение ее лица и излучение робкой вины — лишь результат воображения, всколыхнутого воспоминаниями его военной молодости: ведь внешне она изменилась так, что он первый не узнал ее... «Что такое? Я настроился на определенную волну? Нет сил сбросить наваждение прошлого?»

— Я хотела бы... извиниться перед господином Самсоновым,— продолжала госпожа Герберт виноватым голосом.— Мне необходимо быть дома через полчаса... Но я могла бы вас обоих подвезти на машине до отеля, если вы устали. Думаю, что господин Дицман и госпожа Титтель будут здесь веселиться долго. Они любят этот кабачок Алекса... Можно уйти по-английски,— прибавила она.— Не прощаясь. Это входит у нас в моду.

— Госпожа Герберт! Я ваш союзник! — не в меру вожделенно поддержал ее Самсонов.— Больше всего на свете мечтаю добраться до отеля, подняться на лифте, открыть дверь номера и нырнуть в постель...

— Конечно, конечно,— задумчиво сказал Никитин, почти догадываясь, почему заспешила она, и поглядел на толпу танцующих.— Но так или иначе надо проститься.

Вновь заторопился ритм несмолкавшей музыки, вновь взорвался в убыстренной неистовости ритм танца — озаренные свечами пары соединялись, отталкивались, расходились, сходились, как бы разговаривали извивами ног, движениями тел,— мелькали потные молодые лица, мотающиеся волосы, изогнутые шеи, снующие локти, тряслись, вихляли обтянутые джинсами бедра, хлестали по коленям юбочки,— и Никитин, наконец, нашел в хаосе тел тоненькую, по-змеиному всю гибкую фигурку Лоты Титтель — она, выделяясь этой тонкостью, рыжими волосами, быстрыми и легкими наклонами вызывала Дицмана на что-то, она смеялась, показывала на свою грудь, на свои плечи, а он с замкнутым, углубленным выражением, сверкая узконосыми ботинками, ударял каблуком о каблук и делал механически рубящие жесты ладонями, будто бежал на месте. И стремительно носился по зальчику, трагически-радостно вытаращив глаза, господин Алекс, хозяин кабачка, маленький, толстый, розовенький, комично кричал в громе музыки какие-то остроты и танцующим, и музыкантам, и тем, кто сидел за столиками, расплываясь в дыму белыми овалами лиц, и всюду громко хохотали при каждом появлении его, при каждой его выкрикнутой для всех остроте: вечер здесь был, как видно, в самом разгаре.

Никитин подождал, когда Дицман приблизил бег на месте к крайним столикам, подал ему символический знак, нарисовал в воздухе пальцами шаги, и тот в ответ изобразил бровями удивление, затем прекратил бег, сказал что-то покачивающей узкими плечами Лоте Титтель, взял ее под руку, и они немедля подошли. Лота Титтель, подымая и опуская дыханием грудь, не села, а плюхнулась на стул с возгласом: «Это отличная гимнастика!» — извлекла из сумочки зеркальце, уголком платочка обтерла под глазами, сказала возбужденно:

— Твист и шейк, господин Никитин, говорят сейчас,— профилактика от рака. Но вот что: если я заболею этой страшной болезнью, то поеду умирать к своим полякам!

— Не приведи бог, как говорится, но в этом страшном случае можно поехать и в Россию: представьте, у нас неплохие врачи,— сказал Самсонов тоном неполной серьезности и сейчас же скептически воззрился на запыхавшегося Дицмана.— Твист, надо полагать, еще рождает и прекрасные мысли о смысле человеческого существования? И вы, интеллектуал, так часто думаете ногами? Помогает?

— Хотите меня в чем-то упрекнуть? За что? Я нравственно упал? Убил непорочного младенца? Не слишком ли вы придирчивы ко мне, господин Самсонов? Я очень не хотел бы, чтобы вы относились ко мне предвзято.

«Черт его дери, непризнанного апостола эдакого,— неожиданно для себя внутренне вскипел Никитин и даже сцепил зубы от злости.— Что его надирает со своей ядовитостью лезть во все? Да зачем ему без конца засучивать рукава, как будто намерен отвергнуть и доказать все земные истины!» И Никитин проговорил, опережая готовый некстати начаться спор между ними:

— К большому сожалению, нам пора в гостиницу. Согласен с вами: в этом ресторанчике что-то есть интересное, господин Дицман. Благодарю вас за гостеприимство.

— Клоунада, господин Никитин, клоунада,— вставил по-русски Самсонов с едким нажимом.— Говори, говори... о, благочестивый отец...

— Прошу вас, господин Дицман, и вас, госпожа Титтель, не проявлять лишнего внимания и не провожать нас. Вы и так сделали для нас много,— весело договорил Никитин, пропустив мимо внимания вставку Самсонова.— Госпожа Герберт уже любезно согласилась нас подвезти. Вам нет смысла прерывать вечер... Я просто умоляю вас, господа! Без чопорных обязательств и официальности. Хорошо?

Он встал.

— Разумеется, мы еще повеселимся,— сказала Лота Титтель, веерообразно смыкая и размыкая мохнатые ресницы.— Но вот что я вам скажу, господин Никитин, чтоб вы знали насчет дискуссии,— в некоторых вещах вы здорово потрепали холку господину Дицману. И он в этом признался мне. В некоторых вещах. До свидания. Поцелуйте мне руку. В Польше целуют женщинам руки. Говорят, и у вас в России... В зажравшейся Германии это не всегда делают. Я послезавтра уезжаю в Кельн, но до отъезда хочу с вами еще увидеться.

— Благодарю вас, госпожа Титтель. Мне было приятно в вашем обществе.

Никитин поцеловал ей руку, невесомую, длинную, с перламутровыми пикообразными ноготками (она, задорно прикусив губу, уколола его ноготками), пожал руку Дицману, вскочившему почтительно, живая, подвижная улыбка его разгоряченного танцами лица выражала дружелюбие,— при этом он щелкнул каблуками и нашел нужным пошутить, как позволено шутить между давними знакомыми:

— И между тем, я полагаю, господин Никитин, что здесь, в кабачке господина Алекса, вы не решились познать до конца истину, как и на той улице с девочками...

— Я подумаю об этом,— тоже отшутился Никитин.— До утра подумаю. У меня есть время.

Подымаясь из-за стола следом за госпожой Герберт, Самсонов простился вежливо-сухим кивком человека, не допускающего фамильярностей, и, подчеркивая сдержанную вежливость, молча подал ей плащ, висевший на спинке стула, а когда они вышли из неумолчного грохота джаза, шума, криков, смеха, из теплого ритуального мерцания свечей в сыром подвальчике на плохо освещенную улицу, осенний воздух был промозгло влажен, ветер под тусклыми фонарями волочил по тротуару обрывки затоптанных листков, цветные фотографии обнаженных девиц в черных чулках и с вызывающе пышными грудями,— остатки реклам, занесенных сюда ночными сквозняками Сан-Паули.

— Признаться, я устала от шума и музыки у господина Алекса,— говорила госпожа Герберт Никитину; он сидел справа, вполоборота к ней и Самсонову, сопевшему в темноте на заднем сиденье.— Я была там первый раз, потому что люблю тихие рестораны, где можно отдохнуть от общего сумасшествия.

Шел первый час ночи, и после бессонного, сверкающего огнями Реепербана, уже несколько обезлюдевшего, уже реже чернеющего толпами перед неоновыми вывесками ноч-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 12—20, 22—26.

БЕРЕГ

ных кабаре, перед барами, где уже давно взбивались на льду коктейли, стриптизами, где раздевались на сценах девицы, демонстрируя позы, варианты и вариации любви, заученно улыбаясь в полумрак накуренных залов, проступающих многоглазыми лицами; кинотеатрами, где крутились за пять марок ленты шведских фильмов все о том же, после буйно и неестественно веселящегося в этот поздний час Реепербана — огненной пустыни человеческой плоти, с охрипшими возле дверей зазывалами, с одинокими проститутками около афишных будок на углах,— центральные улицы Гамбурга, заставленные до утра машинами вдоль тротуаров, показались холодными, безжизненными, погруженными в темноту, несмотря на разлитый по тротуарам белый свет витрин закрытых магазинов, мимо которых, обнявшись, брели запоздалые парочки.

— Я немножко оглушена,— продолжала госпожа Герберт голосом мягкой вины, дозволенной приличием.— Я хотела, чтобы мы посидели в более тихом месте, где хотя бы слышно друг друга... Если вы не против, господа, я завезу вас в очень тихий домашний ресторанчик выпить по чашечке кофе. И прийти в себя от шума. Не против ли вы, господа?

«Странно,— подумал Никитин.— Она вроде бы схитрила, нашла предлог, чтобы уехать от слишком шумного господина Алекса. Ей не хочется домой, как мне не хочется в гостиницу. Странное ощущение — точно меня тянет, толкает что-то угадывать в ней...»

— Я еще способен пить кофе и, пожалуй, изучать ночную жизнь капиталистического Гамбурга, невзирая ни на что,— сказал Никитин и взглянул на Самсонова, нервно и широко зевающего в снятый берет.— Ты как, Платон? За?

— Пас-с,— выдохнул, оборвав зевок, Самсонов.— Никаких тихих ресторанов, хочу спать. Сыт ночной жизнью по горло. В отель, в отель. На сегодня нам хватит, благодарим вас.

Последняя фраза — «на сегодня нам хватит, благодарим вас» — несла в себе ответ за двоих, смысл спокойного благоразумия, утоленного любопытства, и она не возразила, не осмелясь настаивать, только рукой в перчатке потерла запотевшее стекло, по которому косматыми кругами расплывались, скользили ночные огни затихших улиц, пробегали световой паутинкой по ее лицу. Никитин сказал:

— Мы сделаем так. По принципу не Самсонова, а соломонова решения. Завезем пресыщенного русского писателя в гостиницу, а сами поедем пить кофе в тихий ресторанчик. Я принимаю ваше предложение, госпожа Герберт.

— Мальчишество,— недовольно заговорил по-русски Самсонов.— Бессмыслица. Не понимаю твои разгульные замашки. Зачем? Остановись, в конце концов. Госпожа Герберт,— обратился он к ней по-немецки.— Прошу вас, как женщину, отменить ваше гостеприимное предложение, иначе завтра господин Никитин сляжет с сердечным приступом... Его запасы здоровья я знаю. Ему спать надо. Валидол и снотворное принимать, а не по кабачкам шататься.

Она поправила зеркальце, ловя в нем отражение Самсонова, и, опять не возразив ему, несмело сказала Никитину:

— Это займет у нас не больше часа. Но если вам нельзя, если господин Самсонов...

— Господин Самсонов — человек железной воли, степенный, аскетический, пророк строгого режима, кроме того, с младенчества терпеть не может кофе,— сказал Никитин.— Поэтому мы простимся с ним возле гостиницы, как бы это ни было морально тяжело.

Самсонов незамедлительно загудел русской скороговоркой:

— Пал ниц от твоей остроты, долго приходил в себя, вспоминая, на каком свете я нахожусь... Мое дело — напомнить ему, госпожа Герберт,— добавил он по-немецки.— Выводы делает он сам. С присущей ему опрометчивостью.

— Сделал. Обливаюсь слезами. Не заставляй меня захлебываться рыданиями. Мы приближаемся к гостинице. Ты не заснешь от сожалений при мысли о кофе.

— Один вывод я уже слышал сегодня,— притворно зевнул Самсонов, елозя затылком по спинке сиденья.— Как там? Человечество... ах, да, да... не знает всей правды. Я потрясен, госпожа Герберт, неизмеримой глубиной дан-

ного заявления моего коллеги. Я поумнел на десять лет. Не могу прийти в себя, потрясен, ошарашен этой философской формулой. А вы? Согласны вы с ним?

Она ответила тихо:

— Господин Никитин прав. Никто не знает...

— Ах, никто? А где же непреложные истины? Значит, до сих пор все человечество бродило и бродит в тумане? Слепцы? Ищут и не находят? Тыкаются носами в разные углы, как щенята?

— За исключением одного человека, Платоша,— сказал вполусерьез Никитин.— Но дискуссия окончена... Мы подъезжаем, дорогой оппонент. Гостиница закрыта. Швейцар спит. Позвони. Дай ему марку. Поблагодари. Тебе откроют. И даже подымут на лифте. Пока этой истины достаточно, чтобы добраться до уютного номера.

Они свернули с центральной улицы за угол и подъехали к отелю, благопристойно спящему, погасшему окнами на всех этажах, и в вестибюле за его стеклянными стенами были по-ночному потушены бра, слабо светил матовый плафон над стойкой с ящичками для ключей, и вестибюль без портье и в особенности безлюдные тротуары, темные машины у подъезда напомнили Никитину о позднем времени, об усталости, о том, что прошли еще короткие и бесконечные сутки его жизни. Но спать ему не хотелось, он не смог бы заснуть сейчас в номере, один в пуховом ковчеге постели, подчиняясь покойному, обыденному здравомыслию,— он знал это по прошлой ночи. Тишина и ожидание бессонницы в необжитом номере пугали его навязчивым беспокойством одиночества.

— Прошу об одном: вернешься — позвони,— забормотал мрачно Самсонов.— Ну, смотри, философ, смотри! Все кончается, и наступает похмелье. Прощайте, господа!..

Он натянул на взлохмаченные волосы берет, ожесточенно кряхтя, вытащил свое тяжелое тело из машины, вперевалку пошел к подъезду закрытого отеля; здесь немного постоял, нашарил кнопку звонка, и вскоре за стеклом двери появился силуэт разбуженного портье. Никитин сказал:

— Все в порядке. Можно ехать.

— Господи,— проговорила госпожа Герберт, сняв перчатки и роясь в сумочке.— Как хорошо, что вы приехали в Гамбург!.. Как я рада, что вы здесь, в Гамбурге. Не знаю, рады ли вы, но я рада... Хотите? Давайте две минуты посидим вот так и покурим.

Она вынула сигареты, он зажег спичку. Она прикурила и, прикуривая, благодарно поглядела сбоку размягченными, теплыми, как летняя озерная синева, глазами, и он снова увидел вблизи те, прежние, пропускающие до глубины глаза Эммы, сохранившие, мнилось, солнечный отблеск юности, радостное мгновение утра, что осталось в его памяти свежей и яркой зеленью лужайки перед домом, «студебеккерами» под соснами, росистым запахом яблонь, буйно цветущих в садах майского Кёнигсдорфа, старинным брусчатником площади вокруг кирхи, залитой утренним солнцем, солдатами, уютно покуривавшими на еще прохладных плитах... Странно, все и напоминали и выражали ее глаза, даже движение бровей, когда время от времени она чуть дольше, чем позволяло их настоящее положение, вглядывалась в него. Но еще страннее было то, что он чувствовал, как и что-то сдерживало и необоримо тянуло угадывать изменения ее лица, шевеление губ, произносящих обязательные и необязательные слова, будто тайно смотрел через светлую щелочку назад, в туман пространства и внутрь себя, томительно наслаждаясь грустным возвращением в некий счастливый, отмеченный жизнью срок, когда он и Княжко шли по тротуару мимо железной ограды под нависшей над головой сиренью.

— Вы бывали в Риме, господин Никитин?

— Да.

— И, конечно, любили гулять по площади Навона?

— Да. Это прекрасное место.

Она затолкала в пепельницу недокуренную сигарету, не глядя на него, улыбаясь загадочно.

— Сейчас у меня такое же настроение, как на той прелестной площади, где всегда тихо в солнечный день. Немного грустно, весело и немного тревожно. Потому что не там живешь. А... вы? — Она повернулась к нему.— А вы... Что вы чувствуете? Простите, я уже осмелела и спрашиваю у вас о том, на что, может быть, не имею права.

— Спрашивайте... Мне сейчас тоже почему-то грустновато,— ответил Никитин.— Спрашивайте.

Она помолчала, разгладила на пальцах кожаные перчатки.

— Вам грустно? Здесь? В Гамбурге? Потому что вспомнили Рим? Или Москву?

— Нет, грустновато... потому,— Никитин попробовал найти нарочито неточное по ощущению слово, а оно, это ощущение, останавливающей угрозой мерцало в нем, оно могло показаться опасно откровенным, чересчур искренним, и он с задержкой договорил: — Потому что грустновато.— Он засмеялся.— Грустновато мне бывает всегда глубокой ночью в чужих городах. Все спят, и город кажется пустым, мертвым, как брошенные последними людьми поселения на другой планете. Вот отчего...

— Господи, зачем они все спят? Какие жалкие, экономные люди, эти немцы! Они экономят марки и в своих снах! — Она тоже засмеялась, показала взглядом на темные окна в угрюмом провале улицы.— Как можно так терять время? Мы едем с вами в Рим. Мы богаты. У нас автомобиль. Мы можем кутить всю ночь. Сколько хотим. А к утру вернемся из Рима в Гамбург, который будет уже просыпаться, и не так будет грустно.

Он не понял:

— В Рим? Каким образом?

— О, этот ресторанчик называется «Навона». Рим в Гамбурге. Или вы хотите куда-нибудь в Сан-Паули? В кабаре? Посмотреть на красивых молодых женщин?

— Нет, давайте-ка в Рим.

— Я ваш шофер на всю ночь и домчу вас со скоростью... со скоростью американских вестернов. Вы любите вестерны?

— Не очень.

— Все равно.

Она наклонилась, тихонько сделала какое-то усилие ногами, и ему послышалось: внятно стукнула о педали одна снятая туфля, потом другая; она толчком ноги быстро задвинула их под сиденье, и он спросил удивленный:

— Вам не холодно будет в чулках?

— Так лучше ощущаешь скорость. Я так делаю иногда ночью.

Маленький ресторан «Навона», куда они приехали, был действительно по-домашнему тихим, полупустым — прохладно белели крахмальные скатерти на столиках, отделенных друг от друга деревянными барьерами, спокойно и неярко горели настольные лампы под голубыми абажурчиками, выступали в тени акварели и фотографии Рима на обтянутых цветочной материей стенах, и где-то в таинственной глубине зала еле разборчиво, успокоительно струилась в тепле, шуршала музыка (она была, и будто ее не было), точно осторожно пойманная из другого, благодатного мира давней старины,— здесь все было чисто, размеренно, приятно, здесь не разговаривали в полный голос,— и весь этот уют ресторанчика, с его наглухо зашторенными окнами, нагретой тишиной, нарушаемой лишь дремотным ручейком журчащей музыки, вообразился Никитину островком успокоения, умиленной мечты о милом прошлом, таком покойном, добром, порядочном, среди современного ночного Гамбурга, бурного хаоса Реепербана, который ни часу не спал, болезненно неистовствовал, веселился в двух кварталах отсюда.

— Вы не возражаете, господин Никитин, если мы возьмем коньяку и кофе? Меня все-таки немножко знобит,— сказала госпожа Герберт после того, как они сели за столик и юная девушка в передничке непорочной белизны походкой застенчивой горничной подошла к ним, распространяя на обоих приветливым взором обволакивающие лучи ласковой доброты.— Наверно, мы можем сегодня выпить еще немножко?

Он ответил, замечая про себя нечто новое, смелое, появившееся в ней.

— Как вы потом поведете машину? Найдете руль?

— О, это не проблема! — Она улыбнулась и потом, когда принесли коньяк и кофе, густой, горячий, в фарфоровых чашечках, сказала, задумчиво разворачивая хрустящую обертку на плиточках сахара: — Что бы ни было злого на земле, господин Никитин, богу нужно было, чтобы вы приехали в Гамбург. Я представляла вас другим... да, другим и боялась, что вы сделаете вид, что ничего не помните. Тогда мы были только молоды... Да, тогда были лучшие годы, как вы сказали, которые у нас за зеркалом... Ведь я не та восемнадцатилетняя Эмма, я госпожа Герберт, я постарела на двадцать шесть лет. Я стала теперь думать об этом. Все чаще стала думать: а что же было главное в моей жизни?

— Давайте выпьем за лучшие годы,— сказал Никитин. И вдруг заговорил с полувеселой, полугрустной откровенностью: — С некоторых пор я тоже все чаще думаю об этом. Уже оглядываешься назад: а что, что там было? Так ли жил, как хотел, как представлял, когда вернулся после войны? Многое оказалось не так. Очень уж много было ошибок и глупостей, о чем стыдно вспомнить. Но в то же время странно: плохое забылось и забывается, и остались студенческие годы, женитьба, рождение сына, первый успех, первая поездка за границу в пятьдесят восьмом году. Все первое... Поэтому прошлая жизнь кажется чрезвычайно краткой и чрезвычайно длинной — иные годы выступают смутно, как в тумане.

— А война? — вполголоса напомнила она и попросила виновато: — Только без политики, если вам будет удобно... если так можно объяснить...

— Война без политики? — повторил Никитин.— Это невозможно. То есть я понимаю, что вы хотите спросить. Я ненавижу войну, но мне порой до тоски не хватает людей, с которыми я встречался на войне, всех — плохих и хороших. Всех, кого я знал. Почему так — ответить не совсем просто. Наверно, потому, что мы, плохие или хорошие, очень нужны были друг другу. Мы были как разные братья в одной семье, что-то в этом роде. Вот господин Алекс сегодня сказал: люби друзей и врагов.— Никитин помолчал в раздумье.— У меня нет этого библейского чувства Иисуса Христа, а война кончилась, прошло много лет, и я почувствовал, что лучше тех людей я потом не встречал. Это ностальгия поколения. Понимаете? Мне все время нужен был такой друг, как лейтенант Княжко. До сих пор нужен. И такого, как Княжко, нет. А наше поколение выбили. Почти всех. Наверное, особенно поэтому я их люблю и не могу забыть. Даже, кажется, и того сержанта Меженина... Вы должны помнить его... Тот, который застал вас тогда в мансарде...

Она подняла брови, слушая его пристально.

— Вы их любите? Даже того сержанта? Как я помню, вы в него стреляли, и вас арестовали... арестовали в тот день?

— Он был искренен в своей ревности ко мне,— ответил Никитин.— Знаете его судьбу? Он досадно погиб после войны. Одиннадцатого мая. В Австрии. Кто-то в лесу обстрелял машину. В машине ехало четверо, а погиб он один. Это можно было предположить еще и в Кёнигсдорфе во время последнего боя... Он был уже приговорен тогда. Страшно звучит, но это так. В конце войны он слишком хотел выжить. Когда сообщили, что он погиб, мне долго было не по себе. В его смерти было что-то роковое, как бывало на войне.

— Я хочу еще выпить. Я сегодня совершенно не пьянею,— сказала она и жестом подозвала девушку в передничке к столу, подошедшую с прежней ласковостью на преданном лице горничной.— Прошу вас, фрейлейн двойной коньяк.

— Да, госпожа Герберт. Одну минуту.

Между тем ресторанчик постепенно наполнялся ночными посетителями, появлялись за столиками одинокие пожилые женщины, солидные пары, приехавшие сюда на чашку кофе, на поздний ужин, по-видимому, после кино или кабаре, голубели в дымках сигарет абажурчики ламп, шелестели меню, слегка позванивали расставляемые приборы, приглушенно плыла как бы дальней стороной музыка, и все так же было несуетливо, размеренно, уютно, будто задернутые на окнах занавеси, обитые материей стены, увешанные солнечными акварелями, цветными фотографиями Рима, прочно охраняли этот нерушимый, вне времени, домашний ковчег, это убежище тишины и

душевного успокоения. И Никитину пришла мысль, что госпожа Герберт выбрала и полюбила уголок отдохновения «на Навоне» (самой тихой римской площади), которая присутствовала здесь на фотографиях, но, вероятно, знала, что своим выбором обманывает себя, желая обмана, и вся ее жизнь представлялась ему несоответствием куда-то несущего, бездумного удовольствия, скорости (скинула туфли и, не притормаживая, мчала машину по заснувшему Гамбургу) и какого-то сказочного ожидания воображаемого, ушедшего навсегда старинного покоя, где все твердо стоит на незыблемых местах. «Я уже придумываю ее жизнь,— подумал он, с сомнением развязывая тайный узелочек, мучимый любопытством к тому, о чем она не говорила.— Жизнь Эммы, которая стала госпожой Герберт,— нет, тут я могу ошибиться, нафантазировать небылицы».

— Я хотел бы...— сказал он и подождал, пока отойдет девушка в передничке, аккуратно поставившая перед ними рюмки, наполненные коньяком,— я хотел бы, чтобы вы позволили мне задать вам несколько вопросов... в обмен на любой вопрос, который вы зададите мне.

— Я согласна на обмен, если только смогу...

Он спросил:

— Как вы жили после войны? Я хорошо помню, что ваш брат и вы хотели уйти в Гамбург. Он ушел без вас, вы остались... А утром, вы знаете, что было... А потом? Вы нашли брата?

Она посмотрела взглядом долгого внимания и отвела глаза, а когда опять посмотрела, по лицу пробежал отсвет встревоженной неуверенности.

— Да, я добралась до Гамбурга, где были уже американцы. И нашла брата, застала его в квартире дяди. Курт был подавлен, испуган, все время лежал на диване, смотрел, как больной, в потолок и не выходил из дома. Однажды он нашел в шкафу кабинета дяди военный мундир, сжег его в камине, стал бегать по квартире, плакать, запирать двери комнат и кричать, что русские придут и его расстреляют. Это была ужасная истерика. Через месяц он выздоровел.

— Ваш брат показался мне болезненным и нервным парнем,— сказал Никитин, туманно вспоминая не черты его лица, а что-то сутулое, длинное, серое, одетое в широкий, не по росту мундир, нелепо висевший на его плечах.— Но бог с ним, с вашим братом, я его плохо помню. Ну, а вы как потом? Учились в университете?

— Курт на два года моложе меня,— продолжала она, неловко, поспешно оправдывая мальчишескую неполноценность брата, запомнившуюся Никитину.— Нет, я не закончила университет, надо было зарабатывать деньги. Я работала секретарем в одной маленькой фирме, потом в библиотеке, потом в книжном магазине. И тогда вышла замуж. Только...— Она грустно подняла уголки губ.— Эти годы не были лучшими моими годами. Мой муж был старше меня на десять лет, умный, добрый человек. Я понимала, что уже нельзя одной... мне надо было устраивать жизнь. Три больших книжных магазина, большая квартира, две машины — я стала богатой женщиной. Лучшее было — рождение дочери. Это было самое лучшее после войны. Самое лучшее... Потом вместе с мужем мы зарабатывали деньги и часто ездили за границу. Но так было недолго. Муж умер, дочь вышла замуж за француза и уехала в Канаду. И я осталась одна со своими деньгами, магазинами и машинами. И вот так прожила жизнь, совсем незаметно... Сейчас вспомнила. В вашем последнем романе герой задумывается, счастлив или несчастлив он был, прожив жизнь. И ищет ответа и не находит. Так у вас написано?

Она вопросительно глядела на него сквозь светлую тень настольной лампы, а он не почувствовал удовлетворения в ее насильно ровном ритме голоса и, испытывая необъяснимую острую потребность узнать главное в чужой, неблизкой жизни ее, когда-то близостью и болью коснувшейся его жизни, и борясь с собственным неудовлетворением, спросил, переступив хрупкую границу возможной откровенности:

— И все-таки вы были когда-нибудь счастливы? Понимаю, конечно, когда человек задумывается, счастлив ли он, то сразу становится несчастлив...— Он внезапно рассердился на себя за недозволенное приличием любопытство и добавил:— Простите, я не хотел задавать этот неделикатный и сложный вопрос!.. Это, простите, отчаянная глупость!— И в воздухе поставил пальцем крест.— Зачеркните красным карандашом мой вопрос. Пожалуйста!

Она опустила глаза, проговорила:

— Почему? Вопрос простой. Ответ сложный. Я помню, вы просили меня быть откровенной. И мы должны быть сейчас откровенными. Потому что мы не говорим о политике. О, как я ненавижу политику, которая так надоела и так мешает людям, мешает тысячи лет!— Она притронулась к рюмке с коньяком, медленно поводила донышком по скатерти, но тотчас, мигом решившись, заговорила принужденно-весело, тоном вызывающего задора:— Все было когда-то давно. Когда в курортном городке под Берлином жила девочка Эмма, наивная немецкая Золушка. Веснушчатая дурнушка. И когда совсем быстро, в несколько дней, прошла там война. И было опасно и страшно, потому что девочка ожидала нашествия варваров, и действительно сначала она пережила ужас — там, в мансарде... А потом влетела бабочка в ее комнату в образе русского лейтенанта, мальчика-рыцаря, как в доброй немецкой сказке, которую Эмме читали в детстве. И эта девочка всю жизнь помнила чудесную и короткую сказку, а может быть, сон,— когда выходила замуж, когда у нее родилась дочь и даже когда ездила с мужем в свой любимый Рим. И там она почему-то мечтала неожиданно встретить своего рыцаря, который прилетит, как бабочка в детстве. Но... представим себе, что мы и сейчас в Риме! И у нас нет никаких забот и никаких вопросов... Хорошо?

Она засмеялась, беспечно-наивно всматриваясь в самые его зрачки поверх поднятой рюмки, он же видел: по горлу ее проходила дрожь, похожая на судорогу напряжения,— и вдруг, будто в ресторане господина Алекса, когда она танцевала, он почувствовал уже не грустный наплыв приятного воспоминания, а щемяще-пронзительную, как боль, нежность к той близости прошлого, к тому, что было между ними, к тому неисповедимо оставшемуся в Эмме, не забытому ею. Однако он не предполагал, что она так раскрыто коснется их прошлого, и был ошеломлен и ее неожиданной искренностью, и ее обороняющимся смехом, и этой судорогой горла.

Неужели то неповторимое, отдаленное пропастью лет, за которыми были грубая реальность войны, непонимание, страх и несколько стремительных дней всепоглощающего их наваждения, какое бывает только в юности,— до сих пор овеивало ее ветерком потерянной радости и было прочнее, необычнее, счастливее, чем прожитое в поздние годы? И ему недоставало отчаяния поверить: неужели в ней, госпоже Герберт, сорокачетырехлетней женщине, имевшей замужнюю дочь, еще жила, еще в чем-то сохранилась прежняя восемнадцатилетняя Эмма? И тот русский лейтенант, «мальчик-рыцарь», «бабочка из России», был он, теперь сорокасемилетний, много повидавший человек, любящий свою жену и в силу тысяч разных причин не так уж часто вспоминавший о тех кратких нескольких днях первой «фронтовой» любви, оглушившей его тогда, перед концом войны.

— Госпожа Герберт!— проговорил он.— Госпожа Герберт...

И замолчал.

В эту секунду он искал в себе причины собственной вины, которая росла в нем, обострялась горьким изумлением, неловкостью, жалостью, а она, покачивая коньяк в рюмке, все смотрела и ожидала с видом проказливой, беспечной выходки, словно бы сказала ему между делом, необязательно напомнила веселое, простое, мимолетное, не требующее напряжения ни с ее, ни с его стороны. Но только глаза не выдерживали фальшивой игры, искорки смеха гасли, и она, силясь уже притупить что-то в них обоих, силясь придать разговору ни к чему не обязывающую легкость, быстро проговорила:

— Господин Никитин, мы с вами стали вспоминать молодость, и многое было таким наивным, таким... немножко романтичным, смешным, не правда ли?

Он ответил:

— Смешным? Нет. Смешного было мало. Наоборот.

Она поправилась, удерживаясь на легком тоне:

— Сейчас кажется смешным. Мы надеялись, что нам не смогут помешать и мы скоро увидимся. Мы просто забыли про войну. И я верила... Только в молодости можно так верить.

— Вы правы. Только в молодости,— сказал он.— Вы правы!

Она растерянно потрогала ладонью висок.

— И вы... вы, господин Никитин, приехали бы в Кёнигсдорф, если бы, простите, если бы это было тогда возможным?

Все, что он чувствовал сейчас к той прежней Эмме и к тому прежнему лейтенанту Никитину, было частью его военной жизни, но жизни такой ушедшей, ни в чем не повторимой по горячей, молодой и бездумной решимости, которая даже мешала, препятствовала ему позже обуздывать поступки бывшего лейтенанта Никитина, самоуверенно знавшего главное или почти главное, что надо делать на войне в каждый момент переменчивой судьбы, казалось, всецело зависевшей от него. Лишь некоторое время спустя он понял: понемногу он терял то, что было его сущностью в те годы, и приобретал другое, что отдаляло его от лейтенанта Никитина.

— Тогда — да,— наконец ответил он с оборением мучительного неудобства.— Я был наполовину уверен, что война странными путями может вернуть меня в Кёнигсдорф. Я верил и не верил, что мы можем встретиться. Но потом была Чехословакия, конец войны, демобилизация. Много было «потом».

— Вы вспоминали меня?

— Да. Хотя меня уже несла другая жизнь.

— Господи!— сказала она, и лицо ее мгновенно утратило выражение задорной игры, потухло, поблекло, осунулось, и, как недавно в ресторане господина Алекса, плечи зябко сузились, отчего что-то жалкое, подавленное появилось во всей ее позе, в наклоненном лбу, в прикушенных губах...— Господи!— повторила она, стискивая на коленях пальцы.— Я ждала... Я думала, что вы приедете. Знаете, о чем я молилась? Мне страшно вспомнить, о чем я думала после войны. Господи,— молилась я,— пусть снова будет война, пусть снова стреляют, пусть меня насилуют, но только чтобы вернулся русский лейтенант... чтобы приехал в Кёнигсдорф, в Гамбург со своими пушками, сказал бы: «Эмма, я люблю тебя»,— и я ответила бы: «Я умираю без тебя...» Я представляла, как это будет. Не правда ли, какая я была глупая, сумасшедшая, сентиментальная девочка!.. Сейчас об этом смешно говорить. Сейчас мы должны пить коньяк и вспоминать приятное. У нас должно быть прекрасное настроение. Не правда ли, господин Никитин?

Она усилием постаралась придать своему голосу выражение веселого облегчения, заставить по-прежнему блестеть из голубоватой тени абажура глаза, но попытка эта была нерешительной, и она без раскованной живости поднесла рюмку к растянутым улыбкой губам, договорила негромко:

— Вы совсем не пьете, господин Никитин. Простите, я немного опьянела и сказала лишнее. Я увлеклась, простите...

Мешая ему ответить ей, колючая стальная пружинка распрямлялась в его груди, где-то возле сердца, тоскливой болью поворачивалась режущим острием при виде ее неумелой и непрочной защиты, не сумевшей скрыть, спасти то, что вырвалось в несдержанном порыве вернуться в сохраненное прошлое,— и, не ожидая этого предела в их разговоре, он подумал, что не сможет объяснить ей свою жизнь после войны, прожитую целую вечность, так же, как она свою. И мелькнула мысль, что оба они жили словно на разных планетах, случайно встретившись в момент их враждебного столкновения, на тысячную долю секунды, вероятно, счастливо, как бывает в юности, увидев друг друга вблизи,— и со страшными разрушениями планеты вновь оттолкнулись, разошлись, вращаясь в противоположных направлениях галактики среди утвержденного уже мира. На каждой планете затем установилось несовпадающее время, непохожее годоисчисление, несоприкасающиеся светлые и черные дни, и тоже чем-то несхожие страдания, беды, любовь и собственные, подчиняю-

щие людей закономерности. И он, Никитин, жил данными его планете закономерностями, подхваченный новыми событиями, течением иных чувств, забывая о той молниеносной вспышке соединения между ним и ею. «Была ли в том моя вина, связанная с отчаянным мальчишеским ослеплением? Да, у меня и у нее было ослепление первой влюбленностью. Но как она могла так долго надеяться, ждать, поверив тогда в незыблемость своей судьбы? Я часто вспоминал ее в сорок пятом году, а в сорок шестом уже был таким же, как сотни других лейтенантов, и весь был подчинен наступившему мирному времени. О, как властно оно мною командовало! Я жил в другом измерении, во всем другом. Демобилизация, возвращение в Москву, радость и жадность к жизни, вечеринки парней в шинелях, новые друзья, университет, неутоленная жажда к книгам, студенческое общежитие... А у нее все было иначе? И время затормозилось?»

— Госпожа Герберт,— проговорил Никитин, дыханием превозмогая остренькое покалывание воткнутой в грудь пружинки.— В сорок пятом году я верил, что все изменится после войны, что весь мир и вся жизнь будут сплошным праздником. В сорок шестом и сорок девятом я этого уже не думал. Потом началась «холодная война» — и все окончательно раскололось...

«Я совсем не то, не то говорю, я не могу лгать ей,— подумал он.— Она знает это и ждет другого объяснения от меня. Что, что же я ей могу сказать? То, что не двадцать шесть лет поглотили и растворили в себе несколько дней юности? Что невозможное нельзя было сделать действительным?»

Он сказал вполголоса:

— Лейтенанту Никитину было тогда чересчур все ясно. И, как я помню, он почти не умел лгать, и ему казалось, что все зависело от его смелости и честности. И все же он был мальчик, не знал, что такое жизнь, которая была гораздо сильнее его.

Она — как на холодном ветерке — ознобно поежила плечами, потом отклонила голову, и в притворном полусмехе блеснули маленькими зеркальцами ее отлично сохранившиеся зубы.

— Я опьянела, господин Никитин, у меня кружится голова. Поэтому наговорила вам много глупых слов. Никакого Рима у нас не получилось, я нагнала на вас тоску, простите меня! Из Рима мы сейчас опять поедем в Гамбург, где под перинами давно спят добропорядочные немцы. И представьте, они так спокойно и великолепно храпят на пуховых подушках, как будто на свете наступил рай—хр-хр!.. Целый миллион храпящих немцев! Не правда ли, смешно!

С тем же притворным оживлением она подложила руку под щеку, изображая сладкий сон добропорядочных немцев, а он понял, что она изо всех сил обороняла свою обнаженную перед ним искренность, чисто по-женски стараясь прекратить этим полусмехом трудный для них обоих разговор,— и, поняв ее, он необлегченно, еще душевно неперестроенный, вступил в эту предложенную ею, как вынужденное спасение, игру, спросил предупреждающе шутливо:

— Вам не сложно будет вести машину в Гамбург из Рима? У вас не строгие таможенники?

— О, нет!— воскликнула она, продолжая игру.— Мне только стоит сесть за руль, снять туфли, и... промчимся через таможню на страх полиции! Я ничего не боюсь.

— Вы мужественная женщина...

И она на мгновение не смогла справиться с собой, брови выгнулись страдальчески-удивленно.

— Я? Мужественная? Какая ошибка!.. Я одинока, господин Никитин. И мне нечего терять, кроме квартиры, «мерседеса» и трех книжных магазинов. Но...— Она сделала фальшиво-испуганное лицо.— Но я не хочу никаких революций и не хочу терять ни магазинов, ни «мерседеса». Это уже трусость, а не мужество, не правда ли?

— Может быть,— проговорил он.

Она сказала чрезмерно торопливо:

— Последний тост, господин Никитин. Я хочу выпить за вас и вашу жену. Я знаю, что вы ее любите. Вы о ней ничего не говорили, значит, вы ее любите.

— За вас, госпожа Герберт,— проговорил он и тут же в неловкой заминке от невольной этой двусмысленности, хмурясь, исправил ошибку:— Я пью за вас, госпожа Герберт.

А она с умной чуткостью уловила словесную двусмысленность и улыбнулась ему:

— О, к сожалению, я не ваша жена. Выпьем за вашу настоящую жену, которую вы любите. И которая вас любит. И чокнемся, как у вас в России. Где-то я читала, господин Никитин, что в старые времена люди чокались, чтобы вино выплеснулось из одного кубка в другой. Для чего? Для того, чтобы показать — в нем нет яда. В моем кубке нет яда, господин Никитин. И не надо, чтобы нам было грустно. Не так ли?

— Ваше здоровье, госпожа Герберт.

— Благодаю вас. Я постараюсь жить очень долго, и ездить в Рим, и пить коньяк, и читать умные книги, и весело смотреть на свои морщинки в зеркало.

Однако уже в машине она, по-видимому, не выдержала долгого напряжения трудной игры, села к рулю, включила мотор, замедленно сняла туфли и, начав надевать перчатки, резко сдернула их и, будто согревая кисти в зажатых коленях, наклонилась вперед, замерла так, глядя на ночную улицу, из конца в конец продутую осенним промозглым ветром, без единого прохожего, мертвенно отсвечивающую пустым асфальтом под синеватыми фонарями, сказала шепотом:

— Как холодно, господи...

— Зачем вы сняли туфли?— укоризненно проговорил он.— Наденьте. Ведь можно ехать и на средней скорости.

— Мне почему-то часто бывает холодно, господин Никитин,— ответила она, вся вздрагивая, и глаза ее увеличились мольбой и страхом, выделились неестественным блеском на белом лице.— Меня не согревает даже коньяк.— И после паузы она опять не в полный голос сказала, будто самой себе: — Господи, мне так иногда бывает холодно!..

— Госпожа Герберт... Эмма,— выговорил он, захлестнутый жалостью, не зная, что ответить ей, чувствуя, как воткнутая железными краями пружинка в груди, распрямляясь, подрезает и сбивает дыхание, и неожиданно двумя руками взял ее руки, ледяные, тонкие, в странной какой-то детской легкости покорно подавшиеся к нему руки Эммы, и подышал на них, стал тереть их с осторожной нежностью в своих ладонях, потерянно успокаивая ее ненатурально бодрой, решительной скороговоркой:— Сейчас все будет в порядке. И вы сможете держать руль, как настоящий мужчина. Как герой из вестерна. Сейчас все будет отлично. Мы с вами возвращаемся из Рима. Но вы еще вернетесь в Рим.

Он успокаивал ее неудобно, совершенно бессмысленно, сознавая это бессмысленное и единственное, что мог сделать, а она, повернув голову в сторону, робко клонясь к нему, кусая губы, глядела на огни улицы, и светлая, точно отблеск фонарей, полоска ползла по ее щеке.

— Простите меня...

Она всхлипнула, и он вдруг услышал ее совсем уж слабый, задавленно прозвучавший шепот, как тогда, в ту майскую звездную ночь, когда она пришла к нему, арестованному Гранатуровым, в мансарду:

— Вади-им...— И, выпростав легонькие дрожащие пальцы, опуская голову, очень быстро стала надевать перчатки, потом перчаткой мазнула по щекам.— Я не плачу, нет. Некрасиво и смешно, когда плачет немолодая женщина. Мы поедем сейчас... Я буду вести машину, как герой из вестерна. Не правда ли, я мужественная женщина? Я ведь немка, потомок викингов! Господи...

И она через заволакивающие слезы прямо посмотрела на него.

— Господи, у меня нет сил,— снова прошептала она отчаянно,— пусть несчастья, пусть катастрофа, но пусть будет то, пусть повторится то... Это — безумие, безумие, но я ничего не могу поделать, простите меня!..

Мертвея от ее слов, он молчал, и замолчала она, откинувшись затылком на спинку сиденья, с закрытыми глазами.

Окончание следует.

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки И. ПЧЕЛКО.

БЕРЕГ

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Туго и однотонно гудели реактивные моторы, самолет уже три четверти часа вместе с этим гулом нес свое железное тело среди небесного холода на высоте девяти тысяч метров, оставив внизу и позади светящийся угольками аэропорт Гамбурга, и после законченного ужина, что на подносиках разнесли в начале полета мило предупредительные стюардессы, после раздачи пледов, шелеста газетами и журналами был пригашен верхний свет в жемчужных плафонах, откинуты спинки кресел, задернуты гофрированные шторки иллюминаторов, и стало как бы пустынно, сонно в теплом, затихшем салоне с дремлющими пассажирами, успокоенными красным вином и минеральной водой, шерстяными пледами, вибрирующей мощностью современных двигателей, надежным гулом обещающих всем благополучный полет и благополучное приземление.

Горячая и жесткая боль возле сердца не давала расслабиться, заснуть Никитину, ему не помогла таблетка валидола, не сняла боли — он знал, что это было последствием четырехдневного напряжения, сверх меры выпитого коньяка, крепкого кофе, неполного сна, усталости, вчерашнего ночного разговора с Самсоновым, неприятного, резкого, почти оттолкнувшего их друг от друга. Разговор этот был неприятен еще и потому, что Самсонов точно бы в несдерживаемом порыве обвинения хотел громкой, выявляющей их отношения ссоры, хотел ядовито уколоть, унизить, ударить липкими, осудительными словами, и оставался в памяти его озлобленный, мечущийся по номеру взгляд, его закованный металлом голос: «Так что может быть общего у тебя и господина Дицмана, ответь!»

В аэропорту они перебросились несколькими фразами, не примирившими их, в самолете же вновь произошел вздорный разговор, и потом, ужиная, молчали. Поужинав, Самсонов раздраженно полистал иллюстрированный журнальчик, пощелкал глянцевитыми страницами, сунул журнальчик в кармашек спинки, скрестил на груди руки и, завалив назад голову, казалось, задремал, сердито сморщась.

Огромная осенняя луна до огненной багровости раскаленным шаром, подробно видимая отчетливыми светотенями, стояла недвижно за иллюминатором в черной пустоте бесконечного холода, и Никитин не мог оторваться от нее. Она тянула его к себе — магически близкая, яркая,— в ее ледяном блеске, в ее приближенной величине и недосягаемости мерещилось ему что-то тайное, врачебное, успокаивающее боль в сердце, от которой он боялся пошевелиться.

Металлическая плоскость крыла висела над глубиной высоты, и там, внизу, серебристо-голубоватая, лежала пустыня облаков, покрывавших ночную землю, и, не пробиваясь к земле, весь лунный спокойно-яростный свет неживым бликом сверкал на плоскости самолета над провалом глубины, лился в иллюминатор, в его толстые, двойные стекла. И порой Никитину мнилось, что этот лунный свет просачивался сквозь густо-фиолетовую воду, что он летит не на девятикилометровой высоте, а скользит на подводной лодке, под океанскими толщами воды, сжатый ими. Ему стало душно.

Он включил вентилятор над головой — ворвалась струя воздуха.

Теперь все осталось давно позади и внизу, скрытое этими безжизненно осиянными ноябрьской луной облаками. Там, далеко внизу, было прощание, обед, взаимно благодарственные тосты во время обеда с господином Вебером и господином Дицманом, приехавшими в отель за полтора часа до отъезда в аэропорт, снятые шляпы, улыбки, рукопожатия около машины, нагруженной чемоданами, затем несколько томительное ожидание рейса в ресторане аэропорта, большом, шумном, пахнущем синтетикой и духами, снова кофе, коньяк, заказанные Лотой Титтель, и молчание, синие тени усталости под глазами госпожи Герберт, напряженно курившей сигарету за сигаретой, и внезапная на пятнадцать минут задержка самолета по причине непогоды, вызвавшая вдруг тревожную радость на бледном ее лице, и слова Никитина, полушутливые вроде бы, о том, как прекрасно было бы поспать здесь, в уютном ресторане при аэропорте, прямо на чемоданах, но после этого — объявление рейса, движение пассажиров за столиками, на креслах, на диванах и облегчение оттого, что все кончилось наконец-то,— объявлена посадка, завершающие секунды которой особенно мучительно помнил он сейчас.

Допив кофе, не выказывая последнее волнение, они пошли к выходу, где перед стеклянной дверью, приготавливая посадочные талоны, выстраивалась очередь солидных деловых людей с портфелями, и здесь начали прощаться. Он, по-прежнему говоря что-то дружеское, шутливое Лоте Титтель, первой протянул ей руку, однако она, смеясь, возразила: «Не так, не так! Я женщина, хоть и артистка! Уж если я приеду в Москву, то вы узнаете обо мне по большому шуму, который я наделаю»,— и обняла, звучно, крепко поцеловала в губы его, потом Самсонова, а когда он, подавляя смущение, повернулся к госпоже Герберт,— увидел разъятые до пронизывающей синевы, будто подставленные ужасу ее глаза. Она с глухим вскриком кинулась к нему, уткнув голову ему в плечо, шепча так страшно, так обреченно, что огненным ожогом ударило по сердцу и он задохнулся от вскрикивающего ее шепота:

— Вади-им! Вади-и-им!..

Он, растерянный, не ожидавший этого, неловко поцеловал ее куда-то в висок и со стыдом, не совладав с мигом растерянности, оглянулся, уже пройдя мимо контроля. Она, вся тонкая, вытянувшаяся, в коротком плащике, заметном полуоткинутым капюшоном, постаревшая и прежняя Эмма, еще видна была за стеклянной стеной вместе с Лотой Титтель, энергично махавшей перчаткой, и белое ее лицо, ровно подсвеченное неоном, выражало отчаяние, беспомощность, физическое страдание, как тогда ночью, много лет назад, когда они прощались.

Он помахал им обеим издали в последний раз, излишне весело улыбаясь, и, еще слыша переворачивающий душу ее шепот: «Вадим! Вадим!» — пошел в заторопившейся толпе к самолету по бетону очень ветреного аэродрома: рвало портфели из рук, загибало края шляп.

Потом в самолете Самсонов, устраиваясь на своем кресле, шумно возясь, вытянул на колени пристяжные ремни и подозрительно воззрился на Никитина, удивленно фыркнул губами, говоря:

— Ничего себе прощание, поразительно! Да с госпожой Герберт ты прощался, как с женой или любовницей! Что с ней? Что с тобой? Объятия, крики, поцелуи при всем честном народе! Значит, выходит, ты ночевал у нее вчера?

— Бесконечные идиотские вопросы ты задаешь, черт тебя возьми! — ответил резковато Никитин, отворачиваясь к иллюминатору.— Ты ошалел в Германии, дорогой Платоша, и это я должен тебе сказать совершенно откровенно!

— Кто ошалел из нас — еще о-огромный вопрос! — вспылил Самсонов.— Может быть, совсем наоборот? Со-овсем! Кажется, не я, а один мой знакомый напорол немцам мистической ерунды, чем вызвал неслыханный восторг и взаимопонимание! И не один ли мой известный коллега в конце концов потерял голову с некоей, так сказать, госпожой Герберт? Так кто же ошалел?

— Кстати,— сказал Никитин, усмехнувшись,— нам стоило вместе съездить в Германию, чтобы до конца выяснить отношения. Может быть, они и были невыявленной трагедией. Я не жалею. Так проще и яснее.

— В общем, да! — Самсонов повел по салону иконным взором мученика, сложил на животе руки, наставительно проговорил:— Пройдет время, ты вспомнишь все и будешь мне благодарен за то, что я вытащил тебя из этой клоаки. Дорогой мой, тебя бурно осыпали гонораром, вокруг тебя сюсюкали, вертелись всякие господа Дицманы, и какая-то непонятная, мягко говоря, госпожа с «мерседесом», которая таскала тебя по ночным кабакам,— не догадываешься, что стояло за этим?

— Я чуть-чуть поездил по Западу, дорогой мой,— сказал Никитин, ответно выделяя это насмешливо-снисходительное «дорогой

Окончание. См. «Огонек» №№ 12—20, 22—27.

мой»,— и бывал в разных обстоятельствах, Платоша. Но то, что ты держался надутым индюком, будто все знаешь о людях и мире,— смешно и глупо, как перец в чае! Напролом пёр с бонапартовской фанаберией, как будто тебя окружали одни кретины!

— Я занимал свою позицию, дорогой мой! И совесть моя чиста, представь! Абсолютно чиста!

— Так вот, прошу — займи и сейчас твердую позицию по отношению ко мне, помолчи до Москвы. Едва ли мы поймем друг друга.

Сцепленные на животе толстые пальцы Самсонова стиснулись, затем большие пальцы сделали заводящие обороты один вокруг другого, он выговорил голосом злого негодования:

— Надо полагать, ты считаешь меня патентованным идиотом! Благодарю! Если хочешь, я тебя спасал от всей гнусной возни, от тины, которая тебя засасывала, а ты уже земли под собой не чуял!..

— Спасал? От кого?

— От Дицманов! От этой немки! Неужели думаешь, она пригласила тебя на дискуссию из лирических чувств, чтобы только сентиментально посмотреть на тебя, мило повздыхать? Поулыбаться тебе? Попить с тобой коньяк? А нет ли здесь другого — не нажимал ли, прости уж меня, на твою прелестную госпожу Герберт с определенной целью этот субчик Дицман? Ты хорошо знаешь, кто он?..

— Прими, пожалуйста, мое предложение,— холодно прервал, не дослушав его, Никитин,— помолчим до Москвы. Я устал. Очень устал. И у меня нет желания соучаствовать в твоих домыслах, даже если бы ты был Шерлоком Холмсом, Мэгре и майором Прониным, вместе взятыми.

— Великолепно, помолчим. И еще раз благодарю тебя за выясненную правду наших искренних отношений. Нашей выявленной трагедии. Твои искренние чувства ко мне вызывают слезу умиления.

— Крокодилово умиление. Так надо было закончить, Платон.

— Охо-хо, Вадим, охо-хо. Не узнаю я тебя, не узнаю.

«Искренность отношений? — думал Никитин, уже отдаленный от Самсонова тягостным молчанием, напоминавшим холодом чернеющую трещину во льду.— Искренность, которая убивает все. Он хочет под прикрытием искренности поставить меня в какое-то слабое, унизительное положение, в чем-то даже обвинить меня. Что отдалило нас? Почему я злюсь на него? Неужели здесь, за границей, он никак не мог сдержать то, что отвратительно проявилось тогда в «Праге»? К чему он ревновал? Его раздражало внимание ко мне? Ревновал к тому, что госпожа Герберт общалась со мной? За что же, за что? Его искренность, в сущности, похожа на ненависть ко мне. Но странно — я ничего дурного не делал ему никогда. Да отчего же это мне так плохо? Бесконечное курение, коньяк, ночи без сна...»

Свежая струйка ветерка, ворвавшаяся в маленькое отверстие вентилятора из лунного пространства ночного неба, холодила ему голову, но боль возле сердца не утихала, охватывала грудь тихой щемящей горечью, близкой к тоске, какая бывала в минуты приступов, и тоска, и усталость, и вчерашняя бессонница, и ощущение неудовлетворенности собой, и неприязнь к Самсонову, и растерянно-жалкое, бледное лицо госпожи Герберт, внезапный ее в последнюю секунду вскрик: «Вадим, Вадим!»,— вскрик прежней Эммы, и этот свой поцелуй, торопливый, неловкий — все было в болезненных перебоях сердца, и, чтобы забыться, отвлечься от беспокоящей его боли, он стал заставлять себя думать о том благостном моменте, когда самолет, пойдя на посадку, мягко ударится колесами о бетон аэродрома в Шереметьеве и, страшно ревя моторами на холостом ходу, покатится по земле мимо сигнальных огоньков посадочных полос; потом пахучий и родной ветерок на аэродроме, ни с чем не сравнимая тишина, родная речь, проверка паспортов, ожидание багажа и затем погрузка в такси, обшарпанное, дребезжащее, и скромные огни московских улиц с неяркими витринами, лица прохожих, очереди на троллейбусных остановках, фигуры милиционеров-регулировщиков на площадях, и разговор с шофером после выкуренной иностранной сигареты, любопытствующим, как т а м живут, и, наконец, милый, как всегда, на том же месте, старый и добрый знакомец дом, исцарапанный лифт, запах подъезда, двойной, заученный звонок в дверь на девятом этаже, свет в передней и сияющее радостью лицо жены: «Вадим, наконец-то!» — и ее родственные губы, прильнувшие к его губам, еще, кажется, липким, сладким от посадочных карамелек. Она никогда не провожала и не встречала его в аэропорту — так было заведено им и ею с первой его поездки, и оттого бывал неожиданен и радостен приезд...

«Только не торопиться,— подумал Никитин, так явственно испытав несколько секунд счастливого приезда, что услышал звук голоса жены, увидел ее и себя в чистоте своего кабинета, чем-то нового (какой-нибудь лампочкой, статуэткой, купленной в его отсутствие), с кипой газет, бандеролями, стопкой писем на журнальном столике, аккуратно для него сложенной, с листком бумаги поверх писем, где записаны фамилии тех, кому он был нужен, кто звонил, спрашивал его и ждал.— Нет, я не должен думать о доме. Иначе время будет тянуться невыносимо. Я слишком соскучился по жене, по своему кабинету, поэтому не думать. Когда сяду в такси, когда выедем из аэропорта на шоссе — только тогда... Несколько дней. Я возвращаюсь раньше срока... Но почему мне кажется, что я не был дома целую вечность? Почему это я чувствую сейчас? Будто где-то далеко, вне дома, вся жизнь прошла. Когда мы вылетали в Германию, какая-то фраза вертелась у меня в голове. Какая же фраза? Ему, моему герою, снился сон в детстве. Он, обессиленный или раненный, лежит на кирпичах на заднем дворе. Она наклоняется над ним, кладет его голову к себе на колени. Он был влюблен в ту девочку. Они жили в одном дворе.

Но фраза, фраза... какая фраза? Я забыл ее. Не надо вспоминать, не надо напрягаться. Она придет сама. Если придет... Впрочем, может, она и не нужна. Сейчас никаких фраз. Я устал от фраз. Какой был жалкий и страшный этот крик: «Вадим, Вадим!..» И как уткнулась она головой мне в грудь. А я молчал, слов не было, бормотал что-то нелепо. И нелепо поцеловал ее... Она держалась в ресторане, но потом этот крик. Крик отчаяния. Она будто просила меня о чем-то. Рим, Рим... Почему она так любит Рим? Площадь Навона... Когда я был в Риме? В позапрошлом году. Была тоже дискуссия — о чем? Кажется, я был там неделю. Почему она так любит Рим? — думал он под однообразный рев моторов, глядя на луну, на ее бегущее по крылу излучение немого пустынного света в немой беспредельности ночи, вызывающего все то же неразрешенное чувство незаконченности, тоскливой оторванности от чего-то, что томило его и оставалось не понятым им.— Почему именно Рим, а не Париж?»

И он заставил себя представить Рим и вдруг увидел, почувствовал его так осязаемо, так детально, что поразился своему ясному ощущению этого города, казалось, забытого им. Было тогда жаркое солнце, апрель, и были древние пинии, кокосовые пальмы, напоминающие нечто совсем курортное, южное, и были знойно слепящие стеклом улицы, белизна домов, тенты над балконами, гофрированные шторки на окнах, и громада-скала полуразрушенного Колизея, вечное великолепие собора святого Петра с его границей таинственного Ватикана и огромной площадью, заставленной блистающими, как сама цивилизация, автомобилями, автобусами туристов разных национальностей, и как возвращение на много веков назад, кабриолетами; горький запах бензина, перемешанный со все-таки приятным здесь запахом лошадиного пота и навоза, что нестеснительно убирали на площади лопаточками загорелолицые веселые кучера, зазывающие туристов; монахини в черном и белом одеянии, заметные бледными, худыми лицами, подъезжающие на мотоциклах с истовым спокойствием опытных таксистов; неопределенного пола хиппи с ниспадающими ниже лопаток гривами волос, с немытыми шеями, бренчащие на гитарах у солнечных ступеней площади Испании, целующиеся парочки на широких парапетах; толпы туристов возле фонтана Треви, всегда обдающего прохладой, где в прозрачной зеленоватой воде серебристо посверкивают брошенные монеты на дне; уютно тихая площадь Навона, этот римский Монмартр, с голубями, садящимися на мольберты художников, продающих картины и этюды, вокруг которых дети гоняют по брусчатке футбольный мяч, разрисованный шахматными квадратами; и продавец многоцветных воздушных шаров, и кем-то упущенный синий шар, одиноко уплывающий в золотистое закатное небо над этой благословенной площадью какого-то сладостного и прошлого умиротворения; торговая улица Корсо, забитая машинами, сияющая витринами универсальных и роскошных маленьких магазинов, толпы на тротуарах, мелькание черных, марсианского вида очков, коротких штанишек, телесных колготок, обтягивающих ноги женщин, видные сквозь распахнутые легкие пальто; столики кафе под полосатыми тентами; хозяева на лестничках, по утрам промывающие стекла своих ресторанчиков; и в этом же Риме — Аппиева дорога, наполовину каменная, наполовину асфальтовая, слышавшая когда-то поступь деревянных сандалий Сципионовых легионов, разрушенные придорожные здания, остатки каменных оград, ворот, отдельные глыбы-камни, брошие в древнюю землю былого римского величия, и рядом, сбоку дороги, на зеленой траве, в тени пиний остановившиеся «фиаты», детские коляски, молодые красивые женщины и мужчины, одетые по-пляжному, в позах воскресного отдыха, сидящие на раскладных стульчиках; и неумолчный центр — грохот трамваев, стреляющий треск мотоциклов, сумасшедший хаос почти нерегулируемого движения, какого нет даже в Париже, туманец в воздухе от выхлопных газов, вереницы неподвижных машин вдоль тротуара, и среди узкого коридора — неразрывный, затормаживающий толчками и стремительно катящийся, нетерпеливо гудящий поток других машин, в которых куда-то едут, спешат, смеются, разговаривают, молчат, целуются во время остановок незнакомые юные и пожилые люди, подобно муравьям в растревоженном муравейнике, придумавшем средство передвижения по своим муравьиным артериям, мчатся точно по заданной немыслимой программе, по замкнутому кругу, что не имеет ни начала, ни конца,— и весь этот невероятный город тогда весной мельтешил, сверкал, гремел, ослеплял, оглушал, и лишь иногда возникший в стороне знак древности овеивал на секунду, как прохлада, как намек на спокойствие.

«Почему она любила Рим? Она говорила, что в Риме у нее бывало прекрасное настроение? На площади Навона, где сохранился островок тишины среди сущего ада?»

А ему было неуютно в этом городе, чересчур шумном, чересчур переполненном туристами, он жил один, русский, в пансионе близ площади Испании, с крохотным домашним лифтом, подымающим и опускающим за три лиры, в комнате на южной стороне, подчеркнуто старинной, заставленной бархатными креслами, с просторным балконом-солярием, затененным растениями от солнца, и большим зонтом, под которым он, всегда разбуженный по раннему утру бешеным треском мотоциклов, завтракал,— ледяное масло из холодильника, похрустывающие белые булочки, фруктовый джем, ароматный на утреннем воздухе кофе, не остывающий в металлическом кофейничке,— завтракал, кормил голубей и смотрел на окна какого-то учреждения напротив, где что-то делали, сидели за столами, печатали на машинках, смотрел на дальние купола соборов, на силуэты Рима, дрожащие в жаркой уже синеве, а внизу, невидимое под балконом, давно грохотало, кипело стадом машин ущелье еще прохладной улицы,— и до того, как спуститься вниз, он заранее испытывал тесноту толпы, вонь бесконечного на дне ущелья выхлопного марева, знойное мерцание автомобильных стекол, круговорот площадей, неес-

тественность механического и людского вращения, там, на горячих под солнцем каменных улицах, невозможно было закурить: в горло удушающе лезла гарь бензиновых газов; нечем было дышать, воротничок свежей сорочки через полчаса потно прилипал к шее (к вечеру он был уже темным, приходилось менять рубашку), давил, раздражал галстук; припекало голову, быстро притуплялось внимание от апокалипсической жары, гула, блеска, многолюдности, и возникало утомление, хотелось пить холодное пиво, сидеть где-нибудь в жидкой тени, утратив любопытство к красотам Вечного города, и мысли ползли ленивые, равнодушные, ровные: «Зачем? В чем смысл этого сверкающего, безумного муравейника? Есть ли этому мера, и где остановка? А куда дальше?»

Даже перенаселенный Нью-Йорк (он был там зимой, три года назад) со своей хвастливой небоскребной роскошью, бронзой и мрамором «центров», биржи, электроэнергией Бродвея, ошеломляющего неистовостью рекламного веселья, даже Париж со своей туристской суетой и автомобильными скоплениями не подавляли его так, как подавлял хаотичностью прокаленный солнцем Вечный город.

«Почему она любила Рим? Она говорила, что ей легко там...»

И тогда — в те дни, проведенные в Риме, он тосковал не по Москве, не по ее мягким летним вечерам с первыми огнями фонарей (что он любил), уходящими в поздний земляничный закат в проеме улицы, не по зимним утрам с хрустальными конусами нанесенных метелью новых сугробов, а совсем по другому, что стало мучить его несколько лет назад, после поездки в места, где он родился и жил до пяти лет,— места, куда его потянуло вдруг и куда с пересадками на разные самолеты лететь надо было дальше, чем до Америки.

И, бреясь утром в пансионе перед большим зеркалом, отражавшим белые выключатели, стерильный глянец раковин, никелевых крючочков, или лежа в ванне под ветерком из открытого окна, он, глядя на зыбкое дрожание зайчиков по чистоте кафельных стен, не без волнения ловил в памяти солнечный сентябрьский сибирский день...

Тогда внизу извивалась, долго блестела плесами Тунгуска, прорезая буро-желтое нескончаемое пространство тайги, и солнце, проходя по озерам, вспыхивало в них и в изгибах реки, направляя вверх световые пучки перемещающихся зеркал, как будто оттуда, с земли, нацеливали ослепительные зайчики в окна двенадцатиместного, потрескивающего, как примус, самолета, который часто делал крутые виражи, ложился резко на крыло так, что чудилось, пассажиры, разом замирая, накренивались как над пропастью над этими зеркальными внизу петлями Тунгуски, над этими блещущими озерами, подобными стеклянным полянам в тайге. А потом, когда наконец сели «на десять минут перекура» (так сказал летчик), поразила несказанная тишина, легчайшее дуновение сладкого полевого воздуха, приносившего запах сена (стога виднелись на краю травянистого аэродрома), близкое и сонное сияние реки, тихие домики над водой,— было во всем что-то деревенское, покойное, забытое, пришедшее из детства,— из хрупкого мира давних снов.

Его потрясла, его оглушила и эта воздухообильная первобытная тишина и умилило первое ощущение от поселка его детства, что мерещился ему не раз летним ароматом теплой травы на улочках и сахарным снегом до окон в декабрьские утра,— поселок, где он родился, воображался ему раньше почти городком на берегу Тунгуски, но теперь, наяву, предстал очень маленькой, уютной, грустной чем-то деревней, устланной дощатыми настилами вдоль домов, прижатой тайгой к реке. Но особенно — и не только в Риме — вспоминалась одна ночь, когда, познакомясь с молоденьким студентом из Иркутска, приехавшим сюда к родственникам, они в сопровождении Матвея Лукича, семидесятилетнего старика, знавшего отца Никитина в годы его работы здесь учителем, пошли километров на десять в тайгу, за глухарем, и, умаявшись до крайнего изнеможения на глухих болотцах, наломавшись по кочкам марей, заночевали в сумерках на берегу Умотки, притока Тунгуски, речушки узкой, извилистой, текущей под пихтами меж желтых густых трав, среди глубинной и невозмутимой тишины осенней тайги, изредка лишь нарушаемой писком синиц.

Он очнулся глубокой ночью, весь озябнув, на лапнике елей, наваленном на корнях деревьев, и сразу увидел над собой сквозь ветви пихт такое черное, огромное звездное небо, такие по-предзимнему яркие, высокие, крупные созвездия, горевшие чистым ледяным огнем, что мгновенно еще больше замерз от их колючего неистового сверкания над тайгой. Рядом потрескивал костер, угасая, и он чувствовал запах холодной земли, горько-тепловатый запах дыма и не шевелясь смотрел в небо, до озноба жестко пылавшее прямо в глаза сентябрьскими полями звезд, издававшими свой звук беспредельности. Он лежал на спине, смотрел на них неотрывно и медленно плыл в мировом покое, как околдованный счастливым бессмертием, игровой тайной Вселенной, сокровенно приоткрывшей ему ворота недосягаемой вечности. Потом донеслись с неба другие, едва уловимые звуки, странные звуки земной жизни, живого страдания, несвойственного неистребимой и спокойной красоте вечности.

Где-то там, в расчищенных ветром высотах, кричали на перелете гуси — уже устойчивые заморозки и, видимо, выпавший снег на северных озерах Якутии гнали их на юг, и Никитин вдруг ощутил арктически страшный поднебесный холод, освещенную звездами темноту, ее пустынность, в которой тянулись из последних сил невидимые с земли усталые стаи гусей, ощутил, какой ничтожно маленькой, слабой каплей огонька мелькнул под ними и затерялся в непроглядном океане ночи одинокий костерок, и позавидовал их необоримому инстинкту, преодолевающему ужас мрака и бесконечности.

Затем он представил, что где-то очень далеко отсюда, за тысячи километров от тлеющей искорки костра, от этой песчинки тепла посреди неохватимой черноты пространства, была цивилизация с электрическим раем улиц, паровым отоплением уютных квартир, с чистотой удобных постелей, с кафельными ваннами, душистым мылом, бритвенными приборами, скоростными лифтами, настольной лампой, любимыми книгами, подумал, что скоро он вернется туда — и, замерзая, улыбаясь, вздрагивая в сумраке холода, почувствовал себя неограниченно и радостно свободным человеком оттого, что имеет право на возвращение, но вот лежит возле костра, на берегу затерянной под звездами Умотки, занесенный любопытством к родившим его на свет местам, на самый край земли. Что это было? Непередаваемое наслаждение минутами реальности, соединившей его с извечным миром тайны, красоты и страдания, и возможностью вернуться в чистоту, устроенность городского комфорта, ставшего необходимостью?

...Матвей Лукич поднялся и начал возиться около костра, двигать лесины в огне, терпковато понесло дымком, затрещало сильнее, взметнулись искры, полетели красноватой пылью мимо темных лап елей к черному небу, заполненному повсюду накаленным сверканием, и он услышал, как студент заворочался на лапнике, вздыхая, забормотал:

— Как хорошо-то, господи, как хорошо-то!..— И, садясь, спросил по-молодому восторженно: — Неужели вы один на Амикан-дедушку ходили? И как же? Была удача вам?

— На мишу-то? — кашляя от дыма, сплевывая, ответил Матвей Лукич и снова подправил горевшие лесины в костре. — Ходил на зверя. Две пары кальсон, однако, и корзину для белья взять надо. На мишу-то.

Никитин лежал и слушал их голоса.

— Вы шутите? Это так опасно? — сказал студент.

— Мишу нельзя просто взять. Промахнулся или ранил его, он тя достанет. Пуля жиганет его насквозь, обожжет нутро, а он — живой. Если в голову стрелил, пуля отскочит, как от железа, иль соскользнет. Черепок-то у него — бетон. А раненый свирепеет и тут наго-нит, скорость у него — курьерский поезд. Под левую лопатку его брать надо. И с собаками. Без собак не ходи. Два друга не надо за одну собаку. Собака тут — вернее двух другов.

— А если он... Так ведь за дерево спрятаться можно.

— Можно, да не нужно.—Матвей Лукич засмеялся, продолжая ворошить оживавший костер.— Раком попятился за дерево иль бросился наубег — он тя одной лапой из-за дерева загребет и скальпу снимет. Когда первый раз ты стрелил и не завалил Амика, стой и не пяться, хоть ноги ходуном, хоть обделался. Он сразу видит: страх в тебе — и бурей на тебя попрет, потому мщение в нем, как ни в каком другом звере.

— А собаки?.. Вы сказали, Матвей Лукич, они берлогу находят?

— Берлог по порошке находят. Порошка выпала, тогда видно, как пар над берлог идет. Сентябрь месяц зверь жир набирает, ягоду и орехи жрет, берлог готовит и к зиме в заду пробку делает. Для того сначала воду пьет и глину ест. Желудок чистит. А после, как жир нагуляет, пробку из глины внутрях делает. Чтоб никакая мурашка-букашка в желудок не залезла, когда спит зверь.

— Как удивительно это!

— А собаки берлог нашли и начинают облаивать. Надо тут, как облаивать начали, стяжок готовить и прутик.

— Зачем? Какой стяжок?

— Стяжок, говорю. Ну вот, в костре лесину видишь? Такой толщины в обхват... А прутик — как раз в обхват кружки. Стяжок сготовил — и суй его в дверь берлог, где зверь. Он оттуль и появляется. Стяжок в аккуратности совать надо. А то зверь имат его.

— Как «имат»?

— Потянет к себе.

— А потом как же?

— Он оттуль ревет, а ты прутик суй за стяжком. Дверь берлог завалил, а зверь в завал лезет. Как тебе левую лопатку открыл — сразу стрели. Навскид. Ранил — и тут смерть твоя на тебя бегет. Да вот собаки. Вылез он, а тут они за штаны его держать должны. За штаны рвать, то есь. Двух другов не надо, дай собаку одну. Без собаки на зверя не ходи.

Студент немного помолчал, обдумывая что-то, после спросил с той же наивностью молодого восторга:

— Вы вечером сказали — следы медведя и лося здесь видели?

— Верно. Был он здесь,— подтвердил степенно Матвей Лукич.— За сохатым миша ходил. Караулил. Задрать хотел. Он сохатину любит. На три недели мяса сохатого ему хватает. Поест — остаток в земле закапывает. Чтобы попортилось, протухло немного, чтобы жрать сладко было. Ушел отсель медведь, след старый, а сохатый тут есть — лежбищ много, трава смята. И на берегу тальник обкусывал, верхние веточки. Бегает тут сохатый. Гон у них, однако.

— Что значит гон? — удивился студент.

— Самку ищет. Женщину то есь... Ну, парень, чай пить будем? Не зазяб на холоду-то? — сказал Матвей Лукич, прилаживая закопченный чайник на огне.— Чай ночью — друг.

Подправленный костер разгорался под деревьями, обдавая жаром, все крепче потрескивая, пощелкивая полыхающими лесинами. Никитин не вмешивался в разговор, слушал с тайным наслаждением, а они истово пили из кружек подогретый чай, сидели подле огня, взвивалась, сыпалась оранжевая метелица искр во тьму, окружавшую их непроницаемой стеной ночи, за которой внизу, под обрывом, должна была течь тихая и прозрачная Умотка (днем видно было, как колебались, струились водоросли на ее чистом дне), а дальше от берега — тайга, марь, какие-то заросшие осокой озера, медведи, сохатые; по краю близкого берега мерцали, порхали световые отблески, а перед стеной тьмы, дышащей студеным холодком земли, лежали две лайки, смотревшие умными, спокойными желтыми глазами на огонь. Собаки, положив морды на вытянутые лапы, лежали как бы на границе света костра и сплошной темноты, охраняя этот огонь среди тайги и звезд.

И в то мгновение будто ничего не было более прекрасного, вечного, истинного, чем глухая ночь, искры в дыму, летящие к созвездиям, крик гусей в пустынности неба, лайки, смотревшие умными глазами, и бормотание студента у костра:

— Как хорошо-то, господи, как хорошо...

Когда он проснулся второй раз, сильно похолодало, костер, осторожно постреливая угольками, дымно горел; Матвей Лукич и студент спали. Совсем низкие созвездия передвинулись всем своим чуть потускнелым строем, ушли за нависшие, теперь различимые в сером воздухе вершины елей, только крупные звезды в зените были еще пронзительно ярки, сквозили белым предутренним огнем меж ветвей. За костром по мокрой траве шевелился липкий сырой туман.

Вдруг разом вскочили обе лайки, каменно застыли, глядя в чащу, и тут же по какому-то сигналу быстро вскочил Матвей Лукич в распахнутом ватнике, взял прислоненный к стволу пихты карабин, сделал шагов десять по бугру берега, поднял голову. Никитин тоже всмотрелся, не сразу увидел — по верхним ветвям наполовину закутанной туманом ели игриво бегала коричнево-палевая белка, затем на самой макушке мелькнул ее золотистый хвост, дрогнул и исчез. Матвей Лукич неторопливо вскинул карабин, кратко прицелясь, выстрелил. «Промахнулся»,— подумал Никитин со звоном в ушах. Но что-то темное, тонкое, соскальзывая сверху, качая ветви, упало на корневища в кусты. Немного погодя Матвей Лукич подошел к костру, держа за задние ноги убитую белку, дал понюхать ее одной из лаек, слизнуть кровь. А вторая собака, по-видимому, молодая еще, которой он не дал понюхать добычу, выгнув остроносую свою морду, все-таки слизнула кровь с морды старой собаки. Лайки успокоились, вновь легли. Матвей Лукич сел на поваленную березу, вынул складной нож (вчера он резал им хлеб), положил убитую белку на колени — из пробитой головы ее капала кровь на землю,— сделал надрезы в концах лапок и легко, похоже, чулок вывернул, снял шкурку, повесил ее на березу, пушистым хвостом вниз. На коленях его лежала розоватая маленькая тушка, словно тельце умерщвленного младенца с подогнутыми коленями, с кровавой головкой — все было, как страшная казнь, и Никитина передернуло даже.

— Убили? Самка или самец? — спросил спросонок всполошенный выстрелом студент, догадываясь, что случилось.

— Мужик.

Матвей Лукич подошел к собакам и положил перед вскочившей старой лайкой это розоватое беспомощное тельце только что умерщвленного, недавно прекрасного младенца. Лайка понюхала и взяла в зубы окровавленную голову — послышался хруст. Она ела без жадности, точно выказывая при этом ленивую осторожную брезгливость, а молодая лайка покосилась на равномерный звук хруста и тотчас равнодушно отвернулась, вероятно, понимая, что добыча не ее. Вскоре хруст прекратился. Облизываясь, собака спокойно посмотрела на Матвея Лукича, мотнула хвостом, клубком свернулась близ костра. И сейчас же вскочила молодая лайка, повернулась мордой к чаще, забеленной туманцем, и вытянулась вся, навострила уши. Старая приоткрыла желтые умные глаза, но продолжала лежать клубком. Матвей Лукич опять взял карабин, сказал негромко:

— Еще, однако, бегает. Солнца ждет. Играет перед солнцем белка.

И двинулся в чащу, бесшумно обходя палые сухие лиственницы.

Через минуту раздался выстрел — и вторично вернулся он к костру, неся за задние лапы убитую белку, серовато-дымчатый, обмоченный росой, пушистый хвост волочился по траве. На этот раз он дал понюхать ее молодой лайке, а старая нехотя поднялась, зевнула и равнодушно отошла в сторону.

Матвей Лукич, сидя на поваленной березе, долго чего-то ждал, слегка поглаживая спину умерщвленного зверька грубой ладонью.

— Вздрагивает еще, живая,— сказал он точно бы виновато и лишь некоторое время спустя освежевал ее, повесил шкурку рядом с первой.

— Тоже мужик? — спросил изумленный студент, невольно подделываясь под говор Матвея Лукича.— Ну и стреляете вы!

— Не, женщина. Муж и жена, однако.

Матвей Лукич встал и, свистнув, бросил тушку белки молодой лайке. Та задвигала острым носом, тщательно обнюхала изуродованное красное тельце, но есть не стала; Матвей Лукич сказал:

— Молодая еще. Сутки перед тайгой не кормил, а не ест.

И положил белку перед старой лайкой, которая медленно, издавая разгрызающими челюстями тот же осторожный, брезгливый хруст, сожрала ее.

Вокруг было мокрое осеннее утро, и ранний туман тянулся мимо кустов на берегу Умотки, над светлеющей студеной водой, дымился тихим колебанием белых волокон в сырой чаще, безмолвной, обрызганной мутным багровым золотом по вершинам пихт, по стволу поваленной березы, где висели вывернутые шкурки двух погубленных, веселых, двух добрых зверьков, ожидавших в игре солнце...

...«Почему я так ясно помню это? Почему тогда в Риме я вспоминал ночь в тайге, а в тайге вспоминал Москву? Пытался найти истину, но ощутил только момент истины? Я ощущал тогда завораживающую ночь, костер, холод, простоту человеческой жизни под звездным небом, и все же что-то не удовлетворяло меня. Искал полноту смысла действительности в своем восторге, в восторге студента, в перелетном крике гусей, в тех красавицах белках (муж и жена), которых убил Матвей Лукич? Он убил и нарушил равновесие прекрасного мира, как если бы убил ту ночь, студеный запах воды, костер, погасил звезды, сжег тайгу — великую и хрупкую целесообразность земли. Мог ли я подумать так в годы войны?

Да, тот миг, когда он стрелял в белок, был мгновением какого-то смысла жизни. Миг, но не весь смысл жизни. А где весь? Под тем сверкающим небом в тайге? Почему же меня тянуло в Москву, к ее удобству, к электрическому свету, к чистому белью, к горячей ванне, а ведь та ночь была сущее наслаждение. На миг? На несколько часов?

Что ж, нигде нет полных ответов, и нет прочных для всех, исчерпывающих истин. Ей нравился Рим, а меня он угнетал, утомлял... В чем же был смысл встречи с Эммой? И смысл мучительных для нее и для меня разговоров? Да о чем это я? Сколько времени мы летим? Почему так болит сердце? Валидол... принять вторую таблетку валидола. Не хватало — прилететь и слечь с приступом...»

Никитин ртом сделал короткий вдох, морщась, потер грудь вокруг сердца, а оно сдавливало торопящие удары в болезненных перебоях.

Гудели моторы ровным гулом, салон спал, успокоенный звуком двигателей, сонным синеватым светом ночных плафонов, и рядом, слева, переплетя руки на груди, завалив назад голову, дремал Самсонов, и страдальчески сердитым выражением застыло мясистое его лицо. И, доставая таблетку валидола, Никитин подумал впервые, что по спящему лицу Самсонова можно, пожалуй, угадать, каким он был в детстве,— толстым мальчиком, надутым, сердитым по причине нанесенных обид бойкими одноклассниками.

«То, что произошло между нами,— бессмысленно,— возникло в голове Никитина.— Бессмысленно, хотя вряд ли наши отношения останутся прежними. Неужели я не смогу перебороть себя, простить? Странно, мы знакомы много лет... Если бы твердо знать, что важно в нашей жизни и что неважно. Важен был Рим? И та ночь и то утро в тайге? И важен был Гамбург? И встреча с Эммой? И ссора с Самсоновым? После войны в двадцать один год все было главным. И вместе с тем все было и не главным — вся жизнь впереди, суть жизни — в самой жизни, и она мчала в счастливое неизвестное «потом» с молниеносной скоростью, без остановок, без сомнений, и не нужно было задумываться, что важно и что маловажно в мелькнувших днях, месяцах и годах. «Потом» наступило: окончание университета, женитьба, удачи, известность. Почему я стал задумываться над этим в последние пять лет? Начал спрашивать себя, счастлив ли, и искать смысла в любом собственном поступке, в чужой фразе, в падающем снеге, в течении воды, в той вдруг открытой, как вечность, звездной ночи над тайгой... Что же случилось? Осознание того, что «потом» уже было? Постижение своих лет?

Зачем она спросила меня, счастлив ли я? И этот последний крик ее: «Вадим, Вадим!..» Значит, она продолжала любить меня двадцать шесть лет и в ожидании, в неестественной надежде был смысл ее жизни? А я искал суть в постоянной неудовлетворенности, задавал себе вопросы о двоякости истин (а как раньше сияли они простыми и четкими символами!..), о противоречивости самой жизни, которая не стала добрее и проще. Ведь порой, когда я видел злобные взгляды, злые лица, унижение, жестокость друг к другу, бывало у меня чувство, похожее на ненависть к людям, казалось, лишенным милосердия и любви. Но тут же стоило встретить случайный участливый взгляд, услышать чью-то певучую речь, ласковую интонацию — и быстро остывала ненависть, и охватывала жалость ко всем — к плачущему чужому ребенку, к незнакомой и некрасивой молодой женщине на улице, к каждому прохожему и особенно к жене, лишь воображением снова представлял ее и свою боль, пережитую после смерти сына. Нет, это была не любовь к жене, было бóльшее, была жгучая родственность, соединенное понимание, выше которого ничего не могло быть. Когда же это случилось со мной? И когда возникла непрочность истины? После смерти сына?»

Это случилось через два месяца после похорон, они уехали на дачу, чтобы не видеть в квартире все то, что напоминало об Игоре, о его веселом визге и топоте крепких ножек по ковру, его щебечущем голоске и смехе, который, мерещилось, жил еще в осиротелых комнатах,— в легком шевелении занавесок, в обоях над его детским столиком, в солнечном луче на собранных и ненужных теперь игрушках. Здесь, на даче, он работал до изнеможения, до тошнотной дурноты и в поздние вечера бродил подолгу проселками по окрестным полям, длительными прогулками убивая механическую работу сознания.

Раз, возвращаясь в двенадцатом часу ночи, он, уже утомленный ходьбой, стал подыматься из низины, шел по пустынной дороге на заблестевшие впереди огни и, чувствуя одышку, против воли замедлял и замедлял шаги, как будто что-то мешало ему, как будто что-то задерживало его... И, вздрогнув, внезапно почти физически ощутил чей-то пристальный, упорный взгляд, нацеленный в спину. Он, борясь с дыханием, быстро оглянулся — позади по-ночному глухо чернела без единого огня темнота, без звука, нигде не было ни движения, ни человека.

Он убеждал себя, что это не может быть реальным, что это следствие переутомленного воображения после долгой работы, и его, как к спасению, тянуло из низины к огням, но одновременно какая-то непонятная сила толкала назад, хватала за плечи, останавливала, всасываясь ему в затылок смертельным холодом, вызывая такую безмерную тоску, такое одиночество, что готово было разорваться сердце.

Он не знал, что это было. Может быть, нечто предупреждало его о чем-то или само зло сожалело, что он выбрался из потемок к неярким впереди дачным огням? Или, может быть, кто-то невидимый звал его оттуда?

Он дошел до своей дачи и, боясь разбудить жену скрипом деревянной лестницы, поднялся наверх в кабинет, зажег настольную лампу и, потрясенный, курил, ходил из угла в угол, неотступно ощущая спиной тот живой и останавливающий взгляд неподвижной тьмы, как взгляд человеческий...

Он всю ночь не мог заснуть, при зажжённом свете ворочался на диване, вставал, снова ходил, дышал на прохладе около окна, приоткрытого в потемки сада, принимал валерьяновые капли и вновь ложился, с давящим комком в

горле вспоминая фразу одного знакомого пожилого художника, сказанную ему в дни утраты сына: когда мы умрем, мы будем ходить, двигаться друг возле друга, но мимо, все мимо живых, никогда не встречаясь, не узнавая их, не видя один другого — по иной синусоиде времени.

И, вспоминая его слова, он зажмуривался, испытывая недавнее угрожающее чувство, когда подымался из низины — неуловимый взгляд в спину,— и думал о себе, о жене, здоровых, живущих на земле уже без сына два месяца, а он там один, беспомощный, в своих белых чулочках, со своим щебечущим голоском, со сладким запахом легких льняных волосиков, ушедший в вечный холод, темноту, в иную синусоиду времени, которая проходила все мимо, мимо них, никогда не встречаясь. Он плакал в ту ночь: губы его помнили маленький ледяной треугольник рта сына в стужий февральский день, и память не выпускала слабо просачивавшийся сквозь неприкрытые ресницы голубоватый блеск его глаз, недавно ярких, веселых, детски восторженных...

«Тогда я потерял половину жизни. Не тогда ли ушла прочность истины?»

•

На следующий день, весь разбитый бессонницей, мучаясь головной болью и болью в сердце, он спустился на солнечную, свежую, еще наполовину затененную веранду, где жена, чуточку заспанная, с повязанными сзади волосами, молча готовила завтрак (она мало говорила после случившегося несчастья), поцеловал ее, как обычно, в край подставленных губ, сказал: «Доброе утро...»—задержал дольше обычного руку на ее плече и тотчас увидел на поднятом лице жены отсвет мелькнувшего страха: «Ты плохо спал? Опять? Что, что у тебя?» Она спросила:

— Как ты себя чувствуешь?

— Все в порядке,— ответил он свое обычное, предупредительное, однако явно фальшивя, и, чтобы не лгать сейчас, уйти от встревоженных вопросов, от спрашивающего внимания ее глаз, сошел по ступеням в сад, апрельский, уже тепло меж сквозной молодой зелени осиянный солнцем, ходил бесцельно по траве, под росистой прохладой яблонь, стоял под нежно зазеленевшей листвой берез, откуда скворцы посылали в чистый утренний воздух сладкомедовые кольца звуков — фю-ить,— будто зыбкие круги расходились по прозрачной воде. Но эта спокойная радость весеннего утра не успокоила, прогулка не развеяла его, и потом, за завтраком, не выдержав молчаливого беспокойства жены, он все же неожиданно для себя солгал ей, что целую ночь работал, чтобы не упустить настроение, сказал и пожалел об этом.

Она догадалась:

— Вадим, ты обманываешь меня? Я заходила в кабинет. Ты не написал ни строчки. Я знаю, о чем ты думал.

— Да, — проговорил он, хмурясь. — Никак не могу... Может быть, нам уехать куда-нибудь месяца на три? Бросить все к черту и уехать...

Она наливала ему кофе и, не долив, как-то обессиленно уронила кофейник на подставку, опустилась на соломенный стул и, отворачивая лицо, заплакала:

— Боже мой, боже мой, с ним ушло все.

— Лида,— сказал он,— нам надо держаться... обоим.

— Да, да, нам надо держаться,— говорила она, прикладывая салфетку к носу.— Но как? Как? Я уже всего боюсь. Я стала всего бояться. После его смерти. Страх от какой-то неопределенности, страх одиночества. Я даже боюсь поздних телефонных звонков, когда тебя нет. Мне везде мерещится опасность. Прости, я не знаю, что со мной, но я теперь боюсь за тебя. Ты работаешь без режима, не спишь... Я умоляю тебя не курить. Или поменьше курить... Ты стал седеть, у тебя стали совсем седые виски...

— Со мной все будет в порядке,— повторил он.— В моем возрасте седеют многие.

Она вытерла салфеткой нос, долила ему кофе, слегка прижалась влажной щекой к его виску, сказала тихонько:

— Когда я была беременна Игорем, я смотрела только на красивых женщин. Хотела, чтобы он был красивым и чтобы у него были такие глаза, как у тебя. И у него были такие глаза, как у тебя. Вадим, за что же мы наказаны так? Кому же зло мы с тобой сделали? Почему судьба выбрала нас?

— Лида,— сказал он,— чем больше мы будем говорить об этом, тем тяжелее будет.

Она согласилась, закивала.

— Да, я хотела бы, чтобы ты сейчас не работал, полежал, почитал. У тебя усталый вид, Вадим. И машину сегодня поведу я.

Он чувствовал себя нездоровым, не стал возражать, когда в полдень она сама вывела машину из гаража, села за руль, а позже, едва за дачным поселком на жарковатом шелестящем шоссе развернулись весенние дали, они не вспоминали об утреннем разговоре, не обмолвились ни словом и всю дорогу ехали, объединенные этим сознательным молчанием, изредка вопросительно взглядывая друг на друга. И только километрах в пяти от Москвы, в последней деревне, куда вплотную, белея из-за липового парка, подступали прямоугольными башнями новые окраины города, она, непонятно почему, остановила машину вблизи железной ограды, через которую видны были раскрытые двери маленькой работающей здесь церкви, огоньки мерцающих в сумрачной ее глубине свечей, серые старушечьи, затянутые платками головы перед папертью, и сказала тоном виноватой решенности:

— Прости, Вадим, я зайду. Я давно хотела сюда зайти.

— Зачем? — спросил он, охолонутый мыслью о каком-то состоянии сумасшествия, подчинившего и его и ее, и тут же договорил глухо: — Хорошо, я подожду. Хорошо, иди.

— Я не верю в бога, Вадим, но я хочу зайти, прости, пожалуйста,— проговорила она и взяла сумочку с сиденья.— Так нужно, я поставлю свечку... нашему мальчику.

Он ждал ее более получаса, терпеливо сидя в нагретой солнцем машине, слушая отдаленными раскатами, подземным речитативом гулко завывающий голос священника под таинственными сводами церкви, тепло расцвеченной свечами, где должна была загореться и свечка Игорю, и духота горячего железа на солнцепеке, наплывы в этой жаре великолепия неземного голоса сдавливали сердце — оно спотыкалось, замирая в пустоте, и не хватало воздуха, нечем было дышать. Он достал валидол и, посасывая его мятный лекарственный холодок, увидел, как она вышла, опустив бледное лицо, на ходу раскрыв сумочку, начала торопливо раздавать монеты, несколько смущенно вкладывать их в ковшиком протянутые покорные старческие ладони и после, садясь к рулю, сказала ему, глянув заплаканными глазами:

— Прости, милый, я заставила тебя ждать. Я не смогла быстро...— И заговорила в грустной задумчивости:— Как это возвышенно звучит: «Церковь Христова, церковь во Христе, церковь во имя Христа» или вот: «Эта беспокойная грешная земля», «блаженной памяти Петра», жаль, что никогда не учила церковнославянский язык. Какие высокие и печальные древние слова!

Но она, видимо, говорила не совсем то, о чем думала в церкви, а он догадывался, что она, не веруя, хотела почувствовать там, подавленная испытанием, которое жестоко, нежданно и беспощадно послала им судьба. Он молчал. Она же, чуть клоня голову, долго возилась с сумочкой, застегивала и расстегивала ее на коленях, словно бы не могла сосредоточиться, не могла понять, зачем и куда им нужно было ехать в машине. И, выпустив наконец сумочку и еще не включив мотор, она опять посмотрела на него растерянным, возвращающимся из запредельного небытия взглядом,— глаза дрогнули, резко расширились, пропуская внутрь настигший страх.

— Вадим, у тебя болит? Не проходит? — И поспешно вытащенным из рукава платочком обтерла пот слабости на его висках, говоря шепотом собственной муки: — Ну зачем ты скрываешь от меня? Спазма? Ну, отдай мне свою боль, мой родной, если можно, отдай... Лучше бы у меня это было, лучше бы у меня!..

— Лида, я просто плохо спал ночь,— сказал он, до хрипоты теряя голос от знобящей нежности к ней, от этого отрешенного порыва родственного соучастия, и так благодарно, исступленно, ласково поцеловал ее руку с забытым зажетым платком, как никогда не делал даже в первые годы их знакомства.

«Она, Лида, хотела взять мою боль. А я... Я хотел взять другую боль — боль Эммы. И тогда в машине поцеловал ее руку. Что значит взять боль другого? Это сумасшествие, это трудно понять разумом. Но, может быть, в этом и есть самое человеческое, самое главное, что живет где-то в нас? Вина перед чужой болью? Я впервые почувствовал это очень давно... Была весна в дачном немецком городке, и было ясное утро, и был конец войны во всем, когда погиб Княжко.

Кто же сказал, что человек может быть счастлив только тогда, когда станет бессмертен? Но какой здесь смысл? Познать великую тайну жизни и смерти — как познать? Значит, найти невозможное, крайнее... исчерпать до дна все страдания, сомнения, поиски, борьбу и лишить людей самого смысла жизни, а значит, и временной радости преодоления. Да, да, в этом непреложная истина. Отними этот импульс — и люди превратятся в муравьев и проклянут свое бессмертие. Так, может быть, смерть — высшее познание последней истины? Какая знакомая мысль... Чья мысль? Не все ли равно... Нет, человек полностью счастлив тогда, когда овладевает непостижимой тайной — перестает бояться смерти. И тогда он не думает о прожитой жизни и не задумывается, что такое счастье. А дальше, дальше? Как только человек начинает думать о том, что он счастлив, сразу же возникает мысль об опасности потерять его — и он уже несчастлив. Почему я думаю об этом? Я был счастлив? Когда? Какие-то секунды, минуты, часы, которые я мог вспоминать как лучшие мгновения своей жизни. Детство? Молодость? Но война, война... Неужели подлинное и то, что навсегда утрачено? Странно: теряя, человек обретает ощущение неповторимости прожитого, и соединение утраченного и настоящего рождает особую радость. Может быть, попытка возвращения к прошлому — защитная реакция? Неужели прошлое — это тоска по тому, чего нельзя повторить и вернуть, как первую любовь, как когда-то залитый солнцем паром среди полуденной райски теплой реки, запах дегтя, лошадей, пригретого зноем сена в телегах, стоявших на пароме, этого необыкновенного кусочка детской благодати, и ощущение того берега, зеленого, обетованного, пахнущего медовым летним счастьем? Да, был тот берег... Он не раз снился мне, он повторялся лишь во сне с такой нереальной счастливой грустью, что просыпался утром со стиснутым горлом, с желанием задержать в сознании золотую явь детства, испытанную уже где-то, потерянную. И я, вспоминая сны, хотел ощутить, поймать одно: именно здесь есть святой, сокровенный великий закон человеческой жизни, закон надежды, веры в то, что ничто не исчезает бесследно. Закон, обманывающий физическую смерть каждого, надежда на то, что все вечно... Какое наслаждение думать и понимать многое, что стал чувствовать после сорока лет... какое наслаждение в самой этой мысли... Может быть, мысль идет из прекрасного мира снов? Но почему так болит сердце? Где мы? В самолете? Не помогает валидол. Я не рассчитал, надо было нитроглицерин... Какое наслаждение в самой мысли. И какой был вскрик: «Вадим, Вадим!» Или это мы с Лидой в машине... отъезжаем от того парка, от той церковной ограды, и она платочком вытирает мне лоб: «Отдай мне свою боль...» — и от руки ее и платочка пахнет чем-то нежным, родственным... как летнее утреннее сено... Где я? Где я?..»

С трудом очнувшись, он различил однотонный пониженный гул моторов, увидел в приглушенном свете салона спинку откинутого впереди кресла, слева — спящего, скрестившего руки на животе Самсонова и, потирая сердце, наклонился к иллюминатору. Где-то посреди высот, уйдя назад, светила луна, и в голубовато-фиолетовой мути над невидимой землей висело, неслось хищно искривленное гигантское крыло самолета, крыло современного птеродактиля, фантастической летучей мыши, пожирающей пространство. Самолет сигналил, на плоскости вспыхивал и гас розовый отблеск, и по стеклу иллюминатора, как импульсы по экрану осциллографа, стремительно скользили линии, оставляя тонкий горизонтальный след, наверное, это были мельчайшие капли конденсированного холода.

«Смысл существования человечества, будущее человечества, знаете в чем? — почему-то вспомнил Никитин спор со знакомым молодым физиком год назад. — Смысл — в ускорении движения, в завоевании всего космоса, а потом—Вселенной. Но в теории относительности есть одна загадка: если скорость превысит скорость света, то куда приведет нас беспредельно увеличенное движение—в будущее или прошлое? Представьте, что это забросит нас не на Марс, а вернет в эпоху Киевской Руси?»

«Зачем человеку Вселенная и зачем Киевская Русь? Для чего? У него свой берег, счастливый, разделенный и несчастный...»

И, закрывая глаза, он представил, как, должно быть, холодно сейчас за металлическим корпусом самолета, оторванного от земли в безмерную пустыню одиночества, в высоты непробиваемой зловещей тьмы, представил будто навсегда потерянную там, внизу, пылинку планеты, оставленной, оскорбленной людьми, и еще почувствовал, что не хочет расставаться с прошлым, земным, что оно сейчас живет в нем сильнее, материальнее, прочнее, чем настоящее,— и радостные осколочки, подобно сновидениям, прошли перед ним с пронзительной, как боль, ясностью настоящего.

И сначала он увидел ночь, темные сырые поля, свежим холодком несло от раскрытых дверей сеновала, и там уже чуть наливался синью, холодел воздух, с последней силой горели над лесом низкие созвездия, и холодела трава к рассвету, потом, как когда-то в детстве, возник перелесок, веселый, насквозь солнечный, ветер тянул по вершинам осин, лепечущих, игривых, сверкающих листвой, и где-то далеко позади этих летних полей и перелесков, за которыми изредка погромыхивало (эту неохватимую даль он особенно мучительно ощущал), был город, утонувший во вьюжных сумерках, и снежный дым окутывал трамваи и фонари в глубине переулков, и где-то орудия двигались под весенним солнцем посреди мокрых полей, и лейтенант Княжко, зеленоглазый, легкий, стройный, как лозинка, шел вместе с ним, Никитиным, сбоку орудий, переставляя узкие, заляпанные грязью сапоги, и была благостно освещенная закатом стена дома, увитая плющом, и золотой коготок мартовского месяца блестел, задевал за черепичные крыши немецкого фольварка, и вставала тихая заря в аллее Трептов-парка, и порхала бабочка по комнате, наполненной светоносным утром и прохладой сада, и холодные губы Эммы, и синяя радостная прозрачность глаз, устремленная в белизну потолка, и опять теплая вода полуденной реки, приятный запах лошадей, дегтя, сладкого сена на телегах, и тот берег, зеленый таинственный, прекрасный, обещавший ему жизнь впереди...

Боль в сердце была такой режущей, такой невыносимой, обливала его таким колючим ознобом, что он застонал, сделал толчок рукой, хватаясь за подлокотник, открыл глаза, увидел черное звездное небо вверху и черное звездное небо внизу, к которому была вытянута из плоскости нога шасси, самолет попрежнему упорно сигналил красными вспышками нижнему небу, и он успел подумать:

«Неужели здесь? Неужели?»

И тут же он смутно услышал, как, проснувшись от сбавленного гула моторов, от его стона, вскинулся в своем кресле Самсонов, еще невнятно понимая, что́ случилось, затормошил его с испугом, цепко и резко дернув за плечо, вскрикивая охрипшим после сна голосом:

— Вадим, Вадим! Ты что?..

«Кто это звал меня так недавно? — отдаленно мелькнуло в сознании Никитина. — Жена? Эмма? Где? Когда? Это все прошлое? Почему оно жило во мне? Я все время возвращался туда? А как же Лида? Как же она?..»

И уже без боли, прощаясь с самим собой, он медленно плыл на пропитанном запахом сена пароме в теплой полуденной воде, плыл, приближался и никак не мог приблизиться к тому берегу, зеленому, обетованному, солнечному, который обещал ему всю жизнь впереди.

1970—1974.

ПРОЛОГ

В конце пятидесятых годов я жил на одной из старых московских улиц, неподалеку от Арбата. Теперь этой улицы нет и в помине. На месте кургузых купеческих доходных домов в четыре-пять этажей и уютных дворянских особняков с колоннами и запущенными садами позади прорублен новый проспект. На проспекте строятся из стекла, бетона и алюминия многоэтажные дома-красавцы, а замыкается проспект огромным зданием гостиницы «Украина». Теперь даже по соседству с Арбатом стало видно далекое-далекое небо. А когда-то тут все улочки упирались одна в другую, словно никуда не желали вывести человека, и в какую сторону ни глянь, виднелись одни брандмауэры да кирпичные заборы и тупики...

Впрочем, к делу это не относится, а только фиксирует бег времени, которое утекает из моих жадных пальцев, как песок.

А в те дни я еще не думал об этом истечении времени и, выходя по делам из дому, любил неторопливо пройтись по Арбату; нынешние люди чаще говорят «прошвырнуться» — и это о прогулочном-то шаге! Но я не завидую этим нынешним. Если они будут и дальше столь же бездумно относиться к великому русскому языку, то, боюсь, их дети перейдут на обезьяний лепет.

Была на Арбате одна занятная витрина, и я любил постоять возле нее. Принадлежала она комиссионному магазину, в котором продавалась всякая всячина: антиквариат, полотна старых и нынешних художников, бижутерия — дамские дешевенькие украшения, а порой выставлялись и совсем удивительные вещи: египетские, индийские, китайские вазы и вещицы из слоновой кости, немецкие пивные кружки с музыкой, которая играет столько времени, сколько льется в твое горло пиво, курительные трубки с мундштуком длиной в метр, а иногда даже кальяны. Денег, правда, в те времена у меня было не густо, и я просто наслаждался, глядя на всякие красивые вещицы.

В пятьдесят седьмом году я ходил по Арбату почти ежедневно. Тот год был для меня счастливым: наконец-то пришла и моя очередь переезжать в Новую квартиру, в Новый район Москвы, на Новый, Ломоносовский проспект. А подобное обстоятельство — все знают — требует ног да ног! Надо собрать всякие справки, сдать свою комнатенку, купить кое-какие обновы для радостного жилья.

И вот в те самые дни увидел я в знакомой витрине комиссионного магазина неожиданную вещь...

Это была небольшая бронзовая статуэтка Ники — древней богини Победы. Но самое странное было в том, что статуэтка не походила ни на одну из старинных мраморных статуй и гипсовых слепков, какие я видывал раньше...

В 1877 году в Греции, близ селения Олимпия, археологи выкопали из земли статую Ники работы древнего скульптора Пэо-

Бог

ния. Мрамор сохранился отлично, но у статуи были отбиты голова и руки. Есть статуя Ники Самофракийской в Лувре — прекрасная летящая фигура из мрамора, но и у нее нет ни головы, ни рук, остались только расправленные крылья, откинутые далеко назад, хотя богиня уже коснулась обломка скалы правой ногой, обтянутой длинным одеянием. Видел я и репродукции бронзовой Ники из Кассельского музея, но эта Ника, по-видимому, всего лишь запоздалая ретроспекция олимпийских мифов: эта Ника стоит на шаре, сложенные крылья ее торчат вверх за плечами, как на изображениях старонемецких ангелов, одеяние висит продольными складками, нет у нее ни полета, ни высокого энтузиазма, который и является подлинным отличием богини Победы.

Найдены и другие статуи Ники: украшения с носовой части боевых кораблей; фризы, изображающие аттические битвы. Но все это не заслуживало никакого сравнения с тем, что я увидел.

Передо мной были полет, воздушность, острота формы и сила содержания, слитые воедино в прекрасном произведении искусства. Как я уже сказал, фигурка была исполнена в бронзе, примерно в одну тридцатую известной статуи Пэония, стояла на бронзовом же пьедестале, на левой ноге, вокруг которой складками вилось еще взволнованное полетом одеяние, как будто Ника только что приземлилась, низринувшись с вытянутыми вперед руками, чтобы благословить воззвавшее к ней войско на смертный бой и победу.

Была она крылата, как и положено Нике, но и тут опять оказалась неожиданность: у Ники Пэония крылья опущены, у Луврской Ники — откинуты назад. Эта же Ника одно крыло сложила, почувствовав под ногой землю, другое же — правое — было поднято, как парус, и словно бы поддерживало богиню в воздухе и позволяло ей — буде не по вкусу придутся моления и жертвы — тут же оторваться от земли и вновь ринуться в небо.

И патина на металле и самый тон бронзы — все говорило, что это работа старинного мастера и очень возможно, что мастер сам в и д е л такую статую Ники и перенес драгоценные черты прекрасного в металл, а потом оригинал погиб в битвах и неурядицах, и осталась лишь эта копия... Но очень может быть, что сама-то эта копия вышла из-под руки одного из тех великих мастеров, которых было достаточно в эпоху Возрождения, когда человеческая мысль через полтора примерно тысячелетия снова вернулась к созерцанию прекрасного, оставшегося нам в наследство от древних. И, кто знает, может быть, это работа самого великого Челлини или кого-нибудь из его учеников вдруг оказалась здесь, в витрине скромного московского магазина...

Вот эта статуэтка, бронза, двадцать сантиметров высотой вместе с пьедесталом, представлявшим как бы жертвенный камень, на который опустилась богиня, и захватила все мои мысли. Я подумал: ведь и у меня случаются победы, пусть их куда меньше, чем поражений! И почему бы мне не порадовать себя, не подарить себе эту прекрасную Нику, вокруг которой так и слышится гром битвы, медные наконечники копий ударяются в медные щиты и мечи со свистом рассекают воздух и звенят по бронзовым латам! И почему бы мне не сопрягать каждое свое деяние с нею, богиней Победы, рискуя больше, чем я рисковал до сих пор, ища более важные предметы для размышлений и для суждения о них! Надо сказать, что в те времена я работал в одной крупной газете и все пытался бороться с разными неурядицами в нашей жизни. Так пусть Ника будет свидетельницей того, как трудно приходит человек к победе, но ведь он п р и х о д и т к победе, иначе он не создал бы эту великолепную богиню.

Так подумал я и сунулся в карман за деньгами, но тут же убрал руку. Денег у меня была одна сотенная, припасенная, чтобы съездить на новый Ломоносовский проспект для внепланового угощения маляров. Да и что я мог купить в те годы за свою сотенную? Вещь — это было видно сразу — привезена и сдана в магазин знатоком, да и оценщики в этом магазине — изрядные доки. И я уехал по своим делам, вздохнув про себя о постоянных невозможностях, которые так старят человеческое сердце.

Но, признаюсь, в тот же вечер я обежал почти всех моих друзей, занимая где сотню, а где и больше под предлогом, что скоро у меня новоселье и не повезешь же старую рухлядь в новый дом на новом Ломоносовском проспекте. И надо сказать правду: люди на радость очень отзывчивы, и мне удалось набрать довольно большую сумму.

Утром я отправился в магазин.

И тут моя дурная привычка разглядывать витрины сыграла со мной злую шутку. Мне бы поторопиться, подойти к магазину без пяти одиннадцать и протолкаться к прилавку в числе первых. А я подошел через пятнадцать минут после открытия и — Ники в витрине не было. А у подъезда магазина стояла черная «Волга» и сулила мне беду. В магазин я ворвался бегом, но продавщица уже заворачивала драгоценную для меня вещь в желтую оберточную бумагу, потом быстро обмотала сверток шпагатом и вручила в чьи-то руки.

И такое в душе моей было горе, что, протолкавшись довольно невежливо среди зевак — вы ведь знаете, что в комиссионных магазинах больше толпятся зеваки, покупателей там единицы, — я уставился опечаленными глазами в того, чьи руки уже приняли этот дар.

Передо мной была миловидная девушка, очень еще молодая, с нежным, розовым лицом, с розовыми губами и светло-рыжими волосами, небрежно рассыпавшимися по плечам, спокойная и радостная. И я невольно подумал, что не ей бы стать владелицей прекрасной этой вещи, значения которой она, наверное, и не понимает, а какому-нибудь усталому человеку вроде меня. Именно такому, кто порой доходит до грани поражения, но продолжает бороться, потому что верит в свою правоту и все равно надеется на победу. И пусть бы он был похож на меня летами, что ли, опытом, всей той тяжестью жизни, которая уже придавила мои плечи, но которую я все равно несу с гордостью, с какой несет свое бремя каждый не потерявший надежды человек. Ничего этого не было в моей незнакомке, хотя она и выглядела настоящей победительницей и вся словно бы светилась от радости, но это был всего лишь свет молодости, непосредственности.

Я невольно спросил:

— Не уступите ли вы мне эту вещь?

Она взглянула так, словно я чем-то оскорбил ее, и, бегло оглядев толпу в магазине, воскликнула капризно-повелительно:

— А-ле-ша! Помогите же мне!

— А вы подарите мне эту Нику? — каким-то тоскливо-измученным голосом спросил молодой человек с узким, угловатым, словно бы иззубренным лицом, пробиваясь к девушке и оттирая меня. Девушка подняла на него глаза и так же капризно бросила:

— Если вы будете победителем!

Было в ней нечто высокомерное, позволявшее ей не замечать посторонних да и на близких, каким, видно, был для нее провожатый, смотреть пренебрежительно: он для нее, а не она для него! Такие милые существа часто вырастают в обеспеченных и эгоистических семьях, и на них трудно найти управу. Молодой человек, должно быть, знал это, так как только вздохнул в ответ, взял покупку и повел девушку к выходу, оберегая каждое ее движение, словно девушка была стеклянная и всякое постороннее прикосновение могло ее разбить. Угловатое лицо его стало еще грустнее, но я и без опоры на старинную науку — физиогномику понял, что это настоящий боец, только еще несмелый, не сознающий своей силы. И, преодолевая горечь утраты так понравившейся мне вещи, невольно подумал: «Что ж, молодой человек, пусть тебе поможет Ника, и пусть победные лавры увенчают тебя!»

С этой мыслью я вышел из магазина.

Тех двоих уже не было. Их, должно быть, и ждала черная «Волга», которую я приметил у магазина, когда торопился, безвозвратно опаздывая.

Прошло несколько лет. Иногда я одерживал победы духа, порой терпел жестокие поражения. По-прежнему я писал свои статьи и книги и в тот памятный год, к которому сейчас обращаюсь в воспоминаниях, ввязался в один научный спор. Я пытался где только мог доказать право начинающего ученого на самоопределение, самостоятельность, на риск, даже на ошибку, искренне полагая, что только собственный опыт делает научного работника подлинным открывателем, а осознанные ошибки облегчают путь к конечной цели. Я познакомился со многими учеными, старыми и молодыми, талантливыми и бездарными, скрытными и откровенными, поддерживавшими мои мысли и яростно отрицавшими их. Для того чтобы уметь разговаривать на их языке и понимать, чем они заняты и сколь важны проблемы, которые они решают, я подчас становился их покорным учеником. В те годы я прочитал сотни книг, прослушал десятки лекций и дружеских собеседований, короче говоря, стал наконец д и л е т а н т о м во многих научных вопросах, — примите это слово в его истинном значении: знающий, хотя и не открывающий! Но все мне чего-то не хватало в том арсенале знаний и чувств, которые я приобрел. Иногда я шутя и уже с доброй усмешкой подумывал, что мне как раз и недостает покровительства той Ники, которой я любовался когда-то через стекло витрины в знакомом магазине. Но в тот магазин я больше не ходил, привык к своему

Николай А С А Н О В

СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ

Или Победы

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

уже не новому Ломоносовскому проспекту и в центр выезжал только по делам да иногда сыграть партию в бильярд.— помните книгу Бёлля «Бильярд в половине десятого»? Вероятно, это скромное удовольствие тем и приятно усталым, пожилым людям, что позволяет им хоть в чем-то сравняться с молодыми, не становясь смешными.

Вот во время одной такой партии в бильярд и отыскал меня в клубе молодой ученый, физик Горячев, с которым за несколько дней до этого я познакомился. У него оказался лишний билет на симпозиум ядерщиков, занимающихся изучением ядра. И он, помня мой интерес к новым течениям в этой области физики, заехал пригласить меня.

Симпозиум открывался в шесть часов, до начала было еще далеко, и мы решили пройтись пешком переулками с улицы Воровского до Дома ученых.

Так, нечаянно, я снова оказался на Арбате, поглядел на прорубленный сквозь гущу бывших купеческих и дворянских домов новый проспект, пытался опознать и не нашел свою старую улицу и вдруг наткнулся на ту самую памятную витрину комиссионного магазина.

Я даже вздрогнул: в витрине стояла статуэтка Ники.

Но, боже, в каком она была виде!

Оба крыла отломлены по самое плечо, на нижней кромке пьедестала видиелось продолговатое пятно. Приглядевшись, я понял: кто-то варварски счистил нанесенную другим варваром надпись, по-видимому, дарственную. Меня возмутили оба: и тот, кто осмелился нанести на уникальную статуэтку какое-то пожелание здоровья или что-то в этом роде, и тот, кто содрал, возможно, при помощи грубого напильника, драгоценный слой патины — свидетельство старинного происхождения скульптуры.

Но то, что спутник мой смотрел на изуродованную Нику так же горестно, меня порадовало. «Искусство,— подумал я,— находит своих сателлитов там, где является человеку. И пусть человек этот увлечен другими идеями, пусть не всегда прекрасное, которое он замечает мимоходом, западает в его душу, но приходит порою миг, когда и такой о д н о с т о р о н н и й человек готов пасть ниц перед явившимся ему видением».

Горячев что-то бормотал про себя, и я невольно прислушался, чтобы стать свидетелем поклонения красоте. И был очень разочарован.

— Значит, он все-таки решил от нее избавиться?— бормотал Горячев.— И, как практичный человек, даже извлечь хоть какую-нибудь пользу?— Тут мой спутник схватил меня за руку и сердито произнес:— Что же мы тут стоим? Пойдемте хоть узнаем, во что он оценил свою победу!— И с этими странными словами повлек меня в магазин.

— Кто о н?—произнес я чуть ли не враждебно.

— А, это не важно!— отмахнулся Горячев и распахнул дверь.

Был час «пик», когда москвичи стремятся по домам и забегают только в продуктовые магазины. В комиссионном было свободно. Та самая продавщица, которую я помнил с незапамятных времен, отдыхала, прислонясь спиной к стеклянным витринам, охранявшим обломки прошлого. Горячев подошел к ней и, ткнув пальцем в окно, где меж двумя толстыми стеклами, как в голубой воде, мерцала обескрыленная Ника, спросил:

— Сколько стоит это произведение?

— Двести рублей!—лениво ответила продавщица, по-видимому, одним взглядом оценив наши покупательные способности.

— А почему она без крыльев?— спросил я.

— Наверно, попала под бомбежку!— хохотнув, сострила продавщица.

— Достаньте статуэтку!— строго, не принимая этого легкомысленного тона, приказал Горячев.

Было что-то такое в его голосе, что продавщица вмиг стерла насмешливую улыбку, повозилась с ключами, распахнула раму и выволокла мою Нику через голову китайского богдыхана и под свисающим сверху костяным бивнем меч-рыбы. Поставив статуэтку на прилавок, она тряпкой обмахнула пыль.

Даже без крыльев Ника была великолепна.

— Я ее беру!— коротко сказал я.— Вы не добавите мне пятьдесят рублей?— обратился я к Горячеву.

— Почему вы?— суховато спросил Горячев.— Эту вещь возьму я, и вы добавите мне сто рублей!— с ударением закончил он.

— Позвольте, но почему вы? Я уже опоздал однажды на пять минут, и ее увели у меня из-под самого носа.

— А я уже унес ее однажды из этого магазина. Вы получите ее от меня в подарок, но только в том случае, если окажетесь победителем!

И вдруг в моих ушах зазвенел девичий капризно-приказывающий голос: «А-ле-ша! Помогите же мне!»— и тоскливо-измученный: «А вы подарите мне эту Нику?»— и снова капризный: «Если вы будете победителем!»

Я вспомнил все, вплоть до интонации, и фразы еще звучали во мне, когда я нерасчетливо произнес:

— А-ле-ша...

Горячев вздрогнул и пытливо взглянул на меня.

Я сердито спросил:

— Значит, это были вы вдвоем с девушкой на черной «Волге»? Вы еще без стеснения отодвинули меня, когда девушка сказала свое: «А-ле-ша...»

Он вспыхнул, румянец окрасил не только лицо, но и уши и шею в воротнике расстегнутой по-летнему рубашки, как это бывает только с людьми стеснительными, одинокими, не очень уверенными в себе.

— Так это вы хотели перекупить Нику?— недоверчиво спросил он, разглядывая меня так, будто я опять чем-то досадил ему.

Я поторопился успокоить его и даже пошутил:

— Как видите, наши пути скрестились очень давно. И сегодня я увидел Нику первым. Но я уже примирился с потерей, и если настаиваете...

— Так вы берете ее или нет?— вдруг железным голосом проговорила продавщица.— Магазин закрывается!

Горячев засуетился, выкладывая из карманов всю свою наличность. Как он и предположил, нужной суммы у него не было. Я вздохнул и добавил десять потертых красных бумажек.

Когда он принес кассовый чек, Ника была уже упакована. Я смиренно попросил:

— Дайте я хоть понесу покупку. Все-таки Ника побудет у меня в руках!

Он торопливо сказал:

— Мы не поедем на симпозиум. Мы поедем ко мне. У меня в холодильнике лежит лимон, есть сахарная пудра и отличный кофе. А в книжном шкафу — бутылка старого армянского коньяка. Мы будем пить коньяк маленькими рюмками, чтобы нам хватило бутылки на всю ночь, станем любоваться бескрылой Никой, и я расскажу вам историю о ней...

— И о той девушке?— притворяясь суровым, спросил я.

— И о ней и о человеке, который последним держал Нику в руках и решил избавиться от нее. И если вы опишете всю эту историю и окажетесь победителем, я подарю вам Нику, и подарю ее к р ы л а т о й. Крылья Ники лежат в ящике моего стола.

— А ваша жена?

— Она работает сегодня в ночь.

— Доктор?

— Почему?—с неудовольствием спросил он.— Ученые тоже часто работают по ночам. Она дежурит на вычислительной станции, а сейчас там рассчитывают координаты для мягкой посадки на Луну первой автоматической научной станции. Вы представляете, какая это работа?!—В голосе его звучало восхищение.

Я не стал сопротивляться. Да и не часто мне, Землянину, приходилось сталкиваться с такой ситуацией: физик находит утраченную им статую Ники, а жена в это время рассчитывает координаты и параметры посадки на Луну. И все это происходит в реальной обстановке нашего времени.

Квартира Горячева была разделена по принципу нейтрализма. Он провел меня прямо в свой кабинет, где стояли книжные стеллажи, диван, кресла, письменный стол с арифмометром и пишущей машинкой и множество пепельниц в самых разных местах, что доказывало: здесь часто собираются беспокойные люди, спорят, много курят, порою немного выпивают. Горячев раскрыл бар, вделанный в стеллажи, и достал бутылку коньяка, рюмки и два лимона, а с кухни принес сахарную пудру. Но, расставив все это на маленьком круглом столе, принялся священнодействовать над другим.

Он развернул статуэтку, достал из письменного стола обломанные крылья, разыскал в одном из ящиков паяльник, кислоту и олово, и вот по комнате пронесся острый запах, и крылья богини плотно прикипели к плечам. Поставив статуэтку на круглый столик между нами, он поднял рюмку и прикоснулся ею к крылу богини. Я проделал то же самое, и он наконец заговорил.

Я записал историю бескрылой Ники и предлагаю ее на ваш суд.

Так как это всего лишь личная история одного молодого ученого и нескольких его друзей и противников, я почел за благо изменить некоторые фамилии. Что же касается элементарных частиц атомного ядра, также действующих в повести, то иные названия их и свойства, могущие привести физиков в недоумение, просто вымышлены автором для удобства изложения идей и фактов, с которыми сталкиваются мои герои.

Итак, до встречи в конце повести!

Автор

ГЛАВА ПЕРВАЯ

НЕ ВСЯКИЙ УСПЕХ ЕСТЬ ПОБЕДА

Утром 25 мая Алексей Горячев проснулся знаменитым.

Ну, может, не совсем знаменитым, но, во всяком случае, известным не только узкому кругу своих друзей и знакомых, а и в том широком мире, где раньше о нем никто ничего не слыхивал.

Началось с того, что позвонил Ярослав Чудаков.

— Прочитал, старик? Ну и как?

— Что я должен был прочитать? Автореферат твоей докторской диссертации? Сегодня воскресенье, и я не собираюсь что бы то ни было читать! По Конституции это день отдыха!

В институте часто разыгрывали друг друга, и Горячев решил не поддаваться.

— Да я не о том!— с досадой сказал Чудаков.— Гиреев разразился статьей о работе института. И больше всего говорит о тебе и обо мне. Открой сегодняшнюю газету.— И положил трубку.

Если бы Ярка продолжал трепаться, Горячев и не подумал бы взять газету. Он читал ее по вечерам, тем более в воскресенье. У него за неделю образовывался недосып часов на восемь, а Горячев любил во всем пунктуальность. Поэтому в субботу он заваливался в постель в десять вечера, а вставал в воскресенье тоже вечером, около пяти или шести, в зависимости от того, сколько не доспал за неделю.

Но после того, как Ярослав швырнул трубку, о сне не могло быть и речи. Горячев прошлепал босиком в переднюю, где

под прорезью в двери лежали на полу газеты и журналы.

Алексей поднял газету и на ходу развернул. Ярослав не разыгрывал: на второй странице была напечатана статья Гиреева, директора института, посвященная новым открытиям в области элементарных частиц. Иван Александрович начинал ее настоящим панегириком в честь «молодых воспитанников института» Горячева и Чудакова. Горячева он даже именовал по имени и отчеству — Алексеем Фадеевичем. Чудакова же, которого недолюбливал за злой язык, обозначал только инициалами — Я. Я. Однако фамилия Чудакова упоминалась не реже, чем фамилия Горячева,— двенадцать раз!

Все эти сложные подсчеты Горячев произвел уже в постели, благо карандаш был под рукой, на ночном столике, рядом с записной книжкой и сигаретами. На институтском языке это называлось: выбрать полную информацию. Известно, что в любом источнике информация находится в рассеянном состоянии. Главное, привести ее в систему.

Итак, в возрасте двадцати восьми лет Горячев, сам того не подозревая, превратился в ученого мужа, которого отныне даже старшие будут называть Алексеем Фадеевичем. Сначала это будет звучать шуткой, но постепенно все привыкнут, и Алексею Фадеевичу останется только обзаводиться

ружиться под таким-то углом и с такой-то скоростью пролетающие частицы, которых еще никто не наблюдал, заранее дал им название «ро-мезоны», и эти частицы действительно появились...

Но ведь вполне возможно, что для Ивана Александровича это открытие только предлог. Вдруг ему понадобилось утереть нос американским коллегам или просто испросить как можно скорее некоторую сумму денег для постройки нового ускорителя? Нет, тут еще надо подумать...

Но относительно телефонных звонков он не ошибся...

Алексей только что собрался поддразнить Ярослава по поводу недостаточной информации, как телефон зазвонил снова.

Алексей сразу узнал бархатный голос Михаила Борисовича Красова — начальника лаборатории элементарных частиц и на первые же слова поздравления ответил почти искренне:

— Только благодаря вам, Михаил Борисович!

Михаил Борисович, как бы пропустив реплику мимо ушей, мягко прервал Горячева:

— Заходите вечерком, Алексей Фадеевич. И я и все мои будут рады. Вы слышали, что Нонна вернулась?

Нонна!.. Вернулась?

Алексей даже прикрыл глаза на мгновение, словно его ударили. Но все равно увидел Нонну перед собой такой, какой она была в тот вечер, когда вдруг сказала, что уезжает в Ленинград к Бахтиярову. В тот вечер Алексею все казалось, что она никого и ничего не слышит, занятая какими-то своими мыслями. Он сам вызвал ее на этот не нужный ни ей, ни ему разговор. Итак, она вернулась! Через пять лет...

— Вы слышите меня, Алексей Фадеевич?

Это опять Михаил Борисович. Он, вероятно, и не догадывается, как ошеломил Алексея. Просто удивляется, почему Алексей умолк.

— Да, да, Михаил Борисович! Обязательно приду...

И машинально спросил:

— А Чудаков тоже будет?

Теперь замялся Михаил Борисович. Но ответил так же бархатно:

— Как раз намереваюсь позвонить ему.

И Алексей понял: не намеревался. Все в институте знают, что Михаил Борисович давно уже недолюбливает общество острого на слово Чудакова и предпочитает разговаривать с ним в официальной обстановке и по возможности только на научные темы. Это раньше он с удовольствием приглашал Ярослава в свой дом. Но теперь позвонит. А Ярка, конечно, откажется. Выдумает, что у него туристский поход или какой-нибудь заплыв на байдарке. Ярка отлично знает, что приглашение домой к Михаилу Борисовичу рассматривается как некое негласное повышение. Так сказать, высшая отметка за поведение. Выше пяти баллов. Но Ярке эти отметки ни к чему. А нужна ли такая отметка самому Алексею? Ведь в дом к отцу вернулась Нонна...

Он положил трубку и долго еще лежал неподвижно, уперев взгляд в невысокий сиренево-белый потолок своей новенькой квартиры. Лежал и думал черт знает о чем, лишь бы не вспоминать Нонну. Вот и эту квартирку, однокомнатную, мечту холостяков, ему дали без очереди. И тут не обошлось без вмешательства Михаила Борисовича. Михаил Борисович знал все нужды своих помощников и умел так распределять блага, что без лишней расточительности почти всегда достигал максимального эффекта.

Тогда Алексей был далек от мысли, что это всего лишь одна из удочек, на которую Михаил Борисович собирался подловить его скромную душу. Он был просто рад и бесконечно благодарен Михаилу Борисовичу: до этого он жил с отцом в тесной комнатке, в которой и письменный стол поставить было некуда. А в эту квартирку он мог бы пригласить даже Нонну...

Фу, черт, о чем он думает!

Телефон затрезвонил снова.

Алексей лениво сказал:

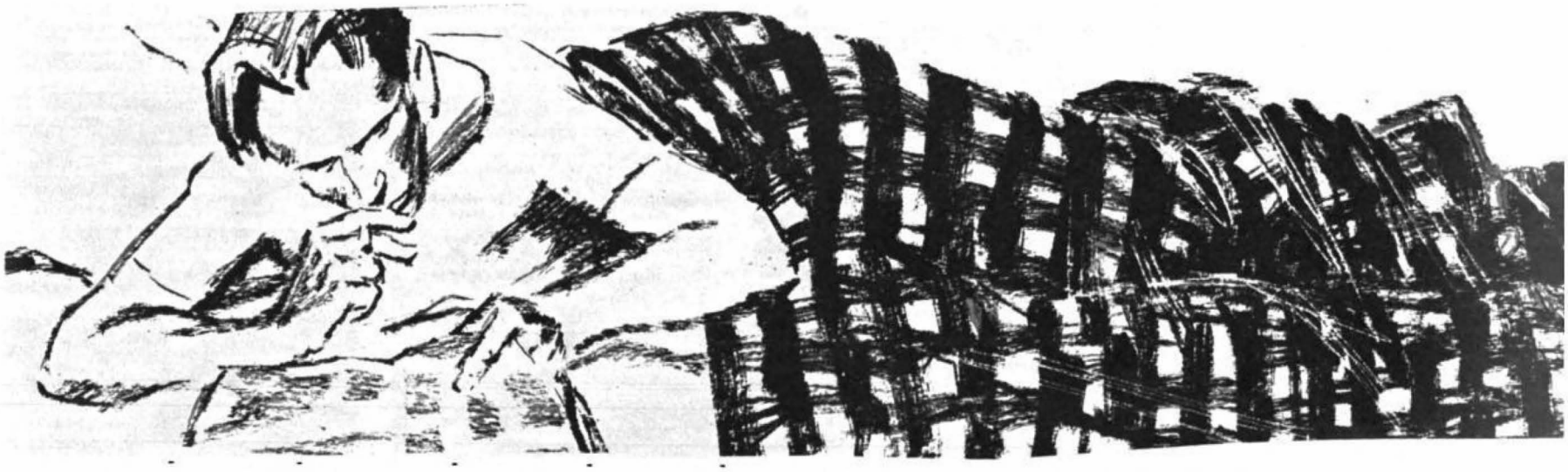
— Я слушаю.

И осекся, услышав громкий, откровенный смех директора института.

Нет, Гиреев не так прост! Вот он ехидно спросил:

— Принимаете поздравления, Алексей Фадеевич?

— Что вы, Иван Александрович!



семьей, жирком и степенями. Не так ли происходит со многими учеными не только в их институте, но и во всем мире? Во время прошлогодней конференции в Женеве Алексей насмотрелся на физиков: только спорт и спасает их от ожирения...

И тут же подумал: Чудакова на эту удочку не поймаешь! Он жреть не станет!

И улыбнулся: ну, а сам-то Алексей клюнет?

Удочки бывают разные. Золотые, как эта статья директора института. Серебряные, вроде повышения в должности. Медные — новая квартира и телефон под рукой. Стальные — таких Алексей еще не видал, но Чудаков как-то говорил ему, чем кончилась ученая карьера ныне уже немолодого физика Подобнова: ходит в мире некий человек с опустошенной душой и только завидует всем. В данную минуту, возможно, завидует Горячеву и Чудакову, хотя, видит бог, уж им-то завидовать не стоит...

Можно было бы снова заснуть — это Алексей умел,— но тут он подумал: газета сейчас у каждого в руках! И уж, конечно, кое-кто позвонит. Одни — из вежливости, другие — из дружбы, третьи — из зависти. Гиреев редко кого удостаивал таких почестей, а информация в наш век передается с необычайной быстротою. Другое дело, полная она или половинчатая. В сущности, Алексею да и Ярке только кажется, что они знают, почему академик написал эту статью. Конечно, предпосылка есть: двое молодых ученых из института, которым руководит Иван Александрович, объединив свои усилия, создали: один — новый вариант пузырьковой камеры для наблюдения элементарных частиц, другой — теорию, согласно которой в этой камере должны были обна-

— Почему же? Это естественно! Я трижды набирал ваш номер, и все время было занято.

— Так это же Чудаков и...

— И кто же еще?

— И Михаил Борисович...— с некоторой неловкостью ответил Алексей.

Он знал, что между Гиреевым и Михаилом Борисовичем идет негласный спор. С точки зрения Гиреева, Михаил Борисович редко выдвигает стоящие теории, чтобы ими можно было объяснить неожиданные странности, подстерегающие исследователей внутриядерных процессов. Сам Иван Александрович был последователем знаменитого физика Бора. А Нильс Бор принимал к рассмотрению только такие теоретические выкладки и предсказания, которые не были похожи ни на что предыдущее. Это ведь Нильс Бор отчитал некоего известного физика словами, которые Иван Александрович Гиреев любит повторять:

«Все мы согласны, что ваша теория безумна. Вопрос, который нас разделяет, состоит в том, достаточно ли она безумна, чтобы иметь шансы быть истинной. По-моему, она недостаточно безумна для этого».

Конечно, это не значит, будто Иван Александрович или сам Нильс Бор считают физику профессией фантазеров. Просто пришло время, когда для объяснения процессов, происходящих внутри атомного ядра, прежние представления о физических законах не подходят. Тем более необходимо найти новые законы. И тут без ломки старых представлений и понятий не обойдешься. И еще вопрос, достаточно ли «безумен» сам Иван Александрович, чтобы понять и принять те крохи истины, которые добывают в своих опытах «талантливые мо-

лодые физики Алексей Фадеевич Горячев и Я. Я. Чудаков», как он написал в своей сегодняшней статье.

— И что же?— поинтересовался директор.— Пригласил?

Да, в догадливости Ивану Александровичу не откажешь. Алексей не успел ответить. Иван Александрович добродушно сказал:

— Значит, там и поговорим...

— А есть новости, Иван Александрович?— осторожно спросил Горячев.

— Приближаются. Перед визитом к Михаилу Борисовичу просмотрите последний номер «Physical Review». Я послал его вам час назад.

И точно, в прихожей щелкнула металлическая задвижка над прорезью в двери с надписью «Почта», и на пол упало что-то тяжелое. Алексей знал: американские журналы делаются на мелованной бумаге и весят килограммы. Прощай, отдых!

—. Спасибо, уже принесли.

— Не обязательно вздыхать так горько. Я заложил нужную страницу!

Да, в точности академику тоже не откажешь! Алексей снова прошлепал в переднюю и поднял с пола тщательно увязанный увесистый сверток. Распаковав журнал, он увидел не только закладку, но еще и пометку на обложке: «А. Ф. Гор. Пр. 147».

Можно было бы еще поваляться в постели, но статьи физиков пишутся в основном на языке цифр, а формулы лучше проверять за столом. Статья, отмеченная академиком, принадлежала перу американского физика Ф. Моргана и умещалась на двух страничках, но формулы в ней занимали больше места, чем текст. Поневоле пришлось одеться, а затем и приготовить холостяцкий завтрак — кофе и сосиски. Алексей тут же, на пластиковом кухонном столике, положил свои нехитрые вычислительные инструменты: авторучку, бумагу, логарифмическую линейку... А на третьем абзаце забыл о завтраке. Произошло именно то, о чем так сердито говорил Ярослав, когда их заставили раз за разом проверять отлично удавшийся эксперимент: «Идеи носятся в воздухе и передаются на расстояние не только по радио! Пока нас тут заставляют снова и снова доказывать уже доказанное, кто поручится, что другой физик не наткнется на нашу идею?»

И вот это случилось: известный американский физик писал именно об открытых Алексеем новых частицах — ро-мезонах. А самое печальное заключалось в том, что итоги долгих и кропотливых исследований Алексея Горячева и Ярослава Чудакова были опубликованы только на ротапринте и читали их, может быть, десятки человек. А статью Ф. Моргана сейчас читают тысячи физиков...

У Алексея тряслись руки, когда он набирал номер телефона Чудакова.

— Ярослав, зайди ко мне как можно быстрее!

— Если я попытаюсь открыть дверь, Анюшка прикует меня цепью к дивану.

— Скажи Анне, что ты идешь не на свидание, а на похороны.

Наверно, не сами слова, а тон, каким говорил Алексей, нарушил веселое настроение Ярослава. Он резко спросил:

— Что случилось?

— О нашем открытии опубликована статья в американском журнале. Только открытие сделал Морган.

— Журнал у тебя?

— Да, можешь получить полную информацию!— не удержался, чтобы не уязвить друга, Алексей.

— Куда уж полнее!—сердито сказал Чудаков.— Сейчас приду!

Ну что ж, подождем три минуты. Идти Ярославу недалеко, со второго этажа соседнего подъезда...

Другой вопрос: может ли он чем-нибудь помочь Алексею?

И еще вопрос: а как отнесется сам товарищ Гиреев к тому, что так опоздал со своей хвалебной статьей? И кто во всем этом виноват?

Продолжение следует.

Николай АСАНОВ

СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ
С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ

Рисунок П. ПИНКИСЕВИЧА.

Тогиз

ГЛАВА ВТОРАЯ

За промахи следует наказывать

Иван Александрович Гиреев сидел один в домашнем своем кабинете и рассеянно барабанил пальцами по полированному столу. Развернутая газета лежала перед ним, и он, чуть-чуть отстраняясь по дальнозоркости, перечитывал отдельные абзацы статьи. Кое-что теперь, после ознакомления с работой Ф. Моргана, в его собственной статье выглядело упрощенно, бездоказательно, а главное, все запоздало: и дифирамбы молодым физикам и описание открытия, сделанного этими молодыми людьми. Ах, если бы он послушался редактора научного отдела газеты и написал статью хоть месяц назад! А он все отнекивался, ссылался на какие-то причины, однако ж написал! Значит, мог сделать это и не ссылаясь на неясные причины, а главное, без задержки!

Он мучительно поморщился, представляя лицо Горячева, когда тому пришлось, чуть ли не через пять минут после панегирика его таланту, читать сочинение Ф. Моргана. Вот уж действительно: «Бедному жениться — и ночь коротка!» А ведь эти ребятишки заслуживают куда большего, нежели кущая похвала в газетной статье, да еще если вслед за похвалой следует холодный душ из-за Атлантики! И работа их с ро-мезонами еще недостаточно оценена. Трудно сказать, что помешало Горячеву сразу поднять открытие на щит, но, по-видимому, кроме заметки, напечатанной на ротапринте, никаких реальных шагов к пропаганде открытия сделано не было.

Редактор научного отдела газеты тоже хорош! Подковырнул Ивана Александровича замечанием, где же, мол, ваши молодые таланты, а когда Иван Александрович разгорячился и принялся доказывать, что физика вообще наука молодых, вдруг заметил: «Однако ж вы их не очень выдвигаете!» И позже еще несколько раз названивал по телефону, а как-то даже язвительно пропел в трубку с ехидной хрипотцой: «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет!» После этого Иван Александрович сдался и написал требуемую статью, а редактор еще неделю проманежил ее в разнообразных согласовательных инстанциях...

Между тем Иван Александрович уже видел практический путь применения новооткрытых частиц. Теоретическая физика обычно заглядывает в такие глубины вещества, где трудно предвидеть будущее того или иного открытия: может быть, оно тут же будет отринуто, а через какое-то время ляжет в основание стройной теории нового познания материальных изменений вещества. А может быть, его все признают и долго станут строить ложные теории на ложном фундаменте... Но то, что сделал Горячев, несомненно, победа. Если ро-мезоны нечто вроде цементирующих частиц, связывающих другие частицы ядра, то при бомбардировке ро-мезонами атомов металла можно было бы добиться такого изменения атомной структуры, когда прочность металла увеличилась бы в десятки и сотни раз. А именно таково последнее задание Академии наук, врученное некоторым научно-исследовательским институтам. Речь в нем идет по меньшей мере о металлах, из которых будут строиться космические корабли. Так, во всяком случае, прочитал это задание Иван Александрович. И именно корабли, а не просто спутники. И не одноместные, на каком взлетел недавно Юрий Гагарин, а крупные, пригодные, если понадобится, и для полета на Луну.

Ф. Морган, кажется, еще не сообразил практического значения своего открытия. Впрочем, если он даже о чем-то и подумал, то не обязательно станет делиться своими мыслями со всем миром. Там развитие науки зависит еще и от того, что именно в ы г о д н о разгласить ф и р м е. Морган принадлежит фирме «Дженерал электрик», а там в основном интересуются электрической сверхпроводимостью металлов.

Но почему же такое важное открытие так долго дожидалось общего признания? Неужели Горячев и Чудаков ничего не увидели за своим экспериментом?

Бывало, что Иван Александрович тоже долго дожидался признания какой-нибудь своей идеи. Но он хоть слышал возражения, споры, должен был доказывать свою правоту. А тут не было ни споров, ни возражений. Правда, кто-то из теоретического отдела, кажется, Крохмалев, заявил, что эксперимент проведен не чисто, но после вторичной проверки умолк и он. И все-таки с публикацией результатов нового эксперимента задержались...

Иван Александрович становился, как говорится, на ноги в такие времена, когда в физике все было более чем зыбко. Точнее, перед ним была даже не поверхность, на которую можно было ступить, а жидкая среда. Швырнули тебя — и плыви. Не можешь держаться — поднимай руки и кричи: «Спасите! Я больше не буду!» И многие его сотоварищи, усомнившись в своей способности держаться на спасительной соломинке опыта, уходили из физики безвозвратно. А тут еще и общее недоверие к новым неожиданным выводам, теоретическим обобщениям, которые затрагивали всяческие незыблемые доктрины. Появлялось некое ощущение двойственности природы: одни законы — для обычного применения, а рядом — теория относительности, силлогизмы Дирака или Гейзенберга, никак к обычному миру не приложимые.

В те годы Иван Александрович интересовался трансурановыми элементами. Их было известно немного, но и эти немногие жили так недолго, что требовались неимоверные терпение и навык, чтобы уследить за их «рождением» и «смертью», то есть распадом на более устойчивые и, к сожалению, для экспериментатора, совсем уже обычные минералы. Но были в этой системе распада признаки какой-то грозной силы, которые заставляли умолкнуть и философов и практиков или, наоборот, исторгали у тех и других неумеренные восторги перед таинственной силой, заложенной в атомном ядре. Именно тогда появились первые подсчеты: а что именно может дать человеку высвобожденная энергия атома?

А в том возрасте, в каком сейчас находится Алексей Горячев, самого Ивана Александровича застигла внезапно начавшаяся война. И он пошел на фронт.

На фронте он стал командиром разведроты. Сначала он думал, что это чистая случайность, такое странное совпадение: в мирной жизни быть разведчиком нового материального мира, на войне стать разведчиком вражеских позиций. Но однажды он нечаянно услышал разговор комдива с командиром полка, которому была придана его рота. В полковом блиндаже и при желании некуда было спрятаться для откровенного разговора,— землянка была разгорожена маскировочными халатами, повешенными на веревке, а уйти Гирееву было нельзя: полковник сам его вызвал. Комдив спросил:

— Ну, а как твой ученый?

— Порядок! — с очевидной усмешкой ответил командир полка.— Сами же говорили, если он поисковик в науке, так уж тут непременно себя окажет.

— И оказал?

— Лучше некуда! По трем разведанным точкам такой анализ выдает, куда там начальнику штаба!

Гиреев невольно усмехнулся простодушной похвале командира, но внезапно остро почувствовал: а ведь командир прав! И вспомнил: никогда он не мог быть достаточно спокойным. Ворвавшись в мир неустойчивых «элементарных» частиц, где все так зыбко и неясно, что трудно было заранее представить, что же получится из любого опыта, он приучил себя сохранять самообладание, держаться ровно, невозмутимо, отыскивать выход из любого положения. Там, в той довоенной физике, все было, как на войне. Перед тобой темнота и пустота, и из этой пустоты в любую минуту может прогреметь выстрел... Не так ли погибли Кюри, его жена и многие другие первооткрыватели? А что он увидел на войне? Примерно то же самое. Ты врываешься в населенный пункт, который грохочет навстречу тебе огнем. Каждый дом — дот, каждый переулок и забор — ловушка. Рвани на себя дверь квартиры, швырни гранату, прижми дверь плечом и, едва отгрохочет взрыв, снова распахни ее, дай веером очередь из автомата и беги к следующей двери.

Да, так оно и получалось во время опы-

Продолжение. См. № 10.

Победы

тов: смотри на счетчики, записывай показания приборов, но помни — пустота может выстрелить. В таких условиях умение быть спокойным очень воодушевляет помощников. И Иван Александрович знал, почему молодые физики любят работать с ним.

Вот и сейчас разведчики любили ходить с ним на поиск.

После битвы под Курском Гирееву воевать не пришлось. Его отыскали в тыловом госпитале с простреленным легким. Суровое предписание одного из безвестных отделов Совета Труда и Обороны приказывало капитану И. А. Гирееву «по выздоровлении немедленно явиться в город Н., воинская часть №... в распоряжение майора Богатырева...». Только фамилия Богатырева и могла осветить хоть что-то в этом непонятном предписании, не то чтобы луч прожектора, но все-таки лучик, пусть хоть и от карманного фонаря. До войны какой-то Богатырев занимался в Ленинграде физикой атомного ядра... Но при чем тут физика, если враг не отполз еще и до Днепра?

Впрочем, война пришла в ту стадию, когда образованный капитан (Гиреев до войны окончил два института и имел звание доцента) должен был предполагать, что вопли гитлеровцев о «тайном оружии» могут иметь какую-то подоплеку. Советское ракетное оружие оказалось полной неожиданностью для гитлеровцев, но вот уже над Лондоном появились «Фау-1» и «Фау-2», и, если они не летали над Россией, то скорее всего только потому, что слишком велика была страна и далеко отстояли от стартовых площадок важнейшие ее города. А в Англии снаряд, видимо, окупал себя хоть паникой среди населения...

Едва залечив простреленную грудь, капитан Гиреев явился в город Н.

Его удивило, что о воинской части майора Богатырева никто в комендатуре не знал. Гиреева заносило все выше и выше, сначала к коменданту города, потом в обком партии, потом к первому секретарю обкома, и только тут он встретил своего будущего командира. Дело было поставлено так, что сам первый секретарь обкома познакомил безвестного капитана Гиреева с не менее безвестным майором Богатыревым да еще спросил: «Именно этот капитан вас интересовал?» А когда Богатырев ответил: «Да!» — то присутствовавший при этом свидании четвертый человек в штатском костюме быстро устроил Гирееву настоящий допрос и все время сверял его ответы с какими-то бумагами у себя в папке, даже имя и отчество жены спросил, и где Гиреев жил до войны, и какие у него были адреса по крайней мере в трех городах, где Гиреев работал в довоенные годы. Тогда ядерная физика была не в почете, и Гирееву приходилось часто менять место работы — то трудиться в лаборатории, то занимать вакантную должность преподавателя в каком-нибудь институте. Наконец все формальности были соблюдены, тот же штатский товарищ выдал Гирееву какой-то странный документ-пропуск, на котором ничего, кроме фотографии и фамилии владельца, не было, после чего строго предупредил, что отныне до последующих указаний Гиреев поступает в распоряжение майора...

Когда они с Богатыревым вышли из обкома, Гиреев довольно нервно спросил:

— Павел Михайлович, скажите, пожалуйста, что тут происходит?

Богатырев был русоволос, бледен какой-то «кабинетной» бледностью, но Гиреев понимал, что такая же бледность возникает и при долгой работе в лабораториях. Но Богатырев был едва ли старше возрастом, только в плечах пошире да, может, поспокойнее, и Гиреев считал, что вправе задать своему новому начальнику любой вопрос. И Богатырев ответил:

— Это не тут происходит.

— Что же и где?

— Где-то в Германии.

— Но при чем тут мы?

— Так уж получилось.— Богатырев вздохнул.— Вы ведь занимались трансурановыми элементами?

— Да... Но я не понимаю...

— Нам стало известно, что немцы работают над проектом атомной бомбы...

Он сказал это так же спокойно, как сказал бы, наверно: «Мессершмидт запустил новую серию самолетов...» И Гиреев, у которого вдруг захолонуло сердце, подумал: «Черт, он, наверно, думает об этой бомбе не первый месяц! А я? Я не могу...»

Но Богатырев был не так прост, каким казался с первого взгляда. Гиреев еще ничего не успел сказать, как Богатырев сухо заметил:

— Вы, вероятно, готовы признаться мне, что у вас душа не лежит к такому эксперименту? Можете успокоиться: я сам узнал об этом несколько недель назад. Так что придется через «не могу»! Пойдемте-ка ко мне, я вам кое-что покажу...

Да, люди, которые в эти страшные дни находились «где-то за линией фронта», сделали невозможное. Они сумели проникнуть в святая святых гитлеровского рейха. Сначала о проекте «А» были только неясные упоминания. Но потом эти люди каким-то образом связали этот «проект» с одновременным исчезновением из оккупированных фашистами стран десятков ученых, не то арестованных, не то выкраденных гестаповцами, выяснили, чем эти ученые занимались до войны, и перечень «исчезнувших» зазвучал подобно набату. Многие физики, проживавшие в Германии, после прихода фашизма к власти выехали или просто сбежали за границу. Среди них было немало и таких, кто занимался физикой атомного ядра. Теперь фашисты «импортировали» из покоренных стран именно «ядерщиков»...

В последних донесениях разведчиков сообщалось, что в фашистском рейхе организован центр не то по созданию, не то по производству «нового оружия» и что там, в этом «центре», находятся многие из исчезнувших физиков. Наверно, среди разведчиков были и такие люди, которые уверенно разбирались в новой физике ядра, потому что они обнаружили завод «тяжелой воды» в Норвегии, сообщили об открытии новых шахт в Австрии, где заключенные и военнопленные добывали урановые руды...

— Что вы скажете теперь? — спросил Богатырев, укладывая прочитанные Гиреевым бумаги в сейф.

— Они не пойдут на это! — растерянно сказал Гиреев.

— Пойдут! — сухо ответил Богатырев.

— Но они же отказались от использования ядовитых газов! — ухватился Гиреев за последний довод, как за спасительную соломинку.

— Да, потому, что посчитали: Германия заселена даже плотнее, чем Франция или Англия, не говоря уже о России. Войну они сразу планировали на два фронта. А достигнуть Берлина самолет может и со стороны Москвы и со стороны Лондона. Просто они учитывали закон возмездия. А газы они используют...— Он снова открыл сейф и вынул снизу черную папку. То были сообщения разведчиков о созданных фашистами «лагерях смерти».

Может быть, именно эти сообщения больше всего воздействовали на молодого офицера. Когда он возвращал папку Богатыреву, лицо у него было белое, как будто он сам прошел через ад лагерей и стоял перед дверями газовой камеры. Он с трудом проговорил:

— Я согласен.

— Имейте в виду, если они успеют ее сделать, то испробуют на нас...— тихо сказал Богатырев. Потом, помолчав, добавил: — Наши союзники тоже разрабатывают этот «проект», но нас они не информируют...

— Не информируют? — Гиреев сломал спичку, пытаясь прикурить, и смял в пепельнице незажженную папиросу. Он не мог оторвать взгляда от непроницаемого лица майора.— Но это означает только одно...

— Да,— подтвердил Богатырев то, что не осмелился сказать его новый подчиненный.

Гиреев почувствовал, как у него на спине дернулась кожа, словно в комнату ворвался декабрьский мороз. О чем они думают там, за океаном? Он знал кое-что о прошлых надеждах этих людей, ставших волей судеб союзниками. Не они ли считали, что лучше подождать, пока немцы и русские истребят друг друга, чтобы затем наверняка диктовать свою волю миру? Но представить себе, что эти люди принимают все человечество за кроликов, приспособленных лишь для проведения опытов над ними? Газовые камеры... Атомные бомбы...

Он встал и повторил, как присягу:

— Я согласен!

Позже Иван Александрович старался не вспоминать о своем торжественном заявлении. Тогда он полагал, что слово его прозвучит, подобно заклинанию: «Сезам, откройся!» — и он тут же вступит в общество чародеев. На самом деле все произошло далеко не так. Даже совсем не так.

Он получил назначение в один из институтов далеко на востоке. В подвалах местного университета раскопал эвакуированное оборудование одного из расформированных в начале войны научных центров. Людей для решения поставленной перед ним задачи пришлось выбирать среди инвалидов войны и студентов старших курсов. И тут-то Гирееву понадобились все умение администратора, сила духа, настойчивость, которые раньше требовались для проведения собственно эксперимента. Оказалось, что хозяйственные дела и заботы чуть ли не сложнее научных.

Но кое-какой опыт он получил. И когда окончилась война, когда уже взорвалась американская бомба над Хиросимой, он был не только умудренным опытом ученым, но и крупным руководителем, с которым

считались в партийных организациях и в министерствах. После взрыва экспериментального устройства, к созданию которого Гиреев приложил столько труда, ему поручили возглавить новый институт, где исследовались совсем другие качества и свойства атома, пригодные для использования в мирных целях.

К пятидесяти годам он стал руководителем этого института, академиком, профессором, консультантом ряда министерств, одним из теоретиков космогонии, почетным членом многих иностранных научных обществ, и т. д., и т. п. Отныне он изучал реакторы, участвовал в разработке атомных кораблей, помогал создавать космические корабли, хотя прямым его делом по-прежнему являлись наблюдения за «элементарными» частицами и атака на атомное ядро. Но ведь он одним из первых доказал, что только глубочайшее проникновение внутрь атома поможет человеку создавать новые металлы и материалы, которых не было и не могло быть в природе, но которые оказались необходимы человеку, едва человек решил оторваться от Земли...

А сейчас он сидел и грустно покачивал головой, представляя утомленное, разочарованное лицо молодого своего помощника, которого только что обрадовал, а затем так жестоко огорчил. И в то же время проскальзывала в сознании смутная мысль: сай он никогда не позволил бы перехватить свою идею. Да что он, Горячев, мальчишка, что ли? И его дружок Чудаков тоже давно вышел из школьного возраста! Если уж они открыли нечто новое, так должны были бороться за приоритет, за свой, за институтский, за приоритет страны, в конце концов! Если публикация их материалов почему-то задерживалась, они могли обратиться к нему, своему директору и учителю! Был ли когда-нибудь случай, чтобы Гиреев не помог этим молодым людям? Не было такого случая!

Эта гневная тирада, не произнесенная, но словно бы впечатавшаяся в сознание, вдруг рассердила Ивана Александровича. Зайди к нему или позвони в эту минуту Горячев или Чудаков, Иван Александрович выдал бы им по первое число! Но звонить Горячеву еще раз не стал: хватит с парня и того, что он получил. А вот показать им, как много они потеряли во мнении своего учителя и начальника, это Иван Александрович может! И еще покажет! И, вспомнив, что собирался поговорить с Горячевым на вечернем рауте у Михаила Борисовича Красова, сразу решил: на раут не пойду! И тем самым покажу и Красову, как отношусь к этому «проколу». Красов тоже мог настоять перед редакцией и перед президентом академии, что у него в отделе есть срочный и архиважный материал. Он ведь не такой растяпа, как эти мальчишки — Горячев и Чудаков, знает, что не боги горшки обжигают, что найденное одним экспериментатором может быть в тот же день и час найдено другим.

Закончив рассуждения о Горячеве и Чудакове, Иван Александрович повернулся вместе с креслом к соседнему столику, на котором стояла пишущая машинка: воскресенье — единственный день, когда он мог свободно поработать. Следовало только переключить телефон.

Но где-то в уголке сознания гнездилась злая мысль: сам Гиреев в том возрасте, в каком сейчас находятся Горячев и Чудаков, ни к кому из старших за помощью не бегал. Он доводил свою мысль до конца, а потом сурово и спокойно высказывал ее, и если она кому-то приходилась не по нраву, так же сурово и холодно нападал на противника. В свои тридцать лет Иван Александрович успел доказать, что в менделеевской периодической системе непосредственно за ураном должны находиться по меньшей мере еще два десятка элементов, а если мы их не обнаружили, так только потому, что плохо искали. И все, что он задумывал, он всегда доводил до конца! А эти мальчишки, оказывается, до сих пор нуждаются в нянька!

И хотя он занимался сейчас самым любимым своим делом, на лице его было такое гневное выражение, что жена, заглянувшая было в кабинет, тихонько прикрыла дверь и удалилась. Она прожила с Иваном Александровичем четверть века и знала: в такие минуты трогать его нельзя. Посидит, поработает и отойдет. А если и не отойдет, так гроза разразится где-то далеко от дома, в том мире, который так и не стал для нее понятнее за эти четверть века...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ученым нужны ученики

Науки имеют странную способность умирать и возрождаться. Но уже в другом качестве.

К концу семнадцатого века алхимия — величайшая из придуманных человеком наук, за исключением, может быть, медицины,— влачила жалкое существование. Вместо подлинных магов и волшебников возле алхимии пристроились мелкие мошенники и обманщики. Никто больше не верил в «философский камень». Постепенно переставали верить и в «эликсир бессмертия». Если какой-нибудь захудалый немецкий эрцгерцог еще и покупал рецепт «эликсира», то платил гроши.

Однако где-то в недрах алхимии уже нарождалась иная наука — химия.

Химия тоже трактовала вопросы превращения вещества. Но без «философского камня». И отрицала главную идею алхимии, будто можно при помощи заклинаний превратить свинец или медь в золото. А так как владетельным особам в основном требовалось именно золото — для войн, для сооружения замков и крепостей,— то на сию прозаическую науку властители перестали обращать внимание. Но она развивалась в покинутых алхимиками лабораториях.

Эту науку двигали ученики волшебников и магов. Но называть себя они стали простым словом: ученые.

В конце девятнадцатого века в недрах самой развитой науки — физики возникла принципиально новая наука, объяснявшая факты на основании новых закономерностей. Но ученые, разработавшие новую науку, помнили о подвиге предшественников и не стали отказываться от наследства. И назвали свою новую науку Ядерной Физикой.

Правда, в те далекие времена, на заре двадцатого века, вряд ли кто из провозвестников этой новой науки мог представить, к каким вершинам знаний приведет она человечество.

Всякая наука требует продолжателей. Если раньше это были магические секты, тайные сообщества посвященных, то теперь чаще всего такие группы единомышленников называются «школами». И, как отличие, нечто вроде орденского знака, ставят имя учителя. Школа такого-то. Школа вот этого.

Михаилу Борисовичу Красову не было и сорока лет, когда он стал членом-корреспондентом Академии наук. Поводом для такого выдвижения послужили открытия, сделанные школой, к которой он принадлежал, в области физики атомного ядра. Для школы выдвижение Красова тоже было достижением, и его сотоварищи вежливо приветствовали его победу. Тем более, что он сделал все, что мог, а мог он очень много, чтобы украсить послужной список и улучшить материальное положение участников школы.

После этого его энергия и инициатива достигли наивысшего расцвета. Очень скоро он оказался членом многих ведущих ученых советов, руководителем различных семинаров, которые проводят от случая к случаю, чтобы обменяться новостями в излюбленной отрасли науки. Он принимал активное участие в различных обсуждениях, как научных, так и ненаучных, и всегда его выслушивали с вниманием и принимали его мнение к сведению, а порой и к руководству...

Вскоре его стали приглашать и за границу для чтения разных лекций, тем более что в молодости он и сам прослушал курс таких лекций у знаменитого немецкого физика, отлично знал два языка, умел овладеть любой аудиторией.

Несмотря на такие явные признаки величия, в своем кругу он по-прежнему оставался просто Михаилом Борисовичем, так как предпочитал не подчеркивать свое превосходство в титулах, званиях, положении. Необычайная энергия сочеталась в нем с подкупающей мягкостью и простотой в обращении с коллегами и помощниками. Он с одинаковым уважением обращался по имени и отчеству ко всем окружающим, начиная от студентов и кончая старшими по званию. Впрочем, он мог быть и резким и высокомерным, но это только с «чужими».

Михаил Борисович принадлежал к школе... Но для того, чтобы определить, кого из своих учителей он предпочитал, следовало бы изучить шеститомный свод законов новой науки, одним из соавторов которого был он сам. А такое предприятие, право же, не каждому под силу...

Красов был еще достаточно молод, когда этот шеститомный труд вышел в свет. Однако в университетский курс физики включен он не был. Мысли и воззрения, изложенные в этом труде, были новы даже для профессоров. А какой уважающий себя профессор будет читать свой курс по чужому учебнику?

Но Красов и сам занимал по совместительству с научной работой профессорскую должность на кафедре теоретической физики физико-технического факультета. Несколько его друзей, принимавших участие в создании этой новой энциклопедии ядерной физики, тоже были профессорами.

Так возникли домашние, внеуниверситетские «курсы новейшей физики».

К этому времени Михаил Борисович достиг постепенно такого положения, что ощутил настоящую потребность иметь свою собственную школу. Без учеников он обходиться уже не мог! Поэтому он внимательно присматривался к каждому своему студенту.

К концу первого, иногда второго курса профессора физико-технического факультета уже различали студентов не только по костюму и прическе. Это лишь вначале кажется, что все студенты на одно лицо.

Начинаются зачеты, экзамены, курсовые работы. И вот молодые люди, только что бывшие похожими друг на друга, как капли воды, постепенно приобретают индивидуальные черты. И тогда можно полушутя-полусерьезно сказать:

— Послушайте, Ярослав Ярославович, а ведь вам не составило бы, вероятно, труда, усвоить первый том «Новейшей физики»?

К удивлению Михаила Борисовича, Чудаков, заинтересовавший профессора тонкостью только что законченного опыта, спокойно ответил:

— Я прочитал все шесть томов этого курса.

Михаил Борисович взглянул на студента внимательнее.

Чудаков выглядел недорослком — маленький, чернявый, по-мальчишески подвижный. Вероятно, война помешала его физическому развитию. Профессор перелистал «зачетку». Там были весьма ничтожные сведения. Ярослав Ярославович. Год рождения 1932. Сын рабочего. Москвич. Наверно, отец ушел на фронт в самые первые дни войны. Сколько могла зарабатывать мать? Пятьсот — семьсот рублей. Этого, конечно, не хватало даже на хлеб. Правда, детям в школе давали бесплатные завтраки. Но Михаил Борисович помнит, как они выглядели: дочь однажды принесла из школы такой завтрак — ломтик черного хлеба, смазанный каким-то повидлом. Михаил Борисович раз и навсегда приказал Нонне отда-

вать завтраки соседке по парте. Но из дома в школу с собой ничего не брать. Впрочем, это было уже в сорок третьем, когда появились академические пайки. До этого Нонна съедала свой школьный завтрак, наверно, с не меньшим удовольствием, чем Ярослав Чудаков. Но приносить из дома в школу то, что готовила Нонне мать, просто не следовало. И Нонна поняла отца. Приходила голодная, но веселая. «Я отдала свой завтрак Аннушке. Сегодня была ее очередь...»

— Какая очередь?

— Папа, Аннушка у нас староста. Это она решила, что мой завтрак будут получать по очереди...

Мать кипятилась. Но Михаил Борисович понимал Нонну. Иногда говорил:

— Завтра пригласишь на обед двух подруг. Обедать будете отдельно. Кормить станешь сама. Мама скажет, что и где взять.

Эти обеды происходили обычно по субботам. И тоже странность — каждый раз Нонна приводила других девочек. Мать снова сердилась: «У тебя нет подруг!» Дочь отвечала снисходительно: «Мы дружим всем классом!» «Что же, вы решаете на классном собрании, кто должен идти к тебе в гости?» «Нет, мама, это решает Аннушка. Она лучше знает, кто как живет, кто получил «похоронную», у кого наградили отца или мать...» «Причем тут матери?» «Ах, мама, у нас три девочки в классе, мамы которых на войне. Кто врач, кто инженер. А всего в школе таких девочек двенадцать». «Разве это война? Это ужас!» — восклицала мать.

Тогда она еще не очень верила, что газеты печатают правду о фашистах. В конце двадцатых годов она жила вместе с Михаилом Борисовичем в Германии: Михаил Борисович проходил практику у профессора Вернера Гейзенберга; немцы ей очень нравились, возможно, что с одним или двумя у нее были даже романы.

От этого предположения у Михаила Борисовича до сих пор побаливало сердце. Михаил Борисович был тогда слишком занят,— профессор Гейзенберг не давал спуску своим бакалаврам. Брониславе было скучно. А молодых немцев в этом университетском городе болталось сколько угодно. Язык она знала отлично. Это как раз и заставило Михаила Борисовича ходатайствовать, чтобы молодую жену направили с ним,— будет переводчицей при муже. Ничего из затеи с переводами не вышло: Брониславе скоро надоело выслушивать и переводить мудреные речи физиков. Хорошо еще, что знаки и символы в науке интернациональны. Ну, а через два или три месяца Михаил Борисович и сам о б р е л слух на чужую речь. Как ни удивительно, это именно так и было. Он вдруг стал слышать разговоры соседей. До этого все слова сливались в неразличимый гул. И вдруг он услышал о Брониславе то, что раньше проходило мимо его сознания, как гудение: «Фраукотораялюбитнемцев».

Он столь глубоко задумался, держа перед собой «зачетку», что только покашливание студента вывело его из забытья. Расписавшись, он вернул «зачетку» и сказал:

— А не могли бы вы, Ярослав Ярославович, как-нибудь заглянуть ко мне? Мне хотелось бы услышать ваше мнение об этих сборниках и обменяться мыслями о новых путях науки...

Не видно было, чтобы студент смутился, услышав такое приглашение. И ответил Чудаков несколько насмешливо:

— Не думаю, Михаил Борисович, что такой обмен будет для вас интересен. Так же, как в сказке: нашел человек золотой слиток с лошадиную голову и обменял на обыкновенный пшик...

Михаила Борисовича несколько покоробило от этой манеры разговаривать присказками, однако он с обычной любезной улыбкой спросил:

— Что вы имеете в виду под такой странной аналогией?

— О, это просто притча о невыгодном обмене. В конце концов, бывший владелец золота получает иглу без ушка, но с советом — накалить иголку и пробить ушко. А когда он бросает раскаленную иглу в воду, то слышит только издевательское «пшик». Но я обязательно зайду, Михаил Борисович, у меня на этот случай даже ваш телефон записан.

Чудаков попрощался и ушел, этакий с виду недоросток, с мальчишескими движениями, в странном спортивном костюме — лыжные шаровары, стянутые у щиколоток, и толстый свитер, стянутый у горла,— мешок на мешке. А что, если он явится в таком наряде? Бронислава не протестует против свободы в одежде, но только на пикниках, где и профессора частенько одеваются так же, как этот Чудаков. В собственном доме она подобной небрежности не переносит. Впрочем, если Чудаков заранее записал телефон Михаила Борисовича, значит, подозревал, что привлечет внимание профессора. А если это так, то, наверно, учтет и все остальное. Должно быть, расспрашивал студентов, уже побывавших у Михаила Борисовича.

(Продолжение следует.)

Николай АСАНОВ

СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ
С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ:

Ученики должны быть послушными

Ярослав Чудаков совсем не был таким уж оголодавшим недорослком, как представилось это почтенному профессору. Просто в роду Чудаковых все мужчины были невысокими. А вот что касается мускулатуры, ловкости, так тут Чудаковы — отец, и дед, и молодые — могли дать иному мастеру сто очков вперед.

У них даже руки д у м а л и! Ярка, когда стал студентом, вычитал где-то, что Фридрих Энгельс уважал рабочие руки и даже прямо говорил, что творческий процесс начинается в голове, а кончается в пальцах рук, которые держат инструмент, будь то перо, или резец, или просто стамеска, или молоток. Вот и Ярослав — если он замышлял какой-нибудь прибор для счета соударений ядерных частиц,— так просто чувствовал, что у него и голова горела и руки нацеливались — сейчас начнут «стрелять».

Отец и дед видели это еще в школьные Яркины времена, когда парень мастерил прибор для определения силы ветра с крыла обыкновенного бумажного змея или вертушку — лаг для учета скорости движения его собственноручно сделанной байдарки. Да и вообще все в доме у Чудаковых было сделано ими собственноручно, кроме, наверно, электрических лампочек, а до лампочек просто руки не доходили, а то они и лампочки переконструировали бы, это уж как пить дать!

И отец и дед Ярки были рабочими, тут профессор не ошибался, только они еще были м а с т е р а м и своего дела. А мастер — всегда думающий человек.

Война для Ярки была испытанием жесточайшим. Началась она, когда Ярославу было всего девять лет, и хотя он дважды убегал «на фронт», дальше первого контрольно-пропускного пункта так и не дошел...

Ну, а голод, физические страдания в нетопленной квартире — так ведь все это было рáвно для всех. В те дни он еще не подозревал, что и воевали не все и голодали тоже не все. Взрослый умеет кое-что не замечать, на некоторые вещи не обращать внимания. Это только дети н е п р о щ а ю т, взрослые просто не желают в и д е т ь. Значительно удобнее.

А «похоронная» пришла. Ярослав Ярославович старший, отец Ярки, погиб. Но в семье остался Ярослав Ярославович старейший, дед, а дед не позволял грустить. Дед заставлял работать. С двенадцати лет Ярка начал помогать деду «лудить, паять», а с пятнадцати подыскал себе «рукомесло» посложнее — чинить радиоприемники. Их навезли с войны много, и все разных фирм. Потом пошли телевизоры, всякие счетно-измерительные приборы. В семнадцать лет Ярку даже приняли в один счетно-аналитический институт мастером по ремонту приборов.

Не это ли, в сущности, и толкнуло парня на физико-технический факультет?

Так он начал учиться у Михаила Борисовича...

Однако студент Чудаков ответить на приглашение профессора не торопился. Он окончил и третий курс и четвертый, но Михаилу Борисовичу не звонил. Михаил Борисович тоже не напоминал. «Ничего, придет! Он прекрасно знает возможности моей лаборатории. Где еще он получит такой ускоритель, такое оборудование?» — усмехался про себя Красов. Он испытывал примерно такое же ощущение, какое чувствует опытный охотник: приманки расставлены, можно и покурить...

В начале пятого курса Чудаков действительно напомнил профессору о давнем разговоре. И заговорил в той же странной манере:

— Не скажу, Михаил Борисович, что я нашел слиток золота величиной с конскую голову, но кое-какими мыслями и я не прочь поделиться.

— Пожалуйста, пожалуйста, я помню свое приглашение. Только что же вас до сих пор задерживало?

— Говорят, что только пустая голова ногам покоя не даёт. А мне все эти годы было не до развлечений. И на этот раз, возможно, окажусь скучным гостем.

— Ну, что вы, Ярослав Ярославович, поболтаем за чашкой чаю. Если у вас есть ко мне вопросы, попытаюсь ответить. Кстати, где вы собираетесь проходить курсовую практику и какую тему выбрали?

— Хотел проситься к вам в институт, в вашу лабораторию. А тема — поиск нового метода наблюдения за соударениями частиц.

— Отлично, отлично! — заторопился Михаил Борисович.

Он даже подергал галстук, напоминая себе, что нельзя проявлять такой восторг и поспешность. Он знал у себя этот недостаток: на все взволновавшее отвечать с непозволительной солидному человеку торопливостью. А когда торопился, то даже слова проглатывал и повторял их. Что-то вроде: «отличноличнолично». Но, боже мой, что он слышит? Новый метод наблюдения за соударениями! Американцы споткнулись именно на этом! И у них нет никакого нового метода! Неужели этот вихрастый паренек может что-то предложить? Правда, Нильс Бор говорит, что новые идеи только тогда интересны, когда ни на что предыдущее не похожи. Кто знает, что в голове у этого мальчишки?

И опять профессор ошибался: к этому времени Ярослава Чудакова никак нельзя было назвать мальчишкой. Он уже был женат и даже ожидал прибавления семейства. Оставалась в его лице этакая неизменная моложавость, некоторая монгольская безбородость, но возраст у него был уже не солдатский, а офицерский. А вот одежка на нем привычная — такие же, если не те же, лыжные штаны да мохнатый свитер под горло.

— Итак, у вас есть уже свои идеи? — не удержался профессор.

Но Чудаков не торопился.

— Да ведь как сказать! В нашей любимой науке творится то же самое, что в кавалерии: ночь темная, лошадь черная, едешь-едешь и думаешь: а не черт ли тебя везет? — как мой дед говаривал. Знаете, в таких условиях не всякую идею и выскажешь. Я бы хотел сначала посмотреть, над чем вы работаете в вашей лаборатории, послушать товарищей...

«А у этого паренька, кажется, зубы тигра! — подумал Михаил Борисович.— Ну, что ж, это даже интереснее, больше чести для укротителя». Но эту злую мысль удержал при себе. А что, если у студента есть так называемая б е з у м н а я идея? Отпугивать его не следует ни в коем разе. И весьма любезно повторил:

— Так я вас жду в субботу, часикам к семи. Сначала поговорим о наших баранах, попозже придут молодые люди, можно будет и потанцевать.— И подумал с некоторым сожалением: «Впрочем, какой из тебя танцор? Но надо предупредить Брониславу, чтобы поуняла свою надменность, когда увидит этого странного гостя!»

— С удовольствием! — спокойно ответил Чудаков, будто давно уже привык бывать на профессорских раутах.— Могу ли я пригласить от вашего имени и жену?

— Вы женаты? — удивился профессор.

— Уже полгода! — улыбнулся Чудаков.— Может быть, по отсутствию стажа жена и не любит отпускать меня одного.

— Пожалуйста, пожалуйста! — с необыкновенным радушием в голосе сказал Михаил Борисович. И полюбопытствовал:— А ваша супруга тоже физик?

— Нет, она электроник.

— Скажите на милость! Она перегнала вас — выбрала новейшую науку!

— Есть ведь и поновее! — с какой-то странной иронией ответил Чудаков.— Вот уже и бионики появились.

— Это не наука, а чистое шаманство!— произнес профессор с неопределенной интонацией, так что трудно было понять, шутит он или всерьез так думает.

— Ну что вы, Михаил Борисович! — Чудаков усмехнулся.— Ведь еще не так давно и кибернетику считали охвостьем идеализма.

— Тут вы в чем-то заблуждаетесь! — внезапно став строгим, сказал Михаил Борисович. Вольнодумство студента ему не понравилось. Да и зачем молодому физику интересоваться генетикой, бионикой? В сущности, рядом с физикой эти науки выглядят примерно так же, как астрология рядом с астрономией. И потом в этих странных рассуждениях, чувствовал Михаил Борисович, проскальзывает слишком глубокая ирония.

Продолжение. См. №№ 10—11.

А Чудаков не унимался:

— Но и физика стала ведущей наукой совсем недавно. А кибернетика выплыла на поверхность только после того, как оказалось, что без машинных вычислений нам не управиться с физикой. А теперь попробуйте представить, что завтра американцы объявят, будто могут передавать приказы на свои атомные суда без помощи радио, только лишь усилием воли гипнотизера, направленным на медиума, сидящего где-то в рубке корабля. Или даже на подводную лодку без ее всплытия, которое требуется сейчас, поскольку радиоволны не желают проникать под воду. Разве мы не заинтересуемся такими опытами?

— А вы что-нибудь слышали о подобных экспериментах? — с любопытством спросил Михаил Борисович.

Несмотря на свое подчеркнуто пренебрежительное отношение к «мистическим» наукам, каковыми он считал генетику, бионику, парапсихологию, он побаивался оказаться вдруг в печальном одиночестве, если кто-то где-то кого-то убедит в их действенности.

— Ну, что вы,— с грустной доверительностью сказал Чудаков,— у нас об этом не пишут и никто за этим не следит.

— Стоп, товарищ Чудаков! — холодно обрезал студента Михаил Борисович.— Руководство получает самые последние новости о положении дел в науке! — строго заметил он.

— Возможно, возможно! — ничуть не смутясь, сказал Чудаков.— Но все-таки мне жаль, что мы несколько ограничиваем наш кругозор... Так в субботу? — переспросил он, словно хотел убедиться, не откажется ли профессор от своего приглашения после того, как будущий гость проявил некоторое вольнодумство.

Но профессор как будто забыл о своем недовольстве и, приятно улыбнувшись, повторил:

— Да-да, и вместе с супругой.

ГЛАВА ПЯТАЯ:

Но непослушные ученики талантливее

Из своего визита Чудаков извлек по меньшей мере одну важную информацию: в «конюшне» у профессора паслись до десятка студентов старшего курса и среди них всегда интересовавший Чудакова третьекурсник Алексей Горячев.

Но Чудаков, несмотря на свою самоуверенность, которой он так гордился, был изрядно ошарашен встречей, ожидавшей его и жену.

Во-первых, на звонок в переднюю выскочила розоволицая молодая красавица в вечернем платье без рукавов. Завидев Аннушку, привычно одетую в белую кофточку с плиссированной юбкой, красавица бросилась к ней в объятия с такой радостью и стремительностью, что чуть не сбила ее с ног. Сам Чудаков был тут же забыт. Из отрывистых восклицаний красавицы Ярослав смог уяснить, что она и Аннушка учились в одном классе. Красавицу звали Нонна, и Чудаков понял, что это и есть дочь профессора, в которую влюблялись все бывавшие в профессорском доме студенты.

При более тщательном рассмотрении Чудакову, забытому подле вешалки, показалось, что Нонна не так уж прекрасна: немножко полна для своих девятнадцати лет, ноги, хотя и стройные, несколько коротковаты, но руки, плечи, лицо были безупречны. Освободил Чудакова из его странного плена среди чужих пальто и плащей сам Михаил Борисович. Подивившись тому, что гора с горой не сходятся, а человек с человеком не разминутся, поздоровавшись с Аннушкой и похвалив ее за хороший вид и цвет лица (Аннушка была смугло-румяной), Михаил Борисович оставил ее на попечение Нонны и увлек Ярослава к себе, предварительно оглядев его с ног до головы и одобрительно хмыкнув.

Чудаков на этот раз обошелся без спортивного наряда. Правда, костюм был, как видно, куплен в отделе готового платья, но брюки обужены, вероятно, Аннушкой и отглажены до остроты ножа, сорочка ослепительно бела. Несмотря на то, что и в этом костюме Чудаков был похож на мальчишку, Михаил Борисович остался вполне доволен новым гостем.

В кабинете Ярослав и увидел Алексея Горячева.

Третьекурсник сидел на краешке стула, вслушиваясь в каждое слово говоривших, словно впитывал божественное откровение И не только в профессорские речи вслушивался Алексей. Для него все, о чем говорили тут будущие и настоящие аспиранты, кандидаты наук и члены-корреспонденты академии, звучало волшебством. Ярослав даже пожалел беднягу. Того и гляди, примется глядеть из чужих рук. А между тем студенты старших курсов знают, что у этого малого голова не только для того приспособлена, чтобы носить шляпу.

Ярослав вслушался в легкий гул голосов, наполнявших просторный, заставленный низкими креслами вокруг маленьких столиков кабинет, в котором только и места для работы, что шведская конторка у окна. Все остальное пространство больше подходило для болтовни. Гости группками сидели вокруг низеньких полированных столиков, примостившись кто в кресле, а кто и на подлокотнике. Дверца вделанного в стену шкафа была откинута, на ней стояли рюмки, в глубине — бутылки. Чудаков усмехнулся: на его взгляд, при такой свободе и некотором желании кое-кто из гостей мог бы и поднабраться. Однако он заметил: гости в основном обходились разговорами, рюмки звенели не часто.

Были среди гостей и сановные — такие же профессора, были и двое-трое дубнинцев, как именовали ученых из Объединенного ядерного института. Но Михаил Борисович никого не представлял, каждый мог отыскать себе собеседника по душе и по вкусу, а то и сидеть, развесив уши, как третьекурсник Горячев. Впрочем, и студент пятого курса Чудаков не очень-то рвался в бой, тем более что все эти физики пока что говорили о вещах обыденных... У них уже образовался некий собственный стиль поведения, как и собственный, похожий на условный, разговорный язык. Все они щеголяли своими «хобби» — причудами. Один рассказывал о подводной охоте с аквалангом на осьминогов в Тихом океане; другой что-то врал об альпинистском походе на Памир, где отыскал некую гору с пещерой, в которой якобы были запрятаны чуть ли не все сокровища китайского войска, разбитого в каком-то сражении монголами в давнем веке; третий описывал отысканные им и вывезенные с Поморья старинные иконы и рукописи; четвертый что-то болтал о своих магнитофонных записях, восхваляя «короля джаза» Луи Армстронга.

И Ярослав пожалел, что пришел на этот раут...

Но тут Михаил Борисович заметил скуку и грусть в глазах своего гостя и с тренированной ловкостью опытного хозяина бросил ему приманку:

— Пощадите моих друзей, Ярослав Ярославович, не сочиняйте нелестных характеристик. Имейте в виду, когда вы начнете с ними работать, они из вас душу вытрясут. А эти разговоры не более как отдых. Вы знакомы с Горячевым? Попробуйте расшевелить его, а то, кажется, наши говоруны его совсем загипнотизировали. Между прочим, у Горячева есть архиоригинальные мысли о новых странных частицах...

«Подбрасывает пробный камень! — догадался Чудаков.— Если я не споткнусь на Горячеве, удостоит меня и своей беседой!» — Однако к Горячеву подошел.

— Вы часто здесь бываете?

— Впервые,— стесненно признался Горячев.

— Ага, значит, мы оба неофиты. А вы знаете, зачем нас пригласили?

— Михаил Борисович сказал, что собирается взять меня на курсовую работу в свою лабораторию и что надо познакомиться с товарищами.

— Ну и как, познакомились? — безжалостно спросил Ярослав.

Алексей беспомощно пожал плечами. Ярослав вытащил из валявшейся на столе пачки сигарету, закурил, оглядел комнату.

— Я не думаю, что мы тут можем интересовать кого-нибудь, кроме хозяина. Пойдемте-ка в коридор, покурим, поболтаем...

— Я не курю.

— Ну и напрасно,— иронически заметил Чудаков.— Это отличный предлог покинуть любое общество. А также устроить перерыв в работе. Когда я работал в артели жестянщиком и еще не умел курить, мастер, объявляя перекур, всегда находил для меня какое-нибудь дело. А как только я обзавелся собственной осьмушкой махорки, меня сразу признали своим.

— Вот уж не знал, что под курение можно подвести такую базу,— рассмеялся Горячев.

Ярославу понравилось, как лицо Алексея раскрылось в этой внезапной веселости, от чистых ровных зубов упал на него особый отблеск. Горячев встал с кресла и пошел за Чудаковым.

В коридоре Ярослав снова пристроился у вешалки, тут было нечто вроде ниши и стояла пара красных финских табуреток для дам, переобувающих туфли, так что получилось подобие уединенности. Горячев присел рядом.

— Профессор сказал, что вы делаете какую-то работу в области странных частиц?

— Ну какая же это работа?! Да наше оборудование и не дает возможности для экспериментальной проверки. Но, по моим расчетам, в атомном ядре, кроме уже открытых, должны быть еще цементирующие ча-

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

стицы. Пока трудно сказать, каково их количество, но уже из самых общих математических свойств уравнений видно, что тут концы с концами не сходятся. Еще такие классики, как Дирак и Гейзенберг, понимали, что главной особенностью атомного ядра является множественность составляющих его так называемых «элементарных частиц», мы лишь не научились их извлекать. Если бы использовать для их поиска ускоритель, который есть в лаборатории Михаила Борисовича, то не исключена возможность...

— Так что же вы не попробуете?

Горячев с каким-то стеснением сказал:

— Видите ли, я скорее теоретик...

Чудаков чуть не присвистнул. Студент третьего курса, а уже мнит себя теоретиком! Но тут же насмешливо сказал:

— А я скорее практик. Чудное совпадение! А не нарочно ли свел нас Михаил Борисович?

— Ну, вы как-то уж очень... Какая Михаилу Борисовичу польза от нас, студентов?

— А вы постарайтесь вспомнить, что Михаил Борисович тоже был когда-то студентом. И не лишено оснований подозрение, что он, будучи студентом, о чем-то думал. Недаром же он в нашем примерно возрасте был принят Вернером Гейзенбергом в его собственную лабораторию и практиковался там два года. Так что не ссылайтесь на возраст!

— Любопытно! — меланхолически сказал Горячев, и Ярослав понял: не верит еще в свои силы. Ну, да это с возрастом, говорят, проходит. Жаль только, что порою с этим самым возрастом уходит и талант. Человек начинает думать о более простых и близких целях, нежели множественность частиц в атомном ядре. Получить бы диплом, аспирантуру, кандидатскую степень, квартиру в Доме преподавателя, что строится на Ломоносовском проспекте, а там можно и забыть, почему эта улица носит имя Ломоносова.

Над головой прозвучал мягкий, благодушный голос профессора:

— Ну, как побеседовали?

Чудаков встал. И взглянул на высокого, тонкого, словно жердь, Горячева. Горячев медленно бледнел, как будто профессор задал ему экзаменационный вопрос. Чудаков с досадой ответил:

— Такую беседу следовало бы вести у пульта ускорителя, наблюдая за приборами, регистрирующими новые частицы. Это было бы поинтереснее, чем наблюдать в телескоп за появлением новых звезд. В галактике мы разбираемся куда больше, чем в атомном ядре.

— А что, идея отличная! — Михаил Борисович засмеялся.— Но имейте в виду, что на нашем ускорителе такие счетчики до сих пор не установлены. Их еще надо придумать. Не хотите ли попробовать? Вы будете придумывать счетчики, Алексей Фаддеевич — подбрасывать вам идеи, а я... Я буду наблюдать за вашими успехами и радоваться.

— Вы это серьезно? — с каким-то даже испугом спросил Горячев.

А Чудаков невольно подумал: «Профессор уже по имени и отчеству этого паренька называет. Кажется, он и в самом деле прочит нас в свои ученики!» И деловито ответил:

— Я согласен!

— Браво, Ярослав Ярославович! А что вы скажете, Алексей Фаддеевич?

— Я... я тоже согласен...— несколько запинаясь, пробормотал Горячев.

— Отлично, отлично! — сплавливая слова в почти неразличимую фразу, воскликнул профессор.

Чудаков вспомнил, что, только волнуясь, он так произносит слова. Но в чем причина для волнения? Ну, облагодетельствовал двух студентов. Подумаешь! Со своим весом и авторитетом Михаил Борисович может облагодетельствовать каждого!

Михаил Борисович сиял: любезно пожал руку Горячеву, а Чудакова неожиданно похлопал по плечу. Возможно, так похлопывал когда-то и его самого знаменитый Гейзенберг.

— Что же мы тут стоим? — вдруг спохватился хозяин.— Пойдемте к дамам. Я боюсь, что ваша Анна Сергеевна уже соскучилась с моими модницами...

«Да он и отчество Аннушки разузнал! — изумился Чудаков.— Отлично подготовился! Значит, прежде чем отрезать, семь раз примерялся...»

— Вы, Алексей Фаддеевич, я знаю, отличный музыкант! Вот и порадуйте нас. У Нонны хороший рояль, она ведь у меня консерваторка!

Алексей вспыхнул, взглянул на Ярослава чуть ли не с мольбой, но увидел в глазах нового приятеля насмешку и гордо кивнул: «Согласен!» Уж если сам профессор наслышан о его талантах, пусть и Чудаков послушает. И пошел впереди хозяина в дальнюю комнату, откуда слышался смех женщин и веселые голоса мужчин.

Чудаков замкнул это шествие.

ГЛАВА ШЕСТАЯ:

Алексей и Нонна

Дочерью Михаила Борисовича восхищались все — и старые и молодые гости.

Старым в ее присутствии хотелось казаться помоложе, а молодые, наоборот, напускали на себя солидность.

И только Нонна была такой, как всегда.

Однако ж она была признанной королевой вечера.

Но если Чудаков посматривал на «коро-

леву» с некоторой иронией, то Алексей не сводил с нее глаз, такой ослепительной она ему казалась.

Спустя несколько лет Алексей понял, что тогда Нонна еще не была красивой. Она была просто хорошенькой — спортивная девушка в узком платье, аккуратная, ловкая в движениях, с веселыми глазами и наивной улыбкой.

Бывают лица, которые сразу поражают. Мы еще не успели понять, что произошло, а это лицо уже мучительно проникло в нас каждой чертой, запомнилось неповторимой, особой прелестью.

Впрочем, это происходит только с и щ у щ и м и...

Нонна понравилась Алексею. Как видно, в свои двадцать один год он вполне созрел для того, чтобы влюбиться. До этого у него просто не было ни времени, ни подходящего объекта. И вдруг появилась Нонна...

Первая любовь всегда признает свой объект необыкновенным.

Алексей еще не запомнил цвета Ноннины глаз, не знал ее манеры при любой обиде надувать властно очерченные и вместе с тем наивные губы, не различил родинку на щеке, но уже твердо знал, что именно это лицо жаждал увидеть и бессознательно искал в толпе на улицах, пытался обнаружить при случайных знакомствах, искал именно эти неожиданно длинные глаза и такие мягко округлые, в золотом пушке щеки и белый, чистый лоб под летящими, косо отброшенными назад волосами..

Может быть, он еще не понимал этого с достаточной ясностью, но уже чувствовал наслаждение даже от того, что может следить за Нонной, любоваться живою игрой ее лица, вслушиваться в оттенки теплого, словно все время смеющегося голоса.

Значительно позже он, к своему несчастью, понял, что Нонна производила такое же впечатление на очень многих людей. Но в тот день он ни о чем не думал, кроме того, что, если захочет, может часто-часто ее видеть, разговаривать с нею и, кто знает, вдруг привлечь ее внимание к своей скромной особе.

Он не удержался и шепнул Чудакову — все-таки это был брат-студент среди других, незнакомых и малознакомых людей, с которым не грех было поделиться впечатлениями:

— Какая красивая у Михаила Борисовича дочь...

И очень огорчился, услышав ответ Чудакова:

— Избалованная девица! Не в моем вкусе.

Тут Алексей сравнил Нонну с женой Чудакова и с некоторой долей иронии подумал: «Э, брат, твою Аннушку и на одну ступеньку с Нонночкой не поставишь!» — и сам поразился, что осмелился назвать девушку так, как ее называли самые близкие друзья этого дома...

А Нонна будто и не замечала, что происходят «смотрины». Она мило болтала с Аннушкой, ни на минуту не оставляла ее своими заботами, тем более что Аннушкина п р о с т о т а еще больше подчеркивала ее собственную тонкую прелесть. Нонна щебетала о школьных приключениях, вспоминала каких-то «мальчиков», которые будто бы интересовали обеих подруг и чуть ли не заставили их соревноваться. Ярослав начал уже всерьез прислушиваться к этой болтовне, но вовремя уловил насмешливый взгляд жены и прочитал в нем: «А пусть ее!.. Это она всегда так...» — и смилостивился.

Аннушка отлично знала его ревнивый характер, но умела усмирять своего мужа. И Чудаков подумал: «В школьные годы Аннушке было не до увлечений. Отец погиб в конце войны, и трудное, а проще говоря, голодное время продолжалось для нее до поступления в университет, когда она сразу стала получать повышенную стипендию, да и то отдавала половину матери и братишке. А на голодный желудок развлекаться не очень хочется», — это Чудаков знал по себе.

К концу вечера Нонна добилась своего: один из помощников Михаила Борисовича, которого все называли просто Крох — на самом деле его фамилия была Крохмалев, — включил магнитофон с последними джазовыми новинками и пригласил Аннушку. И тут произошло нечто неожиданное: солидный Крох, пошептавшись о чем-то с Аннушкой, вдруг пустился в новомодный в те годы рок-н-ролл, и Аннушка завертелась, как юла. И все сразу переменилось в ней: полные ее губы показались чуть ли не негритянскими, движения стали отточенными и вместе с тем мягкими, и Чудаков недовольно отвел глаза. Он любил, когда его Аннушка танцевала, но хотел, чтобы она делала это для него и с ним, а тут немолодой ученый топтался возле нее, как слон вокруг тоненькой змейки, и все пялили на них глаза. Хорошо еще, что старый соратник Михаила Борисовича Подобнов пригласил хозяйку дома, а известный дубинец Тропинин — Нонну, пошли танцевать и другие, и Крохмалеву пришлось перейти на обычный темп: места для рок-н-ролла оказалось мало. Чудаков перестал злиться, и все пошло обычным порядком: мужчины постарше вышли в кабинет, к бару, кто-то из физиков заспорил с другим, только Алексей Горячев стоял в сторонке, жадно следя за каждым движением Нонны. Однако умный хозяин не забывал о гостях, и, едва магнитофон утих, послышался его мягкий голос:

— Друзья, среди нас есть начинающий физик, обладающий к тому же незаурядным музыкальным талантом! Крох, уймитесь вы с вашим «хобби»! Вот у Горячева действительно «конек», на котором не стыдно прокатиться!

Все «хоббисты» окружили Алексея, поздравляя его с оригинальным «коньком». Тут были домашние поэты, собиратели икон, любители репродукций, почитатели джаза, сборщики разноцветных коктебельских камешков. Но музыкантов еще не бывало, и Алексей, слегка побледнев, медленно прошел к роялю.

Крох бросился поднимать крышку. Алексей чуть тронул клавиши — инструмент оказался отличный, истинно «консерваторский», и вот неробкая мелодия протанцевала по клавишам и заполнила комнату.

Ярослав с удивлением смотрел на третьекурсника. Горячев словно бы вырос, хотя сидел на низеньком вращающемся стульчике. Его лицо, похожее в профиль на зубцы пилы, крупногубое и длинноносое, стало значительным, как будто тени подчеркнули каждый изгиб. И вот даже шепот стих, музыка властно овладела всеми присутствующими, хотя многие, наверно, как и сам Ярослав, слушали ее только по воскресеньям, через радиоприемники и уж совсем не знали, что же такое играет студент. Впрочем, нашлись и знатоки: Бронислава Григорьевна с восторгом сказала:

— Божественно! Это Рахманинов!

Нонна строго взглянула на мать, и Чудаков так и не узнал, чем же Алексей Горячев увлек своих слушателей.

Алексей закончил игру грозным аккордом, встал и, сколько его ни упрашивали, больше не подошел к инструменту. Но если он хотел добиться, чтобы его приняли как своего, то достиг большего. Уже и Михаил Борисович поглядывал на него с несомненным уважением, уже и Нонна отошла от Кроха и заговорила с Алексеем на профессиональном языке музыкантов, который был столь же непонятен Чудакову, как любой незнакомый язык.

Воспользовавшись этой внезапной развязкой, Чудаков подошел к профессору, поблагодарил за прием, кивнул Аннушке и вышел в коридор, надеясь скрыться, так сказать, по-английски. Но музыка что-то нарушила в непринужденном веселье, все сразу принялись откланиваться, торопиться, кто-то кого-то просил подвезти, кто-то уславливался о встрече в следующую субботу. Очарование кончилось.

Продолжение следует.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ:

Дорогу осиливает идущий

Нет, очарование осталось...

Оно проникало в сознание Чудакова медленно, однако Ярославу все чаще хотелось увидеться с Алексеем, поспорить с ним, послушать его. Постепенно он стал своим человеком в доме Алексея, где старый учитель физики — с таким же, как у Алексея лицом, похожим в профиль на зубцы пилы, только большой, какой плотники пилят бревна на тес,— доживал свой век, потеряв веру в свои знания. Тяжелое доживание!

И в доме Чудакова Алексей тоже постепенно становился своим. Этому предшествовали долгие споры с Аннушкой, даже ревность Аннушки: выяснилось, что новая дружба требует не меньше сил и времени, чем любовь.

Зато «информация», которую так любил собирать Чудаков, оказывалась все полнее и полнее. И можно было ставить самый главный вопрос: как этот юноша, от природы, казалось бы, приспособленный только к музыке, болезненный, даже хилый, как этот юноша вдруг проник в совершенно иную область, в которой все было так зыбко, неустойчиво, где еще только познавались новые законы природы, а ошибка могла стать последней в жизни, как у минера во время войны...

А ведь было в юности Алексея Горячева время, когда он жил тихо и мирно, во всем подражая своему отцу. У отца был спокойный и постоянный мир, и старый учитель с совершенной точностью отвечал своим десятиклассникам, как этот мир устроен, если они были достаточно любознательны, чтобы задавать такие вопросы.

Все, видимо, началось со взрыва атомных бомб над Хиросимой и Нагасаки. Не эти ли взрывы вдруг перевернули мироощущение многих взрослых, а юношей, только что начавших изучать вечный, постоянный, неизменный мир, толкнули толпами в новую науку — атомную физику, в новый мир, который именно им надлежало теперь приводить в порядок, открывая новые законы взамен низвергнутых? В сущности, все ремесло, чтобы ядерная физика стала реальностью. Правда, эти ученые были, в сущности, одиночками, и каждый из них с трудом усваивал идеи другого. Еще в меньшей степени представляли они будущее своей науки.

В 1945 году Алексею исполнилось двенадцать лет. Грибообразное облако атомного взрыва, разрушившего Хиросиму, словно бы повисло и над его школой в Краснопресненском районе.

Незадолго до этого Алексей, хрупкий, длиннорукий мальчик со светлыми волосами, причесанными на косой пробор, вдруг осознал, что в его мир вошла музыка. Не та, с которой он еле справлялся, отбивая длинными пальцами бесконечные упражнения на пианино, а другая, могучая, высокая музыка Баха и Бетховена, Чайковского и Мусоргского.

На осенних экзаменах в подготовительном классе музыкальной школы Алеша Горячев был признан одним из самых талантливых абитуриентов. И хотя ему было уже двенадцать, а настоящие музыканты, как известно, в пять или шесть лет являются вундеркиндами — смотри биографические издания из серии «Жизнь замечательных людей»,— Алешу Горячева приняли в музыкальное училище.

И вдруг шестого августа, когда он с восторгом переживал каникулы перед полной переменой своей жизни, где-то далеко над японским городом распустилось гибельное облако атомного взрыва, какого еще не случалось на Земле, и тень этого облака легла на весь Алешин мир и на все его ощущения и надежды.

Дома отец, перечитывая в десятый раз скупое газетное сообщение, тяжко вздыхал. Алеша сидел за столом и вслушивался в комментарии отца. Трудно было представить, что одна бомба уничтожила целый город со всеми школами, концертными залами, учениками и учителями, музыкантами, композиторами. Как фамилия того японского дирижера, который приезжал в Москву незадолго до войны? Алеша в свои двенадцать лет знал довольно много о прославленных дирижерах современности. Но сейчас не мог вспомнить фамилию японца.

Отец сидел в кресле, вздыхал и снова упирался взглядом в газетное сообщение. Вдруг Алеша спросил:

— Значит, атом делится?

— Выходит, что да,— хмуро ответил отец.

— А разве ты этого не знал?

— И не желаю знать! — ответил отец.

— Но вот тут говорится о Марии Кюри-Склодовской, о самом Кюри, об их зяте, об Эйнштейне, о Ферми, ведь они все физики?

— Убийцы они, а не физики! — грубо ответил отец.— Выпустили духа из бутылки, а попробуй его теперь загнать обратно!

И то, что отец сказал такое об уважаемых ученых, показало сыну все величие и безмерный ужас нового открытия...

Газеты были полны высказываний ученых и очевидцев, показаний участников самого страшного преступления, направленного против ничего не подозревавших мирных людей, вся вина которых заключалась в том, что они подчинялись своим властям. Впрочем, среди погибших были и боровшиеся против властей: ведь от бомбы погибли и те, кто бастовал, кто устраивал заговоры, сидел в тюрьмах. Не было меры наказания, и не было ни снисхождения, ни пощады. Президент Соединенных Штатов Америки Трумэн узурпировал функции самого мстительного из богов — Иеговы и низвел огонь небесный на Хиросиму и Нагасаки, как некогда, согласно библейским преданиям, сам Иегова низвел огонь небесный на Содом и Гоморру.

Больше же всего потрясла мальчика высказанная кем-то из иностранных ученых идея о возможности возникновения неуправляемой ядерной реакции как следствия всех этих бессмысленных взрывов.

Алеша помнил пронзительное чувство жалости к самому себе и ко всему миру, которое неизбывно сопровождало его в те сентябрьские дни 1945 года. Порою, выйдя из

Николай АСАНОВ

СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ
С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ

Рисунок П. Пинкисевича.

Богиня

Продолжение. См. №№ 10 - 12.

дома, чтобы поскорее добежать до школы, он вдруг останавливался, вглядываясь в ломаную линию горизонта, открывающегося в пролетах улиц и площадей, и им овладевал страх, что вот сейчас это безмятежное утреннее небо расколется и деревья парка, птицы, собирающиеся на знакомом дереве к отлету, люди и здания, а главное, сам он, Алеша Горячев, ученик шестого класса, обратятся в ничто, в пепел. И рвущая сердце жалость к себе, к миру, которого он не успел еще узнать, вдруг выжимала из глаз слезы, и мальчик застывал отрешенно и скорбно, словно он уже стоял на кладбище мира и над этим кладбищем мелкими вихрями кружилась атомная пыль. Впрочем, ведь тогда не станет и атмосферы, значит, не будет и ветра, как же закружится пыль? Она будет лежать мертвым черным слоем или, может быть, понесется в беспредельной Галактике черным шлейфом за новой кометой, которая возникнет на месте бывшей планеты Земля.

К счастью, эти мрачные мысли внезапно проходили, спасительная жажда деятельности толкала мальчика вперед, он бежал в школу, возвращался к своим делам и интересам и на время забывал скорбь мира,

Победы

которая, выражаясь словами поэта, уже проложила трещину в его сердце.

Но отец, сначала с недоумением, а позже и со страхом, наблюдал, как меняются вкусы и интересы сына. Со стола, за которым Алеша готовил уроки и читал любимые книги, постепенно перекочевывали на книжную полку биографии великих музыкантов. Редко-редко присаживался сын к пианино, ровно на столько, чтобы сделать заданное упражнение. На столе и на полках появлялись все новые и новые книги со странными названиями: «Физика атомного ядра», «Элементарные частицы», «Квантовая теория», «Ниспровержение классических законов физики» и бог знает что еще. В те времена многие люди захотели хоть что-нибудь узнать о силе, принесшей одновременную гибель десяткам тысяч человек, и все, кто хоть немного понимал, а часто и те, кто ничего в этом не понимал, писали и издавали книги, брошюры, журнальные и газетные статьи, было бы только желание прочитать их. У Алексея это желание возникло.

В последние школьные годы Алексей принимал участие в нескольких ученических олимпиадах по физике и математике. Призовых мест он не занимал, но те, кто эти олимпиады устраивал или следил за ними, отметили для себя имя Алеши Горячева. Физика требовала своих пророков и учеников. В те времена даже в литературе возникали странные вопросы: «Кому мы передадим наше оружие?» Объяснялось это довольно просто: революция приближалась к тридцать пятой годовщине, ее зачинатели и участники старели, возникала естественная забота о наследниках.

Конечно же, и физики интересовались вопросом: «Кому мы передадим наше оружие и наши знания?»

Перед окончанием десятого класса у Алексея произошел памятный разговор с учителем музыки Павлом Николаевичем Графтовым.

Алексей не бросил музыку в угоду новому увлечению. К десятому классу он пришел с такими успехами, что Павел Николаевич заранее договорился в консерватории о прослушивании его лучшего ученика. Дорога открывалась прямая: концертные программы, филармония, ну, на крайний случай концертмейстерство с каким-нибудь хорошим исполнителем и уж как самая последняя ступень — преподавательская деятельность, аспирантура, редакция журнала по вопросам музыки или редактура в издательстве.

Вот эту-то широкую программу и предъявил своему ученику Павел Николаевич Графтов.

Павел Николаевич выглядел как полагается настоящему музыканту. В мягкой шляпе, в рубашке с отложным воротничком, под которым вместо галстука был повязан черный шелковый шнурок, в мягких туфлях с высокими гетрами, он поражал воображение учеников и манерами и одеждой. Да и лицо его под светлой мягкой шляпой внушало доверие выражением доброты и страстности. А когда он, сняв шляпу и отогрев дыханием пальцы, садился за рояль, когда руки его взлетали над клавишами так, словно они гнались за звуками, догоняли их,— в эти часы он был великолепен. И Алексей Горячев всей душой любил своего учителя, хотя и знал, что сам Павел Николаевич не стал ни дирижером, ни исполнителем, ни даже кандидатом искусствоведческих наук, редактором или критиком.

Разговор происходил в пустом классе после того, как другие ученики уже ушли.

Над нотными пюпитрами и ученическими столами нависла тишина. Рояль сумрачно темнел в углу, похожий на большое животное, утомленно привалившееся к стене для ночлега. Многие животные спят стоя, так же дремал и побитый, поцарапанный поколениями учеников рояль — добродушное, но отнюдь не приручённое существо. Алеша знал, как он бывает непокóрен, если не показать ему сразу власть.

— Что же вы решили, Алеша? — с напускным оживлением спросил Павел Николаевич. Он только что провел четыре урока, ему хотелось тишины, но упрямый мальчик не желал ответить на прямой вопрос: пойдет ли он в консерваторию?

— Я хочу подать заявление в университет, на физико-технический факультет.

— Ну зачем вам это, помилуйте! — жалобно сказал Павел Николаевич.— Если бы вы были крепким, здоровым юношей, тогда, может быть, у вас и хватило бы сил на овладение этой наукой. Но ведь вы часто болеете, пропускаете занятия, выдержите ли вы университетский курс?

Графтов был прав. В последние школьные годы Алеша болел слишком часто. То ангина, то воспаление легких, то общая слабость. Военные полуголодные годы не прошли для него бесследно. Даже от занятий гимнастикой болезненного школьника освободили.

Но сам-то себя он не освобождал. Он отлично понимал, что если не переломит себя и свою хворость, то ни физиком, ни пианистом не станет. И пытался закалить себя, свою волю, свое довольно хилое тело. В десятом классе он «шел на медаль», как говорили однокашники.

Павел Николаевич снова повторил все свои аргументы. Упрямый ученик медленно покачивал головой: «Нет-нет-нет!» Павел Николаевич воскликнул:

— Но почему же тогда физико-технический? Вы кончаете школу с медалью. Идите туда, где медалистов принимают без экзаменов! Это позволит вам не отрываться от музыки.

Алексей смущенно улыбнулся.

— А если я хочу проверить свои силы и знания? Этот факультет новый. Там особые требования. Пусть они сами решат, гожусь ли я. Ну а если не примут, вернусь к вам...

— Но что вас привлекает в физике? После этих взрывов, после угрозы заражения воздуха от испытаний, после того, как физика стала подлинным бедствием для человечества, ваше намерение кажется мне просто безрассудным!

— Но ведь у медали есть и другая сторона: мирное применение атомной энергии...

— Ах, бросьте вы! — устало сказал Графтов.— Я расспрашивал. Кто-то из ваших прославленных теоретиков сказал по этому поводу довольно зловещие слова: «Человечество погибнет не от атомной бомбы, а от мирного применения атомной энергии. Отходы из реакторов — вот где лежит угроза...» Разве это не так?

— Ну, пессимисты бывают разные: и преувеличивающие опасность и не замечающие ее,— суховато ответил начинающий физик. Но, увидев дрогнувшие губы учителя, смягчился: — Я ведь только хочу попытать свои силы, Павел Николаевич. И потом я же сказал: если там у меня ничего не получится, я приду к вам.

— Боюсь, что у вас получится! — со вздохом ответил Павел Николаевич, вставая, и принялся надевать пальто трясущимися старыми руками. Алеша помог ему.

Но Графтов не забыл ученика. После каждых экзаменов в приемной комиссии нового факультета появлялась странная фигура музыканта. Его скоро стали встречать как своего: «Горячев — пятерка!»

После третьей пятерки Павел Николаевич больше не показывался ни на факультете, ни в доме Горячевых. Ученик изменил ему.

Но Алеша не забыл учителя. Получив студенческое удостоверение, он принес учителю бутылку вина и торт. Графтов сердито сказал:

— Я не девушка... К чему мне приношения?

— А я пока не научился пить коньяк!— напомнил Алеша.

— Прикажете рассматривать вашу бутылку как успокоительные капли? — спросил Графтов.

— Нет, как языческое жертвоприношение.

— От меня теперь ваша зачетка не зависит.

— Но мои знания зависят,— жалобно сказал Алеша.

— Я никогда не был силен в физике и математике,— холодно ответил Павел Николаевич.

— А я все еще слаб в музыке...

Это неожиданное признание вернуло Графтову всю его доброту. Но понять своего ученика он так и не смог. Однако побоялся спрашивать, зачем ему теперь музыка. Просто отодвинул немудрые дары Алеши, раскинул на пианино ноты Дебюсси, сказал:

— В прошлый раз мы остановились на творчестве «Могучей кучки». Теперь вам предстоит великое удовольствие понять экспрессионистскую музыку французов. Надеюсь, что в середине года мы сможем перейти к испанцам с их новой экстраполяцией музыки как духовного начала и с полным отрицанием чувственного. Прошу начинать!

Лицо его побледнело от волнения, он склонил голову, словно подставляя ухо под ливень звуков. И когда длинные Алешины пальцы заметались по клавишам, Павел Николаевич закачался в такт, вытягивая жилистую шею, теребя развязавшиеся концы шнурка-галстука, будто наблюдал, успевает ли догнать эти быстрые звуки его ученик.

Алексей делал все как надо. И доброе, благостное чувство постепенно все отчетливее проступало на лице Павла Николаевича. Он снова поверил в своего ученика.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ:

Всякая дорога усеяна препятствиями

О святители новейшей физики, как давно все это было! Как быстро канули в прошлое наивная юность, любопытствующая молодость, чреда открытий и время откровений!

Вот о чем думал Ярослав Чудаков, лежа в своем «кабинете» на диване и прислушиваясь к журчанию голосов на кухне: там Аннушка кормила Ярослава Маленького. На статью Ивана Александровича Гиреева Аннушка взглянула только мельком, подала газету мужу и сказала довольно иронически:

— На-ка вот почитай, какой ты знаменитый! — И пошла на кухню, где шестилетний Ярослав Маленький громко и настойчиво требовал ее внимания.

Ярослав Большой потянулся было к ней — он тоже жаждал ласки и ревновал Аннушку к Ярославу Маленькому, но тут его взгляд упал на развернутую газету, уловил знакомое имя автора, и рука сама собой схватила газетный лист.

Да, это было признание!

Такую информацию нельзя держать при себе. Ярослав позвонил Горячеву.

Теперь лежать на диване стало еще приятнее. Можно и помечтать!

Тут, очень кстати, раздался звонок Михаила Борисовича, приглашавшего внезапно прославившихся своих учеников на маленький домашний раут. Нет, что ни говори, а статья — это вещь!

Самому Чудакову ничто не мешало идти прямой дорогой открытий. Вот даже и Гиреев признает, что Чудаков Я. Я. и Алексей Фаддеевич Горячев находятся на пороге славы. Занятно все-таки, что Иван Александрович учинил в статье свою маленькую месть за сердитый характер Чудакова,— не назвал по имени и отчеству, как Горячева. Умные люди тоже не свободны от недостатков.

Ярослав лежал и благодушно поглядывал на чисто промытые окна, на протертые стеллажи с книгами — во всем чувствовалась рука Аннушки, даже цветы успела полить, на каждом листке блестят капли,— и хвалил себя. Он уже остепенившийся физик Дело не в степенности походки и важности поведения, а в научной степени. Ныне он кандидат наук, без пяти минут доктор. Ми-

хаил Борисович утверждает, что докторскую можно будет защитить к осени, когда оппоненты съедутся из отпусков...

Подумал он и о Горячеве.

Алексей изменился меньше.

Он по-прежнему делит себя между физикой и музыкой. Нет на него грозы поэтов — инженера Полетаева. Этот доказал бы, что физик не имеет права заниматься музыкой. И пришлось бы Алеше Горячеву отказаться от Берлиоза под страхом смерти на костре. Правда, Алеша ныне занимается уже не Берлиозом, а испанцами и американцами. Последний раз он играл Аннушке и Ярославу Гершвина: что-то похожее, как показалось Ярославу, на грохот уличного движения в часы «пик». Но когда Ярослав проговорился о своем впечатлении, Алексей мгновенно захлопнул крышку рояля и посмотрел с таким презрением, что если бы глаза убивали, Ярослав тут же упал бы мертвым.

Но и он остепенился, тоже кандидат физико-математических наук. И его имя встречается в научной литературе не только в сносках, набранных петитом внизу страницы, но и в тексте статей по современным проблемам физики. В последней обзорной статье о новейших достижениях физики элементарных частиц, опубликованной в ведущем американском журнале, русские авторы упоминаются двадцать шесть раз. В одиннадцати случаях это коллектив: А. Горячев и Я. Чудаков. Это надо понимать!

Так что еще вопрос, прав ли товарищ Полетаев, разделяя физиков и лириков. Ярослав, например, вполне доволен, что Алексей Горячев в свободное время играет на рояле. Пути открытий неисповедимы. Ньютону для открытия закона притяжения потребовалось заниматься между делом садоводством. Ну а Горячеву, как видно, для лучшего течения мысли нужно, чтобы под руками был рояль. Но только бы он не играл Гершвина. Под такую музыку, пожалуй, не предложишь стройной теории атомного ядра. Все так и останется в том хаотическом состоянии, в какое привели ныне физики это самое ядро. Подумать только, когда Чудаков и Горячев начали работать в институте, с ядром все было более или менее в порядке: состоит из протонов и нейтронов. А теперь стараниями десятков ученых, среди которых не последнее место занимают Горячев и Чудаков, открыто еще полсотни новых частиц материи! Вот и множественность частиц ядра, о которой когда-то задумывался третьекурсник Горячев. Ну, а нынешнее открытие? Сам Иван Александрович похвалил их за обнаружение ро-мезонов!

Тут Ярослав еще раз перечитал статью Гиреева. При втором чтении статья уже не производила того впечатления. Нет, право, доведись Чудакову писать такую статью, он нашел бы куда более пылкие и восторженные слова, чтобы прославить молодых физиков! И об открытии ро-мезонов сказано всего две фразы. Что из них можно вычитать? Разве что десяток специалистов поймут всю важность этого сообщения...

Чудаков потянулся к телефону, чтобы поделиться своими сомнениями с Алексеем, как вдруг тот позвонил сам. И первые же слова Алексея о статье какого-то Ф. Моргана, открывшего те же самые ро-мезоны и уже успевшего сообщить о своем открытии всему миру, стряхнули с Чудакова все его благодушие. Аннушка и спросить ничего не успела, как Ярослав натянул брюки, накинул пиджак и пролетел мимо нее и Ярослава Маленького, едва успев крикнуть:

— Я к Алексею. Вернусь не скоро!

Итак, приоритет открытия потерян. Случилось то самое, чего он так боялся, когда Крохмалев вдруг развернул свою «критическую» деятельность, требуя все новых проверок. А теперь он будет каяться в своих сомнениях, извиняться за задержку публикации.

Ярославу вдруг стало душно, хотя вокруг текло свежее майское утро, улицы, обильно политые только что прошедшими машинами с серебряными крыльями струй, были похожи на впадающие одна в другую реки, пенсионеры и дети выходили из тенистых дворов на солнышко. Ничего этого Чудаков не замечал. Он со злостью подумал о том, что Михаил Борисович, видно, еще не знает о статье. Иначе зачем бы ему приглашать обкраденных открывателей на свой раут?

Он прошел в следующий подъезд и поднялся к Горячеву.

Через десять минут Чудаков и Горячев вместе читали злополучную статью Ф. Моргана. Собственно, читал и переводил Алексей, а Чудаков проверял выкладки и формулы. Сомнений быть не могло: речь шла именно об открытых ими ро-мезонах, хотя Морган именовал их по-своему — меонами.

— Да, порядочную свинью подложил нам наш Михаил Борисович! — брезгливо сказал Чудаков, откладывая карандаш и бумагу.

— А при чем здесь Михаил Борисович? Ведь это Крох утверждал, что при его проверке эксперимента ро-мезоны не наблюдались.

— Крох мог наблюдать что угодно после того, как я отказался включить его в число соавторов...

— Что ты говоришь? А какое отношение он имеет к нашей работе? — Неприятно удивленный Алексей откинулся на стуле, тараща глаза на Чудакова. — Почему ты ничего мне не сказал?

— Ты со своим смирением еще, чего доброго, согласился бы с его претензией. Я-то помню, сколько этих Крохмалевых и Подобновых налезло в твою последнюю работу по эксперименту над сигмой...

— Но тогда у Кроха не хватало новой работы для участия в конкурсе...

— А теперь у самого Михаила Борисовича недостает еще одной новой работы для выдвижения в действительные члены академии...

— Оставь ты свои шутки! — неприязненно сказал Алексей.

— Какие уж тут шутки! — Разгневанный Чудаков не желал щадить друга. — Крох так прямо и сказал мне, что к осеннему выдвижению в академики Михаилу Борисовичу необходимо иметь две-три новых работы. Тогда и было решено, что ро-мезоны станут одной из этих работ. Ну, а уж Кроха надо было включить из простой солидарности...

— И Михаил Борисович? — растерянно пробормотал Алексей. В его голове никак не укладывалось, что Михаил Борисович мог опуститься до такого цинизма. — Но ведь он... Он же не подал ни одной идеи... Он... Да и в машинный зал он не спускался! — схватился Алексей за последний аргумент.

— Эх ты, Дон-Кихот! А когда ты работал над сигмой, он спускался туда? Это мы с тобой там сидели да механики, особенно бедняга Коваль, которому пришлось вкалывать около камеры сутками без сна и отдыха. И зачем было Михаилу Борисовичу спускаться к ускорителю, где он мог схватить не меньше пятнадцати доз облучения? Ты и так преподнес ему эту сигму, как сказочный принц преподносит на серебряном блюдечке наливное золотое яблочко своей принцессе! И после всего этого ты еще сегодня пойдешь к нему на раут и станешь извиняться за то, что из нашей работы получился один «пшик»!

При неосторожном упоминании о сегодняшнем вечере Алексей вдруг побледнел. Чудаков встревоженно спросил:

— Что с тобой, старик?

— Нонна вернулась домой.

— Час от часу не легче! — Чудаков вскочил с места, заходил по комнате, резко поворачиваясь меж столом и стульями. Вдруг остановился перед Алексеем и в упор спросил: — И ты пойдешь?

— Н-не знаю... — выдавил Алексей.

— Зато я знаю: пойдешь! — зловеще и безжалостно предрек Чудаков и выругался. — О святая физика, и за что ты наказала меня дружбой с этим меланхоликом? Неужели ты не понимаешь, — снова обернулся он к Алексею, — что эта семейка начисто ограбила тебя? Нонне ты был не нужен, однако она пришила тебя к своей юбке! Ее папаша украл твою молодость! Ведь нет же ни одной твоей работы, в которой не красовались бы имена Красова и его прихлебателей: Кроха, Подобнова, да кого угодно!

— Твоя фамилия там тоже встречается, да и список авторов твоей камеры тоже длинный! — угрюмо пошутил Алексей.

— Вот-вот, недоставало только, чтобы ты и на самом деле поставил и себя и меня на одну доску с ними!

— Послушай, Ярослав, оставь меня, пожалуйста, в покое, дай мне хоть немного собраться с мыслями!

— Собирайся сколько угодно! — с кажущимся равнодушием сказал Чудаков. — Но имей в виду: больше я ни на какие уступки этим приживалам от науки не пойду!

— Ты тоже скажешь! — попытался еще раз отбить атаку Алексей. — Какие же они приживалы? У каждого из них свои работы, свои достижения... Да и вообще, мы же с тобой самые младшие в институте!

— Да, именно, младшие! — с горечью поддержал Чудаков. — Младшие научные сотрудники! Так это и записано в наших с тобой трудовых книжках. А эти Крохи, Подобновы и Анчаровы давно уже старшие научные сотрудники, доктора наук, а некоторые и члены-корреспонденты. И тем из них, кто уже не способен к самостоятельной работе, очень удобно, когда вместо них работают такие младшие научные сотрудники, как Горячев и Чудаков.

— То, что ты говоришь, несправедливо! Пожалуйста, замолчи!

— Молчу. Но имей в виду: при первом же удобном случае Михаил Борисович докажет тебе, что Крохмалев участвовал в нашем эксперименте, и мы должны чувствовать себя преступниками, потому что не включили его в список авторов!

— Плохой ты пророк, Ярослав! Этого не будет!

— Тогда позволь мне сказать о том, что уже б ы л о! Крох, который никогда не опускается до близкого знакомства с младшими научными сотрудниками, приходил ко мне домой...

— У тебя многие бывают, — упрямо перебил Алексей. — Аннушка печет такие коржики и пирожки, что слух о ее талантах громче, чем о наших с тобой.

— Не торопись. Крох пришел, заранее разведав, что я сижу один. И поставил железное условие: имя Михаила Борисовича и его имя будут в списке авторов. Иначе, сказал он, наше с тобой открытие не выйдет за ворота института. Да еще нагло добавил, что защита моей докторской не пройдет на ученом совете.

— А ты? — Теперь Алексей уже не выглядел тем Фомой Неверующим, каким только что казался.

— А что я? — устало сказал Чудаков. — Выгнал его — и все. Но открытие-то так и не вышло из стен института. Сначала задержали публикацию статьи, потом Крох отправил все фотоматериалы нашим немецким коллегам, а на ученом совете доложил, что эксперимент сделан «нечисто». Впрочем, все это тебе известно, ты не знал только скрытых мотивов...

— Почему ты мне ничего не сказал? — с тоской буркнул Алексей.

— А что бы ты сделал? И что ты можешь сделать сейчас? Все равно ты пойдешь к Красовым. А там еще и Нонна заступится за Кроха, ведь она знает его с детских лет. А ей ты ни в чем не откажешь, тут я действительно могу быть пророком. И если мы потеряли по их вине это открытие, то к новому нашему эксперименту, который мы можем начать хоть завтра, они припишутся все равно. Ну, я пошел...

И уже от двери, обернувшись, оглядел Алексея таким жалеющим взглядом, что Горячев невольно схватил газету и спрятался за ней. Перед глазами опять мелькнули соединенные вместе фамилии Горячева и Чудакова. Это была статья Ивана Александровича Гиреева.

(Продолжение следует.)

СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ

Николай АСАНОВ

Богиня Побе

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ:

Пословицы не стареют

Но неужели в датском государстве и в самом деле не все ладно? А ведь какой был мощный коллектив!

Когда Алексей Горячев впервые вошел в огромные с зеркальными стеклами двери института, у него, откровенно говоря, сердце трепыхалось, как будто он шел на первое свидание с возлюбленной. Да и потом он еще долго чувствовал себя на седьмом небе. Пожалуй, до этой самой статьи Ф. Моргана и последнего разговора с Ярославом...

Все в его институте было отлично. Новая современная аппаратура, ускорители, магниты, измерительные приборы. Отличный теоретический отдел, куда он пришел еще студентом-дипломником. Простота отношений. Общее дружелюбие.

Алексею нравилось даже то, что тут все то ли от привычки к «расщеплению неделимого», то ли из экономии времени называли друг друга всякими сокращенными именами. Крохмалев для всех был просто Крох. Порой звучало и ироническое «Кроха».

Михаил Борисович, в подчинении у которого находился теоретический отдел, был просто Шеф. Это уже от великого почтения. Академик Гиреев был известен среди своих как Дед, хотя по возрасту он был не старше Михаила Борисовича или Подобнова. Физика все еще была наукой молодых, и директору института едва стукнуло сорок пять. Только высокомерный теоретик Анчаров, заместитель Михаила Борисовича по теоретическому отделу, ни на какие клички не отзывался и сам их не употреблял. Всем своим поведением он демонстрировал, что теоретическая физика — удел «избранных», к каковым причислял и себя. Он гордился недавно полученной докторской степенью и жаждал, чтобы его именовали с упоминанием степени. В результате молодежь присвоила ему кличку «Док». Звучало почти по-американски.

Впрочем, Алексей с первого дня приметил, что этакая «американизация» привычек, речи, поведения была тут вообще в ходу. Может быть, потому, что все эти люди действительно соревновались с американцами, а может быть, потому, что часто бывали за границей,— известно, «с кем поведешься, от того и наберешься!» — так по крайней мере говорил Ярослав Чудаков, которому этот «американизм» не очень нравился. Однако в присутствии Михаила Борисовича и на официальных семинарах все обращались друг к другу как-то подчеркнуто уважительно, подражая стилю своего шефа, и тогда Алексею порой казалось, что сейчас прозвучит: «Многоуважаемый шкаф...»

К Чудакову и к Алексею клички как-то не приклеивались. То ли фамилии не позволяли, то ли их еще не приняли в свою среду. Потом, когда выяснилось, что Чудакова зовут Ярослав Ярославович, он как-то сразу стал для всех, в том числе и для служителей, Яр-Ярыч, что, впрочем, вполне соответствовало его колючему характеру. Алексей боязливо ждал, когда и его перекрестят из порося в карася, но его все звали просто по имени. И только к самому концу работы над своим дипломом он услышал, как Подобнов кричал кому-то по телефону:

— А где там «Божий человек»? Сходи к нему, он в расчетах мастак, сам Шеф сказал!

И Алексей вспомнил покойную бабушку, которая говорила, что его назвали в честь Алексея — божьего человека... Но откуда атеистам знать святцы? Еще чье-нибудь «хобби»? Какой-нибудь собиратель икон придумал?

Впрочем, ему это даже польстило: его приняли в число посвященных!

Хорошо еще, что в кличке нет ничего обидного, как, например, в имечке «Кроха». Крохмалев терпит, когда его называют Крох, но сердится, когда говорят Кроха. По-видимому, понимает истинный подтекст: действительно, как это позже стало очевидно для Алексея, вся его научная деятельность — мыльный пузырь, расцвеченный солнцем чужих открытий. Алексей помнит, как Кроха высказал ему однажды свой символ веры: «Важно одно — чтобы у тебя была лишняя галочка в списке научных работ. Ведь зарплату надо как-то оправдывать!» Странно, правда, что, несмотря на весь этот цинизм, мыльный пузырь был очень устойчив и не лопался, как будто его терпеливо поддерживали чьи-то руки в шерстяных перчатках. Алексей со школьных времен помнил этот удивительный физический фокус — в шерстяных перчатках мыльный пузырь можно держать сколько угодно и нести, пока не надоест.

Алексей нескоро научился разбираться в институтской табели о рангах. Да и знает ли он ее даже и теперь, проработав в институте восемь лет? Сначала ему казалось, что вокруг одни небожители, и только значительно позже он понял, что, увы, это совсем не так.

Продолжение. См. №№ 10—13.

С небожителями Алексею не повезло. Он до сих пор без улыбки вспоминает последние дни практики. Еще бы, чуть не вылетел из теоретического отдела и вообще из института. И все из-за того, что, как говорит Чудаков, вздумали яйца курицу учить!

Михаил Борисович попросил Алексея просмотреть громоздкие вычисления в очередной работе Анчарова. Алексей добросовестно проверил формулы и нашел несколько ошибок. Они не очень и умаляли авторитет сочинителя, так как подобные ошибки нередко закрадываются в длинные и громоздкие вычисления и обычно исправляются при повторных проверках. Но что было действительно серьезно — это то, что у Алексея по мере знакомства с таблицами все увереннее возникала крамольная мысль о полной ненужности и бессмысленности подобной теоретической «деятельности».

Чудакова и Горячева пригласили на очередное заседание ученого совета института. Милость, которой небожители изредка одаривали практикантов.

Чудаков, поднявшийся из своей «преисподней», как он именовал машинный зал, спросил:

— Чем порадуешь Дока?

Алексей показал свои пометки. Чудаков удовлетворительно кивнул.

— Очень кстати, пусть видит, что и мы не лыком шиты!

— Но, понимаешь, какое дело! Док выступает тут против такой разумной и изящной теории о существовании электрино...

— Ни-ни-ни! — Чудаков даже рукой замахал перед носом у Алексея.— Я тебя не слышал, ты мне этого не говорил!

— Но почему?

— Потому, что сам Анчаров никогда не осмелился бы нападать на электринную теорию. Ты статью видел?

— Н-нет... Мне дали только формулы для проверки.

— То-то же! Голову даю на отсечение, что на статье даже не две, а три или четыре подписи. И первая — Михаила Борисовича.

— Ну и что же?

— Вот чудак человек! Если ты укажешь на две-три ошибки — это одно дело, их исправят и спасибо скажут. Но если ты обрушишься на идею, то наживешь врагов...

— Но всякая истина познается в споре...

— А почему ты думаешь, что они гонятся за истиной? Существование электрино еще не доказано, возможно, вообще не доказуемо. А Красов и Анчаров тем временем выпустят еще одну оригинальную работу, наполненную высокими идеями. Ведь изображать-то нужно как-нибудь! Тебе, наверно, известно изречение американского ученого Гелл-Манна: «Пройдет еще немало времени, прежде чем физик, занимающийся природой элементарных частиц, останется без работы...» Вся деятельность нашего Дока является блестящей иллюстрацией справедливости этой мысли. А ты собираешься при всех крикнуть: «А ведь король-то голый!» Нет, нет, нет! Поверь моему опыту: навалятся на тебя всем судилищем и сожрут. Я уже чую запах жареного. Хотя ты такой тощий, что тебя, вероятно, предпочтут съесть в вареном виде!

Алексея тогда удивила и вместе с тем позабавила такая резкость суждений Ярослава. Он предпочел бы, чтобы друг продолжал спор. Но Чудаков только сказал:

— Посмотри на себя в зеркало! Вот так рождаются мученики!

Алексей подошел к окну, гладкая плоскость которого вполне могла заменять зеркало. Ничего мученического в узком, без единой морщинки или складочки лице не было. Он пожал плечами, увидел, как отражение в окне проделало то же самое, усмехнулся и отправился на заседание.

Заседание еще не началось: ждали Ивана Александровича. Но Алексею показалось, что Красов и Анчаров ждали не академика, а именно его. Оба встали, как только Алексей показался в дверях. Михаил Борисович ухватил его под руку и увлек в угол, под огромную пальму. За ним поспешил и Док.

— Нуте-с, нуте-с! — благожелательно произнес Михаил Борисович, осторожно принимая из рук Алексея папку с расчетами.— Посмотрим, что тут у вас...

К ним немедленно присоединились Подобнов и Крох. Эти выглядели как два ревнивца. Еще бы, кто-то другой заслужил благорасположение Шефа. Подобнова Алексей прощал. Он уже знал незамысловатую историю этого небокоптителя. Когда-то Подобнов рвался к экспериментам, но каждый раз опаздывал с результатами. Стоило ему что-нибудь предложить или во всеуслышание предположить, как через месяц приходил американский, английский либо немецкий физический журнал, в котором черным по белому писалось, что подобный опыт только что осуществлен и результаты такие-то... В конце концов в институте начали пошучивать, что у Подобнова, несомненно, есть двойники или родственники во всех физических институтах мира, которые вызывают его по системе телепатии, или, говоря научнее, по системе биологического радио, и передают ему новости науки, только действуют с небольшим опозданием. А может быть, он и на самом деле пользовался быстро стареющей информацией. Друзья среди иностранных физиков у него были...

Но ревности Крохи Алексей в то время не понимал. Кроха был на хорошем счету. Он долго работал в Дубне, провел там несколько интересных экспериментов, правда, не один, а вместе со своим приятелем Тропининым. Потом Михаил Борисович перетащил его под свое крыло и сразу сделал своим заместителем по экспериментальному отделу. Почему же Кроха ревнует Шефа к никому не известному студенту?

Михаил Борисович быстро перелистывал страницы вычислений, бормоча под нос: «Так-так-так!» — и казалось, что он склевывает подчеркнутые красным карандашом ошибки в вычислениях Анчарова. Перелистав страницы еще раз, он с досадой сказал Анчарову:

— Уважаемый доктор, вам следовало бы внимательней отнестись к вашим выкладкам! Отдали бы лишний раз посчитать все формулы вашим аспирантам!

Анчаров побагровел от неуместного намека. Институтские сплетники поговаривали, что в его докторской диссертации и научных работах участвовали не только его многочисленные аспиранты, но и почти все сотрудники теоротдела.

— Я еще проверю расчеты Горячева! — сердито сказал он.

— Впрочем, все это мелочи! — более милостиво сказал Михаил Борисович.— У вас, Алексей Фаддеевич, есть еще какие-нибудь замечания?

Чудаков, стоявший в стороне у стены, взглянул на Алексея умоляющими глазами. И тот совсем было собрался сказать «Нет!». Но вместо короткого отказа выговорилось, точнее, вымямлилось: «Н-нет, но как вам сказать...» — и Михаил Борисович, остро взглянув в его глаза, тоном приказа произнес:

— Говорите побыстрее, а главное, поточнее! Иван Александрович уже выехал из академии.

И Алексей, все еще сопротивляясь самому себе, заговорил:

— Видите ли, Михаил Борисович, мне кажется, что все расчеты Якова Арнольдовича построены на том, что он пренебрегает электринной теорией...

— А если электрино в действительности нет? — быстро перебил Красов.

Алексей отметил про себя, что Михаил Борисович задает вопросы так, как это делают на зачете, когда хотят обязательно срезать студента.

— Но мы знаем, что в Лос-Анжелосе готовится грандиозный эксперимент по уловлению электрино! — выпалил он.

— Мы у себя проводили подобные эксперименты.

— В малых масштабах...

— А вы уверены, что электрино существует?

— Если электрино нет, тогда нарушается эль-инвариантность!

— Но ведь Анчаров объясняет это!

— После такого объяснения над нами будут смеяться во всем мире! Я имею в виду наш институт.

Михаил Борисович вдруг выпрямился, даже ростом повыше стал и гневно крикнул:

— Это еще не ваш институт! Вы видите эту дверь? — Он ткнул пальцем по направлению двери, на которой была строгая надпись: «Посторонним вход воспрещен!»,—подошел к ней и распахнул.— Я вижу, товарищ Горячев, что вы не умеете читать! Это я имею право войти в эту дверь, а вы...— Дальше Алексей не слышал, Красов уже захлопнул дверь за собою...

Все на мгновение онемели. Даже Анчаров не мог произнести ни слова. Горячев пожал плечами и вышел из зала.

В коридоре его догнали Крох с Подобновым и Чудаков со своим техником Валькой Ковалем. Но и тут они шли раздельно: Крох и Подобнов — справа, а Чудаков и Валька — слева, будто начисто разделились в оценке инцидента, хотя одинаково пытались утешать.

КРОХ. Да бросьте вы, Алеша! Михаил Борисович в гневе зверь, но отходчив, как малое дите!—Он был готов даже подсюсюкнуть.

ПОДОБНОВ. Алексей Фаддеевич, поймите, нельзя же критиковать работу старших товарищей, даже и не ознакомившись с нею как следует!

А слева слышались более настороженные, но тоже сочувственные слова.

КОВАЛЬ. Эк, угораздило тебя наступить на самую любимую мозоль Шефа!..

ЧУДАКОВ. Не имеет права он выгнать! И рад бы, да не выйдет!

И опять справа доносилось:

КРОХ. Кто это говорит, что Горячева выгоняют? Кто это говорит? Просто Михаил Борисович указал Горячеву его место...

ПОДОБНОВ. А имеет ли практикант право критиковать учителя? Я считаю, что Горячев еще слишком молод и такого права не имеет!

Алексей, не отвечая, распахнул дверь на улицу и вышел, плотно захлопнув и придержав для верности металлическую с деревом массивную ручку. Все голоса разом отрезало, он оказался один на один с улицей, с белым, чистым, еще не успевшим побуреть снегом.

Больше он не ходил в институт, ожидая, когда ему принесут документ об отчислении. Он мог, конечно, закончить дипломную работу и дома: все материалы были собраны. Но было жаль институт. Жаль то, что он называл про себя воздухом науки. Жаль споров с такими же горячими и острыми на язык молодыми физиками. Ведь он так рвался в лабораторию самого Михаила Борисовича!

Друзья не оставляли его своим попечением. Прибегали то один, то другой, передавали новости. О скандале в конференц-зале ничего не говорят. Красов вызвал Анчарова; сидели два часа, Анчаров вышел еле живой. Академик заходил в преисподнюю и как бы между прочим спросил: «Где Горячев? Болен?» Коваль испугался, не мог ничего толком объяснить, сказал только, что Михаил Борисович не принял последнюю работу Горячева.

Через неделю или около того почтальон доставил Горячеву строгую телеграмму:

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

«Немедленно явитесь в институт для оформления на должность младшего научного сотрудника, иначе будем вынуждены искать замену. Красов».

Статья Анчарова ни в печати, ни даже на ротапринте не появилась. И никто о ней не вспоминал. Но и Михаил Борисович не извинился перед Алексеем. Как будто все это приснилось в дурном сне одному только Горячеву. Наоборот, Красов начал усиленно приглашать его к себе. Стал добрым шефом. Учителем. Почти другом.

Так неужели Чудаков прав в своих поспешных выводах? Нет, Алексей не может признать такую правоту. Чудаков просто начал смотреть на жизнь слишком мрачно. Сегодня Алексей пойдет к Красовым и сам поговорит обо всем, что лежит на сердце. И докажет и себе, и Чудакову, и, если понадобится, Красову, и Гирееву, что наука должна делаться чистыми руками. И совсем не потому пойдет, как думает Чудаков, будто ему хочется посмотреть на Нонну. Нет, именно ради науки. И к дьяволу любовь, если таковая и существует на белом свете. Так-то, товарищ Чудаков!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ:

Нонна

Как давно Алексей не был в этом доме!

Пожалуй, после отъезда Нонны к мужу в Ленинград он здесь уже не бывал. Когда это произошло? В 1957-м, вот когда! Значит, пять лет он обходил Дом академиков стороной. Даже и в других квартирах не бывал, если и приглашали, все боялся, что ошибется дверью и нечаянно позвонит Красовым. Откроет работница, спросит: «Вам кого?» — и он с замирающим сердцем скажет: «Нонну».

Михаил Борисович, вероятно, догадывался, почему Алексей на все приглашения отнекивался, а Бронислава Григорьевна знала точно. Нонна, должно быть, советовалась с нею, прежде чем сказать Алексею «Нет!». В это время всеми ее помыслами уже владел Бахтияров.

Бахтиярова Алексей увидал в этом же доме. Тот приехал из Ленинграда, как говорил, «за опытом». Бахтиярову было интересно узнать, как далеко продвинулись московские физики в использовании мощных реакторов. Москвичи консультировали и строили сами несколько крупных электростанций на атомном сырье. Но все эти станции находились в Заполярье. А Бахтиярову предстояло создать уникальное сооружение под Ленинградом.

Это был крупный человек, совсем непохожий на ученого, с большими руками, которые лучше годились для укладки кирпичей, нежели для черчения или выписывания формул. И голос у него был внушительный, так и казалось, что он начнет командовать и все бросятся выполнять его приказы. Это особенно оскорбляло Алексея, такая безропотная подчиненность постороннему человеку, о котором даже не знаешь, умен ли, добр ли, талантлив ли он.

Бахтияров словно прирос к дому Михаила Борисовича. Он пропустил все сроки своей командировки, безбожно врал Ленинградскому центру, что занят по уши,— Алексей слышал один из его разговоров с Ленинградом.

У этого Бахтиярова на все хватало времени. И сердца. То он увозил Нонну куда-то за город кататься на лыжах, то шел с нею в театр, то на концерт или на выставку. То устраивал какой-то пикник в снежном лесу на двадцать человек и сам готовил для всех шашлыки на костре, под заснеженными елями, на десятиградусном морозе. Шашлыки замерзали и покрывались твердым салом, но всем почему-то нравились, даже Алексею, хотя Алексей и тогда уже видел, как отдаляется от него Нонна. Словно ее насильно посадили в скоростной самолет, и самолет отрывается от земли, но ей не страшно и даже не досадно за насилие над ее волей. А ведь Алексей знал, какой у Нонны взбалмошный характер. Не так-то просто было ее подчинить... И вдруг она оказалась в полной власти Бахтиярова.

В конце концов Алексей сам вышел из этой игры.

Бахтияров неожиданно улетел на Север, пробыл там два месяца, а потом вернулся на свою стройку, под Ленинград, но Алексей этого и не знал: вот тебе наказание за то, что ты не боролся за свою любовь! Если бы ты был в это время возле Нонны, может быть, ты сумел бы разрушить чары этого гипнотизера и фокусника. А ты притворился гордым и уединился в свою пустыню науки. Правда, как раз в те дни Алексей вычислил теоретически массу новой частицы сигмы, а Чудаков блестяще подтвердил эти теоретические расчеты и показал сигму на фотопленке. Она взрывалась в пузырьковой камере такой красивой сверхновой звездой, что свидетели эксперимента только ахали. Кроме чистого восторга научного открытия, был тут и патриотический восторг: утерли нос американцам! Был и квасной патриотизм, чисто институтский: утерли нос дубнинцам! Была и практическая заинтересованность: институт получил новые ассигнования и новые электронные устройства, которых без этой сигмы им, наверно, не дали бы еще год, а то и два! Во всяком случае, Михаил Борисович и Гиреев были довольны едва ли не больше, нежели сами открыватели.

Но сигма — эта сверхновая звезда во внутриядерном мире — заняла у Алексея почти три месяца, а когда он, так сказать, вернулся обратно в мир, то узнал, что Нонна уехала в Ленинград. И Михаил Борисович с какой-то неясной грустью сказал своему ученику:

— Вот, не смогли вы удержать ее, Алексей Фаддеевич!

— Но ведь и вы...— сухо сказал Алексей. Он был тогда уверен, что уже вычеркнул из памяти Нонну. Это потом он понял, что сердечные раны так скоро не заживают.

Михаил Борисович устало сказал:

— Всякий ребенок тянется к огню!

Выяснилось, что Бахтияров, едва вернувшись с Севера в Ленинград, дал Нонне телеграмму из трехсот слов. И этой телеграммы оказалось достаточно, чтобы Нонна, обидев и мать и отца, очертя голову ринулась в Ленинград, к человеку, старше ее на двадцать лет, у которого к тому же была семья.

По показаниям очевидцев, никакой свадьбы у Нонны с Бахтияровым не было. Они поселились под Ленинградом, прямо на стройке, в финском домике.

Концертную деятельность Нонна прекратила. Зато организовала музыкальную школу на строительстве. Вообще она, видимо, сильно переменилась. Племя физиков малочисленно, информация у них развита сильно, поэтому Алексей, даже если бы и не хотел, все равно все узнавал о Нонне. Но о ней говорили только хорошее: рассказывали о ее красоте, благородстве и бог знает еще о чем, и все это было для Алексея как острый нож. По тогдашней своей молодости Алексей и не подозревал, что с ним, может быть, Нонна была бы совсем другой, такой, какой Алексей ее знал в отцовском доме: себялюбивой, эгоистичной, насмешливой. Но он-то полюбил ее такую, и все эти неожиданные перемены казались ему скорее капризами, нежели воспитанием в себе новой души...

Примерно через год стройка была закончена, и молодые супруги уже подумывали о переезде в Ленинград. Больше ничто не мешало Нонне строить новую жизнь, вернуться на сцену, создать «салон», и Алексей — в который уже раз! — приказал себе забыть ее. Очень похоже на сказку о белых слонах: не думай о них, и все сбудется по-твоему. А как не думать!

Во время пробного пуска реактора и проверки защитных систем одна из них не сработала. Теперь такого не бывает. Теперь каждая система подстрахована двумя-тремя другими. А в те годы реакторщики еще ходили по тонкому льду. Иногда лед проваливался...

О том, что Бахтияров получил большую дозу облучения, в институте узнали в тот же день. Бахтиярова через два часа после аварии привезли в Москву. Нонна прилетела на следующем самолете.

Михаил Борисович навестил больного. У Бахтиярова действительно был могучий организм, а сердце...

— Мы бы с вами, Алеша, не выдержали и одного дня! — сказал Михаил Борисович, вернувшись из клиники, где лучшие врачи пытались спасти больного.— А он еще улыбается, пишет распоряжения, обдумывает новую систему блокировки реактора. Но всего труднее Нонне.

— Разве она не у вас?

— Она осталась с ним.

— Но ведь...

— Ах, Алеша, что мы знаем о женщинах? — каким-то жалким голосом произнес Михаил Борисович, и Алексею показалось, что на глазах у него вот-вот появятся слезы.

Это поразило Алексея.

После ухода Нонны из дома Михаил Борисович стал относиться к Алексею с неожиданной мягкостью. Может быть, он считал своего ученика таким же обиженным, как и себя? Ведь Алексей замечал, что отец Нонны не был против его любви, может быть, даже считал его вполне достойным мужем. А что получилось? Человек, которому она вверила свою жизнь, теперь смертельно болен. Что же будет с нею?

Михаил Борисович отпустил Алексея, а сам так и остался сидеть за широким столом. Алексей, выскочив из института, взял такси и помчался в клинику.

Но к Бахтиярову и к дежурившей возле него жене Алексея не допустили.

Домой он вернулся разбитым, как будто и его окутало облако вредных излучений, которое опустилось на соперника.

Бахтияров умер через месяц.

Алексей был на похоронах. Он видел Нонну издали. Она стояла у открытой могилы, бледная, неподвижная, безучастная ко всему, и только слезы, которые вдруг начинали катиться по исхудавшим щекам, были живыми.

Сразу после похорон она уехала обратно под Ленинград. Возможно, она считала заработавший наконец реактор лучшим памятником своему мужу. Говорили, что она продолжала вести музыкальные курсы, вошла в совет жен, заботилась об увековечении памяти первого строителя реактора. В Москву она приезжала редко, а когда бывала в отцовском доме, дом как бы замирал.

О том, что Нонна побывала у отца, Алексей узнавал обычно после ее отъезда. Или так, как случилось однажды на Новодевичьем кладбище. Алексей почему-то забрел туда, хотя ему еще ни разу не приходила в голову мысль о том, что и он смертен. Такие мысли обычно приходят к людям после пятидесяти, а ему едва исполнилось двадцать пять. Просто был неинтересный футбол, ему стало скучно слушать вопли соседей, он ушел со стадиона, прошел по парку, оказался у окружной железной дороги, добрел до кладбища и зашел туда. Час был поздний, никаких похорон не происходило, и он побрел по дорожке, которая была самой пустынной. И внезапно увидел Бахтиярова.

Каменный Бахтияров стоял на том самом месте, в изголовье своей могилы, где когда-то, во время похорон, стояла Нонна. Он чуть склонился вперед по своей привычке, и ветер взметнул полы его плаща. Он что-то рассматривал впереди, чуть прищурясь, и лукаво-благожелательная улыбка на его лице показывала, что он узнал нечто новое, но бережет это новое пока в себе. Казалось, вот он распрямится, обратит лицо к нечаянному посетителю и вдруг скажет:

«А знаете, коллега, есть нечто странное в нашем микромире! Чем больше частиц мы открываем в нем, тем явственнее проглядывает что-то уже известное. Не кажется ли вам, Алексей Фаддеевич, что мы, разрушив представление об атоме как о копии нашей планетарной системы, постепен-

но приходим к ощущению атома как галактического построения?»

Алексей отчетливо вспомнил, что именно так его однажды и огорошил Бахтияров. Болтал с Нонной, шутил с друзьями-физиками, показывал какие-то непонятные карточные фокусы, а потом вдруг обернулся к Алексею и начал: «А знаете ли, коллега...» — и прочитал нечто вроде реферата о том, что может существовать прямая связь между микромиром и Вселенной, что относительно не только пространство, но и время, что теория квантового излучения внутри атома может соответствовать теории пульсации звезд в Галактике, что предполагаемый наблюдатель, оказавшийся внутри атома, вероятно, представил бы себе окружающую среду как цельную галактическую систему... И, внезапно зажмурившись, мечтательно протянул:

— Ах, если бы мне десяток лет вашего институтского созерцания! Сидеть втихомолку в теоретическом отделе, уставившись на свой пупок, и размышлять, размышлять...

Алексея покоробило от этого легкомысленного тона. Он-то знал, что в теоретическом отделе разглядывать собственный пупок некогда,— они не йоги, они ученые! Но ответить Бахтиярову не успел: Нонна, глядевшая на этого путаника как загипнотизированная, вдруг встала и вышла в свою комнату. Она шла, высоко неся голову, совсем как сомнамбула,— известно, что лунатики, или сомнамбулы, совершают самые опасные действия, не видя ничего: идут по карнизу многоэтажного дома, переходят с крыши на крышу, а глаза устремлены в какую-то далекую точку и даже не реагируют на свет. В этот миг, наверно, Алексей и понял, что его Нонны больше нет, родилась другая, новая, непохожая на ту.

Он угадал: Нонна вернулась из своей комнаты, неся на вытянутой левой руке небольшую бронзовую статуэтку Ники. Эту статуэтку она и Алексей покупали вместе совсем недавно в комиссионном магазине на Арбате. Алексей до странных мелочей помнил, как это произошло. Тогда ему внезапно показалось, что в покупке есть что-то символическое: когда-нибудь Нонна смирится и примет его любовь. И знаком этого смирения будет Ника, которую Нонна подарит ему. Он даже помнил, как в магазине какой-то пожилой чудак заговорил с Нонной, и Нонна, полуиспуганно, полукапризно, попросила помощи:

— А-ле-ша! Помогите мне!

Кажется, Алексей оттолкнул пожилого чудака, даже не поинтересовавшись, чем он обидел или оскорбил Нонну. И тогда же, принимая из рук Нонны завернутую статуэтку, спросил:

— А вы подарите мне эту Нику?

И Нонна с внезапным значением ответила:

— Если вы будете победителем!

Она, как видно, забыла или вовсе не знала, что Нике молились до победы, и являлась она как провозвестница победы, предвещая ее. После победы богиню везли в обозе среди всякого награбленного у побежденных барахла...

Тогда он смирился, не стал объяснять, что именно в тот тяжкий миг сомнения, переживаемый им из-за Нонны, ему больше всего и нужна была Ника. Он принял Ноннино вероисповедание: оставалось дожидаться случая, когда его победа окажется настолько явственной, чтобы он мог прийти к Нонне и заявить: «Я победил!»

Но что делает Нонна? Она прошла через комнату как слепая, неся Нику на вытянутой руке, остановилась перед Бахтияровым и медленно, как в трансе, едва роняя слова, произнесла:

— Позвольте вам подарить эту вещь! Вы действительно достойны Богини Победы!

И Бахтияров, вдруг преобразившись, вскочил с горящими глазами, опустился на одно колено и прильнул губами к руке Нонны — ни дать ни взять средневековый рыцарь, принимающий награду на турнире из рук дамы. Взяв статуэтку, он поставил ее на столик рядом с собой, долго молча любовался старинной бронзой, не слушая ни внезапно зашумевшего разговора, ни шуток. И только значительно позже, то ли вновь становясь самим собой, то ли, наоборот, пряча себя от всех, совсем в другом тоне, как-то слишком оживленно воскликнул:

— А не выпить ли нам, друзья, за будущие победы? Ведь каждый из нас надеется стать победителем!— И, внимательно взглянув на Алексея, но тут же отведя взгляд, уже обращаясь ко всем, пошутил:— Я нечаянно принес полный портфель бутылок... Очень удобное вместилище, особенно если ты стал полуответственным...

И во весь этот вечер больше не сказал ни слова о своих идеях. Алексей просидел еще час или полтора, совсем как в аду, где, как известно, поджаривают грешников на сковороде. И когда показалось, что никто не свяжет его ухода с подарком Нонны, что обида его прошла незамеченной, тихо ускользнул, как и подобает побежденному.

Но сумасбродная мысль Бахтиярова вонзилась в сознание, как гвоздь.

Порой даже думалось, что, несмотря на обиду, он мог бы поговорить с Бахтияровым о его идеях. Впрочем, он знал: Бахтияров редко кого удостаивал откровенностью.

Может быть, в нем и на самом деле таился исследователь, мыслитель, которого время направило по другому пути? Ведь надо же кому-то строить реакторы, создавать бомбы, так как американские то и дело взрывались на тихоокеанских просторах, конструировать первые атомные ледоколы и подводные лодки... И делали это не просто инженеры, не просто практики, а, очень возможно, создатели новых теорий, которые могли быть «достаточно безумными», чтобы открыть новое видение мира. Только этим людям так и не хватало времени упорядочить свои мысли, даже просто записать их. Но тогда Алексей этого не думал, тогда он считал практиков, строителей, испытателей всего лишь исполнителями. А вот во время этой неожиданной встречи с мраморным Бахтияровым, стоявшим над своей могилой в позе знающего, что-то уже открывшего мыслителя, Алексей вдруг понял, как был несправедлив к нему, как невнимателен к его таланту.

Может быть, Алексей просто завидовал его силе и здоровью? Сам-то он все еще оставался слабым...

Но мраморный Бахтияров много рассказал ему и о Нонне. Он мог быть уверен в верности жены. Нонна никогда не покинет его. Вот успела же увековечить мертвого в мраморе. А вот скамейка, тоже мраморная, где она, оказавшись в Москве, наверно, часто сидит, разглядывая это сильное, освещенное живыми солнечными лучами мраморное лицо. Может быть, разговаривает с ним. Конечно, безмолвно. Кто говорит со своей памятью в полный голос?

Алексей больше не ходил на кладбище. Он ревновал Нонну и к мертвому.

Но вот прошло пять лет, и она совсем вернулась в Москву.

Что это значит? Она выполнила долг перед покойным? Или устала от памяти? Ведь Нонна так молода! Если Алексей не женился до сих пор, хотя ему уже под тридцать, это еще можно считать естественным. Ну, не нашел. Не успел. Боялся. Все холостяки находят себе какое-то оправдание. Но ведь Нонне двадцать шесть! В эти годы она должна иметь свой дом, воспитывать своих детей. Недолгое счастье с Бахтияровым, конечно, не дало ей всей полноты жизни. Детей не было. Может быть, она думает теперь об этом? Может быть, стремление к новому счастью и привело ее в родительский дом?

Вот о чем думал Алексей, приближаясь к дому, в который так долго боялся заходить. И совсем забыл он о пророчестве Чудакова. Да и при чем тут какие-то элементарные частицы, когда снова начинает болеть сердце, будто и не было этого промежутка времени между ним и Нонной длиной в пять лет. И с Бахтияровым посередине. И, уже совсем подойдя к дому, когда стали видны сложенные из разноцветных плит стены, Алексей вдруг повернулся и быстро пошел обратно. В эту минуту он боялся одного: чтобы кто-нибудь из идущих в гости к Красовым не увидел его. Слишком это было похоже на трусливое бегство.

Продолжение следует.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ:

Нонна, Алексей и Шеф

Понедельник выдался очень дождливым.

Алексей вошел в подъезд института и остановился, чтобы снять плащ и стряхнуть с него воду. Между колоннами было достаточно сухо, а служительница в гардеробной требовала неукоснительного соблюдения чистоты. Вон даже плакат на дверь повесила: «Полы моют не боги, вытирайте ноги». Это кто-то из молодых аспирантов сострил по ее просьбе.

Алексей стоял у колонны. Мужчины плыли сквозь дождь мимо него, похожие в своих черных клеенчатых плащах на тюленей. 8.45, московский утренний час «пик». Изредка проплывали девушки: на них были разноцветные плащи из пластика, и они походили на золотых рыбок — продавщицы соседнего универсального магазина, сотрудницы близлежащего агентства путей сообщения, лаборантки различных институтов, расположившихся в этом районе города. Ни одна из них не улыбалась Алексею, хотя встречались они на этой улице ежедневно. Слишком большой город. Трудно отличить одно лицо от другого. Да и не принято это. Жаль, но не принято. А может быть, слишком много у каждого забот?

Алексей перебросил мокрый плащ через руку и собирался войти в вестибюль, когда одна из девушек вынырнула из дождевой мглы под перистиль института и точно так же сняла прозрачный плащ и встряхнула его. Брызги рассыпались веером, приклеиваясь серебряными шариками к черному костюму Алексея.

— Ах, простите! — рассеянно произнесла девушка.

— Нонна! — сказал Алексей полуудивленно, полуиспуганно.

— Алеша! — Нонна отступила на шаг, продолжая держать плащ в вытянутых руках, словно собиралась закрыться им от Алексея. Алексей видел, что она смущена. Но вот Нонна вздернула голову, смущение исчезло. — Вот так встреча! Хотя, что я говорю, вы же работаете здесь... А почему вы не пришли к нам вчера?

— Вы к Михаилу Борисовичу? — не отвечая на ее вопрос, спросил он. «Хотел бы я знать, у кого из нас более растерянный вид! — думал Алексей. — Пожалуй, у меня! Женщины как-то быстрее осваиваются в самом затруднительном положении». И закончил: — Обычно Михаил Борисович приезжает позже...

— При чем тут папа? — с неудовольствием сказала Нонна. — Я здесь работаю. Разве вы не знаете, что я зачислена инженером в вычислительный отдел?

— Вот как!

— Вас это удивляет? — язвительно спросила она. — А между прочим, я за эти годы окончила институт вычислительной техники.

«Под руководством Бахтиярова!» — хотел он сказать, но не сказал.

— После смерти мужа я поняла, что больше уже не смогу вернуться к прежней профессии. — Голос у нее стал грустным, усталым.

«Какая же я скотина!» — невольно выругал он себя.

— Что же мы стоим? Скоро девять...

Из дождя и тумана выныривали все новые темные и цветные фигуры. Алексей торопливо открыл дверь и пропустил Нонну.

Он еще увидел ее у зеркала, возле которого обычно прихорашивались женщины, работавшие в институте. Нонна провела расческой по волосам, отчего они вскипели золотой пеной.

«Как в хорошем электрофоре!» — привычно прокомментировал Алексей.

И ушла, словно растаяла в толпе, спускавшейся в цокольный этаж, в святая святых института. Там находились все экспериментальные установки. Алексей вздохнул и пошел к себе — на четвертый этаж. Он принадлежал к числу небожителей-теоретиков.

Медленно шел он по лестнице и раздумывал. Их пути снова скрестились. Конечно, Нонна отделена от Алексея несколькими этажами с мощными перекрытиями, блиндированной дверью, бетонной защитой, но эта защита не может остановить Алексея. Она рассчитана лишь на задержку проникающих лучей.

Вот он опустится сейчас на стул, обложится вычислениями и таблицами, а думать станет о ней. И она почувствует беспокойство, еще не понимая, откуда оно происходит. Существует такая наука — телепатия. Не заняться ли Алексею этой наукой, чтобы передать свои чувства и мысли Нонне сквозь все стены и защитные барьеры?

Он так и сделал. Опустился на стул и замер, думая о Нонне. Но телепатия сработала не в ту сторону. Над столом вспыхнула сигнальная лампочка, и по селектору послышался голос Михаила Борисовича:

— Алексей Фаддеевич? Спуститесь ко мне, пожалуйста.

— Иду.

Михаил Борисович ходил по просторному кабинету мягкой походкой тигра. И по тому, как легко он поворачивался, натыкаясь на пустые гладкие стены, Алексей понял: тигр рассержен. В благодушном настроении Михаил Борисович двигался медленнее, ступал тверже, у стены останавливался, словно недоумевая, откуда тут взялось это препятствие. Искоса взглянув на стол, Алексей сразу заметил одну из причин, выведших Михаила Борисовича из себя, об остальных Алексей мог только догадываться: на столе лежал такой же номер журнала, какой прислал вчера Алексею Гиреев.

Михаил Борисович вдруг остановился среди комнаты, спросил:

— Вы видели Нонну?

«Неужели и это одна из причин? Может быть, Нонне не следовало идти в институт, в котором на одном из руководящих постов работает отец?»

— Да, Михаил Борисович.

— Как вам она показалась? — В его голосе слышалось беспокойство.

— Мы перебросились всего двумя-тремя словами. Но, по-моему, у нее очень решительное настроение.

— Вот-вот! Чересчур решительное! — с досадой сказал Михаил Борисович. — И я и мать просили ее повременить, отдохнуть, а она преподнесла нам направление из института вычислительной техники и в тот же день отправилась оформляться. И, пожалуйста, она уже сотрудник!

— Но вы же знали, что она учится... — нерешительно сказал Алексей.

— Что значит знал? Вы помните русские пословицы? Хотя это Чудаков щеголяет ими. Так вот, есть и такая среди них: «Пока баба с печки летит, она семьдесят семь дум передумает». Но я никак не предполагал, что она станет сотрудником нашего вычислительного отдела...

— А почему это вас так расстраивает? Простите за вопрос...

— Задавайте, задавайте! Я скоро открою тут справочное бюро и стану выглядывать из окошка, как кукушка из часов. Иван Александрович спрашивает, Крох спрашивает, даже вы спросили... А что я должен отвечать?

Алексей представил Михаила Борисовича в окошечке старинных часов и невольно улыбнулся. Крупный нос делал его похожим на птицу, но, конечно, не на кукушку. Скорее на орла.

— Скажите, чтобы они обращались прямо к Нонне Михайловне, — сочувственно посоветовал он. — Она найдет, что ответить.

— Советы, советы... — проворчал Михаил Борисович, сел к столу и развернул злополучную книжку журнала. Она раскрылась на статье Ф. Моргана, значит статья была уже неоднократно прочитана. Михаил Борисович уткнулся в нее носом и помрачнел еще больше.

— А не можете ли вы дать совет еще и Ярославу Ярославовичу? — вдруг спросил он.

— Какой? — настороженно спросил Алексей.

— А такой: чтобы он не задерживал открытия, принадлежащие коллективу института.

— Простите, но в задержке публикации виноват скорее Крохмалев. Ведь это он тянул: сначала одно замечание, потом другое, третье... и наконец заявил, что сам проверил наши результаты и никаких ромезонов не нашел.

— Если автор уверен в своем открытии, он публикует результаты опыта независимо от каких бы то ни было критических замечаний! — назидательно произнес Шеф. Затем, немного помолчав, продолжил вдруг с некоторым возмущением: — Или вы хотите лишить Сергея Семеновича права участвовать в свободной творческой дискуссии?

— При чем здесь «свободная творческая дискуссия»? — возмутился, в свою очередь, Горячев. — Во-первых, Крохмалев утверждает, что производил проверку эксперимента по вашему поручению. Во-вторых, ему почему-то так не понравились эти ромезоны, что он не поленился написать объяснение, будто эксперимент проведен «нечисто». А на общепринятом языке «нечистый эксперимент» — это почти фальсификация!

— Ну, вы явно преувеличиваете, — недовольно проворчал Шеф.

— А вы знаете, что Крохмалев отправил все материалы эксперимента в ГДР?

— Зачем?

— Вероятно, для того, чтобы мы не смогли ничего доказать.

— Какое нелепое предположение!

— Но это не пошло ему на пользу, — не обращая внимания на реплику, продолжал Алексей. — Коллеги из ГДР сообщают, что на этом фотоматериале они обнаружили ро-

Продолжение. См. №№ 10—14.

мезоны. Немецкий «Вестник» опубликовал сообщение со ссылкой на нашу работу.

— Почему же мне ничего не известно об этой публикации? Или вы хотите сказать, что Сергей Семенович...

— Сергей Семенович вовсе не ошибался. Он видел наши частицы. Он просто отомстил за то, что Чудаков отказался включить его в список авторов этой работы.

— Какие же основания у вас имеются, молодой человек, чтобы делать такие серьезные выводы? — строго сказал Шеф.

— Крохмалев прямо потребовал, чтобы Чудаков включил его в список соавторов.— Алексей почему-то не решился сказать о требовании включить и самого Шефа.— Чудаков сообщил, что это было у него на квартире. Крохмалев приходил к нему, и разговор шел с глазу на глаз.

Михаил Борисович провел рукой по волосам, по лбу и с каким-то странным облегчением сказал:

— Чудаков наверняка что-нибудь не так понял. И вообще, вы же знаете его склонность все преувеличивать!

— Что же, надо включать магнитофон, когда кто-нибудь из коллег приходит в гости?

— А хотя бы и так!— обрезал Михаил Борисович. Но он быстро взял себя в руки и продолжал уже мягким, убеждающим голосом: — И вообще, дорогой Алексей Фаддеевич, зачем вы проявляете такой нездоровый интерес к проблемам, для понимания которых у вас нет ни опыта, ни призвания? Жизнь так сложна, что вы только запутаетесь в них и наживете себе массу неприятностей. Занимайтесь лучше своей теоретической физикой. У вас впереди блестящая карьера, если вы будете достаточно терпеливым и осторожным. А политикой пусть занимаются другие. Вот и Крохмалев, будь он вашим соавтором, по крайней мере не упустил бы открытия из своих рук. Какая вам в конце концов разница, сколько у вас будет соавторов? Важно, что это сделано в нашем институте! И что вы наваливаетесь на Крохмалева? Крохмалев, Анчаров, Подобнов — старейшие сотрудники нашей лаборатории. Разве они не участвовали в вашем воспитании, в подготовке молодежи к научной работе? Вы просто оплачиваете свой долг!

— И в порядке оплаты долга я и Чудаков должны приписывать их имена к нашим работам?— не унимался Горячев, хотя уже не чувствовал той решительности и уверенности, которая была у него до начала разговора.

— Ну, уважаемый Алексей Фаддеевич, предоставьте уж мне решать, кому и сколько листиков от общего лаврового венка вручать при окончательной оценке работы, а пока отыщите мне эту ссылку «Вестника». Надо немедленно ликвидировать недоразумение.

— Хорошо, я спрошу у Чудакова,— покорно ответил Алексей.

— Опять этот Чудаков! Плохого консультанта вы себе выбрали. Не доведет вас до добра эта дружба!— услышал он, закрывая за собой дверь.

«Красов чего-то боится!»— подумал Алексей.

Никаких внешних причин для боязни как будто не было. Уже давно в институт не наведывались проверочные комиссии. Деньги отпускались своевременно и в достаточном количестве: их с избытком хватало даже на постоянные солидные премии почти каждому сотруднику лаборатории в размере его месячного оклада. Работы печатались. Одних работ Горячева и Чудакова в соавторстве чуть ли не со всеми сотрудниками лаборатории вышло за последний год около десятка. Больше того, почти все работы докладывались на международных конференциях. Вот и Алексея удостоили наконец заграничной командировки в Женеву. Правда, в роли основного соавтора и докладчика выступает всегда Крохмалев, а Чудаков почему-то ни разу не побывал на столь высоких ассамблеях. Но Ярослав, кажется, и не рвется туда. Во всяком случае, никакого беспокойства или претензий с его стороны нет. Но что же тогда беспокоит Шефа? Что?

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ:

В преисподней

Он спустился к Чудакову.

Предупредительные сигналы опасности были выключены — вместо красных маяков горели зеленые: ускоритель не работал. Но Горячев, прежде чем войти в зал, предусмотрительно снял с руки часы, пошарил по карманам и извлек из них ключи от квартиры, перочинный ножик и забытый в кармане гвоздь. Вчера пытался повесить на стенку купленный в магазине на Ленинском проспекте эстамп — на оранжевом фоне лимон и цветы в вазе,— но бетонные плиты, из которых сложен дом, оказались непробиваемыми. А гвоздь Алексей, по рассеянности, сунул в карман, и хорошо еще, что обнаружил сейчас. Магнитное поле ускорителя так велико, что стоит приблизиться к этим установкам — и такой вот забытый гвоздь немедленно зашевелится в кармане... Был же у них в институте случай, когда один из посетителей упал возле ускорителя в обморок. Оказалось, осколок мины, оставшийся в легком со времен войны, сдвинулся под воздействием магнита и нажал на артерию...

Выложив все свое металлическое хозяйство на столик дежурного, Алексей прошел в машинный зал.

Конечно, Чудаков опять что-то настраивал. Алексея каждый раз поражал внешний вид приятеля. Даже здесь, в святая святых института, на своем рабочем месте, где десятки людей подчинялись каждому его жесту, Чудаков был гораздо более похож на взъерошенного подростка, нежели на молодого ученого. Черный вихор над его смуглым лбом торчал, как всегда, воинственно, маленькие цепкие руки непрерывно двигались, будто искали точку опоры.

Возле Ярослава топтался молчаливый и внешне неуклюжий Валька Коваль, ныне уже техник-лаборант, влюбленный и в Чудакова и в ускоритель, неизвестно, в кого больше. Этот рыжеволосый детина с простодушным лицом и руками фокусника — так они были ловки и удачливы — улавливал желания Чудакова даже не по словам и жестам, а по выражению лица. Вот Чудаков скосил глаза на счетчик Черенкова, и Валька, чуть притронувшись к талям, повернул аппарат, и, как видно, именно на столько градусов, на сколько требовалось Чудакову. Чудаков покосился на пузырьковую камеру — толстостенный металлический ящик с боковыми стеклами,— и Коваль поспешно перебрал кнопки манипулятора,— тяжелое сооружение начало вращаться, и вот уже камера встала боком прямо под дуло коллиматора, из которого в нужную минуту вырвется тонкий пучок протонов и пройдет через входной фланец камеры, чтобы, соударяясь с атомами рабочей жидкости, оставить свой след в виде тонкой прерывистой цепочки пузырьков.

Уже много лет работает Алексей в этом институте, но каждый день разглядывает мощные машины и аппараты с неослабным вниманием. Ведь они созданы только для того, чтобы обнаружить невидимое! И сам ускоритель — круглое сооружение в шесть метров высотой и в десятки метров в диаметре, снабженное мощнейшими магнитами, в котором невидимые частицы приобретают огромную скорость,— все еще поражает его воображение. А частицы? Вот они ускорились по спирали за три миллионных доли секунды, получили энергию, достаточную для того, чтобы пробить эти толстые бетонные плиты и чугунные ограждения, прорезали, подобно световому лучу, мрак пузырьковой камеры и дали знать о себе вспышками сцинтилляционных счетчиков, импульсами тока на выходе фотоумножителей. Вот они уловлены, сфотографированы, их путь зафиксирован от рождения до гибели, хотя весь этот процесс порою длится миллионную долю секунды... Как же не гордиться тебе, человек, делом рук твоих!

Эти возвышенные мысли никогда не оставляли Алексея, едва он спускался в святая святых института, как он именовал про себя машинный зал. А вот Чудаков, который день за днем ловил эти частицы, ничем не восхищался, и самый зал, в котором расположен ускоритель, называл не иначе, как «преисподней». Да еще посмеивался над «романтизмом» Алексея, отвечая на его вопросы, продиктованные наивным восхищением:

— Мы хоть имеем дело с материальными и вполне ощутимыми приборами, а вот как вы, теоретики, угадываете в разрушенном ядре не только те частицы, которые мы видим, но и такие, о которых мы и не догадываемся?— И взглядывал лукаво прищуренным глазом на Алексея, так что тот поневоле смущался. И, довольный, небрежно прибавлял:

Николай АСАНОВ

СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ
С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ

Рисунок П. Пинкисевича.

— Впрочем, часто ли у вас это получается?

Но сегодня Чудаков был мрачен, Коваль вообще походил на гробовщика, и Алексей понял: все, что происходило наверху, уже донеслось сюда в виде отдаленного грома. И как бы ни пощелкивали счетчики, сколько бы доказательств существования вновь открытых частиц ни получили Чудаков и Коваль, в сущности, они лишь проверяют открытие Ф. Моргана, тогда как это Ф. Морган должен был проверять их открытие.

— Послушай, Ярослав, ты говорил, что в «Вестнике» физического института ГДР было упоминание о наличии следов ро-мезонов в нашем фотоматериале?

— Собираются отстаивать приоритет? Не поздно ли?— сердито спросил Чудаков.

— Михаил Борисович просит отыскать эту ссылку,— не ввязываясь в спор, сообщил Алексей.

— Одиннадцатый номер «Вестника». Впрочем, фотокопии у меня, кажется, здесь, в столе.

— Но одиннадцатый номер — это ноябрь! У них же «Вестник» ежемесячный.

— Ну и что? Кроха и сам Шеф так крепко зажали нашу статью, что мы опоздали с публикацией на полгода.

— Но если «Вестник» ссылался на нашу работу...

— А, теперь это меня уже не интересует! Пусть думают те, кто сидит наверху.— И совершенно непоследовательно спросил: — Слушай, Алексей, ты как-то говорил, что нужно искать анти-ро-мезоны. Ты еще не отбросил эту мысль?

Алексей с удивлением взглянул на друга. Тот настороженно ждал. Нечаянно Алексей перевел взгляд на Коваля и поразился, как изменилось у техника выражение лица: он стал похож на доброго пса, застывшего в стойке. И Алексей понял: эти чудотворцы уже удовлетворились первой победой, насытились ею. Им хочется продолжать поиск, но в другом направлении. Ярослав все еще выжидательно молчал.

— Я подумаю...

— Понимаешь, нам нужны не раздумья, а теоретические оценки. Расчеты нам нужны: интенсивность, энергия, предполагаемый угол рождения, угол аннигиляции... Тут,— Ярослав осторожно, с какой-то странной боязливостью указал на пузырьковую камеру, окруженную фотообъективами,— тут какая-то чертовщина дает явный эффект. Может быть, это и есть отрицательные анти-ро-мезоны, а возможно, это какие-то совсем иные частицы. Ночью мы проявим фотографии, но если бы ты посчитал сегодня...— Голос его стал умильным, как будто он уже собрался на охоту и только от Алексея зависело, будет ли у Чудакова заряженное ружье.

А Горячев в это время думал, что для получения нужных оценок придется идти к счетной машине, а там теперь Нонна... Чудаков этого еще не знает, да и говорить ему об этом незачем. Пусть скажет кто-нибудь другой, но идти туда Алексею придется самому. Алексей поморщился, словно у него заныл зуб, сказал:

— Хорошо, я пересчитаю все снова...

— Только ты не откладывай, пожалуйста!— заторопился Ярослав.— Я вас, теоретиков, знаю. Вам подавай вдохновение! А у меня материал горит. Ты знаешь, сколько фотографий за эту неделю мы сделали? Около двадцати тысяч!

— Давай фотокопию из «Вестника», и я пойду рассчитывать...

Коваль остался отмечать показания счетчиков, а Ярослав повлек Алексея почти бегом в свою каморку в цокольном этаже. Там он расшвырял какие-то бумаги, фотографии и наконец подал с совершенно безразличным видом фотографию страницы из «Вестника». Ему все это было уже ни к чему. И Алексей понял: Ярослав увидел в своем фотоматериале что-то новое. Иначе зачем бы ему делать столько снимков?

Алексей снова поднялся к Шефу и положил на стол «вещественное доказательство». Михаил Борисович уставился в фотокопию настороженным взглядом.

Немецкий ученый сухим, бесстрастным языком протокола писал: «В переданном нашему институту фотоматериале советских ученых Горячева и Чудакова по поводу обнаружения новых частиц, названных этими учеными ро-мезонами, вопреки мнению их коллеги советского ученого Крохмалева, утверждающего, что новых частиц он не видел, в трех случаях ро-мезоны идентифицируются совершенно надежно. Масса, энергия и угол вылета совпадают с теоретическими вычислениями Горячева...»

— Но это же как раз то, что надо!— с неожиданной пылкостью воскликнул Михаил Борисович.

— А вы уверены, что это так необходимо нашему Крохмалеву?— подчеркнуто добродушно спросил Алексей.— Как же он подпишет работу, для обоснования которой придется включить и эту справку?

— Ну, Сергею Семеновичу я выдал все, что ему положено!

— Однако приказа о его увольнении или объявления о том, что он отныне «персона нон грата», я не видел,— попробовал пошутить Алексей.

— И не увидите!— внезапно разъяряясь, воскликнул Михаил Борисович.— Не знаю, почему он стоит у вас поперек горла, а мне он нужен! Понимаете?

— Еще бы!— вспылив в ответ на эту непонятную ярость, воскликнул Алексей.— Но в какой роли он вам нужен? Как ученый или как передаточный механизм для ваших мыслей и желаний?

— Прошу не забываться, Алексей Фаддеевич!— вдруг грозно и высокомерно отрезал Михаил Борисович. И Алексею ничего не осталось, как попросить разрешения вернуться к своей работе.

Так он и сделал.

Простота отношений с начальством, которая столь приятна для любого младшего сотрудника, тоже должна иметь свои пределы. Так будет лучше и для младших и для старших.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ:

Встреча с прошлым и взгляд в будущее

Алексей не любил заходить в вычислительный центр. Надо было отвечать на просительную улыбку Веры, придумывать причины, которые мешали встретиться с нею, а ведь прошел уже почти год, во всяком случае, больше десяти месяцев, как Алексей прекратил эти безрадостные отношения. Но Вера все еще ждет чего-то...

Впрочем, сейчас, может быть, не ждет: ведь она увидела Нонну!

А когда-то Вера занялась его спасением. В первый год после отъезда Нонны в Ленинград Вера требовательно предложила ему и дружбу, и заботу, а потом и свою непылкую любовь, в которой было больше от материнского чувства к заброшенному и обиженному, чем страсти. Она не знала Нонну, однако сумела выспросить у Алексея о ней все. Наверно, расспрашивала и других, потому что Алексею скоро стало казаться, что Вера знает о Нонне больше, чем он сам, чем родители Нонны. И она никогда не осуждала Нонну. Если Алексей сам принимался обвинять Нонну во всех грехах, Вера слушала с удовольствием, но никогда не забывала рассудительно посетовать, не преувеличивает ли он. Она словно боялась, что когда-нибудь Нонна снова встретится на пути Алексея и тогда Алексей не простит Вере того, что так сурово разговаривал при ней о своей первой любви.

Она была не очень красива, Вера,— маленькая, с утиным носиком, сухими губами, невыразительными глазками, но фигурка у нее была ловкая, руки нежные, сердце терпеливое. Ведь она знала, что Алексей не любил ее, а вот возилась с ним, пытаясь «сделать из него человека». Она так и говорила:

— Подожди, Алеша, я еще сделаю из тебя человека!

Делала это она по-своему. У нее был культ физического здоровья. Она была убеждена, что дурное настроение возникает от отравления человека токсинами, от кислородного голодания, от плохо приготовленной пищи. Теперь Алексею кажется, что Вера отказалась от своей слишком уж прямолинейной теории. Это произошло после того, как Алексей вышел из подчинения, перестал встречаться с нею, стал ссылаться на занятость работой, даже на тиранию Михаила Борисовича. Вера как-то увяла, поблекла. Не помогла ей теория «физического здоровья». Но раньше, когда Алексей хватался за ее чувство, как утопающий за соломинку, она была очень привлекательной.

Вера учила его жить полнокровно. Она первая обратила внимание на то, что Алексей все свободное время проводит за книгами. А свободным временем он считал то, когда не занимался в институте вычислениями. Вера заставила его купить лыжи и повезла за город на прогулку. Лыжи были горные, они даже понравились Алексею, пластмассовые, желто-красные, с металлическими полосками по бокам, с жестким креплением. Вера беспощадно тащила Алексея за собой сначала пять километров, потом десять, заставляла его скатываться с гор и пригорков, довела до того, что он вывихнул ногу, а потом дежурила около него две недели, пока опухоль спала и Алексей снова смог ходить.

В конце концов Алексею даже понравилось это времяпрепровождение. Он научился отличать лето от зимы, стал плавать, отправлялся в бездумные туристические походы с рюкзаком за плечами и пробегал по двадцать километров на лыжах. Одному он так и не научился — любить Веру...

Аннушка и Чудаков думали, что Алексей вот-вот женится на Вере, да и сама Вера, должно быть, ждала этого, но Алексей захандрил, перестал заходить в вычислительный центр иначе, как по делу, на каждую Верину просьбу о встрече отговаривался работой, а когда она перестала верить отговоркам, стало еще хуже, потому что он начал отвечать сухо и даже резко. И Вера перестала звонить...

Когда Алексей появлялся в вычислительном отделе, где Вера работала сменным техником при машине, он всегда встречал ее жалкую, просительную улыбку и привык входить туда с мрачно отсутствующим видом, держаться надменно, вызывая всеобщее недоумение: ведь все знали, что он добрый человек. И все жалели Веру и сердились на Алексея.

А теперь там еще и Нонна...

Войдя в вычислительный отдел, Алексей прежде всего увидел Нонну.

У Нонны была странная особенность: где бы она ни находилась, сколько бы ни было вокруг людей, прежде всего замечали ее одну. Вот и сейчас Алексей прежде всего увидел ее стоящей среди девушек-программисток и о чем-то оживленно беседовавшей с ними. Алексей повел глазами направо и налево и с трудом отыскал Веру. Вера была бледна, еще более незаметна, но ни просительной улыбки, ни ищущего взгляда Алексей не увидел. И когда Алексей пересек зал, направляясь к главному инженеру, Вера тихо ушла за стеллажи, на которых мигали живые огоньки «памяти» машины.

В этот зал, защищенный тяжелыми бетонными сводами, не доносилось ни звука. Вычислительная машина, занимавшая бóльшую часть зала своими пультами управления, хранилищами «памяти» с магнитофонными лентами и иридиевыми барабанами, стеллажами и ящиками, в которых заключены тысячи радиоламп и полупроводниковых устройств, требовала полной тишины для работы. Люди тут разговаривали вполголоса, обмениваясь непонятными замечаниями, поглядывая на мерцающие осциллографы, на вспыхивающие цветные сигналы: зеленые — когда все шло хорошо, красные — если какая-нибудь связь в машине нарушалась. Из печатающего устройства торопливо ползла непрерывная лента

и свертывалась в рулон, «читающий» аппарат переворачивал перфорированные карты вопросов и проводил по ним электронным щупом, почти так же, как слепой человек читает пальцами книгу, напечатанную по системе Брайля — выпуклыми знаками. Кто-то только что задал машине большую работу, и машина добродушно ворчала через динамик, поставленный на пульте, выговаривая звуки, похожие на сигналы марсиан, как их описывал Уэллс: «Улла-улла-улла-улла!»

Как ни неприятно было Алексею заходить в вычислительный отдел, но работать с вычислителями он любил. Чем сложнее придумывал он задачу, тем добродушнее ворчала машина. Иногда звуки динамика начинали литься, словно симфония, и Алексею нравилось записывать за машиной эту неожиданную музыку. Но если Алексей допускал какую-нибудь ошибку, машина, сбившись с ритма, начинала так гневно рычать, что главный инженер — низенький, черный, густо-курчавый человек с толстыми добрыми губами — испуганно выключал все агрегаты и потом еще долго стыдил Алексея за неправильно поставленный вопрос. Порой Алексею казалось, что главный инженер и сам побаивается своей машины: мало ли что она может выкинуть!

— Что у вас?— нетерпеливо спросил главный инженер, глядя на плотную пачку карточек в руке Алексея. Ему не нравилось, когда машине давали слишком много задач, а у Горячева этих задач всегда было невпроворот, и все срочные.

— Опять ро-мезоны,— с виноватой усмешкой ответил Алексей.

— С этими задачами обращайтесь теперь к Нонне Михайловне!— суховато сообщил инженер и окликнул ее:— Нонна Михайловна! Вот Алексей Фаддеевич Горячев! Он по вашему ведомству. Знакомьтесь!

— Мы знакомы с Алексеем Фаддеевичем,— ответила Нонна, отходя от девушек-программисток.

Алексей заметил, как тускло зазвучал ее голос, как все оживление, с которым она болтала с девушками, словно смыло с ее лица.— Прошу, Алексей Фаддеевич, ко мне!— И медленно пошла в дальний угол, который Алексей всегда помнил пустым. Теперь в углу стояли письменный стол, ящик перфоратора, буквопечатающий аппарат, похожий на телеграфный. Вдоль стены протянулось несколько шкафов и книжных полок, на одной из полок сияло маленькое зеркало, на письменном столе — в колбе— букетик увядающих подснежников.

— А вы неплохо устроились!— небрежно сказал Алексей.

— Это все они.— Нонна кивнула в сторону программисток.— Я уже привыкла обходиться без цветов.

Этими словами она как бы сразу отрезала все постороннее и заговорила более оживленно:

— Можно взглянуть на ваш вопросник? — решительно перехватила карточки из руки Алексея и стала проглядывать их.— Так, так! Вот здесь надо разбить последовательно на ряд заданий...— И странное, отвлеченное от встречи, от прошлого оживление снова окрасило ее бледное лицо.

Затем она вдруг пытливо подняла глаза на Алексея, спросила:

— Это работа для моего отца?

— Почему вы так думаете?

Она не обратила внимания на его явное недовольство. Продолжая перебирать карточки, остановилась на одной, пожала плечами:

— Тут же должен быть знак плюс!

Он взглянул, перечитал вопрос, сухо спросил:

— А вы уже проникли во все тонкости ядерной физики?

— Если вы будете и дальше так же любезны со мной, я перейду к другому учителю.

— Простите!— Он смутился, но не хотел сдаваться.— А почему, собственно, вам не нравится этот отрицательный знак?

— Потому что тут явная ошибка! Если вы хотели проверить, понимаю ли я ту работу, за которую взялась, вам следовало бы просто переписать вопросник Крохмалева. А вы ставите загадочный отрицательный знак перед явно положительной величиной, а потом будете утверждать, что я все напутала в вашем вопроснике!

Сначала он подивился только тому, как остро ей хочется успеха на новой работе. Лишь потом до него дошел смысл ее упрека: почему он не переписал вопросник Крохи? Тут он сразу забыл, что хотел извиниться без всякой вины, и сердито потребовал:

— А ну-ка, что за вопросник дал вам Кроха?

Она взглянула подозрительно, но ответила довольно кротко:

— Вопросник Крохмалева в машине.

Алексей резкими шагами пошел прямо к машине, и она последовала за ним.

Алексей остановился у печатающего устройства, считывая быстро набегающие строки ответов машины. Вопросы действительно были удивительно похожи на те, что принес сам Алексей. Опять ро-мезоны, их соударения, угол вылета из мишени.

Нонна стояла за его спиной, он слышал ее дыхание.

— Глупо!— сказал он.— Кроха снова допускает те же ошибки: не учитывает два электрино, которые выделяются при соударении...

В этот миг динамик машины вдруг взвыл яростно и зло, голубой экран осциллографа

замигал и прочертился молниями, затем на нем выплыли два слова: «Крохмалев — дурак!»

Алексей засмеялся. Это была новинка. Программистам надоело получать выговоры за перебои. Но перебои зависели от того, правильно или неправильно поставлены вопросы, вот они и «научили» машину высказывать их мнение об авторах неверных вопросов и задач. Машина продолжала рычать, слова на экране забавно выгибались и плясали, а Крохмалев как раз вошел в зал. Увидав на экране краткую оценку своей деятельности, Крохмалев грохнул кулаком по пульту:

— Прекратите безобразие! Это вам даром не пройдет!

Главный инженер выключил машину. Погасли лампы, погасла и фраза на экране. Главный инженер меланхолически сказал:

— Оценку дала машина. И предупреждаю: за всякую неверно поставленную задачу она будет давать оценку по пятибалльной системе.

— И академику и Михаилу Борисовичу? — засмеялся Алексей.

— Они сюда не приходят, — без юмора ответил главный.

— А вы что здесь делаете, Божий человек? — сердито спросил Крохмалев. — Вас ждет Шеф.

— Я только хотел исправить вашу ошибку, уважаемый Крох. Вы опять забыли об электрино.

— А что это за карты? — подозрительно спросил Крохмалев, тыча толстым пальцем в пачку, которую держала Нонна.

— Собираюсь узнать, есть ли жизнь на Марсе! — сказал Алексей.

— Все шутите?

— Нет, вспомнил совет Михаила Борисовича.

— Какой еще совет?

— Что разговаривать с вами о делах можно только при включенном магнитофоне.

— Что это значит? — с каким-то трусливым раздражением выпалил Крохмалев.

— А помните ваш разговор с Чудаковым у него на квартире?

— Он что, включал магнитофон? — быстро, не удивляясь, спросил Крохмалев.

— Тогда нет, а теперь включит!

Крохмалева сразу словно подменили. Он выпрямился, на лице воссияла победительная улыбка.

— Шантажировать собираетесь? — насмешливо спросил он. — Не выйдет! И вообще этот недостойный разговор станет предметом обсуждения на партбюро. Вы еще об этой сплетне пожалеете.

— Вы ведь беспартийный, Кроха!

— Зато вас скоро должны принимать в партию! — напомнил Крохмалев.

И, гордо вскинув голову, как боевой конь при звуке полковой трубы, удалился, забыв даже захватить свой вопросник и ответы машины.

Алексей смотрел ему вслед и размышлял, стоит ли задавать свои вопросы машине. Кроха непременно прибежит сюда, как только Алексей уйдет. И, как он ни глуп, кое-что поймет. Он уже собирался взять вопросник у Нонны, чтобы прийти попозже, ночью, когда у машины останутся только дежурные. Ночью машина работает по заказу разных ведомств. Если придут геодезисты, это свои ребята, они дадут Алексею полчаса машинного времени...

— Зачем вы с ним так? — вдруг спросила Нонна.

Он взглянул на нее и удивился: Нонна была явно расстроена.

— Не люблю крохоборов ни в жизни, ни тем более в науке! — резко ответил Алексей.

— Берегитесь, он очень опасный человек!

В этом было что-то новое. До сих пор Нонна была мила с Крохой.

— Дайте мне вопросник, — невпопад сказал Алексей.

— Не бойтесь, Кроха его не увидит, — тихо ответила Нонна.

Продолжение следует.

СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ

Николай АСАНОВ

Тогда и Тобе

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ:

Как это делается

Только через две недели они увидели анти-ро-мезон.

Все это время Алексей работал в Вычислительном центре: надо было рассчитать и решить десятки неотложных задач. И Нонна, измученная его жадной торопливостью, просиживала рядом с ним за пультом машины чуть ли не сутками.

Алексей с удивлением отмечал, как изменился ее характер. О себе он знал, что за работой становится резким, нетерпеливым, требовательным. Даже Чудаков и Коваль порой возражали против его властного, неумолимого тона, а ведь они были в той же мере заинтересованы общим делом. Но он не умел переломить себя, поэтому и с Нонной держался так, будто она лишь его помощница, которую можно обругать за нерасторопность и заставить сидеть рядом с собой столько времени, сколько он выдерживает сам. А сам он мог выдерживать сколько угодно. Лишь бы впереди светилась хоть маленькая надежда на удачу.

И вот он сидел рядом с нею у пульта ЭРМ — электронно-решающей машины — и на ходу менял задачи, одну сложнее другой, а Нонна, робкая, мягкая, участливая, пробивала сотни перфорированных карт, чтобы после минутной работы машины Алексей с досадой восликнул: «Опять не то!»

Пока он перечеркивал неудачную задачу и составлял новую, Нонна варила ему кофе, а если это случалось днем, ходила в буфет за пирожками или сосисками, что тоже было несвойственно ее характеру.

И опять они засиживались до глубокой ночи, а то и до утра: слишком много было задач, которые предстояло решить.

Сколько метров пробежит новорожденный анти-ро-мезон прежде, чем он аннигилирует? Как поставить сцинтилляционные счетчики, чтобы предполагаемый анти-ро-мезон не проскочил незамеченным? Каково должно быть искривление пути новорожденной частицы в отклоняющих магнитах, чтобы отобрать именно ее из тысячи других частиц?

А внизу, в «преисподней», Чудаков и Коваль, получив очередную порцию «информации», настраивали все новые счетчики, фокусирующие магниты, фотообъективы, которые, по их мнению, могли уловить неизвестную частицу, распознать ее и проследить ее короткий путь. Алексей уже рассчитал этот путь: на двенадцати метрах этого пути выбитый из мишени анти-ро-мезон должен был трижды известить о своем появлении яркими вспышками в электронных устройствах, а затем взорваться в поставленной на его пути пузырьковой камере Чудакова, образовав новую «звезду», которая доказала бы его существование и смерть.

Все они, участники этой титанической работы, сами называли свой будущий опыт красивым. И действительно, ведь они не только предусмотрели, как он пройдет, но создали такую цепь доказательств, чтобы даже непосвященный человек мог увидеть всю короткую жизнь новой странной частицы, которая служила силой, разрушающей внутриядерные связи. Так они представляли назначение новой частицы в природе, тем более важным должно было стать их открытие, если... если оно состоится.

Опыт начали в субботу вечером, когда институт уже опустел. Остались только участники и, как положено, несколько любопытствующих. Среди любопытствующих Алексей увидел Михаила Борисовича, который в последние годы довольно редко спускался в «преисподнюю»; Крохмалева, едва ли горевшего участием к ним, создателям опыта; и Нонну... Вот уж ей-то было совсем ни к чему это ночное бдение. Свою работу вычислителя она закончила еще в пятницу и теперь могла бы отдохнуть, выспаться, уехать на дачу. А вот, поди ж ты, стоит возле ускорителя вместе со всеми, взволнованная, ни кровинки на лице, только ярко накрашенные губы выделяются и кажутся почти черными. Она словно перед судом, но ведь судить-то будут совсем не ее!

Чудаков в последний раз оглядывал критическим взором свои хитроумные ловушки и капканы, медленно проходя мимо ускорителя. Вот здесь, в этой камере, при помощи электрического разряда с атомов водорода сдерут электроны, и ядра атомов устремятся в трубу ускорителя. Вот здесь они попадут в магнитное поле и будут бешено вращаться по кольцу, пока не ударят в мишень и не выбьют из бериллиевого стерженька ро-мезоны и анти-ро-мезоны. Те, в свою очередь, помчатся в общем потоке, пока отклоняющие магниты не отделят анти-ро-мезоны от других частиц. После этого античастицы попадут в узкие дула металлических коллиматоров, а уж оттуда за стенку биологической защиты, прямо в пузырьковую камеру...

За Чудаковым молча шли его помощники и посторонние наблюдатели. Никто не задавал вопросов — тут все, кроме, может быть, Нонны, понимали, что опыт поставлен красиво, а удастся ли он, покажет эта ночь...

Вслед за наблюдателями бесшумно двигались инженеры, электрики, вакуумщики — весь обслуживающий персонал ускорителя. Это от них зависело, как будет протекать опыт. Не результат, а именно течение частиц, движение разъятой материи в металлическом чреве машины. И они озирали придирчивыми глазами весь будущий путь этих еще не рожденных частиц.

Но вот Чудаков оторвался наконец от своих ловушек, махнул с какой-то безнадежностью рукой — ничего, мол, больше не сделаешь! — и сказал:

— Пошли!

Все пошли в смотровой зал. Вахтер у выходных дверей тщательно пересчитал присутствующих, и хотя количество вошедших и вышедших совпало, включил колокол громкого боя. Он прогремел гулко и грозно, предупреждая, что оставаться в зале ускорителя опасно. И тотчас над дверью, замкнувшейся на электрический замок, который снаружи нельзя будет открыть, пока не кончится работа ускорителя, вспыхнул красный сигнал.

Со столика, у которого стоял вахтер, все присутствовавшие разобрали свои часы и металлические предметы, оставленные перед входом в зал ускорителя, потом пошли по узкому подземному коридору в другое здание, где находился пульт управления. Здесь уже были включены телевизоры, и на них был виден машинный зал, ускоритель, магниты, камеры. Пока там все было спокойно, безжизненно.

Коваль встал у пульта, ожидая команды, и поглядывал на свои руки. Они дрожали от нервного напряжения, и Алексей подумал, что Валентин боится: а вдруг перепутает кнопки или нажмет какую-нибудь с такой силой, что сломает ее. Сам Алексей прислонился к стене, чувствуя, как у него подкашиваются ноги. Ничего удивительного в этом, пожалуй, не было: последние пять-шесть суток он спал урывками. Михаил Борисович и Крохмалев стояли за спиной Чудакова: оттуда они лучше видели экран телевизора, осциллографы и сцинтилляционные счетчики — все то, что придумали физики, чтобы увидеть невидимое.

Нонна отошла к группе инженеров, электриков, вакуумщиков. С ними она чувствовала себя свободнее.

Коваль взглянул на Чудакова. Тот решительно сказал:

— Включай!

Послышалось щелканье выключателей, потом на низких нотах запели электромоторы.

Ничего не происходило. На экранах телевизоров все оставалось по-прежнему. Но присутствующие знали, что в этот момент ядра водорода, освобожденные от электронов, «ободранные» электрическим разрядом, уже мчатся по кольцу ускорителя, пробивают мишень, а мириады рожденных в мишени частиц летят со скоростью, близкой к скорости света, разделяясь по тщательно отобранным каналам, один из которых предназначен для анти-ро-мезонов.

Все внимание было приковано к тому осциллографу, на экране которого должна появиться вспышка в момент аннигиляции анти-ро-мезона. На осциллографе все было тихо и тускло. Не щелкали счетчики, не вспыхивали люминесцентные трубки, пузырьковая камера Чудакова с окном из плексигласа тускло поблескивала — анти-ро-мезоны ничем не возвещали о своем появлении.

Продолжение. См. №№ 10—15.

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Группа молчаливых, притихших людей взглядывала то на экраны телевизоров, то на мерцающие осциллографы, которые показывали только мертвое спокойствие, то на создателей опыта, таких же мертвенно-спокойных. Текло лишь время, текла энергия, все так же мчались частицы, но ничто из того, что предсказывали эти люди, не происходило, и вот послышался чей-то замедленный вздох, кто-то переступил с ноги на ногу, кто-то кашлянул, а создатели опыта все пребывали в каменном оцепенении. То ли они знали что-то не известное никому, то ли просто переживали крушение надежд и боялись сознаться в своем просчете.

Текли минуты — пять, шесть, восемь... И каждый чувствовал, что готов крикнуть: «Да когда же!» — но властная молчаливость этих четырех человек пока еще сдерживала всех.

Молчание становилось непереносимым, и первым не выдержал Крохмалев, ехидно спросив:

— Где же ваши анти-ро-мезоны?

И в это мгновение перед глазами на голубом экране осциллографа вспыхнула короткая молния, и тотчас послышался резкий щелчок, будто выстрел над ухом. Чудаков, расправив узкие плечи, повернулся к Крохмалеву и сказал:

— Вот вам и анти-ро-мезоны, пожалуйста!

И Кроха, собиравшийся еще что-то сказать, так и замер с открытым ртом. Но никто из тех, к кому относилась его неоправдавшаяся насмешка, не ответил ему. Победители обычно бывают великодушны.

И сразу все зашевелились, заулыбались, и те, кто только что готов был побить камнями этих лжепророков, закричали о том, как они были уверены в успехе, кто-то поздравлял Алексея, кто-то целовал Коваля, кто-то вдруг вытащил неизвестно откуда букет цветов и вручил его Нонне, а другой почитатель уверял, что у него есть способ проникнуть в ресторан «Кристалл», хотя стрелки на стенных часах уже сомкнулись на двенадцати и ясно было, что ни в какой ресторан их не пустят...

Как раз в это мгновение снова вспыхнули световые сигналы, опять раздался щелчок счетчика — второй анти-ро-мезон родился и умер. Алексей взглянул на часы, сказал:

— Около шести анти-ро-мезонов в час, как мы и предполагали.

Теперь уже никто никуда не торопился. Всем захотелось увидеть и третью вспышку, и четвертую, и пятую. Если анти-ро-мезоны рождаются так редко, то тем более важным казалось всем увидеть их многократно. Ведь тогда можно будет сказать: «А я видел первые анти-ро-мезоны!» И хотя это будет не совсем правда, так как никто не может увидеть невидимое, но в то же время это будет истиной, так как ты присутствовал при событии необычайном, ты видел сам открытие нового мира. И кто знает, не утверждало ли это малое открытие существование целых миров, состоящих из антивещества, как наш мир состоит из вещества? Тем более, что все понятия эти вполне условны, и, возможно, в том мире из антивещества в эту самую минуту такие же ученые создают новые частицы вещества и пытаются познать по ним строение мира. Такая мысль на мгновение мелькнула у Нонны, но она только плотнее сжала губы, чтобы не насмешить скептиков.

На втором часу наблюдений общее душевное напряжение как-то незаметно начало спадать. Толпа наблюдающих постепенно редела. Только виновники торжества словно бы и не чувствовали усталости.

Однако Чудаков, продолжая наблюдать за экспериментом, не забывал приглядывать и за Крохмалевым. Кроха вопреки своим привычкам больше не суетился, не лез на первый план, никого не оттирал своим круглым плечом, даже не улыбался начальству. Он стоял в стороне, о чем-то сосредоточенно размышляя. Чудаков много бы дал, чтобы выяснить, о чем думает Кроха. От этого знания могла зависеть и судьба открытия. Ведь предыдущее почти погибло из-за него. Но, во всяком случае, все записи по эксперименту надо запереть в сейф.

Рядом с Крохой стоит Подобнов. И по его лицу очень просто догадаться, о чем он думает: завидует! Непосредственно и грубо завидует. Ему так давно не удавалось ничто из задуманного, что не было для него большего удовольствия, как чужая неудача. И сейчас он мстительно мечтает о том, как хорошо было бы, если бы все эти дьявольские анти-ро-мезоны вдруг исчезли из поля зрения экспериментаторов и никогда больше не появлялись...

Но эту точку зрения товарищ Подобнов никогда не выскажет никому.

Другое дело — Михаил Борисович. Каждому ясно: он рад. Еще бы, его лаборатория опять отличилась! Его теоретики, а следовательно, и он сам, предсказали и рассчитали все параметры новой частицы, а экспериментаторы блестяще подтвердили это предвидение теоретиков! И если сейчас ухватить, как говорят на Востоке, птицу удачи за ее блестящий хвост, она, эта птица, вознесет всех ухватившихся на большую высоту!

Дальше всех от испытательского стенда стоит заместитель Красова по теоретическому отделу Яков Арнольдович Анчаров. Яков Арнольдович совершенно спокоен. Он бесстрастно смотрит на взрывающиеся вспышками осциллографы и экраны телевизоров. Что для него какая-то неведомая и невидимая частица? Куда важнее благорасположение академика! Захочет Иван Александрович, и Анчарова выдвинут в члены-корреспонденты, а там и проголосуют, и нет нужды для этого копаться в потемках атомного ядра. Ну, а если не захочет Иван Александрович?.. Но об этом Анчаров старается не думать, это опасные размышления. А стоит он тут и смотрит для того, чтобы завтра с утра подробно доложить Ивану Александровичу не только обо всем увиденном, но также и об услышанном. Не может же академик усмотреть за всеми сам, он один, а лабораторий в институте много... И Анчаров охотно будет служить глазами Ивана Александровича, хотя, конечно, никто его об этом не просит, а сам академик, вероятно, не догадывается, как много он теряет, если Анчаров не успевает проинформировать его о том, что делается в институте... Выгода?.. Какая же выгода, чистое человеколюбие: ведь Иван Александрович так занят!

Эти мысли за Анчарова придумывает Чудаков. Эксперимент идет своим ходом — примерно раз в десять минут раздается щелчок, вспышка света, щелчок, всплеск света, анти-ро-мезон рождается и умирает, и Чудаков, поглядывая на свидетелей и наблюдателей, пытается разгадать их мысли. Иные он, наверно, угадывает, недаром же работает бок о бок с ними восемь лет. Ну, а если немножко и шаржирует, выдавая Анчарова за некое око недреманное, так только как художник, для остроты изображения.

А на самом-то деле Чудаков радуется: за науку, за институт, за Алешу Горячева, за весь свой коллектив. Теперь им все нипочем. Они сделали новое открытие!

Но вот Михаил Борисович благодушно пожимает руки экспериментаторам. Свита Шефа тоже начинает прощаться. Слышны пожелания успеха, добрые слова. Больше всего этих добрых слов достается на долю Алексея. Потом Михаил Борисович подходит к дочери.

— Я еще побуду здесь, папа.

— Зачем? — Михаил Борисович искренне удивляется.

Здесь остаются Коваль, Чудаков, ну, может быть, Горячев. Остальные всё увидели, они могут отдыхать. Тем более непонятно, почему Нонна должна остаться. Но дочь — давно уже взрослый человек, и Михаил Борисович терпеливо говорит:

— Ну, ну. Я пришлю машину обратно. Может быть, развезешь потом этих самоедов. Я ведь знаю, вы все не спите вторую или третью неделю. Слышите, Ярослав Ярославович, не засиживайтесь. Нонна развезет вас по домам!

Он и свита уходят. Ярослав пристально смотрит на Нонну и спрашивает:

— Почему вы остались?

Она смеется немножко натянуто.

— Приятно смотреть, как простой человек на твоих глазах превращается в героя.

— Ну что ж, смотрите,— милостиво разрешает он.

Нонна вдруг спрашивает:

— Ну, а если завтра Кроха объявит, что никакого эксперимента не было и что все анти-ро-мезоны — ваша глупая выдумка, разве вам не понадобится свидетель?

— Я просто шею сверну вашему Крохе!

— По-моему, Кроху сделали вы! — иронически, словно не замечая ярости Чудакова, говорит Нонна.— Я как-то посмотрела последние оттиски институтских работ. В десяти случаях вы записали Кроху среди других ваших соавторов. А теперь, когда вы вскормили этого орла собственной печенью, вы собираетесь свернуть ему шею! Это же почти детоубийство!

В зеленовато-серых ее глазах не только ирония, в них — насмешка. Чудаков толкает Алексея.

— Ты слышишь, что она говорит?

Алексей не смотрит на них. Он ждет очередной вспышки сигнала. И отвечает нехотя:

— Нонна Михайловна всегда выбирает худший вариант.

Внезапно заговаривает Коваль, этот молчаливейший из смертных. Он яростно восклицает:

— Ну уж нет! На этот раз никаких соавторов! Мы все сделали сами, втроем!

— Вчетвером, положим,— невозмутимо бросает Алексей.

— Опять Кроха? — Коваль ударяет кулаком по пульту.

— Нет, Нонна Михайловна...

Коваль долго дует на ушибленный кулак, потом бормочет:

— Извините, Нонна Михайловна! Этот Кроха мне каждую ночь снится. А вы молодчина! Если бы не вы, наш «божий человек», вероятно, рассчитывал бы эксперимент до второго пришествия!

— Ну уж нет, я в соавторы не гожусь! — смеясь, отрекается Нонна.— Я останусь свидетельницей на случай будущего процесса: Чудаков против Крохмалева. А все свои права я передаю Алексею Фаддеевичу.

Алексей отвернулся от смотрового окна и поклонился. Как раз в это мгновение раздался щелчок и блеснула вспышка света.

— Будьте здоровы! — весело воскликнул Коваль.

— Не знаю, к добру ли это веселье,— задумчиво сказал Чудаков,— но мне, право, хочется выпить. Если Нонна Михайловна согласна, то поедемте все ко мне. Аннушка не рассердится за ночное вторжение, а у меня припрятана бутылка водки.

Коваль поднял руки вверх, свидетельствуя о полной сдаче на милость гостеприимного хозяина, а затем начал выключать приборы. В тишине сильно, по-весеннему запахло озоном от электрических разрядов.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ:

Праздник надежды

Конечно, Аннушка ждала их.

Ждала она, собственно, мужа, но ночных гостей встретила радостно. Коваль и Алексей даже погрустнели — их никто никогда не ждал с таким нетерпением, никто не бросался навстречу с таким возгласом:

— Ну как, получилось? Увидели?

Посмотрела на всех, засмеялась:

— Боже мой, какая я глупая! Да ведь по вашим лицам понятно, что увидели!

И сразу затормошилась:

— Проходите в комнату к Ярке. Я сейчас!

Убежала на кухню, зазвенела посудой, сразу запахло чем-то вкусным, а она ставила тарелки, какие-то закуски, успевая говорить на ходу:

— Нонночка, ты прекрасно выглядишь! И не поверишь, что несколько суток без сна. Мне Ярка рассказывал...

И Алексею:

— Бирюк, поухаживай за Нонной, подвинь ей кресло, оно удобнее! Что бы вы без Нонны сделали?

Убежала, вернулась и уже Ковалю:

— Валя, споешь нам?— и сунула ему в руки гитару.

В последние годы в Москве стаями и в одиночку бродили песни. Одни рождались и умирали немедленно, другие переходили из дома в дом. Но в каждой компании приживались эти песни по какому-то выбору. Физики предпочитали Визбора и Новеллу Матвееву, литераторы — Бориса Корнилова и Самойлова, а геологи и туристы привозили с собой самодельные, сочиненные на привалах у костров.

Один только Валька Коваль знал их все.

Но пока что Валька бережно отставил гитару и пошел на кухню чистить селедку. Ярослав откупоривал бутылки — он схитрил, в доме оказалась не только водка,— Алексей пек картошку в газовой духовке, а Нонна, перекочевав на кухню, смотрела на всю эту суматоху с одобрительной улыбкой. Видно было, что она соскучилась по такому ералашу: ведь когда она жила с Бахтияровым, ей были не в диковинку внезапные налеты гостей, радостные встречи по поводу удачи, внезапное появление друзей мужа среди ночи.

Алексей с грустью подумал, что никогда он не сможет отделить Нонну от Бахтиярова. Тогда Бахтияров ворвался в Ноннину жизнь, переделал ее по-своему и сейчас, мертвый, продолжает присутствовать.

В час ночи Аннушка властно произнесла:

— Прошу к столу!

К столу проследовали целой процессией: Коваль нес на вытянутых руках блюдо с селедкой, украшенной по всем правилам хорошего тона крупно нарезанным луком; Алексей, которому никакое шутовство не шло к лицу, небрежно тащил поднос, на котором горой высилась запеченная картошка; Ярослав звенел рюмками. Все говорили громко, возбужденно, как всегда говорят изголодавшиеся люди перед сытной едой, и было непонятно, как может при таком шуме спать Ярослав Маленький, в комнату которого мать ненадолго приоткрыла дверь, чтобы показать мальчика Нонне.

Уселись за стол, и Нонна только сейчас смогла по-настоящему рассмотреть свою школьную подругу.

За эти годы Аннушка похудела. Бледные губы, мягкие, размытых очертаний, очень выделялись на ее узеньком, большеглазом, оливково-смуглом лице. Одета она была все так же, как и в школьные годы,— плиссированная юбка и белая кофточка, маникюр она не делала, и ногти были коротко, по-детски острижены.

Чудаков, заметив, что Нонна рассматривает его жену, пошутил:

— Не разглядывайте ее, Нонночка. Все знают, что у каждой женщины есть скелет, но у Аннушки он виден и без рентгена. Это она из-за Алешки сохнет. Мучается, что он до сих пор не женат.

Аннушка сердито взглянула на мужа, и он торопливо принялся разливать вино. А сама Аннушка подсела к Нонне и начала расспрашивать ее о работе. Алексей неловко отхлебнул из рюмки и закашлялся.

К счастью, кто-то позвонил по телефону. Чудаков дотянулся до трубки, послушал, воскликнул:

— Конечно, конечно! Мы все будем очень рады! Только что приступаем! Приезжайте обязательно!

Он положил трубку на рычаг, обвел всех удивленным взглядом, поднял палец и сказал шепотом:

— Внимание! Сейчас приедет Михаил Борисович!

Увидев всеобщее изумление, засмеялся:

— Во всем виновата Нонна. Михаил Борисович ждал-ждал ее и догадался, что мы застряли за праздничным столом. Просите ее, чтобы защитила нас от разгрома!

Аннушка погрозила Алексею, который взялся было снова за недопитую рюмку, и побежала на кухню за новым прибором.

Нонна забеспокоилась:

— Может быть, мне съездить за папой?

— Нет, он сказал, что возьмет такси.

Нонна приняла безучастный вид и стала разглядывать квартиру.

Разглядывала и думала об Алексее.

Она знала, что Алексей получил квартиру одновременно с Чудаковым в том же доме— Аннушка сказала,— значит, квартиры у них близнецы. Только у Алексея одна комната, а у Чудаковых — две. Значит, и там такие же низкие потолки неопределенного сиренево-белого тона, такие же неясные, серые обои, так же свисают с потолка три лампы на разной длины шнурках, закрытые целлофановыми цилиндрами. Обеденные столы в таких квартирах, покрытые ярким пластиком, обычно стоят на кухне, в близком соседстве с белыми шкафчиками для посуды и продуктов, холодильником и газовой плитой. Аннушка устроила свой «прием» в кабинете Чудакова, где обеденный стол почти вплотную приставлен к письменному, а о том, что тут живет и работает ученый, свидетельствуют только незастекленные стеллажи с непонятными книгами. А почему у окна стоит верстак, трудно даже догадаться. Ах да, Чудаков — экспериментатор, он должен сам придумывать и создавать приборы, с которыми ему приходится работать, или, во всяком случае, хоть модели этих приборов. У Алексея, наверно, только книги...

И хотя с Бахтияровым ей пришлось жить в примитивном финском домике, где было, пожалуй, и хуже, чем здесь, она пожалела Алексея: наверно, скучно жить в такой клетке с низкими потолками, засыпать и просыпаться всегда одному, сидеть за столом одному... Может быть, именно поэтому он и провел почти все эти две недели в институте, даже спал, кажется, у себя в клетушке на четвертом этаже...

Она вдруг пожелала Алексею жену такую же добрую и бесхитростную, как Аннушка, но неожиданно поймала его взгляд и смутилась. Он смотрел на Нонну недоверчиво, как будто проник в ее мысли.

Коваль взял гитару, чуть тронул струны. Алексей внезапно оживился, попросил:

— Валя, «Поле», пожалуйста!

Аннушка, вернувшаяся из кухни с посудой и столовым прибором, тотчас потребовала свое:

— «Троллейбус», Валечка, «Троллейбус»!

Нонна с улыбкой глядела на широкоплечего, рыжеволосого, веснушчатого великана,

ожидая, чем кончится этот спор. Но решил его Чудаков.

— Валентин, «Поле»! — лаконично сказал он.

И Валентин, покорно кивнув, начал сдержанным, но сильным голосом:

Ах, поле, поле, поле,
Ах, поле!
Что растет на поле?
Растет трава, не боле,
Растет трава, не боле,
Растет трава, не боле.

Коваль пел негромко, как бы проговаривая слова, но голос у него был мощный, драматический баритон, и от этого каждое слово песни становилось все тревожнее и тревожнее, хотя, казалось бы, бесконечные повторы могли навеять только тоску.

А кто идет по полю?
Кто идет по полю?
Идут по полю люди
С примкнутыми штыками...

Валентин небрежно и ловко держал гитару в длинных веснушчатых руках, и она сама, казалось, выговаривала нужные слова.

Аннушка погасила верхний свет и набросила платок на стоявший в углу торшер. И у Нонны сразу даже настроение изменилось, как будто ей предстояло пройти по этому полю, на котором уже лежали мертвые люди...

Михаил Борисович приехал, когда все пели,— кроме Нонны, она не знала слов — другую песню, полную лихой силы. Аннушка впустила Михаила Борисовича, тот вошел, помахал рукой, чтобы продолжали, и присел в уголок. Никогда Нонна не замечала за отцом такой скромности, он любил держаться на переднем плане, а тут словно подчеркивал, что он как все.

После песни сделали перерыв, включили верхний свет, и все вернулись к столу.

Михаил Борисович произнес тост за блестящий успех молодых ученых. Ответил ему Алексей. Потом что-то промямлил Коваль. И опять Нонну удивило: отец, обычно еле притрагивавшийся к рюмке, тут пил наравне со всеми, шутил, шумел, требовал, чтобы Чудаков произнес тост.

Чудаков, уже опрокинувший три или четыре рюмки, отодвинул стул от стола, усмехнувшись, произнес: «В вашу честь, Михаил Борисович!» — взялся одной рукой за спинку стула, другой — за сиденье и вдруг встал на стуле на голову. Нонна испугалась было, что он грохнется прямо на стол, но Аннушка сидела спокойно, видно было, что ей не привыкать.

Постояв на голове, Чудаков встал на ноги, придвинул стул обратно и спокойно налил новую рюмку.

— Видали чудика?— спросил Алексей Нонну.

Коваль нежно улыбался.

Все здесь — поняла Нонна — привыкли к чудачествам Ярослава и любили его, что бы он ни выкинул. Наверно, вот так встать на голову он мог и в лаборатории при удачном окончании опыта, конечно, при «своих». Но коллектив обожал своего начальника, а такие «штучки» только забавляли. И Нонна вдруг подумала, что именно с этими людьми ей хочется работать.

Аннушка включила магнитофон. Стол отодвинули в угол, и Аннушка потащила мужа танцевать твист. Алексей сварил кофе по какому-то одному ему известному способу, и кофе действительно показался необыкновенно вкусным. Нонна вдруг обратила внимание на то, что в этой компании каждый умел делать что-то неповторимое, особенное. Алексей был королем кофе. Аннушка в своей вьющейся вокруг ног широкой юбке и белой кофточке, плотно облегающей ее фигурку, отплясывала твист, а Чудаков лениво изображал пресыщенного танцора, которого вовлекала и не могла вовлечь в свою игру Аннушка.

Было неожиданно, что именно Аннушка оказалась королевой твиста. Но так, наверно, и должно было получиться. Худенькая ее фигурка оказалась очень гибкой, а толстые, мягкие губы выглядели совсем негритянскими, и в глазах появился бешеный огонек, от которого каждому становилось тревожно на душе.

Потом Чудаков показывал карточные фокусы и с необыкновенной ловкостью угадывал задуманные зрителями карты. Даже Михаил Борисович тряхнул стариной и принялся гадать всем подряд на кофейной гуще, да так умело, будто и на самом деле изучил всю «черную магию».

И Нонне показалось, что давно уж ей не было так весело. У каждого из присутствующих здесь был свой «конек», но, пожалуй, оседланный получше, чем «коньки» приятелей отца.

Ну, а сама-то она?

Если б она спросила Алексея об этом, он сказал бы, что в ее присутствии Коваль пел лучше, чем обычно, Чудаков показывал свои фокусы с особым блеском, Аннушка танцевала с необыкновенным талантом. Самому Алексею его кофе удался, как никогда. Просто у Нонны была способность все освещать и катализировать одним своим присутствием...

Но сама Нонна не догадывалась об этом и потому внезапно погрустнела. Михаил Борисович, взглянув на дочь, вдруг заторопился:

— Ну, друзья мои, нам пора домой...

Аннушка еще пыталась уговорить его, но Нонна уже поднялась.

Выждав, когда Аннушка и Нонна вышли из комнаты, Михаил Борисович сказал:

— Вот что, молодые люди, я позвонил Ивану Александровичу и рассказал о вашем успехе. Иван Александрович поздравляет вас, но в то же время и торопит. Снимки аннигилирующих анти-ро-мезонов уже проявлены, я спрашивал у фотолаборантов, когда собрался к вам. Больше всего с ро-мезонами занимались в Дубне. Следовательно, у них могут быть снимки неучтенных аннигиляций. Надо немедленно взять наши фотографии зафиксированных звезд и завтра же поехать в Дубну. Завтра воскресенье, институт не работает, но обратитесь там к Сергею Григорьевичу Тропинину, он выдаст необходимый материал. Академик настаивает, чтобы уже в понедельник этот материал был сгруппирован у нас. Если, конечно, у них в фотоснимках найдется что-то подобное.

— К чему такая торопливость, Михаил Борисович? — сердито сказал Чудаков.— Мы же не спали несколько ночей! И на чем ехать? На поезде? Завтра поезда будут перегружены...

— Я дам свою машину! — непреклонно сказал Красов.

Нонна, появившаяся в дверях уже в плаще, добавила:

— А я с удовольствием повезу вас в Дубну.

Чудаков переглянулся с Ковалем. На Алексея они не смотрели. Тогда Алексей тихо сказал:

— Хорошо, я поеду в Дубну.

Продолжение следует.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ:

Мир не без добрых людей

Машину вела Нонна, и это раздражало Алексея, словно он оказался в зависимости от нее. Или показал себя слабым человеком. А он, и верно, слабоват. Дважды записывался на шоферские курсы, да так и не окончил: все что-нибудь мешало...

Он сидел рядом с Нонной и хмуро смотрел на летящее под колеса матово-черное шоссе. В поле зрения надоедливо попадал болтающийся на нейлоновой нитке негритенок в алой юбочке — автомобильный амулет, очевидно, подарок очередного Нонниного поклонника. Разговаривать Алексею не хотелось.

В общем-то он сам согласился поехать в Дубну. Но теперь ему подумалось, что вокруг него и Нонны складывается какой-то заговор. А кому приятно быть в центре заговора и не понимать его?

Нонна тоже не разговаривала. А может, мешали встречные машины. Шоссе было узкое, и до самого Дмитрова навстречу все время шли грузовики, а сзади подпирал поток легковых — москвичи ехали за город: на прогулку, в лес, на дачу.

Машину Нонна вела с профессиональным шиком. Она вообще все делала хорошо, и это тоже раздражало Алексея, словно врожденная талантливость Нонны отдаляла ее от него.

Он изредка взглядывал на маленькие, очень красивые руки с отполированными малиновыми ногтями, цепко лежащие на руле, видел ее профиль, косо отчеркнутый волной рыжевато-золотистых волос, летящую к виску нервную бровь, неожиданно грустный глаз в тяжелых от туши ресницах.

«Интересно, как она с такими ногтями стирала Бахтиярову белье там, на стройке? — раздраженно подумал Алексей.— Непонятная женщина! Хотя вряд ли она занималась подобными делами, конечно, эти скучные подробности жизни она передала кому-нибудь другому... Нет, мне не нужна такая женщина,— с неожиданной яростью решил он,— все в ней мне чуждо!»

Нонна повернула к нему лицо и вдруг улыбнулась. Улыбка у нее была простодушная, грустная.

— Почему вы молчите, Алеша?

Они только что миновали наконец Дмитров, и теперь машина шла по шоссе над каналом. Ползущие по каналу к Волге и от Волги суда оказались внизу, почти под колесами машины. Шествие грузовиков прекратилось, сзади тоже не осталось ни одного автомобиля. Так далеко дачники не выезжали.

— Я думаю о том, что никогда по-настоящему не понимал вас,— ответил Алексей нечаянно для себя.

— Даже когда вы меня любили? — спросила Нонна просто.

Алексей быстро взглянул на нее. Лицо Нонны было спокойно.

— Даже тогда! — Алексей постарался сказать это как можно тверже.— Но больше всего меня удивило, как вы могли выдержать жизнь с Бахтияровым. Просто не могу представить это ваше постоянное одиночество. Все говорили, что Бахтияров в работе — зверь, что он по неделям не вылезал из подвалов реактора. По моим представлениям, вы должны были убежать оттуда через неделю...

— А вот ведь не убежала! — улыбнувшись, сказала Нонна.

Она искоса взглянула на его упрямое, резкое лицо. «А сам-то ты, милый человек, будешь ли считаться с женщиной, как бы ты ее ни любил? Ты ведь тоже умеешь торчать неделями в своих подвалах, в своей «преисподней», за своим столом, отгораживаться от мира частоколом мыслей, стараясь этому миру помочь, но требуя, чтобы мир тебе не мешал... И если твоя женщина окажется слабой, она убежит от тебя...»,— подумалось ей.

Она сознательно не хотела сказать, как радовалась победам мужа, как праздновала вместе с ним самый маленький успех, как скрывала от него свой страх, когда приходили серии неудач,— почему-то неудачи всегда приходят сериями, а удачи так редки! Это было ее личное, спрятанное в памяти, как прятала она от всех того Бахтиярова, которого знала она одна: человека, которым вдруг могло овладеть отчаяние, и тогда она, Нонна, неожиданно чувствовала себя старше его на десять лет, и искала, и находила какие-то такие слова, что Бахтияров снова вспыхивал ровным, светлым огнем вдохновения. Все другие видели в нем только огонь, сомнения видела лишь она. Но обо всем этом она не хотела говорить.

— И еще одного не понимаю,— сказал Алексей,— почему вы вдруг занялись наукой?

— А это тоже Бахтияров! — сказала Нонна, не скрывая грусти.

«Опять Бахтияров, всегда Бахтияров!» — с горечью подумал Алексей.

Они снова замолчали. Дорога пошла с крутыми поворотами, негритенок перед глазами Алексея болтался, как сумасшедший.

Первый раз Алексей был наедине с Нонной после того далекого вечера, когда она разрушила все его надежды.

Да, она стала совсем другой. Лицо у нее похудело, на щеках нет румянца. И у губ усталые складки. Он вспомнил, что теперь по утрам Нонна выглядела лучше, чем к вечеру, когда кончалась работа. У нее появлялись круги под глазами, а кожа на лице, еще молочно-белая, начинала светиться утомлением, сквозь нее проступала какая-то сероватость, еще легкая, но уже заметная. Вот и сейчас вид у Нонны после вчерашней шумной ночи далеко не блестящий.

Впервые Нонна оказалась так близко от него. На виражах плечо Алексея касалось ее теплого плеча, обтянутого мягкой кожей щегольской шоферской куртки. Лицо Нонны стало грустным, и Алексею захотелось взять ее руку, погладить и сказать какое-то ласковое слово, но память о прошлом мешала...

В тот последний вечер, много лет назад, когда Нонна начисто лишила его всякой надежды, шел дождь. Капли монотонно стучали по подоконнику раскрытого окна, и с улицы пахло сыростью, словно в комнату вползал туман. Были сумерки, но свет Нонна не зажгла. Может быть, так ей легче было говорить, хотя она вовсе не чувствовала себя виноватой или огорченной. Она спокойно смотрела на Алексея, как тот сидел на тахте, судорожно комкая в потных руках носовой платок, не в силах подняться и уйти.

...«Стоп! — сказал себе Алексей.— Так дело не пойдет. Ты поехал не по той дороге!»

— Я знаю, вы так и не сумели меня простить, Алеша,— мягко сказала Нонна.

— Зачем сейчас об этом? — Голос Алексея прозвучал непозволительно грубо.

— Извините.

— Я вижу, что вы ведете какую-то игру со мной, но не понимаю ее смысла...— Лицо Алексея ожесточилось, профиль стал еще резче.— Не надо, Нонна, юность не повторяется!

Сказал и выругал себя. Это же неправда. Все повторяется, все! Что бы иначе заставило тебя ехать сегодня с ней? А не лжешь ли ты сам себе?

Больше они не разговаривали. Вот уже и Волга, а вот и Дубна — город физиков...

Это был аккуратный маленький городок, на улицах которого остался дикий лес и чисто зеленела трава, а за причудливыми заборами стояли двухэтажные коттеджи, в которых жили научные сотрудники Объединенного ядерного института. Впрочем, они жили не только в коттеджах,— за приречной улицей виднелись и другие улицы, застроенные высокими домами, откуда-то доносились паровозные гудки, город раскидывался вширь, и становилось все яснее, что наука, которой тут занимались, давно получила полное признание.

В городе пахло Волгой и соснами, и запах этот сразу наполнил машину, словно Нонна и Алексей приехали сюда совсем не по делам, а на пикник.

Было воскресенье, и по улицам шли дубнинцы — молодые физики в очках-светофильтрах, в пестрых летних рубашках. Они катили коляски с младенцами или несли «авоськи» с продуктами и похожими на маленькие луны апельсинами. Их сопровождали молодые длинноногие жены с пышно взбитыми волосами, в ярких платьях, и шли они с мужьями под руку, будто все тут были молодоженами.

На улицах слышался смех, дружеские восклицания, а с теннисных кортов доносились удары мячей, слышались команды тренеров, еще дальше гудел отбиваемый волейбольный мяч, а где-то за воротами сухо стучали мячики пинг-понга.

Нонна и Алексей проехали мимо афиш на стендах, возвещавших населению, что сегодня в Доме ученых состоятся танцы, а в Доме культуры идет кинофильм «Родная кровь».

Продолжение. См. «Огонек» №№ 10—16.

Николай АСАНОВ

СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ
С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ

Богиня

Рисунок П. Пинкисевича.

Показалась небольшая белая гостиница, а дальше, у берега Волги,— новое, яркое, современное здание — геометрические легкие линии и много стекла, красный и зеленый цвета,— отель «Дубна», поворот направо, еще один дом — и резкий скрежет тормозов: «Приехали!»

На скрип тормозов из окна выглянула жена Тропинина. Увидав Нонну и Алексея, вылезавших из машины, захлопала, как девочка, в ладоши, исчезла и тут же выбежала из двери.

— Вы к нам? Вот чудесно! А мой сумасшедший убежал кататься на лыжах.

— Какие лыжи? — растерянно спросил Алексей.

— Ах, боже мой, водные, конечно! Вы разве не знаете, что он тут целое общество организовал? Чует мое сердце, сломает он себе шею на этих лыжах! Пойдемте, я провожу вас. Машину можно оставить прямо под окном. У нас не угоняют...— И все это быстро, как из пулемета, и было видно, что она совсем не боится за мужа, а, наоборот, гордится им, как гордится и своим городом, и своим домом, и всем этим окружающим их миром.

— Одну минуту, я захвачу купальник,— сказала Нонна и принялась открывать багажник.

«Да она действительно приехала на пикник! — с досадой подумал Алексей.— А я, дурак, думал, что ее занимает наше дело...»

Теперь он понимал, что эта женщина — подруга Нонны, а Сергей Григорьевич,— друг Нонны и Михаила Борисовича, и они с удовольствием будут купаться, болтать о чем угодно, только не о делах Алексея, и досадовал, что ввязался в поездку.

Женщина — Алексей вспомнил, что ее зовут Надеждой,— взглянула на его хмурое лицо, воскликнула:

— Погодите! — и исчезла в доме. Она все делала быстро, решительно, и минуты не прошло, как она опять появилась со свертком и сунула его Алексею.

— Что это? — спросил он.

— Сережкины плавки. Не волнуйтесь, новые. Вы-то за вашими ро-мезонами, наверно, и забыли, что здесь Волга! — И, посмеиваясь, схватила Нонну под руку и пошла вперед так быстро, энергично, словно и не умела гулять, только бегала.

Алексей поневоле поплелся за ними. Оставшись позади, он все-таки приоткрыл сверток. Плавки были шерстяные, красные, с голубой каймой, и он вдруг на все махнул рукой, посмеиваясь и над собой и над поручением: «А, черт с ним, хоть выкупаюсь! Когда еще я выберусь на Волгу...»

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ:

А что делать с недобрыми?

Тропинин появился, как морской бог. Сначала показался маленький белый глиссер, летевший в бурунах и водной пыли, а далеко за ним на серо-синей волне стоял по лодыжки в воде загорелый до черноты человек и летел вместе с волной так быстро, что казалось, не он передвигается по воде, а берега, и люди на эспланаде над рекой, и купающиеся внизу, в серой реке, стремительно мчатся назад, приветствуя этого необыкновенного бегуна.

Алексей увидел в руках Тропинина конец длинного троса, а в кипящей воде рассмотрел водную лыжу, одну — дополнительное лихачество,— на которой Тропинин стоял обеими ногами. Нос этого странного сооружения то высовывался из воды, то пропадал под нею, и тогда Тропинин резко выгибался, стараясь сохранить равновесие. Так он промчался мимо оживленной толпы, мимо Алексея, Нонны и своей жены, но Надежда что-то крикнула ему, а он — вот странно! — как видно, услышал сквозь рокот мотора, плеск волн ее голос, потому что резко махнул рукой мотористу и одинокому пассажиру на катере, сидевшему лицом к Тропинину. Затем Тропинин отпустил конец буксира, сделал неуловимое движение натренированным телом, и лыжа понесла его к берегу. Она еще долго летела по волнам, гонимая инерцией, но потом стала медленно погружаться, и Тропинин спрыгнул с нее, ласточкой нырнул в воду, поплыл, и теперь лыжа последовала за ним — он волок ее на прикрепленном к поясу коротком шнурке. У берега Тропинин стал на дно, вытолкнул лыжу на песок и, осыпанный брызгами, поднялся на бетонную эспланаду.

— А, гости приехали! — весело воскликнул он.

Он и в самом деле походил на полубога, стройный, с крутыми плечами, узкими бедрами. Он протянул мокрую руку Нонне, Алексею, оглянулся на реку, где резко разворачивался катер, на подбегавших к нему молодых людей в плавках и коротко сказал:

— Габор, ваша очередь!

Молодой венгр, такой же широкоплечий, как и Тропинин, но куда выше ростом,— этот на лыжах, наверно, уж похож на бога! — сбежал к реке, установил лыжу и ждал теперь катера, чтобы поймать брошенный с него конец и унестись в таком же стремительном водном полете.

Нонна и жена Тропинина пошли в кабину переодеваться, а хозяин, весело глядя на Алексея живыми, в золотых искрах глазами, спросил вызывающе:

— А что же вы?

— Я, собственно, по делу...— неловко сказал Алексей, оглядываясь, куда бы сесть, чтобы поговорить о своем деле. Было как-то странно разговаривать о делах с полуголым человеком. Но в чужой монастырь со своим уставом не ходят — и Алексей, вздохнув, направился к скамье.

Всю веселость словно смыло с лица Тропинина. Он устало присел рядом с гостем, спросил:

— А другого дня, кроме воскресенья, вы для своих дел не могли выбрать? Мы только вчера закончили эксперимент, продолжавшийся два с половиной месяца...

— Мы тоже сидели все это время в своей конюшне! — начиная сердиться и на себя и на Тропинина, хмуро сказал Алексей.— А теперь нам надо проверить, нет ли в ваших снимках аналогичных явлений.

— Все еще мудрите со своими мезонами?

— Вы ведь тоже ничего нового не открыли...

Эта хмурая пикировка честно определяла отношения между двумя институтами Если руководители лабораторий интересовались параллельными темами, невольно вступало в силу соперничество. А уж оно распространялось на всех сотрудников, начиная от директора, кончая лаборантом, а то и вахтером... Тропинин невольно усмехнулся, сказал:

— Не будем ссориться! Вон идут наши дамы.

Надежда и Нонна, уже в купальниках, одна в черном, другая в зеленом, подошли к мужчинам. Надежда была смуглая, такая же загорелая, как и Тропинин. Но и Нонна тоже успела где-то немножко загореть. Во всяком случае, зимний бледно-голубой оттенок она утратила. Глядя на Тропинина со смущенным вызовом, словно страшась и не желая показать свой страх, она спросила:

— Сережа, поставишь меня на лыжи?

Тропинин посмотрел на нее, потом перевел взгляд на Алексея и насмешливо сказал:

— Тебя — нет, а вот Алексея Фаддеевича — с удовольствием!

— Я не настаиваю! — неловко ответил Алексей.

— А что, это идея! — с усмешкой продолжал Тропинин.— Если вы удержитесь рядом со мной на лыжах, я немедленно вернусь в лабораторию! И мало того — вызову всех своих лаборантов на помощь вам. Согласны?

— Нечестно! Нечестно! — закричала Надежда.— Ты стоишь лучше всех! Не соглашайтесь, Алексей Фаддеевич!

В глазах Нонны Алексей заметил испуг, но она промолчала.

Алексеем вдруг овладела веселая злость. Он понимал: Тропинину просто приятно посмеяться над ним. Тропинин знает его таким, каким Алексей был в институте: неловким, болезненным. И Нонна помнит его таким, потому и боится. А Тропинин откровенно издевается. Кто знает, почему Тропинин издевается? Может быть, у него не удался опыт, за которым они сидели два с половиной месяца? Может быть, он, руководитель одной из самых крупных лабораторий, сейчас просто завидует Алексею — младшему сотруднику другого института, которому пока что опыты удаются? Всем известно, что Тропинин только для того, чтобы стать руководителем лаборатории, отдал на растерзание разным административным деятелям института пять или шесть своих работ. Он включал в соавторы кого угодно, лишь бы «соавтор» мог подтолкнуть его поближе к месту под солнцем, куда Тропинин так стремился. А теперь злится на себя за свою мелочность, которая для ученого просто неприлична...

— Ну, как, Алексей Фаддеевич?—с той же усмешкой снова спросил Тропинин.— Или вы предпочитаете сражаться в подвальных комнатах вашего института? Говорят, вы там нашего Кроху совсем затюкали...

«Вот когда ты проговорился! — уже без всякого веселья, с чистой злостью подумал Алексей.— Значит, тебе не безразлично, что мы, молодые, как ты считаешь, неоперившиеся, пытаемся уничтожить ту самую несправедливость, с которой ты примирился?» И, не давая Тропинину взять назад нелепое предложение, быстро сказал:

— Я согласен!

Тропинин вдруг нахмурился, на лице его проступило удивление. Он никак не ожидал, что этот «мифизик» — так полупрезрительно именовали работников московского института другие физики — рискнет согласиться. Меж тем за их спинами уже собирались молодые спортсмены. Они слышали вызов Тропинина и согласие «мифизика» и если и не знали, что ставится на пари — бутылка коньяку или рабочая ночь,— то само пари их явно забавляло: с Тропининым боялись соревноваться лучшие водные лыжники. А тут тютя, бледнолицый простофиля, идет на верное поражение! И действительно, Алексей рядом с Тропининым

выглядел бледно. Особенно когда за его спиной зашептались:

— Он свернется в воду через три секунды! Ребята, готовьтесь вытаскивать утопленника! Сашка, подгони спасательную лодку поближе! Кто хочет получить медаль за спасение утопающих?

— Вы хоть плавать-то умеете? — насмешливо спросил рыжий парень в плавках, изукрашенных золотыми рыбками.

— Научусь, когда стану тонуть! — сварливо ответил Алексей.

Сейчас он готов был хоть утонуть.

Но издевательская мысль о том, что его соперник, да и все эти насмешники ничего не знают о той «школе физического здоровья», которую заставила его пройти Вера, тоже гнездилась в голове. Что такое, в сущности, водные лыжи? Это же не слалом. Ну, сбросит на повороте, окунешься в воду, и только. Разве что растеряешься и не успеешь вовремя отпустить веревку. Тогда, конечно, тебя утащит прямо на дно. Но опять-таки там-то ты веревку наверняка выпустишь из рук. Ну, нахлебаешься воды, и только. Плавать-то ты умеешь! А уж если тебя сумели сделать даже слаломистом, так за удовольствие посмотреть на удивленные физиономии Нонны и Тропинина можно заплатить падением в воду.

Он был рад тому, что Нонна молчала. Может быть, она думала, что все это шутка и если не вмешиваться, то кончится она тут же, на берегу. Надежда посмеивалась, но Алексей видел в ее глазах тревогу. Она знала неуемный характер мужа, но знала и то, что он должен сам остановиться. А если не остановится? «Загонит он тебя, бедняга!» — вот что читал Алексей в ее глазах.

Между тем Габор почти так же ловко, как и Тропинин, закончил свой забег и подплыл к берегу. Он выволок лыжу на берег и стоял у кромки воды, ожидая следующего спортсмена. До него уже долетели обрывки спора, и он с сожалением посматривал на бледного, худого горожанина. Алексей в этой толпе рослых, загорелых людей в одних плавках и в костюме-то выглядел ощипанным цыпленком.

Вдруг Алексей ощутил в руке сверток и вспомнил, что это дар гостеприимной хозяйки. Ничего не скажешь, пригодился! Усмехнувшись в лицо Тропинину, он сказал:

— Пойду переоденусь.

Пока он переодевался в будке, галдеж на берегу усилился. Он слышал возмущенный голос Надежды, уговаривавшей мужа. Потом заговорили спортсмены. Тропинин резко ответил:

— Ничего страшного! Пусть выкупается! Я не обязан работать по воскресеньям! А если ему нужна моя помощь, пусть и сам поработает для нашего удовольствия.

Венгр Габор — Алексей узнал его по ломаному выговору — сказал:

— Не спортивно, Сергей Григорьевич!

Тропинин жестко ответил:

— Я не навязывался. Он мог и отказаться! Что он, шуток не понимает?

Габор сказал:

— Я пойду страховать его слева. Ласло пойдет справа. Надо вызвать еще два глиссера.

— Может, пригласить сюда всю черноморскую эскадру? — насмешливо спросил кто-то из друзей Тропинина.

Нонна молчала. Скажи она хоть одно слово, Алексей, наверно, бы взорвался. Но она молчит. Она как бы отсутствует. Вероятно, Нонне неловко и за Тропинина и за него, Алексея. Если бы она знала, каким шутовством окончится поездка, она бы, наверно, отказалась ехать еще вчера.

Алексей вышел из кабины. Белокожий, еще ни разу за всю весну не лежавший под солнцем, он был разительно отличен от всех этих веселых, загорелых людей. Он казался слабым, тщедушным, болезненно-белым. Но Габор прежде всего окинул внимательным взглядом его руки и ноги. И вдруг тихонько цокнул языком. И Алексей нечаянно почувствовал друга.

— Ну-с, покажите мне орудие казни! — насмешливо попросил он.

Он видел, что Тропинину неловко. Ничего, Сергей Григорьевич, ешьте кашку, если уж вы ее заварили!

Все гурьбой спустились к воде: нетерпеливые, жаждущие посрамления конкурента,— вприпрыжку, Алексей — спокойно, Тропинин с жестким лицом — позади всех.

Алексей рассматривал лыжи.

Все-таки ему оказали снисхождение — принесли две лыжи. Тропинин довольствовался одной. Кто-то из помощников Тропинина побежал на стоянку глиссеров, там застучали моторы.

Ну что ж, лыжи как лыжи. Короткие, к концу сужены. Под лыжей — киль, начинается от того места, где стоит крепление для ноги, ровным изгибом до конца лыжи,— понятно, для остойчивости. Крепление мягкое, нога входит в проем, можно подтянуть пожестче, чтобы лыжи не вырвались из-под ног. Глиссер-то берет сразу с большой скоростью. Но это тебе не горные лыжи, на которых упасть — так можно и ногу сломать. Тут оттолкнешься — и падай в воду, если тебе угодно.

Буксир. Нейлоновый шнур на конце раздваивается, привязан к палке. Берешься двумя руками и попробуй удержаться, когда глиссер потащит тебя со скоростью двадцати или тридцати километров. Ежели, конечно, удержишься.

Но уж если упал, так плыви к берегу, а не хочешь плыть — хватайся за эту самую лыжу, она непотопляемое сооружение, глядишь, и подберут.

Тропинин распоряжался холодным, недовольным голосом. Ему было уже стыдно за свою вспышку. И на черта ему это состязание? Ну, отказался бы работать в выходной, и все! Или послал этого «исследователя» к профессору Богатыреву,— может, они нашли бы общий язык. Богатырев тоже из таких вот «правдоискателей». Все эти новоявленные святые — неудачники. А там, где неудачники собираются купно, разговоров хватает. Может быть, Богатырев и просидел бы весь этот день и ночь, чтобы помочь своему духовному родичу...

Да, неловко и нескладно получилось. И зачем этот Алексей — «божий человек» согласился на такой риск? Конечно, когда кошка нападает на воробья, тот становится чем-то похож на орленка. Но этот-то разве орел?

Габор со своим приятелем Ласло инструктировали Алексея. Но так как оба владели русским плохо и больше жестикулировали, то Алексей понимал их с трудом. Однако он уяснил, что «секунданты» добились для него послабления: оба лыжника пойдут с причала, с берега ходят только опытные.

Дощатый причал немного вдавался в воду. Алексей посмотрел, как Тропинин уселся на край причала, как он проверил крепление и опустил свою лыжу в воду, и сам повторил весь этот ритуал. Вода была теплая. Хоть это хорошо.

Подошли глиссеры. Тропинин ловко поймал брошенный ему конец. За Алексея это проделал Габор и передал в его руки палку. Глиссеры пофыркивали, держась на месте. Алексей примерился к палке. Пока все просто; не просто, как он понял из объяснений Габора,— уловить момент, когда глисер двинется, и соскользнуть с причала, сразу становясь на тонущие лыжи. Тут надо суметь откинуться корпусом назад, посылая эти тонущие под тяжестью тела лыжи вперед, а потом уж они выйдут на поверхность... Если, конечно, они выйдут, а не зароются в воду от неловкого движения.

Подошел третий глиссер, за которым должен был идти Габор, чтобы страховать Алексея. Это — Алексей понял,— чтобы он не утонул.

Но вот моторы заработали сильнее, веревка напряглась, кто-то резким голосом скомандовал: «Пошел!» — и Алексей почувствовал, как его сдернуло с причала. Он вдруг понял, что вода может быть твердой и упругой, как металл, а он только старался не упустить лыжи из-под ног, и они несли его ставшее легким тело, только посвистывала, вспениваясь, вода...

Он только один раз успел посмотреть на Габора. Габор держался надменно, словно Тропинин нанес обиду лично ему, и казалось, что он почти не касается воды,— летит по воздуху. Но Алексей понял, что Габор все время следит за ним, за его тросиком, за его лыжами, которые постепенно оживали, становились похожими на скользящих рыб,— вот-вот вывернутся из-под ног, и тогда Алексей свалится в воду.

Один раз он посмотрел на Тропинина, шедшего слева. Это удалось на повороте, иначе Алексей нипочем не осмелился бы отвлечься от своих лыж и тросика. Тропинин опять летел, как водяной бог, но на этот раз какое-то презрение к самому себе угадывалось в его хмуром лице. Алексей даже подумал: Тропинин раскаивается, он предложил слишком неравные условия игры. Примерно такие же, какие предлагал им Михаил Борисович Красов, когда советовал включить в список соавторов Кроху. Михаил Борисович играл наверняка. Он знал, что им надоест вечно оставаться младшими научными сотрудниками и они махнут рукой на все: Кроха так Кроха, все равно кто-нибудь навяжется!

Он не успел как следует продумать эту мысль: в воде что-то произошло, она стала горбатой, лыжи летели словно по выбоинам и рытвинам, как будто Алексея без подготовки поставили на слаломную трас-

су — крутись, вывертывайся, владей не только ногами, но и всем телом! Он еле успел рассмотреть, как человек на глиссере, что сидел лицом к нему, начал подавать какие-то сигналы, и, увидев полоску совсем черной воды, подумал: «Как на море во время шторма»... Тут катер резко взял вправо, Алексей выгнулся всем телом влево, чтобы его не сбросило в воду, берег, отстоявший где-то далеко позади, вдруг снова приблизился, в спину ударил ветер. Он был холодный и мгновенно остужал мокрое, все в брызгах тело, затем катер еще прибавил

Слова эти, произнесенные страстно и уверенно, словно подхлестнули Алексея. Он с усмешкой покачал головой: «Нет, нет, нет!» — и только половчее перехватил свою палку. Теперь он внезапно стал все видеть: берег, мимо которого они летели, Нонну в зеленом купальнике, стоявшую у самой воды с протянутой к катеру рукой, Надежду, махавшую платком мужу и что-то кричавшую, настороженную и теперь молчаливую толпу спортсменов, — и снова все это исчезло. Габор, подобравшийся еще ближе, крикнул: «Ждит поворот возле каналь!» — заорал командирским голосом: — Отпускайт! Я приказываль! — и ударил локтем по руке Алексея. — Есть время! Пошель! — И Алексей помимо воли расслабил затекшие руки, трос скользнул, присвистнув, извиваясь, словно змея, и исчез, а тело постепенно становилось все тяжелее и грузнее, вот уже лыжи перестали держать Алексея, они уходят из-под ног в воду, и Алексей косо плюхнулся в волну, она холодна и мутна, но до берега так недалеко, что можно не торопиться.

У берега его догнал тоже отцепившийся

ход, и Габор, закричав: «Неправильно!» — вдруг исчез, словно провалился под воду вместе со своими лыжами. А когда Алексей успел уравновесить тело и сумел оглянуться, Габор почти лежал, откинувшись навзничь и показывая кулак мотористу. Но вот он выпрямился после этого коварного поворота и с усталым, посеревшим от внезапного холода лицом поравнялся с Алексеем, что-то крича, показывая одной рукой на берег. Потом, досадуя, что Алексей не слышит его за рокотом мотора и свистом ветра, начал быстро перебирать свой трос обеими руками, пытаясь подтянуться поближе, и вдруг произнес отчетливо и ясно:

— Отцепляйтс, Горачев, они вас утонут!

и затем приспустил немножко свой трос, чтобы не помешать Алексею на этом опасном повороте, и тут глиссер снова пошел в сторону, как взбесившийся конь, а Алексея опять понесло на вожжах через ямы и колдобины, так что судорожно напряглось все тело, по сердцу хлестнул страх, а ноги заплясали какой-то не очень ритмичный танец. На мгновение Алексей опять увидел лицо Тропинина, теперь уже просто злое...

И опять все полетело обратно, только теперь тут были домики, пароходы, лодки, рыбаки, и уже снова появился розово-голубой призрак отеля на берегу и мелколицая толпа, и опять Габор подобрался совсем близко и крикнул:

— Он играйт не по правильно! — и, ухватившись одной рукой за трос Алексея, Габор, выхватил из рук Алексея лыжи, закричал:

— В третий кабинк! Там мой полотенца! Сильно вытираться, гореть!

Алексей не обратил внимания на то, как молчаливо расступились перед ним загорелые молодые люди. Выбравшись на бровку эспланады, он оглянулся: далеко, на горизонте реки, упруго согнувшись, словно стальной клинок, скользнул лыжник. Вяло подумал: «А неплохая разрядка! Надо будет попробовать как-нибудь!» — но тут его внезапно качнуло, словно он слишком много выпил, и он с трудом различил сквозь наплывающую темноту цифру «3» на ближайшей кабине. Эта кабина избавила его от позора.

Продолжение следует.

Бог

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ:

И чужие идеи интересны

Алексей проследовал мимо толпы болельщиков в плавках и купальниках, провожаемый — он это отметил с удовольствием — сочувственными и даже удивленными взглядами. Итак, испытание выдержано...

Он через силу улыбнулся Надежде Тропининой, спокойно встретил внимательный взгляд Нонны, — хоть бы сказала что-нибудь вроде: «Молодец, Алеша!» — ведь не каменный же он, порой и ему нужно одобрение, — кивнул ей и произнес самым обычным тоном:

— Я, пожалуй, пойду к Богатыреву...

— Хотите, я пойду с вами, Алеша?

— Думаю, что это не нужно. Профессор начнет хлопотать об угощении. Два посетителя — это уже гости, а один — деловая встреча.

Она смирилась, и Алексей прошел мимо.

На краю эспланады он оглянулся. По реке опять летел водяной бог, но это уже был не Тропинин, — и ростом повыше, и движения не столь отточены.

И верно, Тропинин, уже одетый, шел навстречу. Смуглое лицо его побледнело.

— Простите, Алексей Фаддеевич, — сказал он. — Боюсь, что шутка оказалась слишком жестокой. Но вы выиграли. Пойдемте в лабораторию.

— Я пойду к Богатыреву! — сухо ответил Алексей.

Тропинин отступил с узкой бетонной дорожки в сторону, и Алексей медленно пошел к коттеджам приречной улицы.

Внезапно ему подумалось: «Это не было шуткой! Это было предупреждением! Вот так придется держаться долго, очень долго, может быть, всю жизнь. Всегда быть готовым к любым неожиданностям, рисковать всем: положением, работой, надеждами...» И понял: в любой борьбе он не отступит!

Алексей шел и все время как бы проверял себя: а выдержит ли эту навязываемую борьбу? И постепенно в нем вырастала маленькая гордость, что он не отказался сегодня от навязанного ему состязания. Ведь ему было легче бросить трос и плюхнуться в воду, а он стоял и стоял, хотя все мышцы болели и по сердцу хлестал страх. И спор с Тропининым не был шуткой. Просто Алексею захотелось проверить себя: а настоящий ли он человек? Никто этого, конечно, не понял, приняли за глупое мальчишество...

Впрочем, нет, кое-кто понял! Понял тот же Тропинин, и поняли молчаливые люди,

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 10—17.

Николай АСАНОВ

Имя Победы

СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

которые до этого готовы были кричать Тропинину: «Распни его!» — а потом вдруг присмирели, проводили его сочувственными и доброжелательными взглядами, как будто прочитали за тем видимым, что произошло у них на глазах, то невидимое, что толкнуло Тропинина на его поступок.

И вдруг на какое-то мгновение Алексея охватила усталость. Что они с Чудаковым затеяли? Против кого они идут? Нужна ли их борьба?

И снова по нервам хлестнули гордость и злость. Эту борьбу они ведут не для себя. Немало молодых, талантливых ученых в разных областях науки совершают открытия и остаются неизвестными. А под их работами, выстраданными кровью, бессонницей, усталостью мозга и сердца, ставят подписи равнодушие и пустое чванство.

Он вздохнул полной грудью, словно очнулся от тяжелого, расслабляющего сна. Ну, нет! Если Тропинин собирался показать ему, как он слаб для такой борьбы, то добился он совсем другого! Конечно, не раз еще к Алексею придут такие минуты слабости, но теперь он знает цену этим минутам и цену победы...

И, внезапно повеселев, подошел к дому Богатырева, готовый к любым новым неудачам и в то же время уверенный, что будут у него и удачи.

Конечно, Богатырева дома не оказалось. А на лужайке у дома стояли две «Волги» с московскими номерами.

Домашняя работница, выглянувшая на звонок, сообщила, что профессор ушел гулять с гостями. Куда? К речке Дубне, как всегда...

Да, профессор был неизменен в своих привычках. Даже гулял поблизости от того места, где работал.

Алексей миновал здание отеля и пошел по дороге, ведущей к «объектам», как тут именовались служебные здания. Навстречу медленно тянулись возвращающиеся с прогулки, — время близилось к обеду. В сторону реки Дубны больше никто не шел.

Завидев стены «объекта», Алексей свернул к реке. И тут же заметил Богатырева.

Профессор шел, опустив голову, машинально помахивая собачьим поводком, а в сторонке шариком катилась и сама собачка — чудо природы, пушистый скотчтерьер, — быстро-быстро перебирая коротенькими лапками и все же еле перемещаясь в пространстве. Оглядевшись, Алексей заметил и гостей профессора: несколько женщин и мужчин шли в стороне, по лесной тропинке, не обращая внимания на хозяина. Видимо, им были знакомы привычки профессора. Он, наверно, забыл о них сразу же, как вышел из дому, точно так же, как забыл и о собаке. Сейчас он, должно быть, «обкатывал» в голове какую-нибудь идею. Они в этой большой лохматой голове рождались дюжинами.

— Здравствуйте, Павел Михайлович!

Профессор вздрогнул и остановился, словно шел во сне и наткнулся на препятствие.

— А, это вы? Как поживаете?

— Плохо, Павел Михайлович!

— Что так? — уже окончательно пробуждаясь от своего сна, спросил Богатырев.

— Приехал на один день посмотреть ваши материалы, а помочь никто не хочет.

— Так, так. — Теперь профессор разглядывал Алексея уже внимательно. — Но ведь конституцию, кажется, никто не отменял?

— При чем тут конституция? — Алексей опять начинал сердиться, как сердится всякий человек, сознавая, что позиция его слаба.

— А в ней точно указано, что трудящийся после шести дней работы имеет право отдохнуть один день. Помнится мне, что библия тоже подтверждает это право.

— Но я-то не отдыхаю! — упрямо сказал Алексей.

— Да, это верно. Свой день отдыха вы тратите на то, чтобы мешать отдыхать другим. А почему?

Алексей, тяжело вздохнув, вытащил из грудного кармана снимки-эталоны, на которых отчетливо были видны взрывы анти-ромезонов.

Профессор окинул взглядом придорожный лесок, увидел удобный пень и пристроился на нем. Алексей мельком заметил, что гости профессора, взглянув на хозяина, пошли еще медленнее.

Профессор просматривал снимки, возвращаясь то к одному, то к другому. Алексей понимал, что этому богу не следует мешать: он сам умеет творить чудеса. Но возбуждение было сильнее его воли. Он торопливо принялся объяснять:

— Это отделенные от других частиц анти-ро-мезоны... Вот аннигиляция... Время жизни...

— Подождите, подождите! — с досадой сказал профессор. Алексей умолк. Профессор пошлепал толстыми губами, спросил:

— Значит, вы все-таки выделили их? С какой частотой они появляются?

— Одно событие в десять минут.

— Не густо! И вы хотите выяснить, было ли подобное в наших опытах?

— Вот именно!

— Простите, голубчик, как ваша фамилия?

Алексей сердито назвался.

— Помню, помню! — ни капельки не смущаясь, ответил профессор, и Алексей еще больше рассердился: ведь они же встречаются чуть не ежемесячно! Пора бы запомнить имя молодого коллеги.

Профессор поднялся со своего пенька, как с председательского кресла, такое в нем было величие, и крикнул своим гостям неожиданно громким голосом:

— Жорж! Светлана! Возвращайтесь домой! И возьмите с собой собаку! Альфа! Поноску! — Собака подкатилась шариком, профессор дал ей поводок, и она послушно покатилась к гостям. — Я ненадолго задержусь! — продолжал распоряжаться профессор. — Домой я сейчас позвоню!

Отдав эти приказания, профессор кивнул Алексею и сказал:

— Ну, пошли, Алексей — «человек божий»!

Оказалось, он все-таки знал Алексея.

И пошел такой быстрой походкой, словно был моложе своего спутника.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ:

Творчество не признает выходных

И в лаборатории этот пожилой грузный человек с печальными глазами поэта проявил необыкновенную деятельность. За пять минут он вызвал почти всех своих лаборантов, не пренебрегая самыми умильными посулами, ласкательными именами, нежными прозвищами. А так как лаборанты были преимущественно девушки, падкие на лесть, то через полчаса лаборатория работала почти так же, как в обычный день. Только одеты девушки были странно, потому что их разыскивали на репетициях, на спортивных соревнованиях, а некоторые пришли прямо с пляжа, в открытых сарафанчиках, в шортах, и все это сделало лабораторию похожей на курзал какого-нибудь курортного местечка...

Впрочем, Алексей не замечал этого. Раздав эталоны необходимых снимков, он и сам встал к просмотровому аппарату. Предстояло проверить множество фильмов и фотографий, если он хотел чего-нибудь добиться.

Только лишь зашуршали разворачиваемые фото- и кинопленки, как в лабораторию вошел Тропинин. Тропинин был в сером костюме, в белой сорочке, волосы тщательно причесаны. Его сопровождали Габор и Ласло. На этот раз водяной бог выглядел несколько растерянным и даже смущенным. Должно быть, ему здорово попало на берегу, когда он вернулся со своей победой.

— У вас найдутся снимки для моих ребят? — спросил он.

«Ну что же, кажется, он признал свою вину. Придется быть вежливым!» — подумал Алексей.

— Есть эталонные снимки. Михаил Борисович напечатал их столько, что хватит на всех экспериментаторов Союза. — И Алексей подал пачку фотографий.

Тропинин внимательно просмотрел их, отобрал наиболее отчетливые и сунул в карман. Взглянул на работающих лаборантов, сухо сказал:

— Везет вам, Горячев! Вся Дубна работает на вас!

Кивнул своим адъютантам и вышел. Алексею захотелось догнать его и отобрать снимки, но он стиснул зубы. Не стоило обижать хороших ребят Габора и Ласло.

Через два часа появилась Нонна. С нею были Надежда Тропинина и еще какая-то молодая женщина, а главное — они несли подносы с бутербродами и термосы с кофе. Нонна все-таки вспомнила, что Алексей не ел с ночи, а другие пришли, не успев пообедать. И все действо сразу приобрело еще более вольный характер студенческого субботника.

Но вот то от одного стенда, то от другого стали раздаваться возгласы:

— Нашла!

— Алексей Фаддеевич, взгляните, не это ли вы ищете?

— Есть улов!

Это означало, что девушки изучили наконец характерные особенности сверхновой звезды на эталонных снимках и теперь отличали даже невооруженным глазом нужную реакцию от множества других, запечатленных на снимках. И для Алексея началась страдная пора: отвергать или принимать, сдавать в фотолабораторию негативы и снимки для подготовки дубликатов, оспаривать запальчивые утверждения новоявленных знатоков эксперимента, что найдено именно искомое, и он опять забыл о Нонне.

Однако Нонна о нем не забывала. Она приняла деятельнейшее участие в его заботах. Сидела в фотолаборатории до красноты в глазах, выходила, чтобы напомнить о кофе, подвигала какой-то «особо вкусный» бутерброд, и Алексей невольно подчинялся ее руководству, в то же время думая, что такие же ночные бдения бывали и у Бахтиярова, там Нонна тоже старалась казаться нужной, а Бахтияров нежно гладил ее руку, когда она в разгар спора или просмотра чертежей появлялась в его маленьком кабинете с чашками крепкого кофе, и она ластилась к нему, не обращая внимания на его посетителей. И было почему-то особенно больно думать, что она именно ластилась, что не просто выполняла обязанности хозяйки дома, но как бы вручала себя повелителю вот так, как сейчас смиренно и почти подобострастно смотрит на Алексея, как говорит почему-то шепотом: «Выпейте кофе, Алеша, вы же ничего еще не ели!» — и от этого кофе становится горьким, а бутерброд не лезет в горло.

«Ах, Бахтияров, Бахтияров, почему ты и мертвый стоишь между нами!» — вот что хотел бы воскликнуть Алексей, но тень покойного была столь грандиозной, что вызывать ее заклинаниями не следовало, она и так заслоняла перед Алексеем все будущее...

Шла медленная, теплая и очень светлая июньская ночь. Звезды в перламутрово-прозрачном небе казались особенно далекими от земли, луна добавляла желтого света в эти сиреневые сумерки, в открытые окна влетал яростный запах повлажневших лип и цветов,— все пространство вокруг лаборатории было засажено цветами, и они пахли резко и томительно, как всегда в июне, в пору самого обильного цветения. Гости профессора давно уже спали, а сам Богатырев все перематывал рулон за рулоном пленку давней давности, когда он и сам был еще молодым и только начинал эксперименты над сверхмалыми и самыми новыми частицами. И в этом стародавнем хламе встречались те самые взрывы, которые обнаружил молодой физик Горячев и сделал предметом исследований, а он, тогдашний молодой парень Павка Богатырев, не приметил, не открыл, хотя смотрел такими же пытливыми глазами... Впрочем, тогда все заслоняла тень атомных взрывов и куда важнее было узнать прогрессирующую силу мегатонных бомб. И он изучал данные об этих взрывах, рассматривал фотографии, на которых атомная бомба, взорвавшись, поднимала на стометровую высоту и несла на ее гребне подопытный крейсер с козами, коровами и конями, привязанными на палубе к бывшим креплениям лафетов и крюкам бывших орудийных башен. В те годы ядерная физика стала чисто военной наукой, и все усилия были направлены на исследование деления урана и плутония, а такие экзотические мелочи, как аннигиляция анти-ро-мезонов, остались незамеченными. Это теперь, на основании таких вот находок, можно строить далеко идущие философские обобщения, обновлять химию, биологию, искать путь к звездам, поднимать ракетные корабли в космос и управлять новыми силами природы.

Богатырев взглянул на Алексея, на часы, на лаборантов — сегодня к девяти снова надо прийти сюда на работу, уже четыре часа понедельничного утра,— и тихо спросил:

— Может быть, хватит, Алексей Фаддеевич? Тут столько материала, что можно убедить в нашем открытии все академии мира...

— А? Да? Верно?

Алексей бросил сожалеющий взгляд на оставшиеся еще не размотанными рулоны пленок, распрямил усталую спину, сказал:

— Довольно, товарищи! Большое вам спасибо!

Кто-то выключил электричество, и в комнату вступила прозрачная и холодная чистота рассвета. И тогда стало видно, как все утомлены. Лица девушек со стершейся с губ помадой, с черными кругами от осыпавшейся с ресниц туши стали старше и словно мудрее, как будто в эту ночь они заглянули в будущее. Алексей невольно пожалел своих помощниц,— не так уж много радости принесла им эта необычная работа, открывателем-то был он, а те маленькие восторги по поводу удачных находок, которые испытали эти девушки, едва ли стоили бессонной, мучительной ночи. Вот кого он хотел бы вознаградить, перечислив их имена на титульной странице своей будущей статьи, но это, к сожалению, окажется невозможным, а вот имена Михаила Борисовича или Крохи сюда попасть могут!

«Ну, уж нет! Этого больше не будет!» — вдруг сердито поклялся себе Алексей.

Тут он взглянул на Нонну и подивился: бессонная ночь словно бы и не подействовала на нее! И только приглядевшись, заметил, что она просто успела уже аккуратно подкрасить губы, удлинить глаза черным карандашом.

И так же, как он только что жалел совсем посторонних девушек, отдавших его работе свой отдых, вдруг рассердился на Нонну. Могла бы хоть казаться такой же усталой, как другие, чтобы эти другие не пялили на нее удивленные глаза! И не пожелал заметить, как просительно смотрела на него Нонна, хотя и понял: и она, и Надежда, и та, третья, незнакомая, ждут от него слова благодарности, и Нонна, может быть, больше всех! И, сердясь на нее, промолчал. А потом пожалел, потому что профессор вдруг подошел к этим трем женщинам, даже стоявшим как-то обособленно, будто их выключили из пира в честь победы, и галантно поцеловал им руки, и наговорил столько нежных слов, будто именно благодаря им сегодня была достигнута победа. Впрочем, Алексей сделал вид, что очень занят просмотром того материала, который принес ему Габор из лаборатории Тропинина, и милые эти помощницы, кажется, простили его...

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ:

Ника взмахнула крылом

Им так и не пришлось воспользоваться гостеприимством отеля. В пятом часу утра Нонна с завидным упорством опытного шофера, привыкшего к длинным рейсам, завела мотор, и остывшая за ночь машина медленно пошла по сонным еще улицам Дубны.

Только один раз, перед самой уже Москвой, Нонна остановила машину, откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза и просидела неподвижно несколько минут. Лицо у нее было замкнутое, отчужденное.

В этом рейсе Нонна молчала всю дорогу. Алексею порой казалось, что она вот-вот скажет какие-то особенные слова,— было на лице ее иногда такое решительное выражение,— но тут ее внимание отвлекал какой-нибудь отчаянный грузовик, летящий по центральной полосе шоссе, и она нажимала клапан сирены. И сирена начинала реветь то угрожающе, то тревожно, как будто Нонна передавала при помощи этого механического голоса свое настроение.

В семь часов утра она довольно холодно попрощалась с ним у его дома. Теперь он жалел, что они так упрямо промолчали всю дорогу. Ему казалось, что он смог бы высказать ей свои обиды, заговори она, но самому плакаться ему не хотелось.

Так ничего и не поняв в смене ее настроений, он поднялся к себе, сердито швырнул на стол опостылевшие снимки, прошел в ванную и встал под душ. Он только что начал бриться после душа, как зазвонил телефон. Михаил Борисович ласково отругал его за то, что он не приехал вместе с Нонной, чтобы позавтракать у них.

— Вы считаете, что мне безразличны ваши поиски?— обиженно спросил он.— Я нарочно вернулся еще вечером в город...

— Было слишком рано!— отговорился Алексей.

— Но ведь Нонна все равно разбудила меня!

— Я не знал, что вы в городе.

— Телефоны придуманы именно для того, чтобы разговаривать на расстоянии и не тратить лишнее время на ожидание новостей!

Алексей не додумался до того, чтобы спросить: почему же сам уважаемый Михаил Борисович не позвонил в Дубну? Разыскать в Дубне человека значительно проще, чем в Москве. Опять это проклятое «лестничное» остроумие! Самые лучшие слова придумываются, когда вас выставили на лестницу... Но тут Михаил Борисович смилостивился, сказал добрым голосом:

— Нонна рассказывает, что вы там чуть ли не подвиг совершили, чтобы покорить дубнинцев. Ну, от кого, от кого, а от Тропинина я такой спортивной прыти не ожидал.

— Тропинин тоже помог нам,— вяло сказал Алексей.

Он уже забыл о своей обиде. Ему хотелось спать, и было досадно, что опять придется сидеть с пустой головой в своей клетушке в институте. Но тут Михаил Борисович сказал еще более добрым голосом:

— Волоките вашу добычу ко мне, а потом я отпущу вас хоть на три дня! Вы заслужили отдых!

Алексей принялся одеваться.

Конечно, Нонна не спала и, честное слово, выглядела так, словно только что выкупалась в живой воде. Улыбка, с которой она открыла дверь, была милой и предупредительной, кофе, который она подала, был сварен не хуже, чем это делал сам Алексей, и снимки она разглядывала с не меньшим интересом, чем отец, как будто и не сидела три часа назад за просмотровым стендом. Впрочем, за этот интерес Алексей теперь был ей благодарен. Ведь он тоже разглядывал «добычу» с особым удовольствием, тем более, что многие отпечатки видел впервые: там, в Дубне, положился на лаборанток. Они привыкли отыскивать ту или иную траекторию частицы среди тысячи снимков даже и не по эталону, а всего лишь по теоретическому расчету, по возможному углу рождения или рассеивания...

Добыча была действительно велика. И по горящим глазам Михаила Борисовича было понятно, что он не только доволен, но и видит за этими снимками что-то такое, что еще невидимо Алексею. Но о том, что он там, в дали дальней видит, Михаил Борисович молчал.

Они совместно пронумеровали экспозицию, отобрали самое «доказательное», и Михаил Борисович, взглянув на часы, воскликнул:

— Пора! Пора в институт! А вы, Алексей Фаддеевич, отдыхайте! Можете отдыхать хоть день, хоть два...— Трех дней он уже не предлагал.

Но едва отец ушел, Нонна утомленно зевнула. И, хотя Алексей был убежден, что она сделала это нарочно, ему пришлось распрощаться.

Он вернулся домой. Теперь он мог отсыпаться хоть двое суток. Но сон его был коротким и беспокойным.

А давно ли ему думалось, что нет ничего лучше покоя! Весь этот месяц он спал урывками; засыпал мгновенно; мог упасть на продавленный диван в своей институтской клетушке и словно провалиться; мог задремать на заседании, особенно если ораторствовали велеречивый Кроха или Подобнов, но сегодня ему не было ни сна, ни покоя.

Алексей вертелся на своем диване-кровати, курил, думал. Итак, работа завершена...

В полдень, махнув рукой на отдых, он пошел в институт.

Он не удивился, увидав в вестибюле Чудакова и Коваля; эти успели выспаться. Но возле большого зеркала стояла Нонна. И все четверо, не сговариваясь, пошли в клетушку Чудакова.

Михаила Борисовича в институте не было. Нонна сказала, что он подвез ее и поехал в академию.

Чудаков многозначительно взглянул на Алексея, но ничего не сказал. И немедленно углубился в снимки, привезенные из Дубны.

После недолгих споров отобрали самые эффектные и устроили из них тут же, в кабинете Чудакова, что-то вроде выставки, развесив снимки на все четыре стены.

Нонна, рассмотрев экспозицию, произнесла свой высокий приговор:

— Великолепно! Алеша, вы заслужили награду!

Слова ее прозвучали так многозначительно, что не только Алексей, но и Чудаков с Валькой вытаращили на нее глаза. А Нонна, отвернувшись от них, раскрыла свою сумку и что-то доставала оттуда.

— Бутылка коньяку, чесс-слово!— догадался Коваль.— Ох, и нагорит нам, если мы ее тут раздавим на радостях!

— Коробка шоколадных конфет! Для маленьких детей и старых пенсионеров!— поддразнил Ярослав.

То, что Нонна вытащила наконец из своей новомодной, похожей на дорожный саквояж сумки, было завернуто в пергаментную бумагу и оплетено во всех направлениях шелковой лентой. Внешне это действительно было похоже на большую бутылку, и Валька, прищурив глаз и чмокнув толстыми губами, определил:

— Кварта виски или большая бутылка венгерского бренди!

У Алексея вдруг часто-часто забилось сердце. Вспомнилось что-то давнее, даже прекрасное, и в то же время горькое, но он не мог еще понять, что же это захлестывает его, какая горечь и боль могут слиться так, что начинает ныть душа и трудно вымолвить слово. Ярка переводил взгляд с Нонны на Алексея, но молчал. Он, кажется, сообразил, что им обоим не до шуток. И вдруг наступил на ногу Вальке, так что тот замолк с открытым ртом, не выговорив очередной веселой догадки.

Нонна медленно сняла ленту, развернула бумагу и поставила на стол перед Алексеем бронзовую статуэтку.

— Это вам, Алеша!— тихо произнесла она.

И ни слова о том, что когда-то уже дарила эту вещь другому. И ни напоминания о том, что когда-то Алексей уже просил подарить ему эту статуэтку, что тогда она была ему нужнее. Она предпочла другого. Сейчас тот мертв, но богиня Победы жива, и вот она стоит перед Алексеем, символизируя его победу...

А может быть, она стоит на столе, как переходящий приз? Мертвый не мог унести ее с собой туда, куда он ушел, победив однажды и все же потерпев поражение. И вот приз передают другому.

Нет, ты не можешь думать так плохо. Это знак. Это символ. Ника не может нести на своих крыльях ничего дурного. И Нонна думает о тебе лучше, чем ты о ней.

Он еще ничего не успел сказать, как Валька схватил статуэтку и принялся разглядывать, вертя так и этак, и от живой теплоты его рук бронза светилась все богаче и выразительнее.

— Какая чудесная вещь! — воскликнул он.

Действительно, в его руках статуэтка стала матовой, теплой, словно оживала: вот-вот затрепещут крылья и Ника взлетит с Валькиной руки, чтобы опуститься на другую протянутую руку. И верно: чуть встрепенув крыльями, она перелетела на руку Ярослава.

Ярослав рассматривал Нику задумчиво, сосредоточенно, будто надеялся прочитать что-то в ее позе, в ее трепетном, готовом к полету, кратком движении, и, когда поставил статуэтку на ладонь, Алексею внезапно показалось, что Ника и в самом деле отрывается от постамента, и он нечаянно потянулся к ней, чтобы удержать. Ярка внимательно взглянул на него и передал статуэтку, потом покосился умным глазом на Нонну и молча отошел от стола, найдя себе дело: поправить фотографию, которая спокойно висела на стенке.

— Спасибо!— тихо вымолвил Алексей.

— Вы давно заслужили ее!— ответила Нонна и медленно вышла из комнаты.

— Алеша, за что Нонна так тебя отличила?— спросил неугомонный Валька.

— Он заслужил эту награду!— суховато, но твердо остановил его Ярослав. И через мгновение:— Но где я мог ее видеть, эту Нику?

— По-моему, она стояла у Нонны в комнате, когда мы еще были студентами,— неловко ответил Алексей.

— Нет, не там...— Он задумался, глаза устремились куда-то за пределы комнаты, словно усилием воли он сделал стены про-

зрачными.— А, вспомнил! У Бахтиярова, в номере гостиницы. Он пригласил меня както перед отъездом в Ленинград, уговаривал перейти к нему на строительство...— Он взглянул острыми своими глазами на Алексея, но тот молчал.

«Не буду же я рассказывать тебе, как однажды Нонна обидела меня. Я несу это в себе один. Но если ты подумаешь, что это и на самом деле переходящий приз, я верну его Нонне. Пусть ищет достойнейшего...»

Ярослав бросил притворную возню с фотографиями, вернулся к столу и, не отрывая взгляда от Алексея, сердито сказал:

— Если ты вздумаешь вернуть подарок Нонне, я перестану с тобой разговаривать. Я вижу, о чем ты думаешь! А ты понимаешь, что вместе с этой статуэткой она вручила тебе все неисполненные мечты и надежды Бахтиярова? И не мне рассказывать, кто такой был Бахтияров!

— Бахтияров? Реакторщик? Это был каменный мужик!— невпопад брякнул Коваль.— Мне его ребята говорили...

— Валя!— мягко остановил его Чудаков.— Мы ведь так и не сняли с позиции счетчики Черенкова. А там Кроха собирался стрелять по ниобию...

— Будет сделано!— Валька шутя взял под козырек. Но все смотрел непонимающими глазами на обоих: ни дать ни взять щенок, столкнувшийся с непонятным миром. Алексей молча завернул статуэтку в бумагу.

Коваль пошел на ускоритель, сказал: «Похвастаться!» — но Чудаков знал: поблагодарить добрбвольных помощников. Когда бы еще Чудаков с Валентином поймали эти сверхновые звезды, если бы не добровольцы, вместе с ними налаживавшие аппаратуру, дежурившие возле нее, волновавшиеся вместе с ними. И Чудаков спокойно ждал первых посетителей своей необычной выставки.

Сначала пришли наладчики, монтажники, вакуумщики из преисподней. Им так редко удавалось увидеть результаты своей работы! А Коваль на сей раз не пожалел слов.

И сейчас они задумчиво стояли вдоль стен, медленно переходили от снимка к снимку, ища самые затейливые, внимательно всматривались в странные рисунки взрывающихся анти-ро-мезонных звезд, как будто наблюдали рождение новых миров.

Потом пришли вычислители: этих взбудоражила Нонна.

До сих пор им не было никакого дела до того, что́ вычисляют теоретики и экспериментаторы на их машинах. С равным достоинством они вручали ответы машин и водопроводчикам, рассчитывавшим систему водоснабжения новых районов столицы, и автотранспортникам, решавшим проблему встречных перевозок, и строителям космических кораблей, уточнявшим трассу полета ракеты к Венере... Вычислительный отдел выполнял сотни разных заданий, и все они были одинаково важны. Но сегодня они пришли в полном составе, потому что им тоже хотелось увидеть загадочные частицы антивещества, послушать, что говорят самые заядлые фантасты института о других мирах, которые могут состоять целиком из этого самого антивещества, и что произойдет, если наш мир и тот, другой — антимир — сблизятся между собою...

— Аннигиляция!

— Взрыв!

— Взаимное уничтожение!

— Перестаньте пророчествовать! — воскликнул Алексей.— Еще испугаете кого-нибудь из начальства!

Но его и на самом деле раздражала эта сенсация. Посетители «выставки» мешали работать, а Михаил Борисович уже объявился в институте и немедленно разыскал Алексея по телефону: надо было срочно написать статью об открытии, оснастив ее всеми необходимыми теоретическими выкладками. Михаил Борисович уже не упоминал даже об одном дне отдыха. Теоретические расчеты должны быть готовы к среде. А Алексею еще надо посоветоваться с Чудаковым: о чем можно говорить, а что пока придержать. И Алексей готов был выгнать зрителей. Но слух о «выставке» распространялся, и им, авторам, уже невозможно было сбежать от своей затеи.

Неожиданно пришли теоретики, предводимые Крохой и Подобновым. Анчарова не было. Кроха долго разглядывал снимки, потом мрачно сказал:

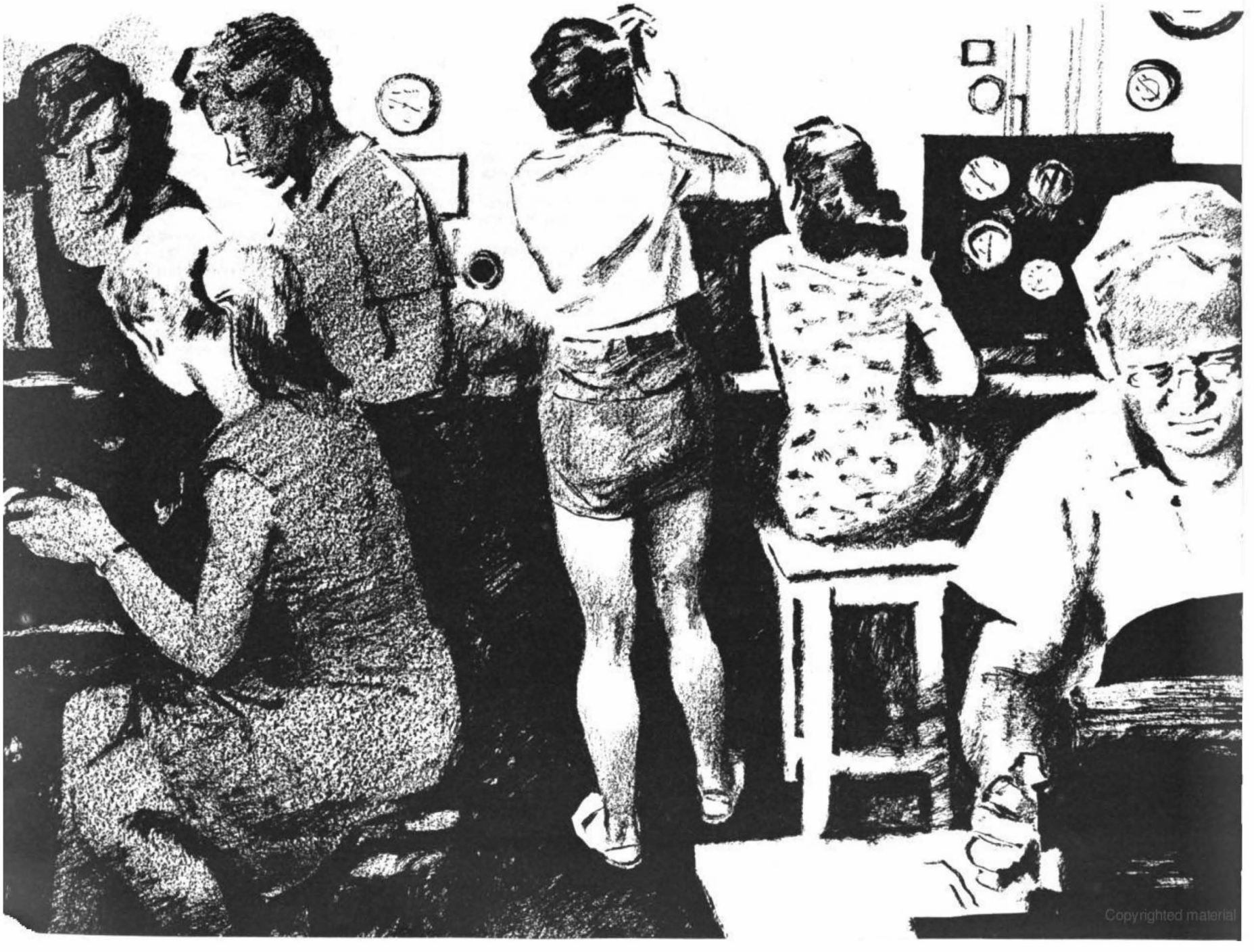
— Папа римский должен прислать благодарность нашим открывателям!

Коваль, чистосердечнее всех наслаждавшийся эффектом «выставки», ошарашенно спросил:

— Почему папа римский? За что?

— А как же, наши советские физики — Чудаков и Горячев — наконец ясно указали, где находится местожительство господа бога и где помещается рай. В антимире!

Послышался смех. Но Кроха не смеялся. Не смеялся и Подобнов. Они оглядели всех презрительным взглядом, как будто зара-



Copyrighted material

нее сговорились, как им действовать, и торжественно вышли...

— Ну, теперь они нам выдадут за идеалистические концепции в физике! — с некоторой досадой сказал Чудаков. Он, кажется, уже сожалел, что вздумал дразнить гусей.

Коваль немедленно позлорадствовал:

— Вполне бетонно! Запретят произносить такие слова, как «антивещество», «античастицы» «антимир», и будь здоров! И никаких тебе больше снимков! Получишь только один: кающегося грешника в разодранном рубище и с посыпанной пеплом главой. Это когда ты придешь к Крохе признавать свои ошибки. Уж этот-то снимок я сделаю на «отлично»!

Чудаков с недоброй усмешкой подумал, что Коваль даже и не представляет, как быстро могут сбыться его пророчества. Валентин может и позлорадствовать и поиздеваться над Крохой. Но он никогда не полезет в драку. И с одинаковым усердием будет готовить и проводить эксперименты и по точным выкладкам Алексея и по шатким предположениям Крохмалева. Кроха, наверно, уже сидит у Михаила Борисовича и докладывает ему свои евангельские истины...

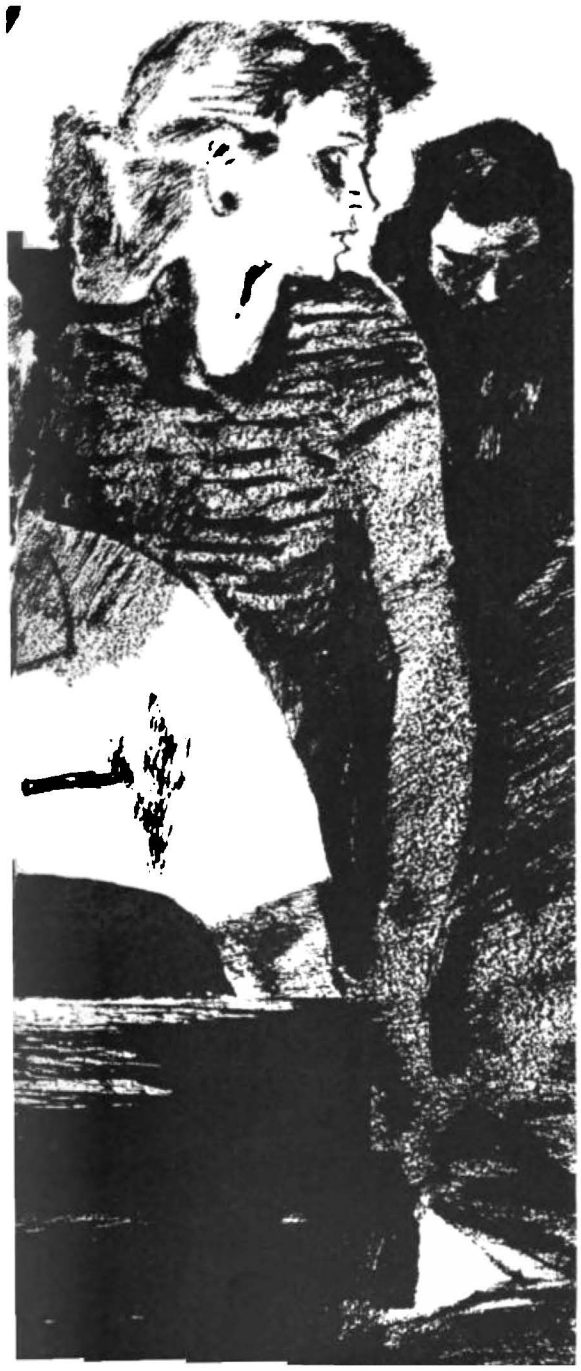
В это время снова вошла Нонна.

Она оглядела нередеющую толпу зрителей и невинно сказала:

— А мне показалось, что обеденный перерыв окончился!

Сконфуженные посетители попятились к выходу.

Когда последний из них осторожно закрыл за собой дверь, Нонна произнесла совсем другим тоном:



— Ну, мальчики, кажется, мы напрасно поторопились с этим праздником!

— А что случилось? — недоверчиво спросил Чудаков.

— Я зашла к отцу, чтобы взять ключ от машины, и застала там Крохмалева и Подобнова. Кроха пустил в ход все: идеализм, разрушение основных законов диалектического материализма, солипсизм и еще какие-то слова, которые я могла бы понять только с философским словарем в руках. Одним словом, ощущение такое, как если бы мы открыли выставку картин, не состоя членами МОСХа. Знаете, как пишут бесталанные художники о таких выставках? «Кто разрешил?» «На каком основании?» Крохмалев вспомнил и о том, что теоретических обоснований феномена еще нет, а выставка уже есть... Отец проворчал что-то о том, что дал задание Горячеву к среде сдать статью со всеми формулами, и тут я сбежала. Алеша, где эта ваша статья?

Она подошла к столу и оглядела разбросанные бумаги. Алексей неловко прикрыл исчерканный лист газетой.

— Уже начали? — Она небрежно отбросила газету и просмотрела наброски статьи. — Боже мой, какой деревянный язык! Почему вы, товарищи ученые, не умеете писать по-русски? Надо же сочинить такое: «Спонтанное деление лябильных частиц...»

— Это не любовное письмо! — сурово сказал Алексей, отбирая черновики.

— А разве вы умеете сочинять любовные письма? — невинно спросила она. — Я что-то не помню за вами такого греха...

— Бросьте вы перешучиваться! — сердито приказал Чудаков. — Валентин, снимай выставку! А ты, Алексей, успеешь к среде?

— Конечно, нет!

— Ну, так и не торопись! Мы же не имеем еще полной информации о том, что у них горит? Пока ты будешь сочинять статью в том духе, как нравится Нонне, мы с нею успеем кое-что разузнать... Вы мне поможете, Нонна? — прямо спросил он. И — о, чудо! — эта своенравная, упрямая женщина покорно сказала:

— Попробую!

После этого Алексею ничего больше не оставалось, как забрать черновики и подняться к себе. Нонна, Коваль и Чудаков остались совещаться.

Алексей просто-напросто забыл об их заговоре. Тем более, что во вторник он статью не закончил и в среду тоже.

Ему почему-то перестали нравиться сложноподчиненные предложения, в которых на одно русское слово приходилось полдесятка иностранных, а формулы, обильно уснащавшие статью, не казались доходчивыми. И он усердно вычеркивал фразу за фразой и придумывал новые, хотя эти новые, в сущности, ничем не отличались от зачеркнутых.

Михаил Борисович звонил по три раза в день. В среду он окончательно рассердился.

— Что вы там делаете? — раздраженно спросил он.

— Читаю словарь Ушакова.

— Оставьте ваши шутки, Алексей Фаддеевич!

— Мне не до шуток! Просто хотелось, чтобы статья была понятной!

— Вы же не детский писатель, а ученый!

— Хорошо! — устало ответил он.

После этого сочинение пошло быстрее. В самом деле, он пишет не для детей! А если дети захотят понять, чем он занимается, пусть окончат физический факультет университета. Хотя и окончившие не всегда понимают друг друга. Вот, например, Крохмалев и Подобнов...

Мысли о Крохмалеве и Подобнове не очень помогали писать, но все-таки в четверг перед концом работы он уже был в вычислительном отделе, у Нонны, своего редактора.

Продолжение следует.

Тот

Николай АСАНОВ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ:

Приготовления к празднику

Нонна встретила его на пороге: собиралась уходить. Алексей окинул ее рассеянным взглядом — платье серебристого цвета, модные туфельки, тоже серебряные, пышно взбитые волосы — и удивленно сказал:

— А вы сегодня очень хороши!

— Да что вы?— Она усмехнулась.— А мне казалось, что наши молодые ученые видят красоту только в одном существе женского рода — физике.

— Ну, не совсем так. Некоторые даже женятся!— не очень ловко парировал он.

Ему было трудно разговаривать с Нонной. Нонна постоянно менялась. Во время опытов она показала себя прекрасным товарищем и держалась свободно. Ей очень подходила роль помощника, весьма чутко реагирующего на все перемены в настроении и обстановке, умеющего принять шутку, когда ты в состоянии пошутить, подбадривающего, если тобой овладевает уныние. По-видимому, этой черте характера она научилась у Бахтиярова: экспериментаторы постоянно переходят от надежды к отчаянию, а Бахтияров был руководителем очень большого эксперимента и уж, наверное, отвечал на все перемены в настроении своих помощников с чуткостью музыкального инструмента. Вот она и научилась быть доброй, скромной, сильной, научилась верить в победу или хотя бы показывать, что верит в нее.

Но сейчас в этом серебряном одеянии Алексей ее не узнавал. Так и казалось, что за каждым ее словом стоит другой смысл. А может, он снова подпадает под ее власть? «Ну, уж этого-то не будет!» — подумал он.

Они вышли из института. И тут Алексей заметил, что все мужчины, идущие навстречу, внимательно оглядывают Нонну и оборачиваются ей вслед. А женщины, мгновенно оценив Нонну, переводят глаза на него самого, и во взглядах их сквозит удивление: кто, мол, ты такой при ней?

И еще больше рассердился. Теперь уже на себя. Худой, узкоплечий, с утомленным лицом, в самом деле, какой же он спутник для этой надменной красивой женщины, отлично сознающей свою привлекательность? Он искоса посмотрел на спутницу и вспомнил, как сам был готов гнаться за нею хоть на край света...

Алексей даже обрадовался, когда они дошли до знакомого дома. Он и теперь редко заглядывал сюда... Но то, что он сейчас войдет в этот дом, совсем не повторение пройденного. Больше никаких страданий!

Продолжение. См. «Огонек» №№ 10—18.

...ня Победы

СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ.

Рисунок П. Пинкисевича.

Он будет насмешливым и равнодушным... И посмотрел на Нонну, возившуюся с ключом, с некоторым подозрением: зачем она пригласила его? Прочитать статью можно было и в институте...

— Ужинать мы пойдем позже в ближайший ресторан. Все наше хозяйство на даче. А пока давайте вашу рукопись! — приказала Нонна.

И Алексей, только что клявшийся быть с нею насмешливым и равнодушным, торопливо (слишком торопливо!) вынул из папки свою работу.

— Не дышите мне в затылок, пока я стану изучать ваше гениальное произведение, я этого не люблю! — строго предупредила она.— Лучше всего садитесь на диван, оттуда вы не сможете подсматривать за мной и считать страницы.

Он послушно уселся на диван. С этой позиции он видел ее только в профиль. И опять забыл все свои обещания.

Вот Нонна поджала губы (какую же я напорол там чепуху?), вот рука ее потянулась за карандашом (а ведь она обещала ничего не трогать!), вот она вычеркнула что-то и надписала меж строк (надо тотчас же встать, взять рукопись и уйти!).

Но уйти он не мог. И сидел, как казнимый.

— А хоть половину ваших формул нельзя вычеркнуть? — невинно спросила Нонна.

— Вы с ума сошли! — встревоженно закричал Алексей.

Ее карандаш опять забегал по бумаге.

— Подумать только, все ученые мира специально учатся писать популярные статьи, а наши — чем темнее, тем лучше! — скучным голосом сказала она.— Неужели вы в состоянии читать то, что пишет Кроха?

— Кроха давно ничего не пишет, он только подписывает. А авторы подписанных им работ иногда высказывают оригинальные мысли.

— А эту работу он тоже подпишет?

— Только через мой труп!

— Тогда мне скоро придется проливать слезы.

— Вы можете обойтись без насмешек? — вскипел он.

Нонна подняла глаза от листа, задумчиво посмотрела на него, сказала даже как бы с материнским участием:

— Боже мой, какой же вы еще несмышленыш, Алеша! Недаром Кроха называет вас «дитя природы»!

Им внезапно овладела подозрительность, почти такая же, которую он так не любил в Чудакове. Ярослав всегда жаждал полной информации. Но мир, в котором существуют Кроха и Подобнов, опасен, если не знаешь, чего от них ждать. И требовательно спросил:

— Что вы знаете о намерениях Крохмалева?

— Разве дело в Крохе? — с оттенком усталости и недовольства в голосе сказала она.— Кроха так испугался ваших анти-ро-мезонов, что написал бы донос, если бы знал, куда писать. В святую инквизицию? Но она под рукою папы римского! — совсем словами Крохи и с его интонацией произнесла Нонна. И вдруг словно испугалась чего-то. Во всяком случае, заговорила о другом и чересчур взволнованно: — А вы знаете, Алеша, я даже не ожидала, что вы можете написать так ясно и отчетливо! И ведь всего каких-то шесть страничек! Если бы не формулы, которые торчат, как частокол, чтобы любопытный прохожий не пробрался в ваш сад красноречия, такую статью поняли бы и дети!

«Дались им эти дети!» — со злостью подумал он. Но было ясно: больше она ничего не скажет о Крохе, если даже и знает что-то еще.

Между тем Нонна аккуратно сколола листы и подала рукопись автору. Он машинально заглянул на ту страницу, где она что-то черкала. Смотри, пожалуйста, прирожденный редактор — ухитрилась так сократить, что слов стало меньше, а мыслей больше!

— А сейчас ужинать! — с удовольствием пропела Нонна. Она торопливо покинула Алексея, и он снова подумал: боится, что я вернусь к разговору о ее предостережении. Но что может предпринять Кроха?

Думать за Кроху он не умел. Существуют такие люди, от которых можно ждать чего угодно, но думать за них? Да пропади они пропадом! Это Чудаков умеет представлять их мысли и даже предугадывать поступки, так пусть он этим и занимается! А у Алексея достаточно своих хлопот...

И сразу стало легче жить. Вот сейчас они пойдут в ресторан, поужинают, может быть, даже потанцуют. Неужели, он не заслужил отдыха? А неприятности, если они предназначены, придут своим чередом.

Он спрятал статью в портфель и закрыл замок. И этот металлический щелчок как будто начисто отгородил его от всех тревог. Конечно, выпускать джина из бутылки опасно, но если ты можешь загнать его туда обратно...

Вошла Нонна, ставшая словно еще красивей, и он чуть не забыл свой портфель на диване. Но она успела превратиться в такого заботливого товарища, что тут же напомнила о том, что ждет ротозеев, теряющих важные, пусть и не совсем официальные документы. Он прижал портфель к груди, хотя, честно говоря, не портфель хотелось ему прижимать сейчас, и вежливо пропустил очаровательную спутницу вперед, в дверь, которая закрылась с тем же металлическим щелканьем, которое как будто начисто отгораживало их обоих от всяческих забот и неприятных мыслей.

— В «Южный»? — спросил он, выйдя из подъезда.

— Ну что вы, Алеша, в такую жару? Поедемте в Химки!

Он подумал было о том, что до зарплаты еще далеко, но вспомнил, что Аннушка Чудакова как-то умеет беречь деньги, у нее всегда можно занять, и торопливо помахал рукой свободному такси.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ:

Взрыв

В пятницу вечером перепечатанная на машинке статья лежала на столе у Михаила Борисовича. Вечер был яркий, солнечный, с зелеными тенями от деревьев под окном, с птичьим хором из институтского сада, с запахом горячего, политого водой асфальта. Лица друзей и знакомых, поздравлявших Алексея с окончанием его великолепной работы, были веселы. Что работа была великолепной, знали все. Он — тоже.

Михаил Борисович читал, то приближая бумагу к самому носу, то отставляя подальше, будто склевывал особо понравившиеся зерна, но даже эта манера чтения сейчас веселила Алексея. Другие статьи Михаил Борисович читал далеко не столь внимательно.

— Весомо! Весомо! Архифундаментально! — приговаривал Михаил Борисович, и Алексею стало казаться, что зря он послушался Нонну и выбросил почти половину статьи. Сколько бы он выслушал еще комплиментов!

Но вот Михаил Борисович дочитал до конца, откинулся в кресле, с веселым оживлением поглядел на Алексея и уже другим тоном сказал:

— Ну, молодец! Ну, удивили! — Теперь в его голосе сквозило подлинное изумление.

— Это ведь не только я,— скромно заметил Алексей.

— Ну уж не отпирайтесь! — живо подхватил Михаил Борисович.— Мысль острая, современная, живая! Нет, нет, фундаментально! Утерли нос всем! Я рассказывал вчера Ивану Александровичу о вашей новой работе, и, знаете, у него сразу появилась архиоригинальная мысль о практическом применении античастиц. Кстати, вам говорили, что в институте металлов ваши положительные ро-мезоны уже пытаются применить для поляризации металлов? Не слышали? Ну, так вот, с вас магарыч! — Он дурашливо потер руки, изображая продавца после хорошей сделки.

— Какой магарыч? За что?

— А с премии! За изобретение! Иван Александрович идеи нашего института задаром не отдает. И патент на использование ро-мезонов оформит и премию изобретателю выбьет! Конечно,— тут он лукаво улыбнулся,— придется вам поделиться с авторами прибора, в котором ваши ро-мезоны будут использованы, но, думаю, профит будет немалый! Тем более, что такой металл ждут создатели космических кораблей!

Ну и Михаил Борисович! Как точно он знает, чем и как покорить сотрудника! Еще в первые дни эксперимента, когда ро-мезоны потекли на установке выделенным потоком, Алексей подумал, что каждая такая частица сможет в будущем стать дополнительным креплением для любого атомного ядра. Но потом начались споры с Крохой,

затем ро-мезоны словно бы исчезли из поля зрения института и его руководителей, а вот ведь Иван Александрович не забыл о них и уже увидел возможность практического их применения. И Михаил Борисович нашел самый нужный момент, чтобы порадовать открывателя...

Тут он вдруг всполошился:

— Позвольте, Михаил Борисович, но что же практически могут дать античастицы, если они пока появляются чуть ли не через десять минут?

— Об этом вы можете не беспокоиться! — утешил его Михаил Борисович.— Есть ведь и такие атомы, в которых связи ослаблены. А уж из них античастицы потекут, как песок сквозь пальцы! Подсказать нужную мысль Иван Александрович умеет!

Алексей почувствовал, как лицо его расползается в неудержимой улыбке. Некстати, конечно,— ведь он пришел для важного разговора. Но признание заслуги для каждого человека праздник. Ведь теоретики, разрушая ядро атома, часто и не предполагают, какие выводы сделают из их опытов «смежники»— биохимики и физиохимики, космологи... И не так уж часто случается, что работа, законченная вчера, завтра окажется донельзя нужной другим... И он, не в силах пригасить улыбку, благодарно глядел на Михаила Борисовича, так кстати порадовавшего его.

— Как же мы будем подписывать ваш новый опус?— поинтересовался Михаил Борисович. Голос прозвучал обыденно, но именно эта обыденность и спугнула улыбку с лица Алексея. Он сам почувствовал, как напряглись все мышцы, словно лицо одеревенело. Начинается! А Михаил Борисович, словно и не примечая никаких перемен, тем же добродушно-обыденным тоном спросил:

— Подпишем всем синклитом или у вас есть свои предложения? Я тут подготовил титульный лист для вашей статьи,— завтра отправляем в набор!— Он говорил все оживленнее.— Иван Александрович решил включить для нашего отдела на сей раз зеленый свет,— статья идет в номер, который уже сдан в типографию. Решили выбросить какую-то университетскую чепуху! Что нового могут они сделать без хорошего ускорителя? — Говоря все с большим оживлением, он отыскал на столе и положил перед Алексеем листок бумаги с названием статьи и списком авторов.

Алексею достаточно было одного взгляда, чтобы в мозгу отпечаталось и едва ли не навечно:

АЙТИ-РО-МЕЗОНЫ СУЩЕСТВУЮТ

И чуть пониже — список:
Член-корреспондент АН КРАСОВ М. Б.
Кандидат ф.-м. наук ПОДОБНОВ С. М.
Кандидат ф.-м. наук КРОХМАЛЕВ С. С.
Кандидат ф.-м. наук ГОРЯЧЕВ А. Ф.
Кандидат ф.-м. наук ЧУДАКОВ Я. Я.

Ни имени Вальки Коваля, ни имени Нонны в списке не было.

А ведь Алексей своею рукой написал на черновике статьи их имена. Но не написал три первых имени.

Он почему-то вдруг отчетливо увидел статую Ники. Она улетала. Алексей даже почувствовал на лице трепет ее крыльев. Впрочем, может быть, это пахнуло ветром из раскрытого окна.

Так же непоследовательно вспомнил он Дубну, нелепое состязание с Тропининым, ночь в лаборатории Богатырева. И то, как тогда искренне хотел, чтобы все его добровольные помощники и помощницы были указаны хоть петитом на первой странице работы об античастицах. Этого не будет. Никогда! Будет другое: список, предъявленный ему Красовым.

А Красов здорово приготовился. Этот титульный лист он составил, наверно, еще до конца работы над античастицами. Это и понятно: Михаил Борисович всегда верил в «легкую» руку Алексея. Он сам говаривал, и даже не очень уж посмеиваясь, о своей вере. Так почему бы ему и не составить список авторов заранее? Ходить в «приподнюю» ему было не нужно. А размышлять в свободные минуты о будущем так приятно!..

Алексей с трудом оторвал взгляд от бумаги и взглянул на Михаила Борисовича.

На лице Красова сияла привычная благодушная улыбка, однако глаза были холодные и смотрели пристально, словно гипнотизировали Алексея. Горячеву показалось, что он впервые видит эти глаза — такие знакомые — по-настоящему. Они оказались пронизывающими, чужими. Алексею даже стало вроде бы трудно дышать...

Какие-то слова были, кажется, готовы сорваться с языка, и Алексей знал, что они будут гневными. Но сил почему-то не хватало. Привычка к подчинению? Неуверенность?

В это время в кабинет вошла Нонна.

Она словно бы сразу оценила сцену, открывшуюся ей. Вот взгляд ее скользнул по листку, который держал перед собой Алексей, по его лицу — Алексею стало противно самого себя, таким бессильным он, наверно, выглядел,— потом взглянула на отца. Михаил Борисович поморщился, но она этого, казалось, не заметила. Остановилась у стола, положила перед отцом ключ от квартиры.

— Ты опять забыл ключи, папа, а я, вероятно, из института сразу уеду на дачу. О, да я, кажется, попала на крестины? Поздравляю!— Она взяла рукопись Алексея, как будто до этого и не видала ее, подержала в руке, словно взвешивая, пошутила:— А дитя могло бы быть и посолиднее! Вон сколько у него нянюшек!— бросила рукопись на стол и забрала из негнущихся пальцев Алексея титульный лист.

Михаил Борисович небрежно сунул ключ в карман, но на дочь не взглянул, словно ждал, когда она уйдет.

Однако Нонна ничуть не смутилась. Небрежно опустившись в кресло напротив Алексея, она молча изучила листок и положила его на рукопись.

— Значит, руководство института убедило вас, Алексей Фаддеевич, что Крохмалев и Подобнов вполне достойны подписать вашу работу?— Фамилию отца она как будто и не заметила.

Нонна говорила невинно-шаловливо, словно превратилась в неразумного ребенка, знающего, однако ж, что устами младенцев глаголет истина. Говорила, переводя очаровательно-наивный взгляд с Алексея, который начал бледнеть, на отца, который медленно багровел. И вдруг, побледнев сама, теперь уже без притворного наивничанья, вскрикнула: «Папа, тебе плохо?»— зазвенела графином о стакан, подала воду отцу, а тот, с усилием сделав глоток, пробормотал:

— Ты когда-нибудь убьешь меня, Нонна!

Теперь она сидела, опустив глаза, смирная, но видно было, что ее не выгонишь. Разве только схватить в охапку и вышвырнуть. Хоть бы в окно. Оно, кстати, открыто.

Михаил Борисович покосился на Алексея. Теоретик сидел белый, губы у него дрожали.

Ах, негодяи! Держу пари, что они сговорились! Ах, наивненькие младенцы, которым в пору сидеть в инквизиторских креслах! Они сговорились, они предали тебя. Ну уж куда бы ни шло — этот размазня Алексей, «божий человек», но и она, твоя собственная дочь, предала тебя! А теперь сидит и жалеет бедного папочку, бросилась со стаканом воды, хотя только что готова была стрелять и целилась в сердце! А тут, видите ли, испугалась инфаркта!

Михаил Борисович вдохнул воздух. В ушах еще шумело, голова кружилась, но он уже видел все: вот этот размазня, вот дочь, предавшая отца! В общем, она никогда не считалась с его интересами. Они, конечно, сговорились!

Но глаза видят! И он видит их насквозь! Нет, такой невинной шалостью его не столкнешь и не уронишь! Мы еще повоюем, милая дочь!

Он откинулся в кресле, склонив голову набок, и заговорил властно, тяжело, отделяя слово от слова многозначительными паузами:

— В институте, молодые люди, действительно есть руководство! И, судя по общим успехам, неплохое! А вы к числу руководителей не принадлежите. Вы всего-навсего исполнители. Не спорю, возможно, отличные. Но это еще не дает вам права осуждать работу руководителей. Для этого есть люди повыше рангом...

— Папа!— мягко сказала Нонна.

— Нет, уж позволь мне договорить!— Он предостерегающе поднял руку. Глаза у него опять стали холодные и жесткие.— Эта работа принадлежит институту, а не отдельному физику. Она выполнена силами института, на машинах института, по общему институтскому плану. И руководству угодно, чтобы в числе авторов были названы Крохмалев и Подобнов. И я... ваш покорный слуга. А ниже можете называть кого угодно: Чудакова, Горячева или, скажем, Нонну Бахтиярову!

Нонна медленно встала и, словно слепая, прошла вдоль кабинета с вытянутыми руками, наткнулась на книжный шкаф, отодвинула стекло, вставленное вместо дверцы, и вытащила десятка два брошюр и оттисков. Так же медленно, неся легковесные эти книжки на вытянутых руках, она вернулась к столу и уронила их перед отцом.

— Значит, и эти книги писал не ты?

Михаил Борисович молчал, испуганно глядя на дочь. Только теперь Алексей вдруг понял, какая тяжесть легла с недавних пор на сердце Нонны. Слушая постоянные споры Алексея, Ярослава и Коваля о том, кто из руководства института подпишет новую работу, о которой она т о ч н о знала, что никто, кроме них самих, не шевельнул пальцем для осуществления этой идеи, Нонна постепенно пришла к мысли, что и отец ее уже давно живет на проценты с прошлого капитала знаний. А задумавшись об этом, не могла не дойти и до той мысли, что и знаний-то у отца давно уже нет, есть з в а н и я, полученные еще тогда, когда он что-то умел и понимал. И со всей жестокостью, свойственной молодости, безоговорочно осудила отца. Она ждала лишь последнего доказательства, чтобы увериться в своей правоте, и доказательство это отец дал ей сам. Она все еще жила в том чистом и честном мире, в который ввел ее Бахтияров. Ведь для Бахтиярова каждый работник стоил ровно столько, сколько он у м е л. А сам Бахтияров, как и всякий практик, не нуждался в том, чтобы кто-то вплетал в его венок лавровые листики из своего супа, да и венков-то там, у практиков, не раздают. И там проще понять, кто чего достоин, кто и что сделал, и результатом работы всегда является нечто грубое, зримое, что можно ощупать руками, если не веришь глазам...

И еще Алексей понял: Нонна знала, что ожидает их, открывателей, догадалась, разобралась по обмолвкам отца или Крохи. И тогда-то ей и пришло в голову укрепить Алексея в его «злонамеренной» мысли — не отдавать эту последнюю свою работу в чужие руки. Она вспомнила о Нике, вещи бесценной, помогавшей, как, наверное, видела она, ее мужу становиться на ноги после любой неудачи. И Нонна принесла Нику Алексею, чтобы сказать без слов: «Боритесь!»

Да и откуда было Нонне знать, что в их институте, не без влияния Михаила Борисовича, любая идея, кем бы она ни была выношена, режется на кусочки, как лента золотой тесьмы, и в виде шевронов нашивается на мундиры давно уже отвоевавшихся вояк. Ведь чем больше на их мундирах этих чужих галунов, тем больше получают они почестей. Никто не спросит: «А за какое такое сражение на вашем рукаве появилась новая нашивка?» Институт-то работает, выдает, как говорится, на-гора́ свою продукцию, следовательно, всякая кроха пашет... Ведь сказал же Михаил Борисович только что, будто любая работа принадлежит не отдельному физику, а всему институту, и что авторами будут названы те, кого сочтет нужным назвать руководство...

Так против кого же они, молодые, собираются выступать? Против руководства?

Он уткнулся взглядом в рассыпанные по столу брошюры, а взгляд, независимо от его желания, отмечал, что книг этих Михаил Борисович не писал, кроме разве что самых старых, пожелтевших от времени, каждая из которых в наши дни оборачивалась горой ошибок. Но на тех брошюрах фамилия Михаила Борисовича гнездилась где-то далеко внизу, а за последние годы поднялась вверх и ныне возглавляла большинство книг из тех, что Нонна уронила на стол.

А Нонна, требовательно глядя на отца, повторяла свой вопрос:

— Значит, не ты? А кто же?— И так как Михаил Борисович все еще молчал, еще жестче сказала: — Да как же это так?!

Михаил Борисович резким движением руки смахнул все книги куда-то за себя, в угол, и, ухватившись за доску стола, медленно поднимался на ноги. Алексею показалось, что он вот-вот рухнет, но, нет, старый боец выпрямился, властно протянул руку к двери и приказал:

— Вон! И немедленно!

Нонна взглянула на отца — в глазах ее Алексей явственно увидел страх,— начала отступать от стола — шаг, два, три —и вдруг резко повернулась и выбежала. Тогда Алексей, ни слова не говоря, сгреб со стола растерзанные листы своей рукописи, прихватил и титульный лист, сунул все в карман и выскочил вслед за нею.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ:

Атака

Нонны нигде не было. В таком состоянии — он знал это по себе — любой человек может сделать поспешный и опасный вывод. В сущности, у нее вторично рушилась вся жизнь. Возвращение домой — после долгих лет страдания — стало для нее началом или, точнее, воскресением. А что ждет ее теперь?

Сначала Алексей бросился было в вычислительный отдел и, только протопав с полкилометра по пустым коридорам, вспомнил, что рабочий день давно кончился, и в отделе, надо думать, пусто. Но Чудаков, наверное, ждет...

Нонна сидела перед Ярославом в позе, полной горя, и монотонно повторяла:

— Как же это можно? Как же это можно?

Коваль стоял спиной к ним, прижавшись лбом к решетке подвального окна, за которым, кроме идущих ног, ничего не было видно. Должно быть, он занял эту позицию сразу, как только прибежала Нонна. Алексей, входя, заметил, как Коваль переминается с ноги на ногу. Устал, а обернуться к этим двоим не хочет. Пусть знают: он не с ними. Ну, а я-то с ними?

Он вспомнил, как взял из-под носа у ошарашенного Михаила Борисовича статью, нервно засмеялся, но тут же умолк. Ярослав глядел непримиримо-враждебно, а Нонна все повторяла:

— Как же это можно? Как же это можно?

Алексей независимо прошел к столу и положил статью перед Ярославом.

— Вот!— Он указал на титульный лист с фамилиями авторов.

— Ну и что?— спросил Ярослав.— Руководство высказалось.

— Но зачем им понадобилось тащить сюда Кроху и Подобнова?

— Можешь получить полную информацию. Через два месяца выборы новых академиков. Михаил Борисович надеется, что его изберут в академики, а Кроху собирается выдвинуть в члены-корреспонденты. Подобнову давно обещана докторская степень, а работ у него — кот наплакал.

—Но при чем тут мы и наша работа?

— Она очень вовремя подвернулась,— сухо сказал Ярослав.— И нам предложили отличную цену: если у них все пройдет гладко, мне ускорят защиту докторской, тебе дадут звание старшего научного сотрудника... Чем плохо?— В голосе его прозвучал иронический вызов.

— А если мы не согласимся?

— Этот вариант тоже обсуждался. Можем искать другую работу. Я пойду в дворники, ну а тебе прямой смысл стать тапером, тем более, что музыку ты не бросил.

— И ты промолчал обо всей этой «информации»?

— А что я мог сказать? Сколько ни кричи ребенку, что огонь обжигает, он будет тянуться к огню. А потом придет мама и положит примочку.

— Ну, в твоем мире все дети должны быть сиротами...

— Попроси помощи у Нонны. Она сердобольная.

Нонна, казалось, не слышала. Она сидела на неудобном стуле в неловкой позе, привалившись к столу, как будто боялась упасть. Алексей невольно покосился на нее. О чем она думает?

Нонна словно бы отсутствовала. Может быть, она еще спорит с отцом? Хотя о чем тут можно спорить? Тут надо или прощать, или уходить...

Нонна подняла голову, вдруг спросила:

— А если сходить к академику?

Коваль оторвался от решетки, оглянулся:

— Академик сказался больным и направил нас к заму. Расскажи, Ярослав!

Алексей подвинул ногой стул, сел на него, уставился взглядом в злое лицо Чудакова и резко сказал:

— Рассказывай!

— Я уже все рассказал. Заместитель директора любезно снабдил нас полной информацией. Высшие интересы института требуют, чтобы мы немного потеснились на первой странице работы и впустили туда и Михаила Борисовича, и Кроху, и Подобнова.

— А если мы все вместе подадим заявление об уходе из института?— спросила Нонна.

— «Коллективочка»? — Чудаков язвительно присвистнул.— Конечно, времена не те, но за такую «коллективочку» все равно по головке не погладят. Тут уж действительно придется идти в дворники. А Нонна откроет прием учеников для подготовки в музыкальное училище...

— Послушай, Ярослав,— сказал Алексей,— а ты не думаешь, что твоя сардоническая усмешка — сейчас не очень благородный способ уйти от борьбы? Ты всегда утверждал, что мы похожи на слепых щенков, один ты умудрен жизненным опытом. Что же ты нам теперь посоветуешь?

Он вдруг увидел, что лицо Ярослава както посерело, обмякло. Перед ним сидел совсем не тот непреклонный, язвительный исследователь, одинаково хорошо разбирающийся и в физике и в жизни, которого они знали много лет, а усталый человек. И он уже не был похож на взъерошенного мальчика. Только эта внезапная перемена и показала им всем, как же, в сущности, плохи их дела...

И Алексею стало жалко товарища.

— Извини, Ярослав,— тихо сказал он.— Нас не поссорят. Мы всегда будем вместе. И сейчас мы сообща подумаем, что нам делать.

Коваль тоже подошел поближе к столу, но остался стоять, подпирая стенку.

— Бросьте эту кость собаке, и она завиляет хвостом,— угрюмо посоветовал он.

— Нет!— твердо ответил Алексей.— Мы должны помнить, что думаем не о себе. Таких, как мы, безыменных поставщиков идей и мыслей, много. И мы отвечаем не только за себя, но и за них. И никто не вправе красть наши идеи, замыслы, открытия...

Он вдруг замолчал, словно прислушиваясь к чему-то, рождающемуся в нем, к какой-то мысли, которая нетерпеливо пробивалась в сознание. Он знал, что эта мысль существует в нем уже давно, только он никогда не решался высказать ее вслух, а теперь она напоминала о себе, требовала, чтобы он дал ей дорогу.

Он спокойно высказал эту мысль:

— Надо написать в Академию наук. Пусть наше мнение услышат и там.

Ярослав поднял на него удивленные глаза. В них что-то заблестело: одобрение или вера? И Нонна тоже с удивлением смотрела на Алексея, и в ее глазах тоже пробивалась живая улыбка. И Алексей, уже утвердительно, сказал:

— Значит, пишем!

— Ну что ж, пожалуй, ты прав, будем писать...— медленно проговорил Ярослав.— Но уж если заваривать кашу, то покруче!— снова становясь собой, таким же жестким и язвительным, добавил он.— Заявления об уходе мы тоже подадим! Нас от науки не отставишь, а вот оставить институт без науки мы можем!

— Значит, ты говорил с заместителем об этом?

— Я просто сказал, что мы можем уйти в другой институт. Заместитель был так добр, что сообщил: нам дадут такие характеристики, что в другой институт мы сможем поступить разве что вахтерами. Но я склонен попробовать...

— Без меня,— устало сказал Коваль.

— «Цыпленки тоже хочут жить»?— спросила Нонна.

— Нет, я просто рабочий от науки. И не гожусь в мученики. Мне и в армии выписывали двойную порцию еды. Поститься я не умею. Вот так. Значит, без меня. Простите.

— Ну что ж, Петр, прощай!— с печалью в голосе произнес Ярослав.

— Почему Петр? Меня зовут Валентин!

— Так звали одного рыбака, который в течение ночи трижды отрекался от своего улова... Ладно, Валя, иди...

Они не смотрели ему вслед. Ярослав вынул из стола бумагу, протянул Нонне, сказал.

— Ну, начали. Тебе, Алексей, приходилось писать докладные записки? Мне — нет. К кому мы обращаемся? Впрочем, это мы выясним потом...

Продолжение следует.

Богиня Победы

Николай АСАНОВ

СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ

С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ГЛАВА

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ:

Осторожно! Мины!

В девять утра все трое сошлись в приемной у заместителя директора института. Академик все еще был болен. Да он и не часто посещал вверенное ему учреждение: у него, кроме института, были еще консультации, да отдел Академии, да редактура в журнале... А заместитель все равно в конце дня будет у академика и сообщит обо всем, что тут делается.

Чудаков заранее предупредил: завтра на работу не опаздывать! Хватит и того, что на них навалятся за эту самую «коллективку». Зачем же давать повод обвинять себя в недисциплинированности?

Вошли к заму все трое. Поздоровались и положили на стол по бумажке.

Зам успел еще пошутить, что соавторство им, видимо, понравилось, если и ходят все вместе. Затем перевел взгляд на заявление, поданное Нонной, прочитал, бросил на нее испуганный взгляд, пододвинул бумажку Горячева, отшвырнул ее, потянулся к писульке Чудакова. Лицо его становилось все растеряннее.

— Я не возьму! — вдруг сказал он, отталкивая от себя листы.

— Почему? — спросил Чудаков.

— Это же саботаж! — сиплым от испуга голосом сказал заместитель. — Институт заканчивает полугодовой план работ, а вы уходите? И что вы тут написали: «... в связи с присоединением к числу авторов законченной нами работы по анти-ро-мезонам посторонних лиц. Работа проведена коллективом в составе Горячева А. Ф., Бахтияровой Н. М., Чудакова Я. Я. и Коваля В. М. (Вальку в список авторов они тоже вписали, его измена ничего не меняла!), а руководство института прибавляет в качестве соавторов Подобнова С. М., Крохмалева С. С. и руководителя лаборатории Красова М. Б. ...» Да вы понимаете, что вы написали? — с грозным придыханием спросил заместитель.

— А что, вам не нравятся фамилии? — спросил Чудаков.

— Это же... это же... Да это — раскрытие государственной тайны! — вдруг нашелся заместитель. — Вы называете работу, называете сотрудников института! Вы знаете, что за это будет?

— А мы эти бумажки несем не в шпионский центр потенциального противника, а к вам на стол, — хладнокровно сказал Чудаков. — И составлены они по форме: видите, в конце даже указано, что мы считаем возможным проработать положенные две недели, пока на наши места будут найдены другие сотрудники...

— Ну, вот что, товарищи, я этого не видел и не читал! — грозно сказал заместитель. — А с Иваном Александровичем я поговорю. Возможно, товарищ Красов и в самом деле превысил полномочия...

— Нет уж, товарищ заместитель директора, вы вручите академику наши заявления, а потом сообщите нам его мнение. А что касается самого факта, так, надо думать, Иван Александрович уже получил из президиума Академии нашу докладную записку по этому поводу...

— Вы и в Академию написали? — ужаснулся заместитель.

— Вот именно! — подтвердил Чудаков.

В это время в кабинет заглянула старшая машинистка. Увидев Чудакова, она смутилась было, но торопливо прошла к столу заместителя и положила перед ним папку.

— Материалы перепечатаны.

— После! После! — махнул рукой заместитель.

— Да вы посмотрите, пожалуйста, может быть, надо еще что-нибудь исправить...

Заместитель открыл папку, захлопнул ее, пробормотал:

— Хорошо, хорошо, я просмотрю!

Чудаков шепнул Нонне:

— Видите, информация сработала!

Вчера он настоял, чтобы докладная записка была отдана для перепечатки в институтское машинное бюро. Горячев возражал: «Аннушка перепечатает лучше!» Ярослав сказал: «Зато начальство получит полную информацию немедленно!» Он оказался прав. Но есть что-то неприятное в такой правоте. С такой правотой трудно жить. Впрочем, ему и верно нелегко живется...

— Можно идти? — вежливо спросил Чудаков.

— Идите! — вдруг разрешил заместитель.

Нонна от двери оглянулась. Заместитель уже раскрыл принесенную машинисткой папку и вцепился взглядом в первый лист. «Читает нашу докладную в Академию!» — подумала она. И впервые ей стало страшновато.

— Ну что ж, друзья, разойдемся по нашим конюшням! — сказал Чудаков в приемной. — Не знаю, что будете делать вы, а у меня еще тысяча дел...

Он старался казаться таким же спокойным, как всегда, но ему это плохо удавалось.

Нонна обратила внимание на то, с каким испугом посмотрела на них троих женщина-секретарь. Да, об их бунте уже знали...

Горячев выглядел безразличным. Как видно, этот мечтатель уже попрощался в душе с институтом. Нельзя обижать мечтателей: они похожи на детей. Сейчас он, вероятно, уже мысленно в Дубне или в Новосибирске — там тоже работают физики! — а в то, что после здешнего скандала его туда не пустят, он не верит. И Нонне захотелось, чтобы его пустили. Пусть даже не в Дубну, это очень близко от Москвы, но пусть хоть в Новосибирск. Нет, она добьется от отца хоть этого! Как ни противно ей теперь разговаривать с отцом, по этому вопросу она согласна поговорить...

Они уходили по длинному коридору, а она осталась: ей направо, к вычислителям. Стояла и смотрела на тонкую, мальчишескую шею Алексея, шагавшего с опущенной головой, на слабые, узкие плечи, на болтающиеся руки. Нет, занятия физкультурой не смогли наполнить это слабое тело силой и красотой, хотя мускулы и окрепли. Только выдержат ли эти даже и окрепшие мускулы ту тяжесть, которую он взвалил на себя?

Она вдруг подумала, что ей хочется заплакать. И почти бегом бросилась к своим вычислителям. Там не поплачешь, там придется, возможно, выслушивать соболезнования, улыбаться в ответ, отшучиваться, может быть, даже издеваться над своими «соавторами» за их неприспособленность к жизни. Циники есть и среди вычислителей, а бить за цинизм по физиономии не положено. Не ясно, есть ли в цинизме состав преступления...

Продолжение. См. «Огонек» №№ 10—19.

ГЛАВА

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ:

Валька Коваль

Чудаков спустился в «преисподнюю». Вальки не было. Уходя к заму, Чудаков попросил Вальку привести в порядок записи и чертежи устройств по плановым темам института. Он пытался приучить себя к мысли, что скоро на этом месте, за этим столом будет сидеть другой человек, надо оставить ему полный порядок: перенумеровать, что ли, все эти разрозненные записи, наклеить на канцелярские папки номера — хорошо бы выполненные темы отметить номерами красного цвета, а погубленные — черного, этакий траур по собственным неудачам. Но Валентина не было...

Он попытался было сам заняться этой несложной работой, но она из рук валилась: трудно быть собственным могильщиком

Вдруг что-то толкнуло его в сердце: но где же Валька? Они проработали рядом несколько лет и всегда знали все друг о друге. И то, что Валька не дождался их, куда-то исчез, было плохо.

Может быть, Валька не поверил в то, что его простили за отступничество? А ведь и Ярослав, и Алексей, да и Нонна действительно простили его. Если он не поверил, ему тоже плохо. Хуже, чем самому Ярославу.

Он встал из-за стола, даже не убрав бумаги, только последние записи по анти-ромезонному процессу спрятал в карман пиджака — Алексей просил не оставлять их, пусть хоть это наследство Кроха от них не получит! — и пошел в машинный зал. Если Вальки нет в их маленьком кабинетике, значит, он на ускорителе, хотя там теперь и делать-то нечего...

Но на ускорителе что-то делали.

И Валька был там.

Завидев Чудакова — в пустом пространстве вокруг ускорителя даже шаги звучали, как барабанный бой,— Валька наклонился и спрятался за пузырьковой камерой, которую делал когда-то вместе с Ярославом. Так мальчишки играют в палочку-выручалочку. Голову засунул за камеру, а зад торчит. «Вот я сейчас подкрадусь и трахну тебя по этому обтянутому джинсами заду палочкой-выручалочкой, будешь знать, как надо прятаться!»

Он и в самом деле собирался уже хлопнуть твердой ладонью по Валькиному заду, но Валька выпрямился, зло посмотрел на Чудакова, спросил:

— Сдали?

— Что?— переспросил Чудаков.

— Легкой жизни захотели? Эх вы, физики-лирики, туда вас и туда!— грубо выругался Валька.

— Ты что, очумел?

— А ты знаешь, что мы тут делаем?— Он свистнул, словно боцман, и с разных концов большого машинного зала к ним начали подходить люди. Они здоровались с Чудаковым, но было что-то виноватое в их лицах. Валька сухо сказал:— Так вот, готовимся к исправлению вашего неудавшегося эксперимента. Руководитель — товарищ Крохмалев.

В это время откуда-то вынырнул Кроха. Он по-хозяйски спросил у Вальки:

— В чем задержка, товарищ Коваль?

— Не ясны расстояния между зонами, Сергей Семенович!— отрапортовал Валька.

— Но они же были размечены!

— А Чудаков, после того как эксперимент был признан неудачным, уничтожил расчеты.

— Уничтожил? Но вы же говорили...

— Говорил, но не нашел. Да вы у него у самого спросите. Вот он, товарищ Чудаков.

— А, Ярослав!— растерянно, но приветливо воскликнул Кроха.— Послушай, какие тут параметры?— Он потыкал пальцем в сторону счетчика Черенкова.

— Право, не помню!— отозвался Ярослав. Он внимательно смотрел на Вальку. «Ожидал я, что Валька поступит только так? Нет, не ожидал. Ай да Валька! Ай да молодец!» И повернулся к Крохмалеву:

— А ты, Кроха, не думаешь, что при твоей комплекции облучение в шестнадцать доз почти смертельно?

— Что? Шестнадцать? Но почему? Ведь индикаторы...

— Нет, не сейчас. Я говорю о том случае, когда ты запустишь эту машину на всю железку. Ведь тебе придется суток двое-трое проторчать в зоне. Или ты попросишь делать отсчеты меня, поскольку я уже привык?

— Все шутишь? Скажи лучше, где твои расчеты.

— Понимаешь, я их сжег по ошибке. Вместе с другими бумагами. Ты ведь знаешь, я подал заявление об уходе. В ящике стола валялись разные посторонние бумажки, какие-то письма, кажется, даже от тебя было несколько штук, это когда ты поздравлял меня с удачами первых еще экспериментов. Ну, и, сам понимаешь, неудобно передавать вместе с деловыми бумагами еще и твои письма. Вдруг новый работник, который будет все это добро принимать, поймет эти письма иначе, будет думать: как же это так, такие добрые друзья, и вот один выжил из института другого, может, он и меня тоже выживет, не попробовать ли мне первому его съесть, он довольно упитанный,— вот я и сжег все эти бумажки от соблазна...

— Но расчеты! Расчеты! Это же не личные твои бумаги, это документы института!

— Погоди, почему ты думаешь, что там были какие-то бумаги? Это же не арифметическая задача: «Из бассейна проведены две трубы, одна пропускает в час сто литров, другая две тысячи. Через сколько минут выльется вода из бассейна, если в нем ничего нет...» Я работаю по интуиции.

Он говорил лениво, безразлично, а Кроха все пытался наскакивать, даже подпрыгивал на месте с каждым своим новым вопросом.

— Ты думаешь, о чем ты говоришь?

— Представь себе, нет. Мне как-то стало лень думать за других. Да и зачем? Ты же не поделишься со мной своей славой, когда тебя изберут в члены-корреспонденты? Верно?

— Эксперимент надо проверить!— громче, чем следовало бы, крикнул Кроха.

— Американцы проверят,— устало сказал Чудаков.— Помнишь, ты продержал нас полгода с ро-мезонами и заявил, что эксперимент был нечистый. Американцы немедленно проверили его и доказали, что мы с Горячевым были правы... А я даже не дал тебе по морде, а следовало, хотя бы только за то, что ты лишил русских приоритета еще в одном открытии.

— Вы слышали, товарищи, он еще мне угрожает!— вдруг завопил Крохмалев.

— Ничего мы не слышали!— сказал Валька и подмигнул механикам.

Те, ухмыляясь, медленно побрели на свои места. Валька остался. Увидев, что, кроме их троих, никого поблизости нет, он смиренно сказал:

— Я, Сергей Семенович, туговат на ухо. А Ярослав Ярославович со мной больше знаками обращается. Так как же мы будем? Снова пересчитаете или поставим наугад?

— Где схема эксперимента?— прошипел Крохмалев. Теперь он не боялся. Он боялся другого: схемы нет вообще. Вот чего он боялся. Но он знал, что никакой экспериментатор не уничтожит удачную схему. Она еще может ему понадобиться. Это он тоже знал, хотя сам уже давно не экспериментировал. За него это делали другие.

— Понимаешь, Кроха, ты поздно о ней вспомнил! Сейчас она уже лежит по меньшей мере в трех местах: в редакции «Вестника», в Академии, но так как при твоих длинных руках ты мог бы и там до нее добраться, то мы послали ее еще в третье место: она приложена к нашему письму в Госконтроль...

— В Госконтроль?— не проговорил, а выдохнул Крохмалев, взглянул на Чудакова, перевел взгляд на Вальку, повернулся на одной ноге и побежал к выходу так быстро, что шаги прозвучали в этой пустыне, подобно сигналу тревоги. Вот Кроха громыхнул дверью где-то далеко в коридоре, и все затихло.

— Вы и вправду послали ее в Госконтроль?— с удивлением спросил Валька.

— Ну зачем она им?— устало сказал Чудаков.— К письму мы приложили копию нашей работы.

— А что же делать с этим?— Валька кивнул на механизмы.

— Собирай, что же еще! Будет готово — проверим еще раз. Вот возьми!— Чудаков вынул из кармана заметки и отдал их.— Всякая проверка полезна, только Крохе схему не отдавай: еще напутает со зла!

ГЛАВА

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ:

Внешний мир

Несколько дней прошли в относительном покое. Алексей жадно и много писал: очень хотелось создать стройный мир ядерной физики, хотя он и знал воззрения старейшин этой науки. Они считали, что еще слишком мало фактов для постройки такого здания.

Алексей не лез в современные Кювье. Да и легче было Кювье. Подумаешь, по уцелевшей кости воссоздать облик вымершего животного! Перед нынешними Кювье стояла более трудная задача: по нескольким частицам, умирающим в одну стомиллионную долю секунды, создать целый мир, может быть, более сложный в своих взаимосвязях, чем доисторический мир, одну деталь которого сумел воссоздать Кювье.

«Нет, зарываться незачем.— думал Алексей.— Я знаю всего лишь несколько слагаемых этого странного мира. И я еще не могу подставить иксы и игреки вместо неизвестных частиц, чтобы сразу вывести уравнение. По-видимому, должно существовать даже несколько сходных частиц, хотя они до сих пор ускользают от экспериментаторов. Надо больше внимания уделять эксперименту...»

В одно из воскресений они попросили Нонну свозить их в Приокск: там строился новый ядерный институт. Михаил Борисович ни в квартире, ни в машине Нонне не отказывал, видно, ждал, когда дочка сама явится с повинной.

Увы, в Приокске об их ссоре со старшими физиками знали все. На гостей поглядывали сочувственно. О работе, что раньше бывало на второй минуте встречи, теперь не говорили. Расхваливали местность, удобные здания института, при вопросе об ускорителях закатывали от восторга глаза, но опять-таки, чем сии машины отличаются от тех, на которых работали Ярослав и Алексей, ни слова.

К концу визита Ярка мрачно сказал:

— Ну, полная информация получена...

— А что вы узнали?— наивно спросила Нонна.

Она на этот раз была тихой и нежной. А может, это только показалось Алексею. Может, она просто устала от той постоянной смуты, которую переживала. Уж, наверно, ни отец, ни мать не упускают случая, чтобы указать на ее неприличное поведение. Предать отца!

— Так какую же информацию вы получили?— продолжала допытываться Нонна.

— Не я, а они! Полную информацию!— сердито сказал Ярослав.— Они знают, что нас выпрут из института, что мы приехали пощупать, не примут ли нас сю-

да на работу, и знают, что наше руководство напугало ихнее руководство, что мы, мол, звери, а никакие не физики, и знают, что нас не возьмут. Вот их информация.

Нонна испуганно взглянула на Алексея. Тот утвердительно кивнул.

— Но это же свинство!— возмутилась Нонна.

— Почему? — равнодушно спросил Ярослав.— Какой же учитель будет поддерживать бунтующих учеников? Хорошо еще, что сейчас не средневековье. В те времена старшины цеха просто выпороли бы нас на площади и выпроводили за стены города. Нет, теперь времена либеральные. Вон у американцев ученый, поступивший в лабораторию фирмы, передает все материалы своих исследований в ведение этой самой фирмы, хотя никто из директоров ни уха, ни рыла не смыслит в его выдумках. Нет, в нашем случае не свинство, нас просто хотят образумить.

— Зачем вы так, Ярослав!— У Нонны задрожали губы.

— Что, обиделись за папочку?— грубо спросил он.

С Ярославом творилось что-то непонятное. Он стал резок даже с друзьями.

Да, Ярослав, пожалуй, без института пропадет. Он мог бы пойти к ракетчикам, к химикам. И там и тут науки смыкаются с физикой элементарных частиц. Но он жаждет только эксперимента и только в странном ядерном мире. Они как-то шутя и не шутя высчитывали, сколько времени продержатся на зарплату Аннушки в том случае, если мстительный Михаил Борисович даст им отрицательные характеристики и им придется доказывать причастность к науке с твердостью неофитов. По Аннушкиным подсчетам выходило, что если они не станут требовать чекушку к обеду, то она их прокормит месяца три. Алексей восхитился, закричал: «А мы еще будем подрабатывать переноской мебели из магазина!» Магазин мебели был в их доме. Ярка со странной злостью — ведь разговор-то был шуточный!— сказал: «Так тебя и примут в артель, с твоими-то музыкальными руками! В магазине будем прирабатывать мы с Валькой. А ты будешь отсиживаться дома...» Нонна — она теперь была постоянно с ними,— стараясь снять возникшее напряжение, неосторожно воскликнула: «А я буду носить ему завтраки!» И Ярка вот так же грубо сказал: «Если папа позволит!» Нет, Ярослав все время пытается обособить Нонну, ему не хочется признавать ее равной. И Алексею пришлось напомнить в тот вечер: «Вальке некогда будет носить мебель, он станет готовить новый эксперимент для Крохи...» Ярослав словно и забыл, что Валька больше не водится с ними.

Вот и сейчас, после грубых слов Ярослава, губы у Нонны задрожали. Алексей сидел рядом с нею и видел ее лицо в профиль. Ярослав сидел сзади, навалившись грудью на спинку переднего сиденья. Алексей чувствовал на своем плече его руку. Ярка не видел лица Нонны, но и он, видно, понял, что сморозил глупость, потому что вдруг замолчал и откинулся назад. Больше его рука не мешала Алексею, но и это показалось недобрым. Будто Ярка начисто отделился от них.

Но у дома Ярка попрощался с Нонной с привычным дружелюбием, даже пригласил зайти. Нонна отказалась: было поздно. Алексей тоже не пошел: зачем беспокоить Аннушку? Тем более, что новости они привезли дрянные.

А на следующий день, в понедельник, секретарь директора Марина Саввишна позвонила и сказала полушепотом — в присутствии академика она всегда не говорила, а шептала:

— Завтра, к одиннадцати, вас приглашает Иван Александрович!

Алексей переждал немного, чтобы она успела дозвониться и к Ярославу, а потом позвонил ему сам.

— Ну, что ты скажешь?— спросил он.

— Тебя интересует мое лирическое отношение?

— Не только!— нетерпеливо сказал Алексей.

— Тогда подожди. Я к тебе скоро поднимусь.

Алексей позвонил Нонне. Нет, ее к Ивану Александровичу не приглашали. Позвонил Вальке. Тот ничего не слыхал, ему не звонили, и он очень рад. Впрочем, Валька всегда старался быть как можно дальше от небожителей. Он с облегчением ответил, что у него на горизонте все спокойно.

Итак, дело пока ограничивалось разговором с Алексеем и Ярославом. Что ж, тем лучше. Ведь они и есть главные виновники. Им и отвечать.

Ярослав пришел через полчаса. Наверное, «собирал информацию». Был он мрачен.

Сел на стол Алексея, сдвинув бумаги в сторону, покачал ногой, выстукал на зубах что-то вроде похоронного марша, посвистел немного, спросил:

— Наводишь глянец для своего сменщика?— И ткнул пальцем в горку папок.

— Вычисляю массу новой частицы,— с неудовольствием ответил Алексей.

— За что я тебя люблю, Алешка,— развязно заговорил Ярослав,— это за то, что ты похож на Архимеда!

— При чем тут Архимед?— рассердился Алексей.

— А при том, что, когда горели Сиракузы, Архимед так и не встал со своей лежанки,— ты же проходил, наверно, в школе, что древние греки и пили, и ели, и работали лежа?— так вот, Архимед и не подумал выглянуть в окно, не приближается ли пожар к его дому, а все продолжал свои вычисления.

— Давай ближе к делу!

— Ближе к делу, ближе к телу... Моя хата с краю... С миру по нитке — удавленнику веревка...— бессмысленно бормотал Ярослав, тупо глядя на Алексея черными упрямыми глазами.

— Да, тогда в Сиракузы приехали пожарные и успели залить огонь. Обгорела только крыша Архимедова дома. А он узнал об этом на следующий день утром, когда закончил расчеты и пошел погулять со своей собачкой... Кстати, у древних были собаки?

— В Греции было все, и дураки тоже были!— буркнул Алексей.

— Ты не сердись, Алеша,— тихо проговорил Ярослав, и в голосе его явственно прозвучала усталость.— Конечно, мы с тобой не пророки, предвидеть будущее не обучены, но столько-то мы понимаем, чтобы сказать: наше дело швах! Впрочем, был бы хомут, а шеи у нас крепкие...

Эта унылость в голосе и в лице Ярослава, которому всегда и все было нипочем, так удивила и даже испугала Алексея, что он вскочил из-за стола, будто собирался звать «Скорую помощь». Ярослав мрачно усмехнулся и удержал его за плечо.

— Погоди, спешить некуда. У нас еще масса времени. До одиннадцати часов завтрашнего утра.

Алексей снова сел. Он лихорадочно соображал, чем и как успокоить друга. В таком состоянии Ярослав мог натворить немало чудес. Как раз вовремя. Когда каждое лыко им могут записать в строку. В строку будущей характеристики. Конечно, характеристики все равно дадут паршивенькие, но зачем же нарываться на издевательские?

Ярослав взял со стола статуэтку Ники, повертел в тонких пальцах. Сегодня и Ника не оживала, оставалась тяжелым металлом, удобным разве что для удара по голове. Да и в глазах Ярослава было именно такое выражение, будто он примеривался, как бы половчее ударить кого-то статуэткой. Но вот он вздохнул, поставил статуэтку обратно на стол и сказал:

— Ты ее забери домой. Положи в портфель. И свои бумаги тоже. А то, знаешь, прикажут выложить на стол пропуска, а потом комендант произведет опись «выморочного» имущества, и черта с два ты допросишься своих забытых вещей. Мы ведь по ножу идем, как в коране говорится, и вряд ли доберемся до рая. Скорее всего, угодим в ад. Тут, пожалуй, и Ника не поможет!

Он погладил статуэтку ладонью, и — странное дело!— в этот миг Ника снова затеплилась жизнью и красками,— свет из окна упал на нее переливчато, что ли? Алексей сказал:

— Давай сходим в партком, Ярослав. Покажем Кириллову нашу докладную. Ведь если в Академии запиской заинтересуются, они прежде всего позвонят ему.

Такой разговор заходил и раньше между ними. Но Ярослав стоял на своем: никто защищать их не станет. Порой Алексею казалось, что для Ярки и на самом деле «страшнее кошки зверя нет». Вот и сейчас он меланхолически сказал:

— Ну что может Кириллов? Он же не ученый, а механик. Кстати, тебя никогда не занимало, почему в нашем институте секретарем парткома всегда выбирают кого-нибудь из инженеров и никогда — ученого?

Алексей недоуменно взглянул на Чудакова. В самом деле, почему? И нехотя предположил:

— Ученые — теоретики, а на такую работу нужен практик...— И нечаянно оживился:— А Кириллов не просто инженер! Все опыты у него на глазах проходят.

— Да, проходят,— не сдавался Ярослав,— но Кириллову важен только ход опыта, как работают его машины. И вообще партийная организация занимается только вопросами воспитания. Не будут же они разрабатывать теорию!

— Вот мы и попросим Кириллова перевоспитать нашего Шефа,— слабо улыбнулся Алексей.

— Так он тебе и возьмется! Это тебе не детская комната при отделении милиции: «Мальчик, зачем ты стащил у девочки ее завтрак? Ай, какой нехороший мальчик!»

Он спрыгнул со стола, помахал руками, как мельница крыльями, присел несколько раз на носках. Алексей видел, что все это делается от смущения: как же, разнюнился! Вот он выпрямился, лицо стало спокойным. Суховато сказал:

— Итак, до завтра. Имей в виду, нас судит триумвират: сам Иван Александрович, его заместитель и Шеф. Шеф уже трижды ездил к Ивану Александровичу на дачу. Список наших работ, мой автореферат по докторской диссертации, твои документы, что ты подавал на конкурс по замещению должности старшего научного сотрудника,— все это доставлено Ивану Александровичу. И — это уж мои догадки!— приложены все доносы, которые сочиняли на нас или только что сочинили по требованию Шефа Кроха, Подобнов и Анчаров. Так что готовься, брат, выпить чашу до дна...

Он залихватски-легкомысленно помахал рукой, прощаясь, и выскользнул в коридор. Алексей огорченно посмотрел на дверь.

Да, с Яркой происходило что-то непонятное. Словно он надломился. Внутренним усилием он еще мог притвориться прежним, как вот сейчас, прощаясь. Но трещина, как видно, прошла прямо по сердцу.

Алексей сердито швырнул бумаги в стол и вышел, грозно хлопнув дверью. Закон борьбы прост: если товарищ выбыл из строя, становись на его место!

Партийный комитет института находился в цокольном этаже, неподалеку от «преисподней». Когда ускоритель не работал, Кириллов обычно сидел в парткоме. В его кабинете стоял небольшой пульт с сигнализацией: любой инженер или механик машинного зала мог нажать кнопку на своем рабочем месте, и Кириллов точно знал, где его ждут. Пульт сделали коллеги по машинному залу: Кириллов после военного ранения страдал одышкой, а машинный зал велик...

Кириллов с любопытством поглядел на Алексея. Еще полгода назад Алексей попросил у Кириллова Устав партии и анкету,— было это в те дни, когда он совсем уверился, что ро-мезоны являются открытием. А потом пошло-поехало! Кроха начал перепроверять каждый шаг эксперимента-

торов и не увидел или не захотел увидеть новые частицы. А когда он произнес хорошо поставленным голосом, что эксперимент проведен «нечисто», стало просто стыдно просить у старших товарищей рекомендации... После окончания опытов с античастицами как будто и пришел такой день, когда с этой просьбой можно подойти к любому коммунисту, Алексей уже доказал, что не даром ест советский хлеб, да снова беда: рассмотреть не успеют его заявление о приеме, если академик, согласно прорицанию Ярослава, предпочтет выгнать их, чем выносить сор из своей белокаменной избы в пять этажей...

— Заявление принес?— просто спросил Кириллов.

— Заявление, да не то, которого вы ждете,— вздохнув, ответил Алексей и выложил на стол копию докладной записки. Разговаривать с Кирилловым было легко: он присутствовал при опыте с античастицами, да и раньше не обходил установки Ярослава и Алексея стороной, всегда интересовался, что еще они придумали.

Кириллов внимательно поглядел на заголовок записки, перевернул страницу, взглянул на дату.

— Поздненько же вы с нею явились. Или все не решались отослать?

— Отослали в тот же день...— смущенно признался Алексей.

— Ну, ну, ну...— Кириллов задышал тяжело и часто. Его одышка — Алексей замечал это не однажды — возникала не только от усталости, но и от нервного возбуждения. Стало совестно: пришел к человеку, когда уже поздно что-нибудь сделать, только взволнует его понапрасну. Не об этом ли говорил и Ярослав?

Между тем Кириллов, вернувшись снова к первой странице докладной, внимательно читал ее, беззвучно шевеля толстыми потрескавшимися губами. Сидел, сбычившись каменной глыбой над столом, подперев лоб обеими руками, читал медленно, будто впитывал слова или записывал в памяти. Дочитал, снова уткнулся в дату и только потом уже разогнулся, посмотрел на Алексея.

— Чем же я тут могу помочь, Алеша?— неожиданно мягко спросил он.

Алексей словно споткнулся. Ведь все, казалось, началось правильно. Он пожал плечами.

— Завтра к одиннадцати нас вызывает академик. Красов поставил вопрос просто: или нашу работу подписывают все, кого он назвал, или... А мы, к его радости, все трое подали заявление об увольнении.

— Ну и глупо!— без обиняков сказал Кириллов. На широком, толстом его лице появилось что-то вроде обиды.

— Почему глупо?— ошарашенный, спросил Алексей.

— А как же вы будете бороться с Красовым и со всякой «красовщиной», если уйдете из института? Да еще «по собственному желанию»? Это же для товарища Красова лучший конец! И он подаст это самым естественным образом: молодые буяны восстали против руководства института и были изгнаны вон. Как это говорится в писании: «Изыди, дух сатанинский!» А те молодые ученые, которые с нетерпением ждут, чем кончится ваша борьба с Красовым, сразу слиняют и сникнут. Какая же это атака?

— Какие молодые?— с некоторым испугом спросил Алексей.

— Да что, свет клином на вас троих сошелся, что ли?— неохотно сказал Кириллов.— В институте немало любителей проехаться на чужом горбу, да и рикши имеются. Пока никто не протестовал, все рикши с любезностью подставляли спины, а теперь они вдруг заговорили. Пока еще, конечно, между собой. Но ведь удайся вам седока с горба скинуть, все заговорят вслух. А вы сразу: «Мы уходим!» Конечно, уйти проще. Вам даже характеристики дадут почтенные. Меня уже спрашивали: как я о вас думаю? А я думаю хорошо, так и сказал.

Молодые! Алексей вдруг вспомнил восхищенно-испуганные взгляды, которые порой встречал, вылезая из своей клетушки. Правда, никто из молодых сотрудников с доверительными беседами к нему не лез. Но ведь практика Михаила Борисовича Красова принята на вооружение многими деятелями института. Взять того же доктора Анчарова. Сколько помощников трудилось над его диссертацией! А кто из этих «добровольных» помощников успел за это время защитить свои собственные? Да нихто! Анчаров скажет: «Нет удобного случая!»— и все молчат. Как же Алексей и Ярослав не подумали об этих молчальниках? Конечно, уйти сейчас из института — отступление!

— Хорошо,— сказал Алексей.— Завтра мы попробуем взять наши заявления обратно.— И встал.

— Попробуем! Попробуем!— передразнил Кириллов.— Да ладно уж, Аника-воин, иди. Я тоже попробую тут кое с кем поговорить... Правда, надежда невелика, не очень-то я маракую в теории ядерной физики, чтобы утверждать, будто вы и есть те самые гении, которые нужны нашему институту, но уж если такие зубры, как Богатырев и Тропинин, вам помогали, значит, у вас тут,— он постучал костяшками пальцев по своему широкому лбу,— что-то есть! Завтра после разговора с Иваном Александровичем заходи. Не так страшен черт, как его малюют!

Алексей вышел. Не то чтобы у него стало легко на сердце. Это только в песенке поется: «Легко на сердце от песни веселой!» А его песенка почти что спета. И угораздило же их забыть, что они не так уж одиноки! Останься они в институте, вопрос о неправильной практике Красова можно было бы поставить на Ученом совете. И повторить. И еще раз повторить. Как тот древнеримский сенатор, который каждую речь начинал с напоминания римлянам: «Карфаген должен быть разрушен!»— а потом уж переходил к вопросам рабовладения или там сокрытия доходов римскими богачами. И, глядишь, Красову пришлось бы самому спуститься в «преисподнюю», чтобы доказать, что он еще что-то умеет...

А Кириллов в это время названивал в Дубну. И когда профессор Богатырев подошел к телефону, заговорил спокойно, как о чем-то давно обоим известном:

— Ну, Павел Михайлович, завтра наших мальчишек поведут на заклание. Очень просил бы приехать к академику с утра. Я понимаю, что вставать в шесть часов после рабочей ночи не очень приятно, да жалко ребятишек. Ну, ну, я так и думал. Недаром же и поработал с вами рядом и повоевал под вашим началом! У меня все!— И, положив трубку, вздохнул свободно, откровенно.

Продолжение следует.

Николай АСАНОВ

СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ
С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ

Рисунки П. Пинкисевича.

Богиня

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ:

Движение воды

Ровно в девять утра Кириллов поднялся в приемную академика. Ни Гиреева, ни Богатырева еще не было. Марина Саввишна, без удовольствия поздоровавшись с ним, отрезала ледяным голосом:

— Вряд ли Иван Александрович сможет вас принять. У него сегодня очень загруженный день.

— Поживем — увидим, — невозмутимо ответил Кириллов и прошел к окну.

Там он и остался стоять, пока не увидел, как подошла запыленная «Волга» с дубнинским номером и из нее вылез Богатырев. И в ту же минуту показалась машина Гиреева. Гиреев выскочил легко, прямо неся среброволосую голову, вокруг которой вроде бы посверкивало сияние — совсем как венчик над головой святого. Он был без пальто, без шляпы, и Богатырев, подошедший к нему от своей «Волги», выглядел старомодным провинциальным врачом: серая шляпа, длиннополое пальто. Но поздоровался Гиреев дружески: видно, заранее сговорились встретиться прямо у подъезда, пока академика не завертело в потоке дел.

Академик пропустил гостя вперед, и они скрылись в здании. Кириллов обернулся к двери.

Войдя в приемную, академик встретил взгляд Кириллова.

— Вы с чем, Николай Иванович?

— Да вот поджидаю движение воды, — ворчливо ответил Кириллов. — В Евангелии писалось о каком-то целебном источнике: больные должны были ожидать возмущения воды, а тогда уж не зевай, ныряй, авось вылезешь здоровым.

Академик слушал в пол-уха, помогая гостю повесить пальто. Но что-то недоброе мелькнуло в его лице в ответ на слова Кириллова. Проведя гостя в кабинет, он сухо сказал с порога:

— Ну что ж, входите и вы. Наверно, еще вчера сговорились?

Кириллов небрежно уронил:

— А как же!

Марина Саввишна с глубоко обиженным видом — ведь говорила же Кириллову, что академику сегодня не до него! — вошла следом с папкой почты. Академик усадил Богатырева напротив, спросил:

— Наверно, не завтракали? Я нашего Кириллова знаю. Уж если вцепится в человека, то, как бульдог, зубов не разожмет! — и приказал секретарше: — Принесите кофе!

Богатырев усмехнулся, ничего не ответив, и Марина Саввишна вышла, гордо неся перекрашенное лицо. При академике она всегда не столько служила, сколько священнодействовала. Здесь все зависело от нее, кроме непредвиденного прорыва Кириллова. Но придется угощать и его. Другое дело — Богатырев! Он и сам член-корреспондент. А бывало время, когда Богатырев даже начальствовал над ее обожаемым шефом. С ним надо считаться. Не исключена возможность, что Богатырев снова окажется на коне... Все эти мысли не имели, конечно, отношения к делам, но хороший секретарь тем и хорош, что может предвидеть все возможные комбинации...

Секретарша принесла и поставила перед каждым малюсенькие чашечки с отличным кофе, а разговор все не складывался, не шел дальше «В Москве нынче очень жарко!», «Нас Волга спасает!», «Я решил в этом году съездить на Иссык-Куль!». Но вот Марина Саввишна исчезла, и Богатырев, не торопясь, приступил к делу.

— Мы повторили опыт Горячева и Чудакова. При атаке античастицами металлических мишеней металл словно бы перерождается. Аннигилируют именно связующие частицы ядра. Ядро становится «дырявым». Если удастся выделить античастицы с большей частотой явлений, то прикладное значение эксперимента неоспоримо.

— Рад, что вы подтвердили мои предположения, — любезно ответил Гиреев.

Кириллов улыбался про себя, но так, чтобы собеседники не заметили. С его точки зрения этот разговор ничем не отличался от предыдущей болтовни о погоде. Но уж если Богатырев приехал, то не для светской беседы.

Иван Александрович, по-видимому, тоже это понимал. Вот уже и чашки отодвинуты, а гость все топчется на месте. Гиреев не любил ходить вокруг да около. И спросил напрямик:

— Что-нибудь случилось, Павел Михайлович? Помнится, в прежние времена вы действовали резче.

— А вы еще вспоминаете прежние времена? — Богатырев с любопытством воззрился на собеседника.

— Не только вспоминаю, но и часто благодарю вас мысленно. В те годы вы меня здорово просветили.

— Просветил! — грубовато перебил Богатырев. — В те годы вы были не моложе ваших нынешних помощников. И просвещение вам не так уж требовалось, как обычное доверие. Я просто доверился вам.

Иван Александрович почему-то нахмурился, но Богатырев словно и не замечал этих перемен. Ничуть не смягчаясь, он после паузы вдруг сказал:

— А вы не могли бы отдать мне этих ваших молодцов — Горячева и Чудакова? Античастицы для вашего института, как говорится, не в профиле. А у меня в лаборатории эти молодцы могли бы еще натворить чудес.

— Ну, что касается чудес, так они мне и самому нужны! — довольно резко возразил Иван Александрович.

— Ну уж и нужны! — усмехнулся Богатырев. — Пусть ваш Красов сам придумает деревянный велосипед, да на нем и едет к славе.

— Вы что, читали этот опус? — подозрительно спросил Иван Александрович, вынимая из лежащей на столе папки многостраничный документ.

— А что это? — Богатырев протянул руку.

— Э, нет! Это сор из нашей халупы. Мы его за ворота не выбрасываем! — И Гиреев уложил документ обратно.

— Ну, уж если они пишут заявления, так тем более их следует отпустить.

— А все-таки, может, лучше выгнать? — ядовито спросил Иван Александрович. — Хотя бы для острастки. Чтобы другим было неповадно слезницы сочинять. Мы-то в наше время жалоб не писали!

— Зато доносы кое-кто очень даже писал. В том числе и на вас! — хладнокровно сообщил Богатырев.

— На меня? — Гиреев широко открыл глаза.

— А вы что, святым себя считали? Не забудьте, я-то ведь и тогда был вынужден администрировать. Даже над вашей лабораторией комиссарил. Если вспомнить, сколько этих хитреньких доносов и доносцев поступало в то время в мои руки, так диву даешься, как же лжив и хитер человек! И ведь знали подлецы, что по любому доносу человека могут головы лишить. Благо, не лично, так сказать, ножом зарезал, а просто сгинет человек в нетях. Вроде бы доносчик тут ни при чем, судьба, дескать...

— Но меня-то в чем могли подозревать? Я же все время был на глазах!

— А, дело прошлое, что вспоминать! — Богатырев досадливо махнул рукой. Но Иван Александрович смотрел так просительно, что он нехотя договорил: — Да вот, посудите сами: опыт с барием задержался — донос! Гиреев сознательно тормозит работу, ослабляя обороноспособность Родины. Понимаете? А вы в это время с воспалением легких лежали. Или: выехали вы в Казань, когда ваша супруга отыскалась. Донос. Но уже не из нашей вотчины, а прямо из Казани: беседовал с иностранцем! И хотя и я и вы знали, что иностранец этот — польский физик, еще до войны перешедший на нашу сторону, другие-то, кому надлежало вершить вашу судьбу, этого не знали! А фамилия в доносе не называлась, чтобы пострашнее выглядело.

— Н-да! — задумчиво протянул Гиреев. И, с любопытством глядя на Богатырева, спросил: — И что же вы делали с этими доносами?

— А что я мог делать? Запирал в сейф. До лучших времен. И писал соответствующие объяснительные записки, что-де от участия такого-то зависит само исполнение «проекта»...

— И верили?

— А куда им было податься? У них на каждого доносчика лежали подписанные

Продолжение. См. «Огонек» №№ 10—20.

Победы

мной характеристики. Тут уж, прямо скажу, я погрешил: порою и талантливого подлеца называл бездарностью! Так что в следящих и пресекающих инстанциях поневоле задумывались: тронь там кого-нибудь, а вдруг из «проекта» ничего не выйдет? Покричат, покричат, бывало, да с тем и отпустят...

— На вас? Кричали?

— А что я такое был с их точки зрения? Какой-то майор... Одно только и удерживало: особая важность задания... А, да хватит об этом! Я ведь только хотел узнать: отдадите вы мне ребятишек?

— Что-то мне этот разговор не нравится! — озабоченно сказал Иван Александрович.— Уж не сговорились ли они с вами заранее?

— Нет, это мы с Николаем Иванычем по старой дружбе стакнулись. Он мне намекнул, будто Красов решил от них избавиться...

— Красов пока еще не директор института,— холодно сказал Гиреев.— Так что закончим наш разговор на этом. И разрешите мне навестить вашу лабораторию.

— Пожалуйста, хоть завтра. Но и у меня к вам просьба: захватите с собой авторов эксперимента. А то вас всегда сопровождают какие-то чиновники от науки: Анчаров, Красов, наш бывший Кроха... А что они во всем этом понимают? — Бросив эту последнюю молнию, Богатырев встал. Уже прощаясь, у самой двери еще раз спросил: — Так не отпустите?

— Нет, нет, нет! — трижды произнес Гиреев. И, проводив гостя, обернулся к Кириллову: — Ну, что же у вас?

— Да я тоже по поводу этих молодцов заходил. Но Павел Михайлович все так хорошо прояснил, что не стану отнимать у вас время. Хотел только сказать, что на следующем партбюро будем рассматривать заявление Горячева о приеме в кандидаты... Я тут кое с кем говорил,— как будто парня ценят...

— Не рано ли, Николай Иванович? — проворчал академик.

— А что же, не все их в пеленках держать, выросли уже...

— Ну смотрите...— с досадой в голосе произнес академик и взялся за почту.

Кириллов догнал Богатырева в коридоре. Богатырев стоял, прислонившись к стене, и беззвучно хохотал. Справившись с этим приступом веселья, спросил:

— А здорово мы ему мозги вправили!

— Не сказал бы! — суховато ответил Кириллов.— Почему было не поговорить напрямик?

Богатырев искоса взглянул на секретаря партбюро, сказал насмешливо:

— Всякому овощу свое время! Вот если бы Иван Александрович действительно их выгнал, тогда можно было бы камни швырять и стекла бить. А мы пока обратились к его разуму. И скажите ребятишкам: в случае чего, у меня для них припасено пристанище. Мало ли что еще придумает товарищ Красов! А вот и он! Легок на помине! Ну, я пошел! Не хочу с ним встречаться!— И Богатырев торопливо отступил, чтобы скрыться за поворотом коридора.

Красов был еще далеко и шел медленно, степенно, как и полагается солидному человеку.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ:

Мир или перемирие?

Без четверти одиннадцать Ярослав поднялся к Горячеву.

— Собирай личное имущество!— с порога приказал он.— Пошли!

Из портфеля, который Ярослав тащил с собой, выглядывали не бумаги, а мотки тонкого провода, рукоятка дрели, фасонистый паяльник с наборной ручкой и что-то еще. Он свое имущество собрал, как видно, полностью.

Ярослав сгреб со стола папки, над которыми сидел Горячев, сунул их в шкаф, а статуэтку Ники затолкал в портфель Алексея, показывая тем самым, что им сюда больше не возвращаться.

Личные бумаги Алексей собрал еще раньше и теперь стоял посреди комнаты, словно прощаясь с нею. Ярослав толкнул его в плечо — надо было идти — и пошел впереди, что-то насвистывая и немилосердно фальшивя.

Однако перед приемной академика он примолк.

В приемной никого не было. Секретарша, должно быть, прошла в кабинет.

Алексей покорно сел в самый угол длинного, черного, обитого кожей дивана, на который обычно присаживались все приглашенные к Ивану Александровичу. Диван в шутку называли «дыбой»: ожидание на нем превращалось в пытку. Академик был слишком занят, и можно было просидеть тут месяц, ежедневно видеть чинную спину шествующего директора, но на прием так и не попасть. Садились на диван в самом крайнем случае.

Ярослав остановился у широкого и высокого окна и принялся выстукивать ногтем свой похоронный марш теперь уже по стеклу. Стекло дребезжало жалобно и покорно. Ровно в одиннадцать — Алексей все время посматривал на часы — Марина Саввишна появилась в дверях кабинета, неприязненно оглядела посетителей, пробормотала: «Ах, пришли? Проходите!» — и уселась за свой стол, прямая, как доска. Ярослав громко сказал:

— Степень немилости старших узнается по степени презрения младших! Когда я стану директором института, я немедленно вас уволю!

— Руки коротки! — насмешливо крикнула им в спину секретарша, на мгновение забыв, что академик рядом и что при нем следует говорить шепотом. Ярослав рассмеялся, а секретарша — Алексей это видел — поглядела на него испуганно. Неужели она поверила, что когда-нибудь Чудаков будет ее начальником?

Иван Александрович восседал за огромным письменным столом, который вполне мог бы послужить фундаментом для дачного домика. Откинув на спинку тронного кресла голову в благородной голубоватой седине — молодые ученые сплетничали, что академик ежедневно моет волосы синькой,— он с интересом наблюдал за входящими. Справа от него, в боковом кресле, в свободной позе сидел Михаил Борисович, слева — заместитель.

Ярослав не удержался, шепнул:

— Ареопаг!

Кабинет был так велик, что сидящие у стола не услышали шепота, но дальнозоркий академик рассмотрел, должно быть, что губы Ярослава шевелятся. Он с усмешкой сказал:

— Поздно сговариваться!

И прозвучало это, как угроза мальчишкам, залезшим в чужой сад: «Ага, попались, получайте!»

Ярослав и Горячев приблизились к столу. Именно приблизились, а не подошли. Иван Александрович вполне благосклонно пригласил:

— Садитесь.

Они уселись у дальнего конца стола для заседаний, приставленного торцом к письменному. Очевидно, сцена приема была подготовлена заранее. У этого стола только и стояло два стула, остальные были отставлены к стене. Получилось, что им заранее приготовили места для подсудимых. Не хватало только стражей с обнаженными шашками.

Ярослав разглядел на столе перед Иваном Александровичем три их заявления, прижатые бронзовым пресс-папье, экземпляр статьи об эксперименте, который был послан академику еще без подписей, и тихонько толкнул Алексея ногой. Алексей вздрогнул.

— Ну-с, молодые люди, что это за история с бегством из науки? — спросил Иван Александрович, быстро оглядев лица «подсудимых». Возможно, весь ритуал беседы был разработан заранее, и организаторы надеялись, что «молодые люди» сразу упадут на колени. Но Ярослав спокойно улыбнулся и посоветовал:

— А вы спросите у Михаила Борисовича...

И Горячев простодушно подтвердил:

— Да, это все Михаил Борисович устроил...

Академик нахмурился, зло посмотрел на Красова. Тот выдержал взгляд, однако маска благодушия и спокойствия начала сползать с его лица.

— С Михаилом Борисовичем я еще поговорю!— грозно сказал Гиреев.— А вот вы попробуйте объяснить, на что рассчитывали, подсовывая свои заявления. Что институт развалится? Что руководство побежит к вам упрашивать: «Ах, голубчики, останьтесь!»

— Но вы же этим и занимаетесь, Иван Александрович! — холодно сказал Ярослав.

И академик словно поперхнулся.

— Смотрите, Чудаков еще иронизирует! — возвысил голос Михаил Борисович, но академик метнул такой огненный взгляд, что он сразу же умолк.

— Что же вам не понравилось в моем институте? — спросил Гиреев после паузы.

— Нам не нравится в нашем институте то, что он утерял свои старые традиции,— проговорил Алексей.

— Ого, у вас, Горячев, тоже прорезался голос? — насмешливо сказал Гиреев.— А мне вы всегда казались молчальником! Какие же традиции утеряны в в а ш е м институте? — отчетливо подчеркнул он.

— Я просмотрел все «Вестники» института со дня его создания,— угрюмо сказал Алексей, уязвленный насмешкой академика.— Тогда и вы, Иван Александрович, были молоды... Но, думаю, вас называли «молодым» без презрительной интонации! В «Вестнике» института печатались рядом студенты, аспиранты, руководители лабораторий, члены-корреспонденты и академики... И каждый из них работал на науку, а не на чужого дядю, чего с такой последовательностью добивается сегодня Михаил Борисович Красов. Лично я благодарен Михаилу Борисовичу: он когда-то пригласил меня в институт. Но вот что странно: благородные традиции заботы о науке, которые отчетливо проявились в институте в довоенные еще годы, теперь, после всех перемен в жизни, когда снова высоко ценится достоинство человека, в в а ш е м институте, Иван Александрович, забыты начисто. Ведь вот привыкли же вы, Иван Александрович, считать институт с в о и м? А Михаил Борисович пошел дальше: он считает с в о и м и чужие работы, чужие замыслы, даже чужие таланты...

— Как вы смеете! — воскликнул Красов.

— Продолжайте! — сказал академик.

— Я высказал все! — ответил Алексей.

— Нет, вам еще придется повторить ваши высказывания в другом месте! — со странной смесью угрозы и страха пробормотал заместитель Гиреева.— Вам еще покажут, как клеветать на авторитетных руководителей...

— А, да прекратите вы вашу демагогию! — сказал Гиреев, и заместитель сразу умолк.— Продолжайте, Горячев!

— Все очень просто, Иван Александрович,— с легкой усмешкой заметил Чудаков.— Мы не хотим везти на своем горбу в рай придурков от науки вроде Крохмалева или Подобнова. А они дороги нашему уважаемому шефу как память о прошлом или как родительское благословение...

— Иван Александрович, остановите этот поток оскорблений! — вдруг тоненько, каким-то сорвавшимся голосом воскликнул Красов.

— Успокойтесь, Михаил Борисович! — Академик поднял руку.— А вы помните, молодые люди, о преемственности в науке? Крохмалев и Подобнов начали раньше вас...

— Но не сделали сами ничего! — отчетливо и безжалостно проговорил Ярослав. И так же безжалостно добавил: — Как, впрочем, и сам Михаил Борисович, пусть он меня извинит. Я из интереса только что просмотрел все последние его труды. Это всего лишь популяризация чужих идей или подпись под чужими работами, которую Михаил Борисович скромно называет «соавторством».

— Но такие группы соавторов выступают не только в нашем институте! — вторгся опять заместитель.

— И очень жаль,— спокойно возразил Чудаков.— Благодаря этому странному обычаю невозможно отличить талантливого исследователя от бездарности, а бездарность как раз этого и ищет: талант у одного, а результаты раскраиваются пополам или на четвертушки... Сколько наших работ вы подписали, Михаил Борисович? Ты не считал, Алеша?

— Тринадцать!— спокойно ответил Алексей.

— Вот видите! — насмешливо сказал Чудаков.— И все тринадцать работ были опубликованы не только в нашей печати, а и за границей, и все тринадцать попали в сводку лучших, опубликованную в прошлом году американским исследовательским институтом. И Михаил Борисович вправе рассчитывать на выдвижение в академики...

— Ну, это как сказать! — с досадой буркнул Гиреев.

Алексей подумал: больше он ничего не захочет слушать и не услышит. У некоторых людей слух устроен весьма странно: избирательно. До них доходит только то, что им приятно. Остальные звуки рассеиваются. Правда, Ярослав сегодня добился того, чего хотел: высказался. Но сам Алексей, кажется, напрасно сеял семена разума. Их вытопчут. Иван Александрович постарается забыть самое неприятное, а его заместитель или Михаил Борисович никому не расскажут о сегодняшнем разговоре. Так что все напрасно. Конечно, увольнять с оргвыводами постесняются, а может, и побоятся. Но всего лучше уволить. Сам Алексей на месте академика так бы и поступил. Не наступай на любимую мозоль! Вот тебе!

Он вдруг весь напрягся. Иван Александрович изрекал выводы. Ему, видно, действительно надоела эта буря в стакане воды. Его благообразное лицо стало строгим, голос — отрывистым, словно он диктовал заповеди. Как бог на горе Синайской. Имеющий уши да слышит... Вы-то не имеете права притворяться глухими, слишком еще молоды...

Но то, что он вещал, звучало внушительно:

— Сегодня я отправляю статью в «Вестник». Она будет опубликована за двумя вашими подписями. Подпись Коваля снимается — он только технический работник. Подпись Бахтияровой тоже — она сотрудник другого отдела. Ваши заявления я возвращаю, вот они, можете порвать. Желание Бахтияровой уйти из института поддерживаю; даже лучше: скорее замуж выйдет. Все. Можете идти.

Ярослав взглянул на Алексея. Лицо у того побледнело. И не понятно, то ли он сейчас закричит, то ли потеряет сознание и повалится со стула. Надо было что-то сделать. Срочно.

Он насмешливо спросил:

— А не позволит ли высокая договаривающаяся сторона взять нам пятиминутный перерыв для обсуждения предъявленных условий капитуляции?

— Все шутите, Ярослав Ярославович?— недобро усмехнулся Иван Александрович.— Чем вы еще недовольны?

— Очень немногим, товарищ директор института. Не понимаю этой странной арифметики: сначала к нашей работе приписывают лишних авторов, а потом снимают половину действительно работавших. Если уж вы решили, что работа действительно н а ш а, то позвольте нам самим судить, кто имеет право ее подписать. Точно так же непонятен и вопрос об увольнении. Если вы решили не принимать наши заявления всерьез и оставляете меня и Горячева на работе, то почему вы увольняете Нонну Михайловну?

— Заявление Нонны Михайловны поддерживает и ее отец,— сухо сказал академик.

— По-моему, Нонна Михайловна за папу не отвечает. На вашем месте я уволил бы Михаила Борисовича, ведь это из-за него весь сыр-бор загорелся. Но поскольку мои рекомендации силы не имеют, я позволю себе попросить у вас заявление Нонны Михайловны, которое и передам ей вместе с вашим пожеланием, раз уж вы ее сюда не пригласили... И напоминаю, Иван Александрович, что докладную в президиум Академии Нонна Михайловна тоже подписывала...

Алексей, понемногу начавший оживать, медленно поднялся.

— Пойдем, Ярослав, отсюда. Это уже не разговор о науке, а торговля.

— Горячев, сядьте! — прикрикнул академик.

Горячев покорно опустился на свой стул. Ярослав усмехнулся: фейерверка не получилось. Порох отсырел от слез... Но и у академика что-то сдвинулось в сердце. Он повертел в руках аккуратным почерком написанное заявление Нонны и протянул его Чудакову.

— Возьмите. Пусть Нонна Михайловна решает сама. А работу сдайте немедленно. И с какими угодно фамилиями.

Он встал, вслед за ним поднялись все. Это действительно было похоже на заключительный церемониал конференции двух высоких договаривающихся сторон. И обе стороны были одинаково недовольны договором, который они подписали.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ:

Победа теряет крылья

Они стояли в коридоре, торопливо закуривая. У Алексея дрожали руки, и спичка сломалась. Ярослав дал ему огня. Алексей закурил, глядя куда-то в сторону.

— Неужели нам так и придется все время?

— Будет и хуже!

— Но мир-то, кажется, заключен!

— На войне это называлось: перемирие для захоронения покойников...

— Ну, ты скажешь!

— А чего тут говорить, когда камеру-то у нас уже отобрали! Я решил поберечь твою нервную энергию до разговора с академиком, поэтому не передал самую свежую информацию. Сегодня утром камеру передали по распоряжению Михаила Борисовича Крохмалеву для постановки повторного эксперимента. Проверить он, конечно, ничего не сумеет, но изображать сможет неопределенно долго, по крайней мере до окончания эксперимента в Лос-Аламосе. Нам же с тобой остается столь же неопределенно долго выжимать новые частицы из старой пленки. Да еще, возможно, самим засесть за просмотровый аппарат, так как лаборантки тоже могут быть «по распоряжению академика» переброшены на какую-нибудь «архиважную» тему. Так что мы с тобой сейчас похожи на генералов, оказавшихся на передовой без армии...

Из приемной академика вышел Михаил Борисович. Лицо у него было багровое, на лбу бисерился пот.

— Ну, аники-воины! — сказал он, словно подслушивал их разговор.— Зайдите ко мне.

Тон его был благодушным, словно не ему только что наносили тяжелые удары. Алексей не сумел сдержать своего изумления. Однако прошел Михаил Борисович так, слов-

но тянул нитку от взрывателя: вот сейчас скроется за поворотом коридора и дернет, и под ногами у Алексея и Ярослава взорвется мина...

Алексею захотелось немедленно догнать его. Себя-то он взрывать не станет!

— Не торопись! — удержал его Ярослав.

— Что ему еще надо?

— Хочет произнести поучение. Академик не дал ему поговорить. А у него есть что сказать!

Они докурили, взглянули друг на друга, швырнули одинаковым движением окурки в урну и пошли плечо к плечу по коридору. Взрыва пока не было.

Михаил Борисович стоял в двери кабинета, покачиваясь с носков на пятки.

— Проходите! — милостиво пригласил он.

Сел он не за стол, а в угол, возле курительного столика, вокруг которого стояли низкие красные кресла из пластика и поролона. И стало понятно, что разговор будет неофициальный.

— Ну-с, поздравляю вас с успехом! — миролюбиво начал он.

— Вы тоже сражались геройски! — любезно поддержал Ярослав.

— Но ваш фланговый обход с этой докладной в Академию — это да!— Он задумчиво покачал головой.— Неужели Нонна принимала участие и в этом?

— Как раз ее советом мы и воспользовались. Нонна Михайловна сказала, что покойный Бахтияров, если ему ставили палки в колеса, всегда обращался туда.

— А не думаете ли вы, что ваша докладная записка может дискредитировать работу института? Ведь не все довольны работой ученых...

— Недовольны не работой ученых, а тем, что ряды ученых замусорены такими, как ваш Кроха, Подобнов...

— Зато на этом фоне ваш талант ярче! — любезно напомнил Красов.

Алексей сжал голову руками, пытаясь понять, к чему ведется этот светский разговор. И вдруг, словно в прошлом спортивном споре с Тропининым, ему показалось, что он стоит на скользких, грузных лыжах, и пол под ним весь в провалах и гребнях, а лыжи уходят, вырываются из-под ног, и он отчетливо и ясно услышал голос Габора: «Они вас утонут!» И мышцы Алексея напряглись. «Нет-нет-нет!» — сказал он себе с веселым бешенством.

— Что вы от нас хотите, Михаил Борисович? — спросил он, глядя на Красова в упор.

— А такого союзника, Яр Ярыч, как наш милый Алексей Фаддеевич, я бы себе не пожелал! — с грустным сожалением глядя на Чудакова, проговорил Михаил Борисович.— Он всегда торопится, а еще древние говорили, что спешить надо медленно... Что, в сущности, произошло? Алексей Фаддеевич получил служебный выговор, правда, без занесения в личное дело. А ему кажется, будто он выиграл Полтавскую битву...

— Напрасно вы, Михаил Борисович, думаете, что все в вашем уютном мире остается по-старому! — с холодным спокойствием сказал Алексей.— Мы ведь не одиноки! О том, что с такими, как вы, можно драться, узнают и другие ученые. А ваши милые помощники будут дрожать при одном воспоминании об этих днях.

Он говорил, не отводя взгляда от Михаила Борисовича, и с удовольствием видел, как высокомерие постепенно сползает с лица противника, как в глазах его загорается ярость, но не та спокойная, уверенная ярость, с какой Красов только что разговаривал, а трусливая, опасливая. И Ярослав, удивленно смотревший на Горячева, вдруг, улыбаясь, сказал:

— А ведь битву мы действительно выиграли, Михаил Борисович! И какие бы стратегические и тактические новинки вы теперь ни замышляли, я уверен, что в академики вам не пройти! Тут уж сам Иван Александрович постарается, чтобы не позориться перед коллегами. И Кроха не станет членом-корреспондентом, и даже Подобнов не получит повышения.

Михаил Борисович глухо сказал:

— Ну что ж, если битва вами уже выиграна, я посоветовал бы вам перейти в другой институт. Победителей не судят! Вы получите отличные характеристики и даже повышение по службе. Скажем, в Дубне вам, Чудаков, можно будет через месяц защитить докторскую, а Горячев получит долгожданное звание старшего научного сотрудника. Он, кажется, лет пять сидит на полутораста рублях? И никто никому не станет наступать на ноги...

— Увы! — с полным простодушием сказал Ярослав.— Мы были и в Дубне и в Приокске, но нас там почему-то испугались...

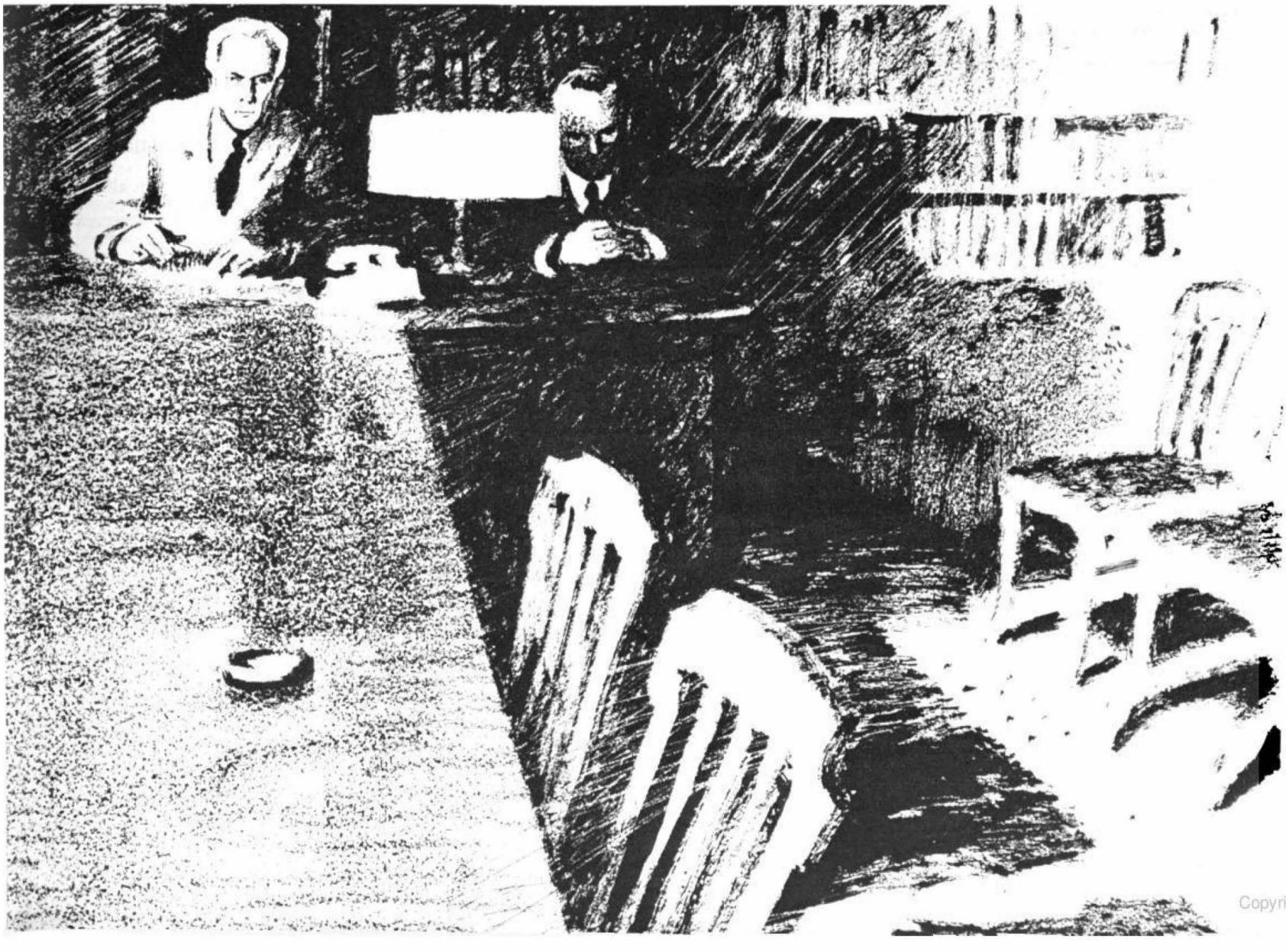
— Ну, это была ошибка! — ничуть не смутившись, возразил Михаил Борисович.— А всякую ошибку можно исправить. Если вам захочется съездить в тот или другой институт, я с удовольствием предоставлю свою машину. Тем более, что Нонна Михайловна знает дорогу и, наверно, не откажется прокатиться с вами еще раз.

— Нет, здесь нам почему-то больше нравится, Михаил Борисович,— спокойно возразил Чудаков.— Мы понимаем, что нам придется трудно, а вот Крохе и Подобнову — легче. Как и вам. Но ничего: наше место на передовой, там, где рвутся снаряды. Да и поработали мы тут немало. Нам очень хотелось бы, чтобы наш институт стал действительно авторитетным. А если мы уйдем, боюсь, что следом за нами вы уволите всех, кто еще может бороться с вами. Не правда ли?

— Вероятно, кое-кого придется уволить! — согласился Михаил Борисович.

— Ну вот, видите? Зачем же доставлять людям такие неприятности. Не лучше ли в этом случае уйти вам, Михаил Борисович, и увести с собой Кроху, Подобнова и еще парочку-другую прихлебателей? И воздух станет сразу чище, и для науки будет полезнее...

Алексей внимательно, с каким-то веселым даже удовлетворением вслушивался в грохот этой дуэли, не отрывая взгляда от Красова. Вот когда он увидел наконец настоящее лицо этого человека, похожее на лицо иезуита, отправляющего на костер очередного еретика с елейным выражением и напутственной молитвой. Интересно, мно-



Copyrigh

гим ли удается увидеть настоящего Красова, не попав на костер? Такой опыт и такую интуицию, как у Ярки, вероятно, мало кто имеет! Ведь, если сейчас Алексей пойдет к людям и попытается рассказать, что произошло в институте, никто не поверит. Скажут: «Не может быть!», «Ведь это такие ученые!».

Как раз в этот момент Красов вскинул взгляд на Алексея и спросил:

— Значит, обращение к разуму не вызывает ответа?

— Простите, но вы нас просто пугали! — поправил Чудаков.

— Пожалуй, вы правы. Тем более я обязан вас предупредить, что напрасно вы идете на ссору. И я буду академиком, и Крохмалев станет членом-корреспондентом, и Подобнов получит лабораторию. Ту самую, в которой вы останетесь просто сотрудниками! А что касается ваших работ, так вы ведь сами говорили мне, что физика до сих пор еще темная лошадь. Значит, кто ее оседлает, тот и поедет. Ошибки можно найти почти в каждой работе, особенно если она принадлежит противнику. А другие работы можно объявить неактуальными или малоубедительными. Впрочем, это, возможно, и не потребуется. Посмотрим, что вы сумеете сделать без камеры, без лаборантов, без помощников. И кто вообще согласится теперь работать с такими скандалистами? Напрасно вы думаете, что находитесь на передовой, вы попали в окружение! А жаль, жаль. Мне так хорошо работалось с вами, что я в отчаянии, теряя талантливых друзей! Тем более что, как говорится, я вас породил...

— Но убить нас вам уже не удастся! — вставил Алексей.

— Кто знает, кто знает! — улыбнулся Красов. Он уже вернул себе все самообладание и снова стал сильным.— Что ж, до завтра! Каждый сам выбирает себе путь. Вы выбрали труднейший. Посмотрим, как далеко вы уйдете. Если вы увидите Нонну, скажите, что я оставил машину у подъезда. Да, кстати, я слышал, Ярослав Ярославович, что вы уже отдали переплетать свою докторскую диссертацию? Думаю, что из нее получится неплохая подставка для чайника...

Выпустив этот последний снаряд, он поднялся, плотный, сильный, улыбчивый, чтобы проводить своих собеседников. Ярослав вдруг сказал:

— Одну минуту, Михаил Борисович! Мне думается, что вы достойны небольшого подарка. Примите его от нас обоих! — и требовательно обернулся к Горячеву: — Алексей, дай мне статуэтку!

Алексей, еще не сообразив, что собирается делать Чудаков, вынул из портфеля и передал ему статуэтку Ники. Михаил Борисович с любопытством смотрел на Чудакова. А тот вытащил из своего портфеля дрель с длинным проводом, поискал глазами розетку, увидел ее в углу, возле письменного стола, выдернул вилку настольной лампы и включил свой инструмент. Дрель зажужжала, и Ярослав, ведя сверло, как карандаш, написал на постаменте статуэтки:

«М. Б. Красову. Поздравляем с победой, но она бескрыла!»

И расписался за себя и Алексея:

А. Горячев.
Я. Чудаков.

Михаил Борисович не удержался от восклицания:

— Какая прелестная вещица! Но мне кажется, я где-то ее уже видел.

— Теперь вы можете любоваться ею постоянно! — проговорил Чудаков, отстраняя статуэтку и разглядывая надпись. Михаил Борисович склонился рядом с ним, читая. И недовольным голосом спросил:

— Почему же вы считаете, что моя победа бескрыла?

— О, крылатая победа благословляет только благородную битву! Она всегда с теми, кто воюет не за себя, а за весь мир! Пусть ее крылья осеняют нас!

С этими словами он зажал статуэтку в левой руке, а правой ловко и быстро отломил одно за другим оба крыла. Движения были так сильны, что крылья отломились как раз на предплечьях. Поставив статуэтку на стол, он сунул свой инструмент в портфель и коротко приказал:

— Пошли!

Ошеломленный Алексей едва успел оглянуться от дверей: бескрылая Ника стояла на краю стола с поднятой головой, но теперь лицо ее выглядело гневным. За дверью Ярослав протянул ему крылья и устало сказал:

— Возьми их на память.

— Зачем ты это сделал? — гневно спросил Алексей.

— Пусть помнит, какой он победитель!

И больше Алексей ничего от него не мог добиться.

(Окончание следует.)

Гог

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ:

Продолжение еще будет

Нонна сидела в машине отца, положив руки на руль и опустив на них голову. Впечатление такое: шофер устал и воспользовался короткой остановкой, чтобы немного поспать. Как это поется? «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...» Алексей хотел было проскользнуть мимо — не до разговоров сейчас! — но Чудаков шепнул:

— И не думай убежать!

И верно, Нонна резким движением открыла заднюю дверцу, не глядя на них, сказала:

— Садитесь!

Ярослав толкнул его в машину, сел рядом, и Нонна так резко взяла с места, что оба качнулись, как тот негритенок, что болтался перед Нонной.

Нонна свернула налево, и машина понеслась в сторону Внукова, сразу врезавшись в голубой простор молоденьких парков, над которыми далеко в стороне взлетали в небо старинные колокольни, чем-то похожие на космические ракеты.

Потом пошел мелкий лес, пересеченный старыми проселочными дорогами, по которым уже давно не ездили, и по одной из них Нонна свернула на ближнюю лужайку.

— Ну, что там произошло? — спросила она, впервые оборачиваясь к ним и вглядываясь в их усталые лица.

Ярослав вынул из кармана и передал ей заявление об уходе, выцарапанное из твердых рук академика.

— Вот, можете порвать.

— А вы?

— Уже порвали.

— Капитуляция?

— Временное перемирие.

Алексей вслушался в ворчливый голос Ярослава. Нет, так не пойдет! Ей надо сказать все. Он кашлянул, чтобы привлечь ее внимание. Она, близко придвинувшись к Ярославу и хмуро глядя в его глаза, будто выискивая что-то недосказанное, прикрикнула:

— Молчите, Алеша! Я хочу понять, рад ли Ярослав, что все так благополучно кончилось, или он отступил только для разбега?

— Чтоб удариться головой об стенку? — поддразнил ее Чудаков.

— Нет, чтобы занять позицию повыше той, на которой сидят мой отец и его друзья.

Окончание. См. «Огонек» №№ 10—21.

Имя Победы

СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ
С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ

Николай АСАНОВ

Рисунки П. Пинкисевича.

— Выше нас не пустят! — сказал Ярослав.

— Тогда продолжайте с того места, на котором остановились!

— А что станете делать вы?

— Я? — Она на мгновение осеклась.— Я выйду замуж. Замдиректора передал мне совет академика. Алеша, вы возьмете меня в жены?

— Я не смогу прокормить вас на свои полторы сотни,— сухо ответил Алексей. Он все не мог понять, о чем и, главное, зачем они говорят.

— О, я умею делать десять блюд из простой картошки. И я стану штопать вам носки и рассчитывать ваши формулы — это я тоже умею. И я возьму у отца свое пианино и начну давать уроки, пока вы будете отрабатывать ваши часы в институте...

Что-то изменилось в ее голосе, он стал мягким, певучим и в то же время прерывистым, как будто ей все труднее дышать, вот-вот она задохнется совсем или вдруг зарыдает.

Алексей сердито сказал:

— Пора по домам!

Ярослав взглянул на него, молча открыл дверцу и нагнулся, чтобы выйти. Алексей схватил его за локоть.

— Куда ты? Сиди!

Ярослав откинулся обратно в угол и закрыл глаза, словно заснул. Алексей захлопнул дверь.

Теперь Нонна смотрела только на него. Ярослава как будто не было для нее, а может, она просто забыла о нем.

— Если я буду с вами, отец перестанет преследовать вас.

— Я не хочу оставаться при вас и при нем! — грубо сказал Алексей.— И эта борьба не кончится, пока такие, как ваш отец, не уйдут...

Она ничего не ответила, лишь посмотрела пристально, испытующе, глаза у нее сухо блестели, но сейчас он мог сколько угодно выносить ее взгляд. Она отвернулась, положила руки на руль, несколько мгновений вглядываясь, как будто не понимая, где она и как сюда попала, потом машинальным жестом включила зажигание и резко развернула машину. Теперь она все делала четко, автоматически, только правая щека ее, которую видел Алексей, горела и нервически вздрагивало веко.

И у дома она затормозила автоматически четко. Ярослав вылез так неловко, словно глаза его все еще были закрыты, махнул рукой и поплелся к себе. Алексей, оказавшись на тротуаре, сказал:

— Спасибо...

Нонна не оглянулась и сейчас же отъехала. Только когда она развернула машину и проезжала мимо, взгляды их встретились. В ее глазах не было ни гнева, ни сожаления.

Алексей пошел по тротуару к своему подъезду, когда твердая рука легла на его плечо и рывком повернула его назад. Перед ним стоял Ярослав. В глазах его был такой гнев, что Горячев невольно отшатнулся.

Copyrighted material

— Дурак! — сказал, словно хлестнул, Ярослав.

— Оставь меня в покое! — яростно закричал Горячев.

— Ну, уж нет, голубчик! — прошипел Ярослав.— За что ты ее обидел? Ты подумал, сколько ей нужно было мужества, чтобы восстать против собственного папаши? Ведь она действительно стала плечом к плечу рядом с нами, и ей было труднее, чем нам, потому что она воевала против отца! Это мы разрушили ее уважение к отцу! Мы сделали ее несчастной!

Над их головами распахнулось окно. Голос Аннушки негромко приказал:

— Мальчики, перестаньте! И поднимитесь домой! Ярослав, не отпускай этого неврастеника. И скажи ему, что женщины прощают грубость солдатам, когда солдаты ведут бой...

— А если этот болван перестанет драться? — проворчал Ярослав, подняв голову к открытому окну.

— Ничего, залечит свои синяки в одиночестве и снова примется за свое,— спокойно сказала Аннушка.— Он еще даст жизни Михаилу Борисовичу! А сейчас тащи его сюда, жаркое перестоялось...

Голос был тихий, мирный и словно бы удаленный в пространстве и во времени от всего, что бушевало в окружающем мире и в собственной душе Алексея. Подчинись ему на час — и можешь погрузиться в нирвану, где несть ни печали, ни воздыхания, но нет и звона скрещивающихся мечей, и нет горечи поражения, и нет упоения победой. Но разве этого ждала от Алексея Ника?

Он резко повернулся, перебежал улицу и поднял руку, останавливая первую попавшуюся машину...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ:

Вы мне нужны, Нонна...

Он позвонил в квартиру Красовых, по-видимому, следом за Нонной.

Она открыла дверь, держа на руке только что снятую автомобильную куртку, и даже несколько отшатнулась назад.

— Что случилось? — тревожно воскликнула она и сразу набросила куртку на плечи, будто появление Алексея предвещало беду.

— Вы мне нужны, Нонна...— медленно выговорил Алексей, как выговаривались в его душе эти слова, пока он торопил шофера такси, будто боялся, что Нонна исчезнет, если он не догонит ее, и тогда ему уже никогда не удастся произнести эту фразу.

— А... — сразу успокоившись, произнесла Нонна и повесила куртку.— Я подумала, может быть, Ярослав...— Оборвала себя, приказала: — Проходите, Алеша, я сейчас...— И исчезла в глубине квартиры.

Он ошеломленно остановился на пороге ее комнаты, прислушиваясь к тишине. Впрочем, тишина была относительной: капала на кухне вода из неплотно завернутого крана; где-то ходила Нонна, вот она что-то уронила; стучали настенные часы; гулко прогудела струна в закрытом рояле, отвечая резонансом на какой-то звук, донесшийся из раскрытого окна... Алексей стоял и думал: почему она так равнодушно отнеслась к его появлению? И почему прежде всего вспомнила о Ярославе?

И остановил себя: дурак, ты ворвался так неожиданно, что действительно мог показаться провозвестником несчастья! А так как явился ты, то, естественно, Нонна подумала об отсутствующем. Как подумала бы о тебе, если бы ворвался Ярослав. Все трое связаны одной судьбой. И все идем одной дорогой.

Ходит птичка весело́
По тропинке бедствий,
Не предвидя от сего
Никаких последствий...

А то, что она не кинулась в твои объятия, тоже понятно: ты ухитрился смертельно обидеть ее. Попробуй теперь убедить ее, что поступил так против воли и желания...

Щелкнул дверной замок, и в проеме вырос Михаил Борисович. Он прищурился, словно не узнал после яркого уличного света, кто стоит перед ним. Потом насмешливо улыбнулся.

— А, Алексей Фаддеевич! Пришли с повинной?

— Нет. Хочу обокрасть вас.

Михаил Борисович отступил на шаг, легкое удивление и некий страх мелькнули в его расширившихся глазах, но он сдержался, усмехнулся снова.

— Ограбление запланировано с убийством?

— Нет. Вы ведь не очень храбрый человек и просто встанете лицом к стене, чтобы ничего не видеть.

— За что же такая лютая месть?

— Согласно исповедуемой вами заповеди: око за око!

— И как вы понесете вашу добычу? Связанной и в мешке? Добровольно она за вами не пойдет!

Алексей готов был выкрикнуть что-нибудь еще более злое, но в конце коридора появилась Нонна и сухо сказала:

— Перестаньте! Алеша, пройдите в комнату!

— Как? Он оскорбил твоего отца, и ты приглашаешь его в дом? — ядовито спросил Михаил Борисович, но, взглянув на дочь, торопливо добавил: — Ничего, ничего, мы пошутили!— И, швырнув шляпу на вешалку, бочком прошел мимо Алексея в кабинет.

Нонна своим суровым взглядом словно бы втолкнула Алексея в комнату. Не обращая больше внимания на Алексея, она сразу села в кресло, стоявшее подле погашенного торшера, уронила руки на колени и опустила голову, словно ее надломили. В этой позе Нонна выглядела маленькой, несчастной девочкой, которая не понимает, за что ее обидели, но чувствует, как жестока эта обида. Алексей невольно потянулся, чтобы погладить ее по голове, но она услышала его неловкое движение и резко выпрямилась.

Красота ее словно бы полиняла в одно это мгновение. А может быть, она умывалась после возни с машиной, но резкий разговор Алексея с ее отцом помешал ей вновь наложить косметику, поэтому и проступило все сердечное утомление, все долгие бессонные ночи, все длительное разочарование, которое копилось, вероятно, с того самого дня, как они встретились на пороге института. Ведь эти дни не прошли бесследно ни для кого из них. И даже милейший Михаил Борисович далек от своего привычного оптимизма.

— Зачем вы так, Алеша? — тихо выговорила она, глядя блестящими в полутьме глазами прямо в его глаза.— Я ведь не такое уж слабое существо и не нуждаюсь в жалости.

— Вы ничего не поняли, Нонна! — в отчаянии воскликнул он.— Ведь это я, я, понимаете, я боялся, что вы лишь из жалости заговорили о нашем будущем! Вы же помните, мне все предсказывали судьбу неудачника, мученика, несчастливца... Разве мог я принять при всем том, что сейчас происходит, вашу помощь? Я чувствовал бы себя трижды несчастнее, если бы ничем не мог отблагодарить вас за вашу жертву!

— Что же изменилось сейчас? — Глаза ее были недоверчивы, но где-то в глубине взгляда вдруг затеплилась маленькая надежда, и Алексей разглядел ее. Сердце забилось ровно, гулко, как перед затяжным прыжком с трамплина на лыжах, когда тебя охватывает предчувствие невесомости. Он все-таки опустил левую руку на ее волосы, а правой приподнял за подбородок ее лицо, наклонился — глаза в глаза, чтобы лучше видеть, что в них происходит,— и страстно сказал:

— Двое вместе — это уже победа! Это поддержка и помощь! Это совет и надежда! И это любовь и счастье! Почему мы должны отказываться от счастья?

Она смотрела в его глаза долго-долго, а он все склонял к ней лицо, и вдруг губы коснулись губ, и словно удар молнии ослепил и оглушил их — больше они не видели ничего, не слышали, как скрипнула дверь, как Михаил Борисович покашлял на пороге, и очнулись только от его громкого голоса:

— Я вижу, что ограбления с убийством не будет! Поздравляю вас, Алексей Фаддеевич! Нонна, можешь погрузить свои тряпки в машину! Завтра поставишь машину возле института. Я не желаю, чтобы в моем доме жила предательница! И для матери так будет лучше! У нее по три сердечных припадка в день!

Он отвернулся и ушел, сгорбленный, словно бы постаревший в один миг. Но Алексею показалось, что и это было притворством. Как будто он с усилием держал спину сгорбленной и с трудом притворялся стариком. Взглянув на Нонну, Алексей увидел ее сухие, испытующе устремленные на уходящего отца глаза и не почувствовал угрызений совести за то, что разрушил семью. Эта семья была разрушена давно.

— Алеша, помоги мне! — тихо прошептала Нонна, показывая на чемодан, стоящий на гардеробе.

Она и не заметила, как обратилась к нему на «ты», словно бы поручая себя его защите. И он понял: Нонна боялась, она действительно вручала себя и свою судьбу ему, пока еще очень слабому человеку.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ:

Взгляд со стороны

Иван Александрович Гиреев посетил «преисподнюю».

Первым его заметил Коваль и забил тревогу: позвонил Ярославу. Ярослав сердито буркнул в телефон: «Ну и что?» — и повесил трубку.

Крохмалев, пятый день пытавшийся рассчитать путь новой частицы, выделенной Чудаковым и Горячевым, предупредил своего шефа о появлении академика. Михаил Борисович незамедлительно проследовал вниз.

Гиреева сопровождал Кириллов. В хаосе настроенных и демонтированных приборов, начатых и оставленных опытов и проверок было трудно разобраться. Кириллов добросовестно информировал обо всем, что тут делалось и намечалось на будущее.

У анти-ро-мезонной цепи они встретились.

Михаил Борисович пытался давать Крохмалеву свои «ценные указания», а Валька Коваль стоял в сторонке и переживал. Схема отладки была у него в кармане, но товарищ Крохмалев не удостоил техника объяснениями, для чего ему понадобилось повторять опыт. И Валька, помнивший, как Кроха загубил предыдущий опыт Горячева и Чудакова, мужественно страдал и страшился, однако продолжал утверждать, будто не помнит расположения приборов. Страшился он правильно: если Кроха запустит установку по догадке, черт его знает, что тут произойдет.

Иван Александрович поздоровался со всеми и несколько насмешливо спросил Красова:

— Вас уже предупредили?

— Меня пригласил Сергей Семенович. Он проверяет опыт Чудакова,— сухо ответил Красов.

— А где же сами экспериментаторы?

— Участие в проверке для них не обязательно,— твердо сказал Красов.

— Я что-то не замечал раньше особой приверженности у Сергея Семеновича к экспериментам. Он ведь у нас в основном-то теоретик...— сказал Иван Александрович, словно и не замечая, как краснеет и бледнеет Крохмалев.— Кстати, прошлое участие Сергея Семеновича в эксперименте с ро-мезонами привело к недопустимой задержке открытия,— словно только что

вспомнив об этом, добавил академик.— Вы не находите, что такие проверки не ускоряют, а замедляют нашу работу?

— Кто-то все равно должен проверить их опыт,— по-прежнему с твердостью в голосе проговорил Красов.

— Так вот вы и заставили бы их повторить весь эксперимент! — спокойно возразил академик.— Кстати, почему они отсутствуют?

— А у них отобрали пузырьковую камеру, вот эту самую, что сконструировал Чудаков,— невинно сказал Кириллов.— Сейчас они работают со старыми фотопленками. Горячев пытается теоретически предсказать новую частицу. Даже название уже придумал — фи-ноль-мезон. Не знаю, что он может сделать при помощи карандаша и бумаги, но, говорят, знаменитый астроном Леверье вычислил таким именно образом положение новой планеты. Может, и он помучится и научится...

— Чему он может научиться? — недовольно спросил Гиреев.

— Почтению к старшим! — тем же невинным голосом заметил Кириллов.

Михаил Борисович чувствовал, как его постепенно охватывает ярость. Было похоже на хорошо срепетированную сцену спектакля: каждая реплика бьет по нему. А Гиреев, словно сразу потеряв всякий интерес к опыту, пожал плечами и сказал:

— Ну что ж, продолжайте. А попозже зайдите ко мне, Михаил Борисович.

Он ушел вместе с Кирилловым. И тут Михаил Борисович дал себе волю.

— Вы, что же, не могли вовремя взять копию расчетов? — обрушился он на Крохмалева.— И вы, Коваль, тоже хороши! По окончании эксперимента вы были обязаны сделать полные записи и чертежи!

— Так ведь я только исполнитель, Михаил Борисович,— жалобно проговорил Коваль.— А Чудаков свои расчеты никому не доверяет. Говорит, что у него уже был прокол по вине Сергея Семеновича...

— Попробуйте эмпирически! — приказал Красов.

— А если тут что-нибудь произойдет? — Коваль боязливо кивнул на камеру.— Это ведь, Михаил Борисович, не наши привычные протоны, это античастицы! — Он вытянул указательный палец, словно прислушиваясь к звучанию нового слова.

— Тогда идите к Чудакову и докажите ему, что он не имеет права скрывать схему опыта!

— А вы бы сами, Михаил Борисович! Или сказали бы Ивану Александровичу... Ивана Александровича они послушаются...

Красов резко повернулся и затопал к выходу. Растерянный Кроха постоял-постоял возле аппаратов и тоже поплелся вон. Валька прислушался, как грохнула тяжелая дверь, взялся за манипуляторы и принялся устанавливать приборы в исходное положение. Он помнил наказ Чудакова: опыт поставить. Никогда не вредно повторить пройденное. При повторении можно найти кое-что новое.

А Михаил Борисович, миновав свою резиденцию, проследовал прямо в приемную академика. Что-то опасное было в этом внезапном появлении Гиреева в «преисподней», в этом разговоре, в подначивании Кириллова, в неподчинении Коваля. Странным образом на память пришли строчки Маяковского, которого он даже и не любил, но почему-то строчки припомнились:

Которые тут временные? Слазь!
Кончилось ваше время...

Нет, не то чтобы он почувствовал себя «временным», не в этом дело! Он лучше других знал, что лошадка, которую он оседлал еще до рассвета, мирно повезет его до самого заката. А физика только еще переживает свое раннее утро. Конечно, надо порой доказывать свое право на шествие в первой колонне, но этому он научился так давно, что ему незачем переучиваться. Вот только какие-то подземные колебания чудятся в этом дворце науки. Того и гляди коридоры закруглятся, покосятся потолки, а потом поди-ка поищи выхода!

Но он был старым бойцом и знал, что лучше всего идти навстречу опасности. Выигрывает тот рапирист, который первым коснется противника. Иван Александрович напал на него, но напал без охоты. Возможно, его вынудили обстоятельства?

Марина Саввишна была на посту. Едва завидев Михаила Борисовича, она улыбнулась самой обаятельнейшей из своих улыбок, распределенных строго по рангу посетителей академика. Михаил Борисович облегченно вздохнул: академик никому и ничем не показал своей к нему немилости. Значит, и немилости нет.

— Проходите, Михаил Борисович, академик сказал, что вы зайдете...

Так! Академик сказал... Впрочем, это тоже ничего не значит. Академик не сказал же: «Сейчас придет Красов, пропустите его!» Он просто сказал, что когда придет Красов, дайте нам возможность побеседовать наедине. А когда Красов придет, он и не пытался предугадывать. Правда, лучше было бы прийти попозже, но теперь этого уже не исправишь. И все-таки можно поставить себе в вину, что потерял выдержку. Раньше ты сначала обдумал бы все, выбрал бы наилучший момент из всех возможных, зашел перед концом работы, когда все торопятся по домам, и разговор, если он предстоит, был бы кратким, на бегу, остался незаконченным, а назавтра был бы забыт. Но ты поторопился, а это уже похоже на то, что ты признаешь какую-то свою вину. Но менять что-либо было уже поздно!

Академик читал какую-то книгу и ставил размашистые знаки на полях красным карандашом. Взглянув поверх очков на Михаила Борисовича, пробормотал: «Очень рад!» — снял очки, положил их на книгу, а сверху швырнул газету. В этом было что-то новое, неприятное. Раньше Ивану Александровичу, как и самому Михаилу Борисовичу, не пришло бы в голову скрывать друг от друга, кто чем занимается. Красов нахмурился.

— Садитесь! — пригласил академик, а сам встал из-за стола.— Хотите чаю или кофе?

— Спасибо.

— Спасибо — нет или спасибо — да? — хмуро пошутил Иван Александрович, прошел к двери, приоткрыл: — Марина Саввишна, два стакана крепкого чаю. Я буду занят.

«Да,— размышлял про себя Михаил Борисович,— видно, он давно готовился к этому разговору».— Захотелось встать, обойти стол и приподнять газету: «Что под нею? Не мою ли работу читает?» А Гиреев медленно ходил вдоль стены, хмурясь по поводу каких-то своих мыслей, не обращая внимания на Михаила Борисовича. «Мы проработали вместе два десятка лет. Могло быть и так, что я руководил бы всем институтом, а любезнейший Иван Александрович заведовал лабораторией!» — И оборвал себя: так быть не могло! В те дни, когда у него оставалось время для выбора, брать в свои руки институт было опасно. А Гиреев всегда был бесшабашным прожектером, хотя ему почти все удавалось. А может быть, удается именно тем, кто действует по наитию? Кто бесшабашен?

Михаил Борисович, однако, чувствовал, что такое предположение было опасно. Тут легко скатиться к вере в предопределение. Но, ничего не скажешь, Гиреев оказался прав, приняв в свои сильные руки новый институт. А Михаил Борисович так и остался начальником лаборатории, хотя лаборатория и считалась самым важным звеном института...

Его размышления прервали легкие шажки Марины Саввишны: она принесла чай, мельком скользнула опытным взором по их лицам и вышла. Дверь мягко закрылась, щелкнул замок.

Гиреев рассеянно взял стакан, позвенел ложечкой, отпил глоток, не присаживаясь. Красов мрачно подумал: «Э, брат, администрировать тоже нелегко!» Но в это время Гиреев, повернувшись к нему, вдруг спросил:

— Говорят, от вас ушла дочь?

— Не ушла, а увели! — грубовато ответил Михаил Борисович.

— В сущности, это и значит — уйти! — отрезал Гиреев.— Не можете же вы не признать, что она покинула ваш дом из-за несогласия с вами? В противном случае все было бы наоборот: Бронислава Григорьевна в это время ездила бы с Нонной Михайловной по портнихам, у вас было бы сияющее лицо, в институте говорили бы о предстоящей свадьбе, наши жены выбирали бы подарки молодым, ну, а мы, пожилые, завидовали бы Алексею Фаддеевичу и готовились хором кричать: «Горько!» Разве не так?

— Вам бы романы сочинять! — неприязненно произнес Красов.

— Предпочтительнее было бы прочитать вашу исповедь,— задумчиво сказал Гиреев.— Что-нибудь на извечную тему «Отцы и дети». Может быть, вы открыли бы некий иной взгляд на сей конфликт? Например, как некоторые отцы подрывают веру детей в свои моральные качества. Вы не находите?

— Иван Александрович, оставьте, пожалуйста, этот нравоучительный тон! Вы не священник, а я об отпущении грехов не прошу! Если вы считаете, что я должен подать заявление, будто не сработался с вами, то я таковое не подам. И в Академию просить о новой работе не пойду. А уволить меня президиум Академии не позволит!

— Вот именно! — подтвердил Гиреев.

— Тогда к чему этот разговор?

— К тому, милейший Михаил Борисович, что теперь, когда ваши молодые ученики доказали, что король гол, вам придется снова наращивать авторитет, как кристаллы на высушенную веточку. И разумнее всего было бы пройти такую кристаллизацию на новом месте. Я не удивлюсь, если здесь каждую вашу новую работу молодые будут брать под сомнение.

— Ничего, вам ведь тоже придется оберегать свой авторитет,— язвительно заметил Красов.— А уж я как-нибудь продержусь в вашей большой тени.

— Вон вы как рассуждаете!..— задумчиво заметил Гиреев.

— Да уж как умею! — запальчиво бросил Красов.

— Кстати, посмотрите там с нашими хозяйственниками, нельзя ли выделить молодоженам двухкомнатную квартиру. Они ведь оба работают и оба кандидаты наук.

— Почему вам кажется, что это «кстати»?

— А вы что, собираетесь воевать с ними дальше?

— На попятный не собираюсь.

Гиреев внимательно посмотрел в его побагровевшее лицо. Пожал плечами. Прошел из конца в конец кабинета, снова остановился напротив.

— А я считал вас умнее!

Красов насупился. Он понимал, что переборщил в своей ярости. Да и ярость эта наполовину была напускной. Дочь все равно ушла. Более того, она заговорила. Этакая Валаамова ослица, изрекающая чужие премудрости. Держать дочь при себе просто опасно. То же самое, что держать в собственной крепости соглядатая из чужого лагеря. Так Михаил Борисович и сказал жене. И жена согласилась. Хотя бы внешне она на стороне мужа. Потом, конечно, она побежит с визитом в тот лагерь: посол голого короля. Но сделает это тайно. И все будет прилично и благопристойно. И какое у Гиреева право вмешиваться в его семейные дела?

Он так взвинтил себя, что готов был вскочить и хлопнуть дверью. Но Гиреев оказался предусмотрительнее: встал спиной к двери, словно решил не выпускать его отсюда, и заговорил медленно, повелительно, как говорил всегда, передавая не терпящие отлагательства решения:

— Вот что, дорогой Михаил Борисович, до сих пор я смотрел сквозь пальцы на ваши схватки с молодежью. Однако ж пора понять, что не всякую лошадку можно оседлать, иная и сбросит... А уж если ваши лошадки заартачились...

— Ну, это мы еще посмотрим! — ядови-

то сказал Красов.— Не думаю, чтобы все академики стали на вашу точку зрения! — Он смотрел на Ивана Александровича с нескрываемым превосходством.

— Позвольте уж мне закончить! — насмешливо продолжил Иван Александрович.— Как раз об этом я и хотел с вами поговорить. Вы отлично знаете, что и высшие учебные заведения и научно-исследовательские институты у нас отличные. И выдающихся ученых, в том числе и молодых, у нас предостаточно. И многие из этих м о л о д ы х,— подчеркнул он,— известны не только у нас, но и за рубежом. А вот организация работы в наших научных институтах, подбор кадров, расстановка сил, экономическое и моральное стимулирование зачастую заставляют желать лучшего. А ведь задача-то у государства одна: сделать научную работу самой производительной сферой общественного труда. Число научных работников у нас в стране непрерывно растет. Что же, вы так и будете всю приходящую в науку молодежь держать в должности младших научных помощников? Вот уже и очередной съезд партии готовится, а уж на нем-то о роли науки в таком высокоорганизованном государстве, как наше, речь пойдет непременно...

— Так что же,— несколько сбавляя тон, но все так же зло, спросил Михаил Борисович,— вы советуете мне уйти с дороги и уступить место моей милой дочери и богоданному зятьку?

— В ваши семейные дела, дорогой Михаил Борисович, я вмешиваться не собираюсь. Но, как вы понимаете, институт, которым я руковожу, обязан работать. И кое-что искать и находить. Судя по всему, время ваших открытий и находок ушло в прошлое. Но вы воспитали отличную смену. И я убежден, что смена эта понимает вашу роль в их воспитании. Но теперь они достаточно выросли, чтобы мы могли доверять им. А вы в отместку за их плохое, с вашей точки зрения, поведение лишили их возможности работать. Это уже просто антигосударственно!

— А вы считаете, они правильно поступили? — возмущенно выкрикнул Красов.

— Погодите, погодите! — Гиреев досадливо помахал рукой.— Еще древние говорили: если Зевс захочет кого-нибудь наказать, он отнимает у него разум! Оставьте в покое ваше самолюбие! Они должны работать, чтобы оплатить нашу с вами заботу об их обучении! Поэтому я решил выделить из вашей лаборатории особую группу: пусть она будет называться Экспериментальной лабораторией ядерных проблем. Временно исполняющим обязанности начальника я предполагаю назначить Горячева. Техническим руководителем назначим Чудакова. Все лаборатории института передадут в эту лабораторию необходимых им работников по их списку. Кажется, из вашей лаборатории они никого и не возьмут, так что это отпочкование не помешает вашей работе. Но подчиняться новая лаборатория будет непосредственно мне...

— А как же мы?..— ни с того ни с сего пробормотал Красов.

— Я предлагал вам поискать новое поприще для приложения сил... Но вы умный человек и, вероятно, быстро найдете себе других учеников... У меня все. Есть возражения?

— Н-нет...

— Ну, что же, как говорится, с богом! Попрошу лишь учесть, что машинное время на ускорителе должно выделяться по первому требованию новой лаборатории. Кстати, чем там занимается сейчас Крохмалев? Проверкой опыта Горячева и Чудакова? Можете сообщить ему, что проверка проведена в лаборатории профессора Богатырева. Результаты отличные. Экспозиция опыта передана в Институт металлов: там разрабатывается практический метод бомбардировки античастицами сверхлегких сплавов...

Красов поднялся, толкнув стол. Звякнула ложка в нетронутом стакане. В глазах было темно. Но вот луч света прорезал эту странную темноту, и он увидел спасительную дверь. Гиреев в некотором замешательстве смотрел, как Михаил Борисович удалялся из кабинета, неверно ставя ноги. Но голову он держал по-прежнему высоко.

ЭПИЛОГ

Прошло довольно много времени, пока мои случайные записи выстроились в законченную историю обескрыленной Ники и превратились наконец в повесть.

Не следует, конечно, думать, будто я только и делал, что сидел за письменным столом. Нет, для того, чтобы повесть о ж и л а, мне понадобилось познакомиться не только с героями, но и с местом действия, проникнуть в суть научных исследований моих действующих лиц и, пожалуй, прежде всего в душу человека...

Конечно, бывая в институте, я не очень откровенничал о том, что задумал и делаю, но, кажется, Михаил Борисович Красов, с которым мне пришлось по необходимости познакомиться, догадывался о цели моих частых посещений. Во всяком случае, мне скоро перестали давать пропуск в «преисподнюю» под тем предлогом, что идет монтаж нового оборудования, а после этого прекратились и личные собеседования, так как он постоянно оказывался занят, а Иван Александрович Гиреев слишком часто бывал в отъезде.

Однако впечатления и записи в моих блокнотах остались, как остались и дружеские связи со многими работниками института. Я просто перекочевал со всеми моими недоуменными вопросами сначала в другой институт, потом в третий, пытаясь как можно глубже изучить взволновавшую меня проблему с т а н о в л е н и я ученого. Я уже понял, что откровенность моих друзей не понравилась товарищу Красову и его немногим последователям и что вполне возможны некие «административные меры». Меня-то они, может, и не коснутся, а вот на тех, кто делится со мной своими мыслями, могут нечаянно обрушиться. И я поторопился окончить свою работу.

Вот тогда-то и произошло нечто неожиданное.

Как только рукопись легла на стол редактора, раздался телефонный звонок из одной научной инстанции.

«Нам стало известно,— говорили на том конце провода,— что редакция предполагает опубликовать повесть о работниках науки. Намерение весьма похвальное, тем более что о людях науки пишут мало. И мы хотели бы ознакомиться с повестью, чтобы помочь автору избежать ошибок, которые могут оказаться в произведении, так как автор не специалист в данной области...»

Такого рода рецензирование порой проводится при выпуске популярной литературы, рассказывающей о том или ином научном открытии.

Но повесть... Ведь автор писал не о науке, а о людях, творящих науку! Впрочем, редактор поблагодарил отзывчивого товарища и согласился, что такая помощь может быть полезной...

Как я уже говорил, узнал я об этом значительно позже. Закончив повесть, я уехал в Среднюю Азию, где произошла в то время крупнейшая горная катастрофа. В верховьях реки Зеравшан обвалилась огромная гора и перекрыла русло реки естественной плотиной в двести пятьдесят метров высоты. А на реке Зеравшан стоят и питаются водами этой реки некоторые крупные города Средней Азии и ирригационная сеть колхозов и совхозов. И вот люди сотворили подвиг, потрясший мое воображение: они в две недели ликвидировали катастрофу и выпустили реку на волю. Об этом подвиге и собрался я написать свою новую повесть.

Пока я знакомился с новыми людьми и беседовал со свидетелями и участниками беспримерного деяния, прошли все сроки, когда история бескрылой Ники должна была появиться в журнале. На мои запросы мне отвечали как-то не очень определенно. Пришлось прервать новую работу и отправиться в Москву.

Рукопись все еще находилась в научной инстанции, куда была переслана на одну неделю.

Наконец, я узнал, что она на руках у Михаила Борисовича Красова. Я терпеливо ждал, но и мое терпение лопнуло. Надо было выручать рукопись.

Я позвонил Михаилу Борисовичу. Он разговаривал со мной любезно, как всегда. Правда, видеть меня не пожелал, но по телефону весьма обстоятельно рассказал, как возмутила его коллег моя повесть, и даже пообещал прислать через два-три месяца подробную рецензию, подписанную чуть ли не всеми членами Ученого совета института...

К моему удивлению, через два дня рукопись была возвращена в журнал. К ней прилагалась рецензия из восьми строк. По одной на месяц ожидания! В рецензии предлагалось убрать из рукописи д в е ф р а з ы. Я их тут же вычеркнул.

Видимо, что-то случилось в институте!

На очередном симпозиуме физиков-ядерщиков в Московском университете я неожиданно встретил Ивана Александровича Гиреева и рассказал ему о своих злоключениях. Гиреев совершенно по-мальчишески подмигнул мне, а потом вдруг словно бы осветился своей открытой улыбкой:

— А все-таки здорово помяли бока Михаилу Борисовичу Красову наши молодые петушки!

— Из чего это видно?

— Разве вы не заметили, что он стал трусоват? В прежние времена, доведись ему заполучить в руки такую рукопись — я ведь понимаю, что вы не лавровый венок ему сплели! — едва ли бы вы получили ее обратно. А если бы и получили, так она оказалась бы такой же подстриженной, как английские газоны.

— Но чего же ему бояться какой-то повести?

— А уж тут сказывается его дальновидность. Ученики-то ему нужны? Академиком-то он еще не стал! Все надо предусмотреть!

Я стал прощаться, собираясь уходить, когда Иван Александрович остановил меня:

— А доклад Горячева вы разве не хотите послушать?

— В повестке дня такого доклада нет! — недоуменно ответил я.

— Пришлось вмешаться,— улыбнулся он.— Горячев докладывает об открытии новой частицы — фи-ноль-мезона. Везет же этому молодому человеку! Каждый раз, как нацелится на что-нибудь, обязательно приходит с уловом!

Естественно, что я остался.

Горячев на трибуне высокого собрания, трепещущий, как оружейная сталь, узколицый, гибкий, был великолепен. А в глубине зала, у экрана, на который проецировались фотоснимки нового явления, я заметил Чудакова и Валентина Коваля — они едва успевали отмечать длинными указками те особенности взрывов, о которых говорил Горячев. И я порадовался: они вместе!

После окончания доклада я их проводил домой. Нонна Михайловна и маленький сын Горячевых уже спали. На столе Алексея Фаддеевича стояла благословляющая хозяев Ника. И я не посмел напомнить о том, что ее когда-то обещали мне... Что значили весь мой труд и все мои огорчения по сравнению с той большой работой, которую вели эти люди, открывающие Необыкновенный Мир неведомого и прекрасного...

А в т о р

1963—1966.
Москва — Дубна — Малеевка — Москва.

БРАЧ

Иван ШАМЯКИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

1

Был полдень. Нестерпимо палило июньское солнце, достигшее зенита. В тот день из лагеря мы вышли на рассвете, и за все время пути сделать привал дозволено было только один раз, чтоб перекусить, съесть хлеб с зеленым луком, который накануне похода хлопцы принесли из Рудни,— «пропололи» чью-то грядку.

Я могла идти знакомой дорогой, по которой в течение года, с тех пор как меня поставили на связь с Гомелем, ходила много раз, особенно зимой, когда не очень-то свернешь в сторону. Я смело шла через деревни, даже через те, где стояли полицейские гарнизоны. Повсюду у меня появились знакомые, к ним я заходила отдохнуть, попить воды. Иногда мне давали краюху хлеба или холодную картошину, я с благодарностью брала — принимать подаяние во время оккупации было обычным явлением. Женщины иногда всплакивали, глядя на меня: «Дитятко ты мое несчастное. Как же это ты одна ходишь?» Но случалось, что и раньше какое-то особое чутье подсказывало мне: лучше обойти все деревни, лучше ни с кем не встречаться, ни с хорошими людьми, даже с партизанами из других отрядов, ни с плохими — с немцами или полицейскими — вплоть до контрольных постов у входа в город. Там, на постах, все проще, туда ты приходишь с готовой выдумкой и с документами, в подлинности которых сведущие контролеры не усомнятся. А вот какой-нибудь малограмотный деревенский полицейский может усомниться и задержит — просто так, чтоб показать начальству свою бдительность или «продемонстрировать» перед тобой свою власть.

Только вначале, когда задание мне давал еще командир разведки Володя Артюк, он показывал на карте маршрут, по которому я должна пройти. Да еще Федор, командир диверсионного отряда, любил, чтобы все было по-военному, основательно и солидно. Комбриг никогда не говорил о моем маршруте. Иди, как хочешь. Правда, с весны почти вся теперь довольно широкая связь с Гомелем шла через отряд Федора, который базировался невдалеке от самого города. Туда, в отряд, шли мы и теперь. Но еще вчера вечером, получив задание, я захотела провести Машу к Федору так, чтоб нас не увидел ни один человек. Не знаю, почему возникло такое почти нереальное решение.

Мы шли тропками, которые знала я одна, через леса, полем и по лугу. Здесь разве случайно могли пройти люди — по грибы или за ягодами. Чаще вообще и тропки никакой не было, так как все заросло густой травой. Она с утра была росистая и мягкая, а теперь, среди дня,— жесткая и колючая, опутывала ноги и резала их. Конечно же, деревни мы все обошли. Они были только ориентирами, чтоб не зайти далеко в сторону, не петлять. Да еще солнце указывало дорогу. Хотя, пожалуй, и без него в густом тумане я сумела бы пройти тут, излишне не блуждая,— были у меня свои ориентиры и необыкновенное, собачье, как шутил Володя, чутье.

Там, под Гомелем, мы выйдем на посты. В городе на нас будут глядеть десятки и сотни людей... И ничто меня не испугает, не смутит, не выдаст. А тут, в этом глухом углу междуречья, я не хотела... я боялась, чтоб нас кто-то встретил. Чтобы Машу эту встретил. Даже свой партизан. Очень уж она бросается в глаза. Красивая. Со вчерашнего вечера я много раз со злостью думала: какой дурак послал такую разведчицу?

Разговаривать с ней не хотелось, и мы шли молча. Я впереди, она за мной. Три дня мы жили в одной землянке, и тогда, радостно возбужденная, я стрекотала, как сорока, а она молчала, только пела то грустные, то веселые песни. Теперь мое молчание, конечно же, удивляло и смущало ее. Еще в лесу за Рудней она спросила нарочито громко:

— Неужели у вас тут и деревья имеют уши?

Я сразу не поняла, о чем она говорит, оглянулась. Маша попросила искренне и доверчиво:

— Не молчи, пожалуйста, расскажи что-нибудь. Не люблю, когда люди молчат.

Мне сделалось немного жаль ее. Если она впервые тут у нас и впервые идет на задание, то я хорошо представляла, что она чувствует, что происходит у нее на душе. Я шла в который раз, да и задание мое, наверно, проще, и однако, если бы я сказала, что ничего не боялась, не верьте. Неправда это, что некоторые ничего не боялись. К смерти привыкнуть нельзя. Просто опыт и уверенность помогают легче превозмогать страх. Больше думаешь о деле, а не об опасности.

Но жалость моя была короткой, на один миг появилось это чувство. Тут же я так разозлилась, что даже самой после нехорошо стало. Хотела злорадно спросить: «Какая ж ты разведчица, если не можешь молчать?» Но прикусила язык. Вот об этом нельзя говорить даже и в лесу, где деревья тоже могут иметь уши. Да и вообще о профессии и заданиях людей, каких проводила в город, я не имела права говорить, об этом мне сказали не только Артюк, Павел Адамович, комбриг, но и майор, который прилетал с Большой земли и целую неделю учил нас, партизанских разведчиков и связных. Может, ты все знаешь, обо всем тебе рассказали, но делай вид, что ничего не знаешь. Так будет проще в случае чего, а неожиданность нас могла настичь в любом месте и в любой момент.

Луг, что тянется на несколько километров, я намеревалась пройти по заросшей кустами осушительной канаве. Не очень-то спрячешься, если где-нибудь встретятся косцы. Кто на нас тут обратит внимание? Сенокос. Идут бабы ворошить или сгребать сено. Хорошо было бы подобрать где-нибудь грабли, вскинуть на плечо... Но вышли мы из дубняка на луг — и я тут же отступила назад, в лес. На лугу, как на базаре, полно народу. Мужики, бабы, дети. Распряженные телеги. Человек десять шли в нашу сторону с косами на плечах. С кос сбегали солнечные зайчики. Удивило меня такое сборище. Выехали на сенокос, как до войны в колхозе. Почему? Маша тоже удивилась:

— Что это?

Святая наивность. Не видит разве, что?

— Сено косят.

— Как косят сено? — еще более удивилась она.

Кажется, я ничего не ответила, потому что она вдруг сурово осудила всех этих людей:

— Мы воюем, а они... сено косят.

Я разозлилась. Вояка! Сразу видно, горожаночка, белоручка. Наверно, думала, что тут, на захваченной врагом земле, замерла всякая жизнь. Посылают же таких! С подобными взглядами можно «засыпаться» при встрече с первым полицейским.

— Людям надо жить. Кормить детей.

— И немцев?

Хотелось плюнуть ей в глаза: свалилась с неба и обвиняет всех людей вообще. Но не просвещать же мне ее — одумается сама, жизнь научит.

Для себя я объяснила сборище людей на лугу так: луга делят по жеребьевке, потому и привалило все село, стар и мал. Но... была права и она, Маша, если подойти к ее мнению по-другому. Могли косить и для оккупантов. По их приказу. Для поставок армии. В таком случае людей пригнали насильно, и на лугу, безусловно, полно полицейских. А эти собаки не пропустят незнакомого человека. И документы наши не спасут. То, что издалека, из-за Лоева, мы идем не по большаку, а глухими тропками, несомненно, вызовет подозрение у любого фашистского прислужника.

Обходя луг, мы попали в болото. Болото это я знала, ходила по нему прошлым летом во время блокады. Ну и далось же оно нам тогда! Но оно же спасало и от карателей. Тогда мы забирались в самые дебри. А теперь пробирались краем. Лето было сухое, и я удивилась, что даже тут можно залезть в такую трясину. Выходит, болота разные, у них свои законы, не над всеми топями сушь имеет власть, не то, что над речками и реками. Да и рано им пересыхать. Июнь. Это в августе иногда высыхают и болота, горят торфяники. А в первый летний месяц все переплетено травой и цветами.

От самого лагеря я шла босая, хотя в узелке были ботинки,— по городу босой не пойдешь. Ботинки мне выдали, без них не выпустили бы, но я знала, как нелегко добывать партизанам обувь, и жалела ботинки больше, чем собственные ноги. Эта же барыня, так я мысленно называла Машу, не думала о наших трудностях, шла даже утром по росе обутой, щадила свои ноги. Мне все время хотелось сказать, чтоб она разулась. Но подумала, что, может, там, в городе, нужна как раз такая разведчица — с выхоленными руками и ногами,— и смолчала.

В болоте она вынуждена была разуться. Когда мы залезли в торфяную топь, так, что заголились, как говорится, по самый пуп, и я увидела, как запачкала она свои ноги, мне хотелось злорадно засмеяться.

«Знай, как мы живем, как воюем. Это тебе не по тротуарчикам ходить».

Однако было не до смеха. Напарница моя отставала. Ходить по болоту, прыгать с кочки на кочку, как я, она не умела. Кому другому я простила бы это: всему не научишь. А на нее злилась. Тащимся, как на похоронах. Одна я давно была бы в отряде Федора, и даже в Гомель сегодня можно бы дойти. О, без нее я и в отряд не заходила бы, лишь бы только быстрее очутиться в городе!

Подождала Машу и язвительно упрекнула:

— Не тащись, как черепаха. Не бойся запачкать свои толстые ляжки.

— А на кой черт мы лезем в трясину? У нас же есть документы! Можем идти, как люди.

Правда, никто не приказывал мне провести ее именно этим путем, чтоб ни одна душа нас не видела. Да и невозможно это. Но такая моя

АЯ НОЧЬ

придумка, и теперь она как зарок, клятва, отступить от нее я не могла не только из-за упрямства или по прихоти, но и из-за того, что нельзя было нарушить тактический план; раз мы залезли в такую глухомань, то должны скрываться и дальше,— это уже наш закон.

Маша не унималась:

— А еще говорили, что вас поддерживает весь народ...

Снова она задела народ. Но я все еще не могла понять, действительно так думает она о наших людях или просто поддразнивает меня.

Ответила я вполне серьезно:

— Посмотрим, как ты одна будешь воевать, без народа!

Она криво усмехнулась.

— Скажи, пожалуйста, какая ты правильная! Как наш замполит!

Не в пример другим нашим партизанкам, я ругалась редко: стыдилась,— а тут не выдержала — матюкнулась.

— Все вы умные, пока жареный петух не клюнет...

И сама испугалась: ссориться я не имела права. Что сказал бы Павел Адамович, если бы услышал? Хорошо, что Маша не обиделась. Засмеялась. Приблизилась и доброжелательно спросила, оглянувшись на ближние кусты:

— Признайся, Валя: ты хочешь меня испытать? К чему это? Я буду работать в городе, не в болоте. С людьми. А не с лягушками и не с аистами. А с людьми я умею...

Выбравшись наконец из болота на твердую почву, мы снова наскочили на косцов. Но было их только трое: двое мужчин и женщина. От них я не стала прятаться. Как раз попалась дорожка, по которой недавно проехали на телегах, вмяли траву. Я открыто пошла по этой дорожке, удивив Машу. По глазам увидела, что она даже испугалась такой моей решительности. Прошли шагов за сто от косцов. Те остановились, подняв косы, будто для того, чтобы их поточить, и, закрыв от солнца ладонями лица, смотрели на нас. С любопытством смотрели. Я хорошо знала этот особый интерес деревенских жителей к каждому незнакомцу. Война, как ветер листья, посрывала с родных веток тысячи, миллионы людей... Убегали от нашествия, возвращались домой, ходили, чтоб выменять что-нибудь на продукты... Правда, в третье военное лето ходили меньше. Боясь партизан, гитлеровцы ввели строгие законы. Но все равно ходили: голод не тетка. И по-прежнему к каждому чужаку местные люди приглядывались с интересом, а порой с настороженностью, подозрительностью. Чем дальше от больших дорог, тем эта настороженность возрастала. Вот почему мне не хотелось показываться людям до города с этой красавицей — сразу видно, что нездешняя, несмотря на явно деревенскую одежду: старую сатиновую юбку, вылинявшую, в горошек, блузку, платок, повязанный «хаткой».

Маша снова упрекнула наших людей, но не так уж обидно — сказала про косцов-мужчин:

— Молодые. Могли б воевать.

Конечно, могли б. Я не стала ей объяснять, что они тоже, возможно, воюют. Иногда партизаны приходят домой помочь женам накосить сена. Теперь многие наши так делают.

Отступление от своего замысла — обходить всех встречных — не прошло для меня даром. Люди, как дети, даже разведчики, им ни в чем нельзя давать послабления. Полдня эта гонористая красавица безропотно подчинялась мне, я вела ее, она шла за мной. А тут вдруг взбунтовалась.

Растут на наших лугах, на пригорках одинокие дубы, стоят, как сторожевые, не очень высокие, развесистые. Под одним таким дубом лежали валки сена, видимо, его вытащили из лощины для просушки: позавчера шел дождь. Маша упала на сено в тени кроны дуба.

— Не могу больше, давай отдохнем. Все тело болит...

Снова меня охватила злость. Как же вас учили, милая моя? Прошла каких-то двадцать пять верст и уже не можешь. А я по шестьдесят за день проходила — из бригады до города, а потом рано утром, поспав пять-шесть часов, шла назад, поэтому и тело у меня — кости и мышцы, да нервы еще натянуты. А ты свалилась с неба, как мадонна. Уж не думаешь ли, что тебя на руках тут будут носить? Или возить, как принцессу?

Маша подняла длинную крестьянскую юбку, оголила красивые коленки. Ноги ее были порезаны осокой, поцарапаны ветками и жесткой травой, кое-где запеклись капли крови. Она осторожно, наверно, было очень больно, провела по порезам пальцами, белыми, пухлыми, с красивыми ногтями, только маникюра на них не хватало. И тяжело вздохнула. Жалко ей стало ног, будто они самое главное, что понадобится ей в работе разведчицы. Мне, связной, нужны не красивые ноги, а сильные. Я знала, что мои не порезаны, хотя первой шла я, прокладывала по осоке тропку. Мои ноги никогда не были так исцарапаны, кожа на них, как панцирь, не могла ее разрезать какая-то там молодая осока. Тайком и чуть боязливо я посмотрела на свои ноги, сравнила их с ее ногами. И неожиданно обрадовалась: действительно, без единой царапины, загорелые, обмытые росой, отполированные до коричневато-матового блеска, ступня более широкая, пальцы как бы расплющены, со старыми мозолями. Захотелось так же поднять юбку и сравнить наши коленки, но стало стыдно и противно от такого неуместного, прямо-таки неестественного желания. Никогда за два года войны не возникало желание любоваться собой, своим телом, тем более ногами. Даже тогда, когда в жизнь мою вошел он, Степан.

Подумала, что надо быть суровой и твердой, а то так бог знает до чего можно докатиться. И вдруг меня охватил страх. Кого я веду?

Листья дуба слегка шевелились, наверно, не от ветра, а от жары, от перегретого воздуха, поднимавшегося снизу, от земли, от луговых лощин вверх, в голубое небо, где лениво плыли редкие белые облака. Листья не шуршали, как на каждом дереве при ветре, а тоненько и жалостно дрожали. И так же жалобно и грустно в ветвях дуба перекликались две птицы, словно бы искали одна другую и никак не могли найти.

Перестав разглядывать ноги, Маша легла на спину, посмотрела вверх, прислушалась. Спросила:

— Валя, что это за птички?

Маша удивилась, что я не могу ответить, и мне стало стыдно перед ней: жительница деревни и партизанка, больше года в лесу, я должна знать все; мне и казалось, что я знаю все в нашей лесной жизни, а выходит, не сумела назвать даже таких простых пичужек, голоса которых я с малолетства слышала почти ежедневно.

— Они плачут,— сказала Маша.— Ты послушай только. У них горе.— И, помолчав, вздохнула.— Все плачет. Люди. Птицы... Земля...

У меня от этих слов дрогнуло сердце и на мгновение появилось другое чувство к ней: так сказать мог человек, переживший тяжелое горе. Неужели у нее горе? Что-то не похоже по виду ее и по тому, как она вела себя в лагере. Недолго держалось у меня это приязненное чувство. Ничего с нею не случалось! Просто умеет красиво поговорить.

У старого дуба была не очень густая крона — на долгом веку его не раз ломали ветры и молнии. И под дубом возле нас рядом с трепетной тенью сияли, кажется, даже плавили траву и землю солнечные пятна. Маша повернулась и протянула свои оголенные ноги так, чтобы они были под солнцем. Она хотела не только отдохнуть, но и позагорать, подсушить порезы и царапины. И снова в мою грудь холодной волной ударило возмущение против нее. Который раз со вчерашнего вечера. Я боялась его, этого своего возмущения. Никогда у меня не было такого чувства к своим, к товарищам. Я могла на кого-то рассердиться, чаще всего на парней, которые грубо приставали, одному даже заехала по физиономии в прошлом году. Но чтоб вот так... Я же добрая. А тем более должна быть доброй к тем, кого провожала в город или выводила из города и с кем могла в любой момент попасть в лапы врага и погибнуть.

— Пойдем! — строго сказала я Маше.

Она недоуменно посмотрела на меня.

— Самый беспощадный командир дает своим солдатам привал. Силы надо беречь. Ты плохой командир.

Стоило бы сказать, что не лучшее место для отдыха она выбрала,— голое место, до ближайших кустов метров триста. Но почему-то не сказала. Подчинилась ее воле. И это еще больше обострило мои мысли. Что же это такое со мной творится? В город я веду ее, и она должна подчиняться мне... Не таких людей водила. Представителя Центрального партизанского штаба... Комиссара бригады. И они доверялись мне — опыту моему, умению, чутью, а оно действительно было у меня, как у хорошего гончака,— опасность чуяла за версту. А сегодня я какая-то... не похожая на себя. Не о том думаю, о чем надо думать в дороге, подчиняюсь ей, этой красотке, которая еще в лагере вела себя не по-разведчески. Да и тут тоже. Нет, хватит. Надо подниматься! Надо идти! Так как, чувствую, наберусь с ней беды на постах перед городом, которые не обойдешь. Уж очень бросается она в глаза, эта Маша. Особенно мужчинам.

Я намеревалась решительно скомандовать подъем, но когда взглянула, то с удивлением увидела, что Маша сладко и беззаботно спит. Как ребенок. Выходит, ничто ее не беспокоит, ничто не волнует, не страшит. Или она не понимает, куда и на что идет, или... Сделалось страшно. Одинаково страшно и оттого, что она не понимает опасности и потому может провалиться на первом же посту, и от мысли, что она не та, за кого выдает себя... Поняла нелепость этого подозрения: она же прилетела с Большой земли, может, из самой Москвы и не одна, была шифровка командованию бригады. Чтобы избавиться от этой дурной мысли, залюбовалась ее лицом; во сне оно было еще красивее, белое-белое, в короне золотистых, чуть кудрявых волос, с черными, будто подкрашенными бровями, хмуро сошедшимися над переносицей, а губы — припухлые, как у ребенка, немного будто обиженно надутые и сочные, как малина, нисколько не запекшиеся от жары, как у меня. С каким-то страхом и ревностью я подумала, что такие губы хочется поцеловать, что для мужчин... для парней это наипервейшее искушение.

Маша дрыгнула ногой и передернулась от боли. Мухи сели на порезы. Сначала инстинктивно я согнала мух и слепней. Но взглянув на ее колени, на белые ноги выше колен, я почувствовала, что ненавижу их. Впервые я вела человека, которого ненавидела. Пусть поиному, чем врагов, но все же чувство это иначе никак нельзя было назвать.

...Они прилетели четыре дня назад. Что ночью будет самолет, об этом мы знали еще днем, так как нас, штабников (я считалась во взводе разведки, но, когда не ходила на задание, то помогала либо на кухне, либо в госпитале), послали на Ржавое болото, чтобы подготовить хворосту для костров. Летнего аэродрома у нас не было, летний аэродром был далеко на Полесье, где-то возле Доманович. Оттуда иногда связные приводили гостей. Но чаще всего гости спускались к нам с неба. Появление их было праздником в нашей нелегкой, порой однообразной жизни, так как и война в конце концов становится занятием скучным, однообразным.

Ветки мы готовили с радостью, весело. Ржавое болото было почти сухое, заросшее березняком, тем, болотным, что не вырастает большим, и таким же сосняком; но там, где оставалась вода, она действительно была ржавой, грязно-красной, как бы смешанной с кровью. Хлопцы доказывали: вода, мол, потому такая, что под болотом залежи железной руды. Иногда яро спорили на этот счет. Но потом в отряд пришел учитель истории Дедков и объяснил, что на болоте действительно может быть руда, но не натуральная — привозная, остатки руды. Привозили ее по Днепру запорожские казаки в дебри белорусских лесов, выжигали древесный уголь и плавили металл. Не зря в междуречье несколько деревень имеют название Рудня. С его объяснением согласились; на болоте возвышалось несколько островов-курганов, заросших ольшаником, и острова эти не песчаные, а из обжига — шлака. Наверно, от обжига и остатков руды за три сотни лет поржавела вода. Легенда, что тут ковали свое оружие вольные казаки, понравилась, мы чувствовали себя наследниками тех далеких, мужественных, смелых людей, которые больше жизни любили свободу.

Вечером я сама попросила Володю Артюка взять меня на болото, чтобы встретить гостей с Большой земли.

В полночь зажгли костры; расположены они были так, чтоб выдержать условный сигнал, ибо год назад, в сорок втором, когда партизаны не имели еще опыта и надежной радиосвязи, были случаи, когда немцы и полицейские, обнаружив партизанские костры, раскладывали свои неподалеку и вводили летчиков в заблуждение. В нашей зоне так попала к врагу диверсионная группа; парни вели тяжелый, неравный бой, и из семерых только двое вырвались из фашистской ловушки.

Ночь была по-летнему теплая, звездная. Фантастично, как в глубокой древности на боевом стане, горели костры, не очень яркие, дым не поднимался вверх, а стлался по болоту, тянулся длинными космами. Возле костров остались надежные люди, по одному у каждого, чтобы подкидывать ветки, сначала сыроватые — поддерживать огонь, а потом, когда послышится шум моторов,— сухие, и они вспыхнут, как порох. Остальные лежали на краю болота, в березняке, готовые к любым неожиданностям. Даже меня Артюк вооружил немецким автоматом. Не было спасения от комаров и мошкары, заедали прямо, лезли в рот, в нос. Та весна и начало лета были очень комариные, в лагере мы страдали от такой напасти.

Но я, кажется, даже мошкару не замечала. Я ждала самолет с нетерпеливым волнением, будто на нем мог прилететь самый родной мне человек. Рядом со мной лежал Володя Артюк, беспрерывно курил вонючий табак, чтоб спастись от комаров, пускал дым на меня, отчего я кашляла. Володя был большой бабник, ни одну девушку не пропускал, чтоб не зацепить, не потискать. Но за мной никогда не ухаживал, меня это раньше даже смущало: неужели я хуже всех? А тут Володя почему-то протянул руку, нашел мою, сжал ее и удивленно спросил:

— Чего дрожишь? Холодно? Я дам тебе свой френч.

Френч на нем был особенный, такие носили офицеры царской армии, но нас удивляло, что френч совсем новенький; в отряде ломали головы: где Володя мог раздобыть эту одежду? Немецкий мундир, даже генеральский, никого не удивил бы, но такой... Кто-то припомнил, что в Речице живет вдова царского полковника. Парни хохотали: «Володя, не к полковничихе ли ты клинья подбил?» Артюк таинственно усмехался.

Самолет прилетел точно, где-то около часа ночи, как и ожидали его, подсчитав, сколько времени займет полет от линии фронта, которую надо перелететь, когда стемнеет.

Я ничего еще не услышала, а Володя уже вскочил на ноги. Дал команду партизану у ближнего костра, и через минуту огонь шуганул в небо, рассыпая веселые искры. Над другим костром, дальше от нас, пламя росло не вверх, а в стороны, и искры почему-то разлетались вбок и не так стремительно и по цвету были другими, какими-то синими — наверно, из-за дыма, стлавшегося над болотом. Но не было времени любоваться кострами. Самолет гудел уже над нами. Коротко моргнул зеленым глазом, что означало: «Ваши сигналы принял. Парашютистов сбросил».

Мы побежали по болоту к тому месту, где, по нашим расчетам, должны приземлиться гости.

Я увидела его, парашют, в небе: на миг он закрыл Венеру, сиявшую над черной стеной леса. Может, потому я выбежала точно и чуть не столкнулась с человеком, который скручивал свой парашют. У меня под ногами зачавкала трясина.

Парашютист упал в траву, и я услышала испуганный, хриплый женский голос:

— Стой! Стреляю!

Я засмеялась от радости, что я встретила первая, что посланец девушка, и в полный голос выкрикнула пароль:

— Суздаль.

Она ответила не сразу:

— Ашхабад.

Но я и не ждала ответа. Она не успела подняться, а я уже была возле нее. Мы обнялись, как сестры. Я целовала ее, как влюбленная,— в губы, в глаза, в лоб, горячо вдыхая совсем не наши лесные, партизанские запахи. От нее пахло по-мирному, по-женски — хорошим мылом, какой-то другой парфюмерией, новыми ремнями, свежей одеждой, из которой не выветрился еще своеобразный складской дух, и еще чем-то, что осталось в моей памяти с довоенного времени.

— Мое имя Маша,— первой представилась она, высвободившись из моих объятий и прячa в глубокий карман комбинезона пистолет.

— А я — Валя.

И мы по-девичьи радостно засмеялись, удивив Володю Артюка, который подбежал к нам. Он оглядел во мраке ночи гостью и, пожимая ей руку, весело свистнул:

— Вон каких ангелов нам бог посылает!

Их прилетело трое: две девушки и парень. Другая девушка, Нюра, в отличие от Маши была маленькая, худенькая, незаметная, такая же, как я. Спустилась она с рацией. Парня я, пожалуй, не видела, так как он не подошел к костру и из лагеря исчез в ту же ночь, очевидно, на рассвете, когда мы еще спали. Никому даже имени своего не оставил. Клавдия, кухарка, которая знала все на свете и вообще баба с длинным языком, за что ей не раз доставалось от командира, по «большому секрету» сказала мне, что радиста разведчики переправили в Чернигов.

Машу я увела в свою землянку, так как в шалашах было полно комаров, а она боялась их, отмахивалась руками. Меня смешила ее непрактичность; приятно было опекать ее, как маленькую.

Совсем другой была Нюра — молчаливая, ловкая, умелая, сразу видно, что не впервые у нее такая «командировка» — к партизанам.

Нюра ночевала в штабной землянке. Клавдия говорила, что на рассвете она выходила на связь — проверяла рацию.

Посланцев с важным заданием, особенно разведчиков для города, держали в отряде так, чтоб как можно меньше людей с ними соприкасалось: военное время, не забывали, что и к партизанам может пробраться шпион. Так скрывали Нюру, хоть была она у нас одни сутки и исчезла, как и радист, ночью. А Маша осталась. Днем ходила по лагерю и с детским любопытством разглядывала все и всех: землянки, шалаши, мастерскую, мины, кухню, госпиталь, партизан; женщин рассматривала более пристально, чем парней. Но все равно парни ходили за ней следом. Красивая. Необыкновенная. Гладкая, белая. В новеньком комбинезоне. Не то, что мы, прокуренные, просмоленные, обтрепанные, с потрескавшимися руками и ногами, облупленными носами и худющие — одни мослы торчали.

Кто-кто, а я, разведчица и связная, знала нерушимый закон: у тех, кто прилетел с Большой земли, не спрашивать: кто он, откуда и чем будет заниматься тут, у нас, в лесу. Кому можно, тот скажет сам. Когда прилетел представитель от ЦК комсомола, то сразу собрал молодежь и сказал, откуда он и с какой целью сиганул к нам с неба.

С Машей я спала на одних нарах. С нетерпением, которое было, наверно, у каждого партизана, расспрашивала, как там, за линией фронта. Она рассказывала, но больше не о радостях, а о трудностях. В метро потеряла сознание женщина, голодная.

— Ты из Москвы?— не выдержала я.

Маша как бы смутилась на миг и ответила неопределенно:

— Я была в Москве.

В первое же утро, когда мы завтракали и Маша, покопавшись в карманах, достала авторучку, пришла к заключению, что она журналистка, и еще больше восхитилась ею. Такая красивая, молодая и не побоялась прилететь. Наверное, из «Комсомольской правды».

Но когда Маша не захотела сказать, откуда она, убеждение мое пошатнулось, однако загадочность ее миссии еще больше притягивала меня к ней. Только я стала более сдержанной и настороженной, про свою главную работу — про связь с Гомельским подпольем, с военными разведчиками — тоже слова не сказала. Что делаю тут? Да так, иду туда, куда пошлют, делаю то, что прикажут, а больше при кухне да госпитале отираюсь.

Вечером Маша удивила не одну меня. У доктора нашего Ханона Шульмана была гитара, правда, играл он редко, может, потому, что не очень умел, а может, и потому, что в отряде был баянист Костя Репейник, большой мастер, баян в его руках пел, как целый ансамбль, на все лады, казалось, захоти Костя — и баян заговорит человеческим голосом.

Увидела Маша гитару, и глаза у нее загорелись. Попросила разрешить ей поиграть. А кто мог такой девушке отказать, да еще гостье?

Было предвечерье, когда в лагере пусто и тихо: кто еще не вернулся с дневного похода, кто отдыхал или готовил оружие перед ночным заданием. Только возле кухни сновали люди — готовили ужин. Там, в лесной нашей столовке, Маша и примостилась. И я рядом перебирала щавель. Я в тот день не отставала от нее, как верный ординарец от генерала.

Тишина. Только птицы заливаются. Комары гудят. Сквозь кроны деревьев пробиваются солнечные лучи. Стволы сосен сияют золотом.

И вдруг звон гитары и глухой, но красивый, какой-то теплый, задушевный голос запел русскую песню, старую, никто из нас ее не знал. Мне запомнились слова:

Не скликай уныло, птичка, бедных пташек,
Не скликай ты родных деток понапрасну,—
Злой стрелок убил малюток для забавы,
И гнездо твое развеяно под дубом.

Жалостливая песня. За сердце хватала. Естественно, что Машу сразу же окружили слушатели. Первые — Клавдия со своими девчатами, они даже кухню оставили. Потом раненые из госпитальной землянки повылезали. Начальник штаба Москаленко пришел. Оружейники из мастерской... Как-то незаметно чуть ли не весь отряд собрался. Откуда только взялись! Если порой надо было кого найти — мне это часто поручали, когда я оставалась при штабе,— так обежишь чуть ли не всю пущу, пока найдешь кого надо. А тут песня всех собрала. Песня или певица? Стояли перед ней, как завороженные, ни одной шутки, ни одного слова, хотя обычно парни точили языки по любому поводу. Только в строю замолкали, да если хоронили кого. Одни бабы всхлипывали, у которых мужья погибли или были на фронте. Помню, она и такое пела:

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой...
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые...

Тогда мне казалось, что я в конце концов открыла тайну, кто же она такая, эта Маша. Артистка. От этого стало как-то по-новому, как, может, никогда прежде, хорошо, радостно на душе. Если к нам сюда, в лес, начали присылать вот таких артисток, то, наверное, хорошо идут дела на фронтах и вообще на Большой земле. Раньше было не до артистов и нашим там и нам тут. Что бы мы сказали, если бы прошлым летом, в блокаду, вместо группы автоматчиков нам сбросили артистов? А теперь радостно. Но вместе с тем мысль, что я сплю на одних нарах с известной артисткой, может, даже заслуженной, как-то отдалила меня от нее; становилось неловко перед ней за свое панибратство, за то, что говорила ей — наивная девичья болтовня, и за свое невежество: ни одной песни из тех, которые пела Маша, я не только не знала, но и не слышала. А что я знала, закончив семилетку и проучившись всего один год в техникуме? Партизанская жизнь, дороги да стежки до Гомеля, ухищрения, как обмануть немцев и полицаев,— вот что я хорошо усвоила за два года войны. И еще стрелять научилась. И ненавидеть. Убить могла фашиста и предателя и не мучилась бы, что убила человека, так как фашист не человек, а предатель — еще хуже.

Маша до позднего вечера пела. И до позднего вечера ее слушали. У поваров даже каша пригорела.

Потом в прохладной землянке, где в летнее время пахло погребом, я спросила у нее както по-глупому, неумно:

— Как... ваша фамилия? — Очень уж неуместно получилось, что я вдруг без всякой причины перешла на «вы». Естественно, что она удивилась:

— Ваша? Петрова. А зачем тебе?

Действительно: зачем? Глупая я, а еще опытная разведчица. Разве сразу не могла понять, что все у нее придуманное — имя, фамилия и все другое, даже песни эти, специально видно, в разведшколе выучила. Но почему тогда так долго ее держат у нас? И куда могут послать такую?

Продолжение следует.

Авторизованный перевод с белорусского М. ГОРБАЧЕВА.

Иван ШАМЯКИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

БРАЧНАЯ Н

Утром вернулся со своими «мушкетерами», как он называл разведчиков, из ночного рейда за Днепр Володя Артюк. Любил туда забираться — в богатый полевой район, где были сильные полицейские гарнизоны. Любил погонять «бобиков». Там его знали — до самой Речицы и до Хойников ходили легенды про его смелость и неуловимость. Полицаи дрожали. Немецкий комендант объявил за Володину голову награду — тысячу марок. Володя смеялся: «Скупердяи немецкие, за такую голову — такие гроши».

Из рейда возвращались не с пустыми руками — пополняли запасы.

Удачу почти всегда отмечали. Даже комиссар бригады Павел Адамович, очень строгий ко всяким «анархическим выбрыкиваниям», как он говорил, на гулянку разведчиков смотрел сквозь пальцы.

Володе кто-то сказал, что новенькая хорошо поет, и он сам пришел, попросил ее пообедать с ними.

Разведчики собрались поодаль от лагеря — на опушке, на высоком песчаном пригорке, где гулял ветер и почти не было комаров. Но не от комаров они прятались — подальше от командирских глаз. Обычно все делали вид, что никто не знает, где разведчики «отдыхают» после рейда. И редко кто к ним навязывался, прилипал. Только Клавдия тайком носила что-нибудь повкуснее — из того, что разведчики принесли из-за Днепра и «зажали» — не сдали начпроду деду Прокопу, совхозному бухгалтеру, который даже командирам лишнего грамма никогда не отвешивал, не выдавал, каждая крупинка у него была на учете. Комбриг иногда злился на Прокопа за такую бережливость. И ругал старика: скупой, как кулак. А комиссар смеялся: «Золотой начпрод, запасливый, с ним никогда не объедимся, зато и голодать не будем».

А вчера разведчики выдали себя. Маша выдала их. Запела в сосняке, и туда потянулись другие партизаны, даже раненые приковыляли. Пришлось парням прятать свой первач.

Маша пела лучше, чем накануне,— песни веселые, о любви.

Я любила его
Жарче дня и огня,
Как другие любить
Не смогли б никогда!

Подвыпивший Володя Артюк становился на колени и целовал ей руки.

Любую нашу женщину устыдило бы такое барское проявление восхищения или благодарности — не знаю чего. А Машу это нисколечко не смущало, будто ей каждый день целовали руки. Но больше всего меня удивило, что из партизан никто не смеялся, потом, правда, отойдя, некоторые беззлобно высмеивали Артюка и Машу. Мне тоже не понравился ее второй концерт. Пение среди дня перед охмелевшими разведчиками, Володино кривляние и вообще эта неуместная праздничность, конечно же, принижали наше партизанское достоинство, превращали тяжелую, мучительную, опасную жизнь в легкую забаву. Не хотелось мне, чтобы эта загадочная певица подумала, что нам легко живется. Люди должны воевать, а они, выходит, баклуши бьют. Если кому нечего делать, пускай бы сходил в деревню, бабам сено помог косить, чьи мужья в Красной Армии.

В лагере я услышала, как командир штабного отряда Степук, пожилой, понурый и молчаливый человек, у которого и кличка была «Дядька», с упреком сказал комиссару бригады:

— Разложит ваша канарейка мне отряд.

Павел Адамович возразил:

— Чем это она разложит? Песнями?

— Да ты послушай, что она поет — одни романсы. Да какие! «И жизнь... такая пустая и глупая штука...» Подымет этим боевой дух? Ни одной песни советской, военной...

— Романсы, Корней Евстафьевич, писали классики — Глинка, Чайковский. А про жизнь, что пустая и глупая, Лермонтов сочинил. Но она поет больше народные песни, русские. Душевные песни, я вчера слышал...

Степук, чувствовалось, не согласился, однако спорить не стал, не любил человек лишних слов. Но, наверное, что-то подобное он сказал комбригу, когда тот вернулся из соседнего отряда, изнуренный жарой, долгой верховой ездой и потому злой. Петр Иванович был «человеком настроения»: иногда сам любил гульнуть по-казацки и Артюку за его смелость прощал «заливания», а другой раз партизану, от которого чуть пахло самогонкой, угрожал расстрелом или выставлял перед строем и учинял такой нагоняй, не выбирая слов, не стесняясь партизанок, что виноватый потом долго, даже для согрева в морозные дни, боялся принять «поганое зелье».

Такой же, говорили (сама я не слышала), разнос учинил командир бригады и своему любимцу Артюку. Рикошетом попало и «канарейке». Одним словом, разогнал «концерт» с большим шумом. Партизаны весь день смеялись, особенно потешалась Клавдия, рассказывая подробности со своими добавлениями. Очень ей понравилось, «как испугалась пташечка, как вспорхнула, даже гитару забыла»...

Маша действительно пришла красная и до вечера в одиночестве пролежала в землянке. А с Володи — как с гуся вода. Ходил по лагерю по-прежнему веселый, скалил зубы, тискал девчат, раза три заглянул в нашу землянку, к Маше.

Утром, давая хлеб и лук, Клавдия с недоброй бабьей злорадностью, а может, и с завистью сказала мне:

— А эта... твоя всю ночь с Володей папоротник мяла.

Всю ночь... Неправду Клавдия сказала. Всю ночь я не могла уснуть и слышала, как Маша выходила из землянки. Ненадолго выходила, может, на полчаса, не больше; в землянке было сыро и душно.

Теперь, глядя, как Маша спит, смачно, по-детски, даже не слышит, как кусают оводы, я начинала верить, что Клавдия сказала правду. Смотрела на ее бесстыже оголенные ноги и, кроме ненависти, почувствовала брезгливое пренебрежение. Красота ее сразу поблекла в моих глазах... Что от ее красоты, если она вот такая! Но вместе с тем и себя почувствовала оскорбленной и униженной. Она вот спит и хоть бы что, хоть трава не расти, а я не имею права спать, хотя действительно не спала всю ночь, под утро, может, на час какой провалилась в тревожный сон. Я должна беречь ее... Беречь... Павел Адамович сказал доверительно и прямо: «Знаешь, Валя, мы сразу не знали, куда ее намереваются забросить. И не очень, ты знаешь, прятали ее. Концерты эти... И вообще девушка она приметная, каждому в глаза бросается. Так ты гляди!.. Осторожность номер один. Да тебя и не надо учить... Ученая».

Я не имею права уснуть. Да и не могу... Как я могу уснуть?

Вчера вечером они позвали меня. Все трое: командир, комиссар, начальник штаба. «Тарас»-комбриг сам сказал мне с какой-то особенной теплотой, хотя со мной все разговаривали не по-военному, раньше это меня даже обижало,— как с маленькой:

— Задание тебе, Валя. Отведешь Машу в Гомель. От тебя не скрываем: Маша — армейская разведчица. Выйдите завтра на рассвете. Переночуете у Федора, с ним обсудите все остальное.

— Слушаюсь, товарищ командир.

Потом комиссар говорил об осторожности.

А мне казалось, что они все трое излишне долго разглядывали меня, будто впервые видели или провожали навсегда.

Я не дождалась объяснения задания, почему-то испугалась — отчего так недобро сжалось сердце?— нетерпеливо спросила:

— К кому?

В городе был добрый десяток подпольщиков, с которыми я держала связь.

Ответил начальник штаба по-военному коротко, не глядя на меня:

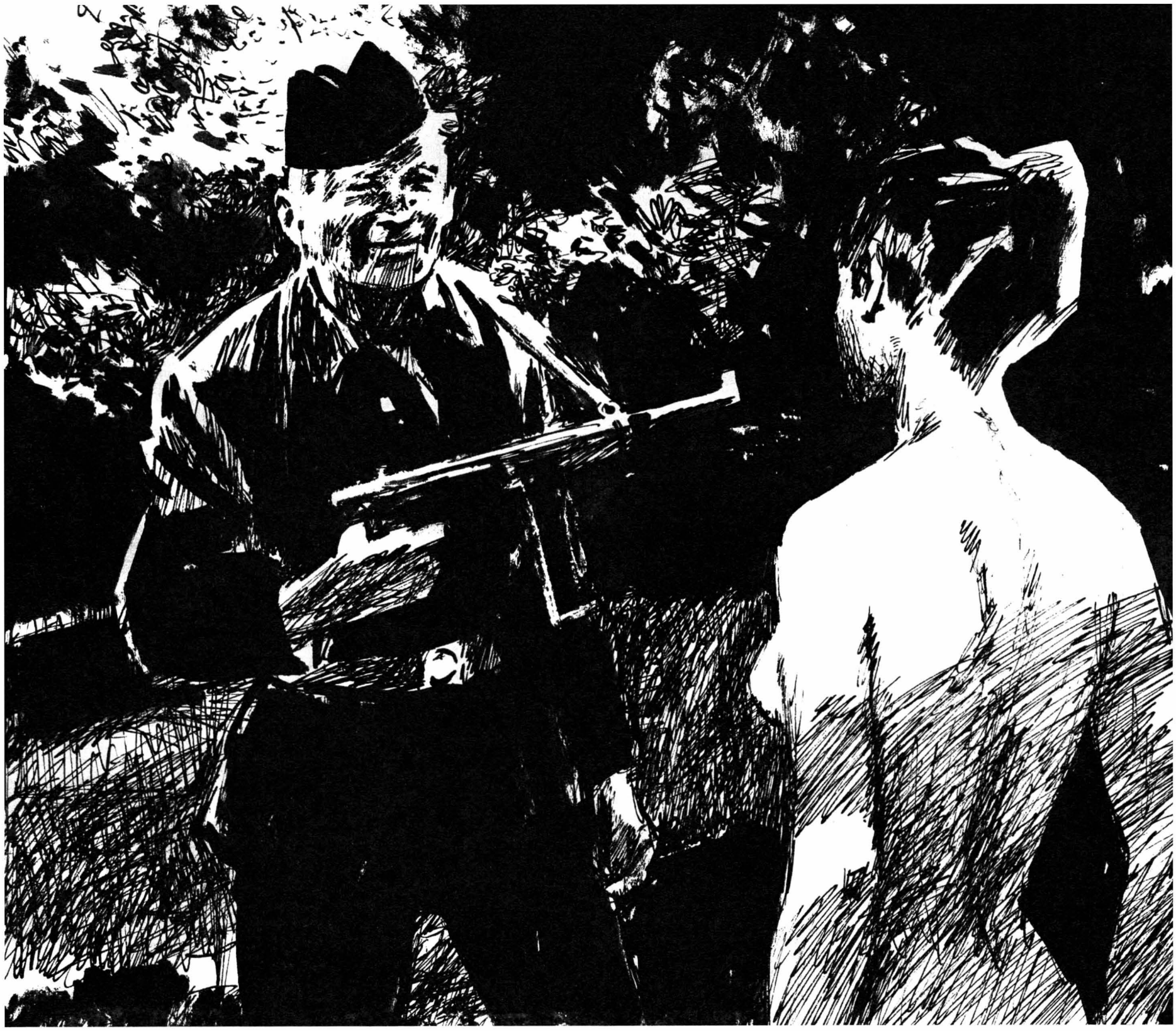
— К Степану Жданко.

Сердечко мое екнуло и оторвалось, покатилось вниз, в груди стало пусто-пусто, а в животе горячо, будто спирту глотнула. Снова они смотрели на меня. А я стояла по команде «смирно» и молчала, боялась пошевелиться.

— У тебя есть вопросы, Валя?— сказал комиссар с той же отцовской теплотой, от которой захотелось плакать.

Я покачала головой. Нет, вопросов у ме-

Продолжение. См. «Огонек» № 30.



ня не было. Я хорошо знала свои обязанности.

— Можно идти?

— Пожалуйста, Валя. Счастливого пути. Позови к нам Машу.

II

...Надо будить ее. Надо идти. Некогда спать, да еще на таком открытом месте, среди бела дня.

ОЧЬ

Но жара, усталость или душевная обессиленность сковали меня. Какое-то время я сидела недвижимо, смотрела на ее грудь — как ровно и спокойно она дышит, на лицо, на котором, кажется, блуждала улыбка, счастливая улыбка; на ноги не могла смотреть, было в этом что-то постыдное, грешное, и не могла пошевелиться, не могла разбудить ее. Появилась нелепая мысль: оставить ее тут, сонную, и вернуться в бригаду. Пускай меня расстреляют за то, что я не выполнила задания. Глупая мысль. Задание я не могла не выполнить. Если бы раньше кто сказал, что у меня может случиться вот такое — что о себе, о чувствах своих я буду думать больше, чем о нашем общем деле, о боевом задании,— глаза, наверно, выцарапала бы тому, так как нанес бы он самое большое оскорбление: на войне самое подлое — много думать о себе, от этого, очевидно, становятся трусами. А я давно уже преодолела всякий страх. Стыдно стало. Почему я вдруг так настроилась против этой девушки, нашей разведчицы, которая идет, безусловно, на очень ответственное задание, в волчье логово? Что она красивая? Командование знало, кого выбирало. Не одна же она там была. Значит, такая нужна. Что она бегала прошлую ночь на свидание с Володей? Так что из того? К черту тому, к бабнику, не одна дура вот так выбегала и в отряде и в деревнях, куда он часто заглядывает со своими «мушкетерами».

Маша будет ближе к Степану, чем я? Что из того? Будто в городе мало девчат. Не хуже красоток он встречает. Выходит, я плохо думаю не о ней, а о нем, ему не верю? Глупая, глупая... Как можно так не верить самому близкому человеку? Жизнь ему доверяю, а он мне — свою. А тут — не верить. Вот уж действительно бабья дурь.

Одним словом, порассуждала вот так и, показалось, отогнала неприязнь к Маше. Приказала себе любить ее, как любила четыре дня, до вчерашнего вечера.

Отломила сухую травинку, пощекотала у нее под носом, чтоб разбудить. Она чихнула, покрутила головой, потом замахала перед лицом рукой, думала, что овод кусает. Я шикнула на нее и засмеялась. Маша раскрыла глаза и спросонья недоуменно поглядела на меня.

— Хватит дрыхнуть! Пошли!

Она проснулась, сладко потянулась, закинув руки за голову, с упреком сказала:

— Сон перебила: такое снилось...

— Володя, что ли?— пошутила я.

— Какой Володя?— спросила она, как показалось мне, немного испуганно.

— Который не дал тебе поспать ночью.

Маша поморщилась, как от неприятного воспоминания.

— Нахал он, ваш Володя. Пьяный мужлан.

Не понравилось мне это «мужлан», обидно стало за Володю.

— А ты кто — из панов?

Маша засмеялась.

— Из панов. Княгиня. Два иностранных языка знаю. Не веришь?

В то, что она знает языки, я поверила, но опять же подумала, что такие сведения разведчик не имеет права говорить вслух даже на лугу. И потому я ничего не ответила ей, верю я или не верю. Приказала:

— Подъем! Пошли!

— Подожди минуточку. Дай мне полюбоваться. Когда это я лежала вот так. Чтоб надо мной шелестели листья дуба. И небо было вот такое... голубое, бездонное. И тучки белые. И тишина. Боже мой, какая тишина! Не верится, что где-то гремят пушки. Сеном как пахнет! Вдохни! Какой запах!

— Не знаешь ты запаха настоящего сена. Разве это сено?

— Откуда мне знать! Я горожанка...— Она помолчала и вздохнула.— Где я полежу еще так? В такой тишине...

И это «где я полежу еще так» резануло мне сердце, в нем была не просто тоска — отчаяние, как бы расставание с очаровательным светом.

Впервые мне стало жаль ее. Я сжалась, застыла, не осмеливаясь помешать ей думать в такую минуту.

Маша долго, не моргая, смотрела в небо. Потом повернулась на бок, лицом ко мне.

— Знаешь, Валя, я училась в театральной студии при...— и осеклась, чтоб не сказать, где училась. Да, говорить, откуда она, где училась, нельзя. Не первого разведчика я вела и хорошо усвоила, что мне надлежит знать, а о чем запрещено расспрашивать,— чего не знаешь, того никакими пытками у тебя не вырвут. Но студия меня заинтересовала, так как подтверждала мою позавчерашнюю догадку, и у меня тоже вырвалось (бабьи языки!):

— Я так и думала!

— Что ты думала?

— Что ты артистка.

— Никакая я не артистка. Так, забава... грех молодости. Один умный режиссер сказал, что ни черта из меня не выйдет...— И вдруг перевела разговор на другое:— Ты часто ходишь в город?

— Да как сказать... Когда надо...

— Не страшно?

— Где?

— Там, в городе.

— В городе — нет. На постах раньше было страшно. Иной гад как начнет тебя допрашивать и ощупывать.

— По телу лапают?

— По телу.

Маша брезгливо передернулась. А я почувствовала вдруг иную тревогу. Когда я убедилась, что она разведчица, то не сомневалась — опытная разведчица, только умышленно прикидывается простушкой, а тут, после ее вопросов и такой реакции, поверила, что она новичок, на первое задание идет. И это встревожило. Не хитро, а неразумно она вела себя в лагере. Нельзя так выставлять себя перед сотней людей. И проговариваться так нельзя. Тревога моя была за... Степана. По-бабьи испугалась красоты ее... Другого надо бояться!

Маша села, подняла руки, чтоб поправить волосы. В этот момент я неожиданно сильно толкнула ее в грудь.

— Ложись!

И сама повалилась на нее. Что она подумала? Я увидела, как блеснули ее глаза — не испуганно, а недоуменно и гневно. Она так крутнула мою руку, что я чуть не закричала от боли, и мигом очутилась наверху, тяжестью своего тела прижала меня к сену. Ловко у нее получилось! Если бы я трепыхнулась, она легко задушила бы меня. Лицо ее в этот миг было страшное.

— Ты что?

— Дурная... не поднимайся... полицаи...— наконец удалось объяснить мне причину своего неожиданного поступка.

Действительно, недалеко, на таком же пригорке, возле такого же одинокого дуба, я увидела полицейского — может, он тоже лежал и поднялся. Я узнала его за полверсты, так как уже имела встречу с этим «бобиком».

Маша приглушенно засмеялась и отпустила меня.

Я отползла к дубу, приподнялась и начала наблюдать за полицаем. С удивлением увидела, что на шее у него висит автомат. Это сильно насторожило. В тот раз он был с наганом. Автоматы в небольшие полицейские гарнизоны немцы выдавали редко. Не начинается ли блокада? Может, их сотня тут, полицейских, немцев? Но тут же, я знала, не базируется ни один отряд. А до Федора еще далеко. Потом подумала, что партизаны в эти болота могли заявиться в любой момент — из-за Днепра, из Черниговских или Брянских лесов. Да мало ли откуда... Рейдовый отряд. Или любой другой после тяжелого боя, чтоб скрыться от преследования.

Нет, не похоже, что полицейский выслеживает кого-то. Идет, как хозяин, не оглядываясь. Осматривает сенокос. Ах, если б у нас был пистолет, я отомстила б этому гаду. Нет, если бы и был пистолет, я все равно не имела бы права рисковать при выполнении задания.

Надо уходить, пока он не увидел нас.

Полицейский спустился в низину и на момент скрылся за лозовыми кустами. Я схватила Машу за руку, приказала пригнуться к земле, и мы скатились в мокрую лощину с невыкошенной высокой травой. Выбравшись из лощины на сухое, снова увидели его черную фигуру. «Не боится же, гад, шляется один»,— подумала я. Теперь, если даже он и увидит нас, уже не страшно: перед нами был молодой ольшаник, за ним — большой лес. И бежали мы так, что пуля не догнала бы, а не только полицай в суконном мундире и в сапогах. Хорошо, что врасплох не застиг. Я ругала себя: как могла позволить отдыхать в таком месте?

Маша тут же запротестовала:

— Почему ты летишь так? Неужели, думаешь, он гонится за нами? Не понимаю я все же... Как мы пойдем в город, через посты, если так боимся тут, убегаем?

Новому человеку, даже разведчику, действительно трудно понять мои тайны, мое чутье.

Я рассказала, как встретилась с этим полицаем в первый раз. Было это в марте. Начиналось разводье, но река еще стояла. Мне срочно надо было попасть в город, отнести закодированное письмо «Ахрему», подпольщику, которого я давно считала второстепенным, так себе, думала, запасная явка у деда. Письмо было из Центрального партизанского штаба, его доставил специальный представитель, спустившийся на парашюте. (Про письмо я, безусловно, Маше не сказала. Имела задание, и все, а какое — зачем ей знать.)

До этих вот мест меня провожали Володя с хлопцами, на конях, я ехала в седле. Отсюда, было договорено с командирами, я переберусь на левый берег Сожа, выйду на Черниговское шоссе и там постараюсь доехать до Гомеля на машине. Надо было спешить. Мне дали бутылку самогона-первака и десяток яиц, за такую плату немецкие шоферы подвозили. И вот на том берегу в лесу меня остановил полицай, догнал, будто долго шел следом. Чего он болтался по лесу, где еще лежало немало снега?

У меня была бумажка от старосты из Рудни. Но справка такая его еще больше насторожила: не ходили рудневцы той дорогой, объяснение мое, что все полевые дороги раскисли, перерезаны ручьями и потому я, промокшая и усталая, решила выйти на шоссе, полицая мало убеждало. А когда я предложила ему самогонку, он зло засмеялся: «А ты, вижу, опытная, знаешь, чем можно купить... Да меня не купишь...»

Я умела выдать себя моложе по возрасту, прикинуться девочкой-подростком лет пятнадцати, и плакала навзрыд всю дорогу, пока он вел меня. Наверное, не так уж и нарочито. Не только от страха. От отчаяния. Провалиться на таком ответственном задании! С таким письмом. Правда, само письмо найти нелегко, для этого надо раздеть меня догола. Фашисты, я знала, могут и такое сделать. Но не станут же они сразу раздевать меня? А как только уйдут с глаз, посадят в холодную, письмо я съем. Да, слабое это было утешение. Себя, может, и спасу, съев письмо, да и то, если не повезут в Рудню, а спросят у старосты так, без меня,— староста там был наш, партизанский. Но дело будет провалено, по всему видно, очень важное, так как не посылали б из Москвы специального посланца, могли бы по радио передать. Может, новый код для разведчика. Как, с какими глазами я вернулась бы в бригаду! На меня так надеялись, так верили. Все. Представитель Центрального штаба в том числе. Шла я впереди полицая, не плакала — выла на весь лес, все еще надеясь разжалобить его. Глотая слезы, без передышки рассказывала, что в доме пятеро детей, и все они больные, и должна идти в город к дядьке (называла подпольщика со станкостроительного завода, у которого иногда ночевала, он подтвердит, если что, легенда была старая, знакомая ему), чтоб добыть соли и лекарста.

Полицейский посмеивался над моими слезами и издевался, гад: «Рассказывай сказки. Знаю я тебя. В отряде видел».

«В каком отряде, дяденька? Что это вы говорите!»

Проходили мимо лесничества. Хата сожжена, а пуня осталась. Полицай вдруг остановил меня. Глаза у него заблестели, как у кота, а толстая морда расплылась в отвратительной ухмылке. Был он немолод, лет тридцати пяти, невысокий, но коренастый, дюжий, краснолицый. И вдруг говорит: «Пойдем в пуню. Тогда отпущу тебя».

Сразу я даже не сообразила, зачем идти в пуню. А когда поняла, то пережила такой страх, какого не знала еще ни разу за всю войну. Смерти глядела в глаза не раз, но такого страха не испытывала. Даже в блокаду, когда лежали в кучах веток, а возле них остановились каратели, и один, догадывалась я, предлагал поджечь ветки, и долго щелкал зажигалкой, а, на мое счастье, зажигалка не загорелась, видно, кончился бензин. Или когда меня задержали на гомельском рынке, и у меня под кофточкой была «Правда». А вот тут я почувствовала смерть верную. Другого выхода не было. Я буду грызть его зубами, и он, такой бык, либо задушит меня, либо застрелит.

Наверно, от страха у меня резануло в животе, потянуло на рвоту, я скорчилась, посинела и страшно закашлялась, даже слюна потекла. В ту зиму у меня часто кровоточили десны: от натуги, должно быть, от кашля лопнул какой-то сосуд, и я сплюнула с кровью. Посмотрела на полицая — он брезгливо поморщился. И тут как-то сама собой появилась отговорка, как бог послал, сказала б моя мать:

«Дяденька, так нельзя же мне. Чахоткой я больна. Заразная. Видите, кровью харкаю. И мать болеет. И брат... Заражу я вас».

А кашель не унимается — вот же бывает счастье.

Плюнул он с отвращением и говорит:

«Давай твою самогонку. Руки о тебя, подлюга, пачкать не хочется. Ходите тут, отравляете воздух. Марш отсюда, заразная!»

Какое-то время, медленно отходя и кашляя, боялась, что он выстрелит в спину. Но услышала не выстрел — звон. Он разбил бутылку с самогонкой о сосну и снегом вымыл руки.

— Чистюля. Долго жить хочет,— засмеялась я, кончая рассказ о встрече с полицейским.

Теперь, когда мы прошли лес, вышли в поле и впереди увидели женщин, копающих картошку, я решила не обходить этих баб, спросить у них дорогу — пускай Маша знает, что не от всех людей надо убегать и прятаться,— я не очень-то была уверена, что это тот же полицейский; за полверсты, если не больше, не так легко узнать человека, которого видела всего один раз и в другой одежде — тогда он был в полушубке.

На Машу рассказ мой, по всему было видно, произвел впечатление. Она даже раза два опасливо оглянулась. И вообще как-то подтянулась, насторожилась. Была усталая, расслабленная, легкомысленная — ничего не боялась в этих лесных, болотных и луговых просторах, должно быть, думала, что я сознательно нагоняю страху и потому веду ее с такими предосторожностями. Действительно, трудно было понять: идем в город, во вражескую пасть, а тут, считай, своих боимся.

— И часто они насилуют наших?

Чего только я не слышала за два года войны, как связная, все время была на ногах, встречалась с разными людьми, ночевала в городе на разных квартирах и в деревнях. Может, часть из того, что я слышала,— выдумки, женские страхи... Но немало знала и истинного. Например, о том бандитском отряде, что появился по весне в Заднепровье; нашей бригаде пришлось ликвидировать его. Сколько

бандиты, выдававшие себя за партизан, изнасиловали в селах девчат! Наш штаб проводил дознание, опрашивал крестьян, я сама читала страшные показания; кровь в жилах стыла от рассказов матери, дочь которой после издевательств над ней повесилась. Но Машу история с отрядом не так тронула, может, потому, что рассказывала я отрывисто, нескладно.

Другое меня встревожило — женщины, копавшие картошку. Я сказала им: «Бог в помощь». Они не ответили и смотрели, как вол из-под ярма. Спросила дорогу на Скиток — показали неправильно, направили на Терешковичи, а там, я знала, размещался полицейский гарнизон. Вредные бабы встретились!

Маше не сказала, что за бабы такие, она и так нехорошо отзывалась о здешних людях. А они добрые. Им я верила. А это разве люди? Наверное, мать, жена или сестра полицая какого-нибудь или старосты. Может, наши парни пристукнули самого хозяина, потому они и глядят волком на каждого, в ком подозревают партизана.

Версты три я шла с предосторожностью, ускорив шаг. Сбив ноги, Маша по-прежнему отставала. Жара была нестерпимая, редко такое случается даже в августе.

Мы снова вышли на луг, но держались близ зарослей, вдоль ручья. Трава оплетала ноги, влажный воздух становился густым, как смола, раздирало грудь. Тело обливалось липким по́том, и сердце билось в висках и... в кончиках отекших пальцев.

Со мной это случалось не раз: в каком-то месте или в какое-то время я будто переходила границу, линию фронта, за которой исчезали ощущение опасности и все мои страхи. Так случилось и там. Чего я испугалась?— подумала. Полицая, которого увидала за полверсты? Да если бы он начал стрелять в нас из своего автомата, так и то... соли он нам насыпал бы на хвост. Неприветливых баб? Будто в первый раз встречаю таких. И между тем не раз убеждалась, что неприветливый человек — не всегда враг. Нередко бывает наоборот.

Разве лучшему я учу Машу своими странными предосторожностями? Разве надо разведчице так остерегаться? Не играю ли я немного перед ней? А она, может, более опытная, только не выдает себя; такую неумелую и ленивую вряд ли послали бы сюда.

Но скорее всего «граница» эта появилась потому, что мы уже недалеко от Федора, километров семь всего, что это, в сущности, уже наша зона, федоровцы хвалились, что из близлежащих сел и поселков поудирали все полицаи, их забитые хаты партизаны понемногу жгут, не все сразу, а поочередно, чтобы чувствовали изменники партизанский дух в этом крае.

Свернув с дороги, я потеряла ориентиры, и мы неожиданно вышли к Сожу. Река блеснула из-за кустов широкой искристой гладью, немного испугав меня, ослепив и очаровав. Я остановилась, растерянная, но тут же представила выученные по карте и в натуре замысловатые петли и изгибы, что делает тут Сож, и быстро сообразила, куда мы попали. Удачно вышли. Место безлюдное, до отряда ближе, чем я думала.

Река дышала прохладой. В такую жару разве только явная опасность заставила бы отступить от реки. Захотелось постоять на берегу, вдохнуть прохлады. Хоть минутку подержать в чистой проточной воде натруженные ноги.

К самому берегу подступала гряда лозняка-краснотала, разрезанная ручьем. Где ручей сливался с рекой, образовалась песчаная отмель. Шагах в двадцати от берега даже выступал островок, с беленьким-беленьким, как сахар, песочком. На островке сидели непуганые чайки.

Пока Маша разувалась, я прошла по воде до островка. Чайки, лениво вскрикнув, перелетели на противоположный берег. Я огляделась вокруг. Далеко, по обе стороны реки открывались речной простор и берега, с нашей стороны — заросший лозняком, с песчаными косами, а с того, противоположного,— голый, обрывистый, с одинокими дубами. В обрыве гнездились ласточки и стрижи, значит, от деревни далеко, иначе мальчишки и кошки разорили бы птичьи гнезда.

Действительно, кроме чаек, нигде ни одного живого существа. И ни одного постороннего звука. Все притаилось, застыло в полуденной истоме. Только журчит и ласково плещется возле ног вода. Просто рай земной вокруг. Маша подошла ко мне, высказала свое восхищение:

— Какая прелесть! — И вдруг предложила:— Давай искупаемся.

О том, чтоб искупаться, я подумала раньше ее. Опасности больше не чувствовала. Возле своего лагеря иногда купалась с осторожностью — чтобы парни не подсматривали. А тут было ощущение полной свободы. Но я подумала о другом: стоит ли мне показываться голой перед этой красоткой? Какой худой — одни ребра — и невзрачной я предстану перед ней! Это как бы унизит мое женское достоинство. А я ни в чем не хотела унижаться перед ней. Со вчерашнего вечера мне хотелось убедить себя, что я не хуже ее и достойна настоящей любви. Степановой любви. Вот почему я не сразу ответила на ее предложение. А Маша не проявила уже такой настойчивости, как с отдыхом под дубом. Наверно, история с полицаем, мой рассказ о нем несколько дисциплинировали ее. Но искушение было столь велико, что она попросила меня как-то странно, совсем по-детски:

— Я больше недели не мылась. А до войны я ежедневно принимала ванну.

Такое признание почему-то рассмешило меня.

— А ты и в самом деле панского роду. Плавать ты хоть умеешь или только в ванне? Река наша, знаешь, какая...

— А ты погляди, как плавают девушки панского рода.— Маша тоже засмеялась и начала расстегивать кофточку.

Я даже испугалась, что она разденется тут, на островке, посреди реки. Просто сама я не могла раздеваться на таком открытом месте. Девичья целомудренность. Как ни безлюдно вокруг, а все же... лучше иметь хоть какое-то прикрытие.

— Не тут! Идем в лозняк.

Я не успела расстегнуть на юбке крючки, как она уже стояла совсем голая. Стояла в двух шагах от меня, но между нами была лоза, десяток упругих красных стеблей, которые, казалось, звенели, как струны. Через эту живую решетку, в кружевном сплетении солнечного света и теней от листвы, в чудесном зелено-золотом освещении тело ее казалось удивительно красивым. Она стояла спиной ко мне, подняв руки,— заплетала в пучок волосы. Такая поза, будто хочет взлететь в небо. Подобное женское тело я видела только в музее, во дворце Паскевича. Все останавливались перед картиной, хотя нам, девушкам-первокурсницам, было стыдно смотреть на нее вместе с мальчишками, будто раздели и выставили кого-то из нас. Но под картиной было написано, что это греческая богиня. Прочитанная подпись несколько уменьшила нашу стеснительность. На богиню можно было смотреть и при парнях.

Я замерла от очарования и похолодела от страха. Разве могу я сравниться с такой красавицей? Она настоящая богиня.

Спустила на песок юбку, притоптала ее ногами и боялась скидывать остальное, так и стояла в пестрой кофточке и в короткой сорочке из грубого домотканого полотна. Но вот Маша повернулась ко мне и удивилась, что я еще не разделась. А я чуть не засмеялась... от внезапного открытия. Передо мной стояла не богиня — обыкновенная женщина, таких я видела в бане. Именно женщина. Белые, как помятые, ленточки-полоски на животе бывают только после беременности и родов. И грудь. Не надо было иметь собственного опыта, чтобы понять, что такая грудь кормила ребенка. Едва не вырвалось: «Ты замужем? У тебя есть дети?» Но прикусила язык. К чему эти слова? Зачем учинять допрос, который, возможно, будет неприятен ей? Разве недостаточно мне странного, какого никогда не знала, ощущения своего превосходства над ней? Правда, странно. Иногда я завидовала нашим женщинам, у которых есть дети. Если погибнет мать, останется дитя, продолжение ее жизни, а после меня ничего не останется. А Маше не позавидовала, хотя мы связаны с ней: два дня над нами будет висеть та же опасность, бо́льшая, чем тогда, когда я ходила одна,— из-за нее — бо́льшая. Но не об этом я думала. О другом — бабьем. Почему я вдруг ощутила свое превосходство над ней и в тот момент удивительно успокоилась, обрадовалась? Разгадать такую загадку и теперь не могу, прожив на свете полсотни лет и пережив все, что только могло выпасть на долю одной слабой женщины.

Разделась я охотно и уже нисколько не стеснялась своего худого тела.

Мы кинулись в воду одновременно с обрыва, отойдя в сторону от отмели,— там было глубоко. Маша нырнула, вынырнула, повернулась на спину и засмеялась от удовольствия. Держалась она в воде, как рыба, сразу чувствовалось: хорошая пловчиха. Но и я выросла на берегу Днепра и могла показать не меньшее умение. И я рванула вперед, на середину реки, по-мужски, размашисто загребая. Но через минуту увидела, что и в плавании по сравнению с Машей я деревня. Она пролетела мимо меня, как снаряд, как акула. Плыла спортивным стилем, не знаю, как он называется, разрезая воду головой. Пружинисто выбрасывая свое упругое тело на поверхность,— блестели одни белые лопатки. От меня во все стороны летели брызги, она же плыла, почти не брызгая. Я далеко отстала и фыркала следом, как старенький лопастный пароходик за современной «Ракетой».

Переплывать на другую сторону, безусловно, было безрассудно. Я никогда не позволила бы себе, ибо это означало забыть не только о задании, какое выполняла, но и о войне вообще. Однако не успела я предупредить, как Маша была уже там, на том берегу, стала на ноги, обмыла лицо, потом вышла из воды и села на песок.

Меня отнесло дальше от того места, где сидела Маша. Я устала, задыхалась и даже испугалась, что не доплыву, что течение снова отнесет меня на середину реки. Выйдя из воды, я пошла к Маше по песчаной полосе под высоким обрывом. Но мне вдруг показалось, что оттуда, с нашего берега, кто-то смотрит на меня. Я стыдливо вскочила в реку и дошла до Маши, погрузившись в воду. Овладел страх: а вдруг кто-нибудь заберет одежду? Как мы заявимся в отряд? Какой позор! За такое легкомыслие расстрелять меня мало.

— Поплыли назад,— сердито приказала я Маше.

— Отдохни, ты запыхалась.

Я разозлилась:

— Ты что, купаться и загорать сюда прилетела?

Она почувствовала мое недовольство и без слов покорилась. Заметив, что я утомлена, плыла рядом. Страховала. Плыли мы медленно, не спеша, преодолевая течение, чтобы не отнесло нас от песчаного островка.

Достав ногами дно, начали выходить на мель. По колени уже вышли, как вдруг я вскрикнула и присела.

Из лозняка, с того места, где мы остаили одежду, выглядывала страшнее самого страшного зверя морда... полицая. Того. Знакомого, с которым я встретилась в марте. Толстая красная морда его расплылась от противного самодовольного смеха. Я подумала, что́ может сделать такой гад. Наверно, погонит нас в село, на потеху и издевку в таком виде — в чем мать родила. Нет, не вылезу из воды, лучше утоплюсь. Нырну и не вынырну. И я потихоньку отплывала на середину реки.

А Маша шла вперед, к берегу, огибая песчаный островок. Неужели она не видит полицая? Может, крикнуть ей? Нет, не может она не видеть, не слепая. Он вышел навстречу ей, спустился к канавке, поедая ее жадными глазами. На шее у него висел немецкий автомат, одной рукой он держался за приклад, другой мазнул себя по лицу, вытер пот или протер глаза, чтоб лучше разглядеть такое диво — голую девушку.

Маша все равно шла на него, медленно, вихляя бедрами, как бы дразня. На теле ее горели маленькими солнцами капли воды. Они слепили меня, эти искристые капли на красивом теле, какое она так открыто выставляла перед полицаем.

— Купаемся, рыбки золотые?— хихикнул полицай, облизывая пересохшие губы.

— Хочешь с нами покупаться?

— Гы-гы,— оскалил он зубы.— Не помешало б.

— Так давай...

Маша остановилась в каких-нибудь двух шагах от него, не больше. Очевидно, он ослеп от ее близости. Маша провела руками по груди, потом по животу, по бедрам, растирая капельки солнца.

— Хороша?— спросила она весело.

— Ох, хороша! Гы-гы...— казалось, заржал он от восхищения и искушения.

Она протянула к нему руки.

— Давай помогу раздеться.

Должно быть, тут он почуял угрозу, так как сказал:

— Ну-ну!— и, кажется, успел отступить на шаг.

Но было поздно. Маша сильно охватила его за шею руками и припала губами к его губам. Тут я поняла ее намерение и кинулась на помощь: может, вдвоем сумеем обезоружить его. Да не успела добежать: глухо ударила короткая автоматная очередь.

Маша сильно толкнула полицая от себя. Он свалился на травянистый откос, страшно завыл, но сумел еще найти и нажать спусковой крючок, да не смог уже скинуть ремень, поднять автомат, нацелить на кого-нибудь из нас — стрелял в землю, в обрыв, пули рвали корни лозняка, в реку летели песок и трава.

Маша перескочила через полицая, наклонилась, сорвала с его шеи автомат и начала стрелять в упор — в грудь, в голову, в живот.

Лицо ее было страшным. Видела я, как убивали врагов, свидетельницей была, как Кузьма Бруй расстреливал убийцу своего сына — полицейского Котикова, но даже у Кузьмы такой ненависти, злости, гнева, гадливости, отвращения не было ни на лице, ни в глазах. Она расстреляла все патроны; когда автомат замолк, удивленно посмотрела на него — почему он замолк?— и бросила мертвому полицаю на грудь, будто и не поднимала.

Я прежде всего собрала нашу одежду. А вдруг полицай не один? Успела надеть сорочку — не голой же бежать по лознякам, позорно бежать партизанке голой, даже если никто и не видит.

Маша сидела на корточках над канавкой и медленно и старательно мыла руки, терла их песком. На всю жизнь запомнилось, как, с каким выражением гадливости — будто раздавила крысу — она мыла руки.

Я надела ей через голову сорочку. Маша недоуменно поглядела на меня: что я делаю, зачем?

— Надевай сорочку! И бежим быстрей! Может, он не один тут...

Тогда она боязливо оглянулась на мертвеца и перескочила через ручей в гущу лозняка, обдирая голые руки и ноги. Я не полезла бы так, побежала бы берегом. Но теперь мне ничего не оставалось, как идти следом за ней; после того, что случилось, я готова была признать, что не такая она неопытная, как прикидывалась. Вон какого черного буйвола свалила! Но и гад же он, ведь верст пять за нами шел, словно за смертью своей.

Немного придя в себя, я подумала, что Маша действовала правильно, по-партизански, а я — как девчонка, столько сегодня наделала глупостей, стыдно будет докладывать командованию. Если сделаю еще одну промашку, мне не простят. Как я могла не забрать автомат? Это же первая партизанская заповедь: забрать оружие у убитого врага,

Остановила Машу.

— Подожди. Послушаем.

Она снова присела и зачерпнула пригоршней песок. Он сеялся меж пальцев, может, ей хотелось чем-то занять руки, так как они — увидела я — все еще дрожали. Не удивительно. Я не убивала, а у меня тоже трепетало сердце, дрожали руки.

Было тихо. Даже не шелестели лозняки. Только где-то далеко замычала корова. И это мирное мычание сразу как-то удивительно успокоило меня.

— Надо забрать автомат,— сказала я.

— Зачем?— спросила Маша.

— Ого! Такое оружие! Автоматов у нас не густо. Краевский спасибо скажет.

На Машином лице промелькнула вроде бы виноватая улыбка.

— Я не могу... видеть его... Пойми...

Это я понимала. Разве мне приятно лишний раз смотреть на мертвеца, да еще такого?

— Я пойду сама,— сказала я.— А ты одевайся и жди меня тут.

Я надела юбку, блузку и пошла. Полицай лежал так, что с того, противоположного берега его издалека можно увидеть. Это мне не понравилось. Лучше, если бы нашли его как можно позднее. Хотя вряд ли будут сообщать гестапо и городской полиции об убийстве одного сельского «бобика», в боях партизаны их десятками косят. И все же... Зачем нам завтра вызывать огонь на себя? Несомненно одно: будет усилена предосторожность постов. Я на мгновение задумалась, куда же девать полицейского: затащить в лозняк или спустить в реку? Лучше концы в воду, как говорится. Но — странное дело — выросла, считай, на реке, а не знала, как ведет себя на воде убитый — тонет или плывет по течению. Утопленник тонет, а потом всплывает. Рассудила, что суконный мундир, сапоги, белье, намокнув, потянут тело на дно.

Забрала у него из кожаной сумки две запасных обоймы, перезарядила автомат. Хотела проверить во внутреннем кармане, нет ли какого документа, но откинула полу и отшатнулась, чуть дурно не сделалось: пули прошили тело насквозь, и кровь все еще пузырилась, булькала, будто билось его сердце, хотя глаза давно остекленели, в них отражалось только небо.

Я взяла его за руки, чтобы тащить, и подумала уже без особой ненависти и злости, пожалуй, с женской сердобольностью:

«Ну, что, дурень, поймал партизанок? А у тебя, видать, есть жена и дети, может, и мать. И ты был смелым, не боялся ходить там, где ходят партизаны. За что же ты невзлюбил так своих людей?»

Маша сидела на том же месте в лозняке и — странное дело — все еще пересыпала песок: черпала его горстями и вновь сыпала на землю. Как маленькая. Она сильно изменилась за это время и уже не выглядела такой красивой, статной, уверенной, какой была, когда отдыхала под дубом и купалась,— осунулась, побледнела и сделалась какая-то беспомощная.

Сказала ей:

— Я спустила его в реку. Пускай плывет...

Маша встрепенулась, испуганно икнула и вдруг скорчилась: ее начало тошнить. Спазмы были мучительные, казалось, вывернет все нутро. Виновато поглядывала на меня и судорожно хваталась руками за ветки, как бы желая подняться, да не было сил. Такое на моих глазах случалось не с нею первой, поэтому я не удивилась и не испугалась. Бывало, вот так корчились не только женщины, но и мужчины, кто впервые убил или просто увидел страшную рану у товарища. Комиссар наш с сорок первого воюет, а до сих пор не может видеть, как оперируют раненых, ему становится дурно.

Тошнота не принижала Машу. Скорее наоборот. Теперь я знала то, о чем не отваживалась спросить, так как не имела права, и Маша тоже не рассказала того, на что не имела права. Ее, оказывается, хорошо подготовили в разведшколе. Теоретически она все знала и все умела: так хитро и ловко свалила полицая,— не каждый мужчина сумел бы потягаться с ней, но на боевом задании она, видимо, в первый раз; во всяком случае, войну так близко увидела впервые, такую войну, когда надо убивать самой, а иначе убьют тебя, да не просто убьют — будут мучить, издеваться, топтать, насиловать.

Гад тот, безусловно, повел бы нас голых...

Словом, Маша раскрылась во всей своей сущности. Полнее узнала я и частицу ее биографии. Но что сказать в таком случае? Благодарить, что спасла себя и меня, или утешать? Нет, в таких случаях никаких утешений. Ни к чему. Нужно одно — военная, командирская строгость и требовательность, какой у меня не хватало, и поэтому чуть не попали в беду. Бабами почувствовали себя, а не бойцами.

— Ну, не хнычь, а то всех полицаев созовешь отовсюду,— почти злобно сказала я Маше.— Пошли! Пока гром не грянул...

Она удивилась моей суровости, взглянула жалобно, как бы прося пощады. Но снисхождения у меня не могло быть.

— Пошли, пошли! А то совсем курортницами станем, о деле забудем.

Она послушно поднялась.

Продолжение следует.

Авторизованный перевод с белорусского
М. ГОРБАЧЕВА.

БРАЧН

Иван ШАМЯКИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

Отряд Федора вырос из диверсионной группы, которую забросили в наши места летом сорок второго года.

Долго группа действовала самостоятельно, контролировала участок железной дороги и шоссе Гомель—Речица, поддерживая связь с северными отрядами и бригадами — Гомельскими, Буда-Кошелевскими, Стрешинскими. Потом отряд влился в нашу бригаду и с прошлой весны выполнял особые задания, о которых даже большинство бойцов имело смутное представление; партизанам отряда не нравилось, что они стали редко выходить на железную дорогу и шоссе, редко вступать в открытый бой, а частенько скрывались от немцев и даже полицейских.

Я только догадывалась об основной скрытой деятельности отряда. Может, я преувеличиваю роль своей бригады, может, другие бригады и партизаны занимались этим не меньше, но мне казалось, что с ранней весны сорок третьего года очень активизировалась деятельность нашей армейской разведки в Гомеле и вокруг него и что разведчики засылались именно через нашу бригаду, через нас поддерживалась и связь с ними.

На разведку работало почти все наше связанное с бригадой гомельское подполье. Многочисленные нити этих сложных связей с подпольем и разведчиками и держал в своих руках Федор. Строевой офицер, капитан, человек, удивительным образом соединявший в себе многие качества, самые противоположные, например, отчаянного диверсанта и необыкновенно осторожного и до тошноты, как сказал однажды о нем Павел Адамович, точного штабиста, который терпеливо, настойчиво, предусматривая все до мелочей, планировал каждую самую простую операцию; например, один из почти ежедневных партизанских налетов, который комбриг и Володя Артюк обычно решали за три минуты, Федор разрабатывал бы всю ночь.

Не отступая далеко от города, отряд, однако, часто менял место стоянки — в то лето у него не было постоянного лагеря.

Я тотчас же поняла, что отряд снялся из Калинок, раз на болоте нас никто не задержал, и испугалась: где же их искать? Что случилось? Такого еще не было, чтобы в штабе бригады не знали, куда исчез отряд. Связала пронырливость полицая с исчезновением отряда и насторожилась: не напороться бы на карателей. Но чрезмерная бдительность на этот раз подвела меня. В Калинках — так назывался молодой густой лес в болотной зоне — нас задержали странным образом. Не окликнули, накинулись врасплох. Двое — на меня, третий, здоровенный, прыгнул на Машу. Но с ног ее не сбил. Сам оказался на земле. Рванувшись, Маша японским приемом ударила его по шее и по солнечному сплетению, перекувырнула через ногу.

Я сразу же узнала партизан из отряда и отдала автомат без сопротивления. Тут же послышался голос самого командира:

— Стойте! Свои!

Он вышел из-за кустов в чисто выстиранной военной форме, низкорослый, аккуратный, подтянутый, напряженный, как сжатая пружина; ходил он, как на параде, высоко поднимая ноги, и ступал действительно пружинисто, вприпрыжку.

Я сильно разозлилась на него. Нашел на ком тренировать своих разведчиков, могли руки вывернуть или я могла вырваться и резануть из автомата. Умный человек, а делает глупости! Не видеть же меня партизаны не могли, так как у них я была нередкой гостьей.

Командир увидел, что я разгневана.

— Прости, Валечка.— Обращаясь к своим всегда по-военному «товарищ партизан», «товарищ боец», меня Федор всегда называл так вот ласково-уменьшительно, как маленькую; изредка мне это нравилось, но чаще обижало, в зависимости от настроения.

Командир разговаривал со мной, а смотрел на Машу с повышенным интересом, скорее даже с восхищением, сразу, бесспорно, догадавшись, кто она. Скомандовал партизану, корчившемуся на земле от Машиного удара в живот:

— Встать, товарищ боец! Постыдись женщин!

Но тому нелегко было подняться.

— Когда в расположении отряда появляются вооруженные люди, прежде всего их надо бесшумно обезоружить,— говорил командир поучительно, как наставник на уроке.— На рассвете какой-то тип пробрался в лагерь. На допросе молол ерунду и окончательно запутался. Пришлось шлепнуть. А утром над лагерем висела «рама».

Наверное, от слова «шлепнуть» Машу снова затошнило.

Федор не по-командирски, очень уж както по-мирному забеспокоился:

— Что с вами? Заболели?

Обо мне когда-то, когда я заболела у него в отряде, он так же заботился — не просто как командир, а как лекарь и нянька. Но все равно такое его внимание к Маше неприятно задело меня. На Машу я глядела теперь требовательно и внимательно: «Не проявляй, дурочка, своей слабости. Я смолчала бы о ней».

По дороге я думала, как рассказать о происшествии с полицейским так, чтоб не упоминать о том, что он захватил нас голых, в реке. Говорить надо правду, однако с маленьким пропуском или отступлением. Да и вообще лучше рассказать так, чтоб другие партизаны не слышали, а то будут хохотать, передавать, сочинять анекдоты. Я же вовсе не была заинтересована в том, чтобы меня часто вспоминали, а Маша — тем более. Своим же неуместным хныканьем она как бы выдавала всю правду.

Мы отстали немного с Федором, и я по-военному кратко доложила о случившемся происшествии. Утешило, что такой требовательный командир, который выступал против всякой «партизанщины», купание наше принял как самую естественную человеческую необходимость. Действительно, почему бы не искупаться в такой день? По своей земле ходим. Но история с полицейским командиру не понравилась. Преследование нас полицаем на лугу и то, что он так долго следил за нами,— все это Федор связывал с проникновением шпиона в их лагерь и с разведкой «рамы». Кстати сказать, то, что мы уничтожили его, полицая, командиру не очень-то понравилось, хотя и он согласился, что другого выхода не было, что Маша — молодчина, и, похоже было, восхитился ею еще больше.

Я знала запасной лагерь отряда. Но командир, наверное, спланировал какой-то слишком сложный маневр, поэтому разместил отряд странным образом: недалеко, версты за три от оставленного лагеря, на взлесье большого бора. Впереди раскинулось широкое поле, засеянное не только рожью, но и — полосами — картошкой. Рожь начала уже половеть, а картошка цвела вовсю. В конце поля виднелись верхушки верб, там, в пойме речки, скрывалось село, через которое я много раз ходила.

Отряд вроде бы занял оборону, но зачем командиру понадобилась оборона, понять было невозможно, у него все сложно. Да и напряженности особой не чувствовалось. Группа партизан, раздетых по пояс, сидела под соснами и резалась в карты. Правда, когда командир подошел, все по-военному подтянулись. У Федора было так, как в армии.

Со мной партизаны здоровались, как со своей знакомой, не обращая особенного внимания, знали: связная бригады. Машу, бесстыдники, пожирали глазами. Не удивительно — новенькая и такая красавица: бледность придавала ей притягательную загадочность. И у меня снова шевельнулось недоброе чувство, опять подумалось о том, к кому я должна привести ее...

Сказала потихоньку командиру, что не надо ее выставлять так, слишком приметная, что, мол, никогда нельзя быть уверенным, что среди полсотни людей не может не быть одного... ненадежного.

Сказала мягко, но Федор все же обиделся:

— Что это ты, Валька! Откуда у тебя такая подозрительность? Своим людям я верю, как самому себе.

Но скрыл нас в командирском шалаше, только что сооруженном: свежие березовые ветки пахли по-праздничному, как на троицу.

Туда нам принесли по котелку такого пахучего, заправленного борща, что у меня закружилась голова. Федор, между прочим, отличался еще и этим: в любых обстоятельствах умел накормить людей варевом — его не раз хвалили на совещаниях в штабе; хотя другие командиры тайком посмеивались над такой его домовитостью и недолюбливали за армейские привычки, а все же величали его Суворовым.

У Маши от запаха борща начались такие мучительные спазмы, что мне пришлось с котелком пойти в лощину, где рос орешник и стояли отрядные кони, и там в одиночестве, как бы прячась от людей, я охотно съела две солдатские порции, после чего меня сильно потянуло ко сну. Но спать было некогда, надо было обсудить наш завтрашний поход.

Я уважала Федора, так как чувствовала, что и он уважает меня и как-то особенно, по-отцовски переживает каждый мой поход в город. Сначала мне нравилось, как долго и подробно он планировал мои походы, чертил схемы, это определенным образом поднимало значение моей малозаметной персоны. Но на практике планы эти я не выполняла — невозможно их было выполнить, так как каждый раз все было по-новому и значительно проще, чем представлялось командиру. Может быть, меня и спасало не раз то, что я выбирала самое простое решение, без какой-либо заданности и загадочности.

Мы вышли в поле и скрылись в бурьяне, командир прилег на бок, я села напротив. (Кстати сказать, это Федор когда-то сказал, что уши могут быть и у деревьев; у него удивительно сочетались сверхбдительность, скрытность с большой доверчивостью к людям.)

Про Машу он спросил коротко:

— Армейская?

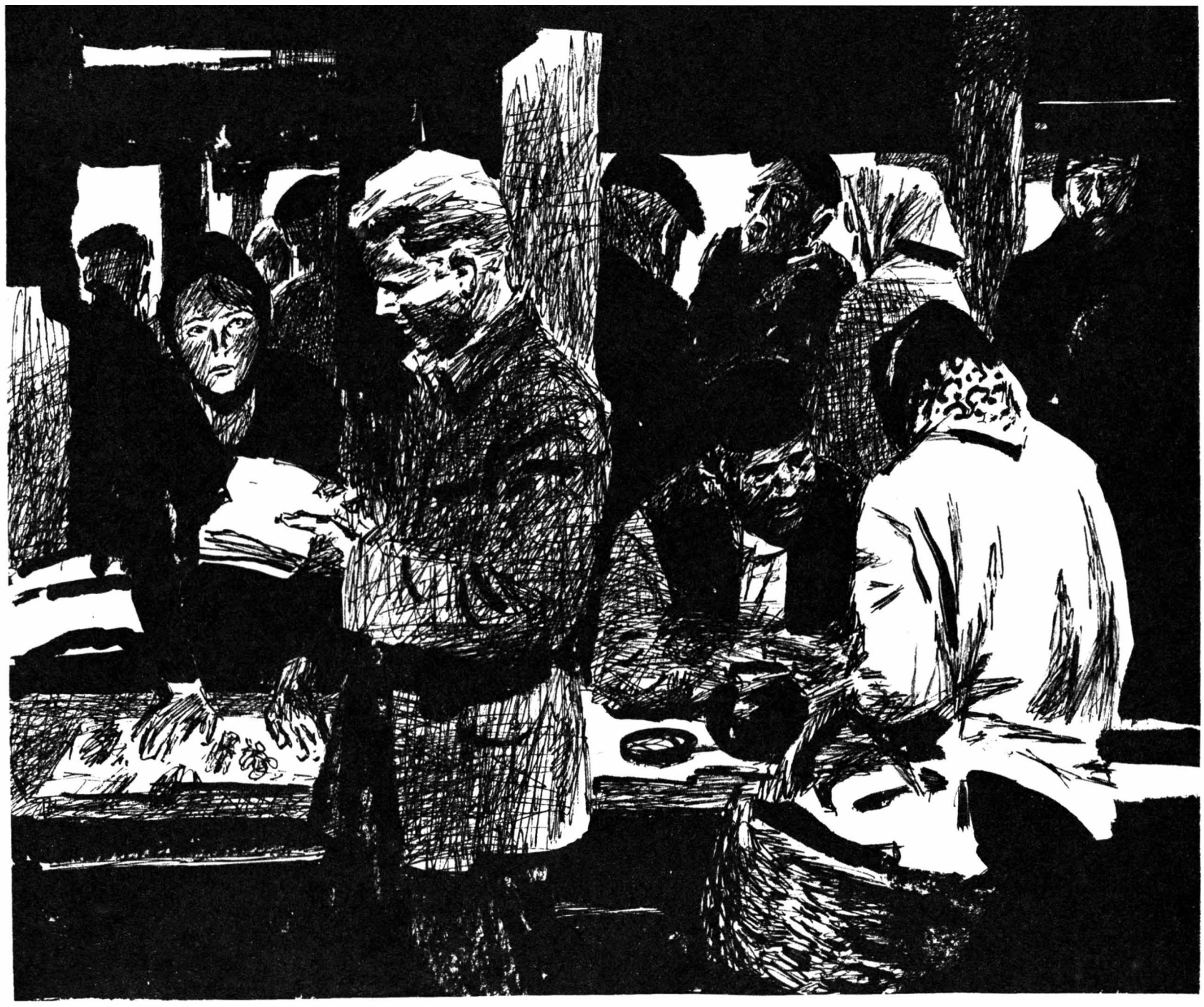
— Да.

— Слабенькая.

— Первый раз и вдруг такое... убить человека...

— Недоработали,— вздохнул он, искренне огорченный тем, что и в таком серьезном учреждении, как армейская школа разведчиков, может быть определенная недоработка. Я хотела возразить — а как можно научить убивать? — но смолчала, зная, что Федора лучше не трогать, не оспаривать, а то потом придется выслушивать целую лекцию. А мне хоте-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 30—31.



А Я НОЧЬ

лось спать, слипались веки, и я боялась уснуть во время разговора: я не Маша, мне стыдно выявлять свою слабость.

Я сказала, куда надо отвести разведчицу, с кем связать ее.

Федор, если не считать меня (я знала только своих), был четвертым человеком в бригаде после командира, комиссара и начальника штаба, который знал все явки в городе.

Он высказал пожелание перебросить нас ночью, поскольку у них есть надежная тропка. Чтоб не идти ночью по городу, можно дождаться утра у карьера кирпичного завода.

Но я подумала о Степане. Это его выдумка, что я сестра его. Вообще я хожу открыто и так должна прийти. Это — самое надежное решение. Подозрений не возникает даже у хозяйки Степана. Никакой таинственности в моем посещении Степана не должно быть. Один неверный шаг может вызвать чью-нибудь подозрительность. Впервые я решительно, чем и удивила Федора, отклонила его варианты, первый, потом второй и третий...

Он даже разозлился:

— А ты что предлагаешь?

— Пойдем напрямую, через все посты. С ягодами и яйцами. На рынок. Завтра воскресенье. Помогите нам достать яйца и ягоды. Больше ничего, все будет исполнено.

Командир сморщился: не любил он такой простоты, лишних забот; возможно, ему казалось, что такой именно переход связных в город делает легкой, несерьезной работу его спецотряда. Действительно, вместо того, чтобы разрабатывать с разведчиками план ночного похода, он должен послать ребят собирать землянику, которой еще не так много, и доставать яйца... Особенно неприятной была «операция» с яйцами — не любил, чтоб его партизаны отбирали что-нибудь у своих людей. Фрицевское это занятие. Он откровенно спросил, нельзя ли без яиц.

— Нельзя. Постовым надо дать взятку.

— Не хватало еще кормить фашистов!

— А что сделаешь, Федор Тихонович?

Я старалась быть ласковой и деликатной, зная его упрямство и готовность к сложным операциям: у меня крепло убеждение, что лучшего варианта искать не надо, что давно проверенный — самый надежный. Мне, как никогда, нужна была такая собственная убежденность в надежности операции. Одна я верила в свое счастье. А каково счастье у Маши?

Командиру не понравилась моя настойчивость, такой я никогда не была прежде, когда мы обсуждали мои походы; я соглашалась, хотя потом поступала по-своему и только Павлу Адамовичу признавалась в этом, никогда, однако, не ставя под сомнение планы командира спецотряда, мол, обстоятельства вынудили пойти другой дорогой, встретиться сначала не с тем, а с другим, и Павел Адамович усмехался, хвалил меня за находчивость.

Капитан верил в силу своих приказов, но положение связной бригады понимал и никогда по отношению ко мне не злоупотреблял своей командирской властью.

Нехотя вынужден был согласиться, сказав:

— Валька, очень уж не понравилась мне такая просьба, удивляюсь примитивности твоего намерения... Ты же опытная разведчица...

— Ягоды и яйца понесут многие... Завтра воскресенье.

— Понимаю твой психологический расчет... Но она,— кивнул он в сторону шалаша, где осталась Маша,— не ягодная, вот в чем корень...

— Ничего. Теперь все ягодные, все есть хотят. И соль всем нужна.

Днем мне хотелось спать, а ночью никак не могла заснуть. С вечера донимали кома-

ры. Ночью кричали совы, две или даже три, как дети, потерявшиеся в лесу. Неспокойно ворочалась и разговариаала во сне Маша. Мне становилось страшно от совиного крика и оттого, что Маша говорит во сне.

Я думала о Степане. Думала иначе, чем прежде. За прошлое мне было стыдно — не партизанское это все, бабье. Но и так нельзя рассуждать. Нельзя чего-то бояться. Разве не рискует он каждый день и без нас... без Маши? Я же, как каждый хороший солдат, никогда не думала об опасности, угрожающей мне и всем тем, друзьям, близким, что идут рядом со мной. Таков закон войны. Что же его так нарушило, этот закон? Почему я всего начала бояться? Это же плохо! Я уже наделала немало ошибок, которые мог сделать только паникер. Такого никогда со мной не было. Может, это потому, что я не спала в прошлую ночь? Надо хоть немного поспать. А то так совсем обессилеешь. Да, надо заснуть. Если бы не совы. Противно плачут совы. Зловеще. Голосят, как по покойнику. Ах, Степа, Степа...

До войны мы учились с ним в железнодорожном техникуме, только он был на третьем курсе, а я на первом. В лицо я его знала, как и других парней. Нас, девчат, в техникуме было мало, и старшекурсники иногда заходили к нам, приглашали в кино, в театр. Но немногие из нас, деревенских, шестнадцатилетних, отваживались на такой «подвиг» — пойти гулять со старшими.

Весной, уже перед самой войной, я познакомилась со Степаном ближе. По дороге домой в канун Первого мая мы вместе оказались на пароходе «Водопьянов», который шел из Гомеля в Киев, и тут выяснилось, что мы земляки, почти из одних мест. Это как-то сразу сблизило нас. Не только наше условное землячество, но и то, что оба мы деревенские. В техникуме в то время студенты резко делились на две группы: городские, преимущественно дети железнодорожников,— большие задаваки (так считали мы) и деревенские, притом случайно или по какой-то закономерности почти все — из самых глубинных полесских районов, оттуда, где о железной дороге только читали в книжках. Я сама увидела впервые паровоз и вагоны, когда приехала сдавать документы в техникум, потом впервые ходила по городу, задрав голову, считала окна в пятиэтажном Доме коммуны и читала различные объявления.

На первом курсе мы и держались отдельно — деревенские и городские. По одежде тоже отличались. Где-то уже на третьем курсе эта разница стиралась, и все были едины и дружны.

Однако этого третьекурсника почти никто из нас не посчитал городским, хоть одет он был уже в хороший костюм. Очень уж у него деревенское обличье: волосы, как переспелая ржаная солома, кажется, и зимой выгорали, и лицо широкое, светлое, как солнце, открытое, с редкими веснушками, что и осенью не сошли, и нос какой-то девичий — курносый. Увидишь такое лицо впервые и почему-то хочется от души рассмеяться. Видно, потому и я засмеялась, когда неожиданно встретила Степана на палубе, и он, немного удивленный, спросил: «И ты комаринская?»

Мне очень запомнилось наше путешествие. Сож еще не вошел в берега, еще стояла большая вода, были залиты луга. В воде плавали лозняки, купались вербы, дубы и сигнальные фонари.

Было прохладно, но мы долго стояли на палубе, вспоминали приключения в техникуме, перемывали косточки преподавателю химии, которого не любили за его въедливость. Замерзли.

Тогда Степан повел меня греться в машинное отделение, рассказал, какая разница между пароходным двигателем и паровозным. Чувствовалось, что машины он любит и знает. Может, благодаря этому у него такое знакомство с командой, видно было, что за три года он много раз плавал на «Водопьянове». Но скорее всего полюбили его тут не за интерес к машинам, а за то, что он словно магнит, все к нему тянутся, самых злых может смягчить. Сам он, смеясь, рассказывал, что его любят даже собаки.

Сколько часов проплыла — и мне так не хотелось сходить в Лоеве,— плыть бы и плыть с ним, хоть на край света. До деревни своей — пятнадцать верст по грязной весенней дороге — я как на крыльях пролетела. И, между прочим, в тот же вечер похвалилась своей школьной подруге Любке-белогубке, которая и так за то, что я училась в Гомеле, а она не поступила, завидовала мне черной завистью. Еще бы! За мной ухаживает студент третьего курса. Мы вместе плыли с ним. Любка даже посинела. А мне потом стыдно стало, что я такая обманщица,— какое там ухаживание! Просто вели себя по-товарищески, как и все студенты. Наши разговоры на палубе только такие вот деревенские несмышленыши, как Любка, могли принять за любовь, ухаживание, за что хочешь. А я почти год проучилась в городе и уже знала, что даже сходить вместе с парнем в кино, в парк — это еще ни о чем не говорит, ни о какой любви. Мне просто хотелось, чтоб Степан думал столько же обо мне, сколько думала я о нем. Но уже на третий день я поняла, что несбыточны мои мечты. Куда мне до такого парня! Договаривались, что и назад будем вместе плыть третьего мая на «Чкалове». Но напрасно я шныряла по всем уголкам парохода — Степана нигде не было. Вернулся он пятого или шестого, третьекурсники не боялись запоздать, тем более что у них, кажется, начиналась практика на паровозо-вагонном ремонтном заводе. Поздоровался со мной, как со всеми другими, и ничего не сказал о том, как нам было интересно на пароходе. Потом у него началась практика, и мы не виделись до того дня, когда грянула война. Встретились на митинге. Я слышала, как ребята договаривались, что пойдут в горком комсомола проситься на фронт. А потом мы еще встретились на товарной станции, я была в отряде, который тушил пожар после бомбежки. Увидела, как Степан. на маневровом паровозе-«кукушке» растаскивал горевшие вагоны. Девчата даже поговаривали на сей счет — мол, Степан еще не имеет диплома, а ему доверили паровоз. Но особенно не удивлялись: на войне все может быть, кому там до дипломов, когда аокруг все горит и рушится.

Вскоре девчатам младших курсов объявили, что им лучше расходиться по своим домам. Пока не поздно. Стало точно известно, что немцы заняли Минск, подступают к Бобруйску. А у нас были студенты из Минска, из Бобруйска, из районов этих областей.

Правда, когда я добиралась домой по незнакомым тогда еще мне дорогам в междуречье, то война там не очень проявлялась, только в деревнях голосили бабы, провожая мужей и сыновей в армию, да пугали самих себя тем, что, дескать, вдоль Днепра и Сожа блуждают переодетые немецкие парашютисты, но я, к счастью, ни одного не встретила.

Связное дело досталось мне в наследство от Коли Бурца, организатора подпольной комсомольской группы в нашей деревне. У Коли в Гомеле на заводе работал брат Иван, старший, женатый, он имел свой дом в Новобелице. Коля часто ходил к брату и с его помощью связался с заводскими подпольщиками. После того, как Коля не вернулся из очередного похода, большинство из нас подались в отряд «Тараса». Имя командира было Петр Тимофеевич, кто, когда и почему назвал его Тарасом, так я и не узнала за два года партизанства под его командованием, разве что догадывалась: сам себя так назвал в честь Кобзаря, стихи которого он часто декламировал, когда был в хорошем настроении. Я лучше, чем кто другой, знала Ивана, его жену, да и по виду, наверно, лучше, чем кто-нибудь, подходила для того, чтобы послать меня в Гомель и узнать о Колиной судьбе, попробовать восстановить связь с группой «Мастера». В то время, весной сорок второго, только эта группа умела делать магнитные мины, хлопцы выносили их в Макеевское лесничество, а там у лесника их забирал Коля, никого другого лесник не признавал, ни с кем после исчезновения Коли на связь не шел.

Иван Бурец жил и работал по-прежнему. Коля пропал без вести, где, когда — никто не знал, брат сильно переживал его потерю.

Иван наладил связь со многими надежными людьми, даже с одним полицаем — Рыгором Примаком, с которым я встречалась на рынке; он передавал мне сведения о всех гарнизонах Гомельского и Тереховского районов, которые стояли на нашем пути, когда отряд выходил на железную дорогу.

В июне гестапо арестовало всю группу «Мастера». Печальную весть эту принес в отряд Фома Башлыков, немолодой уже человек. Я с ним не встречалась в городе и фамилии его от Ивана Бурца не слышала.

Командованию не понравилось, как Башлыков заявился в отряд, как он рассказывал о деятельности группы — много знал, но, рассказывая о провале и своем спасении, путался, сегодня говорил одно, завтра другое.

Меня снова послали в Гомель с заданием встретиться с Примаком и через него попытаться узнать, как провалилась группа, какова судьба ее участников и кто все-таки Башлыков — полицейскому собрать такие сведения легче, чем кому другому. Но как встретиться с Примаком? Квартиры его не знали. Пойти в полицию? На крайний случай имелся в виду и такой вариант. Но чтоб особенно не рисковать, я снова подалась на рынок: авось, повезет, если не самого Примака встречу, то заведу разговор с кем-нибудь из полицейских и, между прочим, спрошу о своем знакомом, который служит в полиции.

Я сама придумала, чем торговать на рынке. Травами. Лекарственными. Павлу Адамовичу и всем командирам понравилась моя придумка. Травы я немного знала. У нас в селе жил старик Азар Карамаз, деревенский грамотей и врач, всем он говорил, что в царской армии служил фельдшером, хотя в действительности был санитаром. У него имелись книжки о травах, даже три. Он собирал травы, сушил и продавал их в Киеве. Говорил, что только в Киеве люди понимают пользу трав, там даже милиция не прогнала его ни разу с рынка. Даже какой-то известный профессор покупал у него травы и приглашал домой, угощал чаем.

Самому старику нелегко было уже бродить по лесу, по полю, и он научил нас, младших школьников, узнавать лекарственные растения, давал нам какие-то копейки, и мы приносили столько разной травы, что ему хватало не только на продажу, но и козе, которую держал. Директор школы и председатель сельсовета запрещали ему «эксплуатировать» школьников, но мы напрашивались на заработок, так как где еще могли заработать гривенник на книги, да и кино в те годы начали часто привозить в деревню, а мы уже не такие малые были — бесплатно нас не пускали на сеансы.

Вот так помогла партизанскому делу наука старого лекаря. Правда, самого Карамаза пришлось обидеть. На другой день после моего предложения Володя Артюк конфисковал у него сухие травы и одну книгу, самую толстую. Травы старик отдал охотно, расписал названия — догадался, откуда пришли ночные гости. А книгу жалел, доказывал, что хлопцы не разберутся, напутают, что лучше сам он будет собирать лекарства для партизан.

Травы были очень выгодным товаром. Во-первых, их удобно было нести все пятьдесят километров; в то время группы Федора еще не было под городом. Во-вторых, травы не яйца, которые по дороге отбирали хапуги-полицейские и немцы, да и на рынке они собирали дань со всего того, что можно использовать. Пускай берут, пожуют травы. Но, пожалуй, самое главное — это то, что с травой можно простоять на рынке целый день,— не тот товар, чтоб его разобрали за полчаса. Позже я еще несколько раз проносила травы, правда, не всегда их продавала — не было времени торчать на рынке.

Именно тогда, когда я впервые торговала травами, надеясь, что может появиться Примак, я встретилась со Степаном.

Он не сразу узнал меня, я была одета под монашку — черный платок, черная кофта в июньскую жару. Он долго и заинтересованно листал книгу. Всем другим, кто подходил, я начинала объяснять, какая трава от чего — от живота, от головы, от ревматизма, артрита; я сознательно перемешивала простые крестьянские названия болезней с научными, медицинскими.

В присутствии Степана я молчала. Мне не нравилось, как он разглядывает книгу, так же тщательно до него листал ее полицейский — проверял, нет ли в этом какой-то крамолы. Одежда его тоже не нравилась — железнодорожная, новая: хорошие ботинки, отутюженные брюки, китель нараспашку, под ним — новая белая сорочка; правда, фуражки

не было, немецкая кокарда на ней сразу выдала бы, где он служит. Но видно было, что фуражку он носил, так как волосы не были такими выгоревшими, соломенными, как в техникуме, потемнели и стали мягче, наверно, недавно, вчера или, может, даже утром, помыл с мылом. А мундиры такие и мыло имеют те, кто служит у немцев на железной дороге. Я почувствовала ненависть к нему: такой активист был в техникуме, в Красную Армию рвался, а где оказался... Не хотелось, чтоб он узнал меня. Нарочно я отвернулась. Но Степан оторвался от книги и... удивился:

— Валя! Ты? — и захохотал:— Торгуешь травами?

Я спросила со злостью:

— А ты чем торгуешь?

— Я служу...

— Вижу, что служишь. Кому?

Он понял, что я осуждаю его. Вздохнул:

— Есть, Валя, хочется. И жить. Умирать рано.

Я ужаснулась от мысли: неужели и он, Степан, мог изменить Родине? Для меня это было все равно, что отец или брат мой перешли бы к фашистам. Я вглядывалась в его лицо: что-то же должно в нем измениться, не может быть, чтоб человек, который предал, ни в чем не изменился. Но ничего особенного в нем я не заметила. Такое же милое, любимое мной, веселое лицо, усыпанное веснушками. Он увидел, как я внимательно рассматриваю его, и весело засмеялся:

— Нет, это же просто анекдот, что ты торгуешь травами. Как бабка... Что ты понимаешь в них?

— У меня дед — лекарь, известный на всю округу. Дед собирает...

— И много ты зарабатываешь?

— На соль хватает.

— Только на соль?

— Тебе соль дают, и ты не знаешь, что это такое: жить без соли.— Тут я сдержалась только потому, что подумала, а нельзя ли его, Степана, попросить поискать Примака?

— На железной дороге служишь?

— Помощником машиниста,— казалось, не без гордости похвалился он и снова засмеялся:— А чтоб сердце присушить, такой травы нет? Принеси.

— Дурнопьяну принесу. Хочешь?

— А что — от него будешь дураком и пьяным? Давай! Теперь все пойдет! Ворожить ты не научилась? Ворожеи теперь хорошо зарабатывают.

Какая пустая болтовня! Ни одного слова такого, чтоб человек как-то раскрылся. Не был раньше он таким. Как интересно он говорил, когда мы плыли на пароходе... Во всем смысл был. Глубокий. Неужели все-таки изменился? Обидно мне стало. Злость начала одолевать: уходил бы ты, парень. Только мешаешь наблюдать за рынком — не мелькнет ли знакомое лицо Примака.

Он купил несколько корней девясила; машинисту, сказал, своему подарю. А машинист, наверно, немец. Заплатив марками, не хотел брать сдачу — на бедность мне оставлял. Оскорбило это страшно. А как ему отомстить? И месть я выбрала странную и рискованную — сказала тихо, правда, чтоб только он услышал:

— А траавы я собираю в лесу.

Не сразу дошло до него. Поболтал еще несколько минут и попрощался, пошел, кстати сказать, очень уверенно, никого не боясь, так как имел аусвайс, который защищал его от любой облавы. Пристально наблюдая, я увидела еще раньше, как по-разному люди ходят в городе вообще и на рынке особенно, совсем не так, как у нас, в лесу.

Но через несколько минут Степан вернулся, и вид его как-то сразу изменился, из беззаботного зубоскала он превратился в серьезного парня, немного настороженного.

Пока около меня были люди, он стоял сбоку, прислушиваясь к тому, что я говорю, как объясняю целебные свойства трав.

В предчувствии опасности я начала нервничать: что ему надо? Когда люди отошли, он наклонился и тихо спросил:

— Так, говоришь, травы ты собираешь в лесу?

Я оглянулась так, чтоб дать ему понять, что тут, на рынке, есть люди, которые охраняют меня, и если что случится, то они хорошо запомнят того, кто тут крутился и разговаривал, как старый знакомый.

— Что тебе надо?— строго спросила я у Степана.

Он понял мою настороженность и сказал громко, пускай слышат и близстоящие:

— Ничего. Просто хочу, чтоб ты по-землячески зашла ко мне в гости. Я живу на улице Бакунина, это недалеко.— И назвал номер дома.

Конечно же, в тот раз я не пошла к нему, хотя прожила в городе три дня — «у тетки своей». Через тетку эту, связную нашу, работницу типографии Ганну Фукс (немецкая фамилия давала ей определенные привилегии), я добилась встречи с Примаком и потом ждала, пока тот узнает о судьбе парней из группы «Мастера» и про Башлыкова. Известия были печальные: парней расстреляли в лесу за туберкулезной больницей. А о Башлыкове ничего определенного. Когда гестапо арестовывало, то сделало это так, что даже полиция ничего не знала и не могла узнать. (Между прочим, через некоторое время Башлыков удрал из отряда. Правда, следы его измены ни в чем не проявились. Просто, видно, был трус, испугался и в городе, когда товарищей арестовали, и в отряде почувствовал, что его подозревают, не спускают с него глаз.)

Вернувшись, я доложила командирам обо всех новостях, которые принесла из города, не утаила и про встречу со Степаном. Все рассказала, как было, хотя боялась, что за неосторожность, лишний риск получу выговор. Не думала, что так заинтересует этот парень. Позднее поняла, что в то время почти все соседние отряды мечтали об организации подпольно-разведывательных и диверсионных групп на таком узле, как Гомель.

Павел Адамович спросил не сразу, на другой день, после того, видимо, как командиры посоветовались между собой:

— Не побоишься, Валя, сходить в гости к этому Жданко? Не продаст?

— Мог бы сразу продать. Место было удобное — рынок.

— Да черт его знает. Подумай. Доверяй, но и проверяй.

Сходить мне хотелось. Об этом я думала, когда возвращалась из города. Меня тянуло туда, к нему, хоть и понимала, что это немалый риск. Но в глубине души верила в свою счастливую судьбу. Наивно думала не только об удаче в выполнении боевого задания, но и о своей судьбе девичьей, о бабьем счастье. Думала почти так же, как после поездки на пароходе. Ругала себя за такие мысли: дурочка, все останется по-прежнему, если не хуже, сейчас ведь другое время, другие условия. Не до меня ему. И вообще на что ты надеешься? Смешно! На тебя и в отряде никто не посмотрел из тех, на кого даже сама заглядывалась: Володя Артюк, например.

Но кто же из нас в свои восемнадцать лет не мечтает о чувствах, каких еще нет, и о том, кого еще нет. А если он есть, если поселился уже в сердце,— тем более.

Пошла я с гостинцами — яйцами, салом, самогонкой,— меньше боялась в этот раз немецких постов, больше — хозяев его, Степана. Кто они? Родственники? Чужие люди? Какое у них настроение? Какую легенду для них придумать, чтоб убедила и не испугала? Кто я Степану? Односельчанка? А вдруг они родственники, оттуда же, из Комарина? Вместе учились? Так за каким делом пришла? Только большое горе может привести в такое время из Комарина или даже из Лоева. Какое же горе у меня?

Легенд разных мы выдумали несколько — вместе с Павлом Адамовичем, с Артюком. Но ни одна не понадобилась.

Встретила меня женщина лет пятидесяти. Открыла, между прочим, калитку не сразу, разглядывала через щелку в дощатом заборе. Но и я увидела ее. Лицо ее на первый взгляд показалось суровым и сердитым. Но меня это не смутило. Мне понравился ее простой крестьянский вид, ее одежда. В то время я, хоть и проучилась год в техникуме, все еще недолюбливала и немного боялась городских, кичливых, нарядно одетых. Быстрее всего я знакомилась с деревенскими людьми.

Мы долго, может, минуту или две, разглядывали через щелку друг друга. Не ожидая вопроса хозяйки, я сбросила с плеч свой нелегкий рюкзак, лямки которого натерли мне ключицы до крови, и сказала громко, без всякой таинственности:

— Я к Степану Жданко. Тут он?

Женщина открыла калитку и приветливо улыбнулась, отчего лицо ее сразу подобрело:

— Сестра его? Валя?

Как хорошо екнуло мое сердце! Значит, ждал! Ждал! Ждал! Сам придумал такое. Самое простое. Самое вероятное. О другом я в ту минуту не подумала. Засмеялась от радости и чуть не кинулась на шею этой доверчивой женщине.

— Да... Сестра... Валя... Я...

Легко и быстро мы познакомились, разговорились, как давние знакомые. Но я чувствовала, как нелегко мне поддерживать разговор: Христина Архиповна про «нашу» жданковскую деревню и семью слышала уже немало, а я ничего не знала, даже названия «своей» деревни. Тогда я подумала, что в конспирации Степан наивен, как ребенок. Подготовив хозяйку к тому, что к нему может прийти сестра Валя, он мог легко провадить меня. Хорошо, что хозяйка такая простодушная и сама первая раскрыла замысел Степана.

Дом, как и другие тогдашние дома в том районе, еще во многом напоминал деревенскую хату, очевидно, привезен был из деревни или, во всяком случае, сруб ставили сельские плотники. Всего два окна на улицу, крыша обычная, без скошенных карнизов, гонтовая. Внутри же хата перепланирована по-городскому: с веранды попадаешь в темноватый коридорчик, налево дверь в чистую половину, самую большую комнату, оклеенную обоями, убранную по-праздничному, со множеством фикусов в кадках и огоньков на подоконнике, с фотографиями в рамках на стенах; из этой комнаты низенькая дверь вела в узкую и длинную комнату с одним окном — хозяйскую спальню с никелированной кроватью, на которой гора подушек. Но все это свое богатство Христина Архиповна показала позднее. А сначала повела меня из коридорчика направо — на кухню с русской печью, но и с городской плитой уже с конфорками в припечье: удобно это — хочешь топи печь, хочешь — плиту. Раньше, наверно, вся эта задняя «дворовая» часть хаты была черной половиной, или, говоря по-современному, кухней. Позже ее перегородили и выделили узкую, но светлую — в два окна — комнату. Там жил Степан. Еще до того, как хозяйка сказала, что это «брата моего» комната, я узнала это по запаху; в ней пахло, как на вокзале, металлом, углем, маслом. На подоконниках, самодельном столике, стоявшем в углу, лежал разный слесарный инструмент. Христина Архиповна похвалила Степана: мастеровой парень, за что ни возьмется — сделает, вот, мол, счастлива будет жена за таким мужем. Слова ее о жене меня рассмешили. Вообще, несмотря на подводные камни в разговоре, на необходимость «держать ухо востро», чтоб не сбиться, настроение мое поднялось, так как все складывалось наилучшим образом и все мне нравилось. Окна Степановой комнаты выходили в густой сад; гомельские сады славились на всю Беларусь — город-сад. Порозовевшие уже вишни прямо стучались в окна, просились на стол. А немного поодаль на ветках свисали зеленые, но уже крупные плоды белого налива.

И у меня вдруг больно сжалось сердце: очень уж по-мирному тут все — покой, благополучие, будто и нет ее, страшной войны. А я же неделю назад видела за Сожем, на украинской стороне, сожженную вместе с людьми деревню. Мы на рассвете совершили туда вылазку: может, кто спасся, спрятался или ранен?.. Нашли во ржи мальчика лет шести. Как он испугался, как трясся! Успокоился только тогда, когда узнал, что мы партизаны. Все понимал, как взрослый. И рассказал, как жгли деревню, как мать перебросила его через забор, в рожь, как прошептала: «Беги, Мишка! Удирай!» Гитлеровцы зверствуют, но повсеместно разгорается борьба с врагом. А тут такой нетронутый мещанский быт. Но потом стало стыдно: чего это я вдруг настраиваю себя против человека, которого совсем не знаю? А может, она, хозяйка, помощницей нашей будет?

Продолжение следует.

Авторизованный перевод с белорусского
М. ГОРБАЧЕВА.

Иван ШАМЯКИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

БРАЧНАЯ Н

Степан пришел под вечер. Мне надо было бы притаиться и дождаться его в комнате. А я, как влюбленная, услышав его голос, выскочила навстречу — на веранду. И он радостно крикнул:

— Валька! Сестричка!

И при хозяйке обнял меня и крепко поцеловал, обдав запахом паровоза. Так поцеловал, что у меня закружилась голова и кровь залила лицо. Но я тут же спохватилась: увидела на нем парусиновый китель, не наш, у нас таких не было, немецкий, и пуговицы немецкие, с орлами, и фуражку с фашистской эмблемой — и на какое-то время будто стена между нами встала; у меня даже враждебность зашевелилась, и оба мы странно растерялись, не как брат и сестра и не как влюбленные, а как давние знакомые. Хорошо, что хозяйка не очень пристально следила за нами, занятая своими хлопотами.

Определенная близость и почти полное доверие у меня появились тогда, когда он скинул китель и сорочку — до пояса разделся и позвал меня во двор полить ему воду из ведра. Я увидела на его плече шрам.

— Где это тебя?

— В Сновске, когда мы выводили последний состав из Гомеля. Расколошматили они, немчуги, нас вдребезги,— сказал он, фыркая и ахая от холодной воды, которую я лила ему на шею, но именно в этот момент я поняла, что пришла не зря. Что он может выдать — этого я не боялась, но что может испугаться и не принять наше предложение — об этом думала и переживала. С какими глазами появлюсь тогда перед командиром: нашла, скажут, знакомого — прислужника фашистского.

Оглянувшись, нет ли поблизости хозяйки, Степан сказал:

— А я знал, что ты придешь. Спроси: почему?

Я брызнула на него водой и счастливо засмеялась.

После раннего ужина мы стояли в его комнате перед окном, наблюдали за хозяйкой, копавшейся в саду у соседского забора, где на полянке были грядки огурцов, лука, помидоров, и разговаривали о деле. Просто, без особой дипломатии я передала ему предложение командования стать партизанским разведчиком на железнодорожном узле.

Он ответил не сразу, и я снова со страхом подумала: неужели трусит? Спросила:

— Согласен? Не боишься?

— Ну, даешь ты, Валя! Зачем же ты шла ко мне, если так думаешь? Я всю осень и зиму искал связи с партизанами, да так и не нашел. Где они? Немцы хотели меня в Германию заграбастать, потому и подался на железную дорогу: ближе к своим, не может быть, чтоб на таком узле не осталось наших. Есть! Сколько диверсий было уже! Но связаться ни с кем не могу. Мы свою группу организовали. Четверо нас. Добыли тол. Собираемся мины делать, осваиваем технологию. Правда, никакого учебника по минам нет. Надо до всего доходить своим «котлом»...

Отлегло у меня от сердца. Хорошо получилось: вон он какой, Степан! Хотя, что тут удивительного? Разве мог он быть иным? Но тут же приказала ему: до следующего моего прихода — никаких диверсий, ибо понимала, что Степан и его друзья могут стать серьезной разведгруппой, а на мелких диверсиях, не имея опыта, могут сразу же провалиться. Возможно, я превысила свои полномочия, а может, просто меня охватил страх за него. Но потом «Тарас» похвалил меня за такую инициативу: правильно приказала!

А Степана тогда, видимо, немного удивила такая моя внезапная власть над ним, самолюбие, наверное, засело: он еще и не согласился, а я уже командую!

— Так давай задание,— сказал он, не скрывая обиды.

— Дам. Не спеши. Это тебе не блох ловить,— и, наклонившись ближе к нему, так как хозяйка возвращалась в хату, прошептала:— Тебе задание может Москва дать, а не я. Думай головой, а не котлом паровозным.

У него загорелись глаза.

— Вы имеете связь с Москвой?

Странный человек! Неужели думал, что я пришла от какой-то группки, которая сидит в болоте, изредка пугает местных полицейских и лягушек? Я только засмеялась в ответ на его вопрос. Потом расспрашивала о его работе: какие составы они водят, куда, с чем, как комплектуются паровозные бригады, часто ли нарушается график движения, на каких магистралях в особенности... Я хорошо знала, что интересует моих командиров: отряд начал выходить на железную дорогу.

Одно не понравилось: рассказывая о своей бригаде, Степан хвалил машиниста-немца, мол, паровозное хозяйство знает как свои пять пальцев и человек душевный, обо всем с ним можно поговорить. Для меня в то время добрых немцев не было; Степаново восхищение немцем откликнулось болью в сердце, оно оскорбило меня, а что еще горше — снова на какой-то момент дало повод к сомнению и подозрительности: к тому ли человеку я пришла? Немца, видишь ли, полюбил...

Бросила ему с упреком:

— Не развешивайте уши перед немцем.

Нет, оккупантов Степан гневно ненавидел, особенно когда рассказывал о том, что делается в городе, — о расстрелах военнопленных в Лещинце, об уничтожении еврейского гетто.

Я попросила его рассказать о своей деревне, о родных, обо всех своих: раз он придумал то, что я сестра, значит, мне обо всем надо знать.

— Я наведаюсь к твоим.

Такое обещание почему-то рассмешило его. Вообще весь тот вечер он был очень веселый, шутливый, какой-то даже беззаботный, что меня порой тревожило. Об одном только сказал всерьез:

— Ты спросила: не боюсь ли я? Знаешь, чего я боюсь? Что погибну от своих. Подорвут меня партизаны где-нибудь под Жлобином или Новозыбковом.

Я поняла: это действительно страшно — погибнуть от своих.

Спать улеглись рано: электричества не давали, керосиновую лампу не стали зажигать, да и не было необходимости в том, чтобы засиживаться: завтра мне рано вставать, километров пятьдесят отмахать надо, а Степану — на работу.

Степан уступил мне свою кровать. Хозяйка приглашала его пойти спать в зал на диван. Отказался. Постелил себе в кухне на полу — рядом со мной, даже дверь не закрыл в свою комнату. И я не закрыла ее.

Вот тогда, в темноте, и начались мои девичьи страдания. Почему он лег именно тут? Почему не закрыл дверь? Что делать, если он вдруг вздумает прийти ко мне? Отбиваться, наделать шуму и выдать себя хозяйке, что я не его сестра?

Сжавшись в комочек под одеялом, от которого тоже пахло паровозом, я со страхом и душевным трепетом прислушивалась к его дыханию. По тому, как он ворочается, слышала — не спит. Сердце мое то замирало, то начинало стучать, казалось, на весь дом — учащались удары, как тогда, когда в рейде за Добруш подо мной убили коня и я бежала за своими пешком, чувствуя, что немцы вот-вот догонят, бежала, пока Володя Артюк не вернулся и не подхватил меня, не вскинул на холку коня, как куль соломы.

Страшно было, что он, Степан, придет, но где-то в глубине своего девичьего существа я хотела этого. Знала, что война не остановила жизнь. Люди любят, женятся, рожают. В том числе и наши партизаны и партизанки. И я мечтала полюбить, поглядывала на парней. Однако отдаться вот так сразу, придя на ответственное задание,— казалось, что я не только опозорю свою девичью честь, но и как бы нарушу наш партизанский закон — точно не знала какой.

Я просила Степана мысленно, будто он уже пришел:

«Степочка, родненький, я люблю тебя. Но не надо, не надо...»

Мне было и страшно и радостно. Конечно же, радость превозмогла, и я, успокоившись, заснула, утомленная длинной дорогой.

Ночевала я в квартире Степана нечасто. Командиры мои справедливо считали, что частые визиты к «брату» — за сто километров — в военное время могут вызвать подозрение и у хозяйки и у соседей, да и вообще могу «притащить хвост». А Степаном, его группой очень дорожили — их разведданными. Вскоре оправдалась моя догадка, мое обещание ему. Степан сделался не только партизанским разведчиком. Осенью, после Октябрьского праздника, я привела к Степану радиста, прилетевшего с Большой земли. Рацию, правда, пронесли в город не мы — парни из отряда Федора. После этого вообще меня реже направляли в Гомель. До появления радиста я ходила раза по два, а то и по три в месяц. Со Степаном встречалась в разных местах — у того же Примака, у дядьки Толи, у Фукс. И только раза три на квартире у него, вот тогда и ночевала там, чтоб поддержать перед хозяйкой правдивость легенды. По-прежнему я спала на его кровати, а он ложился в кухне. И всегда я ждала его с не меньшим волнением, чем в первый раз, ибо любила Степана все сильней и сильней, о нем одном думала все время — в дороге, в отряде. Уходила каждый раз разочарованная, не получая от любимого даже ла-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 30—32.

ОЧЬ

ского пожатия руки, поцелуя. Винила не его — себя: разве можно полюбить такую? Он, наверно, и за девушку меня не считает. От отчаяния лезла на рожон — шла слишком смело, рискованно. Но, видно, даже немцы и полицаи не верили, что такая невзрачная девчонка — партизанка. Мне везло, как, пожалуй, ни одному нашему связному.

Все произошло месяц назад, в мае. Заходить к Степану у меня не было задания. Шла к речникам. Немцы пустили пароход по Сожу. Володя Артюк пытался сжечь этот «броненосец», но он огрызнулся не только пулеметами, но и орудием. Вон какая игрушка! Что же он собой представляет? С какой целью ходит туда-сюда? Из кого состоит команда? Какое имеет вооружение? Все это надо было знать, чтоб поумнее спланировать операцию по уничтожению парохода.

Между тем в этот раз я тоже прошла с мешком лекарственных трав. На посту полицейские вытрясли их и посмеялись. Но на рынке спрос на травы был куда большим, чем год назад, за какой-то час разобрали все до корешка.

Может быть, травы и напомнили мне наши прежние встречи. Еще в дороге у меня ныло сердце. А на рынке и страх одолел. Не видела я Степана уже месяца три. За это время человек мог погибнуть — такие опасные задания выполняет. И я ничего не знаю о нем. Откуда я могу знать, если наши к нему никого не посылают? Провалится один он, а радист уцелеет, то не обязательно армейский центр станет радировать партизанской бригаде о провале разведчика, с которым имели непосредственную связь. А если и сообщат, то командиры могут не сказать мне о такой печальной новости.

Не могла я так долго ничего не знать о Степане. Не могла не зайти к нему. Быть тут, в городе, на Сенном рынке, в десяти минутах ходьбы от его квартиры, и не повидать его? Пускай это будет нарушением дисциплины. В конце концов рисковала я только собой, в случае ареста ничего из меня не выбьют — в себя я верила — в свою волю, твердость характера,— возможные мучения не страшили меня.

На одно не хватало воли — не видеть его.

Безусловно, рисковать приходилось, ведь пошла к нему после встречи с речниками, а в конспиративном опыте этой молодой группы мы не очень еще были убеждены, с такой малопроверенной явки можно потянуть за собой «хвост». Поэтому я некоторое время побродила в приречном районе, «поискала землячку». В залинейный район перебралась через переходной мост, что возле вокзала. На нем всегда проверяли документы. Но это и нужно было мне, поскольку с моста, с его вышины, легче, чем где-либо, можно убедиться, что за тобой не следят.

Степан был дома и встретил меня радостно. На своей квартире он всегда встречался со мной совсем иначе, чем на других явках, где передавал разведданные, там он был молчаливым, каким-то отчужденным, как бы малознакомым, даже тогда, когда никого третьего рядом не было. С тех явок я часто уходила с сердечной раной, с тяжелым настроением из-за его угрюмости.

На квартире, может, для хозяйки, мы встречались как брат и сестра, любящие друг друга.

Когда же сказала, что никакого задания не имею, что пришла просто так — повидать его и стыдливо призналась: «Соскучилась я по тебе, Степа»,— он совсем преобразился. Сделался такой же веселый, шутливый, каким я знала в техникуме, где он не пропускал ни одной девушки, чтоб не зацепить, не сказать что-нибудь приятное. На мои слова, что соскучилась о нем, подхватил меня под мышки, закрутил по тесной комнате, радостно выкрикнув:

— Валька, ты же молодчина! Я и не догадывался, что ты такая...

«Какая? Какая?» — хотелось спросить, но не от кружения — от взгляда его, так как смотрел он на меня совсем другими глазами — мужскими, добрыми, ласковыми, очень близко смотрел,— у меня действительно закружилась голова, поплыли стены, потолок, окна. Я села на кровать и виновато улыбнулась.

— Устала? — заботливо спросил он.

Конечно, устала. Хоть шла в тот день от Федора, но все равно немалая дорога, да и на рынке с травами постояла. А сколько бродила по городу, чтоб не привести за собой шпика! Но не об усталости думала. Забота его обрадовала, растрогала. «Любимый, славный, родной Степа»,— с умилением, от которого боялась расплакаться, шептала я мысленно.

За ужином, при хозяйке, Степан расспрашивал о своих домашних, я рассказывала, сочиняя разные деревенские истории; рассказывать про дом теперь было нетрудно, так как еще прошлым летом я все-таки наведалась в его деревню — ходила выменивать одежду на продукты — и познакомилась с его матерью, младшим братом, соседями. Хату нашла по приметам, какие сообщил Степан, а мать узнала по лицу. Очень жалела, что не могла, не имела права передать ей привет от сына, рассказать о нем: не гомельчанкой я пришла — черниговчанкой.

Степан слушал мои рассказы и хохотал, даже за живот хватался. Хозяйка смотрела на него по-матерински ласково, довольная. Сказала мне:

— Почаще бы ты, Валя, приходила. При тебе оживает Степанка. А то иногда такой озабоченный — темнее тучи. Сердце болит, когда смотришь на него.

— Станешь тучей, Архиповна, если уже дважды партизаны под насыпь спускали. Чудом как-то спасался. Мать, наверно, за меня молится. И Валя.

— Бросал бы ты, Степанка, такую работу. Свои же убить могут. Как полицейского Комаркова — в собственном дворе повесили. Это же надо — считай, посреди города. На рассвете, говорят, пришли, жене тряпку в рот, а его — на ворота.

— А куда же деваться, Архиповна? На каторгу немецкую идти? Сразу погонят, только брось железную дорогу.

— В партизаны иди. Там хоть и убьют, так немцы, а не свои. От своих страшно умирать. Это же все равно, что меня родные дети убили бы...

Вот тебе и хозяйка! А я боялась ее, недолюбливала почему-то и не особенно верила ей; хотя сын ее в Красной Армии, так зять же тут, в городе, служит в управе каким-то начальником. И она никогда его не ругала — надо, мол, как-то жить — и Степана не ругала за службу у оккупантов, хвалила за хозяйственность, очень ей нравилось, что никогда домой с пустыми руками не приходит.

Меня тоже встревожило, что Степановы составы подрывали, так и действительно можно погибнуть от своих. После ужина я спросила у него, как это было. Он беззаботно засмеялся:

— Испугалась?

— Да, боюсь,— честно призналась я.

Он снова стал серьезным.

— Что сделаешь, Валя, война. Подорвали один раз, хорошо, что мы платформу с балластом перед собой гнали. В другой раз я сам себя рванул. Парни мину подложили под средний вагон, оторвало полсостава на закруглении под Унечей. Четырнадцать вагонов с артиллерией — под откос. И это хлеб... Пока отремонтируют те мортиры, сколько наших людей будет сбережено!

Мы вышли в сад, и Степан показал мне шалаш, который сам поставил и в котором решил ночевать все лето — сторожить хозяйкины яблоки,— сад хорошо цвел, а прошлым летом соседские мальчишки обобрали лучшую грушу. Шалаш стоял под старой яблоней, небольшой, но сделанный прочно, покрытый немецким гофрированным железом. Железо это, нагретое за день, пахло по-чужому, не так, как наше. Но в самом шалаше по-родному пахло свежим сеном, Степан скосил в саду у забора сочную майскую траву. Вход в шалаш закрывался куском тяжелого, как бы промасленного брезента. Когда мы, как дети, залезли в шалаш, Степан закрылся брезентом и сразу обнял меня, крепко прижал к себе, поцеловал в шею и, горячо дыша в ухо, прошептал одно имя:

— Валька!..

Но как прошептал! Больше уже никогда никто не шептал так мне в ухо. Я сжалась, замерла, слушая удары его и своего сердца. Я, жадная, ждала еще и других слов, но он молчал, снова припав губами к шее. Я спросила:

— Что, Степа?

— Что? Знаешь, что? — еще тише зашептал он.— Я оставлю окно открытым. Ты потихоньку вылезь и приходи ко мне. Архиповна спит крепко. Согласна?

Тогда я сама нашла его губы и продолжительным поцелуем подтвердила свое согласие. И тут же откинула брезент: нехорошо, что мы спрятались в шалаше.

Потом мы ходили по саду, и Степан рассказывал мне о яблонях.

— Знаешь, я становлюсь садоводом. У Архиповны есть книжка, и я за зиму почти выучил ее на память. Читаю с бо́льшим интересом, чем любой роман... Яблони стали для меня, как дети. Каждая со своим характером, болезнями, капризами.

И вдруг он остановился возле забора, показал мне тесовую доску, отличавшуюся от других — была поновее,— и прошептал:

— Она так прибита, что поднимается снизу. Там — сад старика, дом которого выходит на улицу Островского. Старик злой, но не беда, он глухой. Калитку со двора на улицу запирает на ключ, но ключ вешает на гвоздик, что на верее, слева, ближе к дому. Если так вот рукой провести по верее...

Он думал об аресте, о том, как спастись в последнюю минуту, потому, наверно, и в сад перебрался и мне тропку показывает на всякий случай. Я это хорошо понимала, по себе знала, как это важно — иметь еще один вариант легенды или такой вот, пускай и простой, запасной выход, тогда не будешь чувствовать себя в безвыходной ловушке, в капкане.

Мысли об опасности, что каждый день висит над ним, омрачили мою радость. Ложась в постель, я ждала той минуты, когда смогу вылезть в окно не с трепетом девушки, не со страхом и радостью, как тогда, когда ночевала впервые, а с мыслями о том, что нас может настигнуть. С невеселыми мыслями, но светлыми и чистыми. Так думает умная жена перед проводами мужа на войну: понимая неизбежность его ухода в смертельно опасную неизвестность, не плачет, не голосит, а хочет дать ему последнюю, самую большую радость, которая бы запомнилась им обоим навсегда.

Хозяйка, как назло, долго топталась, под ее тяжелыми шагами скрипели половицы. А когда наконец скрипнули старые пружины матраца, сразу же на кухне под печью отозвался сверчок. Он мешал слушать тишину — устанавливалась ли она вокруг? Но тут же я подумала: а зачем она мне, тишина? Я же ничего и ни у кого не краду. Я иду торжественно, как под венец, с любовью в сердце и с желанием связать свою жизнь с его жизнью — на час, на ночь или на долгие годы, в то время не имело значения, об этом я не думала.

Я поднялась не очень осторожно, раскрыла створки окна, но тут же вспомнила о тайном выходе и подумала, что нельзя вылезать в сад в одной сорочке, захватила с табуретки свою одежду, прижала к груди.

Степан ждал под окном, за сиреневым кустом; он взял меня на руки, легко понес к шалашу...

Проснулась я на рассвете оттого, что затекла рука — голова Степана лежала на ней. Может, тогда, в тот миг я почувствовала наивысшую радость. И наибольший прилив ласки, нежности. Я чувствовала мужское тепло, слушала ровное дыхание и боялась потревожить

сон; казалось, что Степан — моя частица, которую нельзя отнять, без которой нельзя жить. Как только до сих пор я жила?

Сквозь щели в брезенте цедился розовый свет. Было холодно: майские ночи еще не теплые. Надо уходить, пока не проснулась хозяйка. Только попыталась я тихонько освободить руку, он проснулся и притянул меня к себе.

— Пора, Степа.

— Пора.

Но долго мы не могли расцепить рук, так как предстояло идти не просто в дом — в партизанскую зону, надо было расставаться. На какое время? Когда встретимся вновь?

Мне было чему радоваться: я иду к любимому так скоро — через какие-то три недели! Не надеялась. Вообще боялась, что к нему больше не получу задания. А не зайти к мужу своему нельзя, не выдержу... быть в городе и не забежать к нему. А как объяснить это командирам? Снова нарушать строгие правила разведки и обманывать их? Не хватило у меня духу признаться, что я заходила к Степану,— боялась, что выдам, с какой целью, то, тайное, выдам, что произошло между нами. Не готова я была к такому признанию.

И вот опять посылают к нему. А радости нет. Самое мучительное, что нет радости — той, о которой я мечтала три недели, представляя свой очередной приход в Гомель даже и в том случае, если наведаться к Степану придется снова самовольно. Неловко перед командирами. Но у меня есть право! Я его жена. Если сообщу об этом в отряде, в штабе, все поймут и простят. Командиры строгие, но добрые.

Нет, все-таки держалось бабье, не отступало. Излишне придирчиво я прислушивалась к тому, как спит Маша.

«Глупая, глупая,— ругала себя.— Ты же оскорбляешь Степана. Как это можно не верить мужу? Во всем верим друг другу. В том великом, за что на смерть пойдет и он и сама ты. А это же — бабье... пережиток какой-то. Да и Маша... Она, наверно, замужем, раз рожала».

Хотелось думать о Маше лучше: она же спасла от смерти и себя и меня. Если б не ее находчивость, не увидела бы я не только Степана, а уж и света белого не видела б, не ощущала бы вот такого душистого сена. А оно пахло так же, как и тогда, в том садовом шалаше. Только там еще пахло чужим железом. А тут — привядшей березовой листвой. Не этот ли опьяняющий, как брага, аромат возбуждал и не давал задремать?

Маша перестала говорить во сне и дышала ровно. Странно, я ведь знала, как это важно — хорошо отдохнуть перед таким днем. И все же снова и снова думала с тревогой: как можно так дрыхнуть после всего, что пережила? Уморилась, пройдя каких-то тридцать километров? Белоручка! Какая же ты разведчица?!

Шаги возле шалаша. Это Федор, ему тоже не спалось. Видно, проверял часовых. Тревожило его все, что случилось вчера днем. Забот много. С нами тоже. Землянику выменяли у деревенских детей на немецкие консервы. Не нравилась мне такая операция. Совсем не нужно это — нам с Машей не нужно, чтобы дети разнесли по селу, что партизаны за консервы купили у них ягоды, много, добрый десяток кувшинов. Свое недовольство высказала Федору. Видела: ударила по его командирскому самолюбию. У Федора большая самоуверенность, ему трудно было согласиться, что он что-то сделал не так. А между тем я слышала высказывания партизан о том, что старый лагерь оставили зря, что прежний лагерь лучше замаскирован, что никакая «рама» не могла его обнаружить. Временная позиция на этом взлесье партизанам явно не нравилась. Но я вспомнила, как, посмеиваясь, говорил комбриг: тактические комбинации Федора ни один военный гений никогда не поймет и не объяснит.

Однако то, что командир не спал, сам проверял часовых, как-то успокоило, рассеяло невеселые мысли. Если бы не совы, я могла бы заснуть. Почему они так разголосились? Как на беду...

IV

До поста на Речицком шоссе мы дошли без приключений и без особой усталости по утреннему холодку, хотя ноши у нас были немалые. Предосторожность Федора, думала я идя, была излишней: если бы начиналась карательная операция, блокада, то вряд ли удалось бы нам добраться до города, не встретив ни одного немца и даже полицая. Возле шлагбаума дежурил старый солдат, тыловик — не немец, венгр. За два года я научилась распознавать форму всех оккупантов: итальянцев, румын, финнов... только испанцев не видела.

До нашего прихода солдат сидел в полосатой будке, и к человеку, обогнавшему нас на велосипеде, даже не вышел — знакомый, а может, потому, что у велосипедиста не было никаких вещей, даже пиджака, в одной клетчатой рубашке ехал.

К нам солдат вышел недовольный, с сонным видом, позевывая. Знаками приказал снять с плеч корзины. Увидел землянику — оживился, весело зачмокал, черпнул ягод полную горсть, набил рот, смешно скривился и укоризненно покачал головой: мол, плохие, зеленые, много кислых. Я зачерпнула ему пригоршню из Машиной корзины, где зеленых было меньше, протянула ему: ешь, пан. При этом подумала, что такому солдату не надо отдавать самогонку и яйца, хватит с него, старого гриба, ягод. Сэкономим хоть на этом.

Глянула на Машу. Она стояла неподвижно, как статуя, с застывшим, бледным лицом; такая она была со вчерашнего дня, сутки в рот ничего не брала, сегодня на рассвете едва уговорила ее съесть немного ягод и черствого хлеба; Федор напрасно предлагал нам консервы: от их запаха у Маши снова начались спазмы, мне тоже пришлось отказаться от мяса, хотя я с удовольствием съела бы его, но прятаться от других было неловко.

Я уже радовалась, что часовой оказался непридирчивым стариком. Но в этот момент из бункера, из черной пасти его, как медведь из берлоги, вылез полицейский. Знакомый. С ним я встречалась тут уже раза три. Тоже немолодой человек — худощавый, будто с задубевшей кожей на лице, без большого и указательного пальцев на правой руке, культя его сразу бросалась в глаза, казалась зловеще мерзкой, как гнойная рана. Он был придирчив. Любил перетрясти все — узлы, корзинки, мешки. Травы мои лечебные в прошлый раз высыпал в песок, гад. Не постыдился ощупать тело. Оттого, что он проводил культей по груди, по ногам, было особенно противно, гадко, хотелось потом сбросить свою одежду, помыться. Я страшно ненавидела этого типа. Но каждый раз должна была улыбаться ему.

Он мне тоже улыбнулся, как старой знакомой, даже несколько приветливо. Сказал:

— Все ползаешь, мышь? У нас возле бункера мышь живет, тоже вот так шмыгает. И хитрая такая же, как ты.

— А что же делать, дяденька? В хате пятеро малышей. Их одеть надо, обуть. И соли ни щепотки. Староста нам справочки дал,— но полицая бумажки не интересовали, справки мои он уже видел, проверял. Он засунул свою гадкую культю в землянику, на самое дно корзины, покопался там, нет ли чего под ягодами; вытащил культю, как окровавленную. Небрезгливая я, но тут меня чуть не потянуло на рвоту, как вчера Машу. В корзине, на ягодах лежала бутылка самогонки, завернутая в тряпку. Он не успел развернуть, посмотреть, что там, как я наклонилась, взяла бутылку в руки. Как же он выхватил ее у меня! Со страхом. Неужели думал, что мина?

— Это вам, пан начальник. От мамы моей. Дай, говорит, доброму человеку...

Полицай засмеялся и посмотрел бутылку на солнце. Самогонка была чистая, как слеза, из госпитального запаса налили.

Отставил самогонку в сторону. Перед тем, как залезть в Машину корзину, поглядел на нее, странно застывшую. Удивился.

— А это что за кукла с тобой?

— Дочь нашей учительницы. Бедствуют с матерью, мать у нее больная. У нас хоть корова есть и куры. А у них ничего нет. Живут — кто что даст.

Маша не промолвила ни слова, и ни одна черточка на ее лице не шевельнулась. Меня

даже испугало ее оцепенение. Неужели от страха так застыла?

Маша глядела не на полицая — на бункер. Я оглянулась. Там стояли двое молодых солдат и, смеясь, показывали один другому на нее. Я встревожилась. Влипнем. С такой куклой не пройдешь. А полицай копался в ее корзине, говорил же со мной:

— Отравы не намешала в самогонку?

— Что вы, дяденька? Разве мы позволим гневить бога?

Он выпрямился с мокрой кроваво-зловещей лапой, и глаза его блеснули недобро, гневно.

— У тебя — бог? Ты же комсомолка! И она комсомолка! Брешешь ты все! Я проверю, какие у тебя дети.

— Проверяйте, пан начальник.

— В лесу твои дети.

— В каком лесу? Когда собирают ягоды, бывают в лесу. Но не все. Трое совсем маленькие. А лес далеко...

— Не прикидывайся дурочкой. Бандиты — твои дети, партизаны. От них ходишь.

— Ой, что это вы говорите, пан начальник! Я их в глаза не видела.

В этот момент молодые солдаты подошли к нам. Один взял бутылку, откупорил, дал понюхать другому. Тот чихнул. Все засмеялись. Даже старик, который молча наблюдал, как полицай обыскивает нас. Потом один из мадьяр, самый молодой, высокий, черный, как цыган, с белыми красивыми зубами, подошел к Маше и, посмеиваясь, ущипнул за щеку. И тут случилось неожиданное даже для меня. Машино лицо как-то страшно скривилось, перекосилось так, что один глаз был выше, другой ниже. Она сначала по-идиотски засмеялась, потом так же ненормально всхлипнула. И вдруг залепетала быстро-быстро, как из пулемета, но с такой шепелявостью, что слов разобрать было невозможно.

Мадьяр испуганно отступил. Полицейский, потянувшийся к платку, в котором я несла яйца, спросил было уже: «А там у тебя что?»— тоже, пораженный, встрепенулся, уставился на Машу. Тогда она начала высказывать ему что-то с возмущением, тыча пальцем то в наши корзинки, то в солдата.

Полицай послушал ее немного, потом плюнул:

— Тьфу ты, нечисть. Дал бог морду, так ум отнял,— и спросил у меня:— Давно это у нее?

— Давно. После пожара. Горели они,— тотчас придумала я.

Полицай повернулся и пошел к бункеру. Солдаты, уже не смеясь, с сочувствием оглядываясь, потянулись за ним, бутылку взяли с собой. Часовой махнул нам рукой: идите.

К шлагбауму подъезжал немецкий военный грузовик.

Некоторое время мы шли молча, как бы боясь, что нас могут услышать, хотя вокруг было незасеянное поле, даже сорняки выросли редкие, невысокие, чахлые. Только в канавах вдоль дороги трава была густая, припудренная пылью.

Сначала Маша ускорила шаг... О, как мне знакомо это чувство — скорее уйти от опасности! Но нельзя. За нами, возможно, наблюдают. Надо вести себя так, чтобы у этого беспалого гада не появилось и зернышка подозрения: мне, может, еще придется встретиться с ним.

Маша, видимо, поняла, почему я иду медленнее, чем шла до сих пор. Я сгорбилась под тяжестью корзинки, как старушка. Меня немного тревожило, что грузовик долго стоит возле шлагбаума. Когда он загремел по шоссе за нашими спинами, я сжалась, соступила дальше на обочину, в пыльную траву, но все равно не оглянулась. Грузовик прошел мимо, в кузове, наверно, были пустые бочки, так как очень грохотало и лязгало. Под этот грохот я тихонько засмеялась, вспомнив, как Маша лепетала. Она тоже засмеялась.

— А здорово я их, правда?

— Здорово,— согласилась я.— А говорила, что артистка из тебя не получилась.

Маша вздохнула:

— Артистка не получилась.

— И играть ты умеешь. Если б я так умела! Ого!

— Такое я всегда умела, с детства. Уверовала, что это и есть талант. Кое-кто убеждал меня в этом. А режиссер сказал: ерунда, сыграть дурочку — ума не надо...

Мне почему-то захотелось вызвать ее на бóльшую откровенность, чем это было между нами вчера. Полкилометра голой дороги — до первых городских зданий — давали единственную возможность поговорить, больше такой, наверное, уже не будет никогда; даже если мы и встретимся (могут послать на связь с ней, что мало вероятно теперь, когда есть радисты), то встреча та произойдет не в таких условиях, не в чистом поле, на явочной же квартире душевного разговора не поведешь.

Я сказала:

— Не понимаю я тебя.

— А зачем тебе понимать?— показалось, она насторожилась: почему мне вдруг захотелось понять ее?

— Кто у тебя остался там?— спросила я, оглянувшись наконец, не идет ли кто за нами.

— Валя, не надо,— как пощады, попросила Маша. Сняв с головы платок, она вытерла пот со лба и, поправляя корзину, пожаловалась:— Нарезала я плечи до крови. Сразу-то показалось легко. А теперь будто сто пудов несу на плечах. Ты всегда ходишь с таким грузом?

— Часто.

— Не завидую тебе.

Меня рассмешило, что она так сказала: не завидую. Я подумала, к кому иду, и мне хотелось ответить: «А я себе завидую». Представила, как она удивилась бы. Нет, просто не поверила бы, решила, что я шучу. Больше убедило ее серьезное и простое:

— Я привычная.

Маша со вздохом согласилась:

— Да, человек ко всему привыкает.— И снова пожаловалась:— Пить хочется.

— Скоро дойдем до колонки. На улице есть колонка. Правда, вода там не всегда бывает. Но раза два я пила.

Вода в колонке была. Нажали рычаг, и она полилась бурной струей. Сбросив с плеч корзинки, мы приладились, чтоб напиться. Я стала на одно колено, не обращая внимания на грязь, и подставила рот под струю. Напилась, даже забулькало в животе, обмыла лицо.

Маша не могла опуститься на колено в грязь и пить так не умела, долго и жадно ловила упругую струю губами и языком. Обрызгалась хуже меня. Ноги ее, покрытые пылью, от брызг стали грязные, и она надумала помыть их: сбросила ботинки, подставила ногу под струю. Тогда в доме напротив колонки открылось окно, высунулся бородатый мужчина, который, видимо, наблюдал за нами, и омерзительно выругал нас за мытье ног. Меня его ругань мало тронула, в других условиях я не постеснялась бы ответить ему такими же словами. Подумаешь, нашелся хозяин водопровода! А Маша испугалась. Быстро надела ботинки на мокрые ноги, поспешно схватила корзину. Я слышала, как она прошептала:

— Боже мой...

Сначала я посмеялась над такой целомудренностью: неужели впервые услышала от мужчины матерные слова? Но потом увидела ее лицо, на котором отразились обида, страдание, боль. Поняла: так ее действительно никто не ругал. Она жила в другом мире — в интеллигентном. Можно было пожалеть ее, если бы я не знала, кто она, куда идет. А так меня снова охватила злость: посылают же таких! И страх. За Степана. Как ему работать с такой?

Рынок Машу поразил. Это естественно, меня он тоже удивил, когда я впервые пришла в город. Всюду на захваченной врагом земле жизнь как бы повернула назад, в прошлое. По-старому начали пахать, по-старому сеять, по-старому молоть рожь — на ручных жерновах, как триста лет назад. Но, по-видимому,

нигде этот возврат к старине не бросался в глаза так, как на рынке в большом городе. Такое мы, молодые, разве что в книгах читали да в кино видели. На рынке даже люди появились какие-то странные, будто не из жизни, а из книг, из театра. Вся старина выперла — в одежде, в поведении, в лицах. Какие-то мужчины в засаленных сюртуках, в грязных манишках, с усиками, с вороватым, нездоровым блеском в глазах. Ярко размалеванные женщины в старомодных или, может быть, излишне новомодных уборах, крикливые и нахальные. Медлительные бородатые мужчины, как русские купцы из прошлого столетия. Пугливые, как в годы крепостного права, крестьяне — боялись, что их не только обманут, но могут и арестовать, принять за партизан.

Солдаты немецкие, венгерские, румынские. Они тоже продавали ворованное с оглядкой. Боялись военной жандармерии. Нахальные полицейские порой забирали у человека товар без всяких объяснений. Немцы в штатском ходили, как хозяева, ничего, кажется, не продавали, ничего не покупали — глядели, слушали. В тот день слушали старого, слепого нищего-гусляра, которому подпевали двое поводырей-мальчиков, босых, опаленных солнцем, в штанах и рубахах из домотканого полотна. А рядом с ними инвалид, без обеих ног, в красноармейской гимнастерке, только петлицы спороты, играл на гармошке и пел старинную военную песню «Умер, бедняга, в больнице военной, долго, родимый, лежал». Немецкие офицеры снимали инвалида и нищих фотоаппаратами. Но ни одного пфеннига не бросили.

Все толклись, кружились, одни молча, другие кричали — предлагали свой товар. Вещей разных, одежды продавалось много, но все какое-то старое, пропахшее нафталином. А продуктов было мало. Продукты вырывали из рук. Наши ягоды разобрали за каких-нибудь двадцать минут, хотя я раз за разом немного повышала цену. Даже немки покупали землянику на варенье. А какой-то тип шептал мне на ухо, что может купить все оптом — за соль, а сам подбирался к узелку с яйцами, но за узелком я следила зорко, не выпускала из рук даже тогда, когда отмеривала железной кружкой ягоды. Яйца, коль спасла их от охраны возле шлагбаума, я решила не продавать — отнести Степану, так как хоть и хороший паек он имеет, но делит его с хозяйкой, а та — с внуками своими. «Небогато живет, а работает много»,— думала я озабоченно, как о муже.

Я торговала ловко, умело и одновременно помогала Маше, так как она «ловила ворон», ее обманывали. Я злилась, что она так жадно, прямо по-детски удивленно и недоуменно разглядывает все, что происходит на рынке. Хотя, по правде говоря, злило не само ее любопытство — это естественно и даже необходимо: попала деревенская девушка впервые в город, так можно подумать, если глянуть со стороны, а это нам как раз выгодно. Злилась от мысли, что все-таки не всему ее научили, что огрехи у нее, пожалуй, в самом главном — в незнании условий жизни тут, у нас. Неужели в разведшколе не было ни одного преподавателя, вернувшегося отсюда, из вражеского тыла?

Но вообще нам повезло в тот день. Я, например, боялась перехода через железнодорожное полотно на Моховом переезде, там тоже часто останавливали и проверяли: кто, откуда, куда, зачем? Боялась, когда шли на рынок, и еще больше почему-то, когда возвращались с рынка, купив соли и отрез ситца — «на кофточку Маше». Все я продумала, каждую мелочь. Но легенды были правдивы до первой проверки. Если нас задержат и начнут проверять, все может рассыпаться, как песок. А если еще обыщут так, что залезут в рейтузы — фашисты все могут,— то и проверка не понадобится. Дело в том, что несла я две пары справок: одни от старосты села из-под Гомеля — чтоб пройти на постах с ягодами и яйцами, до рынка держала эти бумажки за пазухой; а другие, спрятанные глубже, от старосты Степанова села, справки свидетельствовали, что я, Валентина Жданко, иду к брату, а Маша, Мария Лещук, дочь тамошнего полицейского, пришла купить обновку. Это справки для Степана, если проверят у него на квартире. После продажи ягод я поменяла справки местами; нелегко это сделать на рынке, но я сумела: будто так, по-деревенски глубоко, прятала деньги; если кто увидел, то мог только посмеяться — вот деревня!— но вряд ли заподозрил бы другое.

Раньше я не предпринимала подобных предосторожностей, потому что не так боялась. Все из-за Маши: недеревенская она с виду. Нет, наверное, не потому, что недеревенская, а потому, что чувствовала я особую ответственность — за нее, за Степана, за то задание, какое они вместе должны выполнить, о котором я могла только догадываться, но не имела права спрашивать.

К счастью, на переезде нас не задержали. Но больше всего повезло в том, что Степан был дома. И главное — один. В саду, под окнами своей комнаты, на столе-верстаке занимался любимым ремеслом: делал из обломков самолетов пластмассовые черенки для ножей и мундштуки. Лезвия ножей ему ковали где-то в кузнице, а он надевал и шлифовал черенки. Ножи вырабатывались самые разные: большие — финки и маленькие — перочинные ножички, были и простые — кухонные, столовые. На финках черенки делались замысловатые — в форме рыб, русалок, Мефистофеля, жирафовой и лошадиной голов... Не менее красивыми были и мундштуки — переливались радугой.

Хозяйка очень хвалила это Степаново умельство — золотые руки у парня; она продавала его изделия на рынке и имела от этого немалый доход. Мне Степан тоже признался тогда, в шалаше, что промысел его позволяет ему в законном порядке иметь лишние марки, чтоб подпоить кого надо, а главное — мастерить почти открыто, не боясь, вместе с ножами и мундштуками мелкие детали для мин, которые потом кто-то из подпольщиков собирал.

Калитка была открыта, и мы вошли без стука. Услышали за домом его голос, вернее, свист — он насвистывал мелодию «Катюши». Я подумала, что неосторожно это, неизвестно, какие соседи за заборами с трех сторон, другие, чего доброго, донесут, что квартирант поет советские песни, хотя, правда, «Катюшу» пели и сами немцы.

Нас Степан увидел не сразу, и мы какую-то минуту наблюдали за ним. Он шлифовал наждачной бумагой черенок финки. Увлекся работой. Ржаные волосы прилипли к мокрому лбу, на кончике носа повисла капелька пота. Лицо его с веснушками казалось совсем мальчишеским.

Я взглянула на Машу и увидела в ее глазах что-то такое, чего до сих пор не видела,— особенное любопытство, почти озорную веселость; перед парнишкой она сделалась девчонкой. Да и сама я с умилением любовалась своим любимым: в работе, наедине с собой, он был особенно красив — для меня.

Но Степан услышал нас. Посмотрел без удивления, с искренней радостью выкрикнул довольно громко — для соседей:

— Валька! Сестричка! Вот не ждал!— подошел, обнял и поцеловал в губы, не как сестру. На посту на шоссе, на железнодорожном переезде, где стояла немецкая охрана, у меня не билось так сердце, как забилось от его поцелуя. Даже голова закружилась.

А Степан разглядывал уже Машу, разглядывал пристально, с любопытством, как говорят, с головы до ног. В этом разглядывании я усмотрела что-то излишнее, как бы непристойное, и мое горемычное сердце остановилось на миг, затаилось в предчувствии чего-то недоброго.

— Маша?— выкрикнул Степан.— Неужели Маша? Ух, какая ты стала!— и, захохотав, схватил ее за руки, как старую знакомую, школьную подругу, крутнул вокруг себя.— Хорошо тебя кормят! Конечно, Украина! Сала полные короба имеете!

Маша тоже засмеялась.

Я поняла, что Степан знает о ней больше, чем я: сообщили через радиста, когда и с какой целью ее посылают сюда.

Это меня как-то успокоило: вон как серьезно все поставлено! Вон откуда будут следить за их работой! Я повеселела. Но увидела на Степане грязную майку, и мне стало стыдно за него перед Машей, будто я могла постирать майку, но не сделала этого по лености.

Мы отошли в тень под яблони, так как солнце палило безжалостно, и сели на траву. Я передала приветы от родных и сообщила деревенские новости. Они, пожалуй, были одинаковые, что в моей деревне под Лоевом, что в Степановой под Комарином.

Маша не постеснялась лечь. Конечно, после такой дороги тут, в саду, в тени, нелегко было удержаться, чтоб не растянуться на прохладной земле. Но я подумала: деревенская девушка не легла бы так перед парнем.

Машу смешили мои рассказы. Вообще она оживилась, в глазах появился какой-то удивительный, даже радостный блеск. Пожаловалась Степану:

— С сестрой твоей, Степан, ходить невозможно. Летит, как дикая коза. Она просто меня запарила!

Боже мой! Пускай бы она лучше молчала тут, где нас могут услышать. Разве это комаринская речь! Любая неграмотная баба поймет, что тут что-то не так. Интересно, какая у них легенда для ее пребывания тут, в городе? Но об этом я могу спросить только у Степана, когда останемся наедине. А когда и как мы сможем остаться?

— Хозяин, кормить гостей будешь? Как я проголодалась! Вола з'ила б («з'ила» она сказала по-украински).

Я встрепенулась. Два дня в рот ничего не брала, а тут проголодалась. Хотя вообще я понимала ее: дошли до цели, она познакомилась с тем, кто будет ее руководителем, и он, безусловно, понравился ей — простой, спокойный, уверенный, и все вообще выглядело проще, чем ей представлялось,— вот и наступила душевная разрядка, забыты вчерашние переживания, возникло убеждение, что впредь все будет хорошо, потому и аппетит вернулся,— поесть, видно, любит, не была бы такая гладкая.

Но понимание этого и рассудительность не облегчали мое состояние. Наоборот. Снова, как и вчера утром, словно весенние сорняки в поле, нарастала мучительная ревность. Я уйду, а она останется тут... Кровь ударила в голову. Чтоб не выдать себя и побыть наедине со Степаном, как-то успокоиться, я сказала:

— Пойдем, Степан, приготовим поесть. Я яиц принесла. Мать передала. Мы и в самом деле проголодались. Как позавтракали у дядьки в Борщовке...

В кухне Степан, радостно возбужденный, что мне тоже не понравилось, обнял меня и поцеловал. Я не оттолкнула его, нет, но и не прижалась, не поцеловала так, как мечтала об этом три недели. Я осторожно, чтоб он не обиделся, отстранилась от него и спросила:

— Кто она?

Степан удивился.

— Здорова была! Ты ее привела, а у меня спрашиваешь, кто она.

— Кем она будет тут, в городе?

— Об этом мы еще подумаем. Есть надежный план. Хорошие документы. Надо было посмотреть на нее...

— Она будет жить тут, у тебя?

Степан сначала посмотрел на меня серьезно, как бы недоуменно, потом рассмеялся.

— Вон ты о чем! А чтоб вам... О чем вы только, бабы, думаете. В такое время, когда не знаешь, будешь ли жив завтра. Я о деле думаю: как лучше выполнить задание.

Стыдно мне сделалось: действительно, неуместно, недостойно для партизанки выдавать так открыто свои женские страхи и чувства. Отступила я своеобразно, не без особой хитрости:

— Степанка, скинь майку, надень сорочку. Ты погляди, какая она грязная. Неловко перед гостьей.

— Валька, я рабочий человек. Паровозник.— Он снова обнял меня и серьезно, искренне, доверительно прошептал:— Не бойся. Не будет она тут жить.

— Я не боюсь.

— Неразумно было бы так рисковать. Можно провалиться сразу всем. А кому это надо? Я сегодня же отведу ее на квартиру. Только накормим. Для хозяйки: поведу к ее же, Машиной, тетке.

Как стало сразу легко, хорошо! Вернулась та радость, о которой я мечтала бессонными ночами под гудение комаров, под шум сосен. Теперь уже я сама горячо поцеловала Степана.

Майку он не снял, наверно, потому, что не было чистой, но надел клетчатую сорочку; в сорочке этой он выглядел мальчишкой, такой

конопатый озорник, отнюдь не городской, наш, деревенский, весельчак, танцор, к которому всегда липнут девчата. Подумала об этом, и снова глупое сердце мое тревожно екнуло. Но уже не так, на один миг. Я любовалась своим Степаном. «Он мой, мой, мой!» — хотелось крикнуть на весь мир. Не отводила от него глаз. Ему даже неловко стало, он спросил:

— Что ты глядишь так, Валька?

— Красивый ты.

— Да ну тебя! Где ты научилась комплименты говорить?

Мы подожгли в плите щепу и стали жарить яичницу на сале. Яичницей занималась я, Степан чистил лук и нарезал хлеб. За луком он сходил на огород, и я проследила за ним в окно и порадовалась, что возле Маши он не остановился.

Степан вернулся с луком и сообщил шепотом:

— Спит.

Так говорят родители о ребенке, который, издергав их своими капризами, наконец угомонился.

Шепот его тоже не понравился, но это уже мелочь по сравнению с другими моими переживаниями.

Жаря яичницу, накрывая стол, я рассказывала о наших происшествиях за два дня: Степану надо знать, что новая разведчица умеет, на что способна, в чем ее сила, в чем слабости. Безусловно, о слабостях я говорила больше — о том, что войны она не видела, убитых, раненых не видела и условий здешних не знает, о народе, оказавшемся в оккупации, неуважительно высказывалась, будто все люди, что живут тут, враги. Ума надо не иметь, чтоб так думать. Одним словом, из рассказа моего выглядела она не такой героиней, как о ней могли подумать, да и сама я так думала, когда встретила ее на Ржавом болоте и в первые дни в лагере, когда она, Маша, очаровывала партизан своими песнями.

Степан слушал меня внимательно, но не выдержал — усмехнулся:

— А мне передали: опытная разведница.

— Опытная?— удивило меня, что оттуда, с Большой земли, так передали. Не верить им нельзя. Если опытная, то это хорошо, можно не так бояться за них... за Степана. Но вместе с тем я чувствовала себя как бы обиженной: выходит, Маша забавлялась со мной, как с маленькой, за нос водила, дурачила?

Обед был готов, и я пошла ее будить. Спала она крепко, лежала на правом боку, по-солдатски подложив кулак под голову. Меня поразило ее лицо: оно казалось еще привлекательнее, и привлекательность эта была не яркая, девичья, а скорее детская, добрая, ласковая.

Я долго смотрела на ее лицо, на руки, на запыленные ноги. Вдруг почувствовала, что мне жаль будить ее, как матери дочку. Странное чувство! Себя я никогда не жалела. Других партизанок тоже. Возмущалась, когда нам, девушкам, женщинам, в отряде старались дать какую-то поблажку. Считала, что если у нас равные с мужчинами права, то и обязанности должны быть равные. А тут красоту ее пожалела. Правда, через минуту упрекнула себя за такие мысли: жизни своей мы не щадим, так смешно же в такое время сокрушаться о наших женских прелестях, пусть они хоть какие, самые чарующие.

Не очень деликатно потянула Машу за нос. Она испуганно дернулась, раскрыла глаза.

— Вставай, соня.

— Пошла к черту, Валя!— И повернулась на другой бок.

— Яичница остынет.

Маша потянулась, села, как ребенок, протерла кулаками глаза, засмеялась:

— Сразу так и сказала б. Хоть сон и самое дорогое, но яичница тоже что-то значит...

Продолжение следует.

Авторизованный перевод с белорусского
М. ГОРБАЧЕВА.

БРАЧНАЯ Н

Иван ШАМЯКИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

За столом Степан предложил нам немецкий спирт. Я отказалась. Спирт был вонючий — сырец, налил Степан в стаканы воды — питье сделалось белым, как молоко. Но Маша полстакана этого пойла выпила по-мужски, одним глотком. И засмеялась, довольная собой. Вообще она много смеялась. И много ела. С таким аппетитом ела яичницу на сале, что я опять подумала: неужели и голодовка ее вчерашняя была притворством? Появилось новое недоброе чувство к ней, более сложное и непонятное, а потому и, возможно, более мучительное, чем простая ревность, с какой я шла и которая две ночи не давала мне заснуть.

Разведчики, прилетавшие с Большой Земли, были для меня идеальными людьми. Я провожала их с душевным трепетом. Я знала, что о задании своем они не должны говорить, и в дороге старалась вести разговор настолько тактично, осторожно, чтоб не вынудить когонибудь из них сказать лишнее, даже мне, своей проводнице, хотя некоторых, чувствовала я, тянуло на откровенность. Но все они были сдержанные, серьезные. Ни один не выставлял себя, не красовался ни в отряде, ни передо мной. А она, Маша, и в отряде выставляла себя, и в дороге играла какую-то странную роль, даже не одну, много ролей, и перед Степаном излишне скалит зубы. Что ей кажется смешным? Ничего смешного не было. Сидели за столом трое молодых людей, парень и две девушки, и говорили о том, что в действительности мало кого из нас интересовало,— о селе, откуда будто бы мы пришли, о рынке, о ценах, о погоде, о любви... да и о любви — обычные шутки молодых людей. Продолжали разговор, начатый в саду. Но там он был рассчитан на любопытных соседей. А в доме на кого? Хозяйки не было. Можно было бы поговорить, если не о ее, Машином задании, то хотя бы о наших партизанских и подпольных делах или хотя бы о нашей ненависти к фашистам. Нет, ни слова об этом. Так повела разговор Маша, Степан поддерживал ее. Выходило, что они вдвоем в сговоре, что, не успев как следует и познакомиться, они без слов понимают друг друга, а я так... сбоку припека, как говорится, третья лишняя. И это обидно задевало меня и порождало новую, не девичью — партизанскую ревность. «Не знаю, что ты сделала за войну,— думала я о Маше.— А мы что-то делали тут, мы давали врагу почувствовать нашу силу».

Получилось так, что к концу обеда говорили только они, а я молчала. Степан, наверно, понял, наконец, что нехорошо они оба ведут себя передо мной и, прервав разговор с Машей о том, что писал Пушкин о любви, обратился ко мне:

— Что зажурилась, Валька?

— Ничего. Слушаю, какие вы умные... поэзию помните.

Степан оглянулся на дверь, будто я выдала главную нашу тайну или что-то такое, за что оккупанты могли сразу повесить.

А Маша покраснела. Впервые я увидела, что она смутилась.

— А ты думала, угольная пыль забила мне мозги? Нет, сестричка. Мозги у меня чистые. Как там племянник?— переменил он тему.

«Племянник»— Володя Артюк, он раза два приходил к Степану, и Степан однажды был в отряде, они подружились; меня, между прочим, почему-то всегда радовала эта их дружба.

— Жениться захотел,— сказала я.

— Да ну?— захохотал Степан.— К кому же он сватается?

— Да вот к Маше сватался.

Степан от удивления перестал смеяться. А Маша захлопала глазами. То, как она удивилась и даже немного возмутилась от такой внезапной и, по ее мнению, неуместной шутки, рассмешило меня и вообще развеселило. На какой-то момент я как бы почувствовала свое превосходство над ней. Радовалась, что пришло такое в голову — шутка-правда. А может, радовалась непроизвольной женской хитрости: бросить на соперницу хоть какую-то тень. Маша не сразу сообразила, что к чему, но не стала выяснять — так велся разговор, вроде бы с учетом того, что нас подслушивают. Вынуждена была и она смеяться вместе со мной, так как я продолжала:

— А знаешь ли ты, почему она ягоды принесла? Приданое собирает. Теперь без приданого и за нищего не выйдешь. Как в старые времена. Все понемногу возвращается.

Тогда и они подхватили шутку, оценив мое остроумие. Это действительно, наверно, было смешно, что мы, трое, связанные огромной тайной, даже между собой говорим так, будто находимся не в пустом доме, а в многолюдном вагоне или на том же шумном рынке. Догадавшись, о ком идет разговор, Маша, между прочим, высказалась о Володе совсем иначе, чем вчера в дороге:

— А что?.. Племянник ваш — парень что надо. Только руки моей он не успел еще попросить. Несмелый. Но надежды я не теряю и приданое готовлю.

Мне хотелось, чтобы Степан поскорее повел Машу к «тетке». Но Степану надо было показать ее хозяйке. Имел, значит, в виду, что она, Маша, будет приходить сюда. Не нравилось это мне.

Христина Архиповна, выслушав Степана, мол, вот Маша, из его деревни, дочь учительницы, пришла в город, где у нее живет тетка, поискать работы, горестно покачала головой и сказала:

— Дитятко мое, теперь из города в села бегут, прячутся. А ты — в город. Какую ты работу тут найдешь? К немцам прислугой пойдешь?

А когда Степан и Маша ушли, хозяйка сказала мне:

— Как это мать отпустила ее? Такая красивая. Пропадет девка.

О красоте ее и Степан сказал, когда вернулся. Покрутил головой, засмеялся, казалось мне, с восторгом и радостью, очевидно, оттого, что ему придется работать с такой девушкой.

— Ух ты, ну ты! С ней даже страшно ходить по улице. Каждый немец бельмы таращит. Чего доброго, еще задержит какой гад, и рассудил:— Одеть ее надо под немку. Тогда она меньше будет бросаться в глаза.

Ночи я ждала с бóльшим нетерпением, чем даже в тот раз, когда Степан впервые позвал меня в шалаш. Тогда было счастливое девичье ожидание, легкое и светлое, немного боязливое. А теперь — тревожное, тяжелое, прямотаки мучительное ожидание женщины, жены. Плакать хотелось от обиды и злости: у меня же все права, а я должна скрываться, как воровка, ждать, пока заснет хозяйка. Нет, не от этого плакать хотелось, от другого — от страха за свое короткое женское счастье... А вместе с тем становилось стыдно и гадко, что я думаю не о деле нашем, а о своем личном счастье...

Я дрожала, как в горячке. Верила, что только Степан успокоит, только в его объятиях я избавлюсь от всех страхов и тревог. Потому, видно, и не дождалась, пока заснет хозяйка. Открыла не слишком осторожно окно, спрыгнула в сиреневый куст, наделав шуму.

Очень горячо я целовала Степана в тот вечер, не так стыдливо, боязливо, как в первый раз. Он даже удивился:

— Валька, что с тобой?

— Я так затосковала, если б ты знал. Я заболела бы, умерла бы, если еще неделю-две не могла повидать тебя.

— От этого не умирают. Разве в романах только.

— Нет, умирают, умирают и в жизни. Неужели ты не скучал, Степа?

— Скучал, Валька, но что поделаешь? Не о любви теперь думаешь. Тише шепчи,— и зажал мне рот сухими горячими губами.

Потом, когда он, утомленный, лежал на моей руке, а я все еще полная нерастраченной нежности прижимала его сильную руку к щеке и целовала ладонь, от которой почему-то чудесно пахло не углем и металлом, а хвоей, лесом — или, может, мне так казалось?— я между прочим сказала:

— А она... Маша замужем и... рожала...

— Она тебе рассказала?

— Нет.

— Откуда же ты знаешь?

— Я видела ее голую, когда купались.

Степан тихо засмеялся.

— Что же ты могла увидеть?

— Степа! Видно же, кто девка, а кто баба.

Он притянул меня к себе и вновь заглушил свой смех поцелуем.

— Ох, живот надорвешь с вами. Чудачки вы, женщины. Проницательные. Насквозь видите одна другую.

А потом, когда он вздрогнул, засыпая, я снова позвала его:

— Степа, а Степа!

— А-а.

— Давай поженимся, Степочка.

— А разве мы не поженились?

— По-настоящему. Чтоб люди знали. Нехорошо так скрываться. Стыдно.

Видимо, крепко задели его мои слова, он даже приподнялся, сел и, забывшись, заговорил чуть ли не в полный голос:

— Что это ты, Валя, надумала? Что же нам, в немецкий загс идти? Кто нам разрешит?

— Нет.

— А как же?

Я притянула его к себе, заставила лечь и горячо зашептала в ухо:

— Нас там запишут. Наши... Павел Адамович... командир. Взводный Долатюк женился на Ольге Москалевой, их записали в штабе. Свадьба партизанская была. И когда ребенок родился у Сони Войтик...

— Как же я доберусь до вас? Никто не разрешит теперь выходить...

— А тебе не надо. Я сама... Я сама попрошу. Мне поверят, Степочка. Лишь бы было твое согласие. Ты только дай согласие.

— Чудная ты, Валька.

— Согласен? Скажи: согласен?

— Конечно же, согласен, Валька. Я же тебя так люблю. Ты не знаешь, какая ты!.. Другой, наверно, на всем свете нет. Хотя и странной кажется мне такая свадьба.

— А что сделаешь, Степочка. Время-то какое. Вся жизнь перевернулась...

Продолжение. См. «Огонек» №№ 30—33.

ОЧЬ

Утром хозяйка проводила меня не так вежливо, как в прошлом. Не как сестру Степана! Выследила нас вечером. Однако я не волновалась, мне стало почему-то весело, захотелось тут же сообщить ей, что мы со Степаном — муж и жена. Жаль, что Степан ушел на работу раньше и я не успела посоветоваться с ним, обсудить наше новое положение.

А в дороге укоряла себя: значит, в этом я виновата, у меня, опытной связной, не хватило терпения, и такое не прощается. Степан, правда, уверен, что Архиповна в случае чего не продаст, человек наш, сын у нее в Красной Армии. Но ведь зять ее служит в управе.

Второе, что обеспокоило и испугало,— отсутствие на условленном месте человека из отряда Федора; такого не было никогда, чтобы обо мне забыли. Мной не рисковали, встречали всегда, если отряд покидал лагерь. Что-то, значит, случилось, и мне надо было держать ухо востро, идти с удвоенной предосторожностью. Но дотемна я все же без особых происшествий добежала до своих. Штаб был на месте. Павел Адамович очень обрадовался, что я вернулась.

— В сорочке ты родилась, Валя.

Рассказал: в воскресенье в обед, через несколько часов, как мы с Машей ушли (в штабе удивлялись, что мы так легко проскочили в город — действительно повезло), отряд Федора блокировали каратели. До вечера длился тяжелый бой. Погиб Федор. Гибель знаменитого командира, мастера рейдов и диверсий на железной дороге, все сильно переживали. Я так даже расплакалась навзрыд. Вспомнилось, как в субботу мы обсуждали с ним план нашего похода. Все почему-то считали его пожилым, серьезным, строгим, а он ведь был совсем молодым, лет двадцати шести, немного старше Степана, и добрый, даже передо мной смущался и всегда со мной соглашался. На выручку Федора ходил сам командир бригады с конным отрядом. В бою ранило Володю Артюка. Разрывом мины под ним убило коня, и ему рассекло ногу, но самая серьезная рана была нанесена в ягодицу. Над этой раной отрядные зубоскалы издевались. Володя злился и всех выгонял, кто приходил в госпиталь проведать его. Меня девчата предупреждали: «Не ходи, Валька, Володька злой, как черт. Всех кроет матом». Но не пойти к Володе я не могла. В дороге, когда возвращалась из города, думала: первому скажу Володе о том, что вышла замуж. Он один знаком со Степаном и словно родственник наш. Если бы мы женились как полагается, со свадьбой, то Володя, безусловно, был бы первым дружком или сватом. Не буду брать с него слова, чтобы о моем замужестве он никому не говорил, он все равно расскажет Павлу Адамовичу и таким образом подготовит комиссара, а мне потом легче будет просить, чтоб зарегистрировали наш брак.

Несчастье с отрядом Федора нарушило мои планы. После такой трагедии — смерти командира и еще одиннадцати партизан я не могла обратиться к командованию со своей необычной просьбой. Что обо мне подумали бы? Вообще я начала сомневаться, имею ли право в такое время выходить замуж. Люди умирают, а я о замужестве думаю — это же просто эгоистично, стыдно кому признаться.

В размышлениях таких я провела еще одну бессонную ночь, третью. Думала о Степане, о Маше, по-разному думала, то хорошо, с верой и надеждой, то с тревогой и сомнениями. Думала о Федоре, и было мне очень жаль его; сколько мы похоронили партизан, но, кажется, ничью смерть не переживала я с такой болью. Жалела себя. Совсем недавно мне еще так просто и легко жилось. Я знала одно: дело связной — нелегкое, опасное, но когда привыкла к нему, то казалось оно чуть ли не самым мирным в нашей жестокой борьбе; ходила на задание всегда без оружия и стреляла только в блокадные дни, раза два ездила с разведчиками в рейды «нагонять страх» на полицейские гарнизоны. За мной даже никто из партизан серьезно не ухаживал, это немного обижало: чем я хуже других? Но зато на душе было спокойно, ясно — ни туч, ни бурь, как у других девчат. А теперь так все перепуталось в моей жизни, завязалось многими узлами.

В госпитальную землянку я пошла утром.

Фельдшер Ваня Кулик сам делал Володе перевязку. Володя стонал и крестил фельдшера такой замысловатой бранью, что легкораненые непрерывно гудели. Между походами я помогала в госпитале, научилась делать перевязки, уколы, не боялась ран, и партизаны принимали меня, как медичку,— не стеснялись. Но Володя, увидев меня, закричал:

— Валька, чертова кукла! Выйди отсюда! Не хочу, чтоб ты видела мой порванный Гитлером зад...

Раненые хохотали.

Такой уж народ партизаны — надо всем умели посмеяться, даже над собственными ранами, в этом, видимо, и сила наша была, жизнестойкость. Позже Володя сам позвал меня, но на пороге предупредил:

— Валька, не вздумай только смеяться над моей раной, как эти брехуны и зубоскалы.

Я села на низкий дубовый кругляк, служивший табуреткой, возле Володиной «кровати» — высокого, чтобы удобнее перевязывать, дивана на березовых ножках, с «сеткой», сплетенной из лозы; на сетках лежали сенники, летом сено часто меняли, и свежий аромат его забивал запах гнойных ран, крови, пота, лекарства; не госпиталь — луг; у доктора нашего даже целая теория была на сей счет.

Погоревали вместе по Федору.

— Федор — настоящий человек был! И командир! Другого такого, может, во всем соединении нет. Он о людях думал — чтоб вывести отряд из-под удара, и потому сам остался с группой прикрытия. Знал, что на смерть идет. Пять часов заставляли фашистов носами землю рыть, голов не давали им поднять,— рассказывал Володя. Раненые из отряда дополняли его рассказ о своем командире и о неравном бое.

Поговорили и о разных лагерных событиях. О моем задании никто не вспомнил, будто я никуда не ходила, все знали, что у связных ни о чем расспрашивать нельзя. Но когда Кулик позвал меня в операционную землянку, Володя попросил:

— Наклонись, Валька, я тебе что-то на ухо скажу.

— Он давно хочет тебе в любви признаться,— пошутил кто-то.

— Что ты, щенок, понимаешь в любви? У тебя материнское молоко не обсохло. Набей в рот сена и молчи!

Я сдвинула платок и шутливо приблизила ухо к Володькиным губам.

Он зашептал:

— Куда ты отвела ее?

Я удивилась, выдохнула ему в ухо с упреком:

— Володя! Ты же разведчик.

— Слушай, засела она мне занозой в сердце. Когда увидишь, скажи ей об этом. Передай, что Володя просит прощения за свое хамство.

Мне от его такого признания как-то сразу сделалось легче. Ах, если б я имела возможность сразу рассказать об этом Маше и Степану!

— Обязательно передам, Володя,— пообещала я, хотя мало верила, что получу когда-нибудь задание сходить к Маше.

Мне надо было после этих слов подняться и уйти, а я смотрела на Володю и счастливо улыбалась, глупая, радуясь и за него и за себя.

— Слушай,— снова зашептал он,— одного боюсь: если ты передала ее Степану,— пиши пропало. Ставь, Володька, крест на своей любви. Паровозник этот — хват, около него такой лакомый кусок близко не клади: стащит и не облизнется, как хитрый кот.

Кровь ударила мне в голову. Даже сделалось дурно, как тогда, когда я в первый раз помогала на операции. Нечаянно, не подозревая, он, Володя, грубо задел мои страхи, сомнения, ревность, которые я старалась запрятать поглубже. Испугавшись, что чем-то выдам себя, я, как безумная, удивив не одного Володю, выскочила из землянки. Прижалась к освещенной ранним солнцем теплой сосне и, как рыба, выброшенная из воды, хватала хвойный воздух. Тут только почувствовала, как в землянке сильно пахло госпиталем — кровью, смертью. Может, потому и закружилась так голова.

Всю долгую дорогу из города я мечтала о своем необычном замужестве, думала, как я доложу Павлу Адамовичу. Немного боялась, немного стыдилась. Но и от стыда такого и от боязни становилось радостно и весело. Сто раз мысленно повторяла свой разговор с комиссаром в разных вариантах, в зависимости от того, как Павел Адамович может отнестись — всерьез или шутливо, но с верой, убеждением, что все обойдется наилучшим образом, так как не поверить мне не могут — в искренность моей любви, в серьезность наших со Степаном намерений.

Война растоптала многие мои мечты. А тут вот и Володя... Почему он так думает о Степане? Мне надо было возразить, чтобы убедить не столько его, сколько себя. Но не могла я этого сделать не только потому, что мною овладела растерянность, но и потому, что не имела права в полный голос назвать имени Степана, говорить о нем при тех, кому не полагалось знать о горожанах-подпольщиках.

Три недели жила я, как в сплошном тумане. Солнца не видела, жизни не радовалась, сама вся почернела.

Павел Адамович встретил как-то меня возле отрядной кухни, вгляделся внимательно, обеспокоенно спросил:

— Что с тобой, Валя?

— А что? Ничего.

— Вид у тебя болезненный.

— Нет, я здорова.

— Хворать тебе нельзя. Замены нет.

Раньше в случае чего меня мог заменить Федор, он один знал все наши явки, и его знали, а это очень важно: незнакомому и по паролю не сразу верили.

Павел Адамович по-отцовски посочувствовал:

— Устала ты.

Но жалость его ничем не отозвалась во мне, не тронула сердца, даже благодарности не появилось.

— Уже отдохнула, товарищ командир,— ответила безразлично.— Скучаю без работы.

Павел Адамович снова вздохнул.

К Володе я больше не ходила. Но через несколько дней он сам позвал меня, я пошла, не чувствуя ни обиды, ни неприязни, не боясь, что он еще что-то ляпнет. А он все же ляпнул, с этого, по существу, и начал:

— Валька, за что обиделась? Признавайся.

— За что я могу обидеться?

— Нет, врешь. Я три ночи не спал — думал. И пришел к определенному выводу. Сказать?

Он, Володя, ходил уже с костылем, и мы стояли под соснами, разговаривали без свидетелей.

— Говори,— мне действительно было все равно, что он еще скажет.

— Ты сама втрескалась в того рыжего черта и переживаешь...

— В кого?

— Валька! Не притворяйся. У тебя же кошки скребут на сердце. Как и у меня. Мы с тобой союзники. Скажи, что неправда.

— Городишь ты, Володя, невесть что. Залеживаться тебе вредно: глупые мысли в голову лезут.

— Ага, глупых мыслей хватает. Эти тоже глупые, но правдивые, вот в чем наша беда с тобой.

— У меня никакой беды нет.

— Хитрущая ты, Валька, как баба-яга.

«Да, баба-яга,— подумала я уже не равнодушно, а с жестокостью, почти ненавистью к себе,— а мечтаю о бабьем счастье. Смешно».

Рассердилась. Послала Володьку к черту.

— Не меряй всех на свой аршин, это у тебя всегда одни девки на уме. Люди погибли, твой лучший друг пал в бою, а ты все равно плетешь об одном и том же.

Володя хлопнул себя по лбу.

— Подожди. А не в Федора ли ты была влюблена?— и сразу стал серьезным.— В таком случае прости, Валя. Дурак я.

А я впервые расплакалась, никогда в отряде не плакала, а вот пришлось. И Володя утешал меня, как маленькую. После плача этого я как-то сразу ожила, будто смыла слезами со-

мнения свои. Все вернулось, кроме разве решимости немедленно пойти к командирам со своей и Степановой просьбой. Так и не осмелилась, пока они не позвали, не дали очередного задания.

Не к Степану было задание — на станкостроительный, группа там выросла, держать столько подпольщиков на одном заводе было нецелесообразно и опасно, да и сами хлопцы рвались в партизаны. Мне надлежало вывести семь человек из города в лес на пополнение отряда Федора.

Может, потому, что не сдержала своей радости от нового задания (оно как бы давало мне право наконец высказать заветную просьбу), Павел Адамович начал предостерегать, чтоб я не думала, что задание легкое: теперь, когда нет нашей базы вблизи от города, нет Федора, мне предстояло самой с учетом обстановки разработать весь план... Все равно я не переставала считать задание легким, и план сложился моментально. Безусловно, понадобится время собраться парням в дорогу... Поэтому не о задании я думала, слушая долгое объяснение комиссара и краткие реплики комбрига, который, казалось, к заданию моему проявляет не такой уж большой интерес, все внимание отдавал трофейному автомату, новому, такого раньше не было у немцев,— разобрал, чтобы изучить принцип действия, разглядывал каждую деталь, чмокал языком, восторгался: «Ты гляди, как просто и здорово! Умеют, гады! Чертова немчура! Талантливый народ, а так одурачены Гитлером».

А я стояла у стола, слушала комиссара, смотрела на блестящие, новенькие, еще сизые детали автомата и думала, когда же мне сказать о своем замужестве, с чего начать.

Комбриг сказал:

— Не учи ее, Павел. По этой части она научит нас с тобой.

Такая похвала командира показалась мне наиболее подходящим моментом.

Стыда я не чувствовала и решительность появилась такая же, какая была там, в городе, когда Степан согласился, чтоб я попросила командиров зарегистрировать наш брак. И потому я выпалила, как говорится, в лоб:

— А я выхожу замуж.

Если бы разобранный немецкий автомат вдруг дал очередь, командир, наверно, не удивился бы так, как от моих слов.

— Что-о?— застыл он с пружиной автоматического взвода в руках.

— Что-что?— с недоверием и, показалось мне, с насмешкой (это немного обидело) спросил Павел Адамович. Серьезность и строгость командира, с какой он уставился на меня, встревожили меньше, чем смешинки в глазах комиссара.

— Я выхожу замуж.

— За кого?

— За Степана Жданко.

Комбриг швырнул пружину на стол и порывисто встал.

— Черт возьми! Мы ей доверяем такие дела, а она там любовь крутит. Пустые девчонки! Нигде на вас нет угомона. Ни на войне, ни в аду.

Удивительно: меня нисколько не потряс гнев командира. Пускай покричит: умел и любил комбриг наш покричать. Я почти не обращала внимания на его слова, даже не смотрела на него; я смотрела Павлу Адамовичу в глаза, умоляла его взглядом: не стоит смеяться, это очень серьезно для меня. Надо им сказать об этом.

— Нам бы записаться... чтоб все по закону...

Комбриг даже подскочил.

— Где? В немецкой управе? Я тебя запишу! Я тебя под трибунал отдам за нарушение приказа... Распустились!

— Разве вы приказывали мне... не любить?

Павел Адамович засмеялся.

— Подожди, Тимофеевич. В самом деле, разве мы приказывали ей не любить? Нет, не приказывали. Закон жизни, брат, ее не остановишь.

— Не остановишь... Дай, дай им волю, так завтра детские ясли будешь открывать, а не воевать.

Почувствовав поддержку комиссара, я еще решительнее перешла в наступление:

— В управу мы не пойдем... не бойтесь. Запишите вы нас, как взводного и Ольгу. Чтоб по советским законам.

Командир вдруг повеселел, подбоченился и осмотрел меня так, как, наверно, не смотрел никогда,— не видел он раньше женщину во мне, а знал только бойца, партизана, связную.

— Тебе что... так не терпится?

— Не терпится,— даже не моргнув глазом под его недобрым, почти непристойным взглядом, ответила я. Хотела сказать: «А может, завтра будет поздно, может, завтра кого-нибудь из нас уже в живых не будет». Но не сказала, побоялась высокопарных и трагических слов, жива была еще крестьянская приверженность к приметам: не говорить в такое время о плохом, чтоб не накликать беду.

— Когда же свадьба?— уже веселее спросил Павел Адамович.

— Свадьба после войны, если останемся живы,— все-таки, хоть косвенно, напомнила о смерти.— А записать... прошу сегодня. Степан тоже об этом просил...

— Без жениха?— уже всерьез спросил комиссар, а в глазах его сразу потух смех, появилась грусть. А командир, наоборот, засмеялся, будто обрадовался, что можно и отказать, раз нет жениха.

— Без жениха еще нигде и никогда не венчали. Как и без невесты. Читала о таком хоть в одном романе? Нет такого закона ни церковного, ни советского. Прежде, чем записать вас, я должен спросить: «Степан Жданко, хочешь ли ты взять в жены Валентину?»

— Вы не верите мне, что Степан согласен? Столько верили, такое доверяли...

Наверно, большая, невыразимая обида прозвучала в моих словах. И голос дрогнул, задрожали губы — вот-вот заплачу. Комбриг замолчал, нахмурился. Не любил он женских слез.

А комиссар сказал:

— Нет, Валя, тебе мы верим. И Степану. Но ошеломила ты нас. Может, подождем? Может быть, Степана удастся вызвать? Мать твою привезли бы. Справим партизанскую свадьбу...

— Нельзя нам ждать!— тем же дрожащим голосом ответила я.

— Нельзя?

— Она же сказала тебе: не терпится ей,— язвительно бросил командир.

Павел Адамович попросил его:

— Не надо, Петр, тут все более сложно, чем думаем мы. Пожалей ее.

Что-то мне ударило в сердце, загорелись щеки, стало стыдно, я догадалась, о чем комиссар подумал — о Маше; он словно бы прочел вдруг все мои тайные мысли, сомнения и страхи. «Пережитки» в сознании моем — так я считала тогда, потому и устыдилась, что комиссар разгадал их.

— Пожалей! Кого жалеть надо? Нас с тобой. Такую связную теряем!— командир подумал совершенно о другом — дескать, я забеременела. Такое подозрение меня меньше всего встревожило, и потому я решительно возразила:

— Нет, нет! Ничего вы не теряете. Я по-прежнему буду ходить на любые задания!

— Ну, вот видишь. Выходит, бояться нечего,— с улыбкой успокоил комбрига Павел Адамович.— Где начштаба спрятал нашу книгу записей актов гражданского состояния?

Доставая из железного ящика прошнурованную и скрепленную печатями книгу, комиссар вздохнул:

— Свидетелей не можем пригласить... Разве Артюка...

Хотелось, чтоб пригласили Володю, но командир возразил:

— Не надо. Я буду свидетелем, а ты попом,— согласившись, он сразу подобрел, подмигнул мне заговорщически.

Такая формальность — запись в книге, которая, неизвестно, сохранится ли еще, а как я волновалась, пока Павел Адамович не спеша чистил перо на ученической ручке и записывал наши со Степаном фамилии, имена и дату вступления в брак — четырнадцатого июля тысяча девятьсот сорок третьего года. С трудом расписалась внизу — рука дрожала и буквы перед глазами качались, как пьяные.

Павел Адамович обнял меня, поцеловал, поздравляя. Мне хотелось заплакать, но я сдержалась: кто-кто, а командиры слез моих не должны видеть. Комбриг весело закричал:

— Черт возьми! Отметить же надо такое событие,— и вытащил из-под нар бутыль самогона.

Тогда я засмеялась. И они засмеялись, комиссар и командир.

Выпили за мое счастье. Только за мое. За Степана не пили. Но я не обиделась — знала партизанское правило: никогда не пить за того, кто на операции, в бою.

V

Не скажу, чтобы я летела на крыльях в город. Нет. Шла, пожалуй, спокойнее, чем обычно. Даже с меньшей предосторожностью. В самом деле, мною овладело какое-то удивительное спокойствие, расслабленность, какая бывает, наверно, тогда, когда человеку кажется, что самое главное в его жизни свершилось и судьба его определена навсегда.

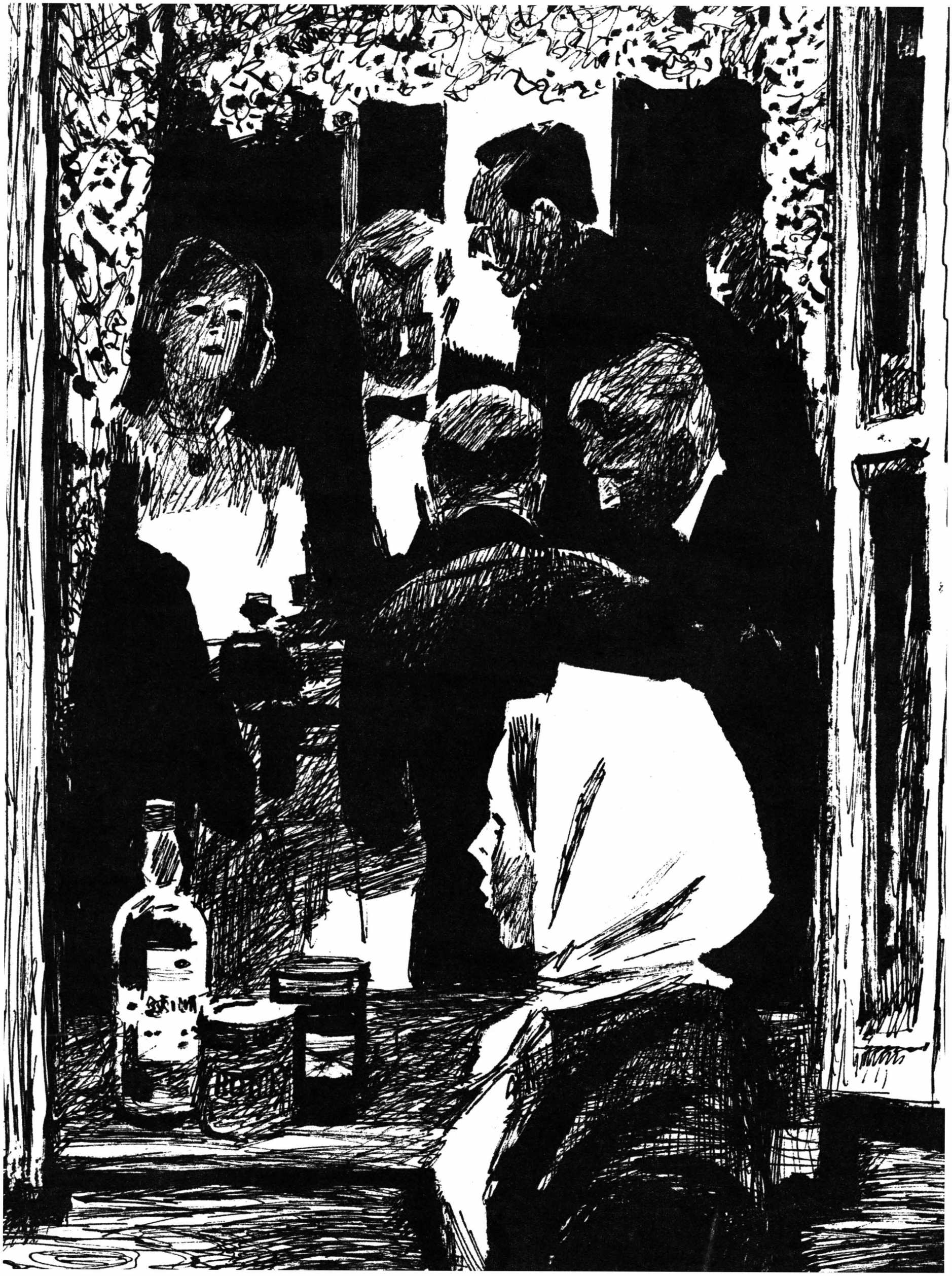
Ни комбриг, ни комиссар ничего не сказали о том, могу ли я зайти к Степану. Понимали, что не зайти не могу. Не стали даже предупреждать о бдительности. Возможно, и им, как и мне, казалось, что раз я жена Степана, то все стало проще, открыто. Хотя в действительности ничего не изменилось. Наоборот, то, что хозяйка выследила нас, о чем, конечно, я не рассказала командирам, таило определенную опасность. Об этом я думала в дороге, но так же, между прочим, и легко отбросила эту, возможно, единственно беспокоившую мысль. Не хотелось тревог, волнений. Все было хорошо. Стоял чудесный, нежаркий, с наплывами облаков июльский день. Скошены луга и уже поспевала рожь: кое-где ее начали жать, стояли суслоны из снопов, под одним из них я спряталась от дождя и даже на короткое время задремала. Меня тут застали хозяин и хозяйка ржи, и я впервые за все свои походы сказала им правду, что иду из Лоева в Гомель к мужу, который работает там, на железной дороге. Приятно было оттого, что люди поверили, радушно накормили хлебом и простоквашей.

О Маше я не думала. Нет, думала, но пожалуй, так же, как о радисте, которого провожала еще осенью. Жив ли он, тот молчаливый парень? За военное полугодие много чего произошло. Степан как-то сказал, что того радиста куда-то отозвали. Кто там у них теперь — об этом я не спрашивала, должно быть, Аня, которая прилетала вместе с Машей. Нет, теперь я думала о Маше тепло, как о сестре, с уважением и почти восхищением: из интеллигенции, по всему видно, а не побоялась пойти в разведчицы. Вообще тогда я восхищалась всеми, кто прилетал с Большой земли. Смелые люди. Со своей смелостью, с отвагой наших партизан их не сравнивала: мы, мол, делаем дело, которое не можем не делать, оказавшись в оккупации, для нас все, чем мы заняты,— естественно, как любая работа, как сама жизнь. Разве можно сидеть в такое время сложа руки? Война идет всенародная, и каждый должен по-своему воевать, хотя бы так, как я — безоружной ходить на связь. К работе своей я так привыкла, что считала ее самой простой среди многих партизанских дел, самой негероической. Достаточно, мол, натренироваться проходить по пятьдесят километров в день — и готова связная. Правда, в нашем деле нужны и некоторые внешние данные, такие, как у меня — маленькая, невзрачная девушка.

В тот день я особенно легко прошла опасную зону, ибо ничего, кроме яиц и бутылки самогонки, не несла: командиры пришли к выводу, что часто торговать на рынке нельзя, хотя это было и удобно. Рынок отпал еще и по той причине, что шла я в будний день.

С «Полозом», руководителем заводской группы, меня связывала Анна — приглашала его к себе. Анны дома не было. Что ж, нередко случалось, что я тратила и два и три дня на то, чтобы встретиться с нужным человеком. Сами обстоятельства помогали мне быстрее увидеть Степана. Вечерело, приближался комендантский час, надо было добраться до места ночлега. Ходила я по городу всегда уверенно, смело. Может, именно эта уверенность и выручала — на того, кто не оглядывается, внимания не обращают.

Но в тот раз, уже за переездом, вроде бы без всякой причины напал на меня страх, какого, пожалуй, я никогда не знала. Вдруг показалось, что за мной следят. И я шла, сжавшись, боясь оглянуться. Свернула в пустой закоулок — никого. Долго бродила по залинейному району, по безлюдным улицам, проверяла, нет ли «хвоста». Никого подозрительного не увидела, а страх все равно не отступал. И какое-то волнение недоброе появилось. Радовало же то, что я иду к мужу, и вдруг исчез-



ла радость, отступила перед страхом, притаилась. Противной стала сама себе — никогда ведь я не была трусихой. Отчего это? Оттого, что удвоилась моя боязнь? Боялась раньше только за себя... Но разве без меня Степан не рискует каждый день, каждую минуту? Нет, страшно, очевидно, было потому, что сама я могу привести за собой смерть — ему смерть. Но ведь с таким ощущением нельзя жить, нельзя бороться. Что ж мне — никогда не ходить к мужу, не видеть его? А если надо будет новое задание передать ему? Был момент, когда хотелось повернуть назад, пойти к Анне или к Примаку. Но поняла, что успокоение не придет, что страдания мои не улягутся. Оттого, что не увижу Степана, будет еще хуже. Наступит не короткий, а постоянный страх, может, вечное отчаяние. «Что же случилось?» — спрашивала я себя и не могла ответить. Не хотелось по-бабьи верить в предчувствие беды. Были у меня свои суеверия, приметы, да только не такие, от таких в партизанах все освобождались; воевать с недобрыми предчувствиями нельзя, а тем более выполнять задания, какие выполняла я.

Сделав большой круг, попетляв по закоулкам, вышла на улицу Бакунина, почти к самому дому Степана. И лицом к лицу встретилась с хозяйкой. Она несла воду от колонки. Одета по-праздничному, хотя и был будний день. В воскресенье не видела я ее такой нарядной.

Заметив меня, Христина Архиповна поставила на землю ведра, до оцепенения удивилась и, как показалось мне, испугалась. Прошептала:

— Ва-аля! Ты?!

«Провал»,— подумала я, оглядываясь, мигом прикидывая, есть ли возможность спастись, если в доме засада.

— А у нас свадьба. Степан женится. На Маше!— пропела хозяйка уже без страха, пожалуй, ядовито и мстительно сверля меня глазами. Издевалась, мещанка: мол, вот тебе за твой обман, получай сюрприз. А я засмеялась. Ей-богу, искренне. Так как наступила нервная разрядка. И мне сделалось смешно. Я весело подумала: «Только той и беды, что женится?» Не поверила в такую свадьбу, во всяком случае, в серьезность ее. А Христина Архиповна не поверила мне и уже по-женски сердобольно посочувствовала:

— Как же оно будет, Валечка?

Догадалась я, что она имеет в виду — выследила же нас, старая ведьма,— и уже трезво, рассудительно подумала, что свадьба, безусловно, делается с какой-то неизвестной мне конспиративной целью, а потому я ни одним словом, ни одним движением, даже выражением глаз не должна выдать ни их, ни себя.

— Что как будет? Пускай на здоровье женятся. Они со школьной скамьи дружат. Еще до войны все ждали их свадьбы. Родители наши и Машина мать...— сбила я хозяйку с толку, только глазами захлопала она. И вновь почему-то испугалась. Возможно, в тот момент у нее возникли подозрения более серьезные.

А я только одного боялась, идя в дом,— чтоб не смутить «молодых», особенно когда со двора через открытое окно увидела, что за столом немало людей, и, судя по шуму, уже подвыпивших.

Сидели в зале — в самой большой комнате хозяйки. Я прошла в комнатку Степана, чтоб положить там свой узелок, немного привести себя в порядок, хотя бы причесаться, а главное — набраться духу, придумать, как вести себя. Был в этом и еще один тайный расчет: Христина Архиповна наверняка шепнет Степану, и он выйдет сюда... все объяснит, пускай не словами, достаточно мне увидеть его глаза, и я все прочитаю в них. Но он не пришел. Возможно, хозяйка нарочно не сказала ему, хотелось старухе спектакль посмотреть.

Однако Степан не растерялся, когда я появилась на пороге зала. Поднялся и радостно воскликнул:

— Валька! Сестричка! Вот молодчина! А я уже думал — никто из вас не придет.

Смутилась она — Маша. Покраснела, как-то неестественно заулыбалась мне. Но тут будто вспомнила свою роль и сказала что-то по-немецки человеку в форме железнодорожника.

Меня почему-то поразило, что Маша говорит по-немецки, хотя она и сказала, когда мы шли, что знает два иностранных языка,— это мне тогда показалось шуткой. Но особенно поразило то, что за столом сидят немцы. С оккупантами я встречалась при разных обстоятельствах, но чтоб сесть с ними за один стол... к этому не была еще готова.

Гостей было не так много, как мне показалось снаружи. Человек восемь. Естественно, что все они с интересом рассматривали меня.

Я обратила внимание на немца, с которым заговорила Маша, но тот уже был пьян и особенного интереса ко мне не проявил, видимо, короткое Машино объяснение его целиком удовлетворило. Моментально я нашла того, кто смотрел на меня более пристально. Это был полицейский. Боже мой, кого только тут нет! Взгляды наши встретились. Моложавый, черный, как цыган, мужчина в полицейском мундире глядел так, будто все знал, и недобро, хитро усмехался: мол, пожалуйста, позабавляйтесь. Вспотевшая спина моя похолодела. На память свою я не могла пожаловаться, хорошо помнила, что с этим черным нигде не встречалась, но глаза его почему-то казались знакомыми. Это и испугало. Неужели его глаза когда-нибудь наблюдали за мной вот так же? Где? Когда? На рынке? Из бункера? В селе? Или, может, в одном из наших отрядов? Там, среди своих, я могла и не обратить на него внимания. Но не запомнить его нельзя. А может, это просто нервы? В такой ситуации может показаться, что хочешь. Как бы там ни было, сразу поняла: в такой компании нужна особенная осторожность и ловкость, чтоб не только не сказать ни одного лишнего слова, но не сделать ни одного неверного движения — глазами не показать, не моргнуть, ничего такого, в чем имелся бы тайный смысл или проявились мои чувства.

Я подошла к молодым. Пять шагов — от порога до окна, возле которого они сидели. А казалось, что шла я дольше, чем пятьдесят верст из отряда до города. Я шла на свою свадьбу. И я попала на свадьбу... Вот он, мой муж — в черном костюме, в белоснежной рубашке со смешным галстуком-бабочкой. Никогда не поверила бы, что Степан нацепит когда-нибудь такую бабочку. Скажи, пожалуйста, какой интеллигент! Но почему рядом с ним вместо меня стоит женщина в красивом белом платье (о таком платье я мечтала), высокая, с подрисованными бровями и накрашенными губами? Три недели она жила в моем сердце и заставляла меня душевно страдать. Неужели ей мало моих мучений?..

Но я не имею права смотреть на нее так. У нее уже и без того испуганное лицо. А никто не должен пугаться. Никто. Ни я. Ни она. Пускай немцы боятся нас. А мы любим друг друга. Я люблю тебя, Маша.

— Я поздравляю тебя, Маша. Я рада твоему счастью,— не Степану, а ей первой протянула руки, обняла и трижды поцеловала в губы, в щеки и тут же ощутила, что ее пунцовые щеки холодные, как мертвые.

— Спасибо тебе, Валя, что пришла,— сказал Степан, взяв меня за плечо.

— Спасибо тебе,— прошептала Маша, не выпуская меня из объятий, сжимая все сильнее, горячо целуя в висок.

Я подумала, что уместно было бы и расплакаться, но не могла выжать ни одной слезинки из глаз. Только когда вырвалась из объятий Маши и повернулась к Степану, мое горло сжали спазмы: не могла произнести обычных поздравительных слов. Губы задрожали. Но слез я испугалась и скрыла их, обняв Степана и уткнувшись лицом в его белую манишку, от которой пахло нафталином.

Степан шутливо предупредил:

— Не вздумай зареветь, Валька. Не люблю женских слез. Как там наши? Мама, батька?

Я оторвалась от его груди. Вдруг расхотелось плакать и сделалось почти весело.

— Батька? Обещал отлупить тебя. Как тебе не стыдно? Не мог домой приехать...

За столом засмеялись. Маша перевела эти слова по-немецки. Но, по-видимому, немецкий язык она знала не очень хорошо. Пьяный немец в железнодорожной форме не сразу понял ее, переспросил. Ему объяснил другой, в штатском, немолодой уже человек, лет пятидесяти, с широким лицом и большими кулаками, которые он сжал, будто хотел стукнуть по столу. Я догадалась, что это машинист Фойт, с которым Степан ездит и которого как-то хвалил.

Окончание следует.

Авторизованный перевод с белорусского
М. ГОРБАЧЕВА

Иван ШАМЯКИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ВРАЧНА

Хозяйка принесла табуретку для меня и хотела посадить ближе к «молодым», но полицай перехватил табуретку и втиснул ее между собой и неприметной худенькой девушкой с заостренным личиком и удивительно тонкими пальцами, казалось, такие пальцы никогда не знали никакой работы, хотя вообще вид девушки был простой, явно деревенский, и платье на ней было простенькое, будничное. Она будто была испугана чем-то и явно обрадовалась, когда рядом с ней села я. Вскоре я поняла, чему она могла обрадоваться. Наливая мне водки, полицай незаметно и ловко обнял меня за плечи, а потом ощупал ногу. Знакомые движения: так полицейские не раз обыскивали меня на постах. Было противно. А за такое за столом стоило бы ударить по морде. Но я должна была благодарить его.

— Благодарю, пан начальник.

— Мое имя Яков Рыгорович. А твое — Валя? Валя, да? — недобро, хитро, как бы проверяя, переспросил он.

Степан, видимо, увидел, какую волю он дает рукам, и услышал его слова, поэтому сказал громко, смеясь:

— Яков Рыгорович, Валя, женат, так что можешь не бояться его. Он человек смирный.

— Не слушай его, Валя, только женатых и надо бояться. Холостые, они как телята. Как твой брат до сегодняшнего дня. Сколько раз я хотел его свести с девчатами — отбрыкивался, боялся. Удивляюсь, как Маше удалось обратать его.

— Что есть смирный?— спросил машинист.— И что есть обратать?

Маша долго переводила эти два слова, сто слов потратила, чтобы растолковать их смысл.

За столом, напротив меня, сидели два парня, чем-то неуловимо похожие на Степана и один на другого. Как братья. Оба блондины, плечистые и как-то спокойно-уверенные. Мне они понравились, особенно когда я увидела, как один из них блеснул глазами на полицейского, когда тот лапал меня,— пренебрежительно, с ненавистью. Так же спокоен был и Степан. Его спокойствие передалось мне. Улыбкой я заверила его, что мне все ясно и я сумею поддержать их игру.

Маша не казалась мне такой спокойной, она была возбуждена. А может быть, невесте и надо быть такой? Нет, я заметила: ей хочется следить за мной так же, как следила хозяйка,— глаз не отводила. Но Маше мешал охмелевший немец — пан Кольман, он то и дело обращался к ней, и ей подолгу приходилось объяснять ему, с трудом подбирая слова. Иногда ей помогал Степан. Изредка, когда немец не понимал ее и Степан не мог помочь, тогда они обращались к машинисту, отрывая его от закуски; Фойт мало пил, но удивительно много ел, беспрерывно жевал, не спеша, старательно. Говорил он по-русски плохо, но все понимал, так что переводил легко, не задумываясь, и намного короче, чем это делала Маша,— скажет три слова, и Кольман кивает головой: понято.

Стол был богатый, по военному времени прямо-таки царский. Хватало и выпивки и закуски. Стояла немецкая водка в красивых бутылках и мутноватая самогонка в графинах. Была ветчина, колбаса, пшеничные пампушки, политые маслом, салаты из огурцов и лука со сметаной и просто огурцы — натуральные, молоденькие, свеженькие, наверное, прямо с грядки. Давно я таких лакомств не только не пробовала, но и не видела. Есть мне хотелось, и я могла бы хорошо поесть, так как немцы и «молодые» занялись своими разговорами и вроде бы забыли обо мне. Могла б... если бы не полицай-сосед и не Христина Архиповна. Они не забывали. Они все свое внимание уделяли мне. Я не знала, куда скрыться от их глаз и... от его рук.

Полицай потребовал выпить штрафную, тыкал рюмкой в лицо и лез ко мне со своими лапами. Было так противно, что я начала бояться за себя — не выдержу.

Степан, видимо, заметил это и деликатно обратился к нему:

— Яков Рыгорович, не спаивайте мою сестру.

— Есть тост,— сказал полицай.— Выпьем за наших сестер, которые приносят нам...— повернулся ко мне и спросил: — Что ты приносишь брату? Сало или мины? — и захохотал.

— Шутник вы, Яков Рыгорович.— Степан тоже засмеялся.— У вас есть сестры?

— О, минен,— грустно вздохнул машинист, вспомнив, очевидно, сколько эшелонов летело под откос.

— Есть.

— За ваших сестер выпьем,— предложил Степан.

— Нет, за моих сестер не будем пить,— строго приказал полицай.— А за твою сестру выпью. За то, что пришла к тебе. Не побоялась. Мои не приходят. Мои и на похороны мои не придут...

Он опрокинул большую стопку и снова уставился на меня, потребовал:

— Выпей.

Я была вынуждена глотнуть водки, она обожгла мне все нутро.

Выслушав перевод, поднялся Кольман и начал говорить, размахивая вилкой.

Маша переводила его:

— Пан Кольман предлагает выпить за невесту. За меня. Пан Кольман говорит, что за десять дней моей работы на диспетчерской товарной станции они, немцы, полюбили меня. Что я не похожа на русских... что русские так не умеют работать...

Тут его перебил Фойт, сказав, что умеют работать и русские, и привел в пример Степана.

Окончание. См. «Огонек» №№ 30—34.

Я НОЧЬ

Это Маша перевела. А потом долго не переводила, о чем говорили меж собой немцы. Я увидела, что один из парней — Толя — знает немецкий язык, но не выдает этого. Полицай улавливал отдельные слова.

— Верно! Немцы — великая нация. Они еще покажут культуру! — и вдруг гаркнул:— Хайль Гитлер!

Кольман удивился, посмотрев на него, должно быть, полицай выкрикнул некстати, но поддержал, выбросив руку над столом:

— Хайль!

А потом стал говорить о великой миссии арийской расы и о близкой победе. И о том, что он, Кольман, раньше, до приезда сюда, считал, что все русские одинаковы — фанатики и дикари, а тут понял: русские разные; есть среди них такие, как Маша, Степан, и что в этом нет ничего особенного — посмотрите на них (эти слова Маша с особенным усердием переводила), даже внешне они похожи на арийцев. Что он, Кольман, по внешности научился узнавать, который русский — друг, который — враг.

Тут даже полицай не выдержал, буркнул:

— Черта два их узнаешь! На лбу не написано.

А Фойт склонился над тарелкой и жевал ветчину с таким видом, будто у него болели зубы.

Кольман долго доказывал, что Маша и Степан — счастливые люди, что женятся они в знаменательное время, перед великими событиями, перед какими — то ли он не сказал, то ли Маша не перевела.

Как часто бывает у пьяных, немец забывал, о чем уже говорил, стал повторяться, толочь воду в ступе и никак не мог закруглиться, не мог вспомнить, чем надо закончить речь.

Ему помогли Толя и Виктор, они вдруг дружно крикнули:

— Горько!

Кольман удивился такому беспорядку, зло посмотрел на них, но парней поддержал Фойт, объяснив что-то по-немецки, и при этом смешно сморщился.

— Ой, горько... Горько!

Они встали, Степан и Маша. И тогда у меня впервые замерло сердце. Я забыла о хозяйке, о полицае. Обо всем забыла. Я только хотела увидеть, как они поцелуются.

Поцеловались они... как настоящие молодые, нежно и умело. Но главное, как она, Маша, смотрела на него перед поцелуем! Можно изобразить любовь, ласку, ревность, равнодушие. Но нельзя женщине сыграть страх за него — за мужа. Я знала этот страх, после той счастливой майской ночи он часто овладевал мной. И я прочитала женский страх за мужа в Машиных глазах. Покачнулась моя уверенность в том, что это конспиративная свадьба. Припомнились Володины слова: «Этот паровозник — хват. Возле него такой лакомый кусок близко не клади... Стащит...»

Представилось, как они целовались одни, может, там же, в шалаше, и кровь ударила в голову. «Неужели он такой? Нет, нет, не может быть. Он ведь честный, добрый».

Но как ни убеждала себя, что Степан не такой, легче от этого не становилось. От водки, еды, усталости, напряжения — ничем не выдать себя! — от сердечной боли кружилась голова, и лица плыли, как в тумане. Почему вдруг таким встревоженным оказалось лицо Степана? Посмотри сюда! Успокой меня без слов. Глазами я все прочту в них. Да не смотрел он так. Смотрел, но на полицейского. Гость этот почему-то больше привлекал его внимание. И все приобретало иной смысл. Какая мерзкая ухмылочка у хозяйки: обо всем знает, наверно, их тоже выследила. Долго молчала, старая, а тут вдруг разговорилась — свадебные поговорки припомнила. Но и поговорки показались двусмысленными.

А полицай, паскуда, лапал руками по моим коленкам. О, как хотелось схватить тяжелую бутылку и расквасить его поганую морду!

Все перемешалось в моей душе, в моей голове, и я плохо помню, кто еще что говорил. Но вообще-то такой пьяный шум, беспорядочный гомон и в спокойном состоянии запомнить невозможно. А в моем сердце... что там тво-

рилось? Помню, Толя читал стихи Есенина «Как жену чужую, обнимал березку».

«Как жену чужую...» Я это запомнила. Мне было действительно горько: «Кто же тут чужая жена?»

Кольман попытался исполнить немецкую песню, наверное, популярную в Германии, но песню никто не подхватывал. Он потребовал:

— Пойте!

Как наседка, стрекотала подвыпившая хозяйка, все ее смешило. Разговорился Фойт, хвалил Степана: отличный машинист, ему уже можно доверять паровоз. Доказывал это Кольману по-немецки, всем другим — по-русски, неимоверно коверкая слова не только русские, но и немецкие, так как Кольман тут же поправлял его.

«Кто же тут чужая жена?»

Противно, по всему телу пробегала дрожь, дышал в ухо самогонным перегаром полицай. Наверное, подумал, что и я пьяная, раскисла так.

— Как там наши?

— Кто?

— Партизаны,— только пошевелил губами.

Тут я встрепенулась. Возмутилась. Сказала во весь голос:

— Что это вы, дяденька? Я их в глаза не видела. От нас лес пятнадцать верст. А если они ваши, то идите целуйтесь с ними.

Полицай захохотал. А Степан погрозил мне пальцем, потребовав, чтобы я более вежливо разговаривала с гостем.

С этого момента я снова чутко прислушивалась ко всему, о чем говорилось за столом. И почти убедила себя, что свадьба конспиративная. Да ненадолго. Степан принес гитару, чтоб Маша спела, а перед этим он сказал Кольману, что тот не знает еще одной способности новой сотрудницы диспетчерской службы. Маша переводила эти слова с трудом, смеясь.

И гитара тут. И обожгла она мысль не менее больно, чем их поцелуй и страх за мужа, какой увидела в ее глазах. Маша долго перебирала струны, раза два начинала петь и прерывала пение. Потом запела старинную, никому не известную свадебную песню. Не песню, а плач, голошение:

Заплети-ка, подруженька,
Да мою косу русую!
Да вплети-ка, подруженька,
В мою русую косыньку
Еще сабельку вострую!

Странно, почему эти слова так взволновали меня. Просто, видно, нервы не выдержали. Я зарыдала. Встала, чтоб выбежать из-за стола, но полицай, как обручем, сжал мою руку.

— Чего заревела? Замуж захотела? — грубо пошутил он.

— Что с тобой, Валя?

Степан! Он не знает, что со мной? Его вопрос еще больше разжалобил меня. Хотелось биться лицом, головой о стол. Маша следила за мной. Со страхом и тоской. Я видела ее глаза. Она словно бы прощалась со мной перед смертью. Чьей? Но я не злилась на нее, это я хорошо помню. И на Степана я не злилась. Только смертельная тоска и отчаяние овладели мной. И желание умереть. Впервые возникло такое желание.

Что-то говорил Кольман. Но Маше было не до перевода. Как дети, успокаивали меня Толя и Виктор, робко, смущенно.

А Христина Архиповна подбежала ко мне, обняла, загородила от всех, даже прикрикнула:

— Чего вы прицепились к девке? От такой песни любая баба заревет. Выпило дитя, утомилось... Брат женится... Война идет... Пойдем, Валечка, полежишь, отдохнешь.

И повела меня в свою спальню. Там, укладывая на кровать, прошептала:

— Не горюй, дитятко, твое счастье впереди. Если оно есть у тебя, то не минует. Ох, чего только война не натворила!

Вскоре мне стало стыдно за свои слезы, за желание умереть. Партизанка называется! Появилось ощущение, будто я отступила, убежала с самого трудного поля боя. Но возвращаться назад, в зал, не хотелось, и, притихшая, утомленная дорогой — легко сказать, пятьдесят километров! — исстрадавшаяся душой, я... заснула. Когда разошлись гости, не слышала. Проснулась от тишины. Смеркалось. На улице перед домом росли липы, и в узкой комнатке было уже почти темно. Я испугалась: начался комендантский час, когда без ночного пропуска не пройдешь. А я засыпала и спала с мыслью, что мне надо скорее уйти отсюда. Мысль такая возникла не столько от обиды, сколько от уставного положения разведчиков: большой группой не ночевать в одном месте.

Хозяйка мыла на крыльце тарелки. Встречаться с ней не хотелось; странно, я чувствовала себя перед ней виноватой. Почему?

Неслышно прошмыгнула на кухню и заглянула в комнату Степана. Оттуда, с западной стороны, небо еще пламенело багрянцем, и в комнате было светло.

Они сидели там. Степан и Маша. Не как молодожены. Не в обнимку. За столом, напротив друг друга. Кажется, Степан что-то писал, так как сразу скомкал бумагу. Спросил:

— Отдохнула?

Я не ответила. Это их явно смутило. Странно, что такой говорун, как Степан, молчит, будто язык проглотил, и за столом он был не очень красноречив. Нерадостно на душе? Откуда ей быть, той радости?

Я спросила в упор:

— Зачем вам эта свадьба?

Маша посмотрела на Степана, ожидая объяснения от него, а он кивнул на открытое окно и таинственно прошептал:

— Тише ты.

Я подошла к окну, послушала, как бренчит тарелками и вилками Христина Архиповна, плещет водой. Крыльцо от окна вон где, с другой стороны. Кого он боится? «Просто не хочет отвечать»,— подумала я.

Захотелось сказать им что-то неприятное:

— Помогли б посуду старухе помыть. Господа.

На это они тоже ничего не ответили.

Тогда я сама высказала свое мнение о свадьбе — ударила безжалостно:

— Дерьмовые вы конспираторы. Провалите вы дело. Всякой сволочи наприглашали. Устроили театр...

— Валя! — с угрозой предупредил Степан. Подошел и закрыл окно. — Ты глупо ведешь себя. Распустила нюни...

Я огрызнулась злобно:

— Ты умник!..

Но тут же подумала: действительно, неуместно. Зачем нам ссориться? Что я докажу этим? Только унижу себя. В тот же миг я почувствовала особенную гордость. И вновь устыдилась слез своих. Поклялась, что больше не заплачу ни от какого горя, разве только от бессилия. Но бессильными нельзя быть в такой борьбе. Они гибнут, а мы должны победить. Нет, силы у меня хватит. На все.

Помолчав, я сказала:

— Поженились — живите. А я пойду.

— Куда?—Степан загородил мне дорогу.— Никуда ты не пойдешь! Ночь уже. Тут командую я.

— Эх ты, командир!

Обошла его и направилась к двери через кухню, все еще наполненную запахом свадебных блюд.

— Валя! — строго крикнул Степан, шагая вслед за мной.

Я поняла: не отпустит он меня. Не драться же нам у двери, при хозяйке. Да и у самой уже включились тормоза предосторожности: идти с моими сельскими документами в такое время — большая глупость, не они, а я могу провалить не одну себя. Да и собой не имею права рисковать! Завтра надлежит вывести людей в лес. И заменить меня некем, Павел Адамович сказал. Ускорила шаг, чтоб Степан не догнал меня на крыльце. Хозяйки не было — понесла тарелки в комнату. От крыльца я повернула не к калитке на улицу, а в сад.

Степан остановился.

Возле шалаша упала я на колени и полезла под брезент, в черную пропасть. Что меня потянуло сюда? Не знаю. Может, злость? На себя, на свою дурь. Тут, в собачьей конуре, была твоя свадьба, сюда и залезай со своим горем. Или назло ему, Степану, чтоб напомнить о том, что было между нами, и хлестнуть по глазам: пускай и ему будет больно, если есть совесть. А может, надежда не угасла, жила в подсознании: я твоя жена, и я иду на нашу брачную постель.

Не разобралась ни тогда, ни позднее, что привело меня в шалаш. Помню только, что не обрадовалась, а испугалась, когда услышала шаги Степана. Скорчилась, притаилась: неужели идет сюда? Нет, он остановился и долго стоял молча, я слышала его дыхание. Потом тихо позвал:

— Валя!

Я не отозвалась.

Еще раз позвал, приподняв брезент, наклонившись.

Я молчала.

Он вздохнул и пошел назад, в дом.

Пускай. Мне действительно не хотелось разговаривать, не хотелось даже слышать, что эта свадьба — обыкновенная маскировка. С безжалостной жестокостью к себе подумала: нельзя придавать так много значения своей персоне. Кто я такая? Незаметная связная. Худющая девчонка, на которую даже в отряде мало кто посматривал. И что же это со мной случилось? Случайно сошлась с парнем? Так хватит с тебя и этого. Стоит ли в такое время думать о чем-то большем? Вокруг рушится и ломается все, гибнут люди. И сама ты можешь погибнуть в любой момент. Так смешно же устраивать трагедию из-за того, что поломалась твоя короткая любовь. Она и не могла быть прочной в такое время. Недаром говорят: везет в одном — не везет в другом. Даже мысль о том, что они, возможно, лежат в брачной постели, не наполнила меня ни гневом, ни злостью. Мною овладела томящая слабость, будто я истекала кровью. Вспомнилась собака Пальма, которая была у нас перед войной. Однажды утром она не вылезла из своей конуры, как ни звали ее. Только глядела на всех грустными-грустными, даже не собачьими глазами, казалось, вот-вот из глаз этих покатятся слезы. Потом отец увидел, что ночью кто-то пропорол ей вилами живот. Так она и сдохла молча, не заскулив, не завыв. Меня слозно бы тоже ранили в живот. Я почувствовала боль и зажала рану руками, кусая сухие, горькие, наверно, попала полынь, стебли травы. Жалости к себе не было, к себе я все еще была беспощадна. Но похолодела от мысли, что там, в теле моем, зародилась новая жизнь, а теперь она умирает, потому и больно так. Это испугало. Я не хотела, чтоб она умерла. Я хотела, чтоб она жила. Несмотря ни на что. Я просила ее остаться жить, воскреснуть в моем сыне.

Потом я не могла вспомнить точно: действительно ли болел живот, или просто мне казалось так. И не помню, сколько времени я лежала, слушая только себя и ничего больше, не думая даже о них и обо всем, что произошло. Встрепенулась от того, что кто-то залез в шалаш. Степан? Нет, голос Маши:

— Не спишь?

Я не ответила, но она, безусловно, слышала, что я не сплю. Может, я стонала от боли, а она стояла и слушала.

— Уже за полночь. В такую ночь не заснешь.

— Конечно,— сказала я.

— Ты не о том думаешь.

— Ты знаешь, о чем я думаю?

— Догадываюсь.

Она легла рядом, прижалась ко мне горячим телом. Казалось, что ее лихорадило. «Почему? — подумала я.— Испортила вам брачную ночь? Не обращайте внимания. Иди к нему».

Странно, ее близость успокоила меня. Теперь я прислушивалась не к себе — к ней.

— Уже за полночь,— снова сказала Маша.— Прошло больше двух часов, как стемнело. В Москве темнеет раньше.

О чем это она?

— Ты знаешь, сколько от линии фронта до нас? Ты знаешь, что там творится? Под Орлом и Курском.

Я знала, что там творится, но не об этом хотелось говорить с ней. Я снова спросила:

— Зачем вам эта свадьба?

Она усмехнулась.

— Ты не знаешь, зачем люди женятся, выходят замуж?

Она еще шутит! У меня вспыхнула та женская злость, какой я еще не знала. И я крикнула гневным шепотом:

— Он мой! Мой!.. Мы давно поженились. Неужели он не сказал тебе? Неужели ты не видела сама?

Она замолчала, только чаще задышала, потом отодвинулась от меня и притаилась так, что какой-то момент не было слышно ни дыхания, ни шороха сена под ее телом.

Подумала, что мои слова — тяжкий удар для нее, и порадовалась, что отомстила: пускай же и у нее не будет покоя и счастья.

Но, помолчав, она ответила:

— Если твой — забери его, пристегни к юбке и води за собой. Если сможешь... Мой — твой... О чем ты думаешь, баба?

Я зашипела все с той же гневной злостью:

— А ты о чем думаешь? Ты не баба, ты культурная! Про одну ночь?

— Я? — Она вдруг снова придвинулась ко мне, навалилась тяжелым, горячим телом и зашептала в ухо:— Да, про одну ночь. Про эту ночь... Ты не знаешь, какая она будет. Подожди. Подожди немного.

Неужели готовится что-то необычное? А я, дура, живу только своими личными переживаниями. Стыдно. Но тут же появилась новая тревога.

— Где Степан?

— Ушел.

— Куда?

— На задание.

— На какое задание?

— Тише ты! Сама же говорила: все тут имеет уши.

Я замолчала, думая уже совсем по-другому о Степане: куда, на какое задание он пошел? Думала с новой обидой, с новой ревностью: почему я не знаю ничего, я имею право тут знать больше, чем она, Маша, вся его подпольная работа связана со мной. Но вспомнила, что он стоял тут, звал меня, может, хотел сказать, куда пойдет, а я не отозвалась, глупая, теперь корила себя. И за злые слова, что сказала Маше, стало неловко. Действительно, веду себя нелепо, не о том думаю, не о том говорю, не то делаю. Никогда со мной такого не было, почти два года все мои мысли, вся жизнь, каждый день и миг были подчинены борьбе с лютым врагом. А тут вдруг начала думать о себе, а не о жизни, не об опасности — о замужестве. Разве не позорно заниматься в такое время устройством своего благополучия? Но что сделаешь с глупым сердцем? Болит оно, ревнует. Если бы я могла ко всему относиться просто и легко, как умеет она, эта странная разведчица. А так ли уж легко она относится ко всему, как проявляла себя в дороге? На свадьбе сегодня она выглядела совсем другой — серьезной, сосредоточенной и... грустной.

О чем это она говорит? О своей работе в диспетчерской...

— ...Этот рыжий Кольман предлагал свою любовь... Любовь фашиста! Они еще смеют говорить о любви! Как я ненавижу их! Как ненавижу!.. Если б ты знала... если б ты знала, как это тяжело, мерзко, больно — так ненавидеть и работать с ними, улыбаться, выслушивать комплименты...

Это будто ответ на мой вопрос: «Зачем вам эта свадьба?» Поэтому я затаила дыхание, внимательно вслушивалась в ее горячий шепот и вновь почувствовала, что она дрожит, как от холода. Я инстинктивно плотнее прижалась к ней и обняла ее.

Нет, слова ее не успокоят меня.

— Я ненавижу дни. Это страшно, Валька, ненавидеть день, свет, солнце... Ты переживала такое? Я полюбила ночи. Они давали мне покой и... радость... — У меня снова больно сжалось сердце: как ее понять? Какую радость ей доставляла ночь?

— ...Помнишь, ты спросила в дороге, кто у меня есть. Я сказала: не надо, Валя, об этом. Так нас учили. А почему не надо? Почему? Что изменится, если я скажу тебе об этом? А может, станет легче на душе? Да, наверное, уже можно. В эту ночь все можно. У меня есть отец, он на фронте, офицер. И у меня есть сын, Сережка, ему два годика...

У меня счастливо забилось сердце: вот оно, успокоение! Если б она еще сказала: и есть муж. Нет, этого она не сказала. Говорила о сыне:

— Как он плакал, когда я в последний раз проведала их! А мать предупреждала, чтоб я не простудилась. Для них я служу в войсках Московского противовоздушного округа связисткой. И я действительно боюсь простуды. Смешно, правда? Не боюсь умереть — боюсь простудиться. Почему ты молчишь, Валя? Скажи что-нибудь. Не молчи.

— Что тебе рассказать?

— Как ты жила до войны. Мы двое суток шли с тобой и так мало знаем друг о друге. Так же нельзя. Нельзя. Неправильно это, что от нас требовали никому не рассказывать о себе... Почему? Знаешь же, учат многому тому, что вовсе не нужно в нашей работе. И упускают иногда главное, что так необходимо. Почему? Я не скажу тебе, так как и сама не знаю, не поняла еще, у меня небольшой опыт, это второе мое задание... Но я все время чувствую, что мне чего-то не хватает. У тебя нет этого ощущения, Валя? Ты все умеешь, все понимаешь? Да? Ты и ненавидишь их спокойно. По-мужски. Это разумная ненависть. Я сказала бы, здоровая. С такой ненавистью легче, правда? Почему ты молчишь? Говори! Говори!

Но говорить мне не хотелось. Я хотела слушать ее, интересно было, как она вдруг раскрывалась. Но такая ее возбужденность и тревожила. Почему она такая?

— Куда пошел Степан?

— Опять Степан! Ты все время думаешь о Степане? О несчастная! Нельзя, Валя, нельзя нам с тобой и всем таким, как мы, думать о тех, кого мы любим. Это парализует волю. Порождает страх... А мы должны быть бесстрашными! Мы должны быть бесстрашными!..— повторила она.

— Куда пошел Степан?

— Иди ты к черту со своим Степаном! Почему ты повисла у меня на шее? На ней висит петля!

— Маша! Замолчи! Чего ты злишься? Ты как пьяная. Успокойся.

— Да, я пьяная. От ночи! Моя брачная ночь!— Она нервно рассмеялась.— Какая ночь! Тихая-тихая... Только пыхтят паровозы. Ты слышишь, как они пыхтят? И свистят кондуктора. Зачем мы залезли в эту конуру? Вылезай! Ляжем и будем смотреть на звезды. И слушать паровозы. Их много тут, паровозов! Ты знаешь, Степан любит паровозы. И жалеет их. Ему подорвать паровоз — все равно что человека. Дурак. А я сегодня люблю самолеты.

Наши. С красными звездами на крыльях. Вылезай. Поглядим на небо. Хочешь, помолимся? Ты умеешь молиться? А я умею. Нас учили. Чему только нас не учили! Ах, если б я теперь могла сдавать экзамен на актрису! Ни черта он не понимал, Игорь Петрович! «Актрисы из вас не будет». Идиот! Не тому он учил. Учить актеров надо там, в нашей школе. И тут, в диспетчерской... на моей свадьбе...

Я не откликнулась на ее призыв вылезти из шалаша, чтобы посмотреть на звезды, а она забылась и снова говорила-говорила. Я слушала ее с интересом и страхом и тут же подумала: не рехнулась ли она? Почему она не говорит, куда пошел Степан? Боится, что все тут имеет уши? Но если до этих ушей дойдет то, о чем она тут наговорила...

Наконец она затихла, видимо, к чему-то прислушивалась, так как спросила:

— Ты ничего не слышишь? — и быстро вылезла из шалаша.

Я немного подождала и тоже выбралась из темноты, наполненной запахом слежавшегося сена и железа.

Ночь стояла безлунная, но ясная, звездная, казалось, было светло. Маша лежала прямо на стежке, где трава вытоптана до черной земли. В шалаше не было видно, во что она одета, и меня поразило, что она в том же белом свадебном платье и лежит в нем на земле.

Я легла рядом. Не помню, сколько мы пролежали там, помню, что ни о чем больше не говорили. Вслушивались в ночные звуки, откуда-то донесся одиночный выстрел, недалекий, пожалуй, с Мохового переезда. Мне опять захотелось спросить, куда же пошел Степан.

Да вдруг заревели сирены воздушной тревоги. И сразу же по небу полоснули кинжалы прожекторов. Лучи лихорадочно кидались снизу вверх, с горизонта до зенита, перекрещивались, искали один другого, прощупывали небо и расходились в разные стороны, чтоб снова начать сближаться. Потом лучи направились в одну сторону и застыли где-то над Новобелицей.

Тогда Маша обняла меня... и радостно зашептала:

— Летят! Наши летят! Родные мои! Быстрее! Быстрее! Подожди. Подожди минуточку. Сейчас наши устроят Варфоломеевскую ночь фашистам. Летят!— Ее уже лихорадило, и от возбуждения она снова начала говорить.

Рассказывала, что немцы начали наступление под Орлом и Курском. Свое новое летнее наступление. Как прошлым летом на Сталинград. А наши... наши не только не отступили, наши прорвали их фронт и теперь наступают. Об этом я слышала в отряде.

Гитлер хочет заткнуть прорыв под Орлом и Курском. Бросает туда новые дивизии. Немцы гонят эшелон за эшелоном. А на железных дорогах успешно действуют партизаны. Двое суток закрыта дорога на Брянск, а с прошлой ночи и на Бахмач. В Гомеле скопилось больше двадцати эшелонов с живой силой и техникой. Среди них какой-то особый эшелон, два десятка классных вагонов с генералами и офицерами. Какой-то штаб, наверно. Состав этот тщательно охраняется, засекречивается, даже в диспетчерской никто ничего не знает. Его загнали в тупик к речной пристани.

— Сегодня утром мы обо всем этом сообщили в Центр. Я сама была на связи. С Анькой. Помнишь Аньку, что прилетела со мной? Получили ответ: ночью ждите гостей. Покажите ракетами наиболее важные цели. Ребята пошли на товарную, на пассажирскую.

— И Степан? — спросила я.

— Степан — на пристань, к особому эшелону. Он же руководитель, он пошел на главную цель.

Странно, почему она не сказала об этом в шалаше? Может, Маша суеверная и опасалась: а вдруг не прилетят? На войне всякое бывает. А она так ждала их, и если бы налет не состоялся, то это было бы для нее большим ударом. А теперь необыкновенно радовалась. Когда в небе послышался гул многих моторов, стиснула меня так, что казалось, затрещат кости.

— Слышишь, Валька? Слышишь? Какая музыка! Лучшей я не слышала за всю жизнь. Слушай, слушай! Запоминай.

Такая радость ее, совсем детская, передалась мне, я забыла обо всем другом, о своих душевных страданиях. То, что я наконец узнала, куда пошел Степан, странным образом успокоило меня. Так всегда случалось, когда я получала задание и знала опасность, какая могла настичь. Это так естественно, что Степан пошел на главную цель. Мне тоже все время хочется получить особое задание, такое, чтоб стрелять, взрывать, хотя я хорошо знала важность работы связной. О том, что Степан может попасть под бомбы, не думалось. Будут же падать наши бомбы. Подумала о другой опасности: что ракетчиков, безусловно, будут ловить. Но это все равно что в бою: многое зависит от твоей ловкости, умения. А Степан все умеет, в этом я не сомневалась, потому и успокоилась, охваченная другим волнением, тем же, что и Маша,— ожиданием самолетов.

Жители привыкли к частым тревогам, и, пока выли сирены, в домах вокруг было тихо. Но как только ударили зенитные батареи, захлопали двери, в соседних садах замелькали белые привидения. Хозяйка Степана тоже выскочила в сад в одной сорочке, чуть не споткнувшись о нас, испугалась, бросилась в сторону. Узнала — позвала:

— Прячьтесь в убежище.

В дальнем углу сада выкопана яма — убежище, Степан накрыл его сверху шпалами, и там было действительно почти безопасно, разве только прямое попадание могло превратить убежище в могилу. Но мы не пошевелились. В это мгновение самолеты шли над нами, одна эскадрилья, вторая... Гудело все небо. Лихорадочно метались прожектора. Но вдруг свет их померк. Загорелись сброшенные на парашютах осветительные ракеты. Осветили весь город. Такое зрелище я наблюдала впервые.

Маша шептала:

— Ты видишь, ты видишь их? Гляди — вон!

Нет, самолетов я не видела, нельзя их было увидеть в черноте неба. Только вспыхивали красно-зеленые букеты разрывов снарядов. Один раз на короткий миг в белом свете лучей блеснул серебряный мотылек. Все прожектора устремились туда, скрещивали свои холодные лезвия. Туда же пушки начали бросать горящие букеты.

Маша умолкла, притаила дыхание, полная страха за эту серебристую птицу, попавшую в огонь.

Самолет скользнул вниз. Подбит или спикировал?

Всколыхнулась земля: первый бомбовый залп взорвался близко, на пассажирской станции. Там шугануло вверх высокое, яркое пламя, наверное, попали в цистерны с бензином.

Потом самолеты, заходя повторно на цели, ходили по кругу на небольшой высоте — моторы со звоном ревели со всех сторон, заглушая собачий лай зениток и пулеметов.

Шлепались в сады, пробивали крыши домов осколки снарядов. Но мы не обращали на них внимания, даже не сразу сообразила я, что это свищет вокруг и падает на землю, так как под таким зенитным огнем никогда не была. Но это был слепой огонь, по невидимым целям, палили в белый свет, как в копейку. А наши летчики видели свои цели — эшелоны. Их показали ракеты подпольщиков, правда, из-за деревьев и вспышек батарей мы с Машей не видели этих ракет. А потом пожары осветили цели, горели все станции — товарная, пассажирская, пристань в Новобелице. В саду посветлело от отблесков пожаров.

Теперь говорить хотелось и мне — я была взволнована и обрадована этим налетом, такого моря огня не видела за все два года войны: были налеты, когда я ночевала в городе, но не такие массированные.

Все шире разгорались пожары. Стихли зенитки — захлебнулись или поняли, что зря тратят снаряды.

Небо заволокло черным дымом. Тяжелый и едкий, он оседал на землю, раздирал грудь. В соседнем саду кто-то натужно кашлял, хрипел, задыхаясь.

— Может, раненый? — сказала я.

— Черт с ним,— отозвалась Маша.

Поразила меня такая ее черствость к людям — наши же люди, не оккупанты! Разве она знала, что за человек там задыхается. Или она все еще считает, что каждый, кто остался тут, кто не пошел в партизаны, враг?

Загадочная и странная она, эта Маша, думала я, как быстро и непонятно меняется ее настроение! Как нежно, с умилением говорила она перед налетом о родителях своих, о сыне — и вдруг это беспощадное: «Черт с ним...»

Самолеты, видимо, шли поочередно: отбомбились одни — их сменили другие. Было такое впечатление, что они беспрерывно висят над городом.

Маша коротко похвалила летчиков или командование:

— Молодцы! — и замолчала.

Наконец в небе наступила тишина. На земле все гудело, трещало, рвалось — все было охвачено пожарами, потухли прожектора. Кажется, подул ветер, так как зашелестели листья, разорвалось дымное облако, блеснули звезды. Вылезла из ямы хозяйка Степана — Христина Архиповна, помолилась, глядя на небо.

— О божечка! Содом и Гоморра. Думала, конец света настал. Это же надо так бить по своему городу!—И вдруг заругалась на нас:— А вы лежите? В другой раз за косы потащу в укрытие. Дуры смелые! Степан каждый раз прятался.

Я думала, что Маша ответит ей, и боялась, что скажет недозволенное. Маша смолчала. Мне она тоже, кажется, не сказала больше ни слова.

Под утро стало холодно, но мы не пошли в дом и не полезли в шалаш. Земля под нами была теплая, не хотелось отрываться от нее.

Мы ждали Степана. Я в особенности. И была уверена, что она тоже ждет. И я страдала оттого — стыдно сказать теперь! — что мне не хотелось делить с Машей это ожидание. Хотелось ждать одной... Всю жизнь. Но в этом было что-то и нехорошее — почему я думаю все о своем, личном после того, что произошло.

Тогда мы все стыдились своих интимных переживаний. Но не думать я не могла. Радовало разве одно — враждебность к Маше исчезнет. Вдруг мне стало жаль ее. Это хорошо запомнилось, потому что с этим чувством я заснула. Снилось, что снова летят самолеты, гудят. Проснулась от сильного толчка. На улице возле дома урчали моторы, бухали тяжелые солдатские сапоги о землю — прыгали с грузовика. Ломились в калитку.

— Гестапо. Уходи! — кажется, совсем спокойно сказала Маша, помогая мне подняться.— Там доска, знаешь?.. Через сад и двор выходи на Островского... Если они не окружили кварталы.

— А ты?

— Меня не возьмут. Я с ними объяснюсь...

Рассуждать было некогда. Да, у Маши документы служащей железной дороги, она знает немецкий язык, а мне лучше исчезнуть, так как гестапо легко установит, чья я сестра, откуда.

Я уже открыла калитку во двор глухого старика и осторожно выглянула на улицу, нет ли гестаповцев, когда там, в оставленном мною саду, где сначала слышались немецкие команды, послышался пистолетный выстрел, завизжала, потом тонко заскулила, наверное, издыхая, собака. Вслед за тем зло застрочили автоматы. Их перебил взрыв гранаты. Потом кричали и ругались по-немецки...

Все утро я пролежала в руинах школы, глотая слезы горя, гнева, отчаяния — отчаяния от беспомощности: я не могла даже предупредить Степана, не знала, как это сделать; он может вернуться домой и напороться на засаду или пойдет на паровоз, я его схватят там. А может, его взяли, когда он пускал ракеты, потому и гестаповцы заявились? Надо было предупредить своего командира, Примака,— с ним Степан имел связь. Если Примак уцелел, может, ему удастся спасти парней из Степановой группы. Но Примак жил на улице Плеханова, по другую сторону железной дороги, а ее в то утро перейти было невозможно: дорога усиленно охранялась.

Я плакала о Маше. Почему она не пошла со мной? Почему не попыталась спастись? Хотела прикрыть меня и, жертвуя собой, спасти? Плакала от злости на себя, что плохо думала о ней. Перед лицом смерти какими мелкими показались все мои чувства в последние три недели. Хотелось так же умереть, как она,

с оружием в руках и прикрывая товарищей. Меня если бы нашли там, в руинах, то взяли бы очень просто. Чем могла я защищаться? Чем могла убить себя, чтобы не попасть в их лапы?

Однако мне удивительно везло: под вечер я все-таки пробралась к Примаку.

Три дня сидела у него на квартире, хотела узнать про Степана: где он, что с ним? Но полиция ничего не знала, даже тот черномазый гад, Яков Рыгорович,— Примак встречался с ним, пытался разведать, не он ли выдал группу Степана.

На четвертый день Примак пришел домой с почерневшим лицом. По его виду я все поняла. Он сказал коротко и сдержанно:

— Мужайся, Валя. Их повесили. Степана и еще двоих. На привокзальной площади. Сегодня. Я оттуда... Полиция сгоняла народ на казнь...

Я не заплакала. Слезы мои за те дни окаменели. И сердце окаменело. Но я сказала, что пойду попрощаться с ним. Примак возражал: возле виселицы оставлены переодетые агенты СД и полицаи, следят за каждым, кто приходит к повешенным.

Я не могла не пойти. Дала твердое обещание, что близко не подойду.

Примак сопровождал меня в полицейской форме, с пистолетом.

Виселицы были направо от вокзала, на пепелище барака пригородных касс. Я выполнила обещание, смотрела издалека, с Комсомольской улицы, через зловеще пустую в тот день площадь. Люди жались к коробкам сгоревших домов.

Я издали узнала Степана. На груди у них висели фанерки с надписью: «Я подавал сигналы большевистским самолетам». Про надписи мне сказал Примак.

Был ветреный день. Ветер раскачивал их тела и, как у живых, лохматил волосы. Все трое были светловолосые, как братья. Больше я ничего не увидела, ветер засыпал глаза песком и пеплом.

Не помню, как, когда, по какой дороге вывел меня из города Примак...

...Я познакомился с Валентиной Андреевной в санатории. Мы сидели в столовой за одним столом.

Гуляя по лесу — нас было человек шесть,— мы, немолодые уже люди, вспоминали прошлое: войну, где и как кто воевал. Каждый что-то рассказал — были в компании и фронтовики и партизаны, была минская подпольщица, она особенно много рассказывала.

Валентина Андреевна молчала.

Выглядела она моложе многих из нас, и я считал, что в войну она была подростком, поэтому спрашивать у нее о том времени вроде бы и неделикатно было. Но ее выдала соседка по палате, с которой она вместе жила.

— А Валя тоже партизанила.

Тут, конечно, мы к ней пристали с расспросами. Рассказала она только, как спряталась в куче хвороста и как каратели хотели поджечь хворост, но зажигалка не сработала.

Дня через два вышли мы как-то вместе из столовой после обеда, и Валентина Андреевна обратилась ко мне:

— Знаете, вам одному хочу рассказать о своей судьбе... о горе своем и... счастье. Никому не говорила... мужу своему... второму,— сказала это и как бы испугалась, даже оглянулась: — Боже мой!.. Второму... А был ли он у меня, первый? Я всегда думаю об этом... Кто из нас его жена? Я? Или она, та, с кем его повенчала смерть?..

Она рассказывала до самого ужина. Я спросил, можно ли записать все это и опубликовать. Она не сразу ответила. Потом нам помешали соседи по столу, подошли, начали подшучивать над тем, что мы слишком долго гуляем вместе.

Дня через три Валентина Андреевна уезжала из санатория. На прощание сказала:

— Напишите. Пускай прочтут молодые... дети мои, как мы воевали и как... любили в войну...

Авторизованный перевод с белорусского
М. ГОРБАЧЕВА.

ВЕЧНЫЙ ЗОВ

Анатолий ИВАНОВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Во второй книге романа «Вечный зов» автор продолжает рассказ о судьбах главных героев, описанных им в первой книге, удостоенной Государственной премии РСФСР имени А. М. Горького. Читатели вновь встретятся с секретарем райкома Кружилиным, семьей Савельевых, Алейниковым и другими. Писатель показывает широкую панораму жизни страны в период Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.

Мы начинаем печатать главы из второй книги романа «Вечный зов», которая будет опубликована полностью в журнале «Москва» в этом году.

Война шла уже почти два полных года...

14 апреля был ледолом на Громотухе, на реке ворочались, сверкая синими боками, тяжелые, разбухшие от солнца и воды ледяные пластины, толкались, терлись друг о друга, как бараны на узкой дороге, и медленно ползли вниз.

Весь день светило не по-весеннему горячее солнце, в синем, уже очень глубоком небе весело сияли неприступные утесы Звенигоры. Временами то одна, то другая каменная громада вдруг нестерпимо вспыхивала бело-голубым огнем, сыпала во все стороны искрами. Было такое впечатление, будто в недрах молчаливой Звенигоры постоянно бушует яростный огонь, горячее пламя проедает каменные стены то в одном, то в другом месте и со свистом вырывается наружу. И лишь из-за расстояния свист этот не слышен.

Поглядывая на эти сверкающие вершины, на залитые солнцем мокрые еще, пустынные и унылые пашни, по дороге из Шантары в Михайловку ехал председатель райисполкома Иван Иванович Хохлов.

За год с небольшим работы в исполкоме Иван Иванович сильно похудел, всякая одежда на нем болталась, словно была с чужого плеча. Круглые щеки опали, даже когда-то полные и розовые, как у ребенка, губы сейчас одрябли, обесцветились. И лишь круглые глазки смотрели на мир все так же по-ребячьи весело и неунывающе.

Председатель райисполкома ехал в «Красный колос» для того, чтобы в последний раз уточнить колхозный план хлебосдачи на нынешний год, глубоко в тайне имея мысль: нельзя ли колхозу этот план на пятьшесть сотен центнеров увеличить? Думать об этом Хохлову было тяжело, ибо он понимал: никакое увеличение хлебопоставок колхозу не под силу. В прошлом году «Красный колос» снова сдал государству хлеба больше всех в районе, вывез на шантарский пункт «Заготзерно» все, что было выращено, до последнего зернышка. И хотя злые языки в районе глухо поговаривали — не до последнего, умеет, мол, Назаров и на хрен сесть и рыбку съесть, Ивану Ивановичу было известно: на трудодень михайловским колхозникам прошлой осенью было выдано всего по двести граммов ржаных отходов да немного фасоли. Хохлов своими глазами видел, что люди жили в основном на картошке, а в жалкие крохи серой, как дорожная пыль, муки из отходов подмешивали ту же картошку, семена лебеды, тыквенную мякоть. Хлеб из такой муки получался тяжелым, как кирпич, мокрым, горьким на вкус.

Для этого окончательного уточнения плана хлебосдачи Иван Иванович мог вызвать Назарова, как и других председателей колхозов, в райисполком, но делать этого не стал: Панкрат Григорьевич за прошедшую зиму сделался очень плох, кашель душил его насмерть. Несколько раз Иван Иванович и Кружилин заговаривали с ним об отправке на лечение, но Панкрат лишь усмехался невесело и говорил:

— Какая меня больница теперь вылечит? Вот до лета доживу, барсучье сало буду пить. Ничего, оклемаюсь.

Въехав в Михайловку, Иван Иванович поразился, как скоро обветшала без мужицкой руки деревушка: покосились, а кое-где упали плетни и заборы, прохудились соломенные повети, во многих домах покривились расшатанные ветром ставни. И как за два военных года обносились люди — все дети бегают в сплошном рванье и босиком, несмотря на то, что земля очень холодная, а в затененных местах просто стылая.

Иван Иванович несколько раз бывал в Михайловке, многие знали его в лицо, и он знал многих, хотя не мог запомнить всех имен или фамилий. Поздоровался с ним какой-то старик, гревшийся на пришеке у завалинки. За плетнями, на огородах, копошились женщины и подростки, очищая землю от прошлогодней ботвы, кое-где огороды уже вскапывали. Некоторые женщины, когда Хохлов проезжал мимо, прекращали работу, выпрямлялись и тоже здоровались.

Взрослые были одеты не лучше, чем дети, — в обтрепанные, измызганные одежонки, в залатанные кофты и юбки. Вся эта обветшалость, эта бедность, почти нищета зимой не так бросалась в глаза, но стаял снег, сняли люди полушубки да фуфайки, сразу выперла, мозолила глаза, и ничего нельзя было с ней поделать — за последний год для продажи населению не отпускалось ни метра мануфактуры, ни пары сапог или ботинок, ни килограмма гвоздей. Те жалкие крохи товаров, поступающих в район, направлялись в магазины заводского ОРСа. Зато завод работал, выпускал снаряды и минометы...

Подъезжая к колхозной конюшне, чтобы оставить там лошадь, Иван Иванович обратил внимание, как заполошно кричат играющие на солнечной полянке ребятишки. Он вспомнил, как приветливо поздоровался с ним сидящий у завалинки старик и женщины из-за плетней. Да, одеты все были плохо, но человеческого уныния не чувствовалось, голодных глаз, изможденных от недоедания лиц, как во многих других деревнях, Иван Иванович в Михайловке не заметил. Это одновременно и радовало и порождало неприятную тревогу: а вдруг да в этих разговорах о Назарове есть какая-то доля истины? Вдруг да наловчился этот мужичок утаивать хлеб от государства? В такое-то время!

— Здрасте! Распрягать, что ли? — услышал Хохлов ломающийся мальчишеский басок и очнулся от задумчивости. Коробок его стоял уже возле конюшни; невысокий, начинающий раздаваться в плечах подросток, с уже по-мужицки широкими, крепкими ладонями, держал лошадь под уздцы.

— А-а, Володя Савельев! — узнал его сразу по серым глазам, по белесым, давно не стриженным волосам Иван Иванович. — Распрягай и покорми жеребчика... Ну, как живете, Володя? Мать как?

— Ничего живем... — Володька отпустил чересседельник, развязал супонь, ловко отстегнул гужи, вывернул дугу, бросил на землю одну оглоблю, другую. — Мать в амбарах с семенами возится. Ничего, все здоровы.

— Отец-то пишет?

— Было письмо на благовещенье.

— Когда, когда?

— Да в конце марта, говорю.

— Ты уже и религиозные праздники знаешь?

— А кто же их в деревне не знает? — проговорил старый Петрован Головлев, выходя из конюшни с вилами в руках. — Здоров живешь, Иваныч!

— Здравствуй, Петрован Никифорыч.

— Письмо на благовещенье по женским приметам — благая весть, значит, — продолжал старик. — И-их, что тут было после этого письма, сколь разговоров! Худо-бедно, мол, а цельный год, до другого благовещенья ни огонь, никакое железо Ивана теперь не возьмет...

Он прислонил вилы к стенке конюшни, вздохнул:

— Бабье-глупье, а легше им с ихними приметами.

— Здоровье-то как, Петрован Никифорыч?

— А чего нам, бывшим петухам? Курочек теперя не топчем, здоровье и сберегается.

Володька Савельев уже распряг лошадь, увел в конюшню и там покрикивал на нее, водворяя в стойло. По-прежнему пекло солнце, Головлев, присев у стены на корточки, свертывал папиросу.

— Да я вот вижу: у вас все здоровы и сыты, — промолвил Хохлов. — В других колхозах, мало сказать — хуже. Голодают люди.

— В других, — усмехнулся Головлев, слюнявя папиросу. — В других и председатели другие. А наш-то Панкрат Григорьич...

Эти слова будто прокололи сердце Хохлова, оттуда заструилось что-то кислое, холодное, во всей груди стало пощипывать.

— А что он... ваш? Чем же от других отличается?

— Ну, он что... Сам подыхает, а людям не дает. Бабенки наши говорят: скончается — памятник ему поставить надо...

— За что?

— Дык за что человеку памятник ставят? За душу его человеческую.

Иван Иванович зло глянул на палящее солнце и начал старательно, на все пуговицы застегивать истрепанное демисезонное пальто, будто ему стало холодно.

— Душа-то у людей разная бывает, Петрован Никифорович, — промолвил он с горьковатой усмешкой. — То есть человечность эта разное содержание имеет...

Старик поднял голову, поглядел на председателя райисполкома пристально, долгим, пронизывающим взглядом. Глубокие морщины вокруг глаз его были неподвижны, а потом шевельнулись. И он тут же опустил дряблые веки с редкими, выцветшими за долгую жизнь ресницами.

Потом Головлев некоторое время молчал. Он все сидел на корточках, выгнув спину, чуть свесив голову в скатавшейся овчинной шапке, обнажив старческую, вдоль и поперек изрезанную глубокими бороздками шею. Глядя на эту шею, на всю фигуру старика, Хохлов вдруг подумал, что Головлев этот не так прост, как кажется с первого взгляда, что проницательности ему не занимать, он догадался о его подозрении относительно Назарова — и вот обиделся за своего председателя. Но ведь такая обида тоже несправедлива! И Головлев и многие другие колхозники могут защищать своего председателя, исходя из сугубо эгоистических интересов, именно за то, что тот, как поговаривают, наловчился утаивать от государства какую-то часть урожая и тайно делить его потом меж колхозниками.

— И за что ему судьбина такая? — качнул головой старик. — Полипов, прежний председатель райисполкома, этак же напраслины всякие возводил на Панкрата! Ты вот новый начальник — и тоже... Всяким злобным разговорам про Назарова, выходит, веришь?

— Я, Петрован Никифорович, не то чтобы верю...

— А вот коли дуролом какой над народом стоит, так на него у тебя подозрениев нету?

Головлев зло плюнул на недокуренную самокрутку, сунул ее за козырек шапки и поднялся.

— Сытый, говоришь, народ у нас в колхозе? Так это что, в злость тебя кидает? Ты песенки бы, что ли, веселые пел, если бы народ и у нас с голодухи запух? А хлеб для фронту кто сеять бы стал?

— Да ведь сытость сытости рознь! — прикрикнул Хохлов и покраснел, чуть отвернулся. Иван Иванович всегда краснел и смущался, когда приходилось резко говорить с людьми. И прибавил уже опять мягко, виновато: — Сытость-то, Никифорыч, по-разному ведь можно, как бы это выразить... обеспечить.

— Вот-вот! — встрепенулся старик. — Именно...

Головлев шагнул к стенке, взял свои вилы и проворно обернулся, будто хотел с этими вилами броситься на председателя райисполкома. Но воткнул их рожками в землю, обе заскорузлые ладони положил на конец черенка, уперся в руки подбородком, заросшим сивыми волосенками.

— Вот что обрисую я те, мил человек... — Он глядел не на Хохлова, а куда-то на Звенигору, на взметнувшиеся в синюю высь неподвижные каменные громады, облитые щедрым желтым солнцем. — Обрисую, значит, а ты начальственной своей мозгой уж пошурупай...

Последние слова неприятно резанули Хохлова, даже не сами слова, а тон, каким они были произнесены. Голос старика был холодный, насмешливый, почти издевательский. Но Иван Иванович смолчал.

— Прошлогод Панкрат особую бухгалтерию завел. Какая семья сколь картошки накопала, сколь тыквов с огороду сняла, морковки там, сколь кадушек огурцов да капусты насолила... Время прошлой осенью, помнишь, тяжелое было, непогодь много стояла. Огородишки-то Панкрат дал людям все ж таки убрать. И завел, значит, этот подсчет. Сена каждому дал накосить для скотины. И опять в свою тетрадку занес — кто сколь копешек поставил али стожков. А для чего?

— Интересная бухгалтерия, — вместо ответа неопределенно сказал Хохлов. — Ну и что же?

— Оно кому интерес, а для него забота... Сколь в каждой семье рабочих рук и сколь едоков, какая имеется скотинка, сколь курей, утей — Панкрат и без записи помнит. Он, зараза, все знает, даже у кого корова али коза сколько молока дает...

— Вот как!

— Эдак! — согласно кивнул Головлев.— А имея, значит, в сознании полную картину, и распоряжается. Кого лишний раз не отпустить с колхозного поля, а кому и дать денек-другой на огороде своем покопаться, как бы на общественной работе тяжело ни было. Кому подводу выделит, скажем, для подвозки дров, а кто и на себе, на ручной тележке привезти может.

— Да... Да, да, — размышляя о чем-то, уронил Хохлов.

— Что — да? Одобряешь, что ли? — напрямик спросил Головлев.

Иван Иванович поглядел на старика, улыбнулся.

— Не знаю, не знаю, Никифорыч... Шурупую вот... Ну и как люди к такой бухгалтерии относятся?

— Подчиняются люди без прекослова ему... Потому что знают: Панкрат ничего такого зря не скажет, напрасный поступок не произведет. Кто, может, и поворчит, не без того, а в душе-то согласный с председателевым указом... Потому народ и сытый, ежели без хлебушка сытым можно быть. Ведь все, все до зернышка мы сдали прошлогод в фонд обороны. Потому что тоже понятие имеем...

Старик умолк. Молчал и Хохлов. Безмолвие между ними установилось тяжелое, неловкое. Иван Иванович тер кулаком подбородок, а Головлев опять смотрел на гранитные утесы Звенигоры. Потом выдернул из земли вилы, попробовал их зачем-то на вес.

— А ты... с подозрением... От стыда-то куда деться, прости ты, господи...

И ушел куда-то за конюшню.

* * *

Панкрата Назарова Иван Иванович нашел возле колхозных амбаров. Он в грязном дождевике, с непокрытой головой (фуражку держал в руке) стоял у брички, на которую две молодые женщины грузили чем-то набитые мешки. Они вытаскивали их из черного проема амбарных дверей и легко забрасывали в повозку.

Обернувшись на звук шагов, Назаров чуть шевельнул спутанными, жесткими, как прошлогодняя стерня, бровями, прежде чем поздороваться, прошелся взглядом по Хохлову с головы до ног, будто неодобрительно оценил его наряд. И опять стал глядеть, как грузят мешки.

Женщины, обе чернявые, стройные и, несмотря на замызганные юбки и пыльные кофточки, очень привлекательные, были не местные, из эвакуированных. Одна была с косой, другая острижена коротко, не по-деревенски. Поздоровавшись с Хохловым, они почему-то глянули друг на друга, хохотнули, убежали в амбар и долго не появлялись.

— Спать там разлеглись? — прикрикнул Назаров.

Женщины тотчас появились, неся очередной мешок. Обе виновато глядели вниз, под ноги, губы их были крепко поджаты. Чувствовалось, обеим опять хочется рассмеяться.

— Кобылы, язви их... Все ржут и ржут, спасу нет, — проговорил Назаров, когда женщины опять скрылись в амбаре. — Кровь у них колобродит, ты не обижайся. Начнем сев — кровь-то утихомирится, поостынет.

— Ничего, ничего, — промолвил Хохлов.

Панкрат Назаров был так худ, что дальше, казалось, худеть и некуда. Некуда дальше было ему и чернеть: кожа на шее, на лице и даже на руках давно сделалась землистого цвета. Только когда его душил кашель, лицо наливалось сукровицей будто, неприятно багровело.

Припомнив, как багровеет при кашле лицо Назарова, Хохлов почувствовал раздражение к самому себе и вину перед этим человеком. «От стыда-то куда деться, прости ты, господи», — сами собой зазвенели в голове слова Головлева. «Это действительно, действительно... — подумал Хохлов. — Ударит же в голову...»

Опять женщины вынесли из амбара и забросили на бричку очередной мешок. Они были молоды, каждая была переполнена нерастраченной женской силой. А Панкрат Назаров стар, болен, жизненные соки из него уходили. Присутствие двух молодых женщин только подчеркивало страшный контраст между молодостью и старостью, бытием и смертью. И Иван Иванович Хохлов вдруг остро, до щемящей боли почувствовал ужасную и неумолимую жестокость жизни.

Голосом хрипловатым, надорванным многолетним кашлем, Назаров промолвил:

— Последние отходы замели. На мельницу отправляем.

— Покажите, — тоже хрипло сказал Хохлов.

Он потребовал это не потому, что в чем-то еще сомневался. Нет, Иван Иванович просто хотел посмотреть на эти зерновые отходы.

— Софья, Татьяна, развяжите.

Когда женщины развязали мешок, Иван Иванович сунул туда руку, взял горсть отходов. То была смесь семян самых разнообразных сорняков — овсюга, сурепки, мышиного горошка и щуплых ржаных зерен... Из этой-то смеси и получалась та серая, как

дорожная пыль, мука, из которой пекли прогорклый хлеб.

— Для посевной берег, — кивнул председатель колхоза на груженую бричку. — Мельница, слава богу, своя... Перед войной еще зачали строить на таежной речке. Не был у нас на мельнице-то?

— Нет...

— Загляни как-нибудь. Пруд там богатый получился, красивый. Покуда комарья нет — просто санаторий... Ну, все, что ли, сгрузили?

— Все,— сказала женщина с косами.

— Тогда с богом. Да глядите, там мосток в распадке расшатало нынче...

Женщины взобрались на бричку, поехали. Они сидели рядышком, подставляя солнцу спины и плечи, и было теперь в их фигурах что-то жалкое, сиротливое. Председатель колхоза и Хохлов провожали их взглядами, пока бричка не скрылась. А когда скрылась, Назаров проговорил:

— В колхозе есть еще четыре мешка гороховой муки. Тоже сберег на посевную. Смешаем с этим... — Назаров кивнул в сторону, где скрылась бричка. — И лепешки печь будем. Ничего... Айда к семенному амбару, глянем, что там...

Семенной амбар стоял прямо на току. Под навесом стучала веялка, две женщины крутили ее, а третья большой железной плицей засыпала пшеницу. В одной из крутильщиц Иван Иванович узнал Агату Савельеву, а зерно насыпала, легко сгибаясь и разгибаясь, жена Назарова, Екатерина Ефимовна. Лет ей было разве чуть поменьше, чем Панкрату, время так же избороздило ее шею, щеки, все лицо и не тронуло почему-то лишь глаза — удивительно ясные, свежие, как обмытые речной волной коричневые камешки. Среднего роста, худенькая, с покатыми плечами и все еще не опавшей грудью, она со стороны всегда сходила за молоденькую девушку, и лишь вблизи каждый убеждался, что это старуха.

Когда подошли Хохлов с Назаровым, Екатерина Ефимовна обшаривающим взглядом скользнула по мужу, но сказать ничего не сказала, только кивнула на приветствие Ивана Ивановича и отвернулась. Назаров же будто не заметил ни жены, ни Агаты — никого, присел перед горкой пшеницы, взял горсть зерна, долго пересыпал из ладони в ладонь, будто играл. Наконец тяжко разогнулся.

— Решили вот еще раз перевеять, отбить какие похудевшие за зиму зернышки. И сеять-то ее, пшеницу, в наших местах не надо бы. Да вот... Ладно, сотню-другую гектаров посеем... Айда в контору, что ль, для разговора.

Поднялся и пошел, насупившийся, сердитый, не обращая больше ни на кого внимания — ни на встречавшихся колхозников, ни на Ивана Ивановича.

* * *

В конторе Назаров сел за свой скрипучий стол, пригладил обеими ладонями торчавшие по вискам волосы, спросил:

— Громотуха, говорят, нынче пошла?

— Вскрылась под утро.

— Слава те, господи. Полая вода и память о зиме уносит. Как там, на фронте-то?

— Да что на фронте... — Хохлов присел на деревянный диванчик у окошка. — Идут бои под Новороссийском, было сегодня утром сообщение. Подвигаются наши к Крыму. А так, в общем, тихо. Не читаете разве газет, не слушаете радио?

— Читаем, как же... когда время есть,— усмехнулся Назаров. — Да только что сейчас грому ожидать? Это попозже начнется, в июне, может. Да и то к концу.

— Да? — с любопытством спросил Хохлов. — Именно в июне? Откуда же вы знаете?

— А чего тут знать? Война — это вроде нашей крестьянской страды, без поры да без подготовки не начнешь. Мы вон и то... Сам ты видел: последние отходы сегодня заскребли, чтоб какой ни на есть хлеб иметь для посевщиков. Все ресурсы свои, словом, кинули. А страна-то поболе, чем колхоз. Да после Сталинграда сообразоваться надо. Легко, что ли, он дался... Этот, Семка Савельев, сын Федора, там, говорят, воевал? — неожиданно спросил Назаров.— Анна хвасталась, орден какой-то ему дали.

— Медаль «За отвагу».

— Ишь ты, тихоня... — Назаров проговорил это еле слышно, спрятав под густыми бровями глаза. — Танком командует вроде бы?

— Механик-водитель он. Жена мне его говорила. Позавчера письмо от него получила.

— Энта... Наташка-то? Так ее, кажись, зовут? Что эвакуирована была?

— Да, да...

— Ага... Главное — что живой.

Голос старого председателя дрогнул, тугие, как из резины, губы затряслись, и Назаров прикрыл их, прижал ладонью. «Сына вспомнил», — подумал Иван Иванович и, подавив в себе вздох, опустил глаза.

О сыне Назарова, Максиме, до сих пор не было ни слуху ни духу.

Поднял голову Иван Иванович, когда председатель опять глуховато заговорил:

— Мы вот страду заканчиваем всегда на полном издыхе. Оглядишься кругом — боже ты мой, ить и люди, и скотина, и машины бездыханные изнемогли. Зато последний гектар убрали, последнюю лунку картошки выкопали. А тут только страх приходит: да как это сил еще хватило? А?

— Да, да, — встрепенулся Хохлов. — Я, собственно, очень хорошо это знаю...

— Нет, ты покуда не знаешь, — нахмурился Назаров. — Ты пока умом только можешь понять. А своей шкурой все это почувствуешь, когда страды три-четыре вот проведешь сам. Не обижайся уж...

— Что вы, что вы! Это вы правильно,— согласился Хохлов, действительно нисколько не чувствуя себя обиженным.

— Да, как еще сил хватило! — повторил Назаров. — Оглядишься — и тут же сразу видишь: там прореха, там вовсе дыра. Начинаешь латать... Так оно и в государстве. Не-ет, никак, я думаю, ранее чем к середке лета не собраться нам для такого же удара, как в Сталинграде. Надо и новые полки собрать, обучить и всякого вооружения накопить — и пушек, и самолетов, и танков этих, на которых Семка воюет. Подвезти все это к фронту — и то время надо. А ведь их надо еще и сделать... Значит, ты насчет прибавки нам плана хлебосдачи приехал?

Переход Назаров сделал такой неожиданный, что Иван Иванович вздрогнул.

— Да, собственно... — Он секунду, другую и третью глядел прямо в глаза председателю. И тот не отводил взгляда, лишь зеленоватые глаза его светились сухо, невесело, в них стояла какая-то боль. — Район никак, никак не выходит с планом, если вам... вашему колхозу не прибавить.

— Сколько решили прибавить?

— Многовато. Я понимаю, что многовато. Но что же делать? Шестьсот центнеров.

Ни на лице, ни в глазах Назарова не отразилось ничего, они поблескивали все так же холодновато, как блестят омытые утренней росой зеленые листья.

— Всем прибавляем, — вымолвил Хохлов, чувствуя, что этот аргумент звучит не убедительно.

— Я знаю, — спокойно произнес Назаров. — Мы сдадим эти добавочные шестьсот центнеров.

Иван Иванович ждал чего угодно, даже согласия на добавочный план. Не ожидал он лишь, что Назаров произнесет эти слова так буднично, просто и спокойно.

— Панкрат Григорьевич! — Хохлов невольно встал, шагнул к столу. — Да если ты это сделаешь... Эти добавочные шестьсот центнеров... Мы ведь понимаем в районе, какой у вас план! Если сделаешь, мы тебя... Я буду первый ставить вопрос о награждении тебя орденом!

Назаров слушал теперь угрюмо, будто теперь-то только и зашла речь об этих дополнительных сотнях центнеров хлеба, но не перебивал. Однако Хохлов, заметив эту угрюмость, и сам смолк.

— Это, Иван Иванович, не я сделаю, — проговорил Назаров. — Это люди сделают... Вон те бабенки, Татьяна с Софьей, которых ты видел. Те, что семена провеивают... которые сейчас на своих огородах копошатся. Они будут хлестаться сутками на посеве, на прополке, на жатве, питаясь лепешками из отходов да картошкой... Это им все ордена положены.

Иван Иванович Хохлов всегда чувствовал себя перед Назаровым скованно. Он называл его на «вы», как, впрочем, и всех других. Назаров обращался к нему всегда на «ты», и Иван Иванович считал это совершенно естественным. Но сейчас он ощутил себя перед этим старым, больным человеком особенно маленьким и беспомощным.

— Да, да, конечно! — воскликнул он, краснея от охватившего его смущения. — И их тоже представим! Будем требовать, чтобы колхоз целиком наградили!

— Ну, попробуйте, — усмехнулся Назаров, качнул головой. — А так-то ты человек, Иван Иванович, душевный.

* * *

Светлый апрельский день еще не кончился, но клонился уже к вечеру, когда Хохлов и Назаров вместе подошли к конюшне. Тот же Володька Савельев обоим запряг лошадей и, сделав свое дело, молча пошел прочь.

— Погоди-ка... — остановил его Иван Иванович. — А ты почему все еще здесь? Уроки у тебя есть на завтра? Или уже приготовил?

Парнишка опустил лохматую голову, стал глядеть на свои растоптанные, разбитые в прах сапоги.

— А я не учусь больше.

— Как же?

— Так... — пожал плечами Володька и ушел, по-прежнему глядя куда-то вниз.

Хохлов взглянул на председателя колхоза, тот, подбирая вожжи, скривил в угрюмой усмешке губы.

— До семилетки мать его дотянула... Я все удивлялся: двужильная, что ли, она? Прошлогод надо было в Шантару его отправлять — у нас тут семилетка всего только. Да на какие шиши?

Назаров тяжело постриг бровями и умолк.

— Я понимаю, понимаю, — вздохнул Хохлов.

— Оно все мы понимаем. Да в шкуре ее материнской никто не был... — Председатель сел на дрожки, тронул вожжи. Хохлов забрался в свой плетеный коробок и поехал следом.

На выезде из деревни, возле жердяной изгороди, за которой уныло торчала хилая избенка с прогнившей крышей, председатель натянул вожжи, прокричал:

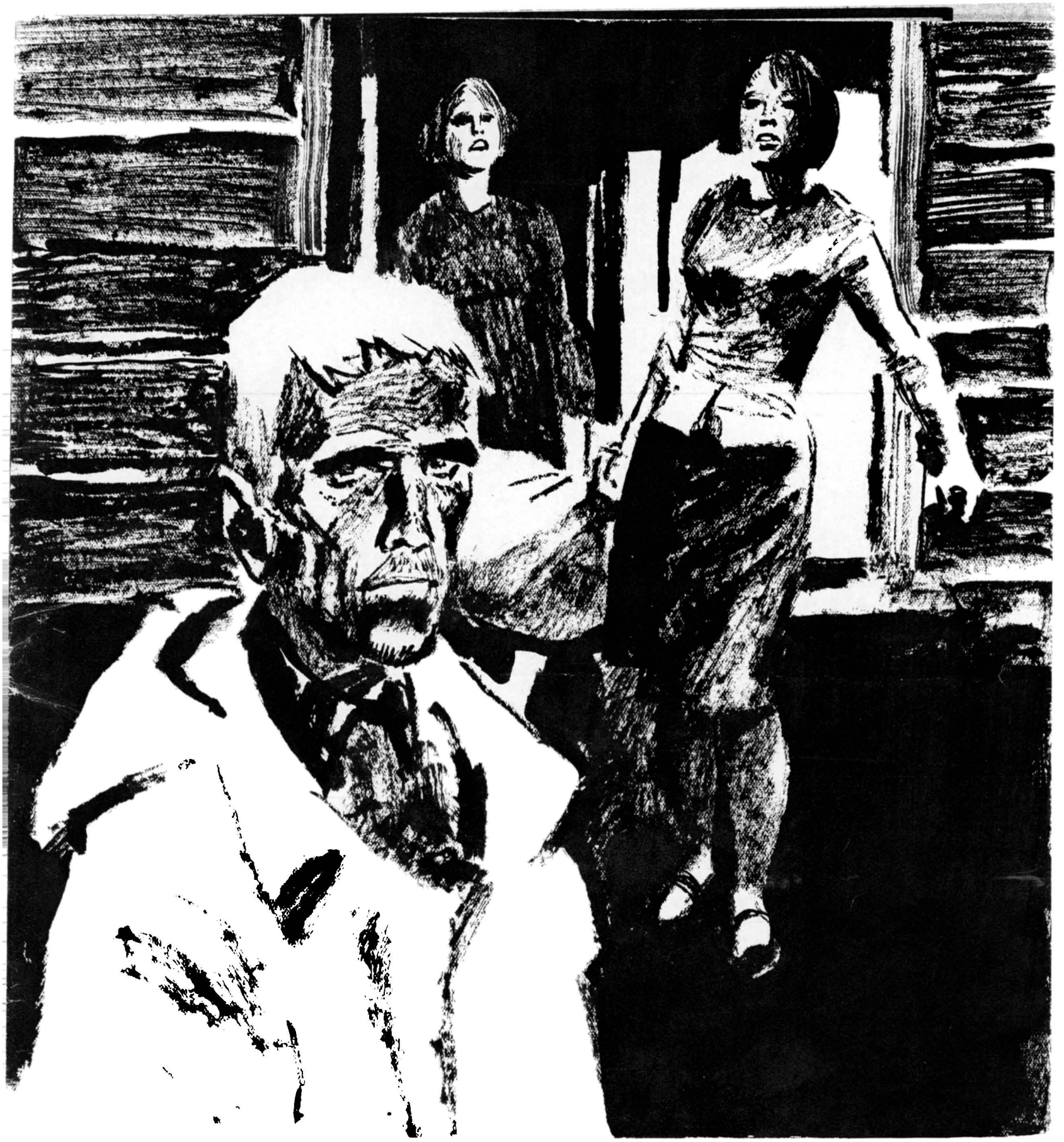
— Эй! Антонина! Будет прохлаждаться. Живо грузи свои шмутки и чтоб через час в бригаде. По дороге к речке подверни.

— Поняла, — ответил Назарову откуда-то женский голос. — Счас я, мигом.

Оставив у плетня свои дрожки, Панкрат догнал коробок Хохлова. С легкостью, которой Иван Иванович не ожидал от него, на ходу вскочил в коробок, пояснил:

— Повариха тут живет, Тонька. Сиротой с пяти лет так и взросла, горемыка. Я до свертка во вторую бригаду доеду с тобой...

Жидкий, еще не набравший пока запаха оттаявшей земли воздух заметно похолодал и стал, кажется, еще жиже. По высокому пустынному небу плыл огромный журавлиный клин, оглашая тихие, не проснувшиеся



еще поля тоскливым стоном. Другая журавлиная стая летела метрах в двухстах от дороги, по которой ехали молчком Хохлов и Назаров. Она спускалась все ниже, тяжелые птицы медленно и устало махали крыльями, заходящее солнце отсвечивало на их длинных, вытянутых назад ногах.

— Голод не тетка, — проговорил Назаров, наблюдая из-под насупленных бровей за спускающимися птицами. — Ишь, даже людей не боятся... Всю ночь кормиться будут.

— Чего они на этом поле найдут?

Старый председатель пожал плечами.

— Журавль, он... как китаец. Где зернышко, где червячок какой — и сыт... Нынче много журавля будет. Пострелять бы можно, да жалко.

— Для чего пострелять?

— Для чего, — усмехнулся Назаров. — В старину мужики говаривали: журавель — не каша, пища не наша. Раньше журавлятину цари жрали, князья да бояре всякие на своих пирах. Теперь и забыли, что птица эта съедобная. А я вот помню, да... жалко. И никому не говорю, а то найдется много стрельцов. А птица больно красивая и землю и небо украшает. Пущай живет.

Говоря это, Панкрат все ежился и ежился.

— Знобит? — спросил Хохлов, думая о поразивших его чем-то рассуждениях Назарова о журавлях.

— Ништо... Это для нас, чахоточников, весной обыкновенно. Токмо бы весну пересилить, а там уже, считай, до следующей землю топтать будем.

Продолжение следует.

Анатолий ИВАНОВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ВЕЧНЫЙ ЗОВ

Панкрат Назаров закрыл глаза и сидел так минут пять. На рытвинах коробок подбрасывало, голова председателя в лохматой шапке из собачьей шкуры болталась на тонкой шее, как тяжелая подсолнечная шляпа на жиденьком будыле при сильном ветре. Иван Иванович отчего-то вспомнил, как безропотно согласился Панкрат на добавочные шестьсот центнеров хлеба к годовому плану, не выказав абсолютно никаких эмоций, и в груди у Хохлова что-то размягчилось, сердце тоскливо защемило. Ему захотелось вдруг сказать этому старому и больному человеку какие-то теплые и благодарные слова, но таких слов у него не было. И, кроме того, он понимал, чувствовал, что любые слова будут плоскими, неуклюжими и что они только вызовут у Назарова холодноватую усмешку. Поэтому он лишь отвернулся и кашлянул.

— Что?— сразу же открыл глаза Панкрат.— Свороток уж?

— Далеко еще.

— Что-то в дрему часто покланивать меня, замшелое бревно, стало. Ночью сон не берет, а днем...

Несколько минут еще проехали молчком.

— Каково, Иван Иванович, в районной должности-то ходить?— спросил вдруг Назаров.— Попривык?

— Нет, Панкрат Григорьевич, тяжело... и не умею,— откровенно сказал Хохлов.— Просился было у Кружилина на завод обратно...

И, умолкнув, шумно задышал.

— Ну?

Иван Иванович, чувствуя, что краснеет, опустил глаза.

— Никогда не видел его таким. Как на мальчишку накричал...

— А ты его тоже пойми,— промолвил Панкрат не сразу. —Какое ярмо у него на шее. С кем-то везти надо.

— Я понимаю... пытаюсь, лучше сказать...— Хохлов вздохнул.— Я, Панкрат Григорьевич, человек неслабый. И не пессимист, знаю, чем солнце пахнет... Но я, как бы тебе выразить? До войны, бывало, всякий цветок, мотылек, красивая бабочка там в телячий восторг меня приводили. И вот война... Такое сразу свалилось! Дочка погибла, жена до сих пор... Так ничего, здорова. А ночью иногда прислушаюсь — плачет. Да... И кругом горе людское, такие трудности! Вот завод этот... Вот люди в селе, вижу, как бьются. Ну, кажется, нет выхода, все бесполезно, ничего не сумеем мы сделать... А он, завод, встал и задымил! Чтоб он дымил, дышал — Антон Савельев на гибель, на смерть... сознательно. И ты вот даешь ведь эти добавочные шестьсот центнеров... И я пытаюсь понять что-то, чего раньше, чувствую, не понимал. Отчего оно все это? Чем объясняется?

В синем апрельском небе не было больше журавлей. Куда ни погляди, ничего в нем не было, кроме угрюмых и темных сейчас утесов Звенигоры, которые с одного края подпирали это бескрайнее небо, врезаясь в него глубоко, в самую синь, до плавающих выше каменных громад редких облаков.

Председатель поглядел из-под насупленных проволочных бровей на темные утесы, на светлые облака над ними. И на длинную речь Хохлова ничего не ответил. Лишь минут через десять проговорил, мотнув головой в сторону:

— Там вон рыбачки мои должны быть. Я наказывал, чтоб не прозевали, как Громотуха вскроется... Может, глянем подъедем? Ежели тебе не к спеху в Шантару-то?

— Какие рыбачки?— спросил Хохлов, немного удивленный.

— Анна Савельева с бабенками.

— М-м... Любопытно...

Назаров взял у Хохлова вожжи, и коробок покатил к реке по каменистому некрутому косогорчику, с хрустом подминая и разрывая колесами прошлогодние, черные и крепкие пучки ковыльных струн. Высохшие стебли еще упрямо торчали, не сломленные осенними ветрами, не примятые к земле снегом, а ковыльные гнезда уже вновь приметно зеленели, из-под старых, грязных и седых стеблей выметывались тоненькие бледно-зеленые ниточки, тянулись вверх, к свету, к солнцу. Удивительная она, эта степная трава ковыль, думал Иван Иванович Хохлов. Зачем она на земле? Не ест ее скот, не клюют ее семян птицы, не использует для своих нужд человек. Лишь поется о ней в грустных песнях о расставаниях и невозвратных утратах. Растет она обычно на бросовых сухих и каменистых, как этот косогорчик, землях, и грустно бывает смотреть на созревшее ковыльное поле: пустынное оно и унылое, не звенят над ним человеческие голоса, не поют птицы, тоскливо мотаются под ветром седые метелки, из конца в конец катятся бесшумные белесые и безжизненные какие-то волны. Ковыльное поле всегда рождало у Ивана Ивановича невеселые мысли о бренности и ограниченности человеческого существования, и он, хотя и понимал, как всякий, что силы и время человека на земле не беспредельны, примириться с этим не хотел и думать об этом не желал. Ковыльное же поле заставляло думать о таких вещах, и за это он не любил древнюю траву.

— Анна Савельева... в колхоз, значит, вступила?— спросил он председателя, отвлекаясь от своих дум.

— Получилось так,— кивнул Назаров.— И хорошо.

Хохлов припомнил, что муж Анны, Федор Савельев, ушел на фронт еще в прошлом году. А нынешней зимой, кажется, в феврале она пришла в райком и попросила Кружилина посодействовать, чтобы ее отпустили с завода, поскольку и директор завода Нечаев, и отдел кадров, куда она обращалась, в этом ей отказали. Хохлов как раз находился в кабинете секретаря райкома и был свидетелем их разговора.

— Ну, отпустим...— проговорил Кружилин.— А как жить будешь? На что?

— В Михайловку свою поеду. В колхоз.

Продолжение. См. «Огонек» № 18.

Анна стояла тогда у стола в его кабинете, сдвинув длинные свои брови и глядя куда-то вниз, в угол. На ней была рабочая мужская тужурка, разбитые валенки, старая суконная юбка, в руках она держала большие бараньи рукавицы. Но все эти грубые вещи странным образом подчеркивали ее женственность и свежесть. Сколько ей лет, Хохлов не знал, по виду дал бы тридцать два — тридцать пять, но морщины вокруг глаз и щедрая проседь в выбившейся из-под платка пряди волос говорили, что ей намного больше.

— Ага, в восьмом Димка,— повторила Анна с каким-то облегченным вздохом.

— А Федор так и не пишет?— опять спросил Кружилин.

— Нет,— ответила Анна, почему-то подняла большие серые глаза на Хохлова и будто ему одному пояснила:— Как уехал на фронт — ни одного письма не написал.

В глазах ее не было той застывшей безнадежности и тупого страха, какой стоит у жен, чьи мужья долго не подают о себе вестей с войны. В глазах этих была просто задумчивая грусть. И еще Иван Иванович уловил в ее взгляде любопытство, она смотрела на него так, будто видела если не впервые, то после долгого перерыва.

— Ну, а Наташа... невестка твоя?— проговорил Кружилин.— У нее грудной ребенок.

— А дети? Им учиться надо...

— Там есть семилетка. Андрейку с собой возьму. А Димка уже большой, он в Шантаре, когда учеба, жить будет. Дом свой, что ему?

— Он в восьмой, кажется, ходит?— спросил Кружилин.

— Ага...

— Она у бабки Акулины живет. Я звала Наталью со мной жить, она отказалась. У Акулины, говорит, ребенку лучше. Да и правда, я же все на работе...

Анна опять опустила глаза, стала смотреть в угол.

— А за Димкой Марья Фирсовна приглядывать будет. Эвакуированная, что у нас живет. Она славная... Вы позвоните Нечаеву на завод. Ну... надо мне, не могу я больше тут.

— Хорошо, иди, Анна, я позвоню, — сказал тогда Кружилин...

Река открылась неожиданно — огромная, бесконечная, черная, в белом ледяном крошеве по бокам. Ледяные глыбы в беспорядке громоздились на берегу, некоторые стояли торчком, иные, пробороздив глубоко гальку и мерзлую землю, истаивали сейчас далеко на берегу, стекали светлыми ручейками обратно в реку. Глядя на огромные ледяные обломки, Хохлов попытался представить себе ту чудовищную силу, которая взломала вдруг метровой толщины ледяной панцирь, раскрошила его на тысячи и тысячи кусков, отчего на реке стало сразу тесно, поволокла обломки эти вниз, начала выталкивать на берег...

— Удивительно... Какая силища! Невообразимо! А вы знаете, Панкрат Григорьевич, я никогда не видел, собственно, ледохода.

— Напрасно, — осуждающе почему-то сказал Назаров.

— Там, где я жил, большой реки не было... Где ж ваши рыбаки?

— Вот они.

Метрах в ста от того места, куда подъехали Хохлов с Назаровым, чернело среди ледяных глыб несколько фигур. И хотя они все были в брюках, а некоторые в шапках, в них без труда различались женщины. Две из них взмахивали длинными шестами, на конце которых были укреплены треугольные сетчатые черпаки, погружали эти черпаки в воду, шарили ими где-то под льдинами, вытаскивали и высыпали из черпаков в ведра мелкую рыбешку. Когда высыпали, рыбья мелочь ослепительно серебрилась под вечерними лучами солнца.

— Поразительно! — пробормотал Хохлов. — Так просто?

— А что хитрого? Испокон веков у нас тут рыбу саком черпают. Почистим вот, засолим... Из соленой рыбы суп посевщикам варить будем. Здравствуйте, бабы!

— Здравствуйте, — сказала Анна Савельева за всех, дуя на красные от ледяной воды руки, поправила сбившийся на затылок платок и снова закинула сак между льдин.

На берегу плоскими мокрыми лепешками валялось несколько мешков, наполненных рыбой.

Анна, тяжело перегнувшись, выволокла сак из-подо льдины, подержала на весу, пока стечет вода, и высыпала в широкое ведро несколько десятков чебаков и окунишек.

ЗОВ

— Поразительно,— опять произнес Хохлов.— Будто из полного корыта...

— Вся рыбешка сейчас у берегов. Надохлась за зиму без воздуха. А вот счас вместе с водой, которая с тающих льдин льется, голимый кислород в речку течет. Рыбешка его и ловит... Тоже живая тварь, дыхать хочет. Тут-то ее только черпай. Растают льдины, и рыбалка такая кончится. Вглубь рыба уйдет.

— Ну да, ну да...— промолвил Хохлов.

Сбоку застучали колеса, к берегу подъехали председательские дрожки. На них среди всяких узлов и мешков сидела та самая повариха Тоня, о которой недавно говорил Назаров. Выбрав наиболее пологий спуск, она съехала прямо на прибрежную гальку, натянула вожжи и крикнула:

— Грузите, что ли, улов ваш!

— Давай, бабы, — сказал Назаров. — И кончайте, хватит. Промокли все.

Женщины беспрекословно и молча принялись складывать на дрожки мокрые и тяжелые мешки, потом повариха тронула подводу, широко, по-мужски, шагая сбоку. Рыбачки двинулись следом.

Назаров и Хохлов остались на берегу одни. Председатель колхоза долго стоял спиной к берегу, смотрел на черный неподвижный лоскут воды между двух огромных зеленоватых льдин, торчащих из реки. Бока льдин отражались в воде. Еще отражались там, плавая далеко внизу, на невообразимой глубине, два маленьких облачка и кусочек светло-синего, совсем уж бездонного неба.

Где-то звенела тоненько и тоскливо водяная струйка, стекая в реку.

— А ночью, когда там звезды, аж мороз по коже...— проговорил вдруг тихо Назаров.— Умом-то знаешь, что по колено тут, а кажется... Жутко, а глядеть хочется. Думаешь: батюшки, сколько у бога великого да вечного! И мы вот, людишки маленькие, на земле зачем-то... Зачем? А?

Назаров повернулся к Ивану Ивановичу Хохлову. Взгляд старого председателя был до того суров и холоден, что Хохлов растерялся.

— Вопрос...— промолвил он с невеселой усмешкой.

— Да, вопрос. Вот и еще у меня один есть.— И вдруг Назаров усмехнулся.— Ладно, после я задам его тебе. А счас поедем.

Он повернулся и пошел к подводе, хрустя галькой. Шел он, сильно ссутулившись, горбом выгнув спину, обтянутую брезентовым дождевиком, медленно и широко махая длинными и тяжелыми полусогнутыми в локтях руками.

Когда сели в коробок, Назаров молча взял вожжи, тронул лошадь. Проехали косогорчиком с торчащими пучками прошлогоднего ковыля, выбрались на Шантарский тракт. Вскоре так же молча, ничего не объясняя, Назаров повернул с тракта на проселок, ведущий во вторую бригаду. Лишь когда подъезжали к бригаде, сказал:

— С обеда не евши ты... Накормим ухой из свежей рыбки и отправим восвояси.

* * *

Вторая бригада колхоза «Красный колос» была Хохлову знакома, прошлой осенью он был здесь несколько раз. За зиму ничего тут не изменилось — те же два жилых дома, один для полеводов, другой для животноводов, тот же почерневший от времени амбар, хозяйственный сарай, стряпка, худенький коровник, наскоро построенный осенью из жердей и обмазанный глиной, пригон для скота и большая бревенчатая рига. Только рига осенью была под толстой соломенной крышей, а сейчас сверкала под заходящим солнцем голыми ребрами стропил.

— Зимой крышу-то скоту скормили,— сказал председатель колхоза, хотя Иван Иванович и сам об этом знал.— Осенью заново покроем. Ну, счас я насчет ужина... А ты покуль в дом ступай, отдохни. Али с народом побеседуй.

В бригаде было не очень многолюдно. Возле раскрытых дверей амбара стояла бричка, груженная туго набитыми мешками. Две женщины снимали мешки с брички и ставили на весы. Совсем молоденькая девушка, сильно конопатая, в пестром, сбившемся на затылок легком платочке, в мужском пиджаке, старательно взвешивала мешки, слюнявила огрызок химического карандаша и большими цифрами помечала вес в растрепанной тетрадке.

— Семена?— спросил Хохлов, подойдя к амбару и поздоровавшись.

— Ну, — утвердительно кивнула одна из женщин, вытирая ладонью пот с лица.— Яровые.— И поволокла мешок в амбар.

— С центральной усадьбы возим,— пояснила конопатая девушка.

— Простудитесь. Что ж вы так легко одеты?— задал Хохлов ненужный вопрос.

— А баба весной всю одежку долой,— немедленно донеслось с брички.— Чтоб всякий мужик сразу глаз положил.

Хохлов, как всегда в таких случаях, смутился. Вышедшая из амбара женщина, помоложе и постройнее той, что стояла у брички, оглядела Ивана Ивановича с ног до головы и безжалостно пояснила:

— Да мы это не про тебя. Какой ты мужик? Ты начальник, тебе нельзя. Мы вон про деда.

Женщина кивнула в сторону хозяйственного сарая, где щупленький старичок починял тележное колесо. Хохлов оглянулся и сразу же узнал в нем бывшего райкомовского конюха Евсея Галаншина.

— И как он, дед... кладет?

— А как же! Он дед-то дед, да цены ему нет. Довольны мы... Жалко, что единственный он у нас мужик на всю бригаду. Был бы еще один, мы бы и вовсе горюшка не знали.

Конопатая девушка тоненько прыснула и зажала кулачком рот. Иван Иванович потоптался у весов, усмехнулся неловко и отошел к старику.

Евсей Галаншин еще прошлой осенью попросил расчет у Кружилина.

— Кости ноют, Поликарп, в землюшку родимую, кажись, запросились,— сказал он, утонув в мягком кожаном кресле перед секретарским столом почти с головой.— Поконюшил я у тебя, отпусти... Где родился, там и помереть хочу. Своим паром кости свои хочу туда донести.

— Нехорошие мысли у тебя, Евсей Фомич,— качнул совсем поседевшей головой секретарь райкома.— Зачем раньше времени? Побегаешь еще по земле.

— Походим, что ж, сколько бог даст,— сразу согласился Евсей.— Но конюшить уж тяжко. А там, у Панкрата, где посторожу, где поддержу... А ему все в помощь.

Переехав в колхоз, он поселился во второй бригаде, облюбовав себе каморку в одном из домов, сам сложил там печь с большой лежанкой, помогал животноводам — нынешней зимой держали тут полторы сотни коров,— следил, чтобы бабенки не оставили где по неосторожности или усталости огня.

— Ну, бабы у вас,— сказал Хохлов Галаншину, подходя.— Прямо краску теперь с лица не отмою. Здравствуйте, Евсей Фомич.

— Здорово живешь, Иван Иванович... Бабенки что? Им хоть словами нагулятьсяся...— Дед Евсей отложил молоток, которым натягивал железную шину на колесо.— Ну, что там у вас в райкоме-исполкоме?

— Что ж... К севу вот готовимся.

— Поликарп Матвеевич что там? Тоже, как ты, с тела сошел?

— Разве я похудел?

— Попра-авился!

— Да... Не знаю... Мы каждый день видимся. Оно потому и не замечаем, может.

— Да ты садись вот на чурбачок. В ногах правды нету.

Хохлов сел, окинул взглядом бригадные обветшалые строения. Женщины разгрузили бричку и теперь закрывали широкие двери амбара. Возле стряпки несколько женщин чистили и потрошили рыбу, мелькала повариха, и один раз появился сам Панкрат Назаров, что-то сказал Анне Савельевой и скрылся.

— Про сына-то Поликарпа, Василия, известно что, нет?

— Вроде ничего не известно. Погиб, наверное.

— Ну да, ну да... Может, и пророс уже где ковыльком-горюном.

Иван Иванович вздрогнул.

— Как вы сказали?

— Может, говорю, где уже новая сединка по нем, по Василию, на земле пробилась,— грустно вымолвил старик.— Горе да утраты голову человеку забеливают. И на лике земли то же происходит. Все мы у нее сыны да дочки. Всех жалко ей.

— Удивительно...

— Чего?

— Да вот то, что говорите вы, Евсей Фомич.

— Аа-а... Это так,— кивнул старик.— Это отец мой...

Дед Евсей на полуслове умолк, стал глядеть куда-то перед собой — не на землю и не на небо, а так, в пространство, и в глазах его, старых и изношенных, была какая-то дума, грустная и вековая. Иван Иванович вдруг почувствовал, что нельзя, не надо прерывать эту его думу ни словом, ни движением, потому что будет это кощунственно. И сидел, не шевелясь...

Наконец взгляд старика медленно притух, он опустил глаза на недоделанное колесо, зачем-то потрогал его усохшей давно уже рукой и жиденько вздохнул.

— Да, вишь какое дело. Отец мой, помню, все старинную песню певал. А сам ее от отца своего, грит, слыхивал, то есть, стало быть, от моего деда. Каков он, дед мой, был, не знаю, не видывал его. С самим генералом Суворовым, отец мой рассказывал, воевал... На турка ходил с ним, на поляка, на француза... Сто двух годов помер... Ну, да все мы долгожители. Отец тоже чуть не под сто годов скончался. И я вот... не обидел бог годками-то. Песни той я по малолетству да по дурости не запомнил. А вот как счас слышится: пелось в ней об тяжком вражеском иге на русской земле. Конями ее топтали, огнем жгли... Людей секли да резали... в слезах он захлебывался. И поднялся, значит, он, народ, на битву небывалую, да... Вышли воины на бескрайнее степное поле, все разноцветьем покрытое. И начали с басурманами биться. И полегли, почитай, все, но врагов побили, а остатних вспять повернули, да погнали, да погнали... Ну, после вернулись на потоптанное да разрытое копытами поле. Врагов мертвых пособирали да в речку покидали, что во вражий стан текла. Получайте, мол... А своих похоронили. Могильных холмиков не стали делать, разровняли все поле, чтоб, значит, опять ромашки на нем выросли, другие цветы всякие, чтобы испокон веку было оно все так же солнечным брызгом обсыпано... Но чудная трава какая-то стала прорастать на этом поле — жесткая, стеблистая. А под осень каждая травинка выбросила белые волосы... Поседело, значит, все поле от горюшка... Вот так. И с тех пор повелось: погибнет человек за землю, в нее же и ляжет... И вырастет где-то еще одна седая травинка, стоит да плачет под ветром. Так в песне той поется...

Все это старик говорил негромко и ровно, а в груди Ивана Ивановича что-то возникало живое и щемящее, поднималось к горлу, закладывало его.

— Плакал мой отец, когда пел эту песню. Мне бы, дураку, слова-то все заучить. Счас бы и сообщил их тебе и другим. А я... Так вот и теряем мы свои песни.

Солнце уже село, скрылось с глаз за пологим увалом и прощальным веером било из-за него по всему небу. Солнечные лучи еще захватывали голые верхушки деревьев

за амбаром, окрашивали их в красно-медный цвет почему-то все сильнее и сильнее. Чудилось, что тонкие верхушки берез и осин раскаляются, как перепутанные мотки проволоки, сунутые в кузнечный горн, и сейчас вспыхнут злым и торопливым пламенем.

Глухо застучали по земле колеса брички — женщины и конопатая девчонка куда-то поехали, может быть, за новой партией семян. Старый Евсей поглядел им вслед и, отрешаясь от своих дум, вздохнул:

— Сколь работы им, сердешным, после войны будет.

— Кому?

— Бабам-то. Жадно рожать после войны зачнут.

Иван Иванович медленно повернул к старику голову. Еще не очнувшись как-то от рассказа про необыкновенную песню, он поразился даже не этим необычным словам — «жадно рожать», а тому обстоятельству, что для женщин это будет работа, много работы!

— Что так смотришь?

— Это вы... правильно, пожалуй.

— При чем тут правота-неправота? От бога так али, по-теперешнему, от природы... Седых ковылей на матушке-земле все прибавляется, но и народ тоже убытку не терпит. И все так в природе под солнцем. Вот в пример возьми хотя бы, ну, сказать, лес, поле... Рана на человеке как не болит, а затягивается, рубцуется. И на лесном пожарище тоже... Через первую же зиму всякие елки-метелки проклевываются. И тянутся, к солнышку тянутся, крепнут помаленьку... Али проплешину от костра на лугу возьми. Обуглит огонь землю вглыбь на полсажени, бывает, сгорит все там, всякие семена и травяные корни. И год чернеет эта проплешина и два... А потом начинает затягивать с краев травкой... И глядишь: затянулась, кучерявится зелень-то как ни в чем не бывало. Так и в народе. И бабам тут дело-ов!

Из кухни вышла повариха Тоня с тряпкой в руках, вытерла этой тряпкой лицо и направилась прямо к хозяйственному сараю. Подойдя, она остановилась шагах в пяти — крупная, налитая ранней женской спелостью, с красным лицом не то от жара плиты, не то от смущения.

— Я сготовила. Пойдемте ужинать,— проговорила она, торопливо скользнув по Хохлову глазами, и сразу же отвернулась.

— Спасибо, Тоня. Сейчас.

Она стояла боком, прижимая тряпку к тяжелым буграм грудей, точно стеснялась их и хотела прикрыть. Хохлов видел эту располневшую девушку не раз, но все както издали. Черные глаза ее, как он считал, ничего никогда не выражали, кроме тупого и привычного равнодушия ко всему миру. А сейчас он разглядел вдруг совсем иное. Во-первых, глаза у нее были вовсе не черные, а густо-синие, как набрякшее первой грозовой силой весеннее небо. Опушенные хотя не густыми, но длинными ресницами, они таили в себе, оказывается, что-то робкое и восторженно-любопытное одновременно. И еще что-то ожидающее, чего нет сейчас, но что скоро будет обязательно... Во-вторых, в ее полноте не было ничего безобразного или неприятного. Просто крупная от рождения, широкая, как говорят, в кости. Хохлов видел ее всегда в какой-нибудь старенькой телогрейке или широком, застиранном платье... А сейчас на ней был свежий синий, под цвет глаз, рабочий халат, схваченный в талии пояском. И сквозь халат обрисовывались ноги — длинные, крепкие и стройные... И, в-третьих, она была просто красива. Полные, румяные щеки, губы яркие, над верхней губой золотистый пушок. И голову с гладко зачесанными и собранными на затылке в большой узел волосами она держала как-то по-особенному — не гордо, но и не униженно. И немножко досадно даже стало Хохлову: зачем она прижимает неловко тряпку к груди, чего стесняется? Все в ее фигуре к месту...

— Сейчас я...— сказал он еще раз. Повариха опять взглянула на него, теперь откровенно любопытно, повернулась и пошла.

Иван Иванович и старик провожали ее глазами до стряпки. Она это, видимо, чувствовала, шла, чуть опустив голову, все торопливее и торопливее, а последние метры почти пробежала.

Когда она скрылась, Хохлов опустил в задумчивости голову, а дед Евсей сказал:

— Вот и эта матерь добрая растет.

Хохлов думал примерно об этом же, но совпадению своих мыслей со словами старика не удивился.

— Хорошая девушка.

— Ага,— кивнул старик.— Чистая она, Тонька. Пошли ей бог хорошего мужика.

Через несколько минут Иван Иванович, раздевшись в маленькой, опрятной комнатке, мыл руки над тазиком, и Савельева Анна, подвязанная пестреньким платком, сливала ему.

Иван Иванович вкратце знал ее родословную и ее историю со слов Поликарпа Кружилина, всегда с любопытством поглядывал на нее.

— Как здесь приживаетесь-то? — спросил он.

— А чего мне приживаться?— чуть усмехнулась Анна. — Я здешняя. Да ведь, поди, и сами знаете.

— Знаю. И что партизанила тут в гражданскую, знаю...

— Только это? — Она подняла на него большие строгие глаза. Губы ее, немного выцветшие, но еще свежие, были плотно сжаты. Иван Иванович был уверен, что в уголках этих губ сейчас проступит горьковатая усмешка. И чтобы она не проступила, он хотел еще что-то спросить, но не успел: открылась дверь, вошел Назаров, неуклюже топая и следя грязными, в комьях прилипшей земли сапогами по чисто вымытому полу, стянул дождевик, фуражку, сел на скамейку и стал разуваться. Оставшись в носках, вымыл руки, заскорузлыми ладонями пригладил на голове торчащие седые космы и сел к столу.

— Ну вот... Пока то да се — на пашню глянул. По колено, считай. Грузнет еще нога. Да на вешнего Егорья, пожалуй, коли такая погода стоять будет, начнем сеять, помолясь...

— Когда это?— спросил Хохлов.

— Егорий-то? Шестого мая будет. Хорошо ныне, спасибо вам, не подгоняете. Полипов, бывший секретарь райкома, а потом на твоем месте работал, наверно уж, баню нам бы не раз устроил. Саботажники, мол, и преступные разгильдяи, сев умышленно задерживают! А земля не скоро еще подойдет... Ну, где там Антонина со своей ухой?

Анна вышла. Панкрат, постукивая ложкой о столешницу, глядел в окно на сгущающийся вечер, о чем-то думал.

— А что, ежели возьму да и поставлю Анну вот сюда бригадиром?— неожиданно проговорил Назаров.— А? Будете в районе возражать?

— Да нет, чего же. Тебе же виднее.

— Хорошо!— воскликнул Назаров, с шумом отворачиваясь от окна. И пояснил непонятно:— Хорошо это, говорю, когда начальство понимает, почему рыба в воде плавает, а птица по небу летает...

Тьма за окном все сгущалась. Назаров встал и зажег висящую над столиком лампу под металлическим эмалированным абажуром.

Скрипнула дверь, появилась Антонина, неся большую сковороду и закопченный котелок. Она поставила все это на стол, сняла крышку с котелка, налила в тарелки. Из рассохнувшегося стенного шкафчика достала два ломтя черного, клейкого на вид хлеба.

— Ну, ужинайте,— сказала она и вышла.

Уха была пахучей, запахом ее наполнилась вся комната.

— Вкусно!— проговорил Хохлов.— Будто сроду такой и не ел.

— Вкусна не вкусна, да голод — он не тетка. Он и надоумил нынче нас хоть немножко взять моментом рыбешки. Оно не мед в ледяной воде мокнуть, а потом каждую малявку чистить. Но какое-никакое, а подспорье. Вот так одно да другое чего придумаем, да третье — и люди наши на севе будут... не скажу, что сытые, но и не впроголодь. И маленько лишних гектаров напашем, и эти прибавочные шестьсот центнеров вырастим, сожнем, обмолотим и сдадим... А теперь вот и хочу задать тот вопрос тебе, что на речке хотел. Почему это каждому доказывать надо, что ты честный человек? Ну?

Улыбка, бродившая по лицу Хохлова, сразу исчезла. Он почувствовал вину и неловкость за свои недавние мысли относительно Назарова.

— Это что ж... тот старик, Петрован Головлев, вам доложил? Когда ж он успел?!

— Там, в Михайловке, подошел к амбарам да и сказал. Покуда ты ко мне приближался, мы уже побеседовали.

Хохлов глядел на доски давно не крашенного, облупившегося, но чисто вымытого пола, чувствуя на себе по-стариковски обиженный взгляд Назарова. И все-таки нашел в себе силы поднять глаза на председателя.

— Было такое у меня в мыслях, Панкрат Григорьевич... нехорошее,— сказал Хохлов негромко.— Ты прости меня... Понял я все.

Впервые он назвал его на «ты». От внимания Панкрата это не ускользнуло, желтоватые ресницы его дрогнули.

— Ладно, Иванович. Чего там, ничего,— так же негромко промолвил он в ответ.— Я знаю, разговоры какие плетутся про меня. Но жулик я или еще каков человек — это уже вы да господь пусть рассудит.

...Уезжал в Шантару Хохлов уже какой-то не такой, каким приехал в Михайловку, и ясно чувствовал это. Понял я все, сказал он Назарову. А что? Объяснить это самому себе он не мог. Но понимал: прожитый день сразу сделал его если не умнее, то намного старше.

Лошадь шла шагом, время от времени пофыркивая в темноту. В ночном небе чернела громада Звенигоры, над ее зубчатой хребтиной, над рекой, над холодными и пустынными полями, в которых кормятся где-то сейчас журавли, стояло, текло и переливалось нескончаемое море звезд.

Ехал Иван Иванович под этим ночным звездным небом, и непривычные мысли, незнакомые ранее чувства одолевали его. Где-то горит край земли, думал он, и сгорают в том безжалостном огне люди. А здесь все тихо и мирно, лишь неимоверно тяжело. Но невозможно одному человеку во всем размере представить все то горе, всю трагедию, которую переживает сейчас земля. Как невозможно представить все величие и необъятность этой жизни, этого неба и полей под ним. Это можно лишь немного почувствовать, как вот он сейчас чувствует... Пройдет сто лет, пройдет двести... Не будет на земле ни Панкрата Назарова, который спит сейчас, разбросав на постели длинные свои руки с жесткими ладонями, ни этой девушки Тони, налившейся крепким материнским соком, ни Анны Савельевой, продрогшей сегодня в ледяной воде, ни его, Ивана Ивановича Хохлова. Но по-прежнему будет полыхать над землей звездный огонь. И сколько бы ни прибавилось на земле белых седин-ковылей, народ убытку своего не потерпит. И кто-то другой будет вот так ехать по молчаливой ночной дороге под звездным куполом, будут так же спать люди, раскидав по постелям натруженные за день руки. Каждый, вновь приходящий под это вечное небо, будет заново пытаться понять, какова она, земля, в чем ее красота и сила. Но неужели и потом, позже, понять это будет иногда так же непросто? Неужели и тогда будут войны? Будут зарастать все новые и новые поля ковылем? Неужели вот так же кто-то у когонибудь спросит вдруг: «Почему это каждому доказывать надо, что ты честный человек?».

Продолжение следует.

Анатолий ИВАНОВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ВЕЧНЫЙ

Поликарп Матвеевич Кружилин наскоро закрыл заседание бюро райкома, отпустил всех, кроме парторга ЦК ВКП(б) на заводе Савчука и председателя райисполкома Хохлова, встал из-за своего стола, шагнул к дивану, на котором вот уже минут пять лежал недвижимо Федор Федорович Нечаев. На ходу он взял ближайший стул, поставил возле дивана, сел. Глаза директора завода были прикрыты, веки чуть подрагивали, большой лоб покрыт крупными каплями пота.

— Извините, Поликарп Матвеевич,— слабым голосом произнес Нечаев, не открывая глаз.— Вы извините меня.

— Сейчас придет врач, Федор Федорович.

— Это вы напрасно... Не надо врача. Я себя знаю, ничего страшного.

После аварии на заводе Нечаев чуть ли не полгода лежал в больнице, сперва в Шантаре, потом в Новосибирске, никто уже не надеялся, что он выкарабкается из могилы. Но он сумел встать на ноги, был назначен вместо погибшего Антона Савельева директором завода. Внешне он выглядел более или менее сносно, и первое время никто не догадывался, что его частенько скручивают и валят с ног приступы удушья и что его секретарша Вера Инютина, где-то в середине еще прошлого года ушедшая из райкома и поступившая на завод, иногда по целым часам отваживалась с ним в кабинете. Она поила его какой-то микстурой, всегда стоявшей в ящике стола, клала холод на голову, иногда по его просьбе массировала худую, жиденькую грудь со страшными шрамами от ожогов. Нечаев строго-настрого запретил ей сообщить кому бы то ни было, даже собственной жене, о его болезни.

Но в марте нынешнего года Нечаев, никому ничего не объясняя, освободился от своей слишком уж заботливой секретарши, перевел ее в систему заводского орса, а на место Веры взял Наташу Миронову. Новая секретарша при первом же головокружении у Нечаева подняла на ноги весь райком партии, партком завода и весь заводской медпункт.

— Не смей! — приподнялся он было с дивана, когда Наташа у него в кабинете кинулась к телефону.— Холодное полотенце лучше на голову дай... Обратно в столовую прогоню!

— Это дело ваше! — резко проговорила Наташа.— Я не сама к вам в секретари напросилась...

Нечаев тогда потерял сознание, а когда очнулся — в кабинете находились Кружилин, Савчук, несколько врачей.

Это был первый случай, когда он потерял сознание. А затем приступы следовали один за другим, иногда его схватывало прямо где-нибудь в цехе, прибегали из заводского медпункта врач с санитарами, уносили оттуда на носилках замертво.

— Надо капитально подлечиться, Федор Федорович,— заявил в конце концов Кружилин, видя, что дело может кончиться плохо.

— Да? А завод?

— Что ж завод... Дело идет о вашей жизни или смерти.

— Нет, я здоров. Это так...

Кружилин посоветовался по телефону с Субботиным, тот немедленно среагировал на тревожные слова секретаря райкома, прислал из Новосибирска известного на всю страну старичка профессора, светило медицинской науки, в клинике которого Нечаев лежал после пожара.

— Денег девать некуда вам с Субботиным, так хоть на путешествие этого профессора истратить,— дернул только Нечаев своей куцей бородкой.— Он и без того знает, что я здоров.

Приезжий профессор несколько дней возился с Нечаевым, на прощание выпил у него дома несколько чашек чая и вместе с ним же пришел в райком партии.

— Федор Федорович абсолютно здоров,— огорошил он Кружилина.

— Вот,— торжествующе сказал Нечаев.

— Но процентов, знаете... ну тридцать не тридцать, а процентов двадцать кожи и мяса на костях у него сгорело. И сейчас организм просто не справляется, знаете ли... чихает, как мотор, когда кончается бензин.

— Вот,— опять произнес Нечаев, но теперь уныло, с обреченной усмешкой.

— Что вот?— сердито вскрикнул старичок профессор.— Удивительно не то, что сейчас не справляется... Удивительно, как вы, любезнейший Федор Федорович, вообще обманули смерть.

— С вашей помощью, дорогой профессор,— буркнул Нечаев.

— С моей? Нет-с и нет-с. И сейчас я, собственно, еще раз приехал на вас взглянуть из любопытства. Я не знаю, не могу понять, почему, откуда и какие у вас жизненные силы. А уж поверьте, в медицине, в человеческом организме я немного разбираюсь.

— Что же вы посоветуете, профессор? — спросил Кружилин.

Старичок — худенький, седенький — снял очки, подслеповато сощурился, глядя поочередно то на Кружилина, то на Нечаева, протер носовым платком глаза и снова надел.

— Видите ли, молодые люди... Я советую ему работать, как работал. Федора Федоровича я предупредил: конец может наступить в любой день, в любую минуту... Но если оставить привычный ритм жизни, все эти заботы, кто знает, не наступит ли он еще раньше?! Да, кто знает... Жизнь суть движение, постоянная работа мышц, мозга, определенное состояние психики. Если еще популярнее вам сказать: всякий механизм в бездействии быстро ржавеет... Пейте, Федор Федорович, мою микстуру, я туда ввел некоторые новые компоненты...

Но микстура старичка профессора помогала все меньше. Нечаев сваливался с ног все чаще, синел, хрипел и надолго терял сознание. Придет ли он в себя после очередного приступа, никто сказать не мог. Никто, естественно, не мог знать, какой приступ будет последним, но все видели и понимали, что Федор Федорович Нечаев умирает.

Сегодня приступ случился во время его выступления на бюро райкома партии. Обсуждался — в который уже раз! — вопрос о жилье для рабочих завода. Два года идет война, и два года этот проклятый вопрос не сходит с повестки дня. Вокруг завода, там, где раньше была степь и гулял на свободе ветер, вырос целый бревенчатый город, на главной улице возвышалось десятка полтора небольших, правда, двухэтажных кирпичных зданий. Но около тысячи человек все еще жили в землянках. Правда, это были не те люди, что прибыли в Шантару осенью 1941 года. Завод расширялся, постоянно осваивал новые виды оборонной продукции. Сначала выпускал одни артиллерийские снаряды малых калибров, но постепенно переходил на более крупные. Завод находился по-прежнему в ведении Народного комиссариата боеприпасов, но год назад, где-то вскоре после пожара, появилась в Шантаре группа работников Народного комиссариата минометного вооружения с соответствующими полномочиями и распоряжениями Москвы организовать на заводе производство минометов и мин. Кружилин, привыкший уже к невозможному, нисколько не удивился, только поинтересовался, будут ли еще прибывать рабочие.

— А как же... — ответили ему. — И специалисты, и рабочие, и кой-какое оборудование. Как с жильем?

— Нормально, — сказал Кружилин ровно и спокойно, ибо что-то другое говорить было бесполезно, возражать, жечь нервы бессмысленно, как бессмысленно осенью протестовать против наступления зимы. Зима все равно наступит, небо не закроешь, и в положенный срок сверху повалит снег. В определенное время приедут и новые сотни, а то и тысячи рабочих, и надо их как-то принимать, устраивать. И они приезжали, их принимали, устраивали, завод давно выпускает и минометы и мины к ним. Как все это получалось, Кружилин Поликарп Матвеевич не знал, не понимал. И очень даже удивился, когда нынешней весной «за успешное выполнение специального задания правительства по разработке и изготовлению новых образцов боеприпасов» был в числе других награжден орденом Ленина. Так было сказано в Указе, значит, как-то это получалось, выходит...

Нечаев дышал тяжело, жиденькие волосы на голове тоже взмокли, висели сосульками. Савчук, пристроившись у изголовья, беспрерывно и молча вытирал большой, выпуклый лоб Нечаева носовым платком.

— Спасибо, Игнат Трофимович... Спасибо, — говорил директор завода Савчуку, человеку немногословному и, в общем, суровому, но сейчас в его темных глазах была боль и нежность. Кружилин глянул на парторга и тотчас отвернулся, подумав, что если в глазах Савчука проступит влага, то это вроде будет удивительно, а ведь, собственно, удивляться нечему, — как бы у него самого не блеснули слезы. Черт, подумал еще Кружилин, как мы мало знаем друг о друге, что вот он, Кружилин, знает о Сав-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18, 19.

чуке? И как мало в этой беспросветной жизни проявляем заботы друг о друге, как мало оказываем друг другу простого человеческого тепла. Только недавно он, Кружилин, узнал, что сам-то Савчук Игнат Трофимович с женой и двумя детьми-школьниками до сих пор живет в землянке.

— Ка-ак? — удивился Кружилин, в самом деле искренне не понимая, как же так получилось, ведь ему, помнится, выделялась где-то даже двухкомнатная квартира.

— А что? — Савчук спокойно поглядел на секретаря райкома.

— Тебе же выделяли жилье!

— Я отдал квартиру одному старичку, мастеру механического цеха. Это гениальный старик... У него дочка туберкулезная.

— Это... это непорядок! — вымолвил Кружилин зло, с раздражением. — Нашелся филантроп. Старичка бы тоже не обидели.

— Какой там непорядок, — так же просто и мягко произнес Савчук. — Сейчас непорядок, может, и есть самый высший порядок... Из землянок я уйду последним.

— Это уже, извини, глупо.

— Может быть, — холодно сказал Савчук и отвернулся, давая понять, что разговор никчемный и продолжать он его не намерен.

Кружилин где-то в душе долго был обижен, что Савчук тогда, осенью сорок первого, жестоко отхлестал его на первом суматошном, непродуманном совещании в райкоме партии о сроках пуска завода. Он пригласил людей посоветоваться, что же делать, отправлять ли в обком партии нереальный, как он считал, график восстановления только что прибывшего завода, а Савчук высмеял при всех его беспомощность и потребовал объяснить, когда будут стройматериалы, жилье, когда дети рабочих завода пойдут в школы. Не скоро понял Поликарп Матвеевич жесткую правоту этого человека, правоту, вызванную обстоятельствами. И когда ЦК утвердило его парторгом завода, воспринял это без энтузиазма, скорее из чувства дисциплинированности. Потом увидел и понял, что малоразговорчивый, внешне неторопливый этот человек обладает ясным умом, непреклонной волей, он всегда знает, чего хочет. Не одобрял он только этой его сверхскромности. Но тот короткий разговор о квартире как-то вдруг приоткрыл душу Савчука больше, чем все эти долгие и кошмарные месяцы. А теперь вот выражение глаз, носовой платок в жилистой, худой руке, которым он молча и беспрестанно вытирает пот со лба и щек Нечаева, сказали до конца о том, что этот украинец из той же породы, что и покойный Антон Силантьевич Савельев, что и Нечаев и Хохлов... Только у каждого из них своя суть и свой характер.

— Я вот что думаю, — с трудом заговорил Нечаев с дивана. — Я это и хотел сейчас на бюро сказать... Что там наши рабочие в тайге делают? Грибы, что ли, собирают? По ягоды ходят? Пора наконец кончать с землянками. Лесу-то нам требуется всего ничего, кубометров с тысячу. Ну, может, чуть больше... Надо к концу июля лес заготовить, как хотите... И сплавить сюда. Ведь подумать только, как нам повезло, — река! Несколько дней — и древесина здесь. Распиленная. Пилить, пилить прямо на месте. Поезжай туда сам, Игнат Трофимович. Я понимаю, ты только что вернулся из Москвы, у тебя на заводе дел накопилось. Но это для нас сейчас самое главное. Мы тут без тебя ничего... Я оклемаюсь, вот... Поезжай. Возьми пильщиков сколько надо. Слесарей бери, токарей снимай со станков. Бери кого хочешь, я разрешаю. К зиме ни одного человека чтоб в землянке не было. Тебя последнего я лично приеду выселять. Надо бараки из плах строить, засыпные... Мы сде-

ЗОВ

лали ошибку, построив много бараков из бревен. Расточительство в наших условиях. Поезжай...

— Хорошо, Федор Федорович, — негромко сказал Савчук.

— Ну вот, — облегченно вымолвил Нечаев.— Ты все это сможешь... И вообще что бы завод, что бы я делал без тебя?

— Ну уж...

— Нет, я знаю.

Длинная речь заметно утомила Нечаева, с каждым словом пот выступал все обильнее, под конец грудь директора затряслась, он кашлянул и захрипел. Потом голова его свалилась легонько набок. Хохлов, молча стоявший у окна, сделал несколько шагов к дивану и испуганно замер, Кружилин стремительно поднялся. Только Савчук не шевельнулся, все продолжал мокрым уже платком вытирать с лица Нечаева испарину. Потом взял руку, пощупал пульс.

— Потерял сознание! Где же врач?

И в это время внизу, на первом этаже хлопнула входная дверь, затопало по лестнице множество ног. Первой в кабинет вбежала жена Нечаева, еще не старая красивая женщина с измученными глазами, простоволосая и растрепанная. «Федя! Федя!» — вскрикнула она, рванула ворот его рубашки и, плача, принялась растирать ему грудь. За ней мелькнула Наташа Миронова, опустилась перед диваном на колени, всхлипнула.

— Ты что?! — зло крикнула на нее жена Нечаева сквозь слезы. — Перестань скулить! Намочи полотенце... Есть тут какая-нибудь тряпка?

Наташа вскочила и побежала из кабинета, на ходу сдергивая косынку. У дверей она чуть не столкнулась с врачом заводского медпункта. Врач, женщина лет сорока, чем-то похожая на жену Нечаева, на ходу раскрыла медицинский свой баульчик, опустилась, как Наташа до этого, на колени перед диваном. В руках у нее был уже шприц, она сделала укол в худую руку Нечаева... А в кабинете уже гремели, раскладывая носилки, двое санитаров.

Через несколько минут директора завода, так и не пришедшего в сознание, унесли. До дверей с одной стороны носилок шла, вытирая мокрые щеки, его жена, с другой — врач в белом халате, а сзади всех Наташа. Потом сзади оказалась жена Нечаева, она, прежде чем скрыться за дверью, обернулась, вздохнула:

— Боже мой, боже мой... А вам спасибо.

Неизвестно, за что она поблагодарила их, троих крепких и здоровых мужиков, и от этой благодарности всем стало неловко, все почувствовали какую-то великую обязанность перед Нечаевым, его женой, перед этим ярким солнечным июньским днем, полыхающим за окном...

Потому, может быть, в кабинете стояла некоторое время неловкая тишина, а Сталин в полувоенной, полугражданской своей форме строго глядел с портрета над столом, и его сухой и усталый взгляд стерег эту тишину.

— Ах, как несправедливо, несправедливо это, — хрипло выдавил наконец Хохлов.

Ему никто не ответил. В кабинете стоял резкий запах лекарства, Кружилин почувствовал его только что, после этих слов председателя райисполкома.

— Да, дело плохо, — кивнул Кружилин, прошел к столу, но не сел на свое место, остановился. — Дело все хуже. Я вас, собственно, оставил, чтобы посоветоваться. Завод не может сейчас и неделю жить без руководителя... Надеюсь, вы меня правильно понимаете? Мы должны быть готовы...

Кружилин говорил трудно, сбивчиво, не глядя на Хохлова и Савчука. Но чувствовал, как парторг сурово поджал сухие губы, а Хохлов неловко глядел в окно.

— Я лично давно готов, — проговорил Савчук негромко и невесело. — И если что — я рекомендовал бы на должность директора завода Ивана Ивановича... вот его.

Хохлов, примостившийся было на подоконнике, сполз с него, заморгал быстро глазами.

— Что-с?

— А что же... — раздумчиво произнес Кружилин.

— В Новосибирске и в наркомате, я думаю, с нашей рекомендацией согласятся.

— Нет, позвольте, позвольте! — Иван Иванович торопливо подбежал к столу, не соображая, видимо, что делает, взял стопку папок и бумаг, лежавших с краю, приподнял их, будто хотел этими бумагами сердито хлопнуть по зеленому сукну, но передумал в последнюю секунду и осторожно положил на место. — Я вот все удивляюсь недоразумению, в результате которого я хожу в председателях исполкома... Не делайте еще одной нелепости.

— А я так рад, что это недоразумение произошло, — чуть улыбнулся Кружилин.

— Да?! — И Хохлов опять заморгал часто и покраснел. — Вы все подшучиваете надо мной? Рядовым инженером — пожалуйста. Я сам просился.

— Рядовым я тебя не отпущу, — сказал Кружилин.— Ладно, кончим пока об этом.

— Поразительно, — пробормотал Иван Иванович. — Очень, знаете, поразительно. Вы серьезные люди?

На это Хохлову никто ничего не ответил. Савчук и Кружилин, за два военных года как-то осевший, заметно ссутулившийся, думали каждый о своем.

— Ну что ж, Поликарп Матвеевич... — вздохнул наконец Савчук.— Пожалуй, дня через два я выеду в тайгу.

Кружилин кивнул, соглашаясь. Савчук, хмурый, пошел было к двери, но вдруг остановился, улыбнулся чему-то широко и светло, так светло, что Кружилин спросил неторопливо и ожидающе:

— Ну?

— Это удивительно... А я забыл сказать... Вы знаете, кого я встретил в Москве, в наркомате? Ни за что не угадаете.

— Почему же, — буркнул Хохлов. — Нашего милиционера Елизарова в роли наркома.

— Отца нашей Наташи.

— Кого-кого? — Кружилин высоко вскинул брови.

— Генерала Миронова. Отца Наташи, — повторил Савчук. — Он там работает заместителем начальника главка.

— Вот как! Наташе сообщил?

— Да ведь телефон, телеграф есть. Наверное, они давно друг друга телеграммами засыпали...

* * *

Савчук хотел поехать в тайгу сразу же по возвращении из Москвы, но дел на заводе за его отсутствие накопилось действительно много, и пока он их решал, прошла неделя.

В тайгу с собой он взял человек пятьдесят крепких мужиков, поехали на трех грузовиках, потом, отправив грузовики назад, потому что дальше проезжей дороги не было, около суток тащились на верховых лошадях, шли пешком. Громотуха текла здесь между горных теснин, грозно ревела на многочисленных перекатах, оправдывая свое имя. Когда лесная тропа, означающая дорогу, подворачивала к берегу, грохот звенел такой, что не было слышно голосов.

Стояла июльская жара, безжалостно палило белое солнце, обваривая листву на деревьях. Обычно липкая сосновая хвоя жухла, обильно сыпалась с ветвей. Лишь кедрам такая жарынь была вроде нипочем, косматая хвоя держалась на них крепко, горячий ветер трепал ее, как лошадиные гривы, но оборвать не мог. Кедровые массивы, не очень крупные и не частые, выделялись среди моря поблекшей зелени темными пятнами и одуряюще пахли расплавленной смолой.

— Божье наказанье прямо-таки... Экое пекло! — пробормотал маленький кривоногий старикашка по имени Филат Филатыч, высланный навстречу с лошадьми.— Ну ни одного дождика, почитай, с Арины-рассадницы. Громотуха прям обдонилась... А досок напилили, слава те господи, высокие штабеля! Да еще эких ты молодцов ведешь! И рванем счас, ух... ничего. Успеем до Ильина-то дня. А там вода будет, только рвануть счас надо. Это ты правильно, что подмогу ведешь. И в Шантаре, грят, тоже сушь стоит?

— Да, плохо нынче,— сказал Савчук.— Хлеба горят.

— Ага... Рассказывал этот, что с милиции-то приехал к нам, Елизаров. У нас тут, хе-хе, события одна случилась. Двое парней из-за девки... Сперва понасильничать, что ли, хотели ее. А потом чуть до смерти друг дружку не ухайдакали. Знаешь? Из-за этой, Инюткиной Верки.

— Инютиной,— поправил Савчук.— Знаю. Разберемся.

— Тьфу,— плюнул старик в сторону.— Хучь бы девка была... А то так, Инюткина. Ни ума в глазу, ни добра в заду.

— Насчет добра-то, дед, наоборот вроде,— усмехнулся один из молодых мужчин.

— Это на чей вкус,— отрезал старик.— Такого добра — как песку на берегу, ты зачерпнешь, а мне так и нагнуться лень. А они — спорить из-за нее. Тьфу.

— Отнагибался ты, дед,— усмехнулся тот же мужик.

— Да оно так,— без всякой обиды согласился старик.— Был рысак, да сбил подковы...

Филат Филатыч слыл на всю округу непревзойденным сплавщиком плотов по своенравной Громотухе. В молодости он характер имел лихой и необузданный, как речка. Мог он ни за что ни про что, по известным ему одному причинам обидеть человека, зла ни ему, ни кому бы то другому никогда не делавшего, всячески его славить. Мог завести дружбу и старательно опекать человека, по общему признанию, никчемного. И до сих пор были у него в оценке людей и отношении к жизни какие-то свои мерки и свои принципы, непонятные другим.

Он был уроженец этих мест, всю жизнь прожил в верховьях Громотухи. До революции услугами Филат Филатыча частенько пользовался богатей Кафтанов. Филат Филатыч иногда сплавлял ему огромные плоты в малую, как в нынешнее лето, воду, за сущий бесценок, почти даром, рисковал при этом не раз собственной жизнью. А иногда и в высокую воду, когда сплавить вниз древесину не составляло никакого труда, ломил такую плату, что у Кафтанова от ярости тряслась борода. «Ну как хошь, как хошь, это дело хозяйское...— отвечал на такие вспышки Филат Филатыч со спокойным смешком, который еще больше стервенил Кафтанова.— Ты хозяин, стало быть, башковитый, тебе и видней, што те в выгоду, а што в убыток».

И как-то так получалось, что даже в высокую воду плоты Кафтанова без Филат Филатыча частенько разбивались. И Кафтанов, матерясь, снова шел на поклон к строптивому плотогону.

В гражданскую Филат Филатыч оказывал партизанам Кружилина кой-какую помощь иногда, пару раз, когда полковник Зубов совсем уж настигал измотанных бойцов Поликарпа Матвеевича, уводил их в непроходимые урманы и укрывал в недоступных лесных дебрях. И в то же время этот Филат Филатыч в те грозовые годы держал где-то у себя, укрывая по таким же урманам, малолетнего сына Кафтанова Макарку вместе с приставленной к нему в няньки Лушкой Кашкаровой, а потом, после гибели Зубова, и его сына Петьку.

— Я, Филат Филатыч, точно не знал тогда, что ты прячешь сыновей Кафтанова и Зубова,— сказал старику Кружилин, когда вместе с Савчуком отыскал его прошлогодней весной в тайге, чтобы лично попросить сплавить в Шантару заготовленный лес.— Не знал, но мысль иногда мелькала: не ты ли их прячешь? А может, теперь признаешься? Дело прошлое.

— А выведал бы, так что ж, прикончил дитев бы? — вскинул старик маленькую, но упрямую свою голову с косо сидящей на ней шапчонкой. Умные глаза его, длинные и узкие, как у монгола, поблескивали, точно бритвы.

— Я зверь, что ли, какой?

— А что ж тогда тебе за дело?

— Да любопытно просто.

— Ну что жа... удовлетворю,— усмехнулся старик, снял шапку, по-крестьянски пригладил ладонью все еще густые и почти не поседевшие лохмы волос.— Так было дело.

— Ах ты хитрец! — смеясь, воскликнул Кружилин.— Должно быть, высокую плату тебе платил Кафтанов. Ведь рисковал все же. Время-то было горячее — могло и ошпарить...

— Какая там плата,— махнул рукой Филат Филатыч, нахлобучил шапку, но опять криво.— Вся радость-то в деньгах разве?

— Значит, что же ты, из идейных соображений?

— Из человеколюбия,— строго произнес старик. И вдруг хихикнул как-то смущенно.— Я что ж, всегда такой кривоногий, што ли, был да хилый?

— Да я помню, какой ты был.

— Ну, вот... А Лушка-то в те поры, хе-хе... Вся плата была при ней.

Секунду еще и Кружилин и Савчук молчали, а потом оба разразились хохотом. Смеялись долго, до слез в глазах. Улыбался и сам старик, отворачивая узкие свои глаза.

— И жук же ты, Филат Филатыч,— вытирая глаза платком, проговорил Поликарп Матвеевич.

— Да уж как умели, так и жужжали. Лукерья ничего, довольная была.

Савчук, отмахиваясь от свирепых, чуть, казалось, не со стрекоз, комаров, шагал по стиснутой деревьями лесной тропе, поглядывал на лохматый, как кедровая ветка, затылок Филат Филатыча, на сверкавшие порой то слева, то справа заснеженные громадины гор, думал об этом необыкновенном крае, куда забросила его судьба, о живущих тут удивительных людях. Он родился и вырос в украинских степях, прожил там всю свою жизнь, и ему казалось, что нет ничего прекраснее этих степей и чарующего неба над ними. По ночам звездные волны, казалось ему, схлестывались со звоном, а потом на землю до утра сыпалась бесшумно звездная пыль, и луговые травы по утрам горели не от росы, а от этой пыли. Теперь он как-то обостренно понял, что красота на свете бесконечна и разнообразна, что природа никогда себя не повторяет и вот здесь, в Сибири, тоже натворила дивы дивные...

Филат Филатыч шел с костыльком, посапывая, но легко и скоро, время от времени оборачиваясь, вытирая ладонью потный лоб в мелких морщинках.

— Ничё, мужики, скоро уж,— говорил он весело, поблескивая узкими глазами.— Туточки раз вздохнуть да два шагнуть.

Старик очень был доволен, что в прошлом году к нему в такую глухомань приехал сам секретарь райкома партии.

— Понадобился, стало быть, я? — спросил он сперва вроде недружелюбно и настороженно.

— Так человек, Филат Филатыч, всегда нужен людям,— ответил Кружилин.

— Это так,— мотнул головой Филат Филатыч, настороженность его исчезла, он по-стариковски засуетился вокруг самовара, принес большую чашку застарелого меда, стал угощать.— Давайте. А плотики я вам, как яички, целехонькие доставлю. Это нам дело знакомое.

— Надеемся, Филат Филатыч. Кроме тебя-то, и попросить некого.

— Ну, есть людишки,— не согласился старик с Кружилиным.— Вон Акимка из-за белков... Да Акимка, ежлив уж до конца-то, охломон все ж таки да пьяница. Нет, я вам как яички...

И действительно, всю древесину Филат Филатыч доставлял аккуратно, никогда не терял даже бревнышка. Нынче в мае сплавил еще несколько больших плотов, а потом вода резко упала, на перекатах обнажились мокрые лысины камней. Сейчас лысины высохли, даже брызги до них не доставали. И строительство жилья на заводе фактически прекратилось.

— Значит, Филат Филатыч, будет вода, говоришь, после Ильина дня? — спросил Савчук.

— Обязательно. Раз белки вон обещают.

— Как они обещают?

— Глянь, слепой, что ли? Синь между белками синится. Это уж точно, побежит вода с ледников к Ильину дню.

Савчук, сколько ни вглядывался в вершины заснеженных гор, никакой сини между ними не видел. Небо и небо, белое, как и повсюду. Но спорить со стариком не стал, только произнес машинально:

— Дай-то бог.

— Во-от! Приперло, так и ты, партейный, тоже взмолился.

— Да я так, по привычке.

— А может, зря? Зря, еслив только по привычке?

— Ну, зря не зря, а раз не верю в бога... Ты вроде веришь, а я нет. Ты уж прости, Филат Филатыч.

Старик на это ничего не сказал, отвернулся и долго, часа полтора, шагал молча.

Потом остановились передохнуть и перекусить. Рабочие вскипятили чай в двух больших медных чайниках, вынули хлеб, сахар. Большой ломоть хлеба, кусок сахару и кружку чаю дали и старику. Он все так же молча и сердито выпил чай, съел хлеб и, по-прежнему сдвинув кустистые брови, неодобрительно слушал разговоры и смех молодых парней. И Савчук уже пожалел, что ввязался с этим своенравным и непонятным стариком в ненужный разговор о боге, даже встревожился: черт его знает, этого Филат Филатыча, возьмет да и выкинет какой-нибудь очередной фокус. А где другого такого плотогона найдешь? Кружилин шкуру снимет.

— А вот спрошу тебя, Игнат,— проговорил вдруг неожиданно Филат Филатыч, впервые назвав Савчука по имени.— Вот в народе говорят: нельзя работать в Ильин день... И рассказывают: один мужик в селе нарушил такой запрет, сено у него было скошено. Ну, на Илью, обыкновенно, гром погромыхивает — катается он, значит, на своей колеснице по небу, по тучкам. Мужик-то испугался, давай торопиться сено в зарод сметывать. Успею, грит, до дождя, что ж, что Ильин день, не пропадать сену-то... И сметал. А тут и прилетела невесть откуда ворона с горящей веткой во рту, села на мужиков зарод да подожгла. Да еще на другие зароды стала перелетать. Сядет — и подожжет, сядет — подожжет... Вся деревня на зиму и обескормилась, по миру пошла вся деревня... Вот. А?

— Предрассудки же это, Филат Филатыч,— сказал Савчук.— Сказки, понимаешь.

— Ой ты,— поморщился старик.— Я ж о другом спрашиваю: отчего Илья такой злой-то?

Савчук не мог понять движения мысли старика, не мог уразуметь, чего тот хочет, и только пожал плечами.

— Или вот еще в наших краях рассказывают... ну, пущай сказку, как ты определяешь,— заговорил опять неугомонный и непонятный старик.— Святой Николай-чудотворец ходили по земле с Ильей-пророком. Ну, ходят, глядят... Углядели, что хрестьянин один землю пашет. Подошли да попросили попахать. Пашут по очереди. Потом спрашивают, кто лучше из них двоих пашет-то. Хрестьянин тот показал на Николу. Озлился Илья на пахаря и говорит: ну ладно, инда... За такие несправедливые слова я те хлеб градом выбью. Налив хороший на твоей полосе будет, а я выбью... Тады Никола пожалел хрестьянина да и шепнул ему: а ты обмани этого Илью, поменяйся полосой с богатым мужиком, у которого хлеб худой будет. А мне за совет свечку поставь. Хрестьянин так все и сделал. Пришел к богатому и говорит: давай обменяемся полосами, видишь, какой у меня хлеб тучной. Токмо в придачу маленько деньгами дашь, деньги нужны больно, лошадь купить... Ну, богатей увидел выгоду, обменялись. Стали поспевать хлеба. И тут накатилась туча, да как ударит бывшую хрестьянскую-то полосу, и градом ее всю повыбило. Илья-пророк о той хрестьянской хитрости прознал, рассердился, собирает тучу на его полосу, какая раньше богатому принадлежала. Хлеб на ней все ж таки кой-какой уродился. Тут опять явился к хрестьянину Никола да шепчет: живо разменивайся с богатым, я те, дескать, говорю... Да опять в придачу попроси деньгами, коровку, мол, хочу купить, детишки малые, молочка хотят. Ну, разменялись. Токмо успели, как посыпал град. И повыбило полосу, которая теперь уж к богатею обратно вернулась. А у хрестьянина выбитая раньше градом полоса отошла. И хлеба он много собрал да на придачу два раза от богатея получил... Ну, а Илья, получается, остался ни в тех, ни в сех. И осерчал тогда пророк на чудотворца. Ах ты, грит, шаромыжник такой! Вовсе и не чудотворец ты, а как есть шаромыжник! Обзарился, что хрестьянин свечку тебе с синичью ножку поставил! Да ить богатый мужик пудовую бы не пожалел. Ты ж мой авторитет среди народу подрываешь... Да за бороды друг дружку, да пошли там, за облаком кататься. Пошел гром! И что же ты думаешь? Никола-чудотворец и покаялся: критику, грит, признаю твою, Илья. По легкомыслию я научил хрестьянина, да я выправлюсь, хрестьянин этот у меня запоет... Наутро упала у хрестьянина скотина вся, а хлеб в сусеках вдруг загорелся да сгнил в одну ночь. Утром глянули — а там одна труха. И пошел тот хрестьянин с детьми по миру...

— Ну вот,— с улыбкой промолвил Савчук, когда старик умолк.— Выходит, ошибался я. И ты, кажется, не очень в бога-то веришь.

— Ну, очень или нет — это мое дело,— промолвил старик сердито. Помолчав, он вздохнул, и было в этом вздохе какое-то сожаление.— Я человек темный, жил в лесу, топтал росу. И что ж, раньше я бога соблюдал, хоть и грешил... Да-а, несправедливости много в жизни уж больно. Куда ж бог-то смотрит, ежели он есть? Что же он своих причиндалов всяких распустил? Этого вот Илью? Или опять же Николу-чудотворца... Вот у меня женка ране была. Разошлись мы с ней давно, она сейчас в Шантаре живет, старая. Каторжница она была, а за что? Помещика, который ее опоганил, вилами запорола. А душа-то у нее! Муравьишку всякую жалела. Обижал я ее, грешный, обманывал с Лушкой этой, вот она и ушла от меня. Да и с другими обманывал. Тожеть как бог допускал? Али вот эти войны... Хоть та, гражданская, хоть эта, нынешняя. Видел я в кино, как плоты в Шантару пригонял. Такая красота на земле, а ее огнем жгут, железом этим... порохом взрывают. Где ж он, бог? Не-ет, Поликарп Кружилин ваш правильно, в туза прямо: не бог, а человек всегда людям нужен...

Вот куда вывел старик! Мысли его были теперь понятны, но слова, которыми он облекал их, были настолько своеобразны, что Савчук только поражался.

А Филат Филатыч мотнул головой, сбрасывая с себя раздумье, узкие глаза его заблестели опять умно и хитренько, по-озорному:

— А Поликарп-то тоже жук! Знавал я его в молодости тожеть... Цыганку с табора он свел, помню.

— Какую цыганку?— спросил с любопытством Савчук, никогда раньше об этом не слышавший.

— Ух, цыганка была! Отец ее с ножом по всей Громотухе рыскал, Поликарпа искал... Зарезал бы, кабы не Кафтанов. Богатей тут у нас такой жил. Тот защитил... Женился на цыганке этой после Поликарп Кружилин.

— У него ж жена не цыганка вовсе! — воскликнул Савчук.

— Это другая. Та померла. Еще до этого, до революции все было...

— Во-он что! Каторжница, цыганка... Интересная у вас тут жизнь протекала.

— Так она, жизнь, завсегда,— кивнул старик,— такие круги выписывает, что еслив придумывать — не придумаешь сроду.

— И долго бывшая твоя жена, Филат Филатыч, на каторге была? И кто это, ежели не секрет? — спросил Савчук. Но старику этот вопрос не понравился, он нахмурился, поднялся, произнес сердито:

— Старый я пес... Разболтался о чем не надо. Какое твое дело, кто? Любопытный какой. Ну айдате, тут недалеко уж. Подымай людей-то, расселись-разделись, будто на ночь...

Продолжение следует.

Анатолий ИВАНОВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ВЕЧ Н

Добравшись до лесозаготовительного участка, Савчук в сопровождении долговязого, изъеденного комарами бригадира лесорубов по фамилии Мазаев обошел все делянки, осмотрел груды сваленных, очищенных от сучьев деревьев, штабеля напиленных досок, глянул в тетрадку Мазаева, где велся учет лесозаготовок. И спросил:

— Обед во сколько?

— С двух часов у нас. По участкам обедают. Сперва лесоповальщики, потом обрубщики сучьев, возчики, пильщики. Сразу для всех места за столами не хватает.

— Сегодня всех к двум часам собери. Посоветуемся.

В два часа на вытоптанной до черноты поляне, где стояли врытые в землю грубые, плохо оструганные столы, собрались все лесозаготовители. Заросшие волосом, давно не стриженные, в старых, пущенных на износ рубахах да пиджаках. На поляне было тесно, кто стоял у столов, кто сидел на земле. Слышался говор и смех, плыл в синее и горячее небо табачный дым, мешался с влажным воздухом. Все ждали, что скажет им парторг, с чем он приехал.

Говор и смешки затихли, едва Савчук вышел с Мазаевым из палатки, служившей конторой лесозаготовителей.

— Ну как, лихо тут? — спросил Савчук, поздоровавшись с людьми.

— Зачем? Куро-орт...

— Воздуха много.

— Кина нету вот... Да девок бы на разживу хоть.

— Или Алеху сместить, язву... Свекровь она, что ли, им?

Вспыхнул опять смешок, не злой, добродушный. Повариха Евдокия Алексеевна, полная, сварливая, но в душе добрая женщина, которую все звали Алехой, строго следила за своими четырьмя молоденькими подсобницами, медсестрой и продавщицей ларька, каждый вечер загоняя их в отведенный им семерым дощатый балаган, сколоченный из горбылей и обрезков. А больше женщин здесь не было. Нынче весной взамен заболевшей продавщицы ларька, в котором люди могли купить мыло, табак и всякую прочую мелочь, была назначена Вера Инютина. Она намеревалась было в этом же ларьке, сколоченном из досок, оборудовать себе и жилье, но Алеха, явившись, молча забрала ее тряпье, строго зыкнула: «Еще чего! Тут одно мужичье, не соображаешь, дура?»

Смешок вспыхнул и тут же загас, придавленный голосом Алехи:

— Это кто там про меня высказывается? Захар, што ли? Тебе-то какое горе? Ты ж каждый вечер в Облесье за пятнадцать верст бегаешь.

— Он скороход, что ему?

— Марафонец!

— А там марафонки живут. Их не сторожат, — сказал Захар, крепкий в плечах, невысокий парень.

— От тебя усторожишь! — Повариха, обтерев потное и красное лицо фартуком, подошла к улыбающемуся Савчуку. — Убери ты его отсюда, всех баламутит. И этих, Мишку с Генкой, сомутил. А они вон каких делов натворили, милиция понаехала теперь...

«Понаехавшая» милиция в лице Аникея Елизарова была тут же. Елизаров за два года работы в милиции сильно раздобрел. Сейчас он, покуривая, сидел на врытой скамейке спиной к столу, возле него стояла Вера Инютина, что-то ему обиженно говорила, а тот слушал, облокотившись о свои колени и опустив крупный нос к земле. Инютина была в белом с пестринами платочке, в светлом платье и отчетливо выделялась в толпе.

Все еще посмеиваясь, Савчук сказал:

— Ладно, Евдокия Алексеевна, во всем разберемся. Да и вообще, не долго тут будем все теперь... Товарищи дорогие! Времени у нас нету много собранничать. Положение в двух словах такое... Лесу заготовлено порядочно, досок напилено тоже порядком. Но недостаточно все же... Поэтому директор завода отдал распоряжение — заготовку бревен прекратить, все силы бросить на распиловку. Я вот даже еще пильщиков привез. Но, подсчитав все на месте и обсудив обстановку, думаю, надо в этот план кое-какие изменения внести... Вот Филат Филатыч говорит, что сплавная вода будет нынче только с неделю держаться после Ильина дня и спадет... Так?

— Так. Оно по всем приметам так, мужики, — уверенно сказал Филат Филатыч.— Я тут всю жизнь прожил. Гаранту даю полную, вот увидите...

— Если так, — прохлаждаться нам некогда, товарищи. Упустим эту неделю — зимовать опять народ в землянках будет. Потому что никаким иным способом древесину отсюда не вывезти.

Прошел по толпе говорок. Многие из работающих сейчас здесь уже две зимы пережили в землянках, и зимовать еще одну было в таком жилье невмоготу.

— Поэтому принимается такое решение... Распиловку прекратить вовсе. В конце концов все можно и в Шантаре распилить, было бы что. Разделиться всем на две группы. Одна будет возить бревна к реке и вязать плоты. Сколько надо, столько туда и назначим, чтоб к этому самому Ильину дню все плоты были наготове. Остальные будут продолжать день и ночь валить деревья. День и ночь... За оставшиеся дни нам надо сделать как можно больше.

После обеда, когда все рабочие разошлись по определенным местам, Савчук, слушая визг пил, стук топоров и голоса людей, тоже похлебал немного из миски и направился в сопровождении Елизарова к ларьку. Вера Инютина, увидев входившего парторга завода, вильнула испуганно глазами, вскинула ладонь на колыхнувшуюся грудь, обтянутую тонким платьем, встала боком к небольшому оконцу и опустила голову. За два последних года Вера как-то повзрослела, и хотя ей было всего двадцать три, шел двадцать четвертый, от ее глаз, походки, жестов, от всего ее облика веяло достоинством много пожившей и немало испытавшей женщины.

Елизаров, зайдя следом за парторгом в ларек, сел на перевернутый ящик из-под консервов и опять опустил нос книзу. Когда садился, ящик под его налитым задом захрустел, и Савчук, не глядя на милиционера, поморщился.

— Ну, красавица, рассказывай, что тут такое приключилось?

Инютина всхлипнула.

— Разобраться надо. Расскажи...

Из сбивчивого рассказа Веры он понял, что насиловать ее никто не собирался вроде, и почувствовал великое облегчение. Дело было простое — двое молодых парней, как только Вера появилась в тайге, стали частенько забегать в ларек, потом и сторожить, когда она возвращалась по вечерам на ночлег или утром шла умываться к ручью. Вера улыбалась при встречах и тому и другому («Что ж я, ведьмой должна смотреть на всех?!»), и между парнями, ранее дружившими, стала возникать неприязнь. А несколько дней назад после работы оба умотали с тем самым Захаром, на которого Савчуку жаловалась повариха, в деревушку Облесье, что расположена километрах в пятнадцати в горах. Там у знакомой Захара они всю ночь пили медовое пиво, а к утру объявились здесь.

— Я только умылась в ручье, иду назад, — говорила Вера, не глядя на Савчука, — а он, Мишка, вывалился из-за кустов. Пьяный, улыбается...

Тут Вера подняла глаза на Савчука. В глазах ее горели желтые точки, как у рыси, а губы были обиженными.

— Говор идет, будто хотели... хотели они меня... Неправда это! Они оба хорошие — и Михаил и Генка. Только дураки. Зачем они мне?

Проговорив это, Вера прикусила нижнюю губу своими остренькими зубами. Елизаров поднял на Инютину глаза, усмехнулся и снова опустил взгляд.

Дальнейшее, по рассказу Веры, развивалось следующим образом. Михаил начал объясняться в любви, раскинул руки, прижал ее к стволу сосны и начал целовать. В это время из леса вышел Геннадий, тоже пьяный: «Не лапай ее!» «А твоя она, что ли? Следом крался, как шпион?! Уматывай!» «Сам катись!»

— Слово за слово — и пошло у них,— рассказывала Вера. — Потом один схватил сук, другой какую-то палку. И начали друг друга молотить... Я опомнилась, когда у Мишки кровь потекла, закричала...

Через несколько минут Савчук в сопровождении того же Елизарова подошел к землянке, где сидели драчуны.

— Ну-ка, выводи их.

Елизаров отомкнул двери из почерневших плах. Геннадий и Михаил вылезли на свет осовелые, у одного была перебинтована голова, у другого плечо. Вылезли и встали, опустив виновато длинные руки с сильными ладонями. Савчук знал обоих — они работали в литейке и были неплохими мастерами.

— Красавцы! — произнес Савчук насмешливо и холодно. Парни молчали. — В военкомат, что ли, вас обоих отсюда направить?

— Во-во, — подал неожиданно голос Елизаров. — Разбаловались до края тут.

— А вы не пугайте! — вскинул голову Геннадий. — Чем нашли пугать!

— Вы вон енту милицию на фронт спробуйте, — желчно бросил и Михаил. — А мы — с полным желанием и удовольствием. Наели тут рыла...

— Вот-вот, — усмехнулся Елизаров. — Это они и про вас... Хулиганы!

— Замолчите! — прикрикнул Савчук на Елизарова в бешенстве. Этот человек чем-то его раздражал все больше. И недоволен был Савчук собой, этими своими глупыми словами о военкомате, неизвестно как вырвавшимися. Действительно, нашел чем пугать...

— За драку — прощения просим, — заговорил Михаил. — Так, по дурости... Тут этот нас пугает, раскормленный боров, — парень кивнул на Елизарова. — Дескать, прижгут вам место, каким изнасиловать девку хотели. Не было этого! И в мыслях. Верка, если честная, она скажет...

— Как же вы додумались побоище такое устроить? — спросил Савчук.

— Пиво проклятое... Когда Мишка исчез

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18—20.

ЫЙ ЗОВ

из дому той, знакомой Захара-то, мне стукнуло — к Верке он это, тайком от меня. Ну я и следом подался за ним. За дорогу хмель не выветрился. Умеют в Облесье пиво варить... А что там! Наказывайте, чтоб поделом... Мишка-то вроде и ни при чем. Меня уж давайте.

— Марафонцы! — вспомнил почему-то Савчук словечко, выкрикнутое недавно на поляне. — Марш к медсестре!

— Да мы вроде бы... От безделья только ослабли.

— Марш, сказано! Оттуда — к Мазаеву. И глядите мне! В другой раз не такой разговор будет!

Парни повернулись и пошли друг за другом гуськом. Елизаров поднял свой тяжкий, в красных прожилках нос на парторга.

— Прощаете, выходит! Непорядок это, незаконно. Мы боремся с такими, а этак-то...

— Слушайте, вы... борец! — Савчук свирепел все больше, не понимая даже от чего. Ребята, подравшиеся из-за девчонки, если говорить честно, даже нравились ему чем-то. За пьянку и драку надо проучить, конечно, тут уж как положено. А вот этот милиционер... Действительно, разжирел, растолстел, как баба... — Марш... к Мазаеву!

— То есть? — хлопнул длинными ресницами Елизаров.

— Он на работу определит.

— Извиняйте... У нас свое дело. Мне в райотделение надо. Выделите лошадь.

— А я говорю — к Мазаеву! — угрожающе повторил Савчук. — Будете тут до конца вместе со всеми деревья валить. А с райотделением я объяснюсь как-нибудь...

Елизаров переступил с ноги на ногу, сложил губы обиженной скобочкой, повернулся грузно и пошел...

* * *

В деревне Облесье, неизвестно почему так называвшейся, — стояла она как раз среди самой дремучей тайги, провалившись на дно горной котловины, — была почта, дня через четыре Савчук съездил туда на верховой лошади, позвонил Нечаеву, объяснил директору завода, что тут на месте, исходя из условий, он принял несколько иное решение, а распиловку бревен на доски прекратил.

— Ну что ж, пожалуй... пожалуй, — глуховато покашливая, произнес Нечаев. — Тебе на месте виднее.

— Не мне, Филат Филатычу. Любопытный старикан. Вяжет плоты каким-то известным ему только способом, материт всех остервенело... Позавчера на ночь уехал куда-то. Погляжу, говорит, чем белки дышат. Прилетел вчера к обеду, загнав лошаденку, заматерился еще яростнее. Через неделю, утверждает, вода поднимется. Надо как-то нам бы его... премировать побогаче!

— Сделаем. Как вообще-то там?

— Лесу достаточно навалили. Успеть бы плоты сколотить. Я уж почти половину людей по требованию Филат Филатыча ему отдал. А у вас как?

— Все нормально. Слушай, ты что с моей секретаршей сделал?

— То есть? — не понял сразу Савчук.

— Чуть с ума она не сходит все эти дни. В Москву было кинулась... Обрекаешь, говорю, меня на смерть ты, как я тут без тебя? Дай отцу телеграмму, письмо напиши... Теперь-то уж нашли друг друга.

— А-а, — сказал Савчук. — А это точно его дочь?

— Здравствуйте... Чья же еще? Сегодня она с ним по телефону говорила.

— Он позвонил?

— Да нет, мы отсюда наркомат вызвали.

Возвращаясь из Облесья, Савчук думал о состоявшемся разговоре с директором. Голос у Нечаева вроде бодрый, покашливает только. Значит, справился после того жестокого приступа в кабинете у Кружилина. С недоумением размышлял о Наташе Мироновой, вернее, об ее отце-генерале. Это был еще не старый, только очень измученный, кажется, язвенной болезнью человек. На лице его выделялись брови — не очень густые, но разметистые. Глянув на эти брови, Савчук вспомнил, что и у Наташи такие же, и сразу подумал, не он ли ее отец.

— Простите, Александр Викторович. У вас нет... дочери Натальи?

— А что? — вскинул он свои темные недоверчивые глаза. Взгляд у него вообще был какой-то отчужденный, немного испуганный, будто он от каждого собеседника ждал подвоха, ловушки, и это не вязалось с его генеральской формой, с его положением в наркомате. — Была у меня дочь по имени Наташа. Но она погибла вместе с матерью... моей женой, во время эвакуации. Я навел все справки... Их эшелон разбомбило.

— У нас в Шантаре, на нашем заводе работает Наталья Александровна Миронова. Ей лет двадцать, двадцать один. Я не знаю, ваша ли дочь, но брови у нее... И глаза... И она из эвакуированных.

— Боже мой! — Миронов шагнул из-за стола к Савчуку. — Неужели жива? Я немедленно позвоню в Шантару...

Вернувшись из наркомата и закрутившись с делами, Савчук как-то не выбрал времени рассказать Наташе о встрече с ее отцом, полагая к тому же, что они давно созвонились. Раза два у него мелькало удивление, почему ж Наташа сама не отыщет его и не расспросит подробности этой встречи, но тут же эта мысль пропадала в суматохе. И только перед самым отъездом в тайгу, когда грузовики уже выехали за территорию завода, а Савчук из проходной прощался с Нечаевым, решил перемолвиться с Наташей.

— Я слушаю, Игнат Трофимович, — сказала Наташа в трубку.

— Ты что ж об отце-то ничего не спросишь? Все-таки я живого его видел.

— О каком... Что-что?! — В трубке что-то захлебнулось, послышалось частое дыхание. — Постойте... Вы это... со мной говорите? С Наташей?

— Да ты что? — растерялся даже Савчук. — Погоди... Я в наркомате встретил твоего отца. Он обещал позвонить тебе сразу. Разве он не звонил?

— Не-ет... — растерянно промолвила девушка. — Постойте... Я сейчас к вам... Вы откуда говорите?

— Я из проходной. Но меня ждут люди... Грузовики с заведенными моторами.

— Нет, не-ет! — закричала Наташа. — Подождите меня!

...Над тайгой по-прежнему палило солнце, даже в тени под деревьями было душно и влажно, как в парной бане. Лошаденка, привычная к такой жаре, шла резво, только время от времени фыркала да мотала хвостом, пытаясь отогнать комарье. Савчук, запарившийся в пиджаке, решил было его снять, но тут же надел, потому что комары как шильями тотчас начали прокалывать рубаху на спине, на плечах.

Да, странно это, что Миронов не позвонил дочери, как обещал, не дал даже телеграммы, раздумывал Савчук, покачиваясь в седле. Вообще никак не сообщил о себе, пока дочь сама не позвонила.

За обратную дорогу эта мысль несколько раз возвращалась к Савчуку, неприятно его беспокоя чем-то...

Вернулся Савчук уже затемно, выслушал доклад Мазаева о том, что сделано за день, остался доволен.

— Многие только, что на сплотке, кашлять начали, — сказал Мазаев. — Старик их целый день в воде держит. А сам как железный, зараза... Одна лошадь ногу сломала. Пристрелить пришлось.

— Эти как?.. Марафонцы, которые подрались?

— Работают, как звери.

— Людей на сплотке менять надо...

— Да меняем.

Когда совсем стемнело, Савчук, поужинав, взял мыло и полотенце, пошел к Громотухе. Всюду на отлогом галечном берегу громоздились кучи бревен, длинные готовые связки плотов лежали на воде, привязанные канатами к большим валунам или вкопанным в землю бревенчатым сваям. Савчук зашел на один из таких плотов, разделся. Здесь, на реке, было свежо, тянул ветерок, относил комаров, и они почти не беспокоили. Вдыхая с жадностью холодный запах мокрой древесины, Савчук прыгнул в теплую, усыпанную звездами воду. Здесь было неглубоко, всего по грудь, течение слабое, дно песочное. Савчук вымыл голову, с наслаждением поплавал, разбрызгивая руками звезды, вылез на плот, натянул брюки и рубаху, закурил.

За его спиной горели редкие огни костров, слышались нечастые голоса, раздавался иногда смех. Все это доносилось реже и реже, люди, утомленные долгим и нелегким рабочим днем, укладывались в палатках, в землянках, а то и просто у дымокуров.

Неожиданно сзади послышались всхлюпы оседавших в воду бревен. Савчук обернулся — кто-то шел к нему по плоту. Через секунду-другую он различил, что это Вера Инютина.

— Ой, ноги чуть не поломала! Там еще бревна не связаны. Извините. Я не знала, что это вы здесь. Думала, из девчонок кто.

Савчуку эта девица не нравилась, ему были всегда неприятны ее какие-то уж слишком угодливые глаза при встречах, и он не понимал, зачем Нечаев взял ее к себе в секретарши. Заходя в приемную, он вежливо здоровался и, отмечая, как вспыхивают приветливо ее длинные глаза, тут же отворачивался. Несмотря на приветливость, глаза ее казались ему неискренними. А вот сейчас, кажется, и голос и слова.

— Сюда вообще не следует ходить купаться, — сказал Савчук. — Не положено...

— Кем это? — спросила Вера. — Вы же ходите... Тут вода чистая.

Она проговорила это приглушенно и, кажется, чуть с улыбкой. На этот раз в ее голосе Савчук уловил откровенное желание разрушить грань официальности.

— Тут везде вода чистая.

Савчук встал.

— Вы простите... Ей-богу, я думала, что тут... Я уйду. Купайтесь.

— Я уже выкупался, — ответил он и пошел на берег.

Минут через двадцать, когда Вера с мокрыми волосами шла от берега по протоптанной в лесной траве дорожке, из-за толстого ствола метнулась к ней расплывчатая тень, кто-то железной хваткой защемил ей и голову и шею. Она не успела крикнуть, только охнула, чей-то горячий рот поймал ее губы, начал жевать их, а другой свободной рукой нырнул под расстегнутую кофточку, больно сжал холодную от воды грудь. Вера, пы-

таясь вывернуться, зарычала, принялась рвать волосы насильника, а потом, догадавшись, кто это, затихла и даже, когда тот оторвался от ее губ, сказала:

— Ну что же ты, Аникей? Еще целуй, а то у меня кровь застыла.

Елизаров, однако, отпустил ее, сел на корточки под сосну.

— Дурак ты, — зло сказала Вера, застегивая кофточку. — Что пугаешь? Захотел потискаться, сказал бы. Сама б пришла.

Вера постелила полотенце на землю и села рядом с Елизаровым, натягивая юбку на коленки.

— Я, Верка, Нинуху свою из-за тебя выгнал, — сказал тоскливо. — Айда за меня.

— Не будет этого.

— Тогда... вот те крест, Верка, силой тебя подомну как-нибудь. Нарушу твою невинность драгоценную.

— И этого не будет, — спокойно сказала Вера. — Тогда ведь тюрьма, фронт. А ты этого боишься. Трус ты. Вон цыкнул на тебя Савчук, и ты остался, вкалываешь. Трудненько? — усмехнулась она.

— А зачем мне на рожон с этим пустяком лезть? Я вот хочу на желдорогу перейти работать. Устроюсь кем-нибудь, кладовщиком или где по механизации. Я ж тракторист все же. А из-за такого пустяка он, Савчук-то, еще и озлиться может.

— А у вас-то что, в милиции? Сняли бронь, что ли?

— Ну, у нас... — неопределенно махнул рукой Елизаров.

Вера, поняв, что у Елизарова по службе какие-то неприятности, опять усмехнулась. Он заметил это, схватил железными пальцами ее за плечо, тряхнул.

— Ты! Не скальсн... Все рыбачишь, где поглубже? Ишь, на плот приперлась. Дура! Да разве он клюнет!

— Вывел, а! — И Вера хохотнула. — Зад отрастил, а мозги совсем ссохлись. Я и не знала, что он тут.

— Ничего, понимаем. Алейников сорвался, директор завода из секретарш по шее дал... Грубо работала, должно. На передний план все титьки выставляешь. А они у тебя склизкие.

Вера вскочила, губы ее дернулись. В темноте ее глаза сверкали, брызгали искрами.

— Т-ты... мешок с навозом! Какие бы ни были, да не для тебя! — И она торопливо сделала шаг назад, будто боялась, что Елизаров опять кинется на нее.

А он действительно встал.

— Слушай... Инюткина, как этот старый хрыч тебя зовет, — прохрипел Елизаров. Стоя на месте, он протянул длинные руки, схватил Веру, стоявшую теперь столбом, и притянул близко к своему лицу.

— Отпусти сейчас же! — вскрикнула она сдавленно. — Я закричу!

— А я что, не понимаю, что закричишь? — усмехнулся ей в лицо Елизаров.— Потому я тебя силком брать не буду. Сама ты подстелешься под меня. Добровольно. Запомни.

— Жди, как же!

— Подожду, я терпеливый. — И он оттолкнул ее от себя. — Никого ты, рыбачка, не поймаешь. Крючки у тебя не те. Я только для тебя...

Он повернулся и пошел, раскачивая в темноте огрузлым задом. А она стояла, взбешенная, ее просто колотило от ярости, но глядела, как он уходит, молча, а чтобы не закричать, острыми зубами кусала край полотенца.

* * *

3-й Гвардейский танковый полк, отведенный после тяжких февральско-апрельских боев на доформировку и отдых в сожженную немцами деревушку Тасино под Курском, в самом конце июня получил приказ выдвинуться под сельцо Фатеж, стоявшее на тихой и светлой речке Усоже.

Шоссейная дорога Курск — Орел, содержавшаяся до войны в образцовом состоянии, сейчас была сплошь в рытвинах и ухабах, местами дорожное полотно зияло глубокими воронками. Длинная танковая колонна, двигающаяся и без того на малых оборотах, объезжая эти воронки, еще более замедляла ход.

Стояла сушь, траки взбивали пыльную пудру, она клубами взрывалась под танковыми днищами, тугими струями хлестала во все стороны, забивала, запечатывала щели триплексов. Машины шли будто в густом молочном тумане, Семен ничего не видел, кроме мутной пелены, и, боясь врезаться в машину, идущую впереди, яростно матерился про себя.

Под Фатеж прибыли к вечеру, солнце садилось во вспучившиеся до неба пыльные облака. Семен, грязный, как трубочист, выбрался из танка, снял шлемофон и гимнастерку, начал выколачивать из нее пыль о ствол ободранной березки. Рядом стряхивались, отплевывались от пыли стрелок-радист Вахромеев, командир орудия их повидавшего вида «КВ» сержант Алифанов и дядя Иван, заряжающий.

— А я-то думаю, что это полк двинулся при ясном солнышке, в открытую, — проговорил Семен, кивая на серое, пыльное небо, тяжко висевшее над землей. — А тут такая маскировка.

— Речной мятой тянет вроде. — Иван, глядя на мутное небо, принюхивался, будто запахом мяты оттуда, сверху, и тянуло. — Где-то речка рядом. Умыться бы хоть. А, Егор Кузьмич?

Алифанов, маленький, плотный артиллерист, с такими же усами-подковками, как у Ивана, молча поглядел на командира танка, старшего лейтенанта Дедюхина, неуклюже вылезающего из люка.

— Можно, — сказал Дедюхин хмуро. — А то на чертей похожи. Только сперва машину примаскируйте.

Старший лейтенант Дедюхин был человеком грубоватым и мрачным, но в душе, как это почти всегда бывает с такими людьми, бесконечно добрым. Семен увидел его впервые под Челябинском около года назад. Он, тогда еще младший лейтенант, шел, тяжко ступая, вдоль строя выпускников краткосрочных курсов механиков-водителей танков, при каждом шаге тяжело выбрасывал вперед то одну, то другую руку. Семену показалось на миг, что, если этот хмурый человек остановится, руки его еще будут некоторое время болтаться.

— Ты! — произнес он неожиданно, остановившись против Семена, ткнув в него указательным пальцем.

— Рядовой Савельев, — проговорил Семен.

— Вижу, что не генерал. Сибиряк, мне говорили?

— Так точно, товарищ младший лейтенант.

— Шагом марш за мной.

Повернулся и пошел обратно.

Младший лейтенант Дедюхин был не молод, лет сорока, по виду из рабочих. На его груди посверкивали орден Красной Звезды, две медали. В несколько фраз он объяснил Семену, что приехал с фронта в тыл за своим ремонтировавшимся здесь танком, «расколотым» прямым попаданием сволочной фашистской авиабомбы, во время которого убило механика-водителя и Костю — заряжающего.

— Вот теперь еще заряжающего надо,— закончил он. — Не знаешь, где взять хорошего мужика?

— Так разве мало...

— Хе! — усмехнулся Дедюхин и грубовато прибавил: — Дерьма много, да по-разному воняет... Я сам с Красноярска, весь экипаж у меня сибиряки. Железо люди! Костя тоже был с Иркутска, а не с Малаховки какой-нибудь... Был я до войны в Москве и в Малаховку ездил. Со знакомой одной. Дачное место! Ну, не знаешь?

— Знаю, — сказал Семен, понявший, чего хочет этот странноватый младший лейтенант. — Сейчас пополненцы тут обучаются. Там есть такой солдат Иван Савельев... Как раз в артиллерийском полку он...

— Чего? — прищурил Дедюхин свои острые глаза.

— Это дядька мой. Не ошибетесь.

— Хм, — буркнул Дедюхин, еще раз ободрал холодным взглядом Семена. — Ну, я проверю. Ежели соврал и барахло твой дядька — шкуру с тебя спущу. Где его найти?

Неделю спустя в гулком цехе танкоремонтного завода появился Иван Савельев и, выставив сутулые плечи, стоял у стальной громадины. Танк Дедюхина «КВ» № 734 только что покрасили, краска уже подсохла, но еще резко пахла. Сам Дедюхин, маленький, удивительно маленький по сравнению с этой горой металла, юрко суетился вокруг танка, гладил ладонью броню, траки, ведущие колеса, без умолку говорил, почему-то чуть заискивающе:

— Вот она, Иван Силантьевич, а! Маменька! Тридцать два попадания да сволочная авиабомба еще... А она только трещинку дала. Сейчас есть уже новые танки «тридцатьчетверки». Говорят, хорошие коробочки. Да видел я их, куда внучке до тетки, тетка три раза замужем была, не-ет... Соглашайся, Иван Силантьевич, соглашайся.

— Да куда мне в танкисты? И не отпустят, — по-домашнему произнес Иван.

— Хе, не отпустят! Это к Дедюхину не отпустят? — Младший лейтенант, говоря это, повернулся почему-то к Семену, и, когда поворачивался, рубиновые кубики на правой его петлице блеснули искрой в тусклом свете заводского цеха. — Он что это мне говорит? — И снова повернулся к Ивану, видно, чем-то понравившемуся ему. — Кроме того, есть приказ Верховного, чтоб сын с отцом, брат с братом вместе воевали, чтоб не разлучали родственников. А делу тебя Алифанов, Егор Кузьмич, командир орудия, живо обучит. У нас Егор Кузьмич — ого-го! Голова! Томский таежник он, понял? Дело-то хитрое — взять снаряд из гнезда, сунуть в ствол, закрыть замок. Ну? Ну?

Так вот и оказался Семен с Иваном в одном танковом экипаже. Из Челябинска довезли отремонтированный «КВ» на железнодорожной платформе до Волги, переправились через нее, потом своим ходом добрались до села Котлубань, под которым Дедюхин разыскал свой полк. Было это в конце августа прошлого года, немцы в районе хутора Вертячего и станции Качалинской уже перешли Дон и рвались к Волге. Сутками гремела канонада, горела земля, на совхоз Котлубань и на станцию Качалинскую, хотя там нечего было уже бомбить, беспрерывно налетала фашистская авиация.

— Ага, Савельевы, мокро, что ли, в штанах? — весело спросил Дедюхин, когда с неба посыпались однажды бомбы чуть не в самую балку, по которой были рассредоточены замаскированные машины.

Где-то сбоку лаяли, огрызаясь, зенитки, но вражеские самолеты не обращали на них внимания, кружили и кружили над степной балкой. Страха у Семена не было с первого часа пребывания в прифронтовой полосе, хотя всю дорогу от Челябинска до Волги он испытывал какое-то беспокойство. Он прислушивался к себе, пытаясь понять, что происходит у него в душе. «Неужели это я трушу?» — задавал он себе беспощадный вопрос, криво усмехался. И чем ближе была Волга, чем чаще проплывали мимо разбомбленные станции и поселки, чем отчетливее ощущалось страшное дыхание войны, тем он становился как-то холоднее и спокойнее, только беспрерывно думал: а как там Наташка, как же она? Вот и в тот раз, сидя согнувшись в земляной щели, ощущая спиной холодок глиняной стенки, он думал о жене, вспомнил, как уезжал на войну, как Наташка, когда его подхватили сильные руки и подняли в вагон, упала на пыльную землю и забилась на ней, представлял, как потом подошла к ней его мать, нагнулась и стала поднимать, а рядом то с одного, то с другого боку суетилась, наверное, Ганка.

Слова Дедюхина, их командира, оскорбили Семена не грубостью, а даже непонятно чем. Если бы не эти самолеты, которые не пугали, а все сильнее раздражали его, если бы не думы о Наташке, от которых тупо постанывало в сердце, он, может, пропустил бы мимо ушей эту грубую шутку. А тут он встал, отряхнул с гимнастерки пыль и, глядя в смеющееся лицо Дедюхина, с яростью промолвил:

— Ты, командир... сам вперед не напусти, гляди.

Угловато высеченное лицо Дедюхина вытянулось, он моргнул раз-другой.

— Чего-о?! Ты... как сказал?!

— Да плюньте вы, товарищ младший лейтенант, — попробовал потушить ссору Иван, сидевший рядом.

— Молча-ать! — рявкнул Дедюхин не то на Ивана, не то на Семена.

Семен махнул рукой и пошел вдоль щели. Дедюхин хотел что-то ему крикнуть вслед, остановить, может быть, но то ли передумал, то ли просто пересилил себя, засопел и опустился на дно щели.

С неделю потом Дедюхин молча посапывал, отворачиваясь от Семена, на занятиях по вождению танка и стрельбе с ходу выжимал из Семена и Ивана да и из остальных по ведру пота. А наконец сказал тому же Ивану:

— Хорош... Не зря я твоего племянничка взял. Ну, да у меня глаз алмаз, как отмерю, так отрежу... Теперь, значит, оправдаете себя. Это уж скоро, через день-другой.

Через два дня полк действительно бросили в самое пекло близ хутора Вертячего...

...Плескаясь в перегревшейся мелкой речонке, заросшей по берегам удивительно свежим, неизмятым кустарником, Семен вспоминал почему-то этот свой первый бой под донским хутором Вертячим. Даже не весь бой, а всего один эпизод, который постоянно приходил ему на память и не сотрется в ней, думал он, видимо, до конца жизни. Лощина, по которой скатывались навстречу друг другу советские и немецкие танки, была затянута утренней синеватой дымкой, и Семен думал не о смертельной опасности, а вот о таком же утреннем тумане, который, поднимаясь с Громотухи, затягивал прилегающие к ней луга, вспоминал, как Звенигора, погруженная в этот туман до половины, словно бы плывет по нему, поблескивая золочеными вершинами. В такие утра зверский клев на Громотухе, интересно, как на Дону?

— Куда прешь, куда прешь?! — ударило по ушам, голос Дедюхина был надсажен и устал, будто он кричал до этого всю ночь напролет. — Бок хочешь подставить, едут твою... Держи левее, прямо в лоб ему!

Семен дернул за рычаг, тяжкая махина послушно взяла левее.

— Так... Так, прямо!

А прямо шел приземистый немецкий танк, с приплюснутой башней, поводя из стороны в сторону пушечным стволом. Т-3 — определил Семен сразу же марку немецкого танка, вспомнил даже красочный плакат, который висел на дощатой стенке там, в Челябинске, когда он учился на краткосрочных курсах механиков-водителей. На плакате был изображен этот самый танк в разных ракурсах.

До танка было еще с полкилометра или чуть побольше, когда он перестал вертеть пушечным стволом, уставил его, как показалось Семену, прямо ему в смотровую щель. Из пушечного дула пахнул дымок, совсем не опасный, однако Семен инстинктивно прикрыл глаза. Но грохота снаряда о броню не последовало, немецкий артиллерист промахнулся.

— В-вояки, в задницу вас... — опять прогремел в ушах голос Дедюхина. — А ты дуй, дуй, газу прижми! Алифанов, не стрелять, приготовься...

Эта команда «не стрелять, приготовься» немножко удивила Семена. «Как же так? Как раз и надо бы сейчас влупить ему...»

— Понятно, — прохрипел командир орудия.

Семен совсем ничего не мог сообразить. А тут оглушительно ударило по броне, из вражеской машины снова выстрелили, этот снаряд угодил в лобовую броню, танк качнуло, в голове у Семена зазвенело, и сквозь звон он услышал в наушниках хриплый смех Дедюхина, а потом его матерщину и слова:

— Чего хотели — «КВ» продырявить. Это вам не жестянка из-под помады. Не сворачивать у меня!

Это уже опять относилось к Семену.

— Понятно, — сказал он, как и Алифанов, и почувствовал, как под шлемофоном взмокли волосы. Если танки столкнутся лоб в лоб на такой скорости, оба они расплющатся и вспыхнут, как спичечные коробки. Но к тому мгновению, как вспыхнут, в обоих танках будут лишь трупы...

— Молодец, что понятно. За понятли-

вость нас бабы уважают. А любят за мужскую силу, хе-хе...

Эти слова и этот смешок заставили Семена улыбнуться. В мозгу мелькнуло: какой же он, Семен, дурак, что огрызнулся тогда на Дедюхина, ведь с ним не пропадешь, а коли случится что... как сейчас вот может случиться... то умирать будет весело.

Мотор взревел, сотрясая стальную громадину. Танки быстро сближались. «Если счас влепит — то прямо в смотровую щель», — сверкнуло у Семена тревожно. Было в нем будто два Семена: один ничего уже не боялся, был лих и безрассуден, а у второго беспокойно все-таки долбила в мозги тяжелая, как жидкий свинец, кровь.

Между танками оставалось метров семьдесят, вот еще меньше, еще. По лицу Семена грязными реками стекал пот, в голове гудело, руки вдруг противно задрожали. По ним шли какие-то конвульсии. Семен понял, что руки сами собой готовы рвануть рычаг, чтобы бросить тяжелую машину в сторону, чтобы избежать смертельного столкновения.

— Прямо! — прохрипел Дедюхин, тяжко дыша и будто чувствуя состояние Семена. Из ствола вражеского танка опять брызнул дымок, но адского грохота по броне не последовало. «Действительно размазня! — злорадно подумал Семен о немецком артиллеристе. — С такого расстояния промахнуться...» И он понял, что нервы у фашистских танкистов напряжены, как у него самого, до последнего предела, и еще подумал с какой-то уверенностью, что они у них вот-вот лопнут, оборвутся. Закусив до крови губы, он бросил дико ревущую машину на пригорок, чтобы оттуда, с высоты обрушиться всей тяжестью на фашистов, и на миг потерял танк с крестом из поля зрения. Только на миг, но когда тяжкий «КВ» взлетел на пригорок, немецкой машины впереди не было.

— Ну?! — вроде бы возмущаясь, что Семен потерял немцев из вида, рявкнул в шлемофоне голос Дедюхина. И тут же Семен почувствовал, как громыхнуло их орудие.

— Молодцом Алифанов! — неожиданно вяло произнес Дедюхин. И Семен увидел чуть в стороне горящий немецкий танк, сразу же понял все ясно и отчетливо, весь нехитрый расчет Дедюхина на выигрыш. Ни 37-, ни 50-миллиметровые орудия, устанавливаемые на немецких танках, для лобовой брони «КВ» были не страшны, но и пушка «КВ» не в силах пробить квадратный стальной лоб фашистской машины, поэтому Алифанов и не стрелял. Но рано или поздно нервы гитлеровцев должны были не выдержать, и как только это случилось, едва вражеский танк отвильнул в сторону, Алифанов, бывший начеку, влепил ему в бок, в самый упор снаряд, в клочья разорвав гусеницы, — горящая немецкая машина крутилась на одном месте.

Когда бой кончился, над лощиной все еще стоял туман, он даже сделался гуще, и не сразу Семен сообразил, что теперь это не туман, а дым, отлившийся по земле от подбитых немецких и наших танков, рассыпанных по всей низине чадящими кострами. Дедюхин приказал всем выстроиться возле машины, прошелся взад, вперед перед экипажем, собираясь с речью, как казалось Семену. Но речь он не сказал, только спросил:

— А что, Иван Силантьевич, сердце уходило в пятки?

— Трудновато было, — сказал Иван, тоже грязный и потный, как все.

— Ну, война — это работка! Обвыкнется...

Руки, ноги, тело Семена все еще гудели мелкой дрожью, он думал о том, как вываливались из подбитых горящих машин немцы в черных комбинезонах, кидались прочь, падали под пулеметным огнем, некоторые больше не вставали, и он, Семен, давил их, и бегущих и уже лежащих, гусеницами, каждый раз будто слыша хруст ломаемых костей. «Разве можно к этому привыкнуть, разве можно?!» Его вдруг замутило, он невольно прикрыл глаза и пошатнулся.

— И Савельев Семен молодцом, — услышал он голос Дедюхина. — Еще один такой бой — и обвыкнетесь, мужички-сибирячки...

...И вот теперь Семен не только обвыкся, а как-то даже потерял раз и навсегда ощущение своего присутствия на войне, ему все казалось, что он действительно находится на какой-то работе, утром заступил на смену, и вот все не кончается трудовой день, а дома ждет Наташка, теплая, вся трепетная, и бабка Акулина ждет, суетясь по бесконечным своим делам в комнатушке. Было потом много боев, больших и малых, в ходе которых немцы все оттесняли их дивизию и всю армию к железнодорожной линии Качалинская — Сталинград. Ощущение опасности как-то выветрилось, наверное, просто было некогда об этом думать, дни и ночи запомнились дымом и грохотом... И даже когда под сельцом Овражное их «КВ» подожгли, Семен не думал об опасности. Задыхаясь от дыма, чувствовал, что на спине горит ватник, и, понимая, что вот-вот может взорваться боекомплект, он бросил пылающий танк в какую-то речушку и только там вывалился из люка в ледяную воду.

— Ах, едут твою! Молодцом, что не растерялся... Ну, прибить пламя! Всем, живо!

Пожар кое-как потушили, кусок пламени, оторвавшись от танка, уплыл по речке, слизывая толстую лепешку мазута на воде. С помощью подвернувшегося танка их «КВ» выволокли из речушки на глинистый берег. Сбоку, за кустами, то приближаясь, то удаляясь, гремел бой. Семен ходил вокруг дымящейся паром железной горы, проверяя траки. Все было вроде бы в порядке.

— Заведется? — спросил Дедюхин.

— Не знаю. Должен. Не развалился же он.

— Коли б развалился — к лучшему бы, — неожиданно сказал стрелок-радист Вахромеев, потирая обожженную щеку. — Получили б «тридцатьчетверку».

— Я те дам — «тридцатьчетверку»! Это механизм! — Дедюхин пнул в гусеницу. Он не признавал никаких типов танков, кроме «КВ». — Заводи!

Семен, обрывая обгорелые лохмотья мокрого ватника, полез в люк. Механизм завелся.

В бою под Овражным они расстреляли из орудия четыре вражеские пушки, проутюжили гусеницами окопы, где красноармейский батальон всего четверть часа назад держал оборону. Обстановка на войне меняется быстро, и пока они барахтались в речке, немцы выбили наш батальон из окопов, заняли их, успели подтянуть и установить пушки. Выбитый из окопов и прижатый к кромке лесочка, занятого тоже немцами, стрелковый батальон был обречен, и появление в тылу у немцев двух советских танков было полной неожиданностью. Гитлеровцы в панике начали поливать их из пулеметов, разворачивать пушки, но сделать это не успели. Видя неожиданную помощь и замешательство немцев, батальон поднялся в атаку, снова занял оставленные несколько минут назад окопы, а к вечеру, уступая превосходящим силам противника, без особых потерь отошел на новый рубеж.

— Это мы сотворили переполоху у них,— довольно сказал вечером Дедюхин. — А ты, Вахромеев, балда. Хочешь променять хрен на морковку. Чтоб у меня таких и разговоров не было! Не слыхал, чтоб... Ну, а медали у нас в кармане. Это уж я знаю, такой вышел переплет. Под Вертячим, помните, танк сшибли, и вообще геройство экипажа было налицо... Но... невеста красива, да женишок спесивый... Ладно уж. А тут уж хошь не хошь, а медаль положь. Крышка батальону, коли б не мы, утопленники. Вот она, кривая.

Дедюхин говорил об этом, радуясь, как ребенок, будто в этих медалях была вся жизнь и дело с наградами уже решенное.

Медали «За отвагу» всему экипажу действительно вручили месяц или полтора спустя, когда под той же Котлубанью они ремонтировали немножко поврежденную в последнем бою ходовую часть.

— Ну, Савельевы, считайте, что это вам только аванец, как в начале месяца, — сказал Дедюхин, обращаясь к Ивану и Семену. — Отрабатывать его скоро придется, я чую...

«Чуяли» это и все остальные.

Продолжение следует.

Анатолий ИВАНОВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ВЕЧНЫЙ

Немцы прикладывали неимоверные усилия, чтобы прорваться к Волге, перерезали дорогу Качалинская — Сталинград, давно захватили Овражное, под которым горел «КВ» Дедюхина. Гитлеровцев сдерживали уставшие до предела войска, подходившие и подходившие к линии фронта подкрепления командование почему-то в бой не вводило. Танковыми, стрелковыми, артиллерийскими дивизиями были забиты все прифронтовые селения — Самофаловка, Ерзовка, Желтухин, хутор Верхне-Гниловский, Пашнино... Всем было ясно, что готовилось крупнейшее контрнаступление, которое должно было отбросить немцев от Сталинграда,— об этом говорили в открытую.

Но отрабатывать «аванец» Дедюхину и его экипажу пришлось уже не здесь.

18 ноября под деревенькой Рынок, приткнувшейся на самом берегу Волги, прямым попаданием у «КВ» Дедюхина сорвало верхний люк и кронштейн для пулемета. Дедюхин, матерясь, что их для такого пустякового ремонта отправили аж в Дикову Балку, отстоящую от линии фронта на много километров, все же вынужден был подчиниться приказанию, а 19-го началось знаменитое Сталинградское контрнаступление.

Из Диковой Балки было видно, что в той стороне, где находился Сталинград, по всему горизонту стлались черные дымы, а когда дул южный ветер, сюда доносились гарь и запах сожженного тола и железа. Но в Диковой Балке неожиданно оказалась вся танковая дивизия, в которую входил 3-й гвардейский полк. Через день он своим ходом двинулся на станцию Иловля.

— С тылу, с тылу, видно, немцу ударим,— несколько раз говорил Дедюхин.

— Ну что ж, мы специалисты,— каждый раз отвечал ему Вахромеев, заметно повеселевший, отдохнувший.

Но в Иловле их неожиданно погрузили на платформы и куда-то повезли прочь от фронта.

— Интересно,— промолвил Алифанов.— А?

Дедюхин, получивший лейтенанта одновременно с вручением медали «За отвагу», промолчал. Ничего не сказали и Семен с Иваном. Семен, смертельно уставший за последние месяцы, просто был очень рад, как и Вахромеев, неожиданной передышке и тишине. Он большую часть пути пролежал на нарах в теплой, жарко накочегаренной теплушке, раза два за всю дорогу только сбегал к платформе поглядеть, все ли в порядке с их машиной.

Выгрузили их глухой ночью где-то на пустынном перегоне между Липецком и Ельцом. С обеих сторон к железной дороге

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18—21.

вплотную прижимался лес. Шел теплый и густой снег. Семен впервые видел за эту зиму такой обильный снегопад. На душе у него было светло, чисто и радостно. Танки, неуклюже сползая с платформ, уходили в черноту деревьев. Шум их моторов там сразу же глох.

А потом — бои за начисто разрушенное селение с непривычным названием Касторное, удар на Щигры и далее на сам Курск, город, о котором Семен много слышал. Когда он учился в школе, слова «Курская магнитная аномалия» почему-то всегда удивляли и поражали его. Он представлял, что по улицам этого самого Курска валяются магнитные куски железа и это из них делают те магнитные подковки, которые он вытаскивал иногда из старых репродукторов.

7 февраля 1943-го, поздним вечером, их «КВ», исцарапанный пулями и осколками, влетел на окраину какой-то улочки этого города. Город горел, над ним стояло дрожащее зарево, и в этом зареве извивались черные жгуты дымов. Улица была тесной. Впереди, метрах в трехстах, немцы выкатывали из переулка пушку, торопливо разворачивали ее.

«КВ» несся прямо на вражескую пушку, и Семен понимал, что подмять ее гусеницами он не успеет, вон немецкий артиллерист уже поднял руку...

— Алифанов! — привычно прохрипел в шлемофоне голос командира танка, и командир орудия так же привычно отозвался:

— Вижу.

Опустить руку немец не успел: на том месте, где стояла пушка, мгновенно вспух вихрь огня и дыма, оторванный ствол немецкой пушки легко, как сухая палка, взлетел над ним и, крутясь, упал на крышу приземистого домишка, проломив ее...

...Поплескавшись в речке, Семен вылез на травянистый берег, взял пыльную, в мазутных пятнах гимнастерку с погонами, к которым никак еще не мог привыкнуть, отстегнул медаль, положил ее в карман брюк. Снова вошел в речку, попросил у Вахромеева обмылок.

— Еще чего,— буркнул прижимистый Вахромеев, однако мыло подал.— На гимнастерку изведешь, потом морду нечем будет обмыть.

— Не жадничай... Чего это нас сюда перекинули вот, скажи лучше?

— А девкам тут плясать не с кем,— буркнул Вахромеев.

— Болтун ты,— проговорил Семен и покосился на дядю Ивана, который, белея за кустами незагорелым телом, прыгал на одной ноге, пытаясь другую протолкнуть в штанину.

— Мы тут, чую я, все попляшем,— сказал сбоку Дедюхин. Вода была чуть выше пояса. Дедюхин по-бабьи плюхался, приседая, поднимаясь и вновь приседая.— Ох, чую, мужички-сибирячки. Наотдыхались, хватит. Два месяца как в отпуске, на курорте ровно, были. Вроде и не война нам...

* * *

Действительно, почти два месяца танковая дивизия недвижимо стояла на берегу красивой речки Сейм, неподалеку от небольшого городка Льгова, освобожденного в начале марта. По всему фронту в конце апреля наступило неожиданное затишье, не было ни налетов артиллерии, ни самолетного гуда в воздухе. Странно было, что в самом начале мая по кустам и рощам, обломанным колесами танков, пушек и автомашин, искромсанным снарядами и пулями, в зарослях, из которых не выветрился еще запах гари, бензина и пороха, защелкали, затрещали соловьи. «Это же знаменитые курские соловьи!» — сказал тогда Семен удивленно дяде Ивану, а тот, послушав переливчатый звон, кивнул головой и только проговорил: «Ну, наши сибирские-то не хуже».

ЗОВ

За эти два месяца танкисты хорошо отдохнули и отъелись, привели в порядок свои машины. В начале июня их стали посылать на рытье траншей и строительство оборонительных сооружений, которые возводились между Льговом и станцией Лукашевка. Танкисты делали все это охотно: разминали тело от долгого уже безделья.

Вместе с военными на устройстве оборонительной полосы работало много жителей Льгова и Лукашевки, в основном женщины, и однажды Семен кидал землю рядом с худой, молчаливой девчонкой, голова и лицо которой чуть не до самых бровей были замотаны черным платком. Работала она в одиночестве, ни на кого не обращая внимания, ни с кем не разговаривая, не отвечая на шутки, кидала и кидала землю. По лбу ее обильно сочился пот, щипал, видно, глаза, она отворачивалась, какой-то тряпкой протирала их и часто гладила ладонями свои щеки под платком, будто они у нее чесались.

— Ты бы сняла платок-то... Жарища такая,— сказал ей Семен. Она впервые подняла на него глаза, и Семен ужаснулся: глаза ее были старушечьи, усталые и тоскливые до немоты, будто сгоревшие и присыпанные пеплом, в них как-то совсем не проникал солнечный свет, не отражался в них.

Семен, ошеломленный, застыл недвижимо. Девушка усмехнулась как-то странно, тоже неживой усмешкой.

— Ладно, я сниму...

Она поглядела вправо и влево. Траншея, которую они рыли, за ее спиной круто заворачивала, рядом никого не было. Девушка грязными пальцами развязала на шее платок, сдернула его, и Семен почувствовал, как разливается холодок у него в груди. Вся голова девушки была покрыта частыми белыми, как бумажные клочки, плешинами, меж которых торчали пучки светлых, коротко обрезанных волос, а во всю правую щеку пузырем лежал красный безобразный рубец. В платке девушка казалась симпатичной и даже красивой, а сейчас стояла перед ним страшная и обезображенная.

— Это...что же с тобой?— спросил Семен, в чем-то пересиливая себя.

— А прокаженная я...— И, глянув на застывшего Семена, еще раз усмехнулась:— Не бойся, я не заразная. Серной кислотой это я себе голову сожгла.

— Сама?! — удивленно выдохнул он.

— Сама...

— Зачем?

Девушка туго замотала опять голову, отвернулась и, кажется, заплакала.

— Семка, шабаш,— сказал подошедший Вахромеев, поглядел на девушку.— Строиться кричат.

— Сейчас... Больно ж, должно, это,— сказал Семен, понимая, что говорит не то.

— Под фашиста лечь, что ли, легче?! — зло повернулась девушка, в глазах ее впервые блеснуло что-то гневное и живое.— Ступай отсюда! Стройся.

— Что ты орешь на меня?— рассердился Семен.— Я перед тобой виноват, что ли?

— Не виноват. И ступай!

Семен повернулся и пошел, спиной чувствуя тяжелый, ненавидящий взгляд. Обернулся: она действительно глядела на него своими мертвыми, стылыми глазами.

— Как тебя звать?— неожиданно спросил он.

— Ну, Олькой Королевой...— Она скривила губы презрительно.— Тебе это очень надо?

Он не видел ее потом недели две — то ли она не ходила больше на рытье траншей, то ли работала где-то на другом конце,— но думал о ней все время, вспоминал ее злые слова: «Под фашиста лечь, что ли, легче?» — вспоминал часто Наташку, и ему казалось, что ее судьба чем-то схожа с судьбой этой Ольки.

По вечерам танкисты стали похаживать в Лукашевку, полностью почти разрушенную немцами, где в длинном кирпичном сарае, уцелевшем каким-то чудом, крутили уже кино. Сперва повадился туда Вахромеев. Он стал вдруг каждый вечер тщательно бриться, а потом и пришивать свежие подворотнички из ослепительно чистого, неизвестно откуда взявшегося у него куска новой простыни. Все это Дедюхину не очень нравилось, и он едко спросил однажды, покашливая:

— Гм... Это ты, Вахромеев, где воротнички-то берешь?

— Натокался, товарищ лейтенант, на одну благодетельницу. Может, и ты... пойдемте. Кусок простыни еще найдется.

— Разговорчики! — повысил голос Дедюхин.— Гляди у меня, не окажись в нужный момент на месте!

Однажды Вахромеев уговорил «сбегать на пару часов в Лукашевку» и Семена, таинственно намекая на что-то. Семен раза два бывал в Лукашевке по службе и до этого, идти ему с Вахромеевым не хотелось, но разбирало любопытство глянуть на его таинственную благодетельницу. Это оказалась особа далеко не молодых лет, рыхлая, со скрипучим голосом, но одетая чисто и аккуратно. Она жила, как и многие, в наспех сколоченном дощатом сарае. На железной койке, недавно покрашенной суриком, лежала пышная постель. Приходу Вахромеева и Семена она обрадовалась, тотчас юркнула куда-то, появилась с костлявой девицей, которая вошла в сарай, прислонилась неловко, боком к щелястой стенке и побагровела, будто от натуги.

— Это Зойка, мы вместе тут работали до войны в столовке. Официантки мы... Сейчас столовая наша отстраивается, мы покуда на стройке работаем. Знакомьтесь, что ли. Зойка у нас стыдливая. А меня зовут Капитолина.

Семен буркнул свое имя, пожал жесткую ладонь Зойки, жалея, что пришел сюда с Вахромеевым. Думал он в этот момент об Ольке и еще о том, что вот эти две девицы, наверное, напропалую жили с немцами, потому вон и сытые, в теле, Зойка хоть и костлявая, но тоже крепкая.

— У меня, Вахромейчик, кое-что есть!— воскликнула Капитолина, тряхнула кудряшками, полезла за кровать и вытащила водочную бутылку, заткнутую деревяшкой.— Вот!

Бутылка была неполной, водки в ней было чуть побольше половины. Капитолина все это разлила на четыре части в граненые стаканы. Семен давно не видел домашней посуды, и при виде обыкновенных стаканов у него в груди что-то пролилось теплое, будто он водку эту уже выпил. А Вахромейкина благодетельница, как он с неприязнью назвал про себя Капитолину, глянула на Зойку, все такую же сморщенную и багровую, отлила из своего и ее стаканов в какую-то чашку.

— Это Ольке,— сказала она, извинительно глядя на Вахромеева.— Ну, мальчики, выпьем, потом потанцуем. У меня, Семен, патефон есть, вон он, и две пластинки. Потом в кино пойдем.

— Кому, кому это?..— кивнул Семен на чашку, куда Капитолина отлила водки.

— Ольке, говорю, связной нашей. Ну, Вахромейчик, сладенький мой...

— Какой связной? Погодите,— попросил Семен.

Вахромеев хитро подмигнул, выплеснул в широкий рот водку, взял с полки патефон и, накручивая пружину, сказал:

— А той самой, с которой ты в траншее любезничал. Она в ихнем партизанском отряде разведчицей и связной была...

— Вы... партизанили?! — повернулся Семен почему-то к Зойке, еще более от этого смутившейся.

— Ну да,— сказала она, опуская глаза.— Вон с Капитолиной вместе...

— Господи, ну что это вы, будто младенцы какие! — закричала Капитолина, раскрасневшаяся от глотка водки.— Ты, Зойка, немцев, как траву, косила из автомата, а тут...

— А тут что-то мне страшно,— тихо и беспомощно сказала Зойка.

— А ну-ка, живо плясать!

Зойка несмело взглянула на Семена. Замученная пластинка хрипела. Семен, тоже волнуясь теперь, шагнул к девушке, положил руку ей на спину и тотчас почувствовал, как она вздрогнула.

Танцуя, он видел красную, заветренную щеку Зойки, чувствовал, как эта щека и открытая, упрямая шея пышут жаром. «Надо же, что я подумал о них, об этой Зойке и Капитолине, а они...» — Мучился он, краем глаза, стыдясь, наблюдал за Капитолиной: плотно прижавшись к Вахромееву, она водила его вокруг стола, на котором стояли пустая бутылка, четыре граненых стакана и чашка.

— А вы ее пожалейте, ладно? — услышал вдруг Семен.

— Кого?

— А Ольку. Она хорошая, и ей ничего не надо... Она сейчас придет, мы ей сказали.

Семен невольно остановился. Он заметил, что Капитолина, все прижимаясь к Вахромееву, повернула к ним с Зойкой голову, и в ту же секунду Зойка требовательно сжала ему плечо, и он, подчиняясь, стал танцевать дальше.

— Олька все спрашивала об вас у Вахромеева,— зашептала ему в ухо Зойка.— А он нам рассказал, что она об вас спрашивала. Ну вот мы с Капитолиной и попросили Вахромеева, чтоб он привел вас... Это ничего, да?

— Да что же...— проговорил Семен.— Только ведь что же я могу ей... У меня жена и дочь.

— Ой, ну до чего же бывают непонятливые болваны! — прошипела она ему в ухо, и Семен остановился.— Ну что вы столбом встали? Танцуйте.

Вот тебе и Зойка! Теперь он верил, что эта девица могла резать немцев из автомата, как траву косой.

Он теперь все время ждал, когда она придет, эта Олька с неживыми, потухшими глазами, как-то отрешенно и холодно размышлял: о чем же это он с ней будет говорить? И вообще как это так — пожалейте? Как он должен пожалеть ее? Что это они придумали? Уйти, что ли, отсюда?

Но Семен понимал, что уходить ему нельзя, и в то же время отведенная ему кем-то роль жалельщика оскорбляла его, он раздражался, и Зойка, эта смущающаяся девица, вроде бы чувствовала, угадывала его состояние, время от времени предостерегающе сдавливала его плечо сильными пальцами.

Олька появилась неожиданно. Семен увидел ее, когда она уже стояла спиной к запертой за собой дощатой двери в сарай, обеими руками держась за железную скобку. Голова и лицо ее были так же глухо повязаны платком, но теперь белым, с синими цветочками по краям. Она стояла, сильно вытянувшись, готовая в любую секунду ринуться вон. Простое ситцевое платьишко туго облегало ее фигурку, выделяя крутые плечи и сильные груди.

— Олька, Олечка!— вскричала Капитолина, бросаясь к девушке, обняла ее за плечи, прижалась к ее закрытой платком щеке губами.— А у нас гости. Вот, знакомься, это Семен, товарищ боевой моего Вахромейчика.

— Здравствуй,— кивнул Семен, не переставая танцевать.

— Добрый вечер,— промолвила Олька.— Да мы знакомы.

— О-о! — громко удивилась Капитолина.— Когда же вы успели?

— А там, на траншеях...

— Ну и распрекрасно, коли так... Ты выпьешь, Олечка? Вон мы тебе глоточек оставили. И корка хлеба есть зажевать.

— А что ж, и выпью.

Она подошла к столу, глотнула из чашки, даже не поморщившись, будто воду. Семен с Зойкой все топтались у противоположного края стола. Вахромеев, стоя у спинки кровати, чиркал зажигалкой, Капитолина держалась обеими руками за его локоть и что-то говорила. Пластинка, прохрипев, перестала. Семен и Зойка остановились. В сарайчике возникла какая-то неловкость. Капитолина бросилась было к патефону, но, покрутив ручку, выдернула ее, захлопнула крышку и решительно объявила:

— Вот что, хватит, идемте в кино. По воздуху пройдемся...

Вечер был душный и тихий, высоко в небе густо стояли звезды, извечная молчаливая тоска лилась сверху. Семен шагал рядом с притихшей как-то Олькой (Капитолина, Зойка и Вахромеев, похохатывая, ушли вперед), вдруг остро ощутил эту тоску. Под этими звездами, думал он, лежит сожженный поселок Лукашевка, и много-много таких Лукашевок, лежит развороченная и обугленная земля, которой не дали по весне расцвести и не дадут осенью принять в себя семена. Потому и мерцает так печально над ней молчаливое звездное небо, вобравшее нынче в себя дымы неисчислимых пожарищ, тяжкие стоны изувеченной земли...

Олька неожиданно и молча свернула в сторону, туда, где среди пепелищ торчала, белея во мраке, печная труба. Вокруг уцелевшей печки были уложены пять или шесть венцов нового сруба. Неподалеку, на другом конце улицы, стояло одинокое дерево.

— Вот дед мой строится,— сказала девушка, став спиной к невысокой стене.— Никого у меня нет, один дедушка остался. Печка вот неразрушенная совсем, дедушка обрадовался. Кирпича-то, говорит, негде взять на печку, а нам и не надо... Покуда вон в палатке живем.

Девушка кивнула куда-то, но Семен никакой палатки не увидел поблизости.

Потом он долго глядел на белеющую во мраке печь, вспомнил вдруг свой дом в Шантаре, такую же печку и подумал, что ведь печки — непременные участники жизни людской, вместе с людьми они делят человеческие радости и невзгоды, и судьбы у печек, как у людей, бывают разные, у каждой своя. И вот эта, уцелевшая при пожаре, но пока мертвая, давно остывшая, возродится к жизни, задымит, когда дом будет отстроен, возвещая, что жизнь неистребима и неостановима, какие бы несчастья и трагедии на нее ни обрушивались. И вот эта Олька залечит скоро все свои раны, хотя волосы на месте белых проплешин вряд ли отрастут, так и останутся эти проплешины на всю жизнь. Да и рубец на щеке, видимо, останется. Но дурак будет тот парень или мужик, который из-за этих проплешин и обезображенной щеки отвернется от нее. Может так случиться, и Олька это знает, чувствует и страшится. Но все равно, размышлял Семен, найдется рано или поздно человек, который возьмет ее в жены не из жалости к ее судьбе и ее мукам, который лишь поразится той цене, которую она заплатила, чтобы сохранить чистоту своего тела и своей души. И тогда она, благодарная, отдаст тому человеку всю себя без остатка, она родит ему сыновей или дочерей, то есть исполнит то, что ей предназначено жизнью...

Так он думал, не зная и не предполагая всю глубину ее трагедии.

— А эти... Капитолина с Зойкой в самом деле партизанили? — спросил он, поворачиваясь к ней.

— Не веришь? — Олька усмехнулась невесело. Но Семен обрадовался, что она хоть так усмехнулась.— Они с Капитолиной поездов пять с немцами, с разными ихними машинами под откос пустили. Не считая всякого другого. Зойка — та особенно отчаянная...

Она помолчала.

— Как же это... такое с тобой, Оль? — проговорил он тихо.

Олька поняла, о чем он спрашивает, встрепенулась вся, вытянула замотанную платком голову, часто задышала.

— Жалеешь меня?

— Да нет...— сказал машинально Семен.

— Ишь ты, гусь! — еще больше задыхаясь, прохрипела Олька.— Не жалко, значит? Ну да... что я тебе? Пришел — увидел, ушел — забыл...

— Что ты к словам-то придираешься?— рассердился и Семен.— По-человечески надо все... И говорить и понимать.

— По-человечески! А вот ты... поймешь разве?

— Так ты расскажи...

Неожиданно Олька вхлипнула, уткнулась ему в грудь. Он почувствовал ее горячий лоб, растерялся, подрагивающими руками погладил по девичьим плечам, ощутив до пронзительности их беспомощность и доверчивость.

— Ну что ты, Олька? Не надо...

— Не надо... Конечно, не надо,— повторила Олька, тихо и покорно оторвалась от него.— Они добрые, Зойка с Капитолиной. Это они попросили, наверно, Вахромеева позвать тебя. А мне зачем?

— Да я же и не знал, что... что тут живешь ты.

— Вот и не ходи больше. А Вахромеев пусть ходит. После войны они договорились с Капитолиной пожениться. Капитолина влюбилась без памяти. Сколько было в отряде партизанских мужиков — она хоть бы тебе что, а тут в два или три вечера влюбилась. Вот как бывает непонятно. Хочу, говорит, чтоб к концу войны от тебя ребенок уже родился. Ты воюй, а я твоего сына хочу в это время в себе носить. Ты это ее желание понимаешь?

— Не знаю,— сказал Семен, чувствуя, что Олька говорит о чем-то большом и важном, совсем не по-девчоночьи, по-взрослому.

— А я понимаю. Капитолина добрая. И Вахромеев тоже. Это хорошо, что они встретились друг для друга.

— Конечно... Ты знаешь, Оль,— сказал вдруг Семен, улыбнувшись, и тронул ее за плечо.— Ты тоже добрая и тоже встретишь такого же парня, который тебя полюбит, как Вахромеев...

Ольга поежилась, отодвинулась от его руки, замолчала. Семен, чувствуя какую-то свою вину перед ней, тоже ничего не говорил. Они стояли и молчали, а над ними печально горели звезды.

— Ладно, я тебе расскажу, почему я... как все произошло это,— тихо проговорила,

почти прошептала Олька, потуже завязывая платок.— Я тоже хотела вместе с Зойкой и Капитолиной в партизанский отряд. Но меня попросили остаться тут... Лукашевка же станция, хоть небольшая, а через нее поезда идут и идут. Я должна была следить, куда они идут, сколько и с чем составы. Кого-то надо было оставить, вот меня и оставили. И я следила, раз в неделю ко мне из отряда приходили, я им все передавала. А когда не приходили, значит, нельзя было, тогда я в условленном месте знаки оставляла...

— Какие знаки?

— Ну, всякие... Если клала три камешка один за другим, значит, три состава с разной техникой на Курск прошли. Ежели укладывала их кучей, значит, на Льгов. Каждый камешек значение имел. Плоский — танки, круглый —пехота... Целая азбука была у нас составлена. Но лучше, когда приходили. На словах-то все можно подробнее... И что на станции делается, что в селе.

Теперь она стояла, опустив голову. Будто забыла, что дальше ей говорить, и мучительно вот вспоминала. И вдруг опять еле слышно всхлипнула и заскулила тихонько, как щенок.

— Не надо, Оль... рассказывать, коль тебе трудно,— проговорил Семен.

— А у меня красивые волосы были, я их боялась,— неожиданно сухим голосом произнесла девушка, смахнула пальцами слезы с ресниц.— Потому что однажды три немца остановили среди поселка. Патрули. Платок сорвали с меня, волосы упали на плечи, они начали их... лазают в них холодными пальцами, бормочут по-своему... Один даже понюхал их. Потом спрашивает по-русски: «Где твой дом? Пошли!» Что же мне делать? Повела, иду, а сама думаю: на улице же среди бела дня не посмеют со мной ничего... А коли там, дома... Ну, там видно будет, у меня в сенях граната припрятана, может, сумею схватить... Они привели меня, мать побледнела. Один немец, который волосы нюхал, говорит: «Ого, матка тоже нестарая... Не пускай свою дочь на улицу, а то солдаты увидят...» И загоготали все, ушли, громыхая сапогами. Мать говорит: «Слышишь, надо скрываться, чует мое сердце...» Ты, говорю ей, иди, а я не могу, ты же понимаешь... А волосы я обрежу. А мать свое: «Олюшка! Я глаза ихние видела, надо уходить от греха!» «Да ты подумай,— говорю,— как я объясню своим, из-за чего уйти отсюда хочу, чего испугалась...» А так и объясни, я сама вот объясню, нечего девку тут держать, давай укажи мне, как партизанов твоих найти, где они. Сама я твое дело лучше делать буду...»

Над разрушенным поселком по-прежнему стояло полнейшее безмолвие, не лаяли собаки, их просто не было, немцы, объявившись тут в конце октября 1941 года, перестреляли их за неделю. Где-то, наверное, возле кирпичного сарая, служившего клубом, вспыхивал временами девичий смех и тут же гас, как бессильный огонек. Семену показалось вдруг нелепым и непонятным то обстоятельство, что поселок лежит в развалинах, ведь войны никакой нет, а те жестокие бои, в которых он сам участвовал под Сталинградом и тут, под Курском и Льговом, не то приснились ему, не то он когда-то видел все это в кино.

Олька вернула его к действительности своим уставшим, измученным голосом:

— Отец мой погиб на финской, с мамой мы, с дедушкой да бабушкой жили недалеко за Орлом, в деревушке Шестоково. А перед самой войной сюда переехали. Матери было сорок семь лет, но ее годы ей никто не давал, она была и в самом деле как девчонка, красивая, легкая. Немец тот правильно и сказал, что мама нестарая... Ну, волосы я под корень обрезала и в самом деле стала думать, как же мне быть теперь, может, и вправду пусть мать объяснит все в отряде, мне самой этого не сделать, да и стыдно, а я могу и составы подрывать, как Зойка с Капитолиной... Жду я человека из отряда, а его все нет и нет. Это было осенью сорок второго, партизан в болота тогда оттеснили, никто и не мог ко мне прийти... И вечером... дождь шел, холодный, осенний... Загалдели, затопали в сенях, слышим, мать опять побледнела и только сказала: «Вот оно... я говорила!..»

Голос у Ольки совсем обессилел, прервался, она часто и тяжко задышала, опять заплакала и потянула ладони к глазам.

— Нет, я не могу! Я самое страшное видела! Они маму... на моих глазах изнасиловали...

— И не надо, хватит,— сказал Семен поспешно, чувствуя, как копится у него под черепом какой-то горячий взрыв.

— Что хватит? Что хватит? — Голос девушки вдруг зазвенел от ненависти.— Тебе... и слушать невмоготу, а мне... Нет уж, послушай ты! Чтоб знал, с кем воюешь!

— Да я знаю... Оля! — Он дотронулся до ее плеча.

— Не знаешь! Это я знаю! Разве это люди? Их разве женщины рожают?

Прокричав это, она затихла, лишь подрагивало ее плечо. Потом она повела им, требуя убрать руку, долго молчала, разглядывая что-то в темноте перед собой, кажется, белеющую посредине сруба печь, ладонью поглаживала бревно будущей стены дома.

— Их было четверо, немцев,— прежним, уставшим голосом продолжала она.— Те трое и еще один какой-то... Они пришли пьяные, завалили стол фляжками, банками, объявили, что в гости пришли, керосину в канистре принесли. Предусмотрительные. Керосину в деревне ни у кого не было, как подступает ночь — пораньше укладываются все, чтоб засветло... Сами заправили лампу, зажгли. Потом тот, который нюхал мои волосы, подошел, смеясь, ко мне, сорвал платок, и смех его застыл на хорячей морде. Лицо у него было острое, как у хорька... И глаза выпучились, чуть не полопались. Волос у меня не было, а вся голова в струпьях... Это бабка моя, что, говорит, делать-то, внученька, сернистой кислоты у меня где-то маленько есть в пузырьке, давай сожгем маленько кожу, тогда, может, побрезгуют, не опоганишься об них, у бабы должна быть душа и тело чистыми, а болячки заживут. Ну, я и... Только я не знала, что это так больно... Ну, да это ладно... В общем, заревел немец коровой, кинулся почему-то к бабке, будто знал, что она мена научила, затряс ее. Она ему стала объяснять, тыкая в меня пальцем, что, мол, неизвестная болезнь девчонку начала есть, может, и заразная. «Ладно! — сказал немец по-русски. Долго они тут хозяйничали, сволочи, по-русски многие научились говорить.— Ты, старуха, ступай на улицу, не мешай нам...» И вытолкал бабушку в сени, захлопнул двери. А деда не было дома, он в лес за хворостом пошел с обеда и еще не вернулся. Потом немец подошел к столу, начал пить прямо из фляжки. И вдруг крикнул что-то по-своему тем троим. Они набросились на мать, повалили ее прямо на пол, оборвали на ней худенькое платье... Прямо один немец схватил ручищей за ворот и рванул... Как она, мама, кричала и билась, они втроем ничего с ней сделать не могли... Потом один схватил банку с консервами и ударил ее по голове...

Олька говорила теперь все это голосом глуховатым, бесцветным, и Семену казалось, что он слышит не настоящий, живой голос, что к нему доносится откуда-то его эхо, то затихая, то усиливаясь. В груди его саднило, там растекалось что-то горячее, хотелось глотнуть хоть немного свежего и холодного воздуха, но воздуха вокруг не было, была черная, удушливая пустота.

— Я не знаю... я не видела, что было дальше,— пробивался откуда-то к Семену голос Ольки.— Я только слышала, как мама простонала последним стоном: «Доченька... не гляди, зажмурься...» Я не могла глядеть и без того... потому что немец... который из фляжки пил... царапал пальцами мои груди и живот... Он замотал мне чем-то голову... Он пытался справиться со мной на кровати... Я не знаю, как мне удалось его отбросить, он был сильный... Но он почему-то слетел с кровати, ударился вон об ту печку. Наверно, я как-то изогнулась и отшвырнула его ногами. Пока он вставал с пола, я сбросила с головы тряпку, метнулась мимо него в сени, там сунула в кошачий лаз руку и схватила гранату. Все произошло в какую-то секунду. Когда я с гранатой в руке метнулась к двери в комнату, немец только еще вставал с пола. А тот, который мать... насиловал, повернул ко мне голову... Это я заметила. Повернул — и моргает, моргает испуганно. И еще окровавленную голову матери увидела, почерневшие ее губы. «Доченька, бросай... бросай...» — прохрипела мама этими губами. Я выдернула чеку... Немец, который вставал с пола, шарахнулся назад, к тем троим, которые возле мамы. «Кидай же!» Это опять мама, голос ее расколол мне голову. Я кинула туда гранату. Какая-то сила шатнула меня, чуть в бок от дверного проема. Помню, будто молотом кто в лицо ударил. Это осколком меня сюда...— Она дотронулась пальцами до правой своей щеки.

Боли в груди Семен теперь не чувствовал, там все будто омертвело, опустело, зато в голове начался тяжкий и больной гуд, как от грохота ударившего в танковую броню снаряда. Он поднял голову и взглянул в небо, рассчитывая почему-то и там увидеть одну черноту, но, нет, звезды не погасли, они по-прежнему сияли в невообразимой высоте, бесшумно и равнодушно.

— Дом от того взрыва загорелся и сгорел,— продолжала меж тем Олька очень тихим голосом.— Когда он загорелся, в сени заползла с улицы бабка, застонала: «Господи, ты в крови вся! Спрятайся, убегай, коли можешь, немцы на пожар бегут...» Не помню, как выползла я из сеней на крыльцо, побежала в темень, через огороды. На краю деревни дедушку встретила с хворостом, он только охнул, бросил хворост... Потом побежал куда-то. Я, помню, долго сидела под дождем в каких-то кустах, все ждала его, оторвала от кофточки кусок, прижимала разорванную щеку тряпкой этой... Дед приплелся не скоро, плюхнулся мешком и еще долго лежал недвижимо... Потом сказал, что нету больше у меня и бабки, немцы забрали и не выпустят ее... И точно, ее повесили через два дня. Она сказала им, что это она кинула гранату в немцев, которые дочку ее опоганили... мою маму. Они, наверно, не поверили ей. Бабке разве кинуть гранату, она разве знает, как с ней обращаться? А я еще в школе обучалась... Но все равно бабушку повесили, нас с дедом искали... Да мы в лесу таились, а после в отряд кой-как пробрались...

Она замолкла, и Семен молчал, не в состоянии произнести что-то и понимая, что любые его слова будут сейчас жалкими и беспомощными. И долго они стояли так в безмолвии...

Наконец Олька вздохнула глубоко и сильно. Семен почувствовал вдруг, каким-то чутьем понял, что ей легче оттого, что она рассказала обо всем этом, что ей надо было об этом рассказать кому-то постороннему. Он пошевелился, и она, стоявшая к нему боком, неожиданно вскинула туго обвязанную платком голову, повернулась и, глядя прямо в лицо, проговорила отчетливо:

— Ты сказал, найдется для меня парень... А вот ты... можешь меня такую... поцеловать?

Он потерянно молчал, удивляясь ее вопросу. Но это даже был не вопрос, а просьба, он это чувствовал по ее голосу.

— Ну, что же ты?! — воскликнула она насмешливо.— Немец тот, может, и заразный был... Так ведь он только когтями по телу поскреб. А больше ко мне ни один мужик не притрагивался... Ну, сейчас темно, болячек моих не видно. Ну?!

Девушку била истерика. Глаза ее сверкали, вся она дрожала, и это странным образом подействовало на Семена.

— Ну что ты...что ты,— произнес он, шагнул к ней, и взял ее за плечи, и, чуть склонившись, хотел отыскать ее губы. Но она, тяжело дыша, повела головой в сторону, вывернулась из его рук, отбежала прочь. Возле одиноко торчащего на другой стороне улицы дерева остановилась, обернулась.

— Жалельщик какой нашелся! — крикнула она с яростью.— Это все они — Капитолина с Зойкой... А мне не нужно! Ничего не надо, поня-атно!

«Атно-о!» — эхом взлетел в молчаливое звездное небо ее крик.

Когда эхо умолкло, девушки возле дерева уже не было.

Продолжение следует.

Анатолий ИВАНОВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ВЕЧНЫЙ ЗОВ

Под вечер 4 июля Дедюхин был вызван к командиру роты, вернулся оттуда красный, взъерошенный.

— Пос-строиться! — прошипел он, как гусак, своему экипажу, и когда подчиненные встали у машины, командир танка, пройдясь взад-вперед вдоль малочисленного строя, остановился напротив Вахромеева.

— Воротничок чистый пришил уже? Так! — угрожающе протянул он.

— Товарищ старший лейтенант, я...

— Молчать! — взвизгнул Дедюхин, багровея от натуги.— А под трибунал не хочешь? А?— И повернулся к Ивану Савельеву.— А ты куда смотришь? Куда, я спрашиваю? Ежели и племянничка твоего...— Дедюхин ткнул пальцем в Семена,—...под трибунал?! Вот если бы сегодня к бабам своим умотали в Лукашевку? Ишь, воротнички чистые пришили...

Дедюхин бушевал бы, может, еще долго, но заурчал приближающийся грузовик, и командир танка проговорил устало:

— Ладно, я вас еще мордой об землю пошоркаю. Взять на борт два боекомплекта!

Больше Дедюхин ничего не стал объяснять, но все и без того понимали, что вольное житье, к которому уже как-то привыкли, кажется, кончается.

Приняв боеприпасы, начали протирать снаряды, потом все, кроме Дедюхина, снова вызванного к ротному, пошли к берегу речки вымыть заляпанные снарядной смазкой руки. Весь день пекло, зной не спадал и к вечеру, хотя солнце уже было в нескольких метрах от горизонта...

В ожидании дальнейших событий все толпились вокруг танка. Вахромеев, встревоженный и обеспокоенный, беспрерывно спрашивал сам у себя:

— Интересно, успеем ли поужинать? Вот в чем вопрос.— И сам же себе отвечал:— Ох, чую, не успеем. Открывайте, братцы, святцы...

— Что ты ноешь-то, — рассердился Иван.— Прямо жилы из всех тянешь и тянешь.

Вахромеев обиженно хмыкнул и скрылся из глаз. Иван подошел к Семену, сидящему под березкой с разлохмаченной корой, опустился рядом, вынул вчера полученное из дома письмо, стал перечитывать.

— Чего пишут-то? — спросил Семен.

— Да что? Тоже хлещутся там... Панкрат Назаров все кашляет. Шестьсот центнеров хлеба, пишет Агата, колхозу прибавили сдать сверх плана, а жара посевы выжигает.

— Мать как там?

— Про мать ничего в этом письме не прописано... Школьников из Шантары, пишет, на лето по колхозам разослали, в Михайловку тоже вроде прибыли, и еще ждут. Детям тоже достается.

Дядька Иван с самого отъезда на фронт был малоразговорчив. В Челябинске, где их распределили по разным частям, он только сказал Семену:

— Прощай, выходит. Хорошо бы нам с тобой, Семка, вместе повоевать, да у войны свои законы. Может быть, и не увидимся больше... Оно ведь как судьба выйдет...

Благодаря объявившемуся в Челябинске Дедюхину они не только увиделись, но вот год уже почти воюют вместе. Дядька Иван будто носил постоянно в себе что-то невысказанное и больное. Когда было можно, Семен оказывал ему всякие пустяковые услуги, следил, чтобы поудобнее место для ночлега было, чтобы суп в его котелке оказался погуще... Иван все замечал, глаза его теплели, но вслух никаких благодарственных слов не высказывал.

Перечитав в который раз истершееся уже письмо, Иван оглядел листок со всех сторон, будто отыскивая, не осталось ли где не замеченное им слово, аккуратно сложил, спрятал в карман. Минуты две-три смотрел куда-то перед собой, на измятую солдатскими сапогами, втоптанную в землю траву и только потом сказал:

— Сколько все ж таки сил человеческих у баб? А мы их, случается, не шибко то и жалеем...

Семен опустил голову, думая, что Иван имеет в виду его похождения к Ольке в Лукашевку, но дядька говорил пока о другом:

— Чего Агатка моя в жизни видела? Слезы да горе. Холод да голод. А вот в каждом письме меня еще обогреть пытается...

И лишь помолчав, задал вопрос, которого Семен боялся:

— Чего там у тебя с Олькой этой?

Семен ответил не сразу.

— Ничего,— проговорил он и поднялся.

— Так ли?

Иван спросил это, глядя снизу вверх. Семен стоял, чуть отвернувшись, но взгляд его чувствовал. Он слышал под подошвой сапога какой-то острый предмет, не то камень, не то сучок, это его раздражало, он двинул ногой, чтоб отбросить тот предмет, но когда поставил ногу на место, под подошвой было то же самое. Наверно, это просто торчал из земли корень.

— Ты что же... жил с ней?

— Ну, жил, жил! — вскрикнул Семен, поворачиваясь к Ивану.

— Та-ак, сопляк. А жена, Наташка? Ну, чего в рот воды набрал? Отвечай!

Ответить Семен ничего не успел: издалека послышался шум заводимых танковых моторов, стал приближаться. Иван вскочил с земли. Появился из-за кучки деревьев Дедюхин, издали махая рукой. Этот знак все поняли, выстроились возле машины. Дедюхин, подбежав, схватил болтающийся у колена планшет, раскрыл его.

— Слушай боевой приказ!..

Мимо по размолоченной гусеницами просеке, заполняя ее синими клубами сгоревшей солярки, уже с ревом неслись танки, и Дедюхин только крикнул:

— В машину! На дорогу Фатеж — Подолянь. Там я скомандую...

Через несколько минут тяжелый танк, подминая молодые деревца, выскочил на дорогу. С час или полтора шел в колонне других машин. В смотровую щель Семен ничего не видел, кроме подпрыгивающего на рытвинах впереди идущего танка да мелькавших по сторонам деревьев.

Потом Дедюхин скомандовал взять влево, шли каким-то лугом уже в одиночестве, продрались сквозь негустой лесок, взлетели на лысый холм. Семен увидел впереди участок дороги, огибающей небольшое заболоченное озерцо. Дорога выворачивала из того самого леска, который они миновали, и пропадала за камышами.

Когда танк спустился с холма, Дедюхин приказал остановиться. Он выскочил из машины, пробежал вдоль отлогого холма, поросшего на склоне всяким мелким кустарником.

Перечитав в который раз истершееся уже письмо, Иван оглядел листок со всех сторон, будто отыскивая, не осталось ли где не замеченное им слово, аккуратно сложил, спрятал в карман. Минуты две-три смотрел куда-то перед собой, на измятую солдатскими сапогами, втоптанную в землю траву и только потом сказал:

— Сколько все ж таки сил человеческих у баб? А мы их, случается, не шибко то и жалеем...

Семен опустил голову, думая, что Иван имеет в виду его похождения к Ольке в Лукашевку, но дядька говорил пока о другом:

— Чего Агатка моя в жизни видела? Слезы да горе. Холод да голод. А вот в каждом письме меня еще обогреть пытается...

И лишь помолчав, задал вопрос, которого Семен боялся:

— Чего там у тебя с Олькой этой?

Семен ответил не сразу.

— Ничего,— проговорил он и поднялся.

— Так ли?

Иван спросил это, глядя снизу вверх. Семен стоял, чуть отвернувшись, но взгляд его чувствовал. Он слышал под подошвой сапога какой-то острый предмет, не то камень, не то сучок, это его раздражало, он двинул ногой, чтоб отбросить тот предмет, но когда поставил ногу на место, под подошвой было то же самое. Наверно, это просто торчал из земли корень.

— Ты что же... жил с ней?

— Ну, жил, жил! — вскрикнул Семен, поворачиваясь к Ивану.

— Та-ак, сопляк. А жена, Наташка? Ну, чего в рот воды набрал? Отвечай!

Ответить Семен ничего не успел: издалека послышался шум заводимых танковых моторов, стал приближаться. Иван вскочил с земли. Появился из-за кучки деревьев Дедюхин, издали махая рукой. Этот знак все поняли, выстроились возле машины. Дедюхин, подбежав, схватил болтающийся у колена планшет, раскрыл его.

— Слушай боевой приказ!..

Мимо по размолоченной гусеницами просеке, заполняя ее синими клубами сгоревшей солярки, уже с ревом неслись танки, и Дедюхин только крикнул:

— В машину! На дорогу Фатеж — Подолянь. Там я скомандую...

Через несколько минут тяжелый танк, подминая молодые деревца, выскочил на дорогу. С час или полтора шел в колонне других машин. В смотровую щель Семен ничего не видел, кроме подпрыгивающего на рытвинах впереди идущего танка да мелькавших по сторонам деревьев.

Потом Дедюхин скомандовал взять влево, шли каким-то лугом уже в одиночестве, продрались сквозь негустой лесок, взлетели на лысый холм. Семен увидел впереди участок дороги, огибающей небольшое заболоченное озерцо. Дорога выворачивала из того самого леска, который они миновали, и пропадала за камышами.

Когда танк спустился с холма, Дедюхин приказал остановиться. Он выскочил из машины, пробежал вдоль отлогого холма, поросшего на склоне всяким мелким кустарником.

Перечитав в который раз истершееся уже письмо, Иван оглядел листок со всех сторон, будто отыскивая, не осталось ли где не замеченное им слово, аккуратно сложил, спрятал в карман. Минуты две-три смотрел куда-то перед собой, на измятую солдатскими сапогами, втоптанную в землю траву и только потом сказал:

— Сколько все ж таки сил человеческих у баб? А мы их, случается, не шибко то и жалеем...

Семен опустил голову, думая, что Иван имеет в виду его похождения к Ольке в Лукашевку, но дядька говорил пока о другом:

— Чего Агатка моя в жизни видела? Слезы да горе. Холод да голод. А вот в каждом письме меня еще обогреть пытается...

И лишь помолчав, задал вопрос, которого Семен боялся:

— Чего там у тебя с Олькой этой?

Семен ответил не сразу.

— Ничего,— проговорил он и поднялся.

— Так ли?

Иван спросил это, глядя снизу вверх. Семен стоял, чуть отвернувшись, но взгляд его чувствовал. Он слышал под подошвой сапога какой-то острый предмет, не то камень, не то сучок, это его раздражало, он двинул ногой, чтоб отбросить тот предмет, но когда поставил ногу на место, под подошвой было то же самое. Наверно, это просто торчал из земли корень.

— Ты что же... жил с ней?

— Ну, жил, жил! — вскрикнул Семен, поворачиваясь к Ивану.

— Та-ак, сопляк. А жена, Наташка? Ну, чего в рот воды набрал? Отвечай!

Ответить Семен ничего не успел: издалека послышался шум заводимых танковых моторов, стал приближаться. Иван вскочил с земли. Появился из-за кучки деревьев Дедюхин, издали махая рукой. Этот знак все поняли, выстроились возле машины. Дедюхин, подбежав, схватил болтающийся у колена планшет, раскрыл его.

— Слушай боевой приказ!..

Мимо по размолоченной гусеницами просеке, заполняя ее синими клубами сгоревшей солярки, уже с ревом неслись танки, и Дедюхин только крикнул:

— В машину! На дорогу Фатеж — Подолянь. Там я скомандую...

Через несколько минут тяжелый танк, подминая молодые деревца, выскочил на дорогу. С час или полтора шел в колонне других машин. В смотровую щель Семен ничего не видел, кроме подпрыгивающего на рытвинах впереди идущего танка да мелькавших по сторонам деревьев.

Потом Дедюхин скомандовал взять влево, шли каким-то лугом уже в одиночестве, продрались сквозь негустой лесок, взлетели на лысый холм. Семен увидел впереди участок дороги, огибающей небольшое заболоченное озерцо. Дорога выворачивала из того самого леска, который они миновали, и пропадала за камышами.

Когда танк спустился с холма, Дедюхин приказал остановиться. Он выскочил из машины, пробежал вдоль отлогого холма, поросшего на склоне всяким мелким кустарником.

— Ну, мужички-сибирячки! Тут наша песня, может, последняя и будет.

У Семена прошел меж лопаток холодок. Дедюхина он видел всяким, но таким еще никогда: щеки серые, губы плотно сжаты, он говорил, кажется, не разжимая их, и непонятно было, как же он выталкивает слова. Глаза блестели остро, пронзительно, во всем его облике было что-то сокрушающее, неудержимое.

— Предполагается, что утром немцы двинутся. Передохнули, сволочи... Наша задача до удивления простая — по этой дороге, — Дедюхин махнул в сторону озерца, — не пропустить ни одного танка. Сколько бы их ни было...

— На этой дороге их целый полк уместится. Что мы одной машиной? — проговорил Вахромеев.

— Сколько бы их ни было! — повторил Дедюхин, продавливая слова сквозь губы.— Я сам... сам этот участок дороги выбрал... Мы их тут намолотим. А, Егор Кузьмич?

Алифанов глянул зачем-то на опускающееся за горизонт солнце, будто хотел попрощаться с ним. Все невольно поглядели туда же. Потом подправил согнутым пальцем один ус, другой. И сказал:

— Как выйдет, конечно... Постараемся.

Иван стоял прямо, скользил прищуренным взглядом по дороге, голова его медленно поворачивалась.

— Взять лопаты. Танк закопать, — распорядился Дедюхин.

Капонир рыли дотемна, сбросив гимна-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18—22.

стерки. Соленый и грязный пот ел глаза, протирать их было нечем, некогда да и бесполезно.

Уже в темноте Семен задним ходом задвинул танк в земляную щель, сверху его закидали нарубленными ветками. Дедюхин приказал срубить еще несколько деревьев, вкопать их перед танком так, чтобы они, не мешая обзору и обстрелу дороги, надежно маскировали машину. Когда это было исполнено, он ушел на дорогу, по-хозяйски осмотрел ее, будто ему предстояло завтра с утра приняться за ее ремонт, а не корежить снарядами. Вернулся и разрешил достать йа ужин НЗ.

— Обмыть рыло бы, — пробурчал Вахромеев.

— Ничего... Не на свиданье собрался к этой своей, — буркнул Дедюхин. И неожиданно для всех улыбнулся. — Сладкая баба у тебя. Видел как-то. А его вот, Савельева, зазнобу не знаю. Ишь вы, какие жеребцы. Поди, всю землю вокруг них копытами изрыли?

Дедюхин говорил теперь добродушно, Семен глянул на ковырявшегося в консервной банке Ивана, но тот, хмурый, промолчал.

Ели все вяло, усталость разламывала кости.

— Ну что ж, давай, дядя Ганс, — произнес Дедюхин неожиданно. И не совсем понятно добавил: — А настелить гать — не в дуду сыграть. Мы те сами заиграем, а ты попляшешь. А теперь всем спать. Савельев Иван — глядеть за дорогой. В три часа меня разбудишь, если все будет тихо.

И он первый улегся на теплую, рыхлую землю, мгновенно захрапел.

Семен, облюбовав себе место для сна, наломал веток, застелил землю. Снял сапоги, положил их под голову, засунув для мягкости в голенище воняющие потом портянки. Укладываясь, он боялся, что дядя Иван захочет продолжить разговор об Ольке, но тот молчал, только все скреб ложкой в консервной банке.

Стояла удивительная тишина, как уже много недель подряд. Немецкий передний край отсюда был километрах в трех-четырех, но этого не чувствовалось. Где-то далеко, то в одном месте, то в другом небо слабенько озарялось колеблющимся светом и гасло — это время от времени взлетали над линией фронта осветительные ракеты.

Пока рыли капонир, стояла плотная духота, а сейчас тянул со стороны озерка ветерок и, кажется, начали набегать тучки, в звездном небе, как в порванном решете, зияли черные дырки. Семен глядел на эти темные пятна, думал о Наташе, а перед глазами стояла Олька — маленькая и беспомощная, с оголенными грудями, торчащими в разные стороны, просящая у него не любви, а просто ласки, как умирающий от жажды просит, наверное, глоток воды. «А может, я буду тем и счастливая, Семка!» — стонала она, глядя на него умоляюще и униженно, в глазах ее не было мертвенной пустоты, они горели сухо, пронзительно, немного болезненно, но по-человечески. «Как ты не поймешь? Мне от тебя ничего не надо, только эту минуту...»

Она просила откровенно, униженно, оскорбляя себя и его, и у него мелькнуло тогда, что в ней проснулось что-то животное. Но, мелькнув, эта мысль пропала, или он ее просто отогнал, потому что она по отношению к Ольке была все-таки несправедлива, чем-то марала ее. Еще он подумал, что смертельно оскорбит девчонку именно тем, если отвернется... Он шагнул к ней, одной рукой обнял за плечи, другой скользнул по ее груди, обжигаясь. Она запрокинула плотно повязанную платком голову и жадно нашла сама сухими, сгоревшими губами его губы. Ноги ее подогнулись, она своей тяжестью потянула его вниз, на землю, а потом от женского чувства впервые испытанной любви застонала мучительно и радостно. Мозг ему больно прорезало, что когда-то так же вот застонала и Наташа, и он только тут с ужасом очнулся, в голове было пусто и гулко, там будто кто-то молотил палкой по железному листу...

...Так оно вот и случилось, думал сейчас Семен, слушая, как похрапывает Дедюхин. И винить в этом он не мог ни себя, ни Ольку, девчонку все-таки непонятную ни в словах, ни в поступках. А может быть, и понятную, подумал вдруг Семен, но только изломанную войной, измученную всем тем, что ей пришлось пережить. Этим все и объясняется.

Семен припомнил все встречи после той, когда она спросила, смог ли бы он ее поцеловать, и когда она вырвалась из его рук, закричав враждебно: «Жалельщик какой нашелся...» И она действительно бы-

ла, кажется, оскорблена тем случаем, в сарайчик к Капитолине и Зойке приходила редко, а когда приходила, то на Семена не глядела, демонстративно отворачиваясь.

— Зачем ты, Оля, так со мной? — спросил однажды Семен. — Ведь я тебя никак обидеть не хотел.

— А я и не обиделась, — сухо ответила она. — А рубец на щеке стал вроде поменьше, понятно?

— Конечно, все заживет.

— И волосы отрастут, ты думаешь? — спросила она помягче.

— Не знаю.

— Вот и доктор сомневается. Плешивая буду... всю жизнь. — И она всхлипнула.

— Оля, не надо.

— Отстань, ты! — вскрикнула она опять в гневе, встала и убежала.

Он перестал ходить с Вахромеевым в Лукашевку. Но где-то через неделю или полторы тот сказал:

— Капитолина опять... просит. Сходил бы к Ольке.

— Да я вам что, шут гороховый? Дурачок для... для...

— Ну, может, и дурачок, — сказал Вахромеев как-то странно, со вздохом.

— Катись ты со своей Капитолиной!

— Т-ты! Сержант! — Вахромеев подскочил, схватил его за грудки было, сверкая глазами. Но Семен вдруг вспомнил полузабытый прием самбо, Вахромеев отлетел, согнувшись от боли, изумленно выдохнул: — Дедюхин! Товарищ старший лейтенант!

— Что такое? — появился из блиндажика, который они соорудили для себя, командир танка.

— Он, зараза, приемы знает какие-то.

— Какие приемы вы знаете? — строго и официально спросил Дедюхин.

Все это кончилось тем, что сам старший лейтенант раза два очутился на земле, а потом потребовал:

— Два часа в день будете заниматься со всем экипажем. Может каждому пригодиться.

— Да я же все перезабыл, товарищ старший лейтенант. Когда это было-то?

— Выполняйте, — козырнул Дедюхин.

И Семен стал заниматься, учил Вахромеева, Алифанова и самого Дедюхина зажимам, подножкам, захватам. Только дядя Иван после двух-трех уроков от обучения наотрез отказался, заявив, что возраст его все-таки не для самбы этой...

— Ладно, — сразу согласился Дедюхин. — Продолжайте с желающими.

В Лукашевку Семен все же пошел. Олька встретила его молчаливо и виновато, они говорили о том о сем, раза два он слышал даже ее смех, тихий, робкий. Рассмеется и сама вроде удивится, она ли это хохотнула? Замолкнет, прислушиваясь к чему-то в себе. Потом она начала расспрашивать его о Сибири, о семье, о Наташе.

— Счастливая она, твоя Наташка, — вздохнула Олька однажды.

— Ей тоже... столько пришлось пережить.

— Значит, ты ее любить сильнее должен, — сказала она задумчиво.

Как-то Олька весь вечер была молчаливой, подавленной, ни в какой разговор с Семеном не вступала и под конец разрыдалась.

— Ты что, Оля? Устала, иди отдыхай. Я тебя провожу.

— Нет, я боюсь спать. Как засну, мне мама снится. Ведь это я ее... Ну что ж, они, немцы, надругались над ней. Но ведь жила бы!

— Что ж... конечно, — сказал Семен, чтобы что-то сказать. Но Олька полоснула его глазами:

— Нет, после такого... нельзя жить. Незачем, понятно?

Прощаясь, она спросила:

— Как ты думаешь, если б папа был жив... И он бы узнал об этом, что они с мамой... мог бы он ее еще любить?

— Ты, Оля, такие вопросы задаешь...

— Разве мама виновата? Или я... если бы сумел тот немец? Ну в чем я была бы виновата?

— Ты бы сама... не стала жить. Ты же только что сказала.

Она поглядела на него внимательно, не мигая, глазами холодными и суровыми. Олька была чуть ниже его ростом, она положила руки ему на плечи, привстала на носки, приблизила свое лицо вплотную к его лицу, выдохнула:

— Правильно... Это с нашей, с женской стороны. А с вашей, мужской? Ну?

Он молчал, чувствуя, что никогда не будет в состоянии ответить на такой вопрос. Она поняла это, вздохнула, отпустила его, потихоньку пошла прочь, нагнув к земле голову...

...А в тот вечер, когда все произошло между ними, Олька была необычно оживлена, просто он никогда еще не видел ее такой, и много смеялась. Вдруг она спросила, когда последнее письмо пришло от Наташи? Семен сказал, что неделю назад.

— Дай мне его почитать, а? — попросила она. — Не вздумай мне врать, оно у тебя в кармане лежит, вот в этом.

— Откуда же ты знаешь? — изумился Семен.

— Я теперь все на свете знаю, — сказала она.

Было еще относительно светло, они стояли на окраине разрушенной Лукашевки в крохотной березовой рощице, не тронутой ни снарядами, ни танковыми гусеницами. Олька любила это место, и они уже не раз тут бывали. В небе гас закат, пространство быстро наливалось темнотой. Олька выхватила из его рук сложенный вдвое треугольник, вслух начала читать, одновременно опускаясь под березку: «Родной мой и милый Семен! Моя единственная любовь...»

Голос ее заглох, она что-то тяжело проглотила и дальше стала читать молча. Семен стоял рядом и краснел, потому что знал, о чем читает Олька. Наташа писала, как и в каждом письме, о своей любви к нему, но в этом еще и описывала свои ощущения, которые она испытывает, когда крохотная Леночка сосет грудь. «Я забываю от счастья обо всем на свете, я вспоминаю твои нежные руки и губы, Сема, я чувствую себя где-то не на земле...»

Прошло времени вдвое, а может быть, втрое больше, чем требовалось на чтение письма, а Олька все глядела и глядела в бумажный листок. Затем медленно подняла голову, снизу вверх взглянула на Семена глазами, полными слез, и начала медленно вставать. Губы ее тряслись и что-то шептали.

— Я хочу быть... хоть на минуту... на ее месте, — разобрал наконец Семен ее слова, невольно отступил.

А она, уронив письмо и все глядя на него, расстегнула на кофточке одну пуговицу, другую...

— Олька! — пробормотал Семен смущенно и глупо, пытаясь отвернуться от блеснувших бугорков ее грудей. — Ты же только что читала... про Наташку...

— Семен, Семен! — прошептала она с мольбой. — Ты о чем говоришь-то... сейчас? Как тебе не стыдно?!

— Ты будешь жалеть...

— Я это сама хочу! Назло тому фашисту... хотя и мертвому! Назло тем, которые маму... — Она задыхалась. — Ну что же ты?!

Усилием — не воли даже, а сознания — он еще сдерживал себя. А может быть, его смущало белеющее на черной траве письмо...

— Брезгаешь, да? — выкрикнула она хрипло.

— Ты будешь проклинать себя потом за эту минуту...

— А может, я буду тем и счастливая, Семка! Как ты не поймешь?! Мне от тебя ничего не надо, только эту минуту...

...Потом Олька плакала, положив обвязанную платком голову ему на колени, а он тихонько гладил ее по голове.

— Пусть твоя Наташа на меня не обижается. От ее счастья не убудет, — проговорила она, пытаясь унять слезы. — Я бы на ее месте не обиделась...

Затем она подняла письмо с земли, свернула, положила ему в карман.

— Ты напиши ей хорошее-хорошее письмо. О том, как ты ее любишь и думаешь все время о ней...

Семен только усмехнулся.

— Я же изменил ей.

— Не-ет! — она вскочила, ее всю заколотило от гнева. — Не-ет! Ничего ты тогда не понимаешь! Это было один раз — единственный и последний.

И действительно, единственный и последний. Семен потом бывал еще в Лукашевке неоднократно, видел и Ольку. Она как-то изменилась, вся подобралась, стала еще более таинственной и непонятной. Она с ним разговаривала непринужденно, но мало, больше молчала, думая о чем-то своем. Иногда, почувствовав его взгляд на себе, сразу умолкала, смущалась и старалась отвернуться. Наедине с ним она больше не оставалась.

А потом она исчезла из Лукашевки. Капитолина сказала:

— Она поступила работать пока в госпиталь. Ну, — пока не вылечит рубец на щеке. Ей обещали срезать его, операцию сделать. Потом, говорит, пойду в краткосрочную школу разведчиков. Меня тоже Алейников приглашал в эту самую школу, да я... — Она опустила голову, пряча глаза.— Вахромейчик меня вроде зарядил, наконец-то.

— Кто-кто?! — спросил Семен удивленно.

— Вахромейчик, кто же еще, — обиженно сказала Капитолина.

— Я спрашиваю, кто Ольку... пригласил?

— Да майор Алейников Яков Николаевич, начальник прифронтовой опергруппы НКВД. Мы же все — и я, и Зойка, и Олька, как говорится, в тесном контакте с ним работали. Хороший он дядька, добрый, только малоразговорчивый.

— У него шрам есть на левой щеке?

— Шрам? Вроде есть. Не такой, конечно, как у Ольки нашей, маленький такой, незаметный. А что?

...Засыпая, Семен уже думал не о Наташе и Ольке, а о Якове Алейникове, человеке, сыгравшем зловещую роль в судьбе дяди Ивана, сутулая спина которого вон в темноте маячит, в судьбе многих... Тень Алейникова скользнула где-то и возле его жизненного пути. И кто знает, задела или не задела его эта тень, как сложились бы его отношения с Верой Инютиной, не вклинься тут Алейников. А теперь, оказывается, он где-то здесь, занимается какими-то своими делами. Вот война! Людская круговерть и месиво, а старые знакомцы могут встретиться.

Проснулся Семен от того, что качнулась под ним земля. Он вскочил, ничего в первые секунды не понимая, слыша только, как яростно колотится в груди сердце. Стоял невообразимый грохот и вой, на той стороне, где взлетали недавно осветительные ракеты, горело по всему горизонту зарево, в багрово-красном отсвете тяжко и лениво клубились черные облака, беспрерывно ухали взрывы.

Смахнув рукавом слюну с уголка губ, он взбежал на вершину холма, где стояли Дедюхин и Алифанов. И едва взбежал — в левом краю горизонта высоко вспучились кроваво-черные пузыри, их разрезали желтые огненные полосы, а потом стало видно, как заплясало над землей пламя.

— В склад боеприпасов им врезали,— сказал Алифанов.

Дедюхин глянул на светящийся циферблат часов, произнес:

— Два двадцать три...— И повернулся к Семену, сообщил, будто тот не понимал теперь в чем дело:— Наши лупят. Артподготовка. Значит, началось.

Невообразимая артиллерийская канонада стояла минут тридцать, потом разом стихла. Вяло и редко полаяли еще немецкие пушки, но и они умолкли. Тишина установилась мертвая, глухая, она больно давила в уши. И у Семена мелькнуло: если бы не пылающий в черноте ночи горизонт, можно подумать, что невообразимый артиллерийский гул ему просто почудился, приснился...

— По местам,— тихо и будто нехотя скомандовал Дедюхин. Все побежали к танку.

Откинувшись на сиденье, Семен задремал. Он понимал, что его дело теперь маленькое, заводить танк придется не скоро, если придется вообще.

— Сержант, не дрыхнуть! — ударило по ушам.— Спишь ведь?

«Вот чертов Дедюхин, все чует,— подумал Семен, с трудом размыкая тяжелые веки.— А может, я храпел?»

— Никак нет. Не сплю,— ответил он.

— Ври у меня! Гляди, всякое может произойти.

— Понятно...

Над землей маячил рассвет, над озером, над камышами подымался белесый утренний парок. Все это Семен видел в смотровую щель и даже расслышал, как ему показалось, утиный кряк. Но тут же сообразил, что именно показалось, никакие птичьи голоса с озера достигнуть до танка, а тем более проникнуть внутрь, не могли.

Скоро туман над камышами стал гуще, все сильнее белел, а потом заголубел и неожиданно окрасился в нежно-розовый цвет. Он поднимался почему-то столбами, только эти столбы были живыми, они качались, и Семен понял, что это потянул над озерком утренний ветерок.

Было уже совсем светло, где-то сбоку брызнуло вскользь по земле первое солнце, его лучи засверкали ослепительно на верхушках камышей, отражались в листьях осиновых рощиц, толпившихся по противоположному берегу озерка. И было каким-то странным и нелепым то обстоятельство, что опять тишина взорвалась, забухали пушки с той и с другой стороны, а потом стало слышно, как над головой угрожающе, яростно заревели самолеты. Семен не видел их, но понимал, что это были вражеские самолеты, он отличал их по глухому, натуженному реву. «Хорошо, что сверху замаскировались»,— подумал он и лениво зевнул. Несмотря ни на что, спать все же смертельно хотелось, и веки сами собой закрылись.

Сколько Семен продремал на этот раз, он не понял, но, видимо, не очень долго, потому что верхушки камышей все так же сверкали от низкого солнца. Он очнулся от голоса дяди Ивана, доносившегося снаружи:

— За тем лесом движется столб пыли! Однако, на нашу дорогу.

— Понятно,— ответил Дедюхин.

Потом загремел верхний люк, и Семен понял, что дядя Иван был послан куда-то наблюдающим, теперь вернулся, вместе с Дедюхиным они влезли в танк, теперь весь экипаж снова на местах, и сейчас начнется то, ради чего они тут оказались. «Тут наша песня, может, последняя будет...» — вспомнил Семен вчерашние слова Дедюхина, вся дремота с него мгновенно скатилась, никакого страха, как вчера вечером, он не чувствовал, только ощутил, как горят почему-то ладони. Он взялся за рычаги, хотелось, неудержимо хотелось нажать на кнопку стартера, бросить танк вперед, навстречу этому движущемуся столбу пыли. Что там, на дороге? Может, грузовики с фашистами? Захрустели бы только под гусеницами кости и железо! Или вражеские танки! Ну что же, все равно...

Думая так, Семен понимал, что это не все равно, одним танком против пяти — десяти не очень-то поспоришь... И, кроме того, его желание — ничто, они должны пока стоять здесь, в отрытом ими капонире, замаскированные, невидимые до поры до времени для врага, таков замысел Дедюхина или еще кого-то, и он должен быть выполнен.

Семен убрал ладони с рычагов.

Вскоре он увидел и сам столб пыли, о котором говорил дядя Иван. И тут же на дорогу, выворачивающую из-за лесочка, вылетели немецкие мотоциклисты. Мотоциклов было штук пять или шесть, они летели стремительно, поливая из пулеметов придорожные кусты.

— Командир! Товарищ старший лейтенант! — вскричал Вахромеев.

— Я тебе дам...— И Дедюхин зло и густо выматерился. — Завяжу тебе... в такой узел — Капитолина слезами изойдет, а не развяжет. Поставить пулемет на предохранитель! И молчок у меня! Ты чего там, Алифанов?

— Ладно, не лайся,— буркнул командир орудия,— все в порядке.

— Счас, Савельев Иван, будет тебе работка. Только поворачивайся! Взмокнешь, приготовил бы полотенце усы обтирать.

— Ничего, привычные,— ответил Иван.

Пока шел этот разговор, мотоциклисты пронеслись. Пыль, поднятая ими, медленно оседала. До конца рассеяться она не успела, как из-за леса на повороте дороги показался первый немецкий танк, следом за ним — второй, третий. Семен затаил дыхание.

— Ну, Алифанов,— прохрипел привычное Дедюхин. И добавил:— Егор Кузьмич, дорогой...

— Да знаем, что ты уговариваешь! Иван, ты мне чтоб сноровисто. Без суеты.

— Соображаем,— буркнул тот.

Фашистские танки ползли и ползли из-за поворота. Пять, восемь... четырнадцать... Семен считал их, а они все ползли, и казалось, не будет им конца. «Да чего же Алифанов-то?— тревожно мелькнуло у Семена.— Ведь пройдут... Шестнадцать, семнадцать...»

Семен слышал, как работает поворотный механизм башни и понимал, что Алифанов держит на прицеле головной танк. «Не успеет... сейчас фашист скроется за рощей! Вон уже девятнадцатый ползет. Девятнадцатый!»

— По немецко-фашистскому врагу...— свистящим голосом произнес Дедюхин, тяжко дыша.

Слово «огонь» Семен почему-то не услышал. От выстрела его немножко качнуло на сиденье, и в то же мгновение он увидел — из бока переднего вражеского танка вспучился комок огня и дыма, танк крутануло, он развернулся навстречу своим же машинам, закивал длинным пушечным стволом, будто выбирая цель, но не выстрелил, замер... Следующий за ним танк начал, не сбавляя было скорости, обходить подбитую машину, но Семена опять чуть качнуло, и под тем, вторым вражеским танком вздыбилась земля, он накренился, задрал ствол в небо и остановился. И второму танку, видимо, пробило гусеницу, он запылал, как и первый, жирным, густым дымом. Дорога была наглухо закупорена. «Ага! — злорадно подумал Семен.— Сейчас в хвост колонны...» И будто подчиняясь мыслям Семена, Дедюхин прокричал в шлемофоне:

— Хвостатый вон раком пятится! Уйдет, гад!

— Что ж, раком-то оно им так и определено природой,— спокойно пробасил в шлемофоне Алифанов.— Иван, чего копошишься?

Опять, в третий раз ударила пушка. И задний немецкий танк перестал пятиться, будто раздумал, но развернул орудие в сторону холма и выстрелил. Снаряд ухнул где-то в стороне.

— Не видит, а плюется,— взвизгнул Вахромеев.

— Хорошо, если не видит...

От четвертого снаряда вспыхнул четвертый фашистский танк, в один момент оделся пламенем, как стог пересохшего сена. «Вот, паразит, до чего же знает свое дело!» — с невольным восхищением подумал Семен об Алифанове, молчаливом человеке, неповоротливом каком-то, неловком, ходившем по земле обычно так, будто ему было тесно на ней...

Продолжение следует.

дыма с ревом вырывались немецкие самолеты, засыпали бомбами наши окопы, утюжили их на бреющем полете, поливая пулеметным огнем. По всем дорогам двигались колонны гитлеровских танков, разворачивались на открытых пространствах, шли рыча на наши позиции, стараясь прорваться в тыл. За танками двигались бронетранспортеры с пехотой. Эту стальную лавину, казалось, невозможно было остановить. Прорвавшись сквозь заградительный огонь тяжелой артиллерии, фашистские танки во многих местах подошли вплотную почти к нашим окопам, где по ним прямой наводкой били из противотанковых пушек и ружей. Многие вражеские машины загорались, остальные шли и шли упрямо вперед сквозь грохот, вой и дым, за ними бежала спешившаяся пехота. Кое-где немцы вклинились уже в расположение наших войск...

Всего этого в подробностях танковый экипаж старшего лейтенанта Дедюхина, конечно, не знал, хотя каждый понимал, что началось всеобщее остервенелое наступление немцев и что тут, под этим невысоким холмом, может, и будет, как сказал вчера Дедюхин, их последняя песня. Ни сам Дедюхин, ни Алифанов, ни Вахромеев, ни Иван и Семен Савельевы не знали, что только на том крохотном участке фронта, который оборонял в составе других подразделений и их гвардейский танковый полк, двинулись в наступление три немецкие пехотные дивизии при поддержке почти пятисот танков, что проселочная дорога Подолянь — Фатеж была помечена на немецких картах как особенно важная, ибо по ней можно перебросить любые воинские соединения в тыл частям Красной Армии, обороняющим крупный опорный пункт — село Ольховатку, и что тот участок дороги, на котором Дедюхину было приказано любой ценой задержать танки противника, на немецких картах помечен, как особенно опасный, потому что пролегал по тонкой лощине, а с одной стороны было даже небольшое озерко. В случае чего танкам в сторону не съехать и не развернуться, если не настелить гать.

Но вот это-то последнее обстоятельство очень хорошо знал со слов командира роты Дедюхин, а вчера и сам обследовал правую обочину дороги — топкая полоса метров в семьдесят шириной действительно тянулась вдоль дороги. Потому-то и, доволь-

ВЕЧН

Анатолий ИВАНОВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

...Солнце уже давно оторвалось от горизонта, полезло вверх, тяжко качалось, как большой красный поплавок среди дымных волн, хлеставших по земле и по небу. Немецкая пехота и танки, оправившись от упредительного удара нашей артиллерии, двинулись в наступление сразу по всему Центральному фронту, на многокилометровом пространстве развернулось ожесточенное сражение. Двух месяцев почти мертвого затишья как не бывало.

Все эти долгие два месяца обе стороны наращивали силы — немцы для решающего наступления, советские войска — для неприступной обороны, а потом для сокрушительного контрудара. Теперь эти силы были приведены в действие. С той и другой стороны беспрерывно колотили пушки, из клубов

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18—23.

ный, произнес вчера после ужина эти слова, не совсем понятные экипажу: «Ну что ж, давай дядя Ганс... настелить гать — не в дуду сыграть. Мы те сами заиграем, а ты попляшешь». И вот теперь немцы «плясали». Танкам нельзя было двинуться ни назад, ни вперед. С обоих концов участок дороги был наглухо закупорен. Две-три машины попробовали было развернуться и пройти горевшие впереди танки по обочине, но тут же попятились назад, на дорогу, встали поперек ее неуклюже.

Сначала немцы не могли определить, откуда же их машины расстреливают почти в упор, вертели в разные стороны стволами, лупили в каждое подозрительное место.

— Поворачивайся, Алифанов,— хрипел Дедюхин, тяжело дыша.— Вон третий справа на нас наводит! Должно, засек...

Третий справа после двух выстрелов Али-

фанова окутался, как паром, белым облаком, потом из него повалил черный дым. Немцы полезли из люков.

— Товарищ старший лейтенант? — взмолился стрелок-радист Вахромеев.

— Молчать! Беречь патроны. Еще пригодятся, чую... А что нам эти фрицы?

Орудие Алифанова стреляло и стреляло, Семен сперва считал выстрелы, а потом со счета сбился.

Неожиданно по броне громыхнуло оглушительно, со звоном, звон мелкой осыпью запел в ушах Семена и еще не затих, как в броню ударил еще один снаряд, порвав, кажется, перепонки, в смотровую щель влетел осколок, ударил где-то сбоку в броню и упал на колени. Семен удивился, будто это было что-то необычное, взял маленький, но тяжелый и острый осколок железа. Он был горячим, обжигал пальцы.

Семен закрыл смотровую щель, сердце испуганно и радостно стучало: «Надо же?! Екнуло ли у тебя сердце, Наташка?»

— Засекли, сволочи! — прокричал Дедюхин будто издалека. — Иван, с усов капает?

— Да малость смокли,— отозвался глухо Иван.

— Не каплями, ручьями стекает, весь замок забрызгал.— В голосе Алифанова была почему-то недовольная усмешка.— Лишь племянник его да Вахромеев сегодня вроде бы выходные... Сколько же мы, Иван Силантьевич, штучек нащелкали?

— Не знаю... один боекомплект подходит к концу,— доложил Иван.

— Семь, что ли, танков... Или девять?

— Одиннадцать! Понял, одиннадцать!— что есть силы заорал Дедюхин.

— Да я до десяти только не путаюсь. Сейчас попробуем двенадцатый... А черт, ни хрена не видно!

Действительно, от горящих танков вдоль дороги стоял густой дым, плотно закрыв неподвижные вражеские машины. Это лишало видимости и немецких артиллеристов, но танковые орудия били наугад, вокруг «КВ» ухали взрывы, по броне стучали комья земли.

Неожиданно на дороге поверх плотных слоев дыма, пропоров их, взлетели огненные клинья, земля дрогнула. Потом она дрогнула еще раз. Это рвались от собственных снарядов вражеские машины.

по рации, видать, в бога их...— Дедюхин крепко выругался. — Начадили тут.

В танке действительно было сизо от дыма, и Вахромеев, будто виноватый в этом, сказал:

— Стреляли же... К пушке вон не притронуться, аж краска отстала...

Еще ударил в башню снаряд, броневая окалина брызнула Алифанову в лицо, и тот пробурчал добродушно, будто осуждая ребячье озорство:

— Черти...

Раз за разом, потрясая землю, рвались бомбы, то совсем почти рядом, то чуть подальше.

— Весь курган разроют, мешает он им,— проговорил Дедюхин. И крикнул Вахромееву:— Что там наши-то? Доложи об обстановке, попробуй связаться... Скажи, что одиннадцать танков подбили... Ну, все по местам. Ты как, Семен?

— Ничего,— ответил тот, взбираясь на свое место.

* * *

Вахромеев погиб первым.

...Когда осколком не то бомбы, не то снаряда заклинило башню, Дедюхин, будто сам не понимая этого, выслушал сообщение Алифанова терпеливо и сказал:

— А вы говорили — на «тридцатьчетверку» надо... Ни один же снаряд броню не прожег! — И он хлопнул по стальной стене.

— У «тридцатьчетверок» броня не слабже.

— Что вы понимаете! — прикрикнул Дедюхин, недовольный даже такой косвенной защитой «тридцатьчетверки» и, значит, умалением каких-то достоинств любезных его сердцу танков типа «КВ».— Вы что, не убедились?

— Ладно вам,— прикрикнул вдруг Вахромеев, словно был старшим.— Надо выползать из этой норы.

— Савельев, что там у тебя?— опять прокричал Дедюхин.— Заведешь?

— Должна завестись старая развалина,— ответил Семен почему-то дерзко.— «КВ» же, не «тридцатьчетверка»...

— Получишь у меня взбучку... после боя! — пригрозил Дедюхин, надрывая голос, чтобы перекричать грохот. Танковые орудия противника били теперь редко, из девятнадцати вражеских машин на дороге стреляли

— Черт, ничего же не видно! Ты слышишь, Дедюхин? — прохрипел Вахромеев так, будто в этом был виноват командир танка.

И после этого вскрика мгновенно умолкли взрывы бомб и снарядов, перестали даже стрелять из автоматов. Наступила тишина, она была так неожиданна, что оглушила, будто прямо в башню ударила бомба. Машина лишь чуть подрагивала — это работал мотор на малых оборотах.

— Понятно,— произнес Дедюхин и визгливо рассмеялся.— Не думаю, чтобы они думали, что подбили нас, они думают теперь-то подобраться вплотную, чтобы подбить...

Заковыристый оборот командира был понятен всем, Семен знал, какая команда последует вслед за этим, открыл смотровые щели, плотно взялся за рычаги и прибавил оборотов. «Сейчас по щелям и начнут лупить из автоматов»,— острым холодом резануло в мозгу. Но эта мысль держалась только мгновение, она исчезла, как только раздался голос Дедюхина:

— Поехали! Савельев, вместо хобота у нас палка теперь, ты это помни... Сразу направо давай, там увидим. Жми!

Семену все было понятно, кроме одного — куда вести машину. Да этого ни Дедюхин, ни кто-либо другой из экипажа сейчас не знали.

Танк тяжело, как проснувшийся медведь из берлоги, вылез из земляного укрытия. Семен сразу взял вправо. Впереди ничего, кроме стлавшегося по земле дыма, не было видно. Дым этот хлопьями, как вата, валялся меж низкорослых кустарников. Едва танк пополз из капонира, сразу затрещали о броню автоматные пули, не затрещали, а просто как-то глуховато и безобидно зашелестели, и Семен не думал уже, что какая-то свинцовая струйка может брызнуть в смотровую щель и прожечь его насквозь, он, чуть улыбаясь, представлял почему-то, как автоматные пули-струйки плющатся о броню и бессильно ссыпаются вниз, словно подсолнечная шелуха. И еще он думал, что танк — это все-таки танк, стальной гроб, как называют его многие, да и сами танкисты, но этот гроб надо еще расколотить.

Неожиданно дымное облако оборвалось, танк вылетел на чистое пространство, на

ЫЙ ЗОВ

И вдруг укрытый в капонире «КВ» подбросило. Семена сорвало с сиденья, он больно ударился плечом в правый борт. Дедюхина кинуло вниз, на боеукладку, на него упал Иван, на них посыпались из гнезд пулеметные магазины, вещевые мешки... Вахромеев оказался под сиденьем заряжающего. Один Алифанов вроде не пострадал, он вытащил Вахромеева, по виску которого текла струйка крови, затряс его:

— Вахромеев, Вахромеев?!

— Ну? — открыл тот глаза.

— Ты живой?

— Кто же его знает... Глаза сильно щиплет.

Дедюхин и Иван, потирая ушибленные места, поднялись.

— Бомбой это нас... Чуть не прямое попадание,— проговорил Иван, вытирая мокрое и черное лицо.— Случайно, может?

— Кой черт! Сообщили об нас самолету

только три, остальные горели или просто молчали, покинутые экипажами. Немецкие танкисты поливали неподвижно стоящий в капонире «КВ» из автоматов, подползая все ближе. Дедюхин и все остальные понимали, каждый знал, что теперь фашисты, приблизившись к танку, могут подорвать гусеницу или зажечь машину. Вахромеев, черный, как черт, от броневой окалины и порохового дыма, остервенело бил из пулемета, прижимая немецких танкистов к земле. Но Дедюхин и все остальные так же понимали, что пока бьют орудия, а самолеты сверху беспрестанно сыплют страшный груз, немцы на холм, под свои снаряды и бомбы, не полезут. Стреляли и бомбили по-прежнему наугад, потому что холм с притаившимся к нему советским танком был покрыт плотными клубами дыма и пыли, он извергался от взрывов, как вулкан, камни и комья земли беспрестанно взлетали вверх.

котором стояла брошенная немецкая кухня, а метрах в тридцати за нею окапывалось какое-то подразделение немцев.

— А-а! — заорал Дедюхин торжествующе.— Савельев, вдоль окопчиков!

Семен бросил машину вперед, развернул танк и погнал вдоль только-только начатой траншеи. Конец траншеи уходил вдаль, в дым, по разные стороны от нее брызнули немцы. Они бежали полусогнувшись, будто по дну воображаемого окопа, боясь распрямиться во весь рост. Многие падали под пулеметными очередями, задние перепрыгивали через них. «Как крысы»,— подумал Семен, хотя на крыс убегающие немцы были похожи меньше всего. Сжав зубы, он прибавлял и прибавлял оборотов, пытаясь нагнать двух рослых немцев, бежавших почему-то рядом. Он знал, что им никуда от смерти теперь не деться, что он сейчас их сомнет, раздавит...

Танк нагнал немцев у края качающейся дымной стены, один из фашистов — тонколицый, со взмокшими волосами обернулся, поднял руки, будто сдавался, лицо его было совсем близко от Семена, он видел его вылезающие от понимания неотвратимой смерти глаза, другой же фашист горбом выгнул спину, прыгал вперед из последних сил, как задыхающийся заяц.

Танк смял первого немца, даже не покачнувшись. Второй попал под гусеницу спиной, она у него будто треснула, Семен будто расслышал этот треск...

— Справа — пушки. Води-итель! — заорал вдруг Алифанов. Семен мгновенно отреагировал, двинул сразу оба рычага. Вспахав землю, танк развернулся на месте. И Семен увидел впереди четыре противотанковых орудия. Два были прицеплены к тягачам, их спешно расцепляли, а два других были поставлены стволами в противоположную сторону. Семен даже улыбнулся от предчувствия такой легкой добычи. Алифанов их успеет расстрелять в две-три минуты с ходу. Он как-то забыл, что башня заклинена, что ствол орудия превратился в неподвижно торчащее бревно, которое, правда, могло перемещаться сверху вниз. Орудие действительно ударило прямой наводкой, одна вражеская пушка опрокинулась, как игрушечная.

— Вперед теперь! Впере-ед! — задышал в уши Дедюхин.

Семен до отказа выжал газ, танк ринулся на вторую пушку, которую немцы успели почти развернуть.

— Осталось четыре снаряда,— вдруг раздался трезвый и спокойный голос Ивана Савельева.

«А горючее»?! — прожгло Семена, он глянул на прибор.

— Бей!

Выстрела Семен не услышал, только видел, как вздыбилась под второй вражеской пушкой земля и как на черной подушке приподнялось орудие и в эту подушку же провалилось.

— Товарищ старший лейтенант! Горючее на исходе!

— Чего орешь? Знаю,— сказал Дедюхин. И, помолчав, спросил:— На сколько хватит?

— Километров на двадцать...

— Ясно,— усмехнулся в шлемофоне Дедюхин.— Тут где-то деревня Соборовка должна быть...

— Вань, ты выйди, спроси дорогу,— насмешливо посоветовал стрелок-радист.

Это были последние слова Вахромеева.

— Позубоскаль у меня! — разозлился Дедюхин, не зная, что стрелок-радист уже мертв и ничего не слышит. — Напитался безобразиями от Капитолины своей. Ну-ка, бросай пулемет, попытайся вызвать кого... Может, кто знает, что там в Соборовке? Вахромеев... Вахромеев!

Но Вахромеев молчал. Пуля ударила ему прямо в лоб, он немного сполз с сиденья. Кровь двумя струйками сочилась по лбу, капала с грязных бровей на щеки. Но этого никто из экипажа не видел.

...Соборовка была на виду, за худым лесочком, она вся горела, по окраинам деревни стояли особенно высокие и черные космы дыма. Закручиваясь жгутами, они словно ввинчивались в дымное марево, расползшееся по всему небу.

— А если там немцы, товарищ старший лейтенант? — прокричал Семен, припав к смотровой щели.

Грязный и едкий пот застилал глаза, хотелось сбросить шлемофон к чертовой матери или хотя бы вытереть глаза какой-нибудь промасленной тряпкой, но сделать было нельзя ни того, ни другого. Танк летел в низину по разрытой снарядами земле, на которой абсолютно не было живого места, нырял в ямины и с ревом вылетал оттуда, чтобы снова ткнуться в рытвину.

— На сколько ходу горючего-то?

— Совсем уже нет. На этом самом пару едем, который воздух портит...

— Ну вот, а тут — авось... Не должны бы они ее взять.

— Вы ж с командиром полка говорили. На Ольховатку раз прут...

— Соборовку они, может, и обошли, а взять не могли, по-моему,— сказал Дедюхин упрямо.— Эх, Вахромеев! Что Капитолине-то скажем теперь, а, Семен?

Семен хотел что-то ответить — что, мол, тут скажешь, да и самим еще надо выжить,— как вдруг мотор, захлебнувшись, почихал и умолк. Тяжелый танк словно врезался в тугую резиновую стену, стена спружинила, но выдержала, стальная громадина прорвать ее не смогла, не хватило силы, и остановилась. Семен качнулся вперед.

— Горючее кончилось! — прокричал он, задыхаясь.

— Самоле-ет! «Ю-юнкерс»! — ударил по ушам чей-то незнакомый голос так, что в голове зазвенело.

Семен не сразу и разобрал, что это кричит дядя Иван. В эти секунды он все еще думал почему-то о Капитолине. Вдруг отчетливо вспомнил, как она, опустив голову, смущаясь, но с нотками радости в голосе произнесла недавно: «Вахромейчик меня вроде зарядил наконец-то». И у него мелькнуло: «А что, если и Олька... если я ее тоже, как Вахромейчик? А Наташка ничего не знает...»

Рядом что-то ухнуло, точно глыба земли отвалилась и упала глубоко вниз. Звук был глухой, нестрашный и что-то напоминал. И Семен в следующее мгновение вспомнил, что. Километрах в семи от Шантары вниз по течению Громотухи был высокий, тридцатиметровый глинистый яр, вешние воды с каждым годом подмывали его все сильнее. На кромку яра выходить было опасно, она была вся в трещинах, многопудовые глыбины земли время от времени отламывались и падали вниз, в воду. И все-таки в детстве Семен любил туда ходить. Было до жути интересно глянуть с яра вниз, на грозно бурлящую далеко внизу Громотуху. А еще интереснее было найти отслоившуюся уже от кромки яра земляную глыбину, которую удерживали только травяные корешки. Если тронуть ногой такую глыбину, она угрожающе качнется. И часто Семен, стоя одной ногой на более или менее надежной кромке яра, другой упирался в трещину и, рискуя сорваться вниз и сломать шею, раскачивал отслоившуюся земляную глыбу до тех пор, пока травяные корешки не отрывались и тяжелый, центнера в полтора, а то и больше кусок глины летел вниз, через какие-то секунды снизу доносился глухой и тяжкий звук, похожий на взрыв. «Он походил вот на такой же, как этот»,— мелькнуло у Семена, но в следующее мгновение в шлемофоне кто-то тяжко задышал, захрипел: «Кузьмич... Кузьмич...», — а танк стал наполняться едким дымом.

— Горим! Спокойно, товарищи... Командира убило. Слушай мою команду!

Это, задыхаясь, проговорил Алифанов, но команды никакой не последовало, а может, Семен ее просто не расслышал. Со скрежетом откинулась крышка люка, и тотчас по броне начали хлестать автоматные очереди. Дым в танке становился гуще, Семена давило удушье, и он будто чувствовал, как накаляется броня. «Остались или нет у Алифанова еще снаряды? — подумал Семен тревожно.— Ведь рванет... Кажется, не осталось... И горючего нет».

Эта мысль почему-то успокоила, будто немецкие автоматчики, поливающие огнем неподвижный горящий танк, никакой опасности уже не представляли, как и сам пожар. Ныло только у Семена сердце, тупо стучало в мозгу: «Вот и Дедюхина... Вот и Дедюхина...»

По броне кто-то снаружи застучал, и как из-под земли донесся раздраженный голос Алифанова:

— Савельев! Водитель... Выходи!

— Семка, ты живой аль нет? Семка-а!

Как он вывалился из люка и оказался на земле у полузасыпанной траншеи, Семен уже не помнил. Он очнулся от раздирающей боли в легких, открыл глаза и увидел склонившегося над ним дядю Ивана.

— Ну, ну?! — кричал тот, грязный, в разорванной на плече гимнастерке, которая висела черными, в засохшей крови клочьями, и страшно сверкал глазами.

— Воздух... голова от него кружится,— проговорил Семен с жалкой и виноватой улыбкой.

Возле самого лица Семена лежали ноги Алифанова, они шевелились, упирались в землю носками заляпанных артиллерийской смазкой сапог. Командир орудия бил из ручного пулемета куда-то в дымную мглу, стелившуюся низко по земле вдоль невысоких кустарников. Семен увидел в этой мгле неясные фигуры, которые то возникали, то исчезали, и понял: это приближаются перебежками немцы. «Вот и Дедюхина... Вахромеева... А теперь и нас всех...» — пронеслось у него в мозгу, и словно что-то окончательно продуло там. Он резко перевернулся со спины на живот, обнаружив, что в руках у него автомат. Выбираясь из танка, он, видимо, машинально схватил оружие. Когда в дыму замаячили две вражеские фигуры в касках, Семен полоснул по ним длинной очередью, фигуры исчезли. Немцы то ли были убиты, то ли просто прижались к земле — понять было нельзя.

— Бей прицельно. Поставь на одиночные,— сказал Иван, и Семен поразился его спокойному голосу и этому хотя и практичному — ведь у Семена был всего один диск,— но уже, наверное, бесполезному совету.

Сам Иван, у которого в руках был тоже автомат, не стрелял. Он лежал, вжимаясь в землю, уткнув в травяную кочку заросший подбородок, смотрел туда, где струился клочковатый дым. Автомат он держал в левой руке за ствол, а в правой, вытянутой вперед, у него была граната «лимонка», и он чуть подбрасывал ее, перекатывал на ладони, как горячую картофелину.

— Ну что ж... Семка,— тихо проговорил он вдруг, не оборачиваясь, все так же напряженно глядя вперед.— Всяко я думал в жизни своей помереть, а так хорошо — не думал. Обойдут они сейчас нас...

Эти слова принесли Семену вдруг облегчение. То невысказанное и больное, что, казалось Семену, Иван носил в себе, всегда рождало неприятную мысль: дядя его, кажется, тяготится войной. «Не ошибетесь в нем»,— говорил он, Семен, Дедюхину в Челябинске, рекомендуя взять в свой экипаж, да, видно, поспешно сказал... Дело свое солдатское он делал всегда, правда, хорошо, ни в какой обстановке не терялся. Дедюхин часто его ставил даже в пример, но иногда в сердцах называл «молчаливым пнем». Иван действительно говорил только о самом необходимом, когда без слов нельзя уже было обойтись, старался по возможности уединиться. Семен часто натыкался на него, сидящего где-нибудь в одиночестве, погруженного в какие-то мрачные думы. Ну, война, конечно, не сладкая ягода, помрачнеешь порой и затяготишься, но у дяди Ивана вроде что-то надломилось внутри, и он все время будто боялся быть убитым. И опять же смерти не боится и не остерегается только дурак, но вот дядя какой-то... И по малодушию в тугой случай можно погибнуть, стоит в такой момент окончательно сломиться внутри. А дядя, казалось Семену, к этому и идет... Эта мысль была неприятной, она оскорбляла что-то в нем самом, но она родилась и жила в нем. Но вот такой случай и настал, а в поведении дяди Ивана нет и намека на то, что он сломался и вот боится смерти, и слова и голос, усталый и хриплый, будто приоткрыли Семену в дяде Иване человека нового, доселе ему неизвестного, незнакомого.

— Мы не померли еще,— сказал Семен упрямо, стараясь возразить кому-то, но только теперь не дяде Ивану.

— Ну это живо может произойти. Жалко мне только Агату, Сем... Ясного света тогда и вовсе не увидит...

Где-то вверху загудел противно, приближаясь, вражеский самолет, заглушив последние слова Ивана. Самолет брызгал вниз тяжелыми свинцовыми каплями, они прошили землю в двух метрах от Семена, с ревом пронесся над головой, блеснув желтым, как у застарелой щуки, брюхом. Тотчас густо ударили немецкие автоматчики.

— Вы, Савельевы! — Алифанов, надрываясь от крика, повернул к ним круглое, но какое-то исхудавшее лицо со странно торчащим правым усом.— Шанс у нас, ежели

он есть, один. Вдоль этой дымной полосы от нашего танка... Попытаемся!

Их «КВ» горел не очень сильно, но чадил густо, темная дымная полоса стлалась вдоль земли в сторону Соборовки, накрывая маячивший неподалеку перелесок. Иван и Семен поняли, о чем говорит Алифанов, но ведь кто знает, где немцы? Не шарит ли этот дымный хвост по окопавшимся в той стороне немцам? Да и в перелеске могут быть уже фашисты. Но шанс был действительно только этот, если он еще и был. Это не только Алифанов, но теперь и Семен с Иваном сознавали отчетливо.

— Ну что ж, Семен...

— Счас они полезут! — опять прокричал Алифанов, отталкивая бесполезный теперь ручной пулемет с расстрелянным магазином. В ладони у него была зажата граната, такая же, как у Ивана, другой рукой он вытаскивал из кобуры пистолет.— Давайте мы их уложим к земле — и деру. Иначе...

— Командира-то с Вахромеевым оставлять им?!.

Это прокричал Иван.

— А что мы можем? Ты соображаешь? Приготовиться!

Сделать они действительно ничего не могли, вытащить из танка трупы Дедюхина и Вахромеева было невозможно. «Вот судьба...— больно задолбило Семену в виски.— Там, внутри этой железной коробки, обуглятся их тела, а может, сгорят в прах, нечего будет и хоронить. И не будет на земле их могил. Сгорели в пекле войны... Сгорели в пекле войны... Вот уж точно: в самом пекле они сгорели, такая выпала им доля... Когда-то родились они, в радостях и заботах нянчили их матери, защищая от холода и от жары, от всяких напастей, росли они, радуясь солнцу и ветру, далеким таинственным звездам и мягкой пахучей траве. И росли для них где-то девчонки, как вот Наташка для него, Семена... Настал момент — прикоснулись их руки впервые к самому, может, прекрасному на земле — к женскому телу. Когда и как это было у Дедюхина, Семен не знает, ему только известно, что у старшего лейтенанта, кажется, трое детей... А у Вахромеева это случилось недавно, все произошло почти что на глазах у Семена. И он, Семен, видел, как быстротечно произошла у Вахромеева с Капитолиной вся любовь. Он видел и понимал, что это у них настоящее человеческое, только вышло все стремительно, не как обыкновенно, будто бешено понеслась жизнь, как на киноэкране, если пленку прокручивать в десять раз быстрее. Что же, оба понимали, что для обыкновенной любви у них не было времени, хотя никогда об этом не рассуждали, не размышляли... И ни Вахромеев, ни Дедюхин не знали, не могли знать, что жизнь их окончится вот здесь, на изрытом бомбами и снарядами поле близ русской деревушки Соборовки, о которой они и слыхом никогда не слышали, что тут ждет их такой конец...»

Все эти мысли пронеслись в голове у Семена лихорадочно, в какие-то секунды, не отключая его внимания от залегших в нескольких десятках метров немцев, которые беспрерывно поливали из автоматов. Пули вокруг взрывали землю, трещали о броню танка, и Семен даже слышал, как некоторые рикошетили и с пронзительным визгом разлетались в стороны. Было только странно, что ни одна из них не задела еще ни дядю Ивана, ни Алифанова, ни его самого. И еще мелькнуло у Семена, что судьба у него пока счастливая, радуйся, Наташка... Только бы вот из этого пекла выбраться!

...Что ж, из этого пекла Семен и Иван Савельевы выберутся живыми и невредимыми, сейчас, когда немцы поднимутся для броска и в эту секунду немного ослабнет их огонь, Алифанов яростно прокричит: «Да-в-ва-ай!» Он, Семен, и дядя Иван начнут палить из автоматов, немцы опять залягут. В это время Алифанов и дядя Иван бросят по одной гранате. Немцев они не достанут, но на несколько мгновений ослепят, и этих мгновений будет достаточно, чтобы всем троим юркнуть за горящий танк. Потом они нырнут в густую полосу дыма и, разогнувшись там во весь рост, побегут, как в густом тумане, неведомо куда, задыхаясь и от дыма и от быстрого бега. Пули будут свистеть вокруг, но опять никого не заденут, только потом, уже в перелеске, где немцев, на счастье, не окажется, когда каждый радостно подумает: «Неужели выбрались?!» — Алифанов вдруг застонет как-то негромко, облегченно, выронит пистолет, схватится обеими руками за тонкий березовый стволик и повалится столбом в сторону, на Ивана, до самой земли согнув податливую березку, так и не выпустив ее из коченеющих пальцев, так и умрет, будто в обнимку с ней... Из этого пекла они выберутся и принесут к своим бесчувственное тело Алифанова с простреленным затылком, дядя Иван, обожженный, с окровавленным чужой кровью плечом, прохрипит какому-то пехотному капитану: «Вот! Герои тоже умирают иногда... от пули в затылок»,— и Семен еще раз подумает, ощущая холодок в животе, что судьба у него счастливая. Откуда же ему было знать, что хотя ни одна вражеская пуля и ни один осколок его не заденут и в дальнейшем, судьба у него сложится так, что он не раз позавидует и сгоревшим в танке Дедюхину и Вахромееву и погибнувшему от шальной пули в затылок Алифанову. Этого он не знал, как ни один человек не знает, что ему написано на роду, что готовит ему судьба завтра, послезавтра, через год, через двадцать лет... Он пока лежал, вжавшись в землю, горячую, разогретую то ли бомбами и снарядами, то ли полыхающим где-то за дымами, затянувшими густой пеленой все небо, жарким июльским солнцем, слушая, как грохочет над головой о броню их сгорающего танка свинцовый горох, смотрел на Алифанова. В левой руке у того был пистолет, в правой граната...

...Немцы поднялись кучками все враз, Алифанов повернул к Семену перекошенное в крике лицо, одновременно махнул пистолетом:

— Да-ва-ай!

Продолжение следует.

ВЕЧНЫЙ ЗОВ

Анатолий ИВАНОВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

С вечера захлестал ветер, потом утих, в стекла начали стучать одинокие и тоскливые капли дождя. Анфисе захотелось отчего-то плакать, в груди было пусто, неприютно, как на ночной деревенской улице в эту вот непогодную летнюю ночь. Она лежала, скрестив на мягком животе усталые руки, закусив губы, чтобы не расплакаться. Потом дождь припустил, за окнами словно кто-то принялся мотать лейкой, обливая черные стекла. Анфиса будто только этого и ждала и под неприютный шум дождя облегченно и беззвучно заплакала.

Дождь кончил барабанить по стеклам, и она перестала плакать, вытерла горячими пальцами слезы, перевернулась на бок и стала думать о Кирьяне, о детях, о всей своей жизни — несладкой, неудавшейся и безрадостной. Кто она и зачем она на земле? Эта мысль пришла к ней неизвестно когда, поселилась в ней незаметно и стала мучить жестоко, внутри, в самом сердце шевелилось, ворочалось что-то беспокойное и безжалостное, больно обдирая самые чувствительные места. Она перебирала в памяти всю свою жизнь, пытаясь отыскать там хоть щелочку, из которой пролилось бы сейчас на нее что-нибудь теплое, обогревающее радостью, но такой щелки не было. Все позади было мутно и омерзительно, жили зачем-то в этой мутной пелене Федор Савельев, Кирьян, ее муж, Анна, жена Федора, и она сама, Анфиса. Она по первому взгляду, по первому намеку бежала, потеряв голову, к Федору, отдавалась во власть его безжалостных рук, не страшась побоев Кирьяна, пересудов людей. Федор мял и крутил ее, как тряпку, ей было хорошо и приятно, а вот теперь, задним числом, пришло вдруг омерзение ко всему этому, пришла жалость к Кирьяну, не любовь, не стыд и раскаяние за прошлое, а просто мучительная жалость, в ней все прибывало желание остатком своей жизни оплатить все страдания Кирьяна. Ей не надо его прощения, такое, наверное, простить невозможно, и пусть, это даже хорошо, что она каждую минуту будет чувствовать свою вечную вину, но тем сознательнее... и тем старательнее она ее будет оплачивать. Пусть не прощает, но пусть возьмет во внимание, что Верку и Кольку она от него родила. Господи, взывала она молчаливо, в исступленной благодарности к кому-то, как еще на это у меня ума хватило! Тогда бы и вовсе хоть в петлю... Хватило, наверное, потому, что Кирьян — Анфиса всегда это понимала — душой добрый, отзывчивый. Она у него, душа, беспомощная и сильно ранимая, и когда он остервенело хлестал ее пьяный где-нибудь в кустах или в темной сарае, Анфиса чувствовала, что ему самому больнее, чем ей, что он себя истязает каждый раз тоже до крови, только кровь у нее сочится снаружи, а у него внутри. И вот это странное чувство никогда не позволяло ей сердиться на мужа за самые зверские побои. Он бьет ее, бывало, а ей его жалко, и чем сильнее бьет — тем сильнее ее жалость к нему. Однажды, когда в Михайловке жили, Кирьян откинул прочь смокший в ее крови ремень с железной пряжкой, сел в кустах на землю, уронил голову и бессильно заплакал. Она, в кровоподтеках и вздувшихся багровых рубцах, с трудом поднялась, подошла к нему, пошатываясь, одной рукой поддерживала лохмотья кофточки на груди, а другую протянула, погладила его, как маленького, по голове, всхлипнула:

— Не надо, Кирьян...

— Что не надо?! — вскричал он яростно, снова вспыхивая небывалым еще гневом. Но тут же вскинутая голова его будто стала тяжко наливаться свинцом, худенькая шея с туго натянутыми жилами не могла удержать ее, наклонилась опять вниз. Он знал, он всегда знал, какое чувство живет в ее душе! Она тогда впервые поняла это, упала, истерзанная, перед ним на колени, склонила разлохмаченную голову.

— Бей еще! До смерти забей меня, паскудину.

Он запустил в ее космы пятерню, зажал в кулак затрещавшие волосы, выдохнул умоляюще:

— Анфиска! Сволочь... Все прощу — перестань с ним только... Отринь из души.

Он ждал, в глазах его было унижение. Даже заискивающее лилось что-то из глаз.

— Не могу,— сказала она тихо, обессиленно, будто прощаясь с жизнью.

Он застонал, отшвырнул ее в сторону. Она упала в траву, приминая мелкие кустики. И долго чувствовала, как больно ноет шея...

Теперь тоже ныла вся душа, все тело. Почему, почему она тогда не отринула Федора из сердца, как вот теперь? Любила? Может, это и любовь была, да только не человеческая. Звериное у нее было что-то к нему, скотское. А он пользовался, он не жалел ее. Ни ее, ни Анну, жену свою. Он вообще баб не жалеет, не люди они для него... Не жалеет он баб!

Эта мысль вдруг поразила чем-то Анфису, она затаила даже дыхание. «Вот ведь!— мелькнуло у нее. — Федор никогда не бил ее, пальцем не тронул. А не жалел никогда! Кирьян исхлестывал, избивал ее несчетно раз до потери сознания. А жалел, всегда жалел! В этом разница, большая разница... Так кто же человек-то, кто человечнее — Федор или Кирьян?!»

Анфиса задышала тяжело и быстро. Ей показалось, что она сделала какое-то важное открытие, без которого никогда бы не узнать и не решить — как и зачем ей жить дальше? Собственно, как и зачем жить дальше, неведомо и теперь, но все скоро, в ближайшие же дни, станет ясно, теперь уж обязательно станет, думала она. Не было раньше никакой щелочки, откуда бы пролилось на нее тепло, теперь появилась или появится... Только Кирьян перестал писать, господи, что с ним приключилось-то? Писал он нечасто, но раз в месяц-полтора приходило письмо. Сейчас нет ничего уже пятый месяц! Может, затерялось где по почтам? Обыкновенное дело, провалилось куда за стол, за ящик какой, в глухое место... Оно там и лежит, а она ждет. Похоронной же нет, значит, живой...

Стало светать, засинело окошко, а в комнате стояла прежняя густая темнота.

Опять пошел дождь, застучал торопливо в стекла, громыхнул где-то далеко гром, а потом уже почему-то сверкнула молния, осветив голые бледно-серые стены и потолок. Анфиса тут же и поняла, что это донесся гром не от этой вот, а от другой молнии, и стала ждать, когда снова загремит. Но ничего не загремело, только хлестанул сильный ливень по тесовой, заплесневелой разноцветными лепешками грибков крыше, кто-то грузный заплясал босиком, прогибая полусгнившие доски.

Анфиса лежала и думала теперь, что ветер, наверное, за целый день не разнесет сегодня тучи, они наглухо закупорят над Шантарой все небо, нигде не прольется на землю ни один солнечный лучик, солнце до самой следующей ночи будет ходить бесполезно где-то там, высоко над тучами, весь большой июльский день будет сумеречным, чем-то похожим на ее жизнь, которую сломал и перековеркал Федор, теперь Анфиса это понимала отчетливо. Жила она когда-то давно-давно, как колокольчик под дугой, пока на дороге не появился этот Федька проклятый с проклятыми своими усика-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18—24.

ми, которые снились ей по ночам. «Прям страшилище усатое»,— сказала она ему тогда. Когда это было-то? Не то в шестнадцатом году, не то в семнадцатом... Или чуть попозже? Господи, как давно все это было, с каких пор закрылось от нее солнышко-то тучами! С того дня, когда он, проклятый, по-звериному смял ее, распластал на траве. «Не надо, Федор... Пожалей! Ну, пожалей, рано мне еще...» — пропищала она бессильно и беспомощно. Не пожалел...

Тихие, обидчивые слезы заструились по щекам, прожигая их глубоко, будто насквозь. «Убило бы его, паразита, там, на войне, пулей! Чтоб знал! — подумала она безжалостно, замотала в темноте головой по подушке, беззвучно и яростно крича:— Чтоб знал, чтоб знал!»

Опомнилась она оттого, что бешено и больно заколотилось под грудью сердце: «Что говорю-то, чего это я желаю ему!!!»

Из комнаты, где жила эвакуированная учительница с дочерьми, донесся опять кашель, скрип сундука и шлепанье босых ног. Потом из дверных щелок брызнули струйки света, дверь распахнулась, на пороге стояла Берта Яковлевна, растрепанная, с папиросой.

— Что с вами, Анфиса? — спросила она.— Вы мучительно стонали.

Анфиса с удивлением обнаружила, что не лежит, а сидит на кровати, свесив голые ноги на пол.

— Ничего. Муж мне давно не пишет. Кирьян...

— Напишет еще. А мой уже никогда не пришлет письма. Он погиб при героической защите Одессы.

Анфиса знала об этом, она не раз слышала от Берты Яковлевны о гибели ее мужа, жалела эту овдовевшую в самом начале войны женщину и ее дочерей. Берта Яковлевна преподавала в школе математику: учительницей, говорят, была неплохой, но сварливой. Колька рассказывал, что ее не любили, делали ей всякие пакости. И еще она была рассеянной, не обладала памятью на лица и события («После похоронки на папу у нее совсем память исчезла»,— говорили ее дочери), и этим широко и беззастенчиво пользовался Колька. Берта Яковлевна в десятом классе, где учился Николай, была классной руководительницей, Колька систематически выкрадывал у нее классный журнал и проставлял себе и своим товарищам отметки. Анфиса это знала, сердито ругала сына, но тот мотал только крючковатым носом и оправдывался:

— Да что я, мам, ставлю-то? Не пятерки же...

— Оболтус ты. Вместо того, чтоб учить... А как она поймает тебя на этом?

— Память у нее дырявая,— усмехался Колька.

Через полчаса Анфиса и Берта Яковлевна чистили картошку. Как-то так получилось, что с самого дня подселения эвакуированных, которых привел на квартиру сам председатель райисполкома Хохлов со словами: «Вот, приютите жильцов... Не обижайте»,— они все стали жить одной семьей.

Берта Яковлевна в общий котел отдавала свою зарплату, потом сама Анфиса устроилась на работу — уборщицей в районную библиотеку. И хотя хлебные карточки «отоваривали», как говорила Берта Яковлевна, не всегда — Колька, Лидка и Майка по целым суткам толклись в тысячных магазинных очередях, подменяя друг друга, но зачастую хлеба им так и не доставалось,— хлеб в доме все же водился и жили все хоть не очень сытно, но не впроголодь.

Нынче весной впятером — Верка лишь демонстративно не взяла в руки лопаты — дружно вскопали огород, посадили картошки, бобов, гороху, по краю плетня натыкали кукурузы. Лето было засушливое, каждый день почти они поливали из Громотушки огород. С утра до вечера над инютинской усадьбой стоял галдеж и звонкий смех Майки с Лидкой.

— Как хорошо! Скажите, пожалуйста, как это удивительно!— говорила частенько Берта Яковлевна, раскрасневшись от работы.— Я никогда не занималась огородничеством. Но это же прекрасно!

— Не знаю, прекрасно или не прекрасно,— ответила ей однажды Анфиса.— Просто без огорода нам не прожить.

— Ну да, я понимаю. Теперь это я понимаю... Урожай картофеля, кажется, будет отменный...

— Вроде бы должен. Тогда перезимуем.

— Как это удачно — речка в огороде.

— Громотушка-то? Без нее бы гибель. Кормилица.

— Хорошо, что на земле есть речки.

Анфиса сейчас вдруг вспомнила этот разговор, эту наивную, как ей тогда показалось, фразу: «Хорошо, что на земле есть речки». А ведь в самом деле хорошо. И что солнце на небе, и что дождь, и что снег, зима, а потом весна... Только бы война вот скорей кончилась, Кирьян вернулся...

Анфиса неожиданно для самой себя всхлипнула.

— Вы уж напрасно так,— сказала учительница, откладывая нож и доставая папиросу.— Письмо вам еще будет, задержалось где-то.

— Не задержалось, не будет,— Анфиса враждебно сверкнула глазами, будто недовольная за эти участливые слова.— Я вот чувствую, что-то случилось с ним. Что-то случилось!

Берта Яковлевна чиркнула спичкой, прикурила, стала смотреть в окно, за которым в синей предутренней дождливой мгле уже проступали мокрые горбатые крыши соседних домов.

— Он, ваш муж Кирьян, был хороший человек?

— Хороший,— прошептала Анфиса, опуская голову. Но тут же медленно начала ее поднимать, в глазах ее была не враждебность уже, а впрах испепеляющая ненависть. Анфиса поднимала голову угрожающе, зловеще, в руках у нее был кухонный нож потемневшего железа. Сжимая этот нож, собираясь кинуться на учительницу, она начала подниматься с табурета. Берта Яковлевна обо всем догадалась, торопливо бросила папиросу в кучку картофельных очисток.

— Анфиса, простите! Я оговорилась.

— Ты, ты! — взвизгнула Анфиса.— Что ты его хоронишь?

От ее вскрика проснулся Колька, быстро приподнялся, сел, спросонья заморгал глазами.

— Что кричишь-то? Случилось чего, мам?

Анфиса молча и тяжело дышала.

— Ничего не случилось,— сказала Берта Яковлевна.— А ты вставай, сегодня последний экзамен у тебя. И я буду спрашивать тебя строго. Бином Ньютона повторил?

— Да знаю я его,— зевнул Колька.

— Николай, я серьезно говорю! — рассердилась учительница.— Я обязательно задам тебе этот дополнительный вопрос.

— Сказал — знаю. На тройку, а знаю.

— Вот,— Берта Яковлевна повернулась к Анфисе.— На тройку...

Пока шел этот разговор, Анфиса немножко успокоилась, отошла. Она знала, почему идет у них эта перепалка о непонятном ей биноме неведомого Ньютона. Однажды Берте Яковлевне все-таки показалась подозрительной какая-то Колькина отметка в журнале, и учительница, удивленно разглядывая классный журнал, вышла из комнаты: «Николай, это когда ж я тебя по алгебре спрашивала?» «Здрасьте! — воскликнул сын нахально.— Когда я бином Ньютона-то пол-урока вам шпарил!» «Ну-ка бери ручку и бумагу». «Еще чего! На уроке — пожалуйста, переспросите. Я вам в два мига его выведу...»

И Колька быстренько, торопливее, чем положено, скрылся за дверьми.

В тот вечер он долго готовил уроки, чуть не до утра шуршал страницами учебников, и Анфиса догадалась, что этот самый бином он не знает, а сейчас вот учит. «Паразит такой, мошенник»,— думала она тогда о сыне с раздражением.

— На тройку, видите ли, он знает,— повторила учительница.— И доволен. Безобразие! А способный парень. На фронт собирается! Оценка тогда все-таки подозрительно появилась... А меня, Анфиса, простите, ради бога. Ну, оговорилась я. Я не хотела. Жив, жив ваш муж.

— Ох, не знаю,— проговорила Анфиса обессиленно, глаза ее опять были полны слез. — На сердце тяжко, так тяжко...

* * *

Кирьян Инютин был жив, только он в это раннее июльское утро лежал на узкой больничной койке новосибирского госпиталя без обеих ног, и, как много дней уже подряд, смотрел, не мигая, в белый квадратный потолок, и тупо размышлял о том, что все военные врачи — сволочи и скоты, что они не должны были дать ему после наркоза прийти в сознание, ибо отрезать человеку по самый пах обе ноги — это хуже, чем отрезать голову.

— Ну что теперь, сынок... Судьбу, ее думой не пересилить, — тихонько произнесла рядом старая нянечка Глафира Дементьевна. — Уточку вот, сыночек...

— Пошла ты, старая телега! — Кирьян схватился обеими руками за спинку кровати над головой, подтянул свое обрубленное тело повыше на подушку, лицо его покрылось от бешенства испариной. — Уметайся!

Так происходило каждое утро. Всякий раз, когда Глафира Дементьевна предлагала ему утку, Кирьян, оскорбленный чем-то, кричал на нее в бешенстве, не выбирая слов, и всякий раз старая нянечка, тяжко вздохнув, сгибалась с трудом, ставила сосуд возле койки так, чтобы он, опустив руку, мог его достать, и уходила.

Ушла она и на этот раз, шаркая тапочками. Кирьян глядел в ее сутулую, согнутую временем спину, глаза его, переполненные слезами, горели зло.

Когда она вышла из палаты, он, держась теперь за спинку койки одной рукой, поднял с пола ненавистную посудину, холодную, чисто вымытую.

Через некоторое время та же Глафира Дементьевна принесла ему поесть, поставила завтрак на тумбочку, унесла утку, потом вернулась в крохотную палатку, где лежал в одиночестве Инютин, села на выкрашенную белой краской табуретку.

— Ешь, сыночек.

— Ишь ты... нашла сына, — буркнул Кирьян.

— Так что ж... Мне седьмой десяток, тебе пятый. А первого я принесла в шестнадцать годков. Ребенком, почитай, родила. Тогда ведь рано нас, девок, под мужиков клали. Сын же мой старше тебя на четыре али пять годков был. В сорок первом он еще где-то под матушкой Москвой упал... Ешь, я не уйду, пока не поешь.

Когда Кирьяну ампутировали обе ноги, он, придя в себя, отказался принимать пищу и воду, решив в несколько дней уморить себя. В общую палату, где он лежал тогда, пришел начальник госпиталя, генерал-лейтенант медицинской службы, высокий, нестарый еще, худощавый мужчина в очках.

— Ты что это устраиваешь? — спросил он строго. — Мы тебя силой кормить будем. Через задний проход.

— Через задний?! — вскипел Кирьян.— Т-ты, глиста в очках! ...Я тебе самому загоню в этот проход... ножку вот от стула.

Начальник госпиталя побагровел. Но к нему шагнула Глафира Дементьевна, положила, как мать, обе руки на плечи, обтянутые белым халатом.

— Батюшка, Андрей Петрович... Не гневайся. Переведи-ка ты его в одиночную палатку. Тяжко ему тут. Я уж с ним договорюсь...

Через час Кирьяна перевезли в одиночную палату. Следом вошла туда Глафира Дементьевна с кружкой молока и тарелочкой жидкой манной каши.

— Не стыдно, кобель такой? — сказала она ворчливо, ставя кружку и тарелку на тумбочку.

— Пошла бы ты отселя! — окрысился на нее Кирьян. Старушка поглядела на него с укором, качнула головой. И Кирьян вдруг почувствовал, как что-то у него надломилось внутри, какой-то стержень, на ко-

тором держалась невиданная злость ко всему миру, из разлома, видно, хлынули слезы, затопили глаза. И он сказал первое, что пришло в голову: — Кобелем я никогда не был... Одна баба у меня и была в жизни.

— Я говорю, лаешься, как цепной кобель. Андрей-то Петрович, золотые руки, сколько вас таких из могилы повытащил. И тебя вот. А ты...

— Этого-то я и не прощу.

— Дурак ты, прости господи. Ешь давай. Молочко вот вышей.

И Кирьян послушно взял кружку. Когда вышил молоко, почувствовал нестерпимый голод, жадно съел и кашу.

— Оно не сладко жить обрубком-то. Да все ведь не в сырой земле.

— Не в сладости дело, бабка. А в смысле. А где теперь смысл?

— Ну, это штука не простая. Иной и с руками, с ногами, со всем телесным прикладом жизнь проживет, а смысла того так и не уразумеет.

— Дала б еще, что ли, пожрать... Коли такая добрая да умная.

— Покудова хватит, сынок. А то кишки завернутся.

С тех пор прошло месяца два. Тот стержень в душе Кирьяна, на котором держалась вся злость, совсем так и не отломился, дал, кажется, еще и молодые побеги. Палата была на третьем этаже, в единственное окошко виднелись верхушки деревьев, дощатые крыши каких-то домов. Иногда Кирьян раздумывал, как бы это подползти к окошку да вывалиться наружу, чтобы кончить все раз и навсегда. И однажды в приступе дремучего отчаяния он свалился с койки, пополз к окну. Подоконник был высоким, он достал до него руками, но подтянуться не мог, сил для этого не хватало. В бессильной ярости Кирьян заколотился лбом о стену.

Там, возле подоконника, и застала его Глафира Дементьевна, всплеснула руками, обо всем сразу догадавшись. Она никого не стала звать на помощь, сама потащила его от окна, с грехом пополам заволокла на койку, села, обессиленная, на табуретку и по-старушечьи заплакала, время от времени поглаживая старой ладонью по его спутанным, мокрым волосам. Она не ругалась, ничего не говорила, только плакала.

— Ну и ладно... Ну и ладно, — выдавил он сквозь зубы тяжко и мучительно. — А теперь — уйди.

После этого Кирьян Инютин все так же зло кричал на старую женщину, но зло и ненависть были только в голосе. В душе он чувствовал к ней, единственному пока человеку на земле, признательность и благодарность. И она знала это, на его злые слова не обижалась.

...Летнее утро отгорело, незаметно перешло в долгий день, обещавший быть жарким и погожим. Поглядывая на молчаливо сидящую старуху, на плясавшие по белой стене солнечные блики, пробивавшиеся сквозь густые верхушки деревьев за окном, Кирьян съел пшенную кашу с тушенкой, стал пить крепкий чай с сахаром. Чай Глафира Дементьевна заваривала ему «свой», неизвестно где добывая в это трудное время заварку. И это всегда вызывало у Кирьяна обостренное чувство благодарности. Не ее постоянный уход и забота о нем, а именно чай, крепкий и душистый, рождал в его душе теплоту к этой старухе.

Солнечные блики на белой стене все играли, они всегда напоминали ему что-то давнее и хорошее, но что — понять он никак не мог, хотя временами думал об этом напряженно и мучительно.

Вышив чай, он со стуком поставил стакан на тумбочку, и Глафира Дементьевна очнулась от каких-то своих дум.

— Ну вот, и слава богу... Господь напитал, никто не видал. А я вот все думаю: как бы рада-радешенька была Надюшка, сына моего жена, кабы он хоть какой вернулся... Хоть без рук и ног вместе. Только бы живой, она б его, как ляльку, на руках носила. У тебя же руки целые, ты, окаянный, еще к подоконнику пополоз.— Старуха кивнула на окно. — Не совестно перед богом-то?

— В бога я не верю, Глафира Дементь-

евна, — сказал Кирьян тихо. — А моя Анфиска не такая, как жена твоего сына... Носить на руках не будет.

Старуха взмахнула высыпавшимися, редкими ресницами, пугливо почему-то глянула на Кирьяна, разгладила халат на острых коленках.

— Плохо жили, что ль?

— Хуже некуда... Я же ее любил без памяти. А она всю жизнь с другим путалась. Как увидит его... запах один его звериному учует, так и бежит, как сучка к кобелю.

Кирьян проговорил это, побледнел, застонал сквозь плотно сжатые зубы.

— А дети у тебя есть, нет?

Инютин тяжело дышал, смотрел на стенку, по которой как резиновые, все прыгали, все подрагивали желтые солнечные зайчики, то сливаясь друг с другом, то вспыхивая лучистыми звездами, разбегаясь в сторону. И воскликнул вдруг, пугая Глафиру Дементьевну:

— Под водой! Это когда если нырнуть и поглядеть вверх!

— Ты чего? Чего?!

Кирьян ей не сразу ответил, дышал по-прежнему часто и шумно.

Потом дыхание его стало успокаиваться.

— Речка у нас Громотуха недалеко от деревни. Нырнешь, а над тобой вот такие зайцы лопаются! — Он ткнул пальцем в стену. — И никогда их не поймать...

— Да что их ловить-то?

— Анфиска это любила.

— Кого, чего?

— Играться... когда мы купались с ней. Давай, говорит, зайцев из-под воды ловить. Нырнет и как рыба — вверх. Руки вытянет. Вынырнет, расхохочется, солнечный заяц на лице у нее дрожит. Упрыгнул, говорит... А я ей: не-ет, поймала! Она не может понять, об чем я... От Федьки Савельева была брюхатой... Парази-ит!

И Кирьян изо всей силы ударил затылком раз, другой о железную спинку больничной койки, будто хотел расколоть голову.

— Господь с тобой! — вскочила старуха. — Кирюшенька! Кирьян...

Она затормошила его, откинула одеяло, потащила тяжелое тело вниз, чтобы голова не доставала до коечной железной спинки.

Потом он долго лежал навзничь, запрокинув на подушке исхудалое, крючконосое лицо. Он был по-больничному коротко острижен, залысины по бокам выпуклого лба как-то мертвенно желтели, из закрытых глаз по вислым щекам, заросшим крепким волосом, сочились слезы.

— Ты не майся, сердешный, — проговорила Глафира Дементьевна. — Что ж теперь... Какой прок изводить себя?

— Пошла бы ты! — прохрипел Кирьян.— Что ты в душу ко мне лезешь?

Старуха, будто не слыша этих слов, снова села на табурет. Кирьян опять лежал с закрытыми глазами, молчал. Молчала и Глафира Дементьевна.

— Анфиска-то тогда мертвым ребенком разродилась, который от Федьки был... Но я б все равно ее не бросил, коли б и живой родился, — проговорил вдруг Кирьян тихо и просто. Он открыл глаза, чуть повернул голову вбок, стал глядеть на пляшущие солнечные пятна.

— А может... Слышь, сынок? Старая я, всякого навидалась за долгую-то жизнь. Ну и что ж, кумекаю дряхлым своим умом, каково тебе было с такой женой, — старуха произнесла это как-то неуверенно, она говорила и будто одновременно раздумывала, стоит ли говорить дальше. — А вот почто-то мне чудится — не умом покуда она жила... Не умом.

Кирьян оторвал глаза от стены, медленно повернул голову к старухе, в измученных глазах его стоял вопрос.

— Я к тому, сынок... Мы в ранешное время не в городу жили, в Нижней Ельцовке, деревня такая под городом и ныне есть. Колодезь у нас был... Черпали да черпали из него, ко вкусу воды привыкли и не замечали его... А потом иссяк отчего-то колодезь. Стали мы воду в речушке брать. И вот тогда-то и поняли, господи боже ж ты мой, какая сладкая вода в колодце-то была! К тому я говорю, сынок, написал бы ты Анфисе своей.

Кирьян изменился в лице, внутри у него будто застонало что, какую-то жилу будто стали вытягивать из него. Он поднял руки, опять схватился за спинку койки над головой, подтащил повыше на измятую подушку свое тело. Но ничего не сказал, так и замер, сжимая ладонями железную спинку.

— А что ж ты думаешь? А что ж ты думаешь?! — вгорячах воскликнула старуха, будто ей кто-то возражал посторонний, а не Кирьян. — Душа в тебе славная, Кирюшенька, чистая... Оно, бывает, до поры до времени человек и не видит, какое ж небушко-то над головой раздольное да красивое... Война-то сколь горюшка людского принесла! Всему она другую цену определила... Надька вот моя тоже не мед-сахар была. Она ладная в девках ходила, а в бабенках еще глаже стала. Ну, хоть и своя, а не укрою — млела она, когда мужики глаза к ней прилепляли. Да и кому это в сердце-то не кольнет, бабье мы, ох, бабье... Ну и крутила Надька, бывало, хвостом. Бывало! А сейчас локти грызет, дура-то я, говорит, была несусветная какая.

— Сказал уж я тебе... не такая Анфиска.

— Да я те на то и отвечаю — и Надька была не такая! — упрямо возразила старуха.— Ну че ты дальше-то будешь? Ну, в инвалидный дом тебя определят. Андрей Петрович, слышала я, говорил... Коли, грит, семья от него откажется, не бросим на произвол судьбы. Так что в дом-то инвалидов всегда ведь не поздно. Но спробуй, напиши, вызови... Тогда уж видно все будет. Дети ж у тебя, кроме ее.

Кирьян громко глотнул слюну, пальцы, сжимавшие железные прутья койки, побелели на сгибах.

— Дети... Верка, дочь — та сволочью выросла. Побрезгает и притронуться ко мне. Колька вроде бы с душой... ничего. Да тоже скоро на войну уйдет, скоро его год забреют. И Анфиска забрезгает... Не ответить даже может. Тогда я не переживу... Я ее, стерву, все ж таки люблю. Не-ет...

Голос Кирьяна хрипел, прерывался, слова он выталкивал тяжело, худая грудь тряслась, будто внутри у него под ребрами ворочалось живое что-то.

— Не-ет! — выкрикнул он, мотая головой. — Не могу я... Н-не могу! Ей ведь не мужик, ей жеребец надобен. А с меня какое теперь... дело?

Кирьян заплакал навзрыд, как-то по-детски горько и обиженно. Добрая Глафира Дементьевна сидела на табуретке, глядела на него скорбно, жалеюще и тоже вдруг всхлипнула, потянула к глазам полу больничного халата.

Потом оба они затихли, замерли. Кирьян, лежа на спине, глядел и глядел в потолок, не мигая, Глафира Дементьевна сидела торчком, какая-то теперь строгая, холодная.

На госпитальном дворе загудела машина, проехала под самым окном, потом проехала еще одна и еще... Раздались голоса, и слышно было, как по дорожке, усыпанной не то дресвой, не то шлаком, торопливо пробежала толпа людей.

Глафира Дементьевна подошла к окошку, глянула вниз.

— Раненых привезли. Говорили, седни целый поезд должен с ними прийти. Идти мне надо.

— Сядь, обойдутся,— сказал Кирьян спокойно теперь, негромко. — Не могу я, Глафира Дементьевна, Анфисе написать... Я от нее на фронт когда побежал, то заявил: ежели, мол, не убьют меня, домой я к тебе все одно не вернусь. С тем и сбежал...

— Как так — сбежал? — спросила старушка озадаченно.

— А так. Смех и грех, как ребятенок малый... Я на броне был, меня не брали. Так я самовольно... Ночью вышел из дому, спустился к Громотухе, отвязал какую-то лодку да поплыл вниз. На рассвете завел ее в камыши, день пролежал там... как беглый какой с тюрьмы, что ли... Ночью опять поплыл. Громотуха-то в Иртыш впадает, а там, я знал, до Семипалатного недалече... В общем, добрался я до города Семипалатинска, на вокзале очутился. А тама как раз новобранцев провожают. Перрон там небольшой, все кипит, плач, вой... пьяные песни. Под суматоху я залез с другими вместе в теплушку да и поехал... В Алма-Ате только обнаружили, что я какой-то чужой... «Да что же ты за чудо-юдо такое? — спросил меня в военной комендатуре белобрысый полковник с костылем.— Хохотать над тобой вроде бы неудобно. А что делать — не знаю». Впервые, грит, такой случай, что взрослый самовольно на фронт побег. Дети — это бывает... «Посадить тебя я вынужден до выяснения. Может, ты бандит какой, преступник, от правосудия скрываешься...» Я говорю, что ж садить-то, позвоните в село Шантару, в МТС, или телеграмму отбейте. Они вам сообщат, что я никакой не преступник... Ну, в общем, что говорить... Покрутили они меня, повертели... Сбежал я осенью сорок первого, а под новый год меня уже ранило. Город Ливны мы тогда брали. И взяли, на окраине этого худенького городишка меня и задело в мякоть ноги...

— Господи! — Глафира Дементьевна перекрестилась.

— Рана была пустяковая, в медсанбате малость подержали да опять в бой... Ну, а потом больше года судьба миловала. Две медали получил. А нынче в апреле, под Новороссийском... не то числа седьмого, не то восьмого... Только и помню, ка-ак жахнет рядом. Мы в наступление шли, мало-мало снаряд не в меня прямо угодил... Очнулся я аж в городе Куйбышеве. Молоденькая такая врачиха возле меня сидит в белой шапочке, а из-под шапочки волосы стекают струями. Откуда ж ты, думаю, светлая да чистая такая, явилась? Из какого мира? А она: «Ну вот, поморгай, поморгай... Жить теперь будем, Кирьян Демьяныч...»

Инютин умолк, захлопал короткими белесыми ресницами, потом быстро и часто задышал, повернул голову вбок... И лишь через минуту, по-прежнему глядя куда-то в стену, захрипел:

— Жить... Добрая была она, врачиха, все улыбалась. Только ноги мои когда начнет оглядывать, закусит губы, глаза потускнеют... Сперва я думал — брезгает или стесняется... Да и самому мне стыдно было — во всем виде я перед ней. А она это, выходит, раньше меня понимала, что отходили мои ноги. Выше колен кости все были раздробленные...

Инютин, утомившись, видно, рассказом, опять замолчал, выпуклый лоб его покрылся испариной. Он пошевелил головой, обтер лоб бледной, узкой ладонью, глянул на Глафиру Дементьевну.

— Вот, значит, как... Што-то они там врачи колдовали над моими ногами, то в гипс их замазывали, то... Потом вдруг в поезд погрузили, да сюда вот...

— Ну да, ну да,— закивала старуха.— У нас тут, грят, лучше всех кости сращивают. Андрей Петрович-то умелец...

— Так что же мне не срастили? — застонал Инютин, рывком приподнимаясь. Глаза его сверкнули яростно, озлобленно, и одновременно была в них беспомощная жалоба.— Что ж он, умелец?!

— Да ведь и он не господь бог. Кабы он мог — он бы тебе свои переставил! Такая душа у него...

Кирьян опал на подушку, закрыл глаза ладонью, чтобы отгородиться от всего — от солнечного света, от белого потолка, от этой старухи. Долго лежал так, потом заговорил, не снимая ладони с лица:

— Это надо же... Отец-то у меня тоже был увечный, одноногий, на деревяшке прыгал. На японской войне ему ногу повредило. И надо же, говорю, судьба, что ли, над нами, Инютиными?! Отцу тут, тоже в новониколаевском лазарете, ногу тогда отпилили. Только ему одну, а мне обои... Ну, ты — уйди... Уйди.

Последние слова он прошептал еле слышно, обессиленный.

Продолжение следует.

Анатолий ИВАНОВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ВЕЧНЫЙ ЗОВ

Все утро 15 июля начальник прифронтовой опергруппы НКВД Яков Николаевич Алейников провел в краткосрочной спецшколе разведчиков-подрывников, изучая личные дела курсантов, их успеваемость. Он, сидя за скрипучим столом, перелистывал тощие папочки, время от времени хмурился, покашливал и потирал ладонью шрам на щеке. В комнатушке начальника спецшколы капитана Валентика, отгороженной от казармы, в которой жили курсанты, кирпичной стеной с обвалившейся штукатуркой, было тихо, светло, в низенькое оконце постукивали ветки давно отцветшей сирени. За сиренью стояла машина Алейникова, в маскировочных пятнах «эмка». Слышался временами раскатистый хохот его шофера Гриши Еременко.

— Эй, вы... потише там! — крикнул Алейников, открыв окно. Но тут же он окно закрыл, опять взялся за папки.

— Вот что, капитан,— сказал Алейников, задумавшись.— Через неделю мы должны этих ребят выпустить.

— Еще по программе месяц,— осторожно проговорил капитан, человек хладнокровный, по общему мнению бесстрашный, не раз ходивший в глубокий тыл врага, выполнявший там самые дерзкие диверсии. Но перед Алейниковым он почему-то всегда робел и, смотря ему в лицо, часто хлопал, как девушка, ресницами, а потом и вообще опускал вниз свои голубые глаза.

— Какой там месяц, наступление началось, какой там месяц,— проговорил Алейников все так же задумчиво.— На эту неделю никаких строевых занятий. Ориентация ночью на местности, изготовление и устройство взрывных систем... Все время этому. Понятно?

— Так точно, товарищ майор.

— Ну вот... Учи, учи, сам с кем-то из них в тыл к немцам пойдешь.

— Вот за это спасибо! — искренне обрадовался капитан.— А то у меня, пока я тут, кровь в жилах застоялась, загустела... Когда готовиться к передаче дел?

Валентику было лет около пятидесяти. Рослый, с широкими плечами, одно из которых было почему-то ниже другого, он прошелся перед столом бесшумно, как кошка, сел на стул.

— Ишь ты, нетерпеливый какой... Будет еще время разогреть кровь. А это что такое?

Разговаривая, Алейников давно косился на дивизионную газету, лежавшую на подоконнике. Край газеты свешивался, и как раз на сгибе жирно чернел заголовок «Подвиг сибиряков-гвардейцев». Но не заголовок, а два портрета, напечатанных под ним, все время цепляли внимание Алейникова.

Проговорив так, Яков, не вставая, протянул руку, взял газету. В заметке коротко, без всяких эмоций излагалась вся недавняя эпопея танкового экипажа Дедюхина, уничтожившего двенадцать вражеских машин. Заканчивалось это невыразительное повествование словами: «Геройский экипаж представлен к высоким наградам, а командир танка старший лейтенант Дедюхин к званию Героя Советского Союза (посмертно). На снимках: заряжающий рядовой И. Савельев (слева) и его племянник, механик-водитель сержант С. Савельев».

Читая заметку, Алейников двигал желваками, они перекатывались на исхудавших щеках крупными стальными горошинами, лохматые брови, сильно поредевшие за последний год-полтора, то приподнимались, то раздраженно хмурились.

— Не Лев Толстой писал, конечно,— чуть усмехнулся начальник спецшколы, по-своему расценив выражение лица Алейникова.— Но мужики действительно герои.

— Не в этом дело,— сказал Алейников.— Из какой они части, интересно?

— Газета дивизии полковника Велиханова. А из какой они части, проще простого в редакции газеты узнать.

— А где редакция?

— В штаб дивизии позвонить... Разрешите?

— Не надо...

Алейников сложил вчетверо газету, сунул в карман и встал.

— Значит, выпуск через неделю. Экзамены приеду лично принимать. И новый состав курсантов будем набирать. Все соответствующие распоряжения получишь, как положено.

— Слушаюсь.

Алейников встал и начал ходить из угла в угол комнатушки, потом снял с гвоздя фуражку, начал протирать зачем-то ее изнутри носовым платком.

— Месяц еще, говоришь, по программе? Да у нас же людей не осталось. Засылаем в тыл десятками, возвращаются единицы. Гибнут и гибнут. Почему?

— Почему? — Валентик усмехнулся, блеснул голубым пламенем глаз и сел за свой стол, где только что сидел Алейников.— Учим их плохо. Вот опять срок обучения на три недели сократили.

— Да, может, плохо. Но я все хочу спросить тебя... что это фамилия у тебя такая? Как детское имя.

Капитан приподнял обвисшее левое плечо и опустил, а правое у него осталось неподвижным.

— Батька с маткой наделили такой фамилией. И дед был Валентик и прадед... Под Коростенем всю жизнь прожили.

— Я знаю, что под Коростенем,— сказал Алейников мягко, спрятал носовой платок в карман, надел фуражку, плотно надвинув ее на лоб. Потом он пальцы обеих рук сунул за ремень, оправил гимнастерку и вдруг мгновенно выхватил пистолет из кобуры, оскалился по-звериному, прохрипел:

— Встать, с-сука!

Капитан Валентик от неожиданности всем тяжелым телом качнулся вперед, будто кто саданул его в спину бревном. Ладони его упали, как отрубленные, на стол, длинные, костлявые пальцы сжались, царапнув крышку. Глаза полыхнули, стали не голубыми, а какими-то ядовито-серыми, верхняя губа приподнялась, оголяя ровные, прямые зубы, и мелко, по-собачьему, задрожала.

Но все это продолжалось секунду-другую, потом глаза вновь стали светло-голубыми, губы растянулись в жалкую и недоуменную улыбку.

— Вы, товарищ майор, в своем уме? Что за шуточки?

— Руки! — крикнул Яков, видя, что кулаки Валентика поползли по крышке стола к ремню, на котором висела такая же, как у Алейникова, кобура с пистолетом.— Руки вверх!

Начальник спецшколы еще помедлил, потом проговорил:

— Ничего не понимаю... Да вы что, Яков Николаевич?

— Поднимай руки. И не вздумай мне! Встать — и лицом к стенке!

Капитан Валентик поднял медленно тяжелые руки, загремев опрокинутым стулом, поднялся. Алейников чуть кивнул головой, и капитан вышел из-за стола, неуклюже повернулся лицом к стенке. Алейников шагнул к нему, упер в лопатку пистолет.

— Малейшее движение — я стреляю...

Потом он вынул из его кобуры оружие и положил в свою, ощупал все карманы начальника спецшколы.

— Вон туда, в угол, иди и сядь на табуретку.

Обезоруженный капитан опустил руки, прошел, куда ему приказали. Алейников шумно и устало вздохнул, снял фуражку, бросил ее на стол. Нагнулся, поднял стул, уселся сбоку стола, не выпуская из рук пистолета.

— Ну?

— Что ну? — усмехнулся Валентик. Он сидел на табуретке, облокотившись о колени, низко опустив голову.— Вот вы и объясните... что все это значит. Какая муха вас укусила?

— Ладно,— сказал Алейников. Не спуская глаз с капитана, снова приоткрыл окно.— Королева! — И закрыл створки на ржавые шпингалеты.

— Сквозняка, что ли, боитесь? — проговорил Валентик, кисло усмехаясь.

Алейников не ответил. Последние дни он много метался по фронту, лично уточняя места перехода в тыл к немцам диверсионных групп, проверяя, как обеспечена безопасность, жестоко простудился, двое суток у него держалась высокая температура. Но за эти двое суток он почти не прилег, на третьи в какой-то деревушке пропарился хорошенько в бане, выпил стакан спирта и несколько часов, наконец, поспал. Утром температуры уже не было, душил только кашель. Он глотал от кашля таблетки, это, видимо, помогало, хотя кашель совсем не прошел до сих пор.

Вошла Олька, робко и несмело вытянулась у двери. Голова ее была обвязана косынкой, из-под которой выбивались кое-где пучки коротеньких волос. От нее резко пахло больницей.

— Говори,— сказал Алейников.

— Я видела его прошлым летом, в Лукашевке, в августе,— сказала девушка, кивнув в сторону Валентика.— Он вышел из фельдкомендатуры с тремя немцами.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18—25.

— В августе как раз мы тебя, Валентик, посылали в тыл для диверсии.

— Он был в брезентовом дождевике с капюшоном, лица не видать... Я думаю, что это за тип такой с немцами кривоплечий, надо партизанам сообщить,— продолжала Олька ровным голосом.— Немцы и он о чем-то поговорили и пошли все вместе, я потихоньку двинулась следом. У железнодорожного переезда на краю Лукашевки все остановились. Этот откинул капюшон, они все покурили, посмеялись. Опять долго о чем-то говорили. Этот по-немецки хорошо говорит. Немцы пошли обратно, а этот... за переезд, в поле пошагал.

— Мост за Лукашевкой ему мы поручили взорвать тогда,— усмехнулся Алейников.— И он его взорвал.— Алейников еще раз скривил губы.— Мы еще радовались, как все это ловко у тебя получилось, под самым носом у немцев сумел... Правда, состав с немецкой военной техникой, который должен был пройти через минуту на Курск, почему-то задержали во Льгове. Мы тогда посчитали это досадной случайностью... Состав прошел на другой день, когда мост починили.

— Ну, а партизанам я тогда так и не успела сообщить о нем... Когда немцы пошли обратно, мне некуда было деться. Я сделала вид, что только вышла из переулка. Немцы ничего не заподозрили, волосы мои начали щупать... домой повели. Ну, а дальше... выпал как-то он у меня из памяти, забыла... Да вы знаете...

— Знаю, Оля,— сказал Алейников.

— А вчера мы за медикаментами для госпиталя в Воробьевку ездили. В этой деревушке шофер воду стал в радиатор заливать. Я из колодца поднимаю ведро, гляжу, а он идет по улице. Капитан. Одно плечо, гляжу, ниже... И в памяти у меня всплыло, вспомнила я того, в дождевике. Ну и решила вам сказать. Мало ли что, думаю...

— Ладно, Оля, иди,— сказал Алейников.— Лечись получше... Скажи шоферу, чтоб заправился. По пути я тебя в госпиталь завезу.

Девушка вышла, в комнате установилось молчание. Валентик все так же сидел, не поднимая головы, будто все, что здесь говорилось, его не касалось.

Только когда стал затихать шум отъезжающего автомобиля, он чуть скосил глаза в окно.

— Как же так неосторожно ты, Валентик? С немцами, среди бела дня, по деревне?

— Вот именно,— спокойно сказал Валентик, брезгливо поморщившись.— Если бы я был тот, кого вы во мне подозреваете, я бы не пошел с немцами по деревне среди бела дня. Тем более имея такую приметку — одно плечо ниже другого.

— Ты в самом деле немецкий язык знаешь?

— Слышите, в бога душу...— Валентик вдруг заматерился так яростно и смачно, что казалось, лопнут оконные стекла.— Да вы что, в самом-то деле? Мало ли кривоплечих? Мало ли кто там, с теми немцами, мог быть?!

— А почему ты этак не взорвался, когда Королева тут была? Боялся, что голос она узнает?

— Да потому что... потому что это черт знает что! В голове не укладывается! — Валентик встал.

— Сидеть! — Алейников приподнял пистолет.

— А-а, бросьте,— махнул рукой Валентик.— Какой-то глупой девчонке померещилось... Отправляйте, что ж, куда следует. Там разберутся.

Дальнейшее произошло в считанные мгновения. В голове Валентика, пока он сидел, опустив голову, и слушал рассказ Королевой, шла лихорадочная работа, он до последних долей секунды рассчитал все — и свои действия и реакцию Алейникова, которая должна на эти действия последовать. Он понимал одновременно, что риск был смертельный, но выхода не было. Он надеялся лишь на какой-нибудь фантастический случай, который приходит-то, может, раз за всю жизнь, но приходит иногда на помощь...

Когда Алейников, как Валентик и ожидал, предупреждающе крикнул: «Сидеть!», он, устало взмахнув ладонью, начал медленно опускаться на табуретку. В эту секунду-другую, как он опять же правильно рассчитал, Алейников, видя, что Валентик покорно садится на прежнее место, чуть расслабился и приопустил руку с пистолетом. На самом же деле Валентик и не думал садиться. Будто бы опускаясь на табуретку, он напрягал сильные мышцы ног для страшного прыжка, до того напрягал, что они заныли. И почти коснувшись задом табуретки, почувствовав, что ноги превратились в туго согнутые стальные пластины, он мгновенно разжал их, зеленой щукой нырнул вбок, головой проломил оконный переплет и вместе с осколками стекла тяжелым мешком вывалился наружу, на кусты сирени. Едва он метнулся к окну, Алейников выстрелил. Ухо и щеку обожгло — будто кипятком плеснули сбоку. «Алейников это попал или об стекло разрезал?» — промелькнуло у него в голове и пропало. Эти мысли были посторонними, не об этом ему надо думать. Понимая, что Алейников тоже ртом мух ловить не будет, он вскочил и метнулся за угол...

Фантастический случай, на который он надеялся, все же произошел. Едва Валентик завернул за угол, с противоположной стороны здания выкатился «виллис», принадлежавший спецшколе. Шофер, молоденький парнишка, увидев окровавленного начальника, резко затормозил и, одной рукой держась за баранку, другой приоткрыл дверцу, наполовину высунулся из машины.

— Товарищ капитан, что с вами?! — выкрикнул шофер, мальчишечьи его глаза от удивления были круглыми.

— Скорей... в санчасть! — первое, что пришло на ум, прокричал Валентик, подбегая. И в эту секунду взгляд шофера скользнул куда-то мимо, глаза шофера округлились еще более. Валентик безошибочно определил, что парень увидел выбежавшего из-за угла Алейникова. Машина еще катилась, замедляя ход.

— Сто-ой! — донесся хриплый возглас, воздух расколол выстрел.

Пуля просвистела где-то сбоку. Валентик был уже возле остановившейся машины, он схватил ничего не понимающего шофера за шиворот, рванул из машины, заскочил туда сам.

Алейников, стреляя на ходу, приближался. Мотор автомашины работал, парень-шофер стоял в дорожной пыли на коленях, крутил головой, глядя то на Алейникова, то на командира спецшколы. Валентик лихорадочно включил скорость, но на газ нажал плавно. Виллис тронулся и стремительно полетел вдоль затравеневшей деревенской улицы. Алейников беспорядочно стрелял вслед, пули свистели то сбоку, то сверху, одна попала куда-то в машину. «Только бы не в колесо... или не в спину мне!» — думал Валентик, сгорбившись над рулем, вздрагивая при каждом выстреле.

• • •

— Тэ-эк-с,— зловещим голосом протянул старый полковник, встал из-за стола, раздраженно захлопнул металлический колпачок на чернильнице.— Что ты, Алейников, тотчас обо всем доложил Управлению — это хорошо. Честно по крайней мере... Но что же из-за этого Валентика прикажешь с тобой делать? В трибунал? В штрафную роту? — Полковник усмехнулся.— Кстати, в зону действия вашей опергруппы как раз на днях и направлена одна из штрафных рот.

Алейников, опустив голову, молчал.

Начальник фронтового Управления «СМЕРШ», огрузневший немного, седоволосый, ходил взад-вперед мимо Алейникова, потом остановился перед ним.

— Как же это произошло, Яков Николаевич?

— Как? — Алейников вздохнул, потер шрам на щеке.— Я и стреляю прилично, с тридцати метров в копейку могу попасть. А тут словно черт за руку дергал.

— А я не о том, что ты упустил его! Это уж другой вопрос. Ты не разглядел матерого вражеского агента в своей группе!

Что было отвечать Алейникову? Да, не разглядел. Чекист с двадцатых годов, хорошие характеристики. Давно орудует в органах, и никто до сих пор не мог его разглядеть. Но так подошло, что отвечать теперь ему. А спросить могут очень строго.

Яков, неслышно вздохнув, произнес:

— Я готов нести ответственность, товарищ полковник.

— Ответственность...— Старый чекист недовольно пошевелил усами.— Сколько он наших людей погубил?! Как за это ответить? В каком размере ответ должен быть?

Голос его был сух и по-прежнему зловещ, леденил Алейникову сердце.

Потом начальник Управления долго молчал, отвернувшись. Наконец поднял голову, тем же недружелюбным голосом произнес:

— Вот я все хотел спросить: где это вам нарисовали... шрам этот?

— Это давно, товарищ полковник, в гражданскую. След от шашки царского полковника Зубова. Он был командиром карательного отряда, там у нас, в Сибири. Много он нам тогда... нашему партизанскому отряду хлопот принес. А потом мы накрыли его на одной таежной заимке...

— Ну? И, надеюсь, не упустили? — Полковник глядел на Алейникова, чуть вскинув подбородок.

— Нет... Его зарубил командир эскадрона из нашего отряда Федор Савельев.

— Кто?

— Савельев Федор Силантьевич,— повторил Алейников.— Который служит сейчас в Шестокове у немцев...

— Да, да, помню, ты докладывал об этом Федоре Савельеве, своем землячке,— с усмешкой проговорил начальник Управления. Но тут же усмешка исчезла, он нахмурился и, глядя куда-то мимо Алейникова, раздумчиво произнес:— Шестоково, Бергер, Лахновский...

— А сейчас могу доложить еще о двух Савельевых. О сыне и младшем брате этого Федора.

Полковник поднял на Алейникова вопросительный взгляд, но вместо ответа Яков вытащил из планшета дивизионную газету, взятую с подоконника в спецшколе, протянул начальнику Управления. Тот сначала надел очки, лежавшие до этого на столе, взял газету, поглядел на портреты и стал читать заметку, рассказывающую об эпопее танкового экипажа Дедюхина.

Пока он читал, Алейников пытался представить себе таинственную деревушку Шестоково, находящуюся в нескольких десятках километров юго-западнее Орла. В Орле находился центр немецкой разведки «Виддер», а в лесной деревушке Шестоково одно из многочисленных отделений «Виддера» — «Абвергруппа-101», начальником которой являлся некий капитан Бергер. Эту «Абвергруппу» охраняла так называемая «Освободительная народная армия» под командованием штандартенфюрера, то есть полковника, Лахновского. В этой «армии», насчитывающей всего около двухсот человек, во взводе охраны и служил Федор Савельев.

Обо всем этом еще весной доложил некто Метальников, перевербованный агент Бергера. Попав в немецкий плен, бывший сержант Красной Армии Метальников после специальной обработки и обучения был под видом бежавшего из концлагеря внедрен Бергером в партизанский отряд Кондратия Баландина, действующий в Орловской области. Метальников немедленно рассказал, кто он такой на самом деле, Баландин с людьми Алейникова, часто бывавшими в отряде, переправил его через линию фронта в штаб прифронтовой оперативной группы, где тот и доложил о составе «Абвергруппы-101» и «Освободительной народной армии», в том числе о Савельеве и Лахновском.

— Не может быть! — не удивился даже, а почему-то ужаснулся Алейников.— Ну-ка, все приметы каждого! Подробно.

Приметы говорили, что это именно тот Лахновский Арнольд Михайлович, за которым Алейников гонялся по лесам после гражданской, и тот Савельев Федор Силантьевич...

А потом с помощью того же Метальникова были добыты их фотографии. «Как они там оказались? Как?» — раздумывал Алейников о Лахновском и о Федоре Савельеве.

Но этого он не знал до сих пор.

Прочитав до конца заметку, начальник Управления молча вернул газету, встал из-за стола и подошел к окну.

— А отца этих Савельевых — Федора и Ивана — полковник Зубов повесил,— сказал Алейников.

— За что? — повернулся от окна начальник Управления.

— Старик помог нашему партизанскому отряду укрыться в горах тогда. Показал путь в неприступную теснину.

— Вот оно как! — Полковник хотел снова сесть за стол, но не сел, а лишь снял и положил на него очки.— Ну-ка расскажите мне подробнее о всех этих Савельевых. В высшей степени это интересно... И тем временем чайку попьем.

Он нажал кнопку за креслом. Тотчас в кабинет вошел тщательно отутюженный лейтенант, подстриженный еще по-мальчишечьи, вытянулся так, что казалось, порвет у себя внутри какую-нибудь жилу. Полковник попросил, чтобы им принесли два стакана чаю, и сел, наконец, за стол.

— Ну, что же вы молчите? Говорите.

Но о чем говорить? Как рассказать начальнику Управления о сложной и запутанной истории семьи Савельевых, в которой и сам-то Алейников никогда не мог правильно разобраться? И чем дальше он молчал, тем больше терялся под взглядом полковника. Яков знал, не раз убеждался, что этот старый чекист обладает страшной, просто фантастической проницательностью. Он каким-то непостижимым образом умеет читать мысли другого человека. И вот сейчас полковник, мелькнуло у Якова, уже догадался, уже точно знает, о чем он, Алейников, думает, и немел от какого-то непонятного самому себе страха все больше.

— Что, задает задачки жизнь? — усмехнулся вдруг полковник, по-доброму, по-стариковски.

— Задает,— кивнул Алейников с облегчением.

— Да, жизнь — это как учебник алгебры. А на каждой странице десятки задач со многими неизвестными.

Вошла пожилая женщина в белом передничке — официантка столовой при Управлении, принесла чай и печенье горкой на тарелке. Аккуратно поставила перед каждым стакан и бесшумно вышла. Когда за ней закрылась дверь, Алейников, подвигая ближе к себе стакан, проговорил:

— По всем внешним признакам... на теперешнем месте Федора должен бы Иван быть, а он... Про Ивана Савельева видите, что пишут. Его и сына Федора — Семена — к ордену Ленина представили.

— Что же это за внешние признаки?

— Иван был во время гражданской в белобандитах... В наших краях тогда местный богатей Кафтанов со своим отрядом зверствовал. Вот в его отряде и служил Иван.

— Вот как! — опять произнес начальник Управления.

— Да. Потом я его лично два раза сажал.

— Гм...— Полковник отхлебнул из стакана.

— Второй раз, вероятно, напрасно. В тридцать пятом году. Как раз старший брат Федор и донес на него — коней, говорит, колхозных украл, мстит Советской власти, контра, за отсидку в тюрьме. За первую отсидку, значит...

— Что же не разобрался — украл, не украл?

— Кони действительно пропали. И Федору я поверил... Был он, я говорил, лихим рубакой, командиром эскадрона в нашем партизанском отряде.

— А теперь у немцев служит... А по внешним, как ты говоришь, признакам, не должен вроде.

— Именно что по внешним...— Алейников нахмурился, стал глядеть куда-то в сторону, забыв про чай. Потом отодвинул почти полный еще стакан, криво усмехнулся.— Правильно вы говорите: жизнь как задачник алгебры... Женился Федор на дочке этого самого Кафтанова, который бандой верховодил.

— Да? — Полковник приподнял и опустил седые брови.— Так, может быть, это обстоятельство как-то объясняет, что Савельев Федор сейчас...

— Нет,— резко, резче, чем положено, проговорил Алейников.— Именно это обстоятельство тут ничего не объясняет. Анна Кафтанова была тоже в нашем партизанском отряде, воевала не за страх, а за совесть. И вообще она женщина... как бы вам сказать... Она человек настоящий. Но судьба у нее... По приказу отца бандиты из его отряда тогда поймали ее. Отец повез ее лично расстреливать. Но перед этим изнасиловал...

При этих словах у полковника опять шевельнулись брови, уголки губ брезгливо опустились, в старческих глазах вспыхнул холодный свет, пронзивший, казалось, Алейникова насквозь.

— Когда отец повез ее на расправу, Иван этот... Он ее любил, видимо. Он поскакал следом, догнал где-то их. Кафтанов еще не казнил дочь... но остальному Иван помешать не успел... В общем, в схватке Иван застрелил Кафтанова, тело привез к нам в партизанский отряд. Но я... я не поверил ему. Думал, головой атамана хочет выкупить свое бандитство... В общем, хотел я его расстрелять тогда. Но Анна кинулась мне и Кружилину, командиру нашего отряда, в ноги, все рассказала... Об одном только умоляла — никому никогда

не говорить об ее позоре. Иначе, говорит, повешусь... И тогда мы просто отдали под суд Ивана...

Начальник Управления поднялся, грузно начал ходить из конца в конец своего небольшого кабинета, застеленного длинной ковровой дорожкой. За окном палило солнце, било в стекла, заливало кабинет нестерпимым светом, и полковник задернул шторку.— Ну, а Федор... знает, что сделал этот Кафтанов с дочерью?

— Не думаю,— проговорил Алейников не сразу.— Он полагает, что сделал это Иван. Из-за этого у них в семье, я знаю, всю жизнь отчужденность и слезы...

Начальник Управления еще раз не спеша, обдумывая что-то, прошелся по кабинету, остановился напротив Алейникова.

— Значит, то обстоятельство, что Федор этот Савельев женат на дочери бывшего кулака и предводителя антисоветской банды, ничего не объясняет... А что же объясняет? И почему теперь ты веришь в честность Ивана Савельева?

Алейников сидел, погруженный в свои мысли, и будто не слышал вопроса.

— Не можете ответить?

— Это трудно, товарищ полковник... Вот я вспоминаю все, что знаю о них обоих... О их жизни и поведении еще до революции и после. Все их слова, поступки... голос, каким они произносили слова, выражение глаз при этом... И все это окрашивается сейчас для меня совсем другим светом, чем тогда. И я вижу: Федор чужой нам человек по духу, по внутренней сути... А Иван — свой. Эту задачку я не мог решить до сих пор. Как и многие другие... И потому я просил в свое время, как вы знаете, освободить меня из органов.

— А сейчас подтверждаете свою просьбу? — Начальник Управления сидел за столом прямой и строгий. Он не спеша протянул руку за очками, надел их и стал как-то еще холоднее, официальнее.— Валентика вот этого упустил...

— Сейчас... не подтверждаю,— тихо произнес Алейников.

Начальник Управления удовлетворенно кивнул, пододвинул к себе какие-то бумаги, начал читать их, будто забыв об Алейникове. Тот сидел, покорно ожидая своей участи, своего приговора.

Наконец начальник фронтового Управления медленно и тяжело поднял голову. Но проговорил совсем не то, чего Алейников ожидал:

— Не кажется вам, что этот Валентик мог быть агентом Бергера? Или как-то связанным с ним?

— Это... это вполне может быть,— ответил Алейников.— Но данных нет...

— Данных нет,— усмехнулся полковник.— Если бы они были, он, надо полагать, не процветал бы у нас тут столько времени.

Слова «у нас» Алейников сразу же отметил, уловил, в душе шевельнулось облегчение.

— Ты его упустил, тебе его и поймать хорошо бы.

— Я готов выполнить любое задание, товарищ полковник.

— А задание тебе будет такое, видимо... Скоро начнутся бои за Орел, и шестоковская «Абвергруппа», понятно, в связи с приближением наших войск уберется куда-то подальше, на новое место. Наша задача — не допустить этого, уничтожить ее и захватить все документы. У Бергера могут быть ценные документы, касающиеся других групп «Виддера». Как это сделать?

— Сейчас единственная возможность — с помощью партизанского отряда Баландина,— тотчас сказал Алейников.

— Это понятно. Я говорю, подумай, как это сделать, кого из чекистов возьмешь с собой в тыл... Словом, разработай весь план операции, который мы согласуем с Москвой...

— Слушаюсь, товарищ полковник! — с откровенным теперь облегчением воскликнул Алейников.

Продолжение следует.

Начальник штаба подполковник Демьянов сидел над картой, но, увидев вошедшего в блиндаж Алейникова, которого хорошо знал по неоднократным наездам в дивизию по делам, связанным с переходом его людей через линию фронта, обрадованно разогнулся.

— Яков Николаевич! Милости прошу...— Повернулся к худенькой телефонистке, с огромными, как подсолнухи, глазами, сидевшей в углу над аппаратом: — А ты звони этому чертову автомобилисту, пока не дозвонишься.

— Алло, «Сосна», алло, «Сосна», — тотчас слабеньким, к тому же надорванным, с хрипотцой, голосом заговорила в трубку девушка, скользнув равнодушно глазами по Алейникову. — Алло, «Сосна», «Сосна»... Дайте двадцать первый. Дайте двадцать первый...

— Ну, Яков Николаевич, здравствуй, здравствуй... — Подполковник был молод, жизнерадостен, тщательно выбрит. Гимнастерка хорошо отутюжена, подворотничок сверкал белизной, начищенные пуговицы горели. — Пойдем, на воздухе покурим.

КП начальника штаба 215-й дивизии был наскоро, видимо, только вчера, отрыт на южной стороне небольшого холма, поросшего мохнатыми сосенками. Большая часть сосен была срублена для устройства самого блиндажа и глубоких щелей, которые тянулись куда-то вправо и влево. На склонах холма и вокруг КП торчали многочисленные пни, для маскировки замазанные сверху землей.

Возле блиндажа стоял бронетранспортер, грузовик с разбитым кузовом и почему-то несколько новеньких полевых кухонь. Под двумя большими соснами — дощатый некрашеный стол и две скамейки. Тут же на дереве висел умывальник, возле него полотенце. Рядом с умывальником к сосновому стволу было прикреплено маленькое зеркальце. Проходя мимо, Алейников глянул в него, увидел свое усталое, землистое лицо и позавидовал свежести подполковника.

— Бродников?! — крикнул начальник штаба.

Появился долговязый старший лейтенант, его ординарец.

— Иди встречай командира штрафной роты. Он позвонил, что выехал.

Ординарец ушел куда-то за блиндаж.

— Ну, ты, значит, все по-своему воюешь, Яков Николаевич? — Подполковник спросил его с такой усмешкой, будто то дело, которым занимался Алейников, было несерьезным, всего-навсего детской забавой, хотя тут же и добавил: — Вовремя твои ребятки немецкий склад с боеприпасами в Половникове в атмосферу подняли. Иначе ни за что бы нам сейчас не остановить фашиста под Жереховом. Ждут сейчас, как докладывает разведка, состава с боеприпасами из Орла, а может, из самого Брянска. Железную дорогу, говорят, охраняют строже, чем своего фюрера. На земле и в воздухе. Нашим самолетам не пробиться.

Алейников поглядел на часы.

— Охраняют и не пробиться... — промолвил он, думая о группе своих подрывников, которая два дня назад перешла линию фронта с заданием во что бы то ни стало подорвать этот состав под станцией Глазуновкой. Удастся это им или нет, но заведенный Алейниковым механизм действовал теперь сам собой, и чем-либо помочь Яков Николаевич уже не мог. Если все там у них благополучно, состав этот не дойдет, сегодня ночью взлетит на воздух. — В Половникове сержант Сизиков погиб, лучший мой разведчик. Он прикрывал группу, когда она отходила после взрыва. Сознательно пожертвовал собой...

— Сознательно... — Демьянов, вскрывавший новую пачку «Казбека», покосился на блиндаж, в котором находилась сейчас одна телефонистка, вызывавшая какого-то «двадцать первого». — Да, каких мы, Яков Николаевич, людей теряем. И сколько! Да если бы только в бою... в открытом бою!

Начальник штаба дивизии протянул Алейникову открытую пачку.

— Где ж ты еще людей теряешь? — спросил тот.

— У меня в полках все медицинские пункты переполнены тяжелоранеными. Многим нужны срочные операции, всякая другая помощь. А в тыловые госпитали вывезти не на чем. Начальник армейского отдела автомобильной службы ни одной машины не дает.

— С автотранспортом для эвакуации раненых, насколько я знаю, везде тяжко, — промолвил Алейников, садясь за стол.

— Да я что, не понимаю! Но от понимания не легче, люди умирают. Ты по каким делам к нам?

Июльское солнце поднялось уже высоко, солнечные лучи пронизывали редкие верхушки сосен, тени почти нигде не было, кроме того места, где стоял дощатый стол. Подполковник расстегнул гимнастерку и носовым платком обтирал шею.

— Сегодня ночью на вашем участке должны мои ребята возвращаться с задания. Мы тоже знаем о том составе с боеприпасами из Орла. Наши люди наблюдали, как его грузили... Пытались магнитную мину куда-нибудь прилепить или в уголь подложить. Не удалось. Не все удается, к сожалению... Послали наспех группу, чтоб на перегоне где-нибудь этот состав... Под Глазуновкой есть удобное место.

— Не сплохуют твои ребятки?

— Не все удается, говорю, — еще раз повторил Алейников и пожал плечами. — Посмотрим... Ну, а заодно земляков вот поискать. Вот этих. — Алейников стал расстегивать планшет. — Где-то у тебя они тут.

Демьянов глянул в газету.

— А-а, вон какие у тебя земляки! Только до них сейчас не добраться. Они на высоте 162,4, а высота окружена немцами.

— Как же... они там оказались?

— Да как? Свой танк они в бою потеряли, еще под Соборовкой. Из всего экипажа вдвоем в живых остались. Мы их вчера на самоходку посадили — танков нет. Танкистов достаточно, а вот танков... Бой-то тут, слышал, какой вчера был? Ужас!

— Слышал, — сказал Алейников.

— Самоходкой этой лейтенант Магомедов командовал. Азербайджанец, горячий как черт. Мне докладывали, что эта самоходка прорвалась в немецкие порядки, смяла фашистскую батарею, но там ее подожгли все-таки. А Семена Савельева контузило... Тогда горящая самоходка назад рванулась и с тыла начала расстреливать наступающие на высоту немецкие танки. Эту высоту батарея старшего лейтенанта Ружейникова обороняла...

— Я знаю эту высотку, — проговорил Алейников. — За ней до самой речки пустое поле, на котором до войны, говорят, гуси паслись да футбольный мяч жереховские ребятишки гоняли.

— Ага, пустое поле. Вокруг высоты вообще голо. Я слышал, это могильный курган какой-то... А я, знаешь, по профессии археолог, — зачем-то сообщил подполковник и застенчиво, по-мальчишески, улыбнулся, будто извиняясь за свою довоенную профессию. — Ну, Ружейников намолотил под высотой вражеских танков. Но и из его батареи осталось две пушки и три человека на два орудия. А тут и вырвалась откуда-то из немецкого тыла наша самоходка. Немецкие танкисты, видно, не могли в дыму разобрать, что их с тыла расстреливают, думали, что на высоте несколько наших батарей. Вражеские танки обтекли высоту с обеих сторон, за ними — пехота... Так и оказались твои земляки на окруженной высоте. Их там сейчас шесть человек — Савельевы, командир самоходного орудия Магомедов да трое с батареи Ружейникова... Собственно, это вчера было шестеро. Со вчерашнего вечера сведений не имеем...

Пока Демьянов, дымя папиросой, все это рассказывал, Алейников пытался представить себе, как выглядит сейчас Иван Савельев. Но сделать этого не мог. В памяти держалась одна-единственная картина: Иван, длинный, худой, с заросшими белесой щетиной щеками, стоит в дождевике и старой фуражке на пологом увале, по которому разбрелось колхозное стадо. Через плечо у него длинный кнут... Таким Алейников впервые встретил его осенью сорок первого, когда тот незадолго до этого вернулся из заключения, отсидев свои шесть лет. И разговор их, короткий и нелегкий для обоих, уже несколько дней стоял в ушах Якова:

«— Здравствуй.

— Здравствуй.

— Узнал, стало быть?

— Я не забывал. Во сне часто снишься.

— Обижаешься, понятно, на меня?

— Да нет...»

Интересно, думал сейчас мучительно Алейников, помнит ли Иван тот их разговор? Конечно, не забыл... Есть события, поступки, люди, которые никогда, до самой гробовой доски, не выветриваются из памяти, не стирает их время. Останется ли он, Иван Савельев, жив? Пусть останется...

Алейников во время той встречи с ним еще считал, что отсидел свой срок он справедливо, и с холодной усмешкой спросил еще: «В военкомат, Иван Силантьевич, не вызывали тебя?» А тот ответил, как тогда ему показалось, с вызовом, с нехорошим смыслом: «Нет. А сам не напрашиваюсь. Вызовут — что ж, приду».

Ну да, подумал тогда Алейников, куда ж денешься, придешь. И на фронт поедешь. Только быстренько у немцев окажешься, перебежишь к ним.

И вот давно Иван на фронте. И не перебежал на сторону немцев. У немцев оказался брат Ивана, Федор, которого Алейников считал человеком верным и преданным. Ах, как права, как бесконечно права была Галина, бывшая жена, которая, уходя от него, бросила: «...ты глуп и тупоголов, как...»

— Самоходку они бросили за минуту до взрыва баков с горючим, как доложил Магомедов вчера по рации, — проговорил снова Демьянов. — И к высоте, к Ружейнико-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18—26.

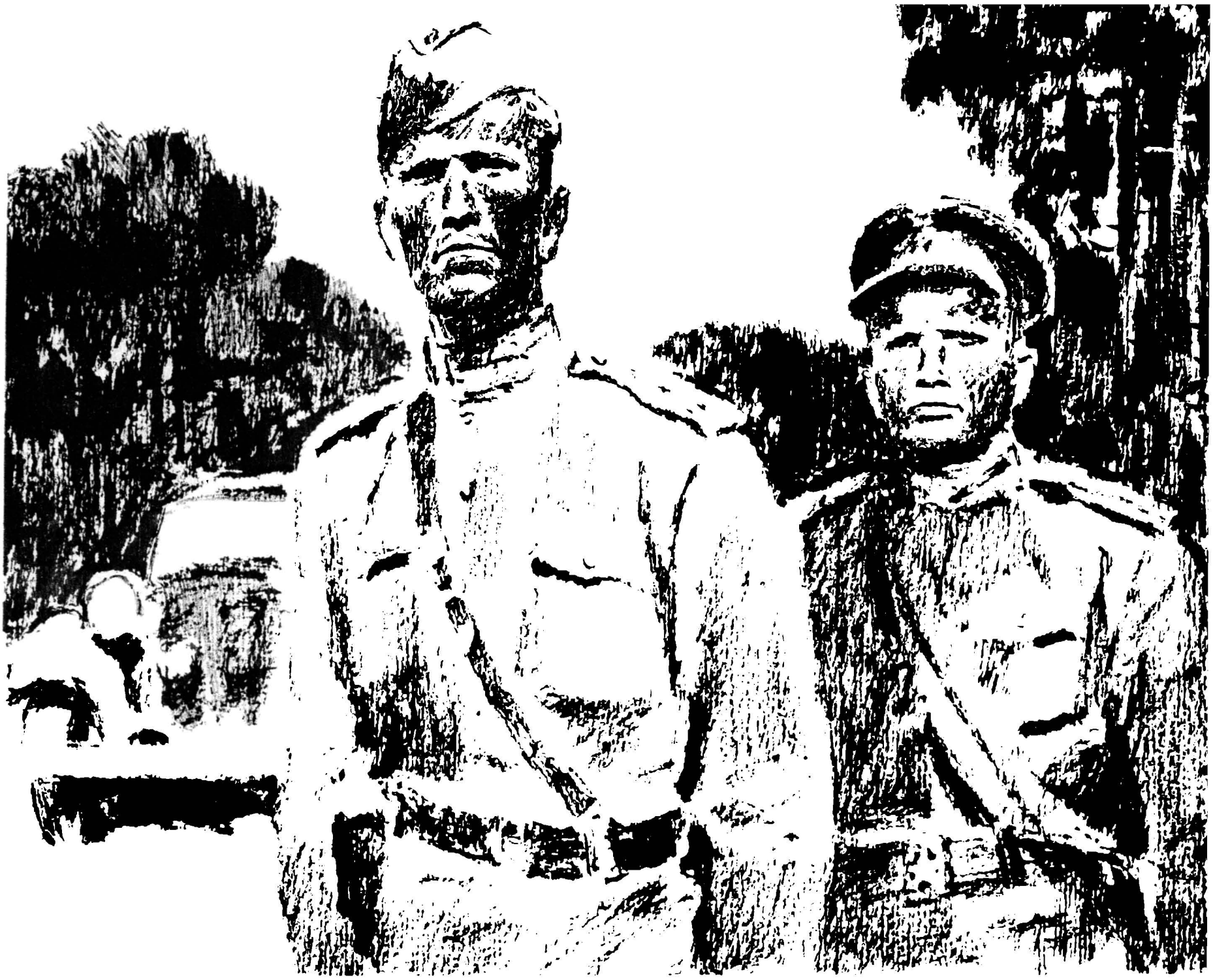
Анатолий ИВАНОВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ВЕЧН



ву, сумели отойти. А немцев мы остановили только на окраине Жерехова.

Начальник штаба дивизии задымил еще гуще, поглядел вверх, за вершины деревьев.

— Боюсь, погибнут твои земляки. А мы помочь пока бессильны. Но останутся живы или нет — надо, я думаю, их всех к героям представлять. Недавно твоих земляков к ордену Ленина представили. А надо бы сразу к героям. Ничего, мы исправим это.

Подполковник бросил окурок вниз между ног, раздавил его носком сапога.

На КП начальника штаба дивизии никаких звуков войны не доносилось, стояла здесь ничем пока не нарушаемая тишина, в душной тени под соседними соснами жужжали откуда-то взявшиеся две или три пчелы.

— Высоту эту нам приказано завтра к утру взять. А чем? Мы просили подкреплений, а нам из штаба армии прислали только штрафную роту. А что рота — сотня с чем-то человек...

— Рота? Штрафная? — откликнулся Алейников. — А ты когда-нибудь имел дела со штрафными ротами?

— Не случалось как-то...

— Иная штрафная рота — не меньше дивизии.

— Как так?!

— Да так. До тысячи и больше человек.

— Ты что говоришь! Не может того быть. Рота есть рота.

— Может.

— Не может! — почему-то с упрямством и ожесточением воскликнул Демьянов. — Кроме того, разве нам штрафники нужны? Наша дивизия стоит на стыке двух армий... А какая это дивизия? В ней едва-едва четыре сотни бойцов осталось. В приданных двух полках — тоже всего ничего, одни названия. Дивизия соседней армии от нас почти в двух километрах. Немцы этого еще, судя по всему, не знают. А узнают, нащупают это место —и зайдут к нам в тыл.

ЫЙ ЗОВ

Тогда что? Заткнуть нам эти два километра нечем.

— Не зайдут. Там непроходимые болота.

— Да, может быть, только этим и объясняется, что немцы пока не ударили с тыла...

Алейников еще посидел, задумавшись. Пчелы под соснами все жужжали.

Загудел, приближаясь, автомобильный мотор, из-за сосен выкатился трофейный «опель-капитан» в маскировочных пятнах. Алейников и Демьянов одновременно повернулись на звук.

— Ну, пора мне ехать, — сказал Алейников. — Своих землячков, Савельевых, останутся живы, отыщу как-нибудь... если успею. На днях в тыл к немцам ухожу. Прощай.

— Ты сам? — удивился Демьянов. — Зачем?

— Ну, зачем... — усмехнулся Алейников, вставая. — Есть кой-какие дела...

Говоря это, Алейников ощутил, как в его ушах что-то тоненько запело, зазвенело, будто какая-то пчела, жужжавшая под соснами, подлетела к самому лицу. Снова сев, откинувшись к стволу сосны, он во все глаза глядел, как из подкатившей машины вышел сначала ординарец начальника штаба дивизии Бродников, потом длиннорукий верзила капитан, непонятно как уместившийся в машине, затем коротенький по сравнению с ним, хотя тоже кряжистый, неповоротливый, старший лейтенант. Верзила как-то нехотя выпрямился во весь свой двухметровый рост и, медленно раскачивая огромными, тяжелыми, как камни, кулаками, сделал несколько шагов к вставшему навстречу начальнику штаба, поднял широкую ладонь к пилотке.

— Товарищ подполковник! Командир переданной в оперативное подчинение вашей дивизии 143-й отдельной армейской штрафной роты капитан Кошкин и агитатор роты старший лейтенант Лыков прибыли для получения боевой задачи.

Капитан докладывал не торопясь, отчетливо выговаривая слова. И каждое слово, казалось Алейникову, тяжелой свинцовой каплей падает на горячую землю, ему под ноги, и взрывается там. Он смотрел на широченную спину Кошкина, обтянутую порыжевшей от солнца гимнастеркой, на огромные лопатки, похожие на крылья большой и сильной птицы, и почему-то думал, что если в эту спину ударит пуля, она ни за что не пробьет ее, отскочит, как от танковой брони.

— Кто, кто? — переспросил подполковник Демьянов, выслушав доклад. — Как это понять — агитатор?

— Так у нас называется заместитель командира роты по политической части, — спокойно ответил Кошкин, не отрывая руку от пилотки, тоже старой, давно облинявшей.

— Вольно, — произнес Демьянов, с нескрываемым любопытством и даже удивлением разглядывая громадного капитана и старшего лейтенанта. Но те, видимо, давно привыкли к этому, стояли себе, ожидая дальнейших слов начальника штаба дивизии. Руку капитан опустил, но держался все же навытяжку.

Демьянов поглядел на Алейникова. Кошкин тоже скосил свои пронзительно черные глаза, скользнул ими равнодушно по его фигуре и опять стал глядеть в лицо подполковника. «Не узнал», — с облегчением почему-то подумал Яков, ясно понимая, что через какую-то минуту он сам подойдет к нему, поздоровается и все разъяснится. А какие первые слова скажет Кошкин, узнав наконец его, Алейникова? Что будет у него в голове, в глазах? Удивление, брезгливость, презрение?

— Ну и... сколько вас в роте? — спросил Демьянов как-то негромко, вкрадчиво.— Какова численность?

— Одна тысяча девяносто два бойца, не считая постоянного состава, — отчеканил Кошкин.

— Сколько?! — Демьянов даже отступил на пару шагов.

— Одна тысяча девяносто два бойца, не считая...

«А за что нас, Яков Николаевич?» — гудел в ушах Алейникова этот же голос, который докладывал подполковнику о численности штрафной роты. Тогда только этот голос был глуше, он был усталый и от усталости, видимо, равнодушен, хотя печальные, обреченные ноты прорывались в нем сами собой. Тогда он, Яков Алейников, зимней лунной ночью тридцать восьмого арестовал вот этого человека и председателя Шантарского райпотребсоюза Засухина одним заходом. Ясно, будто это было вчера, Яков припомнил, как он стучался в двери сперва одного, потом другого, как из домов доносился женский и детский плач, когда он их уводил... И потом вот этот капитан с колючими, короткими усами, почти полностью поседевшими, тогда безусый, в сапогах, тужурке и старенькой меховой шапке, наблюдал, как дежурный камеры предварительного заключения расписывается в книге в приеме заключенных, и тут-то он негромко и спросил: «А за что нас, Яков Николаевич?»

Алейников, по-прежнему сидя на врытой в землю скамейке, поставил локти на колени, ладонями закрыл щеки и уши. Ладони были горячими, он услышал, как в пальцах толчками бьется кровь. А может, не в пальцах, а в висках...

— Что значит не считая постоянного состава? — будто издалека донесся голос Демьянова.

— Постоянный состав, товарищ подполковник, — это офицеры и сержанты роты. Мы с Лыковым, командиры взводов, помпохоз, старшина роты, медицинский персонал... Всего человек около тридцати, — ровно докладывал Кошкин, опять же нисколько не удивляясь вопросу подполковника. Голос командира роты то отчетливо доходил до Алейникова, то пропадал куда-то, проваливался. — А остальные — переменный, значит, штрафники, заключенные. У нас дело ведь такое: кровью смоет человек преступление — снимаем судимость, отправляем в обычные войска. А в роту поступают новые. Потому и переменный называется.

— Понятно, — сказал Демьянов. — Спасибо, капитан, за разъяснение. Извините уж.

— Это все обыкновенно, товарищ подполковник. Нам постоянно приходится объяснять...

Яков Алейников, чувствуя, как в груди разливается что-то неприятное и холодное, поднялся рывком и шагнул к капитану и подполковнику. Те одновременно повернулись навстречу.

— Здравствуй, Данила... э-э...

— Иванович — отчество мое, Яков Николаевич, — так же неторопливо, как рассказывал о составе и численности штрафной роты, проговорил Кошкин. — Здравия желаю, товарищ майор.

— Ты... узнал меня?

— Так точно, Яков Николаевич. Еще из машины, когда подъезжали. Глаз у меня зоркий... Рубец-то на щеке у тебя памятный.

Демьянов с изумлением переводил глаза с одного на другого.

— Вы знакомы, выходит?

— Земляк это мой, — промолвил Алейников.

— Как, еще один?

— Что поделаешь? Земля, видать, тесновата стала. Значит, рубец? И тоже... по ночам я тебе снился, выходит?

— Никак нет, Яков Николаевич... Думать о тебе частенько думал. А чтоб сниться — нет. Нервы, должно, у меня крепкие.

Подполковник Демьянов слушал этот разговор и ничего не понимал.

* * *

Спустя час капитан Кошкин, сильно размахивая тяжелыми, как гири, кулаками, нагнув голову, по-журавлиному шагал вдоль улицы деревеньки Малые Балыки, когда-то уютной, видимо, утопающей в тополиных зарослях, а сейчас почти начисто стертой с лица земли огненным валом войны. Ступал он тяжело, из-под хромовых, порядком разбитых сапог тугими фонтанчиками брызгала пыль. Кошкин, кажется, с любопытством глядел на стреляющие из-под ног пыльные струйки и негромко рассказывал:

— До середины сорок второго, Яков Николаевич, я сидел... Вместе мы с Засухиным были в лагере строгого режима. Помнишь Василия Степановича-то?

Кошкин поднял голову, глянул на Алейникова. Тот, наоборот, опустил свою.

— Ты прости, Алейников... Ты попросил рассказать, я и говорю.

— Ничего... Ты не жалей меня.

— Да мне что тебя жалеть? — усмехнулся Кошкин. — Ну вот... Лагерь большой был, на севере, в самой почти тундре. Скучать было некогда. Там, в тундре этой, и остался навсегда Засухин Василий Степанович... Воробьев, стой! — закричал вдруг Кошкин вслед обогнавшему их грузовику, замахал руками. Машина остановилась, из кузова, заваленного какими-то мешками и тюками, выпрыгнул коротконогий старшина, подбежал, приложил руку к пилотке.

— Ты что, сам за «делами» заключенных, что ли, ездил? — Кошкин кивнул на грузовик. И, повернувшись к Алейникову, пояснил: — Это старшина нашей роты.

— Никак нет, товарищ капитан. Я попутно — проверить, не осталось ли какого имущества в эшелоне по разгильдяйству и недогляду. Ничего вроде...

По улице меж развалин домов, обгоревших деревьев сновали обыкновенные по виду бойцы — в гимнастерках, в пилотках, в кирзовых сапогах, — занимаясь устройством на новом месте. Но они же были и заключенными. После боя, в который штрафной роте предстояло вступить завтра на рассвете, сюда приедет весь состав военного трибунала армии, будет на месте освобождать отличившихся. Таковым в первую очередь считается каждый, получивший в бою хоть какое-то ранение. На них напишут боевые характеристики, заполнят справки об освобождении и кого отправят по санротам и госпиталям на излечение, других, с пустяковыми царапинами, откомандируют в различные армейские части. «Дела» погибших в бою будут отложены отдельно, запакованы, опечатаны, снабжены соответствующей документацией и отправлены в армейский трибунал... Мешки и тюки, в которые запакованы сейчас «дела» всего списочного переменного состава роты, сильно похудеют, а может, и вообще станут пустыми. Но это ненадолго, через несколько дней в роту прибудет пополнение. Может, несколько вагонов, может, целый эшелон...

— Склады ПФС прибыли?

— Так точно, товарищ капитан.

— Все заявки командиров взводов на обувь, портянки, обмундирование удовлетворить к вечеру.

— Удовлетворим, товарищ капитан. — Старшина был рыжеволос, лицо изрезано крупными морщинами, кулаки по-крестьянски большие, как и у самого командира роты. — Ручных пулеметов не хватает, товарищ капитан, процентов на тридцать, автоматов почти наполовину...

— Я знаю. Помпохоз уехал на армейские склады с нашей заявкой. — И Кошкин повернулся к Алейникову: — Оружие заключенным выдается у нас только перед боем.

— Вот как... — зачем-то произнес Алейников, хотя отлично это знал.

— В НЗ выдать по два сухаря, квадрату горохового концентрата, сахар... И по банке свиной тушенки на троих.

— Слушаюсь.

— Поскольку мы уже считаемся в наступлении — можно к ужину выдать по сто граммов водки.

— Слушаюсь.

— И мне фляжку сейчас. Вот встретились... с земляком.

— Сей минут, товарищ капитан,— опять кивнул старшина.

Кошкин и Алейников пошли дальше. Шли и молчали, обоим трудно было продолжать прерванный разговор. Яков Алейников засунул руки под мышки, будто ладони у него зябли, и с каким-то тупым раздражением на самого себя думал, что напрасно он увязался за Кошкиным, напрасно расспрашивает о прежнем... И вообще встреча эта — лучше бы ее не было. Как в омут, нырнул он, Алейников, во фронтовое

месиво огня и смерти в надежде, что все это прежнее останется где-то там, в прошлой, далекой и страшной жизни, которая никогда не вернется, ни с кем из людей, так или иначе соприкасавшихся с ним на его прежнем жизненном пути, особенно с теми, для кого это соприкосновение кончилось так... трагически, как для Кошкина, он не встретится. Ведь тысячи и тысячи километров фронта, десятки тысяч километров военных дорог, все постоянно движется, кипит и бурлит, как в котле, фантастические размеры которого невозможно и представить. Но именно в силу того, наверное, что все кипит и движется, он, Алейников, узнает вдруг: где-то рядом, не очень далеко Федор Савельев. Потом из дивизионной газеты узнает о его сыне и младшем брате, Иване Савельеве. И, наконец, Кошкин Данила Иванович, которого в партизанском отряде Кружилина звали «Данила-громила». Об Иване, Семене, Федоре Савельевых Алейников только слышал, а Кошкин Данила — вот он, живьем, вышагивает рядом, как журавль. Изменился он, бывший заведующий райфинотделом, порядком: голова наполовину поседела, плечи сильнее ссутулились. Черты лица резко обострились, в темных глазах появился какой-то жестокий, пронизывающий свет. Но сколько пришлось ему пережить и перенести?! Другой согнулся бы, сломался давным-давно, а этот...

Против воли Яков Алейников вдруг вспомнил ту зимнюю, морозную ночь тридцать восьмого года, снег, нависший под застрехами домов, шапками лежавший на столбах заборчиков. Он, этот свежий, чистый снег, искрился под лунным светом, горел розовым и голубым светом. Данило Кошкин, когда он, Алейников, вошел к нему в дом, сидел у порога, зная уже, зачем пришел Яков, спокойно навертывал портянки и натягивал сапоги. Из другой комнатушки выглянула дочь Кошкина, лет пятнадцати, замерла в дверях, в глазах ее бился страх, губы тряслись. Оттуда же выскочил пятилетний мальчишка, закричал пронзительно: «Тя-атька-а!..» Потом жена, сын и дочь Кошкина завыли в три голоса, повисли на нем...

Штрафная рота прибыла ночью эшелоном из-под Валуек, где она длительное время находилась на доукомплектовании. Так сказал в машине Кошкин. Завтра с наступлением темноты роте предстояло вступить в бой на стыке 215-й дивизии с соседом.

Отовсюду — из открытых окон уцелевших домов, из-за редких обгоревших и переломанных заборов и плетней, запыленных кустарников, где группами сидели на земле или слонялись бойцы,— неслись крики, хохот, звуки губной гармошки, сочная похабщина. Кошкин на это не обращал внимания. Да и Яков Алейников тоже. Он знал, что такое штрафники. У них свой быт, свои песни, свои законы. В атаку они ходили не с криками «Ура!» или тем более «За Родину!», «За Сталина!» — в воздухе стояла такая густая матерщина, что никли, казалось, кусты и травы. Немецкие солдаты и офицеры, говорят, заслышав такую «музыку», бледнели, у них возникала дрожь в руках и ногах. Да и возникнет, усмехнулся про себя Алейников, если штрафникам удавалось прорвать и смять оборону немцев — всех их до единого ждала смерть, в плен штрафники никого не брали.

Заметив двух офицеров, бойцы немного умолкали, с каким-то интересом и любопытством провожали взглядами Кошкина и Алейникова. Попадавшиеся навстречу солдаты вытягивались и отдавали честь по всем правилам. А это говорило о многом.

— Чувствуется, уважают тебя,— сказал Алейников.

— Ага,— ответил, не оборачиваясь, Кошкин.— Под Валуйками на ночных тактических занятиях дважды в меня стреляли.

— Вот как!

— Да. Хочешь, я тебе его покажу?

— Кого?

— А который стрелял.

Это Алейникова удивило. Любой боец штрафной роты, поднявший руку на командира, должен быть расстрелян на месте без суда.

— Любопытно, конечно.

— Да, тебе будет интересно на него взглянуть,— почему-то ответил Кошкин, свернул в переулок.

Через минуту вышли на окраину села, где кособочилась на земле сорванная взрывом соломенная крыша бывшего колхозного тока. Метрах в десяти от нее дымился костерок, на треноге висело закопченное кривобокое ведерко, в нем что-то варилось. У огня сидело двое бойцов в старых, замызганных пилотках. Третий лежал на земле, на надерганной из крыши тока соломе. Он лежал на спине, руки заложил под голову, смотрел в небо и тянул унылую тюремную песню:

...Я помню тот ванинский порт
И борт парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на бо-орт
В холодные, мрачные трюмы...

Двое, сидевшие у костра, видели приближающихся к ним офицеров, но делали вид, что не замечают. Лежавший на соломе все тоскливо голосил:

...Пред нами стелился туман,
Вздымалась пучина морская.
Вдали нам светил Магада-ан,
Столица Колымского края...

— Вста-ать! — рявкнул Кошкин.

Двое, сидевшие у самого огня, медленно и нехотя повернулись на голос, какое-то время смотрели на Кошкина так, будто не узнавали командира роты. Лежавший прекратил петь, тоже повернул голову.

— А-а,— протянул равнодушно один из сидевших и стал подниматься. Он был высок, чуть сутуловат, и когда встал, длинные руки его опустились чуть не до колен. Потом поднялся тот, который пел,— парень лет около тридцати, с красивыми смоляными бровями. Он не встал даже, а торопливо, с откровенно издевательской подобострастностью вскочил, вытянулся, обнаружив великолепную фигуру, бросил руку к виску.

— Здравия желаю, товарищ капитан. И товарищ майор. Извините, ослабли зрением. Должно быть, от долгого полового воздержания глаза у меня сохнут. А у Кафтанова с Зубовым и другие органы, хе-хе...

— Молчать! — опять крикнул Кошкин, на этот раз не очень громко. Но в голосе его было столько властности и металла, что даже у Алейникова где-то внутри возник, пробежал холодок.

Макара Кафтанова он узнал сразу, едва услышав фамилию, определил его по широким крыльям носа, как у его отца Михаила Лукича Кафтанова, по законченным глазам, как у его брата Зиновия, которого он, Яков, когда-то выследил в Громотухинской тайге и приволок в кабинет к Кружилину. И Зубова узнал: память на людей у него была цепкая.

Алейников не удивлялся теперь уже еще одной встрече с земляками, стоял и смотрел на Макара Кафтанова, потом на Зубова. Гимнастерка на Кафтанове была расстегнута, тощая грудь густо покрыта синими наколками.

— Который же стрелял из трех? — спросил Алейников.

— А вот этот... Это сын того полковника Зубова, который тебе метку на всю жизнь оставил. Помнишь?

— Ну как же. Старый знакомец.

Петр Зубов шевельнул ресницами, отчего кошачьи глаза его блеснули, Макар Кафтанов запустил руку под гимнастерку, почесал грудь, но под взглядом Кошкина начал гимнастерку нехотя застегивать.

— А этот певец кто?

— Фамилия его Гвоздев...

— А-а,— кивнул Алейников.— Тоже земляк. Слыхал...

— Ладно, отдыхайте. Пошли, Яков Николаевич.

Зубов с Кафтановым немедленно опустились на землю, а Гвоздев все стоял, хлопая ресницами, поворачивал голову вслед уходящим. Потом до Якова и Кошкина донесся удивленный его вскрик:

— Бра-атцы-кролики! Это же Алейников... Энкеведешник шантарский!

Продолжение следует.

Анатолий ИВАНОВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ВЕЧЕН

Василий Степанович Засухин от воспаления легких умер. Вместе мы схватили это с ним... На ветру, под дождиком осенним однажды недели с две вечную мерзлоту долбили. Что уж строили — не помню. Снизу мерзлая земля, мокрые ледяные глызы. Опорки раскисли, ноги окоченели. А сверху ледяной дождь... Ну, в лагерный лазарет нас. На моих руках и отошел...

От выпитой водки капитан Кошкин чуть порозовел, на лбу выступили мелкие капли пота. Он вынул носовой платок — чистый, тщательно отутюженный, аккуратно сложенный вчетверо, промокнул лоб. На улице палило солнце, а в комнате полусгоревшего дома было прохладно. Когда к столу подходил ординарец Кошкина — молодой и по виду не обстрелянный еще боец, у которого на груди, однако, поблескивала медаль «За отвагу», под его ногами пружинили и потрескивали пересохшие половицы.

— Помер он не от воспаления. Просто не выдержал больше старик. Быстро там износился. Остановилось сердце — и все. Это еще до войны случилось, в сороковом...

В виски Алейникова больно долбила кровь. И это не от водки — Алейников пил и не пьянел. Водку он не любил, но был крепок на нее, а на фронте так вообще она нисколько почти не брала его. И чтобы избавиться от этой боли, вслух сказал, почти простонал:

— Пожил бы ведь еще! Пожил...

— Конечно,— согласился Кошкин. Алейникову показалось, что слово это он произнес насмешливо и глядит сейчас на него тоже насмешливо, презрительно. С трудом, чувствуя, как ноют и будто скрипят шейные позвонки, поднял голову. Нет, в лице Кошкина не было ничего подобного, да и вообще он глядел куда-то в стену, думал о чем-то. И Алейников безошибочно определил — о завтрашнем бое.

В дверях появилась чья-то грузная фигура, вошел пожилой лейтенант-медик, распаренный, распухший от жары, в почерневшей от пота по краям пилотке, которая лежала на плоской голове блином, едва прикрывая лысину.

— Ну, что у тебя? — спросил Кошкин.— Это начальник нашей санчасти.

— Палатки развернули, Данила Иванович. Двенадцать санинструкторов прибыло из запасного полка... Ничего, завтра мы справимся. А на чем тяжелораненых будем в армейский госпиталь увозить? — Начальник санчасти говорил это, пыхтя и отдуваясь.— Я дал заявки в дивизию и армию. Подполковник Демьянов говорит, что у них свои люди умирают, не могут вывезти. Не хватало, говорит, чтоб еще штрафников каких-то... А штрафники, что же, не люди? И в штабе армии не обнадежили.

— Ладно. Сейчас пообедаю и займусь всеми делами... Мыльников много?

— Четверо, Данила Иванович. Двое из третьего взвода, по одному из четвертого и шестого.

— Сволочи...— И повернулся к Алейникову.— Мыло глотают некоторые умельцы перед боем. От этого прямая кишка выпадает — и месяц госпиталя. Судить подлецов!

— Да оформим,— сказал начальник санчасти вяло.

— Ладно, иди.

Лейтенант-медик ушел. Кошкин долго ковырялся в тарелке. Потом бросил вилку.

— До чего только не додумаются! Вот, даже мыло едят... Смердят на земле, а жить тоже охота...

— А ты сам-то как на этой должности оказался?

— Да как? В самом начале войны еще на фронт добровольно пошел.— Кошкин усмехнулся.— Доброволец! В штрафную роту, конечно. И то еле-еле выпросился. До середины прошлого года штрафных рот почти ведь не было. Потому не так-то просто было попасть. Начальник лагеря добрейший был человек, помог. Ходатайствовал. Уважал он нас с Василием Степановичем... Ну, в общем, зимой сорок первого меня уж и окрестили. Ранение, на счастье, пустяковое — мякоть руки навылет. Через две недели зажило. Боже мой, как я вздохнул! Из санчасти иду после перевязки и чувствую — воздух другой, люди другие. И снег... оказывается, снег кругом сверкает. Будто не видел до этого, что зима. Вот ведь что свобода делает...

Кошкин крикнул, чтоб ординарец принес чаю, и долго сидел, зажав голову руками, будто она у него тоже, как у Алейникова, разламывалась от боли.

— Да... Ну, а потом обыкновенно. В штрафной роте и остался, как вот Михаил,— кивнул он на вошедшего с чайником ординарца.— Не захотел я в другую часть. Не знаю уж, почему... Командиром отделения попросился.

— Да это ж понятно, что тут объяснять,— подал голос ординарец.

— Ладно, ступай,— сухо бросил ему Кошкин. И когда тот вышел, проговорил:— Не смотри, что он такой благостный. До войны бандитствовал, подлец. Ну, сейчас-то уж не подлец.

— Не подлец?

— Не-ет,— мотнул головой Кошкин.— Штрафная рота тоже из дерьма людей делает... Ну вот, служил, воевал... Все в той же роте. Младшего лейтенанта потом за одно дело дали. Ну, и начал расти, как... колхозный колос. У нас же год за шесть идет. Был потом и командиром взвода и агитатором. А в прошлом году в августе эту роту получил... после приказа Верховного номер двести двадцать семь. Слыхал, конечно?

Алейников кивнул. Этот жесткий и единственный, может быть, в своем роде приказ Народного комиссара обороны и Верховного главнокомандующего Сталина был вызван суровой необходимостью. Прошлым летом, когда он, Алейников, находился в Краснодарском крае, организуя вывозку скота, зерна и других сельхозпродуктов, докатывались слухи, что в некоторых частях Красной Армии, оборонявших Новочеркасск и Ростов, вспыхнули отступательные настроения и что эти города были якобы оставлены без серьезного сопротивления. Соответствовали ли слухи действительности — узнать не было возможности. А в конце июля или начале августа он уже читал этот знаменитый приказ, безжалостный в своей прямолинейности: «...Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа....

После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба... Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину».

Далее в приказе говорилось о необходимости повышения порядка и дисциплины в войсках, о ликвидации отступательных настроений. Надо, говорилось в приказе, упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности, ибо отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину, надо во что бы то ни стало, любой ценой остановить, затем отбросить и разгромить врага.

Этим приказом предписывалось «безусловно» снимать с постов и предавать военным судам всех командиров, начиная с командующих армиями и кончая командирами и комиссарами полков и батальонов, допустивших без приказа свыше отход войск с занимаемых позиций. Старших, средних и младших командиров, политработников и рядовых бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, отправлять в штрафные подразделения, ставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать осужденным возможность искупить кровью свою вину перед Родиной.

Яков до сих пор помнит, как у него заныло, занемело от холода в груди, когда он читал этот приказ.

— Я боялся — после этого приказа меня в такое штрафное подразделение назначат,— проговорил он.— Вот тогда бы я уж не выдержал... Да, к счастью, обошлось.

Кошкин быстро взглянул на него, усмехнулся.

— Ну, выдержал бы. И смог. Раз надо. Человек — он своих сил еще не знает.

Алейников давно, с самой первой минуты встречи с Кошкиным чувствовал какое-то большое, безграничное превосходство человека этого над собой.

— Выдержал бы,— еще раз сказал Кошкин.— Приказ этот правильный. Необходимый, если точнее. Война, брат, она ни с чем не считается. Ничего не попишешь.

Он вынул из лежащей на столе пачки папиросу, чиркнул спичкой. Жадно глотнул табачный дым, медленно выпустил. И, глядя почему-то на кончик папиросы, опять усмехнулся:

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18—27.

— Да-а, Яков Николаевич... Вот где мы встретились. При таких-то обстоятельствах... А ты, угадываю я, все маешься. А?

— Прошлое в памяти живет, не истребить его ничем,— проговорил Алейников. Он помолчал, вздохнул и продолжал:— Ты вот кричал мне тогда, в моем кабинете: «В кого же ты превратился, Яков? У тебя руки по локоть в крови!» Что же... ты был прав. Засухин Василий Степанович погиб... Баулин Корней, бывший наш председатель райисполкома, доходили до меня как-то слухи, тоже умер... Значит, и их кровь на моих руках... Сознание этого сосет, высасывает у меня все живое внутри. Разгрызает все. Я ведь тоже человек.

Командир штрафной роты смотрел на него, Алейникова, прищурив веки, и где-то в глубине его сузившихся глаз холодно и враждебно горели черные зрачки. Потом злой огонь в его глазах стал вянуть и быстро потух, на лбу то собирались, то исчезали морщины. Он раздавил на тарелке окурок и тотчас вынул новую папиросу.

Алейников налил в кружку из чайника, раза два-три хлебнул торопливо. И со стуком отставил кружку.

— Позапрошлой зимой, когда я собирался сюда, на фронт, Кружилин мне врезал: нашкодил ты в жизни, а теперь в кусты?! А нам предоставляешь возможность исправлять твои грехи? Нет уж, давай, говорит, вместе объяснять людям, что произошло, давай вместе и исправлять... Но — как исправлять?! Тут, на войне, я не бездельничаю, не отсиживаюсь в прохладном месте... Сколько раз бывал в таких пеклах... в тыл немцев ходил не однажды. И готов в самое кромешное, в самое кровавое месиво в любую секунду! Этого достаточно, чтобы исправить?

— Это просто наш долг с тобой, Яков,— сказал Кошкин.— Как и всякого нормального человека. Нашу землю фашисты топчут, наших женщин оскверняют...

— Ага, значит, недостаточно! — прервал его Алейников.— Вот поэтому и маюсь... Но исправлять — надо. А как, чем объяснить все же мою вину? Моей кровожадностью, что ли? Может, я ненормальный, может, я испытывал животное удовлетворение, когда тебя, Засухина арестовывал? И других... Не понимал я чего-то — было. Но я и сейчас не понимаю...

— Чего кричишь-то? — остановил его Кошкин.

— Хорошо. Как расшифруют — пусть немедленно несут. Я провожу майора — и в третий взвод. И обзвони — пусть все командиры взводов туда собираются.

— Слушаюсь.— Ординарец исчез так же неожиданно, как и появился. Алейников только на мгновение отвел взгляд — и ординарца уже не было.

— Седьмой — это начальник штаба нашей армии. Наверное, новый комплект прибывает. Свежий эшелон со штрафниками.— Кошкин усмехнулся.— У нас ведь так: один бой — и я остаюсь без списочного состава. С остатками — кого пуля или осколок не тронули — отходим на доукомплектовку. Остаток бывает, как правило, чисто символический.

— Да, это понятно,— сказал Алейников.

— Освобождаем иногда и таких, которые в бою и царапины не получили, но отличились, проявили отвагу и бесстрашие. Но трибуналы на это идут неохотно.

Они шагали к берегу речки, протекающей на задах бывшей деревни. Там под жидкими деревцами, переломанными колесами немецких и советских танков, грузовиков, повозок, остался Гриша Еременко с машиной: он попросил разрешения искупаться, постирать белье, портянки.

Унылая картина разрушенной деревушки — груды обгоревших бревен, развороченные взрывами постройки, торчащие среди пепелищ печные трубы — угнетающе действовала на Алейникова. Все это он видел десятки и сотни раз, но привыкнуть к таким картинам не мог, сердце у него всегда больно сжималось, и Якову чудилось, что обезображенная земля истекает своей земляной кровью и весь земной шар, как живое существо, тяжко, мучительно стонет от невыносимой боли.

Как только они вышли еще из дома, Алейников поднял с земли сухой прутик и всю дорогу нещелкивал по голенищу. Наконец он отбросил прутик, остановился и проговорил:

— Знаешь, что мне хочется сказать тебе? Хотя ты вряд ли поверишь...

— Ты скажи, а я тебе честно отвечу, поверю или не поверю.

— Завидую я тебе. Всей твоей... судьбе.

Командир штрафной роты смотрел на Алейникова прямо, в его темных глазах не было ни удивления, ни насмешки, хотя Яков ожидал все это увидеть. Только уголки обветренных губ чуть шевельнулись.

всем. А во всем, говорил он, человечество разберется рано или поздно.

— Наверное... Иначе как же? Что бы я ни отдал, чтобы дожить до этого времени!

— Доживем, Яков Николаевич! — убежденно произнес Кошкин.

После этих слов Алейникову сразу стало как-то свободнее и легче, будто тяжкий каменный жернов, незримо лежавший на плечах, вдруг неизвестно каким образом начал превращаться в песок и осыпаться вниз, к ногам. Яков радостно повел плечами, посмотрел Кошкину прямо в глаза.

— Не представляешь ты, Данила Иванович, как я рад, что судьба свела нас тут, что мы встретились. Поверь еще раз — я не могу и представить сейчас, как бы жил дальше без этой встречи...

— Да что ж,— проговорил тот.— Я тоже, Яков, доволен...

Из-за порыжелого холма, который огибала спускающаяся из деревни вниз к речке дорога, показался ординарец Кошкина, увидел своего командира, побежал бегом.

— Шифровку расколдовали,— сказал Кошкин.

Ординарец, подбежав, бросил руку к пилотке, хотел что-то доложить, но командир роты опередил:

— Ладно, давай.

Он взял из рук ординарца листок, глянул в него, усмехнулся.

— Так и есть. Через три дня пополнение прибывает. Не могли повременить, черти. После завтрашнего боя у нас столько дел будет.

— Заботятся об нас, Данило Иванович,— с усмешкой вставил ординарец.

— Разговорчики! — оборвал его Кошкин.— Командиры взводов собрались?

— Так точно, товарищ капитан.

— Ступай. Я сейчас приду.

Ординарец повернулся и побежал обратно к холму.

— Славный парень из него получился. Два раза мне жизнь спасал.

Кошкин положил шифровку в карман гимнастерки, поправил пистолетную кобуру.

— Доукомплектовка под Щиграми будет...— Кошкин усмехнулся.— Веселое это времечко — доукомплектовка у нас. Поездной конвой отбывает восвояси, а свежие штрафнички и начинают «развлекаться». В основном грабеж мирного населения... Отлично знают, предупреждены, что это — расстрел на месте. Но такие есть артисты! Пока утихомирим...

ЫЙ ЗОВ

Яков обмяк, во всем его теле вдруг явственно обозначилась неимоверная усталость. Он тяжело поставил локти на стол и уронил голову в ладони.

— Тут закричишь.

Так он и сидел, пока командир штрафной роты не произнес:

— Ну, мне пора, Яков Николаевич.

На улице был прежний изнуряющий зной. Неподалеку от дома, в котором они обедали, возле развалин какой-то постройки, стояли две распряженных лошади, яростно мотали головами, одурев, видно, от жары. Чуть поодаль дымились две кухни, но людей ни возле разрушенного сарая, ни возле кухонь не было видно.

Едва они вышли, сзади, неизвестно откуда, возник ординарец Кошкина.

— Ну, что?

— От седьмого шифровка пришла, товарищ капитан, из узла связи звонили. Только что.

— Я верю тебе, Яков,— сказал Кошкин тихо и грустно.

И именно потому, что он произнес это негромким, чуть раздумчивым голосом, Алейников убедился в его искренности, к горлу что-то подступило, он отвернулся и глянул зачем-то вверх, косматое солнце больно хлестануло его по глазам, он закрыл их и потер пальцами веки.

— Мы, Яков, много там... с Василием Степановичем Засухиным говорили о тебе... и вообще — обо всех этих делах,— меж тем говорил Кошкин.— Светлая была у него голова. Ну, сладко ли там, горько ли нам было — сам понимаешь. Я в нашем горе тогда тебя во всем винил. Василий — больше Полипова, который был секретарем после Кружилина. Вот это, говорит, страшный человек.

— Ну что ж... спасибо ему, Василию Степановичу,— с трудом, через силу вымолвил Алейников.

— Да-а... Больше — Полипова, но не во

— Да представляю. Не представляю только, как справляетесь.

— Остатки от прежнего состава крепко помогают. Знаешь, штрафник, побывавший в бою, совсем другой человек. Удивительно порой, как несколько часов, иногда даже минут — хотя короткие бои у нас случаются редко — меняют людей. Такие уркаганы, что пробы ставить уже негде, вроде вон моего ординарца, человеческий облик обретают. А то и ягнятами становятся. Туда ведь, за край жизни, заглядывать страшно, там можно многое увидеть. И весь уркаганный лоск сразу лохмотьями слезает... Ну что ж, Яков...— И Кошкин протянул руку.

То ли потому, что Кошкин назвал его просто по имени, то ли оттого, что в голосе командира штрафной роты явственно прозвучала искренность, сердечность даже, Алейников вдруг опять разволновался, как мальчишка, почувствовал, что к лицу подступила вся кровь. И еще больше смешавшись от мысли, что Кошкин заметит его состояние,

торопливо схватил протянутую руку, но не пожал ее, а грубо дернул Кошкина к себе, обнял за горячие плечи.

— До свидания... Спасибо, останемся живы — встретимся в Шантаре.

— Встретимся, Яков Николаевич, чего ж...— сбивчиво промолвил и Кошкин.

— Непонятно мне только, чего ж ты этого типа... этого Зубова не расстрелял? — неожиданно для самого себя проговорил Алейников.— Он же снова может...

— Не думаю,— ответил Кошкин, оправляя гимнастерку.— И как тебе сказать? Любопытен мне чем-то этот тип.

— Чем же?

— Ну как же... Ведь сын нашего классового врага, как говорится — царского полковника, колчаковского карателя, с которым мы в гражданскую дрались,— усмехнулся Кошкин.— Как-никак, пусть под гнетом закона, но воюет за интересы, противоположные интересам его отца... Эта троица — Зубов, Кафтанов, Гвоздев — прибыли в роту давно. Еще до Валуек участвовали в двух боях. И странное дело — ни один из них даже царапины не получил. Будто заколдованные. Все трое — барахло человечье, конечно. Но в боях вели себя по-разному. Кафтанов и Гвоздев все норовят в бою за спины других. А Зубов в самое пекло лезет. А он у них главарь... Что он — смерти ищет? Или что-то тут другое?

— Смерти-то вряд ли. На ранение рассчитывает.

Кошкин глянул на часы, машинально проверил, все ли пуговицы застегнуты на гимнастерке.

— Может быть и так. Но люди, Яков, интересные, что ни человек — то... экземпляр. А в Валуйках, по-моему, он, стреляя в меня, промахнулся умышленно.

— Вон как! Зачем же тогда стрелял?

— Ну, у них, у воров, не как у фрайеров,— усмехнулся Кошкин.— Надеюсь, жаргон их знаешь? Штрафники из уголовщины все считаются ворами. Остальные для них фрайеры. А воры живут и здесь по своим законам... Возможно, Зубов провинился в чем-то перед другими, более могущественными ворами, а те приговорили его таким образом загладить вину. Может, задолжал кому... Или просто в карты меня проиграл. У нас ведь и такое бывает. Нынче весной двух командиров взводов таким образом потеряли. И виновных не нашли, к сожалению.

— Где ты находишь мужество... командовать этой ротой?! — воскликнул невольно Алейников.

— Н-да... А я вот тоже не могу тогда понять, где ты, Яков Николаевич, берешь мужество, чтобы в тыл к немцам ходить, в самое их логово? — И командир штрафной роты в третий раз глянул на часы.— Ну, извини, мне давно пора. Каждый бой для нас — это бой-прорыв, топтаться на месте, а тем более отступать мы не имеем права. Так что надо мне подготовить роту. Кошкин взглянул на Алейникова и чуть изменившимся голосом, отчетливо выговаривая каждое слово, переспросил:

— Значит, боялся попасть в командиры к штрафникам?

В глазах Алейникова вспыхнули колючие искорки. Алейников это почувствовал сам и тут же притушил, спросил с грустной горечью:

— Смеешься?

— Да нет, Яков. Командовать штрафной ротой — не мед пить,— со вздохом ответил Кошкин.— Но приказали бы тебе — и стал бы командовать.— Голос его дрогнул и посуровел, зазвучал жестче, на скулах вспухли и заходили желваки.— Идет война с жестоким, озверевшим врагом. Не на жизнь, а на смерть идет! И тут не до личных эмоций и желаний. Надо будет Родине — мы выполним любой ее приказ. Любой!

* * *

Алейников, перебирая в памяти разговор с Кошкиным, спускался по тропинке к речке, где остался Гриша Еременко с машиной. Тропинка шла по косогорчику, заросшему травой, еще не пожелтевшей под солнцем, но и давно не свежей. Слева чернели две, одна возле другой, огромные воронки от тяжелых снарядов, в каждой яме могло бы спрятаться по танку. В траве и по краям белели искрящиеся шарики поспевших одуванчиков, и Алейников почему-то подумал: «Интересно, у каждого жизнь своя. Наверное, уж после того, как сюда упали снаряды, одуванчики успели расцвесть, созреть и дать семена...»

Все время, пока разговаривал с Кошкиным, у него было почему-то желание сообщить, что тут неподалеку находятся еще несколько их земляков, и удивить, что один из них — Федор Савельев, предал Родину, служит у немцев карателем, но не сообщил, как-то не нашел для этого подходящего момента в разговоре и теперь жалел об этом.

Тропинка вильнула в низкорослый кустарник, выбежала из него на речную луговину, и там, у края кустарника, в жидкой тени, сидел Зубов и строгал перочинным ножом прутик. Метрах в двухстах от Зубова стояла на берегу речушки машина Алейникова, блестя под солнцем вымытыми стеклами, Еременко в одних трусах лежал рядом с машиной на траве, загорал. «Ишь, химик,— с завистью, но без раздражения подумал Яков, вспомнил вдруг в который раз за сегодняшний день жену Галину и сына и то, как они все втроем ходили иногда на Громотуху и жена, накупавшись, подолгу лежала на песке или траве — она очень любила загорать. «Где она сейчас? — подумал он. — На фронте, видимо. Жива ли?»

При мысли о бывшей жене сердце Алейникова тупо заныло. Он глянул на поднявшегося навстречу Зубова и как-то даже не удивился, что тот сидит здесь, прошел мимо, все думая о жене, о том, что Галина была ведь единственной женщиной, которую он знал как мужчина, она была хорошим человеком, но жизнь сложилась так, что он ее потерял навсегда.

— Товарищ майор, — услышал Яков и обернулся. Зубов уже стоял на ногах. — Разрешите спросить, товарищ майор?

— Спрашивай.

Зубов, подойдя, остановился, опустив длинные руки. И глаза опустил, будто разглядывал кулаки, молчал.

— Ну так что же вы? — проговорил Алейников, неизвестно зачем употребив это «вы». — У меня нет времени.

— Я давно хотел поглядеть на вас, — усмехнулся угрюмо Зубов и поднял глаза.— Еще там, в Шантаре, позапрошлой зимой. Да не успел, забрили нас. Вы ж, наверно, помните? А я специально тогда в Шантару приезжал...

— Какая честь! И что во мне такого интересного?

— Шрам вот этот на лице!

— Вот как! — Алейников с любопытством взглянул на Зубова. — Ну, и что же ты хотел спросить?

— Что? — опять усмехнулся Петр Зубов. — Да просто хотел вопросик задать — смысл-то жизни в чем?

— Та-ак... — Алейников вспомнил все, что говорил ему только что об этом человеке командир штрафной роты, с новым каким-то любопытством оглядел Зубова.

Гриша Еременко, заметив своего начальника, стоял уже одетый возле машины.

Зубов срезал новый прутик и опять начал строгать.

— Вопросик! — сказал Алейников. — А может быть, мы несколько сузим эту тему? И скажем, смысл-то чьей жизни? Твоей, моей?

— Зачем суживать? Я спрашиваю — вообще... — И рукой, в которой был зажат перочинный нож, Зубов описал перед собой круг.

— Ну, если вообще... Вообще смысл жизни — в борьбе за счастье человека.

Слова эти не произвели на Зубова никакого действия. Он не торопясь, равнодушно срезал с прутика листочки, один за другим. Потом поглядел в сторону — там неширокая речка, больно сверкая на солнце, утекала за молодую рощицу из берез и осин. За рощицей поднимались какие-то жиденькие дымы и таяли, рассасываясь в летнем горячем небе бесследно.

Потом он усмехнулся.

— Я мальчишка был, но помню, — отец мой также говорил, что он воюет за счастье людей, за судьбу России... Мету-то на щеке он вам, я слышал, оставил?

— Он, — кивнул Алейников. — По-разному мы с ним понимали счастье людей. И судьбу России...

— Ну да... Потому он вам и прилепил этот шрам. А вы его, потому что по-разному, убили! Вы... ты лично виноват в его смерти! — прохрипел зловеще Зубов. — Я все знаю! Ты вывел тогда весь партизанский отряд из каменного мешка, куда загнал вас отец! Ты провел отряд на заимку... Я кое-что помню! И вы напали ночью на нас, сонных...

Алейников не испугался хрипучего и зловещего голоса Зубова, не оскорбило его и то, что этот солдат-штрафник вдруг начал говорить ему «ты».

— А что ж удивляешься?! Он нас бил насмерть, мы — его... Тут уж — кто кого! Борьба классов. Ты, конечно, за отца нам не простишь никогда, сердце все стонет. Ты в Кошкина, в командира своей роты, стрелял...

— Она не моя. Она — штрафная! — ощетинился Зубов.

— И ты рано или поздно, при первом удобном случае к немцам перейдешь... сдашься, служить у них будешь!

— Дурак ты, — негромко сказал Зубов.

— Что-о! — вздрогнул Яков, точно его ударили, и рука сама собой скользнула к кобуре, хотя краем сознания он все же понимал, что если выхватит пистолет — сделает глупость. Стрелять все равно не будет — за что же стрелять, штрафник этот стоит себе спокойно с перочинным ножичком, строгает палочку. За оскорбительное слово? Хорош он тогда будет.

Зубов краем глаза наблюдал за Алейниковым, позы не изменил, только перестал строгать и окаменел весь, ждал... Рука Якова обмякла, опала.

— То, что слышал, — усмехнулся Зубов. — Меня, к твоему сведению, немцы еще в сорок первом из курской тюрьмы освободили и должность в городской полиции давали. И если б я схотел...

— Чего ж не схотел? — спросил Алейников, испытывая к самому себе мерзкое чувство за то, что не сдержался и чуть не выхватил пистолет.

— Не знаю... А пушку свою ты бы все равно не успел вытащить, — еще раз усмехнулся Зубов и поглядел на свой скромный перочинный ножичек. — Вот эта штучка — острее бритвы. Чиркнул бы по шее — и хрипел бы сейчас... Тогда-то мне бы уж ничего не оставалось, как к немцам.

Зубов тяжко и шумно вздохнул, с резким щелчком закрыл свой перочинный ножик, спрятал в карман.

— Ладно... Отца я жалею, конечно. Но сердце не стонет, перестало, — сказал он негромко. И, поймав на себе взгляд Алейникова, добавил: — Я и сам удивляюсь. Видно, делает время свое дело. И борьба классов — ладно. Я пытался кое-что и в этом вопросе понять, разобраться. Книги этого бородатого Карла Маркса пытался читать. И Ленина вашего...

— Ленина? И Маркса?!

— А что ж ты думаешь? Ну, понял я мало. Я несколько классов гимназии кончил — и все. Остальное образование по тюрьмам получил. Тут я — профессор. Но главную мысль насчет борьбы этих классов уловил...

Зубов склонил большую, давно не стриженную голову вниз и замолчал. Потом встряхнул головой.

— Бедные, богатые, капитализм, коммунизм... Все в мире — как огонь и вода. В общем — кто кого зальет...

— Примерно так, — сказал Алейников.

— Чего — примерно? — Глаза Зубова заблестели как-то странно, явственно проступила в них унылая и, кажется, застарелая боль. — Так и есть! И когда схлестнутся — пар до неба свищет. Кровавый.

— Кровавый, — согласился Алейников.

— Я мальчишкой был — и меня этот пар насквозь ошпарил. Да, к беде моей, не до смерти. И пошел я от злости куролесить. И еще — от бессилия, от тоски. Не поверите?

Взгляд Зубова, этого солдата-штрафника, был открытым, незащищенным каким-то, в зеленоватых глазах стояла все та же боль. И Алейников сказал не сразу:

— Что ж... Понять это я могу.

— А тогда это еще больше, чем поверить, — будто самому себе проговорил Зубов. — Только не подумайте, Яков Николаевич, что я помощи какой-то от вас хочу, из штрафной роты, мол, пытается выбраться... Это меня оскорбит. Я гордый. Не-ет...

— Этого я, Зубов, не думаю... — И, глядя, как тот переломил и бросил свой оструганный прутик, добавил: — А разговор у нас, чувствую, долгий будет. Сядем тогда, что ли... — И он первый опустился на обочину тропинки в бледную тень от редких кустарников. — Сколько у тебя сроку-то было?

— У меня — вышка, — коротко сказал Зубов.

— За что?

— За совокупность.

— Это как так?

— Когда взяли меня в Шантаре зимой сорок второго... Макар Кафтанов там автолавку какую-то пощупал, а я был ни при чем. Что я за птица — им было неведомо, но ясно, что фазан, — взяли меня с оружием. Покрутили, повертели — и отправили всех троих — меня, Кафтанова и Гвоздева — в Новосибирск. Ну, а там я судился раза четыре. Подержали там месяцев шесть, раскопали всю мою скромную деятельность. Сроку у меня было ровно на пятьдесят лет. Думал я, не все наскребут. Я и в Киеве судился и на Кавказе... И еще кое-где. Война ж, думаю, кое-чего и не добудут. Нет, прояснили все до конца. Хорошо работаете... Пенсию не зря получать будете. Ну и решили, видно, — хватит валандаться, все равно из тюрьмы живым человеком не выйдет, так и так хоронить за казенный счет — и приговорили к высшей мере... Я даже както и... не шелохнулся. Онемело все внутри только — и приятно стало: наконец-то, думаю... С тем и сижу в камере смертников. Но... — Зубов сплюнул в сторону сквозь желтые и крепкие зубы. — Вот же проклятая человеческая порода! Душа устала, тело покоя просит, а в мозгу, слышу, посасывать стало: неужели и вправду конец?! Короче, написал бумагу о помиловании. Биографию всю изобразил. Осколок, мол, человечий я... Про отца написал все, в общем. И еще на два момента упор сделал: у немцев, хотя они предлагали службу, не остался, мне, русскому, невмоготу видеть, как они нашу землю поганят. И что мокрых дел за мной не было.

— Не было?!

— Ни одного, — сказал Зубов. — Не люблю я этого.

— Не любишь! Ты ж в Кошкина, в своего командира роты, стрелял!

— Ну и что? — Зубов почему-то брезгливо дернул губами. — Живой же он... В общем, в помилование не верил и не ждал его. Таких, как я, с таким сроком, не милуют. Я ненавидел себя за слабость — я не люблю на колени становиться... А оно пришло, заменили мне вышку штрафной ротой. — В зеленых глазах Зубова плеснулась усмешка и тут же погасла, они снова стали пустыми и грустными. — Ну, да понятно, нужда в штрафниках сейчас большая...

— Скажи... ты умышленно стрелял в Кошкина мимо? — спросил Алейников.

Зубов, не поднимая головы, бросил на Якова взгляд исподлобья и тут же опустил короткие, выгоревшие на солнце ресницы. И ничего не ответил, только чуть заметно пожал плечами.

— Ну, а... почему стрелял? Что тебя заставило?

— Вам это очень нужно знать?

— Любопытно.

— По приговору.

— По какому? Как понять?

Зубов поглядел на стоящую неподалеку машину Алейникова, наблюдая, кажется, за шофером, который от нечего делать ходил вокруг «эмки», постукивая сапогом в скаты.

— В Валуйках ротой и не Кошкин командовал, — хрипуче произнес наконец Зубов. — Был тогда в роте... — И вдруг оборвал себя на полуслове, поднял тяжелую голову. — Ваши дела, товарищ Алейников, должно быть, не сладкие. Я уж знаю... А наши еще страшнее. Может, не надо... об них до конца-то?

— Я не слабонервный, — усмехнулся Алейников.

— Ладно, — уронил смешок и Зубов. — Был тогда в роте штрафник Мишка Крайзер, по кличке «Горилла». И по виду горилла. В зоопарке я только видел таких в железных клетках. Страшный человек, во всем преступном мире известный. Я против него — птичка-синичка. Он и был верховным в роте... Такие дела творил! И на людей в карты играл... Прошлой весной командира своего взвода проиграл и в тот же вечер шею финкой просадил. Нож он бросает, сволочь, на тридцать метров точно в яблочко. Назначили другого командира — он и того проиграл.

— Во-он, оказывается, кто! — проговорил Алейников, вспомнив рассказ Кошкина.

Зубов всем телом повернулся к Якову, вопросительно поглядел, но ничего не сказал. И, когда отвернулся, вздохнул, а потом только проговорил:

— Горилла — мертвый. Но все равно мне за то, что я рассказываю, финарь полагается.

— Не бойся. Не выдам.

— Да я и не боюсь, — промолвил Зубов устало. — И в бою я ничего не боюсь — ни пули, ни снаряда. Только не берут, проклятые.

— И это я знаю... Мне Кошкин говорил...

— Кошкин... — повторил Зубов как-то бесцветно. — Он ведь тоже, кажется, против моего отца воевал?

— Он был в нашем партизанском отряде тогда, — подтвердил Алейников.

— Да-а... Застрели я Кошкина, вы бы вот считали — за отца, мол, по классовым убеждениям. А дело по-другому было. За Гориллу. Кошкина приговорили. Мы под Валуйками долго стояли, и Горилла со своими телохранителями — были у него такие — где-то трех женщин поймали в степи. Одна даже совсем девчонка, лет, может, пятнадцать-шестнадцать. Спрятали их в овраге, земляную дыру специально вырыли, охрану свою поставили... Ну и, сами понимаете... Чуть не вся рота там перебывала...

На сильной и черной от солнца шее Зубова напряглась, туго натянулась острая жила, потом мелко задрожала, причинив, видимо, Зубову боль, и он потер шею ладонью.

— И ты... ты был?

— Был... Горилла плату установил, как в публичном доме. Раз в карты, говорит, не везет... Боже мой! Я — подлец и сволочь, и вышку мне — правильно! Но почему таких, как Горилла, в живых держат?! Какая ему штрафная там?.. Его... ему...

Зубов не мог говорить, стал тереть ладонью о землю.

— А ты чем лучше, раз смог?! — выкрикнул Алейников хрипло.

— Я... я не смог. И зачем пошел, не знаю. Из любопытства, что ли. Мы втроем пошли — Кафтанов, Гвоздев и я...

— Кошкин... Кошкин знает?! — Алейников хотел подняться, но Зубов мгновенно бросил тяжелую ладонь ему на колено, цепко и больно сдавил пальцами. И неожиданно спокойным голосом проговорил:

— Тихо... Сперва дослушай. Кошкин потом узнал. Не от меня только. От кого — не знаю... И всю обойму в Гориллу вылупил. Зверь это был — не человек. Кошкин стреляет, садит пули ему в спину, в затылок, в голову, а Горилла пытается с земли подняться. Хрипит, землю пальцами пишет и на колени встает, встает. Мы так и думали: встанет во весь рост и двинется на Кошкина. Нет, рухнул.

Глуховатый голос Зубова звучал теперь ровно, говорил он без видимых усилий, и только иногда чувствовалось, что какое-то слово дается ему нелегко.

Он умолк, помолчал с полминуты, и Алейников его не торопил, ждал терпеливо, понимая, что тот снова заговорит сам.

— А я... тогда не смог. Все женщины

были уже смертельно замучены, уже без сознания, ничего не понимали. Да какие там женщины? Голые, костлявые трупы... Девчушка лежала без движения, а те, постарше, еще шевелились... Вздрогнул я отчего-то и тут же сообразил — пряжка зазвенела. Гляжу — Гвоздев к девчушке прилаживается. И взорвалась у меня будто граната в черепе — да она ж, наверно, мертвая уж! Ну и... Гвоздева, как щенка, за шиворот приподнял и наружу швырнул, повернулся к Кафтанову. Тот, помню только, попятился от меня, в глазах его смертельный страх. Наверное, такой вид у меня был...

На этот раз Зубов молчал долго. Гриша Еременко, удивленный, видимо, о чем это ведет такую длинную беседу его начальник, сел на крыле машины, закурил.

— Я думаю, что Кафтанов с Гвоздевым и капнули телохранителям Гориллы, будто я его заложил... — проговорил Зубов. — Но полной уверенности ни у кого не было, иначе бы они со мной не так... А здесь только и поручили мне «приговор» исполнить. За Гориллу они приговорили Кошкина в тот же вечер... Посмотрим, мол, как он, то есть я...

— И что ж ты?

Петр Зубов пожал плечами.

— Не обрадовался. Дураку ясно, за такое дело — расстрел. Откажусь выполнить «приговор» — тоже смерть. С той лишь разницей, что не знаешь, когда, где и как она наступит. То ли нож под ребро воткнут, то ли в кусты оттащат и голыми руками задушат...

Зубов поглядел на сожженное солнцем небо и уронил беззвучный смешок:

— Но и не испугался...

— Врешь, испугался, — неожиданно проговорил Алейников. Зубов вопросительно приподнял на него глаза. И Алейников пояснил: — Была у тебя вышка, но после ранения в бою мог быть свободен, все прошлое могло враз похериться. На войне только может такое быть... Разве не думал, не надеялся на это?

Зубов опустил глаза и несколько секунд помолчал. Потом вздохнул тяжко, глубоко и через силу будто промолвил прежнее:

— Нет, не испугался. А думать — что ж... Об этом у нас все невольно думают и надеются. И я, конечно... Сильно тоскливо мне стало просто, Яков Николаевич, а испуга не было.

Потянула откуда-то из-за реки тугая и душная струя воздуха, принесла горький запах сожженной земли. И Зубов будто от этого запаха поморщился. Опять пошевелил плечами, словно пытаясь что-то сбросить с них. И заговорил дальше, через силу сдерживая накопившееся где-то внутри раздражение:

— Да, напала тоска. Черт ее знает, что за штуковина это такая... И раньше бывало — нахлынет без всякой причины, как на сопливого интеллигента — ну, хоть в петлю лезь. Водкой глушил ее. А тут... И вдруг все в невиданную злобу перешло. В звериную!

— К кому?

— К кому?! — Зубов сплюнул на землю.— Да, к кому? Это не так просто объяснить, если честно. К этому волосатому Горилле, хотя он уже был мертвый! К его телохранителям... На тактических занятиях подползают ко мне: давай, мол, вон Кошкин возле кустов маячит, ночь темная, не поймут, кто стрелял. А мы не выдадим... Кой черт, думаю, не выдадите! Сами же руки и скрутите, если прихлопну командира роты... Суют мне в руки пистолет. Оружия нам до боя не выдают, на тактических занятиях с деревяшками бегаем. Ну, да этого добра на войне прикарманить — чего стоит... Тут-то и захлебнулся я злобой ко всему на свете! В том числе и к Кошкину. К себе, ко всей этой кошмарной жизни! Вырвал я пистолет... Опять же верь, хоть нет — поверх всего ошпарила мысль — в телохранителей Гориллы разрядить его! Да черт его знает, сколько в нем патронов, а их — четверо... Ну и лупанул в Кошкина.

Зубов замолчал, начал царапать всей пятерней грудь под гимнастеркой.

— Что ж дальше? — спросил Алейников.

— А дальше так и вышло, как я думал. «Сволочь! Ты ж не прицелился! Ну, и подыхай!.. Это он, Зубов, товарищ капитан, хотел вас...» Это они уж подскочившему Кошкину кричат, подбежавшим бойцам. У Кошкина пистолет в руке уже дергается. «Про-очь!» — заорал он. Державшие меня Гориллины дружки брызнули в стороны, как тараканы. Я лежу распластанный на земле. «Ты?!» — прокричал Кошкин, поднимая наган. И тут я... понял в какую-то секунду, что не выстрелит он. Приподнялся и сел.— «Я, говорю...»

— Как же... понял?

— Э-э, Яков Николаевич... Как все объяснить? На какой-то миг Кошкин задержал зрачки на тех четырех, что отскочили от меня. А я заметил... Знает он нашу братию, за что и уважают его. Нюхом почуял, что не во мне тут дело. И я это понял. Да-а. ...А если б я сказал: нет, не я — он бы выстрелил, я думаю...

— Безусловно, — сказал Алейников и поднялся.

Зубов тоже встал вслед за ним и потоптался, разминая затекшие ноги.

— Эти... телохранители где сейчас? Тут? — спросил Алейников.

— Под Валуйками остались. Бой там был — таких, Кошкин говорит, даже он не видывал. От роты осталось человек с полсотни...— И, видя, что Алейников пристально глядит на него, добавил с усмешкой:— Нет, не я их, немцы. Я еще раз повторяю: ни мокрыми делами... ни в спины людей, кроме немцев, не стрелял. Верь, не верь — мне это без нужды. Говорю, как есть... И этих, Макара Кафтанова с Гвоздевым, не тронул, хотя они, сволочи, меня продали, больше некому...

Зубов умолк. Они молча стояли теперь друг против друга. Зубов глядел куда-то в сторону, а Яков Алейников словно ждал еще каких-то его слов.

— Ну что ж, прощайте, Яков Николаевич,— произнес наконец Зубов.— Извините, товарищ майор, что я... Мне просто хотелось... хотя и не такой, может, разговор вышел, как я хотел. Главного вопроса я так и не задал.

— А ты задай, — сказал Алейников.

— А вы ответите?

— Если смогу, чего же...

— Ладно... — В прищуренных глазах его возникла почему-то неприязнь, они засветились злорадным зеленым холодком. — Он простой, этот вопрос. Завтра на рассвете у нас смертельный бой опять. И скорей всего я погибну — сколько же судьбе закрывать меня? Но если случится чудо, заденет меня пуля, а живой останусь — смысл-то в этом какой будет? Если останусь — будет?

Алейников молчал, Зубов, помедлив, спросил несколько по-другому:

— От людей мне прощение может быть или нет?

— От людей? — переспросил Алейников, пораженный не тем, что подобный вопрос задает человек, приговоренный за преступления против общества к высшей мере наказания — расстрелу, и только чудом это наказание ему заменено пребыванием в штрафной роте, а чем-то другим, более сложным и глубинным, что стояло за этим вопросом и что прозвучало в голосе Зубова. — От людей...

— Именно.

Пустынно и тихо было возле небольшой речушки, из которой пили, в которой смывали, конечно, грязь и пот, обмывали раны и немецкие и русские солдаты, в которую падали немецкие и русские снаряды, берега которой размалывали колеса и гусеницы наших и вражеских машин. Израненные, искромсанные во многих местах, эти берега, казалось, еще дымились, в яминах и воронках будто стоял до сего времени пороховой чад и дым. Свирепая и безжалостная битва не однажды подкатывалась к речушке, не однажды бушевала над ее слабеньким и неглубоким руслом, и Алейникову вдруг почудилось, что речонку сто раз могла уничтожить страшная война — завалить крохотную, малосильную полоску воды взрывами бомб и снарядов, затоптать колесами и гусеницами, а вот не уничтожила, не в силах была уничтожить, и упрямая речушка все течет и течет, пробиваясь сквозь перепутанные, переломанные, обожженные кустарники и травы, вскипает под солнцем на маленьких своих перекатах, негромко позванивает слабенькой волной а в крохотных омутах крутит травинки и листья, пока течение, неприметное даже и глазу, не выбьет их на существующий и у этой речушки стрежень и не понесет их куда-то дальше.

— Да, от людей... — в третий раз повторил Яков Алейников.— Вот что, Зубов. Есть разные... разные преступления против людей и против жизни. И я обо всем этом думал — уж поверь мне,— много думал и раздумывал! Одни преступления люди могут простить легко. Стоит, как говорится, покаяться — люди поверят и простят. Они добрые, люди. Прощение за другие надо заслужить делами. Иногда всей жизнью. Иногда смертью только можно это заслужить. ...Но бывают и такие преступления, которые не прощаются. Никогда не прощаются, как бы ни старался потом. Тут хоть жизнь отдай. Ни при жизни, ни после смерти... Закон даже может простить, а люди — нет.

— Например.

— Например, измена Родине.

Алейников смотрел на Зубова, но тот стоял к нему боком, скрестив руки на груди и, сжимая большими, заскорузлыми ладонями плечи, смотрел куда-то в сторону сожженной войною деревни.

— Останешься живой, подумай обо всем этом. Ведь уцелеешь если, жить как-то придется. А вот как?

— Выходит... Если освободят меня после завтрашнего боя,— выйдет, что не сам я прощение за свои преступления заслужил, а просто... закон мне простил?

— Так выйдет,— кивнул Алейников.

— А люди пока не простят?

На это Алейников лишь пожал плечами: я, мол, все сказал, что ж еще добавить?

— И по твоим рассуждениям выходит, что отца... моего отца ни закон, ни люди никогда не простят?

Алейников прищурил глаза, уголки губ его опустились вниз.

— Никогда. Он был наш классовый враг. Непримиримый и жестокий. Таким и остался до самой своей гибели. Как же могут его люди простить?

— Люди на блюде,— усмехнулся вдруг Зубов зло, едко, кажется, даже остервенело, уронил вниз руки.— Ну, прощевай еще раз, Яков Николаевич... Спасибо за политбеседу.

Зубов все с той же, непонятной теперь Алейникову откровенно враждебной усмешкой секунду-другую глядел ему в лицо, резко отвернулся и пошел вверх по тропинке в сторону деревни, раскачивая широкими плечами, обтянутыми порыжелой гимнастеркой. Не останавливаясь, повернул вдруг голову, проговорил отчетливо:

— Не на блюде даже, а на горячей сковородке.

Никакой усмешки теперь на лице его не было.

...— С кем это вы, товарищ майор, долго так беседовали? — поинтересовался Гриша Еременко, когда они ехали изрытым проселком в расположение дивизии, соседней с 215-й,— Алейников хотел поглядеть, нет ли там более удобного места для предстоящего перехода его группой линии фронта.

— Так... Любопытный человек,— ответил Яков и больше ничего объяснять не стал, лишь потрогал шрам на левой щеке, оставленный на всю жизнь шашкой полковника Зубова. «Не на блюде, а на горячей сковородке...» Алейников нахмурился и вдруг подумал: «А ведь Зубова, если он после завтрашнего боя останется живым, можно было бы, пожалуй, взять с собой в тыл врага. Смело можно было бы...»

Но мысль эта, мелькнув, пропала и больше не возвращалась. Другие дела и заботы нахлынули на Алейникова.

Продолжение следует.

Анатолий ИВАНОВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ВЕЧНЫЙ ЙОТ

Вчера вечером самоходка Магомедова, о которой Алейникову рассказывал начальник штаба дивизии подполковник Демьянов, смяв вражескую батарею, неслась среди толп бегущих куда-то немцев, давила их, разбрасывала тупым рылом, вздрагивала от каждого выстрела, и у Семена возникало ощущение, будто тяжелая машина всякий раз на секунду останавливалась, а потом стремительно бросалась дальше в свистящий дымно-огненный ад, сама распуская за собой желто-черный хвост дыма. Она горела уже давно, поджег ее какой-то рыжий немец, кинувший под гусеницы из окопчика гранату. Семен увидел немца, находящегося впереди и чуть сбоку, уже в тот момент, когда он размахивался, и невольно прикрыл на мгновение глаза. Граната должна удариться сбоку в левую гусеницу, точно посередине, Семен это почувствовал, она порвет траки — и тогда... Тогда грозная, не танк, конечно, но все равно грозная и могучая машина превратится в беспомощную стальную коробку, каких много вон торчит по всему полю и у подножия высоты, откуда била наша батарея.

Взрыв ухнул нестрашный — сколько Семен пережил уже и таких взрывов и прямых попаданий в броню снарядов и бомб! — гусеницы остались целы, но через какие-то секунды в машину потек едкий дым. Еще до того, как он потек, Семен круто развернул самоходку и, сжав зубы, в порыве ярости бросил ее на окопчик. Он еще раз увидел того же немца, который теперь трясущимися руками хватался за край окопчика, пытаясь из него выскочить. «Идиот безмозглый!» — злорадно подумал Семен, увидев, что окопчик глубокий и если бы немец остался в нем, упал на дно, ничего ему бы не сделалось, разве бы присыпало немного землей. Теперь же для него спасения не было...

— Куда эдешь? Куда эдешь?! — заорал командир самоходного орудия лейтенант Магомедов. — Сержант! Назад!

— Горим! Команди-ир... — задыхаясь, прокричал в ответ Семен, круто разворачивая машину, подмявшую рыжего немца.

— Мы, кажись, врюхались, — послышался голос Ивана. — Слева нас танки отрезают!

— Шайта-ан! — визгливо воскликнул командир самоходки. — Ну, ладно, ну, ладно... Разворачивайся еще! Направо! Будем пробиваться назад, к своим...

— Да куда? И справа вон колонна прется! — опять прохрипел Иван.

Две-три секунды Магомедов молчал. Затем обезумевшим голосом скомандовал:

— Вперед... к высоте! Пробьемся к нашей батарее!

Семен, подчиняясь приказу, бросил самоходку к высоте, которую обтекали вражеские танки. По ним били с холма наши пушки, а по холму яростно молотили из своих орудий немецкие танки, фонтаны из огня и земли делались все гуще, и скоро высота почти потонула в дыму и сухой, горячей пыли. Самоходное орудие тоже стреляло раз за разом, но попадал ли дядя Иван в немецкие машины, Семен не видал. Пламя, хлеставшее откуда-то сбоку, временами доставало уже его плечо.

— Боеукладка горит! — страшно прокричал Иван. — Счас рванет!

— Глуши мотор! Всем из машины!

Семен на землю вывалился мешком, глотнул полную грудь воздуха, который был ненамного свежее, чем в машине, — с дымом и бензиновой гарью, но все же им можно было дышать. Несколько мгновений он лежал, распластавшись, прижимаясь к земле грудью, чувствуя, как саднит обожженное плечо. Лежа, он ничего не видел из-за стлавшихся по высохшей траве дымов, только слышал всем телом, как от танковых гусениц, рвущихся снарядов дрожит земля.

— К высоте! Савельевы, где вы там?!

— Ага, понятно... — зачем-то вслух пробормотал Семен, приподнялся, увидел в бело-грязном дыму бегущих к высоте дядю Ивана и Магомедова, бросился за ними. Но сзади, шагах, может, в пятнадцати — двадцати, там, где стояла горящая самоходка, рвануло небо и землю, в ушах зазвенело и засвербило, будто туда забилось по комару.

— Семка! Семен! Сержант! — как из-под земли донеслись слабые голоса. Они были чужими, Семен не узнал их, только увидел перед собой закопченное и мокрое лицо дяди Ивана, а выше, чуть ли не под самым небом, угольно-черные глаза лейтенанта Магомедова. — Ранен, что ли? Отвечай. Куда? Куда ранен?

Слушать ему было эти голоса почему-то смешно. И еще смешно было от щекотки в ушах.

— Контузило, кажись...

— Помогай. Таскаем его...

Это было последнее, что он услышал. Затем провалился в небытие.

...Он очнулся в темноте оттого, что на него посыпалась земля, увидел сбоку темный звездный квадрат, выполз, встал во весь рост и пошел куда-то. Комары, недавно бившиеся о барабанные перепонки, теперь летали и летали вокруг головы, попискивая. Семен, не понимая, что это свистели пули, поморщился и даже, пытаясь отогнать назойливое комарье, несколько раз взмахнул рукой.

— Ты?! Обалдел совсем! — донесся обозленный крик до него, опять еле слышно, как из-под земли. Но теперь Семен узнал голос дяди Ивана. А потом разглядел во мраке его самого. Без пилотки, в расстегнутой гимнастерке он лежал на бруствере траншеи и, полуобернувшись, сверкал белками глаз. — Ложись! Семка-а!

Семен теперь догадался, что это не комары попискивают вокруг головы, а пули, что идет бой. Он понял, что хочет от него дядя Иван, но не лег, даже не пригнулся. Он так во весь рост и дошагал до траншеи.

— Ог-гонь!

Сбоку стояло, оказывается, невидимое в темноте орудие, и теперь, когда оно выстрелило, пламя на мгновение осветило пушку, сгорбившегося над панорамой наводчика и подносчика снарядов, бравшего из ящика новый заряд.

Иван метнулся к подошедшему Семену, рванул его в траншею.

— Ты что?! Пришьет, как козявку! Ну, слава богу, живой. А то я думал — в блиндаже тебя накрыло...

— Чего? — спросил Семен и не расслышал почти своего голоса. «Ну да, контузило, — равнодушно подумал он. — Уши, наверное, порвало...»

— В блиндаж мы тебя положили... А они лезут и лезут. Третий раз отбиваемся. На! — Иван сунул ему автомат. — Это ведь нашу самоходку рвануло. Я думал, ты успеешь отбежать. А ты, тетеря...

В стороне, метрах в десяти от первого орудия, выстрелило второе. Семен поглядел в ту сторону, где блеснул и тут же потух язык пламени, взял автомат.

— А что тут?

— Веселенькая обстановочка, Семка, — проговорил Иван, ударом ладони защелкивая новый диск в ручной пулемет. — Кругом немцы. Тут, на высоте, две пушки, да нас шестеро. Не считая мертвых. Мертвых, правда, много... Две пушки от батареи осталось. А где наши — неизвестно.

В это время там, где только что выстрелило второе орудие, темным бугром вспухла земля, внутри земляной тучи закрутилось красное с черными прожилками пламя, и, прорвав сразу во многих местах оболочку бугра, огонь стрелами ударил в небо. Между стрел, крутясь, взвились какие-то короткие обломки и стали с глухим звоном падать рядом с Семеном. Он поглядел на один такой обломок и увидел, что это снарядная гильза. Затем сверху посыпались дождем комья земли, больно заколотили по голове, по спине.

— Ложись! Голову береги! Голову...

Как беречь голову, Семен не знал, но все же лег на дно траншеи.

Когда комья сверху сыпаться перестали, он поднялся, отряхнулся, выдернул присыпанный землей автомат. Едкий запах сгоревшего тола раздирал горло. Семен похрипел, помотал головой и сплюнул.

— Слава богу, теперь нас четверо вроде осталось. Ты, да я, да Магомедов с Ружейниковым, — со страшной усмешкой проговорил Иван. — У той пушки было двое. Четверо, да орудие одно... Ах, сволочи!

Иван глянул в темноту за бруствер, потряс свой ручной пулемет, будто выбивая из него землю и песок, установил попрочнее сошки, обернулся:

— Давай, Семка! В нише еще три заря-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18—28.

женных диска. И гранаты, кажись, есть. Чего сидишь, они лезут же!

И его пулемет остервенело застучал. Спина Ивана задергалась от выстрелов.

Крик Ивана и звон коротких пулеметных очередей заставили Семена метнуться к брустверу. Сжимая автомат, он упал грудью на земляной ровик. Внизу, по скату холма, горело три танка. Два уже еле-еле дымились, они подбиты были, может быть, еще днем, а третий, который был ближе всех от траншеи, полыхал ярким костром, и в небо, освещенное заревом, ввинчивался черный и толстый дымный жгут. В колеблющемся свете Семен различил немцев. Короткими перебежками они продвигались вверх, к ним. Вскинув автомат, Семен нажал на спуск и не разогнул пальца, пока не кончился диск.

— Что делаешь, Семка?! — донесся до него крик, когда автомат в его руках перестал дергаться.— Что делаешь? Короткими, говорят тебе!

Иван кричал, видимо, давно, лицо его, повернутое к Семену, было мучительно перекошено.

— Беречь патроны! Понятно-о?!

За горящими танками взад и вперед ползали три или четыре фашистских машины, башни их время от времени изрыгали пламя. Но снаряды рвались то справа, то слева за позицией батареи, хотя и недалеко. «Стрелки, мать вашу!» — злорадно выругался про себя Семен, вталкивая в приемник новый диск. Единственная пушка, оставшаяся от бывшей батареи, отвечала беспрерывно, пламя от ее выстрелов раз за разом светло вспыхивало над головой. Но и ее снаряды то не доставали до немецких машин, то перелетали. «Алифанова бы на вас...— так же злорадно подумал Семен, засекая упавшего метрах в тридцати немца.— Алифанова...»

Немец, грузный и широкоплечий, полежав, вскочил было. Семен дал короткую очередь. Очень короткую, в три-четыре патрона. Фашистский солдат остановился, будто в недоумении, сделал несколько шагов назад, еще постоял и, как столб, грохнулся на спину. «Вот и отдохни»,— усмехнулся Семен.

Один немец упал, а остальные все двигались и двигались на высоту. Черные их фигурки копошились во мгле, мелькали в колеблющемся свете горящих танков. Сколько было немцев — Семен определить не мог. Может, пятьдесят, может, сто. Он стрелял и кого-то убивал, это он видел ясно. И дядя Иван, наверное, кого-то укладывал. Но все равно фашистов было много. А их всего в траншее двое. Да где-то за спиной еще двое у пушки. А немцы совсем близко, их можно уже и гранатами достать...

— Семка-а! Гранаты! — прокололо ему уши. «Интересно,— подумал Семен.— Или дядя Иван кричит небывало еще громким голосом, или уши мне отложило?» Он, не спуская глаз со все приближающихся немцев, отложил автомат и нащупал в нише гранаты.

Рядом упал выскочивший из темноты лейтенант Магомедов, низкорослый азербайджанец, тяжело задышал, уткнув лицо в землю.

— А пушка? Вы что?! — повернулся к нему Семен.

— Зачем пушка сейчас нужна будет? Ничего теперь не нужно будет...

Еще подышав несколько секунд, он оторвал от земли обожженное пороховыми струями скуластое лицо, вскочил по-кошачьи, отбежал вдоль траншеи метров за пятнадцать, начал из ниши выкладывать на бруствер гранаты.

Пушка за спиной между тем выстрелила. «Значит, там Ружейников какой-то один... один»,— отчетливо подумал Семен, зажал в кулаке «лимонку» и выглянул через ровик. Немцы были совсем рядом, они, человек восемь, бежали кучкой, почти теперь не стреляя.

Семен, еще помедлив, бросил гранату, три-четыре секунды последил за ее полетом, и, убедившись, что она упадет в гущу вражеских солдат, осел в траншею и, прикрыв глаза, стал ждать взрыва. Граната лопнула с сухим треском. Семен услышал, как с визгом брызнули осколки, открыл глаза. Во мраке был виден ему дядя Иван — нагнув голову и выставив костлявые плечи, он прижимался к стене траншеи. И Семен понял, что он тоже швырнул только что гранату. Над ним вспыхнуло чернильно-темное и тяжелое, будто литое из чугуна облако пыли. Потом взметнулось второе, третье... Значит, дядя Иван раз за разом бросил несколько гранат, мелькнуло у Семена, а вот он, Семен, так не догадался... И, видя, что Иван разогнулся, припал к пулемету и начал строчить, Семен тоже схватил автомат, высунулся из-за ровика.

По всему склону плавали в темноте клочья не то дыма, не то пыли, поднятой гранатными разрывами. Справа и слева эти клочья были гуще, закрывали склоны почти наглухо, а перед Семеном, бросившим одну гранату, стояла, покачиваясь, всего лишь мутная стенка, просвечиваемая пламенем горящего внизу танка, и он увидел совсем близко от бруствера траншеи скрюченные тела трех убитых немцев, а дальше, в желтой мгле, согнутые фигурки бегущих вниз солдат.

«Ага-а!» — торжествующе выдавил Семен сквозь стиснутые зубы, схватил автомат и начал стрелять, ни в кого не попадая. Немцы убегали все дальше, проваливаясь во тьму. Краем глаза Семен увидел, что Магомедов выскочил из траншеи, и бросился в сторону орудия. «Живой,— отметил Семен.— И дядя Иван живой. А Ружейников? Пушка вроде давно не стреляет...»

Орудие в этот момент ухнуло, тьма внизу, куда проваливались немцы, осветилась мгновенной вспышкой. Но в эту короткую долю секунды Семен ничего не мог рассмотреть, кроме все того же догорающего немецкого танка, не заметил ни одной человеческой фигуры. Ползающие за подбитым танком немецкие машины тоже куда-то исчезли.

Этим выстрелом и закончился бой на окруженной высоте. Установилась вдруг тишина, непонятная и чужая. В небе горели бесшумно белые звезды, но ничего не освещали, просто торчали вверху неизвестно зачем, без всякой пользы.

От орудия подошли Магомедов и еще один человек, хлипкий какой-то, в изорванной гимнастерке. Это и был старший лейтенант Ружейников. Он сел на землю, устало спустив ноги в траншею.

— Ну, вот так... сосенки-елочки,— произнес он, глядя во тьму через бруствер.— Где же наши?

— Похоронить убитых надо бы... В землю положить,— сказал Иван. Он был без пилотки, грязные волосы торчали, сваляись, глаза во мраке поблескивали.— Ну что, Семен?

Семен не ответил, не хотелось ему ничего отвечать. Снова послышался голос Ружейникова:

— Утром похороним, если доживем... В воронки складем и засыплем... Документы только у каждого взять.

— Уши как, спрашиваю? — спросил Иван.

— Чего? Ничего.

— Кровь перестала течь?

— Какая кровь?

Семен потер пальцами мочки ушей, ощутил липкость.

— Течет. А не больно...

— Это ему в блиндаже додавило. Мы думали, там безопаснее будет, а туда снаряд...

— Мой блиндаж был крепкий,— зачем-то произнес Ружейников, поглаживая колени.— В пять накатов... Вода у нас есть?

Иван ушел в темноту, но тут же вернулся с фляжкой, протянул Ружейникову. Тот жадно начал пить, обливая распахнутую грудь, будто пил не из фляжки, а из котелка...

* * *

Высота 162.4, небольшая, изрытая снарядными воронками сопка, прикрывала Жерехово с северо-востока, перед ней кругом было лысое пространство, только справа от огневой позиции бывшей батареи Ружейникова, за протекающей метрах в семистах речушкой, начинался жиденький, клинообразный перелесок, острие которого подступало к самому берегу. Дальше, за речкой, клин расширялся, на правом его краю, если смотреть от батареи Ружейникова, и стояло это большое когда-то село, почти городок, сейчас начисто сожженное и разрушенное. Обтекая на расстоянии высоту, речка выгибалась кренделем, ныряла в лес, подходила к самой окраине Жерехова, а потом устремлялась прочь в топкие болота, поросшие густым осинником да ольховником. Болота эти тянулись на много километров и были уже в тылу немцев. Дальше, за болотами, начинались знаменитые брянские леса...

Старший лейтенант Ружейников, в прошлом колхозник из подмосковного села, длинный, как журавль, стоял на коленях в открытой в этом месте во весь рост траншее, положив локти на земляную бровку, глядел в стереотрубу. Гимнастерка его, рваная, грязная и заскорузлая от высохшего пота, бугрилась на спине, потрескивала, как жесть, когда он шевелился. Поднявшееся над затянутым дымной мглой горизонтом солнце косо било с неба, освещало изуродованную взрывами огневую площадку с валявшимися на ней гильзами и пустыми снарядными ящиками. Посреди хаоса и земляных бугров, гильз и снарядных ящиков уныло и беспомощно стояло орудие со снятой панорамой, черным, обгоревшим от стрельбы стволом. Прицельное устройство держал в руках бывший командир самоходки Магомедов, обдувал от пыли и протирал грязной тряпкой. Потом завернул панораму в эту же тряпку и сунул в нишу, выбранную в стенке траншеи, отложив в угол несколько гранат-лимонок, похожих на кедровые шишки, тяжко, без слов, вздохнул, стал копаться в разбитой снарядным осколком рации. Покопавшись, пнул ее сердито и одновременно махнул безнадежно рукой.

— Сосенки-елочки,— произнес свое обычное Ружейников, не прекращая наблюдения.

Эти слова выражали у него что угодно — гнев и восторг, удивление и заботу, одобрение или осуждение. Все зависело от тона, каким эти слова произносились. Сейчас они означали, что командир батареи согласен со вздохом Магомедова и его жестом.

Согласен с ним был и Семен Савельев. Он, сильно поджав ноги в коленях, сидел в траншее возле Ружейникова, на снарядном ящике, прислонясь к горячей земляной стенке спиной. Все они, находящиеся на высоте, обречены, это ясно. Но это не вызывало у Семена ни страха, ни хотя бы легкого беспокойства. С каких-то пор он жил будто в другом измерении, в непонятном ему самому теперь мире, который вызывал лишь легкое любопытство. До этого шла жизнь, жестокая и беспощадная, полная огня и смерти, грохота гусеничных траков и бензиновой гари, а потом вдруг что-то в этом кровавом мироздании дрогнуло, раскололось и произошло странное смещение. Объяснить Семен ничего не мог, но его изнуренному многодневной смертельной опасностью сознанию чудилась фантастическая картина: зимнее небо, весь мир, все это страшное бытие неожиданно дрогнуло, что-то сзади по-

ЗОВ

плыло, настигая его, настигло и рассыпалось, заваливая его осколками. То ли это случилось в тот момент, когда они бросили пылающую самоходку и, попрыгав в задымленный бурьян, побежали к холму? Или прошедшей ночью, когда на высоту, к самой траншее, опоясывающей огневые позиции бывшей батареи Ружейникова, неудержимо лезли немцы? И они вскарабкались бы на высоту, достигли бы траншеи, если бы кто-то не крикнул: «Семка-а! Гранаты!» Кто же это прокричал, кто скомандовал? Кажется, дядя Иван. Семен бросил гранату в кучу немцев, подбежавших совсем уже близко. Бросил, вжался в стенку траншеи, увидел, что то же самое делает дядя Иван, и подумал, что все это уже бесполезно, — сквозь стену земли и огня, поднятой взрывами, все равно сейчас прорвутся немцы, вскарабкаются по-звериному на бруствер и сверху в упор пришьют к земле из автоматов и дядю Ивана и его, и азербайджанца Магомедова. И никто никогда не узнает, как они погибли здесь, — ни мать, ни Наташка, ни Олька Королева...

— Спишь, Семен? — послышался голос. Семен открыл глаза, увидел стоящего в траншее дядю Ивана. В одной руке у него был котелок, в другой грязная и старая плащ-палатка.— На, поешь.

— Не хочу.

— Сутки во рту крохи не держал.

— Не надо,— вяло отмахнулся Семен и медленно, с трудом разогнулся, встал на снарядный ящик, выглянул за бруствер.

Иван тотчас схватил Семена за ремень и что есть силы рванул вниз. И вовремя — в ту же секунду щелкнул внизу выстрел, пуля сорвала пыльную пленку с гребня бруствера как раз над тем местом, где только что была голова Семена, и, прошив пустой воздух, с визгом ввинтилась куда-то в небо.

— Совсем, что ли, ополоумел?

Лицо Ивана было измученным, усохшим, землисто-серым. Семен поглядел в это лицо, потом на гребень бруствера, в котором пуля прочертила отчетливую канавку.

— Почему они нас... Ведь нас всего четверо.

— Они не знают, сколько нас тут. А если бы знали...

— Ну да,— кивнул Семен, все думая о матери, о Наташе и об Ольке Королевой.

Он думал о них остаток ночи и все утро, они все странным образом представлялись ему людьми малознакомыми, существующими где-то в другом, далеком и нереальном мире. И неизвестно, непонятно было, зачем они встретились когда-то на его пути, особенно Наташка, девчонка с измученными глазами. Эта Наташка родила, кажется, от него дочь. Родит, может быть, и Олька Королева, но какой в этом во всем смысл?

Временами сознание прояснялось, и тогда он, вспоминая недавние свои мысли, весь холодел: «Что за чертовщина, умом, что ли, действительно трогаюсь? Наташка — жена ведь, и мать есть мать. Но как они там и что с ними? И как же у меня случилось с Олькой?»

А потом снова все смешалось, его охватывало полное безразличие ко всему, что происходило когда-то и что происходит сейчас.

— Ну да,— повторил он.— Они все равно полезут рано или поздно.

— А покуда ляг, Семен. Я плащ-палатку вот принес. Вот тут ляг, в воронке. Тут не печет. Тебе отдохнуть надо.

— Надо,— согласился Семен.— Что-то у меня, дядя Иван, в голове...

— Отойдет. После контузии бывает.

— Выберемся мы отсюда?

— А как же! Не в таких мы с тобой, Семка, переплетах бывали. Звезда наша удачливая. И теперь вывезет.

Говоря это, Иван расстилал плащ-палатку в глубокой яме. Крупнокалиберный снаряд когда-то угодил прямо в траншею, разворотил ее почему-то не по окружности, а полукольцом к вершине холма. Бруствер траншеи сделался еще выше, он-то и прикрывал единственное уцелевшее орудие во всей батарее, заметить его снизу было нелегко.

— Правда? — с детской надеждой спросил Семен.

— Ясное дело. Давай, ложись.

Семен покорно, с каким-то удовлетворением, с успокоенным выражением лица, лег. Прикрыл глаза, но тут же открыл их, поглядел на Ружейникова, который держал в руках принесенный Иваном котелок и ел кашу.

— А он говорит — сосенки-елочки...

— Мало ли чего? Я тоже так думал. Немца мы три раза отбили, отобьем еще... А тут, гляди, наши двинутся. Фронт же весь в наступлении. Отбросят немцев! Это они случайно прорвались и отрезали нас.

Ружейников что-то хотел сказать. Иван, заметив это, сделал ему знак рукой. Тот лишь усмехнулся, молча протянул котелок Магомедову.

Семен лежал без движения и глядел в блеклое небо. Затем встрепенулся и сел, вынул из нагрудного кармана перемятый листок.

— Дядь Ваня... Я письмо Наташке написал. Тут об Ольке... и обо всем. Я не подлец все же. Я не хочу ее обманывать. Так случилось, но я... не хотел Наташку тоже обижать. Хотя, наверно, ей это не понять. Но пусть знает, пусть знает... Ты ей пошли это письмо, если чего со мной. Обещаешь? А останусь жив — сам все ей расскажу. Я ее люблю, Наташку. Потому и расскажу все...

— Ладно, давай,— помедлив, сказал Иван, взял листок, не читая, спрятал в карман. — А теперь спи. Как чего — я тебя разбужу.

Семен, отдав листок, какое-то время еще глядел в небо. Потом медленно стал прикрывать веки. И едва прикрыл — задышал спокойно и ровно, провалился в сон, бездонный и глухой.

— Слава богу,— произнес вполголоса Иван, поднялся с колен, подошел к Магомедову. Тот протянул ему котелок с остатками каши.— Должон оклематься парень.

— Контузия-то тяжелая вроде,— качнул головой Ружейников.— Но перепонки целые. Это хорошо, что ты его успокоил... Сколько у нас гранат-то, Магомедов?

— Сорок две штуки еще. Мы с Савельевым ночью все немецкие автоматы собрали. Снарядов полно...

— Снарядов хватит. Артиллеристов нету,— сказал Ружейников, опять подходя к стереотрубе.

— Нас трое...

— Почему же? — Иван быстро опрастывал котелок.— Семен с пушкой тоже умеет обращаться.

— Значит, все четверо артиллеристы. Если он отойдет, Савельев... Ума не приложу все же, почему они нас в живых оставили? Ага, теперь понятно.— И Ружейников тяжело вдруг задышал.— Теперь понятно! Погляди, Иван Силантьевич...

Иван прильнул к стереотрубе, и жаркая волна, опаляя все внутри, прокатилась по телу, ударила в череп.

На рассвете Иван, вот так же глядевший в стереотрубу, рассмотрел лишь внизу торчавшие по всему склону и приречной луговине подбитые наши и немецкие танки. Отыскал взглядом и свою самоходку, развороченную взрывом. Она лежала на боку, вонзив в землю орудийный ствол. Подбитые машины уже сгорели, некоторые только жиденько дымили еще, дым стекал вниз, к блестевшей ленте речушки, заполняя по пути ямы и воронки, отчего они казались наполненными кипятком с паром. Сейчас картина была такой же, лишь пар над воронками поредел, земляные ямы дымились еле-еле, будто вода в них остыла. Но по противоположному берегу речушки шли колонны грузовиков, набитые немцами. Из-за расстояния шум моторов был совершенно не слышен, машины одна за другой появлялись из-за угора, откуда вытекала речушка, приближались к клинообразному лесному выступу, и почти каждый второй грузовик волок за собой пушку.

Оторвав бледное лицо от стереотрубы, Иван метнул взгляд на Семена. Освещенный лучами утреннего солнца, тот безмятежно спал, по-детски свернувшись калачиком, подложив сложенные ладони под голову. По бескровным щекам Ивана прошла судорога, скулы онемели, он через силу, с болью разжал губы и сказал неизвестно для чего:

— Пущай поспит напоследок...

— Магомедов, к орудию! Ставь панораму! — прохрипел Ружейников, поворачиваясь к стереотрубе.— Помирать будем сейчас, только с музыкой... Буди, Савельев, племянника... Всем к орудию!

Иван шагнул было к спящему Семену, но замер, услышав удивленный возглас:

— Сосенки-елочки!

— Что?

— Да глянь!

Ружейников снова уступил место у стереотрубы подскочившему Ивану, и тот увидел, в общем, прежнюю картину: вражеские грузовики с солдатами, с прицепленными пушками шли и шли вдоль берега, вытекая из-за угора нескончаемой вереницей. Но вместо того, чтобы разворачивать орудия в сторону высоты, как ожидали и Ружейников, и Иван, и Магомедов, немцы спокойно сидели в кузовах, а машины, огибая клинообразный лесной выступ, подступающий к самому берегу, устремлялись куда-то вдоль кромки леса, удаляясь от высоты.

— Непонятно,— произнес теперь и Иван, отрываясь от окуляров.— Там же, Магомедов говорил, непроходимые болота. Какого черта они туда пушки и войска гонят?

— Там болота, там болота,— кивнул дважды Ружейников, расстегивая торопливо планшет. Он извлек оттуда рваную карту, развернул, сел на дно траншеи.— Верно... Тут наша высота. Вот Жерехово. Речка эта прямо в болота и течет. За болотами деревушка Малые Балыки... Мы ее недавно отбили. Болота топкие, непроходимые. Какого черта немцам там надо? А?

— Не знаю,— сказал Иван, удивленный не меньше остальных.

* * *

Старший лейтенант Ружейников и рядовой Иван Савельев, запертые на высоте, не знали, что немцам нужно в болотах, зачем они гонят туда солдат и артиллерию, а командованию 215-й дивизии все было ясно.

Немецкое контрнаступление силами двух моторизованных и одной танковой дивизий, несколько дней развивавшееся в направлении Жерехова, выдохлось, от вражеских соединений остались жалкие лохмотья. Не желая рисковать остатками своих войск, они решили до подхода подкреплений перейти к обороне, спешно принялись зарываться в землю к западу и востоку от высоты 162.4.

Сама высота оказалась в стыке боевых порядков двух немецких дивизий, как бы в ничейной зоне. Оставшаяся на высоте советская батарея остервенело оборонялась, и немцы, видимо, не могли пока договориться, кому нанести по батарее окончательный удар и уничтожить ее, или не особо спешили с этим, понимая, что батарея все равно обречена.

— Понятно,— сказал командир 215-й дивизии полковник Велиханов, когда начальник штаба доложил ему данные разведки.— И если мы дадим немцам укрепиться как следует, то...

— В общем-то помешать им мы уже не можем, Илья Герасимович.

КП командира дивизии располагалось на бывшей пасеке, в просторном деревянном омшанике, сохранившем еще запах меда. Посреди омшаника из пустых ульев было сложено нечто вроде стола, на котором лежали оперативные карты, в углу на таких же ульях стояло несколько полевых телефонов, провода от них по вбитым в стены гвоздям тянулись к оконному проему без рамы. В этот проем дул теплый ветер, заносил в омшаник мух и лесных пчел.

У противоположной стены сидела какая-то молодая и красивая, кажется, женщина, только грязная и растрепанная. В руках она, обняв ладонями, держала кружку с горячим чаем, сдвинув густые брови, дула в эту кружку. Демьянов поглядел на нее с удивлением.

— Не можем... А с чего бы это они еще и вдоль болот окапываются? — Велиханов склонился над картой.

— Не имею понятия,— сказал Демьянов.

— А я догадываюсь, товарищ подполковник. Взятый на рассвете язык показал — немцам уже известно, что к нам прибыла штрафная рота. И они боятся, что рота может ударить здесь.

— Через болота? Но это невозможно! — воскликнул начальник штаба.

— Возможно. Через болота три-четыре тропы есть. Я с батькой укажу.

Это проговорила женщина с кружкой. Демьянов опять глянул на нее. Женщине это будто не понравилось, она угрюмо сверкнула мокрыми глазами, встала и вышла из омшаника. Когда поднялась, под измятой черной юбкой обозначился круглый живот — женщина была беременна.

Демьянов ничего у командира дивизии не спросил, только поднял вопросительный взгляд.

— Ее Алексиной зовут,— сказал полковник. — Немцы ее изнасиловали еще зимой. Пришла попросить, чтобы военные медики аборт ей сделали.

— Вот как?!

— У нас, говорю, нет таких специалистов... Да и поздно, судя по всему. Плачет вот... Как с эвакуацией раненых?

— Делаем что можем, — пожал плечами Демьянов.

— Да немцам укрепиться мы помешать не в состоянии.— Велиханов взял карандаш, обвел на карте кружком пространство между лесом и болотами.— Пленный показал, что завтра к полудню они подкреплений ждут из Орла.

— Кроме того, в любой момент немцы могут перекинуть сюда войска с соседних участков.

— Могут. И поэтому не позже, чем на рассвете, надо нам эту пробочку вышибить, иначе мы тут надолго застрянем. К счастью, нам придается еще артиллерийский полк, как раз завтра к рассвету прибудет. А штрафная рота ударит все же здесь! — Командир дивизии ткнул карандашом в кружок на карте.— Через болото. Нам важно в стык немецких дивизий вбить клин, рассечь вражескую оборону. Как только мы это сделаем, немцы, боясь окружения, попятятся.

Продолжение следует.

Анатолий ИВАНОВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Рисунки П. Пинкисовича

* * *

Этот разговор начальника штаба с командиром дивизии произошел вскоре после приезда капитана Кошкина в дивизию, и вот теперь, к исходу дня, штрафная рота, получив боевой приказ, покинула деревушку Малые Балыки, чтобы до темноты прибыть к восточной оконечности болот, которые начинались в двух километрах от Жерехова.

Двигались повзводно, с интервалом в полкилометра. Строя никакого не соблюдалось, бойцы шли кучками, командиры отделений то пропускали своих подчиненных вперед, стоя на обочине, словно пересчитывали людей, то пробегали, обгоняя всех, в голову колонны, покрикивая: «Не растягиваться! Па-а-шире ша-ar!»

Бойцы шага не прибавляли, но и не убавляли, и это означало, что команда все-таки выполняется.

Сбоку дороги пегая лошаденка тащила телегу, на которой сидели два дряхлых старика и угрюмая женщина в старом мужском пиджаке, подпоясанном ремнем, в черном платке. Один из стариков правил, другой, чуть помоложе первого, спустив ноги с телеги и едва не бороздя ими по земле, с любопытством оглядывал штрафников. Женщина ни на кого не обращала внимания, угрюмо глядела куда-то перед собой и, кажется, ничего не видела. Старики были безоружными, а женщина сжимала автомат, который лежал у нее на коленях, обтянутых тоже черной, как платок, юбкой.

— Что за чучела?! — уже не первый раз спрашивал Гвоздев, подбегая то к Зубову, то к Макару Кафтанову.— Куда они с нами, а? Гляди, бабе даже автомат выдали!

— Проводники, слышал я,— сказал наконец Зубов.— Через болота нас поведут.

— Проводники-и! — Гвоздев похлопал радужными, красивыми глазами.— Хе-хе, прижать бы где эту проводницу спиной к земле...

— Дурак. Она же беременна,— поморщился Зубов.

— Ну-к что... Я же не роды принимать стал бы. Немножко, хе-хе, наоборот.

Зубов поморщился еще раз и вяло, без всякой неприязни к Гвоздеву подумал: «Пристрелить бы его все же хорошо...»

Всем бойцам штрафной роты перед маршем были выданы автоматы, по четыре диска к ним, по три гранаты. Макар Кафтанов, длинный, давно не бритый, нес автомат не за плечом, как многие, а на шее, оружие будто гнуло его к земле, он горбился, временами, словно через силу, распрямлялся и зло сверкал черными цыганскими глазами, оглядывая бредущих людей, стариков и бабу на телеге. Гвоздев, потный и красный, какой-то весь взвинченный, то и дело подскакивал к нему.

— А что, Макар? Через болота, а? А дале что? На убой же гонят.

— Отвяжись,— сплюнул Макар и почесал пятерней потную, исколотую непристойными картинками грудь.

— Да ты не плюйся, а давай подумаем... Не пора ли подумать, говорю! А, Зуб? — хрипел он, оборачиваясь к Зубову. И снова к Макару:— Через болота мы, кажись, в тыл немцам выйдем, я кумекаю. А немец — он что? Он нашего брата, уголовника, ребята говорили, не обижает... Самый момент, братцы!

— Вон командир отделения как услышит...— Макар кивнул на пробегающего куда-то назад отделенного.

— Ну, гляди, Макар,— прошипел Гвоздев.— Еще такого случая, может, и не подвернется.

Макар на это ничего не ответил, будто не слышал, а Зубов опять подумал равнодушно, не испытывая никаких эмоций: «Пристрелить собаку...»

* * *

Капитан Кошкин и старший лейтенант Лыков в пункт сосредоточения роты на восточной окраине болот приехали до прибытия взводов за полчаса. Здесь, на сырой поляне, окруженной чахлым разнодеревьем, дымили уже полевые кухни, старшина роты Воробьев покрикивал на бойцов хозвзвода, заканчивающих сооружение на краю поляны командирского блиндажа. Санитарные палатки, о которых еще днем говорил лейтенант-медик, прятались в тени кустов, возле них мелькали девчонки-санинструкторы, прибывшие сегодня утром из запасного полка, некоторые были без ремней, в нижнем белье, с распущенными волосами.

Узнав о прибытии командира роты, девчонки с писком попрятались, а через некоторое время появлялись уже одетые по форме, с сумками на боку.

— Так,— мрачно сказал Кошкин, оглядев поляну. Сел на кочку, задрал голову вверх, куда струились дымки от полевых кухонь:— Не засекут? В двух километрах немцы...

— Кругом дымно, чего там,— произнес Лыков.

Боевые действия на этом участке, утихнувшие вчера под вечер, в течение дня не возобновлялись, но во многих местах еще догорали подожженная техника, участки леса и, видимо, какие-то деревушки, дым расползался над всей округой, над болотом, утихомиривая комаров. Если бы не дымная мгла, от комаров, наверное, не было бы спасения.

У достраивающегося блиндажа суетились связисты с катушками проводов, вешали провода на шесты, на крупные сучья деревьев.

— Скоро они? — Кошкин взглядом показал ординарцу на связистов. — Узнай. И начсанчасти позови. И Воробьев пусть подойдет.

Первым подбежал лейтенант-медик, начал было рапортовать, но Кошкин махнул рукой.

— Развернулся?

— Так точно, товарищ капитан. Осталось поставить операционную палатку.

Никаких операций в санчасти роты делать не полагалось, тяжелораненых следовало немедленно отправлять в дивизионный санбат или эвакогоспиталь, но рота дралась обычно в местах, от которых эти медицинские подразделения находились далеко. И средств для отправки раненых, как правило, почти не было. Кошкин всегда добивался, чтобы начальником санчасти в роте состоял более или менее опытный хирург, который в полевых условиях был бы способен делать простейшие операции.

— Не надо ставить, — сказал командир роты лейтенанту. — И поставленные палатки убирай.

— То есть... как?

— Связь, Данила Иванович, будет через час, — сказал подошедший ординарец. — Командир взвода связи сам где-то тянет линию.

— Хорошо. Как появится — немедленно свяжите меня с «Ромашкой».

— Будет сделано, товарищ капитан.

«Ромашка» — командир подразделения, которое с наступлением темноты должно было занять позиции на левом фланге.

Появился, на ходу вытирая потную шею пилоткой, старшина Воробьев.

— Ты вот что, — сказал ему Кошкин.— Блиндаж тоже прекратите строить.

— Почему?

— А потому... — Кошкин еще раз поглядел на небо. — Воздушной разведки противника не было?

— Я тут уже несколько часов, — сказал Воробьев. — Ничего не пролетало.

— Наше счастье, значит... Ужин готов?

— Так точно.

— Сейчас подойдет рота. Накормить всех хорошенько. Проверить у каждого бойца НЗ. И вот что... Можем ли еще что-нибудь в НЗ добавить? Бой будет, возможно, долгим.

— Есть немного свиной тушенки. Ну, центнера полтора сухарей.

— Все раздать...

— Да это же в Балыках осталось.

— Доставить! — прикрикнул Кошкин.— Немедленно! Вон, возьмите мою машину.

— Слушаюсь! — вытянулся Воробьев.

— Товарищ капитан? Все-таки непонятно... как же свертывать санпалатки? — спросил лейтенант-медик.

— Выполнять... Не понадобятся. По прибытии роты будет отдан боевой приказ, все поймете... — И повернулся к ординарцу: — Принеси нам со старшим лейтенантом ужин.

Ужинали Кошкин и Лыков тут же, на траве, поглядывая, как девушки-санинструкторы и бойцы хозвзвода свертывают палатки, грузят их на санитарные повозки. Солнце село, болота, поросшие желтым ивняком, дышали жарким, вонючим испарением, оттуда, казалось, выползала тьма и, пропитывая и без того дымный воздух, медленно заливала поляну. Было тихо, фыркали изредка лошади, звенели удилами, да время от времени раздавался приглушенный девичий хохоток.

Кошкин и Лыков прибыли сюда прямо из штаба дивизии, куда ездили за уточнением хода предстоящей операции. Вышли они от Демьянова мрачными, всю дорогу не разговаривали и сейчас, поскребывая ложками в котелках, молчали.

Первые бойцы роты появились на поляне из-за кустарников неожиданно. Командир взвода старший лейтенант Крутояров, в прошлом камчатский рыбак, до сих пор не

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18—29.

ВЕЧНЫЙ

расстающийся с тельняшкой, что-то негромко скомандовал, бойцы начали строиться вдоль поляны.

— Ну, что, Лыков, — вздохнул Кошкин, отставляя котелок, — приближается судный наш час, что ли?

— Я особо в жизни не грешил, — ответил тот с усмешкой. — Пил до войны в меру, жену не обманывал. До того, как познакомился с ней, были, конечно, девчонки... Так что пронесет, я думаю. А твое настроение мне не нравится,

— Да, брат, под сердцем сосет, — признался Кошкин. — Такого боя, какой предстоит, у нас еще не бывало. Не напрасно роту положим?

— Не уверен?

— А ты?

— Нам надо быть уверенными, — вместо прямого ответа сказал Лыков.

— Надо... Это и я знаю, что надо.

Они помолчали, глядя, как выстраивает подходящих бойцов взвода Крутояров. Потом он опять что-то скомандовал, строй качнулся, но не рассыпался, люди просто сели на землю.

— Это правильно, — сказал Кошкин. — Пусть отдыхают, переход был немалый. Значит, так, Лыков... После ужина собери всех командиров отделений. С подробностями объясни всю ситуацию, проведи, словом, всю политическую подготовку. Я перед этим отдам всем подразделениям боевой приказ... Потом буду лично говорить со всей ротой.

На поляну, мягко постукивая по кочкам, выехала телега, на которой сидели два старика и женщина.

— Ну, давай, занимайся своими делами,— вставая, проговорил Кошкин. — А я со стариками этими еще разок потолкую... И чтоб костры не вздумали разводить. С наступлением темноты, я думаю, воздушные разведчики начнут болтаться.

* * *

Кошкин был прав: когда навалилась темнота, в небе глухо загудела немецкая «рама», то приближаясь, то удаляясь. Когда воющий звук приближался, над небольшой поляной, где скучилась рота, раздавалась протяжная, негромкая команда:

— Ко-ончай курить! Задавить окурки!

Каждый послушно тыкал папиросы в землю. Все понимали, что будет, если немец сверху засечет местонахождение роты и на поляну посыпятся снаряды, а то и бомбы.

И вообще рота перед боем всегда преображалась, дисциплина подтягивалась. По-разному готовились штрафники к предстоящему испытанию тяжелым боем. У иных проявлялись отчетливые проблески сознания воинского долга. Даже самые отчаянные головорезы притихали, понимая, что наступает рубеж, за которым или ничего не будет, или следующим утром для них взойдет солнце. Сделать трудное дело и остаться при этом в живых надеялся все-таки каждый, и эта вера, всегда замечал Кошкин, даже в самом отпетом преступнике вдруг высвечивала человеческие черты, давно в нем уничтоженные, задавленные уголовным бытом, безжалостными законами этого страшного мира. И, что любопытно, реальное, почти ощутимое дыхание смерти все-таки относительно редко толкает этих людей на новые преступления. Бывают, конечно, случаи, как с Гориллой, но по отношению к общей массе людей в роте это мелочь. Бывают самострелы, «мыльники», пытающиеся таким способом увильнуть от предстоящего боя. У таких людей приближающееся ледяное дыхание смертельной опасности вызывает животный страх, но и их, в общем, тоже немного. Попадаются, наконец, экземпляры, рассчитывающие сохранить никчемную и жалкую жизнь свою сдачей в плен врагу в удобный момент в ходе боя... Но подавляющая масса штрафников готовится к крещению огнем и кровью покорно, сознательно и честно, отчетливо, наверно, в этот момент понимая и ощущая, в какой огненный, постепенно смыкающийся круг каждый сам себя загнал, вырваться из которого можно только честным исполнением того, что требует стоящая выше неумолимая и безжалостная сила военных законов.

Раздумывая сейчас как-то помимо воли обо всем этом и еще о десятках больших и малых, крайне важных в данный момент вещей, Кошкин щепками прикалывал к земляной стене недостроенного блиндажа большой лист бумаги, на котором крупно была обозначена продолговатая поляна, где сосредоточилась сейчас рота, болото, речка, высота за ней, немецкие траншеи по краю болота и по обеим сторонам высоты. Подобные «наглядные пособия» он всегда рисовал перед началом боя, полагая, что зрительная память командиров взводов и всех прочих подразделений роты может помочь им в дыму и грохоте боя лучше ориентироваться на местности, лучше управлять боем и обеспечивать его всем необходимым.

Блиндаж освещался немецкой карбидной лампой, командиры взводов и всех других служб, расположившиеся вдоль стен, хмуро наблюдали за Кошкиным. Свет лампы окрашивал все лица в бледно-серый, неживой цвет. В углу кучкой сидели старики и женщина в выданных им крепких армейских сапогах; старики были в зеленых новеньких бушлатах, а женщина все в том же обмызганном пиджаке, на коленях ее лежал, как и в дороге, автомат, который она сжимала обеими руками. Глаза ее угрюмо поблескивали из-под низко надвинутого платка.

— Слушать внимательно, — сказал Кошкин, оборачиваясь и вытаскивая из-за голенища тонкий прутик.— Мы — здесь, на поляне. Где-то там, по кромке болот и, конечно, в лесу, клином выходящем к речке, немцы. До них примерно два километра. Сколько их, мы не знаем... Точных разведданных нет. Известно лишь, что немало. Много артиллерии. Взводам роты предстоит подойти к немцам скрытно через болота. Тропки на карте показаны условно. По их словам,— Кошкин кивнул в угол, где сидели проводники,— одна тропа выходит прямо к лесному мысу, вторая вот здесь, метрах в семистах от первой, третья — к речке. Так? — повернулся он в угол.

— В аккурат... на луговинку и к речке, — пошевелил бородой один из стариков. — Бывалоча, я ишо в холостяках шнырял по этой тропе из Зозулина. В Зозулине жил-то я. В Жерехово, значит, чтоб... Это счас мы в Малых Балыках, а тогда в Зозулине жили.

— Хорошо, — сказал Кошкин, повернулся было снова к карте. И вдруг спросил: — А зачем тебе, отец, в Жерехово-то надо было?

Он спросил это, посмеиваясь, и видно было, что знал, какой будет ответ.

— А по молодому делу, — ответил старик. — К матке ихней хаживал... Алексины да Терешки вот.

Плеснулся хохоток, люди зашевелились, будто отряхивая тяжесть, лежавшую незримо у каждого на плечах. Некоторые полезли за табаком.

— Курить отставить, задохнемся ж, — проговорил Кошкин, тоже улыбаясь, довольный, что люди ожили. — Прошу внимания. Значит, одна тропа на два взвода. Бой предстоит необычный, прошу это понять всех. Хотя обычных у нас не бывает, но этот... Брать немецкие траншеи предстоит под шквальным огнем нашей артиллерии...

В блиндаже немедленно установилась гробовая тишина. Но спрашивать никто ничего не спрашивал, ожидая дальнейших слов командира.

— Да, товарищи, под своими собственными снарядами... Немцы ожидают, что мы ударим именно здесь. Больше негде... И заранее по всему берегу болота заняли сегодня утром оборону. Знают или не знают, где выходят из болота тропы, не могу сказать. Не исключено, что кто-нибудь из местных жителей и указал им... Врагу, надо полагать, неизвестно время удара, но он подготовился... Твердых площадок для накопления бойцов перед ударом не будет, атаковать придется с ходу по выходе из болота. И немец встретит, конечно, наши жиденькие цепочки, вытекающие из болота, огнем в упор. Пулеметным и пушечным... Чтобы его подавить в момент атаки, и будет гвоздить наша артиллерия... По вражеским головам и по нашим.

Карбидная лампа горела ровно, обливая всех жиденьким светом, люди сидели не шевелясь, тупо, казалось, осмысливая страшные слова командира роты. Алексина, медленно вращая головой, оглядывала всех враждебно блестевшими из-под платка глазами и будто спрашивала безмолвно всех сразу: «Что, испугались, командиры?»

Кошкин тоже оглядел своих подчиненных и тоже будто остался недовольным их видом и состоянием. В гневе раздувая ноздри, сказал:

— И кроме того, все болотные берега, я думаю, заминированы... Во всяком случае, я бы так сделал, ожидая в подобной ситуации атаки вражеской штрафной роты. А немец — он тоже не дурак.

Один из стариков, то ли отец, то ли сын, тоненько, по-птичьи чихнул, торопливо перекрестился, прошепелявил непонятно к чему:

— Прости ты, господи, грехи наши тяжкие.

Кошкин покосился в угол на проводников, продолжал:

— Когда ворвемся во вражеские траншеи — огонь нашей артиллерии по сигнальной ракете прекратится. Тут уже не зевать. Боекомплект у бойцов невелик, но как пользоваться немецкими автоматами и гранатами, мы людей учили... Взяв траншеи, уничтожив врага, быстро преодолеть эту речку, сосредоточиться у подножия высоты 162.4, по правому склону, вот здесь.— Кошкин щелкнул прутиком по бумажному листу. — Одновременно с атакой роты на вражеские позиции у болота начнется наступление наших войск справа и слева. Перейдя речку, мы окажемся в тылу у немцев... Наша задача — ударить им в спину, опять... — Кошкин на несколько секунд остановился, ноздри его снова хищно пошевелились, брови сдвинулись. Он переступил с ноги на ногу, сломал прутик, отбросил его. — В общем, навстречу нашим наступающим войскам пойдем. Навстречу нашему огню... Вот так, в общих чертах. Но пока поставить роте задачу — взять траншеи на берегу болота. Только эту задачу! А там... приказ последует. Я буду вместе с ротой. В случае моей гибели командование принимает старший лейтенант Лыков. В случае его гибели — лейтенант Крутояров. Затем командиры второго, третьего взводов... В резерв себе беру два отделения.

ЗОВ

Связных от каждого отделения выделить вдвое больше. Санитарам двигаться вслед за бойцами, раненых с поля боя выносить будет некуда, стаскивать их в воронки от снарядов, в ямы и канавки...

Кошкин говорил еще несколько минут, отдавая необходимые перед боем распоряжения. И, наконец, вздохнув, совсем не по-военному сказал:

— Ну и, кажись, все...— Повернулся к проводникам: — В болоте-то не перетопнем?

— Не... Ежели цепочкой, то не... — сказал один из стариков.

Другой добавил, потряхивая бородой:

— Коров мы тут дажеть прогоняли. А сапог — он не вострое копыто. Под ногой пружинить будет, знамо... Пущай солдаты не боятся.

— Этого не испугаются... Ну, все. Идите в свои подразделения, готовьте людей. Через час построить роту!

* * *

Рота была выстроена повзводно по краю поляны, залитой чернильной темнотой.

Кошкин, молча расхаживавший вдоль строя, не видел глаз бойцов, не различал их лиц, но по едва уловимому движению в колоннах чувствовал то напряжение, с которым люди ждут его слов.

Он еще помолчал, прислушиваясь к мертвой тишине, немного удивляясь возникшему вдруг неизвестно почему чувству покоя и благополучия; на секунду почудилось, что нет никакой войны, на всей земле царит покой и мирный труд, что люди, собравшиеся на поляне перед болотом, вовсе и не бойцы штрафной роты, а члены какой-то невиданно огромной колхозной бригады, и вот, поужинав после трудового дня, они собрались уходить с полевого стана по домам.

Но эти мгновения продолжались недолго, в груди появилась сосущая боль, сердце чем-то прищемило. И Кошкин, поморщившись, резко остановился, вскинул голову.

— Бойцы и командиры! Приближается минута, о которой так или иначе каждый из вас думал. Не так давно и я стоял на месте каждого из вас... Участвовал я во многих смертельных боях... и перед каждым боем о чем-то тоже думал. О чем? О смерти и гибели? Нет. Чего ж думать об этом — смерть и гибель на войне кругом. И думай не думай тут, а судьба, если выпала такая, она тебя найдет. Нет, я думал вот о чем: плохой ли я, хороший ли — ладно, но почему эту землю, где я родился и рос, топчет проклятый фашист, по какому праву он терзает ее, жжет огнем и взрывает железом, почему он вонючим своим поносом испражняется на нее?

Все это, в том числе и последние слова, Кошкин произнес обдуманно. Давным-давно он понял, что патетика и громкие речи этими людьми не воспринимаются, с ними говорить нужно грубо, обнаженно и цинично. Тогда народ этот считает, что с ним говорят откровенно, по-человечески.

По рядам прошел ропот, шеренги в темноте закачались, строй, казалось, сейчас рассыплется. Но Кошкин этого не боялся, он был доволен, что его слова вызвали в роте протестующий ропот, — значит, дошло, царапнуло многих за что-то живое, что еще тлело в мрачных глубинах их давно опустошенных и сгнивших душ.

— Сми-ир-рно! — рявкнул Кошкин во все легкие. И эта команда произвела необходимое действие: рота замерла.

Кошкин помедлил ровно столько, сколько было нужно, чтобы каждый штрафник почувствовал и осознал, что команда выполнена не им одним, а всей ротой. И насмешливо произнес:

— Обиделись... Один мой знакомый говорил: обиделась кобыла, что ей шлею под хвост вдели. Да у кучера кнут был...

На этот раз шеренги не дрогнули, стояли неподвижно, только слышалось во мраке тяжкое дыхание. Теперь, когда у штрафников было разбужено что-то живое, можно было говорить с ними несколько по-иному.

— Вы провинились тяжко перед родителями, которые вас на свет произвели, перед землей, на которой живете, перед всеми людьми... А все это вместе называется Родиной. Вы надругались над Родиной, оскорбили ее. И ей ничего не оставалось, как взять в руки кнут, крепкий, беспощадный, чтобы научить заблудших своих граждан.

Заложив пальцы за ремень, Кошкин сделал вдоль строя несколько шагов, повернулся, зашагал в другую сторону.

— Но Родина не только сурова, а и добра. Не думайте, что в тяжкий для нее час она призвала вас на ее защиту... Защитников у нее хватит. Они дерутся с врагом не из-под палки... А по долгу сыновей и дочерей Отчизны. Вам же Родина просто по доброте своей предоставила последний шанс возродиться из грязи, очиститься огнем и кровью от слизи и гноя, который проел насквозь ваши души, заслужить ее прощение...

Где-то над болотом опять завыла «рама», на этот раз не близко, звук ее, возникнув, сразу же стал отдаляться. Через несколько секунд далеко на западе слабеньким колеблющимся заревом осветился кусочек неба, донесся редкий лай зениток.

Ни один человек в строю не шелохнулся, и Кошкин с удовлетворением отметил это. Постреляв, пушки умолкли, зарево, будто обессилев, погасло. И опять наступила тишина.

— Характер предстоящего боя вы знаете, — произнес Кошкин в полнейшем безмолвии. — Я же скажу вам одно: после этого боя все... и пролившие и не пролившие кровь будут освобождены из роты. Подчеркиваю — все! Кроме тех, конечно, кто проявит в бою трусость, кто вздумает прятаться за спины товарищей. Таких мерзавцев после боя расстреляем! Хочу, чтобы и это было ясно... Вопросы есть?

Вопросов не было.

* * *

Болотная жижа хлюпала под ногами.

Ощущая под собой тонкий и ненадежный травяной пласт, готовый в любую минуту порваться, Петр Зубов шагал за низкорослым штрафником, боясь потерять во мраке или за кустами его спину. Алексина, мрачная беременная проводница, идущая где-то впереди их взвода, еще там, на поляне, предупредила: «Идти цепкой и друг от дружки не отставать. Отстанет ежели кто, ткнется в бок — и леший болотный за ноги вниз утянет. А так тропа просторная, мало что зыбучая — это ничего, надежно. Идти я буду тихо...»

Сзади, хрипло дыша прокуренным горлом, шел Гвоздев, он тоже боялся отстать, и временами Зубов ощущал его горячее дыхание на своей шее, слышал обессиленные злобой, приглушенные матерки.

Теплый болотный воздух был вонюч и едок, идти было тяжко, глаза заливал пот, автоматные диски и гранаты больно оттягивали ремень. К тому же комарье, поднятое, как дорожная пыль, движением людей, резало лицо, шею, кисти рук, прожигало плечи и спину сквозь взмокшую гимнастерку. Люди обмахивались ветками, но комарье это не отгоняло.

Низкое небо, не то по-прежнему задымленное, не то покрытое тучами, черной крышкой висело над головой, и Зубову чудилось, что оно постепенно опускается, как чудовищный пресс, все ниже, грозя его и всех остальных вместе с этими чахлыми кустами, с жесткой осокой и комарами вдавить в зыбкую болотную почву.

Алексина выполняла свое слово, шла где-то впереди медленно, а временами, видимо, вовсе останавливалась, давая возможность всем подтянуться. Пока задние подтягивались, Зубов, стоя в длинной шеренге, слушал редкое кваканье лягушек, перебирал в памяти недавний разговор с Алейниковым и думал о жизни — непонятной ему, жестокой и бессмысленной для него. Ему уже скоро сорок лет, он не нашел в этой жизни места и не найдет, конечно, он враждебен этому миру, и мир ему враждебен. Да и не только ему. Вот сколько тут, в болоте, людей, безжалостная сила гонит их сквозь топи вперед, навстречу смерти. Впереди смерть и сзади, если повернуть,— смерть. «Вы надругались над Родиной, оскорбили ее... И ей ничего не оставалось, как взять в руки кнут...»

Эти слова командира роты капитана Кошкина, кажется, ничего не вызвали в душе Зубова, он слышал их тысячу раз и раньше, потому по привычке внутренне усмехнулся. Только мелькнуло почему-то в мозгу, что и Алейников во время их беседы говорил, собственно, о том же, хотя таких слов не произносил. Кнут... Но какой-то чудовищный кнут вообще свистит над землей, гонят под небом неисчислимые толпы людей то в разные стороны, то навстречу друг другу, и тогда люди вступают между собой в смертельную драку. «Тут уж кто кого, борьба классов...»

Фраза эта, сказанная недавно Алейниковым, будто наяву прозвучала вдруг опять над ухом. И Зубов удивился, что мысль, заключенная в этой фразе, забытая и ненужная ему, оказывается, жила где-то в нем, как огонек под слоем холодной золы, и вот неожиданно всплыла, будто опровергая его спутанные и невеселые мысли. А почему «будто», подумал он, мрачнея. И почему «ненужная»? Ведь он, Зубов, спросил же у Алейникова: «От людей мне прощение может быть или нет?»

Над болотом потянули теплые, гнилые струи воздуха, нисколько не освежая вспухшего от укусов комарья и от внутреннего жара лица, лягушки все трещали где-то хрипло и скрипуче, будто ворчали на нарушенный покой, уныло шуршали мелкоствольные ивняки, мотали космами ветвей. Рядом стоял Гвоздев, он поглаживал ладонью автоматный ствол и о чем-то вполголоса переговаривался с Кафтановым. Тот слушал, не отвечая, вытягивал исхудалую шею, смотрел куда-то поверх кустов, и Зубов не пытался разобрать слов Гвоздева. «Опять уговаривает к немцам, — подумал Зубов. — И уговорит, наверное, поддастся Макар... Сволочи».

Еще у Зубова мелькнуло, что Макар Кафтанов в последнее время как-то свял, замкнулся, хмуро о чем-то все время думал, будто внутри у него что-то завелось и начало больно точить. Макар стал худеть, даже осунулся, лицо сделалось костлявым. Но тут же эта мысль пропала, в голове ворочалось, охлаждая по всему телу горячую кровь: «Убьют сегодня, найдет меня в конце концов пуля. А жалко».

Зубов думал так о себе, как о ком-то постороннем, которого могут убить в предстоящем бою и которого ему будет жалко.

Взвод, растянувшийся на большое расстояние по болоту в одну шеренгу, где-то впереди снова двинулся, под ногами захлюпала вода. Зубов, ощущая на плече тяжесть автомата, шагал и думал теперь еще более угрюмо, что какие-то странные вопросы, подобные вот этому — может ли ему от людей прощение быть? — беспрестанно возникают в мозгу. Вопросы возникают, но ответа на них нет, никто не может их дать. И Алейников не дал, пошел философию разводить: есть, мол, разные преступления, некоторые даже закон может простить, а люди — никогда. Например, измена Родине... Родине я не изменял и не собираюсь, это вон Гвоздев, кажется, собирается. Кафтанова Макара уговаривает. А я — нет, хотя что для меня Родина, где она, какая она! Для отца, видимо, была какая-то и где-то Родина, его за это убили... Борьба классов. А я какой класс? И может ли быть, может ли отыскаться для меня Родина? Она где-то существует, чужая и непонятная, суровая, но и добрая, как говорил недавно на поляне Кошкин. Где же она существует? Где нашел ее сам-то Кошкин, в прошлом тоже заключенный? Спросить бы у него...

Мысль эта, возникшая, как и все остальные, неожиданно, в отличие от других не пропала, не исчезла, а начала ворочаться в мозгу все беспокойнее, вызывая чувство и облегчения и надежды. Зубову казалось: стоит спросить — и откроется неведомое, куда он шагнет, оставив разом за плечами свою ужасную, непроглядно-кошмарную жизнь, мрак и чернота сомкнутся за ним, разом отрежут, отсекут все прошлое. Пусть будет этот страшный бой сейчас, пусть будут еще десятки боев — он, Зубов, каждый раз будет кидаться в самую их гущу, в самый огонь и грохот, он не из трусливых, и ни пуля, ни осколок, ни струя из пулемета не возьмет его! Он будет как заколдованный, потому что будет знать, где она, Родина, и что это такое! Отчего это он вдруг подумал, что сегодня неминуемо погибнет? Не погибнет, если спросит, если узнает... Но как спросить? Где сейчас увидишь капитана Кошкина? Он там, на поляне, куда будут к нему бегать связные с сообщениями о ходе боя. Как они будут бегать через все болото? Как это Кошкин на таком расстоянии будет руководить боевыми действиями взводов и отделений? Нет, кажется, всю роту действительно на убой гонят, как скот.

«Как скот... как скот...» — зазвонила в виски горячая кровь, опять отдаваясь болью, смывая, захлестывая пролившееся было в душе облегчение. «Какая, к черту, Родина для меня? — вспыхнуло у него в голове горячим пожаром, злоба и ненависть к тому же Кошкину, к шагающему позади Гвоздеву и Кафтанову, ко всему миру враз, в одну секунду переполнили его. — И прав этот сопляк, может быть, Гвоздев этот... У немцев, наверное, лучше будет. Лучше!»

Не убавляя шага, Зубов стал заворачивать голову через плечо, чтобы взглянуть на Гвоздева, но увидел... капитана Кошкина. Тот стоял сбоку, совсем близко, на болотной кочке, опираясь обеими руками на толстую палку, смотрел на проходящее мимо отделение, глаза его в полумраке поблескивали. «Как пастух», — мелькнуло почему-то злорадно у Зубова, и он остановился. На него тотчас наткнулся Гвоздев, на Гвоздева — Кафтанов.

— В чем дело?! — сердито проговорил Кошкин. — Вперед! Не останавливаться!

— Разрешите обратиться, товарищ капитан! — как-то само собой вырвалось у Зубова, хотя в эту секунду он уже не хотел задавать свой вопрос ни Кошкину, ни кому бы то ни было.

— Ну? Что такое? Не останавливаться!

Гвоздев скривил губы, царапнул насмешливо сверху вниз Зубова глазами — все это Зубов скорее почувствовал, чем увидел, и зашлепал сапогами. И Макар Кафтанов, скользнув в темноте взглядом по Зубову, тоже пошел, и все остальные за ним. Зубов же, поправляя автомат на плече, стоял напротив Кошкина, удивленный, что командир роты находится здесь, а не на поляне, за болотом.

— Я слушаю, Зубов, что у тебя?

— Да так... Пустяки. И вам смешно, наверное, будет,— угрюмо проговорил Зубов.

— Тогда я и посмеюсь.

— Вы сами были в штрафной роте. За что, я не спрашиваю.

— Вот как! — Голос Кошкина на этот раз прозвучал более жестко, он, кажется, нагнулся к Зубову, глаза его оказались совсем близко и больно резанули по лицу. И Зубов вспомнил — точно так же эти зрачки впились в него там, под Валуйками, когда он, повергнутый наземь, признался, что стрелял в него.— А что же ты хочешь спросить?

— Я вот все шел по этому болоту и думал про те слова ваши о Родине... По-всякому о них думал. И любопытно стало мне: сами-то вы где... и в чем нашли Родину? Что это такое?

Зубов все это произнес медленно, отвернувшись от Кошкина, глядя, как во мраке течет и течет нескончаемая цепочка штрафников, слушая, как чавкает болотная жижа под их сапогами.

По-прежнему над головой висело низкое, черное небо, лишь с одного края, где-то далеко оно временами озарялось слабым и бессильным заревом — может, то немцы или наши пускали ракеты, а может, просто поблескивали летние зарницы.

Кошкин стоял, не шевелясь, все так же опираясь обеими руками о палку. Он все так же пристально глядел на Зубова. И хотя тот стоял отвернувшись, но чувствовал этот взгляд.

— Ну-ка подними голову! — жестко скомандовал Кошкин.

И Зубов вдруг почувствовал, что поднять голову и поглядеть в блестевшие во мраке глаза Кошкина ему нелегко. Какая-то сила мешала этому, шея вдруг одеревенела.

Он собрал все силы и, чувствуя, как трещат шейные позвонки, голову все же поднял.

— Вот что, Зубов... И это болото — Родина. И это небо и комары. И та земля...— Кошкин кивнул через плечо в сторону, куда цепочкой двигались штрафники,— ...та земля, в которую зарылись сейчас фашисты. И дело не в том, где ее найти... Ты не об этом хотел спросить.

— Может, и не об этом,— согласился вдруг Зубов.

— А вот когда найти?! А?

— Правильно,— выдохнул Зубов, поражаясь чему-то.

Командир роты с полминуты молчал, кромсая Зубова блестевшими глазами. И Зубов, не смея без команды повернуться и уйти, стоял покорно, не решаясь даже отвести взгляд, опустить голову, стоял и ждал еще каких-то слов этого человека, наделенного неограниченной властью, имевшего право, даже обязанного там, в Валуйках, пристрелить его, но не сделавшего этого.

— Так вот, мне кажется, что скоро ты найдешь ее в конце-то концов,— проговорил Кошкин.— Во всяком случае, я желаю тебе этого, Зубов... Встать в шеренгу!

Продолжение следует.

Анатолий ИВАНОВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ВЕЧН

Весь день на высоте прошел спокойно. Немцы не забыли, однако, о русских, оставшихся у них в тылу, их снайперы таились где-то под разбитыми, обгоревшими танками, внимательно наблюдали за высотой, и едва над бруствером окопа возникал силуэт или мелькала тень (Иван время от времени и в разных местах высовывал из окопа на черенке лопаты то каску, то снарядную гильзу), сразу раздавалось несколько выстрелов, пули торопливо клевали в металл, со звоном уходили в рикошет.

— Отставить! — в конце концов распорядился Ружейников.— Отрикошетит в тебя самого или в кого из нас!

— Полезли бы уж, что ли,— вяло проговорил Иван, отбрасывая палку.— Коли судьба нам тут, так уж скорей пущай. А то жилы тянут.

— Ай, ай, умирать торопишься? — с укором произнес Магомедов.— Успеешь.

Иван ничего не ответил азербайджанцу, поглядел на безмятежно спящего Семена, потом задрал голову, стал смотреть куда-то вверх.

Там, в недавно очистившемся от дыма небе, медленно кружил, распластав крылья, неизвестно откуда взявшийся аист. Он парил на небольшой высоте, с земли было видно, как он поворачивал голову то вправо, то влево, будто высматривал, что делается здесь, на бывшей уничтоженной батарее, и там, возле разбитых танков, под которыми лежали немцы, и еще дальше, за речкой, на узкой кромке открытой земли между болотом и лесом. Вслед за Иваном аиста увидели Магомедов и Ружейников. Не-

— Уйди! Прочь! — вскричал Магомедов, пытаясь подняться. Тогда Иван навалился на него всем телом, подскочивший Ружейников схватил азербайджанца за руки.

— Утихни! Кому сказано! — прохрипел старший лейтенант, вытащил на всякий случай из кобуры Магомедова пистолет.— Расписиховался тут!

Пока все это происходило, немцы, развлекаясь и упражняясь в меткости, со всех сторон палили по падающей птице. Мертвый аист только переворачивался в воздухе, от него густо брызгали перья, а потом, кружась, медленно падали вниз.

Разбитое, разорванное пулями тело птицы давно упало где-то на землю, давно перестали стрелять немцы, а легкие перья еще долго сыпались и сыпались.

— Твое счастье, что они на аиста глазели, а не на окоп,— сказал Иван, отходя от Магомедова. Тот лежал на дне окопа лицом вниз, ничего не выкрикивал теперь, только хрипел и царапал пальцами землю.

— Какой нервный стал,— произнес негромко, без осуждения Ружейников, сунул пистолет азербайджанца в его кобуру и сел на прежнее место, возле стереотрубы.

Магомедов пошевелился, потом приподнялся, сел. И, прислонившись спиной к земляной стенке, стал смотреть туда, где только что плавал аист. Он смотрел в небо, не мигая почти.

— Я родом из города Шемаха,— сказал он вдруг.— Есть такой город в Азербайджане. Слышали?

На это ему никто ничего не сказал.

— Мой город знаменитый. Там родился Насими.

— Это кто ж такой? — спросил Ружейников.

— Поэт. Он старался постичь и объяснить людям красоту природы, тайны и смысл жизни. Он говорил в своих стихах, что самое прекрасное и разумное в жизни — это человек.

— Правильно,— усмехнулся Ружейников.

— За это с него содрали кожу. С живого.

— Как... так?! — воскликнул Иван, приподнимая голову.

— Он жил давно, пятьсот лет назад. Тогда такие мысли считались ересью.

— Гитлер и сейчас считает,— уронил Ружейников, привстал, глянул в стереотрубу.

— И духовенство осудило его на такую казнь.

Потом все долго молчали, вслушиваясь в тишину, установившуюся над сопкой, непонятную и тревожную.

— А жизнь все равно никому не убить,— произнес в этой тишине Магомедов.— Никогда. Она была и будет.

Иван прикрыл веки, пытаясь себе представить ту далекую, неведомую и страшную жизнь, когда с живых людей сдирали кожу, но представить ничего не мог, только вздрогнул сильно, в открывшиеся сами собой глаза ему больно ударило веселое и щедрое солнце, и в мозгу только теперь вдруг пронеслось: что же чувствовал, какие мучения перенес тот человек? И за что? За то, что пытался, как сказал Магомедов, постичь и объяснить людям смысл жизни. Вон когда еще люди бились над этим! Да и много раньше, наверное, и позднее, и до сих пор вот. А он, смысл этот, так людям и не дается. Иначе разве переживали бы люди такие мучения?! И голод, и холод, и войны. И ему самому жизнь выпала не сладкая. Ломала его по-всякому, только кости хрустели, и вот доломает сегодня, может, окончательно...

Случайный рассказ Магомедова о трагической судьбе древнего поэта странным образом подействовал на Ивана. Весь день и всю ночь в голове его, что-то там размалывая и очищая, ворочались неясные мысли, вспоминались, сами собой всплывали в памяти самые тягостные моменты из его жизни, но они не казались Ивану сейчас тягостными, а тем более трагичными. Может, потому, что в голове гвоздем торчала одна мысль: что бы там с ним ни происходило, с него никто не сдирал кожу, как с того человека. И не сдерет.

С каждым часом в голове становилось все светлее, на душе легче, чувство обреченности и неизбежной гибели, просочившееся было, как вода в щели, в каждую клеточку мозга, в конце концов исчезло, выветрилось, и Иван, когда Семен под вечер уже очнулся от своего долгого сна, весело прокричал ему:

— Живем, значит, Сем, а?!

— Ага,— сказал Семен машинально. Приподнялся, сел, потер пальцами засохшую кровь на висках, непонимающе огляделся.— Где это мы, а?

— Да где, все там же... Только черта с два они нас получат!

Семен увидел Ружейникова — тот, сидя в окопе, чистил пистолет. Увидел выгнутую горбом спину Магомедова, все, видимо, вспомнил и протянул невесело:

— А-а...

— Как ты, Семен?

— По голове будто били чем-то, шумит немного. А так ничего.

— Поешь тогда. Мы уже все поужинали.

Иван тяжелым ножом вскрыл банку тушенки, дал ему пахнущий пылью кусок черного и черствого хлеба. Семен немножко поковырялся в банке, все вернул Ивану.

Когда стемнело, Ружейников приказал Ивану и Семену вести наблюдение и, если будет все по-прежнему тихо, разбудить его с Магомедовым в два часа ночи.

Все было тихо. Иван и Семен лежали на бруствере, сквозь натыканные в землю ветки смотрели вниз, где в разных местах чернели темными глыбами разбитые танки, а дальше поблескивала, отражая звездный свет, неширокая речка. Нигде ни звука, ни огонька, будто вокруг на много километров не было ни одного человека, ни одного живого существа, река — и та омертвелая, течение воды словно прекратилось почему-то и теперь никогда уже не возобновится.

— Письмо-то Наташке не забудь переслать, ежели что,— вполголоса проговорил вдруг Семен.

— Помнишь,— усмехнулся Иван. Достал письмо и вдруг разорвал его надвое, потом еще надвое.

— Ты что?! — сдавленно вскрикнул Семен, вырывая обрывки.

— Вернешься домой — сам и расскажешь ей про свою... про что в письме. А лучше не надо.

Семен, сжимая в кулаке бумажные клочья, спросил, помедлив:

— Ты, дядь Ваня... Веришь, что вернемся?

— Обязательно.

— Если бы так,— вздохнул Семен.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18 — 30.

— Жизнь, Семка, никому ведь не убить, сказал вон Магомедов.

И хотя Семен не понял, при чем тут Магомедов, переспрашивать не стал, разгреб в бруствере ямочку, сунул туда изорванное письмо и привалил землей.

— Правильно,— сказал Иван.— Бабам и так нынче сколько горя. Пущай этого не узнает.

— Не в том дело,— вздохнул Семен.

— А в чем?

— Этого не объяснить. И не понять никому. Олька хорошая, она никому не хотела... чего-то причинить. Наташку, говорит, когда вернешься, люби еще сильнее... и береги.

— Чего ж она хотела?

— Чтобы ее немного пожалели.

— Это как же? — повернул голову Иван.

— Я и говорю, не понять.

Иван немного помолчал, вглядываясь в темноту. Повернулся на бок и вздохнул:

— Не знаю, Семка, большой ли, малый ли грех у тебя с ней был... Только я не одобряю.

— Не было греха,— упрямо сказал Семен. И, ощущая на себе вопросительный, понимающий взгляд Ивана, прибавил чуть раздраженно:— Да, все было! А греха не было.

Иван больше ничего не стал расспрашивать.

Тихо все было на высотке и вокруг нее и после двух часов. Как было приказано, Иван в положенное время разбудил Ружейникова с Магомедовым, а сам лег на дно окопа, на место командира батареи, ощущая нагретую его телом плащ-палатку.

— А я не усну: выспался,— произнес Семен.— Пусть лучше еще Ружейников или Магомедов поспят.

— Не можешь, а тебе надо. Ты постарайся,— сказал Иван.— А то, чую, будет завтра дело...

вверх и в стороны тугими огненными брызгами. Под мерцающим светом от взрывов блестела перетоптанная, спутанная трава по склону холма, по ней от разбитых танков в сторону реки бежали темные фигуры немецких снайперов, стороживших запертых на высоте людей. Трава была скользкой, немцы бежали и падали. Поднимались и опять бежали.

— Из ручного их бы можно еще достать! — прокричал Иван сквозь грохот.

— Отставить! Это одиночки. А патронов...

Иван все понял, что хотел сказать Ружейников, повернул голову к Семену. Тот, покусывая нижнюю, заскорузлую губу, спокойно глядел на убегавших немцев, на взрывы за рекой, на подожженный снарядами в нескольких местах лес и чуть улыбался.

Неожиданно где-то недалеко над болотами густой мрак пронзила зеленая ракета, грохот артиллерийской канонады почти смолк, но вражеские пушки, расположенные вдоль кромки леса, изредка постреливали, снаряды их рвались недалеко в болоте.

— Ничего не понимаю,— пробормотал Ружейников.— Они бьют прямой наводкой в болото. Неужели наши из болота наступают? Это немыслимо!

— Они наших в упор расстреливают! — закричал Магомедов.— Надо подавить их пушки! Разрешите? Отсюда их легко накрою...

— Надо, говоришь? Наверное, надо...— хриплым и неуверенным голосом произнес Ружейников, растирая кулаком подбородок.— Давайте — ты и Савельев Иван!

Магомедов с Иваном вскочили уже, чтобы кинуться к пушке, но Ружейников поднял руку.

— Стойте! Что это?

Из-за реки донесся какой-то вой. Он все поднимался, нарастал там, далеко, где стреляли немецкие пушки, его заглушали орудийные выстрелы, временами накрывал волнами вспыхивающий треск автоматов.

— Отставить, Магомедов! — Командир батареи почему-то зло поглядел на азербайджанца, на Ивана Савельева, кивнул туда, за реку.— Ты слышишь? Вы слышите?

— Там люди в атаку пошли,— сказал Магомедов.

— Пошли,— согласился Ружейников.— А что они кричат?

Немецкие орудия стреляли все реже, но все более нарастал треск автоматов. Однако он теперь не мог заглушить яростный рев человеческих голосов. Но это было не привычно знакомое, раскатистое «Ура-а!», люди кричали как-то по-другому, яростно, по-звериному.

Магомедов, Иван Савельев и Семен слушали этот рев и молчали.

— Та-ак,— вяло и бесцветно промолвил вдруг Ружейников, снял каску, сдернул пилотку и вытер ею взмокшее лицо.— А я, кажется, слышал такое... нынче зимой. Когда мы на Вязьму наступали. Так... с такими криками в атаку штрафники... штрафная рота ходила.

— Товарищ старший лейтенант! Смотрите! — закричал Магомедов.— Они отходят!

Ружейников торопливо вскинул к глазам бинокль. Но и без бинокля было видно, что по всей кромке леса по-прежнему шел бой. Лесной клин, выходящий к реке, начал вдруг окутываться дымом — то ли деревья загорелись, то ли немцы подожгли дымовые шашки. Огня, во всяком случае, с высоты, не было видно. Ружейников, Магомедов да Иван с Семеном видели лишь, как в рассветной полумгле сквозь клочья и полосы дыма бегут толпы немцев. Часть из них залегла на противоположном берегу, торопливо окапывалась, остальные кидались прямо в воду, переплывали, переходили неглубокую речушку и тоже принимались зарываться в землю. Ружейников, наблюдая за всем этим, даже приподнялся на руках, будто изготовился к прыжку.

— Сосенки-елочки! — воскликнул он, остервенело сверкнув глазами.— Сейчас они пожалеют, что не задавили нас тут. Магомедов и вы, Савельевы,— к пушке!

Справа на западе, где небо было темнее всего, оно осветилось вдруг бледно-оранжевым заревом, будто именно оттуда, с противоположной стороны, вздумало сегодня взойти солнце, и до высоты, до огневой позиции бывшей батареи, от которой осталась одна пушка, докатился гул, глухой и могучий. Он шел будто под землей, колыша ее, грозя ежесекундно разорвать недра, вырваться наружу и тогда уж в неудержимой ярости затопить все вокруг, смять, растереть в порошок все живое и мертвое.

Четверо людей на высоте, измученных, слабых и беспомощных, невольно повернули головы на этот зловещий звук.

— Началось,— ссохшимися губами прошептал Ружейников.— Наше или немецкое?

Старший лейтенант не произнес слова «наступление». Но это и так было ясно.

— Я говорил, Семка, что сегодня будет дело,— улыбнулся Иван весело, облегченно, будто все смертельные опасности были уже позади.

— Чему радуешься? — рассердился Ружейников.— К пушке, говорю! Выкатить вот сюда, на прямую наводку. И слушать мою команду

ЫЙ ЗОВ

— Как это, чуешь?

— А как зверь лесной пожар чует. Спи!

Семен покорно лег на землю и в самом деле скоро заснул опять, провалился, как в яму.

Проснулись Иван и Семен от грубых толчков — не то тряслась земля, не то их кто-то безжалостно пинал. Ночь уже кончилась, занимался рассвет. Небо над высотой было затянуто, как скатертью, бледно-оранжевым светом, за скатерть будто непрерывно дергали, она то съезжала в сторону, к речке, то снова распластывалась над головой. В уши колотил беспрерывный грохот.

— Что? Лезут? — прокричал Иван, вскакивая.

— Приготовиться! Приготовиться! — орал Ружейников, размахивая пистолетом и действительно пиная Семена. Он был в каске, каска сидела на голове криво. Рот командира батареи тоже был страшно перекошен, в черной дыре хищно поблескивали зубы. На шее у него болтался бинокль. Левой рукой старший лейтенант держал за ствол автомат, и когда Семен вздернулся с земли, сунул ему оружие и, увидев, что Семен взял его, повернулся и побежал вдоль окопа.

Через несколько мгновений все четверо лежали на бруствере и смотрели, как за рекой по всей кромке леса, уходящей вдаль, во мраке колышется поднятый снарядами слой земли и дыма, а снизу, прорывая этот слой, вспучиваются пестрые, раскаленные бугры, а потом взрываются и брызгают

Небо над рекой, лесом и болотами снова было завалено теперь, опутано космами дыма, но сквозь редкие прогалины виднелись синие окошки, они становились все светлее, сквозь них проливался на искореженную снарядами и бомбами, на сожженную безжалостным огнем землю новый длинный летний день...

* * *

Этот новый день войны, который, может быть, мало чем отличался от многих и многих предыдущих, стал, как и предыдущие, последним для тысяч людей, мужчин и женщин, молодых и пожилых, хороших и плохих, известных и безымянных...

Этот день стал последним для Алексины, молодой и красивой женщины, с отвращением носившей в себе чужой и ненавистный ей плод, для азербайджанца Магомедова родом из Шемахи, для капитана Кошкина, чья жизнь, несмотря на выпавшую ему тяжелую судьбу, была не длинной, но прекрасной. Война, как ненасытное чудовище, пожрала очередные свои жертвы и с грохотом покатила дальше, а земля поседела за этот день еще больше...

В этот день закончил никчемный свой жизненный путь и Леонид Гвоздев, человек подлый и мерзкий, каковых тоже в немалом количестве производит природа. Но он погиб не от фашистской пули, его застрелил Зубов, сын бывшего белогвардейского полковника, вор-рецидивист, приговоренный

когда-то советским судом к высшей мере наказания. Прикусив до крови губу, он полоснул его из автомата в тот момент, когда Гвоздев, перебежавший уже к немцам, выхватил из зеленого ящика снаряд и подал его вражескому артиллеристу. Немец, долговязый и сутулый, согнувшись, принял снаряд и повернулся к пушке, собираясь вогнать его в ствол, не заметив ворвавшегося сквозь тучи пыли и дыма на огневую площадку Зубова. Автомат в руках Зубова несколько раз дернулся, немец мешком отвалился в сторону, тяжелый снаряд, выпав из его рук, ударился о станину и покатился куда-то.

— Зу-уб! — заорал Гвоздев, отпрянувший в бок.— Зуб... зачем? Мы с Макаром решились!

— С-сучка! — Неожиданная все-таки злоба и ненависть к Гвоздеву перекосила лицо Зубова.— Когда успел? Когда успел?

— И ты давай с нами! — На грязном, взмокшем лице Гвоздева торопливо дергались белки глаз.— Ты... Зу-уб!

И, прокричав это, повалился туда же, где лежал немец-артиллерист, стал корчиться на земле, захрипел, на губах у него запузырилась пена. Не обращая внимания на вой и визг штрафников, густую матерщину, которая то накатывалась валом, то захлебывалась, тонула в треске автоматов, грохоте орудийных выстрелов, Зубов шагнул к Гвоздеву.

— Ты... сволочь! — прохрипел тот, поднимая уже мертвое лицо.— Сволочь, сволочь...

Волчья ярость опять захлестнула Зубова. Нет, его нисколько не задели и не оскорбили слова Гвоздева. Зубов вспомнил вдруг только что погибшую у него на глазах беременную женщину Алексину, закусил до крови губу и, подняв автомат, двумя длинными очередями крест накрест окончательно пришил Гвоздева к земле.

На это Зубов истратил последние патроны в диске. На поясе у него было два запасных, но менять пустой диск он не стал. На огневой площадке валялось несколько убитых немцев, а в стороне, у земляной стенки, скорчившись, лежал какой-то штрафник в окровавленной гимнастерке. Зубов нагнулся к убитому штрафнику, выдернул из-под него автомат, а свой отшвырнул в сторону и побежал вдоль траншеи, в дым и грохот.

Он убежал, а штрафник, из-под которого он выдернул автомат, шевельнулся, повернул голову и усмехнулся. Это был Макар Кафтанов. Несколько минут назад они с Гвоздевым, тяжко дыша, свалились на эту огневую. Возле орудия в дыму и копоти суетился только один немец, весь расчет был уже перебит. Немец отпрянул было за пушку, выхватил одновременно парабеллум. Но Кафтанов и Гвоздев торопливо бросили на землю свои автоматы и подняли руки.

— Мы сдаемся! — заорал Гвоздев и повторил это заученно по-немецки:— Wir ergeben uns! Wir gehören zu einer Strafkompanie. Wir sind Häftlinge! *

— О, зер гут,— недоверчиво произнес немец, кивнул на снарядный ящик.— Dann helft mir. Reicht mir die Munition!**

Гвоздев кинулся выполнять распоряжение, а Кафтанов Макар вдруг покачнулся и, схватившись за левое плечо, стал оседать, простонав:

— А-а, з-зараза...

— Кто, что? — метнулся к нему было Гвоздев.

— Не знаю... рванило за плечо вот.

— Munition! *** — рявкнул в этот момент немец, и Гвоздев шагнул к ящику.

Рана была неопасная, шальной пулей чуть задело мякоть, Кафтанов сразу это установил. Он, зажимая рукой рану, сел к земляной стенке, стал смотреть на свои пальцы, сквозь которые текла на грязную гимнастерку кровь, на Гвоздева, подававшего немцу снаряды. Рана даже и не чувствовалась, как-то лишь кружилась голова и подташнивало. Когда кровь перестала течь, Кафтанов усмехнулся, еще подумал о чем-то, лег спиной к орудию, выставив кверху окровавленный бок, скорчился так, чтобы его приняли пока за труп.

Макар не видел, кто ж это спрыгнул с бруствера на огневую, присыпав его землей. Услышав первый же истошный вопль Гвоздева, догадался, что хочет сделать Зубов. Ложась, Кафтанов на всякий случай сунул под себя автомат. В какую-то секунду у него мелькнуло: быстро повернуться и врезать Зубову всю очередь в спину! Но он опасался, что не успеет или не сможет этого сделать — голова все-таки кружилась, видать, много крови вытекло. И к тому же в мозгу застучало: «А к чему? Пущай сдыхает Гвоздь. Тогда я, как раненый... ежели наши сомнут немца... Да ведь так все и может произойти! Легко выпутаюсь! Ага, привет тебе, Гвоздь...»

Потом он почувствовал, что Зубов приближается к нему. И давно обесчувственное сердце Кафтанова вдруг больно застучало, голова закружилась еще сильнее. «Если перевернет на спину, признает — притворюсь мертвым... в крайнем случае без сознания. А что потом? Ведь доложат Кошкину, что сдались... Надо гробануть его, суку!»

Но Зубов, находящийся в лихорадочном состоянии, не только не узнал Кафтанова, но даже не обратил на «убитого» никакого внимания. Труп и труп, мало ли полегло сегодня штрафников под шквальным, в упор, автоматным и орудийным огнем немцев. Это был какой-то кошмар!

Покончив с Гвоздевым и выхватив из-под Кафтанова автомат, Зубов побежал вдоль траншеи, затем выскочил на открытое пространство под свистящий рой пуль. Они пролетали рядом, почти обжигали его, но ни одна не задевала.

— Зубов! Рядовой Зубов! — закричал кто-то и схватил его за ногу. Он упал в какую-то канавку.

— Что хватаешь?! — окрысился он, оборачиваясь.— А то я схвачу!

Рядом, в трех метрах, вздыбилась земля, поднялась на воздух и, как с лопат, посыпалась вниз.

— Подавить орудие! — прокричал командир отделения.— У тебя гранаты есть?

— Одна штука осталась...

— Возьми вот еще две. И давай по этой канавке! Пушка там, метрах в семидесяти... Живо! А то нам вон до той траншеи не добраться, не выкурить немчуру оттуда.

— Понятно... Понятно! — прохрипел Зубов, принимая гранаты-лимонки.— Я счас.

Он пополз по канаве в сторону яростно палившего немецкого орудия, вспоминая о начале атаки. Сейчас, когда кругом гремело, трещало и свистело, когда он находился в центре ада, все это не казалось ему ни опасным, ни тем более кошмарным. До жути страшно было лишь там, на крохотной, более или менее твердой площадке в болоте, где взвод скапливался для атаки, для броска. За кустами было еще метров сорок топи. В животе перекатывался словно кусок льда, когда он, бросив напоследок зачем-то взгляд на стоящих в сторонке Алексину и капитана Кошкина, под страшный грохот неожиданно возникшей орудийной канонады бежал вслед за другими по этой топи. Под ногами сильно пружинило, под самый пах почти хлестали холодные струи. Наши пушки все молотили и молотили, вздымая впереди, по опушке леса, и дальше, в глубь его, всю землю в воздух, вырывая деревья и поджигая их. В дыму, в пыли и копоти не то звонко пели осколки, не то это звенело в голове Зубова. Четыре запасных автоматных диска в чехлах оттягивали ремень, больно колотили, но Зубов не обращал на это внимания, а потом и вовсе забыл. Он думал, что ему сегодня, как и всем остальным, смерть, что сквозь этот вой и визг осколков никому не прорваться, все пространство над землей густо, в разные стороны прошивается кусками металла, покрыто как бы живой железной сетью. А ведь еще немцы не открыли встречного огня, еще передние там не достигли заминированной кромки суши. Еще хорошо, что он из-за разговора с Кошкиным очутился не в первых рядах. Это хорошо...

Немцы, ошеломленные и задавленные нашей артиллерией, обнаружили наступающих из болота штрафников на какую-то минуту позже, чем следовало бы обнаружить — когда уже от загоревшегося леса осветилась земля. Сквозь месиво огня, дыма, вздыбленной земли прорезались белые ракеты, по всей полуторакилометровой кромке болота гитлеровцы открыли шквальный огонь из пушек и автоматов. Штрафники вытекали из болота всего в трех точках, а немцы палили наугад, в болотную темноту, повсюду, и Зубов, выбежав уже на непривычно твердый бугор, вдруг про себя усмехнулся: дурачье, сколько напрасно жгут снарядов и патронов! То обстоятельство, что немцы не могут пока определить, откуда на них наступают, и, следовательно, не знают, какими силами, вдруг успокоило Зубова, притупило ощущение смертельной опасности. На всякий случай он припал к земле, чтобы отдышаться и оглядеться. Но разглядеть в колеблющихся вокруг клубах дыма и пыли было ничего невозможно, он видел только справа и слева бойцов своего отделения, которые падали, как он, потом поднимались и с отчаянным ревом кидались, ныряли куда-то в эти клубы.

— Чего прижался? Т-ты, заяц... твою мать! — остервенело прокричал над ухом женский голос. Зубов поднял голову, в подрагивающем мраке увидел остервенелое лицо Алексины. А потом в ее враждебных зрачках что-то качнулось и настороженно замерло.

— Ранен, что ли?

— Нет... покуда.

— Так что ж ты...— Алексина опять мерзко, как мужик, выругалась, темные ямы ее глаз сделались совсем непроницаемыми.— Давай! Айда... Мин-то нету, слава богу.

Она повернулась и побежала тяжело, как лошадь.

Сейчас, когда Зубов по неглубокой канаве полз к беспрерывно стреляющей немецкой пушке, недавний этот эпизод с Алексиной казался ему уже далеким-далеким, почти стершимся в памяти. Зато перед глазами неотвязчиво стояло другое, что Зубов, при всей в общем ясности и пронзительно-жесткой конкретности происшедшего, все-таки никак не мог то ли осмыслить, то ли принять, как уже случившееся, смерть самой Алексины. Она повернулась и побежала навстречу немецкому огню, волоча за собой автомат за ствол, как палку. Значит, ствол был холодный, значит, она из него еще не стреляла. «Зачем тогда таскает его за собой, дура, зачем вообще сюда запёрлась, сделала свое дело и осталась бы там, в болоте...» — подумал Зубов, вскакивая с земли. Алексина была уже шагах в двадцати, она бежала к брустверу немецкого окопа, по гребню которого густо сверкали вспышки. Зубов теперь совсем не думал, что это стреляют навстречу немцы, что свинцовая струя может ткнуть и в него. В несколько прыжков он догнал Алексину, заскочил вперед.

— Открой меня! Ты, сволочь! — закричала она хрипло, но Зубов не понял ее слов, некогда было их понимать. С обоих боков стал нарастать вой штрафников, бойцы, падая, вскакивая и снова падая, кинулись на окоп. Забыв об Алексине, Петр Зубов сперва палил из автомата по вспышкам, затем, видя, что делают другие, выхватил из кармана гранату-лимонку, швырнул ее в окоп, упал. Среди других взрывов он различил свой, хотел кинуть вторую гранату, но страшный вой, задавленный было взрывами, стал кругом нарастать, и Зубов поднялся, побежал, перепрыгивая через трупы убитых штрафников, на ходу вырвал из автомата расстрелянный диск, стал доставать из чехла новый...

Неизвестно когда и как, но Алексина снова оказалась впереди него, чуть сбоку. Она по-прежнему волочила автомат, как палку, так и вскочила на вражеский бруствер и почему-то отшвырнула в сторону свой автомат и визгливо, пронзительно закричала, глядя вниз, в окоп:

— Стреляй! Вот сюда... сюда! Расстреливай своего Фрица...

— Алексина! Алекси-ина!!! — чувствуя, как похолодела кожа на взмокшей голове, заорал Зубов, торопливо вбивая в автомат свежий диск. Женщина, прижимая обе ладони к вздувшемуся животу, будто услышала этот крик, повернулась к нему всем телом. Зубов в отсветах пламени, горевшего где-то за окопом леса, различил на измученном, буквально за несколько секунд не-

---

* — Мы сдаемся! Мы из штрафной роты. Заключенные.

** — Тогда помогайте мне. Подавайте боеприпасы!

*** —Снаряды!

узнаваемо обострившемся лице Алексины тихую, облегчающую ее улыбку. Зубов скорее не услышал, а увидел, как ударила снизу, из окопа, еще одна очередь, теперь не в живот, а в спину беременной женщины. Но, прошитая насквозь, Алексина по-прежнему стояла и улыбалась, улыбка ее нисколько не изменилась, была все такой же радостной и благодарной. Затем, не сгибая ног, столбом повалилась на бок, грузно упала и по брустверу скатилась вниз, под ноги Зубову. Ошеломленный, он на какое-то мгновение замер, глядя на труп. Затем, не обращая внимания, что справа и слева в окоп с ревом прыгают штрафники и, конечно, растекаются во все стороны, очищая его от немцев, медленно достал гранату, не спеша выдернул чеку и бросил ее в то место, где только что стояла Алексина. И, переждав негромкий, ни для кого, казалось, не опасный взрыв, кинулся к бруствeру, вскочил на него, прыгнул вниз, на чье-то мягкое тело. Был ли это тот немец, который стрелял в Алексину, или другой — Зубов не знал. Он только различил в темноте, что это не штрафник, а именно немец. Вдоль окопа Зубов не побежал. Прямо перед ним был ход сообщения, он вел куда-то к кромке леса, где рявкала немецкая пушка. Прошивая на всякий случай земляную щель на каждом повороте, Зубов ринулся в этот ход, который и привел его на огневую площадку, к орудию, которое помогал обслуживать Гвоздев...

Теперь Зубову предстояло подавить еще одно. Канава была неглубокая, он торопливо, обливаясь пóтом, продвигался на звук выстрелов, где согнувшись, а в особо мелких местах ползком, обдирая локти и колени. Во рту было сухо и горячо, дышать становилось все труднее, будто глотку все плотнее забивало песком и гарью. По доносящимся крикам, которые то взрывались в разных местах, то затухали, по возникавшей в разных местах и потом захлебывающейся перестрелке нельзя было определить, в чью пользу складывается бой, как он кончится. «Да и черт с ним, как бы ни кончился, лишь бы это орудие...— металось лихорадочно в голове у Зубова.— Останусь жив — пусть командир отделения доложит, что это я... А мне — об Алексине рассказать. Дура... вот дура! Ну и родила бы, подумаешь... Это хорошо, что немцы не заминировали берега вдоль болота, иначе бы их не взять, не подобраться. Не хватило времени, что ли, или мин не было? Скорей всего не было. А не останусь в живых, что ж...»

Пока эти мысли беспорядочно метались у него в голове, он подполз совсем близко к огневой позиции немцев, во всяком случае, выстрелы ухали совсем рядом, вливаясь в общий грохот боя. Но где же все-таки пушка? Зубов по канаве скатился в неглубокую воронку, подумал: а ведь это от нашего снаряда! Стоп, а когда прекратилась артподготовка? Он этого как-то совсем не заметил. Давно, видимо...

Мелькнув, и эта мысль пропала. Он, пережив самое страшное и опасное, не желал или бессознательно не хотел теперь рисковать, поэтому осторожно выглянул из воронки. Первое, что он увидел,— начинающийся рассвет. Дым и пыль, поднятая разрывами, то ли осели, то ли их отнесло ветерком в сторону. Во всяком случае, был ему виден чистый клочок ночного звездного неба, и там, где-то далеко-далеко, между чернотой неба и земли, пробивалась узкая темно-синяя полоска.

Опять выстрелила пушка, разорвав сбоку, на довольно приличном расстоянии, клочья темноты над землей. «Ага, вот она где,— спокойно подумал Зубов.— Ну, ладно».

Он повесил автомат на левый локоть, достал гранаты. Две взял в левую руку, одну в правую. На секунду закрыл глаза, глубоко вздохнул... Рванулся из воронки и побежал скачками по ровному, открытому месту.

Он бежал, ни о чем не думая, отмечал лишь оставшееся до пушки расстояние. Пятьдесят метров, сорок, тридцать... Из-за бруствера его заметили, к счастью, поздно, навстречу торопливо застучал автомат, пули взрыли землю под ногами. Он перескочил через врезавшуюся в землю очередь,— будто лишь в этом было его спасение, в сознании мелькнуло: надо упасть, обмануть их! Он ткнулся в землю, подобрал под себя ноги, уперся в какую-то неровность почвы. И тут же — аж мышцы заныли — разжал их, щукой метнулся в сторону, потом вперед. И вдруг — он и сам не ожидал — немецкое орудие оказалось перед ним как на ладони. Возле пушки метнулись неясные тени — не то две, не то три. Считать их не было ни надобности, ни времени. Зубов прямо в эти тени метнул одну за другой две гранаты, упал. Взрывами закрыло и пушку и людей возле нее. Приподнявшись на колени, Зубов принялся наугад строчить в густую, совершенно непроглядную муть, прошивать ее в разных направлениях. Стрелял, пока не кончился диск. Потом быстро откатился на три-четыре метра в сторону, лихорадочно выдернул пустой диск, отбросил, выхватил из чехла новый, отметив про себя, что дисков у него теперь только два, патроны надо беречь, не палить попусту. Изготовился к стрельбе и стал ждать. Но на огневой площадке немцев было тихо и мертво, ни тени, ни звука, оседала и редела пыль, сквозь мрак начали проступать очертания орудия. Где-то в стороне трещала перестрелка — кажется, их отделение пошло в атаку на немецкую траншею, прикрываемую этой пушкой.

Не вставая, Зубов стал подвигаться к ней. Сквозь редеющую муть он различил скрюченную фигуру возле орудийного колеса. Другой немец лежал животом на станине, уткнувшись лицом в землю. Третий распластался посреди площадки, разметав в стороны руки.

Держа автомат наготове, Зубов поднялся, в несколько прыжков достиг немецкой огневой позиции, спрыгнул с бруствера. Немцы как лежали, так и лежали, а больше у пушки никого не было. «Неужели их было

только трое?» — даже с каким-то разочарованием подумал Зубов.

Убедившись, что гитлеровцев здесь было действительно трое, что никаких ходов сообщения от огневой площадки никуда нет, Зубов выбрался на бруствер, сел. Все тело ныло от усталости, от напряжения, икры противно подрагивали. Ощутив это, он запоздало понял, что все это время испытывал страх, что он не прошел в ту минуту, когда началась атака из болота, а лишь притупился, ушел куда-то вовнутрь. И вот теперь всплыл. «Бандит ты,— усмехнулся Зубов невесело.— А жизни своей никчемной, выходит, жалко...»

Бой шел в стороне от него, он скатывался к речке, за которой торчал невысокий холм. Вдоль речки стлалась белая полоса дыма.

Теснит к речке рота гитлеровцев или, наоборот, немцы роту, Зубову по-прежнему было непонятно. И что делать теперь, он не знал. «Если немцы уничтожили роту, что же мне,— невесело усмехнулся он,— сдаться им, как Гвоздь? А если наши поперли их — надо же догонять роту. Тот же командир отделения, если живой останется, спросит с ухмылкой: пушку, ладно, уничтожил, а потом где был? Не ранен же! Под кустом отсиживался?»

Посидев еще с полминуты, поглядев на начинающийся рассвет, Зубов нехотя поднялся, решив, что надо идти все же в сторону реки. В это время и он, как Ружейников, Магомедов и Савельевы на высоте, увидел осветившееся бледно-оранжевым заревом небо на западе, услышал глухой, будто подземный гул. «Ага, кажется, наши начали наступление, как взводный говорил еще там, за болотом»,— подумал Зубов и не спеша зашагал в сторону реки. Через несколько шагов усмехнулся раздраженно: «Наши-ваши...»

Из-за деревьев метнулась навстречу тень. Зубов мгновенно скинул автомат.

— Зубов? Сдурел! Меня отделенный послал,— раздался голос.— Живой? Отделенный говорит: сбегай посмотри и доложи.

— Что вы там? — спросил Зубов, опуская оружие.

— Немцы за реку сыпанули. А часть на этом берегу окапывается. Для прикрытия, видно.

— Что с ротой, спрашиваю?

— А я знаю? От нашего отделения половина покуда осталась вроде. Айда! Наши тожеть залегли, скапливаются напротив. Старший лейтенант Лыков приказал сбросить немцев в речку.

Слова штрафника удивили чем-то, и Зубов сперва никак не мог понять, чем. В голове гудел больной звон, ему все чудилось, он воочию видел, как немец, лежа за бруствером, поливает навстречу свинцом, слышал, как пули с глухим стуком колотятся в землю перед его ногами.

И, только спустившись в неглубокую, затянутую дымком лощину, торопливо обернулся:

— Как... почему Лыков?!

— Так убило ж Кошкина, нашего командира.

— Как?! Как убило?! — Зубов схватил штрафника за плечо, яростно затряс его.

— Иди ты! — Штрафник резко сбросил руку Зубова.— А я знаю как? Убило, и все. Мне связной, кореш мой, под секретом шептанул. Теперь Лыков над нами командует.

Зубов почувствовал, как скапливается во рту тяжелая и горячая слюна, превращается в тяжелый ком. Он сплюнул ее, автомат бросил за плечо, достал кисет и стал закуривать. Когда вертел папиросу, пальцы его подрагивали, лицо было хмурым, угрюмым, каким-то окаменевшим.

Низкорослый солдат-штрафник с удивлением наблюдал за Зубовым. Спросил желчно, со злобой:

— Тебе что, жалко, что ли, этой... падали? Много их на нашу шею.

Зубов на это ничего не ответил и, жадно затягиваясь, стал подниматься из лощины навстречу светлеющему небу.

Продолжение следует.

Анатолий ИВАНОВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ВЕЧНЫЙ ЗОВ

Мрак рассасывался все больше, хотя до солнцевосхода было еще далеко.

Магомедов, Иван и Семен, подкатив орудие к самому брустверу, подтащив несколько ящиков снарядов, лежали вместе с Ружейниковым на земляном валу, окружавшем бывшую батарею, смотрели вниз, за речку, где шел бой, бессильные что-либо предпринять. Все заречье было затянуто дымом и пылью: где там немцы, где наступает какая-то наша часть,— нельзя было разобрать.

Гул на западе все приближался, то затихал, то начинался снова, небо там смеркло, стало угрюмо-серым, только временами мерцало желто-голубыми отсветами — видимо, немцы, а возможно, и наши где-то далеко, за горизонтом, залитым еще ночью, подвешивали осветительные бомбы.

Неожиданно совсем близко, почти под боком, возникла орудийная канонада на востоке. Ружейников вскинул голову, пошевелил грязными бровями, а ноздри его сильно, как у зверя, нюхающего пожар, стали раздуваться.

— Это ж наша дивизия!— воскликнул Иван обрадованно.

— Вроде бы, вроде бы...— дважды повторил Ружейников торопливо.

Немцы продолжали лихорадочно окапываться по обоим берегам речки. Магомедов заерзал по земле, будто ему стало холодно, нетерпеливо взглянул на Ружейникова раз, и другой, и третий. Но тот молчал.

Семен глядел вниз, почти не мигая, не чувствуя в душе ничего — ни боязни возможной гибели, ни радости возможного спасения, которая прозвучала в голосе дяди Ивана, в торопливых словах Ружейникова. В мозгу вертелась одна мысль, тоже какая-то посторонняя, равнодушная: «Танком бы пронестись сейчас вдоль берега по немцам... Одним танком можно бы всю эту их оборону смести...»

— Их атака захлебывается! — нетерпеливо взорвался сбоку азербайджанец.— Пора мало-мало подмогнуть! Может, совсем мало-мало надо!

— А, Иван Силантьевич? — почему-то неуверенно и почему-то именно к Ивану повернулся Ружейников. Может, потому, что Иван был самый старший по возрасту среди них, четырех.— Пора?

— Да вроде,— сказал тот, помедлив.— Только если б Алифанов был...

— Какой еще Алифанов?— вскричал азербайджанец.

— Погиб он. Из пушки мог в консервную банку попасть. А то здесь чуть перелет — и в наших. Речка-то всего ничего...

Магомедов так и взвился:

— Какой перелет? Я что — дурак, да?! Алифанов твой умный, я — болван?! Какой перелет?

Не обращая внимания на эту перебранку, Ружейников продолжал глядеть вниз. Там, за речкой, между болотом и кромкой леса бой, кажется, затихал, и атака штрафников или какой-то другой части действительно захлебывалась. Вражеские пушки, бившие в болото, одна за другой умолкали, лес теперь во многих местах горел, в сером утреннем небе, снова застилая его чернотой, расползались все шире клубы дыма, а по берегу над самой землей извивались, как змеи, расползались контрастно белые космы дымовой завесы, сквозь нее толпами все бежали и бежали немцы, зарывались в землю на обоих берегах.

— Магомедов! — воскликнул Ружейников.— Можешь по тому берегу ударить? Под кромку завесы? Не дальше?

— Могем! Почему не могем? — коверкая в волнении слова, ответил бывший командир самоходки.

— Тогда давай!

Магомедов по-кошачьи прыгнул с бруствера к пушке и, выгнув горбом спину, приник к резиновому наглазнику панорамы, лихорадочно закрутил рукоятки маховиков. Ствол пушки медленно пополз вниз и чуть в сторону.

Первый снаряд упал в речку, подняв высокий и красивый султан воды.

— Перелету нет, правда,— пробурчал Иван, дергая замок. Прозрачно дымясь, горячий латунный стакан выпал на землю. Семен, стоящий наготове с новым снарядом, отбросил ногой гильзу в сторону.

— Счас, счас,— дважды выдохнул Магомедов, не отрываясь от прицельного устройства, подкручивая маховичок. По грязной щеке его текла струйка пота.

— Чуть выше, Магомедов! — вскричал Ружейников.

— Сами понимаем! Ну?

— Готово! — ответил Иван, захлопывая замок.

Этот второй снаряд разорвался уже прямо в гуще окапывающихся на том берегу немцев.

— Ага-а! — взвизгнул Магомедов, повернув к Ивану потное лицо, сверкнул по-детски обрадованными глазами.

— Молодец, Магомедов! — прокричал Ружейников.— Лупи давай! Ж-живей!

— Консервная банка, да? Консервная банка?

— Банка,— согласился Иван, принимая от молчаливого Семена новый снаряд.— Готово!

Третий снаряд лег почти рядом со вторым, широким веером взметнул черную землю.

— Опять — банка! Дав-вай! — Голос Магомедова был хриплый и возбужденный.

Первые же орудийные выстрелы всполошили немцев, уже перебравшихся через реку. Многие перестали окапываться, забегали, заметались вдоль берега, сперва не соображая, видимо, откуда стреляют. Но это были лишь мгновения, звук последующих выстрелов указал на местонахождение орудия. Человек сорок вражеских солдат сбилось в кучу, видимо, возле своего офицера, и Магомедов, не в силах побороть искушения, крикнул:

— Я их подброшу сейчас на воздух! Товарищ старший лейтенант!

— Отставить! По тому берегу! По тому давай!— сердито прокричал Ружейников.

Но ударить в эту толпу немцев Магомедов все равно бы не успел, потому что она рассыпалась в цепь и двинулась к высоте.

— Ага, ладно...— Ружейников, все лежавший на бруствере, сполз с него в окоп.— Продолжать, Магомедов! А мы их встретим. Савельев, младший! Приготовить автоматы и гранаты!

Семен подал Ивану очередной снаряд, мотая головой, спрыгнул в окоп.

Однако немцы, подчиняясь какой-то команде, вдруг повернули назад, побежали к реке.

И Ружейников, все наблюдавший за ними с высоты, понял причину этого: окапывающиеся на противоположном берегу гитлеровцы выскакивали из своих окопчиков, отстреливаясь, бежали к реке вместе с редкими толпами солдат, вываливающимися из месива черного и белого дыма, а где-то там, за пластами этого дыма, перекрывая трескотню автоматов и глухие гранатные разрывы, снова возникал остервенелый и зловещий рев сотен человеческих глоток.

— А ведь мы и в самом деле вовремя, кажись, поддержали их,— прохрипел Иван, взмокший от работы возле орудия. Он сказал это Семену, опять подававшему снаряды, но тот ничего не ответил, только потрогал правый висок, ответил Магомедов от орудия, говоря почему-то о себе во множественном числе:

— А мы что говорили!

— Магомедов! Теперь по реке! По реке! И по этому берегу! — скомандовал Ружейников.

— Ага, понятно.

— Снаряд! Семка?! Ты чего?

Семен, выхватив было из ящика очередной снаряд, покачнулся, выронил его, ноги его подломились, он мешком свалился на землю.

— Сна-аряд! — рявкнул Магомедов.

Ружейников метнулся из окопа, подхватил выпавший из рук Семена снаряд, втолкнул в казенник. Пушка ухнула. Лицо Семена, лежавшего на земле, мучительно перекосилось. Оно, его лицо, было мокрое, и сквозь грязь и пороховую копоть просвечивала мертвенно-бледная кожа.

— Семен, Сема?! — тормошил его Иван, стоя на коленках.— Ранен, что ли? Не стрелял ведь никто...

— Здесь... в голове что-то,— разжал заскорузлые губы Семен.— При каждом выстреле — как молотком бьет, череп лопается... Не могу больше...— И вдруг полыхнул в его глазах безумный огонь, он закричал умоляюще, заколотился на земле:

— Не могу! Пусть не стреляет! Пусть не стреляет!

— Снаря-яд! — снова прокричал Магомедов.

Семен от этого вскрика замолк, сжал грязными руками голову, сжался весь сам, будто ожидая, что на него рухнет тяжкая скала, и когда раздался выстрел, пополз куда-то, тыкаясь головой в землю, пытаясь ее куда-нибудь спрятать, зарыть.

— Сема?!

— Что там?— крикнул от пушки Ружейников, держа в руках новый снаряд.

— Плохо парню. Контузия... рвет голову.

Семен не видел, куда полз, не почувствовал, что свалился в окоп. Там, все так же зажимая руками голову, превратившуюся, видимо, в сплошной комок боли, ткнулся лицом в холодную земляную стенку и затих. Иван подтянул плащ-палатку, на которой они сегодня спали, укрыл его целиком, проговорил:

— Ничего, Семка... Как же не стрелять? Ничего, пройдет. Потерпи.

Этого Семен уже не слышал, он снова потерял сознание.

Поднявшись из окопа, Иван замер, пораженный. И всего-то ничего он был занят с

Продолжение. См. «Огонек» № 18—31.

ЫЙ ЗОВ

Семкой, а там, внизу, изменилось многое. Оттуда, в промежутке между орудийными выстрелами, все так же доносились автоматная пальба, рев голосов, щелкали изредка гранатные разрывы. Их единственная пушка била уже не по реке, а по ближнему берегу, узенькая лента речки была сплошь застлана дымом, и там, справа, где дым стоял пореже, на бледно-серой поверхности воды ясно различались темные, бесформенные комья. Это вниз по течению сплывали трупы, видимо, и наших и вражеских солдат.

Пушка ударила еще раз, и Ружейников, тоже взмокший теперь и разопревший, отирая рукавом лоб и щеки, опустился на пустой снарядный ящик.

— Будет покуда. А то в своих... Ни черта не видно.

«Слава богу»,— мысленно произнес Иван, думая о Семене, присел на другой.

Ружейников проговорил эти слова и вскочил резко.

— А может, не будет, а?

Во время торопливой стрельбы по немцам все ничего не видели и не слышали, кроме звуков боя, идущего там, внизу, за рекой. Теперь вдруг все различили тяжелый гул, быстро приближающийся с востока. Орудийная канонада, возникшая было там, давно смолкла. Ружейников, Магомедов и Савельев Иван в горячке этого не заметили и давно о ней забыли. Теперь, все враз глянув туда, увидели пронизанные лучами еще не поднявшегося из-за края земли солнца розовые дымы, такие же, как над рекой и над заречьем, ощутили, как под ногами чуть подрагивает земля.

— Это танки, — произнес первым Иван.— Сюда идут опять танки.

— Если это наши прорвались, то хорошо,— криво усмехнулся Ружейников.— А ежели немцы отступают прямо на нас... Что мы с одной пушкой?

Магомедов отбежал метров на тридцать в сторону, к разбитым орудиям батареи, и, взмахнув рукой, закричал оттуда:

— Глядите! Глядите!

Иван и Ружейников кинулись к Магомедову на восточный склон высоты. Изрытое снарядами поле с темной каймой леса на багрово-дымном горизонте тонуло в синей рассасывающейся мгле, и по всему полю, приближаясь к высоте, густо бежали отступающие немцы. Никаких танков не было видно, по-прежнему слышался лишь тупой гул множества работающих моторов, он приближался, накатывался неотвратимо...

* * *

Капитан Кошкин умирал в санитарной палатке в присутствии Якова Алейникова.

Командир штрафной роты был смертельно ранен осколком снаряда в тот момент, когда последние бойцы, преодолев топь, выскочили на твердый берег и с отчаянной руганью кинулись в дым и грохот, в сторону горящего леса.

— Хорошо матерятся,— улыбнулся Кошкин, тоже направляясь к освещенному горящим лесом берегу вслед за Лыковым, тыкая палкой в зыбун.— Значит, вычистят фашистов отсюда. Дурачье, если ждали нас, почему же не заминировали берег?

С этими словами он вступил на твердую почву, вынул ракетницу, стал, не торопясь, заряжать ее, поглядывая в сторону леса, утонувшего в дыму, огне и грохоте. Тут и разорвался снаряд, может быть, немецкий, а может быть, и наш, метрах в пяти всего от Кошкина и почти под самыми ногами Лыкова. Но судьба на войне у каждого своя: старшего лейтенанта Лыкова горячей волной только отшвырнуло на мягкий берег, а Кошкину осколок ударил прямо в живот. Выронив ракетницу, Кошкин резко упал на колени, одной рукой зажал рану, а дру-

гой — все опирался на палку, намереваясь встать.

— Товарищ капитан?! — вскочил Лыков, подбежал к Кошкину и остолбенело замер, еще раз вскричал сразу осевшим голосом:— Данило Иванович...

Сквозь пальцы Кошкина хлестала кровь, темной струей текла на землю по низу гимнастерки.

— Ракету! Живо — ракету! — захрипел Кошкин.

— Санинструктор! Эй, как тебя? — совсем не по-военному закричал Лыков выбегающей из болота девчонке, нашарил в траве ракетницу, выстрелил вверх — зеленая полоса прочертила дымный воздух, ушла высоко в черное ночное небо. Кошкин еще постоял секунду и, будто удостоверившись, что сигнал нашей артиллерии о прекращении огня подан, стал валиться наземь. Лыков подхватил его, и в это время к командиру роты подбежали сразу три девчонки, одна из них, высокая и черноволосая, торопливо расстегивая сумку, властно сказала:

— Положите его! Чего вы его держите?

Помогая друг другу, девушки расстегнули Кошкину ремень, открыли живот, и черноволосая невольно вскрикнула:

— Боже мой!

Наши орудия прекратили огонь, теперь стреляли беспорядочно лишь уцелевшие немецкие пушки.

Откуда-то из темноты появился начальник санчасти, вчетвером они принялись чем-то мазать и залеплять страшную рваную рану и, подсовывая руки под спину, перематывать Кошкина бинтами. Они бинтовали, а кровь все проступала и проступала. Командир роты сквозь зубы стонал; глаза его были закрыты, лицо залила смертельная бледность.

— Отнесите его туда...— Лыков махнул в сторону болота.— Есть носилки? Принесите носилки!

— Нельзя его трогать! — сказал начальник санчасти.— Нельзя нести...

— И бесполезно...— прошептал Кошкин, открывая глаза.—Я это знаю... Лыков, принимай командование ротой. И все... занимайтесь чем положено. Ты вот... останься со мной.

Это он сказал склонившейся над ним черноволосой девушке.

Бой тогда только разгорался, немецкие пушки беспрерывно молотили по краю болота, болотная жижа и вырванные взрывами кустарники поднимались в мерцающий воздух сплошной стеной.

— В болоте бойцов уж нет,— сказал Кошкин, глядя на эти взрывы.— Сколько лягушек изведут?

С каждой минутой немецкие пушки стреляли все реже и реже, орудийные раскаты уже не перекрывали рев автоматов и человеческих голосов.

— Ну... вот,— тяжко дыша, проговорил Кошкин.— Штрафнички дело свое знают. Как звать-то тебя?

— Шура, Александра,— сказала девушка, обтирая кусочком бинта крупные капли пота с лица командира роты.

— Откуда же ты?

— Смоленская я... До войны в медицинском училась в Москве. Три курса закончила.

— На дочку мою ты похожа.

Кошкин еще помолчал, прикрыв глаза, слушая звуки беспощадного боя.

— Вот что, Шура-Александра...— неожиданно сказал командир роты. В груди его что-то клокотало и рвалось.— Я все прошел и ничего на свете не боюсь... Но в плен к немцам не желаю. Вроде... атака наша удалась, не зазря в землю ложимся. Но все в бою бывает переменчиво. И ежели что... ты меня пристрели. Поняла?

— Что вы, товарищ капитан! Ничего не переменится. Рота уничтожит их.

— Ты не отговаривайся, дочка,— все слабеющим голосом проговорил Кошкин.— Я сейчас, чувствую, потеряю сознание... И если что... ты это сделаешь. Так и так мне помирать. Хоть здесь, хоть там, у них. Но я не хочу там... И ты это должна понять.

— Я понимаю... понимаю,— со слезами шепотом произнесла девушка.

Однако Кошкин не потерял сознание ни в эту ночь, ни на следующий день, вплоть до заката. Несмотря на немыслимую потерю крови, он был жив, только временами закрывал глаза, будто засыпал, но едва девушка-санинструктор делала какие-то движения, тотчас размыкал вспухшие веки, спрашивал слабым голосом:

— Что там, Шура?

— Выбивают немцев. К реке гонят.

— Хорошо.

Этим словом «хорошо» он отвечал потом на сообщения связных, которых присылал Лыков, что рота, неся огромные потери, оттеснила немцев к реке, но атака захлебывается, что с высоты ударила какая-то оказавшаяся там наша батарея, только стреляют одной или двумя пушками, и это помогло роте отбросить гитлеровцев за реку, что с востока началось наступление наших войск, но рота, обескровленная больше чем наполовину, все-таки пробилась за реку, ударила на высоту, а затем, как и было приказано, бросилась навстречу отступающим немцам, но бойцы гибнут, что вместо убитого командира одного из отделений он поставил рядового Зубова, отличившегося при штурме вражеских позиций на берегу болота, при форсировании реки...

— Ага, Зубов,— повторил Кошкин.— Хорошо...

Бой этот вокруг высоты 162.4 продолжался много часов и закончился далеко за полдень, когда прорвались наши войска с запада и, сомкнувшись где-то на окраине Жерехова и по левому берегу речки, за которую штрафная рота отбросила оборонявшихся здесь гитлеровцев, с наступающими, но выдохшимися уже частями 215-й дивизии, зажали немцев в кольцо, начали его сжимать. Таким образом, умирающий Кошкин вместе с девушкой-санинструктором, находившиеся на правом берегу, оказались в тылу наших наступающих войск, и связные сюда больше не прибывали.

— Часов в четырнадцать немцы предприняли отчаянную попытку вырваться, собрали остатки танков и самоходок, ударили на Малые Балыки,— сказал Алейников.— Где стояла твоя рота. А туда, на северную окраину, подполковник Демьянов как раз перенес свой КП.

— Вон что! — произнес Кошкин. Он лежал по-прежнему на земле, застланной двумя или тремя суконными одеялами, укрытый шинелью. Грудь его толчками вздымалась.

— Да... я сейчас из штаба дивизии. Демьянова похоронили.

— Как же это... как же это?! — дважды слабо воскликнул Кошкин, облизнул сохнувшие губы. Шура, все находившаяся при командире роты, уставшая, с почерневшими глазами, дала ему глотнуть из алюминиевой кружки.

— Та девушка-телефонистка, помнишь, черноглазая такая, красивая... тоже... В одну могилу их положили. Танки с ходу раздавили гусеницами землянку. Они даже выскочить не успели.

Кошкин никак на это не откликнулся, прикрыл глаза. Но через несколько мгновений их открыл, долго смотрел на девушку-санинструктора.

— Устала? — вдруг спросил он.

— Что вы, товарищ капитан...

— Да, война... Ты встретил своих людей из-за фронта? — Он взглянул на Алейникова.

— Встретил... А через два-три дня сам туда ухожу с группой.

— Понятно,— спокойно произнес Кошкин.— Ваше дело такое...

— У всех у нас одно сейчас дело.

— Сейчас,— усмехнулся Кошкин, медленно повернул голову к сидящему на каком-то ящике Алейникову.— Дело у нас всегда одно было.

На скулах Якова, обметанных черной щетиной, возникли и прокатились желваки.

За стенами палатки раздавались голоса девушек-санинструкторов, начальника санчасти, оставшихся в живых бойцов роты, стоны и смех раненых, скрип тележных колес. Тут, на берегу болота, на месте только что отполыхавшего, немыслимого боя, где лежал умирающий командир роты, находилось теперь ее расположение, сюда послезавтра должен прибыть военный трибунал, чтобы рассмотреть и закрыть все дела штрафников. А пока остатки списочного состава роты под руководством старшего лейтенанта Лыкова и старшины Воробьева тщательно, метр за метром обследовали искореженную боем землю, болотные тропы, стаскивали и свозили убитых в одно место, раненых в другое — к наспех разбитым палаткам, точно таким же, в которой лежал Кошкин. Бойцы, которых чудом миновали в этом бою пули и осколки, делали все это с энтузиазмом, старательно, понимая, что они теперь свободны. Убитых предстояло до захода солнца похоронить, тяжелораненых — отправить в армейский госпиталь, легкораненым оказывалась помощь на месте.

— Гляди, Кафтанов, кореш твой, Гвоздь, концы отдал! — послышалось невдалеке.

— А Зубов где? Макар?

— Заткнись! — рявкнул кому-то Макар.

Капитан Кошкин, услышав эти возгласы, чуть скривил потрескавшиеся от сжигавшего его огня губы.

— Остался на земле, подлец...

Алейников понял, что он говорит о Кафтанове.

— Может быть, Кафтанов не ранен...

— Все равно... Перед боем было обещано. А у нас это закон.

В палатке появился Лыков — закопченный, в грязной, пропотевшей насквозь гимнастерке.

— Ну, что, Лыков? — спросил Кошкин.

— Товарищ капитан! Данило Иванович... Как же это?

— Давай, постони еще,— опять чуть скривил губы Кошкин. Приближающаяся, неумолимая смерть обострила уже его лицо, оно сделалось серым, бескровным.— Что, спрашиваю, там?

— Доставляем раненых из-за речки. Кончаются перевязочные материалы. Начальник санчасти услал за ними подводу в дивизию. Сам валится с ног... Осмотрим еще высоту — и все. Пока без вести пропавших числится двести восемь человек. Много убитых по речке вниз сплыло, я сам видел. За речкой, может, кто еще лежит.

Кошкин помолчал и вдруг спросил:

— А Зубов... жив, убит?

— Зубов? Пока ни в тех, ни в этих. Последний раз я его где же видел? На том берегу речки, когда он отделение к высоте повел... Мог бы двигаться — объявился уж.

— Понятно... Ты занимайся своими делами. Ступай.

Старший лейтенант постоял еще молчком, повернулся и вышел.

— А Зубова жалко мне,— едва слышно прошептал Кошкин.— Вот тоже судьба человечья... Что, говорит, такое родина, где ее найти? Ты понимаешь? Нет, тебе не понять...

Алейников вспомнил свой недавний разговор с Зубовым и сказал две короткие фразы.

— Я с ним разговаривал. Он заново вроде бы рождался.

— Да... здесь... в роте.

У командира роты началось удушье, на губах появилась розоватая пена, и сидевшая у его изголовья девушка торопливо стерла ее комочком бинта, зло глянула на Алейникова: чего, мол, торчишь тут, не даешь человеку спокойно умереть? Но Кошкин, словно разгадав ее мысли, проговорил:

— Ты, Яков... спасибо, что зашел. Посиди, погляди, как я умру. Не уходи прежде. Это недолго.

Он говорил, а розовая пена выступала на иссохшихся его губах.

— Я, Данило Иванович, просто ощутил необходимость зайти. Прости меня за все, если можешь.

— Да что ты? Эх, Яков... много было таких, как ты... и как я. Почему — я не знаю, не успел этого узнать. Может, что-то стал понимать, да не ясно пока. Другие все поймут, все узнают. Скоро... А я... Одно я знаю твердо — моя судьба все же счастливее твоей.

— Что ж... правильно.

Один из них был здоров и полон сил, другой умирал, был, собственно, уже мертв. Тот, кто был здоров, произнес кощунственные слова, подтвердив, что судьба умирающего все же счастливее, чем его. Но Кошкин согласно кивнул и прошептал:

— Прощай, Яков. До победы доживи. И расскажи обо мне моим... Жене и дочери...

Изо рта у него теперь обильно хлынула кровь, он дернулся, вдруг будто намереваясь встать.

— Товарищ капитан! Товарищ капитан! — вскрикнула девушка обезумевшим голосом, схватила его за плечи. И он, будто подчиняясь ее рукам, покорно лег, вытянулся и затих.

Едва он затих, девушка обтерла ему губы. Кровь изо рта больше не шла. Девчонка уронила голову на свои колени и беззвучно зарыдала.

Яков Алейников поглядел на ее слабенькие, обтянутые солдатской гимнастеркой, трясущиеся плечи, поднялся и вышел из палатки.

Продолжение следует.

Анатолий ИВАНОВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ВЕЧ

Ивана Савельева Алейников все же отыскал. Он нашел его через день километрах в трех от передовой, куда отвели остатки 3-го гвардейского танкового полка, уцелевшие после боя.

Полдневное солнце щедро обливало лучами изувеченный перелесок, обезображенную гусеницами поляну, несколько танков — обшарпанных, с вмятинами на броне, с обгоревшей краской. Танки стояли по всей опушке в беспорядке, как на кладбище, в разные стороны разбросав пушечные стволы, и казалось, что они никогда больше не заведутся, не оживут, не превратятся в грозные боевые машины.

Иван был в нижней рубашке, бос, с повязкой на голове. Выстиранная гимнастерка и портянки были развешаны на кустах. Примостив между сучьями дерева осколок зеркала, он тупой бритвой соскребал со щек грязную и крепкую, многодневную щетину и, когда зашумел мотор алейниковской «эмки», даже не повернулся на звук. И Алейников не узнал его в первые секунды, спросил, проходя мимо:

— Третий гвардейский, что ли? Эй, солдат, тебя спрашиваю.

Иван мельком глянул на приехавшего майора.

— Ну, третий...

— Где найти командира полка?

Иван глянул и отвернулся было, но тут же резко, всем телом крутанулся к приезжему офицеру, отступил назад и чуть вбок, будто пытаясь спрятаться за дерево.

— Савельев?!

Иван еще немного отступил.

— Ну, наконец-то! Здравствуй. Или не узнаешь?

— Почему же... Узнал.

Алейников шагнул к нему еще ближе, первым протянул руку.

Иван помедлил, но тоже подал ему свою. Так они встретились.

— А я который день разыскиваю вас. Тебя и племянника твоего. Из дивизионной газетки про вас случайно узнал. Расписали вас там! Потом мне в штабе дивизии сказали, что вы на высоте, в тылу у немцев оказались... Семен-то Савельев, племянник, где?

Иван отвернулся и глухо произнес:

— Не найдешь Семку...

Окончание. См. «Огонек» №№ 18—32.

— Убит?! Ранен?

— Ну, убитый! — враждебно сказал Иван, натягивая гимнастерку.

Яков стоял и хмурился. Иван, надев гимнастерку, взял высохшие уже портянки, сел под дерево, стал обуваться.

— Жалко парня,— сказал Алейников.— Как же это случилось?

Иван бросил снизу быстрый взгляд на Алейникова.

— А что, особый отдел не знает, как это на войне случается?

— Иван Силантьевич, я не из особого отдела,— проговорил Алейников негромко, ощущая перед этим рядовым солдатом неловкость.

Иван опять глянул на Алейникова снизу, глаза его не потеплели, но в них промелькнуло любопытство.

— А откуда ж тогда? — спросил он, вставая. В словах его была недоверчивость.

— Я начальник специальной прифронтовой группы НКВД.

— Это... что же такое?

— Полезная организация... Разведка, диверсии в тылу у немцев. С партизанами связь держим, помогаем им, чем можем... Дел, в общем, хватает.

— Понятно,— помедлив, сказал Иван.

...Спустя некоторое время они — два далеко уже не молодых человека, один в офицерской, а другой в солдатской форме — сидели меж невысоких березок на мягкой, пахнущей дымом и гарью траве, неподалеку от опушки, на которой собрались ободранные пулями и снарядами танки, недавно вышедшие из боя. На траве стояла вскрытая банка мясной тушенки, котелок с кашей, лежали две ложки, полбулки черствого хлеба, фляжка с водкой, из которой они отхлебнули всего по глотку. За встречу, как сказал Алейников. Иван возражать не стал и молча принял фляжку из рук Алейникова. И теперь он негромко, не спеша, часто останавливаясь, рассказывал тусклым, уставшим голосом:

— Убило Семку рано утром, солнце едва на сажень разве от земли поднялось... Он контуженый был, до того в траншее лежал, в голове у него от контузии неладно было. Наши погнали немцев, тучами они побежали... и прямо на нас! Все, думаем, сомнут нас, растопчут. И с востока немцы отступали и из-за реки. Оттуда их какая-то наша часть выбивала, Ружейников, командир батареи, говорил, штрафники будто...

— Штрафники,— подтвердил Алейников.— Через болота штрафная рота ударила.

— Да мы видели... Еще удивлялись. А это штрафное дело тоже по твоей части?

— Нет, это совсем другое,— сказал Алейников.— А знаешь, кто штрафной ротой командовал? Кошкин Данило Иванович... земляк наш.

Иван это сообщение внешне воспринял как-то равнодушно, лишь повернул к Алейникову голову и переспросил:

— Кошкин? Ну, помню.

Иван — Алейников все время это чувствовал — был его неожиданным появлением несказанно удивлен, даже ошеломлен. Напрасно вырвавшиеся его слова: «А я который день разыскиваю вас»,— еще более озадачили Савельева, он все время держался настороже и скованно, и вот теперь лишь в его холодных, измученных всем пережитым глазах начало что-то оттаивать.

— Ты Кошкина-то хорошо знал? — спросил Алейников, понимая, что разговор может зайти или уже зашел в тяжкую для него область. Но он не хотел избегать этой тяжести или уклоняться от нее.

— Где же хорошо? Сколько я жил-то... в родных местах? — с горечью произнес Иван.— Все больше в других краях приходилось.

Он взял фляжку, отвинтил крышку, плеснул в нее и выпил. Ковырнул ножом в банке, достал кисет. Алейников все это время сидел молча, разглядывая что-то на траве.

— Давай-ка, Яков Николаевич, не будем об этом,— проговорил Иван негромко.— Нелегко об том... ни тебе, ни мне. Тут и без того...

Однако, чиркнув спичкой, спросил:

— Как же он в штрафных командирах оказался? Не знаешь?

— Из тюрьмы в штрафную роту направили. В первом бою судьба его пощадила... Ну, и остался в роте. Был командиром отделения, взвода... Командиром роты потом назначили. Эх, Иван Силантьевич! Я только здесь узнал, какая душа была у этого человека.

— Как?! Он...

— Да, тоже погиб в этом бою,— сказал Алейников.— Погиб Данило Иванович...

Иван медленно опустил голову, посидел недвижимый. Потом, подведя, видимо, итог каким-то своим мыслям, негромко вздохнул.

— А я, дурак, письмо в Шантару послал Кружилину о вас,— с горечью промолвил Алейников.— О тебе и о твоем племяннике. И статью эту о вас из газеты вырезал и туда вложил. Пусть, думаю, порадуются за земляков... Как же все-таки это произошло?

— Как... На словах объяснить просто, да не все понятно будет... Нас четверо было на высоте. Трое даже. Семка от боли в голове метался в траншее, контузило его, я говорил. А отступающие немцы, значит, к высоте бегут. Но тут ихние танки откуда-то выскочили, десятка три, ежели не больше. Поперли мимо высоты навстречу своим. Видя такой оборот, немецкая пехота, что с востока отступала, назад повернула. И те фашисты, что от реки бежали, тоже ощетинились, прижали штрафников к земле. А мы что со своей одной пушкой?! К тому же лейтенанта Магомедова еще убило. Ружейников крикнул: «Ну, братцы, последний парад!» Выкатили мы кое-как орудие на восточный склон холма, ящик со снарядами успели подтащить. В это время и убило Магомедова, пуля откуда-то прилетела. Охнул он, что-то крикнул по-своему, по-азербайджански, и упал на снарядный ящик... кровью окрасил его. Тут, гляжу, Семен вылез из траншеи, идет к нам, мотает головой. И руки болтаются, как плети. «Танки же,— орет,— танки!» Будто мы не видим. Подошел к Магомедову, снял тело со снарядного ящика, вынул снаряд. А на гильзе полосы, кровь Магомедова, еще светлая и теплая. И рука Семена в его крови... Это мне все врезалось, все в глазах вот стоит. «Что ж вы,— кричит Семка,— не стреляете, сволочи?!» А мы бьем по танкам, вслед им. Ружейников у панорамы согнулся, а я заряжаю... Подожгли вроде не то две, не то три машины. А может, и не мы — видим, наша артиллерия тоже лупит через наступающие порядки по немецким танкам.

— Это артполк, приданный 215-й дивизии, перенес огонь под высоту,— сказал Алейников.

— Ага... Только-только их пушки нас не накрывали. Впереди все потонуло в дыму и пыли. Да и зря, что не накрыли... К тому времени, как Семка подошел, я уже опростал ящик, взял у него последний окровавленный снаряд, подтащи, кричу, другой ящик. Кричу, а сам вижу: сбоку по склону прямо на нас карабкается немецкий танк. Черт его знает, откуда взялся! То ли какой из тех, что мимо высоты прошли, вернулся, подошел, не замеченный в дыму, то ли новый подполз. «Ружейников!!!» — заорал я что было мочи, а голоса не слышу. Должно, осел со страха голос. Да и что кричать... Поздно уже: свой хобот немецкий танк чуть не в пушку уже воткнул. «Все! — мелькнуло у меня молнией.— Счас выплюнет снаряд... а потом обломки от нашей пушки гусеницами в землю вдавит». Сколько раз мы так делали! А теперь, думаю, наша судьба подошла... Снаряд у меня вывалился из рук, Семку я толкнул в бок что было силы, сам вроде скачок за ним сделал...

Иван замолчал, жадно стал досасывать самокрутку. Когда подносил ее к губам, пальцы его подрагивали.

— И что же... дальше?

— А так все и произошло... Взрывом меня об землю бросило. Но, чую, живой, только головой об камень ударился.— Иван дотронулся до повязки, усмехнулся.— Вишь, как бывает, ни осколок, ни пуля головенку мою никудышную не могли найти, а об камень проломил. Вскочил я... Танк, раздавив гусеницами нашу пушку, уже ушел, не видно его. Ни танка, ни пушки нашей, значит, на ее месте один дым стоит. «Ружейников там же, возле пушки, был! Ружейников! — заныло в мозгу.— А Семка?! Где Семка?!» — Иван по-прежнему трясущимися пальцами вдавил окурок в землю.— А Семка, значит, был уже готов... Он лежал, распластавшись, на животе, с окровавленной спиной... Осколок угодил ему меж лопаток, вырвал лоскут гимнастерки... Перевернул я его, лицо у него серое, мертвое... Мне его даже и не жалко было как-то в ту минуту, онемело только все внутри у меня...

День стоял, как и предыдущие, знойный и безветренный, березки, под которыми они сидели, давали жиденькую тень, немного защищали от солнечных лучей, но все равно было душно. Гимнастерка Алейникова была, однако, наглухо застегнута, и только сейчас он как бы нехотя поднял руку и расстегнул две верхние пуговицы.

— И Ружейников, значит, погиб?

— Нет,— сказал Иван, голос его вдруг захлебнулся. Проглотив комок слюны, продолжал:— Как он уцелел — прямо ошарашило меня. Я возле Семки сижу, чую, кто-то в стороне маячит сквозь не осевшие еще дым и пыль. Гляжу: там, где пушка стояла, поднялась растопыренная, страшная, обгорелая фигура, двигается ко мне, как... ей-богу, как леший сквозь болотный туман идет... Подошел, сел, на Семку глянул. Вот тебе и сосенки-елочки, говорит. И он весь в крови, и Семка, и у меня по щеке течет с головы... Счас Ружейников в санбате лежит, утром я был у него. Улыбается. Мне, говорит, дырки залепят и новую батарею дадут, давай ко мне в батарею, командиром орудия назначу...

— Да-а! — только и сказал Алейников.

Потом в воздухе долго стояла тишина. С опушки, где стояли танки, доносились приглушенные листвой голоса, кто-то заразительно хохотал, и слышались удары молотка о железо. Но все эти звуки не нарушали глухого и тяжкого безмолвия, повисшего над Алейниковым и Савельевым Иваном.

— Ну и сушь стоит! — проговорил наконец Иван.— Хоть бы маленько дождик брызнул, воздух прочистил... Зачем же мы тебе с Семкой понадобились-то?

Алейников приподнял голову на онемевшей шее, потер пальцами по привычке

НЫЙ ЗОВ

шрам на щеке. Потом медленно повернулся к Ивану, оглядел его так, будто видел впервые. Иван даже сказал невольно:

— Чего это ты еще?!

— Зачем? — переспросил Алейников.— Посмотреть на вас да сравнить...

— Чего? С чем?

Уголки рта Алейникова шевельнулись, в выражении лица проступило что-то жесткое, беспощадное.

— Тебя... с братом твоим Федором. А сына — с отцом, значит.

— Как это сравнить? — проговорил Иван, ни о чем не догадываясь еще, ничего не зная.— Он, Федька, писали из дому, на фронт был взятый прошлой зимой. Погоди, неужто он... тоже здесь?!

— Нет, не здесь. Но и недалеко. Он у немцев карателем служит.

Еще не замолкли эти слова, а Иван, будто подкинутый страшной силой, вскочил, попятился от Алейникова, хватаясь, чтоб не упасть, за вершинки и ветки молодых березок, ломая и обрывая их. Его щеки, только что очищенные от многодневной щетины, рыхло дергались, глаза делались все больше.

Наконец, верхушки каких-то двух молоденьких, всего на метр от земли, березок, за которые Иван ухватился, не оборвались, выдержали, и он остановился.

— Ты... Да ты... чего?! — вытолкнул он одеревенелым языком несколько звуков. Слова были тихими, бессильными, лишь глаза Ивана кричали дико и протестующе.— Федор? Федька?!

— Ага, Федор.

Иван постоял, качаясь, будто и в самом деле был пьян, все держась обеими руками за верхушки березок. Потом отпустил их, пошел, как слепой, вперед. Очутившись возле Алейникова, немного еще постоял безмолвно, как столб.

— Врешь... врешь ты?! — хрипло, без голоса произнес он.

Алейников на это ничего не ответил.

Ноги Ивана больше не держали, подломились, он сел почти на прежнее место, стиснул голову руками.

Так, скрючившись, выгнув обтянутую белесой, только что выстиранной гимнастеркой спину, Иван посидел минуты две. По-прежнему доносились с опушки голоса танкистов, резкий стук кувалды о железо... Потом где-то над головами, в расплавленной солнцем вышине, свободной здесь от дыма и гари, зазвенел, запел жаворонок.

Иван не слышал ни человеческих голосов, ни металлического лязга, но переливчатая, негромкая птичья песня разрезала застывшее сознание, он оторвал прилипшие к голове ладони, поглядел сперва вверх, потом на Алейникова. И Яков, ждавший этого взгляда, все равно поразился той перемене, которая за эти короткие минуты произошла с Иваном. Лицо его, серое и бескровное, будто усохло, сразу похудело, глаза куда-то провалились, в них не было теперь ни боли, ни страха, ни изумления — ничего живого.

— Так...— промолвил он посиневшими губами.— Так он, видно, и должен был... кончить. Федька-то... Слава богу, что Семка...

Трясущимися руками он опять вынул кисет, от сложенной в маленькую гармошку газеты оторвал клочок и, просыпая на колени махорку, стал вертеть самокрутку, но бумага порвалась. Яков достал пачку «Беломора», молча протянул ему, но Иван только махнул рукой, оторвал еще полоску газеты.

— Ах, Яков, Яков...— произнес он с тоской и болью, вздохнув. И с этим вздохом будто вогнал внутрь себя остатки сомнений в происшедшем с Федором, растерянности и изумления, вызванных сообщением Алейникова. Пальцы рук его перестали дрожать.— Получаются куролесы в жизни-то людской. Все криво, криво, а потом и вовсе в сторону. Как же так, а, Яков Николаевич?

Алейников попыхал папиросой, окурок щелчком отбросил в траву.

— Получаются,— сказал он угрюмо. Глядя куда-то вбок, усмехнулся и продолжал вяло и не очень понятно:— Человек, он вообще... Пока учится ходить — шатает его с одного бока на другой. А научился — и пошел, пошел, верно, в сторону. Каждый в свою. А куда? Правильный ли путь-то взял?

— Это ты мою жизнь имеешь в виду?

— Да хоть твою,— проговорил Алейников.— Хоть мою... Хоть брата твоего Федора. Любого человека.

Голоса людей на опушке затихли, и металлический стук прекратился. Только в выжженном, обесцвеченном солнцем июльском небе где-то по-прежнему звенели жаворонки, теперь не один, а несколько. Иван слушал их, глядел то в одну сторону высокого неба, то в другую. Птиц он отыскать там не мог, а губы его временами оживали, и в глазах появились странные отсветы.

— Скоро я, может быть, с Федором, братом твоим, и повстречаюсь,— негромко проговорил Алейников.— Послезавтра я с группой ухожу к немцам в тыл, под деревню Шестоково. Там одна немецкая разведорганизация окопалась. Приказано ее немного пощупать... Там же, в Шестокове, и Федор у немцев служит.

Алейников глядел прямо в лицо Ивану. Тот взгляда не отводил, только светлые точки в его глазах дрогнули и исчезли да кожа на скулах сильно натянулась.

— Ты... для этого... чтобы сообщить все это... и разыскивал... нас с Семкой?

— Да. И для этого,— сухо ответил Алейников.

Иван ничего не выражающими глазами скользнул по гладкому подбородку Алейникова, по его груди, на которой, как и у самого Ивана, не было ни орденов, ни медалей, по его рукам с сильными, жесткими пальцами, в которых он вертел спичечный коробок. Задержал взгляд на этом коробке и отвернулся.

Откуда-то из-за кустов появился Гриша Еременко. Он ничего не спросил, ничего не сказал, бросил только взгляд на Алейникова, подобрал с травы ложки, взял котелок с остатками каши, фляжку, хлеб, недоеденную тушенку и исчез так же безмолвно, как и появился.

— Слава богу, что Семена убило...— проговорил Иван, наконец.— Если убило...

— Как?! — мгновенно воскликнул Алейников.— Как это... если убило?!

— Погиб он, конечно... Я же сам видел. Только не пойму, куда тело делось. Я после боя всю высоту облазил. Еще до того, как убитых хоронить начали. Нету его, не нашел.

— Куда ж он делся?

— Не знаю. Я все обыскал.

— Да что ты голову мне морочишь?! — зло воскликнул Алейников.

— Не морочу я! — вскипел и Савельев. Но тут же остыл, принялся, как и раньше, не спеша рассказывать:— Оно как все было там у нас, после того, как танк этот орудие наше раздавил? Ружейникова тоже взрывом отбросило от пушки, этим и спасся. Плечо его осколками ободрало только. Подошел он, значит, ко мне, сел, на Семку глядит... Помню, спросил, сколько ж ему лет. Я сказал. И говорю: давай плечо тебе чем-нибудь перевяжу. Погоди, отвечает, с плечом. Смотри-ка! Это, значит, возле речки снова бой закипел, стрельба заревела. Мы кинулись к своему окопу. Глядим — немцы сыпят от реки. Сбили их, значит, погнали. «Ага, сосенки-елочки!» — засверкал глазами Ружейников. А сам диск в автомат вбивает. Потом гранаты стал по карманам рассовывать. И мне: «Бери остальные, чего головой вертишь, как дурак?!» А я верчу, потому что вижу: из-за дымов, что на западе распластались, кучи немцев бегут. И опять в сторону нашей высоты. Земля в ту сторону ровная, как стол, кой-где только овражками изрезана. Километра на два вдаль до самых дымов все видно. «Гляди,— закричал я,— и оттуда немцы отступают!» «Где?— прохрипел Ружейников.— А-а, сволочи! Так тем более айда! Давай!» Махнул мне автоматом, переметнулся через бруствер. Я за ним, значит...

Алейников сидел неподвижно, грустновато глядел куда-то перед собой. Казалось, он вовсе не слушает Ивана, а размышляет о чем-то, думает какую-то свою давнюю и нелегкую думу.

Однако, едва Иван примолк, тотчас поднял на него свои уставшие, колючие глаза:

— Ну?

— Немцы от реки тоже своих, видать, заметили. Отстреливаясь, в ту сторону и попятились. А нам с высотки их с автоматов не достать. Ружейников и решился навстречу им, с тыла... Я признаюсь тебе... «Сомнут же нас немцы, сами лезем под их сапоги!» — заколотилось у меня в мозгу. Чего мы им, двое-то?! Испугался я, признаюсь, в этот момент. Как будто раньше все и ничего было, а тут холодным лезвием голову разрезало...

— Испугаешься,— угрюмо уронил Алейников.

— Да-а... Однако качусь с холма следом за Ружейниковым. Как зайцы скачем — от воронки до воронки. Больше укрыться негде, высотка голая и гладкая, как бабья титька... Соображаю: к подбитому нами позавчера танку Ружейников бежит. И немцы к нему же от речки пятятся, приближаются. И вот — хочешь, верь, хочешь, нет — так мы до разбитого танка и добежали по голому месту незамеченные. Упали под него...

— Не до того, значит, немцам было.

— Не до того, видно,— согласился Иван.— Штрафники эти и в самом деле дьяволы. Наступали они... страшно и вспомнить. Немцев вдвое, однако, больше было. Только прижмут штрафников к земле, а те опять поднимаются. Под самый огонь... И прут как заговоренные. Косят их, а они...

— Что ж им остается? — сказал Алейников.— Они обязаны выиграть бой. Другого для них не дано.

Иван поморгал белесыми ресницами и потерявшим силу голосом проговорил:

— Да, я знаю. Только не видел никогда до этого.

Иван посмотрел на взмокший, обильно поседевший висок Алейникова, на струйку пота, стекавшую по горячей скуле, обтянутой загорелой, уже заметно одряблой кожей, и вдруг почувствовал, как возникает в нем жалость к этому человеку.

— Оно многого не надо бы видеть, да видим,— произнес Алейников.

— Приходится,— грустно сказал Иван.

Жалость к Алейникову в душе Ивана все росла, он ощутил вдруг всю тяжесть, которую нес на себе этот человек, и от этого ощущения Алейников сразу стал ему как-то ближе, понятнее.

— Упали под танк... И что потом? — спросил Алейников, не меняя позы.

— Что же потом? Прижались мы с Ружейниковым к вонючей, обгоревшей броне и ударили из двух автоматов навстречу немцам. Какие-то секунды, может, они всего и не понимали, откуда это в них и кто... прилипли к земле. А этих секунд и хватило штрафникам. То есть не то чтобы хватило... То ли они подумали, что какая-то часть им на подмогу, то ли еще чего, только заревели еще звериней... Мы, значит, из автоматов поливаем, немцы палят, сами штрафники, а очередей будто и не слышно, все в сплошном мате тонет. Когда гранаты только бухали, рев этот маленько задавливало...

— Немцы их рева пуще автоматов и боятся,— сказал Алейников.

— Да-а... Ну, сколько бой шел этот — не знаю, не меньше часу, однако. Все огнем и дымом взялось. И гореть вроде нечему, а горело... И как он шел — ничего было не разобрать. Мы после одиночными только стреляли. Потому что мелькнет в дыму немец, и тут же в нашей форме солдат... Вот так под танком мы с Ружейниковым и пролежали. Слышим, бой через нас перекатился, отдаляться стал к высоте. Что же нам-то, думаю, со штрафниками, что ли, идти? Спрашиваю у Ружейникова, а тот стонет лишь. Глянул я — ничего, новой никакой крови не увидел. Куда, кричу, раненый? Стонет он и головой крутит. Эх, думаю, черт ли с ними, со штрафниками-то — обойдутся. Вытащил Ружейникова из-под танка, взвалил на плечи, понес к реке. Вот так... А дальше как бой развивался, ты и сам, на-

верное, знаешь... Остатки немцев от реки на высоту отступили, нашу огневую позицию заняли... где Семка лежал. И откатывающиеся с запада фашисты тоже за высоту зацепились. Целых полдня, считай, там держались.

— Это я знаю,— сказал Алейников.

— Ну вот как на войне-то бывает! Только что мы на высоте были, а теперь немцы. А я с Ружейниковым по берегу мечусь: куда же, думаю, мне? В правый пах его и опять в то же плечо прошило, поглядел я Кое-как забинтовал своей рубашкой. И думаю все: «Господи, Семка! Хоть и мертвый ты, а... Надругаются же, сволочи, над телом!» А потом наши с востока, от Жерехова, поперли. И оттуда, с запада, пошли. Вскоре наша пехота вдоль реки потекла. Ну, я, значит, доложил какому-то лейтенанту, кто мы такие, откуда. Тот аж глаза выпучил: «Живы?! Знаем об вас!...— И крикнул кому-то весело:— Их сто раз похоронили, а они живые, черти полосатые. Быстро в санроту старшего лейтенанта Ружейникова! Савельева накормить, а после боя я лично трофейным коньяком напою его, доставлю в его родную танковую часть!»

— Ну, и напоил? — спросил зачем-то Алейников.

— Нет...— ответил Иван и вздохнул.— Веселый был лейтенант. Молоденький еще. После боя, когда Семку искал, я на труп его наткнулся. Его, значит, нашел, а Семку нет. Нигде его тела... не было.

Голос Ивана дрогнул, он умолк, лишь долго и тяжко дышал.

— Может, немцы бросили в воронку его куда... да землей присыпали,— проговорил Алейников, когда Иван немножко успокоился.

Иван мотнул головой:

— Все я осмотрел, все обшарил. Тем же часом, как немцев с высоты выбили... Магомедов там и лежал, где погиб. И другие наши... убитые. Никого они даже с места не тронули. Некогда им было и не к чему...

— Не с собой же немцы его труп увезли...

— Да зачем он им... ежели мертвый был? — тяжко проговорил Иван.

Алейников поднял холодные, немигающие глаза. Под этим взглядом Иван сгорбился еще больше, еще ниже наклонил голову, обнажив худую, черную от загара и от въевшейся бензиновой копоти и пороховых газов шею.

— А ежели Семка не убитый был... а без сознания всего, раненый... и в плен теперь угнатый — не прощу себе! Ежели узнаю об том — застрелюсь.

И спина его затряслась, задергалась.

Алейников подождал, пока спина Савельева дергаться перестала, проговорил спокойным голосом, неосуждающим, будто посоветовал дружески:

— Давай, это дело... И жену и детей обрадуешь. Геройством твоим гордиться будут. Жену-то, кажется, Агатой звать?

При имени жены Иван приподнял голову, разогнулся, поглядел вокруг нездоровыми, ничего не чувствующими глазами и уперся ими в Алейникова.

Якову казалось, что Савельев подтвердит: да, мол, Агатой,— но вместо этого Иван произнес, почти не шевеля губами:

— Ты можешь меня с собой... туда, в Шестоково это... взять?

Алейников чуть заметно двинул бровями.

— Ты договорись, с кем надо...— проговорил Иван еще более осевшим голосом.— А, Яков Николаевич?

— Зачем... тебе это?— тоже волнуясь, спросил Алейников.

— Не знаю...— И тут же, словно опровергая не себя, даже не Алейникова, произнес, почти прокричал со злостью:— А разве непонятно? Разве непонятно?

— Хорошо, Иван Силантьевич. Я договорюсь,— глухо ответил ему Алейников.

* * *

На этом мы заканчиваем публикацию глав из 2-й книги романа «Вечный зов».

Полностью 2-я книга романа печатается в журнале «Москва» №№ 7—10.

ВЗЯТИЕ ГРОМОВ

Повесть

Николай АСАНОВ

Рисунки П. КАРАЧЕНЦОВА.

Совсем недавно я узнал, что подполковник Синицын наложил дисциплинарное взыскание на старшего лейтенанта Сиромаху со странной формулировкой: «За вмешательство в дела церкви...» Позже я выяснил, что летчик Сиромаха считает меня виновником случившейся с ним неприятности.

Я был огорчен этим взысканием не меньше, чем сам летчик, и предпринял розыски подлинного виновника. К сожалению, им оказался... я.

Увлеченный романтической историей летчика Сиромахи, я как-то рассказал ее в кругу знакомых. И вот одна из слушательниц, дама чрезвычайно литературная, решила, что эта история может служить основанием для прелестного, как она выражается, сценария, и даже как будто написала и предложила какой-то студии заявку или что-то в этом роде. Не был ни свидетельницей, ни, тем более, участницей всей этой истории, дама обратилась за сведениями к подполковнику Синицыну, командиру части, в которой служил старший лейтенант Сиромаха,— единственному человеку, к которому обращаться не следовало.

Обеспокоенный подполковник сам потребовал от незадачливой интервьюерши сведений: где, когда, как это было. Выслушав лживый, бессвязный пересказ из уст дамы, подполковник и задал Сиромахе незаслуженную взбучку.

По просьбе Сиромахи я должен теперь по возможности правдиво изложить все приключение и даже попытаться во избежание всяких кривотолков опубликовать свой скромный рассказ.

1

За окном слышится раздраженный женский голос. Голос молодой, но раздражение, звучащее в нем, вечно, как мир. От этого кажется, что во дворе разговаривает старая колдунья. Но я знаю, что это жена начальника альпинистской экспедиции Зина — молодая, красивая женщина, с сильными ногами, большим круглым лицом и светлыми, вспыхивающими под солнцем волосами. Таким голосом она разговаривает только с мужем Володей, который старше Зины лет на пять, а при этих разговорах кажется мальчишкой. Он смущается и краснеет, как только послышится вот такой резкий, скрипучий голос жены. Ему, должно быть, стыдно за нее.

Я подхожу к окну.

Зина стоит в дверях палатки. Палатка раскинута во дворе гостиницы. Это выдумка Зины — закаляться. На дворе март, и хотя здесь юг, земля еще не оттаяла после большого снега. Просто Зине приятно находиться среди пятерых мужчин и принимать их поклонение. Она единственная женщина в этой экспедиции.

Экспедиция готовится штурмовать гору Громовицу, массивная снежная шапка которой надвигается на город. В экспедиции — студенты геологоразведочного факультета, молодые, здоровые парни; кажется, все они втихомолку влюблены в Зину, но «переживают» за Володю и после таких вспышек долго не разговаривают с нею.

Володя молча разматывает и проверяет веревочную лестницу с «кошкой» на конце. Такую лестницу забрасывают на выступ скалы, чтобы миновать расселину или трещину. «Кошка» должна зацепиться за камень и удержать человека на весу. Я частенько думаю о том, что́ случится, если «кошка» сорвется. Володя говорит, что это случается редко. Веселое утешение!

— Нет, ты скажи, долго мы будем тут стаптывать башмаки? — почти кричит Зина.

Башмаки у нее новенькие, ничуть не стоптанные. Носить такие башмаки здесь, в городе, неразумно: они тяжелы, как гири,— но в этом тоже свое щегольство: «Смотрите, я альпинистка!»

— Вот натренирую двух новеньких, и пойдем! — тихо, стараясь даже и голосом выразить благоразумие, отвечает Володя.

«Новенькие» стоят тут же, сделав беспечные лица и поглядывая на небо. Им явно не хочется смотреть на Зиночку. Я не понимаю, чем они досадили жене начальника. Может, тем, что с самого прихода не обратили на нее внимания? Они появились вчера, разговаривали с Володей без Зины, он взял их в свою группу, не спросясь у нее. Может, поэтому она чувствует себя уязвленной?

Одного из новичков я знаю. Это летчик, старший лейтенант Сиромаха. Он служит на аэродроме. Последние два месяца он раза по два в неделю приезжал в город и, когда не было отдельных номеров в гостинице, ночевал у меня. Человек он тихий, скромный, с мягким сердцем, и, видя его на земле, никогда не подумаешь, что это именно он часа два назад пролетел высоко в небе, оставив за собою белый, долго не тающий след. Сейчас Сиромаха в спортивных штанах и в майке, гибкий, тонкий, как лозина, и я с чувством облегчения думаю, что на тренировке он не подгадит.

Рядом с ним стоит и молчит его дружок, коренастый, смуглый от весеннего загара,— наверно, до конца снеготаяния катался без рубашки на лыжах,— тоже летчик. Он появился здесь впервые, но то, что он и Сиромаха — дружки, понятно. Когда Сиромаха о чем-нибудь разговаривает, он неприметно косится на этого крепыша, словно спрашивает: «Так ли говорю?» И тот глазами показывает: «Так, так, дуй дальше!»

Зина презрительно и гордо поворачивает лицо к летчикам. В ее карих глазах вспыхивают и гаснут искорки. Летчики равнодушно смотрят в небо, как слепые. Зина вздрагивает от злости и стремительно скрывается в палатке. Володя вздыхает, взваливает лестницу на спину, сует в руки летчикам ледорубы и уводит их за собой.

Место тренировки рядом: гостиница прилепилась одним углом к скале. Двор упирается в скалу. На скале до черта всяких гребней, ям и расселин. Она неприступна ни сверху, ни снизу, так что с той стороны даже гостиничный сад не огорожен. Долголетний опыт показал, что соблазненные абрикосами и яблоками мальчишки не могут одолеть скалу: у мальчишек нет такого классного альпинистского оборудования, какое привезла группа Володи.

Я долго смотрю из окна, как лейтенант Сиромаха и его товарищ бросают «кошку». «Кошка» достаточно тяжела, и это примерно то же самое, что толкать ядро. «Кошка» постоянно срывается, едва Сиромаха или другой летчик начинают подергивать ее, повисая всем телом на веревочной лестнице. Видно, есть свой секрет и в том, как «кошку» забросить. Вот за дело берется Володя; «кошка» со свистом летит вполнеба, падает на уступ, Володя дергает ее раз, другой, потом быстро, по-обезьяньи цепляясь за узлы на веревке и ногами и руками, взбирается вверх, и вот он уже стоит на уступе, а внизу Сиромаха и его дружок виновато опустили голову и вытирают пот с лица.

Потом Володя спускается к ним, что-то горячо говорит, и они снова принимаются метать свой снаряд. В дверь моего номера тихо стучат три раза. Отходя от окна, я замечаю, как Сиромаха вдруг начинает быстро карабкаться по зацепившейся наконец лестнице...

Открыв дверь, я с удивлением вижу перед собой пожилую монахиню в длинной черной ряске, в черном платке, краем которого она прикрывает лицо, как это делают женщины на Востоке,— символ покорности и смирения, по-видимому, одинаковый для всех, согласившихся на покорность. Мельком я вспоминаю, что в городе есть большой женский монастырь — я видел его издали,— и, сообразив, что монахиня, видно, пришла за подаянием, думаю о том, как бы отказать ей поделикатнее. Ведь подаяния обычно выпрашивают не на монастырь, а на «помощь бедным прихожанам», «на праздничные подарки детям-сиротам», «на приданое невесте-бесприданнице» и под другими такими же предлогами. Я уже собираюсь сказать, что, как атеист, не признаю за монастырями права на благотворительность за чужой счет, но монахиня произносит скороговоркой уставную фразу: «Во имя отца, и сына, и святого духа!» — и спрашивает:

— Пан журналист?

— Да,— в некотором замешательстве отвечаю я.

— Из Москвы?

Я утвердительно киваю.

— Мать-настоятельница монастыря Пресвятой Девы просит пана журналиста навестить ее...

Я невольно хватаюсь рукой за косяк двери, потому что все вокруг вдруг становится нереальным. Однако косяк прочен, как само мироздание. Я отвешиваю неловкий поклон, благодарю за приглашение и сообщаю, что почту за честь посетить монастырь в любой удобный для настоятельницы час. Поскольку церковь отделена от государства, я неожиданно чувствую себя как бы на дипломатическом посту. Монахиня вздыхает с явным облегчением и произносит более торжественно:

— Мать-настоятельница просит пана журналиста прибыть к двенадцати часам дня.

Затем губы у нее складываются в трубочку, как у сюсюкающих по-детски женщин, морщины на лице расправляются, она тихо отборматывает свою уставную фразу: «Во имя отца, и сына, и святого духа!»,— кротко склоняет голову и уходит. Я стою в открытых дверях и смотрю вслед со странным ощущением той же нереальности. Длинная ряса монахини взвивается на повороте, как шлейф бального платья, потом все исчезает. Не слышно даже шороха шагов. Однако косяк под моей рукой по-прежнему прочен, как само мироздание.

2

Я выхожу в сад, чтобы подумать о странном приглашении и о том, как вести себя во время будущего визита. В дверях я сталкиваюсь плечом к плечу с летчиком Сиромахой. Он бледен, лицо его покрыто крупными, сверкающими на солнце каплями пота. «Уж не сорвался ли он со скалы?» — думаю я.

Сиромаха хватает меня за руку и хриплым шепотом спрашивает:

— Зачем приходила к вам эта старая ворона?

Такой шепот должен быть слышен далеко за каменной оградой гостиничного двора. Я невольно оглядываюсь.

— Я видел, что она прошла в ваш номер! — яростно шепчет Сиромаха.

Слышен свист «кошки» под скалой — это

ИЩЫ

Экспедиция готовится штурмовать гору. Неожиданное приглашение. Разговор в буфете. За окованными воротами. «Послания греха».

бросает Володя. Второй новичок, забыв, что бросок делается в поучение ему, смотрит на нас. Мне кажется, что в его черных глазах затаилась злоба. Володя, заметив, что новички отвлеклись, сердито срывает «кошку» со скалы и принимается сматывать лестницу. Он проходит мимо нас, швыряет лестницу возле палатки и спрашивает:

— Что же, мне неделю вас обучать?

Из палатки доносится до противности резкий голос Зины:

— Завтра мы уходим в горы, Володя! Так и скажи своим новеньким...

Она появляется из палатки в нейлоновой кофточке и шортах, голые ноги обуты в лаковые туфельки на высоких каблуках, и проходит мимо, презрительно покачивая высокой грудью и полными бедрами. Это у нее называется «покорять». Но мы — теперь уже втроем: приятель Сиромахи подошел беззвучно, словно подкрался,— не обращаем внимания на Зину. Зина насмешливо улыбается и, толкнув меня грудью, протискивается в дверь. Крепыш, в глазах которого по-прежнему поблескивает ярость, говорит:

— Пройдемте в буфет, выпьем пива и поговорим, как мужчины. Там сейчас пусто.

Этот таинственный оборот сулит какое-то открытие. Я иду за летчиками.

Вместо пива крепыш заказывает бутылку коньяку. Сев за стол, он тычет себя пальцем в грудь.

— Лейтенант Зимовеев. Вас я знаю. По его рассказам.— И тычет тем же коротким, обкуренным пальцем в сторону Сиромахи. Глаза его все еще не утратили ярости.

Буфет пуст. Румяная женщина-буфетчица, выдав Зимовееву бутылку и разрезанный лимон, опускает голову на руки и словно бы дремлет. Сиромаха отодвигает рюмки и разливает коньяк в фужеры. Я вспоминаю о предстоящем визите и подставляю рюмку.

— Боитесь?— Зимовеев таращит на меня черные выпуклые глаза, в которых затаилась непонятная мне злость.

Сиромаха каким-то усталым до ломкости голосом говорит:

— Брось, Петро, товарищ вообще пьет мало!

Я пристально оглядываю обоих. Они оба в одних годах — примерно двадцать пять. У Сиромахи глаза прозрачные — небо, что ли, высветлило их. У Зимовеева — черные, навыкате, такие и небо не просветлит. Лицо Сиромахи усталое, с какой-то печалью, проступившей изнутри; у Зимовеева — грубое, сердитое, как у обиженного ребенка, с надутыми толстыми губами, с толстым носом. Но видно, что из них двух он главный да к тому же еще и опекающий. За таким, как говорится, и жить спокойнее.

— Зачем она приходила? — снова спрашивает Сиромаха, кивая на дверь гостиницы.

— Игуменья приглашает меня в гости,— улыбнувшись, объясняю я.

Оба таращатся на меня так, будто я заморское чудо. Мне становится смешно, однако я тут же вспоминаю, что я лицо в некотором роде официальное, и тут уж не до смеха. Я никак не могу представить, как же мне держаться.

Оба офицера молчат, а мне почему-то вспоминается все, что я знаю о церкви. Знаю о ней я до обидного мало. Кое-что о коварных приемах уловления душ, отрывочные и неточные цитаты из евангелия, вроде «Устами младенцев глаголет истина!» или «Камо грядеши?». Впрочем, последнее, кажется, вообще название романа. А может быть, кто-нибудь у кого-то и спрашивал нечто подобное...

Однако тут мне на память приходят события последних лет. Склады оружия, обнаруженные в подвалах нескольких костелов и предназначавшиеся для бандеровских банд; укрывательство тех же бандеровцев; разгром последних вооруженных банд; и, наконец, отказ униатской церкви от союза с католичеством. Последнее событие произошло, можно сказать, на моих глазах. Торжественное собрание церковных иерархов, на которое были приглашены и советские и иностранные корреспонденты, речи представителей белого и черного духовенства о связи освобожденного народа с матерью-родиной и православием, истерический визг какого-то прелата, прибывшего из-за рубежа...

— И вы пойдете? — вдруг отрывисто спрашивает Зимовеев.

— Наше дело такое! — притворно вздохнув, отвечаю я.

Мне и на самом деле становится интересно, зачем это я понадобился матери-игуменье женского монастыря Пресвятой Девы.

— Что ты на товарища бычишься? — сердито говорит Сиромаха.— У него должность такая — корреспондент! — Последнее слово он произносит весьма уважительно, за что я в душе ему очень благодарен. Дело в том, что Зимовеев смотрит на меня с таким подозрением, будто я собрался объявить себя новокрещеным.

— Ой, боюсь, что нам после этого визита станет жарко! — ядовито говорит Зимовеев, пристально глядя на Сиромаху. И морщится: это Сиромаха ударил его под столом своим подкованным шипами горным башмаком. Зимовеев не выдерживает, наклоняется под стол и потирает ногу.— Ну вот,— жалобно говорит он,— теперь синяк будет! — И обиженный его голос никак не вяжется с сердитым лицом и грубым характером.— А может, это и лучше,—

продолжает он, выпрямляясь,— что товарища корреспондента даже игуменья уважает!

Этот странный переход так поражает меня, что лицо мое, должно быть, становится совсем глупым. Даже опечаленный чем-то Сиромаха улыбается. А Зимовеев, вдруг веселея, говорит:

— Слушай, а может, мы с ним вместе туда закатимся? Известно: не согрешишь — не покаешься, а покаявшись, и грешить легче!

Я вижу, как лицо Сиромахи постепенно бледнеет. Мне кажется, что он вот-вот упадет в обморок. Наверно, так меняется его лицо, когда он испытывает перегрузку при полете. Он молчит, судорожно сжимая в руке фужер с вином. Фужер со звоном лопается.

Сиромаха растерянно смотрит на пролитый коньяк и на мелкие осколки стекла, впившиеся в руку. Буфетчица, неожиданно проснувшись, произносит, как некая пифия:

— С вас двадцать семь рублей пятьдесят копеек...

От неожиданности мы все молчим. Сиромаха осторожно вынимает из ладони стеклянные искорки. Зимовеев, становясь снова привычно грубоватым, гудит:

— А вдруг какой-нибудь осколок под кожу ушел? Как ты теперь будешь по веревке лезть?

Сиромаха вытирает руку платком и для верности прощупывает ладонь другой рукой, потом сухо говорит:

— Ничего нет.

Верно, порезов нет. Выступают только мельчайшие капельки крови.

— Что же вы сидите? — вдруг несвойственным ему резким тоном спрашивает он меня.— Мать-игуменья, поди, ждет! — И поднимается из-за стола, тонкий, гибкий, как лозина. В глазах у него холодное осуждение, будто совсем и не он только что защищал меня от нападок своего друга. За этой его резкостью мне видится что-то очень беспокойное, хочется спросить, в чем дело, но Сиромаха уходит, не оглядываясь.

Зимовеев вскакивает, чтобы броситься за ним, но еще задерживается.

— Вы его извините,— просительно говорит он, что тоже не в его характере.— Дело у нас такое... трудное...— непонятно объясняет он и, швырнув на буфет деньги, торопливо выскакивает вон.

Я в полном недоумении выпиваю свою рюмку и выхожу из буфета на улицу.

3

Мартовский день необыкновенно ярок. Гора Громовица, на которую должна подняться Володина группа, как будто приблизилась к городу. Ее целиком закрывает белая сверкающая шапка снегов и льдов. Должно быть, ледники опускаются до самого подножия, похожие на откинутые наушники из заячьего зимнего меха, но отсюда подножия Громовицы не видно: оно закрыто цепью мелкорослых гор, начинающейся тут же, за городом.

От солнца режет глаза. Март. Школьники на велосипедах торопливо едут серединой улицы, нагруженные рюкзаками и позвякивающими на рамах закопченными ведрами. Весенние каникулы. За школьниками, тоже на велосипедах, привязав к рамам хозяйственные сумки с продуктами, поспешают бабы и деды, взявшие на себя наблюдение за экскурсией. По тротуару идут голоногие туристы-пешеходы, волоча на спинах тяжелые палатки и такие же, как у школьников, рюкзаки и закопченные ведра. Туристы очень похожи на улиток, волокущих на себе свой дом. Завтра или послезавтра Володина группа вот так же отправится в путь. Это будет зависеть от успехов Сиромахи и Зимовеева. Сейчас гуляющая по городу Зина, наверно, с завистью смотрит на проходящих туристов, на школьников.

Гуцулы в высоких мерлушковых шапках ровным шагом горцев идут по улицам, спокойно-равнодушными глазами поглядывая на витрины магазинов.

Монастырь находится на окраине города, за рекой, но он виден в городе отовсюду: стоит в седловине между двух гор на самом берегу. Я медленно перехожу через реку по висячему пешеходному мосту. Тут даже велосипедисты, которых в городе не счесть, спешиваются и ведут велосипеды, словно коней в поводу. Под мостом бурлит и клокочет коричневая, в белой пене горная река.

Перейдя мост, я отделяюсь от остальных пешеходов и сворачиваю к монастырю. Мне кажется, что все, кто идет по мосту и кто перешел мост, останавливаются и глядят мне вслед. Все-таки теперь богомольцев маловато. Проезжая дорога поросла зеленой травкой, похожей на тонкие ножи клинками вверх. Кажется, что она прокалывает подошвы.

Расположен монастырь очень красиво и напоминает старую крепость. Белая каменная стена высотой не меньше восьми метров да еще глубокий, ныне обезводевший ров перед нею, а уже за стеной — высокое здание с зарешеченными по нижнему, что над стеной, этажу окнами и еще этаж с окнами уже без решеток. В окнах пусто. Некоторые из них открыты, там развеваются от ветра белые занавески. Но лиц не видно. То ли монахини где-то внутри, то ли они не глядят в «мир».

Я поднимаюсь на гору, к монастырскому входу, окованному медью, и мне становится виден двор: он расположен на горной террасе, по которой бегут во все стороны выложенные белым камнем дорожки.

За зданием, в котором находятся покои, то есть кельи, монахинь и матери-игуменьи, виднеется монастырская церковь. А еще дальше, в гору,— службы. Среди служб приметен винный заводик и погреба,— монастырское вино славится в городе, я его пробовал. Сестры во Христе не увлекаются новомодными выдумками с искусственным сбраживанием сусла, у них вино выдержанное. Его с удовольствием берут и в рестораны, и на базаре у монастыря есть свой ларек; торгует в нем старик в подряснике, взятом для этого напрокат в соседнем мужском монастыре. Старик не удостоен чина ангельского, но сестры ему доверяют. Тем более, что самим им не пристало торговать плодами земными, а нанимать человека со стороны, наверно, опасно.

Я подхожу к окованным медью воротам и рассматриваю маленький образок богоматери с младенцем, врезанный в дубовый верхний косяк, круглое медное кольцо, висящее над медной же пластиной, вделанной в дверь. Ударом этого кольца о пластину посетители извещают о своем появлении. На уровне моего лица в двери проделано оконце, закрытое с той стороны дубовой доской, скользящей в пазах. Оконце это, в которое не пролезть и кошке, все-таки зарешечено. Это уж, наверно, от соблазна. Тут я примечаю в боковом косяке белую пластмассовую кнопку электрического звонка — техника пришла и сюда! — но из любопытства трижды ударяю тяжелым кольцом по медному билу.

Должно быть, этот способ извещения давно не практикуется, так как окошечко в двери распахивается слишком поспешно да и лицо привратницы, выглядывающее из-под черного клобука, как галка из гнезда, слишком испуганно. Привратнице лет под шестьдесят, лицо ее иссечено морщинами и вдоль и поперек, будто дожди и ветры прорубили на нем борозды, как на камне.

Она молчит и чего-то ждет, вглядываясь в меня испуганными, но колючими глазами. Я догадываюсь: надеется услышать уставное приветствие, указывающее, что пришел верующий. Я тоже молчу.

Тогда привратница бормочет про себя одними губами: «Во имя отца, и сына, и святого духа!», — сама же отвечает: «Аминь!» — и только тогда спрашивает:

— Пан до матери-игуменьи?

Я киваю. Как-то странно и неловко разговаривать с человеком через решетку. Видишь, собственно, отдельно один глаз, шевельнешься — другой, посмотришь вниз — увидишь черные, словно закопченные на огне губы.

— Пан ест корреспондент? — продолжает свой допрос привратница, и теперь я слышу в голосе любопытство, а в глазах вижу первый проблеск интереса.

— Пан из Москвы?

Я снова киваю. Привратница опять бормочет что-то уставное, затем окошечко захлопывается, долго и нудно гремит ключ в замке, и калитка в воротах наконец открывается. Монахиня захлопывает ее сразу за моей спиной, бормоча молитву, чтобы мирской соблазн не проник вслед за мной. С треском и звоном поворачивается ключ, скосив глаза, я вижу его круглую головку — ключ весит не меньше килограмма.

— Прòшу пана! — произносит монахиня, обгоняя меня, и идет впереди, опустив голову.

Меня распирает любопытство, и мне несколько неловко от этого, но все равно я веду себя как соглядатай во вражеском стане. Бросив взгляд вокруг, я понимаю, почему все окна покоев были пусты. С горы спускается большая процессия монахинь. Все они в черном, над их плечами отливают золотом какие-то, как мне кажется, хоругви или кресты. Только приглядевшись внимательно, даже приотстав от провожатой, я различаю, что монахини несут тяпки, и понимаю: окапывали лозы на монастырском винограднике. Виноградник у монастыря раскинулся на трехстах гектарах, в такую горячую пору, пожалуй, монахиням не до молитв!

Привратница замечает, что я отстал и глазею на процессию, и окликает меня требовательным:

— Пшепрашам пана!

Но я уже замечаю, что монахини идут совсем как солдаты. Даже строй у них солдатский — воины во Христе! Они разбиты как бы на взводы. Во главе каждого взвода и замыкающими идут старухи. Самые молодые — а я вижу и совсем еще девчонок, по шестнадцати-семнадцати лет,— занимают в строю места в середине. Для лучшего присмотра.

В это время привратница открывает двери обители и передает меня с рук на руки, как арестованного, другой монахине. Эта немного помоложе, лицо у нее белое: видно, она редко покидает покои. Новая провожатая произносит свое уставное обращение и, уже не задавая вопросов, спешит впереди меня по длинному коридору, в котором пахнет рыбой и капустой. Я вспоминаю: сегодня среда, постный день.

Запах этой постной пищи преследует меня довольно долго: мы идем мимо трапезной. Двери в трапезную открыты, столы застелены холщовыми скатертями, на них стоят миски и железные подносы с хлебом, с деревянными ложками.

Провожатая сворачивает на лестницу, и мы поднимаемся на второй этаж. Тут углом сходятся коридоры, и в каждом коридоре двери, двери с иконками на косяках. Это и есть кельи.

Проходя мимо одной полуоткрытой двери, заглядываю в нее. Две солдатские кровати, застеленные серыми суконными одеялами, комод, стол под клеенкой, два стула, несколько икон в «красном» углу, и ничего больше! И это обиталище женщин! Или тут живут только старухи?

Провожатая все ускоряет шаг, вот-вот побежит, и я вынужден поспевать за нею. Коридор застелен дерюжной дорожкой, монахиня идет точно по середине дорожки. Глядя на ее мелькающие из-под длинной рясы ноги в грубых нитяных чулках и чеботах, я замечаю, что дорожка истоптана только на самой середине, и невольно иду след в след за провожатой.

Поворачиваем еще в один коридор. По лучу света, пробивающемуся сквозь зарешеченное окно, понимаю: это южная сторона здания. По тому, что дорожка здесь шерстяная, чувствую: мы у цели.

В стене этого длинного коридора всего одна дверь, обитая черной кожей. По-видимому, за этой дверью находятся покои самой матери-игуменьи. Провожатая останавливается перед дверью, стучит в косяк костяшками пальцев, затем смиренно складывает на сухой груди руки крестиком. Выглядывающие из-под широких рукавов рясы руки сейчас похожи на желтых птиц, выставивших клювы.

Дверь открывается бесшумно. Провожатая шепчет все те же слова: «Во имя отца, и сына...»,— из-за дверей доносится ответное «Аминь!», и провожатая отступает в сторону, пропуская меня. Передо мной все еще не мать-игуменья, а новая служка, на этот раз молодая, с болезненно-белым лицом затворницы, с высоким лбом, с черными, причудливо изогнутыми бровями, придающими лицу гордое выражение. Она тоже отступает на шаг в сторону и пропускает меня через прихожую к следующей приоткрытой двери.

Это, по-видимому, рабочий кабинет настоятельницы. У окна большой шведский письменный стол с высоким бюро, в котором множество ящичков, рядом кресло с «тронной», очень высокой спинкой, в углу, вдоль стены, диван с кожаной обивкой, три кожаных кресла, между ними низкий столик. На столике корзинка с рукоделием. В правом углу киот, очень большой, с горящей лампадой, со множеством старинных икон, на полу ковер с высоким ворсом, скрадывающим шаги, направо и налево полуоткрытые двери во внутренние комнаты.

— О пан корреспондент, простите, я заставила вас ждать! — произносит мягкий женский голос, и в дверях справа появляется настоятельница. За ее спиной возникает невысокий чернявый человек в отличном черном костюме, белой сорочке с галстуком-бабочкой и лаковых ботинках.— Познакомьтесь,— говорит настоятельница и делает приглашающий жест в сторону чернявого,— ваш коллега господин Джанис...

— Мы знакомы с паном корреспондентом,— произносит Джанис на отличном русском языке.

Я вспоминаю: в прошлую субботу на пресс-информации в облисполкоме, которая проводится для корреспондентов еженедельно, заместитель председателя исполкома представлял нам только что прибывшего представителя какого-то иностранного телеграфного агентства. Может быть, господин Джанис и подстроил эту встречу?

Мы с Джанисом раскланиваемся, и я снова обращаю взгляд к настоятельнице. На вид ей не больше сорока, она еще очень красива, хотя на лице признаки нездорового ожирения. Большие серые глаза чуть навыкате, мягкие, не утратившие окраски губы, черный высокий клобук на голове, черная шелковаяряса в талию, больше похожая на изящное вечернее платье, «в пол», так, что ног не видно. Настоятельница проходит к дивану, садится, а подол рясы опускается, так и оставаясь словно приклеенным к полу.

Мы усаживаемся в кресла за низеньким столиком.

— Не желаете ли кофе, панòве? — спрашивает настоятельница и, не ожидая ответа, ударяет ладонью о ладонь. Руки у нее выхоленные, белые, без украшений, ногти длинные, ухоженные.

На всплеск ладоней слышатся шаги, и из двери слева появляется молодая послушница, что встречала меня. В руках у нее китайский поднос. На подносе три маленькие китайские чашечки с кофе и две тонкие длинные рюмки с коньяком. Каждая чашка и рюмка стоят на отдельной вышитой гарусом мягкой подставке. Послушница ставит поднос на стол перед нами и, склонив голову, уходит.

Мы молча отпиваем кофе. Джанис, лукаво взглянув на меня черными поблескивающими глазами, тянется за рюмкой. Я следую его примеру.

Коньяк в меру старый, обжигающий, кофе в меру крепок. Но меня же пригласили не ради дегустации напитков! Помогать настоятельнице своими вопросами я не стану. Пусть начинает сама.

Ей помогает Джанис. Он расхваливает местоположение монастыря, его хозяйство, роспись монастырской церкви, древние иконы. Похоже, что этот корреспондент уже не один день провел в пределах обители.

— Все так, все так,— благостно вздыхая,

произносит настоятельница, но тут на лице ее появляется обиженное выражение, в голосе звучат трагические нотки.— Только местные власти относятся к нам с небрежением, обижают лучшие чувства верующих...

Я упрямо молчу. Джанис, подождав, не попадусь ли я на крючок, спрашивает сам:

— Позвольте, мать-игуменья, но ведь в вашей стране церковь отделена от государства. Они могут жить мирно, как подобает добрым соседям...

— Но если в ваш дом забрался вор, то добрый сосед спешит на выручку! А местные власти на все мои жалобы...

— Но может ли какой-нибудь вор покуситься на дом божьей матери? — удивляется Джанис.

Я, конечно, понимаю, что этот разговор не отрепетирован заранее. Просто оба мои собеседника достаточно талантливые актеры, чтобы вовремя подать нужную реплику друг другу. Но так как мне-то разыгрываемая ими пьеса неизвестна и я не знаю, какая роль в ней отведена мне, то пока предпочитаю оставаться актером без слов.

— О! — Мать-игуменья беспомощно машет рукой, становясь похожей на обиженного ребенка, а Джанис ловит эту пухлую руку на лету, почтительно прикасаясь к ней губами.— Богохульство никогда и нигде не поощрялось, но наши местные власти слепы и, боюсь, неразумны! — Мать-игуменья отбирает свою руку у Джаниса и снова становится строгой и властной.— Да вот послушайте, панове! — Она бросает выразительный взгляд в мою сторону, и я понимаю, что слушать предложено мне.— Советский офицер — подумайте, офицер! — еще взгляд на меня, — собирается украсть одну из агниц божьих, Христовых невест, отдавших свои души на мое попечение!

Джанис делает удивленно-оскорбленное лицо, что-то похожее на «Ах!» вырывается из его скорбно поджатых уст, он выпрямляется в кресле, словно ставит «кол» за поведение неизвестному советскому офицеру. Я весь превращаюсь во внимание — столь удивительно сообщение настоятельницы. Вполне, видимо, удовлетворенная тем впечатлением, какое произвели ее слова на слушателей, настоятельница делает неуловимое движение правой рукой, и рука, словно белая мышка, ныряет в левый рукав и вот уже появляется перед нами на столе. В ней веером лежат смятые, оборванные бумажки величиной с конфетную обертку. Настоятельница рассыпает их по столу, как игральные карты.

С острым чувством горького изумления просматриваю я эти короткие записки, полные страсти и нежности. Настоятельница настороженно следит за моими пальцами, помимо моей воли тщательно расправляющими скомканные листки. Наконец она не выдерживает и придвигает записки к себе.

— Не в этих посланиях греха дело,— сурово произносит она,— а в том, что надо предотвратить беду. Иначе она обрушится с одинаковой силой и на наши и на ваши головы...— Слово «ваши» она подчеркивает так выразительно, будто точно знает меру божьего гнева.

— Как зовут офицера? — спрашиваю я. Почему-то мне вспоминается злое лицо лейтенанта Зимовеева.

— Эта негодница оторвала кусок записки с именем и адресом офицера и проглотила! — сухо произносит настоятельница, не замечая, каким обвинением против нее самой звучат эти слова. Как же должна была бояться маленькая монахиня, и не за себя — она уже попалась,— а за своего возлюбленного, если можно назвать любовью это обручение записками в монастыре!

— Он уговорил богоотступницу бежать! — гневно говорит настоятельница.— Вы обязаны предупредить этого негодяя, что милость господа не распространяется на вероотступников!

— Но церковь отделена от государства!—напоминаю я.— К тому же мы не знаем даже имени этого офицера. И потом он, по-видимому, атеист, я еще не встречал верующих офицеров.

— Божий меч падает на голову и того, кто бежал от бога, и того, кто смутил его слабый дух. Вспомните Савла!—Настоятельница предостерегающе поднимает тонкий длинный палец с розоватым, ровно отшлифованным ногтем. Слова о Савле обращены, собственно, к господину Джанису, и тот почтительно кивает. К счастью, я знаю эту историю о преследователе христианской секты в языческом Риме, которому бог послал знамение, после чего он стал яростным проповедником христианства под именем Павла...

— Вряд ли господь бог будет посылать знамения советскому офицеру... В наш атомный век чудеса в основном творят люди. Даже из вашего окна по ночам можно увидеть летящий в пространстве спутник.

— Бог может покарать вероотступницу! — Настоятельница вновь поднимает свой указующий перст.— Таким образом будет косвенно покаран и смутитель ее души. Если он действительно любит, как пишет в этих посланиях! — назидательно добавляет она, и мое сердце вдруг тоскливо сжимается. Я представляю, как неизвестный мне влюбленный узнает, что его любимая и с ч е з л а! Что мы знаем о монастырях и о порядках, существующих в них?

Я нечаянно замечаю на обороте одной из записок адрес, написанный энергичным мужским почерком: «Послушнице Софии». Эти два слова заполняют весь листок, тогда как тексты записок на обороте сделаны микроскопическими буковками, чтобы и на малой площади тайного письмеца вместить как можно больше любви и страсти.

— Кстати, мать-настоятельница, эта, как вы говорите, вероотступница даже и не монахиня, а всего лишь послушница! Значит, грех ее не так уж велик, да и душа ее еще не отдана Христу, так что она вполне может стать невестой живого человека...

— Пострижение состоится в среду! — резко обрывает меня настоятельница.

Молчаливый Джанис сухо покашливает, то ли предупреждая ее о том, что мне не все можно говорить, то ли напоминая о своем присутствии. Мать-игуменья молниеносно включает его в свое наступление.

— Господин Джанис не откажется сообщить верующим всего мира о том, как Советская Армия вмешивается в дела церкви! — Этим «господин» она начисто отделяет Джаниса от меня. Только что мы оба были «панове», теперь же Джанис — представитель другого мира.

— Один офицер, мать-игуменья, а не вся Советская Армия,— живо уточняет Джанис.— Мы весьма высоко чтим моральные устои Советской Армии. Она освободила мир от фашизма, в том числе и мою родину...— Эти слова явно предназначены только для меня.

— Но чем я могу помочь, если невесты Христовы предпочитают любовь живого человека? — Я больше не хочу скрывать свою досаду.— За их души отвечаете только вы, настоятельница монастыря. Не могу же я прочитать в вашем монастыре лекцию о том, как грешно любить мирского человека!

Лицо настоятельницы передергивается, но усилием воли она возвращает на него привычную улыбку. Однако голос изменяет ей, он звучит жестоко и властно:

— Обратитесь к здешнему командованию, пусть военачальники расследуют этот поступок. Офицер — мне даже стыдно называть его таким высоким словом — переписывается с нашей сестрой во Христе шесть месяцев, значит, он служит в местном гарнизоне.

— Почему бы вам не обратиться самой? — спрашиваю я.

— Мне это неудобно! — отрезает она.

— Да, настоятельнице неудобно! — подтверждает Джанис.— Она не может сказать, что этим делом заинтересовались представители иностранной прессы. Неудобно ей также напоминать и о том, что униатская церковь совсем еще недавно отпала от истинной церкви Христовой и что в Риме и в Ватикане весьма интересуются положением дел в доме отторгнутой младшей сестры...— Эти фразы он произносит напыщенно, и так и кажется, что из-под пиджака у него вот-вот выглянет краешек сутаны католического патера. Но как остроумно все это они придумали!

— Тем не менее вам придется обращаться к командованию самой,— не соблюдая больше никаких правил хорошего тона, отвечаю я.— Впрочем, господин Джанис тоже может попросить аудиенцию у командующего! — швыряю я последнюю мину и встаю первым, хотя это и не положено по правилам хорошего тона. Все мое любопытство иссякло. Душу тревожит судьба несчастной возлюбленной офицера. Он-то им неизвестен, но ее-то они уже преследуют! Я задаю последний вопрос: — Могу ли я побеседовать с этой послушницей?

— К сожалению, она больна! — чеканным голосом, из которого на этот раз изгнано даже притворное сожаление, отвечает настоятельница и, не протягивая мне руки, трижды хлопает в ладоши. Из-за двери вырастает послушница с белым лицом.— Проводите пана! — изрекает настоятельница и совсем другим тоном обращается к Джанису: — А вы, надеюсь, согласитесь разделить мою трапезу?

Господин Джанис любезно кланяется ей, затем поднимается, чтобы ответить на мой поклон. Когда послушница закрывает за мной дверь, я уже слышу веселый разговор на французском. Я больше для них не существую.

Но они существуют для меня. Я помню их лица. И мне становится все тягостнее думать о той, что приговорена теперь к затворничеству уже не по своей воле, как когда-то пришла сюда, а по воле посторонних людей, самовластно взявших на себя роль судей и палачей. И еще я думаю об этом офицере, любовь которого оказалась такой несчастливой.

Выход из монастыря сопровождается такими же церемониями, как и вход. Меня опять передают с рук на руки; но теперь я смотрю на зарешеченные окна, на покрытый белолобым камнем двор, как на тюрьму. Со двора уходят последние сельскохозяйственные взводы этой общины Девы Марии, и я пристально вглядываюсь в молодые и старые лица, удивленно обращенные ко мне, мирскому человеку, и мне кажется, что каждое лицо выражает горькую грусть о покинутом мире, неизбывную печаль об утраченном материнстве, а может, это запах мяты от воза свеженакошенной травы, что стоит у ворот, вызывает во мне сожаление о чужих изломанных судьбах.

Продолжение следует.

НАЧАЛЬНИК МЕТЕОСТАНЦИИ. «Я ЗНАЛ СОФЬЮ ЕЩЕ ШКОЛЬНИЦЕЙ...» НОЧНОЙ ЗВОНОК. «ГАЗ-69». СКИТ НА ГРОМОВИЦЕ. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.

ВЗЯТИЕ ГРОМОВИЦЫ

Николай АСАНОВ

Повесть

Рисунки П. КАРАЧЕНЦОВА.

4

Я иду через город и только теперь обращаю внимание на то, как много здесь церквей, которые чертят своими крестами быстро бегущие облака.

Душа моя неспокойна, и оттого чувство зыбкой неуверенности то толкает меня вперед, то заставляет задержаться среди тротуара под неодобрительный ропот прохожих. Я все раздумываю: нужно ли вмешивать в это дело власти? Зайти в комитет партии? В исполком? Может, действительно стоит обратиться к командующему местным гарнизоном?

Но ведь именно этого и хотят настоятельница монастыря и господин Джанис. Вероятно, они твердо уверены в том, что власти «вправят мозги» несчастному влюбленному офицеру. И когда я уже готов повернуть на центральную улицу, где расположены главные учреждения города, что-то толкает меня в сердце: «Не торопись!» И я медленно бреду к гостинице.

Красивая королева альпинистов Зина беззастенчиво флиртует с начальником метеостанции Довгуном, три дня назад спустившимся с Громовицы. Довгуну еще вчера следовало бы возвратиться на станцию, но он увидел Зину и... погиб. Теперь Довгун уговаривает Зину, чтобы та, в свою очередь, уговорила Володю взять его с собой в составе экспедиции. Метеостанция находится на половине подъема, Довгун здоров и силен, ему ни помощь, ни страховка не нужны, ему просто хочется побыть еще немного возле Зины. И Зине он тоже не нужен, однако Зина не гонит его прочь, наоборот, хохочет, будто слова Довгуна ее щекочут, прижимается к могучему плечу метеоролога своим горячим плечом, ее ноги на высоких каблуках беспокойно переступают, и кажется, что она вот-вот забудется и упадет в объятия метеоролога.

— Зи-ина! — доносится сверху, из окна второго этажа, плачущий голос Володи.

— Ну, что тебе? — лениво отзывается Зина, не двигаясь.

— Пойдем обедать!

— Я поела в городе...

Она с неохотой отрывается от плеча метеоролога и совсем другим голосом, деловитым, властным, говорит:

— Володя, спустись вниз, к тебе Довгун пришел!

Мне видно, как Володя в окне, заметив это ее движение, облегченно вздыхает и отваливается от подоконника. Довгун внизу приосанивается. Зина прислоняется к нагретой солнцем стене чуть в стороне от метеоролога. Я с горечью думаю: зачем студенту, физкультурнику, будущему геологу понадобилась такая жена, как Зина? Все эти дни только и слышишь ее командирский голос. И все эти дни она флиртует с кем попало и обязательно напропалую. И Володя все это терпит!

Только Зимовеев и Сиромаха отказались поддержать эти ее любовные игры. Но зато она и мстит им, как умеет. А умеет она многое!

Кстати, где же эти офицеры? Вот с кем можно посоветоваться без обиняков!

И, едва подумав о них, замечаю обоих в зеркальном окне ресторана. Они уже в форме, в парадных рубашках с галстуками, сидят за столом, отдернув штору, и смотрят на меня. Заметив мой взгляд, оба начинают кивать, махать призывающе руками, и я торопливо прохожу мимо Зины и Довгуна в прохладный подъезд гостиницы.

— Ну, как вас встретила мать-игуменья? — улыбаясь, спрашивает Зимовеев.

На этот раз нет и следа злости на его загорелом лице, он весь — любопытство.

— Кофе с коньяком...—Я тоже пытаюсь улыбаться, но мне это, наверно, не удается.

— В свою веру не обратила?

— Почти.

Сиромаха меланхолически поглядывает в окно на проходящих. Он, кажется, не слышит нашего разговора. Летчики уже пообедали, потягивают «шприц». Так здесь называют освежающее питье из местного красного вина, разведенного на две трети фруктовой или минеральной водой. Я заказываю суп-гуляш по-венгерски и большую рюмку водки. Зимовеев насмешливо говорит Сиромахе:

— Смотри-ка, как перевернуло товарища корреспондента после кисло-сладких разговоров с настоятельницей! Сразу захотел и острого и горького!

— Там не одна настоятельница была. Был еще и иностранный корреспондент! После такой встречи и огуречный рассол не поможет!

— Рекомендую чаламаду!— серьезно говорит летчик и кивает официанту.

Чаламада — настолько острая закуска из маринованных перцев, лука и огурцов, что у меня захватывает дух и на глазах выступают слезы. Подождав, пока я перестаю махать рукой перед обожженным ртом, Зимовеев настойчиво спрашивает:

— И что же постановило столь высокое собрание?

Я вдруг вспоминаю промелькнувшие у меня там, в монастыре, подозрения, откладываю вилку, смотрю прямо в глаза летчику и говорю:

— Настоятельница перехватила письма, адресованные послушнице, и собирается обратиться к командованию. В свидании с послушницей мне отказали под тем предлогом, что она больна, на среду назначено пострижение в монахини.

Зимовеев сидит неподвижно, только глаза его уходят куда-то в сторону. Зато рядом я слышу шепот, похожий на голос умирающего: «Софьюшка!» — и, встрепенувшись, вижу искаженное лицо Сиромахи. Зимовеев вскакивает, бросается к нему, пытаясь влить сквозь стиснутые зубы глоток «шприца».

— Разве можно так?! — шипит он на меня.

— Но я же не знал! — растерянно бормочу я.

Он помогает Сиромахе подняться и ведет его через внутреннюю дверь ресторана в гостиницу. На пороге кивает мне, и я понимаю это как приглашение поторопиться с обедом и подняться к ним в номер. Но у меня уже нет никакого аппетита. Торопливо расплатившись, я спешу за летчиками.

Сиромаха сидит у окна и все так же неотрывно смотрит на улицу. Следов потрясения больше не видно. Зимовеев мечется по номеру, ругаясь так виртуозно, что я тороплюсь прикрыть двери: он может собрать сюда всех жителей гостиницы. Увидев меня, он поворачивается на носках и бешено кричит:

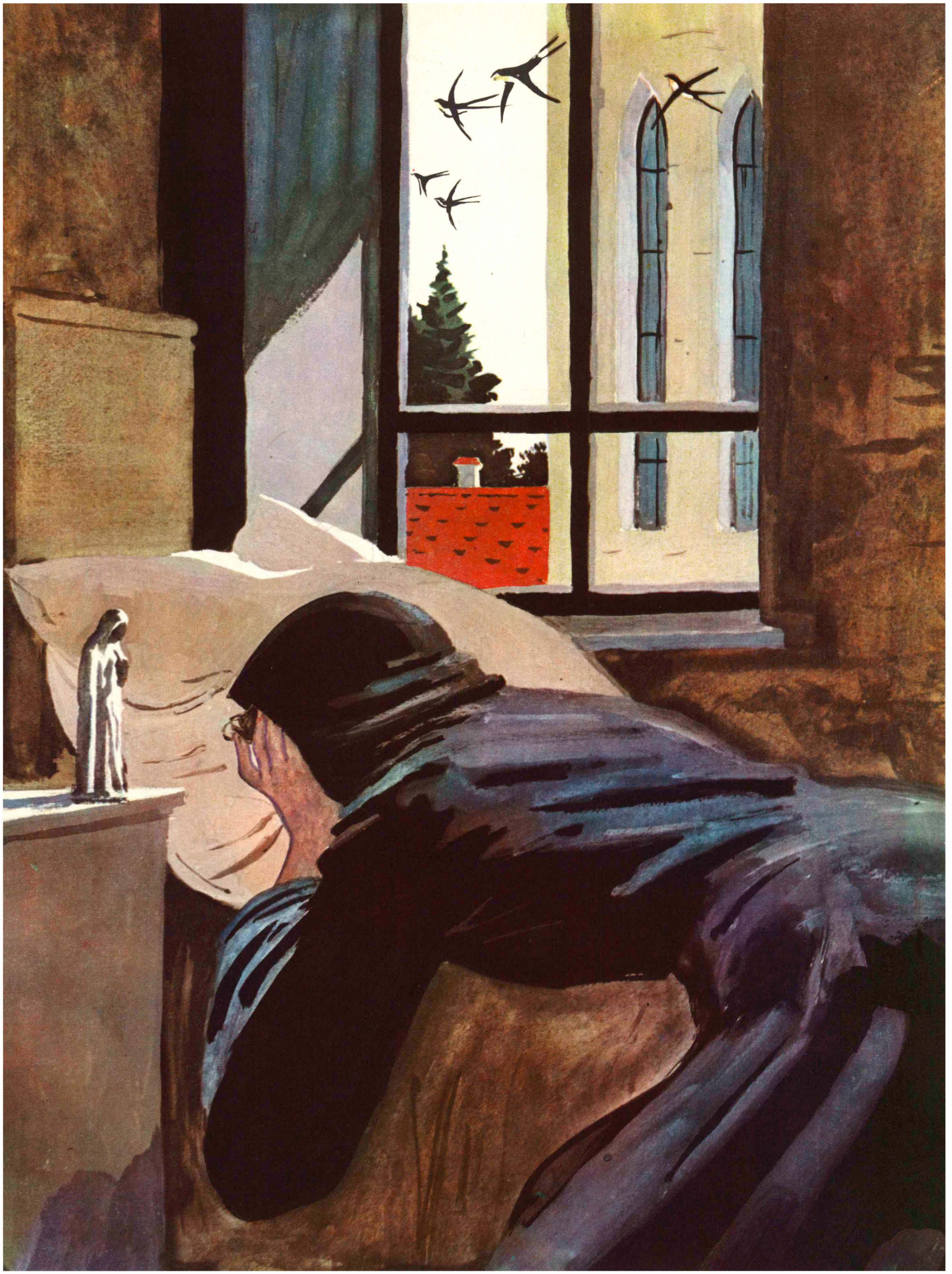
— Да рассказывайте же!

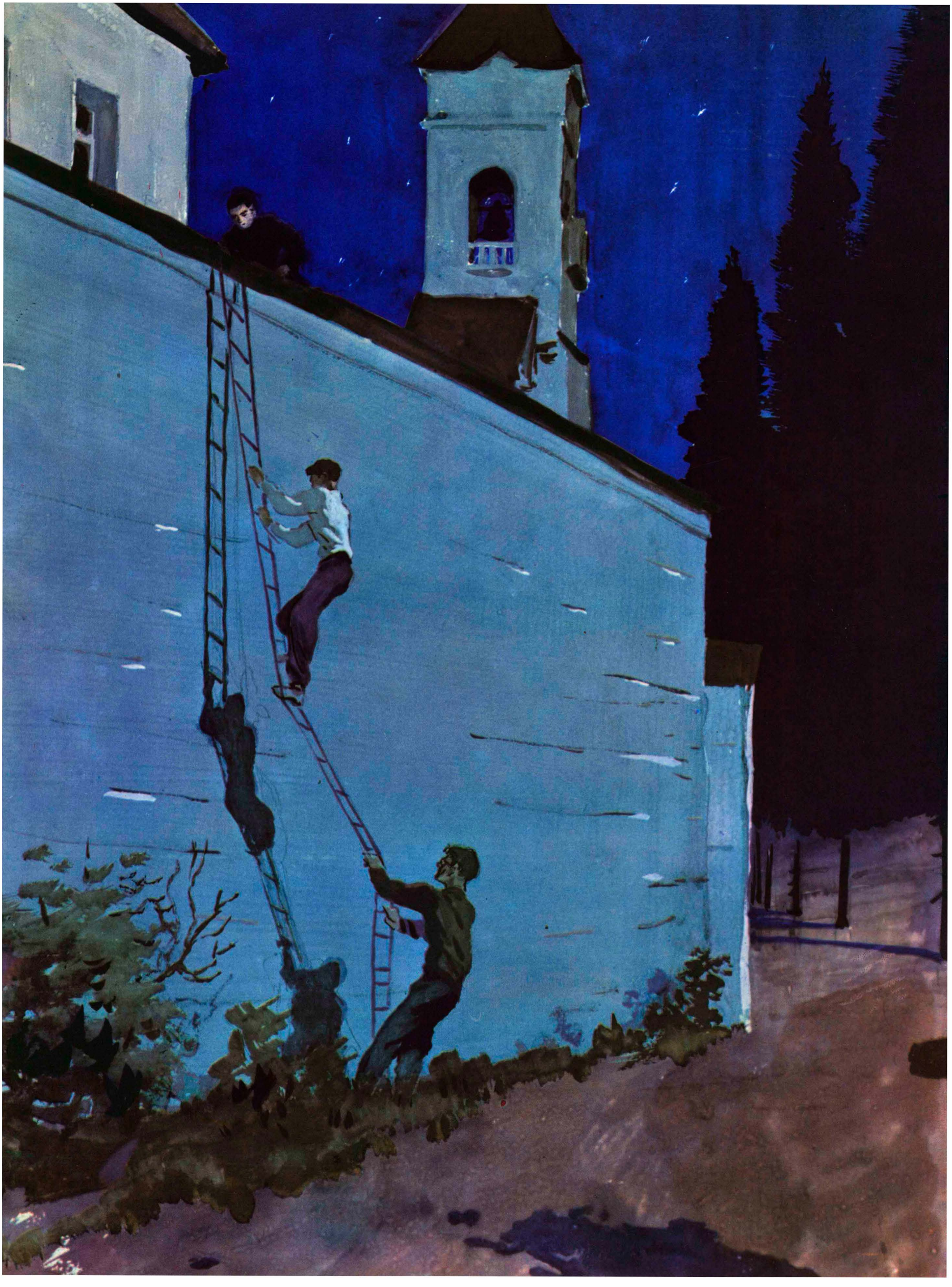
Я еле удерживаюсь от желания накричать, в свою очередь, на него. Сажусь так, чтобы видеть лицо Сиромахи, и холодно говорю:

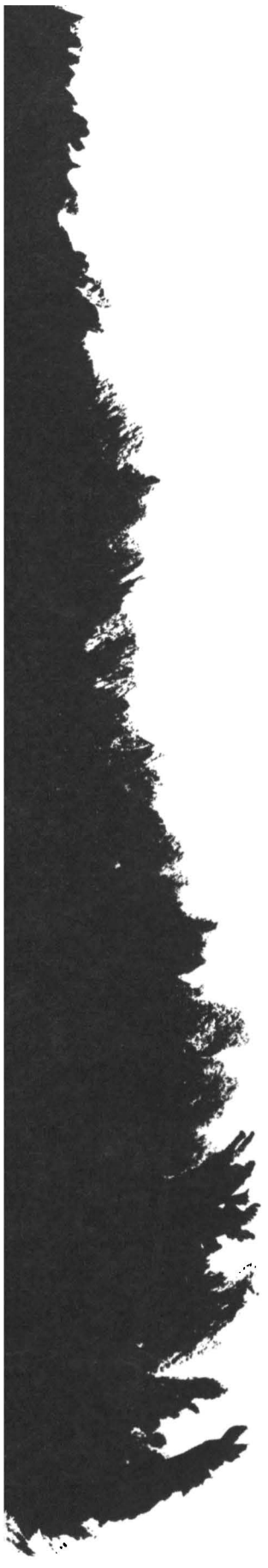
— Нет уж, лучше рассказывайте вы!

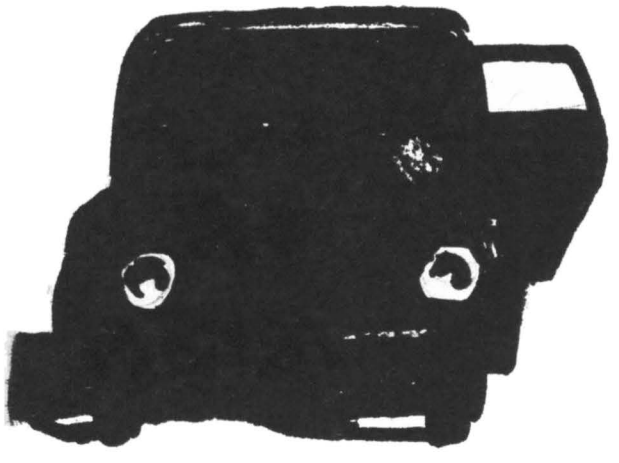
— Сядь, Зимовеев,— каким-то усталым, без выражения, голосом говорит Сиромаха.— То-

Продолжение. См. «Огонек» № 10.









варищ корреспондент тут ни при чем. Сначала уж я расскажу, а потом он, может, что посоветует...— В голосе его появляется слабая надежда, и мне хочется сделать черт знает что. Может быть, ворваться в монастырь, силой отбить девушку, лишь бы вернуть радость на это измученное лицо, наполнить бесцветный голос всеми красками жизни...

— Вы Софью не видели, а я знал ее еще школьницей,— говорит он, и при одном только имени девушки голос летчика снова полнится силой.— Мы росли в одном селе...

Из путаного, со многими отступлениями рассказа Сиромахи я выясняю и отбираю для себя только главное. Девушка жила сиротой. В последний год войны бандеровцы убили ее отца и мать. Софье только что исполнилось пять лет. Дом, в котором жили родители, уцелел. К Софье переселилась сестра матери. До окончания седьмого класса девочка была общительна, любознательна, но потом тетка запретила ей учиться. Сиромаха в это время поступил в летную школу и о дальнейшей судьбе Софьи ничего не знал... Тут голос летчика снова стал срываться. Зимовеев посмотрел на меня волком, но Сиромаха остановил взрыв его негодования слабым взмахом руки.

Осенью прошлого года, приехав в город по делам авиаотряда, Сиромаха обратил внимание на проходивший из монастыря в городской кафедральный собор хор монахинь. Монахини шли попарно, опустив глаза долу. Большинство их были молодые, но сопровождали хор старые монахини, выступавшие, как взводные, по сторонам этой роты Христовых невест. Сиромаха прижался к стене дома и пережидал, когда пройдет эта удивительная процессия, с любопытством разглядывая молодые, но такие печальные лица. И вдруг в последнем ряду увидел Софью...

Встреча эта была так удивительна, что он невольно окликнул девушку. Девушка подняла на него глаза, вскрикнула, рванулась к нему, но одна из старших сестер толкнула ее в плечо, заслонила от офицера, другая ухватила девушку за руку; и получилось, что они словно бы силой втащили ее во врата церкви...

Первым побуждением Сиромахи было войти в собор. Но он был в форме, вокруг стояла толпа верующих, по-видимому, начиналась какая-то особо торжественная служба.

Сиромаха прикинул про себя, что служба продлится не меньше двух часов.

За эти два часа он исполнил дело, приведшее его в город, заехал к одному из товарищей-офицеров и переоделся у него в штатский костюм. И вот он опять стоял у церкви, а в руке у него было зажато небольшое послание Софьюшке...

В этом месте рассказа Сиромаха поднял на меня свои глаза и попытался пояснить, что толкнуло его на это простое сочувствие односельчанке. Ведь когда Сиромаха покинул село, Софьюшке было всего пятнадцать лет. Правда, и ему в то время было только восемнадцать, они встречались на майдане, где отбивали казачка или гопака, он провожал ее несколько раз после этих вечеринок, они даже как-то поцеловались, но все это помнилось как детство. А вот ее рвущий душу вскрик, вот ее испуганно-жалобный взгляд Сиромаха забыть не мог. Это уже было страдание человека, знакомого, доброго, хорошего, и страдание бессмысленное, непонятное, стоящее почти что на пороге тайны... Как могла Софьюшка стать монахиней? Сиромаха тогда не очень-то разбирался в чинах ангельских и в монастырских званиях. Он не обратил внимания на то, что одни монахини были одеты в белые воротнички, другие в сплошь черном одеянии, потом уже он выяснил, что хор-то состоял в основном из молодых послушниц, а монахини лишь сопровождали их, чтобы оградить от соблазнов неустойчивые души.

Сиромаха постоял возле кафедрального собора с полчаса. Он запомнил, что Софьюшка шла в последнем ряду крайней слева. Если старшие монахини и станут оберегать ее, так только от офицера, которого могли приметить. Но в штатском костюме они его не распознали бы в толпе любопытствующих.

На этот раз он встал с внешней стороны тротуара, замешавшись среди зевак. И ему повезло.

Софья снова шла в последнем ряду, но уже справа, как он и предположил. Старшие монахини шли впереди, шныряя глазами по толпе: должно быть, искали смутившего Софью офицера. А Сиромаха сразу заметил белое, «будто меловое», как сказал он, лицо, глубокие грустные глаза, вдруг засветившиеся радостью, когда Софья увидела его, и успел втолкнуть в ее слабо сопротивлявшуюся руку приготовленную заранее записку. Он так ждал от Софьюшки какого-нибудь знака, сигнала, обещания, что словно бы толкнул ее, она слабо выронила два слова:

— Завтра здесь...

Сиромаха позвонил в часть и попросил разрешения задержаться на одни сутки.

Утром он с рассвета дежурил возле собора. На дверях собора он прочитал объявленьице о том, что тут состоится служба в день покрова богоматери с присутствием хора женского монастыря Пресвятой Девы, и решил ждать хоть до окончания службы, если понадобится, пройти в собор, пробраться к самому клиросу...

Ему вновь повезло. Монахини шли той же дорогой. Опять он стоял у стены дома, снова увидел лицо Софьюшки, ее обрадованные глаза, а рука его перехватила маленькую, похожую на облатку, какую когда-то Сиромаха получал на причастии, записку. Пропустив монахинь, он бросился в переулок...

Софья писала, что тетка ее неожиданно вышла замуж и принудила племянницу продать ей отцовский дом и пойти в монастырь. За дом Софья получила пять тысяч рублей и внесла эти деньги как монастырский вклад.

Произошло это три года назад. Теперь Софья раскаивалась в своем поступке, но никакого выхода не видела. «От нас уходят,— писала она на маленьком клочке бумаги,— только в могилу...»

Сиромаха бросился на почту. Там он написал первое любовное послание. Столь тягостна была судьба Софьюшки, что он не удерживал своих чувств. Он просил только у Софьюшки разрешения помочь ей, а уж там он сделает все: взорвет, если надо, стены монастыря, украдет ее прямо из монастырской процессии, когда Софьюшка снова пойдет с хором в кафедральный собор... Одним словом, боюсь, что это было весьма необдуманное письмо! Впрочем, Сиромаха и сам подтверждал, что написано оно было только сердцем, без участия разума...

Но с этим письмом произошла неудача. Шедшая следом старшая сестра заметила, как он что-то передал Софьюшке... И хотя Софьюшка писала в своем первом письме, что еще два дня будет петь в соборе, назавтра ее не оказалось среди монахинь. А Сиромаха, просидевший в городе лишние сутки, получил первое за всю службу взыскание.

Приехав в город через несколько дней, Сиромаха пошел в монастырь к воскресной службе. Софья пела в хоре.

Переждав, когда кончилась служба, Сиромаха стоял в притворе небольшой монастырской церкви. Монахини проходили мимо него парами. Софья не рискнула ни сказать ни слова, ни передать что-нибудь, она прошла, не поднимая глаз. Но когда Сиромаха, отчаявшийся и даже обиженный, выходил из церкви, какая-то пожилая монахиня вдруг сунула ему записку.

Записка была от Софьи. Она писала, что им надо быть осторожными, и советовала обратиться в городе к одной богомолке, которая часто бывает в монастыре, знает Софью и предупреждена, что к ней может зайти Софьин односельчанин.

Так наладился регулярный обмен письмами между монастырем и «волей», как называла Софья тот мир, в котором жил Сиромаха. И летчик понял: для Софьи монастырь давно стал тюрьмой...

Однако она боялась.

Она боялась всего: настоятельницы, другой жизни, любви, начальников Сиромахи. Боялась верующих и безбожников. Боялась побега и боялась оставаться в монастыре.

В нескольких письмах Сиромаха предлагал ей планы побега. Она отказывалась.

Зимой монахини почти не появлялись в городе. В собор Сиромаха не ходил: он мог примелькаться там, возбудить подозрения. Всех «истинно верующих» молодых людей привратницы монастыря знали: частое появление постороннего человека могло их насторожить.

Он видел Софью всего три раза за зиму, и то приходилось испрашивать отпуск в город.

Но весной что-то случилось: Софья прислала записку, в которой просила о помощи. И вот Сиромаха и Зимовеев приехали в надежде вырвать ее из монастыря.

Зимовеев сидел у двери на стуле, часто курил и все прислушивался к шагам в коридоре. В путаную речь Сиромахи он не вмешивался. Только когда Сиромаха замолчал, буркнул:

— Теперь понятно, что там произошло. Переписку у Софьи отобрали и переполошились, как бы она не сбежала и не потребовала свои пять тысяч!

Только тут я вспомнил о вкладе Софьи.

— Не нужны нам эти деньги! — страстно вымолвил Сиромаха.

— Так они тебе и поверят! — иронически заметил Зимовеев.— Они все на деньги расценивают, даже свои убеждения. А кроме того, кому из церковников приятно будет, если монахиня уйдет?

— Она еще не монахиня! — вмешался я.

— В среду будет! — напомнил Зимовеев.— Настоятельница просто так не скажет!

Мы все подавленно молчали.

Вдруг Сиромаха вскочил, бросился к двери. Зимовеев попытался остановить его, но он резко отстранил друга, буркнув:

— Я этого не оставлю! Пошли к Володе!

Он выскочил из номера, оставив дверь распахнутой. Зимовеев пожал плечами, словно извиняя его, взглянул на меня, ожидая, когда я выйду.

Вернувшись к себе, я снова услышал звон и царапанье металлической «кошки» по камню. Выглянув в окно, увидел Сиромаху и Володю. Сиромаха, сбросив китель и сорочку, в одной майке, старательно швырял «кошку» на выступы скалы, потом пробовал, как она зацепилась, и полз по выщербленному годами и непогодой камню, как настоящий скалолаз. Зимовеев держался в стороне, наблюдая за его удачами и неудачами. Довгун и Зина опять стояли рядом у палатки в такой позе, будто собирались вот-вот обняться, а Володя с хмурым лицом то подавал Сиромахе советы, то поглядывал на жену и метеоролога. И я снова подумал: а как такой тихий приятный паренек стал мужем этой девушки со злым голосом и безрассудным тяготением к любому мужчине, который появлялся на ее горизонте? Уж у них-то, наверно, не было преград на пути к браку...

И почему-то мне стало горько от этой мысли. Может быть, пройди они половину пути, какой предстоял Сиромахе, бегущему за своим счастьем, и эта пара была бы счастливой, доброй... Почему-то мне уже казалось, что счастье Сиромахи, если летчик отыщет и добудет его, окажется сильным, чистым, светлым...

Сиромаха швырял «кошку».

5

Ночью меня разбудил телефонный звонок.

— Разве вы спите? — спросил насмешливый голос Зимовеева, когда я пробормотал что-то спросонья.— А мы думали, вы статью пишете: лампа-то горит!

Лампа действительно горела. И я на самом деле писал статью, а потом прилег, чтобы получше обдумать следующий абзац, и нечаянно заснул. Но какое до этого дело летчику? И я, уже сердясь, ответил, что для разговоров вполне хватит дня, нечего будить людей среди ночи.

— А мы собирались пригласить вас на роль наблюдателя! — с некоторым разочарованием произнес Зимовеев.

— Что вы собираетесь наблюдать? — спросил я.

— Да не мы, а вы должны были наблюдать! — сухо сказал Зимовеев.— Мы собираемся навестить монастырь и боимся, не подстроят ли нам какую-нибудь провокацию.

— Навестить монастырь? Ночью-то? — только и нашелся я сказать.

— Мы же не журналисты, нас игуменья на кофе с коньяком не приглашает! — с прежней насмешливостью напомнил Зимовеев.

И я вдруг понял все.

— Подождите меня пять минут! — Я говорил торопливо, и Зимовеев усмехнулся в трубку.— Где вы находитесь?

— Мы будем ждать вас за углом гостиницы, на Жолнерской. Только поторопитесь. Теперь светает рано!

Я швырнул трубку и заметался по комнате. Мне было не по себе. Если летчики задумали проникнуть в монастырь под покровом темноты, это может привести к грандиозному скандалу. Мне вспомнилось лисье личико господина Джаниса. А не ждет ли он от неизвестного советского офицера именно такого поступка? А что, если я и сам-то стал только орудием какой-нибудь провокации?

Может быть, игуменья лучше меня знала, какого офицера имела в виду, рассказывая мне всю историю с послушницей?

Как быть, если и послушница тоже лишь орудие провокации?..

Вот какие вопросы вертелись у меня в голове, пока я поспешно одевался и сбегал с лестницы. Только в вестибюле я принудил себя идти спокойно. Ведь и здесь могли быть соглядатаи монастыря...

За углом, на Жолнерской, стоял крытый вездеход «ГАЗ-69». Чья-то рука протянулась ко мне из машины. Я узнал короткопалую руку Зимовеева, ухватившись за нее. В следующее мгновение машина тронулась, и я упал на чьи-то колени. Кто-то недовольно пробормотал:

— Осторожно, товарищ корреспондент!

К своему безмерному удивлению, я узнал голос Володи. Он сидел рядом со мной, склонившись вперед и придерживая длинными руками какие-то железные крюки и палки, чтобы они не очень гремели.

— Что все это значит? — пытаясь казаться строгим, спросил я.

Теперь, привыкнув к темноте, я уже разобрал, что в машине нас четверо, кроме незнакомого шофера. Рядом с шофером сидел Сиромаха. Он коротко указывал, куда вести машину: «Направо!», «Еще направо!», «От моста налево!» В кузовке «газика», теснясь и наезжая друг на друга при поворотах, сидели я, Зимовеев и Володя. У ног валялись веревки, «кошки», крючья...

— Что это значит? — повторил я.

— Неужели все журналисты так непонятливы? — с притворным стоном вымолвил Зимовеев.— Володя, объясни этому товарищу, что мы едем на военную операцию...— Так как Володя стесненно молчал, только задышал чаще, он продолжал сам: — Мы знаем, в какой камере, то есть келье, сидит Софья. Игуменья проговорилась, что в среду ее постригут в монахини. Тогда увезти Софью будет невозможно. То есть увезти-то можно, да скандал будет больше. Попробуем ее сегодня же украсть...

— А Зина знает, что вы ввязались в это дело? — невольно спросил я у Володи.

Володя промолчал.

— К чему эти вопросы? Не рвите вы ему душу! — сердито буркнул Зимовеев.

Я заметил, что и он постепенно терял свой юмор.

Выглянув в окно машины, я увидел, что мы едем уже под монастырской стеной. Сиромаха что-то сказал шоферу, и тот остановил машину.

Сиромаха выскочил из машины. Я неловко вывалился вслед за ним. Володя и Зимовеев разбирали свои инструменты.

Слева от нас глыбилась белая монастырская стена. Голову надо было запрокидывать, чтобы увидеть верхний, крытый железом навес в два кирпича. Справа шумела река, переполненная от таяния горных снегов. Машина стояла на узенькой дорожке. Шофер почему-то не развернул ее к городу. Позади темнел пешеходный мост, по которому я переходил из города к монастырю.

— Это я сделаю сам! — твердо сказал Сиромаха.

Я увидел в руках у него злополучную «кошку». Теперь «кошка» была обмотана тряпками, только острые ее зубья виднелись из-под тряпья. «Так будет бесшумнее», — подумал я.

Сиромаха метнул «кошку» с привязанной к ней веревочной узловой лестницей; «кошка» перелетела через стену и глухо ударилась в кирпичи. Сиромаха потянул. Подошел Володя, перехватил из рук Сиромахи лестницу, подпрыгнул и повис на ней всем телом. Раньше чем я успел сказать, что это неосторожно, опасно, неразумно, то есть одно из тех слов, что у меня были в запасе, чтобы остановить

увлекшихся людей, Сиромаха вдруг перехватился раз, другой руками и оказался на гребне стены. За ним последовал Зимовеев.

Сиромаха что-то еще делал на стене — опускал вторую лестницу,— как Зимовеев уже исчез по ту сторону, за ним исчез и Сиромаха. Тут Володя сунул мне в руки жесткую, ворсистую веревку, уколовшую мне ладони, буркнул: «Держите! Одни они не справятся!» — и полез вслед за ними, а я, только еще собиравшийся с мыслями, чтобы отговорить их от опасного предприятия, уже стал сообщником. Я держал лестницу, чтобы она не качалась, не билась об стену, а Володя уже перелезал через стену. Но вот лестница ослабла. Володя исчез.

Шофер сидел в машине, словно спал или нарочно закрыл глаза. Мне страстно захотелось увидеть, что же происходит за стеной. Я попробовал подтянуться на лестнице, но она моталась из стороны в сторону, и меня крепко ударило о стену. Я попросил шофера:

— Товарищ водитель, подержите лестницу!

— Ни, я из другой части! — равнодушно ответил он.

Я стиснул зубы и полез. Меня било, мотало, колотило, белило мелом, осыпало красной пылью там, где я слишком близко соприкасался с кладкой, но я все-таки вылез на гребень и заглянул через стену. Еле видимые тени вылезали из глубокого рва к подножию обители. Вот они остановились под третьим с краю окном, прислушиваясь к монастырской тишине. Затем Володя — я узнал его по росту и широким плечам — отделился, встал на самый край рва, что-то засвистело в его руках, и тонкий клубок шнура с привязанным на конце мягким шаром взвился в воздух — он был отчетливо виден на белой стене,— как свистящая змейка. Шар взлетел до уровня третьего этажа и мягко упал в открытое окно.

В ту же минуту чья-то рука выбросила шар обратно; шнур, сплетаясь в комок, повалился вниз; из окна высунулась простоволосая старушечья голова, и хриплый голос произнес надрывным шепотом:

— Нема Софьюшки, нема! Увезли в скит на Громовицу!

И произошло так, будто этот старческий шепоток прозвучал громче трубы иерихонской: сразу начали хлопать окна, послышались встревоженные женские голоса, и в то же время на колокольне монастырского храма ударил набат.

— Бегите, хлопцы, бегите! — прохрипел старушечий голос, потом голова исчезла. Послы-

шалось падение тяжелого тела, в окно выглянули сразу несколько голов, и я мог бы поклясться, что одна из них была мужская и скорее всего господина Джаниса. А сзади, на пешеходном мосту, уже слышался топот многих ног, такой слитный, будто это одно длинное черное тело перебирало множеством ног, а пешеходный мост осветился фонариками, факелами, словно там только и ждали сигнала, чтобы принять участие в облаве.

Сиромаха, Зимовеев и Володя взлетели на стену, волоча за собой веревочные лестницы, шнур с мягким шаром на конце, и я поторопился уступить им дорогу. Обрывая кожу с ладоней, я вдруг оказался внизу; тут меня впихнули в машину, шофер включил мотор, и «газик» ринулся вдоль стены в гору, туда, где все еще царила спасительная темнота, где не было ни людей, ни домов, ни огней.

Володя сматывал тянущийся по земле за машиной шнур. Зимовеев перебирал лестницы, потом вдруг проворчал:

— Одну оставили!

— Это на стене,— устало сказал Володя.— Ну черт с ними, пусть приобщат к вещественным доказательствам! Я думаю, они еще будут ее продавать по кусочкам, как свидетельство чуда!

Сиромаха молчал.

И тогда я, которому так хотелось предостеречь молодых людей от опасных поступков, я, который был всех старше и, как мне думалось, опытнее, если не умнее, буркнул:

— А все-таки мы их перехитрили! Мы узнали, где Софья!

— Что? Что вы сказали? — вдруг повернулся ко мне Сиромаха, и я увидел его блестящие, мокрые глаза.— Что мы узнали?

— Я говорю, что мы узнали, где Софья! — весело и зло закричал я.— Разве вы не слышали? Старуха крикнула, что она в скиту на Громовице!

— В скиту? Но почему же мы не поняли? Она что-то прошептала сначала, потом закричала: «Бегите, хлопцы!»

— Черт возьми! Вы же были внизу, а я сидел на стенке как раз против окна! Я-то слышал явственно! Она сказала: «Нема, Софьюшки, нема! Увезли в скит на Громовицу!» Даю голову на отсечение!

— Зачем же такую голову отсекать! — закричал Зимовеев и вдруг чмокнул меня прямо в губы. Машину как раз толкнуло, и он чуть не откусил заодно и мой нос.— Нет, такая голова нам еще пригодится! — все веселее кричал Зимовеев, а Сиромаха только смотрел на меня блестящими глазами, и они словно бы светились в темноте.

Зимовеев потянулся, хлопнул шофера по плечу.

— А ну, теперь давай в город! Да побыстрее! А то еще, чего доброго, монахини на всех въездах поставят патрули! Тут-то мы их тоже перехитрили! Они думали, мы кинемся обратно, там они нас и сцапают, а мы чуть не из другой республики в город въедем!

Шофер вывел машину на какой-то проселок, и она пошла, отсчитывая километры так, что у нас зарябило в глазах от придорожных распятий, мадонн с младенцем и без младенца, телеграфных столбов и тополей...

6

Подъем на Громовицу отложили еще на один день. Метеоролог Довгун после обеда исчез. В результате Зина ходит мрачная, надутая. Когда Володя спросил у нее, где Довгун, она ответила с вызовом:

— Он не захотел дожидаться вместе с вами тут второго пришествия и пошел один!..

Что-то в ее словах резануло мой слух. Как будто она говорила с чужого голоса. Современные студенты мало знают библию и не пользуются такими оборотами речи.

Сиромаха и я лечим руки. У Сиромахи остались еще следы порезов, да и ночью он не уберегся, а я по непривычке к веревочным лестницам так ободрал ладони, что Володя всерьез отказывается взять меня на Громовицу.

Никогда раньше я не думал, что у меня появится такое пристрастие к альпинизму. До сих пор у меня кружилась голова на лестничной площадке второго этажа. А сейчас я обижаюсь на Володю и даже перестал с ним разговаривать. Если бы я знал, что Довгун пойдет один, честное слово, попросился бы с ним!

Дело в том, что мы уже все знаем о монастырском ските на Громовице. Он построен лет триста назад и является особо доходной статьей монастыря, хотя посещается богомольцами только в летние месяцы. Скит известен и как исторический памятник. Во все прошлые войны скит был хранилищем монастырской казны и убежищем для монахинь. В сказаниях о чудесах, связанных с монастырем Пресвятой Девы,— а у какого уважающего себя монастыря нет своих сказаний о чудесах! — постоянно упоминается о том, как те или иные вороги пытались достичь скита и как они терпели неудачу. Иногда злоумышленников останавливали бури, в другой раз постигала слепота, в некоторых случаях сама Громовица вступалась за святых сестер и обрушивала на насильников обвалы и лавины. На самом же деле скит приносит монастырю и другой доход, кроме подаяний от верующих. В нем живут монастырские пастухи, и там же летом содержится большое овечье стадо. На зиму пастухи спускаются с горы в низины, а когда оттаивают полонины, как называют здесь альпийские луга, в скиту ставят овечьи кошары, там делают брынзу и сыр, заготовляют мерлушку, дубят овчины.

Скит расположен примерно на половине подъема. Все туристские и альпинистские группы обычно останавливаются в скиту перед последним рывком. Здесь они устраивают и свои вспомогательные базы.

Сейчас дорога в скит еще закрыта снегами. Но на лошадях туда можно добраться. По-видимому, Софью увезли пастухи, которые порой спускаются в монастырь за продуктами. Выше скита расположена только метеостанция, но она недалеко от скита, дальше начинается самый трудный подъем к вершине Громовицы. Но именно за трудность Громовицу и избирают альпинисты для своих тренировочных походов.

Мы очень жалеем, что Довгун ушел, не поговорив с нами. Он человек местный и мог бы произвести разведку в скиту, не вызывая подозрений. Теперь нам придется все делать самим.

Расчет у нас простой: мы идем на Громовицу не по дороге, а так, как обычно поднимаются альпинисты, в лоб, потом поворачиваем и останавливаемся в скиту. Здесь остается вспомогательная группа экспедиции: Сиромаха, Зимовеев и я. Володя со своими альпинистами идет на вершину Громовицы. Мы разыскиваем послушницу, готовим ее к бегству, а когда альпинисты вернутся с Громовицы, уводим Софью с собой. Она заявляет при свидетелях — а их окажется почти десяток,— что желает покинуть скит и монастырь, и тогда ни пастухи, ни монахини не осмелятся помешать нам. В крайнем случае мы пригласим в свидетели и работников метеостанции. Тем более, что на метеостанции есть радио, мы всегда можем связаться с городом...

Так выглядит наш план.

Но сегодня Громовица курится туманом, и нам немного страшновато за Довгуна, который рискнул идти один в такой туман, а может быть, и в снегопад. Во всем остальном мире светит солнце, а вот гора стоит темная, угрюмая, и кажется, что она постепенно отдаляется от города.

Спать я ложусь с тяжелым сердцем.

Утром ко мне врывается Сиромаха. Он размахивает синим бланком радиограммы.

— Ура Довгуну! — кричит он.— Дошел! Дошел бродяга! Вот прогноз!—Он швыряет бланк на стол, бросается к окну, отдергивает штору.— Да что прогноз! — кричит он.— Посмотрите на Громовицу!

Не успев завязать шнурки на ботинках, я

бросаюсь к окну. Громовица видна во всем блеске.

Сиромаха принимается танцевать под неслышную для меня музыку. Я и сам, кажется, готов танцевать. Омолодили они меня, что ли, эти влюбчивые молодые люди?..

Под окном слышны бодрые голоса альпинистов. Они снимают и увязывают палатку. Мне не терпится пойти помочь им. Но Сиромаха уже командует:

— Товарищ наблюдатель, к столу! Завтрак подан! Ребята уже поели!

Я подчиняюсь этому новому для меня ритму жизни, где на размышление не остается времени, требуется только действие, и шагаю за старшим лейтенантом через две ступени лестницы, будто от секунды промедления может зависеть жизнь.

Зимовеев уже в буфете. Завтрак заказан такой обильный, что я ужасаюсь. Давно уже я не ел за завтраком мясо, сало, ветчину, не пил ничего крепче чая. А тут...

Но Зимовеев не дает мне поразмыслить. Он наливает полные рюмки сливовицы, поднимает свою и весело говорит:

— За успех!

Такой тост не пропустишь без ответа.

А за окном уже шумит грузовая машина. Это Володя позаботился о том, чтобы мы не выдохлись на первых километрах. Голос его жены сегодня звучит музыкой. Может быть, оттого, что ей надоело бездействие, а может быть, она надеется на встречу с Довгуном.

Но мне не хочется сегодня думать о людях дурно.

Через полчаса мы все сидим в машине. По бокам в открытом кузове поставлены скамейки. Сначала мне предложили сесть с шофером — из уважения к моему возрасту. Я уступил это место Зине. Но Зина тоже не пожелала расставаться со спутниками. В конце концов в кабину усадили Зимовеева, а мы сидим наверху и поем песни. Собственно, поют развеселившиеся альпинисты, мы с Сиромахой можем только подтягивать, так как песни у альпинистов свои, необычные: о подъемах и о товарищеской выручке, о кострах и о разреженном воздухе, о любви к горам и о коварных пропастях...

Но вот и мы наконец усваиваем необычные мотивы и слова, и скоро наши голоса тоже вплетаются в хор. Мы, пожалуй, как новички, поем даже более страстно, нежели сами альпинисты:

Солнце скрылось за горою,
Над долиной всходит месяц
серебристый,
А вечернею порою
Возвращались из похода альпинисты...

Сиромаха поет тоненьким тенорком-подголоском. Ему нравятся эти ребята, безоговорочно согласившиеся помогать, хочется быть приятным им, вот он и заливается:

Много дней они бродили,
Штурмовали неприступные вершины,
Перевалы проходили,
Попадали даже в снежные лавины...

Меня в этих песнях больше привлекают необычные слова и их сочетания. Поэтому я выделяю своим малопригодным для «спивання» баском:

Через трещины мосточком
По-пластунски, чуть дыша, переползали
И, свернувшися комочком,
В ночь на стенке дробь зубами
выбивали...

Машина режет синий весенний воздух, мимо опять мелькают тополя, распятия, статуи мадонн с младенцем на руках — все атрибуты прикарпатской дороги. А слева и справа уступами поднимаются уже начинающие зеленеть поля, покрытые первым пухом зелени сады, крашенные красным — из-за черепичных крыш — села. Мы едем по впадине между двух горных, размытых временем и давно уже сглаженных хребтов, а впереди, как сияющее белое облако, стоит Громовица, почти не приближаясь.

(Окончание следует.)

ВЗЯТИЕ ГРОМОВИЦЫ

МЕЖДУ ЛЕТОМ И ЗИМОЙ. ПЕЩЕРА В ГОРАХ. ДОВГУН ДЕЙСТВУЕТ. МЫ СЛЫШИМ СЛАБЫЙ СТОН. «ЭТО ОН УБИЛ ОТЦА И МАМУ!» ЭПИЛОГ.

Повесть

Николай АСАНОВ

Рисунки П. КАРАЧЕНЦОВА.

7

В странном находимся мы месте. Здесь как бы спорят между собой зима и лето. И разделяет их узкая полоска, не шире полукилометра. Внизу все зелено, там на полях видны крестьяне, откапывающие и распрямляющие первые позеленевшие побеги виноградника, ходят тракторы по полям, оставляя за собой шлейфы темного дыма и густой пыли, там жаркое солнце, когда хочется скинуть рубашку или хоть воротник расстегнуть, а здесь, у границы зимы, зуб не попадает на зуб, плывет под ногами вода, скользя и звенькая по камням. А выше в гору дымятся легким туманцем снежные языки, сползающие в долины и постепенно истончающиеся, сходящие на нет, посверкивающие льдистыми, хрупкими закраинами. А еще выше снега и снега, среди которых редко проглянет выступ скалы, обдутый ветрами, камень-останец, торчащий, как одинокий зуб, среди выветренной и разрушенной породы. И зима, зима...

При взгляде на огромную, словно бы надвинувшуюся на нас белую зимнюю шапку горы я чувствую озноб, а вместе с ним и сожаление: что, собственно, понесло меня сюда? В городе ей-ей лучше!

Но Володя уже расставляет альпинистов в цепочку, оделяет их веревками; ребята разбирают ледорубы, послушно выстраиваются. Мы, трое самых неумелых, оказываемся разъединенными, каждого из нас «страхуют». Володя становится замыкающим, я оказываюсь между ним и Зиной, дальше, через человека,— Сиромаха, еще через двух — Зимовеев, а впереди — ведущий, Володин помощник по экспедиции, широкоплечий студент Гриднин. Наконец мы делаем первые шаги.

Если считается, что путь до скита и метеостанции легкий, то я не представляю, что же такое тяжелый путь? Уже на первых шагах я чувствую, как мое сердце, давно уже испорченное крепким чаем, кофе, ночными бдениями и предобеденными рюмками, начинает медленно опускаться куда-то вниз, чуть ли не в желудок. Дыхание, на которое я никогда не жаловался, становится коротким, прерывистым, словно мне все время недостает воздуха. А Володя терпеливо инструктирует меня:

— Свободнее шаг! Не наклоняйтесь так сильно вперед! Не отклоняйтесь назад, а то упадете на спину! Молодцом! Так держать! — И вдруг притворно восхищенно: — А вы хорошо идете, хорошо!

Но я-то знаю, что это только доброе притворство с его стороны, знаю, что в душе он клянет себя за то, что связался с неумелыми людьми, что при таком подъеме нам обеспечен ночлег в снегу, ни за что мы не доберемся до скита без привала...

В то же время он успевает наблюдать за своей группой, смотреть на небо, видеть там каких-то птиц, говорить о них. Я-то иду, уткнувшись почти самым носом в снег, согнувшись в три погибели, а ведь у меня нет груза, что волокут на себе настоящие альпинисты: у них и рюкзаки с едой, и палатки, и веревки, и кино-фотоаппараты. Но у меня еще есть гордость! И моя гордость не позволит мне остановиться первым, не даст мне заныть, просить пощады! И я иду, превратившись в вопросительный знак, чуть-чуть не процарапывая носом борозду в снегу,— так низко согнулся я под грузом моих лет и забот, моего решения выдержать этот крестный путь.

Тут я вспоминаю, что летом сюда и на самом деле прокладывают крестный путь. Сотни верующих, таща на себе тяжелые хоругви и иконы, бредут к скиту, чтобы побывать в святых пещерах, где прятались от врагов монахини, испить святой водицы, выбившейся, если верить преданию, из голой скалы по одному только слову святой Анны, одной из прежних настоятельниц монастыря, когда вверившиеся ей души возроптали от жажды и страха... Я вспоминаю об одинокой ропщущей душе послушницы Софьи, о том, что ее ждет, и вдруг чувствую, что мне становится легче идти, я уже не так сгибаюсь, мне даже хочется выпрямиться, хотя это еще пока трудно...

На первом привале я опускаюсь в снег без сил, без желаний. Даже неприязненные слова Зины о том, что новички измучают всех, хотя они и сказаны для меня, проходят словно бы мимо моего слуха.

Потом снова идем. И вдруг я чувствую, что со мной происходит что-то странное. Казалось бы, каждый следующий метр подъема должен даваться труднее, однако сердце как будто успокоилось и вернулось на положенное ему место. Правда, бьется оно все еще рывками, но я уже могу попасть в такт его прерывистому биению, дышать ровнее, и тогда идти легче. Но минут через пятнадцать это ощущение опять пропадает, я снова начинаю задыхаться, и тут удивительный знаток человеческого сердца Володя снова дает сигнал отдохнуть.

Так мы ползем — иного слова я не подберу по своему состоянию — час, два, три. Иногда я оглядываюсь назад, но равнина все еще ближе, чем первый отрог Громовицы, у подножия которого находится скит. И мне все еще трудно оторвать взгляд от ровного зеленого плато и вновь обратиться лицом к суровой снежной горе.

На очередном привале я вдруг замечаю, что шапка горы начинает куриться. Ощущение такое, словно бы на гору прилегло лохматое облако и дышит там трудно, прерывисто, наняя на нас этот пронизывающий холод. Я машинально говорю:

— А все-таки долговременный прогноз погоды был точнее...

— Какой долговременный? — настороженно спрашивает Володя.

— Да для сельскохозяйственного управления! — поясняю я, не понимая, что беспокоит Володю.

Володя надвигается на меня всем своим мощным телом. Мы сидим рядом на ледяном уступе, но я — на нижнем уступе, он — на верхнем. Мне кажется, что он сейчас задавит меня: так близко придвигается.

— Что было в долгосрочном прогнозе? — тихо спрашивает Володя.

— Ну, как всегда для колхозов пишут! Где можно пахать, где будут заморозки. Громовица, я помню, была в зоне осадков и вечерних туманов с заморозками. Вы же видели: по всей долине колхозники откапывали виноград, а под Громовицей нет. Даже выпас скота у Громовицы запрещен. И о пахоте сказано, что будет затруднена из-за снегопада и последующего заморозка...

— Так что же вы молчали?! — вдруг вскрикивает Володя.

— Но Довгун...

— Эх вы, журналист! — И это слово звучит так презрительно, словно только журналисты и были всегда виноваты во всех непорядках мира.— А если Довгун не дошел до метеостанции? Если радиограмму дал не он?

Володя замечает, что его гневные, порывистые жесты и громкий голос привлекают внимание остальных альпинистов, и вдруг шепчет:

— Ни слова о ваших прогнозах! Никому!

Он встряхивается, встает и, словно ничего не произошло, командует:

— А ну, ноги в руки — и вперед!

Это его обычная манера уснащать свою речь всякими поговорками, и я успокаиваюсь. Очевидно, вспышка гнева уже окончилась.

Мы снова ползем в гору.

Но теперь идти становится труднее. Плотный, хотя и разорванный ветром на клочья туман все чаще загораживает нам путь. Поначалу мне даже смешно наблюдать, как человек вдруг исчезает в тумане. Вот был виден весь, а теперь уже только голова торчит из тумана, недоуменно поводя во все стороны глазами, а еще дальше впереди видны одни только длинные ноги Сиромахи, будто все его туловище вдруг съел туман. Очень напоминает фантастический роман Уэллса о человеке-невидимке.

Но когда я сам попадаю в полосу такого тумана, мне становится не по себе. Туман закрывает меня по грудь, но я не вижу, куда ставлю ноги, и все кажется, что под ногами пропасть.

Окончание. См. «Огонек» №№ 10, 11.

Выждав мгновение, когда туман сбрасывает вниз, а волна сверху еще не дошла, Володя останавливается и достает карту. Я и Зина ближе всех к нему, и мы слышим его бормотание.

— Где же тут пещеры? Ага, пик Палец влево, так, так!.. — бормочет он, поглядывая то на карту, то на показавшиеся меж двух волн тумана окрестные возвышенности и скалы. Потом кричит ведущему: — Гриднин, видишь пик? Это Палец. Двигай к нему!

— Вижу! Иду!

В это время приблизившаяся волна тумана достигает Пальца и накрывает его вместе с ногтем, если на этом чертовом пальце есть ноготь. Я успеваю только прикинуть, что по прямой до Пальца метров восемьсот, а вот сколько времени мы будем ползти эти восемьсот метров, мне знать не дано. Я просто подчиняюсь подергиваниям веревки, которой мы все связаны, и делаю шаг направо.

Больше разрывов в тумане нет.

Ощущение у меня тягостное и странное. Я не то чтобы ослеп, но на глаза надели серую, непроницаемую пелену из неосязаемо легкой ткани, а тело окутали словно бы мыльной пеной. Каждое движение в этой взболтанной вместе с воздухом воде дается с огромным напряжением. Я перестаю верить во все: в твердость почвы под ногами, в синее небо, которое где-то должно бы существовать, в ветер, который должен бы разгонять туманы. Я не верю уже и в то, что живу; мне кажется, что я умер и осужден вечно карабкаться в этой неосязаемой темноте, не видя ни друга, ни себя. Даже рук своих, веревки, которой я скреплен с другими, я не вижу. Только голоса доносятся громче, будто эта серая пелена обладает способностью отталкивать их и усиливать, но и от этого излишнего звучания мне не легче, так как теперь я не понимаю, откуда доносятся голоса...

Я двигаюсь в ту сторону, куда меня тянет веревка.

Почему-то приходят мысли о том, что я буду делать, если веревка оборвется...

Но впереди идет опытный альпинист, впереди Гриднин! Он взял пеленг на Палец и выведет нас на этот Палец даже в темноте. У него отличный компас, у него опыт, ему уже приходилось бывать и не в таких переделках. Так успокаиваю я себя.

Где-то впереди я слышу трудное дыхание и понимаю, что так может дышать только неопытный альпинист. Наверно, это Сиромаха или Зимовеев. Я перестаю думать об одном себе и начинаю жалеть за компанию и их. Но тут же вспоминаю, что летчикам, пожалуй, тоже приходилось переживать самые различные приключения, и мне опять становится жалко только себя самого. В конце-то концов могли бы они оставить меня в покое!

Но тут мне становится стыдно за свой эгоизм. Мне даже кажется, что я покраснел. Во всяком случае, у меня горят щеки и уши, и я почти доволен, что меня никто не видит.

Внезапно туман словно бы сдвигается в сторону, и мы все видим прямо перед собой Палец. Выше пика и совсем недалеко я вижу какие-то строения и догадываюсь: скит. Но Володя, которому я говорю о ските, как будто и не слышит меня; он глядит на темное пятно в скале перед нами, похожее на лаз медвежьей берлоги, также припорошенное по краям инеем, и облегченно говорит:

— Пещера!

В это время туман надвигается снова, но теперь он не влажный, а как бы подсушенный морозцем, покалывающий лицо, легкие, едва я вдыхаю его. И вдруг я отчетливо слышу высоко над нами три легких хлопка, похожие на отдаленное щелканье пастушьего бича.

— Что это такое? — спрашиваю я.

Володя вздергивает голову и становится похожим на прислушивающегося лося — такой же широкоплечий, с отогнутыми, похожими на рога ушами шапки,— потом он кричит:

— Смотрите!

Мы видим, как туман начинает клубиться, словно ему тесно в этой впадине; вот он отрывается, и между туманом и горой возникает щель; видно далеко вверх, но щель эта заполнена страшным гулом и движением. И то, что движется, уже не туман,— движется стена снега, а может, камня.

Володя кричит, и голос у него такой отчаянный, словно он увидел убийцу:

— В пещеру! Быстро!

Мы все бросаемся вперед, но я уже не бегу, меня волокут, как если бы две пристяжные волокли сопротивляющегося коренника. Слева от меня и впереди бежит Зина, оглядываясь с такой злобой, что мне кажется, вот сейчас она обрежет связывающую нас веревку, и я останусь один на один с катящейся на меня снежной, а может, и каменной тучей. Справа бежит Володя, он кричит: «Скорее! Скорее!»,— как будто этим может понудить не только меня, но и мое останавливающееся сердце. Я вижу, как Володя и Зина исчезают в пещере, и в то же время на меня с ревом накатывается нечто неудержимое, бессмысленное, страшное. Но тут меня выдергивают из снежной, уже обволокшей меня пучины, как рыбу из воды, и швыряют к стене, под ноги сгрудившимся и немотствующим людям.

Я лежу, не в силах вдохнуть воздух, только слабо разеваю рот. В глазах у меня красно от прилившей крови; мне кажется, что я умираю, и в то же время я рад, что умираю не от лавины, а на земле, на камнях, у ног товарищей.

Володя становится на колени, щупает мой пульс, расстегивает ворот куртки, потом начинает делать искусственное дыхание. И я хотя еще жив, все как будто бы вижу и слышу, все равно не могу вздохнуть, не могу сам шевельнуть рукой, подать голос.

— Гриднин, флягу!

Это голос Володи, но мне становится еще больнее. Вокруг все тихо, я уже не слышу даже рева лавины, не вижу света — значит, я действительно мертв. Но тут в рот попадает несколько капель спирта, я начинаю кашлять и вскрикиваю, совсем как новорожденный, которого пробудили к жизни шлепком под зад.

— Почему темно? — спрашиваю я, еще не веря, что жив.

— Завалило! — сухо отвечает Володя.

Но это меня уже не пугает. Самое страшное — умирание — позади. Все-таки я жив. Я приподнимаюсь и сажусь, приваливаясь спиной к стене. Я жив!

— Хотел бы я знать, кто сказал, что мы собираемся зайти в скит? — задумчиво говорит Володя.

— Я сказала... Довгуну... — всхлипывая, отвечает Зина.

— Так! — очень тяжело, будто звуки перекатываются во рту, как камни, произносит Володя.— Значит, он нарочно заманил нас в эту ловушку!

— Что ты говоришь?! — вскрикивает Зина.

— Молчи! — страстно, с сиплым присвистом произносит Володя. Остальные придвигаются к нему, загораживая Зину.— Да, он сделал это нарочно! — с огромным убеждением говорит Володя, и нам всем становится нечем дышать.— Он сделал это по приказу из монастыря! Через месяц нас откопают, и монастырь объявит о чуде: безбожники шли в скит, чтобы украсть монахиню, и бог покарал их. Вот что скажут о нас!

— Так вот зачем ты шел в скит! — вдруг кричит Зина.— Я говорила, чтобы ты не путался с этими подлецами! А теперь... а теперь...

— Молчи! — снова яростно говорит Володя, и в его голосе слышится скрип железа.— Если мы выберемся отсюда, можешь выходить замуж за своего Довгуна. Только тебе придется подождать лет пять, пока он освободится из тюрьмы!

— Он-то тут при чем? — взвизгивает, словно разъяренная кошка, Зина.— Он благородный человек! Он предупреждал, чтобы мы не вмешивались в монастырские дела!

— Вы слышите, ребята? — спрашивает Володя, и в голосе его звучат такие ноты, что Зина вдруг замолкает и отодвигается к самой стене.— И я, болван, сказал ей, что мы не могли выручить эту монахиню! А она все сказала Довгуну. Ну, если он попадется мне!..

— Но не Довгун же наслал на нас лавину! — рассудительно говорит Гриднин.— Ты что-то преувеличиваешь, Володя. Я разговаривал с этим Довгуном, он показался мне хорошим парнем...

— Вот слышишь, слышишь?! — снова кричит Зина с торжеством.

— Довгун — подлец! — убежденно и устало отвечает Володя.— Он знал, что на Громовицу идти нельзя, и дал нам неверную сводку погоды. Вот товарищ журналист видел в исполкоме настоящую сводку. В ней говорилось о туманах и заморозках, об осадках и обвалах...

— Да,— подтверждаю я, так как даже в темноте видно, как все поворачиваются ко мне.

— И что тут говорить о лавине! Вы все слышали выстрелы в горах? Достаточно было выстрелить один раз, чтобы обрушить какой-нибудь надув снега, а тут стреляли трижды! И если мы умрем здесь, тот же Довгун скажет, что стрелял в тумане, чтобы подать нам сигнал. Он не скажет, где он стрелял...

— Но как же я? — вдруг совсем по-бабьи вопит Зина.— Ведь он говорил...

— Довольно! — яростно кричит в темноту Володя.— Я сказал: если мы выкарабкаемся, ты будешь его женой! Только не сразу. Подождешь лет пять! За это время ты о многом подумаешь! И о том даже, почему это Довгун не предупредил тебя, что тебе не надо идти с нами! И ты, может, поймешь, что была для него только помощницей, от которой лучше избавиться!

Зина начинает рыдать, но грубый рывок веревки, которой она все еще связана через меня с Володей, бросает на пол и меня и ее. Она поднимается снова и теперь только всхлипывает, размазывая слезы по лицу. В темноте мне видно, как белеют, двигаясь, ее руки.

— Отдохнули? — спрашивает Володя совсем другим тоном.— Сейчас начнем разведку.

Он освобождается от веревки. Мы послушно развязываемся, сматываем веревку. Кто-то шуршит спичками. Володя разрешает закурить. По его мнению, воздуха здесь достаточно да и лавина снежная, не земляная, она пропустит воздух. Он только просит, прикурив, осмотреться при свете спичек и поискать что-нибудь горючее, у кого что есть: бумагу, записную книжку.

— У нас есть кусок провода, свет в палатку проводили,— примирительно бормочет Зина.

— Достаньте провод! — ни к кому не обращаясь, приказывает Володя.

Вот уж никогда не думал, что провод может служить осветительным материалом!

Однако в руках у Володи вспыхивает что-то вроде факела с ядовито-горьким дымом. Если доступ воздуха в пещеру закрыт, мы от этого дыма скоро задохнемся!

Гриднин пробует пробить ледорубом завалившую нас лавину. Наткнувшись на камень, стучит по нему, и мы слышим глухой звук, словно находимся в могиле. Я с трудом унимаю дрожь в руках.

Вдруг Володя останавливает Гриднина и указывает на пламя факела. Огонь изгибается в сторону пещеры, и дым, оторвавшись от факела, змейкой ускользает мимо нас куда-то в глубь черного мрака, будто жаждет соединиться с этой чернотой.

— А что, если пещера имеет второй выход? — спрашивает Володя.— Не все же в этих монастырских преданиях ложь! Куда-то монахини уходили, когда на скит нападали?

Мы нерешительно смотрим на нашего вожака.

Володя собирает все, что может гореть. Он берет и записные книжки, и носовые платки, и плитки сухого спирта, на котором мы собирались разогревать пищу во время привала. Один конец веревки, которой мы были связаны во время подъема, он прикрепляет к камню у входа в пещеру, и мы трогаемся в путь. Впереди идет Володя, замыкающим становится Гриднин. Только Зина теперь держится где-то в конце группы. Мне все время слышны ее вздохи. Но даже в эту не очень веселую минуту мне не хочется, чтобы она разжалобила Володю.

Мы поспешно идем за Володей. Во всяком случае, это какое-то действие. Хуже всего было бы для нас теперь покорное ничегонеделание. Мне даже кажется, что у меня прибавилось сил.

Внезапно Володя останавливается и освещает стену. Мы видим деревянную дверь, вделанную в стену. Володя толкает дверь и освещает факелом внутренность помещения. Это келья. Камера-одиночка с деревянным, проплесневевшим и прогнившим ложем, каменным столом, на котором лежат деревянная, полуистлевшая от старости чашка и деревянная же ложка.

Теперь мы примечаем, что стены пещеры обработаны человеком. Некоторые углы

K. 60

спрямлены, выступы отбиты. Во многих местах выбиты углубления, но ни дверей, ни косяков нет. Очевидно, это временные убежища на одного, на двух человек, а в запиравшейся келье-камере, может быть, доживала свой век какая-нибудь затворница...

Внезапно мы слышим слабый стон.

Это так страшно, что нас охватывает оторопь. И хотя никто из нас не верит в привидения, но так и кажется, что сейчас от стены отделится фигура какой-нибудь монахини в черном (или мертвые появляются в белом?) и двинется на нас, на наши приглушенные голоса, на робкий свет Володиного факела. Мы останавливаемся, словно у нас отнялись ноги, а Зина просто садится, вытянув руки вперед, будто отталкивая уже появившееся перед нею видение. Только Сиромаха внезапно выхватывает из рук Володи факел и бросается вперед.

Стон слышится снова.

Мы стоим в темноте, не успев сделать и шага вслед за исчезнувшим светом факела, как впереди слышится плачущий голос Сиромахи:

— Софьюшка, Софьюшка, что же они с тобой сделали?! — И вслед за этим плачущим зовом грубый, злой: — Да идите же сюда, помогите мне! — И треск дерева, будто он всем телом ломится в закрытую дверь.

Мы делаем несколько шагов в темноте и видим факел в руках Сиромахи, его самого, упершегося плечом в стену, опять слышим треск дерева. Володя подбегает с ледорубом, подсовывает его в щель между дверью и полом. Только теперь мы видим железные полосы на двери, тяжелый замок, с телячью голову величиной, и там, за дверью, слышится тяжкий стон, по-видимому, обеспамятевшего человека, потому что человек этот не слышит, как трещит дверь, не отвечает на горячий шепот Сиромахи: «Софьюшка, Софьюшка, потерпи! Мы здесь, Софьюшка!»

Дверь не поддается. Замок, вставленный в две грубо откованные петли, висит, как мертвый.

Теперь уже пять ледорубов подсунуто под дверь. Сиромаха решил правильно: не возиться с замком, который все равно сбить нечем, а попытаться сорвать дверь вместе с косяком. Дерево простояло в пещере долго, оно должно было истлеть, выветриться, надеется он, но толстые плахи двери только гудят от наших усилий. А стон за дверью все слабеет и слабеет...

— Надо поджечь дверь! — советует Гриднин.

— Ну да, чтобы дым заметили и нас всех замуровали тут! — настороженно отзывается Зимовеев.

— Дайте кирку! — говорит Володя.

Маленькая кирка у кого-то в руках.

— Долби здесь! — приказывает Володя и показывает на верхнюю часть двери, где в камень вделан деревянный косяк.— Товарищ Зимовеев, Гриднин, пройдите по пещере до конца, выясните, куда она выходит. Если пещера выходит к скиту, приглядитесь, что там делается, не слышен ли наш шум. Гриднина пошлите обратно, сами останьтесь там! — Володя говорит таким командирским голосом, словно всю жизнь занимался спасением людей, заключенных в пещерах, и предугадывает все, что еще должно произойти.

Зина просит:

— Я пойду с ними, Володечка! — Голос у нее смирный, тихий, даже нежный.

— Нет! — резко отвечает Володя.— Мы тебе не доверяем!

Это звучит, как пощечина. Зина снова садится, приваливаясь спиной к стене, и тихо плачет. Вероятно, это первые ее настоящие слезы. Раньше она просто устраивала истерики.

Зимовеев и Гриднин, оберегая слабенькое пламя спиртовки, уходят. Мы по очереди бьем киркой. Сиромаха все еще пытается расшатать хоть одну доску крепко сбитой двери. Он зовет и зовет, то громко, то тихо-тихо, как во сне: «Софья! Софья! Софьюшка!»,— и от этого отчаянного зова страшно ноет сердце. А стон за дверью умолк — то ли там беспамятство, то ли смерть...

Вдруг верхний козырек каменной дверной «пяты» отлетает, и дверь медленно ползет в сторону. В образовавшуюся щель веет таким затхлым запахом сырости и плесени, что мы невольно отшатываемся. Но Сиромаха, ухватившись за дверь, рывком отворачивает ее и бросается вперед. Володя с факелом ступает за ним.

Под ломким, срывающимся светом факела мы видим лежащую на каменном полу девуш-

ку в черной монашеской одежде. Белое лицо ее кажется мертвым. Сиромаха, упав на колени, припадает к ней, целует мертвое, как нам кажется, лицо, потом поднимает ее и говорит странно спокойным голосом:

— Помогите мне вынести ее. У нее обморок.

Но тут голос его срывается, зубы скрипят, он страшно вскрикивает:

— Ну, подождите, святоши!

Мы изо всех сил оттягиваем накренившуюся дверь, и Сиромаха протискивается в щель со своей неподвижной ношей. Я нечаянно прикасаюсь к руке Софьи. Рука холодна, как у мертвеца.

Мы срываем с себя куртки, раскладываем их на полу пещеры. Сиромаха опускает Софью на это ложе. Двумя куртками прикрывает девушку и усаживается рядом, безучастный ко всему, кроме той, что лежит перед ним, кроме ее неподвижной, холодной руки, которую он отогревает своим дыханием и, может быть, горячими слезами. Нам неловко смотреть на него, и мы делаем вид, что заняты сборами.

Володя, усевшись в сторонке, дает мне подержать факел и пишет что-то в дневнике экспедиции. Я вижу, как он морщится, будто ему трудно дышать, потом встает, подходит к двери, обмеряет ее, разглядывает металлические полосы, замок, проходит в камеру,— иначе помещение, в котором была заперта Софья, не назовешь,— измеряет и там что-то, сердито ворча:

— Да посветите же!

Потом он опять садится и пишет.

— Что вы пишете? — спрашиваю я.

— Акт! — сердито говорит он.— Подпишите!

Я читаю протянутый мне дневник. Это действительно составленный по всем правилам акт о преступлении против человечности. Мы по очереди подписываем этот документ. Только Зина сидит неподвижно, и мы не подзываем ее.

Появляется Гриднин. Он весь в грязи. Спиртовка догорает жалким, синим огоньком.

— Ну? — сурово спрашивает Володя, словно готов к самому плохому, но мы видим, как Гриднин улыбается во весь рот: он увидел спасенную. Потом лицо его мрачнеет:

— Что с ней?

— Обморок,— коротко отвечает Володя.— Говори! — приказывает он.

— Есть два выхода,— говорит Гриднин.— Один в скиту, под молельней. Но молельня на замке: мы подходили к дверям. Зимовеев там остался на всякий случай. Второй — прямо в гору, недалеко от лавины. Но...— он мнется,— видишь, как я там полз? Ее,— он кивает на Софью,— там не протащишь.

— Пошли через молельню! — все так же сердито говорит Володя.

Я понимаю: он боится за всех нас. Но Софья нуждается в неотложной помощи. От скита есть относительно ровная дорога. Есть в скиту и подводы. Наше появление всполошит всех скитских обитателей — это ясно, но они, вероятно, не осмелятся ни протестовать, ни вредить нам, когда мы окажемся на свободе.

И потом там же могут оказаться посторонние свидетели, те же работники метеостанции! Хотя поступок Довгуна...

Володя прерывает мои размышления. Он просто говорит:

— Пошли! Гриднин, помоги товарищу Сиромахе...

— Я сам! — Сиромаха отстраняет Гриднина и легко поднимает недвижное тело девушки.

Володя идет впереди. Замыкает нашу печальную процессию Зина. Не знаю, что с нею творится, но она то и дело спотыкается, будто ослепла от слез.

Подземный ход все время поднимается в гору. Со стен каплет, сырость пронизывает до костей. Сиромаха закутал Софью в наши куртки, и мы все ждем, когда же она хоть застонет, хоть вздохнет в полную силу. А девушка недвижно лежит на сильных руках Сиромахи, даже голова отвисает, как у мертвой.

Гриднин показывает на расселину в стене. Мы понимаем: второй выход начинается здесь. Но при одном взгляде в эту узкую мокрую щель ясно, что с Софьей тут не пройти.

Но воздух незаметно становится все суше и теплее. Мы уже не поджимаемся, как побитые собаки, идем быстрее. Даже мрачный Сиромаха вдруг шепчет:

— Отогревается! Дышит!

Володя делает предостерегающий знак: быть тише воды, ниже травы. И проскальзывает вперед. Когда он исчезает в проходе, мы замечаем впереди свет, затемненный его гибкой фигурой.

Он возвращается, шепчет: «Тише!» — и ведет сначала Сиромаху с его ношей. Тем же порядком он выводит каждого из нас. Только Зина выходит из подземелья сама.

Мы находимся в молельне. Собственно, это маленькая часовня. Она недавно натоплена, в ней жарко, пахнет ладаном и воском. Сиромаха стоит среди молельни, освещенный сверху косыми полосами света, все еще держа Софью на руках. Но что-то изменилось в позе Софьи. Тут я замечаю, что она обняла одной рукой Сиромаху, и это уже живая рука. И дышит она спокойнее, сильнее, заметно, как волнуется ее грудь.

Зимовеев на страже у дверей. В руках у него тяжелая кочерга, и я не сомневаюсь, что он может убить каждого, кто сунется к нам с враждебными намерениями.

Я продолжаю осматривать молельню. Она убрана в двух церковных стилях: во всю стену иконостас, как полагается в православной церкви, а у подножия — статуи святых и Христа с богоматерью — дань унии.

И опять происходит что-то. Слышится слабый вскрик Софьи, и, когда я оглядываюсь, она пытается выскользнуть из рук Сиромахи, а он удерживает ее и шепчет одними губами:

— Это я, Софьюшка, я! Я пришел за тобой! — И девушка покорно замолкает, только прячет лицо на груди Сиромахи.

Зимовеев шепчет:

— Сюда идут! Все ко мне! Как только они откроют дверь, вырваться всем, стать кучно! По двору не рассыпаться! Слышите? — и умолкает.

Мы придвигаемся к нему, прислушиваясь, как стучат чьи-то каблуки по каменным плитам двора возле порога молельни, как гремит ключ в замке.

В тот миг, когда дверь начинает скрипеть, Зимовеев наваливается на нее плечом и резко распахивает. Мы вдруг все вываливаемся наружу, жмурясь от яркого солнца, бьющего прямо в глаза. Вопль испуга замирает медленно и протяжно. И мы видим перед собой группу монахинь и нескольких мужчин. Я узнаю среди этой потрясенной нашим появлением толпы настоятельницу монастыря и машинально вспоминаю: «Сегодня среда, она прибыла на обряд пострижения!»,— вижу господина Джаниса, Довгуна, двух или трех пастухов и перепуганную толпу монахинь.

Софья вдруг выскальзывает из рук Сиромахи и встает, опираясь на него. Она медленно переводит свой взгляд с лица на лицо, и все эти люди перед нею опускают головы, не в силах выдержать ее взгляда. Тут ее глаза встречаются с глазами Довгуна. Она кричит страстно, почти исступленно:

— Это он! Это он! Он убил и отца и маму! Он! Он! Бандеровец клятый! Он! Он!

Этот вопль потрясает, хочется закрыть уши руками, но мы видим, как Довгун меняется в лице, отшатывается и вдруг бросается бежать. Тут Зимовеев делает прыжок вперед, сбивая его с ног, падает на него и кричит:

— Что же вы стоите? Вяжите его! Это же убийца!

Пастухи, словно разбуженные этим приказом, суетливо бросаются к Зимовееву, но Володя отстраняет их. Он и Гриднин одним движением опутывают «метеоролога» веревкой, а Зимовеев ловко обыскивает беспомощного убийцу и с торжеством вытаскивает из его кармана плоский пистолет и длинный складной нож с пружиной, выбрасывающей клинок, какие когда-то доставались нам в трофеи от гитлеровских офицеров.

Потрясенная толпа все еще молчит; слышно только, как люди редко-редко, когда уже невмоготу терпеть, переводят дыхание.

Я вежливо спрашиваю у настоятельницы:

— Не разрешите ли вы, преподобная мать, воспользоваться вашим экипажем? Вашей бывшей послушнице требуется срочная медицинская помощь. Пытка голодом и холодом даже в монастырских условиях никогда еще не способствовала здоровью. Господин Джанис, вероятно, согласится подождать и разделить ваше огорчение?

Настоятельница, словно только что очнувшись, вдруг резко поворачивается и уходит. Ветер развевает ее рясу, шагает она так порывисто, что даже ноги ее видны: в тонких чулках-паутинке, в модных черных полубашмачках на меху. Джанис, словно подтолкнутый в спину, бежит за нею коротенькими, спотыкающимися шажками.

Сиромаха резко говорит:

— Ну, люди, вы видели? Если хотите, оставайтесь с этим богом, а нам помогите уехать отсюда...

Монахини, сбившись в кучу, смотрят на нас с жадным любопытством, и никто не гонит их от нас. Один из пастухов бежит к сараю и выводит оттуда лошадь с санками. Помогая Сиромахе устроить в санках Софью, он бормочет:

— Кто же знал? Кто же знал? Сказали: на увещевание! Кто же знал...— И обращается к Сиромахе: — У подножия стоит бричка, там перепрягите коня. Да нет, я сам, сам!..

— Еще подвода найдется? — спрашивает Зимовеев и кивает в сторону усаженного на приступок Довгуна.— Для него.

— Найдется, как не найтись для такого дела!..— бормочет тот же пастух и опять уходит в сарай. Оттуда он появляется с лошадью, запряженной в волокушу.

— Садитесь, господин Довгун! — сурово распоряжается Зимовеев.— Эх, жаль, не могу я посадить рядом с вами и мать-игуменью и этого иностранного господина! — Он взглядывает на окна чистого домика, в котором скрылись игуменья и Джанис, и там немедленно задергивается штора.

Лошади трогаются, и мы выходим плотной небольшой толпой. За нами из ворот скита выходят и монахини. Они стоят черной стайкой, похожие на бескрылых птиц.

Мы удаляемся все дальше, и тогда в этой стайке бескрылых птиц кто-то машет нам рукой. И кажется, что это у птиц отрастают крылья. Может быть, эти черные птицы так и не взлетят никогда, но у которой-то из них такое желание возникло.

Мы идем молча возле тех саней, на которых полулежит поддерживаемая Сиромахой Софья. Девушка снова в беспамятстве: слишком дорого стоила ей встреча с игуменьей и особенно с убийцей ее родителей.

На повороте в ущелье мы все, как по команде, оборачиваемся и смотрим на Громовицу. Володя громко говорит:

— Да, так и не взяли горушку! Но это от нас не уйдет...

Эпилог

Вскоре после описанных событий я выехал из этого отдаленного города в Москву. Сиромаха был счастлив. Софья довольно быстро поправилась и даже смогла свидетельствовать, когда судили Довгуна. На суде выяснилась оригинальная подробность. Игуменья, зная о причастности Довгуна к бандеровцам, нарочно свела этого «верующего» с Софьей, а когда послушница опознала Довгуна, пригрозила «метеорологу», что уход Софьи в «мир» грозит ему разоблачением. Довгун всячески старался помочь настоятельнице.

Он признался, что замыслил похоронить альпинистов под лавиной, когда узнал от жены начальника экспедиции о неудачной попытке проникнуть в монастырь. Это признание Довгуна окончательно сразило Зину. На другой день она уехала, не ища больше примирения с мужем.

Мне бы и в голову не пришло публиковать сделанные тогда по следам событий записки. Но этой зимой я получил, как уже писал в кратком предисловии, сообщение от старшего лейтенанта Сиромахи о том, что на него наложено взыскание за... «вмешательство в дела церкви...». Литературная дама, о которой шла речь в предисловии, очевидно, решила, что чужие страдания вполне могут стать поводом для ее рукоделия. Будучи решительной по характеру, она ринулась на розыски. Кто-то из авиаторов сообщил ей, что в Москве находится командир той части, в которой служит старший лейтенант Сиромаха. Так она добралась до подполковника Синицына и оказала своим пересказом неизвестных ей событий медвежью услугу и мне и Сиромахе.

Надеюсь, что опубликованием этих моих правдивых записей я сделаю по крайней мере два добрых дела: заставлю товарища Синицына снять незаслуженное взыскание со старшего лейтенанта Сиромахи и лишу мою случайную слушательницу возможности стряпать произведения искусства по слухам. Пусть попробует написать о себе и своих страданиях, если таковые у нее случались.

1960. Львов — Москва.

Анатолий ИВАНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ВРАЖДА

В високосный день 1944 года, 29 февраля, во вторник, старший из шести оборванцев Катьки Афанасьевой Мишуха застрелил из берданки председателя романовского колхоза Артемия Пилюгина, давно вернувшегося с фронта по ранению, орденоносца. Мишуха подошел к дому председателя, когда стемнело, ткнул дулом берданки в стылую, красноватую от горящей в избе лампы нижнюю шибку. Обмерзлое стекло негромко лопнуло, просыпалось тяжелыми осколками вниз. «Эт-то кой там черт?!» — свирепо прохрипел Пилюгин, повернув голову от стола, за которым ужинал со своей семьей. В два прыжка он подскочил к окошку, наклонился к разбитой шибке, чтобы высмотреть побойщика, и тут Мишуха вылепил ему прямо в лицо заряд. Железный обрубок, забитый в ствол, разнес полчерепа, грузный Пилюгин тычком рухнул на край скамейки, стоящей у стены, скамейка взвилась другим концом под потолок, с грохотом упала на крашеный пол. И только тут в ужасе заревели все враз — мать Артемия Пилюгина Федотья, жена его Лидия, дети Пашка и девятилетняя Сонька...

Сбежавшиеся на выстрел люди отобрали у Мишухи берданку, а скручивать убийцу не было надобности. Мишухе шел всего четырнадцатый год, и он, сжавшись, как котенок, сидел на мерзлом снегу возле стены дома. Сын убитого Пашка, подвывая, как щенок, пинал и пинал толстым валенком Мишуху, но тот пинков будто и не чувствовал, не защищался, он лишь тоскливо повизгивал и красными от холода кулаками растирал слезы на грязных щеках.

— Убью паразита-а! Раздавлю-ю... Пустите! — безумно орала Федотья Пилюгина, разлохмаченная, страшная, с разбухшими глазами, готовыми, казалось, вот-вот лопнуть от ярости, билась в руках удерживающих ее баб. Они отобрали у старухи тяжелый медный пестик, кое-как увели, затолкали в дом, где лежала бесчувственная Лидия.

— Ты што сотворил-то, проклятущий?! Што? — черной вороной висела над Мишухой дряхлая бабка Андрониха, тыкала в мальчишку костылем.— Ить человека ухайдакал. Засудят теперь. В каторгу...

— Отойди, старая... Отступись ты,— отпихивал ее сам дед Андрон, тоже древний и костлявый, как его жена.— И другие отойдите от мальца, тут власть должна...

Но никакой власти в Романовке теперь не было, и что делать — никто не знал. Кругом стоял бабий вой и плач. Романовка — деревня небольшая, всего в одну коротенькую улочку, а у пилюгинского дома было тесно, как на базаре. Бабы, старики и старухи метались возле окошка, за которым лежал мертвый Пилюгин, сбежавшиеся сюда деревенские детишки стояли кучками поодаль и, напуганные происшедшим, молчали.

Молодых мужиков, кроме председателя Пилюгина да хромоногого Петрована Макеева, колхозного кузнеца, в Романовке давно уж не было. На многих получены в разное время похоронки, на остальных каждую пятницу, когда из райцентра привозилась почта, ожидали. Робкая и зыбкая надежда, что муж или сын на этой проклятой войне покуда живой и до конца ее не сгинет, затаенно жила, конечно, в каждом женском сердце, щемило его тихой и постоянной болью, а рядом гнездилась боль другая, страшная и черная — вдруг да Марунька-счетоводиха, раз в неделю ездившая на районную почту, привезет в эту пятницу зловещий казенный конверт. Ее возвращения со страхом ждали еще с утра, беспрерывно поглядывали на увал, круто вздымавшийся за деревней. И когда там, на сбегавшей вниз дороге, показывались ее сани, а если летом — телега, изболевшееся сердце каждой бабенки и совсем останавливалось...

Теперь в Романовке и вовсе остался один мужик, кузнец хороший, выручальник колхоза, да этим же до края избалованный, беспробудный пьянчужка. Каждое утро, прежде чем раздуть горн, он сильно опохмелялся, тусклые глаза его прояснялись, вялые руки обретали живость и крепость. Весь день он работал красиво и азартно, беспрерывно вытирая голой рукой со лба пот, а вечером снова наливался самогонкой из свеклы до самого горла.

Сейчас Макеева возле дома убитого председателя не было, да о нем никто и не думал, никто не ждал его, зная, что он бесчувственным бревном лежит у себя в кузне. Петрован Макеев ногу поморозил на финской, отчего она скрючилась, жена его, бабенка ветреная и бесплодная, с хромым жить не стала, завербовалась куда-то на Север и уехала, как все говорили, «за длинным рублем и новым мужиком». С того, как считали в Романовке, и начал Петрован пить. Летом он обычно ночевал в захиревшей без женской руки, совсем почти сгнившей своей избенке, зимой же натопить ее было невозможно, а приводить жилье в порядок кузнец ленился и с наступлением холодного времени жил безвылазно в кузне, там же и спал, пристроив лежанку к теплому до утра горну.

Но неожиданно для всех Макеев объявился. Как он подошел к пилюгинскому дому, никто в суматохе и в темноте не заметил, его увидели, когда он, прокопченный, черный, как грач, нагнувшись, вошел в комнату. Ростом он был высок, голова его почти упиралась в потолок. И плечи, обтянутые прогорелым во многих местах полушубком, были широкими, в косую сажень. Из-под расстегнутого полушубка выглядывала рубаха, тоже расстегнутая, а из рубахи — волосатая грудь, бугристая, звериная какая-то. Он был добрым, этот кузнец-пьянчужка, безотказно ковал любому, кто обращался, лопаты и тяпки, ножи и сечки, крючки и задвижки, всякие скобы и гвозди — да мало ли какая мелочь требовалась в хозяйстве. Деньгами не брал — что на них купишь в такое-то время,— раз и навсегда положил, чтоб за работу ему носили самогонку или кой-чего из съестного. Но размер платы никогда не определял, что дадут, то и ладно. Обращались к нему все и постоянно, даже из соседних деревень каждый день наезжали, жил он безбедно, запас самогонки никогда не истощался. Но расплатившись за работу, торопливо поблагодарив, люди тотчас спешили уйти — уж больно молчалив и угрюм был кузнец. И он смотрел каждому вслед неприязненно, темные глаза его разгорались, как угли в горне, но тут же тухли, он усмехался в клочковатую, забитую копотью, железной окалиной бородку и принимался за свою нескончаемую работу.

Войдя в комнату и оглядев сразу смолкнувших баб — лишь жена Пилюгина, свернувшаяся крючком на голбчике, тяжко и глухо рыдала,— он усмехнулся по-своему и шагнул к убитому. Тот как упал ничком, так и лежал, возле головы растеклось по полу кровяное пятно. Макеев постоял над ним и врастяжку уронил два слова:

— Поворо-от! Та-ак...

— Что — так?! — сорвалась с кровати Федотья Пилюгина, оттолкнув какую-то бабу, совавшую ей стакан с водой. Стакан баба уронила, он разбился, многие поглядели на осколки с испуганной жалостью, потому что магазинная посуда была редкостью.— Что так, бирюк вонючий?! Как теперь жить? Жить как? Передушить за это всех щенков афанасьевских! Катьку-суку — всех наперед! Развела свой змеиный выводок...

Петрован Макеев не обратил совсем никакого внимания на ее крик, на ее оскорбительные слова, будто не слышал и не видел Пилюгину. Он молча повернулся и шагнул за порог.

На улице он подошел к Мишухе. Возле него крутился один дед Андрон, отгоняя озверелого Пашку. Сынишка убитого Пилюгина был одногодок Мишухе, он выскакивал из толпы женщин, пинал Мишуху, который все так же прижимался к стене, и снова нырял в толпу.

— Хорек! Ну прямо хорек. Да што теперь-то...— хрипел изнемогающий дед.— Бабы, да уймите его! Сонька, уведи свово брата.

Однако женщины стояли у дома странным образом молчаливые и безучастные. А девятилетняя Сонька, зажавшись у крыльца, испуганно и беззвучно плакала.

— Все одно убью его... до смерти! — сквозь слезы орал Пашка.— Вот счас за шкворнем сбегаю...

Пашка в самом деле побежал куда-то, да наткнулся на кузнеца. Макеев тяжелой рукой схватил мальчишку за шиворот, встряхнул:

— Умолкни. Шкворень тебе...— И толкнул прочь.

Кузнец с целую минуту стоял молча, удивленно и как-то виновато глядел на Ми-

шуху, наклонял голову то на один, то на другой бок, будто пытался разглядеть этого сопливого убийцу получше.

Потом Макеев усмехнулся невеселой, сожалеющей усмешкой и проговорил:

— А я хотел в молотобойцы его взять. Ишо подрастет, думаю, да и возьму. Одному-то несподручно.

— Да куда уж теперь,— хилой от старости рукой махнул дед Андрон.

Мороз целый день жег остервенело, аж плевки замерзали на лету, но к вечеру немного отдало, с увала потек вниз едва уловимый полынный запах — верный признак, что наступит потепление. Увал этот обегал Романовку с трех сторон, на крутых и каменистых его склонах почти ничего, кроме полыни, не росло, ветер постоянно сдувал с него снег, обрушивал на деревушку. Летом в холодные дни и зимой в оттепель струился с его склонов вниз этот несильный полынный запах, приятный и освежающий, будоража колхозных жеребцов.

— А Катерина-то знает? — снова подал голос Макеев.

— Да как, поди,— откликнулся дед Андрон.— Да она ж пластом лежит какой день. Как Доньку схоронила.

Еще помолчал угрюмый кузнец, затем поцарапал ожелезневшими ногтями в клочьях волос на подбородке и с горечью произнес:

— А ведь оно, раз убийство... Милиция тут теперь... Ах ты, стрямец такой! Что ж, пойду к Катерине я, что ли.

Но в это время под темным небом, где давно уже горели холодные звезды, раздался смертельный вскрик Кати Афанасьевой:

— Ми-иша-а?!

Вскрик этот заколотился, казалось, об высокие стены увала, не находя места, чтобы вырваться и пропасть в черных заснеженных полях, он еще не затих, как подбежала к толпе сама Катя Афанасьева, в кособокой заплатной юбке и старом пиджачишке, простоволосая, страшная в своем безумии.

— Миша-а! — еще раз простонала она, рухнула перед ним плашмя и, обнимая его колени, вся задергалась, забилась в тяжких рыданиях на утоптанном, заледенелом снегу: — Ты что наделал-то?! Наделал что...

— Катя, Кать... Пущай ему...— разжал губы парнишка. И, глотая слезы, добавил: — Ты не плачь. Пущай... Не плачь, Катя.

Слова эти будто успокоили ее, она стала затихать. Поскулив еще немного сквозь зубы, шевельнулась, встала на колени.

— Простынешь же на снегу, Мишенька... Айда домой, там ребятишки натопили,— проговорила она, подняла всхлипывающего Мишуху с земли, разогнулась, грузно повернулась к людям. Глаза ее блестели во мраке неживым блеском, растрепанные волосы делали этот мертвый огонь в ее глазах еще более жутким.

Постояв так несколько мгновений, шагнула к молчаливой толпе, люди раздвинулись, и она прошла сделавшимся проходом, уводя Мишуху во мрак.

Когда она скрылась, дед Андрон вздохнул облегченно:

— Ну и слава тебе, господи.

Но бабы и старухи, ошеломленные небывалым убийством, странности в его словах не заметили.

* * *

Так случилось, что с самого начала войны на руках у Кати Афанасьевой оказалось шестеро. Старшему из них, Мишухе, шел тогда одиннадцатый, остальные мал мала меньше: Захару — шесть, Кольке — пять, Игнатию — три, Зойке с Донькой по два годика. А самой-то ей только-только исполнилось двадцать.

Мишуха, Николай и Зойка — ее братья и сестра. Остальные трое были детьми Степана Тихомилова, ушедшего на фронт сразу же по объявлению первой мобилизации, в июне сорок первого.

Недели три назад заболела вдруг Донька, взялась вся огнем, в беспамятстве заметалась на рваной и тощей подстилке. Даже под больного ребенка подстелить чего помягче, кроме облезлого, никуда уже не годного полушубка, не нашлось — за страшные военные годы все было продано и прожито с этой плачущей, ползающей и бегающей по избе оравой, вечно просящей есть, есть, есть...

Нынешней осенью, едва посыпалась на окостеневшую землю снежная крупка, пришлось свести в райцентр, на базар, и единственную корову, потому что зиму кормить ее было нечем. Артемий Пилюгин, ставший с весны 1942 года председателем в Романовке, сена накосить не дал. Сперва все отмахивался: успеешь, мол, вон сколько еще лета, надо сперва колхозным коровенкам накосить. Потом стала осыпаться рожь, подошла пшеница, взбесившийся председатель с утра всех поголовно выгонял с литовками и серпами на поля. Мишка в поле с теткой Василихой работал на лобогрейке, подросший за два военных года Захарка — возчиком хлеба на заготпункт. Дома за старшего оставался Колька, варил пустое варево из картошки, свекольной ботвы, из недозревших капустных листьев, утирал мокрые носы Доньке с Зойкой, следил за хулиганистым Игнатием...

Когда дырявым стал красный огонь на осинах, Катя словно очнулась от вязкого дурмана, стоящего в голове, с ужасом подумала, что ведь корова останется без корма. И однажды до свету растолкала Михаила, сунула ему в руки литовку, себе взяла другую — подлиннее и потяжелее. И вместо колхозного поля побежали они по холодной, уже осенней росе за речку.

— Покосим, Миш, до солнышка... Без коровки-то мы как?

— Да что ж, Кать... Без молока детям никак.

Себя Михаил ребенком давно не считал, расставив по-мужицки ноги, принялся махать косой.

Увлекшись, они ровно и не заметили, как взошло солнце, все молча косили и косили.

— Ой, Миша! — воскликнула Катя, откинула смокшую прядь с распаленного лица.— Солнце-то?! Пилюгин съест.

Мишка молча глянул на небо, подошел к обкошенным кустам, сунул литовку под рядок жесткой, давным-давно перестоявшей травы, проговорил:

— И ты положь тут. Чего их с собой переть? Завтра опять придем покосим.

— Придем, Миш. Надо ведь.

Мишуха устало опустился на кочку, вынул кисет, свернул самокрутку, застукал обломком плоского напильника об острый камень, прижав к нему ватный жгут толщиной в палец, обожженный на конце. Кремень был хороший, стальной обломок высекал целые снопы искр, фитиль задымился. Михаил раздул его, прикурил, осторожно, чтобы не уничтожить нагар на фитиле, сунул ватный жгут в гильзу от отцовской берданки, вместе с кремнем положил в кисет.

Он считал себя взрослым и курил, как взрослый, молчаливо и не торопясь, сосредоточенно глядел куда-то в одно место, о чем-то устало думая. Потом стал глядеть на сестру. Подняв голые локти и чуть откинув назад голову на крутой шее, та зачесывала назад гребенкой густые волосы.

— А ты красивая у нас, Кать,— сказал неожиданно Михаил.

— Вот... ты,— отмахнулась Катя.— Определил... Отец-то с войны вернется — не одобрит за табак.

Курить Михаил начал еще прошлым летом. Катя тотчас услышала запах, сказала: «Не надо бы, Мишка, курить-то покуда». «Не надо,— согласно проговорил он баском.— Да наломаешь хребет, задымишь — и будто полегче». И не сами слова, а голос меньшого братишки, раньше времени загрубевший от непосильной работы, разволновал тогда Катю, в глазах у нее за длинными усталыми ресницами блеснула влага, она сказала: «Не таись тогда... Подпалишь еще чего».

— Да не одобрит уж,— сказал сейчас Мишуха на слова сестры и вздохнул.— Не пишет он че-то уже месяц.

— Скоро будет письмо, Миш... А от Тихомилова Степана вчерась пришло.

— Ну?

— Ничего... Спасибо, грит, за детишек вам с Михаилом.

— Врешь! — взвился Мишуха.— Что это ему про меня бы?

— А на, читай...

Как началась война, Михаил год еще, покуда дома был отец, походил в школу, а после четвертого класса больше уж не учился, не до учебы стало. И Степан Тихомилов, отец Захара, Игнатия и Доньки, писал торопливо, видно, не очень разборчиво, потому Михаил морщил от напряжения лоб, шевелил заветренными губами. Вдруг губы его дрогнули, он засопел, отвернулся от сестры. Потом снова стал читать, шевеля губами, перевернул листок.

— Ну, тут... Миша, про тебя боле ничего нет,— торопливо сказала Катя и взяла письмо. Она прятала от брата глаза, стояла чуть смущенная.

Так прошло какое-то время, с полминуты, может, затем Михаил негромко проговорил, оглядывая покос:

— С полвозика набили, кажись.

— Должно, будет,— согласилась она, подняла с земли старый отцовский пиджак, надела его. Пиджак был велик, она потуже обернула полы вокруг худенького тела, подпоясалась обрывком сыромятного ремешка. И в этот момент из-за лохматых кустов выкатились бесшумно дрожки Пилюгина.

— Тэ-эк-с, косцы-молодцы!— усмешливо протянул он, подъехав. Коротенькие рыжие усы его покачались и криво застыли.— Кто это велел вам... тут? Люди уж давно на работе, а вы...

— Артемий Сасоныч...— умоляюще проговорила Катя.

— За самовольство, Катерина, ответишь! Без понятия, что ли?! У нас хлеб гибнет, а вы...

— Мы до солнышка только... Мы — счас.

— До солнышка...— И усы председателя опять закачались коромыслом.— Прижгут вот если тебе? За самовол?

— У меня же их шестеро, Артемий Сасоныч,— взмолилась Катя, кивнув на Мишуху.

Она стояла перед ним, беспомощная и жалкая в этом проношенном до дыр отцовском пиджаке, в залатанной юбке, мокрой до колен от утренней росы. Пилюгин глядел на этот ее мокрый подол, все шевелил и шевелил желтыми усами, а на его широких крыльях носа проступили отчего-то капельки пота.

— Шестеро...— буркнул он, покачивая тяжелыми плечами, двинулся мимо нее к Михаилу, оставляя на кошенине большие вмятины следов, нагнувшись, выдернул из-под травы обе литовки, понес их к своему ходку, снова оставляя за собой кривую линию от сапог.

Михаил какое-то время с ненавистью глядел на его качающийся огрузлый зад, потом сорвался с места, заскочил ему путь.

— Не трожь литовки-то! Дай сюда...

— А по сопатке вот дам! — хрипло дохнул Пилюгин. В одной руке он нес обе литовки, другую в самом деле поднял будто для удара, но не ударил, легко отстранил со своего пути мальчишку.— Тут колхозный покос, а вы...

— Какой тебе колхозный? — крикнул Мишуха.— В кочках-то... Мы тут прошлый год косили. И кажный год мы тут...

— Погоди, Миша,— попросила Катя, тронув братишку за плечо, пошла за председателем.— Как же без сена-то мы, Артемий Сасоныч?.. Коровенку чем зимой кормить?

— Чем...— Пилюгин бросил литовки на свои дрожки, грузно повернулся. Доставая кисет и не глядя на девушку, скривил усы.— Найдем, может, чем. Я те говорил...

— Артемий!— взметнулся умоляющий голос Кати, прервался... Она обернулась к братишке, но словно больно наткнулась на что-то глазами, опустила голову.— Миш, ты ступай... Я счас. А ты покуда ребятишек там покорми чем.

Мишуха, растерянный и пришибленный, стоял недвижимо.

— Чего стоишь?! — вдруг с ненавистью

прокричала ему в лицо сестра.— Сказано тебе — отправляйся!

— Не ори,— бросил ей Михаил, повернулся, медленно побрел.

Он был не большой, Мишуха, но по-деревенскому если считать, и не маленький. И сразу понял, к чему завернул разговор. Он давно знал, чего хочет от его сестры этот Пилюгин, потому что не раз слышал, о чем судачат по деревне. Бабьи сплетни не запретишь, умолкнуть женщин не заставишь, ему было по-мальчишески больно за сестру свою, а жалел он ее уже по-мужицки, потому что был уверен — Катя чистая, как родничок, молотят все зря, никогда она себе такого не позволит.

Пройдя заросли чахлой ветлы и осинника, Мишуха завернул за них, в деревню не пошел, а присел тут на землю и стал слушать, о чем они там говорят. Сквозь заросли голоса доносились глуховато, но отчетливо.

«Я тебе сказала, Артемий... Никогда, никогда этого не будет».

«И дура,— отвечал Пилюгин.— В деревне-то все равно считают... Тебе ж не убудет и не прибудет».

«Да неуж тебе мало других-то, Артемий?! — взмолилась Катя.— По всем деревням одни бабы».

«А я хочу Степке Тихомилову одни объедки оставить»,— донесся насмешливый голос.

«Не оставишь!»— воскликнула сестра.

«То-то, боров усатый,— с гордостью за сестру подумал Михаил,— а то — объедки...» Он представил, как при последнем слове сестры скривилось сытое лицо Пилюгина, как встали его усы поперек тонких губ. Но в следующий миг он забыл о его усах, потому что в мозг пробилось что-то другое: Тихомилову одни объедки?! А что ж могло у Катьки быть с Тихомиловым? Жена у него, правда, перед войной померла, угорела в своем доме до смерти, до ухода на фронт один он жил, да ведь детный и на десять лет старше Катьки...

«Значит, любовь у вас со Степкой Тихомиловым была?»— донесся из-за кустов голос Пилюгина.

«А не твое дело»,— ответила Катя.

«Ну, как хошь, Катерина Даниловна... И чтоб счас же у меня обои в поле были. А кошенину вашу, я счас скажу, чтоб в колхоз забрали».

«Вот гад, вот гад!»— заколотилось все в Мишухе, он вскочил, собираясь кинуться к Пилюгину, но тут же что-то в нем случилось, из глаз хлынули от обиды и бессилия слезы, он вытер их кулаком и побежал в деревню.

Катя пришла почти следом — Михаил не успел детей за стол посадить—глаза у нее были красные, заплаканные.

— Подслухивал, паразит такой! — с ходу налетела она на Михаила.— Я тебя видела...

— Не кричи давай,— огрызнулся он, тоже сердитый от всего, что произошло за утро. — Сорвалась ровно...

И будто эти слова младшего брата были самыми больными из всех, что она сегодня услышала. Попятившись, она осела на прикрытую рядниной деревянную кровать, всегда доброе и светлое лицо ее перекосилось ненавистью.

— Паразит ты такой! — повторила она с криком.— И все вы паразиты, паразиты! Навалились на меня...

Она упала лицом в подушку, завыла, затряслась, закричала, мотая головой:

— Сдохнуть лучше, сдохнуть, сдохнуть!

Заверещала от испуга пятилетняя теперь Зойка, захныкал Игнатий, бывший старше ее годом. Донька, всегда самая из всех спокойная и рассудительная, сползла со скамейки, подбежала к кровати.

— Мам-Катя, мам-Катя,— затеребила она ее за подол.— Не плачь, не плачь...

— Катя, слышь,—сказал виновато и Мишуха, подошел к кровати.— Дождемся тятьку вот... И дядя Тихомилов с войны придет.

Катя потихоньку перестала трястись, лишь долго еще всхлипывала, а Донька все повторяла: «Мам-Катя... Ну мам-Катя...» Они все, дети Тихомилова Степана — и Донька, и Игнатий, и Захар,—звали ее мамой Катей.

Потом она тяжело пошевелилась, села на кровати, вытерла ладонью слезы, поставила между колен Доньку, мокрой от слез рукой стала гладить ее мягкие белые волосы.

— Простите меня, детки. Славные вы, сердешные...

...Все это было прошлогодней осенью, когда обильно сыпались уже листья. Сена Пилюгин так и не дал накосить, корову продали, и как заболела Донька, Катя христа ради выпрашивала молочка у тетки Василихи, чья корова отелилась в деревне первой. Василиха была женщиной нелюдимой и молчаливой, сама кормила троих, муж ее, Васильев Василий Васильевич, с первых дней войны был на фронте. Молока она давала без всякой платы, потому что платить Кате было нечем. Но полыхавшая огнем Донька почти его не пила — так, если глотнет когда глоточек — и таяла прямо на глазах.

— К дохтуру надо, в район. Ты что ж, девка? — сказал дед Андрон, заглянувший однажды вечером.

— Да как? Я уж трижды кланялась председателю, а он лошадь не дает.

— Это почто?

— А спроси... Пешком бы понесла ее, да ведь поморожу. Морозы-то вон!

Морозы действительно завернули к середине февраля ошалелые, лопались толстые тополя, кой-где растущие вдоль улицы.

На другое утро сам дед Андрон, встретив председателя на кошаре, сказал ему:

— Ты что же коня-то Афанасьевой Катерине не выделишь? Помереть могет у нее девчушка. В больницу-то...

— У всех у нас дети болеют,— ответил Пилюгин.— Простывают, стервецы. Я своих малиной всегда пою. И без всякой больницы...

— Так и она поит. Да тут к дохтуру надо.

— А пусть получше попросит,— ухмыльнулся Пилюгин. Дед стоял и молча глядел на председателя, будто еще ждал каких слов. И тот сказал: — Чего уж так она убивается? Кабы их, Афанасьевых, дите бы еще...

— Во-он что...

— Что? — пошевелил усами Пилюгин.

— А то, Артемушка. Родитель твой, Сасоний, свое нашел... И ты, гляди, не найди.

— Т-ты!!! Стручок засохший! — взорвался порохом Артемий Пилюгин и, глотнув морозного воздуха, побагровел, будто глотку ему враз заткнуло и он никак не мог этот воздух выпустить обратно, почернел даже.— Борода высыпалась, а тож... встреваешь!

И пошел, почти побежал прочь от кошары.

На третий день после этого Донька стала хрипеть и задыхаться. Возле нее метались круглыми сутками сама Катя, бабка Андрониха, Михаил, вливали ей из ложечки в рот отвары из трав и ягод, какими испокон веков пользовали в деревне детей, пробовали обкладывать ее теплым, распаренным березовым листом. Но ничто не помогало, девчонке становилось хуже, изо рта ее пошел тяжелый запах.

— Нутро у нее гниет. Простудилась, это-то верно определил председатель,— мрачно сказал дед Андрон, впервые раскрыв рот после стычки с Пилюгиным.

Многими часами Донька лежала в забытьи, как неживая уже, только с бледного лобика ее катился пот. И как-то, ненадолго придя в себя, она спросила:

— Я умру, мам-Катя?

— Что ты, Донюшка?! Выздоровеешь!

Девочка долго смотрела куда-то мимо Кати в одну точку, потом, как несильный ветерок, прошелестел ее вздох:

— Ведь мы все тебе помогаем, мам-Катя. А если я помру, тогда тебе вовсе трудно будет.

Что-то вспухло внутри у Кати и лопнуло, разворотив грудь, заложив горло. Из глаз ее хлынули соленые слезы, она вскочила, стала обматывать голову шаленкой.

— Коленька, Захар... Глядите все за Донькой, я счас...

Выскочила из дому и побежала в контору, к председателю. Но Пилюгина там не было, в холодном помещении сидела одна Мария-счетоводиха, которую все звали Марунькой, она сказала, что председатель ушел на скотный двор, там корова какая-то растелиться не может.

Но на скотном дворе она нашла лишь Мишуху да старого Андрона. Распаленные—Мишка был даже без кожушка,— они выкидывали в стенной проем навоз из помещения. «Не видали Пилюгина?» — крикнула Катя. «В кузню, сказал он, пошел»,— ответил Михаил. «Донька-то умирает, счас в больницу повезу!..» — прокричала Катя и побежала в кузню, которая стояла неподалеку под самым увалом, а Мишуха и дед вышли за ворота, на мороз, глядели вслед ей, пока она не скрылась в кузне.

...Через полчаса Катя, красная и мокрая, будто из бани, подлетела к дому на председательской кошевке, переступила свой порог. Глотая слезы, прохрипела:

— В больницу, Донюшка!

Она замотала больного ребенка во что только было можно, положила Доньку в кошевку, доверху заполненную мягким сеном, сама стала рядом с ней на колени и хлестанула лошадь.

Шерстяная шаленка на Катиной голове еле держалась, концы болтались, но Катя этого не замечала будто. Она лишь увидела, что к дому, когда лошадь тронулась, подбежал Мишуха, крикнула ему на ходу, издали уже:

— Обихаживай детей-то!..

Вернулась она через пять дней с мертвой Донькой, черная, как уголь в кузне Петрована Макеева, бесчувственная и ровно немая.

Когда Михаил с дедом Андроном выдолбили небольшую, в метр длиной всего, могилку и спустили туда гробик с Донькой, Катя выдавила из себя первые по возвращении из больницы слова:

— Доктора-то сказали: кабы на три-четыре дня раньше ее, мол... Прокля-ятый!

С этим возгласом она упала на маленький могильный холмик из земляной гальки вперемешку со снегом, ее еле-еле оторвали от него, увели под руки домой, уложили на кровать, с которой она не вставала до самого рокового Мишухиного выстрела.

* * *

Только на другой день к обеду из района приехали двое милиционеров и очкастая тощая женщина из прокуратуры. Остаток дня толклись в Романовке, вели расспросы, составляли какие-то бумаги, давали на подпись. Бабы и старики подписывались молча, и Катя за что-то расписалась, не читая, лишь дед Андрон ставить свою подпись категорически отказался, ошеломив очкастую женщину из района словами:

— Ну убил и убил... И слава, значит, богу.

Вчера жители Романовки на такие же примерно слова Андрона не обратили внимания и сегодня будто их не расслышали, а очкастая, вскинув острый горбатый нос, изумленно спросила:

— Выходит, вы одобряете преступление?

— Я грю ему, Пилюгину,— он свое сыщет... Как в воду глядел, значит.

И больше от него ничего не добились.

Все трое приезжих уехали вечером, как стемнялось, увезли с собой Михаила.

В сани он сел молча. Но перед тем, как один из милиционеров хотел их тронуть, соскочил на землю, подбежал к Кате, бесчувственно стоящей у дверей дома, и, роняя с головы шапку, ткнулся ей в грудь и заплакал по-детски горько и обиженно. Он плакал, а она молча гладила его по лохматой, давно не стриженной голове.

Поплакав, он оторвался от сестры, вытер слезы сперва одним кулаком, потом другим. И сказал:

— Ты, Кать, не убивайся. Не убивайся, ладно?

Она без слов кивнула.

Он поднял шапку, надел ее и снова сел в сани.

Мишуху увезли, и в доме Кати Афанасье-

вой застыла мертвая тишина. Все детишки прятались, как мыши, по разным углам, сама Катя сидела, расставив по-бабьи ноги, на деревянной кровати, застеленной рядниной, смотрела перед собой, не видя суетящегося возле печки деда Андрона.

— Старушонка моя печку вам истопить хотела, да в поясницу ей прострел ударил,— объяснял он зачем-то.— Этот... радикулит, по-дохтурскому, схватил, лежит крючком. Ну да мы счас сами...

Растопив печь, Андрон разогнулся, оглядел сиротское семейство Кати Афанасьевой, почесал в тощей спутанной бороденке. И сказал:

— Давайте так порешим, суслятки... Жить все едино прийдется. Бог—он родит и жить велит. Таково мученье, хошь не хошь... Уразумели?

Не поняв этой речи деда Андрона, дети по-прежнему молчали, никто не откликнулся, и старик рассердился, будто перед ним были взрослые:

— Эк, якорь вас! Ну да ладно, жизнюха кажного по уму добьет. Где у вас вода-то? И картохи, что ли? Жрать-то, небось, хотите?

Воды в доме не было, Андрон погнал Николая с ведрами на речку, Захару велел достать из подпола картошки.

— Да берегись, возле пролубки склизко,— предупредил он Кольку.

— Маленький, че ли! — буркнул тот, уходя.

Захар достал из подпола небольшую миску картошки.

— На всех вас мало, поди, будет,— покачал головой Андрон.

— Мы всегда по столь варим,— сказал Захар, круглолицый, конопатый, с рыжими волосами в кольцах.— По два раза в день. Мам-Кать всю картошку перемерила и больше в день не велит. А то не хватит до новой.

— А-а, ну да... Это так,— глухо сказал дед, покашливая.— Ты старший теперь тут, ты и следи за всем. И за нормой, значит. Понимаешь?

— Что ж не понять... Не растянем до новой-то, тогда что? — рассудительно ответил девятилетний Захар.— Что ж теперь, Мишуху засудят?

— Дак куда деться-то, Захарушка...— кивнул старик.— Жизня — круг, а в круге — суд. Послаще, как вам, ему придется.

Заревела при этих словах Зойка, самая младшая из всех, подбежала к сестре, уткнулась ей в колени. Катя, все глядя в одну точку, обняла горячей рукой ее за костлявые плечики.

Дед Андрон сварил картошку, разделил меж детьми, две картофелины оставил Кате, которая все сидела и сидела на кровати.

Загнав потом всех на теплую печку с приделанной по краю доской, чтоб спящие не вывалились (эту доску прибил еще сам Данила Афанасьев, их отец, уходя на фронт), он подошел к Кате, сел рядом с ней на кровать.

— Что наделал-то, паршивец,— сказал он тихонько.

Негромкие слова эти будто насквозь прожгли Катю, она вскочила, отбежала к печке и пронзительно закричала:

— Не-ет! Он правильно, правильно-о...

Лицо ее, доброе и красивое Катино лицо, было страшным, губы тряслись, в глазах дергался нехороший свет.

— Ну зверица! — прикрикнул старик.— Еще кинься на меня давай. Разве я что говорю? Я про то, что правильно, знаю.

— Ты?! Он, Мишка... рассказал? — сразу обмякла Катя, в широко раскрытых ее глазах заплескался теперь ужас, губы побледнели. И они сами собой прошептали: — Он, кажись, приперся следом в кузню-то... Тогда я задавлюсь, задавлюсь!

— Дура,— спокойно проговорил дед, встал, пошел к двери, сдернул с гвоздя свою баранью шапку. И еще сказал, как дружески посоветовал: — Давись, Катерина. Только сперва детишек-то всех ножиком переколи. Все едино сдохнут!

Последние три слова он выкрикнул уже зло и едко, боком ударил разбухшую дверь, которая с первого разу не поддалась.

— В кузне он был, верно. Только ты знай, Катюха — твово Мишуху режь, так слова не вытянешь. Я, грю, Пилюгина знаю...

Он выбил плечом дверь и ушел, плотно прикрыв ее за собой.

* * *

Дед Андрон нисколько не соврал — Михаил ни словом не обмолвился о том, что произошло в кузне меж Катей и Пилюгиным. Больше того, когда долбили могилку для Доньки, он на совет Андрона: «Счас, Михаил, такое дело... Зачнут чего про сестру болтать, ты затыкай им глотки, ничего, мол, там меж них с Пилюгиным... при мне, дескать, все происходило»,—хрипло ответил:

— А что могло быть-то? Ничего и не было в сам деле.

— Так это ты знаешь да я,— сказал Андрон.— А у бабья язык без костей.

И больше они там ни о чем не говорили, работали молча. Когда отдыхали, Михаил, не слыша мороза, сидел на куче мерзлой земли, курил, пряча от старика воспаленные глаза, а тот, опершись на лом, уныло думал о чем-то.

Так же вот дед Андрон безмолвно стоял и в тот день, когда Катя Афанасьева искала Пилюгина, только опирался не на лом, а на вилы, стоял и глядел, как бежит Катя от скотного двора к кузнице, как ткнулась со всего бега в тяжелую дверь из плах, скрылась внутри. А через минуту из кузницы вышел Петрован Макеев с какой-то сумкой в руке, захромал в сторону председательского дома.

— Гляди-ка,— встрепенулся Андрон.— За закуской ить послан, пьяный пес? Самогон-то в кузне завсегда в наличии. Ну, точно, гля, пимы у председателева дома оббивает...

Говорил старик тягуче, чем дальше, тем медленнее.

Помолчав потом, покрутив туда-сюда головой, старик промолвил неуверенно:

— А прошел бы и ты, Мишуха, туда...

Михаил и сам давно уже растерянно и беспомощно глядел на кузню, при этих словах он сорвался с места, нырнул сперва в коровник, схватил заскорузлый кожушок, побежал к кузнице, натягивая его на ходу.

Тяжелая, залоснившаяся от грязи дверь кузницы открылась без скрипа. Михаил протиснулся в щель.

Кузня была перегорожена бревенчатой стеной надвое, в первой, меньшей половине с крохотным оконцем ждали своей очереди на починку бороны, лемеха, мелкие части всяких машин — сенокосилок, конных грабель, лобогреек. Петрован Макеев хранил их здесь от ржави. Тут же валялся всякий хлам — старые колесные шины, обрезки железа, разбитая наковальня, перепутанные комья проволоки...

В горновую половину отсюда вела еще одна дверь, потоньше, но тоже крепкая, обитая снаружи грязным войлоком, она была приоткрыта, оттуда пробивался жидкий свет (в горновой было два оконца) и тек теплый поток.

Михаил не раз и не два бывал в кузне, он знал, где что лежит и валяется; ни за что не запнувшись, он подскочил в полутьме к этой внутренней двери, хотел ее отмахнуть, но замер, услышав голос сестры: «Вошь ты... совсем заел. Кофту-то не рви, последняя...» «А-а, вошь?! — прохрипел в ответ Пилюгин.— Д-дам я тебе коня... В свою кошевку запрягу. И пшеницы дам... И мяса. Всего дам, не жалко. А ты за все платить будешь, как счас... Не царапайся, отцарапалась!»

Мишуха был не маленький, он, слыша возню и голоса, понимал, что там происходит. Но он был все же мальчишка, и происходящее в горновой части кузницы раздавило его, что-то едкое застелило разум, не стало давать дышать. Он стоял возле двери, прислонившись, чтоб не упасть, спиной к бревенчатой стене, потом все же ноги подломились, он стал медленно оседать вниз, задевал острыми лопатками за бревна.

Сколько он сидел на земляном полу, Михаил не знал. И где сидел — не понимал, разум его потух.

Потом сквозь звон в голове пробилось тяжкое всхлипывание, и Мишуха понял — это плачет Катя. «Ну и плачь, плачь, стерва такая! — с ненавистью и омерзением подумал он о сестре.— Потаскуха... И я счас зайду и плюну тебе в морду». Но он никуда не пошел, не пошевелился даже с места, потому что другим краем сознания понимал — Катька все-таки не виновата, это один Пилюгин виноват, он своими сапожищами втоптал в грязь его сестру и опозорил навеки. И еще не двинулся с места потому, что Пилюгин заговорил: «Твой отец батьку-то моего сгубил. Знаешь, поди?» Пилюгин говорил это, и в голосе его было странное, непонятное для Мишухи торжество. «Отец со Степаном приедут — и с тобой рассчитаются»,— ответила Катя сквозь слезы. «Ну, это еще погодить надо,— хохотнул Пилюгин.— Война — она не тетка... А покудова я всласть помну твои титьки. За все над тобой натешусь... Да не плачь ты, дура. Эка беда — из девки бабой стала.— Он еще раз уронил козлиный смешок.— Лидка моя давно уж считает, что я живу с тобой. Теперя хоть не зря, значит...» «Коня-то... давай,— прохрипела Катя.— Донька помирает...» «Айда на конюшню. Сам тебе запрягу».

В горновой части кузницы послышались шаги, дверь, возле которой сидел Мишуха, отмахнулась, загородив его. Из горновой сперва вышла, согнутая крючком, Катя, двинулась, как слепая, к выходу из кузни, за ней, покачивая широкими плечами, прошел Пилюгин. Не оборачиваясь, он захлопнул за собой дверь, так и не заметив Мишуху.

Скрип их шагов по снегу давно затих, а Михаил все сидел и сидел на прежнем месте, онемевший. Потом обозначился в дверях кузни Петрован Макеев с набитой сумкой, увидел Михаила, спьяну даже не удивился ему, лишь протянул:

— А-а, ты...— Прошел в горновую, вернулся.— А они игде? За закуской, приказал, ступай. Лидии, грит, скажи — приказ от меня... Поворо-от!

Мишуха поднялся и молча пошел из кузни, пошатываясь, будто хмельным был он, а не Петрован Макеев.

Продолжение следует.

Анатолий ИВАНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ВРАЖДА

* * *

Род Пилюгиных был древний, жила молва, что прадед отца Артемия чуть ли не при царице Екатерине первым поселился здесь. Звали его Роман, оттого будто и речка, вытекающая из-за увала и за другой его конец затекающая, стала называться Романовкой, а по ней затем и деревня.

Земли тут были скудные. Сибирь, Сибирь, а ею и не пахло. За увалом опять лежали каменистые холмы, пахотная земля и сенокосы выбирались клочками, лесов не росло и в помине. Зато в холмах полно было ключей, вода из-под каменистых круч выбивалась светлая, как хрусталь, студеная, вкусная. Там, где ключи вытекали, и находилась пригодная для обработки или покосов земля — небольшие луговины, крохотные пашенки. Поля и луга по ключам так и назывались — Большой ключ, Волчий, Зеленый (на лугу, по которому он тек, было много берез, осинника, всяких кустов), Летний (зимой он почему-то иссякал).

Не все ключи впадали в речку, многие сочились в болотины или пропадали в песчаной почве. Потому речка Романовка была невеликой, мелкой, но с многочисленными омутами, в холодной глуби которых водились даже щуки.

Не щедрой была земля вокруг, да земля, из рода в род Пилюгины считали ее своей, новых поселенцев принимали с разбором, только тех, кто признавал их здешнюю первородность, в которых усматривали будущую покорность. Таких на первых порах поддерживали, ссужали и хлебом и деньгами, пользовали своим тяглом и хлеборобными орудиями. В ответ требовали не столь материальной благодарности, и хотя, конечно, принимали ее без отказу, сколько безми, а всякая мелочь протухла в клейком иле.

Но рыба — черт с ней, в этих местах рыбалкой никто и не занимался, баловством это считалось, главное — в первое же лето от пропавшей речки стали сохнуть нижние луга. Они и без того были наперечет, а теперь укосы ополовинились, народ зароптал. Фортунат в первое лето отговорился просто малым урожаем трав: разве, мол, не бывало когда такого, речка-де здесь ни при чем. А на другое лето стало яснее ясного, что при чем: с самой весны уже луга червивились и желтели, трава скручивалась, сохла. Мала речка, а оказалось, что некому больше землю поить, и зимние снега и летние дожди бессильны. Люди из нижних деревень потребовали срыть возведенную из земли и камней плотину, освободить речку. «Сбесились, что ли? — багровел от нелепых требований Фортунат.— Капиталу сколь вложено... Для вас же, дураков! Чтоб не ездили с зерном за полсотни верст киселя хлебать». Но дело заваривалось все круче, нижнереченские мужики решили силой срыть запруду. Да не тут-то было, почти вся деревня Романовка с кольями, а то и ружьями встала на ее охрану. Вот как дальновидно благодетельствовали Пилюгины новым романовским поселенцам.

В ту зиму мор скота был сильным, еще одно такое бы лето — и предприятию Фортуната Пилюгина не пережить, да к весне огромная котловина налилась до меры, и по паводку вода потекла через плотину, падая вниз с пятисаженной высоты, покатилась забытой дорогой, заполнила все омута и ямы. На одном конце широкой — тройками легко разъехаться — плотины стояло высокое здание мельницы в два привода, два огромных крепких водяных колеса весело крутились — Фортунат в благодарность романовцам положил бесплатно перемолоть весь их хлеб последнего урожая.

А через неделю уже потянулись к мельнице обозы из соседних деревень и деревушек. Молодой Сасоний, парень крепкий, белозубый и холостой в ту пору, покрикивая на работников, весело принимал помольцев, кидал шуточки молодым бабам и девкам, шустро высчитывал гарнцевый сбор.

Фортунат — по-латынскому обозначало счастливый, а жизнь Сасония, как он сам считал, складывалась еще лучше. Отец там где-то мотался из Сибири в Казахстан, глотал степную пыль, торговался до хрипоты, а он жил на приволье, без особых хлопот и забот, при желании мог погулять и покуражиться в Романовке, как и в любой другой деревне. Размах дел, а может, и развлечений не тот, что у отца, да ему хватало, в конце концов счастье каждый понимает по-своему, и что для одного неволя, для другого приволье.

Но сильных и долгих загулов Сасоний не любил, по каковой причине и было ему полное доверие отца. Однако лет через несколько выпивка послужила причиной вынужденной женитьбы. Стояла верстах в десяти от мельницы, на краю чахлого лесочка, большая деревня Березовка, с обширным постоялым двором и кабаком. То и другое принадлежало богатому мужику Ловыгину, была у него великовозрастная дочь Федотья, безгрудая, плоская, как доска, угловатая — наколоться можно. И однажды, погуляв с вечера в кабаке Ловыгина, Сасоний по позднему времени домой не поехал, лег спать на постоялом дворе, а на заре пробудился оттого, что кто-то дергал его, жарким воздухом дышал в ухо. Сквозь похмелье Сасоний обнаружил, что балуется с ним дочь самого Ловыгина, хватает горячими губами его щеки. Девки Сасонию давным-давно не в диковину, на мельнице он перемял их немало, а тут чего ж...

А в самый разгар вдруг кто-то вошел в комнату и сдернул с них одеяло — стоял возле кровати сам Ловыгин с плетью, борода его ходила ходуном вверх и вниз.

Без лишних слов Ловыгин вытянул плетью Сасония с большой щедростью, тот взвыл и скатился на пол. Не поскупился Ловыгин и для дочери, от удара она скрючилась, узлом почти завязалась, тоже завизжала.

— К попу! — рявкнул Ловыгин, все тряся бородой.— Ж-живо, блудодеи!

Не слова, а плеть, дрожавшая в крупном, густо обросшем волосами кулаке Ловыгина заставила Сасония скоренько натянуть штаны, сапоги. Юркая, как мышь, Федотья накинула через голову юбку еще проворнее, надела одним махом кофту, первая побежала к двери.

Плетью Ловыгин прогнал их пустой еще улицей прямо к церквухе, а там уж поп был наготове.

— Да эт вы что?! — крутнул было тяжелой и мутной еще головой Сасоний.— Не хочу под венец... с ней! Без отцовского благословения...

— Поговорь у меня теперь! — рыкнул Ловыгин. Он и в церковь явился с плетью, стоял сзади, широко расставив могучие, как бревна, ноги, загораживая выход.

Так Сасония оженили. Отец его в это время был в Казахстане. По возвращении оттуда он такой неожиданностью был взбешен, но последовавшим разговором с Ловыгиным удовлетворился, приехал от него навеселе и по любви своей к толкованию имен сказал:

— «Феос» по-гречески — «бог», а «дотес» — «податель». Имя Федотья означает — бог подал. И не скупо подал, Сасонька. Живите.

Жить стали, в общем, согласно. Федотья баба оказалась загребущая. Так и слава, как вода в речке, потекла про нее: глаза завидущие, а руки загребущие. Сразу же по приезде на мельницу полной хозяйкой там стала она, гарнцевые поборы увеличила вдвое. «Одна мельня на округу — куда денутся,— объяснила она мужу.— В волость-

---

Продолжение. См. «Огонек» № 37.

оговорочного признания все той же их первородности, их старшинства.

Самым удачливым. из Пилюгиных был дед Артемия по имени Фортунат. Имя было древнее, он гордился им и всем объявлял, что не то по-гречески, не то по-латыни оно означает — успешливый, счастливый. Так оно было и на самом деле: Фортунат имел две лавки в волостном селе и маслобойню, вел какие-то дела с семипалатинскими киргизами, до чьих степей от волости была всего какая-то сотня верст или того меньше. Верстах в полутора от Романовки поставил большую мельницу, запрудив речку меж двух длинных отлогих холмов.

Случилось это последнее в 1900 году, когда его сыну Сасонию стукнуло уже двадцать лет, он и стал там главным мельником.

Сооружение мельницы было и радостью и горем всей округи. Радостью потому, что до этого даже из Романовки возили молоть хлеб в волость, за двадцать верст, а из других деревень, лежащих вниз по течению речки, путь был еще дальнее. А горем по причине, что Фортунат наглухо запрудил Романовку меж тех холмов на целых два лета. Пока наполнялась длинная, больше двух верст, котловина, речка дальше течь перестала, русло высохло, щук из омутов, как оседала вода, повыбирали прямо рука-

— Что ж он, корень, отростка-то не дает? Наследника-то?

— Да уж тут чего...— сникал Ловыгин.— Уж тут эдак... медлит господь. А может, дураки, сами не стараетесь?

— Да уж, тятенька... тестюшка родимый! До потов вроде. А оно...— всхлипывала Федотья.

— Но, детюни,— успокаивал тогда Фортунат, щедро брал вину на свой род.— Эт мы, Пилюгины, должно, малосильные. У меня вон один всего Сасоний и зачался. Беда! Зато в другом мы — ух! Да ничего, Федоня, господь имя твое оправдает. Не зря тако окрещена.

Оправдал господь ее имя еще не скоро. Лишь под осень одиннадцатого года начало, к неописуемой радости всех, пухнуть брюхо у Федотьи, а в положенный срок и народился малец, названный Артемием...

В тот год поселились на мельнице две семьи новых батраков — старики Афанасьевы с сыном Данилкой двенадцати лет, да молодожены Тихомиловы с полуторагодовалым Степкой.

Старики Афанасьевы — ему отстукивал седьмой десяток, она на восемь лет моложе — были взяты для хождения за всякой птицей, которой Федотья развела несчетное количество, в том числе невидаль по тем местам — грузных, с красными соплями индюков. Тихомиловых Федотья определила в скотники.

Года через два или три погибла мать Данилы — упала с мельничного колеса вниз и разбилась.

— Как же тя занесло туда, как?! Родимая...— хрипел старик, распластавшись на гробу, когда он стоял еще в каморке, где они жили. Он обнимал мертвую свою жену, точно хотел вынуть из гроба, а на ее место лечь сам.— Как же?!

— Как? — всхлипнул Данилка.— Утиный выводок плавал под кустами. Щуки начали его гонять, утащили одного, другого... Хозяйка-то и накинулась на мамку — куды, грит, квашня, смотрела, доставай теперь утяток! И со злобы пихнула ее с плотины. А я видал все...

— Ты што?! — поднял старое, распухшее лицо отец.— Как так?

— А водой ее в желоб и затянуло тут... Желоб склизкий, ее на колесо соскользило струей да швырнуло...

— Врешь, сопляк! — завизжала свиньей Федотья, завернувшая на беду в каморку.— Огрызок... Убью!

Она схватила тяжкий валек, лежавший возле печки, размахнулась и в бешенстве размозжила бы ему голову, да Кузьма Тихомилов перехватил его, вывернул из ее цепких рук.

— Одурела, хозяйка! — Он швырнул валек на прежнее место.— В суд вот на тебя...

— В суд? А-а, в суд?! — пуще прежнего затряслась мельничиха.— Дармоеды! Кормишь вас... Убирайся отсюдова! И ты со своим объедышем...— крутнулась она к Афанасьеву.— Чтоб духу не было!

— Не разоряйся, ты... глиста болотная! — взорвался и Кузьма.

Федотья от такого ответа прободнела насквозь, желто-зеленые глаза ее раскалились еще злее, задергались. Вытолкнув какую-то пробку из черной, зубастой пасти, она заревела:

— Сасони-ий! Ружье скорей... В глотку ему прямо! Ружье мне!

Прибежал Сасоний, без ружья, правда, разобравшись, в чем дело, подтвердил бесповоротно:

— Съезжай, Кузьма, отсюда немедля. И ты, старик, как жену похоронишь... Суд! Такой суд всем покажу, что и разуться не успеете.

Изрек приговор и повел из каморки Федотью, усохшую после родов почему-то еще более, держа ее за острый бок. Но та вырывалась из его рук, отпихивалась сухими локтями, кричала злобно теперь на мужа:

— Сундук с назьмом! Прощаешь им... За клевету, за обиду мне? А я не прощу!

Вырвалась, подскочила к Кузьме, готовая вцепиться длинными и острыми пальцами в его глотку, но не вцепилась, прохрипела, задыхаясь:

— Не пыряй глазищами! Я тебе их выдавлю! Вспомнишь глисту. И этому афанасьевскому сопляку... Все едино изведу вас всех! Я так решила...

Кузьма Тихомилов был не из пугливых, он потрогал коротенький, острый усик, усмехнулся и ответил:

— А задницу я твоим решеньем подотру.

То ли его усмешку, то ли сами слова Федотья вынести уже не могла, в тощей груди ее что-то булькнуло и порвалось, она столбом упала в обморок, на руки Сасония.

С этой-то минуты, как стали считать в Романовке, и повелась великая вражда меж Пилюгиными, с одной стороны, Афанасьевыми и Тихомиловыми — с другой. Она то убывала, то прибывала, то проявлялась явственно, то тлела незаметно, но никогда не исчезала, передавалась от старших к младшим, от отцов к детям.

* * *

Данила Афанасьев народился, когда отцу его шел уж пятьдесят пятый год. «Угораздило это нас с маткой под старость, перед людьми стыдно,— говорил он сыну, умирая на другой год после гибели жены.— Она-то еще помоложе меня, а я... Были у тебя три брата с сестрицей, да все померли. А ты вот один из всех выжил, люди и звали тебя огрызком... Последний, мол. Счас вот один остаешься. Да огрызок не огрызок, а куда ж денешься, живи, сколь бог пошлет. Покуда не приберет, значит...»

Умер он, как потом объяснил Даниле Кузьма Тихомилов, от тоски по жене и еще от надрыва работой — всю жизнь в батраках, в унижениях, в голоде.

— Неужель от тоски помирают?— спросил тот.

— Смотря какой человек, Данилка. Ежели с большим сердцем...

Парнишка помолчал, что-то думая, проговорил:

— Так ежели большое, значит, оно ж сильное.

Кузьма рассмеялся, потрепал его по лохмам:

— Несмышленыш. Ничего, дойдешь. Как зеленый помидор в валенке.

После того, как их выгнали с пилюгинского хутора, они все вместе поселились в Романовке, в давным-давно брошенной кем-то землянке, подновив ее. Данила знал, что отец его несколько раз ездил в волость искать управу на Пилюгиных, да не нашел, сам старшина приказал его плетью гнать прочь. Но отец не угомонился, собирался ехать в уезд, да тут и слег и не встал больше.

— Ты того, Кузя... Не кинь парнишку-то, а? — проговорил он, уже отходя.— Сомнут же. Пособи хоть маленько ему окрепнуть.

— Да об чем тут говорить,— сказал Кузьма.

— Не кинем. Ты не беспокойся,— подтвердила и его жена Татьяна, пообещав это же большими, усталыми глазами.— Будет Степке нашему старшим братом.

Поселение Тихомиловых и Афанасьевых в Романовке подхлестнуло и без того великую ярость Федотьи, жены Сасония.

— А-ах вы?! Расположились! — рычала она, и по всему тощему телу ее будто прокатывались волны.— Убирайтесь с наших мест! И чтоб вони вашей не слыхалось тут!

— Вонь-то вся от вас тут идет,— отвечал упрямый Кузьма.

— От нас?! От нас? — колотилась Федотья.— Мы всю округу кормим!

— Обдираете вы всю округу. Не вода на вашу мельницу льется, а пот да кровь людская.

— Ну-у, узнаете!

Федотья попробовала восстановить против пришлых всю Романовку. Ее слушали, соглашались с ней, поддакивали: «Да ить так, матушка, оскорбитель Кузьма... Голь перекатная, а со ндравом. Народ пошел — и бога не боится. Достукается...» Поддакивали, а времена-то, видно, были уже не те, когда люди стеной поднялись на защиту пилюгинской мельницы, теперь никто никаких действий против Тихомилова не предпринимал. Более того, Кузьму с Данилой наняли в пастухи, а Татьяну охотно брали в поденщицы. Тихая и работящая, она всем приходилась по нраву, а иные даже говорили ей: «Пилюгины да Ловыгины тут испокон мясогрызы. Не бойтеся. А Федотья — ну прямо зверица. При ей-то и помол вдвое дороже стал... Не токмо стариков Афанасьевых со свету свела, всех работой задавила».

Чувствуя свое бессилие, мельничиха исходила яростью, чернела аж, а Кузьма Тихомилов к тому ж однажды принародно сказал:

— Мои хоромы жги не подожгешь, землю огонь не берет. А их мельня, завозни, дома — все из звонкого дерева. Не угомонится, так и подпалю, аж небу жарко станет...

— Да это что? Это что-о?! — забилась Федотья в истерике перед мужем, когда до нее дошли эти слова.— Грозит, вонючка! Дожили! Что ты-то смотришь, мешок с назьмом! Тогда я сама его с ружья убью!

— Остынь, ты! — осадил ее Сасоний.— Нашла себе врага... Мало тебе дел по хозяйству? Может статься, и без тебя его убьют. Война, кажись, катит...

* * *

И в самом деле, в четырнадцатом году прикатилась война и, как пилюгинская плотина поперек речки, встала поперек прежнего течения жизни. Все в ней, этой жизни, для кого-то плохой, для кого-то хорошей, стало мешаться, как варево в котле.

А дальше и вовсе жизнь забурлила, заходила волнами, как тот же громадный пруд за плотиной в сильный ветер, и людское горе-горькое, накопившееся, как вода за крепкой запрудой, стало выплескиваться во все стороны, размывая и сметая всякие препятствия. И эта немыслимая сила тоже яростно закрутила колеса всей жизни людской, всего бытия человечьего...

...Уходя на войну, Кузьма Тихомилов, хмурый и строгий, сказал Даниле:

— В нашей семье теперь ты старший. Татьяна тебе мать, сбереги мне ее со Степкой. Ответ с тебя спрошу.

— Дядь Кузьма! — воскликнул Данила.— Ты токо возвертайся!

— Вернусь. Я вернусь! — зло пообещал он не Даниле, а кому-то.— И еще: тебе четырнадцать, считай, ты мужик. Пилюгиных с Ловыгиным не бойся,— проговорил это и нехорошо усмехнулся.— Они сами, кровососы, нас боятся. Это ты запомни твердо.

— Запомню,— пообещал Данила.

Он уехал на войну вместе с другими на телеге. На телеге же и вернулся через два года, худой и веселый, привез с собой винтовку без штыка, а в солдатском сидоре несколько кусков сахара, почерневших от грязи, видно, хранил эти куски не один месяц. Обнял ревущих от радости жену и четырехлетнего Степку, обнял и Данилу, спросил:

— Ну, как жили?

— Да жили, что ж... Выжили,— сказала Татьяна сквозь радостные слезы.

— Нонешнюю зиму побирались... христа ради. Мне боле всех подавали,— проговорил маленький Степка.

— Как?! — сузил глаза Кузьма, на скулах его, под жесткой щетиной задергались бугорки.

Да, после отъезда Кузьмы зиму и лето они кое-как перебились, лето Данила пастушил в паре с одним стариком, а на другую зиму стало невмоготу, работы никакой ни у кого, кроме Пилюгиных, не было. А чтоб поклониться Пилюгиным, Татьяна даже и думать не могла, и Даниле не велела, сшила всем из мешковины три сумки, две побольше, одну совсем маленькую.

Узнав обо всем этом, Кузьма еще подергал желваками, спросил:

— А так Пилюгины не изнуряли вас чем больше? Не изгалялись?

— Не осмеливались...— ответила Татьяна.— Люди пересказывали: довольная, мол, Федотья, что мы по христа ради пошли, сумошники, грит, пущай похлебают, все едино передохнут под заборами. А так не осмеливались ничего. Да им и некогда было, Сасоний сам, как отец его, тоже дела

какие-то с киргизами повел, был все в отъездах, а у Федотьи сын Артемка все хворал почто-то.

— Ну, теперь и вовсе не осмелятся,— сказал Кузьма, вытряхивая весь свой сидор до конца. Штык-то к винтовке, оказывается, он все же привез. Замотанный в тряпье, штык лежал в голенище поношенного солдатского сапога. А другое голенище было забито винтовочными патронами, желтыми, как гороховые стручки, на вес тяжелыми.

* * *

Конец шестнадцатого и начало семнадцатого года Романовка, застрявшая меж отрогов Алтайских гор, прожила более или менее спокойно. «Беглый Кузьма-то Тихомилов, с солдат сбежал! — пошумела сперва Федотья.— Вот прижгут ему за бегство. Сасонию в волости обещали...» Однако время шло, никто Кузьму не трогал. Числа второго или третьего марта он уехал на попутке в волость, чтобы на воскресном базаре продать или сменять на хлеб те самые солдатские сапоги, которые привез с войны. Но базара не дождался, утром, когда с морозного неба беззвучно сыпалась искристая пыль, прибежал, запаленный, в Романовку с небывалым известием: нет больше царя!

— Дурак, че мелешь?! — прикрикнул на него Андрон, тогда еще крепкий пятидесятилетний мужик, гривастый, толстогубый и бездетный.

— Пилюгинская мельница мелет, а я правду говорю. Революция! — Он из-за печки вытянул замотанную в мешковину винтовку, принялся ее разматывать.— К слову, про мельницу... Эк, дурак я, вот что надо было узнать. Ждите!

И он тем же моментом заспешил снова в волость.

Отсутствовал он несколько дней. Все время покручивала метель, последняя в том году, не сильная. Никто вроде и не приезжал в эти непогодные дни в Романовку, и будто сам ветер приносил разные слухи, один диковиннее другого: в волости на месте волостного правления образовался какой-то Совет, крестьянских начальников больше нет, а из губернии сбежал сам губернатор, налоги и долги по ссудам теперь можно больше не платить, потому как в уезде собрался какой-то съезд и он постановил сделать отчуждение от казны в пользу народа всех оброчных статей.

Вернувшись, Кузьма все это подтвердил и сказал, что надо собрать сельский сход и на нем образовать романовский крестьянский Совет, а далее, коль этот Совет решит, то пилюгинскую мельницу, а также ихние амбары, и завозни, и скотные дворы со всем содержимым можно забрать для общества.

Сход собрался тут же, возле тихомиловской землянки, мужики толклись и переговаривались часа три, постановили создать Совет во главе с Кузьмой Тихомиловым.

И тем же днем, под вечер, романовские мужики, забив до отказа четверо розвальней, погнали лошадей на пилюгинский хутор. На первой подводе со своей винтовкой в руках сидел сам Кузьма Тихомилов, правил ею семнадцатилетний Данила Афанасьев. Он стоял в санях на коленях, яростно махал кнутом, ветер сек нажженное морозом лицо, свистел в заиндевевших кольцах волос, Кузьма, тоже возбужденный, нетерпеливо покрикивал:

— Гони-и! Шибче!

Федотью они врасплох не застали, гостей она ждала, дом был распахнут настежь, у крыльца стояло двое саней, набитых узлами, сундуками, посудой.

— Ироды! Приедет Сасоний — все глотки вам зерном нашим забьет. Глотайте!

Она выволокла из дома пятилетнего Артемку, бросила и его, как узел, на сани, сунула в руки вожжи, на другие заскочила сама.

— Не отставай! — И погнала лошадь в Березовку.

Артемка, размазав слезы рукавом, тоже задергал вожжами.

Кузьма сбил все замки с амбаров и завозен, повесил новые, ключи положил в свой карман и велел мужикам скалывать лед с мельничных колес.

Пилюгинскую скотину распределили по малоимущим, часть зерна из амбаров тоже поделили, остальное пролежало там еще целый год нетронутое, под постоянной охраной, поставленной Кузьмой. «Што делает, змей хитрющий! — пускала слухи Федотья.— Заграбастал чужой хлеб, людям по торбочке сунул для отвода глаз, остальное себе оставил. Да еще людей же караулить приспособил. Из змеев змей! Всех обвел».

И находились люди, которых начинало грызть сомнение: а не в самом ли деле? Потому что непонятное было время, путаное. С одной стороны, будто и революция, Сасоний Пилюгин и Ловыгин, родитель Федотьи, зубов не показывали, по слухам, они-то объявлялись где-то поблизости. Но исчезали неизвестно куда. С другой — революцию будто надо было еще делать, в волости Совет не то распался, не то оказался не таким, каким должен быть. Кузьма, худой и небритый, никаких вразумительных ответов тоже дать не мог, царапал лишь грязными ногтями свои заволосатившиеся скулы и говорил одно: хлеб пилюгинский беречь, Федотья пущает враки, хлеб в бывших ихних амбарах народный, мельня работает для всего общества бесплатно и дальше так будет.

— А революция? — подступал к нему обычно Андрон.— Произошла аль нет?

— Была. Да власть у народа обманным путем вынули. Теперь надо ее назад отбирать.

— Как так вынули? У нас вот ты от народа стоишь? Ты, что ли, у нас ее вынул?

— Так то у нас, а то там, в Петрограде, там главное-то дело.

Ничего не было понятно романовским мужикам до осени да и после, когда Кузьма Тихомилов опять привез из волости известие, что произошла в далеком Петрограде еще одна революция, теперь та, какой и следовало быть, что власть перешла в руки рабочих и крестьян. Но в Романовке-то жизнь как текла, так и продолжала течь. Деревушку той осенью залили непрерывные дожди, даже холмы, меж которых она застряла, разбухли, казалось, от влаги и будто еще сильнее сдавили ее со всех сторон, а зимой по самые крыши завило Романовку снегом и сугробы будто отрезали ее от всего мира.

За всю зиму в Романовку пришло всего несколько известий: в Омске состоялся съезд Советов, который установил Советскую власть по всей Западной Сибири (романовские мужики лишь плечами пожали — у них вроде и так давно уже Советская власть); на Евдокию-каплюжницу, то есть первого марта, умер старый Фортунат, отец Сасония; весь хлеб, находящийся в пилюгинских амбарах, надлежало свезти в волость, а оттуда будто его должны были отправить в Омск и грузить в вагоны для голодающих рабочих Москвы и Петрограда. Да еще пошли слухи, что в Романовке будет организована сельхозкоммуна.

Ни одно из этих известий, кроме последнего, особо не удивило и не взволновало романовских мужиков и баб. Но эта таинственная, никому неведомая сельхозкоммуна взбаламутила всех от мала до велика: что за штуковина, отчего и зачем она?

— Для дальнейшей жизни! Чтоб, значит, легче было,— как всегда не очень понятно объяснял Кузьма.— Совместно пахать пашни и сеять хлеб будем. Как бы одной семьей все робить... Старшего выберем.

* * *

Но никакой тогда коммуны в деревне организовано не было — началась гражданская война. Началась она для Романовки так, что и по сей день жуткое ее начало помнят и дед Андрон и многие теперешние старухи, что молча стояли недавно перед малолетним убийцей Артемия Пилюгина. Началась с того, что отец Артемия Сасоний нагрянул вдруг на свой хутор. Было это в самом конце зимы восемнадцатого года, когда рушились последние санные дороги. В тот день ранним утром романовские мужики повезли в волость хлеб из пилюгинских амбаров. Нагрузили большой обоз и отправились по морозцу. Обоз повел сам Тихомилов, с ним был и Данилка Афанасьев да еще человек восемь мужиков. И семилетний Степка, на счастье, увязался с отцом. А к вечеру и объявился Сасоний с дюжиной каких-то людей на лошадях. Следом на мельничный двор влетело десятка с два саней, заваленных пустыми мешками, передней подводой правил старик Ловыгин.

Увидев ополовиненные амбары, Сасоний застонал от ярости:

— Не успели!

Он сел на распустившийся за день, мокрый снег и сжал голову руками.

— А не торопил ли я тебя, губошлепа?! — прохрипел Ловыгин.— Хоть это еще осталось.

При амбарах постоянно жили несколько сторожей. Пилюгин, посидев безмолвно, бросил одному из своих:

— Спросить у сторожей: куда хлеб делся? После каждому забить глотки моим зерном до отказа! Чтоб подавились им!

Вот когда исполнилась годовалой давности угроза Федотьи.

Когда Сасоний со своими головорезами прискакал в Романовку, там не знали о страшной расправе с хуторскими сторожами, не могли сообразить, откуда налетел Пилюгин. Его люди, угрожая оружием, выгнали всех жителей деревни на улицу, сгрудили в одну кучу, а жен и детишек тех, кто повез хлеб в волость, принялись по указанию Пилюгина запихивать в избенку Андрона.

— Ты што устраиваешь, Сасоний? По какому это праву? — кинулся было к нему Андрон. И тут же откатился, сбитый с ног страшным ударом.

— А все теперь у меня тут! — потряс Пилюгин плетью. Разгоряченный конь под ним приплясывал.— И закон и право.— И крикнул кому-то: — Где сучка тихомиловская, спрашиваю?!

Но двое конников уже гнали в кровь исполосованную плетьми Татьяну.

— А выродок, выродок ихний где? — прокричал Сасоний.

— С отцом, грит, в волость уехал. Мы все перерыли — нету его,— ответил один из бандитов Пилюгину.

Все происходило стремительно, как в кошмарном сне. До этого в Романовке никаких особых событий не приключалось, и теперь безоружные, напуганные люди толклись по средине улицы, начинающей заплывать вечерним синим сумраком, беспорядочно галдели, как галки, бабы ревели коровами.

— Тих-хо! — заорал Пилюгин, но его крик не мог перекрыть воющих и стонущих голосов. Тогда Сасоний лупанул из нагана, галдеж и рев попритихли, и он прохрипел: — Всех бы вас запереть в своих избах да спалить. Да я добрый... У кого какая скотина моя — согнать всю сюда. До последней овечки! Ж-живо, а то спалю этих! — кивнул он на дом Андрона.— Даю полчаса.

Люди кинулись по домам, и скоро вся улица была запружена коровами, овцами, козами. Сасоний отрядил трех-четырех своих людей, они погнали стадо из Романовки.

— Пятнадцать лошадей на мельне было. Где они? — проревел Пилюгин в лицо Андрону, который вывел из своего двора рыжего мерина.— Где ишо четырнадцать коней?

Андрон швырнул повод уздечки Пилюгину.

— Где... На них и увез Тихомилов хлеб-то в волость.

— Мой хлеб да на моих же конях...— скривил губы Пилюгин.— Ловко.

— Жечь, Сасоний? — нетерпеливо крикнул один из верховых.— Дай приказ, запалим!

Тот помедлил, наслаждаясь своей безграничной властью на этот момент, тем ужасом, которым были охвачены беззащитные люди. Однако отдать страшный приказ все же не решился.

— Надо бы,— усмехнулся он, обросший рыжими волосами, опухший не то от бессонницы, не то от пьянства.— Да ладно, пригодятся они мне еще. Выпустите всех из избы.

Когда обреченных было на жуткую

смерть вытолкали на улицу, он, опять наслаждаясь своей властью и своим великодушием, проговорил, помахивая наганом:

— Объявляю... Хлеб, какой вы растащили с моих амбаров... и какой увезли седни в волость, по осени свезете мне на хутор. До последнего зерна чтоб. Коней тож пригоните. Советской власти осталось жить до первых цветочков, а может, того меньше... — И, повернувшись к Татьяне, сказал с усмешкой: — Жалко, что твой собачий выродок с отцом уехал... не подохнет вместе с тобой.

Татьяна, окровавленная плетьми, стояла боком к Пилюгину, скрестив руки под грудью. На его слова она только приподняла голову, повернула чуть ее.

— Собачий-то выродок — это как раз ты,— проговорила она сухими губами.— А сын мой от людей рожден.

— Ах как жалко! — еще раз усмехнулся Сасоний.— Ну, да недолго они обои тебя переживут — и муж и сын.

И, вскинув наган, выстрелил в нее.

От выстрела люди, стоявшие вокруг Татьяны, откачнулись волной, а она осталась стоять одна, не упала, только переступила с ноги на ногу, повернувшись к Пилюгину грудью.

— Не-ет,— разжала она уже мертвые губы.— Они будут жить... долго... еще.

Конь под Пилюгиным крутился. Стояла над Романовкой жуткая тишина. Только эхо от выстрела еще блуждало, запутавшись в холмах, да скрипели по снегу копыта коня, которого Пилюгин никак не мог развернуть для нового выстрела.

Наконец он выстрелил еще раз. Но Татьяна и тут не упала, только шатнулась и прохрипела кровавыми пузырями:

— Вдругорядь ты зря... Ты, пес, убил меня первой пулей...

И упала лицом в снег.

Лошадь под Пилюгиным закрутилась еще бешеней, он прокричал людям:

— Не вернете хлеб и лошадей — со всеми так же будет! С-сволочи!..

И задичавшая лошадь понесла его прочь из Романовки, следом поскакали его сообщники.

* * *

А через полтора года Сасония Пилюгина, разрубленного Данилой Афанасьевым надвое, привезли на верховой лошади в село Березовку, и промороженный насквозь труп его со стуком свалился на землю.

Еще в четырнадцать лет Данила Афанасьев пообещал Кузьме Тихомилову никогда не бояться Пилюгиных да Ловыгиных, слово свое держал крепко. А в девятнадцать и вовсе ему не был страшен ни черт, ни дьявол. Самая крутая и свирепая огненная метель гуляла тогда по Сибири, и Данила вслед за своим приемным отцом и командиром Кузьмой Тихомиловым, после гибели жены ставшим черным, как чугунка, бросался в самое жаркое пекло отчаянно и как-то весело. Кузьму шашки и пули клевали частенько, а Данилу то ли не осмеливались, то ли не могли догнать, то ли умел он от них уворачиваться. И в том жестоком бою, когда Сасоний Пилюгин отсек Кузьме руку, Данила даже царапины не получил, но после боя сел на осеннюю, пожухлую уже траву возле беспамятного своего командира, выставил кверху плечи и заплакал.

Кузьма неожиданно очнулся, мутными от боли глазами поглядел на Данилу.

— Чего ты... сопли распустил?

— Почто не мне... руку-то? Я же рядом с тобой секся. А Сасоний ушел, гад.

— Какая разница — тебе ли, мне ли. Хорошо одно, что не правую. Значит, помашу еще шашкой. А как ты их крошил, я видел. Молодец.

Подошла телега, несколько партизан уложили Тихомилова на толстую подстилку из сена. Когда клали, он, испытывая неимоверную боль, не стонал, тяжкую муку переносил молча, только по грязным щекам сползали горошины пота.

Затем Данила шагал рядом с телегой и говорил тихо:

— Этого Сасония я все едино достану. Все одно не жить ему, только бы кто раньше не успел. Отомщу за тебя, за тетку Татьяну, вот поглядишь...

Кузьма все слышал, но говорить не мог, только моргал, глазами показывал, что слышит и верит. Было это осенью девятнадцатого.

Данила Афанасьев сдержал свое слово. По первому, еще рыхлому снегу банду, возглавляемую Сасонием Пилюгиным, но фактическим командиром которой был старый и хитрый, как матерый лис, Ловыгин, партизаны заманили в Летний ключ — узкую теснину меж крутыми холмами — и начали рубить шашками. Перехитрил Пилюгина желторотый Данилка Афанасьев. Он с небольшой кучкой партизан будто бы случайно наткнулся на отряд Сасония и стал удирать в сторону Летнего ключа, а потом юркнул в самую щель меж холмов.

— А-а!— зарычал Сасоний.— Счас мы из них лапши нарубим!

— Плюнь ты,— сказал Ловыгин.— Место там тесное, в случае чего лошаденкам по снегам наверх не вскарабкаться.

— Ты что! Этот молокосос принародно базлает, что порешит меня... По всей округе слух гуляет. А тут такой случай. Кузьме Тихомилову я одну руку срезал, а ему счас обои обрублю!

— Ну гляди, Сасоний... А я старые кости в баньке погрею. В Березовке буду ждать от тебя известий.

— Жди. Я скоро!— пообещал Пилюгин.

В Березовку, почти всю колчаковщину бывшую в руках Ловыгина, привезли не известие об уничтожении партизан, а разрубленный от плеча до паха труп Сасония. Он был перекинут через седло, закоченел на морозе и, сброшенный с лошади, согнутым бревном упал на занавоженный снег, гулко стукнув.

Всего двое из пилюгинского отряда и вырвались живьем из узкой долинки меж холмов. Они-то и рассказали: Данилка Афанасьев впереди своих ускакал торопливо в Летний ключ, в конце узкой котловины, когда можно было уже вырваться на простор, поворотил коня и снова впереди своих ринулся на сечу. А с хвоста ударил главными силами сам однорукий Тихомилов, скрытно стоявший где-то в холмах.

— И началося! Бож ты мой!— скупо рассказывал бородатый мужик, расседлывая коня.— И убежать некуда — на кручах кустищи в снегах по макушки. Лошади-то ихние, Сасония и Данилки, грудями ударились, это я видел. А боле ничего не видел.

Другой мужик сказал еще меньше:

— Шашку он у Сасония выбил. Да тут же и рубанул по горбу.

Над разрубленным Сасонием выла Федотья, страшная и косматая. Потом замолкла, побежала в дом, выдернула из дверей шестилетнего Артемку.

— Гляди-и!— взвизгнула она пересохшим от ярости голосом.— И навеки запомни — это отец твой. Гляди, как его!

— Дурак он был... отец-то его,— сказал Ловыгин.— Прости ты меня, господи.

Артемка слушал вой матери, глядел на замерзший, окровавленный труп отца, дергал простуженным носом, хлопал испуганно глазами...

Продолжение следует.

Анатолий ИВАНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. Пинкисевича

ВРАЖДА

* * *

Далее история Романовки особым ничем не примечательна, кроме пожара на бывшем пилюгинском хуторе, который спалил все дотла — и мельницу, и завозни, и амбары, и бараки. Случилось это в двадцать четвертом, за полгода до организации здесь сельхозартели.

Мельница находилась тогда под началом волостного крестьянского комитета взаимопомощи, кресткомом этим начальствовал однорукий Кузьма Тихомилов. Вообще после казни жены он в Романовке почти не жил. Сперва партизанил, после два года метался по всей округе во главе продотряда. Зимой двадцать третьего, когда на обоз с зерном, мясом, свиным салом и мороженым молоком налетела какая-то банда, был снова тяжело ранен в голову, свалился в кусты и замерз бы там, если бы не сынишка Степка да не Данила Афанасьев, неотлучно сопровождавшие его повсюду. Продуктовый обоз из шести тяжело груженных саней тогда удалось отстоять и пригнать в волость, и только там, когда запаленные лошади остановились, обнаружили, что ни на одной из подвод Кузьмы Тихомилова нет. Ни слова не говоря, Данила Афанасьев вскочил на свежего коня, двенадцатилетний теперь уже Степка — на другого, они помчались к месту стычки с бандитской шайкой и там нашли полузамерзшего своего отца и командира, лежавшего в заснеженных кустах. Придя в себя, он сказал:

— Неужто все сволота Ловыгин гуляет? Сасония Пилюгина остудили, а этот все не успокоится.

— Не должно, чтоб он,— засомневался Данила.— Он и при Колчаке трусливо поджимал хвост.

— Молокосос! — рассердился Тихомилов.— А я кишкой чую — не с Пилюгиным мы дрались, а с Ловыгиным. Да хитер был, как старый филин. Ну, я его выслежу!

Но выследить Ловыгина, отца Федотьи, что была женой Сасония Пилюгина, не удалось ни тогда, ни после. Федотья, настоявшая похоронить своего мужа в его родной деревне Романовке, а сама после гражданской жившая безвыездно в Березовке, в большом отцовском доме, на допросы об отце говорила:

— Откуда я знаю, где он? Тут жил, покуда вы с шашками по холмам скакали, пущай, грит, скакают, доскакаются...— И начинала размазывать слезы по худым щекам.— А после и сгинул. Утром встала, а его кровать остыла. Может, от вас сбежал со страху, а может, сами вы его и вытянули тайком с постели... Оставили меня с дитем несмышленым!

— Ты не ври, Федотья! — пробовал бы-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37, 38.

ло Кузьма проявить строгость.— И не пускай мне тут длинные сопли. Где он таится? А не то...

— А вы поищите! — зверела Федотья.— Че грозишь, пес однорукий? Мужика вы моего убили, мельню отобрали. Кабак давным-давно перестал быть, постоялый двор тожеть... Ну, кони ишо есть у меня, хлеб сею, батраков держу — так это вашим законом дозволяется, все они в вашем батрачкоме записаны. Налоги я плачу полностью. Значит, и не пужай, а то обмараюся.

— Ну, гляди! Поймаем его, тогда и вправду накладешь. Уж наведем с тебя спрос. За укрывательство бандита.

— Ишь ты! — уперев руки в бока, выставлялась Федотья.— Натянул кожанку и грозишь! Не за укрывательство спрос хошь навести, а за вонючку свою. Да я-то при чем? Ее Сасоний убил. Он ее, а вы — его. В расчете, значит. Начисто искрошили друг дружку люди, господи, где ж ты?!

Пожар на бывшем пилюгинском хуторе возник не сам собой. Глухой и душной июльской ночью из холмов бесшумно вышли какие-то люди, из больших бидонов щедро облили керосином и без того пересохшие за лето мельницу, каждый амбар, каждый барак и подожгли. Сколько было этих людей — неизвестно. Пустых бидонов потом насчитали больше дюжины. Если каждый нес по два бидона, значит, поджигателей было человек шесть — семь. Постройки взялись все разом, небо окрасилось ярким заревом, закачалось, будто там, вверху, полоскалось кровавое, невиданных размеров полотнище. Бараки тогда пустовали, лишь в одном жил Андрон с женой да двое холостых парней, выделенные обществом для обслуживания мельницы. Они едва успели вывалиться в окошки из пылающего костром барака, причем у жены Андрона затрещали и вспыхнули разлохмаченные во сне волосы; она, пронзительно завыв, горящей головешкой покатилась по земле. Андрон метнулся к ней, сорвав на ходу исподнюю рубаху, обмотнул ею горящую голову жены, чтоб затушить огонь. Огонь затушил, но когда размотал обгоревшую рубашку, волосяной пепел стал комьями падать с ее дымящейся головы вместе с лохмотьями кожи.

— Сердешная... Глаза-то видят?! Видят?

Она моргнула вспухшими, без ресниц веками раз, другой...

— Вижу вроде маленько. Ох, да все одно смертынька...

— Ничего, ничего... Бог-то милостив, может.

И он, подхватив жену под мышки, пятясь, поволок ее прочь с освещенного пожаром места, в темноту.

Поджигатели не имели, видно, задачи убить находящихся при мельнице людей, подпалив постройки, сгинули во тьме так же бесшумно, как и подкрались, оставив только пустые бидоны да следы сапог на пыльной земле. Кузьма Тихомилов, прискакавший к обеду на хутор, оглядел эти следы, кучи дымящихся еще головешек, сказал угрюмо:

— Ловыгина рук дело. В какой же щелке он таился, ящер, а? Ишь, как попрощался.

— Это как попрощался?

— Неделю назад Федотья, дочь его, исчезла из Березовки. Вместе с сыном. Дом бросила, скотину — все! Как без скотины-то, без домашности всякой? Чем жить где ни то? Значит, вместе с отцом смоталась. А тот награбил уж за гражданскую.

— Во-он чего-о! — протянул Андрон.

Кузьма посидел молча на старом жерновe, валявшемся на дворе бывшей мельницы, молча выкурил две самокрутки одну за другой, разогнулся и сказал со вздохом:

— Ладно... Колхоз будем в Романовке делать. Артелью жить. А тут мы новую мельницу поставим, колхозную.

В артель романовские мужики и бабы сошлись в начале нового года, сошлись без особых сомнений и опасений, авторитет Кузьмы Тихомилова тут сделал свое дело. Весной дружно и щедро посеялись, осенью собрали добрый урожай, все были с хлебом.

И пошла жизнь дальше, снега и вьюги все глуше заметывали прошлое кровавое время, вешние воды и память о нем замывали все глубже.

* * *

...Через месяц стало известно, что за убийство Пилюгина Мишуху Афанасьева осудили на восемь лет, что такой небольшой срок ему дали еще по малолетству и по малолетству же отправили не в тюрьму, а в исправительную колонию для несовершеннолетних преступников.

На суде Катя Афанасьева не была, сперва все собиралась поехать, а в день начала суда нервы ее не выдержали, она свалилась опять пластом. На суде были дед Андрон и хромоногий кузнец Макеев, со дня убийства Пилюгина находившийся, к удивлению всех, в полной трезвости. Они-то и привезли все эти известия, рассказали Кате, что Мишуха на вопросы судьи о причинах убийства Пилюгина твердил одно: «Донька у нас помирала... А Пилюгин подводу не давал, чтоб в больницу ее свезти...»

— Как же он теперь там будет, Мишенька? — всхлипывала Катя.— Ворье же одно там, спортят его...

— Не, не поддастся. Он на суде-то открылся... больше, чем за всю жизнь,— сказал дед Андрон с такой серьезностью, будто Мишуха был ему ровесником и бок о бок они прожили целый век.

— Как открылся? Чем? — подняла Катя измученные, мокрые глаза.

— Дык, передайте, грит, Кате, что все я вынесу... И ничего со мной не случится. А скоро, мол...— Кузнец Макеев неловко кашлянул, зажал рот черной от угольной пыли и железной окалины ладонью, покачнулся, переступив с ноги на ногу, половицы под ним скрипнули. И этот кашель, этот скрип будто смутили деда Андрона, он почему-то заюлил глазами, растерянно выронил еще три слова:

— Скоро того, мол...

Темные зрачки Катиных глаз дрогнули, она требовательно спросила:

— Чего того? И чего скоро? Ну?

— Дык... скоро, мол, сказал Мишка, батя с войны придет... и дядя Степан,— вытягивал из себя слова дед Андрон, стараясь не глядеть на нее.— А там, грит, и я отсижу и вернусь.

— Скоро...— выдохнула Катя.

— Дык, Катерина! Война-то к концу катит. Не читаешь в газетах, что ли? — воскликнул дед Андрон строго, будто уличая

и осуждая Катю за незнание важных и очевидных вещей.— Наши-то вон уж куда зашли, за какие рубежи! И в полячью землю и в эту, как ее...

— В румынскую,— подсказал кузнец.

— Ага, ага,— кивнул старик белой головой.— И в других местах, во многих, на край нашего государства немца отогнали. Вот, сказал Мишка, соберемся все и заживем!

Но чем воодушевленнее говорил старик, тем все отчетливее слышала Катя в его словах какую-то фальшь, все более в груди ее что-то каменело. Вопросительно сдвинув брови, она повернулась к кузнецу. И тот тоже задергал глазами, пытаясь куда-нибудь деть их, да было некуда, и он промолвил:

— Все так, Катерина. А покудова, Катерина... уж как-нибудь. Я вот зарок дал... насчет самогонки-то проклятой.

— А чего мне твой зарок?

— Оно, конечно. Тебе-то что...— Кузнец опять потоптался на скрипучих половицах. И непонятно к чему прибавил: — Мишуха-то был уже работник. А теперь четыре рта на тебя одну.— И он кивнул на забившихся во все углы ребятишек.— А что на трудодни-то дают? Ничего не дают...

Катя тяжело, будто ноги перестали ее держать, опустилась на крашенную синей краской табуретку, уронила на колени руки. День закатывался, низкое солнце еще доставало до окошек, жидкие лучи обливали ее худые плечи, обтянутые поблекшей кофточкой.

Так она сидела долго, недвижимая. И недвижимо стояли перед ней два человека — старый Андрон и хромоногий кузнец Макеев. И притаившиеся в разных углах дети не шевелились, замерли, в избе стояло и стояло мертвое безмолвие. Гасли и без того тусклые солнечные лучи, падавшие через холодные окошки, в избе будто становилось все глуше, а Катины плечи торчали еще сиротливее.

— Что это вы от меня скрываете? — вдруг спросила она, тяжко поднимаясь. Голос ее был еле слышен.

— Господь с тобой... Да ты чего?! Чего? — взмахнул старик костлявой рукой.

— Я же чую... Что еще стряслось? Говорите! — наступала на них Катя, сжав кулаки. А старик и кузнец пятились.— Добивайте уж сразу... Сразу!

Со страху заплакала в углу Зойка, девятилетний Захар Тихомилов, самый старший теперь, шагнул к ней, дернул за косицу, и она покорно замолкла.

— Сбесилась, что ли?! — грубо сказал кузнец, останавливаясь.— Детву-то чего зря пугаешь?

— Господь с тобой...— еще раз повторил Андрон, и оба они друг за другом торопливо вышли из избы, как из жаркой, парной бани.

— Поворо-от,— выдохнул на крыльце Макеев.— Надо было тебе про это... что вот-вот с войны-то придут. Она ж обратное заподозрила. А в районе-то не велели нам ничего...

— Умолкни, без тебя тошно! — сердито прервал его Андрон.— Взял бы да сам и говорил с ней. А то все жался в стену... ровно девка на первой вечерке.

На поздней улице Романовки никого не было, дед Андрон и Макеев прошли несколько метров будто враги — молчаливо, не глядя друг на друга. А потом оба враз остановились, услышав истошный крик:

— И-ироды! Не прощу-у!

Это кричала Федотья Пилюгина, мать Артемия. Она, одетая в вытертое плюшевое пальто, неряшливо замотанная в шерстяную, домашней вязки шаль, торопливо бежала из переулка, на костыль не опиралась, а яростно колотила им, как палкой, по мерзлой дороге.

Подбежав, старуха оперлась обеими руками о костыль, повисла на нем и, шумно дыша, некоторое время старческими своими глазами молча жгла то того, то другого, словно дед Андрон да хромоногий кузнец и были самыми заклятыми ее врагами.

— Чего разбазлалась, старая карга? — произнес дед Андрон таким тоном, будто сам-то был молодой.— Чего тебе еще?

— А спросить... Это как — всего восемь годов за зверское убийство, а? И то не кого, а председателя колхозу порешил сопливец! Не прощу! В район сама поеду...

— А ступай, ступай,— вроде даже искренне поддержал ее кузнец.

— Артемушке орден был даден на войне. Зазря, что ли?

Из переулка в жакете нараспашку выскочила Лидия, вдова Пилюгина, а за ней сын Пашка.

— Мама, ну что ты себя растравляешь? — подбежав, закричала Лидия.— Идемте, мороз-то какой.

— Заткнися, телуха безрогая! — окрысилась на нее дряхлая Федотья.— Мужа твоего сказнили, а ты на коленки перед имя...

— Не на коленки. Да что ж теперь...

— Баба, айда, правда, домой,— потянул Федотью за рукав и Пашка.— Баба...

Однако старуха, оттолкнув внука, приподняла угрожающе костыль.

— Вот обхожу вас обоих... по башкам-то пустопорожним!

Угроза была, видать, нешуточная, потому что и Пашка и Лидия невольно отшагнули назад. Они отшагнули, а дед Андрон усмехнулся:

— Атаман ты, как Сасоний твой, царство ему...

— Вспомнили! — окрысилась Федотья.— А теперя другие времена. Теперь Артемушка, сынок его, жизню на фронте за народ клал. Рану тяжкую принял... Тяготы такие перенес, а тут вонючий собачонок афанасьевский горло ему перекусил!

— Баба, баба...— опять проговорил Пашка и неосторожно придвинулся к Федотье. Никто не успел и глазом моргнуть, как старуха, взмахнув костылем, огрела внука по голове. Костыль был тяжелый, из закостенелого березового обрубка пальца в два толщиной, да и сила у старухи, оказывается, еще имелась. Пашка от удара рухнул на дорогу как подкошенный, громко заревел от боли.

— Господи, господи! — простонала Лидия, сперва подобрала слетевшую с сына шапку, потом стала поднимать его самого.— Сынок, Пашенька, пойдем, сынок, айда...

Она подняла его и повела прочь. Ни слова больше не говоря, повернулся и зашагал к своему дому дед Андрон. А кузнец Макеев еще потоптался на дороге и произнес:

— Бабы вон чего про тебя говорят! Зверицей ты была, да ею так и осталась. Помирала бы скорей. А то всю жизнь внучатам своим закроешь. Пашке-то с Сонькой.

И, только проговорив это, двинулся к кузне.

— Да уж выращу! — хрипела ему вслед Федотья.— Чтобы знали они... почем люди.

* * *

Было начало апреля, солнце пригревало щедро, съедало на крышах последние лохмотья снега, он с утра истекал сильной капелью, единственная улица Романовки почернела, оказалась, как всегда в эту пору, сплошь покрытой навозом.

В воскресный полдень по этой-то улице, когда с крыш уже не капало, а лило, и подъехал на плетеной кошевке к колхозной конторе худой, болезненного вида человек лет сорока, в потрепанной офицерской шинели без погон, несмотря на теплынь, в наглухо завязанной под подбородком шапке-ушанке.

Это был секретарь райкома партии Дорофеев.

Покашливая, он вылез у конторы из своей кошевы, вынул оттуда костыль. Незнакомый ему мальчишка лет тринадцати тащил за веревку мимо конторы довольно большие санки, на которых лежал пустой бочонок для воды, а малолетняя, годов девяти девчушка с ведром в руке шагала сзади.

— Эй! — махнул им Дорофеев костылем, подзывая.

— Что тебе? — спросил мальчишка, останавливаясь, но не подходя.

— Вот лошадь на конный двор отвести надо. Сделай, пожалуйста.

Мальчишка помедлил, потрогал обернутую мешковиной крышку бочонка.

— Нас бабка за водой послала. Не видишь?

— Да ведь конюшня-то вот, рядом,— сказала девчушка.— Я отведу, а потом догоню тебя.

Говоря это, она поставила ведро в передок санок и шагнула было к конторе, но мальчишка властно остановил ее:

— Куда? Мы ему не нанимались...

И потащил санки дальше.

Прищурив черные, с нездоровым блеском глаза, Дорофеев некоторое время глядел на сердитого мальчишку, на виновато шагавшую сзади санок девчонку. Потом, опираясь на костыль, волоча негнущуюся правую ногу, стал подниматься на невысокое крылечко конторы.

В конторе, как много дней подряд, сидела одна Мария-счетоводиха, перебиравшая свои бумажки. Вообще-то она вела всю, не столь уж, правда, и сложную колхозную бухгалтерию, но по укоренившейся издавна привычке ее все называли счетоводихой.

— Здравствуй, Мария,— сказал Дорофеев.

— Здрасьте! — вскочила она, красивое лицо ее пошло от волнения неровными пятнами.— А я сижу тут, как сова оглохшая, и не слышу.

Бывшая по совместительству колхозной почтальонкой, она год назад сама и получила по почте похоронную на мужа. Понимая, что содержится в таких казенных конвертах, она, едва увидев на нем свою фамилию, смертельно побледнела, тихо и беспомощно, как ребенок, застонала и без чувств грохнулась на дощатый пол.

С тех пор и осел у нее немного слух.

Дорофеев развязал шапку, снял ее, а шинель снимать не стал, присел на стул возле пустого председательского стола, поежился.

— Знобит, что ли, вас? — спросила Мария.

— Сидит какая-то зараза внутри,— ответил Дорофеев.— Никак не выйдет.

— Вам в больницу бы лечь полечиться...

— Вот закончим войну, и лягу. Теперь недолго уж,— ответил он, кивнул в окошко, на дорогу, по которой мальчишка с девчонкой утаскивали свои санки.— Это чьи ж такие?

— Это-то? — переспросила Мария, тоже поглядев на улицу.—Так это Сонька с Пашкой Пилюгины.

— А-а, ну, ну...— промолвил Дорофеев и, распахнув шинель, вытянул негнущуюся свою ногу; начал растирать колено.

— Они у них в Березовской школе учатся. На воскресенье домой ездют.

Краснота со щек Марии начинала сходить, оно становилось опять красивым и привлекательным.

— Как Афанасьева-то Катерина?—спросил Дорофеев, закончив растирать ногу и прикрыв ее полой шинели.

— Так и живет,—ответила Мария.—Как мертвая. А этот, Пашка Пилюгин, со шкворнем по деревне так и ходит. За тятьку, говорит, изведу всех Афанасьевых и Тихомиловых. Один раз и вправду отколотил ихнего Кольку до крови. Катька теперь детей из избы не выпущает, боится. А как в кошару уходит — на замок их замыкает. На кошаре она работает.

— Вон какие дела,— уронил Дорофеев.— Соловей-разбойник выискался.

— Бабка Федотьиха все его наущает. За отца, зудит, неужто простишь? Лидия, жена-то его, и та говорит: задохнешься же ты, мамка, от злости. А старуха и на нее с костылем: сучка, орет, радуешься, что от мужа избавилась!

— Радуется? — поднял брови Дорофеев.

— Этак бабка ее попрекает, сама я слыхала. А так кто ее знает? С Катькой никогда не здоровается, встренутся как, отвернется. А так ничего...

Мария помолчала, думая о чем-то, сказала:

— Радуется, нет ли, а облегченье ей вы-

шло. В узел Артемий с матерью Лидию завязывали. А кобель-то Пилюгин был, уж кобе-е-ль!

Щеки Марии снова пошли пятнами, она села за свой скрипучий столик, уткнула лицо в какую-то амбарную книгу.

Еще прошло в молчании с минуту.

— Не проговорились вы ей про похоронные? — спросил Дорофеев.

— Не-е... Ничего покуда не знает.

Похоронные на отца Кати Данилу Афанасьева и на Степана Тихомилова пришли с разницей в неделю всего. Мария не знала, как ей отдать первую, спрятала ее глубоко в облезлом конторском шкафу между старых бумаг, потом испугалась, что кто-нибудь случайно полезет в шкаф, замок которого был сломан и ключ потерян еще в незапамятные времена, и обнаружит казенный конверт. Этого никогда не бывало, в шкаф ее, единственный в конторе, никто не лазил, даже председатель, но она все же унесла конверт домой, засунула на самое дно сундука со всякой рухлядью. В это время судили Мишку, Катя Афанасьева, бесчувственная, валялась на кровати, и Мария боялась, что известия о гибели отца она совсем не вынесет. А тут на почте приняла второй такой же конверт и, как в тот день, когда получила похоронную на собственного мужа, едва-едва не грохнулась опять на пол.

В деревню Мария ехала, кажется, целую вечность, лошадь тащилась медленно, через силу, будто в санях лежала не обыкновенная почтовая сумка с двумя-тремя газетами и этим единственным письмом, а какая-то неимоверная тяжесть.

Ночь Мария не спала, а наутро, сунув оба конверта во внутренний карман стареньской фуфайки, побежала на скотный двор, к деду Андрону.

— Во-от! — простонала она, торопливо, будто это были раскаленные угли, сунула ему конверты, один уж порядком измятый, другой более или менее свежий, оперлась плечом о стенку коровника и тяжело зарыдала.

Мария плакала, а дед Андрон распечатал один конверт, другой. Молча он прочитал одно извещение, потом другое, обе бумаги оглядел и с другой стороны, будто надеясь обнаружить там опровержение того, что написано на первой, и молча опустился на кучу соломенных объедков.

— Что делать-то? — все рыдала Мария.— Отнеси ты... Я не могу.

— Умолкни, дура,— сказал дед Андрон.

Покоряясь грубому требованию старика, счетоводиха размазала вылившиеся слезы по щекам и пересилила себя, замолчала. А дед сказал:

— Пойду с Петрованом Макеевым обтолкую. Посоветуемся... А ты покуда молчи.

К вечеру они с Макеевым уехали в район, пробыли там до окончания суда над Мишкой, а вернувшись, сообщили Марии, что ходили аж к самому Дорофееву, обсказали все ему о Пилюгине Артемии, обо всем пилюгинском роде, что секретарь райкома обещал, насколько можно, судьбу Мишки облегчить и что-то, видно, сделал, а то дали бы Мишке за убийство не восемь лет, а побольше. И Дорофееву же отдали похоронные, он забрал их, велел покуда молчать про них, сказал, что сам приедет в Романовку и отдаст их Афанасьевой.

— Вот и пущай,— сказала на это Мария.— Он начальник, так и пущай.

И вот Дорофеев приехал.

* * *

Федор Григорьевич Дорофеев секретарем райкома партии работал всего с полгода. За это время уже дважды побывал в Романовке. Первый раз приезжал осенью, на чем свет стоит откостерил Артемия Пилюгина за плохую уборку.

— С кем скоро убирать-то? — отбивался Пилюгин.— В колхозишке вон всего два мужика — хромой кузнец да дед Андрон. Андрону восьмой десяток идет, а кузнец пьянчужка...

— А ты-то от него отстаешь, что ли? — сердито спросила вдруг Мария. Она проговорила это, ни на кого не глядя, не отрывая головы от бумажек. Дорофеев и Пилюгин прекратили ругань, оба повернулись к ней, будто ожидая дальнейших слов. Но она, уткнувшись в стол, больше ничего не сказала.

— Тут разрываешься на части. А тут попрекают...— Он кивнул на Марию,— всякой ерундой, можно сказать! — снова загремел Пилюгин. Но секретарь райкома его осадил:

— Ты разрывайся, а дело делай. А этот грешок за тобой водится, говорят. Гляди, Пилюгин; мы не посмотрим, что ты фронтовик... Тем более спросим!

Второй раз секретарь райкома приезжал в Романовку уже по снегу, в последний день ноября. Объявился Дорофеев в деревне раным-рано, еще до восхода солнца, был он обросший, угрюмый, негнущуюся свою ногу волочил тяжелее, чем раньше, будто за месяц-другой она налилась свинцом. На этот раз он не ругал Пилюгина, велел ему собрать всех людей в конторе.

Всех-то и собралось человек тридцать, набились кучей в тесный председательский кабинет, пришла и жена Пилюгина Лидия. Женщины молча ждали, что скажет секретарь райкома.

Последней зашла Катя Афанасьева, молча прижалась спиной к стене. Была она в изношенной до предела, отцовской еще тужурке, подпоясанной обрывком ременных вожжей, черная юбка понизу и с боков залатана ситцевыми заплатами, на ногах разбитые резиновые боты. Лишь голова ее была повязана более или менее целым, без дыр шерстяным платком, но эта единственно приличная вещь в ее одежде как-то не замечалась, может быть, потому, что из-под платка на мир смотрели невеселые, уставшие глаза.

Дорофеев на какое-то мгновение задержал на ней взгляд, отвернулся, спросил:

— Все?

— Совсем уж старухи которые, те по домам еще остались,— ответил Пилюгин.— Позвать, что ли?

— Не надо.

— Да еще кузнеца Макеева растолкать не могут. Судить подлеца за пьянство! Каждый вечер как свинья нажирается.

В это время в контору донесся стук молота о наковальню. Все невольно повернули голову к окошкам, поглядел туда же и Дорофеев.

В безжизненных глазах Кати что-то шевельнулось, она скривила сухие губы:

— Засудить можно,.. Тогда ладонями пахать будем, а пальцами боронить.

— Ты тут не издевайся, Афанасьева,— бросил Пилюгин.— Эй, кто там, позовите кузнеца!

— Не надо,— опять сказал Дорофеев, подошел к Кате.— Так это ты и есть Афанасьева Екатерина?

— А вам-то что? — враждебно спросила Катя.

— Да ничего... Я человек в районе пришлый. Просто слышал многое о твоем отце.

Так Дорофеев увидел Катю Афанасьеву в первый раз.

Когда он подошел к Кате, зрачки Пилюгина тревожно забегали, а при последних словах секретаря райкома под плохо выбритыми скулами председателя шевельнулись желваки.

В тот, второй свой приезд Дорофеев сперва долго рассказывал о положении на фронте, о том, что в войне наступил давно перелом, наши войска гонят немцев с нашей земли и скоро ее полностью очистят от оккупантов, но пока всему нашему народу тягостно, нелегко достаются победы над сильными еще и озверелыми фашистами, вот и в вашей деревне тяжко...

— А делать-то что, дорогие вы мои женщины? — спросил Дорофеев в полной тишине, и этот вопрос, эти слова — «дорогие вы мои женщины» — выжали кое у кого беззвучные слезы.— А делать нечего, кроме как работать... Ну, худо-бедно, весь урожай вы убрали, хлеб в скирды сложили, а с хлебосдачей на последнем месте. Пилюгин, председатель ваш, говорит, что выдохлись все полностью, некому хлеб тот обмолачивать и государству отвозить.

— А так и получается, что некому,— проговорил дед Андрон.— Что он, врет, что ли?

— Да не врет,— согласился Дорофеев.

— Осень-то какая стояла? — уныло спросил старик.— Дожди захлестали прямо. А чего в мокреть намолотишь? Как установились морозы, зачал я с бабенками помалу обмолот. Молотилка у нас, слава богу, есть, и ниче, работает, опять же кузнец Петрован, золотые руки, всякие в ней железки отладил. А приводной ремень гнилой. Токо, зараза, и рвется. Мы больше его сшиваем, чем молотим. Однакось по два-три воза в день отвозим на заготпункт.

— Знаю,— кивнул опять секретарь райкома.

— А больше што можем? — выставил дед вперед козлиную бородку.— Шкирдовать школьники с району помогли, а то б мы и нашкирдовали вам. А с ноября они учатся.

— Учиться тоже им надо, отец...

— Всем надо... А вон Катькины дети, Мишуха с Захаркой, не ходят в школу,— с обидой выкрикнул дед Андрон.

— Почему ж не ходят? — задал Дорофеев вопрос и в ту же секунду понял, что не надо было его задавать: Катя опустила голову, плечи ее затряслись, женщины, находившиеся в председательском кабинете, перестали, кажется, дышать.

С улицы по-прежнему доносился равномерный стук молота о наковальню.

— В Романовке и начальных групп нету. А в Березовку, где школа-то, на голодную смерть ей отправлять? — спросила какая-то женщина.— Да и в чем, спросить? Раздетые на печке сидят, как котята.

— У нас нынче один председатель только и отправил туда своих,— добавила другая.

— А вы все — давай работу, давай хлебосдачу. Хорошо тебе в кошевке ездить да требовать. Влез бы в нашу шкуру-то!

— Скоро задохнемся от этой работы... Один Пилюгин в деревне останется.

Пилюгин, сидевший недвижимо сбоку своего стола, видно, пошевелился, стул под ним скрипнул. Но сказать ничего не сказал.

Долго молчал и Дорофеев, стоял, обернувшись к окну, будто хотел получше расслышать звуки, доносившиеся из кузницы. Говорить ему было трудно теперь, это все понимали, а больше всех, видно, Мария-счетоводиха.

— Бабы! — выкрикнула она сдавленно.— Уж если вовсе стали все без понимания, так я скажу. Я в районе-то бываю, так слышу, об чем говорят там про него... про Дорофеева. У него нога вон гниет, доктора в область лечить отправляют, а он по району мается. А вы упрекать...

— Ты, Мария, оставь мою ногу в покое! — резко обернулся от окна секретарь райкома.— У всех у нас что-нибудь болит. У каждого свое горе. А есть еще для всех общее...— Дорофеев прислонил к стенке костыль, шагнул от окна к столу. Пилюгин, не вставая, пододвинул навстречу ему поудобнее единственный свободный стул, но Дорофеев не сел, он только оперся о спинку стула обеими руками так, что побелели суставы пальцев. И проговорил несколько фраз негромко, раздумчиво, будто про себя: — Я в разведке служил. Приходилось мне бывать в тылу у немцев. Вы слышали, конечно, чего эти звери на нашей земле творят. А увидеть это своими глазами — никому не приведи господь...

И ничего вроде бы нового и особенного не было в этих словах Дорофеева, но женщины притихли, будто чем-то пристыженные, все, кто сидя, а кто стоя, опустили головы.

А кузнец все стучал и стучал в своей кузнице.

— И не требовать я приехал, женщины,— добавил Дорофеев.— Чего требовать, коли каждая и так хлещется изо всех сил. Приехал попросить вас... Уж больно нужен хлеб фронту.

Опять возникло молчание, долгое и тя-

гостное. Потом снова скрипнул стул под Пилюгиным. Но на этот раз он поднялся и глухо проговорил:

— Товарищи колхозницы... Он правильно, товарищ Дорофеев,— не требовать, а попросить. И надо подумать, как выйти из невозможного. А как, если конкретно? Чего можно придумать? Вот, товарищ Дорофеев, все наличные силы колхоза перед вами. Тут как начнешь думать, так голова кругом...

— От самогонки, как у кузнеца,— зло выкрикнул от дверей надсаженный голос.

— Кто там клевету разводит?! — вскричал Пилюгин.— Ты, что ли, Дуська?

— Я, я! — И низкорослая, юркая молодая женщина в черном полушубке, сквозь многочисленные дыры которого торчал мех, выдвинулась вперед.— Петрована Макеева ты хаешь... Оно, за пьянство кто его хвалит? А Катька вон правильно говорит: мы ж за ним горя не знаем. Плуги-бороны тебе все откует, лобогрейки, сенокосилки к самому сроку отладит. Да сдохли без него бы ведь совсем!

— Ты если хошь, так по делу говори,— прохрипел Пилюгин.— Про хлебосдачу тут речь, а не про кузнеца.

— А я про что? — шагнула к нему Дуська.— Макеев пьет, да дело разумеет.

— Коль я не разумею — зачем в председатели ставили?

— Да мужик же, думали! А ты мужик лишь на выпивку... на одно только это дело!

— На два-а...— протянула вдруг стоявшая в углу жена Пилюгина, подняла тяжелые, ненавидящие глаза на Катю Афанасьеву.

Голос Лидии еще не затих, как в председательском кабинете снова установилось безмолвие. Бойкая бабенка Дуся как-то виновато закрутила головой в пестром платке, втиснулась в кучу людей. В этой тишине раздался громкий всхлип, и Катя Афанасьева, ударив плечом дверь, вылетела наружу.

Дорофеев обвел всех взглядом. Но угрюмо сидевшие и стоявшие перед ним женщины старались спрятать от него глаза.

— Не гожусь, так снимайте с поста.— Пилюгин зловеще резанул глазами по своей жене, стал опускаться на свой скрипучий стул.— А с этой хлебосдачей... Ну, могу, конечно, сам у молотилки встать...

— А почему бы тебе не встать?! — свистящим голосом произнес Дорофеев. Глаза его сузились, заблестели, на лбу то возникали, то исчезали поперечные морщины.— Я понимаю, у кузнеца работы хватает. Но сейчас ноябрь, времени для ремонта инвентаря еще с излишком. Почему бы и его не поставить сейчас на обмолот? Вот уже два человека... к тому ж мужчины.

— Я все ж таки... инвалид. С моим-то здоровьем...— промолвил было Пилюгин.

— А я не инвалид?! — рявкнул Дорофеев по-мужицки и весь затрясся. Но тут же опомнился, взял себя в руки. Дрожащими руками приподнял за спинку стул, переставил его чуть на другое место.— Простите...

Это последнее слово он произнес глухо, почти шепотом, на какие-то секунды опустил глаза. И, тут же поднимая их, заговорил уже ровно и спокойно:

— И у кого здоровье лучше? У Андрона Игнатьевича, может? Или вот у этой женщины... Дуся? Чего там прячешься?

— Я-то? — смутилась женщина.— Чего мне прятаться? Не невеста...

— Как твоя фамилия?

— Да Устинова я. С Катькой на кошаре работаю.

— У тебя лучше здоровье, чем у Пилюгина?

— Так оно как? За день наломаешься — так и не знаешь, осталось в тебе чего живого али нет. Идешь и за стены держишься. Еще и заря не зарится, а ты уж опять голову с подушки рвешь. А она как чугунная, голова-то... А тебе, Лидка, при всех скажу: зря ты грешишь на Катьку! — обернулась она вдруг к жене Пилюгина. И тут же в полной тишине бахнула: — Уж коли на то пошло — ты б на меня, паскудницу...

— Евдокия! — побагровел Пилюгин от крика.

— А что, не было, что ли?! — стремительно обернулась она к нему. Круглое лицо ее от злости в эту минуту как-то заострилось, стало неопрятным и некрасивым.— «Дусенька, Дусенька, обзолочу...» Вот, обзолотил! — тряхнула она полами рваного полушубка.— Все вы, мужики, подлюки. Как бабу берете, так города отдаете, а после и деревеньки жалко... А Катька, чтоб ты, партийный начальник, знал, чистая. Чистая...

И с этими словами она тоже выскочила из конторы под смех и возбужденный говор женщин. В углу конторы тяжело всхлипывала Лидия, но ее никто не утешал, как-то никто будто и не замечал ее плача. В получившейся обстановке Дорофеев чувствовал себя неловко, глупо топтался у стола.

— Вот... видали ее такую... клеветницу,— промямлил Пилюгин, растягивая пальцем воротник гимнастерки.— Обмазала при народе при всем грязью.

— Я не в грязи вашей приехал копаться! — воскликнул Дорофеев.— Давайте думать, как обмолот и хлебосдачу наладить... А с тобой, Пилюгин, видно, разобраться надо будет.

Обмолот и хлебосдачу Дорофеев в тот раз наладил, из Березовского колхоза подтащили еще одну, стоявшую там без дела молотилку, из МТС пригнали для нее колесный трактор, помог Дорофеев и новые приводные ремни достать, на двух молотилках работали теперь в две смены все — от мала до велика — и Петрован Макеев, и сам председатель Пилюгин, и Мария-счетоводиха, Мишуха Афанасьев... Ребятишки помоложе Мишухи под командой Дуськи Устиновой (на кошаре Катя делала всю работу одна) по десять — двенадцать возов пшеницы в день отвозили на заготпункт. А вот разобраться, как обещал, с Пилюгиным, Дорофеев не успел...

Продолжение следует.

Анатолий ИВАНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ВРАЖДА

* * *

Семья у Кати Афанасьевой поубавилась, да за столом, когда Дорофеев зашел в их домишко, было все равно не очень просторно. С одного краю сидели Захар и Колька, с другого — Зойка и Игнатий. Склонив круглые, неровно стриженные ножницами головенки к чашкам, они, постукивая ложками, хлебали какое-то варево. Даже Зойка была острижена наголо, и Дорофеев знал, что это от вшей. Мыла-то люди который год в глаза не видели, мылись щелоком — теплой водой, в которой была разведена чистая древесная зола. Такая водица была на цвет черно-серой, на ощупь чуть мыльной, пены никакой не давала, но считалось, что это лучше, чем простая вода.

Сама Катя сидела на конце стола, обращенном к печке. Увидев в дверях Дорофеева, она поднялась. В худых, глубоко провалившихся глазах ее, под которыми за последний месяц набрякли синеватые мешочки, плеснулись одновременно и удивление и испуг. А когда следом за Дорофеевым вошли дед Андрон и кузнец Макеев, Катины глаза вовсе заледенели.

— Здравствуйте,— произнес Дорофеев.

— Я те и говорю — кормит она сейчас своих пытиценят,— сказал дед Андрон. Он старался выговаривать слова как можно проще и веселее, но это-то его старание Катя сразу уловила, набухшие синие жилки на ее открытых висках сильно задергались, она, не меняя положения, протянула руку к шестку, взяла валявшуюся там посудную тряпку, прижала ее к груди. Побелевшие пальцы, которыми она сжимала тряпку, тоже подрагивали. Это ее состояние передалось и детям, повернув на вошедших круглые головенки, они глядели на них с откровенным страхом.

— Ты че ж, Катерина, не здороваешься-то с начальством? — спросил дед Андрон, снимая шапку.

— Поели — идите,— мотнула Катя детям головой. Те немедленно поползли из-за стола, гуськом, шлепая по полу босыми ногами, один за другим скрылись в горнице. Всего-то в доме и было два помещения — кухня да комната за дощатой перегородкой, которая и называлась горницей. Последним, как старший, зашел туда Захар, прикрыл за собой филенчатую дверь.

— Ну...— дыхание Кати было частым и неровным.— Что еще стряслось? Я ж чувствую... Бейте сразу. Не жалеючи.

Дед Андрон вешал на стенку у дверей свой вытертый полушубок, но то ли одежда была слишком тяжела, то ли уже сил в руках не стало — все никак не мог дотянуться до гвоздя.

— Да ничего не стряслось,— сказал Дорофеев негромко.— Мы просто с Петрованом Макеевым да с Андроном Игнатьевичем по делу к тебе, Екатерина Даниловна. Мне-то можно раздеться?

— Чего ж спрашивать...— Испуг в глазах у Кати еще не прошел, но сквозь него шевельнулся живой огонек.— Господи, у меня прямо сердце захолонуло, то ли с Мишкой что там, думаю, то ли... От отца какой месяц письма нету. Да раздевайтесь.— Она бросила на стол свою тряпку, шагнула к Дорофееву, все стоявшему у дверей во весь рост, взяла у него шапку.

— Спасибо...— Он расстегнул шинель, повесил ее рядом с полушубком деда Андрона. А Катя уже сгребала со стола чашки. Составив их на шесток, она той тряпкой, которую недавно держала в руках, обмахнула голый дощатый стол, когда-то выкрашенный, теперь местами облезший, облупленный. Дорофеев, постукивая костылем, прошел по кухне, сел на табуретку возле окошка, за которым играла веселая капель. Дед Андрон с кузнецом примостились на скамейке у дверей.

Катя разбросила тряпку на чашки, прикрыла их, скользнула все же беспокойным взглядом по старику с кузнецом, по Дорофееву.

— Какое такое дело ко мне?

Дорофеев сидел к ней чуть боком, руки его лежали на поставленном между ног костыле, он глядел на сыпавшуюся за окном стеклянными горошинами капель и, будто не расслышав ее вопроса, со вздохом проговорил:

— А пожалеть, Катя, хотелось бы каждого... Да как в такое-то время?

Эти слова и то, что он назвал ее просто Катей, тотчас будто снова стегнули по живому, ноги ее сами собой подогнулись, она, крепко держась за край стола, медленно опустилась на табуретку.

Дорофеев смотрел в окно на льющуюся капель, но краем глаза видел и Катю, обостренно чувствовал ее состояние.

— Поэтому мы тебя не пожалеть хотим, а поработать попросить,— быстро проговорил он.

Она шевельнула бровями.

— А то я не работаю, что ли?

— Да на той работе попросить, какую батька твой в колхозе делал,— сказал от дверей дед Андрон.

Смысл этих слов не сразу дошел до нее.

— Как это? Погодите... Я ничего не пойму.

— Что ж тут понимать-то, Екатерина Даниловна. Сеять скоро.— Дорофеев кивнул за окно.— Кто-то ж должен и людей организовать. И за все дела отвечать.

— С ума вы сошли! — Катя встала растерянно.— Это... на место Пилюгина, что ли, меня хотите?

— Пилюгин, Пилюгин! — вскричал дед Андрон, поднимаясь.— Да ты это слово не произноси дажеть! Сказано тебе было — на место отца твоего!

За тонкой филенчатой дверью временами начиналась возня ребятишек, но тотчас возникающий было шум покрывал приглушенный мальчишеский голос: «Сыть-тя, язви вас!» Это Захар, понимающий больше других, что в кухне идет серьезный разговор, утихомиривал младших. И те подчинялись беспрекословно и мгновенно.

Встал и секретарь райкома, сделал несколько шагов к двери, повернулся.

— Ты сядь, Андрон Игнатьевич. Катя... Я уж так, по-отцовски, буду тебя называть, можно?

Катя даже не ответила, она, чтобы скрыть переполнившую глаза влагу, низко опустила голову. Тяжелый пучок зачесанных назад волос и схваченных на затылке тесьмой свалился на левое плечо, обнажив по-детски худенькую шею. В груди у Дорофеева, видно, что-то сдавило, он громче застучал о пол костылем, проходя на прежнее место.

— Мы вот, Катя, посоветовались,— кивнул Дорофеев на деда Андрона и кузнеца.— И с женщинами я говорил. И все сошлись на одном — попросить тебя взять теперь колхоз.

— Да я вам мужик, что ли?! — воскликнула она в отчаянии.— Вон Петрован пущай!

— Да я же пью, Катерина,— сказал кузнец.

— Ты ж бросил. Зарок дал.

— Зарок — он на срок. Дать-то дал, да у меня не заржавеет и обратно его взять.

— Тогда Андрон, может...

— Мог я, Катерина, через плетень лазить, а теперь мотней цепляюсь,— с грустной усмешкой проговорил старик.

В горнице опять загалдели ребятишки, заплакала Зойка. Катя ладонью смахнула со щеки все-таки выкатившуюся слезинку, встала, шагнула к двери, распахнула ее.

— Ну чего?

— Да вот, расхныкались ровно маленькие,— послышался голосишко Захара.— На улку побегать им приспичило. Я грю — мокро же тама...

— Отправляйтеся,— скомандовала Катя.

Колька, Игнатий и самая маленькая Зойка — все враз вывалились в кухню, за ними, не торопясь, вышел и Захар. Одеты все были в рванье, в заплатные штаны и рубашонки, у Зойки сквозь дырку на боку просвечивало белое тельце.

— Господи, да когда же ты успела продрать? — остановила Катя свою младшую сестренку, некоторое время с тоской рассматривала дырку.

— Да оно, Кать, само порвалось,— хныкнула испуганно Зойка.

— Ступай, ладно.

Колька с Игнатием уже сбрасывали с печки замызганные, тоже в заплатках и дырах, пальтишки, Захар из-под скамейки, на которой сидели посторонившиеся дед Андрон с кузнецом, выволакивал разбитые ботинки, сапоги, старые резиновые боты. Не обращая внимания на взрослых, попискивая, как галчата, ребятишки стали все это рванье натягивать на себя. Катя, присев на корточки, застегивала пальтишко на Зойке. Пальтишко было самодельное, выкроенное самой Катей из старого байкового одеяла, оно нелепо торчало на девочке каким-то коробом. На ноги Зойке Катя натянула чулки из овечьей шерсти, тоже собственной вязки, зашнуровала ей ботинки, потом пальтишко подвязала веревочкой.

Дорофеев с грустью наблюдал за этими сборами, за всей суетой, дед Андрон и Петрован Макеев на детей не глядели, все это им было привычно.

— От дома не отходить,— приказала Катя, выпуская всех в сенцы.— Пашка вон седни рыскает по деревне. Ты слышь, Захар?

— Я понял, понял...— крикнул Захар уже из глубины сенок. Он был старший, но тоже ребенок и вперед всех выскочил на улицу.

Закрыв за детьми дверь, Катя, опять сделавшаяся какой-то постарелой, устало прошла на прежнее место, положила на стол тяжелые руки, повернула голову к окну. За стеклом все сверкала и сверкала капель,

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—39.

доносились снаружи приглушенные голоса ребятишек, а в доме все равно сделалось тихо и мертво, будто и не было тут четырех взрослых людей.

Приехав час назад, Дорофеев попросил Марию обежать деревню, пригласить в контору, кого можно, кроме Афанасьевой, а когда женщины, кузнец и дед Андрон подошли, без всяких предисловий, хмуро как-то сказал:

— Райком партии рекомендует в председатели вашего колхоза Афанасьеву Екатерину. Что вы, женщины, скажете?

С полминуты, может, в конторе стояла мертвая тишина, а потом угрюмая Василиха торопливо, будто боясь, что кто-то ее опередит, выкрикнула:

— А хорошо мы скажем, вот чего!

Женщины задвигались, зашумели, и непонятно было сперва, одобряют они кандидатуру в председатели или отвергают, пока кладовщица Легостаева, пожилая баба с глубоко съеденным оспой лицом, недавно получившая похоронную на первого из трех сыновей, воевавших на фронте, перекрыла шум резким своим голосом:

— Ну-к, притихните! — И повернулась к Дорофееву.— Это вы там в райкоме правильно. Девка молодая, грамотная. И столь горя нахлебалась, что все человечьи заботы понимать станет. Мы согласные.

— Может, кто-то и против выскажется?—спросил Дорофеев.—Пилюгина здесь?

— Тут я,— негромко проговорила от дверей Лидия.— Только я тоже против не выскажусь. Ну, а свекровь мою уж не спрашивайте.

— Не спросим.— И Дорофеев кивнул ей благодарно.— Тогда я сейчас пойду уговаривать Афанасьеву. А завтра, коль она согласится, и собрание проведем.

Женщины стояли и сидели притихшие, ожидая, видно, от секретаря райкома еще каких-то слов. Но он лишь сказал невесело:

— А горе свое, дорогие женщины, Афанасьева Екатерина до конца еще не выхлебала. Так что это хорошо, что вы ее поддержите. Ну, все тогда, спасибо вам. А ты, Андрон Игнатьевич, и ты, Макеев, останьтесь.

Когда женщины ушли и контора опустела, он сказал им:

— Попрошу я вас... со мной пойти к Афанасьевой. Тянуть про похоронные больше нельзя. Но одному-то мне с ней... Давайте-ка уж втроем.

И вот они были у нее втроем. На предложение возглавить колхоз Катя не ответила пока ни да ни нет. Она все сидела у окна и глядела на капель. Может, с минуту, может, больше в комнате было тихо и мертво, возвращаться к прежнему разговору каждому было трудно.

Дверь в горницу, из которой только что выбежали дети, так и осталась раскрытой, прямо напротив дверей в простенке висела небольшая застекленная рамка с пожелтевшими фотографиями. Дорофееву в открытую дверь горницы была видна эта рамка.

— Можно, я посмотрю? — спросил он.

Катя поняла, чего он хочет посмотреть, кивнула. Дорофеев встал и прошел в горницу.

Перед этой рамкой, опираясь на костыль, он стоял долго. Потом не оборачиваясь, проговорил:

— Это вот, Катя, и есть твой отец?

Катя поднялась, тоже пошла в горницу. Когда она стала рядом с Дорофеевым, он показал на фотографию.

— Это,— подтвердила Катя.

Карточка была старая, желтая, с обломанными углами. На ней Данила Афанасьев, одетый в кожаную куртку, при шашке, стоял возле пулеметной тачанки, одна рука у него лежала на рукоятке шашки, а другой он обнимал неловко и стыдливо прильнувшую к нему худенькую девчонку в пестром платьишке, с туго зачесанными назад, как сейчас и у Кати, волосами.

А рядом была карточка побольше, тоже давних времен, и на ней тоже был изображен Данила Афанасьев с той же девчонкой. Впрочем, теперь это была молодая женщина, одетая в длинную черную юбку и просторную кофту на выпуск, на голове завязанный под подбородком платок. Она стояла возле трактора «Фордзон», опираясь на грабли, так же, как на первой фотографии, чуть смущенно и виновато улыбалась, а чуть за ней, досасывая самокрутку и тоже чему-то улыбаясь, находился Катин отец в измятом пиджаке, в подпоясанной под пиджаком рубахе. На сиденье трактора сидел какой-то парнишка, вокруг трактора, неумело позируя фотографу, стояли, вытянув руки по швам, человек восемь мужиков и баб.

— А это, видимо, твоя мать? — спросил Дорофеев.

— Ага,— кивнула Катя.— Это они снялись, когда первый трактор в колхоз пришел. Мама в тридцать девятом померла... Как Зойку рожала.

Дорофеев все стоял и стоял недвижим, все рассматривал карточки. Стоял до тех пор, пока не раздался голос деда Андрона:

— А вон тою шашкою Данила, ее отец-то, и разрубил напополам родителя Артемия. Сасония-то Пилюгина.

— Вот как! — воскликнул, оборачиваясь, Дорофеев. Дед Андрон стоял в дверях горницы.

Потом Дорофеев глянул на Катю, она сухо сказала:

— Рассказывают, что так... Сам отец об этом говорить не любил.

И быстро пошла в кухню.

...Через некоторое время все опять сидели на прежних местах, и секретарь райкома партии Дорофеев говорил:

— Колхоз, Катя, у вас небольшой. Каких-то триста гектаров пашни. Полсотни овечек, восемнадцать лошадей, три десятка дойных коров. Справишься, Катя, берись давай. А мы поможем. Завтра же вот соберем всех колхозников, собрание проведем.

— Ну, что вы заладили,— по-прежнему отбивалась Катя.— Детишек-то я куда?

— Что ж они, маленькие у тебя, что ли, Катерина? — глухо проворчал Макеев.— Титьку сосут? Зойке — и той пятый год кончается.

— Да не сосут, а глаз за ними какой нужен?

— Да присмотрим, присмотрим,— мотал бородой Андрон.— Я, старуха моя, тетка Василиха... Всем-то колхозом! Ты ж десятилетку кончила.

— А старшего, Захарку тихомиловского, я в кузню возьму. Где поддержит чего, где подаст покуда. А там и молоток в руки. Так и делу обучу.

— Значит, порешили, Катя,— подвел итог Дорофеев и поднялся, пошел к вешалке, стал натягивать шинель.

— С ума сошли... с ума сошли,— все повторяла Катя, растерянная, пока они одевались у двери.

— Давай, Екатерина Даниловна... До завтра,— сказал Дорофеев и вышел.

По расквашенной апрельским теплом улице он шел мрачный, сильно втыкал свой костыль в унавоженный снежный кисель. Шел быстро, хромоногий Макеев и старый Андрон еле за ним поспевали. Лишь у самой конюшни остановился.

— Завтра я, значит, подъеду на собрание.

— Так что ж... про похоронки-то? — спросил кузнец.

— Не мог я... Язык не повернулся.

— Как же теперь?

— Не знаю,— угрюмо сказал секретарь райкома. — И вас прошу молчок покуда.

* * *

Из Романовки Дорофеев уезжал под звон той же капели. Правда, она стала реже и тяжелее, деревня блестела мокрыми черными крышами. В небе, по-весеннему уже высоком и голубом, стояло веселое солнце.

Оно находилось еще далеко от горизонта, но длинный апрельский день потихоньку истекал к концу, прозрачный воздух становился все свежее. Лошадь нехотя тащила кошевку по расквашенной улице, предвечерний холодок уже схватывал снежно-навозное месиво, полозья шипели, разрезая его. Дорофеев коня не торопил, он, забыв про вожжи, тоскливо глядел на свои вытянутые ноги. Его по-прежнему знобило, шапка опять была наглухо завязана под подбородком, из плетеного коробка уныло торчали его худые плечи, обтянутые вытертой шинелью.

Проезжая мимо домишка Кати Афанасьевой, он услышал галдеж ребятишек, потом увидел и их самих. Самая маленькая из них, Зойка, в своем нелепом пальтишке, топталась на краю снежной лужи и колотила по воде хворостиной, а Игнатий и Колька, подпрыгивая, пытались палками достать и сбить свисающую с крыши самую длинную сосульку.

— Зойка, перестань! Промокнешь, майся потом с тобой,— кричал ей Захар.— Игнат, Колька, проклятые! Заразы такие. По башке-то долбанет сосуля если... Колька!

В это время тяжелая сосулька рухнула вниз, действительно чуть не воткнувшись острым концом в плечо Николая. Он успел отскочить, сосулька разлетелась на десятки осколков, тотчас все, кроме Захара, схватили по ледяному куску и принялись грызть.

— Ну-ка, бросьте! Кому сказано? Заложит глотки-то! — С этими словами он принялся отбирать у Зойки ледышку.

— Неслухи такие...— Захар отобрал у девочки ледяной осколок, бросил в лужу.— Мало у мам-Кати без вас-то горя.

Когда Дорофеев был от дома и от ребятишек на порядочном расстоянии, до него еще доносились их голосишки.

Николай: «Главно-то горе — что письма от папки давно нету. Катька плачет ночами, я слыхал».

Зойка: «А почто нету? Почто долго так нету?»

Захар: «Откудова я знаю. Разное могет быть... Вот Марунька-счетоводиха как захворает — так и не ездит на почту-то. Может, и там какой почтальонщик захворал. Прийде-ет! Вот на неделе Марунька поедет и привезет».

«Привезет...» — У Дорофеева все больнее и больнее начало сдавливать сердце.

...Катя в это время стояла у окна и смотрела, как удаляется кошевка Дорофеева. Руки ее были сложены под грудью, пустые глаза ничего не выражали — ни радости, ни беспокойства. Они были пустые — и все, и, казалось, она не видела ни Дорофеева, ни черной унавоженной дороги, взбегающей за деревней на холмы, ни самих этих холмов, верхушки которых уже освободились от снега и купались в прозрачном апрельском солнце.

Потом руки ее тяжело упали вниз, она вздохнула, повернулась, снова подошла к рамке с фотографиями, долго смотрела сперва на ту карточку, где отец и мать были сняты возле пулеметной тачанки, а потом на другую, где они стояли у трактора. «Мама, мама...» — вздохнула Катя. Она помнила, как мать умирала. В последнюю уже минуту Катю пустили к ней в палату. Никого не пустили, а ей разрешили, и мать вот так же виновато, как на этой карточке с трактором, поглядела на нее и потухающим голосом произнесла: «Катенька... кровинушка моя... Ты батьку обихаживай... И детишек береги. Мишку с Коленькой и эту последнюю... Зоинькой назовите ее. Как-нибудь уже живите...»

«Живите...» Катя вспомнила, как мать произнесла это слово — уже бескровными, неповинующимися губами, голос ее не прозвучал, а так, еле слышно прошелестел и затих, она медленно закрыла измученные глаза и больше уж их не раскрывала.

Вспомнила — и еще раз вздохнула Катя...

* * *

Женился Данила Афанасьев в двадцатом еще, всего через две недели как увидел Аришку, худенькую, черноглазую девчушку в простиранной насквозь кофтенке и

рваной юбке. Тогда, в мае месяце, партизанский отряд Кузьмы Тихомилова, едва-едва не распущенный по домам, поскольку остатки колчаковских войск отогнали далеко в Забайкалье, неожиданно подняли по тревоге и двинули на Алтай — там загорелся какой-то антисоветский мятеж. Остаток мая и весь июнь однорукий Кузьма Тихомилов и его неизменный помощник Данила Афанасьев по горам и долинам гоняли белокулацкие банды. Однажды глухой ночью, когда выдохнувшийся от бесконечных погонь и боев отряд в мертвецком сне лежал в горной деревушке под Змеиногорском, Данилу кто-то стал дергать за сапог:

— Дяденька партизан... Проснись скорее!

— Кто? Что?! — вскочил Данила, выхватывая маузер. Он спал в пулеметной тачанке, поставленной на всякий случай среди улицы боком. Над горами только-только занимался рассвет, а улица, пролегавшая будто по дну ущелья, была еще темна. Во мраке Данила не сразу и различил стоящего у тачанки человека, а как увидел — схватил за шиворот, чтоб подтянуть к себе и разглядеть получше, но тут же и отдернул руку.— Баба что ль?! Чего надо?

— Ага, Аришка я,— услышал он в ответ лихорадочный шепот.— Я с хозяйской заимки прибегла. Они идут сюда, чтоб сонных вас побить...

— Кто идет? Откуда?

— Да вон, гляди!

В чернильной темноте дальнего конца улицы Данила разглядел крадущихся людей. Почему они пешие, и сколько их — раздумывать и считать было некогда. Лента в пулемет была заправлена им на всякий случай еще перед сном. Данила мгновенно развернул его, крикнул девчонке: «Дуй отсюда!» — и врезал очередью вдоль улицы. Однако вместо того, чтобы уйти, девчушка кошкой прыгнула на тачанку, затрясла Данилу за плечо:

— Дяденька... глянь назад!-

Данила, не переставая стрелять, повернул голову: по противоположному концу улицы мчалась на тачанку плотная куча конников с голыми шашками, лошади неслись, будто не касаясь земли — стука копыт не было слышно.

— Развернись! Разверни им навстречу! — взвизгнула Аришка, подхватывая патронную коробку, чтобы переставить ее на другую сторону.

— Ишь ты, раскомандовалась,— нашел даже время сказать Данила, торопливо разворачивая пулемет.

Натыкаясь на свинцовую струю, лошади стали падать и биться на земле, всадники валились с них тяжелыми мешками, шлепались в пыль, иные вскакивали и куда-то бежали, иные так и оставались лежать. Трупы лошадей и людей быстро завалили узкую улицу, об них спотыкались и падали все новые лошади, образовывая пробку, а Данила, яростно ощерясь, все стрелял в эту жуткую, кровавую кашу, осветившуюся загоревшимся вдруг каким-то домом, не обращая внимания на то, что делается позади него. Слыша вспыхнувшую вокруг стрельбу и беспорядочные взрывы гранат, он понимал, что разбуженные пулеметом партизаны деруться теперь с бандитами и сзади него и по всей деревушке. Он строчил, а девушка, не обращая внимания, что по плечу ее, смочив всю кофточку, течет кровь, подправляла и подправляла ленту...

Бой был короткий, но яростный, небо еще не разбелилось, как он кончился, в разных концах деревушки, когда стихла стрельба, что-то горело, в темном небе стояло несколько желтых зарев. Данила в течение всего боя так и не сошел с тачанки, а как все закончилось, он, не обращая внимания на суету полураздетых партизан, на крики и вой деревенских баб, перематывал тряпкой Аришкино плечо, вскользь задетое пулей, и спрашивал у нее:

— Ты это кто ж такая, а?

— Да здешняя, только из другой дерев-

ни родом. Верст за сорок отсюда. Мать померла. Отца на германской убили. А брата прошлогод колчаки.

— Откуда с пулеметом-то умеешь управляться?

— А я с братом в отряде тож была. В таком, как ваш.

— Во-он что!

— Ага... И пытки колчаков перенести пришлось. Как брата-то в бою убили... в том бою и меня живьем схватили. Ну, били так, что не приведи господь! И прикладами колотили и сапогами пинали. Расстрелять хотели, да какой-то усатый ихний офицер пожалел: спихните, говорит, ее в овраг, сама подохнет, а то пулю еще тратить. В том овраге-то и постреляли всех пленных.

А меня, значит, пожалели, живьем туда сбросили. Пролежала я меж мертвых до вечера, а по темноте уползла.

— Понятно...— сквозь стиснутые зубы выдавил Данила.

— Ну, сперва кой-как по добрым людям перебивалась. Как маленько выправилась — в работницы пошла. Жить-то как? Одна я осталась. Хозяину не сказала, что в партизанах была, разве б взял он меня тогда... На заимке-то у хозяина седни вечером и собрались все эти.— Она кивнула на валявшиеся вокруг тачанки трупы.— Копыта лошадям, договариваются, тряпками обвернем, чтоб не стукотали, подкрадемся неслышно с двух сторон. С одной пешие, с другой конные. Коней у них на всех не хватало. Перебьем, дескать, сонных, как курят. Я сразу сюды и кинулась... Долго бежала, заимка-то отсюда верст восемь.

Рана у Аришки была пустяковая, она ее не беспокоила, девушка не ощущала даже никакой боли и, рассказывая все это, улыбалась. Чтоб ее перевязать, Даниле пришлось разорвать окровавленный рукав кофточки, а потом и тесемку лифчика. При этом лифчик соскользнул, оголив небольшую остренькую грудь. Аришка воскликнула и быстро прикрыла грудь. «Да ладно уж»,— сказал он строго. А потом, обматывая худенькое ее плечо, стал невольно косить на ее грудь, которую она прикрывала кусочком разорванной кофточки, и почувствовал, как горячий жар наливается в голову.

Закончив перевязку, он накинул на нее свою кожаную куртку, лежавшую тут же в тачанке. Девушка нахмурилась, раздумывая о чем-то, и проговорила:

— Возьмите меня с собой в отряд... А то люди видят, что я вот здесь, хозяин меня за это изведет.

— Изведет? Мы вот спрос сперва наведем с него, что бандюков навел. Прощать, что ли, за то!

— Все равно возьмите,— попросила девушка.

— Ну, это как Тихомилов. Он командир,— хмуро ответил Данила.— Баб у нас в отряде никогда не бывало.

— А ты попроси его. Еду буду вам стрянать, стирать... Да мало ли чего! И стрелять могу, если надо. С нагана, с пулемета...

— Попроси...— еще раз буркнул Данила, глянул на нее исподлобья и вовсе вдруг смешался.

Только что была смертельная опасность, шел смертельный бой, и Данила, привычно делая то, что следовало в такие минуты делать, был собран, энергичен и ловок, и, перевязывая потом окровавленное плечо девушки, он нисколько не смущался поначалу, потому что и это было привычно, а теперь почувствовал себя неуклюжим, неловким, какая-то сила сковала и язык и движения, он не знал, куда деть свои руки с большими, заскорузлыми ладонями, с въевшимися в них навечно металлом от железной рукоятки шашки, пороховой гарью, конским потом. Да и не только руки, весь он, наверное, пропах этими запахами да еще кровью, которой видел в свои небольшие в общем-то годы немало. Вот какой запах от него идет, а эта девчушка черноглазая не морщится даже, сдерживает, ишь, себя...

К тачанке подскакал Кузьма Тихомилов, единственной рукой оперся о седло, спрыгнул на землю. При этом пустой рукав его кожаной куртки мотнулся, описав круг.

— Как же они, сволочи, дозорных-то сняли?! — шумно выдохнул Тихомилов.— Заснули, что ли?

— Теперь вот гадай — как? — проговорил Данила.— Перед самой зарей я еще проверил посты — вроде все было нормально.

— Нормально, нормально...— буркнул Тихомилов.— А это с кем ты тут? Пого-оды! С бабой, значит, прохлаждался?!

— Какая ж баба?! Не видишь — девчушка. Она и предупредила. Растолкала меня вовремя. А то бы... Ранило вот ее.

— Во-он оно что! — сбавил тон командир отряда.

Через неделю ранка на плече девушки затянулась без следа, а через две она стала женой Афанасьева. Кузьма Тихомилов, узнав, какую роль сыграла Аришка в разгроме бандитских налетчиков, не только разрешил ей остаться при отряде, но поручил Даниле лично следить за излечением ее раны. Может, так, просто от доброты поручил, а может, по какой другой причине. Во всяком случае, тем же утром, когда брызнул солнечный свет и при этом свете Тихомилов увидел, как Аришка, взглянув на Данилу, смущенно и растерянно опустила вниз глаза, командир отряда, отведя своего помощника в сторону и погладив обрубленное свое плечо, проговорил:

— Ей-богу, на Татьяну она мою чем-то похожая.

— Вот уж, дядь Кузьма, не сказал бы,— возразил Данила.

— Ну, много ты понимаешь, дурак! — вспыхнул командир.— Чтоб лично мне следил, как рана ее заживает!

Как бы там ни было, Данила выполнял приказание, а через два-три дня понял, что делал бы это и помимо воли командира. Была Аришка вроде и не очень красивой, но из глаз ее лился такой теплый и доверчивый свет, что у Данилы в груди больно и сладко постукивало.

В этой деревушке отряд Тихомилова простоял еще пятеро суток, а на шестые рано утром командир поднял его выстрелами из нагана:

— Хозвзводу тут стоять! И ты тут с ними оставайся! — крикнул он почему-то Аришке, выскочившей из избы, где она ночевала.— Мы скоро...

Рванув коня, он поскакал вдоль улицы, за ним остальные, девушка лишь увидела, как мелькнул вороной жеребец Данилы да сверкнули его зубы: обернувшись на бешеном скаку, он что-то прокричал ей, но что — она не расслышала, голос сквозь громкую дробь множества копыт не пробился.

Вернулся отряд нескоро, только на другой день к вечеру. Пыльные, усталые, окровавленные партизаны втягивались в деревню на измотанных лошадях гуськом, на некоторых были перекинуты тела погибших.

— А Данила как? Господи, Афанасьев-то Данила живой?! — металась Аришка от всадника к всаднику, растрепанная, обезумевшая. Ей никто не отвечал, только один бородатый партизан сердито сказал:

— Радуйся, живой покуда.

Данилу она увидела шагающим сбоку телеги. Он был мрачен, вел в поводу своего коня. На телеге, без фуражки, с закрытыми глазами, лежал Тихомилов.

— Данилушка! — Она подбежала к телеге. Не решаясь прикоснуться к Афанасьеву, глотая слезы, выдавила из себя:— А дядя Тихомилов... Он убитый? Убитый?!

Тихомилов открыл глаза, улыбнулся:

— Живой я. Черта с два меня убьешь. Живо-ой! Мякоть ноги вот пробило. Ерунда... Через недельку бегать буду.

Дотемна Данила Афанасьев возился с командиром, помогал промывать рану, укладывал на ночь. Потом распорядился по устройству отряда на отдых, о завтрашних похоронах погибших, отряжал дозорных... Уж далеко за полночь, измотанный и мрачный, появился в избенке, где жила все эти дни Аришка у какой-то старухи.

Едва он брякнул шашкой на крыльце, она распахнула дверь перед ним.

— Ты не спишь, гляжу. Иду, а в окне огонь...

— Какой сон, какой тут сон! — воскликнула она.— Проходи.

— Ну, я только тебя проведать... Пойду, прикорну где-нибудь.

— Еще чего! Ложись вон на кровать. Хозяйка в завозне эти дни спит. Голодный ведь, поди? У меня каша есть и молоко.

— Каша? Я и вправду бы поел...

Ужинал он молча, девушка тихо и неслышно сидела на другом конце стола, молча глядела и глядела на него, из глаз ее лился тот теплый, материнский свет, который всегда смущал Данилу, но на этот раз он ничего не чувствовал, ничего не замечал.

Поев, он устало разогнулся и встал. Она метнулась к кровати, откинула одеяло, взбила подушку. Данила опустился на постель, стянул грязные сапоги, скинул вонючие портянки, задвинул ногой под кровать.

— Давай сюда, я постираю, почищу.

— Жена ты, что ли, мне?

— Так что ж, что не жена? Не привычная разве? И гимнастерку со штанами давай. Печку счас растоплю и к утру высушу. А то пропотел весь. Снимай, а я выйду.

Она скользнула за дверь, Данила посидел в раздумье, снял верхнюю одежду, бросил на стул и лег под лоскутное одеяло.

Через некоторое время Аришка скрипнула дверью, вошла, взяла гимнастерку со штанами, подошла к висячей лампе и дунула.

— Спи покуда,— сказала из мрака и пошла.

— Ариш... побудь со мной.

Она у дверей остановилась, постояла, потом шаги стали приближаться к кровати и замерли. Данила лежал с закрытыми глазами, боясь их разомкнуть.

— Это рубка была — жутко вспомнить,— произнес он, так и не открыв глаз.— Бандиты вчерась ночью на сельцо Петрушиху налетели, начали тама людей палить. Утром-то вчерась и прискакал оттуда мужик — помогите, мол. Ну, Тихомилов и повел отряд. Бандюков мы живо выперли, половину порубили, остальные в горы ускакали. Переночевали мы тама, четверых своих утром похоронили, назад, сюда было направились. А тут... только мы в котловину какую-то въехали, и налетели на нас уцелевшие бандюги с какой-то подмогой. И началось... ровно вода в этой котловине закипела.

— Да я знаю... мужики рассказывали,— прошептала Аришка. Шепот ее был совсем близко, над самым ухом, Данила ощутил ее дыхание на своем лице и с удивлением открыл глаза. В полумраке он увидел, что Аришка стоит у кровати на коленях, а на плечах ее, на гладко зачесанных волосах поблескивает неяркий лунный свет.— Как еще ты-то... ты-то живой остался! — всхлипнула она и уронила ему на грудь тяжелую и горячую голову.

— Остался вот...— Он положил ладонь на ее голову и стал поглаживать.— А дядь Кузьму опять ранило. Ровно мало ему... ровно проклятье какое над ним! Не могло меня-то вместо него!

— Господь с тобой! Очнися! — тотчас оторвала девушка от его груди голову.— Чего городишь? Чего ты... желаешь?!

Какое-то время они помолчали, потом Данила прерывисто вздохнул, вытер ладонью повлажневшие ресницы:

— Жалко мне его, Ариш...

— Кому ж не жалко? И мне тоже...

— Твоя-то ранка как?

— Зажила-а! Вот глянь,..— Она схватила его руку, сунула на свое плечо.— Рубчик только остался.

Тело ее было горячее, никакого рубчика на ее плече сквозь тонкий ситчик он не чувствовал, может, потому, что рука его задеревенела от рукояток шашек да наганов, или оттого, возможно, что пальцы и всю ладонь обжигало девичье тепло. Подрагивающей рукой он скользнул по ее открытой шее, по затылку, стал пригибать к себе ее голову. Аришка покорно поддалась, он поцеловал ее сперва в пылающую щеку, нашел ее губы.

А потом почувствовал, как на его лицо капают обжигающие капли. И зашептал, все крепче прижимая ее голову к груди:

— Дурешка ты махонькая. Ложися ко мне... Иди скорей! А утром я объявлю, что поженились, мол, мы. Ну, аль не согласная?

Но тут девушка, преодолевая его сопротивление, подняла голову. С колен она не встала, только сняла со своего затылка его ладонь, взяла ее в обе руки, уткнулась в эту загрубевшую ладонь мокрым лицом.

— Я с первого дня согласная, Данилушка,— прошептала она.— Только... грех до свадьбы-то. Скотина, что ли, я какая... и ты...

Она поднялась, взяла со стула его гимнастерку и брюки. И прижимая к худенькой

груди эту грязную одежду, проговорила голосом, переполненным волнением и какой-то детской, а оттого чистой радостью:

— Коли ты возьмешь меня... я тебе со счастьем детей рожать буду. Господи!

И с этим возгласом выбежала из комнаты.

Уснул или не уснул в эту ночь Данила Афанасьев, он и сам не понял. А утром пришел к командиру отряда и сказал:

— Порешил я жениться, дядь Кузьма. На Аришке.

Кузьма Тихомилов сидел на кровати, отвалившись на подложенные под спину подушки в пестрых наволочках, пил чай из толстой фаянсовой кружки. Забинтованная нога его лежала поверх одеяла.

Командир отряда поглядел на свежевыглаженную гимнастерку Данилы, на вычищенные и даже смазанные дегтем сапоги, грубовато сказал, дуя в чашку:

— А я тебе что говорил, балда? Давай, вот как нога моя ходить станет, свадьбу сделаем по-партизански. Через недельку, я рассчитываю.

— Да разве за неделю пройдет рана?!

— Ну! — прикрикнул Тихомилов.— Чего тянуть-то?!

Свадьбу отвели в один вечер, в той же избе, где ночевал неделю назад Данила — благо после боя близ сельца Петрушихи о новых бандитах слухов никаких не доходило. Попели, поплясали мужики, командир отряда пришел на свадьбу с костылем, но на своих ногах, за столом сидел счастливый и несколько раз в каких-то чувствах шептал Даниле: «Теперь-то видишь, что на Татьяну она мою похожая? Я сразу почуял. Характером-то, а?» «Ну да, ну да»,— согласно кивал Данила, хотя никак не мог уловить в Аришке чего-нибудь общего с погибшей женой Тихомилова. Ему нравилась Аришкина чистота и застенчивость, ее добрые и верные глаза, он слышал сладкий запах ее тела — и был от всего этого словно в пустом пространстве, легко и радостно плыл куда-то.

Через день или другой после свадьбы пришли известия, что антисоветский мятеж на Алтае стал затухать, а вскоре и вообще прибыло распоряжение отряду Тихомилова прибыть в Змеиногорск, оттуда отправили его в свою волость, где и расформировали, распустили бойцов по домам.

Кузьма Тихомилов остался работать в волости. Данила Афанасьев с молодой женой вернулся в Романовку, через положенное время она родила Катю. «Со счастьем рожать буду»,— сказала когда-то Аришка, так оно и было, ребенка она носила в себе, без меры счастливая. Только роды дались ей сильно тяжко, и она, измученная и обессиленная, лежа на кровати, проговорила слабеньким, виноватым голосом:

— Видно, тогда колчаки что-то повредили во мне. До родов-то я ей-богу ничего не чуяла... никакой неисправности в себе. Ты уж прости меня.

— Что ты, что ты!—возразил Данила.— Какая твоя вина тут?

— Ну как же, чуть не померла. Каково бы тебе с дитем одному-то?

— Да все же слава богу!

— Не-ет, Данилушка, не все,— измученные глаза ее переполнились слезами.— Чую, боле не родить мне.

— Да и что ж,— успокаивал он жену.— Есть одна дочурка, и ладно.

— Не ладно,— опять возразила она.— Баба ж я... И обещала тебе детишек нарожать.— И она по-детски заплакала.—А тут, выходит, обманула...

Этим разговором открылась Аришка ему еще одной новой гранью. Данила и раньше души в ней не чаял, а теперь и вовсе стал оберегать да лелеять не по-деревенски. Сперва дивовались мужики, что в дождь или слякоть, а то просто вечером, когда с работы возвращались, посадит Данила жену на ладошку, да так и пронесет через всю Романовку. А она, маленькая и тоненькая, как девчонка, обхватит его шею, прижмется к нему у всех на виду, счастливая... Удивлялись, а потом привыкли.

Продолжение следует.

В Р А Ж Д А

Анатолий ИВАНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

* * *

Кузьма Тихомилов скончался в двадцать девятом, двенадцатого декабря, всего сорока трех лет от роду. Умирал он от прошлых огневых своих и шашечных ран долго, целый месяц, а за несколько дней до кончины призвал к себе Данилу Афанасьева и сына Степку, рослого, под девятнадцать лет уже парня, попросил похоронить его в могилке своей жены, убитой когда-то Сасонием Пилюгиным, а потом, тяжко дыша, говорил им:

— Вы мне обои дети. Ты, Данила, мужик, Степка, хоть в года и входит, да еще глазу требует. Когда-то я тебя на укреп взял, теперь ты позаботься об Степке. И доучи его в школе-то, последний же год он ходит.

— Какой разговор, дядь Кузьма!

— А ты, Степан, слушайся его, как отца... А про тебя, Данила, я скажу людям, чтоб председателем поставили. Грамоты у тебя большой нету, да ведь и я не шибко грамотей. Читать-писать умеешь — и хватит. Силищи в тебе невпроворот, повезешь, ничего. Жену-то все на одной ладошке носишь?

— Да чего там носить-то? — смущался Данила.— Она как перышко.

После смерти Кузьмы Тихомилова люди избрали Данилу Афанасьева председателем романовского колхоза беспрекословно. Степан остаток зимы и весну, заканчивая школу, пробыл в Березовке, а вернувшись потом в Романовку, на жительство к Афанасьевым, несмотря на настойчивые их уговоры, не пошел.

— Ну кто же тебе варить-стирать будет? Как ты один-то в доме? — спрашивала Арина.

— Отец же велел тебе покуда при нашей семье жить,— неоднократно напоминал сам Данила.

Степан, длинный, как хворостина, отвечал:

— Отцу все казалось, что я маленький. А я вон головой матицу достаю. А сварить, постирать — что у меня, рук нету?

Вернувшись из Березовки, Степан первым делом подправил могилку отца, вытесал и поставил на ней новый крест, обнес деревянной оградой.

Умирая, Кузьма Тихомилов велел Даниле Афанасьеву обсадить деревьями голое кладбище, лежавшее в ложбинке меж двух холмов на виду у деревни. «А то неуютно лежать-то людям. Ты тополями обсади, они скоро вырастут»,— сказал он. Данила выполнил его просьбу: весной на кладбище было высажено больше сотни молодых тополька. Принялись они почти все, только некоторые сильно покривило ветром. Степан Тихомилов забил возле каждого деревца по крепкому колу, подвязал к ним гибкие стволики.

Покончив со всей этой работой, он принялся приводить в порядок пустовавший свой дом: печь заново глиной обмазал, стены побелил, полы кой-где перестелил, ставни покрасил.

— Никак, хоромы-то для молодухи готовишь? — любопытствовали бабенки.— Жениться, что ль, задумал?

— Жениться, бабы, не вопрос,— шутливо отвечал он, не прекращая работы.— Да вот кабы кто научил, как ребятишек завесть.

Данила снова предлагал ему свою помощь в ремонте дома, но он решительно отказывался. А приведя жилье в порядок, попросился у Афанасьева в пастухи.

— А поважней за что не взялся бы? — спросил Афанасьев.— Вон надо молотильный ток с амбарами строить.

— Так в колхозе поважней пастуха есть ли должность? Как попасешь, так и надоишь. А молокопоставки нам не маленькие...

В таких словах никакой шутливости уже не было, и Данила, поразмыслив, признал правоту за Степаном.

Через два дня тот принял колхозное стадо. Колхоз был небольшой, а стадо на одного не так уж и малое, несколько десятков коров, телят да овечек, всего за сотню голов переваливало, глаз за разномастным табуном должен быть да быть, в ключах и волчьи выводки жили, а с алтайских гор, бывало, и медведи в холмы захаживали. Для пастуха выделили ружье и лошадь, каждое утро теперь, когда солнце еще было далеко за землей, Тихомилов, пощелкивая длинным кнутом, угонял скотину в холмы.

Через неделю или две ходившие за ягодами в Летний ключ бабенки принесли чудную весть: скотина ходит по буеракам безо всякого пригляда, Степка, укрывшись от зноя в кустах, наяривает в гармонику, а какая-то бесстыжая девка, гибкая, как змея, выплясывает перед ним.

Сам Степан эти загулявшие по Романовке слухи не опровергал, только загадочно посмеивался, а когда мужики напрямик обращались к нему за разъяснением, в обычной своей шутливой манере говорил:

— Про гармонику бабы выдумали, про девку тоже. Остальное все правда.

— А чего остального-то?

— Да что коровы по буеракам бродят. Где ж им еще пастись?

А сам хитро улыбался, из шальных глаз будто лучи брызгали. Улыбка его озадачивала еще больше, в конце концов даже сам Данила Афанасьев спросил:

— Ты что народ баламутишь?

— Как это?

— Да вон разговоры про тебя плетутся. Про девку какую-то, которая пляшет.

— А у меня, как я заиграю, и овечки хоровод заводят, а коровы в «камаринскую» пускаются, аж земля гудит.

— Какой-то ты, Степаха, несерьезный будто.

— Ну! — Смешинки в его глазах пропадали, он делался сухим и колючим.— Овечки, может, отощали? Удои понизились?

Все как раз обстояло наоборот: овцы были гладкие, телята хорошо прибавляли в весе, удои стали выше прежнего.

— Я, дядь Данила, играть на гармони не умею. Оно бы хорошо, конечно, научиться...

Так он ответил тогда председателю, а зимой, через два месяца после Нового года, когда председатель радостно праздновал рождение сына Михаила, Степан зашел в его дом с сильно оттопыренной полой полушубка. И когда скинул полушубок, все увидели на его плече блестящую перламутром трехрядку.

Люди за столом удивленно замолкли, а Степан, поблескивая глазами, сел на скамеечку у порога, положил гармошку на колени.

— Ну-ка, оцените...

И ударил ту самую «камаринскую», о которой говорил председателю летом. Играл он чисто, гармошка пела и переливалась, поблескивали пуговки ладов. Гости Афанасьева, забыв на время о хозяине, хозяйке и их радости, ошарашенно смотрели на Степана Тихомилова. И десятилетняя дочь Афанасьевых Катя, свесив с печки головенку, во все глаза глядела на новоявленного гармониста.

А потом бабы и мужики кинулись плясать, прогибая половицы, выкрикивать деревенские частушки. Степка все играл и играл без передыха, кто-то его обнимал, подносил водку с закуской, он выпивал и опять играл. Кругом галдели:

— Свой гармонист теперь в Романовке!

— Теперь и жить и помирать будем с музыкой.

— Значит, бабы-то ягодницы правду тогда говорили!

— Гармоня есть, объявится и тая танцорка...

Когда Степан, утомленный долгой игрой, сидел вместе со всеми за столом, председатель упрекнул его:

— Говорил — не умею, а?

— Так я ж и говорил: хорошо б научиться. А тогда так, пиликал. Купил гармонь, да на слух все лады потихоньку и освоил.

— Хитрец.

— Хитрец-то, дядь Данила, чужой песне подыграть старается. А я свою пою,— возразил Степан.

— Ну! Какая ж она, твоя песня? Что-то я вот, признаться, никак понять того не могу...

— Не беспокойся, дядь Данила. Человечья...

И он, весело подмигнув свесившейся с печки Катерине, отчего она мгновенно юркнула куда-то в темную глубь, будто ветром ее слизнуло, снова потянулся за гармошкой.

Целых десять лет семейство Афанасьевых не увеличивалось, сам Данила, помня о здоровье жены, вроде бы даже был таким обстоятельством доволен, но Арина молча и тяжко переживала. И когда почуяла наконец в себе новую жизнь, облегченно заплакала.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—40.

— Да, это славно, Аришка... Только нельзя тебе родить-то. Катькой вон чуть богу душу не отдала. А снова рисковать не стоит.

— Я не рисковать, а рожать буду,— упрямо заявила она и, несмотря на отговоры мужа, на своем настояла. Но роды, к великой радости обоих, получились намного легче прежних, оба думали, что бывшие колчаковские побои, видно, больше сказываться не будут, и находились от счастья на седьмом небе. Еще через пять лет родился Колька, снова обошлось все более или менее благополучно. А при рождении Зойки и произошла трагедия, таившаяся внутри у Арины с далекого девятнадцатого года. Произошла через два десятка лет, в ту пору, когда жизнь неузнаваемо переменилась и наладилась, когда только бы жить да радоваться на белый свет. К тридцать девятому году небольшой романовский колхоз хорошо стал на ноги, и хотя ни электричества, ни радио сюда еще не дотянули из-за дальнего расстояния от крупных сел, песни над деревушкой звучали каждый день, патефонные коробки были у многих, завелись и гармонисты, помимо давно обженившегося Степана Тихомилова. Но главное, в сусеках колхозников бывало достаточно зерна, во дворах — у каждого корова, полдюжины овец, обязательно свиноматка с хряком, а уж о всякой птице и говорить нечего — гусей, уток и кур каждый держал сколько хотел. И хотя сельхозналоги — мясные, молочные, яичные, шерстяные и прочие, говоря по совести, были немалые, но и для себя еще оставалось достаточно. Однако после смерти жены для Данилы Афанасьева свет потух.

В тот год, как померла Арина, за месяц до ее кончины, у Степана Тихомилова родился третий уже ребенок — Донька. Жену Степан привез из той самой деревни Березовки, где учился когда-то в школе, звали ее Ксения, была она девкой рослой и стройной, характером общительная и веселая, как сам Тихомилов. И еще, на счастье, оказалась она бабой молочной, хватало у нее молока и для своей девочки и для осиротевшей дочери Данилы Зойки. Катя по нескольку раз в день носила Зойку к Тихомиловым, а вечером Ксения сцеживала молоко в кружку, Катя переливала его в бутылку и ночью кормила свою сестренку через соску.

— Катя-Катенька ты моя, как бы я без тебя-то теперь? — не раз вырывалось у отца. За много недель после смерти жены это были чуть ли не единственные слова, которые он время от времени только и произносил. А так целыми днями молчал, к работе сделался равнодушным, ночами, кажется, никогда не спал. Всякий раз, встав к ребенку и засветив лампу, Катя видела, что отец лежит на спине и уныло смотрит в потолок.

— Ну, чего ты, пап? — подходила она не раз к его кровати.— Мама ушла от нас с надеждой, что всех детей подымем. Да и что ж — голые-голодные не ходим. Ничего, пап... Ты поспи.

Он только молча и благодарно гладил руки дочери.

Степан Тихомилов отвечал в артели за все животноводство, а тем летом вообще взял на себя колхозные дела полностью. Когда-то Данила Афанасьев был во всем верным помощником его отцу, Кузьме Тихомилову, теперь таким же помощником Даниле стал давным-давно Степан. И с сенокосом вовремя справились и рожь скосили в положенный срок, а там принялись за ячмень, за овес, за пшеницу...

...Поздним сентябрьским днем, когда на землю падал холодный сумрак, Данила Афанасьев и Степан Тихомилов возвращались в одном ходке с дальних пашен. Председатель колхоза был по-прежнему молчалив, он угрюмо, без всякой радости оглядывал свершенную уже извечную крестьянскую работу — убранные поля и луга, стога сена и хлебные скирды, отбрасывающие длинные черные тени, довольно обширные площади поднятой зяби.

— Хватит, дядя Данила, мучиться-то. Что ж поделаешь, коли так случилось,— проговорил негромко Степан.— Жизнь, какая бы нам судьба ни выпадала, не кончается.

— Оно, разве я не понимаю, что хватит... Любил я ее, Степан, без памяти. А теперь что мне осталось?

— Что осталось...— шевельнув крутой бровью, повторил Степан.— Немало она тебе радости оставила. На век хватит. Вон сколь детей-то! Катерина у тебя одна — прямо золото.

— Катька... Она, Степушка, дороже всякого золота. Материна у ней душа. Не хотела она нынче в школу ехать, кто, мол, с Зойкой-то будет? А ведь последний, десятый класс, ты, говорю, в уме, бабку Андрониху попрошу.

— Это правильно, что отправил ее. Пущай доучится.

Едва приметный проселок, покрытый ржавой, давно высохшей травкой, вилял меж невысоких сопок, сейчас черных и унылых. Лишь по весне сопки эти покрывались редкой зеленью, до середины июля по склонам их еще пасли скотину, а затем и без того скудная растительность выгорала в прах, каменистая земля покрывалась горячим пеплом, из которого торчали одни полынные метелки, меж полынных стеблей шныряли мелкие ящерицы.

Потом проселок вынырнул в лощину, полого опускающуюся к деревне, потек мимо деревенского погоста.

— Остановись-ка,— проговорил председатель.

Степан натянул вожжи. Данила сошел с ходка, прошел под густо разросшиеся кладбищенские деревья, к могиле жены. Холмик порос за лето невысоким полынком, вокруг оградки кой-где пробились лопухи, сейчас уже пожухлые. Данила повыдергал полынь, обломал сухие стебли лопухов.

То же самое сделал и Степан на могиле своего отца с матерью, потом подошел к председателю, который стоял на том же месте, только повернувшись к расположенной рядом могиле своих родителей. Похоронены они были друг возле друга, могильные холмики давным-давно исчезли, на ровном месте стояли склонившиеся один к другому два небольших деревянных креста, почерневших от дождя и солнца. Нынче весной, укладывая рядом в землю свою Аришку, Данила подправил подгнившие кресты на могиле родителей, а они опять наклонились так же.

— Ровно друг к дружке тянутся,— проговорил Данила.

Внизу лежала Романовка, отсюда, с кладбища, деревушка была видна как на ладони, до последнего домишка. Многие хозяйки топили уже печи, вечер ложился безветренный, дым из труб поднимался высоко и бесследно таял в беспредельном осеннем небе над землей.

— Родители мои были немолодые уж, Степан,— кивнул на кресты Данила.— Да не своей смертью померли. Матерь мою Федотья Пилюгина сгубила. За утенка. Знаешь?

— Да что-то такое слыхал от людей.

— У Пилюгиных они в работниках жили, на мельнице. Твои и мои родители. Федотья та и спихнула в пруд однажды мою мать. Не устерегла, мол, утенка, которого щука утащила. А старуху заволокло на мельничное колесо и бросило вниз, разбило. Я все сам видал, своими глазами... А там с такого горя и отец мой скончался.

Данила Афанасьев постоял у могил недвижимо еще минуты две, простоволосый, пыльную фуражку держал в опущенной руке так, будто она была с пуд весом и гнула его к земле. А потом разомкнул губы в горькой усмешке:

— Я что это вспомнил... сын той Федотьи Пилюгиной, Артемка, письмо мне прислал.

— Письмо?! — удивился Степан.— Это с чего же?

— В Романовку просится. Вместе с семьей.

— Во-он чего! — протянул холодно Степан.

— Где-то они в северных краях живут, под Норильском, что ли.

— Как они там оказались-то?

— Старик Ловыгин, отец Федотьи, их туда увез... Правильно рассчитал, старый лис, все равно бы потом выслали. Так он сам. Там и помер. Артемка этот женатый. За родителей я, говорит, не в ответе, вы друг с дружкой посчитались, а я при чем? А тем больше мои дети. Двое их у него.

— А сама Федотья? Живая?

— Живая, пишет. Всего пять человек, значит. Вот, надо решать.

Данила медленно натянул фуражку и пошел к ходку. Но прежде чем тронуться, оба еще помедлили, потоптались молча на пыльном проселке.

— А может, дядь Данила, ничего не надо решать? — проговорил Степан.— Зачем они нам тут?

— Да у меня тоже сердце не лежит. А с другой стороны — не за утенка же мы друг с дружкой считались.

— Так тем больше! — воскликнул Степан.— Вон какая вражда была.

— Была,— кивнул Афанасьев.— А вот Артемий правильно вопрос задает: дети-то при чем?

— Дети — конечно,— согласился Степан.— А бабка Федотья до конца с нами не примирится.

— Ну, время всех утихомиривает,— кивнул председатель на кладбище.— Сколько ей жить-то осталось?

Но Данила Афанасьев ошибся. Бабка Федотья, дочь Ловыгина, жена Сасония Пилюгина и мать Артемия, прожила еще долго, сея вокруг себя ненависть и смерть...

* * *

Став неожиданно председателем колхоза, Катя Афанасьева почувствовала себя еще более беспомощной и растерянной. Раньше она делала то, что ей поручали,— крутила веялки на токах, косила травы, ухаживала за овечками. А теперь, затемно приготовив кой-чего ребятишкам, шла в ободранную контору. Но чем там заниматься — не знала. Счетоводиха Мария молча и уныло щелкала счетами, и именно этот неживой звук костяшек еще больше сдавливал ей сердце, она начинала плакать и убегала в слезах на овцеферму, до вечера занималась там привычными делами.

— Что ты все брякаешь ими! — выкрикнула она на третье или на четвертое утро.— Что ты все считаешь-то?

— А ты, дура, что ревешь-то? — в свою очередь, спросила Мария.

Грубый вопрос не оскорбил Катю, она расслышала в нем сочувствие, уловила что-то дружеское. И, прижавшись к дверному косяку, еще пуще заплакала.

— Что ж они сделали со мной! Что сделали? Какой с меня председатель?

— Такой и председатель.

— Да ведь надо что-то делать. А я не знаю, с чего и начать.

— С того и начать,— опять односложно и сердито ответила Мария.— Вот давай сперва контору побелим. Выскоблим отсюдова дух пилюгинский. А то, гляжу, заходишь, а в нос-то его вонь тебе и бьет!

— Правда, давай,— обрадовалась Катя.— А только с овечками-то как?

— А назначь кого к овечкам. Тебе-то зачем теперь самой? Теперь у тебя другие дела будут.

— Да кого ж назначить?

— Кого, кого... Хотя бы вон Лидию Пилюгину.

— Ты что?! — испугалась искренне Катя.— Да ведь что они обо мне тогда подумают?

— Кто они-то?

— Да бабка хотя бы Федотья.

— А что тебе Федотья! Ты на нее не смотри. Ты теперь за весь колхоз наш горемычный в ответе. Вот за него и отвечай. А Лидия, я кумекаю, ничего бабенка. Затырканная только. Вот я сейчас ее и позову.

— Постой, постой...— вскричала ей вслед Катя, но та или не расслышала, или не захотела больше с ней спорить.

Лидия пришла скоро, через полчаса. Зайдя в тесную, в два оконца всего комна-

тушку, она оглядела бывший кабинет своего мужа так, будто сроду тут и не бывала, и произнесла:

— Ну-к, что?

— Хочу я попросить тебя, Лидия, на овцеферме... вместо меня теперь.

Она произнесла это и сразу же поняла, что последние три слова говорить бы не надо, они неприятно царапнули жену Пилюгина — у той чуть дрогнули ресницы, длинные и красивые.

— Ладно,— сказала она.— Прямо счас, что ли?

— Да они, поди, уж с голоду изревелись. Соломы им хоть с крыши надергай.

— Ага, ладно,— произнесла Лидия и вышла.

А Катя и счетоводиха принялись за дело. Мария притащила из дома несколько комков негашеной извести и две рогожные кисти, Катя тем временем натаскала воды. Известь они загасили в большом старом ведре, стол и стулья выставили на улицу и начали промывать закопченные с довоенного еще времени табачным дымом стены и потолок. День был солнечный и теплый, в открытые окна тек пахучий апрельский воздух, тут же сушил пробеленные участки. Помещение преображалось, становилось светлее, потолок будто поднимался. Улучшалось и настроение Кати, и, закончив побелку на первый ряд, она, забрызганная известью, обвела взглядом кабинет, удивилась:

— Ты гляди-ка!

— А ты думала,— с улыбкой кивнула Мария.— Счас вот еще разок пробелим, да окна промоем, да пол выскоблим — и что твои палаты! Слава богу, теперь табачищем коптить некому. А там как-нибудь пол покрасим, оконные рамы...

— Ага, все сделаем!— по-детски воскликнула Катя.— Отец приедет и не узнает свой кабинет...— И тут же сникла: — Только вот третий месяц письма от него не приходят.

— Ну... ждать надо,— произнесла Мария, не глядя на Катю, не в силах поднять на нее глаза.

— Ждать... Я и жду, чем еще жить-то.

И она, бросив кисть, заплакала, прислонившись к влажной еще стене.

— Опять реветь, дура...— Мария подошла к ней, оторвала от стены, неловко прижала к себе.— Ну что ты... будет. Ничего. Что поделаешь? Ждать надо покудова...

Мария говорила все это сбивчиво, через силу, язык ей не повиновался. Катя уткнулась ей в забрызганное известью плечо, а Мария вздрагивающей рукой гладила ее по худой спине. Потом в сердцах отстранила ее от себя, властно и сурово бросила:

— Бери кисть!

Перемена в Марии была настолько неожиданной, что Катя, перестав плакать, с изумлением поглядела на нее.

— Расхлюпалась тут. На нее колхоз доверили, а она... Отец-то вот приедет, так похвалит?

Катя поморгала мокрыми ресницами, вытерла их белыми от извести пальцами.

— У кого счас горя нету? — продолжала счетоводиха.— У меня вон тоже мужика убили, у других. У каждого горя — сколь воды в море, до самых ноздрей плещется. Так что не у тебя одной.

Мария говорила все это зло и отрывисто, хлестала Катю словами без жалости. А та, забрызганная известью, стояла посреди пустого и гулкого кабинета, сжалась, как от холода, хотя через открытое окно тек в помещение теплый солнечный свет. Там, за окном, радуясь этому, уже по-настоящему весеннему теплу, ошалело кричали воробьи — извечные спутники людей и в бедах и в радостях, но Катя птичьих голосов не слышала, в ушах ее стоял какой-то больной звон.

— Что ты на меня орешь-то? — спросила она с обидой.

— Я не ору, а говорю.— Мария с раздражением ткнула кистью в ведерко, сделала несколько резких взмахов вверх и вниз по стене и снова обернулась: — И дальше горюшка-то не убудет, не надейся! А жить все одно как-то придется. Так что, Катюшка, надо стиснуть зубы да жить. Это простое дело и привычное — похныкать да поплакать. А в людях-то вот как раз и говорится: прохныкаешь до вечера, а вечером и вовсе жрать будет нечего.

Мария снова принялась за побелку, а Катя подошла к окну, плохо видящими глазами стала глядеть на заснеженные еще увалы, верхушки которых только-только зачернелись. Теперь снег начнет с увалов сползать все ниже и ниже, оголенные участки будут быстро прогреваться солнцем,

черные сперва от влаги, они через день-другой подсохнут, прогреются, каменистая почва станет белесой, а потом зазеленеет. Учуяв запах травы, ошалело заревут оголодавшие за зиму коровенки, но выгонять их на увалы еще несколько дней будет нельзя — по подножию холмов обычно чуть не до самого конца апреля лежат вязкие, набрякшие водой снега, скотина, проваливаясь по брюхо, переломает ноги.

Но обо всем этом Катя не думала. Думала она о последних словах счетоводихи, в которых вдруг неясно почувствовала жестокую, но необходимую ей правду.

До конца работы они ни о чем больше и не говорили, молча добелили, окатили окна водой, протерли стекла, вымыли пол, убрали кисти и ведра с остатками извести.

— Вот, завтра и приходи в новую свою контору. Веселей будет,— сказала на прощание Мария, и они разошлись.

Домой Катя брела вовсе не усталая, какая-то опустошенная, легкая. «Веселей будет...» Не веселей, а, конечно, хорошо, что побелили, думала она с благодарностью за что-то к Марии. Только вот завтрашний день с чего начать?

Подходя к дому, Катя заметила, что из трубы вьется дымок — значит, детишки затопили печь. Захар, как самый старший теперь, приставил к огню чугунок картошки и чугунок с водой для чая, который они заваривали то листьями брусники, то зверобоем, то поджаренными до черноты тыквенными корками, потому что настоящего чая давным-давно не было, как и пахнет забыли. Глядя на дымок, улыбнулась: славные у нее ребятишки, послушливые, всю домашность, какая по силам, без всяких напоминаний делают. Конечно, при Мишке все было куда как легче, теперь без мужской руки дом, когда-то девятилетний Захар дотянется до Мишухи.

При мысли о своем меньшем братишке, который мыкается уж какую неделю в неволе, она прихмурилась, в горло полез тяжкий комок. А потом на сердце стало еще тревожнее, вспомнила Катя, что месячные вовремя что-то не наступили, полтора срока прошло, а их все нету. Ну да это, видно, так, и раньше такое бывало, от всяких переживаний, наверное, или от тяжкой работы, от голодного питания, кто знает. Но раньше она была спокойна, а сейчас-то...

Вдруг ее кто-то резко дернул за локоть.

— С-су-учка! — услышала она скрипучий свист и, прежде чем различить, кто это перед ней, по хрипящему голосу узнала Федотью. Та стояла, согнувшись, опираясь обеими руками на костыль. Из-под толстой шали на голове ее виднелся пестрый платок, которым была туго повязана маленькая головка, из-под платка свисали две пряди седых волос, глаза старухи горели желтым огнем, мокрые веки тряслись.— С-сука ты паскудная! Не успела угнездиться, да уж яички несешь!

Смысл этих слов до Кати как-то не дошел, она спросила:

— Чего тебе?

— Лидку дерьмо овечье топтать послала. Не нашла кого, сразу Лидку... Норов свой афанасьевский сразу выказала! — Она приподняла костыль, затрясла им.— Да укоротим ужо...

— Чем это ты мне грозишь? — нахмурилась Катя.

— А вот подрастут Артемушкины дети...

Старуха ткнула в грязную снежную жижу костылем, снова оперлась на него обеими руками и, сжигая Катю желтыми глазами, стояла так, часто и тяжко дыша. И Катя некоторое время постояла перед ней молча, будто виноватая. А на самом деле в голове ее именно в этот момент опять всплыли почему-то и заворошились недавние слова Марии о том, что коли прохныкать до вечера, то вечером и совсем есть будет нечего. Только сейчас эти слова ее поразили вдруг большим, важным и конкретным смыслом. «А ведь правда, правда, сев же скоро, а чем сеять, в амбарах семян-то вроде и нету?! — заметались у нее тревожные мысли.— И хоть никакой я не председатель, это так, неизвестно как и получилось, но коли было собрание и бабы все проголосовали, так ведь надо что-то делать! А то и правда отец-то приедет и не похвалит, и Степану как в глаза глянуть...» И она подняла сухие, построжевшие глаза на Федотью.

— Ребятишки его вырастут, понятно... А вот ты, бабка, век прожила, а ума не нажила.

Старая Федотья разжала было высохшие губы, но Катя опередила ее, повысив голос:

— Хватит меня стращать! Ступай давай.

И, повернувшись, пошла. Но пошла теперь не домой, а к скотным дворам. Не оборачиваясь, она поднималась на угор, чувствуя, что Федотья так и не тронулась с места, все торчит крючком средь единственной в деревушке улицы, колет зрачками ей в спину.

* * *

Когда Катя зашла на овцеферму, Лидия была еще там, она отбила ягнят от маток, заперла их в небольшой отгороженный тут же, в помещении, закуток, чтобы ночью напуганные чем-нибудь матки не потоптали молодняк. Так всегда и делалось (редкую ночь волки не бродили вокруг скотных дворов), и Лидия сделала то же самое. Когда подошла Катя, она затворяла воротца закутка, набросила крючок.

Потом они постояли молча, глядя на ревущих, тыкающихся в стены загородки ягнят. Их было немного, десятков около трех — весь годовой колхозный приплод, и обе знали, что некоторые ягнята до травы не дотянут и погибнут, потому что матки отощали, молока у них почти нет.

— Может, Катерина, шибко уж слабых коровьим попоить,— произнесла Лидия.

— А там тоже телятам не хватает,— ответила Катя.

Лидия была когда-то, видимо, женщиной сильной и красивой, и сейчас она держалась прямо, в больших синих глазах плавал затаенный какой-то свет, который, казалось, сразу же щедро выплеснется на людей, стоит ей лишь улыбнуться. Только Лидия никогда не улыбалась, Катя и не помнит, чтобы со дня появления в Романовке лицо ее хоть на мгновение осветилось. Губы у нее были сомкнуты со дня приезда накрепко, и, казалось, навечно, из уголков губ пролегли вниз глубокие, обиженные складки, которые за последние полтора месяца стали вроде еще глубже и длиннее. Несколько дней назад, когда собралось то собрание, и Катю сделали по воле Дорофеева председателем, Лидия эта зашла в контору одной из последних, встала у самых дверей, лицо ее, одрябшее и усталое, было еще сильнее обиженным, чем обыкновенно. И Катя, пока что-то там говорил Дорофеев, потом размахивал зажатой в кулаке шапкой дед Андрон, все думала: знает или не знает Лидия, за что Мишуха убил из берданки ее мужа? Эту причину в деревне вслух никто никогда не называл, и Катя лишь попервоначалу смертельно боялась, что о происшедшем в кузне узнают люди, а когда брата засудили, поняла, что как же не знают, раз Михаил таким образом заступился за нее. И неожиданно для самой себя сделалась равнодушной. Когда еще болтали, что она живет с Пилюгиным, тогда все это понапрасну сплетни плели, а теперь вот Катя, не видя выхода, и в самом деле покрыла себя в беспамятстве позором, и пусть теперь все знают про нее с Пилюгиным, и Лидка в том числе. Миша себя не пожалел, а расплатился за ее позор. И все же наперекор всему в тот час собрания в голове больно долбило: знает Лидия или нет? Знает или нет? «Так что же женщины молчите-то? — пробился тогда сквозь звон в голове голос Дорофеева.— Мужская часть высказалась — и Андрон Игнатьевич и товарищ Макеев Петрован...» Вот как, очнулась Катя, и кузнец Макеев высказался. А она не слышала его и не видела. Где ж он? А, вон сидит на подоконнике. А вон Лидка завертела головой, сейчас завопит: потаскушку, мол, зачем нам в председатели! И правильно это скажет и хорошо, что объявит всем это вслух, а то какой из меня председатель... Но Лидия Пилюгина промолчала. «Чего разговоры-то вести? По уму ежели раскинуть — так больше ведь некому,— услышала тогда Катя глухой, усталый голос Василихи.— Одно дело, что она с грамотой, а другое — мы вот все удивляемся, сколько ж сил-то у нее, горемычной! И на колхоз только у нее сил и хватит». «Значит, поддерживаете?» — спросил опять Дорофеев. «Мы ее слушаться будем»,— проговорил кто-то под одобрительный шумок остальных женщин. А Лидия Пилюгина так против и не высказалась, и когда все подняли за Катю руки, подняла и Лидия...

...Постояв перед закутком, Катя и Лидия вышли из помещения, остановились перед овечьим загоном, огороженным жердями. Летом сюда овцы помещались на ночь, а всю зиму он пустовал и сейчас еще до конца не вытаял от снега.

Длинный апрельский день стекал за облысевшие холмы, лысины эти были черными, парок над ними уже не курился. Небо, наливаясь тяжкой синевой, меркло и меркло, спускалось все ниже. В самой Романовке, лежащей в холмах, как в мешке, было уже сумрачно, кой-где тускло засвечивались маленькие оконца. Ни одного человека в деревушке не было видно, и если бы не эти унылые огоньки в избах да не рев голодной скотины — нельзя бы и подумать, что здесь теплится еще какая-то жизнь.

Катя и Лидия еще некоторое время скованно постояли у загона, и надо бы поскорее разойтись, но, видно, каждая чувствовала: надо что-то сказать друг другу, да только неизвестно что.

Наконец Катя вздохнула и проговорила:

— Меня сейчас свекровь твоя... выстрамила. За то, что тебя послала вот на ферму.

— А я видела,— усмехнулась Лидия.

— В отместку, говорит, дерьмо топтать...

— Дерьмо-то это у нее всегда со рта и валится,— угрюмо произнесла Лидия.

После этих фраз между ними стало что-то таять, и та незримая перегородка, которая разделила их, если не исчезла вовсе, стала тоньше.

— Я все гляжу — тебе не сладко там... у них.— Катя хотела сказать «не сладко с Федотьей», но произнесла сознательно «у них», имея в виду и бывшего мужа.

— Да что об этом говорить,— промолвила с горечью Лидия.— И, чуть помедлив, всхлипнула: — Кто бы знал... Кто бы знал, Катерина...

Что знал — она не договорила, но Кате и так было ясно.

— А она меня насквозь прогрызла: радуешься, мол, что мужика-то Афанасьев выродок ухайдакал.

Лидия вытерла тяжелыми пальцами мокроту со щек. И они еще какое-то время помолчали.

Потом Катя деревянным голосом произнесла:

— А я думала, ты меня вилами запорешь.

— Это Артемия бы надо, паразита,— откликнулась Лидия, повернулась к Кате, подняла на нее глаза.— Раньше я вот на тебя зазря грешила, ты уж прости. А счас другое тебе совсем скажу — не терзайся ты этим... У тебя и без того горя невпрохлеб. А я что ж... мне вот моих детишек только жалко.

Брови у Кати дрогнули, она отвела взгляд. А Лидия сердито вскинула голос:

— Да не потому, что сироты... А потому, что Пашку вот Федотья давно научила тож дерьмо изо рта вываливать. Малец, а злющий уж на людей, как хорек. Сонька — та хоть и меньше, да как-то не поддается ей. Да все равно, карга старая, доколотится своего, сгубит и ее всю душу.

— Так, Лидия... Ты бы как-то пресекла все это.

Пилюгина только головой качнула:

— Э-э, разве я не делаю? Да без толку все. Не умею, видно... Ну ладно, заболтались. Пошли, что ли.

* * *

Подходя к своему дому, Катя думала: за сегодняшний день вот сперва счетоводиха Марунька, а сейчас Лидия открылись каждая с новой и невидимой ей никогда стороны. И вообще за последние дни происходит

что-то странное, непонятное, была она никто-никто и вдруг сразу — на место Пилюгина, самого страшного для нее на земле человека. Но Пилюгина теперь нет, за это Мишуха, добрый и щедрый сердцем ее братишка, заплатил этакую цену. А древняя Федотья, ишь, пригрозила, цена, мол, не вся, вот подрастут Артемушкины дети... Да и правда, все может еще эхом гремучим отозваться, недаром даже Лидия сказала про Пашку своего: малец, а злющий уж на людей, как хорек. Господи, как жутко жить на земле одной! Мишка-то когда теперь вернется, через вечность. Ну, да вроде война за перевал перевалила, отца и Степана она дождется, и сразу поведут они тут всю жизнь, как раньше, что тогда там Пашка Пилюгин, дряхлая эта Федотья или кто другой? А покуда, правду сказала счетоводиха, надо стиснуть зубы да жить...

Ребятишки ее встретили, как всегда, терпеливым и голодным блеском глаз, но, как и всегда, чугунок со сваренной картошкой стоял на шестке нетронутый. Такой уж был порядок, ужинали только вместе. Чтоб картошка не остыла, Захар обмотал чугунок старой тряпкой.

— Че так долго-о? — пискнула Зойка.— Исть охота.

— Ты — сыть! — прикрикнул на нее Захар, разматывая чугунок.— Ровно маленькие. Мало теперь у мам-Кати делов-то!

Катя разделась, погладила Зойку по голове.

— Вы ужинайте. А я не хочу.

— Как же не хочешь? — удивился Захар.

— Правда. Устала шибко. Я вот лягу. И мое съешьте. Разделите поровну.

Лежа под рваным одеялом, Катя чувствовала, как кружится голова, все слышала голос Захара: «Мало теперь у мам-Кати делов-то!». И в сердце, во всей груди ее тупо ныло, мозг больно просверливало: вон даже дети как про нее думают, а она... Господи, да ведь надо начинать с чего-то! А с чего? А Марунька, дура, придумала контору белить, не подождала бы эта контора. Что теперь бабы-то скажут...

Засыпала она медленно и трудно, долго еще сквозь тяжкую, словно угарную, дремоту пробивались у Кати разные мысли, никак не связанные одна с другой. Правда, думала она, надо завтра сразу все семенные сусеки проверить... Оголодали дети, и картошка кончается... Господи, когда письма-то от отца со Степаном придут?.. Отец перед севом в МТС всегда ездил. Ей, что ли, съездить? А зачем, что там говорить?.. Марунька-то что сказала — и дальше горюшка не убудет, не надейся. Че это она? И глаза отворачивала... Кузнец-то Петрован после собрания вроде как сгинул, на глаза не попадался. Что он? Да нет, вроде стучал в кузне... Картошки взаймы у кого-то попросить. Да молока детям хоть бы по стакану в день как-то надо... «Не успела угнездиться, да уж яички несешь». Гадюка прямо, как Лидия с ней живет?.. Вернется Степан с войны, как ему объяснить про то... чего Пилюгин с ней сделал? Господи, разве поймет он?! Мужики такого не понимают никогда... А в эмтээсе узнать — на их поля какие трактора будут? Сколько? Да ить это все как-то еще Пилюгиным, должно быть, договорено меж МТС и колхозом, надо все узнать... И в пастухи вот какую-то бабенку выделить, чтоб готовилась. А к ней подпаска. Может, Захарку? А тогда кто с детьми будет? А Степан, ежели не поймет, то и пусть. То и пусть... Сколь ягнят-то еще попадает, хоть бы половина выдюжила. Скорей бы сопки обтаяли. И скотина и детишки всякую зелень щипать начнут...

Мысли эти одна за другой пробивались откуда-то в уставший мозг, всплывали из небытия, как щепки из бездонной пучины, а потом больно разворачивали все под черепом и, сделав свое жестокое дело, исчезали, тонули, как тяжелые камни в мутной воде.

Уж нет-нет да сознание оцепенело, Катя провалилась в глухой сон, отключившись на время от тяжкой действительности.

Продолжение следует.

Анатолий ИВАНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

В Р А Ж Д А

На следующее утро Катя встала какая-то обновленная, было у нее такое чувство, будто позади осталась черная и жуткая полоса, она шла и шла по этой бесконечной полосе, спотыкаясь и падая от хлеставших в лицо жестоких бурь, вставала и снова брела, чувствуя, что силы иссякают, с ужасом думая, что же будет с детьми, когда она обессилит окончательно. И вот теперь вся эта полоса ровно бы кончилась, осталось переступить какую-то незримую черту, отделяющую ее от новой жизни. Удивительно только, что немного сил в ней еще осталось, она вдруг почувствовала, что сможет сделать этот последний и решающий шаг, было лишь жутковато его делать. Но, с одной стороны, жутковато, а с другой и хотелось. Хотелось, чтобы отец и Степан, вернувшись с фронта, похвалили ее. Хотя Степан-то теперь...

Катя, растопив печь, опустилась на лавку, уронила на колени руки. В комнате было темно, в печи потрескивали, разгораясь, березовые полешки, по стенам, по оконным стеклам, сделавшимся перед самым рассветом еще чернее, подрагивали огненные блики.

Приставленные к огню чугунки — один с водой для чая, другой с варевом из картошки, горсти пшена и куска сала — стали закипать, а она все сидела, оцепеневшая. Того легкого чувства, с которым она встала, будто и не было. В голову больно теперь долбило и долбило: ну, не поймет Степан, так и что ж! Так что ж? В конце концов кто она ему такая? Не жена, не невеста даже, а так...

Она очнулась от того, что в своей кузне застучал Петрован Макеев. Катя вспомнила, что все эти недели, с того самого дня, когда привезла она из района мертвую Доньку, Петрован вел себя в полной трезвости, и подумала: человек он ведь добрый и славный, одинокая его жизнь тоже несладкая, оттого он и хлестал эту проклятую самогонку. И тут же с тревогой мелькнуло у нее — как бы опять не запил! Как это Макеев сказал, когда с Дорофеевым да с дедом Андроном заявились они к ней? Зарок, он на срок, у меня не заржавеет... Да ежели что, так надо его от этого как-то отворотить, удержать от погибели...

Катя встала, выдернула из печки кипящий чугунок, плеснула в чашку кипятку, принялась жевать черную, засохшую краюшку, макая ее в плошку с солью. Вчера вечером ее долю картошки дети съели, а кусок хлеба все же не тронули, краюшка так и осталась лежать на столе, прикрытая тряпочкой. Катя представила, как детям хотелось съесть и эту краюшку, и как Захарка запретил это, сказав: «Совсем бессовестные, что ли, а мам-Кате чего? Свое слопали — и будет». Она слышала вчера эти слова сквозь сон и сквозь свои обрывочные мысли и, вспомнив их сейчас, почувствовала в груди прихлынувшую теплую волну.

Съев краюшку и допив чашку с кипятком, Катя при свете занимающегося дня прибрала свою постель, замела на полу мусор, загребла в печи прогоревшие дрова, приставила к загнетке упревать варево, чуть прикрыла трубу. Делала все это привычно и бесшумно, дети, приткнувшиеся на печи головенками друг к другу, спали сладким предутренним сном. На печи было тепло, дерюжка, которой они укрывались, лежала сбитая у их ног. Катя осторожно расправила эту дерюжку, прикрыла ребятишек, накинула на себя вытертый полушубок и вышла.

Небо на востоке наливалось синью, но огней в домах не было, хотя почти все трубы дымились — из-за отсутствия керосина все бабы, как и Катя, управлялись с утренними делами в темноте, при отблесках топившихся печей. Во всей Романовке в этот ранний час светилось одно-единственное оконце в колхозной кузнице, и это желтоватое пятно да звуки молота о наковальню уже говорили, что начался новый день.

Глотнув утреннего апрельского воздуха, Катя запахнула старенький свой полушубок и пошла на желтый огонек.

Чем ближе она подходила к кузнице, тем отчетливее ощущала в груди тошноту. Она вспомнила, как очертя голову бежала недавно в морозный февральский день к кузне по этой же вот тропинке, как рванула настежь дверь, а навстречу ей уперлись две пары глаз — удивленные, с утра пьяненькие глаза Петрована Макеева и жестокие зрачки Артемия Пилюгина. «Давай подводу! Парази-ит... — простонала она. — А ты, Петрован, уйди...» «Это, то есть, куда мне идти?» — спросил Макеев. Председатель и кузнец пили самогонку, стоя возле верстака. Всякие железки были отгребены чуть в сторонку, на счищенном месте стояла неполная бутылка, лежало на лоснящихся от угольной пыли досках полбуханки хлеба, две луковицы. Пилюгин сверкнул желтыми белками и, продавливая ей перепонки, произнес: «Куда, куда, вишь, закуски совсем нету. Сбегай к нам, скажи Лидке, что я велел...» Он говорил, может, и тихо, но голос его больно отдавался в ее ушах. Потому что в этом его голосе она отчетливо слышала злорадство, видела хищный блеск его глаз. Макеев ничего тогда не слышал и не видел и ни о чем спьяну не догадывался, но она-то все понимала. И еще ей казалось тогда, что с момента, как она кинулась искать председателя, прошло много-много времени, что Донька совсем, может, уже и задохнулась. Она скользнула обезумевшим взглядом по кузне, увидела на лежанке, где спал кузнец, какую-то сумку поверх тряпья, схватила ее и сунула кузнецу: «Вот... Ступай!» «Да ты... ты с нами, что ль, выпить хошь?» — выпучил удивленные глаза Макеев. «Уходи-и, болван!» — завизжала Катя и стала его толкать. От ее толчков кузнец попятился, обескураженно протянул: «Поворо-от!» — и вывалился в двери, сдернув на ходу с гвоздя шапку и тужурку...

Все это пронеслось в мозгу Кати стремительно, она, чувствуя, как накапливается где-то в ней омерзение, хотела повернуть назад, остановилась. А потом опустила голову, сделала два-три быстрых шага к кузне и рванула тяжелую дверь.

Петрован Макеев ковал зубья для борон. Увидев Катю, он поднял голову.

— А-а... Здорово ночевала, председатель, — кивнул он и, зажимая клещами раскаленный до белизны обрубок железа, продолжал бить по нему молотом.

Работал он легко и красиво, тяжелый молот вздымался и опускался, обрубок он после каждого удара переворачивал, железо на виду плющилось, конец обрубка заострялся.

Обковав обрубок со всех сторон, кузнец кинул его в кадушку с водой, вода зашипела, выбросила комок пара.

Положив на верстак клещи, кузнец повернулся к ней, вытирая грязной тряпкой руки.

— Ну что ж, Катерина... Все я накую тебе. Боронешки всякие там, плуги починю! А тама и конные грабли налажу и все такое прочее. Все будет в аккурате.

— Правда?! — по-детски спросила Катя. Она как вошла, так и стояла возле дверного косяка, не зная даже, о чем и говорить-то с кузнецом, не очень-то и представляла, зачем пришла в кузницу.

— Об кузне, словом, ты не беспокойся. Это я тебе говорю.

— Спасибо, Петрован! — с чувством воскликнула Катя.

— Да что спасибо — сеяться ж вот-вот.

А больше они не сказали друг другу ни слова. Катя, не думая в эту секунду о том, что произошло тут зимой меж ней и Пилюгиным, просто случайно бросила взгляд на лежанку. И Макеев невольно как-то посмотрел туда же. Уловив этот его взгляд, Катя вспыхнула вся огнем, опустила голову и стояла как истукан, не в силах двинуться с места. И кузнец тоже смешался, кашлянул. Припадая на короткую ногу, он повернулся к горну, вытащил клещами красноватый с одного конца железный обрубок, сунул его обратно, взялся за качалку мехов, принялся дергать ее за веревочную петлю.

Катя все стояла и стояла на прежнем месте, опустив голову. Макеев, не глядя на нее, сердито дергал и дергал качалку — длинный березовый шест.

Наконец она с хрустом повела головой вбок, к дверям, мучительно застонав, качнулась туда всем телом и выбежала из кузницы.

* * *

Позже, когда от Пилюгина родилась у нее Фроська, и еще потом много лет спустя Катя часто пыталась восстановить в памяти первый месяц ее председательствования, но припомнить все подробности никогда не могла. В памяти ярко осталось только это раннее апрельское утро, когда ночной сумрак едва начал рассасываться, скрип подмерзшего за ночь снега под ногами, когда она, вылетев из кузницы, побежала в темноте куда-то. А потом — сразу светлый и теплый майский день, позеленевшие сопки, по склонам которых рассыпалось колхозное стадо, резко пахнущая свежеразвороченной землей пашня, где она замеряла глубину заделки семян, и чудовищные в своей жестокости, негромкие слова Дорофеева: «Тебе надо найти в себе мужество, Екатерина Даниловна. На фронте погиб твой отец. И Степан Тихомилов погиб...»

А между этим темно-синим апрельским утром и солнечным майским днем существовал провал, в памяти маячили какие-то неясные картины. Вот вроде она, Катя, растерянно стоит в семенном амбаре, где лишь по углам насыпаны небольшие горки пшеницы, а Легостаева Евдокия — кладовщица Легостаиха, как ее все называли, угрюмо роняет слова: «А кажинный год мы без семян. Все на фронт сдаем. Кажинный год с району семян-то дают. Ты и ступай просить в район...»; вот она сидит в гулком кабинете Дорофеева, и секретарь райкома,

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—41.

кутаясь в истертую шинель, говорит: «На фронт... Спросить бы вот сейчас с Пилюгина, почему семян нету! Что ж, что-то будем придумывать... И вообще по мере сил поможем тебе сев провести. В МТС я говорил с директором, чтоб он особое внимание к тебе как к молодому и неопытному председателю. Да и самой тебе нелишне в МТС-то съездить.»; вот она на дворе районной конторы «Заготзерно» лично перевешивает мешки с семенной пшеницей, вместе с кладовщицей Легостаихой да с дедом Андроном таскает их на подводы...

Всплывали иногда в памяти и другие какие-то сцены — не один раз, кажется, по мере того, как вытаивали сопки и солнечное тепло съедало снег на пашнях, собирала она в недавно побеленной конторе бабенок, распределяли сообща, кому скот пасти, кому в прицепщицы на пахоту пойти, кому в сеяльщицы, в доярки. На этих собраниях громко и подолгу, порой до слез, спорили и препирались, у каждой бабы являлись причины, не позволявшие ей отрываться от дома, от детей... Не один раз бывала Катя в МТС, умоляла безрукого директора Гайдукова то начать поскорей пахоту, ибо земля пересыхала, то как-то побыстрей починить без конца ломавшиеся тракторишки. Их всего-то было выделено для колхоза два, ломались они то попеременно, то оба враз... Не однажды и сама она садилась то на прицеп, то становилась на сеялку, проводила в поле от зари до зари, оставив детей, как всегда, под началом девятилетнего Захарки...

Но все это происходило будто давно-давно и время как бы затерло все подробности, люди виделись Кате сквозь какую-то плотную дымную мглу. Все дела и события этого месяца заслонило ужасное сообщение Дорофеева, солнечный свет для нее потух, а воздух кончился, и она задохнулась...

В тот день заканчивали сев, трактор таскал сеялку на последнем гектаре пашни. С утра Катя съездила на ходке за бывший пилюгинский хутор, где была посеяна озимая рожь. Когда-то Кузьма Тихомилов хотел поставить на плотине взамен сгоревшей мельницы новую, да на другую же весну после организации колхоза случился небывалый паводок, плотину сильно размыло, заделать сразу же промыв не было у колхоза сил, а в последующие годы земляную насыпь вешние воды уничтожили окончательно.

Катя поглядела, как развиваются озимые, осталась довольна, всходы были дружные, хлебное поле лежало между двух пологих холмов сочным изумрудным пластом, лоснилось под веселым и щедрым солнцем.

Катя была в крепких солдатских сапогах и новой юбке из синей грубой материи, сшитой недели две назад. Эту материю, целых десять метров, и сапоги ей выдали по звонку Дорофеева прямо на складе райпотребсоюза. Она приехала тогда в райком решать вопрос о семенах, Дорофеев глянул на ее разбитые ботинки с отваливающимися подошвами, на изношенную, в нескольких местах залатанную юбку и без всяких слов снял телефонную трубку, вызвал председателя потребкооперации. «Нет, нет! — испуганно воскликнула Катя, услышав о чем идет речь.— У меня денег нет. Не на что купить-то, не надо...» «Ладно, это за счет райкома,— сказал Дорофеев.— Распишешься только там. А то в чем по весенней грязи ходить будешь, посевная ведь». Из этой же материи она сшила рубахи всем троим парнишкам, юбку с кофточкой Зойке, истратив все до лоскутка. У самой нее никакой хоть мало-мальски приличной кофтенки тоже не было, но она решила все-таки обшить сперва ребятишек, и сейчас с грустной улыбкой вспоминала, как блестели глазенки детишек, когда примеряли обновки, сколько это доставило им радости.

Еще она думала, что Дорофеев, этот исполосованный на войне, больной человек, сделал в ее жизни что-то огромное и необъяснимое, произвел какой-то полный переворот. И в ее доме все было теперь вроде по-другому. Вроде поменьше хныкали вечно голодные ребятишки — это Захарка им внушал, что раз мам-Катя председателем стала, так и им надо поменьше сопли-то распускать, а получше помогать ей по домашности, когда, мол, самой-то ей теперь. Да, сильно ее поддержал Дорофеев, а сам вот все больше чернеет и сохнет, как подсолнечный будыль в осенние заморозки, и, кажется, долго ему не протянуть. Господи, до чего же жестока и несправедлива жизнь! Дорофеева вот сожжет болезненная зараза, возникшая в результате фронтовых увечий, хотя молодой еще, сколько бы еще пожил и радостей людям сделал, а вот старая и злющая на весь мир Федотья Пилюгина долго будет жить и жить, сам черт ее не возьмет, не то что какие-то болезни. И до чего же дошла старуха в своей ненависти к ней, Кате, как завидит, прямо раскаляется добела, как железный обрубок в горне кузнеца Макеева. Сегодня утром вот, попавшись на пути к конюшне, загородила, растопырившись, путь, закричала на всю деревню: «Вонючка мокрохвостая! Откелева сапоги-то добыла, ишь, разнарядилась, и юбка новая! И паршивят своих в новые рубахи разодела... Артемушка фронтовик был, не тебе чета, а ни разу таких обновок с району не привозил. Кто тебе это дал? Али склешнилась тама с кем, как сучка...» «Умолкни ты, старая ведьма!» — громко, по-бабьи закричала и Катя, оскорбленная до невозможности, а Федотья будто того только и ждала, завизжала еще пронзительней: «А-а, рот мне затыкаешь, значит, угадала я! Да тебе блудить разве без привычки, все под Артемушку, нахальница, подстеливалася! Это только Лидкадура прощает тебе...»

Слышали этот истошный Федотьин крик и Лидия, и многие бабенки, случившиеся поблизости, и дед Андрон, копошившийся на конюшне. Едва-едва Катя не вцепилась в ее жидкие белые волосенки, выбившиеся из-под платка, и не начала возить по земле, неизвестно как и удержалась, до боли стиснула зубы и прошла мимо. Запрягая потом мерина в дрожки, дед Андрон проговорил: «И как не захлебнется, змея облезлая, злобой-то своей ядовитой. А ты, Катерина, не майся... Плюнь да разотри». «Ну ладно, не успокаивай ты меня, как маленькую! Тот утешает, другой утешает!» — зло бросила ему Катя, грубо вырвала вожжи, хлестнула лошадь и покатила.

Потом Катя казнилась, что зря обидела доброго старика, он-то при чем, он от хорошего сердца это ей сказал ведь.

Сверху припекало щедро, по пологим склонам холмов шныряли и перекликались суслики — этих вредных зверюшек, жиреющих к осени на колхозных хлебах, тут водилось множество. В распадках, по которым струились светлые и холодные ключи, лежали будто зеленые облака — то распушилось всякое разнодеревье, блестя под солнцем молодой листвой. В кустарниках ошалело кричали птицы, устраивая свои брачные гнезда. Что бы ни происходило в жизни людей, природа начинала свой вековечный годовой круг, в земле, прогретой солнцем, бродили живые соки, питали корни трав и деревьев, пробуждали таинственную силу, заложенную в каждом семени, упрямо стремившемся дать потомство.

Мерин, не чувствуя вожжей, тащился шагом, звука копыт и стука колес по затравеневшей уже дороге почти не было слышно.

Подъезжая к пашне, по которой ползал одинокий трактор с сеялкой, Катя снова вспомнила противный голос Федотьи: «...под Артемушку подстеливалася!» И у нее привычной уже болью насквозь прокололо сердце: месячных-то ведь так и нету, будто уж и не женщина она, что же это такое, неужели ей еще этого не хватало?! Слава богу, ничего она в себе такого не чувствует да и не знает, как это происходит, никогда ведь не испытывала, а спросить у кого стыдно. Говорят бабы — то тошнить начинает, то поясницу вдруг разломит, а после и кожа на лице потемнеет. Но слышала Катя, что и по-другому бывает, долго никаких вроде знаков и примет, а потом сразу и ворохнется под сердцем живое. Давно она жила в великой тревоге, и как бы каждодневные дела да заботы ни приглушали ее, беспокойство все нарастало, она все чаще прислушивалась к себе, все чаще разглядывала свое лицо в осколок зеркала. Нет, ничего, кожа лица стала лишь грубее, обветрилась под морозами и ветрами, да это у всех баб в Романовке к весне так. Пронесла бы, миновала бы ее эта чудовищная беда, иначе ведь хоть в петлю...

Но это была одна боль, грызущая ее мозг, а рядом жила другая, терзающая и без того проболевшее до дыр сердце,— писем ни от отца, ни от Степана так и нету! Ни писем, ни тех страшных известий, которые получили с фронта почти все романовские бабы в казенных конвертах,— ничего. Да что же это такое, что там с ними? Сама Катя писала им, отправила за апрель и в начале мая по два письма тому и другому, письма не возвратились, значит, они их получили. А может, оттуда письма и не возвращаются? У Кати голова шла кругом. Но она только крепче сжимала зубы и молчала. Хороший совет дала ей счетоводиха Марунька — сжать зубы да молчать. Оно от этого не легче, да чего другого-то остается?

Подъехав к краю пашни, Катя оставила лошадь на дороге и, поглядывая на холмы, за которыми осталась Романовка, сделала по засеянной земле несколько шагов. Там, на склонах холмов, паслись колхозные коровы и овечки, а пастушила их с самой весны Лидия Пилюгина. Лидия эта, слава богу, женщиной оказалась старательной, более того, она тайком от Федотьи потаскивала на ферму молоко от своей коровенки, подпаивала самых слабых ягнят и до травы выходила всех. И телята за малым исключением почти все выдюжили, вон как резво сейчас бегают по косогору. Вот отсеялись, теперь передохнуть чуток да на сенокос надо нацеливаться, накосить, чтоб на зиму хватило, так, глядишь, и животноводство мало-мальски укрепнет в колхозе. Да если еще урожай бог даст да погодку в страду — вот и не стыдно будет встречать с войны отца со Степаном, почитай, из всех мужиков они одни покуда... Живые, живые они, не может того быть, чтобы... Хорошо, что я не написала отцу-то про Мишку, зачем ему знать, что у них тут приключилось, да и как про все это расскажешь в письме?

Переворачивая в голове такие мысли, Катя вынула из кармана пиджака обыкновенную ученическую линейку, взятую у Марии, опустилась на колени, стала осторожно разгребать теплую землю, разгребала ее до тех пор, пока в глубине ямки не блеснули пшеничные зернышки. Ткнула линейку в ямочку — глубина заделки семян была нормальной. Катя поглядела на дальний конец поля, по самому краю которого ползал малосильный колесный трактор. За его рулем тряслась на железном сиденье молоденькая и легкомысленная по первому впечатлению девчушка по имени тоже Катя, а по фамилии Гайдукова. Однорукий директор МТС, когда еще в апреле Катя Афанасьева обивала пороги его пропахшей соляркой и мазутом конторы, пообещал ей: «Ну сказал же, что лучших тебе трактористок дам. Дочку свою в твой колхоз занаряжу. И ты не гляди, что она вроде как ветреная и слабосильная...» Катя Гайдукова была девчонкой хрупкой, все беззаботно похохатывала, приливы смеха вызывало у нее буквально все — неловкое чье-то слово или поступок, мелькнувшая в поле зверюшка, какая-нибудь своя собственная оплошность. Но дело свое делала как положено, без брака, и проверять за ней ничего было не надо, но Катя вот проверила, чтобы еще раз укрепиться в своей благодарности к этой девчонке, по годам ее сверстнице, если не моложе.

Заравнивая ямку в пахоте, Катя увидела, что из низинки, в которую сбегала проселочная дорога, поднимается райкомовский ходок, а в нем сидят двое, сам Дорофеев и директор МТС Гайдуков.

Пока Катя шла к своим дрожкам, туда же подъехал и ходок. Дорофеев натянул вожжи, поздоровался, а Гайдуков спросил:

— Заканчиваете?

В это время как раз и замолк трактор, стащивший сеялку с посевного поля на

обочину, Катя увидела, как кладовщица Легостаиха, работавшая всю весну сеяльщицей, сдернула с головы платок и принялась выхлапывать его от пыли.

— Вон закончили как раз. Все!

— А в Березовском колхозе все валандаются.— И, кивнув на трактор, Гайдуков прибавил: — Счас Катьку туда переброшу.

— А я, Логовей Ильич, просить хочу... чтоб к нам Катерину-то на уборку. И на сенокос также.

— Ишь ты, понравилась, значит, ей трактористка твоя,— проговорил Дорофеев, сходя на землю.— Ну, поздравляю с завершением посевной. Первой посевной в твоей жизни, Екатерина Даниловна.

Солнце жарило, директор МТС был в одной рубахе-косоворотке из черного ситца, а худые плечи секретаря райкома партии, несмотря на теплынь, обтягивал толстый суконный пиджак, под пиджаком была надета еще военная, наглухо застегнутая гимнастерка.

— Первая, да бог дай, чтоб и последняя,— проговорила Катя.

Секретарь райкома глянул на нее из-под рыжеватых, тоже сильно исхудалых бровей как-то неодобряюще. И Катя добавила:

— Еще когда сообщалось, что на протяжении больше четырехсот верст наши к границе вышли. И дальше немца гонят. Может, к осени война и закончится... отец вернется...

Говоря это, Катя увидела, как дрогнули брови Дорофеева, как медленно опустил он глаза и прикрыл их усталыми веками, а директор МТС, сгорбив спину, начал зачем-то ворошить лежавшие в ходке дождевики.

— Не вернется,— услышала она тихий голос Дорофеева. И в первые секунды вовсе и не поняла, что это такое произнес секретарь райкома, что означают эти слова. А Дорофеев так же медленно, как опускал, стал поднимать тяжелые веки, все открывал и открывал свои глаза, переполненные виной и болью, и боль из его глаз стала переливаться ей в самое сердце, в ушах, во всей голове гулко забарабанило.

И сквозь этот гул пробивались еле слышимые, но острыми холодными ножами пронизывающие ее насквозь слова секретаря райкома:

— Тебе надо найти в себе мужество, Екатерина Даниловна. На фронте погиб твой отец. И Степан Тихомилов погиб...

Директор МТС Гайдуков все рылся и рылся в ходке, горбатя черную спину. Дорофеев потянул руку под пиджак, из нагрудного кармана гимнастерки вытащил какие-то бумажки, и Катя увидела, что это два конверта, согнутые пополам. Боясь, что Дорофеев сейчас протянет ей эти конверты, она загородилась от них ладонью, попятилась и хрипло выдохнула:

— Вы что?! Уберите...

— Они пришли давно, да вот никто не знал, как тебе... сообщить.

Будто ища защиты от этих безжалостных слов Дорофеева, от его худой и зловещей руки, действительно протягивающей ей конверты, она кинула беспомощный взгляд в одну, потом в другую сторону. Но справа от себя увидела лишь те же пологие холмы, рассыпанных по склонам сопок коров и овец. А слева, прямо через засеянное поле, и в самом деле шли к ней на помощь вроде Катя-трактористка да кладовщица Легостаиха. Но что это идут-то они так медленно! Будто ничего и не знают, вон о чем-то спокойно переговариваются, а трактористка помахивает себе зажатым в руке платком да еще и похохатывает...

Она еще раз бросила обезумевший взгляд на Дорофеева. Протягивал он теперь ей конверты или нет — Катя Афанасьева не видела. И лица его не видела, не различала, его фигура и фигура Гайдукова обрисовывались смутно, они будто находились за толстым туманным пластом. А дальше, высоко над ними, за таким же толстым пластом торчал белесый круг солнца, и этот круг начал вдруг приближаться, быстро увеличиваясь до невероятных размеров, обжигая нестерпимым жаром. И уже защищаясь от этого испепеляющего огня, Катя прокричала на все поле страшным голосом «Не-ет!», повернулась и побежала навстречу подходившим женщинам. Но сил хватило сделать только несколько шагов, ноги подломились, и она рухнула лицом вниз, в разогретую солнцем землю, только что засеянную тяжелым зерном.

* * *

Несколько дней она лежала дома без всяких чувств, онемевшая, почти ничего не пила и не ела и вроде даже не плакала — так, промокнет платком бесшумно наполнившиеся глазницы и снова лежит молча, смотрит в потолок.

Дети в первый день поскулили, как щенята, горше всех всхлипывал Захар. Что ж, подумала Катя без удивления, как-то равнодушно, он самый большой из Тихомиловых, шесть лет ему было, как уходил на войну Степан, он только и помнит отца. Но Захар же и покрикивал на остальных: «Разнюнились, умолкните! Без вас мам-Кате тошно...»

Мало-помалу дети утихли, шебуршились по углам, будто мышата, а потом стали заниматься своими обычными делами, утром, пожевав чего-то, убегали из дома. Катя слышала за окном их голосишки, тревожно думала иногда: «Еще сказать, чтоб далеко не убегали, Пашка-то Пилюгин прибьет же их. Или он из Березовской школы еще не приехал?» Но когда дети возвращались в дом, ничего им не говорила.

Несколько раз появлялись в доме Марунька-счетоводиха, дед Андрон и даже болезненная бабка Андрониха, они о чем-то спорили, что-то делали по хозяйству, но Катя и на это не обращала внимания, она лежала, отвернувшись к стене, все ей было безразлично, и загорись дом, она бы не пошевелилась: какая разница, сгорит он или не сгорит, будет завтра новый день или так и не займется, жить ей теперь все равно нечего.

Однажды, пробудившись от ставшего уже привычным забытья, она услыщала в доме голос кузнеца Макеева:

— Свари лапшу из этого куря, да силком ей жижу хоть сквозь зубы влей. Тут мукй вот еще и на квашню хватит.

«Он-то зачем тут? — с удивлением подумала она о Макееве.— Еще куря какая-то, мукá...»

Но вслух тоже ничего не сказала.

В другой раз та же Марунька, уже под вечер, толкнув ее, сказала:

— Гляди-ка, чего я привезла тебе. От Мишухи твоего письмо.

Это было первое письмо от братишки из заключения. Катя шевельнулась, разлепила горячие губы:

— От Мишеньки?! Ну что ж ты, читай...

Мишка, добрая душа, слал всем поименно поклоны, спрашивал, живы ли и здоровы все их с Катей малолетки, как она там с ними управляется, наказывал особо следить за Игнатием, потому что «он, дурак заполошный, любит на дерева лазить да качаться на ветках, и брякался оттуда даже при мне не раз». И лишь далее сообщал, что находится не в тюрьме, а в колонии, конвою за ним никакого нет, работает в тепле, в картонной мастерской, клеят они большие коробки для махорочной фабрики, в которых якобы солдатам на фронт табак отправляют. «А самое-то главное, Катя, в чем? На следующий год я учиться буду,— делился радостью Мишуха.— Начальник колонии тут, Катя, хороший, он вызывал меня, расспросил обо всем, за что меня осудили...»

— Ну-к, дай сюда,— встрепенулась на этом месте Катя, вырвала письмо и стала дальше читать про себя: «...ну, я ему, Кать, все рассказал без утайки про Пилюгина, ты уж прости... Про то, значит, как Донька наша помирала. Он, конечно, начальник-то, не похвалил меня за Пилюгина, да и, сдалося мне, не шибко и осерчал, он только головой покачал, белая у него голова-то, как у дедушки Андрона, да сказал, что начальник мастерской меня хвалит, что если я так же хорошо и дальше буду работать, то на следующий год он меня в школу учиться определит, а то, говорит, что ж это такое, молодой парень, а окончил всего четыре группы...»

В конце письма Михаил просил об нем не изводиться: «Тут, Кать, конечно, и шпаны всякой имеется, да я с ними не якшаюсь». И в заключение спрашивал, пришли ли письма от бати да от Степана Тихомилова, как они там воюют, просил передать им тоже его поклоны и объяснить, что он «не извергом вырос, а Пилюгина Артемия еще бы дважды без жалости убил, как фашиста...»

Катя читала, слезы капали на жесткий грубый листок, промачивали его насквозь. Потом это промокшее письмо она спрятала на груди, будто хотела высушить теплом своего тела, и снова лежала на кровати, отвернувшись к стене, без движения до утра.

А утром, едва разбелилось в доме, снова появился дед Андрон, не опасаясь разбудить детей, сон их на рассвете каменный, громко затопал по полу мокрыми сапогами—с полночи, оказывается, ударил дождь, громыхал до самой зари гром, а Катя, лежа в тяжком полусне, ничего этого и не слышала. Но от топота Андроновых сапог, от его злой воркотни она очнулась, села на кровати, спустив ноги на пол, стала молча глядеть, как он щепал на растопку лучины от мокрого же полена.

Похудевшая и растрепанная, она повернула голову к светлому окошку — там брызгал уже не сильный теперь дождик, теплый, парной, видневшаяся в окно седловина меж двух холмов была заполнена белым туманом. По этой седловине стекала к деревне каменистая дорога, по ней сейчас медленно текло вверх колхозное стадо. Коровы, телята, овечки и ягнята, удаляясь, таяли в этом белом молоке, растворялись бесследно.

— Ну, поднялась, слава те господи,— проворчал старик.— А то уж один пожар не сгаснет, а другой, гляди, займется.

— Что такое? Стряслось чего, что ли?— спросила Катя, не узнавая своего голоса.

— Вчерася Федотья Лидку костылем избила и в доме заперла. Сожгу, орет, тебя прямо в дому, что пастушить им взялась... Вчерась табун кузнец Петрован выгонял, седни Маруньку-счетоводиху я уж до обеда своим распоряжением нарядил, а после обеда, с конишками как управлюсь, сменю ее. В район ей за почтой надо. Ать, зараза, не горит...

Говоря это, старик крючком вертелся у печки, залез туда с бородой, в самый дым, валивший через закопченное чело в трубу, задохнулся, выдернул голову, стал откашливаться.

— Ребятишки-то чего, лоботрясы, хоть бы с вечера полешко на растопку припасли. Так ты слышь, что я тебе говорю-то? Дела-то в колхозе какие?

— Да слышу. Счас вот я... Разберусь там с Лидией.

— Ну-к, побежал я тогда на конюшню. А дождичек-то, Катерина! В самый угод, на тепленькое зерно! Нагляделся господь на людские страданья...

Ребятишки еще не проснулись, когда она пила чай с белым пшеничным хлебом — видно кто-то, Марунька, а может, старуха деда Андрона или грузная тетка Василиха, которая вроде тоже появлялась за это время в дому, испекли из той муки, что принес кузнец Макеев. Пила и думала спокойно, что вот теперь и все, совершилось в жизни то страшное и обыкновенное, что в ней всегда и происходит, очертился и замкнулся еще один круг из бесчисленного количества таких же, из которых жизнь и состоит, осталась она одна в этом круге с четырьмя малолетками, и никому они, кроме нее, не нужны теперь и не выживут без нее...

Думала так Катя, а какой-то краешек сознания все равно тревожил ее — что это быстро так она пришла в спокойствие, ведь убили на войне отца ее и Степана... Навсегда они легли где-то в чужую землю. Будут над Романовкой и дожди идти, как сегодня вот, и туманы плавать, и вьюги мести, будут люди делать свою извечную

работу, и все это теперь без них... Да как же это ей еще кусок в горло лезет?!

При этой мысли где-то под черепом возникла горячая волна, голова закружилась, но тотчас все и прошло. «От голода, сколь дней ничего не ела»,— равнодушно отметила Катя. И еще подумала, что ведь, в сущности, она давно обманывала себя надеждой, что вот-вот придут письма от отца и Степана, где-то внутри накапливалось и укреплялось совсем противоположное, вон тогда еще, как Михаила осудили, она ж ясно видела, что дед Андрон с кузнецом скрывают от нее что-то страшное, да упрямо не хотела со всем этим считаться. И за это свое упрямство расплатилась таким вот потрясением, надежда ее разлетелась в прах, едва Дорофеев протянул ей два конверта. Но боль от сознания гибели отца и Степана была теперь будто давней, она незаметно для себя притерпелась к ней, хотя сейчас вот пришло не спокойствие даже, а просто какая-то пустота...

И еще Катя, дохлебывая морковный чай, ощущала себя в чем-то виноватой. Она отставила пустую чашку, прихмурила брови: в чем и перед кем?

Перед глазами, когда она лежала пластом, часто возникало болезненное лицо Дорофеева, она видела его руку, которой он протягивал ей зловещие конверты, слышала его ужасный голос: «Они пришли давно, да вот никто не знал, как тебе... сообщить». «Проклятый, проклятый! — стонала она сквозь стиснутые зубы, отворачивалась к стене, старалась избавиться от ненавистного лица секретаря райкома, от его дергающихся век.— Вечно бы и держал эти конверты у себя...»

Сейчас она встала, прошла в угол, где стоял столик с выдвижным ящичком. Она припомнила вдруг: когда ее, бесчувственную от рыданий, привезли домой и уложили на кровать, сквозь рев ребятишек и тоскливые всхлипывания бабки Андронихи пробился голос Дорофеева: «Извещения эти возьмите кто-нибудь, потом ей отдайте. Для назначения пенсии ребятишкам это важный документ»,— а голос кузнеца Макеева откликнулся: «А вон в ящичек стола и положь».

Конверты действительно лежали в ящичке. Катя прикоснулась к ним, как к горящим углям, взяла, глянула на штемпеля и обомлела: похоронные пришли как раз в те дни, когда судили Мишуху. Да ведь если бы тогда и это еще горе на нее свалилось, вовсе бы ей не выжить! Значит, все правильно он. Дорофеев, сделал и рассчитал, и колхоз ей навязал с умыслом, горе горем, мол, у кого его мало сейчас, а вот тебе еще одна забота, людям-то жить надо как-то, вот и заботься давай о людях, а свое горе уж как-нибудь на вторую очередь отодвинь...

Такие мысли одна за другой крутились в ее голове, и каждая приоткрывала ей что-то новое, какие-то неизвестные ранее стороны жизни, заставляя видеть дальше и глубже. И вдруг, потрясенная, она, сжимая в кулаке злосчастные конверты, присела у окна: да ведь не она покуда заботится о людях — какие уж там особые ее дела за полтора-то месяца, лишь поколотилась маленько, чтоб хоть как-то пашню засеять, а люди о ней! И Дорофеев этот, дед Андрон, тетка Василиха, кузнец, Марунька-счетоводиха, даже Лидия эта Пилюгина... Да как бы она без этих людей, никак же невозможно бы тогда перенести все свалившиеся на нее лихо!

Она сидела у окошка недвижимо. Ночной дождь совсем иссяк, с крыши скапывали крупные капли, теплый туман стал подниматься вверх, подошвы холмов, недавно затянутые белой мутью, очистились, пронзительно горели обмытой зеленью. И был туман пореже теперь, солнце хоть и не пробивалось еще на землю, но падавшие с крыши капли солнечные лучи уже улавливали, водяные комочки янтарно вспыхивали перед окном, и Катя знала, что, разбиваясь о землю, они обсыпали нижние венцы дома и пробившуюся из-под них травку белой, как мука, пылью. И то ли она уж до того исстрадалась, что внутри все выболело и онемело, то ли от этого славного ночного дождика, оплодотворившего пашни и луга, вечная тяжесть, давившая на плечи, куда-то исчезла, точно и ее смыл дождик. Не думала она уже ни об отце, ни о Степане, известия о гибели которых заключались в тех конвертах, что она по-прежнему держала в руке. В голове ее, тоже, впрочем, особенно не тревожа, возникло: «Федотья, старая выдра, чего вытворяет! Ишь ты, сожгу... Выкуси вот, Лидку теперь не дадим в обиду, самой облезлый хвост-то и прищемим». И хоть Катя не представляла, каким образом она утихомирит злобствующую старуху, оградит безответную Лидию от ее измывательств, она не сомневалась, что так все и будет, что жизнь теперь пойдет как-то по-другому, легче, ибо самое тяжкое и страшное, что могло случиться, уже произошло...

Катя вздохнула, поднялась и шагнула к столу, чтобы прибрать чашку и хлеб, но не увидела перед собой ни стола, ни обшарпанного стула, на котором недавно сидела, ни печки. То есть сперва все это было, а потом вдруг все предметы качнулись, искривились, словно и печь и стол со стульями были нарисованы на каком-то полотне и это полотно кто-то потянул в сторону и утянул совсем. Под черепом возникла такая же, как недавно, горячая волна, но теперь не исчезла, а тяжко и больно начала бить и бить в виски, в затылок. Она оперлась рукой о стену, но стена будто тоже качалась. «Сейчас упаду... И дом на меня рухнет!» — мелькнуло в сознании. Мелькнуло и исчезло, потому что она задохнулась от навалившейся резкой тошноты, которая, казалось, вывернет ее наизнанку. Боясь, что ее вырвет прямо на пол и это увидят проснувшиеся, кажется, дети, она через силу шагнула в ту сторону, где была печь. Ощутив ладонями ее теплый бок, стала двигаться к дверям, где стоял под рукомойником тазик.

— Мам-Кать? — будто издалека достиг ее ушей голос Захара.— Ты чего? Опять захворала?

Испуганно заверещала вроде Зойка или Николай, Катя уже не разобрала — ее над тазиком больно рвало...

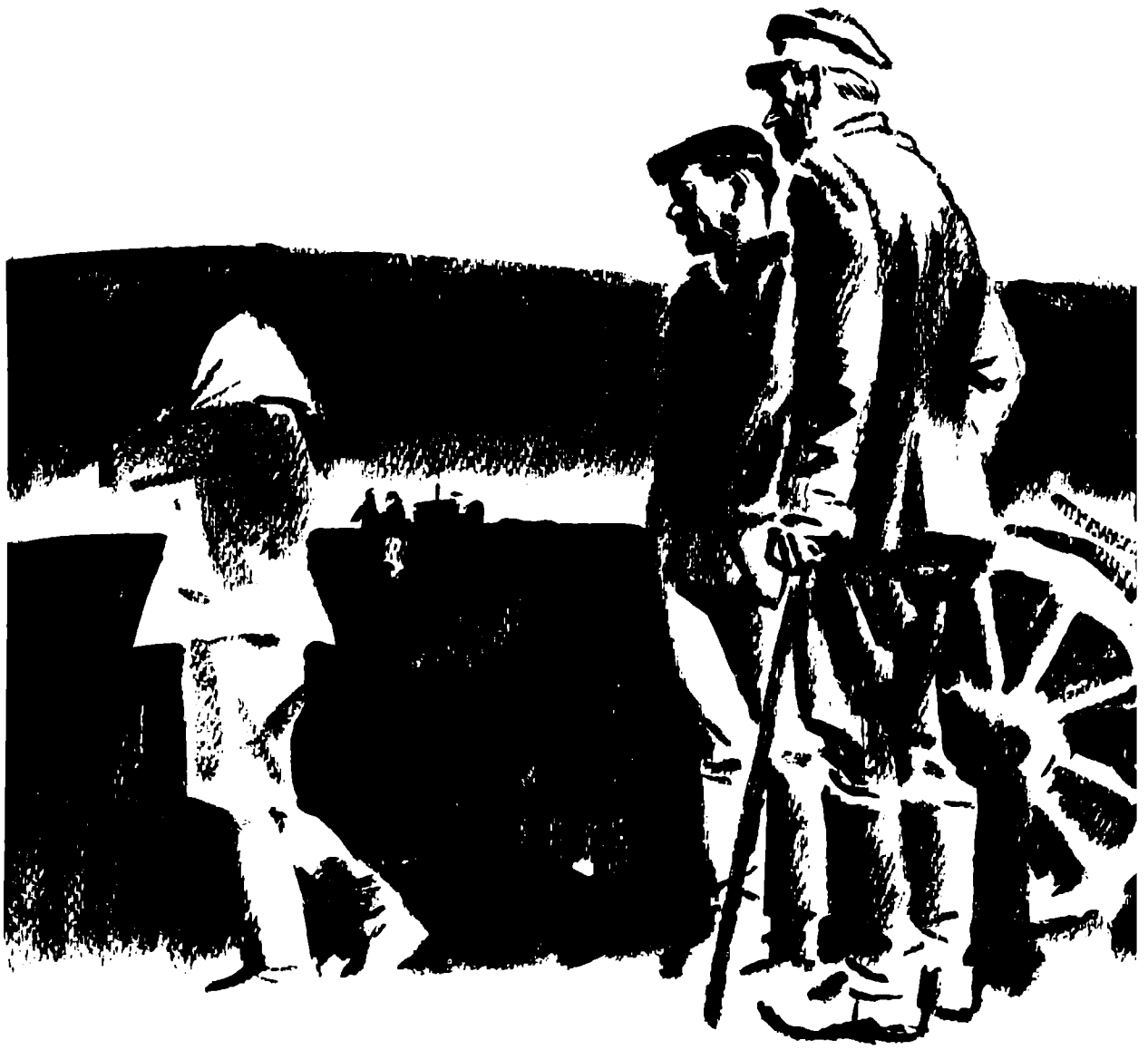
Как она оказалась снова на кровати, Катя не помнила. В себя она пришла от того, что кто-то клал ей на лоб мокрую тряпку. Очнулась, и в больном мозгу сразу застучало: «Потому и месячных не было. Проклятущий Пилюгин... Задавиться теперь! Уйдут дети на улицу — и задавиться! Где-то веревка была...»

В мозгу все это больно стучало, и эти мысли вызывали новый прилив тошноты. И может, ее снова начало бы рвать, если бы не шестилетний Игнатий, который стоял у кровати, совал ей кружку с водой и упрашивал:

— Мам-Катя, ну попей... Глотни водички-то, глотни.

Она взяла кружку, отпила. Вода была холодная, ей сразу стало легче. Она увидела, что тряпку ей на лоб клала Зойка. Николай и Захар тоже стояли рядом и похныкивали. Странно, отметила Катя, младшие Зойка и Игнатий вон как-то ей помогают, а старшие стоят беспомощно и плачут. А потом с тоскливым чувством подумала: «Старшие... На сколько они старше-то?!»

Она прикрыла глаза и полежала так, успокаиваясь. Тошнота стала проходить, а голова долго еще кружилась. Возле кровати все топтались детишки, время от времени всхлипывали. «Сердешные... сердешные вы мои»,— думала Катя. Сквозь ее прикрытые ресницы выдавливались слезы, она, не открывая глаз, обтирала их пальцами.



Продолжение следует.

ВРАЖДА

Анатолий ИВАНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

* * *

Когда все прошло, Катя поднялась с кровати и сказала детям:

— Спасибо, мои хорошие. Это так меня вырвало... от похоронок этих. Поешьте там чего да ступайте на двор. А я счас вот приберусь маленько да на работу.

Когда дети убежали из дома, Катя вынесла тазик с рвотой, потом опять долго смотрела в окно на улицу. Тумана и в помине не было, вершины холмов сияли под щедрым весенним солнцем. Ночной дождь обновил и без того весеннюю землю, холмы стали еще праздничнее, старые, чисто вымытые крыши домов тоже будто помолодели.

Лишь в душе у Кати была разлита чернота, все там было перековеркано, переломано, раздавлено. «Как же теперь быть-то? Что делать? Скоро ведь и живот появится, заметно будет...» — думала она, и от этих мыслей дышать стало трудно. Она ударила ладонью в створки окна, распахнула их, жадно глотнула чистого и прохладного воздуха.

Где-то поблизости, за углом, слышались ребячьи голоса, и Катя, перегнувшись через подоконник, крикнула:

— Эй, кто там? Игнатий, Зойка?

Но из-за угла выбежали Николай с Захаром, тревожно засверкали глазенками:

— Че, Катьк? Надо чего?

— Сбегайте... бабку Андрониху позовите мне.

Из-за угла, пока она это произносила, появились и остальные двое, все вчетвером они кинулись через дорогу к дому Андрона. Катя подумала, что всем-то бы им не надо бежать, чего привлекать лишнее внимание, хотела даже крикнуть, чтоб трое вернулись, но ничего не стала кричать, потянула к себе створки окна, плотно закрыла их на ржавый шпингалет.

Когда старая и немощная Андрониха пришла, Катя, скрючившись, лежала на кровати, смотрела в сторону двери пустыми глазами и будто не видела, не слышала, что она зашла.

Поздоровавшись, старуха окинула взглядом комнату, увидела валяющиеся на полу конверты с похоронками, прошла и подняла их, положила на столик в углу, потом пододвинула к кровати табуретку и, скрипя костями, опустилась на нее.

— Себя-то, Катерина, тож пожалела бы,— вздохнула слабой грудью старуха.— Что ж теперь... убивайся не убивайся.

Катя мотнула головой в одну, потом в другую сторону, перевернулась на живот, зарылась лицом в подушку и, прокусив до пера худенькую наволочку, глухо завыла.

— От ты... господи ты, боже! Ты слышь, Катерина,— беспомощно простонала старая Андрониха, поднялась с табуретки, растерянно потопталась, опять села.— Ты, говорю, остудись, Катюшка... Ну, сложила их война проклятущая в землю-матушку, царство им небесное...

— В землю! — Катя оторвала от подушки мокрое, распухшее лицо.— И я хочу лечь туда же! Туда же...

— Чего мелешь-то?! — сердито вскрикнула Андрониха.

— Бабушка! Да у меня же скоро... пузо попрет!

И, уронив голову в подушку, опять зарыдала.

Последние Катины слова оглушили старуху. Некоторое время она сидела молча, только вытягивалась как-то странно на табуретке да пошевеливала высохшими губами, а слов никаких не произносила.

Затем подняла вздрагивающую руку, перекрестила уткнувшуюся в подушку Катю.

— Бабушка, бабушка,— простонала та глухо.— Помоги мне!

— Да ить, сердешная... Как помочь-то?

— Как, как! — вздернулась Катя, села на кровати.— Откуда я знаю, как вы это делаете? Ну, дай выпить чего, чтоб кровью из меня все вышло. А то выдави, выскреби...

— Окстись ты! Дура...— опять сердито выкрикнула старуха.— За это теперь тюрьмой жгут. Мне-то все едино где помирать, да ведь и тебя посадят. А мало тебе всего?

Весенний день на улице набирал силу, солнце щедро лило в комнату через два небольших оконца тепло и свет, горячие желтые полосы согревали голые Катины ноги, спущенные с кровати.

Она еще раз негромко всхлипнула, углом одеяла обтерла остатки слез.

— Тайком же, бабушка,— попросила она жалко и униженно.— Никто ж и не узнает.

— Ага, иголка в сене, что ль, это? Федотья вон первая и донесет.

Еще помолчав, Катя тоскливо произнесла:

— Хоть бы еще Доньку за все это спасла... Что же теперь делать мне? Как быть-то?

— Единственно, ежелив добиться, чтоб в больнице все изделали.

— Как?

— Кому нельзя рожать-то... По здоровью редко разве бывает? Тем разрешают аборты по закону.

— По здоровью мне не выйдет.

— Ну, мало ли... ежлив тебе этого начальника попросить. Дорофеева-то.

— Не ет,— качнула головой Катя.— С этим стыдом еще к нему... Нет.

— Ну, тогда и гнись, покуль не упадешь,— жестоко вдруг сказала Андрониха.

— Бабушка! — с обидой и укором проговорила Катя.— Я думала... хоть ты меня поймешь. И пожалеешь.

— Так что понимать-то? Девка ты пакостливая, все в деревне про то знают. От жиру сбесилась, блудить с того и принялась, пузо и нагуляла с Артемкой. Поганей-то тебя в Романовке и нету. Ну, так за все это и казнись теперь...

Бабка Андрониха говорила это, блестевшие зрачки Кати сперва все расширялись и расширялись. А когда до нее дошло, что старая женщина в эти жестокие слова вкладывает совсем противоположный смысл, из глаз обильно брызнули благодарные, облегчающие душу и все тело слезы, она качнулась, упала с кровати на колени.

— Да за что, за что все это на меня свалилось? Напасти такие! — воскликнула она, уткнулась лицом в сухие ноги бабки Андронихи, и та легкой, высохшей рукой стала гладить ее по голове, по худой шее, по выгнутой горбом спине...

...Потом Катя, обессиленная и притихшая, опять сидела на кровати, а старая Андрониха тихонько говорила:

— За что напасти эдакие на тебя? А вот я стану говорить, а ты выведи... Ты жизню-то покуда видишь, как в зеркале. Что вокруг случается, то в нем тебе и отражается. А что за другой-то стороной стеколки да что по бокам? Ты вот Федотью этакой злыдней знаешь, а каковая ж тогда в молодости она была? О-хо-хо, не приведи господь! Попила людской кровушки, до сего от нее и хмельная... И батьку ее, Ловыгина, не знаешь ты, и муженька ее Сасония Пилюгина... Имя ему в аккурат, тоже пососал с народу соков. От них, из ихней плоти и Артемий был... Ну-к, к чему я это? Это, значит, у нас тут, в Романовке, одна такая линия была. А другая — это Тихомиловы да вы, Афанасьевы. Бабку да деда своего тоже ты не помнишь, до тебя их сгубили Пилюгины. А там, в гражданскую, Сасоний Пилюгин из оружия убил матерь Степана Тихомилова — Татьяну. А отец твой потом Сасония шашкой порубил... Всего-то и не расскажешь...

— Чего-то я и слыхала,— произнесла Катя.— Мало только, не любил отец рассказывать.

— Словом, да-авняя вражда меж вашей да ихней линией тут, на крови все замешано. Ну, а жизня, что ж... это, сказать, как жернова. Растерла она, значит, многое. Были — да не стало ни Ловыгина, ни Сасония, ни Кузьмы Тихомилова с женой... Из рода тихомиловского Степка один оставался. Из афанасьевского — отец твой, стало быть, Данила. А из ихней-то линии — Артемий с Федотьей. У каждых — детишки, понятно, пошли, как от корней отростки — время-то, как речка, бежало и бежало. Про Артемия Пилюгина с Федотьей долго не слыхано у нас было, где-то в северных снегах они жили. А перед войной, за год, что ли, али за полтора, они тут и объявились. Да это помнишь, однако, и ты.

— Да... Зимой они приехали. Я в десятом училась,— сказала Катя.

— Ага... Прямо как лисицы пугливенькие да бедненькие приехали, землю перед твоим отцом да перед Степкой Тихомиловым так хвостом и мели. А внутри-то прежнюю злобу и привезли. Таили ее, как горячий уголек под пеплом. И через год... Помнишь аль нет, как бабенка-то Степанова, Ксения, померла? Ну?

— Угорела она.

— Угорела, угорела,— дважды кивнула старуха с горькой усмешкой.

— А разве нет? Все так говорили. И видели...

— Так и я видела. Ксенька тем утром на кровати посинетая лежала, как кочерыжка, в избе угару, ровно воды в корыте, до

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—42.

верхов, печная труба наглухо закрытая... А кто закрыл?

— Да помнится ж, говорили — сама Ксения.

— Сама...— буркнула старуха несогласно.

Смерть жены Степана Тихомилова случилась в самом начале сорок первого. Сам Степан с бригадой колхозников находился в алтайской тайге на заготовке для артели древесины. Ксения вдруг занемогла — в морозный январский день она с тремя бабами возила к фермам сено, где-то ее прохватило, она слегла, а через сутки заметалась в беспамятстве. Дети ее ударились в плач. Захарку увела ночевать к себе в тот вечер Катя, а с двумя младшими, Игнатием и Донькой, взялась понянчиться Андрониха. А бойкая в те годы и проворная на руку Василиха принялась убираться у Тихомиловых по домашности, подоила корову, процедила молоко, истопила на ночь печь...

Утром, когда Ксению нашли мертвой, и пошел разговор — поторопилась-де Василиха трубу закрыть, тем и уморила жену Тихомилова. Василиха в рев — не закрывала трубу, загребла лишь прогоревшие кизяки к загнетке да побежала по своему дому управляться на ночь. Причин не верить ей не было, и люди порешили, что сама Ксения как-то очнулась и по извечной привычке деревенских баб сохранить на ночь как можно больше тепла добралась к печке и до конца прижала задвижку.

— Сама...— еще раз повторила Андрониха с горечью.— А я вот тем вечером глазищи Федотьины видела.

На измученном Катином лице проступило вопросительное выражение. Андрониха шевельнула как-то враз всеми морщинами на дряблых щеках и продолжала:

— А так было... Понесла я Доньку-то домой с Игнашкой да и бросила случаем на пилюгинский дом глаза. Он же рядом с тихомиловским. Темнялось уж, Пилюгины лампу вздули. Стеколки в окне-то наполовину замерзшие, а поверху, гляжу, Федотьино лицо пялится... Ну, ты можешь мне верить али нет, а только доселя у меня в глазах зрачки ее волчачьи так и стоят. Взгляд тот... Ну, а теперь вот и выведи опять же, чего тут хитрого? Сидела она, как зверица, в засаде да и глядела, как мы детей разбирали Ксенькиных на ночь, как Василиха в дровяник бегала, кизяки носила в дом, как дым с трубы шел. Все в окошко видно. И дождалася, когда Василиха закончила убираться у Ксеньки да к себе побежала... Уже ночь была, чего стоило Федотье тенью скользнуть через дорогу, юркнуть в дом тихомиловский, задвижку печную прижать да обратно. На миг всего и делов... А, не могло так быть?

— Могло,— согласилась Катя.

— И батька твой тогда сказал, что могло. И Степан. Да кабы, грят, кто хоть видел бы, что Федотья тем вечером в дом ихний бегала... А так, может, и сделала она дело, да правду собака съела.

Катя встала с кровати, прошла по кухне, села за пустой стол. В окна все так же щедро лился солнечный свет, над облезлыми наличниками окон кричали ошалело воробьи. Каждый год воробьи выводили за наличниками свое потомство. Сперва с утра до вечера звонили сами, затем круглый световой день пищали их ненасытные птенцы. Но уже в июне птичий гомон становился все тише и реже, потом прекращался вовсе, это значит — птенцы были выкормлены, выращены и покинули навсегда родные гнезда. Перед домом и в самом доме тогда становилось как-то пустынно и грустно, а через день-другой Кате обычно казалось, будто никогда за окнами и не гремел воробьиный перезвон, никогда не происходило там одно из бесконечных таинств зарождения и торжества живого. Так вот все произойдет и нынче, с тоской думала она.

— Убей меня али язык за то вырви — Федотья-злоденха Ксеньку сгубила. Так оно все было, на ней на первой Пилюгины злобу свою выместили... Ну, а после все так обернулось, что ты тут из Афанасьевых-то самая большая осталась,— вернул Катю в жестокую и беспощадную реальность голос бабки Андронихи.— Большая, да беспомощная, что цыпушка. Он, Артемий Пилюгин, и начал терзать тебя, как коршун... Кровью-то их ничего не прощает. А ты говоришь — откудова напасти.

Катя сидела, опустив голову, на ее тонкой шее дергалась синенькая жилка, причиняла ей неимоверную боль, которая пронизывала все ее тело.

— Ну и дотерзался,— вздохнула Андрониха, будто пожалела Пилюгина, бывшего председателя, и тоже с трудом поднялась.

— Он дотерзался,— быстро повернулась к ней Катя. — А мне-то теперь каково!

— Да уж чего говорить,— кивнула старуха. — Пока живет человек — к богу-то за тучу ему не заскочить и в землю с головой не зарыться.

— А я ж тебе и говорю: задавлюсь от позора...

И Катя умолкла, как задохнулась.

Бабка Андрониха усмехнулась старым своим, провалившимся ртом.

— Вот Артемий-то на том свете обрадуется! А Федотья на этом.— Старуха шагнула к Кате, больно вцепилась ей в худенькие плечи, сердито зашипела в самое ухо: — Рехнулась совсем, девка?! Ишь какая скорая! А на тебе вон дети, вся деревня... Это ты в расчет-то взяла? И подумала бы дурной-то башкой — молоденькая еще какая! Да и красивая, коли на то пошло. Жизнь-то еще тебе не открывалась.

— И не откроется теперь.

— Ну-у! — не согласилась старуха.— А позор — какой тебе позор? Люди — они что, без ума, что ли?

Катя сидела недвижимо, положив оголенные до локтей руки на стол.

— В жизни оно, конечно, непросто, Катюшка. Тут, говорится, с ног только свались, так уж тычков не оберешься. А ты не сваливайся!

Конверты с похоронками, как их Андрониха, подняв с пола, положила на стол, так там и лежали. Катя осторожно дотронулась до них пальцами, но брать в руки не стала.

— Господи, да как хорошо, что Степана-то убили! — глухо и мучительно выдавила она сквозь зубы.

Андрониха качнула седой и легонькой головой в платочке не то протестующе, не то согласно. И вдруг полюбопытствовала:

— Живет слух в деревне, будто там чего-то промеж вас было со Степаном... как он овдовел-то?

Катя медленно повернула к ней голову, глаза ее строго и холодно блестели от сдерживаемых слез. И она, почти не шевеля губами, отчетливо проговорила:

— Что было? Ничего промеж нас не было.

* * *

А было или не было что-то меж ней и Степаном Тихомиловым — Катя теперь и сама не знала.

Все прошлое было словно не с ней и не здесь, а с кем-то другим и где-то далеко за холмами, за дальними далями, задернутыми сплошной пеленой дымного тумана.

Но были в этой пелене будто реденькие участки, сквозь которые иногда открывались-виделись Кате отдельные кусочки далекой прошлой жизни, в которой, оказывается, принимала участие и она.

Помнила Катя, как женился Степан.

Будущую жену он привез из Березовки по осени, когда отмолотились уже и когда стояло то самое бабье лето, которого ждут не только бабы, но и мужики, чтобы доделать к зиме оставшиеся дела — подправить вокруг домов оградки, зачинить прохудившиеся повети, вывезти с лугов сено для скотины, наколоть, сложить в поленницы березовые дрова, укрыть от близкого снега все, что следовало укрывать.

— Это ж тая танцорка! — ахнули в деревне бабы-ягодницы.— Которая в холмах тогда перед Степкой плясала.

— Она самая,— подтвердил Степан.— Ксенией звать. Прошу любить да жаловать.

Ксения — рослая, стройная, нисколько не смущалась всеобщим вниманием, впервые прошла по улице Романовки, как проплыла, одаривая всех счастьем, лившимся из ее темно-синих, доверчиво распахнутых глаз.

— Не идет, а метет! — восхищенно сказал ей вслед дед Андрон, когда Степан подводил Ксению к крыльцу своего дома, и улыбающиеся бабы согласно закивали головами.

И во время свадьбы Ксения подтвердила, что умеет плясать, переплясала она и председателя колхоза Данилу Афанасьева, и нехромого тогда, шестнадцатилетнего Макеева Петруху, и шуструю молодую бабенку Марию с ее мужем — всех.

— Эт поворо-от! — вытирая взмокшее лицо, воскликнул Макеев и, будто не зная, откуда родом Ксения, спросил у Степана: — Где взял такую?! Где взял?

— А под кустом,— посмеивался Степан.— Иду мимо — она лежит. Ну, я и поднял.

Было это в тридцать четвертом. Катя по малолетству — тринадцать только исполнилось, с марта пошел четырнадцатый — за столом не сидела, но с радостью помогала во всех свадебных хлопотах, гусей щипала для варки, лапшу раскатывала, на стол подавала. На другой день после свадьбы Ксения обняла ее и сказала:

— Славная ты, Катенька. Возьми вот... на память о моем счастье.

И дала ей простенькие стеклянные бусы.

— Спасибо, теть Ксеня,— ответила Катя.

Она звала ее тетей Ксеней до конца, до самой ее такой нелепой и непонятной кончины.

И Степана звала дядя Степан, потому что он был старше ее на целых десять лет.

Ну — дядя Степан и дядя Степан, а сама между тем подрастала, и когда было ей уже без месяца или двух девятнадцать, случилось Степану Тихомилову подвезти ее из райцентра в Романовку. Катя училась в десятом, и в первый же день зимних каникул объявился перед ней Степан, поблескивая веселыми глазами, спросил:

— Ну, что, Катерина, домой-то хочешь?

— Ой! — воскликнула она.— Да неужели ж...

— Я в потребкооперацию приезжал. Заодно батька твой и тебя велел привезти. Собирайся.

В тот день хоть и низко, но весело стояло над землей солнце, ночью был хороший морозец, до рассвета сыпалась с неба легкая кухта, а теперь белые снега щедро переливались синими, розовыми, желтыми искрами.

Лошадь бежала резво, сани оставляли на присыпанной той же кухтой земле две гладкие полоски, которые казались мокрыми и уже не вспыхивали, а беспрерывно переливались разноцветными лентами. И еще казалось, если безотрывно глядеть на эти полоски, будто розвальни вовсе и не двигаются, а две эти огненные струйки вытекают из-под саней и стремительно убегают прочь, извиваясь вдоль дороги.

На эти две полоски от саней да на заснеженные, искрящиеся под солнцем холмы Катя и глядела всю дорогу, а на Степана боялась, чувствовала она себя неведомо отчего скованно и всю дорогу молчала. Только раз спросила:

— Как там отец-то с ребятишками?

— Справляемся,— ответил Степан.— За Зойкой бабка Андрониха ходит. А другие-то что ж, большие уж.

Отвечая так, Степан тоже чувствовал вроде неловкость какую-то, Катя это улавливала и еще более смущалась.

Так и ехали молчком.

Лишь у самой Романовки, как спускаться с холмов, Катя, привстав в розвальнях, воскликнула, показывая рукой в сторону:

— Дядя Степан!

Там, куда показывала Катя, всего метрах в сорока от дороги, мышковала лисица. Она то крутилась на одном месте, то делала скачки в сторону, то яростно разгребала лапами снег, распушив трубой хвост. Увлеченная охотой, людей она не замечала.

Степан равнодушно глянул на лисицу и усмехнулся:

— Дядя...

Это окончательно смутило Катю.

— А как же... мне тебя называть?

— Не знаю,— улыбнулся Степан ей прямо в лицо веселыми глазами...

...Помнила Катя, как приехали в Романовку Пилюгины. То есть не само их прибытие, а первую встречу с Федотьей и Артемием, случившуюся на второй или третий день после ее приезда на последние школьные каникулы. Еще когда они со Степаном Тихомиловым спускались с холмов в Романовку, тот сказал ей: «А у нас новые жители объявились». «Кто ж такие?» — спросила Катя, все еще раздумывая, как же ей теперь называть Степана. «А этот последний кулацкий выродок Пилюгин Артемий. Со своей матерью, со всем своим семейством прибыл. Я отговаривал твоего отца пускать их сюда, а он: не за утенка, дескать, мы дрались с ними...»

Кто такие Пилюгины, Катя знала, но при чем тут какой-то утенок, не поняла, а переспросить не решилась. А через день или два и повстречалась с приезжими. Она пошла поутру за водой на речку, по переулку, ведущему к проруби, ковыляла навстречу незнакомая сгорбленная старуха с костылем, потом остановилась и стала ждать ее.

— Чего вам? — спросила Катя, догадываясь, кто перед ней. Переулок был заснеженный, едва-едва двоим разойтись, но, чтобы это сделать, кто-то должен был посторониться.

— Это ты, что ли, Катюха-то Афанасьева? — спросила старуха ласково и дружелюбно.

— Ну, я,— ответила Катя. Она сняла с плеч коромысло, в другую руку взяла оба ведра — так удобнее было обойти старуху. Но в это время из калитки ближней усадьбы вышел человек в полушубке и мохнатой, из какого-то нездешнего меха шапке и еще издали спросил:

— С кем это ты, мать?

Старуха не ответила, все стояла и разглядывала Катю маленькими усохшими глазами, голос ее был ласковый, а вот в глазах горели холодные, колючие искорки, неприятно покалывали. А когда человек в мохнатой шапке подошел, Катя увидела, что это молодой, примерно ровесник Степана, мужик, глаза у него, как у матери, маленькие и острые, но в отличие от старухи угодливые, плечи покатые, нос крупный, скулы угловатые, тяжелые.

— Видел, Артемушка, каковая старшая дочь-то Данилки? — проговорила старуха тем же голосом.— Эка вымахала, в красавицу. Погляди, погляди...

— Доброго здоровьица. Утро добренькое,— дважды поздоровался Артемий Пилюгин. Стоял он прямо и недвижимо, но Кате показалось, что он дважды поклонился. Видно, оттого показалось, что уж слишком заискивающим был голос. — А мы вот, значит, вернулись. Поскольку родимые места...

— И отец его, Артемушки, тут, на романовском кладбище погребен,— добавила Федотья.

Потом несколько мгновений они стояли друг против друга молча и неловко. Наконец Артемий первым шагнул в сторону и старуху потянул за плечо:

— Дай, мать, дорогу-то человеку...

...И знала Катя, когда померк, потух навсегда веселый свет в глазах Степана. Из алтайской тайги, как сообщили ему о смерти Ксении, он прискакал полоумным, ворвался, черный и страшный, к ним в дом.

— Как! Ка-ак?! — застонал он, хватаясь, чтоб не упасть, за плечи отца.

— Теперь и гадай, как...— виновато и тоскливо проговорил отец.— Угорела хворая, а мы недоглядели. Хотя всяко на деревне судачат...

— Кто? Что? Как?! — еще трижды прокричал Степан голосом, от которого у Кати по всему телу посыпались мурашки.

И тут отец жестко воскликнул:

— Образумься, Степан! Крошева и дурак накрошить может... Всякие разговоры да предположения к делу не пришьешь.

Степан все еще держался за плечо отца, а тут ноги его стали подламываться, рука с плеча соскользнула, и он начал тяжело сползать вниз. Отец подхватил его, не довел, а дотащил до голбчика, усадил. Степан привалился плечом к печке, прижался к ней головой в шапке и начал подвывать, как сиротливый щенок.

Кате стало страшно. Мужик, а плачет, как немощный и хворый ребенок. Она тяжко и громко всхлипнула раз, другой, третий...

Опомнилась от того, что в уши заколотил сердитый голос отца:

— Ты-то чего разревелась? Перестань сейчас же!

Опомнилась и увидела, что Степан сидит на голбчике теперь прямо, шапку сжимает в руках. Глаза его сухие, только нет в них ничего живого, все в них замерзло.

— Степан! Степа! — невольно вырвалось у нее, она качнулась к Тихомилову, упала перед ним на колени, схватила за руки, которыми он сжимал свою шапку, и, запрокинув голову, глядя в его потухшие глаза, сквозь слезы заговорила торопливо: — Только ты не плачь, не надо... А детишек мы выходим... С Донькой я буду возиться. Давай ее к нам. Мне что с одной Зойкой, что с двумя... Сестричками и вырастут. А остальные сами бегают, ничего. Ты слышишь, ты слышишь? Пап, и ты скажи ему, скажи!

Отец ничего не сказал, только согласно кивнул, а сам Степан проговорил:

— Спасибо, Катя. Спасибо...

В такую-то минуту и так вот непроизвольно и назвала она впервые Тихомилова не дядей Степаном, а просто по имени, как равного по возрасту.

Все это случилось за несколько месяцев до войны.

Как прошла вторая половина зимы и весна, Катя и не увидела. Шестеро детей на одну — трое своих да трое тихомилов-

ских — это не шуточки. А самому старшему из всех, Мишухе, было тогда лишь девять годков, шел десятый. Хоть и девять, да помощником был и сторожил мальков, когда Катя за водой бегала, коров доила, по хозяйству в том и другом доме управлялась. И самой Кате помогал — дров к вечеру наносит, сенца скотине набросает, если отец и Степан Тихомилов когда на работе закрутятся. А уж покормить всю ораву почти всегда было его делом. Старшие, понятное дело, ели сами, за ними только строгий пригляд вел Мишуха да покрикивал грубовато: «Вы, заразы, без баловства за столом! А то вот до огня надеру уши! И чтобы все слопать у меня». А младших, Зойку с Донькой да Игнатия, кормил по очереди с ложки, приговаривая примерно на такой манер: «Эти оболтусы хоть и большие, да глупые, вон Колька с Захаром, паразиты, хлебом швыряются, ну я им накручу холки счас. А вы маленькие да умненькие у меня, ешьте да растите пошибче. А то ведь одна на всех на нас мамка-то Катя, измаялась она с нами».

Однажды, когда за окном стоял холодный и вьюжный март, пятилетний в ту пору Колька в ответ на такие слова пропищал:

— Катька не мамка вовсе мне.

— А кто ж, оболтус ты этакий? — строго спросил Мишуха.

— Не знаю... Дочка она тятькина.

— А мне она мамка,— заявил вдруг Захар Тихомилов. Он был постарше Кольки и, прежде, чем произнести эти слова, о чем-то, наморщив лобик, старательно подумал.

Колька долго выколупывал хлебный мякиш из горбушки, но не ел, а складывал крошки в пустую тарелку. А потом проговорил:

— А твою мамку на могилки отнесли.

Глазенки Захара подернулись влагой, но он не заплакал, а сказал:

— Это одна была мамка... А Катя другая.

Кормила Катя детей когда где придется — то в своем доме, то в тихомиловском. В этот раз ужинали в тихомиловском, Катя возилась с чугунками у печки, а сам Степан только что вернулся с поля, где с рассвета обмолачивали хлебную скирду, сидя на скамейке, стаскивал с окоченевших ног промерзлые насквозь валенки. При этих словах старшего своего сына он словно забыл про лежавшие у него на коленях сухие шерстяные носки, минуту назад поданные ему Катей, красные босые ноги его стояли на холодных досках пола, не чувствуя холода, в глазах, обращенных на девушку, плескалось не то изумление, не то растерянность.

— Вот доболтались до чего,— проговорила Катя, будто в чем-то виноватая, глянула на Степана, встретилась с такими вот его глазами. И тут уж смутилась по-настоящему: — Ты, Степан... чего?

Что ответить Кате, Степан не нашелся, опустил голову и стал натягивать носки.

С этого-то вечера между ней и Тихомиловым Степаном и возникло то незримое, что стало разделять их все больше и больше. Пролегла вроде какая-то полоса и с каждым днем потихоньку расширялась. Нет, внешне ничего не изменилось, Катя так же приглядывала за его домом и ухаживала за его ребятишками, как за своими, но с самим Степаном разговаривала меньше. Скажет, когда уж нельзя без этого, самое необходимое, а так старалась обходиться без слов. И старалась она не смотреть на Степана, как-то боялась теперь его. И он, чувствовала и видела Катя, вел себя так же. А в глазах его, после смерти жены потухших, и вовсе теперь стояла, как в осеннем болоте, неподвижная тоска и грусть.

А вскоре Катя случайно подслушала такой разговор меж Степаном Тихомиловым и отцом:

— Совсем бы я не выдюжил, дядь Данила, кабы не Катька твоя. Найдется ли у меня богатства, чтоб отблагодарить ее!

— Да уж что говорить. Одна на двоих она у нас теперь с тобой.

— Захарка мой недавно сказал: мамка, мол, мне она.

— Погоди... — негромко вымолвил отец.— Это ты о чем?

— Сынишка, говорю, несмышленыш...

Отец и Степан ужинали, на столе у них стоял закопченный чайник, а Катя с детьми лежала на полатях. Набегавшиеся за день дети спали, как мертвые, а Катя уснуть никак не могла, на полатях было душно, натруженные за день ноги стонали. Она невольно прислушивалась к разговору, последние фразы отца и Степана словно огнем ее окатили. Она перевернулась со спины на бок, беззвучно и горько заплакала. Сквозь слезы еще разобрала приглушенный голос отца: «Ты не тревожь, Степка, ее душу. Она у нее еще хрупкая. Ну ладно, разбегáемся, завтра делов-то нам с тобой невпроворот».

С этого вечера полоса, разделяющая ее и Степана, стала будто еще шире. Катя вовсе замкнулась, все дела теперь совсем делала молча, сердито хмуря лоб. И в глазах Степана все отчетливее стала проступать растерянность и вина.

Недели через две он не выдержал и сказал:

— Измоталась ты. Давай-ка я какую старуху попрошу за детями походить...

— Старуху?! — сорвалась вдруг Катя.— И правда! А то, гляжу, настоящей мамкой меня хочешь для них сделать! Слышала я разговор-то ваш с отцом. Да пропадите вы все пропадом!

И она, рыдая, сдернула с гвоздя пальтишко, стала его натягивать, собираясь бежать домой, никак не попадала в рукава и все повторяла: «Пропадите! Пропадите...»

Степан Тихомилов молча подошел к ней, помог одеться, отстранив ее руки, сам застегнул ей пуговицы, снял с гвоздя шерстяную, самодельной вязки шаленку. Прикосновение его рук вдруг отняло у нее все силы, она, как ребенок, позволила ему и застегнуть пуговицы и накинуть на голову шаль, только стояла и всхлипывала.

А закончив ее одевать, Степан негромко и грустновато проговорил:

— Слушай, Катя... Я бы и женился на тебе, кабы помоложе был да кабы ты согласилась на столь детей идти... А самое-то главное — кабы Ксенька забылась. А она стоит перед глазами, как живая. Без нее я вот и гармонь ни разу не трогал, стоит осиротелая...

Катя, оглушенная его словами, даже всхлипывать перестала, только вытирала ладонями мокрые щеки.

Степан отошел к окну, стал глядеть на осевшие, почерневшие уже апрельские снега. Широкие плечи его показались ей жалкими и беспомощными. Постояв так безмолвно, она вышла.

А назавтра, едва рассвело, она отмахнула дверь дома Тихомилова, внося беремя поленьев, высыпала их у печки. Степан, глядясь в обломок зеркала, скоблил бритвой со щек жесткую щетину. Повернув к ней намыленное лицо, сказал:

— Кать, я же вчерась сказал: старуху какую-нибудь...

— Ага,— буркнула она, раздеваясь.— Будто у меня руки-ноги совсем отсохли... Отправляйся давай, отец в контору ушел уж, а я на завтрак чего сготовлю.

* * *

...Одного не помнила Катя, когда она все же полюбила Степана, одного не могла понять — как все это произошло. До смерти Ксении она никогда вроде и не думала о Степане, а померла она совсем-совсем недавно...

Но это наперекор всему произошло, и видно, как потом размышляла Катя, задолго до того, как она, лежа на полатях, подслушала невольно их с отцом разговор. А вот когда точно — неизвестно. Да и кто когда такое дело устанавливал с календарной ясностью?

Внешне все обстояло по-прежнему, Катя хлопотала целыми днями по его и своему дому, обихаживала оба выводка, не делая различия, как и раньше, между его детишками и своими. Бесконечные дела как-то и не так ее теперь утомляли. Только ночами она стала думать о Степане, и сердце ее больно посасывало. Она засыпала с мыслью о нем, и как пробуждалась, видела сразу же перед собой его тоскливые, невеселые глаза.

И говорили они по-прежнему мало, опять же лишь о самом необходимом. Да и то так, будто каждый стеснялся друг друга.

Гармонь его действительно стояла в углу на столике, онемевшая со дня гибели Ксении, прикрытая кружевной накидкой. Время от времени Катя снимала накидку, обтирала с гармони пыль.

Однажды в конце мая, как колхоз отсеялся, Катя истопила стоявшую на тихомиловском подворье баню. Сперва выпарились отец и Степан, пропадавшие всю весну в поле, а с ними вымылся и Мишуха. Остальных детей сводила в баню сама Катя.

Когда она, после мытья тоже розовая и потная, запустила в избу гуськом детей, отец и Степан ели за столом картошку с мясом, между тарелок стояла наполовину выпитая бутылка.

— Садись-ка, Катерина, с нами,— сказал отец.— А детей потом уложишь.

Все это показалось Кате многозначительным, сердце ее упало, тем более, что отец плеснул ей немного водки со словами:

— Выпей, Катенька ты моя.

Водку она пробовала несколько раз, ничего хорошего в ней не находила, от нее противно лишь кружилась голова. Но сейчас отказываться не стала, проговорила с каким-то вызовом:

— А что думаете? И выпью. А за что?

— Да за тебя, дочка,— просто сказал отец.

— Я за нее, дядь Данила, полный стакан выпью.— И Степан выпил.

Потом, молча поковыряв в тарелке, Степан подошел к стоящей в углу гармони, снял накидку, провел ладонью по ее лакированной поверхности, но в руки брать медлил.

— Сыграй, Степан,— тихонько попросила Катя.

Степан как стоял спиной, так и продолжал стоять, все гладил и гладил трехрядку. Затем медленно укрыл ее накидкой и медленно, с трудом обернулся.

— Не могу, Катя. Я ж тебе говорил...

Вот так вот. А она-то, дура, ждала невесть чего.

Внутри у Кати все стонало не то от обиды, не то от смертельного оскорбления, лицо полыхнуло огнем. И хорошо, мелькнуло у нее, что после бани она распаренная, и хорошо, что глоток водки выпила, а то бы отец заметил ее состояние, обо всем догадался бы. Господи, да и без этого счас догадается, вот-вот слезы ручьем хлынут...

Она опустила голову и, не поднимая ее, полезла из-за стола.

— Давайте... А то детей кормить да укладывать пора,— выдавила она, находясь уже к отцу и Тихомилову спиной и чувствуя, как потоком льются по щекам горячие слезы.

И откуда взялся он, этот слух, что между ней и Степаном было что?! И в тот последний месяц, перед тем как грохнула война, со Степаном она почти не виделась. Рано пошли травы в тот год, с самой весны было много дождей, которые мешали севу, а травы к началу июня вымахали по пояс. В колхозе было три свои сенокосилки и несколько конных граблей. Степан сперва пропадал целыми днями на кузне, помогая хромоногому Петровану Макееву их отлаживать, а потом и вовсе жил на сенокосах. А она, Катя, все так же возилась да возилась с шестерыми детишками.

Зловещее известие о войне и в их маленькой деревушке изменило привычное течение жизни. «Поворо-от!» — произнес свое обычное пьяненький кузнец Макеев, выслушав под вечер 22 июня по батарейному радиоприемнику, который выставили в открытое окно колхозной конторы, выступление Молотова. И в самом деле все повернулось и потекло теперь в иную сторону. Ночей в июне почти нет, в одиннадцать еще светло, а в три уж и солнце за холмами где-то маячит, огонь в домах людям без надобности, а в эту первую военную ночь они горели до рассвета. С утра заходили

по небу тяжелые дождевые тучи, грозя промочить высохшую уже на лугах кошенину, а председатель колхоза с Тихомиловым никак не могли отправить людей сгребать и стоговать сено, колхозники толпились у конторы, дожидаясь известий о том, что немцев за советскую границу уже выперли и война окончилась... Дождь-таки обвалился к полудню и сильно попортил готовое сено. В этот же день пришло в колхоз известие о мобилизации, под которую подпало дюжины полторы романовских парней и мужиков, в том числе и Степан Тихомилов.

На сборы мобилизованным было отведено всего полтора дня, и Степан, бледный и немного растерянный, то прижимал к груди головенку старшего своего сынишки, шестилетнего Захара, то сажал на колени Игнатия с Донькой.

— Кровинушки! В детдом, сказали мне в военкомате, теперь вас... Завтра поедем.

— Какой детдом? Ополоумел! — закричала сквозь слезы Катя.— Будто я уж неживая... Али не привычная к такому делу?

— Ах, Катя, Катя! Катенька, война ж. А коли там меня...

— Язык-то у тебя как поворачивается! Бессовестный.

До вечера Степан еще несколько раз пытался завести разговор о детдоме, а Катя, будто дети были ее собственные, сквозь слезы кричала ему враждебно:

— Не дам! Не дам... Пап, да скажи ты ему, дуралею!

И Данила Афанасьев в конце концов хмуро проговорил:

— Пущай она, Степан... Разве там-то им лучше будет?

— Так, дядь Данила... Рано или поздно — и ты уйдешь. Как тогда она?

— А там и решать будем,— ответил председатель колхоза.

Потом, весной сорок второго, когда уходил на фронт и Данила Афанасьев, вопрос этот решился просто. Прощаясь с дочерью у крыльца, отец сказал:

— Вишь, какое горе над землей нашей. Всем тяжко. Ты уж как-нибудь сбереги детишек...

— Папа, папа...— уткнулась ему Катя горячей головой в грудь.— Ты только вернись, вернись!

— Куда ж я денусь. И Степан вернется...

Весной сорок второго решился этот вопрос так, а в июне сорок первого, прощаясь на вокзале со Степаном Тихомиловым, о своих братьях и совсем малолетней сестренке Катя вовсе и не думала. Они для нее в те минуты будто и не существовали, а были лишь его, Степановы, дети, о которых она без конца ему говорила и говорила:

— Не заботься об них... Они ж мне давно не чужие. Мамкой, слышал же, зовут.

— Спасибо, Кать... Спасибо, Кать,— одно и то же повторял он без конца, будто пьяный.

И вдруг в ответ на какие-то ее тоже бессвязные слова он заговорил голосом твердым и ясным:

— Одно скажу тебе, Катя. После смерти Ксении я будто еще одну долгую жизнь прожил. Не знаю как, но ты у меня в душе переворот сделала. В общем, как с войны вернусь и если ты будешь согласная...

Закончить она ему не дала, зажала рот ладонью.

— Не надо, Степ...— и припала головой к его плечу.

На районном вокзале, где стоял состав из теплушек, творилось невообразимое. Играла духовая музыка, в голос ревели женщины, слышался пьяный смех, раздавались нестройные песни. В бурлящей толпе несколько раз мелькал Данила Афанасьев, провожающий мобилизованных односельчан, неподалеку от Степана с Катей выла, лежа на груди Артемия Пилюгина, жена его Лидия, а старая бабка Федотья, тыкая ей костылем в спину, говорила: «Вот теперь и поплачь... Шибче убивайся-то, за Советскую власть муженек воевать едет. Отец-то его, Сасоний, вот поглядел бы...» От шума, от гама, от пьяных песен, и женского плача, и от собственных слез голова у Кати была как распухшая, но она отчетливо слышала слова бабки Федотьи, только никак не могла понять их смысла. Дети Артемия, Пашка с Сонькой, дергали мать за одежду и, хныча, просили ее совсем о другом: «Не плачь, мама... Бабушка вон не плачет, и ты не плачь». Но до всего этого Кате будто дела не было. Она открыто и впервые в жизни прижималась к Степану Тихомилову, чувствовала его тепло, отчего у нее еще больше кружилась голова.

— Не надо,— произнесла она еще раз, оторвалась, поглядела ему в глаза.— А как приедешь — на гармошке мне сыграешь? А, сыграешь?

— Да конечно, Катя!

Из вагона он ей махал до самого конца, пока состав не завернул за какие-то здания, и все кричал, кричал: «Я тебе обо всем напишу, напишу!..»

В первом же письме он, еще с дороги, написал то, о чем Катя не дала ему договорить: если она после войны согласится выйти за него, то он и ветру на нее пахнуть не даст.

Катя никогда не показывала это письмо отцу, носила его, пока конверт не истерся, при себе, а потом положила в самое потайное место.

И тем не менее тогда весной сорок второго отец, прощаясь с ней у крыльца, поглаживая жесткой рукой ее голову, после слов о том, что они со Степаном обязательно вернутся, прибавил:

— И это верно, Кать, он не даст на тебя и ветру пахнуть.

— Ты... ты читал мое письмо? — вспыхнула Катя.

— Что ты, дочка! Так мне сам Степан написал с фронта. Катя, говорит, согласная, а я и ей заявил и тебе, пишет, обещаю, как ее отцу...

— Папка, папка! — еще раз только и воскликнула тогда Катя.

Отец уезжал на фронт один, никто, кроме нее, хромоногого кузнеца Макеева да старого Андрона, его не провожал. Да еще у ходка стоял Артемий Пилюгин, недавно вернувшийся с фронта по ранению, самолично решивший отвезти отца в райвоенкомат.

— Ну, Катенька, давай уж как-нибудь тут,— еще раз обнял он ее.— Новый председатель вот обещает помогать тебе с такой оравой по возможности.

— Помогу, помогу, не беспокойся даже об этом,— угодливо тогда произнес Пилюгин.

Продолжение следует.

ВРАЖДА

Анатолий ИВАНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

* * *

«Помогу...» Помог, кобелина проклятый, не раз горько думала о Пилюгине Катя еще до рокового Мишухиного выстрела.

А теперь, когда старая Андрониха с непреклонной убежденностью объяснила Кате причины свалившихся на нее напастей, рассказала о двух этих линиях в Романовке — тихомиловско-афанасьевской и пилюгинской да высказала свое предположение о причине смерти Ксении, жены Степана,— перед Катей как бы распахнулась бездна жизни, заглянув в которую, она поразилась. И она часто теперь задумывалась о вещах каких-то отвлеченных, не относящихся к истории затерявшейся в холмах крохотной Романовки, живших и живущих в ней людей. Думала Катя, что вот течет речка, и человек видит, что делается на ее поверхности — солнечные да лунные блики качаются, волны играют, то мутная весной или после дождей, то светлая она течет. А какая жизнь идет в глубине?

Кате казалось, что она стала понимать теперь многое-многое. Хотя что конкретно — объяснить ничего бы и не могла. Но вот та же Марунька-счетоводиха врезала ей недавно, чтоб не надеялась, что дальше-то горюшка будет поменьше, а то, мол, прохнычешь до вечера, так и вовсе жрать будет нечего. Да и сама Андрониха, вместо того, чтоб пожалеть, заявила ей вроде бы рассерженно: кто, мол, про твое распутство не знает, нагуляла пузо, так и казнись. А секретарь райкома партии Дорофеев в тот день, как предложил ей взять на себя колхоз, сказал и вовсе ясно и определенно: каждого пожалеть надо бы, да как в такое-то время? И понимала Катя, что невозможно, а тем не менее во всем этом, в словах и Маруньки, и Андронихи, и секретаря райкома она видела теперь большую человечью жалость к ней и заботу, чувствовала тот большой и вечный смысл бытия, который помогает человеку выдюжить и выжить в самых немыслимых обстоятельствах.

...Лето наступило хорошее, в меру выпадали дожди, достаточно было солнца и тепла, посевы дружно зеленели, в лощинах меж холмов быстро подрастали травы.

После похоронок на отца и Степана Катя резко изменилась, она будто вдвое стала старше, замкнулась в себе, ни с кем почти не разговаривала целыми днями, оставив детей на ту же Андрониху, разъезжала в одиночестве по полям, по сенокосам. Осматривать угодья столь часто было без надобности, но она ездила, иногда где-нибудь выпрягала лошадь и пускала пастись, а сама ложилась в траву, часами глядела, как текут в небе облака, слушала, как в бездонной синеве играют свои любовные игры жаворонки.

Писем от Степана и отца она теперь, понятное дело, не ждала, Марунька-счетоводиха иногда подавала ей в конторе письма от Мишухи, они были не в конвертах, а тоже треугольниками, как с фронта. Каждое письмо Катя долго держала в кармане порыжелого отцовского пиджака, который на плечи не надевала почти, а возила на всякий случай под передним сиденьем ходка, и часто, лежа в траве, перечитывала. Писал Михаил в общем-то об одном и том же: все у него в порядке, колония хорошая, нормы он свои выполняет, спрашивал, как у них там в колхозе дела, кто ж теперь председательствует да жаловался, что вот почему-то не отвечает ему отец, он писал на воинскую часть несколько писем, а с фронта ни ответа ни привета. В последнем письме Михаил прямо спросил: «Может, не дай бог, с отцом чего случилось? Ведь война ж, все может быть, чего ты, Кать, темнишь-то, я ж взрослый...»

Катя облила это письмо слезами. «Взрослый...» И тем же вечером попросила у Марии какой-нибудь листок, а ночью, уложив детей, села за стол и, сглотнув тяжелый комок, вывела: «Родимый Мишенька...»

Беспрерывно обтирая платком глаза, она сообщила Михаилу, наконец, обо всем — и о похоронных, которые так долго от нее скрывали («Да и хорошо, а то ведь тебя в тюрьму тогда засуждали, не выдержать бы мне всего-то враз»), и о том, что председательствует теперь в колхозе вместо Пилюгина она («Это секретарь райкома Дорофеев взял да опрокинул на меня весь колхоз. Хитрый он, горе горем, дескать, свету белого теперь не видишь, а вот еще бери воз да вези... И, Мишенька, какой я там председатель, ничего-то покуда не умею, а вот только сейчас поняла — без воза-то этого однако бы я до смертности от горя и скукожилась и детишек осиротила. Выходит, спас он не только меня. А дела в колхозе вести обучусь я, Миша, отцу нашему пусть спокойно там лежаться будет...»).

Слезы, которые она пролила над этим письмом, были какие-то не тяжелые, облегчающие. И были они едва ли не последними за всю ее такую несладкую жизнь. Даже когда лютой гибелью погибли Захар с Зойкой, когда она глядела на их общий могильный холмик, еще свежий и черный, глаза Кати были сухими, только бессмысленными и холодными, как давняя зола, на лбу ее сошлась да больше так и не разгладилась глубокая складка. Кузнец Макеев да старый Андрон, стоявшие вместе с ней у могилы, видели, как несильный ветерок выбил у нее из-под платка и стал раздувать прибеленный белой известью клок волос.

Но все это случилось в сентябре, в самом конце его, когда сыпались на землю пересохшие желтые листья, похожие на луковую скорлупу. А пока жизнь в Романовке текла внешне без всяких происшествий. Жить было так же голодно, но определенно веселее, с фронта что ни день приходили новые радостные известия. Советские войска вели успешные бои по освобождению Белоруссии, Карелии, Прибалтики, Западной Украины, немцы стремительно откатывались назад, наши войска ежедневно освобождали десятки сел и городов, о чем каждое утро торжественно сообщалось по радио. Сенокос Катя провела быстро и легко, Дорофеев направил в Романовку из района несколько десятков баб и школьников старших классов, с зари до зари в лощинах меж холмов, по долинам ключей стоял людской гомон, слышались нередко песни, вырастали стога и скирды. Раза три за лето объявлялся на колхозных угодьях и сам Дорофеев, он приезжал на знакомом своем ходке, был без шинели, но в толстом суконном пиджаке: несмотря на жаркие дни, он все же постоянно чувствовал озноб, болезненно поеживался, но глубоко запавшие глаза глядели весело, а при разговоре с Катей исхудавшее лицо его освещала добрая, похожая на отцовскую улыбка.

— Славно, славно, Катерина Даниловна! — говорил он, кивая на стога и скирды.— А говорила, не справлюсь, ишь, напластали сена-то.

— Да с вашей помощью.

— Ну, помогать и бог горазд. А дело люди делают. Ежели и уборку так проведешь — окончательно колхоз на ноги поставишь.

Уборку... А живот-то давно уже нельзя было скрыть, как раз, высчитала Катя, и придутся на уборку самые последние месяцы, где-то в конце ноября родить. Но Дорофеев будто не замечал, что она беременна, ни разу ни голосом, ни взглядом не напомнил ей о ее состоянии.

И романовские бабы словно не видели ее живота, они стали послушнее, все ее распоряжения выполнялись теперь беспрекословно. Да Катя и не распоряжалась в обычном смысле этого слова, а негромким голосом говорила, что надо сделать то-то и то-то, и все делалось и выполнялось на совесть, проверять ни за кем не было надобности. И еще каждая бабенка старалась чем-нибудь да угодить Кате, оказать ей какую ни то услугу. Вечерами, когда она, измотавшись за длинный летний день до предела, приезжала домой, все в комнатах было прибрано, на ночь и растопка припасена и вода наношена, нередко и полы помыты. Все это делали и старшие дети, Захар с Николаем даже полы мыли, но мыли, да не так, как говорится, по углам грязь размазывали, а тут все бывало вычищено и выскоблено женской рукой. Сперва Кате все это как-то в глаза не бросалось, но однажды она с удивлением вдохнула посвежевший воздух в своем доме, оглядела еще влажный пол и спросила у бабки Андронихи, уже накормившей детей и укладывающей их на ночь:

— Кто?

— Чего? — не поняла старуха.

— Хозяйничает это кто тут у меня? Не ты ж полы помыла...

— А-а... Да ладно тебе,— махнула рукой Андрониха.— Намаялась, так вот молочка попей да ложися давай, а я побегу старика своего кормить.

Когда старуха ушла, Катя распытала детей. Оказывается, то Марунька-счетоводиха, то кладовщица Легостаиха, то еще кто-нибудь из баб частенько объявляются в их доме, делают то да се, что бабка Андрониха укажет, а сегодня полы вымыла тетка Василиха.

Лежа в кровати, Катя чувствовала теплый комок в горле, никак не могла его проглотить. Сон ее долго не брал, она все думала, да где же это бабенки, замотанные до смертельной усталости и колхозной работой и своими домашними делами, находят еще силы помочь ей, в сущности, чужому им человеку, и, главное, что их заставляет это делать? Вот даже Василиха, вечно хмурая и нелюдимая, обозлившаяся на всех за несправедливое подозрение на нее в гибели Ксении Тихомиловой, носит в душе-то человеческое тепло, не растеряла его. Она не растеряла, старая бабка Андрониха тоже, и Марунька-счетоводиха, и Легостаиха, и другие. А ведь ни у кого сладкой жизни не было, колотила их жизнь без жалости, да не могла выколотить всю душу напрочь, заморозить все на усух и никогда не выколотит, не заморозит, вечно в человечьей душе будет теплиться что-то живое, иначе бы ведь и жизнь прекратилась, кончилась. А ведь как бы там ни было тяжко каждой по отдельности и всем вместе, никто, даже Василиха, до самого-то края, оказывается, не ожесточился и в самый необходимый момент поворачивается к другому, чтоб под-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—43.

держать на ногах. Потому-то крохотный их колхозишко все ж таки живет, и хлебушко сеет, и молоко сдает, и скотину на мясо выращивает. Всего понемногу, конечно, да ведь и это все на фронт идет, себе-то на трудодни ничего какой год не берется, и это все пусть малая, да помощь в той беде, какая на землю родимую свалилась. И вот, кажись, беда на убыль идет, недалеко, говорят в газетах и по радио, победа, да какой ценой за нее уже заплачено! Сожрала проклятая война и ее отца, и Степана Тихомилова, и мужа Марунъки-счетоводихи, и немыслимую тьму мужей, братьев, сыновей, женихов других женщин на земле. А сколько еще сожрет? Тает вот на глазах добрый и умный человек Дорофеев, никто вслух не говорит, что близок его конец, да никто в том и не сомневается. А сколько еще здоровья унесет она, подумать, у тех же романовских бабенок, сколько годков жизни отобрала уже и еще отберет у каждой? Господи, как же она, Катя, мало еще знала этих исхудавших вконец людей, которые и на женщин-то уже не похожи, и что она должна сделать для того, чтоб отплатить им за их немыслимо тяжкий труд, за их вот такую, будто даже стыдливую, не выставленную напоказ человечью заботу и теплоту?

Катя только задавала себе мысленно все эти вопросы, а ответа на них не искала, нечего было искать, ибо они были ясны и понятны. Она чувствовала, как горят в темноте ее щеки, как сладко отдыхает натруженное за день тело, забыв на эти минуты, что внутри у нее зреет новая жизнь, зачавшаяся помимо ее воли от ненавистного ей человека, а потому, как она всегда считала, жизнь чужая и ненужная ей.

* * *

Однажды перед вечерней зарей в домишко Кати пришел хромоногий Петрован Макеев, поздоровался и сказал ребятишкам:

— Ну-к, побегайте еще малость на улке. У меня с вашей мамкой разговор будет.

— Ты чего это, Петрован? — изумилась Катя.

— Предложеньице одно есть к тебе,— спокойно сказал кузнец.

Когда дети послушно друг за другом вытекли за дверь, Петрован, видно, не за один раз продумавший весь разговор, с которым пришел, сразу же и начал:

— Ты, Катерина, не загорайся только огнем, как уголья в моем горне, а послушай да решай, как тебе способнее. С брезгливостью, чего ж тут не понять, плод-то его в себе носишь... А скоро, понятно, и появится дите на свет божий.

Хошь Макеев и просил ее не загораться огнем, но Катя вся с головы до ног полыхнула пламенем, кровь заколотила ей тычками в голову, никто никогда и намеком не намекал, будто ничего и не видел, на ее беременность, а Петрован Макеев вот в открытую резанул.

— Да тебе-то что? Тебе-то что?! — дважды прокричала она с ненавистью.

— А то, что давай я отцом его скажусь.

Катя так и осела.

— А что ж тут, Катерина, хитрого,— продолжал между тем кузнец.— Человек ты живой, ну и проявила однажды слабость и произошло меж нами дело...

Катя отчетливо слышала его слова, понимала весь их смысл, и этот смысл не оскорблял, а, наоборот, начал вдруг успокаивать ее гнев. Глаза ее заблестели, но слезами не пролились — не было больше у Кати слез ни горестных, ни благодарственных. Она долго сидела безмолвная, понимая, что добрый этот человек от доброты и пришел со своим необычным предложением, не имея никакой грязной или корыстной мысли за душой. И чтобы окончательно убедить себя в этом, спокойно уже проговорила:

— Ты что ж... свататься пришел?

— А тут, Катерина, надо, если хочешь, тебе самой и поразмыслить кругом,— не торопясь и негромко заговорил Макеев, не стесняясь, оглядел ее всю.— Вишь, какой с тобой поворот-то вышел, думай, так не придумаешь. В общем, коли посчитаешь возможным — так и сошлись бы с тобой, а что ж? Оно, конечное дело, инвалид я, разнодлинные ноги-то у меня, это тоже надо во внимание принять. Да силов бог не отнял, помог бы я тебе детишков поднять. С этим-то,— опять кузнец кивнул на ее живот,— уже пятеро будет, не считая Мишухи, значит. Про Мишку чего говорить, с тюрьмы мужиком вернется. Ну, а коли посчитаешь — так и не надо сходиться, давай просто объявим, что я эт тебе нагулял, а никакой не Пилюгин. Нагулял, да и дело, подлецу, сторона.

— Да разве люди не знают, кто... от кого?!

— Люди много знают, да мало помнят. Потихоньку-то все затрется. Заляжет ветер, как ямку в снегу.

С таким вот, поразившим Катю предложением, и пришел к ней кузнец Петрован Макеев.

Прощаясь с ним, Катя положила руки на его крепкие плечи и сказала:

— Нет, Петрован. За доброту спасибо, а не могу. Если бы... ну как тебе сказать? Ну, было бы что у меня в душе к тебе...

— Да это что говорить,— ответил он.— И у меня ничего... так, виноватость свою почувствую иногда.

— Какую виноватость?

— А надо было мне тогда за закуской-то тащиться... Оставить тебя одну с Пилюгиным в кузне. Ведь знал, чего он от тебя добивается, видел, какая ты не своя прибежала тогда, как Донька-то умирала. Да все самогонка проклятая в голове шумела, все выбила на ту минуту...

Петрован ушел, уходя, вроде и хромал, показалось Кате, меньше, так чуть-чуть припадал на покалеченную ногу. В окно она с грустью смотрела на него до тех пор, пока он не скрылся, а как завернул в переулок, облегченно вздохнула.

Через неделю где-то сгорбленная Федотья, когда Катя бежала в контору мимо их дома, крикнула из-за огорожи:

— Эй, постой... Ну-к, выслухай, язви тебя.

Было раннее утро, Катя торопилась в контору, чтоб передать в район с Марией сводки по сенокосу и сдаче молока, та уже ходила вокруг запряженной тележки, давно готовая к отъезду, и дожидалась только председателя. И Катя хотела было махнуть Федотье рукой, потом, мол, да подумала: на всю улицу разорется старая квашня, начнет выкрикивать вслед грязные ругательства.

— Чего еще? Говори скорей, некогда.

— А вот чего, вот чего...— бормотала старуха, подходя.— Ишь, некогда ей, прыткая шибко стала.

А подойдя, замолчала, уставилась темными и холодными, как у змеи, зрачками на выступающий у Кати из-под кофточки круглым бугром живот.

Внук ее, Пашка Пилюгин, рубил возле сарая хворост на растопку. Заслышав голоса, он бросил работу, подошел с топором в руках к воротцам в ограде, встал в проеме, держа почему-то топор обеими руками, принялся сверлить Катю не по-мальчишески злыми глазами. Взгляд его был такой зловещий, что у нее мелькнуло: ах волчонок, в ловком-то месте где застанет, так и зарубит без жалости, надо за детьми еще пуще наказать глядеть.

Так они, старуха и ее внук, четырнадцатилетний уже сын Артемия Пилюгина, с двух сторон и резали ее враждебными глазами, пока не послышался девчоночий голос:

— Пашка, я все сносила, еще-то будешь рубить?

Это кричала от сарая девятилетняя Сонька. Пашка на голос не шелохнулся, не поворачивая головы, не отрывая злобного взгляда от Кати, бросил по-хозяйски:

— Ведра бери да огурцы поливай!

И тотчас звякнули ведерные дужки, мелькнула возле дома девчонка в выгоревшем ситцевом платьишке, убежала поспешно в огород. «Затыркали совсем девчонку...» — пожалела Катя дочку Лидии. Вся Романовка знала: после смерти Пилюгина в доме безраздельно господствует Федотья, сын его Пашка подчиняется ей с полуслова, вдвоем они совсем замордовали Соньку и саму Лидию.

— Вот чего я тебя, королевна нежданная, испросить хотела,— зашевелила иссохшими губами Федотья.— Че это хромоногий пьянчужка, кузнец-то вонючий, по всей округе трепать взялся, будто это...— Старуха приподняла костыль и чуть не ткнула Кате в живот.— Будто он тебя огулял?

Катя ожидала чего угодно, только не такого вопроса. Но она и не растерялась, лишь отступила невольно на шаг.

— Какое твое тут... собачье дело?

— Не лайся, паскудница, а то...— И Федотья глянула на внука, дрябло рассмеялась ему.— Ишь какая... не шибко ли она рассмелилась? А такое. Артемушкино это дите. Как выпростаешь его из поганого брюха — отдавай.

И опять какого угодно поворота ожидала Катя в разговоре, но только не такого.

— Чего-о?! — невольно воскликнула она насмешливо и протестующе.

— По добру не отдашь, силком отберем,— проскрипела старуха.

От этих слов внутри у Кати все возмутилось, загорелся под сердцем жаркий огонь и облил ее всю, и словно выжег то постоянное брезгливое чувство, с которым она носила в себе ребенка Пилюгина. Эти слова оскорбили в ней что-то самое глубинное и сокровенное. Она не понимала еще, что в ней впервые шевельнулось извечное и великое материнское чувство. Катя отступила еще на шаг, выбросила вперед кулак, выставила к самому лицу Федотьи большой палец и на всю улицу закричала:

— А это видела? Видела? Видела-а?!

* * *

А между тем слух, что ребенок у Кати будет не от Пилюгина, а от кузнеца Макеева, возникнув, не исчез. Романовские бабы слух этот сразу же поддержали, и он пошел гулять по всей округе.

— Зачем, зачем ты эти... слухи такие пускаешь? — спросила Катя как-то у Петрована, остановившись возле кузни.— Везде вот говорят, даже в районе.

Макеев ходил вокруг разобранной лобогрейки, собираясь ее отлаживать к страде.

— А пущай говорят,— недружелюбно как-то отмахнулся он.

— Разве мне от этого легче?

— Да и не тяжеле ж,— пробурчал упрямый коваль.

Вскоре после этого, оставшись вечером в конторе вдвоем с Марией, Катя спросила:

— Слыхала, Марунь... россказни кузнецовы?

Та глянула на председательницу и опустила глаза в свои бумаги.

— Кто ж не слыхал? Он встречному и поперечному в уши дует.

— И неужель верят ему? Ну где-то там не знают всего. А в самой Романовке-то?

— Так видишь ли, Катерина,— усмехнулась Мария, заворошила бумаги, складывая их в расшатанный ящик стола.— Правдивое слово кажет путь, а сплетня крюк. Тебя кто подсторожил, что ли, с Пилюгиным?

— Так, а Мишка-то за что его?

— А пущай иной так гадает, другой эдак. Мишке твоему это уж все равно.

Мария задвинула ящик стола, поднялась и пошла к двери. Катя раздумчиво произнесла:

— С одной-то стороны, я понимаю, чего он на себя взял. Добрый он. А с другой... если, говорит, посчитаешь нужным, так и сойдемся давай.

— Так если посчитаешь... Не на веревке ж он тебя волочет.

— Да все равно ж это... Понять-то как? — начиная сердиться, проговорила Катя.— Капкан поставил да и советует — хочешь, так иди в него!

Марунька уже стояла у дверей, взявшись за скобку. После этих слов она чуть подумала о чем-то, опять усмехнулась и сказала:

— Дура ты, хоть и председательница.

И странно, слова обидные, а Катя нисколько не обиделась, только посмотрела на Марию как-то вопросительно и беспомощно.

— По теперешним-то временам бабье счастье скупое. Спроси-ка у любой — и всякая скажет: пущай без рук, без ног, да лишь бы мужиком в доме пахло. А тут и всего-навсего, эко — хромоватый... Ну, побежала я.

В тот вечер Катя из конторы не пошла сразу домой, решила завернуть на скотные дворы. Там в старом овечьем загоне третий день бабы ломали кизяки. Немного было в колхозе овечек, да загон с давних, еще довоенных лет не чистился, утрамбованный животными навозный пласт был толщиной с полметра. В любой деревне знают, что это отличное топливо, но Артемий Пилюгин, несмотря на просьбы колхозниц, выламывать овечьи кизяки почему-то не разрешал, а Катя разрешила, третий день женщины и дети на ручных тележках, в мешках, корзинах, корытах возили и носили домой плотно спрессованные куски навоза.

Солнце давно уже было за холмами, но небо над ними еще стояло светлое, сумерки в деревне только-только завязывались. Дорожка к скотным дворам за лето обросла репьями и полынью, репейные лопухи еще стояли крепкими и сочными, а полынь давно перезрела, обсыпала подол желтой ядовитой пылью.

Когда Катя подошла к овечьему загону, возле него была одна Лидия Пилюгина с детьми. Тележка с большим деревянным коробом была доверху загружена кизяками, а Пашка, грязный и давно, со школы, видимо, не стриженный, клал сверху все новые и новые навозные плиты. Увидев председателя, он сверкнул глазами, будто собираясь насмерть оборонять нагруженное добро, худенькие покуда брови переломил, как в минуты раздражения делал его отец.

— Чего там расшеперилась, давай еще сверху покидаем,— сказал он сестре.

— Все равно ж просыпем по дороге,— несмело возразила девятилетняя Сонька, но и этот ее слабенький протест Пашка задавил не по-мальчишески хриплым голосом:

— Ты еще у меня!!

И девчушка вместе с ним покорно продолжала класть сверху твердые комья навоза, хотя и мать проговорила: «Будет, повезем».

Кивком головы поздоровавшись с Катей, которую сегодня еще не видела, Лидия подняла оглобли тележки, но Пашка подошел и отстранил мать, раздраженно кинул:

— Сами мы... А ты надолби еще на тележку.— И рыкнул на сестру: — Запрягайся давай!

Вдвоем они потащили тележку, кизяки сверху сыпались тяжелыми камнями, но Пашка ни разу не оглянулся.

— Злой он человек у тебя,— сказала Катя о Пашке.

Но Лидия на это никак не отреагировала, стояла, опираясь двумя руками на лопату, и угрюмо глядела, как догорает закат.

С тех пор, как стал у Кати обозначаться живот, Лидия, пожалуй что, и не разговаривала с ней, здоровалась так вот, кивком, так же и отвечала на все просьбы и распоряжения председателя. Дело делала исправно, а голоса не подавала, все больше и больше каменела. И Катя понимала ее состояние, чего ж тут не понять! И сейчас ей тяжко было находиться возле Лидии.

Катя хотела идти дальше, к коровнику, как Лидия вдруг разомкнула губы:

— А дитя потом не отдавай ты Федотье. Сгубит она его. Не дам, все орет, чтоб наша кровь с ихней смешалась...

Лидия стояла все так же недвижимо, держа руки на лопате, но Кате казалось, что она рубит ее этой лопатой по голове, по плечам, по груди. А когда уже ясно сообразила, о чем говорит Лидия, все в ней яростно запротестовало, наполнилось жгучей обидой, и она невольно, не понимая даже смысла своих слов, закричала вдруг:

— Ваша кровь?! А при чем... откуда? Мой это ребенок! Наш с кузнецом Петрованом! Он его отец! Понятно? Понятно?!

— Ну и ладно. Чего орешь-то? — повернулась к ней Лидия, не снимая рук с лопаты.

Под ее мутным, невеселым взглядом Катя враз осеклась, онемела. Ее не слушались ни язык, ни руки, ни ноги. Очень ей хотелось сделать хотя бы шаг назад от Лидии, от этих ее мутных и пустых глаз, а ноги словно по колено врезались в землю.

— А про Пашку ты ошибаешься,— с тяжелой усмешкой промолвила Лидия.— Он не просто злой. Кабы лаял пес, да не кусал... Береги ты своих детишек, Катерина. Не знаю как, только еще пуще глаз не спускай.

Повернулась и пошла устало прочь от загона, хотя Пашка повелел ей еще наломать кизяков.

* * *

Не так-то уж и обеспокоили эти слова Катю, не новостью было для нее, что детей надо сторожить от великовозрастного Пашки Пилюгина, который в это лето вовсе распоясался. Как приехал со школы, так и начал ходить по Романовке с дрыном и, грозя своей палкой, открыто похвалялся:

— Перебью, как утят, всех этих паршивят афанасьевских да тихомиловских. Мишка в тюрьме за отца сгниет, а этих со света сживу.

Он похвалялся, но слова-то были не его, а Федотьины. Катя узнавала ее выражения, раза два или три просила старуху:

— Урезонь ты своего хулигана, совсем он загонял моих ребятишек, до ветру боятся выйти.

— Ишо што скажешь? — поднимала Федотья на Катю изъеденные ненавистью глаза.— Бандюк-то как раз Мишка-тюремник твой, а не Пашенька.

Как появился в деревне Пашка Пилюгин, Катиных ребятишек дальше глаза не отпускали, чаще всего возле них толкалась Андрониха, добровольно превратившаяся в няньку, а когда старая занемогала, Катя просила то одну, то другую женщину приглядеть за ними. И все равно Пашка чуть не каждый день выжидал своих моментов, то с одного, то с другого бока бросался на них, ровно щука на рыбью мелочь, бывало, и догонял, колотил без жалости то одного, то другого.

— Ты построжила бы тоже сына-то! — говорила Катя и самой Лидии, матери его.— Или мне в милицию на Пашку заявлять?

— А ты и сделай,— отвечала на это Ли-

дия.— А пуще на Федотью. Забрали бы их с глаз моих — так в ноги бы тебе упала...

Так вот оно и шло день за днем, Катя с утра до ночи крутилась с колхозными делами, детишки ее чем дальше, тем больше просто сидели взаперти, а коли выходили на воздух, так жались к дому, настороженно толклись у крыльца, а зачуяв Пашкин дух, немедленно шныряли в открытые двери, как суслики в надежную норку.

А Пашка-змей, как называла его Андрониха, зверел все больше. Он завел рогатку и, притаившись где-нибудь, издалека пулял каменными зарядами и однажды пробил голову Игнатию до крови. От боли парнишка залился будто последним криком. Увидев капающую на плечо кровь, заревели и остальные, кое-как затащили Игнатия в дом. Напуганный всем этим, Пашка юркнул в свое подворье.

В этот час Кати в деревне не было и вообще Романовка была пустынной — как раз заканчивали сенокос,— на улице случился лишь кузнец Петрован Макеев, тащивший какие-то железки к своей кузнице. Услышав рев и увидев мелькнувшего за воротца Пашку, кузнец бросил железки и, проворчав: «Ну, счас я тебя, стрелец такой!» — бросился к дому Пилюгиных.

Рванув дверь, он увидел Пашку, прятавшегося за спину Федотьи. Из кармана брючишек у него еще торчала рогатка.

— А-а... Ну-к, давай сюда свое оружие! — рявкнул Макеев от порога.

— Ты что... чего надо? — окрысилась было на него Федотья.

Но кузнец, шагнув от дверей, отодвинул старуху, как невесомое, высохшее на усух чучело в сторону, выдернул из Пашкиного кармана рогатку, два раза хлестанул ею по его лицу.

— С-сопляк! Паршивец...

Пашка, загораживаясь руками, кричал порезанным поросенком. Федотья, вцепившись пиявкой в кузнеца, пронзительно завизжала:

— Разбойни-ик! Дите избивать! Вонючка колченогая...

— А-а, колченогая?! — побагровел кузнец. Рогатку сунул в карман своих штанов, и, брякнув пряжкой, сдернул с себя ремень. Старуха, завизжав пуще прежнего, отшатнулась. Но кузнец и не думал на нее замахиваться, железной своей рукой он схватил Пашку, бросил его, как тряпку, на кровать, рявкнул:

— Подставляй задницу!

И не дожидаясь, вытянул его ремнем. Бессознательно закрывая голову, Пашка перевернулся на живот, кузнец принялся без жалости пороть его, выкрикивая по очереди Катиных ребятишек:

— За Игнатку... За Кольку! За Зойку... За Захарку. Еще за Игнатия! И за Доньку, которую сгубили, паразиты!

Пока он хлестал умолкнувшего вдруг Пашку — при каждом ударе тот лишь хрипло пристанывал,— Федотья столбом стояла возле печки, во все свои помертвелые от ненависти глаза глядела на кузнеца, дергала дряблыми губами, но речь от изумления потеряла.

— Убью! Запомни, страмец такой...— Кузнец нервно застегивал на себе ремень, повернулся к Федотье.— И ты, старая колодина, задолби ему: еще раз тронет Катькиных ребятишек, до смерти убью...

— Ну да, ну, дык, как жеть...— легонько заикивала иссохшей головой старуха, голос ее был еле слышным, сломленным и согласным, а в пустых глазах горел желтый ненавистный огонь.

Тем же вечером вся Романовка знала о случившемся. Федотья с костылем в руках еще несколько дней без передыху сновалась по деревне, каждому встречному и поперечному жаловалась:

— Вот... Пашенька в жару пластом лежит. Виданное ли дело — мужик ребенка в усмерть исхлестал? Катькин-то сударик. У-у, змея, похотью своей Артемушку, сына моего, сгубила, потом кузнеца начала затаскивать на себя, ишь, объявила, он, мол, ей пузо-то набил. А тот не на ногу, на голову, видно, хромой: уверился. И старается всякие ее прималынды исполнять. Пашку-то, грит, по ее желанию до смерти забью... А вот в суд на них обоих съезжу, бумагу подам...

— Постыдилась бы ты грязь-то этакую на людей выливать,— сказала ей как-то Лидия при людях.

— Зараза-а! — мгновенно налилась яростью Федотья, поднимая костыль.— У ей мужика сгубили, а она...

— Пойдем, мам... Пойдем,— быстро оттащила Лидию за руку подбежавшая Сонька, а то Федотья, может быть, и избила бы костылем Лидию.

Сама Катя на все случившееся никак не реагировала, каждый вечер промывала рану Игнатия водой с борным порошком, смазывала йодом, пузырек с которым нашелся у Василихи. Лишь как-то она сказала Макееву:

— Зря ты это, чего с хулиганом этим связался?

— Да как-то надо его пристращать. А то ведь он и глаз с рогатки своей выбить мог, а то еще чего...

— А теперь вот и базлает Федотья на весь белый свет.

— А кто ее слушает? Пущай.

Федотью действительно никто не слушал, бабы на ее речи отмахивались и поспешно отходили прочь.

Пашка Пилюгин после порки вроде утихомирился, никого больше не трогал, стал молчалив и пуглив даже. Во всяком случае, проходя мимо дома Афанасьевых, всегда тревожно озирался, будто побаивался, что кто-то его тут увидит.

Шел уже сентябрь, сжали озимые, стали убирать потихоньку и яровые. Старшие классы в районной школе еще не учились, школьников от четырнадцати лет распределили по колхозам, полтора десятка учеников из райцентра прислали в Романовку.

— А что Павел-то твой баклуши околачивает,— сказала Катя Лидии.— Пущай на ток, что ли, приходит, али вон на лобогрейку погонщиком, а то так и привыкнет, что куры прямо облупленные яички несут.

— Ты это Федотье, сатане лохматой, скажи.

С Федотьей Пилюгиной Катя Афанасьева говорить не стала.

Сентябрь был весь ведреный, работа спорилась. Катя была уже на седьмом месяце, но тяжести особой не чувствовала, целыми днями в пропыленном отцовском пиджаке, который давно не застегивался, пропадала в полях. Дорофеев за сентябрь снова дважды наезжал в колхоз, улыбался землистым и совсем исхудавшим лицом, говорил:

— Хлебосдачу хорошо ведете, молодец, Екатерина Даниловна. Давай подсчитывайка весь урожай, да прикинем в конце уборки чего и как, надо нынче, под победу нашу великую, колхозникам получше на трудодни выдать.

Дорофеев говорил и кашлял, Катя тревожно думала: доживет ли он до конца-то жатвы?

Ночами у нее мелькало и про себя: управится ли она со страдой до родов? Ведь скоро... И тут же успокаивала мыслью — не скоро, два месяца еще.

Но родить ей пришлось раньше, в конце сентября. Жуткая беда стряслась в один из самых последних дней этого месяца.

С утра стояла над Романовкой плотная духота, после обеда с холмов тугими волнами начал скатываться горячий ветер. Катя под вечер отправилась на ток в Зеленом ключе, где веялками очищали зерно. Когда солнце уже скрылось, на ток верхом на неоседланном коне прискакала Василиха, издали закричала:

— Катерина-а! Здесь она? Беда-а...

Катя выскочила из-под навеса, где прикидывала со старым Андроном, сколько можно завтра вывезти зерна в хлебосдачу, сердце ее бешено заколотилось.

— Что приключилось? Где-е?

Василиха, подскакав, грохнулась с коня на твердый ток и вместо ответа забилась в рыданиях.

— Да что ты ревешь белугой? — шевельнула Катя женщину ногой.— Какая беда стряслась?

— Пожар...— Василиха подняла к ней распухшее от слез лицо.— Дом твой Пашка Пилюгин поджег... Зойка с Захаром сгорели!

— Ка-ак?! — зашлась Катя в нечеловеческом крике, осела перед Василихой на колени.

— Крыша на них с огнем рухнула...

Люди на току побросали работу, столпились вокруг, пораженные страшной вестью. Стояла полная тишина, слышалось лишь, как тяжко дышали люди, взрослые и дети, да по-собачьи подвывала Василиха.

А Катя все стояла на коленях, как неживая уже, все оцепенело смотрели на нее, будто боялись, что она возьмет да шевельнется.

Наконец она действительно шевельнулась, но встать не могла, сил в ногах не было.

— На дрожки меня...— тихо попросила она.— Но люди не поняли ее, как стояли, так и стояли, не шелохнувшись. И она враждебно закричала: — Дрожки вон мои стоят! Посадите меня!

Андрон метнулся к запряженным дрожкам, подвел их, держа лошадь под уздцы, к Кате. Женщины тем временем подняли ее с колен, потом помогли сесть в повозку. Она взяла было вожжи, но дед Андрон отнял их, сам взгромоздился на облучок.

— Гони тогда! Шибче...

— Ага, вытрясти чтоб тебя,— откликнулся старик.

— Гони, говорю, гони! Гони-и! — Катя колотила его по спине, по плечам кнутовищем.

Старик обернулся, перехватил у нее кнут, вывернул со словами:

— Не ори-ка, сам знаю, как ехать.

...Еще с холмов, проезжая мимо кладбища, они на месте дома увидели пепелище, желтеющее огнем сквозь вечерние сумерки, и белый дым над ним, который разметывало ветром. «Зоинька... Захарушка...» — смертельным стоном простонала Катя и умолкла, захлебнулась.

Молчала она и потом, стоя возле пожарища. В животе у нее, где-то в самом низу, давно уже началась нестерпимая резь, но она, чтобы не закричать от боли, намертво закусила губы, стояла и нечеловечьим взглядом глядела на тлеющие бревна, которые растаскивал железным крюком привыкший к жару Макеев. Еще мелькали вокруг кострища какие-то тени, ревел то ли Игнатий, то ли Колька, кто-то из них — Катя не могла различить голос — все просил: «Выньте их из углей-то... Скорее выньте же».

И еще два женских голоса врезались в уши:

— Это что за племя такое ихнее? Молоко еще на губах, а что натворил...

— Не его судить, а ведьму эту растерзать живьем надо...

Катя не могла различить, кому и эти голоса принадлежат, поняла лишь, что речь идет о Пилюгиных — о Пашке да Федотье. Боль раздирала ее на куски, она разомкнула пересохшие и посиневшие губы, прошептала:

— Андрон Игнатьевич... Старуху мне твою. Скорее.

— Да вот она я, чего тебе? — послышался голос Андронихи.

— Скорее...— еще раз прошептала Катя.

— Куда? Чего?

— Не знаю... тут вот... разрывается все.— И Катя прижала ладонью живот.

— Да милая! — воскликнула старуха.— Эй, бабы, ведите ее к нам. Живо! Живо! Да у кого вода нагретая — тащите скорей мне. А ты, старый, или кто там? Эй, Петрован, за дохтуром живо! Скачите в район... А то в Березовке телефон есть, туды ближе, туды давайте! В райком этому... Дорофееву али кому там и звоните. Афанасьева, мол, Катерина до сроку рожает. Тяжко шибко, скажите...

Половину этих слов Катя уже и не слышала.

Продолжение следует.

Анатолий ИВАНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

* * *

Очнулась она уже в районной больнице. Очнулась оттого, что почудился ей детский плач.

Некоторое время Катя лежала, глядя в потолок, бессмысленно отметила, что потолок вроде незнакомый. Потом стала думать, какой кошмарный сон ей привиделся: ток в Зеленом ключе, куда с обезумевшим криком: «Катерина-а... Беда-а!.. Зойка с Захаром сгорели...» — прискакала на коне Василиха. Потом она с Андроном едет... мучительно долго едет в Романовку, колотит старика кнутовищем, требуя, чтобы тот торопил лошадь, а он... Что он сказал-то, обернувшись? А-а, вытрясти тебя, что ли, говорит. Затем — белые космы дыма над тем местом, где стоит ее дом. Это она увидела будто еще из седловины меж холмов, где расположено деревенское кладбище. И желтые комья огня. Будто дом-то сгорел, превратился в груду дымящихся бревен, меж которыми еще плясали языки пламени. Раздуваемые ветром, они были отчетливо видны сквозь вечерний мрак. Потом она будто бы стояла возле пепелища, глядела, как Петрован Макеев железным крюком растаскивает обугленные бревна, а где-то внизу живота у нее все усиливалась и усиливалась нестерпимая боль, там все разрывалось... А сейчас вот боли никакой нет.

Она машинально сунула руку под простыню, чтобы погладить свой вздувшийся живот, но он был плоский и пустой. В это время послышался голос: «Скажите там — эта Афанасьева из колхоза глаза вон раскрыла». Катя повернула голову, увидела белые стены, несколько коек, на которых лежали под такими же, как она, простынями, женщины, одна из них сидела и кормила грудью ребенка. Младенец сосал жадно, но вдруг завертел головой, закричал. В голове у Кати все помутилось, опять завертелись в сознании чудовищные картины: обезумевшая Василиха на коне, желтый огонь и дым сквозь вечерний сумрак, испуганное лицо старой Андронихи, которая хрипела: «За дохтуром, живо... Скачите в район...»

«А-а-а!..» — безумно прокричала Катя и опять потеряла сознание.

Вторично она пришла в себя с ясной мыслью, что никакой это не сон, что весь этот кошмар произошел в действительности, что нет теперь в живых ни Зоиньки, ни Захара, погибли они лютой смертью. В груди она ощущала больной и холодный комок, будто из сердца вытекла вся кровь и оно остывало. Возле нее сидел худенький старик в белом халате, с усами и седой бородкой, он держал ее за запястье и смотрел на часы, лежащие у него в ладони.

— Ну-с, красавица, открылся белый свет? — спросил он весело.

— Нет,— шевельнула она бескровными губами.— Вовсе закрылся.

— Да, да... у вас там, что-то мне такое говорили... простите,— пробормотал старик виновато.

Рядом опять заплакал младенец, и Катя, не узнавая своего голоса, спросила:

— А мой ребенок... живой?

— Жива-ая...— протянул доктор.— Она у нас в тепле лежит, как в материнском животе. Поторопилась на свет божий появиться, так пусть погреется. Выходим, красавица, твою дочку...

...После, когда Кате впервые принесли желтоватого, со сморщенным, как у старухи, личиком, младенца, она долго глядела на него с каким-то неприятным чувством изумления и разочарования, никак не могла поверить, что это ее дочь. И лишь когда девочка беспомощным и тоненьким, как у котенка, голоском запищала, у Кати что-то ворохнулось в выболевшем сердце живое и сладкое, она осторожно прижала младенца к себе и почувствовала, как по всему ее телу растекается теплая, согревающая кровь.

* * *

В больнице Катя пролежала с ребенком долго, выписалась где-то уж под самый конец ноября.

Несколько раз к ней приезжал старый Андрон, и каждую пятницу в палату приходила Мария-счетоводиха. Андрон являлся как бы по официальным делам, докладывал, как идет жатва и хлебосдача. «Все мы по уму, Катерина, делаем, бабенки как скаженные, робят и слухаются, ты всякое беспокойство-то и отбрось от ума»,— говорил он каждый раз. Сообщал и о Кольке с Игнатием: «У нас покуда живут, здоровенькие, ничего». Мария больше рассказывала деревенские новости, которые были скудными и не очень веселыми: мужик Василихи, правда, живой покуда, вот опять, говорила счетоводиха, письмо везу от него, а Легостаиха на второго сына перед ноябрем похоронную получила, за кордоном уже погиб, в стране Румынии, что и говорить, совсем почернела баба, теперь, говорит, жди на третьего, последнего...

— Ну, а эти... пилюгинские-то, что? — спросила однажды Катя, прижимая к себе обеими руками дочку.

— Лидия с Сонькой ушла от Федотьи.

— Ушла?

— Ну,— кивнула Мария.— Василиха ее к себе пустила, живите, говорит, места много, не жалко. Пашку на десять лет засудили, Федотья одна, значит, в доме осталась. Появится иногда на крыльце или в окне, а так целыми неделями ее и не видно. Живая, нет ли — никто не знает, покуда дым с трубы не пойдет.

Из их же рассказов Катя узнала, что и как произошло в тот день в Романовке. Пашка выбрал для своего злодейства такое время, когда в деревне никого из взрослых, кроме старой Андронихи да самой Марии, сидевшей в конторе за своими бумагами, и не было, даже кузнец, стучавший обычно с утра до вечера в кузне, уехал в поле — туда надо было отремонтированное полотно для лобогрейки свезти, старое порвалось на кочке. Он-то, возвращаясь с хлебного поля, и увидел первым с холма, что председательский дом в огне стоит, погнал с увала лошадь. Ну, а тут и Мария услыхала истошный крик Андронихи да стукоток макеевских дрожек, выскочила из конторы. Все втроем они и оказались у горящего костром дома, на траве валяются Колька с Игнатом обгорелые, ревут. «Где, где Захар с Зойкой?» — затряс их Макеев. «Тама... Захарка нас через окно выкинул, за Зойкой пошел»,— указал Колька на дом. Кузнец заметался возле окошек, но из каждого хлестали тугие полотна огня, с половины лета стояла сушь, дом горел как порох, а ветер еще пуще раздувал огонь. Кузнец кинулся было в дом через двери, но кровля сенок, заполненных плотным дымом, уже трещала, обваливалась, сыпались вниз горящие обломки. А тут и вся крыша поползла вбок и рухнула...

— А Захарка с Зойкой еще до этого, видать, в горячем дыму задохнулись,— предположила Мария.

Рассказы эти Катя слушала, крепко стиснув зубы, молчала, будто бесчувственная, в лице ее, и без того бледном после перенесенных мучений, не было ни кровинки.

Один раз только она прервала Марию вопросом:

— Как же установили, что Пашка поджег? Никто ж не видел.

— А Сонька Пилюгина рассказала. Как рухнула крыша-то, она вынырнула откудато с визгом: Пашка, орет, поджег, ведро керосину на дом вылил. И ребятишки твои, Колька с Игнатом, рассказывают, что видели Пашку с ведром через окно. Ну испугались, говорят, зажались в дому-то, ну, как Пашка счас зайдет! А он из ведра начал плескать на стены. Колька побольше, он рассказывает, что сперва и не поняли они, что такое Пашка делает, а когда огонь под окнами поднялся, кинулся, грит, я в сенки, а дверь на щеколду заложена снаружи... Ишь, все Пашка изделал! Да он и сам запираться не стал. Как Сонька-то все выложила, Василиха на ток за тобой поскакала, а кузнец кинулся к дому Пилюгиных, сдернул с Пашки одеяло, тот, ишь какой, уже и спать улегся. «Ты что, сбесился?» — заорала Федотья. И я зачем-то вбежала в их дом. Федотья вроде бы с жалобой ко мне: «Ребенок спит давно, чего он к нему суется?!» А тут из дверей опять зареванная Сонька высунулась, закричала в беспамятстве опять: «Он, он председателев дом поджег, я все видела!» Федотья коршуном на нее: «Ах ты, лгунья проклятущая, как язык-то на брата родного... Ведь ему тюрьма за слова твои выйдет!» Ну, тогда-то и поднялся Пашка, спокойно так и холодно проговорил: «Ладно, баба... С тюрьмы-то вернусь, так первым делом язык ей и выдерну... вместе с головой. Пущай ждет и знает». Вот так оно... А за тобой тогда доктор вскоре примчался на легковушке. Вместе с ним и сам Дорофеев прибыл. Так в беспамятстве тебя и увезли. Добро, что ни у Андронихи, ни в дороге ты еще не разродилась...

...Везла Катю домой тоже Марунька. Ехали на ходке, снегу еще не было, так, по канавкам да рытвинам была насыпана белая крупка, на мерзлых дорожных кочках колеса подскакивали, Катя бережно прижимала к себе ребенка.

— Назвать-то как, не надумала?

— Фросей назову,— сказала Катя. И, помолчав, спросила то, о чем все эти недели боялась и вымолвить: — А что ж, Зоиньку с Захаром... так и не нашли под угольями? Али ничего от них не осталось?

— Ну как же, осталось...— хрипло ответила Мария.— Обоих нашли. Похоронили рядышком, в одной могилке. Андрон крест вытесал да поставил...

И уже перед самой деревней, как спускались с увала, Мария сказала:

— А с детями твоими счас Петрован Макеев живет.

Катя лишь молча повернула к ней голову да вопросительно приподняла брови.

— Он отколотил пустой тихомиловский дом, привел его в порядок да забрал у Андронихи Кольку с Игнатом. А мне седни сказал: и Катерину, понятно, сюда вези.

И на это Катя промолчала.

Тихомиловский дом был действительно обжит, полы стояли чистые и окна светлые. Когда Катя с Марией подъехали, Петрован в чистой рубахе, подпоясанный ремнем, вышел на крыльцо, почему-то не поздоровался, а только сказал:

— Давай мне дочку-то.

Катя поглядела на него и отдала.

Потом она, не снимая полушубка, а только развязав платок, долго сидела возле застеленного чистой скатертью стола и глядела, как Макеев разматывает орущего ребенка.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—44.

ВРАЖДА

— Мокрая же вся она,— проговорил он.

Только после этого Катя поднялась и начала стаскивать с себя полушубок.

И в тот же день, под вечер, она молча и долго стояла над свежей еще могилкой, земляной холмик был слегка присыпан снежной крупкой. Когда она, так с момента возвращения из больницы ни слова и не промолвив, вышла из дома и побрела в сторону кладбища, Петрован Макеев двинулся следом, по пути стукнул в окно бабке Андронихе. Безответная старуха поняла все с полуслова, тотчас заторопилась к тихомиловскому дому, чтоб побыть с ребенком.

У могилки они, Катя и Петрован, стояли сперва вдвоем, а потом подошел неслышно дед Андрон и неслышно остановился рядом с кузнецом.

Глаза у Кати были сухими, только бессмысленными и холодными, как зола сгоревшего несколько недель назад ее дома, лоб от виска до виска прочертила глубокая складка. Выражения Катиного лица в этот момент ни кузнец Макеев, ни дед Андрон, стоявшие за ее спиной, видеть не могли. Зато они видели, как гулявший по кладбищу ветерок выбил у нее из-под платка и стал раздувать клок волос, прибеленный будто белой известью.

* * *

...А через пять месяцев и две недели была Победа.

Этого дня, ради которого довелось людям перенести столько лишений и страданий, столько принять неизбывного теперь уж никогда горя, давно ждали, каждое весеннее утро пробуждались теперь с одной-единственной мыслью: не свершилось ли? А пришел он все равно неожиданно, радостным обвалом свалился будто с самого неба, на котором играло веселое и щедрое майское солнце.

В романовском колхозе, как и повсюду, была в разгаре посевная. Катя в этот день привычно поднялась на рассвете, до солнцевосхода переделала множество дел — от семенного амбара отправила к сеялкам четыре подводы, поскандалила с двумя молоденькими девчушками-телятницами, по нерадивости которых молодняк содержался в грязи и плохо прибавлял в весе, выдоила с полдюжины коров — людей не хватало, двух доярок из трех Катя давно поставила на сеялки, и теперь каждое утро и вечер сама на ферме садилась под коров... Когда солнце поднялось над зеленеющими холмами, она была километрах в семи от деревни. Вчера вечером дед Андрон доложил, что на самом дальнем яровом поле встал трактор, тракторист говорит, сломался, самому не отремонтировать, пошел-де в Березовку звонить в МТС, звать техпомощь, а по слухам, загулял там. Вот Катя и ехала узнать, в чем дело, это не шутка, что в такое время встал трактор, одно дело, если в самом деле сломался, тогда самой надо звонить в МТС и бить тревогу вплоть до райкома партии, до самого Дорофеева, а то посевной агрегат и неделю может простоять. А коли загулял тракторист, это полбеды, надо только укорить его да попросить, а скандалить и стращать бесполезно, от фронтовых ран на нем живого места нету и кисть левой руки у него в танке отгорела, это еще удивительно, как он, однорукий, приспособился водить трактор и работает коли не лучше, так и не хуже других, после сева даже премию ему какую-то надо выделить.

Катя ехала на своих дрожках, поглядывала на разгорающееся солнце и думала еще, что Петрован давно стучит в своей кузне, ребятишки ее теперь поднялись, обиходили Фроську, сменяли мокрые пеленки, и сейчас вот как раз Николай с Игнатом кормят ее из бутылки коровьим молоком — своего-то у Кати так почти и не было, с первых дней Фрося стала искусственницей. А как солнце встанет прямо над конторой, Петрован придет домой, сварит Фроське жиденькую кашку из толченого пшена или гречки. А коли у него там в кузне какие срочные дела приключатся, так и сами ребятишки сварят, Николай со дня гибели Захара с Зоинькой прямо на глазах повзрослел. Сперва Захар заменил по дому Михаила, взял на себя все главенство, теперь вот Николай заступил место Захара. Да и то сказать, большенький стал, вот-вот девятый исполнится. Уж в самом крайнем случае сбегают они за Петрованом в кузню, а если тот в отлучке, так к бабке Андронихе или еще к кому стукнутся, но в большинстве сами с Фроськой управляются, и она, Катя, спокойна за девчонку, может теперь хоть круглый день домой не заглядывать.

Так она раздумывала, покачиваясь в плетеном коробке, лошадь не торопила. Солнце припекало все щедрее, Катя сбросила с плеч сперва истертый ватничек: рано утром и поздно вечером без него бывало еще холодновато — потом и отцовский пиджак, совсем уже истрепанный, осталась в одной кофточке, кожей чувствовала благодатное тепло и наслаждалась им, подремывала.

Прохватилась она от нарастающего стукотка тележных колес и дальних каких-то криков. В мозгу сперва прорезалось: это ж лошадь меня несет! Она машинально дернула вожжи, качнулась оттого, что мерин ее покорно остановился, и окончательно пришла в себя. Никуда ее лошадь не понесла, оказывается, дрожки ее недвижимо стоят среди дороги, зато навстречу ей бешено несется бричка, в бричке во весь рост стоит какая-то бабенка, размахивает кнутом, юбка на ней полощется, у ног ее сидят двое мужиков и, чтобы не вылететь от толчков на землю, держатся за дробины. В одном из сидящих Катя еще издали признала тракториста, в голове ее промелькнуло: «Сомкнут сейчас, пьянчуги!» Она торопливо дернула вожжами, чтобы уступить дорогу, но летевшая навстречу бричка еще издали съехала на обочину, сделала у Катиных дрожек широкий полукруг, правившая ею женщина, осаживая разгоряченную лошадь, наклонилась, чуть не падая, назад.

— Афанасьева-а! Председательша! С победой тебя-я! — заорала она, но Катя не взяла в толк, с какой это победой ее поздравляют, до окончания сева еще далеко и мысли-то все были о вставшем на поле тракторе, и она, сойдя с дрожек, прокричала:

— Трактор-то чего, чинят али нет?

— Дура! Какой тебе сегодня трактор,— громко ответил тракторист, поднял обгорелую на войне руку, помахал ею в воздухе, как флагом: — Во-от! Гитлера прикончили!

— Мужики к нам оттудова, Катька, теперь привалят! Недолго ждать...— прокричала бабенка, стегнула лошадь, бричка дернулась, объезжая Катину лошадь перед самой мордой, завершила полный круг и понеслась дальше.

Только теперь до Кати дошло, о какой победе кричала бабенка, сердце ее заколотилось, грозя разорваться, ноги враз обессилели, она шатнулась к ходку, оперлась об него рукой. «Господи... да в деревне-то знают ли?!» — зазвенело у нее в мозгу, кружа голову. Потом все враз прошло, в ноги, в руки, во все тело волной залилась прежняя сила, она заскочила в кошовку, почти на месте поворотила повозку и погнала мерина, точно хотела догнать уже умчавшуюся с глаз бричку.

В Романовке о Победе знали. Не было в деревне ни телефона, ни радио, единственный на село батарейный колхозный радиоприемник еще в начале войны был сдаден властям, и время еще стояло раннее, а весть эта каким-то образом все равно достигла до крохотной, застрявшей в холмах деревушки, может быть, птицы на хвостах ее принесли. Первой, кого Катя Афанасьева увидела, влетев в Романовку, была Василиха. Вечно угрюмая, всегда сторонившаяся людей, она на этот раз бросилась из переулка наперерез Катиным дрожкам, и едва та натянула вожжи, с рыданием повисла у нее на плечах, без конца повторяя:

— Катенька, дождались! Катенька, дождались...

— А все... все знают? — зачем-то задала Катя глупый и ненужный вопрос.

— Да неужто ж нет?! Все работу седни побросали. Вон, гляди, каждый печет-варит... Гулять бабы собираются.

Тут лишь Катя заметила, что почти все трубы в деревне в это неурочное время дымились.

...Гуляли возле колхозной конторы, стащив на чистый воздух столы, скатерти, табуретки, тут на молодой майской травке и собрался весь колхоз. А всех-то было десятка с три-четыре баб да подростков, а среди них всего два мужика — Петрован Макеев да старый-престарый дед Андрон.

Поначалу пришлось сказать несколько слов Кате, как председательнице, она от волнения вовсе и не соображала, что надо говорить, и, расплескивая мутный самогон из стаканчика, роняла неумелые и, как ей казалось, совсем случайно приходившие на ум слова:

— Светлый день, бабоньки родные, вот и настал. Жутко и подумать, что перенести довелось! Мужики там клали свои жизни... У меня вот отец да Степан Тихомилов... И у каждой семьи, почитай, такое ж горькое горе. А мы тут с вами пластались до смерти, до потери рук и ног каждый день. Спасибо вам всем за такую работу, какая и хлеб, и молоко, и мясо фронту давала. Хоть и мало нас, а тоже помощь посильная наша фронту была. Поздравляю вас, бабоньки... и, конечно, тебя, Андрон Игнатьич, с Петрованом Макеевым с долгожданной Победой над проклятым фашистом!

После первых рюмок за столом поднялся бабий рев — самогонка, ударив в голову, разжала у каждой сердце, где таилась через силу сдерживаемая боль от безвозвратной потери мужей, сыновей и братьев, и боль эта у каждой растеклась по всему телу. Плакала и Василиха и кладовщица Легостаниха, но эти двое больше от радости, что у первой остался в живых муж, а у второй хоть единственный сын. Но и эта их радость больше была тревожная и мучительная, каждая спрашивала сквозь слезы у Кати: «Уцелели али нет они до седни? Последнее письмо-то написано месяц назад было... Слышь, Катерина? Скажи ты, скажи!» Спрашивали так, будто именно от Кати зависело, чтоб за последний месяц войны с мужем Василихи и сыном Легостаевой ничего не случилось. Катя понимала, что им нужна была надежда, с которой они мучительно будут жить до следующего письма, что они сознавали — надежду эту никто им дать не может, но спрашивали так, чтоб хоть немного обмануть самих себя уверенностью других, что муж и сын останутся живы. И Катя отвечала:

— Живые останутся. Всю войну прошли, а тут какой-то месяц.

— Спасибо, Катенька. Сердешная ты душой у нас...

Долго еще бабы обтирали с распухших щек соленые слезы, но постепенно та же самогонка, наваренная, оказывается, к ожидавшемуся этому дню чуть не в каждом доме, всколыхнувшуюся боль и притупила, отодвинула на время, за столом все больше и больше поднимался беспорядочный говор, послышался смешок, другой. И вот на дальнем конце стола кто-то затянул извечно грустную человеческую песню:

Во саду при долине
Громко пел солове-ей...

* * *

Ни капли не выпили в этот день во всей Романовке, пожалуй, только два человека — дряхлая Федотья Пилюгина да ее сноха Лидия. Федотья, когда бабы за столом расшумелись и распелись, выползла из дома, постояла на крыльце, опираясь на свою клюку. Потом она спустилась по ступенькам, втыкая костыль в землю, двинулась к конторе. Близко к столу она не подошла, остановилась поодаль, опять долго стояла недвижимо, холодно и ядовито глядела на пьяненьких женщин. Все бабы и сама Катя Федотью видели, но к столу ее не позвали, никто не повернул даже в ее сторону головы. Будто и стояла она неподалеку, а будто ее там и не было. Постояв, она повернулась, побрела к дому, постукивая палкой, взобралась на крыльцо, захлопнула за собой дверь.

А Лидия Пилюгина с весны опять пастушила, как всегда, до солнца она выгнала сегодня за холмы стадо, у Кати несколько раз до вечера мелькало, что в полях людей снует много, кто-нибудь там на пастбище и скажет ей о Победе, и Лидия не вытерпит, погонит табун в деревню. Катя время от времени поглядывала на седловину меж холмов, по которой обычно спускалось стадо. Но оно не появлялось.

Когда Пилюгина на закате пригнала коров, Катя, тотчас прибежав на ферму, крикнула:

— Лидия! Война ж закончилась! Победу объявили.

— Слыхала еще в обед.

— Наши-то вон бабы все загуляли сразу, не удержать,— кивнула Катя в сторону конторы, откуда все еще доносились пьяные голоса.— Я думала, и ты пригонишь табун. Да и пригнала бы, такой ведь день!

— Мне-то с какой радости гулять,— угрюмо ответила на это Лидия.

Еще час или два назад пьяненький дед Андрон подошел к Кате и сказал ей:

— Боюся, что коровенки нынче останутся недоеными. Ишь они, доярки-то, какие.

Катя кивнула и ответила:

— Пущай уж. Как-нибудь вдвоем с Лидией нынче выдоим. Попрошу ее помочь.

И теперь вот она, споласкивая под рукомойником руки, просить ее об этом боялась. Катя тоже несколько рюмок выпила, в голове немного шумело, и ей казалось, что Лидия в ответ на ее просьбу буркнет что-нибудь так же угрюмо и зло да и пойдет прочь. А одной ей тут до полночи возиться. Однако, едва она заикнулась об дойке, Лидия сказала:

— Ну, так что ж... давай подойник.

С тех пор, как погибли в огне дочка Данилы Афанасьева да сын Тихомилова Степана, Лидия и сделалась угрюмой. Дело делала любое, как и раньше, а разговоров лишних не разговаривала и по возможности Кати сторонилась.

Вот и теперь целых два часа сидела под коровами молча, молчком же помогла составить фляги с молоком в погреб-ледник, где оно всегда до утра и хранилось, а утром по холодку отправлялось в Березовку на «молоканку», то есть на маслозавод.

Так ни слова не вымолвив, она вымыла подойник после работы, поставила его на место и, не попрощавшись, ушла.

Еще похлопотав на ферме, Катя тоже побрела в деревню. Накатилась уже ночь, светлая и теплая, на небе высыпали крупные звезды, над Романовкой стояла тишина. Возле конторы давно уже никого, кроме Марии, не было, та при свете керосинового фонаря убирала со столов чашки, тарелки, стаканы и кружки, складывая все это в большую корзинку, а в ведро ссыпала остатки пищи.

Подойдя, Катя присела за краешек стола, положила перед собой усталые руки. От двухчасовой дойки ладони постанывали, а пальцы совсем не чувствовались, были как деревянные.

— Управились? — спросила Мария, не прекращая работы.

— Тут-то чего, все ладно кончилось? — вместо ответа проговорила Катя.

— Да ничего. Все на своих ногах уплелись,— сказала Мария, кивнув через плечо в сторону улицы. Дома вдоль нее стояли во мраке, будто тоже, как вот Катя, усталые, притихшие, окна светились редко где — погуляли их хозяйки, поплакали, попели, отвели души на радостях, а завтра чуть свет каждой на работу, да еще сегодняшние дела завтра же все доделать надо.

— Петрован-то по старой памяти не шибко перебрал?

— Не-е. Да он, как ты ушла на ферму, тож вскорости поднялся, детей, говорит, укладывать идти...

Как засудили Михаила, Петрован Макеев строго соблюдал свой зарок, ни разу и капли в рот не взял и сегодня, сев за стол и увидев перед собой кружку с самогоном, вопросительно поглядел на Катю. Она кивнула и проговорила: «Да в такой-то день чего ж...» С первого заряда он отпил половину, а потом лишь чуть отхлебывал, кружка так и стояла перед ним полной. И все же, уходя на ферму, Катя сказала ему: «Без меня-то не разойдись гляди». «Да что ты, Катерина...» — обиженно ответил он и вот в самом деле ушел почти трезвый. Кате вдруг стало больно оттого, что обидела его таким предупреждением.

— В контору, что ль, поставить? — кивнула Мария на корзину с грязной посудой — А то ночью собаки да кошки вылижут. Утром всяк свое разберет.

— Поставь,— сказала Катя.

Счетоводиха отнесла корзину, вернулась с тряпкой. Обтирая крышки столов, спросила:

— Когда людей-то смешить перестанешь?

Катя понимала, о чем говорит Марунька, но все же подняла на нее вопросительный взгляд.

— Так не живешь ты с Петрованом. Держишь мужика при себе, как домработника. Али квартиранта. Ни себе, ни людям...

— Откуда вам знать, живу или не живу?

— А народ, он все знает,— сердито буркнула счетоводиха.

Катя опустила глаза, помолчала. Затем вздохнула устало и проговорила:

— Не осталось где глотка самогонки-то?

— Как не остаться,— проговорила Мария и ушла в контору.

Пока она находилась там, Катя невесело думала, что действительно чудно все это у них с Петрованом. Чувств у нее к нему вроде бы никаких не было, а привыкнуть — потихоньку привыкла, было спокойно и както приятно слышать, что он ходит по дому, возится с детишками, делает всякие разные дела на подворье. Когда он допоздна задерживался в своей кузне или уезжал куда на поле, в душе у нее возникало что-то заботливое: чего, мол, так долго там, голодный же... А жить с ним действительно не жила, Петрован спал в другой комнате, попервоначалу Катя думала, что если он сунется к ней на кровать, то она шуганет его и с кровати и из дома так, что и дорогу сюда забудет. Но время шло, Петрован даже и намеков не делал, что хочет к ней под одеяло, и однажды у Кати обиженно мелькнуло вдруг: да чего она, не баба, что ли? Такая обида на него мелькнула один только раз и больше никогда не приходила, но она теперь нет-нет да подумывала: а все ж таки рано или поздно, все равно он... Как ей тогда поступиться с ним?

Но этого она не знала и до сего дня.

Так вот они и жили под одной крышей, не муж и не жена, не родные, да будто и не чужие теперь. Вроде созревало иногда у Кати решение: уходи, мол, Петрован, хватит в самом-то деле потешать людей, но в

последнюю минуту высказать ему это духу не хватало. Не хватало, может, потому, что люди, как ни странно, над их отношениями вовсе не потешались, сплетен и пересудов об них никаких не ходило, уж об этом Катя бы знала. И что всего удивительнее — люди в самом деле, как и уверял кузнец, потихоньку привыкали к мысли, что Фроська самая настоящая Петрованова дочь. Лишь попервоначалу Федотья Пилюгина пробовала было звонить прежнее: «Ишь придумал чего, присвоил, бес колченогий, дитя чужого, Артемушкина дочерь это, все едино отберу...» Подобные слова Пилюгина почему-то выкрикивала чаще всего перед молчаливой Василихой, но та слушала-слушала, да и огорошила однажды Федотью: «А заткнула бы ты хайло-то свое. Народу лучше тебя знать, от кого у ней дочь».

С тех пор и Федотья умолкла. И в метриках стояло отчество Катиной дочери — Петровна. Так требовал записать Макеев, да он же в сельсовете, когда ездил с Катей регистрировать ребенка, и назвал имя отца, а она не возразила...

Мария вышла из дверей конторы с бутылкой, двумя граненными стаканами и чашкой, в которой лежали соленые огурцы да краюшка хлеба. Катя сама налила — Марии побольше, а себе треть стакана.

— Ну, Маруня... Еще раз с долгожданным праздником.

Зажевав едкую жидкость, они помолчали. Сидели друг напротив друга и молчали, будто слушали ночную деревенскую тишину.

— А все же таки, Катерина, решайся,— проговорила наконец Мария.— Мужик он славный, пить вот бросил. Кого тебе ждать-то?

Катя никак не откликнулась на эти слова, еще посидела недвижимо, затем устало разогнулась.

— Ладно, пойду я.

Пока шла до дому, под черепом у нее все долбило и долбило: «Решайся... мужик он славный. Кого тебе ждать-то? Кого ждать... Кого?!» И то ли от этих звенящих в мозгу Марунькиных слов, то ли от глотка самогонки голова у Кати стала сильно кружиться. Вся ее усталость куда-то исчезла, тело сделалось легким, кожа на лице, на груди, на ногах — она это почувствовала — взялась горячим жаром. «И решусь я! Кого ждать? Некого... Давно, дуре такой, решиться надо было... А не мучить мужика»,— лихорадочно мелькало теперь у нее.

Последние метры до дома она уже не шла, а бежала, дверь в сенцы распахнула, а закрыть не успела. По кухне, которая была и прихожей, пронеслась в два прыжка, рванула дверь, за которой спал Макеев, и тоже забыла ее закрыть.

— Петрован!

Он, видимо, не спал, а просто лежал в темноте, потому что сразу откинул одеяло и сел на кровати.

— Петрован! Петрован...— Она опустилась перед ним на колени, уткнула голову в его горячие ноги и зарыдала.

— Да ты чего... Катерина? Детей пробудишь...— растерянно проговорил он.

— Дура-то я какая, Петрован...— Она схватила в темноте его жесткие, пахнущие железной окалиной руки, прижала их, обливая слезами, к своему лицу.— Мне бы давно решиться! А я тебя истерзала. Руки-то у тебя какие... золотые же!

И она стала целовать его ладони.

— Погоди ж, Катерина...— выдохнул он.— Ты ж спьяна все это.

— Не спьяна! Завтра в сельсовет поедем... Ты понял? Понял?

Тут только руки его дрогнули, он провел ими по мокрому Катиному лицу, по горячей ее шее, крепко сжал ее за плечи.

— Катерина! Катя...

— Ага, ага.../Родимый!

Он хотел встать, но она опередила, властно положила его на кровать и, лишившись голоса, без сил прошептала ему в лицо:

— Ты лежи, лежи! А я счас. Дверь вот прикрою...

Продолжение следует.

Анатолий ИВАНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ВРАЖДА

* * *

...Прошло после Победы без двух месяцев семь лет, была первая половина марта 1952 года.

Катя Афанасьева, давно ставшая Макеевой, по-прежнему председательствовала в колхозе и ждала из заключения Михаила.

Внешне не так-то много изменилось за эти годы в Романовке, деревушка была такой же маленькой, только поставлены были на том же месте, под увалом, новый коровник под шифером, из свежих бревен собрали два просторных амбара, а рядом с ними крытый ток; да муж Василихи, длинный, горбоносый мужик, вернувшись с фронта, выстроил новый дом, а старый отдал безвозмездно Лидии Пилюгиной, где она и жила с семнадцатилетней дочерью Сонькой — рослой, стройной и настолько красивой, что каждый невольно останавливал на ней свой взгляд. Дряхлая Федотья все еще скрипела, жила по-прежнему в одиночестве, сделалась вовсе злой и невыносимой; когда Софья прибегала к ней, между ними каждый раз происходил примерно один и тот же разговор: «Бесстыжая, все титьки выставляешь?» «Куда ж их деть, коль выросли»,— отвечала Софья. «Ужо погоди-и,— стращала старуха.— Мужик, он сперва в ухо погудки, а потом лапой за грудки». «Как тебе не совестно-то, бабушка!» «Ишо совестить, поганка! Вся в матерь, чтоб тебя свинья растоптала...»

Несмотря на это, Сонька, веселая и жизнерадостная, постоянно ухаживала за старухой, обстирывала ее, водила в баню, убиралась по дому.

Помягче стала относиться к Федотье и сама Лидия, тоже, когда Софье было за колхозной работой недосуг, приглядывала за свекровью, зимой протапливала в бывшем своем доме печь, пекла и варила на нее, но жить вместе категорически отказывалась. «Вонючка, не разнюхал тебя в невестах Артемушка-то,— грызла и ее Федотья.— Кинули дуре в колхозе ломоть, а она и рада за него молоть».

— Да хоть бы отравилась ты злобой-то своей поскорее! — не раз в сердцах говорила ей Лидия.

— Ага, ага,— качала маленькой и легкой, будто вовсе пустой головой, Федотья.— Дай господь смерти, да вот тебе наперед.

Дряхлая Федотья, по-прежнему исходившая бессильной теперь злобой на весь мир, все еще жила, а вот добрая Андрониха через год после Победы скончалась. Умерла она тихо и спокойно, однажды вечером, как укладывались спать, она сказала своему старику: «Ты, Андрон, уж прости меня, коли в жизни-то чем я тебе не угождала... али прикучала». «Чего такое мелешь, старая! — с беспокойством в голосе выругал ее старик.— Выпей-ка вот смородинки отвару да спи. Все жизненные витамины, грят, тут». «Холод, Андронушк, насквозь меня иглами прокалывает. Прости, говорю, сердешный...» «Да счас я тебе грелку...»

Андрон загремел заслонкой, вытащил два чугунка, один с горячей водой, чтобы налить ее в резиновый пузырь, а другой со смородинным отваром. Когда с кружкой отвара подошел к кровати жены, та была уже мертва.

Пережил свою жену Андрон всего на полторы недели. Схоронив старуху, вытесал и себе гроб, сказал Кате:

— Чтоб вам без хлопот, значит. В могилке я подкоп вырыл просторный и земля там над старухой еще не охрясла. Легонько ее выкидаете и меня рядком положите.

— Шибко уж скоро ты вслед-то ей собрался,— с таким же беспокойством, как недавно сам Андрон свою жену, ругнула его Катя.

— Где ж скоро, вон вторая неделя пошла,— возразил старик.— Каждую ночь слышу — зовет она к себе меня. А вы покуда оставайтесь под солнышком. Теперь ты с Петрованом, не одна, и проклятая война эта отошла. Ты уж, Катерина, по утрам-то на живность мою посматривай, али ребятишек своих посылай. А то мертвяком неуютно в пустой избе лежать. Закрываться на ночь я не буду...

Эта длинная его речь и была последней, где-то ночью он и отошел, утром Катя с порога еще увидела его вздыбленную к потолку, давно остывшую уже бороденку.

Похоронили его, как он просил, не было над могилой ни речей, ни слез. Катя Афанасьева, глядя, как Петрован с сыном Легостаихи Иваном, угодившем-таки в последний месяц войны под серьезное ранение и только недавно, к неописуемой радости матери, вернувшийся домой, зарывают могилу, ворошила в голове нахлынувшие невеселые мысли о бренности и никчемности человеческого бытия. Неисчислимое количество людей, думала она, беспрерывно появляется на земле, каждый быстро проживает свою жизнь, хоть такую длинную, как Андрон вот, или короткую, как секретарь райкома партии Дорофеев, скончавшийся вечером девятого мая, сразу после митинга, посвященного победному празднику. Одни умирают своей смертью, другие от пуль, как вот Степан Тихомилов или ее отец, или тот же Дорофеев, а то еще и под пытками да огнем, приняв под конец неимоверные мучения. Но так или иначе каждого ждет смерть, под этим вечным солнцем и немыми холодными звездами беспрерывно, никогда не останавливаясь, работает и работает чудовищная мельница, безжалостно перемалывая всех. Будь ты добрый или злой, умный или глупый, люби ты людей или ненавидь их, как Федотья вон Пилюгина, конец для каждого один. А если еще и подумать, что каждому при жизни уготовано больше тяжкого труда, чем отдыха, больше горя, чем радостей,— зачем вообще появляться на земле?

Так уныло размышляла Катя над могилой Андрона, и вдруг все эти тяжелые и невеселые мысли словно ветром подхватило да унесло: голова ее закружилась, в груди она почувствовала ту самую тошноту, уже знакомую ей, приведшую однажды ее к неописуемому ужасу. А теперь от этой тошноты беспокойно и радостно забилось сердце, разгоняя кровь во все жилы, наполняя тело согревающим огнем. Она глянула на сгорбленную спину Петрована, обравнивавшего лопатой могильный холмик, и вспомнила почему-то опять о смерти секретаря райкома партии Дорофеева: ну да, он скончался в тот вечер, может быть, даже в тот самый час, когда она, Катя, упав на кровать к Петрована, сгорела под его тяжелым и добрым телом, забыв про всю свою ужасную, без единого светлого проблеска жизнь, про мертвых и живых своих детишек, про сгинувшего где-то Степана Тихомилова. Она, уткнувшись мокрым лицом в его горячую грудь, лихорадочно оглаживая его по плечам, по спине, от неизведанного доселе сладкого чувства стонала, хрипела и без конца выговаривала: «Петрован... Петрован...»

И сейчас она еле слышно произнесла:

— Петрован...

Он сразу же расслышал ее шепот, немедленно разогнулся.

— Чегой-то? — И обеспокоенно шагнул к ней.— Тебе что, худо?

— Нет... ничего,— ответила она, пряча от всех лицо. Ей казалось, что сейчас люди заметят то, чего не должно быть в выражении глаз человека, стоящего у свежей могилы. Потом повернулась и первая пошла с кладбища.

А дома прямо у порога она ткнулась ему лицом в грудь и прошептала стыдливо:

— Затошнило там меня, Петрован. Вот чего.

— Катя! Катенька...— выдохнул он облегченно, стал тяжелыми руками гладить ее, как маленькую, по голове, по плечам.— Да неужели ж? Не ошиблась ты?

— Нет. Это — точно так... как было раз уже.

Она откинула голову, подняла на него полные счастливых слез глаза. Он глядел на нее радостно и еще недоверчиво, потом недоверчивость исчезла, растаяла, а радость засветилась еще отчетливее.

— Поворо-от! Ах ты, Катенька! Родимая...

И он снова прижал к себе ее худенькое тело.

В начале сорок седьмого Катя родила девочку, назвали ее в честь безответной Катиной помощницы Марией, о чем и объявили счетоводихе. Та расчувствовалась, расплакалась, принесла в подарок целый ворох пеленок и крохотные валеночки. А через два года Петрован привез жену из больницы с сыном, и, немного хмельной от радости, всю дорогу уговаривал Катю, хотя она и не возражала:

— А назовем его Данилом, а? Данила Петрович будет. Как славно, а?! Кузнечному делу его, Кать, обучу... Эх, пошла наша с тобой жизнь-то, Катя!

Да, жизнь шла теперь по всей земле легче, и в Романовке тоже, и в Катиной семье было теперь все благополучно.

В мае сорок пятого Катя и Макеев расписались, а в конце августа Петрован сказал:

— Николай-то, что ж, так неучем у нас и останется? Давай, Коля, на учебу собираться. В Березовскую семилетку поближе будет, там я договорюсь, где с квартирой у добрых людей. Харчи подвозить будем с матерью, конечно.

Николай было заупрямился:

— Десятый год мне уж, с первоклассниками... Засмеют же.

— Засмеют-то нас с матерью, коль сундуком вот безграмотным останешься. Ишь, скажут, родители тоже. Ничего, Коля, соби-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—45.

райся. А на другой год Игнатия тоже отдадим в школу, тогда вдвоем там будете.

Николай вытянулся на несчастье в парнишку рослого, за партой возвышался над всеми на целую голову, и безжалостных насмешек ребячьих перевес, конечно, немало, но четыре года терпел, а потом стало невмоготу. В сорок девятом он в школу ехать категорически отказался, стал работать с Петрованом в кузнице, а нынче после нового года заявил:

— А ежели на шоферских курсах мне, бать, поучиться? А, мам? Рулить-то я уж умею, дядь Иван Легостаев научил.

В колхозе уж несколько лет было две полуторки, на одной из них работал Иван Легостаев.

— Так, а что ж, мать,— сказал Петрован.— Шоферская работа серьезная.

Второй уж месяц Николай учился автомобильному делу, квартировал в райцентре. Игнатий, пошедший в школу в сорок шестом, был уже в пятом классе, жил в Березовке. Подрастала Фроська, к нынешнему сентябрю и ее готовили к школе. Петрован сам купил ей уже в районном культмаге портфель, букварь, пенал с карандашами, набрал всяких тетрадок. Объявив ее в сорок четвертом своей дочерью, он чутко и строго все эти годы следил, чтобы не вздумал кто в этом засомневаться, одевал ее чище и баловал больше, чем даже родных детей. И у Кати от этого не раз навертывались благодарные слезы и, пряча их от мужа, она думала, что счастье не обходит все-таки ни одного человека, вот и ей судьба выделила немало, да какой же Петрован золотой человек, вот вам и пьянчужка. Ну, и от деревенских людей все это не укрывалось, особенно от бабьего глаза, отношение Петрована к Фроське все глубже и глубже затирало историю ее рождения. Лишь неуемная в своей злобе Федотья пыталась что-то внушать Фроське, та однажды вечером прибежала в слезах, уткнулась не матери, а отцу в колени, заверещала:

— Ты мой папа... Ты мой... самый родной!

— Что? Кто обидел? — поднял ее за плечики Петрован, хотя и ему и Кате было уже ясно, в чем тут дело.

— Бабушка эта злая... Схватила меня счас.

— Ах, она, ведьма старая!

— Ага, ведьма...— вытерла девочка кулачонками глаза.— Как из сказки она, вроде. Я ее боюсь.

— Ну, бояться не надо, доченька... А я вот с ней поговорю сам. Я на нее найду управу.

— Найди, пап! Ты же вон какой сильный,— с детской верой во всемогущество отца сказала Фрося.

— Обязательно я найду. Вот счас я к ней и отправлюсь.

Когда Петрован вернулся, Фрося спросила:

— Нашел, пап?

— А как же. Теперь она тебя не тронет больше. Давай вон куклов-то своих укладывай на ночь, у них уж глаза слипаются.

Успокоенная и радостная, девочка побежала к своим куклам.

Ночью Катя спросила:

— Что ж ты ей говорил-то?

— А посулил... коли еще вякнет чего Фроське, возьму, говорю, вилы, да за шею приткну к земле. Как гадюка, говорю, поизвиваешься да сдохнешь.

— Петрован!

— А вот и испугалась. Ладно, грит, силов-то у меня нету уж, а вот вернется Пашенька... Помешалась на своем Пашеньке.

— Да он и правда... если бандитом-то вернется?!

— Ну, много еще воды стечет, покуда срок ему кончится,— успокоил Петрован жену.— А Фроська, как подрастет, так и сама все поймет. Мы ж ее тоже потихоньку воспитывать будем.

Все это было с год назад. Федотья никогда с тех пор к Фроське и близко вроде не приближалась. Сколь не многожильной была она, а силы ее все же заметно иссякали, оставленная всеми, кроме сердобольной внучки Софьи, она потихоньку высыхала. Но и до звону высохшая, она бы, наверное, еще долго маячила на земле, как неприкаянная и зловещая тень, да два события ускорили, видно, дело и свели ее в могилу.

Но случились они весной пятьдесят третьего, сразу почти одно за другим, а покуда еще стоял март пятьдесят второго, первая его половина, Катя Афанасьева, давно ставшая Макеевой, ждала из заключения брата своего Михаила, а вернулся в Романовку, неизвестно даже откуда — Степан Тихомилов.

* * *

Он объявился, Степан, восьмого марта, как раз в женский праздник. Еще в обед Катя собрала в конторе всех бабенок и девок, сказала от имени правления колхоза, в котором, кроме нее, состояли сейчас Мария-счетоводиха, шофер Иван Легостаев, Василий Васильев, да Лидия Пилюгина, короткую речь, в которой поздравила их с праздником, поблагодарила за хорошую работу.

— Правление тут вырешило особо старательным маленькие подарки, то есть премии по случаю праздника,— закончила она.— Вот сейчас Василий Васильевич Васильев и объявит, что кому.

Муж Василихи, бывший уже несколько лет у Кати заместителем и любивший речи не то чтоб цветастые, но многословные, был тут как рыба в воде, для каждой премированной он находил слова теплые, и потому подарки вручались под независтливые и дружные аплодисменты.

Премировали отрезом цветного крепдешина на платье и Софью Пилюгину.

— Тут мы совета у ее матери-то, которая теперь член нашего правления, понятно, не спрашивали,— сказал Василий Васильевич.— А вы-то, мы подумали, возражать не будете. Все вы знаете, что девка она и на лицо и на работу красивая. Вона как телятки у нее привес дают, любо-дорого, и ни одного падежа у нее, всех выходила, потому что как за малыми детьми за ними заботится.

Побагровевшая от смущения Софья схватила отрез и пулей вылетела из конторы.

Потом, как водится в такие дни, послышались из некоторых домов и песни. И каждая семья приглашала Катю к столу, но она всем отказывала словами:

— Мишеньку я жду с часу на час, еще ведь двадцать девятого февраля срок у него кончился. Он придет, а я выпивши, да вы что, бабы!

Но вот вместо него объявился другой...

Невидимый уже в вечерних сумерках, Тихомилов Степан с палкой в руках по крепкой еще санной дороге спустился с холмов. И по деревне к своему дому подошел никем не узнанный.

Он отворил дверь, когда Макеевы всей семьей — сам Петрован, Катя, Фрося, пятилетняя уж Марийка и трехгодовалый Данилка сидели в кухне за ужином, спустил с плеча жиденькую котомку, поставил в угол палку, расстегнул коротконолый старый ватничек, потер ладонью обросшие жестким, местами белесым уже, волосом щеки и сказал:

— Оконные стеколки светятся огнем чистенько да весело, я подхожу, да и думаю — живут в моем доме люди. Ну, здравствуйте.

Катя, держа на руках Данилку, кормила его. Еще при появлении Степана, когда он снимал с плеча котомку, из ее рук вывалилась и брякнула об стол ложка. А как раздался его голос, Катя, бледная как стена, начала медленно подниматься. Сына она чуть не выронила, его успел подхватить Петрован.

— Степа-ан?! — зашлась она криком, чуть не опрокинув стол, шагнула куда-то, не то к Тихомилову, не то просто на середину кухни, метнулась, как слепая, туда-сюда, всюду натыкалась будто на глухие стены. И еще раз застонав в последнем стоне, так посреди кухни и рухнула без чувств.

...Придя в себя, долго лежала на кровати без всякого движения. Она понимала, что Степан объявился еще вечером, а теперь вот ночь, чувствовала, что рядом лежит на спине Петрован, а глаза его открытые, он смотрит в потолок. Она всегда по его дыханию узнавала, спит он или так лежит да о чем-то думает.

— Отошла? — спросил он, почувствовав, что Катя очнулась.— А я вот слухаю, дышишь, значит, и живая, слава богу.

— Что ж теперь-то... Петрован?! — хрипло спросила она.— Что теперь?

И, затаившись больше прежнего, со страхом ждала его ответа. А он лежал и молчал, молчал, будто и не слышал ее голоса.

— Поворо-от,— наконец вздохнул он.— Я ему сказал — как решит Катя, так и будет.

— Нет! Не-ет! — дернулась она, будто ее током пронило, цепко ухватилась за его плечо, повернула к себе. Другую руку она просунула под его бок, сцепила замком пальцы на его спине, прижалась лицом к его груди и начала громко и тяжело всхлипывать.

— Ну чего ты? Чего, Кать...— неумело пытался успокоить он ее. — Это уж того, не надо.

— Да откуда... откуда же он объявился-то?!

— В плену, что ли, немецком был. Ну, а после войны, грит, в другом месте. Не всем, дескать, прощали...

— Да это ж... что такое? Да как же?!

— Ну, я подробности не обспрашивал... Сумной, он, Кать, какой-то. Говорит, а за каждым словом будто камень утанвает.

— А об детях-то он своих... Али нет?

— Как же... Игнатий, говорю, живой-здоровый. В Березовке счас, учится там в школе. А об остальных у людей, сказал, расспроси. Они те лучше все обскажут. А Катерине ноги, говорю, дурак, целуй...

— Ноги... Да зачем ты так?

— А пущай знает. Много-то я с ним не разговаривал, только это и сказал.

— Сейчас-то он где? У нас, что ли, спит?

— Не у нас,— сказал Петрован.— Счетоводиха его, Марунька, к себе увела.

— Марунька?

— Ну. Прибежала она к тебе за каким-то делом, увидела его да так и осела... А потом, значит, и увела. Пойдем, говорит, у меня переночуешь, а там видно будет. Сидорок вон его и палка тут остались...

* * *

На другой день утро сразу поднялось веселое и солнечное, а на душе у Кати было невообразимо как, в сердце, во всей груди жгло горячим огнем. Петрован, несмотря на воскресенье, до зари ушел в свою кузницу, с самого рассвета стучал там на всю деревню. Ребятишки еще сладко спали, Катя топила печь, готовила завтрак, время от времени бросала взгляды на Степанову котомку, лежавшую на полу у стенки. Катя понимала, что мешок лежит не у места, как валяется, что Петрован, придя к завтраку, обязательно скажет — чего не приберешь, мол, он не любил, когда вещи валялись где попало, но подойти к котомке боялась.

Наконец все же подошла, пододвинула в угол, где стояла палка, табурет, и положила на него котомку. Мешок был легонький, когда она клала его на табурет, в нем что-то звякнуло, кажется, металлическая ложка о котелок. Звук этот разрезал и без того саднившее острой болью сердце. Катя тут же, у дверей, опустилась на голбчик, тяжело и беззвучно заплакала.

Из-за двери в кухню вышла растрепанная и припухшая после крепкого сна Фрося, старшая ее дочь, накинула пальтишко, выбежала торопливо на улицу. Минуты через

три вернулась, повесила пальтишко на гвоздь, загремела рукомойником.

— Ух, там какое седни солнышко, мам! — сказала она, вытирая розовые щеки, потом подошла к ней.— А ты все из-за того дядьки плачешь?

Катя привлекла ее к себе, прижала, поцеловала в голову.

— Из-за него, Фросенька.

Девочка о чем-то сосредоточенно подумала и спросила:

— А он чужой нам или нет?

Катя растерялась как-то, не зная, что ответить на такой вопрос.

— Он... У тебя был дедушка, который на войне погиб. Вот для дедушки он был как родной сын...

— А-а, — протянула Фрося. — Непонятно только.

— Родимая ты моя! — Катя опять прижала к себе дочь.— А мне-то, думаешь, понятно...

Но как ни странно, этот невразумительный разговор с малолетней дочерью немного привел Катю в себя, она насухо вытерла слезы, вернулась к домашним делам. И когда пришел Петрован, была уже собранной и спокойной. Макеев, видно, не ожидал ее увидеть такой, чуть удивленно двинул бровями, но промолчал.

И завтракал он молча, от чашки глаз не поднимал.

— В воскресенье мог бы и отдохнуть, — нарушила наконец она молчание.

— Да что ж... Посевная-то вот и прикатит.

Завозились и заверещали за дверью проснувшиеся Марийка с Данилом. Петрован, как раз допив чай, поднялся и пошел к ним в комнату. Оттуда донесся его веселый голос:

— Опрудил всю постель молодец-то наш! Ты что же это делаешь, ведь мужик уж почти? Ну-ка, мать, давай нам свежие штаны.

Переодевая сына, Катя вдруг спросила:

— А Марунька вчерась... хмельная прибегала?

— Да вроде бы ничего. Чуток разве припахивало.

Потом Петрован опять молча сидел на голбчике у дверей, курил, глядел на котомку, которая лежала в углу на табуретке. Фрося кормила Данилку, она давно научилась делать и это и многое другое, на нее и весь дом оставляли теперь чуть не на круглый день. Марийка скребла из чашки сама, а Катя мыла посуду.

— Василиха мне сказала — всю ночь у Маруньки свет горел, потух, как солнце разлилось. И тут же труба задымила.

— Дом-то ему теперь освобождать надо,— сказала Катя.— Ведь в чужом живем.

— Да это что ж, дом,— Петрован поднялся, снял с гвоздя тужурку, стал надевать.— С весны и свой зачнем ставить... коли ты решишь.

Катя, как была с полотенцем на плече, так и качнулась к мужу, припала к его плечу.

— Петрован! Я ж ночью сказала. Чего решать-то?! С размолотого зерна уж колос не соберешь. Да и что промеж нас с ним было-то? Все ж у тебя на виду... Ничего и не было.

— Да ладно, Кать... Ну, ладно,— сказал он и вышел.

Мария будто караулила, когда Петрован отправится в кузню, через минуту-другую, как он ушел, она распахнула дверь, вбежала простоволосая, в наспех накинутой плюшевой жакетке.

— Катерина! Это ж ночка у меня была! А пуще у тебя...— И счетоводиха зашлась слезами.— Вот как ведь выехало! Вот как...

— Ты, Марунь, прибери-ка слезы,— сказала Катя.— Ну, это мне еще плакать, а тебе-то что?

— Да ведь жалко.

— Кого?

— Да что — кого? Тебя, Петрована, его! — сердито прокричала Мария.

— Чего орешь-то? Ну-к, дети, идите к себе, там играйте. Фрося, давай с ними...

Катя выпроводила ребятишек из кухни, обернулась к Марии.

— Я все вроде пережила, Мария, меня-то жалеть...— промолвила она.— Я и за каленое железо голой рукой возьмусь, так не почувствую.

— Ну да, ну да,— закивала Мария, соглашаясь. Она вытерла слезы, сбросила свою жакетку, прошла к столу.— Дай чаю, что ли?

Катя налила ей в чашку, она отхлебнула.

— Вот те праздничек вышел нам с тобой... Счас он спать лег.

— Рассказывай. Откуда ж он? А то мне Петрован сказал, что будто он...

— Злобный он на все, аж жутко.

— Вон как...— растерянно произнесла Катя.

— За что, грит, я мыкался? Я в том бою, покуда меня не оглушило, пять танков подбил... Я, Катерина, как привела его к себе, на стол что-то кинула, бутылку поставила. Он выпил — и пошел, пошел с обидой рассказывать. Как он возле пушки там какой-то один остался, других всех побило, как отбивался от танков этих, да как в плену у немцев очутился. А после освободили его наши с плена и ничему не поверили.

Катя слушала молча, скрестив руки на груди, в глазах ее была разлита сплошная боль.

— До света, Катерина, я с ним так вот за столом и просидела. Спьянел он и орет теперь уж сквозь слезы — ненавижу, мол, все да всех! Поперек ему аж и страшно чего-то сказать было. Потом спросил, расскажи-ка, грит, в подробностях, как дети мои померли, Донька с Захаром, что ж их Катька-то не уберегла?

— Так и проговорил: Катька... не уберегла? — выдохнула она.

— Этак,— кивнула Мария.— Тут-то меня и прорвало: дурак ты, говорю, дурак, ты мыкался, а мы тут кисель сладкий хлебали. Да и зачала ему рассказывать... про все.

— Про все?! — как эхо повторила Катя слабым осевшим голосом.

— А что для тебя тут стыдного-то? Али то, как Фроську ты родила? Пущай, думаю, Степан этот все знает. А он... он...

— Ну!

Мария хлебнула из остывшей чашки.

— А он опять заплакал, Кать.

— Заплакал!

— Ага. Тихо теперь так, неслышно. Зажал лицо-то ладонями, а сквозь них слезы и пошли.

Катя сдавленно всхлипнула, отвернулась к окну, потянула к лицу конец фартука.

— Сердца-то, выходит, у него прежнего еще маленько где-то осталось, вот и проняло.— До-олго так сидел. Потом еще водки попросил, выпил и говорит: вот за что Катьке ноги-то целовать надо...

— Перестань! Хватит...— почти простонала Катя, не оборачиваясь.

— А больше и нечего говорить. Посидел он еще молчком да попросил уложить его где-нибудь. Чего, говорю, где, вон моя кровать. Уложила его, да к тебе. Чего же делать нам теперь с ним?

— Не знаю я, Марунь. Он сам, наверное, решит, что ему делать. Тут ли останется, уедет ли куда... Погоди, ты, может, людской молвы, что ли, опасаешься? Что он ночь у тебя...

— Че мне вдовой-то да молодой такой бояться? — горько усмехнулась Мария.— Тут даже и погордиться можно.

— И не бойся. Пообихаживай ты покуда его, а? Непросто ему счас прибиться куда. С Игнатом тоже вот как у него получится? Он же трехлетним, по четвертому был, как Степан на фронт-то ушел, почти и не помнит его.

Мария допила совсем остывший чай и встала.

— Пойду, а то у меня печка топится.— Она прошла к двери, увидела котомку.— Это его, что ли? Странники с такими вот ходят.

— Его.

— Так я отнесу ему.

Она подняла котомку, постояла в ожидании, видя по Катиному лицу, что та хочет задать ей еще какой-то вопрос, спросить чего-то. И та спросила:

— Что же он... не писал-то после войны? Хоть бы одно письмо... покуда детей у нас с Петрованом не было.

— А я спрашивала, Кать. А он — что, говорит, с тюрьмы-то... не мог, говорит.

— Ладно, ступай... Только я прошу тебя, Маруня... Ты никому боле про это... про злобность эту его. Сама говоришь, что и прежнего сердца у него есть еще краешек... А там и все отойдет.

— Да это я понимаю, Катерина, — сказала Мария.

* * *

Весь этот день Катя никуда не выходила, то и дело поглядывала тревожно и боязливо за окна, будто где-то под ними и могла проявить себя стерегущая ее опасность. Но видела лишь, как обычно, ряд домишек вдоль пустынной улицы, да сверкающие белым еще снегом холмы.

Когда солнце пригрело по-настоящему, она велела Фросе с Марийкой покатать маленького Данилу на санках по воздуху, собрала его, выпроводила детишек, долго сидела одна за пустым столом. Сами собой лезли в голову и крутились там обрывки пережитого. Свадьба Степана Тихомилова с Ксенией... Ее смерть, в которой глухо обвиняли то Василиху, то эту старую каргу Федотью. неизбывное горе Степана, которое она, Катя, переживала, как свое... А потом вокруг нее — ребятишки, ребятишки, свои и Степана Тихомилова — Мишуха, Николай, Захар, Донька, Зойка, Игнатий, не поймешь, не разберешь какие их, афанасьевские, а какие тихомиловские. Она все обихаживала, обстирывала, кормила эту вечно грязную и голодную ораву, день за днем, месяц за месяцем... И когда-то вроде она вдруг захотела, чтобы Степан сыграл ей на своей гармошке так же, как играл в свое время для Ксении, а Степан не стал, все отказывался. Вместо этого он, кажется, сказал ей — я б женился на тебе, кабы Ксения забылась. Ну да, так он точно и сказал, а что же она?

Катя наморщила лоб, пытаясь вспомнить, что же она почувствовала и как вела себя после этих слов. Но не могла, время да заботы многое, оказывается, затерли. Да и хорошо, с облегчением отметила она, иначе все то пережитое слишком уж тяжко, а может, и невозможно было бы носить в себе. Но вот что она ясно помнит — проводы Степана на фронт. Всего-то полтора дня дали мобилизованным на проводы. Степан все порывался отвезти детишек своих в детдом, а она, Катя, кричала ему: «Какой детдом? Ополоумел! Будто я уж неживая. Али непривычная к такому делу...»

Вспомнив это, Катя почувствовала, как закапали из глаз слезы. Коли б отвез в детдом их — остались бы живы его Донька с Захаром, а она вот не сохранила их, она, она виноватая в их гибели! Да кто ж знал, что так все получится, что все шестеро, как отец на войну уйдет, с одной с ней останутся, что Пилюгин Артемий вместе с матерью своей Федотьей изъедят ее жгучей ненавистью...

Поплакав, она будто и облегчилась, стала думать, что в гибели его детей она не виновата. Она хотела как лучше. Там, на вокзале, она все кричала ему в ухо: «Не заботься об них... Они же мне давно не чужие... Мамкой, слышал же, зовут...» А Степан отвечал, как пьяный: «Спасибо, Кать...

Спасибо, Кать... Одно скажу тебе, Катя. После смерти Ксении я будто еще одну долгую жизнь прожил. Не знаю, как, но ты у меня в душе полный переворот сделала. В общем, как с войны вернусь, и если ты будешь согласная...» Договорить она ему не дала, потому что и так было понятно, что он хотел ей сказать. Когда вагоны уж поползли прочь толстой красной змеей, он все махал ей, свесившись через перекладину поперек дверного проема: «Я тебе обо всем напишу, напишу...»

И вскорости она получила от него письмо еще с дороги...

Катя встала, подошла к полке, которая тянулась поверху стены от печки до самого угла, — там хранились кастрюли, скалка, сито, деревянная квашня, поварешки, туда же ставилась на ночь припасенная к утру всякая снедь, крынки с молоком, чтоб от детишек подальше да кошкам не достать. Полка эта была задернута ситцевой занавеской. Катя отдернула краешек, взяла железную, довоенной еще покупки, банку из-под чая, порылась в Степановых письмах, нашла то первое его письмо с дороги. Катя долго носила его в кармане тогда, конверт весь истерся. Степан писал в нем: «...Катя, Катя, ты в одно поверь, что я тебя полюбил до самого края, а сейчас мне и вовсе стало ясно, какая ты душой необыкновенная. Вот я уехал и во всей полноте почувствовал, сколько тебе придется перенести с моими детьми. Но ты так же и знай, как я вернусь — отплачу тебе за все, за все, а коли выйдешь за меня, так я и ветру на тебя пахнуть не дам...»

Такие же письма он писал ей всегда, до тех самых пор, как они не прекратились. Их не было и месяц и другой, она все ждала, ждала. Потом сообщили ей о похоронной, и она упала, как в могилу...

Держа листок в обеих руках, она долго смотрела на письмо, больше ничего не различая, строчки слились в темные сплошные линии. Она думала, что из могилы помогли ей выползти добрые люди — дед Андрон, бабка его, Марунька, Дорофеев, Петрован — все. Потянулись, пошли годы, новая жизнь пошла да пошла, а старая проваливалась куда-то все глубже, забывалась все глуше, и вдруг вчера из этого темного провала и объявился Степан Тихомилов. Да как же это, как это?!

Она даже и не слышала, только почудилось ей, что в сенях звякнула щеколда. Но когда заскрипела отворяемая в кухню дверь, Катя, возвращаясь к реальности, вздрогнула, письмо торопливо сунула под клеенку, а сама, напрягаясь всеми жилами, встала, будто навстречу той опасности, которую высматривала все утро через окошки. Но через порог шагнула Лидия Пилюгина. Катя обмякла.

— Что это, Катерина... про Степана Тихомилова по деревне говорят — правда, что ль? — торопливо, обеспокоенно спросила Лидия.

— Да, правда вот.

— Ба-а-тюшки! Да это что ж такое?! — в страхе воскликнула она и осела на голбчик, где недавно сидел Петрован.

— Тебе-то чего маяться? Не ты сама, а Пашка твой сгубил в огне сына его Захарку. Так за то получил...

— Да в глаза-то тоже как ему глянуть мне? — простонала Лидия.

После пожара, в котором погибли Захар и Зойка, Лидия, и без того забитая всей прежней жизнью, и вовсе взялась чернотой, будто сама обгорела в том огне, язык у нее как отняли. И лишь когда Пашку увозила милиция, она пробилась к сыну сквозь толпу, подошла к нему вплотную и при всех сказала:

— Чтоб ты сдох там, изверг, такой же лютой смертью. Вот тебе мое последнее материнское слово.

— Что сыну-то родному ворожишь... трясучка голозадая! — взвилась Федотья.— Ишь, Пашенька, какова твоя матерь! Да чтоб у тебя язык отгнил!

Он и вправду будто у нее отгнил. Долго еще после Победы она ходила немее камня, людей сторонилась, в колхозе все годы пастушила в одиночестве. С одними бессловесными животными ей было, видимо, легче.

Катя, что ж, понимала ее состояние, с лишними разговорами к ней не лезла, за работу хвалила. Лидия к этому, да и ко всем добрым словам других, относилась недоверчиво, оттаивала медленно-медленно, как застарелая ледяная глыза, засыпанная землей.

А когда Катя на одном из отчетно-выборных собраний предложила ввести ее в члены правления колхоза, Лидия вскочила как ошпаренная и застыла безмолвным столбом.

— Ты что, Лидия? Не хочешь, что ли?— спросила Катя.

Лидия еще постояла, всхлипнула и, зажав рот концом шали, кинулась из конторы.

Лидию выбрали членом правления, еще где-то с неделю она вела себя так же нелюдимо, а потом сама пришла в контору.

— Спасибо тебе, Катерина Даниловна, за все... за сердце человеческое. А на меня ты надейся.

— Да я и надеюсь, Лидия.

— Ох, тяжко без людей-то жить...

С того дня Лидия стала меняться быстрее и вот давно уже была Кате верной помощницей, душевной щедрости у нее оказалось в достатке на всех. И сегодня, Катя понимала, Лидия была встревожена не столько своей неминуемо теперь предстоящей встречей с Тихомиловым, сколько ее, Катиным, положением.

Посидев какое-то время в унылом безмолвии, Лидия подняла голову, вздохнула и проговорила:

— Ну, я-то уж ладно... тоже хоть и голову за то с меня снять, так оно по справедливости будет. А вот что теперь-то у вас с Петрованом? Ведь я, как услыхала, аж захолонула.

Катя выслушала эти неумело связанные слова, подошла к ней, села рядышком.

Села, и обе стали сидеть по-бабьи молча и тоскливо, понимая друг друга без слов.

Наконец Лидия вымолвила через силу:

— Откуда ж он объявился?

— Ох, погодим об этом. Схочет, так сам пускай расскажет.

— Сама-то хоть видела его?

— Только и видела, как он в двери вошел... да без воздуха и брякнулась. А сейчас он у Маруньки спит. А может, уже и встал.

— Что же теперь, Катерина?

— Ну, что... Вот все утро тыкаюсь между стен, как слепая. Петрован-то говорит, добрая его душа: раз такой поворот, то как решишь, Катя, так и будет. А я одно чую — прежнее мое сердце к Степану закаменело, и песок по нему давно пошел да засыпал.

— Так тогда и слава богу, Катерина! — встрепенулась Лидия.— А он разве не найдет кого? Вдов-то сколько нынче сохнет... как пеперицы вон в поле.

— Да оно и так можно рассудить, со стороны-то все легко да просто. А ведь мне это ему сказать надо. И тоже, как тебе, в глаза смотреть и за Доньку и за Захара...

Лидия только горестно кивала головой, соглашаясь.

Так они, две немолодые женщины, встревоженно судили да рядили — как же произойдет у каждой из них встреча со Степаном Тихомиловым. Годы у них разные, Лидия на пятнадцать лет была старше, но по внешнему виду они казались одногодками — обе седоватые, с густыми морщинами вокруг усталых глаз, разве вот только плечи у Кати были попрямее да грудь помоложе, покрепче. Так они, каждая по-своему, этой встречи страшились, а произошла она неожиданно, а главное — была для каждой не столь мучительна, может, потому, что обе были чуть пьяненькие по случаю возвращения Мишухи.

Продолжение следует.

ВРАЖДА

Анатолий ИВАНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

* * *

О предстоящем приезде своего брата, о котором тот написал еще в январе, Катя как-то и забыла, объявление в Романовке Степана Тихомилова напрочь выбило это из головы, весь день девятого марта так кругом и прошел. Петрован до вечера ковырялся в своей кузне, Катя, как ушла от нее Лидия, опять бесцельно ходила по комнатам, все у нее из рук валилось, кое-как приготовила мужу и детям ужин.

Ужинали молча, дети тоже сидели за столом притихшие, даже трехлетний Данилка не хныкал, будто понимал, что матери с отцом сейчас не до него.

Когда Катя убирала со стола, а Петрован молча курил на своем обычном месте у порога, она проговорила:

— Ты-то, Петрован, не майся, я же сказала тебе.

— Да я не об себе маюсь. Тебе как вот все объяснить ему будет?

— Марунька ему все обрисовала. Она прибегала утром... Он что, на деревне не объявлялся?

— Не показывался. Марунька запершись с ним сидит. Бабенки злословят.

— Дуры если, так пущай.

Десятого марта Петрован пошел на работу поздно, солнце уже высоко играло над холмами. Минуты через две-три, как он вышел, послышался на улице какой-то шум и говор, Катя глянула в окно, увидела бегущую по направлению к ее дому Василиху. Еще увидела из окна, как из двух или трех домов выскочили раздетые, в одних кофточках бабенки и стали удивленно глядеть туда же, куда бежала Василиха. А тут и в сенях послышался топот множества ног, рванулась дверь в кухню, из сеней ввалился Петрован, обрадованно прокричал:

— Катя! Катерина! Да ты погляди, погляди... Вот!

Он, полуобернувшись, обеими руками показал на распахнутую дверь. Через порог переступил, нагнув голову, широкоплечий парень с большим, сверкающим металлическими уголками чемоданом. Войдя, он поставил чемодан на пол, разогнулся. По одежде он походил на какого-то высокого начальника — на нем было новое драповое пальто с серым каракулевым воротником, из такого же меха шапка, белые дорогие бурки, шея замотана шерстяным, тонкой выделки шарфом. Большими смеющимися глазами, в которых стояли слезы, он несколько мгновений глядел на Катю, затем потянул руку к шапке, сдернул ее. И прежде чем она сообразила, что это ведь Мишуха, родимый брат ее, он с возгласом «Катя!» шагнул к ней, схватил за плечи, прижал к себе и затем, скользя руками по ее телу, опал перед ней на колени.

В кухне у дверей уже толпились с полдюжины баб, кто-то из них догадался и подставил пошатнувшейся Кате табуретку, она опустилась на нее, принялась мять у себя на коленях голову брата и, обливая ее теплыми слезами, все повторяла одно и то же: «Мишенька! Мишенька! Мишенька...» А Михаил ничего больше не говорил, только вздрагивала под новым драповым пальто его широкая спина. Бабенки глядели на эту спину и всхлипывали, а в кухню вваливались все новые и новые люди. Когда она была забита до отказа, Катя будто опомнилась, поднялась с табурета и подняла Михаила.

— Да что же это мы все плачем-то? Теперь радоваться надо. Бабы, помогите ж мне... на стол чего приготовить. Печь вот заново затоплять надо...

И она припала головой к груди брата.

— Какая счас тебе печь? — закричала Василиха. — Мы сами всего нанесем. Ну-к, бабы, давайте по домам да тащите у кого чего... Да не сразу, а через часок-другой. Пусть Катерина-то с братом повстречаются да наговорятся. Давайте, давайте...

И она принялась выталкивать всех в сенцы.

* * *

Теперь Степан Тихомилов начисто вылетел у Кати из головы, она глядела и не могла наглядеться на брата. Тот, изменившийся до неузнаваемости, превратившийся даже не в парня, а в крепкого, заматеревшего мужика, был все еще немного чужим и незнакомым, хотя она по каждому его жесту, по голосу, по его спокойным и рассудительным словам узнавала прежнего Мишуху.

Когда все из кухни вывалились, остались там они втроем — она, Михаил, да Петрован, Катя беспокойно и растерянно подумала: а как вот теперь он с Петрованом сойдется? Обо всем, конечно, Катя Михаилу писала в письмах, и он одобрял ее замужество, да ведь письма одно, а как теперь на деле-то получится, как примет его Михаил, все-таки Петрован-то инвалид. А Михаил будто мысли ее прочитал. Еще и не вышли все из кухни, он подошел к Макееву, первым обнял его со словами:

— Спасибо тебе, дядя Петрован, мое большущее... что в самый тяжкий час ты Катю под крыло взял... человека в ней увидел.

Беспокоилась Катя, как Михаил и Фроську примет, наполовину пилюгинскую. Пока колготились на кухне люди, дети молчком сидели в своей комнате, и Катя краем уха слышала, как старшая ее дочь присмиряла там младших. Но и тут все вышло лучше некуда. Обернувшись от расчувствовавшегося Петрована, Михаил спросил:

— Это, слышу, Фрося там, что ли, младших-то наставляет?

— Да кто же еще, — кивнула Катя.

— Ну-к, покажите мне сперва мою старшую племянницу.

Катя вывела Фросю со словами:

— Вот, Фросенька... Это твой родной дядя. Ну, что ты, глупенькая?

Девочка, все-таки растерянная, молчала.

— Ну, здравствуй, Фрося. Вон ты какая уж большая да красивая. Сколько ж тебе годков-то?

— Восьмой. В школу нынче пойду, — ответила она.

— Восьмой-ой! Помощница матери с отцом выросла.

— Да уж и не знаем, как бы мы без нее, — сказал Петрован.

— Ну, а коль такая послушница да помощница — глянь-ка, чего я тебе привез.

Михаил, щелкнув замками, открыл чемодан, плотно набитый всякой всячиной, вынул шелковое цветастое платье, косынку, блестящие ботиночки и яркую коробку шоколадных конфет.

— Вот, гостинец тебе. На-ко, Фросенька.

Девочка взглянула на отца, который гремел у печки заслонкой, потом на мать.

— Возьми, доченька.

Только после этого она взяла подарки, прижав их к себе, побежала из кухни в комнату. На пороге обернулась с лучистой улыбкой:

— Спасибо...

— Ну, теперь других давайте моих племянников.

Михаил щедро одарил всех — Марийке с Данилом привез ворох всякой одежды и игрушек, Кате подал невиданной красоты шаль с кистями, а Петровану плотного синего бостона костюм.

— Миша, Миша... — только и выговорила Катя сквозь наворачивающиеся слезы, жалобно и беспомощно. — Да ты чего же... Зачем столько... Это какие деньги надо!

— Я ж там работал, Катя, а не баклуши бил. Тюрьма-то — она только для преступников. А вот тебе мой самый главный подарок.

И он протянул ей небольшую синюю коробочку.

Катя понимала, что там какая-то драгоценность, невольно ступила назад.

— От ты, как Фрося будто. Так то ребенок. Держи.

Катя подрагивающими пальцами раскрыла коробочку и осела на стул: на бархате лежали большие, крученого золота серьги с искрящимися камнями.

— Это ж... они ж... алмазные! — выдохнула она с неподдельным испугом.

— Да сказали в магазине, что будто бриллиантовые,— улыбнулся Михаил.

— Да у меня ж... и дырок в ушах нету.

— Теперь проколоть придется.

Оставив коробку с украшениями на столе, Катя поднялась и, как пьяная, опять упала на плечи брата, глухо зарыдала, затряслась. Михаил, как недавно сама Катя, широкой и сильной ладонью мял ее волосы и говорил:

— Все беды наши, Кать, кончились. Кончились! Теперь жить будем.

* * *

...Через час в дом к Макеевым набился чуть не весь колхоз. Петрован только лишь растопил печь, но приготовить они с Катей ничего не успели, да в этом не было и надобности, люди натащили всего сами — и солений, и жарений, и спиртного, Михаила встречали так, будто он и не из заключения вовсе пришел, а взял да объявился тут знаменитой знаменитостью. И Катя и Петрован от такой человеческой щедрости поначалу были ошеломлены и растеряны, ведь как ни крути, срок отбывал он все-таки за убийство человека, только сам Михаил все принимал как должное, и он же сказал сестре:

— Они ж не за меня, Катя, а за тебя радуются.

— Ох, не знаю, Миша, я, ничего-то я не понимаю! — воскликнула она.— Все, все на свете почему-то переворачивается.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—46.

— А все, кроме человеческого понятия.

Это сказала Лидия Пилюгина. Михаил обернулся к ней и подтвердил:

— Правильно.

Лидия Пилюгина пришла к Макеевым в гости первой, она понимала, что ей надо было прийти вперед других, принесла бутылку водки, кусок розового сала и миску красных соленых помидоров, сказала:

— Вот, Михаил... Примешь ли? — И тут же, глядя ему прямо в глаза, поставила условие: — Только чтоб от всего сердца. Да об Артемии... обо всем прежнем нам с тобой никогда не говорить.

Михаил какое-то время помедлил. Лидия добавила:

— Мы вон с Катериной давно порешили — не было ничего промеж нас с нею прежнего, да и все.

— Приму, тетка Лида,— сказал Михаил, не отворачивая глаз.

— Тогда, Катерина, подай-ка нам стаканчики...

Эта выпитая Михаилом стопка была едва ли не последней, чокался он потом со всеми, чуть пригубливал и говорил:

— Спасибо большое за привет... За Катю вам всем спасибо.

— Да что говорить-то! — воскликнула на это Легостаиха.— Это бабам надо Катерине в ноги кланяться. На каждую у ней души да тепла в такое лихое время хватило. А тебя с возвращением. Если честно сказать, а боле ничего и не говорить, так жалели и ждали мы тебя, Михаил.

И Легостаиха, сильно сдавшая и постаревшая за последние годы, выпила целую рюмку.

Раздвижной стол, поставленный в горнице, всех не вмещал, часть людей толпилась вокруг него, стояла у стен, а в кухню входили все новые гости. Катя и Петрован метались к каждому, подносили питье и угощение, и каждый говорил им:

— С праздником вас! С возвращением Михаила! С радостью большой!

А откуда Михаил возвратился и по какой причине столько лет отсутствовал — об этом никто ни одним неловким словом даже и не обмолвился.

Наконец Петрован усадил жену за стол рядом с Михаилом. «Ладно, ладно, с остальными, да кто еще подойдет, я сам покручусь, а ты пристала, попразднуй-ка с братом!» — сказал он ей. Пьяный веселый говор поднимался все выше и выше, послышались уже и песни было, и вдруг все смолкло, сперва на кухне, а потом в комнате: через порог шагнул Степан Тихомилов.

Катя невольно поднялась, а Михаил, державший на коленях трехлетнего Данилку, лишь передал его сидящей рядом с ним Лидии — та с готовностью протянула к ребенку руки — да изумленно поглядел на сестру.

— Мишенька... Я не успела тебе сказать...— промолвила она.

В дверях комнаты застыл Петрован, а за ним стояла, разматывая платок, Мария.

— Что ж... здравствуйте,— в полной тишине хмуро произнес Степан.

— Ты ж, Катя, писала... что похоронная...— проговорил Михаил, ничего не понимая.

— Он вчера... ой, позавчера еще приехал.

— Да как же?! Откуда?

— А с того света,— оглядывая горницу, усмехнулся Степан. Он был сейчас чисто выбрит, в свежей рубашке, в поношенном, но хорошо отглаженном пиджаке.

— Был на том, теперь на этом. Ну-к, пусти меня, Петрован,— энергично проговорила из кухни Мария и, войдя в комнату, распорядилась: — Принимай, Катерина, гостя. И всем нечего воздух ртом ловить. Вопросы да расспросы потом, а счас гулять надо. Ну, здравствуй, Михаил Данилыч. Меня-то помнишь ты, тетку Маруньку?

— Да помню.

— А ты — экий парнина вымахал! Это ж сколько тебе годков теперь?

— Двадцать два вроде.

— Вроде Володи, а зовут Михаил. Ну-к, где наши места, потеснитесь. Садись, садись, Степан, нечего хмуры-то разводить, вот сюда, меж Михаилом да Лидией садись.

Вывалив целый ворох слов, Мария будто заткнула ими ту дыру, откуда пролилась тишина, снова закачался, возникая, говорок.

Михаил налил Степану, втиснутому Марией меж ним и Лидией, водки, сказал:

— И вправду, будет время теперь все друг о дружке расспросить. С возвращением тебя, дядя Степан.

— Что ж, и тебя...

— Лидия, там вон холодца положь, помидорчиков...— протянула Катя чистую тарелку Пилюгиной. Та, придерживая одной рукой ребенка, другой ловко наложила закусок, поставила перед Степаном.

— Вот я застольное слово скажу,— подняла граненый стакан Мария.— Жизнь, вон она, как кипяток, кого не обжигает! Да только от брызгов этих кто свалится, тот и сварится...

— Это она про меня...— усмехнулся Степан.

— И про тебя покуда! — воскликнула Мария.— Я с тебя вчерась весь день да седни все утро вареные-то лохмотья скоблила.

— До живого-то мяса добралась? — спросил кто-то со смешком.

— Доберуся! — пообещала Мария.— Так я чего говорю? Хотя вы, понятно, и пили за них, да еще разок за Катерину и Михаила, которые вот все же нашли в себе силы и в кипяток с головой не свалились.

— Так, Маруня! Вы ведь и поддерживали. И ты вот тоже сколько меня...— подала голос Катя.

— А как же без того? — согласилась Марунька.— Мы ж люди, а не звери какие, что поедом едят друг дружку. Ну, давайте.

И она лихо опрокинула стакан.

Выпил и Степан, а закусывать из тарелки, куда наложила закусок. Лидия, не стал, даже чуть отодвинул ее, ковырнул вилкой в чашке с капустой.

Лицо Лидии, загоревшееся при появлении Степана, теперь вовсе потемнело, она наклонилась к Данилке, подрагивающей рукой стала оправлять его рубашонку, хотя она была в порядке.

Все это — и поведение Степана и состояние Лидии — не укрылось от Михаила. Он в отодвинутую Тихомиловым тарелку положил ложку капусты и поставил ее снова перед Степаном. Тот медленно повернул тяжелую голову, глубоко ввалившимися глазами поглядел на Михаила.

— Ты в колонии, должно быть, в передовых ходил?

Михаил усмехнулся.

— Да как тебе сказать, Степан Кузьмич... Амнистии мне никакой не вышло. А в общем-то был там не на последнем счету.

На Степана с Михаилом никто теперь, кроме, может быть, Кати да Петрована, особого и внимания не обращал, снова плавал в горнице беспорядочный галдеж, становясь все гуще. А потом опять резко пошел на убыль. И по мере того, как хмельной шум оседал, все отчетливее слышался в кухне, приближаясь, деревянный стук костыля.

Сгорбленная Федотья с седыми сосульками выпавших из-под платка волос обозначилась в пустом проеме дверей уже в полной тишине. Она перешагнула через невысокий порожек, оперлась по обыкновению на костыль обеими руками, некоторое время оглядывала людей, часто и бессильно дышала. Неживые ее глаза, затянутые мокрой пленкой, ничего не выражали — ни злости, ни презрения. Даже по Михаилу и Степану она скользнула взглядом пустым и мертвым, будто и не узнала ни того, ни другого.

Глаза ее ожили, вспыхнуло в мокрой их глубине холодное и неукротимое бешенство, когда она увидела, что Лидия держит на руках сына Кати Макеевой. Старуха перестала даже дышать, будто дряблое ее горло сдавило невидимой петлей. Она вскинула свой костыль, указывая на Лидию, прокричала:

— Дьяволи-ица!

И, качнувшись, опустила костыль, опять повисла на нем.

Катя резко поднялась, и старуха, где только и силы у нее нашлись, еще резче повернулась к ней, опять вскинула свой костыль.

— С-сатана!

И опять со стуком опустила палку.

— Уходи-ка ты от нас, Федотья,— проговорила было Катя, но старуха в третий раз подняла свой костыль.

— Вот, вот...— Старуха указала костылем в сторону Михаила и Степана.— Бесы пришли! А сатана давно тут живет! — Пилюгина снова ткнула костылем воздух по направлению к Кате.— Чертенят наплодила!

Так и не опуская костыля, прочертив им в воздухе, уставила его на Лидию и теперь уже не захрипела, а, расходуя последнюю ярость, выплескивая ее до дна, завизжала:

— А тебя, дьяволицу, в кумовнихи позвали! В кумовнихи... А ты и рада, проклятущая...

Прокричав это, старуха пошатнулась. И упала бы, наверное, и никто, пожалуй, не поддержал бы ее, да стрелой влетела Софья, молодая, проворная, красивая, в белом кашемировом платке с красными цветками, один конец которого был обвязан вокруг шеи, а другой лежал на спине.

— Бабушка, бабушка! Кто же тебе велел сюда? Пойдем-ка домой. Пойдем...

Она подхватила старуху, повернула ее к выходу.

Федотья, израсходовавшая все силы, не сопротивлялась, покорно повернулась горбатой спиной к людям. Софья, поддерживая ее за руку, повела.

За порогом уже она обернулась, блеснула в улыбке своими большими, грустными и будто виноватыми глазами.

— С приездом, Михаил, тебя...

И они со старухой скрылись.

Михаил сидел, ошеломленный. Да и остальные не сразу пришли в себя. Софья ворвалась, как молния, осветила горницу ярким светом и исчезла, оставив людей будто опять в каком-то полумраке.

— Да что ж вы, гости дорогие...— опомнился раньше всех Петрован.— Давайте-ка, и я скажу... Катерина, ну-к разлей людям от нашей радости.

Все зашевелились, задвигались, возвращаясь к прежнему состоянию, а Михаил все смотрел в распахнутый проем дверей, в котором никого теперь не было.

— Да это... кто такая была? — спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь.

— Сонька это, дочка моя,— ответила ему Лидия.

* * *

На другое же утро после своего возвращения Михаил встал до солнца, не дожидаясь завтрака, обошел всю деревню, поднялся до кладбища, постоял возле него, поскольку к могилам пройти было невозможно, они были завалены глухими еще метровыми снегами, а возвращаясь, увидел бегущую на работу Софью Пилюгину, повернул, не раздумывая, за ней.

— Ой! — воскликнула она, когда Михаил вошел, нагнувшись в дверях, в бревенчатый телятник. В руках у нее было по ведру, она, растерянная, так и застыла с ними посреди небольшого помещения с печкой и крохотным окном, румянец на белых щеках, натертый утренним морозцем, стал разливаться по всему лицу.— Чего тебе?

— Поздороваться зашел,— улыбнулся Михаил.— Или нельзя?

— Да можно... что ж.

— Тогда и доброе утро, Соня.

— Ага,— кивнула она, все более смущаясь.— Доброе... А я вот на ферму за обратом. Телят своих поить.

— Давай, я помогу тебе принести.

И он хотел было взять у нее ведра.

— Еще чего...— Она поставила на скамейку, приткнутую к стене, оба ведра, отвернулась и стала глядеть в оконце.

Так они постояли некоторое время — Софья у окошка, а Михаил у дверей. Он глядел на нее, она чувствовала это, лицо и шея ее полыхали.

— Вон ты какая выросла,— промолвил потом он.

— Какая еще?

— А красивая...

Слово это будто ударило ее больно, она повернулась, хлестанула его жгучими глазами, торопливо схватила ведра и шагнула к двери.

Она шагнула, а он не двинулся с места.

— Чего ты? Вон люди-то...— кивнула она за окно.— Пусти давай.

— А ты боишься, что ли, людей?

— Ничего я не боюсь! Уходи ты...

— Ухожу. А вечером я опять приду сюда.

И он шагнул за порог.

Когда Михаил не спеша спускался по протоптанной в снегу узкой тропке к деревенской улице, Софья молча смотрела вслед ему сквозь оконное стекло. Огромные глаза ее, растерянные, напуганные, поблескивали влагой.

А Михаил домой не пошел, свернул к дому Марии. У крыльца он обколотил свои бурки, хотя снегу на них почти и не было, решительно толкнул дверь.

Степан хмуро сидел за столом и будто нехотя пил чай, сама Мария с черными полукружьями внизу глаз, но аккуратно прибранная, в тугом ситцевом платье, в чистом льняном фартуке, тонкая и стройная, как девчонка, сажала в печь деревянной лопатой калачи. Увидев входящего Михаила, она проворно разогнулась, кинула невольный взгляд на кровать, будто опасаясь, тщательно ли она застелена, смахнула с розовых, нагретых печным жаром щек капельки пота.

— Милости просим, милости просим... Раздевайся. Завтракал, нет? Давай-ка вот...

— Здравствуйте. А что ж, давай, теть Маруся, чайку покрепче.

На приветствие Степан не ответил, но Михаил на это будто и внимания не обратил, разделся и сел к столу.

— По деревне прошелся... На телятник завернул. Пилюгина-то Сонька какая девка выросла! Это ж сколько ей, а?

— Семнадцать уж вроде,— сказала Мария.— Невеста.

— Да это я и сам сообразил. Только что-то она мне другой показалась, чем вчера. Напуганная какая-то.

— А это, понимай, Федотья всю ночь ее тобой стращала,— усмехнулась Мария.

— А-а,— нахмурился Михаил, но тут же и улыбнулся.— А я к тебе, дядя Степан, поговорить. Вчера-то не до того было.

— Скорый ты, гляжу, на все,— сухо промолвил Тихомилов.

— Так сколько мы с тобой, дядя Степан, время-то потеряли.

— О чем же ты говорить со мной намерился?

— Да вообще. Об жизни.

— А поговори, Михаил, поговори,— вмешалась Мария.— А то он уходить с Романовки намылился.

— Вон как! А куда?

— Белый свет большой,— тем же холодным голосом сказал Тихомилов.

— Свет-то он большой, да везде дорожки круты.

— Да ты, гляжу, воспитывать меня явился! — И Степан звякнул чашкой, резко отодвинув ее от себя.

На целую вечность, кажется, установилась в небольшой избе тишина, неловкая, гнетущая всех троих. Степан сидел, сгорбившись еще более, Мария застыла у печи с заслонкой в руках, Михаил смотрел в чашку с чаем. Потом поднял голову, с головы до ног оглядел зачем-то не ко времени аккуратно приодевшуюся Марию, проговорил:

— Ты б, теть Маруся, оставила нас одних маленько...

— И правда, торчу тут дурой! — встрепенулась она, глянула в окошко.— Вон уж Катерина в контору пошла. И мне ж надо...

Она закрыла печь заслонкой, сдернула фартук, метнулась к вешалке.

— Поговорите. А я потом прибегу калачи вынуть...

И стукнула дверью.

Убегая, Мария на ходу все же поправила на кровати краешек одеяла, хотя в этом не было никакой надобности. Михаил сделал вид, что не заметил ее торопливого движения, а Тихомилов понял это, чуть скривил уголки губ.

— Не воспитывать, дядя Степан, я пришел тебя,— помолчав, сказал Михаил.— Ты вдвое старше меня... С Катей я сегодня чуть не до света вот проговорил. Легко, думаешь, ей?

Степан Тихомилов шевельнулся. Но сказать ничего не сказал.

— Вот то-то и оно, дядя Степан. Я мальцом был, а помню, как она тебя ждала... Как всякое твое письмо с фронта при себе носила, теплом своим нагревала. А тут посыпалось на нее, как свинцовые каменья с неба.

Степан теперь легонько и осторожно вздохнул, будто остерегаясь чего-то, и опять промолчал.

— Речушка вон наша Романовка маленькая, овечка перебредет. А сколь в ней воды утекло. Иную прошлую горсть воды и вернуть бы, да как? Далеко она, неизвестно и где.

— Умом-то я все это понимаю, Михаил,— хрипловато выдавил наконец из себя Тихомилов.

— А уезжать тебе отсюда, дядя Степан, все ж таки не надо. Ну, куда от родных-то этих холмов да степей? Мне вот они, так во сне снились все.

Степан Тихомилов, исхудавший и усталый, поднялся, прошелся по комнате, остановился и стал глядеть на Михаила. Глядел долго, будто не узнавая, а сказал так:

— На отца своего ты сильно чем-то похож.

Снова сел и пододвинул к себе чашку с чаем, долго позвякивал в ней ложечкой.

— Тяжко мне тут будет. Да и Кате с Петрованом... сам говоришь...

— Это первое время. А там все обкатается... Да и коли хочешь, так Катя-то с мужем сами и просили меня: пусть, мол, остается тут Степан, в колхозе своем...

— Сами?! Просили? — не поверил Тихомилов.

— Вру я, что ли?

На стенке тикали часы-ходики, звук маятника громко раскатывался по комнате, причиняя, кажется, нестершимую боль Тихомилову.

— Пока обкатается-то, сколько живого мяса сотрется,— сказал он.

— Не без этого, конечно,— согласился Михаил.— Только и о том подумай, дядя Степан, есть у тебя и сын. Да и сам-то еще молодой. Чего тебе, всего-то и сорок.

— Ну, это уж тебе жениться...

— Да как знать — кто наперед.— И Михаил поглядел не на кровать, а в сторону печки, где недавно стояла Мария.— Снега вон еще холодные счас, а как зажурчат...

Тихомилов бросил взгляд туда же, и они, кажется, без слов поняли друг друга.

— Веселый ты человек, Михаил,— покачал головой Тихомилов, и впервые его губы тронула неясная и невеселая улыбка.

— Потому что горя натерпелся, дядя Степан. А похлебаешь его, так и узнаешь, как жить-то надо. Ну, давай, что ли, чай допьем...

...Где-то через час Михаил зашел в колхозную контору. В председательском кабинете толклись несколько женщин и Василий Васильевич Васильев, о чем-то спорили с Катей. При появлении Михаила все враз умолкли и гурьбой пошли к дверям.

— А калачи-то твои, теть Марунь,— сказал Михаил.

— Ой! — воскликнула счетоводиха и, оставив на столе свои бумаги, тоже выскочила.

— Ну что ж, Катя... Пожалуй что, я и готов под твое начало встать.

— Миша! Да отдохни недельку-другую!

— Не усталый я, Кать.

— Надо ж хоть подумать, к какому делу тебя.

— Да к любому. И столярничать и плотничать я там научился. И кирпичные дома могу класть, штукатурить, малярничать. Автомобильную премудрость всякую освоил, шофером работал полтора года...

В окна лилось утреннее мартовское солнце, по-зимнему еще жидковатое, но по-весеннему щедрое и веселое. Катя, ничего не говоря, долго смотрела на брата, в ее ясных, немного запавших от двух бессонных ночей глазах стояла усталая грусть.

— Со Степаном-то говорил?

— Ага, заходил к нему.— Михаил взял стул, поставил к окну, присел и, повернув голову к окну, некоторое время глядел на искрящиеся под утренним солнцем снега. Потом проговорил: — Сойдется он, я думаю, с теть Маруней-то.

— Миша?!—невольно воскликнула Катя.

— А что? — оторвался от окна Михаил.— По-моему, Кать, они этой ночью... и ночевали под одним одеялом.

Внешне на эти слова Катя никак не отреагировала. Может быть, лишь грусть в ее глазах стала чуть погуще, но она, опустив ресницы, прикрыла ими глаза.

Михаил снова глядел на белые искристые снега за окном, слушал, как орут под карнизом юркие воробьи в предчувствии семейных своих забот.

— А что ж, Михаил... Бабенка она славная,— сказала Катя.

— А я с весны прямо дом себе буду ставить. Деньжонки у меня найдутся. А как поставлю — сразу и женюсь.

— Ох! Да ведь, Миша... еще и невесту надо высмотреть.

— Ну, это мы постараемся,— улыбнулся Михаил.

Окончание следует.

Анатолий ИВАНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ВРАЖДА

* * *

Как и предсказывал Михаил — будто в воду тогда он глянул,— Степан Тихомилов женился раньше Михаила.

Недели через две после своего возвращения, немножко привыкнув к новому своему положению и чуть оттаяв душой, он, дождавшись однажды, пока Петрован перестал стучать в кузнице, вышел ему навстречу.

— В гости хочу к тебе, Петрован, напроситься.

— Да мы с Катей завсегда рады, Степан Кузьмич. И Михаил, однако, дома уж.

До этого Степан по-прежнему почти не показывался на улице, жил у Марии. И та бегала по Романовке лишь на работу да с работы, и то озираясь по сторонам, будто несла каждый раз краденое. В разговоры ни с кем не вступала, в конторе сидела, уткнув лицо в бумаги. В конце концов Катя ей и сказала:

— Раньше ты мне сказала, а теперь вот я тебе... Что ты, Маруня, как маленькая?

И тут сорокалетняя, почти с самого начала войны овдовевшая женщина, и в самом деле как девчушка горько всхлипнула, шатнулась к Кате, спрятала у нее на груди лицо.

— Катенька! Я будто донага раздетая по деревне хожу... Разве ж не слышу, что бабы судачат? Да и понимаю — грех-то какой делаю! А как прикатит ночь — не могу, все забываю на свете — и себя и тебя...

— Да какой грех? И я-то при чем?

— Да как же...

— Ну, а по-серьезному-то он что собирается?

— То-то и оно... не знаю. Ничего не говорит. Да и что... коль я сама к нему лезу.

— А он скажет, Маруня. Ей-богу, скажет.

— Правда?! Правда? — с надеждой и недоверием прокричала Мария.

— Конечно. А то и сама заведи речь.

— Ой, не посмею! Что же ты, скажет, дура, десяток дней поиграласъ да уж и всего хочешь. Пусть он сам... коли захочет. А нет — так и на том ему вдовье спасибо великое...

И вот Степан пришел с каким-то важным разговором к Кате с Петрованом, это чувствовалось по тому, как он, несмело улыбнувшись, поздоровался, как неловко раздевался, забыв про торчавшую во внутреннем кармане бутылку, как приглаживал потом волосы ладонями, хотя из нагрудного кармана пиджака торчала расческа.

— Проходи, проходи же, Степан,— пригласила Катя.— Сейчас ужинать будем.

— Спасибо. Да я вот... — вспомнил он про бутылку, вытащил ее и поставил на стол.— С разговором.

— Успеем и с разговорами,— Катя уже засуетилась у печки. — Миша, доставай огурчиков. Петрован, сала принеси, Фрося, ну-ка хлеба нарежь...

Когда выпили по рюмке, которая чуть сняла все-таки возникшую с появлением Степана неловкость, он проговорил:

— У Михаила вон слово с делом не расходится. Сколько, говорит, мы время потеряли, надо сразу и за дела, и тут же запрягся в колхозные работы. А я вот покуда...

— И ему я говорила и тебе, Степан, скажу... Куда же они уйдут от вас, колхозные дела?

— Да нет, Катерина Даниловна, неловко уже.

Это «Катерина Даниловна» опять стало возвращать растаявшую было неловкость, и Михаил, тотчас разлив по рюмкам, сказал:

— Правильно, дядя Степан, что пришел. Капель звонит, колхозника на работу гонит.

— Так что я готов, Катерина. Это первое. А второе... — Степан взял налитую ему рюмку, приподнял ее, будто собирался посмотреть на свет. Рюмка подрагивала в его руке, и он поставил ее обратно на стол.— Хотя об этом, дурак я такой, надо было не во-вторых, а во-первых сказать... Низко я кланяюсь тебе, Катя, за те муки, что с детьми моими ты перенесла.

— Ну что ты, что ты... Степан! — Катя отвернула повлажневшие глаза.

— Да уж порассказала мне Мария. А я еще за судьбу свою обижен был.

— Выпьем, что ли, давайте,— проговорил Михаил.— За то выпьем, чтобы тяжкое твое, Кать, прошлое, да и наше со Степаном, проваливалось все глубже, как камень в воду, и не всплывало, как тот же камень, никогда.

Когда выпили и по второй, Степан некоторое время помедлил, ковыряя в тарелке. Потом отложил вилку, поднял тяжелую голову, спокойно проговорил:

— Так что жизнь надо сначала начинать. Потому решили мы с Марией, как снег сойдет, новый дом ставить.

Он говорил это, глядя прямо Кате в глаза, и она не отвернула своих, выдержала, лишь зрачки ее чуть качнулись.

— Что ж я тебе скажу, Степан...— ответила она, потому что его взгляд требовал ответа.— Хочешь, нет ли — а сначала надо. И ты все правильно... правильно.

— Да мы, Степан, по весне тебе и этот освободим, свою развалюху починять счас начну вот. Чего ж тебе строиться? — сказал Петрован.— А коли хочешь, так деньгами...

— Умный ты, Петрован, а тут... — Тихомилов дернул щекой. — Это мне с Катей да с тобой за всю жизнь не расплатиться.

— Так ведь...

— А хочешь, чтоб навек не рассорился я с тобой, так больше чтоб не слыхал...

— Тогда прости... Я ж от чистого сердца.

— И я от чистого... Значит, одобряете? — спросил Тихомилов сразу у всех.

— Да как же за такое человеческое дело не одобрить? От души радоваться будем.

— Тогда я и пойду, доложу ей. А то она, как узнала, что я к вам, в рев ударилась...

Накинув шерстяную шаль, Катя вышла в сенцы проводить Степана. Там, в холодных потьмах, он обернулся к ней, она положила руки ему на грудь, на секунду припала к нему головой и тут же отдернула ее, прошептала:

— Вот жизнь...

Он взял ее горячие, подрагивающие ладони, сжал их.

— Да уж конечно... Твой Петрован все говорит — поворо-от!

Она отняла свои руки, сказала:

— А Марунька — баба добрая. Она всю себя отдаст тебе.

— Да я это понял. За две недели понял вот. И решил я, чего тянуть неприкаянность-то свою.

— С богом тебе, Степан...

В сельсовет Тихомилов с Марией съездили по державшейся еще санной дороге. Потом всей деревней гуляли до утра в старенькой Марунькиной избе.

Свадьба была как свадьба, по-деревенскому шумная и пьяная, с песнями и плясками. И все-таки было в ней что-то горьковато-тяжкое. На три четверти Романовка состояла из вдов, и то одна, то другая бабенка, попев и поплясав, кидалась в рев. Мария вылетала из-за стола отпаивать плачущих водой, бабы в ответ говорили ей, кто жалуясь, а кто откровенно завидуя, примерно одно и то же: счастливая, мол, одной из всех нас тебе и привалило...

— Да разве ж я повинная в том, бабоньки... Нежданно-негаданно выпало... Как ливень с ясного неба пролился,— оправдывалась Мария и беспомощно обращалась за поддержкой к Кате: — Да скажи ты им, Катерина! Скажи...

А под конец и сама Мария тяжело разрыдалась, упала вниз лицом на кровать, а Катя и все бабы принялись ее наперебой утешать.

Степан Тихомилов на этой своей свадьбе был молчалив и спокоен, песен и слез он будто и не слышал, лишь когда Мария зарыдала, он поднялся со своего места, раздвинул толпившихся у кровати женщин, сильными руками поднял жену, принес и посадил ее за стол.

— Вот... вот...— как в подтверждение своей невиновности пробормотала Мария, обтирая ладонями мокрые и счастливые глаза.

* * *

А через год с небольшим, в мае пятьдесят третьего, как только отсеялись, сыграли свою свадьбу и Михаил Афанасьев с Софьей Пилюгиной.

Более четырехсот раз за это время вставало над небольшой Романовкой древнее и вечно молодое солнце, щедро освещало холмы и пашни, сенокосы и пастбища, обновляющуюся потихоньку деревню — Степан Тихомилов с Марией да Михаил Афанасьев поставили к зиме пятьдесят третьего новые дома. И сама земля пять раз обновлялась за это время — весной, летом, осенью, зимой и снова весной.

Обновлялась земля, разносил ветер над

Окончание. См. «Огонек» №№ 37—47.

нею знакомые и привычные людям, но все-таки каждый раз по-новому волнующие их запахи: летом — разомлевших под солнцем трав, осенью — усталых полей и поспевших хлебов, зимой — чистого и холодного снега, а весной — молодого и свежего неба, в теплую глубину которого возвращались птицы, извечные его жители...

...Обойдя на другое утро после своего возвращения деревню, завернув вслед за Софьей в телятник, Михаил пообещал вечером прийти снова — и сделал это. Когда он, улыбающийся и веселый, вошел в помещение, девушка готовила пойло для телят. Увидев его, она быстро разогнулась, отступила к окошку, будто намереваясь выскочить через него, брови ее, черные и длинные, как птичьи крылья, зашевелились, туго распрявились.

Потом между ними произошел такой разговор.

— Ну и... что? — спросила она.

— Ничего. Утром я же обещал прийти к тебе, вот и пришел.

— Как пришел, так и уйдешь. Ну, поворачивайся!

Он, ростом чуть не под потолок, стоял и улыбался.

— Ну, уходи давай.

— А я вот вижу, Сонь, ты ждала — приду счас иль нет.

— Скажи-те! — вспыхнула она неподдельным гневом. — Так вот и глядела в окошко весь день: не идет ли, мол, светик-то ясный?

— Ты, что ж, всегда такая злая?

— Всегда, — бросила она резко.

Тогда он снял шапку и присел на скамейку.

— Значит, я буду тебя перевоспитывать.

Брови ее опять шевельнулись, но теперь не расправились в тугие стрелы, а, наоборот, обмякли как-то обессиленно.

— Слушай, ты в своем уме-то? Вся деревня уж знает, что утром был ты тут. А ты снова...

— Да мне-то что за дело!

— Вам, мужикам, все просто. А нам...

— Так я ж на тебе жениться хочу, Соня.

— Ох ты! — Будто задохнувшись, она крутнула головой вправо, влево — то ли чтоб поймать глоток воздуха где-то, то ли чтоб убедиться — нет ли посторонних-то здесь? И раскинув, как прежде, во весь лоб брови, насмешливо произнесла: — Слепой в баню торопится, а баня еще и не топится.

И тут выдержки у нее не хватило, она сорвала со стены коромысло и, не опасаясь уже, что ее голос может быть кем-то снаружи услышан, закричала:

— Уходи отсюда! Сейчас же... Жених нашелся!

Она подбежала к двери, ударом плеча распахнула ее.

— Ну!

Красивое лицо ее теперь ходило неприятными пятнами. Михаил понял, что слова его о женитьбе были глупыми, они оскорбили ее до самой глубины.

— Прости меня, Соня... — Он поднялся и, не надевая шапки, пошел к дверям. А там опять мягко улыбнулся ей. — Только я упрямый. И на что решился — уж своего добьюсь.

— Да хоть лоб в крошки расшиби! Ты что ж, забыл, что меж нами стоит?! — прокричала она, сжигая его огромными глазами, в которых полыхала в ту минуту неукротимая ненависть. — За что ты... за что ты отца...

Он, уронив шапку, схватил Софью за плечи, сильно, не жалея, встряхнул дважды, не давая ей договорить. А затем выдохнул ей в лицо, тоже яростно и гневно:

— Ничего меж нами не стоит! Это все ты с чьих слов? Не твои это слова.

— Мои! — вскричала Софья, выдернулась из его рук.

— Нет, не твои,— глухо бросил Михаил, поднял шапку, отряхнул. — Меж нашими отцами, а тем больше дедами, хоть мы их с тобой и в глаза-то не видели, лютая вражда стояла. А меж нами с тобой откуда ей взяться?

— Оттуда же! — упрямо сказала Софья.

— Ну, тогда и дура, — безжалостно бросил Михаил, шагнул за порог, с грохотом швырнул за собою двери.

Он угадал, не своими словами говорила с ним Софья, дочь Артемия Пилюгина. Когда она вчерашним днем утащила от Макеевых и повела домой согнутую в крючок бабку Федотью, та, чтоб не ковырнуться головой в землю, со злостью тыкала впереди себя костылем и до самого порога бормотала проклятья всему афанасьевскому роду. А в избе, еще не раздевшись, захрипела:

— А ты, чтоб тебе печенку вывернуло, с проздравлением к нему... убивецу. У-ух! — и замахнулась костылем.

— Да будет тебе, бабушка, — попросила Софья, взяла у нее костыль, поставила в угол, начала раздевать.

— Ты гляди у меня! И матка твоя безмозглая... Ну, да Лидка сызмальства дура. Пашенька-то придет — он вас наизнанку вывернет. Чтоб за версту мне обегала род их весь проклятущий, а Мишку-убивца — за четыре.

— Бабушка! Ведь к богу тебе скоро, а ты...

— У-у, греховодница! Ждете не дождетесь, знаю...

* * *

За версту, а тем более за четыре Софья никого не обегала, но сходились они с Михаилом, не в пример Степану Тихомилову с Марией, долго и трудно.

Всю весну пятьдесят второго они почти не виделись, так, здоровались только. И то вначале Софья на его приветствия не отвечала, скорее пробегала мимо, потом начала кивать и только под конец мая впервые откликнулась голосом: «Здравствуй», — наклонила низко голову и торопливо скрылась.

А издряхлевшая вконец Федотья, неделями сидевшая обычно без движения на печи, как старая, умирающая сова в темном дупле, чутко сторожила поведение внучки и безошибочно уловила в тот день новое ее состояние. И когда вечером Софья явилась прибраться да сварить чего-нибудь для Федотьи, та завозилась, словно заскрипела высохшими костями на печи, злобно простонала:

— Помоги слезти-то, язви тебя!

— Что это ты сердитая? — спросила Софья, помогая ей спускаться с печи.

— А то... Чую, кровь в тебе гнилая запенилась. Остудися, Сонька!

— Да о чем ты говоришь-то?

— О чем, о чем... Гляди у меня!

Как сошел снег и началась посевная страда, Михаил стал работать на пахоте прицепщиком, а вскоре колхоз получил еще один грузовик, и он сел за руль.

По окончании полевых работ он и Степан Тихомилов купили в районе по полсотни бревен, кирпичей на фундамент, тесу, плах, шиферу, принялись все это перевозить в Романовку.

Однажды ранним июньским вечером, закончив разгрузку купленных там же готовых дверных блоков, оконных рам, Тихомилов и Михаил сидели, покуривая, на бревнах, прикидывали, кому с какого боку удобнее пристроить веранды. Мимо с термосом в руке проходила Софья.

— Сонь! — сорвался с места Михаил, подскочил к ней. — Здравствуй.

— Строители... Здравствуйте, — холодновато проговорила она, собираясь идти дальше.

— Да погоди ты хоть маленько.

— Да зачем мне... — Она все же остановилась, только бросила невольно взгляд в сторону Федотьиного дома. — Мне бабушку надо чаем на ночь...

— Подождет чуток. С голоду не помрет.

Он взял ее за руку у локтя и потянул к кучам стройматериалов. Она, хоть и сопротивляясь, пошла.

— Ты вроде не одобряешь нас с Михаилом? — спросил Тихомилов, когда они подошли.

— Да мне-то что? Стройтесь на здоровье.

— Как это так — что?! — воскликнул Михаил. — Нам же с тобой в новом доме жить.

Он все еще держал ее за руку, при этих словах она будто вспомнила об этом, резко освободилась. Но с места не тронулась, лишь едко проговорила:

— Ага... Только вот сватам бы родиться да в бороды обрядиться.

— Это что-то уж долго ждать, — улыбнулся Тихомилов и поднялся: — Ладно, Михаил, до завтра...

Он ушел, а Михаил и Софья стояли молча, будто не зная, как продолжать разговор.

— Сонь...

И в это время с крылечка Федотьиного дома хрипло донеслось:

— Со-офья! Паскудница-а!

Старуха стояла там в черном проеме дверей, одной рукой держалась за косяк, а другой трясла костылем.

— Оставь ты меня в покое! — измученно простонала девушка в лицо Михаилу, повернулась и пошла. Отойдя на несколько шагов, обернулась, прокричала, задыхаясь: — Никогда не будет, никогда, ничего этого!

И теперь уж не пошла, а побежала к старухе.

А в доме Софья остервенело накинулась на Федотью:

— Чего орешь? Позоришь на всю деревню... Твое-то какое тут дело?!

— Как эт... как эт?! — едва проглотнула спершуюся в горле ярость старуха. — А кто эт... с ружья-то батьку твово? Забыла?!

— Не забыла! — прокричала Софья. — А за что? Ну, скажи! Я ведь не маленькая, все знаю. Что же это за человек такой был? То и горе мое, что отец... Да какой он отец?!

— Чирей те в глотку... В глотку чтоб! — завизжала Федотья, как облитая кипятком. — Пашенька вот придет...

— Да провались ты со своим Пашенькой! — совсем вышла из себя Софья. — Что ты пугаешь им... этим... Как его и назвать-то только?! Похуже всякого палача он! Детишек малых спалил, не пожалел! А чем они виноватые были? Он, Михаил-то, правильно — деды да отцы враждовали пущай, а мы при чем?

— Ополоумела! Умом сошла... — простонала старуха.— Ты рассуди-ка!

— А тем более — дети неразумные те?! Ну, ответь мне, скажи! — наступала на нее Софья.

— Озверела, озверела...

— Мало тюрьмы-то твоему Пашеньке. Его тоже бы из ружья...

— Рехнулась, ты-ы! Уймися, замол...

— Не замолчу! Мишка этот и не нужен мне... может. А не замолчу!

Израсходовав все силы, старуха, припав на костыль, стояла средь комнаты, беззвучно уже открывала и закрывала беззубый рот, дышала часто и сипло, будто выталкивала воздух сквозь прохудившуюся грудь.

— И не лезь мне больше в душу со своими... Чего хочу, то и буду я делать, — сказала Софья, повернулась к висевшему на стене шкафчику, достала оттуда чашку с блюдцем, хлеб, масло, варенье. — Садись ужинать.

Однако старуха двинулась не к столу, а к печке. Она вскарабкалась на нее с трудом, но помощи у внучки, как бывало всегда, не попросила, села там спиной в угол и оттуда, из полутьмы, поглаживая прыгнувшую ей на колени кошку, стала глядеть куда-то в пустоту, мимо Софьи, будто ее и в доме не было.

* * *

До самой своей кончины большую часть времени она теперь так вот, сидя в углу на печи, и проводила. На коленях у нее постоянно лежала кошка, от ласки и тепла сонно мурлыкала, поблескивая из полутьмы зелеными огоньками. Иногда глаза и самой старухи вспыхивали странным желтоватым светом, и Софья часто не могла различить, кто это смотрит на нее сверху из тьмы — кошка или бабка Федотья.

Поняла ли старуха, что власть ее над внучкой кончилась, или иссякли ее питавшиеся ненавистью к людям последние силы, но за Софьей она больше не следила, в ее отношения с миром не вмешивалась. Она с внучкой теперь и не разговаривала почти, поест безразлично, что та приготовит, молча даст себя обиходить, сводить в баню, которую Софья топила для нее по субботам,— и опять на печь, опять сидит там безмолвно, лишь иногда вздохнет, забормочет что-то.

Сквозь эти вздохи и бормотанье у нее явственно кое-когда вдруг прорывалось:

— Пашенька, сердечный... Не дождуся родимого, некому и глаза мои будет закрыть.

— Меня-то уж и за человека ты не считаешь, что ли? — сказала ей на это однажды Софья.

— А ты что? А ты кто? — ответила ей Федотья, проявив вдруг и прежнюю ясность ума и прежний характер. — Кто прост — у того сто ангелов в душе. Смирная на тебе одежа, да нет на тебя надежи. У-у, лукавая, знаю! А кто лукавит, того черт мохнатой-то лапой и придавит. Мишка-то Афанасьев.

— Постыдилась бы ты, бабушка! Что ты все мне Мишкой...

— Знаю ужо. По глазам твоим бесстыжим все вижу.

— Да что ты в них видеть можешь?! — вскипела Софья. — Ничего в них нет! Нет!

Это Софья так думала, что ничего нет в ее глазах. Михаила она, после тогдашнего, в июне еще, разговора избегала, как прежде, а коль где сталкивались, сердито расправляла длинные свои брови: не вздумай, мол, снова разговоры зачинать.

А мать вот однажды спросила у нее осторожно:

— Долго так мучиться-то будешь? И Михаила мучить.

— Кто? О чем ты? — сразу почужевшая, Софья отступила на шаг.

— О чем... Гусиха вон сунет голову под крыло, да и думает, что ее не видно.

— Мама! — вскричала Софья, упала ей на плечо. — Мама... Бьюся я, как рыбина на берегу. До воды не добраться, а тут дышать нечем.

— Да что ж не добраться-то? — негромко спросила мать.

— А то и не добраться... Как подумаешь, да вспомнишь все — отец, пожар... А бабушка Федотья все бубнит, бубнит.

Разговор случился этот поздним вечером, Лидия отошла от дочери, стала разбирать свою кровать. Она сняла только одеяло, повернулась, села на кровать, одеяло положила себе на колени и долго глядела куда-то в сторону. Наконец, вздохнув, негромко проговорила:

— Федотья... Не знаю, как и сказать-то тебе, доченька. Иголка вот служит, пока ушко не сломалось, а человек-то жив, пока душа в нем не погибла. А у Федотьи души человечьей никогда и не было. И сыну... отцу твоему она сердце дала, будто шерстью обросшее. И скажу я тебе, доченька... На чужой-то слух это будет грех да кощунство великое, а ты пойми — тем выстрелом Мишка Афанасьев божий свет мне открыл.

Софья слушала эти неторопливые слова притихшая, будто испуганная, в больших глазах ее было мучительное раздумье.

— А раз мне, так и, наверное, тебе, — еще тише произнесла Лидия, по-прежнему не глядя на дочь.

В измученных глазах Софьи что-то дрогнуло, зашевелилась, заплескалась в них тоскливая, невыносимая боль.

— Ну, а сестра его, Катерина-то Даниловна, как ко мне, если...

Больше слов у Софьи не хватило.

Да что ж Катерина... Она еще и меня утешает: погоди, мол, Лидия, как солнышко теплом нагреет, так все и поспеет.

— Неужто так она? Согласится?! — недоверчиво воскликнула девушка.

— Глупая... — вздохнула Лидия. — Ну как есть ты несмышленая еще. Катерина столько всего нахлебалась, что лучше нас с тобой понимает что почем.

Но и после этого разговора Софья не могла переломить себя, и в ее отношениях с Михаилом было все по-прежнему. Завидя его где-нибудь, она тут же меняла путь, уходила не оборачиваясь. А он никаких попыток догнать ее или остановить не предпринимал.

* * *

Скоро горит огонь, да быстро течет вода, а время для Софьи тянулось теперь медленно-медленно. Как и раньше, она обмывала да обстирывала свою бабку, частенько оставалась у нее ночевать.

— Давай-ка лучше уж я буду теперь ходить за Федотьей-то, — сказала где-то под осень Лидия. — Сожму уж свое сердце. А то она тебя, как Пашку, совсем в узел завяжет.

— Да ладно тебе! — раздраженно воскликнула Софья. Потом добавила поспокойнее: — Не завяжет. А тебя она может и поленом ударить. Или кипятком плеснуть.

— Да она уж может, — усмехнулась Лидия. — О чем хоть вы говорите-то там?

Теперь усмехнулась Софья.

— Сказать, так не поверишь. Ни о чем мы не говорим.

— Как так?

— Да так. Она молчит, и я довольна.

Действительно, они почти ни о чем не говорили, даже на приветствия каждый день появлявшейся Софьи старуха отвечала нехотя и не каждый раз.

Из дома Федотья еще иногда выползала, если были теплые дни, садилась где-нибудь на припеке, вдыхала жадно свежий воздух, равнодушно оглядывала видимый ей кусок деревни и останавливала тусклый взгляд на поблескивающей под солнцем щебенистой дороге, спускающейся с холмов, точно ждала, не идет ли, не спускается ли по ней внук ее Пашенька.

Осень и всю зиму опять сидела на печи, опять вздыхала да бормотала, высохшими руками гладила свою кошку, на приветствия она теперь и вовсе перестала отвечать. Софья к этому привыкла, принимала уже как должное, лишь однажды где-то под весну спросила:

— Что это ты, бабушка, никогда не поздоровеешься даже?

— А чего там в колхозишке-то? — вместо ответа спросила вдруг Федотья.

— Живем, что же... К Березовскому колхозу нас хотят вот присоединить. Не колхоз теперь у нас будет, а бригада. А то маломощные вы, говорят, трудно вам.

— Вон чего... Бригада, пожить бы, да не надо. Степка-то, каторжник, грю, Тихомилов-то, чего?

— Что это он каторжник? Хороший он дядька, работает...

— От, непонятливая... Да я спрашиваю, с пузом нет Марунька-то счетоводиха?

— А-а... Ждут ребенка.

— Ага, — качнула головой старуха. — А тебе-то когда Мишка приладит?

— Чего? — и не поняла сперва Софья, но тут же, прямо в следующее мгновение, вся полыхнула гневом, выпрямилась и, тугая как стрела, шагнула к старухе: — Ну вот что! Захочу, так и приладит! Тебя-то уже не спрошусь.

И с плачем выскочила прочь.

Через минуту буквально она, расстегнутая, в опавшем на плечи полушалке, ворвалась в новый дом Михаила, куда он вселился еще по осени, со стоном упала в его сильные руки, забилась:

— Не могу больше терпеть от нее! И мучиться не могу больше... Сил нету, Миша, Миша!

— Да что случилось, Сонь?! — воскликнул он тревожно. — Соня, Соня?

— А назло ей... пришла! — в беспамятстве прокричала она. — Назло! И не уйду больше отсюда.

Михаил все понял, прижал девушку к себе и, вдыхая запах ее волос, проговорил печально:

— Я знал, что ты придешь. Только... Нало-то если, так я не хочу, Соня. Не хочу я так.

Потом он осторожно стал отстранять ее от себя.

— Ты успокойся. Успокоиться тебе, Соня, надо. Ну, ступай домой и успокойся...

— Ага, надо, Миша, — кивнула девушка согласно и обессиленно, не глядя на него. Затем подняла огромные, заполненные слезами глаза, в них зажегся какой-то упрямый и жгучий свет, и она произнесла примерно те же самые слова, которые год назад сказал ей Михаил:

— Пойду... Только завтра вечером я опять приду к тебе. Нам обо всем, обо всем поговорить надо. Ты будешь ждать?

— Да как же не буду! Как же не буду! — воскликнул он дважды.

Она улыбнулась лучистыми глазами и вышла.

* * *

Замужество Софьи бабка Федотья еще перенесла, только свалилась намертво в своей пустой избе. На печку она взобраться не могла, всю ночь лежала с открытыми глазами на кровати, слушала доносящиеся из дома Михаила Афанасьева песни, глядела в темноту, по издрябшим щекам ее скатывались горькие редкие капли.

На другой день Софья прибежала к ней, как обычно, в урочное время, только была она от счастья бледная, измученная.

— Анафема... Проклинаю! — дернулась старуха на постели, схватила стоящий у кровати костыль, прижавшись спиной к стене, выставила его в сторону Софьи, как пику. — Не подходи-и... Пар у тебя ядовитый из рота пыхает.

— Да пойми ты, бабушка...

— Руки у тебя поганые... Не прикасайся ими ни к чему!

— Тогда как же теперь... Кто ухаживать за тобой будет? — растерянно спросила Софья.

— А так помру, без уходу вашего. Сгинь, чтоб духу твоего... Дышать мне при тебе тяжко.

— Ну вот что! — решительно вдруг сказала Софья, шагнула к ней, отняла костыль. — Помрешь, так и землю освободишь. А покуда живая, так мучиться с тобой придется. Вставай, я вон еды тебе принесла. Умывайся иди, а я постель приберу.

Софья давно приметила, что резкие слова и решительные действия как-то утихомиривали упрямую старуху, сразу обессиливали, отнимали у Федотьи даже речь, заставляли повиноваться. Лишь ввалившиеся глаза ее при этом все продолжали гореть прежней неукротимой ненавистью.

Вот и теперь, царапая Софью колючими зрачками, она сползла с ее помощью с кровати, побрела к стоявшему в углу умывальнику.

В термосе Софья принесла горячий чай, налила ей, нарезала хлеба, поставила сахарницу, масло.

— Пей давай.

Федотья пошвыркала из чашки, отодвинула ее и стала уныло глядеть куда-то в угол. Потом неожиданно заплакала, взвыла, как побитый щенок, сквозь слезы выдавила:

— Пашеньку не дождуся вот, того только и жалко мне. Ну, да, может, господь пособит, недолго уж осталося...

— Ой, да письмо же от него тебе, бабушка, пришло! — воскликнула Софья.

— Где? — тотчас вскинула старуха иссохшую голову.

— На той неделе мне в конторе еще его, чтоб тебе передала. А я с суматохой этой... А сегодня вспомнила. — И Софья вынула из-под лифчика конверт.

— Давай сюда! Давай сюда, — торопливо поднялась старуха.

Павел Пилюгин из мест осуждения писал редко, и только Федотье, последнее письмо было года два назад. И вот теперь пришел от него следующий конверт, старуха мяла

его кривыми пальцами, переворачивала, даже понюхала несколько раз.

— От Пашеньки... внучоночка моего. Господи, очки-то где, Сонька? Очки-то! Али сама мне прочитай.

Она протянула ей конверт. Софья вскрыла его, вынула листок из ученической тетради, исписанный крупно фиолетовыми чернилами.

— «Здравствуй, бабушка...» — начала Софья.

— Ну, ну! — нетерпеливо воскликнула старуха.

— «Решил вот написать тебе еще одно письмо, последнее теперь, чтоб высказать все. А там, собравшись с духом, буду писать матери, прощенья у нее за все просить. Недавно только в разум-то я, дубина стоеросовая, вошел, да и понял, что ты ведь это мне, парнишке несмышленому, всю жизнь поломала...»

— Что? Чего-чего?! — качнулась Федотья и, чтобы не упасть, схватилась за край стола.

— Поломала — тут написано, — проговорила Софья, сама растерянная и удивленная, и тут же стала читать дальше: — «Ты, бабушка Федотья, злобой своей невинных детей погубить меня подбила, волком средь людей сделала...»

— Врешь... врешь, ты-ы! — захрипела Федотья.— Очки, грю, дай мне. Очки!

Софья торопливо открыла шкафчик, нашарила очки, протянула Федотье. Трясущимися руками она надела их, вырвала у Софьи листок.

С минуту она примерно глядела в него, читала что-то, медленно шевеля сухими, в крупных морщинах, как в глубоких трещинах, губами. Руки ее все тряслись, лицо ее все больше и больше серело, будто на виду покрывалось земляной пылью.

— Господи, да неужели очнулся Пашка?! — проговорила Софья, до которой, может быть, только сейчас и начал доходить смысл прочитанных ею слов. — Мама ведь заново возродится!

А Федотья, выронив письмо, подняла трясущиеся руки, зажала ладонями уши — в них колотился, видно, больной, разбивающий голову звон. Потом опала, рухнула на стул и со стула повалилась на пол.

— Бабушка! — Софья подхватила старуху, кое-как подтащила к кровати. — Бабушка, сейчас я тебе попить чего-нибудь... Капель сердечных...

Через неделю, так больше не сойдя с этой кровати и ни одного слова больше не промолвив, Федотья Пилюгина померла...

* * *

...Каждый день вставало над землей солнце, поднималось в бескрайнее небо, щедро освещало и крохотные деревеньки и огромные каменные города. Освещало оно и печальные погосты вокруг бесчисленных селений, где люди находили свой последний и вечный приют, где навсегда утихомиривались человеческие страсти.

Всю жизнь Пилюгины враждовали с людьми, не останавливаясь ни перед огнем, ни перед кровью, а теперь, накрытые двухметровым слоем холодной земли, лежали неподалеку от тех, кого люто и смертельно ненавидели. Могилы Сасония и сына его Артемия давно сровнялись с землей, заросли едкой полынью, со времени смерти Федотьи никто их не приводил в порядок. Потихоньку проваливался холмик и над самой Федотьей. Поначалу Софья, сердобольная душа, тайком вырывала над местом ее захоронения сорную траву, подравнивала могилу, а потом она тоже стала приходить в запустение, исчезать.

Романовское кладбище было когда-то голым и оттого еще более печальным. Но Кузьма Тихомилов, отец Степана, велел перед своей смертью обсадить его тополями. Сейчас деревья были большими, в их ветвях каждую весну гнездились птицы, выводили многочисленное и громкоголосое потомство. А когда умолкали птичьи голоса, деревья все равно шумели своей листвой о вечной и нескончаемой под щедрым солнцем жизни.

ДАЮ УРОКИ

Лазарь КАРЕЛИН

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

Не верилось, что все, что происходит, происходит с ним. Человек, не обученный падать, падает всегда неловко, что-то там непременно ушибая в себе. Обученный падать падает легко и просто. И глядеть, легко, как он шариком катится. Упал, вскочил — и все дела. Но сколько нужно науки, чтобы суметь стать шариком, чтобы, падая, суметь покатиться. Он не прошел этой науки. Его тренировали, чтобы крепко стоял на ногах, а никак не падал. Его тренировали, натаскивали на успех, а не на неудачу, ведь падение — неудача. Ошибка: надо тренировать на неудачу. На боль. На отчаяние. На утрату. Нет, на утраты. Господи, как умен этот затасканный призыв: хочешь мира, готовься к войне! Хочешь счастья, не беги от горя. Да таких быстроногих бегунов и нету, которые могли бы убежать от горя. Оно каждому дано. Когда-никогда нагрянет. И тогда...

И все же не верилось, что все, что происходит, это с ним происходит.

ТУ-154, вполне солидный самолет, летающий за границу, могущий потягаться и со всякими там «Боингами»,— он знал людей, европейцев, «штатников», которые предпочитали ИЛ-62 и этот вот ТУ американскому «Боингу», заносчивость которого их раздражала. Он и сам не любил заносчивых самолетов, отлетав на разных и порядочно много, поняв, что перед богом в небе глупо нос задирать. Так вот, этот самый ТУ-154, славный и плавный, принес его и высадил на эту самую землю и лишь только высадил, как выяснилось, что тут пекло, просто пекло, что тут нечем дышать. Жить тут? Да тут дышать нечем! Дышать!

Между тем аэродромный автобус, сразу же заполнившийся потными телами, покатил к недалекому зданию аэропорта, на флагштоке которого безжизненно повис аэрофлотский вымпел, выцветший от яростного солнца, исхлестанный, как боевое знамя, налетающим из близкой пустыни жестоким песком. Да, да, совсем рядом была пустыня. Не шуточная, Каракумы, а это в переводе означает Черные пески. Вот он куда попал! К черным пескам прикатил. Точнее сказать, докатился до оных. Но был ведь и у Сахары. Был и в знойном Египте. Изнывал от жары в Кувейте. То все иное, тогда было все иным. Настолько иным, что боль терзала мозг, когда позволял себе вспомнить что-либо из недавних тех дней. Из недавних! Боль взорвалась в нем. Он запретил себе вспоминать. Чуть только начинал, как боль, просто боль, будто кто ударил по вискам, по глазам, обрушивалась на него, как обрушивается на свою жертву переступивший черту каратист. Как отбиться, укрыться, отгородиться от этих жестоких, коварных, внезапных ударов? Он научился вроде бы. Научился ввергать себя в безмыслие. Вот так вот, движется, что-то делает, а мыслей нет. О чем-то даже думает, а о чем — не понять. Нет мыслей. Сжался, отбился. И сейчас, в автобусе, притиснутый какой-то потной, рыхлотелой женщиной к стенке, он сжался, отбился, запамятовал. Боль отвалила. Взмок весь. Он сказал женщине, примерив к губам самую свою расчудесную улыбку — а он был мастером улыбаться, обучен был и природой наделен,— он сказал ей, выползая из отчаяния к озорству, что ли:

— Будто полюбили друг друга...

— Что?— Она не поняла его. Из-под губы с усиками мелькнули траченые золотые коронки. Но тотчас и поняла, и рассердилась:— Зачем сам прижимаешься?!

Они попытались разъединиться. Где там! Автобус утрясал их на бетонных швах, зной изнурял миг за мигом все больше.

— У вас тут всегда так?— спросил он, стараясь удержать на губах улыбку, но, наверное, жалкой она была, вымученной.

— Случается и пожарче.— Бывалой она была, эта толстая женщина, сверкнули чертенята в ее глазах, в черноту ли, в сизину, еще молодых.— В командировку к нам?

— Насовсем.

Сказал и обмер: а ведь это так, он насовсем сюда. Насовсем!

— Не горюй! У нас тут хорошо.

— Я уже понял.

— Ничего ты не понял. Зачем так улыбаешься, будто плакать собрался? Женат? Если нет, повезло тебе. У нас тут невесты замечательные. Женись на армянке, советую. Нет лучше жены, чем армянка. Еще живут устои. Между прочим, я сама армянка.

— А я думал, туркменка.

— Думал! Смотри, все туркменки пешком идут от самолета. Их мужья и братья им головы оторвут, если увидят в такой тесноте с незнакомыми мужчинами.

— Еще живут устои? Кстати, и в Кувейте тоже. Там и лица у женщин закрыты.

— Было и у нас. На базаре и сейчас можно встретить.

Автобус остановился, двери расползлись. В зное этом, оказывается, жил все же свежий ветерок, и он сейчас пробежал по взмокшим лицам.

А тут было все как у людей. Вполне внушительное здание аэропорта открылось глазам. Стекло, стекло — и здесь стекло, хотя здесь бы, чтобы хоть как-то укрыться от солнца, каирские, кувейтские, алжирские нужны были бы стены, эти стены-ниши, средневековый ужим окон, когда кажется, что здание прищурилось на солнце, рукой-козырьком прикрыв лицо. Нет, тут было стекло, стекло, будто поплавившееся, в ажурных разводах. Немудрено, и поплавишься. Оказывается, и еще может быть жарче, обманул ветерок. Но в жаре этой, в зное, в пекле жил какой-то особенный воздух. Вокруг на клумбах много было усыхающих роз — нет, не от них, не розовой квелой сладостью он был пропитан. Асфальт истаивал — от него этот дух? Нет, воздух пах не асфальтом. Догадался: воздух пах пустыней. Горьковатый, строгий, завлекающий дух пустыни, тех самых Черных песков, витал тут. Серьезное местечко, когда так пахнет воздух. Посреди океана, в Атлантике, где громадный пароход кажется шелушинкой, когда выйдешь на палубу, на нос корабля, когда ветер несильный, вдруг услышишь ты, учуешь этот запах громадного тела, этот звериный запах океана — тоже строгий, даже грозный и тоже завлекающий. Что человек? Песчинка, затерявшаяся в океане или вот на самом краю великой пустыни. Зачем, человек, тебя все носит и носит, вот сюда занесло — в эти нешуточные места? А потому и занесло, что ты песчинка.

За загородкой, в толпе встречающих, он сразу углядел своего институтского дружка, самого у них на курсе добрейшего из добрых, которому все всегда поверяли свои беды, к которому и сейчас обратился, ища помощи. И тот помог. Нашел тут работу, да, тут, на краю пустыни, в этом зное, а все же работу, вызвал телеграммой, в которой было столько слов, что показалось, есть в нем нужда, и вот встречает, не одну, а обе руки воздев к небу. Друг единственный, как оказалось. Все прочие — где они? Боль, опять нагрянула боль пострашнее этого пекла. Сжался, кинулся навстречу другу. И тот уже бежал к нему. Обнялись.

— Ростик, ты?! Едва узнал! Идет в толпе молодой Джеймс Бонд! Словом, элита!

— Я, я это, Захар. Спасибо, что встретил.

— Да ты что?!

— Спасибо, спасибо.

— Да ты что?! Я просто весь пою от счастья. Ростик Знаменский прибыл в наши палестины! Сам Ростислав Юрьевич Знаменский! Краса и гордость... Эталон обаяния...

— Все в прошлом, как ты знаешь.

— А вот и нет! Турнули? Кабы не был виноват, тогда бы действительно было обидно. А ведь виноват?

— Виноват.

— Ну, а тогда действуй по законам цирка.

— Как это?

— А как канатоходец. Сорвался, повис — лезь опять. Номер надо повторить, арену нельзя покидать неудачником.

— Эх ты, цирковых дел мастер! Милый ты

человек, Захар, легко с тобой. Но чего это ты тройку натянул? Ведь испечешься. Ради меня?

— Ради протокола. Забыл, что я дипломат? Учти, по сути, в ранге заместителя министра иностранных дел республики.

— И такая персона меня встречает! Меня, человека, по сути, в ранге нуля.

— В ранге друга, сэр.

Они встретились в толпе, но теперь толпа сместилась к круглому навесу, куда должны были привезти чемоданы, их еще долго надо будет дожидаться, томясь в этой жаре, но эта жара и потом никуда не денется, она будет и в машине, она будет и в гостинице, она не уйдет и вечером, не исчезнет и ночью. Не повернуть ли назад? Как это его угораздило согласиться на работу в таком пекле? Выбора не было, дружок, выбора не было. Теперь часто ты будешь принимать решения не потому, что так вот решил, а потому, что выбора у тебя иного нет, иного нет выбора. Но здесь Захар. Друг, славный малый. Он и позвал, договорился с кем надо, организовал вызов. А выбора не было, выбора не было.

— Пошли к машине,— сказал Захар.— Водителю отдадим твою бирку, и он вмиг притащит чемоданы, вон их уже везут. Давай бирку. О, ты не знаешь еще, что у меня за водитель! Джигит! Озорник! Кудесник по части что достать!

— Туркмен?

— Почему? Алексей. Русский паренек. Ярославский, кажется. Здесь у нас кого только нет, всех городов и весей посланцы. От своего зачина так складывался город. Российские, закавказские, заднепровские, уральские невезуны сбегались. Армяне сюда бежали через Каспий от резни, и тогда же, при царизме, сюда, между прочим, ссылали проштрафившихся армейских офицеров. Пестрое сообщество. Но знаешь, когда ударило горько знаменитое землетрясение сорок восьмого года, убившее половину населения и все тут дома и домишки, а знаешь, ведь не дрогнули здешние жители, не побежали, подняли свой город. И не только туркмены, которым земля эта — родина, но все, все невезуны, бегуны, перекати-поле. Все! Я уважаю, знаешь ли, местное население. Особый характер у народа. Как-никак, а землица-то под ногами что ни год в дрожь кидается. Ну, пока невелика эта дрожь. Пока. А вдруг да и лихорадка начнется, очередной припадок? Уважаю я здешний народ. Смелые люди!

— С неба огонь, земля сотрясается — славное местечко.

— Но зато смелые люди.

— Да, вот и я сюда прибежал.

— Не о тебе речь. Я и не подумал. Ты из другого теста.— Засуетился Захар, длинный, нескладный, в нарядней шей, иностранного происхождения светлой тройке. Но как ни наряжайся, а крестьянская родовая широкая кость из любого кроя себя покажет. Он был русоволос, добродушен, простецкий совсем парень, хоть и в ранге чуть ли не заместителя министра иностранных дел. И только глаза, небольшие, тоже крестьянские — из глубины синева,— только глаза у него светили каким-то таким сильным светом, когда и ум в человеке угадываешь, и надежность угадываешь, а надежность в человеке всего дороже.

Алексей, бойкий, веселый, усмешливый, в черноту загоревший, с глазками в таком прищуре, что не углядеть было, что там в них, вмиг добыл чемоданы Знаменского, притащил, явно гордясь, что они такие заграничные, такие кругосветные.

— А чемоданчики-то, Захар Васильевич! А! Не верил вам, когда рассказывали, а теперь поверил. Знавали небось и «мерседесы», и «шевроле» с «люкс-фордами» в придачу. Заметили, никаких наклеек? Нынче не носят. Кофр по коже, по шрамам на ней свой ранг показывает. И еще вот замки с цифровыми комбинациями. Дипломатические кофры!

Тараторя, укладывая чемоданы в багажник старенькой «Волги», Алексей зорко поглядывал из своих прищуров на Знаменского, устанавливая для себя и его собственный ранг. Ну, чемоданы что надо, а сам каков? А сам этот приезжий товарищ тоже был что надо. Тянул! И дело не в том, что одет во все заграничное. Нынче это не диво. В субботу на толкучке за час, если, конечно, повезет, можно раздобыть и эти штанята фирменные, и эту гонконговскую рубаху с погонами, которые, отстег-

ни их, могут рукава держать. Удобная штука. Материальчик такой, что потей под ним сколько угодно, а пот не проступит. Ветерок чуть дунул, а тебе прохлада. Нет, этот тянул сам по себе, хотя и одежда тоже роль играла. Алексей сказал:

— Рубашечка у вас, ну, прямо для наших мест! В Гонконге брали?

— Какая осведомленность.— Знаменский улыбнулся широко, приязненно, выложился для этого малого, еще не зная, как всякий приезжий, кому как себя подавать, и уже не умея — в растерянности жил — оценивать человека с первого взгляда, даже полувзгляда, а умелость эта, наука эта им вроде бы была освоена, и давно. Все разлеталось, потери ощущались по всем линиям, он растерялся перед жизнью и знал, что растерялся. Стал путаться: не то говорить, не так себя вести.

— Ты куда смотришь?— спросил Захар. Они уже ехали по шоссе от аэропорта в город по изнемогшей от жары асфальтовой полосе, пролегшей извивами между домами-новостройками, в которых слепили, будто плавились, стекла.— Не смотри пока, вот въедем в город, на проспект Свободы, там тебе понравится.

— Не буду смотреть,— сказал Знаменский и поглядел на эти дома-коробки, на землю вокруг, такую же древнюю, как ту, еще стоявшую в глазах.

— Не смотри, не смотри, сейчас грянет город.

— Уже успел влюбиться в свой Ашхабад?

— Знаешь, а в нем что-то есть. Привораживает. Многие так считают. Но, конечно, тебе, понаглядевшемуся...

— Мы товарищу покажем такие уголки,— оглянулся Алексей,— что... А как вы насчет дам?

— Алексей!— строго одернул его Захар Васильевич, не шутя рассердившись.— Ну бабник, спасения нет!

— Это точно, разные мы,— сказал Алексей — А в общем-то все мы бабники. Только один маскируется, а другой — душа нараспашку.

— Ты на что намекаешь, это кто же тихарит?— Захар Васильевич даже покраснел от негодования.

— Не о вас речь, Захар Васильевич, начальство вне подозрений. Да вам, дипломатам, и нельзя.

— Что нельзя?— спросил Знаменский.

— Все нельзя. Закованный народ. А чуть что, на коллегию.

— Это так,— и усмехнулся, и погрустнел опять Знаменский.— Это уж точно.

— Дамы, дамы, погубят они нас,— сказал Алексей, старательно крутя баранку, обходил как раз пылящий и зловонный самосвал.

— Это уж точно!— повеселел Знаменский. Нравился ему этот парень.— Но, Алексей, об этом догадались еще задолго до вас.

— А мне какая разница, что кто-то догадался, главное, что я сам догадался. Но поздно. И наука не впрок. Третий раз развожусь.

— Вот такой он у нас,— сказал Захар Васильевич.— Ох, Алексей, займусь я тобой!

— А нас учи не учи, а мы такие, какие есть. Характер — штука железная. Верно говорю, Ростислав Юрьевич?

— Железо гнется, утверждают.

— Не знаю. Я бы рад согнуться, а смотрю, и опять занесло. Куда, кричу, куда ты меня, подлюга, тащишь?!— это я характеру своему, а он знай себе тащит.

— И затаскивает в очередной шалман,— сказал Захар Васильевич.— Погибнет, честное слово. Спасибо хоть пьет только по выходным.

— А в другие дни водителю нельзя,— сказал Алексей.

— А как же характер?— спросил Знаменский.

— Так я же не пьяница, у меня в другом вопросе катастрофа.

— Ну, понял, ясно. Каждому свое.

— Именно!

— А вот теперь смотри! Город!— торжественно провозгласил Захар.— Приехали!— И помолился: — Аллах, пусть будет счастлив сей путник в твоих земных чертогах!

Знаменский глянул. Прямая, широкая улица открылась глазам. Дома за разросшимися кронами карагачей были едва различимы, даль над асфальтом плыла в знойном мареве. Люди, их было мало в этот дневной час, шли по улице, держась поближе к стенам, выискивая тень погуще. Что за люди? Что за стенами этих домов? Он столько видел таких улиц, в стольких успел побывать городах, что улицы и улочки давно слились для него в одну сплошную улицу, а города, большие, маленькие, громадные,— в один сплошной город. Но здесь, среди этих стен и людей, ему предстояло жить, сюда его выбросило на берег.

— Да, приехали,— сказал Знаменский.

И верно, приехали. Машина подкатила к бетонному, в нишах и окнах зданию, почти такому же, как там, и там, и там — по всему миру,— на фронтоне которого значилось: «Отель «Ашхабад». И рядышком, чтобы и иностранец все понял: «Hotel».

Машина остановилась, и Алексей королевским жестом повел рукой:

— Прошу, джентльмены!

2

Номерок был маленький, как келья в крепости, не повернуться. Да еще эти хвастливые чемоданы,— сразу их бахвальство тут увиделось, в скудном убранстве кельи. Да еще духота такая, что просто впихивать себя пришлось в эти недра, хотя на подоконнике красовался громоздкий ящик кондиционера, который, ясное дело, не работал. И запахи, запахи, весь букет от недалекой ресторанной кухни, от журчащего всеми кранами туалета и душа, набухшая от сырости дверь в который плотно не притворялась. Когда-то все тут работало, не протекало, затворялось, но пик славы отеля прошел, как и у человека минует молодая пора, и пришла старость, обветшалость. Жить тут? Вот на этой, тронул рукой, продавленной и скрипучей койке ночь провести? Мысль эта удручила.

А Захар за спиной, явно гордясь, что раздобыл другу номер в лучшей гостинице города, радужные уже строил планы:

— С месячишко тут поживешь, а потом раздобудем тебе в каком-нибудь тихом частном домике комнату с окнами в сад.

— И чтобы хозяйка кофе умела варить!— подхватил Алексей, утонувший в продавленном креслице.— Лет сорока, не больше!

— Кофе лет сорока?— подхватил игру Захар Васильевич, надеясь хоть как-то развеселить удрученного этим задохшимся номером друга.

— На первое время!— понял свою задачу Алексей.— А потом, при такой-то внешности, товарищ сам найдет себе кофеварку. Но, Захар Васильевич, если по совести, в сорок лет женщина, именно в сорок, ну, плюс-минус три годика,— она особенно хороша.

— Это почему же?— морщась, досадуя, что втягивается в подобный разговор, но уж больно убитый вид был у друга, спросил Захар Васильевич.

— Неужто не ясно? Последний вальс, так сказать.

— И практик, и, гляжу, теоретик. Ростик, да не дергай ты этот шнур. Сгорел кондиционер, не загудит.

— Уморился, машина все-таки,— сказал Алексей.— А мы его заменим. У меня тут администраторша в больших подругах. Сейчас, как спустимся, все налажу.

— Наладь, сделай милость.

Поняв, что кондиционер не загудит, поняв, что и окно не распахнуть, да и зная, что в жару такую распахнутое окно мало что даст, Знаменский, как за спасением, кинулся к одному из своих кофров, лихорадочно защелкал массивными, сверкучими замками с колесиками кода. Отмахнул крышку, зарылся руками в чем-то ярком, модном, фирменном — у Алексея аж глаза заблестели, заглядывая в эти заморские недра,— и выхватил, выставил на утлый столик бутылку виски.

Стаканов в номере не нашлось, были лишь пиалушки. Ничего, можно и из пиалушек. Торопливо отвинтил Знаменский покорно-хрусткую крышечку, торопливо забулькал в пиалушки золотистую влагу. Проник, вструился в беспросветную духоту свежий ветерок, дуновение это с зеленого поля проникло.

— Поехали, друзья!— Знаменский не стал ждать, чокаться там, жадно приник к пиалушке.

— Спятил?! В такую жару виски! Надо бы разбавить!— Захар Васильевич из солидарности взял со стола пиалушку, но вертел в руке, не решаясь пригубить.

— Спятил! Вот именно!— Знаменский уже подхватил бутылку для новой порции, но еще не начинал наливать, а вслушивался в себя, в тот пожар в себе, который сейчас должен был выжечь в нем отчаяние. И потихонечку, потихонечку разгоралась на его лице улыбка. Засмотрелся на этого человека Алексей, на улыбку его разгорающуюся.

— Понял, улыбка!— сказал Алексей.— Я мигом, я сейчас!— Он кинулся к двери, обернулся: — Нельзя мне этого напитка, баранка держит! Но последний вальс я ради вас станцую хоть с бабой-ягой!— И исчез.

— Влюбился,— сказал Захар Васильевич, продолжая вертеть в руке пиалушку, не решаясь пригубить.— Ты это всегда умел, в себя влюблять.

— Иногда с самим собой просто невыносимо оставаться.

— Расскажешь?

— Расскажу. Тебе — обязан. Да ты разве не знаешь? Слухи-то быстрее скорости звука.

— Слухи — они слухи и есть. Врет часто эта информация.

— А, чего там, все правда, хуже не придумаешь!— Стал пьянеть Знаменский, прихватил его виски, помогая самого себя казнить, вот так вот небрежно рукой взмахнуть, мол, все пропало, чего там, но помогая и душу излить, не держать в себе свою беду, разговорить ее, разболтать даже — чего там?— нате, слушайте!

— Может, отложим разговор?— Захар поставил пиалушку, так и не решившись отпить хоть глоток.— В такую жару что за разговор?

— Пьяной исповеди испугался? Я не пьян, Захар, меня не берет, рекорды начал ставить по этой части — не берет.— Знаменский снова налил себе, снова одним глотком, мучительно напрягая горло, выпил. И, даже не отдышавшись, на выдохе от огненного глотка, выдохнул:— Проворовался я, знаешь ли.

— Так это называется?

— А по слухам как это называется?

— По слухам, ты растратил три тысячи долларов, которые тебе выдали на приобретение служебной машины. Кинулся у кого-то одалживать. Одолжили, да не те. Вот как по слухам. Детали мне неведомы.

— Детали! Три тысячи долларов я проиграл в гостиничной рулетке в Каире. Играл и раньше. Часто везло. Втянулся.

— Это худо.

— Вот, вот, это худо. Ты «Амок» Стефана Цвейга читал? Что поделаешь, втягиваются люди.

— Литературные ассоциации, Ростик, всякие возможны. Раскольников старушку убил. Но зато князь Мышкин...

— Ладно, к чертям ассоциации. Ну, сходило, поигрывал, всегда был уверен, что далеко себя не пущу. Да три тысячи, разве это деньги? Думал, что перехвачу у кого-нибудь. Там, когда там долго поживешь, как-то все проще представляется. И изворачиваются наши людишки, поверь, изворачиваются, комбинируют. Вокруг-то не наша жизнь, а ты живешь не дома, а там, в их воде плаваешь.

— Ну и как же ты извернулся? Перехватил деньжат у их разведчиков?

— Прикинулись приятелями.

— Ты что, рядовой необученный?

— Не кори меня, Захар. В теории так, а на практике эдак. Подвернулись, двое их было, посочувствовали, выручили. Да и что за деньги? О чем разговор, Рони? Меня там так звали, Рони да Рони.

— А у нас Ростик да Ростик.

— Да, да, все в Ростиках хожу. Даже когда исключали из партии, часто Ростиком называли. Как думаешь, в чем дело, почему я, до тридцати двух лет дожив, все в Ростиках хожу?

— Располагаешь. Славный парень, сразу видно.

— Не то говоришь. Вот ты Чижов, тебя бы Чижиком звать, а никогда никто в институте так не называл. Чиж — бывало, а Чижиком — нет. Может, в школе?

— И в школе Чиж. Да и какой я Чижик, не располагаю.

— Не то говоришь. Ты не хмурься, я еще глотну. Горит голова.— Знаменский снова налил себе, снова поднес пиалушку к губам, но вдруг судорожно отвел руку, расплескав виски.— А, не поможет! И вот поймали меня! Потребовали вернуть деньги немедленно. Расписк-

ка, протокол. Попытка завербовать. Ну, как маленького!— Эти слова стоном вырвались.— Как новичка! Туристика!

— Почему как маленького? Все логично. Смотрят, попивает советский журналист.

— Все там пьют, о чем ты?

— Поигрывает в рулетку.

— Я не был тут исключением.

— Контактный сверх меры.

— А бывают контактные чуть-чуть?

— Ну, словом, Ростислав, они шли за тобой. Они тебя вели. Так, кажется, это называется? Помнишь, нам в институте рассказывали о приемах вербовки западной разведкой?

— Чепуха все эти лекции! Нет, я все же выпью! Или принять душ?

— В самую жару, пожалуй, не стоит. И воду днем не пей. Да ты знаешь, что наше пекло, что ихнее. Но ведь ты на вербовку не пошел, погнал их? Это-то не слух, это так?

— Так. Вырвался, отбился, да, да, отбивался, рванул в наше консульство и с первым же самолетом — домой. Но... Но шум, огласка, пресса — я и у рулетки был сфотографирован,— расписка эта, три тысячи долга. И кому!.. Словом, вон из партии, вон с работы, вон, собственно говоря, вообще. Считаешь, справедливо обошлись?

— Трудный вопрос, Ростик. Но я отвечу: справедливо. По сути, ты был близок к измене Родине.

— Громко, не слышу!

— Да, да, к измене Родине.

— Но я отказался, отбился!

— Близок, сказал я, близок.

— Полагаешь, мне теперь нельзя верить?

— Теперь ты громко заговорил. Доверие! Громкое слово. Оно, как зал пустой, гулкий зал. Его надо еще заполнить, этот зал.

— И чтобы те, что займут ряды, мне поверили?

— Да. Чтобы пришли и чтобы поверили.

— Здесь, в этом пекле, и предстоит мне завоевывать доверие?

— Какая разница, где?

— Но ты меня вызвал. Почему? Из жалости? Или, может, чтобы самоутвердиться? Вот, мол, кем был Знаменский, всех обогнал, а теперь... Нет, прости, это не про тебя.

— Не про меня. Вызвал, потому что всегда считал себя твоим другом. И хватит об этом. Нам еще нет тридцати трех, Ростик, Илья Муромец в нас еще на печке сидит. Как жена?

— Пока не понял.

— Как твой тесть-министр?

— Пока не понял.

— А мама?

— Хватит! Хватит об этом!

— Прости. Поговорить было надо, но и все, теперь все. Поверь, Ашхабад — замечательный город. Черт его знает почему, но замечательный. Пекло? Оно всегда пять месяцев в году. Но зато потом... Меняй рубаху — и покатим ко мне. Каких я для тебя дынь раздобыл, какой виноград! А моя Ниночка, знаешь ли, стала просто мастером восточной кухни. Ждет тебя! Ну, ты еще когда ее покорил! Вчера в парикмахерскую бегала. В сорок два градуса! О женщины!

— А тебе не повредит, Захар, дружба со мной?

Стало тихо в комнате. С улицы пришли звуки. Млели где-то в тайниках какие-то квакающие существа. Вечен этот звук на Востоке — на Ближнем ли, на Среднем ли, вот и в Средней Азии. Где затаились эти квакуньи в асфальтовых и бетонных недрах — не понять, но всклики их звучат и звучат, будто исходят от самой земли.

— Тихо говоришь, не слышу,— сказал Захар.

— Чуть ли не предатель, исключен из партии.

— Не слышу, не слышу тебя.

С грохотом распахнулась дверь и, пятясь, с поклонами ввел Алексей в номер стройную, строголикую туркменку в красном платье-тунике. Не первой молодости женщина, но величава была ее еще не избывшая красота, короной казалась замысловатая прическа, выложенные торжественно две косы. Но главное, что прохладой веяло от этой женщины, никакой, ну, никакой не испытывала она жары.

— Вон они у нас какие,— сказал, залюбовавшись, Захар. Он поклонился.— Рады вам, рады.

— Салам, салам,— деловито сказала женщина, быстро глянув на Знаменского, на дорогие его чемоданы.— Так что тут у вас? Вот товарищ,— она небрежно повела царственной, в браслетах рукой на Алексея,— вот товарищ жалуется... Вполне приличный, между прочим, номер.

— Так ведь кондиционер же тю-тю, дорогая Айсолтан!— взмолился Алексей.

— В трехрублевых номерах кондиционеры почему-то всегда тю-тю,— чуть улыбнулась дорогая Айсолтан. На своего приятеля Алексея она не обращала никакого внимания, даже както подчеркнуто не обращала, неинтересен ей был и этот нескладный в ладном костюме высоченный русский, ее заинтересовал лишь вот этот вот, с разгорающейся восхищенной улыбкой на лице товарищ. В нем что-то было, что-то такое, что приобвыкшей в отельной службе к самым-рассамым экземплярам мужской породы Айсолтан показалось интересным, примечательным, заслуживающим хотя бы двух-трех пристальных, из-под ресниц фотографирующих взглядов.

— Милая, дорогая Айсолтан,— сказал Знаменский и сложил ладони, как это делают на Востоке, умело, привычно, поклонившись без подобострастия, но только потому, что перед такой женщиной невозможно было не склониться, пусть даже она всего лишь администраторша гостиницы, а он, может быть...— Ханум! Но тут дышать же нечем!

Она задумалась, взглядывая сквозь густые ресницы. Там, за ресницами, в ее агатовых зрачках затеплилось сочувствие.

— Зачем такому человеку такой номер заказал?— спросила она Захара.— У меня два «люкса» свободных. Жарко, начальство не едет.

— А такой человек приехал!— подхватил Алексей.

— Я как-то не подумал,— смутился Захар.— Ну, номер как номер. Не на гастроли приехал.— Он подошел к Знаменскому, спросил, шевельнув в шепоте губами:— Потянешь?

— Потяну. А здесь ноги протяну. Выбора нет.

— Вот вошла женщина, и пришли шуточки да прибауточки,— усмехнулся Захар.— Да, ты все тот же.

— Не просто женщина, Захар, а дорогая Айсолтан.

— Тогда вопросов нет, перебирайтесь в угловой номер на этом же этаже,— сказала администраторша, водворяя строгость на своем чуть только помягчевшем лице.— Алексей, ты знаешь, куда нести чемоданы.— И удалилась, плавная, царственная, еще раз убедившаяся в своей власти над смешным этим мужским племенем. А это чувство, что ни говори, женщины не устают в себе подкармливать.

— Ты заметил, услышал, как она русские слова произносит?— спросил Захара Знаменский.— Акцент ее туркменский, мягкое «л», напористое «р» и часто «ю» вместо «у». А вместе какая-то загадочность входит в обычную казенную и скрипучую фразу. Загадочность и даже женственность.

— Все такой же, такой же,— покивал другу Захар.— Алексей, твои связи сработали, перебираемся.

— Обычное, самое первое лингвистическое наблюдение,— сказал Знаменский. Он закрутил крышку у бутылки, глянув на свет, много ли еще в ней плещется забвения, поспешно сунул бутылку в чемодан, отделываясь, с глаз долой, и, подхватив чемодан, кинулся из удушья номерка в коридор.

— Куда бежать?! Дышать же нечем!

— Следуйте за мной, сэр!

С двумя чемоданами в руках Алексей бегом припустил по длинному коридору, а Знаменский не отставал.

И вот они уже стоят посредине довольно большой комнаты, замерли, вслушиваются. Да, гудит, гудит тут кондиционер. Но не в звуке дело. Тут ветерок повевает, тут прохлада угнездилась. Бог мой, какое это чудо — прохлада! Как спасшийся от огня, как выскочивший из горящего дома, стоит, замерев, Знаменский и дышит, дышит, просто дышит.

— Да, тут совсем другое дело,— сказал Захар, нарушая молитвенное молчание.

— Две комнаты — раз, кондиционер японский — два, цветной телевизор, телефон,— перечислял, поворачиваясь локатором, Алексей. Он потрогал диван, присел на пробу в креслице.— Мебель югославская с подбросом. Житуха, Ростислав Юрьевич! Набор посуды! Рюмочки-бокальчики! В выходной к вам в гости напрошусь с сопровождающими лицами. Приметe?

— Пренепременно!

— А потянешь?— спросил Захар.— Рублей семь-восемь в сутки.

— Деньги есть, вот как раз деньгами меня снабдили,— сказал Знаменский и разом все вспомнил.

Продолжение следует.

ДАНО УРОКИ

Бывший журналист-международник Ростислав Знаменский прилетел в Ашхабад по вызову Захара Чижова — своего друга и однокашника по институту международных отношений. При встрече Знаменский рассказал, что, будучи за границей, проиграл в рулетку деньги, выданные ему на покупку автомашины. Когда его стали шантажировать, пытаясь склонить к предательству, завербовать для шпионской работы, Знаменский сразу же обратился в наше консульство и признался во всем. Он был отозван из-за границы, исключен из партии. И вот теперь здесь, в Туркмении, на новом месте работы, ему придется завоевывать потерянное доверие.

Лазарь КАРЕЛИН

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

3

Захар Васильевич Чижов жил неподалеку от гостиницы, тут все было неподалеку, особенно если ехать на машине. Квартиру Захар унаследовал от своего предшественника, уехавшего на другую работу, так сказать, с концами, то есть с семьей и без брони на служебную квартиру. Повезло Захару Чижову, поскольку его предшественник жил тут долго, дом свой обиходил. Да что дом, эти три комнаты, половина одноэтажного особнячка, главное было не в нем, а в небольшом, но сказочно возделанном участке, отгороженном высоким дувалом, как тут и полагалось, в этом воистину рае, прильнувшем к террасе и окнам, где росли, уже желтея плодами, абрикосовые деревья, старая черешня, жаль, уже обобранная, но еще набирали цвет в синеву два сливовых дерева, но всюду — и на опорах, и на шпалерах — зеленел, желтел, розовел, наливался в матовую багровость виноград. И журчал крошечный фонтанчик, убегая струей в тень деревьев, где можно было укрыться от зноя, там сама тень казалась прохладной. Солнце и здесь, конечно, царствовало, но здесь оно царствовало благожелательно.

На раскладных парусиновых стульях вокруг укрытого ломкой, крахмальной скатертью стола, на котором сейчас воцарилась на синем блюде дыня и, кажется, зрим был, струился в воздухе ее аромат волшебный, сидели они — институтские друзья, два «мгимошника» — Ростик Знаменский и Захар Чижов, и его жена Ниночка, «торезовка», то есть в прошлом студентка института иностранных языков, с которым у «мгимошников» была давняя дружба: породненные это были учебные заведения. Ниночка, почти такая же, как и на первом курсе, разве что чуть пополневшая, но это только еще больше красило ее, их Ниночку-блондиночку.

Сидели, молчали. Отвосклицались уже, проинформировали друг друга обо всем и даже о мелкой мелочи, ни разу не коснувшись главного в их жизни, той муки, той печали, того, что случилось или не случилось у них, для них, а было мужчинам почти тридцать три годика, они были ровесниками, с одного курса, вместе начинали завоевывать судьбу. А не случилось и случилось многое. Вот не удалось Нине — она была года на четыре моложе своего Захара — сберечь ребенка, их мальчик умер трех лет в распроклятом для русского человека климате той страны, куда Захара Чижова с женой послали работать. МГИМО — это не только престиж и заграничные шмотки. Это тропические лихорадки, это яростные москиты, это бездорожье, безводье, безлюдье, а подчас пагубное многолюдье или, точнее, нелюдье. «Мгимошники», пижоны, форсуны, с прононсами и сленгами — они солдаты, да, да, они солдаты и часто самого что ни на есть переднего края. И вот тогда... А вот тогда и становится ясным, кто среди них есть кто.

Не случилось Ростику Знаменскому, не сумел быть солдатом.

Молчали, вспоминали молча. Трое — это уже мирок, их мирок.

Но может быть, Захар Чижов был среди них счастливцем? Он ехал, куда посылали. Он не выспрашивал, какой там климат, какое там будет ему бунгало, какой марки будет машина, какой ранг ему установят, велико ли представительство, сколько дадут в валюте, сколько пойдет на книжку. Он ехал, вернее, летел. Он был солдатом, это уж точно. Опоздал родиться, а то был бы одним из тех, кто крестьянскими своими руками, широкой костью отстоял Москву. Солдат, да, солдат. Но Ниночка вышла за него замуж не любя, с отчаяния, что ли. У юных женщин такое случается. И не у юных тоже. Вот кого она любила: этого дуралея несчастного, Ростика, таясь, чтобы никто не знал. Так ли, не знали? И когда он женился на их главной у «торезовцев» царевне, на их Елене Прекрасной, из-за которой шла у «мгимошников» форменная Троянская война,— не он женился, а она его на себе женила, объявив всем, откровенная была всегда: «Мне нужен элитный мальчик!» — вот тогда Нина и вышла за своего Чижа, объявив тоже всем: «А мне нужен надежный!» Не ошиблась: Захар Чижов был надежным человеком, этого уж не отнять. И он любил ее, как только может такой человек, однолюб кряжистый. Не ошиблась, это Ленка ошиблась. Вот сидит ее «элита», ее «шляхтич княжеских кровей», убитый, нет, побитый и виноватый. Но как же душа встрепенулась, когда вошел он к ним! Как же нелегко ей не смотреть на него! А что в нем, ну, что в нем?! Все такой же, нарцисс проклятый! А Захар!.. Что Захар?!.

Сидели, молчали «мгимошники» вот тут, на краю грозной пустыни, в райском садике у фонтанчика.

И тут, в глубине этого садика, кто-то квакающе вздыхал, какая-то квакушка завелась.

— Ну и кем ты у нас в Ашхабаде будешь работать? — прервала наконец молчание Нина.— Меня зарыли в бумажках. Визы, визы, визы. Сбегать собираюсь. Зовут и туда, и сюда, и даже в университет преподавать английский. Нет, учить — это не для меня. Сбегу к геологам. Вот увидишь, Захар, сбегу. У нас тут, Ростик, везде все время что-то ищут. Нефть, газ, золото, серу. Все время что-то прокладывают. Каракумский канал за тысячу километров ступил, нефтепроводы тянут, дороги, по трубам провели воду в Небит-Даг, а сейчас ведут в Кара-Калу, в сухие субтропики. Представляешь, что там будет, когда туда придет вода? Я побывала там разок. Рай земной! Гранатовые деревья, грецкие орехи прямо над головой. Виноградники, где выращивают двести сортов, и горы, горы. Ты теперь свободный, Ростик, рвани туда.

— Приграничный, кажется, район? — спросил Знаменский и свел плечи.

— Да,— сказал Захар. Он осуждающе глянул на жену.— Я тебе сбегу! Визы, визы! Кому-то надо и на визах сидеть.

— О, ты человек долга! Вот дал себя загнать в это пекло!

— Кому-то надо и здесь работать. Здесь сейчас боевой участок. И разве нам плохо здесь, Нина?

— Нам неплохо здесь, Захар.— И она тоже свела плечи.— Так куда же его?

— С учетом всех обстоятельств... Прикидывали, прикидывали... И если учесть интересы дела...

— Да ты не тяни, дипломат! — рассердилась Нина.— Куда его?

— Я телеграфировал Ростику, он знает.

— Подошла работа? — быстро глянула на Знаменского Нина.— Я что-то краем уха слышала и ничего не поняла.

— С учетом всех обстоятельств...— сказал Знаменский, пытаясь улыбнуться.

Теперь ей можно было смотреть на него, она его о деле расспрашивала, и она смотрела, ловя всякий жест, вот улыбку эту жалкую, кляня его в душе и жалея—что с собой сделал, дуралей! — ну, вот улыбается жалкий-прежалкий, а все-таки и сейчас красивый, нет, не красивый, а просто смотреть на него приятно,— открытый он, синеглазый, улыбчивый и беззащитный. Она многое о нем знала. Она догадывалась, что он из тех, которых ведут за ручку. Мама вела, жена повела, дружки тянули в разные стороны. Но до поры до времени жилось легко, празднично даже, и он не научился вырывать руку. А вот теперь...

— Куда же все-таки теперь-то тебя за ручку привели? — спросила она, не умея быть милосердной, так изныла душа, глядя на него.

— Он будет у нас референтом,— сказал Захар.— Точнее, переводчиком. И у нас, и в республиканском ССОДе, благо наши конторы в одном здании. Нам и им давно нужен был квалифицированный переводчик и именно мужчина, а не дамочки эти, чик-чирикающие. Восток все-таки сюда тяготеет, Азия здесь. Иной иностранец просто понять не может, как это в его номер входит женщина, а потом по стране с ним мотается.

— Словом, как я поняла, слуга двух господ?

— А что тут плохого? — Захар весело подмигнул приунывшему другу.— Ты смотрел, Ростик, по телеку пьесу Карло Гольдони «Слуга двух господ»?

— Мы еще в Москве с Леной эту пьесу вспомнили.— Знаменский ссутулился, отвечал, не поднимая головы.— Да, да... А все-таки до-

Продолжение. См. «Огонек» № 39.

конало меня это виски. Прав ты был, нельзя пить в такую жару.

— Сейчас отвезу тебя в гостиницу. А хочешь, укладывайся прямо здесь, в саду. Через минуту будет тебе раскладушка.

— Нет, нет, я в гостиницу, там, кажется, неплохо.— Знаменский поднялся, развел плечи.

— Веришь,— глянул на жену Захар,— едва администраторша его увидела, как тут же предоставила самый наилучший «люкс».

— А ты как думал? Ведь это же Ростислав Знаменский! Он у нас помечен знаком «элиты»!

У женщин всего важнее голос, каким они произносят свои слова, рождающие часто совсем пустенькие, скользящие фразы.

— Нина,— тихонько окликнул жену Захар Чижов.

— Что Нина? Трудно ему здесь будет, вот я о чем подумала. Зря ты его сюда вытащил.

— Но здесь мы, его друзья. А где-то же надо ему работать.

— Трудно, трудно ему здесь будет,— сказала Нина, упрямясь и как-то вдруг постарев — вокруг губ, оказывается, у нее множество угнездилось морщинок.

Знаменский слушал своих друзей, молчал. Он в отлетевший звук Нининого голоса все вслушивался, не понимая, отчего такая тоска на него навалилась, еще безысходнее, еще беспросветнее. Он вслушивался и в эти постанывающие звуки, идущие из глубины сада, из самой земли. Тоскливые звуки.

— Поехали, Захар,— сказал он.— А то и сам доберусь, отвыкать надо от машины.

— Зачем же, пригони сюда свою,— сказала Нина.

— Не подойдет, пожалуй. У меня «мерседес».

— Да, пожалуй, не подойдет. И «люкс» тоже. Я подыщу тебе комнату на частной квартире. Поручаешь?

— С окном в сад?

— И даже на горы.

— Согласен, Ниночка.

— Ты только не горюй, не вешай нос.

— Согласен, не буду.

— А я сбегу. К геологам. Вот увидите!

Знаменский и Чижов вышли за калитку, направились к машине.

— Не может забыть нашего мальчика,— шепнул Захар, оглядываясь, рукой помахав жене.

И она от калитки махала, вдруг оживившаяся, вытянувшаяся, откуда-то взявшийся ветер подхватывал ее легкое платье. Она крикнула:

— Ростик, не исчезай! Эй, «слуга двух господ», приходи обедать!

— Да, да,— сказал Захар.— Хоть каждый день, Ростик. Так и заживем. Славно заживем. Верно?

— Верно.

— Что еще человеку надо, когда рядом друг институтский? Ничего больше не надо! Садись, поехали. Я отпустил Алексея.

— Можно, я сяду за баранку? Права у меня не отобрали.

— Садись. Ты, кажется, чуть ли не гонщик?

— Чуть ли.

Мягко тронулась машина, покатила.

И странное дело, чуть взялся за баранку, как отлегло, как разжалась тоска. Но словечко это в него вцепилось: «чуть ли... чуть ли...» Всю дорогу твердил про себя, прислушиваясь к указаниям Захара, куда свернуть. Вел машину осторожно, как пожилую женщину в танце. Ладони помнили другую машину — ладони, ноги, спина. На той бы рванул, повиражил бы сейчас, с той был слит, продолжался в ней. А эта старушка все не туда норовила ступить, что-то тряслось в ней, похоже, она стеснялась гулкого стука своего затревожившегося сердца.

У гостиницы попрощались.

— Завалюсь сейчас спать. Да сейчас ведь чуть ли не вечер.

— У нас быстро темнеет. Солнце просто падает за горы — и сразу темно.

— Значит, оно у вас тут висит чуть ли не на ниточке?

— Пожалуй, что так. Завтра утром позвоню. Отдыхай.

— Чуть ли... чуть ли... Спасибо, Захар, ты настоящий друг.

— А может быть, чуть ли?

— Нет, ты настоящий.

Расстались.

4

Не пришлось загнать себя в сон, спрятаться от мыслей в безмыслие разных там кошмарных сновидений. Что кошмары? Он в них отдыхал теперь. Спал и радовался во сне, что совсем ему сейчас будет худо, что догонят, схватят, начнут убивать. Пустяками казались все эти ужасы, кинематографом Хичкока. Он спал, но он знал, что спит, что кошмары эти уводят, утаскивают его от мига пробуждения. Он спал, страшась лишь одного, что проснется. И тогда все вспомнит, и начнется для него кошмар той реальной жизни, в которую его заволокла судьба. Много стал пить, хотя и худо это помогало. Навык мешал. И раньше пил, долго не пьянея, даже слегка бахвалился своей стойкостью. Журналисту-международнику такая стойкость была необходима. Много чего было необходимо в его профессии. И он всем этим обладал с избытком.

Не пришлось уткнуться в сон: в холле на этаже, когда брал ключ у дежурной, поглядывая на мерцающий в углу цветной экран, где как раз шла программа «Сегодня в мире» и где так мило, так сдержанно, без всякого нажима вел свой рассказ Борис Калягин, так вот, в холле этом, в креслицах перед телевизором, углядел Знаменский сперва двух женщин, молодых, с задранными юбчонками — жара ведь! — да и ноги такие грех скрывать, а потом лукавый глаз углядел, подмигивающий ему. Вскочил лукавоглазый и оказался Алексеем.

— А мы к вам! — подошел круглой походочкой Алексей.— Заждались. Чуть-чуть не рассчитал. Ну, час на обед, ну, час на воспоминания, ну, проводы у калитки, ну, дорога... Короче, тридцать минут у вас там на что-то еще ушло. Мои дамы собрались было уходить.

Дамы тем временем поднялись. Молодые, хотя лица вот подбадривают косметикой в такую-то жару. Каждая на кого-то похожа, на одну из див эстрадных, а то сразу и на двух и трех — те ведь тоже с кого-то портрет берут. А выходит, что у всех у них одинаковые личики, полуоткрытые ротики и растопыренные глазки, жаждущие великолепного какого-то счастья. Вполне милые дамы, что ни говори. Полноногие, стройноногие и почти все на виду, без обмана. Ай да бараночник Алексей!

— Не возражаете? Мы на минуточку. Знакомьтесь.— Алексей тараторил и снял, поняв, что дамы понравились.— Представляете, как узнали, кто к нам прилетел, так просто повисли на мне: знакомь, и все! Это, Ростислав Юрьевич, наши знаменитые в городе манекенщицы. А как же, и у нас есть! Вот это вот Лара, а это вот Лана. Знакомьтесь, знакомьтесь. Ростислав Юрьевич, приглашаете?

— Разумеется... Буду рад...

У них были потные ладони, пот проступил и на их платьицах,— простительно, такая жара!

Он разглядывал их, но ведь и они растопыренными от туши своими глазками приглядывались. Это были зоркие глазки, даром что простенькие личики. Знаменский знал, что на свой лад, для себя, если всерьез по жизни, женщины умны, зорки и уж всегда догадливы. Что какая-нибудь стюардесса, что какая-нибудь магнатесса, что эти вот ашхабадские манекенщицы. От их глаз мало что ускользнет — Знаменский многажды убеждался в этом. Ну-ка, чего они в нем сейчас углядели? Притворяйся не притворяйся...

Он ввел гостей в свой «люкс», где действительно было прохладно, ну, не по-настоящему, машинная это была прохлада, воздух тут чем-то пах, как в гараже, но зато прохладно же было.

Уходя с Чижовым, он не успел выложить из чемоданов вещи. Три чемодана стояли, будто готовые к отбытию. Подхватил — и прощай, город Ашхабад. А что, он теперь может, никому ведь теперь не нужен. Слуга двух господ!.. Из жалости позвали. Придумали какую-то работенку, в которой нет необходимости. Кооперировались даже, изобретая ему дело. Спасибо, спасибо. А он вот подхватит свои чемоданы — и в аэропорт. Куда? А хоть на первый же рейс. Деньги у него были, денег пока хватает. Летит! Самолет приземлился — сходи. Куда залетел? А какая разница? Деньги есть, паспорт есть. Девицы такие, как эти, ну, похуже пусть, найдутся в любом городе. Ресторан, столик, потом пристанище на день-два — и снова в путь. Свобода! Обрел свободу! Свобода за никому не надобностью?.. Так? Так!

— У вас неприятности? — спросила та, что была Ларой.

— Громадные.

— Вывернетесь, я за вас не страшусь,— сказала та, что была Ланой.

— Спасибо, на добром слове спасибо. Выпить хотите?

— В такую жару?! — хором отказались, соглашаясь, дамы.

Тот чемодан, откуда он добывал свежую рубашку, был не замкнут, крышка была откинута,— в том чемодане пестрела всяческая иностранная затейщина, ярлычки всякие высовывались, и к ним откровенно тянулись глаза женщин.

— Господи, какими вещами человек упаковался! — вздохнула Лара.

— Говорил вам! — ликовал Алексей, гордясь новым другом.

— Так ведь международник,— сказала Лана.

— В прошлом,— сказал Знаменский и достал «Белую лошадь».— Я весь в прошлом, девочки. Так что...

— За битого двух небитых дают,— сказала одна.

— Вывернетесь,— сказала другая.

А все же то, что вот так запросто явились к нему, что шофер Алексей, водитель служебной машины его друга, посчитал возможным организовать эту встречу да и чувствовал себя сейчас легко и просто, а все же в этом был знак, горький знак его, Знаменского, падения. Он теперь был ближе к этим вот, а не к тем, кто бы еще с год назад мог проведать его в этом номере, очутись он вдруг по делам службы в Ашхабаде. Уловили, не столько разузнали, сколько почувствовали, что он теперь ихний. Упал. Провалился. Летел, летел и вот шмякнулся. И все-таки, а вдруг да и вывернется? Он и сам еще надеялся. Гнал от себя надежду, но все же... А женщины зорки, они все колдуньи, они далеко могут заглянуть. И эта Лана сказала, что не страшится за него, что он вывернется... Просто так сказала, для уюта? Такие женщины, с которыми за час всего можно пройти всю дорогу, от нуля до самых тайных тайн, до той близости, когда сердце на разрыв, такие женщины трагизм своей жизни в себе ощущают, не из баловства пришли к баловству, и они, такие, слов на ветер не бросают. Щебечут, чепуху вроде несут, руками размахивают, помогая словам, которые не всегда легко находят, но слова у них, если вслушаться, вдуматься и в них, и в звук самый, они не пустяковые, не от светской болтовни и сокрытости. Там, в верхних слоях атмосферы, ему уже порядочно наговорили утешительных слов, но, наговорив, смывались — дружки и подружки, знакомцы и знакомицы, которых было так много. Они смывались, размывались. А ведь многие, очень многие были его повадок люди. И пили, и поигрывали, и с барахлом комбинировали, заступали, заступали черту. Он попался, они нет. В том лишь и разница? Но попался. И нечего себя оправдывать. Он отвинтил крышку початой бутылки, пошел к сверкающему буфету.

В этом номере были и хрустальные рюмки, и хрустальные бокалы, и они тоненько запели в тонких пальчиках женщин, будто истосковались по их прикосновениям, ибо в таких номерах редко бывают женщины — здесь царит чиновная нравственность. А ему теперь все было можно, или, наоборот, нельзя было ничего, потому что он пропал, опозорился, ушел в черноту.

— Я сейчас за чайком слетаю к дежурной,— сказал Алексей.— Ну, не на работе, а боязно всухаря глотать. Запуган. Докторша у нас в гараже хуже кобры. Я мигом! — И исчез, деятельный, услужливый, просто милейший парень.

— Вы не подумайте, Ростислав Юрьевич,— сказала Лара, глядя, как светятся на хрустале ее красные ноготки, ухоженные, колючие, длинные, чем-то даже страшноватые, если представить, что ими тебя царапнут.— Нет, Алексей, конечно, милый парень, но это...— Пошевелились ноготки, ища нужное слово, свободной рукой покрутила, ища слово.

— Не вашего круга паренек? — подсказал Знаменский.

— Вот именно! Но он взялся нас познако-

мить с вами, и мы... Кстати, поразительной контактности экземпляр.

— Говорят, я тоже.

— Правда? А можно вас просто Ростиком звать?

— Вам?.. Ну, что ж... Но тогда хоть выпейте со мной, с просто Ростиком.

— Идет! — Лара смело вскинула руку с бокалом, прошлась по комнате — бедро туда, бедро сюда,— словно демонстрируя некий пляжный наряд, глянула победно на помалкивающую подругу и выпила.— Виват! — Задохнулась чуть, переждала, переждала, отдышалась.— А ты что же, Ланочка?

Помалкивающая Лана уже наметила свой стратегический план. Она замкнулась, слегка укрылась ресницами, явно отрешаясь от происходящего.

— Я подожду, когда Алексей принесет хоть чаю.

— Ну, а мы без ничего. Ростик, что же вы?! Нагоняйте!

Он выпил, глянув поверх кромки бокала на своих дам. Лара явно пережимала, а Лана вела себя поточней. И она наверняка догадалась уже, что больше нравится ему, чем подруга. А подруга гнала «картину».

— Спик инглиш? Парле ву франсе? Шпрехен зи дойч? — затараторила она, похаживая по номеру, как по демонстрационной площадке — бедро туда, бедро сюда,— незримые одежды на ней разлетались, и, что ни говори, фигура у нее была что надо.

А что тебе надо? Так низко падать не следует, хотя ты все равно на дне и тебе все можно из того, что там, на дне, обретается. Ты свободен! Какой с тебя нынче спрос?!

— Господи! — сказал Знаменский, заулыбавшись, страшась обидеть эту языкознатицу хоть на волосок высокомерием.— Еще наговоримся на разных там языках, если пожелаете. Но сейчас мне важно в родном попрактиковаться. Условились, сестрички? Давайте не будем спикать и парлекать. Я устал от этого всего. Верите?

Тут Лана сочла нужным молвить:

— Конечно, Ростислав Юрьевич. Это так понятно.

Но Лара не унималась:

— А я так хотела потренироваться в языках. Знаете, нужная штука в нашей профессии. Я даже беру уроки.

Она явно проигрывала по очкам. Знаменский глянул на Лану. Та снова загородилась ресницами, отрешилась. Сигнальщик на корабле не мог бы явственнее промахать своими флажками, чем она своими ресницами и этой отрешенностью. И что же за сигнал? «Вы мне нравитесь»? Так? «Жду ваши позывные...»? Позывные! В «люксе» сейчас просто буря разгулялась из этих позывных.

Примчался Алексей. Парок струился из носика большого чайника, который он нес в одной руке. А казалось, что это из самого Алексея исходят пары усердия. В другой руке у него была тарелка с ярчайшими помидорами, с синей гроздью винограда и коричневыми ломтями чурека.

— Айсолтан кланяется! — вскричал он.— Обаяли вы ее, Ростислав Юрьевич! Вцепилась: кто такой? Почему у нас? Кое-что рассказал, хотя сам ничего толком не знаю. Смотрю, глаза заволоклись, жалеет. А когда женщина жалеть начинает, то тут и до любви один поворот.

— А за что вас жалеть? — молвила Лана, издали молвила, из-под ресниц поглядела.— Вы не такой, чтобы вас жалеть.

И тут, прислушавшись к тихому голосу подруги, Лара поняла наконец, что сильно проигрывает по очкам.

— Ну, что ж,— помрачнев, сказала она, беря у Алексея чайник и тарелку.— Будем пить чай и закусывать дарами Айсолтан. Алексей, помоги мне добыть тарелки и как-то хоть накрыть на стол. Наша Лана что-то уснула. Ну и пусть. Нет, а я не согласна, что пожалеть мужчину все равно что полюбить. Вот уж нет и нет.

Сигнальщик на корабле не мог бы явственнее просигналить сигнал отступления.

Женщина подошла, иначе двигаясь, будто вдруг устала, утихомирились ее бойкие бедрышки, и чуть дотронулась своим бокалом до его, безазартный рождая звон.— Лана, а ты чего?

Теперь подошла и Лана, будто просыпаясь.

Тоже знала, как ступать. И звон, когда чокнулась, сумела извлечь победный. Сказала, повеселев:

— Вот теперь, когда виноград...

А Алексей, умнейший человек, уже ухватил за талию Лару. Распределились.

5

Он проснулся, изо всех сил цепляясь за сон, а снилось ему, что его вызывает к доске учитель-мучитель математики в их спецшколе, где главным был английский язык, затем шли история, литература, география, даже физкультура, а математика, алгебра и геометрия, как и физика, пребывали в полном неуважении. И он худо учился по этим предметам, хотя самолюбие и мама не позволяли хватать хоть на чем-то там тройку, и он все же вытягивал на четверку и эти предметы, а то и на пятерку, поскольку был одним из первых в классе учеников, но худо, «через не могу», осваивал все эти формулы, задачки и законы. И даже сон вдруг прилепился, когда уже окончил школу, с золотой, кстати, медалью. Прилепился сон, чем-то похуже кошмаров, что вот вызывает его учитель к доске, спрашивает, неважно о чем, он наперед знает, что ничего не знает. И эта мука, что сейчас опозорится перед классом, была похуже кошмара, где все грозит тебе смертью. Не часто, но этот сон прицепившийся повторялся, навещал, так сказать, пугая и предвещая. Обязательно потом, уже въяве, случалась с ним какая-нибудь неприятность. Он был, пожалуй, суеверен. Откуда и как входит в нас суеверность, никто не скажет, но страшок этот, боязнь примет и предвестий, сидит, угнездился во многих из нас. Но сейчас он просыпался, цепляясь за этот отвратительный сон, потому что с недавних пор знал, что спит, что во сне все страшное не страшно, а когда проснется, вот тогда станет страшно.

Но проснулся. Новое утро распалилось за двойной преградой окна, за занавеской и шторой. Только один луч пробился через эту преграду, но зато он был тоненькой струйкой раскаленного металла, проскользнувшего из изложницы, воздух вокруг него превратился в марево.

Проснулся, все вспомнил. Сперва то, что было рядом. Это близкое его даже обрадовало. Вспомнил, что слишком далеко у него с этой Ланой вчера не зашло. Все было возможным, но не случилось. Прозевали, заболтали они какой-то миг легкомыслия, в серьезное стали вступать, веселясь, попивая, обнимаясь. А когда на таких вечеринках вступает женщина в серьезное, то серьезным все становится, обретает свое действительное место в жизни, весомость свою, и мимолетности тут отлетают. Женщины просто хватаются за эту серьезность в любом балдеже, им она драгоценной кажется, она им возвращает надежду, ибо любя и самая-рассамая продолжает жить надеждой. И тогда уж нет уж. Вчера эта Лана так ему и сказала: «Нетушки». Мигом раньше могла бы и подчиниться легко и просто. Но миг был упущен, простота отлетала. А Лара чуть было не ударила своего кавалера. «За кого вы нас принимаете?!»

Злые сидели по углам, по разным комнатам. А сейчас, вспомнив все, он просто был счастлив, что не переступил вчера черту. И вот потому-то, проснувшись, сперва обрадовался. Ну, что бы он сейчас стал делать, если бы не ее вчерашнее «нетушки»? Наверняка чувствовал бы себя отвратительно, стыдно. И новая бы тяжесть прибавилась к его сегодняшним невзгодам. А вот теперь все вспомнилось, себя в нынешнем вспомнил. Так было теперь каждое утро — просыпался, вспоминал и погружался в удрученность. Потому-то цеплялся за самые скверные сны, зная, что спит, страшась яви.

Раскаленная струйка луча, вокруг которого плавился воздух, о грозном зное извещала, который бушевал за шторой и занавеской. Гудел в соседней комнате, надсаживаясь, кондиционер. Но вот и пронзительный звонок телефона позвал из соседней комнаты. Наверное, Чижов. Все, все вспомнилось. И где он, и зачем он здесь, и кто он теперь.

Вскочил, подбежал к телефону, радуясь, что Алексей и дамы хоть прибрали тут все, ну, никакого следа от вчерашних игр не осталось. Водворенные в буфет хрустали, чинно выстроившись, вкрадчивым звоном поприветствовали его, когда пробегал мимо буфета.

— Ты, Захар? — спросил он в трубку.

Но в трубке забился женский голос, это была Лана.

— Милый, проснулся? Головка не раскалывается? Знаешь, а я нашла тебе комнату. Заехать? Посмотришь?

Начинались отношения. Раз женщина не переступила черту, она начинает переступать в серьезность, самоуважение рождает надежду. Ну что ж, а ему было сейчас несложно с ней, он не чувствовал себя подонком, как мог бы чувствовать, если бы... Ну что ж, а комната действительно ему была нужна, не жить же в этом «люксе» какому-то всего лишь слуге двух господ. Что за господа-то? С год назад и не встретились бы, в республиканские министерства иностранных дел, помнится, ему спускаться не доводилось.

— Заезжай, Ланочка,— улыбчиво сказал он в трубку.— Спасибо тебе, родная. Поднимешься?

В трубке долго тянулось молчание.

— Нетушки... Я ведь не каменная... Буду ждать тебя у подъезда.

Сложности начались, но это были несложные сложности, он не переступил вчера черту, он не чувствовал себя подонком.

— Через десять минут, хорошо? Как раз столько минут мне нужно, чтобы побриться, принять душ и нацепить на себя что-нибудь.

— Хорошо,— почему-то тихо, как-то раздумчиво отозвалась женщина.— А то хочешь, поднимусь, прихвачу пожевать?

— Нет, спасибо, позавтракаем в городе! — нагоняя в голос радость и вдруг став дурак дураком и недогадой, улыбнулся в трубку Знаменский и поскорей опустил ее на рычажки.

Да, отношения начались и стремительно развивались, но это все не тяготило, забавляло даже, потому что вчера не переступил черту.

И снова зазвонил телефон.

— Ты, Захар?

Да, это был Захар Чижов.

— Как спал на новом месте?

— Представь себе, все-таки спал.

— Чем занимаешься?

— Да вот собрался под душ.

— А у тебя было занято.

— Разве?

— Знаешь, сегодня так складывается день, что не смогу тебя представить работодателям. Один улетел в командировку срочно, другой отсиживается на даче в Фирюзе, сомлел слегка от жары. Но оно и к лучшему, акклиматизируешься пока.

— А что там, за окнами?

— Жара заметно спадает.

— Что-то не похоже. У меня тут разливка стали происходит из-за штор.

— Нет, полегчало. Сегодня обещают не больше сорока.

— А вчера сколько было?

— Все сорок два.

— Да, сильно похолодало. Захар, ты не огорчайся, что меня твои шефы отказались принять. Я уже начинаю привыкать.

— О чем ты? Действительно, один улетел, а другой сомлел.

— При явном-то похолодании? Не огорчайся, Захар. Но приезжай. Только по-быстрому. Познакомлю тебя с одной прелестной дамой.

— Господи, когда успел?! Нина, представляешь, он уже с какой-то дамой познакомился!

Смолкло в трубке, и Знаменский стал ждать, что сейчас с ним заговорит Нина, насмешливые какие-нибудь отыскав слова. Но Нина не подошла к телефону. Заговорил Захар:

— Не отзывается, спит еще. Так заехать?

— Обязательно! Через десять минут буду внизу.

Под душем, когда потихонечку стал сводить теплую воду к холодной и совсем холодной, когда просветлело в голове, ветерок будто просквозил, не захотелось вдруг, просто не захотелось жить, в такое нырнул отчаяние. Теперь это с ним случалось.

Продолжение следует.

ДАЛЬНИЕ УРОКИ

Лазарь КАРЕЛИН

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

Журналист-международник Ростислав Знаменский, находясь за границей, проиграл в рулетку деньги, полученные на покупку автомашины. Знакомые иностранцы дали Ростиславу взаймы деньги, а затем пытались склонить его к работе на вражескую разведку. Знаменский обратился в советское консульство и рассказал о своем проступке, после чего был отозван из-за границы, исключен из партии.

Захар Чижов, друг по институту международных отношений, порекомендовал его на работу в Туркмению. Встретив Ростислава в аэропорту, Захар приглашает его к себе домой. Нина, жена Чижова, во время учебы в институте была влюблена в Знаменского. Она и сейчас еще неравнодушна к нему. В разговоре выясняется, что Знаменский будет в Ашхабаде работать переводчиком.

Возвратившись в гостиницу, Ростислав попадает в компанию шофера своего друга Чижова и двух молодых манекенщиц.

Он не стал спускаться в лифте: на лестнице было прохладно, солнце с этой стороны здания еще не палило изо всех орудий. Он прошел мимо гостиничной почты, вспомнив, что надо послать жене телеграмму, они уговорились, что перезваниваться пока не будут, поскольку как угадать, где она будет,— дома ли, на даче, на службе или у друзей.

Но о чем телеграфировать? Что долетел благополучно? Он обычно долетал благополучно. Да теперь и не столь важно было, как он долетит, все равно все было неблагополучно.

В тени навеса, там, за стеклами входных дверей, углядел Знаменский картинно прогуливающуюся Лану и на параллельном курсе с ней вяло шагающего Захара. Они явно не были знакомы. Город совсем невелик, а такая яркая молодая женщина и на виду у всех в силу своей профессии, и Захар Чижов чуть ли не заместитель министра иностранных дел, то есть человек здесь известный и всюду бывающий, а вот они даже незнакомы. В разных кругах вращаются? Вот именно.

А немного поодаль, где была стоянка автомашин, лениво похаживал вокруг своей «Волги» Алексей. Не подскочил к Лане, утаил от своего начальника, что знаком с ней. И она даже и глазом не поведет на этого шофера. А как вчера веселились. Тоже в разных кругах вращаются? А ты как думал? И здесь круги и круги, кружочки, секторочки. Интересно, в каком сам-то окажешься? Нет, неинтересно. О себе сейчас думалось с полнейшим безразличием. Ну, тут, ну, там, а по сути, нигде. Он человек в нигде. Сжался, как перед шагом на самую верхнюю ступеньку парилки, отмахнув стеклянную дверь, шагнул. Да, его встретил зной, но не вчерашний. Действительно, сильно похолодало. Вчера было сорок два, сегодня обещают не больше сорока. Всего-то два градуса разницы, а ведь действительно ощутил громадную разницу. При этих, при сорока, жить было можно.

— Вполне можно жить! — Знаменский поделил свое восклицание между Ланой и Захаром, чьи параллельные курсы сейчас сошлись.— Вы, смотрю, незнакомы? Эх, Захар! Чуть не просмотрел главную красавицу своего города! Лана, так вот же вам свой собственный международник. Знакомьтесь!

— Рад, очень рад,— сказал Чижов и неловко пожал слишком высоко поднятую дамой руку. А вот Знаменский эту высоко поднятую руку, как оно и полагалось, поцеловал. Пустяк, но женщины слагают свои чувствования из пустяков, именно из пустяков прежде всего. Знаменский знал это и понял, что еще как-то расположил к себе эту горделиво демонстрирующую сейчас свои стати манекенщицу. Когда тебе не нужно, когда действуешь просто машинально — автоматизм вежливости, то, как держаться, пожалуй, главная из наук Оксфорда, где он год стажировался, тогда и бываешь победоносен. Совсем ненужная ему победа. А вот Чижов для Ланы перестал существовать. Все, пустое место, а не человек. Вот вам и мелочи в обхождении с женщиной.

— Я забираю вас, Ростик,— сказала Лана, поворачиваясь спиной к этому мужлану в заграничной тройке.— Нас ждут. И надо поторапливаться, уведут комнатку.

— Но я на службе все-таки,— сказал Знаменский.— Как, Захар, на службе я или еще не все ясно с этим?

— Все ясно. Кстати, ты непосредственно в моем распоряжении. И ты числишься на службе со дня моей к тебе телеграммы.

— Тогда мне в департамент, Лана. Я клерк.

— Я тоже на службе, но я же бегаю по вашим делам. Уведут комнатку! А какая комнатка! Товарищ Захар, отпустите своего клерка на часок. Кстати, какие-то дни полагаются на устройство на новом месте. Ведь полагаются, товарищ Захар?

— Непременно. Комната — это серьезно, Ростик. Не теряй времени. В Ашхабаде снять комнату непросто. Товарищ Лана, я могу вас подвезти.

— А как же с оформлением, с заполнением личного листка по учету кадров?— Знаменский произносил эти слова улыбчиво.— Я действительно принят на работу? А стол об одну тумбу? Я теперь однотумбовый, так ведь? А знакомство с коллективом? Надеюсь, я ни у кого места не перехватил? Ниже-то меня там у вас есть кто-нибудь? Не хотелось бы, стал страшиться завистников.— Улыбка не сходила с его лица, говоря, он улыбался все беспечнее и шире — умел он это делать. Это тоже была наука. Но вот чтобы глаза улыбались, когда невмоготу, этой науке он еще не обучился.

— Милый,— взяла его за руку Лана.— Они тут должны тебя на руках носить, с двумя-то языками. И пусть завидуют. Мне тоже завидуют. На мне любое платьице выстреливает. Что же, мне плакать по сему поводу?

— Ты оформлен, Ростислав Юрьевич,— сказал Чижов.— Мелкие формальности не в счет. Поехали, поехали смотреть комнатку!

— Куда путь держим, Захар Васильевич?— стронув машину, оглянулся Алексей.

— В сторону ботанического сада,— сказала Лана.— Постойте, а вот вас я где-то встречала.— Она скосила смеющийся глаз на Знаменского.

— Мелькаю по городу. Нет, а я вас не припомню,— сказал Алексей и тоже не удержался, чтобы не сверкнуть своим лукавейшим прищуром Знаменскому.— Разными дорожками, видно, бегаем.

— Это уж точно,— важно наклонила голову Лана. Кого-то приметила она на улице из знакомых, помахала рукой. И еще, и еще—полно тут у нее было знакомых.

Улица прямо шла, широко раздавшись. Не улица, а проспект.

— Этот проспект у вас рассекает весь город?— спросил Знаменский.— Кстати, а базары тут у вас где? На Востоке я обычно с базаров начинаю.— Сказал и осекся, даже улыбкой укрыться не сумел, застыло, погасло у него лицо.

— Понял!— вдруг сказал Алексей, оглянувшись на Знаменского.— Понял...

— Ты о чем?— спросил его Чижов.

— Один человек такой, другой человек такой,— раздумчиво отозвался Алексей.

— Это глубокая мысль,— промолвил Чижов.

— А понять непросто,— продолжал Алексей.— Замаскировались все.

— Кого понять-то? Зачем?— спросил Чижов, посмеиваясь.

— Как зачем? Людей вожу. Случись что, как кто поступит? Вопрос вопросов.

— Вроде как с кем идти в разведку? — поинтересовался Чижов.

— Именно, Захар Васильевич. Дорога всякие чудеса подкидывает. И драться приходилось, от шпаны сколько раз отбивался. А кто тебе спину прикрывает? Вопрос вопросов. Да вы меня понимаете. Помните, как мы у Безмеина круговую оборону держали? Нас двое, их пятеро. Но я в вас не сомневался. И что? Усекли паренечки, растворились.

— Значит, он у вас смелый, ваш начальник?— спросила Лана.

— Отчаянный!

— Как-то даже не верится. А вы не льстец ли, товарищ водитель?

— Только с дамами.

— А вот он у вас не очень с дамами.

Знаменский расхохотался.

— Понял, Захар? Женщины не прощают нам неуклюжестей.

— Ни-ког-да!— по слогам сказала Лана.— Льстивый водитель, не доезжая «Юбилейной», крутани в переулок влево! Ростик, «Юбилейная»— это наша гостиница для именитых гостей. Вон домик с лоджиями. Но это еще не самая-самая. А самая-самая на территории ботанического сада. Там я даже и не бывала ни разу. Там поселяют безгрешных ангелов. Им ничего нельзя. Все можно, а ничего нельзя. В этих отельчиках внизу милиционеры стоят. Где уж тут... Еще разок влево, снова влево, прямо, прямо теперь. Стоп! Приехали!

Улочка, где теснились старые тутовники и карагачи, где тянулись, скрытничая, дувалы почти вровень с кровлями, где у окон были ставни, открылась глазам. Тишина тут жила. Укромность. За дувалами ни звука. Лишь журчали по обе стороны арычные струи, тихонечко пробиралась по желобам прозрачная вода. Тут покой угнездился.

Все вышли из машины, все переводили дух, выбравшись из духоты.

— Господи, сделай так, чтобы эту комнату мне тут сдали!— помолился Знаменский, сведя ладони.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 39, 40.

7

Врезанная в дувал зеленая дверца отворилась. В дверном проеме возник невысокий, щупловатый мужчина, вроде бы старый, но и не старый. Коротко стриженные седые волосы, молодые, упорно всматривающиеся глаза. Пожалуй, не щуплый, а просто нерослый, не раздавшийся в плечах. Но руки с хорошо развитой мускулатурой, рабочие руки. Майка, белые, многажды стиранные брюки, сандалеты на босу ногу — так он был одет. На шее, на потертом шнурочке, крестик. Читался этот человек легко и просто. Этакий совсем, совсем приникший к земле, к своему домику человек. На пенсии уже, конечно, а глаза молодые и руки сильные, потому что дружен с землей, ковыряется, возится со своим садиком с утра до вечера.

— Входите, входите,— сказал он, торопя слова.— Прошу, прошу. Комната вам нужна?— Он глянул на Знаменского.— Таким и представлял. Ростислав Юрьевич? Прельстили меня ваши имя и отчество. Дерзко нарекли. Имя дать — судьбу предсказать. Дерзко, дерзко. Будем знакомы. Дмитрий. И по батюшке Дмитриевич. А жизнь подсократила, зовут все Дим Димычем. Да еще понравится ли комнатка? Не княжеские совсем у меня хоромы. Входите, входите.— Он всех звал, рукой маня, но слова свои обращал лишь к Знаменскому, только на него и взглядывал, быстро, зорко, всякий раз коротко, чтобы не показалось, что разглядывает. Но всматривался, разглядывал.

Вошли один за другим в маленький дворик. Лана уже раньше туда впорхнула, своим тут была человеком, и уже тянулась, привстав на цыпочки, к повисшим высоко фиолетовым сливам, вот-вот ухватит одну. Легкая, прозрачная ее юбка вздернулась, почти нагая длинноногая молодая женщина тянулась сейчас руками к плодам, показалось даже, что к небу. А рядом, близко, показалось, что совсем близко, коричнево морщинились горы.

— В раю живете, Дмитрий Дмитриевич,— сказал Захар.— Сад... Горы...

— Правда? Почувствовали? Но дело не в горах и не в плодах. Женщина вошла и прикоснулась. Какая это все-таки тайна, женщина. Лана, сотворила рай и хватит, возьми табуретку, иначе не дотянешься. Да, а я вас знаю. Захар Васильевич Чижов, если не ошибаюсь?

— Не ошибаетесь. Простите, не помню, чтоб нас знакомили.

— Нас не знакомили. Просто на улице указали мне на вас. Заметный в нашем городе человек. Так уж заведено от века: незаметным указывают на заметных.

— Это вы-то, Дим Димыч, незаметный?— сказала Лана. Теперь она взобралась на табуретку, и Алексей придерживал ее за колени, как-то криво-косо держа голову, чтобы уж совсем не дать волю посоловевшим глазкам. А ей хоть бы что! Тянулась, ухватывала сливу, впивалась в нее зубами, желтые, медовые капли падали Алексею на лоб.

— Верно, кто вас в городе не знает, Дим Димыч,— сказал Алексей, криво-косо держа голову, слизывая сливовые капли, поползшие по носу и губе.— Ланка, слезай! Есть у тебя совесть?!

— Нет, я бессовестная!— Она соскочила с табурета.— А ты что вытаращился, льстивый шоферюга? Не для тебя я, не облизывайся!

Из дома вышла женщина. Молодая. Подтянутая. Куда-то спешащая. Да, молодая, но не такой звонкой молодостью, яркой и даже красующейся, какой была молода Лана. Когда на столь маленьком пространстве — ступени дома и пятачок двора — появляются две женщины, их невольно сравниваешь. Лана по всем статьям была лучше, ярче, именно что звонче. А в этой все как-то пригашено было, она и одета была в платье, хоть и летнее, легкое, но темное. Она выбрала из всех Знаменского, надолго задержала на нем взгляд. Он почувствовал чуть ли не неприязнь в этом взгляде. Попробовал улыбнуться ей, но понял, что как-то не так улыбнулся, что его продолжают рассматривать все так же, без снисхождения.

— Дим Димыч, я на дежурство,— сказала женщина.— Здравствуй, Ланочка.

Она пошла по выложенной кирпичами дорожке, близко прошла мимо Знаменского. Но отчего же такой хмурый, даже сердитый у нее взгляд? А фигура у нее была что надо. С такими ногами веселей бы по жизни ступать.

— Здравствуйте, господа мужчины,— скупо вскинула она руку.

— Светланочка, как жаль, что ты уходишь,— сказала Лана.— Ведь сделку принято обмывать. Посидели бы...

— Какую еще сделку?

— Ну, товарищ же снимает у вас комнату.

— Не у меня, у Дим Димыча. А тебе бы все веселиться. Пойди в дом, умой рожицу. Сладкая очень.— Лане эта Светлана чуть-чуть улыбнулась, чуть-чуть подобрели ее глаза.

— Строга, строга!— сказал Алексей, когда дверь в дувале за Светланой затворилась.— Хозяйка! Дим Димыч, когда это вы успели жениться? Почему я не знаю?

— Не знаешь, потому что не женат. И не собираюсь. А собрался бы, никто бы за меня не пошел. Упустил я жениховскую пору.

— Тогда почему эта докторша в вашем доме очутилась и отчитывается перед вами, что пошла вот на дежурство?

— А потому что потому, молодой человек. Ну, Ростислав Юрьевич, Захар Васильевич, пойдем смотреть комнатку?

Если дворик и сад при этом доме были и схожи с теми двориком и садом, где уже побывал вчера Знаменский, оказавшись у Чижовых, то только деревьями были схожи, виноградником, небом этим знойным, где неподвижно висели чуть ли не вчерашние два облачка. Тот, чижовский клочок земли, был европейским, что ли, вкраплением под небом Азии. Такие вкрапления видел Знаменский, бывая в гостях у своих коллег и в Каире, и в Аммане. По-привычному устраивались на чужой земле люди. Натаскивали в здешнюю природу европейскую мебель, ограждались вентиляторами, кондиционерами и холодильниками, гостили, а не жили на чужой земле. А в этом дворике и садике русский человек Дмитрий Дмитриевич обосновался жить, приняв обычай этой земли, ее требования, законы. Туркменский дощатый помост для летних трапез был тут. Печурка, сложенная из камней, на которой стоял в черноту закопченный чайник. К стволам деревьев подведены арычные канавки, а вот фонтанчика для услады не было, вода тут работала. И виноградник тоже работал, поджарым казался, а не тенистым, шпалеры невысоки, не образовывали беседку — здесь лозы пили и вызревали, чтобы дать людям урожай. Этот садик был вовсе не пригож: каждый клочок земли возделан, тут был и огород. От этой землицы, вложив в нее труд, по́том ее оросив, человек ждал для себя куска хлеба, извечного подаяния земли. И хотя все тут было только для дела, а не для красы и услады, здесь жил такой разумный порядок возделанной земли, такая трудовая строгость жила, что она, строгость эта, и являлась красотой. А еще горы. Как изморщиненная старческая рука, из близкой дали протянутая к тебе. Или старческое строгое лицо? Горы разные подсказывали образы, рождая один, главный, они были вечностью.

Ну, а каков же домик у этого Дим Димыча?

Никаких чудес. Маленькие комнатки с глубоко ушедшими в землю полами, так глубоко, что окна, тоже небольшие, были ближе к потолку, чем к полу. Не богатые, но опрятные коврики повсюду, кошмы. Еще в прихожей все разулись, пошли дальше в носках. Этот обычай тут был не из новых, не продиктован страхом хозяев, что гости затопчут глянцевый паркет. Он пришел из древних времен, как и зарывшиеся в землю полы и высоко прорезанные оконца, чтобы в доме уберегалась прохлада.

— У меня дом так называемая «времяночка»,— сказал Дим Димыч.— Сразу после землетрясения такие домики во множестве появились. Мы сами их и строили, землетрясенцы-то. Кто как умел. Теперь их почти все посносили. Конечно, не шибко казистые хоромы. Но что на что менять. Если на эти панельные секции, которые летом пропекаются, а зимой продуваются, то еще неясно, где лучше.

— Ваш дом поставлен основательно,— сказал Чижов.— Это уже не времянка. Времянки просто сами стали разваливаться. Ведь землетрясение когда было. И строили наспех.

— Кто как умел, кто как умел. Наспех! Занятное словечко, если вдуматься. А что же в нашей жизни не наспех, Захар Васильевич? И для какой такой долгой жизни мы себя уготавливаем? Человек предполагает, а бог располагает.

— Вы верующий?— спросил Чижов.

— Я думающий. То есть я пытаюсь понять, пытаюсь... Но... Вот они, эти верующие, посещающие храмы господни, что они с землей сотворяют, громоздя на ней свои «першинги», «томагавки» и эти немыслимые совсем «МХ-сы»? Господь их, что ли, на это благословил, вера подвигнула? Верующий! Я в церковь не хожу, а крестик — он матерью мне дан, когда умирала. Что ж, если угодно, да, я верующий. Но не как они, не как они, несущие всем погибель. Смешалось, спуталось все. Вы вот коммунист, разумеется, безбожник, конечно же, а к богу вы ближе, чем иной епископ. Смешалось все, перепуталось,— говорил Дим Димыч все это, вроде посмеиваясь, слова подгонял, подгонял, иные даже проборматывал небрежно, но не шутил, глаза у него не смеялись.

Комнат в доме было много, хотя со двора совсем небольшим казался этот дом, невысокий, вжавшийся в землю. Но комнат было не меньше пяти, и из одной дверь вела в другую, наглухо не разгорожены были комнаты, чтобы им легче дышалось. И странно широкими были эти двери в маленьких комнатах.

— Дворцовая прямо анфилада,— сказал Знаменский, улыбчиво оглядываясь.

— А мне здесь нравится,— сказала Лана.— Совсем тут не шикарно, а нравится.

— А где шикарно, так никогда и не понравится, Ланочка,— сказал Дим Димыч.— Там позавидуется. Зависть же, как справедливо изволил заметить философ Ницше,— главное топливо для всех страстей.

— Да, тут у вас симпатично,— сказал Знаменский.— Книг много. Почитаю, если поселюсь. И книги на полках какие-то из детства. Читаные. Корешки старенькие.

— Такие и должны быть. Книги, они для чтения изобретены, а не для бахвальства, как повелось нынче.— Дим Димыч не переставал приглядливо всматриваться в Знаменского.— Это хорошо вы сказали, слово нашли: «симпатично». Спасибо, это большой комплимент мне, хозяину. Симпатично! Если вдуматься, сколько в этом слове теплого смысла. А иное слово как льдышка. Вот, смотрите, эту комнатку и наметил сдать.

Вошли в еще одну небольшую комнату. Сперва пропустили вперед Знаменского, ему тут предстояло жить, ему первому и смотреть. Он вошел, глянул по сторонам. Защемило сердце. Отчего вдруг? А вот потому, что ему тут предстояло жить. Долго ли? Менялась жизнь, отбрасывала его вот в эти стены. На этой узкой лежанке предстояло ему теперь спать, у этого высокого окошка, под которым стоял утлый письменный столик с одной тумбой, присаживаясь боком к столику, предстояло и есть, и письма писать, что-то еще там писать, хотя статьи его теперь печатать не будут, как журналист-международник он кончился. Кончился! Он близко подошел к окну, страшась оглянуться на своих спутников. А в окне стояли горы, стояла вечность. Что им его беды? Такое ли они знали за свои миллионолетия? Он понял, что теперь часто будет смотреть на эти горы, в их лики изморщиненные, ища себе опоры. Какие там у тебя, человек, беды? Есть кровля, есть кусок хлеба, есть вода в арыке. И ты еще не обделен друзьями. Тебе помогают. Ты еще не в конце пути. Отринь уныние перед ликом вечности. Комнатка, конечно, была жалкой, какие-то карты старые развешаны по стенам. Зачем они ему? Мебель была наижалчайшая, из кинофильма про довоенную бедность. Как он к этой колченогости приобыкнется? Да и хозяин, явно странноватый, будет угнетать своими торопливо проговариваемыми философствованиями, дались ему эти «першинги» и «томагавки». И эта женщина с хмурым, просто злым взглядом, явно не принявшая его. Но горы. Как у Льва Толстого: «А горы...» Знаменский обернулся:

— Если я вам подхожу, то я, Дмитрий Дмитриевич, тут бы и поселился.

— Подходите, Ростислав Юрьевич, подходите. Вы не страшитесь, я вас донимать своими разговорами не стану. А эту дверь в соседнюю комнату мы замкнем. У вас еще есть дверь, прямо в коридор, вот через нее и будете ходить.

— А та докторша, она в какой комнатке обосновалась?— спросил Алексей.— Не столкнутся лбами в темноте-то ночной?— Щурились, смеялись его глазки.

— Тебе бы все сталкиваться,— презрительно сказала Лана.

— Жизнь, Ланочка, как узкая дорога в ночное время, где фонари не горят.

— А что это за карты у вас?— спросил Захар. Он пошел вдоль стен, рассматривая поблекшие, выцветшие полотна карт, их тут много было.— О, смотри-ка, дореволюционная карта Туркестана! Старый, доземлетрясенческий план Ашхабада! Историей увлекаетесь, Дмитрий Дмитриевич? Гляди-ка, Ростик, древний план Московского Кремля! И все тут его башни начертаны и поименованы! Ну вот, сможешь теперь изучить имена этих башен. Москвич, а ведь не знаешь, уверен, что не знаешь.— Он принялся читать, торжественно выговаривая:—«Водовзводная», «Набатная», «Царская», «Сенатская»... Снова «Водовзводная». А это вот «Москворецкая»... и она же «Беклемишевская»... Знал ты эти имена, москвич урожденный?

— Слыхал... Забыл...

— А теперь вспомнишь. А что это? Старинная, еще дореволюционная карта Москвы... Центральная часть... Церкви, церкви, церкви, куда ни глянь. Не зря говорили, что Москва была златоглавой. Так вы историк, Дмитрий Дмитриевич?

— Был когда-то картографом. История, конечно, рядом с картой живет, но карта правдивее. Если ее уметь читать, нет ничего более интересного и более поучительного.

— А почему бросили свою картографию?— спросил Знаменский.

— Долго рассказывать... При случае... Карты эти вам не помешают, Ростислав Юрьевич? Не хотелось бы снимать, уж больно ветхи. Фотографии, лики чужие я бы снял, а карта не гнетет. Оставляем?

— Даже попрошу вас оставить. Прав Захар, москвич-то я москвич, а города своего почти не знаю. И Кремля Московского не знаю. Про Тауэр, про Нотр-Дам больше знаю, чем про Кремль.

— Теперь поизучаете,— сказал Алексей.— В ночные часы... Если, конечно...

— У кого что на уме, а у тебя, Алексей, все одно и то же,— сказала Лана.— Ну что ты за человек?!

— Обыкновенный, Ланочка. И ты учти, у всех на уме, что и у меня на уме. Одно и то же, одно и то же. Только некоторые маскируются, а я прямой человек.

— Уж ты-то прямой! Как твоя баранка! Круть-верть!

— Условия мои, Ростислав Юрьевич, без запроса, вперед мне денег не нужно, а вот паспорт ваш понадобится, чтобы оформить временную прописку. Временную во времянке. Когда будете перебираться? По мне, хоть сегодня. Комната прибрана.

— Сегодня и переберусь,— сказал Знаменский, снова подходя к окну.— Завалюсь спать пораньше, а утром — горы.

— Захар Васильевич, поможем?— спросил Алексей.

— Непременно.

— Тогда покатили в гостиницу за чемоданами, прихватим еще там кое-чего и назад. Прихватим, Захар Васильевич? Полагается отметить, чтобы жилось счастливо.

— Мы-то, может, отметим, товарищ шофер, а тебе нельзя,— сказала Лана.— Права отберут.

— Гляжу, полюбила ты меня, Ланочка, бережешь. Учти, я самого Захара Васильевича Чижова вожу. Мы — МИД. Нас не обнюхивают.

— А вот перед богом все равны,— сказал Дим Димыч. Он подошел к Знаменскому, глянул, куда тот глядел.— «А горы...»— повторил толстовские слова.— Да, Ростислав Юрьевич, а перед вечностью все равны...

8

Отмечать переезд Знаменского из гостиницы в дом к Дим Димычу не стали. Уж больно перепад был велик: из «люкса» во времянку. И все это почувствовали, даже Алексей, когда тащил блистательные чемоданы Знаменского в машину. Скатывался, слетал человек со ступеней жизни — все это поняли. Увяла и Лана. Да ей и на работу было пора. Захар позвал обедать, но и ему тоже сперва на работу надо было заскочить. Условились, что завтра с утра Алексей заедет за Знаменским, привезет его в «Домик Неру»— так в городе звали дом,

в котором размещался ныне республиканский МИД. Действительно, дом тот был некогда построен в спешном порядке для Джавахарлала Неру, который должен был прожить несколько дней в Ашхабаде. Но Неру не приехал, а дом сперва приспособили под гостиницу Совета Министров, а потом вот отдали МИД и республиканскому обществу дружбы. Чижов зачем-то всю дорогу втолковывал эту историю «Домика Неру» Знаменскому, когда возвращались с чемоданами из гостиницы к времянке Дим Димыча.

— А это вот мой домик,— сказал Знаменский.— Каждому свое...

Алексей выгрузил чемоданы, хотел было занести их в дом, но Знаменский удержал его:

— Сам, вам надо на работу спешить.

Лана торопливо чмокнула Знаменского в щеку, шепнула, будто одаривая:

— Разыщите меня!

Провожающие сели в машину, Чижов, добро кивая, замахал своей большой ладонью, Алексей, подражая, улыбнулся, перехватив улыбку Знаменского, а тот все улыбался им, когда уже и машина покатила, свернула за угол.

— Вам подсобить?— Неведомо откуда взявшийся, перед Знаменским стоял худой, от рождения в смуглоту прокаленный солнцем мужчина, высокий, сутуловатый, с широкими сухими плечами. Рубаха навыпуск западала в углубление живота. Он был худ неимоверно, одни кости да смуглая, в черноту кожа. Но руки были сильные, ухватистые, не чахлая, а спортивная худоба ощущалась в этом человеке.

— Ашир Атаев,— представился он.— Друг Дим Димыча.— Он подхватил все три тяжеленных чемодана, легко понес к дому. Пока говорил, представлялся, водочный дух ударял в лицо Знаменскому. Этот Ашир Атаев довольно изрядно где-то хватил. Он сразу и показался Знаменскому забулдыгой. Одет был уж очень пренебрежительным образом, рубаха навыпуск и расстегнутая до пупа, штаны коротковатые и пузырями, сандалеты на босу ногу разбиты и с въевшейся в них пылью.

А в дверях стоял Дим Димыч. В маечке застиранной, тоже в штанах пузырями, тоже в сандалетах на босу ногу. Но этот был хоть трезвым. И крестик на шее. Философ доморощенный. Правдоискатель. Верующий от смятения перед жизнью. Осколочек русской души, занесенный каким-то вихрем житейским на землю Азии. Легко читался этот человек. Неудачник! Да и тот, что подхватил чемоданы, поджарый этот туркмен, легко читался. Тоже из неудачников! И уж если человек Востока так пьет, днем начав, то совсем плохи его дела. Как у тебя, как у тебя самого, Ростислав Юрьевич! Вот потому ты и примкнул к этим. Нет, не комнату во времянке снял, а обрел свою среду обитания. Так вот! Ты теперь много ближе к ним, а не к тем, кто укатил на «Волге». Так вот, ты тоже, парень, легко прочитываешься. И прочитали, и позвали — вот сюда, на край города, во времянку. Эти позвали, те отпустили.

Знаменский быстро вошел в дом, прошел по коридору в свою теперь комнату, шагнул поспешно к окну. Не было за окном гор, затянуло даль полуденным маревом. Но они там, неподалеку, за красно-сиреневым вдруг туманцем, они еще откроются.

— Сокрылись от меня горы. «А горы...»— обернулся Знаменский к Дим Димычу.— А не выпить ли нам, братцы? Обмыть же полагается. Нам, полагаю, можно, все можно. Деньги есть.

Он поглядел на них, на бедолаг, даря им самую-рассамую из своих улыбок, так же трудно добыв ее, как эти слипшиеся бумажки из узкого кармана брюк. Он поглядел на них, ожидая ответных, расслабленных, смущенно-радостных кивков, готовности повергнуть себя в мимолетность забвения. Глянул и оторопел, так сухо зорок был ответный взгляд только что показавшегося ему пьяным Аширa Атаева.

Но короток был этот взгляд, будто почудился Знаменскому, а следом, и верно, закивал согласно Ашир, по-пьяному залихватски взмахнул руками, кидаясь в объятия дружбы.

— А я что говорил?! Свой человек! Дим Димыч, есть у тебя?!

— Найдется. Пошли на воздух. Но только я с вами пить не буду. Без меня, без меня.

— На воздух, на воздух!— заторопился Ашир, сутуло устремляясь в коридор, гонимый жаждой.

А Дим Димыч в дверях придержал чуть Знаменского.

— Вы о нем худо не подумайте, Ростислав Юрьевич. С горя пьет. Представляете, был старшим следователем по особо важным делам. Уволен. Как не соответствующий занимаемой должности. Представляете? Легко ли ему, как думаете?

— Думаю, что не очень.

— Да, да, вашему пониманию это теперь доступно. Потому он и потянулся к вам.

— Но ему легче, чем мне. Уволили, ну и что? А вы, Дим Димыч, тоже из уволенных?

— У меня другое...— Дим Димыч поспешно нырнул в коридор, приговаривая:— На воздух, на воздух!

Во дворе, ножками встав по краям арычной канавки, уже красовался маленький, сбитый из досок столик, на котором навалом лежала всяческая зелень — дары здешней щедрой земли, лишь ороси ее хоть немножко. Помидоры громадные алели, редиска бело-красные выставляла бока, лук топорщился стрелами, зеленели, кудрявились листочки кинзы, на виноградных листьях, заменявших скатерть и тарелки, лежали желтые гроздья раннего винограда, синела, сочась желтым соком, слива, маленькие, из первых, круглились дыни, только-только вошедшие в розоватую желтизну, в свой румянец спелости, а рядом круглились небольшие, тоже из первых арбузы, робко еще входившие в свой дерзкий зеленый цвет. И цветным показался Знаменскому аромат, витавший над столиком, этот неземной пленительности дух земных плодов.

Ашир Атаев, строго вытянувшись, изгнав сутулость, отрешенно стоял возле столика. Он казался совершенно трезвым, снова ясную зоркость глаз обрел. Но зоркость его темных, вычерненных зрачков, отчетливо круглых, дульцами, была нацелена сейчас не на Знаменского, не на Дим Димыча, не на мир окрест, а в себя самого нацелена, в себя сейчас всматривался этот человек, как оказалось, поверженный и оскорбленный.

— Вот, друзья мои, чем богат...— сказал Дим Димыч и повел рукой над столом.— А бутылка в арыке стынет, не стал ставить, чтобы картину не испортила.

— Да, картина,— сказал-вдохнул Знаменский.— Тут у вас рай, Дмитрий Дмитриевич. Эх, еще бы горы открылись!

— Не нужны сейчас горы,— пробуждаясь, сказал Ашир.— Бутылка сейчас нужна из арыка.— И снова запьянели, заволокли его в черноту и дульцами глаза. Он выхватил бутылку из воды, обтер об рубаху, высоко поднял, выкрикнул: — Привет тебе, арак из арыка!— Он выкопал стаканчики из-под груды зелени, сноровисто распечатал бутылку, торопливо, но прицельно наполнил стаканчики, вручил и Знаменскому, и Дим Димычу, который не хотел брать, но взял, подчинился.

Стоя свели стаканчики, выпили. И закусывать не спешили. Просто не протягивалась рука к красе на столе, не решился никто первым нарушить картину.

— Ешьте, друзья, закусывайте,— сказал Дим Димыч.— Вот тут с края и ножички, и вилочки. Лепешка вот. Лепешка с базара, сам не пеку.— От лепешки он и отломил, стал жевать.

И Знаменский с Аширом тоже отломили от лепешки, но взяться за ножи и вилки все еще не решались.

— Повторим?— спросил Ашир.— А то как на похоронах стоим.— Он снова забулькал в стаканчики из бутылки.— Подставляй, подставляй, Дим Димыч. Сказано, «на троих»! Ну, разжались!

Не присаживаясь, да и не на что было садиться, стали есть, зачиркали, застучали ножами по доскам.

— Как на светском приеме, а-ля фуршет!— сказал Ашир, и зажглись искорки в его глазах-дульцах.— Полагаю, знакомая для вас ситуация, товарищ Знаменский? Но вместо тарелок виноградные листочки. Сойдет?

— Сойдет. Даже удобней.

— И вилки не нужны. Хватай руками. Правда, удобней?— Ашир Атаев хорошо, почти без акцента говорил по-русски, лишь иногда путая ударения. У него прозвучало не «удобнее», а «удобнее». Иногда в его слова вплеталось слишком уж мягкое «л» или чрезмерно раскатистое «р».

— Удобнее, удобнее,— согласился Знаменский.

— У нас с вами теперь такая полоса жизни, когда назад-назад, в простоту летим. Ощутили? Или еще в шоке?

Этот Ашир Атаев, по одежде если судить, уже порядочно отлетевший назад-назад, почти в бродягу превратившийся, все же считал вот, что они ровня, что они в одну и ту же какую-то полосу попали, где такая уж простота жизни, что можно спиваться и опускаться. Неужели?

— Нет, я еще в шоке,— сказал Знаменский, отгораживаясь от дальнейшего разговора вежливой, но суховатой улыбкой, не сближающей, а пресекающей отношения.

— Дипломат, сразу видно!— сказал Ашир, в упор стрельнув своими зрачками-дульцами.— Вот, Дим Димыч, улыбнись-ка так, попробуй. Наука!

— И у тебя, Аширчик, дорогой, глазки так постреливают, как только у следователя могут,— сказал Дим Димыч.— Тоже наука! Мы же не на допросе, учти.

— Вот тут ты прав, Дим Димыч, не на допросе. И ты не прав, Дим Димыч, мы теперь с товарищем все время на допросе пребываем. Но только особенный это допрос, сами себя допрашиваем. Понимаешь, сами себя? Да ты все понимаешь, прошел через это. А глаза у меня не от профессии, не от выучки на юридическом факультете Ленинградского университета. Тут ты не прав. У меня глаза от предков, от племени теке, от этого песочка в воздухе, прилетевшего из Каракумов, от колкого песочка. Дай мне лошадь, дай мне лук, кинжал, аркан, крикни мне, как кричали мои предки в набеге...— Ашир вдруг истончил голос и закричал, яростно, пугающе оскалив зубы. И вдруг смолк, сник, присел на корточки, безвольно уронив голову. Сухие, сильные его плечи мелко дрожали.

Продолжение следует.

ЛАНЮ УРОКИ

Лазарь КАРЕЛИН

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

Журналист-международник Ростислав Знаменский растратил за границей крупную сумму денег, выданных на покупку автомашины. Знакомые иностранцы прикинулись сочувствующими и дали Ростиславу взаймы денег, а затем пытались завербовать его для работы на вражескую разведку. Знаменский обратился в наше консульство и рассказал обо всем.

Один лишь Захар Чижов, друг по институту международных отношений, не отвернулся от Ростислава после того, как его отозвали из-за границы, сняли с работы и исключили из партии. Чижов вызывает Знаменского в Туркмению и рекомендует на работу.

Знаменский по совету своей новой знакомой Ланы снимает комнату в доме у Дим Димыча. Здесь Ростислав впервые встречает врача Светлану, а также быстро сходится с Аширом Атаевым, бывшим старшим следователем по особо важным делам.

9

Но что же стряслось с этим старшим следователем по особо важным делам — бывшим старшим следователем,— чтобы он мог так закричать?! Это был не клич его племени, не яростный вскрик атакующих всадников, это был крик рушащегося человека.

Они давно покинули дворик Дим Димыча, его заваленный дарами земли стол. Им там тесно стало. Дим Димыч их там пас, обвыкшийся со своей старой бедой, а их беда — своя на каждого!— была совсем новой, свеженькой, кровоточила. И они ушли, хоть и не много выпив, но сразу захмелев, обнявшись, покачиваясь, чуть знакомые, но уже и братья, ибо несчастье роднит.

Ростислав Знаменский и Ашир Атаев побрели по безлюдным, тихим окраинным улочкам, и если попадались навстречу прохожие, то, едва завидев эту пару обнявшихся и шатких, переходили на противоположную сторону. Для прохожих, со стороны-то, они были просто двумя забулдыгами. Один с виду был почти бродягой, другой казался заморским туристом. Но водка, всем известно, и не такие умеет скреплять союзы.

Шли, покачивались, подпирая и слушая друг друга, но говорили разом, каждый еще слушал себя. Ничего, разбирались. И в друг друге разбирались, и каждый сам про себя — сейчас в них обреталась изумительная ясность. Потом утром ничего почти не вспомнят, сбежит от них ясность. Но то утром будет, а пока... И про Дим Димыча сразу все узнал и все понял Знаменский. Узнал, что в землетрясение у него погибли маленькие сын и дочь, а жена осталась без ног, годы и годы потом жила калекой, передвигалась в коляске,— потому и двери в доме из комнаты в комнату ведут, потому такие широкие эти двери, хотя комнаты маленькие. Узнал, что искалеченная эта женщина была доброй и отзывчивой, со всего города сбегались к ней бедолаги, всем она умела помочь. Она и он, Дим Димыч Коноплев.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 39—41.

Дом этот, времянка, где, казалось, неизбывное горе поселилось, был в городе спасительным островком для потерпевших кораблекрушение. Все ясно, все понятно. Такие островки, если поискать, в любом городе отыщутся. Несчастье либо ожесточает людей, либо возвышает. Доброта твоя и самого тебя лечит. Что бы они делали, эти двое, если бы замкнулись в своем горе, ожесточились? Все ясно, все понятно: они врачевались, самовра-чевались добротой. Тут все легко прочитывалось. А вот свое горе трудней читалось. Про другого, слушая его, понималось, про себя, слушая себя, ну никак.

— Понимаю тебя,— говорил Ашир, они сразу же перешли на «ты».— Не разобрались, не пожелали. Да и зависть. Вон ты какой! Ну, конечно, выпороть бы тебя не мешало. Разболтался, что говорить. Это вас, баловней судьбы, вседозволенность губит. Человека в пьяном виде сбил — сошло. Машину перепродал, нажившись,— простили. В какой-то сомнительной компании застукали — обошлось, замяли. Так и скользите по жизни. Все можно! Все сходит! А вот и нет, и нет!.. Но ничего... Не падай духом...

Да, беда его, катастрофа, погибель — все это было ясно-понятно Аширу Атаеву, рассказанное Знаменским его не удивило, все он быстренько понял и объяснил.

Но и Знаменский, вслушиваясь в сбивчивый рассказ про то, за что лишился Ашир Атаев работы, за что стал вот несоответствовать — слово какое мучительное, оскорбительное!— занимаемой должности, но и Знаменский легко и просто все понял и даже растолковал:

— Пошел ты, друг, против начальства, я так понимаю. Занесся, скажу тебе. Ну, следователь, ну, ухватил нить. А по зубам ли этот моток? Решил, что по зубам. Вышло, что нет. Вот и... Но ничего... Не падай духом...

Все ясно, все понятно, все прочитывается. У Ашира про Ростислава, у Ростислава про Ашира. Ясно другому, себе нет. И снова начинают они втолковывать, по второму кругу, по третьему. Бредут, бредут, обнявшись, путаясь ногами, запутываясь в мыслях. Одно хорошо, обрели друг друга. Это уж наверняка хорошо, просто замечательно. Удача! Но наутро и это уйдет, сбежит чувство удачи. Ну, познакомились, потолковали, излишне, жаль, откровенничая, ну, разбежались. Все? Именно! Каждому жить в одиночку. И жить худо. И все же, все же. Глядишь, снова сбегутся. Душа-то болит.

Ашхабад — большой город. Собственно, он еще город, его еще мысленно можно как-то оглядеть, вобрать в возведенную ограду, хотя бы мысленно: ведь города от ограды пошли, от сходившихся за укрытие крепостных стен людей. Оград таких теперь нет. Но город, если не слишком большой, еще возможно оглядеть, огородить памятью глаз. И тогда это город. А если слишком велик, то считай, несколько городов встало под одно имя. В Москве их сколько, городов-то? До дюжины. Медведково — город. Юго-Запад — город. Коньково-Деревлево — город. Речной вокзал с районами возле — город. И так до дюжины. И это не считая центра, того именно места, что зовется от века Москвой.

А Ашхабад обозрим хоть в памяти. Он большой, да маленький. Он еще в человеческом понимании вмещается. И потому всякий человек в нем не песчинка в пустыне, не сам по себе, а на людях. Обозрим, так сказать. Замечен. Куда пошел, с кем пошел — не тайна. Эту нашу пару, бывшего старшего следователя по особо важным делам и бывшего журналиста-международника, только вчера прибывшего,— здешнего бедолагу и пришлого — многие в городе заметили. Шли обнявшись, пошатываясь. Ну что ж, ну что ж...

10

Наутро выяснилось, что и второй из «двух господ» отбыл в командировку. Беседа на высшем уровне с новым сотрудником, стало быть, откладывалась. Впрочем, так ли она была необходима? Для этого сотрудника, для его уровня вполне был достаточен ранг Захара Васильевича Чижова.

— Считай, что беседа по вводу тебя в должность проведена,— сказал Чижов, когда, заехав утром за Знаменским, повез его к месту службы.— Заполнишь личный листок по учету кадров, ну и все пока, ты оформлен.

— И с чего начнется мой трудовой день?— спросил Знаменский.

— С жары,— попытался отшутиться Чижов.— Какая работа, Ростик, когда уже сорок два градуса? А в Каире у тебя там в такую жару работали?

— Нет.

— А мы чем хуже? Закатимся ко мне, ляжем на пол в зашторенной комнате и будем разговоры разговаривать.

— Кейфовать!— подхватил Алексей.

— Но жара эта продлится тут еще два месяца,— сказал Знаменский.— Нет, серьезно, Захар, что у меня будет за работа, каков круг моих обязанностей?

— Все от случая пока. В такую жару к нам делегации не ездят. Ну, а когда начнется сезон визитов, вот тогда мы тебя и запряжем. По всей Туркмении начнешь мотаться, суток не будет хватать. Одна делегация отбывает, другая прибывает. И всем ты нужен. И по линии МИДа, и по линии Общества дружбы с зарубежными странами.

— Фигаро тут, Фигаро там,— сказал Алексей.

— Сам ты Фигаро!— рассердился Чижов.— Сколько раз просил тебя не вмешиваться в чужой разговор. Представляешь, Ростик, этот бойкий товарищ и с иностранцами пытается разговоры разговаривать. Толкует на всех языках, не зная ни одного. Смех и слезы!

— Да, смех и слезы. Выходит, если по совести, ты пригласил меня, Захар, на ничегонеделание? Может, сложить мне вещички — и домой?

— Я пригласил тебя, Ростик, Ростислав Юрьевич, на работу, на штатную должность,— очень серьезно сказал Чижов, поворачиваясь,— он сидел рядом с Алексеем, близко придвинув свое лицо к лицу Знаменского.— Понимаешь, на работу?

— Понял,— после долгого молчания откликнулся Знаменский. Он прикрыл ладонью глаза, заслоняя их от невыносимого солнца и

от истины, которую разглядел в строго-печальном взгляде друга.— Прости, забываюсь.

Машина въехала в распахнутые решетчатые ворота, обогнула клумбу, остановилась у ступеней очень славного в два этажа особнячка.

— Домик Неру!— объявил торжественно Алексей.— Наш офис!

Их никто не встречал. Жара! Да и в доме, когда вошли в довольно просторный холл, никто не вышел навстречу. Собственно, а кого встречать? Чижов был тут своим, а он, новый здесь сотрудник, если даже допустить, что он сотрудник, был в таком заранговом ранге, что просто не полагалось его встречать.

Несколько дверей выходили в холл, на каждой — дощечка с указанием должности хозяина кабинета. Все как у людей. Были тут и министр, и заместитель его, была тут и канцелярия министерства. В нее и вошли. Зной царил в этой узкой, прямо на солнце окном комнате. И в этом зное подремывала пожилая дама. Она ничего не печатала, но руки держала на клавишах пишущей машинки. Встрепенулась, когда отворилась дверь, забегали пальцы, застучали клавиши, чья-то начальственная воля стала превращаться в документ.

— Здравствуйте, Захар Васильевич!— Дама чуть приподняла веки, углядела Знаменского и разом проснулась, любопытством вспыхнули ее поблекшие глаза. И сразу вскинулись руки к прическе и слишком распахнутому воротничку. О женщины! Ей было больше шестидесяти, все увядшим было в ней, жара извела, но вот вошел молодой и пригожий мужчина, и была проведена мгновенная мобилизация всех сил и средств. Даже успела глянуть на себя в зеркальце, помещенное в выдвинутом ящике стола. Зеркальце подсказало, что надо губы друг о друга потереть, чтобы обрели цвет, что и было сделано.

— Здравствуйте, Лидия Павловна,— сказал Чижов.— Вот наш новый референт, Ростислав Юрьевич Знаменский. Прошу любить и жаловать и выдать товарищу личный листок по учету кадров.

Знаменский подошел к секретарше, взял ее очень измученную машинкой и домашней стиркой-готовкой изморщиненную руку и поцеловал. В зеркальце в ящике он увидел ее вздрогнувшие блеклые зрачки, в которых едва теплилась былая голубизна, и увидел лицо, изможенное жизнью, некогда наверняка красивое.

— Что вы, что вы!— сказала Лидия Павловна, вырывая, даже пряча за спину руку.— Никто мне здесь...— Она взглянула на него омывшимися глазами.— Какой вы...— Она не нашла слов, но лицо ее оживало, дрогнули, разжимая морщины, губы.— Какой вы...

— А я что говорил?!— торжествовал в дверях Алексей.— Не обманул, Лидочка?! Он ого! А когда улыбается!.. Ну, все отдай!

Знаменский как раз улыбнулся женщине, дивясь, что вдруг слезы встали у нее в глазах. Отчего вдруг? Его пожалела? Да кто он ей?! Себя пожалела? Вспомнилось что-то? Вот руку ей поцеловал, а она вспомнила... Он продолжал улыбаться ей, дивясь, что и сам на слезы настроился. Вот уж ни к чему! Он быстро распрямился, отошел, сел боком за канцелярский стол в липких сургучовых метах, будто в следах от солнечных смачных поцелуев.

Какая же это мука, оказывается, заполнять личный листок по учету кадров! Сколько таких листков прошло через его руки. Простейшее дело. Он этот обязательный бумажный набор всегда походя одолевал. Оказывается, и это дело стало теперь тягчайшим для него. Пункт седьмой: партийность. Надо вписывать в этот пункт, что исключен из партии. Потом надо будет написать про то же самое в автобиографии. За этим столом с прожженным сукном, испятнанным подтаявшим сургучом, который вдруг отвратительно завонял канцелярией, рука не могла писать. А в руке был золотой «Паркер». И сидел за столом некий франт заморский, вырядившийся — надо же!— в легчайший, без рукавов пиджак, но все же пиджак, поскольку ехал в офис, выставивший — торчали ноги, не поместившиеся под столом!— матово-белые туфли, наилегчайшие, заносчивые, явно очень дорогие, те самые, что купил в Брайтоне, самом светском из английских курортов. Он почти не курил, не позволял себе, но тут закурил. Из одного кармана достал коробку «ванкемповских» сигарок, это курево богачей — нашел что прихватить с собой! — из другого кармана добыл ронсоновскую золотую зажигалку. Закуривая, приметил, как любуется, восхищается им Алексей, цену назначая всем его вещицам джентльменским, и стало ему совсем невмоготу. Он вскочил, сунул все похваляющиеся вещицы в карманы, а анкету протянул Лидии Павловне.

— Жарко! Не могу! Мысли слиплись!

— А и не к спеху,— сказала Лидия Павловна, отводя глаза, не примечая его растерянности.— К концу дня, когда спадет жара, вот тогда и допишете.

— Конечно, конечно,— сказал Чижов, отрываясь от газеты, которую читал, уйдя в угол, где тень была чуть погуще.— Моя вина, что усадил тебя за бумажки в этакую жару. А приказ, Лидия Павловна, отбейте. Мол, принят и все такое.

— Это я мигом!

— Я не прощаюсь, Лидия Павловна,— сказал Знаменский.— Спасибо вам...

— За что же?— Она подняла на него глаза, была занята закладыванием листа.

И вот уже затрещала машинка, заколотились молоточки букв, вбивая в бумажный лист приказ о новой судьбе этого человека, столь нарядного, блистательного, столь поверженного.

Знаменский выскочил в холл, оттуда во двор, на ходу стаскивая влипший в плечи пиджак. Никого вроде на пути не встретил, но кто-то вошел в дверь слева, кто-то выглянул из двери справа — его разглядывали. Как же это он умудрился так вырядиться?! О чем думал?! После вчерашнего пустой была голова, он о пустом и подумал, решив явиться на новую работу, никак себя не роняя, будто ничего в его жизни не произошло. А пункт седьмой личного листка по учету кадров? Он напомнил. Произошло самое страшное, жизнь его вступила в зону стыда. Стыдно было жить — вот что произошло!

У клумбы с розами, которым дышать было просто нечем, а потому они исходили терпким ароматом, благоухали предсмертно, его ждала Нина Чижова. В наилегчайшем прозрачном платье. В легких, прозрачных туфлях. В широкополой шляпе из соломки. Глаза укрыты громадными кругами темных очков. И еще цветастый зонтик во вскинутой руке. Из дальних стран женщина. Из пальмовых стран. Из его недавнего. Рядом с ней можно было и не сдирать с плеч, что так и не удалось сделать, этот распижонский пиджак с ярким платочком — и платочек сунул!— в верхнем кармане.

— Ниночка!— кинулся он к ней.— Как хорошо, что ты здесь!

11

Совсем рядом с «Домиком Неру» начинался парк. Туда Нина и повела Знаменского. Вышли на проспект Свободы, прошли немного — вот и вход с непременными колоннами, и сразу же за входом просто древняя аллея, такие старые, вековые росли на ней тополя. Эти деревья смыкались кронами. Здесь было волгло, дурманно пахла листва и людей почти не было. Тихо. Только пощелкивали сухие выстрелы пневматических ружей из недр паркового тира. Там мальчишки практиковались в стрельбе, гомонили, когда кому-то удавался выстрел.

— Этому парку столько же лет, сколько и Ашхабаду,— сказала Нина.

— А сколько лет Ашхабаду?

— Недавно отмечали столетие.

— Это не возраст для города.

— Но и за эти всего сто лет он уже успел один раз погибнуть. Слыхал про страшное здесь землетрясение?

— Слыхал. Твой Захар поведал, едва я ступил на эту землю. Смелые люди, сказал, тут живут. Не сбежали, подняли город. Слыхал, слыхал.

— А что, и смелые. Земля подрагивает тут чуть ли не каждый год. И никто не знает, понимаешь, никто не знает, сколько будет баллов. Пять — пустяки. Семь — страшно. Девять — жертвы, смертельная опасность. Десять — гибель всему. Усек, где мы живем?

— Я и всегда был фаталистом, а теперь... Меня и потянуло сюда, потому что — бах, тарарах!— и нет тебя.

— Тебе так плохо, Ростик?— Нина остановилась, закрыла зонтик, сдернула очки, чтобы поближе можно было заглянуть ему в глаза.

А он — ну что за человек?!— глаза зажмурил, а губы улыбаются. И не понять ничего, дрессированное лицо.

— Выучили тебя,— сказала Нина.— Выдрессировали! А мне вот плохо, и я не улыбаюсь.

— Тебе легче. А почему тебе плохо? Захар из настоящих, он из надежных. Нет ничего лучше, если рядом с тобой надежный человек.

— И еще что-то нужно.— Она снова спрятала глаза за громадными кругами темных очков, раскрыла зонтик, им отгораживаясь, потому что теперь Знаменский на нее глядел.

— Кстати, а где здесь главпочтамт?— спросил он.

— Думаешь, уже пришло письмо от Лены?

— Мы решили переписываться телеграммами. Трудно ли послать телеграмму? До востребования...

— Пошли. Пересечем парк, минуем сквер, где стоит памятник Ленину, минуем здание Совета Министров, здание банка, крытый рынок, свернем направо — и мы у цели. Востребуй.

— Пошли.

— А она, Лена, как теперь с тобой? — тихонько спросила Нина.

— Рассчитывает, что все обойдется.

— Ну понятно, связи. А уж энергии ей не занимать.

Они свернули с центральной аллеи на боковую дорожку, прошли мимо корта, на котором какие-то фанаты изнуряли себя под убийственным солнцем, перекидывая будто обмякший от жары мяч.

— Я бы не мог рукой пошевелить,— сказал Знаменский.

— А это еще не жарко у нас считается для лета,— сказала Нина.— Ничего, привыкнешь. Человек ко всему привыкает. Я вот привыкла же.

Они миновали скамейку, на которой сидели два очень старых человека, он и она, в одинаковых чесучовых блузах, в одинаковых бесформенных панамах. Муж и жена, конечно же. Встретились взглядами, разминулись.

— Представляешь себя таким?— спросила Нина.

— Бог даст, не доживу.

— Да, не хотелось бы.

Знаменский оглянулся. Старые люди о чем-то переговаривались.

— Обсуждают нас, осуждают, может быть,— сказал Знаменский.— Наверно, за то, что так я вырядился. И правы!

— Завидуют, думаю,— сказала Нина.

— Есть чему...

— Со стороны — или не пара? И молодые!— Нина отошла чуть в сторону, глянула на Знаменского, повернулась на каблуках, как бы и себя оглядев, свела его и себя в один огляд.— Чудо что за пара! Счастливцы! Победители! Знаешь, Ростик, я как вспомню о сыне, так жить не хочется...

Он подошел к ней, обнял за плечи, приподнял ее очки громадные, чтобы можно было заглянуть в глаза.

— Молчи, молчи, молчи!— вырываясь, сказала Нина. Она собралась было заплакать, но вдруг рассмеялась.— А со стороны-то, со стороны... Вот уж обниматься принялись! Одурели от счастья!

Они вышли из парка, молча одолели короткую улицу, в конце которой на тоненьком столбике был водружен крохотный бронзовый бюст Пушкина.

— Откуда он здесь?— спросил Знаменский.— И почему такой уж сверхскромный?

— Этот бюст установлен на деньги гимназисток,— сказала Нина.— Вот этот дом приземистый, мимо которого идем, тут когда-то была женская гимназия. И знаешь, это один из трех домов, которые устояли во время землетрясения. Еще банк, какой-то еще жилой дом, за постройку которого инженер в свое время пострадал. Мол, вредительски истратил деньги на слишком прочные стены.

— Но все же почему такой крошечный бюст поэта? Поскупились гимназисточки?

— А мне этот памятник очень нравится. Девочки сложили копейки, именно копейки. Никто не кичился богатством родителей, купцов или крупных чиновников. Нет, сложились по гривеннику, лишив себя порции мороженого. Я этот памятник и этот скверик очень

люблю. Как пришла сюда первый раз, сразу подумала: мое место.

— И мое, пожалуй. Ты права, тут славно. Деревья печальные, Пушкин трогательный. Да, и мне теперь придется обживать этот городок.

— Тогда вот и еще одно мое место тебе покажу. Смотри, мы входим в сквер, где стоит памятник Ленину. Смотри, вот он. Подойдем поближе?

— Подойдем.

— Этот памятник не упал во время землетрясения, только мозаичные ковры постамента потрескались. Правда, символично?

— Символично.

— Он тут тоже, как и Пушкин, очень трогательный. Он не призывает, смотри, он спрашивает. Мол, как вам тут живется-можется?

Деревья в сквере росли в отступе от памятника, ему тут просторно было. Все так, просторно и должно быть этому человеку, обыкновенно, не картинно вставшему тут, о чем-то, и верно, спрашивающему, руку вот приподнявшему, чтобы этим движением помочь своему вопросу. Пожалуй, про это и спрашивал: как, мол, живется-можется? Невыносимо стало Знаменскому стоять здесь и смотреть на Ленина. Жгло солнце, но и жгли мысли. Даже не мысли, а одна всего в тонкий звук вытянувшаяся мысль, боль в мозгу, то чувство стыда, которое взорвалось в нем, когда присел к столу, чтобы заполнить анкету. Смотреть на вопрошающего, чуть пригнувшегося к тебе Ленина было невыносимо.

— Уйдем! Пекло!— сказал Знаменский.

После этой Ленинской площади под солнцем прохладными показались истомленные в зное аллеи старых деревьев, которыми они пошли дальше. В просветах между ветвями виднелись какие-то стены, торжественные проглядывали портики — они шли через центр, где стояли правительственные здания, величественные среди величественных деревьев, загадочные от этого воздуха, где воедино сошлись запахи цветов на клумбах, горьковатый запах грозной пустыни, нет-нет да и насылавшей на город огненный выдох своих барханов, пронзительный, кинжальный ветер с гор, запах сомлевшего асфальта, а все вместе это был воздух города, вставшего на краю пустыни и у подножия гор, города, под которым часто смертоносно дыбилась земля, где жили смелые люди, про то не задумывающиеся, где живут и какие они. И рядом, в двадцати — тридцати километрах отсюда, была граница с Ираном, и солдаты в смешных зеленых панамках, часто попадавшиеся навстречу, были в черноту опалены солнцем, еще более неумолимым, чем здешнее. Приграничный город.

Миновав чайхану, новенькую, современную, выполненную «под старину», но не из дерева, не из влажной глины, а из бетонных плит и потому совершенно не манящую в свою бетонную прохладу, миновав вывернутые чашами купола крытого рынка, они были тоже из бетона — здешний главный архитектор всюду настаивал на этом несокрушимом материале,— миновав переговорный пункт, из раскрытых дверей которого вырывались голоса, пытающиеся докричаться до Москвы, Ленинграда, Мары, Ташауза, Кара-Калы, Бахардена, Кушки, миновав громадные окна парикмахерской, где подвергались самосожжению женщины под сушильными колпаками, пришли наконец на почту, на главный почтамт, который был тоже из беззащитного стекла и неумолимого бетона. Взошли по ступеням. В просторном зале гул стоял от работающих кондиционеров, ветерочки тут проносились. Где-то за стеной трещали телеграфные аппараты, где-то девичьи голоса вымаливали, выкликали из далекой дали все те же имена: Москва, Ленинград, Мары, Ташауз...— и радовались, поймав их, и торопили, приказывая: «Говорите! Говорите!»

Почта! Вместилище надежд и разочарований. Теперь ему часто придется бывать здесь, нагибаться вот к этому окошечку с буквой «З», протягивать паспорт.

Знаменский подошел к букве «З», достал паспорт, протянул его молоденькой девушке, которая уже давно заметила нарядную пару, из другого мира людей, лишь случайно оказавшихся в ее городе. Все «буквы» заметили их, все девушки в своих окошечках лучами глаз повели их через зал, и каждой «букве»,

каждой девушке хотелось, чтобы луч-локатор подвел бы эту пару к ней. Зачем? А интересно, что за люди? Вот ведь выдалась этой нарядной женщине счастливая участь. Вон как одета! Вон какой спутник! Просто принц из сказки!

Итак, принц подошел к букве «З», протянул паспорт. Туркменочка с выплетенными косичками, строго стянувшими ее маленькую голову, большеглазо поглядела на него, потом в раскрытый паспорт, быстро, смуглыми пальчиками перебрала пачку писем и телеграмм в ящике, и Знаменскому показалось, что эти пальчики перебирают для него варианты судьбы. А вдруг?! Когда не везет, отказала удача, черная пошла полоса, только и надежды на это «а вдруг!». Он не ждал никаких добрых вестей, да и что могло поменяться в его судьбе за два-три дня, но здесь, на почте, где в ящичках, как в лотерейных барабанах, заложена судьба, ворохнула сердце надежда.

— Есть!— радостно воскликнула девушка, которой очень хотелось порадовать этого принца.— И еще!— Она протянула Знаменскому две телеграммы, улыбнувшись такой зажегшей все личико улыбкой, какой бы и он не сумел улыбнуться.

— Спасибо, милая!— сказал он и все же рискнул посоревноваться с ней, ответно улыбнувшись.

И так они посверкали друг на друга улыбками, этими знаками своих душ, и одна душа была беспечальной, а другая лишь притворялась.

— Вы ждете перевод?— спросила озабоченно девчушка. Она знала, что мужчины больше всего радуются переводам, но не было ему перевода, она не могла его обрадовать. А вот телеграмм, она знала, мужчины не любят, телеграммы несут тревогу. Но что может опечалить такого счастливца? В прекрасной одежде женщина терпеливо ждала его у входа. Такие, как он, получают только счастливые телеграммы.

— Вы артист?— спросила она.— А переводы у нас к вечеру поступают. Загляните. Я вас где видеть могла? В кино?

— Во сне,— сказала ее напарница, тоже туркменка, сидевшая на букве «И». Это была девица постарше, уже и морщинки разочарованные улеглись у губ.

— Ай, Джамал, зачем так говоришь?!— обиделась и возмутилась девчушка, будто подруга выдала ее сокровенную тайну. И дальше заговорила по-туркменски, быстро нанизывая слова, колкие, резкие, как маленькие камушки, летящие с крутой горы. И подруга стала отвечать на туркменском: два камнепада слились, напомнив, что за этими стенами из стекла и бетона близко стоят горы, что где-то рядом грозная лежит пустыня, что в небе яростное повисло солнце, что он, Знаменский, очутился сейчас в стране Туркмении.

Прислушиваясь к этому быстрому, колкому говору, к непонятным, неуступчивым словам, Знаменский медленно шел через зал к Нине, по пути читая телеграммы. Первая, что побольше, была от матери. Она беспокоилась, как сын долетел, как его приняли, она умоляла, чтобы он писал, берег себя, берег себя. Дважды были отпечатаны в телеграмме эти два слова: «Береги себя, береги себя». А дальше следовали в тексте еще два слова, которые наверняка телеграфистка советовала убрать, но отправительница настояла на них. После дважды «береги себя» телеграфный аппарат отстукал: «Восклицательный знак»,— и в этом восклицательном настойчивом знаке был весь характер его матери, ее жизненный напор, отданный только ему, единственному сыну, надежде и гордости. А вторая телеграмма, от жены, была, напротив, предельно лаконична. «Как ты там» — и все. И никакого, конечно, пропечатанного двумя словами вопросительного знака, который был и не нужен, конечно же, он вытекал из текста. Но и никакой подписи. А вот подпись бы тут пригодилась. Ну хоть это самое наипростейшее, естественное: «Твоя Лена». Не было «твоей Лены», анонимен был вопрос про то, как он там. Чья телеграмма, от кого? А кто его знает! Он-то знал, что от Лены, но она не подписалась. Стыдится? Таится?

Он подошел к Нине, которая с покорностью женщин Востока ждала его, тая лицо под широкими полями шляпы.

— От Лены?— спросила она.

— От мамы и от Лены.— Он показал Нине телеграмму жены.— Смотри, даже не подписалась. Как думаешь, почему?

— Деловая... Зачем лишнее слово?..— Нина не знала, что ответить, прятала глаза под широкими полями шляпы.

— Вообще-то даже два тут полагаются слова: во-первых, «твоя», во-вторых, «Лена». Вот такие вот, Ниночка, мои дела, если правду сказать.

— Я думаю, ты не прав, ты усложняешь.

— А ты говоришь не то, что думаешь, ты утешаешь. Ладно, подожди еще минуточку, я отвечу ей.— Он шагнул было назад в зал, Нина попыталась удержать его:

— Не сейчас, Ростик. Поостынь чуть-чуть.

— Негде тут остывать. Я мигом.

Знаменский отыскал глазами окошко, где принимались телеграммы, быстро подошел к нему, радуясь, что нет очереди, быстро заполнил бланк. После адреса написал всего три слова, сами написались, из-под руки выскользнули: «Сорок три градуса». И все. И никакой, разумеется, подписи.

— А подпись?— спросила женщина в окошке, русская, немолодая, усталоглазая.

— Все!

— Впрочем, понять можно,— сказала женщина, чуть пробуждаясь, умно всматриваясь в нарядного этого, пригожего и удрученного чем-то мужчину. Углядела она и его спутницу у дверей. Ох-ох-ох, молодые люди... Вам ли печалиться?..

На улице, когда из сквозняков кондиционерных снова погрузились в плотный зной, Знаменский сказал Нине, погордился своей находчивостью:

— Отстукал ей всего три слова: сорок три градуса. Что и соответствует действительности.

— А как подписался?

— Никак.

— Вот спадет жара, и ты тащи ее сюда,— сказала Нина.— Ух, погуляем! Тут замечательно осенью. Закатимся куда-нибудь. Тут такие места, такие селения в горах... Вы как уговорились, когда ее ждать?

— Никогда, наверное. Разве что на денек-другой. У нее очень плотный график, знаешь ли. Своя карьера. Свои друзья. Как ей вырваться?

— Я бы вырвалась,—сказала Нина, отвернувшись от него, на что-то там заглядевшись.— Смотри, караван верблюдов прибыл в город! Какие важные! Какие прямо царственные! А я бы вырвалась... Пойдем к нам обедать? Или хочешь, пойдем, я покажу тебе наши базары. Вот этот, крытый, называется по старинке «русским», а есть еще «текинский базар», он интереснее, а по воскресеньям есть у нас толкучка. Ты напиши Лене, там можно приобрести старинные украшения из серебра. Редко, но попадаются действительно старинные вещи. Ты напиши, примани женщину. Ты ведь знаешь нас, женщин? А у тебя разве не было своих друзей? Мне рассказывали... Москва гудеть начинала, когда ты в нее возвращался из очередной заграницы. Я, представь, интересовалась, как ты там, Ростик Знаменский, живешь-поживаешь.

— А вот заманивать как раз вас, женщин, и не нужно,— сказал Знаменский.— Это последнее дело. Смотри, мой приятель идет! Мой здешний внезапный сотоварищ! Тесный, тесный у вас городок!— Он поднял руку, позвал:— Ашир! Ашир! Приостановись! Сейчас, Нина, я тебя познакомлю с бывшим старшим следователем по особо важным делам. Не смотри, что он такой пообносившийся. Пьет! Горе у него! Понимаешь, у нас с ним совпало! И, скажу тебе, умнейший малый!

— Кто? Этот?— Нина приметила в толпе на прибазарной улице, а они по этой толкучечной улице сейчас шли, человека, которому махал Знаменский. Этот человек нерешительно приостановился, явно не обрадовавшись встрече, явно готовый шмыгнуть куда-нибудь и затеряться. И на расстоянии было видно, что он не совсем тверд в своих движениях.

— Ростик, но это же какой-то бродяга,— сказала Нина.

— Пропился, так думаю. Но, поверь, умнейший парень. Да ты сейчас убедишься.

— А вот и нет!— обрадовалась Нина.— Смотри, припустил от нас! Сбежал! Пожалуй, неглуп. Понял, что мне бы было трудно с ним знакомиться.

Действительно, только что был в толпе Ашир, а вот его и нет. Куда подевался? Здесь, среди этих лотков, киосков, лавчонок, жаровен, в снующей толпе совсем нетрудно было исчезнуть.

— Жаль!— искренне огорчился Знаменский.— Мы с ним вчера содержательный вечерок провели. Говорили, говорили, даже легче мне стало.

— Ростик, не кажется ли тебе, что с не таких знакомств надо здесь начинать?— вовсе не укоряя, а лишь заботу свою выказывая, спросила Нина.

— Начинать? Ты считаешь, что я приехал сюда начинать? А не заканчивать? Да вон же он! Ах, паршивец, спрятался в пивнушке! Сейчас я его достану!— Знаменский рванул было, но опомнился, вернулся к Нине, взял ее за руку, поднес руку к губам.

— Нина, прости великодушно, но меня неудержимо тянет к этому бродяге. Верно, тебе незачем с ним знакомиться, а я побегу. Отпускаешь? Прощаешь?

— Но ты придешь к нам обедать?

— После пивнушки-то? Ниночка, от меня будет дурно пахнуть. Но завтра, завтра обязательно. Приглашаешь на завтра?

— В любой день, Ростик. Мы с Захаром всегда тебе будем рады.— Она подумала, поколебалась и вдруг взмолилась: — Ростик, прошу тебя, уйдем отсюда!

Он внимательно поглядел на нее, помедлив, поискав слова, попросил:

— Нина, ты не жалей меня... Хуже нет...

— О чем ты?! — Она распрямилась, даже оскорбилась, наиграла, как могла, свое возмущение.

Но он ей не поверил:

— Хуже нет... Так я побежал?

— Беги...

Она проводила глазами его засновавшую в толпе спину, будто окрылившуюся от этого из невесомой ткани пиджака, который сейчас впорхнет в грязное нутро прибазарной пивной, плечи ее, словно озябнув, вздрогнули. Сновавшие здесь люди обтекали ее. Здесь ей не место было. И она торопливо пошла отсюда. Ведь город был глазаст, приметлив, как все азиатские города. С кем шла жена дипломата? Почему вдруг осталась одна? А спутник ее нарядный куда побежал? Ну что ж... Так, так...

Продолжение следует.

ДАЛО УРОКИ

Лазарь КАРЕЛИН **РОМАН** **Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА**

Работая за границей, журналист-международник Ростислав Знаменский проиграл деньги, выданные ему на приобретение автомашины. Знакомцы, оказавшиеся разведчиками, дали Ростиславу под расписку деньги, а затем стали вербовать его для шпионской работы. Знаменский рассказал об этом в советском консульстве, его отозвали из-за границы. Он остался без работы, был исключен из партии. Только друг по институту международных отношений Захар Чижов протянул Ростиславу руку помощи, порекомендовав его на работу в Туркмению. В Ашхабаде Знаменский сразу же подружился с бывшим следователем по особо важным делам Аширом Атаевым. Нина Чижова, которая когда-то была влюблена в Ростислава, знакомит его с городом. Зайдя с Ниной на почту и получив телеграмму от жены, Знаменский понял, что она не хочет ехать в Ашхабад.

В пивной, в павильоне из пластика и стекла, загустела вонь. Тут и минуты нельзя было продержаться. А вот держались мужики, потягивая пивко.

— Ну и разоделся!— встретил Знаменского Ашир.— А я знал, что ты сюда заглянешь, взял для тебя кружечку. Пей! Подвиньтесь, кунаки!

Он стоял у высокого стола, у залитой пивом и завалленной рыбьими ошметками поверхности из пластика.

— Может, не стоит?— Знаменский нерешительно взял кружку, поднес к губам, унюхав рыбью вонь от стекла.

— Ну, не пей!

Знаменский поспешно поставил кружку, отодвинул от себя.

— Может, уйдем отсюда?

— Ну, уйдем.

Вышли на шумную улочку, где, оказывается, расчудесный жил запах близкого базара, дыней пахло, виноградом мускатным, дымком жаровень. И не так уж было жарко, оказывается. Если плохо тебе, человек, загляни в еще худшее, и тогда назад потянет, как к радости. Таков всеобщий закон.

— Как после вчерашнего? Вижу, умеешь пить. А я думал, развалишься. Нет, обучили по заграницам.— Ашир насмешливые, в прищуре, косил на Знаменского свои угольные, без белков, глаза.— А зачем так вырядился? На службе был? И кто же ты теперь?

— Референт без дела.

— Но в МИДе?

— Да, в вашем.

— Все-таки... А я вот безработный.

— Рассказал бы толком, что все же с тобой стряслось. Галдели, галдели мы вчера, но больше про себя и для себя.

— Правильно говоришь. Мысли-то рвут башку. Надо их выпустить, надо их в звук превратить. Вот этим вчера и занимались.— Ашир вдруг стремительно оглянулся, прикрыв ладонью глаза.

— Что ты оглядываешься?

— Спина велит.

— Куда пойдем?

— Лучше бы к тебе, к Дим Димычу. Светлана Андреевна сегодня выходная, раз вчера дежурила. Погляжу на нее. Я в нее влюблен. Вдруг да подсядет к нам. О, она строгая! Не всегда такой была. Ну, какой она была! Ай, какой она была! Но теперь улыбки не допросишься.

— А почему?

— Заинтересовала? Стенка в стенку теперь будете жить. Завидую тебе.

— У нее, что же, своей квартиры в Ашхабаде нет?

— Все у нее есть. Нет, я тебе не завидую. Когда такая женщина рядом, только труднее дышать. К ней руку не протянешь. Ты пошутил, а у нее презрение в глазах. Бежать надо от такой. Но, может, подсядет сегодня? Я для нее никто, еще хуже, чем никто. Она запрещает мне даже смотреть на нее. Раз закричала на меня, чтобы не смотрел. «Все вы одинаковые!» — крикнула. Я ее понимаю, я ей все могу простить. Я вел ее дело.

— Господи, и у нее что-то не в порядке?!

— А я ее люблю. Слово даю, пошел бы за ней на край света.

— Есть еще и подальше Ашхабада край?— усмехнулся Знаменский.

— Есть. Ну, приглашаешь к себе?

— Пошли. Но тогда надо прихватить что-нибудь.

— Прихватим в «Юбилейной». У меня там буфетчица знакомая. Вел ее дело.

— Буфетчица? Так ты же по особо важным был.

— Женщины, учти, всегда в особо важные влипают дела. Без женщин таких дел и не бывает.

— А у Светланы Андреевны тоже особо важное было?

— Следователи не болтливый народ, учти. Про себя можно, про других молчок. Пешком идти долго, в троллейбусе надо ехать. Пошли к стоянке. Побежали! Вон троллейбус!

На стоянке, когда подбежали, толпился народ, все больше женщины, потные, с большими сумками, хурджумами из шершавой, жаркой и на глаз ткани. А троллейбус, когда подкатил, когда раздвинулись неохотно его двери, таким жаром дохнул, столько в нем людей было, что сунуться в его нутро показалось Знаменскому делом невозможным.

— Поехали на такси!— ухватил он за рукав Ашира, ринувшегося было к дверям.

— Совсем ты у нас бай, Ростик Юрьевич,— сказал Ашир и вяло поднял руку, шагнув на проезжую часть.— Когда отвыкать начнешь?

Машины проносились мимо, не было среди них такси. Но вот и мелькнул зеленый огонек, но тоже промчался мимо.

— А, будем час тут стоять!— сказал Ашир.— Наши таксисты любят сами себя катать.

Но проскочившее такси вдруг остановилось, а потом — о чудо!— начало пятиться к ним, а водитель, когда машина встала, перегнулся и распахнул дверцу.

— Прошу, Ашир Атаевич!

— А, знаешь меня?— зорко глянул на водителя Ашир.— Поехали, Ростик. Знакомый человек приглашает. Знакомство — великая сила.

Уселись позади водителя, машина рванула, старенький это был драндулет, разболтанный, выцветший и извне, и изнутри, но поджарый, горбоносый шофер был похож на джигита, он и был джигитом, и машина слушалась его, трепетала и рвалась, как старый, а все-таки ахалтекинской породы конь.

— Куда, Ашир Атаевич?— спросил водитель и вдруг быстро, негромко еще что-то спросил по-туркменски.

— К «Юбилейной» подскочи,— сказал Ашир.— Он меня спрашивает, Ростик Юрьевич, почему я такой... Слушай, друг, сейчас говори со мной по-русски. Он мне сочувствует, я так думаю. Ну, пью, полоса такая.

— Вы вели мое дело, Ашир Атаевич,— оглянулся водитель, глянув вскользь и на Знаменского. Аширу его зоркие, тоже в уголь глаза подарили уважение, по Знаменскому скользнули с любопытством.

— Я так и подумал. Вспомнил тебя. Не твое я тогда дело вел, Чары, ты в чужой арбе оказался.

— Спасибо вам, справедливый человек. Все искал вас по городу, в персональных машинах высматривал, думал, в гору пошли, а вы...

— Кто в гору идет, тот и сорваться может. Не жалей, не жалей меня, джигит. Машина почему такая старая?

— Честно работать хочу, потому. Тому дай, тому сунь — тогда на новенькой «Волге» покачу. А два года? Я их не забыл. Слушай, прости, Ашир Атаевич, зачем пьешь? Зачем такой? Нам хорошие люди нужны. Зачем ты так? Прости, пожалуйста.

— Что тебе сказать? Следователь — вредная работа, друг, опасная работа. Попью немножко и остановлюсь.

— Обещаете?!

— Не обещаю. Надеюсь... А тебе за сочувствие хочу дать совет. Как бывший следователь. Бывший...— Ашир замолчал, будто забыл, что посулил что-то посоветовать, он замолчал, замкнулся, понурился.

Машина остановилась на тихой, в ухоженных деревьях улице, где по правую руку стоял осанистый современный дом с лоджиями, с внутренним двориком, видным за нарядной решеткой, где рдели розы, а по левую руку тоже осанистое протянулось здание из бетона и стекла, за которым зелеными зарослями начинался ботанический сад.

Вышли из машины, Знаменский протянул водителю трешку, но он ни Знаменского, ни его денег не заметил, он на Ашира смотрел, все ждал, что тот ему скажет. А тот уже отошел от машины, далеко отошел, идя, пришаркивая, сутуло, и вдруг обернулся, распрямился, крикнул:

— Честный человек, Чары, самый богатый!

Чары, невысокий, сухой, воистину наездник, подобранный, быстрый, вскочил в машину, как в седло, рванул ее с места в карьер, пришпорив и прикрикнув, развернул без всяких правил, промчался мимо Знаменского, радостно чему-то скалясь.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 39—42.

— А деньги?!— Знаменский взмахнул трешкой.

Промчалась машина, умчалась.

13

— Куда?!— крикнула из-за стойки женщина, когда Ашир переступил порог ее владений, а это был зал, стены которого были обшиты деревом, паркет сверкал, а оконные стекла, которых тоже было тут в избытке, были обряжены будто в нарядные юбки, сперва кисейные, а потом парчовые.

После зловонной пивной этот зал показался Знаменскому дворцом. И здесь прохладно было, откуда-то шел ровный, спасительный гул кондиционеров. Вдали, где мерцала зеркальная стойка, где и стояла строгоголосая женщина, лица которой было не различить, там в пестрый ряд выстроились еще и конфетные коробки, трогательные мишки на Севере, ромашки российские, желтое поле колосящейся пшеницы — Родина встала в глазах, сложившись из этих коробок.

Но Ашир спокойно шел, пришаркивая, к стойке.

— Куда?! Куда?!— чуть поубавила голос женщина, все внимательнее всматриваясь в Ашира, даже через стойку перегнулась.— О аллах! Ашир Атаевич, это вы?..

— Я, я, Роза-джан. Не узнала сперва?

— Да как же я могла вас узнать, Ашир Атаевич?!— Женщина выбежала из-за стойки, кинулась к Аширу, руки сведя ладонями, замерла возле него.— Я слышала, в городе говорили, но... Но я не верила, Ашир Атаевич, я и сейчас не верю. Может быть, вам деньги нужны? Скажите только. Я кольца продам, серьги... Все с себя сниму!..

Это была пожилая, поблекшая женщина, но еще продолжавшая воевать с наступившей старостью: выкрасилась, став красно-рыжей, брови подведены, губы щедро подмазаны. Но ведь жара. И весь этот грим чуть потек, а красно-медная высокая прическа сбилась, устали старые волосы держать фасон. На пальцах кольца, в ушах сережки, на морщинистой шее золотая цепочка, платье из дорогих, сразу видно, хоть и явно жарковатое, не по сезону. А в черных глазах выбелилась и старость, и усталость. И в эти старые глаза сейчас набежали слезы. Лицо женщины, зажив сочувствием, старушечьим становилось под молодящим ее гримом.

— Ничего такого продавать не надо, Роза-джан,— попытался улыбнуться Ашир.— А продай-ка ты нам пару бутылочек, какой-нибудь еще закуски на вынос, вот и все. Мой коллега заплатит, деньги у него есть. Пока. Кстати, познакомьтесь. Это, Ростислав Юрьевич, знаменитая наша Роза-джан! Ну, что было, то было, а сейчас она внуков воспитывает и в этом буфете работает через день. И все копеечка в копеечку. Не смотри на меня так, Роза-джан! А это наш новый ашхабадец, Ростислав Юрьевич Знаменский. Ну, что было, то было, а сейчас он с нами. Да, да, Розочка, в городе тебе все правильно сказали... Выгнали меня с работы, отказали в доверии, знаешь ли, да, да, говорят, что я взятки брал... Веришь?

— Нет! Это неправда!— Женщина гневно выпрямилась, шагнула даже к дверям, будто кинуться хотела куда-то, чтобы немедленно опровергнуть эту неправду.— Я сама вам предлагала! Знаю, и другие предлагали! Разве вы взяли?! Про вас и молва такая шла: «Не берет!» Оговорили вас, Ашир Атаевич!— Она приблизила к нему свои в потеках туши плачущие глаза.— Почему?..

— Длинный разговор, Роза-джан, ненужный разговор.— Ашир устало подсел к столу, рукой поддержал голову, вдруг устав безмерно.— Дай-ка нам чего-нибудь, иссох совсем.

— Сейчас! Сейчас!— Она кинулась к стойке, рванула дверцу холодильника, спеша, спеша, будто за спасительным кинулась лекарством.

Хлопнула пробка, вырвавшись к потолку, излилось радостной пеной шампанское, и вот запенились бокалы на столе перед Аширом и Знаменским. И они начали глотать этот праздничный напиток, а буфетчица, смаргивая слезы с тушью пополам, со стороны смотрела на них, старую руку с кольцами подведя под подбородок.

— Это с какой такой радости льется тут шампанское?!— раздался громкий, напористый, отчетливо сановный голос.

На лестнице, спускавшейся в буфет из гостиничных покоев, картинно встал полноватый, вернее, дородный мужчина в той загадочной поре, когда, если издали глянуть, и пятьдесят человеку может быть, а может, и под семьдесят. Он одет был вольготно, по-домашнему, в какой-то рубашке-апашке, в штанах явно пижамного происхождения, ноги в шлепанцах. А разве он здесь не у себя дома? Сановно выпирал из-под рубашки живот, совсем худым и неловко быть, когда обременен ты властью, а то, что человек был наделен властью, в этом усомниться было невозможно. Он так и оделся наипростейшим образом, выходя на люди, что ему дозволена подобная простота, наперед прощалась ему. Но лицо... После этих шлепанцев, уверенно попиравших ступени, живота начальственного, голоса сановного и лицо ожидалось под стать — округлое, щекастое, увы, самодовольное. Нет, не такое у человека было лицо. Неожиданным оно оказалось. Странно смуглое, оливковое, с запавшими щеками, с отеками в подглазьях. Больное лицо. Что голос? Что осанка? Как ни оденься, как ни прикинься, а лицо твое, человек, оно про все расскажет.

Важно переступая, чуть растянув губы в приветливой в меру улыбке, кивнув коротко хозяйке буфета и еще короче этим двум, что пили шампанское в такую-то жару, зорко, цепко оценив каждого взглядом, не удивившись здесь Знаменскому, то есть человеку под стать этому месту, и изумившись его сотоварищу, человеку, по внешнему виду для сих мест неприличному, мужчина подошел к буфетной стойке, пальцем маня к себе буфетчицу.

— Роза Халимовна, нарзанчик мой, прошу вас.— Он позволил себе благосклонно оглянуться.— Эх, завидую вам, молодые люди!

— Проездом из Байрам-Али?— спросил Ашир.

— Как угадали?

— Да уж угадал. Не пейте нарзан, уважаемый товарищ. Попросите у Розы-джан стаканчик мацони, снимите пленку, там сыворотка будет, вот это и пейте.

— Откуда вам известно, что мне не показан нарзан? Вы врач?

— Да уж известно. Нет, не врач.

— Личным опытом делитесь? Тогда отчего же вы с утра хлещете эту отраву, если у вас почки не в порядке?

— У меня почки в порядке.— Ашир долил себе в стакан, выпил, нарочно утерся рукавом, насмешливо буравя сановного мужчину своими дульцами.— Вот почки у меня в порядке. Сердце — тоже. Легкие — тоже. Желудок — тоже. Счастливый человек, да?

— Вообще-то именно так, счастливый.— Заинтересовавшись, мужчина подошел к Аширу, разглядывая и его, и Знаменского, вдруг отвлекшись от Ашира, а заинтересовавшись больше Знаменским.

— Позвольте, позвольте, а ваше лицо мне знакомо. Разрешите? Он подсел к их столику, продолжая всматриваться в Знаменского.— Как же, как же... Ну, вот и узнал! Как же, как же...— Он оглянулся, повеселевшим голосом приказал: — Роза Халимовна, еще бутылочку от меня молодым людям! Надо же?! Узнал, узнал... А я, извольте, рискну отведать вашего мацони! Вдруг да то самое! Ростислав Знаменский, если не ошибаюсь?

— Не ошибаетесь,— кивнул Знаменский.— Но я вас, хоть убейте, не могу вспомнить.

— Вы меня действительно не знаете. Успех лишает нас зоркости. Вы солировали, я был в толпе. Всякий раз, как встречались.

— Где же это все происходило?— спросил

Ашир, буравя своими дульцами.— Ростик, ты вроде бы не оперный певец.

— В посольствах, в посольствах, молодой человек, на приемах, на а-ля фуршетах, где копченостей навалом, там как раз, где я просадил свои почки.— Оливковоликий трагически поширил глаза, наигрывая печаль и даже ужас, но наигрывать не стоило, печаль и даже ужас на самом деле жили в этих пугающе густо выжелтившихся глазах.

Буфетчица принесла бутылку шампанского и граненый стакан с мацони.

— Правильно Ашир Атаевич говорит,— сказала она.— Мацони от многого может излечить. Или хотя бы облегчить.

— Ашир Атаевич?— глянул на Ашира оливковоликий, сравнивая свое впечатление от него — по одежке ведь встречаем — с явно почтительным отношением к нему весьма уважаемой тут хозяйки буфета.— Кстати, позвольте представиться, Александр Григорьевич Самохин, Чрезвычайный и Полномочный Посланник. Учтите, все три слова пишутся с большой буквы. Ну-ка, что за чудодейственная сыворотка? — Он снял ложечкой жирную пленку в стакане, осторожно-осторожно зачерпнул, поднес к вытянувшимся трубочкой губам, с явным трепетом отведал.

— Смелее!— подбодрил его Ашир.— Ручаюсь, что не навредит. И вообще если уж лечите почки в Байрам-Али, то и пейте все туркменское. Если не секрет, в какой стране вы посланник? Я мысленно произнес это слово с большой буквы, верьте мне.

— Ого, занозистый!— по-другому как-то глянул на Ашира Самохин, этот Чрезвычайный и Полномочный Посланник.— Отлетели мои страны, молодой человек, отшумели. Но ранг, звание нам сохраняются. Верно говорю, уважаемый Ростислав? Вас как по батюшке?

— Юрьевич.

— Да, отлетели. А я про вашу историю чуток наслышан, Ростислав Юрьевич. Пошумела Москва. Наслышан. Но мне ли не понять? Молодость, соблазны, куда ни глянь, а ты там один, посоветоваться не с кем. Так?

Знаменский не ответил.

— Но... А все-таки, а все-таки... В мое время побольше было строгости, спасительной, скажу я вам, строгости. На связи уповали? Угадал?

— Зачем этот разговор, товарищ посланник?— Знаменский отрешенно глянул на старика, да, старика,— близко к семидесяти было этому человеку с сановной фигурой и больным лицом.

— Не сердитесь на меня, Ростислав Юрьевич!— Самохин просительно положил руку на руку Знаменского.— Я не про вас. Вообще, общие рассуждения. Связи, связи! Престижи! Чего-то не умею по-стариковски понять. Простите.

Рука у него тоже была больная, с выжелтившимися ногтями.

— Я не сержусь,— сказал Знаменский.

— Как мое мацони?— спросил Ашир.— С недельку по стакану утром, по стакану вечером — и жажды нет, и почкам делать нечего. Точно говорю! Ростик, хлебнем еще, раз бутылка стоит, уважим посланника?

— Не подтрунивайте, не надо,— сказал, вдруг построжав, даже озлившись, Самохин.— Верно, посланником я был, но и сегодня кое-что еще значу. Так какие служебные обстоятельства занесли вас в столь знойные места, Ростислав Юрьевич?— Голос у него стал строгим, официальным, сановные в нем зазвенели струны.— Тесть пристроил? Помог, конечно же? А я что говорю?!

— В местном МИДе начинаю работать. Что-то вроде референта. Скорее, переводчик, сопровождатель гостей.

— А я что говорю? Все-таки... Вы ведь вне партии пока?

— Да.

— Место в таком случае не из плохих. МИД — он везде МИД!

— Но наше мацони помогает почкам, когда печень не раздувается,— негромко сказал Ашир, глядя не на Самохина, а на буфетчицу.— Верно говорю, Роза-джан?

— Любое лекарство так,— сказала буфетчица, утаивая улыбку в морщинах у губ.— Сердитая душа не излечивается.— Она поклонилась мужчинам и направилась к своей стойке, плавно ступая и раскачиваясь, зная, что еще не старуха и что мужчины смотрят ей вслед.

— Но и сегодня кое-что еще значу,— упрямо набычил шею посланник.

— Никто в этом не сомневается, раз вы остановились в «Юбилейной»,— миролюбиво сказал Ашир.

— Да, да, именно так, молодой человек, стало быть, заслужил, имею право. Кстати, с кем имею честь?

— Да какая уж честь, Ашир... Местный житель... Вот, познакомились, угощает товарищ Знаменский.

— Да, да, превратности судьбы, понимаю. Ну, а я переброшен на иностранный туризм. Слыхали? Учрежден такой комитет. Весьма не шуточное дело, если вдуматься. Государственный комитет СССР по иностранному туризму. Наш председатель в ранге министра. Наша главная задача — показать страну всему миру. Усекли, молодые люди? Ростислав Юрьевич, вам-то понятно, сколь важна эта работа. Лицо страны показываем.

— Именно, именно!— внезапно очень заинтересовавшись, горячо закивал Ашир.— А разве мало интересного в нашей Туркмении? Вы только в Байрам-Али побывали, Александр Григорьевич?

— Ну, еще в Мары. Возили на экскурсию по земле древнего Мерва, показали развалины средневекового мавзолея султана Саджара. Впечатляет. Вы думаете, я в Байрам-Али только лечиться ездил? Вот именно, выяснял, а нельзя ли сюда наших туристов направлять.

— Мало!— горячо сказал Ашир.

— Что — мало где побывал? Я еще согласился на Марыйскую ГРЭС съездить, хотя и не люблю индустрию с черным над собой небом.

— Мало!— еще азартнее сказал Ашир.— Побывать в Туркмении и ничего не увидеть... Ай-ай, нехорошо! Заведовать иностранным туризмом и проскочить через такую страну... Вай-вай, нехорошо! Ну, хотя бы Красноводск... Небит-Даг... Кара-Кала...

— Если по вашей Туркмении путешествовать, месяца не хватит.

— Года, дорогой, года! Но я вам только два-три места назвал, которые вам и для дела нужны, и для тела. Для вас, с вашим нефритом.

— У меня нет нефрита, с чего вы взяли?! Предрасположение всего лишь.

— Для вашего предрасположения, согласен. Ведь Красноводск — про это мало кто знает!— еще целебнее имеет климат, чем Байрам-Али. Да, да, зной и море. А Небит-Даг? Пустыня! Целебный зной для вас! А Кара-Кала? Ведь это же сухие субтропики! Сухие! Вы понимаете, что это означает для ваших почек? Я уж не говорю, что это родина нашего великого Махтумкули! Побывать в Туркмении и не быть в нашем Михайловском?! Ай-ай, как нехорошо!

— Что с тобой, Ашир?— попытался унять его Знаменский.— Ты прямо как на базаре торгуешь красотами своей Туркмении.

— Почему торгую?! Добрый совет даю! Мацони и в Ашхабаде есть, это так, но от мацони маленькая польза. А от верблюжьего чала вы бы просто на десять лет помолодели, Александр Григорьевич! Пили чал? Нет! Эх, тогда совсем не были в Туркмении! Чал — это чудо! Он все смывает, все промывает и через поры выходит. Только через поры. Это же напиток чабанов, караванщиков. Это же из верблюжьего молока делается! Совсем не жирный, совсем будто прозрачный напиток, но чудо творит!

— Так, так, так, чал?!— заинтересовался Самохин.— Я слышал о нем, мне говорили. Надо попробовать. В Ашхабаде на базаре он есть?

— Есть, привозят иногда. Но разве это чал?! Он должен быть свежим. Его нельзя далеко везти, он, как ваш сибирский омуль, как алматинский апорт, теряет в пути свои целебные свойства. А где его родина? Где стада верблюдов прямо на шоссе выходят? А вот по дороге из Красноводска в Кара-Калу. Там, только там, дорогой Александр Григорьевич, у чабанов, в любом селении можете получить вы этот чудодейственный напиток в первозданном виде. Воздух! Зной! Море и пустыня лоб в лоб! И чал! Я не шучу, вот ваше место на земле после всех банкетных копченостей. С неделю попьете чал, подышите этим воздухом прикаспийским — и забудете про свои почки! Я не шучу! Роза-джан, ты все знаешь, я правду говорю?!

— Чал от многого лечит,— отозвалась буфетчица.— А воздух там сухой, это так. Но очень уж жарко... И воды не достать, чтобы руки даже вымыть...

— Вот и хорошо, что жарко! Нам это и нужно! Мало воды? Есть, теперь есть вода. По трубам от Каракумского канала подвели. Ты отстала от жизни, Роза-джан!

— До Красноводска еще не довели, но до Небит-Дага, верно, довели,— сказала буфетчица.— Я не отстала от жизни, Ашир Атаевич.

— Хорошо, согласен! Но в Красноводске есть великолепный опреснитель. В гостинице, особенно в люксах, всегда есть вода. Я там жил, я знаю. А какой у Красноводской ТЭЦ замечательный пансионат на берегу Каспия — ты про это знаешь? Там один старик сказку сотворил! Весь берег из роз! Виноградники! Гранатовые рощи! Пляж! Теплое море! И нет туристов! Они просто не знают, что существует этот рай! Обидно!

— Да, заманчиво, заманчиво излагаете, молодой человек,— сказал Самохин.— Вы с кем там в доле? Почему вам так нужно, чтобы я туда поехал?

— Вот!— воздел руки Ашир.— О век двадцатый, сомневающийся! С кем я в доле? Какая мне выгода? Ну, есть, есть выгода, согласен.

— Ага!— обрадовался Самохин.— Излагайте, раз заманиваете.

— Ну, во-первых, отрядили бы с вами нашего Ростика,— стал загибать пальцы Ашир.— А ему надо нашу страну посмотреть, если уж он сюда приехал работать. Раз. Ну, во-вторых, этот старик, что создал пансионат на пустынном берегу, давно нуждается в поддержке, в рекламе, а он мой друг. Два. Ну, а в-третьих, дорогой товарищ, а что если я хочу, чтобы вы поправились? Я для вас хорошее сделал, вы для меня что-нибудь сделаете. Вот выгоды.

— И все?

— Мало этого?

— Ну, я так думаю, еще какое-нибудь порученьице у вас для Ростислава Юрьевича найдется. Угадал? Отвезти что-нибудь, привезти что-нибудь. Угадал? Там икра в Красноводске, так думаю, еще бывает. Угадал? Икра?

— Да, опытный вы человек, товарищ посланник!— Ашир даже головой покрутил, восхищаясь.— Горячо, горячо... Там и барашки есть, шкурки. Но вы не о моей пользе, вы о своей думайте. Там чал! Там сухой воздух! Для кого Байрам-Али, а для кого — Красноводск или Кара-Кала. Свой для каждого микроклимат, отыскать только надо. Рискнете! Рискните, советую! Слетайте на недельку. И по службе вам зачтется. Ну, и Ростик с вами нашу Туркмению поглядит. Согласен, Ростик?

— Там выкупаться можно будет?

— Замечательный пляж! И никого, почти никого! Это тебе не Ялта, где как на тюленьем лежбище! Завидую, просто завидую!

— Вот бы и слетали,— сказал Самохин, полный недоверия, но уже и охваченный тем азартом, который всегда готов вспыхнуть в больном человеке, заслышавшем о целебной какой-нибудь травке, воздухе или чале этом, действительно целебном, он и раньше слышал, напитке.

— А на какие шиши? А кто меня пошлет? Кто пустит? Туда, в Кара-Калу, пропуск нужен. Граница с Ираном. Нет, мне туда дорога закрыта. А куда она мне открыта?— Ашир будто рукой смахнул с себя все оживление, он вдруг поник, отрешился, отгородился, смолк.

— А что, а что — и слетаем!—сказал, оживляясь, теперь он загорелся, Самохин.— Слетаем, Ростислав Юрьевич? На недельку? Я договорюсь, вас со мной пошлют. Конторы-то у нас родственные.

— Я не против,— сказал Знаменский.— Хоть служба пойдет.

— А в Москве вас всячески отрекомендую, что помогли. Тестю вашему отзвоню. А?! Чем не чал?! Пейте, пейте, молодые люди!— Самохин разлил шампанское по стаканам.— Чал... Да... Надо попробовать... Ну, а пока я с вами мацони чокнусь. Глотну глоточек. Ашир Атаевич, за вашу идею, стало быть! За совет!

— Вот и хорошо,— не поднял головы Ашир.

14

Ничего не случилось, разговор этот вроде бы ни к чему не обязывал, был не слишком серьезным, напоминал обычный застольный треп, но Знаменский почувствовал, что его опять по-

вели. Всю жизнь так, сколько себя помнит, с детства еще, когда брали за ручку, чтобы отвести в школу. Он привык. Он давался чьим-то рукам, чьей-то воле. Будто бы решал сам, но и не сам. Его наставляли, ему подсказывали, его вели. Все шло и даже катилось как по маслу. В гору шел, только в гору. И помогавшие, ведшие его облегчали ему восхождение. Он привык. И он был им всем благодарен — они желали ему добра. Он такой уродился, что ли, что все желали ему добра. А когда споткнулся, то вот уж тут он сам виноват. Самостоятельность проявил? Увлекся? Забылся? Ну вот...

Они быстро допили шампанское и расстались. Но на прощание Самохин посулил, что завтра же побывает в МИДе, что обо всем договорится, а там и в путь.

— До Красноводска как лучше всего?— спросил он Аширa.

— Только воздухом. Часть пути.

— А потом?

— Можно на машине, можно и на вертолете, если уважат посланника. Вы им объясните там, что для целей иностранного туризма, скажите, что...

— Найду, найду, что сказать!— посуровел Самохин.— Учить меня не следует. Ростислав Юрьевич, до завтра! Утречком, покуда эта печь в небе не слишком разгорелась, все и обделаем.— И удалился, важно переступая по лестнице, издали сановный, самонадеянный.

Знаменский подошел к стойке, стал разглядывать конфетные коробки.

— Конфеты она у тебя ест, Ашир? — оглянулся Знаменский.— Молодец, Роза-джан! Очень приличный выбор. Третьяковская галерея. Васнецовские богатыри, шишкинские мишки. Не жарко им?— Он улыбнулся буфетчице, сочувственно покивав.

— А, пустые коробки!— взмахнула кольцами буфетчица, радостно откликаясь на улыбку Знаменского.— Не пойму, а вы кто? Ну, слово даю, видела вас! По телеку, так?

— Возможно. Мелькал иногда. Отмелькался. Что она у тебя пьет, Ашир?

— Ничего или все. Бери, что есть. Не думаю, чтобы она к нам подсела.

— А ничего и нет, кроме шампанского,— сказала буфетчица.— Да и то самое сухое. Мне его даром не нужно.

— Роза-джан, соберите нам что-нибудь выпить и закусить на одну даму и троих мужчин,— сказал Знаменский и стал добывать из тесного брючного кармана слипшиеся четвертные.

— Особенно-то деньгами не бросайся,— сказал Ашир, подходя к стойке. Он был какой-то озябший, поник совсем, будто застольный этот треп действительно был серьезен и даже истомил его.

— Думаешь, этот Самохин клюнул на твое предложение?— спросил Знаменский.

— Полетите, полетите.

— У тебя действительно есть какое-то для меня поручение?

Ашир не ответил. Глянул только быстро и не ответил.

Вернулась из подсобки Роза-джан, неся в руках картонный ящик.

— Сколько с нас?— спросил Ашир.

— Да что вы, Ашир Атаевич?!

— Э, нет, дорогая.

— Вы столько для меня сделали... До самой смерти не забуду...

— Так не пойдет, Роза Халимовна. Я не для того тебе столько сделал, чтобы ты по старой дорожке опять пошла.— Злым стало у него лицо.— Почему столько золота на тебе? Откуда?

— Ах, Ашир Атаевич! Ах, какой ты!— Она любовалась им, в его злые глаза заглядывая с любовью.— Вот какой ты! Спасибо, что ты есть! А золото, что золото? Разве ты не знаешь, что старые татарки все драгоценности, что от матери, от бабушки сберегли, носят на себе? Чтобы не отобрали. Ты знаешь. И у туркменок так. А дома у меня палас дырявый и топчан из неструганых досок. Ты же знаешь...

— Зайду, проверю,— чуть смягчился Ашир.— Слово даю, проверю.

— Ой, заходи! Я тебе ноги у порога вымою! Как сыну родному...

— Ну, ну...

Ящик понес Ашир, не дал его Знаменскому.

— Выпачкаешься,— сказал.

Продолжение следует.

ДАЛЬНИЕ УРОКИ

В Ашхабаде встретились и сразу же подружились двое «бывших»: журналист-международник Ростислав Знаменский и следователь по особо важным делам Ашир Атаев. Один, работая за границей, проиграл в рулетку деньги, выданные на покупку служебной автомашины. Другой был уволен за то, что не смог объяснить, откуда взялась в его сейфе большая сумма денег. Вскоре Знаменский и Атаев познакомились с ответственным работником Государственного комитета по иностранному туризму Самохиным. Атаев настоятельно советует больному Самохину слетать со Знаменским в Красноводск и Кара-Калу — там лечат почки целебным напитком из верблюжьего молока. Ростислав понимает, что эта поездка зачем-то нужна Аширу.

Лазарь КАРЕЛИН

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

Они шли по тихой улочке, по которой вчера проезжал Знаменский на машине, и улочка открывалась ему по-новому. Глаза невольно выискивали, чему бы тут порадоваться,— ведь ему теперь жить в этих местах. Они прошли мимо школы, большого здания с большими окнами, забранными в решетчатые из бетона узоры по первому этажу. Архитектор полагал, что узоры эти из бетона украсят его школу. Так, наверное, на рисунке и получалось, но встал дом, грянуло солнце, налетели из пустыни ветры с колкой пылью, дожди со снегом пролились зимой, и бетонные цветы-узоры угасли, запылились, краска сошла с них, всякий сор забился в прорези и извивы, и замыслы архитектора, его мечты на бумаге погребла реальность бытия.

Но зато, когда свернули за угол, где школьный двор открылся и где полно было ребятишек, собравшихся здесь летом, чтобы ехать в пионерский лагерь, замысел другого архитектора восхитил Знаменского. Это были мальчики и девочки из младших классов, тут, на школьном дворе, резвилась человеческая молодь. Уже были поданы автобусы, мамы и бабушки уже скликали ребят, но дети играли. Девочки были в длинных национальных платьях, тюльпанами разбегались они по двору, мальчики, хоть и в форменных костюмчиках, как-то так приспособили к себе эту форму, что казались не школьниками, а маленькими джигитами, они и прыгали тут, и скакали, будто сидели на лошадях, их главной игрой тут было перепрыгивание через довольно высокую металлическую ограду — туда-назад, туда-назад. Толстая труба ограды была отполирована их телами. Прыжки иные были просто рискованными. Но смотрели на джигитов девочки, перебегая стайками, замирая и дивясь. И мальчики рисковали, чуть ли не цирковые выделывая номера. И вот тут ожили серые стены школы, тут архитектор удивительную явил свою талантливость. Тут и небо было на месте, хоть и палило неистово, и горы близкие были очень нужны, уместны, и эта площадка, залитая асфальтом, не казалась унылой, а цвела тюльпанами, тут даже обыкновенная труба ограды, над которой метались ловкие тела, не казалась трубой, а была барьером ловкости и мужества. Вот такую свою школу и запомнят до конца дней своих эти ребятишки, мужать будут, стареть будут, а в глазах их удержатся этот двор, небо, горы, эти милые стены, в памяти сбережется, что были ловки, смелы, не чувствовали своего тела, что будто летали они, умели летать. Да, иной тут работал архитектор, иными располагал и материалами — от железной трубы до снежной вершины и знойного неба.

Знаменский обрадовался этому школьному двору, столь близкому от его нового дома. У него не было детей, Лена не хотела обременять себя. А он и не задумывался, нужен ли ему ребенок, мелькали дни, некогда было о чем-то таком, извечном подумать. Но к ребятишкам тянуло. Где бы ни очутился, всегда заглядывался на таких вот, как они, мелькавших и скакавших. Теперь он сможет иногда бывать здесь, место было из радостных и для глаз, и для души.

Вдали открылась та улочка, на которой стоял дом Дим Димыча, теперь его обиталище. Там совсем было тихо, дувалы тянулись вровень с кровлями, кроны тополей, сходясь в вышине, выстлали по улочке густую тень, арычная вода позванивала, шла быстро. Вступая сюда, человек вступал в тишину и благодать. И он теперь жил тут. На всех почти дверцах, врезанных в дувалы, в крепостную их толщу, висели бумажки, на которых коряво было начертано: «Квартиры нет». Здесь не сдавали комнат, здесь жили для себя, потаенно, своим миром. А ему вот сдали. Он шел сейчас домой, к себе. Но на этом «к себе» мысль упиралась как бы в стену, в толстый, из вязкого самана дувал. Куда к себе? Кто там его ждет? И сам ли шел? Вчера его сюда привезли, сегодня его сюда повели. Он вдруг спросил у Ашира, приостановившись:

— О каких эта Роза-джан взятках говорила? Тебя, что же, уволили за взятки, Ашир?

И Ашир приостановился.

— Что ж, давай поговорим,— сказал он устало.— Да, считается, что я уволен из прокуратуры за взятки. Почти никто в это не верит, но факт получения мною денег, так сказать, зафиксирован. Не совсем, конечно. Иначе бы я сидел. Почему никто не верит? Тут я не прав. Кто захотел, тот поверил. Нашли в моем служебном сейфе пачку денег, толстую пачку, происхождения которой я не смог объяснить. Подсунули? Но ключ был только у меня. Он был, правда, когда-то и в других руках, у моего предшественника. Но когда это было? Надо было сменить замок, но мой предшественник был моим другом. Словом, не совсем убийственный факт, но достаточно убивающий, чтобы можно было прогнать, запятнать, уволить — вот оно, это слово! — за несоответствие. И это еще милосердно! — Ашир не заметил, что перешел на крик.—И это еще я благодарить должен! Пожалели с учетом былых заслуг!

— Я не верю, чтобы ты мог взять взятку,— сказал Знаменский.— Ну, не верю. И эта Роза-джан так говорила... А она из бывалых. Подсунули? А кому это нужно было, Ашир?

— Вот! — Ашир вдруг затравленным движением огляделся по сторонам, сникая, сводя голос на шепот.— Вот... Я это и должен установить, дорогой товарищ...— И опять он непонятно себя повел: дурашливо взмахнул руками, плечи свел-передернул, как-то жалко-беспечно, ухмылочкой пьяноватой развел губы, скалясь, будто радуясь.— Но я вот пью-гуляю, горе запиваю! Меня обидели, прогнали — я пью! «Бродяга я-а!..» — затянул он резко и фальшивя. Он встряхнул ящик, там зазвенели бутылки.— Вот сейчас добавим! Такие дела!

— Ашир, тут же никого нет вокруг,— близко подошел к нему Знаменский.

— Думаешь? Идем, идем, не оглядывайся...— Ашир, не разжимая губ, заговорил, едва расслышал его слова Знаменский: — Не оглядывайся, говорю... И чему вас учили, дипломатов?.. Ты кем был, разведчиком?

— Журналистом, Ашир. Понагляделся ты, смотрю, детективов.

— Ну, ну... А вербовали тебя всерьез или тоже по-киношному?

— Теперь начинаю понимать, что всерьез.

— Начинаешь понимать... В этом все дело! Понять! Самому! Нас учили дознаваться истины. Отлично! Это когда ты следователь по чужим делам. А когда самого воткнули? — Ашир лихорадочно произносил слова, но все время прислеживал за ними, чтобы не вырвалось бы какое в звук, не сорвалось бы на волю, для чужих ушей. И он все время озирался, хотя на улочке ну никого не было, ну ни единой души. Допекли человека! Теней от деревьев стал страшиться.

— Что ты, Ашир, никого же тут нет,— сказал Знаменский, повнимательней оглядевшись.

— Никого, я вижу,— согласился Ашир.— А знаешь, какие у нас тут дела недавно отшумели? У нас один из руководителей правосудия дважды стрелялся в этой тишине.

— Попал, наконец?

— Не шути про такое! Попал! Думаю, помогли старому человеку... Вот такие дела, а вокруг никого. Смели половину судей, селем прошлись по МВД, по прокуратуре, а вокруг никого.

— Бывает, что достается и невиновным. Это твой случай. Разберутся...

— Другой у меня случай. Другой! Противоположный!

— Ты чего-то недоговариваешь.

— Еще договорю. Теперь уж придется. Пришли! — Ашир остановился у двери перед домом Дим Димыча, ладонью медленно провел по лицу. И удалось ему, стерла ладонь его лихорадку, успокоенным сделалось лицо, даже приветливым.

Он толкнул дверь, она легко отворилась, разом открыв глазам дворик перед крыльцом, мир этот мирный со сливовым в фиолетовых плодах деревом, с виноградными лозами, с близкими вдали коричневыми горами. И тот же столик стоял, уйдя ножками в берега поливных канавок, и те же дары земли сошлись на нем, такой сотворив натюрморт, какой не дано бы было написать и великому мастеру, и тот же Дим Димыч тут был, мелькала за деревьями его сутуловатая, деятельная спина, и Светлана Андреевна как раз появилась на ступенях дома, по-домашнему одетая, совсем в простеньком платье и очень, кажется, красивая. Все, все тут было, о чем уже знали глаза, что и ожидалось, чего и хотелось. Но жило в этой картине и нежданное. У стола, прямо, большеглазо глядя на входящих, стоял мальчик лет десяти. Он был разительно похож на мать, на эту женщину на ступенях дома. Он был очень серьезный какой-то, совсем не такой, как те мальчишки, что прыгали возле

Продолжение. См. «Огонек» №№ 39—43.

школы, джигитуя и хохоча. У него был взрослый взгляд. Он был как нестеровский отрок — так же серьезен, задумчив. Показалось Знаменскому, что за отворившейся дверью открылась ему картина на какой-то библейский сюжет, с виноградными лозами на переднем плане и горными вершинами на заднем. А в центре этот мальчик.

— Чего уставился? Входи! — сказал Ашир и первым переступил порог, весело встряхнув ящик, чтобы зазвенели бутылки.— Светлана-джан Андреевна, принимай гостей!

Знаменский тоже переступил порог. Дверь за ним притворилась, мир замкнулся на этом дворе, на увиденной им картине. И здесь не просто было, здесь ощущалось какое-то напряжение.

— Здравствуйте, Ростислав Юрьевич,— сказала Светлана.— А это мой сын.— Она сошла с крыльца, подошла к мальчику, коснулась рукой его плеча, наклонилась к нему, и два родных лица подтвердили друг друга.— Дима, вот этот человек, который облетел и объездил весь мир.

Сказав это, она так же серьезно, как сын, посмотрела на Знаменского, зрачки у нее напряглись, она будто ждала чего-то, что тревожило ее, даже угнетало, хотя бестревожны были ее слова, обыкновенны, а мальчик был пригож, ну, серьезен, но пригож, им можно было только гордиться.

Но откуда-то, сперва не понял он откуда, звук протянулся, будто невнятное кто-то произнес слово, вымучил слово, понять которое было нельзя. Откуда этот странный звук? У мальчика шевелились губы, трудно, смято. Так это он произнес, выдавил слово? И еще такое же... Он был немым!

— Да, да, у Димы затрудненная речь,— сказала Светлана, быстро заживав, как кивают, когда подтверждают нечто само собой разумеющееся, короткой, промельком, улыбкой сопроводив свои слова, как улыбаются, когда хотят убедить, что ничего особенно печального, непоправимого не произошло.— С ним занимается замечательный логопед. И он обещает... Он уверен... У Димы всего лишь логопатия, речевая недостаточность, а слух у него замечательный. Но, представьте, не желает учиться музыке, все интересы его сосредоточились на географии, на путешествиях, на истории. Я нарекла его Димой в честь нашего Дмитрия Дмитриевича, но я просто подумать тогда не могла, что с именем передастся ему и профессия крестного. Вот ведь как бывает!

Она говорила, говорила, совсем иная лицом, чем та, вчерашняя, строгая и сердитоглазая, высокомерная даже, какими умеют показать себя женщины, зная себе цену, читая и презирая эти мужские взгляды, столь наскучившие, столь голые, умея показать свое пренебрежение, свою холодность и высокомерность в миг всего кратчайший, когда проходят мимо, как прошла она мимо вчера. А сейчас совсем иным было ее лицо, оно измучилось от всех этих слов, произносимых чуть-чуть с запинкой, будто и она сама была не чужда речевой недостаточности, всего чуть-чуточной этой помехе в жизни. А вчера те несколько слов, которые она произнесла сухо, сообщая, что идет на дежурство, были произнесены без запинки.

Мальчик снова заговорил, сминая губы, вымучивая в звук непонятные слова. Мать напряженно вслушалась в эти слова, угадывая их смысл, переводя:

— Дима спрашивает, были ли вы в... Где, Дима?.. Везувий?..— Мальчик кивнул.— Ты говоришь, Помпеи?..— Мальчик кивнул.— Вот, он спрашивает про Помпеи. Дался ему этот город, рухнувший в семьдесят девятом году нашей эры. Но, представляете, у него целая папка собрана про этот город и еще Геркуланум. Книжки, открытки. Дим Димыч надарил. Вот уж и я скоро займусь историей.

Мальчик ждал ответа, не сводя со Знаменского громадных глаз.

— Да, я был там,— сказал Знаменский.— И к кратеру вулкана поднимался, а потом был в городе, который когда-то залил лавой Везувий. Там в музее хранятся слепки людей, настигнутых лавой. Там есть дворик патриция, ну, честное слово, чем-то напоминающий вот этот дворик, где мы сейчас стоим. Такое же небо, угадываются горы, виноградными лозами расписана мозаика стен и пола.— Ах, как сейчас старался Знаменский! — Знаешь, там расчистили от лавы дороги, и, когда ступаешь по громадным плитам-камням, которыми они выложены, чувствуешь себя как-то очень странно, будто ты там, в том времени, сын этой земли.— Очень, очень старался Знаменский, пытаясь угадать, чего ждет от него мальчик.— Там есть амфитеатр, кстати, отлично сохранившийся, где, откуда ни заговори, каждое твое слово слышно...

Да, перестарался Знаменский, умолк виновато. Но Дима его оплошности не заметил, Дима улыбался радостно и увлеченно, он был ребенком и ему нравился этот заезжий человек, который так увлеченно принялся ему рассказывать про все то, про что он сам отлично знал, но по открыткам и книжкам, а этот рослый дядя там был, там ходил.

И улыбалась Светлана, радуясь радости сына, счастливой этой минуте.

Подошел Дим Димыч, еще издали кивая. Предовольный был у него вид.

— А в баню ихнюю заглянули, Ростислав Юрьевич? — спросил он.— У них там что-то вроде спортивного зала выходило. И баня, и гимнастические упражнения, игры. Умели жить древние! Все проще у них было, на колесницах передвигались — приметили глубокие колеи от грубых колес на дорогах? — но, просто-то просто, а жили, кажись, умнее нас, сложных да быстрых. Природнее жили.

— Да, был и в бане. Нет, там мне не понравилось. Это в Риме бани были гимнастическими залами, а там, в Помпеях, какие-то маленькие, с низкими потолками комнаты, крошечный бассейн, выдолбленный в камне, каким-то подземельем мне показалось это место.

— Ага, вы не учли главного!— обрадовался Дим Димыч.— Зной! Там не только мылись, там спасались от зноя. Нам бы такую баню! Нет, умели, умели жить древние.

— По слухам, пировали без меры,— сказал приунывший Ашир, присевший на ящик с бутылками.— Так пировали, что проворонили извержение, хотя их, я читал, предупреждали.

— А мы, Ашир, вот здесь, тут вот,— завтрясся у Дим Димыча палец, когда он стал тыкать им себе под ноги,—а мы не проворонили? Собаки накануне выли, овцы, все отары за три дня уже сбились в гурты, встали голова к голове — и ни с места, а мы — ноль внимания! Нет, люди ничему не умеют научиться! История не учит, а констатирует. Мы неразумные! Мы беспечнейшие! Мы... Уж и не знаю, как нас обозвать...

Стало тихо. Да, вот тут, на этой земле, погибли у него двое маленьких детей и в калеку превратилась жена.

— Вы думаете, почему наш мальчик заинтересовался гибелью Помпеи? — снова заговорил Дим Димыч.— А потому, что он ашхабадец. Неважно, что землетрясение наше произошло за многие годы до его появления на свет божий. Неважно! Он на такой же земле живет, как и та,— на грозной! Здесь все у нас нешуточное. И мальчик понимает это. Сердцем понимает. Дети умеют понять очень многое. Они умнее нас, если хотите. Взрослея, мы теряем, а не обретаем. Уверен! Теряем, а не обретаем. Они... они ближе к природе...

15

Не удалось застолье с горделивой Светланой Андреевной, присевшей у краешка стола, снизошедшей до них. Сломался образ. Иной открылась. И она, иная, не могла быть сейчас рядом с ними, а занялась сыном, который пришел к Дим Димычу, и тот тоже не мог быть с ними, а занялся мальчиком, у них много было общих дел, общих интересов, Дим Димыч был мальчику крестным, а немой этот мальчик был ему из прошлого голосом, памятью его собственных детей, драгоценным для него гостем.

Уселись вдвоем у столика, вяло попивая теплое и противное шампанское, только и оказавшееся в картонном ящике Розы-джан.

— Лучше бы там и остались, у Розы,— уныло сказал Ашир.— А то жуем ее плов остывший, который особенно не идет под горячее шампанское. Знаешь, я заметил, ты понравился мальчику. Что я ни делаю, он со мной ни разу не улыбнулся. У тебя талант располагать к себе людей. И даже Светлана,— Ашир понизил голос,— даже она стала смотреть на тебя по-доброму. Ну, конечно, ты русский! Между вами сами по себе ниточки протягиваются. Тут ничего не поделаешь, дорогой. Человечество опутано ниточками, которые тоньше паутины и крепче каната.

Вышла из дома Светлана, ведя сына. Она переоделась, они собирались уходить. Вчерашний строгий костюм был на ней, но не вчерашней она была, сломался образ, смягчился, что-то утратила она в глазах Знаменского, но что-то обрела, поближе ему стала: у него беда и у этой женщины беда. Еще какая! И у Дим Димыча вся жизнь из бед, и у Аширa все скверно,— дом этот, люди здесь были под стать ему, одним миром мазаны, ему легче тут дышалось. И горы, и небо, и древняя земля, грозно притихшая,— тут ему и жить, в мазанке этой, а дальше уже и некуда.

— До свидания, Ростислав Юрьевич! — сказала Светлана, вскинув руку.— Дима прощается с вами. Нам пора в интернат. К нашему доктору. До свидания, Ашир!

Ашир вскочил, выпрямился, статным стал, хоть и был в бесформенной одежде.

— До свидания, Светлана Андреевна! Дима, не забывай старого Аширa! — Глаза его осветились, и на смуглое лицо вплыл румянец.

Мать и сын ушли, а Ашир все еще стоял, долго стоял, прислушиваясь к их удаляющимся за дувалом шагам.

— А ты знаешь, Ростислав Юрьевич, что такая женщина, как она, возможно, единственная во всем мире.— Он сел, налил себе, но пить не стал.— Да, да, я не шучу. Вот здесь, вот сейчас из этой хибарки вышла самая лучшая женщина в мире. Я знаю, что говорю. Я вел ее дело. Я видел ее в унижении, на суде. Я вижу ее рядом с этим мальчиком. Я все знаю про нее. Она удивительная!

— Ты любишь ее, Ашир?

— Зачем спрашиваешь?

— А за что же ее на суд?

— Это пусть она тебе сама расскажет. Она расскажет. Вот сына привела. Почему? Как думаешь?

— Я не думал об этом. Сын попросился к Дим Димычу, вот и привела.

— Нет! Она к тебе его привела. Почему?

— Не знаю, Ашир.

— Она не желает, чтобы ты про нее обманывался. Гордая! Вот почему! Нет ничего прекраснее, чем гордая женщина. Мы унижаем своих женщин, но мы хотим, чтобы они были гордыми. Ислам очень противоречив, скажу тебе.

— И ты у нас верующий? — попробовал улыбнуться Знаменский.

— Со мной все в порядке, я неверующий. Но ислам — это не только вера, это и обычаи. Суры корана, сунны корана. Нет другой религии, которая бы так вторгалась в жизнь, в быт человека. Каждый шаг расписан. Каждый поступок оценен. Мы, теперешние, не верим, но мы все еще в плену обычаев, иные из которых совсем не плохи, иные терпимы, но иные отвратительны. Да вот хотя бы недавняя история... В одном нашем областном городе жил да пил молодой джигит. У-у, какой джигит! Когда он в Ашхабаде работал, весь город его знал, все рестораны гудели. Но уехал, перевелся в родной город, туда, где родное селение рядом, где родное племя вокруг. Куда меньше Ашхабада город, куда больше простора. Совсем просторно! Жена молодая у него была. Приревновал. Убил! И ее, и любовника! И ничего, оправдали. Понимаешь, совсем просторно! Оправдал наш советский суд. А потому что и в сурах корана, и в суннах корана, и у шиитов, и у суннитов изменившую жену ве-

лено убить, как шелудивую собаку. Изменившую мужу женщину может и должен побить камнями любой сосед. Так повелевает обычай. От седьмого века. Но и сегодня. Совсем рядом, в Иране, например. Ты спросишь: причем тут уголовный кодекс, и суры, и сунны? А вот об этом и речь. Уголовный кодекс молодой, наши обычаи сложились в веках. И знаешь, представь себе, не только оправдал убийц народный суд — ему помогал приятель,— но эти два парня стали героями в городе. Когда они шли по базару, их приветствовали, в ресторане им посылали вино. Я затребовал это дело. Оно и издали не показалось мне слишком простым. Я слишком хорошо знал убийцу. Если бы он чтил предписания ислама, он бы не был пьяницей, бабником, картежником, не баловался бы кокнаром или тирьяком, а это опийный наш наркотик. Одно возражало другому. Зачем такому убивать? Ну, прогони! Вот тут как раз наш кодекс подходит. Прогони, возьми другую. Тут мы шире ислама. Согласен со мной? Не наскучил мой рассказ?

— Я слушаю.

— Да, я оказался прав, в этой истории о ревности, а мы народ ревнивый, каким-то все неясным было, не стыковалось в деталях. Я доложил, Верховный суд республики вынес протест по приговору, я сам повел это дело. Для начала наших ревнивцев взяли под стражу. И это было моей ошибкой. И мой протест, и моя активная позиция. Тут я повел себя, как мальчишка, как стажер. Убийца был сыном влиятельного в том городе человека. Невелик город, но велик пост. Месяц не прошел, и я узнал, что оба убийцы снова на свободе. Больными оказались. До суда, мол, пусть полечатся. Невелик город, но велик пост народного избранника. И позор на его голову! Но я и тут повел себя, как мальчишка. Да... И вот тут-то нашли в моем сейфе ту толстую пачку денег, о которой я уже говорил. Возможно ли?! В прокуратуре республики?! Такое?! Но пачку подложили! Клянусь тебе! Ты мне веришь?!

— Да.

— Подложили! Но это еще не все. Мне важно было понять, кто это сделал. А тем, кто это сделал, важно было понять, готов ли я уняться или полезу на кинжал. Они ждали, они терпеливо ждали, считая меня умным человеком. А я действовал, я стал распутывать клубок. Но я заторопился, у меня было мало времени. А надо было понять, почему они пошли на такую крайность, на такой риск. Из-за этого ревнивца и гуляки? Ну пусть отсидит два-три года. Нет, из-за него на такой страшный подлог не пошли бы. Меня знают все-таки. Меня в Москве знают, в Ленинграде. Они страшно рисковали. Но кто они? Почему пошли на такое? У меня было мало времени, я спешил, а когда спешишь, открываешься. Я открылся, стало ясно, что я многое успел узнать, понять, что я становлюсь действительно опасным. Те, кому я стал опасен уже всерьез, тоже заторопились. И вот я здесь, перед тобой, Ростик...— Ашир поднялся, держа стакан в руке, сутулый, жалковатый, в повисшей рубахе, в этих штанах пузырями. Он, кажется, сейчас нарочно себя таким жалким, будто побитым, подавал, на себя как бы со стороны поглядывая.— Считаешь, что проиграл?

— Считаю, что отобьешься,— не очень уверенно сказал Знаменский.— Правда-то на твоей стороне...

— Красиво, очень красиво говоришь, товарищ. Как в пьесах.— Ашир прошелся туда-сюда по дворику, до виноградных лоз дотронулся ладонью, в небо поглядел, на солнце глянул, прищурившись. Он явно играл, подтрунивал.— Правда... Ее доказать надо, дорогой товарищ... Добыть... А я, сам видишь, какой я... Ладно, что унижен, я связан, у меня путы на ногах, как у непокорного верблюда.— Он вдруг к Знаменскому наклонился, обдав горячкой своей, спросил жарким шепотом: — Ты поможешь мне, Ростик?..

Продолжение следует.

Лазарь КАРЕЛИН

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

Работая за рубежом и растратив деньги, выданные на покупку служебной автомашины, журналист-международник Ростислав Знаменский оказался в Ашхабаде в должности переводчика. Здесь он сблизился с Аширом Атаевым, уволенным с работы следователя по особо важным делам: преступники, на след которых он напал, подложили в его сейф крупную сумму денег, представив дело так, будто это взятка. Атаев на свой страх и риск продолжает расследование, но ему нужна помощь друга, так как за Аширом следят, и любой неверный шаг может стоить ему жизни.

Ростик... Ростик... Его вовлекали в какую-то явно рискованную историю, его опять «повели», взяв, даже схватив за руку, а все-то он Ростик, Ростик...

— Мало мне своих забот, Ашир? — Знаменский откачнулся от него, от этого жара в нем.— И что я могу?

— У тебя связи.

— Какие там связи?! Где был, где очутился? Ровня мы!

— Нет, тут ты не прав.— Ашир снова уселся на свое место, спокойным вдруг стал, не пригубив, отставил стакан, насмешливо, колко поглядывая на Знаменского.— У тебя, Ростик, все куда хуже, чем у меня. У меня совесть чиста. Есть разница?!

— Ну и убирайся тогда, если ты такой благополучный! Пей! Гуляй!

— Не злись. И я не пью и не гуляю. Но это хорошо, что ты так думаешь. Пусть и все так думают. А я работаю. Но мне нужна помощь, Ростик. Пойми, я стреножен. Мне шагнуть никуда не дают! Я думал: вот приехал человек, которому надо заслужить доверие, вернуть назад доверие... Я подумал, надо познакомиться с этим человеком... Может быть, не все уже кончено для него?.. Мы познакомились... Ты еще неконченый человек, Ростик... К счастью... Я так думаю, поскольку знаю людей, а я знаю людей, со сколькими в грязи вывалялся, я думаю, что ты не безнадежен... Я решил, ты согласишься мне помочь...

— Так вот звчем Дим Димыч сдал мне свою комнату? Ну и ну!

— Не злись. У Дим Димыча свои планы касательно и тебя, и меня, и Светланы, и маленького Димы, и вообще Вселенной. Он строит души. У меня планы поскромней. Мне нужно, чтобы Ростислав Юрьевич Знаменский слетал через недельку-другую в Москву. На денек. Всего лишь на денек. К себе домой. Навестить жену. Это так естественно. Ну и заодно встретился бы там кое с кем из влиятельных своих приятелей. Да что приятели, у тебя же тесть — министр. Вот этот уровень мне и нужен. Мне нужно, чтобы мое письмо дошло до самого верха. Понял?! К самому! Вот и все, что от тебя требуется, Ростик.

— Сам бы и слетал. Тем более, как ты утверждаешь, тебя в Москве знают.

— Мне нельзя. Чудной человек, совсем, смотрю, наивный человек. Международником был? Совсем, смотрю, наивный международник. Вот тебя и повели.

— И сейчас ведут. Это так, ведут!

— Не злись. Пойми, я на крючке. Каждый мой шаг под присмотром. Ну, полечу, если в самолет пустят, ну, прилечу, если долечу. Кто я? А, этот Ашир Атаев из Ашхабада, выгнанный за взятки! Кто меня выслушает? Жалобщик... Обиженный... Дежурный по МВД возьмет брезгливо письмо, он его и закроет, а то и перешлет сюда, в Ашхабад. И тогда...—Ашир вскрикнул, сжался, обеими руками схватившись за живот, будто кто вонзил ему туда нож. И такая боль развела его губы в яростный оскал, что почудилось: убит человек.

— Тогда пойди здесь в ЦК,— сказал Знаменский.— Пробейся на прием. Тут-то тебя действительно каждый знает.

— И каждый знает, что меня еще будут судить, если не пожалеют, знают, что я спиваюсь. Вон какой! Кто станет со мной разговаривать? А вот то, что я пришел в ЦК, а вот про это кое-кто узнает... И тогда!..— Он снова, но уже медленным движением прижал ладони к животу.— Нет, никуда не денешься, ты мне нужен, Ростик. И еще больше стал нужен, когда подвернулся случай с этим посланником. Удача! Если, конечно, ваша поездка состоится. Но думаю, что состоится. Как думаешь?

— Глупые затеи всегда удаются. Этот глупый посланник, пожалуй, клюнул на твой чал.

— Он не глуп, Ростик, ты ошибаешься. Он просто несчастный, смертельно больной старик. Ах, как ты плохо разбираешься в людях! Баловень!

— Ну, хорошо, про Москву мне хоть что-то понятно, но в этой поездке что я могу для тебя сделать?

— Еще больше, чем в Москве. Мне не хватает сведений. Ты их мне привезешь, тебе их передадут. Я думал, что мне пригодятся твои связи, теперь ты поработаешь у меня и связным.

— Если соглашусь, Ашир.

— Как это не согласишься? Ты кто? — Ашир перегнулся к Знаменскому через стол.— Ты задумывался, кто ты?.. Знаю, все время об этом думаешь. Ты — о своей беде, я — о своей. Но... я же сейчас даю тебе возможность послужить Родине... Громкое слово сказал? Нет, такое самое, какое нужно! Тебе повезло, я считаю. Это опасно, учти. Могут убить. Тебе очень повезло, я считаю!

— Да, увлекательно говоришь.— Улыбка все же и тут пришла к Знаменскому на помощь. Не до улыбок было, а он так широко улыбнулся, что и Ашир не удержал губы, оскалился.

— Ах, какой!— восхитился Ашир.— Ах, баловень судьбы! Учти, если проболтаешься, струсишь, меня в одну минуту ликвидируют. А мне нельзя исчезать из жизни. Понял?!

— Что же это все-таки за страсти-мордасти? Торгаши? Всерьез? Взятки? Если это не убийство из-за ревности, то из-за чего же?

— Наркотики, друг, наркотики,— сказал Ашир, осторожно оглядываясь и шепотом.

— Какие еще наркотики? Ты что, в Колумбии, в Сингапуре, в Гонконге?

— Не кричи ты! Тише удивляйся... Я у нас, я здесь...

— У нас наркотики? Торговля наркотиками? Может, скажешь, мафия?

— Может быть... Может быть... Это я выясняю.

— Ашир, да меня погонят с такими мыслями! Скажут, свихнулся я у вас от жары, связался с сумасшедшим!

— Не кричи, прошу тебя! Да, да, мы привыкли думать, что у нас ничего подобного быть не может. Привыкли думать... А привыкать ни к чему нельзя. Опасно! Ведь нас атакуют. Гляди, сколько всего понаползло к нам. И все ползет, наползает. А мы приучили себя думать, что мы всегда вне опасности. Война? Ядерная? Да, про это мы беспокоимся. Но разве эти вещи, вещи, вещи, которые, как вражеские солдаты, заскакивают в наши дома, разве это не военные действия против нас? Ты не спорь, ты послушай. Война это! Сражение!

— Да не ори ты!

— Да, да, я забылся. Прости. А эти вопли на танцульках, эти извивающиеся тела, зашедшиеся девчонки? И ты думаешь, среди них нет уже тех, кто и с наркотиками познакомился? Есть, есть. Курят всякую самодельщину. Колются. Да, да! Ходят по рукам и порошочки. Мода! Видишь ли, мода! Как у них там, как на Западе! Им можно, а нам нельзя?.. Это навязанные нам сражения, Ростик. Это война! Не могут развязать ядерную, страшатся, придумывают такую вот, ползут, наползают. Мода! И мода может обернуться войной.

— Ты считаешь, что сюда к вам ввозят наркотики? Откуда? Это не так-то просто. Уж я-то знаю. Говорят, был момент, проскакивали через нашу страну транзитом, но теперь... Уж тут-то я получше тебя осведомлен. Досматривают железно. И карают.

— Говори, говори, хорошо говоришь, приятно слушать. Но зачем ввозить? Разве здесь, на нашей земле, никогда не рос мак? Мак! Тише, тише...— Ашир прихлопнул ладонью рот, будто произнес невесть какое страшное слово. И уж совсем перешел на шепот: — И разве морфин, алкалоид опийного мака так уж трудно изготовить? В любой прилично оборудованной аптеке это могут сделать. Разумеется, тайно, в неурочное время. И разве героин, самый страшный из наркотиков, не является производным морфина? Но он более токсичен, вызывает необратимую наркоманию. Понимаешь, необратимую? И достаточно для какой-нибудь дуры, для какого-нибудь болвана пяти-шести порошочков, десятка самодельных сигарет, чтобы они стали не-об-ра-ти-мы-ми! Понимаешь?! Война! Проигранное сражение!

— Ты не сгущаешь краски, Ашир?

— Вот! Наше любимое выражение! Сгущаешь краски!.. Ах, как мы любим покой! Но война, если уж не ядерная, она в башках у наших врагов, она им нужна, необходима. И они будут искать, выискивать любые лазейки для нее. Мы еще понаглядимся! — Ашир умолк, понурился, он все сказал. Нет, еще не все. Он поднял голову, выпрямился, чтобы еще что-то важное сказать, решающее разговор:— Между прочим, тот ревнивец и убийца был в своем городе директором аптеки. Он, видишь ли, в свое время окончил фармакологический институт. Как окончил? Трудно сказать. Купил, возможно, диплом. Но... у него была аптека, он заведовал аптекой. Между прочим, жена могла знать о его делах. И вот она-то, приревновав — а он давал поводы,— могла пригрозить ему разоблачением. И... А мак? У нас есть такие уголки в просторах наших, где клочок макового поля вполне может затеряться.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 39–44.

ДАЮ УРОКИ

Мы обширная страна. И этот мак у нас может давать три урожая. И даже с воздуха не всегда углядишь этот маковый лоскуток. Все же я потребовал вертолетного досмотра. Я поспешил...— Он замолчал, понизив. Вот теперь он все сказал.

16

Как говорится, нельзя пошутить, чтобы шутка не обернулась чем-то серьезным. Застольный треп, шутливая затея, а вот уже и выправлена Знаменскому командировка, ему вменено сопровождать ответственного работника Комитета по туризму, ему и билет на самолет вручен. Клюнул на загадочный напиток чал бывший посланник Самохин. И так увлекся, развил такое ускорение, что уже на следующий день очутился Знаменский в аэропорту, чтобы лететь в Красноводск вместе с Самохиным.

Их отвез туда Алексей, провожал очень обрадованный этой командировкой для друга Захар Чижов. Трое суток прошло — и вот уже нашлась для Ростика работа. Удача!

Летели дневным рейсом на Ту-154.

Очередь, вытянувшаяся на посадку, напоминала базарный ряд, где торгуют дынями, арбузами и виноградом всех цветов и оттенков. Очередь благоухала, а люди в ней уже успели притомиться, и даже не от зноя, а от тяжести своей благоухающей продукции, которую они приволокли в аэропорт в мешках, ящиках, сумках, частью сдав все это в багаж, а частью перетаскивая в руках. Базарная толпа. Даже осы тут появились, всегдашние на базарах в виноградном ряду. От них отмахивались, изнемогая от зноя. А за решеткой ограды протягивались медленные тела лайнеров, этих чудотворящих созданий. Ведь чуть больше трех часов пройдет, и базар здешний, прихватив даже и ос, перекочует в Москву. Или не чудо?

В изнемогшей толпе хорошо чувствовал себя один только Александр Григорьевич Самохин. Во-первых, жара была целебна для него, он в это верил. Во-вторых, он совершил поступок, а это всегда ободряет мужчину. И, наконец, он действительно поверил в загадочный этот чал. А вдруг?!. Самохин был оживлен, говорлив, приосанился, молодо поводил своими выжелтившимися глазами, провожая проходивших женщин. Он беседовал с Захаром Чижовым, с ровней себе, предоставив Знаменскому общество водителя Алексея. Дистанция сразу же была установлена. А иначе нельзя. Самохин и билет себе велел выправить в салоне возле кабины летчиков, хотя в этом рейсе и не было первого класса, традиционно полагающегося для дипломатов высоких рангов. А все-таки салон-то первый. Возможно, об этом и беседовал сейчас Самохин с Захаром Чижовым, втолковывая ему законы устойчивости, остойчивости в житейском море, заодно обсуждая и стать проходящих женщин, подтверждая своим женолюбием свою жизнеспособность. Захар томился, это и издали было видно. Но он был на службе сейчас, он провожал важного гостя, ему надлежало выслушивать и терпеть.

Не терял времени и Алексей. Он таинственно отвел Знаменского в сторонку, спросил, понизив голос:

— Ростислав Юрьевич, а вы, по заграницам ездя, бывали на высокопоставленных приемах? Какие там банкеты?

— Так в чем дело? Зачем тебе эти банкеты, Алексей?

— Не мне, одному влиятельному человеку нужна консультация.

— Какая же?— Знаменский вполуха слушал Алексея, высматривая, не покажется ли в толпе Ашир. Он же о каком-то поручении ему вчера толковал, он и затеял эту поездку, подбил старика. Но Ашира не было, а вот-вот начнут впускать в узкий предбанник, где пассажиров станут просвечивать и промагничивать, дабы дознаться, а не провозят ли они оружие. Это был внутренний рейс, досмотр будет поверхностным, не столь тщательным, как, скажем, на аэродромах Лондона или Парижа, где пассажиров стали обнюхивать собаки, особенно если ты не улетаешь, а прилетаешь. Собаки эти были натасканы на наркотики. Так неужели же и у нас?..

— Нет, не верю!— вслух вырвалось у Знаменского.

— Вы о чем?— удивился Алексей.— Я правду говорю, влиятельный человек. И он велел узнать у вас, как правильно рассаживать народ за банкетным столом. Ну, кто в голове, кто по правую, кто по левую. Какой, так сказать, порядок-распорядок.

— Зачем ему это? Он кто, твой человек?— Знаменский вытянул шею. Кажется, через площадь перед зданием аэропорта, где сейчас плавился асфальт, промелькнула сутуловатая длинноногая тень.

— О, большой в городе человек!— уважительно построжал лицом Алексей.— Зубной техник. Всем у нас, кто при деньгах, зубы в золото обрядил. Юбилей у него. Хочет, чтобы все, как в лучших домах.

— Зубной техник — это все же не посол, не находишь? — Нет, не появлялся Ашир. А уже отворились двери, уже первые торопыги протиснулись на досмотр.— Да ты спроси Самохина, он же настоящий посланник.

— Устаревший!— отмахнулся Алексей.— Вы моднее.

— Ладно, вернусь — расскажу. Мне пора на посадку.

— Пока хотя бы в общих чертах,— не отставал Алексей, идя следом за Знаменским.— Глядите, он мне одну коронку уже поставил...— Алексей широко открыл рот, пальцем приподнимая губу, показывая новенькую золотую коронку в ряду его отличных, хищно-молодых зубов.— А мне еще две нужно. Погонит, если не узнаю.

— Так у тебя же замечательные зубы, дуралей,— сказал Знаменский, еще раз, в последний раз высматривая в толпе Ашира.

— Мода! Мода! Ну что вам стоит намекнуть, Ростислав Юрьевич, где кто сидит?! Ведь я у него в руках, зубы-то подпилены.

— Ну, Алексей... Значит, так, посол-дантист, он же хозяин дома, сидит не в голове стола, а посредине. Понял, посредине? Послиха-дантистиха, стало быть, сидит насупротив него. Стол должен быть прямоугольный. Запомнил?— Знаменский уже подходил к дверям, за которыми начинался досмотр. И снова глянул: нет, не было нигде Ашира.— Ну, а гости...— Знаменский вступил в проем дверей.— Вернусь, доскажу. А вообще-то рассаживайтесь по степени нахальства. Ближе к хозяину и по правую понахальнее. Понял? До встречи, Алексей! Жаль мне твои зубы!

— Что передать дамам, Ростислав Юрьевич?

— Дамам? А! Передай, чтобы ни в коем случае не поддавались моде!

Знаменский махнул, прощаясь, рукой Захару — их разъединила толпа — и вступил под подкову досмотра, в триумфальную эту арку конца нашего столетия, отмеченного терроризмом, угоном самолетов и провозом наркотиков. Но это не у нас, это там, у них. Сгущает краски Ашир! Говорил, пугал, просил помочь, а сам даже не явился.

В самолете Знаменский сел рядом с таким принаряженным мужчиной, какие только в Латинской Америке могли бы повстречаться. Зной, в самолете просто парильня, а сосед и в пиджаке, и даже в жилете, и, конечно же, платочек торчит из кармашка, и галстук не устрашился нацепить. Латиноамериканец — и все тут. Но личико российское, лукавое, и хотя молодое, но уже изморщиненное страстями. Знаменский вспомнил себя вчерашнего, каким явился в МИД. И устыдился. Таким же почти и явился. Разве что без жилета. Но сегодня он уже иным был. В путь отправился в старых джинсах, в свободной рубахе, в башмаках, в которых было хожено-перехожено.

Знаменский рассматривал, но и его рассматривали.

— Рубашечка, гляжу, фирменная,— сказал латиноамериканец.— Джинсята, гляжу, доведены до кондиции. Ох, эта наша простота из валютного магазина! Послушайте, где я вас мог встречать? Кстати, познакомимся, лететь-то три с лишним. Петр Сушков. Кинодраматург. Здесь, в этой печке природной, у меня фильмик испекается. Знаете, совсем неплохая тут студия. С традициями. Иванов-Барков... Алты Карлиев... Мансуров... Теперь вот братья Нарлиевы... Но где же все-таки, где я мог вас встречать? В Доме кино? Нет, не то видение! Иным зрением я вас помню. А! Будем знакомы!— Этот общительнейший кинодраматург протягивал Знаменскому руку, улыбаясь всеми своими жизневедущими морщинками. Что ж, и Знаменский откликнулся улыбкой, врубил свое обаяние.

— Ростислав Юрьевич Калиновский,— назвал он себя, взяв девичью фамилию матери. Он так и раньше при подобных знакомствах поступал, чтобы избежать удручающих разговоров о его профессии, когда случайный знакомец узнавал, что повстречался с журналистом-международником Ростиславом Знаменским, лицо которого — ах, вот вы кто?!— он видел, по телеку, ну как же, как же.

— Калиновский?.. Калиновский?..— задумался кинодраматург Петр Сушков и вдруг хохотнул.— Чуть было не спросил вас, а не родственник ли вы того Кастуся Калиновского, про которого был очень знаменитый некогда фильм смастерен? Так и назывался «Кастусь Калиновский». Но незапамятных времен лента. Только природный киношник, только вгиковец, а мы во ВГИКе изучали историю кино, может вспомнить этот боевик.

— Кстати, а возможно, и родственник,— сказал Знаменский. Мог бы не говорить этого, но бес попутал, он все же продолжал оставаться самим собой: ну как было не ухватиться за такую великолепную возможность чуть-чуть не побахвалиться перед мимолетным знакомцем. Впрочем, это даже не бахвальством было, это истиной было. Его мать была из знатного польского рода Калиновских. Конечно, быльем все это поросло, но мама гордилась. И в их небольшой квартирке в старом доме московском, в двух тесных комнатках, изо всех углов, со всех стен глядели на маленького Ростика, на подрастающего Ростика и на совсем взрослого Ростика его усатые, горделивые прапрадедушки и томные, с осиными талиями прапрабабушки. Шляхта! Может, и не родня вовсе. Как узнать, где добыт портрет, с кого писан? Но мать утверждала, что Ростик похож вот на этого лыцаря, и совершенно такие же у него глаза, как вот у этой юной паненки из семнадцатого прославленного века.

— Да ну?! — изумился Сушков.— Разве Кастусь Калиновский не вымышленный герой?!

— Конечно, нет. Это древний польский род. Были в нем и гетманы, воеводы, были и повстанцы. Как же вы там историю изучали кино, если не знаете, кто у вас вымышленный, а кто доподлинный?

— А какая разница? Мы изучали не историю персонажей, а как фильм сделан. Помнится, в ленте про вашего родственника нас особенно занимал параллельный монтаж при погонях. Это еще от Гриффита пошло, от этого американского реформатора кино. Слыхали про такого? Десятые, двадцатые годы нашего века. Заря кинематографа.

— Тот, что открыл Дороти и Лилиан Гиш? После него был Мак Сеннетт, кажется. Это тогда началась слава Голливуда, возникли студии «Юниверсэл» и «Метро-Голдвин-Мейер»?

— Господи, да вы же культурнейший человек!— возликовал Петр Сушков.— Кто, кроме киношников, да и из нас-то немногие, может знать такое! Вы кто? Изнываю от любопытства!

— Никто.

— О, инкогнито?! Не хотите, чтобы узнали? И так простенько совсем оделись. Но, увы, и из простого прет. Рубашечка, повторяю, фирменная, джинсы — тоже. Впрочем, не это тряпье вас выдало, оно доступно нынче каждому, дорогой товарищ правнук Кастуся.

— Что же меня выдало?

— Вообще-то многое. Но прежде всего эти вот часики золотые на вашей руке. Заветные часики с фирменной подковкой на циферблате. «Омега»! И золотая «Омега». Это же номерной экземпляр. Такие, из золота, такие плоские, убийственно скромные, внемодные и обморочно дорогие носят на запястьях исключительно миллионеры. Или не так? И вдруг в самолете, следующем из Ашхабада, на руке соседа я вижу такую вот любопытнейшую деталь. Вы, конечно, бывали за границей?

— Бывал.

— А на Капри?

— Был и на Капри.

— Эх, инкогнито! Да кто же из наших, из советских, бывал на этом островке миллионеров?! Единицы! Но взысканные, взысканные единицы.

— Вот вы были.

— Понял вас, сэр. Я не выгляжу слишком уж взысканным. Но я киношник. А киношники — причудливой судьбы люди. Куда нас только не заносит! Да, был. Собирались снимать фильм о Горьком. Ну, на три дня командировали предполагаемого режиссера и предполагаемого автора сценария. Валюты — в обрез, срок —

ничтожный. Мы даже не сумели найти на Капри за эти три дня, а где же там жил Максим Горький. Показали один дом, но внутрь не пустили, на воротах было начертано: «Кани мордачи!»— «Злые собаки». Мы и не сунулись. Показали еще какую-то гостиницу. Жил ли, нет ли, а нам уже уезжать пора. Но все-таки Капри я поглядел. Так вот, на этом курортном островке миллионеров, когда слонялся по улицам, глядя на богатейшие витрины, прикидывая, что могу купить на свои лиры, и убеждаясь, что ровным счетом ничего, ну, ни единой даже безделушечки, обратил я внимание на гулявших там старух. Знаете, этих американок с седыми кудельками и высохшими икрами? Железные старухи! Они бегали по острову как молоденькие. Глазками постреливали на мужчин, честное слово. Но не в этом суть того, что я тогда подметил. А подметил я, что старушки эти были наипростейшим образом одеты, в жалких платьицах бегали, чуть ли не в шлепанцах и на босу ногу. Им было так удобней, старому телу вольготней, ведь на Капри была жара. Что удобно, то и надели. Но...— Сушков воздел указательный палец.— Внимание! Внимание! Но... на каждой из этих старушенций, одетых как нищенки, в ушах ли, на запястьях, на подагрических ли пальцах, висели или надеты были целые состояния. Мол, знай наших! Платьишко пятидолларовое — для тела, а браслетик тысяч на сорок — для престижа. Чтобы не спутали, и верно, с какой-нибудь беднячкой. Вот что я тогда подметил. То же самое и с вами... Совсем простенько одет человек, но — «Омега». И золотая, заметьте. А вы говорите — никто!

— Никто, никто, именно так,— покивал, разжигая свою улыбку, Знаменский.— А часы, что ж, подарок жены.

— И где же это раздобываются такие жены? Вы москвич?

— Да.

— Она будет вас встречать? На «мерседесе» домой покатите, угадал?

— Не угадали, Петр. Я схожу в Красноводске.

— Вон как! Да там же сейчас сто градусов в тени! Причем, замечу, тени нет.

— И все-таки схожу именно там.

— Так, так... Значит, вы еще загадочней, чем я думал. Но все-таки Калиновский?

— Все-таки Калиновский.

— Княжеский род, что ни говори?

— Что ни говори. Мама утверждает, что Калиновские были знатнейшими шляхтичами в одном ряду с Вишневецкими и Потоцкими.

— Да... Но «Омега» не из шестнадцатого века, как я полагаю?

— Тогда вроде этой фирмы еще не было.

— В том-то и дело! Так вы в командировке здесь? И вас погнали в такую наижарчайшую пору? Экстренный случай? Угадал, вы ревизор?! Ловите жуликов?! Сейчас это модно. Ловят и ловят! Что, в Красноводске какой-то торгаш крупно попался? Вы уж простите меня, что я допытываюсь... Профессия! На расспросах и кормлюсь. Сюжетики! Судьбишки! Вот ваша «Омега» — это уже сюжетик. Нет, не ревизор? Да, не похожи, это я так, не подумавши ляпнул. Режиссер? Актер? Тогда бы я вас знал. Все дело в том, дорогой Ростик, ох, простите, что я так, по-приятельски, все дело в том, что если я когда-то хоть раз углядел своими глазками, то это уже навсегда, как фотография. А я вас где-то да углядел. И вот томлюсь, хочу вспомнить. И к тому же «Омега»... Не признаетесь? Не раскроете инкогнито?

Но тут Знаменского выручил радиоженский голос, уведомляющий пассажиров, следующих до Красноводска, что самолет идет на посадку и необходимо пристегнуть ремни.

— Пойду к своему шефу,— сказал, поднимаясь, Знаменский.— Он в первом салоне.

— Сбегаете? Допек я вас?— Сушков поднялся, протянул руку, морщинками бывалыми применьшив и без того маленькое и прелюбознательнейшее свое личико.— Простите, молю, но — профессия! А мы еще встретимся! Пароль донёр! Нес па?

— Мэй би, мэй би...— Подхватив сумку, Знаменский быстро пошел по проходу. Ну и духота в этом самолете! Взмок весь. И уши заложило. Самолет круто шел на посадку. В окошечках замелькала синева, изумительная синева. Это было Каспийское море. Не поверилось, что там, внизу, тоже злобствует зной. Синева эта его утешила, ободрила.

Позади прибрежная скалистая гряда — в скалы, теснимые морем, и врезался этот город,— позади немыслимое хитросплетение труб громадного нефтеперегонного завода, позади эта чужедальщина для глаз, будто ты где-то вблизи Эр-Риада или Эль-Файюма, и вот уже сидят они в гостиничном ресторане, где никакой чужедальщиной и не пахнет, разве что запах остывшего бараньего жира укоренился тут, а он не из самых приятных. Но на столе перед ними большой графин с мутновато-белым напитком. Это чал.

— Вот мы и в государстве Чал!— наливая в пиалушку этот мутноватый, жидко изливающийся напиток, провозгласил Самохин. Он осторожно приблизил к губам пиалушку, испил, страшась, коротко сглотнув, и замер, ожидая мгновенной смерти или мгновенного исцеления. Но не случилось ни того, ни другого.

— Пейте, пейте, я раздобыл для вас изумительный чал, наисвежайший, от самой красивой верблюдицы! Мне позвонили из Ашхабада и дали указание. Во-первых, показать вам все перспективные курортные места, во-вторых, обеспечить любым транспортом, включая вертолетный, в-третьих, наладить снабжение чалом. Я решил, что «в-третьих» важнее, чем «во-первых» и «во-вторых», ибо через желудок проходят все караванные тропы. Пейте, пейте, наш уважаемый Александр Григорьевич! Смелей, это не девушка! Чал не обманывает!

Кудрявый, веселый круглоголовый человек, не шибко молодой, но молодоглазый и улыбчивый, все эти слова произносил с напором, раскатывая в них «р» и сглатывая «л», отчего слова как бы выпархивали из его сочных, смугловато-красных жизнелюбивых губ. Он их встретил в аэропорту, торжественно представился заведующим всей культурой города-порта Красноводск. Он их и препроводил в лучшую гостиницу города, разместил в лучших номерах, в люксах, разумеется, явно проявив душевную тонкость, ибо и шефу, и его помощнику он добыл одинаковые номера. Но тут сыграла роль мгновенная симпатия, которую взаимно ощутили друг к другу и он, и Знаменский, совпали их улыбки и отворились их души. Самохин же был сановен, малодоступен, изнутри надут. Роль играл. Нравилось ему быть начальником. Но чал смягчил его. Все-таки врачеваться же сюда прибыл, а врачуясь, мягчают.

— Почему, дорогой Меред, вы особенно подчеркнули, что чал от красивой верблюдицы?— спросил Самохин, еще разок коротко сглотнув.— Разве это имеет значение?— Он поставил пиалу, начал вслушиваться в себя, замерев, полузакрыв глаза.

— Громадное! Наигромаднейшее, уважаемый Александр Григорьевич!— Меред не позволил себе улыбнуться, только на Знаменского скосил лукавые глаза, приятельски чуть-чуть ему подмигнув.— Красивое только и лечит! Возьмем, к примеру, ту же девушку... Какая разница в конце концов какое у нее лицо? Если вдуматься! Но мы тянемся к красоте, ибо это главный закон гармонии. А гармония, не мне вам объяснять, уважаемые москвичи, главный закон жизни. Я правильно говорю?

— Вы где учились, Меред?— смеясь спросил Знаменский.— Не на философском ли факультете?

— Выше, выше поднимайте, дорогой Ростислав.

— Может, в Академии общественных наук?— спросил Самохин.— У нас? В Москве?

— Выше, выше поднимайте, уважаемый Александр Григорьевич!

— В школе при ЦК?— спросил Самохин, повнимательнее глянув на Мереда.

— Это, конечно, совсем высоко!— Меред почтительно свел ладони.— Но я еще выше учился.

— Ну, брат!— радуясь этому веселому малому, наиграл изумление Знаменский.— Разве есть что выше?

— Есть, дорогой! — Меред выждал, округлил глаза, таинственно понизил голос.— Я у жены учился. И учусь. А она у меня секретарь обкома.— Он развел руки, уронил голову.— Вы знаете, что это за наука — каждый день? И ночью тоже! А вообще-то я окончил семилетку и курсы киномехаников.

— Так, так, очень забавно излагаете,— сказал Самохин и позволил себе улыбнуться, тем более что чал, который он потягивал, кажется, начинал завоевывать его доверие.— А теперь определим нашу программу. Я бы хотел прежде всего встретиться с руководством.

— Прежде всего мы встретимся с шурпой,— сказал Меред и молитвенно повел носом.— Слышите благоухание? Несут! Шурпа — это суп, где встретились барашек и козленок. Какой там суп! Это — блаженство! На три пальца огненного жира!

— Три пальца жира?!— ужаснулся Самохин.

— А для начала икорка паюсная, рыбка горячего и холодного копчения... Все наше, все дарит нам седой Каспий! Прошу!

Две официантки с двух подносов сгружали на стол пленительнейшую жратву, эти дары седого Каспия, разом смешавшие свои царственные запахи. Официантки действовали быстро, споро, отмелькали их полные руки, и женщины удалились, покачивая внушительными бедрами, а на столе, на скучной только что скатерти возникла скатерть-самобранка с яствами из сказочных времен.

— Прошу! Скромный завтрак...— Меред даже голову свою круглую и кудрявую вобрал в плечи, таким скромным считал он свое угощение.— На скорую, как в России говорят, руку... Вам прозрачной налить, Александр Григорьевич? Чуть-чуть, разумеется, совсем чуть-чуть, лишь для пищеварения.

— Но я страшусь жира! Какая там водка?!— Бедный Самохин утратил всю свою сановность.— Мне бы творожку немного...

«Смертельно больной старик...»— вспомнились Знаменскому слова Аширa. И вспомнилась расплавленная площадь перед аэровокзалом, на которой померещился Ашир Атаев. Померещился, не явился. А они вот здесь, слуги его затеи. И чал на столе. Но еще и эта жратва замечательная, которая старику страшнее яда.

— Чал все снимет,— сказал Меред.— А страшиться надо только змеиного укуса и предательства друга.

— Из лекций жены?— спросил Знаменский.

— Н-е-е-т! Это народное.

Самохин оживился.

— Икорки я все же отведаю! Но копченостей — ни за что! И не упрашивайте! Это главные мои враги!

— Главные наши враги — сомнение в своих силах и робость при исполнении желаний!— провозгласил Меред.— Так выпьем же, друзья, ну хоть чала, чтобы эти враги никогда не мешали нам в ответственный момент!

— Шутник, вы шутник, я гляжу!— Самохин судорожно тер ладони над столом, не решаясь и уж почти решаясь протянуть руку к чему-либо из этих яств.— А! Рюмочку я все же выпью! Крохотульную!

— Чал все снимет,— сказал Меред.

— Да, обучен ты совсем не худо,— сказал Знаменский.— И все жена?

— Зачем про жену спрашиваешь? Нельзя спрашивать про жену! Нет, это еще до нее. Киномеханик — тоже наука. Везде свой человек. Даже грабитель в пути не остановит. Он знает, что человек везет фильм к чабанам. Я прошел большую школу, друзья. Потому я такой веселый, что я такой ученый. А жена, что жена? Я несчастный человек. Я не могу вас пригласить к себе домой. В туркменском доме хозяин муж. А как я, скажите, могу быть хозяином в своем доме? Нет, конечно, не совсем несчастный человек, но все-таки я немножко неудачно женился. Меня оправдывает только то, что тогда она была всего лишь инструктором райкома комсомола. Выпьем, дорогие москвичи! Мои заботы — не ваши заботы!

— Александр Григорьевич, вам не стоит, пожалуй,— сказал Знаменский.

— Да, да! Вы правы, правы!— Самохин отдернул от рюмки руку.— Эх, рыбки золотые, подружки мои заклятые!.. Отгулял, отгулял...

— Слово даю, я не враг вам, чал все снимет,— сказал Меред.— Но лучше не пейте, если не верите. Без веры ни в чем нет радости. Какие у вас часы замечательные, Ростислав Юрьевич. «Омега»! Не люблю дорогие вещи. Жена говорит, что дорогая вещь хуже аркана.

— Это из уроков марксизма-ленинизма?— усмехнулся Самохин.

— Именно! У меня замечательная жена! Но я несчастный человек... Поехали! Шурпа не должна остывать!

Они вдвоем азартно принялись за шурпу, а Самохин, судорожно сглотнув, завороженно

глядел на них, а потом схватил свою пиалушку с чалом и стал пить, судорожно глотая. Бедный, бедный старик... Он вдруг вскочил, бодро объявив:

— Идея! Пойду вздремну часок. Хоть и не долог был полет, но перепад давлений ощутим. К морю спустились, как с горы. Всего часок, и я буду как огурчик.— Счастливый, что может улепетнуть от этого стола, где все будто помечено было для него скрещенными костями и черепом, Самохин даже помолодел, уверенными стали его движения.— А графинчик с чалом прихвачу. И малюсенький кусочек икорки. Что еще?— Глаза его всматривались и меркли, всюду натыкаясь на скрещенные кости и череп.— Все! Долой соблазны!— Он подхватил графин, пиалушку, отмахнулся в последний миг от тарелки с икрой и, бодро, прямо держась, важно ступая, отбыл.

— Долой соблазны...— Меред долгим взглядом проводил старика.— А если их долой, так зачем тогда жить?— Меред перевел свои навыкате глаза, веселые, смеющиеся, на Знаменского.— Зачем, спрашиваю? Ешьте шурпу, дорогой. Ее надо горячей есть. Все надо горячим есть, что снято с огня, и все надо горячим ощущать, что сжал в ладонях. Чокнулись? За соблазны! Чтобы не убегать от них! Никогда! До последнего вздоха!

— Где я? В Грузии?— Знаменскому было легко с этим человеком, у которого уже и седина пробилась в крутых завитках его смоляной шевелюры, которому и жилось, наверное, не просто, томил его этот перепад высот в семейной жизни, но веселость жила в нем ненаигранная, приветливость была в нем от души.

— Ты в Туркменистане, дорогой! Про Грузию почти уже все известно, землю роют, чтобы еще что-нибудь узнать. Про нас еще почти ничего не знают. Мы загадочный народ. Ты в ссылке у нас? Ну, ну, я знаю. Нами получены все сведения — и о посланнике этом больном, и о тебе. Иначе нельзя, вы будете у самой границы. Много русских еще до революции попадали к нам. И очень многие не умели нас понять. Они считали дни, чтобы уехать. Они жили у нас с полузакрытыми глазами. Что можно разглядеть такими глазами? Зной! Песок! Скорпионов и змей! Но те, кто приехал жить, а не отбывать срок наказания, те начинали любить эту суровую землю, нас, туркмен, начинали любить. И понимать! Мы заслуживаем открытого сердца. Ты как к нам приехал, отбывать или жить?

— Вот и ты, Меред, взял меня за руку и повел,— потускнев, сказал Знаменский.— Все меня учат, все меня учат... Что ж, заслужил. Поделом. А я думал, ты веселый человек, Меред, без учительских этих ноток. Сказалось все-таки влияние жены? Ее наука?

— Обидел тебя? Не хотел. Разве я учил? О, не хотел! Прости великодушно.— Меред, моля о прощении, провел ладонями по лицу и свел их под подбородком. Замер так, не шуточно моля глазами, гася в них веселье, что не легко ему было сделать, ибо веселье, готовность к смеху укорененно жили в них.

— Прощаю, прощаю. Перетерпеть надо. Полоса!

— А, не простил! Понимаю, тебе очень трудно. Думаешь, я не могу понять?

— Не знаю. Ну, понял. Жить-то мне дальше. Я вот про тебя понял, что трудно тебе, хоть ты и шутя жаловался. Но жить-то дальше тебе.

Они глянули друг на друга через влагу глаз, разом вдруг рассмеялись.

— А, тебе тоже нельзя позавидовать!— сказал Меред и покрутил над головой рукой, замысловатое что-то начертав в воздухе.— Жена — дочь министра, скажу, это тоже не подарок!

— Все знаешь про меня.

— Все! А как же? На самую границу повезем. Слушай, а я тоже азартный, в очко однажды двести рублей проиграл. Хотел тельпек еще проиграть, но друг не дал, оттащил в сторону, кушаком связал руки. Он был сильнее меня. У тебя там рядом не было сильного друга? В Каире?

— Все знаешь про меня.

— Почти. Один процент. Никто ни про кого больше одного процента не знает. Согласен? Сами мы про себя знаем, ну, на два, ну, на три процента. Как поступим через минуту, кого полюбим, кого возненавидим, не знаем. Вот вздрогнет сейчас под нами земля, что станем делать? Может, я тебя спасу, а может, ты меня, когда станут падать стены. Народ — загадка, но и человек — загадка. Согласен?

— Ты такой мудрый, что с тобой даже спорить нет смысла. Один процент, говоришь?

— Ну, два, ну, уступаю, три.

— А суры, а сунны ваши — там же все расписано.

— О чем ты?! Потому и расписано, что аллах нам не доверяет. Вот он не велел нам пить, а мы ино:да выпиваем. Что аллах? Жена мне запрещает. Она мне обещала партийный выговор. Я ее собираюсь поцеловать, а она от меня отстраняется, опять, говорит, от тебя этим отвратительным араком несет, смотри, говорит, получишь ты у меня выговор с занесением в учетную карточку. И где, где это говорится, друг?! Я несчастнейший человек!

— Не страшись, чал все снимет.

— А запах? Его не скроешь, выключив торшер... Скажи, тебе понравился Ашир? Сильный человек, да?

Продолжение следует.

ДАЮ УРОКИ

Лазарь КАРЕЛИН

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

В Ашхабад приезжает бывший журналист-международник Ростислав Знаменский, отозванный из-за границы за недостойное поведение. Здесь судьба сводит его с бывшим следователем по особо важным делам Аширом Атаевым, уволенным с работы по ложному обвинению. Атаев организует Знаменскому поездку с представителем Госкомитета по иностранному туризму в Красноводск и Кара-Калу, чтобы Ростислав воспользовался ею для сбора сведений о посевах опийного мака. Сам он поехать не может: торговцы наркотиками, которых он пытается разоблачить, не спускают с него глаз. В поездке Ростислав знакомится с приятелем Атаева Мередом, рассказывающим ему об истоках наркомании в этом регионе.

— Какой Ашир?— Вся наука, все навыки, вся осторожность, весь этот набор предупредительных в себе сигналов, все сейчас вспомнилось и зазвенело в Знаменском, упреждая, остерегая, призывая к осмотрительности, осторожности, лукавству, умолчанию,— чего там еще?— словом, всему тому, без чего твоя работа за границей, даже если ты вовсе не дипломат, а журналист, не стоит и гроша. Но разве тут была заграница? Разве этот славный малый, весело сейчас его рассматривающий, иностранец? Нет, не заграница, но пограничная зона, заступив которую можно погубить Ашира Атаева, одним неосторожным словом можно погубить, поскольку этот Ашир Атаев начал, похоже, бой с нешуточным противником.— Какой Ашир, дорогой?— Знаменский с недоумением ответно уставился на Мереда.

— Хорошо ответил!— похвалил его Мередж.— Хорошо глядишь! Притворяешься хорошо. Ну, ладно, как будем уезжать, передам тебе на вокзале письмо для Ашира. Он звонил мне. Из Кара-Калы вы поедете поездом, вот там, на вокзале, и дам тебе письмо.

— Не пойму, о чем ты толкуешь, дорогой Мередж?— сказал Знаменский.— Мне никто никаких поручений не давал, никаких писем брать мне не поручено. Ты не спутал чего-нибудь?

— Правильно, правильно отвечаешь!— Мередж просто любовался Знаменским.— Письмо я тебе все-таки передам, а ты уж сам решай, куда его деть. Не доверяешь мне? Молодец! Хотя обидно, конечно. Неужели я похож на провокатора?

— Ты похож на очень славного парня, Мередж. Но...

— Правильно, правильно отвечаешь. Немножко приподниму завесу... Чтобы ты хоть чуть-чуть поверил мне... Доверие нужно даже не нам с тобой, а этой шурпе. Ее нельзя хлебать за одним столом, не доверяя друг другу. В старину враги не садились за один стол, а если садились, не притрагивались к еде, боялись отравы. Недоверие — это отрава.

— Я верю, тебе, Мередж, но... Действительно, хорош супчик.— Знаменский, обжигаясь, начал есть.— Ну и горяч!

— Чурек бери. Шурпа медленно остывает, жир мешает. Ее надо с хлебом есть и не спеша глотать. Так вот, наш Ашир собирает сведения, где у нас по Туркмении высаживается мак. Он, понимаешь, карту маковых посевов решил нарисовать. Совсем агрономом стал, когда из прокуратуры прогнали. Ну, а я кое в чем ему тут помогаю. У меня много друзей, во всех наших городах и селениях можно найти моих друзей. Один видел где-то маковое поле, другой видел где-то. Кто в предгорьях, кто в горах, кто где. Возле канала клочок поля, возле кяриза клочок поля — там, тут, тут, там. Карта зачем нужна? Один клочок — пустяк. Пять, десять клочков — пустяк. У нас веками высаживают мак. Пороки не нами сегодня выдуманы. У нас старики и про бел знают, бел — это гашиш. Высевают коноплю, черти, накуриваются до одури. Старики! Месяцами только овцы вокруг! Одиночество, мэканье одно вокруг. А покурил, и гурии к тебе сбегаются. Что желаете, ага? — вопрошают. Мы можем омыть ваши ноги, умастить ваши плечи, мы можем... Есть еще нас... Нас! Скверная штука. Чего там не понамешано. Белая махорка и даже негашеная известь. Суют под язык. Пробирает до пота! Бьет по мозгам! Имеешь возможность попробовать, на каждом нашем базаре продают. Зелененький такой порошочек. От зубной боли очень помогает. Наши аксакалы к зубному врачу ни за что не пойдут. На аркане не затащишь. Хуже шайтана для них зубодер. Как позволить, чтобы кто-то залезал тебе в рот, чтобы отнимал частицу тела твоего?! Никогда! Но зубы-то болят у старого человека. И тут помогает нас. Мы его не запрещаем. Да беззубому старику разве что запретишь? Он гораздо ближе к аллаху, чем к районному отделению милиции. Ну, как моя лекция?

— Занятно. Нет, я эту известку пробовать не стану. Мне довольно и шурпы. Весь рот сжег.

— Не спеши, шурпа — медленная еда. А есть еще у нас тирьек. Вот он-то и добывается из мака. Из молочка, которое вытекает, когда надрежешь маковую головку, когда еще не вызрел мак, не почернел. Да, тирьек... Опий, короче говоря. Опиум! Тоже не новость в наших краях. Из Китая, так думаю, к нам пришел этот сизый дымочек. Много веков назад пришел. Тирьек... А тех, кто к нему пристрастился,— а он прилипчив, только начни, он тебя не отпустит, ни на миг не отпустит — тех у нас тирьеккешами зовут. Еще встретишь таких. Где-нибудь на базаре, возле базара. Они там подпирают спинами дувалы. Щеки впали, глаза блуждают, руки-ноги не слушаются. Это не пьяницы. Ешь, ешь шурпу. Остынет! Не чал, врут про чал, шурпа все снимет! Нет, это не пьяницы. И им не до веселья. Это живые покойники. Но что-то они там в своем полузагробном мире находят для себя. Видения их посещают. Накурились или нажевались — вот и жизнь. Другая для них уже невозможна. А тирьек очень дорог. Он строго запрещен у нас. Его можно достать только из-под полы. И дорого надо платить. Вообще дорого. Сперва все деньги отдай, какие есть, все вещи спусти, какие есть, а потом и жизнь заплатить придется. Вот, дорогой, если коротко, что такое лоскуток земли с зацветающим маком.

— Но если это у вас с незапамятных времен, так чего же вы горячку порете?— сказал Знаменский.— Зачем какие-то вам карты вдруг понадобились?

— С незапамятных времен, ты прав, дорогой. Но эти лоскуты под маком то исчезают, то появляются, то их совсем мало становится, то вдруг много. Приливы и отливы. В чем тут дело? Я объяснить не берусь, у меня семилетка и курсы киномехаников. И вот, понимаешь, вдруг этих маковых лоскутов у нас сильно прибавилось. Вдруг! Ашир говорит, что столько нам, для наших стариков, для наших несчастных тирьеккешов не нужно. Ашир считает, что наш тирьек стали вывозить. К вам, в Россию! Спрос появился. Мода! Так считает Ашир. А он неглупый человек, поверь. И ему теперь важно узнать, кто заставляет столько сеять мака. Кто?! И кто вывозит?! Кто?! Вот для этого и нужна Аширу карта. Велеть подавать плов, дорогой? Без плова нет обеда.

— Так мы же всего лишь завтракаем.

— Разговор трудный вышел. После такого разговора нужен плов, чтобы подкрепиться. И больше мы к этому разговору не вернемся, дорогой. Сейчас спустится к нам твой старик, который станет после сна огурчиком, и мы начнем нашу программу. Вы зачем прилетели? Вы прилетели, чтобы осмотреть все перспективно-курортные места в нашей области. Это сегодня тут жарко и пыльно. Но ведь у нас есть море. И к нам тянут воду Амударьи. А знаешь ли, что она уже в ста километрах, нет, в шестидесяти от Красноводска? Мы увидим эти благословенные трубы, когда полетим в Кара-Калу. Я добыл для вас вертолет. Посланник будет доволен. Мы будем низко лететь, совсем низко, почти касаясь верблюжьих горбов. И мы увидим эти трубы, по которым вернется сюда вода Амударьи. Когда-то, совсем недавно, ну, пять, ну, семь столетий назад, здесь была вода, плодороднейшие поливные земли. Река ушла, ушла жизнь. Теперь она возвращается, наша Аму! Ты представляешь, в какое историческое время мы с тобой живем?! Плов! Вот несут плов! Милые, прекрасные руки ставят нам на стол блюдо плова! Спасибо, женщина! Спасибо, дорогая!

Мелькнули полные руки, проплыли, удаляясь, полные бедра, а на столе заблагоухал плов.

— Даже смотреть на женщин я не могу, дорогой,— сказал Мередж.— Кто я? Муж секретаря обкома! Вмиг донесут.

— А почему бы не подключить к этой карте твою жену?— спросил Знаменский.— Все-таки секретарь обкома.

— Разве я тебе сказал, что речь идет о нашей области?— насторожился Мередж.— Я назвал тебе нашу область?

— Нет, не назвал.

— Мне пишут со всех концов — вот что я говорил. Там — тут, там — тут, а где именно — я не говорил.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 39—45.

— Не говорил, успокойся. Но все-таки секретарь обкома.

— Ну и что? Она же не первый, а третий секретарь. Она после первого и второго должна голос подавать. И она женщина. Конечно, дома, когда муж — бывший киномеханик, конечно, тут можно... Нет, дорогой, я несчастнейший человек на свете! И ешь, ешь, хватит разговаривать. Плов надо есть горячим.

18

Отобедав, они пошли будить посланника, для которого Мередприхватил со стола целый поднос всякой всячины: тарелку плова, навалом винограда, только что выпеченный чурек. Нес он и большой чайник с чаем, с гок-чаем, светленьким, совсем горьковатым напитком, который, оказывается, тоже все снимал.

Высоко и умело неся поднос над головой, невысокий, кругловатый, быстрый в своем коротком, плавном шаге, шел по гостиничным лестницам, а потом по коридору Мередж, веселый и в походке своей, ловкий какой-то. Он был одет наипростейше: рубаха, штаны, сандалеты. Но очень ладно сидела на нем эта одежда, служила, не выпячиваясь, и он не казался бедно одетым. Как ему было удобно, так и оделся. Случится той — не будет трястись над своими брюками, страшась посадить на них жирное пятно. Случись срочная куда-то командировка — в зной, в пустыню, на нефтевышку или к чабанам,— и он опять же готов ехать в грузовике по пыльной дороге или даже на спине верблюда очутиться, а то и на спине ишака. Он был заряжен на любое дело, готовый и к столу, и к дороге, к мгновенности перемен. И хотя был он, как отрекомендовался, заведующим всей культурой города-порта Красноводска, он продолжал оставаться все тем же сельским киномехаником, кинокочевником, младшим братом и унаследователем веселого и лукавого Ходжи Насреддина. Можно было понять, глядя на него, за что приглянулся он некоей строгой, но, конечно же, очень красивой девушке.

С этим подносом явились они пред очи посланника. Похоже, вздремнуть ему не удалось, глаза его устало и неодобрительно рассматривали молодых, здоровых людей, у которых какие-то там были трудности и проблемы, неудачи даже и беды, хотя никаких не было у них проблем и бед, раз они молоды и здоровы. Главное — здоровы! А они этого не понимали. Еще поймут! Не минует!

Самохин сидел за маленьким письменным столом, тяжело упершись в него локтями. Он ничего не писал и ничего не читал. Он выбрал это место в комнате, потому что оно, пожалуй, было единственным местом, где бы не висели или не лежали ковры. В такую жару — ковры! Но ведь это был люкс, гостиница областного центра, славящегося ковроделием. Даже кровать была застлана ковротканым покрывалом. И пол был устлан коврами. Полупустой графин с чалом стоял на письменном столе перед Самохиным.

— Спиваюсь вот,— сказал он.

— Правда, помогает?— радостно спросил Мередж.

— Живой пока.

— Без веры пили или с верой?

— С верой, с верой,— вяло сказал Самохин.— Что, пришли по мою душу? Куда-то надо ехать? Что-то надо смотреть? Ох, старый дурень! Как это я дал себя уговорить на эту поездку?! Он не гипнотизер, этот ваш Ашир, Ростислав Юрьевич?

— Ашир Атаев? Это он вас уговорил лететь к нам?— спросил Мередж, очень заинтересовавшись.

— Он, он. Сказочник какой-то. Наплел невесть что про ваш чал. Ну, пью. Ну, мутная какая-то жидкость. А дышать-то у вас нечем.

— Ашир вам правду говорил про чал,— сказал Мередж, старательно прижмуривая глаза, отчего залукавилось его круглое лицо, совсем Насреддином стал.— Но с верой, с верой надо вкушать этот напиток. Без веры вообще ничего нельзя достигнуть. Даже комара нельзя убить, не веря, что попадешь в него. Подкрепитесь, прошу, и поехали. Нас ждут на ТЭЦ. Это во-первых. Поглядим на опреснители. Морская вода входит, пресная вода выходит. Потом...

— ТЭЦ? Но это же жара в жаре! Там же топки!— На Самохина было тяжко смотреть, так он испугался.— Зачем туристам ТЭЦ?

— Хорошо, подкрепитесь немножко, и покатим в музей. Второй пункт нашей программы. Музей — это для туристов?

— С кондиционерами, надеюсь?— спросил Самохин, вяло отломив от чурека, вяло принявшись жевать.

— Правду скажу, не помню.— Лицо Мереда перестало лукавиться, могло оно быть и серьезным, и даже печальным, оказывается.— У нас очень серьезный музей. Не помню...

И вот они в пути, «Волга» кружит, часто сворачивая, по нешироким, все больше на сход к морю, улочкам, скучноватым, если правду-то сказать, где редки вязы-карагачи, но они хоть в силе, а деревья помоложе так исчахли от безводья, жары и знойного ветра, что даже их собственная тень от них сбежала.

И вот они въехали на маленькую, круглую совсем площадь, просто площадку с единственным могучим вязом у обочины и с домом одноэтажным, приземистым, хмурым, стародавней постройки. Это и был здешний музей.

У карагача, в его тени, сидел моложавый старик в черном высоком тельпеке, в красном стеганом халате, и ему не было жарко. Он гордо сидел, зорко поглядывал, сухой был. Он чем-то торговал тут, в мешке у его ног какие-то зернышки зеленели-желтели, в них был утоплен стакан.

Не в дом этот унылый захотелось идти Знаменскому, а к старику величавому подойти. Он так и сделал, пошел от машины к продавцу, как оказалось, фисташек, чтобы поближе разглядеть столь неподвластного зною человека, с таким гордым, даже загадочным лицом, такого невозмутимого. Вот он-то и был истинным хозяином этой суровой земли. Вдруг старик пошевелил коричневыми губами, проговорил нечто невероятное:

— Ты Знаменский?.. Ашира знаешь?..— Старик подождал, когда Знаменский кивнет ему, и тот оторопело кивнул.

— Иди, куда пришел, я тебя подожду... Подойдешь потом, купишь фисташки... Иди!..— Старик закрыл глаза, отгораживаясь от вопросов.

Знаменский подчинился, повернулся и пошел к музею, от дверей которого ему махал нетерпеливо Меред. Один велел идти, другой велит спешить... И в каждом из этих велящих был Ашир Атаев. Оторопело пересек Знаменский изнывшую от жары площадку, на которой ближе к хмурому дому были воздвигнуты на постаментах из оплавленного солнцем песчаника чьи-то бюсты. Знаменский вгляделся, сложил посеченные ветрами буквы. Это были памятники Шаумяну, Фиолетову, Азизбекову, Джапаридзе. Так вот что это был за музей! Это были четверо из 26 бакинских комиссаров, расстрелянных в восемнадцатом году где-то здесь поблизости английскими интервентами. Солнце плавило, не плавя, склоняясь к морю, эти прямо в тебя смотрящие глаза, твердо сжатые губы. Как велик бывает скульптор, который самые простенькие поделки рук человеческих, призвав к работе солнце и ветер, время и память, превращает в величественные творения, в памятники, глянув на которые у человека сжимается сердце.

С сжавшимся сердцем вошел в дом Знаменский.

Экскурсовод уже начала рассказ. Это была пожилая женщина, в темном не по-летнему платье, отдаленно и близко похожая на Надежду Константиновну Крупскую, какой она запомнилась по фотографиям уже без Ленина. Совсем другая, конечно, женщина, не то совсем лицо, но из той поры.

— Мы с вами, товарищи, находимся в бывшем арестном доме,— говорила экскурсовод.— Сюда-то и заточили двадцать шесть бакинских комиссаров, когда утром 17 сентября восемнадцатого года пароход «Туркмен» встал на рейде Красноводска и был захвачен англичанами. Товарищ, прошу вас, не останавливайтесь пока у этого макета...— Экскурсовод окликала Знаменского, который, войдя, сразу натолкнулся на макет в вестибюле, воспроизводящий в объеме и в деталях расстрел двадцати шести — в песках, в пустыне, где-то рядом, поблизости от этого макета...— Мы еще вернемся, товарищ, к тем мгновениям. А пока...

Экскурсовод направилась в зал, и Самохин и Меред пошли за ней, но Знаменский не мог отойти от макета, очень тщательно исполненного, старательно повторявшего картину И. И. Бродского, о чем уведомляла выстуканная на машинке подпись. Но нет, живопись тут исчезла, сюда пришло иное. Сюда пришла истина. Так было. Вот так вот именно страшно все там и происходило, где-то совсем рядом, в песках, неподалеку. Такой же воздух овевал этот макет, что и тогда, там. Такие же песчинки сюда залетали. И такой же зной тут царил. Расстреливаемые, в которых уже нацелились стволы, стояли со вскинутыми руками, будто они вышли на митинг, обращались к народу. Они угадали, так встав перед смертью. Они так встали перед Памятью. А эти, стрелявшие, и эти, сбоку стоявшие предатели,— офицеры, штатские, батюшка в шляпе, отвернувшиеся от убиваемых,— а эти тоже застыли перед Памятью. И Память сейчас казнила их, а не тех, кого тогда убили. Не нужны были залы, никаких больше не нужно было залов. Этот арестный дом, приземистая могила, и этот макет — Память — вот и весь музей.

Знаменский повернулся и вышел на улицу. Он продрог в музее и впервые в Туркмении обрадовался беспощадному солнцу, чуть лишь его согревшему. Он снова пересек площадку, прощаясь, вгляделся в молодые — а ведь молодые совсем! — лица. Им, этим легендарным большевикам, действительно легендарным и прекрасным в своем мужестве, в своей вере, прежде всего вере, было даже меньше лет, чем ему, они были моложе. А кто он? Закатное солнце резко высветило высеченные резцом и ветром лица, на них невозможно было смотреть, обжигало глаза. А кто он?

Знаменский подошел к старику, торгующему фисташками. Помаргивая, взглянул на него, страшась, что и тут жаром обдаст глаза. Нет, прошло, мир встал на свое место, величественный старик даже слегка улыбался ему неумело, его тонкие коричневые губы не знали улыбчивого уклада.

— Кулек тебе приготовил,— сказал старик, извлекая из мешка сверток.— Фисташки... Отдашь Аширу... Сам не разворачивай... Ему подарок... Спрячь...

Знаменский взял сверток, который был не кульком, а пакетом, быстро сунул, оглянувшись, в задний брючный карман.

— Не потеряй.— Старик, остерегая, поднял сухой, коричневый палец, погрозил им.

— Не потеряю...— Знаменский пошел от старика, но тот его остановил:

— Рубль отдай!

Знаменский вернулся, извлек из кармана смятую и влажную бумажку, протянул старику. У того насмешливые искорки промелькнули в глазах. Совсем как у Ашира были глаза.

— Люди смотрят,— сказал старик.— Что за продавец, которому деньги не отдают?! Иди!..

Знаменский повернулся и пошел. Не к музею, а по крутой улочке стал спускаться, идя на солнце, которое все ближе приникало к морю, к этому странному тут, беспрохладному морю, такому издали заманчиво-синему.

19

Вскоре из музея вышли Самохин и Меред. О чем-то они спорили. Меред настаивал, Самохин отказывался, решительно отмахиваясь. Увидев Знаменского, он торопливо пошел к нему, отмахнувшись и от подкатившей «Волги».

На крутой улочке, высоко взбежавшей, откуда широко был виден город, вжавшийся в скалы и прильнувший к морю, они сошлись, два чужестранца здесь, молча стали оглядываться, отыскивая между домами промелькн близкой пустыни, тех самых барханов, которые так тщательно были повторены на музейном макете.

— Меня поразил этот музей,— сказал Самохин.— И вас, вижу?

Знаменский кивнул.

— Восемнадцатый год...— Самохин удрученно всматривался в близкую даль, в побежавшие за окраинными домами гребешки барханов.— Шестьдесят семь лет прошло с тех пор... А допусти их сюда, ведь опять начнут расстреливать. Ничуть не поумнели. Мало им, все им мало. Война продолжается, Ростислав Юрьевич, я так считаю, она и не прерывалась.

— Пожалуй.

— Только хитрее сделалась. А какие люди начинали нашу революцию, какие люди! Жаль, вы не видели их фотографий. Какие лица! Ясные! Честные! Окрыленные! Мы многого достигли, во многом победили, это так, тут спора нет. Но... в чем-то мы и потеряли, по ходу боя, так сказать... Приобвыкли, что ли?.. Когда долго идет война, когда телами в драке сшибаешься, бывает, что и друг у друга враги что-то перенимают. Можно так сказать, их роднит вражда. Парадокс, но это именно так. Поняли меня?

— Это вы обо мне?

— Да что вы?! Вообще рассуждаю. А если близко взглянуть, так и о себе. Разве я не приобвык по заграницам-то? Разве я не понабрался там чужого? Разве я тот, все тот же Санька Самохин, каким начинал в Москве? Классический пролетарий был. Все ступеньки прошел, придя из деревни, всю науку великую рабочего класса. Стране нужны были рабочие, я выучился, стал токарем на «Динамо». Стране нужны были солдаты, я вступил в июле сорок первого в московское ополчение, а потом курсы кончил офицерские, а потом всю войну то на фронте, то в госпитале, то на фронте, то в госпитале. А потом, уже тридцатилетним, в институт иностранных языков подался. Вокруг девчонки. Стариком меня считали. Но я учился, вдалбливая в себя английский. Я так рассудил, что раз уж уцелел, кому, как не мне, бывшему солдату, отстаивать наши интересы за мирными столами переговоров. Вон как тогда занесся! И что же, стал дипломатом. Покатил Санька Самохин в дальние страны. К столам переговоров не сразу вдруг подсел, но все-таки... Сбылась мечта? Так?.. Что ж, достиг многого, если со стороны взглянуть. Но... и потерял, потерял... Измельчился... Истаскался... Расслабился... Банкетным недугом занедужил... Нефрит, а он у меня есть, наличествует в полном объеме,— это ведь, Ростислав Юрьевич, именно банкетный недуг. И сколько еще в нас с вами разных недугов, если вглядеться. Понабрались в ближнем бою. Опасная это штука — ближний бой. Вы-то теперь вглядываетесь? Изучаю вас, похоже, что вглядываетесь. Не унывайте, у вас еще вся жизнь впереди. Даете слово, что не будете унывать?

— Вам это важно, Александр Григорьевич?

— Важно! Вы мне симпатичны.

— Постараюсь. Но кто я теперь? Хуже, чем с нуля начинаю.

— У вас есть время. Я бы...

Подкатила «Волга», Меред выскочил из машины, вскинутыми руками призывая пускаться в путь.

— Программа, программа, уважаемые гости!— Меред всмотрелся в их лица, понял, что о серьезном шел разговор, поубавил напора в голосе.— Я понимаю, после такого музея походить бы, подумать бы, но... программа! Мы ведь с вами вроде туристов. Будущих!

— От ТЭЦ я все-таки отбился, а теперь куда?— уныло спросил Самохин, садясь в машину.

— На старейшее предприятие города, на наш прославленный рыбный комбинат!— Меред плотоядно сверкнул зубами.— Каспий хоть и обмелел, но еще дарит нам свои деликатесы! Нас ждут там вобла — и какая!— и пиво! Я весь высох, честно скажу.

— Это что же, копченая рыба?!— ужаснулся Самохин.— Ни за что!

— Ах, забыл, дорогой!— Меред сокрушенно ударил себя кулаком в грудь, но другой рукой быстренько захлопнул за Знаменским дверцу и подтолкнул водителя, чтобы ехал.

«Волга» покатила, развернувшись, снова миновав крошечную площадь, на которой стояли четыре монумента, а под вязом все еще сидел старик в высоком черном тельпеке, горделивый и загадочный.

— Ни за что!— повторил Самохин.— Даже запах коптильни я не переношу! За версту обхожу!

— А как же будущие туристы?— печально спросил Меред, чувствуя, что вобла и пиво ускользают от него.

— Вот они и поедут с вами. А я верю вам на слово. Куда нам еще?

— Тогда к морю. В наш знаменитый пансио-

нат, в зону отдыха ТЭЦ. Там один старик, между прочим, армянин, чудо сотворил. Пункт четвертый нашей программы. Между прочим, там ждет вас свежий чал.

— Поехали в пункт четвертый!— решительно распорядился Самохин.

— Искупаться хоть можно будет?— спросил Знаменский.

— Чудесный пляж! Говорю, чудо! Розарии! Виноградники! Не исключены гурии-мурии!

— Никаких гурий!— строго сказал Самохин.— Никаких мурий! И куда смотрит ваша жена, Меред? Мы к морю катим?— строго глянул он на водителя, вислоусого пожилого украинца, подчеркнуто обрядившегося в вышитую украинскую сорочку без воротника. Был этот водитель молчалив и важен, поскольку вон куда занесла его судьба, в какую даль.

— Побачите,— меланхолично молвил водитель.

Быстро отмелькали за стеклами машины низкорослые, вровень с дувалами дома, редкими окнами глядевшие на улицу. Вся жизнь — там, во дворе, где, возможно, виноградники, фруктовые деревья и даже фонтанчики притаились и где близко перед глазами море, а обернись — скалы. Там жили люди, которым этот город не мимолетность, а вся их жизнь на земле. Где-то был дом Мереда, где-то был дом этого молчаливого украинца. Тут радовались, печалились, тут по-всякому у них было, у людей, живущих на этой очень суровой земле. Но жили, не сбегали отсюда. Что удерживает человека на такой земле? Привычка? Невозможность поменять судьбу? А рядом пустыня, бескрайние пески. Что все-таки удерживало тут людей? Не эта ли суровость и удерживала? Ведь человек — загадка. Ему не всегда сладкое нужно для жизни. А тут вот мечтой жили. Мечтали о воде, которая все преобразит, сделав эту землю сказочным оазисом. А тут гордились своим Седым Каспием, который, хоть и обмелел, был щедрым все еще на рыбу. А тут традиции революционные жили, этот музей стоял, возвышались монументы прекрасноликих людей. И вода вроде бы уже подходит к городу. Та самая Амударья, которая сбежала, поменяв русло, с этой земли давным-давно, несколько столетий назад, ныне вот возвращалась. По трубам ее вели к Красноводску, совсем рядом эти трубы. Что-то еще будет тут, когда грянет вода?! Скучный городок, хмурый, но затаилась в нем надежда. И тут тихо, гона нет, а за дувалами, если заглянуть, как заглянул он во двор Дим Димыча, может открыться глазам чуть ли не райская картина. Мелькали домики Красноводска, а в глазах встал тот домик, где он теперь жил. Еще недавно не поверил бы, что сможет жить в такой халупе. Смог. И даже потянуло туда, в те стены, к тем голосам, к тем людям. Светлана вспомнилась, ее мальчик, этот Дим Димыч хлопотливый, и потеплело на душе.

Машина выскользнула из города, покатила по удручающе безрадостной дороге, где лента асфальта с множеством заплат из щебенки пролегла по земле, давно превращенной в припортовую свалку. Ржавые трубы, побитые бетонные плиты, кабельные катушки, искореженное железо... И глаза начинали радоваться близким и бесплодным барханам, открывать там и красу, и жизнь, когда сравнивали пустыню с этой освоенной и поруганной людьми прибрежной полосой.

— Дорога не для туристов,— сказал Самохин.— Куда вы нас везете, Меред?

— А вы посмотрите на эти трубы, вон на эту ниточку из труб, которая тянется вдоль дороги.— Меред опустил стекло, высунулся, руку протянул, будто хотел погладить эту ниточку из перепятнанных мазутом, явно старых обсадных труб, добытых где-то на нефтевышках, где отслужили свой срок и теперь вот зачем-то были соединены в эту самую ниточку.— Вы смотрите, смотрите на эти трубы, не выпускайте из глаз. Клянусь землей своих предков, Александр Григорьевич, что вы, если только я еще немножко вам поклянусь и если наш Петро не будет тащиться со скоростью старой черепахи, которую даже шакал не станет есть, то мы, клянусь вам!.. Э, вот теперь смотрите!

Машина свернула, соскользнула с дороги, миновала обширную лужу заржавленной воды и вдруг вкатилась в сад. Благоухание роз встретило их, здесь всюду росли розы. Это сперва. А сразу за розами стеной стояли гранатовые деревья, в ветвях которых еще не рдели, а лишь розовели елочными шарами гранаты. Зато яблоневые деревья, вставшие рядом с гранатовыми, рдели. И на земле было полно яблок, они лежали в живой траве. Эта живая трава была самым невероятным здесь чудом. Нет, и еще что-то таилось, как чудо. Солнце шло на закат, оранжевый, в пепельной дымке круг низко опустился к земле. И там, где плыл этот круг, стояла густая, на глаз прохладная синева. Это было море. Но и это еще не главным тут было чудом. В лицо ударил дух морской, прохлада морская коснулась их, всех обласкав, как счастьем. Вот что было тут главным чудом. Каспий дарил им свою прохладу.

Машина подкатила к легкому домику, от которого было до моря с десяток шагов. Влажный песочек увиделся, на который накатывались белые, радостные гребешки. А за ними — синь!

Знаменский выскочил из машины, кинулся к морю. На бегу стянул с себя рубаху, присев, упав на влажный песок, стянул джинсы, разулся, дыша, дыша этим горьким, влажным морским духом, а потом, выпрямившись, с замирающим сердцем шагнул в море. Здесь было сразу глубоко. Он поплыл. И заплакал.

20

Он плыл недолго. На берег шла крутая волна. Его подбрасывало, белые гребешки превратились в пенистые, страшноватые стены. И мешали слезы. Откуда? Он никогда не плакал, разве что в детстве, но и о детских своих слезах забыл. Так жизнь катилась, что слезы в ней не требовались. Даже тогда, недавно, когда все сразу развалилось, когда и пугали, и позорили, и стыдили, и когда было и страшно, и стыдно, сухими оставались глаза. Так и должно, если ты мужчина. Да при чем тут это? Он просто не умел плакать, никогда раньше не высекала жизнь в нем слезы, не звала к ним. И вдруг здесь, вдруг выбрызнулись... Допекла жара! Волны захлестывали лицо, и уже не понять было, все ли еще он плачет. Но стыдно было перед самим собой и еще как-то странно было, будто эти слезы чем-то и одарили, принесли облегчение. Нельзя жить, сжавшись, а он так теперь жил, все время помня, что с ним стряслось,— ни на миг не высвобождала его память. Сейчас он разжался, будто сдался самому себе,— вот что это были за слезы.

Он повернулся, выждал накатывающуюся белым гребнем волну, уступил себя ей, и волна подкатила его к самому пляжу и отхлынула, кинула на песок. Он поднялся, пошатываясь, побрел к своей одежде, вспомнил про пакет для Ашира и испугался, что так небрежно бросил его. Но вокруг не было ни души. Вдалеке, в виноградных рядах, важно вышагивал Самохин, сопровождаемый рослым и тучным, белокудрявым стариком. Там с ними был и Меред. А пляж был безлюден. Ни от кого не надо было прятать глаз. Он присел на песок, обсыхая.

А потом был снова обильный стол, шурпа и плов, но и чал, и творог для Самохина, стол ломился от дынь, винограда, плодов и овощей, выращенных здесь этим вот стариком армянином, были речи, тосты, много говорилось о будущем здешних мест, которые, чуть ороси их, вон каким райским уголком могут обернуться. Бросовая, по сути, опресненная морская вода, которая пришла сюда от ТЭЦ по ниточке бросовых же труб, а какое чудо она сотворила. Славили, конечно, и старого чудодея, седоголового армянина, скромно сидевшего с края стола, скромно прижмуривающего свои мудрые глаза. Выпил даже чуть-чуть и Самохин, тоже невеселый, хмуроватый, отрешенный. Ему бы тоже всплакнуть, полегчало бы. Но с чего ему плакать? У него все было в полном порядке. Разве что смертельный недуг им властвовал.

А потом той же дорогой назад. Уже поздний вечер был, когда они вернулись в свою красноводскую гостиницу, разошлись, простившись с Мередом до утра, а рано утром предстояло им лететь на вертолете в Кара-Калу.

— Пробил для вас вертолет, дело не шуточное!— похвастал Меред.— А как же, и гости не шуточные! Чрезвычайный и Полномочный Посланник по делам международного туризма!..

Войдя в свой номер, Знаменский обнаружил большой пакет из плотного целлофана, до краев набитый золотистой копченой рыбой, отборными, тучнобрюхими лещами. Это явно был дар рыбокомбината, запланированный дар, хоть гости и не явились.

В номере было невероятно душно. И еще этот запах рыбы, горячий запах и назойливый, если ты сыт сверх всякой меры. Знаменский засунул пакет в холодильник и пошел принимать душ. Но вода из кранов не потекла. Никакая — ни горячая, ни холодная. В ванной комнате стояли два ведра с водой — паек на номер люкс. Был тут и ковшик, плавал в одном из ведер, приглашая им воспользоваться. Знаменский зачерпнул воды, вдруг ощутив себя скупцом. Он только вымыл руки и ополоснул лицо.

В дверь кто-то постучал. Меред вернулся? Знаменский отворил. На пороге возник Самохин, в пижаме, с несчастным лицом. В вытянутых руках он брезгливо нес пакет с копчеными лещами.

— Умоляю, заберите у меня это!— чуть не плача, сказал Самохин.— Выбрасывать подарок не посчитал возможным, а держать в номере просто невыносимо.

— И у меня такой же.— Знаменский взял у старика сверток, стал запихивать в холодильник.— Разве у вас нет холодильника в номере?

— Там у меня лекарства, от этой рыбки они бы все провоняли. Можно, я у вас посижу немного? Спать еще рано, да и не усну.

— Прошу вас, Александр Григорьевич. И я не думаю, что легко усну.

— Музей в глазах?— Самохин прошел в комнату, где такой же, как и у него, крошечный стоял письменный стол и где такие же повсюду висели и выстилались ковры. Он огляделся затравленно и подсел к письменному столику, единственной не шершавой и не жаркой тут поверхности.— Эх, чал забыл! Привыкать начинаю к этой мутной жидкости. Самовнушаюсь.

— Принести?

— Не нужно, благодарю. Я ненадолго к вам. Да, музей... А какая земля, страна какая! Тут все строго на тебя глядит. Не почувствовали? А ну, что за человек, каков? Не почувствовали? А знаете почему?

— Нет.

— Приграничная полоса. И дело не в границе государственной как таковой. Дело в том, что места эти всегда были полем боя, полем чьих-то вожделенных интересов. Нефть! Недаром сюда кинулись англичане. О, эти знают, где добывается золото! Прирожденные загребатели чужого! В четырехстах километрах отсюда Иран. А там, лишь чуть подальше от нас, идет война Ирана с Ираком. Религиозная война, бессмысленная по сути. И никакого, знаете ли, двадцатого века. А море какое! Вы искупались, посмели. Я вам страшно позавидовал! Седой Каспий, опасная стихия. А вы нырнули, поплыли. Я даже испугался за вас. Нет, все обошлось. Но вы вернулись какой-то другой. Устрашились все-таки? Заглянули в пучину? Ничего, дружок, я понимаю, вам худо, даже очень худо, но это все-таки не нефрит... запущенный до упора...— Самохин замолчал, побарабанил громко пальцами по поверхности стола, принюхался, ловя ненавистный копченый запах, поднялся.— Пойду. На улицу, что ли, выйти? Завоняли нам номера наши щедрые хозяева. Пойду.— Он пошел к двери, обернулся, беспомощный и подавленный.— А на улице ветер с моря чуть ли не шквальный. Я смотрел в окно. Носятся тучи песка по улицам. Ну и местечко!

Он ушел. Ветер, ворвавшийся и в гостиницу, сердито прихлопнул за ним дверь.

А ведь мудрый старик. Жалкий и мудрый. На пороге стоящий. На пороге в пучину. Подходить к этому порогу тяжело. Вопросы изводят, так ли прожита жизнь. У него все в порядке, по течению плыл, на берег его не вышвыривало, а он вот изводится. Измельчился... Истаскался... Расслабился... Прав он, это точная мысль, что в ближнем бою враги, будто наобнимавшись, сами того не замечая, перенимают что-то друг от друга, прямо по-родственному перенимают. Точная мысль!

Продолжение следует.

ДАЛЕКО УРОКИ

Лазарь КАРЕЛИН

Роман

Рисунки П. Пинкисевича

Проиграв в рулетку государственные деньги, бывший журналист-международник Знаменский, скомпрометированный, возвратился на Родину. Друг по институту устраивает его на работу в Ашхабад. Здесь Ростислав подружился с Аширом Атаевым, которого оклеветали торговцы наркотиками и он был уволен с работы старшего следователя по особо важным делам. Атаев уговаривает Знаменского сопровождать в поездке по Туркмении важного гостя из Москвы. На самом же деле Ростиславу поручена роль связного между Аширом и его друзьями, собирающими для Атаева сведения о посевах опийного мака. В поездке Знаменский встречается с Мередом, который рассказывает об этих посевах, и стариком туркменом, тайком передающим Ростиславу пакет для Атаева.

Вдруг вспомнилась Знаменскому — в этой гостинице на краю света — другая гостиница. Сперва даже не понял, почему вдруг вошло в глаза, извлеклось из памяти это воспоминание. Прыгает наша память. Очень большие скорости часто развивает. То ты тут, то ты за пять тысяч километров отсюда, а через миг, за долю мига снова здесь и снова на пять тысяч километров назад отлетел. Вдруг вспомнилась Знаменскому вокзальная площадь Хельсинки... Когда это было? Да года три назад. Отозвали поближе к Москве, Лена могла бы часто туда к нему наезжать, всего ночь пути в поезде, вечером голову на подушку, а утром уже чистенькая станция с цветочками в вазонах на перроне и замечательный кофе в чистеньком, благоухающем, с тут же изготавливаемыми пончиками пристанционном кафе. Как называлась эта станция? У финнов все названия такие замысловатые, что можно язык своротить. Вспомнил! Вайниккала... Да, именно так, Вайниккала... Первая остановка после нашей границы, после станции Лужайка. Долгая остановка, таможенный контроль, проверка виз. Финские таможенники, собственно, только одно досматривают — спиртное. Можно провезти две бутылки водки и бутылку сухого вина. Все сверх того либо отбирают, либо велят вылить при них же. Таможенники идут по вагонам, всматриваются в лица. Всех же не обыщешь. И вот они высматривают потенциальных провозчиков лишней бутылки. Часто угадывают, психологи как-никак. И тогда показывай им чемоданы. Его ни разу не попросили открыть чемоданы. Служебный паспорт тут роли не играет, корреспондентский аккредитаж — тоже. Досматривают любого, кто покажется предрасположенным к бутылке. Тонкая игра, безобидный досмотр. Но его ни разу не заподозрили, он внушал доверие, можно было предположить, а так оно и было, что он вполне кредитоспособен, чтобы и в Хельсинки, если нужно ему будет, купить эту самую водку. В десять раз дороже? Ну и что? Он может себе это позволить. Это угадывалось, и финские таможенники уважительно взглядывали на него.

Да, Лужайка... Вайниккала... А почему привокзальная площадь в Хельсинки?.. А потому, что там, в глубине этой площади, стоял старинный, самый старый хельсинкский отель прошлого века. Все прочие дома на площади были много моложе, сверкали большими окнами и витринами, а этот был хмуроглаз, толстенные стены умели держать тепло, когда еще печами и каминами отапливались гостиничные номера. Вспомнилось, добыла память, как назывался этот отель. «Севра-отель» — так называли его хельсинкцы по старинке, хотя надпись по полукружью ротонды над входом в отель была другой. Да, вспомнился этот отель... Здесь, в Красноводске, среди жарких ковров и с пыльной завесой за окнами от ураганного ветра. Но почему именно он вспомнился?..

Знаменский подсел к столу, вторя Самохину, забарабанил пальцами по гладкой поверхности, приметив на столе круглые пятна от стаканов. Этот письменный столик, оснащенный чернильным прибором времен еще довоенных, с бронзовыми крышечками на чернильницах и ручкой с пером, именно с пером, носящим на себе следы чернильной закаменелости, наверняка не ведал ни единого письменного усилия своих постояльцев, но зато знал звон стаканов.

Да, а сперва была... А как же, все начинается со звона стаканов, что здесь вот, что там. Но не в «Севра-отеле». Сперва не в нем. Смешно вспомнить, решили отобедать в клубе пожарников. В Хельсинки полно этих клубов по профессиям. По сути, обыкновенные ресторанчики. Но все-таки этот вот для студентов, этот — для любителей духовой музыки, а есть и для актеров, есть и для землячеств, кто из Турку, кто из серединного Куопио, кто из самого северного, заполярного Ивало. Этот, где тогда встретились, был рестораном, полюбившимся пожарным. Это были весьма состоятельные бизнесмены, два молодых человека одного с ним возраста, ну, чуть постарше, но один уже был совладельцем крупной обойной фабрики, а второй — крупным издателем. Был еще и третий. Этот был представлен как человек из рабочих, а ныне профсоюзный деятель. Веселый, рыжебородый, неумолкаемый рассказчик, владевший худо английским, худо французским, худо русским, но смело управлявшийся всеми тремя языками, смело переводивший, поскольку бизнесмены твердо знали только свой финский, и, лишь выпив, загомонили и по-английски, и по-французски, да и по-русски тоже. Русский, как часто выяснялось, очень многие знали в Финляндии. Память у них усвоила этот язык, но память наша причудлива, часто придерживает свои знания, капризничает, скрытничает, хитрит.

Так почему же все-таки выбрали ресторан пожарных? Шутки ради, надо думать. Пригласившие, видимо, решили продемонстрировать свою фантазию. И кажется, в этом ресторанчике хорошо готовили рыбу. Мол, пожарники все время имеют дело с водой, но и рыба тоже не обходится без воды. Шутники! Впрочем, здесь было тихо, даже безлюдно в тот дневной час, когда они встретились. Надо думать, что эта вот уединенность и определила выбор. Потом-то он понял, что именно в этом было все дело. Сперва, пока были трезвыми, два бизнесмена и один профсоюзный деятель из рабочих соблюдали осторожность. Встречались-то они с советским журналистом, а в Хельсинки нет-нет да и начинали задувать холодные ветры, особенно когда кто-либо из высокопоставленных «штатников» оказывался визитером города. В те дни в Хельсинки гостил вице-президент Буш.

Обед как обед, сколько их было, с кем только и где только — не счесть, не упомнить. Этот вспомнился. Здесь вот, отмелькав памятью с крайнего юга на крайний север, из Средней Азии в Северную Европу, а оттуда — назад, в Красноводск. Пять тысяч километров туда, пять тысяч километров сюда. И все это за миг какой-нибудь. Не со скоростью ли света работает наша память?

Обед как-то сразу удался, весело пошел. Молодые собрались люди за столом, никакой официальной цели у них не было. Знакомство, все ради этого самого знакомства, познания друг друга. Соседи как-никак. Им нравилось к тому же, что человек из России объехал весь мир, что был он европейски воспитан. Они все время дивились всякой малости в его поведении, восхищались его умелостью за столом. Элитарный, это сразу чувствовалось, был этот гость из России. Ему нравилось, что им он нравится, да и славные были парни. Забавные отчасти в своем старании подражать английскому мужскому образцу, сдержанной манере английских джентльменов, а не каких-то там развязных янки. И когда они узнали, что он год провел в Оксфорде, то окончательно влюбились в него, не уставая изумляться, что в Советской России есть, оказывается, и такие вот, как он. Словом, обед удался, он раскованно пошел, приязненно, и когда череда блюд подвела их к завершению трапезы, жаль стало расставаться. Финны медленно расшевеливаются, но уж если расшевелились... Да и дружба же началась... Словом, молодые и заводные хозяева преисполнились желания продлить общение и чем-либо даже изумить столь симпатичного им гостя. Не закатиться ли куда-нибудь еще, сменив, так сказать, антураж? Осторожность побоку! Буша с его холодными ветрами побоку! Да здравствует доверие! И покатили.

И прикатили к «Севра-отелю», по пути рассказав его историю: что это самый респектабельный отель в городе, когда финны хотят побыть сами с собой, что это даже в чем-то закрытый отель, не для иностранцев, с виду даже бедноватый, старомодный, с мрачным и не слишком ухоженным холлом. Но внутри там есть такие комнатки... Но все партии из главных именно там проводят свои конференции. Но... словом, они ему там кое-что покажут.

Прикатили...

Ветер за окнами становился ураганным. Сплошной стеной шел по улочкам песок, ворвавшийся из пустыни, барханный, до крови секущий песок. Наверное, и море вздыбилось.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 39—46.

Каспий оттого и прозван «седым», что этот ветер из пустыни в клочья рвет его, вздымает, вспенивает.

...Молодые бизнесмены да и профсоюзный деятель из рабочих, как оказалось, были очень уважаемы в «Севра-отеле». Едва вошли, едва швейцар распахнул двери, к ним кинулись навстречу и еще какие-то униформы, появился и метрдотель во фраке. Сбегались, кланяясь. Не совсем обычная то была манера поведения в строго демократическом Хельсинки. Восток вспомнился, поясные там поклоны служащих отелей перед богатыми гостями, особенно иностранцами. Но то было на Востоке. Стало быть, он обедал нынче с очень уважаемыми в городе лицами. Он и сам оказался в отблеске их значительности. Метрдотель, прикинув, заговорил с ним по-английски и не ошибся, услышав уверенную, с лондонской накатливой невнятицей ответную фразу. Англичанин! Метрдотель был рад приветствовать в своем отеле именно англичанина. Этот отель был в английском духе. И вообще в Хельсинки особенно уважают англичан, их благовоспитанность, сдержанность. Совсем иное дело гости из Штатов, которых сейчас полно в городе. Немножко шумнее, чем хотелось бы, не правда ли? Метрдотель был счастлив приветствовать гостя из Британии. Кстати, английская королева с супругом, когда она была с визитом в Хельсинки, посетила их отель. Осталась фотография их посещения. Большая честь, не правда ли? У их отеля славная и давняя история. И даже историческая история. Генерал Юденич имел тут свой штаб в пору, когда его войска наступали на Петроград. Этот зал с белым камином, он так и называется «залом Юденича», сохранен и поныне в неизменном виде. Все это метрдотель рассказывал англичанину Знаменскому, но на слишком хорошем английском, но из хорошо затверженного — это была его обычная информация для почетных гостей. Рассказывая, он вел их куда-то, отдавая на ходу короткие распоряжения возникавшим и исчезавшим официантам. Они сразу попали не в парадные помещения, они продвигались узенькими коридорами, поднимались по крутым, узким лестницам, они шли в тайное тайных отеля. И покуда шли, все таинственней и торжественней становились лица молодых бизнесменов и их друга, профсоюзного деятеля из рабочих. Они просто взволнованными становились, их лица.

В узких коридорах лампочки горели тускловато, в темно-коричневых стенах тут жила стародавняя пыль, въевшаяся в обшивку. Не со времен ли Юденича пыль? Он, помнится, напрягся, начал было притормаживать. Но потом журналистская любознательность возобладала, да и спутники его были милейшими людьми, в их планы входило развлечь его, ну, изумить, но и только. Пожалуй, он был поопытнее их, пожив и поработав на Ближнем Востоке, побольше их повидал. Стриптизом каким-нибудь решили угостить, заставив раздеться перед ними неловких и застенчивых северяночек? Вот уж удивят его! Это после Парижа и Каира...

А ветер за окнами все ураганнее делался, он ударял в стекла кулаками песка, сотрясал рамы, и кондиционер в спальне, задыхаясь, жалобно присвистывал. Душно стало, просто невмоготу. И трудно, медленно стало вспоминаться, притормаживать стал Знаменский свою память, будто там, в узких, пыльных коридорах, на узких лесенках «Севра-отеля» начал он упираться и притормаживать, решив повернуть к выходу. Но ведь не повернул. Его вели — и он шел.

Память притормозила, помедлила, дала ему поглядеть за окна в эту мглу из песка, прислушаться к колотящимся в стекла кулакам, и снова повела его в тайную тайных хельсинкского отеля, где он покорялся чужой воле, беспечно уверовавший всем опытом своей жизни, что ничего худого с ним не случится.

Вошли. Метрдотель торжественно распахнул дверь и замер, потеснившись, чтобы не мешать гостям.

Комната, куда они вошли, была обыкновенным банкетным кабинетом, из небольших, когда к столу собираются человек десять —

двенадцать. И это был запущенный, явно редко посещаемый кабинет. Все в нем в полумрак было погружено, из-за задернутых штор сочился пыльный и коричневый от пыли свет. А когда шторы были разведены одним из суетившихся официантов, то глазам открылись старые, обшитые деревом стены, пыльные, потрескавшиеся, утратившие свой цвет, и открылся стол, на сукне которого пестрели древние пятна, вмиг, правда, исчезнувшие под крахмальной скатертью, которую торопливо накинул на стол другой из суетящихся официантов. И вот уже появились, встав толпой у края стола, маленькие, золотоярлычные бутылочки пива, появились под фигурно заломленными салфетками тарелки с миндалем в россыпи горячей соли, призывно зазвенели бокалы, пробуждаясь и побуждая взять их в руки. Официанты исчезли, метрдотель исчез, стало тихо, как в храме. И лица его новых знакомых, авторов этой наиобыкновеннейшей затеи попить пивка после обеда, ну пусть даже дорогого пивка, в каком-то дорогом ресторане, а вот лица его хозяев вдруг стали даже не торжественными, а напряглись, помрачнели или нет — важно насупились. С чего бы? Ни яств волшебных, ни вин заморских, столь здесь дорогих, и даже ни намека на стриптиз — какой уж там стриптиз в такой сумрачной комнате? И все? Пивком его решили угостить? Он огляделся, понимая, что чего-то еще не углядел здесь, что неспроста все-таки так напряглись, насупились, заважничали эти три молодых финна. Огляделся и увидел на одной из стен фотографии. Не разобрать было, чьи это были портреты, а это были портреты. Он подошел поближе, чтобы разглядеть. Фотографии были вытянуты в шеренгу. Эта шеренга прерывалась посредине небольшой нишей, в которой стояла маленькая, но в полный рост скульптура, вырезанная из темного дерева. Он вгляделся, слыша напрягшуюся за спиной тишину. На фотографиях-портретах были одни только мужчины, кто в штатском, кто в военном. Твердые воротнички, старомодная повязь галстуков, а у военных старомодные, кончиками вверх, усы и френчи, каких теперь не носят...

Стоп! Ринулась память назад, сюда, вот в этот город, на улицах которого сейчас хозяйничала пустыня, песком тараня окна и стены, завихриваясь смерчами на площадях. И на той площади, где стоят четверо из гранита, сейчас сплетаются смерчевые столбы, выстрелами хлопая от ударов о гранит...

Фотографии и фотографии... Из одного времени люди, повязанные одной историей и одной эпохой, столь похожие старомодными воротничками и повязью галстуков. Музей и музей! Но только в воротничках и галстуках их сходство, а дальше различие, противоположность, вражда, ненависть, смертельное противоборство. Музей и музей... Здесь и там, в той коричневой комнате «Севра-отеля». Так вот что добыла ему память?! Ко времени... К месту... Память, о, память наша умеет стукать нас лбом в стену!

Так что же это были за люди на тех фотографиях? Кто же это был изваян там из дерева и, как святой в церковном притворе, помещен в нишу? Память снова, вмиг отмахав пять тысяч километров, примчала его к стене в той комнате, напомнила ему, как он вчитывался тогда, близко наклоняясь, в надписи под фотографиями и скульптурой. На трех языках были надписи: финском, немецком, английском. Эрфурт... Рангел... Рюти... Вальден... Гейндрихс... Диттел... В дереве же был изваян Маннергейм... То были люди войны, то были враги, а иные и просто гитлеровцы, которых и врагами невозможно назвать, ибо они хуже врагов, им нет названия хоть на финском, хоть на немецком, хоть на английском.

А что же было дальше? Вот в этом-то и вся суть: что же было дальше?

А ничего, ничего особенного. Стали пить пиво. Да, разговор почти прервался, стал труден. Он вспомнил себя там — сейчас, здесь вспомнил. Ему было трудно, хотелось подняться и уйти, он вспомнил, что ему хотелось это сделать. Но он не поднялся и не ушел. Что удержало? То, что он был гостем? То, что он находился в чужой стране, живущей по своим законам и со своими кумирами? Но хозяева его нарушили правило гостеприимства. Они не должны были тащить его в свою коричневую комнату. Это была их вера, а не его. И все же он не ушел, хотя и замкнулся; он помнит! Не ушел, хотя ему там стало противно до тошноты — он помнит! — до тошноты. Не ушел...

А они, Шаумян, Азизбеков, Фиолетов, Джапаридзе, все Двадцать Шесть, а они бы в той комнате остались? Ни на минуту! Ни за что! Ни ради какой дипломатии! Они бы ушли! Разгневанные и презирающие! Но... Но их бы и не привели в ту комнату! Не посмели б!

Вот к чему подвела его память, сравнивая и тыкая лбом в стену: его привести туда посмели.

Но и это не все. Дальше вспоминать? Что ж, пошли, память, дальше... Где и вспоминать, как не здесь, где так трудно дышать от урагана за окнами. Когда и вспоминать, как не сейчас, когда отлетел ты уже не памятью, а судьбой. Пошли, пошли дальше...

А дальше было вот что... Попили пивка, хмурые и молчаливо рассорившиеся, похрустели соленым миндалем, потомились от молчания и ушли из этой коричневой комнаты, прогоркло от пыли. Расстались на улице? Нет...

В пути он думал: ну что за люди это, что их толкнуло потащить его в ту комнату? Бравада? Им ли мечтать о черной поре войны и фашизма, столь влюбленным в жизнь? Да, скорее всего, бравада. И он решил, ему захотелось в это поверить, что он столкнулся всего лишь с бравадой. Но, чтобы поверить, надо проверить. Он и поехал с ними в гости к одному из них. Так ли уж трудно уговорить себя на безрассудство, на бесконтрольность, призвав на помощь рассудительность и самоконтроль? Это хитрая штука — самоуговаривание. В чем хочешь можешь самоуговориться. Он ехал с ними, чтобы понять их. Впрочем, опыт, каким он разжился в последние годы, вполне уверенно сулил ему, что все сложится как нельзя лучше, все обойдется.

Минут через пять подкатили к «Президенту» — новенькому, из стекла и металла отелю. Можно бы было и распрощаться. Но рыжебородый увязался за ним. Обойный бизнесмен отвязался, распростился, а этот, профсоюзный деятель из рабочих, толстый и веселый, чуть что — и принимающийся хохотать, никак не хотел его покинуть.

Ну, в каком-то баре выпили, добавили. Еще куда-то переместились — и здесь, в этом отеле, полно было баров, больших и маленьких, — еще добавили.

Они очутились в холле отеля. В просторном, как улица в торговой части города. Тут было все: бар, магазинчики, даже рулетка, небольшой стол, из таких, какие устанавливаются в барах океанских лайнеров. Не Монте-Карло, а все-таки рулетка, а все-таки можно и здесь пополировать кровь, рискнув сотней-другой марок. Рыжебородому обязательно захотелось рискнуть. Завелся человек, финны если уж заведутся, их трудно остановить. Рискнул и сразу же просадил все жетоны, купленные им на сто марок. Купил несколько жетонов и он. Помнится, купил, чтобы отделаться от рыжебородого, настаивавшего, напиравшего, как все пьяные люди. Поставил, не думая о выигрыше, лишь бы отвязаться. Поставил на самую ненавистную для себя цифру «одиннадцать». Он почему-то ненавидел эту цифру. Рулетка была пущена, шарик поскакал, заметался и вкатился в лунку с цифрой «одиннадцать». Выиграл! Рыжебородый был просто счастлив. Он ликовал, кричал, вскидывая руки, хохотал. Их обступили. И снова он небрежно поставил на ту же ненавистную цифру «одиннадцать», только чтобы отделаться. Шарик поскакал, заметался, совсем лениво покатился и снова закатился в лунку с цифрой «одиннадцать». Это было невероятно! Целая груда жетонов перешла к нему. Но не он обрадовался, а рыжебородый. Этот ликовал. И уже порядочная толпа ротозеев собралась. Надо было уходить. Он был обучен, это было инстинктивным у него, когда надо уходить. Жаль, инстинкт этот, наука эта сработала тогда чуток с запозданием. Да, жаль...

Наутро его зачем-то вызвал к себе посол. Так, какая-то маленькая понадобилась ему информация. Спросил, как ему тут живется, не скучно ли в строгом Хельсинки после шумного Каира. Поулыбались друг другу, пошутили. Посол был из очень славных, симпатичнейший. Прошел войну от звонка до звонка, но не казался старым. Был сухощав, спортивен. Лицо явно примонголенное, он был из Сибири родом.

Вот и все, что вернула ему память, поговорив с ним в этой комнате, где было трудно дышать, потому что за окнами свирепствовал ураган, иссушив и без того сухой воздух. Вот и все...

А еще через два-три дня его снова вызвали в посольство, и уже не посол, а советник по культуре, милейший тоже парень, добрый приятель и тоже из МГИМО, суховато уведомил его — на службе суховатость уместна, — что его отзывают срочно в Москву.

Ну и что?.. Он тогда не придал этому значения... И прав был. В Москве его долго не продержали. Вскоре он снова очутился на своем Ближнем Востоке.

Вот и все. Ветер за окнами неистовствовал, в смертельную загоняя тоску.

21

Маленький вертолет, скользя по барханам диковинной тенью, низко шел над песками. После вчерашнего урагана, взбудоражившего тут все, до неба подкинувшего смерчевые столбы, пустыня отдыхала, ее парило, она наново укладывала свои барханные морщины, громадные шары верблюжьей колючки неприкаянно замерли, не ведая, куда их занесло. Вахтовый вертолет, добытый Мередом у нефтяников, придерживаясь курса асфальтовой дороги, но идя сбоку, заскакивая тенью в пески, был так обычен тут, что верблюды, пасшиеся у шоссе, даже голов не поднимали, не шарахались от странной, несущейся тени, вообще считали эту неуклюжую, громадную и очень шумную птицу вполне своим существом. Мередом не обманул, обещая, что можно будет почти касаться рукой спин верблюдов, так низко пойдет вертолет. Верно, совсем низко вел молоденький, азартный пилот машину, все можно было разглядеть на коричневой равнине песка, всякую малую тропку, насвежо проложенную каким-то трепетным, мелькающим существом — тушканчиком, ящерицей, а может быть, и змеей. Пустыня жила своей жизнью, давно приняв вертолет вместе с его тенью, яростным шумом мотора, с посвистом лопастей в свой мир. В свой мир были приняты и шагнувшие в пески буровые вышки, то тут, то там выглядывавшие из-за барханов. В свой мир уже начинали принимать здесь бесконечный протяг из труб, укладываемых в траншею, извивистую, как змея, если только возможны многокилометровые змеи.

Мередом забыл о своих спутниках, он приник к окну, отодвинул стекло, ветер сразу же высек слезы из его глаз, но Мередом смотрел, смотрел, чуть не вываливаясь в окно, и что-то кричал, безмерно счастливый, кричал или пел; ветер сминал его слова, сносил звук, закручивал в общий рокот и посвист мотора и лопастей. Мередом был счастлив. Он, наверное, все же пел, а не кричал, он пел от счастья, переполнявшего его. Трубы тянулись через пустыню, трубы, по которым совсем скоро пойдет вода! Он пел, конечно же, а не кричал. И если можно бы было разобрать в вертолетном треске слова его песни, то это были бы слова о воде, о чуде, которое сотворит вода в этих бесплодных песках, о счастье его, Мередова, что он дожил до этих дней, когда снова пришла сюда вода, на бесплодную, но некогда плодоносную землю.

— Вот он, счастливый человек! — громко, чтобы пересилить шум мотора, сказал Самохин, кивнув Знаменскому на Мередова. И все так же громко продолжил: — Я задумываюсь, там ли я искал свое счастье в жизни?! Все чаще задумываюсь!.. Дурно спали эту ночь?! А я так и совсем не спал. Думал, не тайфун ли какой-нибудь накинулся на Красноводск. Страшная штука эти тайфуны! Не довелось испытать?! А я, знаете ли, два года прослужил в консульстве на Яве. Рай, просто рай, а не земля! Но тайфуны!.. Никакого рая не захочешь, когда ветерок начинает дуть со скоростью в двести километров! Все сносит! Дома летают в возду-

же! И самое страшное, что необъяснимый охватывает тебя страх. Именно необъяснимый страх, то есть человек не может сам себе объяснить, что происходит! Мозг отказывается понять! Оттого и ужас! Подобное же состояние испытываешь, когда начинается землетрясение! Не доводилось испытать?! Теперь испытаете! В сейсмическую зону переселились! А я разок попал! Господи, это даже страшнее тайфуна! В Японии тогда служил, представительствовал в Иокогаме! Перепугался, знаете ли, на всю жизнь!— Он говорил, о чем-то страшном выкрикивал, но губы у него благодушно шевелились, он был доволен чем-то, в хорошем пребывал настроении. Похоже, разглагольствуя сейчас, он тоже пел, это его была песня, исторгшаяся из души, возникшая из радости полета, тоже, видимо, совершенно необъяснимого чувства.

А вот Знаменский так и не выбрался из вчерашней тоски. Не летелось ему сейчас, не смотрелось на диво пустыни, диво труб, которые вот-вот грянут тут водой, на семь веков покинувшей эти места.

графин с чалом, и милая, очень смущающаяся девушка, вся увешанная старинными украшениями из серебра, в шапочке с серебряными бляшками, в длинном синем платье до пят, вся сокрытая да еще и лицо почти сокрыв согнутой в локте рукой, вдруг так глянула на старика, блеснув глазами и зубами, что он замер, осекся и влюбился.

— Остаюсь!— шепнул он, тараща глаза.

И остался бы, ей-богу, шутка уже не шутка, когда такие сверкнут глаза, но сморгнул, глянул, а девушки уже нет, только столик с мутным чалом в графине стоял перед ним да пиалушка зелененькая ждала, когда он ее наполнит. И все вспомнилось, отлетела радость.

Встречавшие, солидные, хотя и молодоликие хозяева города уговаривали Самохина остаться на часок, поглядеть город, который был просто замечательным, ведь он же возник в пустыне, а вот теперь какие тут дома, какие прижились деревья, но Самохин был непреклонен. Он отхлебнул чала и заспешил.

— Город ваш замечательный, согласен, но он не войдет в зону туризма,— сказал Самохин.— Посмотрим с воздуха. Нам надо засветло попасть в сухие субтропики, в Кара-Калу. Как-нибудь в другой раз...

оплавившейся крышей, потекшей гудроном, какие-то чахлые деревца с железными листочками, изнемогшие машины, сбежавшиеся под незримую тень домика и деревьев, люди у столика с плодами и сосудами — это все было нереальным тут, странным, принесенным лишь на миг каким-то причудой-ветром, чтобы через миг и сгинуть. Реальным, навечным тут были барханы, зной, эти верблюды, парящие в мареве.

К Знаменскому, возникнув ниоткуда, как шар из колючек, подкатился какой-то круглый старик в черном халате и узорчатой черно-белой тюбетейке. Нет, это был не старик. Крепкозубым оказался, когда разжал губы в улыбке. И просверлили Знаменского зоркие, узкими щелочками глаза. Подкатился, уставился, сверкнул зубами, спросил тонким голосом, странно распевно произнося русские слова:

— Зачем приехал? Песок считать?

— Сопровождаю,— сказал Знаменский.

— Этот больной бурдюк?— сверкнул белесой полоской зубов человек в тюбетейке.

— Не понял.— Знаменский решил повернуться к тюбетейке спиной, но не повернулся. Глаза из-под тюбетейки удержали. Была в их взгляде-дуплете сила, наглая, бесцеремонная, вязали движения эти буравящие глаза.

— Прикрывает тебя, так?

— Не понял.

— Я понял. Его туша, а твои глаза и уши. Иди, зовут. Ты из Москвы?

Знаменский промолчал, медленно, трудно, как если бы отдирал от плеч что-то липкое, как мы во сне отдираем, освобождаясь от настырных глаз.

— Не пожалели человека, пригнали к нам в такую жару! А в Москве сейчас прохлада. Вах, не жалеют у нас людей!— Голос за спиной глумился, истончаясь, язвил, человек в тюбетейке шел по пятам. И вдруг умолк, едва Знаменский вступил на бетон вертолетной площадки. Знаменский оглянулся. За спиной тянулись барханы, плыли в мареве верблюды, будто свершая неподвижный и очень торжественный танец, и не было никакого человека в тюбетейке. Нырнул, должно быть, в стайку встречающих, растворился.

И вот они снова в воздухе, и помрачневший Самохин печально смотрит на проносящуюся рядом с вертолетной тенью землю, на этих игрушечных, славных верблюдов, таких тут красивых, созвучных с пустыней, и прощается, прощается со всем этим миром окрест, все время помня свою беду и понимая, что другого-то раза уже не будет.

Слева открылись холмы и предгорья Копет-Дага. Все вверх и вверх идущие гряды. Где уже выжелтившиеся холмы, черновато-коричневые скалы, убереженные от солнца глубокие темно-зеленые расщелины, где, если совсем вверх глянуть, снежные, избывающие тайнички,— загадочный и влекущий мир.

— А знаешь, Ростик, дорогой,— снова обернулся от окна Меред,— а у нас тут в горах иногда страшные бандиты прячутся! Сбегают сюда от правосудия. Месяцами живут, гребя чабанов. Попробуй отыщи их тут! Ну, конечно, в конце концов их ловят. Я бы тоже сбежал сюда, если бы был бандитом! Хоть месяц бы пожил еще на воле...— Он снова всунулся в окно, но лицо его успело опечалиться, песню горланить не стал.

В Кара-Кале на крошечном вертолетном аэродроме, прильнувшем к крутящейся, обмелевшей горной речке, их встретил маленький пряменький летчик с большими усами. С Мередом он обнялся. Они потоптались немного, стараясь один другого приподнять от избытка чувств. Меред был куда потяжелей летчика, но летная сила одержала верх, и маленький летчик, по-борцовски изловчившись, высоко поднял круглого Мереда, а потом мягко, нежно опустил на землю. С гостями летчик поздоровался по-военному сдержанно: отдал честь Самохину, чуть кивнул Знаменскому.

— Добро пожаловать,— сказал он и, будто усомнившись, что его поняли, перевел:— Салам алейкум.

— Ростик, дорогой, смотри, белый верблюжонок!— обернул к нему сияющее лицо Меред.— Это к счастью! Добрая примета! Хорошим пловом нас будут встречать!— И он опять сунулся в окно, опять завопил свою песню счастья.

Короткая остановка в Небит-Даге, где вертолет заправился горючим для трехсоткилометрового броска к Кара-Кале. На площадке, под навесом, уже ждал их стол, так заваленный дынями и многоцветным виноградом, что чудо земных этих даров перестало казаться чудом, становясь обыкновенностью. Столько было всего, что ни к чему уже не тянулась рука. И это приметил мудрый и хорошо себя нынче чувствовавший старик.

— Замечали, Ростислав Юрьевич, когда стол щедр стол, то и азарта нет вкусить от щедрот!— сказал Самохин.— Человеку необходимо создать ситуацию, когда бы он мог пожадничать. Скорей, скорей, чтобы схватить! Самый лучший кусок! Чтобы другому не достался! Ну, как на всех этих а-ля фуршетиках, когда братва наша накидывается, будто из голодной деревни. На столах ведь там больше посуды, чем лакомых кусков. А тут...

Но тут ему на отдельном столике вынесли

Знаменский отошел чуть в сторону, отстранился от разговора, да его никто и не уговаривал остаться, про него сразу тут поняли, что он не более как сопровождающее лицо. Либо поняли, догадались, либо заранее были извещены о нем, как извещен был Меред, зона-то приграничная, тут каждый человек учтен и примечен. А он так и держался, как сопровождающий, хоть на шаг, да позади Самохина. А сейчас и просто отошел в сторонку, сойдя с асфальтовой полосы, мягкой, почти вязкой, сразу же ступив в пустыню, в пески, в барханную до горизонта рябь. Тут вокруг все было резко обозначено, резко поделено. Вот новое, вот старое, вернее, древнее, просто даже библейское, добиблейское, существовавшее в миг сотворения мира. Убийственно пекло солнце, на которое невозможно было поднять глаза, до горизонта тянулись застывшими волнами барханы, неподвижными казались в далеком мареве верблюды, эти странники вечности, но тут, если на тысячелетия мерить, еще недавние пришельцы. Несколько бетонных плит вертолетной площадки, домик из сырца с

Продолжение следует.

ДАЮ УРОКИ

Лазарь КАРЕЛИН

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

Бывший журналист-международник Ростислав Знаменский, проштрафившись за границей, оказался в Ашхабаде в должности переводчика. Здесь он подружился с бывшим старшим следователем по особо важным делам Аширом Атаевым, которого оклеветали торговцы наркотиками. Уволенный с работы, Атаев продолжает расследование. Он организует Знаменскому поездку по отдаленным районам Туркмении, где друзья Ашира Атаева должны передать Ростиславу сведения о маковых полях.

Во время короткой остановки в Небит-Даге один из тех, кто связан с торговцами наркотиками, пытается что-нибудь выведать у Знаменского о порученном ему задании.

Дорога в город была дорогой через сад, где рощи миндалевых и фисташковых деревьев сменяли аккуратные ряды виноградников, а потом шли высокие стволы ореховых деревьев, с зелеными, еще на себя не похожими грецкими орехами, за ними — яблоневые сады, но везде вперемежку стояли гранатовые невысокие, круглокронные деревья, тоже пока не с красными, а с розоватыми плодами. Вдали начинались горные гряды, вблизи то появлялась, то исчезала речка, шурша водой по каменистому, обмелевшему руслу. И небо тут было не пустым, не казалось яростным зевом раскаленной печи, а бежали по нему легкие облака, похожие на многоголовую отару.

— Вот это для туристов местечко! — сказал Самохин и грустно огляделся.— Рай...

Быстро промелькнули одноэтажные дома городка, загороженные ветвями, а потому загадочные, мелькнули и два-три дома из стекла и бетона, которых деревья не могли загородить,— эти дома показались тут голыми, не к месту, случайно забредшими. Машина — а они ехали на вездеходе и еще один вездеход их сопровождал, что говорило не столько об уважении к приехавшим, сколько о повседневности забот этого райского уголка, столь близко отстоящего от государственной границы,— машина их въехала в ворота, открывшиеся, покатившиеся на колесиках, и очутилась в квадрате двора, где все было четко расставлено. Справа стояло большое сливовое дерево, слева пяток старых яблонь, очень ухоженных, белоствольных, а прямо, позади круглой клумбы с российскими анютиными глазками, вытянулся белый одноэтажный дом с веселенькими занавесочками на окнах.

— Дом для почетных гостей,— сказал усатый летчик.— Имеется душ, в комнатах работают вентиляторы, сторож или его жена приготовят вам чай, кипяток тут круглосуточно, в столовой вам накрыт стол, а вам,— он гля-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 39—47.

нул на Самохина,— подготовлен чал. Отдыхайте. Через два часа я заеду за вами, покажу наши достопримечательности, а потом повезу во Дворец культуры. Соберется городской актив. Ждем от вас, товарищ Самохин, рассказа о перспективах нашего края, желательно, чтобы вы и о международном положении нам рассказали, поскольку ваш опыт Чрезвычайного и Полномочного Посланника для нас будет очень интересен.— Летчик, произнося звание Самохина, с большой буквы обозначил каждое слово, уважительно и строго глядя на старика. Говорил летчик очень чисто по-русски, но жил в его русском акцент, свой распев был, который отличался от акцента Мереда, мягче, легче текли слова, пусть даже официальные и казенные.

— Вы не туркмен? — спросил Самохин.

— Азербайджанец, товарищ посланник.

— Да не зовите меня посланником,— слабо запротестовал Самохин, легонько отмахнувшись рукой, будто отмахивался от былого, но не очень настойчиво, поскольку жизнь-то у него была в прошлом, а не в нынешнем дне.— Кстати, о международном положении мог бы лучше меня поведать мой спутник Ростислав Юрьевич Знаменский. Он международник по профессии.

— Да, да...— Летчик коротко глянул на Знаменского и отвел глаза.— Мы ждем вашего доклада, товарищ Самохин.— Он козырнул, легко выпрыгнув из машины, и снова козырнул, когда Самохин ступил на землю. Этот почет был адресован только ему, Знаменского летчик просто не замечал.

— Меред,— сказал летчик.— Я поехал, хозяйничай. Но помни заповедь аллаха!

— Угощающий, дорогой, да разделит трапезу с гостем! — живо отозвался Меред.— Ты про это? Пусть посланник и докладчик пьют свой чал, а мы, презренные, можем и нарушить одну из сур корана. Кто с нас взыщет, с презреннейших? Кстати, Ибрагим Мехти оглы Мамедов! Смотрю, большим ты начальником стал! Официальным стал!

Летчик чуть усмехнулся диковатыми, зоркими глазами, вскочил в машину, по-военному указал протянутой рукой маршрут. Машина рванулась, развернулась, выскочила за ворота. Вездеход сопровождения — следом. И ворота покатились на колесиках, смыкая железные створы.

22

Неведомо, какие у этого городка были достопримечательности, а вот семья сторожа при доме для почетных гостей была достопримечательной. Она состояла из главы семьи, пожилого туркмена, громаднорукого и очень уж подсушенного солнцем, его супруги, в отличие от мужа тучноватой, но с молодым и даже пригожим лицом, которое эта женщина не прятала ни за платком и ни за локтем, потому что ей было некогда заниматься игрой в прятки, блюсти обычай — у нее было до дюжины ребятишек, погодков, самым старшим из которых было, видимо, лет по четырнадцать-тринадцать, а самый младший еще покоился на материнских руках. Вот эти ребятишки и являлись достопримечательностью. Они как раз отправились с матерью по каким-то делам в город. Все, весь выводок. Мать шла впереди, плавная, горделивая, по-балетному ставя ноги в мягких чувяках, будто чуть-чуть она пританцовывала, и самый маленький спал у нее на руках, покачивая черной головкой в такт материнским шагам. Пройдя через калитку, она пошла по узкой дорожке и даже ни разу не оглянулась. Знаменский, которому не отдыхалось, давно уже бродил за воротами, хмурый и оскорбленный, обиженный, хотя вполне можно было понять маленького летчика, если учесть, что тут, на границе, все, кому следовало, о нем уже все знали. Ясное дело, трудно было предположить, что его попросят выступить перед местным активом. Спасибо, что вообще пустили сюда, в приграничный город. Все так, но обида не рассуждает, она гложет душу. И Знаменский, покинув Самохина, подсевшего к своему чалу, и Мереда, который принялся было его уверять, что этот Ибрагим Мехти оглы — славный парень и что не следует на него обижаться, вышел за железные ворота, побрел по улочке, без цели, отгоняя мысли, не замечая жары. И вот ступила за ворота эта мать-героиня. Да, на бархатном фиолетовом жилете, который она надела поверх красного до пят платья, среди обычных украшений туркменки, множества всяких бляшек и кругляшек из серебра, еще посверкивала золотом звездочка материнского геройства. Вышла на улицу мать, и потянулись следом ее ребятишки.

На них-то и загляделся Знаменский. Нельзя было не заглядеться. Один за другим, вытянувшись в цепочку, шли дети. Старший вел младшего, младший еще более младшего, и так по нисходящей, до замыкающего, который едва поспевал, года два ему было, но все же не отставал, подтягиваемый ведомым, которому было года три, а его подтягивала девочка лет четырех. В том-то и была суть всего этого шествия братьев и сестер, что они помогали друг другу и каждый отвечал за младшего, у каждого был свой подопечный. И так по нисходящей. За последним медленно выступала большая собака неведомой породы, рыжая и хмурая. Страж! А мать ни разу не оглянулась. Она плыла, легко, по-балетному переступая, хоть и тучновата была, гордо шла и ни разу не оглянулась, веря своим ребятам, доверяя каждому каждого.

Знаменский смотрел на это шествие и оттаивал. Обмелела в нем обида. И вдруг сказал вслух:

— Все правильно... Все правильно...

Вскоре подкатил на могучем вездеходе маленький летчик с большими усами и повез их удивлять.

Сперва он привез их к берегу горной речки, которая из последних сил добывала и подносила воду этой долине; и все, что росло тут, пышно, ярко и плодоносно,— все было обязано речке, ее неустанности, высокому чувству служения. Она казалась живым существом — так напрягалась, пробивалась через преграды из камней, так вдруг радостно принималась звенеть своими ручейками, упорными, живыми.

— Сумбар!— уважительно произнес летчик.— Ее на карте не всегда найдешь. Но эта река — настоящий друг. Я, когда падаю духом, хожу к ней, стою вот тут, на берегу. Нет ничего выше друга.

— А ты, оказывается, иногда падаешь духом? — спросил Меред.

— Слушай, куда судьба загнала? Это не моя земля, это твоя земля. Почему, скажи, я должен учить людей летать в этом небе?

— Плохо тебе здесь? Асом стал. Усы отрастил.

— Слушай, кому тут нужны мои усы? Ваши женщины смотрят на таких круглолицых, курносых и безусых, как ты. Что за вкус?! Но женщины — странный народ.

— О вкусах не спорят, дорогой,— сказал Меред.— Ты в стране иомудов. Да, мы курносые. Но ты зря завидуешь мне. Я тоже иногда хочу постоять на берегу этой речки.

Друзья шутили, лукавые их глазки посмеивались, но рядом жила река, в трудной, упорной, непрерывной пребывая работе, высились горы, иные, чем в Ашхабаде, потому что действительно были рядом, а те, там, были далекими и лишь казались близкими, и рядом, вокруг, обступая, стояли деревья из рая, гранатовые, миндалевые, фисташковые, и где-то по соседней улице шли сейчас, растянувшись вереницей, взявшись за руки, двенадцать ребятишек, и впереди шла мать, а позади — собака-сторож. И все это было столь серьезно, величественно и извечно, что и в шутливых словах двух приятелей чудилась Знаменскому какая-то притчевая значительность, хотя дело, наверное, было не в словах, не в людях, не в мире окрест, а в нем самом, в той короткой и строгой мысли, которая пронзила его: «Все правильно... Все правильно...»

Следующей достопримечательностью, куда летчик привез их, была опытная станция Всесоюзного института растениеводства. Еще в машине летчик начал читать лекцию, важничая и топорща усы.

— Этой станции больше пятидесяти лет,— сообщил он.— Основана русской женщиной. Художницей, представьте. Приехала на этюды сюда и осталась. И поменяла судьбу. Замечательная, изумительная женщина. Я упросил ее, она вас примет.

— Почему же надо было упрашивать? — обиделся Самохин. Был он молчалив и сосредоточен, видно, загодя готовился к своему выступлению перед активом города. И на реке, и в машине по пути на станцию он то и дело вскидывал голову, чему-то величественно улыбался, руки вдруг разводил. Наверняка уже толкал свою речь, пока безмолвную, репетировал.

— Она у нас очень занятой человек,— сказал Меред.— И не очень одобрительно встречает всякие делегации, особенно туристов. Но простим ее, она вырастила более шестисот сортов опытного, сортового винограда. Под ее руководством тут ведется громадная работа по отбору, акклиматизации и селекции новых субтропических культур.

— Ты будешь говорить или я? — Теперь обиделся маленький летчик.

— Я буду говорить, дорогой Ибрагим Мехти оглы,— сказал Меред, вытянутой ладонью отстраняя возражения.— Это моя земля!

— Но я над ней летаю. Я ближе к аллаху!

— А я здесь родился. И, когда служил в армии, охранял ее.

— Главным образом, полагаю, на гауптвахте.

— Угадал. Туркмены, дорогой, плохие солдаты, но они хорошие воины. Так вот... Здесь создана коллекция плодовых растений, насчитывающая сотни сортов винограда, слив, абрикосов, алычи, яблонь, груш, вишен, черешен...— Меред прервал рассказ, ибо надо было ему сглотнуть слюну, так вкусно он рассказывал.— Мы это все попробуем, друзья! Да... И здесь выращиваются субтропические плодовые культуры, только на этой земле, и учтите, на туркменской земле. Перечисли эти культуры, Ибрагим Мехти оглы, разрешаю.

— Что, слюна мешает говорить? Хорошо, я выручу тебя. Это инжир, гранат, маслины, хурма, фисташки, миндаль, финики, да, да, финики! Что еще? А, грецкий орех, который падает с дерева прямо вам на голову.

— И часто раскалывается от этого прикосновения,— сказал Меред.— И падает на ладонь уже в раскрытом виде. Ешь — не хочу!

— Но далеко не всякая голова умеет раскалывать грецкий орех,— сказал маленький летчик.— Тут нужна круглая голова, с короткой стрижкой.

— Намекаешь, дорогой?

— Намекаю, дорогой.

Ехали-ехали, в какие-то неказистые ворота въехали и вдруг очутились в тенистой аллее, нет, на дороге в лесу, но только лес этот был из могучих ореховых деревьев, в ветвях которых висели в зеленых еще пока чехлах орехи. Машина сворачивала, и за каждым поворотом открывались глазам все новые уголки сказочного леса — миндалевого, фисташкового, яблоневого, алычового...

Но вот машина остановилась. Дальше пошли пешком в неоглядные ряды и дали виноградников. Целые улицы виноградных лоз. Многоцветные улицы, а были и одноцветные. Одна улица фиолетовая, другая — зеленая в желтизну, третья — розовая, четвертая — почти красная. А на маленькой строго круглой площадке, куда сходились многие из этих улиц и где стояла водоразборная колонка, истекавшая тонкой струей, их ждал обыкновенный дощатый стол, на котором слились гроздьями все сорта, все цвета виноградные и над которым прозрачной синевой подернулся воздух, мускатным пронизанный ароматом. И еще был тут стол, где горками высились миндаль, фисташки и орехи из прошлогоднего урожая. Возле этих столов, на брезентовом раскладном стульчике, сидела старая, грузная женщина в кофте навыпуск, в стародавней, из былого, панаме, с вычернившимся от старости янтарным ожерельем на морщинистой шее, с морщинистыми, уставшими руками, покоящимися на коленях. Сюда бы кустик крыжовника, сюда бы ей за спину вишенки, заборчик из старых досок, заросший малиной, сюда бы одну-единственную хотя бы старую березу с их дачного участка, и поверил бы Знаменский, что его мать тут сидит, кинулся бы к ней, уверовав в чудо, что вот очутилась здесь. Он и шагнул к этой женщине порывисто. Она подняла на него усталые, умные глаза. Всмотрелась, покивала ему.

— Вы очень похожи на мою мать,— сказал Знаменский, склоняясь, целуя ей руку, тяжелую рабочую руку садовника.

— Мне рассказывали о тебе,— сказала старая женщина совсем негромко, чтобы он только услышал.— Не горюй. Я тоже была несчастлива, когда очутилась на этой земле. Неприкаянной была. Этюдики? Что этюдики?! Все мы что-то там такое изначальное рисуем в жизни. Но рисует-то жизнь...— Она поднялась.— Ну, что ж, друзья, добро пожаловать в туркменские субтропики. Вот они у нас какие... Пошли, покажу вам совсем новые сорта, кара-калинские, одному я уж и имя, кажется, нашла: «Этюд»...— И пошла, трудно, но и привычно ступая по взрыхленной, бугристой земле между виноградными шпалерами.

Знаменский не пошел вместе со всеми, остался тут, чтобы побыть одному. Снова пришли к нему эти слова, эта пронзительная мысль, как боль, вырвавшаяся вслух. Он и сейчас их произнес вслух:

— Все правильно... Все правильно...

А потом был серпентарий, знаменитый на весь Советский Союз змеепитомник, про который и в «Правде» писали, и по телевидению его показывали. Знаменский вспомнил передачу «В мире животных», бывая в Москве, он старался не пропускать эту передачу, ему симпатичны были ведущие ее люди, влюбленные в своих зверей и зверушек, а он-то знал, что искренность не наиграешь по телевизору, обличительные на лганье были свойства у этого всеквартирного ящика. Так-то оно так, но он-то, выступая, был искренен, ему говорили, что он располагал к себе, внушал доверие, а он вот где очутился со своей искренностью.

Прославленный глава змеепитомника, смелоликий, явно ковбойского облика, если судить по вестернам, русый, с проседью, мужчина лет сорока, был откровенно не рад очередным визитерам. Похоже, наскучила ему эта слава, как наскучивает она герою бесконечного сериала, которому и по улице уже нельзя пройти неузнанному. Он был томен, загадочен, молчалив и даже слегка грубоват, счастливо не ведая, что один к одному подражает киногероям, что суровость его не от природы.

Ну, показал он свое хозяйство, вольеры, в которых сейчас змей не было, они сейчас в пустыне пребывали, в естественном, так сказать, своем регионе. Их там осенью и отловят опять, вернут в неволю, «доить» начнут, выкачивая из-под зубов крошечные капельки яда, целительного, но и смертельного, смотря как им распорядиться. Словом, некая ферма, где и дойка, и выпас, и отгон, и пригон стада. Ну, рассказал, что стадо-то отлавливать всякий раз надо со страхом в сердце, не простое это дело, потери каждый год случаются, то одного, то двух змееловов, бесстрашных парней, между прочим, терять приходится, но привыкли они тут, такая работа, так что вот и все о себе, граждане ротозеи. Да, а еще показал пяток змей, трех гюрз и двух кобр, которые еще оставались в питомнике. Под занавес был продемонстрирован коронный здесь номер. Он вынес в руках громадную кобру, близко к себе неся, вровень были их головы, его, прославленного смельчака, и кобры, прославленной убийцы. Тут полагалось всем ротозеям-визитерам ужаснуться, шарахнуться и проникнуться почтительным уважением к такому бесстрашию. Но на сей раз вышла осечка с этим номером. Знаменский знал, много раз в своих поездках по Востоку наблюдая подобные сценки, что кобра не ударит, если не раздуты ее щеки, что эта змея страшна, но прямодушна, что ли, и она предупреждает своих врагов — мол, «иду на вы»— раздутием щек. Он подошел к змеелову, горделиво несшему кобру, встал рядом, убедившись, что кобра не зла, не раздувается, встал совсем рядом, лицом еще ближе придвинувшись к кобре, чем сам прославленный змеелов. Рисковал, конечно. Но он любил риск. Он сейчас себя вспомнил недавнего, озорство в нем взыграло. Противен он был себе, притихший. Сейчас он себе хоть на миг, да понравился. И радостно стало от этих испуганных возгласов и Самохина, и Мереда, даже и самолюбивого усатого летчика. Он демонстрировал себя, чуть сверх меры подзадержавшись лицом к лицу с коброй, которая, похоже, начала просыпаться. Но змеелов лица не отводил, не отводил и Знаменский. Глаза в глаза встретились. Один все знал про змей, и змея была у него в руках, он чувствовал нарастающую дрожь ее тела; а другой почти ничего не знал про змей, на восточных базарах их наблюдал, ну, в таких же вот змеепитомниках, он не знал змей, вступал в зону серьезного риска, но ему и важно было побыть в этой зоне, где оживало в нем самоуважение, где он просыпаться начинал, как бы выбираясь из слишком затянувшегося кошмара. Глаза в глаза стояли эти двое, а между ними слабо покачивала прекрасной, грозной головой кобра, в миг один могущая убить. Первым опомнился змеелов. В конце концов это был для него всего лишь спектакль. Ну, нашелся человек, либо знающий змеиные повадки, либо просто глупый, пижон, так сказать, из тех, что лезут, не зная брода. Змеелов опомнился и даже подыграл Знаменскому, испуганно крутанув змеиное тело, ловко упрятав змею в холщовый мешок, который висел у него на поясе. Он все это продемонстрировал с мастерством фокусника, но делая испуганные глаза. Он даже одарил Знаменского восхищенной улыбкой, похвалив:

— Ну, парень! — Спросил тихонько: — Знаешь или сдуру? Укус кобры в лицо никакими препаратами не снять. Это смерть.

Знаменский отозвался ему такой своей, самой из самых улыбкой, так радостно ему сейчас было, мальчишески легко, что змеелов смягчился, позабыл про скуку и важность, по-мужски принял этого пижона в свой суровый мирок. Он сказал, как одарил:

— Поступай к нам, парень. Возьмем.

— Может, и поступлю,— сказал Знаменский.— Не исключено.

К ним осторожно приблизился Самохин.

— Что за номера, Ростислав Юрьевич? — недовольно спросил он.— Недоставало мне еще отвечать за укушенного зятя.

Отомстил старик! Напомнил! Трудно ему было стерпеть, что вот такое возможно молодечество в поверженном и униженном. Совсем не из худших старик, но трудно уступать лидерство, наблюдать, как кем-то при тебе восхищаются, кем-то, кто в явном подчинении у тебя, да еще и в опале. Старость охотнее привечает неудачливых из молодых. Старость любит пожалеть, недолюбливает азартных. Азарт — ведь это молодость, жизнестойкость, когда ни тебе нефрита, ни тебе цирроза и всяких там инфарктов миокарда.

Но и молодые, Меред и усатый маленький летчик, но и они отчего-то опечалились. Оттого, что увидели в этом поверженном своем сверстнике некий высшего уровня стиль? Позавидовали его безрассудству? Может быть, может быть... Смелость почти всегда сродни безрассудству, но потому и пленительна.

— Скажи, дорогой, ты знал, что к кобре можно подойти, когда она не надулась? — стал допытываться Меред.— Опыт был? Обучил Восток?

Знаменский молчал, улыбался.

— Опыт опытом, а и я струхнул,— сказал знаменитый змеелов, страшно довольный, что может поддержать этого парня, который, похоже, сильно досадил Мереду и летчику, здешним мужикам, многое знавшим про змей, но струхнувшим вот.— Интуиция у человека, я так думаю. Серьезно зову, переходи к нам. Много наперво не обещаю, а три куска за сезон возьмешь. И гуляй потом! Хоть в Сочи, хоть в Ялте! Змееловом быть — нужна смелость. Наш талант — смелость. А смелость от интуиции, я так думаю: Авиатор, я верно рассуждаю?

— Верно, но только отчасти,— сказал летчик.— Интуиция нужна, конечно. Обязательна! Но, как говорит наш начальник, информация — мать интуиции. Поехали, друзья! Интуиция, но прежде всего наручные часы мне подсказывают, что народ уже собрался во Дворце культуры, что вас уже ждут, товарищ Самохин!

Прощаясь, глаза в глаза снова встретились Знаменский и змеелов.

— Что, в черной полосе обретаешься? — спросил змеелов.

— Угадал,— сказал Знаменский. Этот змеелов ему начал нравиться, да он сейчас и не актерствовал, он сочувствовал.

— А то оставайся, от души говорю. Ну их!

— Не могу.

— Понял. Если что, приезжай. Анкеты у меня не заполняют, у нас в пески идут, с уловочкой и мешочком холщовым. Простое дело. А?!

Они постояли, крепко тиская руки — у змеелова рука была в грубых, рваных шрамах,— покивали друг другу и расстались, довольные друг другом.

23

На посланника во Дворце культуры собрался весь город. Афиша громадная была вывешена у входа, перечислявшая все былые и нынешние ранги Самохина. У входа, когда подъехали, толпился народ, чтобы встретить важного и знаменитого гостя. Это были юные девушки, тюльпанами платьев расцветившие скучные ступени Дома культуры, вот только теперь, когда сошлись сюда эти девушки, ставшего напоминать дворец. Сюда приехали и пограничники, в черноту загоревшие, в своих забавных зеленых панамках, такие сильные и прочные парни, служившие на такой границе, где служба особенно трудна и строга. И они были взведенными, как боевые курки. Даже ухаживали они за девушками-тюльпанами както порывисто, дерзко. Взглядывали, все вмиг умея заметить, хотя девушки клонили под этими взглядами головки, укрывали согнутыми локтями лица. Так поступали тут и русские девушки, переняв обычай, который был обычаем и их прабабок, он им, нынешним, здесь пригодился. На этих из бетона ступенях древнее возрождалось кокетство, древняя же и повадка вернулась: молниеносно приглядывать себе невест, как это бывало на церковных папертях.

Важный Самохин проследовал во дворец, а Знаменский не пошел туда. Его и не позвали. Он остался в толпе молодых. Девушки украдкой посматривали на него, решая, молодой он еще или уже старый. Тот отсвет азарта, когда близко придвинулся к кобре, еще жил в его глазах, и девушки углядели этот блеск, решили, что он все же молодой еще. Он понял, что он им стал интересен. А зоркие, взведенные парни тоже свое про него поняли, прикинув на всякий случай, как его побыстрей скрутить и кинуть, если что. Кажется, и парни решили, что он все же сразу не даст себя скрутить и кинуть. Хорошо ему стало в этой молодой толпе. Здесь и воздух был особенный. Пахло чувственным ароматом молодости, откровенничающим о главном.

Но тут задребезжал звонок, совсем пошкольному, и парни и девушки, вчерашние ведь школьники и школьницы, кинулись в дом.

Знаменский остался один на площадке перед Дворцом культуры. Наскочил с гор ветерок, снес в сторону фисташковую шелуху и конфетные бумажки, отнял у него и этот воздух молодой. Одиноко стало. Обида вернулась. Томящая вернулась безысходность..:

— Зачем здесь стоять? — На ступенях появился маленький усатый летчик. Он четко отщелкал каблуками по ступеням, он все делал четко, и встал перед Знаменским, вскинув голову, чтобы в глаза ему заглянуть.— Я тоже решил эту лекцию не слушать. И вашу бы не стал слушать. Почему? А потому, что я сам каждый день себе лекции читаю. Что такое чаши мысли, наши размышления? Лекции! Только аудитория не очень большая. Ты говоришь, ты же и слушаешь. Ты задаешь вопрос, ты и отвечаешь. Ты объяснял и ничего не понял, ты слушал и тоже ничего не понял. Зачем нам здесь стоять и нюхать пыль? Пошли на Сумбар.— Он не стал ждать согласия Знаменского, твердо взял его под руку, повлек за собой, все вскидывая голову, чтобы видеть глаза очень уж рослого для него собеседника.— Обидел я вас? Зря обижаетесь на такую ерунду. У вас теперь строгая полоса. По трудной тропе идете. Что ни миг, возможен камнепад. Один проскочил, другой проскочил, третий впереди. Тут уж не до комариных укусов, их просто не замечаешь. Все лицо в кровяных насосах, а ты этого не замечаешь, ты на скалы смотришь, на камушки проклятые, не шевельнулся ли какой.

— Очередная лекция? — спросил Знаменский.— Только теперь уж на аудиторию?

— Согласен, говорю, как лекцию читаю. Не умеем мы разговаривать. На поучения все нас тянет. Прости, дорогой.

— Вы кем здесь?

— Так... Вертолетчик... «Орлята учатся летать...» А я учу...

— И я вам интересен? Ползающий?..

— И вертолетчики, бывает, падают, и тогда... А вот и Сумбар! Слышите, какой воздух?!

— И воздух слышу, и тишину учуял.

— Верно, тут тихо, хотя тут шумно, река с камнями разговаривает. Все притираются друг к другу. Век за веком. А что им век — воде и камням? Мгновение! Это мы на земле кратковременные.

— Мотыльки еще кратковременней.

— Да, им еще хуже. Но у них, наверное, другое летосчисление. Час идет за десятилетие. Как знать, возможно, им повеселей живется, а? Вы женаты, Ростислав Юрьевич?

— Да.

— А я все собираюсь.— Летчик извлек из заднего кармана брюк бумажник, раскрыл его, показывая Знаменскому фотографию очень милой, глазастой — а она еще и подвела глаза — девушки, бережно укрытую целлофаном.— Нравится?

— Красивая.

— Именно! Боюсь красивых. Не очень им доверяю.

— Что за проблема? Некрасивых куда больше.

— А некрасивая мне не нужна. Прямо какой-то Гамлет перед вами, поверите. А годы идут.— Летчик все еще держал перед Знаменским свой пухлый бумажник, любовался хорошеньким личиком, даря эту радость и собеседнику. Любуясь и даже чуть-чуть губами причмокивая, он проговорил как бы между прочим: — Между прочим, маленькая у меня просьба к вам...— Летчик закинул голову, всмотрелся в Знаменского, даже на цыпочки привстал, чтобы ближе поглядеть ему в глаза.— Вот это письмо...— Он достал из бумажника конверт.— Прошу вас передать это письмо Аширу Атаеву...

Сумбар шумел, притерлась река к камням. И век назад тут так было и три века назад. И кто-то кому-то тут когда-то передавал письмо...

— Почему вы решили, что я знаю какого-то Ашира Атаева? — спросил Знаменский, вдруг почувствовав страшную усталость, плечи, ноги заломило от усталости, и грозным стал шум на реке.

— Я не решил, я знаю.— Летчик так и стоял с раскрытым бумажником, но смотрел не на фотографию смазливой девушки, а на Знаменского смотрел, вскинув голову.

— Откуда сии сведения? — Знаменский глаз не отводил, но ему это разглядывание летчика было в тягость.— И зачем я вам, учителю орлят?

— Не доверяешь? Это хорошо.— Летчик захлопнул бумажник, но письмо зажал между пальцами, письмо вслед за бумажником не спрятал.— Хорошо, что не доверяешь. Тогда послушай еще одну мою лекцию... Каждый день, все время читаю лекции, хотя и ненавижу это занятие. Итак, тема лекции...— Он снова взял Знаменского под руку, подвел поближе к воде, к шуму речному, он оглянулся разок-другой, сделав это по-звериному как-то, когда глаза оглядываются будто, а затылок неподвижен.— О наркотиках будет моя лекция, уважаемый...

— Про мак, может быть, про плантации мака? — спросил Знаменский.— Но его в этих местах сеяли и три века назад.

— В этих местах не сеяли, тут не та роза ветров. Мак — очень капризное растение, если разводить его не для пирогов, а для извлечения из него опиума.— Летчик снова оглянулся, застыв затылком.

— Я, поверьте, не наркоман, Ибрагим Мехти оглы.

— Я тоже. Ашир, между прочим, раза два попробовал. Он любит до всего дойти сам. Отличный парень. Я учился у него самбо.

— Вот и поговорим о самбо. Я тоже, между прочим, занимался самбо.

— Так, как он? Не думаю. У вас сильные руки, но это руки игрока в теннис. У самбиста железные руки. Вы потрогайте мои. Потрогайте, потрогайте.— Летчик вскинул руку, а Знаменский сжал ее пальцами, чтобы отвязаться. Действительно, рука у маленького летчика была как из железа, пальцы ушиблись.

— Да, натренировались,— сказал он.— Учителю орлят и нужно.

— Тут вы правы. Но речь не обо мне. Речь о следователе Ашире Атаевиче Атаеве. Ему сейчас нужны факты, сокрушительные факты. Иначе без них могут подловить, перехватить руку, швырнуть на ковер. Это в спорте, а в жизни... Пример — сам Ашир Атаев. Он поторопился, он начал действовать без должной подготовки. Обстоятельства вынудили? Да, конечно. Но кинули его, ударили о землю. Спасибо, что живым остался. И вот теперь, травмированный, он начинает группироваться для нового броска. Может быть, единственного броска. Либо — либо! Факты! Ему нужны факты! Прошу вас, отвезите ему это письмо.

— Лучше бы было поручить это Самохину,— сказал Знаменский.— Он отыскал бы вашего Ашира Атаева, ему это легче сделать, чем мне. Атаев в Ашхабаде живет, как я понимаю?

— А, очень все понимаешь! Молодец! Хорошо вас учили, оказывается, в вашем привилегированном институте. Молодцы! Ну, ладно, пойдем дальше... Что может знать про мак, про этот скромный мак какой-то тоже скромный вертолетчик, если тем более в этих местах мак не произрастает?

— Ничего! — сказал Знаменский.

— Все!— мотнул головой маленький летчик.— Почти все! Конечно, в масштабе моих погон. Но мои погоны, еще чьи-то, еще и еще чьи-то — и уложим этими погонами всю карту. И кое-где, совсем кое-где, да и отыщется крошечное поле мака, чтобы можно было его обозначить на карте. Где погоны, где чья-то ладонь, где только палец один, но мы обшарим всю карту. Всю! А подробная карта — это факт, это даже сокрушительный факт. Ему нужна подробная картина, нашему Аширу.

— Вы себе противоречите, Ибрагим Мехти оглы. Вы же сами сказали, что здесь у вас мак не высевают.

— Но у меня есть средства связи, уважаемый Ростислав Юрьевич. Современнейшие средства связи. Туда полетел, сюда полетел, здесь очутился, там оказался. Многого я не могу, я только пара погон на этой карте. Но это уже кое-что. Думаете, в моем родном Азербайджане нет маковых делянок? — Он запел, подражая Рашиду Бейбутову: — Есть!.. Есть у меня!.. Кокнар! Тирьек! Один черт!

— Странные у вас тут дела делаются,— сказал Знаменский.— Подключили бы руководство, специальные службы.

— Очень умно говорите!— восхитился летчик.— Приятно слушать. А мы их и подключим. Имея факты. Только тогда, с фактами в руках. Почему не раньше? А мы не знаем, кто нам поверит, а кто нас прогонит. Ашира нашего прогнали. Вам этого мало? Вы что, не знаете, что существует такое отвратительное животное, имя которому — честь мундира?! Это опасное животное! Хуже носорога, который, как известно, страдает близорукостью. Как так?! У нас?! Какой-то мак?! Какой-то наркотик?! У нас хлопок, дорогой товарищ! У нас первое место в республике! Вы, кажется, вздумали на нас клеветать, дорогой товарищ? А что там у вас у самого делается, не совсем дорогой товарищ, совсем не дорогой товарищ? Ага, у вас в сейфе служебном пачка денег обнаружилась?! Громадная сумма?! Кто дал?! Почему взяли?! Вы взяточник, как выясняется?! Опиум вам мешает?! Вам партийный билет мешает! Вон отсюда! И благодарите аллаха, что мы пожалели вас, учитывая вашу большую семью и сравнительно молодые годы! Вот так... Вы осторожничаете, я хвалю вас за это, но разве я мало вам сказал?

— Мало! У нас в стране этот товар широко не пойдет. Я знаю, что кто-то покуривает у нас, глотает таблетки, даже колется. Но это единицы, дурачье. Модничающее дурачье! У нас и в былые времена, как и ныне, существовали и есть эти самые «а-ля»! Накипь, не более. Так было, так будет. На Западе это эпидемия, у нас — единичные случаи. Ну, хорошо, пусть это модное поветрие, пусть так, но мода схлынет.

— Дай-то бог, дай-то аллах! Всем богам готов поклониться, чтобы ваши наивные предположения сбылись. Да, да, наивные. Дурачье?! Мода?! Только ли дурачье? Только ли мода? Вы что же, думаете, к нашим молодым не перекидывается с Запада отчаяние молодого поколения атомного века? Они, молодые, у нас разве бездумные, не пытаются заглянуть в свое завтра? Перекидывается это отчаяние. Да, да. И тут тоже никакие строгие заставы не помогут. И нам не перехватить словечки: «А, живем минутой! А, хоть миг, да мой!» Эти словечки перелетают через границу еще легче, чем птицы. Вот в чем беда. А забавно, столько лет колесит человек по заграницам, а такой, оказывается, наивный. А вы со мной искренни, Ростислав Юрьевич? Может, вы все еще темните со мной? Тогда молодец, тогда хвалю. Не хмурьтесь, я не хочу вас обидеть. Между прочим, пока что этот товар, всего лишь опийный сырец, идет в Москве по двадцать, тридцать тысяч рублей за килограмм. После самой примитивной переработки он удваивается, утраивается в цене. Преступный бизнес начал у нас процветать. Ведь товар этот дороже золота. А спрос все увеличивается. Вот истина. И тут — рассуждай не рассуждай, сомневайся, зажмуривайся или отмалчивайся — факт налицо. Появилась новая опасность и за номером Один. С большой буквы Опасность. Как все это понять, дорогой? Проморгали? Снова? Ну, а кассеты с порнографическими фильмами — тоже мода для единиц? А музычка, когда все нервы натянуты и даже перетянуты,— это что? Порнография, исступление звуков, наркотический допинг — все, вместе взятое, и есть тот товар, который хотят нам навязать, причем рассчитывая не на единицы, нет, не на единицы. У тех, кто навязывает нам этот товар, это уже бедствие в их собственном доме. Вот они и хотят навязать нам свое бедствие в полном объеме. Мода родит спрос, как известно. Наркотики, героин, а он из опиума, дарят молодому дураку вседозволенность. Жить трудно, мир сложен. И сложности мира тоже иногда не знают границ. Я вычеркиваю слово «дурак», я заменяю его на слово «незащищенный». Опытом жизни. Опыт! Его нажить надо. Он защита. Но, пока его нет, мы можем понаделать много глупостей, много ошибок, иные из которых уже и не исправить.

— Вижу, вы не устаете воспитывать меня. Но я уже понял, понял.

— Я не про вас, сейчас разговор не вас касается. Впрочем, и вас, и меня, если угодно. Я вовсе не защищен от множества ошибок, я их и сотворял. Аллах свидетель! И не обижайтесь на меня, Ростислав Юрьевич, если даже и обижу вас. В серьезное дело мы с вами влезли, тут обижайся не обижайся, а необходима ясность.

— Учтите, я в никакое ваше дело не влез.

— Влезли! Обязаны! И хватит темнить! Да, так вот, чтобы укоренилась мода, укоренилась потребность, нужен товар. Много товара. В Пакистане производят, в Турции производят, в Иране производят. Опийный треугольник — эти три страны. Но ведь мы-то рядом. Те же земли, то же солнце. Маку все равно, по какую сторону границы произрастать на древней земле своего обитания. Так отчего же не создать опийный треугольник и у нас? У них есть — и у нас будет. У них гибнут молодые, пусть и у нас гибнут молодые. Очень даже хорошо, если у нас начнут гибнуть молодые, если эта горестная проблема перекинется и к нам. Мода появилась, потребность появилась — спрос на товар начался. Что нужно сделать? Нужно обойти границу, таможню, досмотр. А это можно сделать, провезя через границу не товар, а идею. Идею изготовления наркотиков у нас дома. Идеи же, как вы понимаете, тоже не ведают границ. Внедри идейку в чью-либо слабую голову, какому-либо алчному человеку — и дело сделано. Это провокация, и громадных размеров. Провокация ЦРУ, дорогой. Это учреждение — самый наш преданный враг. И это они, цэрэушники, скрещивают тут корысть с диверсией. Прервем лекцию? Хватит? Наконец, что за дела?! Это я рискую, заводя такой конфиденциальный разговор с почти неизвестным мне человеком. Мне надо трусить, а не вам. Я еще хлебну горя от своей легкомысленности!

— Черт с вами, давайте ваше письмо,— устало сказал Знаменский, вслушиваясь в шум реки, в ее извечный спор с камнями, все спорит да спорит, не притомилась.— Ладно, попробую отыскать в Ашхабаде вашего Ашира Атаева.

— Ай, молодец! — снова восхитился маленький летчик и глянул по сторонам.— Бери! — Он протянул неприметным движением конверт Знаменскому.— Сумбар нас не выдаст! Фу, утомил ты меня, товарищ международник! Нагулялись? Вернулись?

— Вернулись, товарищ вертолетчик,— сказал Знаменский, засовывая конверт в задний карман брюк, туда же, где лежал пакет старого туркмена, продавца фисташек.

Продолжение следует.

ДАЮ УРОКИ

Лазарь КАРЕЛИН

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

Проиграв в рулетку
деньги,
выданные на приобретение
служебной автомашины,
бывший журналист-международник
Ростислав Знаменский
возвращается на Родину
и становится переводчиком.
В Ашхабаде
он подружился
с Аширом Атаевым,
бывшим старшим следователем
по особо важным делам,
которого оклеветали
торговцы наркотиками.
Ашир тайно продолжает расследование,
начатое им
еще до увольнения с работы.
Он устраивает Знаменскому
поездку по Туркмении.
Во время этой поездки
друзья Атаева
передают Знаменскому
сведения о посевах
опийного мака
в отдаленных районах
республики.

24

Кара-Кала была родиной великого Махтумкули, он родился неподалеку, в селении Геркез. Там теперь был памятник поэту и недавно открыли музей его имени. Вот куда следует проложить путь для иностранных туристов. Недолгий путь по горной дороге — а как красива эта дорога! — и ты, человек, отринув сегодняшние суетные заботы, медленно подходишь к изваянному из гранита Задумавшемуся. О чем его мысли? Не слагает ли он стихи, наполненные такой живой силой, что и через двести пятьдесят лет они трогают суетную нашу душу?

Они возвращались после доклада Самохина, отказавшись от машины, шли пешком, радуясь горной прохладе, волнами набегавшей на город, и что ни волна свежего воздуха, то новый в ней привкус. Виноградники касались губ мускатом, миндалевые рощи — горьковатой сладостью, сами горы касались губ снежной влагой. Самохин молчал, отдыхал, пыхтящий, он был похож на паровоз, прошедший долгий и трудный путь и вот тормозящий, спускающий пары, остывающий.

А Меред, молитвенно повествуя о своем Махтумкули, к кому на поклон предстояло им завтра рано утром отправляться, чувствуя какое-то непонятное безразличие Самохина к своим словам, решил прочесть ему стихи великого поэта. Меред забежал вперед, обернулся к Самохину и Знаменскому, пятясь, шел и читал:

Охотится небо, крепка его сеть.
Ты где, долгожданное светлое время?
Я больше не в силах разлуку терпеть.
Ты где, долгожданное светлое время[1]?

Меред, пятясь, ждал, как откликнется на эти строки, столь горячо им произнесенные, Самохин. Никак он не откликнулся, он дышал, отдыхал. Спросил вдруг:

— Я не слишком усложнил свой рассказ, Меред? Народ меня понял?

— Конечно, понял! Или...— Он снова начал читать:

Мне горько: я истину мало любил.
Кончается жизнь, но не гаснет мой пыл,
И духом я тот же, что в юности был,
Да жаль: борода у меня поседела[2].

Меред выждал, пятясь, но опять не услышал ни слова от Самохина, понравились ли ему стихи Махтумкули. Молчал и Знаменский, слушая, как ветер волнами идет с гор, как неподалеку шумит, шуршит камнями Сумбар, глядя, как гаснут то тут, то там за деревьями огоньки в домах, но зато вспыхивают то тут, то там крупные странно большие звезды в небе.

— Эти стихи родились на этой земле, им веришь,—сказал Знаменский, пожалев Мереда. Но он не фальшивил, сказал, что подумалось, и Меред благодарно ему поклонился, как на Востоке кланяются, коснувшись пальцами земли.

Шедший сбоку и поодаль усатый летчик ускорил шаг, подошел к Мереду и, потеснив плечом, занял его место. И тоже обернулся, пошел, пятясь.

— А есть и такие стихи,— сказал он.— Поэта Зелили. Тоже на этой земле жил и творил. Чуть поближе к нам. Конец восемнадцатого и начало девятнадцатого. Меред, если забуду, подскажешь.

Летчик вскинул руки, вздернул голову, начал нараспев:

О, друзья! Бедняка в нашем веке
Не считают за человека.
Взятка стала доходом бека,
Правосудие — ремеслом.
Гнет мой стан тетива тугая,
Тесной стала земля родная.
Зелили! В наше время бай,
Точно змеи, шипят кругом.

— Кстати, о змеях,— сказал Самохин.— Не заползут они к нам в окна во время сна? Тут ведь их среда обитания...

— Не исключено! — обозлившись, сказал Меред.— Нет, Ибрагим Мехти оглы, не лучшее стихотворение Зелили ты затвердил. Это не поэзия, это публицистика.

— Тебе виднее, ты ведаешь культурой, а я в какой-то мере витаю в облаках.

— Так как же нам быть? — спросил Самохин.— Спать с закрытыми окнами?

— Ну, заползет гюрза, ну, уползет,— насмешливо сказал Меред, не простив старику его невнимания к прекрасным стихам.— Главное, не задеть ее во сне, не придавить. Змеи мстят лишь за обиду.

— Задача! — озаботился Самохин.— Кстати, Меред, завтра мы прямым ходом едем к поезду, в Кизыл-Арват. Там, кажется, проходит железная дорога на Ашхабад?

— Там. А как же Геркез?

— А зачем нам туда ехать? Совершенно ясно, что это вполне туристический объект. Тут нет вопросов.

— А вам лично неинтересно?

— Очень интересно. Но еще одна бессонная ночь меня страшит. Домой, домой! Я и так уже накатался и натрясся.

— Тогда действительно вопросов нет,— сказал Меред, резко повернувшись: он все еще по забывчивости шел, пятясь.

Поскрипывая, покатились на колесиках ворота, впуская их во двор дома для почетных гостей. В доме горели огни за приветливыми занавесками, и все окна были распахнуты.

— А что, если они еще до нас наползли? — спросил Самохин.— Окна-то открыты.

— Судьба! — сказал Меред.— Ну, укусит! Собираетесь вечно жить, товарищ посланник? Между прочим, укус змеи—хороший выход из положения. Согласен, Ибрагим Мехти оглы? Одиннадцать всего секунд — и нет вопросов.

— За одиннадцать секунд можно кучу дел переделать,— сказал летчик.— Влюбиться можно, между прочим.

— Между прочим,— сказал Знаменский,— одиннадцать — это самая ненавистная для меня цифра.

— А для меня — двадцать два,— сказал Меред.— А для вас, Александр Григорьевич?

— Шестьдесят девять, мои молодые друзья,— печально сказал Самохин.— Не сердитесь на меня, Меред. Шестьдесят девять — это не подарок.

— Что вы, что вы?! — Меред смягчился, засуетился, кинулся к одному из окон, заглянул в него. А графинчик с чалом уже вас ждет, Александр Григорьевич! Ибрагим, а нас что ждет?!

— Сон, сон, приятель. Это тебе не Париж: тут танцовщиц тебе не будет. И вина не будет. Мы совсем рядом с аятоллой находимся. Забыл? Что он велит делать с теми, кто нарушает коран? Он велит бить их палками.

— Но его палки нам не страшны, граница-то на замке.

— На замке, на замке. Именно! И потому это тебе не Красноводск. Перебьешься. Спокойной ночи, друзья! — Маленький летчик козырнул, четко повернулся, четко зашагал за ворота, страшно довольный собой.

Знаменский в дом не пошел, остался во дворе. А Самохин, поддерживаемый под руку Мередом, идя осторожно, нащупывающим шагом, ибо змеи могли быть повсюду, вскоре замелькал в освещенном окне, створки которого тотчас же с шумом захлопнулись. Старика ждала душная, бессонная ночь.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 39—48.

[1], [2] Перевод с туркменского А. Тарковского.

Здесь было тихо, разом будто вызвездилось небо. Ветер шелестел листьями яблонь, и стало слышно, как яблоки падают в рыхлую землю, и снова донеслась издалека неустанная работа реки, день за днем, ночь за ночью и век за веком перетирающей камни.

В самой глубине двора, в противоположной от ворот стороне, стоял у высокого дувала дом сторожа, где жили те самые двенадцать ребятишек, их величавая мама, их сохлый, большерукий отец и рыжий пес, охранитель семейства. Там светился в окне огонек. Знаменский пошел туда, угадав по синему отблеску, что там включен телевизор. Как-то не верилось, что там сейчас смотрят телевизор. Здесь, в горах, у реки Сумбар, позабылось это повсеместное мерцание, столь много значившее еще недавно в его жизни.

Так и есть, семья смотрела телевизор. Дом состоял из двух частей. Из небольшой комнаты и, видимо, кухни, и громадной, как барак, комнаты, вытянувшейся вдоль дувала. Там-то, в этой комнате, светился синевато квадрат окна. Знаменский подошел, заглянув в окно. Вся ребятня, от старших до малышей, расположившись кто где, но на полу, конечно же, на коврах, на подушках, на одеялах, а в комнате, кроме телевизора, тоже стоящего на полу, никакой вообще не было мебели — все смотрели сейчас на экран. И мать тут была, и отец, и пес, мгновенно поднявший тяжелую голову, едва Знаменский подошел к окну.

Тотчас поднялся глава семьи и вышел во двор, зная, что собака зря не насторожится. Он увидел Знаменского, не удивился, не обрадовался, не засуетился, а просто шире распахнул дверь, предлагая войти. Знаменский вошел. У порога целая выставка стоптанных сандалет открылась. Больших, маленьких, совсем крошечных. Разулся и Знаменский, в носках пошел по старому ковру, поклонившись хозяйке дома, всей ребятне и собаке тоже, которая встретила его изучающим взглядом, но, поизучав, успокоилась и снова опустила голову на лапы. А Знаменский, отыскав свободное место у стены, сел на ковер, спиной оперся о стену и стал смотреть на экран. Там что-то очень интересное происходило, светился экран в уставившихся на него ребячьих глазах, так распахнутых, что они сами стали маленькими экранами. В них можно было разглядеть происходящее на экране телевизора. А там шел мультфильм. Уже поздно было, и детям досказывали сказку, русскую сказку. В ней полно было снега, высоченные сугробы. А здесь, за стенами комнаты, ступи только во двор, жар обдаст от прокалившейся за день земли. Медведь и маленькая девочка подружились на экране. Девочка заблудилась в лесу, среди этих диковинных деревьев с колючими ветками. Девочку подкарауливала со всех сторон опасность, волк лязгал зубами, лисица плела интриги, скверная старая ворона накаркивала беду. Но не бойтесь, ребята, не страшитесь, медведь выручит маленькую девочку, он ее друг. Она только что, не испугавшись, выручила его, подошла, разжала (как только силенок хватило!) капкан, сковавший его лапу, вернула ему свободу. А он теперь проводит ее домой, охранит от всех опасностей. Так и должно быть. Друзья проверяются в беде. Зря, волк, щелкаешь зубами, зря, лисица, путаешь следы, и зря, охотник, взводишь курки, приближаясь к капкану. Друзья выручили друг друга. Ничего не страшно, когда есть у тебя друг.

Вспыхнул экран, закончив эту мудрую историю, а ребятишки в комнате радостно загалдели, захлопали в ладоши. И их величественная мама тоже раз-другой свела ладони, скупо улыбнулся, радуясь за девочку, их строгий, подсохший от работы отец. Кажется, улыбнулся и пес, приподняв голову.

Вспыхнул свет, и ребятишки обратили внимание на гостя. И тотчас узнали его. И стали радостно кивать ему, махать, указывая руками и ручонками на экран телевизора, возбужденно говоря что-то родителям. Странно, никто в Ашхабаде его не узнал, не сопоставил его нынешнего с этим вот экраном — этой метой славы всенародной. Он был несопоставим для взрослых, такой, каким стал, с тем, кем был. Иные и задумывались: мол, где могли его встретить, отчего лицо его знакомо им,— но и только. Экран телевизора и он в нем — такое им в голову, в зрение их не вмещалось. А ребятишки вот мигом узнали. Сразу же. Они привыкли к чудесам. Жили в такое время, когда все везде могли очутиться. Вот снег сейчас к ним пришел. А вот пришел и сидит у стеночки человек из телевизионного ящика.

А теперь взял и поднялся, поклонился, обул-

ся и вышел из их дома. Ничего особенного... Обыкновенное чудо. Обыкновенная радость.

Знаменский вышел в темноту и в яркое свечение непривычно больших, близких звезд. Новые звуки пришли в ночной город. А в близких горах пробудилась жизнь. Там подвывали шакалы, не смея еще спуститься в город, выжидая, когда он окончательно уснет. Это был такой город, где у канав можно было встретить не собак, а шакалов, где над крышами, закрывая небо крыльями, мог пролететь, косо садясь, орел, где в шорохе листвы могла поднять точеную головку гюрза, молниеносная эта смерть, где, особенно ночью, слышны были звуки жизни «с той стороны», и, хоть всего лишь обмелевшая речка делила стороны, там по-иному звучала жизнь, вскрикивала, плакала и даже радовалась по-иному, хотя здесь и там жили туркмены.

Окно в комнате Самохина светилось. Не спал старик. Знаменский решил не заходить к нему. Он к самому себе сейчас зашел, в недавнее свое. В темноте ночи ярко светился в его глазах экран телевизора, промельками шла в этом экране его былая жизнь. Былая жизнь...

Наутро рванули на вездеходе в Кизыл-Арват. Мчались по пыльной, тряской дороге, как участники какого-нибудь ралли. Но могучий вездеход тряски не страшился, а Самохин, охваченный вдруг нетерпением, с готовностью страдал, лишь бы скорей, скорей. Поспали. За три минуты до отправления примчались к отходящему на Ашхабад поезду. Быстро попрощались, крепко обнявшись, но не целуясь, к счастью, этот целовальный обычай в Средней Азии не прижился. Обнялся Знаменский с усатым летчиком, который зачем-то погрозил ему строго пальцем.

— Вы о чем? — спросил Знаменский.

— Вообще! Будем друзьями, надеюсь? Ждем вас в Кара-Кале. Такой это у нас городок: кто раз побывал, еще побывает.

Обнялся Знаменский и с Мередом. И когда обнимался, почувствовал, как тот сует ему в задний карман брюк какой-то пакет, туда же сует, где уже лежали конверт летчика и пакет старого туркмена, продавца фисташек. Мередсовал свой конверт, таясь ото всех, таясь и от летчика. Вон оно что, они работали на Ашира поврозь!

— Не потеряй! — шепнул Мередом. — Буду в Ашхабаде, найду. Эх, вырваться бы! — Эти слова он сказал громко и для всех.

— Скорей, скорей! — торопил Самохин. Он уже простился, уже поднялся на ступени вагона.

И вот они в пути. Странно, тоненьким голоском покрикивал приземистый, промасленный тепловозик, похожий на большого жука. За окнами вагона пустыня, верблюжья колючка, ветер крутил барханы. Вагон был старый, еще с довоенной, наверное, поры бегал, он скрипел и постанывал. В вагоне было тесно, он был забит мешками с дынями, ящиками с виноградом. Владельцы этого товара, который скоро очутится на ашхабадских базарах, охотнее сидели на полу, чем на лавках. Поджали ноги и сидели, молчаливые, важные, очень картинные в своих халатах, тельпеках, с лицами вовсе не торговцев, а суровых воинов. Это мужчины. А у женщин лица все же были сокрыты, хоть и не укрыты. Конечно, ни у кого паранджи не было и в помине, но так они как-то спустили платки, так как-то держали, согнув в локте руки, что лиц их не было видно. Только глаза громадные посверкивали, рассматривая украдкой.

— Заехали мы с вами, Ростислав Юрьевич!.. — Самохин близко придвинулся к Знаменскому. — Воистину на край света... А зачем? Или был все же смысл?.. — Самохин всмотрелся в Знаменского, допытывался взглядом, умно и зорко глядел.

Знаменский ничего не ответил, только улыбнулся.

— Ну, ну, — покивал старик. — Ну, ну... — Он устало закрыл глаза, застыл болезненно-оливковым лицом.

Жук-тепловозик отозвался вместо Знаменского, что-то загадочное прокричав тоненьким, пронзительным голоском. Жара в песках разгоралась, разжигало там солнце свой костер-пекло.

Он дома. Эта комнатенка, вросшая в землю, его дом. Он еще не привык здесь ни к чему, а уже поверил, что это его дом, и сейчас был рад ему, всему здесь, особенно этим крошечным окошкам, за которыми близко стояли горы. Он теперь их и поближе узнал. Все тот же Копетдаг, но с противоположной стороны. Слетал, сбегал, чтобы поглядеть поближе, а теперь вернулся, отдалился, но все равно они перед глазами — эти горы, и с ними каждое утро можно будет глазами перемолвливаться, а то и помолиться на них, на извечные их лики.

В комнате у него произошли кое-какие перемены. Он не успел обжить ее, а теперь она показалась обжитой. Это, конечно же, Светлана ко всему тут прикоснулась, Дим Димыч так бы не мог прибрать стол, он у него был завален папками, картами, а теперь звал к своему крошечному, расчищенному простору, мол, подсаживайся, журналист Знаменский, давай пиши, послужу тебе. И старенькая тахта приободрилась, куда-то подевала свои бугры, став не диваном для всех, а постелью для него, здесь поселившегося. Он не успел, улетая в Красноводск, выложить вещи из чемоданов, чемоданы так и стояли у стены, готовые кинуться снова в путь, но в комнату уже вселился, хоть и утлый и узкий, но все же шкаф, чтобы туда перекочевали вещи из чемоданов, если все же останется он здесь, в этой комнате, жить. Чемоданы, барственные и чужие, призывали покинуть эти убогие стены, и как можно быстрей. Прибранный столик, шкаф, тахта, застланная женщиной, предлагали остаться. А куда ему было уходить? Он присел на стул, провел рукой по столу, прикидывая, как тут будет его пишущей машинке, плоской «Эрике», быстро поднялся, раскрыл самый большой чемодан, достал ее и поставил на стол. Достал еще из чемодана один за другим два магнитофона, побольше и поменьше, два «Сони», о них корреспонденты пели, переиначив песню николаевских еще солдат: «Наши жены — «Сони» заряжены». Эти ящики тоже нашли свое место на столе. Что еще? Надо бы бумагу выложить, ручки. А зачем? Он разве слетал в Красноводск, побывал в Кара-Кале, чтобы отписаться потом? Кто он? Зачем он? Забылся, выволок все машинки, а они ему не нужны, как и он сам никому не нужен. Он снова сел к столу, раздумав обживать его, злясь на себя, что забылся, выволок вот свое прошлое из чемодана.

В дверях встал Дим Димыч, обряженный в фартучек, с кухонным полотенцем через плечо, спросил:

— Вы как себя приучили после дальней дороги: сперва поесть или под душ? Воду в бак я налил доверху.

— Сперва под душ, — сказал Знаменский, поднимаясь. — Это Светлана Андреевна тут руки приложила? А где она?

— Сегодня утром вернулась домой. Побыла у меня, чтобы отдышаться, и вернулась. Она часто так в последнее время поступает. Глотнет воздуха — и снова на дно.

— Жаль... А почему на дно? Как это понять?

— Не удалась семейная жизнь у девочки, вот как это понять. Муж, кстати, профессор, медик, наискверпейший человек. Мать мужа, свекровь, стало быть, наискверпейшая из старух. А я все же крестный ее мальчика. Вот ко мне и сбегáет. Ну, вставайте под душ. Сейчас наш Ашир примчится. Нужны вы ему. Или полюбились? Как он вам?

— Мне он нравится. Полагаю, умный человек. И жизнь знает.

— Умный... Знает... Вам бы с ним встретиться, когда он был в форме. Стремительный. Сверкающий. Не узнать совсем человека. Разжалованный... Какое слово убийственное. Вдумайтесь, вслушайтесь в это слово: разжалованный...

— А зачем мне вдумываться или вслушиваться, Дим Димыч, когда я сам поселился в этом слове? — Знаменский даже улыбнулся, так невесело стало на душе. Просто хоть смейся над самим собой, так скверно все. Он и улыбнулся, наигорчайшие выкладывая у губ морщинки. Они, эти морщинки, в такие минуты на наших лицах и укореняются. Вчера не было зарубки, сегодня, глядишь, появилась.

— Нет, Ростислав Юрьевич, вы в этом слове не поселились, — несогласно мотнул головой Дим Димыч. — Я для вас еще слова не нашел. Вы транзитный пассажир на станции Несчастье. Вызволят. А Ашира некому. Разве что сам... А как? Разжалованному-то? Тут все построже, чем у вас. Согласитесь, построже. А, легок на помине, явился сокол!

Послышались быстрые шаги, и в комнату, минуя посторонившегося Дим Димыча, вбежал Ашир, глазами-дульцами вперившись в Знаменского. А если бы не эти глаза, не опаленное нетерпением лицо, то показалось бы, что в комнату вбежал ну просто бродяга, опустившийся какой-то тип, уже с утра где-то набравшийся.

Ашир ничего не спросил вслух, глазами спросил, а Знаменский ничего не сказал вслух, глазами ответил. Молча обменялись они рукопожатием, постояли рядом, и Знаменский, теперь знавший, что Ашир — самбист, даже мастер спорта, не удержался и дотронулся пальцами до его руки у плеча, обрадовавшись, что ушиб пальцы, что этот будто бы опустившийся человек был из железа выкованным.

Дим Димыч исчез из дверного пролета и чем-то там гремел во дворе, нарочно гремел, чтобы отгородиться от их разговора.

— Как же так, друг? — упрекая, спросил Знаменский. — Ни о чем меня не предупредил. Я всякий раз натыкался на неожиданность.

— Вот и хорошо.

— В аэропорту я ждал, ждал тебя. Даже показалось, что ты в последнюю минуту примчался. Нет, померещилось.

— Почему померещилось? Я был там. Примчался, именно. Понимаешь, свежее пиво в аэропортовский буфет привезли...

— Ну, знаешь ли!

— Знаю, знаю. А ты вот знаешь ли, что сидел в самолете с человеком, у которого в пижонской сумке под сиденьем было килограммов десять опийного сырца? Ты запах не почувствовал? Воняет это зелье какой-то нелюдской вонью. Сладкой тухлятиной воняет, тошнотный запах.

— Нет, ничего такого я не почувствовал.

— Упаковали, постарались. Человеческий нос — грубый инструмент, а собак на внутренних рейсах наши службы контроля еще не завели. Беспечничаем. Все та же песня: «У нас?! Как можно?! Быть этого не может, потому что не может быть никогда!»

— И с кем же я там сидел? Ты что, заглядывал в салон с пивной кружкой в руке?

— Именно. Я дальнозоркий. А сидел ты со сценаристом Петром Сушковым. Нарядный такой и сверхнарядный. Личико моложавое, но морщинок сверх меры. Может, и сам уже приохотился? Наверняка! Пустой малый!

— Да, человек, сидевший со мной рядом, представился сценаристом и назвался Петром Сушковым.

— Все правильно сказал, не соврал. И сценарист, и Петр, и Сушков. А вот про то, что под ногами в сумке у него десять килограммов вони и распада, он тебе не сказал. Он не сказал, ты не учуял.

— Нюх слабоват.

— Верно, слабоват. И сейчас, Ростик, эти десять килограммов, поделенные всего-то на пять-шесть граммов в порции, уже начали убивать твоих москвичей, все больше молодых дурней и дур. Прикинь, сколько это порций! — Ашир выпрямился, вскинула его ярость. — Ты прикинь, ты посчитай! Голова кругом идет! А разве он один у них?

— Схватил бы его, отволок бы в милицию, у тебя силенок бы хватило. Вот тебе и факт. Убийственный!

— Да, факт. Один. Но я бы засветился. Понял? На одном-единственном факте я бы вычеркнул себя из расследования. Не-е-т! Я больше торопиться себе не позволю! Привез?

— Да. — Знаменский извлек из кармана три пакета, ужавшиеся, слипшиеся, протянул их Аширу.

Ашир взял эти пакеты, разлепил, снова сложил, а потом сунул их в ящик письменного стола.

— Они останутся в твоей комнате, Ростик.

Мне с ними по улицам ходить нельзя. Я стал прозрачным. И дом у меня стал прозрачным. Это кусочки карты, которую я хочу нарисовать, когда соберу все кусочки. Дим Димыч обещал мне нарисовать эту карту. Он в курсе. Нельзя, невозможно работать в одиночку. Мне, как ты заметил, помогают. И вот когда мы сложим нашу карту, ты отвезешь ее в Москву. Готовься, тянуть с этим мы не будем. Карта! Я складываю карту. Вот она и убьет их! Пошли есть. И выпить хочется.

— Не пойму, ты все же пьяница или следователь?

— Я, Ростик, спивающийся бывший следователь, выгнанный и опозоренный. Понял? Ты думаешь, зачем я сюда примчался? А затем, что тут нашел пристанище один московский неудачник, у которого еще есть денежки и с которым можно их пропить по-быстрому. Понял? Неудачники, мы с тобой неудачники, а неудачников тянет друг к дружке, чтобы вместе пить и слезы лить. Пошли, подтвердим версию!

— Я бы сперва душ все же принял.

— Ошибка! Неудачники, такие, как мы, не следят за собой, им достаточно, что следят за ними.

— Я все же приму, слипся весь, устал.

— Как там мой Меред? Как поживает маленький летчик? Крепкие ребята?

— А этот старик в тельпеке, продавец фисташек, кто он?

— Так он фисташки для конспирации надумал продавать?! Вот голова! Сказать тебе, кто он такой?.. Скажу — не поверишь! Ладно, пошли есть и пить, потом скажу, не все сразу. Ну, голова! Вот голова! — Ашир повеселел, услышав про этого старика, продавца фисташек.— Фисташки, говоришь, продавал? И дорого взял с тебя?

— Рубль потребовал.

— Замечательный старик! Герой! Ладно, приоткрою его. Герой, не соврал, Герой Социалистического Труда. Чабан. И какой! Все горные морщинки знает. Ну, пошли, пошли! Тебе к воде, мне к застолью, ведь пьяный для них не опасен. Нет, мы их сделаем! С такими ребятами? Клянусь, мы их сделаем!

26

Только уселись за стол, как примчался Алексей, который лишь час назад встречал Самохина и Знаменского на вокзале, развез их: Самохина — в «Юбилейную», а Знаменского — домой. Примчался, чтобы немедленно доставить Знаменского к Захару Васильевичу Чижову.

— Начальство срочно требует! — встав в калитке, объявил Алексей, жадно взглядывая на утлый столик под виноградными лозами, такой приманчивый бутылочкой посреди даров земных.— Подлая у меня профессия, я вам скажу! — Алексей, не смаргивая, глядел, опечаливаясь все больше.— Сейчас бы тяпнуть стопаря, захрустеть бы чем-нибудь, но нельзя! Баранка. Она хуже кандалов. Помчались, Ростислав Юрьевич! Что-то стряслось! Захар Васильевич мрачнее тучи!

Только из-под душа, еще не обсохнув, куска не успев съесть, покатил Знаменский на зов начальства.

— Я вижу, сдружились вы с этим бывшим следователем,— сказал Алексей.— Как судьба играет человеком, ай-яй-яй! Кем был и кем стал! Популярнейшей был в городе личностью. Все наши хапуги, завидев его, трястись начинали. И что же? Брал, оказывается. Вот спивается теперь. Совесть замучила. Но, конечно, с ним не заскучаешь. Острый человек. А Лана вам кланяется, Ростислав Юрьевич. Зацепили вы ее.

Хоть и плохо еще ориентировался в городе Знаменский, но дорога в МИД была очень проста, шла прямиком по проспекту Свободы, мимо запомнившегося парка, после которого и надо было свернуть вправо, развернуться — вот и прибыли. Но Алексей вел машину какой-то другой дорогой, тоже показавшейся знакомой, тут все дороги были породнены деревьями, и все же куда-то не туда вез.

— Мы не в МИД? — спросил Знаменский.

— Захар Васильевич велел к себе домой доставить. Он как туча, а наша Нина свет Павловна еще мрачнее. Вы там, в Кара-Кале, не учинили чего-нибудь, Ростислав Юрьевич?—Алексей снял даже руки с руля, покрутил ими, изобразив нечто фривольно-замысловатое.— А? Дамы, а?!

— Кобры там, а не дамы.— Знаменский протянул руку к баранке, с наслаждением приняв в ладонь упругий ход машины, выправил чуть этот ход. Так и повел, Алексей не мешал ему, не перехватывал руль, с понятием был человек. Едва коснувшись руля, стал Знаменский узнавать дорогу, водительскую обретая память.

— Тормози, приехали.

— Есть, капитан!

Захар Чижов встретил друга возле дома. Они обнялись, будто после долгой разлуки. Обнявшись и в калитку вошли. Захар помалкивал, Знаменский ни о чем не спрашивал.

Недели не прошло, как он был здесь, а сколько сразу приметилось перемен в этом крошечном саду. Все тут будто шагнуло в другой цвет, ну, словно повзрослели деревья и виноградник, в зрелость вступили, в глубину.

— Похоже, солнце у вас творит чудеса,— сказал Знаменский.

— Похоже, похоже... Здравствуй, Ростик.— Из дома вышла Нина. Неожиданная какая-то, строголикая. На него и взглянула, и не взглянула, мимо прошел взгляд, так только женщины умеют смотреть, когда гневаются. Но разве он в чем-то перед ней провинился?

— Ниночка, и тебя тоже не узнать.— Знаменский подошел к ней, поцеловал руку, наигрывая светскость, взглянул улыбчиво. Нет, она ответно не улыбнулась, она и вправду гневалась.

— Что случилось, друзья? — спросил Знаменский, недоумевая.

— Как тебе сказать...— Захару явно было не по себе.— Ты завтракал, Ростик?

— Только начал, как был вами затребован, шеф.

— Вот и хорошо, позавтракаем вместе.

— Ох уж эта мужская консолидация! — вздохнула Нина.— Готов даже подряд два завтрака съесть во имя дружбы. Да не тяни ты, Захар! Конечно, будет ему завтрак, но сперва он должен получить выволочку. Надо же, донжуан проклятый! Едва приехал, едва свалился к нам со всеми своими неприятностями, как уже у него амуры начались! Господи, что за человек?! Бедная Лена...

— Нина, о чем ты? Захар, что она несет?

— Ах, он не знает! Ах, он не догадывается! Захар, может быть, объяснишь товарищу...

— Да что тут объяснять?..— Захар томился, видно было, что ему тягостен предстоящий разговор, он тянул, не начинал, озаботился вдруг, что вода в канавке сбилась с пути, закружилась, наткнувшись на обсыпавшуюся землю, и он кинулся выручать воду, схватил кетмень и начал расчищать завал.— Видишь ли, Ростик...— Захар пошел вдоль арыка, расчищая его дальше, за дерево зашел, взрыхлил вокруг землю, раз уж кетмень в руках.— Видишь ли, Ростик... На тебя поступила жалоба... Точнее сказать, донос... Но за подписью, вот беда...— Под одним деревом землю он взрыхлил, но надо было и под другим взрыхлить, раз уж кетмень в руках.— Совсем запустил сад! — пожаловался Захар, которого теперь даже не видно было, отгородили его деревья. Впрочем, слова его еще можно было разобрать.— Понимаешь, если бы это была анонимка, я бы ее просто порвал и бросил в корзину...— доносилось из-за деревьев.— Но это не анонимка, это заявление. И за подписью, и с указанием звания, и даже с указанием партийного стажа. Что прикажешь мне делать?

— Окучивать сад, Захар! — сказала Нина.— Теперь я знаю, как тебя заставить окучивать наш сад!

— Вот ты сердишься,— издалека донесся голос Захара.— А мне каково?

Он вернулся. Несчастный, с вымокшими ботинками, облепленный какой-то паутиной, волоча за собой кетмень.

— Захар, прошу тебя, не бросай кетмень,— язвительно сказала Нина.— В конце концов ты всегда сможешь работать садовником.

— Я, кажется, подвел вас, друзья? — спросил Знаменский.— Но, даю вам слово, я не знаю за собой никакой вины.

— Нас подвел? — переспросила Нина.— Начнем с того, что ты себя подвел. Ну, хорошо, скажу я, коль скоро муж мой дипломатически переквалифицировался в садовники. О дипломаты! Нет, о мужчины! Итак, Ростик, как выяснилось, ты поселился в доме, где живет одна весьма знаменитая в городе дама. Вернее, не то чтобы живет, но иногда ночует. Хозяин этого дома — говорят, что он весьма странный тип,— ее какой-то родственник, и вот она... Согласна, доктор Светлана Андреевна просто прелестная женщина. Но, Ростик... Что ты знаешь про нее?..

— Нина! — Захар вышагнул вперед и кетменем ударил оземь.— Нина, прошу тебя, не будем касаться чужой судьбы! Как можно, Нина? Ростик, все дело в том, что муж этой женщины, видимо, из породы отвратительных ревнивцев. Словом, он написал нам заявление, требуя...

— Иногда ревнуют не без повода,— тихонько обронила Нина.

— Это его дело! Вызывай на дуэль, черт побери! — взорвался Захар, смешно, как рапирой, взмахнув кетменем.

— А это мысль,— сказала Нина.— Ведь Ростик у нас шляхетских кровей. Верно, Ростик, вызывай ревнивого мужа на дуэль. Впрочем, он старик, не принято фехтовать со стариками. Но Захар, мой Захар-то каков! Я тобой восхищаюсь, Чижов из деревни Чижи Смоленской губернии. Бретер! Дуэлянт! Браво, Захар!

— Что с тобой, Нина? — удивленно поглядел на жену Чижов.

— А то, мои милые, что эта женщина действительно может сыграть роковую роль в судьбе Ростика да и в твоей, мой дуэлянт-муженек. Это роковая женщина, а город у нас не так уж велик, у нас все про все знают, даже я, хоть мы тут недавно, все про всех знаю. Да, согласна, муж у нее не из симпатичных личностей. Но он подобрал ее после суда, он подобрал ее, когда она ждала ребенка от другого, он загородил ее собой, а у нее была репутация хуже некуда. Тут, Ростик, лет двенадцать назад был громкий, громчайший процесс по медицинскому институту. Веселились студенточки со своими педагогами. Медики! Циники! Одна так довеселилась, что отравила мужа и его отца. Мешали они ей веселиться! Вот такие дела. По этому процессу, а его в городе помнят, многих девиц таскали. Была там и твоя Светлана, Ростик. Шла по списку слишком веселившихся. Ну, оправдали, ждала женщина ребенка, но... Но вот что это за женщина, Ростислав Юрьевич. И ты, едва приехав, едва...

— Да, вот что это за женщина...— Знаменский смотрел на Нину, дивясь ей. Ведь это же их Ниночка-блондиночка была перед ним, славная, милая, беззаботная, отзывчивая — что там еще? — добрая, веселая, заводная — что там еще? Все ушло! Совсем она, полное сходство, но другая.— Да, Ниночка-блондиночка... Ну я пошел, Захар?

— Иди. Считай, что я переговорил с тобой официально. Письмо мы, разумеется, закроем. Слушай, съехал бы ты с этой квартиры. Там и неприглядно очень. Знаешь, поживи пока у нас, мы тебе найдем не спеша что-либо поприличнее. Нина, ты согласна? Приглашаешь?

Пойми их, этих женщин, эта суровая обличительница сейчас плакала, уткнувшись лицом в ладони, рыдания сводили ей плечи.

— Сын... не может забыть сына...— шепнул Чижов Знаменскому, который уходил, чтобы удержать его, и тотчас кинулся к жене.— Нина? Ну, что ты, Ниночка? Ну, умоляю тебя!

Но тут требовательно зазвонил из дома телефон, пронзительно и настойчиво, суля какие-то неприятности, и Захар кинулся в дом, схватил трубку.

— Да?! Слушаю?! — Он надолго замолчал, слушал. Потом произнес всего одно слово: «Еду!» — и повесил трубку.

Он вышел из дома, добитый новым известием. Уныло глянул на жену, на Знаменского, разведя руки, будто на нем была вина, сообщил:

— Умер Александр Григорьевич Самохин... Острая сердечная недостаточность... Час от часу не легче...

Окончание следует.

ДАЮ УРОКИ

Лазарь КАРЕЛИН

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

27

Знаменский вышел за калитку следом за выбежавшим на улицу Чижовым, который его с собой в машину не позвал, только рукой махнул как-то неопределенно, словно бы извиняясь, словно бы прощаясь. Мол, сам понимаешь, не до тебя. Знаменский понимал. Машина умчалась, а Знаменский побрел по узкой полоске, прерывистой и утлой, которую можно было назвать тут тенью и которая теснилась к стенам домов, по ней не просто было ступать. Но все пространство за этой полоской было из расплавленного чего-то, казалось лентой жидкого металла, выпущенного из домны. Жгло солнце, и жгла жалость к старику. Открылось, мгновенно стало ясным, что это был хороший человек, что он был умен, добр. И он знал, что смерть близка. Неужели, когда смерть совсем близко подходит, человек ее видит? Не ту, в белом балахоне и с косой, чепуха это, а что-то иное, а что-то такое, что говорит ему: готовься, пора уходить. Не облик, а голос. И человек начинает готовиться. Или пытается сбежать от этого голоса, кидается в панику, напрасную и постыдную. Самохин не паниковал, он заторопился немного, но чтобы домой поспеть, чтобы не в дороге... Жаль старика. Не надо было его тащить в поездку, сманивать на какой-то там чудодейственный чал. Но, может быть, эти два последних в его жизни дня были для него не пустыми, не суетой, в какой он жил, все цепляясь за службу, за кресло, все по нисходящей? Он в музее Двадцати Шести побывал. Он на Каспийское море взглянул. Он летел над древней землей, так широко ее увидев, но и так близко от нее, что морщины углядел и трубы, по которым вернулась на эту землю вода. Он слышал, как пел от счастья Меред, сын этой земли. Он слушал, как шумит, перетирая камни, Сумбар. Он... Жаль старика... Но лучше так, лучше закрыть глаза, еще помнящие заросли миндаля, и не открыть их, чем... Было жаль самого себя. Он шел по лезвию тени, ударяясь плечом о стены домов и дувалов, и, если бы мог, он бы заплакал, как там, на Каспии, когда поплыл, но слез не было, они в нем высохли. Было жаль Светлану, ее всего жальче было. Вон оно как?! Вон как обошлась с ней жизнь?! И все обминает, добивает. Люди беспощадны, незабывчивы, подозрительны, их тешит чужая беда, а когда человек, которому не повезло — ну, не повезло! — хочет поднять, хотя бы приподнять голову, люди противятся этому, бьют по твоей голове, им важно, чтобы неудача твоя длилась, им так хочется, им так радостней жить. Вот она, истина! Где он жил? Как он жил? Что знал о жизни? Вот теперь ему покажут, что это за штука — жизнь! Надо было уезжать отсюда. Вот и все с Ашхабадом. Заявление поступило не на него, оно поступило на нее. Ах, Ниночка-блондиночка, кто бы мог подумать...

Знаменский решился, пересек проспект Свободы, как в пламень вступив, кинулся к подкатившему троллейбусу, вскочил в него, вшагнул, как на самую верхнюю ступень парилки мы вшагиваем, страшась немедленно же свариться. Не сварился, многотерпелив человек, оказывается. Но все, все с этим городом, где зной мог бы хоть злобу из людей выпарить, но нет, не выпарил. Так зачем же ему этот город? Сейчас сложит чемоданчики, они и не разложены, напишет письмецо Захару — и назад, в Москву, где какая-никакая, а жена, где мать... Вот, припекло, и вспомнил мать, которой так еще и не успел ответить на ее телеграмму. А если б зашел на почту, то и письмо бы там от нее получил. Одно, а то и два, и даже три. Вспомнил... И еще разок вспомнил, когда увидел старую женщину, там, в Кара-Кале, которая сказала ему какие-то очень важные слова. Какие? А, вот эти: «Но рисует-то жизнь...»

— Все правильно, все правильно...— Опять эти слова вырвались, проговорились у него вслух.

— Тогда сходите, если все правильно,— подтолкнул его какой-то сохлый старичок в пенсне из прошлого века, с седенькой бородкой клином из минувшего же столетия.

Как раз троллейбус остановился, раздвинул створки, и Знаменский сошел, пришлось сойти, его подталкивали, им управляли. И даже, обернувшись, помог старичку ступить на землю, протянув ему руку.

— Вам не жарко? — спросил.

— Переношу,— сказал старичок.— Благодарствую.— Он зорко глянул на Знаменского.— Узнал вас. Вы человек телевидения.

Да, дети и старики — самый зоркий народ.

— А вы, простите, чей человек? Как вас занесло в это пекло?

— Смешно сказать, любовь! — Старичок церемонно поклонился и засеменил по солнцепеку, демонстративно пренебрегая тенью.

Побрел дальше и Знаменский. До дома Дим Димыча теперь было близко, но надо было опять пересекать проспект. Что ж, пересек, не устрашился зноя, чем он хуже старичка.

Вот и школа, возле которой он останавливался, чтобы посмотреть, как прыгают через железную ограду мальчишки. Когда это было? Очень давно, показалось, что очень давно, но начал считать дни, и вышло, что совсем недавно. Мальчишек сейчас тут не было. Лето. Каникулы. Где-то у воды прыгают. Школьный двор был пуст и печален. Все школы мира без детей отвратительно пусты и удручающе печальны. И не потому, что их худо строят. Иные из школ хорошо строят, но без детей они все равно пусты и печальны. А тот барак в Кара-Кале, ведь барак же, где целая дюжина ребятишек смотрела телевизор,— он запомнился прекрасным залом, потому что там были дети.

На столбе у школьных ворот приметил Знаменский какую-то бумажку, только лишь приклеенную к столбу, еще не выжженную. Он подошел поближе, прочел: «Даю уроки любознательным». И все. А дальше адрес и подпись. Адрес указывал на тот дом, куда он шел, подпись была такая: «Д. Д. Коноплин, картограф». Так вот он чем занимается, Д. Д. Коноплин, этот весьма странный тип, как отозвалась о нем Нина, он дает уроки любознательности. Эх, Ниночка-блондиночка!..

Знаменский свернул в переулок, двигаясь по указанному адресу. Он и еще одну такую бумажку на столбе обнаружил. А вдали виднелся столб с такой же беленькой, невыжженной бумажкой. Его квартирохозяин Д. Д. Коноплин вел его от столба к столбу, будто взяв за руку. Ну что же, он тоже сейчас объявит себя любознательным.

Знаменский вошел во двор, увидел непочатую бутылку, нетронутый натюрморт. Ни Дим Димыча, ни Ашира тут не было. Он вошел в дом, заглянул в одну комнату, в другую. Вот они, нашлись. Они стояли над письменным столом, на котором была разостлана карта, странно похожая на лоскутное одеяло, сшитое из разрисованных маками крошечных лоскутов.

— Здесь дают уроки любознательным?! — громко спросил Знаменский.

— Здесь, здесь,— не отрываясь от карты, рисуя на ней тонкой кисточкой очередной маковый цветок, отозвался Дим Димыч.— А мы уж заждались.

— Что там у тебя стряслось? — спросил Ашир.

— Муж Светланы Андреевны написал донос, что я... Словом, мне надо съезжать от вас, дорогой Дим Димыч. И вообще уезжаю, друзья. Не прижился в ваших благословенных краях.

— Пойти, что ли, убить его? — серьезно задумался Ашир.— Зачем земле такой человек?

— Ашир, умер Александр Григорьевич Самохин,— сказал Знаменский.— Сердце...

— Так! — Ашир распрямился.— Так! Не зря жил... Не знаю, как все свои шестьдесят девять лет, но два дня из них не зря жил.

— А ты жестокий человек, Ашир,— сказал Знаменский.

— Война, дорогой. Ты, я слышал, уезжать собрался? Я еще не все сведения собрал. Подождешь.

— Не смогу.

— Война, дорогой. Подождешь. А все-таки жаль старика. Поверь, я честно думал, что чал продлит ему жизнь.

Они вышли во двор, встали у стола, Ашир налил в стаканы.

— До дна! — приказал.— За его два главных дня в жизни!

Они выпили. До дна.

28

Что за день?! Снова примчался Алексей, встал в калитке, завистливо глянул на стол и с удовольствием объявил:

— Ростислав Юрьевич, начальство требует. Срочно!

— От меня водкой разит,— сказал Знаменский.— Еще начнут выговаривать, как мальчишке. Впрочем, есть выход...— Он быстро пошел в дом, так порывисто наклонившись, что Ашир, хотевший было его остановить, безнадежно махнул рукой.

— Пошел писать заявление об уходе,— сказал он.— Нельзя таким пить, слишком решительными делаются. А им что? Наломают дров, а родственнички и дружки выручают. Вседозволенность!..

— Не осуждай его,— сказал Дим Димыч.— Он не ради себя...

Верно, Знаменский сейчас писал заявление об уходе. Не присаживаясь к столу, который вот и послужил ему, Знаменский быстро начертал на листке бумаги несколько слов. Его золотой «паркер», нагретый в кармане, жирно и охотно выводил слова. Знаменский подписался, сложил листок вчетверо и, прощаясь, глянул в окно на горы. В дневном мареве они были едва различимы.

— Все! — громко произнес Знаменский, показав горам листок, и пошел из дома.

Во дворе он попал в перекрестие взглядов — неодобрительного, сочувствующего, любопытствующего. Он подошел к Алексею, к любопытствующему, вручил ему свой листок.

— Доставь! — И вернулся к столу.

— А на словах ничего не будет? — спросил Алексей.

— Нет, — сказал Знаменский. — И ответа не нужно. Послание исчерпывает вопрос. Поезжай, дружочек.

— Ростислав Юрьевич, надейтесь на меня, я вас провожу,— сказал Алексей.— Вы когда? Сегодня? Завтра?

— Поезжай, поезжай,— сказал Ашир.— Куда спешить? Мы свободные люди. Одного уволили, другой уволился, третий на пенсии. Самые свободные люди на свете! Завидуешь, Алек-

---

Окончание. См. «Огонек» №№ 39—49.

сей? Сочувствую тебе, но помочь не могу. Привет!

— А может, не отвозить эту бумажку? — осторожно помахал листком Алексей.— Скажу, что не нашел вас. А, Ростислав Юрьевич?

— Вези, вези, он не передумает,— сказал Ашир.— Мы народ решительный. Вези!

— Жаль...— Алексей медленно ступил за порог.— Думал, поживете у нас, порезвимся...— Калитка медленно затворилась за ним, и почти сразу же взревел мотор и рванулась машина, деля с водителем его досаду и печаль.

— Счастливый человек! — сказал Ашир.— Кому что, а ему бы только резвиться! Совсем счастливый человек. Я пойду, друзья. Ростислав Юрьевич, сразу вдруг не уезжайте. Если хотите, это приказ. Ростик, дорогой, и не пей больше, прошу тебя. Обещаешь? — Он обнял Знаменского, близко заглянул в глаза, в несчастные его глаза несчастными своими глазами.— Друг, нам сейчас надо трезвыми быть.

— Обещаю...

Ашир ушел. Знаменский и Дим Димыч остались вдвоем.

— Что там он написал в своем омерзительном заявлении? — спросил Дим Димыч.

— Мне его не показали. А на словах...— Знаменский оборвал фразу.

— А на словах рассказали о нашумевшем в городе процессе, когда судили преподавателей и студенток мединститута?

— Да.

— Суд бывает правый и неправый. Судить следовало соблазнителей, а не соблазненных. Девочки... Что они понимали в жизни? Им казалось, что они вступили в непрерывный праздник, а они вступили в непролазную грязь.

— Не продолжайте, Дмитрий Дмитриевич. Я не судья. Вот уж кто не судья. Но раз заговорили, спрошу все же... Почему она не уйдет от этого человека, который, видимо, ей ненавистен? Как-то не складывается образ...

— Да, она гордая. И давно бы ушла. И уехала бы отсюда. Давным-давно. Сын держит. Мальчик не знает, что этот скверный человек не родной ему отец. Это последняя ниточка, которая все держит. Конечно, вот-вот оборвется, но держит. Светлана страшится, что мальчик с его нервной системой, что ее разрыв с мужем отразится на мальчике. И еще одно обстоятельство. Здесь у нас в городе работает замечательный логопед. К нему сюда свозят детей со всей страны. Светлана верит, что он вылечит Диму. И есть сдвиги. Таковы обстоятельства, дорогой Ростислав Юрьевич. Не мы правим жизнью, нами правит жизнь.

— Да, да, но рисует-то жизнь...

— Именно! Бога отвергли, так тогда, скажите, в чьих же руках наша жизнь? Чьи мы данники, чьи избранники? Обстоятельств? Ну, пусть будет так. Бога нет, есть обстоятельства. Я иначе думаю, но я в меньшинстве.

— Помогают вам ваши молитвы?

— Нет... Не знаю... Кто про это знает?.. И дело не в молитвах, а в делах, нами делаемых. Вот вы, один из многих, один из отвергших его, вы сейчас приобщились к делу, ему угодному. Суть в этом!

— Приобщился. Завтра всего неделя, как я здесь, и завтра меня не будет.

— Завтра неделя, говорите? — Дим Димыч построжал, палец к небу возвел.— Бог, как известно, сотворил человека на шестой день! — Он скривил губы, побуждая их к улыбке, мол, шутит он, мол, он тут все шуточки шутил, но улыбка не удалась ему.

За воротами послышался шум остановившейся машины, хлопнула дверца, распахнулась калитка, в прямоугольнике которой встала Светлана Андреевна. Она была в белом докторском халате, а за спиной у нее белела машина «Скорой помощи», и, когда Светлана вошла во двор, красный крест на машине как бы вписался в открывшийся прямоугольник.

— А вот и я,— сказала Светлана. Она легко пошла через дворик, стараясь не попасть тонкими каблуками в щели между камнями и кирпичами, вымостившими землю. Она не поздоровалась со Знаменским, прошла мимо него, поглядывая, но забыв кивнуть. Красивая, ловко подпоясанная, в нарядных, праздничных туфельках, да и причесана она была очень тщательно, как причесываются женщины, идущие в театр или в гости. Не понять было, что сейчас на душе у нее, весела ли, озабочена ли. Разгоряченное было лицо, с вытемнившимися,

решительными глазами. Она вошла в садик Дим Димыча, рукой провела по извившейся старой, шершавой лозе, рукой провела по стволу тоже старой и шершавой сливы, вскинув руку, будто притронулась ладонью к склону горы, погладила его. Вдруг обернулась, порывисто подошла к Знаменскому, ладонью проведя по его плечу. Сказала, взглянув ему в глаза:

— Я все знаю... У нас такой город... Сперва подружка, работающая в вашей конторе, принесла новость, что Зотов...— Она помолчала, поискала слова: — Зотов, ну, это тот человек, который написал о нас с вами... Господи, человек!.. А только что на проспекте нашу машину догнал Алексей, обогнал и крикнул мне, что вы увольняетесь. Он даже бумажкой в воздухе помахал. Вы это из-за меня, Ростислав Юрьевич? Меняете судьбу? Все перечеркиваете?

Знаменский молчал, дивясь лицу этой женщины, разгоравшемуся в нем азарту, ее глазам, перекрашивающимся из серых в синеву, в темно-огненные.

— Так мы с вами любовники, Ростислав Юрьевич? — Она совсем близко к нему придвинулась, закидывая голову, чтобы совсем близко всмотреться.— Зачем вы уезжаете?! Он этого и добивался! Добился! Но все, все, теперь все! — Она обернулась к Дим Димычу.— Крестный, вечером я перееду к тебе, принимаешь? Дима пока в интернате, за лето я что-нибудь придумаю. Мне давно обещают комнату. Приютишь меня, крестный?

— Значит, решилась, рвешь последнюю ниточку? — Дим Димыч хотел было обрадоваться, но сник.— А Дима?

— Он догадывается, он даже знает, но молчит, щадит меня. Он такой, он старше своих лет, он умеет уже щадить. Ничего, мы заживем с ним вдвоем. Он вылечится, и мы уедем! — Она вдруг сердито этими темными в пламень глазами поглядела на Знаменского.— А вы зачем уезжаете? Из-за мерзкого доноса? Благородничаете?! Вот уж чего не следовало делать! Он только будет радоваться, ликовать! И разве мы с вами согрешили хоть в помыслах своих?! Отвечайте, вы хоть раз единый взглянули на меня как на женщину?! Вас сковала беда, вы ослепли от нее! Вы все время в себя смотрите! Вам не до женщин! Оставайтесь! Зачем вы это сделали?! Вас натаскали на джентльмена, вот вы и совершили поступок! Натасканный, вы натасканный, вы не настоящий!

— Светланочка, успокойся, прошу тебя! — помолил Дим Димыч.— Ну зачем ты так?!

— Я все время смотрю на вас как на женщину,— растерявшись, оправдываясь, сказал Знаменский.— В первый же миг, как увидел, подумал: какая красавица.

— Правда? — Она усмехнулась.

— Подумал, что у вас очень красивые ноги. Знаете, мы ведь сразу смотрим на ноги.

— Правда?—Она смягчилась, пригасли огоньки в ее все еще темных глазах.

— Что я болтаю?!— в отчаянии схватился за голову Знаменский. Он попытался улыбнуться, к спасительной своей прибегнув улыбке, и она выручила его. Заулыбался во всю ширь, ослепительно, беспечно, легкомысленно, благожелательно, открыто, доверчиво,— выбирайте, что вам подходит.

— Вы славный,— сказала Светлана.— Такой же несчастный, как я, но я злая, а вы славный, не доколотила вас еще жизнь. И не нужно, не нужно! Верно, уезжайте! Ну нас! — Вдруг снова азартом вспыхнули ее глаза, но добрее становясь, возвращаясь в синеву.— Придумала! Надумала! Мы покажем им себя! Ну, прошу вас!.. Вы обещаете, если я попрошу вас, не отказываться?! Не пугайтесь, это не страшное что-то!

— Обещаю. О чем бы ни попросили, если только не попросите остаться.

— Остаться?... Нет, я о пустяке вас попрошу. Сегодня вечером, когда я перееду сюда, пойдемте вместе в парк. Погуляем там по аллее. И все.

— И все?

— Да. Но это все же поступок, Ростислав Юрьевич. Летом, в жару, в нашем парке прогуливаются не только мальчишки и девчонки, там весь город сходится подышать. Ходят, разглядывают друг друга. И мы с вами пройдемся. Нате, смотрите! Сделайте это для меня!

— Решено! — Знаменский попятился, шаркнул ногой, поклонился, не сгибая стана, а как подобает, кивком глубоким, руки опустил, слегка округлив.— Прошу вас, Светлана Андреевна, оказать мне честь...

Она рассмеялась, кивнула и пошла к машине.

— До вечера! — крикнула уже с улицы.

Хлопнула дверца, заурчал мотор, мимо калитки мелькнул красный крест.

— Вот такая она у нас,— сказал Дим Димыч, и гордясь, и печалясь, и тревожась.— Этот парк... Что выдумала?! Там одно хулиганье по вечерам. А вы чужой в городе. Бога ради, хоть не наряжайтесь, как птица какаду!..

Ну что за день?! Снова послышался за воротами шум останавливающейся машины, снова распахнулась калитка, и в ее прямоугольнике встал Захар Чижов.

— Ростик, нам надо поговорить,— сказал он.

— Говори, Захар. Но только не о том, чтобы я остался. Все с этим. Спасибо тебе за помощь, но не вышло, не прижился я тут.

— Проходите, садитесь,— сказал Дим Димыч.— Я не буду вам мешать, исчезаю.— Он поспешно зашагал в дом.

Чижов вошел во двор, осмотрелся печальными глазами.

— Не надо было тебе сюда переезжать, Ростик. Пожил бы у нас, а потом пробили бы тебе квартиру.

— И зажил бы по-натасканному... Нет, Захар, я рад, что поселился здесь, вот с этим убежавшим Дим Димычем познакомился. Я рад, что побывал в Красноводске, в Кара-Кале... И тебе я рад, Захар, что такой ты у нас... Тебя еще судьба друга заботит... Я рад...

— Ну, радоваться нам нечему, Ростик. Да... Итак, уезжаешь?

— Уезжаю. Не сию минуту, побуду еще немного, но совсем немного, и назад. Боюсь, мой тесть меня не похвалит, да и Лена не похвалит. Что ж, ну что ж...

— Еще до того, как ты подал заявление об уходе,— сказал Захар, отчего-то не смея поднять глаз на друга,— понимаешь, еще когда ты был нашим сотрудником, начальство решило, что ты будешь сопровождать гроб с телом Самохина в Москву. Что говорить, хуже поручение трудно придумать, но... И потом ты был с ним последние дни... А теперь не знаю как и быть... Ты вправе отказаться...

— Его отправляют самолетом? — спросил Знаменский.

— Да.

— Когда надо лететь?

— Завтра же, к вечеру, как только завершим все формальности. Из Москвы пришла правительственная телеграмма. Посланник все-таки... Надо еще гроб достать. Цинковый, кажется. Никакой лед в такую жару не поможет. Но ты вправе отказаться, Ростик. Уволился — и все! Поделом, не копайтесь в грязных заявлениях!

— Хорошо, я провожу Александра Григорьевича Самохина, Чрезвычайного и Полномочного Посланника, в его последний путь домой,— сказал Знаменский и строго выпрямился.— Это мой долг перед ним. Знаешь, Захар, он был хорошим человеком. Он мне сочувствовал. Мы там с ним серьезно поговорили. Жаль...

— А я думал, суетный старик, отравленный ядком тщеславия,— сказал Захар.— Рад, что ошибся. Тебе виднее, хотя два дня велик ли срок.

— Велик. Два дня — это треть того срока, который понадобился богу, чтобы сотворить мир и даже человека.

— Вижу, тебя тут слегка уже распропагандировали,— улыбнулся Захар.— Я поехал, Ростик. Алексей будет поддерживать с тобой связь. Ну и домик! Даже телефона нет. До завтра, Ростик!

— До завтра!

Снова отворилась и затворилась калитка, провожая Захара, снова зашумел мотор рванувшейся машины, и стало тихо. Ну и день! Но день этот еще не кончился, он длился, он еще подойдет к вечеру, подойдет к ночи, шестой этот день.

А вечером, едва стемнело, а здесь, в предгорьях Копетдага, сразу, вдруг темнело, будто солнце, сорвавшись, падало за горы, приехала Светлана. Она подкатила к дому, но из машины не вышла, посигналила, чтобы кто-нибудь вышел ее встретить. В доме был только Знаменский, Дим Димыч куда-то умчался по делам, и Знаменский вышел на сигнал.

Он не знал, кто сигналит, но и знал. Она только могла так просигналить. А как? Объяснить бы не смог, но понял, что это она. Все эти часы он ждал ее, слоняясь по дому. Вещи свои он не стал укладывать в дорогу, наоборот, он выложил из чемоданов все наряды, не зная, что же ему надеть для похода в парк. Дим Димыч не советовал наряжаться, и он был прав, но хотелось нарядиться. Для нее. И он повесил на спинку стула свой белый смокинг с короткими рукавами, который ему сшили в Каире, повесил на спинку другого стула крахмальную сорочку с воротом с отогнутыми углами, чопорную рубашку для галстука бабочкой, он и бабочку эту добыл, положил на скромный столик, на котором цвела сейчас загадочная карта, похожая на лоскутное одеяло, затканное красными маками. Его бабочка, тоже красная и с белыми крапинками, сразу прижилась на маковом поле, будто крылышками взмахнула. Он достал брюки синей невесомости, которые купил в Мадриде, долго выбирал башмаки, выстроив их в ряд на полу. И что ни пара, то улицы, улицы вспоминались, города, даже страны. Но не верилось, что он был там, ходил там. Не верилось. Принял душ, побрился, попробовал почитать, но не читалось. Он ждал. И сам дом ждал. По нему сквознячки погуливали, где-то что-то все время шорохом оживало. Сад ждал. Деревья насторожились, к листьям листья приложив ладонями, чтобы лучше слышать.

И вот она приехала, посигналила. Он выбежал к ней навстречу. Светлана сидела в нарядном, стального цвета «Москвиче» модели «люкс», о чем уведомляли сверкающие буковки. Его «мерседес» был такого же серого, в сталь цвета. Вспомнился и забылся, не верилось, что есть у него эта машина. Куда-то уж очень далеко укатила она от него. За этот Копетдаг и дальше, дальше — в какую-то невозвратность, в ненужность, в непонятность.

А этот маленький «Москвич», такой ухоженный, трогательно бахвалящийся своим «люксовым» исполнением, не убавил в его глазах Светлану, он что-то даже прибавил к ней, заносчивый штришок к ее характеру приложил. Ей надо было быть заносчивой. Нате! Смотрите!

Она привезла свои вещи, несколько чемоданов, которые он принялся таскать в дом, еще хорошенько не разглядев ее. Чемоданы были из дорогих. Нате! Смотрите! Совсем счастливая женщина, ведь совсем счастливая женщина: такая машина, такие чемоданы...

И вот она вошла в дом, эта счастливая женщина, переступила порог его комнаты. Да, она была прекрасна. Еще как-то иначе причесалась, чем днем, еще как-то иначе светились ее глаза, теперь уж совсем непонятно. Совсем просто была она одета, но это была та простота, что метит женщину высокого вкуса. Она тотчас углядела его смокинг, бабочку, выстроившиеся в ряд туфли.

— А тут сразу два Знаменских,— сказала она.— Но люб мне этот.— Она притронулась рукой к его плечу, у нее была холодная ладонь.— Сразу поедем или чуть побудем вдвоем? — спросила она.

— Чуть побудем.

— А что будем делать? — Обе ее руки теперь лежали у него на плечах, холодя их. Она закинула голову, чтобы заглянуть ему в глаза.— Милый... Светлый мой... Возьми меня...— Сказала и отошла от него, и стала, вскинув, закинув руки, снимать с себя свое совсем прозрачное платье, которое, оказывается, было непрозрачным, скрывало ее, такую ее. Она раздевалась перед ним, не стыдясь, потому что видела, что он слепнет.

Она шепнула, обернувшись к нему, к ней вдруг чуть-чуточное вернулось ее заикание:

— Люб-имый...

Темно было в этой жалкой комнатке, но с вызвездившимися окнами, где мужчина и женщина, слив неистовый стук своих сердец, спасали друг друга от отчаяния. Темно было, а потому не было этих жалких стен, а были звезды, и угадывались горы.

Когда они поднялись и стали одеваться, собираясь в парк, она не уговаривала его, чтобы не надевал свои пижонские одежды. Напротив, она сама помогла ему нацепить эту вызывающую бабочку, сняв ее с макового поля.

— Пусть теперь разглядывают нас,— сказала.— Теперь, когда мы сами себе поверили, все нам поверят.

— Почему? — спросил он.

— Что почему?..— Свет уже был зажжен, и он увидел, как потемнели ее глаза.— Хочешь понять, почему я?.. Хорошо, я тебе отвечу... Потому... Потому... Потому...

29

Покинув дом Дим Димыча, Ашир побрел по улице, чувствуя, что совсем добит зноем и тем, что был все-таки пьян, а пьяным быть ему нельзя, и он все время себя поверял, одергивал, измучивая этим.

К вечеру сгустились сумерки, и Ашир вдруг приметил на асфальте свою тень. И ужаснулся. Достиг желаемого! Действительно, более жалкого человека, чем обладатель этой тени, придумать было невозможно. Спившийся бродяга только и мог породить такую тень. Даже асфальт ею брезговал, не позволял к себе по-настоящему приникнуть, как бы оттесняя плечом к арыку. Тень ползла по зыбкой, замусоренной воде, горбилась и дробилась, распадаясь среди окурков. Как нарочно, арык в этом месте нес особенно грязную воду, собирал тут городской сор, натекал на асфальт. Да, тень бродяги была тут к месту. Замер Ашир, попытался распрямиться, ужаснувшись за себя. Он-то распрямился, но тень уже ему не покорилась, ушла под пену из мусора, закружило ее. Решил подождать, когда сползет пена, так и стоял, ждал испуганно, что тень не распрямится. Распрямилась все-таки, когда сошла пена. Но все равно от жалкого человека пролегла по воде тень. И покачивалась она, клонило ее из стороны в сторону. Добился своего! Сам себе ужаснулся, собственной тени. Рад! Ведь как здорово прикинулся! Очень рад, до спазм в горле обрадовался.

— Добился своего! — хрипло произнес и поймал себя на том, что вслух произнес эти слова. А что, такие, как он, с такой вот тенью, часто сами с собой вслух беседуют, так вот жестикулируя, как зажестикулировала тень.— Добился, добился своего. Но... не слишком ли далеко ты отплыл от берега, Ашир? А, Ашир?..

Скрипнули тормоза близко и зло. Ашир поднял глаза. Белая «Волга», сверкая новизной, обдала его жаром радиатора, наехав новеньким колесом на его тень. И брызнула тень замусоренной водой своему хозяину в лицо, забрызгала его рубаху. Ашир ладонью утер лицо, глянул из-под пальцев на водителя. Узнал. И свел пальцы, загородил глаза. Так и стоял, закрыв ладонью глаза, ждал, когда машина отъедет. Но водитель заглушил мотор и тоже чего-то ждал. Смотрел, разглядывал этого в жалкой одежде человека, до лба обрызганного мутной водой.

— Не обижайся, Ашир, случайно вышло.

Ашир отвел руку от глаз, стал водить ладонью по рубахе, стирая с нее грязь.

— Все пьешь, Ашир? — Чуть дрогнули полные, жизнелюбивые губы водителя, тронувшись в сочувственной улыбке, но перехотели так улыбаться, двинулись уголками вниз, опускаясь в пренебрежение, в брезгливость, и остановились, явно осторожничая. Замкнулось лицо этого осанистого человека, плотно сидевшего за рулем, едва видным под могучими, с разведенными пальцами руками.

А Ашир все разглаживал рубаху, не поднимая глаз, в которых закипала ярость. Он боялся, что эта ярость выплеснется, он гасил ее, сжимая веки.

— Ну, пей, пей, раз так вышло. Совет хочу тебе дать...

— Какой?

— Если нужна помощь, если нет денег, к старым друзьям надо идти за поддержкой, а не к новым. Не глупая у русских есть поговорка про то, что старый друг лучше новых двух. Я даже перевел ее на туркменский. Вслушайся... Вдумайся...— Жизнелюбивые губы отвердели, обретая свой язык, голос у говорившего стал иным, обретая свой звук. И както сразу заважничал этот человек, палец, поучая, поднял, погрозил пальцем Аширу. И стронул машину, снял с тормоза, и она начала двигаться еще до включенного мотора. А палец все продолжал грозить Аширу. И этот палец, мотавшийся перед глазами, раздернул ему веки, за которыми затаивалась ярость. Не смог, не сдержался Ашир, выкрикнул свою ярость. Он ее выкрикнул по-туркменски, из горла добыв звук, будто нож выхватил, будто слил удар со вскриком. Но осанистый тоже выхватил свой нож-вскрик. Они разминулись, обменявшись этими ударами ярости. Укатила машина. Ашир продышался, побрел дальше. Шел и все встряхивал головой, осуждая себя, осуждая, осуждая себя: «А, зачем сказал?!» Он эту фразу то по-русски произносил, то по-туркменски, с одного языка перебрасывая на другой, как перебрасывает кузнец с ладони на ладонь еще не остывшую подкову. «Зачем про ключ напомнил?! А, зачем сказал?!»

Люди, шедшие навстречу, шарахались от Ашира.

30

Тщательно замкнув двери, Знаменский и Светлана пустились в путь, и Светлана настояла, чтобы он вел машину. Что там какой-то «мерседес», когда рядом, в «Москвиче», такая женщина! Не было прекраснее машины, чем этот «Москвич», не было счастливее человека, чем он.

Они выехали на проспект Свободы, и путь их был прям и прост. Этот парк он знал, туда привела его Нина Чижова. Парк был на проспекте Свободы и выходил одной из своих сторон к «Домику Неру», где в какой-то там папочке, в каком-то там ящике канцелярского стола лежит заявление-донос, сделавшее его счастливым. Вот как бывает.

Он не сразу повел машину в парк, он чуть-чуть поколесил: проехал мимо скверика с крохотной головой Пушкина, трогательного этого памятника, воздвигнутого на гривенники гимназисток, проехал мимо сквера, где стоял Ленин, не призывающий, а спрашивающий, как вам тут живется-можется. Он прощался. Светлана не мешала ему колесить, понимая, догадываясь, зачем это ему нужно. Сбоку поглядывала на него, восхищаясь им, радовалась ему, гордилась, но и мрачнела, тоже прощаясь.

А вот и парк. Вот и аллея старых деревьев, сходящихся в вышине кронами. Да, тут было людно. Тут прогуливались. Парами, по трое, по четверо, целыми компаниями. Все молодые чаще лица, но вдруг и старички встречались, смешноватые парочки, допотопные совсем, а если говорить про этот город, то доземлетрясенческие.

— Знаешь, а я им завидую, этим старичкам,— сказала Светлана. Они шли, руки соединив, как многие тут шли, пальцы в пальцы. Но тут так шли молодые, совсем молодые, ничего не таившие. Но и они сейчас ничего не таили.— Вот прожили вместе жизнь... Я их всех знаю. Что ни пара, целый роман. Просто, чтобы легко было, никто из них не прожил.

— Ба, знакомые все лица! — сказал Знаменский.

Навстречу им шли Алексей, Лара и Лана. Широко шли, громко, весело беседуя. Алексей вел своих дам под руки, но они повыше его были, и они не с ним были, ни та, ни другая: он, этот коренастый, всего лишь сопровождал их, охранял, веселил какими-то байками, но они оставались свободными в своем выборе. Вот так они шли, свободные, раскрепощенные, знающие себе цену. И вдруг увидели Светлану и Знаменского. Миг всего им нужен был, этим рослым, победоносным, ярко и модно одетым молодым женщинам, чтобы все понять про Светлану и Знаменского. Кинулись было к ним, но остановились, но потом, потеснившись, прошли мимо, уступая дорогу. Они поняли: у этих все серьезно. Лана все же сказала, но без вызова, не подшучивая, даже печально прозвучали слова:

— Ростислав Юрьевич, а ведь и я тоже Светлана.

Алексей ничего не сказал, развел и свел только руки, разведя и сведя своих дам.

Разминулись. Где-то рядом очень громко и беспомощно усердствовал оркестр, больше уповая не на инструменты, а на дружные вскрики музыкантов, которые глоток не щадили. Где-то рядом были танцы.

Здесь, на аллее, прохаживались, а где-то рядом метались и кружились, так взбив пыль с воздухом, что фонари над танцевальной площадкой меркли, раскачиваясь.

Светлана шла, прямо, высоко держа голову, глазами, губами откликаясь тем, кто с ней здоровался. С ней здоровались многие. Ее тут знали все. И чего только они о ней не знали?! Все?! А вот и не все. Она сейчас для них тут была новостью, она была счастлива. И окружающие, глядя на нее, на ее спутника, мимолетно, невзначай будто глянув, понимали, что у них, у этой пары, все серьезно, что судьбой тут повеивает. Мимолетный взгляд многое видит, особенно когда от него ничего и не утаивают. А они не утаивали. Шли, сплетя пальцы, шли, как самые молодые тут, и только потому, что были они слишком уж нарядными, заморскими какими-то, их возраст угадывался, их вызов был очевиден.

— Потанцуем? — спросила Светлана.

— Потанцуем.

Они свернули с аллеи, идя на крик и грохот, вступая в мир иной.

Да, на затертом до черного блеска асфальтовом пятачке был иной мир — остров неистовых. Что тут творилось! Тут все крутилось, металось, клубилось, тела взмокли от пота и казались одним громадным телом, сверкающим глазами, зубами, откровенно себя показывающим. Парни тут были все одинаково одетые — впившиеся джинсы, до пупа распахнутые рубахи с закатанными рукавами. Они и вообще казались одинаковыми, уснувшеликими какими-то. Но тела их метались, но губы прыгали. И женщины тут были одинаково одеты, как бы по-разному они ни нарядились, собираясь на танцы. Их юбчонки были взметены, их кофточки, блузки сбились. Они одеты были тут в самих себя. Они метались, топтались, смешав твист, рок, шейк и что-то еще, во что были горазды.

— Не страшно? — спросила Светлана.

Они начали танцевать, вступив в толпу неистовствующих, как входят в волну.

Ну как они танцевали? Нет, не под эту музыку. У них своя началась музыка. Пожалуй, они танцевали вальс. Медленно ступали, медленно кружились. Никто им не мешал, толпа-волна раздвигалась на их пути. И здесь эти двое были новостью. Такие сюда не заглядывали. Многие тут узнали докторшу. Танцующие стали замедлять свои метания, стали вторить вальсирующим, но, не умея так, и совсем останавливались. Смотрели. И музыка стала выравниваться, оркестранты, эти ашхабадские битлы, уняли глотки, будто устали, задумались. Перестали качаться тени от фонарей.

Но все это недолго длилось — просветление это. Какое-то вдруг началось движение в самом темном углу площадки. В середину круга внезапно выскочили несколько расхристанных парней, явно не из танцующих, страшноватых каких-то, с пьяно-сонными расширенными глазами, с красными, как от прорези ножа, губами. Они выскочили, чтобы потеснить Знаменского и Светлану, они и начали их теснить.

— Тирьеккеши! — шепнула Знаменскому Светлана. Она испугалась.— Только не связывайся с ними! Уступи им! Уйдем! — Она потянула его к ограде, в толпу.

Но расхристанные парни, среди которых коноводил маленький, черно заросший и узколобый совсем немолодой человек, не отступились, надвигались на них, замыкая в кольцо.

Вдруг из-за спины у Знаменского вынырнул Ашир. Подоспел! Друг! Он шепнул, утягивая, заслоняя Светлану:

— Это они! Выползли! Тебя засветили в поездке! Уводи Светлану!

Узколобый увидел Ашира и оскалил шакальи зубы, радуясь удаче:

— И этот тут! Поучим!

Круг замкнулся. Танцующие были отметены. Все дальнейшее произошло мгновенно, но запомнилось, как при замедленной киносъемке, когда все делается таким разъятым на движения. Узколобый слишком близко оказался возле Светланы. Зловонием пахнуло от его оскалившихся клыков. Знаменский ударил в этот оскалившийся рот. Попал, свалил. Но тут же подскочил еще кто-то, сверкнув в зажатой ладони крошечным кончиком ножа. Страшно вскрикнула Светлана. Кончик ножа мелькнул, невзначай как бы коснувшись Знаменского. Большего он не успел, этот нож, руку с ним железно перехватил Ашир.

А дальше было вот что. Дальше он начал кидать расхристанных. Он показывал тут всем, как это надо делать. Один на дюжину. Он давал урок самбо. Его тело металось и ликовало. А Знаменский стал оседать, ноги перестали держать.

— Не дам! Не дам! Не дам!— кричала Светлана, подхватывая его.

А Ашир кидал и кидал их. Он был страшен и беспощаден. Он был прекрасен. Падавшие вокруг него отползали, кто мог, скуля, вжимаясь в асфальт. Вдруг узколобый, тоже отползший, приподнялся на локте, выдернул что-то из заднего кармана брюк и прицелился в Ашира. В замедленном кино все замерло. Раздался выстрел. Ашир вздрогнул, задумался и стал падать. И снова началось кино, теперь уже незамедленное. Замелькали кадры, заверещали милицейские свистки, люди, которые в этом парке блюли порядок, вбежали на танцплощадку.

Знаменский высвободился из рук Светланы. Она обрадовалась, отпуская его, оглядывая его, веря, что нож не задел его, страшась разувериться в этом. Боли не было, только кружилась голова и не своими были ноги, когда Знаменский направился к Аширу. Дошел, наклонился, кольнуло в боку, он упал на колени. Ашир был жив, но смерть белесой полосой растекалась по его лицу. Он узнал Знаменского, успел сказать ему:

— Они выползли... Факт... убийственный...— Вздрогнули его глаза-дульца, закрыли их веки. Ашир Атаев умер.

Знаменский еще не понял этого, он хотел приподнять голову друга и обессилел, упал на бок.

Светлана кинулась к нему. Ни слезинки не было в ее отчаявшихся глазах. Она вспомнила профессию. И она начала сражаться за него. Руки нашли его рану, пальцы ощупали. А губы шептали, запекшиеся, вытончившиеся:

— Не дам! Не дам! Не дам!

Откуда-то выскочил Дим Димыч — и он тут был,— кинулся к Знаменскому и Светлане, упал на колени возле Знаменского, к небу поднял глаза.

Выскочил на площадку Алексей. Подбежал, гримасничая, чтобы не заплакать. Втроем они понесли бегом Знаменского, пробежали по аллее через расступающуюся, замершую толпу к машине. Светлана кинулась за руль, помчались.

А потом был больничный коридор, по которому, сцепив пальцы, ходила Светлана, все время не отводя глаз от двери в палату. Набегали на глаза слезы, она их не смаргивала. На скамье сидели, замерев, Дим Димыч, Алексей в испятнанной кровью рубахе, были тут и Лана с Ларой, заплаканные, постаревшие.

Отворилась дверь из палаты, и молодой, очень порывистый хирург вышел в коридор.

— Будет жить! — сказал он, подходя к Светлане, у которой повисли руки.— Кто-то отвел удар. Везучий он у тебя, Светланушка!..

ЭПИЛОГ (О ЗНАМЕНСКОМ)

Осень. Благословенная пора, когда не жарко в этом знойном городе, когда переводят люди дух и начинают гордиться и восхищаться своим городом, столь обильным плодами, столь щедрым на долгое и ласковое, зиму прихватывающее тепло.

Осень, благословенная осень... И в один из ее благословенных дней у здания школы, где мальчишки прыгали через железную ограду двора, остановился исхудавший, высокий мужчина, по-местному одетый — выцветшие брюки, просторная рубашка, запыленные сандалеты. Это был Знаменский. Он постоял, посмотрел, как прыгают мальчишки, улыбаясь их смелости. Чуть грустно улыбаясь почему-то. Вспомнил себя тут недавнего. Поэтому. Постоял, посмотрел, повспоминал и пошел дальше. Но вскоре остановился. У столба остановился, на котором уцелела, хоть и сильно выцвела, бумажка, сообщающая, что картограф Д. Д. Коноплин «дает уроки любознательным».

Знаменский прочитал это объявление, потом достал из нагрудного кармана свой замечательный золотой «паркер» и приписал на бумажке пониже: «Даю уроки английского и французского. Могу подготовить для поступления в институт иностранных языков и институт международных отношений (МГИМО). Адрес тот же. Р. Ю. Знаменский».

Потом он перешел к другому столбу, где ветер трепал выцветший листок, и то же самое написал и на этом листке. Потом пошел дальше, приближаясь к своему дому.

Ашхабад — Москва. 1984—1985 гг.

ДАЮ УРОКИ-2

Лазарь КАРЕЛИН

РОМАН

Рисунки Петра ПИНКИСЕВИЧА

В №№ 39—50 нашего журнала за 1986 год был опубликован роман Лазаря Карелина «Даю уроки». В нем говорилось о том, что журналист-международник Ростислав Знаменский, находясь за границей, проиграл в рулетку деньги, выданные на покупку служебной автомашины. Знакомые иностранцы, оказавшиеся разведчиками, дали ему взаймы денег под расписку, а потом пытались завербовать его для шпионской работы. Знаменский рассказал обо всем в советском консульстве. Он был отозван из-за границы, исключен из партии. Захар Чижов, друг по институту международных отношений, вызывает Ростислава в Туркмению и рекомендует на работу. В Ашхабаде Знаменский подружился с Аширом Атаевым, уволенным с работы следователя по особо важным делам. Торговцы наркотиками, на след которых он напал, оклеветали Атаева. Они подложили в его сейф крупную сумму денег и представили все так, будто это взятка. Ашир не складывает оружия, продолжает расследование, но ему нужна помощь верного человека, так как за ним следят. И тогда Знаменский, выполняя поручение Атаева, отправляется в поездку по Туркмении, во время которой друзья Аширa передают ему сведения о посевах опийного мака. Однако подпольные изготовители наркотиков догадываются о роли Знаменского в этой поездке. Вот почему на возвратившегося в Ашхабад Ростислава нападают вооруженные наркоманы. Ценой собственной жизни Атаев спасает раненого Знаменского от гибели. Предлагаем вниманию читателей продолжение романа Л. Карелина «Даю уроки».

1

Так что же это было? Видение? Померещилось Знаменскому, что между могильных надгробий, в просветах между старыми стволами протянулась зыбкая цепочка детей, взявшихся за руки. А впереди шла мать, она не оглядывалась. Она несла на руках крошечного ребенка, свесившего черную головку, и она несла свою печаль. На красное в черноту платье до пят спадал с головы белый платок, но с черными кистями. Она шла, прямо ступая, глядя поверх этих плит куда-то. Дети ее шли так, как уже однажды такой же вереницей прошли перед его глазами, когда старший вел младшего, младший — еще более младшего, и так по нисходящей, до замыкающего, который едва поспевал, года два ему было, но все же не отставал, подтягиваемый вперед домом, которому было года три, а его подтягивала девочка лет четырех.

Эта вереница прошла перед глазами еще до той черты, до удара ножом, который оказался бы смертельным, если бы его не отвел Ашир Атаев, до выстрела, убившего Аширa Атаева. В другом городе скользнула перед его глазами эта взявшаяся за руки семья, то было в Кара-Кале, и тогда были живы Ашир и Самохин, да и сам он жил иной жизнью, лишь в подступе только был к той черте. Не ведая, приближался. Та женщина в Кара-Кале шла легко, будто пританцовывая, она была счастливой женщиной, счастливой матерью. Эта, на ашхабадском кладбище, мелькая между надгробий, была вдовой, и шли за ней осиротевшие дети. Он вгляделся, шла ли, замыкая шествие, собака. Шла, вон она, такой же рыжей масти, с такой же тяжелой головой. Но и собака казалась понурой и осиротевшей. Наваждение? Привиделось? От жары? От волнения, которое ударило по глазам, когда прочел на свежем камне сверкающие от неподдельной позолоты слова?

...АШИР АТАЕВ, ОТДАВШИЙ ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ... Вот что это были за слова, блескучие буквы которых, расплавленные солнцем, слепили глаза. И как все сразу и просто объяснено. За Родину как не отдать жизнь?

Но почему эта женщина в белом траурном платке, почему эти дети мал мала меньше, так и не разняв руки, замерли у надгробия Аширa Атаева? Они к нему пришли? Семья кара-калинского гостиничного сторожа? Наваждение...

— Глядите, глядите,— шепнул Знаменскому из-за спины Дим Димыч.— Семья Аширa... Восьмой родился уже без него...

Так вот оно что! Семья Аширa! И этот, восьмой, спящий на руках матери, еще не ведающий ничего, родился уже после смерти своего отца, да, да, отдавшего жизнь за Родину. Нет, не измерить, что отдал Ашир Атаев за Родину, никакими словами не объяснить. И он ведь знал, против какой силы идет. Он знал. Мог бы свернуть ради этих ребятишек, ради этой женщины. Мог бы, мог бы. Не свернул.

— Когда хоронили, столько слов понанесли,— шептал за спиной Дим Димыч.— И коммунист-то замечательный, а он был исключен из партии, и друг-то надежный, а почти все от него отвернулись. Те, кто не отвернулся, молчали здесь. Клялись про себя. Мы тут даже не плакали. Другие плакали. Слезы тоже ведь лгать научились.

— Смотрите, уходят,— сказал Знаменский.— Рука в руке.

— Да, рука в руке. Так и по жизни пройдут. Вот увидите, вы еще молодой, еще доживете до поры, когда эти мальчуганы и девчушки свое слово скажут. Они не простят.

— Как же они живут?

— Помогаем. Вы будете помогать. Встанете на ноги, будете помогать. Родни у них много. Помогают. Из родного селения Аширa идет помощь. Не все люди, но есть среди людей люди. Ашир это знал, он на людей надеялся. Он смелым был не сослепу.

— Мне бы поговорить с ней.

— Не сейчас. Она еще молчит. Она долго будет молчать. И дети станут молчаливыми. Они не простят, дети Аширa. Не к мести взываю, к справедливости.

Они стронулись и пошли — эта вереница детей, взявшихся за руки, эта женщина в красно-черно-белом знамени вдовства и рыжий пес, друг того, кто лежал под надгробием, верный друг, пока не подохнет, преданный.

— Пошли и мы,— сказал Дим Димыч.— Тут недалеко...— Он пошел, сохлый, сутуловатый, кладбищенскую обретя походку, когда не нужно ничего в себе пружинить, казаться пусть даже и перед самим собой еще в силе, еще в энергии, поскольку вокруг взирают обладатели особой зоркости, особой правдивости, витает эта зоркоправдивость между звездами, и крестами, и полумесяцами, между деревьями, венками и цветами, вспархивает птицами, в небе парит, в надкладбищенском особом небе, где тучи замерли в библейских фигурах.

Это кладбище было из старейших в городе. Даты на могильных плитах уводили к началу века, когда, собственно, и начался Ашхабад. Здесь много было богатых могил, аляповатая пышность которых уже была смягчена временем, когда памятники, изваянные небрежной и жадной рукой, доводятся до тайны печали и высокой думы резцом, зажатым в длани великого скульптора, которому люди давно нашли имя, да только одни зовут так, а другие — этак, спорят из-за этого между собой, убивают из-за этого друг друга, утверждая первенство своего бога,— им первенство важно, в любом деле важно им первенство, кровью мир залит из-за этого первенства, веками кровь льется, она и сегодня обильна, эта кровь, а скульптор продолжает ваять, идет работа.

Теперь пришло время Дим Димычу замереть. Встал, уронив руки, перед крохотной лужайкой российской травы, где три камушка паслись, один побольше, два маленьких. И все. Но трава зеленела молодо, ухожен был лужок, зной здешний яростный его не осилил, песок с близких барханов — вон они, за кладбищенской оградой,— не припорошил. В ногах лужка виднелась медная дощечка. Знаменский наклонился, прочитал: «Коноплины: Нина, Коля, Мария». И все. На дощечке оставалось место еще для одного имени. И все. Дат рождения и смерти не было.

— А даты?— спросил Знаменский, глянув снизу в лицо Дим Димыча, изумившись синеве его всегда сощуренных глаз, распахнутых и синих-синих, таких же российских, как эта трава.

— Тут все пространство кладбища по эту сторону аллеи отдано землетрясенцам. Тут все одной даты — в ночь с пятого на шестое октября 1948 года. Мария умерла позже, но искалечило ее землетрясение, позвали дети.— Дим Димыч склонился над лужайкой, полоть начал траву, выискивая едва приметные, едва начавшие сохнуть стебельки. Потом он зашел за могилу, там у него лейка под деревом была укрыта, там невдалеке колонка виднелась. Дим Димыч набрал воды в лейку и стал поливать лужок, кропя водой через ладонь, чтобы согреть ее, тревожно поглядывая в небо, где солнце уже унималось, идя на закат.

— Не рано ли поливаю?— усомнился Дим Димыч.— Пообожду, пожалуй. А вы, Ростислав Юрьевич, пока вон с тем товарищем побеседуйте. Нужны вы ему зачем-то.— Дим Димыч отставил лейку, присел на местный лад на корточки у своего лужка и замер, отгородился от Знаменского. Так замер, будто надгробием стал.

Знаменский оглянулся. Тот человек, о котором ему сказал Дим Димыч, разглядывал могилу на противоположной стороне аллеи, вчитывался, наклонившись, в надпись на постаменте памятника. А памятник был приметный. Во весь рост был

отлит из бронзы военный, закованный в портупею, с повисшим на бедре громадным маузером. Буденовку он сдернул, смял в руке, и ворот гимнастерки был распахнут. Жарко ему было. В том зное пребывал, который сильнее яростного солнца. Кончился бой. Только-только. Соскочил с коня, ощутил ногами землю, еще не веря, что живой, сорвал буденовку, распахнул ворот, начал остывать, не чувствуя испепеляющей жары. Миг назад было жарче.

Знаменский стал приближаться к этому памятнику и к этому человеку, которому зачем-то был нужен. Человек обернулся, всматриваясь в Знаменского, одернул, выдавая в себе военного, легонький пиджак, необжито топорщившийся на нем, складками подтянувшийся к сильным плечам. Смотрел он на Знаменского с интересом, откровенно рассматривая, оценивая, что ли. На миг представил Знаменский себя его глазами. Не понравился, глянув со стороны. Недавнего себя утратил, нового не нашел. Одет был в донашиваемое из былого, в измятое, утратившее вид. Обозлили и смутили пыльные сандалеты, фальшивкой рассверкались на руке золотые часы. «Омега»! Эта фирма ему сейчас не подходила.

Аллея была широкой, Знаменский шел, закипая, что его в упор и столь откровенно рассматривают. Сам стал в упор рассматривать. Этот человек в штатском был человеком именно в штатском, всем сугубо штатским видом подтверждая свою военную суть. Из легонького пиджачка, из брюк в обтяжку выпирало сильное, натренированное тело. Надо же, хоть и осень, но жара же, а он сковал шею галстуком, и совершенно немодно повязанным, по памяти молодой, двадцатилетней давности поры. Сейчас этому человеку было за сорок, по глазам угадывался возраст.

— Здравия желаю! Чем могу быть полезен?— Знаменский, подойдя, нарочно шаркнул, приставив ногу к ноге.— Со мной уже беседовали, еще в больнице. Спохватились, а Ашира-то нет!

— Да, спохватились. Полковник Мальцев. Из Москвы.— Мальцев достал удостоверение, раскрыл на ладони, поднес ладонь к глазам Знаменского.— Читайте. Внимательней. Вдруг да еще кто захочет с вами побеседовать. Запоминайте нас. Рана болит?

— Побаливает. К непогоде.

— Вот видите, к непогоде. Ветераном становитесь. Прочли, Ростислав Юрьевич?

— Прочел, Владимир Иванович.

— Так.—Мальцев сомкнул удостоверение, спрятал в нагрудный карман пиджака, прихлопнул для верности.— Ну что ж, хотелось бы продолжить разговор, начатый с вами в больнице моим коллегой. Возникли вопросы. Точнее, всего один.

— Я все рассказал. Ваш коллега выжал меня основательнейшим образом. Впрочем, я весьма мало осведомлен.

— Есть, есть вопрос. Повис, как говорят. Кстати, и хорошо, что вы мало осведомлены. Про это не только мы понимаем, но и они понимают.

— Кто?

— Выясняем. Так поговорим?

— Я в ваши игры дальше играть не собираюсь. Хватит с меня.

— В игры мы не играем, Ростислав Юрьевич. Какая ж тут игра? Если бы Ашир Атаев не отвел руку бандита с ножом, вас бы уже в живых не было. А Ашира убили. На глазах множества людей выстрелом в упор был убит младший советник юстиции Ашир Атаев. Нет, это не игра.

— Младший советник юстиции, говорите? Он был лишен этого звания. Где вы были раньше, товарищ полковник? Его из партии исключили, он стал жертвой наглой провокации. Где вы были раньше, все вы?

— Что ж, отвечу вам, Ростислав Юрьевич, хотя...— Мальцев прямо глянул на Знаменского, взвешивая свой ответ, но это вот «хотя» уже и содержало в себе ответ, Знаменский понял, мигом к себе это «хотя» отнес, раним стал, угадывать научился самомалейшие намеки в будто бы ничего не значащих, будто бы невзначай оброненных словах. Да, да, а где он сам-то был, когда его повели, чуть было не вербанули,— там, в той его жизни, от которой остались эти дерзко-богатые часы точнейшего хода — зачем ему теперь эта точность?— и эти вещи модные, но измявшиеся, будто павшие духом, как и он сам? Смотреть в полковничьи глаза стало невыносимо трудно, многое знали эти глаза, читали его сейчас, дочитывали. Знаменский напрягся, чтобы выдержать этот досмотр, глаз не отвел, но к спасительной своей улыбке не мог не прибегнуть, хотя как-то виновато улыбнулся, не просветлел лицом, как обычно, когда разгоралась его улыбка.

Полковник молчал, задерживая ответ, менял слова, редактировал, прощупывал их на силу чуть вздрагивающими губами. И вдруг обернулся, глянул на этого из бронзы красного командира, только лишь выскочившего из яростной рубки. Глянул, рукой на него повел, сказал:

— Им было легче. Вот — враг, вот — друг. Бой!

Знаменский тоже поглядел на бронзовую фигуру, поглядел и на нынешнего воина, вбившего свое сильное, натренированное тело в жалкий штатский костюмчик, которому была явно непосильна маскировочная роль.

— А вы похожи,— сказал Знаменский.

— Думаете?— Полковник взметнул зрачки на бронзового и вот и сам смутился.— Нет,— буркнул,— нет, подрастеряли...

— Похожи, похожи,— настаивал Знаменский.— Вам бы его наряд, ему бы ваш — не отличить, кто где, кто когда.— Полегче стало Знаменскому, повеселел, вслух даже произнес это упрекающее словечко: — Хотя...

— Понял. Я же говорю, подрастеряли... Но... им было легче. Хотя...

Тут они рассмеялись оба, взаимной симпатией как бы прониклись, это «хотя» их помирило.

— Какой вопрос ко мне, Владимир Иванович?— спросил Знаменский.— Отвечу, если смогу.

— Даже не вопрос. Недоумение...— Мальцев покосился на воина из бронзы, хмыкнул и пошел от этой могилы, подхватив под руку Знаменского.— Трудный свидетель. Поговорим без него. А то еще спросит: как же это вы, братцы, дошли до жизни такой? Это самое спросит: за что боролись?— Мальцев свои слова улыбчиво проговаривал, но глаза у него грустили.— Да, недоумение... Тот человек, с которым вы встретились в самолете, Ростислав Юрьевич... ведь такого человека не существует. Нет такого сценариста Петра Сушкова, нет просто в природе. И не бывал никакой Петр Сушков на Капри, имея целью что-то там разузнать про Максима Горького, соврал и про эту надпись на воротах: «Кани мордачи», что означает «Злые собаки»; и, кстати, ловко соврал, на воротах дома, где некогда квартировал Горький, действительно такая надпись когда-то была. Ныне ее нет, но была. Легенда — все им вам о себе сказанное, он вас морочил, Ростислав Юрьевич.

— Но Ашир Атаев мне потом подтвердил, что этот мой попутчик, как оказалось, везший в сумке килограммов с десять наркотиков, действительно некий Петр Сушков, действительно некий киносценарист.

— Кто-то заморочил голову и Аширу Атаеву, а у него не было ни времени, ни возможностей, чтобы проверить. Он главное установил: в сумке некоего Петра Сушкова были наркотики. Установил он и место их изготовления. Одно из мест, одну из лабораторий. Вдумайтесь, на нашей земле, вот где-то тут неподалеку, существуют подпольные лаборатории по изготовлению наркотиков. А?!

— Вам нужен мой спутник по самолету, чтобы он указал адреса?

— Да, чтобы указал адреса! Но не только лабораторий, но и адреса тех, кому он вез наркотики. Одни изготовляют, а другие-то заказывают. И, стало быть, сбывают. Он, этот сценарист липовый, может стать для нас миноискателем. Цены ему нет. Но после убийства Ашира Атаева он залег на дно. Приказали, так думаю, исчезнуть. Его нет. Нигде. Я раз десять прокручивал кассету с вашим рассказом, что он вам там наболтал про кино и остров Капри. Занятно врал. Сведущий человечек. Околокиношный явно болтун. Но сколько таких. Где его искать? Ростислав Юрьевич, а ведь вы единственный, кто знает этого «Кани мордачи» в лицо. Ашир знал, но Ашира нет. Вот такое недоумение....

Звоночек вдруг послышался Знаменскому. Далекий, едва различимый, из былого. Тот самый, что сзывал ребятню, когда был он маленьким, когда только пошел в школу. Заигрывались на переменах, отбегали куда-то, теряя из глаз красный кирпич школы, но вот начинал дребезжать слабо и издали школьный звонок, приказывая вернуться. И вел от дома к дому, от двора к двору, будто взяв строго за ухо, подводил к школе. А там могли вызвать и спросить, а он чего-то обязательно не знал, всегда страшился, что спросят, страшился опозориться. В школе учиться было мучительно, в институте было куда легче, потом и вовсе стало легко жить-поживать. Звоночек школьный остался в памяти, как недобрый звук, мучительный. Редко когда подавал о себе весть. Но когда начинал звенеть издалека-издалека — это означало, что надо к чему-то скверному изготавливаться, вопреки своей воле поступать, шагнуть в несвободу. Иногда такой звоночек снился. Но всегда радостно было понять, что звук этот всего лишь сон. Сейчас звонок звенел и звенел в ушах, не унимался, какой-то упрямец тряс их дребезжащую школьную реликвию, этот от детства символ насилия.

— Разве не хватит с меня?— сказал Знаменский, ожесточаясь, отводя руку, которую так мирно поддерживал под локоть полковник Мальцев.— Сколько можно сложность на сложность громоздить?

— Я ведь вас ни о чем еще не попросил,— сказал Мальцев. Он подобрался, зашагал как-то иначе, запамятовав, что в штатском.

— Еще?..

— И на том спасибо, что вы для нас сделали, помогая Атаеву. Могли вполне и отказаться. Не ныла бы сейчас спина-то. Кстати, эта карта из маковых лоскутов нам очень пригодилась.

— Ашир Атаев попросил. Мы как-то с ним сразу подружились. У меня беда, у него беда.

— А беды-то у вас были разными, Ростислав Юрьевич.

— Ашир мне тоже про это втолковывал. Сказал даже, что оказывает мне честь, что мне повезло, что ведь убить же могут.

— Да, потеряли мы замечательного человека, замечательного. Ну, будем прощаться, Ростислав Юрьевич. Мне пора нырять в свои сложности, вам — в свои.— Мальцев руки не протянул, кивнул лишь, повернулся четко через левое плечо, опять забыв, что штатский он сейчас, сугубо штатский, и пошел, резко, будто отмахиваясь, поводя руками.

Рядом со Знаменским возник Дим Димыч. Он еще там был, возле камушков тех, отрешенно глядел, еще не распрямился.

— Это ваша идея здесь, на кладбище, свести меня с ним?— Знаменский кивнул на удаляющуюся фигуру полковника Мальцева.

— Моя, моя,— покивал Дим Димыч.— Тихо тут, мыслям свободно. А вот они — это уж не моя идея. Его!— Дим Димыч простер руку, указав на скамью у ворот кладбища. Этой скамьи сейчас не видно было, ее всю захватила стайка ребят, будто то была стайка птиц, присевшая после долгого перелета, через моря перелета, на первую же на суше ветку. Знаменский вгляделся и узнал детей, это были дети Ашира. Мать, присев на корточки, расположилась возле скамьи. Она сейчас кормила грудью маленького. И все ее дети тоже кормились. Старший передал большой кусок чурека младшему, младший — тому, кто был младше его, тот — дальше, другой — еще дальше, передаваемый кусок чурека дробился, уменьшался, маленьким стал, когда зажал его в ручонке совсем маленький мальчуган, и все дружно зажевали, не споря, не завидуя, не отнимая куска у другого.

— Они не простят,— шепнул Дим Димыч, так и позабыв опустить руку, напротив, к небу ее возвел.— Он не допустит...

— Вы знаете, где этот полковник остановился?— спросил Знаменский и снова услышал, как задребезжал в ушах ничего хорошего не сулящий звоночек из детства.

— Найду.

— Спросите его, чем я могу быть полезен? Ну что я могу, ну что, что я могу?!— Знаменский эти слова выкрикнул в отчаянии.

— Спрошу, спрошу,— кротко покивал Дим Димыч.— Человек своих возможностей не ведает, Ростислав Юрьевич.

— Да, да, он нами ведает!— зло вскинул руку Знаменский.

— Именно, именно. Но я вам своего мнения не навязываю, не гневайтесь.

— Уж вы-то не навязываете! Прямо какой-то сценарист!

— Что вы, что вы, Ростислав Юрьевич...

Они двинулись к выходу и, когда проходили мимо скамьи, низко поклонились этой кормящей женщине, ее детям, которые сейчас делили между собой, передавая, виноградную гроздь.

2

Все было не просто. Даже как-то фантастически не просто. К тому, с чем приехал в этот город, упав с московского неба в ашхабадский зной, и что было тягчайшей тягостью, помрачением, падением именно, когда с нуля предстояло все начинать, так вот к нулю этому прибавились новые нули, как бы нанизываться начали один на другой. Проникающее ранение схлопотал, едва прожив здесь неделю, должность, пусть почти никакую, но все-таки должность, утратил, отвалялся с месяц в больнице, бок ноет и не только к непогоде, та ниточка, которая связывала с женой, с Москвой, с элитарным тем мирком, в котором обретался годы и годы, почти прервалась, репетиторство, которым занялся на пару с Дим Димычем, было жалким уделом... Ну, что еще вспомнить? Косые взгляды, когда идешь по улице, уклончивые, из-под век вспышки-лезвия неких личностей, лиц которых не углядеть, они взглядывали и исчезали, как тот, в мареве Небит-дагского аэродрома, человек в черной тюбетей-

ке. Он, скорее всего, и «засветил» Знаменского, пробил тревогу. Люди с лезвиями глаз были врагами Ашира, они стали врагами его, Знаменского. Их преследовали, вся сила правоохранительная была кинута на них, вот полковник Мальцев появился из московского управления, гибель Ашира всколыхнула всех, но до победы было далеко, ее просто не видно было, сражение шло в тумане, в мареве, с людьми, умеющими залечь на дно, переждать, выдать себя за другого, обмануть, перелукавить, а то и ударить ножом в спину, и даже выстрелить, убить.

Так в чем дело-то? Ну, не вышло тут, кати домой. Жена прилетала, когда он лежал в больнице, звала, настаивала. Ниточка все же не прервалась. И примут, и помогут устроиться, в зачет пойдет, что помогал в каком-то важном расследовании, что даже ранен был. И уже сообщила жена, в их там кружке легенда начала слагаться, что-де геройски вел себя Ростик, что еще не вечер, ибо за битого-то, как известно, двух небитых дают. Жена звала. Жалела? Или что-то выгадывала и для себя, чутко уловив новый ветерок для его поникшей судьбы? Нюх у нее на эти ветерки был изумительный. Он тоже в них умел разбираться, подлаживая под крыло. Не это ли умение и свело их? Как-то не вспоминалось про любовь, когда складывалась их семейная жизнь, вспоминалось иное: точное ощущение, что подходят друг другу, что вместе потянут, эти ветерки их взметнут, словом, общая у них роза ветров. И они смотрелись друг подле друга. «Отличная пара!» — говорили о них. Как вместе жизнь проходила? Пестро вспоминалось. Вот лежал в больнице и вспоминал, вспоминал. Где еще и вспоминать? Про разное, без всякого порядка вспоминалось. То одно, то другое. Пестро и жилось. Торопливо как-то, очень уж весело, сказать точнее, беспечно. Нет, какое-то еще есть более точное слово, чтобы уяснить ту жизнь. Безоглядно — это? И еще точней надо сыскать слово. Самое точное, в десятку чтобы. Но такое слово не отыскивалось.

Так что же, взять да и действительно покатить домой? Ведь чуть было и не укатил, когда вернулись они с Аширом Атаевым и Самохиным из Кара-Калы в Ашхабад. Чемоданы еще были не разобраны, защелкни замки — и в путь, на аэродром, а там четыре часа лета — и дома. «Здравствуйте, а вот и я!»

Но вернулись они, и закрутилось. Умер Самохин, был убит Ашир Атаев, а его ткнули ножом в спину, и, если бы не отвел удара Ашир, лежать бы и ему на этом кладбище. Или, может, жена перевезла бы его тело в Москву? Скорее всего, перевезла бы. Вдова героя, погибшего в борьбе с преступной шайкой изготовителей наркотиков... Звучит! Глядишь, и о нем бы, когда прощались на кладбище, скорее всего, на Новодевичьем, стали бы речи толкать, слагая их из тех же слов, какими одарили, прощаясь, Ашира. Какая разница, что Ашир Атаев их заслужил, а ты нет,— покойников принято перехваливать, не жаль добросердечия для покойников, его жаль для живых.

И была в том закруте Светлана. Это было самым сложным, стало самым сложным в его теперешней жизни. Ну, случались у него женщины и раньше, в той пестроте всякое бывало, многое случалось. Но она, пестрота эта, и спасала, не пускала в серьезность. Ну, сошлись, ну, разбежались. Легко, все легко. Со Светланой так не получилось. Другая полоса жизни началась. В этой жизни все было серьезно, судьбой повеивало.

Он терял Светлану. Она вернулась домой, в ненавистный ей дом, из которого ушла, порвав с мужем. Казалось, окончательно порвав. Женщина сделала выбор. Был потом тот вечер в городском парке, тот миг счастливый, когда все, кто был в этом парке, могли разглядывать их и их счастье, но миг этот сметен был ненавистью, звериным выплеском, ударом ножа, выстрелом, убийством. Потом была больница, куда она его привезла, где не навещала, потому что прилетела его жена, всего на три дня, но свое право на него подтвердила. А потом он выписался из больницы, пришел домой, к Дим Димычу, который ждал его. Светланы там уже не было.

— Уехала к себе,— сказал Дим Димыч.

— К мужу?— не веря, но и веря, в отчаяние ступив, спросил Знаменский.

— К себе,— повторил Дим Димыч.— Отгородилась ото всех. Я было заговорил, но в молчание уперся. Понять ее можно. Так думаю, что можно. У нее больной мальчик на руках. Это — долг, это — крест. Понять ее можно.

— Но она там, у этого Зотова, живет?— допытывался Знаменский, проваливаясь в отчаяние, в ту почти черную муть, которую принято считать ревностью, принято осуждать, но не дай бог, если это тебя коснется.

— Она у себя живет,— упрямо наклонил голову Дим Димыч.— Там стены, замки, но это пустое. Такая женщина, как Светлана, незримую преграду может возвести, но непреодолимую. За ней и живет.

Да, он терял Светлану. Она избегала встреч с ним. Ашхабад, как оказалось, был громадным городом. Нигде не мог он ее встретить. Знал, прикидывал, где она может быть, выстаивал там подолгу, но ее не было. Впрочем, были ему ведомы и те места, где он наверняка мог ее встретить. Димина школа... Ее поликлиника... Ее, зотовский этот, дом... Но к этим местам он себя не подпускал, чтобы она не подумала, что он ее подкарауливает. Вот если бы случайно встретились. «Здравствуйте, Светлана,— сказал бы он тогда, протягивая руку. А потом, когда бы она ответно протянула руку, он тихо спросил бы:— Света, почему ты исчезла?» Эти слова он вытвердил, каждое свое движение продумал. Ведь жалкие же слова, как и эта протянутая рука, ожидающая ответного движения,— и век, и пять веков тому назад используемые отвергнутыми мужчинами слова и жесты. Далее следовало: мгновенное примирение, тот рывок друг к другу, который не знал ни слов, ни жестов. Но могло случиться, что она не протянет ответно руки, никак не откликнется на жалкие слова, за которыми такой громадный смысл, колотящееся сердце. Тогда подсказывались и еще слова, такие же жалкие, такие же древние: «Ну что ж... Как знаешь...» Кивок, поворот, прямая спина, спокойные шаги, когда станет уходить. Так что же, эта затверженность и скованность, мгновенная эта обморочная глупость, так что же, стало быть, он влюбился? Как мальчишка? Сколько всякого-разного было у него, и вдруг, как мальчишка? Он пытался высмеивать себя, он запрещал себе думать о Светлане, об этой женщине, ну, промелькнула, ну, всего лишь промелькнула в его жизни, и которой не до него сейчас, а ему-то и подавно не до нее, но — все так, промельк, промельк она!— но он не переставал ждать встречи с ней на улицах, случайной, чтобы подойти и сказать: «Здравствуйте, Светлана...» И протянуть руку. И если она ответно протянет ему руку, спросить: «Света, почему ты исчезла?..»

Конечно, он давно бы встретил ее в этом все же небольшом городе и, кажется, не раз уже встречал, когда проскакивала мимо глаз машина с красным крестом, ее машина, с знакомым ему номером, но женщина в белом халате, сидевшая рядом с водителем, всегда смотрела куда-то в сторону, в ней лишь угадывалась Светлана, машина исчезла, она мчалась по улице быстрее других машин, как и должно «Скорой помощи». Светлана избегала его.

Так что же, уехать? Час на сборы, билет на любой рейс, а затем — самолет, четыре часа лета, еще часок в такси — и он дома. И нет никакого Ашхабада и всего того, что там было, включая эту женщину в машине с красным крестом. Нет и не было. Мираж! Приснилось! Почудилось! Бок болит? И пусть его болит. Главное, чтобы память не болела. Москва поможет от этого недуга, растормошит. О, Москва это умеет!

Они шли с Дим Димычем по проспекту Свободы, прямой и нескончаемой улице, очень широкой и потому невыносимой в зной, но в эту пору, осенью, улица добрела, хорошела, ее древние тополя и редкие, короткопалые тутовники отбрасывали влажные тени, рисуя кронами на отполированном асфальте загадочные узоры, свой собственный, из сказки выстилая ковер.

Многие из шедших навстречу знали Дим Димыча; и он их знал, раскланивался с ними, всегда первый спеша поклониться, улыбнуться морщинками, а если попадались навстречу дети, Дим Димыч им особенно усердно кланялся, для или только начиная с ними дружбу. И столько было этих поклонов и кивков, замедлений шага и пришаркиваний, что казалось со стороны, что сохлый этот и старый человек пританцовывая шествует, что он весел безмерно, ну просто счастливый, радостью охваченный человек.

Они не переговаривались. Каждый был занят

своим делом. Дим Димыч вот здоровался, страшась кого-нибудь обделить вниманием, Знаменский все вглядывался и вслушивался. Вглядывался в вереницу машин, попутных и встречных, высматривая с красным крестом и ловя, ожидая особый сигнал тревоги, когда такая машина, спеша на помощь, вынуждена бывает нарушать правила, обгоняя все прочие машины. Он теперь всегда так ходил, всматриваясь и вслушиваясь. Себя не узнавал, куда-то совсем в юность отъехал; влюблённые десятиклассники так ведут себя, ну, первокурсники, а он-то, он-то!.. Но он всматривался и вслушивался. Смешная пара. Один все раскланивается, другой всматривается и вслушивается. Смешно порой ведут себя люди на людях, если глянуть со стороны. Так мы друг на друга и поглядываем, читая друг друга, не умея прочесть, заблуждаясь в выводах.

Всматривался и вслушивался Знаменский, но первым углядел в потоке машин красный крест Дим Димыч. И решительно вскинул руку, раскланиваясь, раскланиваясь.

Скрипнули тормоза, перед глазами Знаменского встала машина с красным крестом, и из кабины выскользнула женщина в белом халате, мелькнув стройными ногами. На женщин взглядывают от ног, от бедер, всходя к лицу, узнавая еще до того, как посмотрят в лицо. Знаменский узнал Светлану, не успев даже глаза вскинуть, а он медлил с этим. Взойдя к лицу, к глазам, он мог приговор себе прочесть. Лицо женщины, когда она принимает решение, неумолимо. Но — почему, почему?!

И вот, она даже ответно не взглянула на него, она смотрела мимо, туда, где стоял Дим Димыч. Знаменский оглянулся, досадуя на старика. Но его не было, исчез, неведомо куда подевался. Может, за тот вековой карагач спрятался, в будку часовщика нырнул? Его не было, исчез старик.

— Куда подевался?— спросила Светлана, чуть улыбнувшись.— Размахивает руками, останавливает — и нет его.

— Это я размахивал руками,— сказал Знаменский, хотя помнил, что следует сказать: «Здравствуйте, Светлана...»

— Да?— Теперь они встретились взглядами, их глаза заметались, чтобы скорей, чтобы побольше разглядеть, но когда так глядят, то ничего почти не видят.

— Здравствуйте, Светлана,— сказал Знаменский, хотя теперь бы можно было сказать: «Света, что случилось?..»

— Как ты похудел.— Она первая пришла в себя.— А я думала, тебя уже нет в Ашхабаде. Я думала, жена увезла тебя.

— Света, что случилось?— сказал Знаменский и облегченно вздохнул, протянул ей руку. Она помедлила, метнулись зрачки, но тоже протянула руку. Недолго постояли так, прощаясь, он понял, прощаясь этим прикосновением, а не сближаясь.

— Но почему, почему?!— спросил Знаменский, отпуская ее руку, покоряясь ее воле.

— Я причиню тебе только одно горе, Ростик,— сказала Светлана, не для слов этих весело улыбнувшись. Потому что на них смотрели, со всех сторон смотрели,— так улыбнулась? Да, она послеживала, кто идет мимо, кто взглядывает.

— Как же мне без тебя?— спросил Знаменский.

— Уезжай.

— Я не могу тебя потерять.

— Ростик, милый, уезжай. Так будет лучше и для тебя, и для меня.— Она вдруг попросила:— Улыбнись мне на прощание. Как это только ты умеешь. Беспечно-беспечно. Прошу тебя.

— Светлана...— У него жалко дернулись губы, она и не ждала его улыбки, повернулась и скользнула в кабину, мелькнув стройными ногами. И сразу же рванулась «Скорая помощь», пронзительно засигналив, ибо опаздывала для кого-то с помощью.

Из утлого киоска, где горбился старый часовщик и где тикали, раскачиваясь, древние маятники, вынырнул маятником показавшийся Дим Димыч.

— Уехала,— горестно поделился с ним Знаменский.— И мне велела уезжать.

— Настаивала?

— Да.

— Ну, значит, надо оставаться.— Дим Димыч покивал, снова маятником показавшись, старому часовщику.— Лева, не сегодня! Как-нибудь в другой раз! Спешим! Он хотел взглянуть на ваши великолепные часы,— пояснил Дим Димыч Знаменскому.— Углядел, что «Омега». Эти часовщики — зоркий народ. Домой? Пешком?

— Домой. Пешком.

И они зашагали. Один все раскланивался, раскланивался, а другой опять начал всматриваться и вслушиваться.

3

Самолет задиристо шел в небо, оставляя там, в сумеречном рассвете, едва различимое земное пространство, по которому рассыпались домики Ашхабада, где ниткой протянулся Каракумский канал, блюдцем лежало Ашхабадское водохранилище, это море в пустыне, и где у самого края обзора начиналась солнечная яркость. Еще миг, еще рывок — и самолет выйдет из сумерек к солнцу, к надоблачной белизне и сверканию, а земля исчезнет.

Знаменский летел назад — домой, в Москву. Трех месяцев не прошло, как он прилетел в Ашхабад, где за первую лишь неделю напоролся на зной, на наркотики, на нож и где полюбил, где обрел друга, потерял его, где ступил на стезю новой судьбы, эта судьба влекла его сейчас назад, в Москву. А там, что там его ждет?

Рядом с ним, приткнувшись плечом к зашторенному оконцу — он не стал вглядываться в отлетающую землю,— подремывал полковник Мальцев Владимир Иванович. Он снял свой кургузый, тесный в плечах пиджачок, отчего сразу покрупнел, твердоруким стал. Этот человек посапывающий тоже был для Знаменского судьбой. Вот взял за руку и повел. Опять тебя повели, Ростик, опять ты ведомый. Так, да не так. Это Ашир его повел. Вот Ашир его повел и ведет. Дети Ашира позвали его в свою цепочку. Он тогда на кладбище понял, что ему не отойти в сторону. Не крепкорукий этот полковник повел его, ребятишки ручонками своими потянули. Могила Ашира... Дети Ашира... Вдова Ашира... Он не мог не сказать Дим Димычу: «Спросите его, чем я могу быть полезен?» Дим Димыч вечером того же дня нашел полковника и спросил. А на следующий день, едва рассвело, очутился Знаменский в этом самолете. Вот и все. Судьба уселась за баранку и рванула вперед, тянет со скоростью девятьсот километров в час и даже чуть больше, если попутен ветер.

Были проводы.

Дим Димыч ли оповестил или еще кто, но примчался со своим Алексеем Захар Чижов. Ну, а Алексей не мог не прихватить, хоть и наверняка вызвал неудовольствие своего почти заместителя министра иностранных дел, Лану и Лару. Девицы, столь рано вырванные из объятий сна, были сонными, молчаливыми и какими-то застенчивыми, будто не до конца успели одеться, они кутались в платки и прятали лица, становясь похожими на тех старых туркменок, которые еще чтут обычаи старины.

— Не успели загримироваться,— пояснил скованность своих приятельниц Алексей.— Без грима они чувствуют себя почти голыми. Вот потеха!

Алексей ликовал. Он провожал человека, которому еще в первый день его приезда в Ашхабад отдал свое лукавое шоферское сердце. Тогда этот человек, знавший высочайшие вершины, был повержен, был почти на нуле. Но случились события из ряда вон, сделавшие в какую-то одну неделю этого человека знаменитостью в городе, и вот он отбывает домой, в Москву, и явно отбывает на коне. Шутка ли, его сопровождает некий полковник Мальцев. А то, что этот крякжистый в штатском — полковник, так это он сам подтверждает, протягивая каждому из провожающих руку, представляясь всякий раз:

— Полковник Мальцев.

Лане представился, Ларе представился, а Алексею особенно дружески потряс руку. И разве не ясно, что это за полковник, каких, так сказать, войск.

— Если сравнить с общевойсковыми званиями, так и весь генерал-лейтенант?— почтительно и шепотом спросил Алексей.

— Думаю, перехватили,— улыбнулся Мальцев.— А что, мало вам полковника?

— В самый раз. Но предчувствую, будете генералом. Такие дела!

— А какие дела?

— Как же, наркотики! А парень-то наш не побоялся, на нож попер. А?! Вы уж его, товарищ полковник, представьте там к чему-нибудь. Отличный малый. Ну, ошибся разок, с кем не бывает. А зато... Ашира жаль, вот Ашира жаль... Такой человек громадный! Как же это вы? Недосмотрели, прямо скажу. Так?

На этом доверительная беседа Алексея со столь общительным полковником прервалась. Вдруг, как на стену, натолкнулся Алексей на взгляд полковничий, попятился даже.

— Разрешите идти?

— Идите.

Алексей подхватил все три нарядных чемодана, которые так пленили его воображение, когда встречал Знаменского, и кинулся к весам.

Захар Чижов, отведя Знаменского в сторонку, последние внушал ему слова. Неловко было Захару, все ведь не так получилось, трещинка пробежала через дружбу, но вот вроде бы все и улаживается, осмысливается, плохое как бы перетекает в хорошее.

— Ты нас с Ниной прости, Ростик. Если что... Ведь многого мы не знали... Да и не могли знать... Полагаю, теперь у тебя на новый виток пойдет. Ты оказался на высоте. А Нина... Ну, женщина, ну, ты ведь умница у нас... Писать будешь?

— Буду,— пообещал Знаменский. Он поймал себя на том, что все время к чему-то прислушивается, приглядывается. Не ждал ли он, что вот подкатит к аэропорту машина с красным крестом? Да, он ждал, надеялся. Если Светлана заступила на дежурство во вторую половину дня вчера, то еще дежурит. И может же с кем-то в аэропорту случиться, ну, недомогание какое-нибудь, когда необходимо вызвать «Скорую помощь»? Вполне вероятен такой вызов. Плохо с кем-то. Вот с ним плохо. Он улыбался, прощался, обнимался, шутил даже, но ему было худо. Догадался бы кто-нибудь, вызвал бы «Скорую». «А какой диагноз, что там у вас случилось?» «Да так, человек теряет любимую женщину... Теряет, понимаете?» «Да, да, сочувствуем вашему человеку, но по таким поводам мы не ездим...»

— Ты что там шепчешь?— спросил Чижов.

— Да, да, спасибо за сочувствие,— покивал Знаменский и улыбнулся другу, изо всех сил своих улыбнулся.— Нет, Захар, про новый виток это ты напрасно сказал, я не рвусь на новый виток. Подучился тут у вас кое-чему. Мне бы по старому витку пройти. Я еще вернусь, Захар.

— Ты кого-то ждешь? Ее?..

— Друг, ты ей скажи, перехвати где-нибудь на улице, она в «Скорой помощи» работает, и скажи, что я обещал вернуться, мол, прикипел парень сердцем к Ашхабаду. Скажешь?

— Скажу.

— Но только невзначай все проделай, незаметно. Да ты сумеешь, ты же профессиональный дипломат. Ну, обнимемся.

Они обнялись, время было вступать Знаменскому под арку досмотра, в триумфальные эти ворота недоверия, воздвигнутые ныне повсюду.

Лана и Лара повисли на нем. Можно было в сей миг последний расцеловать этого парня, красивого и загадочного, и особенно теперь загадочного, не их, а другой женщины судьбу, расцеловать, как любовника бы поцеловали,— прощание прощает многое. Дим Димыч с ним простился, минуя слова. Отпуская, старик перекрестил его.

Вместе с Мальцевым подошел Знаменский к триумфальной арке. Тут настиг его Алексей и, так же гримасничая, чтобы не заплакать, как там на танцплощадке гримасничал, ткнулся Знаменскому в плечо. И вдруг оглянулся на полковника, в упор глянул, безбоязненно. Сказал, ужимая губы:

— Смотрите не подставьте парня!

Триумфальная арка позади, и — вот новость!— теперь возле нее две собачки шныряли, принюхиваясь, все принюхиваясь, но поводки не натягивали, не тревожили своих молодых строголиких хозяев.

— Видали?— усмехнулся Мальцев.— Принимают меры...

Обнюхали и чемоданчик полковника эти две умные собачки неведомо какой породы.

— Привет, коллеги!— сказал им полковник.

Прошли. Вот и аэродромное поле, вон там, невдалеке, громадная металлическая птица, глядя на которую трудно было поверить, что она сможет поднять свое грузное тело в небо.

Решетка отгораживала взлетное поле от аэропорта, от чахлого садика, стекляшки кафе, от встречающих. Улетающие были по эту сторону решетки, остающиеся на земле — по ту. Разные уже это были люди, разной судьбы. Двинулись отлетающие к самолету, к неподъемной этой птице, которая и взлетит, и рванет, являя чудо нашего века, скорость из сказок. Да, много чудес напридумал наш век. Летаем со сверхзвуковой скоростью, взобрались в космос, но и ядерной бомбой разжились, но и эти собачки не зря принюхиваются на контроле, ибо наркотики начали наползать на человечество, а наркотики эти куда пострашней орд Чингисхана, туч саранчи, холерного мора. Эх, век двадцатый!

А Знаменский, когда уж незачем было прислушиваться да вглядываться, вдруг оглянулся, уже ступив на лесенку, взбегающую в чрево птицы.

Там, за решеткой ограды, далеко и в рассветном мареве, увидел он машину с красным крестом на кузове. Женщина в белом халате стояла возле машины, подняв руку.

Продолжение следует.

Ростислав Знаменский поправился после ранения, полученного в схватке с наркоманами. Вскоре он встретился с полковником Мальцевым, которому нужна помощь в опознании человека, назвавшегося сценаристом Петром Сушковым,— никто, кроме Знаменского, не знает его в лицо. Это с ним разговаривал Ростислав, когда летел в самолете, не ведая, что попутчик везет в сумке около десяти килограммов наркотиков. Полковник надеется, что, задержав мнимого сценариста, можно будет установить адреса подпольных лабораторий по изготовлению наркотиков, а также тех, кто сбывает людям отраву. После недолгого раздумья Знаменский соглашается лететь с Мальцевым из Ашхабада в Москву.

ДАЮ УРОКИ-2

Лазарь КАРЕЛИН

РОМАН

Рисунки Петра ПИНКИСЕВИЧА

4

Москва встретила их чудовищно скверной погодой. Дождь со снегом. А в Ашхабаде сейчас было градусов тридцать, но не больше, там длилась еще райская пора долгой осени, пора плодов и томления. Не яростная весна, сразу кидающаяся в зной, в испепеление, а такая вот осень была временем, когда на Ближнем Востоке и в Средней Азии поэты начинают слагать стихи, любовь добивается своего, природа переводит дух, слетаются в эти благословенные края со всего мира птицы.

А он уехал, умчался, улетел от этой поры. В дождь и снег. В муть какую-то. В неопределенность. Светлана оставалась в глазах с поднятой рукой. Женщина в белом халате и с поднятой, прощающейся рукой. Она велела ему уезжать, но надо было остаться. А он уехал. Ну что он может здесь, в Москве? Какая от него польза здесь? Ему поручат искать иголку в стоге сена? Какой-то «Кани мордачи» им нужен! Ничтожность какая-то! Мелкий жулик! «Гонец», как их называют! Перевозчик наркотиков! Да, вот именно наркотиков... Все дело в этом слове-убийце. Ашир из-за этого слова и был убит. «Война,— говорил он.— Идет война».

Знаменский стоял под козырьком аэропорта возле чемоданов и ждал Мальцева, который пошел раздобывать машину. Полковник-то ты полковник, большая, возможно, у тебя власть, но Москва вот тебе машину не выслала, Москва такой город, что свою табель о рангах имеет на каждого из нас. А если что и выслала им Москва, так этот дождь со снегом и порывистый ветер в лицо. Тут и сильный духом поникнет. Серьезный город Москва. И тебя, поникшего духом, собираются в бой вводить в этом городе? Ну дела! Не кинуться ли к кассе да и назад с первым же рейсом?! Он никому ничего не должен, никому ничем не обязан. Он репетитор, дает уроки английского и французского ашхабадским ребятишкам. Он на нуле, нулевой человек!

К Знаменскому подбежал длинноногий рыжеватый парень, широкоплечий, спортивнейший. Когда подбегал, рекорды ставил, одолевая лужи. Был он в ладной спортивной куртке, на которой мерцал значок мастера спорта. Но лицо у парня было испуганное и жалкое.

— Я что хочу спросить?.. Вы самолетом из Ашхабада?.. Вам фамилия Мальцев ничего не говорит?..— Молодой человек спрашивал и озирался, пребывая чуть ли не в панике.

— Говорит. Он пошел искать машину.

— Так я же машина!— вскричал парень, взметнув свое натренированное тело, чтобы пошире был обзор.— Вернее, я с машиной. Ну будет мне!

И тут появился Мальцев. Неприметный, в тесном ему костюмчике, с неуверенной поступью военного, загнанного в штатское. Он и улыбался как-то виновато.

Молодой человек рванулся к нему, вытянулся, кинув руки по швам.

— Товарищ!..

Мальцев лишь приподнял ладонь, и молодой человек смолк, рванул себя «кругом», кинулся за машиной.

— Да...— Мальцев невесело глядел, как перелетает через громадные лужи его водитель, наверстывая упущенное.— Да...

— Не сердитесь на него,— сказал Знаменский.— Ну, опоздал малость. А парень симпатичный. И так, знаете ли, волновался, когда искал вас.

— Правильно, что волновался. В нашем деле нельзя опаздывать. Привычка должна быть не опаздывать. Отпущу я его, наверное, в журналисты.

— А вы строги, строги, Владимир Иванович. И не подумаешь.

— Такая служба. Еще поймете.

— Кстати, я не понял, почему вы в первый раз встретились со мной столь конспиративно. Аж на кладбище вызвали, прямо как в кино, в детективчиках этих. А вот в аэропорту всем себя представляли и полетели мы вместе.

— А что кино? Там парни неглупые, да и консультирует их наш народ.

— Значит, зачем-то вам это было нужно? План вызрел?

— Еще не вызрел. Да мы и неплановое учреждение. У нас версии вызревают. Одна, другая, третья... Прикидываем. А на кладбище я вас с помощью милейшего Дим Димыча притянул, чтобы не подставлять, случись, если не захотите в драку лезть. За вами в городе пригляд начался. И за мной, разумеется. Убийцу Аширa мы схватили. Но разве он один?

— А зачем тогда в аэропорту такая гласность началась?

— Пусть знают. Ростислав Знаменский не струсил. Пусть знают.

— Значит, все-таки план?

— Версия, версия...

Подкатила машина, отполированная черная «Волга».

— А Москва вас, гляжу, уважает,— сказал Знаменский.— Генеральский экипаж.

Уселись, покатили. Водитель старался, гнал, наверстывая свое опоздание.

— Петя, после драки кулаками не машут,— сказал Мальцев. Он сидел рядом с водителем, кося усмешливые глаза на Знаменского.— Вас Москва, Ростислав Юрьевич, еще больше уважает, у вас ведь «мерседес».

— Какого года?! — взметнулся Петя.

— Молодая, молодая машина,— сказал Мальцев.— И цвет весьма модный, темно-вишневый.

— «Черри»!— уважительно произнес Петя, напирая на «р».

— А еще что вы про меня знаете, Владимир Иванович?— спросил Знаменский.

— Почти все. А вот что за пределами этого «почти»— вот про это не знаю. Да и вы не знаете. Мы про себя узнаем, так сказать, по ходу пьесы, а пьеса наша с вами только началась. Да не гони ты, старший лейтенант! Нам еще жить охота! Вы сперва, наверное, к маме?

— Да.

— Гоголевский бульвар, сорок три,— назвал адрес Мальцев.

— Все знаете про меня?

— Почти, почти...

— Владимир Иванович, а стоит ли из-за этого «Кани» так выкладываться? Ну, обыкновенный подонок с изжеванным страстишками личиком.

— Это вы хорошо его обозначили. «Кани»... «Злые»... Берем кличку на вооружение. Стоит ли? Чую, что стоит. Эта его легенда о себе, которую он так тщательно затвердил, то, что спрятали-упрятали, уложив на дно, все это настораживает. Интеллигент, наверное, все-таки. Ну, вшивый, а интеллигент. А у них интеллигентов-то маловато.

— У кого?

— У них, у них. Не он нам важен, важно следующее звено. У них ведь цепочка налажена. Конспираторы! Этот знает этого и ни шагу дальше. А этот следующего. И так далее. Часть цепочки мы в Туркмении и Каракалпакии прихватили, а часть звеньев надо искать где-то здесь.

— Головку! — обернул свою рыжеватую, верткую головку старший лейтенант Петя.

— Именно, товарищ старший лейтенант. Кстати, Ростислав Юрьевич, хочу прикомандировать нашего Петра Андреевича Брагина к вам. Гонщик, самбист, боксер... Кто ты там еще у нас, Петр?

— Вообще-то я десантником был. Афганский...

— Вот, служил в Афганистане. Кавалер двух орденов Красной Звезды.

— Еще немного — и третью бы звездочку мог получить. Красиво, когда три. У нас, я слышал, были ребята. В той же цене, что одна золотая.

— Видели, коллекционировал награды. Да, тщеславен, это огромадный минус.

— Не тщеславен, а честолюбив, товарищ полковник. Сами же проповедовали, что честолюбие в нашем деле не возбраняется.

— Проповедовал? Похож я на проповедника, Ростислав Юрьевич?

— Есть немного. Но почему такого замечательного парня вы ко мне прикомандировываете? Я не заслужил.

— В серьезное вползаем, Ростислав Юрьевич. Или не поняли? Петр Брагин суровую школу прошел. Тридцать мин разминировал. Тридцать, Петя?

— Тридцать. И по сорока ассистировал. Мокренькими выскакивали. Вывинтишь жало, отбросишь чушку, а сам весь мокрый. Потеха!— Петр Брагин обернулся к Знаменскому, думая, что улыбается, но он не улыбался, его губы только кривились в улыбке, его глаза страшновато округлились, замерли зрачки.

— Ладно, ладно, Петя, сморгни.— Мальцев положил руку на руку Брагина, добро коснулся.— Да, там воевали страшно. Коварно. Камушки, игрушки. А это мины. В лицо улыбаются, а в спину стреляют. Утром — друг, ночью — враг. В атаку там не шли, подползали. Вот я его и взял, «афганца» нашего, к себе. Но сперва, конечно, он окончил милицейскую школу. Был в Афганистане сержантом, пришел туда вообще юнцом, а вот теперь за плечами и война настоящая, и офицерская школа.

— И вот прикомандировываете ко мне?

— Улыбчивые вы оба, поладите. Ну, вот и Москва. Как это в пьесах пишут? Место действия — Москва. Время — наши дни. Хотел бы я заглянуть в конец этой пьесы.

— Сделаем хэппи энд!— сказал Петя, сморгнувший, повеселевший.— Третью готовьте, товарищ полковник!

— Ну, ну. И я не люблю печальные концы. Ни в коем случае! Я, если узнаю, что фильм или спектакль плохо кончается, не иду смотреть. Кстати, о кино. Так думаю, что этот «Кани» все же какое-то отношение к кино когда-никогда имел. Судя по вашему рассказу, он все же знает этот мир не по-затверженному, пожил все же в нем. Ну, неудачник, разумеется, выплюнуло его кино, это уж точно. Но... прикипел к нему. Говорят, кто в кино поработал, тот вроде как бы наркоманом становится, не может совсем отойти от этого дела. Неужели ж оно такое сладкое? Ведь единицы пробиваются к настоящему.

— А надежда?— сказал Петр Брагин.— Надежда юношу питает.

— И до самой старости, до конца дней своих все на что-то надеемся. Да, стало быть, кино...— Мальцев помолчал, прикидывая.— А не поступить ли вам на работу в Госкино, Ростислав Юрьевич? Для начала, скажем, переводчиком. Зарубежные

Продолжение. См. «Огонек» № 31.

фильмы на закрытых просмотрах перетолмачивать нашим киноведам, не ведающим ни одного иностранного языка.

— Включая и русский,— сказал Знаменский, вспомнив мигом себя на этих именно закрытых просмотрах, в маленьких залах чаще всего, в невероятно душных залах. Вентиляция ли плохая там была, или народу набивалось слишком много, или картинки такие всегда потные шли, но только всегда там было душно и потно. Переводчикам на этих просмотрах бывало нелегко. Текст иногда такой был, что хоть стой, хоть падай. Он-то знал язык, про себя смущался, а эти мужчины и женщины, переводившие, должны были проговаривать обычно не произносимые на людях слова вслух. И смущались, запинались, так сказать, проваливались сквозь землю.

— Сомнительная работка,— сказал Знаменский.— И почти всегда сомнительные картинки. На Западе их потными называют. Там в зальчиках на таких фильмах либо старичье, либо юнцы, усыпанные прыщами. Серьезные люди не ходят, стесняются.

— Серьезные люди дома смотрят, есть такие «хитрые домики»,— сказал Петр Брагин.— Кассетки прокручивают перед юными созданиями, а потом... Я одному «серьезному» очень аккуратно морду перелицевал. Думаете, пожаловался на меня? Не-а! Слопал! А потому что совесть нечиста. Ненавижу таких!

— Опять забыл, что погоны носишь?— строго спросил Мальцев.— Смотри, старший лейтенант!

— Я был в курточке, товарищ полковник.

— Да хоть в трусах!— Мальцев обернулся к Знаменскому.— Беда с этими «афганцами», Ростислав Юрьевич. Вбили себе в голову, что у них какое-то особое право вершить правосудие. Мол, кровью завоевали это право. А может, они правы, а? Вы-то, Ростислав Юрьевич, со своим шрамом переговариваетесь? Крови, говорят, потеряли порядком.

Знаменский не ответил. Его вели, не уставал этот полковник вводить его в какой-то ему, полковнику, надобный настрой, весь разговор был жестковато-нацеленный, хотя вроде бы просто шла о том о сем дорожная беседа. Нет, его вводили в суть обязанностей. А что за обязанности все-таки?

— Ну, поступлю я в переводчики, а дальше что? Как там по вашей пьесе?

— Не знаю. Мы эту пьесу не пишем, мы в ней участвуем. С нашей версией. Версия... Попробуем вот эту, с кино.

— А меня возьмут?

— Похлопочем...

Началась Москва. Давно уже тянулась, но то были неприметные въездные улицы, они как бы сами себя не заявляли, а лишь готовили Москву, но вот грянули белые стены и золотые купола Андроникова монастыря, и началась самая Москва. Красивая? Про Москву не следовало бы допытываться, красива ли она там ли или там или не хороша собой там вот и там. Москва больше, чем смысл оценивающих ее облик слов. Всякая

она у нас. И в разное время разная. И когда мы разные, и она иная. Иной дом для тебя, когда ты весел, иной же для тебя, когда впал в уныние. Монастырь этот белый сейчас как бы протянул ладони Знаменскому. И дальше так пошло. Вспыхивали, протягивались в глазах дома, то близкие, родные ему, а то чужие, даже враждебные.

Вот и Арбатская площадь, Гоголевский бульвар. Родная площадь, родная улица. Мелькнул справа, скорее угадался, серый дом, затесненный громадами новых корпусов, дом этот был для многих, кто тут жил, их родильным домом. Бывало, проходя мимо, глянув на этот дом родильный имени доктора Грауэрмана, Знаменский, ну, что ли, умилялся. Сейчас промельком ударил дом по глазам, как бы ладонью в серой перчатке провел по всему детству, сметая его, стирая былую радость, солнечность той поры. И Арбатская площадь, потерявшая свое лицо, а новое еще не нашедшая, и Гоголевский бульвар, к которому новый Гоголь так и не подобрал ключи,— все сейчас не радовало, даже пугало, серым цветом вставало в глазах, напоминая, возвращая в недавнее, когда померкла его высвеченная солнцем жизнь, беспечная, окрыленная, когда навалилась беда. Уехал, сорвался и уехал, но вот вернулся. И все еще хуже стало, труднее. Что скажет он матери? Как встретится с женой? Что это за работа, которую ему предложено делать? Во что он втягивается?

Машина остановилась возле дома из розового туфа, единственного такого на Гоголевском бульваре, а может, и во всей Москве. Армянский розовый камень, который удалось когда-то добыть ловкому председателю строительного кооператива, еще довоенного кооператива, лег в стены этого розового дома, где, должно быть, жили одни только счастливцы. Знаменского в школе звали по цвету дома «розовым мальчиком». Может, он от этого дома и усвоил что-то, когда ставился характер,— кто знает, отчего и как у нас ставится характер.

Над Арбатской площадью не было ни дождя, ни снежка этого, который еще только пробует силы, предвещая свой надолго приход. Над площадью, когда въезжали на Гоголевский, даже синеватый клочок неба промылся. И старая церковь на Гоголевском, нет, на Филипповском, церковь апостола Филиппа семнадцатого века сверкнула подновленной позолотой куполов и массивного креста... А что, если заладится жизнь?.. Мать, старея, начала наведываться в эту церковь. Стыдилась, таилась, а все же заскакивала туда на какие-то там службы праздничные. А потом и таиться перестала. «Да, ну что тут поделаешь, вера всегда была важна в нашем роду...» «Но это же не костел, мама. Калиновские наверняка были католиками». «Я не очень в этом разбираюсь, сынок, я ведь современная старуха».

Она еще не была старухой, она еще и на пенсию не вышла, в ней столько сохранилось энергии, что куда там молодым. Ее и дома никогда не было. Уйма дел!

Вот их дом, сложенный из розоватого туфа. Синева и над ним промылась... А что, если вступает он в новую полосу, если заладится жизнь?..

Машина въехала в арку дома, очутилась во дворе, где от детства остался лишь тополь древний, а все вокруг было снесено, все домишки, сарайчики, та обширнейшая страна детства, которая столько каждому из нас говорит, когда возвращаемся мы домой. Только тополь приветствовал его. И обшарпанная эта дверь подъезда, когда-то нарядная. А двора не было, перед глазами Филипповский лежал переулок, в котором что-то ремонтировали и что-то уже начали сносить. Здесь ничего нельзя было сносить. Ничего! Но уже при-

ступили к убийству и еще какого-то домика, которому надлежало стеречь здесь старину и достоинство Москвы, но который мешал этим нуворишам, этим слонам в посудной лавке. Померкло небо.

Чемоданы были извлечены, стали прощаться. Петр Брагин излучал симпатию, тряс руку как другу. Как же, вместе теперь предстояло работать. А что за работа, что все-таки за работа?

— Какую я должен излагать официальную версию по поводу своего возвращения в Москву?— спросил у полковника Знаменский.

— Фантазируйте напропалую. Заслужили... Рисковали... Ну, что-то в этом роде.— Полковник тоже был благожелателен, одарил крепким рукопожатием. Как же, работать-то предстоит вместе.

— А на самом деле?— спросил Знаменский, заглядывая полковнику в глаза, в его прищур веселый.

— Элементарно,— сказал полковник, и взгляд его утратил веселость, отвердели зрачки.— Элементарно,— повторил он.— Вот Ашир Атаев заслужил, вот он рисковал.

Полковник, отяжелев вдруг, неуклюже полез в машину. Петя рванулся и вмиг очутился за баранкой.

— До завтра! — крикнул он, мелькнув мимо Знаменского рыжеверткой головой.

Умчалась машина. Где-то уже на Сивцевом Вражке взвизгнул\ ее тормоза. Если так гнать, она теперь у Кропоткинских ворот, промелькнула вот мимо бассейна, рванула вдоль набережной. Как же, гонщик за рулем. Детектив, между прочим. Самбист и все такое прочее. Афганец! А это не пустой звук. А уж о полковнике этом и задумываться боязно. Да, такие дела, такие у тебя теперь знакомцы.

— Элементарно...

Подхватив чемоданы, Знаменский протиснулся в подъезд, что сделать было нелегко, сильная новая пружина все время прихлопывала перед ним дверь.

— Элементарно...— Привязалось слово. Он проговаривал его вслух и медленно, чтобы вникнуть в смысл, в тот, какой вкладывал Мальцев. Но какой особый смысл мог быть в этом и на звук-то искусственном слове? Нет, пожалуй, вот в чем суть, если вникнуть в мысли полковника Мальцева: иначе просто-напросто он, Знаменский, поступать не мог. Позвал Ашир помогать, и начал ему помогать. Все очень просто. Это долг его. Элементарно!

5

Мать не удивилась ему. Будто он не чуть ли с того света вернулся, а заскочил домой, как часто бывало, чтобы дух перевести после светского своего житья-бытья, хлебнуть кофейку, пожевать оладушек. И мать всегда спрашивала: «За кислородом примчался?»

— За кислородом примчался?— спросила она и сейчас. Была она в своем линялом халатике, утро ведь еще, непричесанная, но волосы все же под кокетливой косынкой, не позволяла себе и в одиночестве распускаться. Худенькая, маленькая, но с утра уже как заведенная пружинка, так и дверь отворила, распахнув, так и вопрос свой задала не без подначки. О шляхтяночка ты моя старенькая!

Но на том все ее притворство кончилось. Она припала головой к груди сына и захлюпала, что-то забормотав по-польски, а это означало, что она в безмерном пребывает смятении.

Так постояли недолго, прижавшись друг к другу, мать и детеныш, звериную ощущая потребность вобрать в ноздри запах друг друга, узнавая друг друга по запаху. Но вот эта минута растерянности прошла. Она отстранила от себя своего громадного, великолепного сына и затараторила, чуть пришепетывая:

— Я знала, что ты с честью выйдешь из этого несчастья! Я молилась за тебя. Не улыбайся, никто ничего не знает про это. Болит? — Она, не притронувшись, коснулась шрама, точно угадав, где он у него врезался в спину.— Болит?

— К непогоде.

— А сейчас?— И она посмотрела, оглянувшись, за окно.

— Нет.

— Верно, небо проясняется. Да, я знала, что ты вернешься победителем. Даже эта женщина там — это тоже добрый знак. Женщины не припадают к ногам неудачников. Лена вернулась сама не своя. Ничего! Это ей урок. Жена да последует за своим мужем. В юдоль, так в юдоль. А она продолжала вести светский образ жизни. Раскатывала по Москве на твоем «мерседесе». Словом... Конечно, ты вернешься к Лене? Тебе сейчас не время рвать эти узы. Да, ты заслужил прощение, но все-таки, все-таки связи необходимы. Ты понял, о чем я?

Мать говорила, напористо утверждая, где только возможно, свои шипящие, а сын тем временем делал обзор их небольшой квартиры, две комнатки которой и кухня сходились дверями к почти круглой передней: повернись на каблуках — и вся квартира перед глазами. Сюда его и принесли из родильного дома, что по соседству, отсюда он и в школу пошел, которая рядом, в Плотниковом, а потом в институт МГИМО поступил, который был тоже неподалеку. Так сказать, поворачивался на каблуках всего лишь, выбирая дорогу в жизни, судьбу. Да и шикарный дом Лены был неподалеку. Дом для избранных. Элитарнейший, если судить по зеркальным окнам, но еще и тем знаменитый, что в нем живал великий Шолохов, когда наезжал в Москву. Все рядом, до всего было рукой подать, удобно слагалась жизнь.

— Как у тебя будет с работой?— спросила мать.

— Элементарно.

— А с партией?

— Элементарно.

— Господи, как я счастлива, что все позади!— Она подошла, опять коснулась, не притронувшись, к его шраму, упавшим голосом сказала: — Ты что-то недоговариваешь, сын? Хотя...— Она ухватилась за это его невразумительное слово-ответ.— Хотя... ты прав... еще через многое надо пройти... это элементарно...

Потом они пили кофе, мать быстро испекла его любимые лепешки, замешав тесто на соде. В их доме, ну хотя бы в их подъезде всегда жил запах дешевого кофе и этих вот лепешек из пресного теста. Здесь когда-то жили взысканные удачей семьи, потом они скудели удачей, первовладельцы этих квартир исчезали, а их дети в трудную входили жизнь. Эту квартиру Ксения Казимировна унаследовала после отца, который исчез, едва въехав сюда. Здесь она выросла, схоронила мать, завоевывая свою судьбу, которая редкими одаривала улыбками. Здесь и появился Юрий Знаменский, рослый красавец, но недолго прожил, семья распалась, отца маленький Ростислав изучал по одной-единственной фотографии, довольствуясь легендой, что отец погиб, строя где-то в Сибири электростанцию. Ксения Казимировна нелегкую провоевала жизнь. Профессия у нее была не очень надежная, но все же кормила. Получив по окончании киноинститута диплом сценариста, Ксения Казимировна пристроилась на киностудии научно-популярных фильмов, была там редактором какое-то время, потом стала писать «научпоповские» сценарии. Про что угодно, обо всем на свете. И про автомобильные покрышки, как их делают, и про очистные сооружения, как они работают. Но это было в самом начале. Потом, освоившись, набрав опыта, а главное, контактностью своей и кротостью укрепив связи, стала писать сценарии о художниках, о выставках, словом, вошла в среду людей искусства, где тоже укрепила связи контактностью и кротостью, готовностью прийти всякому на помощь; она была добрым человеком, то есть трудная жизнь не озлобила ее, а обучила отзывчивости. И подняла же сына, добилась для него великолепной судьбы. Да, случилось несчастье, но то не его вина, а обстоятельств, среды.

— Кстати, мама, я теперь буду работать в кино,— сказал сын.

— В «Экспортфильме»?!— встрепенулась мать.

— Что-то в этом роде.

— Вот видишь!— Мать вгляделась в лицо сына, решая, ликовать ей или повременить.— Ты рад?— осторожно спросила она, так и не решив, радоваться ли ей самой.— Там работа ведь разная. Тебя будут посылать за границу?

— Уточним по ходу пьесы,— уклончиво ответил сын.

— Все-таки позвони Лене. И если тебе угодно выслушать мой совет...

— Я понял, мама, ты уже этот совет мне дала.

— Считаешь, что я не права? Рвать с женой, с ее кланом, когда только начинаешь опять вставать на ноги,— это же элементарно неумно. Ты согласен со мной?

— Элементарно.— Он поднялся, ушел в свою комнату, вернее, комнатку, где стоял от детских лет однотумбовый письменный стол, где узкая стояла тахта, на которой сперва он отлично умещался, потом приставлял один стул, потом два стула. Здесь на стене висела потускневшая рапира, он когда-то занимался фехтованием. Была прикноплена к стене и фотография короля, рядом с которым ему довелось сфотографироваться. Еще были прикноплены всякие-разные вехи его жизни, его восхождения из детства в победоносную взрослость. Висел и большой портрет жены. Она была хороша на этой цветной фотографии, задумчиво-загадочной была. Ничего не скажешь, красивая женщина. Он подошел к окну, за которым тянул к нему руки-ветви старый тополь. Эти ветви были всегда.

6

На четвертом этаже этого дома парфюмерно пахло кинопленкой, дорогими духами сановных дам, и еще пахло какой-то растерянностью, если это состояние душ тут работающих допустимо ввести в столь материальную категорию, как запах. Но растерянность ощущалась, была просто физически распространена в воздухе и, стало быть,— а почему и нет?— имела свой запах. Еще не изученный, не уловленный точнейшими аппаратами? Но наука-то стремительно развивается. Доказать, что страх или там растерянность материальны,— это завтрашний ее день.

Знаменский сидел за микшером в небольшом зале на четвертом этаже, зале, прозванном судьбоносным, ибо в нем прокручивали по первому разу картины, утверждая или не утверждая их, но, разумеется, с поправками. Все дело и было в этих поправках. Иные сводили фильм на нет, лучше уж было класть картину на полку. Так и поступали, клали лет порой на двадцать. Впрочем, справедливость все же иногда торжествовала. Именно ныне было то самое время, шло и расцветало, когда справедливость начала торжествовать. Снимаемые с полки фильмы снова попадали на экран этого зала, даже всего лишь зальчика, все те же сановные дамы, ну, не без мужчин, конечно, но все же дамы преобладали, рассматривали этот возвращаемый к жизни фильм, и — о чудо!—он оказывался талантливым нужным, просто необходимым. И режиссер, получивший в свое время отказ и разгон, еще когда кудрявым был и не заикался на нервной почве, узнавал ныне, что он талантлив, ну просто талантлив и молодец, ну просто молодчина. Увы, где его былые кудри? И все-таки он был счастлив. Он становился знаменитым. Теперь и он сам мог что-то там такое не принять, обругать, отодвинуть или задвинуть. Слава дает права на власть в кинематографе и вообще в искусстве. Власть же тем и сладка, что можно пинать ногами другого. Конечно, если несколько огрублять все и вся. А Знаменскому именно и хотелось огрублять. Скверно было на душе. Раздражало все. Ну, чем он занимался? В какие наблюдения воткнул его этот полковник Мальцев со своей версией? Грязноватая деятельность выпала на долю Знаменского по ходу, так сказать, пьесы. Он катал и катал на своем «мерседесе» по разным адресам, иногда и просто сомнительным, чтобы переводить собравшимся, сбившимся в зальчиках фильмы с явным и даже резким порнодушком. Верткоголовый Петя, конечно же, в курточке, всякий раз новой, неизменно сопровождал его. Играл роль водителя этого таинственного переводчика, про которого было известно, что у него собственный «мерседес», вот даже личный водитель, паренек со значком мастера спорта, и, стало быть, даже не водитель, а телохранитель, да, да, именно так, такая у нас работенка. Знали еще, что Знаменский, переводчик этот, из «племени зятьков», этих нулей-то нулей, но с палочкой, что он на чем-то погорел, оттого и подрабатывает столь странным все же образом, но... еще не вечер, как говорится. Многие из посетителей просмотров припоминали Знаменского, вспоминали, что он мелькал еще недавно на экранах телевизоров, и легенда о нем ширилась. А если кто чего-то еще не знал, то мог порасспросить словоохотливого рыжего паренька баскетбольного роста, водителя и телохранителя, который про своего шефа рассказывал с восхищением и без утайки. «С королями и премьерами чаи хлебал!— нашептывал Петя.— Ну, временно мы не у дел!— подмигивал он.— А все дамы и производное от них...»

Вот такая шла игра, зачем-то нужная для «версии» полковника. А на душе было скверно, прескверно и еще того сквернее.

Задача же была самая наипростейшая. Ему с Петей надлежало таскаться по всем просмотрикам подобным, по даже злачным местам, если звали на квартирки на хитрые, где крутили кассеты, те самые, потные, и где собирались люди, знающие почти все в жизни, но, увы, не знающие английский и французский. А хотелось все же знать, что там смешное-пресмешное толкает эта девочка без ничего, когда ее зацеловывает этот пузан усатый, отчего они хохочут до упаду, если по совести-то надо плакать. Хотелось знать, нужда возникала в слове изреченном, ибо оно-то, как известно, и умеет солгать. Ловкого лганья хотелось при рассматривании этих невероятных все же поз, каким бы ты ни был бывалым и раскованным. Перевод вносил успокоение и уют, ибо диалоги были не без юмора. Знаменский пере-

водил. Петя, усаживаясь поближе к двери, вроде б даже подремывал. Надоело ему, нагляделся. О себе говорил: «Я практик, а не теоретик». Но вся задача была в том, чтобы где-то, на каком-то из просмотров застукать этого «Кани мордачи». И все дела. Условлено было, что Знаменский, едва углядит его, просто вставит в перевод неожиданное и громкое словцо: «Кани!» И все дела. И тогда выяснится, на что способен этот рыжий паренек баскетбольного роста, подремывающий у дверей. Выяснится в миг, что он не холуй при этом зятьке погоревшем, что значок мастера спорта им не куплен, а заработан в поте лица, что он самбист, десантник и, а это важнее всего, афганской выделки парень. Но «Кани» не возникал. А расчет был, что возникнет. Перевозчики наркотиков — они и сами приобщены к этому недугу. Втягиваются. Втягивают. И такой «на дне» не усидит. Недуг этот, как известно, нуждается в обществе. Это алкоголик может давить стакан в одиночестве, наркоман — никогда. Ему нужна среда, его кайф обществен. И, конечно же, такие картинки потные ему необходимы. И чтобы девочки были, обалдевающие и уступающие. А иначе зачем все? Зачем жизнь? Предполагалось, что их «Кани» где-нигде, а вынырнет. «Тепло, тепло,— возвещал Петя, когда они отправлялись по очередному адресу.— Чувствую, что сегодня будем брать!» Нет, Петино «тепло» не срабатывало, «Кани» где-то плотно лежал на дне.

Зальчик на четвертом этаже тем временем заполнялся. Тут «Кани» ждать было нечего, тут проходил для Знаменского его официальный рабочий день. Но в таких именно официальных зальчиках и завязывались нужные знакомства, глядишь, кто-то и зазывал этого переводчика с легендой к себе домой. «Есть чудный фильмик! Кассетка что надо! Заскочили бы, перевели бы! Без диалогов как-то все теряется». Знаменский отмалчивался, не обещал, но Петя адресок записывал. «Звякнем!»— сулил он. И звякал, и они навещали квартирку обладателя кассетки. И брали деньги за визит. А как же, Знаменский работал. Но «Кани» все не было. А ощущение неумытости, когда давно бы надо ринуться под душ, но душа нет, это ощущение становилось невыносимым. Оттого и злился, всех осуждая, явно впадая в ханжество. От себя не ждал, ему ли быть ханжой, не он ли и сам еще недавно заскакивал на такие фильмишки? Все так, но впадал. Вот сбежались, кресел не хватило, стулья из кабинетов принесли. А кто да кто здесь? Не они ли нынче только и озабочены конструированием какой-то новой модели советского кинематографа? Не они ли призывают народ смотреть фильмы серьезные, духовные, заставляющие думать, а не развлекаться? Ну, филистеры! Ну, притворщицы и притворщики! Однако ни Робеспьера, ни Марата здесь не было. Крупных никого не было, берегли репутацию, но зато были все остальные. Впрочем, иные и не такие уж мелкие. Вот эта вот верткая дамочка, похожая на черноглазое и в букольках премиленькое веретено, она же где-то вершитель киносудеб. А этот, с усиками оксфордского студента и манерами джентльмена, но, жаль, с алчущими губами честолюбца или выпивохи, ведь он главный глашатай серьезности в кино, ему только «Чучело» подавай и еще там «Письма мертвого человека». Он-то почему здесь?

А он как раз и объяснил, картинно встав в дверях:

— Что, разожмемся, дамы и господа?!

Ах, вот что?! Они тут так все устали от конструирования новой модели кинематографа, что решили разжаться, отвлечься, нравственную проделать разминочку.

— Ведь надо же нам знать, как они на Западе падают все ниже и ниже!— отозвался из зала чей-то женский голос, в серьезную будто бы интонацию заплетая чуть-чуть и глумливость. Этой женщине было неловко, но она со своей неловкостью справлялась. Ее раздевали, она сопротивлялась, но не слишком отчаянно. И вот уступила наглым рукам: — Профессионалам надо знать все!

Вот так, оправдания найдены. Во-первых, не худо и разжаться, во-вторых, надо же знать, как они на Западе падают все ниже и ниже, а в-третьих, и это самое главное, профессионалы же тут собрались, а профессионалам надо быть в курсе того, что творят их коллеги, куда их заносит. Все правильно, понять собравшихся в этом зальчике было можно, а понять — значит простить. Но все же здесь явно материализовалось смущение.

К счастью, стал пригасать свет, фильм начался.

Он уже разок переводил этот фильм. Порно-то он был порно, но не без морали. Забавно: аморальный, но с моралью. Такие фильмы относили к категории «полу». Мол, есть и секс, даже грубый, но есть и мысль. Но смотрели-то, высматривали не мысль, а «это самое». Хотя, конечно, внедрялась и мысль.

Этот фильм, сразу же замелькавший на экране нагими телами, содержал мысль, внушал ее и делал это достаточно убедительно. Какая мысль? А изолгались все, скоты все, похотливцы и похотлюхи. Стоит только поставить человека, его или ее, в соответствующую ситуацию, и слова высокие будут отринуты, устои и молитвы забыты. И тело в тело, собачья, так сказать, свадьба.

Фильм шел. В некой гимназии, в одном из классов, где стоял черный рояль, вот под роялем этим, нагие на черном фоне — тут оператор себя показал мастером,— совокуплялись два юных тела, грешили гимназист с гимназисткой. Оператор был на высоте, ему некогда было смущаться, он работал. Операторы вообще не должны впадать в эмоции. Разваливается на их глазах самолет — снимай, а не закрывай от ужаса руками лицо. Падает с крыши небоскреба самоубийца — снимай, снимай, следи объективом за полетом тела, позабыв, что это человек гибнет. И наш оператор снимал, таинство делая явностью, фиксируя не любовь — разве есть любовь?— а похоть.

Юных любовников застукали. В дверях столпились учителя. Мужчины и женщины. У них были странные лица, когда они смотрели на эти белые тела под черным роялем. Оператор старательно и зорко снял лица учителей, мужчин и женщин.

А потом началось разбирательство, вернее, судилище, когда юных любовников привели в учительскую. Их стыдили, на них кричали, над ними глумились. А ведь это могли быть Ромео и Джульетта... Учителя об этом не подумали. Они глумились. Создатели фильма тоже об этом не подумали, не догадались, что могут сказать о серьезном, о самом важном, сказать про то, что надо оберегать юные души. Нет, сюжет не туда пошел, устарел ваш Шекспир. Вся выдумка сюжетная, вся находка, за которую сценаристу и заплатили, была в том, что школьники, старшеклассники и старшеклассницы, решили отомстить ханжам учителям. И началось! В чем суть мести? А доказать, что и эти строгие дамы, и эти унылые мужчины, если за них умело приняться, падут и сами согрешат под тем же черным роялем. Девочки занялись педагогами-мужчинами, мальчики — педагогами-женщинами. И началось, и закрутилось. Одна крепость падала за другой. Тела старых и юных переплетались, извивались, рушились педагогические устои, к чертям летели нравоучения, похоть захлестнула экран. Вот и весь Шекспир.

Диалог был в этом фильме нехитрый, Знаменскому почти нечего было делать. Вся суть фильма была в находчивости молодых в деле соблазнения пожилых. Ханжество посрамлялось весьма лихо. И если в зале, когда начался фильм, материализовалось смущение, то теперь просто заклубилась похоть.

Знаменский, сидя за микшером, видел лишь затылки, иногда профили зрительниц и зрителей. Иногда взблескивали зрачки, иногда кто-то ухал или ахал, себя выручая этакой бесшабашностью. Но все же одна дама поднялась, когда что-то особенно грязное началось на экране, и вышла, ступая по ногам, как выходят из ресторанного зала, когда замутит. Других нестойких не оказалось.

Фильм кончился. Киномеханик, возможно, тоже прильнувший к смотровому окошку, свои, возможно, имея суждения о сидящих в зале, сразу и резко врубил свет. Все на миг стали голенькими. И устыдились, кто куда пряча друг от друга глаза. Но это продолжалось какое-то лишь мгновение. А что, собственно, произошло? Ну, грязный фильм. Но ведь не дети же здесь собрались. И потом им и важно было познать, как вот и еще в одном фильме, изготовленном, кстати сказать, не без ловкости, падают, падают устои, и кинематограф, особенно в США, явно деградирует, тогда как у нас, именно в эти дни предпринимаются титанические усилия, чтобы создать новую модель, удержать кино от скатывания к западным поделкам, перечеркнуть всех этих «Анжелик» и упредить появление чего-либо подобного тому, что только что отмелькало на экране.

— Фу! Мерзость! Дышать же нечем!— чуть ли не хором запели дамы, покидая зал с явным опозданием, но и с явным негодованием. Нет, это зрелище не для них! В последний раз теряют они время на подобное! Но он-то, Знаменский, встречал эти милые лица и раньше, надо думать, встретит и еще на подобных же просмотрах. Досада улетучится, любопытство возобладает.

Мужчины вели себя мужественней. Как после попойки. Подтрунивали, похохатывали, напоминая друг другу кое-какие места из фильма, и их явно забавляло смущение женщин. Мужчины оставались мужчинами.

Продолжение следует.

ДАЮ УРОКИ-2

Лазарь КАРЕЛИН

РОМАН

Рисунки Петра ПИНКИСЕВИЧА

Полковник Мальцев прилетел в Ашхабад из Москвы. Ему нужна помощь Ростислава Знаменского, чтобы отыскать «гонца» — перевозчика наркотиков: после смерти Ашира Атаева один лишь Ростислав может опознать его, случайного своего попутчика. Знаменский соглашается помочь и вместе с полковником улетает в Москву. Ростислава устраивают работать переводчиком в Госкино, прикомандировав к нему старшего лейтенанта Петра Брагина — самбиста, боксера, мотогонщика. Полковник Мальцев надеется, что перевозчик наркотиков, выдававший себя за сценариста Петра Сушкова, должен в конце концов встретиться Знаменскому на каком-нибудь закрытом просмотре иностранного фильма.

7

Обсуждение фильма продолжалось и в холле возле просмотрового зальчика, в этом вместилище ожиданий, что на сей раз уготовила той или другой киногруппе Судьба. В этот холл, даже не холл, а некую площадку, куда сбегались комитетские коридоры и куда выходили двери служебных кабинетов вершителей судеб — главного редактора, начальника главка,— приходили кинематографисты за ответом, принят ли их сценарий, понравился ли их фильм. Сгрудившись, нервно курили у окна, выходившего на красные стены казаковского дома, униженного надстройкой, а если дальше глянуть, то и до красных стен Кремля можно было достигнуть взглядом,— и ждали приговора. На эту площадку выходили и створы лифта, который выпускал, как на сцену, все новых и новых участников ожидания, который забирал и уносил вниз получивших свой приговор. Иногда это были счастливые люди, чаще — глубоко поверженные. Лифт спускал их на первый этаж всего лишь, но они считали себя провалившимися чуть ли не в преисподнюю. Удача и провал — вот что тут царило. Но то было из недавнего прошлого этого царства. Ныне тут царила растерянность. Все было вроде бы как и прежде, но и не так. Это место уже не было судилищем последней инстанции, возникла новая инстанция, которая могла и переиначить здешний приговор, плохое назвать хорошим, и наоборот. Судьи здесь были все те же, но в их непогрешимости усомнились. И судьи здесь впали в едва приметную растерянность. Все было тем же самым: и стены, по-учрежденчески в никакой окрашенные цвет, и утлая мебель вдоль стен, а уж пейзаж за окном с низким мраморным подоконником и подавно был все тот же; но нет, и стены, и мебель, и даже пейзаж, казалось — все здесь впало в едва приметную растерянность. Даже створки лифта раздвигались с какой-то запинкой, не срабатывало некое реле, не возникала твердая уверенность, там ли, на том ли этаже остановился лифт.

Да, растерянность, неуверенность в этом холле и, наверное, и во всем этом доме именно что материализовались. И, наверное, потому и потянуло в неурочный час кое-кого из здесь работающих, ну, что ли, дух перевести, посмотреть этот пакостный фильм, отринуть себя в бездумное, да, да, именно так, разжаться. Но надо же, фильм пакостный заставлял думать. Он был не столь примитивен, как нынче говорят, употребляя отвратительное словцо,— неоднозначен. Фильм-то был о ханжестве, о вкоренившемся в учителей ханжестве, которое было посрамлено учениками, раздевшими, именно так, своих учителей. Порно-то порно, аморальный фильм, но с моралью.

Об этом и толковали мужчины, сгрудившись у окна и утлого столика, жадно затягиваясь сигаретами. Выходило, такой фильм просто необходимо было посмотреть, этот фильм был не безделицей.

— Умеют же гады!— сказал студент из Оксфорда и облизнул свои алчущие губы.— Ведь плюнули же ханжам в лицо. Это уже обобщение, это серьезно.

— Предлагаешь выпустить на наши экраны?— гневно глянула на него проходившая мимо строго-нарядная и строго-красивая дама, пребывающая в очаровательном безразмерном возрасте, в поре тщательного макияжа. Она уже отрешилась от этого безобразного фильма, будто сбегала и умылась, снова кое-что подправив умелым гримком в своем завлекательном лике.

— Я бы выпустил, моя бы власть,— сказал оксфордский студент.

— Твоя, твоя власть! Выпускай! О, вы навыпускаетесь! Предвижу!— Дама исчезла за дверью приемной начальника главка, в глубине которой Знаменский успел углядеть еще более прекрасную даму за столиком, которая как раз ретушировалась, заглядывая в зеркальце, стирая следы от увиденного, вновь обретая очаровательность, невозмутимость и неприступность.

К нему и к Пете — а они стояли у окна, Петя курил, Знаменский изучал Москву в окне, самую сердцевинную, что ни дом, окликавшую память,— подошел, еще издали их приветствуя вскинутыми над головой в пожатии руками, еще издали отчетливо веселый, кругло-радостный мужчина. Было ему много лет, был он тучен, исчерпывающе лыс, если не считать седых прядей за ушами... Но был весел, светился веселостью, отличные сохранил зубы и охотно демонстрировал их. И был он умен, умные глаза, зоркие. Они и смеялись, и разглядывали.

— А какая мораль?— спросил он, пожимая руку Знаменскому как человеку, с которым достаточно хорошо знаком, чтобы не нужно было представляться. Петру Брагину он представился, когда протягивал руку: — Сергей Сергеевич Павлов.— И выждал, когда Петя ответно представится. А Петя как-то растерялся, что было ему несвойственно, не откликнулся улыбкой на улыбку, буркнул лишь:

— Петя.

— А какая мораль, дорогие мои Ростислав Юрьевич и Петя?— повторил вопрос Сергей Сергеевич Павлов, смеющийся, немолодой, но жизнелюбивый, умно и прямо взглядывающий.— Не можете сформулировать? Тогда я скажу. У этого фильмика мораль в том, что морали нет. Ах, каких там девочек нам показали! И как любознательно их снял оператор. Все не жаль! Нет, к чертям с моралью! Голосую за грех и до последнего вздоха! Вы согласны со мной, друзья? Или уже успели натянуть ханжеские робы? Когда смотрели фильм, забылись, а теперь спохватились? Впрочем, это не похоже на Ростислава Знаменского. Не из стада ханжащих. А вам, молодой человек, просто должно быть неведомо это состояние. Вы-то родились в незакомплексованное время.

— Что за время такое?—спросил Петя, все еще не выбравшись из хмурости.— Вы кто, извиняюсь?

— С Ростиславом Юрьевичем давние знакомцы. А вы кто, извиняюсь?

— Водитель.

— Не совсем все же водитель, а? Мастер спорта по самбо, угадал? Телохранитель, так точнее?

Устанавливая, кем на самом деле является этот молодой человек, Сергей Сергеевич Павлов на Петю не смотрел, довольно и одного беглого взгляда, чтобы раскусить этого паренька. Сергей Сергеевич Павлов смотрел на Знаменского, как в родное, всматриваясь в его лицо, будто после долгой разлуки друга дорогого встретил.

Но ответным взглядом узнавания Знаменский наделить его никак не мог, не узнавал этого круглого и веселого, уже шагнувшего в старость, ну никак не узнавал.

— Каир...— подсказал ему круглый.

Дрогнуло что-то в глазах Знаменского и исчезло. Нет, не узнал.

— Амман...— подсказал ему круглый.— Хельсинки...

Нет, ни в Аммане Знаменский его не вспомнил, ни в Хельсинки.

— Неужели так изменился?— Сергей Сергеевич нарочно оскалил зубы, эту свою визитную карточку молодых еще сил, не улыбнулся, а именно продемонстрировал зубы, подгоняя память Знаменского.

Нет, не вспоминался такой человек, хотя и Каир, и Амман, и Хельсинки встали в глазах, что-то фирменное свое показав, как если бы набор открыток рекламных, как колоду карт, раскинули перед Знаменским.

— Не стану вам подсоблять, сами вспомните, обязательно вспомните... В подходящий момент...

Знаменский сморгнул с облегчением, избавляясь от тягостной этой работы памяти, когда тебя заставляют узнавать, а ты не можешь, ну, не можешь. Он сморгнул, глянул, а круглого уже рядом не было. И в толпе курящих у столика, когда глянул туда, его не было. Вообще в холле его не было. Испарился.

— Куда подевался?— спросил Петю Знаменский, изумившись проворству круглого человека, за миг проскочившего холл, исчезнувшего.

— Сам не пойму,— сказал Петя.— Я только к зажигалке наклонился. Гляжу, а его нет. Узнали вы его, Ростислав Юрьевич?

— Что-то не припоминается. Странно... Куда испарился?..

Застыли у Знаменского глаза, память, так и не сработавшая, когда надо было узнать человека, который настаивал, чтобы его узнали, называя города, где встречались, память сейчас предложила неведомо зачем вспомнить край асфальтовой дороги, легшей в барханах, эти барханы, куда ступил, отойдя на несколько шагов от встречающих их, вертолет в Небит-Даге, верблюдов вдали, в мареве пустыни, громадные шары колючки, которые катил ветер по барханной ряби. И встал в глазах загадочный человек в черном халате, в узорчатой черно-белой тюбетейке, возникший ниоткуда. Тот человек тоже был круглым, подкатился, как шар из колючек. Спросил, установил что-то нужное для себя и сгинул. Он-то и «засветил» тогда Самохина и Знаменского, как после догадался Ашир. А этот?.. Что нужно было этому, настаивавшему, что Знаменский его знает? И так же ведь сгинул, хотя не было тут, в этом холле, знойного марева пустыни. Разве что дымок от сигарет был этим маревом?

— Странный человек,— сказал Знаменский, тряхнув головой, выгоняя из глаз того, в черном халате.

— Не без этого,— согласился Брагин.— А я его где-то встречал,— задумался он.— Где-то, где-то промелькнул, прокатился. Нет, не могу вспомнить! Тренировать надо память! Полковник бы не забыл. О, наш Владимир Иванович если глянет — сфотографирует. Особый дар у человека. Мне еще учиться и учиться. Вы-то его вспомнили, Ростислав Юрьевич?

— Нет. Круглый, не помню. Другого круглого вспомнил...

— Это хорошо вы сказали — круглый. Но он вам ориентиры давал. Каир?..

— Нет.

— Амман?.. Хельсинки?..

— Нет. Ну, что привязался?! Нет, говорю, нет! Я забывчивостью на лица не страдаю. Нет!

— А он вас помнит. И я где-то его видел. Да... Покатили?

— Сам доберусь. Пятница. Рвану на дачу.

— Провожу вас.

— Зачем это? Отдыхай.

— А круглый-то, он зря, что ли, меня телохранителем назвал? Провожу. Где, ну где я его мог встретить?..

Они вошли в лифт, который как раз раздвинул свои створки, не без запинки, но все же раздвинул. Кинулись в лифт, поспели, и лифт не без запинок-рывков повлек их вниз. Лифт жил одной заботой с этим домом, оттого и запинаться начал.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 31, 32.

В Гнездниковском, в тихом переулке, старомосковском, не ведавшем, какой век на дворе, чванливо была припаркована, наездом на тротуар, вишневая машина Знаменского. Стоявшие рядом «Волги» не смотрелись, «Жигули» и подавно.

К вечеру шло время, те, кто остался или приехал на просмотр фильма и чьи машины были припаркованы в переулке, а не перед комитетским фасадом, не без удивления смотрели, отъезжая, как переводчик, всего лишь переводчик каких-то там сомнительных картинок, садился в блистательный вишневый «мерседес», садился на заднее сиденье, как садятся знающие что к чему сановные лица, а за руль сел видный, рослый молодой человек со значком мастера спорта на броской куртке. Да, Москва — хитрый городок, сразу не поймешь тут, кто есть кто.

8

Он ехал на дачу. Домой. К себе. Дом — это где ждет тебя жена? Именно так. И еще во сто крат так, если ждет еще и мать. Там, на даче, которая принадлежала тестю и теще, был выделен флигелек для его матери. Домик в три комнатки, где когда-то жил садовник при даче, но садовник умер, нового не взяли, громадный участок обслуживала некая бригада садоводческая, наезжавшая, когда было необходимо, а вообще-то работавшая от министерства и для нужд его детских садов, санаториев и всяких разных должностных дач. Эта дача, куда он ехал, перестала с недавних пор быть казенной, тесть откупил ее у государства, заплатив, разумеется, номинал. Но и номинал был выражен в крупной сумме. Дача была только на словах дача, это было на самом-то деле настоящее поместье, с таким садом и участком, что по периметру оного можно было зимой, не выходя за ограду, лыжную разминку делать. Пару кругов — и взмок.

Да, он ехал домой. К жене, к родной матери, к занятному и крупному, по-настоящему крупному человеку, который был его тестем, с которым всегда было интересно потолковать о том о сем, который умел в свои почти семьдесят лет быть по-молодому моторным, озорным даже — еще не унялся, куда там! Он ехал и к теще, с которой в общем-то дружил, хотя она была барыней, именно так, барыней, и любила подчеркивать свою барственность, даже напридумала себе некое от купцов первой гильдии происхождение, хотя муж-то ее утверждал, посмеиваясь, что «женился на обыкновеннейшей посадской Нюшке». И фотографии еще уцелели, где Анна Николаевна Нюшкой и выглядывала пугливо из-за спин своих старших братьев и сестер. Семья была большой, явно бедной, именно из посада, но все на фотографиях родичи Анны Николаевны, как и она сама, имели одно общеродственное тавро: были они жадноглазые. Вперялись, буравили глазами. Такие жизнь сумеют завоевать. Анна Николаевна и завоевала. Что там ее министр, вот она была министром. И не только в доме. Все замы и помы Ивана Павловича чтили и, что важнее, всерьез боялись Анну Николаевну. Она себя сумела поставить. Ее слово было законом.

Маленькая, сухонькая Ксения Казимировна импонировала Анне Николаевне, потому что действительно была дворянских, барских, шляхетских кровей. Женщины ладили. Только Ксения Казимировна и смела возражать грозной командирше большого дома, а командирша эта вроде бы даже любила, когда наперсточек этот выказывал свой норов шляхетский, не держался на пальце, укатывался, надо было и раз, и другой поклониться, чтобы вернуть его.

Так вот и жили. Знаменский понимал, сразу понял, что взят в дом за свою стать, за способности и, да, да, за эту вот шляхетскую, от знати идущую кровь. Для внуков был взят. Он понимал это. Но когда женился, отмахнулся от этой догадки. Ну и что? Да, из бедной семьи, даже ополовиненной, без отца семьи, и нет ни покровителей, ни связей настоящих, а все же именно он элита, на нем-то именно и остановили выбор. Он женился даже вроде бы по любви. Лена была хороша собой, броско хороша. Но вглядеться в нее, когда решалась их совместная жизнь, было просто невозможно. Была она сама, но и отец министр, была она, но и эта вот дача-усадьба с теннисным кортом, с бильярдной, с катером на близкой реке. Была она, но были и ее друзья, самые-самые первые мальчики и девочки на Москве. Как тут вглядеться? В кого он влюбился? В человека, в юную женщину? Или во все, что с ней рядом шло, в чем она жила, с чем она была нерасторжима? Приданых, говорят, у нас ныне нет? Есть, есть невесты с приданым. Да еще с каким! Как было понять, какая она, вглядеться, вслушаться в нее, угадать ее надежность, когда она

была всегда в празднике, в сказке исполнения любых желаний, когда из-за нее шло яростное соперничество? Выгодная партия, наивыгоднейшая. Он оказался счастливым избранником.

Он ехал домой. С Леной, когда вернулся из Ашхабада, легко все сладилось. Она была умна. Вот что умна была, это точно. И она умела что-то там свое просчитывать чуть ли не быстрее хваленых компьютеров наипоследнейшего поколения. Ее парень провалился, но, кажется, вот и начал выкарабкиваться. Заслужил, под удар ножа угодил, вступив в бой за правое дело. Молодец. Верно сориентировался. И снова в Москве, вызван, пристроен к делу и кем-то, не без влияния, опекаем. Отлично. А что проторчал почему-то слишком долго в этом Ашхабаде, что завелась у него там какая-то бабеночка, так мужики же все такие, их даже на неделю в командировку рискованно отпускать. Но, кстати, велик ли риск? И что это за риск по нынешним раскрепощеннейшим временам? Риск на риск. Ты—там, я — здесь. А, сочтемся славою!

Все эти мыслишки короткие и мгновенно прокрученные не были произнесены, умна была Лена, умела и помолчать. Но мыслишки эти легко прочитывались. Именно так: сочтемся славою, свободою, вседозволенностью. Семья? Пока нет детей, и вообще о чем разговор. Словом, разбежались, но и опять сбежались. Муж все же нужен. Такой картинный, такой для всех товарок желаннейший и такой, как оказалось, не окончательно утонувший, напротив, набравший, окунувшийся в некую тайну,— такой муж нужен, престижен. Ну, вильнула у него карьера. А у кого сейчас она не виляет? Мужья всегда были нужны женщинам, даже из самого верхнего ряда женщинам. Любовь, если даже с любви начиналось, быстро проходила, мужья не могли быть вечными любовниками, но они были нужны, всегда были нужны. Или чтобы семью тянуть, как вот отец ее тянул, или чтобы прикрыть для сторонних глаз от всего на свете. Муж как прикрытие. Пока так. А там, глядишь, и потянет. Не сегодня, не сейчас, но вот-вот уже пора и бэби заводить. Бэби тоже необходим женщине, чтобы не подумали, что она не способна быть матерью. Такой вот расклад.

Он ехал домой по сирой осенней дороге, престижнейшей в Подмосковье, по которой утрами проносились громадные, похожие на гигантских борзых машины, имеющие впереди себя и позади себя почти точно такие же машины сопровождения. И не угадаешь, кто где сидит. Проезжала Власть. Вечерами, уже не так спеша, чуть притомленная, Власть возвращалась. Где жить, в каком дачном кусте — это тоже было не столь маловажным делом. Дача тестя была в кусте, в регионе, точнее сказать, где обитала Власть.

Ныне как-то все меняться начало: соседи исчезали, новые не спешили занимать старые гнезда, обживать престижные стены. Но все же и сегодня шуршали, шуршали по этому вылизанному шоссе, где красивые тут и там стояли голубятни гаишников, где таились на обочинах теледозорные экраны, шуршали и шуршали сановно громадные машины, жизнь продолжалась, укоренившееся здесь еще коренилось. Так было всегда. Так будет всегда. Ну, пересядут пусть хоть на велосипеды. Но кто-то же должен управлять страной. А управле-

ние — это власть. А власть должна быть загадочна.

«Власть должна быть загадочна»— это было любимое присловье тестя, фраза — спутник всех его бесед с зятем, а Иван Павлович в последнее время часто затевал такие беседы, что-то все втолковывая, но, похоже, не столько зятю, сколько самому себе.

Он ехал на дачу, где наверняка не застанет жену, у которой уйма всяческих должков дружбы, разных встреч, вернисажей, обедов, ужинов, и где наверняка Иван Павлович пригласит его на партию в бильярд, чтобы не столько шары гонять, сколько говорить, говорить, высвобождая себя из недоумения.

А пока, крутя баранку, продираясь через осенний дождь, когда машину надо вести осторожно, но для него осторожным было сто двадцать на спидометре, толкал беседу-монолог Петя Брагин:

— Не пойму мужиков, которые сбегаются на эти фильмы-голье. Ну, посмотрели... А дальше что? А женщины? Этим зачем, если старые, зачем, если молодые? Молодая всегда может свой фильм на дому устроить. Мало, что ли, охотников? Какой-никакой, а мужик найдется. Настоящий, а не на экране. Я, правду сказать, женщин не понимаю. Имел. Доверялись. Но не понимаю. А вы, Ростислав Юрьевич? Что за народ эти женщины, вам понятно? Мне так думается, что женщины все-таки совсем другие люди. Лучше нас, мужиков? Ну, не думаю, ну, пускай. Но другие. Их не разгадать. Вот был у нас случай в районе города Фараха. Ликвидировали банду насильников. В буквальном смысле. Мы на них с неба свалились, взяли горяченьких. Спрашиваем у женщин, отпоили их, спрашиваем, кто да кто над вами надругался. Морды им насильников демонстрируем. Молчат. Там совсем девочки были. Жалость такая! Поверите, у наших парней у кое-кого слезы на щеках. Поверить невозможно, столько повидали, а тут слезы. Я сам понял, что плачу. Но жара, слезы сразу выкипают. В глазах еще. Ну, спрашиваем этих детей: кто да кто вас обидел? Молчат. Лица от нас закрывают. Почти голые, истерзанные, а лица закрывают. У них особый стыд, у женщин. Я так понял, что если она укажет на насильника, значит, признает, что это было. А так то ли было, то ли нет... Любого почти жаль, насильника не жаль. Который совсем девочек... Не жаль. Вы бы как поступили, Ростислав Юрьевич? Еще был случай. Под городом Гиришком. Да... Был случай... Не стану вспоминать, дорога трудная, глаза слепнут от этих воспоминаний... Эх, Ростислав Юрьевич, вот вы многое повидали. Ну, согласен, повидали. Мир объездили, согласен. Мы, «афганцы», всего ничего увидели, если по карте посмотреть, но что увидели, до конца дней хватит. Я вас со своими парнями познакомлю. Мы иногда сходимся. Думаете, пьем? Или на гитаре там? Нет. Сидим молчим. Больше молчим. Так, кто одно слово, кто другое. Главное, что рядом посидели, плечо к плечу. А дома вспомнишь, кажется, обо всем переговорили. Спаялись мы там...— Петр Брагин надолго замолчал.

Приехали. Встала в глазах умыто-зеленая высокая кровля, раскатились перед машиной створы железных ворот, машина, шурша по мягкому песку, который черным стал от дождя, проникла в мир клумб, дорожек, осанистых деревьев, березовой особняком рощицы, теннисного корта вдали, ярко освещенных окон большого, довоенной постройки, но подновленного особняка. Над этим миром, казалось, сам дождь робел, здесь только чуть накрапывало.

— Поужинаешь с нами?— спросил Знаменский.

— Нет, на электричку и домой. Может, Ирюха позвонит. Вот, к примеру, Ирочка моя. То звонит каждый день, то нет ее по неделям. Никакой логики. А попробуй упрекни ее. Сам же, оказывается, виноват.

— Женись.

— Похоже, мелкие у меня для нее звездочки на погонах. Вот такая она. Ты беспросветный, говорит. Это про погоны. Будет просвет, стану майором, обрету шанс.

— Что, карьеристочка слегка?

— Не пойму. Может, подталкивает меня, внушает цель. Я вас с ней познакомлю, тут вы опытнее. До понедельничка?

— Да, переведем дух. А то оставайся. Поужинаем, партию сгоняем.

— Без меня. Вон ваш партнер идет. Солидный дядя, ничего не скажешь. Министр, одним словом. Я смываюсь, Ростислав Юрьевич.—Брагин перекинул Знаменскому ключи и побежал к воротам. Курточка на его спине надулась, он стал похож на диковинную громадную птицу, мчащуюся для разбега по земле. Дорожек, присыпанных песочком, для него не существовало. Он взлетал и перелетал, минуя клумбы, ставил рекорды по прыжкам в длину и высоту.

Знаменский пошел навстречу тестю, действительно осанистому мужчине в спортивном парадном костюме олимпийца, который не был смешон на нем, на старом-то, потому что этот рослый, сильный человек стариком не казался. Даже обозначившийся живот не старил его. Ну, чуть растренирован, только и всего. Кем же он казался, на сколько лет тянул? А вот именно министром или кем-то в этом ранге и казался. И лет ему было столько, сколько нужно, чтобы делать свое ответственное дело, сочетая разум с опытом. Высокая должность молодила его и не выпускала в старость. В таких еще и юные девушки могут влюбиться. И влюбляются, и нахваливают подружкам, если бывает взаимность. Не чета, мол, мальчишкам. А что залысины, что сед ярко, так это даже ему к лицу. Вот так!

Тесть проявил заботливость, встретил зятя с раскрытым зонтом, хотя всего ничего было до дверей веранды. Но зонт был раскрыт не от дождя, а для дружбы. Старик ждал молодого. Накипело. Поговорить хотелось. А с кем еще и поговорить, как не с мужем дочери. Иван Павлович сразу и заговорил, вздымая зонт — рослыми они оба были,—заглядывая в глаза, участливо, по-родственному:

— Заждался тебя. Один в доме. Дамочки наши светскуют, разумеется. Ты-то что так поздно? Смотрю, работодатели твои тебя гоняют и гоняют. Толк-то есть какой? Не отвечай, да я и не спросил. У меня своих тайн хватает. К чертям бы все эти тайны! В чем дело? Хотите воевать, помирать приспичило? Нет, не хотите? Знамо дело, жить лучше, чем сгорать в двух-трех миллионах градусов. Так тогда не шебуршите, не нагнетайте. Просто и ясно. Пхай-пхай!

Они вошли в дом. Сперва на застекленную веранду, где разбежались веселенькие плетеные креслица, где стоял большой круглый стол, всегда, если лето или вот еще и осень не слишком холодная, заставленный тарелками с какой-то закуской, загроможденный бутылками и графинами разных там соков, но и с непременной все же бутылочкой коньяка, которая ныне, времена такие, не вышагивала из ряда, а, напротив, пряталась за спинами безградусных товарок.

— По случаю пятницы, уик-энда этого вашего, возьмем? Чуть-чуть?

Иван Павлович плеснул зятю и себе действительно чуть-чуть этой жирно-золотистой влаги, но в большие фужеры, в какие и следовало наливать коньяк.

Угрели в ладонях свои фужеры, поглядывая друг на друга, что-то прочитывая друг в друге, взаимным проникаясь сочувствием. Выпили, вернее, пригубили угретую влагу.

— Эх, Ростик, Ростик, в загадочное мы с тобой время живем! Пирамидку сгоняем?

— Сгоняем.

Вошли в дом, минуя комнату за комнатой, где разная уживалась мебель: тяжеловатая от сталинской поры, легковатая от хрущевской, замысловато-заграничко-богатая от недавней, брежневской. Нельзя сказать, что эти деятели утверждали моду на мебель, но они утверждали моду на эпоху, а у каждой эпохи свои стулья и шкафы, диваны или там чванливые горки с хрусталем. В этом доме, к примеру, была комната, заставленная от пола до потолка подарками, знаками внимания к хозяину,— вазами чуть ли не в рост человека, индийскими кувшинами-великанами, фигурками зверей-символов со всего света, этими слонами, кенгуру, медведями, мустангами, пингвинами, матрешками. Тут красовались один к одному точные модели паровозов, электровозов, самолетов, от крошечных и до «Ил-62», тут были отбойные молотки, шахтерские лампы, целый набор касок, включая и блистательно-медную брандмайорскую. На стенах гримасничали совершенно нелепые тут африканские маски, морды, устрашающие, возможно, но только не здесь, где им было как-то не по себе, в хрустально-модельном этом обрамлении.

Когда проходили подарочную комнату, хрусталь стал позванивать, слишком уж тесно был тут уставлен. Позванивали бокалы, рюмки, фужеры, кубки, они просились у хозяина на волю, застоялись. Иван Павлович, проходя, на этот звон досадливо отмахивался. Вдруг встал, оглядел все, что тут было, медленно поворачивая голову, спросил удрученно:

— Зачем это мне все? И как это все теперь прикажешь называть? Подарки? Брал как подарки, как знаки внимания. День рождения, юбилей. А теперь такие подношения начинают взятками именовать. Но разве на Руси все обычаи переве́лись? От века же были подарки. От века! Согласен, смотря кто подносит, смотря с какой целью. Нет, взятки я не брал! Вот тут я чист! Но подарок... Как повернуть человека с подарком?.. Не пойму я чего-то... Раздать, как думаешь? Пионерам? А зачем это им?

Они спустились по крутым ступеням в подвал, где была просторная комната, вмещавшая большой клубный бильярд. В комнате хватило места и для бара у стены, для настоящей кофеварки на полированной стойке, для высоких вращающихся сидений. Тут по стенам были развешаны цветные фотографии лошадей. Смолоду хозяин любил лошадей. Вон он верхом на норовистом коне. Молодой, в залихватской жокейской шапочке. Худющим тогда был. Не для верховой езды рост, но сухой был, много не весил.

«Пирамида» уже стояла на столе. И кии были подготовлены, вытянулись вдоль бортиков, белея меловым обводьем.

— Начинай,— сказал Иван Павлович.— Это тебе не шахматы, тут первому трудней.— У него загорелись глаза перед игрой, угадывался в нем азарт, старость еще не запеленала.— Да, первый удар в «пирамиду» о многом говорит, выдает ударяющего. Характер его, намерения его. Говорят, Николаю Второму, отличному бильярдисту, нельзя было подыгрывать, он ненавидел это, но и нельзя было его обыгрывать. Он и это не прощал. Вот тут и крутись. Говорят, находились умельцы. Лесть бывает грубая, а бывает тонкая. Так и с подарком. Решено, приглашу пионеров, пусть утаскивают все в школьный музей.

— И рюмки с бокалами?— спросил Знаменский, прицеливаясь для удара. Ударил. Развалил всю «пирамиду», да так, что не меньше трех шаров выкатилось на подставку.

— Без интереса начал, только чтобы уважить старика,— сказал Иван Павлович.— А сам мыслями где-то далеко. Не до игры с тестем в «пирамидку». Так, так. Рюмки и бокалы жена сдаст в комиссионку. Кому-то еще сгодятся. Как пили, так и будут пить. Раньше пили одни, теперь будут пить другие. Кооператоры, скажем. Деньги-то теперь к ним потекут. Что ж, я эту «десяточку» завалю. Не возражаешь? И с выходом на «туза». А как же мне быть, если мне подставляют? Не царь Николай. Вот, в игре был гордый, а в деле попустительствовал. Или уже не мог, сник, махнул на все рукой? Царь — это тоже работа, наступает и для царей убийственное время некомпетентности. Как, впрочем, и для министров. И тут дело не в возрасте, не только в возрасте. Я, к примеру... Ладно, отставим личные примеры. А шарик к бортику, к бортику, плотненько. Ну, что будешь делать?

Тычком, небрежно, не думая об игре—далеко, и верно, сейчас были его мысли,— Знаменский погнал от борта шар. Тот сумасшедше проскочил через все сукно, дурашливо как-то задел шар, стоявший под острейшим, неудобным углом к лузе, и шар этот, лениво, неправдоподобно вильнув, словно мастерская подкрутка дана, вкатился в лузу.

— Дурак шар!— вознегодовал Иван Павлович, выхватывая шар из лузы, страдальчески искривившись, глянув на номер.— Пятнадцатый! Так и думал! Везун ты, Ростик! Что за удар? Ты не нацелился даже.

— Тычок. Тут интуиция все решает.— Знаменский все же был доволен, что состоялся такой удар, что взял главный шар со стола.

— Интуиция... Что ты про нее знаешь? Теннис в руке, в глазомере, натренировал корт — вот и вся твоя интуиция. Ну, лупи старика дальше. Такая полоса, что и шары против меня, от тычков стал зависеть. А что, полоса.— Похоже было, Ивана Павловича всерьез огорчил успех зятя, всего лишь небрежно ткнувшего кием, а вот добывшего главный шар «пирамиды».

Но дальше игра у Знаменского не пошла. Без азарта не сделается игра, а мысли были далеко, они за завесу этого дождя отлетали и дальше, дальше. Им что, мыслям, они могут перенести нас за миг единый в самую-рассамую даль, в прошлое, из дождя в зной, скажем, от зелени пронзительной бильярдного сукна к жухлой желтизне пустыни, к красной россыпи гранатовых деревьев, к крошечному саду-огороду Дим Димыча, к крыльцу его дома, вросшего в землю, а на крыльце Светлана. Он там был сейчас, он часто там бывал, сморгнет лишь — и там. Это не было возвращением к радости, это чаще рождало совсем иное чувство, как бы вопрос к себе: ну почему я здесь, почему я не там? Но счастья и там не было. Был мертв Ашир, а без него не было там счастья. Отгородилась, ушла Светлана. Какое уж тут счастье. Но тянуло туда. В том мире жила, пребывала тишина. Он устал, ему была нужна та тишина, тот зной безмерный, будто из древности, из Древнего Рима, те цокающие звуки из травы каких-то цикад или еще каких-то живых су-

ществ, которые жили еще во времена Древнего Рима, еще раньше, еще при Александре Македонском, который, утверждают любители легенд, чуть ли не ступал по земле туркмен, в древнем Аннау вроде бы был, заложил там первые стены, ныне пребывающие в зоне раскопок ученых мужей.

Он устал, едва начав, на этой работе по прослеживанию «версии» полковника Мальцева, на этой постыдной работе, где приходилось иметь дело с людьми, вступающими в бесстыдство, повизгивая и похохатывая, как баба лезет в холодную реку, заголяясь и приседая.

— Риск-то велик?— спросил Иван Павлович. Зоркий был человек, умел читать чужие мысли. Как же, министр! Ну, пусть на исходе, но все же, все же, чтобы стать министром, надо столько всего пройти, столько понять, таких людей, волкодавов и лукавцев, обойти-проехать.

— Вы-то как, Иван Павлович?

— А что, вот привез из Швеции целый чемодан семян и луковиц, буду редчайшие цветочки у себя на участке разводить. Глядишь, поторговывать букетами стану. Ну, к свадьбам там. Ни у кого нет, а у бывшего министра в саду есть. Вплоть до орхидей голландских. А что? Пожалел меня?— Иван Павлович положил кий на сукно, расхотелось ему играть. Захотелось ему снова выпить. Он подошел к бару, где во множестве было нарядных бутылок от виски, но пустых, уже прозрачных, пораздвинул эти бутылки, посуду эту заморскую, и извлек из недр упрятанную там бутылку коньяка. И там же в недрах таились фужерчики. Чуть-чуть плеснул в них, протянул фужер зятю.

— От Анны Николаевны тайник придумали?— спросил Знаменский.

— Нет, не от жены. Вдруг кто войдет. Перепуганный какой-то стал. Пора, пора на цветочки. Пригубили?

Они пригубили, потом одинаково и смешно вскинули головы, как это птицы делают, что-либо проглотив, познавая, что же это они такое проглотили и что засим воспоследует.

— Множество примет, признаков, сигналов говорит мне, что пора, пора,— сказал Иван Павлович, кивком подтвердив, что проглотил то, что нужно ему было, что пособляет коньяк, разжимает душу.— Вот, гляди, стоят в углу телефоны. Селекторный, прямой, «кремлевка». И ни гугу! А раньше ведь заливались бы во все три голоса. Роздыха бы не было. Изозлился бы, хватаясь за трубки. Но это была жизнь, эта злоба моя была на поверку радостью. А теперь...

— Уважают ваш покой, рабочий день позади, а завтра суббота,— сказал Знаменский.

— У нашего брата нет выходных. Тишина не наш удел. Тишина нас пугает. Есть дело, нет дела, но нас не смеют забывать. Таково правило игры во власть. Наркомания своего рода. Мы не можем уже без этого. Дозу шума и гама нам подавай. Ты вроде теперь в курсе наркоманных-то дел. Что с ними, с наркоманами, происходит, когда дозы вовремя не получат? Какие симптомы?

— Ломка начинается у них. Чуть ли не позвоночник скрючивает. Адская боль.

— Именно! Ну, позвоночник у меня не скрючивается, чего нет, того нет, но болит душа. Ломит в душе! Подхалим бы хоть какой звякнул! Замолчали! Все! Да ты знаешь, как это бывает. Испил и ты. Но ты хоть сам был виноват, а я за собой никакой вины не знаю. Жил, как все. А кто иначе-то из нас, мне подобных, жил? Ну, кто? Не могу вспомнить. И вспоминать не стоит. Белых ворон в нашей стае не встречал. Белых ворон, сам знаешь, заклевывают. Значит, притаивались, ждали своего часа? Что ж, ну что ж, стало быть, я оплошал, простоватым против них оказался. Оплошал — плати! Чу, начальство прибыло. Беги, встречай тещу.

Но побежал по лесенке наверх не зять, а сам хозяин дома, чуть поспешнее, чем того требовало событие: ну, прикатила жена из города,— и как-то так побежал, заспешил, что было ему несвойственно, суетливо как-то, таким Знаменский своего тестя еще не видел. Сутуловатый, оказывается, отяжелевший, взбегать по ступеням ему было трудно.

Поднялся в гостиную, в эту еще и подарочную, и Знаменский. Все тут сейчас ходуном ходило, хрусталь звенел, будто радуясь или жалуясь. Две рослые женщины, а с матерью и Лена прикатила — встретились где-то в городе,— расхаживая по комнате, разоблачаясь, высвобождаясь от плащей, кофт, курток, переобуваясь, такой кавардак сразу учинили в чинной комнате-музее, что хрусталь стенал, не радовался и не жаловался, а возмущался. И все маски и каски насторожились. Что-то еще будет? И все паровозики и самолетики, их бы воля, сорвались бы и улетели, умчались.

Анна Николаевна была грозна, Лена чем-то подавлена. Женщины встретили своих мужчин сердитыми взглядами, готовыми усмотреть, желающими усмотреть что-то такое, что дало бы повод для вспышки, для ссоры, для упреков. На ком-то же надо было женщинам сорвать свое скверное расположение духа. Тут как раз подходят мужья и зятья. И кротость, предупредительность, а Иван Павлович являл сейчас кротость и предупредительность, редко в подобных случаях выручают мужчин. Но все же ему не досталось, избежал грозы. Зато досталось зятю, который не успел или не захотел наиграть эту самую кротость и предупредительность, стоял на лестничной площадке истуканом да лишь поглядывал на гневливых женщин. Ему было так и заявлено.

— Ростик, ну что ты стоишь как истукан?!— вскричала теща.

— Мама, он теперь все время такой!— вскричала жена.

— Пора объясниться, милейший мой зять!— Гнев разгорался в голосе Анны Николаевны.— Что это за работа у тебя?! Уже не от одной приятельницы я слышала, что тебя в таких местах видели, куда порядочные люди не ходят!

— Но приятельницы-то ваши ходят, если они меня там видели,— миролюбиво заметил Знаменский, припомнив свою улыбку, хотя не улыбалось как-то в последнее время, разучивался чуть что защищаться улыбкой.

— Необязательно быть, чтобы знать!— Голос тещи совпал по тональности с вопящим хрусталем, с этой массовкой в шкафах и горках, с этим гласом толпы, сгрудившейся поглазеть на ссору.

— И мне все уши прожужжали,— сказала Лена.— Пригласил бы. Ты знаешь, я не ханжа. Даже не очень ревнива, ты знаешь...

Лена была хороша сейчас, крупная, яркая, ей шел гнев, а она гневалась, очень родственно сейчас похожая на мать, даже одинаково они гневались, размашисто как-то, не умея пребывать на месте, расхаживали, метались, крупные, сильные, отшвыривая с пути утлые стулья, расшвыривая свои одежды.

Иван Павлович молча и покорно собирал, наклоняясь, вещи дам, покряхтывал и помалкивал. Зятя выручать он не решался, довольный хоть тем, что его-то самого гроза обходит стороной. Напрасно так посчитал. Жена вдруг подшагнула к нему, всмотрелась пристально, заставляя распрямиться, спросила почти шепотом, но оставаясь в тональности звенящего хрусталя:

— А ты-то хоть знаешь, что на Москве о тебе судачат? Мол, со дня на день будет по «Времени» о тебе сообщение, ну, это, про пенсию по состоянию здоровья... А мне кажется, ты вполне здоров и жизнеспособен. Если, конечно, ты руки не опустил. Не узнаю тебя, Иван! Ты ли это передо мной?

Напрасно Анна Николаевна усомнилась в своем Иване, будто бы это не он перед ней.

— Молчать!— рявкнул Иван Павлович. Даже не рявкнул, скорее всего лишь слегка возвысил голос. Это хрусталь рявкнул и замер. Как замерла и Анна Николаевна. Как замерла и Лена. Да и Знаменский почувствовал некий трепет, услышав это властное, запретительное, испепеляющее словцо: «Молчать!» Министр только так мог, человек, привыкший повелевать, не боящийся высказать свой гнев и часто выказывающий его словом или жестом, после чего возможны были самые неумолимые последствия. И жест последовал. Отсекающий все разговоры, устраняющий с пути. Анна Николаевна и отпрянула от мужа. Но странно, она и испугалась, и обрадовалась. Плюхнулась на диван, изготовилась к слезам, а губы улыбались. И теперь она с надеждой глядела на мужа. Пойми их, женщин.

Иван Павлович гневными шагами пересек гостиную, исчез за дверью кабинета, не забыв так хлопнуть тяжелой дверью, что хрусталь аж охнул, хотя в звоне хрустальном никак не ожидался этот бабий звук.

Плюхнулась на диван и Лена. Слезы выступили у нее на глазах, минуя тушь и грим, легко заскользив по наведенному румянцу. Она сразу подурнела, набрякли щеки. Забыла и о ногах, об умелом их сведении, скосолапила ступни. Две бабы, старая и молодая, но одинаковые в своей потерянности, родственно одинаковые, бабкам и прабабкам следуя в каждом движении, сидели, и всхлипывали, и утирали тыльной стороной руки глаза и носы.

Приотворилась дверь кабинета, Иван Павлович позвал:

— Ростик, тебя к телефону!— Голос Ивана Павловича не таил изумления: — По «кремлевке» кто-то!

Встрепенулись женщины. «Кремлевка» — это был пароль для них, признак ранга, голос успеха.

Продолжение следует.

Полковник Мальцев просит уволенного со службы журналиста-международника Ростислава Знаменского помочь отыскать человека, с которым Ростислав летел в самолете, когда по заданию бывшего следователя Аширa Атаева совершал поездку по Туркмении, собирая сведения о посевах опийного мака. Тот представился сценаристом Сушковым, а на самом деле занимался перевозкой наркотиков. Знаменский понимает, что только он может помочь Мальцеву, и решает ехать в Москву. Полковник предполагает, что разыскиваемый человек может иметь какое-нибудь отношение к кино, раз представился Ростиславу сценаристом. Поэтому Знаменского направляют на работу в Госкино, где он переводит на закрытых просмотрах зарубежных фильмов. Вместе с ним ездит и старший лейтенант Брагин, чтобы помочь задержать преступника.

Лазарь КАРЕЛИН

РОМАН

Рисунки Петра ПИНКИСЕВИЧА

ДАЮ УРОКИ-2

Знаменский поспешно вошел в кабинет Ивана Павловича, который тоже был, по сути, превращен в комнату-музей, но только тут иные были подарки выставлены. Тут развешаны по стенам были клинки, ятаганы, кинжалы и сабли, лиловато поблескивающие сталью, тускло мерцая старинным чеканом серебра на ножнах. И висели охотничьи ружья, тоже с драгоценными ложами, инкрустированными или в тонкой чеканке. Арсенал просто какой-то. А стол письменный был завален грудами папок, парчовых, золотом тисненных адресов. Музей, музей.

Но в этом музее был маленький столик, уставленный телефонными аппаратами, где был и аппарат с государственным гербом на диске. Трубка с этого желтого аппарата была снята, ждала его, Знаменского. Кто это мог быть?

— Думал, что меня... что прорезался голосок,— сказал Иван Павлович, не скрывая растерянности и недоумения.— Нет, оказывается, тебя.

Знаменский взял желтую трубку, которая ожидала его, но, прежде чем откликнуться, вслушался в слабый гул, живший в этой трубке. Из иных миров гул. Судьбоносный вроде бы. Вот зазвучит вслед за этим гулом голос и начнется Судьба.

— Знаменский у телефона,— сказал он.

Гул еще продлился немного, не гул, а какой-то звон, тоненький, из бесконечного далека звоночек, школьный тот самый звоночек, который

Продолжение. См. «Огонек» №№ 31—33.

сзывал слишком уж далеко отбежавших от своей школы на переменке ребятишек, приказывая им возвращаться. И вот заговорила трубка, подал голос аппарат с государственным гербом, это судьботворящее устройство. Голос Судьбы оказался голосом всего-навсего Пети Брагина.

— Ростислав Юрьевич, это вы?!— ворвался в слабый звон свежий и напористый голос Пети.— Я из конторы звоню. Умолил диспетчера. Ну, новость! Ведь я его вспомнил, вспомнил! Представляете? Встал в глазах! Промелькнул, вернее! Тепло, тепло, Ростислав Юрьевич! И даже — горячо!

— Кто встал в глазах?— спросил Знаменский, отделяя свежий голос Пети от далекого и чуть слышного звона, но вслушиваясь больше в звон, чем в громкие слова.

— Подробности при встрече! Простите великодушно! Ясное дело, дача, выходные, но... Горячо, горячо, клянусь! Через час жду вас на нашем пятачке! Уложитесь?!

Знаменский ответил не сразу. Звал его звоночек чуть слышный, приказывал, и он знал, что сядет сейчас в машину и рванет в Москву, к их с Петей пятачку, к условленному месту встреч, к решетчатой ограде Цветного бульвара напротив Центрального рынка, где легко всегда было парковаться. Страшно не хотелось ехать. Он медлил, не отвечал, отыскивая слова, чтобы отказаться, хотя знал, что поедет, придется поехать.

— Служба у нас такая, Ростислав Юрьевич!— подталкивал его на решение напористый голос Пети.— Ничего не попишешь...

Служба?! Что за служба?! Знаменский уперся глазами в стену, упираясь, сопротивляясь. Ни у кого он не служит! Его глаза, упершиеся в стену, столкнулись, встретились с тускло отсвечивающими на стене клинками, ятаганами, кинжалами, саблями. Они ударили, эти стальные знаки, по глазам, кольнули в бок, напомнили. И они показались деревьями, горькими кладбищенскими стволами. Вгляделся... Между этими стволами протянулась цепочка взявшихся за руки ребятишек. Впереди шла мать, неся самого маленького, позади брел большеголовый пес, охраняя. Дети Ашира...

— Еду,— сказал Знаменский. Он медленно опустил трубку на аппарат с гербом.

Иван Павлович не стал спрашивать зятя, кто ему звонил и куда он собрался ехать. Иван Павлович уважал голос этого телефона, судьбоносность его.

Жена и теща тоже ни о чем не спросили, когда Знаменский быстро прошел через гостиную. Хрусталь и тот примолк. В этом доме знали что к чему. А что они знали?

10

Хорошо гнать по так называемому правительственному шоссе, когда сидишь за баранкой «мерседеса». Никто не остановит, хоть ты и идешь с явным превышением скорости. Гаишники как-то стыдливо отворачиваются, встречные машины на всякий случай притормаживают. Власть катит. Связи проносятся. Езда без правил — удел избранных, которые все еще живут и здравствуют. Избранные — они живучи. Сие заслуживает осуждения, конечно, но все же хорошо гнать по уступчивому шоссе, это утверждает тебя в собственных глазах, вселяет мужество.

И по вечерней Москве так ехал, набираясь мужества, которое, он чувствовал, ему может понадобиться, и уже очень скоро. А что это такое — мужество? Натренироваться на кортах мужеству нельзя. И, подучившись боксу или самбо, ты еще не подучился мужеству. Нет, это все не то, не то. Мужеству невозможно подучиться, натренировывая тело. Разве что уверенность обретешь. Но уверенность — это не мужество. А что такое мужество? Ашир Атаев был мужественным, вот он был мужественным.

Напротив Центрального рынка, где в эту вечернюю пору было безлюдно и безмашинно, маячила высокая фигура Пети, молодого человека, продрогшего в легкой курточке, заждавшегося девушки, которая почти наверняка не явится, поскольку девушки не очень-то уважают молодых людей, назначающих свидания у рынка. Но, оказывается, вовсе не девушку ожидал этот продрогший молодой человек. Едва поравнялась с ним, притормозив, машина, как он шмыгнул в нее, и машина умчалась. Не какая-нибудь там даже «Волга», а блистательно-новый «мерседес». Вот и строй предположения по поводу этих продрогших молодых парней. Москва, что ни говори, загадочный город. Глаз да глаз здесь нужен. Что-то именно такое, возможно, подумал милиционер, давно и сочувственно наблюдавший из глубины бульвара за продрогшим молодым человеком в легкой куртке. Милиционер был тоже молод, и он мог понять своего замерзшего сверстника, по личному опыту зная, как коварны, как не точны московские девушки. Но вот ошибся, «мерседес» подхватил этого парня и умчал. На всякий случай молодой милиционер сообщил по рации — ему нравилось что-то да сообщать по рации, чудо-ящичку этому,— что в направлении Трубной площади промчался на недозволенной скорости «мерседес» темного, вроде бы вишневого цвета, номер которого из-за решетки не смог разглядеть, и что «мерседес» этот у рынка подхватил, принял в себя какого-то парня в спортивной курточке, явно нашего, похоже, трезвого. Вот такие дела. Постовой на Трубной, упустивший миг, когда «мерседес» проскочил, поскольку слушал уведомление коллеги, так что номера тоже не записал, в свою очередь, передал сообщение по цепочке, что идет через центр темного, вроде бы вишневого цвета «мерседес», принявший в себя у рынка человека в спортивной куртке, и что следует на это обратить надлежащее внимание. Нет, Москва не дремлет, рации работают, и наши молодые милиционеры, чаще всего набранные из лимитчиков, отслуживших в армии сельских пареньков, не зря по выходным смотрят все эти сериалы из жизни итальянских мафиози. Разумеется, у нас всего такого быть не может, но все-таки толкнуть по рации сообщение про мчащийся «мерседес» приятно. Бдительность, наблюдательность красят милиционера.

— Что там у тебя стряслось?— спросил Знаменский, когда Петя плюхнулся рядом с ним на сиденье.— Что за горячка?

— Не горячка, а — горячо! Я его вспомнил, круглого, который подкатился к нам сегодня после просмотра! Встал в глазах! Промелькнул!

— Ну, вспомнил. И что же? Он вроде бы и не таился. Сам подкатился, представился. Куда рулить-то?

— Сперва в район метро «Бауманская». Там я за баранку сяду. Заглянем к моим ребятишкам сперва. А потом, если старшóй согласится нас проводить, покатим в один хитрый домик. Без старшóго нас туда не впустят. Вас, потому что чужой, меня, потому что драку там затеял. Я одному серьезному как раз там морду бил.

— Из-за Иры?

— По поводу.

— Что еще за хитрый домик?

— Забегаловка, кафе для местной публики, микрорайонный брейк-подвальчик. Это до двадцати трех. Ну а после... Не разбери-поймешь, что там начинается... Меня туда не пустят, а удостоверением махать там не следует.

— А этот старшóй, что за старшóй?

— Застанем — сами поймете. С большой буквы парень. Лишился левой кисти, когда разминировал. Имеет орден Красного Знамени. Но не носит.

— Ну, проникнем мы в эту забегаловку, а дальше что?

— Теперь там итальянские грили, финская колбаска, а главное — финское пиво. И кое-что еще, кое-что еще, но сугубо для своих. Учтите, сугубо для своих!

— Фильмишки эти по видео? Не нагляделся?

— Зачем нам с вами эти фильмишки, Ростислав Юрьевич? Мы разве ради них мотаемся? Тот круглый тогда из недр подвальчика вынырнул, когда драка началась. И был он не один. По описанию вашему, если составить портрет, был с ним тот малый из самолета, который у нас проходит по кличке «Кани мордачи». Аккуратненький, красивенький, но вроде как пожеванный. Они тогда возникли в дверях, глянули, что за драка, и слиняли. Говорю, мелькнули. Но они стоят в моих глазах, вижу их, сфотографировал глазами. А что если тот, стоявший рядом с Круглым, и есть ваш «Кани»? Версия, а? Должны мы ее проверить, Ростислав Юрьевич?

— Должны, пожалуй. Но почему они сперва появились, а потом сразу исчезли? Тебя испугались?

— Я был не один. Нас было четверо в тельняшках. Я выяснял отношения, а трое следили, чтобы нам никто не мешал. Четверка нас, афганских ребятишек, десантников... Перелицевали бы подвальчик-то... Мы зря не бьем, это известно. Мы только за дело. В порядке обороны и чувства справедливости. Но... тут уж, господа, пощады не ждите...

— Не пойму, ты кто, офицер правоохранительных органов или парень в тельняшке?

— Сам не пойму. Когда с ними,— я сержант-десантник из Афганистана, когда на службе,— я старший лейтенант милиции. Полковник сколько раз приказывал тельняшку снять, но я то сниму, то надену. Привык. К ребятам привык. Спаялись мы под тем солнышком. Тормозните, Ростислав Юрьевич, метро «Бауманская». Теперь я за баранку сяду. Тут покружить придется.

Знаменский прижал «мерседес» к тротуару, затормозил. Не вылезая из машины, они поменялись местами — тонкие, ловко перескользнули.

Но хоть этот маневр по пересадке и был совершен в считанные секунды, он был зафиксирован стоявшим у входа в метро постовым, принявшим уже весть о курсирующем по столице вишневом «мерседесе», вызвавшем у постового, что стоял на бульваре напротив Центрального рынка, кое-какие сомнения, которые он передал по рации другому, а тот следующему и еще дальше; и вот пошла эта зоркая информация по цепочке от постового к постовому, достигла и стоящего у метро «Бауманская», а он, в свою очередь, передал ее дальше, прибавив, что едущие в машине зачем-то поменялись местами, причем не выходя из машины, так сказать, таясь; а это уже было чем-то серьезным, становилось неким фактом для дальнейшей настороженности и для того, чтобы наблюдения за вишневым «мерседесом» продолжались.

Покрутив баранку, посылая машину то туда, то сюда по темным и кривым и под гору переулочкам, Петр Брагин ввел наконец машину в темный двор, стесненный старыми и скучными домами некогда московской рабочей окраины, которые еще сохранились от той поры, предреволюционной, хотя ныне эти места уже были почти центром Москвы и вокруг было много новых и светлостенных домов, а невдалеке реял над современным дворцом подсвеченный прожекторами, флаг. Этот дворец был районным комитетом партии. Он встал в нескольких шагах от места, где был убит Николай Бауман. Этот дворец был, по сути, памятником Николаю Бауману, хотя был тут и памятник, стоял из бронзы молодой человек с ясным лицом, высоколобый.

Памятник победившей революции, этот дворец-райком, и памятник человеку, одному из первых начинавших бой, но и старые, хмурые дома былой рабочей окраины — все тут переплелось, в этой части древней Москвы, как и дóлжно, когда городу столько веков, когда у города такая история, а движение жизни продолжается.

Окна домов, выходившие в узкий двор, были темны. Еще не ночь совсем, только вечер, едва ступивший за программу «Время», а жители этих домов уже улеглись спать. Им завтра рано подниматься, кому на работу, кому в школу. Здесь и сегодня жил трудовой народ, ранние московские птахи. В светлых же домах по соседству еще кое-где светились окна. Там, стало быть, жили поздние московские птахи. Девять миллионов птах московских в разное время вспархивали в своем громадном городе, ничего тут не было удивительного. И разно жили. И открыто, и замкнуто, широко и скудно. А иные и потаенно. Елоховский собор был тут, рядом, стоял на холме. Иные ходили в него и молились, а иные проходили мимо, не взглянув даже, спеша в иные храмы. Громадный город, разные в нем жизни и верования. Никак не подогнать всех под одну мерку. И не следует это делать. Напрасный труд. Ничего не выйдет. Каждый из нас всяк по себе, хотя, конечно, не зря давно подмечено, что «от головы до пяток у москвича особый отпечаток». Вот тут есть общее, отпечаток этот общий. Знак едва уловимый, но все-таки уловимый.

11

В этом дворе немало было припарковано машин, но простонародная то была публика: старые «Запорожцы», «Москвичи», «жигулята». Встав рядом, «мерседес» и во тьме вечерней сразу выделился, сделался чужим тут и заносчивым.

— Ребята еще здесь!— обрадовался Петя, приглядевшись к машинам.— И старшóй тут, вон его «жигуль». Пошли.

— Что за старшóй? Это кличка, звание?

— Был в Афганистане старшиной, а теперь для нас старшóй. Звание, так думаю. Сейчас позна-

комлю. Но только вы спокойненько с ним. Не старайтесь.

Брагин замкнул машину, перебросил ключи Знаменскому и уверенно зашагал в темноту, прихватив Знаменского за рукав.

— Ступени тут,— предупредил.— В подвал путь держим.

Спустились по ступеням, и, когда они кончились, забрезжила полоска света из-под двери, обитой листовым железом. В это железо Брагин и постучал негромко, раздельно, явно условным стуком.

Шаркнул засов, дверь стала тяжело отворяться, собственной ведомая тяжестью. Грянул в глаза Знаменскому свет. И нечто совершенно невозможное, невероятное, ну никак не ожидаемое открылось перед ним. Паруса, паруса, белые, легкие, и стройные мачты, касающиеся друг друга, и остроносые тела кораблей, парусников, прижавшиеся друг к другу. Только вот моря не было, синего залива, который ожидался, но его не было, да и откуда было ему тут взяться, в этой узкой подвальной комнате, залитой пронзительным светом мерцающих под низким потолком трубок. Впрочем, и море было. На множестве фотографий, развешанных по стенам, запечатлено было море. Но это не настоящее было море, черно-белое. А парусники показались настоящими, почудилось, что они заплыли в эту узкую комнату, как заплывают в залив, встали на причал, спутавшись грот-мачтами, стеньгами, гротами и фалами. Из сказки видение, нет, из Грина Александра. Яхты, клиперы, каравеллы, барки, шхуны — как прекрасен звук этих слов!

Парусники стояли на столах, на верстаках, где лежала оснастка, где лежал инструмент, которым они были созданы, эта комната была мастерской, здесь изготавливались модели. Вот оно что, эта подвальная комната была неким клубом, где мальчишки мастерили модели парусников, мечтали о море, о дальних странствиях. Книги, лежавшие на верстаках, были наверняка про море, про «Бегущую по волнам». Это была комната мечтателей, подвал мечтателей.

Но самих мечтателей не было, мальчишек тут не было. Поздний час, дети ушли.

Но ушли дети, а взрослые пришли. Человек семь их было. Сидели у дальней стены, курили, заволакивая себя дымком сигарет, казалось, что далеко до них. Сидели, покуривали и помалкивали, никак не отреагировав на пришедших. Да и тот, кто отодвинул засов, ни о чем не спросил, прошел на свое место, уселся, затянулся сигаретой, укрылся за дымок.

— Старшо́й, ребята, я вот друга привел.— Петя Брагин топтался у порога. Показалось Знаменскому, что Петя если и не оробел, то смущен.— Недавно из Ашхабада. Подкололи его там. Да я рассказывал...

Парни молчали, курили.

— Здравствуйте,— сказал Знаменский.— Не поздно мы к вам?

— А когда рано бывает?— спросил кто-то из парней, и голос спрашивающего был насмешлив.

— Дело у нас, старшой,— сказал Петя Брагин, так и пребывая у порога.

— Без дела мы не можем,— откликнулся тот же голос.— Продолжай.

— Нам надо побывать в кафе этом ночном, ну в «Черных березах», когда у них для своих вход и на валютку счет,— сказал Брагин. Он вроде робел, не похож стал сам на себя.

— Подколотому надо?

— Да,— кивнул Знаменский, покорно соглашаясь с кличкой «Подколотый».— Ищу одного...

— Там такое место, могут снова подколоть.

— Я думал, ты с нами пойдешь, старшой,— сказал Брагин.— Без тебя мне туда не просунуться.

— А ты красную книжечку им в нос.

— Спугнет книжечка.

— Не спугнет, предупредит — это точно. Значит, думал, мы с тобой пойдем?

— Надеялся.

— Зачем это нам?

— Старшой, мы гада ищем.

— Так. Объяснил. Ребята, объяснил наш Петя задачу?

Откликнулись два-три голоса лениво и насмешливо:

— Объяснил...

— Гадов надо ловить. Уговорил?

— Уговорил...

«Афганцы», а это были они, уже входящие в легенду парни, которых обожгло яростное солнце Афганистана, которые от войны зачерпнули, и сполна, умылись кровью,— это в наши-то, в мирные времена,— «афганцы» сидели у дальней стены, в дымке́ сигаретном пребывая, в ды́мке, может быть, воспоминаний. Они и сидели, как там научились: кто на корточках, спиной приткнувшись к стене, кто на полу, поджав под себя ноги.

— Подойдите,— прозвучал все тот же насмешливый голос.— Сколько можно в дверях торчать?

Брагин и Знаменский послушно подошли, послушно же, следуя приказывающему движению руки, сели на пол, туда, куда им указали сесть, чуть сбоку от всей группы. Рука указывающая была без кисти. И потому ей нельзя было не повиноваться. В ней устрашающее было что-то. Обрубок руки не был ничем замаскирован, он лишь затянулся красноватой, задубленной кожей, кость сокрыв. И торчал из рукава, указывая, этот задубленный обрубок.

Присев неловко, Знаменский глянул в лицо старшо́го, в лицо калеки. И тот глядел на Знаменского. Простецкий вроде бы парень, и молодой совсем, но глаза намного старше лица, зорче, умнее, чем должны были бы быть. Кинула паренька московского жизнь в пекло, смешливого паренька, беспечного, изваляла его в этом пекле, поуродовала, обучила ярости, показала человеческую подлость и вышвырнула из пекла с такими вот умудреннейшими глазами. Всё видели эти глаза, всё понимали.

Но и Знаменскому досталось, тоже поднабрался зоркости. Они приняли друг друга.

— Ладно, скатаем в этот шалман,— сказал старшой, поднимаясь с пола. Он оказался высоченным, баскетбольного роста. Очень бедно был одет. Совсем неброская, поношенная куртка, армейские истершиеся брюки, армейские грубые и старые башмаки. Но в распахнутой на груди рубахе ярчайше и дерзко открывался синеполосный вымпел тельняшки. И всё, вся одежда этого парня обретала новый смысл, становилась такой, какой нужно, ему нужно, этому человеку, побывавшему там, где лишился он кисти руки, где обрел разум и простоту, эту не легко дающуюся умную простоту, когда так еще молод человек.

Все парни поднялись. Они были рослыми, сильными, эти демобилизованные десантники, особый род войск, куда брали по меркам, установленным еще молодым Петром. Преображенцы поднялись. И Петя Брагин был под стать своим однополчанам. Такой же рослый и сильный в плечах. И все же их старшой был чем-то выделен из них всех. Искалеченностью своей? Нет, не этим. Повисший рукав не мог его красить. И одет был скромнее других, а вымпелы тельняшек открылись на груди и у других парней, проглянула тельняшка и у Пети, неведомо когда успевшего расстегнуть ворот рубахи. Кстати, ведь Петр Брагин был ныне старшим лейтенантом, а этот, их старшой, был всего лишь старшиной, когда служил. Выходило, что старшой был старше старшего лейтенанта. Иной табель, иной счет. Иная умудренность глаз. Досталось круче. Вот потому и старшой для всех здесь, рослых и бравых, видавших виды. Вожак.

— Ты на колесах?— спросил старшой у Знаменского, когда вышли из подвала, поднялись по ступеням и ничего сперва невозможно было разглядеть в обступившей темноте.

— На колесах.

— О, да ты пижон!— сказал старшой, углядев в темноте силуэт «мерседеса».— Это правда, что ты в министерской семье обретаешься?

— Правда.

— По любви или по расчету?

Ну кому бы стал на такой вопрос отвечать Знаменский? Да никому. Осадил бы или, в лучшем случае, отмолчался. А этому калеке ответил:

— В другой жизни все было.

Ответил и подумал, что и для себя самого нашел ответ. Но надо бы было еще додумать, а что за новая-то жизнь для него началась, когда она началась? Сам додумывать пока не собрался, не посмел, трудноватое это дело — додумывание.

Старшой дальше спрашивать не стал. Может, потом спросит. Такой обо всем спросить может.

— Покатим на двух машинах,— распорядился старшой.— На этой ласточке пижонской и на моей. Разместимся. Петя, «мерседес» поведешь ты. Тебе пить сегодня нельзя. Тебя как зовут?— спросил он Знаменского.

— Ростислав.

— Со мной садись, Ростик, потолкуем в пути,— сказал старшой. И вдруг выпелось у него:— По ма-а-ашинам!

В миг расселись все в машины, будто на задание, на захват отправлялись. Азарт вспыхнул. Опасность замерцала вдали.

И Знаменский, перекинув ключи Пете, тоже метнулся, как все, имея пяток секунд на то, чтобы очутиться на сиденье рядом со старшим, который вовсе не собирался его ждать, если бы Знаменский замешкался. На захват шла группа. Рванули машины.

А что за захват? Зачем этот гон? Ну, ехали по вечерней, уже поздно-вечерней Москве в некое кафе, семь да два — девять парней, ну, поглядят они там, а нет ли в стенах этого кафе «Черные березы» какого-то человека, гада какого-то, которого, скорее всего, не найдут, ибо гады так просто в руки не даются,— вот и все дела.

Но машины мчались, нарушая установленную скорость, но азарт полнил парней, подманивало опасностью это ночное заведение.

И, конечно же, постовые, один другому, передавали, что тот самый вишневый «мерседес», который уже «засекли», снова вынырнул и идет на недозволенной скорости, сопровождаемый старым «жигулем», номерочек которого, между прочим, давно на примете.

Шли, мчались машины, а вослед шли, торопливо проговариваемые в рации, короткие рапорты. И в этих рапортах тоже зажил азарт.

— Ты Петю далеко от себя там не отпускай,— сказал старшой Знаменскому.— И я рядом буду. Не нравится мне эта история...

Вот и весь разговор. Знаменский ждал, что он продлится, поглядывая на старшо́го, но тот прочно замолчал. Он ловко вел одной рукой свой стареньский драндулет, который, впрочем, не отставал ни на метр от «мерседеса». А Петя спешил, гнал, охваченный азартом. Или предчувствием? Как знать, как понять, где и когда начинает повелевать нами судьба?

12

Знаменский знал Москву, родной был город, но когда такая быстрая езда, а на улицах столь скудно освещение, то невозможно становилось определить, где они едут, куда путь держат. Иной город мелькал перед глазами, незнакомый. Будто бы угадывались здания, но они ли это, уверенности не было. Да и не все ли равно?

Мчались машины, сливались стены домов, Петя знал, куда ехать, и старшой тоже знал дорогу, а Знаменский изготавливался, это было главным чувством, он готовился к чему-то и трудному, и опасному, к чему-то такому, про что часто смотрел в фильмах, но сам участия не принимал. Так было еще недавно. Теперь он и сам вступил в этот детективный фильм, может даже мету на себе, заведя руку за спину, ощупать, прислушавшись, может боль в боку услышать, к которой привык, слабой она стала, эта боль, но всегда была с ним. Как кидает жизнь человека, как распоряжается с ним вольготно, едва только человек заступает черту, выходит из очерченного ему, установленного ему жизнью круга, даже не круга, а всего-то кружка. Он бездумно жил, вышел за черту, уверовав во вседозволенность для себя, и вот закрутило его и замолотило. И иная жизнь началась. Он верно ответил этому покалеченному на войне парню, когда сказал, что в другой жизни все было. В другой, совсем в другой, это так. В теперешней все по-новому пошло, незнакомо, непредсказуемо, странно както. Вот едет с парнями, с «афганцами» этими, в некое ночное кафе, чтобы... а что — чтобы?..

— Что за кафе это?— спросил Знаменский.

— Подвальчик. Днем пиво, вечером танцы. Так и тянулось какое-то время. А потом, смотрим, стали химичить в этом домике. Ночная жизнь там завелась. Дверь на замке, а кого-то впускают. Своих, проверенных. И еще кто с валюткой. Такие дела. Вы-то с Петей при деньгах?

— Да.

— Сможете углубиться. За вход — трояк, за проход далее — десятка. И так далее. Петю от себя не отпускай, если начнете углубляться. Это моя просьба. Серьезного человека ищете?

— При серьезном деле человек.

— Секрет? Наркотики, что ли?

— Что ли.

— Тогда по адресу катим. Вот народ! Ну, нарушают, ночные часы стали прихватывать, ну, ладно. Входные, чаевые — ну, пусть. Нет, им мало. Валютки им захотелось. А валютка свои законы диктует. Каждый товар диктует и свои порядки. В одном зальчике задешево посиди, в другой, где фильмишки крутят, за десятку вход. И так далее.

— А так далее-то что?

— Тебе объяснять? Где наркотики, там все так далее.

Приехали. «Мерседес» лихо развернулся, встал в ряд машин, где и еще были всякие там «вольвы» и «тоёты». Вот что за местечко. А что за местечко? Пока парковался старшо́й, Знаменский присматривался, пытаясь понять, куда приехали. Он вышел из машины, стал оглядываться. Древние белые стены близко встали перед глазами. Золотые кресты хмуровато плыли на темных облаках. Собор возник перед глазами. Подновленные стены, возвращенные кресты, и все то же хмуроватое осеннее московское небо, как и века назад, когда этот собор возводили.

Так что же, молиться они приехали? Смешная мысль, нелепая. Но именно сюда, к собору, и прикатили все эти машины. Тут сразу было и

высоко и низко. Место высокое, оглянись — вон она, Москва, в вечернем мареве. Но сразу и овражки от собора начинались, сбегали от стен старые березы, и впрямь черные стволами от старости. И в ногах у собора разжатой подковой легло приземистое строение, из таких же могучих стен, что и собор, с узкими, монастырского прищура окнами. Это строение долго тянулось, начавшись в два этажа, завершаясь одним. Прилипало к земле строение, к ниспадающему тут рельефу. Это был дом для причта, для соборной обслуги. Теперь в этом доме-подкове и было кафе «Черные березы». Фонарики легкие повисли у тяжкой, монастырской оковки, двери, но дверь была не старой, а под старину.

Вошли. Все тут было под старину. Монастырская гостиница? Корчма? Не из фильма ли «Борис Годунов», где Гришка Отрепьев врал свою судьбу? Узнать бы, не тот ли и художник, что работал на фильме, делал эскизы для этого кафе? С душой все сделано было, находчиво. В фильме декорации выпирали, в шалмане этом были вполне естественны. Узнать бы, кто был здесь художником, не из знакомых ли кто? Не из тех ли, что так взыскательны в вопросах искусства, правды, чести и этой самой нравственности? А что, деньги не пахнут. Так ли, не пахнут? Декорации эти пахли. Вкуснейше пахли жареной курятиной, шашлычком по-карски, свежим красным вином. Но и еще чем-то, еще чем-то. Вкрался и какой-то враждебный, противный запашок в этот аромат. Узнать бы все же, кто тут наводил красоту? Эта мысль, что кто-то из знакомых художников тут себя осуществлял, из приятелей матери и жены, позабавила, просто развеселила Знаменского. А что, деньги не пахнут, хоть бы даже и подванивали этим все же противным запашком, сразу внедряющимся в подобные заведения.

Их встретили, когда гурьбой ввалились, очень радушно, даже радостно. Правда, на лице у встречавшего не сразу утвердилась радость, сперва он скорее перепугался, побледнел, но быстро согнал испуг с лица и вогнал на него радушие. Это был еще молодой человек, он еще не набрал должного веса, должного объема. Но — дело наживное. И округлится и осановнится. Такое место, такое дело. Способный малый. Откуда что взялось? Кланяется, как прошедший выучку метрдотель, улыбается выученно одинаково для всех и вообще гибок, обходителен, счастлив гостям, похоже, что друг с каждым. Это и есть выучка для встречающего в дверях, когда в подобном заведении утверждается «ночная» жизнь для «своих», да еще и за валютку. И все же, хоть «афганцев» и встретили чуть ли не с распростертыми объятиями, скрыть, что их появление испугало, не удавалось. Все, кто был в небольшом, длинном, с низким потолком зале, и кто обслуживал, и кто сидел за столиками, вытянувшимися в два ряда, все тут сразу напряглись, притихли, потупились.

Понять этих людей было можно. Знаменский и сам бы, завидев такую ораву в тельняшках, потерял бы в подобном месте спокойствие. А место было очень схоже с ночными ресторанчиками Александрии, Каира. И если вдруг в такой ресторанчик вваливается матросня, своя, а еще хуже американская, то ничего хорошего не жди. Эти, в тельняшках, не подходили под категорию матросни. У них вообще не было категории, это совсем недавнее было образование. Это были люди из легенды, люди, которых следовало уважать, но можно было и бояться.

Забавляло, что он, Знаменский, был с ними, забавляло, но и в какую-то гордость вводило, хоть и понимал нелепость своего положения, что вон те, и те, и те милые дамы, девицы, девушки считают его тоже «афганцем», выделили несколько, зорко глянув, но все же среди них оставили, среди овеянных хмурой славой войны. Да, он был с ними, и разве он сам-то не был на войне и не на войне ли он и сейчас? У него даже кличка появилась: «Подколотый»... А он и был им, подколотым, шрам в боку все время вплетал в душу тоненькую боль.

Уселись. Расселись.

Четверо изможденных парней, один за пианино, ударник, весь в барабанах, и двое с какими-то плоскостями в руках, которые электрически гудели под гитару, дружно выкрикивали что-то в узкий зал, расположившись у двери, которая вела еще куда-то, и куда можно было проникнуть, но не просто было проникнуть, поскольку дверь эту охраняли два здоровенных парня, ряженных то ли под стрельцов, то ли под гусаров.

А четверка, всклокоченная, выкрикивала в зал какие-то свои сугубо личные обиды. Ну, ссорилась она с кем-то. Может, с домашними, с папой-мамой, с женой, которая разозлила. Склочничали от души, до хриплого взвыва. Странно, что под эту хоровую склоку здесь танцевали. И не что-нибудь, а, разумеется, брейк. Совсем молодым это удавалось, и у них получалось даже красиво, спортивно,— ведь по канонам этого нового танца надлежало акробатические номера выделывать. Метались тела молодых, извивались, взлетали. Ничего, смотреть было даже интересно. Но молодых среди танцующих было совсем немного — две, три, ну, четыре женщины. И вот еще паренек выкаблучивал, явно приобщенный к профессиональному спорту. Остальные же грузновато топтались. Это были близкие к старости мужчины, обладатели солидных форм. Им никак не давался брейк, они вытворяли нечто невообразимое и с почти трагическими лицами, идя, так сказать, на смерть. Но чего не сделаешь ради таких милашек, которые их закруживали, задергивали, именно что вовлекая в смертельное приключение. Знаменскому даже показалось, что молодые женщины нарочно так задергивают своих грузных партнеров, что они вроде бы вымещают на них свою досаду, что приходится выплясывать с этими мешками. Но мешки-то были явно при деньгах. Вот именно, при деньгах, которых у молодых, у статных и гибких, часто и вовсе нет, трояка даже нет, чтобы заплатить за вход.

Вот сидят молодые-то, таращат глаза, гордятся своими тельняшками, а пустили-то их сюда задарма, из сострадания, а может, из боязни, что станут тарарам поднимать в тихом этом местечке. Уже бывало. Ну, пусть сидят, таращатся. Какая от них польза? Любовь? О, эти девочки уже вкусили от нее, от любви, когда ни кола ни двора, когда от получки до получки просвет в атмосфере, когда на паршивенькое пальтецо надо год копить. Нет, без нас, без нас! И от другой любви уже порядочный отъели кус. С горчинкой пирог. И не любовь это вовсе, вот это вот, чем сейчас занимались. Но зато «нон проблем», дубленочки в шкафах, нарядов — завались, сами увешаны, как и актрисам не снилось, кооперативные квартирки кое у кого уже есть. Такой баланс. «Трясись, старикан, спеши к инфаркту, цепляйся за сладкое!» Но и плати, плати!

Вот что прочитывалось, когда со стороны поглядеть, а так и глядел сейчас Знаменский, про эти танцы-манцы в узком помещении, где некогда обитали духовные лица, присоборный причт. Не думали не гадали эти стены, что в такую попадут историю, что доведется им послужить явно бесовскому соблазну.

А склочники, накаляясь, все нагнетали склоку, не музыкой, а исступлением захватывая присутствующих, давили, как говорится, на нерв. И все нервней тут становилось, все исступленней, все бесшабашней, если угодно. Но тут не пили. Редко у кого на столике стоял бокал с красным вином, редко кто потягивал из нарядной банки с эмблемой финского, из бывших русских купцов, пивного короля. Тут почти не пили. Тут покуривали. Женщины покуривали, молодые эти умницы. Жадненько как-то прихватывали от сигаретки, которую прятали в кулачке, как в школе прятали, начиная только покуривать, а ведь в школе нельзя, там строго, там отметку за поведение могут снизить. Здесь отметок никто не выставлял, но все же страшились, прятали зачем-то сигареты в кулачки, самый дым от сигарет прятали, будто проглатывали. А мужчины не курили, они пьянели естественным путем, от этих тел молодых, от запаха молодого пота, которым пронизывался зал, они пьянели от мыслей о предстоящем. Предстоящее же было там, за дверью, укрытой тяжелой портьерой, заслоненной двумя широкоплечими униформистами.

«Афганцы» присмирели тут. Их молодые ноздри поширились, слух навострился. Молодые же были, не бесчувственные. Вот они пили, им принесли по банке финского пивка, они его и цедили, экономя, понимая, что платить тут придется втридорога. Но за погляд с них денег брать не станут. И они глядели, слушали, вдыхали.

Старшой смирял спокойствием своих парней. Он знал их, этих притихших сейчас, он видал их в разных переделках, в местах посолонее, чем этот шалман. Но когда это было, где это было? То все позади. Все, все позади. Забыть бы все!

Сам старшой был невозмутим, полагал, что невозмутим, но ведь и он был молод. За глазами своими он приглядывал, они у него не вспыхивали, за рукой на столе приглядывал, она у него покойно лежала, искалеченную руку он сунул в карман. Невозмутим был, чуть только насмешливый ужим губ себе дозволил. Но про ноздри забыл. Кто из нас думает про ноздри, унимая себя? Но здесь такой был воздух, что он бил по ноздрям, распалял молодую кровь.

Петя Брагин вел себя как-то странно, уж очень неспокоен был, хотя меньше других всматривался в танцующих. Его глаза были прикованы к заветной двери. Туда, туда его влекло, за тяжкую сиреневую портьеру. И когда иные из парочек, будто случайно оказавшиеся, танцуя, у двери, ныряли за спины стражей, за портьеру, за дверь, он жадно взглядывал, пытаясь что-то углядеть, хоть взглядом пытаясь проникнуть туда, за дверь.

Но иные парочки и появлялись из-за той двери. Какие-то они были не такие, как те, что оставались здесь. Вернувшись, эти парочки снова пускались танцевать. Но только для вида. А если и танцевали, то не брейк, а свое. Мужчины, еще более огрузневшие, хозяйски повиснув на женщинах, собственничество свое и подтверждали, победное что-то вышаркивая. Женщины томились этим последним танцем перед «прости-прощай», но надо было дотанцевать, так полагалось, входило, видимо, в некий прейскурант или обряд.

Потом, коротко оттанцевав свое, появившаяся из недр парочка плюхалась за столик, мужчина жадно припадал к бокалу, женщина жадно закуривала, привычно пряча сигарету в кулачок. Но что тут прятать? Все прочитывалось.

Так-то оно так, прочитывалось. Но Знаменский поймал себя на мысли, что читал он тут происходящее как бы по двум текстам, ну, скажем, когда слева — по-английски, а справа — по-русски. И невольно сличал он тексты, верен ли перевод. Но тексты-то были его собственные. Он сличал не слова, не фразы, а свое отношение к словам и фразам. Он сличал себя сегодняшнего с собой вчерашним. И тексты не совпадали. По смыслу, по сути. Еще недавно он бы в этом кафе лишь углядел, что вот и у нас началось все то, что было там, где все или почти все было дозволено,— если говорить об этом, вот что тут прочитывалось. Так угодно жить этим мужчинам и женщинам, ну, пусть так и живут, пускай так себя расходуют, что-то теряя или уже потеряв, но что-то и получая взамен. Хотя бы забвение. Хотя бы решение, пусть на короткий срок, своих проблем. Разве это так уж мало? И кто он, чтобы кого-то тут осуждать? Он и сам пребывает в поисках забвения, не чужд и развлечься, нет, он не судья. Это был один текст, который он сам себе и продиктовал. Однако рядом был другой текст, тоже его, но недавний. И этот текст не совпадал с первым, хотя об одном и том же шла речь. Не совпадал по смыслу, по сути. Иначе все истолковывалось, на что он глядел сейчас, иначе прочитывалось. Между тем и этим текстом пролегло время. Всего несколько месяцев. Но громадным было это пространство. В него улеглись и позор, пережитый в Каире, и позор, пережитый в Москве, падение, падение, когда летишь ко дну пропасти и уже рад бы был расшибиться о камни, достигнув дна, но дна все нет. В него вошел, в это пространство, зной Туркмении, погибельный зной, когда нечем было дышать, и казалось, и незачем дышать. И тогда рядом встал Ашир Атаев. И посмотрел на все своими глазами, даря ему, Знаменскому, свой взгляд, другое прочтение всему. Ашир бы тут все не принял. Все! Но он был не ханжой и не моралистом. Живой был человек. И исстрадавшийся человек. Вот, найдено слово: человек. Он был человеком. У него сердце еще умело болеть. Он еще не обрел ту самую пустоту, которая приходит к нам, когда слишком уж долго пребываем мы в двойной, а то и в тройной жизни. Двоя и троя, мы опустошаемся, мы впадаем в цинизм, нам кажется, что все можно, раз хочется, нам ведомо, что бога-то нет, что спроса с нас не будет, если сумеем не подставиться, не попасться. Но мы подставляемся, попадаемся сами в себе, опустошаем сами себя, истрачиваем свое человеческое, избываем.

Ашир Атаев взял его тогда за руку и повел. В трудное, в опасное. Он вводил его назад, в облик человеческий. Его убили, Ашира Атаева. Наверное, его и должны были убить, ибо он был опасен для нелюди этой, нечисти. Для этих вот, что поторговывают тут наркотиками, помогая дурехам вон тем перечеркнуть в себе человека. Тут убийцы орудовали. Те самые, на которых пошел Ашир Атаев. Ничего тут не было, кроме ужаса и мерзости, растления и убийства. Вот так сейчас увиделось все Знаменскому, прочиталось им. Ашир Атаев сидел рядом, они смотрели вместе.

— Когда же в недра пройдем? — спросил Петя Брагин, нервно облизнув сухие губы.— Гад наш, если здесь, так только там.

— Не спеши,— сказал старшой.— Пускай к нам попривыкнут. Напугал ты их в прошлый раз. Ты смотри, Петя, чуть что — в драку не лезь. Ребята накалились. Смотри, Петя.

— Кому говоришь? Я на службе. Хоть и в курточке...

— Тогда порядок. Ворот застегни, «курточка».

Но Петя свою тельняшку прятать не стал, ему так было легче тут дышать, с расстегнутым воротом.

Продолжение следует.

Ростислава Знаменского просят помочь милиции в розыске некоего Петра Сушкова — ведь только Ростислав знает в лицо этого человека, который занимается перевозкой наркотиков. Это установил еще Ашир Атаев, погибший вскоре от руки наркомана. Петр Сушков назвал себя при знакомстве киносценаристом. Поэтому возвратившегося в Москву Знаменского устраивают работать в Госкино. Он переводит на просмотрах иностранных фильмов и приглядывается к зрителям, надеясь увидеть среди них Петра Сушкова. Ростислава сопровождает выдающий себя за его шофера и телохранителя старший лейтенант милиции Петр Брагин. Он знакомит Знаменского со своими товарищами-десантниками, вместе с ним воевавшими в Афганистане. В поисках наркоманов они отправляются в ночное кафе «Черные березы».

ДАЮ УРОКИ-2

Лазарь КАРЕЛИН

Рисунки Петра ПИНКИСЕВИЧА

РОМАН

А тут душно было и все душней становилось. И по-разному тут жили люди, свершая свое веселье, обретая свое забвение, что-то там выгадывая, а то и прогадывая в жизни.

Иные просто пожрать приехали в этот ночной кабак «для своих», уже успевший зарекомендовать себя отличной кухней. А как же иначе? Как возьмешь доход, если плохая кухня? Тут надо умудряться и исхитряться. Вот повар в высоченном белом колпаке выскочил из двери, что слева от музыкантов, а та, заветная, была справа. Выскочил повар, самолично неся на подносе какой-то отличнейший кус мяса. Он был на жаровне, светились под ним угольки, а чтобы получше светились, на миг погасили в зале свет. И поплыли в темноте жаркие угольки, как бесовские глаза, мелькали между столиками. Но свет снова вспыхнул, тут нельзя было слишком долго играть в жмурки. Впрочем, и за миг во тьме кое-кто успел кое-что, дабы могли дружно завизжать женщины, дружно наигрывая стыдливость.

Мясо на жаровне было поднесено поваром к столику, за которым сидели иностранные гости. И их тут было, из заморщины, в достатке. Как же, ведь Москва такой скучный город, так рано засыпающий город, служба в этой столице, как известно, тяжкий крест. Но все же, все же есть места... А русские женщины, если их разморозить, о, это нечто такое, нечто — манифик!

И русская кухня, разумеется, манифик. Какой отличнейший кусок мяса! Какой картинный и любезнейший повар! Отлично, отлично!

Иностранцы разговаривали громко, подпили уже. Это были западные немцы, а немцы, такие вот, из тучных, когда подопьют, начинают повышать голоса. Хотя... смотря где. В Штатах эти бы бравые крикуны, столь азартно уписывавшие сейчас сочное мясо, так громкоголосо не решились бы переговариваться. Там, в Штатах, свои горлопаны имелись. И они, тамошние, не любили, когда в их кабаках кто-то из заезжих вел себя слишком вольготно. Кричи у себя дома, парень! И — в морду, если возникнут возражения. Вот так!

Но у нас — от века повелось — иностранцев оченно уважают. Радуются у нас чужой заезжей вольготности, гордятся, что доставили гостю удовольствие. Гостеприимство? Нет, это иначе называется.

Немцы, свои голоса не смиряя, очень энергично обсуждали иных танцующих женщин. Энергично ели и энергичные под сочное мясцо находили слова, определяющие женские стати. Теми же словами похваливали, что и мясо.

Знаменский худо знал немецкий, но эти-то слова понимал.

— Похоже, следовало бы им набить морды? — тихо спросил его старшóй.

— Еще как следовало,— сказал Знаменский.

— Ты только моим ребятам ничего не переводи. И без того за чеку держатся.

Да, ребята старшóго как-то зловеще притихли. Именно так притихает, замирает солдат перед тем, как выдернуть из гранаты чеку. А уж если выдернет...

Оркестранты, слегка передохнув, возобновили музыку, то бишь склоку свою, и, похоже, с целым миром, со Вселенной. Они так яростно принялись выкрикивать в зал накопившееся у них на душе — а накопилось так много и всего черного,— что уже и слов нельзя было разобрать. Вообще „о-о!" или „а-а!" Гадко жить, мерзко жить! А посему — все ничто! Нет никаких преград — все прахом! Нет ничего святого — одна лишь мерзость! Для убедительности, для окончательности они вплели в свои русские вопли некое иностранное словцо, весьма общеизвестное: «Мерд! Мерд! Мерд!» Эта музыка — а все-таки это была музыка — била по мозгам, как если бы ударник к своим трем барабанам с тарелками еще присоединил и голову каждого, кто сидел в зале, и лупил именно по каждой из этих голов персонально и самозабвенно, в две руки лупил, в два кулака, отбросив палочки, которые все же на концах были чем-то обмотаны. Нет, кулачная пошла музыка, не до слуха, а до мозгов ей важно было пробиться. А все-таки музыка. Но под такую уже не танцуют, пусть даже и брейк, под такую содрогаются. Танцующие и содрогались. Жующие перестали жевать, мутное что-то сглатывая в себе, если только муть возможно сглатывать. Весь зал этот узкий как-то иначе зажил, в нем воздух уплотнился, стал обретать зыбкий, серый, мутноватый цвет. Смигивали, подмигивали светильники, хотя это были не свечи. Лица у танцующих и у смотрящих становились смигивающими и подмигивающими. Женщины утрачивали последний из распоследних запасов стыда.

И тут из-за заветной двери, с трудом выпутавшись из портьеры, в зал шатко вышагнула молодая женщина. Совсем еще девушка. Пьяная, нет, накурившаяся или наглотавшаяся. Глаза у нее блуждали, воспаленные губы беспомощно шевелились, она, кажется, пыталась петь, подпевать этой музыке. И она еще кого-то тянула за руку, а тот — это был мужчина, кого она тянула,— а мужчина этот выходить не хотел, упирался, выглядывал и исчезал, возникал и исчезал. Но молодая женщина хотела танцевать, но музыка была вседозволяющей, а слабая рука, тянувшая, брала не силой, а упорством.

И мужчина вышел, все еще сопротивляясь, еще пряча лицо за край портьеры, но уже появился, уже ногами перебрел, бедрами вильнул, распуская себя, готовясь к плясу. Был он наряден, но раскристан.

Женщина выпустила его руку, торопясь закружиться, заметаться, эта музыка не позволяла медлить. И потом такой свободой зажило тело, так все получалось смело и красиво, так восхитились ею все в зале, слив в одну закружившуюся спираль свои изумленные глаза. Одни глаза, весь зал из одних глаз. И отдельно рты. Весь зал из разнявшихся, вожделенных губ. Все мужчины хотели ее сейчас, ибо она была прекрасна.

Бедная девочка, поруганная чья-то дочь. Бедная, бедная девочка.

Что-то случилось в зале. Отдельно от этой шатко кружащейся женщины в смятой одежде. Отдельно от этого мужчины, который уже танцевал, хотя все еще держался у портьеры, будто портьера и была его партнершей.

Но что-то случилось в зале, что-то такое, что оборвало разом музыку, эти вопли. Иной звук, иной вскрик прозвучал. Он не был громок, нет, странно даже было, что его расслышали в оре, но его расслышали, как выстрел, когда стреляют непонарошку.

— Ира! — Это сказал Петя Брагин. Вот и весь звук: «Ира!»

Петя стоял, вытянувшись, он давно вскочил. Стоял, и бледность заливала его лицо, вычернив рыжие веснушки. Так бледнеют, так в синеву бледнеют, когда смерть потом.

Старшóй, афганцы его поняли, что смерть витает, что рядом она, они научились предугадывать ее приход. Они вскочили, готовые на все.

Ира услышала, как ее окликнули, споткнулась, остановилась в круженим, не умея отыскать в спирали глаз глаза того, кто ее позвал.

И споткнулся мужчина, ее партнер, замер. Он-то сразу уперся в глаза парня, произнесшего имя его Иры, «этой Ирочки на час». Для него — на час. И он сразу понял, глянув в выбелившееся лицо парня, в хмурые лица его приятелей, сколь велика для него опасность. Но он скользнул метнувшимися глазами еще и по лицу Знаменского. Столкнулись их глаза. Они узнали друг друга.

— Кани!— выдохнул Знаменский, забыв, что это условный знак, опознающий того, кого они искали, что он должен был именно это и сделать, выкрикнуть «Кани», когда узнает его, случайного своего спутника по самолету, этого перевозчика наркотиков, гонца, залегшего на дно. Знаменский все забыл, он только слово нашел для человека тоже с выбелившимся, но скверным, пожеванным лицом.

— Кани! — снова выдохнул Знаменский, добормотав: — Мордачи...

Петр Сушков, а это был он, так он назвался в самолете Знаменскому, понял, что узнан. А это была опасность пострашнее, чем та, которая исходила от парней в тельняшках. Он выполз на люди, он не должен был выползать. Он выдал дело. Он выдал явку.

Ну, конечно, Сушков рванулся за портьеру, исчез. И сейчас бежал, бежал там по разным ходам-переходам бывшего прицерковного строения, которое возводилось во времена, когда человек нуждался в тайниках и лазах в своем доме, дабы суметь спасти живот свой от нашествия татар, от смуты и разбоя. И как бы ни разгораживали в подобном строении стены, как бы ни выравнивали ходы и переходы, а что-то да уцелело от древних времен, ибо это были крепостного упорства стены.

Петр Брагин рванулся следом за Петром Сушковым. Еще портьера не успела опасть, а яростное тело мстителя метнулось за исчезнувшим гадом.

— Трое на выход и к другому выходу! — негромко скомандовал старшóй.— Остальные за мной!

Все! Это был Афганистан! Здесь начинался бой с душманами! Все! Никаких возражений! Все!

Трое метнулись на выход, чтобы обежать дом, преградить дорогу убегающим душманам. Старшóй, его парни и Знаменский впятером кинулись за портьеру, по пути что-то сметая, кого-то отшвыривая вместе со столиками, тяжко, хоть и походя, прибив униформистов. Бой — это бой! Война — это война!

В разгромленном мгновенно зале, где мужчины перетрусили, а женщины пробудились, деля страх с великолепным ощущением жизни, настоящей, яростной, какой-то именно вожделенной — где любовь, ревность, мужество,— но совершенно не доступной для них, обрекших себя на общение, сожительство с этими мешками, смешно упрятывавшими себя сейчас за столы и за стулья, в этом узком пространстве узкой жизни, где промелькнула ярость, взорвалась, расшидала, в опустевшем круге, где миг назад еще танцевали, взбивая пыль,— одна сейчас осталась фигурка. Это была Ира. Она ничего не могла понять. Она продолжала кружиться и улыбалась. Бог весть какие вообразив картины. Бог весть как объясняя для себя все происходящее. Живя в тумане, из тумана бормотала она, кружась:

— Ребята, давайте жить дружно...

Трое, выскочившие на улицу, мигом оценив все на местности, кинулись к противоположному концу строения, этого хитрого домика из прошлых веков, когда один вход и выход был с одной улицы, а другой вход и выход — с другой. Вот к другому входу-выходу и кинулись три солдата, блистательно обученные в лукавых переулочках городов и селений Афганистана — под пулями

Продолжение. См. «Огонек» №№ 31—34.

учились,— как брать засевших в почти таких вот, как этот домик, строениях душманов. Замкнуть надлежало домик, его входы и выходы, а их могло быть и три, и четыре.

— Глядеть на окна! — приказал один из трех, мгновенно определивший себя командиром тройки. И уж будьте спокойны, никто из душманов не выбрался бы незамеченным из этого домика, покуда внутри него брали всю шайку.

Но вмешивалась новая сила. Не зря поработали рации. Они привели милицейский патруль к этому месту, куда в конце концов причалил вишневый «мерседес». Поскольку по пути «мерседес» оброс сопровождением, патруль — переговорили, уточнили — был значительно усилен. Поскольку «жигуль» сопровождения был ведом милиции, номер его был на контроле, патруль и еще больше был усилен. И не напрасно. И поспели ко времени. Отлично сработали!

Трое, что могут трое, пусть даже и десантники в прошлом, словом, асы-каскадеры, но только не в нарошечной киношной жизни, а во всамделишной, когда стреляют не холостыми, а бьют не притормаживая,— что они могут, если на них, на каждого по нескольку человек, навалились тоже умелые и бывалые, а иные и из тех же «афганцев», пошедших ныне служить в милицию? Ничего не могут. Почти ничего. Конечно, сдавались не без боя, досталось и тем и другим, но силы были неравны. Запеленали троих.

А пока пеленали их, как крысы из горящего дома, выныривали из запасного выхода какие-то фигуры, исчезали во тьме.

В доме, где хоть и не было пожара, но пламя бушевало, пламя ярости, в несколько мгновений были вспороты все укромные уголки. Вот этот зальчик, где мерцал телевизор, на экране которого переплелись нагие тела,— этот зальчик был разметан. Те, кто в нем находился, парочки полусонные, которым надо было взбодрить себя экранной похотью, получили урок жизни: девчонок отбросили, они сгрудились в визжащий клубок, а мужчин, тут пребывавших, походя, поспешая, измордовали, тем более походя, что они почти не сопротивлялись. Замечено, похотливцы трусливы.

Впереди везде был Петя Брагин. Он метался из комнаты в комнату, из укромности в укромность, кого-то спугивая, сметая,— он искал. Этого вот «Кани», гада этого, гада из гадов. Теперь уже этот человек был лично у Петра Брагина на счету. И попался бы — Петя Брагин его бы убил. Сейчас бы, в эти яростные мгновения бессмыслия, убил бы.

Но, вспарывая дом укромность за укромностью, нигде не находил Петр Брагин Петра Сушкова. Вот как совпало: два одинаковых имени, нарекли когда-то одинаково двух младенцев мужского пола. Но один стал хорошим человеком, а другой стал гадом.

Нигде не было ни Сушкова, ни круглого Сергея Сергеевича, если он вообще находился в эти минуты здесь. И вообще, когда разобрались, никого не оказалось в хитром домике, кого бы следовало схватить. Сбежали. Вынырнули, метнулись, покуда милиция пеленала троих парней, посланных старши́м, чтобы прикрыли они запасный выход. Выручила милиция, того не желая, разумеется, этих, скользнувших и исчезнувших.

Вошла милиция и в дом. Установила кое-что. В одной комнатке обнаружили шприцы и какие-то пузырьки, явно с наркотическими средствами. В другой комнате обнаружили поникших, уже вкусивших от кайфа, уже отключившихся от всего молодых мужчин и женщин, которые наутро в адову вступят боль. В адову боль, когда по позвоночнику у них потечет расплавленный свинец, когда ломать их станет и корежить, как, возможно, только в аду ломают и пытают только самых великих грешников. Но эти, поникшие, были не грешниками. Они были соблазненными, обманутыми. Они были униженными и оскорбленными. Грешники сбежали.

Прихватила милиция в качестве вещественных доказательств и ворох кассет телевизионных, этих симпатичных ящичков, отлично изготовленных, на высочайшем техническом уровне, где, если запустить эти кассеты, тоже на высочайшем техническом уровне была запечатлена на тоненькой пленочке вся мерзость и вся подлость человеческого падения.

Старшо́й приказал своим парням не оказывать сопротивления милиции. Ну, разве что обменялись, не разобравшись спервоначалу, двумя-тремя ударами, достаточно умелыми, впрочем, поскольку умелые ударяли умелых. Досталось и Знаменскому. Раскровенили ему лицо. Вот такие итоги в деле захвата «Кани мордачи». А Петя? Что Петя? Он был сам не свой. Его пришлось связать.

Только уже в милиции разобрались милиционеры, что Петр Брагин был их коллегой и, кажется,— хотя как такое признать?— не совсем тех связывали милиционеры, кого бы следовало, и что те, кого бы следовало схватить, сбежали, воспользовавшись, так скажем, некоторой неразберихой.

А наутро пошла гулять по Москве легенда, что «афганцы», ну эти, что воевали в числе ограниченного контингента войск, разгромили некий ресторан и чуть ли не всю улицу, где этот ресторан находился, и что там просто настоящий бой шел «афганцев» с милицией. Вот так.

13

Ночь позади. Знаменский ехал сейчас на встречу с полковником Мальцевым, ехал по разгоравшейся в пригожем осеннем дне Москве, когда Москва хорошеет. Но ночь эта, которая осталась позади, была в нем, жила, ссадинами саднила на лице. И прокручивалось в глазах все снова и снова — мелькало, вспыхивало, меркло, изламывалось. И всякий раз, когда что-то особенно отчетливо вспоминалось, когда дергалось, припоминая, лицо, боль ударяла, приказывая щекам и губам замереть. Кто-то все же в той сумятице, в драке, когда вслепую мечутся кулаки, сумел попасть в него, в лицо ему. Он тоже сумел в кого-то попасть. Все там в кого-то сумели попасть. В милиции, когда стали разбираться, у всех нашлось что потрогать, острую нащупывая боль. А гады сбежали. И вообще все растворилось, расползлось, исчезло.

Полковник Мальцев, примчавшийся в отделение

милиции, уже только устанавливал, что гады сбежали, что никто ни за что не отвечает в этом ночном заведении, вернее, каждый отвечал за что-то мелкое и вполне установимое в своей законности, а беззаконность ответчика не имела. Ну, смотрели кассетки — это нарушение, если кассетки содержат нечто запретное. Но кто их принес, такие кассетки, как они попали в дом, про это никто не ведал. Может, сами смотрящие и принесли. Наркотики? А разве уследишь, что там сотворяют по углам эти парочки? Конечно, непорядок. Разумеется, будет впредь введен строгий контроль. Впредь...

Полковник Мальцев взял на себя ответственность, отпуская всех «афганцев», которых, если бы не его заступничество, кое-кто уже пытался обвинить в учиненном погроме. Вещественных доказательств было в избытке. И разбитые вещи, и побитые морды. Но полковник тут занял четкую позицию: парни помогали взять опасного преступника, вот чем они были заняты. Старшему лейтенанту Петру Брагину помогали. Служили вместе. Друзья. Опора на помощь населения — дело не только желаемое, но и необходимое. Отпустили парней. Авторитет полковника Мальцева был высок в том отделении, где происходило ночное разбирательство. Оказывается, начальник отделения милиции, примчавшийся по тревоге, когда-то слушал лекции полковника, когда учился в высшей школе милиции, и безмерно уважал полковника Мальцева, прославленного оперативника. Словом, отпустили парней в тельняшках. А старшóму полковник Мальцев даже на прощание крепко пожал руку. Поблагодарил, но молвил: «Береги армейскую честь, старшина».

Что еще? Иру, вызвав «Скорую помощь», увезли в некий стационар, где ныне начинали, спохватившись, как-то все же лечить, спасать таких вот, схваченных уже недугом наркомании. Вспомнив эту Иру, вспомнив, как взял ее под руку, подсаживая в машину, вспомнив ее невидящие глаза и жалкую улыбку, Знаменский, зная, что сейчас стеганет его боль, мучительно сморщился. Пусть боль, но только бы вытряхнуть из себя этот миг той ночи.

Что еще? Был еще Петя Брагин. Его развязали сразу же, когда добыли при обыске из его кармана красное удостоверение, обнаружили под курточкой на оперативном ремне с кобурой пистолет. Поняли, кто он. Не поняли только, что с ним. А он будто спал. Поник он. Молчал, не откликался на вопросы. Он был по ту сторону, все прочие были по эту. Появился полковник Мальцев, но Петя Брагин никак не отреагировал и на него. Полковник забрал документ Петра, его пистолет, взвесив этот пистолет на ладони, прежде чем сунуть в карман.

— Да, натворил бы он бед...— Полковник обернулся к Знаменскому.— Вот так, Ростислав Юрьевич, такая вот версия...

Что еще? А еще было возвращение домой, не на дачу, а на Гоголевский, к маме. Было ее омертвело-испуганное лицо, когда она глянула на сына, в лицо своего мальчика, разбитое в кровь. Но она тотчас взяла себя в руки, захлопотала, кинулась смывать с лица сына кровь. Она тотчас вспомнила, кто она. Кажется, именно так, вспомнила, из каких она женщин, из какого шляхетского рода. Женщины из ее рода не пугались крови на лицах своих мужчин. То были воины. Им пристало омываться кровью. Так она успокаивала себя, разжимала отчаяние свое, страх за сына. «Матка боска! Матка боска!» — шептали ее губы, а сама она была само спокойствие, ибо все было правильно, ничего не случилось страшного, мальчик подрался, обычное дело для мужчины, как и обычным делом для женщин, матерей или жен, было смывать с мужчин кровь, бинтовать их раны. К счастью, ничего не надо было у сына бинтовать.

— Ростислав, ты отделался легкими царапинами! — сказала мать бодро, но губы у нее тряслись, в неслышной пребывая молитве.

Позвонила и жена с дачи. Так, для порядка, поскольку он умчался в ночь. И еще из любопытства, что за задание получил. А ведь его позвали на задание по заветному телефону, судьбоносному. Вдруг да схватил ее муженек судьбу за хвост. Пора бы! Весьма бы кстати это было. Но муженек явно судьбу за хвост не ухватил, он отвечал на расспросы жены уныло и невнятно, болели губы.

— Да ты не пьян ли?

— Нет.— Он повесил трубку.

И вот эта ночь позади, и он катил на своем «мерседесе» к условленному месту встречи с полковником Мальцевым, катил в одиночестве, Пети Брагина рядом не было. Тот не царапинами отделался. Сперва его Иру несчастную отвезли в больницу, а потом его самого отправили в госпиталь.

Продолжение на стр. 25.

ДАЮ УРОКИ-2

Продолжение. Начало на стр. 22.

— Без моего разрешения носа не высовывай!— приказал Пете полковник Мальцев.— Болей, зализывай раны. Мне еще за тебя намылят шею.— Бодро звучал голос полковника, подбадривал он парня. Но Петя Брагин не слышал. Он никого не слышал и никого не видел. Он туда смотрел, в узкий зал тот, где из-за портьеры появилась Ира, он ее только видел, шатко шагнувшую. Потом был взрыв.

День выдался удачным для осени в Москве. Солнце пригревало. Желтые листья, кое-где уцелевшие на ветках, встрепенулись, зажив зыбкой надеждой, чуть приободрилась пожухлая трава. А вдруг еще все вернется, снова настанет лето, и зиме не бывать...

Условленное место встречи с полковником Мальцевым было презабавнейшим. Это было кафе, но даже и не кафе, а некое столовое заведение со смешным названием «пончиковая».

Суббота была неурочным днем для «пончиковых» бесед, но вчера, прощаясь, полковник сказал Знаменскому: «Завтра в двенадцать в нашей стекляшке». Он ничего больше не прибавил к этим словам, но слова эти были приказом.

Пончиковая находилась на Сретенке, почти на углу с Последним переулком. Бойкое место. Серединное для Москвы. Но для Москвы былой, когда она совсем маленькой была. Теперь этот центр, оставаясь все еще центром, привычный, как центр, отодвинут был все же в сторонку, тут тише было, чем на иных еще недавно окраинных улицах, здесь и торговля шла всякой мелочью, не как на былой Сретенке, где на самой улице и по всей округе торговали главными продуктами, мясной был торг, а в устье улицы разливалось и главное московское торжище — Сухаревский рынок.

Рынка этого, разумеется, Знаменский не застал, как и Сухаревской башни, все былое тут было до него, но он был москвичом, он, не помня, помнил старину своего города, странной этой памятью помнил, родством своим, что ли, со всем былым. Не потому ли мы и отстаиваем древние стены, ветхие домишки, что родня мы им? Толкуем про разное, про памятники архитектуры, а на самом-то деле печемся о стареньких своих родственниках. Без них, без древней родни, кто мы?

Знаменский наслаждался, когда попадал случайно в кривые эти переулки, присретенские эти Колокольников, Печатников, Головин, Пушкарев... Как с родней с ними раскланивался, не молясь, молился на их церкви, на древние стены с сирыми без крестов куполами. Вот и сейчас он крюк дал, чтобы миновать, глянув на древние стены, церковь Святой Троицы в Листах. Она была в лесах, на ней пытались ныне снова поднять сбитые, порушенные купола. Поднимали медленно, неумело, перевелись мастера, каменщики, умевшие тянуть в небо купола,— это тончайшая была работа, ведь купол из кирпича должен был парить. Бесконечно долго тянулась работа по восстановлению того, что в час один когда-то было уничтожено. Так и в жизни, и у каждого из нас... Миг один — и все разрушено, все прахом. Тянись потом, надрывайся, пытаясь восстановить.

И все же восстанавливались эти купола, обретали себя. За оградой из досок, за подмостями, проглянули упругие бока, обозначилось взлетающее пятиглавие русского храма. Пошло́, стало получаться у упрямцев камнекладов, порушенное будет восстановлено, в это поверилось.

Миновав церковь по Садовому кольцу, Знаменский свернул под эстакаду, вынырнул, вкатился на Трубную улицу, тоже из древних древнюю, с недоброй, кстати, молвой улицу, краснофонарную когда-то, где, впрочем, Чехов когда-то жил. Вот она какая, Москва, как в ней все перемешано. Да, и публичные дома, но и Чехов молодой, но и на холме вблизи — Рождественский монастырь, некогда женский монастырь, столь древний, что все знали его могучие стены: и святость, и блуд, и даже рукомесло для монастыря совершенно внезапное — тут в течение долгих лет после революции бывшие монашки занимались вышиванием золотой нитью красных знамен, тех, что потом проносили на демонстрациях по Красной площади. И совсем невдалеке был Центральный рынок, центральное московское чрево. Все смешалось, усмешливый у Москвы был нрав.

С Трубной улицы Знаменский свернул в Последний переулок. Этот кривоватый и в гору переулочек так уничижительно был наречен не без причины. Тут тоже краснофонарные когда-то шумели домики. Вот не потому ли так и назвали это место? Последнее ведь дело, если по совести-то, покупать любовь. Но была и другая легенда, связанная с названием. Мол, переулок после пожара двенадцатого года был в ряду сретенских последним перед Сухаревкой, все прочее выгорело. Старожилы и еще какие-то имели свои резоны, чтобы объяснить, почему они живут в Последнем, но и не в Последнем, напирая на то, что совсем еще недавно их переулок назывался Мясным, что здесь был чуть ли не центр торговли на Москве мясом. И каким мясом! Никто этого мяса из ныне живущих не мог отведать, но твердо знал, что мясо было замечательным, не таким, как теперь, где одни жилы. Вообще раньше было все лучше. Это уж точно. Даже небо над Москвой стояло выше, было голубей, в веселеньких облаках. Теперь не то небо, смог проклятый набряк над Москвой. И хотя небо могло быть и теперь голубым и прозрачным, могло быть в самых-рассамых милых сердцу барашковых облаках, все равно не то это было небо. Вот и небо сумели порушить. А попробуй восстанови-ка небо.

Почти у самого угла переулка, выходившего на Сретенку, где и была пончиковая, Знаменский остановил машину, припарковался чуть ли не напротив 18-го отделения милиции. Усмехнулся совпадению. Так уж всегда, парами все в жизни ходит. Вчера в ночь приволокли его в какое-то отделение милиции, сегодня вот сам подкатил к отделению милиции. Кстати, а не заволокут ли его и в это отделение, хотя бы за то, что посмел тут парковать машину? Два молодых лейтенанта, стоявшие у входа в милицейский участок, не без интереса рассматривали вставший напротив «мерседес». Но ничего, поглядели и удалились, поверили Знаменскому, что он человек, достойный доверия. На «мерседесах» спекулянты и бандиты не раскатывали, а раскатывали либо иностранцы, либо люди с положением. Но если бы молодые лейтенанты глянули в лицо владельца «мерседеса», то сомнение вползло бы в их души. Лицо этого владельца носило свежие следы драки — совершенно недопустимого для владельца такой машины занятия. Но лейтенанты через улицу не стали заглядывать Знаменскому в лицо, а уж он и подавно себя им не демонстрировал, поняв по вчерашнему, что московская милиция бывает быстра на расправу. Господи, так ведь и он сам был чем-то вроде этих, из милиции. Да и шел он на явку — именно так!— с полковником той же службы. Плела кружева лукавая Москва!

Полковник Мальцев уже ждал его в пончиковой и уже приступил к делу, его губы и подбородок были приметно выбелены сахарной пудрой. Полковник — и это было новостью для Знаменского — явился на встречу с ним в форме. Что так?

Увидев Знаменского, полковник поднялся навстречу, махнул, приветствуя, рукой, сжимавшей пончик.

— Здравствуйте, Владимир Иванович.— Знаменский подошел, разглядывая полковника, его орденскую, не очень, впрочем, пышную колодку.— В честь чего сей парад?

— А в вашу, молодой человек. Не парад, а прикрытие. Лик-то у вас подозрительный. Я предвидел, что фингаленции всплывут за ночь. Так и случилось. Что за гражданин за подозрительный? Милиция-то рядом. Решил прикрыть вас своими погонами. Да, разделали нашего красавца... Болит?

— Терпеть можно. А вот как вспомню эту Иру, тогда хоть кричи.

— Да, Петра жаль. Он сейчас в опасности. В черноте. Здесь посидим, потолкуем и поедем к нему в госпиталь. Не жду, что он нам обрадуется. Не жду, что мы ему чем-то сумеем пособить. А рядом быть надо. Вам придется, Ростислав Юрьевич. Я его к вам приставил, а теперь... Садитесь. Пончик хотите?

— Больно жевать.

— Тогда кофейку. Клавушка, стакан кофе молодому человеку! Но не слишком горячий!

Они уселись за утлый столик, поглядели друг на друга. Знаменского раздражала эта пудра сахарная на подбородке полковника, он решился сказать об этом:

— У вас подбородок в сахарной пудре, Владимир Иванович.

Полковник достал платок, тщательно вытер подбородок, спросил:

— Теперь соответствую?

— Теперь соответствуете.

Подошла, вернее, подкатилась толстая, просто круглая, как пончик, официантка. Она и в пончиковых расцветках пребывала, была румяно-смугло-припеченная и слегка лоснилась. Поставила перед Знаменским стакан кофе, тарелочку с пончиками, не веря, что есть человек, который откажется от такой восхитительной еды. И она не сразу ушла, а долгим взглядом изучила Знаменского. Все заметила. И что одет преотлично, но будто бы небрежно, одет во все заграничное. И что часы у него на руке из самых-самых, и что ключи от машины бросил на стол, а ключи были на таком брелоке, который сам по себе был большой ценностью. Но, главное, она его лицо рассмотрела. Хорош собой, что говорить. Из кинофильма парень, из боевика заморского. Но вот побито личико-то, синяки, ссадины, глаза не светят. В беде парень. И то, что оказался элитарный молодой мужчина в беде, это зоркую Клавушку, официантку при жалкой пончиковой, как бы сроднило, сблизило с ним. Был бы в порядке такой мужчина, она бы не решилась разглядывать его, по ту сторону глухой стены был бы он для нее. А в беде этот же самый, из чужого мира мужчина к ней шагнул, к официантке, стал возможен у них диалог. И она спросила:

— Женщина подвела? Мне о вас напарница все уши прожужжала. Мол, артист к нам стал захаживать. Пригоженький такой. Из-за женщины вас?

— Из-за кого же еще?— ответил полковник.— Из-за вас только все беды.

— Я бы не подвела, такого бы уберегла,— сказала официантка, признаваясь в любви, именно так, в любви с первого взгляда, и вовсе не шутя, а мгновенно все прикинув: и верность свою, и готовность свою все кинуть, если только позовет. Серьезные были у нее глаза, маленькие, как вкрапины от лопнувшего на пончике теста.

— Все вы так говорите,— сказал полковник. Он протягивал женщине руку, чтобы из неловкости ее вытащить, в которую она себя вводила.— Кружите нам, бедным, головы. А потом страдай, как он, светись фингалами. Кто вас придумал только, женщин?

— Что это я?— опомнилась официантка, устыдясь, устрашившись того, что с ней вдруг случилось, когда глянула в лицо этого из сказки, из снов мужчины, подманившего ее своей побитостью, уравнивающей их.— Совсем рехнулась!— И пошла, покатилась от стола, злая на себя, несчастная.

— Сложно, жить сложно,— отчего-то вдруг помрачнел полковник.— Уставать начинаю. Все-то мы воюем за чужие счастья, а собственного-то нет. А? Петю жаль... Жизнь плюет нам в душу, она умеет, но чтобы так... Ведь они было пожениться собрались. Ждали только, когда его в лейтенанты выпустят, он учился далеко от Москвы. А сперва был Афганистан. Ну, вернулся цел, с двумя орденами. Окончил офицерскую школу. Чего еще надо? Работу получил отличную. Квартиру мы ему обещали. Чего еще? Но вот пока парень наш за чужие счастья сражался, его собственное счастье сманили, завлекли, задурманили, сгубили. Я ночью все клял себя, я ведь знал кое-что. Надо было предупредить парня. А как? Меры принять, а какие? Зря я его по этому делу о наркотиках пустил. Тут все рядом, тесный мирок. И вот лоб в лоб сошлось. Это не случайность. Тут все рядом, даже в клубке. Из каких нитей клубок? Наркотики... Порнография... Терроризм... Да, да, и эта ниточка имеет место быть. Вот такая версия. Вот в такую мы с вами пьесу угодили, Ростислав Юрьевич. Мир борется за мир, все, как на плакатах пишут, люди доброй воли — за мир. А мы с вами, Ростик, что-то все воюем. И достается нам, как на войне. И войне этой конца не видать. Влипли мы с вами, Ростислав Юрьевич. Но надо же кому-то, надо. Кому на форумах беседовать, толкуя о безъядерном мире на вечные времена, а кому притоны вспарывать. Вас уж и подкололи, вот уже и измордовали. Зачем это вам? Кстати, хочу спросить, обязан. И вы мне по совести ответьте. Обещаете?

— Обещаю.

— Может, с вас довольно, Ростислав Юрьевич? После вчерашнего? Я доложу, вы себя отлично показали уже в нескольких эпизодах, заслужили, полагаю, пересмотра вашего дела. А, Ростислав Юрьевич, доложить? Дело-то уж больно у нас круто заворачивается. Вы не профессионал. Вы, так сказать, вольнонаемный. Ну, поработали на Родину, ну, искупили промахи свои. Искупили, так думаю. Докладывать? Я вас ни в чем не упрекну. Как, писать рапорт?

В этой «стекляшке», где в стены старого дома на Сретенке были врезаны непомерно большие окна, чтобы совсем светло тут было, хотя избыток света не столь уж нужен для пончиковой, здесь сейчас вовсю разгулялось солнце, из последних своих по осени сил не подпуская к Москве зимнюю хмурость. Как в Ашхабаде тут сейчас было, как в той «стекляшке», где Ашир Атаев с ним пил шампанское, где Ашир Атаев беседовал с буфетчицей, с немолодой уже татаркой Розой, ко-

торая почитала его, как отца родного. А потом к ним подсел Самохин. Важный, смешной, смертельно больной человек. Как недавно все это было! Как бесконечно давно все это было! Жив был Ашир, жив был Самохин, не ныл шрам в боку, не ныло, как сейчас, лицо, не ныла душа за Петю Брагина, за его гибнущую Иру. Вот и еще двое вошли в его жизнь, двое несчастных. И не было тогда всего того, что пришло, когда пришла к нему Светлана. Она там сейчас, в этом солнце, которое почему-то здесь сейчас.

— Что я должен делать?— спросил Знаменский.

— Значит, остаетесь?— Мальцев поглядел на него печально, не обрадовавшись.

— Так ведь «Кани» не пойман.

— Теперь Брагин знает его в лицо. И уж он-то его из памяти не выпустит. Ростислав Юрьевич, мой долг — предупредить вас... Я и сам недооценил этих людей.

— Владимир Иванович, мы начали разговор с того, что вы попросили меня быть рядом с Петей Брагиным. Как же мне теперь вас понимать? Вы непоследовательны.

— Это так, непоследователен. А почему я должен быть последователен? Я ищу. Версия... Вот она нас и завела во вчерашний подпольный шалман, где сбывают наркотики. В Москве, замечу, в Москве. А следы идут из Туркмении, оттуда дровишки. Вот так. А кассеты привезены из заморщины. Это уже иные дровишки. А их кто для Москвы заготовил? И так далее, и тому подобное. А вы даже стрелять не умеете. Умеете стрелять?

— Нет.

— Надо будет потренироваться. Завтра получите в нашей конторе пистолет. Советую «вальтер» взять. Старая вещица, но надежная. И весит мало.

— Завтра воскресный день, Владимир Иванович.

— Так и сегодня выходной, а мы работаем, пончики жуем. Да, я знал, что вы не бросите нас. Я вам поверил. Знаете когда? А когда вы смотрели на семью Аширa. Помните, когда они сидели, его жена и восемь его ребят, у ворот кладбища и ели лепешку, передавая ее от старшего к младшему. Я тогда увидел ваши глаза и поверил вам. А в непоследовательности вы правильно меня упрекнули. В сомнениях пребываю. Версия — она версия и есть. Но кажется, Ростислав Юрьевич, что первый акт нашей пьесы мы уже прошли.

— Вот сидим в антракте, пьем кофеек.

— Но и кое-что смекаем в антракте-то. Кстати, опять кстати, вы помните Мереда Джумаева из Красноводска?

— Конечно. Веселый, милейший парень.

— Он был близким другом Аширa Атаева.

— У него еще жена — секретарь обкома, что его серьезно тяготит.

— Он поклялся, что дело Аширa теперь станет его делом. По телефону мне поклялся. У нас ныне по телефону высокие клятвы дают. Но клятва есть клятва.

— Куда вы клоните, Владимир Иванович?

— Вы ему зачем-то нужны, кого-то опознать ему там нужно. Вы у нас первейшим оказались опознавателем, Ростислав Юрьевич. Гады эти легко выходили на вас, не боясь вас, понимая, что вы сбоку припека в нашей работе. Гады-то они гады, но все же и дилетанты отчасти. Иные из них. Не все, не все, увы. Иные. И вот кого-то там надо вам в Небит-Даге опознать. Меред Джумаев очень просил. Уважим?

— Когда мне туда?

— Завтра, не позже чем завтра.

— А как же здесь?

— А здесь работа у вас пока закончилась, Ростислав Юрьевич. Сбежал «Кани», подняли мы его со дна, спугнули. И он, так полагаю, в Москве торчать теперь не станет. Его уже и нет в Москве, так полагаю. А где он? Куда подался? Думаю, что как раз в Туркмению и подался. Базато главная у них там. И граница государственная тоже там. Горы, тропы, укрытия. Метаться начал этот «Кани». Может, и к лучшему, что вы вчера его не схватили. Пойманный рассказывает, загнанный показывает. Но хорошо, что подняли. Вынырнув, он кое-кого объективно уже выдал, и если они сами его не ликвидируют... Такая вот версия...

— И второй акт пьесы?

— И второй акт пьесы. Но мы ее не пишем, мы в ней участвуем. А драматург у нас с выкидонами. Вот что с Петей вчера выкинул. Да... Клавушка, еще пару пончиков! Клянусь, в последний раз!

Подошла Клавушка, неся на подносе пончики и кофе, подошла, а не подкатилась, будто сумела за несколько минут походку поменять, похудеть, что ли. Была строга лицом, отрешена. На Знаменского даже не взглянула. Одернула сама себя, стоя у агрегата, варящего пончики, вспомнила что-то, опечалилась чему-то. Всюду и всякий миг живут люди своим и серьезным. Мечтают и рвут мечты, как ненужные бумажки, вспыхивают надеждой и гасят ее, как спичку, от которой прикурили. Ни шагу не делает человек просто так. Даже шутя, мы не шутим. Даже смеясь, вдруг чего-то да пугаемся. Но ей все же хотелось, очень хотелось разузнать про этого принца, про мужчину из снов ее, узнать, если повезет, что никакой он не принц, что с полковником милиции потому сейчас здесь, что у него крупные неприятности, и избит он не из-за женщины, а по какому-то темному делу, участником которого — полковник-то не зря с ним толкует — он является, и еще всякое разное с ним может произойти. И она, ставя тарелку и стаканы на стол, невзначай как бы сказала:

— А помните, товарищ полковник, как вы тут года четыре назад брали трех убийц? Я тогда чуть не умерла от страха. Такая драка началась! Ножи выхватили!

— Помню, помню,— покивал Мальцев.

— Здесь?— удивился Знаменский и оглядел эту невиннейшую забегаловку с громадными, ничего не утаивающими окнами, где сейчас по случаю выходного никого, кроме них, не было, и где только утлые столики и стулья скучали, и пончиковый царил приторный аромат. Ничто тут не помогало воображению представить эту смертельную схватку с тремя убийцами, выхватившими ножи. Да и зачем им было сюда заходить? Сладкие пончики пожевать вздумали убийцы?

— Тут тогда было очень славненькое кафе, что-то вроде кинобара,— сказал Мальцев, перехватив недоумевающий взгляд Знаменского.— Рядом кинотеатр «Уран». Кафе было при кинотеатре. Разумеется, здесь можно было крепко выпить. И окон этих громадных, конечно, не было. В полумрак ныряли тут.

— После того, как вы их тогда взяли,— сказала официантка,— кафе наше сразу же закрыли, окна эти быстро-быстро прорубили. Одним словом, перестроились.

— Да, да.

— А вот, смотрю, вы и снова здесь, товарищ полковник. Снова кого-то брать будете? Может, мне уволиться заранее? Больше такого мое сердце не выдержит.

— Сердце надо беречь, это точно. Нет, Клавушка, работай спокойно, никто тебя здесь больше не потревожит.

— Верь вам! А потом в переулке рядом, ну, в Последнем, человек сразу же отравился, как только узнал, что убийц схватили. Не простой там дядечка, а начальник из начальников. Я его много раз встречала, он жил в Последнем. Тоже нарядный, видный. Вроде вас.— Она глянула недобро на Знаменского.— Правда, старый. А что, что старый? Актриса прекрасная в него была влюблена. Разбил он ей жизнь. Кружите вы бабам головы, такие вот. Честно, полковник, увольняться мне? Начнете еще тут из пистолетов палить!

— Увольняться не надо, а нервишки подлечить не худо бы,— сказал полковник и вдруг поднялся.— Ба, явление Христа народу!

В дверях стоял Петя Брагин. Он был в форме. Два ордена Красной Звезды молодо поблескивали на выходном милицейском мундире. И еще там было полно всяких медалей и значков. Как на парад собрался. Подтянутый, начищенный. Но если и на парад, то прямо из боя. Голова забинтована, фуражка сдвинута не по форме, бинты мешали правильно ее надеть, а ворот уж совсем не по форме был распахнут, галстук разжался, и вымпел тельняшки дерзко вырвался из-под милицейского мундира.

— Господи!— свела ладони женщина, испуганная и завороженная.— Я же говорила!..

— Так и знал, что вы тут сейчас пончики кусаете!— сказал Петя Брагин, негромко проговаривая слова, но с такой изнутри гневностью, с таким осуждением, что они выкриком показались.— А где Ира? Куда вы ее упрятали?!— Он шагнул к полковнику, вспомнил — тело вспомнило,— как надо встать перед старшим офицером, он так и встал, вытянувшись, руки по швам. Но в глазах у него недобрый светился огонек. Перед взрывом огонек. Все теперь были виноваты в его несчастье! Весь мир! И даже этот его полковник, которого он еще недавно боготворил.

— Поедем к ней,— сказал полковник Мальцев.— Хорошо, что нашел нас. Мы к ней и собирались. А тебя думали дня два-три не беспокоить. Оклемался? Ну, молодец. Покатили!— Он не глядел в глаза парню, давал ему чуть остыть.— Прощай, Клавдия.— Он выложил на стол трешку.— Не пугайся, если что и будет, то не в твоей пончиковой. Место слишком сладкое для наших дел...

Продолжение следует.

Лазарь КАРЕЛИН

РОМАН

Рисунки Петра ПИНКИСЕВИЧА

ДАЮ УРО

Из Москвы в Ашхабад прилетел полковник Мальцев. При встрече с Ростиславом Знаменским он рассказал, что попутчик, с которым Ростислав летел в самолете, был вовсе не сценарист Петр Сушков, а перевозчик наркотиков. Его надо задержать, чтобы узнать адреса подпольных лабораторий по изготовлению отравы и адреса тех, кому он ее вез. Так как Знаменский — единственный, кто знает этого самозваного сценариста в лицо, его просят помочь в розыске преступника. Вместе с Мальцевым он улетает в Москву, где работает переводчиком в Госкино, приглядываясь к зрителям на закрытых просмотрах иностранных фильмов. Сопровождающий Знаменского старший лейтенант милиции Петр Брагин знакомит его со своими товарищами, с которыми служил в Афганистане. В один из вечеров все они отправляются в ночное кафе, где Брагин видел подозрительного человека. Они встретили здесь Сушкова, но преступнику удалось скрыться.

У «мерседеса», когда они подошли к нему, стояли два молодых лейтенанта. Не праздно, а как на посту, заняв позиции, чтобы можно было перекрыть к машине подходы.

Увидев Знаменского, шедшего впереди, лейтенанты насторожились, напряглись. Но тотчас же увидели и полковника Мальцева, которого сопровождал в бинтах под фуражкой старший лейтенант их же службы. Немая, так сказать, произошла сцена.

— Вы что тут делаете, ребятки? — спросил полковник.

«Ребятки» вытянулись, козырнули. Один из лейтенантов узнал полковника.

— Товарищ Мальцев, это вы?

— Это я.

— Вот служу в восемнадцатом.— Лейтенант сиял, радуясь встрече, поделился радостью встречи с напарником: — Я у товарища полковника в семинаре занимался. Товарищ полковник, это ваша машина?

— Наша.

— А мы думали... Ее вчера патрульные засекли... Потом... Да вы, наверное, слышали...— Лейтенант приблизился к полковнику, шепнул: — Налет вчера был... А эта машина...

— Знаю, знаю.— Полковник Мальцев миновал шепчущего лейтенанта.— Так это ваши ребятишки нашу машину засекли? Ну, молодцы! А вы, лейтенант, стало быть, ее стережете?

— Стало быть... Похоже, ошибка вышла?..

— Какая же ошибка? Все правильно. Злоумышленник паркует свою машину, приметную из приметных, как раз напротив отделения милиции. Все как по нотам. Маскировка! Кто может подумать, что эта машина на подозрении, если она припаркована возле милиции? Никому в голову не придет. Но не тут-то было! — Петя Брагин и Знаменский уже сидели в машине, и Петя буравил полковника глазами, торопя. Сел в машину и полковник Мальцев, приветливо козырнув молодым лейтенантам.— Нет, не зря я вам лекции читал. Поехали!

Машина с места рванулась, развернулась, явно нарушая правила, и помчалась по Последнему переулку, оставив молодых лейтенантов в недоумении и растерянности.

14

Полковник знал адрес. Вернее, он знал путь, по какому следовало ехать. И он стал давать отрывистые указания Знаменскому, куда свернуть, когда приготовиться к повороту. Вот и весь разговор в машине, где все нарастала напряженность, невыносимость какая-то. Казалось, от Петра Брагина исходит жар, он как головешка был, выхваченная из пламени, сама еще в пламени. Он сидел рядом со Знаменским и прожигал глазами путь. Даже мельком, невзначай не рисковал Знаменский взглянуть в эти глаза, в это лицо, испепеленное будто. Бинты, охватившие лоб Петра, были не белее его лица.

Путь оказался недолог. Машина скользнула в какой-то богом забытый переулочек, где все было старым и ветхим, где ничего не напоминало о семи десятилетиях, миновавших после революции, а именно все напоминало и утверждало былую Москву, но из той ее части, где всегда было сиро и хмуро, где уездный некий городок как бы представлял себя в первопрестольной. Хмурые домики, ветхие, в два этажа, ну, три, а были и об один этаж. Казалось, тут все замерло, ожидая бульдозер, «бабу», рушащую стены, тягачей с панельными сочленениями будущих великанов. А пока... А пока вот в одном из самых представительных тут домишек, почти в три этажа великана, разместился наркологический пункт. Судя по вывеске, косовато прибитой у обшарпанной двери, но новой, совсем еще со свежими буковками, наркологический этот пункт возник тут вёсьма недавно. Ну, когда спохватились, что и у нас, оказывается, есть, имеются люди, погружающие себя время от времени в дурман. Зачем им это?! Ведь никаких же социальных предпосылок у нас для этого нет. Ведь нет же! Иное дело на Западе. О, там это уже эндемия. Там это национальная трагедия. Сопоставление цифр, сколько у нас дурманящих себя и сколько у них там, скажем, в Штатах, такое сопоставление просто-напросто нелепо. У них — с десяток миллионов, у нас — ну, с пяток десятков тысяч. Словом, тут мы отстали невероятно, и замечательно, что отстали. Так-то оно так, но и в пяти десятках этих была для всякого своя беда, своя была одна-единственная Ира. Цифры безлики, нет смысла ими жонглировать, когда за каждой палочкой стоит человек.

И без указания полковника, лишь увидев эту за стеклом вывеску, такую сирую, что сердце сжалось, Знаменский остановил машину, вдруг разучившись это делать, рывком, запнувшись, оробев вдруг.

Вышли из машины. Мешкая, выходили. И не спешили к двери. Полковнику понадобилось закурить, хотя редко когда закуривал. Знаменский завозился с замками, будто именно тут, в этом пустынном переулке, кто-то обязательно позарится на его «мерседес».

Петя Брагин тоже замешкался. Но его мешкотность была иной, чем у его спутников, иного калибра был страх его. Это был ужас. Он, паренек этот молодой, в зримый вступал ужас. И в одоление самого себя. В другую зону жизнепребывания он вступал, где мудрость, где умение прощать обитают. А как он мог там зажить, совсем не готовый к столь высокому жизнеобитанию? Он был простой наш паренек, с самыми простейшими представлениями о жизни. Он любил девушку, их развели его службе в армии, его службе в Афганистане, а потом два года в милицейской школе. Но они собирались пожениться, и она должна была его дождаться. Все. Чего проще? Чего яснее? Но не дождалась. И сгинула простота, нет ясности, одна печаль и боль, один ужас и ужас. Но он разве был из простоты житейской доставлен к этой двери? Он из Афганистана сюда подкатил. А там жизнь показала ему эту самую оборотную сторону медали. И потому он мог все же и такое понять, чего не дано, казалось бы, ему было понять, этому простейшему, веселому пареньку. Он мог вступить в зону высокого. Он мог, он решился переступить обшарпанный порог. Он первый вошел в этот дом.

Как исхитряются люди, делая ремонт, отводя помещение под некую лечебницу, все мигом вгонять в такую унылость, в такую пластиковую безликость? Как-то все же исхитряются, хотя это требует особого умения, особого равнодушия, безразличия, скудодушия. Чего еще? Но достаточно, ничего прибавлять не нужно, чтобы выстлать безликим линолеумом этот коридор, чтобы уставить его стульями, которые были списаны лет двадцать назад за уродство и колченогость, но жили, ждали своего часа на складе, чтобы все двери, выходившие в коридор, были на одно лицо, а на подоконнике единственного окна в конце коридора стоял горшочек с геранькой, сиротливой хуже осени.

Отворилась одна из дверей, выглянул какой-то бородатый и слегка взлохмаченный дядя лет под шестьдесят. Глаза были у него зоркие, мигом все углядывающие. Борода была такая, когда человек в силе, хоть и пестрит борода сединой. Он был в халате, этот бородач зоркоглазый, свежем халате, изумившем в этом унынии своей радостной белизной.

— Вы ко мне? — спросил бородач.— По поводу вчерашнего поступления? — Он заговорил с полковником, его изучая, а Брагина и Знаменского оставляя на потом.

— Где Ира?! — шагнул к бородачу Петя Брагин, и бородач чуть откачнулся от его пламени.— Ведите!

Бородач отворил пошире дверь, рукой приглашая войти.

— Все по ходу пьесы,— сказал он.

— И тут тоже пьеса,— сказал Мальцев, глянув на Знаменского.

Вошли. Узкая в одно окно комнатка, ввергающая в уныние.

— Что же вы так бедненько тут устроились? — спросил Мальцев.

— А мы и есть бедненькие, товарищ полковник,— сказал бородач.— Цветы и ковры — они не для нас, нам они даже как-то были бы не к лицу, униженным-то и оскорбленным.

— В философию облекаете эту скудность? — сказал полковник Мальцев, недобро глянув на бородача.— Сказали бы, что средств отпустили мало, я бы вас понял. Но нет, вот уже и философия готова. Умеем мы это.

— Умеем, это мы умеем,— покивал бородач, довольный, кажется, что строгий полковник начинает входить во гнев.— Да и никак нельзя нам без философии. Здесь — никак нельзя. Мы здесь души врачуем. Именно что униженных и оскорбленных. Средства, говорите? Они нам нужны. Но не для украшения стен и полов, не для ковров и обоев под шелк. Украшайте этим всем свои привилегированные санатории разных там управлений. Нам средства нужны для препаратов, которых еще нет. Их надо найти. Нужны лаборатории, нужны умные и умнейшие головы. Вот на что нам необходимы средства. Нам деньги нужны на профилактику, а это уже миллионы и миллионы. Вам ли не знать, что означает это слово, профилактика эта, когда речь идет о наркомании? Мании! Как эту манию разжать, обезвредить и, да, да, вычернить всенародно, убогость ее выставить на всенародный позор — как? Вот это требует усилий, громадных, и, разумеется, денег, средств. А ковры — это дешевка. Моим, кто у меня здесь, ковры без надобности. Они все познали. Им скудные стены и полы роднее. Я вот им себя дарю, а я не коврик. Разрешите представиться.— Бородач выбрал первым Петю Брагина, протягивая ему свою сильную, поросшую волосами руку, хотя спор-то вел с полковником.— Доктор медицинских наук Христофоров Николай Николаевич. А вы, как полагаю, Петр Брагин? Рад, что появились. Я и рассчитывал, что появитесь. Хотя учтите, вам, именно вам вход запрещен. Выставлено условие. Сразу же. Не хочет она вас видеть. Ей, когда пробудилась, никто так не страшен, как вы.

— Разве я ее трону? — У Петра Брагина голоса хватило лишь на шепот.

— Глупый. Она глаз твоих боится. Вот как пылают. Умерь огонь. Прости ее, мальчик. Прости. Сумеешь? — Доктор не стал ждать ответа, отвернулся к полковнику, протянул ему руку, повторив: — Доктор медицинских наук Христофоров Николай Николаевич.— Он счел нужным еще добавить, специально для полковника: — Доктор-то я доктор, но в этом недуге еще не более как стажер. Виню себя, кляну себя. Ну, вы там шляпили, какой с вас спрос. Но я-то, я-то, старый дуралей, ведь я врач, нарколог, черт меня подери. Куда смотрел?! Виновен, виновен!

Затем он обернулся к Знаменскому, ему протянул руку.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 31—35.

КИ-2

— Вас не разберу, худо прочитываетесь. Машину вашу роскошную углядел в окне. Зачем вы здесь? Почему? Из иного мира гость. Ну, мир-то у нас один, мирки разные. Так вот вы, молодой человек, из иного мирка, не для сих мест гость. Кто это вас? Во вчерашней атаке участвовали? Стало быть, на нашей стороне? Рад за вас. Стойте, стойте, где-то я вас встречал!..

— Ростислав Знаменский,— сказал Знаменский, отводя глаза от пронизывающих, в сталь по цвету глаз Христофорова.

— И фамилия на слуху. Журналист? Телевидение? Узнал? Так?

— В прошлом,— сказал Знаменский, пытаясь высвободить руку, но доктор наук медицинских посильнее имел руку, чем натренированный теннисист. И зачем-то доктору наук требовалось длить свое рукопожатие.

— А все-таки журналист? Не люблю журналистов. Ваш брат все знает, всех учит. А заболеет — глядишь, и перетрусил, и пал духом, и мнителен, и несведущ. Не обижайтесь. Опираюсь на опыт.

— Он милиционер у нас,— сказал полковник Мальцев.

— Ах, вот как? Не похож. Впрочем, ныне все меняется, все меняется. Что ж, поздравляю, милиции нужны интеллигенты с несколькими генерациями культуры. Я вот из крестьян. Впрочем...— Наконец, Христофоров выпустил руку Знаменского. И вдруг поскучнел, построжал, официально уселся за однотумбовый столик, извлек из ящика канцелярского вида тетрадь.— Ну, и какова же цель вашего прибытия? Свидания я не рекомендую. Не смею.

— Мне бы только сказать ей одно слово,— сказал Петя Брагин, шепотом сказал, не разжалось горло.

— Какое? — спросил доктор, подняв руку с шариковой ручкой, будто собрался это слово внести в канцелярскую тетрадь.

Петя Брагин сглотнул, ища это слово, готовый его вымолвить, но слова не было, он не знал его, он знал лишь, что должен найти его, это слово, произнести его, чтобы Ира знала, что он... А что он? Что он?! Не отыскивалось это слово, не оживало в нем.

— Это и хорошо, что не находите слова,— сказал доктор, взъерошивая свою пестро-седую бороду.— И я вам тут не помогу. Никто вам не поможет. Слова такого нет. Му́ка есть, а слова нет. Что ж, ну что ж, поглядите друг другу в глаза. Рискнем... Не знаю, не знаю... Рискнем... А вы, милостивые государи, вон отсюда. Здесь и мне нечего делать. Уйдем. Ее я пришлю. Уйдем. Пошли. Вон нам отсюда! Кто мы перед ликом отчаяния? Наблюдатели?! Долой нас отсюда!

Размахнув руки, доктор стал выпроваживать из своего кабинета полковника и Знаменского, да и себя самого подгреб. Вышли в коридор, двинулись к выходу. А Петя Брагин остался в кабинете, и Знаменский не посмел, уходя, глянуть на Петю.

У выхода доктор приоткрыл одну из дверей, распорядился:

— Вчерашнюю девочку в мой кабинет. И оставьте их там вдвоем. Минуты на две-три, если она эти минуты выдержит. Будьте рядом, за дверью. И уведите, помогите уйти, если начнет кричать.

Немолодой женский голос, усомнившись, отозвался из-за двери:

— Ох, я бы не советовала, Николай Николаевич!

— Исполняйте!

Подталкивая руками и себя выдворяя, доктор вывел полковника и Знаменского на улицу, в этот унылый переулок, который, как оказалось, был полон жизни, света, приветливости, в милых был домиках.

15

Съездить на дачу перед отлетом в Красноводск не удалось, потому что отлет был перенесен с завтрашнего утра на сегодняшний вечер. Так решил полковник Мальцев. Он решил так еще у двери наркологического пункта, едва лишь вышел из этой двери Петр Брагин, едва лишь увидел он его. Все тот же был. Да разве за пять минут изменится человек? Ну, горе у человека, ну, обожгла его беда, ну, в ярости он. Но за пять-то минут что еще может прибавиться к этому убийственному набору? Оказывается, может. Все тот же он был, так же набекрень и нелепо сидела на бинтах фуражка, так же расстегнут был ворот, чтобы все знали, что милиционер-то он милиционер, но из десантников, и ордена на мундире за Афганистан, и что он готов поквитаться кое с кем, пощады не будет. Такой вошел, такой и вышел. Нет, не такой. Он иначе вышел.

Он тихим вышел. А входил, взведенный яростью. Он вышел, как человек, принявший решение. Ничто, никакая сила не могла теперь его остановить. Яростные могут уняться, остыть. Такие, вдруг притихшие, пойдут до конца. Только смерть их может остановить.

— Сотрясен человек,— сказал Христофоров.— Побегу, взгляну, как она...— И сорвался, забыв попрощаться.

Петя Брагин узнал полковника, узнал Знаменского, чуть даже улыбнулся им. Он был тих и кроток. Пугающе тих и кроток.

Он подошел к машине, отворил перед полковником дверь, не торопя, позвал:

— Поехали.

— Да, поехали.— Полковник сел в машину.— Сегодня же. Летите в Красноводск. Сегодня же. Вечерним рейсом. Там Знаменскому надо кое-кого опознать. Подсобишь ему, прикроешь.

— Я тоже так думаю, что их теперь надо искать в тех краях,— сказал Петя Брагин.— Значит, совпало у нас с вами, товарищ полковник?

— Совпало, Петя. Рванули в управление, Ростислав Юрьевич. Только не наломай там дров, старший лейтенант, прошу тебя.

— Там леса нет, одни пески да горы,— сказал Петя. Ровно звучал его голос, и он вовсе не шутил, просто устанавливал общеизвестный факт, что там, в Туркмении, одни пески да горы.

Знаменский вел машину, как повел бы ее Брагин, но тот Брагин, до этой двери. Знаменский гнал машину. А Петя Брагин, каким вышел из той двери, даже попросил Знаменского не гнать:

— Ростислав Юрьевич, сбавьте обороты, нам приключения сейчас не нужны.— Этот тихий голос, это благоразумие пугали в нем.

В управлении все, что следовало сделать, делали Знаменский и полковник, это они спешили, а Петя Брагин не спешил. Он задумывался часто, совсем утихая. Вдруг остановится, обернется вдруг, глядя невидящими глазами. В управлении, где трудно было сыскать человека, который бы не знал, сколь страшна бывает жизнь, на Петю Брагина посматривали сейчас не без оторопи. Тут понимали, что это за тишина зажила в нем.

Знаменский получил пистолет. «Вальтер» попросил, как советовал полковник. Получил он и удостоверение, синенькие корочки. Там значилось, что он сотрудник, и там был зарегистрирован его пистолет.

Вот как крутила-вертела с ним жизнь, стал он сотрудником, правоохранителем. Звания у него еще не было, назначение в жизни уже определилось. И «вальтер» этот, повисший под пиджаком и под левой рукой на оперативном ремне с кобурой, тоже не шуточное являл в его жизни тяготение. И когда в подвале, где был тир, подучили Знаменского наскоро, как обращаться с личным оружием, пострелял он из этого действительно ладного, легко легшего в ладонь пистолета, услышав ладонью, как тот, отдавая от выстрела, дружбу как бы с его ладонью завязал, твой, твой, мол, я, вместе мы теперь,— когда пострелял так, то и еще, озарением, понял, что жизнь меняется, жизнь еще более строжает для него.

Полковник Мальцев уединился с Петром Брагиным в своем кабинете, наставления последние давал старшему лейтенанту, профессионалу. А так называемого вольнонаемного, именно так, нанятого по его собственной воле Знаменского, отпустили, выдав еще билет на самолет, командировочное предписание, деньги, какие полагались на недельную командировку. На неделю они отправлялись в Туркмению всего лишь.

Уговорились с Петей Брагиным встретиться уже в Домодедове, попрощался Знаменский с полковником Мальцевым, который ничего ему не сказал, только руку покрепче обычного сжал, и покатил Знаменский домой, к маме. Надо было собраться в дорогу. Но что за сборы, когда уезжаешь всего на неделю? И все-таки набил большой портфель, огорчивший его своей пижонской красивостью. Лучше бы скромный небольшой чемоданчик взять. Но такого скромного чемоданчика в доме не нашлось, все вещи тут, им накупленные, когда ездил по заграницам, были такими же, как этот портфель, пижонскими, похваляющимися. Можно было взять чемоданчик матери, но он уж очень был жалок, стародавен. До такой простоты Знаменский еще не дорос.

Предстояло проститься с Леной. Предстоял телефонный разговор с ней. Провожать его она наверняка не вызовется. Не заведено было. Когда улетал куда-нибудь, если, конечно, не на долгий срок, Лена его не провожала. А вот когда возвращался, тогда, конечно, нельзя было не встретить. Машина-то нужна была ему, когда возвращался, чемодан-другой прибавлялся ведь к багажу. Да и соскучивалась она по своему пареньку, застрявшему в заморщине. Так уж повелось у них.

Он набрал дачный телефон, горячо надеясь, что трубку возьмет не теща, которая бы замучила его расспросами, и не тесть, который, узнав, кто звонит, поникнет голосом, хотя и попытается тотчас его взбодрить. Тесть все время ждал иных звонков, судьбоносных, так сказать.

Трубку подняла Лена.

— Ленок, я улетаю в командировку,— обрадовавшись, что это она и что разговор будет коротким, бодро сказал Знаменский.

— Что за страна? — поинтересовалась жена. Она дожевывала вкусное что-то, нельзя было не дожевать без азарта, а где-то вдалеке, за спиной у нее, струились, переплетаясь, мужские и женские голоса. Гости! Как и обычно в субботу и в воскресенье. Навалом гостей. И всё его приятели и приятельницы. Хорошо, что не скатал на дачу, он не мог бы сейчас снести весь этот светский гам.

— Страна? — переспросил он.

— Ах да, я забыла! Ну, что за городишко нашенский?

— А все-таки страна. Лечу в Красноводск, а это — Туркмения.

— Ах вон что! К этой бабе потянуло? Ну, Ростик, ты даешь!

— О чем ты? Где Красноводск, а где Ашхабад. Пойди, взгляни на карту.

— Я и без карты могу понять. Я ведь баба, милый мой муженек, а мы, бабы, соображаем про такое всякое. Ну, кати! Лети! Что ж, лети, лети! Машину возле маминого дома оставишь?

— Да.

— Ключи ей оставь. Условились?

— Условились.

— Не забудешь?

— Не забуду.— Он повесил трубку.

Ксения Казимировна вознамерилась было проводить сына на аэродром, но сын отговорил мать. Да и между ними тоже не было заведено, чтобы мать провожала его, когда он улетал в короткие командировки. А неделя — это разве срок у разлуки?

— Что за командировка? — все же обеспокоилась мать. А им, матерям, и должно обеспокоиваться. Ксения Казимировна только и жила беспокойством о сыне, и когда маленьким был, и когда подрос. Гулять ушел, а ей беспокойство, запоздал на час, а она места себе не находит. Удел материнский.

— Обычная командировка,— сказал сын.— Семь дней. Лечу в Красноводск.— И он вдруг обрадовался, вспомнив круглоголового веселого Мереда, вспомнив море, и дальше, дальше проникнув памятью, туда, за пределы, куда мы отлетаем не по билетам, а душой потянувшись.

И мать, женщина ведь, тоже спросила:

— К той?

— Да что ты, мама? Взгляни на карту, где Красноводск, а где Ашхабад.

— Взгляну, сынок, взгляну.— Она его перекрестила.

А в аэропорту Домодедово, куда прикатил на такси, когда уже вечер наступил, Знаменского ждала ну никак не ожидаемая им встреча.

Только вышел из машины, подхватив портфель, с плащом на руке,— любил он так, налегке, пускаться в путь,— как еще в дверях, разводящих свои створы из стекла, лишь подойди к ним, углядел Петю Брагина. Едва узнал, так тот незнакомо оделся в дорогу. Был он в солдатской брезентовой робе, солдатские в обтяжку брюки были заправлены в высокие, грубые башмаки, излюбленную обувь альпинистов. Куртка на груди разошлась, и выглядывала из глубины синяя полоска. На бинты свои он натянул десантский со звездочкой берет. Погоны под брезентовой робой не угадывались. Но зато угадывалось — у себя эту тяжесть ощутил — там, под робой, под левой рукой, оружие. Повис там у Пети пистолет, крупная машина, не «вальтер» почти игрушечный, а мощное оружие профессионала, умеющего стрелять с обеих рук, падая, кувыркаясь, не глядя за спину, миг даже не потратив на прицеливание,— словом, как это делается в кино. Но Петя Брагин был не из кино. Фильм, в который вступал и он, Ростислав Знаменский, был объемным, с запахами, с непредсказуемым монтажом, с непредсказуемыми поворотами сюжета, со смертельным, возможно, исходом; это был фильм по имени Жизнь.

Поздоровались глазами, вошли в гулкий, суматошный вокзальный зал, где под потолком перелетали воробьи и было им там привольно, как над полем.

И вот тут-то нежданная, именно что непредсказуемая, ждала Знаменского встреча. У закрытого киоска «Союзпечати», где народ не толпился,— кто на корточках, кто сидя на бетоне пола, разместились семеро друзей Пети Брагина, семеро бывших десантников, отслуживших в Афганистане, семеро «афганцев», как ныне в народе их окрестили, этих парней, опаленных войной, тем более странной и даже чудовищной, что мир-то во всем мире вроде бы еще держался. Мир был, а кровь лилась.

Посредине этой семерки, нет, не «великолепной», хотя так и хочется назвать их так, поскольку семеро их было, поскольку могли они — уж это точно,— все то могли проделывать, что и пресловутая «великолепная семерка» из кинофильма-боевика, да и проделывали, но в жизни, а не в кино, в том-то и дело, что в жизни,— сидел их старшой, по-азиатски подтянув под себя ноги. Все семеро были одеты так же, как и Брагин. Робы, в обтяжку брюки, береты, синий промельк тельняшки, тяжкие башмаки, годные для горных восхождений.

Как к родным радостно шагнул к ним Знаменский.

— Пришли проводить?! Вот молодцы!

Семеро скупо улыбнулись ему, одинаково както, отцедив улыбку, но все же улыбнулись, признали, приняли. Но и только. Слов сказано не было. А какие, собственно, нужны были слова? Да, они здесь. А где им еще быть, если с их другом стряслась такая беда? Многое они перевидали, вот и еще увидали.

Петя Брагин сел с ними, стал восьмым. И Знаменский сел рядом с ними на бетон, наплевав на светлый пиджак и пижонские джинсы, которые, впрочем, и должны были терпеть такую с собой бесцеремонность, ибо были-то штанами для ковбоев. Но вот куда деть ноги, этого Знаменский не знал, не обучен был сидеть так, хотя поколесил в избытке по Востоку.

Ну, посидели недолго так. Молчали, но будто и разговаривали. Оказывается, когда такие парни тебя принимают, с ними и помолчать в радость. И как сразу на душе делается покойно в их кругу, как сразу все принимает свои размеры, свою сущность. Жаль, что сейчас их разлучит стальной голос женщины, то и дело объявляющий о регистрации билетов, о посадке на очередной рейс, о прибытии очередного лайнера. Да, вот и их рейс объявлен, вечерний рейс на Ашхабад с посадкой в Красноводске. Вот и их приглашают зарегистрировать билеты.

— Пошли,— сказал Петя Брагин. Он поднялся, но с друзьями прощаться не стал. Прощание состоится у той триумфальной арки, где произойдет современный церемониал просвечивания и даже обнюхивания, без которого ныне в путь уже не пускаются сыны и дочери последней четверти двадцатого, цивилизованнейшего столетия.

Зарегистрировав свой билет, Знаменский хотел было вернуться к парням, приехавшим их проводить, чтобы попрощаться, но у киоска афганской семерки уже не было. Куда подевались? Когда успели исчезнуть? Странный все же народ.

Петю Знаменский ни о чем спрашивать не решился. Петя Брагин был все время рядом с ним, но был он все время отгорожен от него, ото всех отгорожен, двигался, действовал как бы в незримой загородке, обособившей его, погруженного в тишину.

Арку Знаменский прошел в новом своем качестве, когда целый сгусток металла на нем, когда звон был поднят сигнальный, но, глянули две женщины на контроле на книжечку, в книжечку, в синие эти корочки, глянули не без изумления на него, а затем повертел книжечку в руках лейтенант воздушной милиции, и он был пропущен, этот металлоноситель, столь не похожий на людей милицейской службы.

А там — самолет, взлет, молчание, хоть и сидели с Петей рядом, двухчасовая полудрема ночного полета, невидимый во мгле Каспий, когда самолет пошел на посадку, приземление, выход на воздух, невероятный этот морской и каракумский воздух, до рези в легких ветрено-свежий, с десяток шагов по почти неосвещенному пространству от самолета к хмурому строению аэровокзала, и вдруг горячие, сильные и мягкие руки Мереда, его свежее дыхание, чудесный аромат его собственного одеколона, составленного из запахов сильного тела, свежего шашлыка и чуть-чуть, ну, совсем чуть-чуть водочного дуновения.

— Друг! Ай, рад тебе! Ай, салям алейкум, друзья!

— И я рад тебе, Меред, дорогой,— сказал Знаменский и оглянулся, чтобы представить Мереду Петю Брагина, и недоумевая, куда это Меред вдруг кинулся.

А он кинулся, оказывается, здороваться с Петей Брагиным, но еще и со всеми его друзьями, со всей семеркой. Вот оно что! Парни не провожающими были в московском аэропорту, а отлетающими. Вот оно как! Они прилетели этим же самолетом, вместе летели. Вот это проводы друга! Вот это друзья! Зачем? Почему? Но спраши-

вать их о чем-либо не следовало. Молчуны. Значит, так им было нужно. Петю Брагина тоже ни о чем не следовало расспрашивать, он бы и не ответил. Можно было спросить Мереда, если он хоть что-то знал, хотя наверняка он ничего не знал о намерениях этих парней, лишь догадавшись, что они вместе со спутником Знаменского прибыли, со старшим лейтенантом Петром Брагиным, да и были обряжены так же, как и он. А стало быть, с ними со всеми надо было здороваться, радостно их приветствовать на земле красноводской, ликовать по случаю их прибытия в город-порт Красноводск. И Меред ликовал. От всего сердца, как ему было свойственно. Но вот он снова кинулся к Знаменскому.

— Ростик, дорогой! Гостиница, стол, чал,— ай, нет Самохина, хороший был человек! — ждут тебя! Ростик, если бы ты знал, как я тебе рад! Слышишь! Друзья, вы слышите?! А?! Нет, это не гул железных птиц! Это море шумит! Каспий! В какой райский уголок вы прилетели! У вас там уже зима, так? У нас тут еще лето! Завидую вам! Рад вам! Милости прошу!

Да, может, и не услышал он гул моря, может, лишь почудилось, но услышал Знаменский иное в себе, радость услышал,— да, да, у чувства этого был звук. И даже еще и запах. Здесь воздух пах так же странно и диковато, как и в Ашхабаде, близкие Каракумы наносили этот воздух. Как и в Ашхабаде. А там жила Светлана.

16

Та же гостиница, где останавливались они с Самохиным, и тот же «люкс» на втором этаже. Совпадение? Но и тот же стол, в тех же яствах, в пустом, уже закрывшемся на ночь ресторане. Графинчик чала даже не забыл заказать этот милый, славный, умный, заботливый, ну, словом, замечательный парень, этот начальник всей красноводской культуры и муж секретаря обкома, а в недалеком прошлом киномеханик и вообще родной брат Ходжи Насреддина. И даже пахло в ресторане так же, как тогда. Пахло посудомойкой, стылым бараньим жиром — что может быть хуже? — но пахло и морем и пустыней, ветер доносил с улицы, из города этот слитный могучий дух, от которого бледнели щеки, завораживалась душа.

Все было готово к приему хоть и поздних, но дорогих гостей. Длинный стол был завален осенними щедротами сих благословенных мест, если только немного напоить водой землю. Дыни, арбузы, гранаты, хурма, виноград — прямо прилавок сказочно изобильного азиатского осеннего базара, длинный прилавок, каким-то чудом оказавшийся в узких стенах гостиничного ресторана.

— Похоже, амударьинская водичка уже начала тут у вас свою работу? — спросил Знаменский, залюбовавшись столом-прилавком.

— Начала! Замечаешь?! А?! — Меред ликовал.— Мы и раньше могли, но теперь еще больше можем! Принимай душ теперь, пожалуйста! Хоть утром, хоть ночью! Друзья! — Он обратился к уже усевшимся за стол парням-десантникам.— После скромного ужина, прошу учесть, можно будет у нас принять душ! Представляете, щедрый душ в Красноводске?! Когда это было?! Аллах с подобной ситуацией встречается впервые! А пока, прошу, отведайте нашей лепешки, нашей шурпы!

«Афганцы», к которым присоединился Петя Брагин, тесно обсели дальний конец стола, отгородились, похоже, от Знаменского и его приятеля Мереда, от штатских. У тех свой был разговор, у парней-десантников — свой.

Но они еще и к еде не приступили и никакого разговора между собой не вели. Сидели, скинув робы, одинаковые снова в своих выбеленных афганским солнцем полевых гимнастерках, чуть ли не с одинаковыми на груди наградами — у каждого было по ордену Красной Звезды, по горсти медалей и значков, колодочка сине-красно-желтых полосок, свидетельствующих о ранениях. Старший лейтенант Петр Брагин тоже был при орденах, не снял он и погоны. Только старшóй никаких не имел на груди ни наград, ни полосок, хотя они были на его гимнастерке, невыцветшими метами остались, но он их в какой-то строгий для себя час снял и спорол, сказав себе, возможно, одно-единственное слово: «Зачем?» Да, зачем все эти доказательства ратной доблести, когда обрублена кисть руки?..

Парни сидели и принюхивались к аромату, витавшему над столом, ветер, хлопающий дверью, ловили ноздрями. Где они были сейчас? В духане Кабула, у тамдыра чабанов, у собственного костерка на привале в горах? Этот воздух здешний, аромат плодов земли этой, был им знаком, он был породнен с ними, они возвращались, вспоминали. Самое высокое и страшное, что выдалось им в короткой их жизни, пахло этим воздухом.

— Друзья, шурпа не любит остывать! — призвал к трапезе Меред и первый зачерпнул от пламенеющего жира шурпы.— Но вот водки нет! Ну, нет ее, нет! Не нужна она воину, идущему на бой! Я так считаю...— Он наклонился к Знаменскому, округлил глаза, зашептал: — Группу захвата с тобой прислали?

— Ага! — кивнул Знаменский, будто что-то знал.

— Я знал, что вышел на след,— сказал Меред, гордый собой.— Я тоже кое-что стою, хотя...— Он хлебнул, забывшись, пламенной шурпы, поперхнулся, задышал раскрытым ртом.— Хотя... следа-то пока еще нет... Есть и нет... То есть, то нет... Скажи, Ростик, тот, круглый, в Небит-Даге, который подошел к тебе, в черном курдском халате и в ошской тюбетейке с черным узором, он хоть какую-нибудь бороду имел?

— Не помню. Не вспомню. Нет, кажется, нет.

— Ну, хотя бы кустик какой-нибудь под подбородком, седенький кустик? Ведь он был стариком, так?

— Стариком. Хотя... У него были крепкие зубы. Знаешь, такой, когда в старое лицо вставлены молодые зубы.

— Хорошо сказал! Ну, тогда усики должны быть. Ну, хотя бы маленькие, как зубная щеточка. Были усики?

— Нет, не помню. Кстати, я совсем недавно встретил в Москве одного круглого, старого, но тоже со вставленными в старое лицо молодыми зубами. Штампуют, что ли, этих гадов?

— Тот, в Москве, был русским?

— Кто его знает. Такие жизнелюбы круглые как-то утрачивают с годами свою национальность.

— Опять хорошо сказал! Слушай...— Меред снова зашептал: — Тут у меня в графинчике с чалом,— зачем нам чал, если нет Самохина? — немножко водки есть. Чалом я ее только подбелил, чтобы замаскировать. Слушай, им нельзя, а нам нужно. Помянем Самохина. У русских ведь полагается поминать, так? Выпьем! Чуть-чуть...— Он налил мутной жидкости в пиалушки, припал к своей и, только уже отпив, сказал: — Не чокаясь! У вас не чокаются в таких случаях. А у нас вообще нельзя пить, аллах не велит. Но он простит меня сегодня, я надеюсь. Скажи, тот, без бороды и усов, но в курдском черном халате и в ошской тюбетейке, если ты не спутал узор, скажи, какой у него был голос?

— Противный.

— Ай, не даешь ориентиров! Я весь Небит-Даг обшарил. Нет такого человека. Я даже согрешил на одного. Но... Нет, не он, не может быть, чтобы он... Хотя... Но он не носит халатов и тюбетеек. Никто никогда не встречал его в подобной одежде. Даже когда он пьян бывает, он всегда европеец, всегда при галстуке. В нашу жару, а все равно при галстуке. Но он тоже круглый. И он тоже тонким голосом разговаривает, когда сердится. Правда, он почти никогда не сердится, он почти все время улыбается. Вот так...— Меред оскалил зубы, улыбнувшись и не улыбнувшись, а именно оскалившись.— Похоже?

— Да, похоже,— насторожился Знаменский.— А ведь похоже! Ты знаешь такого человека, Меред?

— Знаю! Но это не может быть тот человек, это всеми уважаемый человек. Табиб! Доктор! Болезни сердца лечит.

— Кардиолог?

— Зачем? Венеролог. Нет, это не он. Богатый человек, спокойный человек. Веселый. Щедрый. Некоторых даже бесплатно лечит. Он у нас живет, дом тут у него с садом. Но он и в Небит-Даге живет. Там у него приятельница, милая женщина, тоже табиб. Он и в Ашхабаде живет. Там у него тоже есть дом и сад.

— И милая женщина?

— Было бы удивительно, если бы ее не было. Гурии льнут к этому Какабаю. Как шурпа, друзья? — Меред обратился к своим гостям у противоположного края стола.— Есть огонь, а?! Напомнила Кабул?!

Старшóй отозвался:

— Напомнила, напомнила. Краем уха слушаю ваш разговор. Три дома у человека, говоришь? Знакомая картина. След ты, Меред, взял верный. Табиб, говоришь? Видали мы этих табибов. Днем в зад вкалывает пенициллин, ночью в спину ударяет ножом. Покажешь нам своего Какабая. Предъявишь Ростиславу Юрьевичу. И не надо тянуть с этим.

— А, сегодня утром улетел в Ашхабад! Будто почувствовал, что надо исчезнуть. Но не верю, не верю! Хороший человек! Зачем ему, когда у него такая золотая профессия в руках? Сколько себя помню, столько он был богатым и щедрым.

— Но ты вызвал меня на него взглянуть? — спросил Знаменский.

— Но что мне было делать?! — Меред, впадая в отчаяние, даже начал кричать: — Круглый! Зубы! Голос тонкий! Неслышно ходит. Подкатился, укатился, есть он, нет его. Улыбается вот так.— Меред снова оскалился.— Похож! Но никогда не ходил в халате, не носил тюбетейки! Измучился я! Решил вызвать друга, посоветоваться. А вас сразу вон сколько прибыло! А если я ошибся?

— Тепло, тепло,— сказал кто-то, незнакомо прозвучавшим, процеженным сквозь зубы голосом. Знаменский глянул на этот незнакомый звук. Слова эти проговорил не разжимая губ Петя Брагин.— Горячо даже...— сказал он.— Кинулись?.. Старшóй, встали?!

— Встали,— сказал старшóй и поднялся.— Но откуда ты знаешь, Меред, что он улетел в Ашхабад, а не еще куда-нибудь?

— Летчики сказали. У него друзья среди летчиков, но и у меня друзья среди летчиков. Улетел, сказали, Какабай сегодня утром, в Ашхабаде людям понадобился.

— Тогда организуй нам немедленный вылет в Ашхабад,— приказал старшóй.— Быстрей, быстрей! Мигом!

— Как это? — опешил Меред, потускнев.— Ночью! Кто летает ночью?

— Мы летаем, нажми там на кого-нибудь. Брагин, свяжись, если нужно, с Москвой. Быстрей, быстрей! На выход!

Солдаты, это были солдаты, уже снова в своих робах, изготовившиеся к бою. Воздух здесь не обманул их, это был воздух войны, такой, какую они знали, от которой еще не отошли.

Была команда «На выход!», и дверь ресторанная распахнулась и захлопнулась, а ни Пети Брагина, ни семерых солдат уже не было в ресторане.

— Где я им возьму ночью самолет? — пал духом Меред. Пал и воскрес, восхитившись: — Но какой народ! Вот это, Ростик, люди!

— Жена...— подсказал Знаменский.— Жену попроси достать самолет.

— Придется... Ни о чем ее никогда не просил... Придется...— Меред, как перед подвигом, расправил плечи, шагнул, как с обрыва, к столику в углу ресторана, на котором был телефонный аппарат. Коротко набрал номер. Вздрогнул, услышав властный, даже до Знаменского дошедший, властный женский голос.— Акджемал? — робко спросил Меред.— Да, это я. Нет, я не пьян. Почему по-русски заговорил? Потому что рядом со мной стоит русский человек. Ты сама меня учила, что невежливо говорить по-туркменски, если в комнате находится русский, который по-туркменски не понимает. Откуда я? Я из ресторана. Ну, я тебе говорил же, что жду гостя. Акджемал, подожди, не делай мне выговор, пожалуйста. Тут совсем все другое, ласточка моя.— Меред подождал, пока его ласточка властным голосом выскажет ему все, что она о нем думает, а потом сказал: — Товарищ секретарь обкома, официально говорю, нам нужен самолет. Немедленно! Вылет на Ашхабад! Для задержания преступника! Под вашу ответственность! — Меред взмолился:— Ростислав Юрьевич, скажите ей! Она думает, что я пьян!

Знаменский взял трубку, переняв бурную и из острых камней, как лавина в горах, фразу.

— Здравствуйте, с вами говорит Знаменский из Москвы,— сказал он, выйдя навстречу «лавине».— Служба безопасности,— представился он, хотя и не знал, а так ли представляется.— Группа захвата,— сказал он, чтобы убедить во что бы то ни стало.— Нам действительно нужен самолет на Ашхабад. И немедленно.

В трубке все смолкло, и надолго. Наконец совсем другой голос, той же женщины, но вступившей в иную задачу, откликнулся:

— Хорошо, я свяжусь. Отправляйтесь в аэропорт.— Гудки в трубке объявили, что разговор окончен.

— Похоже, самолет будет,— сказал Знаменский, не без изумления глянув на Мереда.— Да, брат, нелегко тебе.

— А тебе легко? Зять министра. Но иногда это бывает на пользу дела. Слушай, давай еще хлебнем нашего чала, а! Я весь взмок от этого разговора. Я никогда ее ни о чем не просил.

Хлопнула дверь, появился на пороге Петя Брагин, торопя:

— В машину! Ваш портфель и плащ, Ростислав Юрьевич, в машине. Быстрей, быстрей!

Не вышло хлебнуть чала.

— Быстрей! Быстрей! — Это уже старшóй подгонял водителя грузовика, оторопело поглядывавшего то на дорогу, то на сидевшего рядом с ним однорукого десантника в тельняшке.

Продолжение следует.

ДАЮ УРОКИ-2

Лазарь КАРЕЛИН

Рисунки Петра ПИНКИСЕВИЧА

РОМАН

Необходимо во что бы то ни стало задержать перевозчика наркотиков, который представился Ростиславу Знаменскому киносценаристом Петром Сушковым. Ростислав беседовал с ним, случайным попутчиком, в самолете, когда по просьбе Ашира Атаева отправился в отдаленные районы Туркмении для сбора сведений о посевах опийного мака. Никто, кроме Знаменского, не может опознать этого киносценариста. Поэтому Ростислав улетает в Москву, поступает на работу в Госкино и ищет преступника среди зрителей закрытых просмотров иностранных фильмов. Старший лейтенант милиции Брагин знакомит его со своими друзьями-десантниками, опаленными огнем войны в Афганистане. Только досадная случайность помешала им арестовать преступника. Они улетают в Туркмению, где Мерет напал на след производителей наркотиков.

Нашелся старозаветный ИЛ-14, уже заправленный, чтобы утром лететь куда-то в район, нашелся экипаж дежурный, согласившийся «скатать до столицы» ночью. Всех в аэропорту заворожили эти суровые парни в распахнутых робах, здесь знали, что это за народ такой, здесь, на этой земле, начиналась приграничная зона, незримые, но близкие полыхали взрывы ирано-иракской войны и этой, необъявленной, но кровью заявленной войны в Афганистане. «Группа захвата!» Это были грозные два слова и пронзительные для женских сердец диспетчеров, да и для мужественных сердец штатских летчиков. Полетели!

ИЛ-14 летел медленно, телегой казался в небе, но дорога была мягкая, колдобин было мало, и грозные пассажиры успели в пути вздремнуть. Задремал и Знаменский, уткнувшись в плечо Мереда. А тот не спал, все томился, верна ли его догадка, не зря ли весь шум-бум поднял.

— Понимаешь,— бормотал он.— Голое лицо, а старик, в халат, а тюбетейка. Такие старики от-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 31—36.

куда у нас? А Какабай как раз с голым лицом. Слушай, все хотел спросить, что с твоим лицом? У вас там в Москве бои идут?

— Наткнулся на линию высокого напряжения,— из сна отозвался Знаменский. Из сна, где была Светлана. Это она его спрашивала: «Скажи, что с твоим лицом?» И это ей, поднатужившись, сыскал столь остроумный, уклончивый и мужественный ответ Знаменский: наткнулся, мол, на линию высокого напряжения.

Прилетели. Аэропорт Ашхабада был в предрассветной тьме, когда небо еще черно, но уже набрякло для того, чтобы раствориться в солнечных лучах, которые следует ожидать с мгновения на мгновение. И тогда грянет утро, как водится в этих предгорных краях, где ночь и день наступают внезапно. И покуда шли, вытянувшись цепочкой, долго шли к зданию аэропорта, так как маленький их самолет не смел близко подрулить, солнце и грянуло. Ночной воздух, будто его громадной метлой подхватили, стал, клубясь, убывать с летного поля, утренний, нагретый уже в пустыне воздух нахлынул.

Все сразу вспомнил Знаменский, вдохнув этот миндалевый и с песочком воздух, все вспомнил, и этим всем была Светлана. Он мог ее встретить теперь в любую секунду. Оглянется, а вот и катит машина «Скорой помощи», всмотрится, кто там сидит в белом халате рядом с водителем,—

а это она сидит. Выходи навстречу машине, поднимай руку, а вот и она. «Здравствуй, Светлана. Я приехал...» Дальше слова не придумывались. Ну, приехал... А дальше-то что?.. И он не к ней приехал, случайно так вышло, что он здесь. Он приехал ловить какого-то круглого Какабая. Но нет, он к ней приехал, никаких не бывает в жизни случайностей, а если и бывают, то это где-то все же начертанные решения, кем-то начертанные, судьбой назначенные. Случайность — это судьба.

А пока, вскочив в армейский вездеход, который уже ждал их, покатила вся группа, ну, захвата, захвата,— они и сами теперь поверили, что они «группа захвата»,— помчалась вся группа в город. Старшóй, сев рядом с водителем, а это уже был местный милиционер, сержант, трудно разлеплявший невыспавшиеся узкие глаза, и его начал заряжать на скорость, напористо повторяя:

— Быстрей! Быстрей!

Меред знал, где в Ашхабаде стоит дом Какабая. Да и Ашхабад Меред знал преотлично. Улиц он не называл, он лишь кричал, свесившись к кабине, куда свернуть.

Сперва, рáзумеется, очутились на проспекте Свободы, просекающей весь город улице, которую Знаменский узнал, хотя и сюда пришла осень, проредив деревья. Но что это была за осень, если сравнить с московской, которую уже навещал снежок. Тут даже в столь ранний час уже начинало припекать солнце. Не неистовое, а кроткое. И благоухал город, еще не задымившийся машинами, пробуждались во всех садах и скверах, во всех двориках, цветы, все больше розы, это был город, где легко жилось розам. Но это был город, где убили Аширa Атаева и где предстояло Знаменскому совсем уже скоро опознать некоего круглого человека, который подкатился к нему в Небит-Даге, который, так выходило, и «засветил» Знаменского, пробил тревогу. Кольнуло в бок. Это был город, где его ткнули в бок ножом, чтобы убить, и убили бы, если бы не заслонил его Аширь. И это был город, где в любое мгновение могла выехать навстречу их грузовику машина «Скорой помощи», в кабине которой...

Они ехали, сворачивая то туда, то сюда, руководимые указаниями Мереда, покуда не вкатили в окраинный переулок, со слепыми от ставен окнами одноэтажных домов, крыши которых были вровень с дувалами. Совсем такой же переулок, как тот, где стояла «времянка» Дим Димыча. Да, это был еще и город, где жил Дмитрий Дмитриевич Коноплин, друг его внезапный, хороший, богобоязненный, но в жизни-то смелый, самоотверженный человек. Вдруг да это тот же самый переулок? Вдруг да вот прямо сейчас увидит он своего нового друга Дим Димыча, вышедшего, чтобы подмести поутру у калитки?

Нет, переулок был совсем не тот. Там, где жил Дим Димыч, так плотно ставни не сдвигали, и там раньше просыпались.

— Приехали!— крикнул Меред, и машина спотыкнулась и встала на врубленном тормозе. И тотчас все парни в робах оказались на земле, сразу же оцепив домик за высоким дувалом. Кто у двери во двор замер, кто у конца дувала, кто через проулок забежал в тыл дому. Все это было проделано без команды, вроде как по-заученному. Миг — и все были на местах, но никого уже и не было, как-то так получилось, что исчезли парни в робах, сокрылись кто где, ушли в тень.

У калитки остались старшóй, Петр Брагин, Знаменский и Меред.

— Стучи,— негромко сказал старшóй Мереду.— И голос подай. Он тебя хорошо знает?

— Всех он хорошо знает. Какабай! Эй, Какабай! Табиб! Эй, табиб!— Меред уже загодя свел ладони, будто здороваясь.— Прости, дорогой! Эй, очень нужно!— Он усмехнулся, глянув на своих посуровевших спутников.— Он привык. К нему так часто стучат с самого рассвета, а то и ночью. Болезни сердца не ждут. Эй, доктор! Душа горит! Эй!

— Душа, говоришь?— чуть улыбнулся старшóй.

— Любая болезнь начинается в душе,— наставительно сказал Меред.— Эй, спаситель семейного очага!

— Громче! Громче стучи!— сказал Петя Брагин и сам стал молотить в калитку, вшибаясь в нее плечом.— Не выбить! И дувал до небес! Тепло! Тепло! Горячо!

Вдруг за калиткой послышались шаркающие шаги, раздался бесполый, но все же, скорее всего, женский, скрипучий и злой голос:

— Кто ломится?! Приспичило?! Нет дома доктора! К другому кому кати за уколом!

Защелкали замки, шаркнул засов, и калитка приотворилась на скупую длину цепочки.

— Это я, Меред,— сказал Меред.— Друг Какабая из Красноводска.

— Муж женщины, которая большой начальник?— спросила старуха, появляясь в просвете калитки. Это была такая именно старуха, у которой и мог быть такой скрипучий, ведьминский голос. В седых космах, с ужатым, впалощеким лицом. Причудливо она была одета. На ней, наскоро наброшенный на мятую рубаху до пят, повис черный мужской халат, а на седых космах, наползая на лоб, чернела, пугая свастикой узора, мужская тюбетейка.

— Это они!— сказал Знаменский, глянув на Мереда.— Он был в этом...

— Ай, какая ты красивая в этом халате, женщина!— высластил свой голос Меред.— Как хорошо, что Какабай подарил тебе свой халат и такую драгоценную тюбетейку. Таких теперь не делают.

— Подарил! Дождешься от него! Накинула, чтобы голой не бежать к двери! Ну, что уставился?! Женщина! Какая я тебе женщина?! Это твоя жена — женщина. Но, смотрю, не очень-то ты верный муж, если замолотил в эту дверь. О, козлы проклятые!

— Отвори-ка, бабуся, калиточку,— вкрадчиво проговорил старшóй, думая, что сумел любезно улыбнуться старухе. Но она, глянув на него, отшатнулась, все поняв:

— Обыск?! Достукался проклятый! Я так и знала! Теперь затаскают на старости лет!

— Отвори поскорее калитку...— чуть ли не пропел старшóй.— Ну!

Лязгнула цепочка, калитка отворилась, нехотя, будто в тягостном раздумье.

— Обыскать!— гаркнул старшóй.

Ураган грянул. Это парни в робах ворвались в дом, в сад, оказались в миг единый повсюду.

— А ордер на обыск?— шепотом, и испугавшись, спросил старшóго Меред.

— С ним, с ним выясняй, со старшим лейтенантом,— сказал старшóй.— А с нас какой спрос?

Но старшего лейтенанта Петра Брагина возле калитки уже не было. Он в доме был. И он забыл о своих погонах и обо всех законах.

Дом Какабая был восточным домом. Много небольших комнат, много укромностей. И повсюду ковры, ковры, подушки. Жизнь тут была опущена в покой возлежаний, в полумрак прохлады, когда за крошечными и зарешеченными оконцами, выходящими в сад, мог бы и зной лютовать, а тут, на заглубленном в земле полу, на коврах и прохладного шелка подушках было не жарко, не зной царствовал, а царствовало томление. И мебель была вся к заглубленности приспособлена, на низких ножках стоял у стены самой большой комнаты стол, но так, для проформы стоял, как и пяток стульев у стены же, ни стол, ни эти стулья тут не служили. Тут услужали подушки, приникшие к локтям, уже и форму такую принявшие, чтобы под локоть вскользнуть.

В эту большую комнату из разных в доме укромностей парни сносили все подозрительное, что ими было обнаружено в доме.

Старуха, застыв в черном халате в дверях этой комнаты, руки прижав к серым щекам, большеглазо и зло наблюдала за совершавшимся в доме. Похоже, ее не погром вгонял в злобу, а то, что теперь затаскают, что она и ждала этого конца, на себя злилась сейчас, понимая, что рушится призрачный ее покой, в котором она доживала, дотягивала, прислуживая тут.

В этой комнате, устланной коврами и льстивыми подушками, стоял, но тоже на полу, большой ящик телевизора. Странен тут был, как глаз громадный, экран «Шарпа», дивился, надо думать, этот глаз циклопа на все творившееся здесь, когда среди подушек появлялись люди, чтобы прилипнуть глазами к экрану. Циклоп дивился на этих людей, а они дивились мельканию нагих тел, которые оживали в мутном зраке циклопа. Груда кассет валялась на полу возле видеоприставки. Все было так, почти так, как и там, в том «хитром домике», который разнесли всего лишь в прошлую ночь эти парни в солдатских робах. Разнесли где-то в Москве, потом рванули в Красноводск на самолете, потом рванули на самолете же в Ашхабад. И вот они здесь, в Ашхабаде, где тоже нашелся свой «хитрый домик» и откуда тоже успели ускользнуть хозяева. Все было так, как там. Те же, почти такие же, укромности — комнатушки, откуда сносили сейчас парни разные, какие нашлись, доказательства тайных тут и мерзких игр, в которые вовлекались мóлодые души, обрекаясь на погибель. Появились и шприцы, появились и вскрытые ампулы, какие-то пузырьки, какие-то коробочки с таблетками. Убегая, Какабай и те, кто был с ним, явно слишком спешили, они худо замели за собой следы. Остались уликами эти кассеты в телесных наклейках, эти ампулы, уже испитые, уже одарившие кого-то еще одной дозой безумия. Груда улик на разложенной на полу газете все росла.

— И часто ты бывал в этом доме?— спросил старшóй Мерeда, внимательно поглядев на него.

— Да ты что?!— взорвался Меред.— Думаешь, я знал?! Я тут лет десять как не был! А раньше Какабай совсем не так жил. Обыкновенно жил. Ну, богатый! Профессия такая. Я тут у него фильмы крутил. У него свой проектор узкопленочный был. Это еще когда не было видео, этих вот кассеток. И я его любительские фильмы учил снимать.

— Любительские... Смотрю, большое он у вас тут любительство развел.— Старшóй нагнулся к телевизору, в видеоприставку которого была заложена кассета, нажал кнопку.— А ну-ка, что он смотрел перед тем, как драпануть?

Медленно стал разгораться громадный экран, вперяя в столпившихся в комнате свой изумленный зрак. И вдруг всеобщий хохот сотряс стены. Все, даже эта старуха с пепельными щеками, все затряслись сейчас от смеха, от хохота. На экране мелькали Волк и Заяц из «Ну, погоди!..».

Так бывает, в страшное, в хмурое вдруг проскользнет какая-то смешная подробность жизни, вообще пустяковый повод всего лишь для улыбки, но все вокруг так напряженно, так хмуро, так безысходно, что повод этот вдруг ввергает людей в смех, нет, в хохот, в безудержный приступ веселья, в спасительное раскрепощение.

Знаменский глянул: и Петя Брагин смеялся. Как-то уж очень. Слезы у него выступили на глазах. Он смеялся и плакал. Проснулся он. Так бывает...

— Шутник этот Какабай,— сказал старшóй, продышавшись. Выключать «Ну, погоди!..» он не стал. Заяц на экране снова провел Волка. Смешно. Трогательно. Жить все же еще можно на свете.

— Это я поставила кассету,— сказала старуха.— Когда Какабая нет, я всегда эту кассету смотрю. Не голье же мне смотреть. Тьфу! Срамота!— Она сплюнула и все вспомнила, и лицо ее пепельное снова застыло.

Все вспомнил и Петя Брагин, оборвав в себе смех. Но он проснулся, он теперь иначе глядел, промылись глаза.

Вдруг как-то уж очень громко захлопали в глубине дома двери, очень громкие, хоть и по коврам, послышались шаги, и в комнату ворвался один из десантников. Роба его была перепачкана землей, руки в земле, он, похоже, разучился говорить, он только рукой показывал за окно, во двор, в сад, где, как бы танцуя, сплели деревья свои оголенные ветви.

— Там!— все же обрел речь парень.

— За мной!— Старшóй кинулся в глубину дома, к двери, ведшей в сад.

Хороший это был сад, ухоженный. Невелик, но все тут было, все, чем могла одарить щедрая здешняя земля, если ее напоить. А тут и вода журчала, небольшой вздымался фонтанчик. Деревья уже отдали плоды, лишь кое-где еще убереглись гранатовые шары, оставленные на ветвях для красы. Они и красили тут все, праздничными фонариками горя в сильных лучах утреннего солнца. И тянулись тут до кромок дувалов, обступивших двор и сад, шпалеры винограда. Множество сортов, как в садоводческом питомнике. Разноцветье вызревших и перезревших лоз было прекрасно, тут сотворялась картина, тут живопись божественная легла на синий фон небес.

И вот тут-то, в этом раю, в самом затененном уголочке сада, за беседкой кружевной, где чаек бы из пиалушек потягивать и куда привел всех парень в выпачканной землей робе, была взрыта земля, вырыта какая-то яма, изуродовавшая здешнюю благодать.

— Вот,— сказал парень.— Смотрю, свежая засыпка. Ну, копнул, ну, поглубже взял... Вот...

Старшóй и все столпившиеся у отвала свежей земли, наперед напрягшиеся, разом наклонились над ямой. Солнце и сюда проникло прямыми утренними лучами, сразу все давая рассмотреть. На дне ямы, присыпанный землей, странно изогнув тело, лежал человек в очень нарядном костюме, при галстуке, в отличных башмаках, будто в гости собрался. Лица его не было видно, оно было укрыто землей, но Знаменский узнал этого человека.

— «Кани»!— выдохнул он.

Да, это был он, этот «Кани», «Кани мордачи», этот мнимый кто-то, назвавшийся Петром Сушковым. Но каким бы мнимым он ни был в жизни, убит он был не мнимо.

Десантник, обнаруживший труп, присел над ямой, приподнял, извлек на свет руку убитого, на которой были часы. Он приблизил ухо к этим часам.

— Еще тикают,— сказал он.— Рука даже еще не омертвела. Часа три назад, так думаю...

— Всем отойти от ямы!— скомандовал старшóй.— Ничего тут не трогать! Сержант!— обернулся он к водителю вездехода.— Звони своим

начальникам! Тут прокурор со следователем нужны. Пускай займутся покойником, мы займемся живыми. Быстрей! Быстрей! Далеко этот Какабай и его шайка уйти не могли!

Все отошли от ямы, но Петя Брагин остался. Он не всматривался, не глядел в эту яму. Он поверх глядел. Куда? Поверх, поверх куда-то. «Мне отмщение, и аз воздам».

18

Но, сказав «Быстрей! Быстрей!», старшóй стал вдруг медлительным, притормозил вдруг. И походка у него иной стала. Он пошел через сад обратно к дому, крадучись как-то. И он закрутил головой, приглядываясь, он, кажется, даже принюхиваться начал.

— Старший лейтенант!— позвал он.

Петя Брагин проснулся, оглянулся, пошел от ямы.

Позвал старшóй только Брагина, но потянулись к своему вожаку все десантники. Подошел к ним и Знаменский. А Меред с сержантом надрывали в доме голоса, втолковывая по телефону о случившемся, вызывали тех, кому следовало сейчас тут быть.

— Прокурора давай! Следователя давай! Оружие для нас прихватите!— кричал кому-то Меред.

— Земля та же, небо, горы те же, повадки те же,— сказал старшóй, когда все его парни и Знаменский с ними встали вокруг него и Петра Брагина.— А что это означает?

Все молчали. Командир не советоваться собрал, а ставить задачу. Боевую задачу. Это было ясно.

— Если уж они убирают своего, так, стало быть, с концами решили рвануть. Так?

Все молчали, понимая, что старшóй не спрашивает, а сам для себя уточняет задачу.

Всего лишь старшина он был по званию, даже не младший офицер. Офицером тут был Петр Брагин, он и на службе был, а не уволенный какой-то бывший солдат из ограниченного контингента. Да и среди десантников, слушавших своего старшóго, были, возможно, бывшие офицеры, не понять, в каких званиях они служили, у них не было погон. Но и у старшóго сняты были погоны. Да и не в погонах было дело. Он стал для них старшим, потому, что в бою доказал свое старшинство. Там, там, где все без дураков, где человек виден истинно, как на ладони,— там определилось его право вести людей.

— Мы их подняли в Москве,— продолжал старшóй.— Этот «Кани» рванул с перепугу сюда, в их главное логово, без спроса. Московская явка накрылась. Все! Они поняли, что надо срываться. С концами! Раз убили, значит, с концами. Все бросили! Снялись по тревоге номер один. Куда? В горы сейчас лезть поздно. Осень. На горных тропах в это время года даже козлы оскальзываются. Куда? А граница-то рядом, тридцать километров всего — и спасение. Рывок один, скачок — и у своих. Только самолет, я так думаю. Брать решили самолет, полагаю.

— Я тоже так полагаю,— сказал Петя Брагин.— Рванули в аэропорт?

— Погоди. Пойди крикни им по телефону, чтобы все рейсы задержали. Пойди крикни построже.

— Есть!— Брагин рванулся в дом.

— «Кани» этот еще не остыл, еще время у нас есть. С час назад они еще тут были. Ну, подтянулись они к аэродрому, но надо им и оглядеться, просочиться. Решиться надо. Время у нас еще есть. И дело тут еще есть. Мы-то знаем с вами их повадки, душманов этих... Раз с концами, значит, заминировать могли. А прокурор со следователем начнут тут шуровать, как у себя в кладовке. Жаль парней. Поглядим, а? Внимание! Мины!

Они были сейчас на фронте, в бою, они вспомнили себя там, на той земле, где еще недавно рвались перед ними мины, а то и в их руках рвались, если чего-то не учел, не распонял, в чем-то ошибся на волосок. Та земля совсем рядом была отсюда. Такое же небо, такие же сады, такой же очерк гор. И убитый, заколотый в углу сада в яме. Война, близкая отсюда, исхитрилась как-то заскочить и в этот двор, минуя строжайшую границу. Вот так случилось-получилось.

В дом теперь старшóй вошел скользящей походкой. Все его парни также заскользили. Похоже было, как они двигались, на то, как ходят посетители музеев, нацепив на ноги войлочные тапочки. Скользя по паркету, мягко ступая, войлочно. И Знаменский так заскользил, вступив в этот музей, в это душманское на нашей земле логово.

Петя Брагин уже там докричался до начальства, уже пригрозил Москвой, как положено, когда у самого-то не слишком весомые звездочки на погонах.

— И оружие нам привезите!— приказывал старший лейтенант.— Моя группа не успела получить оружие в Москве. Что значит не полагается?! Все они военнообязанные! Могли ведь и призвать! А они без призыва, во имя дружбы! Ясно вам?! Друзья мы!— Брагин бросил трубку.— Меред, у тебя тут есть знакомые в органах? Бумажку они требуют, распоряжение. А если стрелять надо будет? Ну, народ!

— Знакомых полно,— уныло сказал Меред.— Когда выпить и закусить. А ты ставишь вопрос об оружии. Плохо дело. У тебя-то есть?

— У меня есть. И у Знаменского есть. С двумя пугачами в бой пойдем?

— Какой бой? Сбежали. Думаю, в горы, к границе. Самоубийцы! Сейчас в горах не пройти. А где пройдут, там их пограничники встретят. Наше дело сделано, возьмут Какабая наши доблестные пограничники, ручаюсь тебе. Через день-два поглядите глаза в глаза. А тюбетейку и халат он по-глупому дома бросил. Умный, умный, а дурак.

— Сам ты!..— Петя Брагин пошел от Мереда, от этого штатского говоруна, который болтал, не ведая, в какую опасность начал вступать здесь вместе со всеми, не ведая, что зажил в зоне смерти.— Они своего прикончили, понял, что это значит? Без стрельбы не обойдется.

Ушел Петя Брагин, скрылся в коридоре, тоже вдруг заскользив, будто в музей вошел.

Там, в конце коридора, сейчас колдовал старшóй. Один был впереди. Нет, не один, старуха была с ним рядом. И он ее, взяв под сохлый локоть, выспрашивал негромко:

— А эта дверца куда? А эта дверца куда? В подвал покажи дверь, старая, в подвал.

— Да я там ни разу не была,— упиралась сохлыми, как палки, ногами старуха. Тюбетейка съехала ей на лоб, черный халат волочился по полу.— Туда мне нельзя было.

— Дверь покажи!

— Нет туда двери.

— Как это?

— Нет, говорю. Под ковром вход.

— Показывай!

— Стоим на нем! Вцепился! Кость сломаешь!

Коридор был выстлан ковровой дорожкой, плотно подогнанной под плинтусы.

— Так, а теперь отойди тихонько, старая,— сказал старшóй и отмахнул в сторону сохлую старуху. А сам замер, раздумывая.— Ты видела, как Какабай эту дорожку поднимает? С какой стороны? Отвечай!

— Не подпускал он меня, когда шел в подвал. Гнал!

— Но ведь подсматривала же? Отвечай! Половину срока попрошу скостить, если правду сейчас скажешь.

— Какой еще срок?! Я в прислугах тут работала! За что срок?!

— Чем платили? Анашой платили? Давно дурманишься?!

— Не ваше дело! Сама своей жизни хозяйка!

— Это так, если это жизнь. Ну, с какого края мне ковер поднимать, чтобы дом не сразу взлетел на воздух? Учти, и ты, старая, взлетишь. Отвечай, отвечай, я тебя от себя никуда не отпущу.

— Не подпускал он меня сюда, говорю.

— А когда уходили час-два назад, ты где была?

— Где?..— Старуха задумалась.— Я своей смертью хочу умереть, вот что я тебе скажу, безрукий начальничек.

— Своей не выйдет, если я в подвал не так войду. Отвечай!

— Да не знаю я! Не знаю я!— завопила старуха.— Он свет всегда отключал, когда туда шел.

— Так! Петя! Вырубите свет! Вон щиток, у входа в коридор.

— Есть вырубить свет!— Петя Брагин подскочил к щитку, и свет в коридоре померк.

— С зажигалками ко мне!— приказал старшóй.

Защелкали зажигалки, свечечками вспыхнув в темноте.

— Поднимаю ковер, старая,— сказал старшóй.— Подсказок больше не будет? Смотри, вместе взлетим!

— Там люк будет, а потом лестница в подвал,— сказала старуха.— Больше ничего не знаю.

— Вместе спустимся, рискну твоей драгоценной жизнью. А всем остальным вон отсюда! Прошу, барышня, прошу. Уединимся! Петя, дай мне свою зажигалочку.

— Вместе пойдем,— сказал Брагин, отбирая горящие зажигалки у парней. Сомкнутые в ладони, они стали зажженным подсвечником, но странно коротким, будто это сама рука у Пети зажглась.

— Всем остальным на воздух!— приказал старшóй.— И подальше от дома! За калитку даже! Выполнять!

И вот они за калиткой, в тихом, все еще спящем переулочке, и кто-то даже затворил калитку, в общий ряд включив дом Какабая с едва видной крышей за высоким дувалом. Покой и сон и в этом доме, с едва видной крышей, как и в остальных домах и домишках переулка, как и должно быть в столь ранний час, да еще и воскресный день сегодня. Досматривают свои воскресные сны жители города, мирные сны, хотя вообще-то война идет неподалеку, но это там, по ту сторону границы, где-то за Кушкой, где-то в Афганистане. А здесь, рядом, правда, совсем рядом, меньше чем в тридцати километрах от Ашхабада, граница с Ираном, но это мирная граница, и если что, прочно защищенная граница, так что здесь мир, покой, воскресный, особенно крепкий поутру, сон.

Но горстка военного вида людей у калитки одного из домов в тихом переулке, но эти люди, будто изготовившиеся к бою,— они-то почему здесь? И эта машина, военный вездеход, зачем здесь? И вот и еще одна машина подкатила, тоже защитного цвета вездеход. И из машины этой выскочили тоже военные, в четко различимой милицейской форме. Что случилось в тихом и сонном и столь мирном переулочке? Но спит переулок, эти тревожные вопросы задавать некому. И город спит, досматривают ашхабадцы свои воскресные сны. Не жарко теперь в городе, ушла гнетущая летняя жара, хорошо теперь в этом городе, где длиться будет милосердное лето месяцы и месяцы, до самой лютой — где-то там!— по календарю зимы. А здесь будет тепло, но не жарко, и плоды будут на деревьях сохраняться до декабря, и виноградные гроздья будут висеть на шпалерах в садах до нового года, и благоухать будут городские базары дынями и арбузами, шашлычными жаровнями и горячей лепешкой из тамдыра. Не рай ли на земле? Рай, он самый.

А эти военные, странно напряженные, будто взведенные курки, может, они собрались тут для киносъемки? Ну, снимает ашхабадская киностудия очередной фильм про басмачей или там про то, как не здесь, конечно же, а там, там, за кордоном, сражаются наши парни с душманами. И сейчас подкатит сюда киностудийский автобус с аппаратурой, высыпят в переулочек забавные, пестро разодетые киношники, засверкают осветительные аппараты, возникнет важный человек — режиссер, особенно причудливо одетый, в какой-нибудь обязательно жокейской шапочке, а потом выскочит перед аппаратом девица с хлопушкой, ну, этой штуковиной, где ведется учет снятых кадров, хлопнет ею, объявляя номер кадра, зажурчит сразу же затем съемочная камера, и начнется кино, тревожное, яростное, военное кино. Но — кино, кино, а не какой-то там из жизни факт, что-то из жизни страшное. Можно спать-досыпать спокойно. Киношники — вот народ!— обязательно им нужно спозаранку начинать снимать свои милые вымыслы, свои нестрашные убийства, захваты и взрывы, где действуют каскадеры.

Прибывшие на машине милиционеры, возглавляемые пожилым туркменом в штатском и молодым, напористым, пружинистым — он мигом себя таким оказал, выпрыгнув из машины на ходу,— капитаном, присоединились к десантникам, Знаменскому и Мереду, но эти две группы не смешались. Сразу определилось, что это отчетливо две разные группы и что прибывшие владеют инициативой и правом командовать, поскольку они здесь у себя дома. Капитан и начал распоряжаться:

— Всем оставаться на своих местах! А мы с прокурором поглядим, что там за труп за такой! Прошу, Чары Махтумович!

— В дом нельзя,— сказал Знаменский.— Там, похоже, сейчас идет разминирование.

— Что еще за разминирование? Кто вы такой?— Капитан с явным недоверием оглядел Знаменского, прочитал его, этого во всем заграничном москвича, совершенно не внушающего доверия, если иметь в виду то дело, которым сейчас предстояло заняться в этом доме капитану.

— Это референт из Москвы!— подоспел на помощь Знаменскому Меред Джумаев.— Здравствуй, Коля, товарищ капитан.

— Я вам не Коля на службе, товарищ Джумаев. Что еще за референт?

Знаменский вспомнил, что у него есть удостоверение, достал поспешно новенькую синюю книжицу, предъявил ее капитану.

Тот повертел удостоверение, вчитался, снова повертел, даже понюхал, а от корочек наверняка пахло еще клеем, хмыкнул и передал удостоверение Знаменского пожилому туркмену. Но тот удостоверение разглядывать не стал, а сразу же вернул его Знаменскому, сказав:

— Я знаю товарища Знаменского. Это друг Ашира Атаева. Здравствуйте, товарищ Знамен-

ский. Вернулись? Дело нашего Ашира не дает покоя? Спасибо вам, что вы не забыли нашего Ашира. Товарищ капитан, это же Знаменский,— чуть укоряя, но мягко звучал в мягко звучащем русском языке прокурора его укор,— это же тот самый Знаменский, которого ударили ножом, когда Ашир Атаевич был убит. То, стало быть, дело...

— Помню, помню. А что за труп? И чего мы тут топчемся?— Капитан был молод, был энергичен и мужествен, и он был в высоком звании, если учесть, что молчаливые парни в гимнастерках без погон если и имели недавно военные звания, то явно солдатские, сержантские, ибо такие у них были именно солдатские выцветшие гимнастерки. Одно только несколько смущало капитана: у бывших этих солдат на гимнастерках были боевые ордена, боевые медали, парашютные значки, подтверждавшие сто и более прыжков. У одного он даже углядел большую зелено-сине-красную звезду афганского ордена.

— Афганский?— спросил он, подойдя к десантнику, не сумев удержаться, и дотронулся пальцем до ордена, странно большого, если сравнивать с нашими.

Обладатель ордена ничего не ответил капитану, повел плечом, отстраняясь.

— Ну, пошли в дом, Чары Махтумович,— сказал капитан, невольно скосив глаза на свою молодо раздатую грудь. Да, тут он уступал, на развернутой его груди всего лишь колодочка о две медали красовалась, и медали это были не ратные, а юбилейные.— Пошли, пошли!— заторопился капитан, готовый к деятельности, а надо, так и к подвигу.

— Дом сейчас проверяет старшóй,— сказал один из десантников.— Сказано ведь, нельзя сейчас туда.

— Что еще за старшóй?— насторожился капитан.— Это что за звание?

— Их командир,— шепнул ему Меред.— Герой, кажется, за Афганистан, но не носит. Нет одной руки. Там потерял. Слушай, Коля, ты не горячись.

— Ну, дела! Безрукие герои! Ну, Москва! Прислала помощь!

— Не горячись, не горячись, Коля,— шептал Меред, опасливо поглядывая на десантников, сурово примолкших.

— Я вам не Коля, товарищ Джумаев! Сколько можно говорить? Ладно, подождем немного. Подождем, Чары Махтумович?

— Обязательно подождем, товарищ капитан.

— Вы распорядились, чтобы все рейсы в аэропорту были задержаны?— спросил капитана Знаменский.

— Мы свою службу знаем, товарищ Знаменский. Помню, помню. Так вы теперь, что же, оперативником работаете? Переквалифицировались из дипломатов?

— Волшебником я работаю,— сказал Знаменский и отошел от энергичного и шибко говорливого капитана, примкнул к молчаливым, напрягшимся десантникам. Они-то знали, что сейчас происходит в доме, догадывались хотя бы, и они знали, как сейчас рискует их старшóй. И молчали, взведенными застыв курками.

Но вот скрипнула калитка, отворилась, и в прорезе ее возникла бабой-ягой старуха в черном мужском халате до пят и в черной тюбетейке поверх седых косм.

— Старшóй тебя зовет,— сказала она, сохлым пальцем указав на Знаменского.

— Пошли!— кинулся к калитке капитан. Но старуха преградила ему путь.

— Не тебя зовет старшóй, его зовет.— Она ткнула пальцем в Знаменского.— Ты не лезь, капитан, поперек старшóму, он старшóй у них.

— Что еще за звание?!— вознегодовал капитан, но и насторожился.— Полковник? Так он в Москве остался. Мы получили телефонограмму, что прибывает старший лейтенант Петр Брагин. Между прочим, я капитан.

— Ничего не знаю,— сказала старуха.— Старшóй велел звать этого.

— Товарищ капитан, Николай Семенович,— сказал туркмен-прокурор, мягко и миролюбиво говоря по-русски,— подчинимся обстоятельствам. Им виднее. Они же сами нас вызвали. Подождем. Идите, товарищ Знаменский.

— А я?— шагнул вперед Меред.

— Одного его позвал,— сказала старуха, преграждая путь Мереду. Ей нравилось быть исполнительницей воли старшóго, завоевал он ее там, в подвале. Знаменскому, когда он вошел в калитку, старуха даже поклонилась, поскольку этого красавца выделил из всех сам старшóй.

Окончание следует.

По просьбе полковника Мальцева Ростислав Знаменский из Ашхабада переезжает жить и работать в Москву, чтобы помочь милиции задержать «гонца» — перевозчика наркотиков, которого только один он знает в лицо. После долгих поисков они вышли на преступника, но лишь спугнули его. Полковник предполагает, что тот должен укрыться в Туркмении у своих сообщников. Прилетев в Ашхабад, Знаменский вместе с Мередом, старшим лейтенантом Брагиным и его друзьями-десантниками проникли в усадьбу врача Какабая, расположенную на окраине города. В углу сада в неглубокой яме они обнаружили труп человека, который когда-то представился Знаменскому киносценаристом Петром Сушковым и которого совсем недавно они едва не задержали в московском ночном кафе «Черные березы». Старуха-прислуга в доме Какабая рассказала, что вход в подвал расположен под ковром и что хозяин, спускаясь туда, всегда выключал свет. Подозревая, что подвал заминирован, старшой приказывает всем уйти за пределы усадьбы.

ДАЮ УРОКИ-2

Лазарь КАРЕЛИН

Рисунки Петра ПИНКИСЕВИЧА

РОМАН

Узкий и длинный коридор в доме был погружен в темноту, но все же можно было различить — какой-то все же проникал сюда дневной свет, — что в коридоре откинута была ковровая дорожка и открывался под ней в полу ход в подвал. Вот к этому ходу и подвела старуха Знаменского.

— Спускайся, — сказала она. — Там ступени. А меня отпусти.

Знаменский начал спускаться, нашаривая ногами ступени, постепенно входя в чуть просветляющийся мрак, и чем дальше шел, тем светлее становилось.

— Давай, давай, Ростик! — услышал он возбужденный голос Пети Брагина. — Сюда, сюда, на свет! — Брагин встретил его, высоко подняв руку с зажатыми в ладони горящими зажигалками, будто пламенем охваченную руку.

Куда он попал? Тут лаборатория была какая-то. В бликах от свечек-зажигалок Знаменский увидел тускло отблескивающие бока автоклавов, хитро соединенных сплетением прозрачных трубок, большие ванны-отстойники, мощные вентиляторы.

— Что это тут? — спросил он.

— Похоже, их главная лаборатория,— отозвался из глубины помещения едва различимый в скудных бликах старшой.— Но и не только. Какабай здесь сырец опийный перегонял в героин, но он тут и жил. Петя, подсвети повыше.

— Свет бы включить, — сказал Брагин, вздымая свою горящую руку.

— Страшновато. Вдруг да он еще какую-нибудь ловушку подключил. Тут проверять и проверять нужно. Мы с тобой только одну сняли.

Знаменский стал осваиваться в полутьме здешней, стал постепенно различать — глаза все увеличивали пространство этого подвала, и он убеждался, что это не конура какая-то, а комната, чуть ли не больше, чем самая большая комната в доме, там, наверху. Противоположная стена этой комнаты ему была не видна, тонула в темноте. Но близкая стена высветилась в бликах от зажигалок. Он пригляделся к этой стене, она вся была в фотографиях, в больших портретах женщин. Блики гуляли по лицам этих женщин, высвечивая то одно лицо, то другое. Молодые лица. Красивые и юные женщины освещали этот подвал своими вспыхивающими лицами. Угадывалось, что многие были сняты нагими, но Брагин светил только лица, он не позволил своей пламенеющей руке опуститься. Блики дрожали, упрямо держась на лицах, рука у Пети Брагина дрожала.

— Он здесь жил, — из глубины комнаты-залы говорил старшой.— Эта нора под землей и была его домом. Бар тут себе соорудил. Тахта тут у него. Шкаф с одеждой. Кухня. Туалет даже. Петя, посвети.

Петя Брагин радостно метнулся рукой от фотографий в противоположную сторону, высветил глубину, где стоял старшой. Там, за спиной у старшого, действительно поблескивали бутылки бара, драгоценными гранями отражаясь в стекле, где возникли и язычки пламени, будто запалившие хрусталь бокалов.

— Все бросил, налегке ушел,— сказал старшой.— Так уходят с концами, только бы шкуру спасти. Смотри, Петя, старший лейтенант, да тут у него арсенал целый! Ого, повезло нам! Смотри! Свети сюда!

Петя Брагин пошел, вздымая руку с огнем к старшому. Туда же и Знаменский пошел, скользя глазами по погасшим, едва теперь различимым в темноте женским лицам. Что-то его тянуло к этим фотографиям, что-то будто окликало. А что, что? Не разглядеть теперь было эти юные лица, этих женщин, загнанных сюда, в подвал, чтобы скрасить кротовую жизнь человека по имени Какабай.

Знаменский подошел к старшому и Пете Брагину. Здесь, возле бара, у стены была стойка для охотничьих ружей, их тут было много, они загорались, бликуя стволами, полированными или в металле ложами. И тут же, в ящике у стойки с ружьями, крышку которого старшой откинул, лежали, будто спали, тесно прижавшись друг к другу, четыре хищностволых пистолета, похожие на породистых щенков, на маленьких гончих.

— Удача!— сказал старшой.— «Люгеры»! И обоймы к ним. Удача! — Он стал вынимать из ящика пистолеты, по одному, каждый выверяя в руке, вглядываясь в каждый, обтирая о рукав. — Петя, хватай! Раздашь ребятам! Вот и нет проблем! Повезло!— Он был просто счастлив, разволновали его эти пистолеты, он влюбился в них, оглаживал «люгер», который взял себе. — Петя, вложи мне обойму. Эх, вояка однорукий!

Петя Брагин передал свои пламенеющие зажигалки Знаменскому, предупредив: «Не обожгись!» — и занялся пистолетом, всаживая в него обойму.

— Совсем новенькие машинки, — сказал он.

— Тут все новенькое. И все «маде», «маде». Откуда? А говорят, граница на замке. Целую лабораторию сюда приволокли. Темно, а то бы могли фирму прочитать. Или США, или Япония. Пошли! Вот теперь — быстро, быстро! Свети, Ростик! Веди!

Вскинув руку, теперь у него она была в пламени, Знаменский пошел к чуть различимому вдали прямоугольнику входа, прошел мимо стены, на которой были развешаны фотографии юных женщин. Теперь он сам мог осветить их. И он так же их светил, как и Петя Брагин, не позволяя руке соскользнуть вниз. Надо было спешить, «быстрей, быстрей!» сказал старшой, но Знаменский все же светил эти лица, он смотрел в них, словно кто-то из этих женщин окликнул его, еще тогда, когда их осветил Брагин, но тогда Знаменский не углядел окликавшую. Теперь углядел. Это была Светлана. Совсем юная на фотографии. У нее было какое-то принужденное, хотя и прекрасное, юное лицо. Принужденное, испуганное, униженное. Это была Светлана! Зачем?! Почему она здесь?!

Он прошел мимо нее, — близко шедшие за ним старшой и Брагин не позволили бы ему остановиться. И хорошо, что они напирали на него, что можно было уйти отсюда.

— Быстрей! Быстрей! — приговаривал старшой. — А вот теперь быстрей!

Они выскочили в коридор, пробежали через дом, выскочили в переулок. Знаменский все еще светил поднятыми зажигалками, хотя солнце ударило в глаза. Он все еще там был, в тьме той.

Парни подошли к нему, разобрали свои зажигалки, чуть не насильно вынимая из его замертвевшей руки. Сам не свой он был. Парни ни о чем не спрашивали его, вынимали из его руки зажигалки, задували. Им ли было не понять, что тряхануло там, в подвале, человека, углядел что-то страшное, еще не пришел в себя.

— В машину! — скомандовал старшой, взмахнув «люгером». — Быстрей! Быстрей!

— Откуда у вас оружие?! — кинулся к нему капитан. — И вот еще, еще! — Он прослеживал глазами пистолеты, которые, не таясь, отдал трем своим друзьям Петя Брагин. Сунул он им и обоймы. И все не таясь, в открытую.

— У врага взяли оружие, — сказал старшой. — Кстати, не советую вам, товарищ капитан, лезть в подвал. Мы там одну минку сняли, но не поручусь, что и еще нет какой-нибудь выдумки. И свет не врубайте. Труп в саду! Исследуйте! А мы — в аэропорт!

— Но оружие вам все же придется сдать! — строго сказал капитан.

— Сейчас или чуть повременить? — уже из кузова спросил старшой.

Капитан помедлил с ответом, задумался, промолчал.

— Ростик, в машину! — Петя Брагин подсадил Знаменского, вскинул, парни подхватили его, будто сонного, машина рванулась.

20

Снова проспект Свободы. Но теперь путь в обратном направлении. И путь через совсем другой город. Въезжали в утренних сумерках, теперь ехали в солнечном утре. Совсем другой город. Но знакомый для этих парней, опаленных афганским солнцем. Такие же деревья, как в Кабуле или Герате, такие же дувалы, когда свернули с проспекта, да и проспект, хоть и в новых домах, был все так же застроен, как и там строили свои казенные здания. Но главное, что арыки журчали, полнились мутноватой, поутру напористой водой, что где-то вздыхали, истомляясь, какие-то птицы, которых не видно было, а лишь слышно. Как и там, в Кабуле или Герате, в любом там городке, в любом селении. И уже полнился воздух запахами утренних кушаний сих мест. А это был чурек, только что испеченный. И это была баранина с углей. И это был разрезанного арбуза запах. Божественные меты доброй жизни на земле.

Другой город! Но еще и потому другой, что все, ехавшие в машине, знали теперь про труп в уголке сада, подвал в «хитром домике», где были добыты эти вот «люгеры», которые те, кто получил их, сейчас вытирали, подгоняя обоймы. Это было оружие, и его готовили к бою. К бою!

По мирным улицам все еще спавшего города, в стране, где и не пахло войной, мчалась военная машина, в которой сидели люди, отвоевавшие недавно и вновь готовившиеся к бою. Здесь, в этом мирном мире...

Солнце все более разгоралось, все более угревало, а Знаменского знобило. Он был там, в подвале.

Петр Брагин сидел с ним рядом, и его тоже знобило, не могло его согреть жаркое солнце. Он был там, у ямы.

Они сидели на железном сиденье армейского вездехода, их подбрасывало, машина шла, срезая повороты, прорываясь через город на недозволенной скорости, их заваливало друг на друга, они, чтобы удерживаться, обнялись. Им и следовало обняться, одним ознобом они сейчас жили, в одной судьбе омывались.

Вдруг навстречу вездеходу выехала машина «Скорой помощи». Эта машина тоже шла очень быстро. В военном вездеходе люди мчались, чтобы кого-то схватить, в «Скорой помощи» люди мчались, чтобы кого-то спасти. Промельком разминулись эти разные машины. Но Знаменский успел углядеть женщину в белом халате, сидевшую рядом с водителем, почудилось ему, что это Светлана, он даже привстал, махнув неуверенно рукой. Разминулись, разомчались машины.

Но такая щемящая нежность вспыхнула в Знаменском к этой женщине в исчезнувшей машине — поверилось, что это она, Светлана,— что он самому себе изумился, такое не помня в себе, такого не зная себя. Да он ли это и был, тот Ростик Знаменский, которому все было морем по колено? Но что это за море, где было ему по колено? Не то ли, курортное, пляжное, где-то в Юрмале, где действительно идешь, идешь, а море все по колено, уже и от берега далеко, а все по колено. Легкой жизни море, курортной жизни.

Вот и аэропорт. Еще только поворачивал вездеход, почти не сбавив скорость, а уже вошел в огляд всех сидевших в машине полукруг этот из аэропортовских строений, где предстояло им

Окончание. См. «Огонек» №№ 31—37.

действовать, и поле аэродрома, проглянувшее поверх зданий и в просветы между ними, и самолеты там, длинные и короткие их тела, разных размеров и могущества металлические птицы. Где что случится? Когда начнется? На какую птицу падет выбор?

Машина встала чуть в стороне от основного здания аэровокзала. Там было людно, почти базар восточный уже раскручивался, ибо пассажиры, собравшиеся лететь, прихватили в полет все дары здешней столь щедрой по осени земли. Там желтели дыни в громадных авоськах, там алели гранаты в щелястых ящиках, там цвели громадные букеты ашхабадских роз, обязательные для любой ашхабадки, отлетающей на север. Вот прилетит и потрясет друзей этой охапкой роз.

А у здания, где встала машина, пассажиров не было. Здесь настороженность жила. Из здания этого, примыкавшего к ограде аэродрома, вышла группа военных. Майор воздушной милиции, отделившийся от группы, пошел встречать прибывших. Ну, покозыряли друг другу Петя Брагин и майор, ну, ознакомился майор с документами Брагина и Знаменского, почитал внимательно бумажку, которую вручил ему Брагин и где, по-видимому, было дано кое-какое разъяснение по поводу прибытия Брагина и Знаменского.

— Полковник Мальцев должен был звонить,— сказал Брагин. — А это мои друзья по Афганистану. Решили мне подсобить...

— Был, был звонок из Москвы, — покивал майор, вчитываясь в бумажку, а затем аккуратно сложив ее, дабы получше улеглась в кармане кителя. — Но только про вас двоих звоночек, а тут вас вон сколько. Так, значит, демобилизованные после службы в Афганистане? Ну, ну, согласен, народ обстрелянный. Так ведь и мы не зря государственный хлеб жуем. — Майор был лет сорока мужчина, с сединой, уже кое-где проклюнувшейся в курчавых на висках волосах. — Так, так... А вы, Джумаев, как в их компании очутились?

— Я друг Аширa Атаева, — вытягиваясь по-военному, сказал Меред. — Все по тому же следу идем, товарищ Сапармурадов.

— Так, так, по тому же следу... Что же, дело действительно серьезное. Но нет тут вашего Какабая, если даже и он тоже в том деле замешан. Известен нам ваш Какабай. Всех осмотрели, нет его тут.

— Должен быть, — сказал старшóй, тоже вытягиваясь привычно перед майором, отчего повис у него пустой рукав.

Майор внимательно поглядел на старшóго, оценивая его, поглядел и на пустой рукав.

— А вы зачем? — спросил.

— Пригожусь. Я так думаю, товарищ майор, что Какабай и его люди, вот только не знаю, сколько их с ним, нацелились захватить самолет. У них другого выхода нет. С концами рвут.

— Убили своего, все побросали, — сказал Петя Брагин и тоже подобрался привычно.

— Ну, а почему вы считаете, что они не на поезд рванули? — спросил майор, изучая старшóго, безрукого этого солдата, на гимнастерке которого было много невыцветших мет его солдатской доблести, и майор не мог не читать эти меты.

— Поезд — ловушка для них, — сказал старшóй. — И куда он их привезет? В Россию?

— Мы там вспороли их хазу в Москве, — сказал Брагин. — Вот мы и вспороли. — Он повел рукой на парней-десантников, прихватив и Знаменского, и себя, а на старшóм остановив указывающий палец, как на главном.

— Так, так, резонно. Что ж, рейсы на какое-то время мы задержали. Но не на вечность же. И нет тут вашего Какабая. И в наличии нет, и по регистрации билетной нет. Среди пассажиров этот старый франт не обнаружен. Как поступать прикажете?

— Мы поглядим, — сказал старшóй. — Давай, ребята! Меред, пойдешь со мной, покажешь мне своего приятеля.

— Какой приятель?! — взорвался Меред. — Шелудивый пес ему приятель!

— Пошли, пошли. Ростик, подключай глаза. Давай, братва!

Скинув робы, жарко становилось, пошире распахнув гимнастерки, отчего звякнули награды, пошли, по пути рассыпаясь, растягивая цепочку, десантники, вступили в толпу, в базар этот аэропортовский, как вошли бы в базарную толпу где-то в Кабуле или Герате.

21

Толпа на этом приполетном базаре была велика, накапливалась, поскольку то и дело включался голос на туркменском, чтобы затем перевести на русский, голос мягкий, участливый, молодожененственный, но неумолимо сообщающий, что рейс на Ташауз откладывается, как и рейс на Красноводск, как и рейс на Мары. Из-за погодных всё условий.

Не принимала и Москва этот вставший возле аэровокзала, бесконечный какой-то и совершенно могущественный лайнер Ту-154. Вот уж была птица из птиц, орел среди металлических орлов. И его, эту громадину победоносную, не принимала Москва, где шел снег, метель задувала. Это казалось вопиющим враньем — здесь, где с утра было под тридцать и даже ветерок не вспархивал. Но так уж случилось, что в Ашхабаде небо было безоблачным, а во всем остальном мире бушевали бури, ниспадали на землю яростные дожди и даже снега.

Над базарной толпой отлетающих, но не улетающих, сияло солнце, именно так, безоблачно было небо, но толпа гудела и волновалась, ибо решившийся улетать охвачен полетным нетерпением, ему тесно на земле, подавай небеса.

Туркмены, а в толпе было больше всего туркмен и туркменок, старых и малых, просто даже едва народившихся — и все куда-то собирались улетать, — туркмены, некогда племя кочевников, ныне, казалось, если и осело на земле, то все же приохотилось кочевать по небу. Не на земле, так в небе, но все же тянуло этот гордый народ в кочевой простор. И, отправляясь в путь, в гости или по делу, туркмены, многие из них, надевали свои национальные одежды, такие совсем, в которых некогда странствовали по своей обширной земле. Наряжались в былое, отправляясь в небо.

Толпа предполетная была ярка, пестра, а одежда традиционная туркмен, мужчин и женщин, была настолько красивее стертой европейской одежды, что эти красные в тонкую черную нитку мужские халаты, красные, зеленые и синие тоги женщин, черные и белые тельпеки мужчин, цветастые платки женщин, их нагрудные из серебра украшения, усыпанные красными и фиолетовыми камушками, глянцевитые голенища мягких сапог, ковровые укрытия женских ног, и лица, лица, яркоглазо вспыхивающие лица, особенно лица молодых женщин, не очень-то позволявших себя разглядывать, и сияние детских лиц—все это, сплетясь, соединившись и с цветом дынь, арбузов, гранатов, винограда, с охапками крупных роз, такую изумительную слагало картину, какую не сумел бы воспроизвести ни один из живших на земле великих художников, но и не нужно, раз есть все это, возможно такое не на картине, а в жизни.

Вот в эту красочную, в эту напрягшуюся в ожидании неба толпу и вошли десантники, кинжально пронизывая все и вся своими взглядами, такими глазами глядя, которые отчасти разучились понимать красоту, столкнувшись в жизни и с коварством, исходящим из подобной красоты, и с выстрелом, звучащим в подобной толпе.

Знаменский тоже сейчас смотрел, не любуясь, а подозревая. Меред, которого не отпускал от себя старшóй, тоже сейчас смотрел, не любуясь, а высматривая. Знаменский и он знали этого Какабая в лицо. Его знали в лицо и те из местных милиционеров, которые тоже вступили в толпу. Они даже знали, как он одет обычно бывает. Они, иные из них, даже знали звук его голоса. Знаменский тоже знал, как звучит этот голос, но он тогда, в Небит-Даге, был деланным, специально истонченным под старика из простонародья, как и тот халат и тюбетейка, в которые вырядился тогда Какабай. Эту маскарадную одежду, убегая, он бросил в своем заминированном доме. Сейчас он должен был предстать перед глазами тех, кто его искал, в своем обычном обличье. Он слыл в городе франтом, европейцем, одевавшимся, как богач заморский. Такого тут даже близко похожего не было. Толпа была не только в национальной одежде, тут было много из России людей, живших тут и улетавших погостить к себе домой, в свой первый дом, либо очутившихся здесь на короткое время, чтобы улететь домой, сделав свои дела, — эти два потока людских не смешивались. Было ясно, что большинство туркмен не на лайнере собирались лететь, не в далекую и холодную ныне Москву, где даже снег идет, а хотели они слетать к себе, к родным всего лишь в Ташауз, в Мары, в Красноводск, но и там свирепствовала непогода, но и их самолеты, все больше старые, видавшие виды, как тот Ил-14, на котором Знаменский и десантники с Мередом прилетели несколько часов назад в Ашхабад, но и эти самолеты-везделазы не желала принимать давно ставшая для них родной туркменская земля. Взбунтовалась повсеместно эта земля, как и небо над ней, хотя тут, в Ашхабаде, было безветренно и безоблачно.

Нигде не было Какабая — ни среди туркмен, ни среди русских. А был ли он вообще тут? Может, старшóй ошибся в своих выкладках? Не хотелось усомниться в старшóм, он должен был оказаться правым. Такой он, этот молодой парень, такая исходила от него сила, убежденность такая, что усомниться в его правоте просто было невозможно.

Но не было, нигде не было Какабая. И нигде не группировались какие-либо подозрительные личности. А какие другие могли бы группироваться возле Какабая? Не было нигде подозрительных личностей, как ни пронизывай эту толпу кинжальными, зорчайшими взглядами.

Петя Брагин Какабая в лицо не знал, но он был зорок особой зоркостью. За краткие часы с того мига, когда остался наедине со своей Ирой, он научился столькому, понял столько, что зоркость его стала необычайной, стала мудрой, как у старого, много познавшего в жизни человека. Но и Петя Брагин нигде не мог углядеть Какабая, который непременно бы выдал ему себя, трусливо, на миг, сморгнув глазами. Не было такого человека.

Шли, всматривались, пугали своими глазами-выстрелами молодых женщин десантники и Знаменский с Мередом, но ничего не умели усмотреть. Только того добились, что их стали разглядывать. Эти молодые мужчины странно себя вели. Они должны были бы любоваться женскими лицами, им положено было любоваться красой женской, как положено было молодым женщинам укрывать стыдливо лица; а эти молодые парни на них, на женщин, юных и прекрасных, лишь скользящие бросали взгляды, равнодушные, отыскивая еще кого-то, — мало им было этой красы. Было ясно, что военные эти люди в дерзких тельняшках, что милиционеры местные и вот эти штатские, но тоже с ними, что они кого-то разыскивают. И стало ясно всем, всей толпе, что потому и задерживаются вылеты, что здесь кого-то разыскивают. И напряжение в толпе начало еще более возрастать, смешав предполетную высокую тревогу с низменно-земной.

А Какабая нигде не было. И надо было что-то решать. Голос молодой женщины, извещавшей, что там-то и там-то непогодь, устал.

Но вот вдруг в голос этот, в некий зудящий звук динамика, который всегда упреждал начало звучания голоса дикторши, до слуха Знаменского дотянулся откуда-то из дальнего далека едва различимый звук, тоненький звук того самого звоночка, который запал в его памяти еще с детской поры, был школьным звонком, был тем звонком, который потом упреждал его, когда придвигалась к нему опасность, когда наступал миг решений. Откуда? Что вдруг? Знаменский приостановился, вслушиваясь. Он не всматривался сейчас, а в себя вслушивался, зная, что звонок зазвенел в нем неспроста.

И в это время и Меред приостановил шаг. Наверное, тоже какой-то звоночек ему посигналил. Вот он и всматривался. Просто вцепился глазами в сидевшего в сторонке, в тени тонкого, чахлого деревца старика в нарядном красном халате, в высоком черном тельпеке. Седобородый это был старик. И даже брови у него были седыми, косматыми и седыми. А усы выжелтились от табака, от жвачки этой табачной, от которой никак не умели отучить себя иные из старых, очень старых туркмен.

Теперь поглядел на старика и Знаменский. Поглядел не столько для того, чтобы вглядеться, сколько потому, что едва взглянул мимоходом, как звоночек школьный просто завопил в нем. «Тепло! Тепло! — вопил звоночек. — Горячо!»

Седобородый старик, седобровый и желтоусый, почувствовав себя в перекрестии взглядов, неуклюже ворохнулся, нервно, зло дернув губами. И все! Он был узнан! В старое его лицо были вставлены жадные, крепкие, молодые зубы. Выдал себя Какабай этими зубами.

— Он! — крикнул Меред, протянул руку, указывая на старика. — Эй, Какабай, пес проклятый!

Старик глянул на него, убил глазами, а потом глянул на Знаменского и тоже убил глазами. А потом, поняв, что узнан, пойман, что погиб, из-под полы халата — повадка бандита, душмана — выстрелил в Мереда. Но не попал, потому что старшóй, перехватив его взгляд, успел отшвырнуть своей рукой-обрубком Мереда, успел, успел. Он и сам выстрелил, но чуть замешкался с выстрелом, потеряв, возможно, долю секунды, когда отбрасывал Мереда, спасая от пули. Долю

действовать, и поле аэродрома, проглянувшее поверх зданий и в просветы между ними, и самолеты там, длинные и короткие их тела, разных размеров и могущества металлические птицы. Где что случится? Когда начнется? На какую птицу падет выбор?

Машина встала чуть в стороне от основного здания аэровокзала. Там было людно, почти базар восточный уже раскручивался, ибо пассажиры, собравшиеся лететь, прихватили в полет все дары здешней столь щедрой по осени земли. Там желтели дыни в громадных авоськах, там алели гранаты в щелястых ящиках, там цвели громадные букеты ашхабадских роз, обязательные для любой ашхабадки, отлетающей на север. Вот прилетит и потрясет друзей этой охапкой роз.

А у здания, где встала машина, пассажиров не было. Здесь настороженность жила. Из здания этого, примыкавшего к ограде аэродрома, вышла группа военных. Майор воздушной милиции, отделившийся от группы, пошел встречать прибывших. Ну, покозыряли друг другу Петя Брагин и майор, ну, ознакомился майор с документами Брагина и Знаменского, почитал внимательно бумажку, которую вручил ему Брагин и где, по-видимому, было дано кое-какое разъяснение по поводу прибытия Брагина и Знаменского.

— Полковник Мальцев должен был звонить,— сказал Брагин. — А это мои друзья по Афганистану. Решили мне подсобить...

— Был, был звонок из Москвы, — покивал майор, вчитываясь в бумажку, а затем аккуратно сложив ее, дабы получше улеглась в кармане кителя. — Но только про вас двоих звоночек, а тут вас вон сколько. Так, значит, демобилизованные после службы в Афганистане? Ну, ну, согласен, народ обстрелянный. Так ведь и мы не зря государственный хлеб жуем. — Майор был лет сорока мужчина, с сединой, уже кое-где проклюнувшейся в курчавых на висках волосах. — Так, так... А вы, Джумаев, как в их компании очутились?

— Я друг Аширa Атаева, — вытягиваясь по-военному, сказал Меред. — Все по тому же следу идем, товарищ Сапармурадов.

— Так, так, по тому же следу... Что же, дело действительно серьезное. Но нет тут вашего Какабая, если даже и он тоже в том деле замешан. Известен нам ваш Какабай. Всех осмотрели, нет его тут.

— Должен быть, — сказал старшóй, тоже вытягиваясь привычно перед майором, отчего повис у него пустой рукав.

Майор внимательно поглядел на старшóго, оценивая его, поглядел и на пустой рукав.

— А вы зачем? — спросил.

— Пригожусь. Я так думаю, товарищ майор, что Какабай и его люди, вот только не знаю, сколько их с ним, нацелились захватить самолет. У них другого выхода нет. С концами рвут.

— Убили своего, все побросали, — сказал Петя Брагин и тоже подобрался привычно.

— Ну, а почему вы считаете, что они не на поезд рванули? — спросил майор, изучая старшóго, безрукого этого солдата, на гимнастерке которого было много невыцветших мет его солдатской доблести, и майор не мог не читать эти меты.

— Поезд — ловушка для них, — сказал старшóй. — И куда он их привезет? В Россию?

— Мы там вспороли их хазу в Москве, — сказал Брагин. — Вот мы и вспороли. — Он повел рукой на парней-десантников, прихватив и Знаменского, и себя, а на старшóм остановив указывающий палец, как на главном.

— Так, так, резонно. Что ж, рейсы на какое-то время мы задержали. Но не на вечность же. И нет тут вашего Какабая. И в наличии нет, и по регистрации билетной нет. Среди пассажиров этот старый франт не обнаружен. Как поступать прикажете?

— Мы поглядим, — сказал старшóй. — Давай, ребята! Меред, пойдешь со мной, покажешь мне своего приятеля.

— Какой приятель?! — взорвался Меред. — Шелудивый пес ему приятель!

— Пошли, пошли. Ростик, подключай глаза. Давай, братва!

Скинув робы, жарко становилось, пошире распахнув гимнастерки, отчего звякнули награды, пошли, по пути рассыпаясь, растягивая цепочку, десантники, вступили в толпу, в базар этот аэропортовский, как вошли бы в базарную толпу где-то в Кабуле или Герате.

21

Толпа на этом приполетном базаре была велика, накапливалась, поскольку то и дело включался голос на туркменском, чтобы затем перевести на русский, голос мягкий, участливый, молодоженственный, но неумолимо сообщающий, что рейс на Ташауз откладывается, как и рейс на Красноводск, как и рейс на Мары. Из-за погодных всё условий.

Не принимала и Москва этот вставший возле аэровокзала, бесконечный какой-то и совершенно могущественный лайнер Ту-154. Вот уж была птица из птиц, орел среди металлических орлов. И его, эту громадину победоносную, не принимала Москва, где шел снег, метель задувала. Это казалось вопиющим враньем — здесь, где с утра было под тридцать и даже ветерок не вспархивал. Но так уж случилось, что в Ашхабаде небо было безоблачным, а во всем остальном мире бушевали бури, ниспадали на землю яростные дожди и даже снега.

Над базарной толпой отлетающих, но не улетающих, сияло солнце, именно так, безоблачно было небо, но толпа гудела и волновалась, ибо решившийся улетать охвачен полетным нетерпением, ему тесно на земле, подавай небеса.

Туркмены, а в толпе было больше всего туркмен и туркменок, старых и малых, просто даже едва народившихся — и все куда-то собирались улетать, — туркмены, некогда племя кочевников, ныне, казалось, если и осело на земле, то все же приохотилось кочевать по небу. Не на земле, так в небе, но все же тянуло этот гордый народ в кочевой простор. И, отправляясь в путь, в гости или по делу, туркмены, многие из них, надевали свои национальные одежды, такие совсем, в которых некогда странствовали по своей обширной земле. Наряжались в былое, отправляясь в небо.

Толпа предполетная была ярка, пестра, а одежда традиционная туркмен, мужчин и женщин, была настолько красивее стертой европейской одежды, что эти красные в тонкую черную нитку мужские халаты, красные, зеленые и синие тоги женщин, черные и белые тельпеки мужчин, цветастые платки женщин, их нагрудные из серебра украшения, усыпанные красными и фиолетовыми камушками, глянцевитые голенища мягких сапог, ковровые укрытия женских ног, и лица, лица, яркоглазо вспыхивающие лица, особенно лица молодых женщин, не очень-то позволявших себя разглядывать, и сияние детских лиц—все это, сплетясь, соединившись и с цветом дынь, арбузов, гранатов, винограда, с охапками крупных роз, такую изумительную слагало картину, какую не сумел бы воспроизвести ни один из живших на земле великих художников, но и не нужно, раз есть все это, возможно такое не на картине, а в жизни.

Вот в эту красочную, в эту напрягшуюся в ожидании неба толпу и вошли десантники, кинжально пронизывая все и вся своими взглядами, такими глазами глядя, которые отчасти разучились понимать красоту, столкнувшись в жизни и с коварством, исходящим из подобной красоты, и с выстрелом, звучащим в подобной толпе.

Знаменский тоже сейчас смотрел, не любуясь, а подозревая. Меред, которого не отпускал от себя старшóй, тоже сейчас смотрел, не любуясь, а высматривая. Знаменский и он знали этого Какабая в лицо. Его знали в лицо и те из местных милиционеров, которые тоже вступили в толпу. Они даже знали, как он одет обычно бывает. Они, иные из них, даже знали звук его голоса. Знаменский тоже знал, как звучит этот голос, но он тогда, в Небит-Даге, был деланным, специально истонченным под старика из простонародья, как и тот халат и тюбетейка, в которые вырядился тогда Какабай. Эту маскарадную одежду, убегая, он бросил в своем заминированном доме. Сейчас он должен был предстать перед глазами тех, кто его искал, в своем обычном обличье. Он слыл в городе франтом, европейцем, одевавшимся, как богач заморский. Такого тут даже близко похожего не было. Толпа была не только в национальной одежде, тут было много из России людей, живших тут и улетавших погостить к себе домой, в свой первый дом, либо очутившихся здесь на короткое время, чтобы улететь домой, сделав свои дела, — эти два потока людских не смешивались. Было ясно, что большинство туркмен не на лайнере собирались лететь, не в далекую и холодную ныне Москву, где даже снег идет, а хотели они слетать к себе, к родным всего лишь в Ташауз, в Мары, в Красноводск, но и там свирепствовала непогода, но и их самолеты, все больше старые, видавшие виды, как тот Ил-14, на котором Знаменский и десантники с Мередом прилетели несколько часов назад в Ашхабад, но и эти самолеты-везделазы не желала принимать давно ставшая для них родной туркменская земля. Взбунтовалась повсеместно эта земля, как и небо над ней, хотя тут, в Ашхабаде, было безветренно и безоблачно.

Нигде не было Какабая — ни среди туркмен, ни среди русских. А был ли он вообще тут? Может, старшóй ошибся в своих выкладках? Не хотелось усомниться в старшóм, он должен был оказаться правым. Такой он, этот молодой парень, такая исходила от него сила, убежденность такая, что усомниться в его правоте просто было невозможно.

Но не было, нигде не было Какабая. И нигде не группировались какие-либо подозрительные личности. А какие другие могли бы группироваться возле Какабая? Не было нигде подозрительных личностей, как ни пронизывай эту толпу кинжальными, зорчайшими взглядами.

Петя Брагин Какабая в лицо не знал, но он был зорок особой зоркостью. За краткие часы с того мига, когда остался наедине со своей Ирой, он научился столькому, понял столько, что зоркость его стала необычайной, стала мудрой, как у старого, много познавшего в жизни человека. Но и Петя Брагин нигде не мог углядеть Какабая, который непременно бы выдал ему себя, трусливо, на миг, сморгнув глазами. Не было такого человека.

Шли, всматривались, пугали своими глазами-выстрелами молодых женщин десантники и Знаменский с Мередом, но ничего не умели усмотреть. Только того добились, что их стали разглядывать. Эти молодые мужчины странно себя вели. Они должны были бы любоваться женскими лицами, им положено было любоваться красой женской, как положено было молодым женщинам укрывать стыдливо лица; а эти молодые парни на них, на женщин, юных и прекрасных, лишь скользящие бросали взгляды, равнодушные, отыскивая еще кого-то, — мало им было этой красы. Было ясно, что военные эти люди в дерзких тельняшках, что милиционеры местные и вот эти штатские, но тоже с ними, что они кого-то разыскивают. И стало ясно всем, всей толпе, что потому и задерживаются вылеты, что здесь кого-то разыскивают. И напряжение в толпе начало еще более возрастать, смешав предполетную высокую тревогу с низменно-земной.

А Какабая нигде не было. И надо было что-то решать. Голос молодой женщины, извещавшей, что там-то и там-то непогодь, устал.

Но вот вдруг в голос этот, в некий зудящий звук динамика, который всегда упреждал начало звучания голоса дикторши, до слуха Знаменского дотянулся откуда-то из дальнего далека едва различимый звук, тоненький звук того самого звоночка, который запал в его памяти еще с детской поры, был школьным звонком, был тем звонком, который потом упреждал его, когда придвигалась к нему опасность, когда наступал миг решений. Откуда? Что вдруг? Знаменский приостановился, вслушиваясь. Он не всматривался сейчас, а в себя вслушивался, зная, что звонок зазвенел в нем неспроста.

И в это время и Меред приостановил шаг. Наверное, тоже какой-то звоночек ему посигналил. Вот он и всматривался. Просто вцепился глазами в сидевшего в сторонке, в тени тонкого, чахлого деревца старика в нарядном красном халате, в высоком черном тельпеке. Седобородый это был старик. И даже брови у него были седыми, косматыми и седыми. А усы выжелтились от табака, от жвачки этой табачной, от которой никак не умели отучить себя иные из старых, очень старых туркмен.

Теперь поглядел на старика и Знаменский. Поглядел не столько для того, чтобы вглядеться, сколько потому, что едва взглянул мимоходом, как звоночек школьный просто завопил в нем. «Тепло! Тепло! — вопил звоночек. — Горячо!»

Седобородый старик, седобровый и желтоусый, почувствовав себя в перекрестии взглядов, неуклюже ворохнулся, нервно, зло дернув губами. И все! Он был узнан! В старое его лицо были вставлены жадные, крепкие, молодые зубы. Выдал себя Какабай этими зубами.

— Он! — крикнул Меред, протянул руку, указывая на старика. — Эй, Какабай, пес проклятый!

Старик глянул на него, убил глазами, а потом глянул на Знаменского и тоже убил глазами. А потом, поняв, что узнан, пойман, что погиб, из-под полы халата — повадка бандита, душмана — выстрелил в Мереда. Но не попал, потому что старшóй, перехватив его взгляд, успел отшвырнуть своей рукой-обрубком Мереда, успел, успел. Он и сам выстрелил, но чуть замешкался с выстрелом, потеряв, возможно, долю секунды, когда отбрасывал Мереда, спасая от пули. Долю

секунды потерял, долю секунды. В эту долю секунды Какабай выстрелил в него и побежал.

Старшóй стал медленно падать, как в замедленном кино, падать. А Какабай, грузный, круглый, путаясь в полах длинного халата, стал убегать.

И тогда выхватил свой «вальтер» из-под руки Знаменский и выстрелил, понимая, что не попадет, не умея попадать, и понимая, понимая, что старшóй падает, старшóй ранен, убит. Он, Знаменский, не на Какабая глядел, когда стрелял в него, он на старшóго глядел, умирая вместе с ним от отчаяния. К старшóму уже кинулся Меред и завыл, завыл.

А Какабай тоже стал падать. Знаменский попал в него, в тот мерзкий мешок в халате и в тельпеке, в этого в чужое замаскировавшегося убийцу.

Ничего будто бы не случилось. Какие-то всего четыре выстрела-хлопка прозвучали. Только и всего. Да и выстрелы ли то были? Так, похоже очень, стреляют выхлопные трубы машин, если не слишком хорошим заправлены эти машины горючим.

Но эти четыре хлопка всполошили всю толпу, где давно ждали чего-то, напряглись в ожидании. И нервы не выдержали у иных. У этих вот четырех или пяти мужчин в халатах, которые вдруг кинулись бежать. Стреляли не в них, а побежали они. Бросились наутек какие-то еще ряженые. Неумело бежали эти люди в халатах, которые они разучились носить, а может быть, и никогда не умели. Десантники выхватывали их из толпы, скручивали им руки, связывая длинные рукава халатов. Десантники умели это делать.

Вот и все. Да, вот и все.

Вдруг послышался сигнал «Скорой помощи». Вон как быстро подоспела! Машина встала возле Знаменского, который еще ничего не умел понять, только слышал, как воет, по-звериному воет от отчаяния Меред, склонившийся над старшúм.

Из машины выскочила женщина в белом. Это была она, Светлана. Она кинулась к Знаменскому, сказала, задохнувшись от бега, хотя сделала всего несколько шагов:

— Я увидела тебя в машине, кинулась за тобой!

. — К нему! — протянул руку Знаменский, указывая на старшóго.

Светлана кинулась к длинно вытянувшемуся на асфальте человеку, молодоликому, зажмурившемуся. Навсегда! Врач, она поняла это мгновенно. Но она все же взяла его руку, ту, которая была обрубком, потом взяла ту, в которой намертво был зажат пистолет.

— Однорукий солдат! — изумилась она.

— Да! Да! Да! — кричал-выл Меред. — Он не успел! Он спасал меня!..

— Он умер, — сказала Светлана и пошла, както вдруг замедлив шаг, к мешку в халате, пугаясь еще издали этого мешка, выпроставшего руки из рукавов, уродливо унизанные перстнями руки. Светлана наклонилась над убитым, подогнулись у нее колени, она узнала его, оскал этот узнала.

— Кто его? — шепотом спросила она подошедшего Знаменского.

— Я.

Лицо ее, испуганное, устрашенное, стало светлеть. Она смотрела на него, и что-то менялось в ее лице, разглаживалось будто, да, да, светлело.

— Ростик, ты убил самого страшного в моей жизни человека, — сказала Светлана. — Ростик, это судьба, да?..

А он все вслушивался в сказанное им слово, в это из одной-единственной буквы слово, в это — «Я». Оно гремело в нем. Нет, иной то был звук. Звенело в нем это слово, вытончившись. Тот самый, из детства, звоночек снова пробрался в мозг, но только не звенел издалека, а в нем звенел, набирая в громкости, захватывая, охватывая его всего звоном.

Вот как все обернулось в жизни, как одно зацепилось за другое, повело, привело. И теперь, что же, с этим и жить дальше? Жить дальше. Вот ради этой женщины, у которой возле убитого просветлело лицо. И так бывает... Как же измучивала ее жизнь, как же унижала и оскорбляла, если и так бывает?

— Уйдем отсюда,— сказал он ей и взял ее за руку, уводя.

22

Похоронили старшóго на Ашхабадском кладбище. Его погребли рядом с могилой Аширa Атаева. Такой же нашли простой гранитный камень, как и на могиле Аширa Атаева. Но только еще не успели выбить по камню слова, надпись эту короткую, все главное сумевшую вместить. Эта надпись была на фанерной дощечке, временно воткнутой в рыхлую землю только что закрытой могилы. На фанере было начертано:

ВАСИЛИЙ ТИТОВ ИЗ МОСКВЫ, ОТДАВШИЙ ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ... И в скобках прибавлено: (СТАРШÓЙ)...

Много народу собралось на эти похороны. Вся аллея широкая была запружена народом. Тут были и те, кто знал Василия Титова по Москве, и те, кто не знал. Но все знали, что это был за человек, знали, что надпись на фанере была в той же цене, что и надпись на граните на могиле Аширa Атаева.

На похороны прилетел полковник Мальцев. Был он в военной форме, при всех своих орденах, которых, кстати, не так уж было много. Это были боевые ордена, но мирного времени, скупые ордена, но боевые, боевые, хотя мир царил во всем мире.

На похороны остались десантники. Петя Брагин был с ними. Опять их было семеро. Загадочная эта цифра — семь. Она имеет силу созидания, сложения в нечто целое, завершенное. Семеро их было, парней этих в тельняшках, и тоже с боевыми наградами на гимнастерках. От сражающихся они были делегированы на это мирное кладбище мирного города. От сражающихся, как и эти двое, навсегда оставшиеся тут, про которых коротко сказано было: «ОТДАЛИ ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ». Надо, стало быть, и сегодня за НЕЕ отдавать жизнь.

Все тут были: и Дим Димыч, и Захар Чижов с женой Ниной, и шофер Алексей, и две девицы, так заплаканные, что не понять было, где Лара, а где Лана. Все, все тут были.

Был и Меред. Потемнело его круглое лицо, запали щеки.

Рядом с полковником Мальцевым стояли Знаменский и Светлана.

— Да, дорогой ценой платим, — сказал им полковник Мальцев.— И еще будем платить...

Только что отзвучали речи. Последняя минута настала, тишина вступила на кладбище. И тут выхватили десантники-«афганцы» свои «люгеры» и открыли яростную пальбу в небо. Прощались, ненавидя эту мнимую тишину.

И Знаменский выхватил из-под руки свой «вальтер» и начал палить в небо.

Нет тишины. Лгут те, кто объявляет о тишине. Еще рано!

За деревьями, позади могил Аширa Атаева и Василия Титова, в просвете между деревьями, увидел Знаменский вереницу детей, взявшихся за руки. Они шли, за старшим младший, и еще более младший, до самого маленького, который все же умел ходить. А самый маленький, грудной, был на руках у матери, шедшей впереди детей. Шествие это замыкала большеголовая рыжая собака. Это была семья Аширa Атаева.

ЭПИЛОГ-2 (О ЗНАМЕНСКОМ)

Осень. Благословенная пора, когда не жарко в этом знойном городе. Осень, благословенная осень... И в один из ее дней у здания школы, где мальчишки прыгали через железную ограду двора, остановился высокий мужчина, по-местному одетый: выцветшие брюки, просторная рубашка, запыленные сандалеты. Это был Знаменский. Он постоял, посмотрел, как прыгают мальчишки, улыбаясь их смелости. Грустно улыбаясь почему-то. Вспомнил себя тут недавнего? Поэтому? Постоял, посмотрел, повспоминал и пошел дальше, но вскоре остановился у столба, на котором уцелела, хоть и сильно выцвела, бумажка, сообщающая, что картограф Д. Д. Коноплин «дает уроки любознательным». И там же, пониже, была и его, Знаменского, приписка: «Даю уроки английского и французского. Могу подготовить для поступления в институт иностранных языков и институт международных отношений (МГИМО). Адрес тот же. Р. Ю. Знаменский». Его текст выцвел чуть меньше, чем Д. Д. Коноплина, но все же выцвел, уж больно тут горячим было солнце. Знаменский достал из нагрудного кармана свой замечательный золотой «паркер» и подновил текст.

Потом он перешел к другому столбу, где ветер трепал такой же листок, и тоже подновил на нем слова, обвел «паркером» выцветшие буквы. Потом пошел дальше, приближаясь к своему дому.

Ашхабад — Москва, 1987 г.

РАССКАЗЫВАЕМ О ХУДОЖНИКЕ ПЕТРЕ ПИНКИСЕВИЧЕ, ИЛЛЮСТРИРОВАВШЕМ РОМАН ЛАЗАРЯ КАРЕЛИНА «ДАЮ УРОКИ-2».

Герои многих литературных произведений запоминаются нам такими, какими их нарисовали художники-иллюстраторы. Так, на героев Льва Толстого мы смотрим глазами Д. Шмаринова или путешествуем с фантастическими героями Грина, созданными С. Бродским. Многим любителям книги знакомы персонажи, «проявленные» талантом художника-графика Петра Пинкисевича. Список проиллюстрированных им произведений умещается на сорока трех листах машинописного текста. «Легче сказать, кого не иллюстрировал: Достоевского, Пушкина, Гоголя. Они требуют особенной подготовки»,— говорит художник.

Петр Наумович начал публиковаться после возвращения с фронта, когда в книжной графике работали такие мастера, как Бродаты, Горяев, Караченцов. В 1953 году он пришел в «Огонек». Общение с Орестом Верейским помогло определиться молодому художнику. Отныне стремление точно передать замысел писателя и изящество исполнения позволяют органично сосуществовать акварелям Пинкисевича и текстам Куприна, Драйзера, Трифонова, Быкова. В сюжете художник ищет поворотные моменты, чтобы в одной журнальной иллюстрации дать образ целого произведения. Как он это делает? «В книжной графике нет рецептов, как и что делать. Нужен поиск, интуиция». Сейчас Петр Пинкисевич работает над циклом рисунков к романам В. Гюго.

Ирина ЧЕРКОВСКАЯ

Жизнь на

Михаилу Александровичу Шолохову

1

Днем, едва холодное солнце покатилось вниз, на зареченских лугах и дальше, на убранных пашнях, начали ходить туманы, поднимаясь над заболоченными местами, низинками. К вечеру гнезда их густели, наливались холодом, разбухали все больше. И наконец беззвучно сомкнулись друг с другом. Мутная пелена над заречьем все тяжелела, ползла к реке, закрыла сперва противоположный берег, затем половину широкой, тихой обессилевшей за знойное лето Оби, неотвратимо подступала все ближе к деревне, грозя залить ее, раздавить своей невесомой тяжестью.

— Врешь, брат Татьян,— тихо вздохнул Павел Демидов. Он по обыкновению сидел у стены своей мазанки и глядел через реку на тускнеющие зареченские дали.

— Об чем ты это, пап?— спросил у Демидова восьмилетний приемный сын Гриньки, заходя во двор. Посиневшими руками он держал облезлый школьный портфель.— Кто врет?

— Туман-то! — кивнул Демидов в сторону Оби.— Ишь, шельма.

Гринька шмыгнул носом, потер под ним пальцем, подумал.

— А как он врет?

— Ну — грозит. Не чуешь?

Они еще помолчали. Гринька — маленький, в огромной отцовской фуражке, в новой суконной тужурке, купленной только нынче перед школой в сельмаге. Демидов — сухой, тощий, угловатый какой-то, нескладный: остро торчали выставленные далеко вперед его колени, из-под толстой телогрейки остро выдавались плечи. Лет ему было уже за шестьдесят, он получал пенсию, но стариком назвать его было нельзя. Лицо он, хоть и редко, брил, вот и сегодня побрился, и крепкие, совсем не дряблые щеки поблескивали в неярком свете угасающего дня.

— Чую,— сказал Гринька.— Чем густее туман к вечеру, тем утренник крепче будет. Ты всегда так говоришь.

— Это так. А еще что чуешь?

— Боле ничего.

— А ты замри. Замри и слушай. Ну, чего слышишь?

Гринька, старательно наморщив лоб, постоял без движения.

— Ничего. Пес какой-то лает.

— Балда. Сучка это лает. Бригадира Митрофана. Еще?

— Вроде на задах грузовик проехал. Девчонки где-то, кажись, пищат.

— Колхозного конюха Артамона дочка это повизгивает, Клавка-то.

— Их там много хохочет, девок-то,— уточнил Гринька.

— И Клавка там. Там она. А сейчас гармонея Леньки-тракториста запиликает. Дурак он, Ленька. Гармонь у него дорогая, вся блестит, как в изморози, а играть не умеет. Так, будто лесину сырую пилит... Так-то он парень ничего, и чуб ладный.

Вскоре действительно донеслись тусклые, почти совсем задавленные расстоянием, нескладные звуки гармошки.

— Ну вот. А он грозит,— опять кивнул за реку, в сторону надвигающегося тумана, Демидов.

— А что ему грозить? — все также непонимающе спросил Гринька.— И кому? И как это он может грозить?

— Балбес!— Глаза Демидова сердито блеснули.— Ступай домой. Там картошки для тебя сварены. На подоконнике в крынке молоко... А я посижу тута еще.

— Пап, ты только в магазин к Марьке Макшеевой не ходи,— попросил Гринька, как просила всегда Надежда, неродная Гринькина сестра, вот уже два года работающая в Маршанихе на лесоустроительной станции. И так же, как сестра, прибавил: — Не пей ты, пап, эту проклятую водку.

— Сгинь, чтоб тя! — прикрикнул Демидов.— Сказано, тут посижу. Никуда не пойду.

Гринька ушел и, ужиная в одиночестве, думал, что отец как всегда беспременно пойдет в магазин, едва мигнет «волчье око» (так называл сам отец, а за ним и вся деревня, светящееся по вечерам низкое оконце в доме Марии Макшеевой, через которое она продавала водку «без сдачи», что у нее означало — четыре рубля бутылка). Пьяный отец был добрый, пожалуй, добрее, чем трезвый, часто приносил ему купленные через то же оконце то дешевенькие конфеты или пряники, то бутылку лимонада. И пока не проходил хмель, все крутился по комнатушке, оправдываясь, что выпил вот, убеждал его, Гриньку, никогда в жизни не пить, часто гладил по голове и иногда, кажется, плакал. Но, боясь, что слезы заметит Гринька, встряхивал головой и, так же шагая из угла в угол, мурлыкал без конца одно и то же, странное, непонятное:

А кто ж я такой? Просто так — шиперк.
Я, братцы-р-ребятцы, чудной человек...

Уж нет-нет, да угомонится он, уляжется.

И все же Гриньке не хотелось, чтобы отец каждый вечер был пьян. Трезвого он любил его больше.

Прибирая со стола, Гринька думал: он, отец, чудной у него, это правду он про себя поет. Три года назад он взял его из Маршанихинского детдома со странным условием:

— Тебя Вовкой кличут? Отныне я тебя Гринькой звать буду.

— Я не хочу,— сказал Гринька, бывший тогда еще Вовкой.

— Это уж обязательно. Иначе, сынок, не выйдет у нас ничего. Не возьму я тебя, хоть ты малец вроде ничего, с гвоздем парень. Другого выберу.

И помолчав, выкурив в молчании длинную самокрутку, старательно затоптав окурок в землю (они разговаривали в детдомовском саду), начал длинную, наполовину непонятную речь:

— Сам я, сынок, лесник, деревья, значит, сторожу, за лесом ухаживаю, зверюшек всяких оберегаю. Сторожка моя в лесу стоит... А лес какой у меня?! Ого-го, брат! Вот лежу я в сторожке или иду по лесу — деревья шумят, шумят... Ты думаешь, они просто от ветра шумят? Не-ет, сынок. Они это со мной разговаривают: какая, значит, радость у них или какая беда... Или, скажем, кто прошел, проехал мимо — такой-то, мол, человек, или плохой, или хороший. Ну, понятно, хороший — так и иди себе. А коли плохой — нет, брат, шутишь, погоди-ка! Вот так обо всем докладывают. Деревья, они, сынок, и не деревья вовсе, а живые люди. Это лесина спиленная — дерево, бревно, словом... А живем мы в сторожке с дочкой Надеждой. Она тоже у меня приемная. Я ведь бобылем все жил, жены у меня никогда не было. А почему? Это, сынок, такой вопрос, под старость только и сумеешь разобраться, может. А может, по глупости. Ну да ладно... Вот и надумал я: присмотрю-ка с детдому я себе дочку. После войны мно-ого их было, детдомовцев, да... Больше, чем теперь. Ну и присмотрел... понравилась одна, сопливая такая. Конопатая, как ты. Люблю отчего-то конопатых я. Только ее Анной было звать. Анька-встанька, муженька достань-ка... Вот глупые слова, а отчего-то ударили мне в голову, когда с ней, как с тобой вот, беседовал. Что ж, думаю, выращу ее, она муженька-то и достанет, а я опять один. Будешь, говорю, ты Надеждой теперь. Тебе, говорю, имя, а для моей жизни смысл. Вот так я ей сказал. Будто при новом имени не присмотрела бы она себе муженька и рано ли, поздно ли не ушла от меня. Вот ведь какой глупый я был, а? Как думаешь?

И Гринька припомнил, что он вдруг горячо воскликнул тогда:

— Почто же нет! Ты правильно... Раз ты ее берешь в дети, так и она должна!

— Вот-вот, угадал я — с гвоздем ты! Да только, брат, должна-то должна, а человек-то по человечьи и жить обязан. По весне зацвесть радостью, как поле росными цветами, все лето — рожать, а после и озимь посеять. Семена свои, значит, после себя оставить. Это я вот один — чудной человек... Да-а, хорошая она у меня, Надежда, дочка добрая выросла. Да только в Маршаниху вот теперь часто бегает то в кино, то на танцы. А там, у лесовода одного, парень — Валентином звать. Парень, скажу тебе, тоже ничего, с гвоздем человек будет, да, считай... Чуешь, словом, чем пахнет?

— Девки, они такие! — опять вырвалось у Гриньки, тогдашнего Володьки.— А я тебя никогда не брошу.

— Ага! Согласный, значит?

— Что ж тут хорошего, в детдоме-то? Только уж Вовкой я был, Вовкой пускай и останусь.

— Ну, это невозможно. Никак, сынок, невозможно.

— Да почему?

Его будущий отец тогда опять помолчал, выкурил еще одну самокрутку.

— Надька-то замуж выйдет, уедет и мужу, понятно. К Валентину ли, к другому ли кому... Девка выросла, говорю, что надо — красивая, гладкая, в бедрах сильная. Глаза у ней, Гринька — ишь какое хорошее имя-то, сынок! — глаза у ней светлые, лучистые, блеснут — зажмуришься. Да что ж,— вздохнул он,— я свое исполнил, вырастил ее. Пущай она теперь свое исполнит. На земле должно быть как можно больше людей со светлыми глазами. Уйдет, а я опять один останусь. Один? Ан нет. Просыпаюсь я ночью, скажем, а в ушах у меня — гринь-гринь-гринь... Что это: оконные стекла от ветра, может, дребезжат? Нет, это сына так моего зовут. Иду я по лесу, а кругом — гринь-гринь-гринь... Кто это? Птицы, может, поют? Ну да, верно, они поют. А про кого? Про моего сыночка щебечут они... Нет, никак невозможно, чтоб Вовкой ты оставался...

...Гринька прибрал со стола, накрыл блюдечком крынку, из которой наливал молоко. За окнами давно стояла плотная темень, такая плотная, будто стекла кто-то заклеил снаружи черной бумагой. Отца все не было.

Вздохнув, мальчишка разобрал свою постель, щелкнул выключателем и залез под одеяло, продолжая вспоминать недалекое прошлое. Ему жалко, очень жалко было расставаться тогда с прежним своим именем, но чем-то понравился ему этот пожилой человек, а несколько раз сказанное им непривычное слово «сынок» выжимало слезинки.

— А зайцев... их тоже ты оберегаешь? — спросил он тогда, опуская стриженую голову, чтобы спрятать глаза.

— Зайчишек-то? А как же. Самый беззащитный народ. Их вокруг сторожки моей прыгает, как воробьев вокруг весенней лужи.

— Ладно, я согласный.

Анатолий ИВАНОВ

ГРЕШНОЙ ЗЕМЛЕ

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Он-то был согласный, но потом вышли большие осложнения, его долго не отдавали в сыновья этому человеку.

— Возраст,— говорил директор детдома,— у вас преклонный, товарищ Демидов.

— Что возраст? Я крепкий, на лесном духу настоенный, еще двадцать лет, как заяц, проскакаю! — доказывал его приемный отец тогда.— А коли что — дочерь Надежда его довырастит. Я вам приведу ее, поглядите, какова деваха.

И он привел ее. Она, высокая, решительная, и вправду с какими-то удивительно добрыми и лучистыми глазами, тоже что-то доказывала директору, потом несколько раз ходила, выхлопатывая разрешение в различные районные организации. И выхлопотала.

В лесной сторожке Гринька прожил с отцом и Надеждой всего два года. Что и говорить — там было хорошо. Вот только зайцы вокруг дома не прыгали и вообще близко не подходили к жилью: боялись, видимо, собачьего духа, зато поблизости текла небольшая прозрачная речка, в которой они с сестрой ловили удочками жирных усатых пескарей, а по берегам собирали ежевику и смородину.

Надежда была озорница, беспрерывно хохотала, оглашая весь дом, весь лес звонким своим голосом, глаза ее, когда она смеялась, лучились еще больше. Только к вечеру они, по обыкновению, притухали. Сперва Гринька не понимал в чем дело, а потом стал догадываться — беспокоится Надежда об отце.

И верно, отца вечерами долго не было, и довольно часто приходил он пьяный. Он никогда не шумел, не ругался и, если выпил очень много, сразу ложился спать. А иногда до света мерил шагами просторную кухню и мурлыкал свою песню.

Один раз Гринька слышал, как Надежда, плача, говорила ему:

— Не пей ты, папа, эту проклятую водку. Ну отучись. Ведь сын у тебя теперь малолеток, его на ноги ставить надо.

— Поставим, Надежда, поставим... Я пью, да разум не теряю.

— Как же! Прошлой зимой не замерз чуть. Кабы я не отыскала тебя в сугробе...

— Это было, доченька... Дурак я. Растревожил сильно уже меня тогда Денис Макшеев, Марькин муж, сдохнуть бы ему. Да это раз только и было. А так — в контроле я завсегда.

— Да отчего ты пьешь ее, проклятую?

— Так, приучился.. Жизнюха-вилюха, не жил бы, да надо.

— В который раз ты про этого Дениса Макшеева... Что у тебя с ним произошло? Что не поделили?

И тут Гринька почувствовал, как отец посуровел, рассердился, чего с ним никогда не бывало:

— Замолчь! Чего пытаешь? Ум покуда короток, а туда же...

Надежда всхлипнула, и отец тотчас обмяк, начал виниться:

— Доченька... Дурак я, говорю... Я подберу себя. Брошу пить. Вот на пенсию скоро выйду... Гриньке в школу как раз. Да, переедем в Дубровино, купим хатку какую-нибудь. И брошу. Какая в ней радость?

И вот уж больше года живут они в деревне. Надежда вышла замуж за своего Валентина, отец теперь не работает, получает пенсию. А пить так и не бросил...

Гринькины глаза слипались, сон заволакивал сознание. Засыпая, он опять подумал, что отец его непонятный и чудной. Туман у него Татьян, дождь он называет Дементием, вьюгу — Акулиной, а пасмурный день — Митрофаном. «Туман — Татьян — понятно, похоже, вроде. Дождь — Дементий — тоже на одну букву. А почему вьюга — Акулина? Или крепкий мороз — Филарет? Ага, кажись, идет...»

Проснуться Гринька уже не мог. Откудато из другого мира, далекого и нереального, донеслось только до Гриньки знакомое:

— **А кто ж я такой? Просто так, нимрек...**

2

Уже несколько дней шел то дождь, то снег, землю расхлябило, люди с трудом выдергивали ноги из клейкой дорожной грязи. Небо было серым, низким и промозглым, мир сузился, перемокшие дома, казалось, съежились и потихоньку оседали вниз, в разжиженную землю. И еще казалось: небо над деревней никогда не распахнется больше, сроду не появится на нем солнце.

Тусклый короткий день был просто длинным сумеречным вечером.

Павел Демидов с толстой палкой в руке вышел за калитку, когда сплошная чернильная темнота залила всю улицу. Кое-где светились окна, бросая желтоватые пятна на дорожную грязь, отчего грязь эта жирно лоснилась. Перед домом напротив росли гу-

стые деревья, свет из окон этого дома не доставал до улицы, запутывался где-то в голых ветках.

В конце улицы, как всегда, горело «волчье око». Демидов помедлил, вздохнул и пошел на его красноватый огонек.

Оконце, через форточку которого Мария Макшеева принимала от ночных покупателей деньги и подавала бутылки, было задернуто занавеской. Демидов постучал в стекло. За красноватой тряпкой качнулась тень, занавеска поползла в сторону, и Павел увидел за стеклом не Марию Макшееву, а усатое, жирное, ненавистное лицо ее мужа Дениса.

— Сколько?— равнодушно спросил Макшеев, открыв форточку, не узнавая пока Демидова.

— Одной досыта будет... с твоих-то рук.

Рыжие брови Макшеева чуть переломились, он поближе припрянул к стеклу, будто хотел проверить, не ослышался ли, тот ли за окном человек, которому принадлежит голос.

— Давай деньги.

Когда он говорил, тускло поблескивáли от электрического света два его вставных металлических зуба.

Протянув с пятерки полную сдачу — Демидов был, наверное, единственным, кому Макшеевы продавали водку по ее настоящей цене,— Денис хотел захлопнуть форточку, но Павел сунул в створку грязный конец палки.

— Чего, чего еще?

— Не отравленная? Ты ведь грозил когда-то...

— Жри без опаски. Не сдохнешь.

— Марька-то где сама?

— Проваливай! Будет тут пьянчужка всякий... Убери, говорю, палку!

— Жена где, спрашиваю, твоя?

— А на свидание к тебе побегла. А ты тут вот...— В голосе Макшеева была едкая насмешка.— Мне что, за участковым сбегать?

— Это уж сама Марька сделает, когда я, Денисий, придавлю тебя где-нибудь, как таракана сапогом.

Усы у Макшеева от бешенства задергались. Но бешенство его было бессильное, он сам это чувствовал. И ничего не говорил, только багровел все больше и больше.

— Придавлю и разотру, чтоб и праха от тебя на земле не осталось.

По-прежнему молчал Денис, стоял, уронив, как плети, обе руки. Лицо его теперь стало бледнеть, словно какой-то насос начал откачивать с лица всю кровь. А Демидов, понимая состояние Макшеева, безжалостно продолжал:

— Да только что мне участковый? Я жизнь свою использовал, так и так помирать скоро. Но сперва я тебя на тот свет спроважу. Да ты и сам, должно, чуешь, что твоя голова все ниже и ниже к плахе клонится. Чуешь али нет?

Макшеев лишь усмехнулся.

— Врешь, чуешь. Все живое это чует. Даже курица, когда ее ловишь в курятнике, чтобы лапшу сварить.

— Не пугай. Пуганный я тобой.

— И правильно — бойся,— как бы не слыша его слов, продолжал Демидов, раскрывая форточку чуть пошире.— Я это давно бы сделал, да поджидал, покуда дети ваши подрастут. Малых не решился сиротить. А теперь что ж — обои твои дети обженились в городу, слыхал, на собственные ноги встали... А там пусть приходит за мной хоть сотня участковых. Тюрьма мне больше без надобности, на старости-то. Так что живым они меня не найдут. Гриньку Надежда к себе возьмет.

Демидов вынул палку из форточки, наклонился поближе к оконцу и сказал Макшееву, как говорят что-нибудь хорошее близкому другу:

— Конечно, не шибко удачливо ты, Денисий, судьбой своей распорядился.

Макшеев рывком захлопнул форточку, задернул занавеску. Но по тени Демидов видел, что он не отошел от окошка, стоял недвижимо на прежнем месте. Усмехнувшись, Павел покачал на ладони холодную тяжелую бутылку и вдруг, размахнувшись, швырнул ее в бревенчатую стену дома. Бутылка раскололась звонко, но осколки просыпались почему-то беззвучно. Тень за занавеской вздрогнула, будто бутылка попала не в стену, а в самого Дениса, и окошко потухло.

Когда Павел Демидов шел к дому Макшеева, сеял редкий, унылый дождичек, небо, видно, иссякало, выцеживало из себя последки. И вот теперь действительно сверху уже не капало, дул только влажный и тяжелый ветер, бессильный высушить крыши, голые мокрые ветки деревьев, суконную тужурку Демидова.

Павел шагал не к своей мазанке, а так, куда-то по какому-то переулку, неизвестно зачем. Полчаса назад ему действительно сильно хотелось выпить, сейчас ничего не хотелось.

Многолетняя жизнь в лесу обострила его слух, приспособила его глаза хорошо видеть в темноте. И сейчас он услышал: кто-то хлюпает по грязи навстречу ему. А подняв голову, сразу различил, что это Мария Макшеева.

Мария, может, не узнала его, а может, не захотела узнавать — прошла, было, мимо. Он окликнул ее именем, каким звал в юности, каким звал иногда и теперь...

— Марька...

Она оглянулась, затем пошла еще быстрее, но сделав несколько шагов, остановилась:

— Ну что, что?

— Да так я...— произнес Демидов, подходя.— Что мне с тобой?

— Гляди-ка, трезвый.— Глаза Марии во мраке чуть поблескивали, и Павел знал, что она глядит на него как всегда холодно и враждебно.— Когда ты от водки этой сгоришь только!

— Вот как Денисия твоего прижулькну где-нибудь.

— Зверь ты, зверь! Чем он тебе дорогу перешел? Что ты над ним висишь всю жизнь, как.. Чем он-то виноват перед тобой? Это я пускай виновата, коли выбрала его, а не тебя. И хорошо, что не тебя! Ты ведь пьянчужка, бирюк лесной. Хватила бы я с тобой горюшка...— и Мария заплакала.

— Врешь ты,— сказал ей Демидов с тихим вздохом.— Все врешь. Все ты знаешь.

— Я тебя по-всякому просила — оставь ты нас в покое. У меня семья, дети, я... Что ж я с собой могла поделать, тогда... коли не тебя, а его полюбила.

— Врешь,— повторил Павел.— За меня б вышла, коли б не посадили меня перед войной.

— Никогда! — воскликнула женщина.

— Ветру у тебя в голове много было, это верно,— как-то грустновато произнес Демидов.— Ладно, может, и не за меня. А от Денисия-то ушла даже бы и сейчас, будь твоя воля. Да нету. Запутал он тебя в грязных магазинных делах, завязил сперва в них, как муху в паутину... А теперь тюрьмой пугает. Вон полушалок на тебе и тот ворованный.

— Не трожь ты! — Мария отступила, ударила его по протянутой руке, будто боялась, что он сорвет с ее головы полушалок.

— Водку и ту заставил продавать ночами на рубль с лишним дороже. С меня только и берете настоящую цену. Куда он деньги-то складывает?

— Как я ненавижу тебя, паразита!— прохрипела Мария, отступая, будто изготавливаясь к прыжку.

— И это неправда,— произнес он с каким-то укором.

Мария зарыдала тяжко и глубоко, согнулась, уткнула лицо в концы полушалка. Он терпеливо ждал, пока она выплачется.

— Нет, это правда,— сказала она, вытирая глаза.— Я тебя возненавидела по-правде с того дня, когда ты меня там... в лесу в кровь исхлестал ружейным ремнем. И до смерти за это ненавидеть буду.

— Не ошибись гляди, глупая ты баба,— произнес Демидов.

— Ишь ты, как себя ставишь! Поглядите-ка на него! Еще противней ты мне после таких слов.

И она быстро пошла прочь, разбрызгивая резиновыми сапогами грязь. Павел стоял, опершись на палку, глядел ей вслед, будто ожидая, что она вернется.

И она вернулась. Она остановилась сперва, потом резко повернулась, торопливо подбежала к Демидову.

— Вот глупая я, ты произнес. А?

— Я это сказал.

— А почему?

— А ни бабы, ни человека из тебя не выросло. А могло бы и случиться.

В соседнем доме загорелось окно, свет из него упал прямо на Павла, а Мария осталась, отрезанная в темноте. Но Демидов увидел ее запрокинутое к нему лицо, действительно холодное и враждебное.

И все равно она была красивая, Мария. Она была на четырнадцать лет моложе Павла, ей подбиралось под пятьдесят, но время словно не трогало ее. Все такие же гладкие щеки с румянцем («И это не ветер нахлестал»,— отметил Демидов), свежие еще губы, которыми она когда-то целовала его жарко и ненасытно, такие же густые, без единой сединки волосы. Лишь вокруг глаз стали пробиваться морщинки, да и то едва-едва.

— Оставь ты нас с Денисом в покое, Пашенька!— умоляюще заговорила вдруг она.— Мы старики уж, жизнь сызнова не начнешь... Уедь куда-нибудь, али мы с Денисом уедем, а ты за нами не тащись следом, дай нам пожить спокойно под старость хоть, не преследуй боле. Ты ригу колхозную поджег, в тюрьму угодил, и пошла твоя жизнь наперемол. А Денис при чем?

— Ты?! — вскрикнул он и тяжко задышал.— Денис, значит, ни при чем? Он ни при чем?! Н-ну, отвечай?!

Он схватил ее за плечи и сильно затряс.

— Господи, в уме ли ты?! Я закричу, Павел!

Он застонал, отшвырнул ее от себя чуть не в грязь и быстро пошел, почти побежал...

3

Тяжелые черные волны хлестали в борта лодки. Демидов, сжав зубы, греб и греб, не обращая внимания, что весла опасливо потрескивают. В непроглядной черноте крохотного речного островка было не видно, но Павел чутьем чуял, что плывет правильно, что нос лодки сейчас заскрежещет по гальке.

Потом он сидел под небольшим обрывчиком в затишке, смолил одну за другой дешевенькие папиросы, слушал, как уныло посвистывает ветер в голых кустах, росших на островке, хлюпает у ног осенняя обская вода.

Напротив островка вдоль берега была рассыпана деревня Дубровино, сейчас она угадывалась по редковатым огонькам. Среди этих огоньков Демидов безошибочно отыскал вновь горевшее «волчье око».

«Ты ригу колхозную поджег... А Денис при чем?» Эти слова звучали в ушах Демидова, пока он греб к островку, звучали и сейчас.

«При чем? — тяжко усмехнулся он.— Это можно бы тебе еще раз объяснить. Только что́ объяснять — и без того все помнишь ведь...»

Потом Павел стал размышлять, что его вот, Демидова, многие называют чудным человеком. А ежели подумать, вся жизнь чудная. Земля вот большая, много на ней места. А бывает так, что двоим на ней тесно. Не разойтись им никак. Да-а, люди — человеки... Много на земле всяких разных живых тварей, а красивше человека нету, с разумом потому что, с сознанием. А раз так, живи и не мешай другому, вон сколько на земле благодати, найдешь свою, зачем другому дорогу переступать? Так нет же... И опять же, ежели с другой стороны. взять,— ну ладно, сделал тебе зло кто-то. Не от большого ума, конечно. Пойми и прости, какое бы тяжкое оно, зло, ни было. Ты ж человек все же. А вот он, Павел Демидов, простить не может. Он и простил бы, он и пить бы бросил — все сделал бы Павел Демидов, пойми люди, что он ни в чем не виноват перед собой, перед жизнью, перед людьми. А не поймут, не поверят... Но это опять же — с одной стороны. А с другой — понимать и прощать некому. Здесь, в Дубровино, его жизни никто не знает, кроме Дениса да Марии. Лесник и лесник, пьяница только, мол, да с Макшеевыми почему-то не ладит. Теперь, значит, на пенсии. Знали там, на Енисее, в Красноярском крае. Да и там, в деревне Колмогорово, люди тоже попеременились — кто уехал, кто приехал, а многие и померли, ведь больше трех десятков лет прошло с тех пор, как... Кто теперь помнит там о нем, Павле Демидове? Кому и зачем кричать: люди, я не виноват! Вот, допустим, можно бы крикнуть было этак на весь мир. И что же? Люди бы и впали в неодумь — полоумный, что ли, орет? И оно действительно... Так, значит, что ж, по таким-то рассуждениям, вроде и простить ему, Денису Макшееву, можно? А я не прощаю, ношу эту обиду в себе, как курица яйцо, и снестись не могу. Отравляю ему и себе жизнь...

Так думал Павел Демидов, чувствуя одновременно, что он какой-то не такой уже, чем был даже вчера, что в нем происходит что-то непонятное, подбирается к его сердцу какая-то доброта, ненужная ему, и вообще — предательская. Гринька, когда вырастет, не одобрит, должно быть, такой доброты...

Огоньки на берегу становились все реже, гасли один за другим. А «волчье око» все продолжало гореть, прокалывало темень неприятно-красным светом. Демидов глядел на него, и в груди, под черепом — везде вскипала у него кровь будто.

— Не прощу, нет... Не могу!

Он закрыл глаза, откинулся назад, ударился затылком о земляной обрывчик. Он очень плотно, до ломоты в веках зажмурил глаза, а все равно видел «волчье око», оно горело и горело...

4

Начало жизни Демидова складывалось не хорошо и не плохо. Он родился и вырос на берегу Енисея, реки малорыбной, зато неописуемо красивой. Отец погиб в партизанах — он был в отряде легендарного Каландарашвили, мать — тихонькая, маленькая, робкая, она все почему-то держала заскорузлые от работы руки под фартуком, точно стеснялась показывать их людям,— как и другие, вступила в Колмогоровский колхоз. И Демидов работал в колхозе, потом служил действительную, вернулся с нее в начале тридцатых годов.

— Теперь жениться бы те, Пашенька,— говорила мать несколько раз.— Я уж слаба стала.

С женитьбой как-то не получалось. А потом стал ждать, когда подрастет Мария.

Мария росла хохотушкой — этим и привлекла сперва его внимание. В четырнадцать лет она была уже стройной, грудастой, туготелой. В шестнадцать хорошо научилась целоваться, он, Павел, ее научил. Целовал ее, но и в мыслях никогда не было, чтоб тронуть, понимал: рано и ни к чему до свадьбы.

— А когда же свадьба-то? — спрашивала она частенько.

— Скоро. Подрасти еще. Порода чтоб крепше от нас пошла.

Когда Марии исполнилось семнадцать, в Колмогоровском сельсовете появился новый счетовод — Денис Макшеев. Он был примерно одногодок Павла, тоже отслужил давно действительную, ходил по деревне в полувоенном френче, синих галифе и хромовых сапогах. И еще от него всегда пахло одеколоном. По тем годам это было невидалью в деревне — девок осуждали, если чем помажутся, а мужику-то и вовсе позор.

Откуда Макшеев родом, было неизвестно. Деревенские бабенки глухо поговаривали, что вроде из самого города Красноярска, где родитель его держал будто бы когда-то не то мучной лабаз, не то булочную. Но бабье есть бабье, к их сплетням никто всерьез не относился. Да и не было ни для кого нужды устанавливать родословную приезжего счетовода. Те, которые поставили его на эту работу, знали, наверное, кого ставят, им, значит, было виднее.

Однажды Павел застал на берегу Енисея Марию и Дениса. Денис что-то рассказывал, картинно красовался, поставив одну ногу, обтянутую плотно синей штаниной на крупный камень. Мария заливалась смехом, сидя на носу лодки.

— Занятный он,— сказала она, когда Павел увел ее с берега.

Это было где-то в мае тридцать восьмого. По осени Демидов намеревался сыграть свадьбу, мать тихонько собирала к этому дню все необходимое.

— Хороша бабенка, да не планида ей горизонт увидать,— сказал как-то Денис Павлу, встретив его среди деревни.

— Как понять? — насторожился Павел.

— Ей муж-то надобен с кругозором. А в тебе какой интеллигент? Ты ведь, дядя, цветок нюхаешь, а запаху не чуешь.

Демидов высоко себя не ставил, но и низко не опускал. И потом он был не какой-то робкий недоносок, и он тут же схватил Макшеева за отвороты френча:

— Ты! Приподниму и опущу об землю. Только шмякнешь!

— Убери крючки, ну! — побагровел Денис, схватил Павловы руки за запястья, оторвал от френча. Он, Денис, тоже силенку имел.— Обломлю и в Енисей кину. Я, дядя, решительный. В кавалерии служил и лозу лихо рубил.

Они разошлись красные, взъерошенные, оба чувствуя, что еще сойдутся.

— Зачем ты ему о свадьбе сказала? — спросил в тот же вечер Павел у Марии.

— А занятный он,— ответила она, как и в первый раз.— Да что он нам, ты не думай...

Но Демидов думал, потому что нет-нет, да и заставал где-нибудь Марию в компании счетовода. Она с хохотками уверяла, будто встретилась с ним случайно и только что.

А однажды произнесла с обидой за Макшеева:

— Ты его не любишь, я вижу. А в нем интеллигенту-то побольше, чем во всех деревенских парнях.

— Во-он как! Так ты что ж, за него и выходи.

И тут Мария зарыдала, прижалась к нему:

— Пашенька! Я тебя, тебя люблю... А когда с ним, вроде бы не тебя, а его... Убереги меня от него! Я не знаю как, только убереги. Иначе быть греху...

— Ладно,— угрожающе произнес Демидов и пошагал в сельсовет.

В сельсовете они поговорили с Макшеевым тихо и мирно, как добрые товарищи. Из сельсовета вышли и пошагали рядом, плечо в плечо, по улице, за деревню. Макшеев шел, грыз семечки и равнодушно плевался шелухой.

За Колмогорово сразу начиналась тайга, они отыскали глухую поляну, Макшеев снял френч, а Демидов пиджак и верхнюю рубаху. Каждый аккуратно свернул свою одежду и положил на траву.

Дрались они долго, молчаливо, в кровь, все больше наливаясь свирепой угрюмостью, изорвав друг на друге нательные рубахи. Договорились: пока один из них не упадет без сознания. Лежачего, как известно, не добивают, но зато уж устоявшему на ногах достается Мария.

Устояли оба, только до дна выдохлись. У Демидова текла кровь даже из ушей, Макшеев выплюнул два передних зуба.

— Будет,— прохрипел Денис, обтирая клочьями рубахи кровь с лица.

— Признаешь, что слабожильнее? — тоже с хрипом спросил Павел.

— Ни в жисть.

— Тогда погодь одеваться, лабазник! До окончности давай, как договорено.

Демидов качнулся было к Макшееву, но тот поднял с земли увесистый еловый сук.

— Ты что?! Договорились — на кулаках только.

— Подходи... Я покажу, как договаривались!

На всякий случай Демидов пошарил под деревом, тоже нащупал крепкую палку.

— Скажу те так, хамло навозное,— тяжко дыша, проговорил Макшеев.— Лабазник я али еще кто там, а Марии не видать тебе все одно. Отказывайся лучше добровольно. Иначе икать всю жизнь будешь. Это я тя заставлю, найду способ. Я, дядя, решительный.

— Жди, как же. Сиди дома и гляди в окошко, не идет ли Пашка Демидов, не ведет ли тебе Марьку за руку: вот, мол, возьми.

— Ну я сказал, а ты слышал. И, значит, судьбу свою добровольно выбрал...

...Не знал тогда Павел, что за человек Денис Макшеев, предположить и близко не мог, что за судьбу он ему уготовил.

Отполыхало лето, блекнуть стало небо, и вскоре густо посыпался древесный лист. Как-то допоздна засиделся Демидов у родителей Марии, обговаривая круг гостей, которых через неделю предстояло звать на свадьбу. Под конец попробовали самогонки, которую Марькина мать накурила для свадьбы. Кувшинчик принесла сама Марька, бледная какая-то, с опущенными глазами. Когда разливала по стаканам, пальцы ее подрагивали.

Прощаясь с Павлом, подняла все же свои густые ресницы. Зрачки ее сильно расплылись, были огромными, в широко распахнутых теперь глазах стоял ужас, какой-то немой крик.

— Ты что, Марька? — спросил Демидов.

— Пашенька... Давит отчего-то все у меня внутри...— Она припала к нему. Павел слышал, как бешено молотит в ее груди сердце.

— Устала, видно. Ты ляг пойди...

— Я лягу, лягу... Еще, может, стаканчик выпьешь?

— Что ж, давай.

Когда Марька наливала этот стакан, дрожали у нее не только руки, но и спина.

— Пей... на здоровье.

Голос у нее был теперь чужой, незнакомый, и в глазах не стояло уже ни ужаса, ни беззвучного крика. Они были, ее глаза, бессмысленными, пустыми, до дна выгоревшими. Как ни пьян был Демидов, он все это заметил, еще раз спросил:

— Да что, в самом деле, такое с тобой?

— Ой, Пашка! Женское сердце вещун, говорят...— выдохнула она, вжалась в стену.— А у меня такое чувство, будто последний раз видимся...

Последний не последний, но долго потом не пришлось им увидеть друг друга. Добрый десяток лет с гаком.

Самогонка оказалась зверь зверем, в голове у Демидова шумело, августовские звезды пошатывались на небе.

Когда он шел мимо колхозной риги, из-за хлебной скирды вышел Денис Макшеев.

— Ну вот... Долго я ждал такого случая.

— Отойди, я пьяный,— попросил Демидов.

— Это нам и сподручно, дядя,— проговорил, шепелявя, Макшеев и чем-то твердым ударил Павла по голове. Демидов качнулся и рухнул наземь.

Потом Макшеев безжалостно пинал его сапогами в голову, в грудь, в лицо. Павел только глухо и беспомощно стонал, пока не потерял сознание. Потерял он, видимо, его ненадолго, потому что, когда открыл глаза, Макшеев был тут же. Он будто по нужде сидел на корточках у хлебной скирды. И вдруг Демидов увидел: из-под руки Макшеева змейкой пополз огонек, начал лизать, разрастаясь, угол хлебного зарода. Даже в темноте было видно, как заклубился черный тяжелый дым.

— Ты! Ты чего делаешь?! — будто задыхаясь от этого дыма, прокричал Павел, попробовал приподняться на локтях.— Ты чего сделал?!

— А это не я... Это ты, дядя, сделал,— проговорил Макшеев и, хищно ощерясь, стал приближаться к нему от пылающей скирды.— И сейчас люди об этом узнают.

Голова Павла мотнулась и будто оторвалась. Опять потухающим сознанием Демидов сообразил, что Макшеев снова пнул его сапогом, снова, крича теперь на всю деревню, призывая людей на помощь, принялся его избивать. Но боли Павел не чувствовал. Вспухло перед ним что-то большое, оранжево-красное, разрослось и лопнуло беззвучно...

...За поджог колхозной риги (дотла сгорело несколько ржаных зародов, молотилка и две веялки) Павла Демидова осудили на двенадцать лет. Что бы он ни говорил в свое оправдание, слова его звучали для всех как-то жалко, неубедительно — так уж все подвел Денис Макшеев, который, достигали до Павла отрывочные слухи, ходил теперь в героях за поимку поджигателя колхозного хлеба на месте преступления.

И покатилась жизнь Демидова колесом куда-то в пропасть, все глубже и глубже...

Срок он отбывал в лагере неподалеку от родных мест, строил на мерзлой земле рудник, что ли, какой-то. В сорок втором, осенью, попал на фронт, в штрафной батальон.

Но хоть и штрафной, а полегче все же стало, мир пошире открылся, вокруг штрафников — люди обыкновенные, какие живут на земле. Поставил перед собой задачу Демидов: хоть и несправедливо обошлась с ним судьба, а надо доказать, что он человек все же, человеком и останется.

Но, видно, недаром говорят: судьба — индейка, а жизнь — копейка. Досуха выпил он вроде горькую чашу, да самая горечь на самом донышке еще оставалась. И ее довелось выхлебнуть.

В первом же бою был он захвачен в плен.

Случилось это в ноябре, под станцией Качалинской. В ту пору ходили слухи, что Красная Армия готовится к могучим боям, чтобы отбросить фашистов от Сталинграда. И бои эти, по всему видно было, начались.

Их штрафному батальону поставили задачу во что бы то ни стало преодолеть полузамерзшую реку Дон, достичь другого берега, зацепиться за него и любой ценой удержать.

— Форсировать-то будут в другом месте, а нас кинули, чтоб внимание немцев отвлечь,— сказал Демидову какой-то солдат из уголовников перед началом операции.

— Оно так... Да на середке лед, говорят, совсем тонкий. Перетопнем еще.

— Заткнись ты! — глухо кинул Демидов.

— Слушай, кореш... Я видел на занятиях, метко ты из винтовки лепишь,— не унимался рыжий.— А наше дело такое: до первого ранения, до первой крови.

— Ну? — насторожился Демидов.

— Вот тут в гомонце у меня пара кусков. И бока золотые.

— Что-что?

— Две тысячи, говорю, денег. И часы. Вот, возьми. И один кусок... Сейчас, перед атакой, артподготовка начнется. Отойдем в овражек, а? Лупанешь меня из винтовки по левой руке... Ведь так и так... Грохот будет, выстрела никто не услышит. И я тебе другой кусок... Уцелеешь коли, пригодятся...

— Давай,— сурово проговорил Демидов.— Все давай, и вторую тыщу.

На первых порах заключения Павел боялся всякой шпаны, а потом уяснил: эта сволочь силу уважает, подчиняется ей беспрекословно, и еще наглость. И он научился управляться с этим народом. Поэтому сейчас, получив часы и деньги, он, не торопясь, спрятал все в карман. Потом развернулся и тяжко, с придыхом ударил жестким кулаком прямо в широкоскулое лицо уголовника. Тот отлетел в снег, быстро вскочил, вытирая кровь с подбородка.

— Сука,— спокойно сказал Демидов.— Я тебе не по руке, в самую голову прицелюсь, ежели ты во время дела начнешь за спины других прятаться. И не промахнусь, не надейся. Впереди меня пойдешь. И гляди у меня!

По растерянным глазам уголовника Павел видел, что он сломал его, подчинил себе без остатка, хотя, конечно, понимал, что при удобном случае рыжий без колебаний пристрелит его. Но случай такой должен еще наступить, а Павел не лыком теперь шит...

Этот эпизод почему-то вселил в Павла уверенность, что он останется жив.

И остался, да лучше бы не оставаться.

Из затеи форсировать в тот день реку ничего не вышло, почти весь штрафбат полег на льду. От фашистской пули упал, опрокинувшись на спину, и рыжий уголовник, добросовестно бежавший все время впереди Павла. А тут и самого Демидова садануло в голову, она мотнулась, как когда-то от пинка Макшеева, больно заныли шейные позвонки.

Это было последнее, что почувствовал или запомнил краем сознания Демидов. Очнулся он где-то в тесном, вонючем бараке, услышал непривычную немецкую речь, сразу без удивления и почему-то даже без досады понял, где очутился. «Ах, Макшеев Денисий, ну погоди!» — подумал он только, как думал и прежде бессчетное количество дней и ночей, но на этот раз безразлично как-то, равнодушно, без злобы к нему. Внутри у Демидова словно ничего не было теперь живого, все онемело.

Таким онемевшим, отупевшим, безразличным ко всему, что с ним происходило, он и остался на многие годы. Это, наверное, и помогло ему выжить. Немцы знали, что он штрафник, считали за бывшего уголовника, вербовали в какую-то власовскую армию, даже уговаривали. Демидов не знал, что это такое, но отказывался. Уговоры сменялись избиениями...

Неожиданно от него почему-то отступились, отправили в концлагерь на территории Польши. Там он был уборщиком трупов, каждое утро собирал их по всему лагерю и свозил на пегой лошаденке к крематорию.

Он возил их и возил до января сорок пятого года, к этому привыкли и узники и сами немцы. Он никогда не брился, редко стригся, густо и безобразно заросший волосом, походил на старика, ни сами немцы, ни узники вроде уж и не принимали его за заключенного, а считали вольнонаемным уборщиком трупов, к тому же полуидиотом.

Советская Армия захватила лагерь военнопленных стремительно и неожиданно. Даже в отдалении боев никаких не было слышно, пролетали только в последнее время на большой высоте над лагерем советские самолеты, и вдруг утром, перед самой зарей, в бараках послышался лязг железа. Узники высыпали на плац, и Демидов выскочил — за колючей проволокой, обтекая лагерь, грохоча гусеницами и воя моторами, стремительно неслись куда-то танки. «Куда ж они торопко так?» — подумал Демидов, убежденный, что это немецкие танки.

И вдруг один из них круто повернул, порвал, как паутину, туго натянутую колючую проволоку и остановился, поводя из стороны в сторону длинным пушечным стволом, будто выбирая, куда бы влепить снаряд. И Демидов увидел на его броне пятиконечную звезду...

...Утром, когда рассвело, Павел стоял, комкая лагерную шапку, в толпе воющих, плачущих от радости заключенных, ждал своей очереди к представителям Советской Армии, составляющим списки бывших узников.

— Погодите, это что за чучело? — спросил кто-то, едва Павел переступил порог.— Откуда такой?

— Я русский. Демидов по фамилии.

— Ты ж облик человеческий совсем потерял.

— Кто ж тут его сохранил?

— Где в плен попал?

— На Дону где-то. Из штрафников я.

— За что в штрафники угодил?

— Осужденный был. За то, что будто бы колхозную ригу сжег.

— Как будто бы?

— Я не поджигал. Денисий Макшеев поджег. А я жениться хотел на Марии. Оттого все и началось...

— Погоди, погоди, старик.. Он полоумный, кажется.

— Нет, в уме покуда. И не старик, мне сорока нет пока еще. Вы послушайте...

Демидова выслушали терпеливо. Рассказывая обо всем, что с ним произошло, Павел видел, что ему не верили.

— Да, тут разобраться не так-то просто,— сказал офицер с двумя полосками на погонах.— И не наше это дело.

— Да чье бы ни было, все едино не разберутся.— обреченно махнул рукой Демидов.— Лучше уж посадите до конца срок отсидеть, который мне даден.

...И еще три года мыкался Демидов по каким-то пересыльным пунктам, лагерям, по-прежнему безразличный к тому, что с ним происходит. Он только чувствовал: люди, занимающиеся его судьбой, не знают теперь, что с ним делать.

Наконец, в сорок восьмом году, Демидова выпустили, обязав три года еще жить на поселении в том же северном районе, где был лагерь.

Но все проходит. Прошли и эти добавочные три года. Мог теперь ехать Павел Демидов куда угодно. А куда? Где жизнь доживать? Мать умерла еще до войны, получил он известие как-то. Мария, Денис Макшеев, родное Колмогорово — все это было где-то уже в другом мире, будто за какой-то мутной бесконечной далью, преодолевать которую не было ни смысла, ни желания.

Продолжение следует.

Жизнь на грешной земле

Анатолий ИВАНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

5

В родные места он приехал ранней весной, когда над Енисеем кричали журавли.

Но с какого боку приткнуться к жизни? Ни на что хорошее он уж не надеялся, отвык от хорошего. И, внутренне чувствуя, что пытает судьбу в последний раз, прямо с поезда пошел в райисполком.

— Объясни мне, значит, гражданин начальник, что я такое за человеческое чучело? В том смысле, стоит дальше мне жить али в самом деле солнечным светом я не имею права пользоваться? — спросил он, зайдя почти без спроса у тонконосой секретарши в кабинет самого председателя райисполкома.

Фамилия у председателя была Агафонов. Толстый, неповоротливый, с заплывшей нездоровым жиром шеей, он, прихмуривая брови, с любопытством оглядывал посетителя.

— Начальник-то я начальник... видишь, раскормленный какой. А все-таки не гражданин, а товарищ... Из заключения, что ли?

— А для меня вся земля — тюрьма без решеток.

— Ишь ты,— усмехнулся тучный Агафонов.— Злой какой. А я вот стих однажды где-то читал: «Солнце светит всем — слепым и зрячим. В этом и величие его...» Это как?

— Слова-то можно по-всякому составлять.

— Н-да...— Агафонов все так же внимательно разглядывал Демидова.— Ну-ка, чучело себя замучило, рассказывай...

И впервые за многие годы почувствовал Демидов, что не вся земля в подлецах, слишком большая она для этого.

Он рассказал толстому Агафонову о своей жизни все, не утаив даже и малейшей подробности. Тот слушал не перебивая, только хмурился и мял кулаком жирный подбородок.

— Н-да...— опять произнес он, когда Павел кончил.— Что я тебе скажу, товарищ Демидов? Зло — оно само себя показывает, а добро еще увидеть надо.

— Это как же понять?

— А так... Я вот думаю: самое полезное для тебя сейчас будет пожить где-нибудь в стороне от людей, один на один с природой. Пособлю я, скажем, бакенщиком тебе устроиться на Енисее. А еще лучше лесником.

— Значит, возле людей мне так и нету теперь места? — Вся удушливая горечь опять прихлестнула к самому горлу.

— А ты поверь мне, Демидов. Вот хозяйка хлеба из печки когда вынет — сперва в прохладное место их составит, полотенчиком чистым прикроет. Отдохнуть от жара. И отмякнет он, хлеб, духу земного вдруг наберет. А люди? Людей и в лесу много.

— Ты из крестьян видать? — Горечь сама собой отхлынула от горла, только на Агафонова смотреть почему-то было неудобно, ощутил он ни с того ни с сего и какую-то вину перед этим человеком.

— Нет, я таежник в прошлом. И лесником долго служил. Вот сейчас как вспомню — заноет сердце от тоски. Лес, природа вообще — это высший разум, какой есть под солнцем. Научишься все это видеть и понимать — и обнаружишь в себе человека. А это для тебя еще задача, уж поверь мне.

Демидов и понимал и не понимал, о чем говорит Агафонов. Но чувствовал — надо ему верить. И неожиданно для себя произнес:

— Да-а, хороший ты, должно быть, человек.

— А это люди по-разному считают,— усмехнулся Агафонов.— Так что ж, позвонить мне насчет тебя в лесничество? Не подведешь меня?

— Ты мою жизнь всю слыхал. Меня вон сколько подводили, а я вроде никого пока.

— А ты поубавь-ка злости! — рассердился вдруг Агафонов, покраснел, как от натуги.— «Меня вон сколько»... А сколько? Все люди будто тем лишь и занимались. Один раз только, один подлец... Это надо тебе сразу, тут же понять!

— Оно и раз, да досыта. Он, сволота, так и сказал: «Икать всю жизнь будешь». И вот наикался! Меня тоже понять надо.

— Значит, ты ему не простишь? Мстить собираешься? — Агафонов, взявший было телефонную трубку, положил ее на место.

— А он что, Макшеев, живой? — быстро произнес Демидов.— Ты знаешь его?

— Не знал бы, может, и небывалым посчитал все, что случилось с тобой.

— Где ж он живет-поживает?

— Там же и поживает, в Колмогорове. Женатый на этой твоей Марии.

Демидов сидел, согнувшись, уперев локти в колени, лицо уронил в ладони, тяжко, с загнанным хрипом дышал. Агафонов не говорил теперь ни слова. Павел знал: он ждет ответа на свой последний вопрос.

— А ты... ты вот простил бы ему, доведись это с тобой? Ты не отомстил бы?

— Я? Простить — не знаю, не простил бы, кажется. А мстить, мараться об него — побрезговал бы. Себе дороже.

— А я себя дорого теперь не ценю! — со злостью выкрикнул Демидов.

Они помолчали, будто каждый размышлял теперь про себя, что же им делать, как разойтись. Наконец Демидов произнес с трудом, не глядя на Агафонова:

— И дети у них... у Макшеевых, имеются?

— Двое, кажется, сын и дочь.

Демидов еще посидел немного и, гремя стулом, тяжело, неуклюже поднялся.

— Ладно... Не встреть я тебя... такого — кроваво отомстил бы ему. Теперь не трону. Действием не трону. А простить, как и ты вот говоришь, не смогу. Это уж как хочешь.

— Как понять — «действием не трону»?

— Неужели непонятно?

— Чем же тронешь?

— Не знаю. Ничего не знаю. Позвони в лесничество.

Попрощавшись, пошел из кабинета, но вдруг остановился, проговорил:

— Это вот про стих — хорошо ты. Солнышко светит всем — и зрячим и слепым. Ведь просто, а верно.

— Правильно, Демидов! — обрадованно, с облегчением, как показалось Павлу, произнес Агафонов.

— И еще, должно быть, ты верно сказал: это для меня задача — обнаружить в себе человека. Тут ты корень какой-то глубокий задел.

— Не задача, а ползадачи уже,— улыбнулся Агафонов.

— Нет, обманываешься,— упрямо повторил Демидов.— Что ум рассудит — то еще сердце пронять должно. А это задача.

6

...И стал работать Демидов лесником близ Колмогорова.

Прав оказался толстый Агафонов. Вечный шум леса, птичьи звоны, говор таежных речушек действовали успокаивающе, душа Демидова отходила. Прав он был, что и людей в лесу много: охотники, рыбаки, ягодницы, грибники... Не было и дня, чтобы он не встретился с кем-то из людей, со многими подружился даже. Таким указывал лучшие ягодные, рыбные и грибные места.

С удивлением он обнаружил, что люди как-то быстро располагались к нему, молодые звали дядя Паша, а кто постарше — Павлом Григорьевичем. И он заметил еще: всегда доверчиво относились к нему бабы-ягодницы, без опаски шли за ним в самые глухие места, какие бы он ни указывал. Видно, молва шла о нем хорошая, добрая. И то сказать — ни разу ни одним словом, ни намеком не обидел он ни одну женщину.

Не удержался он лишь однажды, когда незнакомая колмогоровская — видно, из приезжих — бабенка Настасья откровенно упрашивающим взглядом заставила его присесть с ней на ласковую травянистую полянку. Было ей лет под сорок, крепкая и чистая, она и потом иногда прибегала к нему в лес, приходила, таясь и краснея, в его сторожку, ночевала иногда. Она, овдовевшая еще в сорок четвертом, согрела его щедрым женским теплом, пробудила в нем что-то неприятное, тоскующее.

Продолжение. См. «Огонек» № 29.

— Вышла бы я за тебя, Павел,— сказала она однажды.— И не было бы счастливей меня бабы... Да не могу, дети отца живого помнят, не примут никогда тебя. Переломается все в душе их...

— Ты, Настасья, хорошая, сердце у тебя золотое,— ответил ей на это Демидов.— Но не обессудь — не взял бы я тебя. И никого никогда не возьму, один буду...

— Это почему, Павел? — спросила она, глядя на него с материнской тревогой.— Я вот давно примечаю: замерзлая у тебя душа будто, захлопнутая какая-то. Что такое у тебя в жизни вышло? Человек ты добрый, ласковый, а вот один. Попиваешь чуть не каждый день... Отчего?

— Не спрашивай об том. Не к чему людям знать...

— Как там Макшеевы у вас живут? — спросил он у нее однажды.

— Денис с Марией-продавщицей, что ли? А кто их знает... Денис этот — клещ из клещей, должно. А тебе-то почто? — спросила она, ревниво пошевеливая бровями.

— Так... Знавал я их в молодости. Потом... Потом уехать с этих мест надолго пришлось. А это как — из клещей?

— Сосет он, сдается мне, кровь из бабы. Он на фронте был, приехал с костылем, привез две брички всякого барахла — не знаю уж, кто ему надавал его. Подарки, говорит, герою-фронтовику. Дом сразу крепкий поставил. Да и без подарков этих жизнь у них — полная чаша. Продавщица она, Мария, без стыда обвешивает, обсчитывает, обмеривает. И, окромя того, без совести ворует.

— Ты откуда знаешь? — с обидой даже спросил Демидов.

— Я что, слепая? Да и люди говорят. Еще когда он на фронт поехал — жену продавщицей поставил. Он, говорят, до войны председателем сельсовета был. От какого-то поджигателя колхоз, что ли, спас, ну, его в председатели и выбрали.

— Во-он что,— буркнул Демидов.— Как героя...

— Герой. Сейчас боров боровом, а не работает. Инвалид войны, говорит. Костыль давно бросил. А слух в народе живет — жену с магазину все тянуть заставляет. Даже бьет, говорят, коли за месяц меньше его расчету стащит.

— Так уж и бьет? Так уж и план ей на воровство спускает? — опять с явной обидой промолвил Демидов.— Кто этому свидетель?

— От людской молвы чего утаишь...

— Мало ли о чем болтают...

— Павел! Ты спрашиваешь, я отвечаю, как оно есть. А ты будто обижаешься на мои слова. Что они тебе, Макшеевы?

— Ничего.

Так и не разъяснил ей ничего Демидов, оставил в недоумении.

То, что рассказала ему Настасья, Павел знал. Все говорили примерно одно и то же. И ненависть к этому человеку наслаивалась слой за слоем, росла, как снежный ком, катящийся с горы.

Лицом к лицу с Денисом, однако, никогда не встречался, хотя рядом с ним бывал часто. Поедет ли Макшеев за хворостом, пойдет ли ловить рыбу — рыбак он был заядлый, ловил, правда, всегда удочкой, не браконьерничал,— Демидов, научившийся ходить по лесу бесшумно, не один километр прошагает, бывало, за ним следом, не один час просидит в береговых зарослях, наблюдая, как таскает Денис окуней или харнусов. Ловя рыбу, он глох ко всему окружающему, лицо его делалось бессмысленно счастливым, удовлетворенным. Сняв с крючка сильную рыбину, он почти каждую, прежде чем бросить в ведро, некоторое время держал в руке. И Павел, глядя на Макшеева, догадывался и понимал, что тому нравится ощущать, как упруго выгибается рыбина, бессильная теперь вырваться из его кулака.

В сердце Демидова в такие минуты толчками долбила кровь, мелькала, затуманивая глаза, страшная мысль: прицелиться из ружья в это взмокшее от животной радости лицо, да и... Но каждый раз в ушах колотились со звоном слова Агафонова: «А мстить, мараться об него — побрезговал бы...»

С Марией Демидов тоже никогда не встречался, водку, к которой, отчетливо сознавая весь ужас этого, пристрастился окончательно, покупал в соседних деревушках. Но однажды, понаблюдав вот так за Макшеевым, не таясь вышел из кустов и, закинув ружье за спину, пошел в Колмогорово. Макшеев, увидев поднявшегося из зарослей бородатого человека, вздрогнул, вскочил на ноги. Узнал или нет Макшеев его, Павел понять не мог, но видел, что тот испугался черти, даже челюсть бессильно отвисла.

«Не узнал, где узнать...— думал Павел всю дорогу, вплоть до деревни.— А в штаны наклал, дядя. Не тот, видать, стал ты, Денисий. Ну, погоди, погоди... Действием я тебя и в самом деле не трону...»

Демидов направился было к магазину, но на дверях висел замок. Тогда он спросил у кого-то, где живут Макшеевы.

Через порог их дома он переступил, зная, как отомстить Макшееву за изломанную свою жизнь. Переступил и сказал жене Дениса, которая гладила электрическим утюгом белье:

— Здравствуй, Марька. Вот я пришел... Должок твоему мужу отдать.

— Какой должок? — повернула она красивое лицо к Демидову.— Ты кто такой? Чего у Дениса брал?

— Да я ничего. Это он у меня брал. Всю жизнь он у меня взял...

— Погоди, что мелешь? Какую жизнь?..

— А какая бывает у человека? Взял и переломил через колено, как сухой прутик.

И, прежде чем замолк его голос, узнала она, кто стоит перед ней, опустила раскаленный утюг на дорогую шелковую рубашку мужа. Вмиг отлила вся кровь с ее лица, глаза сделались круглыми, закричали беззвучно от боли. А голосом, глухим и осипшим, произнесла:

— Павел...

Отмахнулась дверь, вбежал Денис Макшеев. Он, видимо, шел, обеспокоенный до края, следом за Демидовым. Вбежал, глянул с порога на Павла, челюсть его опять отвалилась и теперь затряслась. Заблестели в темном рту металлические зубы. Мария отшатнулась к мужу, и оба они раздавленно прижались у стены.

— Это он, он... Павел Демидов! — выдохнула Мария.— Откуда ты?!

— Я вижу, вижу...— как ребенок, проговорил Макшеев. Глаза его трусливо бегали, не зная, на чем остановиться.

— С того света,— усмехнулся Демидов.

— Я говорила, он придет, придет...

Запахло паленым. Демидов, не снимая ружья с плеча, подошел к столу, поднял утюг.

— Какую рубаху спортили,— сказал он ровно, без сожаления. Потом сел тут же, у стола на табурет, поставил ружье между ног.— Ну, слушай, Мария, чего он у меня взял, какой долг я должен заплатить ему. Я все расскажу, а ты, Мария, запоминай...

И он долго рассказывал им, не торопясь, без злости в голосе все-все, как рассказывал не так давно Агафонову. Рассказывал будто о ком-то постороннем, а они слушали, все так же прижавшись друг к другу, не шелохнувшись, не в силах прервать его. Лицо Макшеева только мокло все обильнее, с него капало.

— Ну, а остаток жизни мне ни к чему теперь, не дорожу я им,— стал заканчивать Демидов.— Но уйду я в могилу чуть попозже тебя, Денисий. То есть прежде расплату с тобой произведу по чести. Я мог бы сотню раз уж произвесть ее. Давненько уж этак: ты по лесу идешь или едешь, а я следом, незамеченный, за тобой, скрадываю тебя, как зверя. Сегодня, к примеру, с самой зари наблюдал твое рыболовство. Или сейчас вот: кто мне помешает расплату сделать? Патрон для тебя давно тут приготовлен.— Демидов похлопал по ружью.— Но... охота мне, дядя, поглядеть, как ты к смерти готовиться будешь. Так что давай. Бить я тебя перед этим, как ты меня, не буду. При-

стрелю просто, как только где... в лесу ли, в поле ли попадешься мне в ловком месте.

И встал, пошел к порогу.

— Врешь... не посмеешь! — скрипуче выдавил из себя Макшеев, стирая ладонью пот со щек.

— Ну, я сказал, а ты слышал,— произнес Демидов спокойно, зная, что Макшеев помнит свои слова...— Судьбу свою ты добровольно выбрал.

И, не глядя больше на них, вышел.

7

И началась у него с Денисом Макшеевым жизнь, как игра в кошки-мышки. Макшеев Денис поверил всем его словам до единого, перетрусил до края, рыбалки прекратил, во всяком случае, в одиночку рыбачить теперь никогда не ходил, держался все время на виду у людей. Демидов в неделю раз ходил в магазин Марии за водкой, за всякой снедью и, если в магазине никого не было, спрашивал:

— Как он там, Денисий наш с тобой? Еще жива душа в теле?

Сперва Мария молча отпускала ему товар, брезгливо бросала на прилавок бутылки, сохраняя на красивом лице оскорбленную гордость. Потом начала пошмыгивать носом, беззвучно плакать. А однажды истерично разрыдалась:

— Изверг ты, паразит! Закрыл ты нам все небо.

— Почему вам? Ему только. Тебя вот, детей твоих я не трону. Пущай растут.

— Да ведь это, ежели обсказать кому, пожаловаться властям-то, чем ты ему грозишь?!

— А что ж не жалуется? Я разве запрещаю? Пущай идет куда надо, все обсказывает — за что я его хочу, почему... Да и ходить не надо, с участковым милиционером, гляжу, подружился, на рыбалку вместе похаживают. Пусть ему и обскажет все, признается, кто колхозную ригу сжег тогда...

— Как я ненавижу тебя! Как ты встрял поперек моего пути, душегуб проклятый!

— Эвон что! А я так тебя жалею.

— Что-о? — заморгала она мокрыми ресницами.

— А только не убережет его никакой милиционер, так и передай своему Денисию,— ожесточась, пообещал Демидов.

Вскоре Макшеевы быстренько собрались, продали дом и уехали, держа свой маршрут в тайне. Демидов усмехнулся, пошел к железнодорожному кассиру, тоже рыбаку, с которым познакомился в тайге. Тот, ничего не подозревая, сообщил, что взяли Макшеевы билеты, сдали багаж до одной маленькой станции на берегу Байкала. Демидов уволился с работы, попрощался с плачущей Настасьей, поехал следом. Там поступил опять в лесники, со стороны наблюдал, как устраивались на новом месте Макшеевы. Купили они хороший дом. Мария, как и прежде, стала работать в магазине.

И однажды ранним утром, подождав, пока Макшеев наладит и закинет в озеро удочку, вышел к нему на берег, не снимая с плеча ружья.

— На новоселье, что ль, решил рыбки подловить? Пригласишь и меня, может?

Словно током стегануло Макшеева, вскочил он, сделал шаг назад по обломку скалы, чуть не упал в холодную байкальскую воду. Лицо его было зеленым, под цвет этой воды.

— Не бойся, сейчас не трону, людно тут. Эвон рыбаки на баркасах плывут на промысел.

И повернулся, ушел в тайгу, которая начиналась прямо от берега, оставив ошеломленного, забывшего про свои удочки Дениса на обломке скалы.

...И еще раза два-три меняли местожительство Макшеевы, надеясь скрыться от Демидова. Но он был теперь начеку, следил за каждым их действием, заранее знал их конечный путь. И объявлялся там, едва они как-то устраивались.

Доведенный до отчаяния, Макшеев как-то, пьяный, выкрикнул в лицо Демидова:

— Отравлю, отравлю я тебя, паразита! Заставлю Марию в водку... или в продукт какой мышьяку подсыпать! Сдохнешь, как крыса...

На это Демидов расхохотался прямо ему в лицо и сказал:

— Вот бы хорошо-то! И рук бы я об тебя не замарал, и в тюрьму с Марькой вместе вы бы до конца жизни угодили. Давай... Мне-то жизнь моя так и так не нужная, а ты спробуешь, что оно такое — тюрьма. Узнаешь, каково оно мне было, об своем поганом нутре поразмышляешь. Время для этого там хватит тебе...

Иногда Демидов думал: неужели Макшеев не догадывается, что он, Демидов, ничего ему не сделает, пальцем даже не тронет, что все его угрозы — пустые звуки? И отвечал себе: видно, не догадывается, дурак. И пусть...

Думал также иногда: а не жестоко ли он наказывает Макшеева? Ну, сделал тот подлость. Что ж, бог, как говорится, пущай простит ему. Худо ли, бедно ли, жизнь его, Демидова, как-то теперь идет. Девчушку удочерил вот, растет она, приносит ему много забот да еще больше радостей. Теперь и жениться бы, да где найдешь такую, как Настасья. Пить бросить бы, да разве бросишь...

И обливалось сердце Демидова едкой обидой, опьяняла его эта обида пуще водки: нет уж, пущай мразь такая, и он до конца чашу свою выпьет!

Но все же, наверное, давным-давно отстал бы Демидов от Макшеева Дениса: отходчив русский человек, какую-какую обиду только не простит — если бы не убеждался время от времени, что душа Дениса еще подлее становится. Нет, угрозы насчет мышьяка Павел не опасался, потому что понимал: Макшеев на это никогда не решится, подлость его особого рода...

Как-то Мария, выдавая Демидову очередную партию зелья, сказала:

— Зайди к нам, Павел... Денис просил позвать. Поговорить хочет с тобой по-деловому.

— Как, как?

— По-деловому, сказал он.

— Интересно это, однако. Айда.

Денис встретил его, сидя за столом в рубахе-косоворотке. Руки его лежали на столе, пальцы беспрерывно сплетались и расплетались, глаза виляли из стороны в сторону.

— Интересно даже мне, говорю. Ну!

— Выйди, Мария. Дверь припри! — приказал Макшеев.— Значит, вот что, Демидов, давай по-мужски. Мне от тебя терпежу больше нету, и я решился...

— На что?

— Не перебивай...— Он опять повилял глазами.— Ты ж понимаешь, я пойду и заявлю: преследуешь ты меня... Угрозы теперь делаешь всякие за то, что разоблачил тебя тогда как поджигателя. И мне, а не тебе поверят.

— А мне это без внимания, что поверят,— усмехнулся Демидов.— Я свое отсидел и пока с тобой не поквитался — никто больше меня не посадит, заявляй не заявляй...

— Ты погоди...

— А славу себе создашь у людей... Они, люди-то, не знают твоего черного дела, так узнают.

— Погоди, говорю...— Голос его был торопливый и заискивающий.— Давай, чтоб с выгодой и для тебя и для меня.

Сузив глаза, Демидов пристально глядел некоторое время на Макшеева. Спросил:

— Это как же?

— Что было меж нами — прости... Покаялся уж я бессчетно раз. Да что ж, не воротишь. Теперь девчушку вот ты взял, ростишь...

— Говори прямо, сука! Без обходов.

Макшеев будто не слышал обидного слова.

— Возьми от меня деньги, Павел. Много дам...— Макшеев дышал торопливо и шумно.— Вот, если прямо... Оставь только нас с Марией.

— Так... Сколько же?

— Целую тысячу дам. Дочку теберостить... Еще больше дам!

— Краденых? Марией наворованных?

— Ты! — Макшеев вскочил, чуть не опрокинув стол. Грудь его ходуном ходила.— Тебе что за забота, какие они?!

Демидов шагнул было к Макшееву, тот откачнулся.

— Дешево, выродок ты человеческий, откупиться хочешь,— раздельно произнес Демидов и ударил ладонью двери, выбежал, будто в комнате ему не хватало воздуха.

В сенях он услышал рыдание Марии, примедлил шаг. «Как ты только живешь с ним, с таким?» — хотел сказать он, но не сказал. Шаг примедлил, но не остановился.

В другой раз случилось еще более страшное. Было это в причулымской тайге в конце мая или в начале июня — в ту пору уж замолкли соловьи, но кукушки еще продолжали кричать тоскливо и безнадежно.

Примерно в полдень, когда лес был пронизан тугими солнечными струями и залит хмельным от млеющих трав жаром, у сторожки Демидова появилась вдруг Мария с плетеной корзинкой в руках.

— Ты? — удивленно спросил Павел.

— Вот... грибков поискать.

— Какие пока грибы?

— Масленки пошли уж, сказывают. Места тут незнакомые мне еще, укажешь, может.

Мария говорила это, поглядывая на возившуюся со щенком приемную дочь Павла Надежду, и лицо ее то бралось тяжелой краской, то бледнело, покрывалось серыми, неприятными пятнами.

Одета она была не по-грибному легко и опрятно, в новую, голубого шелка кофточку с дорогим кружевным воротником, в сильно расклешенную, не мятую еще юбку. Вырез у кофточки был глубокий, оттуда бугрями выпирали, как тесто из квашни, рыхлые белые груди, умело прикрытые концами прозрачного шарфика, накинутого на плечи.

— Ты как невеста,— сдержанно усмехнулся Демидов, запирая в себе ярость.

— Что ж... я пришла,— проговорила она, не глядя на него.— Веди на грибное место.

— Что ж... пойдем,— в тон ей ответил Демидов.— Ружье сейчас возьму вот.

Догадка, зачем явилась Мария, мелькнула у него сразу же, едва он увидел ее, подходящую к сторожке. Мелькнула, сваривая все внутри: «Неужели и на этакое она... они, Макшеевы, способны?!» Теперь, после ее слов, всякие сомнения на этот счет исчезли...

Полтора года назад приехали сюда, в Причулымье, Макшеевы. Следом, как обычно, явился и Демидов.

— Я тебе давал деньги большие? Давал! — закричал, обессиленный в конец от такого неотступного преследования, Макшеев, встретив Демидова в поселке.

— Давал, давал,— согласился Павел.

— Что ж тебе еще-то надо? Скажи, сволочь ты такая, что?! Какую плату заплатить, чтоб отстал? Дом мы тут купили крестовый, просторный — возьми со всем, что в нем есть. Получай его в придачу к тем деньгам, что обещал, и живи...

Демидов принял дозу спиртного, ставшую давным-давно привычной для него, был добродушен, в хорошем настроении. Бессильная ярость Макшеева веселила его.

— А что ж, надо прикинуть. Значит, те деньги да дом...— проговорил он задумчиво.

— Ну? Бери, бери!

— Н-нет, мало. Еще должок с Марии остается.

— Какой? — осипшим голосом спросил Макшеев.

— Ишь ты! С чьей кровати ты увел-то ее?

— Н-ну?

— Пущай и она расплатится со мной,— жестко сказал Демидов и пошел прочь, оставив Макшеева столбом стоять посреди пустой улицы.

Демидов сказал и забыл, сказал просто так, чтобы еще больше позлить врага своего. Что ему дом, деньги и все прочие блага мира! Простил бы он своего обидчика и так, если б мог. Да не может...

А Денис Макшеев, видно, принял его слова за чистую монету, и вот решились они, Макшеевы, вот явилась к нему Мария, не понимая, не догадываясь, что не прощение принесет из тайги . своему Денису, а еще большую его, Павла Демидова, ненависть. Вот идет Мария чуть впереди, в общем, ладная, пышнотелая женщина, мелькают ее крепкие, в тонких дорогих чулках ноги, она не подозревала, что внутри у Павла все немеет и немеет, будто стылью берется, что хочется ему схватить палку, сук какой-нибудь и обломать его об это бесстыжее, раскормленное тело.

Что ж, так оно примерно все и произойдет, решил про себя Демидов. Но перед тем хочется ему еще кое-что спросить у Марии, узнать хочется, до какого предела может быть человеческая низость.

— Нету еще грибов, Мария,— сказал он, останавливаясь на глухой поляне, полыхающей таежными цветами.— Поздно нынче пойдут грибы, и мало их будет. В первый день масленки снегу не было, не шел снег, значит, и не грибное нынче лето будет.

Он сел в траву, поставив ружье под дерево. Мария опустилась на корточки, начала рыться в корзинке, вынула и поставила на траву бутылку.

— Раздевайся! — бросил он ей отрывисто.

Она вздрогнула, медленно, с трудом выпрямилась, руки ее упали вдоль тела.

— Павел...— Лицо ее опять пошло пятнами, вспухло, будто его наели комары.— С ходу-то этак... Может, выпьешь сперва?

— Стыдно, что ль, на трезвые глаза? Сымай, сказал, все с себя.

Она еще раз вздрогнула, стащила с головы шарфик. Чуть отвернулась и начала снимать чулки...

Демидов сидел, опустив голову; он не видел, но чувствовал, как она с трудом расстегнула и стащила кофточку, сбросила юбку, оставшись в нижней рубашке.

Ему стало жалко ее. Возникли вдруг, поднимаясь откуда-то изнутри, злость и презрение к самому себе за то, что он заставил ее раздеваться.

— Вот что скажи, Мария... объясни. Как это вы договорились до этого? Словами ведь, поди, разговаривали? Днем али ночью это было? Как... как решилась ты?!

— Как, как?! — Полное тело ее все тряслось, волосы рассыпались, щеки, губы расквасились от слез.— Он меня поедом съел. Не убудет от тебя, он, может, отстанет тогда от нас...

— А ты?

— Что я?

— В самом деле противно тебе?

Она замолчала, молчком вытирала слезы.

— Не знаю... Когда-то я любила тебя. Иногда думаю: счастливая ведь я была бы с тобой, кабы не он.

— Что ж не уйдешь от него?

— Не уйдешь... А куда? К кому? Ты разве принял бы меня теперь?

В голосе ее было что-то такое, неподдельное, какие-то тоскливые нотки. Ему еще более стало жаль Марию.

— А вот, допустим, принял бы. Ты видишь, я не женюсь. А почему?

— Павел?! — Глаза ее, мокрые, широко раскрытые, сгорали от изумления.— Неужто... Неужто еще ты меня... еще осталось что у тебя ко мне?

— Нет, ничего не осталось,— ответил он.— Все спалила тюрьма, плен потом.

— За плен-то Денис не виноват. И без того на фронт тебя взяли бы, а там могли тебя захватить...

— Ишь ты, хоть где-то, да оправдываешь его? Как все вывела...

Мария испугалась этих слов, сказанных сурово и враждебно, горячими ладонями схватила его руку, но тут же выпустила, чуть отшатнулась, проговорила, торопясь:

— Я не оправдываю! Я не оправдываю...

— Вот езжу опять же за вами, таскаюсь, как хвост.

— Так это известно — зачем, почему.

— Известно.— Он скривил губы.— Людям известно, что Христос по морю пешком ходил. А никто этому всерьез и не верит.

Прилетела тяжелая от взятка пчела, повилась вокруг полураздетой Марии, села зачем-то на ее оголенное плечо. Мария даже не заметила этого. Она все так же изумленно, широко раскрытыми глазами смотрела на Павла, открытый лоб ее бороздили временами набегавшие морщины.

— Нет, я не смогла бы с тобой.

— Почему? Противный шибко стал? Не противней вроде твоего Денисия.

— Не в том дело. С лица воду не пить.

— Почему ж тогда?

— Ты ж, я чую, запретил бы мне... работать в торговле.

— А зачем? — усмехнулся он.— Работа для людей нужная.

— Ну, не позволил бы... Этого...

— Воровать? — подсказал ей Демидов.

— Фу, какое слово!

— Обыкновенное. Воровка ведь ты.

— Ты! — Она тяжело и гневно задышала.— Ты так понимаешь жизнь, а я — этак. Жить надо умеючи, как... как...

Она совсем задохнулась, и Демидов опять подсказал ей:

— Как Денисий научил тебя?

— Да, научил! — истерично выкрикнула она.— Он, Денис, не в облаках летает, на грешной земле живет. Он цепкий, не проворонит, что мимо рта пролетает... Он такой, я это еще тогда почувствовала, когда женихались мы с тобой. Он человек жесткий, да... Рука у него тяжелая, да — мужик! Он на что угодно пойдет, лишь бы место половчее... потеплее под солнышком отвоевать. А ты что такое? Всю жизнь так в тайге и проживешь. Если бы принял ты меня, говоришь? А жить на что бы стали? На твою лесниковую зарплату? Смех один, а не деньги. По миру пойти — больше собрать можно за день...

Она говорила еще долго, он слушал, покачивал иногда головой, будто соглашался. Потом взял ружье и зачем-то отстегнул от него широкий, тяжелый, залоснившийся от грязи и от пота ремень.

— Ты что? — сразу спросила она, умолкнув на полуслове. Брови ее изогнулись и поползли кверху, обещая вот-вот разломиться.

— Он и на это, значит, пошел, чтоб спокойствие на земле обеспечить себе?

— Да, и на это! — будто даже гордясь, выкрикнула она.— И я, по рассуждению, поняла: а что ему остается, коли никак иначе не избавиться от тебя? Не травить же, в самом деле, мышьяком. Была нужда — в тюрьме за тебя гнить. На, животина противная, мое тело, наслади свою похоть! Исподнюю-то рубаху скидывать, что ли?

Глаза ее горели теперь каким-то бешенством, неуемной злобой.

— Исподнюю не надо,— сказал он и, не вставая, вытянул ее ремнем по плечу.

— Пав... Пашка! — воскликнула она, вскакивая.

— Исподнюю не надо! — Он тоже поднялся, пошел к ней грузно. Она, закрывая голыми руками лицо, отступала.— Исподнюю не надо, не надо...

Бросив вдруг в траву ремень, он взял под мышку ружье.

— Животное-то не я, а ты! Да еще пуще, видно, твой Денисий. Убирайтесь отседова, чтоб духу вашего я не слышал тут... А я тут человека буду в себе обнаруживать, как мне когда-то один умный человек посоветовал.

И, не заботясь о том, что она не понимает его слов, может быть, даже не слышит их, ушел.

Под осень Макшеевы собрались и уехали на Обь, в село Дубровино. Три года прожил в причулымской тайге Демидов, убеждая себя, что он обнаружил в себе человека и, значит, отстал теперь от Макшеевых навсегда. Но убедить не мог и однажды по весне перевелся в Дубровинское лесничество, что на великой и тихой реке Оби...

Продолжение следует.

Анатолий ИВАНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Жизнь на грешной земле

Давно кончились дожди и всякая слякоть, припорошило снегом и село Дубровино, и тайгу, и лесные дороги. Гринька давно катался на лыжах с приобского откоса, возвращаясь домой румяным от морозца, а Обь все катила мимо мазанки Демидова свои черные, тяжелые волны, обтекая заснеженный островок посреди реки. Там, за островком, был глубокий омут, богатое зимнее рыбье лежбище, по первому льду щедро брались на подергушку килограммовые окуни, громадные лещи, «лапти», как называли их рыбаки. Иногда ловилась даже нельма, редкая теперь в Оби рыба.

Наконец могучая река обессилела окончательно, волны стали ниже и ровнее, густо потекло «сало», образовались широкие забереги. Только по стрежню, где течение было на глаз невидимым, но, знал Демидов, тугим и могучим, тянулась полоса чистой воды. У Дубровино стрежень проходил довольно далеко от берега, заворачивал за островок.

Чистая полоса воды день ото дня становилась все уже. По утрам, а иногда и под вечер эта незамерзшая полоса густо дымилась — мороз выжимал из реки последнее тепло, накопленное за лето.

— Ишь, мороз-морозило, добрая сила... Молодой, а старательный,— сказал однажды Демидов, глядя на реку.

Гринька привык к неожиданным мыслям отца об окружающих вещах, о природных явлениях, только не всегда понимал их.

— Что хорошего в морозе-то? — возразил он.— Холодно ведь. Кабы лето все время стояло — это лучше.

— Ну! А вот на лыжах ты кататься любишь... Это как? Без мороза-то бы, без снега? А?

— На лыжах — это хорошо. Только не обязательно, чтобы мороз был сильный.

— Землю-то тоже надо ему укладывать спать. А она баловница, земля, нелегко угомонить ее, как мне, бывает, тебя. Вот он и ярится, как я. Но разве я со злом покрикиваю на тебя? И он, выходит, тоже по-отцовски ворчит. Разве не добрый он?

— А для чего земле спать ложиться? — спрашивал сосредоточенный Гринька.

— А как же, сын! — хмурясь, будто сердясь на Гринькину непонятливость, говорил Демидов.— Вот ты не поспи-ка ночь, не отдохни — ну-ка?! На другой день каков будешь? Вялый, никудышный, в школе урок не запомнишь. Бессильный ты будешь... И земля отдыхать должна. Человек ночью отдыхает, а земле для того зима отведена, сын.

— Да что ей отдыхать-то? — не унимался Гринька.— Она — земля и земля, не живая. Не устает.

— Это как не устает? Не-ет! Она как раз и живая, Гринь, земля-то. Вот ты подумай сам... Утром человек просыпается — румяный, сильный, веселый. И земля весной тоже. Человек с утра делом начинает заниматься — кто на работу, кто на учебу... И земля тоже за дело с весны принимается — прорастают на ней травы, всходят посевы, деревья листвой одеваться начинают. Все растет, земля соком питает их своим, какой за зиму накопила. А чтоб каждое хлебное зернышко, каждую ягодку, каждый листок вырастить, сколько сил надо?

Гринька думал, что-то представлял, видно, себе, отвечал уже осмысленно:

— Да... Много.

— То-то и вопрос. А, окромя того, сколько еще разных дел земля делает? Река вот все лето пароходы на себе носит, ветры — поля и лес новыми семенами засевают, в этих полях и лесах зверье разное произрастает... И мно-ого всего другого. А все для кого, а?

— Что — для кого?

— Земля все это делает?

— Ну так... по природе у нее так получается.

— Для человека все это она делает, Гринька! — пошевеливая бровями, говорил Демидов. Говорил таким тоном, будто не только сына, но и себя хотел убедить в этом.— Ты запомни, сын, два закона, мо-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 29,30.

жет, самых главных в этом мире. Земля любит человека. И второе — человек тоже должен любить ее, землю. Запомнишь?

— Ага.

— Тогда легко жить тебе будет. Тогда-то и не остынет никогда у тебя душа... какую бы подлые люди ни сделали тебе подлость.

Наверное, подумал Демидов, последних слов сыну говорить пока не стоило, потому что Гринька тут же принялся сыпать вопрос за вопросом:

— А подлых-то много людей на земле?

— Встречаются.

— А земля их тоже любит?

— Нет... Не любит таких.

— А почему они подлыми получаются?

— Не знаю... Такими вырастают вот.

— А тебе встречались такие?

— Попадались, сынок.

— А что ты с ними делал?

Да, что он с ними делал? Не надо, не надо бы произносить ему тех слов. Как вот теперь ответить на простой, на очень простой и бесхитростный вопрос сына?

— Пошли спать, сынок. Айда, айда, поздно уж,— заторопился он. И уж там, в комнате, лежа в постели, чувствуя, что сын ждет все же ответа, проговорил: — Что я с ними делал, Гринька? Ох, Гринька, Гринька!.. Вырастешь, может, и лучше меня поймешь, что с ними надо делать.

— Значит, ты плохо понимаешь?

— Плохо, видно, сынок.

— А я хорошо,— сказал мальчишка, помолчав.

— Ну? — Демидов даже привстал на кровати, поглядел в ту сторону, где лежал сын, будто и в самом деле Гринька мог сообщить ему что-то необыкновенное, какое-то великое откровение, которое он искал всю жизнь и никак до сих пор не мог найти.

— Их надо, папа, один на один с землей оставлять и никогда-никогда не помогать им.

— Что-что? — Демидов сел на постели. Сквозь мрак он не видел сына, слышал лишь, что и Гринька поднялся с подушки.

— Я ведь тоже думал, пап, что земля, наверное, живая и добрая к тому, кто ее любит, кто понимает и умеет с ней обходиться,— сказал Гринька почему-то со вздохом.— И ягодкой в лесу угостит и с ручейка напоит...

— Ну?..

— А вот ты помнишь — мы еще в сторожке жили — браконьерщик один лося застрелил?

— Как же... Я сколько за ним гнался тогда, за паразитом, по тайге, пока на берег Оби не выгнал.

— Ну да. Он еще стрелял в тебя.

— Стрелял, сынок. Не попал только, торопился шибко.

— Я знаю, ты рассказывал. А потом, как выскочил на берег, чтоб в лодке уплыть, ногу в каменной расселине завязил и сломал.

— Так... Так что?

— А то... Добрых людей она любит, а нехороших и сама наказывать умеет. Земля — она с ним и рассчиталась, раз он подлец. И надо было его там и оставить, пущай бы...— сурово проговорил Гринька.— А ты его... на его же лодке в больницу отвез.

— Так... Так, так,— опять трижды произнес Демидов глухо и неодобрительно.

— А чего же с ними, раз они...— воскликнул горячо Гринька.— Он же еще и в тебя стрелял, не только в лося. А ты ведь не животное, а человек.

Что было ответить на это сыну? А отвечать надо, Демидов это чувствовал и понимал.

— Ты вроде, с одной стороны, и прав, Гринька...— Демидов взбил подушку.— А с другой, выходит, и нет. Сердце-то у меня есть, али что вместо него? Он, верно, мошенник, тот мужик.... Да ведь и человек же, какой ни есть. Подыхать, что ли, его оставлять было?

— А он бы тебя повез в больницу, коли б ранил?

— Да... С одного боку-то, говорю, правильно ты. А с другого...

— С одного, с другого... По справедливости надо действовать,— не сдавался Гринька.

— Справедливость... Это тоже, сынок, штука мудреная, много сторон имеет. Каждый ее по-своему, видно, понимает.

— Чего — по-своему? Есть же самая справедливая справедливость?

— А вот вырастешь — поймешь: есть ли, нету ли... Ты лучше меня поймешь. А теперь спи, спи, допросчик этакий.

Последние слова Демидов произнес сердито. Сердился он на самого себя, понимая, что не объяснил, не смог объяснить сыну чего-то очень важного и нужного для него...

9

Наконец и самый речной стрежень схватило ледяной корочкой, присыпало снежком, и широкая река стала совсем пустынной и унылой. От берега до берега лежало белое, чистое пространство, такое чистое, что, казалось, никто никогда не посмеет ступить на него, никто до самой весны не потревожит покоя уснувшей наконец-то реки.

Но Демидов знал, что это не так, что еще день-два, окрепнет еще немного ледок, и истопчут это белое покрывало люди. Первыми появятся на реке рыбаки. В самом Дубровино, кроме мальчишек, рыбаков почти нет, разве вот Денис Макшеев, всегда жадный на это дело, да еще два-три старика. А из города, что лежит километрах в семидесяти вверх по течению, нахлынут тучи их. Все знают эту зимнюю рыбью стоянку за островком. Сегодня среда, а вечером в пятницу и нахлынут под двойной выходной. Мария это тоже знает, вчерась еще завезла из райцентра неисчислимое количество ящиков водки. И чуть не до утра будет гореть в Дубровино «волчье око». Сама-то Мария к полночи ляжет спать, а Денис до утра будет торчать за красноватой занавеской, выдавая каждому бутылку без сдачи.

При воспоминании о «волчьем оке» Демидов вдруг подумал, что он с тех пор, как разбил бутылку об стену макшеевского дома, не выпил ни капли. И, странное дело, ему не хотелось. «Неужто не потянет больше? Да хоть бы! Гриньку надо доращивать... Побалую-ка его ушицей завтра. Правда, самое уловистое место, самая богатая окунем яма — за стрежнем, поближе к тому берегу, туда еще идти опасно, на самом стрежне лед не окреп. Да и тут, у самого островка, ничего ловится... Завтра встанет Гринька, а у меня уж уха! Ешь сынок, да в школу...»

На другой день Павел действительно поднялся до зари, взял приготовленную с вечера наживку, удочку, пешню. Когда вышел на улицу, ночь еще была настоявшаяся, плотная, звезды горели крупные, перезревшие. Но самая яркая звезда, названия которой Демидов не знал, падала в кустарник на острове. Это означало: скоро будет светать.

Лед, когда Павел шел к острову, тихонько иногда потрескивал. Но треск был не частый и тихий, не угрожающий, Демидов в этом разбирался. А вот на стрежень нельзя, думал он, там не выдержит, проломится...

Еще он думал о Гриньке, о том, что так и не сумел разъяснить тогда парнишке, как поступать с подлецами и есть ли на свете самая справедливая справедливость. И что надо теперь, если и потянет к бутылке, ни за что за нее не браться...

Пока шел так, не спеша, и думал, начало зориться, краешек неба на востоке чуть разжижился.

Возле островка Демидов остановился, выбрал место, ударил пешней, с одного раза проткнул ледяную корку. Пешню он положил на лед и не успел разогнуться, как услышал хрипло-истошное:

— Э-эу! Лю-ю... Спаси-ите! Люди! Лю-ю-ди!

Голос был искажен смертельным страхом. Но сколь ни был он искажен, Демидов мгновенно, едва послышались первые звуки, понял, кому принадлежит этот голос. Более того, Павел будто ждал его и не удивился, когда услышал. И еще более того — он уже знал, наверняка знал, что произошло там, за крохотным мыском острова, откуда раздался крик. И внутри у Демидова что-то радостно екнуло, какая-то живая пружина, больно растянутая, соскочила с зарубки, сжалась, в одну секунду уняв многолетнюю боль. «Ага... ага!..» — дважды мелькнуло в мозгу удовлетворенно, успокаивающе. И охватило его чувство, будто неимоверной тяжести работа, которую он делал всю свою жизнь, наконец-то сделана, закончена, цель, к которой он стремился все эти годы, наконец-то достигнута...

Непонятно иногда, что происходит с человеком. И позавчера, и вчера, и сегодняшнее утро Демидов находился в смутном предчувствии чего-то небывало важного для него, ощущая, что приближается, все ближе и ближе подступает что-то такое, ради чего он мучительно жил все эти годы, ради чего, может, и родился. И это «что-то» было не объяснить, не понять...

— Люди-и! Лю-ю-ди! — опять разнеслось над пустынной рекой, под темным холодным небом, на котором горели миллионы звезд, не дававших света.

«Вот оно... Вот оно!» — вспышками сверкало в мозгу Демидова, и он, понимая, что надо идти, надо спешить на крик Макшеева, не трогался с места, ноги его будто прикипели к ледяной корке.

Да, непонятно, непонятно иногда, что происходит с человеком. Полчаса назад, выйдя из жилья, и несколькими минутами позже, шагая неторопливо по тонкому льду, Демидов Павел каким-то чутьем ощущал, что Денис Машкеев, ненавистный и смертельный ему враг, где-то здесь, неподалеку. Перебирая в памяти недавний разговор с Гринькой, слушая, как слабенько потрескивает под ногами, Павел думал еще, что неокрепший лед выдержит и грузную тушу Макшеева, лишь сильнее будет прогибаться и трещать. И у Макшеева тоже хватит ума не ходить пока за стрежень, к богатой рыбной зимовальной яме.

— Спаси-ите! — в третий раз донеслось до Павла. Голос Макшеева был теперь слабый, безнадежный, обреченный. «Ну да, понимает, кто ж услышит в такой час,— равнодушно подумал Демидов. И так же спокойно отметил: — Пошел-таки за стрежень, не хватило ума. И пущай, бог-то, видно, есть на свете...»

Думая так, Демидов, однако, торопливо шагал уже к островку, приближаясь к песчаному мыску. Почувствовав под ногами присыпанный снегом смерзшийся песок, вдруг обнаружил странное несоответствие своих мыслей и действий. «Пущай, а сам помочь вроде Макшееву тороплюсь. Нет уж... Я только издали гляну, как он... Нет уж!»

Но, и подумав так, Демидов не сбавил шага. Выбежав из-за мыска, он увидел впереди, в начинающей синеть темноте, черное пятно на льду, пошел прямо на него, отчетливо понимая, что идти не надо бы, что тоже может каждую секунду провалиться, ухнуть в холодную воду. Он даже представил себе, как это он ухнет — и сразу с головой. Течение тут сильное, за одну-две секунды тело его пронесет подо льдом на метр-полтора и понесет дальше, он будет биться какое-то время головой о ледяную корку, пытаясь проломить ее, понимая, что не проломить, будет биться, с каждым мгновением задыхаясь все больше. «А там, дома, Гринька спит еще... Он проснется, станет ждать, когда я вернусь с улицы...» — это будет последнее, что мелькнет у него в сознании, мелькнет и потухнет...

— Скорей! Скорей, милый!

До Макшеева было метров десять. Но то ли этот крик, то ли угрожающий треск под ногами, а может, собственные мысли остановили Демидова, заставили бессознательно лечь на лед. Он лег, растянулся плашмя и ощутил, как больно колотится сердце. «Дурак, и в самом деле чуть не булькнул. А за

ради чего бы...» И еще ощутил под животом, под грудью, под локтями ужасную бездонную пучину, прикрытую тонюсенькой и хрупкой ледяной скорлупкой, услышал, хоть и понимал, что слышать этого нельзя, как тугие струи лижут из-под низу эту скорлупку. «Назад, назад! — стрелял кто-то ему торопливо в самый мозг.— Змеей ползи назад... вставать теперь не вздумай!..»

— Еще маленько придвинься, милый,— прохрипел Макшеев.— Лед сдержит. И брось мне чего-нибудь... Ремень...

— А ведь это я, Денисий. Здравствуй...

— О-о-о!

Бессильная ярость, обреченность, предсмертный хрип — все было в этом возгласе Макшеева, разрезавшем стылый воздух. Демидов ясно различил каждый оттенок в его голосе, усмехнулся, опять чувствуя удовлетворение, холодок в своем сердце. «А может, нахолодало оно сквозь полушубок ото льда?» — явилась вдруг откуда-то к нему непонятная мысль и заставила поморщиться.

Утро занималось по-зимнему, трудно и медленно, темнота все больше наливалась синевой и, казалось, не рассасывалась, а плотнела. Но Демидов все отлично видел в этой предрассветной мгле, различал даже потухающий блеск Макшеевых глаз.

Голова его торчала из полыньи, не очень широкой, но длинной, метров в шесть. Поперек полыньи лежал длинный шест, Макшеев, обессиленный, висел на нем, а тугое, сильное течение пыталось оторвать его тело от шеста, уволочь под ледяную корку ногами вперед. «Видно, все же понимал, что, проходя стрежень, может провалиться, взял с собой шест на всякий случай...» — отметил про себя Демидов.

— Павел, Павел! — дважды воскликнул Макшеев.— Погибаю ведь...

Демидов видел, что Макшеев погибает. Павел давно понял, что тут произошло, почему такая длинная полынья. Провалившись, Денис торопливо пытался выползти из полыньи, опираясь на шест, но хрупкий, тонкий лед подламывался и подламывался. Обломки немедленно затягивало под ледяную корку, уносило. Туда же тянуло и самого Макшеева, но он снова вылезал на стылую кромку, и она снова обламывалась. А тело сводило судорогой от холода и страха, силы уходили, вот уж их не хватает, чтобы еще раз лечь грудью на лед. Он висел на шесте крючком, ноги его были где-то подо льдом, за них словно кто тянет все сильнее и сильнее, и скоро сдернет его со скользкой обмерзшей жердины.

— Ты к кому за помощью-то обращаешься? Ты подумал бы.

— Павел! Павел! Павел!— В голосе Макшеева была мольба, способная пронять, казалось, и камень.

— Ишь ты,— бросил ему на это Павел зло и насмешливо.— А вот Гринька этак мне выложил недавно: подлюков человечьих с землей наедине надо оставлять. Порядочных-то людей земля любит, а подлюков и сама умеет наказать. И не надобно ей мешать в этом... В этом, говорит, самая справедливая справедливость. А?

— Павел... Поимей человечность!

— Ведь ребенок, а верно рассудил.

— Поимей, говорю...

— А ты имел ее, когда там... в Колмогорове, возле риги молотил меня? Когда самолично в милицию отвез и поджог на меня свалил? Когда с моей невестой в кровать ложился?

— Я не имел... Я подлый, знаю... Но я ведь и оплатить свою подлость по-всякому пытался. Ты не захотел...

— А человечья подлость разве цену какую имеет? Нет ей цены. Ты это-то понимаешь?

— Не знаю... Не понять мне. Я думал...

— И не за подлость ты расплатиться хотел. Ты от меня избавиться хотел. Потому что боялся.

— Нет, я не боялся. Я знал, что ты не убьешь меня, пальцем не тронешь.

— Это уж врешь.

— Правда, правда. Ну, сперва, может, и думал, что... В самом деле боялся, что... Потом понял — нет, не станешь ты...

— Мараться?

— Ага. Неприятно только было, что ты за нами все таскаешься... все рядом.

— Напоминало, что ль, это... об том, когда возле риги...

— Напоминало.

— Пожалел хоть когда об том?

— Что тебя убеждать? Не поверишь.

— Не поверю...

Они, эти два человека, два старика, разговаривали теперь спокойно, будто сидели вечером за самоваром, вспоминали прошлое, пережитое. Если бы кто увидел, услышал, только по отдельным словам мог догадаться, что разговор их необычный какой-то. Да по тому положению, в котором они находились: один лежал на льду животом вниз, другой торчал в полынье, повиснув на тонкой жердине.

Но видеть их было некому.

Поговорив, они замолчали. Плечи Макшеева, торчащие над водой, были льдистыми, мохнатая баранья шапка тоже обмерзла недлинными густыми сосульками. Неослабное речное течение все тянуло и тянуло его под лед. Силы Макшеева, видно, покидали, он потихоньку сползал с шеста, плечи его все больше погружались в воду.

— Прощай, Денисий,— сказал Павел.— Сейчас тебя... Последние секунды дыхаешь.

Этот ровный голос, эти безжалостные слова будто вернули Макшеева к действительности, помогли до конца осознать то положение, в котором он находился.

— Павел... Павел Григорьевич! — воскликнул он, подвывая по-звериному.

— Ишь ты, и отчество вспомнил.

— Помоги же! Остаток дней буду молиться за тебя! Стелькой выстелюсь под тобой, а заслужу прощение твое... за все, за все! Помоги же...

— А как я, если б и захотел? Лед и подо мной лопнет.

— Не лопнет. Выдержит. Ты худой, легонький...

— Да и сладостно мне на твою гибель глядеть.

— Я тебе деньги обещал... ты не принял. Мало, может? Помоги — все отдам, все...

— А сколько это — все?

— Ну, три тыщи... Пять тысяч... Семь! Слышишь, семь!

— Мало. Рискую все же.

В голосе Демидова была насмешка, но Макшеев не заметил ее, не до этого ему было.

— Девять дам, девять! — закричал он, чувствуя, что его вот-вот сорвет с жердины.— Нету больше. Нету!

— Врешь, больше наворовали с Марией. Что ты все набавляешь по две тыщи? Прибавь еще... сразу с пяток.

И тут Макшеев завыл в полный голос, зарыдал, закричал, пропарывая сильно уже засиневший речной простор.

— Сволочь ты! Не человек ты! Все-все, сказал, отдам. И эти пять! И еще... Дом, все манатки продам... И все — тебе, тебе... Бери все, подавись. Павел! Люди, лю-юди!

«От падаль... мразь такая!» — пламенем заметалось в мозгу Демидова, опаляя все под черепом. И там, под черепом, что-то начало трещать, но Демидов понимал, что это не под черепом, это лед трещит все сильнее и угрожающе, потому что он ползет, извиваясь, к полынье, а под черепом больно отдается этот треск. «Еще и в самом деле провалюсь. А там дома Гринька... Конечно, он не останется один, его Надежда возьмет с Валентином и вырастят. Муж у нее славный парнишка, он сроду не обидит Гриньку...»

Когда до полыньи осталось метра три-четыре, Демидов, все чувствуя, как прогибается под ним тонкая ледяная корка, перевернулся на спину, расстегнул полушубочный ремень, выдернул из-под себя. Затем расстегнул и выдернул брючный, начал их связывать.

— Скорей, Пашенька... Скорей,— услышал он.

— Ништо, продержишься... сволота вонючая... А нет — туда тебе и дорога.

И еще маленько подполз к страшной полынье Демидов, потому что и связанные ремни не доставали до Макшеева.

— Теперь так, Денисий... Хватайся за ремень, я потяну, а ты попробуй вскарабкаться на лед. Да чувствуй его крепкоту, шибко не дрыгайся. Без лишних толчков чтобы, иначе... А то я отпущу свой конец— и пропадай тогда.

— Я легонько, я легонько...

— Держи тогда.

Демидов свил в кольцо связанные ремни, бросил, стараясь попасть в голову Макшеева. И попал. Макшеев тотчас ухватился за спасительный конец. Демидов почувствовал: ухватился крепко, намертво.

— Теперь вылазь,— подтягивая ремень к себе, приказал Демидов.— Да гляди, потихоньку...

Лед, присыпанный снежком, все же был скользкий. Макшеев за ремень только держался, к себе не дергал. Он понимал, что, если начнет лихорадочно дергать, Демидов заскользит к полынье и тоже провалится, если раньше не бросит свой конец.

За ремень Макшеев держался правой рукой, а левой, обламывая ногти, хватался за кромку льда, пытаясь поднять тело из полыньи. Но это ему никак не удавалось. Видя это, Демидов прокричал:

— Вверх по полынье продвинься. Вверх...

— Ага, давай...

Демидов, слыша, как стучат зубы Макшеева, не выпуская ремня, перевернулся на спину, потом снова на живот, откатываясь влево. И опять потянул, помогая продвинуться Макшееву вверх по полынье.

— Теперь так... ноги не свело судорогой?

— Не знаю... Не чую их. Нет вроде.

— Попробуй сейчас закинуть ногу на лед. Ну?

— Ага, ага... Счас...

Макшеев понял, зачем Демидов приказал продвинуться вверх по полынье и что требует сделать теперь: течение распластало его тело вдоль полыньи, надо чуть подогнуть левую ногу и выбросить ее наверх, на лед, а потом... Только ноги вот не повиновались...

— Правильно, волк тебя съешь,— услышал вдруг он и догадался, что хоть ноги и не повиновались, хоть он и не ощущал их, а сделал, видимо, что следовало.— Теперь я потяну, а ты спружинь ногой и выкидывайся поосторожнее на лед. Ремни у меня крепкие, на твое счастье. Ну, по команде. Раз, два...

Слова «три» Макшеев не услышал. Он только почувствовал, что находится уже не в воде, что лежит на льду. Почувствовал и от охватившей его радости опять заплакал.

— Спасибо... Павел. Спасибо-о!

Первое слово он прошептал, последнее выкрикнул.

— Ты еще погодь радоваться, страмота. Отползай теперь от полыньи подальше. Ползи! В воде не скрючило, так сейчас замерзнешь.

И Макшеев беспрекословно пополз, лед под ним трещал, но выдерживал.

— Падаль ты, а приперло — людей на помощь закричал,— донеслось до Макшеева. Он оглянулся, увидел, что Демидов сидит на льду, пытаясь развязать ремни. Будто испугавшись, что старый лесник подойдет сейчас к нему и примется безжалостно, как Марию когда-то, полосовать тяжелым полушубочным ремнем, будто забыв, что снова может провалиться, встал на коленки, потом на ноги, пошел прочь. Пошел сперва осторожно и медленно, разминая ноги, а затем постепенно стал прибавлять шаг. И, наконец, чувствуя, что лед под ногой все крепче, что он почти не пружинит уже, побежал рысцой.

Демидов все сидел на льду, все глядел вслед Макшееву, пока тот не пропал за синим утренним сумраком.

10

Всю зиму Макшеев промаялся простудой, два раза лежал в районной больнице, а по весне, когда заговорили вешние ручьи, начал окончательно поправляться. В солнечные дни он, отощавший и облинявший, выходил, опираясь на палку, на улицу, садился возле дома на солнечном припеке, хмуро оглядывал улицу, проходивших по ней людей, о чем-то думал.

Несколько раз он видел шагающего в магазин или из магазина Демидова, провожал его тяжелым, ненавидящим взглядом. Демидов чувствовал, видимо, как тяжелеют бесцветные глаза Макшеева, ощущал их давящий взгляд. Он усмехался и проходил мимо. Макшеев замечал эту усмешку, складывал свои губы скобкой вниз, нервно постукивал палкой об землю.

Мария, когда Демидов приходил за покупками, никогда с ним почти не разговаривала. Лишь когда Макшеева в первый раз увезли в больницу, она произнесла непонятное:

— Толку-то, что выволок ты его из полыньи. Все равно не жилец он теперь...

Она говорила недружелюбно, будто осуждала за что-то Павла.

Да еще раз спросила как-то:

— Ты что ж... вовсе бросил пить? Уж я и забыла, когда ты последнюю бутылку купил.

Первый раз Демидов ничего не ответил Марии, а тут сказал:

— Чего в ней хорошего, в водке-то?

Демидов замечал: с Марией что-то происходит. За прилавком она стояла всегда хмурая, неразговорчивая. За зиму заметно спала с тела, осунулась. По деревне говорили: об муже переживает,— но Демидов чувствовал: дело тут не в муже. А в чем, определить не мог, да и не старался.

Еще он заметил: когда Денис был в больнице, «волчье око» в доме Макшеевых не горело. Но едва возвращался, тотчас вспыхивало.

Однажды Макшеев окликнул-таки Демидова, встал со скамеечки, врытой у стенки, подошел к нему, опираясь на свою палку. Губы его были сложены все такой же скобкой.

— Ты...— произнес Макшеев и умолк, захлебнулся.

— Ну я. И что?

Глаза Макшеева были налиты, как свинцом, тяжелой ненавистью. Но странно, Демидова это не раздражало, не вызывало прежней злости, хотелось только поскорее уйти от Макшеева.

— Ждешь обещанного-то? Тысяч тех? За спасение.

— Жду, как же. Я ведь сразу поверил: раз обещаешь, то принесешь,— усмехнулся Демидов. Макшеев на мгновение опешил, растерялся. А потом, вскипев, закричал на всю улицу, не сдерживаясь:

— Ты... быдло! Бирюк лесной! Фигу тебе жирную, а не деньги! Понял, понял? Выкуси!

Демидов помолчал и спросил так же спокойно, чуть задумчиво:

— Тяжко, значит, тебе?

Расколись земля перед Макшеевым на две половинки, рассыпься небо на осколки, он не побледнел бы так, как побледнел после этих слов Демидова. Запрокинув голову, дергая белыми щеками, он хотел что-то выкрикнуть, выдавить из себя — и не мог. Так, с запрокинутой головой, он и стоял, пока Демидов не ушел, не скрылся в переулке.

...В этот вечер долго не вспыхивало «волчье око» в Дубровино, да так и не зажглось и совсем. Демидов, приметив это, опять усмехнулся.

Не зажглось оно и на другой вечер. И вообще никогда больше не светилось в темноте.

Окончание следует.

Анатолий ИВАНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Жизнь на грешной земле

11

Лето набирало силу быстро, земля напитывалась теплом, как тряпка водой, заполыхали дубровинские леса цветами, засвистели в них соловьи.

Все кругом пело и цвело, только Денис Макшеев все сох, горбился, будто задался целью согнуться в крючок, высохнуть на усух.

Ходил он теперь все время с костылем, нисколько не опасаясь Демидова. Наоборот, он даже старался как можно чаще попадаться ему на глаза в безлюдных местах, но Павел не обращал на это внимания, будто не замечал Макшеева.

Однажды Павел с Гринькой, нарыбачившись вдоволь, заночевали на берегу Оби. Разложив костер, Демидов сидел на плоском камне, глядел, как пляшут отсветы пламени на темной воде. Гринька, умаявшись, похрапывал в наскоро сооруженном шалаше. Шалаш Демидов закрыл сверху брезентом, так как на другой стороне реки погромыхивал гром.

Макшеев вышел из тайги на берег, молчком подошел к костру и протянул к огню руки. Демидов не ждал его, но и не удивился появлению этого человека.

Посидев в безмолвии, Макшеев кивнул на топор, лежавший на куче сушняка, собранного по берегу для костра:

— Что ж ты? Ночь хмарная, темная, и безлюдно, как в погребе. Всю жизнь ты, может, ждал такого...

— Пошел прочь отседова,— негромко произнес Павел.

— В реку меня столкнешь али в тайге где зароешь... Ну?

— Зачем? Живи, воняй дальше.

— Не хочешь, значит? Прощаешь?

— Пошел, сказано! Я б хотел, так из полыньи бы не вытягивал тебя.

— Э-э, нет... Я думал: зачем вытянул-то все же, в чем причина? Чтоб, значит, собственной рукой мне расчетец произвести, чтоб с удовольствием, значит, было...

— Шарики за ролики у тебя совсем, гляжу, закатились.

Сказав это, Демидов поднялся и полез в шалаш, лег рядом с Гринькой. Вскоре пошел дождь, залил костер: Демидов слышал, как шипели, потухая, головешки. А Макшеев — Демидов чувствовал это — все сидел и сидел под дождем на мокрых камнях. Потом захрустели по гальке его шаги, удаляясь.

12

...В конце лета Макшеев, еще более усохший и почерневший, заявился вдруг прямо в мазанку к Демидову. Гринька где-то бегал по деревне с ребятишками, Павел готовил обед на электрической плитке.

— Здравствуй, Павел,— сказал Макшеев бесцветным, ничего не выражающим голосом. В руках у него была хозяйственная сумка.

— Здравствуй.

Демидов ответил на приветствие не тепло и не холодно, тоже равнодушно. И нельзя было предположить, что долгие-долгие годы разделяли этих людей смертельная вражда и ненависть.

Демидов продолжал возиться с кастрюлями. Макшеев понаблюдал за ним и сказал:

— Вот, долг принес. Не думай, что бессердечный.

— Что-о?

— Деньги-то. Бери.

И он опрокинул над столом хозяйственную сумку, вытряс из нее кучу денег в пачках. Демидов помолчал, разглядывая эту кучу.

— Сколько ж тут?

— Много. Ровно пятнадцать тысяч.

Демидов сел, минуты две глядел, шевеля бровями, то на деньги, то на Макшеева. И Макшеев, сидя на другом конце стола, тоже глядел то на деньги, то на Демидова.

Так они и сидели, а между ними лежала эта куча денег.

— А не жалко тебе? — спросил наконец Демидов.

— Жизнь-то дороже. Раз я обещал...

— А Мария что?

— А какое ее тут дело?

— Н-ну, ладно... Спасибо.

— Берешь, значит? — И Макшеев облизнул пересохшие губы.

Демидов на этот раз ничего не ответил, опять они минуты две-три сидели молчком, недвижимые, каменея будто все больше, все крепче. За окном неприкаянно болтался уже не летний, остылый ветерок, скрипел расшатавшейся дощатой ставней на тонких проржавевших петлях. Скрип был тихий, жалобный, тоскливый, но, кажется, ни тот, ни другой его не слышали, сидели, оглохшие.

Вдруг оконная ставня скрипнула погромче. Ржавый скрежет больно отдался в груди Павла Демидова, будто по сердцу его резанули чем-то тупым, зазубренным. Он поморщился от этой нестерпимой боли, медленно, с трудом разгибаясь, поднялся.

— Да-а... Спасибо, говорю...— Голос его тоже был сух и скрипуч, как звук болтающейся ставни. Павел жесткими, заскорузлыми пальцами взял со стола одну пачку денег, другую, третью... Всего их было тринадцать — одна в пятидесятирублевых купюрах, восемь — в десятирублевых и четыре — в пятирублевых. По сто листов в каждой пачке в стандартной банковской упаковке.— Глядь-ка, чертова дюжина.

И Павел мучительно усмехнулся.

Еще когда Демидов стал подниматься, Макшеев начал почему-то бледнеть. Пальцы его рук, лежавших на столе, мелко-мелко задрожали, и он рывком сдернул руки со стола, но куда деть их, не знал, и то совал ладони в карманы старого измятого пиджака, то выбрасывал опять на стол. Потом схватил стоящую на полу сумку, поставил на колени и принялся судорожно мять ее, не замечая, однако, этого.

Демидов опять усмехнулся и вымолвил странное, непонятное:

— Арифметика-то — наука едкая.

Макшеев перестал мять сумку, затих, будто пытаясь добраться до смысла этих слов. Лицо его было теперь серым, землистым. Он еще раз облизал губы, тоже посеревшие, бескровные. И как-то униженно, умоляюще попросил:

— Ты пересчитай... Тут ровно пятнадцать тысяч...

— Я и считаю... С тридцать восьмого по сорок восьмой, значит, я мыкался... Три года поселения считать уж не будем... Десять лет... За каждый год, значит, ты положил мне по полторы тысячи... по сто двадцать пять рублей за месяц... По четыре рубля за день... за каждый день. Ишь какая, объясняю, арифметика.

Демидов говорил сперва громко и отчетливо, выбрасывая фразы толчками, будто сыпал из автомата отрывистыми очередями. Потом горло его стало перехватывать, голос осел, осип. Последние слова он произнес шепотом, вытолкнул из себя с трудом. На Макшеева он не глядел.

По мере того, как Демидов говорил, к щекам Макшеева стала приливать кровь, в складках лба и на переносице проступила мелкая испарина.

— Так что ж... Так что ж...— бессвязно пробормотал он.— А ты все равно возьми...

По дряблому горлу Демидова прокатился крупный и тяжелый комок, будто прочистили ему глотку, и он сказал прежним голосом — крепким и ясным:

— И почто меня, дурака, еще десять лет там не продержали? Теперь бы, может, тридцать тысяч от тебя получил. А? Дал бы тридцать?

Макшеев по-прежнему держал сумку на коленях, не мигая, ничего, может, не видя, глядел куда-то в сторону, в окно, за которым ветер шатал верхушки пожелтевших уже берез.

— Что молчишь? Дал бы? — вскричал Демидов, багровея.

— Дал бы, дал...— машинально и торопливо закивал Макшеев. И, только проговорив это, опомнился, сильно вздрогнул. И до конца понял, о чем идет речь, по-своему что-то сообразив, так же торопливо глотая слова, продолжал: — И сейчас дам... Она, конечно, не тетка... Тюрьма-то. По четыре рубля мало... У меня наберется. Я завтра принесу еще полную сумку... Принесу, говорю, не трожь! Не трогай, Павел...

Это Демидов, шагнув к Макшееву, пытался взять у него сумку, а тот судорожно при-

---

Окончание. См. «Огонек» №№ 29—31.

жимал ее к животу локтями. Но Демидов все же вырвал сумку и, держа ее у кромки стола на весу, сгреб все пачки денег в темный кожаный зев. Затем поставил сумку на стол, задернул застежку-«молнию». Неприятный металлический звук будто пропорол установившееся за секунду до этого в комнате полнейшее безмолвие, и вот стало слышно тяжкое и хриплое дыхание этих двух стариков.

Оба — Макшеев и Демидов — глядели теперь безотрывно на сумку. Макшеев, одной рукой ухватившись за свое колено, а другую сунув в карман, сидел, чуть наклонившись вперед, будто хотел вскочить, да никак не мог осмелиться. Демидов же стоял у стола столбом, навытяжку, а длинные руки его с широкими ладонями висели вдоль туловища, как тяжелые узловатые плети. Лицо его было сухое, жесткое какое-то, чуть бледноватое. Оно было неподвижно, его лицо, только на скулах беспрерывно вспухали и опадали желваки.

Потом они одновременно, оба с великим трудом, оторвали глаза от сумки. Демидов начал поворачиваться не спеша к Макшееву, а Макшеев медленно стал поднимать на Демидова свой взгляд.

Бесшумная молния, казалось, взорвалась в комнате, когда взгляды их встретились. Взорвалась, опалила их лица, обуглила глаза — у того и у другого в неподвижных, свинцово-тусклых глазах ничего не было, кроме прежней ожесточенности, непримиримости, смертельной ненависти.

— Пошел отседова,— тихо сказал Демидов, с трудом разжав тяжелые, сухие губы. Одной рукой схватил сумку со стола и швырнул на колени Макшеева. Макшеев нервно дернулся, чуть не свалился на пол. Удержаться ему помогло, казалось, то обстоятельство, что он обеими руками цепко ухватился за сумку.

— Ты... чего, Павел? — прохрипел он.— Не берешь, что ли?

— Во-он!

И Павел, дергаясь лицом, подскочил к Макшееву, схватил его за шиворот, сильно толкнул к двери. Тот, не выпуская сумки из рук, обернулся стремительно, угрожающе, а заговорил голосом неожиданно униженным и просящим:

— Я же хотел, Павел, как лучше... по-человечески... Ты пойми...

Эти слова разъярили Демидова окончательно.

— Т-ты! — замычал он сквозь крепко стиснутые зубы, ринулся к порогу, ногой ударил в дверь, точно хотел разнести ее в щепки.— Т-ты-ы!

И опять, схватив Макшеева за шиворот, поволок его из комнаты, как щенка.

...Случайно оказавшиеся в тот час на приречной улице колхозный тракторист Ленька и дочка конюха Артамона Клавка с изумлением глядели, как бывший лесник Демидов тащит куда-то за шиворот упирающегося Макшеева. Они слышали, как Макшеев все время выкрикивал умоляюще одно и то же:

— Павел!.. Пашка!..

И как Демидов на каждый макшеевский вскрик отвечал:

— Я понял! Понял я...

— Топить, что ли, волочешь его? — вежливо поинтересовался Ленька-зубоскал, когда Демидов с Макшеевым поравнялись.

— Они же пьяные, Лень! — воскликнула Клавка испуганно.

Эти голоса будто привели Демидова в чувство, он остановился, не выпуская, однако, воротника Макшеева из цепкого кулака. Потом сильно отшвырнул своего врага прочь.

— Оно и утопить нелишне бы...

И, шумно дыша, принялся вытирать ладони об одежду.

А Макшеев, отлетев на несколько шагов, обернулся и встал как-то странно, на раскоряченных и чуть согнутых ногах. Одной рукой он обтер мокрое лицо, а другой покрепче и поудобнее взял сумку за потрескавшиеся кожаные ремни, будто намеревался подскочить к Демидову и размозжить ему этой сумкой голову.

— Значит, так... значит, так... Не берешь?

— Отнеси Марьке... Она за это каждый час рыскует, всю кровь отдает.

— Последний раз спрашиваю!— взвизгнул вдруг Макшеев.

Демидов, уже успокоенный, усмехнулся:

— Высохнете ведь после с Марькой на усух, как полынные стебли... Жалко на вас глядеть мне будет.

— Высохнем?! Тогда... гляди! — трижды выкрикнул Макшеев, сверкая глазами, и побежал к реке.

Улица проходила по самому берегу Оби. В пяти метрах начинался довольно крутой глиняный откос, затем до самой воды шла неширокая песчаная полоса. Макшеев торопливо скатился с откоса, разбрызгивая ногами песок, побежал дальше. У воды остановился, обернулся, прокричал еще раз снизу:

— Тогда гляди, сволочь!

И, размахнувшись, швырнул сумку с деньгами в реку.

— Ой! — воскликнула Клавка.— Чегой-то он?!

Голос Клавки еще не умолк, когда сумка, описав крутую дугу, как черная неуклюжая птица, упала в реку. Течение сразу поволокло ее, отбивая как-то все дальше и дальше от берега.

Едва сумка плюхнулась в воду, Макшеев сорвался с места и, будто намереваясь кинуться за ней в реку, торопливо сделал несколько шагов вниз по течению. Но потом замедлил шаги, остановился...

Сумка, чернея на светло-желтой воде, уплывала все дальше. Молча смотрели на нее Ленька-тракторист, Клавка, Демидов... Молча смотрел и Макшеев. Он стоял сутулясь, безвольно опустив вниз руки, спиной к деревне и к людям...

Когда черное пятно на воде исчезло — то ли сумка потонула, то ли просто уплыла из вида,— Макшеев сел на песок, низко уронил голову.

— Да что... что это он сделал?! — опять воскликнула Клавка.— Что в сумке-то было?

— Ничего там не было,— ответил Демидов.

При этих словах Ленька-тракторист, давно стригущий посерьезневшими глазами то Макшеева, то Демидова, явно пытаясь разгадать, что же произошло между этими людьми, и, может быть, догадываясь даже о чем-то, еще раз сквозь прищуренные веки пристально поглядел на Демидова и повернулся к Клавке:

— Ну, пойдем отсюда.— И взял девушку за руку.

— Дурак. Вот дурак! — проговорила Клавка осуждающе в сторону Макшеева.— Сумка была ведь почти новая, кожаная. Рублей двадцать, однако, стоит.

— Ага... Сумку жалко,— сказал Демидов.

13

Опять зарядили дожди над Дубровинской тайгой, лес стоял мокрый и унылый. Катила и катила Обь бесконечные и бесшумные волны, но если поднимался ветер, река вскипала от злости и, раскачавшись, била и била в каменистые берега всей своей тяжестью.

За остаток лета и за всю осень Демидов не видел Макшеева ни разу. Тот будто сквозь землю провалился.

Жена его Мария тоже начала вдруг сохнуть, как и сам Макшеев, стареть прямо на виду. Щеки ее поблекли и смялись, за прилавком она стояла растрепанная, с вечно распухшими глазами, видно, она часто и много плакала.

— Взяла бы ты себя в руки, Марька,— сказал ей однажды Демидов.— Смотреть на тебя тошно.

— Что ты сделал, паразит такой, с Денисом моим?! Что сделал? — истерично закричала она.

Павел торопливо ушел из магазина.

Когда расхлябанная дождями земля начала от утренних заморозков костенеть, а с неба нет-нет да и просыпались снежинки, Мария заявилась вдруг к Павлу домой, прислонилась к дверному косяку, зажала лицо платком и опять произнесла сквозь слезы, как в магазине:

— Что ты сделал с Денисом моим? Что сделал?

— Погоди, погоди,— вскочил Павел растерянно.— Сядь, что ли, проходи...

Он усадил ее возле стола, она немного успокоилась, всхлипывала только время от времени и глядела тоскливо в окно, постаревшая, неприглядная.

— Что с ним, с Денисием? — тихо спросил Павел.

— Что... Лежит в дому, как барсук в норе, который месяц на улицу не выходит... Ворочается, будто жжет у него все внутри. Зубами скрежещет по ночам — страшно прямо... Пить начал вот. Ты бросил, а он начал.

— А его и жжет, Мария... Собственное паскудство мучает его теперь, сжигает.

— Я знаю,— вздохнула женщина.— Как он тебя костерит, напившись-то! По косточкам разламывает. Взял, орет, человечье превосходство надо мной, думает? Ишь, простил мне все, из реки выволок и денег не принял за спасение. Ишь, тебя ремнем отхлестал! Благородный какой...

— Я вот все думаю, Мария... Он ладно. Я теперь не удивляюсь, что он прислал тогда тебя ко мне в сторожку. А ты сама-то как на такое... на это решилась?

— Ты полегче чего спросил бы! — воскликнула она.— Дура, битком набитая дура я...— И, захлебываясь хлынувшими опять слезами, продолжала: — Ты еще не знаешь, какая я стерва-то... не лучше Дениса. Что ты в молодости во мне нашел? Ведь тогда, как ты на уговор про свадьбу приходил к нам... я знала, что Денис возле риги тебя ждать будет. Он мне наказал — ты напои его посильней, чтоб память ему отшибло. А какая, грит, останется, я до аккуратной пустоты выколочу. И я постаралась...

— Я это знаю... сразу догадался,— глухо уронил Демидов.

— Ну вот... А это к сторожке — что уж мне...

Демидов полез за папиросой, задымил.

— Вот ты говорил недавно: ни бабы, ни человека из меня не выросло. Так оно и есть... Я бы другая вышла, может, не попадись мне на пути Денис. Да что теперь! Ты, а вместе с тобой и та, другая жизнь, которая у меня могла быть, стороной прошли.

— Да, уж теперь-то что,— согласился с ней Демидов.

— Отчего он бесится особенно — не может постичь, как это ты простил его? Когда спас от гибели — он думал: на деньги большие наконец-то позарился. Ага, говорит, люди все одинаковые! Сейчас их ему не жалко, а то, что себе ты их не взял... Без выгоды, значит, рисковал тогда собой, без выгоды спас и до конца не оставил злости, простил. Почему, стонет, почему?

— Это все обыкновенно понять, Мария,— сказал Демидов.— Не могу я больше с ненавистью в душе жить. Тяжко стало. Отдохнуть захотелось.

Женщина глядела на него теперь удивленно.

— Непонятно. И мне непонятно... Он тебе жизнь изломал, всю перековеркал. Он и я... А ты прощаешь...

— Ну да, прощаю! — вдруг начал сердиться Демидов.— Но только он отчего мучается-то? Отчего его жар сжигает? Он, я соображаю, понимать начал — не передо мной он только виноватый, а перед всеми людьми, перед землей, на которой живет... Свое я ему прощаю, а люди не простят никогда! Ни ему, ни тебе. Потому что если прощать будут таким... и за такое — что же на земле будет?

Мария посидела еще, обдумывая его слова, встала, медленно пошла к дверям. Там остановилась, опять прижалась спиной к косяку.

— Вот зачем я приходила? — произнесла она негромко, измученным голосом. Потом долго терла обеими руками щеки. Уронила руки, вытянулась сильно и туго. Щеки ее были теперь такие же белые, как стен-

ка, возле которой она стояла, глаза блестели нездоровым блеском.— Я вот что, Павел, приходила... Не надо, не надо было тебе его из полыньи вытаскивать... Так лучше было бы. И для него и для меня...

— Эвон что! А ты поняла б меня, коли я не вытащил? Мог, а вот не захотел...

— А кто узнал бы? Один на один вы были...

— Да-а... А сам-то бы я забыл, что ли, об этом? Взял бы да и забыл?

Мария стояла, все так же сильно вытянувшись, будто прибитая к стенке. Она долго пыталась поймать смысл его последних слов, а может, смысл всего разговора. И вдруг, заломив руки, закричала, как подрезанная:

— Господи! Счастье-то какое мимо меня прошло!

И с этим криком выбежала на улицу.

14

Зима начиналась тощая, бесснежная. Обь стала неделю назад, а земля была почти голой. Так, сантиметра на два была она присыпана сухой крупкой, на дубровинских улицах торчали острые гребни затвердевшей грязи. Не проехать было по улицам ни на санях, ни на телеге.

В пятницу ударил вдруг такой мороз, что в тайге гулко застреляли, лопаясь деревья.

Под вечер, как всегда, несмотря на адский холод, нагрянули из города рыбаки, до полночи стучали в закрытые ставни макшеевского дома, хотя привычное для них оконце не горело и Мария прилепила там бумажку с крупными буквами: «Водки нет».

— Стучат... Вот я возьму кочергу да постучу им выйду,— несколько раз говорил Денис Макшеев желчно, расхаживая по комнате в нижней рубахе.

Потом он каждый раз садился к столу, ставил на него локти, зажимал руками голову и сидел так долго, копя — знала Мария — ненависть к ней. И, накопив, бросал ей через всю комнату, чуть поворачивая заросшее грязными волосами лицо:

— Сука ты! Сучка вонючая... Ты во всем виноватая!

Денис дошел до края, это Мария видела и понимала. Он последний месяц грыз ее за то, что не смогла она тогда в лесу соблазнить Демидова.

— Подстелилась бы ты под него, он отстал бы от нас, я знаю, знаю... А ты, кобыла, этого не сумела.

Сперва Мария возмущалась на такие слова, обижалась, плакала.

— С-сыть! Распустила сопли! — гремел Макшеев.— Не понимаешь, что ли?! Сумела б полюбовницей его сделаться — он бы не стал меня из реки вытаскивать. А он вытащил, он рассчитал все: живи, мол, и размышляй, какая ты плесень и какой я человек хороший...

— Денис, да что об этом думать? — умоляла она его.— Уедем отсюда! Он теперь за нами не потащится.

— Уедем... Пробовали! Не уехать теперь от этого никуда.

Мария чувствовала, как тупеет что-то у нее в груди, в голове.

Где-то за полночь рыбаки стучать в ставни перестали, угомонились, а Макшеев все ходил и ходил по комнате. Затем полез в чулан, выволок рыболовные снасти — удочку-подергушку, черпак, пешню. Пешню он долго осматривал, трогал острый конец, пробовал зачем-то на вес.

— Никак и ты рыбачить собираешься?— приподняла Мария с кровати растрепанную голову.

— Не провалюсь теперь, не бойся,—ответил он со смешком.— Лед сейчас уже крепкий — грузовик вчерась переезжал на тот берег.

Приготовив снасти, он лег, но не спал, все ворочался, все сопел глухо. Встал поздно, когда уж рассвело.

Молча он позавтракал, выпил полный стакан водки. Посидел, подумал, выпил еще один стакан.

— Чтоб теплее было,— пояснил вдруг.—

Ночью отдало вроде, ишь, окна оттаяли. Да не лето все же...

Затем он надел тужурку, баранью шапку, собрал снасти и ушел, бросив от порога вчерашнее:

— Да... Не уехать теперь от этого никуда.

Оставшись одна в доме, Мария убрала со стола, оделась, пошла в магазин на работу. И когда убирала со стола и когда шагала по кочковатой улице, все думала об этих последних словах мужа. Она слышала их не однажды, знала, какое содержание вкладывает в них Денис. Однако на этот раз в голосе мужа было что-то новое, непонятное, пугающее. Голос был, как обычно, с хрипотцой, но в нем не чувствовалось, как всегда, ни злости, ни бессильной ярости. Голос был равнодушный, безразличный к тому смыслу, какой заключали слова, и это настораживало, беспокоило ее все сильнее и сильнее. К тому же, говоря их, Денис криво усмехнулся, лицо его перекосило, оно было все перепахано судорогой, и глаза блеснули тупо, бессмысленно, потухающим каким-то светом...

Мария вспомнила выражение его лица и блеск его глаз, уже дойдя до магазина, открывая замок на дверях. И тут ей ударило больно в голову: а наживки-то?! Раньше, собираясь на рыбалку, Денис загодя готовил всякие наживки, долго возился с ними. А сейчас даже и не подумал о них! Какая ж тогда рыбалка? Господи, да ведь он...

Дрожащими руками она выдернула ключ из полуоткрытого замка, но тут же уронила его на землю, искать не стала, потому что не заметила даже, что уронила, кинулась вдоль улицы к берегу. Зачем бежала, что могло случиться с Денисом там, на реке? Лед окреп, он вчера выдержал грузовик. Но она бежала, не понимая еще, зачем, какая-то сила толкала и толкала ее вперед, а в голове звенели и звенели разламывающие череп звоны...

15

...Выйдя из дома, Макшеев глотнул холодного свежего воздуха, глотнул неосторожно много, до крови, казалось, оцарапав изнутри всю грудь. Хмеля он не чувствовал, хотя только что выпил целую бутылку, но тут голова вдруг сильно закружилась. Впрочем, это быстро прошло, и он широко зашагал к реке, держа тяжелую пешню наперевес, прижимая ее локтем к боку.

Все речное пространство за островком, у противоположного берега, было усеяно рыбаками, как ночное небо звездами. Они сидели то кучами, то россыпью, кое-где стояли на льду брезентовые палатки.

Денис Макшеев, сосредоточенно глядя себе под ноги, точно боялся оступиться, пошел к островку.

Первого, кого он увидел, обогнув островок, был Демидов. Рядом над лункой сидел приемный сын его Гринька, старательно работал подергушкой. Он раскраснелся, глаза его от азарта поблескивали. Клев был отменный, возле лунок Демидова и Гриньки валялось десятка по три окаменевших рыбин.

— Окунь, значит, один идет? — вдруг останавливаясь, проговорил Макшеев.

Демидов глянул на него, но ничего не ответил, отвернулся к лунке.

— А сын-то, ишь...

— Что сын?

— Ловко, говорю, того... Наловчился уж.

Демидов снова поднял недоумевающее лицо. Макшеев усмехнулся как-то странно, одной стороной лица. Будто не усмехнулся даже, а подмигнул заговорщически.

— И правильно, пусть... Нету радостней занятия, кто поймет... Рыбалка-то...

Он пошел дальше. Но вдруг остановился, произнес, тускло поблескивая двумя металлическими зубами:

— Я так и рассчитывал, что ты тут, дядя... Да, я знал...

Его непонятная усмешка, его слова, особенно последние, это любимое им в молодости словечко «дядя» — все не понравилось Демидову, чем-то обеспокоило, вызвало нехорошее чувство. Он забыл про свою удочку, не отрываясь, стал глядеть на Макшеева.

А Макшеев никак, видимо, не мог выбрать место для лунки, все ходил и ходил меж рыбаков. Наконец выбрал, кажется, принялся долбить лед в сторонке от всех. Долбил он долго, раза три нагибался, вычерпывая из лунки ледяные крошки.

«Лед-то всего ничего, сантиметров десять, а он столько возится,— отметил про себя Демидов.— Обессилел, что ли, совсем?»

Павел хотел заняться своей удочкой, но в это время Макшеев бросил пешню. Он отшвырнул ее далеко, будто ненужную, мешающую ему вещь. Демидов быстро положил на лед свою подергушку, жесткие, выцветшие брови его дрогнули, сдвинулись. Умом он ничего не мог еще сообразить, а в сердце больно кольнуло раз, другой...

А Макшеев меж тем вдруг расстегнул и сбросил на лед полушубок. Демидов вскочил, чувствуя, как дрожат колени, не сам вскочил, подняла его будто какая-то посторонняя сила. Сознание же все еще не работало.

— Дени-ис! Держите его! Помешайте! Держите-е!.. — разнесся над белой рекой пронзительный женский голос. Он был страшен, этот голос, своей неожиданностью и мольбой о помощи. Рыбаки повскакивали, не понимая, кто и почему кричит, о чем умоляет: лед, кажется, крепкий, надежный, провалиться никто не мог.

Только Демидов все понял наконец, сорвался с места, тяжко побежал к Макшееву. Гринька испуганно глядел вслед отцу.

А Макшеев стоял возле продолбленной им широкой, диаметром чуть не в метр, дырки во льду. Стоял, вытянувшись в струнку, как суслик перед норкой, и будто терпеливо ждал, когда подбежит к нему Демидов. Грудь его ходила толчками, лицо было багрово-темным. Трясущейся рукой он расстегнул воротник рубахи-косоворотки, словно он жал, не давал дышать.

Когда Демидов был метрах в пяти, Макшеев крепко прижал к туловищу руки, шагнул в прорубь и столбом рухнул вниз. Из проруби на лед тяжело плеснулась вода.

— Папка-а! — в ужасе закричал Гринька, оказавшись рядом.— Это... что? Это что?!

Мальчишка был бледный, как снег. Демидов цепко схватил его, прижал к себе, точно опасаясь, что и Гринька может прыгнуть в воду, под лед.

— Ничего, сынок... Ничего. Он, дядька Денис, оступился, видишь...— бессвязно зашептал Павел.— На льду-то осторожно надо, опасно всегда. А он не поберегся... поскользнулся и упал...

Они стояли так, прижавшись друг к дружке, и тупо глядели, как в проруби бурлит черная вода. Эта вода крутила и крутила размокшую баранью шапку Дениса Макшеева, а потом уволокла ее под лед.

Отовсюду бежали люди к тому месту, где стояли Демидов с Гринькой. Только Мария уже не бежала. Увидев, что муж рухнул в прорубь, она остановилась, будто наткнулась на крепкую стенку, постояла, подломилась в коленках, потом в поясе и упала головой вниз.

Она и не плакала вроде, голоса ее не было слышно. Лишь тело ее крупно тряслось...

16

Недели две Павел Демидов и сын его Гринька жили молча, изредка переговариваясь только о самом необходимом.

Но однажды вечером, лежа в кровати, Гринька вдруг спросил из темноты:

— Ты говоришь: он подскользнулся и упал в лунку, дядя Денис... А зачем он лунку такую большую сделал?

— Ну, зачем? Узкая лунка скоро замерзает, приходится время от времени ее раздалбливать. А широкой на всю рыбалку хватит.

Но чувствуя, что объяснение его может не убедить Гриньку, стал говорить дальше:

— А потом, бывает, возьмет окунище шире лопаты. Как вытащить? Пока раздалбливаешь лунку пошире, окунь и сойдет. А Денис — он жадный был на рыбу. Вот и раздолбил сразу, на всякий случай...

Павел и еще что-то говорил сыну такое же неубедительное, упорно пытаясь уверить сына, что две недели назад произошел на льду обыкновенный несчастный случай.

— А ты его жалеешь, пап? — спросил Гринька, прервав объяснения отца.

— Нет, сынок,— помедлив, сказал Демидов.— Он был шибко подлым человеком.

— Что ж, тогда я прав был: добрых людей земля любит, а нехороших и сама наказать умеет.

— Спи, сынок. Что ж теперь об этом думать? Уроки все выучил на завтра?

— Все.

— Ну и спи.

Но Гринька долго еще ворочался, вздыхал, как взрослый. И, засыпая наконец, произнес:

— А страшно, должно быть, подлым людям один на один с землей оставаться? А, пап?

— Им страшнее, видать, с совестью своей один на один встретиться, сынок.

— Это как?

— Никак! Спи, якорь тебя! — рассердился Павел, но скорее сам на себя, за свои последние слова.

Гринька еще не понимал, а Демидов и не хотел, чтобы он так рано понял, что на древней земле под древней луной произошла одна из вековечных драм человеческих...

Юрий БОНДАРЕВ

Игра

РОМАН

Рисунки Е. БОНДАРЕВОЙ, А. УСТИНОВИЧА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В такси по дороге из аэропорта Крымов чувствовал недомогание, испарина выступила на висках, было душно, жесткий воротничок прилипал к потной шее, и он несколько раз опускал стекло с ожиданием облегчения, откидывался на заднем сиденье — тогда летний сквозняк, пропитанный теплыми выхлопными газами, обдувал его влажное лицо.

Он смутно удивлялся праздному многолюдству в эти часы на остановках автобусов, у магазинов (когда же люди работают?), видел утреннее сверкание солнца в листве, в стеклах витрин, а перед глазами каруселью вращались другие улицы, витрины, столики на тротуарах под тенью красных тентов, другие толпы, одетые в пестрое, цветное, другое солнце, знойное даже в раннее время. И эта сверкающая, как в дурмане сна, карусель высокомерно стирала, чем-то унижала скромность московских улиц, всегда грустно трогающих при возвращении из-за границы домой. Но неприятно было то, что в прошлые свои приезды он не ощущал такого болезненного удушья в горле, как будто подкатывали и застревали невылитые рыдания. Он не понимал, что происходило с ним, готовый смеяться над собой и презирать себя за сентиментальность, для которой не было причин.

Да что такое? Ведь все было прекрасно в этом гостеприимном Париже — шесть дней праздничной заграничной шумихи, ни к чему не обязывающих приемов, кондиционированных кинозалов, коктейлей, дискуссий, ночных шоу в кабаре со сладко-пахучим багровым полумраком, бархатными диванами, бледными женскими телами на сцене, а утром тщательное бритье, в завтрак две чашки кофе, придающих бодрость, просмотры фильмов и, наконец, почетный приз за режиссуру, неожиданный и ожидаемый. Все было на фестивале удачным и благосклонным, но от этих приятных и сумбурных дней за границей оставался вязкий привкус горечи и стыда, о чем не хотелось вспоминать.

Он закрыл глаза, стараясь настроиться на прежнюю московскую жизнь, на ее привычный ритм, где снова студия, худсоветы, подготовка к съемочному периоду, но почему-то нарастало раздражающее беспокойство, и он подумал: «Я вернулся раньше срока и два дня отдохну дома».

Но сейчас, когда уже подъехали к дому на Ленинском проспекте, повернули во двор под ветви тополей, когда он вошел в каменную прохладу подъезда, в исцарапанную кабину лифта, затем увидел знакомую лестничную площадку и обитую коричневым дерматином дверь с кнопкой поющего в передней звонка, он не мог преодолеть томившее его чувство, сдавливающее горло слезами, и вынужден был для успокоения немного постоять на лестничной площадке.

Он позвонил четырехразовым звонком (семейный шифр), прислушался и позвонил вторично, ожидая услышать за дверью голос жены, дочери или сына, однако за дверью — тишина, ползли невнятные шорохи в квартирной пустыне: дома, по-видимому, никого не было.

«Счастливыми объятиями меня встречают любимая жена и любимые чада»,— подумал он, усмехаясь.

И, открыв дверь своим ключом, втащил чемодан в переднюю, опахнувшую теплотой домашней пыли, увидел себя в зеркале, утомленного, и вдруг почувствовал, что все-таки ему нежданно-негаданно повезло. Да, он чертовски устал, и хотелось побыть одному, и помолчать, и полежать на диване в бездумной расслабленности, и полистать журналы, просмотреть газеты, пришедшие за его отсутствие письма.

Сбросив пиджак, он прошелся по комнатам. Ясно: семья уехала на дачу, окна во всей накаленной квартире были наглухо закрыты, закупорены шторами. Всюду стояла спертая духота, кое-где на паркете, на коврах, на мебели лежали проникшие в щели штор солнечные нити, а в кухне с незанавешенным окном пахло горячей клеенкой, и счет за телефонный разговор, упавший на пол с тумбочки, пожелтел на солнцепеке, полузакрученный в трубочку.

Каждый раз, когда он возвращался из-за границы, было ощущение длительно прожитого вдали ненастоящего, придуманного игрой жизни периода, и ему, переутомленному этой игрой, надо было в разговорах с друзьями освободиться от чего-то коктейлеобразного, многоречивого, ресторанного, чем вынужден был заниматься некоторое время, теша честолюбие, наслаждаясь собственным любопытством.

И сейчас хотелось смыть с себя душевно тяжкую и вместе игрушечную усталость от своих улыбок, интеллектуальной болтовни, парфюмерную сладость чужого туалетного мыла, в котором было нечто нарочито женственное, химический запах синтетики, пропитавший парижские кинозалы и номер отеля,— все, что было уже прожито.

Холодный душ омывал его дождевыми иголочками, вода плескалась с весенним, свежим шумом. Дверь в ванную была открыта, и, казалось, морское эхо отдавалось в пустой квартире. Растираясь полотенцем, он босиком ходил по комнатам, голыми пятками по нагретому паркету и, еще не одеваясь, в столовой сказал вслух: «Ладно, все пройдет и все проходит»,— налил рюмку коньяка, выпил, колючая волна ожгла его, и как бы стало легче.

Потом он лежал на диване в кабинете, просматривал вынутые из переполненного почтового ящика журналы, газеты, разные приглашения на встречи, на выставки, разбирал письма, но не читал их, проглядывал обратные адреса, надеясь встретить знакомую фамилию. И, будто споткнувшись глазами, с медлительностью отложил на угол журнального столика голубоватый конверт, где резко бросился в глаза незнакомый официальный штамп «Главное управление Министерства внутренних дел», сразу вызвав у него скользкую тревогу.

«Значит, началось снова... вернее, все продолжается?» И, помедлив, Крымов надорвал конверт, бегло прочитал, что ему, Крымову Вячеславу Андреевичу, следует явиться 4 июля (это же через три дня!) к следователю Токареву по адресу: Петровка, 38, второй этаж, комната 200, имея при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность. «Зачем второй раз? Мы уже встречались с ним на студии. Да, Токарев Олег Григорьевич, воспитанный, умный молодой человек с аккуратными усиками. Но что бы со мной ни было, я на Петровку не поеду, милый Олег Григорьевич, я не хочу, чтобы вы стали тенью того, что случилось».

Он в раздумье отложил повестку и начал проглядывать рецензию на фильмы парижского фестиваля, чувствуя какую-то фальшивость принятого минуту назад решения и вульгарную искаженность в оценке своего фильма, наивное противопоставление «социалистической нравственности и душевной чистоты жестокости западных героев, внутренний мир которых напоминает пустую раковину».

«Ну и ловкие ребята наши рецензенты, только зачем этот жалкий примитив? — И Крымов сердито засмеялся, отчетливо вообразив мясистое лицо знаменитого американского режиссера, по родителям выходца из России, человека талантливого и ядовитого, показавшего на фестивале потрясший всех фильм «Содом и Гоморра» — о гибели сумасшедшего дома, что символизировало смерть человечества, утратившего милосердие.— Мой оппонент Джон Гричмар похохотал бы со мной вместе. «Чистота», «нравственность», «высота» — какие стершиеся слова, бог ты мой, взяли мы себе в доказательство и защиту, вооружились ими с ног до головы. Мы, избранники, присвоили себе ангельскую непорочность, невзирая ни на что, оставив все сатанинское за бугром».

Он уже с раздражением начал читать другую рецензию, где вновь замелькали назойливые фразы о сексе, патологии, безнравственности в фильме Джона Гричмара, и не дочитал до конца, отбросил газету, повторяя вслух:

— Кретинизм, черт бы его взял, кретинизм...

Они вместе получали премии, вместе приглашались на ленчи (два режиссера двух великих держав), каждый вечер встречались в баре отеля после просмотров кинокартин и, встречаясь, угощали друг друга виски и водкой больше чем надо, хотя американца перепить было невозможно, две ночи по приглашению Гричмара провели в клубах, всякий раз спорили о судьбах России, до взаимной неприязни разъединенные противоположностью позиций и в то же время чем-то объединенные, может быть, неутоленным любопытством одного к другому.

Вторая ночь в клубе была особенно изнурительна яростными спорами, чрезмерностью пития и зрелищ, а утром в вестибюле отеля перед просмотром он с больной головой листал на столике «Пари-матч», моля обстоятельства освободить его сегодня от коктейлей, туго завязанного галстука, от разрушительного яда Гричмара и дать возможность передохнуть, сделать вдох и выдох, бездумно побродить по вечерним улицам Парижа. Огромный вестибюль, не с французской, а с восточной роскошью застеленный толстыми коврами, американское роскошество зеркал, широкие кресла, диваны, обитые красной синтетической кожей, движение фигур возле стеклянных дверей и конторки портье, приглушенные голоса, горькие и теплые запахи сигарет и духов — все было обычным для отеля, виденным не раз Крымовым в других странах, и он изредка скользил взглядом по знакомым и незнакомым лицам продюсеров и режиссеров, до гладкости выбритым или бородатым (два равно встречающихся типа лиц в современном мире), по затянутым спортивным фигурам кинозвезд и неизвестных знаменитостей, прелестным, молодым и молодящимся, со следами ночи в чересчур блестящих глазах. Но что-то мешало его привычному наблюдению, то ли тяжесть в голове, то ли ртутная яркость в глубинах зеркал, и он видел одновременно всех в этом пространстве утреннего вестибюля, собравшихся после завтрака, и вдруг покрылся испариной, подумав, что все они вместе замечают его наблюдающий взгляд. Он перевел внимание на страницу в «Пари-матч» и в ту же минуту услышал их смех, снисходительно-насмешливые фразы, они говорили о его невежливом любопытстве, с каким он не имел права разглядывать их, и тотчас почувствовал почти физическое прикосновение на своем лице. Он поднял голову от журнала и увидел, что кто-то из группы продюсеров и режиссеров смотрит на него со спокойной пристальностью, кто-то очень знакомый, с проседью, в сером костюме человек, которого он не однажды встречал. «Я знаю его, но кто это? Кто?» И, точно выныривая из давящей толщи, он стал постепенно узнавать прическу, лоб, седину в волосах, галстук, стараясь встретиться с человеком глазами, но отдаленные глаза не встречались, были в тени, оттуда неподвижно смотрели в его сторону — и с внезапно окатившим потом слабости, боясь, что задохнется сердце, он понял наконец, на кого похож был этот человек...

Несомненно, причиной галлюцинаций могло быть нервное перенапряжение, он слышал о разного рода стрессах у людей его профессии, но не знал, что подобное бывает именно так. «Невозможно, глупости, чепуха! Дурман какой-то!» И тогда он встал, бросил журнал на столик и, переживая решимость военных лет, твердо и прямо пошел к этому человеку, стоявшему в толпе продюсеров. Но человека в сером костюме уже не было... На его месте стоял французский режиссер Клод Мелье, сухой, жилистый старик фривольного вида, что придавали ему подкрашенные куцые ресницы, он не без светской любезности поклонился Крымову, показывая еще влажные от туалетной воды, мастерски начесанные на плешь волосы. И неизвестно зачем Крымов тоже поклонился, выдавил любезно: «Бонжур, мсье» — и, справляясь с неловкостью, прошел мимо в конец вестибюля, к бару, там, как всегда, увидел за стойкой Джона Гричмара, обрадованно замахавшего рукой. Гричмар пришел в этот миг как спасение: «О, я тебе рад, Вячеслав!»

Через день нечто похожее повторилось в самолете, где, казалось, все заграничное, превышенно пестрое, ежедневно связанное с душевным напряжением, тратой сил, кончилось и в полупустом салоне родного Аэрофлота с милыми стюардессами было светло, легко, слышалась русская речь... Было удивительно и то, что здесь, на девятикилометровой высоте, оказались две мухи, они ползали по стеклу иллюминатора, до золотистости освещенные солнцем, а по горизонту огромно слепили застывшей курчавостью облачные торосы, и плоская равнина нижних облаков представлялась Ледовитым океаном, сквозь прорехи которого в немыслимой глубине едва виднелись затопленные подводные города, волоски дорог, темные леса.

Крымов смотрел на гигантские лохматые айсберги, на мух, ползающих по иллюминатору, и было весело думать о несоответствии величественной высоты, стерильной белизны облаков и двух путешественниц, залетевших в салон либо в Шереметьеве, либо в аэропорту Орли. Как? Для чего залетевших?

И, подумав об этом несоответствии и неизбежном «зачем», увидел с наслаждением и особой ясностью самого себя чьей-то властью освобожденным от самолета, от его стали и материальности, от кресла, в котором сидел (но сохраняющим эту позу в воздухе), увидел себя летящим над белой пустыней, беспредельным сиянием облаков, омываемым ветром и солнцем.

«Я знаю, что со мной было,— уверял он себя, силясь объяснить свое состояние.— Была реализованная в моем сознании мечта. Мне всегда хотелось иметь летательный аппарат вроде одноместного вертолета. И иногда страстно хотелось в конце дня уйти от всех, подняться с земли, лететь без дорог, опуститься где-нибудь на сказочной поляне, угасающей под закатом, где лесная тишина смотрится в озеро... Но в связи с чем я подумал об этом? Тогда в вестибюле отеля я увидел себя — одинокого человека, хорошо одетого, умеющего творить чужие чувства, но лишнего за границей,— и стало не по себе... Чем объяснить, что я сейчас явственно испытал давление воздуха в лицо, мучительное замирание в груди и полное освобождение от материального?..»

Стройно покачиваясь на каблучках сапожек, улыбаясь встречающей улыбкой, подошла стюардесса с подносом, на котором пузырилась в бокалах минеральная вода, спросила, не хочет ли он боржом,— она приблизилась к нему из светлого салона (вот оно, прекрасное, материальное в образе женщины), а он молчал с нежеланием улыбнуться ей в ответ, слушать милый щебет, смотреть на это внешне совершенное молодое существо, знавшее, откуда он возвращается, и видевшее его фильмы. Все стало грубо реальным по сравнению с мукой томительного замирания в освобожденном полете над бесконечностью закрывших землю облаков. Он отказался от боржома, попросил коньяку и отвернулся к иллюминатору. Этой замкнутости Крымов раньше за собой не замечал. Он на минуту прикрыл глаза, и в гуле, реве реактивных моторов почудился сатанинский вой, крик и плач жертв, духовые оркестры, смешанные с симфоническим громом. Крымов пытался уловить, запомнить какую-то определенную ноту, но железная музыка ежесекундно менялась, нарастала до гигантского рыдания, гремела в уши, как угрожающий всему миру звук Вселенной, и он продолжал думать в полуяви: «Ирина... Все сместилось после ее гибели...»

А по стеклу иллюминатора ходили солнечные спектры, беловолосая стюардесса расстелила салфетку, по-прежнему улыбаясь юными губами, вновь спрашивала его о чем-то, он не расслышал, равнодушный к еде и этой ее заученной улыбке. И тут мелькнула неожиданная мысль, что сейчас захлебнутся реактивные двигатели, самолет гибельно споткнется в воздухе и всей стальной массой начнет валиться вниз, падая с высоты.

Как страшно закричит она, эта стюардесса с юными накрашенными губами (никто их уже не поцелует никогда), и как страшно, дико, предсмертно закричит весь салон!.. «А я? — задумался он тогда.— Что сделаю я в тот момент? Буду ждать последнего удара и прощаться с жизнью? Я знаю хорошо, что не буду кричать и молить о пощаде...»

Он поморщился, глядя на мух, ползающих по стеклу иллюминатора, и ему захотелось вернуть нарушенное счастливое состояние — парение, как во сне, голубиным перышком на воздушных волнах, когда нет ни страха, ни обязанностей,— какое блаженство!

«Страх? Я подумал о страхе?»

Телефонный треск будто ударил его в висок, и, за неделю отвыкший от телефонных звонков, он, стряхивая дремоту, вскинулся на диване, машинально потянулся к трубке на журнальном столике. И тотчас отдернул руку: пока еще никому не было известно, что он в Москве, а первый разговор по телефону из дома — это уже быт, обязанность, забота. Ольга не знала, что он приехал на два дня раньше, поэтому не могла звонить с дачи.

И он снова лег, мечтая погрузиться в блаженное плавание забытья, но повторный звонок заставил его снять трубку.

— Да,— тихо сказал он, ожидая услышать бодрый голос директора картины Молочкова, и поторопил, удивленный осторожным дыханием в трубке: — Да, я слушаю, говорите, не стесняйтесь, если уж набрали номер!

— Это я-а,— протяжно запел почти детский голос, засмеявшись.— Здравствуй, папá. Ты приехал? А я позвонила наугад — и неожиданно ты подходишь. Просто потрясающе! Мы на даче. По просьбе мамы я звоню тебе из автоматной будки возле пляжа. Она предчувствовала, что ты приедешь. Я рада, папа...

— Танька, милый мой пес! — заговорил Крымов растроганно, с внезапной хрипотцой.— Я тебя не видел и не слышал целое столетие. Как вы жили без меня? Как мама?

— Мамá? Потрясающе.

— В каком смысле потрясающе?

— Я думаю, что мама — самая красивая женщина в мире, и она очень скучала без тебя. Это по секрету. Не выдавай. Знаешь почему? Вечерами одна сидела в твоем кабинете и читала... О ужас! — Она озорно завизжала.— Тут к автомату подошла целая компания за мной и монеткой стучат в стекло. Папа, я рада, и мы тебя ждем! Пока! Машина в гараже. Мы добрались на электричке.

— Передай маме, что я задержусь по делам в Москве, приеду завтра,— сказал Крымов и, слушая звуковые пунктиры в трубке, опущенной дочерью в неведомой автоматной будочке возле загородного пляжа, внятно ощутил вкус Ольгиных губ, ее вопросительный взгляд темных глаз снизу вверх, когда она подставляла губы при встрече, ее ласково-спокойное: «Ну вот и ты»,— и с неприязнью к себе подумал, что способен не говорить ей правду, скрывать то, что унизило бы ее, не виновную ни в чем.

И насильно взбадриваясь, он соскочил с дивана, раздернул штору, раскрыл окно в солнечную искристость тополиной листвы, вдохнул асфальтовый жар городского дня. Лицо защекотал тополиный пух, летевший по всему Юго-Западу Москвы, поплыл в кабинете, и Крымов сдунул пух со щеки, подошел к зеркалу, сделал гримасу, удовлетворяясь тем, что утром в отеле тщательно побрился перед выездом в аэропорт. В свободные дни он не любил неопрятности, которую допускал во время работы, забывая бриться и отдавая предпочтение заношенным курткам и свитерам.

«Знаю ли я его? — подумал он иронически, узнавая в зеркале усталого, седеющего человека с прищуренными серыми глазами, кровно родственного и вместе с тем незнакомого, и вдруг вспомнил утренний вестибюль отеля, того, другого человека, с несвежим лицом в толпе знаменитостей, праздного, хорошо одетого, чужого здесь, и содрогнулся от стыда, от бессмысленности шести дней в Париже.— Что же это за дьявольщина? Кажется, я живу какой-то нереальной, косвенной жизнью. Хожу, ем, произношу слова, езжу за границу, получаю никому не нужные премии, а душой там, в том страшном июньском дне, когда погибла Ирина».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Как обычно, он вошел в приемную уверенной походкой человека, знающего, что здесь перед солидно обитой благородной кожей дверью, не пропускающей студийные шумы в недра директорского кабинета, его встретит неизменно приветливая, аккуратно причесанная секретарша, и в ее сопровождении он войдет в кабинет, обласкиваемый издали всплеском рук Балабанова, басовитым возгласом: «Ба, кто к нам собственной персоной!» И, распространяя уважительную доброту, умиление, из-за огромного письменного стола выкатится жизнерадостным старым ежом Иван Ксенофонтович и распахнет объятия, точно готовый умереть тут же, на месте, от заблиставшего в его кабинете ослепительного солнца.

В это утро Крымов, несколько разбитый после скверной ночи в Париже и после самолета, вошел в приемную Балабанова, с некоторым усилием выказывая секретарше дружелюбную беспечность: «Как самочувствие, Ниночка?» И тотчас что-то новое передалось ему в ее вялой ладошке, в пустоватом взоре поверх его головы, и было что-то новое в ее фразе, когда, не пропустив его, она мгновенно скрылась за дверью: «Я сейчас узнаю». И через минуту, кивком пропущенный ею в кабинет, он почувствовал, что ветер, должно быть, изменил здесь направление со дня его отъезда во Францию.

— А, заходи, заходи, парижанин! — проговорил грудным басом Балабанов, против обыкновения сидя за столом, не подымая ежеподобной головы от бумаг, которые вроде бы сосредоточенно читал, и рукой махнул на кресло против стола.— Прошу. С приездом. Остальные послезавтра прилетают? Н-да-с. Поздравляю с международным призом. Капитализм гнилой отметил, и слава богу. Пусть чихают и утираются. Ну а что раньше времени прискакал, Вячеслав Андреевич? Париж есть Париж, модные женщины, роскошные витрины, бары, кальвадос...— продолжал он гудящим голосом, углубленный в бумаги, прикрывая опущенными бровями крошечные глаза.— А ты раньше сроку? Неясно-с. Игривый город, игривый... Н-да-с!

И Крымов, увидев эту фальшивую занятость, равнодушное небрежение, чего даже в намеке нельзя было представить месяц назад, сел в кожаное кресло и нетерпеливо поморщился при последней фразе Балабанова:

— Кто-то хорошо сказал о Париже: город городов...

— Бары, витрины, кальвадос — ребяческая сказка для взрослых дураков,— с досадой перебил Крымов, бросая недокуренную сигарету в чистейшую пепельницу на столе Балабанова, наполненную скрепками.— Вы, насколько я понимаю, серьезно заняты, Иван Ксенофонтович. Может быть, зайти, когда вы освободитесь от увлекательного чтения? Назначьте время — я подожду.

— Н-да-с, дорого куплен контрабас... Н-да-с, все мы дураки.

Балабанов раздвинул одутловатые веки и астматически задышал, засучивая рукава сорочки, как для борьбы, недовольно повел раскосмаченными бровями в сторону пепельницы, затем, словно дохлую мышь, взял двумя пухлыми пальцами окурок и бросил его в мусорную корзину под столом, поплевал на пальцы.

— Н-да-с, сожалею, бросил курить пять лет назад,— проговорил он напоминающе и в настороженной рассеянности пошевелил бумаги на столе.— Чем мне обрадовать вас, многоуважаемый Вячеслав Андреевич? Очень хотел бы обрадовать, очень, но чем?

— Ничем сверхъестественным,— ответил Крымов, еще не вполне догадываясь о причинах этой сухости и уклончивости Балабанова.— Раньше срока я приехал из игривого, как вы заметили, города только потому, что через месяц начинаются съемки моей картины. Меня интересует сейчас главным образом только это,— договорил Крымов, подчеркивая нежелание подделываться и подстраиваться под что-то новое, создавшееся в его отсутствие, и, подчеркнув «только это», спросил официально-любезным тоном: — Надеюсь, Иван Ксенофонтович, на студии не изменилось отношение к моему сценарию? Если изменилось, то в чем?

— Всею душою хотел бы вам помочь, всею душою...— Балабанов с опущенными веками перебирал скрепки в пепельнице, мял их.— Но... Неужто вы не понимаете?..

— Я хочу понять,— с тихой вспыльчивостью произнес Крымов,— что вы решили с моей картиной, черт возьми?

— Н-да-с, позволю огорчить,— сурово проговорил Балабанов и опять астматически, свистяще задышал, засучивая рукава на бревнообразных волосатых руках.— Как вы можете снимать через месяц картину, Вячеслав Андреевич, после таких трагических обстоятельств, вы уж меня извините?.. После гибели Ирины Скворцовой у вас нет главной героини. На грешную землю опуститься придется. Н-да-с, дорого стоит контрабас!

— Оставьте свои контрабасы, Иван Ксенофонтович,— сказал Крымов холодно.— Вы со мной неискренни. Я прошу объяснить, что произошло вокруг картины, и прошу не лгать мне и не водить за нос, с вашего разрешения.

«Почему я сказал «лгать»? С какой стати?»

— А я хочу заметить, что директор студии пока еще я,— выговорил Балабанов, плотно багровея, отчего седой ежик его волос рядом с малиновой багровостью широкого лба приобрел первозданный цвет выпавшего снега.— Не вы, извините, а я отвечаю за производство. И за вашу картину в том числе, Вячеслав Андреевич! Несмотря на вашу известность, которая, смею сказать, вскружила вам голову! — крикнул он толстым басом, все так же тревожно копаясь короткими пальцами в пепельнице среди скрепок.— А вы, как можно понять, не хотите нести никакой ответственности за свою картину, как будто вам все позволено! Шалите, шалите, Вячеслав Андреевич, очень уж как-то!..

— Ответственность? Шалю? — пожал плечами Крымов.— Нелепость!

— А, не притворяйтесь и не наивничайте, Вячеслав Андреевич! — Балабанов отодвинул пепельницу, веки его вздернулись, и оловянного цвета глаза поискали что-то на переносице Крымова, загораясь колючим огоньком.— Я зависимый человек, и как бы я к вам ни относился, ничем не могу сейчас помочь, несмотря на ваши требования не лгать,— проговорил он оскорбленно и еще гуще побагровел.— Я сожалею... И сомневаюсь, что эту картину придется снимать вам. Это уже не в моей компетенции.

— Сомневаетесь? Почему? А в чьей компетенции?

— Вы отдаете себе отчет, Вячеслав Андреевич, что в связи с тем, что произошло в вашей съемочной группе, вам угрожает суд? Или вы считаете, что на вас, известного человека, не распространяются советские законы?

— То есть?

Он произнес «то есть», и душное чувство стало надвигаться тоской, неумолимым рыжим поворачиваться в его душе, что началось месяц назад, после того рокового дня, когда, казалось, надолго приостановилось естественное движение жизни и он, Крымов, не скоро вернется к работе. Но перед отъездом во Францию был часовой разговор с Балабановым, сожалеющим о происшедшем, скорбно сочувствующим, заинтересованным в продолжении работы над фильмом, и эта исходившая теперь от директора студии стеклянная официальность, которую он из осторожности нечасто применял, вызвала у Крымова усталое отвращение.

— По-моему, вы сказали — суд? — проговорил Крымов, притворно выказывая удивление.— За что же меня хотят судить?

Балабанов перестал копошиться в скрепках, раздраженно махнул лопатообразной ладонью.

— Позвольте вам доложить, Вячеслав Андреевич,— заговорил он задыхающимся басом,— что и меня приглашали в следственную, так сказать, инстанцию... по поводу того невиданного... невероятного... Я говорю об этом трагическом... Об этом чрезвычайном деле...

— Выражайтесь немного яснее, Иван Ксенофонтович. Я вас с интересом слушаю.

— Как выяснилось, Вячеслав Андреевич, вы были в интимных отношениях с трагически погибшей актрисой Скворцовой, потому и взяли ее на главную роль...

— Если это и так, хотя это не так, то какое это имеет отношение к чрезвычайному делу, как вы изволили деликатнейшим образом выразиться?

«Странно, я время от времени вижу себя со стороны,— подумал Крымов, разглядывая щекастое, налитое кровью лицо Балабанова и вместе с тем немного затуманенно видя себя в кресле напротив стола — свое лицо с тенями утомления под глазами, летний костюм, голубоватую, свежую, но ставшую влажной под мышками сорочку.— Сколько лет вот этому человеку с сединой в волосах? И похож ли он на респектабельного убийцу любовницы,

что может присниться Балабанову, или, может быть, на героя детективной французской картины из жизни самовлюбленных интеллектуалов?».

— И вы внятнее поясните, Иван Ксенофонтович, что конкретно вы имеете в виду,— повторил Крымов бесстрастно.— И что вы можете утверждать, не зная ничего? Вернее, не зная ни хрена, говоря по-солдатски? Прошу за грубость прощения великодушно...

— Осторожней, осторожней! — выкрикнул Балабанов и затряс тяжелыми щеками, не подымая головы.— Вашими, так сказать, делами, мягко выражаясь, сомнительного свойства занимаются другие организации, а я не желаю ими интересоваться! Что же касается вашего безнравственного действия по отношению к водителю студийной машины Степану Гулину, то здесь...

«...то здесь он как директор студии сделает выводы. Впрочем, со стороны смешно и непостижимо: я ударил шофера! Интеллигентный человек... Но что бы сделал этот благоразумный Балабанов, когда она лежала без сознания на траве, в мокром купальнике, а машины на месте не было? Что он, Балабанов, сделал бы, увидев кольца губной краски на окурках чужих сигарет, торчащих из пепельницы в дверце машины, наконец прибывшей через сорок минут? Испытал бы он ту ярость против шофера, куда-то усхавшего, вероятно, подвозившего дачников, а она в это время умирала? Да, непостижимо. Но Балабанов, этот многоопытный лицедей, два лика, актер в кресле! Должно быть, поэтому мне неприятен его вибрирующий бас, его краснота лба и шеи, его ежеподобная голова и, главное, его ежовые глазки, которые он прячет, сохраняя солидность, опасаясь посмотреть на меня. Он умывает руки».

— Вполне могу вообразить, как вы перестрадали в серьезном учреждении, отвечая на вопросы. Я приношу извинения за доставленные вам неприятные минуты,— насмешливо проговорил Крымов, глядя на неспокойно заелозившие брови Балабанова, и вновь увидел себя в затянутой туманцем дали: овал бледного лица, поза в кресле — и больно кольнувшее предупреждение впервые серьезно обеспокоило его: «Что же я, до предела устал? И не могу выйти из штопора? Так я пропаду».

Балабанов сказал густо:

— Не испытывал удовольствия, отвечая на вопросы, н-да-с!

— Вы не договорили: дорого стоит контрабас. Однако, надо полагать, ваши ответы не были черного цвета. Поэтому я не спрашиваю, Иван Ксенофонтович, что и как вы отвечали. Я хочу другое знать: что вы решили с фильмом в дни моего отъезда?

— Сожалею. Снимать вы пока не будете.

— Что значит «пока»?

Крымов оттолкнулся от подлокотников и быстро встал с напряженностью, с секундной темнотой в глазах («О, как мне нехорошо, какая слабость!»), и тотчас перед ним — через стол — возникла неуклюжая фигура Балабанова, покатоплечего и толстого в поясе, всполошенно поднятого из кресла силой какого-то страха, смывшего багровость с его лица. И Крымов, дивясь смешной мысли, представил, как растерянно вскрикнул бы он и отшатнулся, опрокидывая кресло, этот осторожный еж Балабанов, если бы только одним пальцем погладить его по крупному носу, говоря: «Милый вы страдалец за истину».

— Извините за резкость,— сказал Крымов, насмешливым наклоном головы успокаивая Балабанова.— Во всех смыслах вы не сдерживаете буйную фантазию, и это вас далеко уводит. Так что значит «пока»? — выделил он.— Пока, пока... Пока я не осужден, пока не в тюрьме, ответьте: кто принял это решение? Вы? Комитет по делам кинематографии? Посоветовало серьезное учреждение на Петровке?

Балабанов надел пиджак, висевший на спинке кресла, и, внушительно застегиваясь, затягивая круглый живот, как корсетом, заговорил со свистящим дыханием:

— Я тоже прошу извинения, уважаемый Вячеслав Андреевич! Мне надобно сейчас уезжать. Но!.. Помилуйте! — И он сделал плачущее лицо, затоптался подле кресла, растопыривая руки.— Помилуйте, дорогой! Неужели после того невероятного, что произошло, вы еще надеетесь? Вы еще требуете? Вы еще иронизируете? Да вы по земле ходите, Вячеслав Андреевич? Да вы отдаете себе отчет, в чем вас обвиняют? Я ведь уважал и любил вас...

— Обвиняют? — сухо удивился Крымов и договорил с преувеличенной учтивостью: — Благодарю за полуискренность последней фразы. Я отдаю себе отчет, что не вы решаете мою судьбу, Иван Ксенофонтович. Всего наилучшего!

«Какой бессмысленный, несуразный разговор! Зачем он нужен был?»

Перед отъездом на парижский фестиваль Балабанов пригласил Крымова в кабинет и, угощая чаем, добродушно шевелил бровями, наставительно убеждая, что в данное время, кроме него, послать к капиталистам некого, а ему после всего случившегося развеяться надо, и полезно на буржуазию поглазеть и себя показать, и какой-либо приз наверняка в Москву привезти, на что надеются и он, Балабанов, и люди повыше. Говоря так, он тыкал чайной ложечкой в направлении потолка, похохатывал, прихлебывал чай, и обычная его шумность, оживленное засучивание рукавов (точно нетерпеливое приготовление к важному делу) — все было знакомо Крымову не один год, все должно было говорить, что Балабанов — добрый старикан, меценат, либерал с известной особенностью моментально багроветь и от удовольствия и от негодования, громогласно распекать подчиненных, что в общем-то не приносило вреда никому, ибо он не был любителем кляуз и интриг на студии, всякий раз сглаживая, заминая возникающие обострения в съемочных группах.

Но сейчас Крымов выходил от Балабанова с ощущением тупого разрушительного наваждения, обманной подмены старой реальности нелепой новой, еще полностью не осознанной им. А едва он переступил порог директорского кабинета, секретарша в приемной с непроницаемым лицом дернула плечиком, затем деланно ласково сказала кому-то солидному, длинновласому, в замшевой куртке, сидевшему на диване («Заходите, товарищ Козин!»), и тот, вскользь и озлобленно глянув на Крымова, поплыл к двери с достоинством оскорбленной знаменитости, которую заставили долго ждать.

«Экий глупец этот Козин»,— подумал Крымов, узнав режиссера с телевидения, неизменно льстиво-приветливого при встречах, расплывающегося в медовых улыбках и неузнаваемого с этим пронизанным высокомерной злобой взглядом.

Однако более всего мучило потом то, что, по давно заученному методу быть безобидно дружелюбным, безобидно ироничным с коллегами, он по инерции кивнул Козину и со стыдом проклял свой кивок, вроде имеющий значение слабости, и даже приостановился в приемной.

— Не сердитесь на старого глупого старикашку, не поимейте обиду, о, великие соплеменники! — сказал он ернически-умиленно, с монашеским истовым поклоном, ставшим почему-то в последнее время модным, как и сентиментальные мужские лобызания в актерской среде, и, робко покашляв в кулак, ссутулясь, бормоча «чичас я, чичас», услужливым жестом лакея из пьесы прикрыл из коридора дверь, с удовольствием заметив при этом обмершие лица Козина и секретарши.— Клоун, паяц, грошовый актер,— сказал он вслух и засмеялся в полутемном коридоре, презирая себя за то, что было противно ему, но с чем не мог и не хотел справиться неизвестно почему. «Да что это? Из меня прет какое-то паясничание! Как будто я в гордыне лишаю всех способности быть разумными людьми. И какой же второй человек во мне подсказывает эту игру, которая противна моей душе?»

Но, идя по коридорам студии в съемочную группу, попадая то в затемненные туннели коридоров, то в солнечные обвалы обильного света на стеклянных галереях, за которыми открывался студийный двор (а там над тополями счастливым сиянием стояли летние облака), он вдруг вспомнил день гибели Ирины, похожий на этот день жарой, блеском, зеленью. Тогда он тоже шел в съемочную группу, а она ждала его в комнате директора картины, чтобы поехать в Спасский монастырь на освоение натуры, где предполагалась съемка эпизода. В тот день он шел вот по этому коридору не сомневающимся в прочности всего земного человеком, и было утреннее, свежее настроение. Все было удачно, прекрасно, найдена и утверждена актриса на роль главной героини, и съемки должны были начаться в августе.

Теперь в закоулках и переходах многочисленных коридоров ему поминутно встречались знакомые лица, одни будто бы случайно отворачивались с деловым выражением спешащих людей, другие, похоже было, здоровались неуловимым движением подбородка, иные жадно засматривали прямо в зрачки с остренькой неутоленностью любопытства, что терзало многих, готовых и защищать и осуждать его за щекочущую нервы тайну смерти молоденькой и талантливой актрисы.

Продолжение следует.

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки Е. БОНДАРЕВОЙ,
А. УСТИНОВИЧА

Игра

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Зимой она жила на Ордынке у родственницы, но в начале лета переехала в простенькую гостиницу «Балчуг», сохранившуюся на Пятницкой, против старого моста через Канаву. Это был уголок относительно тихий, замоскворецкий, где, мнилось, понемногу кончалось буйство центральных улиц с их бегущими толпами на переходах, неуемным сверканием машин, грохотом, вонью выхлопных газов, очередями за мороженым и соком, переполненными до банной духоты кафе, людскими круговоротами на Театральной площади, в Столешниковом, на Петровке. Уже близ гостиницы узкие улочки по ту сторону Канавы напоминали бывший купеческий город некой обманчивой уравновешенностью, крошечными булочными с тюлевыми занавесками в витринах, старомодными зеркалами парикмахерских (опахивающих из дверей облаками «Шипра»), древними липами, еще оставшимися там, где раньше были заборы, арками ворот, голубятнями в заросших травой двориках. Эту часть Москвы с открытым небом, не всюду уродливо и прямоугольно загороженным американоподобными чужестранцами, Крымов снимал в довоенных эпизодах картины о сорок первом годе и полюбил скромный уют этих не полностью разрушенных переулков и тупичков.

А когда в воскресный полдень он подъезжал к «Балчугу», то с радостью узнавания замечал и жидкую тень деревьев на сонной набережной, и сонную воду Канавы, и брызжущую радугу поливальной машины, недоумевая, зачем Ирина придумала встречу в гостинице, вероятно, прожаренной солнцем в эти часы. Но, вспомнив ее весело закинутую голову, уголки ее губ, поднятые улыбкой, ее театральную фразу, брошенную с наивной скоропалительностью: «Назначаю вам деловое свидание в «Балчуге»,— он понял, что это игра, в которой ей интересно и приятно было его участие. И он согласился не без любопытства, и в вестибюле гостиницы молодой портье не остановил его, не спросил, к кому он идет, только кивнул приветливо, видимо, предупрежденный ею, а когда на втором этаже дошел по малиновой дорожке до ее номера в конце коридора, сразу вообразил за дверью маленький номер, зеленый от лип за окнами.

— Пожалуйста, входите. Я жду. Но, к сожалению, без бального платья. Меня можно простить?

Он увидел в раскрытую дверь ее взгляд, устремленный ему в глаза с выражением веселой доверчивости, что рождало и сложность и простоту в общении с ней.

— А не так ли встречались в добром девятнадцатом веке? — сказала она и сделала реверанс.—Здравствуйте, Вячеслав Андреевич.

— Ну что ж, пусть так,— согласился Крымов небрежно и не сдержался, легонько обнял ее, чувствуя, как она вздрогнула в растерянности, вся отдалась его рукам, опасливо прижимаясь к нему и, казалось, даже озябнув от этого объятия.— Где бал имеет быть? — спросил он намеренно заинтересованно.— И куда ехать прикажете?

— Я сейчас все продумаю и посоветуюсь кое с кем,— сказала она строго и отошла, коснулась носом зеркала и вздохнула.— Нет, нет, не хочу на бал. Оставим его до вечера. Карета подождет. А не поехать ли нам в Австралию? Во-первых, на каждом шагу чудесные кенгуру с кенгурятами...

— И, как это ни странно, люди ходят вверх ногами,— сказал он простодушно.— Но, может быть, нам стоит заменить Австралию на что-нибудь отечественное? Сокольники, например. Побродим там, пообедаем, а потом поедем на студию. В три часа нас ждут. Сделаем кинопробы. Кинематограф интереснее Австралии, Ирина, вы это увидите.

— Согласна на отечественное. Без общества кенгуру.

Он долго не был уверен, что она даст согласие сниматься. В тот год была снежная зима, лютые морозы, метельные вечера в однокомнатной квартирке ее родственницы, уехавшей в Архангельск, и медленное узнавание, поражавшее его.

В один ненастный вечер он отпустил такси на углу, пошел пешком по Ордынке, закутанный с ног до головы метелью, еле видя впереди на тротуаре светлые пятна от окон, где вьюжную пыль закручивало спиралями, а вверху мимо скрипящих фонарей снег то плыл наискось, то проносился белыми волнами, и везде было ярое хлещущее неистовство. А он шел, наваливаясь на ветер, и в нем подымалось ощущение физической полноты жизни, здоровья, непонятного умиления. Он позвонил, она открыла дверь, он снял в передней заснеженную, продутую стужей дубленку, возбужденно сказал:

— Зима.

Она вскинула глаза, в них промелькнуло выражение счастливого соучастия.

— Метель на улице, да?

— Метель.

— Снег кружит?

— Снег.

— Холодно, и, наверно, фонари... скрипят и качаются. Хорошо сейчас ехать куда-нибудь в поезде и слушать вьюгу, правда? А я вас очень долго не видела. Вы как будто вылезли из саней, и от вас пахнет степью.

И она прислонила ладонь к его холодной щеке.

— Но уверена, вы ни по кому не скучали. Пожалуй, забыли обо всем на свете на своей студии среди суеты.

— Суета была,— сказал он и опять не сдержался, обнял ее, целуя в изгиб шелковисто-мягкой брови.

— Я хочу, чтобы вы не уходили сегодня,— прошептала она, отодвинулась с затаенным страхом, села на диван и по-детски погрозила пальцем ему, затем самой себе, смешно говоря: — Спятили оба. Конец света.

Он тоже сел рядом, а она тихонько легла, вытянула руки, спросила загадочным шепотом:

— Скажите, в чем смысл жизни?

— То есть? В каком смысле?

— В торжественном.

— Вы думаете, Ирина, что кто-нибудь может ответить точно?

— Но ведь все-таки должен быть какой-то главный смысл в том, что происходит между вами и мной. Вы ведь меня не любите. Разве не так?

Она прикусила губу, и ее зеленые глаза незащищенно засветились лукавым непониманием.

— Нет, я спрашиваю не то. Скажите, неужели вам что-то интересно во мне?

— Ну вот...

— Вы не хотите ответить?

— Я сейчас шел и думал о вас, Ирина. Я думал, как вы иногда таинственно улыбаетесь. В улыбку Джоконды был влюблен Леонардо да Винчи...

— А вы?

— Обо мне и говорить нечего.

Она ответила ему откровенно радостной улыбкой.

— Нет.

— Что?

— Ничего не знаете.

— Что не знаю?

— У меня просто талант обаяния, и все.— Она боязливо обожгла глазами самые его зрачки.— Значит, такие вам нравятся, как я? И, наверное, вы хотите, чтобы я хотя бы на немного была вашей женой? Или нет?

— Хочу. И не хочу. Вы девочка из другого мира. Из другой галактики. С летающей тарелки.

— А вы руководите меня,— сказала она шутливо и с опаской отодвинулась от него на диване.— Руководите, вы ведь все знаете. Я подчинюсь немножко.

Они не были близки, и он наклонился, осторожно целуя ее сомкнутые щекотно-колкие ресницы, а пальцы его гладили, скользили по мягким волосам, по тонкой выгнутой шее, и тут он вдруг почувствовал ее слабые, детские позвонки и, охваченный пронзившей его жалостью, отдернул руку с желанием встать, ощущая робкие, стыдливые движения ее тела. А она, закрыв глаза, запрокинула назад голову, влажно белели сцепленные зубы, открытые ее полупечальной, полурадостной улыбкой; она прошептала:

— Это бывает так, когда умираешь. Очень страшно...

Он видел ее непостижимое в своей влеку-

Продолжение. См. «Огонек» № 1.

щей изменчивости лицо, улавливал знобящий ветерок ее шепота, и на какой-то миг хотелось вообразить, что ему, вполне серьезному, опытному человеку, не пятьдесят с лишним лет, а она не моложе его в два раза, что он влюблен без памяти, как был влюблен в послевоенные годы в Ольгу, подчиненный наваждению, дурману, от которого невозможно было спастись. Но, обнимая Ирину, он почему-то испытывал охлаждающее состояние терпкого предела, виновато царапающую жалость.

— Ирина,— сказал он,— нам следует, пожалуй, не забывать о том, чтобы не быть смешными. Я говорю о себе, конечно.

Он помнил: в тот зимний вечер на Ордынке она, стараясь улыбаться, смотрела ему в грудь моргающими глазами, и в них пеленой накапливались слезы. Она молчала и молчанием как будто умоляла его о какой-то помощи, а он, чтобы заглушить ноющую муку неопределенности, говорил успокаивающе:

— Ну что вы? А то я тоже заплачу. Так и будем реветь оба.

— Меня любят собаки и дети,— сказала она тихо, вытирая слезы кулачком.— Стоит на улице любой псине сказать: «Пошли, дурачина»,— и она будет бежать следом. Я замечала на бульварах: дети подходят ко мне, как только посмотрю... А вы не любите меня, а жалеете. Любить вам нужно совсем другое. Но я не марсианская женщина. Скажите, за что сильный мучает слабого?

И она взглянула в его зрачки своей лесной зеленью беззащитных глаз. Он, оглушенный ее горькой убежденностью, сказал в полушутку:

— Вы принимаете меня, Ирина, не за того, кто я есть, а за того, кем я не хочу быть.

— Все равно вы сильнее меня. Мужчина — царь природы, добытчик, защитник, а я слабая особа женского пола, которая должна печь хлебы и рожать детей.

— Поэтому сильнее вы.

— Я-а-а? — протяжно спросила она.— Это серьезно, или вы, как всегда, шутите?

— Да нет, конечно. Я сильнее. Во-первых, у меня стальная воля, и я не могу видеть чужих слез, особенно когда плачет женщина. Во-вторых, когда бьют ребенка, я готов ненавидеть все человечество за его жестокость. Но чаще меня охватывает жалость ко всем и ко всему, и тогда готов простить людям самые страшные прегрешения. И себе, конечно. Царь природы, лишенный власти и не желающий власти. Пока продолжается род человеческий, царица природы — женщина.

Она остановила его слабым движением бровей.

— Нет, я вижу вашу доброту и любопытство ко мне, к некой бедненькой и славненькой девочке из балета Большого театра, которая так хорошо начинала. И с которой случилось несчастье. Ах, как я не люблю, когда меня жалеют и сочувствуют: «Как же тебе не повезло, Иринушка!»

— Жалеют и сочувствуют? А так ли уж это плохо?

— Плохо... Я понимаю, какое несоответствие между нами. Между вами и мною. Вы уже много сделали. А я как будто взломала замок и вошла в чужую богатую квартиру. Но я любила танец с детства. И мне не нужно было ничего. Ни денег, ни славы, ни ценностей, ничего. Знаете...— Она опять посмотрела на него несмелым взглядом, и уголки ее губ изогнулись в виноватой улыбке.— Знаете, я иногда очень сержусь за это на себя, очень... когда бывает не по себе.

— Я могу вам чем-нибудь помочь, Ирина?

— Мне — никак. Не нужно. Я справлюсь. У меня все хорошо.

— Значит, все хорошо? — повторил он.

— Абсолютно,— сказала она и захлебнулась слезами, прерывисто втягивая воздух носом, спросила сжатым голосом: — Слышите?

— Что? — Он обратной стороной пальцев вытер жаркие ниточки слез на ее щеках.— Ну зачем это?

— Слышите, какая тишина в доме? Метель... и какая тишина...

— Да бог с ней, с тишиной.

— Нет, нет. Тишина — это знаете... какой-то странный звук, похожий на звук несправедливости и смерти.

— Вы еще ребенок, Ирина, и вам еще многое предстоит.

— Думаете, я не знаю, что такое несправедливость? И неудача?

— Ответьте искренне: как вы живете, Ирина?

Но она уже молчала, слезы высохли на ее устало прикрытых ресницах, и подрагивали брови, точно в дреме она прислушивалась к чему-то сокровенному, недоступному ему, а он думал, что надо прекратить эту добровольную пытку, расстаться с этой милой девочкой, которая влекла его беспомощной хрупкостью, какой-то неразгаданностью своей жизни.

Продолжение следует.

Игра

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки Е. БОНДАРЕВОЙ, А. УСТИНОВИЧА

Каждый раз она встречала его то с открытым восторгом, то с серьезной взрослостью, глаза ее то влюбленно, то грустно лучились, и порой синие круги тайного недомогания проступали под ними. Иногда, по-видимому, не один час прозанимавшись у балетного станка, она лежала на диване, одетая в спортивный костюм, и, не вставая, печально улыбалась, рассматривая его лицо, но едва он пробовал заговорить, ладонью прикрывала ему рот, просила шепотом: «Не надо, давайте сегодня помолчим». Он не раз заставал ее в задумчивой рассеянности с книгой на ковре посреди комнаты, погруженную в одиночество, отрешенную от всего мира. Иногда же ее охватывало ребяческое веселье, и она, оживленная, с блестящими глазами, тянула его на люди, в толпу, в Центральный парк культуры, к которому у нее была привязанность из-за «чертова колеса», «комнаты смеха», в загородные рестораны (чтобы случайно не встретить знакомых из театра), где учила его современному року, не стесняясь никого и привлекая общее внимание дерзкой молодостью, гибкостью, светлыми, почти белыми волосами.

И все-таки он не знал, как она жила и чем она жила. Ирина не напоминала, ничего не говорила о своей травме, из-за которой целый год ей не разрешили выступать в театре, не позволяла Крымову наблюдать за своей тренировочной работой у станка и, казалось, почасту занималась чем-то посторонним, лишним. Однажды он пришел на Ордынку в седьмом часу вечера и застал ее за необычным занятием. В спортивном костюме она лежала на полу, вокруг валялись справочники по тригонометрии, таблицы Брадиса, листки бумаги, исчерченные углами и линиями, а она, подперев щеку, писала формулы в школьной тетради, то и дело восклицая:

— Косинусы, синусы! Гадость какая!

Он, развеселившись, спросил, что происходит в этом доме, она возмущенно ответила, что решает тригонометрическую задачу, которую когда-то по причине полной ненависти к формулам не решила на контрольном уроке в девятом классе, и, ответив, сейчас же смешала листки, закрыла таблицы, хмуро покусала кончик карандаша.

— Контрольный урок по тригонометрии иногда мне снится как кошмар. Я хочу отделаться от него и не могу. А кошмар случился в день моего рождения несколько лет назад.— Она досадливо щелкнула пальцами.— Кстати, у меня сегодня торжество. Останьтесь. Увидите моих знакомых — актеры, художники, милые хулиганы...

Эти «милые хулиганы» с криками, шумом, гоготом ворвались в квартиру Ирины в десятом часу вечера: целовались, вопили восторженные приветствия, кидая пальто и куртки на пол в передней, потом тесно заполнили всю комнату — худенькие девушки в брючках, молодые люди в толстых свитерах. Один черноволосый, низенький, с угольными глазами, сквозными от хмеля («Татарин, невообразимо талантливый художник»,— сказали позднее Крымову), просторно раскидывая руки, кричал: «Ира, Ириночка, свет души моей!» — и размахивал, дирижировал бутылкой коньяка. Его не слушали. Тогда он взобрался на стул и, изображая губами и горлом саксофон, принялся делать телодвижения дикого танца.

— Ирка! Красавица! Поздравляю!..

— Затормози, Диас!— останавливал его кто-то ярым, хриплым, актерским голосом.— Тихо! Я хочу произнести тост! Тихо, банда! Абсолютная, химическая тишина!

Озябшие девушки в брючках протискивались, садились за стол, сразу словно бы разгромленный, залитый, засыпанный мокрым пеплом сигарет, молодые люди по-кавалерски раскланивались перед Ириной, не обращая внимания на Крымова, только мужчина средних лет, рыхловато-полный, с косящим глазом, из расстегнутого воротника шерстяной рубахи был виден несвежий тельник, пожимая руку Крымову, сказал спотыкающимся голосом:

— Вас где-то я видел! — И пьяно качнулся, придвигая стул к столу.— Где-то...

— Мне тоже кажется. Где — не помню.

— Абсолютная!.. Хим-мическая тишина! — гремел актерский яростный баритон.— Этот дом... в этом благословенном доме новорожденной мы можем оставаться до утра! Мы любим этот дом потому, что можем прийти в него в любое время суток! Да здравствует солнценосная, ура!.. Тихо, банда! Маляр Диас, заткнись! Дядя, дорогой дядя, вы потом расскажете, сколько женщин вы имели и когда!.. Тишина! Мертвейшая тишина! Я не досказал...

— Вы слышите? Вы их понимаете? Они орут на меня,— зашептал удрученно рыхлый мужчина с косящим глазом.— Вот этот татарин, своеобразный художник, работает в своей мастерской, родственники ему ее построили. Ухарь, видите ли, всадник, буян, но тронут цивилизацией. В генах небо, степь, ветер, под седлом кусок сырого мяса — вот что питает его талант. А этот Всеволод, луженая глотка,—актер, сын того... знаменитого из МХАТа... Слышите, как кричит! Мальчишка, а кричит!

— Дядя в тельнике! Вы к нам присоединились в ЦДРИ, поэтому чужой и — молчать! Кончайте разговор о женщинах, у вас много их было... Тихо, тихо! Я читаю стихи! Я прочту

Продолжение. См. «Огонек» №№ 1, 2.

стихи! Гениальный Блок! Слушать всем! «И каждый вечер, в час назначенный (иль это только снится мне?), девичий стан, шелками схваченный, в туманном движется окне»...

— Слышите? — недоуменно зашептал мужчина с косящим глазом.— Они чего-то хотят...

— Чего именно? — спросил Крымов, оглушенный хаотическим шумом за столом.

— Чего-то они хотят,— заговорил мужчина обеспокоенно.— Мы с вами их не знаем. Чего они хотят? Они чего-то хотят или вот так пропивают талант? Распыляют жизнь. Я сейчас скажу им, я все им скажу...

Он встал, нетрезво пошатываясь, теплая мешковатая рубаха его была осыпана сигаретным пеплом, сизое лицо потно, косматая, с полосами седины шевелюра казалась львиной.

— Молодые люди, мы в наше время... у нас была твердая цель,— проговорил он.— Мы страдали, но мы видели цель, мы знали... Мы ходили в лаптях, но мы...

— Дядя, садись! — перебил его актерский баритон с трагической значительностью.— Дядя, вы пьяны, но вы мудро сказали тост! Дядя, вы гений! Скажу только два слова: ге...ний!

— Я хочу прочитать Гумилева! Всеволод, установи тишину!

— Диас, поставь бутылку! Кто пьет из горла?

— Они действительно милые, хотя и грубоватые хулиганы,— сказала Ирина на ухо Крымову.— Вы сидите сейчас в сторонке, смотрите и слушайте, как мышь. Это очень интересно. Они сейчас будут спорить.

— Хорошо, я буду сидеть, как мышь, в углу.

— Коля-а, а ты как относишься к евреям и русским?

— Ищу среднее.

— Ложь распространяют завистливые.

— В каждой подлости есть наивность, так же как в глупой наивности подлость! Но ты завистник.

— В добре тоже подлость?

— В беззубом, сюсюкающем, ясно?

— Абсолютная, хим-мическая тишина! Тихо! Кто хотел читать Гумилева?

— Я предлагал.

— Тих-хо, гангстеры! Где мои пистолеты с инкрустированными рукоятками? Гриша, читай Гумилева!

— Я хочу вам сказать, молодые люди! Гумилев после.

— Опять вы, дядя? Ну давайте, давайте говорите! Дайте сказать ему, банда! Слушать тост человека, который познал все страдания мира!

С угрюмым, уже вконец хмельным, малиново-сизым лицом, кося глазом, снова по-медвежьи поднялся рыхлый мужчина, сосед Крымова, и он внезапно вспомнил: его знакомили с ним лет десять назад на каком-то вечере в Доме актера как с сыном известного писателя, погибшего на Севере в тридцатых годах.

Тот всосался ртом в рюмку, выпил с жадностью.

— Древние говорили: торопись, но медленно! — сказал он отрывисто.— Это касается всех нас! А вы? Кто вы? Что вы знаете?..

— Мысль о смерти — страх перед смертью.

— Потребители жизни. Что вы знаете? Труднее всех на свете живется талантливому и честному человеку.

— Все твои уважаемые классики — сентиментальные вруны!

— Натан, как ты ко мне относишься?

— Я романтик, поэтому это спасает меня от реальной оценки вещей. Я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак. Прав тот, у кого больше прав.

— Циник.

— Откройте окно, пусть ворвется свежий ветер в эту накуренную комнату! Прекратите курить все!

— Диас продал пейзаж за пятьсот. Оформляет сейчас спектакль, кажется, на Таганке.

— Если работа — жизнь, то она наполнена до краев. Не хватает времени.

— Так что же, значит, ложь огромна, богата, сильна, а правда мала, ничтожна, бедна!

— Чепуха! Искусство — всегда метафора действительности.

— Самая лживая ложь охраняет и поддерживает жизнь всех правд человеческих!

— А бездарность всегда лжет!

— Не бесполезное ли это умствование?

— У нас шестнадцать процентов всех мировых запасов лесов, двадцать процентов всей мировой воды, а бумаги не хватает!

— А что такое ложь — самозащита?

— А если ложь есть правда? А правда есть ложь? Не корчь рожу, сам умею!

— Тихо! Слушай сюда! Я прочту вам стихи Ахматовой! Божественные строки!

— Роза, как насчет твиста? Учти, я неспособен. Диас! Гений! Изобрази губами что-нибудь про твист или шейк!

— А Всеволод на сцене умеет здорово хлопотать мордой. И голосом. Орет, как иерихонская труба!

— Знаешь, что такое критика? Автограф под собственным невежеством.

— А ты вот ушами хлопаешь, как дверьми! Подай бутылку, родной! Зафилософствовался!

— О ком говоришь? Кто бездарность? Еруду заявляешь и даже не бледнеешь. О художнике надо судить по лучшей его работе! А не по худшей. Злые мы стали, завистливые до ненависти.

— Ты о ком? Или уже вдрободан? О ком ты?

— О тебе. Тиркушка ты.

— Что за тиркушка? Офонарел?

— Птица такая. Малю-у-сенькая. Уживается с крокодилом. Разевает пасть, а она чистит ему зубы. Клювиком раз-раз! После того как он сожрал кого-нибудь.

— О, как интересно! Зло уживается с добром?

— В каком смысле это тебя интересует, Светланочка? В житейском или философском? Когда ты мне говоришь «нет» — это зло по отношению ко мне. Но ты считаешь это добром по отношению к себе. Не так? Вот сейчас я хочу уйти с тобой в ванную...

— Прекрати глупить, Натан. Я серьезно.

— Зло, девочка, это то, что разъединяет людей, как бы злые люди ни были объединены. Это в философском смысле.

— А бог? Есть ли тогда бог? Куда он смотрит?

— Он смотрит на направление главного пути, а не на извивы человечества. Ты хочешь меня углубить, девочка?

— А может быть, истина и есть в этих извивах? Спроси у бога, Натан, где теперь любовь?

— Хочешь в философском смысле? Пожалуйста...

— В любом. Ты все затуманил. Говори так, чтобы тебя понимали.

— Изволь, дорогуша моя. В американском журнале «Плейбой» помню рисунок: ошарашенный вожделением карикатурный папаша сидит в кресле с сигарой в зубах, а возле него три обнаженные девицы. Подпись: разделение труда. Одна девица зажигает спичку, дает ему прикурить, другая возбуждает этого толстого хряка, а третья лежит в постели, ждет его. Здесь я способен понять и позавидовать. Ха-ха! Что касается правды или истины, то, пожалуй, лучше всего, чтобы тебя не понимали. Я хочу тебя — это понятно?..

— Ты смеешься?

— Света, пошли к дьяволу циника от философии! Я за свободу дискуссий! Поэтому не обижайся: чуши он тебе нагородил — лошадь не перепрыгнет. Наоборот: человек только тогда человек, когда боится умереть, только тогда он может познать свою ценность и ценность других. В этой слабости его величие. Не боится смерти только нуль, пустота, ничто!

— Троекратное ура мудрецу...

— Тихо, банда! Слушать сюда, когда говорят взрослые! Кто сказал «ценность других»? Архитектура? Позорище века! Стыдоба! Кривая дорога ослов! Не слушай их обоих, Светка! Единственное, что еще стоит чего-то... что еще объединяет людей,— это любовь. Все остальное — полкопейки!

— Какая любовь? Любовь — способность, а я, возможно, бездарен в этом отношении.

— Н-да, господа, глупость нельзя отделить от нашего Всеволода, как причину от следствия. Гип-гип, я пью за причину и следствие.

— Погромче, Диас, бормочешь чего-то...

— Говорю: все в живописи соцреализма идет от идеи, старик, цвет лишь средство. Считай, что я рисую для себя, потому что уважаю идею самого цвета.

— И колорита?

— Я уважаю серебристый колорит.

— Кто, Всеволод талант? Или Натан? Не-ет, это планеты, а не звезды. Звезды — редкость, родной мой.

— Почему планеты?

— Отраженное... не свой свет. Кто мог быть, пожалуй, звездой из всех нас, так это Ирина. Но не стала, не повезло. Знаешь, как в жизни — все вдруг. Вдруг разрыв связок, и на год врачи запретили танцевать. Подожди, дай-ка я скажу тост. Всеволод, наведи порядок! Все галдят как сумасшедшие, не прорвешься...

— Тихо, банда, стрелять из бутылок шампанского буду! Тост! Химическая тишина, когда говорят великие журналисты, не разбойники пера, а борцы за правду!

— Дорогая Ирина, прелестнейшая и талантливейшая женщина нашего времени, мы все влюблены в тебя, и я хочу от всех нас, твоих друзей, сказать, что ты могла быть замечательной актрисой...

Крымов, никого не знавший из гостей, оглушенный толчеей вокруг стола, криком, хохотом, спорами этой нестеснительной молодой компании, сидел на диване в тени, ничего не ел, не прикасался к рюмке, понимая, что здесь он чужой, курил, наблюдал украдкой за безмолвной Ириной, за переменчивостью ее лица, которое в зависимости от направления споров становилось то веселым, то виновато-растерянным, потом, когда сухопарый длинный парень в очках, «великий журналист и не разбойник пера», стал произносить тост, лицо ее выразило страдание. Она вытянула из пачки Крымова сигарету, прикурила от его зажигалки, тотчас загасила сигарету в пепельнице и, подняв глаза на парня в очках, проговорила грустно:

— Милый, о чем ты говоришь? Все это неправда, все это слова, слова, которых мне стыдно. И тебе потом будет стыдно.— Уголки ее губ дернулись в полупечальной улыбке.— Вообще все, что вы говорите, так далеко... И это, наверно, все не нужно, все лишнее. А мы лжем самим себе и уже не помним... мы забыли, кто мы есть. Мы — частички земли, маленькие частички, и больше ничего. А мы перестали ее любить, потому что любим самих себя. Друзья мои, вы ведь любите только себя... Я не лучше вас, я такая же, но я не хочу лжи, не хочу обмана, не хочу слов, я хочу любить землю...

— Кого любить, дьявол-передьявол! — загремел иерихонский баритон актера.— Ты предала нас, Ира! Ты обманула нас, неверная!

И Ирина сказала дрогнувшим голосом:

— Я никого не обманула, я хочу любить небо, землю... а может быть, потом всех вас. Небо, землю и, конечно, горизонт,— повторила она с той страстной наивностью, которая делала ее и независимой перед всеми и обезоруженной.— Да, я люблю горизонт.

— Где ты видишь горизонт, Ириночка? Чем ближе к горизонту, тем он дальше. Даже в любви его не догонишь! Каким образом, дьявол-передьявол, ты хочешь любить горизонт? Аномалия! Причуды амазонки! Патология!

— Пусть. Я хочу,— кивнула она со своей неуловимой полуулыбкой и поднялась за столом, сказала внятно и по-прежнему независимо: — До свиданья. Мой день рождения окончился. Я никого не предала. Через неделю можете приходить ко мне в любой час дня и ночи.

А после того как гости разошлись, закрылась за последними дверь, затихли голоса на улице, она в раздумье подождала в передней, погасила свет и, слабо темнея силуэтом, остановилась у окна, раздернула занавеску — там, за стеклом, в ветреной тьме над Замоскворечьем в ледяном холоде горели зимние созвездия.

— Какие они все чужие,— сказала она.— Подойдите и посмотрите,— добавила она шепотом.— Как блестят изумительно!

Крымов подошел к ней и, по-новому чувствуя и ее беззащитность и упрямую пружинку сопротивления, не предполагавшуюся им раньше, подумал о том, что она умеет держаться на людях с какой-то плавной, необижающей твердостью.

— Я не понял, Ирина, кто чужие? Ваши друзья?

Она не ответила, в глазах ее переливался

голубоватый влажный отсвет пылающих среди ночи звезд.

— Неужели все мы будем в прошлом? Были, надеялись, ждали... И Сократ, и Чехов в прошлом. И Сафо, и Анна Павлова. И миллиарды людей, что жили. И мы с вами будем в прошлом. Скажите, Вячеслав Андреевич, почему люди делают не то, что надо? Они не чувствуют это?

— Когда вам разрешат танцевать, Ирина? — спросил он, не желая поддерживать ее настроение.— И могу ли я вам в чем-либо помочь? Простите меня за этот навязчивый вопрос, но мне хотелось бы...

— Я потерплю,— сказала она строго.— И мне не надо ни в чем помогать. Если вы еще раз скажете о какой-то помощи, то я рассержусь... Хотя я и не хочу на вас сердиться, наверное.

— Спасибо.

— Знаете что? Ваша жена — очаровательная женщина, и ее нельзя не любить, и я не хочу говорить вам ложные слова. А я не смогу быть женой и никогда не буду ничьей любовницей. Гадкое слово, противное... Пока вам или мне не надоест, мы с вами останемся друзьями. Вы согласны?

— Я согласен,— ответил он с превеселой покорностью и спросил: — А если не секрет, чего хотят ваши молодые друзья? У них все хорошо? Или все плохо?

— У них, пожалуй, все хорошо. Но что значит хорошо? Они зарабатывают деньги. Но все они считают себя неудачниками. Они мечтали о мировой славе. Вы не замечаете, что в последние годы стало много самонадеянных неудачников? У них как будто так, как надо. И какое-то несовмещение...

— С чем?

— Ну, с жизнью... Вернее, как бы вам сказать... Желаний с жизнью. Мы слишком многого ждали...

— И у вас?

— Я разве сказала? И вы хотите жалеть меня?

Она повернулась к нему, чуть заметно проступил звездный свет на ее волосах, глаза были опущены, и в изгибе рта чудилось ему нечто упрямое, своевольное, детское. И он, осуждая себя за излишнее вмешательство, с чувством стыда перед любопытством к этой девочке с непокорными зелеными глазами проговорил:

— Знаю свою слабость — нетактичен и невежлив, как оглобля.

— Все имеет свое начало и свой конец, не правда ли? — сказала она.— Но мне никто не может помочь.

— Никто?

— И вы не можете. Только я сама. Я должна говорить себе: «Ничего, мы еще повоюем»...

Она отошла от окна и села на диван, смутно различимая в потемках.

Это слово «повоюем» не соответствовало ее слабой улыбке, слабой тонкости ее рук и шеи, порой возбуждавшей у него неотчетливое чувство опасности, которая, мнилось, угрожала ей поздними московскими вечерами, когда она одна возвращалась на Ордынку,— и его воображение рисовало мрачные подъезды и поджидающие на углах темные фигуры с жестким взглядом убийц, ее лицо, запрокинутое, мертвое, ее окровавленное тело, брошенное на цементный пол в закопченном сыром подвале. Он так отчетливо чувствовал ее хрупкость рядом с грубой силой, что эти картонно-зловещие театральные картины возможной беды порой заставляли его звонить ей по вечерам, прибегая в то же время к привычной иронии: «Я хотел проверить, соблюдаете ли вы режим».

— А что? Мы еще повоюем,— сказал он и сел возле нее на диван.— А если уж, Ирина, так, то я делаю официальное предложение: я хотел, чтобы вы снялись у меня в фильме. Съемки начнутся летом. Признаюсь: год назад я видел вас в «Жизели» и сделал выбор, от которого трудно отказаться. Давайте попробуем, а?

— Нет,— прошептала она.— Никогда. Я не хочу разучиться танцевать.

Ранней весной она согласилась. Это было за два месяца до ее гибели.

Продолжение следует.

Игра

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки Е. БОНДАРЕВОЙ, А. УСТИНОВИЧА

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

А тот летний день под Москвой был не совсем раскрытой тайной и для него.

Перед старым мостком, сделанным из шатких жердей, неспособным выдержать «Волгу», шофер остановил машину, и отсюда, с берега, стали видны вдали низкие купола и белые стены Старого Спаса. Сначала они пошли тропкой мимо зарослей орешника, потом через зеленеющее кукурузное поле до опушки рощи, куда подымался горячий на взгорке древний проселок, должно быть, помнивший лапти калик перехожих, покорную поступь молчаливых монахов, прикосновения босых ног разувшихся в пути дальних богомольцев, хозяйственную припечатку купеческих сапог, и танец сапожек деревенских красавиц, и смиренную притомленность грешниц, ходивших сюда из Москвы спасать душу. И Крымов, подходя к монастырю, вообразил пекущий июньский день, потные прекрасные лбы этих столичных грешниц, скромно опущенные ресницы, серо запыленные в покаянной дороге юбки, увидел до того реально, точно вчера сидел вот здесь, в тени придорожного вяза, на пахнущей влагой земле, слушая сонный плеск ручья под бугорком.

Проселок через рощу привел к невысокому храму, окруженному полуразрушенной стеной. Над разросшимися липами жарко горел в глубокой синеве золотой крест, и вместе с теплым воздухом, настоянным цветочной горьковатостью пересушенного сена, наносило сыровато-березовой плесенью дров, уложенных штабелем в бывшем монастырском дворе.

Да, во всем был разгар лета, ослепительность, синева, зелень, радостная густота листвы, и Крымов особенно чувствовал молодой блеск ее глаз, ее особенно живую, необычную отзывчивость и позднее, восстанавливая весь день в памяти, почему-то хотел подробно вспомнить и ту минуту около церкви, когда она задержалась подле паперти, где стояла под навесом липы кем-то оставленная тут детская коляска со спящими младенцами-близнецами, распаренными зноем (кажется, тогда она сказала: «Какие у них чудесные носики, какие смешные рожицы!»), а он спустился по ступенькам из слепящего полдня в холодноватый полумрак церкви, где две старухи в платках шептались на лавке у стены, клоня головы, молясь и время от времени по-деревенски опрятно утирая края губ.

В церкви Старого Спаса веяло студеностью каменного пола, тускло отблескивали фрески на стенах, под куполом, и было слышно, как в тишине летнего светоносного блаженства на заросшем монастырском дворе ворковали голуби. Крымов задержался у иконы богоматери, в озарении свечей взирающей неземными глазами на дела мирские, но, заслышав стук каблуков по гулким ступеням, обернулся. Проем входа был ярко залит солнцем полного июньского дня, как-то сладостно ощутимого из каменного подвала церкви, и он увидел в проеме неистового солнечного сияния ее фигуру, ее легкую юбку, пронизанную сзади золотистым светом, и древние гранитные ступени, по которым гибко ступала она, чуть покачиваясь. Он заметил, что старухи перестали шептаться, осуждающе повернули в ее сторону головы, а она приблизилась к иконостасу, приветливым взглядом здороваясь с ними. И Крымову стало весело оттого, что старухи осуждали ее молодость, приветливую невинную свободу, открытую этому дню, и взору святых, и скорбящей богоматери, и огонькам свечей. Он увидел поднятые глаза Ирины, отделенные от лица в полутемноте влажным блеском, и, сдерживая легкомысленное желание улыбнуться ей (святотатство в храме), сказал, указывая кивком на икону слева:

— Посмотрите, как по-современному написан лик святого Александра Невского.

— Да, да, удивительно!— сказала она шепотом.

Все было нерушимо и тихо, вверху, под куполом, стонали в любовной истоме голуби, в веерном солнечном свете отсверкивал кафельной плиткой недавно вымытый пол (в углу мирно стояло ведро, на нем сушилась тряпка), благолепные лики святых и раздвинутые царские врата под расписными сводами не угрожали напоминаниями о потерянной вере, о тяжких грехах, о земной тщете, не давили печалью, и по-прежнему было чисто на душе Крымова, и было необыкновенно хорошо чувствовать ясную молодость Ирины в этом старом храме, наполненном воркованием голубей и полевой тишиной.

Минут двадцать спустя вышли из церкви на зеленый холм (остатки городища), где внизу, в широкой впадине, искрилась разбитыми зеркалами река, заставляя представить, какие улицы, какие стены русского города были тут, на острове, замкнутом водой, вблизи монастыря, какие ходили люди вот по такой траве, догоряча обогретой солнцем...

— Ну вот, пожалуйста, полевая гвоздика,— сказала она и легла на холме, ласково погладила ладонью цветы в траве, затем повернулась на спину, говоря слабым голосом: — Вот так бы лежать и все время смотреть в небо. Неужели оно таким было всегда? И когда нас не было, и в пятом веке, и в десятом? Какая все-таки благодать: солнце, тишина, стрижи над колокольней...

— Где-то я читал, поблизости с полевой гвоздикой должна быть и ягода...— сказал Крымов и, засмеявшись, отвел глаза, чтобы не видеть ее коленей.

Он снял пиджак, кинул его на землю, лег рядом, сразу без труда нашел вблизи земляннику, крупную, перемлевшую на припеке, сорвал две ягоды со стебельком и протянул их Ирине. Она сказала: «Благодарю, поделим поровну» — и, продолжая глядеть в небо, рас-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 1—3.

сеянно отъединила губами одну ягоду, а другую вернула ему. Он хотел увидеть и не увидел сок на ее губах, ибо по неподвластным путям памяти вспомнил неприкасаемую возлюбленную Мартина Идена, которая показалась герою доступной в тот миг, когда по-земному был замечен им красный сок черешни на ее губах. Он усмехнулся своему невинному пороку, профессиональной привычке сопоставлений, и его опахнуло странной нежностью к тому, как она губами отъединила ягоду для себя, оставив другую ему, к лесному запаху разомлевшей земляники.

— Скажите, есть ли на свете человек свободный, как ветер?— спросила она низким голосом, будто повторяя слова роли, но этих слов не было у героини.

— Человек счастлив тогда, когда время не имеет для него значения,— ответил Крымов ленивым тоном самовлюбленного героя из сценария и оперся на локоть, видя ее отрешенное от земли лицо, ее выгнутую юную шею, раскинутые на траве руки.

— Значит, мы с вами несчастливы,— сказала она разочарованно.— Раньше уходили спасать душу в монастыри и скиты. Счастливцы...

— Почему несчастливы? И почему счастливцы?

— Я не о том,— поправилась она и нахмурила брови.— Я не смогу сыграть женщину, которая проклинает слабого человека. Не так это надо. Он трус, ее муж, он обманул, но не предал ее и ушел. Она должна жалеть его, современного неудачника и эгоцентриста. Но скажите: есть бог? Я спрашиваю серьезно.

— Есть мировая гармония, по-видимому.

— Тогда почему существует зло? Объясните.

— Дерево растет в высоту. Чего оно хочет? Молнии?

— Конечно, нет...

— Тогда, значит, красоты,— продолжал он с шутливой доказательностью.— Красота помогает подыматься в небо, к непостижимому. Или вернее, она является лестницей, соединяющей землю с небом. А зло врастает в землю.

— Нет.

— Почему?

— Вы говорите — красота. Но что это такое в конце концов? Совершенная греческая красота статуй — скука невероятная. Скучища, тоска. Идеальная классичность — боже, какая мертвечина! Нет, это не безупречность, нет!— договорила она страстно.— Красота — в пластике движения. Вот смотрите...— И она сделала плавный жест кистью и уронила руку на траву.

— Красота — это западня,— сказал он по-прежнему шутливо.— Прикоснулся — и она захлопнулась, и нет выхода.

— Чепуха, неправда. Всегда есть выход.

— Из этой западни нет ни у кого. Но я рискованно обобщаю. Здесь спасает реализм и самоирония. И боязнь быть на чужом пиру.

Очнувшись, она перевела на него внимание (и он утонул в зеленой прозрачной глубине, задумчиво устремленной ему в глаза), тронула пальцем его брови, его виски, заговорила с непониманием:

— У вас загорелое лицо, светлые морщинки возле глаз. Я по сравнению с вами дурнушка, а вы действительно можете нравиться женщинам. Но почему вы видите во мне глупую девчонку и говорите со мной, как со школьницей... с ученицей девятого класса? По-моему, вот уже полгода вы меня изучаете как режиссер. Скажите искренне: я действительно бездарная?

— Ирина, отчего вы вдруг?

— Тогда скажите, почему люди так жестоки и недоброжелательны друг к другу?

— Ради чего вы задаете эти вопросы, Ирина?

— Неважно. Почему скромность стала уже как порок?

— Да в чем дело? Я озадачен...

— Почему доброе, сокровенное вызывает насмешливую улыбку? И в то же время поклоняются пошлейшей моде, дурацким джинсам, жуткой музыке, какой-нибудь сиюминутной заграничной звезде...

— С вами что-то случилось?

— Вы ответьте, Вячеслав Андреевич, если не считаете меня глупенькой танцовщицей. Многие считают, что балерины или танцовщицы почти все глупенькие...

— Не все, ясно же,— сказал Крымов, несколько встревоженный переменой ее настроения.— Хотите знать, что я думаю? Мы, Ирина, идеализируем человека, а он еще сознанием до многого не дорос. Однажды я был очень удивлен, когда узнал, что только два с половиной миллиметра серого мыслящего вещества в наших головках... жалких два миллиметра отрывают нас от животного. А все остальные — пять миллиметров — инстинкты, инстинкты.

— Вы снова говорите со мной, как с ребенком, а не серьезно, как я хочу.

— А если совсем серьезно, Ирина, то современному гомо сапиенсу часто не хватает поступка, потому что делать добро всегда трудновато и хлопотно. Говорить друг другу правду — иногда выглядит близко к глупости, иногда даже небезопасно. Поэтому вместо поступка мы привыкли очень легко судить людей. А надо уметь прощать. Ни черта не умеем...

Ирина сорвала травинку, прикусила ее зубами.

— Меня сегодня судили... и очень жестоко,— тихо и, казалось, равнодушно сказала она после молчания.— Утром на студии я услышала разговор около гримерной. Там были актеры, и они...

— Кто?

— Если вы будете спрашивать «кто», я замолчу.

— Простите, Ирина. Так что было около гримерной?

— Я случайно услышала, одна актриса сказала обо мне: «Ее взяли на главную роль, потому что она любовница Крымова. У него губа не дура. Но какая из неудавшейся балерины драматическая актриса?» Я не понимаю, за что они так не любят меня. Что я им сделала плохого? И все-таки — гадость...

— О, завистливые страусихи!— выругался Крымов несдержанно.— Самыми грубыми комплиментами хвалят только бесталанного гения, который не способен соперничать с ними!

— Вы не любите актеров?

Он давно привык к неожиданностям взаимоотношений в актерской среде, к изменчивости симпатий, к холодной вежливости, к приторной доброжелательности соперников, к беззлобному коварству, к едкой ухмылке скепсиса, к преувеличенным крикам счастья и толчее на премьерах, умиленному восторгу, высказанному чересчур успевающему, прославленному коллеге, новоиспеченному кумиру, которого непонятно почему суетливо торопятся поздравить, толкаясь локтями в упоении («Великий! Талантище!»). Он привык к манерной речи наскучивших знаменитостей, к превеселой наглости и изысканной предупредительности е г о и е е, презирающих и едва терпящих друг друга, но вынужденных по воле режиссера изображать на съемочной площадке влюбленную пару,— привык ко всему тому, что составляло быт, работу актера и его связь с ними, в общем-то людьми незлобными, терпеливыми, покорными, порой наивно доверчивыми, готовыми в минуты аплодисментов на премьере облиться перед экраном слезами над своей и чужой игрой. Крымов знал и то, как губительно их разит яд кулуарных упредительных репутаций, созданных завистливыми языками бывших обойденных кумиров или непризнанных талантов. Он знал и то, что приглашение и утверждение Ирины на главную роль заварит это язвительное зелье, ибо видел, что в дни кинопроб следили за ней всасывающим взором и ассистенты, и осветители, и актеры из других групп, словно бы по ошибке заходившие в павильон. Ее бледное лицо, полувиноватая, полупечальная улыбка, ее стеснительность наталкивались в эти дни либо на неестественную приятность, либо на великолепно сыгранное бесстрастное хладнокровие киноизвестностей, назойливых претенденток на роль главной героини («Возьмите меня, Вячеслав Андреевич, героиня-то моя!»). Но все это, без труда замеченное Крымовым, нисколько не беспокоило его, уже познавшего среду неустанного соперничества и постоянной возни вокруг эфемерной и тем не менее жаждаемой славы: такова, по его мнению, была профессия актера. Однако профессия эта не позволяла перешагивать хоть и зыбкие, но определенные рамки, и отрава ревности прекращалась изливаться на счастливца, едва была утверждена роль, и тут наступало выжидательное молчание, говорившее о том, что время — неподкупный судья и оно раскроет истину, обнажит и выявит всему миру постыдную ошибку постановщика картины, сделавшего капризный выбор, «обеспечившего» неуспех фильму. Обычно Крымов посмеивался над этой безвинной мечтой о возмездии, что обязано настигнуть заблудшего режиссера, но ядовитый разговор актрис, не без цели начатый почти в присутствии Ирины, удивил и разозлил его неуемной женской мстительностью.

— Пожалуй, вы должны были знать, что в искусстве властвуют в определенную пору две царицы,— сказал Крымов с досадой.— Это зависть к чужому успеху и ревность к чужой возможности. И никакие нравственные революции не лишат этих цариц трона. В конце концов побеждает тот, кто умеет работать. Вот и все.

— Работать? Я согласна. Только работать. Но, пожалуйста, посмотрите, как работают ужасные люди. И все в одни сутки. Письмо получила вчера. Сначала не хотела говорить вам... Но кто-то на студии меня терпеть не может. А я была добра со всеми. Я не умею ссориться. За что же они? Ведь у меня горе. Я же восемь месяцев не танцую...

Она села, зубами покусывая травинку, прислонилась лбом к коленям, посидела так в задумчивости, потом, взглянув на Крымова просительно, достала из сумочки помятый конверт, сказала непрочным голосом:

— Вот это. Я была бы не права, если бы не показала. Мне стыдно, что письмо касается и вас.

В конверте лежала записка, состоящая из нечетких и неровных машинописных строк (видимо, человек не часто печатал на машинке), и Крымов прочитал:

«Многоуважаемая Ирина!

Извиняюсь перед Вами, не знаю, как по отчеству.

Ваша доброжелательница хочет предупредить Вас о том, что Вы поступаете, то есть ведете, себя неосторожно, можно сказать, заносчиво и вызывающе. Мало того, что вся студия знает о Вашей бесчестной связи с режиссером Крымовым (он Вам, милая девочка, в отцы годится!), но Вы использовали свои женские чары молодости и заставили его дать Вам главную роль в фильме, к чему у Вас нет ни способности, ни призвания. Ведь Вы уже показали свою несостоятельность в балете. Поверьте, не Ваше дело искусство, а Ваше дело хорошо выйти замуж и быть красавицей для мужа.

Ирина! Умоляю Вас, будьте милосердны и разумны, оставьте в покое всеми уважаемого человека и не убивайте его жену, достойную женщину, которую Вы можете довести до гибели.

Умоляю, умоляю, опомнитесь!

Ваша доброжелательница, любящая Вас».

— Конечно, без подписи,— сказал Крымов сухо.— Скромный памятник зависти в эпистолярном жанре. Спаси меня, милосердный, от доброжелателей моих, а с врагами я как-нибудь и сам справлюсь. Послание почтенной корреспондентки выше всех похвал и требует самого искреннего ответа из двух слов: к чертовой матери!..

Он решительно разорвал письмо, отбросил клочки в сторону, но тон фальшивого соучастия и вожделенного мучительства, исходивший от неумело напечатанных на машинке фраз, и эта лицемерная защита его семейной чести пакостно царапнули в душе.

«Так кто же они, друзья беспощадные, которые ничего не прощают: ни молодости, ни чужой радости?»— подумал он, уже не удерживаясь в том живом настроении, какое появилось в монастырском храме, когда Ирина из льющегося солнечного потока сходила по ступеням.

— Как безжалостно они меня ненавидят,— проговорила Ирина.— И вас из-за меня.

— Я режиссер и привык ко всему.

— А я не хочу, чтобы ваши несчастья шли из-за меня.

— В кино, чтобы победить, надо пройти через девять кругов Дантова ада,— заговорил он обыденно.— Представьте, что я ваш Вергилий и поведу по этим кругам сравнительно безопасно. И стены Иерихона падут. Я верю в вас.

Признаюсь, я долго присматривался. Вы все сумеете.

— Нет,— сказала она.— Стены Иерихона не падут.

— Почему?

Она обхватила колени руками, положила на них подбородок, наблюдая горообразное облако с пепельными подпаленными краями, заходившее из-за леса на том берегу, где за огнистыми вспышками реки везде тоже жгуче сверкало, струилось в жару пестротой зелени, бликов, густой тенью орешника, дремотным покоем перегретых лугов.

— Нет,— проговорила она, и строгая морщинка пролегла у нее на лбу.— Вы мне ни разу не говорили — ваша жена знает, что я есть на свете?

— О вас она ничего не знает.

— В этом мире все связано, Вячеслав Андреевич?

— Все. Или почти все.

— Хорошо.— Она протянула руку.— Помогите мне встать.

«Она боится неловко встать, вспомнила о травме связок? Именно сейчас она вспомнила об этом?»

И он стиснул ее хрупкие пальцы, аккуратно поднял ее с земли, она выпрямилась, задела его юбкой по ногам, но тотчас вслед за тем отступила на шаг, страдальчески дрожа бровями, вскинула незнакомо улыбающиеся глаза.

— Что, Ирина?

— Простите меня... Я не буду играть в фильме,— сказала она.— Простите за то, что я подвожу вас и нарушаю планы. Я знала, что со мной плохо кончится. Я виновата, виновата, виновата. Перед вашей святой женой. Перед этими дурами-актрисами. Перед вами. Перед фильмом. Я уеду в Ригу к отцу. И так будет лучше. Для всех. Нет, пожалуйста, ничего не говорите!— заторопилась она и тут же, видя, что он готов прервать ее, и почему-то с улыбкой, кокетливо делая ему большие умоляющие глаза, в которых стояли слезы, повторила: — Я знаю, что вы скажете! Но я не передумаю. Так надо! Простите меня...

Порой чьи-то вскользь брошенные слова заставляли его бессонно ворочаться в постели, плохо спать ночью — он называл это сверхмнительностью, неврозом двадцатого века. Но то, что говорила она, не могло быть смягчено ни иронией, ни шуткой, этим утешающим оружием, с которым было легче жить. Он смотрел в ее кокетливо («Зачем?») увеличивающиеся глаза со стоячими слезами, и его охватывало такой давно не испытанной растерянностью, такой новой болью перед ее покорным отступлением, беззащитной наивностью, которых он не встречал последние годы, что ее насильственная сейчас и жалкая кокетливость, ее невыплаканные слезы показались ему мученическими. И Крымов, окончательно утратив благое настроение в этот погожий июньский день, понял, что все планы со съемками на август полетели в тартарары. Он представил ее отъезд в Ригу как еще неподвластное состояние незаконченного действия и, хотя свободного выхода уже не было, наконец сказал единственную и вряд ли спасающую фразу:

— Не делайте этого, Ирина.

— Спасибо. Я сделаю это. Я уже решила,— сказала она, глядя исподлобья с виноватой осторожностью, и пошла вниз по тропке к реке, чуть покачиваясь в талии, не разгаданное и не познанное им существо.

Позднее, вспоминая, что произошло потом, он в бессилии думал, что был в тот день непростительно и эгоистически расчетлив, глуп, туп, а в это время безумие настигало их черным крылом на том холме неподалеку от монастыря Старого Спаса.

И ему чудилось, что, когда они спустились к расплавленной зноем реке, некое бесцельное безумие было и в самом солнце, которое остро, паляще давило, угнетало, поднявшись в высоту, а туча, сгущенная до черноты, для чего-то заходила и заходила из-за леса, стремительно расширялась, клубилась краями, тянулась в зенит, совершенно черно сбоку загораживая солнце, отчего на вершине холма разительно вспыхнул какой-то девичьей белизной монастырь. Крымову стало душно, на берегу тянуло жарким, парным, затем пошли, побежали темные полосы по воде, резко потянуло свежестью, и Крымов даже задохнулся от орудийного раската в поднебесье, от застучавших по лицу крупных капель и неясно увидел, как тот берег, река, небо слились в мелькающий ливневый мрак.

— Ох, как хлещет, как он хлещет!— услышал Крымов сквозь шум дождя ее голос.— А как хорошо, как хорошо купаться сейчас!

Они стояли под мостом, окатываемым струями дождя, звеневшим над головой по железу пролетов, его удивило это «хлещет» — слово, явно пришедшее к ней в тот миг из детства, но более удивило другое, тоже бессмысленное, ненужное, безумное. Она говорила быстро: «Отвернитесь, не смотрите»— и торопливо снимала с себя насквозь промокшую, потемневшую кофточку, юбку и, вышагнув из туфель, в купальнике побежала по откосу вверх, на мост, оглядываясь с уже спутанными на щеках волосами и маня его рукой: «За мной, за мной, за мной!..»

Почему он не сообразил, не понял тогда, зачем она подымается к мосту, и почему не остановил ее? («Да так вот и не смог предупредить и остановить ее...») Раскаяние было запоздалым, отравляло его ядом, но оправдываться было не перед кем и изменить нельзя было ничего.

И все-таки последние ее минуты на земле, минуты ее отчаяния или радости перед тем неистовым дождем, когда она подымалась к мосту, ясно не представлялись его сознанию.

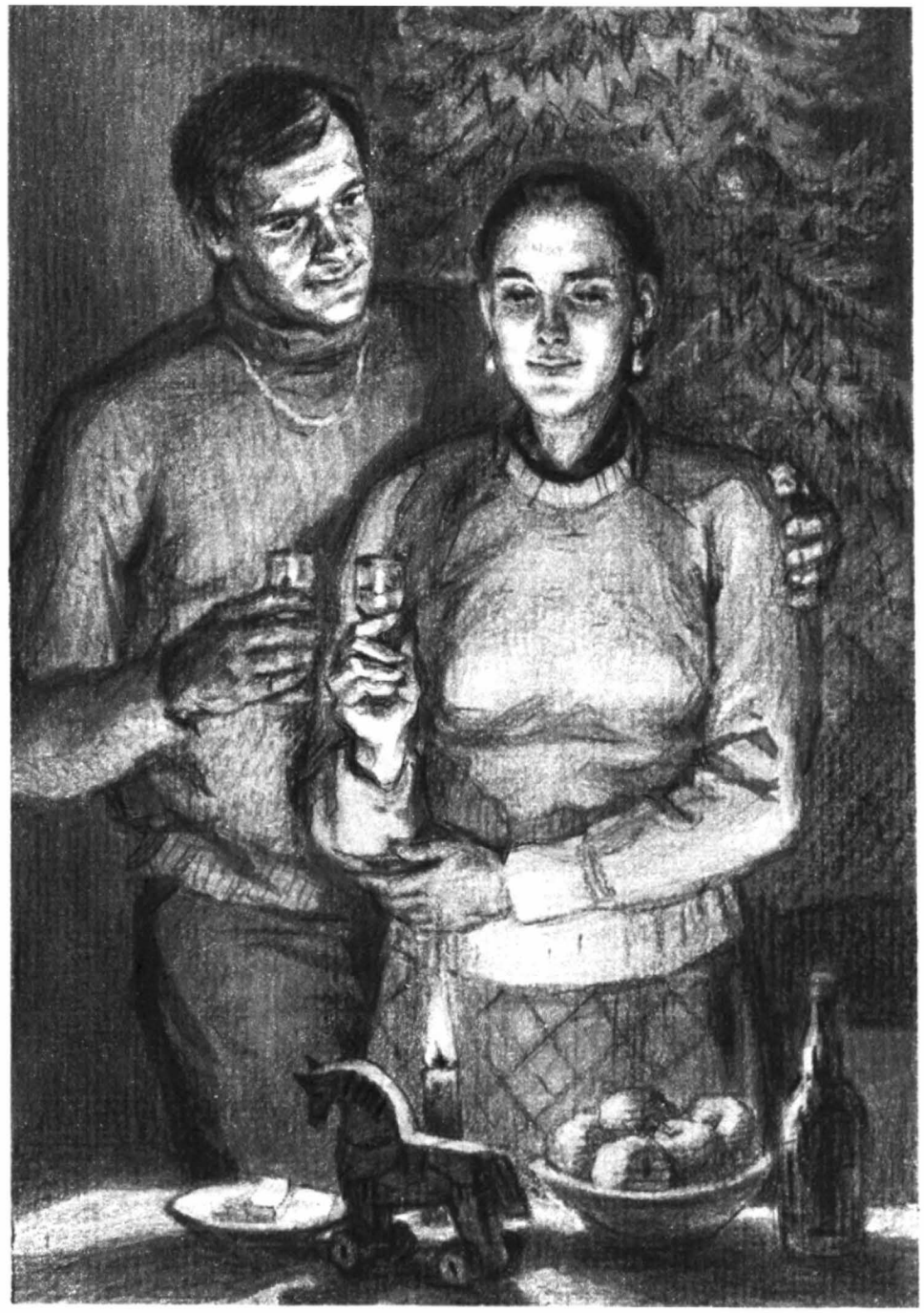
Ее голова лежала на его плече, и он проклинал каждый толчок машины, когда ее влажные, по-детски слипшиеся волосы касались его щеки. И так близко было ее лицо, уже источавшее земляной холод, уже неземное, с потеками краски под полуприкрытыми ресницами, и он так явственно сознавал, что никуда не уйти от всего этого ужаса, от всего этого немыслимого, час назад случившегося с ней (и вот теперь она в мокром купальнике лежала беспомощно качающейся от толчков головой на его плече, и это было последнее, связывающее их), что, казалось ему, в беспамятстве умолял кого-то пощадить, спасти ее, но после не помнил ни слова, лишь смутно видел, как оборачивался шофер — вдруг впереди него появлялись высосанные страхом глаза, по-рыбьи онемело раскрывающийся рот и струйки крови, текущие из ноздрей. И тенью проскальзывали те леденящие минуты, когда, вытащив Ирину из воды, он кинулся к оставленной за мостком машине и не нашел ее... В бессознании она еще дышала в те секунды, а он метался по берегу, кричал, звал, ругался сумасшедшими ругательствами с единственной надеждой, что шофер не мог уехать надолго. Но машина вернулась минут через сорок, и он, готовый к невозможному, увидев сытое, распаренное лицо шофера, не владея собой, не сдержал бешенства.

А больница была в районном городке, и пятьдесят километров проехали по тряскому проселку в предгибельном адском бреду: вероятно, гроза проходила, над дорогой что-то горячее, намокшее в ливне, неприятно зеленое проносилось в шуме, в гудении за стеклами, он стонал, стискивал зубы и снова чувствовал неживое прикосновение ее беспомощной головы на плече, ее безнадежное молчание...

Долго искали в городке больницу, вернее, проезды в больницу, дороги повсюду были перекопаны газовыми траншеями, наконец и вся эта мука кончилась, они остановились под тополями парка, у самого подъезда. Как он вылез из машины, оставив ее одну на заднем сиденье, вошел в подъезд, в сумеречный провал, где замельтешили незнакомые лица, как поднялся на второй этаж, пропитанный нечистым человеческим запахом, заставленный по всему коридору койками, как раскрыл дверь в кабинет хирурга, он помнил туманно. В те минуты перед глазами повторялось одно, застрявшее в его сознании навсегда: вот она встала на перила моста, видимая сквозь дождь, облитая купальником, сложила руки над головой и, крикнув что-то ему, плавно изогнулась, прыгнула в воду.

Потом он ожидал, пока его позовут, стоял на крыльце, курил и не докуривал сигарету за сигаретой и тер сжимающееся горло, плохо понимая, для чего солнце с летней радостью горело в лужах, освеженно и радужно переливалось на отяжелевших листьях в мокром парке, на мокрых лопухах, на умытой чистой траве, почему тяжелые капли звучно падали с навеса в полное до краев цинковое ведро, отчего зеркальные блики зыбко колебались, прыгали по навесу крыльца, а она была там, на втором этаже, лежала на каталке в своем купальнике, закинув голову с влажными светлыми волосами, с неподвижно полуприкрытыми ресницами, под которыми не просыхали потеки туши, лежала в комнате, стерильно белевшей кафелем, где не было надежды.

Продолжение следует.



Игра

Юрий БОНДАРЕВ

Рисунки Е. БОНДАРЕВОЙ, А. УСТИНОВИЧА

РОМАН

ГЛАВА ПЯТАЯ

В комнатах съемочной группы, куда заглянул Крымов, было безлюдно, предобеденное солнце накалило паркет, и пахло, как в музее, пыльной обивкой старых кресел. Из кабинета директора картины доносилось торопливое постукивание, и, едва он открыл дверь, оглушило очередями пишущей машинки, понесло сквознячком, всколыхнулись листки на столе против раскрытого окна, где молоденькая машинистка зашлепала ладошками по кипам бумаг, оглядываясь на Крымова в замешательстве.

— Один? — спросил Крымов и толкнул дверь в смежную комнату, откуда ручейком пробивался журчащий голос.

Директор картины Терентий Семенович Молочков, маленький, сухощавый, с непременно бодрым и приятным лицом, распространяющим уважительное внимание ко всем, заканчивал деловой разговор по телефону, любезно договаривая: «Взаимно, взаимно»,— и, положив трубку, проворно вскочил и бросился к Крымову, выражая озабоченность и немедленную готовность.

— Вячеслав Андреевич, как я рад вас видеть! С приездом, с победой, а мы вас так ждали! Поздравляем, поздравляем от всей души!..

И, говоря это, он снизу ткнулся губами куда-то возле подбородка Крымова, яркие леденцовые глаза Молочкова засветились преданностью и счастьем поклонника и киномана, которому повезло прислониться к славе кумира.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 1—4.

— Привет, Терентий,— сказал невнимательно Крымов, подходя к тумбочке и наливая из сифона газированной воды, зашипевшей, застрелявшей пузырьками в стакане.— О льстец, запомни, прошу не в первый раз. Страшны не те стервятники, которые пожирают трупы, а те, которые лестью пожирают заживо. Не сожрешь ты меня, Терентий, не клюю я на восклицательные знаки, черт тебя дери! Здравствуй, успокойся и рассказывай, как дела в съемочной группе.

— Господи Исусе, да кто может вас сожрать, Вячеслав Андреевич! — И Молочков с восторженным возмущением воздел руки к потолку, отчего рукава его чесучовой куртки сползли до локтей.— Кто может вас пошатнуть, такую глыбу! Вас!.. Ах, Вячеслав Андреевич, плохо вы себя любите и цените!..

— Умерь пыл, пожалей слова,— прервал Крымов и отпил из стакана, брызжущего пузырьками, охлаждающими горло льдистыми иголочками.— Думаю, ты в курсе дела. Не так ли? По-видимому, не я буду снимать эту картину...

— Как? На каком основании? Как так?— изумленно вскричал Молочков и забегал по комнате, мотая полами широкой на его плечах куртки, мелькая узкими помятыми брюками.— Откуда вы принесли такую новость? Из самого Парижа? Вы меня режете без ножа!

— Сядь, Терентий, прекрати страусиную беготню. Это раздражает. Давай поговорим.

Молочков с послушным ожиданием опустился на диван и, заранее пугаясь, заморгал круглыми желтыми глазами.

— Убиваете без ножа. По первому разряду убиваете.

— Так вот, Терентий,— сказал Крымов и медленными глотками допил воду.— Снимать фильм я не буду. Впрочем, скажу тебе откровенно,— добавил он сдавленным от холода газировки голосом.— Я не должен был браться за эту картину. Просто я не понимаю, Терентий, что такое современная молодежь и что такое их современная любовь.

— Правду-матушку побойтесь, Вячеслав Андреевич.

— Боюсь. Но это так. Каждый должен знать, на что он способен.

И он присел на подоконник, полуповернулся к Молочкову — из окна наплывало лиственным жаром тополей.

Молочков схватился за голову, воскликнул взвившимся тенором:

— Я догадываюсь, в чем ваша причина! Нет тут вашей вины, нет! А если кому не в разум, так это дело скоро пройдет, Вячеслав Андреевич! Меня неделю назад тоже вызывали в инстанцию... Или вроде приглашали для разговора... Задавали вопросы о ваших отношениях с артисткой Ириной Скворцовой. Им, стало быть, никто не запретит докапываться до середки, если дело о гибели человека при неизвестных обстоятельствах...

— При неизвестных обстоятельствах?— переспросил Крымов и, оттолкнувшись от подоконника, прошелся по комнате.— Кому неизвестных? Тебе или следователю, который тебя спрашивал? По просьбе следователя до своего отъезда на фестиваль я изложил все обстоятельства письменно. Я был единственным свидетелем... Единственным. И никто не может ничего добавить. Ни Балабанов, ни ты. Смысла не было вас вызывать — или как там? — приглашать для разговора.

— Не одних нас. Знаю, что и шофера Гулина. С ним-то вам не надо было связываться, темный он с ног до головы,— добавил Молочков не без негодования.— Никак я не возьму в толк: неужто не верят они вам?

— На этом свете все возможно.

— Шофер Гулин сейчас ко мне зайдет,— заговорил Молочков, понизив голос.— Вы поговорить с ним не хотите?

— Охоты нет.

— Настроен он весьма по-идиотски, агрессивно, можно сказать, и собирается в суд подавать. Ох, не надо было вам, ох, не надо с дураком было! Господи Исусе, я вспомнил вас офицером, и страшно стало мне... А ведь тридцать пять лет прошло. И тут рискуете, Вячеслав Андреевич, опять рискуете смелостью.

— Что не надо, ты сказал?

— Избивать подонка такого, пьяницу, как стало известно, ловителя рублей... Беспокоюсь я за вас, Вячеслав Андреевич. Мне, может, ваше здоровье и нервы ваши дороже всего. Без вас мы все в съемочной группе ровно щенки слепые или сироты, можно сказать. И я без вас — нуль, никто, сопля воронежская, в чужих вроде саних. Потому на душе кошки скребут, Вячеслав Андреевич, нехорошо как-то чувствую себя, когда вас кто плечом задевает...

— Давно хотел тебе сказать, Терентий,— прервал недовольно Крымов. — Мужские сантименты в деловых отношениях давно бы пора бросить. Ну скажи мне, директор, почему, ради чего ты заискиваешь передо мной?

— Обижаете. Я очень уважаю вас, Вячеслав Андреевич...— сказал Молочков, влюбленно потупив взор. — До гроба не забуду, что сделали вы для меня. Я всем вам обязан, и жена моя Соня весьма вам благодарна...

— Ставишь меня в дурацкое положение! — раздраженно сказал Крымов, с отвращением понимая, что не сдерживается, позволяя себе прежнюю, осужденную им самим слабость молодости: вспыльчивость.— Роль благодетеля и благодарного — архаичное понятие в наше время! — заговорил он, не сумев подавить раздражение. — Мы с тобой хоть друзьями на войне не были, но какую-то пору воевали вместе. И наши отношения должны быть равными. Сними напряжение, Терентий, ты мне ничем не обязан! Тем более что и друзьями мы никогда не будем...

«К чему я так грубо и откровенно? Что меня заставляет говорить это?»

— Я хотел бы... мечтал, да только вы, Вячеслав Андреевич... далекий,— забормотал Молочков, и руки его кругообразно задвигались на коленях.— Да чего мечтать? Много вы для меня сделали, а неблагодарных свиней я весьма не люблю. Вы птица большого полета, а я кто ж такой... из сопливой деревни да из грязи болотной в князи выбился. Образовался на курсах. Считать я хорошо научился. А в сравнении с вами необразованная балбешка.— Молочков стукнул жилистым кулачком себе в лоб.— Хоть курсы администраторов кончил. И на войне дурак дураком был и после войны. Пока вас не встретил, Вячеслав Андреевич...

— Самоуничижение паче гордости,— сказал Крымов.— Я сделал для тебя не больше того, что мог и другой. Ну хорошо, Терентий. На всех парах изображай из себя благодарного раба, а я буду в позе благотворителя наслаждаться твоим гордым самоуничижением.

«А ведь он похож на кузнечика. Сидит на диване, шея вытянута, напряжен, руки на коленях, глаза налиты умильной преданностью, вот-вот готов прыгнуть и задушить в объятиях, несмотря на мою грубоватую откровенность...»

— Боюсь, Терентий, тебе когда-нибудь надоест быть благодарным...

«Что толкает меня говорить подобную глупость?»

— Никогда. Крепко меня обижаете,— искренне запротестовал Молочков и, сощурясь в сладостном оцепенении, договорил горловым выдохом:— Меня бы Соня прокляла... и умер бы я.

«Умер за меня? Прокляла Соня? Или он безумец?» Крымов переспросил:

— Соня?

— Моя жена Соня, Софья Павловна,— скороговоркой пояснил Молочков.— Она прямо души в вас не чает. Она все ваши фильмы наизусть помнит.

Да, Софья Павловна недавно стала женой долго жившего в одиночестве Молочкова, а накануне женитьбы, пьяный от счастья, он приводил ее сначала домой к Крымову, затем на студию, с гордостью знакомя и представляя съемочной группе будущую супругу. По профессии она была учительница пения, и Крымов поразился ее сильным, толстым ногам (наводившим на мысль о хозяйственной склонности ума), мужской величине ее плеч, полноте бюста и басистому голосу, когда по просьбе ликующего жениха она нестеснительно пропела, мощно притопывая ногой, арию Сольвейг под аккомпанемент звукооператора, приглашенного к пианино в актерскую комнату.

— Ах да,— сказал Крымов, вспоминая свою неловкость при этом знакомстве.— Да, интересная женщина, талант, лирическая натура, но не это я хотел сказать, Терентий,— оборвал он себя, чтобы не сбиться на привычный иронический тон, некстати высмеивающий, в сущности, малознакомую жену Молочкова.— Так вот что я хотел сказать, Терентий. И это серьезно,— добавил Крымов.— Картину я снимать не буду. Этого моего решения я не сказал Балабанову. Так что тебе, по всей видимости, придется работать с другим режиссером. Второй актрисы такой, как Скворцова, нет. И я не верю в удачу. Впрочем, удача или неудача — теперь не имеет значения. Так что, Терентий, вероятно, с год я побуду в простое, если, разумеется, не законопатят в тюрягу. Ибо все может быть в наши насыщенные созидательными событиями будни...

— И вы так шутите? — зябко поежился Молочков.— Когда вы не будете смеяться над всем?

Крымов ответил полусерьезно:

— Не над всем. Над самим собою. В этом есть надежда, коли мы не исповедуемся в церкви. Высшая мудрость приходит тогда, когда начинаешь понимать, что все может быть.

— Ой-ёй-ёй! — покачался на диване Молочков, и леденцовые глаза его всполошились, замерцали.— Боязно мне за ваш язык, Вячеслав Андреевич, люди стали обидчивые очень, гордые, грамотные, не так поймут и мнение составят нехорошее.

— Ах, мой золотой Терентий! Вокруг столько фальшивых репутаций, неимоверно надутых пузырей, случайных известностей и неизвестных знаменитостей, что мое развенчание «нехорошим мнением» ничего не убавит, не прибавит в деталях моей биографии.

— Злые есть люди-то... Все норовят съесть кого...

— Посмотрим на их аппетит. А я пока поехал на дачу. Ну будь...

Он сказал фамильярное «ну будь» и с неприязнью к этим кинематографически богемным словам пошел к двери, на ходу потрепав по плечу Молочкова.

«Нет, обман! Независимо от воли я ничего не могу поделать с собой,— подумал Крымов, мучаясь мерзким неудовлетворением.— С милым ерничеством развлекаю и его и себя. А на самом деле болен неврозами двадцатого века, как и все в искусстве, которое не может насытиться ни тщеславием, ни славолюбием. Честолюбив и самолюбив, как вчера, как тридцать лет назад на войне. И вот совестно признаться, что совсем небезразлично, что подумают обо мне... Так, может быть, вся моя жизнь была трусостью, если я боялся за свою репутацию и хотел понравиться? Ради чего? На войне — ради орденов? После войны — ради успеха? Кто я — лжец или лицедей?»

Выйдя в комнату, где на сквозняке работала машинистка, бегло бьющая по клавишам, Крымов задержался, внезапно столкнувшись с чем-то посторонним, мешающим, и не сразу сообразил, что ощущение возникло при виде парня, ссутуленно сидевшего на стуле сбоку шкафов, набитых сценарными папками. Сидел он, наклонив голову со свисающими черными волосами, и меж раздвинутых коленей нервно тискал, мял кепку узловатыми руками — и нечто назойливое заставило Крымова внимательно взглянуть на парня, рывком вскинувшего голову. Он мигом узнал эти крепкие щеки, крепкий лоб, большие губы, на которых тогда, в тот день, была кровь, и тогда он, этот парень, оборачиваясь, дыша толстой шеей, слизывал кровь языком... Это был шофер Гулин. Его воспаленные, с красными белками глаза злобно рыскнули мимо Крымова, желваки буграми затвердели на скулах. И Крымов, загораясь, вспомнил свое бессилие в ожидании машины и оправдательное бормотание шофера, его задушливый хрип, когда он, жалкий, не сопротивляясь, размазывая кровь по носу, отступал боком к раскрытой дверце, где виднелись в пепельнице окурки.

«Значит, он на прием к Молочкову?» — мимолетно определил Крымов.

И не справившись с соблазном бесовской игры, подмываемый темной, знакомой когда-то в молодости силой, вдруг взрывавшей порой в нем послевоенное благоразумие, он взял за

потный подбородок Гулина и, подняв его, с ледяным спокойствием, какое появлялось в момент крайней решимости, спросил негромко:

— Ну что, ненавидишь антиллегенцию, парень? Покрушил бы их, миллионщиков, бездельников, развратников, ежели бы твоя воля?

— А-а!— Гулин вырвал подбородок, вскинувшись, подобно взнузданной лошади, и выражение ненависти плеснулось в его зрачках, он выговорил осипло: — Не приставайте, свидетели есть! — И ткнул пыльцем в сторону обомлевшей машинистки.— Обратно избить хотите?

— К сожалению, не могу позволить себе запретного детского возмездия,— сказал Крымов и вышел в коридор, пугаясь того возможного удовольствия, какое испытал бы, увидев следы справедливого наказания на этом крепкощеком лице.

За воротами студии он подошел к машине, необъяснимо почему думая о том, что при всех минусах в общем-то много лет был баловнем судьбы, хотя сдавал каждую готовую картину с задержками, с длительными диалогами в кабинетах, вызывая время от времени тревожный переполох в Комитете по делам кинематографии, опасающемся принимать фильм без уточняющих поправок. Вместе с тем его раздражали студийные мальчики с медальонами на волосатых грудях, значительно и умно бормочущие в кулуарах о его новаторской левизне, и не менее раздражал ядовито доползавший шелестящей змейкой шепот о его взбалмошной неуправляемости. А он, в разнозидных общениях познавший и левое и правое лукавство, не желал слыть ни левым, ни правым, ни неуправляемым, стараясь оставаться, может быть, не в меру открытым и в меру нежным, особенно в прошлых картинах о юности своего поколения, о войне с ее оголенной скорбью потерь и, наверное, в последних фильмах о семидесятых годах с их микробом потребления, вялого нравственного равнодушия, сиюминутных забот и безлюбовной любви к земле.

Но, слава богу, он должен был сейчас ехать на дачу, за шесть дней соскучившись за границей по детям, по Ольге, ее тихому взгляду снизу вверх, медлительному ровному голосу, который порой умилял его, по ее стыдливой близости, шутливому вопросу после первого поцелуя: «Ты все-таки не очень забыл меня?» И он тоже несколько шутливо отвечал ей, что погибал в ностальгии, тосковал по чадам и домочадцам, в первую очередь по Таньке, смешливой и озорной дочери, младшей в семье, откровенной его любимице. Он был спокоен в отцовском чувстве к сыну Валентину, студенту третьего курса Института кинематографии, не без его совета пошедшему по его стопам, однако малоразговорчивому, замкнутому, порой непримиримому по отношению к ностальгии «предков» и их искусству, то есть освобожденному от всякой сентиментальной чепухи, отжившей и устаревшей в век техники и прагматизма. Молчаливая отчужденность сына, его нелюдимость не сближали их и не создавали родственной взаимности, а Крымов из-за всегдашней загруженности работой и отсутствия воспитательных способностей не искал особо близких точек соприкосновения и считал сына чересчур современным парнем, но вполне заурядным будущим оператором, лишенным художественной жилки, исповедующим приемлемую разумом, достойную времени формулу: надежда мира в технологической цивилизации.

По дороге на дачу Крымов заехал на московскую квартиру, и, когда вошел в душную тишину и увидел столбики солнца сквозь щели штор в духоте комнат, летняя заброшенность квартиры повеяла сиротством, и уже не захотелось быть здесь одному, как вчера. Он выпил рюмку коньяка, чтобы снять головную боль, положил под язык валидол, чтобы отбить запах (на случай непредвиденной встречи с ГАИ), взял чемодан с сувенирами, которые за границей покупал «своим женщинам» всегда, и спустился к машине.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В дачном поселке, скрытом в буйстве июльской зелени, он остановил машину возле калитки, затененной липами, вылез и тут же через штакетник увидел в саду между яблонями расставленные три шезлонга и свою дочь, свою любимицу Таню, девятиклассницу, коротко подстриженную под мальчика. В спортивной майке, открывавшей загорелые плечи, она лежала в траве на коврике, грызла яблоко, болтала босыми ногами и читала. С засиявшим лицом Таня обернулась на скрип калитки, сейчас же гибко вскочила и, швырнув в кусты огрызок яблока, завизжала радостно:

— Папань, с приездом, ур-ра! Привет и салют!..

— Здравствуй, милая,— сказал Крымов и пошел в хлещущей по ногам траве навстречу дочери, бежавшей к нему.— Ну здравствуй, чертенок, пигалица моя,— проговорил он, целуя ее в волосы, пахнущие солнечным теплом.— Слушай, Татьяна-сан, я тебя вроде бы не видел целый год, и нос у тебя облупился до невозможности, и вся ты обгорела до негритосности! Что, целый день на солнце?

— Ах, папашка-букашка, я рада, рада, я по тебе соску-училась! — весело говорила Таня с той принятой между ними доверчивостью дружбы, которая более всего была ценима Крымовым.— А ты похудел в своих заграницах и стал какой-то очень изящный и бледный! А мы с мамой читали в «Советской культуре», что твой фильм получил приз и был показан в переполненном зале. Так, а? Ничего не приврали работники пера? А то они умеют так перестараться, что хоть караул кричи!..

— В данном случае нет,— ответил Крымов, поймав в себе счастливую ироническую легкость под веселым взглядом дочери, наслаждаясь ее озорным голосом, ее задорным обгорелым носом.— Зал был набит, причем были поломаны кассы, помяты пожарники, сидели, лежали и стояли, кто-то висел на портьере, самые ловкие устроились на люстрах и во все горло кричали то ли «шайбу!», то ли «режиссера с поля!».

— Ну вот, начинается! — воскликнула Таня с осуждающим восторгом единомышленника, быстро уловившего знакомый прием.— Опять, папа? Не поймешь, где шутка, где серьезно. Подожди, мамы нет, она на Солнечной поляне работает. Садись в шезлонг, вот сюда садись!

Она потянула его за руку, посадила лицом к солнцу, сама села напротив, откинулась в шезлонге, таинственно взглядывая из-под мохнатых, белесо опаленных солнцем ресниц.

— Папа, я хочу у тебя спросить: правда или нет? Хотя я ни капли не верю...

— Чему, дочь, именно?

Таня наморщила нос.

— Ужасно глупые слухи, от которых уши вянут. Вчера на пляже ко мне подошла эта толстуха Симка Анисимова, ну, дочь бывшего твоего оператора, который сейчас дачу в нашем поселке купил, и ехидно говорит: «Ты знаешь, что с твоим отцом?» «Нет, а что ты знаешь?» «Значит, не знаешь, что уже все знают?» «А в чем дело, дуреха?» — я спрашиваю. А она: «Ну ничего, все узнаешь, когда надо будет!» Знаешь, не знаешь, крокодилица известная.— Таня хмыкнула.— А глазки блестят, как у ведьмочки. Потрясающе! Я, конечно, назвала ее кухонной скалкой, но кто-то глупые слухи выдумывает...

— Какие, дочь? По-моему, ты недоговорила.

— Будто у тебя в съемочной группе погибла молодая актриса... и будто ты к ней был неравнодушен,— сказала Таня и покраснела, независимо тряхнула головой, протестуя и не соглашаясь.— Всем ясно: слухи распространяют кухонные скалки...

— Танька ты моя милая,— сказал Крымов, видя на лице дочери искренность, неумение лгать, озабоченность защитой семейной чести, которую он, ее отец, не способен был уронить.

— Вот уж, называется, наговорила! Да это же слухи, папа! — воскликнула озабоченно Таня и хлестко шлепнула себя по коленям.— Ты, папа, какой-то грустный стал! Ничего не слушай! Я тебя сейчас развеселю, папа! Потрясающе! Знаешь, у нас скоро свадьба: наш Валентин Вячеславович, студент третьего курса, знаешь что? Выходит замуж. То есть я всегда путаю... Ха-ха, просто женится. Это еще почти тайна, в газетах об этом еще не шумели, интервью не брали, но, но, но...

— И что но, Таня?

— Но все идет к этому. Мама в панике. Просто невероятно! Как только жених приезжает со своей избранницей, мама места не находит, берет свой мольберт — и целый день на этюдах. Не приходит на обед, наверно, в лесу питается ягодами. Ужасно переживает, а мне смешно, хотя виду не показываю. Нашел себе... «тысячу и одну ночь», Джульетту — утя, утя, утя!

Крымов уловил в ее голосе плохо скрытую ревность, но тотчас она засмеялась так звонко, так естественно, что, вся загорелая, с льняными волосами, заискрилась юностью, беззаботным здоровьем, а его на секунду сжало необъяснимое пронзительное чувство опасения за нее: случись что с Таней — и ничто не удержало бы его на земле.

— Утя? Ее звать Утя? — спросил он вполголоса, непроизвольно связывая это секундное чувство опасения с тем страшным июньским днем и холодом мокрых светлых волос на его щеке.

— Утя, утя, утя,— смешливо повторила Таня и показала поцарапанными пальцами, будто вытягивает свой облупившийся нос.— Непонятно? У нашей невесты утиный носик, такой остренький носик... и башмачком, его так и хочется потрогать, я прямо удержаться не могу, но она — знаешь? — с самомнением. Да ты ее увидишь. Студент с утра ее на пляж повел. К обеду придут.

— Ты не слишком к этой уте? А?

— Ни капли. Мне интересно за ней и Валентином наблюдать. Он просто спятил, изображает индюка, а она — павлиниху, даже мизинчик оттопыривает, когда стакан берет. Утю звать Людмила. Вот тебе Руслан и Людмила. До невозможности юмористично! Ранние произведения Антона Павловича Чехова. А мама в ужасе.

— Я соскучился по тебе, Танька,— сказал ласково Крымов и встал с шезлонга.— Что ж, ясно. Пойду к себе. А ты открой чемодан и выбери сувенир. По-моему, тебе понравятся вьетнамки на шнурках.

В кабинете были распахнуты окна, дверь на балкон, и мягко ходил садовый воздух.

Он оглядел свою мансарду и сразу заметил постороннее вмешательство, чужое присутствие в ней.

На диване, где он любил лежать у раскрытого окна, глядя на закат, на тихое угасающее золото на березах, предаваясь томительной власти вечерних мыслей (как определяла это Ольга), сейчас белела подушка и простыня, наполовину прикрытая одеялом — наспех прибранная постель,— возле на спинку стула небрежно был повешен женский халатик, коричневая сумка с ремнем забыто брошена на коврик близ письменного стола. Ему непривычно было, что его проигрыватель раскрыт, книги на полках кем-то потревожены, на краю журнального столика отблескивало на подставке круглое зеркальце, а рядом лежали тюбик губной помады, плоская коробочка с пудрой, женская расческа. И то, что в его кабинете ночевала, по-видимому, невеста сына, задевало Крымова простодушным и бесцеремонным вторжением в его обжитые владения, где неизменно царствовал выбранный им и заведенный для работы порядок.

«Значит, так уже далеко зашло, если она ночует на даче?» Он снял пиджак, походил по кабинету, насквозь светлому, всегда покойному его убежищу, постоял против журнального столика, поглядывая на зеркальце, в которое утром, вероятно, смотрелась невеста сына, с ироническим удивлением отметил, что зеркальце ее поставлено на кипу вариантов режиссерского сценария, сказал вслух: «А это трогательно»,— и вышел из кабинета.

Перед тем как спуститься вниз, Крымов заглянул в комнату жены, маленькую, уютную, куда ему приятно было заходить, в мир ностальгии по прошлой Москве двадцатых и сороковых годов, ныне ставшей холодным многоэтажным городом, потерявшим прежнюю душу.

Здесь, в уголке Ольги, было то, что любила она: плавность линий и изгибов, стройность, округлость в архитектуре, распространяющей тепло, успокоение, радость силуэтов,— рисунки и фотографии Пречистенского бульвара, храм Христа Спасителя с видом на Замоскворечье, Сухарева башня с белыми воздушными ярусами и открытой галереей, весеннее Зарядье, его утренние переулки, вековые часовни и Ольгин московский пейзаж весь в ледяной ро-

зовости зари, с обросшим инеем первым трамваем на пустынной улице, а рядом пейзаж дачный, грустно влекущий настроением сумерек: за окном голубеет зимний воздух, синеет снег на покатых крышах меж черных елей, а кое-где уже теплятся огоньки в домах.

Всякий раз Крымова овевало здесь нетронутой чистотой, исходившей от старых фотографий, пейзажей на стенах, от чертежного стола с лампой на гибкой ножке, от тюлевой занавески до пола, в слабых волнистых движениях которой было что-то женственное, опрятное, так же как в опрятно застеленной кровати Ольги.

Когда пятнадцать лет назад строили дачу, эту комнатку отделали первой, и не в Москве, а на даче встречали Новый год, возбужденные строительными хлопотами, деловыми разговорами с плотниками исполненные самых радужных надежд на будущее, уповая на то, чтобы летом жить, работать в саду, принимать гостей, разумеется, только за городом. Но та первая встреча Нового года на даче была случайной и особенной, потому что, задержанные обильной метелью, завалившей дороги, они не поехали в Москву и, отрезанные снегопадом, остались вдвоем в недостроенном доме, скипидарно пахнущем холодными стружками на лестнице и воском свечей, оттаявшей хвоей в Ольгиной натопленной комнате, сотрясаемой вьюгой целый вечер. И все, что тогда делала, говорила Ольга, было наполнено ее любовью к нему: в ее безобманных бархатных глазах, подставленных его взгляду, проходила то улыбка, то вырастала робкая нежность, когда он касался ее, своей жены, уже родившей двоих детей, но такой же нерешительной, как в девическую пору, отчего-то стеснявшейся его нетерпения.

Он срубил в лесу елку, принес ее вместе с металлическим духом снега, сплошь завьюженную, и Ольга стала наряжать ее нарезанными из остатков обоев гирляндами, он же мешал ей, топтался позади, острил, советовал, видел ее наклоненную гладко причесанную голову, тугой узел волос на затылке и то и дело брал ее за плечи, поворачивал к себе. А она, завороженно глядя ему в лицо, говорила растерянно:

— Это год лошади, поэтому тебе надо надеть коричневый костюм.

— Ах так, Оля? Обязательно коричневый? К несчастью, забыл свой гардероб из пятидесяти смокингов в Буэнос-Айресе в апартаментах отеля «Хилтон». Пустяки. Дам телеграмму.

— Какая забывчивость! Что же делать? Сбруя ведь коричневая в общем-то. Знаешь, какой ритуал? Нужно, чтобы было надето на нас что-то кожаное. И чтобы висела на мужчине золотая цепочка. Нагни голову. Я надену тебе свою.— Она сняла с себя и застегнула на его шее крошечную цепочку, сказала озабоченно: — А мне дай твой коричневый ремень от брюк. Я подпояшусь. На столе должна стоять игрушечная лошадка. В блюдечке перед ней — овес и кусочек сахара. Еще что? Ровно в двенадцать шампанское пить нельзя. Да у нас и нет его. Как хорошо! Только коньяк или водку. Это, слава богу, у нас есть. За минуту до полночи открыть дверь и выпустить старый год. Ровно в двенадцать войдет Новый год. Закрыть дверь. И тогда надо выпить за него. Давай так встречать Новый год, по лунному календарю.

И он с великой охотой принял ритуал встречи Нового года по лунному календарю, не ведая до сих пор, есть ли год лошади в этом летосчислении, и Ольга, мягко светясь глазами, сидела за столом, подпоясанная мужским ремнем, у него же на шее висела Ольгина цепочка, сохранявшая, мнилось, ее телесное тепло, трогательная в женской невесомости на его грубом свитере, и стояла на середине стола игрушечная лошадка, и было блюдце с кусочком сахара. А ровно за минуту до полночи он предложил Ольге: «Пошли встречать конягу, только возьми свою рюмку»,— и вышел в пропитанную смолистостью стружек темноту лестницы, где еще не было проведено электричество (как и во всем доме), спустился с мансарды в тамбур, распахнул входную дверь на ветер, несущий наискось сизые космы, гул метели, окатившей их обоих глухим волчьим холодом непроглядной ночи. И почудилось, что они несутся в потемках по краю вселенной, он и она, оторванные от земли, в соединенном счастливом одиночестве, как бывало в молодости, когда им не нужно было ничего, кроме старого, продавленного дивана в снимаемой за тридцать рублей комнатке в коммунальной квартире на Якиманке.

— Вот он идет, слышишь? Топает валенками между сугробами и крякает в усищи,— сказала Ольга, неумело шутя и вздрагивая.— Слышишь? Выпустил старый год и вошел. И холод внес с собой. Чувствуешь?

— И снегу натащил старикашка.

Он захлопнул дверь (вьюгой успело нанести на пол белые холмики), обнял Ольгу, согревая, чокнулся с ее рюмкой и поцеловал в холодные, сладко-горькие от коньяка губы, сказал полусерьезно, скрывая захлестнувшее волнение:

— С Новым годом, моя любимая жена!

— Ты сказал так, как будто у тебя гарем. Любимая жена и нелюбимая жена,— ответила она и, вздохнув, тоже легонько поцеловала его.

А он опять поразился тому, что она поцеловала его не согревающимися от холодного вина губами так же наивно, неопытно, вызывая прежнюю неутоленность, как когда-то в целомудренной молодости после войны, не научившись тому, чему еще до встречи с ней научили его послевоенные знакомства, и, наслаждаясь ее неуменьем и неразвращенной чистотой, он сказал:

— Ты, чудесная моя женщина, опять целуешься, как галчонок, и все время закрываешь глаза и вздыхаешь.

В два часа ночи метель утихла, и, до глухоты окруженные безмолвием оцепеняющей стужи, они вышли в первозданную лесную пустыню, деревенскую, сугробную. Скрип снега под валенками был так пронзительно и остро звонок, что перехватывало дыхание. В оранжевых морозных кольцах светила луна, сыпалась изморозь, и Крымов видел в лунном дыму скольжение теней на свежем покрове снега, как отражение солнечных бликов на песчаном дне.

Ольга шла рядом, говорила о чем-то (он плохо слушал, думая о том, что никогда не переставал любить ее). Она иногда трогала его рукав, взглядывая снизу с кроткой улыбкой, а он, немного оглушенный своей повторной влюбленностью, глядел на ее приглашающее к спокойной радости лицо и тоже улыбался и ее взгляду, и этой новогодней ночи, и стреляющему треску деревьев в лесу, где изредка срывались текучей пылью снежные пласты с отяжеленных этажей елей.

Но Крымов помнил и солнечное серебристое утро первого дня Нового года, когда, проснувшись, увидел, что она, зажав ладонями виски, смотрела на него неподвижно и задумчиво, точно хотела запомнить его, перед тем как расстаться надолго.

— Ты что? — спросил он встревоженно и обнял ее, опять загораясь желанием.

— Я проснулась и увидела, как ты спишь. И подумала, что наши дети не похожи на тебя. И тут мне стало так страшно. Неужели через десять или пятнадцать лет мы не увидим друг друга? Как мне жаль и тебя, и детей, и всю нашу короткую жизнь на земле.

— Почему жаль, Оленька?

— Мне показалось, что мы с тобой вдвоем на целом свете, но ты не любишь меня. Нет, мы все-таки одиноки. Ты и я...— Ее тихие бархатные глаза дрогнули, и, пряча лицо, она повернула голову к стене, а он с разрывающей душу горечью стал целовать ее слабые, ускользающие губы и шепотом говорил, переводя дыхание:

— Ты напрасно, Оля. Наверно, мы с тобой были иногда счастливы.

Он говорил это, опасаясь, что Ольга возразит и разрушит его новую влюбленность, ставшую за несколько часов их оторванности от Москвы смыслом его близости к ней, влюбленность в посланную ему благосклонной судьбой святую женщину, ни разу не обманувшую в чувстве, хотя сам бывал в молодости грешен не однажды.

— Какая несправедливость,— сказала она шепотом и прижалась, вдавилась носом ему в грудь.— Я не хочу с тобой расставаться.

— Я знаю, тебя пугают сны,— проговорил он.— Забудь о том, что привиделось тебе.

Продолжение следует.

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки Е. БОНДАРЕВОЙ, А. УСТИНОВИЧА

Игра

Спускаясь по лестнице из мансарды, выйдя в теплынь сада, на посыпанную речным песком дорожку, исполосованную тенями, Крымов опять среди солнценосного июльского дня увидел ту пустынную зимнюю ночь, лунные сугробы и морозное утро в комнате Ольги с их счастливым одиночеством.

— Тебе помочь найти маменцию?— крикнула Таня издали, отрываясь от книги, и заболтала босыми ногами.— Мама на Солнечной поляне. Проводить?

— Не надо, дочь. Я найду.

«Да я и не переставал любить ее,— подумал он, направляясь по тропинке в конец сада, к калитке в лес.— А ей как будто не хватает моей искренности».

Он нашел Ольгу под березами на краю поляны. Она стояла перед утопавшим в траве мольбертом и чуть устало отклонялась от холста, приложив обратную сторону ладони ко лбу. И все было родное в ней: и этот мягкий жест усталости после долгой работы, и узел черных волос, и линия ее спины и плеч, еще молодых, девически крепких, видимо, благодаря занятиям гимнастикой и тибетской йогой, чему она отдавала ежедневно не меньше часа, поверив в этот восточный «секрет» здоровья и вечной молодости.

Она увидела его, опустила кисть, молча повернулась, в ожидании стояла так до тех пор, пока он не подошел быстрыми шагами.

— Здравствуй, ненаглядная жена моя.

«Откуда появилась во мне пошлость? Кто управляет мной?»

И он обнял ее так стесненно, неловко, словно не имел права на объятие и поэтому преодолевал, перебарывал запрет и недозволенное.

— Здравствуй, ненаглядный муж мой.— Она подставила ему не губы, а щеку, взглянула с насмешливым интересом из-под выгнутых бровей.— Разве я столб или дерево? Ты не рассчитываешь свою силу, Вячеслав Андреевич.

От ее сдержанности исходил осенний ветерок, и он догадался о возможных причинах этого неприятного заморозка, но все же нашел мужество пошутить, смягчая ее холодноватость:

— Вероятно, Оля, за неделю, пока не видел тебя, я разучился обращаться с драгоценными вещами, старый осел.

«Опять пошлость! Что это я горожу? В самом деле непроходимый глупец!»

— Тогда отпусти меня, свою драгоценную вещь.

Ее глаза заблестели тою же спокойной недоверчивостью, она осторожно высвободилась, он сказал виновато:

— Я соскучился, если ты можешь хоть капельку поверить...

— Ты приехал вовремя. Мы сейчас идем обедать. Помоги мне собрать мольберт.

Она не попросила его по обыкновению «покоситься на этюды», на еще влажные, не просохшие акварели («Что ты скажешь — ничего это тебе?»), которые он оценивал довольно-таки снисходительно, ибо считал чистый пейзаж лишь зеркальным отражением изменчивой действительности, предпочитая ему портрет природы — пейзаж философский, с разумной, естественной красотой, противоречащей нещадно разрушительной человеческой силе, этому выражению современного урбанистического мира, порочного и заманчивого для многих, любимого бывшими сельскими людьми, составляющими большинство теперешних горожан, и вместе ненавидимого ими. Ольга не сердилась, не возражала, а Крымов заканчивал свою наполовину серьезную критическую проповедь добродушно («Ты у меня незаурядный пейзажист, хотя и архитектор») и целовал ее в загадочно прохладные губы, по-младенчески отвечающие и не отвечающие ему.

Но собрав мольберт и глянув на свежую акварель — поляну под палящим полуденным солнцем,— Крымов решил, что снисходительность или шутка сейчас обидят и оттолкнут Ольгу, поэтому сказал миролюбиво:

— В твоем пейзаже знойно, и кажется, что из травы подымается дух переспелой земляники. Ты просто молодчина.

— О, наконец я дождалась твоей похвалы,— сказала она без выражения согласия.— Хорошо. Я благодарна тебе за то, что я тебе стала чуть-чуть нравиться... Но для чего вдруг ты говоришь неправду?

— Оля, могу узнать, в чем я провинился? В чем я виноват?— спросил он по-прежнему дружелюбно, ужасаясь тому, что неискренен с ней.— Ты, кажется, не рада, что я приехал?— продолжал он, взяв ее за плечи, нагретые солнцем.— А я действительно соскучился, до черта устал, соскучился по всем вам и вернулся раньше срока.

— Что на тебя нашло такое?— Ольга вздохнула с видом обреченности.— Мы сейчас утонем в океане жалких лирических слов. Оставь это. Умоляю тебя об одном: поговори сегодня с Валентином, по-моему, он делает непродуманный... безумный шаг. Ты знаешь, что он собрался жениться? Чудак, неопытный мальчик... Но он ничего не слушает, потому что не принимает меня всерьез. Как, впрочем, и ты.

— Черт возьми, хочешь, я встану на колени и в любви объяснюсь?

— Какая ты прелесть, Вячеслав, и всегда неотразим. Твой любимый черт, черт и черт. В тебе осталась солдатская жилка. Хочется ругнуться, а ты крепкие выражения заменяешь чертом. Просто рыцарь!

Она пошла по тропинке впереди него, и крепкая спина ее и бедра, еще молодо-тугие в брюках, которые она надевала для работы, испачканных краской, облепленных цветочной пыльцой, вдруг напомнили радостное, не забытое им долгое сумасшествие в невозвратимые годы надежды после войны и в ту новогоднюю глухую вьюгу на даче, так остро позднее не повторявшееся, охлажденное по его ли, по ее ли вине. И Крымов едва не сказал: «Оля, милая, кто это с нами все делает?»— но безмолвно шел за ней к дачному поселку.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

— Так что же нового у молодежи?

Солнце, с утра проламываясь сквозь листву, накалило на террасе и стол, и соломенные стулья, и деревенские половички, но открытые окна заслоняли березы, и все-таки тут не припекало так давяще и адски, как в этот час в саду.

За обедом хотелось пить, и Крымов время от времени подливал себе ледяную колодезную воду, тяжелую, искрящуюся в графине, мало ел, мечтая о том, как хорошо бы сейчас постоять под душем, затем полежать в тишине кабинета одному среди книжных полок, полистать журналы в бездумной расслабленности. Однако он считался хозяином дома (что в занятости своей никогда обремененно не сознавал и не помнил) и должен был по просьбе Ольги соблюсти в меру правила этикета для главы семейства при знакомстве с невестой сына.

Они, Валентин и его невеста, пришли к обеду с реки юные, дочерна загорелые — он неуклюже рослый, в шортах и сандалиях, с мохнатым полотенцем на шее, она босиком, в красной майке, безмерно короткой, не заправленной в джинсы, открывавшей великолепный плоский живот, вся миниатюрно-маленькая, огромные противосолнечные очки затемняли половину лица. Она не сняла очки и после того, как Валентин, не выказывая чувств, бегло чмокнул отца в щеку, сказал: «Познакомься, прошу. Это моя невеста Людмила». Она же, сделав гибкое полуприседание, протянула выпрямленную ладошку, пропела птичьим голоском: «Люся»,— и заметил Крымов, что худое серьезное лицо сына напряглось, он явно ждал ответных слов отца, чтобы понять, какое впечатление произвел его выбор. Крымов с приветливым поклоном несильно пожал ее влажные пальчики, сказал, что очень приятно видеть невесту сына в этом доме, сказал, удивляясь Ольге и Тане, их вероятной ревности и неприятию этой девицы, ничем особо не отличавшейся от современных девиц-студенток.

«Что ж, у невесты все от времени... Но личико, личико показала бы на минутку, невестушка. А очки не снимаешь не из застенчивости ли?»— думал Крымов, украдкой наблюдая Людмилу, сидевшую напротив рядом с Валентином, и угадывая ее настороженные взгляды из синей темноты очков.

— Так что нового у молодежи?— повторил Крымов.

Он спросил это для того, чтобы прервать затянувшееся молчание, которое становилось уже тягостным, неудобным, ибо с начала обеда Ольга не промолвила ни слова, с воспитанной сдержанностью исполняла роль хозяйки, даже слабо улыбнулась Людмиле, подвигая хлебницу, когда та вилкой потянулась к хлебу, и предупредительно посмотрела на Таню: она, косясь направо и налево, склонилась над тарелкой, готовая прыснуть смехом, и в серых глазах ее резвились бесенята.

— Папа, вопрос: ты считаешь меня молодежью?— спросила Таня, озорно сияя.— Или так себе — глупым подростком?

— Несомненно, разумным представителем передовой молодежи,— шутливо ответил Крымов.— Без предрассудков.

Таня почесала наморщенный нос.

— Тогда вот какие новости: в созвездии Персея в результате мощного взрыва вспыхнула сверхновая звезда. Расстояние от Земли — сто пятьдесят миллионов световых лет. Такое же явление в нашей Галактике наблюдалось во втором веке нашей эры. Вот какая штука произошла, просто голова за голову заходит...

Продолжение. См. «Огонек» №№ 1—5.

— Очень интересно,— сказал Крымов.— Слава богу, одной звездой стало больше.

— Это коллапс,— строгим голосом проговорил Валентин.

— Что-что?— воскликнула Таня, подпрыгивая на стуле.— Объясни, пожалуйста, что такое, в самом деле? Ты у нас все знаешь, что, куда, зачем и так далее.

— Не все,— поправил Валентин и покосился на Людмилу: она аккуратно отрезала от огурца колечки, макала в сметану и аккуратно ела, опустив остренький нос к тарелке.— Я знаю то, что знаю. Все знать нельзя, дорогая сестра. Что касается твоего рассказа о рождении новой звезды, то это результат коллапса, сжатия материи в космосе при термоядерных реакциях.

— Ай, как здорово! Потрясающе!— произнесла Таня и, тоже скосясь на Людмилу, с мальчишеской лихостью откусила половину огурца, захрустела им так аппетитно и звучно, что Ольга остановила ее с упреком:

— Таню-уша, ты всех оглушаешь... В конце концов ты девочка, а не грузчик.

— Мамочка, я живу в демократической стране и могу жевать как хочу! Да здравствует свобода, ура и прочее!

«Эту молчаливую Люсю не приняли ни моя насмешливая Таня, ни сдержанная Ольга»,— решил Крымов, почему-то жалея чужую остроносенькую, в марсианских очках девушку, появившуюся в их семье, и, разряжая напряженность за столом, сказал:

— Знаешь, дочь, у Чехова в его прекрасной «Степи» есть место, где один персонаж, Дениска, ест огурец. Там приблизительно так: он отошел в сторону, сел и так стал грызть огурец, что лошади оглянулись на него.

— Вот какой молодец!— воскликнула Таня и захлопала в ладоши.— Вот это, я понимаю, мужичок — перепугал насмерть лошадей. Но я не читала «Степь». Мы не проходили. Я только видела фильм. А мы вот что проходили: Ванька Жуков, пятидесятилетний мальчик, отданный в учение сапожнику Алехину, в ночь под рождество не ложился спать и так далее...

— Пятидесятилетний мальчик?— пожал плечами Валентин.— Что за глупость! Что за нелепица!

— А потому что чертовски надоело слушать на уроке литературы про Чехова — Ванька да Ванька, бедненький, забитый, без золотого детства, и еще: дети при царизме жили в невыносимых условиях, в лаптях, работали по четырнадцать часов в сутки и питались селедкой. А потом еще: сумерки человеческой жизни, все погрязли в пошлости, в разведении крыжовника, и только одна мечта — о небе в алмазах и садах через двести лет. Терпеть не могу нашу Маригенриховну... жердь, сухарь в юбке, старая дева, губы накрашены бледной краской, а говорит в нос: гу-гу-гу...

Таня, продолжая грызть огурец, изобразила выражением своего подвижного мальчишеского лица Маригенриховну, «сухаря в юбке», и это гудение под нос, потом вызывающе скорчила рожицу Валентину, глядевшему на нее суровым взором, заговорила, оживляясь:

— С ней с ума сойти можно! Однажды она вызвала к доске Кудинова, есть у нас в классе такой балбес с гиппопотамским басом, чтобы тот прочитал стихотворение Маяковского «Паспорт». Кудинов вышел, ногу отставил и начал буквально орать: «Я волком бы выгрыз бюрократизм!»— а Маригенриховна вдруг встала, зажала уши, зашла Кудинову со спины и оттуда как завизжит: «Что за безобразие!» Кудинов остолбенел, ничего не сечет, как корова перед фотоаппаратом, и никак не может рот закрыть от растерянности, а потом затоптался, как верблюд на сковородке, поворачивается к Маригенриховне, и мы тут чуть со смеху не умерли. Кто-то из наших остряков приколол ему на спину листок бумаги, а там большими буквами: «Не хочу учиться, братцы! Хочу жениться!» Понимаешь, папа? Прелесть какая...

Таня захохотала неудержимо, не без лукавства оглядывая всех, сверкая юной чистотой зубов, льняными, сплошь выгоревшими на солнце волосами, и Крымов не смог удержаться при виде веселья своей любимицы. Он прикрыл лоб ладонью, затрясся в беззвучном смехе, казалось, вовсе некстати, и тут дошел до него укоряющий голос Ольги:

— Таню-уша, какая ты, право! Ты никому не даешь ничего сказать. И все употребляешь какие-то невероятные слова из школьного жаргона.

— Бред,— фыркнул Валентин.— Абракадабра.

— Не бред, а прелесть,— возразила Таня и с тем же лукавым вызовом мелькнула глазами в направлении молчаливой Люси, спросила неожиданно важно: — А вы, Людмила Васильевна, тоже, наверное, думаете, что это бред? А? Правда?

Людмила подняла марсианские очки от тарелки, старательно и опрятно вытерла губы бумажной салфеткой, выпрямилась за столом так, что ее жалкие в своей неприметности грудки обозначились под майкой гордыми бугорками, сказала тонким голосом совестливой девочки:

— Они хулиганы. Так нельзя издеваться над учительницей. Их надо исключить из школы.

— Не хулиганы, а хорошие ребята,— живо возразила Таня.— И не их надо исключить, а Маригенриховну. За то, что задушила нас скукой и всякой примитивной чепухой!

— Она несчастливая женщина...

— Счастливыми бывают только дураки!

— Значит, они не дураки, дочь.

— Не понимаю, папа...

Крымов вмешался в разговор с предосторожностью, какую всякий раз проявлял, когда начинала горячиться Таня, доказывая свою правоту, разрушая все на пути к собственной истине, и, заметив вишневый румянец на щеках дочери, этот первый признак несогласия, угрожающего перейти в бесполезную страстность истиноискания, договорил примирительно:

— Не дураки, дочь, потому что счастливы.— И, успокоив взглядом засмеявшуюся Таню, обратился к Людмиле давно выработанным тоном почтительной простоты, каким разговаривал с приглашенными на кинопробу молодыми актрисами: — А вы, Люся, на одном курсе с Валентином учитесь?

— Нет.

— А чем вы занимаетесь? Где учитесь?

— Я работаю.

— Где?

— Вячеслав Андреевич, вам не понравится моя профессия.

— Но раскройте секрет, если это в пределах возможного.

— Отец,— вмешался Валентин, насупив темные брови,— ты задаешь вопросы Людмиле, как на экзамене. Не все ли равно в конце концов, чем занимается невеста твоего сына? Любят не профессию, а человека.

— Ты прав,— сказал Крымов.— Но профессия — половина человека.

— А другая половина?

— Это несовершившееся, неудовлетворение, мечты, упование на жар-птицу, иллюзии.

— Все мы, отец, живем придуманной жизнью. Все дворники, все министры и все наполеоны от догматизма.

— Мы живем в неблагополучном мире. Так вернее,— поправил Крымов, пожалев о несокрушимом с детства упрямстве Валентина, и вновь дружелюбно обратился к Людмиле:— И тем не менее я любопытен. Чем вы занимаетесь, Люся?

«В сущности, какое я имею право задавать ей вопросы? Задаю с настойчивостью начальника отдела кадров, что уже занятно и неприлично во всех смыслах...»

— Я работаю, Вячеслав Андреевич.

— Наверное, в каком-нибудь НИИ лаборанткой? Ходите в белом халате и называете своего начальника шефом? Не угадал?

— Не угадали. Я работаю закройщицей в женском ателье.

— Ах, вот как? Интересно.

«В связи с чем я так удивлен? Хотел для сына невесту иной профессии? Я ждал другое? Что именно я хотел?»

— Вячеслав Андреевич, вы как-то странно на меня посмотрели...

Ее голосок прозвучал с кокетливой обидой, но не голос покоробил его, а та противоестественная невероятность, что представилась в возможном соединении мудрствующего, углубленного в себя Валентина, студента Института кинематографии, с этой миниатюрной закройщицей в противосолнечных очках, с капельками пота на остром вздернутом носике. Ольга сидела молча, в скорбном безучастии, ложечкой чертила вензеля на скатерти.

— Странно посмотрел? Извините, Люся. И примите это за любопытство,— проговорил Крымов вежливо.— Меня попросту интересует ваша профессия. Что вы конкретно в ателье делаете? Как вы осуществляете какой-либо фасон, если не секрет? Я понимаю, как трудно бывает иногда угодить жрицам моды.

— Это вовсе не интересно, Вячеслав Андреевич,— сказала Людмила.— Моя профессия вовсе обычная. А вот я люблю ваши фильмы. Такие сильные, такие добрые люди — почему они у вас почти все погибают на войне? Так жалко. Такие хорошие были мальчики. И последний ваш фильм, который сейчас в Пари-

же премию получил... Как он называется? «Необъявленная война»... Вы там хотите сказать, что люди губят природу и губят землю и себя? Я запомнила: у вас там один герой, ученый, очень грустный, говорит своему другу: «И все-таки человек живет не для того, чтобы превратиться в пищу для шести пород могильных червей. Найти смысл жизни — счастье. А счастье — это то, чего мы сами не испытали...»

— У вас хорошая память, Люся.

— Людмила — киноман, отец,— сказал Валентин с ласковой снисходительностью.— Она не пропустила ни одного фильма.

— Я читала в интервью, Вячеслав Андреевич, что вы выбрали на роль молодую актрису из Большого театра, которая должна была сниматься,— тоненько проговорила Людмила, и голос ее запнулся.— Я слышала, что с ней произошло несчастье, и мне так жалко... В том интервью была ее фотография — чудо, какая красивая!

— Ты говоришь об актрисе, которая недавно погибла?— спросил Валентин, хмуро вглядываясь в противосолнечные очки Людмилы.

— Я запомнила ее фамилию — Ирина Скворцова. Я слышала, что у нее была травма, ей запретили танцевать, а вы ее взяли на роль, Вячеслав Андреевич. Какой вы добрый!..

— Она была одаренной актрисой.

«Как их соединить? Каким образом? Ольга, Люся, Валентин... Где связь? Где ниточка логики? Выдержанная Ольга, святая женщина, и рядом остроносенькая Люся, ограниченная девочка с глупенькой смелостью. Что сближает ее и чересчур серьезного, погруженного в себя Валентина? Физическое влечение?»

— Мне так жалко ее,— повторила шепотом Людмила, клоня голову.— Ой, как мне жалко, Вячеслав Андреевич...

Валентин мрачновато сказал:

— Лю-уся, ну что за сантименты! Лишняя трата нервных клеток. Произошел несчастный случай, каких происходит каждый день в одной Москве сотни.

— Не командуй, жених, ты еще не муж!— вмешалась Таня задиристо.— Людмила Васильевна сама знает, когда ей тратить нервные клетки, а когда нет. Какой командир нашелся!

— Как непонятно, дико, нелепо...— одними губами выговорила Ольга, неслышно положив ложечку на скатерть, и Крымов почувствовал, что у него заболело сердце от ее скрытого страдания.

— Дорогая сестра, я с пеленок противник глупой дидактики, как тебе должно быть известно. Я за полную свободу личности,— возразил Валентин и, неуклюжий, длинношеий, озабочиваясь лицом, сказал Людмиле:— Сними очки, они тебе мешают.

Она послушно сняла очки, а он, словно бы никого не стесняясь, тщательно вытер ей лоб и щеки, спрятал платок в карман и заговорил хладнокровно, глядя на ветви берез, ломящиеся в распахнутые окна террасы:

— Люся вспомнила о твоем последнем фильме, отец. Я тоже о нем думал. Ты хочешь в наш прагматический век, чтобы люди, бессильные муравьишки, задумались о смысле жизни, о красоте, о душе друг друга. Веришь в свою мысль до конца, отец? Ты всерьез думаешь, что нравственный прогресс сильней технического?

— Ну, начинается собачья философия!— всплеснула руками Таня с возмущением.— Был молчун, а стал болтун невыносимый, спорщик и никому не дает слова сказать! Заговорил всех до потери сознания!

— Таня, не мешай. При чем здесь собачья философия? Я не видел отца долго.

— Никому не дано знать полную правду о себе,— сказал Крымов и встретился с умоляющими глазами Ольги.— Человек только потому человек, что живет среди людей.

Валентин спросил упрямо:

— Но добро или зло заложено в людях?

— Не жди банального восторга: добро и зло. Время безжалостней людей. Представь диалог с самим собою: «Я стал другим?»— «Нет, я остался прежним. Время изменилось — и я стал другим». Время изменяют люди, а людей время.

— Поэтому, отец, я убежден, что духовный прогресс бессилен перед техническим. И все судорожные попытки интеллектуалов внести в двадцатый технологический век нравственную сентиментальность прошлого бессмысленны. Это не цинизм, отец. Человек должен пройти через испытание сытостью и комфортом. Такое совместить с духовностью жизни нельзя. Нужен бензин для машин, и нужно вообще топливо — значит, надо качать нефть из земли, нужно для строительства дерево — значит, необходимо вырубать леса. Пиджак и брюки из духа не сошьешь...

— Твоя смелость, сын,— увидеть голого короля одетым.

— Имеешь в виду технологический прогресс?

— И еще маленькую деталь — смысл человеческой жизни, которую не хотелось бы видеть голым королем.

— Если бы человек был бессмертен, он не думал бы о смысле жизни, отец. А бессмертие ему может дать только технический прогресс, технологизация, а не евангелие нравственности и так называемый дух.

— Ты молод, Валентин. Человеку порой не хватает целой жизни, чтобы понять, что жизнь свою он прожил бессмысленно.

— Парадокс, парадокс.

— Парадокс — одна из форм истины. Очень не хотел бы, Валентин, чтобы ты прожил свою жизнь под знаком техники, которая якобы все решит. Техника и, кстати сказать, твой киноаппарат ничего не решит, если не ты будешь ему служить, а он тебе разумно.

— Отец, я не проживу жизнь бессмысленно.

— Как непонятно... Как нелепо...— растерянно повторила Ольга и, поймав взгляд Валентина, спросила еле слышно: — Расскажи лучше, Валя, как вы с Людмилой будете жить. На какие средства? Ты не кончил институт, тебе еще учиться два года...

Валентин замкнуто молчал, замолчала и Ольга.

— Я получаю сто сорок рублей, Ольга Евгеньевна,— проговорила внезапно Людмила обиженным голоском.— Потом, я могу шить и на дому. Я сумею заработать гораздо больше. Пока нам хватит. Мы будем жить у моей матери... На троих у нас комната восемнадцать метров. Правда, в общей квартире. Ты ведь не против? Знаю, ты не против.

Она слегка погладила руку Валентина, и слишком согласный его кивок сказал Крымову, что незаметная воля остроносенькой девочки распространялась на сына ощутимой властью, растапливая и подчиняя его упрямство, его способность к постоянному возражению.

— Не рано ли вы решаете свою судьбу?— сказала Ольга с тихим укором.— Ради чего вы так торопитесь? Я умоляю вас, подумайте оба. Валя, ты способный человек, и, наверное, тебе небезразлично будущее.

— Мама, надо жить и настоящим,— возразил Валентин.— Будущее за семью печатями.

— Но печати-то придется срывать тебе, сын,— сказал Крымов.

— Сорву, когда наступит время.

Парна́я неподвижность воздуха стояла на террасе, окруженной послеобеденным томлением в саду, и однотонно, дремотно звенели две осы вокруг блюдечка с горкой размякшей малины, мокрая от пота сорочка неопрятно прилипала к спине Крымова, и то и дело возникала мысль о дождевой благодати душа, смывающего вялость и какое-то недомогание, которое томило его весь день.

— Прошу меня извинить,— выговорил он наконец и сложил салфетку на столе.— Знаешь, Оля, еще чувствуется дорожная усталость, поэтому мечтаю только о душе и прохладной подушке под головой.

Он виновато поцеловал ее в висок и вышел с облегчением.

После освежающего душа в саду, железисто-дождевого вкуса нагретой солнцем воды, речной тепловатой сырости и влажных решеток дощатой кабинки, после всего этого удовольствия Крымов лежал на тахте в кабинете. Слабое дуновение воздуха входило из сада, где уже спадал зной,— день надломился к вечеру, и здесь, в мансарде, вольно открытой воздуху, он в задумчивом одиночестве слушал таинственный свист иволги за дверью балкона.

— Отец, не спишь? Если я тебя разбудил, то прости. Мы уезжаем...

— Это ты, Валя? За что тебя простить, сын?

— Да нет, я хотел сказать тебе...

И Крымов мгновенно вернулся в реальность из того состояния полуотдыха, когда можно было, как в пустом кинозале, просматривать киноленту сегодняшнего дня, приподнялся на тахте, проговорил будничным голосом:

— Что ты хотел сказать? Говори, Валя, я не спал, и ты меня не разбудил, не извиняйся.

Весь кабинет был заполнен золотисто-медовым дымом предзакатного солнца, янтарно горели стекла книжных полок, тишина плыла из окон, и в этом светлом дыму стоял против тахты Валентин, держа халатик и босоножки Людмилы (видно, пришел за ними), и с некоторым замешательством говорил басом:

— Мы уезжаем, отец, нам пора. Электричка через двадцать минут. Люся тебя стесняется, за вещами послала меня.

«Интересно, было ли у Валентина нечто похожее на то, что однажды я почувствовал в его годы, проснувшись после разведки на сеновале? Я тогда увидел синюю осеннюю звезду над собой и тогда подумал, что где-то в далеком мире меня ждет женщина, которую я буду любить всю жизнь».

— Понятно,— сказал Крымов, разглядывая худое лицо сына, пытаясь найти какие-то черты, похожие на него, молодого Крымова, и попросил: — Сядь на минуту. Что ты мне хотел сказать?

И Валентин не вполне смело присел на край тахты, скомкав халат на коленях, не выпуская босоножки, скосил боящиеся встречаться со взглядом отца глаза в сторону письменного стола, где на полу лежал дымящийся успокоенным золотом солнечный луч, заговорил с заминкой:

— Знаешь, отец, уже известно в нашем институте о твоих неприятностях на студии. В общем, да... И эта трагическая гибель актрисы... Я догадываюсь... я понимаю, что у тебя есть недоброжелатели.— Валентин нахмурился, все не выпуская из одной руки босоножки, а другой без всякой надобности продолжал комкать халат невесты на коленях.— Только бы до мамы слухи и сплетни не дошли...

— Слухи и сплетни? Таня мне сказала, какие слухи дошли до нее. Что имеешь в виду ты?

— Полнейшая чепуха,— сердито сказал Валентин.— Ересь и гнусность в цветной обертке злого мещанского восторга. Обыватели от родимого кино болтают о каком-то твоем особом отношении к погибшей актрисе. Грош цена сенсации. Для меня истина, что ты не донжуан, а любишь мать. Но ей услышать злорадный слушок будет больно.

И Крымов в желтом освещении кабинета увидел вблизи руку сына, большую, юношески неуклюжую, но чем-то до безысходности напоминающую вроде бы приснившуюся другую руку, отца Крымова, когда тот приехал домой в туманное, пропахшее паровозным углем февральское утро, руку, гладящую по плечу счастливую мать, а теперь вот мнущую этот модный нейлоновый халатик, и, пораженный силой дедовских генов, испытывая нечастое любопытство к Валентину, отдалившемуся от всех в доме «скорпионистостью» упрямства, проговорил вполголоса:

— Спасибо, сын. Ты прав. А вот как у тебя? Скажи по-мужски: правильно ли ты сделал выбор? Не расстанетесь ли вы через год, когда ничего общего у вас не будет?

— Разве в этом дело, отец? Ну что ж, я пошел. До свидания, прости, если я...

— Насчет прости — лишнее, сын. Мало кто знает, кто и кого должен прощать... И за что, и почему.

— Я знаю, что господствует случай.

Валентин натянуто закивал отцу, прощаясь (поцеловать не решился), и пошел к двери, как-то угловато, подчиненно неся халатик и босоножки, и узкими плечами, походкой своей, потертыми джинсами, весь родной и чужой, вдруг корябнул жалостью в душе Крымова. «Я не знаю своего родного сына. Да имею ли я право ему советовать?»

И, опять погружаясь в пустой кинозал одиночества, он увидел сверху долину, солнечный туман садов, виноградников, черепичные кры-

ши городка, и дуло весенним теплом из утренней долины, сладковато-легким воздухом... «А это где было? В сорок пятом году в Австрии?»

Потом послышались голоса из сада, и он с преодолением вышел на балкон. Солнце склонялось к закату, за сосны, везде в саду покой, сонная лень, все пахуче, истомлено, смолкли разморенные за день птицы, протянулись тени на траве под яблонями. И в этом летнем, неподвижном затишье перед прохладой и сумерками стоял у калитки, едва видимой в зарослях сирени, Валентин, держа левкий саквояжик, должно быть, принадлежащий невесте. А она, стройно переступая тонкими ногами, вся выпрямленная, приближалась к нему по дорожке в сопровождении Ольги, слушая ее, и откидывала со щек длинные кофейные волосы.

— Пока, отец! — крикнул Валентин, небрежно помахал своей крупной рукой («Рукой деда»), и тотчас оглянулась Людмила, мигом обрадовалась остроносеньким личиком, тоже помахала в сторону балкона, забыв про Ольгу, взглянувшую на мансарду тревожно.

«Ольга не приняла ее. Она испугана, расстроена решением Валентина»,— подумал Крымов и зачем-то сравнил миниатюрно-игрушечную Людмилу с подтянутой, вышколенной аскетизмом йогов, еще молодой фигурой Ольги, старше невесты в два раза, с ее подчеркнуто аккуратной прической, какую она начала носить в последние годы. И сравнив, почувствовал, как остро вгрызается в душу жалость к Ольге, к Людмиле, к Валентину, что было и несколько минут назад, когда сын уходил из кабинета, жалость, смешанная с любовью, опасением, похожая на тоску, на вину перед ними всеми за то, что никто не знал ни самого себя, ни друг друга.

Крымов видел с балкона: Ольга проводила Валентина с невестой, возвращалась к дому торопливыми шагами, натягивающими юбку, шла, опустив голову, и он позвал, подхваченный порывом сострадания:

— Оля!

И сбежал по лестнице на террасу, куда она всходила из сада, обнял ее, покорно уткнувшуюся ему в плечо как за надежной защитой.

— Оля, здесь мы ничего не можем сделать. Они решат сами, как и мы когда-то.

— Я боюсь оставаться одна, когда ты уезжаешь,— прошептала Ольга и заглянула в глаза бархатной чернотой.— Я боюсь, когда детей нет дома. И мне становится не по себе, когда проходит день и начинает темнеть. Я не хочу, чтобы ты куда-то уезжал...

Он ответил, целуя ее в кончик носа:

— Глупенькая, суеверные люди боятся темноты, потому что у них в крови древняя боязнь ночи. Но ты-то просвещенная женщина.

— Вячеслав, это другое,— возразила Ольга.— Мы живем в каком-то тревожном благополучии. Что-то может произойти.

— Почему ты заговорила о страхе?

— Это больше чем страх. Ужас перед тем, что может случиться.

— Не понимаю.

— Я боюсь.

— Милая Оля... чего?

— Я боюсь всего: неправдоподобной жары, которой не было сто лет, ужасной темноты ночью и тишины в твоем кабинете. Такая жуткая бывает тишина на рассвете. Мы живем в каком-то нехорошем ожидании. У тебя, я знаю, неприятности. И Валентин приводит меня в отчаяние. О боже, чего только о тебе не говорят... И чего только я не передумала. Я боюсь, что все разрушается. И я уже не знаю, любить тебя или не любить,— сказала она с горькой полушуткой и провела пальцем по его губам.— Может быть, между нами все кончилось?

«Нет, лучезарного благополучия не было в нашей общей жизни. Она не верила мне. И был постоянно тлеющий след тревоги».

— Оля, я люблю тебя так, как в сорок шестом,— выговорил он хрипло.— Ты можешь в это поверить?

— С трудом.

— Напрасно, Оля.

Продолжение следует.

Игра

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки Е. БОНДАРЕВОЙ,
А. УСТИНОВИЧА

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Уснул он поздно.

С вечера и до глубокой ночи читал дневники Льва Толстого, которые были его отдушиной и его беспокойством, открытые им лет десять назад, когда он был наивен, дерзок, доверчив и бессмертен, ибо не предполагал в ту пору многого, что познал и понял после пятидесяти лет. Он не задумывался всерьез, что в неизбежный срок надо будет сходить на конечной станции и навечно оставить в уютном и грустном земном купе весь свой наработанный целой жизнью багаж, по-видимому, ненужный безжалостному будущему с его рационализмом технологической и машинной эры, тем более что память людская — величина непостоянная.

Но всякий раз в дневниках он находил то, что успокаивало Толстого убеждением и возбуждало страждущей верой в усовершенствование мира посредством обращения к самому себе ради увеличения любви друг к другу, любви не плотской, не физической, а духовной. В ее обнаженной, даже насильственной разумности он видел ключ ко всей нравственной жизни великого человека в последние его годы, и, натыкаясь на следующей странице на сострадающую всему человечеству фразу: «Как же мы можем кого-нибудь не любить, когда знаем, что все приговорены»,— он снова возвращался к записи о науке и искусстве, которые — «только при братской жизни они будут другие».

«Что сказал бы он? — думал Крымов, положив книгу на грудь, глядя в потолок на зеленый круг настольной лампы, зажженной у изголовья.— К сожалению, не произошло увеличения любви, братская жизнь не наступила, а мы так неистово ждали ее после войны. Сытость и соблазн материальными благами не сделали многих из нас лучше. Кто виноват? Мы все. Мы слишком заботились о легкой жизни и забыли о главном — во имя чего дана жизнь. Да, вот здесь... на тридцатой странице... какие точные, какие современные слова: «Добро, обличающее людей в их зле, совершенно искренне принимается ими за зло. Так что милосердие, смирение, любовь даже представляется им чем-то противным, возмутительным». Почему все-таки не произошло совершенствование? Война? Выбита лучшая часть нации? Вернее всего: мы до сих пор не заделали бреши. Куда исчезли иные нравственные правила, без которых Россия немыслима? Вот какие он пишет слова неуспокоения: «То, что называют цивилизацией, есть рост человечества. Рост необходим, нельзя про него говорить, хорошо ли это или дурно. Это есть — в нем жизнь. Как рост дерева. Но сук или силы жизни, растущие в суку, не правы, вредны, если они поглощают всю силу роста». И дальше еще отчаяннее: «Когда будет в людях то же, что в природе? Там борьба, но честная, простая, красивая. А тут подлая, я знаю — и ненавижу ее, потому что сам человек». А вот двадцать шестого июля девяносто шестого года еще безвыходнее: «И опять молюсь, кричу от боли. Запутался, завяз, сам не могу, но ненавижу себя и свою жизнь»...»

Эта ненависть к самому себе, резкое обнажение и неприятие дурного и ложного, когда «все нарядные, едят, пьют, требуют», не зная жертв народа ради этого, и сожаление об утрате молодых радостей, молодого веселья, боязнь «перехода» и спокойное ожидание смерти, ежедневное неустройство в семье («...несть пророк без чести»), возникшее из-за тяжелого непонимания между ним и сыновьями, смирение и вдруг восторг перед сущим («Жизнь, какая бы ни была, есть благо, выше которого нет никакого») — все это не было для Крымова чтением. А было особым наслаждением, болью, соучастием в том мучительном, до предела искреннем подвиге, земным и вместе поднебесным, когда все соединенные пороки, страсти, ложные пути и беды человеческие хотел великий добровольный мученик взять на свою душу, простить нелюбимых и, думая о них с любовью, спасти мир...

Вместе с болью наслаждения, упиваясь душевной обнаженностью чужой мысли, Крымов порой не без всезнающего современного цинизма (который в те минуты постыдно жил в нем), споря с одержимой и противоречивой верой пророка, начинал ненавидеть и в чем-то прощать собственное честолюбие и неискренность. Он ненавидел взаимную фальшь вынужденного товарищества, взаимного восхищения коллег, что походило на выдуманный праздник постоянного успеха почти у каждого снявшего мало-мальски сносную картину («О родной, видел, видел, слов нет, сам платок доставал, когда у тебя сцена неудачной атаки... Какой ракурс, какая сила! Разреши, друг, от всей души обнять тебя и поздравить!»). И ненавидя это притворное доброжелательство, артистично и не всегда артистично разыгранное, эту узаконенную форму безопасной лести, выражающей не любовь к таланту собрата, а замаскированную гордыню, зависть и равнодушие, Крымов сознавал, что со многими что-то случилось лет пятнадцать—двадцать назад, нечто, разрушающее, пожалуй, самое главное в нем, Крымове («Мечтатель, идеалист!»),— надежду на братство, так всем необходимую, надежду, родившуюся после войны и незаметно и постепенно замененную вожделенной заботой о материальном благе.

«Цивилизация достигла невиданного расцвета во второй половине двадцатого века...», «Человек надел узду на природу...», «Мы живем в разумный век небывалого технического прогресса»—морщась, Крымов вспоминал выступления оппонентов на парижской дискуссии о его фильме и, вспоминая, представлял прошлогоднюю киноэкспедицию на край света, на Север, на Печору, где он снимал последние кадры «Необъявленной войны»...

Баркас, постукивая мотором, подходил к кольям, вбитым, расставленным поперек Печоры, где четыре лодки, покачиваясь на темной волне, выбирали сеть, вытаскивали ее, тяжелую, намокшую. И жирно, скользко блестели желтые прорезиненные робы рыбаков, их наклоненные над бортами капюшоны, их руки в резиновых перчатках. Они работали споро, оцепливая и суживая кольцо вокруг кого-то, пока еще невидимого в воде, невозмутимо спокойной, черной. И внезапно меж лодок мощно брызнуло белым огнем — над сетью скрестилось несколько сверканий молний. Этот неожиданный взрыв воды вздыбил фонтаны брызг в середине пространства, окруженного лодками, и, подхваченным сигналом, ударил второй всплеск засверкавших молний, и разом вся вода у кольев зашумела, закипела, дико взбиваемая серебристыми зигзагами огромных мечущихся рыбин, охваченных паникой.

Они били хвостами, рвались, запутывались в сетях, судорожно стремясь выскользнуть, выпрыгнуть на волю из плена, из сжимающегося неумолимого кольца, эти красавицы самки и сильные самцы, выкованные самой природой из чистейшего серебра, исполненные главного инстинкта жизни — продолжения рода и остановленные беспощадной силой на пути к воспроизведению жизни: сети перекрывали Печору от берега до берега. И Крымову тогда показалось, что он услышал вопли о помощи, рыдания, плач, стоны, мольбу о пощаде, что можно было, наверное, услышать возле газовых камер в немецких концлагерях, когда сгоняли к ним раздетых женщин и детей и ясно было зачем...

— Мы их в сетях током убиваем,— сказал Крымову бригадир, смуглый, тонкий в поясе, с

Продолжение. См. «Огонек» №№ 1—6.

синими туманными глазами женолюба.— Вон поглядите как. Два электрода — и готово. Так гуманнее. Раньше палками заканчивали это дело, но крови было много!

— Давай! — крикнул кто-то над ухом Крымова.

И через его голову полетели в воду, кишащую гибкими сильными телами семги, два металлических короба с проволокой. Крупнолицый парень, моторист баркаса, равнодушным взором поглядывал в пасмурное небо, включил мотор, и мгновенно все успокоилось, затихло в воде, плотно оцепленной лодками,— ни всплеска, ни шума, ни сверкания. Метровые рыбины неподвижно лежали, покачиваясь на сетях слитками серебра, круглыми чернеющими глазами глядя в низкое, с ползущими тучами печорское небо, куда глядел и неулыбающийся моторист, равнодушный, невинный, только что совершивший умерщвление.

И железистым запахом смерти дохнуло на Крымова от этой покойницкой тишины меж лодок, и с томящей спазмой потянуло на тошноту при мысли, что сегодня утром он ел мясо убитой электричеством семги, так же как в определенный срок нечто ожидающее с жадностью будет есть мясо всех вот этих убийц, кто был сейчас в лодках (и его тоже), ибо закон периодов для семги, червя и человека в природе один с разницей в ступенях биологической лестницы, при общей равности перед вечностью. Однако призванный им на помощь жалкий, но порой и спасительный цинизм не давал разумного объяснения человеческой неумеренности.

Эти красавицы семги шли из Атлантического океана мимо Кольского полуострова, прорываясь сквозь первое окружение сетей, поставленных норвежцами, шли в Печору, к ее истокам, в маленькие реки, где на перекатах самцы должны вырыть носом ямку в гальке и оплодотворить в ней молокой выметанную самкой икру, зарыть ямку и, уже обессиленными, едва шевелясь, вновь скатиться в море. Мальки же через три года должны были направиться вслед за ними, чтобы спустя семь-восемь лет вернуться, томимые любовью, и попасть в плен и на «электрический стул», изобретенный изощренным в способах убийств человеком, и не для избавления от голода, а для «высокого стола» городских ресторанов и банкетов.

«Напрасно я вспоминаю об этом. Нет ответа на запрограммированную неразумность, которая через двадцать лет умертвит все живое даже на Севере. Этот с женолюбивыми глазами бригадир сказал: «Через десяток лет тут ни одной рыбешки днем с огнем... Мы ее прогрессивным способом добываем. Как лес вроде — валим и валим».

Но больше всего поразила Крымова мертвенность, кладбищенский ветер над той землей, где было последнее прибежище несравненного Аввакума.

Он увидел это через час после Печоры.

...— Вниз посмотрите! Там Пустозерск!

— Где? Пока не вижу!

— Да внизу, внизу город Пустозерск!

Вертолет завис над землей, найдя нужную точку в высоте, но там, внизу, в солнечной пропасти, не было никакого города — там среди унылой неоглядности равнинного единообразия блистали, вспыхивали бессмысленной игрой воды зеркала озер, вокруг которых лежала неживая, бурая тундра, сжимающая душу безнадежностью дикого, какого-то вневременного пространства.

Повисев между солнцем и землей, сатанински взревев мотором, вертолет начал быстро снижаться, опускаться к земле, и в окно стало видно, как резко заколебались, легли окружьем под ветром винта пересохшие травы, круто пошли волны по ближнему озеру. Мотор смолк. И в первобытной, ломящей уши тишине все точно очнулись, развязали ремни, поднялись с мест и нерешительно, нетвердо сошли по железной лесенке, приставленной пилотами к борту вертолета, на кочковатую землю. Ослепленный оголенным солнцем, объятый хлынувшей со всех сторон тишиной, сладким воздухом беспредельного горизонта, Крымов огляделся, отыскивая признаки. человеческого жилья, еще не веря, что это место должно было быть городом Пустозерском.

— А где дома? Где тут жили? — спросил недоуменно оператор.— Вот грусть-то, а!..

Безлюдье, солнечный северный день и ветер над плоскими озерами, над всем этим первозданным, богом забытым в своей грубой пустоте и древности простором. А там, где некогда стояли крепкие дома с широкими поветями, колодцы, прочные магазины, амбары, школа, жестокое разрушение прошлось нещадно, не оставляя никаких признаков живого. И печально было видеть заросшие бугры старых могил, останки полуистлевших крестов, и странно выделялись два новых, чрезвычайно крепких креста, недавно покрашенных голубой краской. Кто похоронен был здесь, как довезли сюда, за сотни километров по северной тундре тела умерших? И какая цель была в этом захоронении, где вокруг ни жилья, ни человеческого голоса? Лишь солнце, озера, глушь, ветер...

Спотыкаясь о кости в траве, Крымов следом за оператором подошел к высокому серому камню на бугорке погоста, сказал:

— Снимите здесь все.

— Значит, он? Огнепальный? — спросил оператор.

— Да, он.

Это был памятник протопопу Аввакуму, неистовому правдолюбцу, сожженному в Пустозерске царским повелением в семнадцатом веке, умерщвленному огнем в страдании за неистовый бунт против всемогущего патриарха Никона.

Подле камня Аввакума на высушенной солнцем, давно сбитой кем-то скамейке, потрескавшейся на дожде и ветру, кругло белели два маленьких черепа, по-видимому, младенческих, и отмытые временем добела младенческие берцовые кости, зачем-то положенные здесь, вероятно, из разрушенных могил.

— Этакими мы тут кажемся жалкими,— сказал оператор и в нерешительности опустил киноаппарат, погладил шершавый камень.— Страдалец. А какая у него силуха была и убеждение!

— Нам всем не хватает убеждения,— сказал Крымов.— К сожалению.

— Мы просто не знаем, где истина,— усмехнулся оператор.— Променяли на модный галстук и модную юбчонку с иностранной наклейкой на заднице.

Они стояли перед камнем, читая на нем слова о страстотерпце, непоколебимом, не сломленном, властью не наделенном, но поднявшем себя во имя своей правды и веры против царя всея Руси Алексея Михайловича и властолюбивого патриарха Никона, о не покоренном страданием и смертью протопопе. И Крымов вообразил, как он, привязанный, горел вот здесь, в подожженной с четырех сторон палачами избе, проклиная изменников, предателей веры, уже вконец обессиленный, но неистощимый в духовной страсти, и, сняв шапку, глядя на камень, мысленно просил у него сил, одержимости в режиссерском деле своем, зная, что других сил в помощь, кроме собственных, не будет.

Северное солнце пригревало, ветер обдувал Крымову голову на этой запущенной северной земле, где вместо старого русского городка, деревянных улиц, людских голосов, развешанных на кольях сетей теперь было заброшенное среди озер кладбище, усыпанное костями в траве.

Летчики, двое серьезных парней, тоже постояли вместе с Крымовым в молчании, сняли голубые фуражки, потом подошел низенький рыжий радист, оживленно сказал, что отсюда недалеко нашел две могилы, не то людьми, не то зверями разрытые,— в одной черепа, в другой кости рук и ног, видать, четвертовали кого-то,— и пригласил посмотреть.

— Нет,— отказался Крымов.— Хватит и этого.

Летчики с оператором ушли, а он присел на скамейку возле камня Аввакума, вблизи которого лежали выбеленные солнцем детские черепа, стараясь понять, почему они были положены рядом с ним, подвижником веры.

Когда вертолет, гудя мощным мотором, стал вертикально подыматься от земли Пустозерска, по-прежнему сияло оловянное предполярное солнце, по-прежнему оловянно отсвечивали озера, пустые, мертвые, никому не нужные сейчас, охраняемые жалкой толпой крестов и разворошенных могил на покинутом погосте. По-прежнему онемело молчало безлюдье, а вертолет уносился в высоту от казненной и сожженной земли, на которой не было никого. И только на бугре серой свечой без огня торчал камень Аввакума, напоминая о яростной и святой убежденности страстотерпца, о ненасытной жестокости власти и о ничтожестве и равности всех перед единым небом и единым солнцем. И тогда Крымову подумалось, что если под этим небом уже нет такой энергии, нет духа, подобного несломленному протопопу Аввакуму, то цивилизация кончится тем, что над опустошенной землей, над круглой пустыней будет летать некто и видеть лишь черные пятна охладевшего человеческого жития.

Но что было общего между «электрическим стулом» на перекрытой сетями Печоре и Пустозерском? Почему он улетал с Севера подавленный, хотя тоненькая струйка сознания сопротивлялась в нем, пробивалась — весело и беззаботно — с надеждой на что-то нескончаемое, спасительно иное...

«Надежда? Что это — ложь или правда? На что мы надеемся? Нам не хватает веры в самих себя»,— думал Крымов, повернув голову к раскрытому над тахтой окну, откуда вливалась пахучая свежесть ночного сада. С края окна треугольно чернел силуэт чердака в чуть светлеющем над застывшими березами небе, где было покойно и мягко теплились звезды, а под низкой предрассветной луной серебристыми переливами круглились купы сада, оглушаемого с близкой реки блаженным стоном лягушек.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В десятом часу утра на студийной машине приехал директор картины Молочков, вместе с ним — режиссер Анатолий Петрович Стишов. Это был давний друг Крымова, человек с приятными, не вполне современными манерами, по-старомодному изысканно учтивый, неизменный кумир и любимец занятых в его картинах молодых актеров, зачарованных его благожелательной обходительностью, тонкими чертами лица патриция и его загадочной жизнью вдовца. Увидев Стишова, входившего в калитку, высокого, изящного, в облегавшем сухощавую фигуру светлом костюме, Крымов обрадованно кинулся навстречу, обнял его, пахнущего после педантичного бритья каким-то заморским одеколоном, заговорил с волнением:

— Какой же ты молодец, Толя, спасибо, что приехал! Мне тебя очень не хватало, друг мой!..

— Нечто напоминающее ничтожный комплимент презрительно пропускаю мимо ушей,— сказал Стишов невозмутимо и спросил совершенно другим, околдовывающим любезностью тоном: — А где твои милые женщины? Я хотел бы их увидеть. Хотя бы на миг. Такое в этом мире возможно?

— Ох, я тоже хотел бы увидеть ваших красавиц! — воскликнул Молочков, восторженно вращая глазами, и двумя руками потискал руку Крымова.— Ох, как я рад!..

— Ты безудержный льстец, Терентий, что известно,— сказал Крымов и взял под локоть Стишова.— Между тем одна очаровательная женщина занимается физическим трудом, перед тем как идти на пляж. Другая, к сожалению, уже в Москве, в своем проектном архитектурном институте.

Крымов ответил в тон Стишову, узнавая словесную манеру друга, в то же время откровенно озадаченный этим нежданным, без телефонного звонка, объединенным приездом (Стишов обычно приезжал один на своей машине), однако вопроса не задал, повел Анатолия Петровича по дорожке в конец сада, где в утренней тени сосен, теплеющих стволами за крышей гаража, двигалась около машины Таня, немного заспанная, похожая на деревенского мальчишку, в засученной по локти рубашке, в подвернутых старых брюках, и звонко била из шланга упругой, радугой пылящейся под солнцем струей в обтекающие ручьями стекла машины, что, по-видимому, приносило ей удовольствие: ее чуть-чуть припухшие от сна глаза задорно щурились.

— Дочь, к нам гости,— сказал Крымов, но тотчас Стишов опередил его и заговорил голосом неотразимой учтивости:

— Милая Таня, хотя разумом понимаю, что привозить из Москвы цветы — нонсенс, тем не

менее не мог не вспомнить подле цветочного магазина, что вы и Ольга Евгеньевна любите гвоздики!

— Как хорошо, что вы приехали, здравствуйте! Вы давно у нас не были, Анатолий Петрович! Спасибо!

И Таня, сияя зубами, радостной юностью здоровья, неизбывным озорством, бросила в траву шипящий шланг, откинула волосы с неумелой кокетливостью женщины-девочки, ревниво удивившей Крымова, двумя мокрыми пальцами взяла букетик гвоздик, протянутых с поклоном Стишовым.

— Таня, кто ваш эксплуататор? Отец? А вы знаете, что такое прибавочная стоимость?

— Я положительный герой нашей действительности. Потому вам и папе советую заниматься физзарядкой по утрам,— сказала Таня, нюхая гвоздики.— Вы, понятно, не занимаетесь, Анатолий Петрович?

— Ах, Танечка! — вскричал Молочков, всплескивая руками.— Анатолий Петрович — теннисист, вы видите, какая у него спортивная подтянутость!

— Клевета. Наговоры,— возразил Стишов.— Представьте, Таня, сердцу запрограммировано сделать за жизнь человеческую семьдесят миллионов ударов. С какой стати ему делать усилия сверх программы? Не лишняя ли нагрузка? Впрочем, лгу вам, это философия ленивцев. Кое-какие жесты делаю, разумеется, для поддержания формы и романтического настроения, ибо утром вставать и с оптимизмом смотреть на лучший из миров просто необходимо.

— Да, именно романтического настроения,— проговорил Крымов с нажимом и повел Стишова в глубину сада, к столу под яблонями, взглядывая на него в некотором раздумье.— Что касается меня, то по утрам настроение еще в младенческой поре... Садись, будем пить кофе. Ты почувствуешь на свежем воздухе, что это за наслаждение. Терентий, ты ведь знаешь, где разогреть кофейник. Будь добр, если нетрудно...

Крымов уловил в своем приказывающем тоне нотку раздражения, точно после вчерашнего разговора в студии директор картины мешал сейчас и ему и Стишову, но Молочков, выказывая сухонькой фигуркой счастливую готовность, вскричал с охотой: «Один секунд, айн момент!» — и артистическим жестом официанта из детективного кинофильма подхватил со стола кофейник, легконого бросился по дорожке к террасе, мотая полами чесучовой куртки.

Они сели за стол под ветвями яблони, сладко обдавшей запахом листвы, еще не совсем просохшей от росы. Здесь вкусно чувствовался на чистом воздухе аромат хлеба, аккуратно нарезанного в корзиночке Ольгой, пресный аромат сливочного масла, горкой белеющего в зеленой масленке, свежих ломтиков голландского сыра на тарелке — и эти запахи, и волнистая солнечная сеть на клеенке, и звук осы над блюдцем с джемом были восприняты Стишовым с одобрением человека, понимающего толк в приятностях жизни.

— Давненько я не чувствовал запах хлеба на свежем воздухе.

Он освобожденно отклонился в полотняном кресле, расстегнул пуговицу на пиджаке и, нагнув к лицу ветку, отяжеленную краснеющими яблоками, потянул носом.

— Чудо. Сказка. Джем, осы, масло, созревающие яблоки... Буду приезжать к тебе завтракать, превращусь в нахлебника. Подходя к столу, буду гудеть утробно, с поясными поклонами: «Доброго здравьица...» — И, отпустив ветку, закинул ногу на ногу, взглянул голубыми глазами на Крымова.— А если серьезно, то, несмотря на всю эту прелесть, Вячеслав, вид у тебя не очень... Не будешь возражать, если я задам тебе два вопроса?

— Согласен,— сказал Крымов.— Но сначала скажи, что тебя объединило с Молочковым в этом приезде? Хотел сначала удивиться, но... Впрочем, могу догадаться. Дирекция студии, по-видимому, предлагает тебе поставить мою картину, которая, как известно, остановлена.

— Боже упаси! — сделал протестующий жест Стишов, и запонка на рукаве его белейшей сорочки просверкала кошачьим зрачком.— На это я бы не согласился никогда. Ни при каких условиях. Даже если бы мне обещали по сто тысяч за съемочный час и гарем падишаха каждое воскресенье. Я, знаешь ли, как-то в себе еще не почувствовал штрейкбрехера.

— А я был бы рад твоей кандидатуре. Именно твоей. Но для верности они будут искать ремесленника. Средний фильм, как ты знаешь, не вызывает у начальства неудовольствия. Равнобедренный треугольник середины устраивает многих.

— Вячеслав, все пройдет и минует. Фигурки студийного начальства займут на шахматной доске свои места в ожидании, когда их передвинут, и свой фильм будешь снимать ты,— сказал Стишов, со вкусом закуривая, гася спичку гибким помахиванием кисти, со вкусом вдыхая дым, и Крымов улыбнулся с благодарностью к нему за воспитанное умение смягчать то, что едва поддавалось терпеливому уравновешиванию.— Теперь вопрос первый: почему не позвонил, прибыв из Парижа, легкомысленный ты человек?

— Хотелось прийти в себя. Самочувствие было там не вполне как надо.

— А что?

— Да как покороче тебе сказать...— Крымов помолчал, поглаживая небритую щеку.— Два месяца разбираюсь в самом себе. Очаровательная это штука — депрессия. Да и что другое может быть у современного русского интеллигента, когда ему кажется, что он виноват перед всем миром.

— Ищешь, стало быть, в этом спасение. Не ты первый. Все мы, Вячеслав, прожили жизнь не так, как хотели бы. Где она, долгоискомая, все примиряющая истина? Как только человек начал думать о себе и братьях своих, он ужаснулся несовершенству сущего и своих близких.

— Не удивляйся, Толя, сегодня ночью я думал о протопопе Аввакуме и о великом самообмане, которому мы все подвержены,— сказал Крымов, нахмуренно разминая сигарету.— Дело, вероятно, в том, Толя, что каждому из нас при жизни не хватает воли быть самим собою. Мы играем заданную роль, а не живем естественно. Знаешь, в чем вина мировой интеллигенции, и в том числе наша с тобой? Сон, инерция разума и покорность обстоятельствам. Все мы пленники обстоятельств...

— А по-моему, твоя гордыня наживает тебе врагов и вызывает недовольное изумление начальства.

— Если бы гордыня, Толя! Игрушки. Я думаю все время об Ирине Скворцовой. Милая, чистая, талантливая. И именно она не выдержала грязи и лжи. Вот это и есть покорность.

— А может быть, наоборот.— С задумчивым лицом Стишов положил руку на колено Крымова.— Но тоже не уверен. Трудно вообразить, чтобы такая удивительная девочка, получив роль, вдруг решилась... Скорее всего несчастный, трагический случай.

— Ее смерть для меня загадка, Толя.

Стишов помедлил, осторожно высвободил чайной ложечкой осу, увязшую в блюдце с клубничным джемом, сказал:

— Слышал ли ты, дружище, что есть на свете средство от бессонницы и для общего успокоения? Валиум. Испробовал на себе, поверь — сплю, как индюк, никаких вечных вопросов, просто в полнейшем недоумении. Отдыхаю, снятся молоденькие индюшки в каких-то коротких фартучках. Возникло игривое направление ума.

— Вот это и есть инерция разума, дорогой Толя.

— Сейчас ты меня будешь ругать еще крепче,— сказал Стишов сокрушенно.— Ругай коварную скотину. Прошу, ругай.

— Выругаю. Но за что?

— Слабым разумом я понимаю, что во всех глупостях мы должны винить самих себя. Позволь спросить: кому мстит неудачник? Самому себе. Неудачник насквозь нудила и себялюбец. Хочется хотя бы перед собственной персоной выглядеть поумнее. Неудачник этот — я. Ибо скот и тряпка. Не мог отказать. Наш турецкий балабан пригласил меня сегодня в восемь утра и в течение получаса багровел так, что от его ужасающей багровости можно было прикуривать: засучивал рукава, уговаривал, сопел, едва не рыдал...

— Да что такое?

— Чтобы быть мне поумней, сперва ответь на второй мой вопрос, а потом уж в шею, в шею, взашей меня, дурака... Скажи, Вячеслав, у тебя есть желание встретиться с Джоном Гричмаром? Имя это, конечно, тебе известно...

— Что значит «встретиться»? — раздраженно дернул плечами Крымов, не беря в толк, почему Стишов спрашивает его об этом и почему возникло имя американского режиссера и продюсера Джона Гричмара.— Я в Париже не раз встречался с ним, и, что называется, в кабаках было выпито много виски. Он в Москве, что ли?

— Он приехал вчера. По дороге из Парижа в Америку. И рвется к тебе, хочет встречи только с тобой. И никого другого не признает. Сперва ему говорили, что ты болен, то да се, а Гричмар заявил, что останется в Москве до тех пор, пока не увидит тебя. В общем, балабан в тихой панике, впал в полную багровость и, зная о наших с тобой отношениях, чуть не на коленях умолял уговорить тебя встретиться с Гричмаром. Кстати, вся студия говорит, что у тебя с балабаном был крупный диалог. О боже, нашла коса на камень! Представляю, как вы орали друг на друга и ломали в кабинете стулья.

— Был полукорректный разговор, но стульев никто не ломал. Хотя пора бы уже,— сказал Крымов.— Понимаешь, в чем мерзость? Некоторой студийной публике почему-то нравится, когда кто-нибудь из заметных попадает в сложное или неудобное положение. Откуда, скажи мне, злорадство? Может быть, это разряженная зависть, которая уже стала сильнее ненависти? Вон, вишь ты, такой известный человек, денег — куры не клюют, каждый день небось в ванне с шампанским купается, а че оказалось-то: развратник, пьяница подколодный, убийца, да к ногтю его, к ногтю, сволочь гордую, чтоб знал законы, как над людьми подыматься, чтоб знал, как жареный петух...

— Прискорбно,— сказал Стишов, следя, как меж ветвей яблонь в высокой синеве расходились, дымами таяли круглые облака.— К огорчению, испокон веку посредственность удобна, послушна и неопасна. Таланту же большей частью тайно завидуют, но его побаиваются и любить вынуждены. Ненавидя, любить... Так ты будешь встречаться, Вячеслав, или?.. Что мне прикажешь соврать балабану? — спросил Стишов и полулег в кресле, будто бы нежась, подставляя лицо воздуху, лучам солнца, сквозившим через листву; его серебряная седина, хорошо повязанный галстук, беспечная поза говорили о благополучии, о безмятежном равновесии духа, но голос звучал неестественно спокойно.— Я бы тебе посоветовал не обострять отношения с Балабановым. Он чиновник опасный и хитрая большая дубина, причем мстительная, что хуже всего. Я не хотел бы, чтобы ты нажил на студии врага номер один. Зачем тебе эти радости?

— А! Пусть идет он, идет и идет... все дальше, как в том известном анекдоте,— сказал рассеянно Крымов и, увидев на дорожке летящего от террасы на легких ногах Молочкова с кофейником, даже щелкнул пальцами, наигранно восхищенный: — Ну что за воспитанный у меня директор картины! Появляется тогда, когда необходимо. Поразительная интуиция.

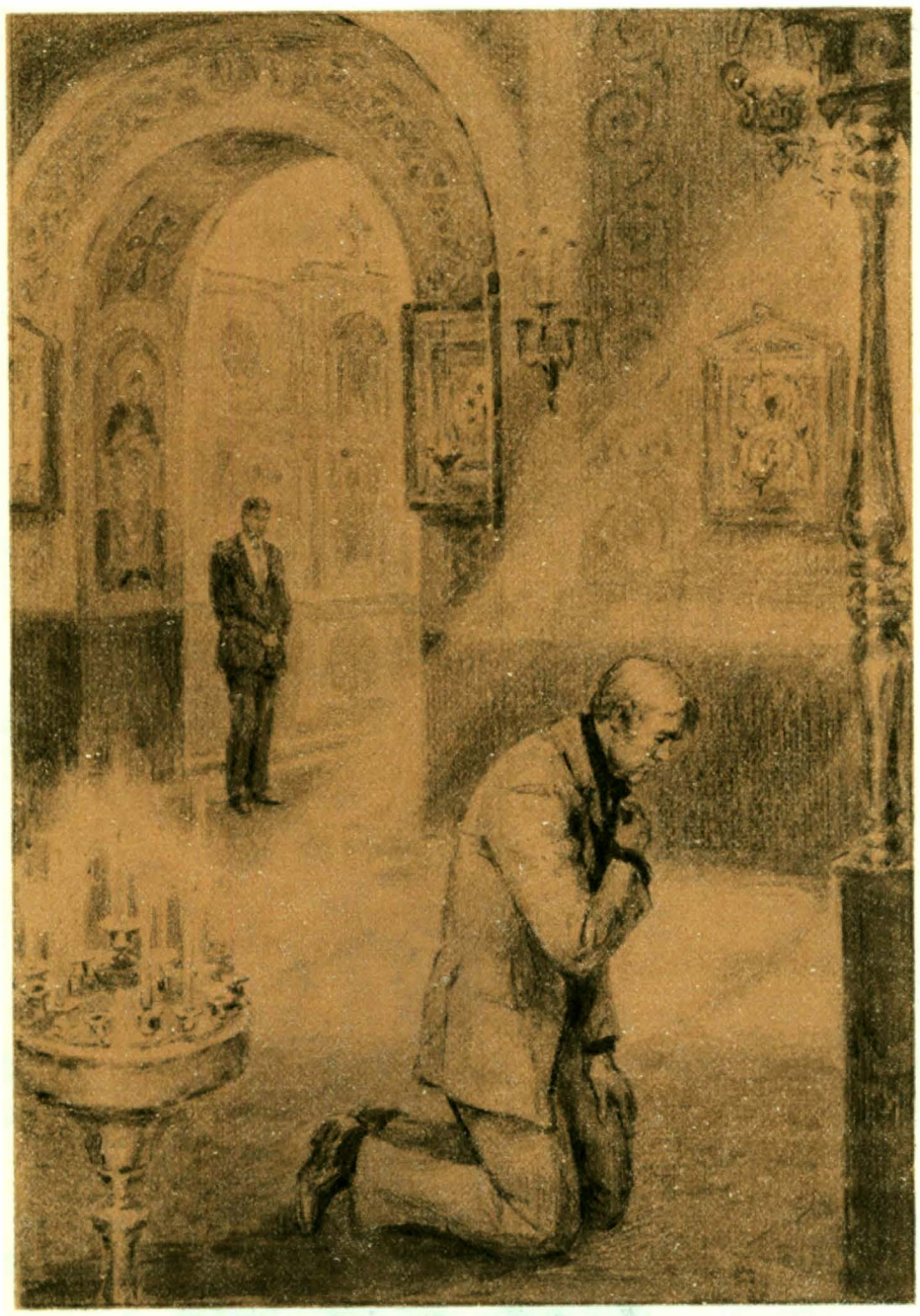
— Ты на него не серчай,— проговорил Стишов миролюбиво.— Он человек подчиненный во всех смыслах.

Весь излучая бодрость, энергию, услужливое расположение, Молочков подлетел к столу, без стука поставил кофейник на подставку, поводил носом над кофейником, заговорил с блаженством влюбленного:

— Ах, какой аромат идет, прямо голова кружится, умереть можно! Сейчас мы кофейку выпьем на садовом воздухе, как давеча говорил Вячеслав Андреевич, и все будет чудненько, чудненько! — И, разливая в чашки дымящийся кофе, преданно скосил возбужденные глаза на Крымова, слабым голосом проговорил с задышкой: — Не погубите, Вячеслав Андреевич, американец, Гричмар-то, только вас требует, а сам Балабанов к вам не осмелится... А на меня так надавил, чтоб вас я нашел, аж не знаю, как мне на студию возвращаться. На колени перед вами встану... Поговорите с капиталистом... Прогонит он меня, Балабанов, ежели не удастся с американцем. Миллионер все же он, картину с нами совместную хочет...

— Ну хватит, хватит, Терентий, изображать бедненького! — прервал Крымов.— Видеть тебя на коленях безмерное удовольствие. Подозреваю: ты скоро начнешь писать сентиментально-трагические сценарии из жизни директоров картин...

Продолжение следует.



Игра

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки Е. БОНДАРЕВОЙ, А. УСТИНОВИЧА

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Слушай, Джон, не будем говорить сейчас о мировом кинематографе. По-моему, в Париже мы с тобой перемыли косточки всем режиссерам мира, лучше скажи мне, как живет Америка. И говори по-русски, как умеешь, хоть практика для тебя будет. Что трудно, переведет Анатолий Петрович Стишов, мой друг. Согласен? Есть у тебя другое предложение?

— О так, хо-ро-шо, я могу немного говорить. С Америкой все в порядке. То есть... Ничего не в порядке, но-о все-таки в порядке. Нью-Йорк на месте. Вашингтон на месте. Я вижу, и Москва стоит громко... Нет, нет, как это называется? Крепко. Правильно я сказал, Вячеслав?

— Пожалуй, правильно.

Они сидели на открытом воздухе в ресторане на последнем этаже знаменитой московской гостиницы, где обдувало то прохладным, то теплым ветерком; солнце уже напекло материю зонтиков, купола их над столиками становились все прозрачней, все тоньше. Но здесь, ближе к небу, было несколько свежее, чем на улицах, отдаленно и сложно шумевших внизу. Там, в солнечном туманце, в знойном блеске отлакированными пунктирами, расходясь по кругу площади и сходясь, скользили, ползли машины мимо Манежа, мимо Александровского парка. Там, далеко внизу, раскаленной пылью осыпались искры троллейбусов, и, наверно, вонь выхлопных газов, жара на асфальте, где муравьиной густотой шевелились толпы людей, была невыносимой.

Джон Гричмар, пожилой человек крупного сложения, толстоватый в плечах, толстогрудый, как это бывает у тяжелоатлетов, ушедших из спорта (хотя спортом он никогда не занимался), чистоплотно обтирал носовым платком мясистое пылающее лицо, отпивал коньяк, курил одну сигарету за другой, жмурясь от дыма, от щекочущих виски капель пота, а маленькие умные глаза его, похожие на переспелые вишни, смотрели зорко и пытливо. Во всей его грузной фигуре не было особо заметно ни летней разморенности, ни вялости, ни лени, и это не удивляло Крымова, ибо после встреч в Париже он знал неутомимость Гричмара в питье, разговорах, сидении за стойкой в баре, знал его умение не спать ночь напролет, а утром быть свежим, выспавшимся, готовым к просмотру фильмов, к дискуссии, к крепким напиткам.

— Такая безбожная... Так я говорю?.. Фантастическая жара в Москве,— сказал Гричмар, обмахиваясь платком, и засмеялся, забелели одинаково ровные, подозрительно молодые зубы.— Такая духота бывает в Нью-Йорке... Ад с перевыполнением плана. Так у вас говорят? И днем, и ночью. Апокалипсис идет... К нам и к вам. Так есть? Мы его увидим, Вячеслав. Евангелие от Иоанна.

— Вполне вероятно,— ответил Крымов с неполным расположением к шутке и вместе с тем помня, что Гричмар лишен вспыльчивой обидчивости, этой неглубокой обороны самолюбия, с которой так часто приходилось встречаться в общении с американцами.— Я знаю, Джон, как ты умеешь жонглировать словами. Поэтому очень прошу тебя: злоостроумие — точнее. Тогда говори по-английски, где ты бог, а не по-русски, где ты кое-какие краски подзабыл. Иначе как я с тобой буду ругаться?

— О, мы начали ругаться в Париже, и где конец?

— Доругаемся здесь, в Москве, если повезет.

— По матушке?

— Можно и по матушке.

Тут Стишов, со сдержанным вниманием наблюдавший Гричмара, опустил глаза, явно осуждая грубоватость фраз обоих. Он молча рассматривал на столе свою изящную, выточенную самой породой белую тонкую кисть, затем потянулся к бокалу с боржомом, лишь непроницаемостью патрицианского лица выдавая непонятное Крымову напряжение. Молочков, только что вернувшись от метрдотеля, удовлетворенно посасывал через соломинку безалкогольный коктейль с растаявшим в нем мороженым («Я, извините, при исполнении обязанностей, и крепкое пить мне нельзя») и всем своим скромным видом распространял успокаивающую деликатность маленького, сознающего соответствующее место человека, которому не по чину без надобности вмешиваться в разговоры крупных людей. Он знал, что в данных условиях обязанности всякого уважающего себя администратора определенны: незамедлительно взбадривать подспудные ресторанные силы для необходимого порядка на столе ради высокого иностранного гостя, как издавна в России заведено.

«А на кой черт, собственно, со мной Молочков?— вскользь мелькнуло у Крымова.— Пожалуй, затем, чтобы сказать Балабанову, как прошла встреча».

— Терентий,— недовольно проговорил он, намеренный сказать, что не здесь, а в съемочной группе истосковались по его чуткому ру-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 1—7.

ководству, но тут же охладила мысль о зыбком положении, создавшемся на студии с картиной, и, увидев покорное лицо Молочкова, способное, казалось, к беспрекословному выполнению малейшего желания Крымова, ничего не сказал ему и полушутя обратился к Гричмару:— Не уходя от главного вопроса, Джон, давай восстановим правду современной истории, хотя я знаю, что история — это не биография правды... Или — ин вино веритас? Твое здоровье...

Гричмар поднял палец в знак понимания, отпил глоток коньяка, вытер пот на толстых щеках и, не закусывая, затянулся и пыхнул сигаретным дымом, смешанным с добродушным смешком.

— Коньяк — тоже истина. Но-о... Опять история? Сказать по-русски? Нет, будет плохо. Нет слов. Скажу по-английски. Мистер Стишов, переведите, пожалуйста. (Стишов вежливо кивнул.) История — это не биография правды, а биография лжи. Так? Нет? История Америки — это цепь вынужденных преступлений или просто преступлений — разницы нет. Как вся история всех. Я часто думаю, мой друг Вячеслав, что никто не ответит в современном мире, есть исторический отсчет дней или все обман. Неужели бог обманул человека, дав ему жизнь? По-русски это трудно сказать,— добавил Гричмар и изобразил языковую трудность кругообразным движением сигареты.— Я когда говорю по-русски, то могу врать смысл... А что ты скажешь об Америке?

— М-да! Ты быстро свернул на меня. Ну ладно. Не кажется ли тебе, Джон, что человек обманул бога, в которого ты веришь?— заговорил Крымов, подхваченный волной сопротивления и загораясь огоньком спора, который всегда приносил ему удовольствие азарта.— Не хочу обижать твои религиозные чувства, Джон, но неужто человека выдумал потерявший разум бог? Нравственности и духа он передал ему до невероятности мало, жадности и глупости — много. И в конце концов в наш век дьявол взял да и посмеялся над богом и гомо сапиенсом: вынул, а может, купил у него душу и подменил ее, понимаешь, Джон? Вместо духа вложил роскошнейший телевизор и противозачаточные таблетки, гарантирующие девицам и добрым молодцам свободу...

— Но-но-но, дальше говори.

— Говорю дальше. Зависть и ложь, ничтожные рабыни, стали владыками. И почти всем миром управляет безличный рок: банки, мафия, политики-марионетки. И знаешь, что страшновато? Американское невежество и безумие денег стали непобедимыми законодателями мод, и произошла деградация мирового вкуса. И кто победил? И что победило? Дешевый блеск и худосочные таланты на продажу. И возведены на пьедестал мишура, тупость и порнография. Черт знает что такое! Фильм о жрицах однополой любви смотрят миллионы людей, а интеллектуалы восторгаются смелостью вседозволенности. Виват содом и гоморра, господа Мазох и де Сад! Помнишь в Париже дансинг, где французские девочки в платьях моды Мэрилин Монро, а парни в майках с физиономией Элвина Пресли выделывали дьявольщину под тот же американский рок? Половина девиц мира носит негигиенические во всех смыслах джинсы, натирая задницу и нежные места. Мировая мода! Ей не до урологов и гинекологов.

— Не так грубо, Вячеслав,— сказал вполголоса Стишов.— Ты сердишься.

— А что, собственно, я должен делать — сюсюкать по протоколу? Меня интересует, что думает по этому поводу Джон, а не то, как ему приятно слушать меня.

— Ты говори. Я внимание. Я повесил уши. Так говорят?

— Да, Джон, после войны Америка навязала всему миру свой бешеный денежный ритм, а сейчас все чудеса американской цивилизации — бесцеремонную пошлость, рекламу, красивые этикетки и милую эстетику атомных бомб. Не думал ли ты, что Америка приучает мирового обывателя воспринимать войну как черту современной жизни? И знаешь почему? Ни хрена вы не прошли через страдания... Анатолий, переведи на английский: ни хрена...

— Нет, ноу!— вскричал Гричмар, вздымая крупные руки.— Мой отец был русский, купец, я понимаю! Говори!..

— Вторая мировая война была для Америки веселой опереттой, военным шоу. Только, правда, голых девиц не было. Тогда вы были скромнее. Пришли к концу боев под звуки «Типперери». Триста тысяч убитыми, а не двадцать миллионов. В автомобильных катастрофах погибло у вас больше, чем в войну. А главное, Джон, Америка сейчас несет всему миру разврат духа и великую ложь, которая называется сверхцивилизацией и истиной. Ты понимаешь, о чем я говорю? Или все-таки перевести на английский? Очень многие, Джон, живут под знаком крушения человека, которое несет эта ложная цивилизация, понимаешь? Наш век расшатался безнравственностью большинства ученых. Все бессмысленно, Джон, когда технический прогресс безнравствен. Он создает, чтобы разрушать... Он против человека и превращает человеческую душу в пустыню. Хочешь, скажу злее? Все эти американские моды в архитектуре, в музыке, в одежде... да во всем, даже в кока-коле,— это бытовой и интеллектуальный концлагерь, который распространяется по миру. Впрочем, многие хотят этого американского концлагеря. Мирового обывателя прельщает мишура, красивая упаковка, застежки, пуговицы, его легко обмануть... Вот видишь, Джон, как я сердито говорил о твоей стране. Но, черт возьми, мы с тобой не дипломаты, которые обязаны произносить «отнюдь», и мне интересно в конце концов, что ты об этом думаешь. Меня по крайней мере это мучит уже лет пятнадцать. Ну возражай, готов слушать...

И Крымов, уже расположенный внимательно слушать, с дружеской усмешкой облокотился на стол, подпер кулаком подбородок, но тотчас по-хозяйски спохватился, сказал: «Это почему мы все неприлично трезвы? Где русское гостеприимство?»— и наполнил рюмки, шутливо-хлебосольным жестом указал на стол, заставленный закусками, прозрачно покрытый светлой тенью от зонтика.

Но Гричмар — хорошо пьющий человек и поэтому, может быть, или по причине жары только раз без аппетита поковырял вилкой кусочек семги и отодвинул тарелку. Он в молчании прижмуривал колючие вишневые глазки в одутловатых веках, не выпуская из большой, покрытой волосом руки рюмку с коньяком, и Крымов усмехнулся, заметив, что Стишов, потирая висок, из-за ладони украдкой наблюдал Гричмара с чутким ожиданием — в его взгляде сквозила извиняющаяся неловкость за эту излишнюю резкость в разговоре, которую не стоило бы Крымову применять.

«Как мы боимся обидеть гостя, особенно иностранца. Да, милый Толя, нашей интеллигентности предела нет. Но интеллигентность ли это, или мы еще не выдавили из себя раба?..»— подумал Крымов, сердясь, и посмотрел на Молочкова («Еще один застенчивый!»), скромно помешивающего соломинкой в коктейле, скулы его порозовели и вроде бы виновато закруглялись улыбкой края узкого рта.

Гричмар отхлебнул из рюмки, со всхлипом затянулся сигаретой, медленно и хрипловато заговорил по-английски:

— Вся цивилизация — заговор против человека. Но никто из людей даже не вздрогнет, когда подумает, сколько сотен тысяч рабов должно было погибнуть в пустыне, для того чтобы построены были проклятые пирамиды. Для чего они? Могилы фараонов? Безумие. Всегда очень дешево стоил человек. Как это по-русски называется?— Гричмар в сосредоточенности пошевелил густыми бровями, вспоминая.— Малая цена... Мало денег... так?— И неторопливо и твердо продолжал по-английски:— Кто-то из власть имущих хочет, чтобы место всех народов было в операционном зале. Маленькая операция на мозге или инъекция. В первую очередь интеллектуалам. Кто-то хочет превратить человечество в дураков и роботов. Человек в современном мире — ничто, одно гордое звучание. А гордое звучание нужно сильным мира для одурачивания миллионов простаков. Поэтому ложь господствует в мире как никогда. Поэтому политика — вранье о свободе. Мода — вранье о красоте. Искусство — на две трети развлекательное дерьмо, бездумное умствование и секс. Правда — слуга сильных. Значит, она ложь, которая раскрывает перед собой все двери без стука и беспрерывно говорит о свободе, чего жаждут посредственности. Я понятно говорю, мистер... мистер Стишов?

— Абсолютно. Я перевел вас почти через кальку, мистер Гричмар,— ответил Стишов с воспитанным наклоном хорошо причесанной на пробор седой головы и, явно заколебавшись, корректно прибавил: — Однако мне... лично мне не очень понятна ваша фраза о свободе, которую жаждут посредственности. Что это значит?

Гричмар внушительно постучал кулаком себе в лоб.

— Умный человек всегда свободен. Даже за решеткой. Мысль, мысль... Но свобода делает равными посредственность и мудреца, и возникает зависть и несправедливость во взаимоотношениях. Зависть производит ненависть, поэтому свобода ложна. Это ветхозаветная аксиома, мистер Стишов. Для меня. Я понял это лет тридцать назад.

— Вполне возможно,— вмешался Крымов.— Но свобода необходима для главного — для естественного состояния человека, чтобы найти дорогу друг к другу. Птица без воздуха летать не может.

— О Вячеслав, сейчас мы начнем сильно ругаться. Ты заговорил, как поэт. Никакая свобода не поможет разрушить стены одиночества. И совсем импотентна. Не может остановить ползущую по миру чуму цивилизации. Есть Советский Союз и Соединенные Штаты. Древней Греции и Перикла нет. Нет и Иисуса Христа.

— Не думал ли ты, Джон, что Иисус Христос, может быть, исчерпал себя за две тысячи лет? Может быть, кто-то ждет нового архангела с огненным мечом? И жаждет библейского возмездия человечеству за все грехи? Кстати, насчет этого возмездия я слышал в Америке в шестьдесят шестом году в университете Беркли от одного профессора философии.

— Блага нет в Штатах,— сказал сумрачно Гричмар.— Блага нет и в России, потому что нет пока искупления. История России — трагедия. Ничтожество уничтожало интеллект и талант. Разрушены храмы. Отец убивал сына, сын отца, жена предавала мужа в руки его врагов, сестра ненавидела сестру, брат брата. Уничтожен... почти уничтожен дух русского народа. Нет религии. Я православный, Вячеслав, ты знаешь. Мой отец — купец первой гильдии Гричмаров, выходец из России, он был чайным королем в Петербурге. Капиталист, а не пролетариат без средств производства. Он уехал из России в революцию. Моя мать — ирландка. Я считаю себя по происхождению американцем, по национальности русским. Парадокс? Нет! Русский дух царствовал в нашей семье до смерти отца. Я плохой хранитель традиции, но, кроме Иисуса, в моем детстве были еще два бога — Гоголь и Достоевский. Я люблю старую Россию. Я ищу в ней русскую цивилизацию, а чаще всего встречаю европейское. Но не очень хорошее, не первый сорт. Вы во многом подражаете Америке в погоне за богатством. У вас скоро появится лозунг «Успех любой ценой». Но это попытка повторить чужой успех. Это летать на чужих крыльях, которые не очень надежны. У вас все меньше становится русского, Вячеслав.

— Что ты имеешь в виду?

— Англосаксы исповедуют кальвинистскую философию земной удачи, а Россия была сильна духовной жизнью...

— И ее нет, ты считаешь?

— Пока еще есть ты,— Гричмар сочно захохотал, поднял рюмку, пригубил ее и вновь заговорил:— И немного таких, как ты, которым больно за все. Но дух уже подменяется практицизмом. Как бы ни был невежествен человек, он хорошо чувствует, когда жмут ботинки. Ваши современные ботинки, которые вы предлагаете, жмут многим, потому что у них смешанный размер русско-европейско-американский. И практицизм советского производства...

— А я, Джон, думаю наоборот: всему свету жмут ботинки американского пошива. Прекрас-

ная отделка, но внутри жесткая кожа, носить невозможно. Стопроцентный американец, как я понял в Штатах, считает себя поборником и мучеником демократии: готов всех спасать от коммунизма. Но мученики легко становятся палачами. Прости за резкость...

— Вьетнам? Проклятый Вьетнам!..

— Не только. Ну ладно, я не об этом хотел... Нет всеобъемлющей и вечной правды. Ум и знания относительны. Придет срок — и мы от многого откажемся, многое переделаем. Если, конечно, жизнь на земле сохранится... Но я не хочу ничего оправдывать. Оправдать можно все. Все свои ошибки. И найти тысячи доказательств ради оправданий. Это уж я знаю.

— Я сомневаюсь, Вячеслав, что сохранится жизнь. Но будет ли возрождение по Иисусу?

— Еще можно остановиться, Джон. Еще... Пора всем нам обожествлять природу, которую мы извратили, оболгали и изнасиловали во имя сиюминутных выгод. А спасать природу — значит самих себя. И свою совесть.

— Как? Остановить технологический век? Остановиться Америке? Остановиться Советскому Союзу? Японии? Западным немцам? Невозможно, Вячеслав. Ты фантазируешь! Экспресс набрал скорость, в вагонах веселятся, пьют коньяк, как мы с тобой, а машинист сошел с ума, тормозов нет, мы с тобой пьем и знаем: впереди — гибель, пропасть...

— Не хотел бы гибели этой прекрасной земли. Впрочем, ты злостроумный человек, Джон. Твое злостроумие — евангелие ненависти к грешной цивилизации. Но мы с тобой не имеем права ненавидеть даже священной ненавистью. Знаешь ли ты точно, имеет ли право художник выносить неоспоримые оценки... судить жизнь? Наверное, мы должны познавать и жалеть. Все люди чего-то ждут и вместе с тем больны неспособностью ждать. Мы должны искать в мире душу, которую человек потерял в нетерпении жить легкой жизнью. Именно потерял душу. Но легкой жизни не бывает, есть лишь легкая смерть...

— Вячеслав, давай отдохнем, я изнемог переводить. Разреши... Да и ты устал...

«Да, я устал. О чем мы говорим? Что даст нам это бесполезное умствование? Никому не нужное умствование двух режиссеров, соединенных неприятием безумия цивилизации и ее обмана,— решил Крымов, мимолетно заметив встревоженные голубые глаза Стишова, останавливающе нацеленные ему в лицо.— Опять смысл жизни? Смешно! Большинство живет, не решая этих вопросов. Нет единого смысла жизни: ведь люди неодинаковы по уму и чувству. Единомыслие невозможно. Но есть психоз единой глупости и жестокости. Так что же за страшное существо человек, если он мучает себе подобного? Я сказал — жалость? Познавать и жалеть? Не судить жизнь? А это уж похоже на предательство, уважаемый Вячеслав Андреевич. Я противоречу самому себе? Где истина, в середине? Нет. Никогда. Кажется, это Стишов сказал однажды на художественном совете: «Вы хотите единомыслия режиссеров? Пожалуйста. Одно в кулуарах, совсем другое на трибуне. Мы слишком воспитанны для того, чтобы говорить в глаза друг другу правду». Но почему Стишов, дорогой мой, воспитанный человек, так смотрит на меня и почему мне так нехорошо? Милый Анатолий, ты боишься моей искренности, что ли, перед иностранцем? А что, собственно, я сказал особенного? Да, мы слишком осторожны... до отвращения. Но почему мне так не по себе?..»

На открытой террасе ресторана все было уже догоряча накалено, все дышало неподвижной июльской ленью расплавленного дня, даже под теневым зонтиком стоял жар. И неприятной сухостью пахла материя, пропеченная над головой солнцем. Крымову было душно, хотя он снял пиджак, расстегнул воротник, отпустил галстук, совершенно не понимая, для чего надел его сегодня. Он помнил по приемам в Париже, что Гричмар не любил светскую чопорность и с богемной небрежностью мировой знаменитости приходил на коктейли в вольных мягких рубашках, не застегнутых на массивной шее.

А Гричмар слушал его внимательно, широкие брови его лохмато шевелились с выражением согласия или несогласия, его коричневые глазки поминутно прижмуривались, загораясь разъедающей насмешкой недоброго ума, порой, несколько раскашиваясь, светились почти нежностью, когда мысль Крымова угадывала его мысль. Но чем резче обострялся их разговор, чем дальше они уходили от простоты к неразрешимому, тем горше становилось Крымову, и печальная досада сдавливала ему горло. Он боялся твердо спросить себя: что же это случилось с ним, что стало повторяться после того душевного недомогания в парижском отеле? Боялся узнать о своем состоянии больше, чем надо, ибо в последние годы ничем серьезно не болел. И снова возникало ознобное волнение безвыходности («Нервы, нервишки зашалили и сдали!») при воспоминании о том близко знакомом человеке в конце вестибюля отеля, который один среди всех этих празднично одетых, тщательно выбритых, беззаботно курящих и разговаривающих перед просмотром фильмов знаменитостей, только он помнил и ощущал виском холодок слипшихся волос, пахнущих еще речной тиной, с уже примешанным миндальным запахом смерти, видел полусомкнутые мокрые ресницы, чуть пропускавшие остывший блеск глаз, хотел вытереть и не вытирал потекшую от ресниц краску на ее щеке, как следы черных слез, поразивших его какой-то детской беспомощностью...

Он старался не вспоминать подробности того дня, но недавнее вонзалось в него повторяющейся болью в сердце, виноватым бессилием и жалостью, и внезапное удушье не умеющих вылиться слез заслоняло дыхание. И тогда громкие слова, фильмы, разговоры о красоте казались бессмысленной, пустопорожней болтовней, не имеющей значения, и казалось, что к чистой и талантливой этой девочке мир не был справедлив. «Послушайте, Вячеслав Андреевич, какие прекрасные слова: „Дело жизни, назначение ее — радость“»,— звучал ее протяжный голос, читающий эту фразу в один из вечеров, когда он пришел на Ордынку. И почему-то в такие минуты Крымов был уверен, что несчастье не было случайным, однако он не мог поверить, что она ушла из «назначения радости» своей волей.

Сказав Гричмару фразу «Легкой жизни не бывает, есть лишь легкая смерть», Крымов поймал на себе беспокойный, предупреждающий взгляд Стишова, и от молчаливой озабоченности друга, аристократично холодноватого, вежливого со всеми, никогда ни с кем не конфликтовавшего, почувствовал беспричинное раздражение против него.

«Голубоглазый мой ангел-хранитель, что ты смотришь на меня с такой грустной тревогой?»— хотел иронически сказать Крымов, догадываясь, что тревожило Анатолия Петровича, но он так не по-мужски вдруг испугался боли в сердце и поднявшихся и остановившихся в горле слез (чего никогда не бывало прежде), что с трудом сказал наконец фальшивым голосом:

— Ну все, международная дискуссия закончена, умные слова сказаны. Все истины-голубушки лежат у нас на ладонях, поэтому заканчиваем коньяк в данном заведении, берем крепкий кофе на хэппи энд и начинаем думать, как жить дальше в этой роскошной цивилизации, что предпринять...

Последняя его фраза прозвучала с невнятной хрипотцой, голос прервался, и он, поперхнувшись, весело откашлялся, потер грудь и поднял рюмку в сторону Гричмара, договорил чрезмерно громко:

— Ну за тебя, Джон. Кстати, не сходить ли тебе сегодня в Большой? Как ты настроен?

Гричмар шумно засопел, выцеживая дым ноздрями крупного носа, с выпытывающей, мнилось, подозрительностью всматривался в глаза Крымова, в его руку, потирающую грудь, и после молчания спросил по-русски:

— Ты немножко плохо чувствуешь?.. Ты устал? Тебе сердце больно? Я помню, в Париже ты глотал таблетку...

— Жизнь — это борьба с неотвратимостью смерти. Библия говорит, что человек рождается для страданий. Но я себя чувствую прекрасно. А как ты насчет Большого театра?

— Зачем ты так шутишь?— проговорил с грустным упреком Стишов, умоляя Крымова взглядом, и хрустнул пальцами.— Ты не так-то уж много пил, но вид у тебя действительно усталый и... совсем уж не вполне...

— Ты прости меня великодушно, Анатолий, я пошутил не очень удачно, я еще в цепях пышных и высоких слов,— сказал, оживляясь, Крымов, сейчас же подмигнул, допил коньяк и поторопил Гричмара дружески бесцеремонно: — Ну заявляй, предлагай программу, сегодня я твой гид.

Закряхтев, Гричмар значительно помахал большим, как сарделька, пальцем, требуя внимания, выпил рюмку до дна, перевернул ее вверх дном, потряс над столом, доказывая, что в ней не осталось ни капли, старательно выговорил:

— Рюм-мочка р-родная... Благодар-ствуй за гост... гостеприимство. Так по-русски?

— Совершенно точно, Джон. Великолепное произношение. Мне бы так по-английски.

И, беззвучно посмеявшись, Гричмар снова помахал пальцем — это, по-видимому, была привычка его — и доверительно проговорил с недоумением человека, который не желал бы в этом кругу стесняться:

— У вас говорят: иди в Большой театр. В Париже говорят: иди в Фоли-Бержер, Лидо. Там, правда, хорошо выпить можно. Я не люблю оперный театр. Нельзя петь и танцевать мысли. Я сижу, смотрю, и меня берет глупый смех, когда они страдают. Но иностранцу неудобно хохотать. А ты любишь, Вячеслав?

— Не так чтоб уж очень и не очень чтоб уж так. Моя забота — обеспечить тебя билетом, но в театр я с тобой не пошел бы, и ты бы меня понял. Мне плохо, когда шатаются декорации и отрывается ус у дона Базилио в патетический момент.

«К чему, зачем я говорю это? Да, да, сейчас все пройдет и будет лучше. Какая тоска!.. Еще выпить коньяку? Вспомнить какой-нибудь анекдот? Странное дело — у меня нет памяти на анекдоты. Да, любопытный мужик этот Гричмар, Гричмар... Но почему он так серьезно и так упорно смотрит на меня?»

— Вячеслав, я приехал не в театр и не туристом. У меня к тебе большой дело. Мне есть необходимость с тобой решить один идея. Я имею цель... Хочу тебя пригласить... по-русски — пригласить, да?.. Пригласить сделать режиссуру... Нет, позвать на постановку фильма. У меня есть хороший сценарий, нужен твоя голова.

— Вот так да, Джон!— воскликнул Крымов с преувеличенным изумлением.— Ты приглашаешь меня в Голливуд? Почему об этом не сказал мне в Париже? Там легче было решать в беспечном настроении.

— Я продюсер и не могу выбросить несколько миллионов в унитаз. Я прилетел в Москву официально.

«Ах, какие чудеса происходят на свете! Этого я, конечно, не ожидал. Джон увидел мою «Необъявленную войну» и, подумав, поставил на меня, как говорят американцы».

— Вячеслав Андреевич, талантище вы,— вкрадчиво проговорил тихонько жующий бутерброд Молочков, и лиловые пятна проступили у него на скулах.— Как интересно поставить фильм в Америке. Тут же мировая известность...

— К хренам с твоей мировой известностью!— грубо сказал Крымов и неожиданно развеселился.— Я люблю сказки, Джон, но не верю в них.

— В Голливуде не только дерьмо и сказки. Четыре фильма я снимал там. Я не последний режиссер...

— Я и хотел сказать, что у вас переизбыточно своих режиссеров, которые сожрут меня, конкурента, с потрохами, стоит мне появиться там — со своим уставом в чужом монастыре.

— Для этой картины нужен русский Крымов, ты, ты, Крымов,— настойчиво повторил Гричмар.— Мне есть необходимость с тобой поговорить по-русски. Тет-а-тет. Поедем из этот очень вкусный ресторан. Погуляем ножками. Ножками, да? Поговорим о сценарии. Мистер Стишов уже не будет трудиться. Я буду трудиться сам. Бла-го-дарю покорно. Так есть?

— Взаимно,— ответил Стишов и поблагодарил улыбкой.

— Ну что ж, встали,— сказал Крымов и подал деньги Молочкову, неизвестно зачем деликатно и ловко прикрывшему их ладонью на столе, как неприличную карту.— Расплатись, пожалуйста, Терентий. Ты что, кузнечиков ловишь?— Он усмехнулся.— Машину оставь нам. Анатолия Петровича довези домой на такси.

Они поднялись и пошли к лифту мимо зон-

тиков совершенно пустого ресторана, по раскаленным солнечным полосам меж столиков, кое-где накрытых белоснежными скатертями, слепящих серебром приборов. А снизу доносился сложный перекатывающийся шум улиц, и Крымову сейчас было неприятно видеть замутненную испарениями большого города синеву над крышами, строгий черный костюм метрдотеля и цепочку молодых, аккуратно причесанных официантов у бара, почтительно провожающих глазами солидного, похожего на глыбу иностранца.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Солнце еще стояло высоко, но уже склонялось к закату, когда они после длительной поездки по Москве, легкого коктейля в Доме кино и мороженого на улице Горького вылезли из машины на Ленинских горах и подошли к смотровой площадке, куда его просил привезти Гричмар.

Здесь крикливой группой стояли и сидели на гранитном парапете, бросив под ноги дорожные сумки, какие-то иностранные туристы в шортах. Рядом с ними так же шумно фотографировались молодожены в беспечном окружении высыпавших из машин друзей, жених и невеста смеялись и разом застывали с вечной и тщеславной надеждой сохранить на мертвом глянце исчезающую минуту. Невеста поспешно оправляла складки на полной талии, глядя на кончики туфелек, едва видных из-под белого платья, вскидывала по команде фотографа простенькое, испорченное ненужным смехом лицо, просовывала руку под локоть жениха, смуглого парня с щегольскими усиками. И Крымов подумал, как далеки эти молодожены, ждущие чуда собственной красоты на фотографии, и эти туристы, по купленной программе ждущие в чужой стране визуальных удовольствий,—как далеки они от всего того, о чем спорил он с Гричмаром, что не имело ни малейшего значения для других, для большинства бесхитростно работающих в поте лица людей, живущих просто, без всяких там лишних мыслей и мук, живущих, может быть, счастливо, подобно здоровому растению под небом.

«В самом деле, можно спокойно жить, не задавая никаких вопросов, заботясь только о хлебе насущном. Так, как живут сотни миллионов людей»,— стал внушать себе Крымов и, досадуя на себя, сказал Гричмару, не без любопытства скашивающему глаза на молодоженов:

— Когда я вернулся из Америки, мне без конца задавали вопрос: что больше всего понравилось там? Я мычал, соображая, что же действительно. А дошлые ребята-журналисты, знающие, что надо, сами подсказывали: народ, как отвечают вернувшиеся из поездок поголовно все. Нет, Джон, народа американского я не почувствовал, а ведь пытался говорить с каждым встречным, кроме одной его черты — наивности...

Гричмар, косолапо загребая по асфальту ногами, подошел к парапету, тяжело сопя, упал локтями на гранит, затем потащил из кармана пиджака сигареты, пробормотал сипло:

— А вот ты знаешь русских... русский народ?

— Немного. Потому что воевал. Но это были сороковые годы. Никто не знает до конца свой народ. Не знал ни Сократ, ни Толстой, как нельзя знать Вселенную. Только вот наивность русским не свойственна. Доверчивость — да. Но не наивность. Я говорю о тебе, Джон, и о сценарии, который ты мне рассказал. Я не смогу снять такой фильм.

— Почему, скажи?

— Ты выбрал не того режиссера. Хочешь, чтобы я снял фильм об апокалипсисе? Я не смогу.

Гричмар пожевывал сигарету, взгляд его мрачно и жадно скользил по размытым силуэтам лежащей внизу в предзакатном тумане Москвы, по храмовидным шпилям дальних высотных зданий, несущих нечто запоздалое, готическое, по серой булаве Останкинской башни за горизонтом крыш, по желтым и бледным пятнам небоскребов, однообразных прямоугольников, издали жестко блещущих против солнца стеклами, по золотым маковкам Новодевичьего монастыря с игрушечными башенками по ту сторону пологого изгиба Москвы-реки, уже прохладно потемневшей перед приближающимся вечером, где вблизи кольца стадиона белым жучком, распуская по воде усы, полз к железной арке моста речной трамвай. От скопища крыш, от доносившегося дрожащего гудения метромоста, пропускающего поезда, мутного туманца, поднявшегося над перегретым за день асфальтом, и сгущенности выхлопных газов почудилось Крымову: снизу наплывало от этого огромного и живого тела теплым маслянистым запахом машинного пота, усталостью и теснотой перенаселенного многомиллионного города, который он любил с детства, а в последние годы почти не узнавал.

— Мой отец говорил — сорок сороков,— пробормотал Гричмар и сумрачно подвигал кустистыми бровями.— Где сорок сороков? Небоскребы... Двадцатиэтажные зажигалки. Как в Филадельфии. Зачем разрушили русские храмы? Нельзя смеяться, где есть тайна... Не делай так, Вячеслав,— с неудовольствием заговорил он, подбирая слова и прихлопывая кулаком по граниту.— Надо тебе делать фильм. На весь мир сказать глупым самоубийцам, самонадеянным ослам. Сюжет — гибель планеты. Жалкие люди устроили ядерную войну. Вся земля горит. Огонь, везде огонь, потом вся земля — обугленный камень. Осталась живой одна черепаха. Одна, бедная... одна, одна ползет к берегу океана. Видит гигантское красное солнце... впереди, в дыму. Солнце, как разбухший клоп. А она ползет. Подползает к океану, а он... высох, пустой. Мертвый... Так по-русски? Гигантская яма, кости рыб. Черепаха смотрит, смотрит на мертвый океан, на солнце. И умирает на краю ямы. Глаз застывает, и солнце тухнет.

— Невесело,— сказал задумчиво Крымов, ясно вообразив этот конец фильма: траурно угольный берег выпаренного ядерным огнем океана, уже подернутый пленкой стеклянный глаз неподвижной черепахи с постепенно тускнеющей красной точкой солнца в нем. Страшновато, страшновато. Какая безысходность во всем этом!

— Фильм должен иметь такое название: «Последняя черепаха».— Гричмар закряхтел, обтер носовым платком насупленные брови, влажные глаза, затем страдальчески дернувшиеся щеки, трубно высморкался.— Это апокалипсис... Страшный суд без Иисуса. Фильм должен быть... как крик перед смертью. Наказание лжи, пороков... легкомысленного человечества. Твой фильм «Необъявленная война» был очень беспокойный. Это страшная проблема экологии. «Черепаха» — это должен быть ужас ада. У всех должно быть перевернуто сердце... Шок... Смерть, гибель цивилизации, бедной Земли... и всей грязной дерьмовой политики.

Гричмар с задержками, прерывающимся голосом выговаривал найденные слова и продолжал неторопливо вытирать лицо платком, словно этим жестом придавая непоколебимую будничность разговору. Но Крымов видел его неуклюжее возбуждение, влагу на припухлых веках и явственно вспомнил его новый фильм, показанный на парижском фестивале. Картина потрясла Крымова трагической безысходностью человеческой личности в современном мироустройстве, до предела осознанной героем фильма, после автомобильной катастрофы попавшим по ошибке в сумасшедший дом, где в комфортабельных палатах и операционных правят власть имущие, лживо ласковые хирурги, делая из больных людей смертельно больных, из незаурядных талантов — безвольных ничтожеств, из ничтожеств — властителей. Фильм кончался тем, что героя положили на операционный стол под шепот безумного хирурга, жреца лжи: «Кто простит, кто спасет, кто излечит цивилизацию? Мы...»

— Благодарю за предложение, Джон,— сказал Крымов, содрогаясь от представленных пепелищ разрушенного мира, наказывающих живое человечество.— Ты затеял жуткий фильм. Без надежды. Я все-таки люблю Землю, поэтому не смогу быть архангелом с огненным мечом.

— Страшно, Вячеслав... страшно. Зло остается безнаказанным...— глухо и сожалеюще проговорил Гричмар и в поисках нужных слов сморщил лоб.— А ты очень уверен, что можно достигнуть... нет, достичь... Так?.. Да? Достичь идеала человеческого братства? Нету. Даже хуже.

— Да, хуже,— подтвердил Крымов.— Но я уверен вот в чем: сейчас нужен герой, который задавал бы людям вечные вопросы по каждому поводу. Многие его сначала будут принимать за идиота, но это не беда. Дон Кихот бессмертен. Развелось слишком много тупых, хитрых, самонадеянных разрушителей, чиновных людишек — от управдома до министра, которые исповедуют один принцип: живи сладко сегодня, а после нас хоть потоп. Леса беспощадно вырубают, реки превращают в сточные канавы, небо — в мусорную свалку. Убийцы Земли и всего сущего. Заметил ли ты, Джон, что у всех мировых обывателей — у ваших и у наших — одинаковое выражение в глазах? Равнодушие ко всему на свете, кроме удобства для своего зада. Ради этого он продаст и предаст не только родную землю и свою нацию, но и весь мир.

— Донкихот... Ты да... Ты мечтаешь, что можно изменить человеческую природу.

— Огорчу тебя, я не донкихот. Я знаю вопросы, которые мучают меня. Но не знаю точных ответов, Джон. Понимаешь? Вот от этого и тоска.

— Что есть тоска?

— Тоска? Это боль, которая не имеет определенного места. Понимаешь?

— Я знаю... Это очень плохо.

С полчаса они постояли на смотровой площадке немного поодаль от туристов, то и дело прибывавших и отбывавших на пропахших асфальтовой пылью автобусах, потом спустились по гранитной лестнице к Троицкой церкви, пошли в сторону новых липовых аллей. И тут неподалеку от церкви, за оградой старого, закрытого погоста Крымов не без удивления увидел среди заросших травой памятников бородатого мужчину в рубахе навыпуск, босого, который шагал по тропке, изрезанной солнечными просеками, пьяно пошатываясь в затяжной зевоте, а следом за ним, тоже судорожно зевая, с подушкой под мышкой рыхло переваливалась толстоногая женщина в ситцевом платке и мелко, торопливо крестила рот. Они шли к дому в конце этого давно не действующего кладбища, вероятно (как подумалось Крымову), церковный сторож с женой, отдыхавшие где-то здесь в тени под деревьями. И сразу ощутив холодок подушки и пресное тепло травы, Крымов невольно позавидовал чужому безобидному удовольствию, сказал:

— Ты знаешь, Джон, что за наслаждение поваляться и поспать в траве? Не испытывал ни разу?

— Русь, да? Это Русь...— проговорил Гричмар и приостановился у ограды, впиваясь острыми вишневыми глазками в бородатого, изнывающего в судорогах зевоты мужчину.— Мой отец мне рассказывал... Он имел очень немаленькое имение... на Урале,— заговорил он замедленно.— Под городом Екатеринбург... у вас Свердловск, да? Там было имение. Гигантский сад. Он... мой отец и дед... любили там спать на сене. Он говорил, что на Руси спали под глазами бога. Он говорил... когда ночная звезда заглядывает в окно... в дом, то моя душа становится богаче.— Гричмар пальцем постучал себя в грудь.— Он идеально... много... знал Россию...

— Прости, Джон,— сказал Крымов с несдержанной решительностью.— Русь и Россию идеально не знал и не знает никто. Даже Лев Толстой. Руси уже нет. А Россия — самая неожиданная страна. И такой второй нет в природе. Если уж кто спасет заблудшую цивилизацию, так это опять же Россия. Как во вторую мировую войну. Как? Не знаю. И через сколько лет — не знаю. И какими жертвами — не знаю. Но, может быть, в ней запрограммирована совесть всего мира. Может быть... Америке этого не дано. Там разврат духа уже произошел. И заключено полное соглашение с дьяволом...

Он замолчал, затем раздосадованно сказал: «А!»— и взял Гричмара под руку, приглашая этим «а!» просто молча пройтись в аллее, подышать воздухом.

Но Гричмар в замешательстве стоял у ограды погоста, глядя на просвечивающие сквозь листву зеленые купола близкой церкви, где в пролете колокольни порхали воробьи и по железному карнизу, постукивая когтями, ходили голуби.

— Хочу сюда,— пробормотал Гричмар.

Они вошли в церковь, маленькую, тихую, пахнущую теплым воском, освещенную сверху наклонными столбами солнца, отчего огоньки свечей, зажженных у темных икон, горели бледными островками. И как только вошли, Гричмар робко воздел глаза к куполу, истово перекрестился, и Крымова поразило мгновенное изменение, происшедшее в его мясистом лице, в его тяжелых, ссутулившихся плечах. Это было непривычное, новое выражение покорной, смиренной виноватости, вроде бы нарочитой, противоестественной в глыбообразном облике Гричмара. А он, сдерживая дыхание, бесшумно прошел куда-то в угол левее алтаря, в разжиженную свечами полутьму, и там неуклюже, по-бычьи стал перед иконой на одно колено, потом на другое, правая рука его задвигалась, широко крестя грудь, массивная голова опускалась и подымалась в поклонах, и Крымов, не ожидая этого от ничего не прощающего в своих жестоких фильмах Гричмара, отвернулся, покоробленный неестественностью, точно случайно вынужден был присутствовать при действии близко знакомого человека, обманывающего в глаза.

«И что это я?— возмутился вдруг Крымов едкому чувству.— Да почему я должен сомневаться в искренности его веры? Кем дано мне такое право? Не вяжется с его фильмами? С его суждениями? Так в чем, собственно, я вижу обман и противоречия? И где оно, мое высшее право судить его? Как мы привыкли чувствовать себя идеальными для всего мира, беспорочными особами! А он сделал два сильнейших фильма, в которых такая человеческая боль. Вряд ли ее смог бы так сильно выразить кто-либо другой...»

И с неприязнью к какому-то горделивому второму человечку в самом себе, воспитанному с детства в сознании уверенного нравственного превосходства, живущему в ангельской, конечно, безгрешности, знающему и четко понимающему, конечно, абсолютно все, он, передергиваясь от стыда, издали взглянул на Гричмара, покаянно стоявшего на коленях, и быстро пошел из церкви, убегая от этого жалкого второго человечка в себе.

Он задержался около выхода, где в оранжевом ореоле мирно горела лампада и озаренный морщинистый лик старушки, обмотанной черным платком, торгующей здесь свечами, был наклонен к столу, казалось, скорбно, безнадежно. И со знакомым пронзающим его чувством толкнувшегося удушья в горле Крымов лихорадочно нащупал в кармане брюк купюру покрупнее и как бы с тайной мыслью возможного избавления от тоски, с надеждой на облегчение и без веры в это облегчение бросил деньги на стол и вышел на воздух.

В ожидании Гричмара он ходил взад и вперед по тротуару мимо паперти, курил, повторяя одну и ту же всегда успокаивающую его мысль: «Сейчас все пройдет, как проходит все». И постепенно горькое удушье отпускало, испарина выступила на лбу, ему действительно стало немного легче, а когда Гричмар, насупленный, с воспаленными глазами, показался на паперти и сказал осипло: «Это... настоящая русская церковь»,— Крымов лишь спросил будничным голосом:

— О чем ты молился, если не секрет?

— Не надо говорить.

— Извини, коли так.

— Тебе скажу. О спасении мира...— Гричмар утомленно сбавил дыхание, копаясь пальцами в пачке сигарет, и тут лицо его стало прежним, деловым, будто ни на секунду не прерывался разговор между ними.— Я хочу дать тебе контракт. Я хочу такой фильм, Вячеслав. Ты можешь... И пойдем еще выпьем...

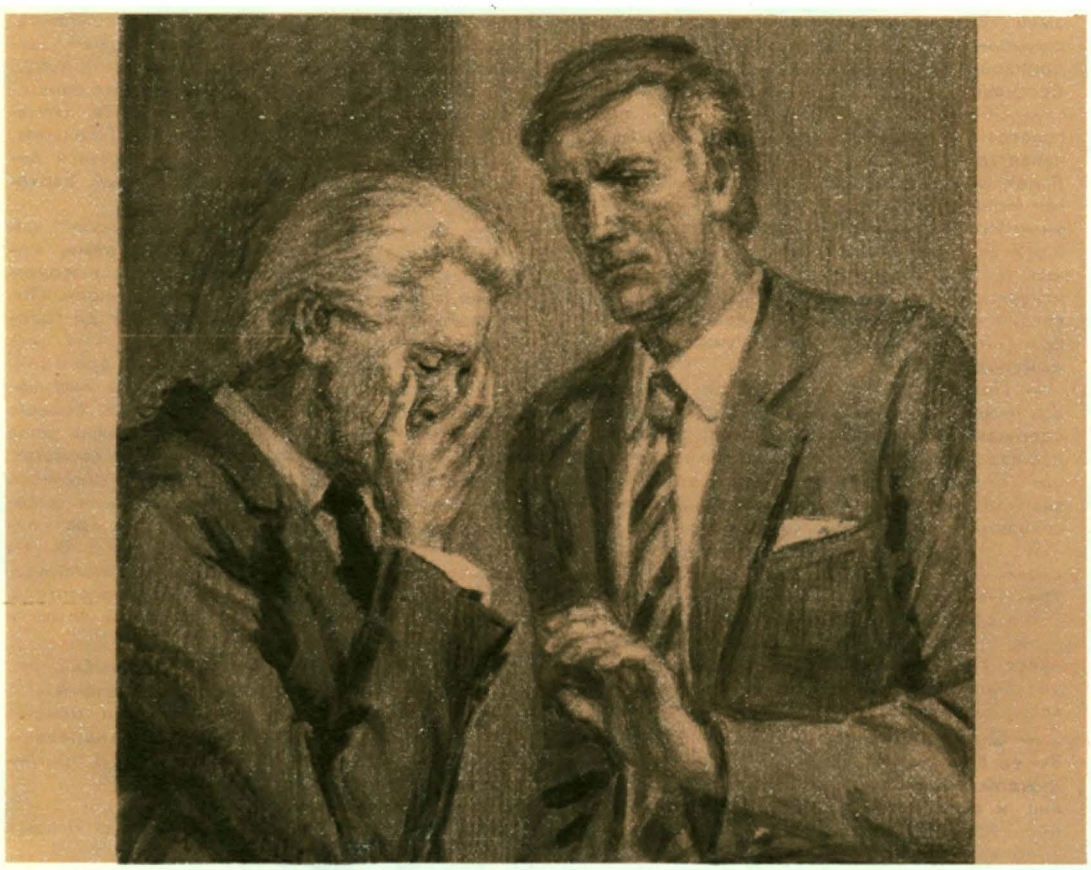
— Эх, дорогой Джон, это не мой фильм,— сказал Крымов с необижающей твердостью.— Мне лестно твое предложение, но это не мой... Как говорят, надежда умирает последней. Кто из поэтов сказал, что жаворонок на ниточке своей песни держит всю землю? Или я это придумал?

— Это сантименты... Бывший ваш советский романтизм.

— Нет, ниточка — это надежда.

— Я еще хочу выпить, Вячеслав. И еще хочу с тобой говорить.

Продолжение следует.



Игра

Юрий БОНДАРЕВ

Рисунки Е. БОНДАРЕВОЙ, А. УСТИНОВИЧА

РОМАН

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

На 4 июля Крымова приглашали к следователю, и он не поехал на дачу, остался ночевать в городе.

Под утро отчетливо услышал во сне, как кто-то пытался взломать дверь с лестничной площадки — остро и жестко скрежетало железо выворачиваемых замков, трещали доски. Под ударами дверь поддалась, прогнулась, и что-то бесформенное, опасное краем вдвинулось в кабинет, безглазо следило за ним, оцепенело лежащим на диване, с угрозой ощупывало его, а он в бессилии даже не мог повернуть головы, крикнуть ссохшимся горлом: «Кто здесь?»

Он видел это так явно, так реально, что, проснувшись в обильном поту, долго смотрел с недоверием на спокойно отблескивающую в свете зари дверь своего ничем не нарушенного кабинета. Он лежал и думал о предстоящем разговоре со следователем, назначенном в повестке на 12 часов дня, ныряющие удары сердца оглушали его, и было тяжко от недавнего отвратительного бессилия во сне.

Это был вторичный вызов к следователю, первая их встреча состоялась накануне отъезда в Париж, и ещё тогда, по убеждению Крымова, все должно было предельно проясниться. Но то, что его снова приглашали на Петровку, и то, что расследование, надо полагать, не было закончено, являло тень смутной тревоги и подозрительной неясности. Сердцебиение не проходило, не забывалось белое и безглазое, вдвинувшееся в кабинет, и, чтобы взбодриться, стряхнуть сонный дурман, он принял холодный душ, растерся мохнатым полотенцем до звенящего тока в мускулах. Уже бреясь, заметил, как в зеркале засеребрился тоненький луч, пробиваясь через листву за окном, и, намыливая подбородок душистой пеной, нежно согревающей кожу, Крымов вдруг ощутил прилив душевной легкости, какая бывала иногда по утрам, а когда надел чистую сорочку, облегающую прохладой, и увидел свои заискрившиеся улыбкой глаза, то подмигнул дружески, якобы продолжая неоконченный разговор с Гричмаром: «Ну, поживем еще... до апокалипсиса!»

Он выпил стакан крепкого чая и прошел в кабинет к телефону с намерением позвонить на дачу. Аппарат чернел на столе затаившимся отчужденным зверьком, и Крымов в раздумье постоял у телефона, но звонить не стал, не желая лгать и объяснять Ольге то, о чем говорить сейчас не стоило. По тому, как она встретила его на даче, он догадывался, что слухи ее не обошли, однако всякое объяснение походило бы на оправдание, на жалобную его исповедь.

«Только бы не была вмешана Ольга,— думал Крымов, шагая по квартире, по ее сиротливым комнатам, обдающим пыльной и солнечной пустотой.— Я должен быть с этим один».

Когда он доехал на такси до Цветного бульвара и отсюда пошел пешком в сторону Петровки, был будничный час перед полднем с хаотичным и бессмысленным многолюдством на улицах, с непрерывным шелестом, ревом, мельканием легковых машин, зачем-то и куда-то едущих, с треском, гудением, грохотом, казалось, тоже бессмысленного потока грузовиков на Садовом кольце, с переполненными до отказа троллейбусами, вспыхивающими толстыми стеклами, со спертой теснотой в трамваях, с загородившими тротуары очередями за газированной водой и мороженым, с разморенными лицами в толпах,— весь этот вращающийся в неистовом пекле городской калейдоскоп проносился мимо под давящим адским огнем солнца и был уже насквозь пропитан чадным духом асфальта. Только на бульваре, в затененности лип, под ветвями, еще сохранялась тепловатая сырость утра, влага от поливальных машин, окативших деревья еще в раннюю пору прохлады.

«Ну, поживем пока... до апокалипсиса,— опять подумал Крымов, стараясь удержать иронией душевное равновесие.— Но зачем и во имя чего все это? Недоверчивость и подозрение — уже виновность... Что ж, я не хотел, а теперь хочу поторопить разговор со следователем. Для чего поторопить? Снять немыслимые подозрения? Установить истину? В этом такая же бессмысленность, как и в замедленности».

После проверки документов в вестибюле (мальчик-лейтенант, узнавая, бегло глянул в удостоверение, затем ему в лицо и украдкой улыбнулся) он поднялся на второй этаж и направился по длинному коридору в конец его, где была комната № 200, как он помнил, налево от окна близ лестничной площадки. Он дошел до конца коридора, высокого, совершенно безлюдного, с массивными дверями (где-то в глубине отдаленно постукивала пишущая машинка), без труда нашел номер комнаты и здесь увидел еще одного посетителя, стоявшего у окна со сцепленными за спиной руками.

— Вы тоже сюда?

Человек у окна не пошевелился, и Крымов постучал в дверь. Из комнаты никто не отозвался. Он нажал дверь с решительностью, которая не полагалась в этом учреждении, дверь была заперта, он пробормотал в озадаченности: «М-да, никого...»— и, доставая сигареты, подошел к выходу на лестничную площадку.

— Вы Крымов? — услышал он робкий, ищущий голос.— Вы режиссер Крымов?

Он обернулся, человек у окна смотрел на него светлыми, в красных веках глазами, какими-то неуловимо знакомыми, что-то мучительно напоминавшими, и у Крымова горячо рванулось сердце. Он мигом вспомнил эту нежную и благородную седину длинных волос, какая бывает у старых актеров, и красивые, сплошь седые брови, и матовость кожи, и опрятность одежды, траурную черноту галстука, вспомнил, как он, этот человек, стоял на кладбище, одеревенело уставясь под ноги себе, как задушенно зарыдал, когда заканчивалось прощание, склоняясь к гробу с искривленным лицом.

— Вы отец Ирины,— сказал, преодолевая неудобство, Крымов.— Простите, я знаю ваше имя по отчеству Ирины, но запамятовал ваше отчество. Нас с вами познакомили на кладбище, в тот день...

— К несчастью,— неживым голосом выговорил отец Ирины и печально прикрыл глаза.— Мое имя Вениамин Владимирович... Я работаю в Плановом управлении Латвии, живу в Риге. А вас я хорошо помню. И знаю по вашим работам, Вячеслав Андреевич... Вас я правильно величаю?

— Значит, вы тоже сюда,— полувопросительно сказал Крымов, проклиная никчемность своих слов и неловкую ненужность встречи в том месте, где она не должна быть.— Вас пригласили из Риги? Странно, в одно и то же время... Как непонятно и нелепо все...— Он не договорил и швырнул недокуренную сигарету в урну.

— Да, я сюда, сюда приехал,— проговорил Вениамин Владимирович, кивнув на дверь, и, театрально закрыв исказившееся лицо бледными, с синими жилками руками, заговорил сдавленно: — Поверьте, я теряю разум... За что же меня так наказала судьба? Кто мне сможет теперь ответить? Кто, Вячеслав Андреевич? Кто вернет мне Ирину, мою дочь? Единственная моя... Женственная, умная... Я знаю, как она была талантлива,— продолжал он, отняв руки от лица, и, повернувшись к Крымову боком, приложил зачем-то ладони к стеклу, слезы скатывались по его дрожащей щеке.— Я знаю, как она страдала, когда случилась эта травма в Большом театре. А были такие надежды, ожидания... Она стала бы великой балериной... Я чувствовал это с ее детства, с от-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 1—8.

рочества... Пластика, танцы, какие-то милые движения, потом балетная школа, восторги преподавателей... За что, за что так наказала меня судьба? За что отняла у меня мою единственную дочь?

Он вобрал воздух ртом, влажно всхлипнул, плечи его затряслись, как тогда на кладбище в минуту прощания, и Крымов, хмурясь, сказал:

— Ради бога, успокойтесь.

— Разумеется, разумеется,— выговорил Вениамин Владимирович, смахивая слезы морганием век.— Когда заживет эта рана? Никогда, никогда! Моя Ирина, моя дочь была необыкновенное существо... Какое-то трагическое дитя, беспомощный прелестный цветок, обреченный быть растоптанным! Грубо растоптанным жизнью!..

«Я понимаю его, но не могу помочь,— подумал Крымов, с тоскливой подавленностью отводя взгляд от мокрого красиво-породистого лица Скворцова.— Он искренен, он страдает... Но зачем эти ужасные жесты и слова об Ирине?»

— Она знала, она предчувствовала, что над ней витает роковая тень,— говорил Вениамин Владимирович, глядя куда-то в парную дымку московского неба за окном.— Помню, она приехала в Ригу после блестящего окончания балетной школы. Ей уже предложили роль... И она приехала на два дня увидеться со мной. Она не хотела дома, остановилась в гостинице. Был уже вечер, закат, она как-то мерзла, куталась в шаль, стояла у окна и была очень задумчива, грустна, хотя радоваться надо было. Я спросил: «Что-нибудь случилось у тебя, Ирина?» Она повернулась от окна и так грустно-грустно мне улыбнулась: «Папа, милый, со мной плохо кончится...» Бедная моя девочка, о чем она думала в тот вечер?..

— Она часто приезжала к вам?— спросил Крымов вполголоса, вспомнив повторявшиеся минуты задумчивости у Ирины.

— Не часто, не часто, и я простить не могу,— возразил Вениамин Владимирович, вздыхая через ноздри.— После смерти моей первой жены мы переехали в Ригу. Но Ирина не стала жить с нами... То есть я встретил женщину, я женился, а она не смогла вместе. Она до болезненности любила свою покойную мать. И жила в Москве, сначала в общежитии балетного училища, потом снимала комнатку, потом у родной тети. А я скучал невыносимо. Я готов был сделать для нее все, что она хотела. Но Ирина не всегда принимала помощь. Вы представить себе не можете, как в детстве она любила меня. А в последние годы жалела, как мне казалось...

— Жалела вас?

— Видите ли, в чем дело, Вячеслав Андреевич...

«Ну что он говорит «видите ли, в чем дело»? Откуда манерность у пожилого интеллигентного человека? Он почему-то раздражает меня, а это унижает нас обоих».

— Вы сказали, Ирина жалела вас? Простите, я не хотел бы задавать вопросы, которые приносят боль.

— Боль? Боль... Это хуже, чем боль, Вячеслав Андреевич. Я не знаю, когда стала окончательно разлаживаться жизнь. Она видела, что я несчастлив с новой женой. У нас действительно не сложилась жизнь... Но Ирина ни словом меня не упрекнула. А я видел по глазам — она страдала, жалела... Милый мой ангел! Какая гордость, чистота, какая святая хрупкость и несовременная ранимость, понимаете? Как будто она с другой планеты сошла на землю... чтобы украсить жизнь. И ее убили здесь, за непорочность убили! И какая необычная смерть — умерла от перелома шейных позвонков! А вы, вы понимаете как режиссер, который хотел работать с моей дочерью, как знаток человеческих душ, понимаете, что случилось? Ответьте мне, умоляю вас! Я прошу, я требую! Да, я требую, чтобы вы объяснили мне причины гибели моей дочери! Я не верю, что она разбилась и утонула! Не могу поверить!..

«Наверное, это сумасшествие? Встретились в коридоре, у двери следователя, и он, отец Ирины, этот человек с такой благородной внешностью, произносит немыслимые слова и требует от меня невероятного! Вынести невозможно...»

— Я не могу ответить на ваш вопрос, Вениамин Владимирович,— сказал Крымов с горечью.— Если бы я знал... Ясно мне одно: произошло непоправимое, и мы оба с вами бессильны.

— Оба? Бессильны?— повторил булькающим голосом Вениамин Владимирович и слабо покачал головой, будто в обморочном тумане.— Я нет, я не бессилен! Милый, милый мой ангел Ирина, ребенок непорочный! Я лучше вас знаю Ирину! Она была экстравагантная девушка. Я сам когда-то мечтал о сцене, я увлекаюсь театром всю жизнь и кое-что понимаю в искусстве! В ней был ренессанс, божественная грация чудесной балерины, в ней был прекрасный русский поп-арт и самый современный модерн!.. Это было чудо!

— При чем поп-арт? Модерн? Чепуха это все!— не выдержал Крымов, ужасаясь несдержанности, которую не смог перебороть, неожиданной опаляющей вспышке, и, помолчав со стиснутыми зубами, договорил не без запоздалого раскаяния: — Наверное, вы не слишком хорошо знали свою дочь.

И Вениамин Владимирович с оголенным страхом переспросил:

— Не знал? А вы? Вы знали ее хорошо?

Его ссутуленные плечи поднялись и вздрогнули, будто от внутреннего рыдания, он шатнулся у окна, весь подался к Крымову, неумеренно расширяя светлые неприступные глаза, едва выдавил шепотом:

— С каким расчетом вы дали Ирине роль? Вы ее соблазнили надеждой! И не только надеждой... Вы, Вячеслав Андреевич, вы виновник, и вас должны наказать. Вы должны понести наказание! Я приехал, чтобы требовать... Требовать суда над вами! Вы были дьяволом-соблазнителем, вы известный... и поэтому безнравственный по отношению к моей дочери человек!— Он жадно заглотнул воздух, как в сердечном приступе.— Ей нужно было уходить из искусства навсегда, навсегда! При ее травме нельзя было вновь в балет... после таких блестящих надежд она не могла быть на выходах, на побегушках! А вы ей в кино роль... О, вас избаловала, извратила известность, избаловали женщины! Я спрашивал, узнавал, Вячеслав Андреевич, о вашем моральном облике у вас на студии, я был там, был сегодня утром, не обессудьте, был!.. И даже ваш директор студии, член парткома, уважаемый человек, не исключает... Да уж, да уж, он так мне и сказал: не исключаю... Да, да, он не исключает вашу преступную связь с Ириной!..

И Скворцов обеими руками вцепился в рукав Крымова, заплакал навзрыд, уронив голову, обдав запахом волос и туалетной воды.

Крымов, бледнея, с острым ознобом на лице прервал его:

— Вы с ума сошли? О чем вы говорите? Что за чепуху о моей известности и избалованности наговорил наш болван Балабанов? И что за странный разговор происходит между нами! Я не хотел бы таким образом, это унижает нас обоих! Это стыдно, черт возьми!— Он уже не в силах был остановить себя, охладить трезвой благоразумностью, такой верной, такой успокаивающей позднее при воспоминании о вовремя сдержанной резкости.— Я одно должен вам сказать, Вениамин Владимирович: не дай вам бог быть на моем месте в тот страшный день!.. Я желаю вам всего хорошего! Поступайте как хотите, я готов ко всему!..

И, поражаясь нелепости этой встречи («Ради чего, почему нас вызвали на один и тот же час, или это стечение обстоятельств?»), он еще сумел с вежливым хладнокровием проститься, поймав жалко-оторопелое, раздавленное и одновременно ничему не верящее выражение в глазах Вениамина Владимировича, и быстро пошел по коридору, упиваясь отчаянной мыслью: не бывать здесь до тех пор, пока его со всей строгостью не пригласят снова.

Он сбежал по широкой лестнице в вестибюль, поспешно нащупывая в кармане удостоверение, вложенную в него повестку.

«Какая несуразица, что за нелепица, ложь, ложь!»

А в вестибюль со сдержанным говором входили группами милицейские офицеры, поочередно предъявляли пропуска мальчику-лейтенанту, на ходу кивали друг другу, одни направляясь к лифту, другие к лестнице, и кое-кто бегло взглядывал на Крымова, ждавшего в стороне. И здесь, перед выходом на улицу, его кольнуло нехорошее предчувствие, что вот сейчас случится еще что-то совсем ненужное, бессмысленное, идущее по нереальным, необязательным путям; и как только он подумал об этом, тут же из толпы милицейских офицеров отделился молодо улыбающийся, румяный, средних лет капитан с усиками («Токарев, следователь Токарев, с ним я встречался перед отъездом в Париж»), и приятный бархатистый голос обволок его теплотой:

— Здравствуйте, Вячеслав Андреевич, тысячу раз извините, виноват перед вами, непредвиденное совещание в самом высоком доме, я опоздал на сорок минут. Грешен. Понимаю вашу занятость, поэтому с ног до головы виноват...

— Что значит для юстиции моя драгоценная занятость и при чем здесь ваша мифическая вина?— сказал Крымов, опасаясь больше всего, что сорвется после искусственных фраз Токарева, этих извинений дежурного свойства, которые, впрочем, не имели теперь никакого значения.— Простите, Олег Григорьевич, я сегодня не смогу иметь удовольствия вразумительно отвечать на ваши вопросы. Если вы это сочтете, конечно, возможным, я попрощаюсь с вами. Тем более вас ждет посетитель, который знает очень многое, в том числе и обо мне...

Токарев стер с румяного лица улыбку, посмотрел твердыми испытующими глазами.

— Давайте мне вашу повестку, я отмечу. Иначе вас не выпустят, Вячеслав Андреевич, хоть вы и известный кинорежиссер. Я приглашу вас на днях.

— Благодарю. Буду очень рад.

На Театральной площади он поймал такси и поехал на студию.

Когда он расплатился с такси и через проходную вошел во двор студии, дышащий асфальтовыми испарениями, неопрятно усыпанный тополиным пухом, летящим и на лету прилипающим к лицу (отчего зной казался еще более нестерпимым), когда прошел холодноватый и погребно-темный гулкий вестибюль, поднялся на шестой этаж в приемную директора, здесь в каком-то ватном, стерильном покое, среди дубовых панелей возникло несколько знакомых режиссерских или актерских фигур, и курносое личико секретарши, суженное висящими вдоль щек волосами, испуганно взметнулось навстречу. Он полностью отдавал себе отчет, что не способен изменить человеческую природу, вкусившую сладость любой власти, что не сможет безнаказанно поколебать что-либо, однако с решимостью распахнул толстую обитую кожей дверь и вошел, останавливаемый всполошенным криком секретарши:

— Нельзя, Вячеслав Андреевич! Он занят!

— Можно,— сказал Крымов.— От этого не умирают, насколько я осведомлен.

Против обыкновения Балабанов сидел не за письменным столом, сверх всяких размеров массивным, заваленным по краям бумагами, переплетенными сценариями и папками, а за журнальным столиком у открытого окна и, багровый, без пиджака, помешивал в стакане, давя в чае лимон, сосредоточенно слушал худого в безупречном костюме человека с расширяющимся к высокому лбу костистым лицом. Человек этот держал бледной, истонченной рукой стакан, зажав ложку между указательным и средним пальцами, будто между хрупкими веточками, и отпивал мелкими глотками. Это был заместитель председателя Комитета по делам кинематографии Пескарев, еще довольно молодой, из-за неизлечимой болезни ног с детства ходивший на двух костылях, но независимо от этого на редкость подвижный, деятельный, ездивший по студиям страны и за границу, гроза сценаристов, неприятно ядовитый в суждениях, к которым прислушивались многие на худсоветах и коллегии.

— Что такое? Что? Почему вы, собственно, врываетесь, Вячеслав Андреевич?

Оба прервали разговор, повернув головы к Крымову, и на грузном лице Балабанова стало молниеносно расти выражение гневного возмущения. Он встал, астматически задыхаясь, по привычке воинственно засучивая на локтях сползавшие рукава, словно изготовленный защищать и собственное достоинство, и авторитет Пескарева, и неприкосновенность территории кабинета.

— Позвольте, почему, собственно? Я занят, занят!..

И при виде его свекольной багровости, низенькой короткошеей фигуры с Ф-образно растопыренными локтями и поползшим со лба ежиком волос Крымов сказал почти весело:

— Садитесь и не пугайте меня, ради всего святого, Иван Ксенофонтович! И очень хорошо, что нас трое. Мне повезло. Ибо у вас находится товарищ Пескарев, так сказать, представитель высшего кинематографического начальства. Как мне повезло! Мне, знаете ли, нужен солидный свидетель. В ту или другую сторону.

— Во-первых, здравствуйте, Вячеслав Андреевич,— сухо сказал Пескарев.— Во-вторых, вы сами садитесь.— И показал на кресло подле столика.— В-третьих, у вас, вероятно, конфиденциальный разговор с директором, и, следовательно, я могу уйти, чтобы не мешать,— добавил он и холодно посмотрел на прислоненные к дивану костыли.

— О, вы ошиблись, никакой конфиденциальности, никакого протокола!— воскликнул Крымов, садясь к столику.— Я повторяю: мне нужен свидетель, и не откажитесь им быть, ради бога.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду три вопроса, которые хочу задать Ивану Ксенофонтовичу при вас. Во-первых, во-вторых и в-третьих... Во-первых...— Крымов взял печенье из вазы, надкусил краешек, пожевал и сморщился.— Срам, какую патоку вы едите, Иван Ксенофонтович,— сказал он, наслаждаясь игрой в развязность и налитыми кровью глазами Балабанова, с подозрительным страхом глядевшего на него исподлобья.— Скажите, Иван Ксенофонтович,—спросил он смиренно,— мой фильм официально приостановлен вами или высшей инстанцией?

— Это сложный вопрос,— загудел Балабанов, нерешительно скашиваясь на Пескарева, плоско поджавшего пепельные губы.— Сложный вопрос, потому что вы сами знаете, как сложились обстоятельства. Есть законы юриспруденции, расследования, как вы понимаете...

— Понимаю,— сказал Крымов и опять брезгливо надкусил краешек печенья, оборачиваясь к молчавшему Пескареву.— Не могу понять, как вы едите такую приторную гадость. Кратчайший путь к диабету. И вы так считаете, товарищ Пескарев? Расследование, законы юстиции, возможность преступления?

Пескарев надменно вскинул прозрачный взор, и почудилось: губы его, подобно пиявкам, жестко сжались и разжались, скроив то ли тень улыбки, то ли желчную гримасу.

— Вам известно, что я не кривлю душой?

— Ну конечно.

— Мне лично ваш сценарий никогда не был по душе,— сказал Пескарев выпуклым голосом.— В вашем сценарии о современной молодежи столько рефлексии, столько заданных самому себе вопросов, столько исканий, что, во-первых, это не соответствует реальной действительности, а во-вторых, никто после этого никуда не поедет...

— Куда? Кто?

— Молодежь. На строительство в Сибирь, например. В вашем сценарии нет ни энтузиазма молодежи, ни трудового подъема, ни претворения в жизнь исторических планов нашего непростого сегодня. У вас все мучаются вечными вопросами: как жить? Что такое совесть? Что такое правда? В то время как...

— Ах да, да, да, вечные вопросы мешают, несомненно, я совершенно не учел. Слабый умишко не дошел до истины.

— В то время как бесклассовый подход с позиций абстрактного гуманизма к таким понятиям, как человечность, совесть, стыд, добро, чреват всякого рода ошибками и искажениями.

— Да, да, да, чреват всякого рода ошибками и искажениями. Бедный кинематограф...

Пескарев с кислой гримасой потрогал костлявыми пальцами ложечку в стакане (ногти у него были синеватые, круглые, аккуратно подстриженные), спросил, педантично уточняя:

— Ернически вы сказали. Бедный кинематограф? Почему?

И Крымов продолжал, в отчаянной игре мчась над пропастью и безоглядно наслаждаясь риском:

— Я помолился за вас и добавил: бедный кинематограф, пройдет ли он через свои звездные мгновения? Мы отстали от самих себя на пятьдесят лет. Благодаря некоторым эстетам собственной безопасности, которые озабочены мировой славой нашего киноискусства.

— Как то есть? Вы известный остроумец, Вячеслав Андреевич, но все же поясните!

— Поясню. Вот вы, наш отец, учитель и кормилец, Леонид Викторович, с отличием кончивший исторический факультет почтенного Московского государственного университета, вот вы за эти несколько минут не сказали ни правды, ни полуправды, ни четверти правды. Впрочем, вы страж,— прибавил он голосом галантной признательности.— Страж некой фантастической жизни в искусстве, полной иллюзорных чувств, которые вы сами и многие другие удобно придумали во имя своего душевного спокойствия. Простите темноту мою тулупную, никак не намеревался обидеть, сорвалось случайно,— продолжал Крымов и привстал, словно бы подобострастно прося милосердного извинения у Пескарева, а глаза Пескарева (глаза всезнающего, взрослого с детства, начитанного ребенка) мертво застыли, вонзаясь в переносицу Крымова, наполняясь синеватым отблеском льда.— Все это пришлось к слову. Но я не вам хотел задавать вопросы, еще раз прошу прощения, а уважаемому Ивану Ксенофонтовичу, нашему факелу и светочу на небосклоне отечественного кинематографа.— Крымов почтительно и льстиво поклонился в сторону Балабанова и, подтянув брюки на коленях, закинул ногу на ногу, похоже было, беспечно располагаясь к уютной домашней беседе о близком и милом предмете.— Если я остроумец, как не очень точно определил Леонид Викторович, то вы, Иван Ксенофонтович, известны всему честному миру как гордое знамя мысли, неподкупный рыцарь и труженик разума, наконец. Поэтому, надо надеяться, вы должны поднимать не заржавленный меч всех обывателей мира, но меч духа. Против этой формулы у вас нет никаких возражений?

— Да что такое? Что вы здесь говорите? — солидно вскричал приглушенным басом Балабанов, подтягивая рукава на коротких, поросших волосом руках, и задвигал ежиком волос над потным лбом.— Демократия демократией, но я не позволю вам, хоть вы и заслуженный режиссер! Ваш талант, так сказать, не дает вам еще права... Вы не сдерживаете себя даже в присутствии Леонида Викторовича, вы ведете себя недостойно!..

Крымов перегнулся через столик и нежно погладил сжатый на подлокотнике кресла кулак Балабанова.

— Вы не дали мне договорить, Иван Ксенофонтович,— сказал он с тем пугающим его самого спокойствием бешенства, как перед прыжком в бездну, в полузабытые, загороженные целой жизнью времена военной молодости.— Вы сегодня сотворили ложь, что является синонимом клеветы. Во имя чего ввели в заблуждение отца Ирины Скворцовой? Ради чего вы сказали ему о возможности связи между нею и мною? Я отношу это к тому, что вы не успели подумать, как это с вами бывает... Интеллектуал, подвижник высочайшего духа, вы целили в меня, а попали в уже израненную душу отца. Я ценю ваше свободное сознание, но разве можно творить в темноте даже дьяволиаду? Как низок человек, лишенный доброты, не правда ли, Иван Ксенофонтович?

— Как вы... Да как вы смеете?! — выкрикнул с задышкой Балабанов и ударил кулаком по подлокотнику кресла, багровея до лиловости щек.— Вы пришли насмешничать и учить меня уму-разуму? Что касается ваших связей, то за доказательствами далеко ходить не надо — в первую очередь обратитесь к вашему директору картины Молочкову! Тот вам расскажет, с какой целью вы ездили со студии на Ордынку, если забыли сами! Надо полагать, не картинки в букваре вы ездили смотреть! Как вы со мной разговариваете? Ни ваши звания, ни ваши заслуги не дают вам права вести себя, как вам хочется... как какой-нибудь избалованный американский режиссер, вроде вашего друга Гричмара!

— Вот видите, Леонид Викторович, дело, как это ни печально, опять идет о совести, которая смущает вас — совершенно разделяю ваши опасения — своей абстрактностью...— с тем же спокойствием сжатого бешенства проговорил Крымов.— Речь идет не о потрясении земных основ. Речь идет... просто о жизни. Кстати замечу, Леонид Викторович, что американский режиссер Джон Гричмар гораздо ближе мне по искренности, чем мой дорогой директор студии. Парадокс, черт побери, но ничего не поделаешь.

Это обращение к Пескареву возникло, вероятно, потому, что Крымов ощущал на своем лице почти физическое прикосновение колющего ледка младенческих глаз недобро настороженного человека, молчаливо всасывающего его слова, чтобы затем отвергнуть их, как на худсоветах не раз непримиримо отвергал суждения режиссеров, упорствующих в занятой позиции. Но по тому полузабытому, загороженному всей жизнью чувству Крымов знал, что сейчас уже ничто не удержит его начатый полет над бездной, такой самоубийственный и такой упоительно-сладостный, точно в гибели на дне бездны была сама справедливая радость. И, наслаждаясь головокружительной силой вызова и зло и счастливо сознавая, что прошлое отчаянное чувство молодости еще не растаяло в благоразумии, в нажитом опыте, он, улыбаясь обаятельной улыбкой любимца удачи, заговорил невозмутимо и ровно:

— Ужасно то, что мы живем в век расчетливой цивилизации. Ложь взаимоотношений успокаивает глупость и уравнивает конфликты. Не правда ли, Иван Ксенофонтович и Леонид Викторович? Но, боже мой, готов отдать все свои звания и так называемые заслуги, о которых так чувствительно напомнил Иван Ксенофонтович, готов стать нищим и сирым, прослыть кем угодно, хоть идиотом и чудаком, Иван Ксенофонтович, лишь бы только... да, да, простите, лишь бы только отметить вас, Иван Ксенофонтович, отпечатками пальцев, как в добром девятнадцатом веке отмечали подлецов и ничтожеств. В данном случае я имею в виду вторую категорию... Вы достойны быть отмеченным, чтобы другим неповадно было подражать вам...

Он поднялся, и в тот же миг Балабанов с сиплым вскриком отшатнулся коротким телом в кресле, вроде бы ударенный снизу в лицо, и, задирая подбородок, начал поспешно, суматошно елозить ногами по полу, силясь отодвинуть кресло вместе с собой подальше от незащищающего столика. А Крымов молча стоял, гадливо глядя на по-жабьи взбухающее горло, и его охватывала злая брезгливость к жалкой, ничем не прикрытой трусости Балабанова, к этому пухлому, раздувающемуся горлу, и нарастала неприязнь к надменно застывшему костлявому лицу Пескарева, к младенчески неморгающему взгляду льдистых глаз.

Все было ничтожно, стыдно, недобро: его, Крымова, стискивали в недружелюбном кольце, но пока боялись коснуться, а он, не сдерживаясь, с ненавистью к своей несдержанности ничего сейчас не мог простить себе и другим, поправить и изменить в шутовском тоне, взятом им, в противной до тошноты игре (у него не хватило бы сил начать и закончить этот разговор серьезно), и с изысканным почтением он проговорил, обращаясь к Пескареву:

— Я душевно попросил бы вас, Леонид Викторович, запомнить некоторые подробности этой лирической сцены, очевидцем которой вы были. Я опасался, что без свидетелей Иван Ксенофонтович мог собственной обувью, снятой с ножки, расквасить себе мо... простите великодушно, личико и заявить в партком, что был избит до полусмерти наглым развратником Крымовым. Так, значит, мне повезло. И прошу вас, Леонид Викторович, передать председателю, что, несмотря на плохие погоды, фильм все-таки буду снимать я. Честь имею! Разрешите откланяться?

Он щелкнул каблуками, еще ниже и почтительнее склонил голову и с видом чиновника, исполненного служебного рвения, пошел к двери. Но здесь мимолетно он увидел пиджак Балабанова, повешенный на спинке стула возле длинного стола для заседаний, и, сдернув пиджак, подобно многоопытному портному, бросил его плавным жестом на вешалку сбоку двери, сказал несколько раздосадованно:

— Дьявол знает что за неаккуратность.— И на самом пороге вновь повернулся к ним, сидевшим в молчании, повторил речитативом:— Честь имею, честь имею!..

Продолжение следует.

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Игра

Рисунки Е. БОНДАРЕВОЙ, А. УСТИНОВИЧА

«Сумасшествие! Пошлость! Я отвратителен сам себе! Неужели я так унизился в той игре клоунством и ерничеством? Впрочем, можно ли было говорить серьезно? Смеяться, только зло смеяться!»

— Честь имею, честь имею,— насмешливо сказал он шепотом и открыл глаза, с непониманием оглядывая знакомую комнату.

— Что вы, Вячеслав Андреевич? На правое ухо глухарь я малость, не разобрал. Задумались вы немного.

— Вероятно...

Он туманно взглянул на Молочкова, оборотившего к нему выжидательно улыбчивое, как всегда, угадывающее его настроение лицо, и, мгновенно приходя в себя, со стоном отбросился в кресле, вспомнив всю сцену в кабинете директора студии так подробно и ярко, что мнилось: эта сцена не привиделась ему в гневной неудержимости и вспыльчивости — и теперь еще оставалось чувство презрительного удовлетворения, гадливой жалости к пухлому, раздувающемуся в задышке горлу Балабанова, суматошно елозившего ногами по полу.

Но в то же время, когда Крымов приехал на студию, встреча и разговор с Балабановым — после уже пережитой в воображении сцены по дороге с Петровки — представились настолько унизительной, никчемной мстительностью, не способной ничего исправить, что, охлажденный, сразу ощутив усталость, он поднялся на лифте в съемочную группу; а там в своей комнате сел в кресло и попросил Молочкова, чтобы принесли альбом с фотографиями утвержденных и неутвержденных кинопроб.

«Так было или не было? А был ли мальчик-то?»

— Вы чего-то сказали, Вячеслав Андреевич?— повторил встревоженно Молочков, раскладывая альбомы на столе.— Сам я вам фото принес. А Женя Нечуралов в павильоне.

— Пригласи его ко мне, если он в зоне досягаемости. Пошли кого-нибудь в павильон.

— С актрисой Евгений Павлович. На свой страх повторную пробу делает. Главную героиню он все ищет. А ведь картина фактически приостановлена, Вячеслав Андреевич. Ох, накостыляют мне как директору. Главное — финансы. Ведь рискую из уважения к вам...

— Ничего, выдержишь,— суховато произнес Крымов.— Тем более у тебя прекрасные отношения с Балабановым. Доверительные, я бы сказал.

— Не соображу я, Вячеслав Андреевич, к чему вы?

— Ну ладно. Иди, Терентий. Дай мне посидеть, подумать.

Ожидая Нечуралова, он курил, листал альбомы, просматривая фотографии утвержденных на роли актеров, придирчиво, с хмурой недоверчивостью вглядывался в глаза, губы, брови актрис, которых пробовали на главную роль, в череду молодых лиц, ставших плоскими, красивенько-скучными, как вдруг в зрачки ему глянули насквозь пронизанные солнцем, по-детски незащищенные глаза Ирины, чуть-чуть тронутые тенью грустной улыбки. И в ту же секунду он увидел другое лицо — белое, гипсовое, полуприкрытые ресницы, пропускавшие влажный зеленый свет глаз, беспомощно потекшую тушь по щеке, в этой последней, запредельной неопрятности, равнодушной к смерти,— и опять удары струй в стекло, рев мотора, шум дождя и миндальный холодок ее мокрых волос, преследовавший его с тех страшных минут в машине. Потом возникло окно в конце длинного коридора и какой-то плотский запах туалетной воды или одеколона, уловленный от трясущейся седой головы Вениамина Владимировича,— неужели не существует где-то в мире спасительного заговора, молитвы о забвении, о снисхождении памяти?

«Если бы я смог благодетельным чудом не вспоминать, многое стало бы легче в моей жизни. Он, отец Ирины, был прав, и не прав был я, раздраженный. Он в одиночестве с новой женой жил лишь дочерью, и хотел знать виновного, и поверил всему, что было против меня. Что ж, изощренность боли, вины и обвинений — как это знакомо! Не рождено ли это нашим милым цивилизованным веком?»

Крымов захлопнул альбом, в усталой задумчивости разглаживая лоб и переносицу, затем снова раскрыл его, и снова наполненные солнечным светом глаза, чуть затененные отдаленной настороженностью, заулыбались ему навстречу с глянца фотографии. «Дело жизни, назначение ее — радость». Он вспомнил, как она, освещенная сзади белым водопадом солнца, льющегося с монастырского двора, медленно покачиваясь, спускалась по каменным ступеням в сыроватый полумрак церкви в тот июньский день; и уже как-то осознанно и твердо решил, что вторую Ирину на главную роль вряд ли найти, поэтому картина не получится такой, какой была задумана, впереди его ждет горький вкус поражения, ни разу еще с полной обнаженностью не испытанного им.

— Разрешите, Вячеслав Андреевич?

Запыхавшись, вошел Женя Нечуралов, второй режиссер, в донельзя потертых вельветовых брюках, в ковбойке, весело-кареглазый, молодой, стыдливо скрывавший бородкой молодость и некоторую застенчивость из-за своей способности смугло краснеть. Второй режиссер в съемочной группе Крымова был преданно и неистощимо влюблен в кинематограф, в великие картины мира, великих актеров, организационную суету подготовительного периода, телефонные разговоры, поездки для выбора натуры, строительный дух досок, клея и лака, свежих декораций павильонов, был влюблен в таинственно гаснущий свет просмотрового зала перед ожидаемым колдовством отснятого материала, во все то, что было признаками серьезного кино; эту влюбленность с первого взгляда почувствовал в нем Крымов два года назад, взяв его для работы над фильмом «Необъявленная война», а позже — на новую картину.

— Как дела, Женя? — Крымов оторвался от альбома, махнул сигаретой в направлении кресла против стола.

— Живы, несмотря на все принятые меры. Вы не представляете, как мне сегодня посчастливилось, Вячеслав Андреевич. Я не думал, что вы приедете! — заговорил Женя расторопно, опускаясь на краешек кресла и не без зоркого интереса заглядывая в альбом на рас-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 1—9.

крытую фотографию.— А я, знаете, буквально десять минут назад сделал пробу Шатровой... Та, из Малого театра, и клянусь вам — это феномен! Молодая, фигурка, глаза такой глубины — можно утонуть и не выплыть, великолепно двигается, какая-то загадочная улыбка. Неделю назад кончила сниматься у Полищука. Как было бы здорово, если бы вы ее посмотрели! Она еще здесь, взгляните мельком и скажите, да или нет. Вы убедитесь: в ней что-то есть! Позвать?

— Что-то есть,— повторил Крымов невнимательно, закрывая альбом.— Что-то — это еще только что-то.

— Если можно, Вячеслав Андреевич, если уж вы приехали, посмотрите на Шатрову. На Машу!— взмолился Женя, и лоб его начал смугло розоветь.— Она еще не ушла. Я сейчас приведу ее. Вы сами убедитесь, насколько она близка Скворцовой.

«Да этого быть не может,— подумал с сопротивлением Крымов, все еще ощущая живой блеск глаз, грустно глядевших ему в зрачки.— Что тянуло меня к этой слабой и сильной девочке с несчастной судьбой? Соучастие? Жалость? Разгадка тайны? Или тяга к таланту ее необычной женственности, которая уже редкость?»

— Ну давайте посмотрим, давайте, Женя, пригласите Шатрову,— сказал ворчливо Крымов и заходил по комнате на сквозняке близ окон, раскрытых в шум студийного двора. И неизвестно почему захотелось уехать куда-нибудь: сесть одному в купе, с бездумным облегчением растянуться внизу на хрустящей от свежести постели в неуклонно несущемся перед сумерками скрипящем, качающемся спальном вагоне, словно бы заполненном золотистой пылью, с пыльными двойными стеклами, по которым долго скользит поздний летний закат, постепенно перемещаясь лучами по глянцу пластика, янтарно озаряя край верхней полки, пуговицы пиджака на вешалке, что мотается равномерно из стороны в сторону, напоминая о сладком одиночестве в запертом купе, твоем маленьком прибежище, где нет ни обязанностей, ни телефонных звонков, где можно наслаждаться мыслями простыми и подневесными, какие приходят в поезде, когда знаешь, что ты вправе, не сказав никому ни слова, сойти в пять часов утра на случайной станции с неизвестным названием наподобие Райки, вдохнуть сырость смоченной обильной росой захолустной платформы, увидеть, как в тумане низко плавает малиновый шар солнца и в белом шевелении парят над землей дальние силуэты ветел, крыши деревни...

— Разрешите, Вячеслав Андреевич?

— Входите, Женя!— отозвался Крымов намеренно громко, чтобы стряхнуть дорожное наваждение: мечта о дороге была признаком крайней усталости.

Женя Нечуралов ввел Шатрову в комнату и, не скрывая ласкового восхищения, представил ее. Она же робко остановилась подле Крымова, кося от волнения ангельски синими глазами, робко подала влажные пальчики.

— Прошу вас, садитесь,— сказал Крымов.

Она села на диван и вся замерла с выпрямленной спиной, вытянутой гибкой шеей, бледное, овальное, только что умытое после грима личико заметно напряглось в страхе близкого приговора. А Крымов с болью подумал, как трудно будет отказывать ей, как этот отказ обескуражит старательного и влюбчивого Женю, однако еще не мог точно определить, что в облике Шатровой настораживало, не совпадало, раздражающе мешало ему,— не слишком ли строгая, образцовая эта красота без какой-либо загадки?

— О чем сценарий, вы знаете?— спросил он насколько можно мягче.

— Мне рассказывал Евгений Павлович, когда готовили пробу.

— И как вы понимаете — о чем идет речь?

— О молодежи. Об отцах и детях.— Она легонько улыбнулась и испуганно согнала улыбку с пухлых губ.— О смысле жизни...

— И вы хотели бы сниматься в этой картине?

— Очень.

— Почему вы улыбнулись, когда сказали о смысле жизни?

Она чуточку повела плечом.

— Я думаю, что большинство людей живет сейчас одним днем, Вячеслав Андреевич.

— Может быть, поэтому и стоит звонить в колокольчик?

— Не знаю, Вячеслав Андреевич. Я живу надеждой сыграть современную Лизу Калитину. И не везет.

— Вы думаете, они есть в жизни, тургеневские девушки? Не вывелись ли они вместе с усадьбами?

— Немножечко есть.

— Хорошо, не буду вас больше мучить. Спасибо. Посмотрим пробу, увидим, как вы будете выглядеть на экране.

— Я вам не понравилась. «Не нра», как говорят у нас в театре.

И она, моргая удлиненными ресницами, щелкнула замочком сумочки, потянула оттуда пачку сигарет, но тут же раздумала, опустила сигареты обратно в сумочку, сказала с многоопытной печалью, удивившей его несоответствием с ее победительной внешностью:

— Самое невыносимое и стыдное в нашей профессии — момент, когда тебя выбирают. Не те губы, не та фигура, не тот голос. До свиданья, Вячеслав Андреевич. Какой вы счастливый человек — выбираете вы...

— Вы ошибаетесь, наверно. Никто не знает, мы выбираем судьбу или судьба нас,— ответил нехотя Крымов.— Счастлив своим заблуждением тот, кто считает других людей счастливыми. Нет, вы понравились мне, хотя я не понимаю в искусстве этих «нра» и «не нра». Решает необходимость, как вы знаете. Вселять особенную надежду в вас я не хочу.

— Я понимаю. Успеха вашему фильму. Я вас люблю как режиссера...

— Благодарю вас.— И он несильно пожал ее трогательно шевельнувшиеся в его ладони пальчики.

Женя предупредительно открыл дверь и вышел проводить Шатрову до лифта. Он вернулся минут через пять подавленный, облокотился сзади на спинку кресла, уткнув кулаки в бороду, забормотал растерянно:

— Почему она вам не понравилась? Какие глаза, какая фактура! Стоишь рядом — и пробегает электричество!

— Лучшее в искусстве, Женя, было создано при свечах. Нам с вами в героине нужно «чуть-чуть», а не «все». Иначе некуда будет двигаться. Давайте искать внутренний свет. Впрочем, вы это понимаете. Шатрова при всех данных не подойдет. Прекрасные данные, но что-то жесткое в лице, прямизне носа... Однако, Женя, мне показалось...

— Что вы, что вы, Вячеслав Андреевич, у меня ничего...

И Женя, тиская кулаками бороду, страдальчески заговорил, подобия морщин сбегались на его молодом лбу:

— Действительно, актеры на пробах должны чувствовать себя отвратительно. Мы выбираем их, как лошадей на ярмарке. А женщин... Смотрим зубы, ноги, походку. Это все-таки унизительно и цинично, Вячеслав Андреевич! Вот скажите, вы не ошибались, не жалели, что отказывали?

— Жалел и ошибался. Но уже готовый фильм кривыми ножницами не исправишь. Будь вы хоть дважды гениальным, фильма нет, если нет героя или героини. Плохой фильм — вот это бесстыдство и цинизм перед глазами миллионов. Поэтому, Женя, мы обязаны быть беспощадными в выборе актеров. Впрочем, вы парень способный и всю эту премудрость отлично понимаете.

— Н-не все.

— А именно?

— Разве вы долго искали и выбирали Ирину Скворцову, Вячеслав Андреевич?

— Я увидел ее в театре два года назад, когда замысел фильма еще был смутен. Кинопробы можно было не делать. Все было ясно: взгляд, жест, движения, внутреннее изящество... Одна ее улыбка, то ли виноватая, то ли грустная, была целый сценарий, если хотите. Можно было представить ее любовь, беззащитность, неудачное замужество, разочарование, смирение, надежду... Такие, как Скворцова,— редкость, особенно среди актрис.

И Женя сказал стесненно:

— Вячеслав Андреевич, я вас очень уважаю. Но ведь это не так...

— Что не так? Говорите уж до конца, коли начали. Не об уважении ко мне, а о том, что подумали.

Обеими руками охватив каштановую бородку, Женя глядел в пол, не решаясь ответить, сокрушаясь оттого, что не вправе поправлять своего маститого учителя, уличать его в неискренности, и Крымов видел эти мучительные колебания, несмелую заторможенность на его лице и поторопил грубовато:

— Ну, прите напролом, режьте правду-матку, не стесняйтесь!

— Вячеслав Андреевич, мне неприятно вам говорить плохое...— смущенно забормотал Женя.— Но скажите, вы не отказали Скворцовой, когда последний раз ездили на освоение натуры?

— В чем отказал?

— Отказали ей в роли и...

— И? Прите, прите дальше, ломайте все заборы.

— Мне неудобно, Вячеслав Андреевич...

— А что там неудобного? Прите напрямую, яснее обоим будет.

— Говорят, что она была влюблена в вас, а вы в нее... Она требовала, чтобы вы развелись и женились на ней. А вы не могли... и в тот день, когда ездили на натуру, порвали с ней. А она хотела отомстить вам... страшным самоубийством...

Женя запинающейся скороговоркой проговорил это и замолк, глянув на Крымова охолонутыми страхом глазами, затем как-то прибито сник, выражая виноватость наклоненной головой, мальчишеской шеей и даже оттопыренным, не вполне опрятным воротником своей поношенной ковбойки.

— И вы верите, Женя, жестокому мещанскому сюжету и пошлейшей чепухе? Неужели верите? Вы спросили меня, как будто упрекнули, и испугались,— сказал Крымов, подавляя в себе вспыхивающий огонек раздражения.— Так неужели вы верите слухам? Или хотите поверить, потому что слабы, как все люди-человеки?

— Я не хочу, нет...— ответил Женя сжатым голосом, как бы приготавливаясь понести расплату.— Но почему многие говорят о вас глупости, Вячеслав Андреевич, строят разные пакостные догадки? Почему?..

— Да потому что многие до многого не доросли и, если хотите — как бы помягче сказать? —недобры друг к другу. Мы лукавим и обманываем себя, когда говорим о каком-то абсолютно новом человеке нашего времени. Однако, Женя, на кой черт нужно наше искусство, если все поголовно ангелы? Так вот я о чем. Представьте, что вы, приличный по всем статьям молодой человек, пришли к не менее приличной, но одинокой девице. Вы пробыли у нее час, случайно или не случайно отмеченный зоркими соседями. Каково же назавтра так называемое общественное мнение? Оно однозначно осуждающее — совершилось грехопадение. Вряд ли кто возразит, что вы перебирали у нее книги и спорили о Феллини. Огорчительно то, что мы попадаем в плен лживых, завистливых и развращенных представлений друг о друге. Понимаете, Женя? Кто-то из прагматистов умело, а может быть, по большой глупости подменяет душу человека пошлостью, и совесть сладко задремала у телевизора. Впрочем, вздыбленная совесть — опасная штука для себя и других. Жизнь становится невыносимой, когда не сиюминутными удовольствиями, а по нравственным законам жить надо. Так, Женя, или нет?

— Вячеслав Андреевич,— проговорил Женя, поеживаясь,— вы с какой-то грустью на людей смотрите...

— Не с грустью, а с великой досадой,— ответил Крымов.— Потому что это время больше мое, чем ваше. Ваше еще будет. Кстати, наверное, вы на повороте...

— Я? На повороте? Куда?

— Имею в виду вашу карьеру,— сказал Крымов преувеличенно равнодушно.— Если уж будет окончательно подмочена моя репутация и... прочая, прочая, прочая, то мое место займете вы, Женя, и будете снимать мою картину.

И Женя так резко дернулся головой кверху и так отчаянно исказилось гримасой его зардевшееся яркими пятнами лицо, что показалось: неожиданная боль пронзила его.

— Никогда. Ни за что!

— Поясните.

— Я никогда не займу ваше место!— заговорил, яростно захлебываясь, Женя.— Тот, кто занять ваше место хочет, круглый болван! Болван и еще раз болван! Кому пришло такое в голову?

— Одному болвану — мне. Я был бы доволен.

— Вячеслав Андреевич, я преклоняюсь перед вашим талантом и поэтому не смогу сделать такую картину. Она мне не по зубам. Может быть, когда-нибудь я сделаю и свое... но это ваша картина. Я у вас учился и помню: каждый должен шлепать в собственных галошах. В своих, в своих!

— В собственных галошах — это верно,— сказал Крымов и задумчиво посмеялся.— И все же в земной жизни возможно все.

— Вячеслав Андреевич! Я не предатель!— выговорил Женя ожесточенно.— Я никогда не соглашусь!..

Он, волнуясь и торопясь, стал неловко выдирать пачку дешевых сигарет из нагрудного кармана ковбойки и, закурив, надсадно выкашлянул дым.

— Никогда, никогда,— поспешно повторил Женя с негодованием.— Я знаю, почему вас недолюбливают некоторые из Комитета кино да и некоторые деятели на студии! Не любят и опасаются! Потому что вы в собственных галошах ходите! А этого они не ценят, умишко у них конформистский, трусливый! Да и хлеб с маслом терять никак не хочется. Я слышал, как один осел, у которого всегда полные штаны, в своем кабинете кому-то сказал: «Поразительная способность у Крымова наживать себе, мягко выражаясь, оппонентов! Чего ему не хватает? Известности? Денег? Неуправляемый левак и эгоист!» Развелось таких оппонентов в кабинетах — уйма, и каждый двумя руками держится за кресло, а зубами — за стол! И почти все — неумейки!

Крымов опять засмеялся.

— Закончим на этом разговор о чиновниках кино. Давайте подумаем, Женя, как жить дальше. Отстреливаться до последнего патрона или будем сдаваться в плен на милость оппонентам?

Он дружески взял Женю за локоть, встречая его засветившиеся слабой улыбкой карие глаза, договорил со своей обычной шутливой уверенностью:

— Отстреливаться, Женя, до последнего! Продолжайте искать героиню. Когда невмоготу будет, я подам сигнал, и вы выйдете из окружения. Я отстреляюсь тогда один.

— Вячеслав Андреевич! Зачем вы?..

— Милый Женя, вы еще молоды и не знаете, что обстоятельства бывают сильнее нас. Спасибо за участие.

— Вячеслав Андреевич!

— Вы не хотите от меня принять солдатское спасибо?

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Через полчаса Молочков повез Крымова на дачу, и он, устало откинувшись затылком на спинку сиденья, закрыл глаза, опять с горечью возвращаясь в пустынный коридор на Петровке, где встретился, никак не предполагая, с Вениамином Владимировичем, с его непереносимой театральностью, казалось, неподвластной ему, вызванной искренним горем, и после этого безумия то ли наяву, то ли в воображении видел пьющих чай за столиком багрового Балабанова, по-бойцовски засучивающего рукава на коротких руках, костистолицего Пескарева с подвернутыми под кресло ногами, слышал свою изысканно шутовскую речь, предназначенную им обоим, и одновременно жалел и не жалел о вылитой иронии в пошлейшей клоунской игре с ними. Но было это или не было? И что-то мешало ему, раздражало неуловимым новым беспокойством, причины которого он еще не определил, подобно тому как иногда в сложный момент необходимо вспомнить нужную фамилию, а ее, проскальзывающую тенью, невозможно поймать в памяти.

Как только выехали со студии в накаленный центр московских улиц и, подолгу задерживаясь, стали изнывать в вони выхлопных газов на забитых перекрестках, общительный Молочков попробовал заговорить («Ай, умереть можно: чистая Сахара!») и деликатно кряхтел, поминутно вытирая тряпкой потеющие на руле руки, но Крымов неохотно сказал: «Отдышимся и помолчим, Терентий, если не возражаешь»,— и замолчал, невнимательный к асфальтовому пеклу, пылающему аду улиц, к старанию Молочкова быть упредительным, неунывающим, как и полагалось, наверное, быть финансовому королю картины во всех жизненных обстоятельствах.

«Значит, я еду на дачу?— думал Крымов, настраиваясь на домашний лад.— Да, душ под яблонями, милая моя Таня, постоянный мой праздник, и Ольга с тихими бархатными глазами, которая так умеет молчать, когда недовольна мной... Два моих особенно любимых существа на земле, без которых не было бы жизни. Да, да, умиление и нежность... И чересчур серьезный Валентин, загадочный в чем-то, что-то тайно желающий свое, и его невеста Люся, Людмила, неразгаданная, остроносенькая, но тоже желающая что-то свое... Так что же со мной? Раньше я ехал на дачу с радостью, а сейчас? Там есть мой кабинет в мансарде, книги, тахта под раскрытым окном, покой, тишина, в которой можно думать... Странно, я приехал из-за границы и так и не поговорили с Ольгой».

И снова, едва он начинал думать об Ольге, соскучась по ней, он томительно чувствовал раннюю весну, горную свежесть в воздухе (где-то поблизости были Альпы), праздную толпу, текущую мимо уже жарких витрин магазинчиков, и видел далеко внизу, за каменным парапетом, от которого пахло теплом, апрелем, маленькую, заставленную машинами площадь, всю в нежной зелени платанов, в раскинутой по газонам весенней сети из теней солнца,— в ту пору первых поездок за границу было ощущение близкой радости, любви, беспечной молодости. Эту уютную площадь он терпеливо искал в последующие приезды в Австрию и не нашел ни в Вене, ни в Зальцбурге. А иногда представлялось ему, что он не мог найти не площадь, согретую апрельским днем, а ту весну, молодость, ту счастливую надежду пятидесятых годов, которая не сбылась... «И все-таки неужели ниточкой прошлого эта площадь связана с Ольгой? Я был за границей один, а она оставалась далеко в Москве... Я скучал, мечтал встретиться с ней на такой вот площади и вместе испытать молодой ветерок беззаботности...»

— Вячеслав Андреевич, дремлете, а?— Сквозь гул мотора, гася весну, зелень платанов на площади, обыденно и поэтому раздражающе вполз вкрадчивый голос и повторил: — Не задремали под шумок мотора, а?

— Бодрствую.

— А Евгений Павлович сурьезный человек. Интерес у него к работе есть.

«Опять Терентий с неизлечимой общительностью и хозяйственной заботой, потерпел бы, родной».

— Ты о Нечуралове?— спросил Крымов, не открывая глаз.

— О нем, Вячеслав Андреевич.

Крымов разомкнул веки, еще отяжеленные забытьем. Машина миновала серые башни на окраине Москвы, неслась по выжженному добела асфальту кольцевой дороги, слева зубчатым забором мелькали ели, меж ними сквозили желтеющие поля, и в загородном водопаде света подрагивал выжидательной улыбкой узкий рот Молочкова.

«Любопытно — лицо у него гладко выбрито, как будто не растет ничего, а шея в крупных морщинах,— заметил Крымов.— Вероятно, крепок здоровьем, несмотря на худобу».

— Положительный он, Евгений Павлович. Не согласны вы?

— Согласен. Ты на дорогу смотри, на меня смотреть не обязательно.

— Не волнуйтесь. Знаю я, кого везу-то,— пропел по-бабьи утешительно Молочков.— Считайте, я вас на фронте везу. Ну, вроде где-нибудь на Днепре. Ежели б я тогда на права сдал, то с вами бы в разведке не был.

— А ты что вспомнил разведку, Терентий?

— Все я забыл начисто. И помнить не хочу. Вас вот помню только, потому и люблю.

И волнистая ласковость в голосе, и чрескрайняя обходительность, и суетливая проворность его малорослой фигурки, и постоянная неумеренная уважительность, неистребимо проявляемая к Крымову, солдатское обращение к нему на «вы» — все эти особенности Молочкова, не успевшие до дна раскрыться на войне, были с любопытством обнаружены Крымовым при первой же встрече шесть лет назад. Он относил это новое, ставшее неотде-

лимым от Молочкова, к форме самозащиты, очевидно, выработанной раз и навсегда бывшим неудачливым разведчиком Терентием, сильно побитым жизнью и в послевоенные годы.

А встретились они нежданно-негаданно на Калужской площади возле автоматов с газированной водой в воскресный июньский день, весь заметеленный тополиным пухом, и, если бы не пушинка, прилепившаяся к краю стакана Крымова, они не обратили бы внимания друг на друга. «Ой, глянь, как села, прямо в рот летит, стерва»,— сказал кто-то, подошедший сбоку, и, перхнув безразличным хохотком, протянул по-обезьяньи цепкую загорелую руку к стакану в соседнем автомате. Крымов взглянул и сначала не поверил: «Не может быть!»

Из взвода полковой разведки дошедших до Германии солдат в живых не осталось никого, он уже неясно помнил их лица, а эту жилистую, цепкую руку он запомнил на всю жизнь, она даже снилась ему, судорожно царапающая пороховой снег на скате воронки... Да, это был Молочков, солдат из взвода разведки, когда-то очень худой, похожий на злого подростка, с наглыми желтыми глазами, ядовитый на язык, носивший трофейный ремень с парабеллумом, по мнению многоопытных разведчиков, бьющим точно, жестко и гулко, и немецкие офицерские сапоги, залихватски собранные в гармошку на его тонких ногах. Но Молочков, узнанный в тот тополиный день по руке, стремительно схватившей стакан, был не тот ловкий любитель прибауток и деревенских частушек и не тот обезумевший парень, раздавленный страхом под огнем пулеметов на нейтралке, растерявший волю за несколько часов, а был помятый человек мелкого роста, в потертом костюмчике, донельзя застиранной рубашке, при галстуке, повязанном неумело; глаза его напрягались по-прежнему бойко играть, но были как обсосанные леденцы, и нездоровая бледность выявляла серую щетинку на щеках. И Крымова удивил его взгляд, собачий, заискивающий, когда в машине спросил, куда поехать выпить ради встречи — домой или в ресторан. Молочков, не решаясь удобно отвалиться на спинку сиденья, ответил, что домой бы лучше, ежели можно, с женой познакомиться, не без робости оглядывал салон машины, чехлы и привешенную Таней к зеркальцу в виде талисмана лохматую нелепицу.

Дома у Крымова он скоро захмелел, оживился, держал нож и вилку, отставив мизинец, и, все-таки запинаясь в присутствии сдержанно гостеприимной Ольги, рассказал невеселую послевоенную свою историю. В сорок пятом году вернулся в колхоз под Воронежем, мужиков — полтора человека, одни бабы, поэтому без раздумывания устроился по причине ранений работать кладовщиком, да жизнь пошла на каверзную неудачу, вроде барометра на бурю: жениться не успел, красивые бабы не давали выбрать единственную, поили самогоном, как быка, а потом перекувырк случился. Кладовую городские воры обокрали и подожгли, а отвечать пришлось ему по суровым послевоенным законам, в сорок девятом году судьи дали на хорошую катушку статью, отчего в холоде и голоде валил лес на северных реках. А срок отбыл, в деревню не вернулся, решил вольным манером заколачивать в Сибири длинный рубль леспромхозной электропилой и топориком. В тайге большую деньгу не ухватил, потому что женился, сил меньше стало, и обратно душу поманила хозяйственная работа — подвернулось хорошее место по снабжению геологической партии на реке Нижняя Тунгуска (там медведи в обнимку под окнами гуляют). Но в три года поисковая организация закончила дело, и судьба бросила его сначала в таежный городок Киренск, затем в Иркутск, где заведовал и овощной базой, и гаражом, и рабочей столовой до случайной болезни почек («Болотной воды на охоте с устатку напился и заразу какую-то подхватил»). Он заболел, жена ушла от него, от хворого, не мужа и не работника, а он после болезни, долгого лечения заимел стариковскую мечту перебраться поближе к Москве, в Химки, к родной сестре, которая жила одна, вдовой, и тут хотел устроиться по профессии, по снабжению на вагоностроительный завод, да ничего хорошего, никакого приличного места пока нету. «Все обещают: заходите, заходите, а денег ни гроша, на сестрину пенсию хлеб жевать совесть не позволяет, хоть плачь, на сухарях живу, у сестры не обедаю. Куплю в целлофане сухарей, где-нибудь на бульваре погрызу и вроде по-солдатски сыт!»

И, рассказывая, сильно опьяневший, он действительно захлюпал носом, и было Крымову больно, жалко видеть его измятый, затерханный пиджачишко, его растянутые плачем губы и то, как он при этом вилкой тыкал в хлебницу, подцепляя ломоть, как косился на картины на стенах столовой, на вазы, на люстру, видимо, считая это за большое богатство, за роскошь, что заслужил бывший командир взвода, теперь известный человек. И Крымов запомнил хмельную пунцовость его щек, сразу ставших от возбуждения меловыми — темнее, колюче выделилась на них будто вмиг отросшая щетинка, когда он, вытерев жилистым кулачком слезы, сказал срывающимся голосом: «Я раб ваш, Вячеслав Андреевич. Служить я буду вам верно. С вами ведь связаны мы одной веревочкой — воевали вместе. Жизнью вам обязан. Возьмите меня на работу к себе. Много вы можете, знаю я».

Нет, на фронте они не считались друзьями, все было проще, поэтому яснее, и, может быть, связывающей веревочкой была одна неудачная разведка зимой сорок четвертого года. Крымов не забыл ту невезучую разведку и то ли из жалости к Молочкову, то ли из чувства собственной вины помог ему устроиться администратором при какой-то съемочной группе на студии, позже помощником директора и, наконец, директором в своей группе, довольный его расторопностью. И неустанная сверхбодрость, сверхэнергичность Молочкова, его приятнейшие отношения со студийными администраторами, его ласковое умение завязывать добрейшие связи с различными учреждениями, от которых могла зависеть организация съемки на натуре, и предупредительная готовность выполнить любое распоряжение Крымова, покорная, умиленная улыбка благодарности за прошлое и настоящее, культ режиссера в группе, как говорили на студии,— все это, не предполагаемое много лет назад в Молочкове, подтверждало Крымову одно: в разную пору черт или ангел сидит в человеке. «Черт был там, ангел здесь. Или наоборот?» Но к почтительной и преданной исполнительности Молочкова, почасту неприятной, как лесть, он относился со своей обычной иронией, главное же было в том, что денежные, административные и организационные дела под неусыпной властью директора не имели серьезных изъянов. И Молочков за шесть лет работы занял солидное место среди директоров съемочных групп, получил при содействии Крымова квартиру, стал носить аккуратные костюмчики, неузнаваемо чистенький, вымытый, тщательно брился, галстук завязывал умело, купил «Москвич» после премиальных с трех картин и, наконец, в прошлом году женился. Удивительно было то, что в день регистрации брака он попросился к Крымову домой на полчасика по важному делу — «показать невесту, ежели разрешите»,— и приехал с крупной полной женщиной, круглолицей, миловидной, утонувшей в пышном светлом платье, в волнообразных сборках, в веерных складках наподобие белых перьев, и разом квартира наполнилась крепким запахом духов, теплого тела, густым контральто, который она снижала до мелодичного вибрирования, довольно нестеснительно говоря о том, что обожает исторические фильмы, где очаровательные наряды, костюмы, роскошные кареты, балы, где отдыхаешь душой, а Крымов натянуто улыбался, благодаря бога за то, что Ольги не было дома (она не переносила несоразмерные восторги и крепкий парфюмерный запах), и впал в тоскливое отчаяние, не переставая замороженно улыбаться, когда она с радостным изумлением («Ах, какое чудо!») села к пианино, жестом королевской плавности расправила вокруг бедер волнообразные складки и пухлыми пальчиками попробовала клавиши. А Молочков, влюбленно ходивший за ней, весь напрягся струнной в своем новом костюме, украшенном гвоздикой в петлице, покорно заблестел навстречу ее взору блаженными глазами жениха, закивал просительно: «Спой, пожалуйста, Сонечка, пусть послушает Вячеслав Андреевич» — и зашептал Крымову с секретной значительностью: «Сонечка преподает пение в школе».

Она пела низким контральто о свече, которая горела близ ложа, арию Сольвейг, и Крымов, не любивший домашнего пения, всегда создававшего скованность, видел, как Молочков смотрел на невесту, на ее растягивающиеся, круглые, малиновые от помады губы, умиленный, потрясенный дрожащей мощью ее голоса, видел, как он захлопал восторженно, а она поднялась, небрежно опершись кончиками пальцев на крышку пианино, как бы готовая раскланяться. «Он будет ей служить, это ясно». Через час они ушли, благословленные Крымовым, без торжества вынужденным наедине сказать Молочкову не то, что тот хотел услышать от него («Как вы скажете, Вячеслав Андреевич, так и будет: брать или не брать. Люблю я ее, а совета прошу как у отца»). Он ответил, что в таких вещах никто совета давать не вправе, здесь от Адама и Евы подчиняются чувству, которое может сделать каждого и счастливым и несчастным, но, как видно, выбор сделан. Они поженились, и с тех пор Крымов встречал Сонечку бегло на премьерах картин, всякий раз поражаясь ее дородной полноте кустодиевских купчих, маленькому ротику сердечком, ее бурным певучим восклицаниям, крепкому запаху духов, чему-то пышному, белому, шевелящемуся складками и воланами на бюсте и на бедрах, и было странно видеть рядом с Сонечкой Молочкова, ниже ее на голову, пряменького, благостного, с обожанием прогуливающего под руку жену по фойе.

— Не хочу я пот, кровь и вшу помнить. Жизнь другая кипит. Мирная жизнь, Вячеслав Андреевич.

— Значит, не вспоминаешь?— проговорил вскользь Крымов, глядя на розовое, блестевшее выбритой кожей, счастливое, повернутое к нему лицо Молочкова, очевидно, не ведающего сейчас никаких сомнений и довольного жизнью своей.— Ну, а кого-нибудь из ребят нашего взвода помнишь?— спросил он, ловя в душе какое-то несправедливое раздражение против Молочкова.— Сержанта Ахметдинова, например?

— Смелости он большой был, погиб ужасно,— заговорил Молочков и смахнул обратной стороной ладони капельки пота с подбородка.— А я глупым щенком, недотепой во взвод пришел. Я Сонечке про войну ничего не рассказываю. Стыдно об себе, дураке неотесанном, вспоминать.

— Преувеличиваешь, Терентий,— усмехнулся Крымов.— Временами ты бывал парнишка... как бы сказать... настырный.

— Деревенщина, дегтем смазанная,— вот кто я был, Вячеслав Андреевич,— мелко засмеялся Молочков.— Вспоминать о себе спокойно не могу. Не люблю я себя молодого. Дурак глупый. Умирать никому не хотелось. А я в разведке иногда как безумный становился. Боялся, в плен возьмут, пытать до смерти будут. Спасибо вам... Войну никак не хочу помнить, а вас век не забуду. Гнили бы мои косточки на Украине, ежели б не вы... Гнили бы они в той воронке...

Он снова дробно засмеялся, но тотчас с коротким горловым кашлем повторил, крутя головой:

— Ох, дурак я был! Не люблю я себя молодого! Вы меня тогда, дурака зеленого, пожалели, в сорок четвертом году... А другой пристрелил бы, как собаку. Законы у нас в разведке были — не дай бог. Ежели нюни распустил на нейтралке — пускай девять грамм себе в лоб!

Молочков с сомкнутым ртом напряг лицо в беззвучном смехе, но почувствовалась в этом некая внутренняя злая взъерошенность, навсегда, казалось, утраченная им в настоящей его жизни, что-то вмиг изменившая в нем, как внезапный всплеск в памяти прошлой унизительной беды.

И Крымов вспомнил то, что не хотел подробно вспоминать, то свое полузабытое состояние, которое испытывал в иной жизни, украинской зимой сорок четвертого года, на нейтральной полосе, где вдвоем с Молочковым лежали они в бомбовой воронке, поджидая ушедших вперед разведчиков, когда обоим ясно стало, что разведка напоролась на немцев и не вернется.

Продолжение следует.

Игра

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки Е. БОНДАРЕВОЙ, А. УСТИНОВИЧА

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В тот момент, когда Крымов услышал крики и выстрелы на том берегу, он понял, что с его разведгруппой случилось непредвиденное.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 1—10.

А он был убежден, что на том берегу надо было по нейтралке двигаться в направлении разваленной и сгоревшей в поле скирды, не сомневался, что оттуда по лощине следовало взять левее, потом выйти в тыл села, где и предстояло группе действовать. Эта уверенность появилась у него после двухдневного и ночного ползания по нашим окопам боевого охранения, после придирчиво-скрупулезного изучения местности накануне разведки, в которую сам по приказу майора Азарова пойти не мог по причине словно бы непростительно легковесной.

Тогда его не столько мучила невыносимая боль от фурункулов на спине, сколько внезапность мерзостной болезни и неудача недавней предновогодней разведки его взвода. После взятия Киева и приостановленного в середине ноября наступления на Житомир дивизия встала в оборону, и началась, как обычно на исходе наступления, неутолимая жажда данных о противнике, о его перегруппировке на правобережье. Начальник разведки майор Азаров, отвечающий за данные, был крайне раздражен тем, что за три дня до Нового года немецкая разведка в метельную ночь выкрала из траншей нашего боевого охранения задремавшего под бруствером часового, что вызвало немедленное наше действие, оказавшееся неуспешным. Выйдя в тыл к немцам, группа Крымова пролежала в снегу вблизи шоссе пять часов безрезультатно. Ни одной офицерской машины, ни одной фуры не проехало той студеной ночью в село, и назад вернулись разведчики голыми, как презрительно определил майор Азаров, не признающий никаких объективных причин. Но целая ночь, проведенная на морозном ветру, в снегу, неожиданно свалила Крымова ломающей болью, высокой температурой, его уложили в санчасть, обнаружив на его спине фурункулы, а он, самолюбиво обозленный на промах взвода, на бессмысленную простуду, еще не случавшуюся с ним на войне, решил лишь ходить на перевязки, но быть во взводе, отлично сознавая, что подумал бы майор Азаров, если бы он, Крымов, командир взвода, лег на санротную койку, отстранясь от дела.

Поэтому, томясь посещениями санроты для ежедневных процедур, он и эту разведку дотошно готовил сам. Он не передавал подготовку сержанту Ахметдинову, чернобровому отчаянному парню, бывшему боксеру, которому доверял во всем, и двое суток лазил по передовой, наблюдая за дежурными пулеметами, за каждым сугробом на нейтральной полосе — на правом и левом берегу реки.

Однако в последние минуты зимней ночи, когда он отдал приказ разведгруппе и вместе с Молочковым остался в огромной бомбовой воронке на нейтральной полосе, а Ахметдинов, сказав весело «салют!», растаял с четырьмя разведчиками в синем от звездного света сумраке берега, Крымов испытывал нехорошее предчувствие, по разным приметам насторожившее его. Всюду цепенела звонкая тишина январской стужи, вверху, в черной пустыне, звезды горели острым алмазным огнем, а внизу, на земле, над окраиной полусожженного села не взлетали немецкие ракеты. Там необычно молчали дежурные пулеметы. Молчание было подозрительно какой-то затаенной мертвенностью, и, отпустив группу Ахметдинова, он долго вслушивался в безмолвие на нейтральной полосе. Она уходила метров на триста вниз, к заледенелой реке, а за рекой метров двести подымалась вверх, к первым траншеям немцев перед селом, где раскинулись над редкими крышами пылающие в небе созвездия. Боль нарвавших фурункулов грызла ему спину, ломила между лопатками, его сжимала шершавая дрожь озноба. Он чувствовал, что подскочила температура, и, может быть, этим усугублялась тревога, толкавшая Крымова к невозможному решению — отменить задание, вернуть разведгруппу, доложить майору Азарову о странном затишье у немцев. Но в то же время ни одного веского довода у него не было (молчание пулеметов — не довод). К тому же Азаров способен был понять отмену поиска не так, как надо, и он переборол сомнение, рассчитывая, что вся операция при счастливых обстоятельствах займет полтора-два часа: пройти аккуратно нейтралку по разминированной вчера ночью саперами узкой полосе в минном поле и без шума взять языка в первой траншее.

Но хаотичные вспышки автоматных очередей, ослепивших ночь, дальние крики, заглушаемые выстрелами, смутное передвижение какого-то клубка теней в фиолетовой мгле левее окраины села, визгливый взрыв мины — все, вдруг возникшее на правом берегу, пред-

ставилось в тот миг настолько невероятным, что, стиснув зубы, Крымов изо всей силы ударил кулаком по краю воронки: «Вот оно! Неужели?..» Нет, ни в одной разведке (как бы тщательно она ни готовилась) не были исключены десятки возможных вариантов случайностей, но каждый раз, когда Крымов сам уходил в поиск, он самонадеянно отметал возможность роковой неудачи.

«Вот оно, предчувствие!— мелькнуло у Крымова.— Я не пошел с ними — и вот оно!..»

— Ракетницу! Молочков, ракетницу!— крикнул он шепотом и, увидев испуганно отпрянувшее лицо Молочкова в шерстяном подшлемнике, выругался грубо.

— Напоролись, напоролись... А, товарищ лейтенант? Да неужто в ловушку попали?— всхлипывающе бормотал Молочков и совал сбоку твердый ствол ракетницы — он тыкался в рукавицу Крымова судорожными толчками.— Неужто, а?..

— Перестань ныть и наблюдай! — приказал Крымов, выхватывая у Молочкова ракетницу.— Ясно видишь, где наши и немцы?

— Напоролись... возле траншеи они... Да неужто в плен их?

— Замолчи, говорят!

По строгой и неукоснительной договоренности с полковыми артиллеристами он мог красной ракетой немедленно вызвать огонь по первой траншее немцев, по пулеметным точкам, прочесывающим нейтральную зону, и тем самым прикрыть отход разведчиков к нашим траншеям, что делалось в других случаях не однажды. Но вызывать сейчас огонь артиллерии было бессмысленно — огонь накрыл бы и наших разведчиков,— и вне себя Крымов отбросил ракетницу Молочкову.

— Спрячь игрушку! На кой она! Спрячь к черту!..

Лежа грудью на краю воронки, он всматривался в расколотое громом очередей пространство ночи за тем берегом, где возле первых траншей мелькали непрерывные скачки выстрелов, угадывая по трассам учащенный бой «шмайссеров», гулкий треск наших автоматов, тугие разрывы немецких гранат, брызжущий звон лимонок,— и уже по вспышкам очередей, по прыгающим всплескам пламени, по огненному рисунку за рекой он будто вблизи увидел то, что произошло и происходило там с его разведгруппой. Вероятно, перед самой траншеей сержант Ахметдинов наткнулся то ли на встречную немецкую разведку, то ли на немецких минеров, работавших на нейтралке.

— Отходить, Ахметдинов, назад, назад!— повторял Крымов бессознательно, слыша, как один за другим обрывался треск наших автоматов и зло, торжествующе звенело шитье «шмайссеров».

И тотчас неправдоподобная тишина упала с неба и такой непроницаемой немотой заполнила морозное пространство ночи, как если бы минуту назад не было впереди ни выстрелов, ни разрывов гранат, ни криков. Только очень далеко справа бесшумно сыпались под низкими звездами на горизонте красные цепочки пуль, и оттуда запоздало доносился ослабленный стук пулемета. А здесь затаенно молчала немецкая и наша передовая, нигде ни звука, ни движения, лишь в ушах еще билась металлическая дрожь автоматов.

— Да неужто в плен взяли их, а?— доходил сбоку захлебывающийся голос Молочкова, и смутно ощущалось, что он шевелится где-то рядом, трудно дыша, елозя валенками по снегу.— Да как же случилось-то? Смертники мы, товарищ лейтенант, смертники...

— Замолчать, Молочков!— приказал жестко Крымов, ненавидя и себя и Молочкова за эту бездейственность, за эту беспомощность вот здесь, на нейтральной земле, в бомбовой воронке, откуда они не могли Ахметдинову помочь ни автоматным огнем, ни огнем артиллерии.— Не верю, что всех,— заговорил он хрипло.— Трое шли впереди, двое сзади — группа обеспечения... Не верю, что всех. Кто-нибудь да отошел...

Он снял меховую рукавицу, подхватил пригоршню снега и с желанием остудить себя жгучим холодом потер, до боли корябая лицо. Холод этот смешался с неотпускающим ознобом, с жаркой тяжестью в голове, и у него застучали зубы, как в жестоком приступе малярии.

— Что вы, товарищ лейтенант? А?— задрожал над ухом голос Молочкова.— Совсем больны вы...

— Сейчас,— выдавил Крымов и задвигался на краю воронки.— Сейчас подождем... и туда... Узнаем сами. Подождем немного...

Он прикусил рукавицу, чтобы не стучали зубы, почувствовал кисло-металлический вкус снега и промерзшей кожи, его потянуло на рвоту, судорога прошла по горлу, он застонал, задохнулся от напрасных потуг, выговорил хриплым шепотом:

— Подождем немного... И к ним туда, ползком... Подождем...

— Товарищ лейтенант, вконец захворали вы... Куда ж мы пойдем? К немцам в лапы?

Крымов оторвал голову от рукавиц, взглянул на Молочкова, лежащего справа на снежном навале бомбовой воронки, и при ледяном свете звезд, в сумраке, его треугольное лицо, сжатое подшлемником, белым капюшоном маскхостюма, казалось безумным женским ликом, бледным призраком со стеклянными глазами, дышащим паром из густой бахромы инея вокруг рта. Это был, чудилось, не бойкий деревенский паренек Молочков, бедово напевающий воронежские частушки во взводе, а кто-то другой, зыбкий, всем нутром почуявший настигающее, необратимое.

— Слышите?— прерывисто зашептал Молочков, и, чудилось, влажный взгляд его заблуждал по лицу Крымова.— Ведь кричат... А?

Внезапно немецкие пулеметы забили по нейтральной полосе, засверкали огненные радиусы, очереди диким смерчем проносились над воронкой, ослепляя рубиновыми огнями, и Молочков, вжав голову в плечи, свалился с края воронки вниз, и оттуда, снизу, тонко вскрикнул его голос:

— Чую я, судьба сегодня... Напоролась наша группа, и наша теперь очередь!..

— Ты мне надоел!— зло оборвал его Крымов и спустился по скату воронки, пошатываясь, в голове туманно мутилось, и хотелось лечь, сжаться в комок, чтобы так согреться.— Где кричат? Померещилось?— спросил он, сдерживая стук зубов, с напряжением прислушиваясь, но услышал только дробный гул встревоженных немецких пулеметов, простреливающих нейтральную полосу.

— Кричит кто-то на том берегу... слышу я,— горячо зашептал Молочков, придвигаясь вплотную.— Не Ахметдинов это, а? Может, мучают они его? Ранили и штыками мучают... Помните, как Сидорюка нашли мы? Глаза ему немцы выкололи, руки отрубили...

— Ну что заныл? Что, спрашивается?..

И Крымов опять выругался, унижая ругательством Молочкова за этот обдающий бедой шепот, за жалкую оголенность страха перед непостижимым, роковым, случившимся с его разведчиками, с чем он, Крымов, не хотел согласиться, зная опытность Ахметдинова и тех, кто пошел в группе захвата, и не хотел легко поверить в то, что могло произойти там, перед немецкими окопами.

— Подождем,— резко сказал Крымов, глядя снизу на пулеметные трассы, рассекающие темноту неба над воронкой.— Переждем огонь и проверим. Поползем туда... Сам хочу проверить.

Молочков вскинулся, стеклянные глаза его в обводах инея на веках выкатились, переливаясь влагой.

— В лапы они к фрицам попали... Куда мы поползем? Куда ж?.. И хворый очень вы...

Крымов стиснул зубы.

— Туда же, не ясно? — выговорил он со злобным отвращением к бессилию неопределенности, и вдруг слова Молочкова «хворый очень вы», произнесенные с растерянным упреком, взвинтили его до ярости.— Ты чего скулишь? Какого хрена паникуешь? Разведчик ты или мочалка с ручкой? А ну давай наверх, наблюдай за нейтралкой! А то немцы подойдут и возьмут тебя, дурака, в мешке утащат!

— Ежели меня... А вы как? Вы разве железный?

— Ну, на меня немца еще такого не родилось, ясно? Я сам собой распоряжусь.

— Ох, Исусе... себя убить я не смогу,— забормотал всхлипывающе Молочков и, задрав голову, пополз на животе по скату воронки наверх, а там вытянулся, замер, уткнувшись лицом в рукавицы, еле видимым синеватым бугром под перемещающимися над ним трассами.

— Ну? Что ты там? Заснул, что ли?— крикнул Крымов, пересиливая слабость во всем теле, сотрясаемом дрожью внутреннего жара, тянущей болью в спине, к которой прилипла пропитанная гноем нижняя рубашка, и теперь хотелось нестерпимо пить, насытить какую-то жгущую его знойную пустыню.

Он схватил зубами снег, стал грызть его колючую пресную плоть, имеющую вкус ржавого морозного железа, и, не дожевав, боясь, что вытошнит, выплюнул мерзко размякший комок. Зло кривясь, он выполз на край воронки, лег грудью на закостенелый навал земли и впереди увидел нереальную химическую синеву снега, проступившие немецкие траншеи за рекой, танцующие огни пулеметов в опадающем зонте ракеты. Ракета угасла, с ядовитым шипением стала извиваться в воздухе и рассыпалась вторая, за ней третья — ракеты взлетали одна за другой. Немцы раздвигали поднебесным светом зимнюю темноту над передовой, перекрещенными очередями пулеметов прошивали пространство нейтральной зоны. С мутным звоном в ушах Крымов долго всматривался в выплывающие из ночи окраинные хаты полусожженного села, где синели полосой первые немецкие окопы, вблизи которых произошло с его разведгруппой худшее из многих вариантов случайностей на войне. Но сейчас, увидев в низине левее села покатую пустоту облитого ракетным мерцанием снега, он снова отверг мысль, что все пятеро, все до одного погибли или были схвачены, взяты в плен. Он был полностью уверен в опыте и осторожности сержанта Ахметдинова, ходившего за языком десятки раз, и еще жила, теплилась ничему не подчиняющаяся надежда на то, что кто-нибудь ушел из-под огня, напоровшись на немцев, затаился в низине и вернется оттуда, едва только смолкнут пулеметы, перестанут взлетать ракеты.

— Подождем, подождем,— выговорил Крымов, жадно подхватывая ртом снег, чтобы остудить жар в горле.

— Во! Слышите?..— вскрикнул с тоской Молочков и вытянул по-черепашьи голову из капюшона.— Вон оттуда, оттуда, от тех хат... Слышите?

— Бредишь, сосунок!

Крымов приподнялся на локтях, от чего огненно пронзило спину, будто клещами вырывали, перегрызали позвонки, и с перехваченным дыханием откинул капюшон маскхостюма, снял шапку с пылающей головы, мгновенно обдутой студеной поземкой, и прислушался.

Пулеметы делали короткие передышки между очередями, и в эти пробитые пустотой промежутки явственно донеслись странные воющие звуки откуда-то из нейтральной полосы. Звуки эти, нечленораздельные, хрипящие, протяжные, возникали и обрывались в ночи; так не мог кричать человек, то кричал в живых мучениях зверь, предсмертно никого не моля о пощаде, никого не призывая на помощь,— это был крик гибели и тоски, беспамятно обращенный к звездам, к холоду, к снегу, в никуда, где не было и не могло быть спасения.

И Крымова передернуло от этого животного вопля безнадежности, который, наверное, прощаясь с жизнью, издавал раненый, обреченный на мучительную смерть, и в первую минуту легче было внушить себе, что так кричал не наш тяжело раненный разведчик, а на нейтральной полосе в страданиях умирал раненный в перестрелке немец. Но ясно было: своего раненого немцы не оставили бы на нейтральной полосе рядом с траншеями. И Крымов понял, что там, впереди, за рекой, перед враждебными, чужими окопами истекал кровью и умирал его разведчик. А немцы, слыша его страшные крики, не подходили к нему, не до-

бивали раненого, а, наоборот, вероятно, желали, чтобы вопли умирающего достигли русских траншей, переворачивая душу как бы мстительным наказанием за разведку.

— Он... он это кричит...— змеисто пополз за плечом голос Молочкова.— Ахметдинова схватили... Пытают они его...

Крымов, не отвечая, зажмурился от режущих по глазам разрывов ракет над рекой, прижался грудью к краю воронки и опять начал хватать зубами пороховой снег, с усилием глотая его, а в ушах рос, приближался нечеловеческий вой из беспрерывно освещаемого ракетами нейтрального пространства, и этот вопль стальными когтями впивался, раздирал ему спину, сведенную болью.

«Все бы обошлось, если бы я пошел с ними»,— думал он, суеверно презирая это первое с Курской дуги невезение, и, уже не пытаясь справиться с клацаньем зубов, с дрожью, колотившей его, он проклинал себя и эту безопасную воронку на берегу, где он все еще поджидал возвращения кого-либо из разведчиков, хотя куда-то в бездну провалилось само время.

— Товарищ лейтенант... чего вы говорите? Не слышу я... Бормочете вы чего-то...

Цепкая рука затрясла его за плечо, и он, приподняв горячую голову, увидел над собой узко сжатое подшлемником под капюшоном серое лицо Молочкова, оголенное белым светом ракеты, наросты инея на бровях, увидел дышащий паром рот и проговорил сиплым шепотом, доглатывая застрявшую в горле жесткую снежную, не остужающую жар влагу:

— Сейчас... стихнет... Раненых на нейтралке не оставим. Ни одного. Проверь автомат, Молочков. Пока отогрейся...

Он выговорил это, замерзая и одновременно сгорая в жару, словно без шинели лежал на льду, насквозь пронизываемый острым, знобящим ветром, и Молочков, глядя на него с искривленным испугом ртом, отшатнулся белой тенью в темноту, зашуршал, захрустел снегом, скатываясь в воронку, придушенным голосом вскрикнул: «Хосподи Исусе, хосподи»...— и замолк там, скорчился, свернулся в пружину с ожиданием последнего.

«Только бы не свалило меня. Что-то плохо мне стало...— повторял бредово Крымов.— Только бы продержаться, сознание не потерять, пока стихнет... Хоть бы полчаса».

А огонь не стихал, пулеметы били без передышки, нейтральная зона пустынно, мертво обнажалась, крутым изгибом взблескивал лед реки, иллюминированный качающимися люстрами в небе, потом стало казаться: от назойливого взлета и сгорания ракет все впереди задвигалось, запрыгало из тьмы в свет, из света во тьму, брызгами вспыхивал лед до слез в глазах и гас,— и от затихающего, ослабевшего крика в нейтральной полосе, от нескончаемого мелькания, скачков пульсирующих огней, ракетных россыпей и обваливающейся на свет темноты дурно закружилась голова. Крымов закашлялся и, переводя дыхание, с черными кругами в глазах почувствовал, как вонзается неодолимый страх оттого, что вот так, замутненный головокружением, он перестанет владеть собой и потеряет сознание.

«Сейчас, надо сейчас,— соображал он.— Левый пулемет не меняет сектор обстрела. Надо ползти по правой стороне низины. Так он не заденет... Пора!»

И он позвал с хрипотцой:

— Молочков!

Ответа не было. Он, преодолевая боль в шее, повернул голову и пригляделся — там, внизу, на дне воронки неясно белела скорченная фигура Молочкова, он не шевелился на снегу, подтянув колени к подбородку, и какие-то невнятные, мычащие звуки доносились до Крымова. Он окликнул громче:

— Молочков! Давай ко мне!

И снизу дошло неразборчивое всхлипывание:

— Товарищ лейтенант...

— Какого хрена, Молочков! Оглох?

Он в нетерпении сполз по скату воронки, наклонился над Молочковым, сильно тряхнул его за плечо, отчего тот встрепенулся взъерошенной птицей, растопырив локти, как наголо обдерганные крылья, горящие пустотой глаза обезумело разъялись.

— Куда мы? А?

— Слушай, Молочков, внимательно,— заговорил Крымов отрывисто.— Пойдем так. Перебежками к реке. Ползком до того берега. И ползком к немецким траншеям. Прижимаемся к правому скату низины. Все делаем под шумок пулеметов. Следи за моими сигналами в оба. Поднял руку — вперед, махнул — замри...

Ему трудно было говорить, он туго выжимал слова сквозь выбивающие дробь зубы и вдруг скомандовал срывающимся от душной тесноты в груди шепотом:

— Всё! За мной.

И повернулся, пошатываясь, пошел вверх по скату воронки в ту самую секунду, когда смолкли пулеметы и в насыщенной звоном тишине, задавив ракетный свет, темнота расползлась по передовой.

— Не надо, не надо, товарищ лейтенант!..

Он остановился на середине ската, не понимая смысла тонкого, молящего вскрика за спиной («Что не надо? О чем он?»), и, зло возбужденный сопротивлением своей команде, чего никогда не допускал во взводе, увидел сверху стеклянный блеск на зыбко проступающем пятном лице Молочкова, и горбатыми паучками доползли прыгающие звуки его голоса:

— Не надо меня, товарищ лейтенант, не надо...— Голос Молочкова рыдающе зазвенел и заторопился в беспамятстве несвязной скороговоркой:— Ахметдинов это кричал... А тогда под Сумами Сидорюку глаза штыком выкололи. Куда ж мы пойдем?..

— Да ты что, Молочков? Очумел? А ну встань! Возьми себя в руки!

Над нейтралкой с отчетливым щелчком взвилась ракета, набегая спереди омывающим светом, в небе посыпался красноватый дождь, сверху вся воронка озарилась багряной мертвенностью — и сразу фиолетовыми горячечными точками придвинулись и скользнули глаза Молочкова, какие бывают у больных, просящих о помощи собак.

— Не могу я, товарищ лейтенант, зазяб я, боюсь...— заговорил умоляюще Молочков, и запрыгали неудержимо и жалко короткие червячки белых бровей.— Пожалейте вы меня, дурака деревенского, за ради бога. Не берите вы меня. В плен я боюсь, пытать будут. Не разведчик я, товарищ лейтенант, мне б в обозе где... Вон и руки я вконец отморозил. Как култышки деревянные...

И он, стоя на коленях, вытянул в негнущихся, закостенелых рукавицах затрясшиеся руки, потом зубами с усилием стянул одну рукавицу, с усилием попробовал подвигать пальцами, но не сумел и, оскалясь, без голоса заплакал, запрокидываясь назад, так что стали видны его мокрые сжимающиеся и разжимающиеся ноздри.

— Да что за дьявольщина!— крикнул гневно Крымов.

— Мочи моей нет, товарищ лейтенант,— тоненько взвизгнул Молочков, раскачиваясь на коленях, и мелкие слезы побежали по его сизым губам.— Каждый раз, как с вами в разведку уходил, со страху умирал, душа в пятках дрожала. Да проносило смертушку. А теперича... в голове у меня сдвинулось. Весь обморозился я. Мозги вывихнулись. Мне б в госпиталь надо... Пусть хоть руку, хоть ногу оторвет, а в госпиталь бы, мочи моей нет. Жить я хочу, товарищ лейтенант, не хочу я молодую жизнь губить! — И, поперхнувшись слезами, он зарыдал в голос: — Хо-осподи Исусе, спаси меня!..

Крымову не раз приходилось видеть последнюю степень отчаяния на войне, но подавленность и страх этого зеленого паренька, лично взятого им в разведку из пополнения за бойкий взгляд, за ловкую подвижность худенького тела, этот выплеснувшийся страх Молочкова не то чтобы был неожиден, он ошеломил его омерзительной искренностью, криком о спасении, будто ничего не существовало, кроме голого ужаса перед тем крайним, что ожидало их на нейтральной полосе.

— Не могу я в разведке, товарищ лейтенант,— повторял, склоняясь к земле в рыданиях, Молочков.— Ждал я вашего приказа и бога молил: пронеси и спаси, хосподи... Схватят они нас, замучают...

— Замолчи, щенок!— выговорил Крымов и с толчками крови в висках, с тошнотным головокружением шагнул к Молочкову, сдавил пальцами его плечо.— Ты что же думаешь, мы раненых оставим на нейтралке? Уж лучше и мы, понял? Встать!— скомандовал Крымов.— Ну! Быстро! Встать!

— Убейте, товарищ лейтенант, сразу убейте, чтоб не мучился я... Убейте меня...

— Прекрати нюни! Встать, я сказал!

Он изо всей силы стиснул жидко заходившее плечо Молочкова, близко видя его мокрое, исковерканное плачем лицо, показавшееся совсем мальчишеским при свете ракеты, а эта маленькая дрожь плеча, вроде потерявшего опору твердой плоти, почудилась каким-то предгибельным сигналом, сообщенным самой судьбой.

И Крымов подумал, что сегодня — через полчаса, через час — Молочкова убьют, и с неприязненной жалостью оттолкнул его, шепотом выговорил как в забытьи:

— Так что же?.. Так что же мне с тобой делать, сволочонок ты, а не разведчик? Расстрелять тебя как труса за невыполнение приказа?

— Товарищ лейтенант, родненький, поимейте жалость, ноги буду мыть и воду пить!..— заголосил Молочков и качнулся вперед, повалился на землю, а голая левая рука его с непослушными пальцами, на которую он так и не натянул задеревеневшую рукавицу, рыскающе искала валенок Крымова, и, раздавленно извиваясь, он тянулся к валенку головой, мыча, издавая торопливые чмокающие звуки.

— Ты, глупец, с ума сошел!— выругался Крымов и, не вынося этого обезумелого унижения, приказал бешено:— А ну встань, говорят!

— Лейтенант, миленький, ножки целовать буду, слугой вам буду, пожалейте за ради молодой жизни!— вскрикивал Молочков, все ползая по снегу вокруг Крымова, и было что-то бесстыдное, бабье в его исступленном причитании.— В госпиталь бы мне... Неспособный я к разведке, боюсь я к немцам попасть. Звери они, по куску грызть будут. Нету у меня сейчас понимания, товарищ лейтенант, как дурачок я, поимейте жалость к моей неопытной жизни... На три года моложе я вас, а все смерть вижу...

— Значит, в госпиталь хочешь? И смерть все видишь? Ух, как ты мне противен,— гадливо выговорил Крымов, глядя на червякообразно вихляющуюся под ногами белую спину, и с опаляющей голову непрекословной решимостью приказал: — А ну сядь!

И, сдернув рукавицы, рванул левой рукой за маскхалат Молочкова, поспешно севшего на снег в онемелом оцепенении (только глаза, залитые слезами, мерцали, защищались, выкатывались в ужасе), а правой рукой на ощупь откинул скользкую, сплошь в инее крышку кобуры на его ремне, нащупывая ледяную рукоятку трофейного парабеллума. Рукоятка не поддавалась, льдом вмерзла в тесные края кобуры, и тогда, морщась, сдирая кожу на пальцах, он с резким скрипом выдернул парабеллум, и тотчас визгливый крик оглушил его:

— Не надо, не надо! Товарищ лейтенант, миленький!..

И с задушливым стоном Молочков упал на четвереньки и суматошно пополз куда-то боком по дну воронки, загнанно оглянулся черными ямами глаз, рыдающе прохрипел: «Не надо!» — и зарылся лицом в снег, елозя валенками.

— Не тебя, сволочонок, а мать твою жалко. Ошибся я в тебе, мокрица!.. Сядь, я сказал!— повторил брезгливо Крымов и снова сильным рывком поднял Молочкова с земли, а подняв, ощутил студенистую дрожь его ослабевшего тела, тяжкое дыхание его округленно и немо раскрывавшегося рта, глухо скомандовал:— А ну, гляди в небо и дай руку, если жить хочешь!

Вверх гляди, щенок чертов!— крикнул он и, дернув к себе безвольную руку Молочкова, быстрым движением приложил пригоршню снега к рукаву его маскхалата и рассчитанно выстрелил в край снежной пригоршни, зная, что делает...

(Позднее, спустя много лет, не забывая те годы отчаянного и жестокого риска, но забывая того молоденького и не в меру решительного лейтенанта Крымова, почти всегда удачливого командира взвода полковой разведки, он часто думал о прежней своей безбоязненности, с которой распоряжался судьбой людей, о грубости собственных поступков, о своей лейтенантской безоглядности с мгновенными поисками выхода, когда не было сомнений, сопровождавших его потом целую жизнь.)

Но тогда, в ту январскую ночь, после его выстрела Молочков охнул, закатил мертво побелевшие глаза и повалился спиной на скат воронки, суча ногами, как в предсмертной агонии. А Крымов подождал, присел рядом, стволом пистолета разорвал индивидуальный пакет, в молчании перебинтовал его темно набухавший рукав маскхалата и, чувствуя рвотную спазму в горле, железистый запах крови, липкость на пальцах, проговорил с презрительной яростью:

— А теперь, не оглядываясь, мотай в тыл! Целому тебе там не поверят, поэтому кричи громче: немцы ранили, а лейтенант перевязал! Жив будешь, сволочонок. Но чтобы я тебя больше никогда не видел около разведки. Увижу — все вспомню и тогда не пожалею девять грамм. Давай бегом отсюда, чтобы ноги в задницу влипали!

Однако через сутки пришлось вновь увидеть Молочкова, уже в медсанбате, куда Крымова привезли на рассвете той зловещей ночи, поглотившей пятерых человек из его развед-взвода.

Память навсегда сохранила те безысходные минуты, когда он один, обдуваемый секущей поземкой, полз к правому берегу, а потом лежал, обессиленный, под звездным, таким бесстрастно холодным небом, в безмолвии неизвестно почему затаившейся нейтральной полосы.

Впереди молчали пулеметы и замолк человеческий вопль на нейтралке, лишь внизу с трескучим звоном лопался в лютой стуже лед на реке, где дымилась на середине пробитая снарядом черная полынья. А он, отуманенный жаром и болью, мучимый жаждой, полз и воображал дышащую морозом хрустально-чистую влагу, представлял, как он с наслаждением погружает в холод воды подбородок и пьет ненасытно, большими, охлаждающими горло глотками и не может напиться.

И последнее, что еще ясно осталось в памяти, была черно-тяжелая вода полыньи (там качались и вытягивались нитями звезды), вкус огненно-ледяной воды, от которой он задохнулся и замерз, и голубоватая сумеречность правого берега, куда он дополз, волоча на локте автомат, опасно позвякивающий прикладом по бугоркам речного льда.

Потом все было размыто — низина, плохо различимые вверху сугробы первых немецких траншей, нескончаемая зимняя ночь над закоченевшими садами полусгоревшего села, удары крови в ушах, неотступная мысль о том, что во что бы то ни стало он должен знать, что здесь произошло, шелест поземки в пустынной низине, ни выстрела, ни света ракеты, ни одного признака, объясняющего, что случилось с разведгруппой, хотя мнилось: поземка пахла холодным порохом...

Позже ему рассказали, что его нашли в зоне нейтралки, неподалеку от воронки, на левом берегу, но как он сумел вернуться с правого берега, этого не помнил.

И, очнувшись в медсанбате, он в тот же день увидел своего разведчика Молочкова, пришедшего к нему в палату с виновато-счастливой улыбкой, рука висела на свежей перевязи, смазанное какой-то мазью лицо в сизых пятнах, но желтые бойкие глаза играли молодо, голос звучал заискивающе и ласково:

— Товарищ лейтенант, слава богу, живы вы... А у меня мизинец чегой-то согнулся и онемел. Во, поглядите-ка. Да пустяки, пустяки это. Пуля мяготь задела.

— Пошел с глаз,— равнодушно сказал Крымов.

Продолжение следует.

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Игра

— Ты прав, Терентий, девять грамм тоже бывает спасение,— сказал Крымов, мельком ощущая давнее бессилие и одиночество на нейтралке, но без прежней остроты гнева, точно все прошлое кануло в далеком сне.— Что ж, не будем вспоминать войну. В конце концов, многое миновало. Лучше расскажи, как сейчас живешь? Как дома?

«Стоит ли думать, какими мы были тридцать лет назад? Терентий хороший директор, предан делу...»

— Так как Соня? Наследника не ждете?

— Вся моя жизнь от вас зависит, Вячеслав Андреевич, все время о вас думаю. Неверующий я, а то бы молился,— проникновенно сказал Молочков и взволнованно перевел дух.— Как я без вашей помощи? Даже на законный брак, можно сказать, благословили. Может, скоро ребеночек будет у Сони. Я сына хочу, она девочку. Споры семейные по этому вопросу. Да боязно, Вячеслав Андреевич. Очень уж боязно.

— Чего боязно?

— У Сони астма. Петь она вовсе перестала. Иногда прямо задыхается. В этом году три раза неотложку вызывал. Жить ей в городе врачи не рекомендуют. За городом надо, на хорошем воздухе. Вот я кооперативный участок взял от студии. Напрячься бы силенками, домишко построить, Вячеслав Андреевич,— для Сони спасение. Ох, удалось бы!..

— Понятно. Удастся. Тебе удастся.

— Почему вы так сказали?

— Тебе сейчас все удастся, Терентий. Ты вошел в полосу удачи. Есть в жизни полоса везения и невезения. Ты — в полосе везения. Мчишься в ней на своем «Москвиче».

— Смеетесь надо мной? А вы как же?

— Я вышел из полосы. И смеюсь над собой, конечно.

Молочков покосился на Крымова, и вкрадчивые, замерцавшие глаза его значительно округлились, показывая понимание интеллигентной шутки. Но когда он снова повернулся к рулю, затылок его стал прямым, выжидательным, а поющий голос подчеркнуто недоверчивым:

— Разве глупые слухи, наговоры — факт? Вы человек всему миру известный — никто вас пальцем не тронет! Разве кто вас свалит?

Крымов опустил стекло и, глядя на просверки солнца меж елей за обочиной шоссе, вдохнул теплый ветер, напоенный сухой хвоей, сказал:

— На земле нет неприкасаемых людей. Падает тот, кто бежит. Тот, кто ползет, упасть не может. Я слишком долго бежал. А это не все поголовно любят. Впрочем, я просто работал. Работал, работал. И пытался поймать за хвост жар-птицу. Понимаешь, Терентий?

— Неужто Нечуралов вместо вас картину снимать будет? Ведь слухи о нем,— проговорил оробело Молочков, и пряменький затылок его опять выжидательно замер.— А я как без вас? Неужто с вами серьезно?

— Ты не пропадешь, директор.— Крымов ободряюще похлопал его по плечу.— Мужик ты тертый, обходительный, умеешь ладить. Балабанов тебя любит, да и ты хорошо ему служишь. Скажи, дорогой Терентий, во имя чего ты лжешь ему, наговариваешь на меня всякие небылицы, придумываешь фантастические сюжеты?

«Вот что целый день раздражало меня, как тоскливая неопределенность?»

— Служу я ему и вам, Вячеслав Андреевич,— тоном тихого и покорного согласия отозвался Молочков.— И Советской власти. Я человек маленький. На войне подчинялся и сейчас приказы выполняю. Ничего я плохого о вас не наговариваю, а наоборот — помогаю вам, извините. Сил у меня маловато, видать, для помощи. Да как могу. Разве я против вас?

Тихий голос Молочкова поперхнулся обидой, стал носовым, жидким, и Крымов проговорил досадливо:

— Ну, вот еще одно великолепие, начинается сцена из мелодрамы. Ты что, научился играть в кинематографе? Перестань ныть, смешно это! Без меры хитер ты, Терентий, и очень хорошо знаешь, что лесть пожирает слабых заживо.

— Смеетесь надо мной? Обижаете,— выговорил надтреснутым, больным голосом Молочков и огорченно покачал головой.— А я как раз сегодня о серьезном деле должен поговорить с вами. Вас касается. Не догадывались, зачем я вас не на студийной машине домой отправил, а на своей везу? Ведь шофер Гулин — дурак глубокий, пьяную морду вы ему правильно набили, а он к закону обращается, в суд на вас подавать хочет. Вот стерва подколодная! Сегодня ко мне приходил в свидетели меня приглашать.

— Что ж, это его дело,— сказал непроницаемо Крымов, вспомнив исподлобный, заметавшийся взгляд Гулина, которого он на днях встретил в съемочной группе.— И что ты ответил?

Молочков виновато поморгал леденцовыми глазами, ноздри его маленького хрящеватого носа до побеления напряглись.

— А дурак — разве он не опасный, Вячеслав Андреевич? Кто знает, что ему в голову залезет. Говорил я с ним долго, целый час он у меня сидел, убеждал всеми словами, что его самого, неумейку и пьянь, под суд легко отдать. А он мне: «Крымов хотел меня изуродовать за то, что видел я, как он с потаскухой Скворцовой в траве валялся, угрожал мне. Пусть, мол, суд во всем данном темном деле разберется». Кирпич, сволочь, а не человек! Темнотища лимитная...

— И дальше что? Что замолчал? Говори до конца, Терентий.

— А не много, Терентий? Как думаешь?

— Как язык только у алкаша поворачивается!— заговорил с ядовитой улыбкой Молочков, возбуждаясь, нервно взглядывая из-за вздернутого плеча на Крымова.— И еще меня в посредники взял и не боится! Пустой он, никудышный человек, а опасный. Да с него и спросто какой — как с чурбана, а сдуру навредить крепко может! В народе умно говорят: не тронь дерьма — аромата не будет. Эх, Вячеслав Андреевич, некрасивое это дело, глупое, а аромат-то нюхать не хочется. Отдали бы вы ему, что ли, эти деньги, пусть подавится, только бы запах не распространял! Шут с ними, с деньгами, они, деньги-то,— наживное, а спокойствие дороже, ей-богу. Одних нервов с вонючим глупарем потратишь на десять тысяч!

— Да, одних нервов потратишь на десять тысяч,— повторил Крымов в тон Молочкову, как будто безучастный к тому, что он говорил, но вместе с тем злое отвращение душило его, и сразу все предстало непереносимо противным: этот убедительно размышляющий голос Молочкова, его пряменький возмущенный затылок, его презирающая глупаря Гулина улыбка; и вновь кто-то, умудренный скорбью опыта, терпким неверием, навечно обреченный в его душе на одиночество, на понимание тщетности всего, что желало, хотело, жаждало, неустанно интриговало вокруг, сказал ему тоскливо: «Ну, для чего это? В чем смысл этой жалкой лжи? Получит три тысячи — а дальше что? Наступит в его жизни райская благодать? Купит бессмертие?» И кто-то другой

«Бред, безумие... Для чего мне знать? А дальше что будет со всеми нами?— подумал вдруг Крымов и глотнул из окна струю сквозняка, чтобы унять боль в сердце.— Кто спасет нас от коварных дураков?»

— Пьянь он пьянь, а расчет в голове имел,— продолжал Молочков с едким осуждением.— Изуродовать, говорит, меня хотел, так пусть, говорит, по справедливости заплатит, и тогда прощу я его, квиты будем, и в суд не подам. Ежели шофер человека сбивает, так он за увечье ему каждый месяц платит, вроде по инвалидности. У меня, говорит, машины нет своей, дачи нет, а Крымов человек богатый, так пусть четыре тысячи выложит бедному, ежели виноватый,— и все полюбовно, чисто, замолчу я и вроде ничего не знаю, ничего не видел.

— Понятно, понятно. Четыре тысячи?

Молочков пренебрежительно закряхтел, перебирая цепкие пальцы на руле, и заговорил непривычно черствым голосом:

— Я ему и сказал, дураку: «Ты что же, ограбить намерился хорошего человека? Четыре тысячи! Для чего тебе четыре тысячи? Пропьешь ведь без толку, курья голова! Ты и пятисот рублей никогда в кармане не держал. И не боишься мне такое болтать про тысячи, а?» А он все рассчитал, дурак оказался умный. «Мы,— говорит,— вдвоем с вами, свидетелей нет, никто не слышал, что хочу, то и говорю, шито-крыто, а я четыре тысячи прошу законно, пусть даже три, и знать ничего не знаю». Вот выставилась какая стерва, а?

— Значит, четыре или три тысячи? И все будет в порядке?

— Три просит после моего разговора, гадюка бессовестная.

в его душе, не желающий ничего взвешивать на весах горькой мудрости, возражал непростительно и недобро: «Каким же образом ты влез в грязь? Вини свою наивную веру в то, что все перемелется!»

— Терентий Семенович...

— Аиньки? Слушаю вас, Вячеслав Андреевич.

— Ах, спасибо тебе за милое бабушкино «аиньки». Как ты хорошо это сказал!

— С любовью к вам...

— Спасибо, спасибо. А скажи, пожалуйста, Терентий Семенович,— проговорил шепотом Крымов, вплотную наклоняясь к уху Молочкова, и поощрительно тронул его за плечо,— а как вы решили разделить сумму? Тебе две с половиной, а Гулину пятьсот? Или иначе — Гулину тысячу, а тебе две? Это, знаешь ли, мне очень важно.

Молочков медленно оборотил к нему продолговатую голову, его короткие бровки выгнулись весело — вопрошающими дугами, его подвижные губы раздвинулись и сдвинулись, изображая комический смех.

— Шутите?— ласково и укоризненно сказал он, однако без всякой защиты задетого достоинства и без неудобства за грубую чужую прямоту.— Ох, Вячеслав Андреевич...

— Я совершенно серьезно,— продолжал Крымов, участливо поглаживая жилистое плечо Молочкова.— Идея прекрасная, и, конечно, она не сразу пришла тебе в голову, Терентий Семенович. А почему бы и нет? Крымов, кажись, уже не тот, не упускай добычу, вырывай зубами крупные и мелкие куски, лови момент, авось интеллигент струсит, а нам, бедным, в суматохе повезет. Так, Терентий, мой любезный друг?

Продолжение. См. «Огонек» №№ 1—11.

— Оставьте меня! Вы во всем виноваты!— взвизгнул фальцетом Молочков, дергая плечами, и гибко отклонился в сторону, зачем-то одной рукой оправляя на груди пиджак, и в следующую минуту что-то неподкупное и неминуемое появилось в его скошенном взгляде.

— Так что ты мне скажешь, разведчик?— спросил Крымов.— Ты какую-то фразу хочешь произнести?

— Вы меня сильнее были!— тем же высоким голосом выкрикнул Молочков и опять заученно растянул рот в беззвучном комическом смехе.— Были, Вячеслав Андреевич! А теперь и я не слабый. Я слуга и раб ваш был, это нравилось вам, теперь и я вроде свободный! Независимый я от вас! Меня и другой режиссер возьмет. Вон оно как в жизни бывает! Как в песне поется: то вознесет его высоко, то бросит в бездну без следа. Кончилось, видать, ваше счастье! А руку эту вы мне на фронте покалечили. Нерв-то задели, вон палец как плохо работает!— Молочков оторвал левую по-обезьяньи быструю руку от руля, с угрозой помотал пальцами, зашевелил оттопыренным кривым мизинцем, уже не смеясь беззвучно, а остро оскаливаясь улыбкой готового броситься из засады хищного зверька.— Вы передо мной, Вячеслав Андреевич, тоже крепко виноваты! Я на вас тоже в суд могу подать — как вы меня в войну самострелом сделали!

Молочков, точно спеша, назойливо сыпал в лицо слепящей пылью, и сквозь остренькую улыбку его неузнаваемо злобные глаза вспыхнули желтым огоньком. И Крымов, выдерживая необходимую степень насмешливого спокойствия, проговорил:

— И ты, Брут?

— Откуда такой еще Брут? Какой еще?.. Вы меня не очень!..

— Дур-рак!— сказал Крымов с презрительным удовольствием и договорил, по-прежнему насмешливо расставляя слова: — Наверно, так нужно было судьбе, чтобы я пожалел тебя, дурака, в сорок четвертом... Как ты думаешь?

Молочков вскричал незнакомым голосом, исполненным страстью обиды:

— Ох, я тоже на земле нужен! А чего я заслужил? А несправедливость была и будет! У вас квартира большая, дача, деньги не копеечные, все есть! А у меня чего? Квартирка крохотная, машинка — от смеха помереть можно, «Москвичок», жена больная, а что до денег, то всегда в обрез, Вячеслав Андреевич!.. Я ваш разговор с американцем очень хорошо понимал, выше всех себя ставите! Барин вы по сравнению со мной, с моей бедной жизнью! Презираете вы меня, брезгуете, терпите, я шкурой такое чувствую. На войне вы меня презирали и сейчас!

Молочков торопился выговорить это неосторимо и возбужденно, на его губах играла мстительная затяжная улыбка, и Крымов почувствовал, как звенящая пронзительная струнка до предела натянулась между ними, и, испытывая жгучее прикосновение к неудержимо раскрывшейся ненависти своего бывшего разведчика, оставшегося в живых из его взвода, сказал вполголоса:

— Это верно. По натуре ты всегда был раб. И, кроме презрения, другого чувства вызвать не можешь. Останови-ка машину, современный Брут,— негромко приказал он и властно, как в давние лейтенантские времена, сдавил жилистое плечо Молочкова, горячее, мигом напрягшееся, а увидев его мертвеющее от ожидания и страха лицо, вторично скомандовал: — Стоп!

«Москвич» завизжал тормозами, вильнул к обочине, остановился на насыпи пустынного в этом месте шоссе, над желтеющими полями, и когда Крымов решительно раскрыл дверцу и вылез из машины в тишину, его окатило зноем нажженной солнцем дороги вместе с сухим полевым воздухом. Тут он несколько помедлил и обернулся к Молочкову, с незавершенным любопытством разглядывая его ставшее меловым лицо, утратившее обычную угодливую приветливость, выражение деловой энергии, ежеминутно приготовленной к действию, как бы необходимому для рабочей бодрости съемочной группы, и в первую очередь для него, режиссера Крымова.

— Ну что ж, Терентий, спасибо за искренность, это тоже дорого стоит, гораздо больше трех тысяч,— сказал Крымов, внутренне поражаясь так страшновато излитой враждебности Молочкова и мере своего хладнокровия.— Но, как вы хорошо понимаете, Терентий Семенович,— продолжал он, вежливо переходя на «вы»,— в создавшихся обстоятельствах делать нам вдвоем в одной съемочной группе нечего. Я завтра же приму решение, если вы не примете его раньше. Кстати, передайте шоферу Степану Гулину, что во имя справедливости я готов разориться на три тысячи. Но, конечно, при условии, что не буду лишен счастья взглянуть на его личико... вот так же, как на ваше, чтобы вблизи увидеть, кто же мой благодетель. Всё, кажется. Не беспокойтесь, директор, я поймаю попутную машину. Счастливого пути, Терентий Семенович! Вам опять повезло, как тогда в воронке... Вы возвращаетесь один...

Он захлопнул дверцу машины с тою же мерой давнего лейтенантского хладнокровия, которое необходимо было тогда и в особенности нужно было теперь.

«Может ли такое быть — в сорок четвертом на Украине он хотел перехитрить судьбу... и второй раз сейчас? Изменилась внешность, костюм?— думал Крымов, шагая по шоссе, и его душно охватывала тоска.— Нет, другое, прибавилось другое... Он доказывал мне свою преданность и защищался фальшивой приятностью в общении со всеми, а моя добренькая благотворительность помогла ему достичь кое-чего. Но что толкнуло его к злополучным четырем тысячам? Не Гулин, ясно, не Гулин. Идея Молочкова. Как она возникла? Болезнь его Сонечки? Дача? Или он решил, что настал момент безнаказанно урвать кусок побольше? Ах, какая расчетливость, какая сообразительность!..»

— Вячеслав Андреевич! Погодите, родненький! Куда ж вы?— послышался за спиной Крымова упреждающе взвизгнувший голос, позади застучали по асфальту шаги, и Молочков, запыхавшийся, взмокший, забежал вперед, как-то искательно пританцовывая, умоляя растерянно моргающими глазами, готовый заплакать и удерживаясь от слез.— Вячеслав Андреевич, родненький, обидел я вас!— заголосил он, захлебываясь.— Извините меня, скотину необразованную, чего я вам такое глупое, несуразное наговорил, соскочило у меня с языка, сам не знаю, дурак я, балбешка стоеросовая! Дипломат какой, стал антимонию разводить, а я обязанный вам по гроб жизни и детям своим скажу: есть добрый человек. Ведь вы по душе... а я за пьяницу Гулина просить стал!..

«Вот он, второй Молочков, в защитном костюме».

— Доброта в наше время наказуемый порок. Верно, Терентий Семенович?— сказал Крымов и усмехнулся.— Так зачем вам потребовались три с половиной тысячи? Отлично понимаю, что из всей суммы Гулину, наверно, досталось бы только пятьсот. Почему вы просто не попросили у меня взаймы?

— Вячеслав Андреевич, не мне деньги, не мне!— вскричал протестующим голосом Молочков и внезапно с неуклюжей порывистостью ткнулся вытянутыми губами, всем лицом в плечо Крымову, что должно было означать не удержанный поцелуй благодарности.— Разве я могу? Гулину, Гулину деньги! Я вас хотел оберечь от его злобы, а потом помутилось у меня в голове и начал говорить вам темные слова! Побили бы меня лучше, и то легче б стало! Для чего говорил гадости вам, не знаю, объяснить себе, дураку, не могу. Ведь люблю я вас, Вячеслав Андреевич, а наболтал, наболтал, вроде враг я вам! Жизнь вы мне спасли...

— Перестаньте унижаться!— остановил его Крымов, силясь подавить гнев.— Противно, ей-богу. В разведку вам сейчас не идти, и со мной на тот берег не надо. Парень вы всегда были себе на уме. Вы думаете, тогда в воронке я поверил вам, что вы руки обморозили и разума лишились? Все было ясно. Просто я пожалел вас — и вы ушли в тыл, счастливец, и остались в живых. А вас расстрелять надо было. Неужели вы думаете, что эта грязь с деньгами мне непонятна? Одного не пойму — почему я все время вам руку помощи протягивал? Почему помогаю? Впрочем, природа создала для чего-то и таких хорьков! Теперь вам ясно мое отношение к вам, Терентий Семенович? Поди-те к чертовой матери, я не хочу вас больше видеть!

— Господи Исусе...

Молочков слушал раздавливающие слова, дрожа подбородком, потом прижал кулаки к глазам и застонал, заплакал тоненько, с собачьим подвизгиванием, и Крымов скривился, сказал:

— Да хватит ныть, хватит, наконец.

— Господи Исусе, не мне деньги, не мне! Слуга я ваш был и есть, Вячеслав Андреевич!..

— Я сказал вам — подите к чертовой матери!

— За что? За что ненавидите меня? Ведь ненавидите?

— Хуже.

— Ах, вон как!

И не отнимая кулачков ото лба, он затанцевал, засеменил вокруг Крымова и, тут опомнясь, пошел к машине, покачивая головой, как бы убитый несправедливостью человека, которого боготворил, ценил душой, но был отвергнут, не понят. А когда он опустил кулачки и обернулся, порозовевшее лицо его было перекошено злобой.

— А денежки Гулину отдадите, иначе он вас под монастырь! Он может! Под монастырь вас!..

«Действительно, за что он ненавидит меня? Может быть, все из прошлого, из той воронки? Жди возмездия?»

Крымов стоял на обочине, ломая спички, прикуривая, и, мельком взглянув на машину, развернувшуюся на шоссе, успел заметить пряменькие плечи, непреклонно, даже сурово сжатый рот Молочкова — таким он видел Терентия Семеновича впервые — и тотчас подумал, что в общем-то он, Молочков, хозяин положения, ибо не остановится ни перед чем, используя удобные возможности. Его враждебно неумолимое личико промелькнуло и исчезло, словно не было между ними разговора и Молочков унизительно не извинялся, не силился плакать с жалобным собачьим подвизгиванием. «Что происходит со мной и вокруг меня — безумие?— думал Крымов с тоской.— Не может быть, чтобы моя жалость погубила Ирину и был прав ее отец: я не должен был вселять в нее надежду,— дрогнула в нем мысль, и ноюще заболело в висках.— Если так, то, значит, жалость возвращается несчастьем? Да есть ли она, прочная логика? Только голод, рождение и смерть — непоколебимые истины. А остальное двояко, подчинено обстоятельствам: правда, зло, доброта. Да, да, все мы пленники обстоятельств. И никто не свободен. Это страшно, безвыходно и ничтожно... Так должен же быть и в этом какой-то разумный смысл! Имеет ли здравый разум какое-либо отношение к трусливому и коварному Балабанову, к Молочкову с его ненавистью и игрой в раба, к убитому горем и одиночеством отцу Ирины? В конце концов, есть ли цель у знаменитого Гричмара, оглушенного неприятием больной цивилизации? И какая цель у меня с этой раздражающей, неизлечимой доверчивостью к правде?.. И как спасение — моя наигранная ирония, моя игра с жизнью. Во имя чего? Да, интеллигентское бессилие перед обстоятельствами — вот что такое моя ирония. Бессилие перед пошлостью, ложью, желание смягчать, не обострять!.. Нет, вряд ли я чего-то боюсь в мои годы. Но моя ирония — тоже компромисс, тоже согласие с обстоятельствами и в конце концов предательство самого себя!.. Смешно! Подвижники и правдолюбцы устали. Справедливцы притомились и надоели. От них отмахиваются, им лишь сочувственно улыбаются. Но все-таки в минуты отчаяния я вспоминаю одного бескомпромиссного человека в истории, мученика и страдальца, которому равных нет. Кто давал ему веру, одержимость — господь бог? Кто даст веру мне, неверующему,— искусство? Протопоп Аввакум? И по каким законам проявление ничтожества, жалкой низости может воздействовать на душу с такой же силой, как и великая трагедия? Аввакум, неистовый в чувствах протопоп Аввакум, святой, и хилый духом современный мир, судорожно желающий развлечений, будто накануне апокалипсиса. И опять Джон Гричмар, «город городов» Париж и душное чувство боли, какое было у меня там в предпоследнюю ночь...»

Продолжение следует.

Игра

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки Е. БОНДАРЕВОЙ, А. УСТИНОВИЧА

Пляс Пигаль, день и ночь веселящийся район «города городов», куда повел его неутомимый Гричмар, блистал, кипел, переливался, казалось, теми же огнями, теми же названиями баров, ночных кабаре, секс-шопов, секс-фильмов, что видел Крымов и в Гамбурге, и в Брюсселе, и в Сан-Франциско; те же швейцары в непристойно красных ливреях, в аристократически черных цилиндрах, те же испитые, потрепанные физиономии сутенеров, повсюду на углах настойчивой скороговоркой предлагающих зайти на сенсацию и испытать то, чего еще не испытывали, то же многолюдное, тесное движение разноликой и разнокожей толпы, нечистоплотно пряный ветерок духов, перемешанный с горячим запахом жареных каштанов возле кинотеатров, с настоянной сладостью кофе из открытых дверей закусочных, и всюду мимо тротуаров сверкающие отлакированными спинами машины, мчащиеся куда-то в световое небытие, непрекращающийся однотонный шум вперемешку со скрежетом игральных автоматов, и те же опытные голоса у подъездов в переулках, трогание за рукав: «Аллё-о!»— и скромное заглядывание в глаза с полуприглашающим, фальшиво целомудренным киванием молоденьких девиц, иногда почти девочек, похожих на сорбоннских студенток, в простеньких невинных очках, и рядом расширенные зрачки мальчиков-наркоманов, остекленевшие на бескровных лицах, группы гибких и стройных, как лани, негров в белейших майках, шумно поджидающих поблизости от ресторанов предложения богатых туристок-американок, наделенных за границей повышенным воображением, респектабельные мужчины, скользящие равнодушными взглядами по витринам ночных клубов, по фотографиям обнаженных тел в разных позах.

Те же повороты в переулки, где неяркие огни, полумрак, откуда порочно тянет теплой волной пудры, порой банной сыростью с парфюмерной струйкой чего-то солененького, где у стен наполовину темных домов, у каких-то полуоткрытых дверей прохаживались, напрягая икры, пожилые проститутки в телесного цвета колготах, в трико с цветными треугольниками внизу живота, от этого казавшиеся нагими, независимо переговаривались между собой прокуренными голосами, в то же время с притворным безразличием ловили боковым зрением страшноватых, по-клоунски подведенных глаз малейшее внимание проходивших мужчин, и одна, худая, плоскогрудая, мотая длинными волосами, свисающими бронзовыми вензелями на крупные ключицы, окликнула Гричмара с грубоватым смехом:

— Эй, толстяк, я знаю, что ты богатый немец, подымайся ко мне, я сделаю то, что ты хочешь! У меня есть подруга...

— А сколько будет стоить, милочка?— отозвался нарочито ободренно Гричмар и молодецки подмигнул Крымову.— Где твоя подруга, милочка?

— Подымешься в мансарду и ты ее увидишь. Она белокура, как Сафо. И родом с Лесбоса. Ты что-нибудь в этом соображаешь?

— И сколько вы берете франков, милочки?

— Заплатишь за нашу квартиру.

— А сколько?

— Ты не пожалеешь о деньгах, толстяк, после того, что увидишь.

Они говорили по-французски, Крымов не все понимал, его угнетало это жадное вечернее шевеление людей, ищущих торопливых наслаждений на площади и в этих мрачных переулках, где открыто продавалась живая плоть — бедра, ноги, губы, механические движения по выбору покупателя, и было такое же давящее чувство, какое он испытал два года назад в гамбургском магазине, наивно называемом гигиеническим, при виде омерзительно огромной резиновой куклы, имеющей имя Линда, обладающей теплом «нормального женского тела» (что выяснилось из торговой рекламы), которую можно купить за тридцать марок в постоянные любовницы, ибо никакого различия нет. И поразил его в том магазине странный покупатель, некий сухонький тонконогий мужчина лет сорока, топтавшийся около двери. Он зачем-то завязывал на лице до глаз носовой платок и то делал шаг к прилавку, то отступал назад с полоумным взглядом одержимого больным стыдом, необоримой манией и страхом...

А тут, на парижской площади Пигаль, близ темных переулков, все буйствовало бессонным фейерверком неона и электричества, везде текли праздные толпы желающих познать или увидеть предметы удовольствий, стояли ожидающей цепочкой у ярко светившихся окон бара юные проститутки в курточках, и от одной девицы к другой разъезжал в коляске инвалид, полноватый в шее и плечах, в каскетке военного покроя, и подолгу убеждал их в чем-то, с мольбой вскидывая глаза, но они отрицательно перекрещивали указательные пальцы, поворачивались к нему спинами, видимо, не договорившись в цене, а он отъезжал, возбужденный, с рыскающим потным лицом, затем наконец утомленно подкатил к металлическому барьеру, огораживающему тротуар, рывком положил на перила дрожащие кулаки, и Крымову, вероятно, привиделось: по его круглым молодым щекам быстро скатывались злые слезы. Инвалид смотрел через дорогу на багрово подсвеченные витрины нового американского шоу; а там, на другой стороне улицы, пронзительно завывала сирена, увеличивалась, расширялась толпа, загораживая витрины и вход в кабаре. Полицейская машина, вращая голубыми молниями сигналов, круто остановилась возле тротуара, двое полицейских провели кого-то окровавленного сквозь расступавшуюся у подъезда толпу, втолкнули в распахнутую дверцу. Вновь взвыла сирена, машина, стремительно выворачиваясь из скопища автомобилей у обочины, задела боком железный столб с названием улицы, столб скрипнул, закачался, толпа дружно, злорадно захохотала. Полицейская машина, освобождая дорогу грозным ревом сирены, помчалась под вспыхивающими витками реклам, исчезла в хаосе огней, газовых светов, в потоке автомобилей.

В тот вечер Крымова не отпускало состояние какой-то непоправимо совершающейся вокруг тупой бессмысленности, он пил больше обычного, молча слушал Гричмара и просидел в баре до трех часов ночи в тщетной надежде освободиться от того больного, тягостного, что не прекращалось за стенами бара, на ночных улицах Парижа.

«О чем я думаю! Протопоп Аввакум, пляс Пигаль, девицы в студенческих курточках, плачущий инвалид в коляске... И четыре тысячи, и неумолимо сжатый рот Молочкова? Какая связь? Где? Варианты и вариации. Так или приблизительно так было уже в Древнем Риме. И может быть, было всегда, всю историю? Нет, даже после войны такого крайнего ощущения безумия не было. Что делать? Куда движется все?»

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Он поймал левую машину и всю дорогу до дачи не мог избавиться от навязчиво повторяющейся липкой мысли: «Почему в зрачках у него было плоское торжество?»

Таня читала в гамаке, мотала ногой, раскачивая себя; поодаль, должно быть, опасаясь помешать ей, ходил по тропинке Анатолий Петрович Стишов, на солнце меж яблонь были хорошо заметны его светлый костюм, серебристая седина, нерушимая тщательность косого пробора, и едва Крымов открыл калитку, Стишов повернул навстречу торопливыми шагами.

— Приехал час назад, жду тебя,— заговорил он против обыкновения обеспокоенно.— Мне надо тебе кое-что сказать. Займу у тебя двадцать минут. Я сегодня был у следователя, который ведет дело...

— Минуту, Толя. Не будем спешить.

Крымов прервал его и, принимая обычный шутливо-иронический вид, подошел к Тане, а она, сияя темно-серыми глазами, соскочила с гамака, звучно чмокнула его в щеку.

— Привет, папá.

— Здравствуй, коза-дереза, не скучала?

Она засмеялась.

— Дорогой родитель, мне приказано накормить тебя. Мама, как говорится, на пленэре. Будет ждать закат. А я ждала тебя. И не пошла на пляж, хотя жених и невеста меня усиленно приглашали. Докладываю, что сегодня чудесная окрошка. Где будешь обедать, на террасе или в саду?

«Вот оно, единственное, родственное, верное, что не предаст никогда...»— подумал он и ощутил, как толкнулись слезы в горле, испугавшие его неожиданностью.

— Что-то не хочется, милая Танюша,— сказал Крымов и поцеловал ее в макушку с новой нежностью к голосу дочери, к ее светлым, подстриженным под мальчика волосам, пахнущим солнцем.— Знаешь, я пообедал на студии. Потерплю до ужина. Если можно, принеси нам боржом или что там найдется в холодильнике ко мне в кабинет. Есть, капитан?

— Есть, командир,— отозвалась Таня с озорным согласием, вступая в принятую между ними игру, но сейчас же встревоженно спросила: — Сегодня не было «холодной войны»? Ты сегодня не очень устал, папа?

— Нет,— ответил он охотно,— не так чтоб уж очень и не очень чтоб уж так. А что, дочь?

— Дай мне руку, я быстро все узнаю по линиям на ладони. Хочешь познать себя? Я пробовала рассмотреть картину жизни у Анатолия Петровича, но там все как у черепахи на панцире. Путаница.

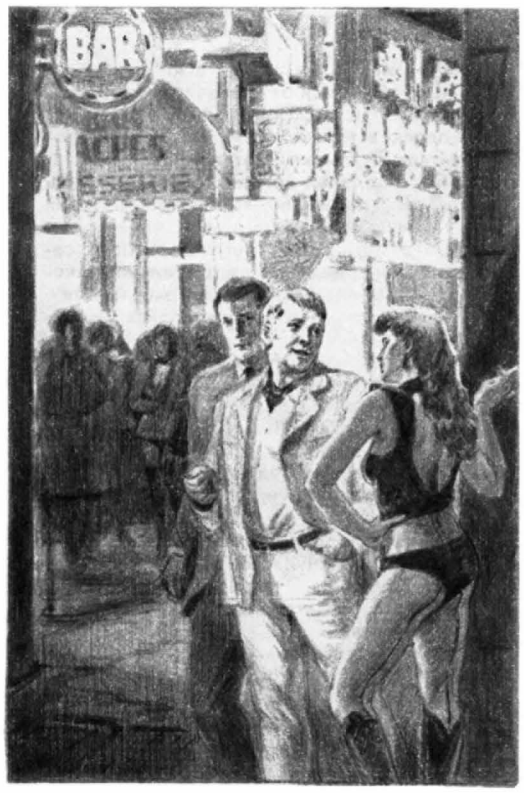
— Такова моя жизнь, Татьяна Вячеславовна,— сказал Стишов, элегантно поклонившись.

— Руку? Узнаешь картину жизни по линиям? Это интересно,— проговорил Крымов превесело.— Но, может быть, потом? Ну хорошо, ясновидец, узнавай.

Она взяла его руку, строго сосредоточилась, свела на переносице ровные брови, с минуту помолчала, посмотрела на свою розовую ла-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 1—12.



дошку, на его ладонь и, тряхнув волосами, заговорила таинственно:

— Ты добрый и я. Передалось в генах. Ты будешь жить семьдесят восемь лет. А я семьдесят пять.

— Танюша, не пугай.

— Ты слушай, пожалуйста, у тебя интересные линии. Жена тебя любит, а ты ее меньше, вот даже как. И дети совсем разные.

— Чепуха, а?

— А ты слушай и молчи. Женская половина в семье тебя любит. Но дети, я сказала, совсем разные, один в лес, другой по грибы. По грибы — это я. А вообще судьба у тебя счастливая. Вот и все. И вообще — все будет хорошо. Только всех дураков надо посадить на космический корабль и отправить на необитаемую планету.

— Это рационализаторское предложение, Танюша, надо учесть. Очень любопытно. А где ты ясновидению научилась?— спросил Крымов легкомысленным тоном продолжающейся игры, в то же время предчувствуя что-то серьезное, намеренное в действиях дочери.

— Сегодня утром на пляже,— ответила Таня небрежно.— Одна женщина умная научила. Кстати, твоя зрительница и почитательница. Она, между прочим, просила тебе передать: «Пусть Вячеслав Андреевич не обращает внимания на всех длинноухих лицемеров, которыми сейчас хоть пруд пруди». Передаю тебе. Это все-таки голос масс, учти. А я с ними, папа. Ох, как я ненавижу всех дурацких клеветников!

И Крымов, внезапно охваченный сладкой мукой отцовского чувства, терпкой догадкой, что она, его дочь, ведя прежнюю веселую роль, одновременно неумело, по-детски отрицала неладное, хотела ему помочь, глядел, не говоря ни слова, на ее поднятое, независимое, готовое к защите лицо и с судорогой в горле легонько и благодарно потрепал ее мягкие волосы на затылке.

— Спасибо, милая.

Она сказала дрожащими губами:

— Ты не веришь мне? Я колдунья и ясновидящая. Вот посмотришь.

— Спасибо, Танюша. Я верю, верю в твое ясновидение. Так ты принесешь нам чего-нибудь холодного? Ну что ж, пошли ко мне наверх.— Он кивнул терпеливо ждавшему Стишову, на ходу снял пиджак, освобождаясь от его тесноты, перекинул через руку.— Ты образованный человек, Толя, поэтому скажи мне, когда спадет жара?

— Я хотел бы тебя обрадовать, Вячеслав, но я не метеоролог и бессилен в данном вопросе.

— Как жаль, что мы бываем бессильны, бессильны.

Он был разбит, опустошен всем этим днем, и, как только поднялись в мансарду, непереборимое желание овладело им — вот сейчас упасть в кресло, наслаждаясь дуновением сквознячков (окна и дверь на балкон были настежь открыты), или лечь на обманчиво затененный листвой пол возле тахты, молчать, курить, смотреть в потолок на водянистое колебание солнечной сети и не думать ни о чем. Это было чувство тихого, притупленного беспокойства, и, чтобы заглушить подспудное глухое посасывание тоски, он швырнул пиджак на тахту (не хватало сил повесить его в шкаф), сказал: «А, ладно!»— отбросил крышку маленького бара, встроенного между книжными полками, налил в два фужера коньяку и вроде бы безмятежно взглянул на Стишова, со скрещенными на груди руками в задумчивости стоявшего у дверей мансарды.

— Что, спрашивается, стоишь, как Наполеон на Поклонной горе? Делегации не будет, ключей не вручат, никто побежденным себя не признает. В победе — половина поражения.

— В чьей победе?

— В ничьей. Победы нет ни у кого. Пока есть бог и дьявол,— сказал Крымов и протянул фужер с коньяком.— По-моему, Толя, каждый современный зашифрованный Наполеон даже спит еженощно, скрестив руки на груди. Тебя к узурпаторам не причисляю. Ты не способен держать власть. Но как ты думаешь, мой директор картины Молочков спит со скрещенными на груди руками?

— Я за рулем, и ты знаешь, что терпеть не могу алкоголя,— отказался Стишов и поставил фужер на полочку бара.— В жару и тебе не советую. Нагрузка на сердце.

— Невероятная дисциплинированность. Приветствую умеренность и сдержанность. Сократ был велик. Твое здоровье, Толя.

Он выпил, с облегчением крякнул и повалился в кресло, весь вытянулся, мечтая о долгожданном покое — вот так удобно и расслабленно полежать в кресле, погрузиться в тишину и плыть в успокаивающем забытьи бездумности. Но Стишов в ожидании стоял перед креслом, освещенный полным летним днем из сада, и этот раздробленный листвой свет, отражаясь в его голубых навыкате глазах, казался неярким, зимним.

— Толя,— сказал Крымов,— у тебя декабрь в глазах. Какова причина, дружище?

Стишов сердито вздернул плечи.

— Я поражен, Вячеслав, непонятной низостью людей, если уж говорить прямо.

— Чем-чем? Низостью?

— Именно, именно! Поражен их низостью, их жалкой робостью и, если хочешь, злой недобротой! Что случилось? Они недавно улыбались от счастья общения с тобой, объяснялись в любви, лезли лобызаться, плакали на твоих картинах!..

— Что и кого ты имеешь в виду?

— Не удивляйся, Вячеслав, и изволь послушать меня,— продолжал так же сердито Стишов.— Сегодня я наконец не выдержал студийных слухов, до изумления идиотских, и поехал в четыре часа на эту знаменитую Петровку, к твоему следователю Олегу Григорьевичу Токареву... Позвонил и поехал. И прости, знаю, что ты утром был там, но разговор у тебя не состоялся по каким-то причинам. Знаю все, как видишь. А дело вот в чем. Дело в том, что следователь, в общем-то человек без предвзятости, твой доброжелатель, добавлю к тому же, поставлен не в облегчающее положение, как он сам сказал...

— Объясни, что сие значит?

— Я зол и вообще целый день сегодня не в своей тарелке,— сказал Стишов и резковато махнул рукой, отчего золотисто взблеснула запонка на чистейшей накрахмаленной манжете.— Я приехал к нему раздраженный, с единственным вопросом: когда наконец почтенная Фемида кончит подозревать уважаемого человека в том, в чем он не виноват? Я был вне себя. И ты знаешь, что он мне ответил? Он сказал: «К сожалению, удивлен невнятной позицией студии и некоторых коллег, лишенных всякой личной позиции, готовых согласиться с любым предположением в случившейся ужасной трагедии. И «да», и «нет», и «возможно», и «невозможно». И «все может быть»... Да что это за ничтожества! Что за патентованные негодяи!— воскликнул Стишов и, расстегнув верхнюю пуговицу пиджака, заходил по кабинету.— Он не имел права называть фамилии и говорить подробности, но я, в общем, догадываюсь, кто эти лишенные позиции коллеги! Тебе не могут простить...

— Чего именно?

— Одни тебе не могут простить таланта, другие независимости!

— К дьяволу независимость!— не согласился Крымов.— Кто на земле из нас независим? Пожалуйста, не преувеличивай. Нет человека независимого. Даже те, кто управляет миром, зависимы.

— Я не преувеличиваю, Вячеслав, а преуменьшаю!— возразил Стишов страстно.— Хочешь пример? Изволь. Этот кретин Балабанов боится тебя, хотя тайно расположен к гадостям. Он знал, что ты его пошлешь к святым, а ему во что бы то ни стало надо было ублаготворить знаменитого американца, с которым возможна совместная постановка и приятная поездка в Америку. И он направил меня к тебе, чтобы я уговорил своего строптивого друга. Ты им нужен как витрина. Но тем не менее они от тебя с огорчением и рыданиями отделались бы. Легче жить с посредственностями. И представь — у следователя уже лежит анонимка, не имеющая никакого отношения к делу, а все же — крашеное яичко к христову дню. Тебя обвиняют в аполитичности при разговоре с Гричмаром, как сказал мне следователь. А так как на встрече присутствовали двое — твой директор Молочков и я,— то анонимку написал один из двоих...

— Не совсем так,— усмехнулся Крымов.— Нас было четверо. Поэтому донос мог написать и я, опомнившись, отрезвев и раскаявшись, или Гричмар, чуточку хватив в баре аэропорта, перед отлетом позаботившись о моей нравственности и заблудшей душе.

— У тебя еще хватает сил иронизировать, Вячеслав,— выговорил Стишов, и его тонкое стоическое лицо римского патриция побледнело, стало печальным.— Да, Вячеслав, на старости лет я не в первый раз прихожу к прискорбному выводу. Можно ли за дверью своего дома оставаться самим собою? Вряд ли, Вячеслав, вряд ли. Нельзя сохранить невинность. Угождай расхожим вкусам, улыбайся бездарным критикам — и ты мил всем, талантище, молодец, чуть-чуть не дотянул до великого! А я брезгую, боюсь взбешенных лисиц и глупцов... Ах, разве не мерзость!— воскликнул Стишов, подходя к бару, и было смешно и грустно видеть, как он, высокий, благородно седой, моложаво изящный холостяк, взял не без брезгливости двумя пальцами фужер с коньяком, понюхал его, водя из стороны в сторону носом (так нюхают нечто грубое, малоароматичное), сказал с язвительным сожалением: — Если бы я умел, то напился бы, как в субботу наш слесарь-водопроводчик из домоуправления, и тогда было бы восхитительно материться и смотреть на белый свет!

— Ты не умеешь, Толя, ни того, ни другого,— сказал Крымов.— Не твое амплуа. Пить в меру и ругаться не в меру могу я. Как бывший полковой разведчик. Тебе не к лицу. Никто не поймет. Ты в другой традиции. В дворянской. Голубых кровей.

— Поймут!—возразил разгоряченно Стишов и так стукнул фужером о подставку бара, что выплеснулся коньяк.— Поймут!— повторил он и слегка сконфуженно вытер ладони аккуратно свернутым носовым платком.— Надо тебе пойти, куда надо, Вячеслав, и разорвать паутину нечестивых пауков! Иначе она задушить может!..

— Куда пойти? Жаловаться на кого? Сетовать на коллег по работе? Я не знаю, с кем разговаривал следователь. На Балабанова? В десятки раз у него больше так называемых аргументов, чем у меня: молодая актриса погибла при неизвестных обстоятельствах, поэтому ведется следствие, а сам режиссер Крымов — человек довольно избалованный, испорченный славой,— возомнил, что ему дозволено все. К тому же жаловаться — признак слабости, Толя.

— Ах, что ты там натворил с Балабановым?— застонал Стишов и схватился за голову.— Вся студия о небывалом скандале говорит! И действительно в его кабинете сидел ортодокс Пескарев, чиновник с фрейдовскими комплексами? Представляю, как он доложит начальству, какими сочными разрисует красками! И ты что — в самом деле хотел отвесить пощечину Балабанову? Какие у тебя ветхозаветные кава-

лергардские манеры! На худой конец, лучше уж было бы бросить перчатку.

«Значит, было. Неужели было?»

— Нету их нонеча, белых перчаток-то кавалергардских. А случись такое лет тридцать назад, с превеликим удовольствием прикоснулся бы к его нежному личику без размышлений. Жаль, давно растерял солдатскую прыткость. Значит, скандал? Прекрасно! А мне казалось — все произошло в моем трусливом воображении.

— Ты самоубийца, Вячеслав, чудовище и драчливый мальчишка! Ты с завязанными глазами ищешь край пропасти!

— Опять не вполне так, Толя. Ну вообрази: я пришел к высочайшему кинематографическому начальству. Толстощекий наш отец бежит по кабинету навстречу, весь нетерпение, весь излучение восторга: «А-а, вы ко мне, какой гость, какой гость, не часто вы меня балуете!» Радостное трясение руки, чуть ли не сладостное лобызание, чай с сушками, счастливое блистание глаз, чуткие расспросы, обещания: «Конечно, конечно, все утрясем! Если не помогать талантам, зачем нам здесь, чиновникам, сидеть?» И — ни чер-та! Пальцем не пошевелит. Такова современная форма выживания. Все проверено, Толя.

— Повторяю: ты задира и самоубийца! Ты как будто нарочно хочешь своей гибели!.. Я умоляю тебя! Смирись! Я прошу тебя! Я умоляю! — вскричал вдруг Стишов и просительно сложил руки на груди.— Ты хочешь безвинно пострадать?

— С чем смириться?

— Не вступай ни с кем в конфликты, Вячеслав, я прошу тебя.

— Представь, что многое от меня не зависит, Толя.

На лестнице в мансарду послышались взбегающие шаги, и, спросив на пороге: «Папа, можно?» — вошла в кабинет Таня, с лукавым подозрением тряхнула волосами в сторону Крымова, затем Стишова, поставила на откинутую подставку бара графин, заискрившийся розоватой жидкостью, сказала:

— Я вижу, у вас секреты. Папа, это сок моего производства. Размятая малина в колодезной воде. Потрясающе! Нужно пить и мечтать о чем-нибудь. Я сейчас налью.

Она щедро, до краев наполнила чистые фужеры, подала сок обоим и, босая, на цыпочках сделала шутливый реверанс:

— Если я не нужна, то я пошла на пляж поиграть в волейбол и покупаться. Возражений существенных, папа, нет? Обед на кухне.

Она поцеловала отца в висок и вышла, легко ступая загорелыми ногами, а он еще чувствовал прикосновение ее детских губ, как прохладу ветерка, родной плоти, и не сразу расслышал голос Стишова, поперхнувшегося глотком ледяного сока:

— Ты абсолютно невиновен, а кому-то надо замутить чистую воду: а может быть, Крымов и виновен!

— Наверное, виновен, Толя, наверное.

— О чем ты говоришь, безумец!

— Слезинка ребенка... помнишь? Поэтому мы все виноваты. За слезинку ребенка, без вины пролитую. Мы все, кто еще способен чувствовать. Иначе никто ничего не стоит.

— При чем здесь Федор Михайлович, скажи на милость? Я замечаю, в тебе сентиментальность появилась!

— Поверь, Толя, нам не хватает парковых скамеек, чтобы подумать об изруганной практицистами сентиментальности.

Они оба, знавшие друг друга не первый год и понимавшие друг друга с полуслова, сейчас видели — или хотели видеть — одно и то же в разных плоскостях, может быть, потому, что в преизбытке встревоженный Стишов как бы изменил своей привычной манере на редкость воспитанного человека распространять вокруг себя уют приятного общения, что порой так нужно было Крымову, как покойная гавань после бурного плавания на съемках. Стишов не мстил судьбе за много лет, прожитых без семьи (он развелся с женой в молодости), без детей, с единственной прочной привязанностью к матери, женщине мудрой, всю жизнь посвятившей сыну и, к сожалению, умершей лет десять назад. Всегда безупречно выбритый, подчеркнуто опрятный, причесанный (седые волосы отливали серебристым глянцем), он даже дома, в кабинете, среди сплошных стеллажей, забитых книгами, был безукоризненно элегантным, нося модные, молодящие его сорочки. И, по мнению Крымова, эти его сорочки, галстуки, светлого тона приталенные пиджаки, стройно подтягивающие его высокую, спортивную фигуру, и узкие отглаженные брюки были явным выражением его упорного желания держаться в нужной форме, неустанно и последовательно бороться с серьезно наступающим возрастом. Любя полуостроту более, чем остроту, он сторонился резкостей, не мог, как ни чудаковато это выглядело, убить и комара на своей руке (он предупредительно смахивал его носовым платком, убежденный во всеобщей мировой связи всех живых существ), но Крымова подчас крайне изумляло другое: непоколебимая преданность Стишова кинематографу, стоическая верность искусству, которое он ставил выше жизни.

— При чем здесь Федор Михайлович? — повторил Стишов с недоумением, отвергая в несогласии и любимого Достоевского.— Слезинка — архаизм. Реально — слезы. А уж если так, то я хочу тебе сказать другое. Где современные боги? Где кумиры и гении, которым хотелось бы подражать? Нет серьезных школ, никто не хочет авторитетов в искусстве, ибо всякий считает себя первым. Писать, как Толстой? Старо. Как Репин? Скучновато, консервативно. Снимать, как Эйзенштейн? Надоел старик. Вот поэтому раздерганность, куча мала, пиршество многих, не достойных входить в сад искусства, которые усиленно сочиняют сценарии, шустро снимают и без конца возятся, завидуют, толкаются в теплом безветрии. И все же есть у нас некоторое количество людей, в том числе и один мой друг, которые могут украсить любой кинематограф мира, но...

Стишов пригубил фужер и, словно обжигаясь, допил холодный сок, белая холеная рука его дрожала (этого не замечал раньше Крымов), и дрожала золотистая запонка на белоснежной манжете.

— Почему люди поклоняются талантам и хотят унизить их одновременно? И этот трагический несчастный случай, в котором что-то ищут... и в чем-то подозревают тебя. В чем? Слезинка, слезы... Уму непостижимо! Жуткое дело. Умоляю тебя, не вздумай говорить о какой-то мифической своей вине следователю, запутаешь все и не будешь ни на секунду понят. Ты как-то упрекал меня в том, что я считаю искусство параллельной жизнью, выше реальности. Но ты-то, ты, бывший командир взвода разведки, вся грудь в орденах, ты-то, суровый реалист, не окажись современным донкихотом... рыцарем печального образа от вселенского чувства!

Крымов помолчал, вдавился затылком в теплую обшивку кресла.

— На страшном суде,— сказал он в раздумье и лукаво подмигнул,— человечество в свое оправдание представит эту великую книгу. Нам всем не хватает и донкихотства. Понимаешь? Снова Федор Михайлович...

Он закрыл глаза, и опять внезапная судорога сладким удушьем прошла по его горлу, как давеча при встрече с Таней, и, с трудом пересиливая себя, страшась этих приступов недомогания, он повторил шепотом:

— Понимаешь ли ты меня, Толя?

— Снова Достоевский, милый дружище? Но ты сильный человек, сильнее меня в тысячу раз...

— Это не Достоевский. Это наша жизнь.

Стишов в замешательстве притронулся ледяными пальцами к руке Крымова, спросил неуверенно:

— Что с тобой, Вячеслав? Ты стал какой-то... неземной... недосягаемый для меня. Я действительно перестаю, что ли, понимать. Разве мы можем взять на себя все несовершенство мира?

— Несовершенство мира... Я не о том,— глухо проговорил Крымов с закрытыми глазами и стиснул зубы.— У меня сердце разрывается,— сказал он хрипло,— как вспомню холодок ее мокрых волос на щеке, когда вез ее в больницу. И что ужасно — машину трясло, и ее голова сползала мне на грудь, как будто просила о спасении... И ты знаешь, какая мелькала у меня тогда страшная мысль? Что я везу свою Таню и что это конец моей жизни. Можно было сойти с ума. Поверь, у нас ничего не было. И не могло быть. Да нет, это какое-то другое чувство, выше, чем жалость.

— Поясни, пожалуйста,— попросил Стишов.

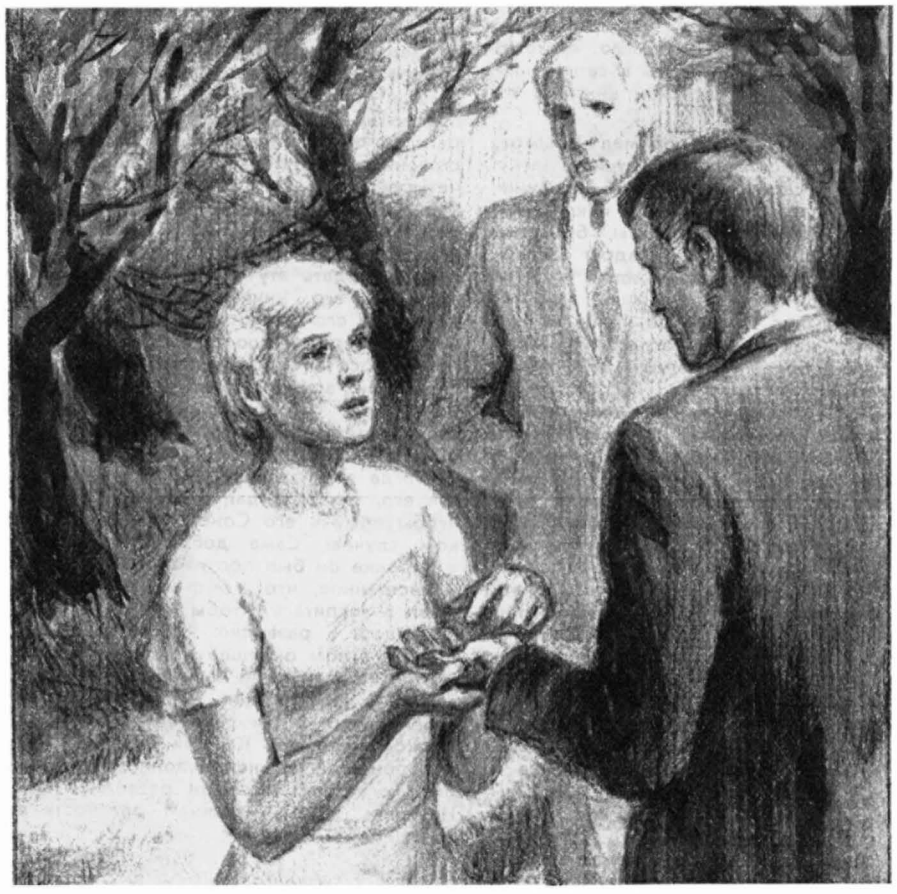
— Прости за некоторую цветистость и пошловатость, других слов сейчас не найду. Такие, как Ирина, талантливы, как талантлив цветок, но они слабы, беспомощны, их ломает ветер...

— И тебе хотелось помочь?

— Я не смог. Боюсь, Толя, что произошел не несчастный случай.

— Что ты хочешь сказать?

— Ничего не хочу. Что-то сил нет, Толя. Был какой-то сумасшедший день сегодня... Впрочем, как все последние дни.— Он попытался



улыбнуться глазами.— Пей сок, приготовленный Таней, а я выпью коньяку. Это посущественней. Лень вставать. Налей мне.

— Не много ли ты в последнее время? Как я заметил, ты не отставал и от известного в этом смысле Гричмара,— упрекнул Стишов и, наливая коньяк, задержал руку, беспокойно взглянул на Крымова, кивнувшего с понимающе-ироническим согласием.

— А бог его знает, Толя, пью и не пьянею. Удивляюсь сам. Это от «пере». От перенапряжения, от переутомления. И от прочей перечепухи. У меня почти не было перерыва между картинами, не отдыхал, сплю скверно. Выспаться бы, как медведю, суток трое, и все пришло бы в порядок.

И, будто забыв про коньяк, он в изнеможении усталости вытянулся, полулежа в кресле, скрестил руки на груди, сказал шепотом:

— Ты уж не сетуй на меня, смертельно хочу спать. Представляешь, как спал Наполеон после каждой выигранной битвы? А если он их проигрывал? Что ж, тем более...

— Для чего ты играешь передо мной расчудесное самосозерцание стороннего летописца? Пусть ты не любишь ныть, но я тебе не чужой...— проговорил с сердитой обидой Стишов и нервно заходил по кабинету, по рассохшимся, попискивающим половицам.— О русская интеллигенция со своей вечной виной перед всем миром!

— Ну, это слишком глобально, Толя.

— Именно глобально, чересчур! Я старше тебя на десять лет, прожил жизнь и в буче боевой, кипучей повидал все,— заговорил Стишов.— Поэтому позволю себе действовать самостоятельно до тех пор, пока тебя не оставят в покое. Я не только твой друг, но и твой зритель. Считай — поклонник.

Крымов сказал полусерьезно:

— Спасибо, Толя. Здесь ты вряд ли сможешь чем помочь. Все будет зависеть от меня. Кроме того, я оптимист и надеюсь, что со временем встречусь со всеми оппонентами в царстве теней и поговорю по душам, если здесь не удастся.

— Разумеется. Особенно если ты будешь искать по образцу русской интеллигенции вину в себе и заявишь о ней следователю и всей студии под бурные аплодисменты умиливших признанию.

— Вот видишь, как ты сердито начал шутить, а упрекал меня. Каково?

— Я не шучу, Вячеслав. Я просто зол. Понимаешь ли ты, что тебя могут замотать и выжать, как лимон? Все эти шутки с юриспруденцией дорого стоят. Прими седуксен и выспись, мой друг. Я позвоню вечером или завтра утром. Выспись, выспись, ради всего святого! Надеюсь, тридцать лет назад ты в своей разведке не чувствовал вселенской вины? Я не прощаюсь!

«Таким я его не знал,— подумал Крымов, слушая быстрые шаги вниз по лестнице, затем скрип песка на садовой дорожке.— Рафинированный интеллигент, аккуратист, никогда не влезающий ни в какие конфликты, брезгующий неосторожным словом,— и вдруг заговорил с каким-то непривычным ядом и гневом — неужели он так предан нашей дружбе? Почему же я был с ним не до конца искренен и ерничал, как самый последний идиот? Есть ли у меня более преданный друг среди моих коллег?»

Он услышал в раскрытые окна оживленные голоса из сада, стук калитки и нехотя встал, вышел на балкон, окруженный светоносным воздухом погожего дня, разогретой зеленью, медовым жаром текущего снизу запаха цветов, особенно разомлевших в томительные послеобеденные часы, и, на миг ощутив всю прелесть лета, подумал растроганно: «Да, да, прекрасна жизнь! Кто заставляет нас делать ее суетной, ничтожной?» И тотчас увидел внизу, за калиткой, Стишова возле стоявшей у обочины машины и рядом нелепо рослого Валентина, голого до пояса, в клетчатой кепке, и его невесту Людмилу, тоненькую тростинку, в огромных противосолнечных очках, с распущенными по плечам кофейными волосами. Они, видно, возвращались с пляжа и встретили Стишова. Он что-то сказал Людмиле, выказывая светскую учтивость, поцеловал ей руку, и она вошла в калитку, покачивая узенькими бедрами, кокетливо помахивая панамой, как веером. Мужчины остались одни за калиткой. Стишов взял под локоть Валентина, повел его по дороге, и хотя Крымов не мог услышать, о чем они говорили, он тайно подосадовал: «Как неприятно предполагать, что разговор идет о тебе».

И он вернулся в кабинет, принуждая себя думать о невесте сына, которая не очень стеснительно вживалась в их семью, вызывая страх у Ольги, считавшей, что девочка из ателье не пара Валентину по многим причинам.

«А может быть, иногда ошибка является спасением и благом, а благо ошибкой? Все мы одиноки и слепы в своих ошибках. Благо, благо... Белые лебеди в голубых озерах, нежные лотосы и ангельски белые одежды, как в буддийском раю? Я не верю в райское блаженство... Тогда во что я верю? В то, что вне искусства нет для меня места в мире. Это единственное. Знаю, что истинное приподнято над жизнью вместе с ощущением присутствия смерти... но я еще никогда не достигал этого в той мере, как хотел. Я знаю: изменились человеческие чувства. Не предал ли человек самого себя? Это я хочу понять».

Он усмехнулся, взглядывая на книжные полки, отыскивая глазами тома Льва Толстого, где стояли и его любимые дневники (его евангелие в ночи бессонницы), где каждая фраза, как горькой солью, была пропитана самобичеванием, презрением к собственной слабости, где душевные муки великого человека подчас были связаны с мелочами быта, которые приносили ему не меньше страдания, чем события глобальные. Но это был он, Толстой, с его одержимостью, раскаянием, идеями опрощения, любви, братства, тем, что после войны хотелось понять Крымову, но что было выше сил понять, когда неудержимо и безжалостно во всем мире начало таять, утрачиваться нечто существенное, важное, оставляя лишь слова, как памятники былой искренности и доброты.

«Если я хочу верить в искусство, то, значит, и в доброту, иначе есть ли смысл жить? — внушал он себе с душным чувством бессилия.— Кто же они, мои так называемые оппоненты, мои соотечественники, мои братья, значит, мои единомышленники? Боязнь страуса пристально посмотреть вокруг и на себя в зеркало. Боязнь правды... А дальше, дальше что?»

И, повторяя вслух «а дальше что?», Крымов подошел к письменному столу, за которым уже давно не работал, заваленному папками, письмами, еще не раскрытыми журналами, от этого беспорядка сиротливо запущенному, выдвинул нижний ящик и достал оттуда конверт с деньгами (они держались дома для непредвиденных расходов). Это была часть гонорара за последнюю картину, и он пересчитал деньги: полторы тысячи. «О как жаль, как жаль, просто не повезло...» Он бросил купюры обратно в стол, не сомневаясь, что если бы по стечению обстоятельств в конверте оказалось четыре тысячи, то отдал бы их завтра Молочкову с условием, что у Гулина тем не менее развязаны руки для любых писем. И Крымов удивился тому, что хотелось сделать немедленно — отдать эту мистическую дань Молочкову за его униженность, рабскую льстивость, за его цепкость в жизни — цепкость, ниточкой протянутую от воронки на нейтральной полосе в сорок четвертом году до той случайной встречи у автоматов с газированной водой, счастливой встречи, вытащившей его к естественной жизни, к деятельной, но больной Соне, любимой им до преклонения.

«Тогда я выстрелил ему в руку, чтобы спасти его, теперь я дал бы ему четыре тысячи, чтобы помочь его Соне... Так кто же я в таком случае? Сама добродетель? Нет, тогда в воронке он был противен мне, но это было единственное, что я мог сделать, чтобы он ушел в госпиталь, чтобы больше его никогда не видеть в разведке. А сейчас? Дать ему деньги, чтобы он ушел из съемочной группы и чтобы его никогда не видеть?.. Что-то вроде взятки и компенсации. Но почему трижды в своей жизни я так серьезно думаю об этом жалком человеке? Как унизительно рыдал он в воронке и как непреклонно был сжат его рот, когда на шоссе он развернул машину! Неужели в нем — главная опасность всему? Смешно, конечно...»

Продолжение следует.

Игра

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки Е. БОНДАРЕВОЙ, А. УСТИНОВИЧА

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

— Отец, разреши к тебе?

Он нарочито бодро повернулся у письменного стола к вошедшему в кабинет Валентину — босой, в незастегнутой безрукавке, тот переступил порог, наклонив в дверях голову, и Крымов с тревожной радостью обнял его против обыкновения, похлопал по горячей от долгого лежания на солнце спине.

— Проходи, сын, проходи, я рад, мы с тобой не так часто видимся. Садись, Валя, кури, а я посмотрю на тебя вблизи,— сказал Крымов легким тоном, каким разговаривал с детьми, и показал на сигареты на тумбочке в изголовье тахты.— Кури, пожалуйста.

— Я не курю, отец,— ответил Валентин и присел на край тахты в неудобной настороженности, нахмуренный, большерукий.— Я начал и бросил: прочитал все, что пишут о раке, особенно англичане... К сожалению, курит Людмила.

— Стало модным среди женщин,— сказал Крымов и тоже сел на тахту, разглядывая сына с внимательным недоверием. Неужели это плоть его и Ольги, неужели это он, Крымов, мужской сущностью своей проявился в сыне, в неуклюжем, худом, баскетбольного роста юноше, через меру серьезном, рассудительном, строгом, ничем не похожем на отца в юные годы, исполненные военной отчаянности, но унаследовавшем тот же серый цвет глаз, тот же запах кожи (что крайне удивило однажды Крымова)?— Однако дурная и чужая мода наверняка пройдет, как пройдет все.

Он договорил последнюю фразу полуиронично, точно бы предлагая вольную необязательность разговора, но лицо Валентина оставалось сосредоточенно серьезным, и Крымов спросил:

— Как у тебя дела?

— Отец, я никак не могу сориентироваться в жизни.

— Вот как? Сориентироваться?..

Валентин не подхватывал его полуиронического, ни к чему не обязывающего тона, которым часто пользовался Крымов, чтобы тактично не обострять их взаимоотношения, ибо убедился с некоторых пор в ненужности переламывать упрямство, несговорчивость сына, не расположенного ни шутить, ни смеяться над чем-либо и над кем-либо, самоуверенно желающего обходиться собственным умом.

На третьем курсе он начал получать повышенную стипендию и, освобождаясь от зависимости и Ольгиных забот, наотрез отказался пользоваться домашней денежной помощью, сменил костюмы на дешевые курточки, покупая их самостоятельно, а раз после объяснения с обиженной матерью сказал отцу угрюмо и бесповоротно: «Я не хочу пользоваться ни твоим именем, ни твоими средствами. Я буду сам». И это стремление к ранней по нынешним временам материальной независимости (разумеется, частичной), точнее — к самоутверждению на зыбкой почве студенческой, хоть и повышенной, стипендии, сначала озадачило Крымова. Он, оказывается, и не подозревал такого упорства в сыне, зная в то же время, что скороспелая тяга к самостоятельности и неуправляемое мальчишеское самолюбие принесут ему не свободу поступков, ожидаемую им, а болезненные удары жизни, не терпящей излишней пренебрежительности к принятым нормам зависимости в современных родственных взаимоотношениях.

— Отец, я не могу сориентироваться в жизни,— повторил Валентин.— Никак не могу.

— Мне казалось...— Крымов вытянул из пачки сигарету, неторопливо размял ее,— мне казалось, что тебе всегда все ясно, сын.

— Не надо иронии. Я уже не мальчик, который хочет быть взрослым.

— Слушаю тебя, слушаю, Валя...

Весь кабинет был полон солнца и воздуха, напитанного запахом листвы; птицы, истомленные зноем, пели в саду вяло, нескончаемо длинный июльский день переходил в длинный вечер, и было слышно, как оса, залетевшая в окно, тоненько звенела, ползала по зеркалу, где в отсвечивающей глубине купались зеленые ветви берез. «Сейчас он скажет то, чего я не ожидаю,— подумал Крымов.— Он ищет слова, чтобы не обидеть меня».

А Валентин сидел на краю тахты, сжимая коленями большие руки, поперечная морщинка разделяла переносицу, серые глаза хмуро сосредоточились на зеркале и не моргали, но явно было — он не видел ни зеркала с его зеленой глубиной, ни назойливо звеневшей осы, и Крымов повторил:

— Я слушаю, Валя.

Он спросил тихо:

— Скажи, отец, как определить вину преступника и жертвы?

— Вину жертвы?— удивился Крымов.— Что ты имеешь в виду? Или кого ты имеешь в виду?

— Я имею в виду тебя, отец.

— Интересно. Продолжай, пожалуйста. Я слушаю.

— Ты сможешь мне ответить откровенно? Иначе я не буду ничего спрашивать. Сможешь?

— Постараюсь.

Валентин плотнее стиснул сцепленные пальцы между коленями, с мрачноватым напором сбивчиво заговорил:

— Отец, происходит какая-то несправедливость, какая-то мерзость вокруг твоего имени... Какие-то слухи, сплетни... У нас в институте, как ты знаешь, народ разношерстный, некоторые злорадно поглядывают на меня и шепчутся: вот он, наследник известного Крымова, который дошел до преступления, и тэдэ и тэпэ. Что они, с ума посходили?

— Мне уже отвечать?

— Нет, подожди, я не все еще... Не понимаю одного, отец, не понимаю, откуда развелись шептуны и почему хотят верить клевете и всяким злобным слухам поклонники маркиза де Сада! Как они могут представить тебя в роли преступника? Или хотят, что ли? Нет, отец, человек не венец творения и никакое там не гордое звучание. И какое там еще непротивление и самоусовершенствование по Толстому! Скажи, почему зло остается безнаказанным?

Валентин хрустнул пальцами, сумрачно глядя куда-то в направлении книжных полок, а он, Крымов, предполагая нелегкий разговор с неподатливым сыном, молчал, ясно понимая, что не сможет ответить Валентину мудрой, отцовской, проверенной опытом формулой. Ибо не было у него одномерного ответа, того ответа, взятого у святой или порочной истины, что поставила бы раз и навсегда все на предназначенные места, свою и чужую жизнь, и определила бы твердые границы между да и нет, после чего собственная позиция четко и навсегда объяснила бы весь мир вокруг, который, однако, с великим непостоянством кривлялся, кокетничал, смеялся, убивал, извращал натуру по кем-то навязанным противоестественным законам.

— Я отвечу, Валентин, как смогу,— проговорил наконец Крымов и, не закурив, бросил размятую сигарету в пепельницу на тумбочке.— В войну погиб цвет народа. В живых из лучших сохранились немногие. А дети не стали лучше отцов, хотя нельзя осуждать какое-либо поколение целиком. Вот, может быть, поэтому теперь и мало кто рискует броситься грудью на амбразуру, защищая свою и чужую честь...

— Грудью на амбразуру?— повторил Валентин и опустил голову.— Это что, отец, заслонить своим телом пулемет?

— Я имел в виду метафору,— проговорил Крымов, ужасаясь тому, что мелькнуло в лице сына, когда он опустил голову.— Я не о том героизме, который закрывает пулеметы грудью, хотя в жизни бывают и безумные мгновения. Я хочу сказать о другом. Понимаешь, Валя, современная цивилизация повела мир по ложному пути. Умные люди изобрели машины, но техника не нашла умных командиров, не подчинилась и стала управлять людьми. И изнежила их, отобрала у них силу духа. А вместо него вложила в душу счетную линейку, которую техника производит... В конце пятидесятых годов появился новый вид приспособленцев к благам цивилизации — родные благоденствующие братья во всем мире. На Западе их называют конформистами. Это касается и нас. Мы не отгорожены бетонной стеной.

— А ты, отец, к кому себя относишь?— недоверчиво спросил Валентин, и по жесткому тону его почувствовал Крымов, что сын непримирим ни к врагам его, ни к каким-либо смягчающим оправданиям сложившихся обстоятельств.— Надеюсь, ты не конформист?

— Я испорченный человек, Валя. Я режиссер и строю мизансцены жизни, в этом мое несчастье,— сказал с грустной усмешкой Крымов.— Даже собственные похороны я могу увидеть со стороны и поставить сцену. Впрочем, говорю неточно. Вернее, так — желание познать, что подобная неприятная сцена дала бы людям и что отняла бы у них. Не осуди, сын, за громкие слова, но в последние годы я думаю о том, где лежит тайна жизни и тайна смерти, которая объясняет наши поступки. И, наверное, здесь полезнее быть адвокатом, чем судьей. А это не всегда удается. В двадцатом веке совестливые люди в общем-то не очень счастливы, сын. Несчастных счастливцев меньшинство. Весь мир стал или становится несчастным. А я, если хочешь, пытаюсь понять, когда и где человек свернул или сворачивает с пути истинного. И я вместе со всеми...

— Отец, ты идеалист! А я хочу знать, что такое подлость и что такое честность! И — все!— воскликнул Валентин и встал с отчужденно насупленными бровями.— Тогда кто назвал добро добром, а зло злом? Почему добро мы принимаем как добро, а зло как зло? И где он, истинный путь цивилизации, отец? Техника и наука вовсе не зло, а благо, как горячая вода! А ты знаешь, что нужно человечеству для спасения? Укажи! Может, пришло время второго пришествия и второго библейского чудака?

— Ты слишком возбужден... и сердито говоришь со мной. Сядь,— сказал Крымов и мягко взял сына за попытавшуюся вырваться руку, потянул книзу, заставил снова сесть на тахту.— Страшного суда, а не просто пришествия, ты хотел сказать,— поправил Крымов.— Что ж, может быть, и пора судить человечество за все зло и глупости. Но будет ужасно — суд нравственный подменят судом атомным. И суд превратят во всеобщую казнь, а землю в пепелище.— Он помолчал, досадуя, что ему сейчас мешало что-то быть убедительным с неподатливым и бескомпромиссным Валентином.— И все-таки, сын, есть нравственный путь, хоть и не единственный...

— Какой путь? Истинный? Какой он из себя?

— Невозможный. Это сострадание. Чувствовать и понимать страдание другого. Но для этого должны родиться в мире тысячи терпеливых проповедников.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 1—13.

— Отец, это слова, слова! Сострадание хорошо только между порядочными людьми,— выговорил Валентин рвущимся баском.— А как сострадание к сволочам всяким? Тоже?

— Точного ответа у меня нет. Я хочу сказать, Валя, что сволочи и несволочи связаны одной веревочкой,— проговорил медлительно Крымов.— То есть один человек связан с другим и со всем живущим на земле, и это вроде единой сети. Из нее часто невозможно вырваться.

— Значит, преступник и жертва — оба виноваты, раз они в одной сети.— Валентин нехорошо рассмеялся, и в смехе его были и протест, и нервозность растерянности, несвойственной сыну.— Значит, оба они преступники.

Крымов ответил сухо:

— В том случае, если жертва соглашается стать жертвой.

— И ты никогда не считал себя жертвой? Ни разу в жизни? Ты всегда побеждал?

— Не на все я тебе могу ответить. Чаще побеждали меня.

— Я не о том.

— И я не о том. Но понял тебя так, как надо. В войну я поражался, как много людей обреченно, без борьбы, без последнего сопротивления давали в немецких концлагерях расстреливать себя. Поверь, Валя, в разведке я знал свой последний шаг, даже если израсходован последний патрон в пистолете.

— Ты хочешь сказать о ненависти и презрении?

— Нет. Это не выход. Есть кое-что выше.

— Что же?

— Отсутствие боязни. Перестать бояться за себя — это выше ненависти. На войне иногда удавалось. Редко, но бывало.

— И ты ничего не боишься разве?

— Боюсь.— Крымов тронул худое колено сына.— Боюсь потерять вас: мать, Таню, тебя. Значит, слаб.

— Отец...— сорвавшимся баском произнес Валентин и поспешно отвернулся, договорил:— Если ты так о себе, то что же ты обо мне думаешь?

— Ничего плохого.

— А в войну ты меня в друзья не взял бы,— сказал вызывающе Валентин.— Ты, пожалуй, всех нас, двадцатилетних неумеек, презираешь.

— Нет. В друзья я бы тебя взял. Но мы и так с тобой...

— Неправда. Между отцом и сыном не может быть дружбы.

— Вероятно, ты ошибаешься.

Вот он сидел рядом с ним на тахте, его сын — упрямец, спорщик, наивный умница, его мужское продолжение на земле, ни обликом, ни жестами, ни единой черточкой характера не похожий на отца в двадцать один год, на того бравого лейтенанта, командира взвода полковой разведки с насмешливой независимостью во взгляде, готового к действию и риску, сразу поверившего в собственное бессмертие на войне. Так что же толкало его к тому раннему повзрослению, к тому риску, к той вере в себя — смертельно занесенное над головой острие? Бездна между бытием и небытием? И что делало инфантильными, беззащитными его сына и этих много знающих, интеллигентных, начитанных парней, рано знакомых с формальной логикой и алогичностью,— тихое благополучие, изнеженность в семейном быту, сверхобильная до противоестественности забота родителей о чадах своих? Или отсутствие самостоятельности? Можно было бы, конечно, всему дать объяснение, как почасту и делается в жизни, чтобы оправдать успокоительное и выгодное сию минуту людям мнение. Но любое объяснение ничего не изменяло в самом поколении, подчиненном какой-то заразительной неизбежности времени, никем из современников полностью не осознанного. Оно, время, складывалось из тупых и острых углов, из ненужных вещей, лишних денег и безденежья, несовпадающих восточно-западных мод и конструкций, где нередко проступал заимствованный расчет даже в любви, в приглашении гостей, когда искусственно растопленный холод еще больше увеличивал отчуждение, чего не было и в помине в счастливую пору военной и послевоенной молодости Крымова, в пору опасности, бедности и надежд. И он ощутил некое сложное положение сына в институте, созданное, по-видимому, и его непомерной серьезностью по отношению к другим, и неприятными событиями, связанными с ним, Крымовым.

— По-моему, ты ошибаешься, сын,— сказал Крымов насколько можно спокойней.— И я рад, что твоя дружба со мной...

— Неправда,— прервал Валентин и нахмурился.— Невозможно. Отец есть отец. Я ведь не могу тебе сказать то, что сказал бы другу.

— И у тебя его нет?

— Настоящего — никогда не было. Сейчас у меня нет настоящих друзей. Есть соучастники компаний и танцевальных радений. Завидую, что у тебя есть Стишов, вот он, наверное, не предаст.

— Только наверное?

И Валентин ответил холодно и убежденно:

— Отец, я знаю, что друзья предают первыми. Как и жены.

«Раньше я ни разу не задумывался, что сын одинок».

— Жены? Почему жены?

Валентин выпрямился, поперечная морщинка резче обозначилась между его темными прямыми бровями, божеская отметинка способного человека, как определял про себя эту морщинку Крымов. Но тут же лицо сына выразило снисходительное удивление, и голос его прозвучал немного оживленнее, будто речь зашла о мимолетной шалости:

— Такова уж природа женщин, отец.

Крымов вздохнул в озадаченности.

— Прости, у тебя невеста, Валя. Как-то не вяжется с этим твоя романсовая фраза. Вы что, поссорились?

— Не думали.

— Я могу предполагать, что ты любишь Людмилу?

— Если бы знать, что это такое, отец.— Валентин закинул голову, проговорил с чуждым ему насмешливым уверением:— Я не могу с тобой откровенно. Как-то не очень ловко... Я женюсь на ней. Людмила беременна, и я женюсь... Ты не очень шокирован моим легкомыслием?

Валентин опять нехорошо рассмеялся, и Крымов подумал, что его смех и вопрос о легкомыслии — все чужое, это не его сущность, а нечто оборонительное, слабое в явной защите, к которой он прибег в попытке самоутверждения перед отцом.

— Не очень,— солгал Крымов и прибавил вынужденно участливо: — Все, надо полагать, естественно. Только маме раньше времени не нужно об этом.

— Мама многое воспринимает слишком трагически. Но ничего. Мы будем пока жить у Людмилы. Я буду подрабатывать. Через два года кончу институт. Буду снимать какую-нибудь картину... Проживем в любви и согласии. Вот так!

Его лицо некрасиво дернулось, снова приготовленное к защитному смеху, но Крымов попросил негромко:

— Не надо так смеяться, сын. Я на твоих баррикадах. Ответь мне, пожалуйста, Валя: ты любишь Людмилу?

— Не знаю, отец. Я хотел бы, хотел бы, но что поделаешь... Я знаю: полюблю ее, когда будет ребенок. А как ты поступил бы на моем месте? Как ты... именно ты?..

Валентин ослабленно ткнулся всем телом вперед, сцепливая большие руки между коленями, похрустывая пальцами, окончательно растеряв неприступную самоуверенность, и Крымов с горькой жалостью отметил, что его серьезный сын, его продолжение на земле, его в конце концов надежда, не рисковал и не обладал смелостью разобраться в самом себе в свои двадцать лет, когда без долгих раздумий верят первым чувствам. «А имею ли я право спрашивать, как у них случилось?»

— В таких вещах, Валя, совета не дают,— сказал уклончиво Крымов и обнял сына за плечи.

— Так кто, кто же может мне посоветовать, кроме тебя?— проговорил Валентин, и в голосе его заколебалась натянутая струна.— Советовал же ты мне, когда я поступал в Институт кинематографии. Ты хотел, чтобы я пошел на операторский, и я пошел...

Он неловко пошевелил плечом, освобождаясь от руки отца, и тот почувствовал здоровый сладковатый запах молодого тела, прогретого на пляже солнцем, и это телесное, родное, физически сильное, и эта обнаженная растерянность Валентина кольнули Крымова терпким сожалением: нет, он мог бы знать, но почти не знал своего сына.

— Какой бы совет я тебе ни дал, ты должен по-мужски принять решение сам,— повторил Крымов твердо.— Представь: в войну сапер ошибался на заминированном поле один раз. Немного неточности с механизмом мины — и не поминай лихом. Женитьба и развод — не смертельное дело. Но рану могут нанести смертельную.

— А как было у тебя с матерью? Как у тебя

Игра

все произошло?— спросил требовательно Валентин.— Ты ни в чем не сомневался?

— Никогда и ни в чем,— ответил Крымов.— Когда я увидел ее в первый раз, на меня нашло какое-то безумие. Что-то вроде дурмана... И не улыбайся, сын. Это так.

— Отец, ваше поколение было счастливым. Вы знали, чего хотели.— И Валентин возбужденно поерзал.— Отец, я не за тем к тебе пришел, извини, я не за советом. Я как-нибудь сам...

— Так будет лучше, Валя. И знаешь, тот дурман не прошел у меня до сих пор.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В то новогоднее утро они последними вышли на крыльцо в жестокую стужу сугробного замоскворецкого дворика.

Вокруг заиндевелых лип розовел морозный январский воздух.

Он стоял внизу, у крыльца, и в игривой безнадежности протянул ей руку, помогая сойти, сказал не без ободряющей наглости:

— Держитесь крепче, дама моего сердца. И все будет в порядке, если я не умру на дуэли.

Она изо всей силы сжала его руку, но не сошла по ступеням до тех пор, пока не замолкли во дворе удаляющиеся голоса, смех, скрип снега за воротами. Подняв голову, она смотрела на него, и тонкие у́гольные брови ее изумленно круглились.

— Что значит «все будет в порядке»? И что за рыцарские пошлости — «дама моего сердца»? По-моему, вы начитались романов Вальтера Скотта!

— Но вы действительно дама моего сердца, черт возьми!

Весь вечер он не мог понять, что именно неотразимо притягивало в ее лице, и только сейчас, в свете ясного стекленеющего утра ошеломленно увидел: у нее были мягкие, бархатные, с нежной косинкой глаза и чуть полноватые губы, готовые к радости.

За столом она сидела напротив него, мелкими глотками отпивала вино, держала бокал застенчиво и раз спросила его плавным голосом: «Вы такой невесе-елый — вам здесь скучно?» Перебарывая неловкость, он пробормотал студенческую остроту: «У меня бабушка корью заболела»,— и хотел придать начатому разговору непринужденную легковесность. Но, случайно повернувшись, увидел в зеркале чье-то напряженное, красное лицо и не сразу узнал себя, поражаясь своей безграмотной неспособности поддерживать застольный разговор в компании гражданских. И тут он разозлился на собственную неуклюжесть, выпил с отчаяния сверх меры и, поднятый головокружительной волной, принялся острить без стеснения, произносить тосты, опрокидывая на столе рюмки полой недавно купленного, заменившего гимнастерку пиджака. Она же, удивленная, посыпа́ла солью скатерть и весело говорила, что Новый год напоминает древний праздник Диониса и проливать вино — ритуальное священнодействие.

Ровно в двенадцать часов, дурачась, под хлопанье пробок от шампанского он по-солдатски закричал «ура», после чего в порыве новогодних чувств начал обходить стол, чокаясь, говоря каждому поздравительную чепуху, потом остановился возле нее, сказал с бедовой решительностью: «Горько!» — и в обморочном шутовстве поцеловал ее дважды, а она не успела опомниться, запротестовать, лишь сказала шепотом:

— Что за «горько»? Вы с ума сошли! — И, краснея, добавила со смехом: — Просто чудак какой-то!

А когда отодвинули стол и зашумела танцевальная толчея, он сел на диван, в багровую тень абажура, закурил и, вспотев от волнения, увидел, как неаккуратный, растрепанный, с хмельным лицом парень подошел к ней и пригласил танцевать, однако она взглянула на парня мельком и отрицательно покачала головой. «Молодец! — подумал он.— Ну хоть на секунду взгляни на меня, я не такой уж плохой, честное слово». В это время ее позвали, и она, обдав ветерком, запахом платья, прошла мимо дивана, где он курил. Она, должно быть, ощущала, что он, глупо расплываясь, смотрит ей вслед, потому что обернулась, повела в его сторону спрашивающим взором и пожала плечом.

Он был молодым человеком заурядного облика, поэтому нередко испытывал боязливую ревность, глядя на красивых женщин, встречавшихся на улице или в компании, а когда находил в их внешности какой-то недостаток (несколько длинноватый нос, слишком широкие бедра, не вполне прямые ноги), он с успокаивающей иронией думал: «Значит, образцов прекрасного нет и среди них». Но тогда целую ночь он не узнавал себя, подхваченный дерзостью балагура, смелостью отчаяния, секундно страшась, что туман вот-вот рассеется, и мигом проявятся ее несовершенства, и все станет явным обманом.

Сойдя с крыльца, как только затихли смех, визг снега, голоса за воротами и дворик опустел, розовея в январской заре, они оба стояли, не понимая, что произошло; вокруг зимнее утро, пустота неба с бледным, нетающим месяцем, ледяной пар, сугробы спящего Замоскворечья — неужели кончился ночной дурман, веселая кутерьма в этом уютном деревянном домике и надо было возвращаться ему в студенческое общежитие, ей домой куда-то на Остоженку?

— Вы произнесли какую-то глупость,— сказала она.— Не заметили?

— Совершенно верно. У меня это бывает. Хоть отбавляй.

Ее пальцы ждуще шевельнулись в его руке, и глаза с косинкой коснулись улыбкой его зрачков.

— С Новым годом! А где ваш приятель с патефоном? Помните, как все было смешно и неправдоподобно?

— Я вас увидел вот тут, во дворе,— ответил он и, едва слыша ее голос, поплыл в темной глубине ее бархатных глаз, вспомнив, как они с другом ввалились в маленькую переднюю, отфыркиваясь, отряхиваясь, внося в тепло студеность снежного московского вечера, а она, случайно встретившаяся им во дворе, тоже оживленная, снимая ботики подле вешалки, рассказывала кому-то: «Смотрю, две фигуры топчутся около сараев, за ручки дергают. Спрашиваю: вам куда? Мы, отвечают, в каком номере дома? Заблудились, бедненькие. Вот привела вам гостей!» И его друг, аспирант Горного института, душа парень, ухажер, со словами «спасительница наша» находчиво и храбро бросился перед ней на одно колено, по-гусарски ловко помог стянуть ботик, и это рассмешило ее.

— Все было смешно,— повторила она, не отводя глаз от его зрачков, и тихонько высвободила руку.— Вы немножко пьяненький, но вы хотя бы помните, что сказали тогда в передней?

— Наверняка...— ответил он, по-прежнему не в силах до конца сообразить, о чем она спрашивает.— Наверняка напорол...

— Вы тогда сказали: «Тут черт-те что, сам черт ногу сломит в этих дворишках с сугробами! Вот встретили два дурака красну девицу, жар-птицу, и даже не познакомились!»

— Я так сказал?

— Вы еще добавили: «Вот музыку принесли. Один патефон для двух компаний».

— О, жуткий глупец! Непроходимый болван! Пень стоеросовый с глазами!

— Что вы, наоборот, было хорошо! Вы просто сказали от смущения,— возразила она и оглядела дворик, где они стояли одни посреди огромных сугробов, на которых лежали краснеющие пятна.— Кажется, нам надо идти...

— Ну не идиот ли! — проговорил он, зажмурившись, и вообразил весь вечер и себя, развязного, острящего, самоуверенного, и стыд захлестнул его: ведь она слышала его невыносимое ерничество. («Вы х о ч е т е шампанского?» Он ходил вокруг стола с бутылкой и говорил: «Хочете или не хочете?» На него смотрели в ожидании каламбура, но каламбура не получилось. «Что вы хочете этим сказать?» «А что вы хочете?») «Так что со мной случилось? Я как в дурмане, как будто выпил сладкой отравы, хотел понравиться ей, и во мне сломался какой-то винтик».

— Я был пьян,— выговорил он виновато.— И вы должны меня ненавидеть...

— О чем вы? — изумилась она.— Вам нравится снег? Падающий снег перед Новым годом?

— Н-не понимаю...— пробормотал он.

— Что ж здесь понимать? Идет снег, горят фонари, а вы около сараев топчетесь с патефоном и вдруг встречаете жар-птицу — пожалуй, это уже интересно! И вы тогда не были пьяны. И был канун Нового года. А сейчас мы другие. Мы постарели на один год. Вот и все. Проводите меня до автобуса. А жар-птицу вы не поймали...

Она спокойно, дружески погладила рукав его шинели и пошла к воротам по заледенелой тропинке, чуть волновалась над ботиками меховая оторочка ее узкого пальто с пелериной. Он тупо двинулся за ней. «Вороне как-то бог послал...» — завертелось, застучало темными молоточками в его голове при виде плавного, ритмичного колебания ее пальто, и он даже не поверил недавнему бесстыдству собственных плоских шуток, пошлому крику «горько!» и тому двоекратному поцелую в щеки, вызвавшему у нее испуг (она прикусила губы, точно от боли). «И это я, солдафон, наглец, полез с дубовой рожей в райский сад! Ха-ха, кавалеро!..»

— Спасибо. Здесь я сяду сама. А вам, по-моему, на трамвай. Вон там, видите, остановка? Как мне повезло — автобус идет!.. А утро какое чудесное! Наверное, такие холода бывали в семнадцатом веке. Представляете, резные хоромы, дымок из труб, окошки угольками горят на заре и галки над куполами церквей, как сейчас. Чудесно!

— Сейчас?.. Вы сейчас уедете на автобусе?

А на улице без единого прохожего, еще ранней, еще опустошенной новогодним праздником, утро стыло в морозном пару, в крупном мохнатом инее на проводах, в лиловой мгле заваленных снегом подворотен, над малиново рдеющим куполом полуразрушенной церкви висел, иставивал прозрачной пластинкой месяц, там хаотично, черно, тревожно вились галки, звонко щелкали в прокаленном воздухе, и этот древний звук тоской разрывал ему душу.

— Подари мне на прощанье блеск твоих чудесных глаз, предстоит нам расставанье, мы на запад уходим сейчас...— пропел он дурашливо, сдвинул армейскую шапку на затылок, будто желал сделать веселую выходку деревенского парня, и, сдернув перчатку, протянул руку.— Ну, давайте пять! Ваш автобус! Покеда! («Что я говорю? Бред! Безумие! Я просто свихнулся!») Подари мне на прощанье...— опять фальшиво пропел он в безнадежности стыда оттого, что она не подавала руки, покусывая нижнюю губу аккуратными, ослепляющими зубками.— Подари мне на...

— Пожалуйста, подарю, только перестаньте,— прервала она и поднятыми глазами с презрительным сожалением обвела его глупо оживленное лицо.— И уходите, уходите быстрей, несчастный!..— договорила она и повернулась спиной, быстро сошла с тротуара на мостовую навстречу автобусу с бело заросшими инеем стеклами, хрустевшему колесами по льду.

— Постойте! — крикнул он, и в горле сорвалось, он задохнулся, но сейчас же вскочил следом в распахнувшиеся с треском двери холодного, почти пустого автобуса (трое пассажиров дремотно ежились на разных сиденьях), вырвал из кармана шинели мелочь, бросился к кондуктору, толсто закутанному в тулуп.— Два билета! Один мне на память! — выговорил он в исступлении и наклонился к ней, уже севшей на скрипучую обивку бокового места, заговорил четко, дерзко, самонадеянно: — Если вы не дадите мне свой телефон, то я опять поцелую вас... при всех! Вот здесь. Знайте, что вы против меня совершили преступление! Если бы я вас не увидел...

— Уходите же, уходите, клоун несчастный...— проговорила она с гадливостью и, прислонясь головой к заиндевевшему стеклу,

неестественно засмеялась: — Да что вы делаете? Какое несчастье!..

— Я прошу ваш телефон!—умоляюще крикнул он, не обращая внимания на недоуменно уставившихся пассажиров, и, вроде бы из тумана поймав ее голос, выскочил из автобуса, ударенный по плечам сдвигающимися створками двери.— Кажется, она сказала номер, или мне послышалось... Записать, записать,— бормотал он полоумно, прикладывая автобусный билет к фонарному столбу, и огрызком карандаша записал номер.— Или показалось мне?

Он стоял один на мостовой, отупело глядя на завивающийся по снегу дымок автобуса, и студеным воздухом сдавливало дыхание.

Целую неделю длилась непрерывная мука, он пытался понять и не понимал, что происходило с ним, неясно осознавая будничную жизнь вокруг: появлялись и пропадали вблизи знакомые и незнакомые лица, проходили тенями фигуры профессоров в аудиториях, доносились откуда-то издали голоса студентов, звонки трамваев, звук его имени, порой окружала холодноватая тишина аудитории, где наискось лилось зимнее солнце, отражалось на столах, шуршали страницы, затем вместо обеда обжигало водкой в забегаловке, наконец зажигались огни и возникали окна, задернутые занавеси, подворотни, согнутые тела атлантов, подпирающих балконы с витыми чугунными решетками над старыми подъездами Остоженки. Здесь он ходил часами, подолгу всматривался в номера квартир, взбегал на этажи, неутомимо ждал на лестничных площадках, на углах и напротив арок во внутренние дворы, надеясь встретить ее, ждал терпеливо и упорно и, лишь продрогнув окончательно в метельные ночи, возвращался в общежитие по обезлюдевшим переулкам, подняв не согревающий воротник шинели, носом вдыхая мокрый молодой вьюжный воздух. «Я найду ее, найду ее!» Дурман того вечера и того морозного новогоднего утра не отпускал его, жег позором, стыдом, но одновременно и овладевал им подобно сладостной неизлечимой болезни, которая в желанном бреду приближала ее плавный голос, мягкий, слегка с косинкой взгляд, ее волнующееся над ботиками пальто с пелериной. И преследовала бесконечно повторявшаяся в ту ночь навязчивая мелодия песни «Подари мне на прощанье...», и заезженное шипение патефонной пластинки, и свой фальшивый голос, пропевший этот мотив на автобусной остановке. Но чаще всего он видел ее, прямо сидевшую на боковом сиденье, с изогнутыми бровями, розово освещенную утренним солнцем через мерзлое стекло, и ее неприязненный шепот проходил через него током: «Уходите же, уходите, клоун несчастный...»

Позднее он не мог бы логично и точно объяснить, каким усилием воли, какой одержимостью, какими изобретенными комбинациями телефонных чисел (номер, записанный на автобусном билете, не отвечал), каким ежевечерним изучением ворот и подъездов Остоженки он в конце концов нашел ее. И невозможно было бы объяснить, почему она согласилась пойти с ним в гости к другу, аспиранту-горняку, уезжавшему в командировку.

А скромная обитель его друга близ Таганки (комната и кухня) была в тот вечер сказочным царством тишины, невиданного блага, ошеломившего тем, что рядом была она, касалась натопленной голландки, оглядывала книжные шкафы, старинное трюмо,— и он опять почувствовал горячую волну ядовитого дурмана, хотя не пил ни капли, почувствовал, что сходит с ума, что сейчас начнет острить, шутить без разбору — неужели опять?

И он свистнул с насмешкой над собою, лег на диван, просунул под голову руки и, покорный, стал глядеть на нее с ребяческой завороженностью.

Она сидела в кресле, смотрела задумчиво чистыми темными глазами, а он в обезоруживающем безмолвии не мог представить, как набрался смелости поцеловать ее тогда, в Новый год, и после говорить всякую ерунду.

— Оля,— позвал он шепотом.— Ты хочешь, чтобы я умер?

— Послушай... кажется, ты сейчас не пьян?

— Не уверен. Оля, умру или от своей глупости... или оттого... что я не знаю, что со мной творится... Сядь ко мне на диван. Не бойся, ради бога.

Она пересела на диван, и снова, как в новогодний вечер, его лицо опахнуло мягким ветерком от ее движения.

— Погладь меня,— попросил он и зажмурился.

— Что?

— Погладь меня по голове.

И он взял ее руку, помня ждущее прикосновение вот этих легких пальцев три дня назад в замоскворецком дворике, провел по виску, по волосам, положил голову ей на колени, потерся щекой, чувствуя шерстяной запах плотной юбки, тепло сдвинутых коленей, таких округло женственных, таких страшных в своей близости, что сказал замирающим шепотом:

— Оля, у меня голова кружится, как на краю пропасти.

— Наказание какое! Ты офицер, у тебя пять орденов, а ты, как мальчишка...

— Оля... Хочешь, я умру на твоих глазах?

— Что ты делаешь? Зачем? — проговорила она и выпрямила спину, напряженно глядя в окно.— Зачем? Это какое-то несчастье...

А он молчал, все потираясь щекой о шерстяное тепло ее юбки, о ее колени.

За окном тихого царства этой комнатки на Таганке зимние сумерки все гуще наливались синевой, засветились первые огни, падал и падал неторопливый густой снег, заваливая переулок. Изредка под туманными фонарями проходил бесшумный троллейбус, сбрасывая с проводов фиолетовые искры, на далеком мосту медленно ползли уже по-вечернему светившиеся трамваи, звон их едва пробивался сквозь лениво текущую завесу снегопада.

Потом предупредительно постучали в дверь. Вошел его друг, в бурках, в пальто, с чемоданчиком, уложенным, по-видимому, на кухне (чтобы не мешать им), не зажигая света, кашлянул и, обычно настроенный на игривый разговорчивый лад, спросил чрезмерно прямо:

— Ты его любишь?

— Невыносимо дурацкий вопрос!— Она встала, свела брови.— А если да? А если нет? Что из того? Где у вас выключатель? Включите свет!

— Спокойной ночи. У меня поезд через час,— сказал друг, смущенно сощурясь на зажженный свет, и надел шапку.— Ключ остается. Желаю молодым счастья!

Он попятился к двери, доброжелательно и соучастливо кланяясь.

— Пока! До встречи, остряк! — крикнул Крымов и, вскочив с дивана, закрыл за ним дверь, постоял у порога, засунув руки в карманы.— Да, если да, и да, если нет,— проговорил он резко и через плечо взглянул полувопросительно.— Все равно ты будешь моей женой.

«Опять началось безумие! Опять дьявол вселился в меня!»

— Я? Твоей женой? Разве я могу быть женой странного и совсем непонятного человека?

Он сказал неподчиняющимся голосом:

— Ты еще увидишь, какой я странный, какой непонятный, но какой смелый парень! Знай, что я служил в разведке. Ты представляешь, что такое полковая разведка и что такое ходить в тыл к немцам?

— Пожалей, пожалуйста. Неужели ты хочешь победить меня, как в войну? Ты самолюбивый хвастунишка...

— Оля, милая, уезжай сейчас же, я знаю, тебя ждут дома! Уезжай. Так будет лучше. Иначе... («Опять, опять!..»)

— Спасибо. Я поеду. А что иначе?

— Иначе я ничего не смогу с собой поделать. Уезжай, я прошу тебя. Я люблю тебя. Я черт знает как люблю тебя!..

Он проводил ее до автобуса, потом долго топтался под фонарем, морщась, чиркал спичками, а поднявшийся меж домов ветер срывал, тушил огонек, мокрый снег налипал на сигарету. В ладонях, по-фронтовому сложенных ковшиком, он все-таки сумел прикурить, сделал затяжку, но снежный смерч с неистовой силой мстительно выбил жарок из сигареты, и тогда он впервые за много лет в бессилии заплакал. Он плакал со сладострастной злобой к себе, к этому неподвластному безумию, ко всему, что было связано с тем предновогодним роковым вечером и тем инистым утром в замоскворецком дворике.

Что это было — дурман или естественное состояние? Ему было ясно одно: он любил Ольгу без памяти, прежние случайные встречи с другими женщинами не вызывали того безумия, той ненасытной нежности, той постоянной неутоленности, какую он испытывал к ней.

Да, то было другое время, и они были другими, тогда начиналась незабвенная пора молодости.

Продолжение следует.

Игра

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Рисунки Е. БОНДАРЕВОЙ,
А. УСТИНОВИЧА

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В тот день, расставшись с Валентином, он не дождался Ольгу, вышел из дома, не нашел ее на поляне и один ходил по лесу, по высокому берегу реки, вдоль песчаных отмелей, где весной садились дикие утки. Сначала по воде плыли, текли ленивые по-летнему облака («Откуда это непередаваемое наслаждение в их медлительности?»), на закате нежно заалели на плесах перистые, женственно тонкие, обещающие занебесное блаженство («Это же прелестный обман!»), затем начало постепенно надвигаться то невесомое молодое ощущение июльского вечера, в котором всегда парит долгий свет зари, что-то чуткое, зыбкое, не имеющее четких границ во времени. И уже в мягко синеющей темноте, охватываемой папоротниковой сыростью, Крымов сидел на поваленной березе, курил, отгоняя веточкой комаров, глядел на другой берег, проступавший за поблескивающей внизу рекой. Там километрах в трех оставался дачный поселок. Там, в потемках леса, не пробивалось ни единого огонька, хотя в поселке, по-видимому, зажглись над заборами фонари всех улочек, между сосен сквозили окна дач, пленительно зеленел абажур настольной лампы в комнате Ольги, и рядом горел свет в его кабинете — ожидая его по вечерам, Ольга включала в мансарде свет, объясняя с загадочной полуулыбкой свою странность: «Я боюсь одна, а это маячок, чтобы тебе легче было найти дорогу домой».

«Я боюсь одна, а это маячок...» — вспомнил он растроганно, а когда встал и, еле угадывая тропинку, спустился по крутому откосу к берегу, внизу ярко вспыхнул огненно переливающийся зигзаг: струились, двигались золотые извивы нитей. И Крымов не сразу понял, что же так ярко полыхало, сверкало, извивалось в черной воде.

Он миновал кусты, ступил на узкий, шаткий мостик, со всех сторон окруженный блаженным хором лягушек, стонущих в камышах на отмелях, и тут увидел, что́ вспыхивало, купалось на самой быстрине. На том берегу, на западе, где небо было светлей от зари, над темной вершиной березы царственно играла алмазными огнями большая неизвестная звезда.

«Что это — Венера, Марс? — подумал Крымов, завороженный праздничным блеском над макушкой березы.— Жизнь прожил и не знаю...»

Он остановился на середине мостика, задрав голову, увидел в прорехах застывших верхушек далекое пульсирование звездных фейерверков, величественное ликование неба, всю эту сверкающую россыпь, голубое дрожание космических лучей в глубинах жутких провалов галактик; в лицо дохнуло из небесных пропастей вечным холодом, ритуальной тайной непостижимости, и Крымова стало томить тихое желание попросить прощения за что-то, в чем были виноваты все перед этим величием недосягаемой красоты, перед этой праздничной запредельностью, которой нет названия.

«Что мы знаем, самонадеянные и самовлюбленные? Уверены, что знаем все,— и не знаем ничего. А что там? А дальше что? А зачем? Во имя чего? В чем смысл всего земного и небесного? Или смысл в том, что нет никакого смысла? Или во всем тот смысл, который постигнет человек в момент смерти? Может быть, смерть и есть постижение всего? Да, небо такая же тайна, как смерть... Да, да, нужно постоянно об этом помнить! Но почти никто не хочет этого помнить... И мы забываем, не хотим знать, что общение с тайной красоты — радость, а радость — высшая мудрость. И как ничтожна вся человеческая возня с сиюминутной выгодой, завистью, тщеславием... Какая никчемная чепуха! О, скольким людям на земле приходило такое понимание! И что же?»

Он усмехнулся этому своему пониманию земной тщеты, глядя на играющую подвижными лучами звезду, и все же на душе у него было светло и освобожденно.

И правда, в мансарде в его кабинете горел сквозь листву свет, и мирной зеленью настольной лампы было залито окно Ольги рядом с кабинетом. Не зажигая электричества на первом этаже, он быстро взбежал в мансарду, дверь в ее комнату была приоткрыта. Световая просека разрезала, раздваивала потемки на лестничной площадке, и, казалось, из ее комнаты пахнуло ночным покоем, чистой постелью.

— Ты не спишь, Оля?

Он вошел. Ольга в рабочих брюках, в черной рабочей рубашке сидела в соломенном кресле, подперев кулаком подбородок, и смотрела на небольшой, сегодня написанный, еще не просохший пейзаж, прислоненный на полу к стене, освещенный лампой с края стола: потухающий закат за лесами, последний отблеск в воде и струистое, тревожное дрожание первой звезды в малиновом отблеске. Может быть, той, незнакомой, царственной, которая передвигала лучистыми алмазными радиусами над темной вершиной березы? Она тоже видела ее?

— Это я, Оля,— сказал он негромко.— Здравствуй.

Она не отняла руку от подбородка, посмотрела на него скошенными внимательными глазами и недоверчиво чуть-чуть кивнула.

— Здравствуй. Ты так поздно, Слава?

Он услышал в ее голосе не то шутливую полувопросительность, не то невнятный упрек и сокрушенно вздохнул, подходя со спинки кресла, увидел ее собранные в старомодный пучок волосы, ее маленькое ухо, ее открытую рабочей рубашкой шею и сказал осторожно:

— Я, как всегда, виноват. Пошел искать тебя. И не нашел. Забрел в лес, за мостик. И там хорошо думалось. Кстати, видел, как рождалась ночь. Было прекрасно...

— Ясно. А Анатолия Петровича с тобой не было?

— Он уехал рано. Странно... Вот такую звезду, как на твоем пейзаже, я тоже видел. Только под мостиком, у свай. Марс или Венера?

— Значит, ты был один и было прекрасно,— проговорила Ольга тоном мягкой насмешки, снизу взглядывая ему в лицо с ожидающим выражением.

Он, стоя около кресла, виновато поцеловал ее в слабо улыбнувшиеся губы.

— Пожалуй, впервые за много лет заметил летом Венеру или что-то в этом роде,— сказал он, ощущая прохладное безразличие в ее неответивших губах, и придал своему голосу оттенок шутки: — А с кем была ты?

— Сама с собой.

— И как?

— Представь, как хорошо нам было! Как хорошо мы пообщались, поговорили, поплакали.

— Поплакали? О ком? О чем?

— О тебе. Обо мне.

В ее тихих бархатных глазах была по-прежнему незавершенная вопросительность, не часто свойственная ей, за которой Крымов почувствовал нечто встревоженное, упрекающее, тщательно скрытое ею, и он сказал уже без ненужной сейчас между ними словесной зашифрованности:

— Если можно, Оля, объясни, что случилось. Я сегодня малость устал, поэтому никак не возьму в толк. Ты почему-то на меня сердишься?

— Нисколько. Просто поплакала о нашей ушедшей молодости. Но это, конечно, пустяки, бабья лирика...

Ольга поднялась, обхватила руками плечи, точно обняла себя, чтобы согреться, постояла перед пейзажем, губы ее слегка круглились подобием улыбки (а он помнил их холодок безжизненности, что ожег его минуту назад), и так, обнимая себя, поглаживая ладонями плечи, она отошла в сторону, за свет лампы, и оттуда, из зеленой тени, сказала нарочито оживленным голосом:

— Не думала, что так случится, Вячеслав. И как это все некстати и грустно!

— Случится? Что?

— По-моему, ты не рассчитываешь свои силы.

— Так было всегда,— пошутил он, со страхом догадываясь, о чем хотела сказать она.— Я давно знаю свои недостатки, Оля.

— Я их узнала недавно, прожив с тобой целую жизнь. Так что же нам делать, Слава?

«Вот чего я боялся, вот этого ее унижения. Я боялся, что кем-то замешенная грязь испачкает Ольгу. Неужели студийные сплетни во всей красе дошли и до нее? Нет, люди беспощадны...»

— Оля, я катастрофически поглупел и, значит, задаю наивные вопросы: что случилось? Тебе кто-то звонил? Ты получила письма? Конечно, анонимные...

Из полусвета темнели ее неулыбающиеся глаза, а губы (сколько раз он целовал их, холодноватые, не утоляющие его) вздрагивали отражением сдержанного удивления.

— Я тебя не осуждаю. Ты перестал меня любить, поэтому можешь поступать как хочешь. Дело не в звонках и не в письмах.

— Оля...

— И тут ничего не поделаешь. В жизни бывает все.

— Оля, зачем ты?..

«Неужели она верит и мне нужно объясняться, оправдываться? А у меня нет сил».

И он с видом неимоверной усталости присел на корточки подле пейзажа, и это зеленоватое после заката небо, неистовый огонь первой звезды в пустой чистоте воды, и пепельная туча грачей, вьющихся над вечерним дальним лесом, и недавние беззвучные фейерверки в ночи, тайный праздник в бездонных глубинах галактик, какое-то движение, смещение, шевеление лучей — все ритуальное великолепие, что открылось ему на середине мостика, как со дна ущелья, меж неподвижных вершин на высоких берегах, мгновенно потеряло освобождающую надежду, и он подумал с отчаянием: «Все переставлено местами, и все летит в бездну!»

— Оля,— сказал он покорно, не решаясь повернуться от пейзажа, но теперь ничего не видя в нем подробно.— Оля, прошу тебя только о единственном: верь себе, а не кому-либо... Знаешь, о чем я думаю в последнее время? Есть птицы певчие и птицы ловчие. Так вот, ловчие, даже когда они сыты, могут ударить острым клювом в затылок. Смысл? Его нет. Но желание ударить есть. Причин тысячи. И одна мельче другой. И со мной происходит то, чего я не хочу, Оля. Жизнь почему-то не может нас научить правде. Мы слишком доверчивы. И ты тоже доверчива, Оля. Я сегодня опять подумал, как ничтожна возня людей, когда вдруг на мостике увидел в воде вот эту красавицу звезду... Впрочем, банальны все истины, которые давно открыты, давно забыты и заново открыты.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 1—14.

Он поднялся с корточек и нахмурился после невольной своей искренности, что могла быть воспринята Ольгой через край нарочитой, а она стояла у стены в сумеречной полосе за светом настольной лампы и слушала его с опущенными глазами.

— Ужасно,— сказала она и приблизилась к нему, ласково оглядывая его лицо и притрагиваясь кончиком пальца к его подбородку.— Ужасно, как ты изменился в последнее время, ты похудел, осунулся, стал не тот. Что-то случилось, Вячеслав... Я тебя очень любила тогда, в Новый год, когда мы остались с тобой здесь... Ты уже не совсем тот или полностью другой?

— Другой. Наверно, не полностью.

— Хуже?

— Да.

— Значит, ты меня предал, Вячеслав?

— Ни разу.

— Я тебе, Слава, сейчас не верю почему-то,— сказала она с рассеянным лицом и нарисовала пальцем замысловатый вензель на лацкане его пиджака.— Ведь я замечала часто, как в твою сторону смотрят женщины. Потом ваши студийные нравы, артистическая богема, могу представить... И ты не святой, Слава. Так ведь?

— Ты ошибаешься, Оля, я почти святой. И ты не права насчет студийных нравов. Они как везде. И богемы нет,— сказал Крымов, испытывая желание обнять ее и не говорить ничего в покое ее близости, ее спокойного неутоляющего холодка, как в ту вьюжную, пустынную ночь, когда они остались на недостроенной даче вдвоем. Но что-то мешало ему повторить минуту того новогоднего настроения, о котором вспомнила Ольга, и он только провел рукой по ее плечу, такому родному под черной рабочей рубашкой, договорил почти робко: — Как я могу поклясться, что люблю тебя?

— Не надо,— проговорила она без выражения.— Иди, пожалуйста. Иди, Слава. Уже очень поздно. Иди, мой милый святой.— Она опять нарисовала пальцем невидимый вензель на лацкане его пиджака, и лицо ее было безучастно.— Иначе мы не заснем оба.

— Спокойной ночи.

Он поцеловал ее в щеку и вышел с мучительным чувством, как будто она, не веря ему, не хотела договаривать и разрушать все до конца.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

— Извините, Вячеслав Андреевич, за нескромный вопрос, который я не решился бы задать вам, если бы, так сказать, не формальная сторона нашей профессии. Дабы установить истину, нам подчас следует знать и нечто интимное... нескромное. У вас были, извините, пожалуйста, еще раз, близкие отношения с Ириной Вениаминовной Скворцовой?

— При первой нашей встрече я рассказал все, Олег Григорьевич. Неужели мой вторичный ответ прояснит истину случившегося несчастья? Если да, то все ясно? Если нет, тогда что?

— О, вопросы уже задаете вы мне, Вячеслав Андреевич. Я отлично понимаю, что каждый момент столкновения с жизнью — это для вас, художника, неким образом сбор материала, опыт, который, так сказать, воплотится... Вы, художники, как губки, все впитываете и реализуете. Но так или иначе вы не хотите ответить на мой формальный вопрос?

— Почти невозможно объяснить. Как вам объяснить? Это не для протокола, который вам нужен.

— А именно? Может быть, вы не хотите говорить о какой-то, извините, аномалии у актрисы Скворцовой? Она перенесла тяжелую травму, и неудача в балете наложила отпечаток на ее психику. Может быть, особая экстравагантность?..

— Ну для чего вы так? Ирина Скворцова была чистым ребенком, доверчивым до наивности. Таких среди современной молодежи не часто встретишь. Она верила, что назначение жизни — это радость. Не удовольствие, не безделье, не обеспеченность, а именно — радость. Она обладала чувством нравственной свободы. О какой аномалии можно говорить?

— Конечно, конечно, конечно... Не хотел вам причинить неприятное, не хотел. Скажите, пожалуйста, Вячеслав Андреевич, а не было ли у вас перед несчастным случаем, так пока будем его определять, какого-либо серьезного разговора с Ириной Скворцовой? Она ничего вам не сообщила, не рассказала? Ни о чем не просила? Не припоминаете ли вы какие-либо ее слова?

— Припоминаю. Она была расстроена случайно услышанным ею чужим разговором на студии.

— Не припоминаете каким?

— Как часто бывает, претендентки на роль перемывали ей косточки и, разумеется, говорили о том, что она бездарна и что главную роль, разумеется, получила за то, что стала любовницей режиссера.

— И это не так? Не отвечает действительности?

— Что «не так»?

— Ирина Скворцова была вашей... любовницей, извините, или... подругой, приятельницей, как сейчас говорят в вашей среде?

— Не знаю, как говорят в нашей среде по данному поводу, но Ирина Скворцова не была ни моей любовницей, ни подругой, ни приятельницей. Было другое.

— Так что же было между вами, Вячеслав Андреевич? По долгу службы я нахожусь в неудобном положении... задавать вам, так сказать, пикантные вопросы, и вы уж потерпите мою настойчивость.

— Я потерплю. Но на пикантные вопросы позволю себе не отвечать.

— Однако в ваших ответах я слышу одновременно и да и нет. Как следует мне понимать вашу диалектику?

— В смысле нет.

— А именно как?

— Олег Григорьевич, я не могу вам объяснить всю суть моего отношения к Ирине Скворцовой. В ней была и сила, и хрупкость, и беззащитность. Перед жизнью она была беззащитна. Как почти все одаренные люди.

— О вас сказать нельзя, что вы беззащитны, хотя вы зверски талантливы, как устно обозначил вас один крупный режиссер, ваш коллега.

— Все не так, как кажется. Я был просто удачлив. Вокруг меня много преувеличений. Завистливых и глупых. В искусстве удачливых не очень любят. Завидуют, льстят, но не очень любят. Вас не шокирует мой ответ?

— Вы кокетничаете сейчас, Вячеслав Андреевич. Маститая критика пишет о вас...

— Не надо читать маститую критику. Она часто лжет или расписывается под узаконенными режиссерскими рангами. Критика должна быть молодой, а значит — дерзкой.

— Вы опять кокетничаете.

— Как вам угодно. Если возможно кокетничать с правдой, то вы правы.

— Вы как-то недобры ко мне, Вячеслав Андреевич. Вы заведомо видите в моем лице некоего, так сказать, недоброжелателя, а моя профессия предполагает беспристрастность даже к очень подозреваемым лицам, каковым вы не являетесь. Но вернемся к делу. Вы сейчас так говорили о Скворцовой, как будто... как бы точнее выразиться? Как будто были без ума влюблены в эту экстравагантную девушку. Такое чувство имело место?

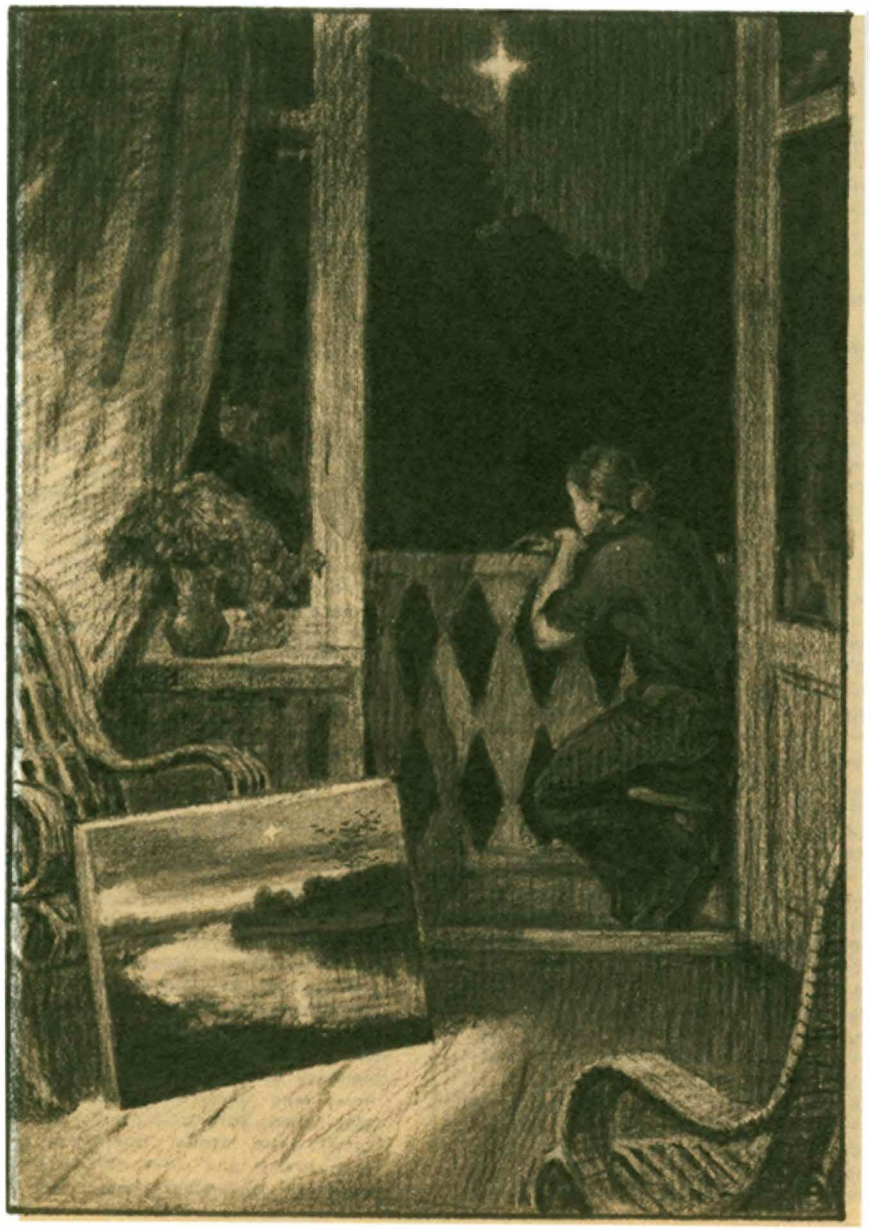
— Я не был влюблен без ума в эту экстравагантную девушку. Более того, она терпеть не могла экстравагантности, и я тоже.

— Так или иначе — что же было между вами? Она хотела стать вашей женой? Хотела, чтобы вы развелись, а вы чувствовали себя связанным семьей, детьми, и у нее, у Ирины Скворцовой, появилась обида, горечь, неудовлетворенность своим положением?

— Ничего похожего.

— Так что же было между вами в конце концов, Вячеслав Андреевич? Она была удовлетворена своим положением?

— Она не была удовлетворена собою. Мне так думалось. Вы знаете, что после блестящего начала в балете она получила травму и ушла



со сцены на целый год. Несколько раз я видел, как она дома работала у станка — она старалась вернуть себе форму во что бы то ни стало. И не смогла, к большому сожалению. Когда я предложил ей роль, представьте, Скворцова сначала не согласилась. Она не хотела предавать и себя и балет.

— И вы считаете, что именно это привело ее к трагическому исходу?

— Я разве сказал так?

— Но можно было понять таким образом из ваших рассуждений.

— Я отвечал на ваш вопрос, который был не совсем точным.

— По всей вероятности, я вынужден задать вам много неточных вопросов, так что вы меня извините, Вячеслав Андреевич. Иногда, знаете, самый прямой путь к истине — окольный.

— Не надо, прошу вас, Олег Григорьевич, неточных вопросов и окольных путей. Честное слово, я очень устал. Я облегчу вашу задачу. Я понимаю: вам нужно установить причину гибели Ирины Скворцовой или виновника ее гибели, установить убийцу прямого или косвенного.

— Вы хотите пить? В графине, по-видимому, вода уже теплая. Пожалуйста, боржом, Вячеслав Андреевич. Сегодня с утра жарко, печет...

— Благодарю. И душно, я бы сказал, у вас в кабинете. Почему вы не открываете окна?

— О, вы наблюдательны, зрение у вас профессиональное, Вячеслав Андреевич.

— Я хочу облегчить вашу задачу, не решаемую из-за неточности моих свидетельских показаний. Я скорее всего обвиняемый, потому что виноват... виновен в том, что произошло. Вениамин Владимирович Скворцов, которого я встретил здесь у вас, был прав. Он справедливо обвинил меня в том, что я был злой искуситель... в том, что попытался вселить в его дочь надежду... Но я, как и вы, хотел бы знать, как случилось, как все произошло. Была ли трагическая случайность, или она решилась осознанно на самоубийство, несчастная девочка? Или что же? Я хочу верить, что это случайность...

— Однако есть основания думать, Вячеслав Андреевич, о несколько иных поводах трагического исхода, о несколько иных обстоятельствах...

— Значит, вы кого-то подозреваете? Понимаю вас. Разумеется, юстиция, закон, следствие, показания, свидетели. Но я один свидетель. И если я не знаю точно, но хочу знать, как и почему все произошло, то кто может знать, кроме господа бога, а мы с вами не верим в бога, кажется.

— Был еще один свидетель, Вячеслав Андреевич.

— Кто?

— Вы с ним хорошо знакомы. Шофер вашей студии Гулин Степан Евдокимович. Вы почему-то о нем молчите, хотя поступили с ним, мягко говоря, не по-джентльменски.

— Сердечно сожалею, что не по-джентльменски проявил свою невоспитанность. Также сожалею, что был слишком мягок с почтенным шофером Степаном Евдокимовичем. Впрочем, мягкость и раскаяние — порочная черта русской интеллигенции.

— Но вы же избили его, Вячеслав Андреевич! Вы, представитель художественной интеллигенции, известнейший человек, признанный режиссер, избили рабочего человека, который вызвал ваш гнев только тем, что был свидетелем вашей ссоры со Скворцовой в тот день, когда произошел трагический акт. Вы об этом как раз умолчали.

— Любопытно, как он мог быть свидетелем чего-то, когда находился в это время за тридцать километров, уехав обедать в чайную в районный поселок? Признаюсь, он вызывал и вызывает гадливое чувство...

— И поэтому вы нанесли ему побои, причинив телесное повреждение?

— Какое повреждение?

— В справке из сорок второй поликлиники, представленной свидетелем, сказано, что у него была разбита губа вследствие соприкосновения с зубами от удара и кровоподтек под носом.

— Великолепно! Я действительно очень сожалею, что ударил его только два раза. Для подобных граждан два раза маловато.

— Прошу вас, Вячеслав Андреевич, прочитать вот это заявление свидетеля.

— Про себя или вслух?

— Сомневаюсь, что чтение будет художественного свойства. Почему вы так насторожены со мной, Вячеслав Андреевич?

— Так же как и вы, несмотря на любезную форму и уважение ко мне. С вашего разрешения я читаю вслух, чтоб было яснее и искреннее. Так вот... «В главное управление. От Гулина Степана Евдокимовича». Ну ладно, что же он пишет, Степан Евдокимович, заслуженный шофер, награжденный грамотой? Ах вот как он излагает суть дела... «Хочу уважаемым товарищам из милиции описать суть дела преступления, потому как я работал по картине «Поколение» и вез товарища Крымова Вячеслава Андреевича, режиссера картины, и артистку Скворцову Ирину, по отчеству не знаю, на натуру, где потом снимать будут эпизод. Когда ехали на освоение натуры, режиссер Крымов В. А. попрекал Скворцову в глупости, в том, что она делать ничего не умеет ни в балете, ни в кино, а Скворцова сидела молчком, тихо плакала, а потом сказала, что с такими оскорблениями ей жить на свете не хочется, а режиссер Крымов на эти слова смеялся с исключительным эгоизмом. Когда на натуру приехали, они ушли к церковке на правом берегу реки, я остался на левом по причине негрузоподъемного мостика. Режиссер Крымов приказал ждать час-полтора, но их не было два часа, и есть мне захотелось, потому что был обед. На том берегу я их видел, ходили друг против друга, руками размахивали, вроде все ругались. Как раз подумал я, что долго они еще будут, и уехал в поселок хоть глоток водицы глотнуть, весь пóтом изошел на жаре. А когда приехал я за ними, тут увидел, что Скворцова вроде мертвая, утопленная на траве лежит, в купальнике, волосы мокрые, лицо белое, как мрамор, а режиссер Крымов зверем кинулся на меня, стал избивать в кровь и с нецензурными словами, как бешеный, предупредил, чтоб я нигде пикнуть не смел, что видел и слышал. Повезли мы Скворцову в больницу и сдали там. Вот что я знаю об этом преступном деле. Справку о телесном нанесенном мне повреждении прилагаю. К сему Гулин». Все? Да, подпись разборчива. Что ж, великолепно объяснил уважаемый шофер. Все изложил с беспощадностью реалиста. Здесь чувствуется стиль жертвы. И вы принимаете во внимание намекающие мемуары угнетенного режиссером водителя?

— Я принимаю во внимание все, что имеет отношение к делу. Водитель Гулин излагает личное отношение к тому, что случилось. Выводы делаю я. На основе всех показаний тех людей, которые знают вас и знали Ирину Скворцову.

— И если вы выслушаете Гулина, мудрого руководителя студии Балабанова, достопочтенного хозяйственника Молочкова, то у вас сложится справедливое мнение — вывод о возможном преступнике, о гипотетическом убийце режиссере Крымове. Я уж не говорю о Вениамине Владимировиче Скворцове, об отце погибшей девушки, который без колебаний обвиняет во всем меня. Пожалуй, он прав как отец, и я понимаю его тоже как отец. Я виноват или... как такое заявление выглядит с точки зрения правосудия ...не виноват, а виновен, виновен в том, что вселил в Ирину Скворцову надежду, а завистливые, злобные лица инкогнито, тошнотворные, как пошлость, разрушили надежду. И если это ее убило, какой все-таки хрупкий цветок была она...

— Вячеслав Андреевич, подобные заявления уводят нас в сторону, в психологию творчества, в темный лес, где рискуешь в трех соснах заблудиться и сломать шею. Я, знаете ли, дорожу своей шеей, и не только для того, чтобы носить галстуки. Поэтому возвращаюсь к главному — что же, по-вашему, было непосредственной причиной смерти Ирины Скворцовой? Открою вам секрет, который, в общем-то, не является секретом. Отец Скворцовой обратился в инстанции высшего порядка и требует тщательного расследования причин смерти его дочери, и дело, так сказать, поручено мне, а я человек дотошный, извините за откровенность, и хотя мое уважение к вам...

— Какое тут может быть, к богу, уважение, и что такое уважение, и почему уважение, и для чего!.. Бред! Я вам сказал, вернее, по протоколу, ответил. Я виновен...

— Вячеслав Андреевич!

— Я виновен, и делайте со мной то, что нужно дальше.

— Вячеслав Андреевич!

— Я сказал вам — другого виновного вы не найдете.

— Вячеслав Андреевич, я удивлен... Вы должны отвечать за свои слова, а не бросать их на ветер. Подобные заявления опасны, в конце концов!

— Я уже давно ничего не боюсь. Нет, иногда, конечно, смерти боюсь. Здесь побеждает чистое любопытство — а как будет после меня? Меня всю жизнь губило любопытство. Может быть, поэтому я и стал режиссером: познать чужую жизнь. Но так многого и не познал.

— Вы сказали, что во всем виновны вы?

— Во всем. И вам не нужно больше задавать вопросы ни Балабанову, ни Молочкову, ни прочим...

— А Стишову, который был у меня утром? Достойнейший, по-моему, человек.

— Тоже. Романтик и идеалист, влюбленный в меня. Он не может быть объективным. Тем более он мой друг. Близкий к тому же.

— У меня больше вопросов к вам нет. Пока нет. Если они возникнут, то придется вновь побеспокоить вас, Вячеслав Андреевич.

— Благодарю. Мне можно идти?

— Всего хорошего. Желаю всяческих творческих успехов на экране.

— Благодарю. Я тронут вашим добрым отношением к киноискусству.

Его потное лицо облепило масленым теплом уже раскаленной, грохочущей в этот час улицы, бьющей соединенным ревом моторов в уши, и он, утомленный, подошел к машине, поставленной им под ветвями притротуарной липы (чтобы не так сильно прокалило солнцем). Обжигая о металл пальцы, открыл ключом дверцу и сел в машину с захлестнувшим отчаянием оттого, что пропадает, не может остановиться, овладеть собой, найти равновесие, что все делает сейчас в каком-то тумане неблагоразумии, потеряв контроль над здравомыслием, и что это состояние погубит или уже погубило его. Он еще не представлял полное разрушение прежнего, свое новое, униженное место в жизни, где будут действовать иные законы, иные отношения, как бывало на его памяти с некоторыми известными людьми, ударами справедливых либо несправедливых обстоятельств сбитыми с ног. И не представлял собственное положение зависимым в такой степени, какая раньше не распространялась на него.

То, что происходило с ним, и то, что он делал, плохое и хорошее, говорил, отрицал, утверждал, было немыслимым образом остранено, огорожено некими нелепыми обстоятельствами, дурными поводами, чудилось, чем-то нереальным, нетвердым, временным, что должно немедленно, вот-вот закончиться, повернуться в будничное течение обычной действительности, которая внешне ни в чем не изменилась и была той же, как до отъезда Крымова во Францию. Однако явные перемены произошли и вновь возвращали его в тот жаркий июньский день, последний день Ирины,— и когда он с головной болью вышел от следователя и в аптечке машины нашел амидопирин, помогли лишь две таблетки, он без воды проглотил их химическую горечь и подумал, устало приваливаясь к горячей спинке сиденья: «Сейчас я должен поехать на дачу».

Потом он сидел раздумывая — так ли уж надо ехать сегодня на дачу, к благостному лету, к соснам, траве и солнцу? Может быть, остаться в Москве, побыть в пустой квартире одному, обдумать в одиночестве сегодняшнее, случившееся, ибо и на даче никто не мог помочь — ни Ольга, ни Валентин, ни его любимица Таня.

«Какое блаженство: вот так сидеть в машине одному, смотреть на дрожание светотени в глубине липы с запыленной листвой и не думать ни о чем, только видеть, слышать улицу и чувствовать. Но разве чувствовать значит не думать? И все-таки не проходит какая-то неопределенная боль, которая, как тоска, появилась ночью, когда я ушел от Ольги... И почему мне хочется бежать куда-то? И почему так легко хотелось говорить следователю о своей вине, чтобы прекратить унизительные для него и для меня вопросы,— неужели никогда не кончится это?»

И еще надеясь вернуть душевное равновесие, он попытался вспомнить самый счастливый день в прожитой жизни и наконец вспомнил его — далекий, весенний, как если бы повторилась незабвенная пора детства. Ах да, вот он: солнечный март, капель, синие тени берез на белом снегу... и мальчик (это он) стоит перед заваленным сугробами крыльцом и смотрит на радостную голубизну неба над крышей, на свисающие с заледенелых желобов сосульки...

Нет, он еще помнил и другое счастливое утро, нежный свет зари на стенах чужой мансарды, малиновые блики на тяжелой мебели, пахнущей чем-то старинным, сладковатым... И были тогда длительные майские вечера и цепенящий запах сирени в саду. Где это было? В Германии? В те дни все было удивительно, ни разу позже не повторившееся. Ночью горели по горизонту запоздалые зарева окончившейся войны, а среди глыб сгущенного пепла, разрывов, дыма и, мнилось, обуглившихся гигантских лебедей, улетающих вдоль грозного горизонта, округло выделялись вдали купола, крыши, вершины деревьев. А зеркальный месяц остро, дерзко блистал в прорехах, обещая жизнь, любовь, молодость, удачу, возобновление того довоенного утра под Москвой, когда он увидел ее. Она в летнем ситцевом сарафане стояла у калитки, срывала стручки акации, касаясь голыми коленями прислоненного к изгороди велосипеда... Потом он явственно увидел рядом с нею и себя. Он накачивал велосипедную шину, а она стояла под той же акацией, молча водила ладонью по забору, и губы были надутые. «Не может быть, чтобы мы ссорились. Из-за чего? То были неповторимые дни моей юности, хотя не осталось в памяти ни имени милой девочки в сарафане, ни причины ссоры...»

И до сих пор почему-то не забывалось, как в те очень давние дни юности проснулся на сеновале с болевшими от поцелуев губами, разбуженный безмолвием после ночной грозы, и поразился: из-за туч выглянула, заблестела ему в глаза одинокая, чисто омытая звезда и до рассвета стояла над черной покатой крышей, еще влажно дышащей свежестью дождя.

«Вчера я тоже видел звезду, но было другое — чувство утраты, а та ночь в юности не ушла из памяти. Да, да, синие мартовские тени на снегу, луна в Берлине, девочка в ситцевом сарафане, сеновал, пахучий ветерок просыхающей крыши — что это, безоблачные сны моей жизни? Да, истинное — то, давнее. Оно осталось со мной, не ушло, и, может быть, именно оно держит меня на земле...»

И страстно захотелось вспомнить и почувствовать свое раннее детство: тихий отблеск росы на лугах, крик грачей в ветреное утро, тишину заката, дух парного молока, звук уключин на реке, а ночью далекий лай собак под разверстой глубиной осеннего неба, потом — мокрый перрон, до краев затопленный февральским туманом, уже предвесенним, угольно пахнущим паровозным дымом, и себя за руку с растерянной матерью, встречающей отца, откуда-то приехавшего, небритого, с неприятно дергающимися губами: «Нет, мать, на земле мне прощения, как нет счастья...»

Ничего похожего он, Крымов, не сумел передать с горькой полнотой в своих фильмах, да и больно было передавать разочарованно-безысходную, давящую силу отца.

«— Никто. Ничто. Никому. Вот так я жил, мать.

— Что это?

— Мое время.

— Я жалею тебя, Андрей.

— Святая ты... Неужто ты святая?

— Посмотри на Славу, ты не забыл его?

— Неужто сын?»

Неопрятно грязные руки отца, заметные, однако, крупностью, ладной мужской красотой, были черствы, когда он погладил по плечу мать и неловко притронулся к щеке своего забытого сына. И сын, испуганный жалким, раздавленным видом отца, видел, как затеплились ласковой покорностью глаза матери, простившей все обиды непутевому мужу и этому несправедливому миру,— она была в тот день счастлива, чего он не мог понять.

«Счастье — это то, чего мы сами не испытали. И это тоже так...»

Окончание следует.

Юрий БОНДАРЕВ

РОМАН

Игра

Рисунки Е. БОНДАРЕВОЙ, А. УСТИНОВИЧА

«Где и в какой стране я искал счастливую маленькую площадь, которая должна быть олицетворением земного рая, тишины, нежной прозрачности от закатного солнца? Где — в Костроме, в Париже? В Вене?»

Тогда он вышел из храма и стал спускаться на Резиденцплац, внезапно решив, что перед ним именно та, обетованная площадь,— серело ноябрьское небо над крышами, над кирхой, падал первый, мягкий, ангельски чистый снег, мохнато белил камень площади, сиденья извозчичьих колясок, как в добром девятнадцатом веке, падал на зеленые и красные попоны застоявшихся лошадей, на сплошь забеленные традиционные шляпы извозчиков, озябших, топчущихся меж колясок, точно на площадях старой России, а посреди Резиденцплац снегопад валил на скопление раскрытых зонтиков туристов, столпившихся вокруг гигантской чаши фонтана, из которой в обезумелом ужасе были вытянуты к небу городистые морды бронзовых коней, густо засыпаемые крупными хлопьями. Возле мрачной арки неподалеку от готического храма (с его высотой сводов и гулкой огромностью, где эхом раздавались шаги по каменным плитам) черно стыла наполовину в снегу железная скульптура некоего кардинала. И все на площади было не то и не так.

А он целый день искал по городу и не находил веселую, людную, благословенную площадь, радостно запомнившуюся в первый приезд. Тогда он стоял на тротуаре у каменной балюстрады, ощущая сквозь тонкий пиджак и холодок и тепло апреля, а всюду отливали солнцем витрины магазинчиков, стекла киосков, мимо двигалась пестрая толпа, одетая с праздничной и весенней беспечностью в преддверии лета, а внизу маленькая круглая площадь лежала греческим театром, вся в согретом апрельском покое светоносного дня и еще свежего горного воздуха, в сиреневых тенях платанов — тихая, солнечная, как обещание вечной весны в старом австрийском городе.

«Так, может быть, она приснилась мне? В Вене или Зальцбурге?»

В последний приезд в Вену Крымов сбежал из дворца Пальфи, где проходила встреча московских кинематографистов с австрийскими интеллектуалами, и снова стал упорно искать эту безымянную площадь, а она по-прежнему где-то была за каменной балюстрадой, теплая, окруженная зеленеющими платанами, с пестрыми весенними толпами...

Он так и не нашел ее, а был промозглый февральский день, пасмурный, ветреный. Он в конце концов заблудился и, отыскивая свой отель, попал на «блошиный рынок» (как узнал позднее). Он шел по растаявшему бурому месиву, сыпал мокрый снег, а справа и слева возникали посиневшие от холода лица, машины и прилавки; там было хаотично навалено, расставлено что-то невообразимое: стенные гробообразные часы, громоздкие подсвечники времен Франца Иосифа, бронзовые канделябры, лампы, навесные замки разных веков, книги в затерханных кожаных переплетах, старомодные меховые шубы, всевозможные шляпки, прадедовские жилеты, детские стоптанные туфельки, олеографические картинки прошлого столетия, красочные открытки, изображающие среди пышных декоративных сосулек новогоднюю елку в оплывших свечах, кайзеровские солдатские шлемы, многорукие индийские боги, вырезанные из дерева, костяные статуэтки-пепельницы, стоявшие некогда в пышных гостиных, люстры былого величия Австро-Венгрии, потертые юбки, грязные пиджаки, тронутые молью дамские горжетки — от всех этих многообразных и бесполезных вещей на прилавках, от повышенно возбужденной толпы, от плотной толчеи всюду исходил шерстяной запах мокрой одежды, сырого снегопада. Вокруг нестеснительно толкались неопрятные бородатые парни в донельзя заношенных джинсах, громко смеялись, обнимая длинноволосых девиц, хлюпающих лиловыми носиками, пили прямо из бутылок пиво и шумно закусывали сосисками из целлофановых пакетов.

И Крымову бросилась в глаза молодая женщина в короткой заячьей шубке, с бледным, истонченным лицом — она отвела взгляд, когда он неожиданно задержался около ее необычного товара. На подстилке, разложенной у ног, лежали две хохломские ложки, набор русских матрешек и разноцветные мотки шерсти. Крымов с любопытством рассматривал отлакированных влажным снегом матрешек, чужеродных, случайных здесь, на венской толкучке, и тут же подумал, что эта женщина — его соотечественница, уехавшая, по-видимому, в поисках земного рая...

А она не подымала разительно черных на белом лице ресниц, хотя он стоял уже дольше, чем следовало для праздного интереса. Она, должно быть, почувствовала в нем не рыночного ротозея, а человека из дальнего края, которого не хотела бы встретить в такой неприютный, продутый ветром день вот тут, на унижающей толкучке.

— Вы не из России?— наконец решился спросить Крымов, видя вблизи ее усталое красивое лицо, ее заячью, совсем новую шубку, в которой, вероятно, так тепло и кокетливо было ходить в трескучие морозы, а теперь было зябко стоять на ветру, в растоптанной множеством людей снеговой каше.— Простите,— добавил он.— Я заметил хохлому, русских матрешек, поэтому подумал...

Ее изможденное лицо изменилось, порозовело, выгнулись дуги атласных бровей, она вскинула большие, ожигающие печалью глаза и сейчас же опять опустила ресницы, тонкой рукой без перчатки запахнула шубу на горле и ничего не ответила.

— Я ошибся,— проговорил Крымов, извиняясь за созданное им неудобство.— Энтшульдиген зи, битте, мадам.

И выговорив немецкие слова извинения, увидел, как ее рот исказился болью, и она сказала сдержанным грудным голосом:

— Мой муж умер от инфаркта месяц назад. Я без средств.

И Крымов, удивленный звуком ее голоса, ясным, интеллигентным русским произношением, какое, казалось, невозможно было услышать на этом рынке, в суматохе, в перекриках возбужденных пивом и торговлей бородатых парней, спросил:

— Где вы жили — в России, на Украине?

Она торопливо достала сигареты из кармана шубки, а сигарета подрагивала в ее точеных пальцах с облезшим маникюром на ноготках, женщина, спеша, чиркала колесиком зажигалки, никак не могла высечь огонь (должно быть, озябли руки), и Крымов помог ей своей зажигалкой. Она прерывисто вдохнула дым и, кутая воротником шею, сказала:

— Из окон нашей квартиры был виден Тверской бульвар.

И он увидел Тверской бульвар за железной оградой, весь в сугробах, заснеженную крышу МХАТа между деревьями, завьюженные липы под окнами, обжитую, удобную квартиру и ее, эту молодую женщину, выходящую из подъезда в вечерние огни бульвара, и даже увидел, как она на остановке, садясь в троллейбус с замороженными стеклами, расстегивала заиндевелый замочек сумки, чтобы достать проездной билетик. И вообразив это, он остановил взгляд на мотках шерсти, мокрых от растаявшего снега (эти намокшие мотки особенно выказывали непоправимое несчастье), и, понимая безнадежность жалости и сострадания, сказал небрежно:

— Я хочу купить у вас матрешку. Сколько она стоит?

— Я не продам,— ответила она вполголоса, опуская глаза.

— Почему?

— Я знаю: у советских туристов нет лишних денег,— проговорила она, и ее нетерпеливость, с какой она курила, снова напомнила ему Москву, зимний вечер, съезд и тесноту машин у Дома кино на Васильевской улице, чью-то очередную премьеру — в просторном фойе хорошо одетые женщины курили в креслах, смеялись, говорили о последнем фильме Феллини, о бракоразводном процессе Элизабет Тейлор, об ужасно затянутой картине Антониони...

— Я через два часа улетаю в Москву,— сказал он и безмятежно вынул бумажник.— Деньги мне уже не нужны. А матрешка чудесная. У меня сто шиллингов. Этого хватит?

Она взяла деньги, и в ночной глубине ее расширенных глаз скользнуло тихое необратимое отчаяние, отчего у него сжалось сердце.

В отеле, собирая чемодан, он долго вертел в руках эту купленную на «блошином рынке» матрешку и, не изменяя прочному военному и послевоенному суеверию не брать вещей по несчастью, оставил ее в номере (как сувенир) на постельной тумбочке вместе с последними тридцатью шиллингами прислуге...

«Но как и чем неудачные мои поиски счастливой площади и та молодая женщина касались меня и Ольги? Возможностью радости и возможностью несчастья? А Джон Гричмар? А Молочков? А отец Ирины? Нет, не хочу о них думать, я непереносимо устал».

Крымов потер виски, стараясь массажем успокоить непроходившую головную боль, а ему надо было сейчас во что бы то ни стало расслабиться, снять напряжение, как он иногда делал после тяжелейших репетиций и съемок: погонять машину по кольцевой, въезжая на незнакомые проселки, останавливаться, выходить, дыша лесным и полевым воздухом, прогретым ветерком, снимавшим усталость.

Да, да, Гричмар...

«„Когда я просыпался в третьем ряду, то понимал, что твой фильм гениален". „Когда я просыпался, то понимал..." Кому я сказал такую фразу? Именно Джону Гричмару по поводу его картины. И что же? Да он и не обиделся, он рассмеялся. Формалистическая скучища, напичканная Фрейдом. Однако в фильме была сцена поразительная — отец и дочь встречаются в тайном ночном клубе в разных компаниях, дочь не видит отца, и отец наблюдает из полутьмы за ее добровольным стриптизом, потрясенно узнавая, стыдясь, страдая, готовый сойти с ума... Что мне лезет в голову? Опять Молочков? Сидел всегда, как замерший в ожидании кузнечик, на диване, сама преданность, влюбленность — зачем, зачем ему четыре тысячи? На дачу? Воздух для Сони? Какое имеет значение — на дачу или в сундук. Как душно, нечем дышать было на

Окончание. См. «Огонек» №№ 1—15.

шоссе. Сейчас направо поворот — и лес. Все пройдет, все забудется в лесу по дороге на дачу. Ни Гричмара, ни Молочкова, ни той женщины на «блошином рынке», ни той счастливой площади в Вене... Каким образом они имеют отношение ко мне и Ольге? Вернулся из-за границы, здоров ли, доволен ли, но обласкан Западом... Так ли? Хочу забыть, не хочу помнить многое. «Когда я просыпался, то понимал...» Она замучила меня, эта фраза. Ее надо забыть. И Джон Гричмар тоже забыт с его ошеломляющей сценой в фильме, и Париж с его пляс Пигаль, и отель с коктейлями в баре. И Балабанов с багровеющим лицом, и неподкупный Пескарев с его костылями, и те работники студии в коридорах со своим жалким злорадством. Да не они жалки, а я сам и то, что было прошлой ночью... Только одно было тогда страшным — холод Ольги и мое одиночество. Но куда я мчусь и зачем? Куда свернуть? Где лес?»

Жгучее пекло на шоссе, скользящий блеск, удары мушек в стекло, накаленный ветер, вонь размягшего асфальта, выхлопных газов — бесконечная кольцевая вроде бы сразу и навсегда кончилась, едва машина свернула в лес, на узкую, испещренную пятнами солнца дорогу, где мягко подуло в окна прохладой и нижние ветви елей освежающими веерами замахали над ветровым стеклом, обдавая то светом, то тенью.

«Все кончено, все позади и кончено. Моя машина — моя крепость, мое убежище и прибежище, прибежище от всех бед,— подумал с иронией Крымов, силясь наслаждаться прохладой, лесным воздухом, и тут вспомнил фразу любимого Толстого из дневников девятисотого года — прекрасную фразу надежды: «Если буду жив. Живу и пишу. Как будто несколько бодрее себя чувствую».— Да, бодрее, бодрее. Все великолепно. Все чудесно. Все отлично. Если буду жив...»

И не понимая, что с ним происходит, Крымов почувствовал, как подступают, горячо душат его слезы, жаркой пеленой застилают глаза; он стиснул зубы и неумело заплакал от смертной усталости, от тоски, глотая рыдания, опуская голову, как будто кто мог услышать, увидеть его в машине, его слабость, которую он ненавидел в других и которую так сладостно, отчаянно и горько познал сейчас.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Это было огромное, напоминающее спортивный зал помещение со стеклянными звуконепроницаемыми стенами — посередине чудовищным сооружением темнела металлическая гильотина, сверкая косым острием поднятого топора, с выемкой ложа внизу, куда обреченный должен был положить голову, перед тем как освобожденный бритва-топор упадет на подставленную шею, разрубая позвонки...

Он уже предчувствовал огненный ожог боли, свой последний немой крик с закрытым ртом и видел собственное обезглавленное тело, кровь, мертвую голову, крутящуюся в корзине. И от этого последнего, неумолимого, что предстояло ему, окатывало ужасом и леденели волосы на затылке, подкатывала тошнота.

Какие-то тени проступали в камере, одна стена которой была подобна широкой двери в сторону стеклянного помещения, на этих тенях жестко скрипели ремни, а безликие лица были учтивы, добры, изъявляли законную расположенность к нему перед уходящими минутами его жизни. Они, тени, что-то ненадоедливо делали по углам, ждали несуетливо. Кто-то спросил спокойным белым голосом, желает ли он выкурить сигарету, и он весь встрепенулся, окончательно сознавая, что вот оно, прощальное удовольствие на земле, что ему (ведь еще в детстве читал и знал про это!) разрешают исполнить желание приговоренного к казни. Он понимал всю бессмысленность того, что ему предлагали, понимал — все, что должен сделать или не сделать, ничто не имело значения — и сказал тупо, еле шевеля коснеющим языком: «Да». Ему подали зажженную сигарету, приторно-терпкий дым одурманил его, и мгновенно закружилась голова. Стеклянный зал, стены, темное сооружение с косым топором вверху, приготовленным для него орудием смерти, поплыли в белесом туманце, и слабость облила липкой испариной. Он тяжело одурел, едва не потерял сознание, опершись грудью и руками на какой-то стол, вокруг которого двигалось и кружилось смутное, белое. И в этом белом не исчезали, присутствовали безмолвные тени, одна из них неощутимо вынула из его рта сигарету, вкус и запах табака исчезли, стало легче, белое рассеивалось в камере, и опять ласковая тень вкрадчиво спросила его, не желает ли он стакан красного вина, и если желает, то пить следует медленно, иначе не будет удовольствия... Испытав тяжелый дурман сигареты, он хотел отказаться от стакана вина («Почему стакан, а не бокал?»), но в одурении сигаретным дымом был ядовито-приторный порочный привкус наркотика, этот наркотический привкус мог быть и у красного вина, которое не было любимо им в другой, свободной жизни. Но глоток теплой красной жидкости из стакана, незаметно поднесенного, вложенного в его руки неотступной тенью, влился в горло вяжущей густотой и имел цвет человеческой крови, он поморщился, почувствовав ее солоноватый вкус и вместе хмельную приятность когда-то испробованного во Франции сухого красного вина.

«Чьей силой я подчиняюсь, чьей силой я соглашаюсь с ними? И почему на тенях ремни?.. Кто меня заставляет? Меня никто не насилует, не упрашивает. Ведь все не имеет смысла, через несколько минут меня не станет».

Странно было и то, что он не ответил отказом, возмущением, криком, когда бесплотный голос нежно спросил его, желает ли он увидеть женщину, и тотчас возникла в камере тонкая, сильная фигура женщины. Она вошла вся в прозрачном, волнисто покачивая бедрами, а когда приблизилась той же покачивающейся спутанной походкой, сквозь бесстыдное одеяние молодо, доступно и грешно обозначились крупные литые груди с коричневыми сосками, изгиб стана, живот, стройные ноги.

«Бессмысленно»,— толкалось в его сознании, и хотелось забиться в угол, вдавиться в стену, отрицая и проклиная работу сознания, которое как бы ясно воспринимало происходившее в камере и одновременно веско и безнаказанно повторяло: «Бессмысленно все, что не повторится завтра. Бессмысленно все, что завтра не будет чувствоваться тобой. Надежда — в творении. Нет надежды — смерть. Смерть почти все существующее делает бессмысленным. Смысл остался один: перешагнуть туда через боль, отчаяние...» «А там будет смысл или не будет? О, если бы там был смысл! Смысл — это жизнь, вернее, не исчезновение навечно. Существование в другой форме — телесной или бестелесной, существование духа, только бы не пропасть, не исчезнуть бесследно, не превратиться в ничто. А почему, господи? Почему я боюсь исчезнуть навсегда? Может быть, в этом и есть великая закономерность — исчезнуть, раствориться, то есть не чувствовать после исчезновения ничего? Жизнь — ощущения жизни. И, значит, желания. Пустота, когда их нет. Смерть — темнота, провал, нескончаемый полет куда-то. Если бы было так — ощущение бесконечного плавного полета в темноту. Но это жизнь, жизнь. Быть пылинкой в мироздании. Стать пылинкой... Я верю и не верю. Больше — не верю. Что чувствовала она в последние минуты? Подумала ли она обо мне, как я подумал о ней сейчас? Нет, это не любовь, это было что-то другое. Значит, я жалею и помню ее до сих пор. Разве все случилось со мной из-за нее? И — гильотина? И кто меня осудил на казнь? Я совершил преступление? Только в одном, как я помню: мне нужно было повернуть руль вправо, чуть-чуть вправо, к обочине, а я повернул его влево... Почему руль не был послушен мне? И почему в голове мелькнули фразы, сказанные кем-то во сне: «И ничего — и ни единого шага. И ничего — и ни единого смысла»? Я хотел поиграть с судьбой?.. И какими прекрасными показались эти чужие фразы, обещающие отдых, покой, блаженство вечерней тишины. Фразы, произнесенные кем-то в тот момент, когда навстречу неслось грохочущее, дымящее»...

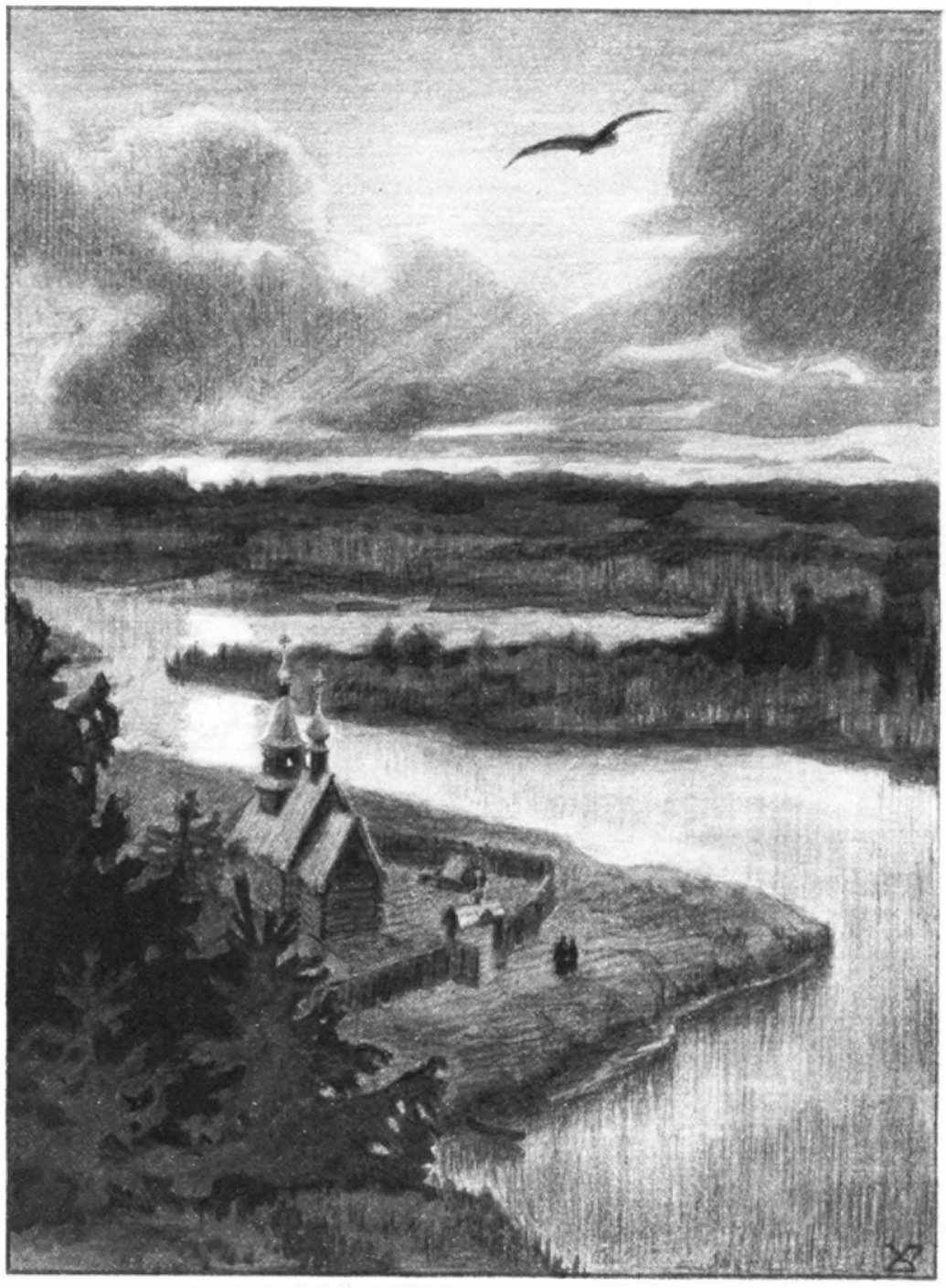
«И это со мной было?»

Прошлой ночью он проснулся от беспричинного страха и, задыхаясь, лежал в поту, в оцепенении, а страх заполнял холодом его всего, сбивал дыхание спешащими ударами сердца, сдавливал тоской, отпускал на миг и вновь разрастался беспричинный ужас перед чем-то последним, роковым... И он, мотая головой на подушке, ожидал и уже торопил крайнюю секунду, когда разорвется сердце и прекратится все, но сердце не разрывалось, не останавливалось, и мука пытающими зубьями, колючками льда вонзалась в него. «Скорее бы кончалась ночь, я не вынесу этого»,— говорил он себе, глядя в темноту комнаты, в ту сторону, где должны быть окна, и вдруг явственно почувствовал, что дом уходит, опускается, скользит под землю, в раздвигающуюся бездну, и чернота с хрустом смыкается над ним многометровой толщей, сгущается, стискивает, давит на крышу, на стены, на двери («Вот так, вот так ушли недавно под землю два отеля в Калифорнии!»),— и в этом всасывающем падении, в душной подземельной тьме невозможно было позвать на помощь по телефону с оборванными проводами, в то время как он знал, что неотвратимое наступило, пришло, настал срок, что в закупоренной темноте провалившегося дома сейчас все кончится и он не успеет найти, спасти ни жену, ни дочь, которые были где-то здесь, в соседних комнатах. И, напрягаясь, он крикнул, позвал их, но из груди выполз жалкий сип: «Оля... Таня...»

«Это конец, конец,— думал он, наполовину вынырнув из кошмара.— Я осознаю свою гибель, прощаюсь с самим собой, с женой, с дочерью и представляю, какие муки испытывали заживо погребенные, приходя в сознание среди непробиваемой тьмы с запахом гробовых досок и могильной сырости... Что испытал Гоголь с его воображением там, под землей, труп которого при вскрытии могилы был найден, как говорят, перевернутым? Он сошел с ума? Я тоже схожу с ума, потому что теперь не сомневаюсь: все, все, что делал, что любил, исчезнет вместе со мной. Там, может быть, ложь — спасение? Да, самая правдивая правда становится бессмысленной, если исчезнет ложь, кем-то внушенная человеку о непрерывности его жизни. И мы все подчинены спасительной лжи. Это великий обман, чудодейственный обман о бесконечности дней на земле и бесконечности удовольствия жить, что выше всех правд, ибо держит нас в надежде делать что-то... Может быть, правда живет под защитной крышей лжи? Неужели она только жилец, постоялец, снимающий комнату в доме великой лжи, которая от рождения внушает всем нам: может быть, ты и не умрешь... по крайней мере с тобой это случится гораздо позже, чем с другими, а может, и не случится?..— продолжал думать он, радуясь в полусне этому оправданию человеческих деяний и страданий.— Самая чистая правда не имеет никакого значения перед великим обманом, которого хотят сами люди. Не было бы той лжи — и не увидел бы я ни застывших в небе верхушек берез, ни той царственной звезды, как было вчера. Значит, жизнь — спектакль, сценарий, в котором действуют, двигаются, чего-то желают герои, не думая, не желая думать о том, что неизбежно задернется занавес. И я должен видеть этих героев, чтобы понять свой спектакль в душе. Игра? О чем я? Имею ли я право так думать? Да, значит, и меня делает иногда в меру счастливым, в меру довольным не победимая никем ложь о бесконечности моей жизни?.. Я нарушаю что-то, я переступаю запретную грань, за которой тайна тайн вечности и тайна непостижимого человеческого бытия... Страх перед смертью исчезнет, когда будет найден и осознан смысл жизни. Но думают ли об этом люди всерьез? И знаю ли я этот смысл?.. Но куда мы проваливаемся? В какую пропасть летит наш дом?»

И Крымов очнулся в тумане сна, приподнялся на постели, с мгновенным облегчением слыша скрипящее трезвое тиканье будильника,— в кабинете светлел воздух, и, казалось, во всем мире стояла тишина летней ночи, прохлада вливалась в открытое окно, омывая ему потную грудь. На ощупь зажег в изголовье дивана свет, ударивший в глаза изобильной яркостью, и тотчас выключил его.

Еще во власти сна, он до последнего слова вспомнил вчерашний разговор с Ольгой в ее комнате, этюд, прислоненный к стене, струистый след звезды в вечерней воде, увиденный им с моста и на ее пейзаже. «Какое удивительное совпадение! Мы одновременно увидели одну и ту же звезду. Какая же связь между этой звездой и кошмарным сном? Между звездой и ложью... Да что там доискиваться какой-то мистической связи! Я обманул в чем-то и Ольгу и Таню, любя их без памяти. Но так ли? А можно ли было иначе? Грешен, жалок во всем!»



И Крымов то зажигал свет, тщетно принимаясь читать, то снова гасил, тер грудь, глотал воздух, подставляя лицо ветерку из окна, где в саду перед рассветом было немо, безразлично, пустынно. Шершавый холод знобил, сжимал его тоской, задыхалось сердце в предчувствии, что сейчас в мире произойдет нечто глобальное, страшное — столкнется Земля с гигантским астероидом, остановится в черноте Вселенной; и чудилось, что в эту минуту умер кто-то из близких, случилось несчастье с детьми,— и тогда он садился в постели, сидел, глядя на раздернутые занавески, за которыми еще была ночь, равнодушная, медленная, не помогающая ему ничем, и молил ночь, чтобы она скорее кончилась, иначе он сойдет с ума от одиночества, необъяснимого страха, от предчувствия беды.

В соседней комнате спала Ольга, и надо было сделать усилие, перестать думать о том, что мучило его, не давало ответов, заставить себя найти меру спокойствия и войти к ней, лечь рядом, поцеловать ее, сонную, едва отвечающую своей стеснительной ровной нежностью.

«Ты знаешь, в моем возрасте глупо говорить это, но я люблю тебя, как и двадцать лет назад»,— начал он повторять пришедшую в голову фразу, которую должен был сказать ей, но точно бы пошлостью обволакивалась заранее эта непроизнесенная фраза, и он отбросил ее, понимая, что пришло чужое, не его, что после таких слов он не сможет взглянуть в ее тихо упрекающие бархатные глаза.

И вспомнилось: вчера у нее было такое выражение глаз, будто она ждала какого-то слова, ждала некоего примирения, хотя не было между ними той размолвки, что нуждалась бы в мире. Ольга не была создана для семейных ссор и не выказывала самолюбивого желания победы над ним. Она и вчера не словами упрекнула его, а незавершенной улыбкой, и от этого было еще тяжелее думать о ее безгрешности, о своей вине перед ней.

«Оля, что бы ни было, ты не должна не верить мне»,— нашел он наконец слова и, вновь отбрасывая эту оправдательную фразу, не зная, что делать с собой в бессонном одиночестве, нерешительно вошел в ее комнату, постоял в сероватой темноте возле Ольгиной постели и осторожно лег с краю, пересохшими губами коснулся ее оголенного плеча, показавшегося очень теплым, детским, незащищенным.

— Оля,— сказал он беззвучно,— прости меня...

— Я не понимаю, зачем ты меня разбудил,— сказала вдруг она, не поворачиваясь, четким голосом, поразившим его раздражением и холодностью.— Я не спала ночь. Я только заснула. Господи,— прошептала она с мольбой,— зачем я вышла за тебя замуж? Мне нужен был обыкновенный человек... Что же нам делать теперь, Вячеслав? Разойтись?

— Я бы мог тебя освободить, Оля, если б не любил,— проговорил он хрипло.— Поступай как лучше.

— Умоляю, уйди, пожалуйста. Я не вынесу...

В кабинете он упал на диван и, чтобы хоть немного успокоиться, потянул с тумбочки дневники Толстого, но текст не воспринимался им, был черным, каменным в недвижном свете ночной лампы. Он не сумел прочитать ни строчки, смотрел на ослепительную страницу и неизвестно почему ждал телефонного звонка, оповещающего о несчастье,— внезапного запредельного сигнала. Но весь дом молчал, вне времени, одномерно и трезво постукивали часы, ни одного звука не доходило из комнаты Ольги. Мертвый, безлунный сон витал над миром, и дальняя неясная мысль говорила тихонько, что он должен обязательно заснуть — в этом спасение. И думая, что вот-вот наступит предел и освобождение из тисков бесконечной ночи, он, лежа на спине, начинал массировать грудь, глубоко дышать, считая до ста, потом гасил свет, закрывал глаза — и тут из тьмы на мохнатых лапах подходил к постели беспричинный страх, все тело напрягалось, и необоримая тоска безысходности гнала его встать, одеться и сию минуту бежать по аллеям поселка куда глаза глядят, бежать на край земли... Но это было бы уже безумием.

В ту ночь он понял, что одинок до конца дней своих и никто помочь ему не сможет.

«Откуда эти голоса? И почему-то я слышу их так явно, так близко, что различаю нерусский акцент? Кто говорил с таким резким знакомым акцентом? Это мой друг... его имя вертится у меня в голове, но не могу вспомнить...»

— Надо думать уже о земле, думать, думать как бешеным...

«О земле? А о человеке? Что земля без человека? Для чего она? Для кого она?»

— Смотреть на огонь, на воду, на землю в миллиард раз интересней, чем на экран и в телевизор. Как это сказать? Жизнь подменяют игрушкой, нет... игрой в жизнь. Весь мир играет в дешевую красоту. Дураки и самоубийцы. Там у меня в мастерской... то есть в кабинете только воробьи и все другие хорошие птицы в окна чирикают. Летом в три часа спать нельзя — концерт. И птиц погубят. В музее будем смотреть на воробья. Как на птеродактиля.

«Какая горечь, какая тоска, какая злость в его словах!»

— Сейчас родится человек с нечеловеческой диспозицией. Без интеллекта. Человек-машина второго сорта. Он играет с деньгами и вещами, а сердце летит та-ак...

«Что значит «та-ак»? Кажется, тут был смысл вот какой — сердце не было в согласии с этой диспозицией. Люди поддались всеобщим соблазнам и перестали жить в согласии с собой».

— Дети, дети... Может быть, они идут по спинам отцов.

«Кто? Нет, не просто дети. Дети человечества? Дети всего мира? Что ж, в этом вечная и страшная правда...»

— Человек не виноват в том, где он родился и как он родился... Пока есть лицо, речь, руки — это симфония. Плохая, но музыка. Американцы хотят видеть человечество в операционном зале. Кричат о моральном превосходстве над остальными, а сами страшные хирурги... мечтают превратить в дураков весь мир. Американцы — это проклятие Европы, а когда они уйдут, европейцы договорятся. Сейчас много людей с международными глазами («Международными глазами... Что значит это?»).

— Мы плохому учимся у вас, вы плохому учитесь у нас. У нас и у вас от этого будут сначала зубы болеть. Мы будем кричать от боли. Голова не должна закрутиться, а потом открутиться. Нет времени думать. Мы все убийцы и самоубийцы. С завязанными глазами убиваем друг друга. И себя. Вспарываем вены себе, а думаем, что убиваем соседа. Глупцы с надутой грудью. Достоевский говорил: красивое, как это... красота будет спасать мир. Не так. Женщины спасут, если он не взорвется в восемьдесят восьмом году. Женщины, верные земле, как собаки. Мужчины предали землю, изнасиловали ее цивилизацией. Женщины сделают то, чего не ожидают сами. Им надоели безмозглые мужчины-политики, которые придумали войну и эмансипацию.

Женщины не ангелы... Если бы женщины были ангелами, то мы бы их не захотели. Женщины — просто женщины. Они продолжают человечество...

Где происходил этот разговор? Да, да, они сидели перед очередным просмотром в фойе кинозала, слегка хмельные от выпитого виски, и умные свиные глазки Гричмара светились устало, грустно.

«Оля не спасла меня, хотя я не политик, а она не просто женщина... Но когда и где все было — в каком веке, в каком мире? Я стал забывать... Кажется, пятьдесят седьмой год, под Москвой? Она рвала стручки на ветке акации, легкая юбка подымалась, обнажая ее полные колени, непорочное утолщение бедер, и это сводило меня с ума... Она была единственной женщиной, которая тянула меня к себе до беспамятства своей прохладной нежностью, напоминающей свежие апрельские вечера с прелестью тихого сиреневого воздуха...»

«Может быть, эта боль — возвращение к самому себе? Спасение в том, чтобы вернуться назад, очиститься? Да ведь позади пустота, ничего не было — ни войны, ни любви, ни фильмов, ничего не было. Неужели я вернулся к тем святым и чистым минутам своего рождения на свет, когда еще ничего постыдного не было?.. Неправда, главное было. Моему рождению предшествовала любовь отца и матери. Неужели я вернулся к тому началу, к той любви, которой обязан всем, к своему благословенному детству? А что было потом в моей молодости?

Война, риск, награды и вместе постоянная мысль о том, чтобы выжить, а иногда в гибельные минуты мерзкое желание, чтобы легко ранило в руку или в ногу, и мечта попасть в госпиталь, отлежаться, отдышаться в тылу хотя бы полмесяца... А я считался чуть ли не самым храбрым лейтенантом в разведке. Мне было двадцать лет. Зачем я прострелил ему руку? Жалость? Хотел избавиться от него? От его страха? Чего я хотел всю жизнь? Удовлетворения честолюбия, хотел любви, хвалы людей, их восторга, их слез? Как ничтожно, как непростительно... Невозможно многое вспомнить без стыда, без отвращения к самому себе. И что была моя жизнь — дурман или естественное состояние? Иначе я ее прожить не мог. И редко кто возвращается к детской чистоте. Если бы можно было... Что со мной случилось? Сколько мне лет? Гораздо больше пятидесяти... В то же время и двадцать, и сорок... И все-таки это я лежу на том столе в стерильно-белом окружении кафеля... Но что они делают со мной? И почему я плыву в воздухе над белизной стола и вижу себя сверху, и непонятно, для чего же она наклонилась надо мной, молоденькая медсестра, я вижу ее молодой лоб, ресницы, и она касается губами моих губ. Для чего она делает мне искусственное дыхание? А я уже не хочу возвращаться... где-то ждет меня, зовет и обещает покойное, радостное, как ясный весенний вечер, как золотистый закат на вершинах берез... и благостная растворенность во всем. Я плыву по воздуху к этой закатной тишине, к этому покою, и нет боли, и нет той непереносимой тоски. И я хорошо вижу Ольгу; она в каком-то бедном сереньком костюме сидит в коридоре, ожидая последнего, что должно случиться со мной, и неслышно плачет. Значит, она любила меня и еще любит?.. И любимая моя дочь, моя радость, Таня уткнулась ей в плечо и вся замерла, а капельки слез катятся из ее глаз. Почему-то Валентина нет с ними. И добрый мой друг Стишов стоит у окна, заложив руки за спину, и кривится, и кусает губу. Милые мои, не надо этого! Я не могу вам сказать ничего. Не могу прикоснуться к вам, успокоить. Но у меня уже нет желания жить...»

И в эту секунду ему представилось, что они с Ольгой пообедали в маленьком, совсем пустом, почти без официантов ресторане, где на безлюдных столах лежали накрахмаленные толстые салфетки и пугающие, огромные карты-меню, и одни вышли на воздух немыслимо крошечного городка. Солнце было перед закатом, грустно золотило каменные стены узеньких, чисто выметенных из конца в конец пустынных улиц, и ему почудилось, что северный русский городок этот не на земле, а в царстве светлой печали, вечного молчания, а когда подошли к парапету в конце улочки, где тоже не было ни живой души, внизу открылась долина, и глубоко в долине текла река, уходила в красноватый туман на горизонте, извиваясь, блестя вдали, как на краю света в ущелье, как перед обрывом во врата рая, а там над невидимыми вратами стояло низкое солнце, туманными брызгами серебрилось в воде, и всюду была легкая тишина, желтизна осени, дул мягкий, бесшумный осенний ветер... Потом одиноко прошла баржа по розовой воде без единого звука, без волны, казалось, без людей, без команды и растаяла на краю света призрачной тенью.

И тогда ему подумалось, что все мы не бессмертны, и он сказал Ольге шутливо:

— Я не хочу, чтобы ты пережила меня. Тебе будет плохо. Мы должны вместе.

— Я тоже не хочу после... Я ведь люблю тебя, дурака моего ужасного...

Он вспомнил об этом в тот миг, когда ровный широкий поток высокого воздуха, пахнущего прелой листвой, винной сыростью осенних лесов, плавно вынес его над ущельем, над вратами рая, где прощально, успокоительно светило солнце в предвечерней воде северной реки и где впереди лежал в сиреневой безграничности безымянный океан, манящий теплом, покоем, благостью, обещанием вечного душевного спокойствия.

Потом он увидел песок, сахарно-белый, насквозь прогретый, в котором по щиколотку блаженно утопали босые ноги, увидел себя одного-единственного на берегу океана, упорно шагающего в бесконечность. Скоро он услышал волнообразную, неземную музыку, она воздушным пареньем текла из девственно зеленеющего тропического леса, счастливо рождаясь где-то в глубинных чащах, затем увидел на изумрудной траве солнечные полосы меж гигантских деревьев, и доплыл чей-то ласковый спрашивающий голос, не имеющий звуковой плоти:

«Кто ты? Как ты оказался здесь? Как твое имя?»

И он хотел упасть на колени, ответить, что потерял надежду, разочаровался в людях и, разочаровавшись, переступил, нарушил что-то, подобно своему другу Джону Гричмару, возненавидевшему человечество за его ложную цивилизацию, однако не Гричмар, а он был неискупимо виноват и попытался вспомнить и назвать собственное имя. Но только вспомнил, что пришел сюда из далекой страны синего неба, тонких голубых теней на мартовских сугробах, испещренных капелью, куда вдруг потянуло вернуться от этой жемчужной беспредельности океана, где вокруг было мертво, неподвижно, вернуться назад, в оставленную страну синевы и весенней капели, со страстным желанием опять увидеть, испытать, ощутить все то земное, что приносило нестерпимую боль, называемую на том языке болью жизни. А тот же ласковый голос без звуковой плоти стал убеждать и внушать ему, что он совершает путь возвращения к самому себе, к первоначальной чистоте, что он такой, как многие, жившие на земле, что он часть целого и теперь не имеет значения, заблуждался он или не заблуждался, ибо царство добра знает предел, проявление зла не знает предела.

«Да куда же я иду? Какая неземная печаль в этом пустынном блаженстве!.. Опять бы туда, назад, к той боли, к Ольге с ее тихими глазами, к смешливой моей Тане, к Балабанову, к Молочкову, ко всем грешным и в общем-то несчастным, туда, туда, к ним! Да как же твое имя? Кто ты? Вспомни! Как ты оказался здесь?»

Но вспомнить свое имя он уже не смог, как не смог почувствовать навсегда ушедшую боль и в последние секунды понять, почему возникли среди летней травы на бугре распахнутые ворота древнего каменного монастыря, залитого полуденным солнцем, виденного им когда-то на Севере, и почему представилась высокая монашка вся в черном, траурном, мучительно знакомая родным взглядом бархатных глаз, с белым платом на черной шапочке, с красивым, мокрым от слез лицом, которая шла ему навстречу в сопровождении худого и изможденного протопопа Аввакума, в смертельной тоске прижимая к груди молитвенно сложенные руки.

1981—1984.

Николай АСАНОВ

Мадонна Благородная

Повесть

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

1

Посадка на этом аэродроме, стремительно летевшем нам навстречу, не предполагалась. Самолет шел из Риги в Москву, но Москва не принимала...

Но вот самолет выровнялся наконец, и край земли начал полого опускаться. Из боковых окон было видно, как вокзал аэродрома все падал и падал и в конце концов потерялся где-то на краю горизонта. Самолет коснулся земли, натужно взревел и сразу превратился в большой неуклюжий автобус, к которому по ошибке были приделаны крылья. Он и шел, как автобус, раскачиваясь, переваливаясь с боку на бок, разбрызгивая снежные заструги, так что вихри из-под колес достигали окон. Видно, здесь недавно прошла метель, та самая, что заслонила нам дорогу в Москву.

Я взглянул на своих спутников. Гордеев в ответ на мой взгляд только удрученно пожал плечами. Марта спала. Лицо ее, утомленное длительной болтанкой, было бледным, локоны развились. Она казалась много старше своих лет. Зато сейчас она больше походила на жену пожилого, строгого профессора, каким и был Гордеев.

Самолет подруливал к аэровокзалу. Вокзал выглядел уютно и спокойно. Он приглашал выйти и посмотреть на незнакомый город, обещая гостеприимство. Не знаю почему, но иные вокзалы сразу обещают неудачи и неудобства. Этот в законченной простоте своих строгих линий хранил именно ощущение уюта и покоя.

Дверца кабины хлопнула, вышел коренастый, черный, как уголь, летчик, сердито сказал:

— Не дают погоду! Ночевать будем здесь!

От голосов пассажиров самолет загудел, как барабан. Почему-то во всех случаях вынужденной посадки каждый пассажир считает себя кровно обиженным, а летчиков — чуть ли не личными врагами. Черный летчик покачал головой, повернулся и закрыл за собой дверь. Он не признавал себя виновным.

Марта проснулась, по-детски потянулась, зевнула сладко-сладко и только потом открыла глаза, сразу сделавшись похожей на девчонку: и щеки окрасились румянцем, и губы порозовели, и глаза смотрели с наивной простотой. Оглядев пассажиров, она прижалась к плечу мужа, снова закрыла глаза, пробормотав:

— Как я спала!

Она всегда делала такие неожиданные открытия: «Как я спала!», «Как я поела!», «Как я хорошо выгляжу!»,— будто другие должны были обязательно восхищаться этими ее открытиями. Но гул голосов в самолете был до того злым и раздраженным, что даже Марта на мгновение забыла о себе.

— Мы уже в Москве? — спросила она мужа.

— Нет, маленькая задержка,— ласково, как говорят ребенку, чтобы не напугать его, сказал Гордеев.

И голос Марты сразу вплелся в общий гул на той же высокой ноте. Странно, пассажиры гудели так, словно надеялись, что от их гудения самолет тотчас полетит дальше.

Но вот по самолету, ни на кого не глядя, прошел механик, открыл дверь, за ней показалась лестничка с перилами, и уставшие от собственной нервозности люди тихо пошли вниз. Марта передернула плечами, сняла с багажной сетки свой маленький чемоданчик и заторопила мужа:

— Идем, идем! Надеюсь, гостиницу-то нам устроят?

Я вышел последним: мне отдельный номер гостиницы не требовался, а посмотреть на незнакомый город всегда интересно.

Однако Гордеевы ждали.

Цепочка пассажиров уходила по черному с белыми от снежных заструг полосами асфальту куда-то в сторону от аэровокзала, по-видимому, к гостинице аэропорта. Марта кутала горло меховым воротником и плотно сжимала коленями полы пальто, повернувшись спиной к ветру. Гордеев смущенно посмотрел на меня. Я понял: в гостинице на аэродроме не было отдельных номеров, там скорее всего общежитие для случайного ночлега, и теперь Гордеев готов предъявить мне некоторые претензии. Я был главным в нашей бригаде, значит, я и обязан отвечать за покой моих спутников.

Я молча зашагал в здание вокзала.

На меня чуть не налетел длинный прохожий в берете и в легком пальто, подбитом мехом. Он шел мимо нас, торопясь к единственной машине с зеленым огоньком счетчика. Миновав меня, он наткнулся на Гордеевых и вдруг остановился. Сразу послышался мягкий взволнованный голос:

— Марта!

И после паузы, во время которой он успел бросить быстрый взгляд на меня и Гордеева, более сдержанно:

— Кришьяновна!.. Как вы сюда попали?

Марта вздрогнула, выпрямилась, брови ее сошлись треугольником, она недоверчиво спросила:

— Герберт?..

Они стояли, как снежные призраки, нечаянно нашедшие друг друга.

Впрочем, женщина всегда возвращается к реальности быстрее, чем мужчина. Марта обернулась ко мне и Гордееву, я еще увидел, как остро сверкнули ее расширенные зрачки, но голос, когда она заговорила, был совершенно спокойным:

— Вот неожиданная встреча, правда, Александр?

Мне показалось, что она говорила это только для того, чтобы успокоить мужа. Затем, уже показывая на меня, вновь обратилась к неподвижно стоящему молодому человеку:

— Это наш друг. А это Герберт, тоже художник, мой институтский товарищ и ученик Александра Николаевича...— И не назвала ни одной фамилии, словно подчеркивала: отношения должны быть самыми короткими.

— Не очень он меня слушался, этот ученик,— проворчал Гордеев.

— Здравствуйте, Александр Николаевич!

Человек, названный Гербертом, поклонился Гордееву и мне, но не взглянул на нас: глаза его были прикованы к Марте.

Гордеев неопределенно сказал:

— Да, неожиданно.— И, сделав какое-то нерешительное движение, будто не знал, надо ли вообще разговаривать, спросил: — И давно вы здесь работаете, Герберт Оскарович? Мне казалось, что вы не намерены покидать Москву.

— А я сюда ненадолго, Александр Николаевич. Впрочем, прошло уже месяца полтора.

Слова у него были твердые, произносил он их отчетливо и решительно.

— А у нас непредвиденная остановка,— сказала небрежно Марта.— Собираемся в гостиницу.

— Лучшая гостиница в городе — «Бристоль»,— вежливо заметил Герберт.— А поужинать советую в кафе «Балтика». Отличная кухня! К девяти вечера там бывает совсем спокойно.

Он назначал свидание! Александр Николаевич, поняв, невольно отступил назад...

Теперь Герберт внимательно рассматривал нас. Глаза у него были холодные, взгляд их словно отодвигал нас, чтобы получше разглядеть. Так смотрят в микроскоп на букашек, увеличивая фокусное расстояние. Когда фокусное расстояние наконец установилось, он, разглядев нас со всеми нашими приметами, усмехнулся.

— А вы не изменились, Александр Николаевич!

В голосе его прозвучало сожаление, будто он ждал именно перемен. И, скорее всего, не к лучшему. Потом он кивнул головой и повернулся к Марте:

— Надеюсь еще увидеть вас...— И пошел к ожидавшей его машине, подставив лицо ветру, прямой, высокий, гибкий.

Марта, словно поняв наконец, что он уходит, торопливо крикнула:

— До встречи, Герберт! — И заторопилась к вокзалу.

— Кто этот Герберт? — сердито спросил я. Почему-то мне было обидно за Александра Николаевича.

— Вы же слышали! Художник, однокашник Марты. Зовут его Герберт Оскарович Брегман. Мой ученик...

Последнее он хотел сказать с иронией, но какая жалкая получилась ирония!

— Давно он знаком с Мартой?

— Они земляки. Но познакомились только в институте. Слишком велика была разница

раньше. Марта происходит из крестьянской семьи, а отец Герберта в годы буржуазной республики работал в комиссионной конторе, которая спекулировала движимым и недвижимым имуществом, земельными участками, домами, предметами искусства и прочим.

— Он действительно хороший художник?

— Он любит деньги! — Тут Александру Николаевичу изменила выдержка.— Он и Марту сбивал на халтуру... Мне пришлось отказать ему от дома...— Он замолчал.

От дежурного по аэропорту я позвонил в одно из городских управлений, с которым мы сотрудничали, и сообщил о нашем нечаянном визите. На том конце провода дежурный обзванивал гостиницы, ища свободные номера. Гордеев неловко сказал:

— Лучше бы не в «Бристоль», ну его к черту! Наверно, по сотне за номер...

Я никогда не замечал у Гордеева такого недостатка, как скупость, поэтому лишь усмехнулся. И, как бывает во всякой игре с крапленными картами, а судьба, по-видимому, только такими и играет, дежурный управления вдруг бодро сказал:

— Можете ехать в «Бристоль», я договорился, два номера... Машина за вами сейчас придет...

2

Теперь, пожалуй, следует рассказать, какие причины соединили нас, довольно разных людей, в этом путешествии.

Гордеев и Марта — художники. Гордеев давно уже достиг того, что называется «положением», стал профессором, известным искусствоведом, но от живописи отошел: он руководит отличной реставрационной мастерской.

Вероятно, это естественный путь для человека рассудочного, малоэмоционального, каким казался мне Гордеев всегда. И увлечение старинным искусством, приведшее его к забвению собственного таланта, к утрате художнического «я», мне кажется закономерным. Да, Гордеев уже давно не выставляет своих картин, весь свой талант он отдает чужим произведениям, часто становясь всего лишь рукой давно умершего художника, чтобы дописать отвалившиеся, простреленные во время войны или слизнутые пламенем кусочки поврежденной картины, иной раз такие мелкие, будто картину истыкали иглой, иногда столь бо́льшие, что картина считается погибшей. Но в том-то и дело, что для Гордеева такая работа сродни священнодействию! Когда полууничтоженный войной или небрежностью хранителей шедевр искусства получает в его руках новую жизнь, Александр Николаевич, по-моему, испытывает даже бо́льшую гордость, чем его коллега, выставивший очередной этюд с березкой или с прудом. Ведь Александр Николаевич возрождает безусловные шедевры искусства, а кто и когда определит, является ли этюд его коллеги с березкой или с прудом тоже настоящим произведением?

Даже женитьба на Марте ничего не изменила ни в творческих настроениях Гордеева, ни в нем самом.

Это, пожалуй, плохо. Во всяком случае, мне это не нравится!

Марта в два раза моложе своего мужа. Она окончила институт под его руководством. Но молодежь самонадеянна. Ей кажется, что вот она-то, молодежь, как раз и создаст шедевры искусства, каких не создали старики. Марта блеснула на дипломной выставке двумя отличными полотнами. Будь я на месте Гордеева, я бы постарался доказать ей, что талант не стареет, и написал бы что-нибудь не менее впечатляющее. А Гордеев предложил ей работу под своим руководством в реставрационной мастерской! Но ведь не у каждого просыпается талант, подобный тому, каким владел сам Гордеев, талант восстановления, талант подражания, что ли...

Я бывал у Гордеевых и дома и в мастерской. Марта, казалось мне, тяготится той скованностью, ограниченностью роли, которая так естественна для реставратора. В самом деле, широко ли разойдешься, если перед тобой драгоценное произведение старинного мастера, которое страдает обычной болезнью старых картин: трещины от неравномерного высыхания масла или лака испортили шедевр... И вам надлежит только заполнить эти трещины!

Еще не так давно считалось смертным грехом восстановление осыпавшихся участков картины. Теперь, когда разработаны легкосмываемые краски, утраченные участки заделываются. Но именно смываемыми красками! И еще пишется акт, какой именно участок тронула рука современного художника!

А у Марты сильный, крепкий мазок. Ей бы писать панно, монументальные полотна, она же возится со шприцами, электрическими рейсфедерами, акварельными кисточками...

Но это в конце концов касается только их двоих. Я мог лишь огорчаться, глядя на них и боясь, как бы не произошел нечаянный взрыв. Посоветовать что бы то ни было Гордееву я не мог. Этот холодноватый, сдержанный человек не располагал к дружеским беседам. А в каком другом случае можно коснуться души человека?

Сам я надеялся стать искусствоведом, но война разрушила все мои надежды. Виной тому оказалось как раз искусствоведческое образование. После первого же знакомства с моими офицерскими документами какой-то помначштаба фронта отправил меня в тыловую команду для проверки эвакуационных работ в зоне боев. Собственно, мне предлагалось следить за успешной эвакуацией музеев и разнообразных хранилищ, но мою команду не отеснялись направлять и на эвакуацию заводов, и на минирование мостов, и бог знает куда.

После одной из таких операций я добрался до самого начальника штаба с просьбой направить меня в действующие части. Разговор, который тогда произошел, навсегда отрезвил меня.

Начальник штаба спросил:

— Вы верите, что мы выиграем войну, хотя сейчас и откатываемся под самую Москву?

— Конечно! — совсем по-штатски, но очень яростно прокричал я.

— Как вы думаете: нужны будут народу впоследствии музеи, библиотеки, архивы, банковские ценности?

— Несомненно...

— Ну, так вот и охраняйте их! — жестко сказал начальник штаба. И уже потом, когда я уходил, еле переставляя ноги, добавил: — Ничего, товарищ майор! Настанет время, когда вам придется спасать музеи в Европе!

И я спасал эти музеи в разных городах Европы до самого конца войны да еще и несколько лет после войны! Сначала я разминировал здания музеев, искал потайные гитлеровские хранилища, куда они свезли и нашвыряли навалом сокровища всей Европы, потом собирал умирающих от истощения музейных работников в Берлине, в Вене, в Будапеште, кормил их солдатским пайком, добывал топливо для обогрева промороженных музейных хранилищ и антиквариатов, наблюдал первые робкие экскурсии приверженцев искусства в послевоенные годы в разных городах Европы и, кажется, смирился со своей работой...

Я пробыл за границей два года после окончания войны. И все эти годы для меня война не кончалась. Происходили перестрелки у тайных хранилищ с теми, кто оберегал для бежавших военных преступников награбленные ими во многих странах сокровища; случались нападения злоумышленников на только что открытые музеи: в мире, где все ценности рушились, ценности искусства оставались незыблемыми, их можно было немедленно перепродать и отправить в любую западную страну... Честное слово, я был рад, когда вышел из этой затяжной войны.

Но перейти к научной деятельности мне так и не удалось. Меня направили для работы в отдел по охране государственных ценностей.

Скажем прямо, на однообразие своей жизни я не жалуюсь.

Особенно трудно было в послевоенные годы. Чем суровее жизнь, тем чаще находятся люди, которые стремятся «обойти» трудности. Естественно, что всякий «обход» сопряжен с кривыми путями. Впрочем, любители «кривых дорог» не перевелись и теперь.

Месяц тому назад меня вызвал начальник и коротко спросил, что я знаю об Эль Греко...

В нашем отделе не привыкли удивляться вопросам, каковы бы они ни были. Я покопался в памяти, но, к сожалению, вспомнил не очень много. Однако я добросовестно выложил все, что знал:

— Эль Греко — испанский художник второй половины шестнадцатого и начала семнадцатого века. По происхождению — грек, Доменико Теотокопули, родился на Крите, позже переехал в Венецию, затем в Толедо, изучал Тициана и Тинторетто. Из его работ в наших музеях экспонированы портрет президента Кастильского совета Родриго Васкеса в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, портрет одного из испанских поэтов — в Эрмитаже, «Апостолы Петр и Павел» — там же и женский портрет под названием «Мадонна Благородная» — в Народном музее.

— В Эрмитаже находится портрет поэта Алонсо Суньига,— сказал начальник, потом вздохнул, потер левой рукой шею с таким видом, будто тащил на ней бог весть какой груз, и сердито добавил: — А вот «Мадонну Благородную» должны экспонировать вы. Снова экспонировать! — многозначительно подчеркнул он.

Слова начальника никак не укладывались в моем сознании, хотя я уже все понял. Дрожь пробирала меня от злости. Окажись здесь человек, покусившийся на «Мадонну Благородную», вероятно, я не сумел бы сдержать свои чувства.

Перед самой войной, к четырехсотлетию со дня рождения великого художника, в Москве была устроена выставка его работ. И посетители выставки, наверно, запомнили небольшую картину — размер ее примерно тридцать на сорок сантиметров — с пометкой: «СССР, Народный музей».

У нас мало полотен Эль Греко. Но это полотно стояло в первом ряду! Возле небольшой картины всегда толпились взволнованные зрители. Работа датируется первым периодом жизни художника в Толедо, когда он еще не был охвачен мистическими настроениями, только что влюбился в будущую подругу жизни Иерониму де Куэвас, и из всех женщин писал ее единственную.

На картине, известной под названием «Мадонна Благородная», изображена головка женщины со взглядом, устремленным вдаль, мимо зрителя. Она как будто видит что-то за вашей спиной, и то, что она видит, вызывает в ней грусть, сожаление... Я стоял тогда часами перед этой картиной, силясь понять, что выражает ее взгляд. Сострадание к человеку? Сожаление о его судьбе? Впечатление было такое, словно изображенная на картине женщина знает все мои тяготы и заблуждения, а может, и мое будущее, и огорчена за меня больше, нежели я сам, ибо ее знания выше и глубже...

И вот эта картина, это чудо искусства, подвиг художника, исчезла!

Мне стало трудно дышать, и я невольно оперся руками на стол начальника.

— Спокойствие! — сказал начальник.— Это еще не все! — И я выпрямился снова. Было в его голосе что-то такое, что обещало куда большие трудности! — Пропажа картины произошла три дня назад. Мы вас не беспокоили, я поручил расследование смежному отделу. Но сегодня обстоятельства изменились. Вот, посмотрите!

Он подал мне несколько листков бумаги. Это была запись сообщения одной из западных радиостанций. Сообщение было озаглавлено:

«ТАЙНА «МАДОННЫ БЛАГОРОДНОЙ»! СКОЛЬКО МОЖЕТ СТОИТЬ КАРТИНА В ДВЕНАДЦАТЬ КВАДРАТНЫХ ДЕЦИМЕТРОВ ХОЛСТА? ЗНАТОКИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО, ЕСЛИ ПОКРЫТЬ ЕЕ СТОДОЛЛАРОВЫМИ БУМАЖКАМИ, ТОЛЩИНА ЭТОГО ПОКРОВА БУДЕТ РАВНА ДЕСЯТИ САНТИМЕТРАМ!»

Дальше следовал текст:

«Знатоки утверждают, что самой дорогой, но никогда не появлявшейся на свободном рынке картиной Эль Греко является «Мадонна Благородная». Долгое время картина принадлежала русскому магнату князю Юсупову. Она украшала тот зал, в котором высокопоставленные лица Российской империи убили последнего временщика императорского двора Григория Распутина. В начале русской революции концерн нескольких фирм, занимавшихся перепродажей предметов искусства, предложил Юсупову двести двадцать тысяч долларов за эту картину. Юсупов отказался: он не верил в победу революции. Через несколько месяцев ему пришлось бежать из Петербурга в одном белье. «Мадонна Благородная» долгое время считалась безвозвратно утраченной. О ней писали, что «свирепые большевики» разрезали ее на портянки для своих юфтовых сапог, газетчики не задумывались над тем, какие же портянки можно выкроить из куска старинного холста величиной в двенадцать квадратных дециметров. Однако в 1925 году эта картина была экспонирована в одной из картинных галерей России как «национальное достояние». Концерн неоднократно обращался с предложениями к советскому правительству о покупке этой картины, но тоже безуспешно. Во время войны картина вместе с другими ценностями была эвакуирована на восток. После войны картина снова заняла постоянное место в галерее.

И вот эта картина пропала! Как сообщает наш корреспондент, распорядители галереи в панике. Таможенные пункты на границах работают с удвоенной строгостью и придирчивостью. Несомненно, опасения русских, что картина Эль Греко появится за рубежом страны, вполне оправданы: концерн промышленных фирм, торгующих предметами искусства, в своих бюллетенях неоднократно публиковал оценочную стоимость этой картины, и цена ее из года в год повышалась, хотя это делается только для предметов, истинный владелец которых неизвестен. В последнем бюллетене «Мадонна Благородная» Эль Греко оценивалась в двести пятьдесят тысяч долларов! Появится ли она в списках концерна когда-нибудь под рубрикой «Продается» или даже «Продана»? Где находится картина размером в двенадцать квадратных дециметров и стоимостью в четверть миллиона долларов?»

Я швырнул аккуратно сколотые листки на стол и сел, не спросив разрешения. Начальник молчал, искоса поглядывая на меня. Я знал: это приглашение к разговору...

— Ну что же, все ясно,— сказал я.— Кто-то из доброхотов информировал корреспондента радиокорпорации о том, что картина пропала. А им только это и надо.

— Все это так, но о пропаже картины пока знали только четыре человека: хранитель музея, служитель комнаты, в которой она висела, рабочий, обнаруживший пропажу, и сотрудник, расследующий это дело. Ну, и, само со-

бой разумеется, пятый человек — вор. Теперь же об этом знают все, кто слушает эту радиостанцию...

— Вы хотите сказать...

— Вот именно! Это сигнал! Не удивлюсь, если и сама передача заказана тем самым «концерном промышленных фирм»! А может быть, и само хищение картины подготовлено концерном! Теперь устами радиодиктора организаторы всего этого дела говорят своим сообщникам: «Держитесь! Ищите случая переслать картину к нам! Если сможете, являйтесь с нею и сами!»

3

Расследование показало, что определить время похищения картины можно только приблизительно. Кто бы ни был преступник, действовал он очень умно.

Служитель зала сообщил, что утром во вторник, перед открытием зала для посетителей, во время уборки, когда по залу проходили рабочие с пылесосами, один из них, протиравший стену, удивленно остановился перед «Мадонной Благородной»...

«Мадонна» висела на своем месте, а рабочий то пятился от нее, то снова приближался, недоуменно пожимал плечами, даже руками развел и обернулся, чтобы кого-нибудь позвать. Служитель подошел узнать, что привлекло его внимание.

Надо сказать, что служители да и рабочие выставочного зала издавна подбираются из любителей искусства. Иной рабочий разбирается в картинах не хуже какого-нибудь кандидата искусствоведческих наук. Должности эти чуть ли не потомственные, во всяком случае, с этой работы уходят уже на пенсию, а молодежи там как-то не заметно, молодые работают обычно в запасниках и уже потом переходят в выставочные залы.

Картины висели на местах. Служитель поторопил рабочего — пора было пускать посетителей,— но рабочий взволнованно воскликнул:

— Погодите, Иван Яковлевич! Гляньте-ка, что это с «Мадонной» приключилось?

Служитель взглянул пристальнее на картину и отпрянул.

Бывает, что картины «заболевают». Краска, веками лежавшая на холсте, вдруг начинает пузыриться, вздуваться, а то и отваливаться. Или на картине появляются пятна, как от сырости. Иногда картина тускнеет. Во всех этих случаях немедленно вызывают специалиста-реставратора, а тот уже, как врач у одра больного, ставит диагноз и либо отправляет картину на «лечение» в реставрационную мастерскую, либо прописывает ей кратковременный «отдых» — перемену места жительства, внешней температуры, влажности и прочих условий.

«Мадонна Благородная» была непохожа на себя.

Вдруг служитель коротко ахнул и бросился к телефону.

Главный хранитель, прибежавший на вызов, побелел при взгляде на шедевр Эль Греко. Вместо «Мадонны Благородной» висела заключенная в такую же рамку грубая мазня, ни на что не похожая, сделанная даже и не кистью, а мастихином, состоящая из пятен, какие может размазать по полотну слепой или ребенок. Хранитель схватился за сердце и начал медленно оседать на пол. Если бы рабочий и служитель не подхватили его под руки, он, вероятно, так бы и не встал.

Служитель вытащил из кармана начальника пробирку с нитроглицерином, дал ему лизнуть пробочку, лизнул и сам. Они были в одних годах и оба хватались за сердце и по менее важному поводу.

Голос к главному хранителю вернулся не скоро, лишь к тому времени, когда он понял, что надо звонить в наше управление.

Сами по себе протоколы расследования не могли объяснить главного пункта в этом деле: как хищение прошло незамеченным? Напомним, что в зале постоянно находится служитель, точно знающий расположение особо ценных картин и сознающий свою ответственность за их сохранность.

Я приехал на место происшествия.

Теперь главный хранитель держался мужественнее. Он сознавал, конечно, свою ответственность, но после того, как передал «дело» нам, считал, видно, соответчиком и все наше управление. Во всяком случае, разъяснения свои он давал толково, охотно, но за каждым словом я слышал некую надежду на то, что все кончится благополучно, раз уж он воззвал к нашей помощи.

Прежде всего я задал интересовавший меня вопрос.

Главный хранитель не стал ни взваливать дополнительную вину на свой персонал, ни оправдывать своих помощников, он просто пригласил меня пройти в зал.

Зал временно был закрыт для публики. Я подумал, что это была первая ошибка следствия. Надо было просто повесить табличку с извещением, что «Мадонна Благородная» находится на реставрации. Может быть, как раз этот запрет и был понят заинтересованным лицом или лицами как известие о том, что хищение состоялось. А уж отсюда до появления сообщения по радио, может быть, заранее подготовленного, один шаг. И теперь похититель, вероятно, знает, что его доброжелатели за границей действуют. Возможно, что их эмиссар в этот час уже пересекает границу на самолете или в поезде, чтобы получить в условленном месте свою добычу. Не в пустоту же послано это сообщение...

Но когда ошибка уже допущена, надо следить хоть за тем, чтобы не сделать другой. Свои поздние сожаления я удержал при себе.

Войдя в зал, я прежде всего взглянул на то место, где раньше висела «Мадонна». Взглянул — и вскрикнул от удивления: картина была на месте!

Только сделав несколько шагов,— уж не знаю, хотел ли я пощупать рамку или прикоснуться к полотну, чтобы убедиться в том, что вся история с пропажей картины лишь приснилась мне,— я увидел на месте картины ту самую грубую мазню, о которой читал в материалах дознания. Отступив назад, я снова испытал иллюзию возвращения картины на место. Оглядевшись, я заметил, что стою как раз возле кресла для дежурного служителя. Я сел в это кресло. Картина была тут!

Наши сотрудники, ведущие дознание, не обратили должного внимания на слова служителя, показавшего, что он до самого открытия преступления видел картину. Он и не мог не видеть ее. Он слишком хорошо знал «Мадонну Благородную», чтобы вглядываться в полотно. А следователь, усевшись на то место, с которого смотрел на картину служитель, увидел именно то, что и следовало увидеть: мазню! И обвинил служителя в небрежении к обязанностям, потом переменил свое мнение и решил, что картина похищена после закрытия выставочного зала, скорее всего ночью: тут повлияли характеристики служителя, исследование его биографии и прочее. Таким образом, по мнению следователя, похитителем мог быть только кто-то из работников выставки, имевший доступ в зал в нерабочее время.

Да, украсть картину удобнее всего было бы ночью. Но подменить ее можно было и в рабочее время. И сделал это, вероятнее всего, посторонний человек.

Но следом появлялось и другое предположение: похитителем был человек, не только знавший ценность картины, но и сам занимавшийся искусством или, во всяком случае, близко знакомый с миром художников. Постороннему человеку не закажешь копии «Мадонны», сделанной в цветных пятнах. Проще уж было бы заказать настоящую копию!

А может быть, похититель спешил по другой причине? Я спросил главного хранителя:

— Как часто производятся у вас перемены в экспозиции выставки?

— Через два дня эти залы будут закрыты вообще. Готовится выставка «Русского портрета». А какое это имеет значение?

— Если бы вы не извещали посторонних лиц о закрытии залов, «Мадонна Благородная» оставалась бы на месте. А после выставки «Русского портрета» могла быть еще какая-нибудь выставка, и картина, может, надолго задержалась бы в запаснике.

— Боже мой! — Хранитель закрыл лицо руками, словно не хотел больше глядеть на белый свет.— Мы предполагали передать ее на реставрацию!

— Кому было известно об этом?

— Кому! Кому! — раздраженно повторил он, не отнимая рук от лица.— Всем! Первому встречному и поперечному! Мы же не делаем тайны из нашей работы!

— По-видимому, напрасно! — заметил я.

Он открыл лицо.

— Вы хотите сказать...

— Я хочу сказать, что у вас есть картины и поценнее «Мадонны Благородной»! Если за картинами началась охота, то кто может предусмотреть...

— Нет! Я этого не выдержу! Я попрошу отпустить меня на пенсию! В моем возрасте...— Он отвернулся, и плечи его начали вздрагивать. Но мне не хотелось успокаивать его.

— Боюсь, что пока вас на пенсию не отпустят!

Он снова взглянул на меня, теперь глаза его были жалки и испуганны, кажется, он вновь почувствовал себя в ответе за случившееся.

Я подошел к мазне, о которой в акте обследования было сказано лишь, что «на месте картины «Мадонна Благородная» была обнаружена поддельная рама со включенным в нее испачканным красками холстом...»

Да, так «измазать» холст мог только живописец! Но для этого он должен был работать именно здесь, учитывая, так сказать, особенности «натуры», то есть свет в зале, расстояние от места служителя до «Мадонны Благородной», написать, может быть, не один вариант! И подумать только, что он, вероятно, не однажды стоял рядом с местом служителя, может, даже сидел в его кресле, разговаривал с ним! Когда я сказал об этом служителю, тот побагровел от гнева, начал заикаться:

— Не-н-не м-может быть! Я бы р-разорвал его на месте!

— С какой стати?—Я пожал плечами.—К вам подошел, возможно, знакомый человек, которого вы тут видели часто. Может быть, попросил вас немного усилить свет или, скажем, присмотреть за его мольбертом, пока он сходит покурить. Мало ли как могло это быть?..

— Что, я не мог бы отличить ж-жулика от честного ч-человека?

— А вот не отличили, однако!

Служитель мгновенно умолк. Но его начальник сделался необыкновенно красноречив:

— Но ведь все копиисты получают особое разрешение! Мы должны немедленно просмотреть списки этих мазилок! Они хранятся у меня в сейфе...

— Ну, а если он просто сфотографировал картину, а остальное сделал по памяти?

Списки я все-таки просмотрел. В них были студенты художественных вузов, несколько бывших военных, ставших отставниками и нашедших свое призвание в копировании чужих картин, были и художники, и среди них немало именитых, может быть, ищущих в чужом мастерстве подтверждения своих взглядов на те или иные элементы искусства. И никого, кто вызывал бы какие-нибудь подозрения!

Анализ красок на «измазанном» холсте показал, что над ним «трудились» совсем недавно: шесть—восемь дней назад. По-видимому, я был прав: похититель узнал, что выставка закрывается, и торопился. Можно было вполне ясно представить себе, как принес он подготовленную им «копию», предварительно вставив в похожую раму,— этим он должен был заняться дома заранее; раму такого размера можно пронести под пиджаком,— отвлек сам или при помощи помощника внимание служителя и подменил картину. Проще всего сделать это было в конце воскресного дня, когда в галерее бывает много посетителей, служители устают и с нетерпением ожидают отдыха. В таком случае у похитителя были впереди воскресная ночь и еще двое суток... Да и много ли нужно времени, чтобы спрятать такой маленький предмет!

Надо было искать человека, который прибудет гонцом за добытым сокровищем. А может быть, он уже давно здесь и даже получил сокровище? Но искать надо именно этого человека! И скорее всего на границах страны.

Все необходимые распоряжения были уже отданы. В магазинах, которые торгуют предметами искусства, шло невидимое наблюдение и за постоянными посетителями и за случайными людьми. Но, в сущности, оставалось одно — ждать.

Вот при каких обстоятельствах я и искусствовед Гордеев вылетели в Ригу, когда оттуда пришло сообщение о найденной в багаже одного иностранного туриста картине, похожей по описанию на пропавшую «Мадонну Благородную»...

Продолжение следует.

Николай АСАНОВ

Мадонна Благородная

Повесть

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

4

С Александром Николаевичем Гордеевым мне приходилось работать и раньше, поэтому я без всяких колебаний назвал этого известного искусствоведа, когда возник вопрос о специалисте для опознания картины.

Всех обстоятельств дела он не знал, да это было и ни к чему. И так уж слишком много людей осведомлены об утрате картины.

Однако должен признаться, что я был изумлен, когда Александр Николаевич попросил меня взять для него на самолет два билета. На мой осторожный вопрос, кто же летит с ним, он довольно благодушно сообщил, что Марта Кришьяновна согласилась сопровождать его в эту недолгую поездку.

Мой начальник, когда я сообщил ему об этом неожиданном пополнении нашей бригады, посмеялся моему унылому виду, но потом довольно строго внушил мне, что это, пожалуй, к лучшему.

— Перестаньте вы хмуриться! — недовольно сказал он.— Влюбленная пара, путешествующая с таким чичисбеем, как вы, будет вызывать только усмешку. А больше от вас ничего не требуется!

Смириться с «чичисбеем» я не мог, но в остальном начальник был прав. Кто знает, как далеко могут зайти временные владельцы шедевра! Может, они уже распределили будущую добычу? Может, уже восчувствовали себя владельцами четверти миллиона долларов? Специалистам известно, что преступник, уже овладевший добычей, куда свирепее, нежели схваченный с поличным на только что начатом «деле». Ладно, пусть Гордеев едет с супругой, только уж заботится о ней сам, из меня чичисбея все равно не выйдет!

Марта Кришьяновна, как и всякая женщина, к самолету чуть не опоздала. Я уже достаточно поволновался, когда регистрировали билеты, в очереди перед посадкой волновался еще больше, а когда мы пошли нестройной цепочкой под озабоченный голос диктора, все еще тщетно взывавшего в пространство: «Гражданин Гордеев и гражданка Гордеева, пройдите на посадку!»,— терпение мое окончательно лопнуло. И в этот самый момент появились Гордеевы.

Марта Кришьяновна, в распахнутом меховом пальто, с маленьким чемоданчиком в руках, шла впереди, неспешно озирая аэродром, ревущий самолет, пассажиров такими изумленными глазами, словно для нее всякая малость являлась чудом. На самом же деле чудом была она сама. Представьте себе явление весны среди зимнего поля или возникновение Афродиты из пены морской! Тогда, может быть, вы поймете мои чувства... Дома она всегда была суше, сдержаннее, холоднее. Здесь же, взволнованная предстоящей поездкой, она была похожа на наивного, ожидающего чудес ребенка.

Трудно сказать, была ли она красива. Вероятно, да. Влюбился же в нее Гордеев, знаток красоты! Я же ощущал только ее необыкновенную свежесть, чистоту, молодость. Казалось, что она и пахнет-то свежими цветами, лугом, росой. Впрочем, это мог быть и аромат каких-нибудь духов. Однако должен признаться, что я немедленно, едва поздоровавшись, взял ее чемоданчик, а в самолете уступил ей место у окна, хотя только что клялся себе, что никогда не стану чичисбеем.

Александр Николаевич, увидев, как я принялся расстилаться ковром под ноги Марты Кришьяновны, только замурлыкал с довольным видом и даже попытался свалить на меня какие-то свои обязанности: расставить рядком их чемоданы, достать для него — вы только подумайте, для него! — бутылку коньяку, но тут я ткнул его локтем под ребро, и он быстро угомонился.

В самолете Марта Кришьяновна скоро заснула, а мы уединились в самый хвост и принялись разговаривать. Собственно, разговор начал я, собираясь подготовить Александра Николаевича к будущим обязанностям, но он тут же перебил меня и принялся рассказывать о своем счастье.

Я терпеть не могу таких разговоров. Может, потому, что прожил жизнь обыкновенную, никаким особенным счастьем не осиянную, и постепенно старею, а может, потому, что всегда помнил народное изречение:

Умный хвастает отцом-матушкой,
Богач хвастает золотой казной,
Глупый хвастает молодой женой...

Однако Александра Николаевича я не перебивал.

Меня занимало одно: как этот некрасивый пятидесятилетний человек покорил молодую девушку? Была ли с ее стороны любовь или грубый расчет? Конечно, он любил, но она-то, любила ли она?

Бессвязный рассказ Гордеева нимало не походил на литературное эссе о глубинах чувств. Скорее уж можно было бы назвать его молитвой о сохранении дарованного небом счастья. Видно было, что Гордеев и сам побаивался, что счастье это далеко не вечно...

Как я уже говорил, Марта была его ученицей в институте.

— Я полюбил ее с первого взгляда! — воскликнул он.

Утверждения, что она тоже полюбила с первого взгляда, не последовало. По-видимому, Гордеев довольно долго ходил вокруг да около, пока осмелился сказать о любви.

Гордеев оказался упорным человеком.

Незадолго до этой встречи он остался вдовцом. Взрослые дети давно уже отдалились от него. Так что, с общепринятой точки зрения, он был волен над собою.

В конце концов Марта снизошла к его мольбам, и все кончилось победой влюбленного искусствоведа. Но в радостно воспаленном шепоте Гордеева мне все чудилась какая-то тревога. Впрочем, в путешествиях люди раскрываются быстро, так что я мог надеяться еще понять истоки этой тревоги.

Марта Кришьяновна проснулась перед посадкой в Риге.

Гордеев не мог видеть, что она ищет его взглядом, он сидел со мной в самом хвосте самолета, однако вдруг завертелся, вскочил, побежал к жене. Я с удивлением наблюдал эту почти физическую связь двух столь разных душ.

Она прижалась светлой, пышноволосой головой к плечу мужа и сразу успокоилась. Но было в этом спокойствии что-то от покорности. И я невольно подумал: она не любит. Она только позволяет любить себя.

В Риге нас ждали.

И в машине, и позже, в гостинице, где наши номера оказались рядом, и за ужином я продолжал незаметно наблюдать за этими счастливыми влюбленными. Мы гуляли по вечернему городу, ужинали с вином, потом еще долго сидели в номере Гордеевых и ни разу не заговорили о том, зачем приехали. Марта веселилась, как школьница, вырвавшаяся на каникулы, так что не только Гордееву, но и мне хотелось изображать из себя этакого гуляку, которому море по колено. Правда, тут было одно дополнительное обстоятельство: мы чувствовали, что скоро наша миссия закончится. Гордеев надеялся увидеть еще один шедевр искусства, я — вернуть похищенное.

Утром мы поехали смотреть обнаруженную таможенниками картину.

В зале остались начальник таможни, адвокат, приглашенный владельцем картины мистером Адамсом для защиты его интересов, и я с Гордеевым. Марту мы не взяли с собой, хотя она и собиралась сопровождать нас «во всех наших делах».

Марта разобиделась, но мы еще в начале путешествия дали друг другу слово, что не станем вовлекать ее в наши служебные занятия.

Начальник таможни отодвинул штору, закрывавшую картину.

Я разочарованно вздохнул: это была не «Мадонна Благородная».

Но это была тоже хорошая картина: портрет молодой женщины, написанный резкими, сильными мазками мастера. Все черты лица чуть-чуть удлинены, что придавало женщине на портрете вид аскетический, изможденный. На ней было ярко-красное парчовое платье с широкими буфами на рукавах, и с ним странно контрастировали голубая мантилья, наброшенная на правое плечо, и яркие белые кружева воротника.

На маленьком столике под картиной лежали документы, переданные таможенникам мистером Адамсом: счет комиссионного магазина, копии запродажной квитанции и чека. Я просмотрел их.

В счете произведение значилось как «копия с картины неизвестного итальянского художника середины семнадцатого века — портрет молодой женщины в красном, масло, исполнена в конце девятнадцатого века, автор копии неизвестен, сдана на комиссию 24 февраля 1960 года гр-кой Ивановой И. Н. паспорт... серия... номер... адрес... Продана 25 февраля 1960 года...» — все формальности были соблюдены полностью. Из копии запродажной квитанции я узнал, что за копию с картины неизвестного художника получено 920 рублей.

Я уже собирался сказать начальнику таможни, что произошла досадная ошибка и надо поскорее извиниться перед владельцем картины. Еще вопрос, утешится ли он этим извинением, так как ему пришлось отстать от теплохода, на котором он собирался покинуть нашу страну.

Решив высказать свое мнение, я взглянул на Гордеева да так и остался с разинутым ртом. Гордеев двигался по комнате легкими, пританцовывающими шагами, не отрывая глаз от картины, словно привязанный к ней, то отходил от нее на столько, сколько пускала его невидимая веревка, то снова устремлялся к ней, но двигался все время по кругу, заходя и с той и с другой стороны, однако не приближаясь вплотную, как сделал это я, когда увидел совсем не то, что чаял увидеть.

Должно быть, у меня был весьма смешной вид, так как и начальник таможни и адвокат смотрели только на меня. С трудом стиснул я челюсти.

В это время Гордеев стремительно шагнул к картине, снял ее со стены и принялся разглядывать холст, раму, снова холст то с лица, то с изнанки. Положив картину на стол, где лежали квитанции, он вынул из кармана лупу, скальпель в кожаном футляре, осторожно поскоблил краску, уткнулся с лупой перед гла-

Продолжение. См. «Огонек» № 38.

зом в эту очищенную царапинку, поднял картину, посмотрел на свет, будто что-то могло просвечивать сквозь старый загрунтованный холст, опять повесил портрет на место и снова затанцевал по комнате, ища какую-то ему лишь ведомую точку, чтобы окончательно рассмотреть этот «предмет искусства».

Теперь уже не только я, но и остальные внимательно наблюдали за манипуляциями Гордеева.

Он долго стоял на одном месте, заложив руки в карманы, словно бы глубоко задумавшись, потом вдруг сказал:

— Но это же Эль Греко!

Это были его первые слова. И прозвучали они подобно грому.

Даже начальник таможни, человек, которому, вероятно, были глубоко безразличны все художники мира, наслышанный о существовании такого мастера лишь после того, как к нему поступили материалы розыска, и тот не удержался, тихонько присвистнул, а затем решительно прошел к картине и встал перед нею, загораживая своей спиной от адвоката, представляющего интересы Адамса. Да и адвокат, все время стоявший перед ним с безразличным выражением лица, присущим людям этой профессии, вдруг вспыхнул, затоптался на месте, словно боялся, что любое его движение вызовет гнев таможенников, и только вытягивал шею, пытаясь наконец рассмотреть картину, ради которой находился здесь и на которую даже не взглянул.

Теперь и мне показалось, что удлиненные, изломанные линии композиции очень похожи на «почерк» Эль Греко, благодаря которому этот долгое время забытый художник вдруг стал мил сердцу современных модернистов и пережил вторую славу, еще более громкую, чем знал при жизни.

Гордеев быстрыми шагами прошел к картине, отстранил таможенника и снова снял ее со стены. Теперь он исследовал обратную сторону холста. Таможенник, посапывая, вытянул шею и заглядывал через его плечо на черный от времени и пыли холст, адвокат, посучивая ножками, маленькими шажками приближался к ним, словно подкрадывался, да и меня притягивала эта власть времени, выраженная в словах: «Эль Греко!»

За огромным окном кабинета плыли синевато-серые облака; мачты и реи протыкали воздух, как протянутые вслепую руки, и не было там ни одного яркого блика, никакой солнечной синевы, что виделись нам только что в картине. Я невольно вспомнил тягостную жизнь художника-изгнанника, долго кочевавшего по миру в поисках пристанища. Грек по национальности, итальянец по образованию и мыслям, он прибился в конце концов к мрачному испанскому двору, но не ужился и там. В Мадриде над всем владычествовала церковь, и хотя Эль Греко постепенно растерял и веселость сюжетов и живость красок, поддаваясь все больше и больше исступленным требованиям монахов, все-таки и церковь и король Филипп II были им недовольны. В конце концов он перебрался в Толедо, где еще сильна была оппозиция дворянства мрачному королю, но никогда уже не вернулся к радостным краскам, которые любил в молодости. Мир его последних картин аскетический, мучительный, темный. Однако же создал художник такие полотна, как «Мадонна Благородная», сделал же он и этот портрет: мне уже несомненным казалось авторство Эль Греко, схожими мнились линии и краски, и я все больше убеждал себя, что нахожусь воистину накануне крупного открытия.

Гордеев медленно повернулся к нам лицом, держа картину на вытянутых руках, и торжественно произнес:

— Видите светлое пятно? Это смыта марка музея... Частные владельцы редко ставили печати.

Адвокат сердито прошел к письменному столу, где лежала его раскрытая после предъявления документов и доверенности папка, и захлопнул ее.

— Акт будем составлять сразу? — скрипучим голосом спросил он.

Гордеев как будто очнулся, поднял голову, взглянул на нас, бережно поставил картину к стене.

— Нет. Сначала надо проделать рентгеновский анализ и созвать экспертов. Все это сделают в Москве.

— Что же я скажу моему доверителю?

Я резко ответил:

— Так и скажите, что картина краденая... До выяснения обстоятельства дела будет храниться как вещественное доказательство!

Мне уже хотелось отождествить адвоката с мистером Адамсом, со всеми, кто украл и прятал эту картину. Но адвокат вдруг усмехнулся, подмигнул нам.

— Бедный мистер Адамс! Не повезло ему с большевиками! Вы не можете хоть примерно определить стоимость этой картины? — Он спрашивал Гордеева.

— Если моя догадка подтвердится, то она может стоить примерно двести — триста тысяч долларов. Количество работ Эль Греко не увеличивается, а уменьшается. Часть приписанных ему раньше картин принадлежит, как оказалось, его сыну.

— Согласен и на сына! — засмеялся адвокат.— Мне, признаться, картинка очень понравилась, и я не хотел бы, чтобы она висела в спальне у мистера Адамса. Он мне говорил, что предполагает поместить ее в спальне. Пусть картина лучше вернется в музей, может, я с ней там еще увижусь! Пойду утешать моего доверителя!

Он отдал галантный поклон картине, потом помахал нам ручкой, сунул портфель под мышку и пошел к двери. И я вдруг понял: совсем ни к чему было злиться на этого человека, он просто исполнял порученное ему малоприятное дело и теперь рад не меньше, чем мы сами.

— О наших догадках Адамсу не говорите! — окликнул его на пороге Гордеев.

— Что я, маленький? — обидчиво сказал адвокат. Он снова сделал свой смешной жест ручкой и исчез.

— Как поступить с картиной? — спросил таможенник, почтительно поглядывая на Гордеева, который, как видно, пробудил и в его черствой душе уважение к художеству.

— Вызовите хранителя местного музея и упакуйте ее под его наблюдением. Рассказывать о наших предположениях ему тоже не стоит. Отправьте в Москву. Там мы произведем проверку и решим, как поступить с нею.

— А если этот Адамс не отступится?

— Он и сам, наверно, сообразил, что картина краденая. Просто верните затраченные им деньги. Не думаю, чтобы он стал протестовать. Эти «люди дела» понимают в искусстве меньше, чем в биржевых операциях. А в свою спальню он может повесить какого-нибудь модерниста... И позвоните, пожалуйста, на аэродром. Нам нужен ближайший самолет на Москву...

Самолет уходил утром. У нас был впереди целый день прогулок по городу, веселой болтовни, случайных наблюдений.

Я и Марта Кришьяновна провели этот день очень весело. Но Гордеев что-то притих. После обеда он часа на два покинул нас, а вернулся совсем сумрачным. Но мне не хотелось омрачать эти часы случайно выпавшего отдыха, тем более, что в конце-то концов мы сделали отличное дело, и я не стал расспрашивать его.

Я сидел в номере Гордеевых, ожидая, когда Марта Кришьяновна соберется к ужину, как зазвонил телефон. Спрашивали меня.

Гордеев передал мне трубку. Слышался извиняющийся голос нашего знакомого адвоката. Он просил о встрече.

Мы с Гордеевым прошли ко мне. Адвокат уже топтался возле двери.

На этот раз он выглядел растерянным. Тщательно закрыв за собой двери, он прошел к окну, задернул штору и только тогда сказал:

— Ну, мой клиент, товарищи, рвет и мечет, мечет и рвет! Он потребовал от меня предъявить иск вашему почтенному учреждению на двадцать тысяч рублей, которые заплатил за картину ее подлинному владельцу. Купчая на картину, нотариально оформленная, у него. Я снял с нее копию.

Адвокат вынул из портфеля бумагу и протянул мне. Эта была оформленная и заверенная копия запродажной расписки на двадцать тысяч рублей, внесенных господином Адамсом гр-ке Ивановой И. Н., «паспорт... серия... номер... прописка...» — словом, ничего не было забыто. И картина называлась так же, как и в квитанции комиссионного магазина: «Копия с картины неизвестного итальянского художника — портрет женщины в красном...»

— Что же означала тогда эта комедия с комиссионным магазином? — раздраженно спросил я.

— Адамс объяснил, что картина была передана на комиссию в магазин по совету гражданки Ивановой. Иванова предупредила покупателя, что вывоз неизвестно где приобретенной картины будет затруднен. И Адамс согласился на эти условия...

— Но он уяснил, что купил краденое имущество?

— А он настаивает только на возврате мошеннически полученной с него суммы. Взыщете ли вы ее с этой «гражданки Ивановой» или оплатите за счет государства, ему все равно. Но, как я понял, судьба картины ему далеко не безразлична. В своем гневе он не удержался, буркнул, что сорвалось «выгодное дельце». Так что я посоветовал бы вам хранить ее получше! Как бы она снова не исчезла!

— Ну что ж, передайте ему, чтобы он действовал по закону, предъявил иск к «гражданке Ивановой», а уж мы его удовлетворим... когда поймаем эту торговку краденым...

— Значит, иск оформлять?

— Не только оформлять, но и тщательно защищать интересы вашего клиента! Ведь он-то потерял не только девятьсот двадцать рублей, что уплатил в магазине — уж там-то мы разберемся, как они «проводят» краденые картины,— и не только двадцать тысяч, которые дал Ивановой, но и те сто или двести тысяч долларов, которые надеялся получить со своего заказчика. Так что господина Адамса тоже надо пожалеть...

К адвокату вернулась его ехидная усмешечка. Уже спокойно собрал он свои документы и попрощался. Проводив его, я взглянул на молчаливого свидетеля этого разговора—Гордеева. Он выглядел так, как может выглядеть только дурное известие. С усилием сделав какое-то странное движение плечами, будто сбрасывая или, наоборот, принимая на себя тяжесть, он сказал:

— Какой-то коллекционер за рубежом усиленно собирает работы Эль Греко. А нам придется удвоить охрану наших сокровищ. Я звонил в Москву. Пропала «Мадонна Благородная»...

— Не принимайте этого близко к сердцу. Я привез вас сюда, надеясь обнаружить именно эту картину... А мы нашли другую...

— Я это понял, когда вспомнил ваше разочарование при взгляде на «Женщину в красном»... Но от этого нам не легче! Значит, этот «коллекционер» лучше нас знает наши хранилища! Ведь о пропаже «Женщины в красном» никто ничего не заявлял! А она, несомненно, выкрадена из какого-то музея! Как же это случилось?

— Я сообщил в управление. Там сейчас занимаются этим вопросом. Они найдут и «гражданку Иванову» и того болвана, который допустил потерю картины. Для него она, вероятно, до сих пор остается малоценной «копией»...

— На вашем месте я не был бы так спокоен.— Гордеев приглушенно вздохнул.— Если охота началась, она не окончится, пока охотник не убедится в том, что добычи не будет, или пока он не схватит эту добычу...

— Или пока не схватят его! Добыча-то в наших руках, а не в руках охотника,— довольно весело поддразнил я Гордеева.

Он промолчал, но я видел, что он очень взволнован. Однако за ужином держался спокойно. Должно быть, не хотел волновать своими переживаниями жену. Она-то ведь ничего не знала!

Утром мы вылетели в Москву.

И совершили вынужденную посадку в незнакомом городе, с рассказа о которой я и начал свою повесть.

5

И вот я сидел в своем номере гостиницы «Бристоль» в незнакомом мне городе и записывал для памяти историю с мистером Адамсом. До назначенного Гербертом Брегманом времени оставалось не больше часа. Отложив перо, я уставился в стенку, за которой отдыхали сейчас Гордеевы, и вдруг мне показалось, что стена эта стеклянная, я отчетливо увидел все, что за нею делается.

Марта Кришьяновна, распустив свои пышные

белокурые волосы и поддерживая их тяжелые волны на затылке так, словно они оттягивают голову назад, сидит за туалетным столиком и смотрит на свое отражение остановившимися глазами. Ей нужно сделать только несколько движений, чтобы сколоть прическу, но как раз на это и не хватает сил. Кажется, она сейчас уронит руки, волосы рассыплются по плечам, она склонит голову и зарыдает: для чего ей эта прическа? Кого она должна очаровывать? Мужа? Но вот он сидит рядом за письменным столом, уставившись в «Вечерние новости», и не видит ни строки — сплошные серые и черные пятна у него перед глазами. Они уже пытались поговорить о нечаянной встрече с Брегманом. Конечно, Гордеев не думает, что встреча эта намеренная, предрешенная,— столько-то здравого смысла у него есть, чтобы понимать: вынужденную посадку именно там, где находится Герберт, не спланируешь! Но и успокоить мужа Марта не может... Она действительно рада этой встрече и как только подумает о том, что через час увидит Герберта вновь, в глазах появляется беспокойный блеск, которого не скроешь ничем, разве только сидеть вот так, уставившись в одну точку, или просто прикрыть глаза ладонями... И она испуганно опускает волосы и прячет лицо в ладонях.

Александр Николаевич молчит, хотя и видит, как рассыпалось светлое облако по плечам жены. Еще вчера он подошел бы к ней, обнял эти мягкие покатые плечи, спутал волосы, запрокинул ее лицо, прижался к нему своим лицом, но что-то произошло в мире или только в этой комнате, чье-то постороннее присутствие чувствуется все время, и ему кажется, что этот посторонний следит за ними, насмешливо кривится в улыбке, и под этим чужим глазом ничего нельзя сделать такого, что можно наедине... Александр Николаевич даже знает, чей это взгляд подглядывает за ним,— он же отражен в глазах жены!

Марта застыла перед зеркалом, неподвижная, словно неживая. Александр Николаевич выпрямляется, потом дружелюбно, весело говорит:

— Марта — весенняя птица, ты что-то долго возишься со своей прической! Наш спутник, наверно, заждался! Поедем ужинать! Как Герберт Оскарович назвал кафе? «Балтика»? Вот и поедем в «Балтику»...

Ничего не скажешь, Александр Николаевич— решительный человек. Он всегда шел напрямик, навстречу ли радости или навстречу горю. Я так убежден, что он сейчас говорит именно это, что не выдерживаю, поднимаю трубку и звоню в сотрудничающее с нами управление. Мне хочется знать, что это за место, куда мы сегодня направимся.

Начальник отдела еще у себя. Он удивленно спрашивает:

— А чем вас интересует «Балтика»? Кафе для стиляг и иностранцев! Я в нем и не бывал ни разу....

— Там танцуют? Молодежи много?

— Кажется, да. Так, пристанище всяческой богемы. Она ведь еще не вывелась! Впрочем, там будет кто-нибудь из нашего управления, они вам дадут любую справку на месте...

Я благодарю и опускаю трубку. И сейчас же раздается звонок. Говорит Марта. Голос у нее звонкий, я бы сказал, птичий, щебечущий. Значит, она чем-то очень обрадована. Она говорит:

— Ай-ай-ай! Только приехали и уже заводите романы! Я полчаса звоню вам, и все телефон занят. Собирайтесь! Александр Николаевич приглашает нас в кафе... — Пауза, и уже с усилием: — «Балтика», кажется, оно называется... Будем танцевать и даже пить! Александр Николаевич разрешает и мне выпить рюмку коньяку.

И сейчас же ее голос сменяется рокочущим веселым басом Гордеева:

— Вы в форме? Мы сейчас зайдем за вами...

Я привожу себя в порядок. Ну, что ж, «Балтика» так «Балтика»! Ничего не поделаешь!

Подойдя к кафе, я машинально взглянул на часы. Было девять вечера...

В зале оказалось очень людно, и я увидел, как просветлело лицо Александра Николаевича. Он, должно быть, подумал, что для нас просто не найдется столика и мы уйдем. Но он плохо знал предусмотрительность влюбленных или забыл о ней... К нам уже спешил старший официант, на бегу склоняясь в поклоне и делая правой рукой жест, как инспектор ОРУДа, открывающий дорогу. И мы увидели в углу свободный столик, с которого официант очень ловко смахнул и спрятал в карман табличку с надписью «Заказано». Только привычка обращать внимание на мелочи помогла мне заметить это, как и то, что рядом, за соседним столиком, сидели Герберт Брегман и еще несколько молодых людей, по-видимому, его друзей. Александр Николаевич ничего не видел, он усаживал Марту, глаза которой уже приковались к розовому, чистому, освещенному насмешливой улыбкой лицу Брегмана. Гордеев тоже сел и оказался спиной к нему. Я занял место в углу, так что стала видна игра взглядов между Брегманом и Мартой. Впрочем, Марта, заметив, должно быть, как я оглядел зал, опустила голову и принялась изучать меню, с несколько искусственным оживлением советуясь со мной и мужем, что же выбрать.

— В любом месте, куда меня приводит судьба, я ем только местные блюда,— со смешной напыщенностью сказал Гордеев.

Он еще верил, что каждое его слово принимается Мартой как откровение. Может, он просто забыл, что человеку свойственно повторяться, а там, где начинается разочарование, повторы раздражают. Марта как-то сразу поскучнела и уже без всякого энтузиазма посоветовала мужу взять какие-то «цеппелины», единственное блюдо с непонятным названием.

Но выглядело кафе очень приятно. Мягкий свет скрытых в настенных панелях ламп, странные, трапециеобразные столики под стеклом, удобные стулья, спинка которых была похожа на старинную прялку, модернистская роспись на стенах, но такая, что не режет глаз, стилизованная под народные узоры и орнаменты.

Кафе состояло из двух залов; во втором уже играл оркестр — четыре-пять инструментов, там виднелась довольно широкая площадка для танцев, но пока исполнялась предварительная, так называемая «салонная» программа. Музыка смиряла тот однообразный гул, какой создается в большом помещении, когда разговаривают сразу много людей, но группами, обособленно, так сказать, для себя.

Возле нашего столика на крюке висели продетые в деревянные планки газеты. Я потянулся, чтобы взять «Вечерние новости».

Чья-то рука услужливо подхватила газету. Мягкий, бархатный голос сказал:

— Пожалуйста!

Я поднял глаза. Перед нашим столиком стоял Брегман. И опять глаза его неотрывно смотрели на Марту.

Я поблагодарил, но читать мне уже не хотелось. Марта тормошила мужа, похлопывала его по руке, торопливо говоря:

— Видишь, Герберт Оскарович тоже здесь! Ну, пригласи же его к нам!

Александр Николаевич смотрел перед собой, как будто только что проснулся. Брегман с сожалением, как мне показалось, взглянул на него и поспешно отклонил так и не произнесенное приглашение:

— О, я не один! Мы целой компанией: художники, журналисты, актеры...

Взглянув на соседний стол, я увидел, что там народу прибавилось. Появились две очень выразительно накрашенные девушки с фиолетовыми губами, еще какой-то молодой человек действительно артистического вида. Потом я сообразил, что этот вид придавал ему новый костюм, который выглядел так, как выглядят на сцене все новые костюмы в новой пьесе, разыгрываемой не срепетировавшимися актерами,— они словно бы все с чужого плеча.

— Может быть, мы сдвинем столики?—вдруг предложил молодой человек в новом костюме.— Многие из нас лично знают Александра Николаевича,— легкий полупоклон в сторону Гордеева,— другие наслышаны о нем. В нашем городе любят художников! Я ведь тоже учился у вас! — Снова такой же поклон.

— Помню, помню,— холодно сказал Гордеев.— Галиас. Ушли с четвертого курса.

— Что поделаешь! — Галиас усмехнулся.— Признать отсутствие таланта у самого себя — тоже нужна сила воли! Обычно приятнее говорить это о других.

Он сказал это как-то так весело, что обстановка внезапно стала меняться. Уже все пятеро молодых людей за соседним столиком встали, изъявили живейшее желание присоединиться к нам, девушки метали пламенные взгляды на Гордеева, Марта Кришьяновна тоже умоляюще смотрела на него, и он нехотя поднялся. Теперь столы ничто не разъединяло, и официант, исподтишка наблюдавший за переговорами, мигом сдвинул их. Гордеев сел рядом с женой, Брегман — несколько в стороне, выбрав место так, чтобы Гордеев не мог наблюдать за ним, Галиас каким-то образом оказался напротив меня, а одна из девушек—рядом.

По своим привычкам я бумагомарака. Есть у некоторых людей такая необременительная для посторонних склонность. Если меня ничто не привлекает, я машинально достаю из кармана карандаш или авторучку и начинаю чертить на первой попавшейся бумажке всякие орнаменты, рисунки. Эта механическая работа не мешает слушать и разговаривать, пока что-то вновь не привлечет тебя по-настоящему.

Я и сам не заметил, как вооружился своей авторучкой, вытащил из хрустального бокала бумажную салфетку и принялся рисовать на ней узоры. Молодежь вовлекла Гордеева в какой-то пространный спор о модернизме — они горячо отстаивали абстрактные композиции на стенах кафе, которые какой-то неумный корреспондент уже успел охаять в газете, создав тем самым рекламу и авторам росписи и кафе. Я положил авторучку на стол и закурил, прислушиваясь к спору.

— Какое приятное стило! — вдруг сказал Галиас.— По-моему, это «Наполеон», Франция! — и бесцеремонно взял ручку. Вытащив из бокала несколько салфеток, он тоже принялся рисовать на них какой-то абстрактный узор из кругов, ромбов и точек.— Вы знаете великолепный анекдот об авторучках? — спросил он, продолжая разрисовывать салфетку.— Американцы по всему Парижу развесили рекламы: нарисована авторучка фирмы Паркер и подпись под нею: «Эту ручку сбросили с Эйфелевой башни, и она продолжала писать! Всего десять долларов!» Тогда французы поперек их реклам развесили свою: нарисована авторучка «Наполеон» и подпись: «Эту ручку не бросали с Эйфелевой башни, но пишет она отлично! Всего два доллара!» — и загубили все усилия американцев!— Он засмеялся, продолжая расчерчивать салфетку. Я видел, таланта у него действительно не было...

В это время оркестр заиграл медленное танго. Галиас вернул мне авторучку и пригласил девушку, сидевшую рядом со мной. Все задвигались, пропуская друг друга. Брегман подошел к Марте. Марта взглянула на мужа, уловила его небрежный кивок и положила руку на плечо Брегмана. Подругу моей соседки пригласил великан-блондин. Я, Гордеев и еще двое молодых людей остались за столиком.

Подвинув к себе исчерканную Галиасом салфетку, я принялся терпеливо разбирать его рисунки.

Галиас пользовался одним из известных мне шифров. Он отвечал на мои вопросы, которые прочитал на исчерканной салфетке. Я знал, что мне ответят, хотя и не предполагал, что это будет мой сосед. Все ответы вместе составляли обычный рисунок, какой может начертить всякий задумавшийся человек, но если разобраться...

Прежде всего Галиас предупреждал, что мы «в дурной компании». Затем он расшифровал, что под этим разумеет. Круг, сделанный волнистой линией, и треугольник в этом круге обозначали, что нас окружают спекулянты. Ниже приводились характеристики каждого соседа. Девицы, по данным Галиаса, «наводят» покупателей. Великан-блондин — недоучившийся художник, теперь специалист по перепродаже шерсти и шерстяных изделий. Два оставшихся за столом молодых человека — бывшие студенты — занимаются снабжением всякого желающего радиоприемниками, магнитофонами и «стильной» мебелью. Самый тихий из гостей — художник местного театра, а Галиас, которого я принял за актера,— сотрудник нашего управления. Брегман известен как художник, имеет деньги, недавно он подрядился реставрировать стенную роспись и несколько икон в местном католическом кафедральном соборе...

Я скомкал салфетки и швырнул их в пепельницу. Люди эти были мне малоинтересны, разве только Брегман и из-за того лишь, что мне было жаль Гордеева.

Продолжение следует.

Николай АСАНОВ

Мадонна благородная

Повесть

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

6

Оркестр умолк, и танцующие возвращались. Марта Кришьяновна шла в центре этой шумной группы, подхваченная под руки девицами, а когда все остановились у стола, молодые люди стали перед нею полукругом, словно нарочно загораживая ее от нас своими широкими спинами. Брегман что-то тихо говорил Марте, голоса остальных создавали заглушающий хор.

Я взглянул на Гордеева. Он поднялся было, чтобы подозвать Марту или, может быть, пойти с нею танцевать, так как оркестр снова настраивал инструменты, но широкоплечие молодые люди стояли между ним и Мартой, как заслон. Гордеев виновато улыбнулся мне и снова сел.

Странно, но эта нерешительность старого приятеля как бы подтолкнула меня. «Если уж ты боишься за свое счастье, так борись!» — вот что мне хотелось сказать Александру Николаевичу. Но он лениво ковырял вилкой еду, не поднимая больше глаз.

Оркестранты ударили по струнам, и снова поплыли звуки танго. Я вышел из-за стола и протиснулся между молодыми людьми, боюсь, не слишком вежливо. Марта уже протянула руку Брегману, но я перехватил ее на лету, довольно бесцеремонно сказав:

— Герберт Оскарович, очередь моя!

Лицо Марты покрылось красными пятнами, но руки она не отняла. Брегман отвернулся с безразличным видом. Отходя от столика под взвизгивания скрипки, я увидел, как он что-то заказывал официанту. Только по резким его жестам можно было понять, как он взбешен.

Танцор я не очень ловкий. Но тут, как мне показалось, танцевали одни калеки, люди на протезах. Едва ли нормальному человеку удается так ловко изображать инвалидов. Они топтались на месте, вздергивали ноги и переставляли их, как ходули, и снова принимались топтаться. Такой танец под силу и паралитику.

— Чем этот ваш Герберт занимается?—спросил я, попав наконец в неторопливый ритм танца паралитиков.

— Почему мой? — возвращаясь на стезю привычного кокетства, возразила Марта.

— Я сужу не по вас, а по Александру Николаевичу. На него смотреть тяжело!

— Ах, это!..— Лицо ее увяло, в глазах мелькнуло что-то вроде страха. Но последнее слово должно было остаться за нею, на то она и женщина!— Гордеев знает, что мы с Гербертом старые друзья!

Я часто замечал, что женщины, перестав любить мужа или выйдя замуж без любви, называют его просто по фамилии.

Называя мужа так, она как бы говорила: «Я свободна в своем волеизъявлении. Он посторонний человек! Он просто Гордеев! Я лишь по недоразумению ношу его фамилию!» — Вот как разговаривала Марта с этим Гербертом.

— Так чем же занимается Брегман? — беспощадно продолжал я.

— Он талантливый художник! — выпалила Марта.

— Ага, понятно! И для утверждения своей талантливости обновляет иконы в соседней церкви?

— Откуда вы это взяли? — с некоторым испугом спросила она.

— Пока вы танцевали, его приятели заспорили между собой, сколько он содрал с местного ксендза: пятьдесят тысяч или сто...— с легким сердцем солгал я.— Недурная сумма для богомаза! Он «трудится» сейчас в каком-то католическом соборе...

— Это неправда! — строго сказала Марта и остановилась, сняв руку с моего плеча.

Это был отказ от танца. Но он меня больше обрадовал, чем огорчил. Значит, в душе этой женщины была настоящая любовь к искусству. И лжи она, наверно, не прощает.

Я шел рядом с ней к столу, за которым нас ожидали, разглядывая с некоторым злорадством: ведь там видели, как она отказалась танцевать. Только Гордеев все не поднимал глаз. Но на тех мне было наплевать. И я бросил последний камень:

— Впрочем, ваш муж тоже переписывает иконы и, кажется, недурно на этом зарабатывает,— безразличным тоном промолвил я.

Марта даже приостановилась, лицо у нее побледнело, глаза стали темными, в них засверкали искорки.

— Плохо же вы относитесь к искусству. И хорошо, что ушли от него! — презрительно швырнула она прямо мне в лицо.— Александр Николаевич — лучший реставратор картин! — Тут она вспомнила имя и отчество мужа.

— А эти молодые люди говорят, что Брегман тоже реставрирует. Хотя, конечно, одно дело — реставрация музейных ценностей и, наверно, совсем другое — роспись соборной живописи...— подливал я масла в огонь, соглашаясь даже на то, что огонь обожжет и меня.

— Герберт никогда не унизится до такой пошлости! — решительно сказала Марта и, отойдя в сторону, быстрыми шагами пошла к тому концу стола, где уселся Брегман. Я, покинутый среди беседы, выглядел, должно быть, очень смешным, так как девицы захихикали. Гордеев поднял глаза, взглянул на жену, садившуюся рядом с Брегманом с видом решительным и даже мученическим, и снова уткнулся в тарелку.

Я сел рядом с ним и оказался лицом к лицу с Гербертом, разливавшим коньяк.

— Скажите, Герберт Оскарович, а как церковники оплачивают реставрационные работы? — спросил я самым невинным тоном.

Обычно, когда виночерпий начинает разливать давно ожидаемое вино, то все смотрят на это священнодействие молча. Разговоры возникают снова уже с поднятыми рюмками. Поэтому мой вопрос прозвучал, как удар барабана. К чести Брегмана, рука у него не дрогнула, коньяк лился равномерной струйкой в рюмку Марты. Она сама задержала эту руку. Впрочем, рука художника и должна быть твердой.

— Вероятно, в зависимости от качества исполняемых работ...— Он вопросительно пожал плечами, обвел всех взглядом и остановил его на мне. Глаза у него были твердые, немигающие, голубые, переходящие в стальной цвет.— А вы что, собираетесь наняться реставратором?

— Нет, я собираю материал для статьи о художниках-атеистах, которые продают свой талант церкви. Предыдущая моя статья была посвящена реставраторам старой живописи, в частности нашему уважаемому Александру Николаевичу. Но я нечаянно столкнулся и с другой стороной вопроса: из его реставрационной мастерской ушло несколько талантливых художников, и — представьте себе — некоторые нашли пристанище у церковников. Для вопроса о воспитании советской молодежи это имеет значение...

— Оставим политику в покое,— капризно сказала одна из девиц и поднялась, ожидая Галиаса. Но тот не торопился.

— Я посижу, потанцуй с Яном! — предложил он.

Белокурый великан торопливо вскочил и ушел с девушкой. Брегман смотрел на Марту. Марта отрицательно покачала головой, но Брегман смотрел так умоляюще, что она не выдержала, встала... Ушла и последняя пара.

— Здесь не место говорить о политике,— укоризненно сказал один из оставшихся наших соседей — театральный художник.

— Что же, пригласить их на профсоюзное собрание? — ядовито спросил Галиас.— Так они не придут!

— Идите вы к черту, Галиас! — проворчал художник.— Плаваете вы тут, как угорь в супе, и не поймешь, какому вы богу молитесь. Сегодня вы большевик, завтра стиляга без царя в голове, а послезавтра, глядишь, попадете в фельетон о спекулянтах!

— Молодость ветрена и бездумна! — засмеялся Галиас.— А вот что вас занесло в эту компанию?

— У Брегмана есть деньги, а у меня их нет! — отрезал художник.

Второй сосед засмеялся.

— А вы сходите вместе с ним к ксендзу, может, и вам перепадет заказец! — посоветовал Галиас.

— Я не торгую кистью! — насупился художник.

Я понял, для кого и для чего говорил свои резкости Галиас, когда Брегман вдруг круто остановился возле нашего столика, отпустив Марту. Глаза у него были злые, всякое благодушие смыло с него, как будто в лицо хлестнуло морской волной.

— Галиас! В отсутствии хозяина о нем не говорят дурного! — резко сказал он.

— А я всегда плачу за себя сам! — насмешливо ответил Галиас и неторопливо выложил на стол сторублевую бумажку.— Ну как, товарищи, не пора ли на покой? Завтра всем надо работать, даже и тем, кто торгует на рынке или расписывает церкви.

Я поднялся вслед за ним. Но Гордеев продолжал сидеть, глядя на Марту. Марту опять заслонили друзья Брегмана. Мне показалось, что она сделала движение в сторону Гордеева, но Брегман цепко ухватил ее за руку. Обходя стол, я протиснулся между Мартой и Брегманом, взял ее под руку и, насколько мог, весело сказал:

— А нам завтра рано на самолет. Позвольте откланяться...

Тут только Гордеев встрепенулся, вынул деньги, положил рядом с теми, что оставил Галиас, и встал. Брегман пытался еще что-то шепнуть Марте, но я как-то нечаянно наступил ему на ногу, послышалось только шипение. Пока я извинялся, Александр Николаевич подошел к жене и повел ее к выходу. Брегман что-то сказал белокурому, сунул ему деньги, тот остался, видимо, рассчитываться с официантом, остальные пошли за нами.

Галиас ждал нас у гардероба. И в дверях он сначала пропустил нас; когда он догнал нас, шляпа у него была помята, а лицо он закрывал платком. Брегман и остальные вывалились на улицу и стояли под старинными железными фонарями, украшавшими вход, о чем-то споря. За нами они не пошли.

— Что, не повезло? — тихо спросил я Галиаса.

— Это все Ян. Как он успел, не знаю. Я же видел, он оставался у столика. Но, по-моему, он тоже несколько утратил свою мраморную красоту! — мстительно добавил он.

— Зачем это вам понадобилось?

— Не люблю ловкачей! — хмуро проговорил

Продолжение. См. «Огонек» №№ 38, 39.

он.— Да вы не беспокойтесь, завтра все станет на свои места. Я ведь для них — свой брат, какой-то репортеришка из «Вечерних новостей». А то, что я Брегмана поддразнил, им как медом по губам. Но при чем тут Марта Кришьяновна? — вдруг встревоженно спросил он.— Брегман часто бывает в Москве, но не по спекулятивным делам и не из любви к искусству. Там он так ловко теряется, что мы ни разу его не обнаружили. Не в святейшем же синоде он прячется?

— А зачем вам его искать?

— Как вам сказать... Живет уж слишком широко... Тут даже церковники не помогут!

Мы подходили к гостинице. Галиас торопливо пожал мне руку и свернул в переулок. Когда шедшие впереди Гордеевы остановились, я был один.

— А где же остальные? — растерянно спросила Марта Кришьяновна.

— Они решили остаться,— не моргнув глазом, солгал я.

Она как-то поникла и молча стала подниматься по лестнице. У дверей, дождавшись, когда она войдет в номер, я остановил Гордеева.

— И вам не стыдно? — зло спросил я.— Вы молча наблюдаете, как какой-то шалопай ухаживает за вашей женой, и даже не пытаетесь бороться! Помните Маяковского:

Много ходит
всяческих
охотников
до наших жен...

— Это не тема для разговора! — гневно прервал он.

— Нет, именно об этом и надо говорить! Вместо того чтобы взять мокрую тряпку и снять с этого гипсового болвана всю позолоту, вы притворяетесь слепым! А вы знаете, что этот Брегман почти каждый месяц бывает в Москве и, наверно, звонит... Марте Кришьяновне...— Я с трудом вымолвил ее имя.

— Знаю,— сухо ответил Гордеев. Он открыл дверь и преувеличенно громко спросил:— Может быть, зайдете к нам?

— Нет! — отрезал я. Но, взглянув в его измученные глаза, испугался своей резкости.— Идите отдыхайте, завтра я позвоню, как только дадут погоду. В Москве все станет проще и определеннее.

Он пожал плечами и закрыл дверь за собой. Я еще долго стоял в коридоре. Не то чтобы я подслушивал, нет, просто меня удивляло молчание за дверью. Как будто там никто и не жил. А может, и на самом деле там медленно и тихо умирала любовь? У одра смертельно больного всегда тихо...

7

Утром погоды не дали. Пообещали отправить нас в четыре пополудни с рейсовым трансъевропейским.

Когда я сказал об этом Гордеевым, Марта вдруг забеспокоилась, попросила позвонить на вокзал, нет ли поезда. Поезд уходил только в девять вечера.

Она как-то вся сжалась, побледнела, я бы сказал, даже подурнела. Неподвижно сидела в кресле, только пальцы шевелились, комкая бахрому скатерти на столе. Гордеев, одетый, выбритый, неторопливо ходил по комнате, собирая разбросанные вещи. Разговаривал он односложно: «Да», «Нет»... У меня было такое ощущение, что вот так он ходил безостановочно всю ночь.

Но вот все было собрано, чемоданы заперты, и только тогда он остановился среди комнаты, тоскливо глядя вокруг. Ему не хватало какого-нибудь дела, чтобы занять свои руки. Так и казалось, что сейчас он сядет по другую сторону стола и тоже начнет комкать и расправлять скатерть. Картина эта представилась столь отчетливо, что я невольно поморщился, поклявшись про себя умереть, как и жил, холостяком, а если уж придется жениться, так выбрать женщину некрасивую, смирную, не моложе себя.

Впрочем, сейчас и Марта была некрасивая и смирная. А что касается возраста, так его трудно было определить. Разве лишь то, что она не забыла принарядиться, будто ждала гостей, еще говорило о ее молодости.

Мне надоела эта игра в «молчанку», я нарочно громко и развязно предложил:

— Пойдемте-ка позавтракаем! Я давно замечаю, что самые утешительные мысли приходят после еды. Вот помню...— И принялся рассказывать первый пришедший в голову анекдот.

Супруги не поддержали меня, но завтракать пошли. Однако и за столом они не ели, а толь-

ко ковыряли еду. Впрочем, мне это не помешало. Я отведал и редьки с маслом и пресловутых «цеппелинов», кои оказались вполне приятными котлетами из мяса в картофельной оболочке. Выпил я и отличного кофе, после чего принялся снова расшевеливать моих спутников. Они промолчали весь завтрак.

— Пойдемте в музей,— предложил я.— Помнится, тут есть картина какого-то неизвестного живописца на весьма фривольную тему: «Месть девушки». Может, она развеселит нас, если уж приходится столько мучиться в ожидании самолета. Да и вообще музей здесь должен быть довольно богатым...

Гордеев безразлично кивнул. Марта даже не подняла свои небесно-голубые глаза.

Выходя из гостиничного буфета, мы увидели администратора. Он резво бежал навстречу.

— Товарищ Гордеева?—обратился он к Марте.— Вас просят к телефону. Пожалуйте сюда...

Редко мне приходилось видеть, чтобы лицо человека да и вся его стать могли бы так резко меняться. Марта вытянулась, как струнка, взгляд стал острым, лицо украсилось оживлением, ожиданием, надеждой. В то же время она словно бы разглядывала мир внутренним взглядом, чувствовала его всеми нервами. Испуганно-радостно и в то же время извиняясь, посмотрела она на мужа. «Но я же не виновата, ведь это не я, а м н е позвонили!» — вот что можно было прочитать в этом взгляде. И я хмуро подумал: «А может, и нельзя мешать человеку, который так остро чувствует другого...»

Гордеев кивнул, словно прощал ее, и увлек меня за собой вверх по лестнице, должно быть, боялся, что я услышу этот разговор, а может, и сам не хотел слышать. Со второго марша он пошел медленнее, будто вся сила ушла от него, ноги переставлял, как ватные. Впрочем, снизу уже слышался голос Марты, окликавший нас:

— Подождите меня!

Она не хотела притворяться, делать скорбное или постное лицо. Ведь все шло так, как ей хотелось. Ей позвонили. Должно быть, она все утро сидела в ожидании этого звонка и теперь была бесконечно благодарна, что он не только позвонил, но и разыскал ее.

— Что мы будем делать? — весело спросила она.

Я опять подивился тому, как может меняться человек. Она уже ничего не помнила из того, что было до звонка. Ее жизнь только что начиналась.

— Мы собирались в музей...— напомнил Гордеев.

— Ну, в музей так в музей! — словно бы пропела она, входя в номер. Но, вместо того чтобы сразу одеться, как сделал Гордеев, надолго замерла у зеркала, оглядывая себя с каким-то веселым изумлением, как будто удивлялась, что ее, именно ее, такую, какой она стоит в зеркале, любят... По-видимому, ее поражало уже не то, что она сама любит, а то, что и тот, бесконечно нужный и дорогой, любит ее...

Было жаль разрушать это ощущение сладкого и легкого сна, но я видел лицо Гордеева, поэтому довольно грубо поторопил:

— Ну что ж, пойдемте навстречу искусству!

Она встрепенулась и заметалась по комнате, похожая на птицу, которая еще только учится летать: движения робкие, неуверенные, а глаза смотрят все радостнее и радостнее. О чем она могла условиться за те короткие минуты, когда стояла наедине с телефонным аппаратом?

Должно быть, эта мысль пришла и мне и Гордееву одновременно. Он спросил:

— А найдут нас, если вдруг окажется, что можно лететь?

— Не беспокойтесь! — ворчливо ответил я.

Мне подумалось, что Марте уже не хочется лететь. Глаза ее мгновенно затуманились, но тоже не так, как это было утром. Сейчас просто пробежала тучка и рассеялась, а утром глаза были тусклыми, как у слепой.

На улице шел тяжелый, мокрый снег, и прохожие были похожи на причудливых белых гномов, которых снег пригибал к земле. Порой из переулка вырывался ветер, и тогда снег летел полосами, как нескончаемый театральный занавес, который тянут и тянут, а сцена все не открывается. Но стоило миновать переулок, как снег успокаивался и превращался в плотную завесу из падающих нитей, будто они тут же и прялись и ткались, и казалось, что вот они опутают и тебя, и здания, и весь город, и все станет неподвижным. Только, звеня и посвистывая, будет падать с крыш и из желобов вода — единственное, что остается вечно подвижным...

На огромной площади, которую невозможно было рассмотреть из-за снега, в низкое небо уперлась башня, стоящая так косо, что страшно было подойти к ней: вот-вот упадет. Башня сторожила вход в музей.

В здании было полутемно от пурги, залепившей окна,— мы выбрали не самое лучшее время для посещения картинной галереи. Обширный притвор бывшего храма, разделенный стендами, и широкие коридоры, и переходы были пусты, шаги наши звучали, как барабанный бой на площади.

С левой стороны я сразу увидел пресловутую «Месть девушки» неизвестного автора. Исполненное ужаса лицо поверженного мужчины, натуралистические струйки крови, злобно торжествующее лицо девушки, повернутое к покинувшему ее любовнику,— все было сделано на том пределе, когда трудно определить, искусство ли это, собственно, или только мазня. Скорее, все-таки мазня!

Меня поразило то, что большинство картин старой школы было помечено табличками «Художн. неизв.». Да и время написания картин толковалось слишком приблизительно: не десятилетиями, а веками: «XVI—XVII вв.».

Марта Кришьяновна сразу отделилась от нас: ушла в отдел национальной живописи. Я заглянул было туда, но ни картин Чюрлиониса, ни скульптур Петролиса там не увидел, а остальные меня меньше занимали. Я вернулся к Гордееву.

Гордеев подолгу стоял у той или иной картины, недовольно бормоча: «Подделка!» — или: «Неумелая копия!» — или: «Почему бы им не попытаться установить автора?» — и шел дальше, все больше мрачнея. Я спросил:

— Чем объясняется этот разнобой в определении авторства? Невниманием? Незнанием?

Гордеев сердито ответил:

— Здесь собрано все, что удалось отыскать в бывших помещичьих усадьбах. Нельзя забывать, что народ здесь долгое время жил без собственной государственности. Им пришлось начинать с пустого места. Но вы правы, многое можно было уже сделать! Смотрите, сколько картин нуждается в реставрации!

Он остановился у стенда и принялся разглядывать пятно, под которым висела медная табличка: «Женский портрет. Художн. неизв. XVII—XVIII вв.».

Светлое пятно отчетливо выделялось на грязно-сером фоне стены. Картину, должно быть, сняли недавно.

— Ну вот, видите,— заметил я,— все-таки кое-что реставрируют!

Я пошел дальше, уже без большого интереса разглядывая эти копии с копий и лишь изредка останавливаясь перед отдельными полотнами, в которых вдруг пробивалось пламя таланта. Таких картин было, к сожалению, мало.

Оглянувшись, я увидел, что Гордеев все стоит на том же месте, но теперь он что-то измерял на стене, вызывая недоверчивое изумление женщины-служительницы, до того спокойно дремавшей возле решетки калорифера, излучавшего тепло. Потом Гордеев вдруг оторвался от стены и торопливо направился к входным дверям галереи, где сидела в стеклянной будке кассирша.

Он поговорил о чем-то с кассиршей, получил у нее книгу, как будто каталог, заглянул в него и вдруг бросился ко мне. Я поспешно пошел навстречу.

— Вы узнаете это? — воскликнул Гордеев, протягивая каталог.

Я узнал. В каталоге под номером 86 была изображена «Женщина в красном», которую мы обнаружили в Риге.

Увидев творения Эль Греко один раз, их невозможно спутать с чужими. Но их зато легче и копировать, придавая ту же остроту трактовки или, как делал Эль Греко, сочетая, казалось бы, несоединимые цвета: розовое — с зеленым, черное — с изумрудным, серо-зелено-черное — с красным и так далее. Удлиненные овалы лиц, вытянутые фигуры — все остается в памяти. И на этой бесцветной фотографии из дешевого каталога мне чудились яркие краски только что найденной нами картины. Я, как и сам Гордеев, был убежден: это наша «Женщина в красном».

— Где директор галереи?— громче, чем следовало бы, спросил Гордеев у окончательно проснувшейся служительницы.

Она робко указала рукой. К нам уже спешил почтенный старец с окладистой бородой, развевающимися где-то далеко за спиною полами расстегнутого пиджака, должно быть, возмущенный нарушением чинной тишины, которое совершил Гордеев, топоча тут, как слон, и крича, как с глухими.

— Где у вас эта картина? — не понижая голоса, спросил Гордеев, протягивая директору каталог.

— Эта? — Директор пожевал губами, разглядывая нас достаточно неприязненно, но, наверно, наш взволнованный вид что-то сказал ему, так как он сдержанно ответил: — Восемьдесят шестой номер отправлен для реставрации в мастерскую профессора Гордеева в Москву! — и умолк, с достоинством ожидая, как мы объясним свой неуместный интерес.

— Н-не м-может б-быть! — заикаясь, выдавил Гордеев.

— Позвольте, с кем имею честь? — уже подозрительно спросил старец, не отводя глаз от бледного лица Гордеева. Я потянулся было взять Гордеева под руку — мне казалось, что он вот-вот упадет,— но Александр Николаевич отстранил мою руку.

— Я профессор Гордеев! — странно свистящим голосом сказал он.

— Разрешите мне взглянуть на ваши документы? — дрожащим голосом спросил директор.

Острые колени его заходили ходуном. Теперь мне уже подумалось, что двоих падающих в обморок мне не удержать.

Гордеев лихорадочно шарил по карманам, суя в руки директора паспорт, командировочное удостоверение, билет Союза художников, еще какие-то бумаги. Старик, мельком взглянув на документы, упавшим голосом спросил:

— Что-то случилось с картиной?

— Теперь я уже и сам не знаю, что с нею случилось! — Гордеев сунул бумаги обратно, потер мокрый лоб.— Покажите мне это требование! — попросил он.

Старик засеменил впереди, мы двинулись следом. Я все-таки взял Гордеева под руку. По-моему, у него подскочило давление и все шло кругом перед глазами, так неуверенно он шагал.

В кабинете директора, маленькой клетушке, выгороженной в бывшем алтаре храма, Гордеев бессильно опустился на стул да так и замер. Директор поискал в папках и передал ему документ.

Да, это было предписание директору музея отправить на реставрацию картину «Женский портрет. Художн. неизв. XVII—XVIII вв.», числящуюся в каталоге музея под номером 86...

Бланк, номер, число, текст, написанный на машинке,— все было подлинным. Гордеев узнал даже машинку мастерской, да и я помнил ее неровный шрифт: нам приходилось обмениваться разными документами с мастерской. Но вот подпись... Подпись была Гордеева, со всеми ее подробностями, с прочерком в конце фамилии, с перечеркнутой на трети высоты заглавной буквой, и, однако, это была подделка...

— Что... что случилось с картиной? — робко перебил наше тяжелое молчание директор.

— Картина найдена. Но мы даже не знали, что она из вашего музея.

— Найдена? Значит, она была похищена?

— Да.

Но теперь уже нельзя было остановить любопытство директора. К счастью, я вспомнил, что Марта Кришьяновна где-то блуждает одна по улицам и переулкам галереи, и отослал Гордеева к ней. Уходя, он предостерегающе шепнул:

— Ни слова Марте!

Но и мне самому не хотелось ничего говорить о происшедшем.

Проводив Гордеева, я спросил директора галереи:

— Откуда к вам попала эта картина?

— А разве это имеет значение?

— Теперь все, связанное с картиной, имеет значение...

Директор, охая и вздыхая, копался в инвентарных книгах. А мне больше всего хотелось выбраниться. Но как его бранить? Разве мог этот чинный и вежливый человек предположить, что за вверенными ему ценностями ведется охота? И все-таки я не мог простить ему того, что он, пятнадцать лет проходя не однажды в день мимо «Женщины в красном», ни разу не подумал: «А чьей кисти может принадлежать эта картина?» Ведь теперь имеется не один десяток способов помочь ему в определении авторства! И рентгеновское просвечивание, и фотографирование ультрафиолетовыми лучами, и, наконец, перенос картины на другой холст могли бы многое подсказать вдумчивому исследователю... А он заприходовал бесценное произведение искусства и ограничился этим! А сколько у него в галерее висит еще картин, авторы которых «неизвестны», как он пишет на медных и жестяных пластинках с инвентарным номером...

Директор прекратил свое копание в пыльных книгах и равнодушно сказал:

— Картина поступила к нам восемнадцатого августа тысяча девятьсот сорокового года из Брегмановского антиквариата. В начале войны была эвакуирована со всеми ценностями музея в Кировскую область...

— Что это за антиквариат?

— В Прибалтике действовала фирма «Брегман и К°» по торговле антикварными предметами и картинами. В нашем городе находился филиал фирмы, который был закрыт при передаче торговых контор и крупных магазинов государству.

— Почему картина была определена как итальянская и без указания автора?

— Вероятно, со слов продавца или директора фирмы...— Он пожал плечами.

— И вам никогда не приходило в голову попытаться определить автора?

— О боже мой!.. Тогда было получено столько всяческих подделок, что это никого не могло интересовать...

— Однако же, как вы видите, кого-то это интересует! Кстати, вы не знаете, художник Герберт Брегман имеет какое-нибудь отношение к этой фирме? К ее владельцам?

— Если и имеет, то весьма отдаленное. Сколько я знаю, главная контора компании всегда находилась в Лондоне...

Я невольно присвистнул.

— Но она, по-моему, лопнула или влачит самое жалкое существование,— успокоил меня директор.— Мы уже много лет не получаем никаких проспектов этой фирмы.

Я его почти не слушал. Дело оборачивалось самым странным образом. Где-то в Лондоне живет некто, кто знает наши сокровища лучше, чем мы сами. Кто знает, не обнаружим ли мы еще не одну пропажу?

Я довольно грубо посоветовал:

— Постарайтесь усилить охрану вашей галереи. И пригласите экспертов! Очень может случиться, что среди тех картин, авторы которых для вас неизвестны, найдутся такие, авторство которых определить совсем нетрудно. Лучше сделать это вам самому, а не через уголовный розыск по поводу новой пропажи...

Марта Кришьяновна и Гордеев стояли среди зала, ничем больше не интересуясь. Завидев меня, Марта Кришьяновна сказала:

— Я устала и замерзла. Пойдемте домой...

Вспомнив утренний звонок по телефону, я подумал: «Ей скоро нужно быть в городе в определенном месте».

Муж мог отпустить ее. Но я был другом ее мужа, у меня было больше права беспокоиться о них обоих. И я не хотел, чтобы Александр Николаевич сдавался без борьбы.

Площадь была по-прежнему затянута дрожащей, колеблющейся пеленой снега. Мир ощутимо сжимался, его границы не превышали границ площади. Только вверх по течению реки угадывался в сером сумраке огромный купол католического собора.

Падающая башня, казалось, наклонилась еще ниже.

— А не зайти ли нам в собор? — тоном заправского гида спросил я.— Будет стыдно, если мы не посетим этот выдающийся архитектурный памятник...

Гордеев, занятый своими мыслями — я-то знал, какими! — только безмолвно кивнул. Марта Кришьяновна хотела возразить, но я уже взял ее под руку и повлек к стоянке такси.

Машина затормозила у заснеженного входа. Рядом стояли два экскурсионных автобуса. Когда молебствия в храме кончались, им безраздельно овладевали туристы.

Распахнулась дверь, и повеяло мертвящим холодом. Причт храма, как видно, экономил на отоплении. Огромная каменная чаша для омовения рук была покрыта льдом. Светильники перед иконами и статуями были погашены. Свет лился только сверху, точно с неба. Но при таком освещении храм производил еще более величественное впечатление.

Я шел вслед за Гордеевым и думал: если он старше, то должен быть по крайней мере умнее, с более сильной волей, выше духом, чем его молодой соперник. А он боится воевать и едва ли сумеет победить в этом соревновании. Лучше бы ему жениться на тихой, спокойной женщине «сорока с лишним лет...», как говорил когда-то Есенин, может быть, та посчитала бы себя «облагодетельствованной» и вечно таила бы в своей душе благодарность к человеку, избавившему ее от одиночества...

Они шли по храму, как слепые, не поднимая глаз, и я уже отчаялся, что смогу привлечь их внимание к этой чудесной лепке на стенах и колоннах, к этим статуям, вылепленным доморощенными мастерами, оставившими на каждой из них свой родовой знак как подпись, как самоутверждение. Вот один из этих мастеров лепил гроздья винограда и лавровые венки, а внутрь этой лепки вписал плетеную домашнюю сумку из корневищ сосны, в какой приносил сюда свой нехитрый обед. Вот другой, закончив хитрое альфрейное витье из роз, оставил внизу вместо подписи скрещенные топор и рыбацкую остроту, чтобы потомки знали: его фамилия Плотник, а занимался он рыбацким делом, эту же работу во славу бога выполнял лишь по обету или по приказу ксендза. Третий неведомый художник, писавший маслом младенца в хлеву, собрал овец возле кормушки, и написана эта кормушка из ивовых прутьев куда тщательнее, чем лица волхвов, пришедших поклониться младенцу. Кормушку-то художник видел ежедневно, а что ему было до волхвов?

И все-таки нельзя было отказать этим неведомым художникам в величественности. Статуи Христа и девы были огромны и массивны, как идолы древней религии, на смену которой пришло христианство. Приготовленные для выноса в процессиях хоругви напоминали цеховые знамена: столько украшений было навешано на них. Да и среди изображенных на стенах картин-икон наряду с итальянскими или польскими работами попадались картины-иконы местных художников, поражавшие вдруг возникающим местным сельским пейзажем, равниной или рощицей березок, полем жита или льна...

Я пытался привлечь внимание Гордеева и Марты Кришьяновны к этим внезапным, как проблеск молнии, прихотям живописцев, но они оба равнодушно отводили глаза. Наконец мне показалось, что в самом движении этих непослушных туристов есть какая-то система, я вдруг увидел, что они все время идут по кругу, тщательно обходя густую толпу экскурсантов, собравшихся возле одной из колонн, и в то же время неуклонно приближаясь к толпе,— совсем, как мальчишки, что ходят возле оставленного взрослыми запретного предмета, все суживая круги, чтобы вдруг броситься коршуном и завладеть.

Я прошел к колонне.

На небольшой стремянке, приставленной к колонне, стоял художник и резкими, точными движениями обновлял старую икону. Он стоял спиной к безмолвной толпе, и только по широким плечам я узнал Брегмана.

Он, видимо, торопился, а может, внезапно нагрянувшие экскурсанты раздражали его, и потому работал чисто механически. Впрочем, основное — голова мадонны, ее плечи, руки, скрещенные на груди,— было готово, сейчас художник обновлял фон. Выдавив из разных тюбиков краски на палитру, он размазывал их не кистью, а мастихином и наносил жирные точные мазки, накладывая слой на слой, как будто не писал, а лепил плоскость. Еще мазок, еще, вот еще три-четыре мазка, и бледный, выцветший уголок иконы закрашен, даже не закрашен, а залеплен жирными полосами и пятнами, не сливающимися одно с другим, наплывающими одно на другое. Вот он содрал мастихином оставшиеся краски с палитры, подумал и наложил все это несмешанное пятно в самый угол, провел мастихином для верности еще раз, сглаживая, и оно вписалось в фон, как булыжник на площади, где стоит мадонна. Да, глаз у художника был острый и верный, камень под ногами мадонны заблестел, как только что отмытый дождем или ее слезами, смуглый, опаленный солнцем. Насколько я мог судить, икона была кисти одного из итальянских мастеров: мадонна стояла на площади маленького старинного городка, может, того самого, где только что осудили и заточили ее сына. За спиной мадонны видна крепость или тюрьма, а мать обратила лицо к зрителям, словно жалуясь им.

Художник собрал свой нехитрый инструмент и спрыгнул с лесенки.

В этот миг он увидел нас.

Прежде всего он взглянул на часы. Я понял: увлеченный работой или обязанный закончить ее, он забыл о времени и удивлялся тому, что его нашли здесь. Потом перевел взгляд с Марты на нас и торопливо задернул шитым покрывалом икону, словно именно мы были недостойны смотреть на нее. Сняв с руки палитру и бросив ее на стоявший возле стремянки столик, он вытер руки заткнутой за пояс тряпкой, дружелюбно улыбнулся и насмешливо спросил:

— Пришли посмотреть, как работают современные богомазы?

Но визит наш был ему не по душе, это стало понятно, когда он оглянулся, чтобы посмотреть, хорошо ли закрыта икона.

— Это все наш гид виноват,— неловко пробормотал Гордеев, кивая в мою сторону.— Пойдемте да пойдемте, покажу вам собор.

Он оправдывался, когда следовало нападать! Марта молчала. Взгляд ее беспокойно скользил по храму, останавливаясь то на зарешеченных отдушинах исповедален, к которым приникают верующие губами, чтобы исповедник не видел их выдающих прегрешения лиц, то на каменной чаше для водосвятия, возле которой остановилась какая-то только что пришедшая верующая, тщетно пытаясь окунуть руки в покрытую прозрачным льдом воду. Брегман поискал взгляда Марты, но та сделала вид, что не заметила этого.

— Что же, пойдемте отсюда! — предложил Брегман.— Холод здесь адский, раем и не пахнет! Не будь нужды в деньгах, ни за что бы не согласился! Еще воспаление легких наживешь!

Он говорил это просто, безлично, но я видел, каких усилий стоило ему это безличие. Подняв край покрывала, я взглянул на смуглый булыжник, только что возникший на моих глазах из ничего и смешанной краски, спросил:

— Вы всегда мастихином пишете?

— Нет, конечно, но когда тороплюсь, то мажу. Быстрее! — односложно пояснил он. Взгляд его все время беспокойно скользил по лицу Марты, по ее согнутой фигуре, но не мог встретить ответного взгляда.— Так что же мы, собственно, стоим? — настойчиво спросил он снова.

— Да мы уже все видели! — неопределенно ответил я.— Можно и уйти!

Брегман как-то подозрительно взглянул на меня, но промолчал. Он сунул палитру, тюбики с красками и кисти вместе с мастихином в ящик столика, еще раз вытер руки, вынул из кармана своей куртки берет, опять оглядел нас, напомнил:

— Так пошли?

Мы двинулись за ним.

Окончание следует.

Николай АСАНОВ

Мадонна благородная

Повесть

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

8

Ухода в костел экскурсанты шумно усаживались в автобусы. Стало как будто светлее. Я заметил, что ветер утих.

Такси, на котором мы приехали, ушло. Мы двинулись пешком.

По-видимому, Брегману было неловко от нашего принужденного молчания, а может, он хотел привлечь внимание Марты, только он сразу заговорил. Говорил он беспорядочно, перескакивая с одного на другое, и я видел: это для того, чтобы не молчать. Молчание предполагает мысль. Он не хотел, чтобы мы о чем-то думали.

Возле падающей башни я остановился.

— Я еще зайду в музей,— сказал я.— Все-таки там есть несколько заслуживающих внимания картин: «Месть девушки», «Голова монаха», «Женщина в красном»...

— Плохое освещение сегодня,— спокойно возразил Брегман.

Я невольно сжался, так естественно он это сказал. И тут же он добавил:

— Впрочем, я давно там не был и не видел новой экспозиции.

— Господи, и вам не надоело? — с унынием в голосе спросила Марта.— Мы же только что мерзли там битый час!

Брегман взглянул на меня, но я смиренно опустил глаза.

— А что это за «Женщина в красном»? Я совсем не видела...— непоследовательно заинтересовалась Марта.— Но я туда не пойду! И не зовите! — решительно возразила она вслед за этим и обратилась к мужу: — Пойдем в «Балтику», там хоть тепло...

Александр Николаевич, безучастно слушавший наш разговор, вдруг бросил на меня острый взгляд, затем кивнул мне головой и, взяв жену под руку, неторопливо пошел с нею и Брегманом. Я видел, что Брегману очень хочется последовать за мной, но Марта что-то защебетала, и он послушно пошел рядом.

Возвращаться в музей я не стал, а взял такси и снова поехал в собор. Туристы уже откочевали куда-то в другое место, и никто не мешал мне.

Отдернув штору с реставрируемой иконы, я долго рассматривал работу мастера. Она так заинтересовала меня, что я сделал несколько снимков моим маленьким фотоаппаратом, останавливаясь на тех деталях, по которым только что прошелся Брегман. Если снимки получатся, то о манере реставратора можно будет написать целую статью.

Затем я отыскал ксендза, который командовал этим кораблем христовым, плывущим по бурным волнам светской жизни. Ксендз оказался совсем еще молодым человеком. Жил он при соборе в отличной квартире, которую стерегли и обхаживали две почтенные матроны, вероятно, из «бывших», как называли когда-то у нас людей, потерявших в результате революции все свои привилегии.

Ксендз показался мне весьма осторожным и сдержанным человеком. На мои вопросы отвечал уклончиво, однако когда я осведомился, есть ли в соборе какие-нибудь особо ценные произведения живописи, вдруг заволновался. Очевидно, мои документы подсказали ему, что вопрос я задал не из любопытства...

— Я с удовольствием покажу наш храм,— живо сказал он.

Это был умный гид. Он не стал рассуждать об архитектуре и росписи собора, просто повел меня к алтарю и отдернул одну из штор, которыми были прикрыты иконы.

Передо мной было небольшое полотно, изображающее явление Христа в Эммаусе. Для тех, кто не знает евангельских легенд, поясню: Христос воскрес на третий день после казни и в Эммаусе встретил своих учеников. Когда об этом сообщили апостолу Фоме, он и произнес свои знаменитые слова о том, что, пока не вложит свои персты в раны учителя, он не поверит в его воскресение... Как мы видим, реализм и тогда боролся с мистицизмом!

Из всех картин, посвященных этому драматическому евангельскому сказанию, лучшей, вероятно, является картина Рембрандта «Неверие Фомы». Но и то, что я видел, было написано отлично. Христос предстал перед учениками не человеком, а тенью, в профиль от зрителя, и ученики не могут скрыть своего потрясения. Они боятся этой тени!

Снять картину ксендз не соглашался: она была вмонтирована в стену на шипах. Головка шипа скрыта в раме под позолотой, а шпора, сделанная под углом, врезана в кладку и затем заштукатурена. Но на этот раз я сам был похож на Фому неверующего. Сделав шаг вперед, я осторожно потрогал раму. Она с д в и н у л а с ь.

Ксендз побледнел примерно так же, как бледны были ученики на картине, увидевшие Христа. Бросившись ко мне, он резко толкнул раму — она висела на одном болте. Остальные были разрезаны тонкой пилкой. Очевидно, похитителю что-то помешало закончить работу...

Больше мне нечего было делать в храме. Я был уверен, что ксендз или снимет икону, или поставит возле нее самого дюжего из верующих. Своих подозрений я ему не высказал...

В «Балтику» я не пошел. Не хотелось глядеть на несчастное лицо Гордеева. Да и у Марты, я думаю, вид был не очень счастливый: ведь мы уезжали.

В «Вечерних новостях» мне показали маленькую клетушку, в которой «отписывался» Галиас, если он вообще хоть что-нибудь писал для газеты. На сей раз Галиас был там. Конечно, он не писал, а просто разглядывал в маленькое карманное зеркальце свое лицо,

---

Окончание. См. «Огонек» №№ 38, 39, 40.

особенно синяк под глазом. Я думаю, только этот синяк и удерживал его на службе, а то мне пришлось бы искать его с собаками.

Жалобно поглядев на меня, Галиас спросил:

— Ну, можно ли идти с таким лицом на свидание?

— Дня три придется посидеть дома,— ответил я.— Но если она любит...

— Врет! — уверенно ответил Галиас.— Это Криста, та, беленькая, что танцевала с медведем Яном. Она была год или два женой Брегмана, и я подумал...

— Тогда идите! — весело посоветовал я.— Она сочтет вас рыцарем! Особенно, если вы скажете, что все это устроил Брегман из ревности. И посмотрите, не осталось ли у этой Кристы каких-нибудь работ Брегмана. А пока проявите мне пленку и сделайте несколько пробных снимков...

Когда снимки были высушены, я разложил их на столе и бросил рядом фотографию «копии» с «Мадонны Благородной», которую ловкий похититель оставил вместо картины. Галиас невольно присвистнул.

— А ведь манера похожая! — воскликнул он.

Да, было сходство в мазках и даже в излюбленных оттенках, которые избирал художник. Я коротко рассказал о пропаже картины и о том, как мы нашли вместо «Мадонны Благородной» «Женщину в красном», которая якобы отправлена на реставрацию в мастерскую Гордеева, где ее никто не видал. Галиас невольно заторопился на свое свидание...

Не меньше часа просматривал я комплект «Вечерних новостей». Я узнал много любопытного: о «флирте цветов», который выпущен местным картонажным комбинатом по цене в десять рублей за комплект на потребу мещан; прочитал репортаж о десятке разных уголовных дел; узнал в «Уголке фенолога», что уже прилетали жаворонки, но откочевали обратно в связи с внезапными заморозками и метелями... Одним словом, тут было все, что положено печатать вечерней газете.

Вернулся Галиас. Он, открыв дверь, подмигнул мне, отчего по синяку пробежала фиолетовая тень, и исчез. Но мне сразу стало легче ждать.

Минут через двадцать он вернулся и швырнул веером на стол с десяток только что отпечатанных фотографий, еще мокрых от промывки. Я склонился над ними.

Это были фотографии картин, эскизов, набросков.

— Когда вы это успели? — удивился я.

— Попросил Кристу сходить за вином. Она, верно, сейчас удивляется, что я исчез, но я оставил записку, что приду попозже: срочно вызвали в редакцию...

Даже и черно-белые фотографии показывали искусство мрачное, жестокое, с модернистскими преувеличениями теней, угловатости, величины мазка. Представлялось, что перед нами не работа кистью, а лепка красками, которые художник берет ножом или лопаткой и швыряет на полотно, мало беспокоясь, как они прильнут к грунту и в каком порядке лягут. И все-таки это была работа талантливого художника...

Взгляд мой вдруг прицепился к одному из снимков, и я уже не мог оторваться. Это был хаос пятен, из которого, как птенец из яйца, проклевывался какой-то знакомый мне образ, почти неуловимый и в то же время заставляющий думать, искать, ждать, пока он проявится совершенно и вдруг встанет во весь рост. Я смотрел и смотрел на этот хаотический набросок, словно бы толкая его к пробуждению, к действию, к жизни, и вдруг отдельные пятна слились в отчетливые ассоциации, неприметные ранее линии объединились и потекли по всей картине, соединяя отдельные клочья и пятна, брошенные художником на холст, и я воскликнул вслух:

— Да это же незаконченная копия «Женщины в красном»!

— Чепуха! — уверенно сказал Галиас.— Это портрет Гордеевой!

— Портрет? — Я взглянул на Галиаса.

Он упорно смотрел на фотографию. Потом оторвался от нее, пошарил по столу, сказал:

— Вернее, набросок портрета Гордеевой. Как и вот эта работа...— И положил рядом со своим снимком мой снимок «копии» «Мадонны Благородной».— Неужели вы не видите, что это наброски одного и того же портрета? Если бы художник довел дело до конца, то даже из этой мазни получились бы два приличных портрета одного и того же человека — Марты Кришьяновны.

Теперь, когда он убедил меня, я и сам видел это.

Но я знал и другое: этой «мазней» можно было подменить «Женщину в красном», как подменили «Мадонну Благородную». И только Брегман мог это сделать, но почему-то не сделал. Возможно, дежурная сидела слишком близко. Помнится, отверстие калорифера, у которого грелись сотрудники галереи, находится как раз напротив. К калориферу постоянно подходили погреться и другие сотрудники: огромное здание галереи отапливалось плохо. А может быть, идея отправки картины на реставрацию возникла во время одной из встреч с Мартой...

Для меня главным было то, что среди работ Брегмана имелась «копия» украденной картины «Женщина в красном», пусть и незаконченная, несовершенная, но исполненная в той же манере, что и «копия» «Мадонны Благородной». А психологическую разгадку, почему на обеих этих «копиях» проглядывает лицо Марты, должен решать Гордеев.

Но, видно, я не сумел скрыть своего огорчения, потому что Галиас вдруг потупил взгляд. Больше он не высказывал никаких догадок. Собрал сырые снимки, обработал их спиртом, сложил меж листами пропускной бумаги и вручил мне. Я нехотя собирал свои «доказательства», почему-то вдруг переставшие меня радовать. Присоединив их к тем снимкам, что дал мне Галиас, я торопливо попрощался и ушел.

Когда я вернулся в гостиницу, Гордеевы были уже дома. Самолет отлетал через час.

Не знаю, о чем говорила Марта с Брегманом, но мы снова увидели художника на аэродроме. Он стоял у кассы, регистрировал билет. Нам он непринужденно сказал, что решил взять неделю отпуска в соборе, чтобы восстановить в памяти работы Рублева.

— Уж если обновлять иконы,— посмеиваясь, иронизировал он над собой,— так делать это с блеском! А кто писал иконы лучше Андрея Рублева?

Гордеев мрачнел все больше, Марта смущалась, а я был даже рад. Я надеялся, что в Москве Брегман окажется под более строгим присмотром. Деятельность этого «мастера» мне все меньше нравилась...

9

В Москву мы прилетели ночью. Брегман попрощался с нами на аэродроме и сразу исчез—вещей у него не было, кроме маленького ручного чемоданчика,— а нам пришлось долго ожидать разгрузки самолета. Если он о чем-нибудь и сговорился с Мартой, то незаметно; пока Гордеев таращился в ночное небо из окна самолета, подчеркивая перед женой свое благородство, я, человек незаинтересованный, потихоньку приглядывал за Брегманом. С Мартой он не разговаривал.

Рано утром я был в мастерской у Гордеева.

Марта чувствовала себя плохо и не собиралась выходить из дома, это сказал Гордеев. Сам он был очень встревожен: картина неизвестного художника «Женщина в красном» действительно поступила в одной из посылок в мастерскую, ее видел экспедитор, видел регистратор. Регистратор записал картину за начальником мастерской. Почему он записал ее за Гордеевым, он не помнил, может, потому, что Гордеев любил такие работы, и регистратор знал это, а может, получил устное распоряжение от самого Гордеева или его заместителя... Во всяком случае, после этого картину никто не видал.

В нашем управлении новости были тоже плохие. «Мадонна Благородная» не появлялась. «Женщина в красном» была сдана на комиссию по подложному паспорту: И. Н. Ивановой в природе не существовало. То есть были разные люди с этой фамилией, но не было той, которая предъявила паспорт при сдаче украденной картины в магазин. Оценщик магазина заявил, что картина предлагалась по дешевой цене, можно было рассчитывать на покупателя, а тут же полученные комиссионные для магазина считаются удачей. Картина была в довольно плохом состоянии, о подлинности вопрос не стоял — ясно, какая-то грубая копия. Картину он помнил: непривычно удлиненные линии лица, резкий, как будто рукой ребенка написанный колорит. Почему он так хорошо помнит? Право, не знает! Что? Подлинник Эль Греко? Да бросьте вы шутить, товарищи!

Оставив Гордеева в кабинете, я пустился в путешествие по мастерской.

В мастерской вкусно пахло воском, медом, смолой. На длинных деревянных столах лежали гладкие мраморные плиты, на которые укладывают картины при реставрации. Тут картины проклеивали, проглаживали, медленно и осторожно снимали с изнанки старое полотно, как будто сдирали кожу, чтобы, когда на мраморной плите останется только слой краски, в давние годы нанесенной мастером, наложить на этот слой новое полотно, приклеить и дать картине вторую жизнь.

Работали человек двадцать. Они неспешно, но очень ловко возились возле длинных столов, не обращая на меня внимания, как если бы я был тенью, и только когда эта тень закрывала картину, они осторожно обходили меня.

Я зашел в запасник, где висели и лежали на стендах обновленные картины, приготовленные к отправке в музеи и галереи. С удовольствием осматривал я как бы помолодевшие полотна.

Внезапно все мое внимание сосредоточилось на одной из картин. Я еще не понимал, чем она привлекла меня: очередная голова какого-то святого — не то Иоанна Крестителя, не то какого-то пророка. Но у меня было примерно такое же ощущение, какое охватывает охотника перед встречей со зверем. Он еще не видит и не слышит затаившегося зверя, еще и собака не взлаивает, однако нервы напряглись, он чувствует: сейчас что-то произойдет... Не знаю, передал ли я это ощущение, но знаю, что часто испытывал его в лесу, и именно перед удачным выстрелом.

Широко известен анекдот об одном великом художнике, который в ответ на жалобу ученика, что вот картина написана, а все выглядит неживой, взял кисть и тронул ею написанное учеником полено возле очага. И произошло чудо: ожила вся картина, все фигуры людей, огонь в очаге, даже предметы домашнего обихода, еле намеченные учеником, стали достоверными. Был, видно, и в висевшей передо мной картине такой секрет, ничем другим не мог я объяснить, почему именно это полотно так притягивало меня.

Я принялся оглядывать картину методично, медленно, начисто отрешившись от того, что было на ней изображено. Так осматривают комнату, в которой совершено преступление,— начиная от двери, сантиметр за сантиметром, занося в акт все, что постепенно попадает в поле зрения: коврик у порога, уроненный стул, дамская шпилька, диван, окурок у ножки стола.

Сантиметр за сантиметром оглядывал я заинтересовавшую меня картину и не находил ничего примечательного. Во всяком случае, такого чуда, о котором говорилось в приведенном анекдоте, тут явно не было. Обыкновенная картина, и только!

Я добрался до нижнего правого угла, «читая» картину примерно так же, как читают криптограмму, тайнопись, и ничего не видя. В этом углу полотна светло-коричневый фон, на котором была написана голова, постепенно переходил в глухой, черный цвет. И вдруг я у в и д е л. Фон был тоже подновлен, но мазки тут были другие: широкие, гладкие, словно их наносили не кистью, а брали краску просто комьями и потом раздавливали и разглаживали ножом. Или мастихином, как делал это Брегман в соборе.

— Кто реставрировал эту картину? — спросил я у экспедитора, готовившего картины к отправке.

Экспедитор, тщедушный человек, в синем, не по росту, халате, и без того уже напуганный предыдущими расспросами, долго копался в бумагах, потом с видимым облегчением ответил:

— Марта Кришьяновна...

— Бывают случаи, когда художники остаются в мастерской после рабочего дня?

— Конечно. Особенно, если есть срочная работа.

— Марта Кришьяновна задерживалась?

— Наверно. Точно я не знаю, но это можно выяснить у сторожа. Он опечатывает дверь, когда все уходят...

— Снесите картину в кабинет директора,— попросил я.

Гордеев сидел в полной отрешенности от мира и, судя по раскиданным на столе бумагам, от дел своей мастерской. Он не обратил внимания и на служащего, поставившего картину у стены.

— Ну, что вы еще нашли? — неприязненно спросил он меня.

Я понимал, как неприятно ему было видеть меня. Вряд ли вообще кому-нибудь приятно видеть постороннего человека, разрушающего твой собственный, пусть и не очень уютный мирок. Но жалеть Гордеева я не мог. Слишком дорого могла обойтись такая жалость. Я спросил:

— Брегман бывает в мастерской?

— Нет,—удивленно взглянув на меня, ответил он.

— Кто работал над этой картиной? — спросил я, поворачивая холст к свету.

— Марта...

— Давно?

— Недели две-три назад.

Он постепенно обретал спокойствие.

Я поставил картину перед Гордеевым и спросил:

— Марта работает мастихином? Да еще при восстановлении картины?

Взгляд его, как недавно и мой, скользил по картине, твердый, словно бы ощупывающий, и вот споткнулся, замер. Я понял: он увидел то же самое, что увидел и я.

— Значит, она с ним встречалась! — хрипло сказал он.

— Да! И именно тогда, когда был послан подложный вызов на «Женщину в красном», когда картина пришла сюда, когда она исчезла... В тот день, когда Брегман заполучил картину, он очень торопил Марту... Вот почему он сам помогал ей «доделать» эту работу.

— Значит...

Я понял, о чем он не договорил. И поторопился успокоить его:

— Марта ничего не знала. Брегман уговорил ее встретиться в мастерской. Он так умело разыгрывал роль влюбленного, что она поверила.

— Какой подлец! — У Гордеева перекосилось лицо.— Но ведь, значит, и «Мадонна Благородная» у него! — вдруг спохватился он.— Что же вы сидите здесь? Брегман может просто уничтожить картину, как опасную улику...

— Не думаю. Вероятно, он уже передал ее. И приехал сюда именно потому, что возникли какие-то осложнения с вывозом. Заказчики не простят ему исчезновения шедевра. Скорее всего, от него потребуют, чтобы он сам умудрился доставить картину через границу. Опыт с «Женщиной в красном» показал, что таможенная служба не спит...

— Но ведь он действует! — яростно воскликнул Гордеев.

— Конечно! — согласился я.— И, возможно, Марта Кришьяновна помогает ему.— Увидев, что Гордееву не хватает воздуха, что он вот-вот задохнется, я торопливо добавил: — Конечно, без умысла! Как без умысла помогла ему заполучить «Женщину в красном».

Гордеев поднял трубку телефона.

Я знал, что он звонит домой, и знал, что он не дождется ответа. И опустил глаза, чтобы не видеть его лица.

Он прослушал с десяток длинных, тоскливых гудков. Думаю, что они звучали для него, как рев пароходной сирены в тумане, когда корабль вот-вот наткнется на скалы. Когда коротко звякнул рычаг под опущенной трубкой, я взглянул на Гордеева и не узнал его. Лицо стало землисто-серым, словно он уже побывал на том свете и возвращение было более мучительным, чем сама смерть.

Но это был боец, который мог бы победить и самое смерть. Едва переведя дыхание, он строго спросил:

— Что надо делать?

— Съездим в управление. Пора подытожить наши догадки и доказательства.

Он встал из-за стола, застегивая пиджак негнущимися пальцами, молча оделся и вышел первым. Шел он так, словно покидал свою мастерскую навсегда. Оглядел кабинет, в проходной мимоходом провел рукой по стоящей на мольберте картине какого-то передвижника, словно приласкал ее. Я сердито сказал:

— Не делайте трагедии из пустяков!

Выйдя из помещения, он оглянулся, грустно спросил:

— Вы думаете, это пустяки? Я потерял все: дом, работу...

— Ерунда! Никто вас ни в чем не обвиняет!

— Я сам себя обвиняю! — резко ответил он.

— Ну и напрасно!— Я не хотел больше сдерживаться.— Вы должны были бороться! Когда вы увидели, что этот хлыщ сбивает Марту с пути, вы были обязаны удержать ее! Впрочем,— тут я нарочно сделал паузу,— вы и сейчас еще имеете такую возможность...

Он сделал вид, что не слышит, но я не желал уступать. Усаживая его в машину, я преувеличенно грубо сказал:

— Стоит доказать, что этот ее избранник — подлец, и Марта отвернется от него...

— К кому? — спросил Гордеев.

— К вам! К вам!—Я был готов избить его за это глупое «непротивленчество». Неужели он не видел, как мучилась его жена все это время? Ведь ей тоже не просто было сделать выбор. Не могла же она не понимать, что тот, другой, себялюбив, жесток, властен. Чем, как не приказом, действовал он, когда захотел сделать ее своей сообщницей? Да и сообщница ли Марта ему? Может быть, она так же обманута, как и все мы?

Но Гордеев не желал слушать меня. Этакое гордое самоуничижение, та простота, которая хуже воровства. Я продолжал, злясь все более:

— Если вы не бросите это глупое донкихотство, клянусь, я не приду к вам, когда вы будете праздновать освобождение от злого духа...

— Злой дух не оставляет своих жертв.

К счастью, машина уже остановилась, а то кто знает, до чего бы мы договорились. Я вспомнил о том, что обязан изображать хозяина.

Начальник управления ждал нас.

— Ну-с, что мы теперь знаем об Эль Греко? — спросил он.

Я подивился его самообладанию. В конце концов мы знали не так уж много.

Но на Гордеева этот спокойный тон подействовал, как холодный душ. Может, мы слишком близко ходили возле огня, потому он и обжигал нас? А издали пожар был виднее и не казался таким опасным?

Выслушав мои предположения, начальник сказал:

— Может быть, вы и правы. Мы получили вашу телеграмму и установили наблюдение за вашим подопечным. В одиннадцать часов утра он встретился в том же магазине с одним иностранцем и о чем-то поговорил с ним, был весьма озабочен. В два часа дня у него состоялось еще одно свидание... с молодой дамой... Они прошли к нему в гостиницу...

— Моя жена...— словно выдохнул Гордеев.

— ...были там не больше десяти минут. Дама вышла очень взволнованная, ваш же подопечный держался значительно спокойнее. Они позавтракали в кафе; если учесть, что подопечный еще ничего не ел, это был завтрак, хотя и пополудни. Из кафе дама направилась домой, подопечный зашел вместе с нею в квартиру, пробыл там полчаса. После этого он поехал в кассу Аэрофлота и взял билет на вечерний самолет. Сейчас...— начальник взглянул на часы,— он уже летит домой...

— Зачем же он приезжал? — с досадой воскликнул я.

— А установить это — ваша обязанность,— довольно сухо ответил начальник.— Можете попросить товарища Гордеева помочь вам. Если он уверен, что дама, с которой встречался ваш подопечный, его жена, он имеет право спросить, о чем они говорили в гостинице, затем в кафе и в его доме. Но для нас значительно важнее выяснить, где «Мадонна Благородная». В вещах Брегмана, сданных на аэровокзале, ее не было, хотя иностранец передал Брегману при встрече какой-то сверток, похожий по форме на альбом или книгу большого размера, примерно in quarto.

— Почему же этот предмет не изъяли? — спросил я.

— А если это был просто чистый холст? Или картина самого Брегмана, возвращенная за ненадобностью? Или предложенная на реставрацию картина из частной коллекции этого господина? Альбом рисунков? Книга по искусству? Если заходить в своих подозрениях так далеко, так ведь и навестившая Брегмана дама имела в руках довольно объемистую сумку из этих ультрамодных, величиной с добрый чемодан. Следовательно, она тоже могла унести разыскиваемый предмет... Прикажете обыскать и ее? Думайте-думайте, тут я вам помочь ничем не могу...

Мы ушли от начальника расстроенные, огорченные, я бы сказал, злые. Только на улице мы осмелились обменяться взглядами,— все казалось, что у другого легче на душе. Нет, Александр Николаевич чувствовал себя не лучше.

— Поедемте ко мне,— вдруг жестко сказал он.— Я должен поговорить с Мартой.

Мне подумалось, что в таком разговоре третий всегда лишний. Но в то же время стало жаль Марту Кришьяновну. Гордеев мог наговорить много ненужного. Я ответил согласием.

10

Марта встретила нас несколько растерянно, но сразу захлопотала с обедом, принялась накрывать на стол. Она входила и выходила из столовой, где мы сидели, успевая перебросить со мной и мужем непринужденной шуткой, вопросом, не обращая внимания на нашу мрачность, а я мучительно думал, с чего и как начнет Гордеев свой разговор. И в то же время было странно видеть эту женщину веселой, оживленной, нежной — словом, такой же, какой была всегда, хотя она только что предала мужа, если можно говорить такими высокими словами о супружеской неверности. Ведь она только что простилась с другим...

Я встал и принялся бродить по квартире, чтобы хоть как-то рассеять все возрастающую неловкость.

В кабинете Гордеева я перелистал несколько книг, поглядывая через распахнутую дверь на своего друга. Гордеев сидел в столовой у журнального столика в глубоком кресле, тяжело опустив голову. На вопросы Марты он отвечал односложно.

Ставя какую-то книгу на полку, я нечаянно взглянул на стену и увидел портрет Марты. Он висел в центре стены, одинокий, строгий, написанный в непривычной для Гордеева манере — яркими красками, не соответствующими друг другу по тону, небрежно, словно наспех, но в то же время прочно передающей сходство, как, скажем, негатив, в котором все тона даны наоборот, передает наше представление о формах предмета и о его характере. Эта импрессионистская работа была столь непривычна в чопорной, сдержанной атмосфере кабинета, где все, вплоть до переплетов книг и шкафов темного дерева, попахивало академией, что я невольно воскликнул:

— С каких это пор, Александр Николаевич, вы стали модернистом?

Гордеев воспользовался поводом, чтобы оставить Марту, и прошел ко мне.

— Ложные подозрения! — ворчливо ответил он.— Никогда не увлекался модами.

— А портрет Марты Кришьяновны?

— Мне с ее портретами не везет. Сколько ни принимался, все получается не то...

— Как? И этот вас не устраивает?

Я так удивленно взглянул на стену, что Гордеев невольно поднял глаза. Увидев портрет, он сделал движение, словно намеревался сорвать его или хоть потрогать, чтобы удостовериться в реальности.

— Ее портрет! — словно все еще не веря глазам, произнес он.

И тотчас же из-за двери послышался милый, удивительно веселый возглас:

— Заметили наконец? Ну, как он вам нравится?

Марта встала на пороге, теребя кокетливый передничек. Она была взволнована, горда, счастлива. Не замечая взвинченного состояния мужа, она заговорила, торопясь насладиться своим торжеством:

— Я давно думала сделать это, но все как-то не получалось. То художник не нравился, то у самой не было настроения. Когда-то Герберт...— Тут она на мгновение запнулась, но набралась храбрости и продолжала в естественной манере: — Герберт сделал набросок, но так и не дописал. И вдруг сегодня позвонил, что уезжает надолго и что он закончил тот портрет по памяти и хотел бы подарить его. Я, конечно, согласилась...— Тут ее взгляд нашел глаза мужа. Очевидно, она увидела в них что-то неожиданное, отчего вдруг запнулась и уже смущенно нервно, как напроказивший ребенок, спросила: — Разве я поступила нехорошо? Этого не надо было делать? Но Герберт...— Она произнесла это имя с усилием и теперь уже добавила: — Герберт Оскарович сам попросил меня передать этот портрет тебе, как его личный подарок нам обоим. Да вот его письмо...— Она засуетилась, шаря по карманам передничка, достала конверт,— видно, она заранее подготовилась к этому милому семейному торжеству и теперь недоумевала, почему оно не удалось...

Гордеев разорвал конверт, пробежал глазами письмо, спросил у Марты: «Ты разрешишь?»,— показал глазами на меня и, хотя жена недоуменно пожала плечами, подал письмо мне.

Брегман писал, что дела не позволили ему засвидетельствовать свое почтение лично Александру Николаевичу, но в память о добром знакомстве он хотел бы преподнести супругам Гордеевым свой скромный дар. Единственная его просьба состоит в том, что если когда-нибудь состоится персональная выставка его работ, он мог бы экспонировать этот портрет, разумеется, с указанием владельца. Он льстит себя надеждой, что при всей незаконченности этого произведения оно все же достойно быть показанным зрителям.

Это было обычное, весьма милое письмо, каким положено сопровождать подарки...

Гордеев посмотрел на меня. Я поторопился расхвалить и художника и портрет. Портрет действительно стоил похвал. Даже кричащие его краски, асимметричность черт, глухая чернота тона не погубили его. Гордеев облегченно вздохнул, вдруг сделал короткое движение и прикоснулся губами к голове жены. Это было как символ примирения. Марта сразу успокоилась, снова расцвела, стала усиленно приглашать к столу.

Сидя за столом и поднимая первый тост за дорогих моему сердцу хозяев, я нечаянно взглянул в открытую дверь кабинета и снова увидел портрет. Теперь я видел его издалека, ярко освещенным, и он вдруг вызвал у меня какие-то странные ассоциации. Как будто я когда-то и где-то видел нечто подобное. Я неожиданно остановился на полуслове, и только нетерпеливое движение Гордеева вернуло меня обратно к действительности. Скомкав свое приветствие, я, едва пригубив, оставил рюмку и склонился было к столу, но портрет все время словно бы притягивал мой взгляд. Марта с портрета упрямо смотрела через мою голову куда-то вдаль, и мне хотелось обернуться, чтобы увидеть, что такое она там разглядывает. И непомерно удлиненное лицо ее было таким строгим, словно она жалела нас, живых, сидящих за этим столом, желая и в то же время не в силах предостеречь от чего-то очень трудного, что ожидает нас. Непонятная, но властная сила воспоминания волновала меня. Как будто все это уже было, как будто я уже видел и это лицо и этот взгляд, вот так же предупреждающий и предостерегающий. Ощущение было похоже на то необъяснимое, какое иногда овладевает человеком в новом, незнакомом месте: как будто ты когда-то уже был тут и точно знаешь, что за следующим бугром покажется знакомый тебе дом или пруд. Необъяснимое и таинственное чувство, всегда одинаково настораживающее человека!

Я вдруг встал из-за стола, словно управляемый таинственной силой взгляда нарисованной женщины, и, забыв о хозяевах, пошел к портрету. Чем ближе я подходил, тем быстрее улетучивалось чувство неизвестного, и вот передо мной уже опять была ординарная, в сущности, модернистская мазня, составленная из кричаще разных цветов, как будто художник нарочно задался целью соединить несоединимое.

И в то же время ощущение, что я где-то видел нечто похожее, не проходило.

Картина висела высоко.

Что-то словно толкнуло меня. Я взял стул и, забыв о бархатной обивке, встал на него и снял картину.

Сейчас я не мог бы объяснить, что заставило меня рассматривать картину со всех сторон. Она была включена в дубовую рамку и прикреплена с обратной стороны множеством гвоздиков, холст был новый, тщательно прогрунтованный. Ее следовало повесить на место; этого, я понимал, ожидали хозяева. А я все рассматривал ее, словно надеялся понять, что именно привлекало меня к ней.

Заметив на столе серебряный нож для разрезания бумаг, я принялся выдирать гвоздики, прикреплявшие холст к рамке. Нож легко входил под широкую шляпку гвоздя, и они выпадали один за другим, хотя серебряное лезвие и покрывалось царапинами. Но я уже отогнул угол холстины.

Тогда я увидел то, что бессознательно искал. В рамке было три холста: нижний — чистый, новый и еще пахнущий льном, второй — старый, ломкий, ставший похожим на промасленное дерево, и еще один — тоже новый, на котором был написан портрет. И когда я разъял уголки всех трех холстов, перед моими глазами и перед глазами беззвучно подошедших Гордеева и Марты предстало лицо «Мадонны Благородной»...

— Что это? — удивленным голосом, упавшим до шепота, спросила Марта.

— Подлинник Эль Греко. Вы, вероятно, слышали, что из Народного музея пропала картина Эль Греко «Мадонна Благородная»? Вот эта картина...

— Но... но как она попала сюда?

— Об этом надо спросить Брегмана. Кстати, где он писал ваш портрет?

— В реставрационной мастерской. Я тогда реставрировала «Голову Иоанна Крестителя»...— Она отвечала замедленно, но точно.— Брегман попросил меня попозировать немного, я достала ему пропуск.

— Когда это было?

— В конце февраля. Да, да, он еще шутил, что пришел в такой день, который повторится только через четыре года... Это было двадцать девятого февраля.

Я вынул из кармана снимки «Женщины в красном», фотографию той подделки, что осталась вместо «Мадонны Благородной», несколько снимков работы Брегмана в соборе.

— Вы видели эту картину? — Я показал снимок «Женщины в красном».

— Да, но это было позже. В середине марта...

— В тот день, когда Брегман помог вам закончить работу над «Головой Иоанна Крестителя»?

— Он не помогал! — Она даже испугалась.— Я предупредила, что мне придется смыть все, что он написал...

— И не смыли...

— Я была занята.

— А знаете ли вы, что двадцать девятого февраля Брегман подделал подпись вашего мужа и направил требование о высылке в мастерскую картины, которая не нуждалась в реставрации, а в середине марта, когда он торопил вас уйти из мастерской, эта картина была им украдена?

— Не надо так резко...— испуганно сказал Гордеев.

Я замолчал. Марта сидела без кровинки в лице. Гордеев дал ей воды и принялся успокаивать.

Я не слушал, что он говорил. Я думал, что на его месте постарался бы еще больше испугать ее; слишком долго она мучила мужа, чтобы быть доброй к ней. Разбросав снимки по столу, как пасьянс, я подозвал и ее и Гордеева.

— Вот так называемые «работы» Брегмана. Вы видите, они выполнены в одной манере. Возможно, что это даже талантливый мастер. Но он гнался только за деньгами и отдал свой талант для преступления. Одних этих снимков, без дополнительной экспертизы, достаточно, чтобы сказать: лицо, украшее «Мадонну Благородную», оставив на месте картины подделку, затем сделавшее несколько мазков на реставрированной «Голове Иоанна», позже расписавшее соборную живопись, написавшее несколько картин, хранящихся у его бывшей жены,— одно и то же лицо. И это лицо охотилось за работами особой ценности. Правда, благодаря этому мы узнали о существовании в наших музеях еще одной работы Эль Греко. Но обе эти картины были выкрадены для передачи за рубеж...

— Но как... как вы определили, что «Мадонна Благородная» спрятана под портретом? — робко спросила Марта.

— Брегман так хорошо изучил «Мадонну Благородную», что мог бы воспроизвести ее во сне. И он воспроизвел... И именно во сне... Когда писал вас...

— Так, значит, он...

— Нет, Марта! Вы были только бессознательной помощницей! Он не любил вас! Но когда понадобилось укрыть картину, он вспомнил о вас... А думал он только о «Мадонне Благородной». Взгляните на ваш портрет и сравните с картиной Эль Греко...

Марта гордо вскинула голову и вышла в столовую. В дверях она ядовито спросила:

— Надеюсь, меня не подозревают в сообщничестве? Я свободна?

Я не успел ответить. Она закрыла дверь за собой.

Квартира казалась вымершей.

Гордеев умелыми руками размонтировал соединенные картины. Портрет Марты он снова включил в рамку и повесил на то же место. «Мадонна Благородная» заслуживала другой рамы для своего возвращения на место. Я позвонил в управление, чтобы прислали охрану и специальный ящик для перевозки картины.

— Что теперь будет? — спросил Гордеев.

Я не ответил. Я не знал.

То есть в общих чертах я знал. Гордеев снова будет работать в мастерской. Марта останется с ним. Но никогда и никто не утешит ее. Она знает, что ее любили! И зачем только я сказал, что Брегман писал ее портрет, как во сне...

И когда-нибудь она уйдет. Уйдет искать настоящую любовь. Тут я ничем не мог помочь моему старому другу...

Николай АСАНОВ

ОГНЬ

Часть первая

Глава первая: ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ БОЯ...

1.

«16 февраля наши войска после решительного штурма, перешедшего потом в ожесточенные уличные бои, овладели городом Харьковом...»

Совинформбюро.
16 февраля 1943 года.

В середине февраля майора Толубеева внезапно вызвали на госпитальную комиссию...

Все эти дни раненые жили взволнованно-приподнято. Врачи с изумлением наблюдали, как, казалось бы, безнадежные пациенты вдруг начинали поправляться, интересоваться событиями в мире и на фронтах. Лежачие больные требовали костыли и сызнова учились ходить. А еще вчера считавшиеся «трудными» сегодня просились на выписку.

Но госпитальные врачи знали, что эти чудеса зависят совсем не от медицины, не от лекарств. Это было чудо всеобщего подъема, охватившего страну.

Всего лишь две недели назад, первого февраля, было опубликовано сразу ставшее достоянием истории знаменитое сообщение Совинформбюро, «В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС», начинавшееся словами: «НАШИ ВОЙСКА ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧИЛИ ЛИКВИДАЦИЮ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК, ОКРУЖЕННЫХ В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА».

Хотя в недавние месяцы Совинформбюро ввело новую рубрику «В последний час» и часто передавало радостные сообщения о победах на том или другом фронте, но нужно было быть солдатом, чтобы полностью представить себе масштабы *этой* победы под Сталинградом. И со второго февраля количество «чудесных» исцелений в госпитале все увеличивалось, возле репродукторов шла непрерывная дискуссия на тему: а какой фронт будет назван сегодня? — местные стратеги определяли, где начнется новое наступление, и все это, естественно, способствовало бодрости духа, которую даже скептики-врачи начали принимать во внимание, определяя ту или иную методу для лечения раненых.

Новые раненые в этот госпиталь не поступали: в нем долечивались те, кто получил тяжкие ранения еще в сорок втором году, в дни тяжелых оборонительных боев во время немецкого наступления на Ленинград, а затем при неудавшейся попытке прорвать блокадное кольцо под Синявином, в затяжных боях под Демянском, под Волховом. Этим бойцам, сраженил которых не принесли видимой удачи, наверно, больше, чем кому-нибудь еще, нужно было узнать, что их подвиги и даже страдания помогли другим бойцам выковать подлинную победу...

И майор Толубеев тоже понимал, что хотя немцы в конце концов разгромили батальон легких танков, которым он командовал под Волховом, все равно, даже и неудачные бои его небольшого соединения, героическая гибель его машин, его людей, пусть и не принесшие значительного успеха, так или иначе внесли свою долю на ту чашу весов, которая сейчас окончательно перевешивала всю могучую мощь фашистских армий. Но сам-то он был очень еще плох, чтобы надеяться на скорое возвращение к своим солдатам.

Вот почему вызов на госпитальную комиссию для него оказался неожиданным.

Пулевая рана в живот совсем еще недавно считалась смертельной. И Толубееву казалось, что ему необыкновенно повезло: его выходили, почти уже вылечили, только три последовательные операции чрезмерно истомили его. На комиссию он шел с полным пониманием того, что ничего утешительного врачи ему не скажут...

Комиссия, к удивлению майора, оказалась весьма представительной: присутствовали несколько госпитальных врачей, два каких-то крупных медицинских начальника и еще некий молчаливый остроглазый полковник, чрезвычайно пристально разглядывавший Толубеева.

Сначала Толубеев не обратил внимания на этого человека. Его поразила новая форма офицеров: погоны, еще не обношенные, лежавшие дощечками на плечах, серебряные у медиков, золотые у военкома и остроглазого полковника. До сих пор Толубеев, как и другие ходячие больные, видел солдат и офицеров в погонах только через окно госпиталя, как они проходили по улицам, еще и сами не узнавая себя, порой косясь на эти новые знаки различия на собственных плечах и необыкновенно пристально разглядывая их на плечах встречных военных. Погоны были только что введены и как-то необычно изменили вид армии...

Остроглазый полковник был интересен Толубееву только своими красивыми погонами с крупными золотыми звездами. Но тут майор уловил настороженный, изучающий взгляд полковника, и ему вдруг показалось, что он уже где-то видел это узкое, с высокими надбровьями лицо, эти светлые прищуренные глаза, которые словно бы изучали его или, во всяком случае, запоминали, как запоминают чужой облик глаза художника, собирающегося писать портрет, а пока что исследующего натуру.

И внезапно Толубеев вспомнил: месяц назад, во время последней операции, когда он уже засыпал под наркозом, едва сопротивляясь слабости и тошноте, он услышал быстрые шаги, — они отдавались в усталом мозгу подобно барабанному грохоту, — и кто-то подошел к операционному столу, встал в ногах у Толубеева, пристально вглядываясь, спросил горячим быстрым шепотом:

— Ну, как?

— Надеемся! — сухо ответил госпитальный хирург, голос которого Толубеев узнал сквозь начинающееся забытье.

— Имейте в виду, он нам очень нужен! — решительно произнес неизвестный и словно бы растаял: уже начинал действовать глубокий наркоз.

«Хотел бы я услышать твой голосишко! — неприязненно подумал Толубеев. — Если это был ты, когда я на смертном одре лежал, я бы тебя спросил: «А по какому праву ты мне умереть не позволял?»

Сейчас-то майор не на смертном одре лежал, а находился перед официальной комиссией, только чувствовал себя дурно. Он уже разделся до трусов и стоял перед столом, за которым сидели все эти люди, а тот, быстроглазый, похожий на гипнотизера, все так же пристально приглядывался к нему, но вопросов не задавал, живот ему не мял, — этим занимался госпитальный хирург, другие просто смотрели со стороны.

А рассматривать, на взгляд Толубеева, было что. Весь живот в шрамах, втянут куда-то внутрь, и мнилось Толубееву, что госпитальный хирург, прикасаясь к его животу, запросто прощупывает под бледной кожей позвонки — так живот стал пуст и тощ. И тут же услышал голос быстроглазого гипнотизера:

— Ну, как?

«Он! Точно, он!» — поразился Толубеев.

Хирург, помявшись, недовольно буркнул:

— Ничего хорошего. Нужен длительный отдых для восстановления сил...

Вопрошатель умолк, уставившись взглядом в стол перед собой, и тут Толубеев приметил перед ним свое личное дело. Ему сразу стало не по себе. Выходит, это не посторонний человек! Личным делом обычно интересуются в двух только случаях: или ты совершил ошибку, пусть ты и не знаешь, какую, — там сами дознаются! — или когда требуется кадровая передвижка. А ни того, ни другого Толубееву не хотелось: он уже совершил в своей жизни крупную ошибку и с той поры старался ошибок не совершать. А с передвижкой и совсем был не согласен: знал, что его батальон получил новые танки взамен расстрелянных фашистами, знал, что его ждут люди, с которыми он начал воевать тридцатого июня сорок первого года, — далеко не всех перебили немцы в том последнем бою! — и хотел продолжать войну именно вместе с ними, чью храбрость и волю к победе он уже испытал.

И в эту минуту мелькнуло у него еще одно подозрение: а не сидел ли именно этот востроглазый человек в сторонке за столом, когда другой крупный начальник

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ЕДИНАЯ ДУГА

разбирал прежнюю «ошибку» Толубеева и грозил ему всеми карами за эту «ошибку» и обещал сломать ему если не всю жизнь, так «карьеру»? Но как это могло быть? То дело начиналось задолго до войны... И с легким сердцем Толубеев подумал, что это последнее видение именно привиделось,— просто не понравился ему этот худой, остролицый и остроглазый человек, по какому-то неясному поводу интересовавшийся личным делом заурядного офицера-танкиста, лежащего после тяжелого ранения в заурядном офицерском госпитале в Москве.

— Одевайтесь, майор! — сухо приказал хирург и попросил сестру пригласить следующего офицера.

А наутро тот же хирург, как-то робко и словно бы извиняясь, сказал на врачебном обходе Толубееву:

— Владимир Александрович, мы вас выписываем. Документы подготовлены, зимняя форма тоже. Советую сначала пообедать...

«Так. Но что же все это значит? Сначала явная немилость: выписывать офицера с незажившими ранами — значит обрекать его на скорое появление в другом госпитале, только тот будет похуже и поближе к фронту. А затем тут же зимняя форма и диетический обед. Конечно, попал он сюда осенью, зимняя форма необходима. Ну, а обед?.. Известно, какие сейчас обеды в столовой резерва... А может, меня прямо на вокзал?»

Все было удивительно, все было не так, как положено.

Обеда дожидаться он не стал. Если уж идти навстречу судьбе, так делать это надо без промедлений.

Не только погоны, но и шинель, шапка, сапоги — все было новенькое, с иголочки. Одевшись, Толубеев полюбовался на себя в зеркало, пощупал на плечах твердые дощечки погон с двумя полосками и звездой меж ними,— подходяще, хотя и не так солидно, как у вчерашнего полковника, но, вспомнив полковника, поскучнел, пошел за документами. Сержант из выздоравливающих, почтительно козырнув погонам, предупредил:

— Тут для вас, товарищ майор, срочное предписание...

Толубеев взял плотный конверт с официальным грифом в углу.

Он нетерпеливо вскрыл конверт. В нем лежала небольшая бумажка с тем же грифом и длинным казенным номером.

«Уважаемый Владимир Александрович!

Звоните мне в начале каждого часа с любого телефона, какой окажется под рукой. Возможно, освобожусь очень поздно. Вам заказан номер в гостинице «Москва». Талоны на питание получите вместе с ордером на номер. Мой телефон: К...

Дружески: Корчмарев».

И все. За тем лишь исключением, что никакого Корчмарева майор Толубеев никогда не знавал.

Сержант из выздоравливающих покопался в связке ключей и открыл дверь склада, где хранились личные вещи находящихся на излечении. Нырнул туда на минуту, вернулся и поставил у ног Толубеева лакированный чемодан с ключами, привязанными к ручке.

— Что это такое? — растерянно спросил Толубеев.

— Приданое. Приказано вручить при выписке!— отрапортовал сержант, глядя на Толубеева с тем почтением, какое вызывают события и вещи непонятные. Толубеев и сам смотрел бы столь же почтительно, случись все это с кем другим.

Тут он вспомнил о записке, которую все еще держал в руке, шагнул к телефону. Телефон отозвался длинными гудками, но трубку никто не поднял.

Толубеев попробовал чемодан на вес. Тяжел, собака. Но сержант предупредительно сказал:

— Не беспокойтесь, товарищ майор. Машина начальника госпиталя в вашем распоряжении до двенадцати ноль-ноль.— И крикнул в дверь:— Устинов! Отвезите товарища майора!

Тотчас же появился лихой шофер, схватил чемодан и поволок к выходу. Толубееву ничего не осталось делать, как кивнуть сержанту, все так же почтительно взиравшему на него, и выйти.

Дверь госпиталя захлопнулась, словно отрезала все, что было до сих пор, а вот что будет? Толубеев попытался было не думать об этом, глядя на зимнюю Москву, но под ложечкой посасывало...

2.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС.

«17 февраля на Украине наши войска в результате упорных боев овладели городом и железнодорожным узлом СЛАВЯНСКОМ, а также заняли города РОВЕНЬКИ, СВЕРДЛОВСК, БОГОДУХОВ, ЗМИЕВ...

В Курской области наши войска, продолжая развивать наступление, заняли город ГРАЙВОРОН».

Совинформбюро.
17 февраля 1943 года.

Неизвестный Толубееву Корчмарев отозвался только в двадцать три ноль пять.

Все это время Толубеев провел в гостинице, боясь отойти от телефона,— а вдруг тот зазвонит? Ведь телефоны для того и существуют, чтобы зазвонить в самое неожиданное время.

Правда, он спустился обедать в ресторан, и был приятно поражен тем, что ресторан оказался настоящим, с проворными, хотя и весьма пожилыми, официантами. За столами больше всего было военных, но, судя по очень чистой форме, все это были тыловики. Прислушавшись к разноголосому гулу, Толубеев понял, что тут обедали корреспонденты, писатели, штабники, командировочные с фронта и из глубокого тыла, но эти люди тоже носили военную форму, а многие из них, как сообразил Толубеев, оказались в Москве лишь на несколько дней, а то и часов, и он понимал их стремление к этому маленькому осколку давно уже позабытой «мирной жизни». Было много женщин,— с мужчинами и поодиночке,— может быть, военных вдов, которым стала тяжка одинокая жизнь, может быть, просто искательниц приключений, а может быть, и таких, кто напряженно прислушивался к разговорам военных, собирая «информацию». Слышалась и иноязычная речь. Толубеев понял: тут обедают и иностранные корреспонденты. Они постоянно поминали русское слово «сводки» и ставшее привычным всему миру название «Совинформбюро». Все было ясно: прошли те времена, когда корреспонденты гадали — недели или месяцы продержатся русские под натиском фашизма. Шел тысяча девятьсот сорок третий, только что сдался фельдмаршал Паулюс, и над Сталинградом снова взвилось красное знамя, были освобождены Курск и Воронеж, прорвана блокада под Ленинградом, и хотя положение на фронтах начало стабилизироваться, сводки Информбюро по-прежнему пестрели названиями освобожденных городов и населенных пунктов. Вот почему иностранные корреспонденты, судя по отрывкам их разговоров, гадали на своей кофейной гуще уже о будущем фашизма: как долго гитлеровцы продержатся перед небывалыми фронтальными и охватывающими ударами русских? Недаром они частенько поминали и еще одно русское словечко — «котел». Но всю эту болтовню Толубеев оставил на совести самих иностранных корреспондентов, сейчас его больше занимал обед.

Оказалось, что неизвестный Корчмарев предусмотрел все: диетический обед и даже бутылку сухого вина. А позже, в двадцать часов, когда Толубеев спустился ужинать, его ожидала и вторая бутылка. Если так пойдет и дальше, то можно не торопить события. Однако ж неизвестный Корчмарев не на того напал! И Толубеев регулярно звонил по таинственному телефону «в начале каждого часа...»

И вот в двадцать три ноль пять телефон заговорил человеческим голосом.

— Вас слушают! — сказал он устало и неприветливо.

— Я прошу товарища Корчмарева! — пытаясь скрыть волнение, но так и не превозмогши его, произнес Толубеев.

— Одну минуточку.— Пауза.— Кто его спрашивает?

— Майор Толубеев.

Несколько неясных слов, произнесенных в сторону от трубки. И затем широкий, радушный голос:

— Владимир Александрович? Очень рад. Я Корчмарев. Как ваше самочувствие?

— Хотел бы доложить при встрече.

— Понимаю, понимаю. Одну минуточку! «Черт бы их побрал с этими «минуточками»!» — подумал Толубеев, жадно вслушиваясь в слова.— Подождите у телефона.— Опять уходящий в сторону голос. И снова к Толубееву: — Ну что же, машина будет у вас через тридцать минут. Шофер позвонит в номер, так что до звонка не спускайтесь, сегодня довольно холодно, да и шофер не найдет вас. К тому же комендантский час...

— Благодарю...— с облегчением произнес Толубеев. Ему показалось, что все тайны наконец окончатся. И чем скорее, тем лучше.

Он вернулся к содержимому чемодана, который тайл «приданое». Днем он уже рассмотрел штатский костюм, несколько отличных сорочек, галстуки, запонки, булавки, золингеновскую бритву и электрическую «Филипс». Все это наводило на определенные размышления, но так «размышлять» было пока что опасно. Поэтому просто достал «Филипс» и побрился еще раз, открыл флакон какого-то одеколона, протер лицо и почувствовал себя как будто легче.

Телефон зазвонил. Конечно, шофер. Назвал номер машины.

Толубеев спустился в вестибюль.

В вестибюле толпились несколько человек — мужчин и женщин, по-видимому, пропустивших комендантский час. У них проверяли документы. Однако Толубеева пропустили без расспросов. Краем глаза он заметил какую-то фигуру, которая словно бы сделала знак проверяющим, но так торопился, что не стал разглядывать. И только подойдя к названной машине, приметил, что шофер идет следом. Вероятно, этот человек уже знал его в лицо и дал ему возможность выйти, не задерживаясь.

Действительно, шофер открыл дверцу перед ним, усадил рядом с собой, и машина покатила по пустым улицам.

Вместе вошли они в какое-то бюро пропусков. Толубеев предъявил свое предписание. Вахтер повертел бумажку, сказал:

— Водитель проводит вас.

Лифт вознес их на седьмой этаж. «Коридоры в коридоры, в коридорах двери!» — вспомнилось Толубееву. Водитель вежливо постучал в одну из дверей, пропустил Толубеева и остался за порогом.

За двумя столами, друг против друга, сидели двое. Одного Толубеев сразу узнал: узкое, длинное лицо, гипнотизирующие светлые, твердые глаза. Второй показался Толубееву попроще и посимпатичнее. Довольно полный, седоватый, с крупными залысинами на высоком и без того лбу. Оба были в штатском, хотя все вокруг было строго по-военному, да и само здание больше всего походило на штабное.

— Майор Толубеев, явился по вызову товарища Корчмарева...— сказал он точно, строго, а глаза так и бегали с одного лица на другое: кто есть кто? — как говорят англичане.

Полный, седоватый поднялся, пошел навстречу, протягивая руку.

— Здравствуйте, Владимир Александрович.

Потом указал на второго, знакомя:

— Полковник Кристианс.

Кристианс тоже протянул сухую, твердую руку. Толубеев подумал: спортсмен. Гребец и теннисист. По-видимому, эстонец.

— Мы пригласили вас...— начал Корчмарев, но взглянул на Кристианса и закончил другим тоном:— ...на маленькое совещание...

Оба двинулись к двери, и Толубеев оказался как бы под конвоем: впереди — толстенький, коротенький Корчмарев, замыкающим — длинноногий Кристианс. Так они и шли по длинному коридору, иссеченному безмолвными, тихими дверями.

Коридор уперся в другой коридор, а уж в том показалась открытая дверь в большую приемную, где вскочил и щелкнул каблуками капитан, настоящий гвардеец по выправке, а из приемной в обе стороны еще двери — обитые кожей тамбуры. В одну из этих дверей, что справа, прошел Корчмарев, пробыл там минуту,— ни звука не слышалось оттуда,— потом раскрыл дверь, сказал с каким-то торжественным звоном в голосе:

— Прошу вас, Владимир Александрович!

Кристианс беззвучно замкнул шествие и закрыл за собой двери, и наружную и входную.

В большом кабинете было полутемно: настольная лампа посреди пустынного стола, еще стол, придвинутый к первому торцом, и торшер в углу, возле круглого столика, окруженного несколькими креслами. За главным столом сидел пожилой человек в штатском, еще трое ютились около торшера, стоя пили кофе, как будто не имели никакого отношения ни к человеку за столом, ни к тем троим, что вошли только что. Человек за столом поднялся,— Толубеев заметил, что выглядит он очень усталым,— протянул руку, назвал себя невнятно и указал на кресло перед собой. Корчмарев отошел к круглому столику, перекинулся несколькими непонятными словами со стоящими там, поколдовал немного и вернулся к длинному столу, поставил перед Толубеевым чашку дымящегося кофе. Кристианс остался в самом конце длинного стола, где было совсем темно.

Перед усталым пожилым человеком на столе лежала папка, и это опять было «личное дело» Толубеева.

Трое в углу примолкли, расселись вокруг столика, но торшер не столько освещал их лица, сколько затенял.

— Выпейте кофе, товарищ майор! — неожиданно звонким голосом сказал хозяин кабинета.— Вы, наверно, устали? — И сам принялся позванивать ложечкой в своей чашке.

Хотя впервые названное в этом кабинете скромное звание Толубеева призывало к строгим мыслям о войне и подчеркивало, кроме того, что все остальные тут, конечно, выше по званию, но офицер как-то вдруг успокоился. Может быть, оттого, что на войне дела решает приказ, его не опротестуешь, и тут уже все зависит от самого майора: сумеешь — выполнишь! Толубеев даже с удовольствием прихлебнул кофе из чересчур, по его мнению, маленькой чашечки.

— Вы ведь металлург по профессии, Владимир Александрович? — спросил хозяин, отставляя свою чашечку.— Почему же вы не воспользовались броней, которую вам предоставил Наркомат обороны?

— В сущности-то, я чрезвычайно узкий специалист,— несколько недоумевая, так не вязался вопрос с обстановкой, ответил Толубеев.— Я занимался редкими металлами, ну, а во время войны... Одним словом, руководство уважило мою просьбу...

— А вы полагали, что редкие металлы во время войны не понадобятся?

— Войны решают чугун, железо и сталь! — ответил Толубеев словами из своего давнего рапорта.

— А ванадий, вольфрам, марганец — одним словом, присадочные добавки?— спросил один из сидящих в углу.

— В сорок первом от каждого требовалось одно: быть на самом тяжелом участке.

— Да, психологически вы, вероятно, правы,— задумчиво произнес хозяин кабинета, и Толубеев благодарно взглянул на него.

— А почему в анкете добровольца вы ничего не сказали о знании языков? — вдруг спросил Кристианс.

— Ну, какое там знание! — усмехнулся Толубеев.— Английский и немецкий — кое-как да норвежский — слабо. А с добровольцев знания языков и не спрашивали...

— Вы долго были в Норвегии?—спросил хозяин.

— С сентября тысяча девятьсот тридцать восьмого по июль тысяча девятьсот сорокового. Сразу после нападения Гитлера на Норвегию наше посольство предложило нам прекратить все закупочные операции и немедленно выехать на родину. Факт пребывания за границей в анкете отмечен,— осторожно добавил он.

— Только по этому факту в анкете вас и разыскали! — вроде бы даже с улыбкой сказал хозяин.

— А сколько времени искали? — сердясь на что-то, заметил Кристианс.

— Однако ж нашли,— миролюбиво остановил полковника хозяин.

— У вас остались в Норвегии друзья? — Это Корчмарев берет быка за рога. Толубеев невольно опустил глаза и сказал слишком тихо:

— Да.

Из угла чей-то голос задумчиво произнес:

— Я помню ваш тогдашний доклад о состоянии норвежской и шведской металлургической промышленности и о захвате этих рынков немцами. Такой доклад без деятельных и умных помощников было бы невозможно составить. Как вы полагаете, ваши друзья не могли подвергнуться преследованиям?

— Ну, в Норвегии люди, которые мне помогали, никаких секретных фактов не разоблачали. Думаю, что немецкое гестапо ими не интересуется. А друзья-шведы в полной безопасности, Швецию немцы не захватили.

— А могли бы вы восстановить эти связи? — Это опять Корчмарев. Он, по-видимому, любит торопить события. Но ведь сначала Толубеев должен знать, чего от него хотят. Французы говорят, что и самая красивая девушка не может дать больше того, что она имеет.

— Вы имеете в виду восстановить их о т с ю д а?— осторожно спросил он.

Сидевший в углу человек вдруг поднялся и вышел на свет. Он подвинул кресло и сел рядом с хозяином кабинета. Только тут Толубеев узнал его: заместитель наркома тяжелой промышленности. Когда-то этот че-

ловек оформлял его заграничную командировку. Заместитель наркома жестко сказал, будто с кем-то спорил:

— Я думаю, нам следует поговорить начистоту.— Потом улыбнулся, словно хотел смягчить свою неожиданную резкость, добавил: — Туркмены говорят: «Сядем хоть наискось, но поговорим прямо...»

Хозяин кабинета вежливо сказал:

— Пожалуйста. Мы слушаем.

Заместитель наркома заговорил тихо, медленно, но так, словно хотел вбить в сознание Толубеева каждое слово:

— Владимир Александрович, вы, я вижу, уже поняли, что от вас ждут чего-то очень важного. Меня вы знаете. Эти товарищи руководят различными отделами разведки Генерального штаба. Наш хозяин — генерал Коробов — занимается, в частности, запасами стратегического сырья, находящегося в распоряжении противника. Как раз он и поставил нас в известность, что у немцев происходит какая-то перегруппировка заказов на поставки сырья. А так как гитлеровские пропагандисты после сталинградского поражения не нашли ничего лучше, как хвалиться неким «несокрушимым» оружием, нам приходится принимать в расчет и эту похвальбу. Даже в гитлеровской пропаганде попадаются крупицы правды... А теперь, уважаемый товарищ Кристианс, ваши аналитические данные!

В руках у Кристианса появилась откуда-то кожаная папка, он встал в конце длинного стола для заседаний, и все передвинулись к этому столу.

— Первые данные о перегруппировке немецких заказов мы получили из совершенно достоверных источников в начале января. Норвежские и шведские промышленники вдруг начали разрабатывать даже нерентабельные рудники, строить обогатительные фабрики и отгружать в Германию по очень выгодным ценам большое количество марганца, вольфрама, ванадия. Примерно в это же время из Германии поступили сведения о введении на некоторых заводах Круппа особых условий секретности. Вначале это были только сталелитейные заводы. Затем те же правила особой секретности были распространены на металлообрабатывающие и сборочные цехи. Но самое любопытное в том, что этой чести удостоились только танкосборочные заводы и заводы самоходных орудий...

— Одним словом, мы полагаем, что речь идет о броневой стали особого качества,— резюмировал заместитель наркома.

— Что же должен сделать я? — тихо спросил Толубеев.

— Вы, конечно, помните рассказ о том, как Менделеев вывел формулу бездымного пороха по одним только накладным на грузы, поступавшие на завод?— Заместитель наркома остро посмотрел на Толубеева.— Вам придется вернуться в Норвегию и сделать что-то вроде этого...

— Но ведь я-то не Менделеев!—воскликнул майор.

— Однако вы известный металлург!— жестко ответил заместитель.

— Хорошо сказать — поехать в Норвегию! Но ведь Норвегия оккупирована и там хозяйничают фашисты...— Толубеев и сам почувствовал, что эта отговорка уже доказывает,— он сдается! — но ему нужно было время для размышления и еще ему нужны были знания: как собираются его перебросить; что он должен там делать; на кого он сможет опираться в этой новой и неожиданной для него роли разведчика... Но у заместителя наркома, казалось, были готовы ответы на все!

— Вы же сами сказали, что вряд ли норвежская полиция обратила какое-нибудь нежелательное внимание на вас и ваших друзей в то короткое времяпребывание в их стране,— значит, вы сможете кое-кого разыскать. Ну, а уж как туда добраться, решат ваши новые начальники...

Наступило длительное молчание.

Толубеев с некоторым смятением в душе думал о том, как странно сложилась его жизнь. Он довольно быстро добился успеха в своей профессии. Сложная металлургия, многокомпонентные сплавы только что нашли свое место в технике, и безвестный проповедник этих сплавов как-то внезапно оказался нужным и начальству и самому делу. Та командировка в Норвегию могла бы стать переломным моментом в его биографии. Он видел, что передовая наука постепенно перемещается с Запада на Восток. После Норвегии ему прочили поездку в Англию, потом в США. Это не было бы дипломатической карьерой — Толубеев был и оставался металлургом. Но он мог открыть многие секреты фирм и применить их у себя на родине, мог улучшить технологию получения некоторых сплавов, но одна его «ошибка» разрушила все.

На эту «ошибку» начальство торгпредства указало Толубееву еще в самом начале апреля сорокового года и предложило молодому инженеру немедленно вернуться на родину. Он собрался выехать в Берген, чтобы сесть там на советский корабль, когда на рассвете девятого апреля в Осло-фиорде загрохотали выстрелы: береговые норвежские батареи отбивали атаку немецких кораблей... Гитлеровцы напали на малые страны, стремясь молниеносно окончить свою «странную» войну с Францией. Бывший военный министр Норвегии отставной майор Квислинг поднял свою «пятую колонну» и предал норвежские королевские войска. И все-таки немцам пришлось задержаться в этой маленькой стране с ее тремя миллионами населения почти на три месяца, тогда как могущественную Францию они разгромили за три недели

Уехать из воюющей страны было трудно, и Толубеев выбрался оттуда только в июле.

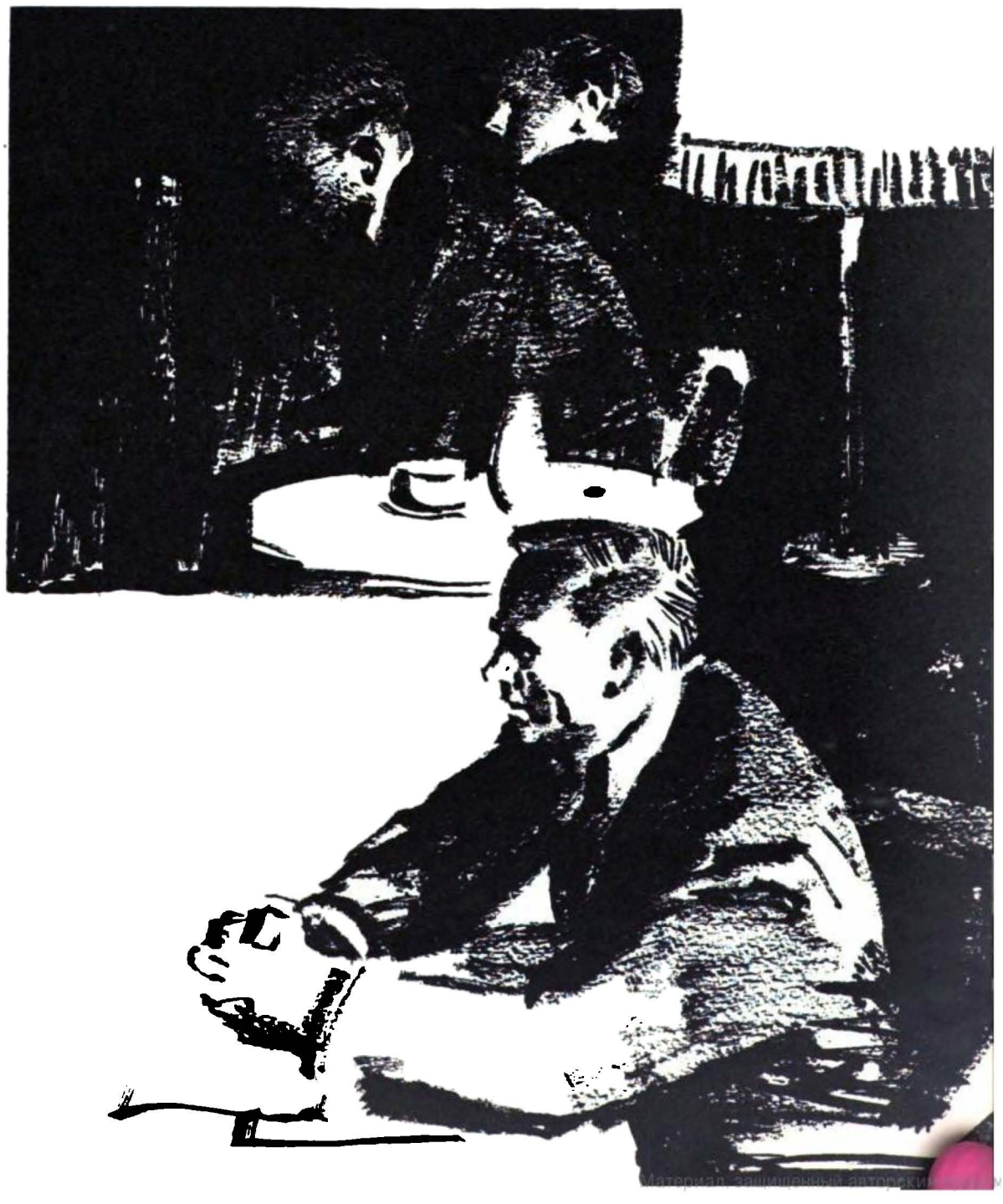
Но начальство на родине помнило о его о ш и б к е. Он еще долго писал объяснительные записки, работу ему дали незначительную.

Когда немцы напали на Советский Союз, он запросился на фронт, так как думал, что только личное участие в битве вернет ему спокойствие духа. Он как-то и забыл, что с врагом можно сражаться и при помощи знаний, а не только пулей и штыком. Впрочем, время было такое тяжкое, что никто не мог ни посоветовать ему, ни просто приказать занять д р у г о е место в великом сражении. И он стал офицером.

Нельзя сказать, что он много сделал на фронте. Почти год он просидел в обороне. Только осенью сорок второго года ему повезло: их фронт пошел на прорыв блокадного кольца под Ленинградом... Но и тут он воевал всего несколько дней, а очнулся перед самой смертью, ибо понял: ранен тяжело. Такие раны всегда считались смертельными, а то, что он не умер, было чудом.

А в это время его разыскивали по всем фронтам! Недаром же он увидел в госпитале перед началом третьей операции это худое, острое лицо, лицо с гипнотизирующими глазами, лицо полковника Кристианса! А о чем думал тогда полковник, найдя этого человека на смертном одре?

И вот сейчас он с полной убежденностью вспомнил, что именно этот человек, которого зовут полковник Кристианс, присутствовал при том тягостном разговоре в высокой инстанции, куда его пригласили в день воз-



Материал защищен авторским правом

вращения на родину и потребовали объяснений в совершенной им «ошибке». Правда, Кристианс и тогда держался в тени, как вот сейчас, но теперь-то Толубеев вспомнил его...

Толубеев выпрямился в кресле, встать он побоялся, чувствуя противную слабость в ногах, и твердо сказал:

— Я боюсь, что у полковника Кристианса могут быть возражения против моей кандидатуры... — Так как все в молчаливом удивлении смотрели на него, он уже несколько спокойнее добавил: — Полковник Кристианс по моем возвращении из Норвегии утверждал, что моя главная ошибка, совершенная во время пребывания в этой стране, состояла именно в моей излишне, по его мнению, тесной дружбе с гражданами Норвегии. И он категорически заверил меня, что больше я никогда, ни под каким предлогом не навещу эту страну. Правда, Норвегия была уже оккупирована немцами, и я ничего не знал о судьбе моих друзей,— грустно закончил он.

— Но теперь он так же настоятельно требует вашего возвращения в эту страну,— тихо сказал генерал Коробов.— И именно он разыскал вас для этого разговора.

— Что же переменилось с того давнего времени? — словно сам у себя спросил Толубеев. И генерал спокойно ответил:

— Все. Полковник Кристианс сам признал, что без широких дружеских связей с гражданами страны всякий разведчик обречен на провал. И именно потому, что у вас эти связи были, он рекомендовал разыскать вас и сам принял участие в розысках...

Кристианс молчал, как будто боялся даже голосом ожесточить молодого офицера. И тогда Толубеев поднялся и тихо сказал:

— Я готов...

И то, что он сказал это не по-уставному, а раздумчиво, как бы глядя в будущее, заставило всех этих людей, собравшихся здесь ради него, взглянуть на него с особенным вниманием. И стало понятно, что дух его оставался спокойным и сильным. И все как-то оживились, задвигались. Кристианс встал и подал Толубееву еще чашку кофе, генерал открыл нижний ящик стола, достал бутылку коньяку, налил маленькую рюмку, подвинул Толубееву, уговаривая:

— Подкрепитесь, вы ведь только что из госпиталя!

— Мало того, я попросил выписать майора раньше времени. Мне он нужен именно такой: худой, тощий, даже больной. Но врачи уверяют, что через неделю — полторы он будет совершенно здоров!

— Но к чему я вам больной? — попытался улыбнуться Толубеев, однако заметил строгий взгляд генерала, брошенный на Кристианса, и занялся кофе. Кристианс будто не слышал его вопроса.

Заместитель наркома стал прощаться, с ним ушли и два молчаливых его спутника. В кабинете остались генерал Коробов, полковник Кристианс, Корчмарев и Толубеев. Генерал обратился к Кристиансу:

— Теперь можете докладывать ваш план...

— Майор должен появиться в Норвегии как бежавший из фашистского лагеря для военнопленных, находящегося в северной части страны. Этот вариант и необходимая легенда нами подготовлены. Если он, опираясь на эту легенду, сумеет укрыться у кого-нибудь из своих прежних друзей и особенно сможет устроиться на работу, будет самое лучшее. Связь с нашим центром майор будет держать через нейтральное лицо, адрес и пароль для связи получит здесь...

— Норвегия! Но как я проберусь в эту страну?

— Мы найдем вполне комфортабельный и спокойный путь. Но то, что вы так изможденны, создаст вам прекрасное алиби. Номерной знак советского офицера, бежавшего из норвежского лагеря, вы получите при отъезде...

Продолжение следует.

ОГНЕННАЯ

Николай АСАНОВ

Повесть

Рисунки П. ПИННИСЕВИЧА.

3.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

«23 февраля на Украине наши войска, продолжая наступление, заняли города СУМЫ, АХТЫРКА, ЛЕБЕДИН...

В Курской области наши войска после упорного боя заняли город и железнодорожную станцию МАЛОАРХАНГЕЛЬСК».

Совинформбюро.
23 февраля 1943 года.

Подводная лодка должна была выйти с базы Северного морского флота ночью.

Весь этот последний день Толубеев и Кристианс просидели взаперти вдвоем в комнате отдыха у командующего флотом. Обед, а потом и ужин подавал молчаливый повар командующего, в комнате не задерживался, «гостей» не рассматривал, возможно, уже привык к неожиданным посетителям.

Кристианс и Толубеев разговаривали. Точнее, говорил полковник, а Толубеев изредка задавал вопросы...

— Разведчик, как минер, ошибается только один раз! — спокойно говорил Кристианс.— Но у вас есть дополнительные условия, которые, надеемся, помогут вам. Вы хорошо знаете страну, людей, город, в котором вам придется работать. Хотя немцы и чувствуют себя полными хозяевами этой маленькой страны, но сопротивление там растет с каждым годом. И участвуют в нем не только крестьяне и рабочие, но и интеллигенция, и духовенство, и даже предприниматели. У самих квислинговцев в их разбойничьей семейке не все ладно. Надежды на быстрое установление «нового порядка» во всей Европе улетучиваются, возникает ощущение, что их, возможно, еще будут судить за государственную измену. И

Продолжение. См. «Огонек» № 30.

многие из них пытаются обезопасить себя хотя бы тем, что они, мол, не были жестоки, то есть такой-то лично и такой-то именно... К тому же немцы не могут установить посты на каждом из двух тысяч километров морской границы Норвегии, солдаты им нужны для боев с советскими войсками на севере, где они за все время войны не могли сделать вперед и шага. Да и рыба Норвегии им тоже нужна, и работающие рудники, и заводы с их военной продукцией, и они время от времени вынуждены идти на уступки норвежским предпринимателям. Да вот, например, второго августа сорок первого года они объявили чрезвычайное положение во всей Норвегии... Норвежцы ответили молчаливым саботажем. Десятого сентября немцы ввели чрезвычайное положение в Осло и казнили группу патриотов. В ответ епископы лютеранской церкви заявили о сложении с себя сана в знак протеста против казней и жестокого обращения оккупантов с местными жителями... В прошлом году произошли волнения в городке Телевог, в декабре прошлого года такие же волнения в районе Арендаля и Блекке-фиорда, и немцам пришлось посылать свои войска на помощь квислинговцам. В январе этого года во всех церквах был прочитан протест против зверств квислинговцев, и немцам пришлось снять чрезвычайное положение, введенное снова незадолго до этого...

— Смогут ли наши друзья достать мне какие-нибудь документы, или мне придется жить скрытно? — спросил Толубеев.

— Документы для вас приготовят, а насколько свободно вы сможете передвигаться по стране, зависит от того, каких покровителей вы найдете. Во всяком случае, ваши бывшие друзья до сих пор пользуются большим весом...

— Их еще надо разыскать...— задумчиво выговорил Толубеев.

Но рассказы Кристианса как бы приблизили к нему страну. Он еще не очень узнавал с в о ю Норвегию, родину рыбаков и рудокопов, лесорубов и мореплавателей, да и не сорвешь с нее дыма войны, чтобы пристальнее разглядеть это милое лицо. И лицо

ДУГА

ее может быть так искажено страданиями, что его и не узнаешь...

— А как же выйдет в море тот человек, который меня встретит? — спросил он.

— Немцы были вынуждены разрешить рыболовство, иначе им нечем было бы кормить три миллиона человек, да и самим им тоже нужна рыба... Но они обязали общины круговой порукой и объявили всех жителей заложниками на случай бегства какой-нибудь команды судна из страны. Следят за рыбаками и квислинговские уполномоченные. Однако некоторая свобода передвижения в прибрежных районах осталась. Вас встретит владелец маленького суденышка Август Ранссон. У него есть лицензия на право лова рыбы в прибрежных водах...

Поздно вечером Кристианс проводил молодого офицера в порт. Он предупредил, что подводная лодка будет передвигаться только по ночам, и займет этот путь трое суток. Толубеев должен был заняться языком, изучением своей «легенды» о пребывании в немецком лагере военнопленных, картой, на которой был отмечен его «путь» от лагеря до рыбацкого поселка Альтен на берегу залива Бохус. Кристианс особенно настаивал на твердом знании имен рыбаков, их быта: по «легенде» значилось, что бывший военнопленный, майор Толубеев, прожил в этом маленьком поселке у рыбака Иверсена несколько дней...

В бумагах, переданных полковником Кристиансом Толубееву, были подробные описания поселка, семьи Иверсена, его лодки, на которой вывезли Толубеева, и майор невольно подумал о том, какой же бесстрашный человек этот рыбак. Ведь «легенда» должна была опираться на факты, на подлинные имена. А что, если гестало захватит беглеца и «выбьет» из него эти факты? Да и квислинговская полиция давно уже сотрудничает с немцами, а стоит немцам узнать имя рыбака, и он будет немедленно казнен. Кристианс говорил, что норвежцы часто помогают бежавшим из лагерей советским военнопленным, а немцам это нож в горло! Всех схваченных ими участников Сопротивления они убивают так же просто, как и пойманных беглецов...

И Толубеев дал себе слово пользоваться «легендой» только у друзей. Если же квислинговская или немецкая полиция заинтересуется им, ограничиться первой половиной «легенды» о пребывании в лагере и побеге,— никогда он не назовет героев Сопротивления, которых встретит здесь...

И все-таки после этих разговоров он почувствовал воздух страны, снова ощутил себя другом маленького смелого народа мореходов и открывателей, предки которых лет за пятьсот до Колумба добрались до Америки и назвали ее «Виноградной страной»...

Днем лодка отлеживалась на грунте. Как ни трудно было дышать перегретым воздухом, Толубеев терпеливо занимался норвежским языком или, улегшись с закрытыми глазами на предоставленной ему койке механика, повторял про себя «легенду». Еще хорошо, что ему не переменили ни фамилию, ни факты его биографии. Он должен был обращаться к своим прежним друзьям именно как инженер Толубеев, который был в их стране, работал плечо к плечу и с которыми его разлучила только война.

С наступлением темноты лодка всплывала. К Толубееву являлся помощник командира и приглашал наверх. По-видимому, Кристианс предупредил помощника, что пассажир лодки только что из госпиталя, что переход для него будет труден. Толубеев надевал тяжелое кожаное пальто с капюшоном, шапку-ушанку, карабкался по узкой лесенке в горловине люка и выбирался наверх. Море было на удивление спокойным, и можно было часами стоять на палубе и дышать свежим воздухом.

Он однажды с удивлением услышал слова помощника командира, обращенные к кому-то:

— А ведь заказал-таки полковник погоду! Загляденье!

Толубеев удивленно спросил:

— Как это «заказал погоду»?

— Целую декаду запрашивал наших синоптиков: когда будет приличная погода? И дождался!

— Но для чего?

— Завтра мы проходим через Скагеррак в залив Бохус на рандеву... А при ветре это очень опасно!

Последнюю ночь лодка шла под перископом. Толубеев попросился из любопытства в командирскую рубку и с удивлением увидел далекие огни берега. Ему, отвыкшему за годы войны от ночного света, видение это показалось удивительным.

Но тут шефствовавший над новичком помощник командира попросил его приготовиться к высадке. Толубеев вернулся в свою каюту.

Он переоделся согласно инструкции: две пары шерстяного белья, брезентовые брюки грубошерстный свитер, куртка-штурмовка, вязаный берет. В брезентовом рюкзаке, который он взял с собой, были тот, еще московский, костюм, белье и сорочки: все эти вещи были сделаны в Норвегии и имели метки норвежских портных. Туда же он сунул обе бритвы.

Бумаги и книги он упаковал в заранее приготовленный резиновый мешок и передал их на хранение помощнику командира. Тот придирчиво оглядел его, подвел к зеркалу:

— Бледность вполне приличная. Худоба тоже. Сразу видно, что вы побывали в немецком лагере...

Послышался тихий шум продуваемых цистерн. Лодка всплывала. Помощник командира крепко обнял Толубеева и поцеловал его. Сказал почему-то шепотом:

— Ну, ни пуха ни пера...

— К черту, к черту...— пробормотал растроганный Толубеев.

Что-то резко стукнуло по борту подводной лодки, затем послышалось мягкое шуршание. Помощник командира сказал:

— Пора!

Толубеев выбрался из люка. В опасной темноте, пробитой только гвоздиками звезд, из которых самыми яркими были Полярная и созвездие Большой Медведицы, все слышалось шуршание дерева по металлу. Толубеева взяли за руку и подвели к навесному штормтрапу с веревочными ступенями. Прямо под собой он увидел, скорее даже почувствовал, палубу рыбачьего суденышка, елозившего кранцами из отработавших автомобильных шин по металлу. Снизу к нему протянулись другие руки, и он отдался в их власть.

Его осторожно поставили на шаткую палубу. Звякнул железный наконечник шеста, и рыбачье суденышко медленно отодвинулось от металлического борта. И сразу заурокотал судовой мотор, а все, что связывало еще Толубеева с родиной,— тень человека над морем, тень корпуса лодки, тени надстроек — все стало проваливаться в глубину и как-то мгновенно растаяло. В это время Толубеева подтолкнули осторожно вперед, колыхнулась дверь каюты, ударил в лицо яркий, как показалось Толубееву, свет, и он оказался в тесном закутке с подвесными койками, со столом. Перед ним стоял человек, протягивавший руку, и Толубеев услышал впервые за три года норвежские слова:

— Шкипер рыбацкого яла «Маргит». Меня зовут Рон Иверсен.

Толубеев покачнулся не столько от волны, бросившей суденышко, сколько от неожиданности. «Легенду» он помнил назубок, но никогда не мог представить себе, что порой легенды становятся былью.

— Рад встретиться с вами! — сказал он по-норвежски.

Рон Иверсен подозрительно взглянул на него:

— Вы ожидали увидеть другого человека?

Темное, продубленное ветром и солью лицо его напряглось, сильные руки уцепились за борт подвесной койки так, словно он собирался сорвать ее с места. Толубеев осторожно ответил:

— Мне назвали ваше имя, но сказали, что я увижу вас уже в Норвегии, в Альтене.

— А! — Рыбак вздохнул полной грудью, помолчал.— Вас должен был встречать Август Ранссон, но три дня назад его суденышко обстреляли с немецкого сторожевика. Сейчас Ранссон в больнице. Наш радист принял сообщение об этом несчастье. Но Скрытая Дорога должна существовать, хотя кондукторов иногда и убивают. Иначе немцы и в самом деле возомнят себя хозяевами Норвегии!

— Скрытая Дорога?

— Так в нашем Сопротивлении называют путь, по которому перебрасывают заподозренных бойцов и бежавших советских и английских военнопленных в нейтральные страны. Поэтому я здесь.

Он оглядел своего пассажира, цеплявшегося за стенку, сказал другим тоном:

— Садитесь, пожалуйста! Я вижу, вы очень устали.

Толубеев сполз по качающейся стенке на рундук, облегченно вздохнул и огляделся. В низкой каютке было тепло. На откидном столике, в деревянных гнездах-углублениях стояли откупоренная бутылка и два стакана. В рамке, окаймлявшей стол, позванивали, переползая от качки с места на место, тарелки с рыбой, горкой масла и белым пышным хлебом, какого Толубеев нигде, кроме Норвегии, не ел.

Рон Иверсен помог ему освободиться от брезентовой куртки. Коснувшись нечаянно его плеча, огорченно сказал:

— А вы и верно, как из лагеря. Мне пришлось повидать ваших людей, бежавших оттуда. На нашей станции Скрытой Дороги провалов не было, мы многих перебросили в Швецию и в Исландию. В Швеции их, правда, интернируют, но немцам как будто не выдают. А теперь, после Сталинграда, шведам вообще придется подумать о политике... Уж слишком они были почтительны к немцам!

— Значит, после Сталинграда? — не удержался Толубеев. Как ни говори, но ведь отблеск этой победы падал и на него!

— Да! — твердо ответил Рон Иверсен. — А вы тоже были под Сталинградом?

— К сожалению, нет. Я был ранен под Ленинградом.

— О, это тоже город — скала! — восхищенно подхватил Иверсен. — Если бы не наши квислинги, и мы могли бы показать немцам в апреле сорокового, что норвежцы не трусы!

— Вы уже доказали это! — твердо сказал Толубеев. Он понимал, что значит быть участником Сопротивления в оккупированной стране.

— Благодарю! — растроганно отозвался Рон Иверсен. — А то, что вы так отощали, даже к лучшему! — Он улыбнулся. — Теперь даже девушки жаждут подвигов. Они вас живо откормят!

Хотя шутка была грубовата, Толубеев принял ее весело. Она обещала удачу. А удача была ему так нужна!

На корме тихо рокотал мотор. Качка постепенно уменьшалась. Иверсен прислушался к ударам волн, бивших в левую скулу суденышка, удовлетворенно сказал:

— Заходим в залив. Прошу к столу.

Толубеев выпил полстакана крепкой жидкости, пахнущей самогонкой, закрепил перекладинкой тарелку с рыбой и принялся за ужин, больше похожий на завтрак. На его часах, еще с вечера переведенных на европейское время, было три.

Иверсен тоже выпил добрый глоток и пошел к выходу. Остановился на ступеньках у люка, предупредил:

— Я сменю помощника, пусть позавтракает вместе с вами. Парень пошел в такой рейс впервые, ему важно поглядеть на вас. Не опасайтесь, это мой сын. Его зовут Оле.

Тотчас же в люк скользнул помощник. Ему было от силы шестнадцать. Толубеева удивила было его молодость, но он тут же вспомнил, что в советских партизанских отрядах были тысячи таких же юношей, и на душе сразу стало легче.

Оле нерешительно поздоровался. Толубеев ответил по-норвежски. Парень вдруг проснял. Оба сразу развеселились, дружелюбно поглядывая друг на друга. Пить Оле не стал, но ел с удовольствием. Объяснил:

— Не знаем, когда вернемся домой. Не знаем, когда высадим вас. Отец приказал: есть, чтобы хватило на завтра.

— На сегодня? — поправил Толубеев, показывая на часы.

— И на сегодня и на завтра, — спокойно ответил парень. — Немцы днем ловят рыбаков. Будем прятаться в шхерах. Отня нет, стука нет. Лодка мертвая. Может, потопленная.

— Потопленная? А как же вы?

— Ну, не совсем. — Парень улыбнулся. — Немножко потопленная. Мы в камнях. Там есть пещеры. А лодка тут, на виду, немножко мертвая.

— А я? Тоже немножко мертвый? — пошутил Толубеев.

— Зачем — вы? Вас ждут на берегу. А мы спрячемся. От немцев. Завтра ночью вернемся.

Толубеев смотрел на румяное, еще почти по-детски розовое лицо парня, на его уже крепкие руки, широкие плечи и думал про себя, что он не имеет права не сделать того, чего от него ждут. Ждут там, на Родине. Ждут здесь, на лодке. Вероятно, ждут и те, кто его будет встречать на берегу.

Глава вторая: И ДА ПОМОЖЕТ ВАМ БОГ...

1.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ

1 МАРТА

«На днях войска Северо-Западного фронта перешли в наступление против Демянской группы войск противника. За восемь дней боев наши войска освободили 302 населенных пункта, в том числе город ДЕМЯНСК и районные центры ЛЫЧКОВО, ЗАЛУЧЬЕ».

Совинформбюро.

1 марта 1943 года.

В четыре часа утра Рон Иверсен позвал Толубеева на палубу и указал на слабый луч света, рождавшийся где-то в прибрежных скалах. Сам он стоял у штурвала, мягко маневрируя судном. Но вот судно стало строго по световому лучу и замерло. На мгновение вспыхнул сигнальный огонь на клотике и погас.

К борту подвалила небольшая прогулочная лодка. Иверсен передал в чьи-то руки рюкзак Толубеева, сбросил в лодку штормтрап и обнял Толубеева за плечи. Голос у него стал хриплый, тихий:

— Да будет с вами удача, и да поможет вам бог...

— И народ! — твердо ответил Толубеев и спустился в качающуюся лодку. Лодка бесшумно пошла к берегу, а суденышко «Маргит» растаяло в темноте. Только тут Толубеев спохватился, что не попрощался с Оле, сыном шкипера.

«Ничего, все встречи еще в будущем! Я обещаю сегодня и себе и этим хорошим людям, что сделаю все, как надо! А если я это сделаю, то я смогу увидеть всех этих людей в более доброе и светлое время...»

Лодка шла бесшумно, и Толубеев видел лишь силуэт гребца перед собой на первой банке, а оглянувшись — силуэт пригнувшегося кормчего позади. Но тут лодка прошуршала по песку, гребцы выскочили в ледяную воду, один из них, ни слова не говоря, подошел вдоль лодки к Толубееву и поднял его на руки. Второй взял мешок.

Тот, что нес на руках Толубеева, удивленно сказал:

— Да он же легче пуховой перины!

Несший мешок Толубеева сухо заметил:

— А ты думаешь, что немцы откармливают своих пленных, как дядюшка Диомед свинью перед рождеством? Они их сначала морят, а потом добивают.

Вода перестала плескаться под ногами, носильщики шли уже по песку, но дюжий человек, несший Толубеева, не спускал его с рук. «Боятся оставить лишние следы», — подумал Толубеев. Он хотел было сказать, что понимает язык, но носильщики замолчали: дорога шла в гору.

Они прошли мимо каких-то строений. Толубеев увидел приткнувшуюся у стены автомашину. В машине, очевидно, услышали шаги, потому что в ней вспыхнул свет, открылась задняя дверца. Дюжий носильщик протолкнул Толубеева головой вперед в машину, там чьи-то руки помогли ему сесть. Потом к ногам упал мешок с вещами, оба носильщика в один голос сказали:

— Добрый путь!

Тот, что нес Толубеева, тихо добавил:

— Он очень истощен!

Шофер молча включил мотор, погасил внутренний свет в машине, и она мягко тронулась сначала по гравию, потом вышла на шоссе и ринулась на восток, навстречу чуть светлеющей полосе неба. «Если бы я верил в предзнаменования, — подумал Толубеев, — я бы считал, что все предвещает удачу! Но я не верю в приметы, значит, должен строить удачу сам!»

Он спокойно сидел в углу машины, иногда при поворотах и виражах чувствуя плечо соседа. Но так как и шофер и сосед молчали, он не считал возможным начинать разговор.

Шоссе было пустынно, да и весь этот край казался пустынным. Толубеев попытался представить карту Норвегии. Да, на этом побережье залива оживленно только во время курортного сезона. Значит, его везут подальше от побережья, в срединную зону. Конечно, это далеко от Осло, где он должен начать свою работу, но, очевидно, ему пока что дадут прийти в себя. Ведь для них он беглец из плена. А дальше будет видно.

Они ехали не меньше часа, стало уже светать, когда машина резко свернула с шоссе, проскочила гаревую дорожку между кустами можжевельника, затем настежь открытые ворота, которые тут же за машиной и закрылись, подошла к темному зданию и затормозила.

Шофер обернулся к Толубееву, спросил по-английски:

— Можете ли вы идти сами, или вам нужна помощь?

— Да, могу! Благодарю вас! — ответил Толубеев и открыл дверцу машины.

Но шофер, худощавый молодой человек, уже вышел и помог ему. Взяв под руку, он повел его к лестнице.

Небольшая усадьба, в которой он очутился, показалась ему довольно запущенной. По-видимому, зимой тут никто не жил. Хотя камин и горел жарким пламенем, пар от дыхания был явственно виден. Но в следующей комнате, куда его провели через большой холл с камином, топилась круглая широкая печь и было даже жарко. Через открытую дверцу виднелись крупные куски антрацита, затянутые синим огнем. Здесь стояли деревянная кровать, покрытая по местному обычаю периной, небольшой письменный стол, заваленный газетами на норвежском и немецком языках, гардероб, в который второй провожатый уже раскладывал содержимое толубеевского мешка, два кресла и, перед кроватью, маленький столик, уставленный какими-то лекарствами.

Второй провожатый, закончив выкладывать вещи из рюкзака, коротко сказал тоже по-английски:

— Переоденьтесь!

Шофер вышел куда-то, а второй провожатый, пожилой, очень крепкий и мускулистый, наклонившись к печке, принялся деловито заталкивать туда рюкзак. Толубеев послушно снял брезентовую робу, надел штатские брюки и пиджак. Второй провожатый одобрительно оглядел его, взял рыбацкий костюм Толубеева и тоже принялся запихивать в печку. Когда одежда вспыхнула, он тщательно перемешал угли. Толубеев заметил, что он предварительно срезал с рюкзака и с одежды все металлические пряжки и пуговицы.

«Ничего не скажешь, люди с опытом!» — уважительно подумал он, глядя, как снова разгорается пламя в открытой печи.

— Сейчас вам дадут поесть! — все так же по-английски сказал второй. Первый, ведший машину, очевидно, занимался ею. За окном послышалось рычание прогреваемого мотора.

Они ни разу не спросили, говорит ли он по-норвежски, как будто нарочно избегали этого вопроса. Впрочем, может быть, им лучше будет сказать при необходимости, что человек, которого они видели, говорил по-английски? Тогда можно утверждать, что это был английский летчик. Англичане теперь часто бомбят секретные заводы немцев и морские базы на побережье Северной Норвегии, и, естественно, их порой сбивают, а летчики после вынужденной посадки стремятся пробраться в нейтральную Швецию. Помочь английскому летчику не так уж опасно!

Второй мужчина еще раз перемешал угли в печи, поставил кочергу в угол, поднялся, поклонился, коротко сказал:

— Мы еще увидимся!

И вышел.

Толубеев благодарно посмотрел ему вслед, запоминая широкие плечи, мощные бицепсы, перекатывавшиеся под рукавами легкой куртки, длинные, сильные ноги, седую шевелюру. Этому человеку было не меньше пятидесяти, и тем не менее он рисковал! Второй был моложе, ему и рисковать было легче.

Рокот машины утих вдали.

Послышался легкий стук в дверь. Толубеев ответил:

— Войдите!

Вошла горничная в наколке, в маленьком передничке, в высоких рабочих башмаках, неся поднос на вытянутых руках. В комнате сразу запахло жареным мясом и свежим кофе. Она прошла к столу у кровати, осторожно сдвинула одной рукой пузырьки на край и поставила поднос.

— Пожалуйста! — тихо пригласила она, повернулась к гостю, делая легкий книксен, вдруг вздрогнула, чуть слышно проговорила: — Не может быть! Вы? Вольёдя!

Только по этому протяжному, не по-русски звучащему милому «Вольёдя» Толубеев и узнал Виту. Во всем остальном она была похожа на молоденькую вышколенную горничную, каких можно встретить в любой барской усадьбе. Но теперь, когда она с трудом держалась на ногах, она была такой же, как в самый последний день в Осло, когда было совершенно ясно, что он вот-вот навсегда исчезнет из ее жизни.

А она все шептала, как шепчут: «О боже! О боже! О боже!»,— такое же тихое и сокровенное, только ей принадлежащее: «Вольёдя! Вольёдя! Вольёдя!»,— пока наконец он не пересилил свою слабость, пока не сделал два шага до своего потерянного счастья, пока не ощутил на своих губах ее горькие слезы... И только тогда она поверила в то, что перед нею действительно он, исчезнувший так давно, нечаемый, неожиданный, невозможный, потому что в этом страшном мире больше ни во что нельзя было верить, кроме разлуки.

Ибо весь мир был разлучен, ибо весь мир страдал, ибо весь мир сражался...

И, отрываясь от нее на мгновение, он также самозабвенно шептал выстраданное, отстоявшееся в мучениях ее имя: «Вита! Вита! Вита!» — как говорил бы, вероятно, «Жизнь! Жизнь! Жизнь!» — пусть это мгновение жизни было бы короче одного вздоха. Да и было ли у них будущее? Если тогда, когда на них, подобно божьему грому, упала любовь, он был всего-навсего посланцем чужого мира, похожим для Виты и окружающих ее людей на марсианина, столь далека была для них Страна Советов, то сейчас он оказался рядом с нею изгоем, беглецом, преследуемым, за которым гонятся все страсти и страхи... И она действительно вспомнила об этом его состоянии, потому что руки ее вдруг охватили его голову, прижали к груди, словно она пыталась спрятать его от враждебного мира, спасти от напастей, его ожидавших, как ни слабы были ее силы.

Они сели рядом прямо на кровати, потому что не было ничего другого, где можно было бы сидеть обнявшись, чтобы чувствовать себя слитно, и только тут она спросила:

— Так это о тебе шла речь? Боже, как я счастлива!

— Значит, ты тоже участвуешь в Сопротивлении?

— Как видишь! — Она засмеялась, потом сказала:— Прости, я сейчас!— выскользнула из его рук и побежала из комнаты.

— Куда же ты! — воскликнул он, и она задержалась в дверях, шепнула громко, чтобы он услышал:

— Долой эту конспирацию! Я должна переодеться. Сегодня мой праздник!

Он растерянно огляделся. Громко гудела печь. За светло-зелеными шторами явственно приближался рассвет. Все предметы в комнате мирно стояли на местах, ничего не было от сновидения в этом неожиданном сне. Но он все еще не верил своим ощущениям, он все еще боялся, что вот-вот проснется и окажется, что он по-прежнему лежит в госпитале, привязанный на ночь к койке, чтобы не перевернулся во сне на изрезанный живот,— тогда, в те тяжелые ночи, только и могли сниться такие необыкновенные сны...

На глаза ему попал принесенный Витой поднос и на подносе — серебряный кувшинчик, длинноногий бокал возле него. Он налил дрожащими руками темный напиток в бокал, поднес к лицу, понюхал: коньяк. Вита здесь! Она принимает участие в движении Сопротивления! Какое это счастье, что он встретил именно Виту!

Он коротко всхлипнул и не понял, смех ли это или рыдание, потому что был близок и к тому и к другому. Встал с постели, подошел к зеркалу, чтобы увидеть себя глазами Виты.

Худое, истощенное лицо глянуло на него. Худые, бледные до желтизны щеки. Запавшие виски с посеребренными волосами. Да сколько же тебе лет, товарищ Толубеев? Как смогла узнать тебя Вита? Разве что по глазам? Говорят, что глаза никогда не меняются. Но он-то знает, что в те годы, когда он впервые увидел Виту, у него были телячьи глаза, восторженные, уставленные в одну точку — на ее лицо. А теперь у него глаза измученного болью человека, может быть, даже мудрые глаза, а может быть, просто страдающие или ожидающие нового приступа боли. И Вита узнала его!

Он еще дивился этому чуду узнавания, когда распахнулась дверь и снова вошла Вита.

Теперь это была именно она. Такая, какой была т о г д а.

— Я очень изменилась? — с беспокойством спросила она, глядя в его лицо.

— А я?

Она уловила страдание на его лице, быстро подошла и положила руки на его плечи, чуть отстранившись, чтобы видеть его глаза. Сказала тихо:

— Ты — да. Но это — война! Я могу только воображать, что ты перенес за это время, но, наверно, никогда не сумею понять по-настоящему. Ты имеешь право быть старше возраста, но я должна быть вечно юной, иначе ты перестанешь меня любить.

Он улыбнулся — уж слишком по-детски прозвучало все это,— но ведь ей и всего-то двадцать три! А он, если считать эти годы войны один хоть за три — что, в сущности, мало! — стал старше на шесть-семь лет.

— Но откуда здесь этот наряд? — спросил он, разглядывая ее.

— Завтра я должна быть в городе. Не могу же я поехать туда в роли служанки?

— Как? Уже завтра? — Он не сумел скрыть своего огорчения.

Она радостно засмеялась:

— Вот теперь я вижу, что ты все-таки помнишь меня! — Она остереглась произнести «любишь» и только приблизила глаза к его глазам, словно пыталась заглянуть в душу.

— Люблю! Люблю! — охотно подтвердил он.

— Почему же ты не поцеловал меня? — смущенно спросила она.

— Но ведь «завтра» еще не началось для нас! Ты же еще побудешь со мной?

— Да, да! Спрашивай, я вижу, что тебе надо о многом спросить!

— Чья это усадьба?

— Одного из наших друзей.

— Кто эти люди, что помогли мне и привезли сюда?

— Наши друзья.

— Местная полиция не интересуется усадьбой?

— В местной полиции есть наши друзья.

— Могут ли твои друзья помочь мне перебраться в Осло?

— Пока тебе не следует делать этого. Все, что тебе понадобится, я привезу сама.

— А если мне понадобится встретиться с кем-нибудь?

Она задумалась.

— Я спрошу об этом, когда тебе понадобится встреча.

Он осторожно сказал:

— Я понимаю тебя и твоих друзей. Они пошли на крупный риск, помогая советскому военнопленному. Но ведь я солдат. И никто не освобождал меня от воинской присяги. Если я оказался на свободе, я обязан бороться.

— Ты обвесишься гранатами и нападешь на немецкую казарму?

— Есть много способов борьбы,— задумчиво сказал он.— Вот почему мне нужно

поблагодарить твоих друзей за помощь и как можно скорее исчезнуть.

— Ты только что встретил меня и уже хочешь исчезнуть? — жалобно воскликнула она.

— Что ты, Вита! — Он сжал ее с такой силой, какой давно уже не чувствовал в себе.— Я только не хочу доставлять неприятности твоим друзьям. Но если мне удастся устроиться в Осло, разве мы не будем ближе друг к другу? Ведь ты не можешь надолго покидать дом, отца?

— Отец знает, где я,— гордо сказала она.

Толубеев вспомнил чопорного промышленника, в друзьях которого числились министры и сенаторы, которого с удовольствием принимал король, и тихо улыбнулся. А теперь ему приходится мириться с новыми друзьями Виты. Удивительно меняет людей жизнь!

— Все! — решительно сказал он.— Ты меня убедила! Я подчиняюсь тебе и твоим друзьям и принимаю их помощь и твою!

Она вдруг с отчаянием воскликнула:

— О, твой ужин! Он же остыл совсем! И ванна! Ванна!

Выбежала из комнаты и скоро вернулась с серебряной спиртовкой. Взяла со стола спички, зажгла спиртовку и поставила что-то разогревать. В комнате запахло вкусной едой, и Толубеев шагнул к столу.

Продолжение следует.

ОГНЕ

Николай АСАНОВ

Повесть

2.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

«Несколько дней назад наши войска начали решительный штурм города РЖЕВА. Немцы давно уже превратили город и подступы к нему в сильно укрепленный район. Сегодня, 3 марта, после длительного и ожесточенного боя наши войска овладели РЖЕВОЙ».

Совинформбюро.
3 марта 1943 года.

Когда он проснулся, Виты не было в комнате. Но на столике стояло блюдо с гренками, дымился кофе. Рядом лежала записка: «Позавтракай один. Я пошла к друзьям».

«Пошла,— подумал он.— Значит, эти друзья живут где-то рядом».

И удивился своим мыслям. Он думал не как влюбленный о возлюбленной, которую встретил после долгой разлуки, а как разведчик. И подумал так же, как вчера об отце Виты: «Удивительно меняет людей жизнь!» И сам рассмеялся своим мыслям.

Да. Он разведчик, и это главное в его жизни. Все другое пока — преходящая радость или преходящая печаль. И думать ему надо о том задании, которое ему поручено.

Одевшись, выпив кофе, он медленно пошел из комнаты в комнату.

Все окна были закрыты плотными шторами, и это наводило на мысль, что обитатели маленькой усадьбы не напрасно прибегают к таким предосторожностям. Очень может быть, что в эту минуту кто-нибудь рассматривает усадьбу и двор в бинокль и ждет, не шевельнется ли штора на окне.

Но любопытство оказалось выше осторожности. Обойдя комнаты внизу, Толубеев поднялся на второй этаж. И еще с лестницы, ведущей из нижнего холла в верхний, увидел не столько свет, сколько сияние. Перед ним была заснеженная равнина, окаймленная с одной стороны невысокими горами, утекавшая так далеко на север, что недоставало зрения и высоты, чтобы заметить ее границы, и только на самом горизонте темнело что-то похожее на воду. Толубеев стоял поодаль от окна и все глядел и не мог насытиться этим беспредельным сиянием, пока наконец не прорезалась мысль: «Я знаю это место! Это озеро Треунген!»

Теперь он словно бы определился в пространстве: он находился в центре южнонорвежского полуострова, недалеко от городка Треунген, на озере, где у господина Масона, отца Виты, была усадьба. Когда-то господин Масон, принимавший работников торгпредства по поводу заключения весьма выгодного контракта на поставку руды, показывал фотографии озера и его крутых, похожих на бараньи лбы скал. Сейчас там, где снег был сдут ветрами, скалы и впрямь походили на бараньи лбы. Были среди этих фотографий и снимки усадьбы и пляжа с купающимися,— эти фотографии привлекли его больше, на них он увидел Виту. Были там и фотографии других усадеб или вилл, домиков для отдыха, ярко окрашенных, с широкими квадратными окнами; это была зона отдыха для привилегированных лиц...

Он сел в низкое кресло у стены и осмотрелся. Холл был прорезан широкими окнами с трех сторон. Со своего наблюдательного поста Толубеев видел и озеро через среднее окно — с севера на юг, судя по низкому зимнему солнцу, и крутую дугу побережья — сначала в восточное окно, потом в западное. На побережье были редко-редко разбросаны такие же усадьбы, окаймленные живыми изгородями из можжевельника и вереска. Конечно, где еще могла отдыхать семья Виты? Только там, где отдыхают члены стортинга и правительства, промышленная и дворянская знать страны. Пожалуй, если здесь и есть шпионы, то они не прячутся за живыми изгородями в снегу, они приходят на рауты, на вечерний чай, на балы и там вершат свои дела, тем более, что многие из этих знатных людей, из этих государственных деятелей преданы гитлеровскому райху душой и телом и, уж конечно, собираются принять участие в разделе завоеванного фашистами мира. В то, что фашизм может быть разгромлен, они еще не верят и поверят разве что в тот день, когда союзные армии ворвутся в пределы Германии. Но когда это будет? Еще и второго фронта нет, еще лучшие земли России находятся под пятой фашизма,— что им беспокоиться, этим функционерам и шпионам Гитлера!

Он каким-то вторым зрением увидел Виту. Девушка шла на лыжах вдоль березовой рощи, похожей на привычные подмосковные, по самому берегу озера, шла быстро, легко. И хотя на таком расстоянии нельзя было рассмотреть ни лица, ни походки,

Продолжение. См. «Огонек» №№ 30, 31.

хотя это могла быть и любая из миллиона женщин и девушек страны, он з н а л: идет Вита! И ждал ее приближения с той почти молитвенной страстью, с какой вчера увидел ее.

Он спустился задолго до того, как услышал стук отставленных лыж и палок, удары веника по сапогам. И тут распахнул дверь.

От нее пахло свежим снегом и морозцем. Раскрасневшееся лицо сразу окрасилось радостью, как будто она перед этим боялась, что уже не увидит его в доме. Но теперь, когда он был перед нею, она мягко выскользнула из объятий.

— Я должна переодеться и приготовить завтрак!

— Ты ждешь гостей?

— Но ведь ты тоже гость, и такой долгожданный!

— Где ты была?

— У наших друзей. Я должна была посоветоваться об убежище для тебя. Завтра я должна быть на работе...

— Ты работаешь? — В голосе его прозвучало такое изумление, что она рассмеялась. Лукаво ответила:

— Все лояльные женщины Норвегии должны оказывать помощь великому германскому соседу...

— Военную?

— Ну, я до этого еще не дошла. Просто отец устроил меня секретарем в один из отделов своего акционерного общества. Ты ведь знаешь, он один из членов правления...

— Да, да,— машинально подтвердил он.— Еще в тридцать восьмом ты прочитала мне лекцию о том, что полсотни членов правлений главных банков Норвегии занимают в общей сложности почти триста важнейших постов в зависимых акционерных обществах и фирмах...

— Высший балл по экономике! Ты прекрасный слушатель!

Но так как он все еще не желал отпустить ее, она вынула из кармана лыжной куртки небольшой бумажник и протянула ему:

— Это друзья просили передать тебе!

Он открыл бумажник и увидел под целлофановой подкладкой личное удостоверение с собственной фотографией. Да и все удостоверение было его собственным: его имя и фамилия, только именовался он Вольдемар Толубеев, и было в удостоверении указано, что родился он в Нарвике, отец — русский, моряк, владелец судна, мать — из общины Нарвика, дочь владельца рыбного завода, произошло это событие в 1913 году, отец и мать скончались...

Трудно было оторваться от созерцания собственного перевоплощения. Он решительно спросил:

— Но почему русский?

— Надо же чем-то оправдать твой акцент? — улыбнулась Вита.— А в Нарвике, в Ставангере всегда жило много русских норвежцев. Их там так и называли. И это были не эмигранты с нансеновскими паспортами, а давние поселенцы. Сейчас немцы выселили этих русских на Лофотенские острова, но их не интернировали, не загнали в лагерь. С таким паспортом ты вполне можешь жить в Осло... Хотя я совсем не понимаю, почему тебе хочется лезть в это осиное гнездо! — жалобно добавила она.— И друзья моих друзей, передавшие этот документ, тоже молчат.

— Я уже сказал тебе, Вита, что обязан продолжать войну,— мягко напомнил он.

— Хорошо,— грустно согласилась она.— А пока посмотри эти газеты! — Она разложила веером на столе пачку газет.— Тут нет только советских. Но есть шведские, есть немецкие, французские, правда, только из оккупированной зоны. Есть и наши, но только квислинговские. Держать другие норвежские газеты здесь опасно.

— А такие тоже есть?

— Не меньше трех сотен, и половина из них выходит в Осло! — строго ответила она.— В четверть листа, в половинку; напечатанные на гектографе и написанные от руки; сделанные и в настоящих типографиях и за обеденным столом. И их становится все больше! Мы ведь продолжаем нашу борьбу! — Она выглядела очень гордой.— И восстанови свой норвежский! Ты теперь говоришь не лучше лапландца! — Она помахала рукой и исчезла.

А он еще долго разглядывал свой «вид на жительство». Да, друзья, которым поручили заботу о нем, подумали обо всем. А еще больше его поразило, что во внутреннем кармане бумажника оказалась пачка крон — как он понял, приданое на первые дни новой жизни...

Только после того, как он запомнил все даты, сообщенные в его удостоверении, все знаки, цифры и подписи, он перешел к газетам.

Норвежская «Дагбладет» оказалась значительно тоньше прежней. Сводка с русско-немецкого фронта была трехдневной давности. В ней было выделено крупным шрифтом сообщение о наступлении гитлеровцев в районе Харькова. А вот об освобождении Демянска и ликвидации опасного демянского плацдарма, на котором немцы сидели целый год, ни слова. О советском наступлении на Кубани и на Украине — тоже. Но еще отвратительней выглядела лживая сводка немцев от двадцать третьего февраля о том, что русские якобы потеряли за двадцать месяцев войны восемнадцать миллионов солдат и офицеров, сорок восемь тысяч орудий и тридцать четыре тысячи танков,— эта ложь была опубликована без каких-либо примечаний! А кто же тогда гонит немцев? Кто разгромил их армии под Москвой и под Сталинградом? Кто выгнал их из четырнадцати областей? По-видимому, квислинговцы все еще не понимают, что перелом в войне уже наступил.

Он сердито отшвырнул газеты, даже не заглянув в сводки из Африки и Азии. Невольно подумалось: как же трудно пробивается правда о войне через немецкую цензуру!

Шведские газеты не изменились: такие же пухлые. Нейтралам хватало целлюлозы. Чувствовалось, что в стране кипит деловое возбуждение. Продавались и покупались имения, фабрики, заводы. Требовались служащие и рабочие. Морякам торговых судов сулили крупные премии за своевременную доставку грузов. Появилось множество каких-то смешанных немецко-шведских фирм: судоходных, торговых, промышленных. Гитлер не жалел марок и золота. Швеция стала его подлинным тылом. Тут бомбы не падали, промышленность и торговля развивались бурно.

Толубеев усиленно просвещался, раздумывая в то же время, как действовать. Вита сказала: «Наши друзья!» Но «наши друзья» помогают просто из человеколюбия и ненависти к захватчикам. А как быть дальше? Пробираться в Осло самостоятельно? Этот город стал главной перевалочной базой на пути в Германию. Или, может быть, пробраться в Финмарк, к Сёр-Варангеру? Там главный центр по добыче железной руды. Но это тысяча километров пути! И там больше всего немцев, которые, несомненно, интересуются всеми приезжими. Городское самоуправление и вся полиция области, конечно, у них в руках. Человек, говорящий по-норвежски, как лапландец, вызовет опасные подозрения, как бы ни были хороши его документы...

Было о чем подумать.

А где-то на кухне резвилась Вита. Вот она прогремела сковородками. Вот запела. Вот оборвала песню, наверно, завтрак поспел.

И верно, Вита распахнула дверь, склонилась в книксене и певуче произнесла:

— Прошу господина Вольдедю к столу!

Да, ее не следует огорчать. Пусть хоть день будет принадлежать ей!

Он торжественно предложил ей руку и проследовал в столовую.

Завтрак был приготовлен царский: форель, кофе со сливками, плоские рюмки для коньяка, плоская коньячная фляга. Вита в ответ на изумленный возглас Толубеева церемонно произнесла:

— Не удивляйтесь, милый господин: контрабанда военного времени! Коньяк привозят немцы из Парижа и продают на черном рынке...

После завтрака они немного погуляли. Вита заставила его стать на лыжи. В доме было много лыж, башмаков, костюмов — на любой вкус. Значит, хозяева навещают дачу и зимой, хотя прислуги не было. Угольную печь, находившуюся в подвале под домом, Вита топила сама. В камине и перед печами во всех комнатах дома лежали вязанки дров.

Толубеев спросил о прислуге.

— В доме есть истопник и его жена. Но они отпущены до вторника. Предполагалось, что человек, которого сюда доставят, будет стесняться лишних свидетелей...— Все это она проговорила в обычном своем шутливом тоне, а тут вдруг воскликнула, как молитву: — Но, боже, какое это чудо, что из небытия возник ты! — И заплакала совсем не счастливыми слезами, горько, навзрыд.

Только теперь он понял, как много страсти таилось за ее всегдашними иронически-ми шутками, которыми она поддразнивала его, «русского медведя», с самой первой встречи и до той трагической минуты прощания, когда ему пришлось мешать правду с ложью, чтобы убедить ее, заставить ее понять: он не может взять ее с собой!

НАЯ ДУГА

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

«1. 4 марта западнее РЖЕВА наши войска, продолжая развивать наступление, овладели городом и железнодорожной станцией ОЛЕНИНО, а также заняли крупную железнодорожную станцию ЧЕРТОЛИНО. Железная дорога МОСКВА — РЖЕВ — ВЕЛИКИЕ ЛУКИ на всем протяжении очищена от противника.

2. В Орловской области наши войска после упорного боя заняли город СЕВСК.

3. В Курской области наши войска в результате решительной атаки овладели городом и железнодорожной станцией СУДЖА».

Совинформбюро.
4 марта 1943 года.

Теперь, на себе испытав, что такое война в Советском Союзе, увидев голод, холод, тысячи смертей, он бы, наверно, нашел более убедительные слова. Но тогда он был вынужден больше лгать, чем говорить правду.

Эти воспоминания были так непереносимы, что, едва вернувшись с прогулки и еще не сбив снег с башмаков, просто вытянув их перед вновь запылавшим камином, он спросил:

— Могут ли твои друзья отвезти меня сегодня вечером в Осло?

— Так быстро? — грустно спросила она.

— Я не имею права подвергать тебя опасности.

— Так же, как я не имела права подвергать тебя опасности тогда! — глухо сказала она. Заметив, как дрогнуло его лицо, она сжалилась над ним и заговорила медленно, как будто повторяла давно затверженный урок: — Я понимаю, ты прибыл тогда сюда из суровой страны, которая уже готовилась к смертельной схватке. Я понимаю, что многие люди твоей страны считали всех нас, живущих в благополучном, сытом мире, чуть ли не врагами. Но неужели ты не мог убедить их, что я люблю тебя! И ведь ты знал, что любовь не способна на предательство!

Голова ее опускалась все ниже, и она уже глядела только на огонь. Может быть, боялась увидеть его страдание? Он осторожно приподнял ее лицо за подбородок, взглянул в глаза.

Да, дорого обошлось ей то прощание. Отблеск муки, как отблеск огня, прорывался из глаз, словно в них билась ее живая душа. Он осторожно прижался губами к ее щеке.

— Как же ты собираешься устроиться в Осло? — более спокойно спросила она.

— Может быть, твои друзья помогут мне?

— Наши друзья,— подчеркнула она,— постараются это сделать. Но они должны знать твои планы.

— Ну, что же, я охотно поделюсь ими и с тобой и с ними, хотя, видит бог, сам еще не очень хорошо представляю свое будущее. Но я помню, что норвежцы в душе очень консервативны, не любят перемены мест, живут гнездами, из которых редко выбираются в полет. Хотя война добралась до вас даже раньше, чем до нас, можно все же надеяться, что многие из тех, с кем я был когда-то знаком, по-прежнему работают на своих местах, живут в своих квартирках. Я бы поискал мастера Андреена с шарикоподшипникового завода,— он жил на левом берегу Акерс-эльв, в Эстканте...

Эта небольшая речка, рассекающая Осло, была как бы негласной границей между городом богатых — Западным, и городом тружеников — Восточным.

— Но это же ужасный район! — со всей непосредственностью хорошо устроенного человека воскликнула Вита.

— А где еще может приютиться беглый пленный? В районе бульваров, в Вестканте, где расположен особняк твоего отца? Вряд ли мне сдадут там комнату... А мастер Андреен не только работал в нашей конторе «Совэкспорт», но и по убеждениям примыкал к коммунистам. Я думаю, он поможет мне устроиться на работу.

— На работу?

— Но вот ты же устроилась? — усмехнулся он.— Будем вместе помогать великому германскому соседу...

— Но какую работу может предложить тебе мастер? Ведь ты же инженер!

— Сомнительно, чтобы кто-нибудь предложил мне пост инженера,— сурово заговорил он, пытаясь заставить ее оторваться от прошлых представлений.— Но, кроме того, я еще и термист и механик, и, говорят, хороший. Вот исходя из этого я и стану строить свою новую жизнь.

— И я не увижу тебя?— жалобно проговорила она.

— Почему же? Когда у меня заведутся кроны, я приглашу тебя на танцы. Там, на левом берегу Акерс-эльв, были недурные дансинги для рабочих парней и их подружек, если немцы их не закрыли.

— Перестань! — воскликнула она. И вдруг заплакала, опустив голову на руки. Слезинки скатывались меж тонких пальцев. Вот уж этого он не мог вынести. Прижав ее голову к груди и целуя плачущие глаза, он поклялся:

— Я всегда буду рядом с тобой! Если ты чуть-чуть посвистишь, я сразу прибегу...

И добился своего: она снова заулыбалась. Теперь уже разлука не казалась такой страшной.

— Но этот день и завтрашний ты отдашь мне? — только и попросила она. И сама же успокоила: — А завтра вечером наши друзья отвезут тебя в Эсткант. И у тебя будут мой служебный телефон, и мой домашний телефон, и будут еще телефоны наших друзей.

— Отлично! — весело воскликнул он.— По крайней мере мне не грозит безработица. У дядюшки Андреена тоже есть телефон, и я буду сутками сидеть возле него.

— Не шути так жестоко! — попросила она.

И он сам испугался, увидев ее такой, как в самый последний день в Осло, когда было совершенно ясно, что он вот-вот исчезнет навсегда из ее жизни, хотя было совершенно неясно, удастся ли ему добраться до Родины. Немцы, невзирая на свои торговые договоры с Россией, к русским, оказавшимся в Норвегии, отнеслись очень враждебно.

Вот такой же растерянной была Вита в те последние дни. Все было неясно: позволят ли немцы вывести из норвежских портов советские корабли с рудой и машинами, с отъезжающими советскими работниками из торгпредства и нескольких закупочных комиссий,— все границы ощетинились, мир оказался разделенным воюющими армиями...

И вот сейчас он снова показался ей солдатом, а не возлюбленным, и это опять потрясло ее, уже поверившую, что счастье вернулось к ней.

И он поклялся, что не станет огорчать ее. И два дня держал свою клятву.

А в понедельник, перед самыми сумерками, приехали гости.

Толубеев, наблюдавший из окна, сразу узнал и машину и людей. Те, что встречали его на взморье.

Вита побледнела, услышав шум подъезжающей машины. Теперь она не боялась, просто представила еще одно прощание.

Молодой человек, который помогал тогда Толубееву выйти из машины, сейчас, в отлично сшитом костюме и мягких зимних башмаках, мог оказаться и профессиональным спортсменом и профессиональным политиком или адвокатом. Старший, широкоплечий, массивный, с тяжелой челюстью, был похож на боксера.

— А вы прекрасно выглядите! — воскликнул младший по-английски.

— Рад поблагодарить вас, господа, за помощь! — приветствовал их Толубеев на норвежском.

— Как, вы знаете наш язык? — растерянно спросил старший.

— Господин Толубеев два года работал в нашей стране торговым представителем по импортно-экспортным операциям. Он известный русский инженер, специалист по черным рудам и металлам...— пояснила Вита. Об этой рекомендации они договорились заранее.

— Приветствую коллегу! — воскликнул старший. И поспешил представиться: — Свенссон, инженер-металлург. Сейчас руковожу небольшим опытным цехом, работаю на немцев! Впрочем, вы, вероятно, знаете наши шарикоподшипниковые заводы?

— Да, конечно,— ответил Толубеев, пожимая протянутую руку.— В сороковом году я заказал у вас довольно много вашей отличной продукции.

— Немцы потребовали от руководителей концерна ликвидации этого заказа на следующий день после захвата Осло! — хмуро сказал Свенссон.

Младший все смотрел на Толубеева, как на говорящую лошадь. Только после того, как Толубеев пожал руку и ему, он растерянно пролепетал:

— Севед Свенссон, магистр литературы...

— Мой сын! — гордо объявил старший.

— Мы были здесь в отпуске, когда нам передали приказ нашей группы Сопротивления встретить вас,— сказал младший.

— Не подумайте, что у нас действительно крупная группа.— Старший Свенссон улыбнулся.— Основные силы Сопротивления базируются в горах.

Толубеев понял, что от него ждут такого же доверия. Вита пригласила гостей к столу, и Толубеев добросовестно пересказал все, что должен был рассказать беглец из лагеря. Не забыл он сообщить и о том, что принял его рыбак Рон Иверсен.

По живому вниманию гостей, по улыбкам, которыми они обменялись при имени Иверсена, Толубеев понял, что они ждали именно такого рассказа.

— Что же вы намерены делать дальше? — спросил Свенссон-старший.

Толубеев рассказал о своем плане: разыскать старого знакомого Андреена, мастера одного из шарикоподшипниковых заводов, и попробовать устроиться при его помощи на работу.

— Я бы посоветовал вам продолжить отдых! — строго сказал Свенссон-старший.— Хотя эти два дня и пошли вам на пользу, но условия работы на подшипниковом заводе далеко не санаторные.

— Я должен как можно скорее встать на ноги! — твердо сказал Толубеев.— Вы сделали столько же, сколько мог бы сделать сам бог, если бы попытался спасти меня. Но теперь богу лучше заняться своими делами. Длительное знакомство с нашим братом опасно, особенно из-за гестапо. А при помощи Андреена я вполне смогу выдать себя за русского норвежца.

— Может быть...— задумчиво произнес старший.

Выехали поздно вечером. Свенссоны сидели впереди, Вита и Толубеев — позади. Старший Свенссон сам вел машину. Он предупредил, что на шоссе расположено несколько полицейских постов. Хотя его машина и известна постовым, но лучше будет, если гость притворится, будто занят разговором с фрекен Витой.

Глава третья: ЕСТЬ ЕЩЕ СМЕЛЫЕ ЛЮДИ НА ЗЕМЛЕ...

1.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

«12 марта войска Западного фронта под командованием генерал-полковника тов. Соколовского В. Д. после решительного штурма овладели городом и железнодорожным узлом ВЯЗЬМА».

Совинформбюро.
12 марта 1943 года.

Все получилось даже лучше, чем Толубеев мог надеяться. Свенссон-старший признался, что когда-то знавал мастера Андреена, хотя давно уже не встречался с ним. Сказал он об этом довольно сухо: инженер и мастер — категории в обществе совершенно разные! — но Толубеева в разведку не пустил. Инженер может зайти к мастеру и без приглашения, это мастер к инженеру без приглашения зайти не может...

Толубеев улыбнулся этому объяснению, но возражать не стал. В конце концов надежда на Андреена могла оказаться несбыточной...

Свенссон-старший, оставив машину в переулке недалеко от домика дядюшки Андреена, ушел. Через полчаса неторопливого разговора с Андрееном он упомянул имя старого знакомого дядюшки — русского инженера. А через десять минут сказал, что Толубеев, бежавший из плена, сидит в его машине и ему надо бы помочь. После этого старый мастер выскочил из дома, оставив растерянного Свенссона за чашкой кофе, а еще через минуту, не дав Толубееву даже проститься с остальными спутниками, увлек его в свой крохотный домик.

И вот он живет у дядюшки Андреена.

Целую неделю он не звонил Вите.

Он знал, что первые дни на чужой земле будут самыми трудными, и не хотел, чтобы его случайная неудача коснулась Виты. А шаги, которые он предпринимал, были достаточно опасны.

Прежде всего надо было выйти на связь, то есть дать знать, что он добрался благополучно. Полковник Кристианс сообщил Толубееву самый простой код: зайти в любую народную библиотеку, взять «Саги» на норвежском, издания тысяча девятьсот двенадцатого года, и просмотреть седьмую, семнадцатую и двадцать седьмую страницы. На седьмой странице он найдет имя искомого человека, на семнадцатой — название улицы, на двадцать седьмой — номер дома. Толубеев тогда подивился: зачем такие сложности, когда он мог просто запомнить адрес,— но полковник Кристианс довольно сухо заметил, что то, что просто запоминается, так же просто и забывается, а то и выговаривается... Больше того, «Саги» было запрещено даже покупать. Именно — зайти в библиотеку, именно прочитать и тут же сдать, не делая никаких пометок...

И вот он сидел в народной библиотеке неподалеку от домика мастера Андреена и перелистывал толстую книгу...

На первой же указанной странице он с чувством какого-то острого предвидения нашел сагу, в которой упоминался рыжий великан, передвигавший горы и пробивавший новые русла для рек, и звали его... Ранссон!

Толубеев надолго застыл над страницей.

Он предполагал, мог, наконец, надеяться, что имя будет ему знакомо. Сопротивление всегда собирает под свои знамена самых лучших людей. Но Ранссон лежит сейчас в больнице для рыбаков с пулевым ранением. И, уж конечно, он на подозрении у полиции...

Но, может быть, шкипер просто однофамилец того, кого Толубеев должен разыскать? Хотя в такой маленькой организации, как Сопротивление, чудес быть не может.

Он внимательно просмотрел семнадцатую и двадцать седьмую страницы. На семнадцатой речь шла о волшебной мельнице. По-видимому, название улицы Мельничная, а на двадцать седьмой никаких цифр, кроме обозначения страницы, не было, значит, дом имеет номер 27.

Подойдя к висевшему тут же на стене плану Осло, Толубеев довольно быстро нашел Мельничную улицу в одном из закоулков на берегу Акерс-эльв, разрезающей город. Все тот же район бедноты — рыбаков, моряков, докеров, рабочих. От домика мастера Андреена рукой подать. Надо идти.

На Мельничной, 27, Толубеева встретила немолодая женщина. Лицо у нее было страдающее, глаза заплаканные. Услышав «лапландское» произношение посетителя, она чуть не бросилась на него с кулаками. Хорошо еще, что ее гневную речь никто не слышал, они стояли двое на лестничной площадке второго этажа.

— Это из-за вас, из-за вас, подлых иностранцев, мой муж получил пулю в бок! — кричала она, тесня посетителя с лестницы.

Толубеев надвинул шляпу поглубже на глаза и отступил.

Дома, когда дядюшка Андреен, придя с работы, поднялся в его каморку, чтобы пригласить к ужину, Толубеев осторожно спросил, не знает ли он рыбака Ранссона...

— Какой он рыбак! — насмешливо сказал Андреен.— Хвастун он, и больше ничего! Он работает у нас на подшипниковом, а рыболовством пытается прирабатывать, только у него никогда ничего не получалось. А в прошлый раз не успел вовремя зажечь топовые огни, а на его суденышке заглох мотор, вынесло его в Скагеррак, и тут, на беду, немецкий сторожевик шарахнул по нему из пулемета. Немцы, они вежливости не признают. Правда, потом они сами же подтащили Ранссона к берегу, но ему-то это стоило пули в бок. Хорошо, что главный инженер недолюбливает немцев, приказал записать, что у Ранссона прогул по болезни, а могли бы и выгнать за милую душу...

Толубеев мрачно думал: Ранссон выходил в море, чтобы заранее отыскать точку рандеву с подлодкой. Значит, в этой беде виноват именно Толубеев!

— А я считаю, что это храбрый человек! — сдержанно сказал он.— И если бы вы, дядюшка Андреен, решили навестить Ранссона в больнице, с удовольствием пошел бы с вами.

— А ведь, пожалуй, вы правы, Владимир! — задумчиво признал мастер, поглядывая на своего гостя с какой-то хитринкой.— Что ж, завтра среда, в больнице открытый день. Можно и навестить.

Больше они об этом не говорили, но в среду Толубеев заранее приготовил пачку хороших сигарет и маленькую бутылочку рома. Он сам так долго валялся в госпитале, что помнил: самой главной бедой считалось отсутствие курева и выпивки. Ему-то ни того, ни другого не полагалось, но если ранение нетяжелое, нет лучше лекарства!

Мастер ушел с работы пораньше, и в четыре часа они уже были в рыбацкой больнице. Здание было мрачное, старинное, похожее на дом призрения, но во дворе стояли и новые корпуса, в том числе и хирургический. Мастер Андреен действовал напористо, и их довольно быстро пропустили к больному.

Ранссон действительно оказался рыжим великаном. Правда, теперь он горы не передвигал, реки не поворачивал, лежал скучный, но при виде гостей оживился. В палате было еще двое, но Ранссона, видно, уважали,— те двое поднялись со своих коек, один на костылях, другой с переломанной ключицей,— и вышли. Толубеев молча выложил на столик свои подарки. Андреен иронически подзуживал:

— Ну, как, рыбак, твой улов?

— Еще будет улов! — хмуро ответил Ранссон, с любопытством поглядывая на молчаливого второго посетителя.

— Какую же рыбку ты собирался поймать в Скагерраке?

— Перестань, Андреен, мне уже полицейские с этими вопросами надоели, да и немцы всю снасть переворошили.

— А им-то что до наших рыбаков? — нахмурился и Андреен.

— Мы для них давно не люди! — отрезал Ранссон.— А что, твой дружок немой?

— Говорит, но плохо. Это русский норвежец, господин Толубеев. Будет работать на нашем заводе. Услыхал, что ты с немцами поцапался, решил: герой! Вот и попросил взять с собою...

— Русский? — Ранссон приподнялся было, охнул и снова опустился на подушку.— Что же вы здесь делаете, господин русский? — Он так и впился пристальными глазами в худое лицо Толубеева.

— Пока изучаю язык, — ответил Толубеев.— Только что прочитал «Саги», седьмую, семнадцатую и двадцать седьмую...

— Да! — протянул Ранссон.— Хорошая литература! Особенно двадцать седьмая!

— Женщина там очень печальная, все тоскует о муже.

— Как, вы сказали, вас зовут?

— Владимир Толубеев.

— Ну, благодарю вас за визит. Думаю, Андреен поможет вам с устройством.

— А я у него и живу. Завтра иду первый раз в цех. В общем-то друзей у меня довольно много.

Ранссон повернулся к Андреену:

— Прости, мастер, устал я что-то. Да еще письмо надо написать, чтобы страховая касса перевела мои кроны старухе. Заходите еще!

Рука у него как-то ослабла, стала вялой. Толубеев, пожимая эту вялую руку, подумал: «Переволновался! Да и как иначе? Он же думал, что из-за этой дурацкой встречи с немцами вся операция провалилась!» Но глаза Ранссона улыбались.

Когда они вышли из больницы, Андреен сухо сказал:

— Ну что вы с ним о сагах говорили? Надо было сказать что-нибудь о себе! Он храбрых людей любит...

Продолжение следует.

ОГНЕННАЯ ДУГА

Николай АСАНОВ

Повесть

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

2.

ИЗ УТРЕННЕГО СООБЩЕНИЯ

«В Тронхейме норвежские патриоты бросили бомбу в немецкий пароход. В результате взрыва было убито и ранено много гитлеровцев. В районе Ставангера группа вооруженных норвежцев совершила налет на военный склад. Истребив немецкую охрану, норвежцы подожгли складские помещения. Огнем уничтожено много снаряжения и различного военного имущества немецких оккупантов».

Совинформбюро.
14 марта 1943 года.

•

Мастер Андреен устроил Толубеева термистом.

На заводе работало много беженцев.

Это были латыши, эстонцы, бежавшие с родины при установлении Советской власти, в сороковом году. Появление еще одного «беженца» никого не заинтересовало, никаких документов не потребовалось, просто мастер поручился за своего постояльца.

В решении того вопроса, который интересовал Толубеева, завод значил не так уж много. Но заводское удостоверение давало право на жизнь в столице, а так как вся продукция завода поступала в Германию, можно было при случае выяснить, какие же новые сорта стали запрашивают немцы.

А пока что термист Толубеев закаливал подшипники разных размеров, надеясь, что не все они пойдут в артиллерийские системы и в танки, которые немцы будут применять в следующих сражениях.

Через неделю он позвонил Вите.

Звонил он из автомата в служебные часы, и Вита сама подняла трубку телефона.

— Отдел перевозок! — бодро, как и полагается энергичной секретарше, произнесла она.

— Вита, это я,— тихо сказал он.

— Господи, Вольёдя! — испуганно-радостно произнесла она. По-видимому, в комнате кто-то был, так как она заговорила по-русски: — Немедленно скажи, где я тебя увижу и когда?

— В шесть часов вечера у Фрогнерпарка! — быстро произнес он давно приготовленную фразу.

— Хорошо! — так же торопливо сказала она, и телефон отключился.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 30, 31, 32.

Без четверти шесть он добрался до парка. Фрогнер-парк всегда нравился ему своими чудесными статуями работы скульптора Вигеланда, поставленными от самого входа на протяжении почти всего парка. День был теплый, снег на статуях и дорожках таял, капало с деревьев, скамейки были сухие. Взъерошенные воробьи и жирные голуби склевывали крошки, которыми кормили их престарелые женщины в темных пальто с меховыми воротниками, в черных перчатках, с муфтами, в которых они отогревали склеротические руки. Белка спрыгнула с дерева, пробежала по дорожке и резво ухватила из рук старушки кусочек булки, а затем серой молнией вознеслась обратно на кривую от морских ветров сосну. Толубеев нашел свободную скамью, сел и внимательно огляделся.

Под ногами лежал голубой узкий фиорд, в который как бы скатывался город с каменных высот. За фиордом чернели очень близкие крутые горы. По улице за воротами парка проходили тупорылые немецкие военные машины, проходили по двое, по трое немецкие солдаты и офицеры,— в одиночку они не появлялись в городе даже днем, по-видимому, исполняли приказ командования: за эти годы было слишком много таинственных исчезновений солдат и офицеров,— темные и глубокие воды фиордов не открывают своих тайн. Патрулировали город и полицейские в норвежской форме, но держались они довольно тихо.

Поблизости ничего опасного не было. Сидели несколько парочек в разных укромных уголках, тесно прижавшись друг к другу и согреваясь теплом своих плеч или держа руки подруги в руках, так как погода была еще не для влюбленных. Но Толубеев позавидовал им и их, хотя и временному, покою.

Но нет, не так уж тут спокойно! Вот пробежал мальчишка с вечерними выпусками газет, и все старушки, все влюбленные одинаковым жестом принялись рыться в карманах, в кошельках, отыскивая тусклые монетки по три-пять эре, и вот уже у всех в руках зашуршали газеты, хотя воздух начал остывать, пора бы и по домам...

Толубеев тоже купил «Дагбладет», которую и следовало читать почтенному рабочему, может быть, члену социал-демократической партии, функционеру.

Он уткнулся в газету, пытаясь понять по сводкам немецкого командования, что делается на фронтах. Немцы продолжали писать о наступлении на харьковском направлении. Армии «Центр» и «Север» улучшали свою «эластическую оборону». Это словечко появилось в немецких сводках недавно, и обозначало оно, как правило, отступление под давлением советских войск. Но звучало почти оптимистически...

Путаясь в длиниых высокопарных газетных фразах, Толубеев не услышал шагов. Привел его в себя только милый голос:

— Так-то вы, господин Вольёдя, встречаете любимую? А где же цветы?

Он вскочил, роняя газетные листы. Но она уже прижалась к нему, опустив руки на его плечи, приподнялась на цыпочках, поцеловала в губы. Он осторожно усадил ее.

— Гадкий человек, почему ты так долго не звонил? — спросила она, все еще пытаясь продолжать игру, но голос был ломок и неуверен. Он невольно выбранил себя за то, что доставил ей столько беспокойства.

— Фрекен Вита, ваш покорный друг сдавал экзамены! — попытался он подыграть ей.

— На бакалавра?

— Нет, на термиста шарикоподшипникового завода.

— Фу, как грубо!

Она по-детски обиделась, и он молча взял ее руки в свои. Ей нужно привыкнуть к мысли, что он совсем не тот блестящий инженер из далекой России, за которым ухаживали ее отец, ее старшие друзья, а сверстники почтительно прислушивались к каждому слову. Тогда он представлял ГОСУДАРСТВО, кого он представлял сегодня? Во всяком случае, для нее он должен был остаться частным человеком.

Она вздрогнула от порыва холодного ветра, и Толубеев торопливо вскочил:

— Вита, пойдем в кафе! Мне просто необходимо что-нибудь выпить.

— И мне! Хотя бы кофе.

Он торжественно позвякал в кармане серебряными кронами.

— Ты слышишь эту музыку? Моя первая получка!

Она огорченно оглядела его худое лицо, фигуру, на которой только что приобретенное пальто висело, как на вешалке.

— Ты должен был взять у меня немного денег и отдохнуть хоть месяц! — укоризненно произнесла она.— Не понимаю, как тебя могли взять на работу! Ты же все еще похож на скелет!

— А, были бы кости, а мясо нарастет! — беспечно сказал он.

— Как? Как?

— О, это русская пословица! — объяснил он.

— Ты произносишь свои пословицы, как молитвы,— пожаловалась она.— Ты же знаешь, я не понимаю идиоматические выражения!

— Больше не буду!

Он увлек ее к тихому ресторану, который высмотрел, когда шел на свидание. Ресторан находился в переулке, и, сворачивая туда, он оглянулся. Ему показалось, что какой-то хорошо одетый человек хотел было последовать за ними, но потом отдумал и повернул обратно. Впрочем, он тут же забыл об этом постороннем человеке.

Они долго сидели в обманчивом одиночестве,— по обе стороны столика стояли китайские ширмы с розовыми драконами. Потом немного танцевали — только солидные медленные танцы вроде бостона и танго,— еще долго пили кофе, потому что за окном завихрилась весенняя метель, мокрая, скользкая, и чувствовали они себя как в первые дни своей любви — бездомными, одинокими, первыми людьми на пустой еще и не приспособленной для радостей земле...

Уже прощаясь у ее дома — гранитного куба, оборудованного больше для официальных приемов, нежели для семейного жилья: так искусно были спрятаны жилые комнаты в глубине этого дома, в той части, к которой примыкал небольшой внутренний сад,— он вдруг ощутил на губах ее губы и затем услышал горячий шепот:

— Завтра опять суббота! Мы поедем в усадьбу! Я заеду за тобой в час дня, только скажи, куда.

— Я буду у парка! — только и выговорил он.

3.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ

«15 марта наши войска после многодневных и ожесточенных боев по приказу командования эвакуировали город Харьков.

В Смоленской области наши войска, продолжая наступление, заняли город Холм-Жирковский.

На остальных фронтах наши войска вели бои на прежних направлениях».

Совинформбюро.
15 марта 1943 года.

В восемь часов утра он был на своем рабочем месте.

В этот короткий рабочий день руководители цехов словно взбесились и гнали продукцию так быстро, что казалось, они решили за четыре часа работы выкатить шарикоподшипников больше, чем за обычный день. Термическая печь, у которой дежурил Толубеев, была загружена сверх нормы, и он сообщил об этом дежурному инженеру.

Инженер просмотрел счетчики, паратермометры, махнул рукой:

— Сойдет!

Сойдет так сойдет. Инженер, по-видимому, надеялся, что контролерам тоже хочется побыстрее убраться с завода. А Толубееву каждый день хотелось, чтобы вся закаливаемая им продукция превращалась в брак. И хотя он знал, что не имеет права рисковать, отчего не рискнуть, если инженер благословляет?

В девять утра к нему подошел взволнованный мастер Андреен.

— Камрад Владимир, вас вызывают к сменному инженеру...

Толубеев сбросил запятнанную кислотами спецовку, надел пиджак, хранившийся в рабочем ящичке, и последовал за мастером. Он только выглядел спокойным, но сердце билось глухо и торопливо.

Андреен, проводив его до кабинки сменного инженера, отступил и исчез за станками. Толубеев подумал: «Будет стоять тут хоть до второго пришествия и ждать, выведут ли меня под конвоем или отпустят к станку...»

В конторке никого, кроме дежурного инженера, с которым Толубеев только что разговаривал, не было. Инженер кивнул на снятую трубку телефона:

— Трубка ждет вас, господин Толубеев! — и посмотрел на рабочего с таким удивлением, будто на его глазах происходило чудо. Вряд ли в эту конторку когда-нибудь приглашали к телефону рабочего...

— Я слушаю,— медленно и ровно сказал Толубеев. Впрочем, ему помогало быть спокойным и стремление говорить по-норвежски чисто и благозвучно.

— Господин Толубеев? — Голос был мягкий, женский, очевидно, секретарский.— С вами будет говорить господин Арвид Масон...

Он чуть не выронил трубку. Ее отец!

— Господин Толубеев? — Он всегда бы узнал этот низкий, словно бы заплывший жирком, голос власть имущего, человека без излишних сомнений.

— Да,— внезапно став по-настоящему спокойным, ответил он.

— Прошу вас заехать ко мне в управление через тридцать минут.

— Простите, господин Масон, боюсь, что меня не отпустят с работы.

— Я уже договорился с начальником цеха. Моя машина ждет вас у проходной завода.

— Благодарю. Буду.

Он положил трубку. Сменный инженер все еще глядел на него, как на Валаамову ослицу, которая всю жизнь неблагозвучно кричала и вдруг заговорила человеческим языком.

— Это в самом деле господин Арвид Масон? — только и спросил он.

— Вы же, вероятно, с ним говорили?

— Не я. Начальник смены. Я только получил приказ разыскать вас и вызвать в конторку к телефону.

— Да, господин Арвид Масон,— устало сказал Толубеев. Ему и без этих дурацких расспросов было о чем подумать. Чтобы отвязаться, он коротко буркнул: — Я предложил господину Масону одно маленькое изобретение...

— О! — В глазах инженера сияла почти божественная благодать.

— Я могу покинуть рабочее место? — деловито спросил Толубеев, пытаясь погасить это небесное сияние в глазах инженера.

— Конечно, конечно! Вы свободны на всю смену! — поторопился тот.

У дверей конторки из-за станков вывернулся Андреен. Схватил за руку и увлек в проход, подальше от конторки.

— Что произошло?

— Ничего, дорогой Калле! Просто девушка. Она вымолила мне отпуск до конца смены!

— Ну, ловкач! — восхищенно воскликнул дядюшка Андреен.— И на эту удочку он пытается поймать меня, старого кита! Впрочем, молчу, молчу! Лишь бы все кончилось хорошо!

Толубеев покинул его и поспешил к своему рабочему ящику. На площадке у термической печи уже возился другой термист. Толубеев надел пальто и побежал к выходу.

На проходной его уже ждали. Охранник отщелкнул на автоматических часах время ухода и вернул пропуск. Второй человек в проходной оказался шофером Масона. Толубеев по-мальчишески порадовался тому, что, помня об уикэнде, надел сегодня свой един-

ственный выходной костюм. Пусть потом будет хоть потоп, но перед господином Масоном он предстанет «в форме».

Шофер не заговаривал. Он гнал машину в деловую часть города со скоростью не меньше ста.

Молоденькая женщина-секретарь встретила его восхищенным взглядом. Раньше здесь работала суровая дама, не умевшая улыбаться.

— Господин Толубеев? Господин Масон вас ждет.

Он вошел в знакомый кабинет. Ничего тут не изменилось. Арвид Масон, все такой же подтянутый, чуть больше поседевший, встал из-за стола, протянул руку.

— Здравствуйте, господин Толубеев.

Толубеев физически ощутил его оценивающий взгляд. Неизвестно, каким ожидал Масон увидеть своего бывшего заказчика, но взгляд его стал спокойнее: Толубеев изменился только физически, но одет прилично, держится так же уверенно, как и в те времена, когда подписывал с Масоном миллионные контракты на поставки высококачественной стали.

— Как вы оказались в Осло? — спросил Масон.

— Бежал из немецкого лагеря на севере Норвегии.

— А вы не могли выбрать другую страну? — язвительно спросил Масон.

— В Финляндии тоже немцы.

— Могли бы перебраться в Исландию. Там довольно гостеприимные люди.

— Мне больше нравится Норвегия.

— Признаться, я всегда боялся, что вы еще встанете на моей дороге. Большевики — люди неожиданные.

— Благодарите Гитлера. Если бы не он, я бы работал на своем Урале и не беспокоил вас. Но как вы меня разыскали?

— Очень просто. Вот! — Масон положил на стол несколько снимков.

На снимках были изображены он и Вита. На первом — возле ворот парка. Затем — идущие по улице. И еще — в ресторане.

— Ловко работают ваши сыщики!

— А что делать? Вита — одна из самых богатых невест в стране. А вдруг это были бы не вы,. а какой-нибудь прощелыга? Вас я хоть знаю, и знаю, что вам не разрешены браки с иностранками...

— Так это вы пожаловались на меня чиновнику из нашего посольства?

— К сожалению, да.

— О чем же вы теперь сожалеете?

— Надо было подождать несколько дней, и война сама списала бы вас с горизонта. А теперь я вынужден вновь заниматься вами... Хотите кофе? Коньяку? — Он нажал кнопку, сказал появившейся в двери секретарше: — Кофе и коньяк.— Когда секретарша вышла, продолжал: — А выглядите вы ужасно! Я не верил, что в немецких лагерях так плохо, но отныне буду осторожнее в выводах.

Молча выпили кофе с коньяком. Толубеев понимал, что этому великану есть о чем подумать. Мать Виты умерла несколько лет назад, но Арвид Масон не женился больше. Было похоже, что он действительно отдал Вите все свои чувства. И недаром он помянул о том давнем происшествии в посольстве. С таким же хладнокровием он может передать неблагоприятный отзыв о русском в полицию, а если этого покажется мало,— прямо в гестапо. С Арвидом Масоном ухо надо держать востро...

— Что вы намерены делать, господин Толубеев?

— К сожалению, я не могу выехать в Россию, придется ждать нашей победы...

— Победы? — Господин Масон казался чрезвычайно удивленным.— А вы знаете, что немцы снова заняли Харьков? Вы вообще что-нибудь знаете о положении на фронтах? — Он встал из-за стола и прошел к простенку, затянутому синим шелком, дернул за шнурок, и перед Толубеевым оказалась карта мира со множеством флажков: английских, американских, японских, немецких, русских...

Толубеев подошел к карте. Ничего не скажешь, промышленник Арвид Масон чувствовал себя по меньшей мере начальником генерального штаба. Воюющий мир получал его оценку, по-видимому, не реже двух раз в сутки, согласно утренним и вечерним сводкам.

— Возможно, что немцы действительно потеснили нас на юге,— холодно сказал Толубеев,— но зато мы так далеко отогнали их от Москвы, от Сталинграда, от Майкопа и Грозного, что каждое их следующее наступление неизбежно превратится в их поражение!

Арвид Масон хмуро посмотрел на Толубеева и задернул карту. Вернувшись к столу, он заговорил сухо, жестко:

— Собственно, вас следовало бы вернуть обратно в лагерь. Но вы были отличным партнером в те далекие времена, когда мир мог торговать свободно. Оставаться на заводе вам опасно: там довольно много беженцев из Латвии, Эстонии и Литвы. А они относятся к русским с такой же мстительностью, как и немцы. Я полагаю, что вы остались инженером? И, вероятно, у вас есть особый интерес к нашему экспорту? Я оставлю вас у себя в конторе инженером-консультантом по экспорту руды. Но Виту я увезу завтра в Германию...

Нанеся этот удар, он искоса взглянул на Толубеева. Толубеев опустил глаза.

Масон подождал, потом снова вызвал секретаршу:

— Господин Толубеев будет работать у нас. Передайте ему ключи от помещения номер шесть. Приготовьте и передайте господину Толубееву все отчеты по экспорту руды за прошлый год и помесячные за этот. Господин Толубеев подчиняется мне. Приказ бухгалтеру я передам сам.

Секретарша внесла в свой блокнот распоряжения Масона и вышла.

Масон продолжал:

— Обратите особое внимание на нашу переписку со шведским акционерным обществом «Трафик». Нам пришлось пойти на сделку с ними, чтобы немцы не вздумали конфисковать наши рудники. Иногда они разрешают себе такие вольности. А шведы обмениваются с нами заслуживающей внимания информацией! — Он помолчал и перешел к другому: — Думаю, жить вам лучше у ваших друзей. Переезд в гостиницу вызовет много лишних хлопот. Сегодня уладьте ваши дела на заводе, а в понедельник с утра приступайте к новым обязанностям. Я увижу вас через неделю.

Прощался он озабоченно, думая уже о чем-то своем. Толубеев пришел в себя только на улице.

Он не понял, хотел ли господин Масон держать его при себе, чтобы обезопасить свое гнездо, или ему кто-то посоветовал приютить бедного беженца. Но кто? Вита? Люди Кристианса? Свенссоны?

Из ближайшего автомата он позвонил Вите.

— Я должен тебя увидеть, и как можно быстрее,— тихо сказал он.

— Мы же отправляемся в усадьбу на уикэнд! — возразила она.— И добавила: — Правда, мы пробудем только до утра: отец будет ждать меня к двенадцати. Я заеду за тобой в час дня...

Он еще успел съездить на завод и получить расчет. Мастер Андреен с явным беспокойством встретил его сообщение о том, что он снова превращается в инженера.

4.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ

«В течение ночи на 16 марта наши войска вели бои на прежних направлениях».

Совинформбюро.
16 марта 1943 года.

Вита была весело возбуждена.

Усадив Толубеева рядом, она спросила:

— Ты был у отца?

Он внимательно посмотрел на нее. Она осторожно вела машину в потоке вырывавшихся за город состоятельных людей. Менее состоятельные стояли в очередях на автобусы, и каждый держал в руках лыжи, а за спиной — рюкзак с продуктами, а то и собранную, подобно парашюту, палатку. Весь город уезжал на лыжную прогулку.

День был мягкий, светлый. Магазины закрывались, чтобы вновь открыться в понедельник, и девушки, стайками выбегавшие из дверей, были в брюках, в лыжных свитерах. Так повелось уже давно: конец субботы и все воскресенье были отданы спорту и загородным прогулкам, и завоевание страны немцами как будто не мешало этому обычаю.

Вита нашла в зеркальце лицо Толубеева, пояснила:

— Утром я увидела на столе у отца наши фотографии. По-видимому, я чем-то выдала себя, иначе он не поручил бы следить за мной. Тогда я сказала, что он должен помочь тебе...

— А ты знаешь, что он завтра увозит тебя в Германию?

— О, это всего на неделю! Я всегда езжу с ним.

— Ты не знаешь, что за программа в этой поездке?

— Отца пригласили на какое-то торжество у Круппов. А почему это тебя занимает? — Она на мгновение отвела взгляд от осевой линии шоссе и взглянула на Толубеева.

— Пожалуйста, осторожнее! — жалобно сказал он. За эти два года он совсем отвык от шумного городского движения, и ему все казалось, что встречные машины вот-вот раздавят маленький автомобиль «БМВ», который вела Вита. В город шли только мощные грузовики: завозили свежие продукты и товары на будущую неделю.

Вита опять устремила взгляд вперед, но маленькая морщинка меж бровями показывала, что ее что-то заботит.

Поток машин понемногу разбегался в стороны, ехать становилось легче.

— Вольфдя,— жалобно сказала она,— отец сказал, что ты скоро исчезнешь. Это правда?

— Я уже говорил тебе, что я солдат и что никто не освобождал меня от присяги. Я должен воевать вместе с моим народом...

— А как же я?

— После войны я обязательно приеду к тебе...

Про себя он подумал: «Если полковник Кристианс не запретит...».

— Я знаю, что у вас трудно выехать за границу,— печально сказала она. И вдруг оживилась: — Но ведь я уже совершеннолетняя, и я могу приехать к тебе...

Он подумал о том, какой выйдет страна из войны, как трудно будет этому избалованному ребенку среди всеобщей разрухи и уничтожения, но спорить не стал. Может быть, она и на самом деле рискнет. А сам он, вернувшись, не будет таким мямлей, чтобы позволять кому-то другому решать за него его собственную судьбу. Он любит, и этого достаточно для того, чтобы отстаивать свое право на счастье и доказать свою правоту.

— Мы будем вместе!—твердо сказал он.

— Что тебе, советскому солдату, нужно здесь? — строго спросила она.— Я ведь вижу, что ты чем-то обеспокоен!

— Я хочу помочь моей стране победить!

— Это называется шпионаж?—спросила она.

— Нет, это называется разведка.

— Против маленькой побежденной Норвегии?

— Против вашего «великого соседа», которому вы так успешно помогаете.

— А что может сделать наша маленькая страна?

— Однако ж твои друзья борются?

— Разве это борьба? Так, игра в «Красный Крест». Борются те, кто начиняет снаряды песком вместо тринитротолуола, кто снабжает авиабомбы пустыми взрывателями.

— Разве ты знаешь таких?

— В газетах их называют саботажниками, а суды Квислинга приговаривают их к расстрелу...

Она прикусила губу и увеличила скорость, словно испугалась своих слов и пыталась убежать от них. Толубеев замолчал.

Шоссе вынырнуло из рощ и перелесков на берег озера. По прибрежному льду, покрытому мягким снегом и исчерченному множеством лыжных следов, двигались толпы лыжников. Появились виллы и усадьбы, маленькие рестораны, кафе. Возле дверей этих заведений были наставлены десятки лыж, цветные палки стояли шпалерами.

Неожиданно появилась и знакомая усадьба. Ворота были гостеприимно распахнуты.

Вита остановила машину у крыльца, и Толубеев помог ей выгрузить сумки, чемодан, свертки. Вита открыла гараж и завела туда машину.

Никто не встречал их, но в доме было жарко натоплено, в столовой накрыт стол на два куверта. Стояли бутылка вина и бутылка виски, вода, фрукты, в теплящейся слабым газом духовке виднелись ароматно пахнущие кастрюли.

Настроение у Виты опять изменилось, она оживленно запела: «Обедать, обедать, обедать!» — побежала умываться, а когда вышла к столу, Толубеев с восхищенным изумлением увидел ее в вечернем платье.

— Это наш маленький праздник! — воскликнула она и пожалела: — Почему ты, Вольфдя, не в смокинге? Хотя, я помню, советские никогда не надевали вечерних костюмов. Почему?

— У нас это просто не принято...

— Суровая простота? — поддразнила она.

— Если хочешь, да.— И процитировал запомнившиеся стихи: — «Тяжелую науку мы прошли, как строить города в лесах косматых, водить в морях полярных корабли, навстречу солнцу плыть на стратостатах. Не плача, мертвых хоронили мы, на праздник часто только воду пили, встав на пороге смертоносной тьмы, у господа пощады не просили. Мы только думали богато жить, и лучшим другом нам была надежда, и девушек просили нас любить—какими есть — в рабочей прозодежде...»

— Да, суровая простота! — задумчиво повторила она.— Но, может быть, это лучше нашего суетного и безжалостного мира? — Она посмотрела на Толубеева с надеждой.

— Это просто мой мир!— напомнил он.— И я не хочу другого.

— Значит, я должна принять твою веру,—тихо сказала она.— Как девушка-протестантка, полюбив католика, переходит в его веру...

Он промолчал. На протестантку она никак не походила, да и весь уклад этого дома, этот торжественный обед, это прекрасное и, наверно, очень дорогое платье — все это было в таком противоречии с ее словами, что превращало их в игру.

Но она и сама оборвала разговор, принялась угощать его, ухаживать за ним, изображая любящую жену, наконец-то дождавшуюся мужа и стремящуюся доставить ему максимум удовольствия. И он невольно подчинился и этой милой игре.

И весь уикэнд был чудом: с лыжами, с долгим сидением у камина, с ласковыми словами, с веселым ужином около полуночи.

Утром он проснулся оттого, что она пристально и даже сурово разглядывала его лицо, сидя возле кровати на низеньком стуле. Она была одета по-городскому, и он невольно взглянул на часы. Было десять.

— Что ты так смотришь на меня?

— Хочу понять.

Нагнулась, поцеловала долгим поцелуем, выпрямилась, пошла к двери.

— Поторопись к завтраку!

Он быстро побрился и вышел в столовую.

Вита была задумчивой, немного грустной. Он подумал: «Жалеет о разлуке!»

После завтрака она сказала:

— Ты можешь остаться на весь день. Я позвоню Свенссонам, чтобы они захватили тебя на своей машине.

— Нет, я поеду с тобой.

— Спасибо.

Убрала посуду, приготовила свой чемодан. Владимир изредка ловил ее задумчивые взгляды. Потом присела к пустому столу, положила подбородок на ладони, долго смотрела, вдруг спросила:

— Что тебя интересует в Германии?

— Ты хочешь быть моими глазами?

— Нет, твоей душой,— ответила она серьезно.

Он подумал: больше ты никому не можешь довериться! Любимый человек — это и есть твоя душа. Ты знаешь ее душу, почему же ты полагал, что она не узнает тоску твоей души? Господин Арвид Масон не столько ее отец, сколько твой противник. А она твоя порука и твоя защита. Пусть она будет твоими глазами и твоей душой, может быть, ей будет даже легче жить!

— Почему ты молчишь? — спросила она.

— Я думаю. То, о чем я могу попросить тебя, опасно...

— А ты думаешь, что состоять в Сопротивлении не опасно? Я ведь не знала, кому помогаю. Предыдущая группа на нашей станции Скрытой дороги осенью прошлого года приняла английского летчика и переправила его в Исландию. А через неделю он оказался в Берлине и выдал всех, кто ему помогал. Они получили по десять лет тюремного заключения!

— Надеюсь, что их освободят значительно раньше...

— Ты убежден в этом? — строго спросила она.

— Дорогая моя, за нашими плечами не только наша сила и сплоченность, но и наша история! И разве вы, участвующие в Сопротивлении, не видите этого?

— Мне кажется, что многие из Сопротивления действуют по странному принципу: болеют за слабую команду.

— А ты?

— Я болею за тебя... Но это только поможет мне выполнить твою просьбу!

— Ты уверена, что у меня есть особая просьба?

— Но ведь ты сам сказал, что ты солдат и никто не освобождал тебя от присяги!

— Да.

— Тогда говори.

— Хорошо.— Он собирался с мыслями, а она нетерпеливо смотрела в его глаза, словно пыталась прочитать его мысли. Тогда он заговорил так же, как говорили с ним самим. Тут не было места недомолвкам.

— Я знаю, что немцы переориентировали вашу горную промышленность. Они закупают не только железную руду, но и большое количество таких материалов, которые нужны для создания особо качественных сталей. С моей точки зрения, это значит, что они начали выпускать особо опасные для нас танки и самоходные пушки. Мне нужно знать, так ли это, и услышать хотя бы приблизительное описание этих возможных машин. Твоего отца, несомненно, пригласят на заводы, которые съедают норвежскую руду и руду «Трафика»,— это принято у промышленников, а немцам после недавних поражений крайне необходимо похвалиться своими силами. Они знают, что твой отец не выдаст их секретов. Но если ты пожелаешь, ты можешь увидеть все это моими глазами...

— И только-то? — но тут же устыдилась необдуманного ребяческого восклицания и сказала значительно, строго: — Я буду твоими глазами там!

Это прозвучало, как клятва.

Все другие слова показались бы легкомысленными, поэтому она заторопилась к машине.

Только когда подъезжали к городу, она вдруг спросила:

— Неужели это так важно для тебя?

— Видишь ли,— осторожно объяснил он,— немцы потерпели крупнейшее поражение за всю войну. Сейчас у них идет перегруппировка сил. Они считают, что решающее сражение, а вместе с ним и их победа, произойдет летом, когда танки смогут маневрировать без помех. Мы должны встретить их во всеоружии и разгромить до конца! Возможно, это сражение не будет еще концом войны, слишком далеко они прорвались в Россию, но оно должно стать началом их конца, как Сталинград стал могилой их армий...

— Я понимаю и все-таки чувствую себя странно. Неужели я могу сделать что-то такое, от чего будет зависеть ход истории?..

Он улыбнулся и пошутил:

— У нас говорят, что ход истории от отдельной личности не зависит, но каждая личность участвует в историческом процессе на той или другой стороне борющихся сил.

— Но ведь есть же нейтральные страны, люди, личности?

— Нейтральная Швеция так много дала Гитлеру, что я судил бы ее за этот нейтралитет! — жестко ответил он.

— Да, ты прав,— грустно ответила она.

Она остановила машину у парка, прильнула на мгновение, тихо отстранилась, сказала:

— Я сделаю все, что смогу.

Продолжение следует.

ОГНЕННАЯ ДУГА

Николай АСАНОВ

Повесть

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Глава четвертая

ВЫСТРЕЛ ИЗ ТЕМНОТЫ

1.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ

«На железных дорогах Франции резко увеличилось количество актов саботажа и диверсий. Французские патриоты изо дня в день наносят чувствительные удары по коммуникациям, которыми пользуются немецкие оккупанты. В районе Марселя за одну неделю пущено под откос 6 немецких поездов с военными грузами. Близ Лиона железнодорожники организовали столкновение немецкого воинского эшелона с товарным поездом. В Парижском районе только в феврале месяце выведено из строя 68 паровозов».

Совинформбюро.
20 марта 1943 года.

Неделя, о которой говорила Вита, не пропала даром. Толубеев проштудировал данные о вывозе различных руд норвежскими промышленниками и «Трафиком» за весь тысяча девятьсот сорок второй год и за первые два месяца сорок третьего. Что ни говори, а заместитель наркома, вспомнивший при прощании с Толубеевым великого русского химика, был прав. Имей Толубеев такое же гениальное прозрение, какое было у Менделеева, он бы, наверно, смог понять, что за пиво варят немцы против русской браги...

Так он думал и говорил про себя, уничижая себя от ярости, ибо не все было доступно пониманию в скупых цифрах отчетов. Но тем не менее кое-что он понял, кое-что высчитал, некоторые вещи просто угадал. К концу недели он, опираясь на процентное исчисление поставленных немцам присадочных материалов, вывел, например, формулу «сверхвязкой» стали, которую могли бы отлично варить немцы. Такая сверхвязкая сталь могла бы быть весьма опасна, если бы немцы пустили ее на броню. Восьмидесятивосьмимиллиметровый бронебойный снаряд-болванка при ударе по листу такой стали, всверливаясь в нее, начисто терял бы скорость. Но тут Толубееву представился такой танк, похожий на ежа от торчащих из него снарядных хвостов, и он просто записал поразившую его формулу: вязкая и сверхвязкая сталь могла пригодиться тоже, если не на поле войны, так в мирных условиях.

Он строил формулы стали ванадиевой, марганцевой, молибденовой, вольфрамовой, но все это были только догадки, не подкрепленные опытом лаборатории.

Однако в пятницу Толубеев, сократив формулы до предела нескольких строк, снова отправился в больницу навестить рыжего великана Ранссона. Так же, как и в прошлый раз, прихватил и сигарет и выпивки.

Ранссона он нашел в приемной. Рыбак уже переменил больничный халат на цивильное платье, только рука была еще на перевязи. На вопрос Толубеева, почему рыбак поторопился выписаться, Ранссон, криво улыбаясь, ответил, что профессиональный союз рыбаков отказался оплачивать лечение.

— Заявили, что пулевое ранение не есть трудовая травма,— пояснил он.

— Неужели немцы вмешались? — удивился Толубеев.

— В профсоюзах и своих фашистов хватает. Особенно среди бонз.

Это была новая сторона вопроса. Кажется, деятели норвежских профсоюзов должны были бы помнить судьбу своих собратьев в Германии, где фашисты начисто разгромили всю оппозицию, загнав функционеров в концлагеря...

— А кое-кто из наших бонз считает, что авторитарный фашистский профсоюз лучше множества разобщенных и всем недовольных рабочих организаций! — усмехнулся Ранссон.

От передачи он не отказался, записку Толубеева сунул в карман, сказал:

— Ко мне лучше не заходить,— старуха считает, что я ввязался в грязное дело. Правда, она думает, что я занялся контрабандой, но моим дружкам от этого не легче, готова помелом гнать. Я вам буду звонить сам каждую среду от одиннадцати до двенадцати, пароль — инспектор надзора. Почему не отремонтирована ваша лодка? Под такой грозный рык можно без опаски уговориться о свидании.

Он помахал здоровой рукой на прощание и побрел по длинной портовой улице, не оглядываясь. Толубеев, глядя в его широкую спину, невольно подумал, что этот человек товарища никогда не подведет.

Суббота прошла в тоскливом ожидании вестей от Виты. И она позвонила, но... из Берлина. Фрекен Сигне — секретарь Масона,— с неистребимым любопытством наблюдавшая за таинственным русским, опрометью вбежала в его комнатушку номер шесть, торопя:

— Вас к телефону! Берлин!

Странно далекий, милый, тоскующий голос звучал, словно из марсианской пустыни:

— Вольёдя, милый, я задерживаюсь! Но я помню, помню!

В Берлине она не осмелилась говорить по-русски, но он и так понял, что ее «помню, помню» относится не только к тому чувству, которое она и не хотела забыть и избыть, а и к тому разговору, которым он приобщил ее к своим заботам. На вопрос: «Когда ты вернешься?» — она жалобно ответила: «Не знаю, не знаю!» И он подумал, что Арвид Масон, наверно, постарается удержать ее в Германии до старости или, во всяком случае, до того, пока Толубеев не исчезнет навсегда. Толубеев даже спросил: «Но ты вернешься?» — и с чистой радостью услышал страстное: «Да! Да! Да!»

В час дня к нему поднялся Севед Свенссон и пригласил к себе в усадьбу на уикэнд. Оказалось, что Вита позвонила и ему, попросила позаботиться о «госте». Толубеев спрятал свои бумаги и с радостью отдался дружескому гостеприимству Свенссонов.

Старший Свенссон, сидевший в машине, встретил его не только любезно, но и изумленно:

— О, да вы совсем поправились!

Толубеев и сам чувствовал себя совершенно здоровым. Вероятно, главным лекарством все-таки было огромное нервное напряжение, которое он испытывал все это время, многое зависело и от того, что Андреен и его жена тщательно заботились о нем, кормили до отвала, а нужная работа, как бы ни была она сложна, еще никого, говорят, до могилы не доводила. Но для Свенссонов, не видавших его с того самого памятного дня, перемены, происшедшие с ним, казались чудом.

Усадебка Свенссонов скорее была похожа на крестьянский хутор. Но Толубеев провел уикэнд прекрасно. Много ходил на лыжах, сытно ел, дружески разговаривал с людьми, которые если и не все его мысли понимали и принимали, так хоть добросовестно старались понять. В воскресенье вечером они

Продолжение. См. «Огонек №№ 30—33.

долго засиделись с этими разговорами за столом.

Он не знал, что сделал Ранссон с его записями, но надеялся, что они уже на столе у Корчмарева, а то и у заместителя наркома. А если это так, то там, в России, их уже рассматривают специалисты, а возможно, в какой-то лаборатории кто-то уже пытается сварить сталь по этим рецептам. И это в известной мере успокаивало его...

Но следующая неделя текла очень медленно и тоскливо. Снова и снова Толубеев проверял свои выводы, но ничего нового в документах больше не было. Он уже подумывал было съездить в Нарвик и в Киркенес, на самый север Норвегии, чтобы посмотреть на месте, что там добывают рудокопы, но благоразумие пока еще удерживало его от этого опрометчивого шага. Из Киркенеса можно было просто не вернуться, а он не имел права рисковать, пока не закончит операцию. Потом — пожалуйста, но сейчас его жизнь принадлежала не ему...

В среду позвонил грубый мужской голос, спросил, когда он отремонтирует свою лодку, она похожа на девку после беспутной ночи, инспекция сдерет с владельца штраф, который раз в десять превысит стоимость ремонта. Голос был незнаком Толубееву, но он обрадовался и грубому тону — все-таки о нем кто-то беспокоился... Между двумя фразами грубияна Толубеев сказал, что ждет наследства по завещанию покойного дядюшки из Берлина, а уж потом примется за ремонт. В трубке инспекторский голос проворчал:

— Смотрите не запаздывайте, а то будет поздно! Ваше первое объяснение мы переслали в главную инспекцию!

Такие грубости Толубеев был готов слушать хоть с утра до вечера. Но голос исчез. Теперь он появится только в следующую среду. Однако он успел передать, что все формулы Толубеева уже доставлены куда надо...

В субботу он уже ожидал только звонка Свенссонов: не оставят же они его изнывать в пустом городе. В половине первого телефон действительно зазвонил:

— Не соблаговолит ли господин Вольёдя разделить со мной уикэнд?

— Господи! Вита! — чуть слышным голосом — перехватило от волнения горло — прошептал он.

— Господин Вольёдя простужен? — все еще шутливо, но с отчетливым оттенком беспокойства спросила она.

— Нет, нет, Вита! — теперь уже слишком громко и радостно закричал он.

— Я жду вас у парка, господин Вольёдя,— сразу повеселев, продолжила она свою шутливую игру.— Бросьте все ваши дела, если вы еще помните меня!

Он так и сделал: пошвырял в сейф папки и бумаги — потом разберемся! — и проскочил мимо фрекен Сигне, не замечая ее изумленных глаз. До сих пор он казался ей образцом служебной выдержки, а сейчас промчался так, словно за ним гнались.

Вита открыла ему дверцу машины. Он не успел даже пожать ей руку, так резко она погнала машину.

— Как ты себя чувствуешь? Все ли у тебя в порядке? Почему ты не позвонила, что выезжаешь?

— Потом, потом! Надо выбраться из города, пока не начался час пик!

Она смотрела только на дорогу, обгоняя машины одну за другой, а он снова испытывал то самое чувство страха, которое ему уже пришлось пережить в первый раз, когда она усадила его в свою машину.

— А я думал, что отец оставит тебя в Германии до того дня, когда мы окружим Берлин...— пробормотал он, когда они вырвались наконец в голову бегущей из города колонны машин.

— А ты все еще уверен, что вы окружите Берлин? — сухо спросила она.— Разве ты не читал сводки немецкого командования о разгроме ваших войск между Северным Донцом и Днепром? Там уничтожены девять стрелковых дивизий, шесть стрелковых бригад, четыре кавалерийские дивизии, сколько-то моторизованных бригад и двадцать пять танковых...— Все это она перечислила так, будто цифры навеки врезались в память, и потом горестно воскликнула: — Вольёдя, это очень много, правда?

— На бумаге — да, много! — сказал он.— Но на деле гитлеровцы лгут. Они потеснили наши войска на харьковском направлении и в районе Курска, только и всего. У них так давно нет ощутимых побед и столько поражений, что теперь они решили воевать на бумаге. Кто же тогда разбил их под Вязьмой, под Гжатском? Жаль, что у меня нет карты, я бы показал тебе, как далеки они теперь и от Москвы и от Сталинграда...

— В усадьбе есть карта,— тихо сказала она.

И Толубеев понял, что перед ее глазами все еще стоят эти проклятые цифры, что она не только запомнила их, но и представила страшные поля сражений, где эти сухие цифры превратились для нее в такие горы трупов, каких не оставлял на своем пути даже Тамерлан.

— Пойми, Вита,— попытался он объяснить,— это их пропагандистская месть в ответ на разгром под Сталинградом. Там они потеряли целую армию, после чего им пришлось объявить траур во всей стране, а теперь, воспользовавшись маленьким частным успехом, они пытаются внушить и собственным согражданам и всему миру, будто все так же сильны, как в первые месяцы войны. Но это уже игра с краплеными картами. Конечно, они еще принесут много страданий нашему народу, они еще будут сопротивляться, а порой и одерживать мелкие победы, но тем необходимее разгромить их до конца. Но они знают, что такое вот беспардонное хвастовство пока что удерживает наших союзников от открытия второго фронта, держит на привязи их собственных обеспокоенных союзников. Это просто война нервов!

Она была безучастна, только губы страдальчески сжаты, брови нахмурены.

Оживилась она только в усадьбе. Заспешила с вещами, с обедом, с переодеванием. Стол, как и в прошлый раз, был накрыт, прислуга отпущена, и Вита с радостью принялась исполнять обязанности хозяйки. Но до того, как сесть за стол, все-таки повела Толубеева в комнату отца, где висела копия той карты, что Толубеев видел в его кабинете, правда, без флажков. И только когда Толубеев взял карандаш и прямо на карте начертил линию фронта на десятое ноября тысяча девятьсот сорок второго года и линию фронта, как он ее понимал сегодня, в марте, Вита вдруг как-то повеселела. Должно быть, ей, жительнице маленькой страны, которую можно было пересечь поперек в автомобиле за три — пять часов, а возле Нарвика — и пешком в течение одного часа, только теперь стали ясно видимы огромные масштабы территории, где шла ожесточенная борьба двух гигантских армий.

— Ты меня убедил, Вольёдя! — воскликнула она с тем прежним оттенком юмора, с каким встречала, как это она называла, «подрывную пропаганду».— О Вольёдя, ты всегда говоришь так убедительно, что в конце концов сделаешь из меня коммунистку и я пойду национализировать рудники моего отца! — Это была ее старая шутка, и он обрадовался, что то мрачное, что потрясло ее и в сводке и, наверное, в самой Германии, понемногу покидает ее.

Но он боялся расспрашивать ее и во время обеда рассказывал, как гостил у Свенссонов, как был рад ее заботе о нем, одиноком. Но после обеда, убрав со стола, она сказала сама:

— Почему ты не спрашиваешь, что я видела, когда была твоими глазами?

— Ты была моею душой! — поправил он.— Теперь расскажи, как же ты провела там эти две недели?

— О, нас принимали на уровне королевской семьи! — беспечно бросила она. И тут же поддразнила:— Там оказался племянник знаменитого Стиннеса, друга и соперника Круппов, он в первый же вечер предложил мне руку и сердце. А потом уже не отходил ни на шаг!

Толубеев поразился, как это ее маленькое хвастовство ранило его. И, конечно, Вита поняла или увидела его смятение. С той же беспечной шутливостью она сказала:

— И знаешь, он из породы немецких красавцев! Высокий, светловолосый, чистая нордическая раса!

— Твой успех у этих нордических господ я могу представить и без описания подробностей! — хмуро сказал он.

— Но я хотела обязательно показать его тебе и даже сфотографировала! — похвалилась она.— Вот, посмотри!

Она покопалась в своей сумочке и выбросила на стол снимок.

Толубеев совсем не хотел смотреть на этого племянника стального магната фашистского государства. Но что-то привлекло его внимание, а затем он схватил снимок и уже не мог оторваться. На снимке справа, почти вне фокуса, стоял какой-то молодой оболтус в мундире полковника СС, а за его спиной, очень четко очерченный, по полигону двигался Тяжелый Танк. Толубеев никак не мог оторвать от него взгляда.

Это был именно Тяжелый Танк еще не виданной Толубеевым конструкции. Скошенная лобовая броня его даже на снимке казалась особенно мощной. Почти таким же мощным был и левый борт машины. И пушка, торчавшая дулом вперед, в боевом положении, была мощнее прежнего танкового вооружения. Уж на прежние танки Толубеев достаточно нагляделся, чтобы сразу понять это.

— Как же тебе это удалось, Вита? — пораженный, спросил он.

— Ну, я же фотографировала родственника господина Стиннеса! — Она как будто даже не поняла, чем он встревожен.— А этот господин даже и не видел, что машина, которую пригласили нас смотреть, уже вышла на полигон. А потом я уже не бралась за аппарат.

— Значит, тебя все-таки предупредили, что снимать нельзя?

— Естественно! Мы же были приглашены на боевые испытания танка. Впрочем, приглашен был только отец, а я просто мило улыбнулась снятому тут господину, когда он проверял список приглашенных. Не забывай, пожалуйста, что я одна из самых богатых невест в Норвегии! Ведь отец просвещал тебя на этот счет? — поддразнила она снова.

— Что значит — боевые испытания? — спросил он, отстраняя этим вопросом ее шутливый тон.

— Ох, это было страшно! — Она даже побледнела.— Неужели ваши солдаты и на самом деле бросаются под танки с простыми гранатами?

— Бывает! — сурово сказал он.— Иногда даже просто с бутылками бензина.

— Они привезли на полигон батарею — или как это называется? — словом, три советские противотанковые пушки. Этот танк поставили метрах в восьмидесяти от пушек, экипаж вылез...

— Ага, значит, они все-таки боялись? — заметил Толубеев.

— Нет, им просто приказали! А командир танка настаивал, что пойдет прямо на батарею и раздавит все пушки!

— Что же было дальше?

— Солдаты начали стрелять из пушек советскими бронебойными снарядами. Все это мне объяснял этот болван-эсэсовец. Они сделали двадцать один выстрел, и снаряды отскакивали от танка, как будто он был заворожен...

— Просто хорошо забронирован! — хмуро сказал Толубеев.

— Потом, когда пушки увезли, нас пригласили к танку. На нем были только вмятины, и то всего две-три...

— Может быть, пушки стреляли холостыми?

— Нет, нет! Эти снаряды при ударе о танк ужасно визжали! Нас даже попросили перед стрельбой спуститься в блиндаж.

— Для чего же они это показывали?

— Но там были не мы одни! Там были два японца, турок, личный представитель болгарского царя, представитель Франко,

итальянский посол, группа промышленников, несколько офицеров вермахта...

— Так, значит, они пытаются убедить своих союзников в непобедимости нового оружия и заставить их раскошелиться на эту проигранную войну...

— Но это было действительно ужасно! — воскликнула она.

Он долго молчал, обдумывая, какой же силы удар могут нанести фашисты. И где они могут нанести его? На Москву? Но эти тяжелые танки в лесах и болотах Гжатска и Вязьмы могут оказаться беспомощными. Для действий такой армады нужны просторы, оперативные возможности. Южный фронт? Новый удар по степям на Сталинград? Удар на Курск? Если они наладили массовый выпуск этих танков два-три месяца назад,— а именно это вытекает из немецких закупок рудных материалов! — то к лету у них окажется много новых танковых корпусов численностью в несколько тысяч машин. Он-то знает, как умеют немцы организовать производство!

А Вита смотрела на него с робкой надеждой, как будто он мог сделать что-то такое, после чего все увиденное ею в Германии окажется просто кошмарным сном...

— Вам показывали заводы? — спросил он.

— Да. И даже плавку броневой стали новой марки. Да вот, посмотри сам! — Она протянула тонкую розовую руку, на безымянном пальце которой было черное кольцо.— Разве ты не заметил? — упрекнула она.— А ведь это — мое обручальное кольцо, которое подарил мне тот самый эсэсовец! Он имперский уполномоченный на этом заводе.

Толубеев без большого любопытства посмотрел на кольцо. Но опять что-то толкнуло его снять с пальца девушки этот чужой подарок. Украшением такое кольцо быть не могло, скорее памятным подарком. Но когда он взял его в руки, глаза его засверкали. Не от злобы на того, кто осмелился вручить его любимой памятный подарок, а оттого, что это было стальное кольцо!

— Вита, но как ты сумела сделать это?

— Просто попросила этого влюбленного болвана отлить мне в экспресс-лаборатории из последней пробы перед выпуском плавки этот маленький сувенир! Ну, неужели я не заслужила даже простого русского «спасибо»? — с комической грустью спросила она.

Он схватил ее на руки и закружил по комнате, крича:

— Заслужила, заслужила!

Она вырвалась из его рук, отобрала кольцо и снова надела на палец.

— Сейчас же отдай его мне!

— Вот этого я не могу сделать! — спокойно возразила она.

— Почему?

— Откуда я знаю, что светловолосый господин с пустыми очами не поручил кому-нибудь взглядывать ежедневно на это кольцо? И откуда я знаю, что случится с тем из моих друзей, у кого это кольцо найдут, если я его потеряю? Поэтому ты получишь его только с моей рукой! Ты ведь когда-нибудь женишься на мне, Вольёдя? — шутливо, но в то же время и жалобно спросила она.

— Да, да, да! — поклялся он, целуя руку, левую, на которой темнело проклятое стальное кольцо. И попросил: — Но ты никогда не потеряешь это кольцо, теперь уже не ради светловолосого расиста, а ради меня! И в тот час, когда оно понадобится, вручишь его мне.

— Ох, Вольёдя, сколько ты ставишь условий! А ведь я никогда ни о чем не просила тебя! — Она вздохнула устало и грустно, потом улыбнулась через силу, добавила: — Я ведь оберегаю только тебя!

Да, она оберегала его. Но очень может быть, что она сбережет и жизни тысяч других русских людей, если только Толубеев успеет доставить этот бесценный дар на Родину. А ведь это опять будет бегством от нее, ударом по ее смятенному сердцу, да и по своему сердцу это тоже будет ударом...

2.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ

«Недалеко от гор. Туль (Франция) вольные стрелки совершили нападение на немецкий отряд. В завязавшейся схватке убито и ранено 28 гитлеровцев. В Омнуре французские патриоты взорвали немецкий эшелон с военными материалами».

Совинформбюро.
26 марта 1943 года.

В среду он нетерпеливо ждал звонка из «морской инспекции».

В полдень тот же грубый голос, который он уже слышал однажды, спросил:

— Как дела с вашей лодкой?

Толубеев поспешнее, чем следовало бы, наверно, ответил:

— Лодка готова! Я хотел бы испытать ее как можно скорее!

После паузы голос мрачно сказал:

— Хорошо, я передам главному инспектору вашу просьбу и позвоню к вечеру.

Перед концом рабочего дня позвонил сам Ранссон:

— Господин Толубеев? Я жду вас на восьмом причале в порту...

Толубеев запер комнату, сдал ключ фрекен Сигне и бросился на улицу.

Таксист, чрезвычайно ловко ныряя меж машин, высадил его у шестого причала. Как ни мал был опыт Толубеева в работе разведчика, столько-то он понимал: не обязательно, чтобы таксист знал, куда он спешит. К сожалению, шестой причал был пуст, и таксист даже спросил, не подождать ли господина.

Толубеев отослал его и только после этого заторопился на восьмой. Было крайне неприятно заставлять больного Ранссона ждать.

Осло-фиорд тяжело и медленно накатывал серые волны на серый бетон причала и заградительных бон. Было холодно, резко ветрено, неуютно. Но фиорд все равно дышал удивительной свободой, хотя Толубеев знал, что не так далеко по нему бродят немецкие сторожевики, а в приграничных водах, с той же страстью к поиску, ловле и убийству, шныряют таможенные катера, перенявшие немецкую манеру стрелять без вопросов.

Ранссон сидел на холодной каменной причальной тумбе и неспешно курил сигарету. Завидев Толубеева, он встал и пошел, не оборачиваясь, и Толубеев уже один рассмотрел маленький рыболовный, а при нужде и прогулочный катерок с золотыми буквами «Сигрид». Почему, черт возьми, все эти принадлежащие грубым рыбакам и контрабандистам лодки, яхты и катера носят такие нежные женские имена? Неужели рыбак, даже и погибая, помнит о жене или дочери, в честь которой названа его опасная посудина?

Он заспешил вдогонку за Ранссоном, который все так же носил левую руку на перевязи да и двигался не очень-то уверенно, как будто у него кружилась голова. Но тут Ранссон нырнул в маленькое кафе с пестрыми индюками и фазанами, нарисованными прямо на окнах, и Толубеев, остановившись закурить и оглядеться, шагнул за ним в вертящуюся дверь.

Здесь Ранссон, видно, чувствовал себя в полной безопасности, так как поднял правую руку и приветственно помахал Толубееву.

Толубеев заказал душистого, как видно, совершенно химического рома и кофе и, когда хозяин поставил перед ними все эти блага, торопливо сказал:

— Мне нужно домой и как можно скорее!

— У вас есть здесь друзья, на которых вы можете положиться? Дело в том, что с моей покалеченной рукой один я с лодкой не справлюсь.

— Попрошу тех, что приняли меня...

— А, господа Свенссоны! Что же, это приличные люди и к тому же отличные мореходы.

Толубеев удивленно взглянул на рыбака. Тот отмахнулся:

— А, мы были обязаны знать каждый ваш шаг. Пока ошибок не было. Главной ошибкой будет, если мы попадем в лапы к нашим таможенникам или к немцам.

— А можно вооружить ваше суденышко?

— После прошлой встречи с немцами я уже подумал об этом. Можно поставить на корму крупнокалиберный пулемет «Бофорс». Дымовые шашки я уже заготовил.

— Пойдут ли на это Свенссоны?

— Они приличные люди, я уже сказал. А это значит, что они храбрые люди. Да и не обязательно попадаться всяким ищейкам.

— Когда?

— Сегодня наш радист испросит рандеву и сообщит, что это очень срочно. Завтра не отлучайтесь никуда из вашей конторы: возможно, кто-нибудь позвонит вам.

Они выпили химическое зелье, и Ранссон ушел. Толубеев посидел еще, попробовал английский, по всей видимости, контрабандный чай и отправился к дядюшке Андреену. Вот еще неожиданная задача: как исчезнуть, не обидев мастера? Он решил написать ему письмо, спрятать в чемодан. Дядюшка Андреен не пойдет в полицию искать своего исчезнувшего жильца, он сначала посмотрит, нет ли записки. И ему будет достаточно нескольких теплых слов.

Распорядившись так всем своим имуществом, Толубеев почувствовал себя спокойнее.

А на следующий день утром знакомый грубый голос произнес:

— Испытание лодки назначено на субботу. Капитан будет ждать вас в Черном фиорде в восемь часов вечера. Свенссоны доставят вас на судно и проводят до места.

Если бы Толубеев увидел этого грубоголосого человека, то, наверно, обнял бы его и поцеловал.

Но голос исчез, и все эмоции пришлось оставить при себе.

Значит, подводная лодка вышла сразу по получении сигнала. Сейчас она лежит где-то на грунте, а ночью опять всплывет и двинется дальше, мимо берегов Норвегии, мимо радаров, мимо сторожевиков и противолодочных кораблей. А ночью в субботу она вынырнет в условной точке пролива Скагеррак и примет на борт советского офицера Толубеева. Так Толубеев снова покинет эту страну, и теперь уже надолго...

В эту минуту он вспомнил Виту, и страшное чувство жалости и горечи охватило его. При чем здесь она? Почему на ее долю выпали эти страдания?

Тогда, в тридцать восьмом, это налетело на них, как пожар, как смерч, как чудо. Они оба пытались честно сопротивляться, но все было против их рассудка, и все было за их любовь...

Вита только что окончила русский факультет университета: отец давно понял, что будущее норвежских промышленников — в торговле с Россией, и заранее подготовил себе переводчика, который будет непременно защищать его интересы.

Когда молодой советский инженер Толубеев появился в акционерном обществе, Арвид Масон, один из директоров концерна, принял его не только любезно, но и крайне заинтересованно. Толубеев был приглашен на курорт в Телемарке, на виллу господина Масона. Хотя Толубеев и говорил по-норвежски, но запас слов у него поначалу был действительно не больше, чем у лапландца. Масон представил гостю свою дочь и предложил ей взять на себя роль переводчицы при советском инженере. Ожидалось много деловых переговоров, выезды в Нарвик, в Киркенес, затем в Швецию, в Кируну, где находились самые богатые рудники «Трафика», встречи с акционерами, директорами рудников, заводов, владельцами торговых судов...

Девушка смотрела на советского человека так изумленно, как будто он прилетел с Марса. Кто знает, может быть, она думала, что ей представят дикаря? А он оказался сильным, мужественным, проницательным человеком, каких в ее обществе найти было трудно. Все окружавшие ее молодые люди были детьми или внуками и правнуками миллионеров, как и сама она была дочерью и внучкой самых богатых людей Норвегии. Но она нашла себе интересную профессию, вдумчивую и умную литературу великих русских писателей, у нее

было дело, а у окружавших ее сверстников — безделье, возведенное в принцип...

Впрочем, все это Толубеев понял значительно позже, когда вел, как выражалась Вита, «подрывную пропаганду», то есть когда они стали подлинными друзьями и могли часами разговаривать со все возрастающей нежностью и откровенностью.

В апреле сорокового года положение в стране внезапно резко изменилось. Гитлер, одним ударом заканчивая «странную войну», обрушился на малые страны. Дания и Норвегия подверглись оккупации. В эти тревожные дни Вита пришла к Толубееву.

Они тщательно охраняли свое счастье от посторонних глаз. Но Арвид Масон, никогда и ни в чем не ограничивавший свою единственную дочь, наблюдал за нею, как выяснилось позже, с пристальной тревогой. Прошлой осенью у него произошел первый разговор с Витой.

Отец настаивал, чтобы Вита уехала в Германию продолжать образование. Вита отказалась. Тогда он прямо спросил:

— Из-за русского инженера?

И Вита так же прямо ответила:

— Да.

Он не решился применить к ней суровые меры: это могло привести к полному разрыву с дочерью. И всю зиму Вита и Толубеев встречались более свободно. Но в апреле началось то самое «дело», о котором Толубеев напомнил Кристиансу. Тогда он пытался скрыть от Виты, что именно из-за нее ему приказано немедленно покинуть ее родину и вернуться домой. Но любящего человека обмануть невозможно. Она поняла все. И только внезапно нагрянувшая война помогла им пережить то оскорбительное недоверие, с каким отнеслись к их чувствам те, от кого зависело сделать их по-настоящему счастливыми.

Так почему же он опять должен нанести ей этот страшный удар?

Он несколько раз порывался позвонить Вите, но, набрав номер телефона до предпоследней цифры, одумывался и бросал трубку. В один из перерывов между этими несостоявшимися звонками телефон резко и гулко прозвонил, и послышался испуганный голос Виты:

— Свенссоны мне только что сказали...— И сдерживаемые слезы перехватили милый голос.

— Вита, если можешь, поедем в усадьбу. Все равно я больше ничего не могу делать...

— Я тоже,— призналась она.— Выходи к воротам парка, я сейчас подъеду...

Она и на этот раз оказалась мужественной, эта хрупкая голубоглазая девушка. Только щеки побледнели, только в уголках губ прорезались морщинки, только молчаливее стала она. Упрямо склонившись к рулю, она гнала машину вперед, как будто там, за крутолобыми горами, за редкоствольными березовыми рощицами, еще надеялась догнать свое счастье.

Прислуга была снова отпущена, только невидимый истопник где-то внизу, в подвале, гремел железной кочергой, разбивая шлак в паровом котле отопления. Опять обедали вдвоем, только этот обед был еще грустнее того, прощального, три года назад, когда она все спрашивала, почему он должен уехать.

Вечером внезапно нагрянули Свенссоны. А может быть, Вита заранее сговорилась с ними? И профессор и сын его, магистр изящной словесности, были встревожены: они уже поняли, что Толубеев совсем не тот, за кого себя выдавал, а задать главный вопрос они стеснялись или, может быть, просто боялись.

Только после ужина, уже за кофе, Севед Свенссон спросил:

— Куда вы хотите исчезнуть?

И Толубеев коротко ответил:

— Домой. Мне еще надо долго воевать...

Севед Свенссон сказал:

— Мне всегда казалось, что плененный человек выбывает из игры.

— Эта война совсем не похожа на игру!

Старший Свенссон хмуро сообщил:

— Я слушал сегодня немецкое радио: ваши войска оставили Белгород. Немцы хва-

стают, что это крупный город в центре России, в самых плодородных областях страны.

— Да, это большой город...

— Немцы говорят, что военное счастье снова на их стороне. По их подсчетам, получается, что советские войска потеряли в этих операциях под Харьковом и Белгородом за восемь недель сто шестьдесят дивизий и бригад...

— Бумага все стерпит!

— Как? Как? — не понял Севед Свенссон.

— Русская идиома,— объяснила Вита.— Господин Вольёдя говорит, что написать или напечатать можно все, что угодно. Он не верит немецким сводкам...

Свенссоны уехали сразу после ужина. Уже на пороге, прощаясь, старший Свенссон спросил:

— Итак, в субботу вечером?

— Да.

— Хорошо, мы с сыном выполним поручение, хотя я так и не уяснил, что вам было нужно в нашей стране.

— Только немецкий вывоз стратегического сырья из Норвегии...

— О, наши промышленники продали немцам всю страну! — с горечью признал Свенссон.

— Но людей продать они не смогли! — ответил Толубеев.— И чем скорее мы разгромим немецкие армии, тем быстрее вы освободитесь от этой рабской зависимости...

— Боюсь, что эта война превратится в Тридцатилетнюю! — вымолвил Свенссон.

— Ее конец уже предрешен, и напрасно немцы похваляются своими мнимыми победами!

— Да будет так! — торжественно подхватил старший Свенссон, и Севед молча склонил голову, присоединяясь к нему.

3.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ

«Датские патриоты за последнее время усилили борьбу против немецких оккупантов. В первой половине марта в Копенгагене взорвано три цеха на одном крупном заводе. 26 марта произошел взрыв на другом машиностроительном заводе, выпускающем продукцию для немецкой армии. На днях группа патриотов ночью подожгла казарму, в которой находились немецкие солдаты».

Совинформбюро.
31 марта 1943 года.

В пятницу они ненадолго съездили в город. Толубеев позвонил мастеру Андреену на завод, сказал, что отправится на неделю в Киркенес по делам концерна, заехал в его домик и взял из чемодана самое необходимое, оставив в нем прощальную записку, в которой обещал встретиться «в шесть часов вечера после войны». Вита поехала за письмами отца.

Когда он сел в машину возле ворот парка, ему бросились в глаза крупные свертки в упаковке с магазинным клеймом. Дома Вита торжественно преподнесла ему один из свертков:

— Пожалуйста, надень это, я хочу посмотреть, как ты будешь выглядеть...

У него не хватило духу обижать ее отказом. Поднявшись к себе, он распаковал сверток. В нем оказался рыбацкий костюм из какой-то плотной материи, подбитый гагачьим пухом: и куртка, и брюки, и высокие сапоги с ремнями под коленом и на щиколотке, «скифские», как называли эту обувь заядлые яхтсмены, и шерстяные толстые чулки. Когда он надел все это обмундирование и подошел к зеркалу, он и сам себе показался настоящим «морским волком».

Выйдя в этом наряде в столовую, он остановился, пораженный. На Вите был точно такой же наряд, правда, более изящный, но на Вите все выглядело изящно.

— Тебе-то это зачем? — изумленно спросил он и вдруг ощутил холодок в груди. Она, кажется, решила идти в море вместе со Свенссонами!

— Я буду с тобой до последнего мгновения! — твердо сказала она.

Возражать он не мог.

Полюбовавшись в зеркало, она ушла к себе и сменила этот маскарадный костюм на обычное платье. Он тоже переоделся, но легче от этого не стало. Все думалось: долгие проводы — лишние слезы.

Весь этот вечер и весь субботний день она была необычно тиха, послушна, ухаживала за ним, как за больным. Из дома они не выходили, да Толубеев и остерегался: теперь, когда все было готово для возвращения, надо было притаиться, замереть. И Вита как будто поняла это его желание...

Он сидел в верхнем холле, перелистывал газеты, прислушивался к движениям Виты, собиравшей на стол внизу: сегодня она не пела, не звенела столовыми приборами. Но когда она пригласила его к столу, удивился: обед был необычайно пышный, праздничный. Заметив его удивление, грустно пошутила:

— У нас же не было ни помолвки, ни свадьбы! Пусть будет хоть прощание!

Долго сидели за столом, выпили бутылку белого мозельского вина, но он не почувствовал ни вкуса, ни запаха. Все его чувства и ощущения как будто перегорели, осталась зола. Во всяком случае, весь мир казался серым, как зола.

В шесть часов вечера приехали Свенссоны. Оба были в грубой рыбацкой робе. Костюм Толубеева, в который он переоделся к вечеру, похвалили, Виту попытались отговорить от поездки, но безуспешно... В туристско-рыбацком своем костюме она была холодна, как настоящий викинг. Свенссон-старший сказал наконец:

— Я еще не знавал ни одного мужчину, начиная со времен Адама, который мог бы уговорить женщину не делать глупостей, но мир как будто не пострадал от этого. Оставьте ее, молодые люди!

В машине она сидела рядом с Толубеевым такая же тихая, грустная. Он все время чувствовал ее плечо и руку, и это было похоже на прощальное объятие.

В полной темноте они спрятали машину за стеной старого хутора, где она стояла и в прошлый раз. Опять появились два человека, один — рослый и плотный, похожий на Свенссона-старшего, другой — худой, длинный. Их лодка стояла на мостках, над морем. Ее скатили на воду, рыбаки, стоя в воде, держали за борта, Свенссон-старший сгреб Толубеева и перенес по воде в лодку, Севед Свенссон взял на руки Виту и усадил рядом с Толубеевым. Потом они влезли сами, за ними — рыбаки, и лодка тихо поползла по черной воде фиорда.

Оглянувшись, Толубеев снова увидел тонкий лучик света, пробивавшийся откуда-то, как из зашторенного окна. А взглянув по направлению луча вперед, заметил лежавший в дрейфе катер. Это было судно Ранссона «Сигрид».

Пересаживались тихо, здоровались шепотом. Виту сразу провели в каютку на носу, доставившая их лодка беззвучно исчезла, Ранссон поднял косой парус, и весенний, хотя и холодный, ветер с берега толкнул суденышко. Сразу исчез направляющий луч, каменные громады фиорда словно раздвинулись, и суденышко вышло в залив. Ранссон включил мотор.

Рокот мотора тревожил, возбуждал. Казалось, что его слышно на обоих берегах залива. Поэтому Ранссон прижимал суденышко ближе к скалам.

Но едва появлялись огоньки прибрежных городков, как Ранссон уводил суденышко мористее, по-видимому, опасался нечаянной встречи. Около десяти часов вечера миновали Арендаль, распластавшийся глубоко по берегу. В это время Вита выглянула из каюты, увидела этот тающий и расплывающийся свет и что-то сказала в сторону города. Толубеев изумленно посмотрел на нее, ему показалось, что она произнесла нечто похожее на «Прощай!».

Они были на выходе в пролив Скагеррак, когда из берегового укрытия наперерез им ринулся длинный, похожий на хищную рыбу катер береговой охраны. Он был освещен топовыми огнями и сильным прожектором, установленным на носу. Катер несся, казалось, бесшумно, потому что Ранссон попытался форсировать свой мотор, едва завидел это светящееся привидение. Но скорости были несравнимы. «Сигрид» как будто стояла на месте, а таможенный катер резал темноту и пространство, как брошенный сильной рукой стальной нож.

С катера простучала предупреждающая очередь пулемета. Ранссон крикнул:

— Дымовые шашки!

Отец и сын Свенссоны бросились на корму, где на борту были разложены дымовые шашки. Отец зажигал запальные шнуры, а сын швырял эти дымящиеся гранаты одну за другой. С катера дали вторую очередь, теперь там целились по носу «Сигрид». Толубеев заставил выскочившую на выстрелы Виту лечь между сложенными сетями, а сам кинулся к Ранссону:

— Где пулемет?

— На корме под брезентом! — буркнул тот, измеряя взглядом расстояние между «Сигрид» и таможенным катером. Оно все сокращалось.

Толубеев выдернул из ножен рыбацкий нож и бросился на корму.

Он полоснул по веревкам и брезенту и открыл тело пулемета.

Это был «Бофорс», неизвестный ему пулемет, с колесиками и рукоятками для прицеливания. Но разглядывать устройство было некогда. Толубеев развернул пулемет руками, целясь в прожектор, и дал резкую, сильную очередь. Прожектор погас, в тот же момент Ранссон выключил мотор. Катер вошел в облако дыма.

В следующий миг, под брань и крики таможенников, их катер тоже скрылся в дыму. И тогда с их палубы ударил спаренный пулемет. Толубеева толкнуло в плечо и отбросило к борту. Он еще вскочил сгоряча и тут же рухнул навзничь.

Вита вскрикнула, но Ранссон так властно прошипел: «Тихо!» — что она замолчала. Катера разошлись в дыму, брань таможенников стала еле слышна. Тогда Ранссон шепотом приказал:

— Фрекен, перевяжите русского! Бинты в аптечном ящике в каюте.

Севед Свенссон приподнял раненого, пытаясь остановить кровотечение. Подоспела Вита. Они сняли куртку с Толубеева, разорвали шерстяное белье и принялись бинтовать вялое, непослушное тело. Катер таможенников исчез где-то в темноте, и Ранссон снова включил мотор.

Как видно, Ранссон не напрасно выводил свой катер в море по ночам. Никто так и не понял, каким образом ему удалось выйти в точку рандеву. Но перед ними выплыл из темноты борт подводной лодки, послышался осторожный оклик.

— Помогите поднять раненого русского! — властно приказала Вита.

С лодки сбросили в катер штормтрап, молодой моряк спрыгнул на борт катера и помог Севеду Свенссону поднять обмякшее тело. Вслед за Толубеевым на подводную лодку поднялась Вита.

— Я ухожу с вами! — резко, отвергая все возражения, сказала она...— Все данные у меня! А жизнь вашего офицера в опасности, и я должна быть при нем. Я его жена!

Команда «Сигрид», не понимающая русского языка, с удивлением слушала страстную речь девушки. Но вот она обернулась к ним, сказала:

— Я остаюсь с господином Толубеевым. Передайте отцу, мы вернемся в день, когда наступит мир. В шесть часов вечера после войны — как любит говорить Вольёдя!

Матросы вносили раненого в лодку. Так же решительно спустилась за ними и девушка. И человек, отвечавший за рандеву, молча пожал плечами.

Продолжение следует.

ОГНЕ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая.

ХОРОШИЙ РАЗВЕДЧИК СТОИТ АРМИИ...

1

«31 марта с. г. Красная Армия завершила зимнюю кампанию против немецко-фашистских войск.

За время зимней кампании советские войска нанесли вражеским армиям тяжелые военные поражения. Красная Армия нанесла немецко-фашистским войскам крупнейшее в истории войн поражение под Сталинградом, разгромила немецкие войска на Северном Кавказе и Кубани, нанесла ряд тяжелых поражений врагу в районе Среднего Дона и Воронежа, ликвидировала вражеские плацдармы на Центральном фронте (Ржев — Гжатск — Вязьма) и в районе Демянска, прорвала блокаду Ленинграда».

ИТОГИ ЗИМНЕЙ КАМПАНИИ КРАСНОЙ АРМИИ
Совинформбюро.
2 апреля 1943 года.

Он ничего этого не слышал. Подводная лодка шла и ночь и день в крейсерском положении, потому что принятый на борт раненый был очень плох. Военфельдшер, оказавший ему первую помощь, доложил командиру, что пуля прошла рядом с сердцем и застряла в левой лопатке, но операцию делать он не рискует. Иностранная женщина, сказал он, и сама находится в шоковом состоянии, но не желает покинуть раненого...

Ответ на радиограмму поступил через тридцать минут. Командиру предписывалось доставить раненого как можно быстрее, «пренебрегая опасностями пути...» И лодка шла, не отстаиваясь, шла в надводном положении, потому что раненому и его спутнице был необходим свежий воздух. Дежурили пулеметчики у крупнокалиберных зенитных установок, дежурили офицеры и впередсмотрящие, дежурили акустики, а лодка прорывалась мимо берегов Норвегии, «пренебрегая опасностями...»

Подводники и сами не могли понять, почему им так повезло. Может быть, норвежская морская полиция потеряла следы маленького суденышка, обстрелявшего их катер из пулеметов, и решила, что беглецы или контрабандисты прорывались в Исландию или в Ирландию, и не сообщила сотрудничающим с ними немцам об этой случайной встрече в море. А может быть, немецкие военно-морские силы были отвлечены преследованием какого-нибудь морского каравана, идущего из Англии или Америки к берегам Советского Союза. Но Вита знала, что это ее молитвы, ее любовь укрыли подводную лодку от врагов...

Лодка вошла в порт утром, на пирсе ждала санитарная машина с двумя врачами и сопровождающим их офицером. После короткого разговора врачи сделали ра-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 30—34.

НАЯ ДУГА

Николай АСАНОВ

Повесть

Рисунки П. ПИННИСЕВИЧА.

неному поддерживающие уколы и согласились сопровождать его до Москвы. Тихая женщина, не проронившая ни слова, ни слезинки, только все время державшая то руку раненого, то край его носилок, села рядом с ним в санитарную машину на неудобный откидной стульчик и поехала на аэродром, стискивая зубы каждый раз, как машину встряхивало на обледеневшей дороге и раненый коротко стонал.

И в самолете, который, к счастью, оказался теплым, она сидела рядом с подвешенными носилками и только раз удивленно взглянула в иллюминатор, увидев, что их самолет сопровождают еще несколько других — остроносых, с короткими крыльями, летящих то спереди, то по сторонам. И тут она вспомнила, что самолет еще должен лететь долго-долго, а в воздухе каждую минуту могут показаться самолеты врага... Вспомнила и тут же забыла.

И Москву она не видела, сидя за окрашенными в белый цвет окнами санитарной машины. Она все ждала, когда же будет больница, когда будет операция, когда ей скажут, выживет ли он, что лежит рядом с нею, безгласный, бесчувственный, еще не мертвец, но уже и почти не живой...

Она удивилась еще раз, что привезли их не в больницу, а в какой-то жилой дом, но тут раненого снова понесли куда-то на носилках, и она опять держалась за край этих носилок, как будто боялась: отпусти — и он исчезнет!

Но все-таки там, куда они наконец вошли — санитары с носилками, она, держащаяся за носилки, сопровождающие врачи, офицер,— там была больница: операционный стол, профессора в белом, сестры милосердия, ясный свет бестеневых ламп. Ей никто не мешал, только сестра милосердия вывела на минуту в соседнюю комнату, где в гардеробе висели платья, ящики были полны свежего белья, сказала, чтобы фрекен переоделась, ведь на фрекен все тот же рыбацкий костюм, пропахший соляром и бензином, помогла ей, подала такой же белый халат и снова проводила туда, где уже на столе под простыней лежал раненый и профессора, врачи, сестры что-то делали с ним, а в углу лежали остатки его изрезанной одежды.

Это продолжалось час-полтора-два. Вита смотрела порою на часы, но все равно не запоминала времени, а окна были закрыты глухими черными шторами, и трудно было понять, день ли за окном, или ночь. Но вот самый старый из профессоров подошел к Вите, спросил, понимает ли она по-русски, и на ее кивок сказал:

— Ваш муж, милая барышня, счастливец! Он будет жить!

И тут она впервые зарыдала, но это были уже облегчающие слезы, а профессор кивнул сестре, и та, ловко отвернув рукав ее халата и платья, сделала какой-то укол, и Вита вдруг ушла из этой комнаты. Но так как она была опять с Вольёдей — они шли по снежному озеру на лыжах,— то ей все казалось прекрасным, счастливым. И она уже не чувствовала, как сестра раздевала ее, поворачивала на большой кровати, укладывая поудобнее, она все шла рядом с Вольёдей, и он был здоров, был не такой, каким она увидела его так недавно в своей усадьбе, а еще таким, каким увидела его впервые и полюбила сразу и на всю жизнь...

Проснулась она от чужих голосов, но все равно пробуждение было прекрасным, так как все вокруг было светло, большие окна излучали в комнату синеватый свет, и она сразу поняла, что ночью выпал снег и это, наверно, самый последний снег этой долгой и трудной зимы. Дверь была приоткрыта, и в ней стояла сестра милосердия, та самая, что вчера помогала ей переодеться, и в комнате пахло кофе, свежим хлебом, и, когда сестра увидела ее открытые глаза, она подошла и сказала, что фрекен должна сначала позавтракать, что ванна уже готова, что товарищ Толубеев чувствует себя хорошо, хотя разговаривать с ним еще нельзя.

— Но увидеть? Увидеть? — вскричала Вита.

— Что вы говорите? — спросила сестра.

И тут Вита поняла, что всю ночь говорила с Толубеевым по-норвежски и с сестрой заговорила на родном языке, хотя и поняла, что с ней говорили по-русски. С трудом вспомнила она нужное слово и снова вскричала:

— Увидеть его!

— Только после завтрака и ванны! — строго сказала сестра и вышла, плотно прикрыв за собой дверь.

За дверью снова послышались чужие голоса, но они были тихи и мирны, и Вита успокоилась. Она только застеснялась немного, что одета в непривычную, необыкновенно длинную сорочку, а не в пижаму, но запах кофе уже возбуждал, и она вспомнила, что не ела двое, а может, и трое суток, что она в холодной России, но что Вольёдя чувствует себя лучше, значит, и она должна чувствовать себя лучше, и торопливо принялась за кофе, понимая, что от нее самой зависит, когда ей разрешат свидание с ним.

Больничных кнопок со звонками ни над кроватью, ни на столике не было, но стоял телефонный аппарат, и Вита подняла трубку. Далекая женщина спросила: «Кого?» — и Вита робко попросила: «Сестру милосердия!» И сестра тут же появилась в комнате. Вита поднялась было с постели, но у нее закружилась голова, и сестра сама принялась выбирать для нее белье, чулки, платье, туфли... Если это приготовили ей как приданое, то тут было довольно много всего. Потом сестра помогла ей пройти в ванну и помогла там, потому что Виту все покачивало из стороны в сторону, но сестра успокоила ее, сказав, что все это пройдет через десять — пятнадцать минут.

И верно, время, текущее то быстро, то медленно, какими-то странными прыжками, начало успокаиваться, и Виту провели в ту самую комнату, где профессора что-то делали с Вольёдей в день их приезда сюда, только непонятно было, вчера ли, или несколько дней назад. Комната была та же, но ни операционного стола, ни бестеневых ламп уже не было — просто такая же светлая комната с диванами, цветами, и в углу на широкой кровати лежал Вольёдя и глядел на нее изумленно-радостно, так что она опять не выдержала и заплакала. Но сестра уже закрыла дверь, провела ее в другую комнату, где сидели и пили кофе двое русских.

Русские встали, здороваясь, назвали свои имена, но она была еще так возбуждена, что не запомнила их. Однако она снова почувствовала себя хозяйкой, ведь это теперь был дом ее и Вольёди, и «товарищи» пришли навестить ее. Она опустилась на стул, приглашая и их присесть. Вошла та самая сестра милосердия, принесла кофейник и чашку для Виты, молочник со сливками и вышла. Вита предложила гостям еще по чашечке свежего кофе, налила себе.

Один из гостей, высокий, костлявый, узколицый, вежливо спросил на дурном норвежском:

— Фрекен говорит по-русски?

— О, я, я! — ответила она.

Тот с облегчением перешел на русский:

— Фрекен, вы сказали командиру принявшей вас подводной лодки, что все данные у вас... Что вы имели в виду?

— То, что мы с Вольёдей получили там.— Она неопределенно махнула рукой куда-то в сторону. Ей не хотелось называть ни свою страну, ни Германию.

— Владимир Александрович Толубеев еще долго не сможет побеседовать с нами, а нам хотелось бы рассмотреть ваши... данные...

Он как будто не очень верил в эти данные. Второй гость, грузный, с усталым и обеспокоенным лицом, тоже попросил:

— Да, мы хотели бы видеть.

Ее вдруг взволновало это невысказанное недоверие. Неужели они уходили под градом пуль из пустой похвальбы? Неужели Вольёдю чуть не убили из-за какого-то пустяка? Она гордо выпрямилась и сухо спросила:

— А почему я должна передать эти данные вам? Кто есть вы?

Гости переглянулись. Грузный, с озабоченным лицом вынул из кармана пиджака бумажник, а из бумажника небольшое удостоверение в красной коже и подал его Вите. Вита открыла книжечку, там была фотография грузного мужчины и несколько строк: «Заместитель народного комиссара тяжелой промышленности»,— заверенных печатью и подписью. Она с уважением взглянула на грузного, переводя на свой лад: заместитель министра! В Норвегии для нее и министры были просто друзьями отца. Но Россия, наверно, в шестьдесят раз больше Норвегии. Здесь и министр, наверно, в шестьдесят раз важнее. Но на его спутника тоже взглянула требовательно.

Тогда и узколицый подал свое удостоверение, не такое роскошное, но тоже в кожаной обложке, и там она прочитала еще более короткую запись: «Полковник Кристианс М. А.» И, вспомнив, что полковник обратился к ней по-норвежски, подумала: «Возможно, он начальник Вольёди, только не имеет права сказать об этом...» Взглянув еще раз с любопытством на этого хмурого человека, она вышла из комнаты и прошла к себе.

Вся ее одежда висела в гардеробе. Она распорола потайной карман и достала небольшой каучуковый мешочек. Ощупав его, она решительно вернулась к гостям и положила его на стол.

Полковник Кристианс стал вскрывать его, и Вита заметила, как у него дрожали руки. «Боже, неужели это действительно так важно?» — подумала она и тут же остановила себя: «А Вольёдя? Разве он пошел бы на все эти испытания, если бы не особая

важность всего того, что он делал?» Между тем полковник Кристианс вынул и положил на столе записи Вольёди, черный пакетик с памятной фотографией из Германии и черное маленькое кольцо...

— А это что? — спросил он, взвешивая кольцо в руке.

— О, это мое обручальное кольцо! — лукаво ответила она.

Но он не заметил ее усмешки, отложил кольцо и открыл конверт с фотографией.

Он вдруг застыл, став похожим на сильную остроклювую птицу, так близко поднес к лицу снимок, затем длинно вздохнул, сказал: «Вот это да! Это действительно подвиг!» — и передал фотографию заместителю наркома. Тот тоже внимательно взглянул на фотографию и затем удивленно на Виту.

— Тот самый танк? — спросил он, глядя на нее восхищенно.

— Да! — ответила она.

Затем Кристианс вскрыл пакет с записями Вольёди. Они были сделаны на четвертушках бумаги бисерным почерком, без шифровки. Вита сама помогала писать их, и он читал страничку за страничкой, передавая листочки заместителю наркома, а тот, прочитывая, бережно укладывал их снова в пакет. Но вот они рассмотрели все, и полковник Кристианс спросил:

— У вас есть какие-нибудь устные дополнения?

— У меня есть вещественные дополнения! — смело сказала она.

— Какие же? — удивленно спросил Кристианс.

— Образец новой бронетанковой стали, достаточный для анализа. Так сказал мой муж, господин Толубеев.

— Где же образец?

— А это? — Она подвинула к нему кольцо.

Боже, как они оба изменились в лице! Они склонились над кольцом голова к голове, передавали кольцо из рук в руки. Потом Кристианс бросился к телефону, позвонил кому-то, воскликнул: «Товарищ Толубеева привезла образец стали для анализа!» — потом потребовал машину с охраной. И из всего этого Вита поняла самое главное: ее признали достойной помощницей Вольёди и признали его женой.

За окном взревела машина, и гости поспешно откланялись. Вита была безмерно удивлена: оба мужчины поцеловали ее руку, — а ведь она думала, что русские здороваются и прощаются друг с другом ударами по плечу. Во всяком случае, так делали русские моряки, так показывали русских в тех немногих картинах, которые ей удалось просмотреть на родине. Она подошла к окну

и увидела, как оба гостя усаживаются в броневик. И только тут она наконец поняла, что все сделанное ею совсем не игра, пусть и захватывающая, но что-то такое большое, отчего, может быть, изменятся судьбы народов...

Взволнованная, чувствуя, как подкашиваются ноги, она присела на широкий подоконник, глядя со второго этажа вниз, на чужой город, который она выбрала как вторую родину. Город был тих, заснежен, и снег был белый, как на даче, и редко проходили под окнами прохожие, почти все они были одеты в солдатские шинели — и мужчины и женщины — и шли они быстро, как будто в этом городе, во всей стране был совсем иной ритм жизни, и она с еще большей силой поняла: она находится на войне, пусть и не на передовой, но в воюющем городе.

Пришел врач. Он разрешил ей взглянуть на спящего Вольёдю, а затем строго приказал ложиться в постель. И та же сестра милосердия, опять в белом халате, покормила ее обедом, а потом подала какое-то лекарство, и Вита не успела додумать свои мысли, потому что ее закачало, как в подводной лодке, когда она сопровождала своего раненого мужа,— там, на подлодке, это понимали все! — и ушла в забытье.

2

«В течение 7 апреля на фронтах существенных изменений не произошло.

...В Парижском районе (Франция) скрывается много немецких солдат, дезертировавших из армии, как только они узнали, что их части перебрасываются на советско-немецкий фронт. Специальные отряды эсэсовцев и жандармов день и ночь охотятся за дезертирами. В конце марта в Париже и его окрестностях задержано около 300 дезертиров. По приказу генерала фон Рундштедта расстреляно 90 немецких солдат, дезертировавших из своих частей».

Совинформбюро.
7 апреля 1943 года.

На следующий день Виту посетил полковник Кристианс. Он горячо поблагодарил ее за помощь Толубееву, попросил передать ему привет, как это будет возможно, и с удовольствием выпил кофе, который подала им сестра милосердия Лидия. Теперь Вита уже знала ее имя и пыталась улучшить свой русский язык, беседуя с нею. К Толубееву ее пускали только в те часы, когда он спал, Кристиансу и вообще не пришлось повидать раненого.

После кофе Кристианс сказал:

— Вам, должно быть, скучно, фрекен Вита? Я спрашивал врача, он считает, что вам пока не следует выходить на улицу, вы еще слишком слабы от пережитого. Но у меня есть просьба к вам: напишите подробные воспоминания о своей поездке в Германию. Это и развлечет вас и поможет нам. Даже лучше будет, если вы их продиктуете. Я пришлю вам завтра с утра стенографистку...

— Пусть она привезет мне книги и учебники русского языка. Я так плохо говорю по-русски! — пожаловалась Вита. Про себя она подумала, что если Вольёдя, вернувшись в Норвегию, говорил, как лапландец, то сама она говорит по-русски хуже лопарки. Кажется, так называли русские лапландцев, обосновавшихся на их территории.

Стенографистка приехала и привезла книги и учебники. Вместе с нею появилась и учительница русского языка. Но так как ни стенографистка, ни учительница не знали норвежского, то занятия и записями и уроками проходили медленно. Впрочем, Вита не жаловалась: она хоть чем-то была занята, а Вольёде понемногу становилось все лучше. Он чаще приходил в сознание, улыбался ей, хотя врач по-прежнему запрещал ему разговаривать.

Вита внимательно слушала радио, просматривала все газеты, какие посылал ей полковник Кристианс, в том числе и норвежские. О скандале с ее бегством в газетах не было ни слова. Отец, по-видимому, оставался еще в Германии, может быть, там ему было легче перенести этот удар.

В сводках с фронтов Вита с удивлением читала, что вся война словно бы застыла на одной и той же полосе. Изо дня в день сообщалось, что на фронтах изменений не произошло. Интересовали ее известия о движении Сопротивления, которые какими-то путями попадали через все фронты в Россию и иногда публиковались в конце сводок Информбюро. Как ни мало понимала она русский, но ясно было одно: Сопротивление во всех захваченных немцами странах расширялось, начинались настоящие боевые действия. И она молилась богу, чтобы немцев поскорее разбили, чтобы Вольёде не пришлось больше рисковать жизнью, хотя и понимала, что война решится не этими мелкими стычками, не войной англичан с немцами в Африке, а все равно здесь, в России.

И упорно пыталась объяснить стенографистке каждое свое слово, потому что и ее слова тоже служили будущей победе. В конце концов через неделю ее отчет был готов, и стенографистка пообещала передать его полковнику Кристиансу.

И вот наступило наконец счастливое время, когда ей разрешили быть рядом с Вольёдей, читать ему газеты, книги, разговаривать, но пока еще так, как разговаривают с малыми детьми: им только отвечают на вопросы, а все остальные, рвущиеся из души слова, стараются удержать.

По-видимому, врачи, следившие за Вольёдей, давали Кристиансу ежедневные сводки о его здоровье, потому что в тот день, когда Вольёдя впервые сел на постели, утонув спиной в подушках, приехал и полковник Кристианс.

Он зашел только на минуту, был хмур и озабочен чем-то, но с Витой и Толубеевым поздоровался радостно, справился о здоровье и тут же спросил:

— Можете ли вы завтра принять товарищей, которые дали вам «добро» на поездку?

— Да,— ответил Вольёдя.

И Вита поняла, что все эти неведомые ей люди ожидали улучшения его состояния с такой же тревогой и нетерпением, как и она сама.

Утром на следующий день Вита помогла мужу переменить сорочку, сестра Лидия, безотлучно находившаяся в их доме, побрила его, убрала комнату и поставила несколько стульев и столик.

— Их будет так много? — испугалась Вита.

— Нет, только пятеро. Маленькое совещание.

— Но Вольёдя не выдержит!

— Он будет только слушать.

— А я?

— Надо спросить у полковника Кристианса.

Кристианс приехал первым и привез с собой стенографистку. К Вите он обратился сам:

— Я хотел бы, чтобы вы приняли участие в нашей беседе...

Вскоре появился заместитель наркома и с ним еще три человека.

Вита прошла к мужу. Толубеев чувствовал себя хорошо и с нетерпением ожидал посетителей.

Она пригласила гостей.

Гости здоровались с Толубеевым почтительно, и это очень понравилось Вите. Все-таки она несколько побаивалась этого торжественного визита.

Когда все расселись и стенографистка разложила свои карандаши и тетрадки, полковник Кристианс произнес:

— Наше совещание не является официальным. Мы просто обменяемся мнениями по известному вопросу, пользуясь некоторым улучшением здоровья подполковника Толубеева...

— Подполковника? — удивился Толубеев.

— Позвольте мне первым поздравить вас с внеочередным присвоением звания и орденом Ленина, которым вы награждены за выполнение особого правительственного задания. Вита Арвидовна Толубеева награждена за беззаветную помощь вам в выполнении этого задания орденом Боевого Красного Знамени...

Вита вспыхнула от удовольствия. Собственно, не за себя даже, а за Вольёдю. Но и признание ее заслуг было также приятно. А особенно приятно снова подтвержденное ее право быть женой Толубеева. Ведь она понимала, представляла, знала, как трудно будет в этой воюющей стране ей, иностранке, человеку без документов и прав. И вот ее право на любовь и на жизнь с русским мужем признано!

А ее Вольёдя то бледнел, то вспыхивал. Сестра Лидия встала на пороге и строго сказала:

— Профессор просил не волновать больного!

— Милая сестра, еще никто не умирал от радости! — сказал Кристианс.

— Может быть,— непримиримо сказала сестра, но притворила дверь.

И Вита подумала: Лидия будет вот так сидеть за дверью все это время, чтобы в случае необходимости помочь Вольёде, а может быть, и попросить всех покинуть его. И снова ей стало радостно: ведь это оберегают ее мужа!

— Против медицины мы бессильны,— усмехнулся Кристианс.— Поэтому будем по возможности краткими. Первое слово заместителю наркома...

— Владимир Александрович, мы произвели анализ «образца»! — Он подчеркнул это последнее слово и достал из своего портфеля маленькую коробочку.— Сталь сверхтвердая. В эту минуту на одном из московских заводов идет первая плавка этой стали. Через неделю мы построим опытную коробку и попробуем испытать на ней наши бронебойные снаряды. Но Вита Арвидовна в своих записях сообщает, что немцы при ней испытывали новый танк на пробойность нашими орудиями калибра восемьдесят пять миллиметров. Снаряды оставили только вмятины. Не сомневаюсь, что вы уже думали об этом. Нет ли у вас особых предложений?

— Да. Новые пушки.

— Перед вами инженер одного из уральских пушечных заводов,— указал он на молодого еще человека, скромно устроившегося в уголке.— Они наладили выпуск стодвадцатидвухмиллиметровых орудий. Работу этих пушек мы испытаем на нашей «коробке» через неделю. Что вы можете предложить еще?

— Каково основное назначение новых орудий?

— Полковая артиллерия.

— Это не даст необходимого эффекта...— Толубеев внимательно посмотрел на молодого инженера и продолжал: — Теперь уже можно с уверенностью сказать, что немцы будут иметь к середине лета несколько тысяч новых танков. Так как эти машины очень тяжелы, немцы выберут самое сухое время для своей танковой атаки, и, вероятнее всего, их новым плацдармом окажется степная местность, без мелких рек, без лесов и болот. Я думаю, это будет Курск или еще южнее — Сальская степь. Во всяком случае, эти новые пушки, разбросанные по полкам переднего края, не смогут отбить массированную танковую атаку. Необходим заслон из самоходных орудий крупного калибра, которые могут быть немедленно переброшены на любой угрожаемый участок фронта, и надо вооружить этой пушкой наши тяжелые танки «ИС».

— Самоходки со стодвадцатидвухмиллиметровой пушкой? Танки? Но они будут очень тяжелы! — задумчиво сказал заместитель наркома.

— Почему же? — вдруг оживился инженер.— Ведь задача значительно упрощается! Поскольку большинство атак будет проходить на сближающихся курсах, пушку можно облегчить. В пехотных порядках останутся пушки прежнего образца, а для самоходок и танков мы изготовим модернизированные.

Молчаливо сидевший рядом с заместителем наркома генерал вдруг оживленно поддержал инженера:

— Если мы соберем две-три тысячи таких самоходок и танков, новые танки Гитлера будут пылать, как пылали старые!

— Две-три тысячи... — Толубеев прикрыл глаза ладонью. То ли он представил себе это небывалое по масштабам танковое сражение, то ли не мог поверить, что сражающаяся страна может совершить такой подвиг. А у Виты захолонуло сердце, когда она вдруг поняла, что эти люди вот так, спокойно говорят о будущих сражениях, в которых погибнут тысячи людей.

— И две, и три, и четыре! Сколько потребуется! — сердясь, сказал генерал.— Слишком многое поставлено на карту — судьба Родины! И заметьте, подполковник Толубеев, мы научились верить нашим разведчикам. Если вы доставили такие доказательства возможного танкового нашествия гитлеровцев, то уж давайте рассчитывать это сражение так, чтобы выиграли его не гитлеровцы, а мы! — Он резко встал и обратился к остальным: — Кажется, мы пришли к нужному выводу. Я позволю себе еще раз поблагодарить подполковника Толубеева и Виту Арвидовну за огромную услугу, которую они оказали армии и народу. Дадим теперь подполковнику отдохнуть. Надеюсь, что он будет участвовать в испытании нового орудия!

Все стали прощаться. Заместитель наркома подошел к Вите и подал ей маленькую коробочку, которую достал в начале беседы из портфеля.

— А это, Вита Арвидовна, вам взамен вашего бывшего обручального кольца. То кольцо пришлось, к сожалению, расплавить...

Он открыл коробочку, и Вита увидела в ней два обручальных кольца. Они были золотые, одно — мужское, другое — женское. Она надела маленькое кольцо на палец, и оно пришлось как раз впору. Другое она подала мужу, и Толубеев тоже удивленно взглянул, как ловко оно пришлось к его руке.

— Но где вы взяли размеры? — воскликнула Вита.

— Старые разведчики! — добродушно усмехнулся генерал.

Днем пришли два солдата с мотками проводов и телефонными аппаратами. Сестра Лидия, а с нею и Вита запротестовали против этого вторжения. Но солдаты неумолимо стояли в коридоре и повторяли одно: по распоряжению генерала они обязаны установить телефон у постели больного подполковника Толубеева. В конце концов пришлось сдаться. Хорошо еще, что второй аппарат установили в комнате сестры Лидии: звонок звучал у нее, потом она должна была посмотреть, как чувствует себя больной, и лишь после этого соединить его с абонентом.

Вита попыталась однажды послушать, кто беспокоит ее больного мужа. Но аппарат оказался эрикссоновским, замкнутым, того типа, который называется «секретарь-директор». Когда включался аппарат Толубеева, трубка сестры Лидии молчала.

Но звонки, видно, волновали Вольёдю. Он начал вставать с постели, пытался ходить, хотя пока что у него почти ничего не получалось. Вита пожаловалась профессору, по-прежнему навещавшему больного почти ежедневно. Профессор прошел к Толубееву, побыл с ним несколько минут, вернулся и сказал:

— Мы должны поставить его на ноги, и как можно быстрее. После этого он сразу пойдет на поправку.

Вита не могла поверить, что какое бы то ни было изнурение может помочь, а не повредить больному. Но примерно через неделю, после одного из этих неожиданных звонков, Толубеев вдруг попросил, чтобы его одели. У сестры Лидии, как оказалось, давно уже была подготовлена новая форма. Толубеев с удовольствием оглядел себя в зеркале. В погонах подполковника он, со своим худым лицом, с седыми волосами, выглядел очень внушительно. «Слишком внушительно!» — пожаловалась Вита Лидии.

А через несколько минут пришла машина. «Хорошо еще, что санитарная!» — подумала Вита. И ей пришлось сопровождать мужа, которого опять несли на носилках, а она шла с краю и держалась за эти носилки, снова боясь, что он вдруг исчезнет. К счастью, поездка была недолгой, машина вошла в какой-то огороженный двор, и там ее встретили полковник Кристианс, заместитель наркома и тот самый генерал, что был у них однажды, и инженер, которого она тоже знала, а за ними еще несколько человек, которые с удивлением глазели на подполковника, выгруженного из санитарной машины и усаженного тут же в плетеное кресло, на женщину в нарядной шубке и шляпке, что держала подполковника за руку, словно боялась, что он вот-вот убежит от нее. И тут Вита поняла, что они на заводском полигоне...

Но как все здесь было скупо, буднично, просто!

Рабочие в грязной прозодежде выкатили откуда-то из-за ворот металлическую махину, похожую на танк, но даже не поставленную на гусеницы. У противоположной стены стояли два орудия — одно Вита узнала: похоже на то, что стреляло по танку при испытаниях нового чудовища в Германии, другое — незнакомое.

Металлическую коробку опустили в земляной капонир, заканчивавшийся высоким песчаным валом. Генерал позвонил по телефону, к нему подбежал офицер, командовавший пушками. Они о чем-то поговорили, потом офицер вернулся к орудиям. И генерал негромко скомандовал по телефону:

— Огонь!

Орудие негромко выстрелило, снаряд с визгом ударил по нелепой коробке и врезался в песчаный вал. Генерал внешне спокойно приказал снова:

— Огонь!

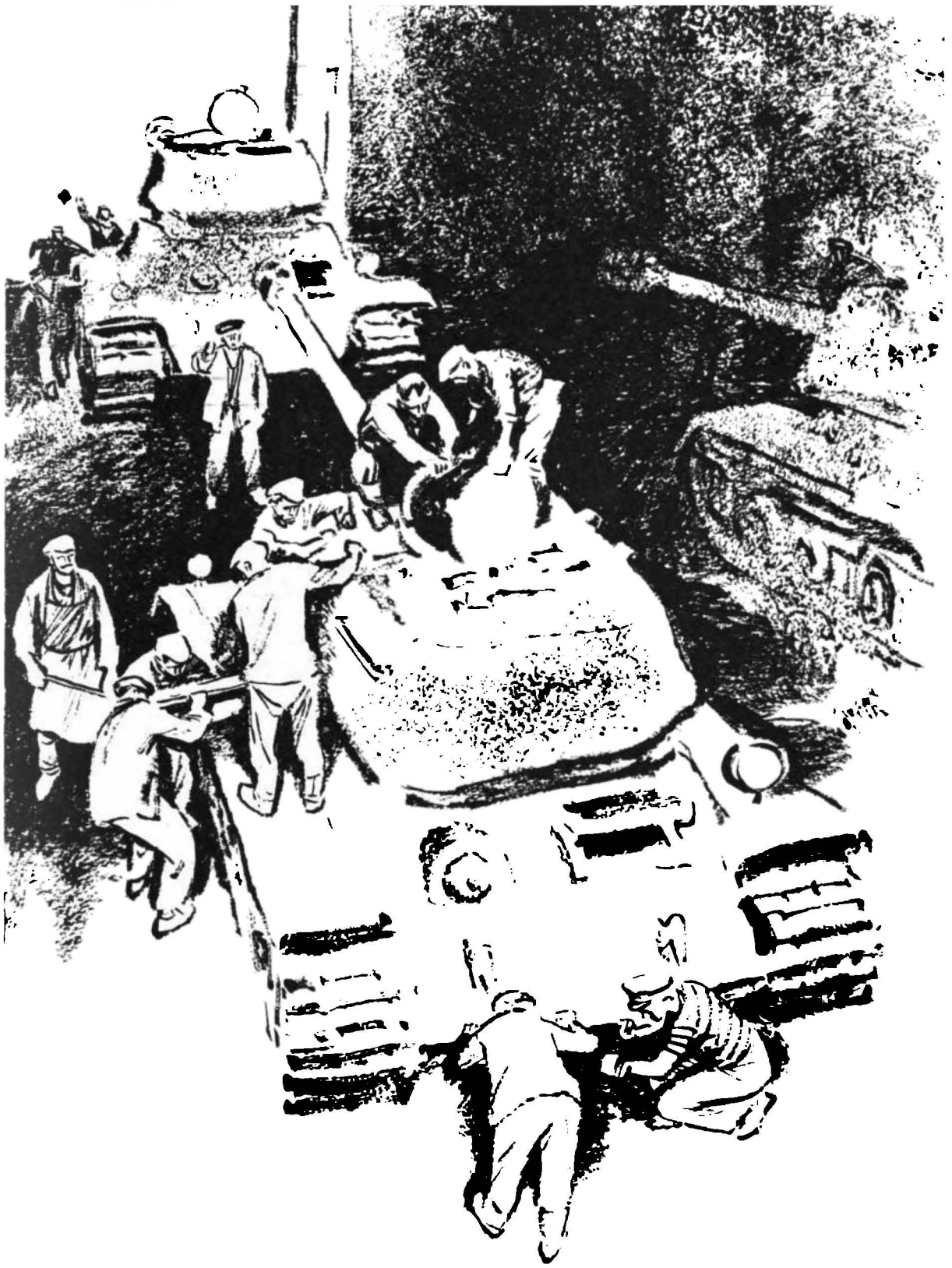
На этот раз прогремели три выстрела, и все снаряды попадали в дурацкую лоханку, она даже покачивалась на своих жиденьких колесах, но снаряды с визгом втыкались все в тот же песчаный вал, и Вите вдруг стало страшно. Теперь-то она понимала, что испытывается тот самый танк, который она когда-то сфотографировала, и эта железная коробка так же сопротивлялась снарядам...

Генерал сказал еще что-то, и вдруг все пошли к этой коробке, а два солдата взяли кресло с Толубеевым за приделанные к нему ручки и понесли, как китайского богдыхана на паланкине. Вита шла рядом с «паланкином», держа мужа за руку и утешая его какими-то самой неясными словами. Но вот все остановились, и офицеры принялись измерять и описывать вмятины, а коробка была почти такой же, какой ее вкатили на полигон.

Возвращались на наблюдательный пункт мрачные, молчаливые. Там их уже ждал офицер, командовавший стрельбой. Он что-то доложил генералу, и тот разрешающе махнул рукой. Офицер побежал бегом к пушкам. И совсем буднично довернул вторую пушку, артиллеристы загнали снаряд в казенную часть орудия, офицер взмахнул рукой. Грохнул несильный выстрел, коробка качнулась, и вдруг по ней пополз синий огонек, словно металл начал плавиться. Несколько секунд все стояли безмолвно, а потом вдруг закричали: «Ура!» И Вита не заметила сама, что тоже кричит и теребит руку Толубеева, а тот тоже кричит, хотя и слабо, болезненно, и только тут она опомнилась, зажала ему рот рукой. Толубеев окликнул солдат, и те подхватили его кресло и бросились бежать бегом, так что Вита выпустила руку мужа и бежала за ним уже одна.

Макет танка, с вмонтированной моторной частью, был поражен сквозь бортовую броню с первого выстрела.

Продолжение следует.



ОГНЕННАЯ ДУГА

Николай АСАНОВ

Повесть

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

Глава вторая: ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ БОЯ

1

«В течение 21 апреля на фронтах существенных изменений не произошло.

...Югославские партизаны заняли несколько городов. В Оточаце и Бриньe патриоты захватили полтора миллиона патронов, два вагона снарядов, 13 тысяч литров бензина и много оружия. Партизаны разгромили сильную вражескую колонну, прорвавшуюся в город Невесинье. Город полностью очищен от гитлеровцев. Противник потерял только убитыми более 100 солдат и офицеров. В Словенском приморье партизаны совершили успешный налет на итальянские укрепления. Истреблено 80 итальянцев. Захвачено в плен 69 солдат противника. Взяты трофеи: 14 пулеметов, 100 винтовок и много патронов».

Совинформбюро.
21 апреля 1943 года.

В комнате, где лежал больной, образовалось что-то вроде штаба. Порой Вита не могла побыть наедине с мужем и пяти минут в день.

В соседнем кабинете теперь стояли телеграфный аппарат, три телефонных, там постоянно дежурили два солдата-связиста, ожидали разговора с Толубеевым какие-то штатские люди, и все это больше походило на учреждение, нежели на жилую квартиру. Впрочем, Толубеев и на самом деле руководил штабом, хотя с трудом мог подняться с постели. Полковник Кристианс, словно бы извиняясь за причиняемое Вите беспокойство, объяснил:

— Вита Арвидовна, ваш муж получил новое назначение: он является военным представителем при наркомате танковой промышленности.

— Но он же болен! — жалобно сказала Вита.

— Попробуйте в такое время отстранить его от дела, и он не выдержит недели! — решительно сказал Кристианс.

— Но ведь на фронте затишье! — настаивала Вита.— Вот, смотрите.— Она протянула полковнику газету и процитировала без запинки ставшую привычной фразу: — «В течение ночи на 23 апреля на фронтах существенных изменений не произошло».

Полковник взял у нее газету, поискал что-то в ней глазами и спросил:

— А вот этот абзац в сводке вы читали?

Да, она читала. И пыталась осмыслить, что бы это значило? «Пленный летчик 2-й группы 1-й немецкой бомбардировочной эскадры обер-фельдфебель Генрих Титьен рассказал: «Два отряда второй группы с Брянского аэродрома и два отряда третьей группы с Орловского аэродрома получили задание 11 апреля подвергнуть бомбардировке гор. Курск. На подступах к городу наши самолеты были рассеяны советскими истребителями. Мне, как и большинству летчиков, не удалось достигнуть Курска. Самолет был подбит русскими зенитчиками, и я даже не успел сбросить бомбы. Недавно я побывал в Германии. Тотальная мобилизация была в полном разгаре. В армию призвали новые тысячи людей. Они должны заполнить бреши, образовавшиеся зимой в рядах немецких войск. Но то, чего не могли добиться отборные кадровые немецкие дивизии, тем более окажется не под силу глубоко штатским людям, теперь призванным в армию. Все эти пожилые торговцы и служащие, лакеи и кельнеры, наспех одетые в солдатские мундиры, не отвечают суровым требованиям войны на Востоке и будут перемолоты в первых же крупных сражениях».

— Ну и что? — спросила она.— Судя по рассказу этого немецкого летчика, немцам некем пополнять армию!

— Нет, этот обер-фельдфебель не так уж глуп! Он отлично знает, что все эти кельнеры и лакеи, пожилые торговцы и служащие призваны в армию совсем не для того, чтобы залатать дыры на Восточном, как немцы называют, фронте Эти, действительно дрянные дивизии будут отправлены

Продолжение. См. «Огонек» №№ 30—35.

на Западный фронт, а оттуда будут переброшены на Восток, отдохнувшие, сытые, пополненные дивизии и армии. И — тут уж этому Генриху Титьену не повезло — он даже указывает примерно, где эти дивизии бросят в мясорубку,— под Курском! Мы не знаем пока только одного: когда это произойдет? В мае? В июне? Еще позже? Но мы должны быть готовы в любой момент встретить и отбить этот удар...

— Но при чем тут Вольёдя? — с горечью спросила она.

— Владимиру Александровичу и группе окружающих его производственников поручено инженерное решение этого будущего боя,— суховато сказал Кристианс и поторопился откланяться.

2

«В течение ночи на 1 мая на фронтах существенных изменений не произошло».

Совинформбюро.
1 мая 1943 года.

Но теперь Вита научилась читать сводки. В этой же сводке, после нескольких боевых эпизодов, она опять наткнулась на показания пленного. «Пленный солдат штабной роты 85-го полка 5-й немецкой горнострелковой дивизии Арнульф Реймунд заявил: «Тотальная мобилизация — это последняя отчаянная попытка отодвинуть час окончательного разгрома немецкой армии. Германия собрала свои последние людские резервы. Однако многие немцы считают, что тотальная мобилизация не может предотвратить надвигающейся катастрофы».

А еще ниже публиковалось письмо русской девушки, насильно вывезенной в Германию. Судя по всему, немцы давно уже перешли во многих отраслях промышленности на рабский труд пригнанных из всех стран Европы людей. И тогда понятие ТОТАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ расширилось для Виты еще больше: получалось, что Гитлер мог снова оперировать миллионными армиями, как было в начале войны...

А противостояли ему во всей Европе одни лишь русские армии.

В эти дни Толубееву разрешили ходить.

Наступила поздняя весна, дождаться которой Вита и не надеялась.

В этой суровой военной Москве весь апрель лежали горы снега, трамваи и троллейбусы еле ползли между сугробами, но вот снег намок, почернел и исчез в одну из ночей, в палисадниках перед домами зазеленела трава, которую никто не подстригал, на газонах появились желтые цветы, ничем не похожие на садовые, но все-таки скрашивавшие запущенные парки. Первого Мая Толубеев организовал у себя обед для всех своих помощников. Заехал на несколько минут заместитель наркома, наведался Кристианс с месячным прогнозом погоды: почему-то Вольёдя очень интересовался этими прогнозами. А вечером Вольёдя сказал, что вылетает завтра на Урал.

Вита бросилась к телефону, отыскала полковника Кристианса — он опять был на работе — и заявила ему, что никуда мужа одного, без себя, не пустит. Кристианс рассмеялся в ответ и сказал, что подполковник Толубеев летит не один: с ним летят несколько инженеров, сестра Лидия и, если Толубеев этого пожелает, его личный секретарь Вита Арвидовна Толубеева. Там, куда едет подполковник, помощь Виты Арвидовны ему будет необходима...

Толубеев стоял рядом и улыбался, но Вита даже не рассердилась на него: она была н у ж н а!

На следующий день к вечеру они были на знаменитом пушечном заводе, название которого Вита слышала каждый раз, как у Толубеева собирались инженеры.

Были поразительны пространства этой страны: они летели целый день, а добрались только до средней линии России. И еще более удивительно было то, что огромный город был полон света, как будто тут и не вспоминали о войне. Но люди на улицах были плохо одеты, плохо обуты, с худыми, утомленными лицами, и это горше всего напоминало о войне. Только дети остались такими же шустрыми, хотя, может быть, и голодными. И все радовались весне.

В распоряжение группы Толубеева предоставили маленькое общежитие на берегу реки, со столовой, с комнатой отдыха, со спальными комнатами,— видно, их здесь ждали. Правда, директор завода, тучный человек с тяжелыми бровями, попытался отговорить Толубеева от немедленной поездки на завод, но подполковник настоял на своем.

Ночь была белая, как в Норвегии, в Киркенесе, вечерняя заря пламенела на западе, а на востоке уже пробивался первый свет недалеко скатившегося солнца. И завод в эту пору, меж днем и ночью, выглядел еще могущественнее, огромнее, чем если бы смотреть его днем. Дальние цехи пылали огнями на всхолмлениях за пять-шесть километров от центральной проходной. Инженеры по этому заводу не ходили, а ездили на машинах, потому что пешком его было бы не обойти за весь день. Директор посадил Толубеевых в свою машину, туда же сел тот молодой инженер, что был на первом совещании у постели раненого Толубеева, и они въехали через металлические кованые ворота на территорию завода.

Машина остановилась у дверей какого-то цеха, длинного, из бетона и стекла, здания, наверное, оно было в полкилометра, и молодой инженер помог выйти Толубееву, подал руку Вите, их окружили сопровождающие военные и инженеры, и все вошли в цех.

Вита увидела что-то похожее на большие телеграфные столбы, лежащие пачками один на другом, может быть, стволы деревьев, как их называют по-русски? Бревна? И только тут догадалась, что это именно стволы; но стволы орудий. Чуть дальше эти стволы плыли по воздуху на цепях многочисленных кранов, один за другим, краны останавливались, стволы опускались на металлические подставки, и возле них возились рабочие, что-то проверяя, приделывая к ним, а потом они плыли дальше. И когда Вита вслед за Толубеевым добралась до конца цеха, она увидела, как там эти стволы ставили на бронированные гусеничные машины, в машину быстро и ловко взбирались четыре солдата, исчезали за бронированными люками, взревывал мотор, и массивная эта установка выкатывалась за высокие ворота, в белую прозрачную ночь, а на ее месте появлялась новая гусеничная машина, и опять тяжело ложился ствол — уже готовая пушка,— и снова начиналось превращение машины в самоходную артиллерийскую установку. И опять появлялись четыре солдата, ревел мотор, машина выходила за ворота, и под нею сотрясалась земля, бетонный пол качался, как будто начиналось землетрясение.

Полигон находился на берегу реки, а за рекой виднелся изуродованный лес, и там, в лесу, отлично видимые в рассветной заре, двигались какие-то темные предметы, отдаленно напоминающие танки. На полигоне стояло десятка два самоходок, и когда Толубеев со своей инспекторской группой подъехал сюда, пушки уже стреляли по тем двигающимся предметам. Толубеев прошел в небольшой блиндаж, и Вита услышала, как телефонист, принимавший донесения с того берега, после каждого выстрела то преувеличенно радостно восклицал: «Есть попадание!», — то смущенно бормотал: «Цель не поражена!» Но она уже подсчитала, что обрадованных возгласов было больше, и успокоилась за мужа.

К ней подошел директор, сказал, что товарищ подполковник еще задержится, и пригласил в свою машину. Он отвезет ее в общежитие. Она поняла, что у Толубеева привычное деловое совещание, на котором ей не следует присутствовать, и села в машину.

Сестра Лидия уже командовала несколькими девушками, накрывавшими праздничный стол. И хотя еды было не так уж много, но стол был украшен цветами, приборы блестели, вина и водки стояло столько, что Вита сначала испугалась, однако сестра Лидия успокоила ее: Владимир Александрович ничего, кроме бокала шампанского, не выпьет. А Вите Арвидовне лучше всего принять сейчас ванну: металлическая и масляная пыль, висящая в воздухе на заводе, проникает даже сквозь брезентовые костюмы.

Толубеев, его инспектора, инженеры, руководители завода вернулись именно к завтраку, в шесть часов утра. Вита уже спала, но, услышав шаги мужа, проснулась. Он, видимо, только что принял душ и расчесывал мокрые волосы. За стеной слышалось тихое звяканье посуды, размеренные голоса. Она оделась и вышла вместе с мужем в столовую.

В маленькой комнате рядом со столовой сестра Лидия диктовала солдату-телеграфисту длинные ряды цифр. Вита улыбнулась: Лидия имела слишком много профессий, чтобы быть простой сестрой милосердия. Надо бы расспросить ее, где она выучилась шифровальному искусству? Впрочем, может быть, сестра Лидия успела побывать за линией фронта? В сводках Информбюро она с особым вниманием читает краткие сообщения с той стороны фронта...

За столом все принялись поздравлять молодого инженера. Он смонтировал новое самоходное орудие за одиннадцать дней! Директор сказал, что если немцы дадут им, пушкарям, еще хоть месяц сравнительного спокойствия, то заказ наркомата обороны будет выполнен со значительным превышением. И инженеру и директору долго аплодировали, но жила в их сердцах и тревога, потому что репродуктор, стоявший на окне, не был выключен, и когда послышались в семь утра позывные, все замолчали, стало так тихо, что у Виты защемило сердце.

Левитан спокойно сказал:

«В течение ночи на 3 мая на фронтах существенных изменений не произошло...»

Через две недели, когда Толубеев вместе со своей инженерной группой был уже на юге Урала, где новый танковый завод выпускал тяжелые танки «ИС» со стадвадцатидвухмиллиметровым орудием, их нагнал полковник Кристианс.

Он летел всю ночь, благо ночи были светлые, короткие, а поздоровался с Витой и Толубеевым так, словно вошел из соседнего номера гостиницы, в которой они тут жили уже десятый день. Распахнул дверь, улыбнулся, сказал:

— Вита Арвидовна, я вижу, вы прекрасно отдохнули! А вот мне и Владимиру Александровичу не помешает чашечка крепкого кофе по вашему рецепту...

— Здесь нет кофе! — жалобно сказала Вита.

— Генерал Коробов услышал ваши жалобы! — строго сказал полковник и поднял руку к потолку, словно указывал на всевышнего и всевидящего.— Вот! — И вынул из портфеля пакет драгоценных зерен и турецкую медную мельничку с каменными жерновами.

Лидия, с улыбкой наблюдавшая эту встречу, сразу выхватила пакет и мельничку из его рук. Пожалуй, она одна знала, как трудно было Вите без привычной чашки кофе. Да и Владимир Александрович, оказывается, снова пристрастился к этому напитку. Завладев драгоценным подарком, сестра Лидия немедленно исчезла. Тут Кристианс внезапно посерьезнел, достал из портфеля пакет с какими-то документами, выложил на стол.

— Вот, посмотрите, Вита Арвидовна! — пригласил он, взламывая сургучные печати и вскрывая тяжелый, плотный конверт.

На столе перед Толубеевым и Витой лежали два десятка фотографий «тигра».

«Тигр» был новенький, сияющий свежей окраской даже на черно-белой фотографии, как будто его снимали на полигоне. Окраска была светлой. Кристианс пояснил: оливковая, под цвет пустыни, для африканского корпуса генерала Роммеля. Снят он был во всех ракурсах: сбоку, спереди, сзади, сверху,— видно было, что тот, кто делал эти

снимки, не торопился и любил свою профессию. Оба, и Вита и Толубеев, глядели изумленно на эти снимки, вспоминая с горечью маленький любительский снимок Виты.

— Английская разведка? — предположил Толубеев.

— Вы судите по окраске? — усмехнулся Кристианс. — А присмотритесь-ка к фону, — предложил он.

Фон был смыт на всех снимках, но все-таки что-то от него осталось. Толубеев поднял один из снимков и взглянул сквозь него с обратной стороны на свет. Вита тоже принялась рассматривать снимки перед окном. На одном из снимков явственно возникли дальняя граница леса, размытые изображения русских крестьянских изб...

— Это же наш Север! — пораженный, воскликнул Толубеев.

— Да, это Россия! — подтвердила и Вита. Теперь она уже знала Северную Россию, знала Приуралье и никогда бы не спутала эти пейзажи с другими.

— Да, Россия! — торжественно сказал Кристианс. — Но это не все. Посмотрите еще эти документы...

Он достал из пакета несколько листков машинописи. Толубеев развернул их веером: это было техническое описание танка, его параметры, толщина брони, устройство дизельного мотора, электрооборудование, вооружение, уязвимые места и прочее и прочее. Это была работа целого инженерного коллектива, ибо о каждой особенности танка говорилось языком знатока...

— Но как это возможно? — растерянно спросила Вита.

Лидия принесла кофе, и Кристианс промолчал.

Когда она ушла готовить вторую порцию на маленькой мельничке, Кристианс тихо заговорил:

— После получения вашего снимка, Вита Арвидовна, генерал Коробов распорядился, чтобы все зафронтовые разведчики обратили внимание на появление в местах их действий новых танков. Выяснилось из перехваченных в разное время документов немецкого командования, что у немцев есть не только «тигры», но танки другого типа — «пантеры» — словом, почти зверинец. А к ним прибавились самоходные пушки «фердинанд». Но все эти новинки немцы держали далеко от фронта, очевидно, рассчитывая на неожиданность. И вот несколько дней назад на Волховском фронте разведчики внезапно обнаружили два полка новых танков в резерве командующего армией фон Бальца. Что они должны были делать на этом болотистом плацдарме, понять было трудно. Там еще в полной силе водополье, болота, поймы рек и речушек, озера, на которых еще не полностью растаял лед. Но наш генерал знал, что фон Бальц — любимец фюрера. Уж, наверно, он хотел показать своему обожаемому фюреру эти игрушки в действии. А кроме того, фон Бальц — истерик, подражающий Гитлеру во всем, даже в истерике...

Вита не поняла, какое значение имеют личные недостатки генерала фон Бальца, но Толубеев почему-то усмехнулся. Она удивленно взглянула на мужа.

— Дальнейшее можно описать просто, — сказал Вольёдя, — на фон Бальца нажали с фронта, и он швырнул эти «игрушки» в бой!

— А вы еще говорили, что больше инженер, чем командир! — с усмешкой, но вполне довольный, отметил Кристианс. — Все именно так и произошло. Коробов и полковник Корчмарев обратились в Ставку Главного командования, объяснили положение, и Ставка дала «добро». Они вылетели на фронт, изучили на месте условия, а пять дней назад «нажали» на фон Бальца. Там есть межозерное дефиле с насыпной дорогой. За ночь наши войска захватили это дефиле и вклинились в немецкие позиции больше чем на пять километров. В эту же ночь саперы выкопали на дамбе волчьи ямы, замаскировали их, а когда фон Бальц швырнул в бой свои «тигры», — правда, всего пять штук, — наши сначала попятились, а потом отсекли танки от пехоты. Три танка улизнули обратно, один был подожжен, а пятый — вот он! Его вытащили целехоньким, выволокли в наш тыл, а потом тихонько вернулись на свои старые позиции.

3

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ

«В течение 23 июня на фронте существенных изменений не произошло.

...Западнее Белгорода подразделения Н-ской части вели разведку обороны противника...»

Совинформбюро.
23 июня 1943 года.

Вечером двадцать четвертого июня они вернулись в Москву. Группа Толубеева осталась, но его отозвали. Полковник Кристианс не забыл любезно добавить в вызове: «С личным секретарем Витой Арвидовной Толубеевой». К этому времени Вита уже разобралась, что всякое путешествие в воюющей стране связано с обязательным пропуском и вызовом или предписанием.

За эти полтора месяца они облетели и объехали весь Урал и почти всю Сибирь. Вита с удивлением видела, что в тех местах, где, по ее представлению и по сообщениям газет всего мира, по улицам городов ходят живые медведи, чаще всего проходили с заводов на вокзалы колонны отгружаемых на фронт танков, с аэродромов, спрятанных в глухой тайге, взлетали новенькие самолеты и устремлялись на запад; навстречу им, едущим с запада, — если они ехали по железной дороге, — шли сотни составов... Правда, их «литерный поезд» обычно пропускали без задержек дальше и дальше на восток, но случалось и так, что приходилось часами стоять на разъездах, потому что навстречу шел эшелон за эшелоном впритирку. Тогда Вита выходила вместе с сестрой Лидией из вагона, и на таких глухих разъездах они собирали раннюю землянику или пахучие цветы багульника, а иногда и купались. Толубеев обычно в это время спал. Он так уставал во всех этих «инспекциях», что порой возвращался в номер гостиницы или заводского общежития совсем больным. Тогда сестра Лидия укладывала его в постель, делала уколы или давала снотворное, и обе женщины чутко следили за его отдыхом. В такие дни сестра Лидия становилась неприступной: какой-нибудь директор или главный инженер мог сколько угодно кричать на нее, она выслушивала все, не поднимая глаз, отвечала, не повышая голоса: «Подполковник болен. Он будет разговаривать с вами завтра в такомто часу!» — и точно называла час, в который Толубеев поднимется снова здоровым и сильным.

Для одного только человека сестра Лидия делала исключение — для полковника Кристианса. Полковник Кристианс ежедневно присылал Толубееву короткую зашифрованную телеграмму. Сестра Лидия расшифровывала ее и, как только Толубеев просыпался, подавала ему шифровку. И в течение всего их путешествия по военным заводам шифровка оказывалась простой: «Здоровье больного удовлетворительное».

Прошел именно тот месяц, о котором мечтал в мае директор пушечного завода, когда вдруг Лидия, расшифровывавшая очередную телеграмму Кристианса, охнула, взглянула на Виту какими-то слепыми глазами: вряд ли она даже видела Виту, — бросилась в комнату, где только что напичканный снотворным спал Толубеев, и принялась его будить. Толубеев с трудом раскрыл слипающиеся веки, и она подала ему телеграмму, решительно и жестко крича:

— Да проснитесь же, Владимир Александрович!

— «Больной начал ходить», — прочитал Толубеев, и Вита видела, что он еще не совсем проснулся.

— Владимир Александрович, Владимир Александрович! — тормошила его сестра Лидия, но он уже опять опустил голову, и глаза его закрылись.

— О, господи! Кофе! Скорее! — воскликнула сестра. Вита принесла кофе, но Толубеев уже проснулся, он сидел на кровати с блестящими глазами и снова перечитывал телеграмму. Вдруг он охнул, схватил чашку кофе, выпил, обжигаясь, попросил:

— Вита, помоги мне одеться! — Крикнул Лидии: — Что же вы стоите? Вызывайте всех сюда!

Лидия побежала к телефону, а Вита помогла ему одеться. От снотворного он был похож на маленького обиженного мальчика и ничего почти не мог делать сам. Когда она застегнула на нем гимнастерку и помогла обуть сапоги, он тихо сказал:

— Кристианс сообщает, что немцы наметили участок для наступления: от Белгорода на Курск и от Орла тоже на Курск. Они собираются срезать наш Курский выступ... Но какой он молодец! У нас еще не меньше недели, а все новые орудия уже на железнодорожных платформах и находятся вблизи фронта...

В рабочую комнату начали сходиться помощники Толубеева. И Вита поразилась: еще только что бессильный, ее муж вдруг стал решительным, жестким. Его немногословные распоряжения сыпались, как град, словно состояли из одних твердых согласных. Офицеры один за другим покидали кабинет, за окном рокотали моторы, развозя их на завод, на аэродром, на вокзал. Через полчаса никого вокруг не было.

Солдат-телеграфист принес новую шифровку. Кристианс предлагал вернуться в Москву...

Москва оказалась жаркой, в тополином пуху. На бульварах девушки в военных гимнастерках поднимали в темнеющее небо сигары аэростатов. В этот приезд Москва и москвичи казались более спокойными: по-видимому, привыкли к тому, что вот уже несколько месяцев сводки убеждали — на фронте все спокойно. А зимние победы так отодвинули немцев, что те перестали показываться даже в небе...

Толубеевых привезли в ту же самую квартиру, где они поселились впервые. Сестра Лидия, сопровождавшая их, позвонила куда-то по телефону, и в квартире немедленно появился профессор.

Профессор довольно долго выстукивал и выслушивал Толубеева, проверил давление; сестра Лидия взяла кровь и тут же произвела анализы. Просмотрев ее записи, врач удивленно сказал:

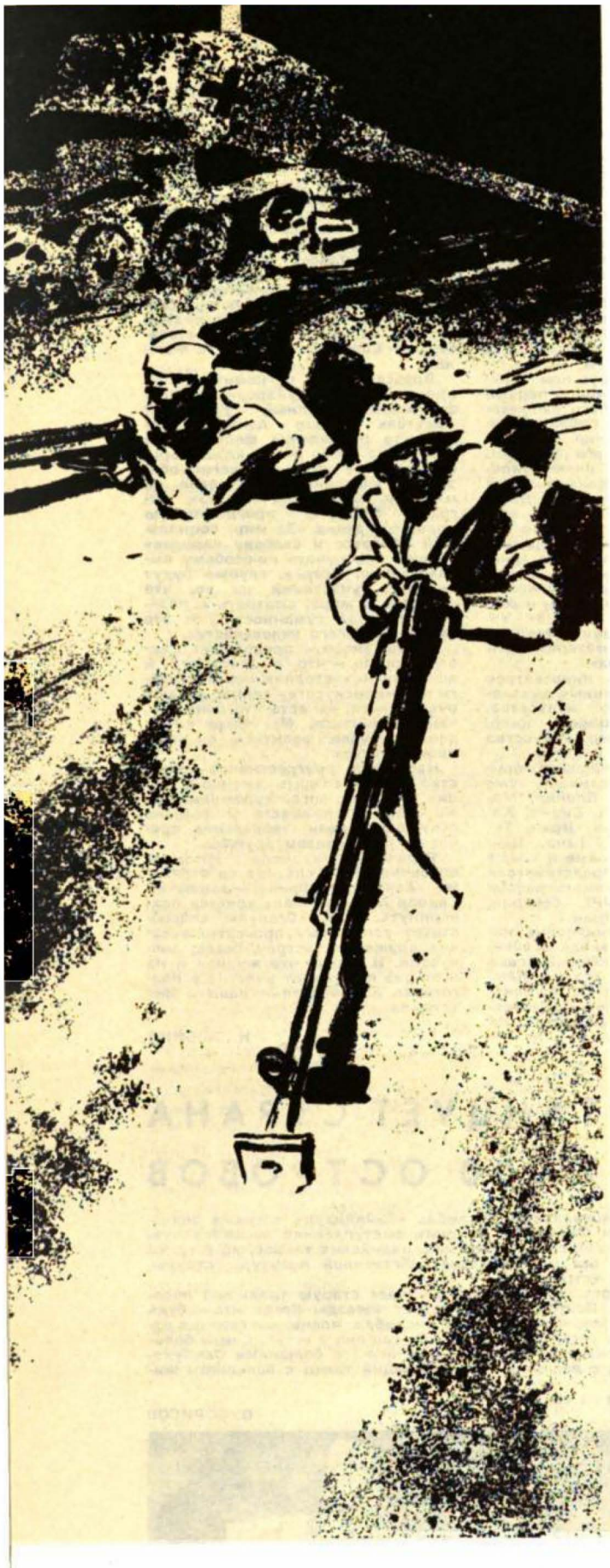
— Современная медицина переживает удивительные открытия. Во время войны у больных людей начисто исчезают язвенные поражения желудка, тяжелые экзематозные явления, колиты, гастриты и еще десятки болезней...

— Это не удивительно,— смеясь, сказал Толубеев.— В простой пище нет таких раздражителей, как в деликатесах. Когда вы, профессор, последний раз ели черную икру?

— Да, пожалуй, именно перед войной,— ответил профессор.— Но меня занимает другое: судя по анамнезу, вы недавно перенесли три операции на желудке. Затем вам прострелили легкое, едва не попав в сердце. Я выпустил вас из-под наблюдения на все эти два месяца только благодаря административному нажиму. Что я ожидал увидеть? Полное истощение организма, малокровие, если хотите, инвалидность. А что я увидел? Совершенно здорового человека, правда, переутомленного, но это уже не следствие болезни, а следствие большой физической нагрузки. Вы, подполковник, спутали мне все карты, но я со спокойной душой подпишу акт о полном вашем выздоровлении и о возвращении к боевой деятельности...

Позже приехал Кристианс.

Продолжение следует.



Николай АСАНОВ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ПОВЕСТЬ

ОГНЕННАЯ ДУГА

4.

УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ

«В течение ночи на 25 июня на фронте ничего существенного не произошло.

...В районе Белгорода старший сержант т. Мишенин дал три очереди из пулемета по летевшему над нашими позициями немецкому самолету. Самолет задымился и стал терять высоту. Сержант Мишенин выпустил еще несколько очередей, и вражеский самолет врезался в землю близ нашего переднего края».

Совинформбюро.
25 июня 1943 года.

Кристианс, которого Толубеев и Вита во всех обстоятельствах привыкли видеть непроницаемо спокойным, на этот раз показался им похожим на натянутую струну. Тронь его неосторожно — и он взорвется. Боясь, как бы такой взрыв не отразился на муже, Вита принялась готовить кофе, принесла от сестры Лидии немного спирта для мужчин, потом присела в уголке, стараясь быть незаметной. Но Кристианс после рюмки неразведенного спирта и чашки дымящегося кофе несколько отошел.

— Вам, Владимир Александрович, — уже без звона в голосе, довольно спокойно сказал он, — придется командовать бригадой тяжелых танков «ИС» из резерва Главного командования. Я только что прочитал рапорт врача о состоянии вашего здоровья и, прямо говоря, рад. Ваше новое назначение задерживалось только из опасения, что вы еще нездоровы. Ваша бригада уже подтянута в район Курска. Там есть широкая возможность маневра: железные дороги позволят перебросить бригаду и на южное и на северное направления, в зависимости от того, где немцы предпримут главный удар. Хотя, честно говоря, я боюсь, что для них оба направления главные. Если они собираются срезать наш Курский выступ и попытаются устроить нам «немецкий Сталинград» в Курске, то они будут атаковать с обоих направлений. А это выраженьице «немецкий Сталинград» наши разведчики уже зафиксировали...

— Как это произошло? — спросил Толубеев.

— Мы получили сразу несколько предупреждений: одно — из «Центра», то есть непосредственно от наших людей, работающих в Берлине; второе — из Лондона — там наш человек связан с английской разведкой; третье — от зафронтовых разведчиков, сообщивших о массовой переброске новых танков в район Орла и в район Белгорода. Кроме того, партизаны взорвали один особо охраняемый эшелон, и в нем оказались танки, каких им до этого не приходилось видеть. Три дня назад самолетом были доставлены снимки из партизанского соединения. Вот, взгляните!

Кристианс вынул из портфеля и положил на стол несколько снимков. Пленка была крупнозернистой, при увеличении снимки много проиграли в четкости, но ни Вита, ни Толубеев не могли оторвать взгляда. Да, это был тот же танк, что русские солдаты захватили под Волховом. И сделали эти снимки люди, скрывавшиеся с оружием в руках в тылу у немцев, подрывавшие их эшелоны, взрывавшие их склады. А как просто писали о них составители сводок!

«Партизанский отряд, действующий в одном из районов Украины, из засады обстрелял двигавшуюся по шоссе немецкую автоколонну. Убито до 50 солдат и офицеров противника. Подрывники из действующего в Барановичской области отряда имени Чапаева пустили под откос немецкий эшелон. Разбиты паровоз и 31 платформа с танками и автомашинами».

Это сообщение Вита прочитала в день второй годовщины войны и передала газету сестре Лидии. И вдруг увидела, как вспыхнуло лицо Лидии. Но на прямой вопрос, знает ли она этот партизанский отряд, Лидия не ответила, заговорила о чем-то другом, словно и не слышала.

Тут она вспомнила, как холодели у нее самой руки, когда она, желая стать глазами Вольёди, сфотографировала на немецком полигоне этот танк. Может быть, немцы ее не казнили бы, как казнят советских партизан или соотечественников, обвиненных в военном саботаже, но, возможно, ни заступничество отца, ни влюбленность эсэсовца не помогли бы ей. И ее вдруг охватила гордость за себя. Она тоже помогла Вольёде и его стране. А мера ее помощи стала ей понятна из подвига русских саперов под Волховом, вот из этого подвига партизан, которые с оружием в руках сражались за Родину в тылу у немцев, презирая и мучительную смерть и силу разъяренного врага, обрушившего на их маленькие отряды свои дивизии и полки.

Тут мысли ее вдруг коснулись тех людей, которых полковник Кристианс назвал одним словом «Центр». А разве эти люди не были героями? Они находились где-то на территории Германии, как видно, в самом Берлине, они были окружены фашистами, эсэсовцами, может быть, сами были вынуждены изображать фашистов и эсэсовцев. Вита помнила по себе, как трудно играть такую роль свободно думающему человеку, но ведь ей-то было легче, она была просто богатой невестой, едва ли не самой богатой в своей стране, ее отец всегда пользовался уважением фашистских бонз, ведь он не

Продолжение. См. «Огонек» №№ 30—36.

говорил ни слова об их политике, особенно неосторожного слова, и они, проговорись она, выслушали бы ее с усмешкой, не больше, а может, и просто с улыбкой: что возьмешь с красивой фрекен, которая ничего не понимает в политике! А вот каково было там с о в е т с к о м у человеку, как бы ни учили его сдержанности!

И она неловко спросила:

— Кто же они, эти люди из «Центра»?

— Простые советские люди,— усмехнулся Кристианс.— Вы с ними познакомитесь в шесть часов вечера после войны...

— Если они будут живы,— сухо напомнил Толубеев.

Кристианс не рассердился, не вспылил. Он сразу погрустнел и тихо повторил слова Толубеева:

— Да, если они будут живы...

Разговор внезапно оборвался, и Вите пришлось приложить некоторые усилия, чтобы прогнать вызванные ею самою видения. Она наполнила рюмки, налила даже себе немного, долила водой, предложила свежий кофе, но мужчины вяло поблагодарили и умолкли. Казалось, все страхи войны, войны особенной, войны одного против всех, окружили их и заставляли думать не о себе и о своих трудностях, но только о тех, кто далеко от Родины выполнял свой долг.

Наконец она встрепенулась, вспомнив те главные слова, что все еще не сказала, когда услышала о новом назначении мужа. Как, он оставит ее в этой все еще малопонятной стране одну, уедет туда, где каждый день убивают тысячи? Конечно, ее Вольёдю не убьют, слишком много он уже отдал этой проклятой войне, да и Вита будет молиться за него, но что, если?.. При одном представлении об этом «если» она готова была заплакать, но голос ее зазвенел, когда она сказала:

— Я еду вместе с мужем!

Кристианс взглянул растерянно, муж восхищенно, но оба отрицательно покачали головами. Она подумала: никто-никто не поможет ей, если она сама не поможет себе. Старательно выговаривая слова, она гневно возразила:

— Я умею стрелять, как всякий охотник. Я могу носить мужской костюм. Я с шести лет хожу на лыжах, бегаю на коньках, у меня есть тренинг. Я с двенадцати лет вожу машину и могу разобрать и собрать мотор, как настоящий механик. Ваш тяжелый танк я тоже могу водить, а стрелять из пушки я могу научиться в течение часа. И, наконец, я знаю немецкий язык со всеми диалектами и могу быть переводчицей, ведь вы же собираетесь побеждать, значит, у вас будут пленные и вам надо будет опрашивать их? И еще: я сейчас же буду звонить генералу Коробову, полковнику Корчмареву, заместителю народного комиссара и пожалуюсь на вашу жестокость, на ваше безразличие к моей судьбе. И последнее: я прошусь не на отдых, а на войну...

— А ведь она права, Михаил Андрианович! — просительно сказал муж.

— Но мы же ничего не успеем сделать! — уже сдаваясь, ответил полковник.

— А ничего и не надо делать,— удивительно терпеливо объяснял Толубеев.— Она пишет заявление о том, что просит принять ее добровольцем в танковую бригаду, которой командует ее муж, перечисляет те самые достоинства, которыми щеголяла перед вами только что, а там уж ваше дело,— оформите ли вы ее переводчиком или просто шофером. В одном случае она будет при штабе, в другом — станет водить мою машину.

— И не забудьте, товарич Кристианс,— запальчиво добавила она,— я ведь вступила в эту войну еще в тысяча девятьсот сороковом, в первых отрядах норвежского Сопротивления, была офицером связи и переводчиком штаба при встречах с русскими военнопленными и воевала на вашей стороне!

— Да, это самый лучший аргумент,— задумчиво сказал Кристианс. Помолчал, договорил: — Хорошо, пишите ваше заявление и изложите в нем все, что сказали нам. В конце концов если бы мы могли, то наградили бы всех ваших бойцов орденами и медалями, потому что они рисковали жизнью в борьбе с нашим общим врагом, как рискует каждый советский солдат!

Она написала требуемую бумагу четким деловым почерком по-русски. Кристианс бегло прочитал ее, уложил в планшет и ушел.

Она долго молчала, потом спросила у мужа:

— Кто же все-таки наш друг полковник Кристианс? Он помощник генерала Коробова?

— Офицер-оператор Генерального штаба в отделе стратегической разведки. Это может обозначать и то, что его советы иной раз обязаны исполнять и генералы...

— Теперь я буду бояться его!

— Тебе это не обязательно! — улыбнулся муж.

5.

«В течение 27 июня на фронте существенных изменений не произошло.

...За истекшую неделю, с 20 по 26 июня включительно, в воздушных боях, огнем зенитной артиллерии и войск уничтожено 211 немецких самолетов. Кроме того, большое количество вражеских самолетов уничтожено и повреждено в результате налетов советской авиации на аэродромы противника. Наши потери за это же время — 74 самолета».

Совинформбюро.
27 июня 1943 года.

Муж должен был вылететь на фронт двадцать восьмого.

Она готовила его в дорогу, вдруг всхлипывая над каким-нибудь носовым платком, который подрубала, сидя с сестрой Лидией и безмерно удивляя ее этим внезапным плачем.

— Вот уж не знала, что женщины во всем свете одинаковы! — осуждающе говорила сестра Лидия.

— Да, а эти семьдесят четыре самолета, которые сбили немцы? — возражала Вита.

— Но ведь Владимир Александрович не на бомбежку летит...— отвечала Лидия, но Вита видела, что и у нее тоже навертывались слезы. Ах, все это оттого, что женщинам слишком часто приходится отправлять мужей на войну!.. Но тут же встряхивала стриженой головой, восклицала: — Ничего, на этот раз от вас он не убежит... Мне в штабе говорили, что...— и вдруг умолкала. Видно, штабные новости для Виты не предназначались.

Часов в шесть вечера, когда они уже собрали все для комбрига Толубеева, появился и он сам в сопровождении неотлучного Кристианса. Кристианс нес какой-то большой пакет, Толубеев — маленький. Толубеев от порога воскликнул:

— Встать!

Сестра Лидия мгновенно выпрямилась, как солдат. Вита смотрела на мужа удивленно. Но в голосе были торжественные ноты, глаза смотрели строго, и она медленно поднялась, глядя на него уже растерянно. А он повернулся к Кристиансу и гулко произнес:

— Товарищ полковник, бойцы вверенного мне соединения построены!

Кристианс опустил свой сверток на стул, взял из рук Толубеева меньший, вынул оттуда планшет, а из планшета погоны, воинское удостоверение, торжественно сказал:

— Вита Арвидовна, поздравляю вас с присвоением воинского звания!

Слова его прозвучали по-дружески, но очень торжественно.

Вита приняла из его рук погоны с тоненьким золотым просветом и маленькой звездочкой и только тут поняла: она офицер Советской Армии! Пусть чин небольшой, но она будет вместе с мужем. Она не удержалась и вдруг бросилась на шею полковнику, а тот поцеловав ее, подтолкнул к мужу.

Сестра Лидия, неловко смахнув с ресниц слезинку, уже распаковывала второй сверток. В нем оказались гимнастерка и юбка военного образца. Тут уж сестра Лидия воззвала к Вите: ведь надо было примерить новый костюм, пришить подворотничок, подогнать все по росту, прикрепить погоны, тем более что полковник Кристианс торопил — Вита должна была через час вместе с мужем представиться генералу Коробову.

Вита прижала к сердцу воинское удостоверение, побежала за сестрой Лидией. Мужчины улыбались, но, едва женщины исчезли, посуровели. Они-то хорошо знали, что такое война...

За стеной лязгали ножницы, раздавались ахи-охи, но когда через сорок минут Вита вышла в новом своем костюме, мужчины решили, что красивее этого младшего лейтенанта в армии, наверно, нет. Даже пилотка отлично сидела на непокорной белокурой копне волос.

Они медленно ехали по вечерней, очень тихой Москве. Редко-редко слышались детские голоса. Эвакуированные в суровую осень сорок первого года дети и матери еще не возвращались, хотя количество жителей неуклонно возрастало. Вернулись наркоматы, некоторые заводы, редакции газет, издательства... Но это был суровый город взрослых, город воюющих людей.

Опять поднимали в небо аэростаты, по улицам проходили взводы и роты противовоздушной обороны, почти сплошь девичьи, и девушки внимательно оглядывали Виту, сидевшую рядом с шофером, и от этих взглядов ее бросало в жар. Ведь это были ее будущие подруги на много лет, а как-то они поймут друг друга?

В бюро пропусков она так неловко козырнула дежурному, что тот невольно потянулся к телефону: уж не враг ли прошел в штаб? Но полковник Кристианс, видно, успокоил его.

И в приемной она чувствовала себя чрезвычайно стесненно. Офицеры вытянулись по стойке «смирно», и она не понимала, от удивления ли при виде ее или от почтения перед ее мужем и полковником. К счастью, дежурный офицер сообщил, что генерал ожидает их, и они прошли в кабинет, где она уже была однажды с полковником Кристиансом, когда обсуждали ее отчет о поездке в Германию...

Генерал и на этот раз был не один: знакомый заместитель наркома, которому она собиралась жаловаться, если ее не пустят с мужем, еще какой-то генерал, несколько офицеров. Коробов встал навстречу им, твердо пожал руку Виты и без лишних предисловий сказал:

— Позвольте мне от имени Советского правительства вручить вам, Вита Арвидовна, орден Боевого Красного Знамени, которым вы награждены за вашу помощь в выполнении важного правительственного задания...

Все встали и зааплодировали, а генерал принял из рук дежурного офицера маленькую красную коробочку, раскрыл ее и неловко прикрепил орден к гимнастерке. Затем он принял из рук офицера пистолет, вынул его из кобуры и показал золотую пластинку, на которой была выгравирована нынешняя фамилия Виты и ее инициалы.

— Я знаю из вашего рапорта, что вы умеете отлично стрелять. Пусть же это оружие послужит вам для защиты правды и справедливости,— прочувствованно сказал он.

Генерал взял ее под руку и проводил в соседнюю комнату, где почему-то находилась сестра Лидия, еще какие-то девушки в военной форме, а на столе стоял русский самовар, окруженный стаканами, и торт.

— Этот пир в вашу честь, Вита Арвидовна,— сказал генерал.— И извините нас: мы несколько задержим Владимира Александровича...

Он вышел, а девушки окружили Виту, защебетали о красивой форме, о том, как идет ей орден, и Вите пришлось вместе с сестрой Лидией подойти к зеркалу. Ничего нельзя было сказать: орден и форма очень шли к ней. Это она видела и сама.

Глава третья:
НАВЯЗАТЬ ПРОТИВНИКУ СВОЮ ВОЛЮ...

1.

«В течение 4 июля на фронте ничего существенного не произошло».

СОВИНФОРМБЮРО.
Вечернее сообщение 4 июля 1943 года.

«В течение ночи на 5 июля на фронте ничего существенного не произошло.

...В районе Белгорода разведчики установили, что на передовых рубежах противника накапливается для атаки пражская пехота. Ночью гвардейское минометное подразделение совершило огневой налет и точно накрыло скопление гитлеровцев. Противник понес большие потери. Вражеская атака была сорвана».

СОВИНФОРМБЮРО.
Утреннее сообщение 5 июля 1943 года.

Бригада тяжелых танков «ИС», вооруженных новыми дальнобойными стодвадцатидвухмиллиметровыми орудиями, которой командовал подполковник Толубеев, расположилась в двух полуразрушенных селах восточнее Прохоровки. Танки были укрыты в колхозных ригах и фермах, в откопанных за день капонирах по берегу извилистого оврага с мелкой речушкой внизу, во дворах брошенных жителями домов. Всякое передвижение днем было прекращено: в воздухе постоянно висели немецкие разведывательные самолеты, а уж им-то совсем ни к чему было знать, что в этой военной пустыне, именно здесь, замаскировалась крупная танковая часть. Тихо было и в эфире. Прямая телефонная связь поддерживалась только со штабом фронта...

Что таких отдельных соединений: корпусов, дивизий, бригад и полков — танковых, самоходных пушек, механизированных пехотных, «катюш», подчиненных непосредственно Главной ставке, в степи укрылось много, Толубеев мог только угадывать... Ведь его собственная бригада тоже никому не видна, никем не слышима. Но это молчание и тишина были похожи на те таинственные тони опасности, какие овладевают природой и человеком в предчувствии близкой грозы...

Второго июля командующие фронтами получили предупреждение Ставки Главного командования, что немцы перейдут в наступление предположительно между третьим и шестым июля... Фронты сжались и напряглись, как стальная пружина.

Третьего июля немцы молчали.

Четвертого никаких изменений не произошло.

Вечером Толубеева вызвали в штаб фронта.

Он уже несколько дней изучал передовые позиции, где можно было ожидать удара немцев. Конечно, им выгоднее всего было ударить в основание Курского выступа со стороны Белгорода с юга и со стороны Орла с севера. На обоих направлениях в их распоряжении были восстановленные железнодорожные пути, шоссейные дороги и подготовленные исходные позиции... Да и сама степь, высохшая до звона, стала отличным плацдармом для тяжелых танков.

Но Толубеев видел и другое: никогда еще не было столько орудий во всех эшелонах обороны, столько гвардейских минометов, столько противотанковых расчетов, столько, наконец, войск, приготовившихся встретить противника и огнем и штыком. А внешне степь казалась пустынной, безлюдной, только линии замаскированных траншей, противотанковых рвов и ловушек, минные поля, одиночные ячейки противотанковых расчетов показывали, как густо заселена эта степь, в каком страшном напряжении живут люди, каким ожесточенным может стать будущее сражение.

Ночью шофер остановил машину возле шлагбаума, высадил Толубеева и съехал в овраг. Там, под накатом, присыпанным землей, стояло уже довольно много машин. По поселку, где устроился штаб, на машинах не разъезжали, чтобы не привлечь внимания разведывательных самолетов.

Толубеев прошел к начальнику разведотдела. Под яркой маленькой лампочкой с трепещущим, бьющимся, как будто живым, светом сидел полковник Кристианс.

Он протянул сухую холодную руку, уныло сказал:

— Если разведчики сегодня ночью не добудут языка, хоть сам иди в разведку! Сидим с закрытыми глазами.

Кристианс, как видно, приехал надолго. В комнате начальника отдела была уже поставлена вторая койка, на маленьком столике — два стакана, две бритвы, под койкой — чемодан. Кристианс уловил взгляд Толубеева, брошенный в отведенный для сна угол, сказал:

— До конца операции буду здесь. Начальник ушел к командующему, просил, если явитесь без него, обождать.

Он шагнул к койке, достал из чемодана плитку шоколада и пачку московского «Казбека». Вернулся к столу.

— Это вам и Вите Арвидовне. Да не я, не я, генерал послал.

Толубеев спрятал подарки в планшет.

Вернулся начальник отдела. Поздоровался хмуро.

Толубеев понимал, что все в штабе измучены ожиданием. Ощущение примерно такое: над тобой висит гиря, а веревка, на которой она подвешена, постепенно расползается, одна прядь, вторая, третья. Но когда она упадет, эта гиря?

Резко звякнул телефон. Начальник отдела торопливо схватил трубку.

— Взяли? Когда? Где? Перескажите устно показания! Пленного потом доставить мне. Что? — Послушал немного, положил трубку, снова поднял, попросил: — Соедините с командующим.— Подождал, заговорил: — Докладывает седьмой. Только что взяты пленные минеры противника. Во всех частях прочитан приказ Гитлера о переходе в наступление в три часа ночи пятого июля, в понедельник. Задача: отрезать, окружить и уничтожить советские войска на Курском выступе. Одним словом, немецкий Сталинград. Пленного скоро доставят. Ефрейтор Фермелло. Вместе со своим взводом был направлен проделать проходы в минных полях, прикрывающих немецкую оборону... Да, это неопровержимо. Наши разведчики проверили показания ефрейтора — немцы действительно снимали мины на своем поле...

Он вздохнул с каким-то облегчением, как будто то, что должно было теперь начаться, казалось ему более легким, чем само ожидание. А начаться должно было одно из самых великих сражений, в котором погибнут тысячи и тысячи людей, и было еще неизвестно, чья чаша весов перетянет...

— Ну, вот и дождались! — все так же удивительно весело сказал он, поглядывая на Толубеева и Кристианса с улыбкой.— Да, Владимир Александрович, вот ваша диспозиция.— Он достал из сейфа карту и передал Толубееву.— А сейчас мы попытаемся смешать карты господам немецким генералам. Прошу за мной. Начинается совещание у командующего!

2.

«С утра 5 июля наши войска на ОРЛОВСКО-КУРСКОМ и БЕЛГОРОДСКОМ направлениях вели упорные бои с перешедшими в наступление крупными силами пехоты и танков противника, поддержанными большим количеством авиации. Все атаки противника отбиты с большими для него потерями, и лишь в отдельных местах небольшим отрядам немцев удалось незначительно вклиниться в нашу оборону.

По предварительным данным, нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день боев подбито и уничтожено 586 немецких танков, в воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 203 самолета противника.

Бои продолжаются».

СОВИНФОРМБЮРО.
Вечернее сообщение 5 июля 1943 года.

Совещание у командующего фронтом окончилось в 1.30. Командиры резервных частей торопливо разъезжались по своим штабам. Шла томительная ночь пятого июля...

Подполковник Толубеев попросил у командующего фронтом разрешения выехать на передовые позиции армии, которой была придана его бригада. Возможно, на этом именно участке фронта придется сражаться и ему...

Юркий броневичок, подарок Горьковского завода, доставил его к месту назначения. Только начинало светать, когда Толубеев, оставив броневик в расположении танкистов, направился в штаб дивизии. Толубеев шел за провожатым и думал о том, что через час, не более воздух содрогнется от артиллерийского грома, птицы замолкнут, роса осыплется на землю, и в этот жаркий день всем захочется пить, а степь будет полна огнем и дымом, и нигде ни капли воды...

Провожатый сержант спрыгнул в траншею, и Толубеев, следя за ним, шел таким же кошачьим шагом, будто провожатый боялся разбудить немцев, которые спали или скорее готовились к предстоящему бою совсем недалеко от русских позиций, в такой же земляной траншее.

Точно так же готовились к бою и русские пехотинцы, чутко прислушиваясь к грозной тишине. Особенно много тут было бронебойщиков со своими длинными ружьями. Они уже знали, что Гитлер пригнал под Курск новые танки — «тигры», читали еще несколько дней назад «Наставление» по борьбе с ними. В «Наставлении» этот новый немецкий танк был даже изображен, хотя самой машины никто из них еще не видал. Но они уже воевали с немецкими танками под Сталинградом и знали, что любая железная махина, как бы ее ни называли немцы, останавливается от умелого выстрела, и взрывается, и горит. И сейчас терпеливо ждали этой встречи, укрываясь поглубже в земле, исконном убежище солдата...

Толубеев прикинул мысленно, как глубоко эшелонирована оборона на этом танкоопасном направлении, и подивился: по примерным его расчетам, получалось, что противотанковые средства обороны уходят в глубину километров на десять, а там уже стоят танковые корпуса, могучие самоходные артиллерийские установки, истребительные полки и бригады, тяжелая артиллерия, резервные части всего Степного фронта, и вся эта военная мощь готова к бою в первые же часы, если немцам удастся прорваться сквозь первые линии обороны фронта.

В штабе дивизии никого, кроме дежурных офицеров, не оказалось. Во всех частях читали приказ Главнокомандующего, проводили партийные и комсомольские собрания, заканчивали инструктаж по борьбе с новыми танками гитлеровцев. Дежурный предложил Толубееву чаю, намекнул, что можно бы еще вздремнуть минут тридцать, но Толубееву ничего не хотелось.

Начали возвращаться офицеры. В блиндажи они не торопились, стояли в траншеях и укрытиях, поглядывая на небо, теперь резко посветлевшее над головой. На стыке двух огромных затаившихся армий все еще стояла та же ночная тишина. И вдруг над головами пронесся первый вздох боя, и возник он где-то в глубине советских войск, постепенно нарастая и подкатываясь к самой передовой линии русских укреплений...

Это было «упреждение», о котором говорилось в кабинете командующего. Вся артиллерия русских войск открыла мощный огонь по немецким позициям, где в эту минуту заводили танки, строили для атаки батальоны, рассаживали по бронетранспортерам автоматчиков, что должны были прорываться следом за танками через советские позиции. И в тот же миг над головами русских солдат и офицеров пошли волна за волной пикирующие бомбардировщики, истребители, тяжелые самолеты, и в расположении противника за сорок минут до начала им спланированного наступления раздались бомбовые удары, слившиеся в общий гром

с орудийной стрельбой, с разрывами «катюш», с лаем тяжелых и легких минометов.

— Начали! — сказал невысокий плотный генерал, командир дивизии.— Отлично начали! — повторил он. И добавил: — Главное, светло, немцы видят, что у них происходит. Кое у кого такой пейзаж отобьет охоту к атаке...— И приказал: — Товарищи офицеры, по местам! — Повернулся к Толубееву: — Прошу вас, товарищ подполковник, на мой КП. Там обзор отличный...

Наблюдательный пункт расположился на невысоком кургане, насыпанном, вероятно, еще скифами над могилой своего вождя. Таких курганов тут было несколько, и немцы, конечно, пристреляли их, но саперы дивизии ухитрились врезаться в курган сбоку и пробились в верхнюю каменную камеру кургана, где когда-то был захоронен скифский вождь, его слуги и жены. В амбразурах кургана стояло несколько стереотруб, на спицах, вбитых в стенку, висели бинокли, в углу, на столике, стояли телефоны полевой связи, возле которых дежурили телефонисты.

Артиллерийско-бомбовой удар советских войск все продолжался, а немцы с методическим упорством ждали сигнала к наступлению. Ведь сам Гитлер сказал им, что ровно в три часа начнется последнее решительное сражение за русские просторы, которое окончится их сокрушающей победой, и русские наконец-то побегут за Урал, где и погибнут на веки вечные...

Но уже давно прошел назначенный Гитлером срок, когда Толубеев увидел в стереотрубу далекие клубы пыли, как будто катившиеся от горизонта к советским окопам, увидел вспышки огня в этих клубах и как-то даже спокойно сказал:

— Танки!

Это и было спокойствие после долгого нервного напряжения.

Командир дивизии отдал несколько распоряжений. Впрочем, наступающую железную орду видели со всех наблюдательных пунктов дивизии, и из всех окопов, и противотанковых ячеек, вынесенных вперед.

— А вот и «тигры»! — сказал Толубеев, глядя в пыльное марево впереди.

Легкие танки противника, выступившие первыми, вдруг развернулись в обе стороны, и в вершину наступающего клина выдвинулись массивные, окрашенные в оливковый цвет пустыни тяжелые танки «тигры». Было непонятно, почему их не перекрасили в более сливающийся с местностью зеленый цвет, может быть, танкисты «тигров» до последнего часа не знали, что их отправляют не в пустыню к Роммелю, а в среднерусские степи к генералу фон Шмидту? А может быть, Гитлер лишь в самые последние часы перед сражением решил бросить на стол этот свой козырь?

Эти машины были длиннее и шире средних и легких танков. И орудия их оказались длиннее, крупнее калибром. Но самым страшным для солдат зрелищем была кажущаяся неуязвимость «тигров». Уже сотни орудий стреляли по ним, а они все приближались с каким-то противоестественным спокойствием, словно снаряды отскакивали от них, как камни от железной стены. Толубеев знал, что лобовая броня этих машин была доведена до четырехсот миллиметров, и снаряды из привычных противотанковых орудий действительно не могут пробить ее, но он знал и другое: кумулятивные снаряды и бронебойные снаряды новых орудий будут дырявить эти чудовища, как только они повернутся к орудийным позициям бортовой броней...

Но пока танки шли в лоб, расстреливая артиллерийские позиции русских.

Справа от наблюдательного пункта стояла замаскированная батарея новых противотанковых орудий лейтенанта Калинина. В течение этих дней подготовки Толубеев был у Калинина не один раз. Он знал, что сейчас Калинин, тщательно замаскировавший свои орудия, готовится к встрече с «тиграми». Они договорились, что Калинин не станет демаскировать свою батарею, если не появятся «тигры». Против легких немецких танков должны были действовать две другие батареи, разместившиеся слева и справа от батареи Калинина. И Толубеев ждал, выдержит ли Калинин в эти первые минуты боя...

«Тигры» все приближались. За ними шли гусеничные бронетранспортеры, набитые солдатами, как стручки гороха зернами. Следом, понемногу отставая, бежали автоматчики. Батарея Калинина молчала.

— Огонь! — негромко скомандовал генерал.

Но раньше, чем вступила в бой батарея новых противотанковых орудий, танки встретились с бронебойщиками. Эти бесстрашные люди, закопавшиеся по двое со своими длинными ружьями, похожими на дедовские пищали, выждали, когда танки поравнялись с их земляными гнездами, и открыли огонь по бортовой броне «тигров». Пулеметчики, выдвинувшиеся вперед, ударили из пулеметов по бронетранспортерам и автоматчикам. В этот миг заговорили пушки батареи Калинина.

Толубеев увидел, как вспыхнул огонь на броне переднего «тигра». Танк все шел и шел, а снаряд как бы ввинчивался в его броню, затем что-то гулко охнуло, раздался взрыв, и танк замер. Никто не выскочил из него.

Второй «тигр» на видимом пространстве вспыхнул от пули бронебойщика. Так же вспыхнул и третий. Но танки шли все гуще и гуще.

Высокая железнодорожная насыпь, к которой прижал свою батарею Калинин, не давала немцам возможности взять ее в лоб. И они пошли в обход.

Сначала на батарею обрушился десяток танков и два десятка бронетранспортеров. Калинин ввел в бой третье орудие. Перед его позицией горели уже шесть танков, но немецкие автоматчики, подвезенные на транспортерах, ринулись в атаку. Калинин перенес огонь на лощину, в которой они сгруппировались, и рассеял атакующий батальон. Тогда немцы бросили на Калинина еще пятнадцать танков. И только тут батарея Калинина заговорила во всю мощь. Перед позицией батареи горели уже четырнадцать танков...

Немецкие автоматчики залегли в лощине.

Толубеев вытер пот со лба и взглянул на часы: прошло пятнадцать минут.

Он посчитал остановленные батареей Калинина танки и сказал:

— Товарищ генерал, лейтенанта Калинина следовало бы представить к ордену...

— Если мы уцелеем! — меланхолически сказал генерал.

«Если мы уцелеем!» Толубеев взглянул налево и понял, о чем подумал генерал: слева от кургана в глубину советской обороны, оставляя за собой горящие танки и бронетранспортеры, врывалась еще одна колонна немецких танков.

Как только «тигры» скрылись за лесными посадками, на прорванной передовой началась отчаянная стрельба из пулеметов, автоматов и винтовок. Тотчас же присоединился басистый рык минометов. Толубеев с чувством облегчения заметил, что немецкая пехота, сопровождавшая танки, залегла. Через линию обороны прорвались только бронетранспортеры, шедшие вслед за танками.

— Мы еще поживем! — весело воскликнул он, показывая генералу на правую линию обороны.

Генерал прильнул к стереотрубе.

В этот миг над полем боя появились вертящиеся карусели самолетов.

Внизу, как можно было различить, кружились немецкие бомбардировщики, видно, вызванные танками на помощь. Над ними в несколько слоев крутились истребители, и советские и немецкие. То одна, то другая машина, клюнув носом, устремлялась к земле. Бомбардировщики, летевшие с тяжелым грузом бомб, взрывались на тех же бомбах, которые не успели сбросить. Истребители, сбитые в бою, падали, подобно подбитым птицам, вращаясь вокруг оси. И еще одно заметил Толубеев: самолетов с черными крестами, падающих перед ним, было больше.

Но какая-то часть самолетов прорвалась к советским позициям, и курган вдруг вскорчился, словно началось землетрясение, которое Толубеев пережил мальчиком в Крыму. Он еще успел подумать, что «второй снаряд в ту же воронку не падает, вторая бомба рядом не ложится!», как страшный взрыв обрушил на него потолок, а может быть, это встал дыбом пол, и он потерял сознание.

Очнулся он оттого, что молоденький связист надтреснутым голосом умолял его, встряхивая за плечо:

— Товарищ подполковник, очнитесь! Очнитесь! Генерала убило!

Толубеев встал и привалился к стене, так как пол под ним все раскачивался, как палуба штормующего судна. Генерал лежал рядом с амбразурой, и лицо у него было удивительно спокойное. На левой стороне гимнастерки темнело медленно расплывающееся пятно. Возможно, он был так спокоен потому, что не успел увидеть ни воздушную карусель, ни прорвавшиеся танки. Если это так, то Толубеев мог только позавидовать покойному.

Наконец до него дошел смысл причитаний связиста, который все тем же дребезжащим голосом продолжал:

— Со штабом связи нет. Рация наша разбита. Санбат не отвечает. Полки просят указаний. Я никому не говорил, что генерала убило...

Он и сейчас, в бою, был исполнен уважения к своему убитому начальнику. Он не говорил: «Генерал убит»,— он мог только сказать: «Генерала убило». Толубеев, держась за стену, подошел к зуммерившему телефону.

— Говорю по поручению первого, Толубеев. Доложите обстановку в хозяйстве.

Звонили с правого крыла дивизии. Во время первой танковой атаки полк сильно потеснили, но потом положение восстановилось. Прорвавшиеся на стыке между вторым и третьим полком немецкие танки, по-видимому, наткнулись на штаб. Сейчас все прорвавшиеся глубоко танки уничтожены, но связные, посланные в штаб, не возвратились. В поселке, где размещался штаб, слышна стрельба. На выручку туда брошены батальон из резерва и две самоходные пушки.

Левофланговый полк, неся потери, отступил на вторую линию обороны. Бой продолжается на улицах населенного пункта. Немецкие танки и автоматчики пытаются отсечь деревню, но артиллеристы действуют успешно; сожжено и подбито много танков и бронетранспортеров противника.

В проеме кирпичной кладки появился запыленный связист. Он откозырял незнакомому офицеру, посмотрел на убитого генерала, сказал:

— Связь со штабом дивизии восстановлена. Штаб перебазировался в Яблоневку. Там был бой. Есть убитые и раненые.

Подойдя к столу с телефоном, взял трубку, подул в нее, тихо сказал:

— «Маргаритка», я «Тюльпан». С вами будут говорить.— И протянул трубку Толубееву.

Толубеев услышал знакомый голос начальника штаба дивизии и облегченно вздохнул.

— Толубеев слушает. Генерал убит,— раздельно произнес он.

Начальник штаба помолчал, что-то сказал в сторону, наверно, тем, кто окружал его, потом снова заговорил в трубку:

— Принимаю командование на себя. Вас разыскивает Васильев, приказано вернуться во вверенную часть. Ваш броневик в танковом резерве. Связист вас проводит. Кратко доложите, как положение на КП?

— Два прямых попадания бомбы, но работать можно.

— До свидания, товарищ подполковник. Если повезет, еще увидимся!

«Да, если повезет! Всего полчаса назад это же сказал генерал, а теперь он лежит на полу...»

Толубеев позвал связиста и вышел в узкую траншею, что вела в тыловые порядки войск.

Продолжение следует.

ОГНЕННАЯ ДУГА

Николай АСАНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

3

«В течение 6 июля наши войска на ОРЛОВСКО-КУРСКОМ и БЕЛГОРОДСКОМ направлениях продолжали вести упорные бои с крупными силами танков и пехоты противника. Наступление противника поддерживалось большим количеством авиации.

На Орловско-Курском направлении все атаки противника отбиты с большими для него потерями.

На Белгородском направлении противнику ценой больших потерь удалось незначительно продвинуться на отдельных участках.

По неполным данным, нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день боев подбито и уничтожено 433 немецких танка. В воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 111 самолетов противника. Взято в плен 22 немецких летчика».

СОВИНФОРМБЮРО.
Первая «Оперативная сводка»
6 июля 1943 года.

Толубеев внимательно прослушал всю сводку и все боевые эпизоды, включенные в нее. О появлении в боях новых немецких танков «тигр» и «пантера» ничего не говорилось. Если бы он сам не видел, как артиллеристы лейтенанта Калинина расстреливали это «чудо немецкой техники» вчера утром, он мог бы подумать, что ни немцы, ни мы не ввели в продолжающийся бой никакого нового вооружения. А может быть, это дезинформация для немцев? Вы, мол, выпустили на поле боя целый звериней, а мы этого даже не замечаем, бьем и «тигров» и «пантер», как зайцев? Но ведь мы сообщаем всему миру, что немцы все-таки потеснили нас на Белгородском направлении? Однако и сами немцы ни слова не сказали о своем начавшемся наступлении. Сводка немецкого командования тоже лежала на его столе (Кристианс позаботился), но в ней не было ни слова о боях на Брянском направлении, как они именовали этот участок фронта...

Ночью в бригаде объявили «готовность № 1». Это означало, что немцы наращивают свои силы. Вероятно, им пришлось в первые же сутки боя ввести многие из резервных частей, которые были приготовлены не для прорыва, а для развития наступления. Внутренняя фронтовая сводка называла новые дивизии и танковые корпуса, опознанные в боях в ночь на шестое. А успехи у немцев пока что небольшие: у Томаровки они продвинулись на шесть — восемь километров и вклинились во вторую линию обороны. Орловская группа немецких войск, пытавшаяся прорваться на Поныри, успеха не имела.

За эти двое суток Толубеев спал от силы три часа, но вот странно: чувствовал себя бодрым, сильным. Даже вчерашняя контузия не отозвалась. Он понимал, конечно, что потом, когда это затяжное сражение окончится, он, если уцелеет, доставит хлопот госпитальным врачам. Сейчас он жил нервным напряжением, как и всякий солдат во время боя.

Он вышел из спрятанного в зарослях полевого укрытия. Танки, надежно замаскированные, по-прежнему ждали своего часа. Немецкие самолеты пока что обходили эту полупустыню стороной, у них было много дел и на линии фронта. Иногда лишь вырывался гонимый советским истребителем «юнкерс» или «фокке» и удирал, прижавшись почти к самой земле, или падал, оставляя за собой черный шлейф дыма. Не только стрелять по самолетам, но и появляться на дорогах, полянах, на краю оврага строго запрещалось.

Толубеев прислушался: тяжелый гул сражения доносился равномерно, и то там, то здесь по горизонту поднимались черные столбы дыма.

В первые дни войны он, услышав где-то канонаду боя, рвался туда со всем нетерпением молодости. Ему казалось, что он просто о б я з а н быть там, где погибают его товарищи. Теперь же он хладнокровно высчитывал, когда может наступить момент, в который пригодится он со своими танками. И если гул сражения не передвигается с юга на север, это означает, что он должен спокойно ждать, учить своих людей главному искусству войны — выдержке, ведь многие из них впервые принимают участие в бою.

Он не спеша шел через лесопосадку, придирчиво вглядываясь в маскировку танков, в лица солдат, так же, как и он, прислушивавшихся к рокоту ближнего боя, здоровался с ними и проходил дальше. Все шло как будто нормально, люди отдыхали посменно и готовились к бою.

Возвращаясь, он опять увидел сквозь ветви деревьев воздушный бой. И хотя всем спрятавшимся в этом лесу хотелось разглядеть подробности боя, никто не выскочил из-под деревьев и не нарушил маскировку, а немецкий самолет (это был «мессершмитт») стремительно уходил от нашего истребителя на запад, в сторону Белгорода.

В штабном блиндаже тихо зуммерил телефон, кто-то спокойно отвечал на вызов, и Толубеев снова подумал: «Научились воевать! Никто не кричит, не паникует, не грозит, не ругается! И хотя у всех нервы напряжены до крайности, держатся люди отлично! Ну, теперь берегись, господин Гитлер! Ни уничтожить нас, ни запугать ты не смог!»

Он шагнул в открытую дверь блиндажа. Начальник штаба поднялся, офицеры приветствовали командира весело и непринужденно и снова обратились к своим делам: они знали, что Толубеев не любит бестолочи и суеты.

Начальник штаба сказал:

— Вита Арвидовна просила вас позвонить: привезли новых пленных.

Телефонист затараторил на своем сигнальном языке: «Пчела», «Пчела», вас вызывает «Улей!» — и передал трубку подполковнику. И тотчас же послышался милый голос Виты, от которого волна нежности хлынула к сердцу. Но говорила она деловито, чуть щеголяя этой служебной подчиненностью.

— Товарич подполковник, привезли несколько пленных танкистов с «тигров» и летчика. Полковник Кристианс просил вас познакомиться с их показаниями...

«Она еще долго, может быть, всю жизнь будет говорить с этим акцентом,— подумал он.— Но ее «товарич» звучит теперь так же естественно, как и у каждого из нас «товарищ». И она привыкнет к новой стране и будет делить с нею все ее радости и горести...» И вдруг поймал себя на том, что ему хочется сказать вслух: «Если мы уцелеем...»

Это была слабость, недопустимая, опасная, потому что он тем самым как бы примеривал все беды войны к ней, к Вите, такой хрупкой и слабой, и эти беды становились огромными, непереносимыми, какими никогда не казались относительно его самого, его солдат и офицеров. И снова, в какой уже раз, посетовал на себя: почему не оставил ее в Москве? Тогда ему было бы легче здесь...

Пункт опроса пленных, которых привозили в штаб бригады по распоряжению Кристианса «для знакомства с настроениями», как любил полковник говорить, находился в полутора километрах от лесопосадок, в полуразрушенном доме отдыха. Подъезд к нему разрешался только со стороны шоссе, с востока, чтобы скрыть от случайного взгляда расположение танкового полка. Но подполковник предпочитал пешую прогулку по руслу речки и оврагу, где в зарослях лещины и терновника мог затеряться не только пешеход, но и всадник. И Толубеев нырнул в зеленую прохладу.

В бывшей столовой дома отдыха — низком, приземистом отдельном здании — под охраной лежали на охапках сена и сидели на скамейках вдоль стен несколько десятков пленных. Они уже отвоевались и чувствовали себя в относительной безопасности. Правда, к гулу самолетов они прислушивались со страхом. На дворе под густолистым дубом мирно стояла полевая кухня, и они поглядывали туда сквозь распахнутые двери с надеждой и любопытством. Некоторые были в плену уже второй и третий день и знали, что русские пленных не бьют, не расстреливают и даже кормят, а новички, которые еще не очень верили в эти толки, сейчас напряженно ожидали, что будет с ними дальше: расстрел или... обед?

Продолжение. См. «Огонек» №№ 30—37.

Подполковник прошел в маленький деревянный домик, где Вита опрашивала пленных.

Рядом с Витой сидела Лидия, записывавшая показания длиннолицего немца в прожженном до дыр мундире. Вита переводила фразу за фразой. Сержант, охранявший пленного, прислушивался к переводу, склонив голову набок. Толубеев подумал: «Солдатская почта! Вернувшись с дежурства, сержант порасскажет кое-что однополчанам. А этот гитлеровец так напуган, что сержанту будет что рассказать!»

Завидев офицера в большом чине, гитлеровец вскочил так стремительно, что сержант сдернул с шеи автомат. Вита и Лидия улыбнулись: одна — доверчиво-радостно, другая — снисходительно, как будто подтверждая: «Я же говорила, что все будет в порядке!»

— Продолжайте! — приказал он.

Вита доложила: Курт Блюме, унтер-офицер тридцать пятого танкового полка. Взят в плен сегодня утром в расположении Томаровки.

— Садитесь! — приказала она пленному. И когда тот, боязливо оглядываясь на русского офицера, сел, сказала: — Я слушаю.

Немец заговорил быстро, страстно. Как видно, он очень хотел убедить эту женщину-комиссара в офицерской форме с погонами младшего лейтенанта, а вместе с нею и всех других, в своей искренности. Вита сухо переводила:

— Он говорит, что их четвертая танковая дивизия стояла в пятидесяти километрах от фронта. Офицеры говорили, что их новые танки «тигр» будут направлены в прорыв, когда русские побегут, и будут преследовать отступающих до тех пор, пока не соединятся с танковым клином, наступающим со стороны Орла. Тогда они повернут на запад, чтобы рассечь окруженные части и устроить русским «котел»... — Тут она запнулась, посмотрела на Лидию: — Что такое «котел»? Это русское слово?

— Окружение, — усмехнулся Толубеев.

— А, знаю, «Сталинград»! — Вита кивнула.

Пленный опять заговорил. Вита методически переводила фразу за фразой:

— Унтер-офицер говорит, что видел у командира полка Штромера карту, на которой была схема немецкого наступления. Место встречи танковых соединений — Курск. Затем один клин вырывается на северо-восток в направлении Москвы, а четвертая дивизия ликвидирует «котел».

— Как он попал в плен? — спросил Толубеев.

Вита перевела вопрос. Пленный замялся.

Вита повторила вопрос.

Тогда пленный вдруг взорвался. Толубеев понял, что он ругает свое командование. Вита усмехнулась, стала переводить:

— Унтер-офицер зол. Вместо того, чтобы послать их в прорыв, их послали прорывать — так это говорится? — обратилась она к Лидии. — Он считает, что это был обман. Прорыв должен был открыться еще вчера, а сегодня они были брошены на Томаровку, перед которой уже было, как это? Да, сто тысяч тонн горевшего железа. Нет, сгоревшего железа. Командиры говорили, что великий немецкий танк непробиваем русскими пушками, а в танк командира полка Штромера попал снаряд и сразу заклинил башню. Командир приказал этому унтер-офицеру прикрыть его танк, повернувшись лобовой броней к русским, пока экипаж полковника устранит повреждение. Унтер-офицер повернул свой танк, и тут в бортовую броню ударил снаряд. Какой? — спросила она у немца. — Да, зажигающий! Он сделал такой удар, как будто был двойной, и ввертелся, как черт, в броню... Разве черт вертится? — беспомощно спросила она у Толубеева.

Тот ответил:

— Кумулятивный снаряд, ты же видела их действие!

— О, я, я! Вертящийся черт! В танке вспыхнул пожар, и они выскочили в окоп. Тут танк командира тоже вспыхнул, унтер-офицер не знает, как это произошло, грохнул взрыв, и все для тех кончилось. Тогда

они переползли в оставленную русскими траншею и пошли по ней с поднятыми руками, пока не наткнулись на русских, которые взяли их в плен.

Пленный молчал, глядя на свои обожженные и плохо перевязанные руки. Толубеев сказал:

— Отправьте его в полевой госпиталь. И скажите об этом, а то он решит, что его ведут расстреливать.

Вита перевела. Пленный удивленно взглянул на нее, потом вдруг поверил, с благодарностью посмотрел на Толубеева, но тот уже расспрашивал другого пленного.

Этот пленный оказался летчиком. Толубеев подумал: Кристианс отправил его к нам для разнообразия. Действительно, показания пленных танкистов были удивительно похожи. На танки «тигр» немецкие командиры посадили «элиту». Тут были и эсэсовцы, и отличившиеся в прежних боях водители, и командиры других немецких танков. В плену они выглядели все одинаково испуганными, держались приниженно и ничем не напоминали прежних победителей Европы, какими выглядели, даже попав в плен, в первый период войны. И больше всего их пугало то, что все расчеты их командования, все утверждения Гитлера и его знаменитый приказ о «решительном наступлении» — все оказалось мыльной пеной, жидкой волной, разбившейся о неприступную оборону русских. Они уже не верили или утверждали, что уже не верят Гитлеру...

Летчик был подавлен так же, как и танкисты. Но показания его были интереснее.

Обер-лейтенант Гофман получил приказ вести воздушную разведку в ближнем тылу русских. Дважды, а то и трижды в день он пролетал от белгородского фронта до орловского, там на своем аэродроме отдыхал и отправлялся обратно. Командование приказало ему особенно следить за «пробками» на тыловых дорогах, за отступлением разбитых подразделений Советской Армии. Утром восьмого июля его сбил советский истребитель. Обер-лейтенант выбросился на парашюте и попал в плен.

Он показал, что, когда к вечеру седьмого июля, на третий день немецкого наступления, сообщил начальнику разведки о том, что никаких «пробок» на тыловых дорогах русских не наблюдается, что все движение направлено не в тыл, а к фронту, то полковник, принимавший его рапорт, затопал в бешенстве ногами, упрекнул его в трусости: «Вы летаете не над дорогами, а над степью, чтобы вас не сбили русские зенитчики!» И приказал вылететь на рассвете. «Может быть, русские отводят свои войска тайно, ночью? Тогда на рассвете вы еще успеете заметить их передвижение...» Этот вылет на рассвете восьмого оказался для летчика последним...

До обеда Толубеев опросил еще десяток пленных, но это уже было повторение пройденного: боязнь русской артиллерии; кумулятивный снаряд; уязвимость «тигров» и самоходных пушек «фердинанд», о которых говорилось, что они несокрушимы...

В два часа приехал Кристианс. Они спустились в заросшую кустарником балку к речке. Кристианс, поплескав холодной водой на лицо, вдруг сказал:

— А вы ведь знаете, Владимир Александрович, зачем я приехал?

— Так точно, товарищ полковник! Когда?

— Одиннадцатого-двенадцатого. Немцы продвинулись уже на тридцать километров. Решающее сражение, по-видимому, произойдет где-то в районе Прохоровки. Есть приказ Ставки — изматывать противника до этого дня, а потом перейти в наступление. В штабе фронта готовят новую дислокацию. Начальник штаба просил передать: ваша бригада тяжелых танков будет поставлена на решающее направление во встречном танковом сражении...

Толубеев ждал, что он еще скажет, но Кристианс снял гимнастерку и рубашку и принялся поливать холодной водой сухое, поджарое тело...

Глава четвертая:
ПОБЕДУ ГОТОВЯТ ЗАТЕМНО...

1

НАСТУПЛЕНИЕ НЕМЦЕВ В РАЙОНЕ КУРСКА И ЖУЛИКИ ИЗ СТАВКИ ГИТЛЕРА

«Гитлеровская ставка провалила о результатах первого дня крупного наступления немецких войск, начатого ими утром 5 июля на Орловско-Курском и Белгородском направлениях. 6 и 7 июля гитлеровское командование решило из «Савла превратиться в Павла», из наступающей стороны превратиться в обороняющуюся, заявляя, что наступление ведут не немцы, а Красная Армия.

Почему гитлеровская ставка вынуждена прибегнуть к этому мульническому трюму?

...новое немецкое наступление не застало наши войска врасплох. На обоих направлениях третий день идут ожесточенные бои, в ходе которых наши войска уничтожили до 30 000 солдат и офицеров, подбили и уничтожили 1 539 танков и сбили 649 самолетов противника. Наши войска прочно удерживают занимаемые рубежи. Только на некоторых участках Белгородского направления противнику, ценой огромных потерь, удалось незначительно вклиниться в нашу оборону...»

Совинформбюро.
7 июля 1943 года.

Никогда до сих пор в печати не появлялось столь откровенного высказывания. Обходились лозунгом: «Победа будет за нами!» А сегодня объявляли всему миру, что это последняя попытка Гитлера выиграть войну, и она провалилась в первый же день.

— О, тут есть и о нас! — сказала Вита, читавшая сводку через плечо мужа. — Смотри!

Он оторвался от сообщения Главного командования и посмотрел на первый раздел сводки. Там сообщалось:

«На Орловско-Курском направлении наши войска в течение всего дня вели упорные бои с наступающим противником. На участке Н-ского соединения группы вражеских танков, численностью от 80 до 100 машин каждая, непрерывно штурмовали советские укрепления, пытаясь прорвать наш фронт. За танками следовали крупные силы немецкой мотопехоты. Наши войска отбили все атаки противника и прочно удерживают свои позиции. На отдельных участках несколько групп немецких танков, по 15—30 машин, прорвались через боевые порядки наших частей в глубину обороны. К исходу дня все прорвавшиеся танки были уничтожены. Среди подбитых и уничтоженных немецких танков более 40 танков типа «тигр».

— Почему ты думаешь, что это о нас?

— Милый Вольёдя, но ведь о «тиграх» упоминается впервые!

Да, о «тиграх» упоминалось впервые. И это тоже наводило на размышление. Следовательно, новое оружие против этих пугающих, стреляющих и давящих все живое самодвижущихся металлических коробок признано настолько эффективным, что о нем, конечно, не называя его, уже можно объявлять вслух. А если это так, то немецкая похвальба любым «сокрушающим», «грозным», «тайным» оружием уже не будет приниматься с испугом, и, может быть, даже союзники поймут, что им пора вступать в эту войну. Ведь после поражения в Дьеппе, как будто нарочно организованного, чтобы сообщить немцам и всему миру о своей слабости, они еще и пальцем не шевельнули, чтобы помочь нам...

— А все-таки мы молодцы! — резюмировала Вита, дочитав сводку.

— Не мы, а Советский Союз молодец! — остановил ее муж.

— Но и мы! — Она не желала уступать и частицу своего участия.

И он согласился с нею.

Гул сражения приближался к Прохоровке. Однако в частях, составляющих резерв командования, все было спокойно, хотя отдельные группы немецких танков прорывались довольно далеко в советские тылы. Но эти тылы, начиненные средствами противотанковой обороны, как слоеный пирог, поглощали блуждающие машины и сопровождавшие их десанты автоматчиков.

За восьмое, девятое и десятое июля сводки Совинформбюро ежедневно насчитывали сотни уничтоженных немецких танков и самолетов. В шифровках полковника Кристианса назывались все новые и новые танковые, мотопехотные и просто стрелковые полки и дивизии, вводимые противником в бой. Порой казалось, что Гитлер бросил в эту мясорубку все свои резервы. Однако же противник все теснил советские войска. Уже от Томаровки до Прохоровки немцы врезались клином в расположение советских войск со стороны Белгорода, уже и со стороны Орла они пробились мимо Малоархангельска, почти до станции Поныри, и хотя эти новые немецкие «плацдармы» имели в глубину — с юга — от двадцати до сорока километров, а с севера — от десяти до двадцати километров, что по сравнению с их прежними победами было ничтожно малой величиной, все-таки они могли бы трезвонить об успехе, как бывало раньше, однако они молчали. И это затянувшееся молчание лучше всего доказывало, что они уже и сами не очень верят в успех своего летнего наступления, на которое возлагали такие надежды...

По мере развития этого боя, этого руками людей созданного грома, превышавшего по мощности обычные летние грозы в этих местах, по мере скопления в атмосфере туч пыли, угарных газов сама природа словно бы видоизменялась. По вечерам над полем боя появлялись зловещие зарницы фиолетового цвета, с самого утра сгущались тучи, закрывая солнце, умолкли птицы, перестала выпадать роса, сохла трава, и неубранный хлеб осыпался мелким зерном; желтели яблоки и падали в сухую, пыльную траву, жалко дробясь под каблуками военных сапог; вода в колодцах опустилась так низко что привычные цепи на «журавлях» над колодцами стали коротки, солдатам приходилось надвязывать их ремнями, вожжами, подобранными в брошенных домах веревками. Но и вода была мутной, горькой, как будто постоянное сотрясение земли возмутило всю природу, взбаламутило весь осевший на дне колодцев ил. Речки в расположении сражающихся армий стали пересыхать, как будто железные чудовища выпили всю воду. Ветер приносил не освежение, а душно-сладковатый запах пороха, человеческого праха, отработанного бензина и соляра, сгоревшего металла. И все это были запахи войны...

На седьмой день этого непрерывного напряжения Вита превратилась в тень. Запавшие глаза словно утонули в черных кругах. Она почти не могла есть, и если Толубеева не было рядом, то и не ела, только жадно пила горькую мутную воду, в которой уже появился солевой привкус, как бывает при засухе. Но если Толубеев оказывался в час обеда рядом, она послушно жевала что-то, уже не имевшее для нее ни вкуса, ни запаха. И Толубеев понимал: ест она только потому, что боится — ее сочтут больной и отправят в Москву...

Одиннадцатого гул боя приблизился настолько, что казалось, танки противника вот-вот вырвутся из-за соседних холмов. Однако командование молчало. Приехал полковник Кристианс,— как понял Толубеев, проверить готовность, а может быть, просто успокоить его: все, мол, идет по плану... Но можно ли планировать глубину поражения? Ведь бывало и так, что спланированное наступление вдруг превращалось в хаотическое бегство...

Кристианс, как видно, понял его невысказанные мысли:

— Немцы усиливают нажим. Но в их штабах уже властвует неразбериха. Связь между армиями, дивизиями и полками постоянно нарушается. Наши «слухачи» то и дело принимают переданные открытым текстом просьбы о поддержке. В гитлеровской ставке примерно такое же положение: только что снят с поста командующего второй танковой армией генерал-полковник фон Шмидт. В середине сражения Гитлер пытается менять генералов, как это было во время Сталинградской битвы... А вот и еще один радиоперехват.— Он достал машинописный лист и передал Толубееву.— Это их оценка нынешнего боя...

Толубеев прочитал:

«...земля дрожит и гудит, о сне нечего и думать. Фонтаны грязи взлетают в воздух, едва узнаешь лица. Здесь совершенно глохнешь, нельзя уже различить отдельные выстрелы и отдельные разрывы... За один день было израсходовано столько боеприпасов, сколько ушло на всю польскую кампанию, на другой день выпущено столько снарядов, как за всю французскую кампанию...»

Кристианс аккуратно сложил листок, убрал, потом спросил:

— А как вы сами оцениваете результаты их наступления?

— Но они все равно продолжают наступать! — воскликнул Толубеев.

— Да,— хладнокровно сказал Кристианс.— Очень похоже на игру их излюбленного музыкального инструмента — аккордеона: сначала аккордеон растягивается, потом сжимается. Но музыка, которую они играют, заказана нами!

— А люди! Люди! — У Толубеева перехватило голос.

— Что ж, в таких сражениях наступающие несут больший урон. Наших солдат бережет земля-матушка, а немцы на виду. Но если мы их не остановим и не разобьем сейчас, придется воевать еще лишний год!

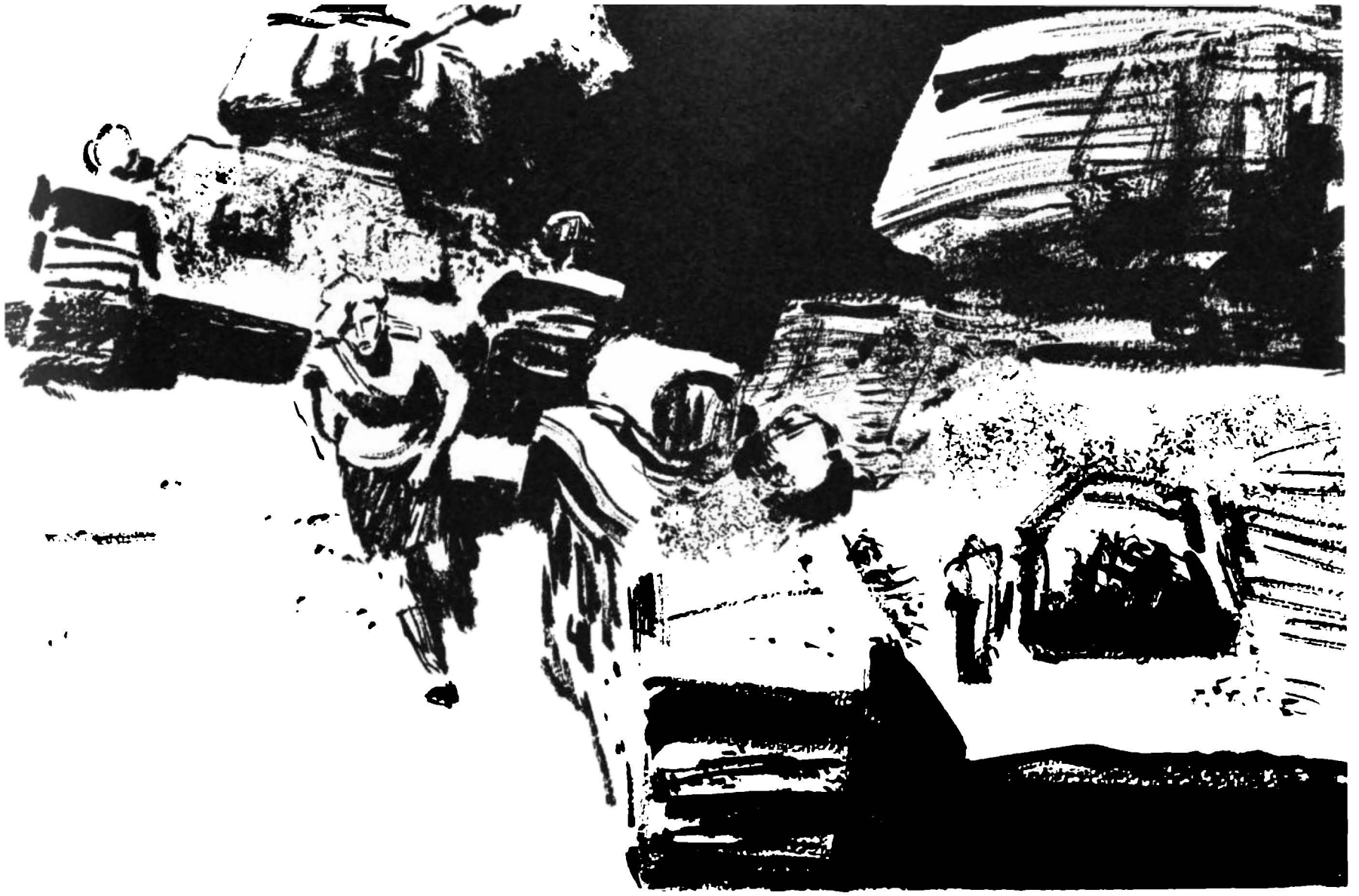
Толубеев умолк. Он уже примечал и раньше, что полковник словно бы воспитывает его, приучает мыслить другими масштабами и понятиями. Как будто он назначен политкомиссаром к молодому командиру. И подумал: «Я, и верно, молодой командир. Всех моих знаний хватит, может, на роту, отсюда и мой кругозор». И тут же решил: «Если этот бой кончится победой, я

попрошу себе батальон, а бригадой пусть командует более опытный, сильный, волевой командир». Сам Толубеев всегда будет помнить о каждом отдельном бойце как о человеке. А командир крупного соединения должен, как видно, думать количествами.

Но и Кристианс умолк. Может быть, и ему представились судьбы отдельных людей, ведущих это сражение. И сколько человеческих судеб кончалось в это мгновение в тяжких страданиях или внезапным падением на пыльную землю, молниеносным переходом из бытия в небытие. Тогда уж лучше внезапно и бесчувственно.

Их молчание прервал шифровальщик: ночью бригада должна была выйти на боевые позиции.

Окончание следует.



ОГНЕННАЯ ДУГА

Николай АСАНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

2

«12 июля наши войска продолжали вести бои с противником на Орловско-Курском и Белгородском направлениях. Особенно упорные бои шли на Белгородском направлении.

Нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направлениях за день боев подбито и уничтожено 122 немецких танка. В воздушных боях и зенитной артиллерией сбито 18 немецких самолетов.

По уточненным данным, за 11 июля на Орловско-Курском и Белгородском направлениях в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит не 31 немецкий самолет, а 71 самолет противника».

СОВИНФОРМБЮРО.

Оперативная сводка за 12 июля 1943 года.

Утро двенадцатого июля Толубеев встретил на командном пункте стрелковой дивизии, прикрывавшей Прохоровку с юга.

Тяжелый танк командира бригады и связная «тридцатьчетверка» были замаскированы в небольшой дубовой роще у подножия холма. Вместе с Толубеевым на КП поднялись его радист, Кристианс и Вита. Вита надеялась опросить пленных, и, хотя это был несостоятельный предлог, Кристианс поддержал ее. Толубеев понял: просто побоялся оставить ее без присмотра, а тут, как, должно быть, надеялся Кристианс, при посторонних она будет спокойнее.

Одиннадцатого июля немцы с двух направлений прорвались к Прохоровке. Все их усилия продвинуться западнее, под Томаровкой, не удались, и теперь они изменили направление удара, пытаясь выйти «на оперативный простор» восточнее Прохоровки с последующим ударом на город Обоянь. Командир дивизии показал карту с последними изменениями в полосе действий дивизии, и Толубеев перенес его отметки на свою карту.

Огромное поле сражения, затянутое не столько туманом, сколько гарью и пылью, было пока безмолвно, только изредка ухали минометы, единственной задачей которых было не давать противнику покоя. Толубеев почему-то вспомнил «Слово о полку Игореве», когда воинов закрыло тьмой солнечное затмение, заметались птицы и звери и таинственный Див закликал с вершины дерева, предупреждая Волгу и Поморье, Корсунь и Тмутаракань о походе русских воинов...

Измученный, усталый командир полка, приютивший в своем расположении НП дивизии, все-таки заметил Виту и любезно уступил ей свое место у стереотрубы. И она впервые увидела поле боя...

Ни та, ни другая сторона не рисковала убрать с поля боя сожженные за эти несколько дней танки. Они так и стояли сизыми железными памятниками. Впрочем, теперь они служили отличным укрытием для пехотинцев, и, может быть, за одним из них прятались просочившиеся ночью немцы, а за другим — русские, которые готовились выдержать новую атаку. Все это объяснил Вите командир полка, потом отошел, присел на пустой снарядный ящик, прислонился к стене и сразу заснул.

Но Вита уже ничего не видела, кроме того, что именовалось «поле боя».

Между тем там, на поле боя, начиналось какое-то неясное движение. Командир дивизии вдруг шагнул к телефону и приказал кому-то: «Огонь!»

Вита поняла: немецкие пехотинцы скапливаются в покатой лощине для атаки, и редкие мины, падающие с гулким уханьем в эту лощину, не достигают их. Командир дивизии, вернувшийся к стереотрубе, что-то крикнул; командир полка, мгновенно проснувшийся при первом минном разрыве, схватил трубку, сказал в нее какое-то слово — «молодцы» или «огурцы»,— и тут из-за редкой дубовой рощицы с диким ревом

Окончание. См. «Огонек» №№ 30—38.

понеслись над самым полем боя длинные хвостатые молнии из синего огня и черного дыма, и в лощине вспыхнул грохочущий пожар, закрывший все пространство впереди огненной пеленой. И Вита поняла: это были советские «катюши»...

Немецкие орудия открыли яростный огонь по дубовой рощице, и Вита подумала: там уже никого нет в живых. Но живых не было в лощине, там еще дымилась земля, но никто не бежал, не выскакивал из этого дымного пламени, а радист, сидевший со своей рацией в уголке, что-то услышал в эфире, доложил командиру дивизии: «Дивизион РГК занял вторую позицию!» И в голосе его слышалось такое торжество, что Вита поняла: гвардейские минометчики сразу после залпа переменили позицию, и теперь обозленные внезапным налетом «катюш» немцы бьют по пустому месту.

И тогда появились тяжелые танки противника.

«Танки дальнего действия, гор громоносных гряда...» — вспомнила Вита какую-то строчку русских стихов.

Даже из безопасного укрытия было странно и страшно наблюдать это тяжкое, землеколеблющее движение сотни, а может, и двух сотен машин, шедших клином, все расширяющимся по мере того, как танки выкатывались из междухолмий и лощин, в которых они скрывались до начала атаки.

Они шли не стреляя, как будто сидящие в них люди считали себя неуязвимыми и презирали жалкие окопчики русских, их мелкие траншейки, их пушки. Шли они железным клином, как когда-то немецкие, закованные в тяжелую броню конные рыцари наступали на русских, но ведь и тогда русские остановили их железные клинообразные орды на Чудском озере. Так неужели сейчас эта клинообразная «свинья», как называли такое построение сами немцы, прорвется сквозь эти окопы, траншеи, пушечные батареи и раздавит тут всех и все?

Она оглянулась на мужа, но тот уже оторвался от амбразуры, взглянул на Кристианса, на командира дивизии, вдруг шагнул к Вите, сильно обнял ее и поцеловал и, странно бледный, но спокойный, с веселыми глазами, спрыгнул в траншею, а за ним спрыгнул его радист, и они исчезли.

Немецкие танки шли на небольшой скорости, они разыгрывали «психическую» атаку, они пытались подавить воображение русских солдат своей мощью, тяжестью, неуязвимостью. Но вот задние ряды танков начали накатываться быстрее, и теперь уже образовалось два клина, три клина, а острие первого построения, казалось, нависло над передней траншеей, над мелкими, наспех вырытыми окопчиками охранения, и тогда танки открыли огонь, буравя русские позиции взрывами снарядов, всплесками пламени, грохотом взрывов.

И в это время заговорила русская артиллерия.

Эти бесстрашные артиллеристы, на руках выкатывавшие противотанковые пушки для стрельбы прямой наводкой, знали свое дело. Прямо перед собой, у подножия холма, Вита увидела, как часто затряслось от выстрелов небольшое орудие, как три или четыре солдата быстро-быстро задвигались около него и головной немецкий танк вспыхнул, прошел еще несколько метров и замер, все сильнее разгораясь темным фиолетовым огнем. И в ту же секунду другой танк наехал на пушку, на людей, а когда он повернул вдоль линии траншей, на том месте уже ничего не было: помятый ствол орудия, какие-то мокрые комья на земле. Но и этот танк недолго праздновал свою победу: из земли поднялся человек и швырнул в него что-то блеснувшее на солнце, и танк завертелся на месте, как вертится пришибленная собака. Но и человек упал и больше не поднялся.

Немцы, видно, определили, что на холме находится наблюдательный или командный пункт, потому что в подножие холма густо посыпались снаряды, и разрывы их все поднимались, уже с потолка текла земля, уже застучало по бетонным плитам осколками, и Кристианс взял Виту за руку и увлек за собой в запасное укрытие, а командиры остались в полуразрушенном блиндаже, вокруг которого грохотала железная буря.

Они пробежали по глубокой траншее метров пятьдесят, и Кристианс ввел ее в другой блиндаж. Тут было попроще, потеснее, не было стереотруб, но амбразуры позволяли видеть поле боя. У одной из амбразур стоял майор, он оказался командиром другого стрелкового полка, был тут и телефонист и радист. Кто-то подал Вите бинокль, и она снова прильнула к амбразуре. За ее спиной полковник Кристианс тихо переговаривался с майором, и Вита, холодея от страха, услышала:

— Да, группа танков прорвалась, пятнадцать или двадцать машин...

Но офицеры говорили об этом так будничнo-спокойно, словно речь шла о визитерах, пришедших нежданно-негаданно, но их тоже нужно принять достойно, и она так же внезапно успокоилась: полковник Кристианс — опытный человек, он сделает все, что надо. Ее душа опять была на поле боя, рвалась вслед за мужем, и тут она увидела его...

Конечно, она увидела не Толубеева, а его тяжелые танки. Они выходили со стороны невысокого еще солнца, с востока, и шли не клином, а лавиной, чтобы было удобнее, как поняла Вита, стрелять по танкам противника. Танки Толубеева нацелились на правый фланг немецкого танкового клина, и немцы еще не видели их.

Тяжелые танки Толубеева быстро сближались с немецкими «тиграми», и Вите показалось, что они уже смешались с машинами противника. Но тут немецкие танки развернулись по чьему-то приказу против нового врага, и оказалось, что их отделяют от русских танков еще триста или пятьсот метров. Но вооруженные тяжелыми пушками советские танки все шли на сближение, непрерывно стреляя, и вот вспыхнул один немецкий танк, второй, третий... Они пылали сизыми факелами под неярким утренним солнцем, и никто не выскакивал из них, не бежал по пустому полю. Но и в полку Толубеева уже вспыхнуло несколько машин, вдруг останавливаясь после быстрого бега и замирая тяжелыми глыбами.

Но остальные машины продолжали свой бег, рассекая немецкую колонну, а из дубовой рощи уже ударили артиллерийские самоходные установки и противотанковая артиллерия, слева вырвались нестройной шеренгой стремительные «тридцатьчетверки», откуда-то из-за холмов показались еще две колонны тяжелых танков «ИС», и Вита со страхом увидела, как теперь уже две или три сотни машин одновременно стреляли, сходились и расходились на этом видимом пространстве, и ей показалось, что под ногами у нее качается земля, что грохот выстрелов и рев моторов возносятся до самого неба...

Она все пыталась отыскать и никак не могла найти командирский танк мужа с белой, крупно нарисованной на бортах цифрой «10», потому что «ИС» продолжали двигаться уже в самой гуще этого машинного боя, рассекая колонну «тигров», скрытые машинами врагов и черной пеленой боя от глаз Виты.

Но вот «ИС» разрубили немецкую железную «свинью» и сразу развернулись в две стороны — фронтом, и Вита различила машину мужа. Толубеев теперь оказался на самом левом фланге колонны тяжелых танков, что ринулись уже с тыла на атакующие немецкие машины, прижимая их ближе к артиллерийским позициям русских, а вторая колонна преследовала отступавшие «тигры», и там и тут все время вспыхивали фонтаны огня и земли, и там и тут горели или останавливались как вкопанные немецкие танки и русские танки, но разорванное немецкое железное чудовище больше не могло срастись, и разрыв между отступающими и прижимаемыми к советским долговременным укрепленным позициям танками все расширялся. Иной немецкий танкист, уразумев, видно, что ему грозит быстрая гибель, вдруг разворачивался и шел назад, но тогда один, два или даже три из наших танков бросались к нему, и он либо снова поворачивался и отступал еще ближе к русским позициям, либо продолжал пробиваться обратно, к своим позициям, но тут же замирал на месте или вспыхивал, как вспыхивает бенгальский огонь детской елочной хлопушки.

Она потеряла из виду танк мужа, а когда снова поймала его в перекрестье бинокля, вся судорожно сжалась. Пушка на танке торчала наискось, по-видимому, заклиненная прямым попаданием снаряда, и к нему подбирался «тигр».

«Тигр» непрерывно стрелял, танк Толубеева со свернутой пушкой без выстрела шел на сближение с «тигром». Вита ничего не могла понять, губы ее беззвучно кричали: «Беги! Беги!», — но танк мужа все приближался к «тигру» и тут внезапно ринулся вперед и всей своей мощью ударил «тигра» в правый его борт...

Вита вскрикнула, как будто эта мощь многотонного удара пришлась по ее усталому, измученному сердцу или она сама нанесла этот удар и теперь умирала, истощенная последним усилием. Полковник Кристианс бросился к ней, выхватил из рук бинокль и прижался к амбразуре. Когда она очнулась и снова смогла встать рядом с полковником, она и без бинокля увидела, что у «тигра» сбита гусеница, но и наш танк встал неподвижно, и ни из «тигра», ни из машины мужа никто не выходит, как будто все они разом погибли.

Вокруг двух столкнувшихся машин образовывалась пустота, как возле гробов с покойниками: живые машины продолжали бой и передвигались к позициям, а погибшие — то там, то здесь, и немецкие и русские — оставались на поле неподвижными глыбами металла, но то из одной, то из другой вдруг выскакивали люди, иные в горящей одежде, другие с оцепенелым однообразием движений, но они еще жили — катались по земле, сбивая с себя пламя, или шли к советским окопам с поднятыми руками, или бежали за этими, сдающимися, с автоматами в руках, но они жили, а две машины, сцепившиеся в жестоком столкновении, стояли неподвижно. Тогда Вита с ожесточением крикнула полковнику Кристиансу:

— Что же мы стоим? Ведь тут рядом связной танк!

Он попытался схватить ее за руку, но она уже повернулась и нырнула в знакомую траншею, побежала, слыша за собой догоняющий топот подкованных сапог, но не обернулась, страшась, что полковник схватит ее, и остановит, и не даст ей выполнить главное дело ее жизни.

Она все опережала полковника, — ведь она была молода, тренированна, а он стар, как ей казалось, — наверно, ему уже было больше сорока, — и она знала, что не поддастся ему, — и вот перед ней уже рощица, теперь с обитой листвой, со сломанными стволами, с перекореженными сучьями. И тут она увидела «тридцатьчетверку», в которой приехала на наблюдательный пункт вслед за танком мужа, и застучала по броне попавшим под руку камнем. Водитель открыл верхний люк, и тут она услышала отчаянный голос Кристианса:

— Вита, подождите, я с вами! Вы же ничего не сможете сделать одна!

Мельком оглянувшись, уже влезая в люк, она увидела, как Кристианс машет ей автоматом, и подумала: «Он не застрелит меня! Или он поедет со мной, или я отделаюсь от него!»

Она хлопнула водителя по плечу, приказывая ехать, и Кристианс каким-то немыслимым прыжком оказался сзади нее. Мотор ревел, и она больше ничего не слышала и не хотела слышать. Тут Кристианс положил перед водителем танка развернутую карту местности, и она увидела пометки: «Отдельное дерево», «Ветряная мельница», «Холм», и холм был помечен крестом, — а затем ломаную линию, сделанную толстым карандашом, и только тут поняла, что полковник показывает водителю проход в минном поле. Она как-то и не подумала, что в своем нетерпении заставит водителя бро-

сить машину на полной скорости через минное поле, и теперь благодарно кивнула полковнику. А водитель уже ориентировался на местности, разыскивая это отдельное дерево, эту ветряную мельницу, от которой давным-давно остался только фундамент и три наката бревен.

Но ее нетерпение, ее страстная молитва помогли ей увидеть эти незначительные приметы, которые понятны только с земли и только пешеходам, тем самым саперам, что ставили тут мины и должны были бы провожать постороннего человека тихим шагом, след в след через эти проходы. И водитель, повинуясь ей, резко вывернул машину возле холма, и тут Вита увидела поле боя снова, но теперь это было полем боя и для нее, потому что полковник Кристианс вдруг прильнул к пулемету, и она заметила впереди ленточку пыли от пуль, а за этой ленточкой бежали им навстречу немецкие пехотинцы с разбитых бронетранспортеров, бежали в атаку, так как их уже отсекли от танков и им некуда было больше бежать, как вперед,— а вдруг они еще победят? И «тридцатьчетверка» казалась им не страшной, потому что они только что увидели сражение тяжелых танков и самоходок, и они все бежали навстречу танку, и только пыльная полоса, взбиваемая пулями уже не перед ними, а среди них, заставила их повернуть вправо, оставив с разметанными руками пять или десять человек в серо-зеленых мундирчиках на пути «тридцатьчетверки».

И тут Вита увидела т о т танк и танк мужа. Она увидела их снизу, с поля, и «тигр» показался ей чудовищно огромным, а приземистый, неподвижный и безжизненный танк мужа очень маленьким. Но больше всего ее напугало то, что «тигр» начал оживать: у нее на глазах медленно приподнялся верхний люк, и в отверстии показался человек в офицерском мундире. Он только взглянул на поле, увидел мчащуюся прямо на него «тридцатьчетверку» и тут же нырнул в танк. И тогда вокруг «тридцатьчетверки» поднялся шквал из земли и стали,— немцы пытались расстрелять ее.

— Направо! Направо!— резко и гневно скомандовал Кристианс, и водитель подчинился этому приказу, а Вита только тут поняла, что они ушли из обзора танкистов, а Кристианс снова прильнул к пулемету, и теперь его пули секли по броне танка там, где раньше открывалась горловина люка.

Водитель резко остановил танк рядом с «ИС», но Кристианс приказал ему податься назад: ему было нужно видеть и верхние люки башни немецкого танка и нижний, аварийный, и водитель подал машину обратно, а Вита выскочила и бросилась к танку мужа. У нее ничего не было в руках, и она попыталась стучать по броне кулаками, пока Кристианс не бросил ей сумку с инструментами. Вита выхватила какой-то тяжелый ключ и принялась выстукивать выученный когда-то радиосигнал: «Вита!», «Вита!», «Вита!». Больше она ничего не умела выстукивать радиосигналами, но ведь этот сигнал ей показал он, Вольёдя, и он должен понять, что рядом с ним не враги, а она, Вита...

Пророкотала очередь из пулемета Кристианса,— это опять начал оживать танк врага, и Вита принялась еще сильнее бить по неподатливому металлу: «Вита!», «Вита!», «Вита!»,— и тогда крышка аварийного люка отвалилась и из него выглянули измученные глаза Вольёди под окровавленной шапкой волос. Он смотрел ничего еще не понимающими глазами, а тяжелораненый водитель все пытался спустить его вниз.

Кристианс выскочил из «тридцатьчетверки» и помог Вите вытащить Толубеева, который тут же рухнул на землю. Кристианс протянул руки и поднял Толубеева. Толубеев был без чувств.

Он был легкий, худой, как в тот странный день, когда она увидела его в усадьбе на берегу озера Треунген, и Вите показалось, что она и одна подняла бы его в танк, но Кристианс не поверил в ее силы и сам втиснул его на сиденье. Потом они подняли водителя. Этот был хоть и невелик ростом, но плотен, тяжел, и Вите показалось, что они никогда не справятся с ним, но они уложили и его. И тогда Кристианс подошел к немецкому танку и постучал.

Он стучал долго, и, как поняла Вита, тоже какой-то радиоприказ, а она сидела за пулеметом, боясь, что вдруг люк внизу откроется и она не сможет выстрелить по человеку. Но открылся верхний люк, и оттуда на землю сначала упали три автомата, два пистолета, потом сумка с документами, и только тогда показались поднятые вверх руки. Но немцу было трудно вылезать с поднятыми руками, и он умоляюще крикнул:

— Мы сдаемся! Сдаемся!

Кристианс мотнул головой, и они начали вылезать один за другим. Их там осталось в живых трое, в этой металлической коробке, и они стали рядом, а Кристианс, отшвырнув их автоматы и пистолеты, обшаривал их, нет ли спрятанного оружия. Потом он приказал им уцепиться за скобы для десантников, швырнул их оружие под ноги Вите, и «тридцатьчетверка» заюлила между сраженными танками и самоходками, и опять Кристианс мотнул головой, указывая на карту с проходами через минные поля, гневно сказав:

— Осторожно! Мина взрывает и чужих и своих!

Сам он стоял в открытом люке и следил за немцами, которых качало на броне. Но они уже смирились со своей участью и совсем не хотели воевать.

Водитель остановил танк у первой траншеи. Навстречу бежал майор, командовавший полком, по траншее бежал из полуразрушенного командного пункта командир дивизии, какие-то люди с сумками на плече, и Вита поняла: санитары...

А совсем рядом продолжался танковый бой, а в глубине советских позиций грохотали взрывы: там добивали прорвавшиеся немецкие танки,— и стояли столбы пыли в полнеба, дым, гарь, и в то же время вокруг была жизнь, хотя и измученная, усталая, полная ожидания смерти. Но не всем было суждено умереть даже в этом страшном бою.

3

«12 июля наши войска нанесли мощный контрудар по вражеской группировке в районе Прохоровки. Здесь произошло невиданное по своему размаху танковое сражение. Одновременно с обеих сторон в нем участвовало более 1 500 танков, сотни самоходных артиллерийских орудий и значительные силы авиации. После сражения поле боя было покрыто грудами металла. Только за один день враг потерял подбитыми свыше 400 танков. В этом сражении особо отличились бронетанковые и механизированные войска, которыми командовал генерал П. А. Ротмистров».

«ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ». 1941—1945.

Это им было суждено прочитать потом, много лет спустя.

Но когда Толубеев окончательно пришел в себя, было всего восемь часов утра, бой все еще продолжался, а его искал тот самый генерал Ротмистров, о котором потом люди будут читать в истории этой битвы. Две бригады тяжелых «ИС», вооруженных 122-миллиметровыми пушками, ворвались в расположение противника, и генерал искал подполковника Толубеева, чтобы тот обеспечил начавшийся прорыв. И Толубеев, пришедший в себя, вызвал радиста, расположился рядом с медсанбатом и стал управлять боем своей бригады, а Вита, присев возле них на обрубке дерева, начала допрашивать командира танкового полка из дивизии «Адольф Гитлер», которого они с Кристиансом взяли в плен. Взял его, конечно, Кристианс, но в своем донесении назвал ее.

Начинался перелом в одном из величайших танковых сражений века...

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Юлиан СЕМЕНОВ

Матери моей Галине Николаевне Ноздриной посвящаю

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. ПЕТРОВОЙ

1

Неторопливым, вальяжным, а потому начальственным жестом Назаров пригласил Писарева к длинному, отполированному до зеркальности столу совещаний, поднялся со своего рабочего места, сел напротив, сдержанно улыбнулся, отчего его сильное лицо со следами загара сделалось еще более литым, собранным, и спросил:

— Что будем пить? Чай? Или попросить кофе?

— Если позволите, кофе.

— Я-то позволю, а вот как доктора?

— На сердце пока не жалуюсь.

— Вам сколько?

— Сорок восемь.

— Не возраст, конечно, но уж пора начинать серьезно думать о здоровье.

— Как начнешь думать,— улыбнулся Писарев, чувствуя, как проходит скованность, охватившая его, только он переступил порог этого большого, в деревянных панелях кабинета заместителя начальника главка,— так непременно заболеешь.

— И то верно,— так же улыбчиво согласился Назаров и нажал кнопку, вмонтированную в этот блестящий стол рядом с телефонным аппаратом.

Вошла секретарь с блокнотиком в руках; Назаров покачал головой:

— Нет, писать сейчас ничего не будем. А вот не могли бы вы сварить кофе? Заслуженный артист,— он кивнул на Писарева,— от чая наотрез отказался. Если у нас остался зеленый, узбекский,— заварите мне чашку, пожалуйста, только не крепко, чтоб сердце не молотило; эскулапы требуют соблюдать режим,— пояснил Назаров и, сцепив сильные пальцы, придвинулся к Писареву, опершись локтями о стол.

«И как локти не покатятся? — успел подумать Писарев.— Стол, словно каток».

...Он всегда с почтением относился к тем, кто умел кататься на коньках. Отец как-то привел его в парк культуры; это было в последнюю предвоенную зиму; гремела музыка: «Утомленное солнце нежно с морем прощалось»; юноши и девушки в байковых курточках и модных тогда очень широких шароварах катились по льду; звук, который издавали коньки, соприкасаясь со льдом, был хирургическим, жестоким.

В раздевалке отец посадил его в кресло, привернул коньки ремнями к ботинкам и сказал:

— Сейчас я надену свои, серебряные, и научу тебя кататься.

Сане Писареву было тогда восемь лет, а отцу тридцать два, и он казался ему очень старым, но самым красивым и умным; он очень жалел отца, особенно после того, как папу сняли из-за брата Лёни с работы и ему пришлось перейти слесарем в автобазу редакции «Известий».

— Ну, пошли, сына,— сказал отец, забросив на плечо свои ботинки, связанные тесемочками.— Давай руку.

Саня поднялся, хотел было протянуть отцу руку, но нога его подвернулась, и он, не удержавшись, упал, больно ударившись локтем об урну.

— Не беда,— сказал отец, подняв его легко и сильно,— я ушибся о камень, это к завтрему все заживет.

— Я об урну, какой же там камень?

— Тоже верно,— легко согласился отец; он всегда легко соглашался с Саней; когда мог, говорил «да»; только раза три в жизни он сказал сыну «нет», и мальчик запомнил эти «нет» на всю жизнь. Особенно одно. Он часто слышал, как сестра отца говорила бабушке: «Лёне уж ничего не поможет, его не восстановят, а Игорь (так звали отца) губит и свою жизнь и жизнь Саньки! Неужели так трудно написать десять слов, отмежеваться от Лёни,— он и так подвел всех нас под монастырь,— и все вернется на круги своя, Игоря зачислят в институт, тебе не надо будет считать копейки, чтобы дотянуть до получки... Саньку и в лагерь-то не взяли из-за его упрямства!»

«Папа,— сказал Санька перед сном, когда отец сел к нему на диван и приготовился сочинять сказку на ночь,— напиши, чтоб меня взяли в лагерь».

«Нет».

«Почему?»

«А что я должен написать»? — после долгой паузы поинтересовался отец.

«Десять слов».

«Какие это должны быть слова, ты знаешь?»

«Нет».

«Если бы тебе сказали, что твоя мама — воровка, что она уносит из своей библиотеки книги к нам в дом, а ты знаешь, что это неправда, но тебе говорят: «Напиши, что она берет книги, и ты поедешь в пионерлагерь «Махру»— ты бы написал?»

«Нет».

«Молодец. Никогда нельзя писать неправду. Говорить, впрочем, тоже. Иногда, правда, случается, соврет человек, стыдно, конечно, но можно простить, если он не со зла это сделал. А вот если он пишет осознанную неправду, тогда он хуже Бармалея и Барабаса. Тогда он просто-напросто... гадюка».

«Как змея?»

«Как змея».

«Живая или мертвая?»

«Живая».

«С жалом?»

Отец высунул язык и сказал: «Вот с таким!»

Санька долго смеялся, а отец гладил его по лицу, и глаза его стали отчего-то очень большими, почти без зрачков.

«Запомни, сына,— сказал он, закончив сказку,— легче всего сказать «да», только есть у нас пословица: «Доброта хуже воровства». Это долго объяснять, но ты это запомни, как «дважды два»,— сгодится, когда вырастешь. Очень трудно говорить «нет»; станут обвинять: «упрямый», «своенравный», обижать станут и обижаться, но если ты знаешь, что прав, иди на все, но ответь «нет». Пройдет время, и незнакомые люди скажут тебе за это спасибо. Большая подлость всегда начинается с маленькой, безобидной лжи».

...Второй раз отец сказал «нет», когда Саня попросил заступиться: его лупили Беркут из второго подъезда и Гога, сосед по парте.

«Почему?» — спросил сын.

«Потому что ты сам должен уметь давать сдачи».

«Но они ж сильней меня!»

«Ну и прекрасно! Неужели ты станешь драться с теми, кто тебя слабее? Это не драка, а избиение. Если они сильней и тем не менее бьют вдвоем, значит, они трусы. А с трусами расправляются. И не бойся синяка: он проходит. А вот ощущение собственной слабости, страх, неуверенность не пройдут никогда, и ты сделаешься несчастным, маленьким мышонком, а не человеком».

...Отец тогда, в парке Горького, вывел Саньку на лед, но мальчик никак не мог стоять на коньках; он то и дело падал, ноги тряслись, разъезжались, отец хохотал, показывал, как надо катиться, расслабив тело. Санька попробовал и снова растянулся, набив себе шишку на лбу. Это было до того обидно, что он заплакал, а отец все равно весело смеялся, и этого Санька не мог перенести: «Какой же ты, папа, жестокий!» И пополз по льду, а мимо него проносились конькобежцы, и звук металла, режущего лед, был страшным и близким.

Отец поднял его на руки, стал целовать, и снова глаза его сделались какими-то по-особенному большими, и Санька, уткнувшись ему носом в шею, прошептал: «Вы все умеете скользить, а я так и останусь на всю жизнь неуклюжим».

И остался. Но с тех пор сохранил какое-то особенное, испуганно-восторженное отношение к конькобежцам, даже все соревнования посещал, силясь понять тайну устойчивости человека на ледяном зеркале.

— Я думаю, Александр Игоревич,— заговорил Назаров,— что разговор наш будет посвящен тому, что вы в своем письме обозначили «генеральной темой». Письмо ваше ставит интересный вопрос, но кое в чем вы перегибаете палку: излишний максимализм в век культурной и научно-технической революции чреват... как бы точнее определить... неоправданным риском, что ли...

Писарев отчего-то явственно увидел лицо отца, услыхал его «нет» и заметил:

— Тот ничего не достигнет, кто не рискует, Станислав Федорович...

Назаров чуть покачал головою, мягко поправил:

— Тот ничего не достигнет, кто не ошибается,— с такого рода формулировкой я готов согласиться. Риск и ошибка суть понятия полярные. От ошибок никто не застрахован, да и поправить ее можно загодя: никогда не поздно просчитать исходные, что ли, данные ошибки. А риск внезапен; экспромт; эмоция, а не спасительная логика. Вы, ваша творческая группа — это малая общность, которая обращается со сцены к большей общности, так стоит ли рисковать в такого рода деле? Будь вы гимнастом — куда еще ни шло, но и там я бы подумал: а ну, не подготовленный толком, грохнетесь и позвоночник сломаете? Каково тогда будет вашему тренеру смотреть в глаза товарищей?

— Искусство не спорт...

— Почему? — искренне удивился Назаров.— Разве катание на льду не искусство? Или возьмите футбольный матч на первенство мира, Франция и Западная Германия. В этом поединке было что-то гладиаторское, а разве можно отказать гладиаторам в праве считать себя артистами?

Писарев улыбнулся:

— Только у нас вместо львов критики...

— И мы еще покоя не даем,— так же улыбчиво добавил Назаров и еще ближе заскользил локтями к Писареву.— Словом, ваши дерзновенные идеи мне нравятся. Я, конечно, не всесилен, но, сдается, руководство главка поддержит меня. Сформулируйте поточнее темы, которые вы хотели бы вынести на подмостки экспериментальной мастерской.

Писарев собрался было отвечать (он вообще-то говорил сумбурно, увлекаясь, поэтому несколько раз дома репетировал сегодняшнюю беседу), как вошла секретарь с подносом; поставила кофе, чай, сухое печенье и конфеты; обратилась к Писареву:

— Только сгущенного молока в моих запасах не оказалось.

— Спасибо, но я как раз пью черный...

Назаров легко глянул на большие часы, стоявшие в углу кабинета, и Писарев сразу же понял, что времени у него в обрез.

«Только б успеть все выложить,— подумал он,— и не переторопиться».

Он отчего-то вспомнил, как мама учила его: «Прежде чем сказать, проведи языком по нёбу пять раз, ты ведь всегда бухаешь, что думаешь, нельзя так».

А отец сердился: «Если человек боится говорить то, что думает, значит, он дрянь! Из таких получаются предатели!»

Эта разность точек зрения мучила мальчика: когда он поступал так, как советовала мама, его лупили, над ним смеялись: «Трус». Попробовал жить по-отцовски — чуть что не исключили из комсомола в десятом классе.

Поэтому, рассказав своим сыновьям, Васе и Димке, про то, как ему приходилось выбирать между отцом и матерью, Писарев посоветовал: «Вы, парни, говорите то, что думаете; это верно, что из молчунов получаются изменники чаще, чем из тех, кто костит все направо и налево, но все-таки прежде, чем произносить слово правды, проведите языком по нёбу раза три-четыре».

Вася, старший, студент уже, посмотрел на младшего брата (они тогда сидели втроем в кафе-мороженом, это у них был воскресный ритуал с тех пор, как Писарев расстался с Лидой, их матерью, и жил отдельно, сняв однокомнатную квартиру у Потапчука, уехавшего в загранкомандировку на три года) и сказал: «Нам тоже трудно выбирать, па».

Писарев хотел ответить, что не он в этом виноват, но потом сказал себе, что и он виноват, поэтому промолчал и, чувствуя, что выглядит в глазах сыновей жалким, начал делать жесты официантке; та подошла быстро, узнав, видимо, его по недавнему телеспектаклю, и он стал излишне экзальтированно выспрашивать ее про какое-то особое ассорти, и тогда Вася положил свою крепкую ладонь на его колено и сказал: «Па, ты только не сердись, ладно?»

...Назаров придвинул к себе маленький блокнот, лежавший возле телефона, раскрыл его, достал ручку, приготовился записывать; на часы больше не смотрел.

— Мы хотели бы,— продолжил Писарев,— во-первых, сделать представление, очень красочное, некий мюзикл, «Министерство сердечности»... О том, как важно нам всем жить с открытой душой, как горько, когда сердечность исчезает из человеческого общения...

— Хорошая мысль,— отметив что-то в своем блокнотике, улыбнулся Назаров,— только за создание нового министерства вас не похвалят, и так их слишком у нас много, нарушать намерены принцип режима экономии?

— «Центр сердечности» — еще хуже,— возразил увлеченно Писарев.— Вроде как «онкологический центр»...

— Ну, это не мне решать, а вам, я только высказываю соображение; повторяю: идея хорошая, добрая, я «за».

— Второе представление, над которым мы много думали, называется пока что условно: «Урок политеса». Я, знаете, до сих пор не могу себе простить, что в букинистический сдал книгу «Правила хорошего тона»... Студент был, денег не хватало на билет, ехали на море нашей коммуной отдыхать...

— Я помню это издание,— откинувшись на спинку стула, сказал Назаров.— Мы изучали эстетику, и наш профессор советовал нам посмотреть именно эту книгу. Мы тогда,— усмех-

нулся он,— должны были как раз драконить этот хороший тон... Крутые были времена, что поделаешь... Тема тоже интересна, нравится мне все это... Я только не очень представляю, как урок политеса можно сделать зрелищем... Если нет интриги, будут ли смотреть? Впрочем, это опять-таки ваша забота, вы художники, вам и решать...

— Это будет очень сюжетно, Станислав Федорович, поверьте, я не умею рассказывать замысел, мне легче показать все это на сцене, с музыкой, кинопроекцией; зрелище, особенно массовое, всегда сюжетно...

— Уговорили,— легко и тактично поторопил Назаров,— согласен.

— У нас множество планов,— зачастил Писарев, но, вовремя спохватившись, провел языком по нёбу два раза и, кашлянув, заключил: — Политес не в том, чтобы соблюдать внешние правила хорошего тона, это мелко; политес — если хотите — можно также подтвердить неким учреждением типа «Министерство красоты»... Но, угадав смешинку в глазах Назарова за мгновение перед тем, как она вспыхнула, легко отыграл: — Штатное расписание, как понимаю, горплан нам не утвердит, так что поищем варианты. И наконец, последнее из того, что мы считаем первоочередным, столь же важным, как и первые две задумки: спектакль под названием «Вехи»...

— Название не годится, наши горячие головы вас обвинят в «смене вех» и во всем таком прочем! И так многих подкусываете в ваших постановках, думаете, мало у вас врагов из числа перестраховщиков?

— Но это же вехи нашей истории, Станислав Федорович!

— Назовите «этапы». Или «часы». «Звездные часы» наконец; никто не упрекнет вас в подражании Цвейгу.

— Еще как упрекнут...

— Опять-таки я высказал свою точку зрения, вы вправе не согласиться со мною, Александр Игоревич... В конечном счете это вопрос формы... Какие периоды истории намерены осветить?

— Начиная с Киевской Руси через Александра Невского к Дмитрию Донскому, Иван Калита, Грозный, смута, Петр Великий, Радищев, декабристы, Пушкин, «Народная воля», Ленин, революция, борьба с нацизмом, космос, БАМ.

— Думаете уместить в одно представление?

— Нет, мы хотим попробовать сделать спектакль, который бы распадался на три представления, вроде бы трехсерийный, на три вечера.

— Любопытно... Вы никак не тронете проблему борьбы за мир?

Писарев неожиданно для себя заскользил локтями к Назарову и чуть что не выкрикнул:

— Так вот ведь и название, Станислав Федорович! Для всего предприятия! «Концепция мира»! Разве нет?!

— Здорово,— согласился Назаров,— просто здорово.

Он снял трубку телефона, предварительно нажав одну из кнопочек на столе — видимо, включился в сеть,— набрал номер и сказал:

— Кирилл Владимирович, добрый день... У меня в гостях Александр Игоревич Писарев... Да... Именно по поводу его письма. У него очень, с моей точки зрения, интересная идея с созданием нового театра массовых зрелищ... Кто у нас этим занимается? Кто? — Назаров быстро пометил что-то в своем блокноте.— Очень хорошо. Вот вы его и попросите подготовить решение, а письмо товарища Писарева я перешлю вам. Хорошо... Да нет, еще не выносили... Просто-напросто плохо проработано, поверхностно... Как бы сказал Александр Игоревич, бессердечно... Да... Пусть посмотрят еще раз, тогда и примем решение... Хорошо, спасибо...

Он положил трубку на рычаг; лицо его чуть расслабилось, потеплело, когда он увидел сияющие глаза Писарева, ставшие гораздо бо́льшими, чем раньше; хотел что-то сказать, но в это время раздался звонок.

— Если б не мог отключаться,— заметил он, снимая трубку,— о работе не было б и речи, звонки, как в справочном бюро.

Глянув еще раз на часы, он сказал:

— Слушаю...

Прикрыл трубку ладонью, извиняюще шепнул:

— Дочка...

Писарев удивился той перемене, которая произошла в лице Назарова: крепко рубленные морщины разошлись, отчего стало заметно, как он стар,— мелкие, сетчатые морщинки на висках, запавшие, усталые глаза, цыплячьи, от постоянного напряжения, продольные складочки на шее.

— Да, Ариночка, да, маленькая... Нет, нет, пара минут у меня есть... Да что ты говоришь?! Ну, поздравляю тебя... Только осторожно, Аришка... Ну, об этом мы еще поговорим. Мы с мамой ждем тебя сегодня. До свидания, Арина...

Он положил трубку, выключил аппарат из сети:

— У Арины очередь на «Жигули» подошла, вчера купила, сейчас номер дали. Она у меня хоть молоденькая совсем, но послезавтра защищается, бытовая химия, чертовски интересно и нужно... Так вот, Александр Игоревич, вашим вопросом, как вы слыхали, займется мой коллега, зовут его Кирилл Владимирович... Возьмите у Аллы Лукиничны — она нас кофе угощала, мой секретарь, мы вместе уж как двадцать лет работаем — номер его телефона и позвоните к нему сразу же, быка надо брать за рога, наше дело чиновное, закрутят по совещаниям, не ровен час забудет. И приглашайте на премьеру.

...В приемной было полно народу.

Алла Лукинична покачала головой:

— Говорили, что на десять минут... Все вы такие, режиссеры да артисты...

Она пропустила к Назарову трех человек из горснаба, сказала ожидающим, что все, так или иначе, смогут посетить Станислава Федоровича до обеда, потом обернулась к Писареву:

— Ну, все хорошо?

— По-моему, замечательно,— ответил он.— Просто-таки лучше и быть не может. Станислав Федорович велел мне от вас позвонить Кириллу Владимировичу...

— Звоните,— ответила секретарь,— вот по крайнему телефону, это наш местный, прямой, три-пятнадцать.

Кирилл Владимирович звонку Писарева обрадовался, спросил о здоровье, планах, посетовал на сумасшедшую погоду и сказал, что через пару дней с Писаревым свяжутся, когда проект решения о создании нового зрелища обретет форму приказа.

...Готовить приказ по театру было поручено не кому-нибудь, а Василию Викторовичу Грущину, который знал Писарева с институтских еще времен; режиссер из него не вышел, он поначалу работал в кинофикации, потом начал пописывать о театре; защитил диссертацию и, наконец, осел в управлении в должности главного консультанта...

2

Труппа репетировала в бывшем складе: начальник отдела нежилых помещений района Трофим Германович Лаптев оказался тем юным «спецом» по кличке «Трюфель», который жил до войны в одной квартире с Писаревыми; они занимали комнату возле ванной, а родители Трюфеля получили чулан возле кухни.

Трюфель был на девять лет старше Писарева и учился в военной «спецухе» возле Бородинского моста; носил клеши и гимнастерку с узенькими погончиками. Ребята преклонялись перед ним; в сорок третьем он ушел на фронт, семнадцатилетним; прощаясь, подарил пацанам кисет с махоркой и три пакетика папиросной бумаги; вернулся — капитаном уже — в сорок пятом, отправляясь на Дальний Восток громить японцев.

Сане Писареву тогда жилось тяжко, мать работала посудомойкой в эвакогоспитале, спасало то, что главврач позволял брать с кухни пюре и капусту в судке; Лаптев пришел к ним в комнату и, взъерошив Саньке голову, положил на стол трофейную «лейку» и упаковку шоколада.

— Перебьешься,— сказал он,— только счастье бесконечно, а всякое горе свой срок знает.

С тех пор они не виделись.

Когда Писарев, взяв двух актрис, много снимавшихся в кино, и композитора, песни которого знают и любят, пришел на прием просить хоть какое-нибудь помещение в аренду для его труппы, Лаптев, щуря маленькие, слезящиеся, прозрачно-голубые глаза-буравчики (глянет — как прошьет, поэтому глаза поднимал редко, боясь, видимо, понять все то, что про него, замухрышистого, в стоптанных ботиночках и кургузом пиджачке не по росту, думали), выслушал просьбу и, резанув Писарева глазами, ответил уныло:

— М-да, вот штука-то така...

Писарев тронул локтем актрису Киру; та, подвинувшись к Лаптеву так, чтобы он близко видел и лицо ее и вырез на платье и ощущал аромат горьких духов, повела свою — заранее расписанную — роль:

— Трофим Германович, станьте нашим другом и советчиком! Мы обещаем вам, что наш театр сделается самым массовым в районе, самым добрым, самым нужным людям!

Вступил композитор:

— Молодежи негде проводить вечера; танцзалов у них нет, кафе тоже, пивных — тем более, вот они и разбредаются по подъездам и подворотням, хулиганство, драки, пьянство. Театр станет неким магнитом, и нужно для этого всего-навсего позволить труппе арендовать пустой склад в Опалихинском...

— М-да,— снова повторил Лаптев и приготовился слушать вторую актрису, Клару.

Та стала говорить ему о трагическом величии подмостков, о Станиславском, о том, как тот начинал; Лаптев вертел в плоских пальцах огрызок химического карандаша, согласно кивал головою, потом, откровенно зевнув, откинулся на спинку скрипучего канцелярского стула и, прикрыв ладонью рот, сказал:

— Поскольку театр начинается с вешалки, во-первых; поскольку вы не можете работать без кулис и подмостков, во-вторых; и, наконец, в-третьих, поелику актерам нужны гримуборные, склад на Опалихинском вам никто не даст.

Писарев посмотрел на коллег, вытаращив глаза (они у него — это от отца — делались большими, вываливающимися, что ли, когда он удивлялся чему-то или радовался, редко — если был обижен), потом захлопал в ладоши:

— Господи, живой! Он живой, люди!

— Я живой,— ответил Лаптев,— а ты Санька, что ль?

— Ну, да,— ответила Кира,— Александр Игоревич...

— А я Трюфель,— улыбнулся Лаптев, поднял глаза на Писарева и вдруг замер, весь съежившись, оттого, что испугался: а вдруг тот не вспомнит. Тогда вся его игра (он к ней загодя готовился, зная, что на прием записался Александр Писарев, заслуженный артист и лауреат) обернется жалкой и не понятной никому клоунадой; и он представил вдруг себя со стороны, а дальше и не знал, про что думать, пока Писарев не поднялся медленно, обошел стол и потянулся к Лаптеву, словно к старенькому отцу, и они обнялись, и начали молча и судорожно — что со стороны казалось ужасно деловитым — тискать друг друга и ерошить волосы.

Кира заплакала, а композитор и Клара отошли к окну.

— Ну вот что,— сказал, наконец, Лаптев чужим голосом,— я тут на всякий случай в шашлычной заказал столик у Жоры, пошли, там и поговорим, я ж нарочно прием на пять тридцать назначил, чтоб вы были последними, приглашай друзей, Саня, милости прошу...

Как и большинство людей, влюбленных в искусство, Лаптев был невыразимо горд тем, что Писарева он называл Саня, был чуть снисходителен к нему, когда представлял в шашлычной Жоре; после первой рюмки заговорил о театре Максимова; заботливо и чуть старомодно угощал актрис, наблюдая, чтобы у них

были самые прожаристые куски мяса; загрустил, когда композитор, так и не выпив ни рюмки, поднялся из-за стола: «Концерт, нельзя опаздывать»; «Да как же, только сейчас чебуреки сделают, Жора сам в честь Сани решил приготовить, он мастер по этому делу»,— и чуть не до слез обиделся, заметив, что Писарев полез за деньгами, расплачиваться.

— Сань, так не надо, я ж заранее все подготовил,— сказал он тихо,— для тебя это просто вечер, а я как словно озону надышался...

Потом, отправив актрис по домам, они ходили по городу чуть что не до утра; Лаптев рассказывал про себя; в шестидесятом демобилизовали, полковник в отставке; дочь замужем, на Шпицбергене, надо покупать кооператив; старуха, да-да, старуха, пятьдесят девять, она ж на два года старше меня, хворает, ревновать стала, как задержусь, так, значит, у баб, а мне б только до дивана и телевизор включить заместо массажа, говорят, как журчат, если не вслушиваться, то и заснешь спокойно, без димедрола; пенсия богатая, двести пятьдесят, и старуха сто десять, но без работы нельзя, погибель, думы грызут, все тебе не то, все не туда, а когда сам в деле, так мир чище видишь, понимаешь две стороны медали, не только на дядю, что сверху, гневаешься, но и на себя самого, на всех нас, тоже хороши; Обломов, Сань, не в Америке родился и не при нашем строе, так что коли все на шустрых валить, и вовсе замшеем, на себя надобно оборачиваться, как-никак мы сила, с нас и спрос; а ты изменился, знаешь, вроде б даже помолодел; нет, правда, мы ж не женщины, чтоб комплиментировать, в тебе, мальчишке, больше старика было, чем сейчас; я понимаю, любимое дело всему голова, как песню поешь каждый день с утра; знаю, и про папу твоего знаю и про матушку, я ж в нашу квартиру заходил, покуда тетя Фрося из девятой комнаты не преставилась, ей же телефон поставили за два года до смерти, как ветерану, так она всех обзванивала, все про всех знала, старушка, пусть ей земля будет пухом; она на тебя не сердилась, они ж, старухи, добрые, говорила, что ты ей часто звонишь, а мне-то известно, что ты и номера ее не знал, два раза торт принес, от твоего имени записочки писал, ну чего ты, Сань, ну, не надо, извини, ей-богу...

...Склад писаревской труппе дали через две недели, Лаптев провел решение рекордно быстро, причем сумел сделать так, что тарной базе, примыкавшей к складу, предложили другое помещение, и Писареву, таким образом, представилась возможность переоборудовать базу под мастерские, гримуборные и костюмерную. Комсомольцы района помогли отремонтировать склад и базу, выходили, как на субботник, два месяца кряду; программа была вчерне подготовлена, но все дело, как всегда, уперлось в формалистику: нужно было получить официальное разрешение на название театра, утвердить Писарева главным режиссером и выбить штатные единицы — директора, администратора и художника; все остальное взяли на себя комсомольцы, даже оркестр и механику сцены.

И вот сейчас, выскочив из такси, Писарев бегом пересек двор, прошел сквозь крошечный вестибюль, задрапированный ситцем так ловко, что казалось — муар или атлас, черт не разберет, толкнул ногою тугую дверь, обитую войлоком, и оказался на сцене.

Здесь на табуретках, столах и стульях, на всем небогатом пока еще реквизите, принесенном из домов, устроилась вся труппа: и профессионалы, репетировавшие у Писарева в выходные дни, и студенты театральных институтов, тайно посещавшие его занятия, и самодеятельные артисты.

Было очень тихо; все знали, что решается их судьба; собравшихся освещала маленькая сорокаваттная лампа, болтавшаяся под потолком; возле Киры сидел Лаптев, он теперь дневал и ночевал в «театральном складе».

— Ура,— тихо сказал Лаптев, первым увидав Писарева.— Победа, Сань?!

— Но какая! — закричал Писарев.

Продолжение следует.

Юлиан СЕМЕНОВ

Рисунки М. ПЕТРОВОЙ

ПОВЕСТЬ

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

...Никто так быстро не умеет обживать новое место, как актеры. Чуть еще только наметилась какая-то общность единомышленников, как появляется девушка, влюбленная в искусство, которая может все, только не может играть, и она понимает это, и это не мешает ей отдавать всю себя сцене; она достает стаканы, бумажные цветы, пальто девятнадцатого века, набор люстр, приводит на репетицию известного актера или режиссера, едет к композитору и легко уговаривает его написать музыку — бесплатно, ради нового театра (которого еще нет, но ведь он есть, пойдите посмотрите, вы должны найти полчаса, машина ждет, нет, конечно, это не машина театра, это брат нашей самодеятельной гитаристки, но он помогает нам постоянно, его завгар на три часа каждый вечер отпускает); она отправляется к поэтам, и те дарят свои песни; потом она приводит старушку, которая вечно ворчит, бесплатно убирается, моет окна, угощает артистов чаем и сушками, купленными на пенсию; появляется меценат из соседнего овощного ларька и по-царски одаривает труппу гигантскими гидропоническими огурцами и маленькими, крепкими, натуральными помидорами, факирским жестом достает из «дипломата» пару бутылок «лимонной», и начинается пир, какой недоступен сильным мира сего с их черепаховыми бульонами и зимней спаржей с фазаном; возникает женщина (обязательно средних лет, как правило, очень полная, в очках, с виду злая) из районного Дома народного творчества; она приглашает журналистов, писателей, фоторепортеров, рассерженных художников; и возникает понятие блекло-белыми волосиками. Это ведь прекрасно, не правда ли? Контрапункт всей картины заключен в этом простом и, казалось бы, сотню раз нами виденном или представляемом плане. Но мы проходили мимо, а Никита споткнулся на этом, вывел в формулу. Явление не существует отдельно от того, кто заметил его; оно незримо увязано с его душою, и только тот, кто с м о г не только увидеть, но и понять, делается художником. Лев Данин готовится к постановке «Леса». Он говорил мне: «Я еще не знаю всех подробностей, я не умею еще ничего толком объяснить, но мне все время видится сцена в гиацинтах... Они должны внезапно посыпаться сверху, они будут выстреливать, как шутихи... Сначала голая сцена, встречаются Счастливцев с Несчастливцевым и говорят, как мы с вами, обычно, буднично, о тетушке, о том, как бы хорошо поехать к ней в имение, а потом вдруг п р о и г р ы в а ю т этот же текст традиционно, как мы к тому привыкли,— они актеры; а в театре все можно, и я заявляю свое право на это «всесилие сцены». Позиция? Блистательная позиция. Мы начинаем наше «Министерство сердечности» с монолога Хемингуэя. Когда я возвращался от Назарова, мне вдруг стало ясно, что в оформлении мы чего-то не потянули, мы и в ткани слова не до конца точны, мы боимся документа, не верим ему, хотим и документ сыграть, не понимая, что в век информационного взрыва истинная драма не выдумка, а факты биографии человечества. Наша сцена обязана вобрать в себя планету; максимум перспективы; проекция, которая обязана отмести все случайные преграды для

— Эклектика, то есть совмещение разностей, не есть нечто антихудожественное, отнюдь. Я чувствую, что нам совершенно необходима киноустановка и подбор хроники; мы должны смонтировать сюжеты гнева, юмора, надежды, трагедии... Дмитрий Степанов рассказывал, как он в Нью-Йорке попал в дансинг «Сиркус». Это было в годы, когда шла война во Вьетнаме, а в Сан-Франциско началось движение хиппи «люби, а не воюй». Противопоставление любви войне трагично, потому что беззащитно. В этом «Сиркусе», рассказывал Степанов, были установлены фосфоресцирующие лампы, от которых светили бело-голубым, мертвенным светом нейлоновые рубашки — тогда еще их носили,— а вместо лиц были провалы, только фиксировалась краска на губах, веках, щеках. Парад масок, феерия грима! Молодежь танцевала рок-н-ролл, а на сцене бился в истерике певец, зажигая людей на движение, на подготовку к завершающему акту плотской любви, которая даст усталость и возможность впасть в сладостное забытье потом, и зал сотрясался от этого ритуального движения, но за певцом на экране постоянно крутили ролик хроники: самолеты ВВС США бомбят джунгли, поджигают их напалмом; на улицах Сайгона расстреливают молодого партизана, и мозги несчастного выбрызгиваются на асфальт; салон, где делают педикюр собачкам; операция на глазах японки, чтоб сделать их круглыми, то есть модными, безликими, среднеевропейскими; холера в Пакистане... Понимаете меня? Я слушал Степанова, и мне казалось, что я сам нахожусь на этом антиспектакле, который, по существу, и есть истин-

д о м а, а что есть в мире нежнее чувства очага, то есть добровольной человеческой общности?!

...Поэтому, когда стихли аплодисменты (никто так не умеет аплодировать, как актеры), внештатный главный администратор Ирочка принесла три бутылки шампанского, купленные ею на деньги, одолженные у мамы; тетя Аня, пенсионерка из соседнего дома, ставшая внештатной уборщицей, расставила на ящиках из-под апельсинов стаканы, и Писарев подробно, сияя огромными своими глазами, рассказал про то, как его принял Назаров, какой хороший был разговор, какой Назаров сторожкий мужик, себе на уме, но думает славно, не зря, видно, его назначили, не костолом, с ним можно дискутировать, доказывать свою точку зрения; не навязывает решения, предлагает варианты; ждет приглашения на премьеру; вопрос о конституировании театра решится формальным актом в течение двух дней.

— Он утвердил три наших задумки,— продолжал Писарев.— Что касается названия «Вехи», то он против, и с ним надо согласиться; Назаров советовал не подставляться под прицельный огонь перестраховщиков, верное соображение. У нас мало времени и много дел, чтобы тратить себя на пустые споры. Сегодня, когда все свершилось, мы должны спросить себя: готовы мы поднять занавес в осеннем сезоне или нет?

— Готовы,— донеслось со всех сторон.

— А я вдруг испугался,— сказал Писарев.— Честное слово! Недавно сидел с Михайловым, он начал работать своего «Дмитрия». Он рассказывал, как видит главную сцену, определяющую будущий фильм: раннее утро, поле Куликово, трава в капельках росы; угадываются воины, ждущие начала боя, и сквозь эти травы идет мальчик, худенький, черноглазый, с

чувства. Искусство тем выше, чем больше оно приближается к бесконечности. Софокл бесконечен, как и Шекспир, Мольер, Островский. Наш Грибоедов родился, когда Радищев закончил свое «Путешествие», то есть когда в России утвердилась революционная мысль, интеллектуальное бесстрашие, а погиб, когда Пушкин подходил к идее «Медного всадника». Шекспир родился в год смерти Микеланджело, а ушел в добровольное изгнание, когда запищал младенец, нареченный Рембрандтом. Шекспир ушел, преодолев статику, он был бесстрашен на площадке, где разыгрывал свои действа; лестница так лестница, буря в поле так буря, если так было, если это переживал Лир. Да, действительно всякая даль страшит человека, ибо она требует преодоления пространства между тобою, актером, и им, зрителем; всякое преодоление трагично и подвластно лишь тому, кто имеет мужество, волю и силу; живописец трагически переживает пространство между его глазами и чистым холстом, он обязан преодолеть его и создать новый мир; близкое — угодно людям, оно продиктовано привычным чувствованием, «мне это знакомо, нужно лишь протянуть руку», но разве это искусство, когда близко?! Готовы ли мы к преодолению? Мы рискнули заявить себя как сообщество новаторов, и это прекрасно, но отдаем ли мы себе до конца отчет в том, какое нам предстоит преодолеть п р о с т р а н с т в о в оставшиеся до открытия сезона месяцы?— Писарев давно уж слышал, как надрывается телефон, проведенный в костюмерную стараниями монтера Гарика, занятого в самодеятельном оркестре. Это мешало ему, поэтому он несколько раздраженно обернулся к главному администратору.— Ириша, ну, подойдите же, так говорить трудно...

Ириша бесшумно побежала к телефону, а Писарев продолжал:

ный спектакль без зрителей — одни участники...

Писарев заметил, что все смотрят в проем за его спиною; оглянулся — тоненькая контурная фигурка Ирочки была там.

— Кто?— спросил Писарев.— Пусть позвонят позже.

— Из милиции,— ответила Ирочка.— Говорят, по срочному делу...

— Подождут,— отрезал Писарев, но вдруг с фотографической, слепящей резкостью увидел лица своих мальчиков, уехавших с матерью в Гагру, и, не говоря более ни слова, бросился вон со сцены...

3

Молоденький капитан подвинул Писареву пепельницу.

— Если хотите курить, пожалуйста.

— Вы мне, пожалуйста, подтвердите: с мальчиками действительно все в порядке?

— Я же говорил вам — в полнейшем.

— Так отчего же такая срочность?

— Это связано с вашей женой, Лидией Афанасьевной.

— С женой? Несчастье?!

— Да нет... Не то чтобы... Вы ее подругу Дину знаете?

— Я не знаю ее подруг.

— То есть как?

— Не знаю, и все тут. Вы, пожалуйста, объясните, чем вызван этот вызов... Я б не приехал, право, не нафантазировав бог знает что про детей... У меня работа, я бросил людей...

— У меня тоже работа, Александр Игоревич... Итак, Дину Гаврилову вы не знаете?

— Не знаю.

— Какие драгоценности есть у вашей жены?

— Я подарил ей обручальное кольцо; потом сережки, когда первый сын родился, и

Продолжение. См. «Огонек» № 1.

браслет, когда появился Васька, младшенький...

— А колье?

— Какое колье?

— Бриллиантовое.

— Не знаю, я, во всяком случае, не дарил.

— Как же так?! Муж, и не знаете?

— Мы живем поврозь уже как пять лет.

— Но в одной квартире?

— Мне непонятен предмет разговора... Не имею чести знать вашего имени и отчества...

— Капитан Друзов, Роберт Дмитриевич, уголовный розыск...

— Мне предмет разговора непонятен, Роберт Дмитриевич.

— Объясню... Ваша жена сейчас отдыхает с детьми в Гагре, да?

— Верно.

— Так вот, вчера неизвестный мужчина — на жаргоне говорят «фармазон» — забрал у Дины Гавриловой бриллиантовое колье вашей жены, оцененное в очень большую, прямо-таки громадную сумму. Из Гагры пришло спецсообщение, мы обязаны разобраться во всем этом деле...

— Фу, ты, боже мой!— улыбнулся Писарев.— Слава богу, а я уж черт знает что себе нафантазировал...

Капитан Друзов посмотрел на Писарева с несколько недоверчивым недоумением:

— Неужели вас не удивляет все это дело? Подруга, которую вы не знаете; колье, которое не дарили...

— Пусть бы это было самым большим несчастьем в ее жизни...

— Вы разведены?

— Нет.

— Где вы в настоящее время проживаете?

— На квартире моего товарища, который находится за границей.

— В качестве кого?

— Нет, нет,— снова улыбнулся Писарев,— не эмигрант, упаси бог... Доктор, он работает в Африке, в нашем госпитале.

— Назовите, пожалуйста, его фамилию и адрес квартиры.

— А при чем здесь он?

— Мы будем обязаны опросить всех.

— Ну, так я съеду с его квартиры... Мне вообще этот вопрос непонятен, да и весь разговор какой-то странный...

— Я имею основание задавать вам любые вопросы, Александр Игоревич, так же как и вы обладаете законными гарантиями ни на один мой вопрос не отвечать.

— Это допрос?

— Пока беседа. Не захотите говорить со мною в интересах расследования дела — придется писать допрос; не станете отвечать — ваше право, будем ковыряться сами, вот и вся недолга...

— Ну, хорошо, я понимаю... Только мне все это в высшей мере, сами понимаете, неприятно; точнее говоря, горько... Лида — очень хороший человек, добрый, но мы... Словом, как ни клеили, не склеилось. Фактически мы не живем вместе лет уж как семь, но уехал я из своей квартиры пять лет назад... Разводиться не мог. Да и, в общем, мне это не надо, если только ей... Семьей обзаводиться я не собираюсь, у меня работа и дети да еще друзья... Младший мой, Васька, ужасно любит мать, очень болезненно переживает, что мы поврозь живем, так что приходится поддерживать ради него какую-то видимость семьи: мол, поссорились, помиримся; о разводе не может быть и речи, пока он не вырастет, грозился сбежать, если это случится...

— Сколько вы даете денег семье?

— Половину зарплаты... Половину всего, что зарабатываю: на радио, в институте — я там веду курс,— в кино... Много плачу́, с избытком хватает...

— А зачем же было продава́ть колье?

— Откуда я знаю...

— У вашей же... у Лидии Афанасьевны есть какой-нибудь друг?

— Об этом говорить не будем.

— Но откуда же у нее это колье?

— Не знаю. И не хочу знать.

— Лидия Афанасьевна сказала, что колье ей подарил дедушка...

— Лев Дмитриевич? Наверняка. Сам академик, и отец был академиком, и дедушка... Наверняка у них есть фамильные драгоценности...

— Вы не видели?

— Я ж не на драгоценностях женился, а на Лиде... Да вы Льва Дмитриевича спросите.

— Лидия Афанасьевна не хочет, чтобы спрашивали деда, она говорит, что это может его травмировать, а он только недавно перенес третий инфаркт...

— Верно. Золотой старик. Его надо поберечь. Но если Лида говорит, что это колье — подарок деда, можете ей верить, так, значит, и есть.

— Если вы достаточно платите семье, зачем ей надо было продавать это колье? Почему именно на юге? Отчего через подругу?

— Не знаю.

— А вот она показала, что ей нечем было отдать долги...

— Это ее дело.

Капитан Друзов пожал плечами, подвинул Писареву стопку бумаги:

— Напишите объяснение.

— Какое?

— По поводу этого дела.

— А что я должен писать?

— То, что сказали мне: подругу не видали, какие долги, не знаете, колье не дарили, дедушка мог... Захотите добавить, что может как-то помочь нам в поиске похищенного,— буду благодарен... Вы ведь тоже формально потерпевший. Прописаны в одной квартире, не разведены, муж и жена...

— ...одна сатана,— добавил Писарев, внимательно оглядев капитана, его ладно скроенную фигуру и аккуратно подогнанную форму.— Я понимаю, как вам противно копаться во всем этом дерьме, в нашем дерьме, добавил бы я...

— Каждому свое,— вздохнул Друзов.

...Прочитав объяснение Писарева, капитан отметил пропуск и, провожая к выходу, поинтересовался:

— Над чем сейчас работаете?

— Да много всего... Театр собираемся новый открывать, сразу три представления готовим.

— Новый театр? Думаете, количество перейдет в качество?

— Изверились?

— Есть маленько. Как куда в театр ни пойдешь — всюду вливают новое вино в старые мехи. Навязывают Мольеру и Шекспиру с Чеховым проблемы, которые тем и не снились... Думают, человечество не изменилось... Уж если такое философское понятие, как скорость, вздыбили, себе подчинили, пространство преодолели, так неужто человек поры Шекспира во всем подобен нынешнему? Отгораживаться в наш век глупо, если не смешно...

— Отгораживаться? Это как?

— Это пытаться огородить себя от прогресса. Пусть, мол, все движется, а мы какими были, такими и останемся.

— Мы как раз об этом и хотим сделать спектакль. «Урок политеса» будет называться.

— Кто автор?

— Дмитрий Степанов.

— Любопытно. Ну, всего вам хорошего. Если что вспомните, позвоните.

— Хорошо, если вспомню — позвоню. Только вряд ли что вспомню, право.

...Подполковник Хорошилов, прочитав объяснение Писарева, поднял глаза на Друзова; тот покачал головою:

— Он действительно ничего не знает... А если б и знал, то не сказал бы...

— Повесили на нас дельце, пойди отыщи этого мошенника... А почему Писарева отдала колье Дине этой самой? Отчего в комиссионный не понесла?

— В комиссионном сказали, что слишком дорогое колье, долго будет ждать покупателя, а за хранение какие-то проценты берут... Дине отдала оттого, что носит фамилию мужа; говорит, мол, не хотела, чтоб был излишний интерес к его имени.

— Что он, Высоцкий, что ль?! Или Райкин? Диной этой самой занялись?

— Конечно.

— Попусту его не тревожьте, они ведь обидчивые больно, эти артисты с режиссерами, у каждого покровителей тьма самого высокого ранга... Запросите на Дину и всех знакомых Писаревой характеристики...

— А на него?

— Дело есть дело, надо соблюдать форму. Справочку мне напишите, чтоб я толком начальству доложил, у меня в пять рапорт. Успеете?

— Схематично — да.

— Так вы иначе, как схематично, пока ничего и написать не сможете, как ни бейтесь... Месяцев восемь в лучшем случае придется ковырять эту кучу... Вот бабы, а?! Особливо избалованные... Им бы белье постирать да полы помыть по квартирам, чтоб устатку поболе... А как этот Писарев? Не фордыбачил?

— Нет,— ответил Друзов, чуть помедлив поначалу.— Достойно себя вел.

...В кабинете кадровика управления, когда раздался звонок капитана Друзова, как раз и находился главный консультант управления, кандидат искусствоведения Василий Грущин, готовивший по поручению руководства справку на Писарева и его коллектив...

Грущин не просто не любил Писарева; он болезненно, до темноты в глазах ненавидел его.

Поначалу, в институте, они были друзьями, особенно на первых двух курсах,— высокий, очень спортивный Василий и Санька, квадратный, словно обрубок, с перебитым в драке носом, растолстевший после того, как врачи запретили ему заниматься боксом, после третьего по счету нокаута.

Санька был всегда влюблен в своих друзей, очень ими гордился, выставлял их вперед: «Василий Грущин — грандиозный режиссер, он наделен даром, он впереди всех нас, мы ему в подметки не годимся», «Митя Степанов — великий репортер, я убежден, что после института он сделается звездой» (имя Михаила Кольцова тогда еще не произносилось вслух), «Левон Кочарян — самый замечательный парень, какой только есть, он вообще гений, он всесторонен, а его главный талант — быть другом».

Санька всегда помнил, как на дне рождения у Льва Меломанова, в Покровском-Стрешневе, отец произнес тост:

— Молодой грузин, гуляя по развалинам старинной крепости, забрел на кладбище. Тишина там была, только сухо стрекотали кузнечики и налетал порою сухой, горячий ветер. Молодой грузин ходил среди надгробий и читал надписи. На одном камне выбито: «Шота, родился в тысяча восьмисотом году, умер в восемьсот девяностом, жил на земле двенадцать месяцев»; на другом: «Серго, родился в восемьсот десятом, умер в восемьсот тридцать шестом, жил двадцать шесть лет»; на третьем: «Акакий, родился в восемьсот пятом, умер в девятисотом, жил на земле пять месяцев». Повстречался молодому грузину старый пастух, и обратился юноша к деду с вопросом: «Ответь мне, уважаемый, отчего такие странные надписи на здешних надгробьях? Человек прожил чуть что не сто лет, а написано всего пять месяцев!» Старик ответил: «Юноша, в нашем крае возраст человека определялся не по тому, сколько лет он провел на земле, а по тем мгновениям, что он отдал дружбе». Так выпьем же за дружбу, Левушка и Сережа Новиков!

Санька долго раздумывал над отцовским тостом, а потом однажды сказал:

— Па, а все равно не выходит...

Отец удивился:

— О чем ты?

— Помнишь, ты про грузин рассказывал, которые дружат?

— А как же.

— Так вот, не мог Серго прожить двадцать шесть лет.

— Почему?

— А спать-то он должен был? Во сне ведь нельзя дружить!

— Можно, сын. Если ты ложишься спать, зная, что есть у тебя друзья, то и во сне ты будешь с ними и проснешься счастливым.

Санька ужасно тосковал, когда видел, что в команде что-то не складывалось; Митя Степанов не любил Василия Грущина, подтрунивал над ним постоянно, как-то сказал: «Вася, знаешь, на кого ты похож? Ты похож на Мартынова». «Ничего подобного,— ответил Грущин,— Мартынов крепкий, приземистый, рез-

кий, груболи́цый, чисто тамбовский тип лица». «Да я ж не о поэте говорю,— усмехнулся Митя.— я о том Мартынове, который Лермонтова убил».

Ответь бы ему Василий что-нибудь резкое, и все бы обошлось, мало ли, неудачная шутка, с кем не случается, но быстро реагировать Грущин не умел; он зато умел тяжело, глубинно обижаться; таил гнев в себе, думал, как отомстить, придумать не мог, оттого злобился, и не только на Степанова, но и на Левона и на Саньку: отчего промолчали? Зачем не ответили?

Он не знал, как Санька, провожая Левона и Степанова в общежитие, корил Митю:

— Разве можно так? Ведь это действительно обидно. Трудно тебе было обернуть все на шутку? Васька знаешь какой ранимый? Придумай что-нибудь, как все это уладить, Митяй, так нельзя, честное слово. Вася даже побледнел, ты не заметил, а у меня все внутри застыло.

— Ты почему его не любишь, Митяй? — спросил тогда Левон.— Может, ты что-то знаешь и не хочешь сказать нам?

— Не люблю — это точно,— согласился Митька.— А почему — не знаю. Чувствую я и ничего с собою не могу поделать, чувствую.

— Ты не прав, Мить,— сказал Писарев.— Это все как-то нехорошо. Ты не прав... Пусть девушки чувствуют, мы, мужики, должны поначалу думать, но перед тем как сказать жестокое — если это правда,— все-таки нужно хотя бы пару раз провести языком по нёбу.

Но Митька, к сожалению, был прав. Он всегда оказывался правым.

Недавно он сказал Писареву: «Знаешь, Сань, литератор, если, конечно, он литератор, а не слагатель слов во фразы, а фраз во книги не про человеков, а про то, как лучше модернизировать фабрику или наладить уборку озимых раньше срока, обязательно чувствует все кожей, ладонями, что ли. Меня недавно скрутил радикулит, встать не мог, Кирилл Симонян приезжал, ничего не смог сделать; тогда Саша Горбовский привез Владимира Ивановича, инженера по нефтепроводам. Тот перевернул меня на живот, сказал расслабиться, замер надо мной, и я минут через пять ощутил блоки тепла на позвоночнике, возле копчика. Так было недолго, но мне показалось, что я уснул. Владимир Иванович между тем тронул меня за плечо и сказал: «Вставайте». Я рассердился: «Двинуться не могу, а тут — «вставайте». «Вы здоровы, встаньте, попробуйте, во всяком случае». И я, несмотря на страх, что снова проколет дикая боль, пошевелился. Боли не было. Я встал. Боли не было. Вышел в комнату, где сидел Вася Романов. Боли не было. Спросил, можно ли выпить по этому поводу. Владимир Иванович ответил: «Не только можно, но и нужно, тем более что я беру гонорар коньяком». Симонян сказал: «Нельзя пить, снова начнется боль, да и вообще все это похоже на гипноз». «Гипноз так гипноз,— ответил Владимир Иванович.— Я ведь ничего не прошу, я просто помогаю человеку, чтобы не было боли. Пить можно. Боли не будет». Вася Романов сказал: «Хочу подтверждения эксперимента!» Владимир Иванович ответил: «Пожалуйста. Поднимитесь, отойдите в угол, выставьте перед собою руки и честно отвечайте на мои вопросы». Вася поднялся, отошел в угол; напротив него встал Владимир Иванович, протянул руки и нацелился своими ладонями на Васины. И так они стояли минуту-две. А потом Владимир Иванович спросил: «Что вы ощущаете?» И Вася честно ответил: «Жжение в ладонях». Владимир Иванович обернулся к Симоняну. «Я могу—в вашу честь, как представителя консервативной медицины,— поставить диагноз моему визави?» «Извольте»,—хмыкнул Симонян. Владимир Иванович снова вытянул руки перед собою, и навел ладони, словно локаторы, на Васю, и начал медленно водить ими, повторяя очертания контуров Васиного тела. А потом сказал: «Я чувствую металл под ребрами, слева, ниже сердца... Не отвечайте мне пока что, не перебивайте меня... Я ощущаю нечто чужеродное правее печени, в желудке, нет, в кишечнике, слепое утолщение, оно неопасно...» Вася не утерпел, победно глянул на Симоняна и изрек: «Ладонный рентгенолог установил абсолютно точно: правее печени у меня киста, доброкачественная, как говорят консерваторы; под сердцем осколок, удалять опасно, ношу свинец войны с гордостью. Владимир Иванович, я поражен и восхищен. Откройте ваш секрет!» А тот ответил: «Никакого секрета. Просто я настраиваюсь на вас, я ответствен за свое чувствование и, таким образом, за слово». Митя, рассказывая об этом Писареву, был грустен, лоб резала резкая морщина. «Писатель,— повторил он тогда,— если он писатель, обязан чувствовать человека, ситуацию, возможность, грядущее, прошлое. Ладонями. Всей кожей. Мясом, если кожу содрали. До последнего дыхания. И никак иначе».

Степанов почувствовал Василия Грущина первым, хотя тот ценил Митьку,— старался, как мог, услужить ему, дважды просил написать сцену к первой самостоятельной постановке, но Митька ему помогать не стал, сидел с Саней, готовили композицию по мотивам «Романтиков» Паустовского. Вообще-то на курсе Василий Грущин был первым поначалу: всем преподавателям импонировала его манера неторопливой раздумчивости; память у него была феноменальной, мог читать наизусть чуть что не страницы пьес; великолепно отвечал по всем общественным дисциплинам; на первом семестре сдал за весь институт немецкий и попросил себе факультативно английский; работал в лекторской группе; очень потел, когда выступал на незнакомой аудитории, причем потеть начинал с кончика носа; правда, он ловко придумал себе чисто актерский прием — вроде бы поправлял очки, а на самом деле утирал капельку небрежным жестом левой руки... А Санька еле тянул от сессии к сессии; пропадал со Степановым и Левоном в танцзале «Спорт», единственном тогда в Москве, упоенно танцуя танго «Нинон» со спортивными «чувихами»; после каждого заработка (они калымили втроем на Киевском вокзале ночными грузчиками на товарной станции) принимал участие в «процессах», которые чаще всего происходили в бывшем ресторане «Аврора», что на Петровских линиях; неделями ездил на подмосковных поездах, чтобы записать песни инвалидов, собиравших милостыню...

Василий показал сцену из «Бесприданницы». Он раз двадцать ходил в кинотеатр «Повторного фильма», когда там крутили протазановскую ленту; его актеры абсолютно точно скопировали интонации Кторова и Алисовой, но ведь копия хороша, если только она авторская...

Преподаватели недоуменно переглядывались: Грущин показал н и ч т о, поделку. А Санькиных «Романтиков» приняли «на ура» и предложили обкатать композицию в колхозных аудиториях Подмосковья. Это было прекрасное лето, когда Санька, Митяй, Лена Шубина и Юра Холодов бродяжничали на попутных грузовиках, ночевали в маленьких домиках сельских школ, свернувшись калачиками на полу, а по вечерам давали представление на открытых площадках, и не было в жизни более благодарных зрителей, чем тогдашние беспаспортные, без права выезда в город колхозники, все больше женщины, дети да инвалиды, пятьдесят третий год, восемь лет всего как кончилась война...

А на втором курсе Митяй написал Саньке композицию по «Лейтенанту Шмидту» Пастернака. И Санька, несмотря ни на что, стал сталинским стипендиатом. А Василий показал отрывок из «Далеко от Москвы» Ажаева, и ему поставили тройку. Было обсуждение показов; Санька утешал Грущина, говорил ему, что хорошее начало, как правило, оборачивается дурным концом. «Ты меня задавишь на третьем курсе; хочешь, следующую постановку сделаем вдвоем?» Василий докурил сигарету, жадно затянулся напоследок и ответил: «Что ж, спасибо, подумаю». Они вошли в зал, и первым на трибуну поднялся Василий.

— Думаю, все согласятся со мною: у нас определился лидер, и этого лидера зовут Александр Писарев. Его постановка, бесспорно, самая интересная, именно потому я и хочу поделиться с вами своей тревогой за будущее нашего товарища, которого все мы успели полюбить за те полтора года, что вместе учимся в стенах нашего замечательного института, ставшего для нас родным домом. Постановка Сани, повторяю, талантлива, но ведь она вся... как бы не обидно выразиться... она вся формальна, в ней налицо рациональность, расчет, в ней нет изначального чувства, все выверено, как в математике... Разве это типично для нашего искусства? И оформление какое-то модерновое, будто не в Москве придумано, а далеко на Западе. А ведь там художнику приходится фиглярничать, чтобы заманить зрителя, ошеломить его и на этом сделаться заметным... Разве нам это нужно? Разве наш зритель этого ждет? Когда я смотрел постановку, я забыл о Шмидте, товарищи, я только ждал, чем Саша еще ошеломит нас. Чем? Саня, не сердись, Платон мне друг, но истина дороже! Ведь когда ты показывал свою работу, ты не о лейтенанте Шмидте думал, а о себе как режиссере! Ты стал им — для меня, во всяком случае... Но ты им останешься навсегда и для всех, если будешь сначала думать о герое, а потом уже о себе... Не сердись, Саня...

Писарев сидел, глупо улыбаясь, не в силах понять, что случилось. За него заступались студенты; профессор смотрел на своих питомцев влюбленно; когда страсти накалились, бросил с места:

— Значица сказа, мне нравится все это! Молодец Писарев, и Грущин тоже молодец! Сшибка мнений рождает, так сказать, атмосферу творчества! Но в споре не надо пользовать бланки обвинительного заключения. Истинную принципиальность отличает широта взгляда, терпимость и доброжелательство. К барьеру, Писарев! Я хочу посмотреть, сколь вы сильны и доказательны в диспуте. Я намерен послушать, как вы умеете защищать свое искусство!

Писарев тогда поднялся, долго молчал, хотел было говорить о том, что он понимает под термином «формализм», думал рассказать о Шостаковиче, Таирове, Кончаловском и Прокофьеве, которых корили этим самым формализмом, но потом неожиданно для себя повернулся к Грущину и сказал:

— А ты, знаешь ли, большая подлюга.

— Значица сказа,— рассмеялся профессор, точно с ы г р а в свое понимание слов Писарева как актерскую, хорошо поставленную шутку,— не довод! Не довод!

— Есть и довод,— ответил Писарев.— Я только сейчас понял, что такое зависть. Это когда один человек не может осуществить свой замысел, а другой может. Такое не прощают. И человека пепелит изнутри, он кончен, и ничто его не спасет, он пропал для людей...

Продолжение следует.

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Юлиан СЕМЕНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. ПЕТРОВОЙ

...Дослушав разговор кадровика с капитаном Друзовым, консультант управления Василий Грущин легко пробросил:

— Вы б порасспросили, что случилось... Саня Писарев мой институтский знакомец, он горяч и крут; когда его исключили из комсомола и института за неправильное поведение как комсорга, он такое натворил... Мы его с трудом спасли от ба-альшой беды... Сейчас его думали двигать на главрежа... Надо вовремя во всем разобраться... И, с другой стороны, талант не убережем — отвечать придется не перед кем-нибудь, перед собственной совестью...

А вернувшись к себе, он снял трубку телефона, набрал номер и сказал:

— Игорек, ты позвони завтра нашему кадровику, попроси его навести справки о том периоде, когда Саньку Писарева подставил его директор, Киреев, помнишь, этот деляга сгорел на левых концертах? Я готовлю для Саньки сюрприз, его двигают вверх, так что надо парня прикрыть, если кто-нибудь решит копать его белье... Да как не помнишь?! Это было в пятьдесят девятом, когда Киреев возил их группу на Абакан — Тайшет, его потом посадили за махинации на два года, а Санька год отмывался за чужие грехи... Пусть наш дед перепроверит, не висит ли еще что на нем: вовремя отбить товарища — святое дело... Да... Именно... Только на меня не ссылайся, все ж знают, что мы однокурсники, рука руку моет и все такое прочее... Да... Когда поужинаем? Нет, завтра закрыт... Давай в пятницу, святой день, в субботу похмелиться можно!

4

Писарев проснулся ровно в шесть, будто кто потряс его за плечо. Он проснулся счастливым, потому что ему показали хороший сон; это было у него четыре раза, когда он видел именно этот сон, и он считал это счастливым знамением, особенно еще потому, что сегодня было тринадцатое, а цифра эта была для него добрым знаком.

Ему виделось, как по васильковому лугу (оттого, что в него было вкраплено несколько белых ромашек, синее было явственным, близким, слышимым, особенно когда налетал ветер; он был теплым, пахло полынью) бежали Васька и Димка. Они были маленькими еще; в руках у Василька был змей; Писарев не умел делать змеи, только помнил, как отец мастерил ему эти штуки, и еще он помнил ощущение прерванного дыхания, когда змей взмахнул из папиных рук и затрепетал в белом знойном небе, и вокруг него метались черные тире ласточек, которые приняли этого воздушного змея за большую беззлобную птицу, умеющую радоваться солнцу так же, как и они сами.

И каждый раз, когда Писареву показывали этот сон, он просыпался с ощущением счастья оттого, что научился мастерить змея, что отныне — что бы с ним ни случилось — он сможет дарить детям радость: на прозрачную бумагу, клей и палочки много денег не надо, даже если лишат телеэкрана и кино, зарплаты в театре хватит, ставку актерам повысили, сто семьдесят в месяц, чуть что не персоналка...

И действительно, каждый раз после того, как Писарев видел этот сон, его ждала удача.

Он потянулся за сигаретой, продолжая улыбаться, но потом вспомнил вчерашний вечер, когда вернулся в театр, и там уже никого не было, и он заказал разговор с Прикопьевыми в Гагре (у них всегда останавливалась Лида с мальчиками), и услыхал глухой Лидин голос, и сразу же представил себе ее заплаканное лицо, он до сих пор очень любил ее лицо, потому что все в ней изменилось, кроме лица, и поначалу долго не мог понять ее, потому что она повторяла одно и то же:

— Господи боже мой, господи, ну за что же, боже ты мой, за что?!

Он подавил в себе желание объяснить ей, отчего все это случилось, но понял, что этого сейчас нельзя говорить и не оттого, что не всякая правда нужна человеку, пожалуй что все ж таки всякая, только нужно точно знать время, угодное для того, чтобы ее открывать.

— Лида, не надо,— сказал он мягко.— Возьми себя в руки и объясни, что случилось. Меня вызывали в милицию, что-то рассказали, но я до сих пор не могу толком понять...

— Что ты не можешь понять?! Ну, что ты не можешь понять?! Я не хотела зависеть от тебя, ясно?! А мальчики очень тебя любят! И они хотят, чтобы ты с ними какое-то время жил в Москве в квартире. А куда мне деваться? Я мечтала купить себе половину какой-нибудь дачи, чтоб уезжать туда и быть там, непонятно разве?! Они сказали, что уйдут из дома, если я решу устроить свою жизнь! Отцам можно все, только матерям ничего нельзя!

— Лида...

— Что «Лида»?! Ну, что?! Дед подарил мне это колье, разве непонятно?! И это была моя надежда, единственная надежда! Мне сорок семь, жизнь прожита, у тебя дело, а у меня было одно дело — растить мальчиков, а теперь они выросли и им нужен ты, а что ж мне теперь делать?! Что?!

— Лида...

— Что «Лида»?! Что?!

— Эту штуку найдут, только ты не плачь, не рви сердце мальчикам...

— А мне можно?!

— Лида, не надо так... Я готов тебе помочь, чем только могу... Я завтра поговорю с Митей Степановым, у него много друзей в уголовном розыске, он позвонит, я обещаю тебе... Лида, пусть это будет самым большим горем в твоей жизни. Мальчики здоровы, это ведь главное... Представь себе только, если бы что-нибудь случилось с Васькой или Димкой, ты только представь себе на минуту...

Лида перестала плакать, долго сморкалась, потом спросила:

— Кому будет звонить Митька?

— Генералу Усову,— солгал Писарев,— это самый большой человек в розыске. Он завтра едет к нему с утра...

— Ты объясни Митьке, что я отдала эту проклятую штуку моей подруге, оттого что в магазине не брали на комиссию, только оценили...

— Неужели ты не могла откладывать каждый месяц из тех денег, что я тебе давал, на эту самую дачу?

— Ты на рынок ходишь? Так сходи посмотри, сколько стоит зелень! И позвони по объявлениям в газете, спроси, сколько стоит дача. Откладывая, я б ее смогла купить в девяносто лет!

Писарев засмеялся и услышал, что Лида тоже смеется сквозь слезы; на сердце у него полегчало; он увидел ее очень явственно, и сердце его сдавила жалость.

— Как у тебя с деньгами?— спросил он.— Что-нибудь осталось?

— Я одолжила у Любы.

— Сколько?

— Двести.

— Я достану... Я вышлю тебе телеграфом сегодня же... Дай мне, пожалуйста, мальчиков.

Они, видимо, стояли рядом с матерью, потому что он сразу же услыхал Васькин голос:

— Пася, ну как ты?

— Прекрасно, Вась! Мне дали театр!

— Да ну?!

— Честное слово!

— Значит, ты теперь худрук и главный режиссер?

— Выходит, так...

— И будешь ставить, что придумали?

— Да.

— Поздравляю, пася... А у мамы, видишь, что вышло...

— Как это произошло?

— Дине куклу сунули... Сверху деньги, а внутри бумага... Ты поможешь маме?

«Он считает, что я все могу,— подумал Писарев.— Но я ведь тоже считал папу всемогущим. Потому у отцов и рвутся сердца, что они не могут выполнить все желания детей».

— Конечно, помогу, Вась... Только ты объясни маме, что это быстро не делается. Милиция должна работать постепенно, чтобы не спугнуть вора... Это вопрос месяцев, а не дней. Постарайся успокоить маму...

— Хорошо, пася... Как ты себя чувствуешь?

— Прекрасно. Димка далеко не плавает?

— Я не позволяю...

— Он рядом?

Димка очень любил мать, к отцу относился особо, с каким-то недетским интересом; ревновал ко всем актрисам; больше всего любил животных, кормил всех собак и кошек во дворе; подбирал на улицах больных голубей, приносил их домой, лечил, потом отпускал; ворона, у которой было перебито крыло, прилетала потом на балкон месяца два кряду.

— Алё,— услыхал Писарев писклявый Димкин голос и представил его себе — толстого, конопатого, голубоглазого, маленького еще, а потому принадлежного ему телесно; потного, пахнет детством, если прижаться лицом к его шее; мальчик не любил этого, стыдился, можно было целовать его, только когда спал. Вася утешал отца: «Это пройдет, пася, я был таким же, правда, у него возраст такой, он только за маму боится, ты для него мужчина, он считает, что ты сильный, поэтому он и не беспокоится о тебе...»

— Димуля, как ты?

— Знаешь, у Джульки, соседской собаки, щенки открыли глаза на десятый день, это невероятно, я веду наблюдение, правда, не начал еще записывать в тетрадку, дядя Коля сказал, что катранов в море больше нет, но и барабуля тоже отчего-то перевелась, а в горах уже пошли грибы, дядя Коля обещал отвезти на мотоцикле, у него теперь «Ява» с коляской...

Он всегда выпаливал новости через запятую, словно боясь, что отец задаст вопрос, главный для него вопрос, и на него надо будет однозначно ответить...

Поди ж ты, пятнадцать лет, а уже выработал стратегию защиты от вопроса про развод, которого не по-детски страшился, не хотел про это слышать, заранее отталкивал от себя придуманной самообороной...

Продолженне. См. «Огонек» №№ 1, 2.

Потом снова трубку взяла Лида, попросила прислать не двести, а триста рублей, и это, как ни странно, успокоило Писарева: все вернулось на круги своя; конечно, пришлет, как не прислать... Да, конечно, попросит Митьку поторопить, да, убежден, что найдут, главное, чтоб все было хорошо у мальчишек, да, перезвонит...

Писарев вздохнул, поднялся с дивана, пошел в ванную, долго чистил зубы, потом надел тренировочный костюм, который устроил ему Володя из спортмагазина, прекрасно гонит пот, очень теплый, чуть что не до ноября можно бегать, и отправился трусить от инфаркта... (В Одессе он снял в одном из подъездов табличку: «Трусить в подъездах воспрещается». Бабеля нет, а жаргон остался. Митька рассказывал, что в Японии известный переводчик, «знаток» русского, в одной из наших книг объявление «сорить воспрещается», вывешенное на танцплощадке, перетолмачил как «драться нельзя». Все очень просто, объяснил Митяй, «сорить» показалось японцу производным от слова «ссора»; а наш Пастернак, чтобы найти истинное значение пустячного слова (впрочем, есть ли такие?!), перелопачивал все британские словари и литературу по Шекспиру, только б понять истинный смысл, вложенный великим англичанином в эти строки, ибо коль слово само по себе безжизненно, то оно делается взрывоопасным, когда соседствует с другими словами.)

На улицах было пусто еще; только метро пульсирующе выбрасывало людей, которые работали в Боткинской; они начинали в семь и шли через скверик возле Беговой; Писарев ужасался тому, как много мужчин курили на ходу, чаще всего «гвоздики», раньше эти папиросы называли «Норд», потом переименовали на «Север», в то как раз время, когда в футболе старались избегать слова «тайм» и вместо этого Вадим Синявский, самый наш великий комментатор, говорил «период», очень, конечно, русское слово, не то, что космополитический «тайм»; тогда нельзя было говорить «форвард», лишь «нападающий»; только никак не могли придумать, чем заменить в боксе «брэк»; одно время пытались привить «разойтись», но это звучало, словно в фильмах про то, как царские жандармы разгоняли рабочие демонстрации.

...Воздух был р а н н и м, только в Москве бывает такой особый воздух в начале июля; когда Писарев пробегал мимо пешеходов, он особенно остро ощущал сухую горечь табака, и думал, какая же это гадость — курево, и клялся себе каждый раз, что с сегодняшнего дня завяжет, но возвращался в квартиру, залезал под душ, растирался докрасна шершавым полотенцем, ставил себе кофе, засыпал овсянку в кипящую воду, завтракал, и, составляя план дня, машинально закуривал, испытывая при этом острое чувство счастья и безвозрастности: раз курю — значит, еще не старый, все впереди...

Когда на висках и на лбу появился пот, Писарев отчего-то представил себя бегуном на дальнюю дистанцию — он еще не потерял способности видеть себя со стороны — и потрусил быстрее, а потом вдруг вспомнил, что завтра можно звонить к Кириллу Владимировичу, а послезавтра придет приказ из управления, и звенящая легкость родилась в нем, и он высоко подпрыгнул, вытянув над собою руку, и дотронулся до холодного кленового листа, и подумал, что только если человек не разучился верить и радоваться, он может прыгать, несмотря на то, что ему сорок восемь...

«В «Уроке политеса»,— подумал он,— сцена должна быть забита актерами. Каждый человек, а еще лучше каждая пара обязаны быть поначалу разобщенными; движения всех при определенной пластике пар вызовут ощущение хаоса. Организация гармонии, которая совсем не идентична понятию «порядок», станет тем фоном, на котором можно разыграть действо о традициях и новациях, о высоком смысле «пропорции», которая вовсе не обязательно берет свой отсчет из геометрии... Весь задник сцены должен быть организован узнаваемыми плакатами и объявлениями: «Запрещено рвать цветы», «Не разрешается ходить по газонам», «нельзя», «запрещено», «нет», «нет», «нет». Сколько еще таких объявлений, бог ты мой! И какая поразительная изобретательность, когда дело касается того, чтобы не позволить! Наш спектакль — бой этому бессердечию, порочащему величие наших идеалов. А какими должны быть костюмы? Каждая культура смогла, точнее, была обязана, сформировать свою собственную науку; этика — одна из ключевых позиций знания... Как же угодно проникновение этики в повседневность! Тогда объявления могли бы звучать иначе: «Спасибо, что вы не пошли по клумбе» или «Цветам тоже больно!». Костюмы актеров обязаны нести громадную идейную нагрузку, ибо они сколок истории культуры. За нею просматривается то, как было раньше, в чреде веков, когда творчество угасало, ибо исчезновение данной конкретной культуры есть исчезновение созидающего ее творческого элемента; в моменты пика с и м в о л и с у т ь соединяются воедино; в годины спада остаются схемы, царствует безжизненность... Кто же сможет нарисовать нам эскизы декораций и костюмов так, чтобы через них проследить за-

кономерность развития? Надо разбить сцену на две половины... Антика, царство обнаженной натуры, философия статики, ясности, близости; и устремленность нашей культуры, нетерпеливый рывок в науку, то есть превращение бесконечности в конечность, подход к венцу знания. И это через костюм и задник сцены. Как? Не знаешь, Писарев, еще не знаешь...»

Он посмотрел на часы. Восемь. Степанов наверняка спит. Его вчера не было до двух. Пьет димедрол, вот счастливец, такое легкое снотворное... А вдруг сегодня вскочит раньше обычного и унесется?

«Надо придумать одну из декораций так, чтобы это была огромная доска в университетской аудитории. Пусть будет слышно, как крошится мелок, когда академик пишет формулы. Кадр в кино только тогда к а д р, когда в нем работает и первый план и пятый. Доска с формулами не просто формальный изыск... Если бы уговорить академика выйти на мизансцену и начать диалог с поэтом или режиссером?.. Экспромт как выражение таланта... Стихи Пушкина в альбомах... Талант расточителен, суверенен и сам назначает себе цену...»

Пробегая мимо длинного барака, где обосновалось строительно-монтажное управление, Писарев увидел возле двери бачок для питьевой воды; кружка была привязана к нему металлической цепью. В каждом хозяйственном магазине таких кружек полным-полно, и красная им цена сорок копеек.

«Можно было б при нашей любви к объявлениям вывесить табличку: «Спасибо, что вы не вор»,— подумал Писарев.— Впрочем, этично ли это? А с другой стороны, если каждый день какой-нибудь скот будет эту кружку уносить, начальнику придется платить из своего кармана рублей пятнадцать в месяц, все-таки деньги. А еще хуже, если станут вычитать деньги у уборщицы; хоть им позволяют совместительство, на трех работах некоторые вкалывают, больше инженера или врача получают, но ведь пол мести и окурки собирать не сахар... Вообще объявление может быть либо злобным надсмотрщиком, либо добрым воспитателем, наделенным чувством юмора... Разумное «можно» больше способствует воспитанию человека в человеке, нежели чем слепое и постоянное «нельзя»... Мы постоянно говорим про культуру поведения, а хамство тем не менее не убывает... Значит, неубедительно говорим. Надо опереться на науку и провести ряд бесед по телевидению, в которых бы ученые, в первую голову медики, доказали людям, что улыбка способствует продлению жизни, а хамство, резкость, рявканье делают больным, истериком не только тех, кого обижают, но и того, кто лает, вместо того чтобы говорить... Отчего у американцев во всех учреждениях на столе стоят таблички «смайл» — «улыбайся»? А оттого, надобно доказать с цифрами в руках, что хитрые американцы просчитали прямую выгоду для здоровья людей, следовательно, для богатства общества, они без выгоды ничего не делают, прагматики бездуховные, все на деньгу переводят...»

Навстречу Писареву шла девушка; видимо, она приехала не на метро, очередной пульсации пассажиров еще не было; она шла быстро, на тоненьких каблучках, стройная, словно козочка; Степанов свою дочку Дуню называет «Бемби», круглоглазая и стройненькая.

Писарев поймал себя на том, что прибавил шагу и поднял плечи, чтобы казаться более спортивным; девушка, словно бы поняв его, улыбнулась; а что, подумал Писарев, Татьяна говорила, что нынешние девушки к мужикам моего возраста относятся лучше, чем к сверстникам, те, говорила она, какие-то маниловы, нет борцовских качеств, хотя мускулы накачали, будто тарзаны; даже чахоточный, если он борец духом, более привлекателен для женщины, чем избалованный атлет...

— Алло, Митяй, ты спишь?
— Уже нет.
— Слушай, мне театр дали...
— Нет...
— Клянусь!
— Почему сразу не позвонил?
— Тебя до двух не было.
— А в три не мог?
— В три я спал.

— А я только начал заниматься любовью.
— Так уж светло было...
— Темнота — друг молодежи, а мы ж с тобой старики, доживаем последнее... Подожди, дай я закурю... Ты был в управлении?
— Да. Первый заместитель принял, Назаров... Завтра надо звонить, передадут приказ...
— Поздравляю, главный режиссер!
— Поздравляю, член худсовета...
— Уволь, я уж и так в двух числюсь.
— У меня будешь работать, а не числиться...
— Посмотрим.
— Слушай, приезжай в театр к десяти.
— Не могу, Сань. Я веду своего режиссера, гада, в бассейн «Москву». Подъезжай, а? Будем как римляне, все там и обсудим.
— Приеду. А потом ко мне, да?
— Решим.

Писарев опустил трубку и только тогда вспомнил: о Лидином деле так и не сказал; ничего, в бассейне расскажу, да и потом что Митька может? Ну, переговорит с кем, ну, попросит помочь, а разве и так не помогают? Капитан этот — прекрасный парень, только в России есть такие прозрачные люди, когда сам получает двести и нет в нем ненависти к тому, кто имеет в двадцать раз больше, сострадает, будто сам зарплату потерял... Конечно, дедушкино колье стоит деньги огромные, только эта потеря ничто в сравнении с той, когда дядя Алик потерял в сорок втором карточки на всю семью. Где было достать продуктовые карточки, черт?! Детскую и иждивенческую... Там так и было написано: «иждивенческая», прямо хоть и не отоваривайся, от стыда сгоришь... Бабушка была «иждивенка», а она ведь просто работать уж не могла, совсем старенькая, еле двигалась. Спроецировать слово на всю сцену... И на этом фоне с у м е т ь поставить пантомиму домашней работы, то есть по тогдашним понятиям иждивенческую... Или спроецировать на задник рабочую карточку, кажется, шестьсот граммов хлеба на нее давали, и на фоне этой карточки показать лабораторию с окнами, заклеенными крест-накрест бумагой, чтоб не выбило взрывной волной во время бомбежек, и работу мыслителя, человека в белом халате, который непрерывно движим, ибо он думает. В каком же мы долгу перед людьми науки! А на фоне доски с формулами можно как раз дать образ труда рабочего, Сталинградский тракторный, когда возле входа в цех шел бой, а на выходе ремонтировали танки... Придумать бы что-нибудь про сварку... Это будет грандиозно: фонограмма боя и встык — рождение формулы сухой сварки... Черт, есть ли такая? Срочно, сегодня же позвонить в институт сварки... Красивое сочленение понятий: «сухая сварка»... Выборочность памяти, чертовски интересно... Я не мог придумать этой самой сварки, наверняка где-то слышал или читал... А почему запомнил? Неужели потому, что мой визит к Назарову был заложен в каком-то таинственном коде? Как это у Борева в «Анализе «Медного всадника»? «Внимательное чтение»? Он говорил мне, что академик Щерба рекомендовал студентам читать строфу Пушкина полгода, а то и год... «Только в этом случае,— говорил он,— вы сможете приблизиться к пониманию Пушкина, его гения...» А вообще-то страшно... Эдак можно подменить Пушкина своими видениями, а еще хуже — представлениями... А может, именно толкователь — гарант вечности? Не будь у Христа апостолов, его учение не дожило б до наших дней...»

Первый звонок раздался ровно в девять; Писарев был убежден, что звонит администратор Ирочка; звонила, конечно же, она.

— Александр Игоревич, сколько мы просили штатных единиц?

— А что? Звонили из управления?

— Нет, пожарники пришли, спрашивают, кто будет подписывать акт, у них тут много замечаний, а со мной говорить не хотят, интересуются, кто у нас есть штатный.

— Скажите, что я приеду...

— Нет, им главный режиссер не нужен, им директор нужен или заместитель.

— Заместителя нам пока не дают, Ирочка, а единицу директора мы делим на две: главный администратор, то есть вы, и главный художник...

Ирочка зажала трубку ладонью и начала ворковать с пожарниками; Писарев при этом быстро писал расписание на завтра: «9. 00 — Кирилл Владимирович; 9. 15 — звонок в АН СССР, Ин-т сварки; 9.30 — Дом моделей, переговоры о костюмах; 9.45 — звонок или поездка в мастерские Худфонда, разговор о заднике и занавесе, утверждение эскизов...»

— Александр Игоревич, ни в какую...
— Давайте им трубку...

Ирочка сказала кому-то:

— С вами будет говорить главный режиссер театра, заслуженный артист Александр Писарев, пожалуйста...

— Здравствуйте,— услыхал Писарев низкий бас,— это лейтенант Жаворонков.

— Доброе утро, товарищ Жаворонков, что там у нас приключилось?

— А приключилось вот что, Александр Писаревич...—Жаворонков басисто откашлялся.— Мы акт подписать не можем, потому что нет у вас тут ни одного ответственного человека. Нам общественность только тогда нужна, когда мы нарушителей правил пожарной безопасности привлекаем. Так что придется склад опечатать...

— У нас есть решение исполкома, товарищ Жаворонков.

— Оно у вас есть. У нас его нету. Нас исполком и прислал... Так что мы своей печатью вас запечатаем, пока не будет уполномоченного подписать и принять ответственность...

«Тащить и не пущать,— вспомнил Писарев слова Щедрина.— А у нас начальников за это костят... При чем здесь бедные начальники?»

— Товарищ Жаворонков, давайте сговоримся так... Я приеду вместе с начальником отдела нежилых помещений Лаптевым к семи часам; поговорим по-людски, все обсудим ладом, а? Потом я должен передать для вашего коллектива три билета на творческий вечер Андрея Митрохина, он очень хотел, чтобы лично вы пришли.

...В одиннадцать тридцать Писарев был в райплане — надо загодя обговорить все вопросы, связанные с выделением фондов на оцинкованное железо (крыша склада все-таки протекала во время ливневых дождей); а еще Ирочка сказала, что можно выбить стеклянные панели, это вообще прекрасно, свет на сцену падает с потолка, как в ателье хорошего художника («Или в хорошем ателье плохого художника»,— весело поправил себя Писарев), плановики отнеслись к просьбе нового главного режиссера доброжелательно, однако посетовали на бюрократию и попросили принести официальное письмо от строителей, которые бы гарантировали выполнение работы в плановый период; поехал к строителям, те узнали Писарева, долго жаловались на то, как мало выходит хороших фильмов, просили помочь достать томик Высоцкого, обещали посодействовать.

...Писарев поглядел на циферблат; на поездки он потратил уже три с половиной часа.

«Ну отчего же,— горестно подумал он,— проклятые буржуи так щедро оплачивают труд секретарей?! Почему профессор в университете имеет трех помощников? Что они там, добрее нас? Более щедрые? Да они задушатся из-за цента! Но ведь платят! Потому что просчитали: эксплуатируя г о л о в у того, кто может особенно полезно и продуктивно думать, они получат в мильон крат больше прибыли, чем сэкономят на тех грошах, которые затрачивают на оплату работы маленького штаба при том, кто изобретает, готовит лекцию, снимает фильм... Те часы, которые я потратил впустую, имеют товарную ценность... За это время я мог бы провести репетицию. Сто репетиций — спектакль; если спектакль удался, он будет приносить государству ежедневную прибыль в количестве примерно пятисот рублей; допустим, люди ходят на этот спектакль пять лет; пять спектаклей в месяц; спрашивается в задаче: сколько мы отдадим обществу денег?»

Писарев остановился, достал из кармана блокнотик, долго умножал, шепча при этом, сколько останется в уме, и сам даже удивился получившейся цифре — 150 000 рублей.

«Это мы, лицедеи,— горестно подумал Писарев.— А если такое просчитать на академиках?»

Продолжение следует.

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Юлиан СЕМЕНОВ

Рисунки М. ПЕТРОВОЙ.

ПОВЕСТЬ

5

В одиннадцать тридцать Кирилл Владимирович принял Грущина; машина уже сработала, кадровик побывал здесь перед ним; его подтолкнул к этому Игорь Ветлугин, друг Грущина, задействованный им вчера, словно «болван в польском преферансе»; он и вправду считал, что его звонок в кадры должен помочь Грущину протолкнуть Писарева; лучше если про огрех скажут свои, доброжелательно, чем недруги — зло.

Похвальные грамоты редко хранят в личных делах; выговоры, однако, из личных дел не изымают, даже после того, как они сняты.

Не будучи человеком творческим, Грущин тем не менее обостренно, как-то даже сладостно чувствовал душу художника, видел ее — пульсирующей, сокращающейся, живой.

Мешавшая ему в творчестве изначальная логика (в истинном искусстве логика возникает лишь после рождения замысла, который обычно внезапен) спасла Грущина от жизненной катастрофы после того, как он, окончив институт, провалился с выпускным спектаклем. Другой бы на его месте отчаялся, запил, обрушился, но Грущину нельзя было отказать в мужестве и выдержке; он, что называется, «лег на грунт», начал оглядываться. И во время этого своего затаенного оглядывания он сумел увидеть и просчитать те линии связей людских, которые незримо, но постоянно (на какой-то отрезок времени, понятно) определяют те или иные секторы общества.

Грущин разбил на составные части такие понятия, как «сострадание», «благородство», «жалость», «ответственность», «долг», «честность»; особо тщательно он анализировал суть отношений старших к младшим, выделяя при этом, конечно же, мир театра; мужчин — к женщинам и наоборот; он просчитывал для себя допустимые границы выражения обиды, отчаяния, странности, счастья.

Он легко защитил диссертацию по искусствоведению, взяв темой творчество профессоров своего института, одним из которых был Самсоньев, художественный руководитель их курса.

Его статьи были посвящены лишь тем, кто уже был на вершине.

Он знал, что похвалу с н е с е т каждый.

Он готовил свои позиции загодя.

Он сумел доказать свою нужность. «Он доброжелателен,— говорили о нем.— Да, не режиссер, но другой бы озлобился, а этот нашел себя в новом качестве; он живет по закону открытого забрала».

Именно поэтому, перед тем как ехать в управление, Грущин позвонил народному артисту профессору Самсоньеву и попросил уделить ему десять минут.

— Алексей Алексеич,— сказал он, когда мастер пригласил его на кухню (гордился тем, что вся была отделана обожженной вагонкой; чисто деревенская атмосфера; над электрической плитой была устроена стилизованная под старину вытяжка, сковородки висели медные, подарили ученики с Кавказа).— Надо выручать Саню Писарева.

— А что, та сказа, случилось? По-моему, он на коне...

— Это по-вашему. Его, бедолагу, конь может с минуты на минуту растоптать... Я бы хотел, чтоб пронесло, но сие не от меня в настоящий момент зависит...

— Бутерброд хотите?

— Спасибо, я завтракал, с удовольствием выпью стакан чая.

— Крепко заварить?

— Нет, не надо, спасибо, я пью шиповник.

— Что случилось, рассказывайте...

— Вчера мне поручили готовить на него приказ: открываем театр, то есть придаем коллективу титул театра, он ведь уже состоялся, и состоялся здорово, талантливо...

— Вы не писали о нем? Я смотрел его выездные представления, здорово... Но вы не писали, та сказа?

— Еще не опубликовал, но уже написал. Не в этом сейчас суть. Саня снова попал в какую-то грязь, что-то там связано с бриллиантами, его жена занялась куплей или продажей... Но он об этом вроде бы не знает, поэтому я и приехал к вам, как к мастеру...

— Ну? — нетерпеливо спросил Самсоньев.— Куда надо звонить?

— Пока никому. Я надеюсь успеть провести приказ сегодня, но если докатится до верха, Саню надо прикрыть...

— А что это за история с бриллиантами? Откуда это у нее?

— Не у него, у жены...

— Ах, какая незадача... Уголовщина?

— Нет, нет, спаси бог! Разве он на это пойдет? Но вы же знаете, как у нас все обрастает слухами! Словом, я боюсь, что мой шеф решит переиграть, отступит, скажет, что сейчас не время открывать его театр, все-таки Саня заявил свою труппу как коллектив политического действа... Вот штука-то какая... А если отложат открытие, то это надолго...

Самсоньев намазал сухой хлебец творогом, алчно и хрустко откусил большой кусок, проследил маленькими глазами, не упали ли крошки на стол (был опрятен до болезненного), спросил, прожевав:

— А как ваши отношения с Писаревым?

— Никак.

— То есть?

— Вы же знаете его не хуже меня. Я им восхищаюсь, но ведь он наверху теперь, что ему до меня, бюрократа?

— Я скажу ему, как вы по-рыцарски себя вели...

Грущин пожал плечами:

— Не ради этого приехал... Я думаю, что если мне удастся уговорить шефа — в случае, если до него уже докатилось...

— От кого докатилось?

— От кадров... Я вчера совершенно случайно узнал об этой бриллиантовой истории, когда был у кадровика, понимаете? Я сидел у него, а тут стали звонить из угрозыска...

— Ну, дальше...

— Есть один только способ спасти и Саню и его театр... Вы должны согласиться стать председателем художественного совета, худруком нового коллектива...

— То есть?

— То есть ваш авторитет не позволит зарубить все дело на корню.

— А Писарев?

— Будет ставить свои спектакли! Не станете же вы отбирать у него эти двести рублей...

— Погодите, погодите, но ведь на афише будет стоять мое имя, а не его... А он придумал и затеял все это предприятие... Да, нет, погодите, так нельзя, Вася... Надо позвонить Писареву и спросить его, что он думает об этом.

Грущин знал, что мастер скажет именно так; он ждал этого вопроса, точнее говоря, вел к нему, ибо ответ его был готов и слажен, выверен до самой последней мелочи.

— Вы тогда заодно позвоните моему шефу Кириллу Владимировичу и расскажите ему, как я занимаюсь разглашением служебных тайн...

Самсоньев аж крякнул, дожевал свой хрустящий хлебец и сказал:

— Если вы думаете, что мое согласие спасет писаревский театр, то придумайте, как отбить для него имя в афише...

— Сначала надо открыть театр... Повторяю, может быть, до Кирилла Владимировича еще и не дошло, давай-то господь...

— Хорошо, держите меня в курсе дела...

— Надо, чтобы вы побыли дома хотя бы до часу.

— Не могу. У меня репетиция со студийцами в двенадцать.

— Я должен быть у шефа в двенадцать. Но вы же знаете, его могут задержать, вызвать... Пожертвуйте для дела репетицией, вы ж нас к себе домой приглашали работать...

— Моложе был, потому и приглашал,— вздохнул Самсоньев.

— И последнее, мастер.— Грущин вел свою роль точно, выверив все до малости, ибо знал, как Самсоньев чувствует фальшь.— Теперь уж обо мне... Я закончил докторскую... Если вы не станете моим оппонентом — удавлюсь...

По тому, как Самсоньев поднял на него глаза, Грущин сразу же понял, что тот подумал. Он обязан был подумать, что Грущин пришел к нему с просьбой о Писареве лишь для того, чтобы получить свой навар с этого неожиданного визита. Пусть он думает про меня, как про мелкого торговца, я же знаю, он не очень-то меня жалует, потому что я никогда не открывался с ним, как Санька, пусть он даже побрезгует мною или пожалеет меня, пусть, только бы он ответил Кириллу Владимировичу «да», когда тот позвонит, а уж то, что тот позвонит, сомнения нет, я знаю, как там сыграть легче, чем здесь.

...Самсоньев подумал именно так, как понудил его к этому Грущин.

...Месть — это наслаждение бездарей, и сколь же оно им сладостно!

...Выйдя от профессора, Грущин сел в свой старенький, битый «Москвичок» и поехал в центр через Ленинские горы. Там, затормозив напротив маленькой церквушки с синими куполами, он, включив стоп-сигналы и моргалку, вышел из машины и внимательно оглядел колеса (ему сделали предохранительные колпачки, потому что постоянно боялся, как бы кто не ослабил винты; до ужаса явственно представлял себе катастрофу, когда машина летит в кювет и взрывается; так же мучительно близко ему виделся взрыв в самолете при наборе высоты, в момент отрыва от земли, поэтому никогда не летал, даже на конференцию во Владивосток ездил поездом, мотивируя это необходимостью посетить театральные труппы Восточной Сибири, Бурятии и БАМа).

Колпачки были на месте.

Грущин перебежал дорогу, остановился на краю обрыва, долго смотрел на прекрасную панораму утренней Москвы, потом достал из кармана старую трубку — с ее именно помощью пять лет назад бросил курить,— сунул в рот, представил себе, что набита она хорошим, медовым «глэнном», пыхнул «по будто бы» и сказал себе: давай-ка, Вася, перепроверим еще раз расстановку фигур на доске. Сначала давай, милый, проанализируем изначалие моего решения поступить именно так, как я поступил. Почему я решил ударить? Вспомнил второй курс? То, как он оскорбил меня при всей профессуре, а я не смог ему ответить, не ударил его, и с той поры был отброшен со своей позиции раз и навсегда? Можно, ко-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 1—3.

нечно, начать отсчет оттуда. Но ведь я могу сказать себе, что Писарев просто-напросто занесся, он счастливчик в искусстве, его не били, он входил в театр, как нож входит в масло; человек, который не страдал, не может быть по-настоящему великим художником, только боль рождает новое качество в творчестве; оно добреет, делается глубоким, открывает новые, дотоле неведомые пласты жизни. Значит, получив этот удар, Писарев поднимется на новую ступень, и общество будет благодарно тому, кто помог случившемуся. Почему я не вправе выстроить такого рода партию? Грущин услышал в себе вопрос: «Ты строишь партию защиты?» Нет, возразил он тому, кто позволил этому вопросу, неприятному и чужому, возникнуть в нем самом, я не намерен защищаться, ибо я не нападал. Я лишь корректировал происходящее. Жизнь определяется вероятиями. Разве я не вправе допустить мысль, что кадровик сам бы пошел к шефу? Наверняка пошел бы, это его долг; мы централизованы, и это целесообразно при наших размерах, иначе все разъедется, по швам разойдется; информация необходима, ибо живем в век информации; разве кто-то оклеветал кого-то? Написал донос? Я не виноват в том, что милиция запросила на него характеристику. Так получилось, что именно я узнал об этом первым. Случайность? Но ведь всякая случайность есть выявление закономерности. Другой бы на моем месте легко мог сделать так, чтобы вся идея Писарева оказалась битой, ни о каком театре не могло бы быть и речи. Действительно, и его директор Киреев с левыми концертами, и институтские еще дела, когда он участвовал в драке и было возбуждено дело, а его спасло лишь то, что изменилось в его пользу время, а сейчас эта афера с бриллиантами... «Какая афера?— снова услыхал он в себе вопрос и понял, что ему неприятно то, что вне его воли в мозгу возникают ч у ж и е вопросы.— У его жены украли колье жулики... Это колье ее деда, в чем же афера?»

Он вдруг ощутил поднявшуюся в нем волну теплой радости, но он заставил себя подавить ее, эту слепую, родную ему радость, и ответил кому-то другому, что Пушкин только потому смог написать и Моцарта и Сальери, что рядом с ним жил Кукольник, и купался в лучах славы, и государь любил его... Да, каждый человек рожден из «я» и «антия», ничего не попишешь. Пушкин умел быть Моцартом, но ведь смог примыслить Сальери.

И снова в нем родилась мысль, неподвластная ему, какая-то сторонняя и холодная: «Ты мог бы гениально поставить Бомарше, никто еще не мог точно прочесть образ Дона Базилио; во всех трактовках он стращал, играл порок, а надо все делать наоборот; Дон Базилио — обескоженная добродетель, искатель высшей правды; он разоблачает клевету, вскрывает ее механизм ко всеобщему сведению, предупреждает человечество об опасности...»

А что, верно, подумал Грущин. Но, к сожалению, в ближайшее обозримое будущее мне нет смысла ставить Бомарше, во всяком случае, пока жив Самсоньев...

Он скажет «да» шефу. Он обязательно скажет «да», потому что последние десять лет его преследовали неудачи и на телевидении и в театре. Его постановки хвалили, но на них никто не ходил. Он потерял темп, а может, не понял стилистики нового времени. Оно очень сложно, наше время. Как у каждого времени, у него есть свои законы, которые станут понятны лишь потомкам. «Лицом к лицу — лица не увидать». Именно так. А Лену он любит, а ей тридцать четыре; он старше ее на сорок лет. Как это говорят, «ночная кукушка дневную перекукует»? Так, кажется. Он может куковать только днем. А этого Лене мало, чтобы удержать ее, он обязан вновь стать объектом общественного интереса. Памяти сострадают, привязаны лишь к живому. Афиши с его именем по всему городу — это живое, это привяжет к нему Лену, она человек деловой, у нее в мозгу компьютер, просчитывает на пять ходов вперед... Саня так бы себе не ответил, впрочем... Он бы наверняка пошел к Ботвиннику и дотошно его выспросил, на сколько ходов вперед думает большой мастер... А вот мне кажется, что просчитывают именно на пять ходов вперед. И я навяжу это мнение тем, кому хочу его навязать. Вот так-то...

Самсоньев, конечно, выдвинет какие-то условия, и я, в общем, чувствую, какими они будут, я подготовлю к разговору шефа. Саня после случившегося не станет звонить, узнавать, писать... Если бы речь шла о Митьке или Кочаряне, он бы, конечно, полез в драку. А за себя не станет... Да и потом он в углу... «Неужели творчество вам не дорого, но лишь тщеславие? Побольше б скромности, товарищ Писарев... Станиславский не думал об афише, когда создавал театр... Мейерхольд был счастлив тому, что мог ставить свои вещи и после того, как перестал быть главным режиссером... Для любого художника честь работать вместе с профессором Самсоньевым, разве нет? Он выпестовал вас, за ним знание, опыт, имя, наконец... Или вы не хотите работать с прославленным мастером сцены?»

Пусть поносит в себе обиду... Как я ее носил всю жизнь... Неотмщенную обиду... Пусть поворочается всю ночь напролет в кровати, пусть покусает костяшки пальцев, как я кусал... Ничего, если переживет, то поднимется еще на одну ступень... И сделает такое, что потрясет людей...

«И тебе это будет приятно?»— Он снова услыхал чужой голос.

Грущин отчего-то заставил себя усмехнуться; он потом так и не смог понять, зачем он понудил себя к этому, но он улыбнулся.

Хорошо, а как на все это посмотрит Назаров? Он с завтрашнего дня в отпуску, радость, защита у дочки, поездка на юг и все такое прочее... Хорошо, а ежели шеф все-таки не станет подписывать без согласования с Назаровым? Писарев ведь был именно у Назарова, и тот дал добро театру... Надо проработать вопрос о «мелочах»... Верно говорят, мелочей нет... Тезис и антитезис... «Зачем, Кирилл Владимирович, идти с этим частным вопросом к большому шефу? Стоит ли вообще ворошить грязное белье? Обернется-то против нас, работа с кадрами и так далее... А Писарев будет рад, что к нему пришел его мастер, он обожает Самсоньева... А еще лучше дать дополнительную единицу для режиссера, это вообще гениально... Все соблюдено... Ради престижа нового дела во главе становится народный артист, лауреат, профессор, а режиссер Писарев... Театр публицистики, яркая современность, стоит ли подставлять большое, новое дело? У Писарева множество завистников; слухи об этом несчастном колье не удержишь; не вода за плотиной — слухи, все равно пойдут, а если во главе стоит Самсоньев, то и дело с концом... Уверяю вас, Писарев будет по-настоящему рад такого рода решению шарады... Пройдет время, улягутся разговоры, которые неминуемы, можно будет пересмотреть афишу, да и Самсоньев не вечен... Стоп, про это не надо... Есть национальная корпоративность, есть классовая, но и возрастная тоже довольно сильна... Уверяю вас, Кирилл Владимирович, мы нашли оптимальный вариант, что ж по каждому пустяку согласовывать, в конце концов инициатива решает все. «Судьба таланта не пустяк, товарищ Грущин, талантом надобно дорожить...» Может и так ответить, верно...» «Видите ли, Кирилл Владимирович, Писарев в письме на имя товарища Назарова ставил вопрос о театре, и этот главный вопрос решен положительно. Смотрите, Писарев просил пять штатных единиц: главрежа, директора, дирижера, главного художника, механика... А мы даем ему дополнительную единицу «режиссера». Можно, конечно, и подождать с приказом, время терпит, но, вы говорили, Назаров просил провести все за два дня, снова на нас все шишки посыплются. Поверьте мне, все-таки я вырос в театральной среде, предлагаемое решение — оптимально... Вспомните, наконец, кино... Посмотрите титры... Ученик — в качестве режиссера-постановщика, и отдельный титр для мастера, художественного руководителя... Ближайший друг Писарева, помню, Левон Кочарян был счастлив, когда известный режиссер согласился быть его художественным руководителем...» А потом можно подбросить на закуску: «Пригласите к себе Писарева, поговорите с ним начистоту». Ага, конечно же, поежится, кому охота? И к Назарову идти не с руки; в конечном счете именно Кирилл Владимирович санкционировал начало работы Писарева, когда тот стал катать со своим табором по клубам и дворцам культуры... «Ах, Кирилл Владимирович, Кирилл Владимирович, думаете, не найдутся и в нашем коллективе люди, которые с радостью бросят в нас камень: «Вы ж первыми поддержали опыты Писарева, когда тот начинал два года назад!» Еще как бросят! А чем мы с вами будем крыть?» Именно так, надо постоянно связывать его с собою, не бояться ответственности, да, виноват, промолчал, ибо хорошо знал грешки Писарева поры его юности, но какой талант безгрешен?! Это я, чиновник, должен быть на просвет, чистеньким, а Писарев — человек особый, ищущий, на что-то приходилось закрывать глаза, да и потом меня бы не преминули упрекнуть в зависти, как-никак, окончил театральный, в дипломе стоит профессия «режиссер»... Нет, об этом не надо, начнет задавать вопросы, когда, где, у кого, с кем... Можно и дальше поднажать, что, мол, юного хирурга — надо уточнить, кого — даже судили, дали два года, зарезал на столе больного, а потом Героем стал, академиком... Или Рамзин? Первый лауреат Государственной премии, а ведь был обвиняемым на шахтинском процессе, искупил вину талантом своим... Нет, опасно, Кирилл Владимирович может сказать, что и Писарев искупил... Хотя есть ответ, там шахты или больница, здесь — театр... Нет, не надо, перебор во всем хуже, не только в картах... Впрочем, держать про запас надобно все, кто знает, глядишь, пригодится, главное — оглоушить, вызвать растерянность, заставить прийти к решению подумать еще раз, пообождать...

В одиннадцать сорок Кирилл Владимирович позвонил Самсоньеву.

Тот репетицией со студийцами пожертвовал, звонка ждал...

6

...В бассейне «Москва» седьмой павильон сделался своего рода литературно-театральным клубом.

Два раза в неделю, по утрам, здесь собирались актеры театров и кино, плавали; однако большую часть времени проводили в парной, сгоняя лишний вес; мазались солью или медом и, чтобы не скучно было потеть, предавались беседам об искусстве.

Именно здесь-то и нашел Писарев своего друга.

— Знакомься, твой коллега из Питера,— сказал Степанов, кивнув на пепельноволосого гиганта с римским профилем.— Лаемся второй день, в пору печатать коммюнике: «Переговоры проходят в духе сердечности и откровенности».

— Удалов.— Гигант протянул длинную ладонь.

— Писарев.

Степанов вздохнул, потянулся по-кошачьи, зевнул:

— Слушай, Удалов, а где ваш Пикассо?

— Он любит плавать,— ответил Удалов.— Соли разгоняет.

— Наш художник,— пояснил Степанов.— Он традиционалист, поэтому мы зовем его Пикассо. Ведь Пикассо был так же традиционалистом в своей манере, нет?

Писарев понял, что Степанов зол; он не ошибся.

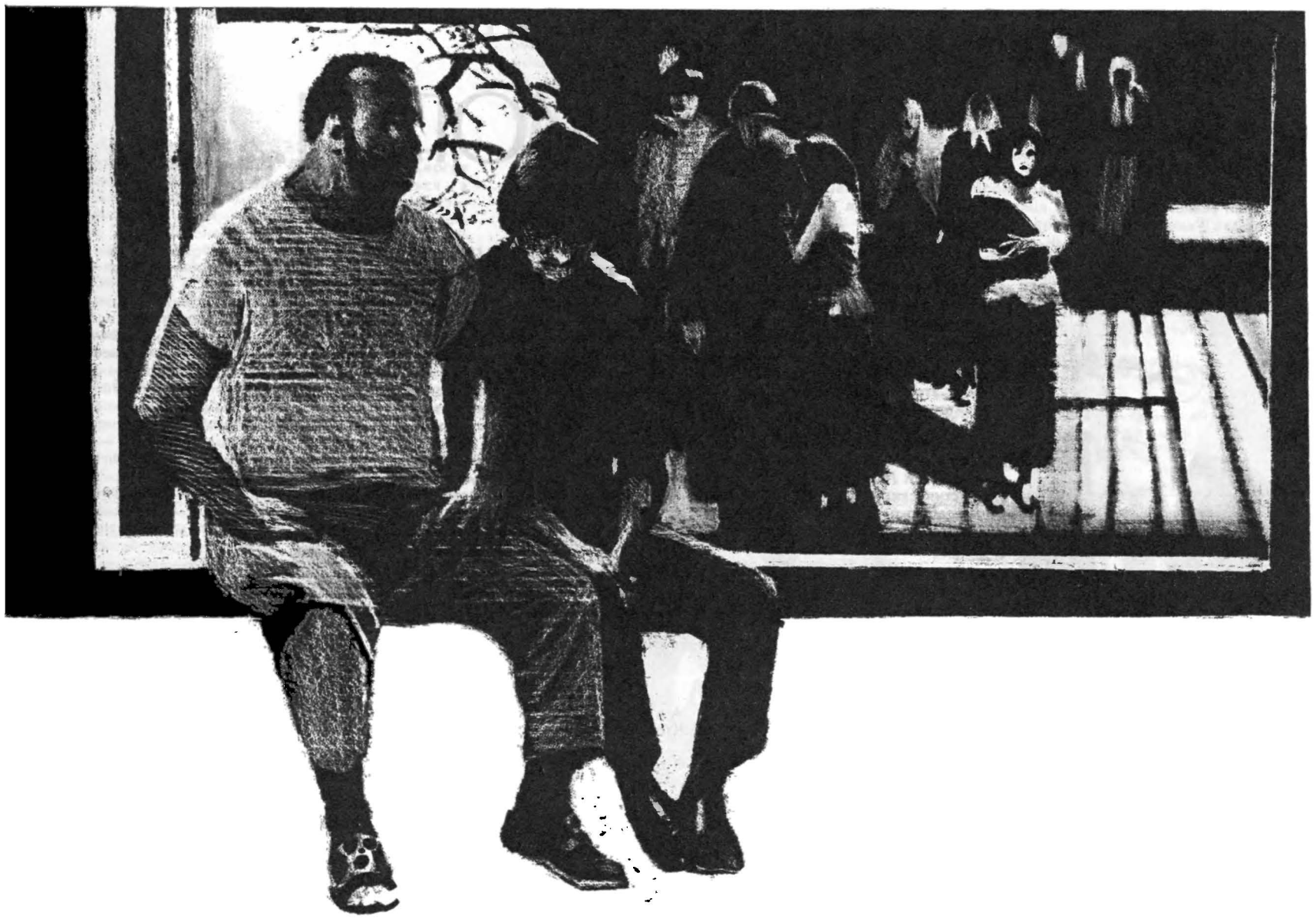
— Мы спорим, Саня,— вздохнул Степанов.— Второй день спорим. Удалов, пригласим Писарева в арбитры?

— А я, честно говоря, не считаю себя поклонником манеры Александра Писарева,— ответил тот.— Меня интересует маленький человек в его каждодневных заботах; я, Дмитрий Юрьевич, Чехова чту.

— Ба-альшой оригинал,— заметил Степанов.— Скажи на милость, как храбр, Сань, а?! Он Чехова не боится чтить!

— Я не совсем понимаю происходящее,— сказал Удалов, поднимаясь с подоконника, на котором они сидели у входа в парную.— Если у вас есть претензии к снятому материалу, давайте их обсуждать, а так... Я не понимаю предмета... Вы ж подписали мой режиссерский сценарий? Подписали. А теперь то не нравится, это не годится...

— Подписал — не подписал, дорогой Удалов,— это из другой сферы жизнедеятельности. Я ж не протокол задержания подписывал, а режиссерский сценарий. Вы изложили свое



видение моего сочинения... Я ведь обязан верить вам, старина! Нельзя начинать предприятие и не верить в того, кому надлежит вести дело до конца! Я полагал, что когда появится третье измерение, то есть его величество актер, то заиграют новые краски, родится интонация... А вы мои слова пробрасываете, купируете, вам важно, как актер сидит, ходит, закуривает... Понимаю, без этого нельзя, но я знаю свои слабые стороны и сильные тоже знаю... Вы не даете актерам говорить мои слова, вы торопите их, у них нет времени думать, и в результате получается не моя вещь... Так, рюшечки, грусть, тоска, маленький человек... Премьер-министр может быть маленьким человеком, а сельский учитель — великим мыслителем. Если отсчет «маленького человека» в российской литературе начинать от пушкинского Евгения из «Медного всадника», так он царю грозился, когда его беда настигла, царю, да еще какому! Чеховские маленькие люди тоже, кстати говоря, большую опасность в себе несли, порох в бочке, поднеси фитиль — жахнет! А у вас оборочки... В сцене говорят о политической ситуации, зрителю должно быть все ясно, как дважды два, а вы велите актерам разыгрывать упражнения из режиссерских задачек для второго курса, когда обязательные предметы проходят... Я заранее знаю, куда вы поведете: плохой у вас — очень плохой; хороший — обязательно молчалив и скорбно улыбается... А мои герои не такие... Плохой обязан быть и хорошим, очень хорошим, только тогда он станет страшным, то есть по-настоящему плохим! А хороший пусть в чем-то будет сукиным сыном, пусть болтает, задирается, жене изменяет!

— Это не пропустит худсовет...

Степанов изумленно посмотрел на Писарева:

— Да при чем здесь худсовет? Я ж не рецепты даю и не пишу реплику! Я рассуждаю вместе с вами! Я пытаюсь обговорить концепцию, Удалов, хороший вы мой! Ладно, плавайте, потом договорим...

Посмотрев вослед картинно удалившемуся Удалову, Писарев покачал головой:

— Митя, ты ни о чем не договоришься с ним. Он — другой, понимаешь? Есть люди, мы с тобою, наши друзья, а есть другие... Так вот он — другой. Он говорит на другом языке, у него другие мысли... В нем нет неожиданности, он «селф мэйд мэн», «самосделанный человек», только в дурном выражении... «Он неожиден, как фишка, ветренен, словно март, нет у поэта финиша, творчество — это старт...» А разве в нем может быть хоть какая-то неожиданность?

Степанов неожиданно спросил:

— Ты Ахматову любишь?

— Очень.

— А я только вчера полюбил, вот дуралей-то, а? «Один идет прямым путем, другой идет по кругу и ждет возврата в отчий дом, ждет прежнюю подругу. А я иду — за мной беда, не прямо и не косо, а в никуда и в никогда, как поезда с откоса». Поразительно, а? По стилистике — Анна Каренина в рифме, да?

— Ты ее раньше не знал?

— Наверное... Пытался читать, но не входило... Надо ведь, чтобы в о ш л о, тогда только поэзия станет твоею... Я бы в пропагандисты принимал, как в члены творческого союза, со всеми вытекающими отсюда льготами и наградами, честное слово... «Бу-бу-бу», сам не понимает, что говорит... А мне женщина вчера читала... Хотя нет, сегодня уже... Знаешь, есть стихи утренние, а есть вечерние...

— Точно. Особенно у Ахматовой.

«Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов
И стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
...А я была его женой».

— Слушай, давай сбежим, а?— сказал Степанов.— Поедем в «Арагви», мы там вечность не были. Едем, Сань?

— А ты мне триста дублонов одолжишь?

— Конечно.

— Только я верну не раньше чем через три месяца.

— С главрежской зарплаты? Сколько тебе положили?

— Постучи по дереву.

— В данном случае по дереву можно не стучать, дело верное...

— Заедем тогда на телеграф, я переведу в Гагру...

О своих домашних делах они старались не говорить — и тому и другому это было больно; когда в компании малознакомых людей Степанова начинали выспрашивать, где Надя, отчего не пришла, чем сейчас занимается, Писарев, глядя на друга, испытывал острое чувство тоски, даже под ложечкой холодело. И он всегда горделиво поражался выдержке друга: тот отвечал рассеянно, улыбался при этом, умело уходил от слишком уж назойливых вопросов, ловко переводил разговор на другие темы, захватывая при этом инициативу; только Писарев замечал, как потом менялось его лицо; он старился, делались заметными сеточки морщин под глазами, на висках проявлялась нездоровая желтизна, и весь он делался как фотопортрет, выполненный на крупнозернистой пленке.

Окончание следует.

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Юлиан СЕМЕНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. ПЕТРОВОЙ

...Первым человеком, кого Писарев увидал в «Арагви», был Назаров.

— Банкет у Арины здесь будет,— пояснил он,— в семь часов. Проверяю готовность... Ну, у вас все в порядке? Можно поздравлять?

— Завтра, видимо.

— Ну-ну... От всего сердца. Я дал все команды...

— И вас поздравляю, Станислав Федорович, с молодым кандидатом Ариной Станиславовной.

— Постучите по дереву.

Писарев представил себе, как бы фыркнул Митька, если б услыхал эту фразу большого босса. Как же все стремительно меняется, бог ты мой! Тридцать лет назад человека в узких брюках называли «стилягой», а уж того, кто носил пиджак с разрезом, молодые ревнители нравственности могли попросту задержать на улице. А сегодня стоял рядом с Писаревым первый заместитель начальника главка, и брюки у него были узенькие (сейчас, правда, стилягами считают тех, кто носит широкие, расклешенные, в которых раньше ходили ревнители), в пиджаке со шлицей, и галстук на нем был нарядный, яркий, и он не костил Писарева формализмом, а, наоборот, поддержал его идею создания нового зрелища. А что это, кстати, такое — формализм? Разве балет — от начала и до конца — не есть гимн форме? А греческая статуя? Да и вообще разве реализм существует вне формы? Что существует вне формы? Дух? Но ведь и религии ищут для себя соответствующую форму.

...Никого из тех официантов, с которыми Левон, Степанов и Писарев дружили, когда приезжали сюда — с первых своих заработков — пировать вместе с Эдиком, Мишей, Андреем, Эриком, не было уже. Работали все больше женщины, а раньше они всегда садились к Аркаше, армянину, дружочку, который не спрашивал, какой будет заказ; он приносил много зелени; тогда здесь была и кинза, и цицмати, и тархун; потом он угощал их жареным сулугуни и горячим лобио, а заключал пиршество куриной чихуртмой, господи, когда ж это было?!

...Толстая, малоподвижная официантка на их вопросы о тех блюдах, которые они всегда брали, отвечала односложным «нет»; было ей откровенно скучно; она ждала вечера, когда придут компании и закажут ветчину, водочку, колбаску, сыр, коньяк, икру, все будет, как полагается, а эти базлают про какие-то потроха — где они их видели, эти потроха?— гребешки; еще чего захотели, поди выполни план с этими гребешками, сразу в трубу вылетишь.

Писарев заметил, как Степанов набычился; положил руку на его колено, обезоруживающе улыбнулся официантке:

— Девушка, вы не сердитесь, мы бутылку тоже закажем и порцию икры возьмем... Только у моего друга мать — грузинка, он сам приезжий, поблагодарит от души, главное, чтоб зелень принесли, кавказцы без нее не люди...

Официантка подобрела, заказ приняла, «отколыхала» на кухню, а Степанов, посмотрев ей вслед с горестным недоумением, сказал:

— Саня, запомни: лишь двумя инструментами природа одарила истинных литераторов: впечатлительностью и вдохновением... Нет, правда, когда меня обидят, я писать начинаю как одержимый... И еще одно я вычитал про нас, пишущих и созидающих... Никто так легко не истолковывает в плохом свете любой поступок окружающих, никто так подозрительно не относится к обычным событиям, никто так не подозрителен и не впадает так легко в ярость или уныние, как люди, одаренные даром творить... Скажи нет?

— Скажу да.

— Серьезно, я сейчас ехал и думал все время: ну, почему возник этот самый Удалов? Он же дуб! Почему я согласился, чтобы именно он ставил мой фильм? Я всех знакомых перебрал в уме: кто-то ведь рекомендовал его мне? Значит, интрига?! Хотят подставить под удар?! Раздолбать в газете?! Критика повлияет на моих издателей, они начнут страховаться, высчитывать, что это может значить, начнут мурыжить рукописи, не включать в план публикаций; заговор, караул! Я хоть и провожу сам с собою психотерапию, но помогает далеко не всегда.

— В этом нет ничего странного, Митя. Талантливость — это определенного рода аномалия. Ньютон страдал периодическими расстройствами ума; Свифт; Глюк от пьянства умер; вспомни Руссо. Где талант, там редко встретишь логику. Тассо всю жизнь бранил королевский двор, а сам жил их подаянием и пресмыкался перед каждым, кто стоял выше его; Свифт, будучи священником, поносил религию, Руссо отрекался от всего того, что перед тем славил. Никто из больших гениев не мог жить на одном месте, как, например, я, простой смертный. Кардан метался по миру, Руссо, Эдгар По, молодой Горький; а Пушкин? А непонятная тяга к постоянным изменениям? Паскаль часто бросал физику и принимался за проповеди, Свифта всегда тянуло в политику и историю, Уолт Уитмен был счастлив, когда бросил свое плотницкое ремесло и сделался чиновником...

— Хорошо б, если ты рассказал об этом Наде лет пятнадцать назад, когда мы только начинали... А я — твоей Лидухе...

— Я — интерпретатор, Митяй, я вне категории созидателя, сиречь таланта... А вот что ты станешь делать с этим своим Феллини, я ума не приложу...

— Ты ощущаешь, как стало стремительно время, Сань? Как это гениально сформулировано: «с ярмарки», а?

— У тебя по-другому, Митяй. Ты — сам. Сам с собой. А мы в труппе, мы кончаем репетицию и ждем завтрашнего дня...

— А ты думаешь, я не жду завтрашнего дня, когда кончаю главу? Еще как жду. А все равно ужасно боюсь времени; до черта, видно, придется унести с собою идей в мир иной, я уж думаю записать побольше сюжетов, которые не успею... которые могу не успеть реализовать... Ничего фраза, а? «Реализатор сюжетов»...

— Ты — сам,— повторил Писарев.— Тебе труднее.

— Левона Кочаряна часто вспоминаешь?

— Очень.

— Я — каждый день. Утром и вечером... Странное мы поколение: вот-вот пятьдесят, времени стали бояться, а внутри все равно ощущаем себя мальчишками. Разве ты веришь, что тебе сорок восемь, Сань?

— Нет. Только если сердце кольнет.

— Когда колет — не страшно, невралгия...

Официантка принесла закуски, бутылку; изучающе посмотрела на Степанова и заметила:

— Никакой он не грузин, самый что ни на есть русский.

Они выпили; Степанов вздохнул:

— Знаешь, о чем мечтаю? Чтоб, как раньше, было... Когда мы скидывались на бутылку с черной головкой; бородинский хлеб с солью, луковица и вареные яйца...

— А пельмени? Помнишь, как мы варили пельмени?

— Я на тебя тоску нагоняю, да, Сань? У тебя радость, а я в полнейшем миноре... Кстати, могу тебе подбросить занятную тему для спектакля: «Клан»... О семье Кеннеди; может быть, крайне интересно... Что определяет судьбу человека? Закономерность? Или рок? Или генетический код?

— Интересная тема. Закономерность, рок и код — все завязано в один узел...

— Саньк, а ты помнишь Коктебель шестьдесят второго?

— Помню. Отчего ты про это?

— Не знаю. Налей, а?

— Заставишь своего Удалова переснять материал, фамилию в крайнем случае снимешь...

— Э,— Степанов махнул рукой,— проигрывать больно. Слишком мало партий осталось... А я Коктебель теперь тоже чуть что не каждый день вспоминаю.

Он, Митяй, устроил тогда так, что и Писарев и Левон смогли — по письмам театра и киностудии — получить путевки в писательский дом творчества «Коктебель».

То лето было особым; ни разу погода не портилась, небо было высоким и до того голубым, что иногда казалось, будто его совсем и нету; Мария Степановна, подруга поэта Максимилиана Волошина, была еще совсем бодрой, часто принимала у себя, рассказывала о прошлом так, будто «коктебельские встречи» были вчера и будут завтра и приедут знаменитые наши писатели, академики, режиссеры, артисты — и наши одногодки, будущие знаменитости...

— Иных уж нет, а те далече,— сказал Писарев.— Ты об этом?

— Об этом,— вздохнул Степанов.— Помнишь, как мы делали шашлыки возле забора?

— Помню. Это когда ты молодой, кажется, что можно отойти за двести шагов, и будешь сам по себе...

— Хорошо сказал.

— Ты давно не был в Коктебеле?

— Я боюсь ехать туда, Сань. В молодость возврата нет, есть уход в память, а это самый близкий путь к сентиментальной старости.

— Слушай, а давай махнем туда вместе, Мить? Хоть на пару недель?

— Я боюсь,— повторил Степанов.— Даже вдвоем боюсь. Можно, конечно, пригласить подруг, не брать пишущей машинки, но это будет реанимация, а реанимируют все же ненадолго, потом станет еще хуже; мы будем все время играть и даже перед самими собою играть, а это, мне кажется, невыносимо...

— Если увлечешься — неутомительно, даже приятно.

— Это если на сцене, Сань... Жизнь-то прожита, брат...

Он сказал это просто и спокойно, и Писарев вдруг понял весь ужас этих слов, но словно бы какая-то незнакомая защитная сила возникла немедленно в его сознании, и он услыхал одно лишь — «театр», а потом увидел

Окончание. См. «Огонек» №№ 1—4.

зал, сцену, где собираются друзья, лица будущих зрителей; он ощутил сладостный запах кулис, таинственную темноту, возникающую за колосниками, и ответил:

— Мить, не прожита. Она была б прожита, если б мы сделали все, что могли.

— А мне кажется, что мой пик кончился... Я сделал все, что мог. И — спускаюсь... Иду с горы, стараюсь замедлить спуск, а — никак; давит спину, все быстрее бежится, все быстрей...

— Я тебя в нашем театре задержу, Мить,— пообещал Писарев.

Тот вздохнул, посидел, закрыв глаза, потом улыбнулся:

— Попробуй, Сань... Это было б замечательно...

После театра он заехал домой, поспал ровно час, без будильника; принял душ, отправился на завод, где работал брат одного из студийцев; обещал помочь с заказом на особый кран; Писарев считал, что скорость монтажа сцены сейчас, при том, что есть кино и телевизор, имеет огромное значение; в цеху молодой парень, глянув на чертеж, пожал плечами:

— Если уж блоху подковали... Ваня объяснял, вам нужен резкий отъезд и спуск... Я понимаю, я на встрече был с режиссером Дашковым, он рассказывал, как его замысел погубили таким краном...

— Это как?— заинтересовался Писарев.

— А так. Ему в финале надо было вертолет получить, чтоб оператор медленно поднимался и снимал убитых героев, которые город спасли... Чтоб зритель сначала лица видел, потом тела, а потом маленькие точки на снегу, а потом — ничего... Вертолета не дали, говорил; их, оказывается, тоже жмут, киношников-то; уговорили взять кран, обещали высокий сделать; обманули; очень Дашков образно про это излагал, я даже расстроился; я ему объяснил, как можно кран переделать, а он — «поздно, в кино что снято, на том точка».

С завода Писарев поехал в балетное училище, обещали отдать старые станки; думал выпросить старые зеркала, студийцы были связаны со стекольщиками, просили дать им основу, остальное обещали сделать сами; Писарев считал, что современный театр невозможен без пластики, движения; какие-то сцены он видел обрамленными танцем; движение мысли можно выразить движением движения, а уж подтвердить — тем более; подтвердить — не проиллюстрировать.

Домой вернулся с фотографом Шурой; тот предложил использовать его персональную выставку в качестве макета будущих декораций; проговорили допоздна, чертовски интересно.

Перед сном, проводив Шуру, Писарев подумал о Степанове; весь день, после того, как расстались в «Арагви», ему было тревожно за друга.

«Завтра вечером устроим пиршество в театре,— решил он.— И позовем Митьку. А потом утащу его сюда. Или к нему поедем. Не надо ему сейчас быть одному».

Закрыв глаза, он сразу же увидел лица детей и поэтому уснул радостным.

7

«А голова-то не болит,— подумал Писарев, открыв глаза.— Когда ждешь счастья, голова никогда не болит; страдаешь, если только надвигается неприятность».

За мгновение перед тем, как посмотреть на часы, он уже знал, что сейчас шесть часов десять минут.

Стрелки показывали шесть часов три минуты.

Писарев взбросился с дивана, оделся, натянул шерстяные носки, затолкал чуть опухшие ноги в свои старые, разношенные белокрасные «ботосы» и отправился на пробежку.

«Позвоню в четверть десятого,— думал он, переходя на бег.— Это тактично, никто не обвинит в назойливости, хотя ужасно хочется набрать номер в девять, как только стрелки замрут на секунду, организовав эфемерный, стремительно и безвозвратно проходящий сектор девяноста градусов... Эх, куда потянуло... Аркадий, ну, пожалуйста, не говори красиво... Великие тем и велики, что «рубили» афоризм... Запомнить легко... Лишь память людская гарантирует величие, то есть жизнь после смерти...»

Он бежал валко, чувствуя тело собранным, ощущая продольные мышцы спины; это была его защита; когда было плохо, он напрягался, и если чувствовал жгуты вдоль спины, то ему казалось, что это Левушка стоит сзади, а тогда не страшно, от кого угодно можно отмахнуться, никакое кодло не опасно.

«Митька — щедрый. Только щедрые могут творить,— рассуждал он с самим собою.— Спектакль будет называться «Расследование». Задник — пальмы. Митька говорил, что в Голливуде стоят огромные пальмы, крона, словно взрыв, голову приходится задирать, разгоняешь соли, смерть остеохондрозу! Как это у Пастернака? «В траве, меж диких бальзаминов, ромашек и лесных купав, лежим мы, руки запрокинув и к небу головы задрав... И так неистовы на синем разбеги огненных стволов»... Черт, вот слово! Впрочем, пальма волосата, неэстетично... Надо сказать художникам: найти символ устремленности. Объект для фантазии — пальмы Голливуда... А сцена должна быть казенной; деревянные стены, американский флаг, черные костюмы, белые рубашки, синие или темно-серые галстуки... Представление о том, что Америка многоцветна и безвкусна, провинциально... Чиновная Америка столь же традиционна, как любая иная, и сплетни такие же, маленькие, и те же удары из-за угла... На креслах, во вспышках репортерских блицев, под камерами кинохроники сидят обвиняемые: Чарли Чаплин, Поль Робсон, Артур Миллер, Бертольт Брехт, Ганс Эйснер. Это неважно, что каждого допрашивали в свой день... Ужасно, когда режиссер ищет абсолютную правду на сцене. Он должен создавать на сцене свою версию жизни; поиск правды — предтеча рождения нового качества бытия. Председательствующий комиссии — хорошо бы добиться сходства с Никсоном — назовет каждого по имени, перечислит их работы; подсудимые будут подниматься, как и полагается в расследовании, и отвечать лишь одно слово: «я»: А потом назовут свидетелей обвинения: Рональд Рейган, Рут Фишер, Дуглас Фербенкс... И Рут Фишер, бывший генсек Австрийской компартии, родная сестра Ганса Эйснера начнет давать показания на брата: «Агент Коминтерна, русский шпион, его исправит лишь тюрьма»... А ведь действительно «поднялся брат на брата»... Вот они, пики истории... Отрывок из «Карьеры Артуро Уи», встык — допрос Брехта... Отрывок из Артура Миллера, можно взять даже позднюю вещь, «Смерть коммивояжера», а встык — его допрос; песня Робсона — допрос; сцена из фильма Чаплина — допрос; показания свидетелей обвинения... Это был особый процесс, расследование националистов, которые решили на ужасе новой инквизиции сплотить «истинных» американцев, тех, которых можно считать полнокровными, ариями... Все люди чужой крови — агенты Коминтерна, они несли Америке «иностранную» идею... Ну и чего добились? Затравили Робсона. Чаплин уехал, Брехт уехал, и сколько же лет прошло, прежде чем появился Спенсер Тресси в фильмах Поллака?! Началось культурное безлюдье Америки... Протестующий голос Альберта Эйнштейна остался гласом вопиющего в пустыне... Фейхтвангер замолчал, Хемингуэй осел на Кубе, в Штатах не появлялся... Началась «эра посредственности». Понадобился Вьетнам, чтобы в Америке проснулась совесть художников; неужели только трагедия по-настоящему движет искусство?»

Писарев прибавил скорость, хотя знал, что до девяти пятнадцати еще ждать и ждать, варить кофе, колдовать над овсянкой, маяться от желания позвонить Степанову.

«Черт, а что я скажу Лиде?— подумал он.— Надо Ваську как-то проинструктировать, чтоб он успокоил ее... Или Николашку Прикопьева... А еще лучше попросить выдать туда звонок Митяя... Лида очень авторитарна; я скажу — не поверит; тот, кого она уважает, считает талантливым и сильным, для нее истина в последней инстанции. И даже необязательно им быть, важно, чтоб она так считала».

Возле станции метро он ощутил запах табака; пульсация выбросила первую смену.

«Митька прав, когда говорил о «Клане»,— сразу же забыв о том, что надо звонить в Гагру, вспомнил Писарев.— Тоже грандиозное зрелище... Три брата: Джон, Роберт, Эдвард Кеннеди. Сцена разбита на кадры замершей хроники; как только придумать лестницы, чтобы поднимать и опускать игровые площадки? Начало действа в верхнем левом углу. Характеристика на Руби, Освальда, на тех свидетелей, которых потом перещелкали люди ЦРУ и мафии. Сюжет ведет Роберт, он уже близок к тому, чтобы открыто выдвинуть версию убийства старшего брата. Снова включаются кинокадры, возникает Сирхан; противники Роберта; их позиция, точки расхождения. Выстрел на кухне отеля «Амбассадор» в Лос-Анджелесе; оцинкованные стойки, белый кафель, словно заранее приготовленная мертвецкая... Эдвард... Подборка его выступлений по узловым проблемам политики и экономики... Он тоже подбирается к главному, он накануне того момента, когда сможет сказать то, чего не сказал брат... Но ведь была хорошо сработанная трагедия с его секретаршей. Это — л у ч ш е, чем убийство, это — попытка навсегда девальвировать его как политика, подорвать веру в его слово... Начнут цепляться наши перестраховщики, это точно... Ну и что? «И засуху победим»...

— Дай же поспать, ирод,— чуть что не пропел Степанов в половине девятого, когда Писарев, не утерпев, позвонил к нему.— Я снова в четыре лег!

— Любовью занимался?

— Я верстку правил! То-се, а ты выспаться не даешь! Все вы, главрежи, на одно лицо... Ну, что тебе?

— Ничего. Хотел сказать «доброе утро» и позвать сегодня вечером на пир.

«Можно сделать гениальный спектакль,— подумал Писарев, вымыв кастрюлю, где варил кашу.— Назвать его надо «Сюжеты». Ну, Митька, ну, талантище! Сцену, как и в «Клане», разбить, но не на кинокадры, а на десять, а то и пятнадцать маленьких сцен. Каждая — своя эпоха, своя культура. Должна быть разящая, подчеркнутая разность каждой сцены. Черт, был бы я художником, озверел бы от такой задачи, раздолье для выдумки... Нет, не верно... Раздолье для знания... Выдумка — следствие знания... Перелопатить дневники великих... Пушкин — Мицкевич, рождение замысла «Медного всадника»... Пушкин — Гоголь, замысел «Мертвых душ»... «Дневник писателя» Достоевского полон неосуществленных сюжетов... Записки Салтыкова-Щедрина... А дневник братьев Гонкур? Письма Ван Гога... Заметки Эйзенштейна о «Полтаве»... Фильм, который мог быть гениальным, хранится в замысле, проработан до мелочей... Мысль, которая осталась нереализованной, подобна словам Костера: «Пепел Клааса стучит в мое сердце».

— На подписи, Александр Игоревич, на подписи,— ответила секретарь Кирилла Владимировича, когда он, не удержавшись, набрал номер в девять часов десять минут.— Позвоните перед обедом, думаю, сможем вас порадовать...

— В районе часа, да?

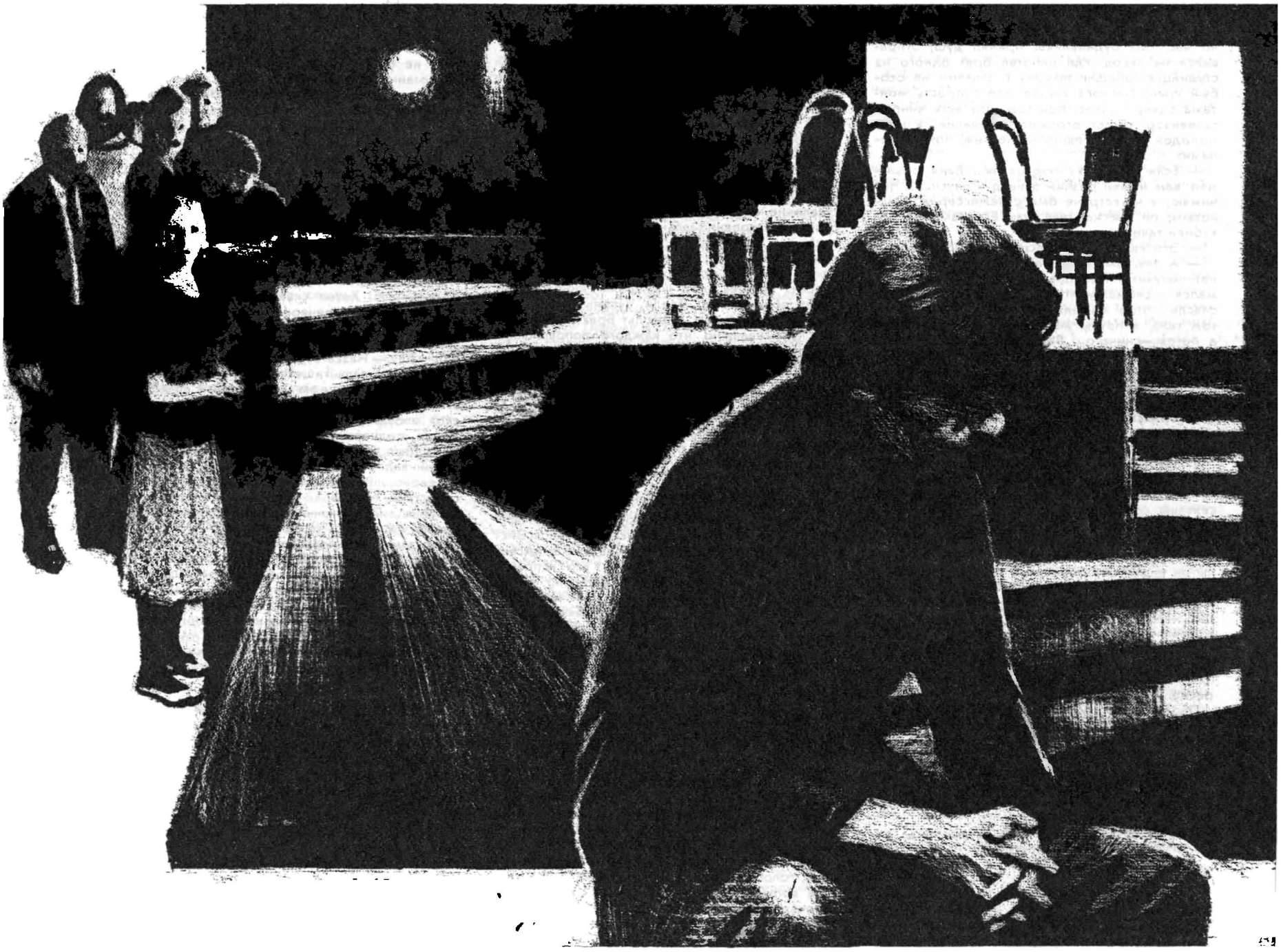
— Да, да, около часа... Тут уж с утра хлопочет Василий Викторович, так что не волнуйтесь...

«Кто такой Василий Викторович? Если хлопочет, спасибо ему,— подумал Писарев,— только пусть бы активнее хлопотал. Нет страшнее казни, чем казнь временем».

В десять часов он был в институте; светила собрались на защиту докторской диссертации; он намерился изловить их здесь всех, скопом. Он не думал поначалу оставаться на защите, тема не входила в сферу его нынешнего интереса, но чем дальше он вслушивался в слова, произносимые довольно еще молодым соискателем, тем любопытнее ему становилось; впрочем, не одному ему.

— Если допустить некоторую вольность,— неторопливо говорил диссертант,— и обозначить историю термином «вечное будущее», а природу как «вечное прошлое», то позволительно, думаю, определить нашу физику как чувство, свойственное интеллектуалу, не только пытающемуся понять смысл природы, но и связать его с историей... Если считать, что антика подарила человечеству лишь ту систему, в которой запечатлено учение, как себя держать, то наша эпоха все более и более занимается вопросом: «Как действовать?» На сме-

ну созерцанию пришла активность. Физика Древней Греции есть наука о статике осязаемых тел, наука пластики, выраженная терминами, смыкающимися с языком античной трагедии. Арабская алгебра родила концепцию арабской физики,— то есть поиск таинственной субстанции тел. Инквизиция, изгнавшая арабов и евреев из Европы, опустила занавес над сценой, где разыгрывалось великое действие прогресса. Но и после того, как трагедия свершилась, мысль не была убита. Если древние считали огонь предметом, то с тем большим правом они бы могли считать предметом мысль. Мысль можно заточить, но ее невозможно уничтожить. Она найдет себе такие обходные пути, которые не может представить ни светская, ни церковная власть. Родилась алхимия, которую я позволю себе назвать способом «научного сомнения в сущности предметов»; поиск золота — форма защиты от властей предержащих. На самом деле алхимия, как наука, искала тайну сущности предметов. Парацельс — блистательное подтверждение моего допуска: именно он превратил практику магии в теорию научной медицины. От исследования тайны — к анализу Ньютона и Лавуазье. От исследования внешнего вида элементов — к осознанию их действия. Кажется очевидным, что понятия «время» и «судьба» неразрывно связаны, вне одного нет другого, и наоборот. Однако состояв-



шееся есть особого рода состояние: попробуем вставить в физическую формулу вместо привычного нам термина «время» слово «судьба», и мы увидим крушение формулы. Значит ли это, что столь дорогой нам мир физических форм ограничен действием, как и мир чисел? Мир представлений? Мир анализов? Об этом мне и хотелось бы порассуждать, предложив вашему вниманию известную всем задачу...

И диссертант, отойдя к доске, начал крошить мелок, стремительно р и с у я какую-то загадочную колонку цифр и обозначений.

«А я ведь думал именно об этом, когда представлял себе задником сцены университетскую доску»,— подумал Писарев. Он теперь мог рассуждать спокойно, потому что перестал понимать диссертанта, мог обдумать все сказанное им и подивиться тому, как невероятно спрессовались время и разум, сколь объемно знание, как важно быть подготовленным к нему; то, что сказал сейчас этот патлатый, измеряется двумя тысячами лет, пророчеством Эвклида, сожжением Джордано Бруно, заточением Галилея, эмиграцией Эйнштейна. А этот диссертант заколотил свои гвозди в течение пяти минут. И перешел к делу, то есть к новому. А мы, театралы, топчемся в старом, боимся пошевелиться, страшно раскачать лодку... Ну, а другие не побоятся? Тогда — они первые, а мы — в хвосте? Так ведь нынешняя физика, как он сказал, изучает действие, вот в чем вся штука... У того, кто вырвался вперед, фора в действии. Каким оно может быть? Движение — это жизнь, а можно ли вообще разрешить эту проблему? Фаусту оказалось не по плечу, хоть и произнес: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» А потом

надо же делать Фауста! Именно так! И перемежать сцены Гете выступлением этого патлатого физика, пусть порисует у меня на сцене свои формулы... Или уравнения... Бедный Димка, ему еще три года страдать со школьной физикой. Если бы в школе преподавали, как здесь, я бы стал отличником, потому что это интересно! Истинный отличник тот, кому интересно! Все другие — фикция, самообман, хорошая память, ловкость или крепкая задница! Во, теперь ясно!

...Ничто так не окружено тайной, как наше знание, наше оружие, наше счастье и горе — с л о в о, произносимое со сцены. Пусть он объяснит такие слова, как предопределение или случай! Не напиши я письма, не прими меня Назаров — не было бы нового театра, а сколько людей пройдут через него, сколько родится нового качества знания, сколько гениев задумают с в о е в нашем зале, и это с в о е станет всеобщим, той точкой опоры, которая не даст перевернуть мир... Физика не сможет просчитать то, что мы чувствуем, погружаясь в таинственный смысл слов! Как просчитать слово «надежда»? Что это?! Кто вложил в это слово всю неизмеримую гамму чувств и мыслей, которая рождается сразу же, как только оно произнесено?! Судьба — это необходимость жизни... Стоп!.. Еще один спектакль... Он будет называться «Случай». А что?! По-моему, гениально! Ну, и скромность у тебя, Писарев, не занимать! И начинаться он будет с вопроса: открыл бы Ньютон закон земного тяготения, не наблюдай он яблоню? Ощущал ли он тихое, спокойное счастье, слушая осенней ночью, как эти спелые яблоки глухо падали на землю, или этот прекрасный, связующий с понятием вечности звук проходил мимо, не разрывая сердце ощущением безвозвратности мига?

...Писарев успел посоветоваться с академиками. Они обещали переговорить с патлатым, фамилия его была Берзинь, приехал из Риги.

...В управление позвонил из автомата, при выходе из института.

— Поздравляю,— сказала секретарь,— все подписано, у меня на столе, сегодня отправлю вам копию...

— Не надо,— ликующе попросил Писарев.— Я сейчас скажу кому-нибудь из моих товарищей, они к вам подъедут. Передайте, пожалуйста, мою самую низкую благодарность Кириллу Владимировичу за его столь доброе к нам отношение...

...Он не обратил внимания на лица друзей, которые встретили его в театре, не понял сразу той особой тишины, которая была на сцене, куда он чуть что не ворвался, как ветер.

— Где?— воскликнул он.— Ириша, вслух!

Он понял все, когда прочитал текст приказа.

Сначала он услышал в себе жалостливое, чуть что не детское: «за что?» Ему стало стыдно самого себя, он поднял глаза на товарищей; увидал слезы в глазах Ирочки; понял, сколь стар Лаптев и, видимо, тяжело болен; с удивлением отметил, что тетя Аня, внештатная уборщица, красит волосы.

Первым, неподвластным ему желанием было подняться и уйти. Так у него бывало на боксе, после тяжелого боя, особенно если его отправляли в нокаут («Кстати,— как-то отрешенно подумал он,— это слово тоже было отменено одно время»).

Потом он вспомнил давешние слова секретарши о каком-то Грущине, который «хлопочет». Так это ж Васька Грущин, кто ж еще, сказал он себе.

И он понял, что ему нельзя сейчас уйти. Он должен — во имя его же друзей — сыграть сцену. Надо собраться, заставить себя почувствовать продольные мышцы спины, они должны стать его вторым хребтом, ничего, что они какие-то вялые, и вообще все внутри похолодевшее и вялое...

«За что?»

Надо подняться и усмехнуться. Вот так. И что-то сказать. Только спаси бог ошибиться в интонации, они ведь талантливые, они сразу же заметят фальшь, а если его станут жалеть, то погибло дело. В конечном счете не один он затеял все это, с ним единомышленники, а состоявшееся не исчезает. Или исчезает на какое-то время, чтобы потом возродиться снова.

«Но ведь это будет совсем другое?»

Ну и что? Важно сложить лестницу, по которой пойдут.

«Только врать не надо. Растрелли был убежден — хоть, верно, и не думал об этом,— что на его домах укрепят мемориальные доски, только потому и работал на века».

— Конечно, обидно,— сказал он наконец.— Просто чертовски обидно. Умел бы плакать, ей-богу, заплакал бы. За что? Не знаю, хоть побейте. Как всегда, есть два пути, и не более того. Первый путь...— он достал сигареты, закурил, красиво затянулся, он знал, что в труппе любят, как он курит, ему Кира об этом говорила, когда они сидели на банкете, после того, как ей дали государственную премию.— Первый путь,— повторил он,— это — обида. И отказ от работы, тем более что актеры у нас пока что сидят на зарплате в других театрах, а самодеятельные патриоты нашего предприятия получают оклад содержания по основному месту работы... Видите, как формулирую?— он улыбнулся.— Значит, оклемался. Есть второй путь, и я стою за то, чтоб мы его избрали... Несмотря на Грущиных... Вопреки им... Продолжать работу. Мы получили на это право... В форме приказа... Обида — плохой советчик в нашем деле... Путь к звездам всегда лежит через тернии... Самсоньев — мой мастер, это настоящий художник, он — союзник нам... Если мы обидимся, мы не скажем того, что хотели сказать, а мы обязаны это сделать, разве нет?

— Мы напишем...— дрожащим голосом начала Ира, но убежала со сцены в слезах.

— Хочешь, я схожу поговорю с ними? — спросил Лаптев.— Одену все свои регалии, их у меня двадцать четыре, и пойду...

«За что? Ну, за что же?!»

— Писать не надо,— ответил Писарев.— И ходить не надо. Помните, как Фадеев закончил «Разгром»? Здорово закончил: «Надо было жить и продолжать выполнение своих обязанностей». Вот так. Отлито в бронзу. Репетицию проведем завтра, в девять часов, как обычно.

— Ты позвонишь Самсоньеву? — спросила Кира.

— Зачем?— Писарев пожал плечами.— Я думаю, он сам придет к нам...

— Он позвонит тебе домой сегодня,— сказала Клара.— И попросит тебя приехать на чашку чая.

— Съезжу,— заставил себя усмехнуться Писарев, но понял, что просто так закончить этот разговор нельзя, он не имеет права, они почувствуют, что он неискренен с ними, они ж понимают, что произошло крушение его судьбы, не зря Стендаль говорил, что ему нужны ордена и кресты лишь для того, чтобы защитить свое искусство.

— Мне очень, конечно, больно все это, люди,— сказал он.— Я должен сегодня подумать обо всем происшедшем, и, видимо, мне предстоит принять какое-то решение, и, мне сдается, оно будет в известной мере крутым... И все-таки это мое решение будет исходить из вероятий второго пути, а это путь работы. Не кукситься, люди! Не станем давать повода для радости тем, кто этого ждет. До завтра.

...Потеряв сознание от рвущей боли в сердце, Писарев упал не сразу; он стоял еще, а потом, переломившись пополам, но мертвый уже, сделал несколько шагов, прежде чем обрушиться тяжело на асфальт, под колеса новенького «Жигуля».

...Судебно-медицинским экспертам предстояло еще выяснить, отчего наступила смерть пешехода, но Арина Станиславовна Назарова, только что защитившая кандидатскую диссертацию, ехавшая в «Арагви», на банкет, где ее ждал отец, Станислав Федорович Назаров и друзья, была до выяснения обстоятельств задержана и препровождена в дежурную часть ГАИ Кунцевского района.

Анатолий КАЛИНИН

Повесть

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Цыган

Все знали, что Клавдия Пухлякова не боится ни бога, ни самого председателя колхоза. Недаром председатель Тимофей Ильич Ермаков, объезжая хозяйство колхоза, всегда старался стороной прошмыгнуть на своей «Победе» мимо свинофермы четвертой бригады. Тимофей Ильич объяснял это себе тем, что на свиноферме и без его вмешательства дела идут хорошо, не признаваясь, что на самом деле ему не хочется лишний раз встретиться там с Пухляковой.

Если же ему все-таки не удавалось незаметно проскользнуть мимо фермы, он должен был приготовиться принять от Клавдии на свою голову сразу весь тот залп не особенно приятных слов и выражений, что она приберегла для него за неделю. И можно было не сомневаться, что она не забудет ни одной из тех мелочей, что с такой бы охотой забыл Тимофей Ильич.

Голос у Клавдии был громкий, его издали можно было угадать, когда хуторские женщины, собираясь вечером на посиделки, запевали песню «Конь боевой с походным вьюком...». Председательская «Победа», отъехав от фермы, уже заворачивала за угол свинарника, а в уши Тимофея Ильича все еще толкались летящие ему вдогонку слова, что кабы он не заливал с самого утра глаза кукурузной бражкой, он бы видел, что только одна, меньшая, половина предназначенной свиноматкам дерти попадает из амбара на ферму, а большая половина уплывает «налево». Одну подводу дерти везут на свинарник, а другую — во двор к главному бухгалтеру или к старшему кладовщику. Председателю нелишне бы поинтересоваться, на каких харчах подрастают у них в катухах сразу по два и по три кабанчика...

Между тем при взгляде на Клавдию Пухлякову никто не мог бы сказать, что у нее такой характер. Скромной, красивой наружности женщина, с тихими серыми глазами. Можно было поклясться, что прячется где-то в самой глубине этих глаз затаенная печаль. И все лицо Клавдии с того дня, как ей принесли похоронную о муже, убитом под Таганрогом, как будто было задернуто дымкой.

Но стоило всего лишь один раз услышать, как достается от нее председателю колхоза, чтобы тут же и согласиться с общеизвестным утверждением о тихих омутах, в которых чаще всего и водятся черти. Главный бухгалтер колхоза никак иначе и не называл Клавдию Пухлякову за глаза, как сатаной в юбке. В глаза он предпочитал величать ее Клавдией Петровной.

Тем более странным могло показаться, что есть, оказывается, вещи, которые заставляют бледнеть и эту женщину. И совсем удивительным должно было показаться, что трепещет она тех самых вещей, к которым давно уже со снисходительным презрением относятся даже самые маленькие дети. Во-первых, достаточно было произнести при Клавдии только одно слово «цыгане», чтобы она тут же неузнаваемо изменилась в лице, стала непохожей на себя. При известии о том, что поблизости от хутора появились цыганские шатры, она, судя по ее поведению, не только сама начинала испытывать суеверный страх, но и панически боялась за своих детей-двояшек: мальчика, столь же черноголового и кудрявого, сколь белоголовой и кудрявой была девочка, его сестренка. Она немедленно загоняла их с улицы в дом, и пока стояли за хутором шатры, строжайше запрещала им бегать вместе с другими ребятишками на выгон.

Свирепых племенных хряков не боялась на ферме, бесстрашно заходила к ним в загон и умела усмирить их, когда они начинали пороть друг друга клыками, а тут трепетала, как сухой лист на придонской вербе под осенним ветром.

Во-вторых, весь хутор терялся в догадках о причине той несомненной власти, которую с некоторых пор приобрела над Клавдией самая вздорная из хуторских старух, болтливая и вороватая Лущилиха. Стоило лишь этой бывшей кулачке, от которой давно уже отвернулись все остальные люди, прийти к Клавдии и в разговоре нечаянно напомнить: «А ты не забыла, Клава, как мы с тобой хоронились в степи в кукурузе от немецкой бомбежки?..» — и грозная для самого председателя Клавдия внезапно добрела, становилась мягкой, как воск, и непременно спешила чем-нибудь порадовать старуху. Чаще всего Лущилиха уходила от нее с поросенком, только что полученным Клавдией на ферме за хорошую работу. Трудно было сказать, сколько после войны перекочевало таким способом премиальных поросят из катуха Клавдии в катух бабки.

Люди терялись в догадках о причинах такой щедрости Клавдии еще и потому, что до войны, пожалуй, ни к кому другому в хуторе не относилась она с такой откровенной враждебностью, как к Лущилихе и ее мужу. Не могла простить она им и при случае всегда напоминала публично, что до коллективизации держали они самый большой в хуторе виноградный сад на четыре тысячи донских чаш — кустов, а когда начиналась коллективизация, вдруг распродали все свое движимое и недвижимое имущество и куда-то бежали из хутора налегке, чтобы много лет спустя, когда давно уже минула пора раскулачивания, приехать обратно. Не прощала Клавдия мужу Лущилихи, что он, еще совсем моложавый, крепкий дед, по возвращении в хутор не пошел работать в колхоз, а, отделываясь ссылкой на слабое здоровье, подряжается складывать из камня-ракушечника большие скотные сараи и дома, откладывает в сундук тысячи. Не прощала и старухе ее длинного языка, осведомленности о всем, что случалось и что не случалось в хуторе. У нее можно было получить самые точные сведения даже о том, какой парень какие слова говорил своей девушке под яром не далее как вчера и как они миловались друг с дружкой.

Для этого Лущилиха разбросает у своего двора под яром полдюжины круглых пиленых чурбаков, выждет, пока гуляющие вечером молодые парочки набредут на них и присядут отдохнуть, а сама подлезет у себя во дворе к плетню и, стоя на четвереньках, не дыша, слушает. Наутро весь хутор знает, кто с кем минувшей ночью и сколько раз поцеловался. «Ей еще будет, что трухлявый плетень подломится, и она спикирует с яра прямо в Дон»,— зловеще предсказывала Клавдия.

И вдруг она, что называется, прикусила язык. Совсем не слышно стало, чтобы она высказывалась о Лущилиных с такой же неприязнью, как, бывало, прежде. Ни одного худого слова в адрес Лущилиных теперь нельзя было вытянуть и клещами из уст Клавдии. Если же ей приходилось слышать, как в ее присутствии начинали ругать их другие женщины, она помалкивала и потихоньку уходила от этого места. Нет, она не заступалась за Лущилиху, но и не спешила присоединиться к тем разговорам, которые раньше начинала первая.

В довершение ко всему все стали замечать, что во взаимоотношениях Клавдии с бабкой Лущилихой произошел явный перелом к лучшему, и они даже перешли в некое подобие дружбы. Во всяком случае, теперь старуха, завидев идущую ей навстречу Клавдию, не спешила улизнуть в первую калитку, а, наоборот, с самым сладчайшим выражением на лице спешила к ней на своих ногах-тумбах и, как самого дорогого человека, приветствовала:

— Доброго здоровьица, Клава! А я уже соскучилась за тобой. Как раз сегодня собиралась зайти.

Никто не видел, чтобы Клавдия при этом тоже встречно расцветала улыбкой, но и не замечали наблюдавшие за их встречей женщины, чтобы она протестовала против таких словоизлияний старухи. Чаще женщины видели, как потом Лущилиха, уцепившись за рукав Клавдии, провожала ее и они вместе скрывались за дверью ее дома. Все знали, что через полчаса или через час старуха непременно появится из калитки Клавдии с поросенком в мешке, оглашающим своим визгом весь хутор, или же с оклунком зерна, заработанного Клавдией в поте лица в колхозе.

Казалось, только для того и старается она так на ферме, ухаживая за свиноматками и хряками, чтобы Лущилины на старости лет ни в чем не испытывали недостатка. Не из христианского же милосердия сменила Клавдия свой гнев против них, бывших кулаков, на милость! Всем в хуторе было известно, что ни в господа бога, ни в его архангелов она никогда не верила и теперь вряд ли уже поверит. Не поверила она в них и тогда, когда получила похоронную о муже и предприимчивый попик из станицы решил наведаться по этому случаю к ней в дом, чтобы отслужить панихиду. Ни слова не говоря, Клавдия взяла попика за рукав подрясника и вывела за калитку.

От ответов на вопросы, какими же все-таки средствами Лущилихе удалось разжалобить ее сердце, Клавдия обычно уклонялась. От насмешек же по поводу ее суеверных страхов перед цыганами отговаривалась:

— Я ими с детства напуганная. Меня маленькую одна цыганка чудок не украла.

— Что-то раньше мы не примечали за тобой этой страсти,— напоминали ей женщины.

— Нет, я всегда их боялась,— твердо отвечала Клавдия.

Люди посмеивались и склонны были простить ей эту причуду. К тому же еще не выветрились у них из памяти старые рассказы, что цыгане любят воровать детей и потом учат их просить милостыню. После гибели мужа на войне у Клавдии Пухляковой только и осталось всей радости в жизни — дети. Вот и не надышится она на них и начинает метаться, прячет их, как наседка, едва лишь цыгане раскинут за хутором свои палатки. И хотя со временем ее дети-двояшки давно уже превратились в парня и девушку и украсть кого-нибудь из них было не так-то просто, строжайший материнский запрет по-прежнему оставался для них в силе. Пока стояли цыганские шатры на бугре,

никто из них не смел и на полшага отлучаться из дома.

Люди снисходительно посмеивались, по собственному опыту зная, что почти у каждого человека есть какая-нибудь своя слабость.

Но, как часто бывает, с тем, чего больше всего хотел бы избежать в своей жизни человек, жизнь и спешит познакомить его в первую очередь. После одного случая страхи Клавдии, над которыми она со временем уже не прочь была и сама посмеяться, вспыхнули с новой силой.

* * *

На попутной машине она из хутора, где жила, приехала в станицу, где находилось правление колхоза. Председатель третий месяц уже стороной объезжал свиноферму, и Клавдия решила сама нагрянуть в правление, чтобы окончательно выяснить с ним вопрос: каким образом на коротком, всего восьмикилометровом, пути от колхозного амбара до фермы исчезает половина зерна и дерти? И как, по мнению Тимофея Ильича, свинари и свинарки могут после этого отвечать за приплод и привес закрепленных за ними свиноматок и поросят?

Если не удастся сегодня же окончательно решить этот наболевший вопрос, то Клавдия прямо из правления махнет без пересадки в район к прокурору. А там председатель хочет — пусть едет туда отчитываться на мягком лимузине, а хочет — пусть идет по дорожке пешком. Если он и дальше согласен смотреть на расхитителей у себя под боком сквозь пальцы, то другие уже насмотрелись, хватит. Не здесь, так в другом месте Клавдия все равно выведет их на чистую воду.

С этим настроением она и поднималась по ступенькам в правление. Перед дверью с золоченой табличкой «Председатель колхоза Тимофей Ильич Ермаков» ее попыталась было задержать девушка-счетовод, вся мелко накудрявленная, как новорожденный белый барашек:

— Тимофей Ильич занят. У него люди.

Но Клавдия так сверкнула на нее из-под надвинутого на лоб платка серыми глазами, что девушка тут же махнула рукой.

— Проходите, проходите.

Клавдию здесь знали. Открыв дверь с табличкой, она убедилась, что накудрявленная девушка ее не обманула. В кабинете у председателя действительно были люди. Сам Тимофей Ильич сидел на своем обычном месте в углу под большой картой земельных угодий колхоза, между тумбами письменного стола были видны его обутые в черные сапоги ноги. Сбоку от него, опираясь растопыренными пальцами обеих рук о край стола и вкрадчивым движением подавшись к Тимофею Ильичу, стоял бухгалтер колхоза. Третьего человека в кабинете Клавдия не смогла угадать, потому что он стоял перед столом председателя спиной к двери. И вообще этот черноволосый, хорошего роста мужчина в синем костюме был, кажется, ей не знаком. Она не помнила, чтобы у кого-нибудь из знакомых мужчин были такие же черные, до синевы, волосы. И голос этого человека, слегка глуховатый, густой и как будто смягченный усталостью, Клавдия слышала впервые.

— Так не отдашь? — спрашивал он председателя колхоза.

Председатель Тимофей Ильич Ермаков, откидываясь на спинку стула своим внушительным туловищем, в свою очередь, спрашивал его:

— Мы с тобой этот обмен договором оформили?

— Оформили,— отвечал черноволосый мужчина.

— Полюбовно?

— Полюбовно.

— Так что же ты теперь от меня хочешь?

Незнакомый Клавдии мужчина махнул рукой.

— Договор — бумага. Через час кобыла пала.

При этих словах бухгалтер колхоза, не отрывая рук от края стола, с живостью извернулся в его сторону всем своим телом.

— Где?

— Как только доехали на ней до того хутора, что под бугром, так и легла.

Бухгалтер так и повернулся на каблуках вокруг своей оси и, обхватывая живот руками, сгибаясь вдвое, бросился к противоположной стенке.

— Ой, ратуйте, люди добрые! В кои веки нашелся хороший человек: цыгана обманул.

— Я вижу, тут у вас не один жулик,— с презрением в глуховатом, мягком голосе сказал черноволосый мужчина.

Теперь Клавдия уже окончательно догадалась, о чем шел разговор в кабинете у председателя. Она уже слышала об этой истории. Еще недели две назад старший кладовщик Федор Демин, отпуская ей обрат для поросят, с веселым хохотом рассказывал, как недавно отличился их председатель колхоза. Никому до этого не удавалось надуть цыган, а ему удалось. Цыгане разбили на станичном выгоне свои шатры и пришли к Тимофею Ильичу с предложением обменять полтысячи лопат на хорошую лошадь. У них, оказывается, одна лошадь только что пала в упряжке, а они как раз кочуют на постоянное местожительство в соседний район. Будут там кузнечить и работать конюхами в колхозе. Тимофей Ильич согласился и отдал им за лопаты ту самую кобылу, что зимой на Дону провалилась в прорубь. С той поры у нее и стали чахнуть все внутренности, хотя по виду она оставалась все такой же исправной кобылой. Ее уже назначили под нож, когда подвернулись цыгане.

Давясь от смеха, кладовщик рассказывал:

— Тимофей Ильич договаривался с ними по всем правилам. Недоуздок передавал ихнему главному цыгану честь по чести, из полы в полу. А как только цыгане отъехали от станицы, она возьми и грохнись об землю сразу со всех четырех ног. Тут только цыгане поняли свою промашку...

И, недоумевая, почему Клавдия, с которой он делится этой новостью, не только не разделяет его бурного веселья, а совсем наоборот, как-то даже потускнела, кладовщик Федор Демин с сердцем сплюнул:

— Тю, дурехa! Да ты никак опять цыган испугалась?.. То-то я вижу, ты вся изменилась с лица. Вот дура, так дура, чисто малое дите. Да уже и малые дети их перестали бояться. Мой пацан как увидит их шатры за станицей, так и торчит там с утра до вечера. Глупая, теперь

не цыган надо бояться, а водородной бомбы!— И он опять захохотал, закрутил головой.— Нет, ты только подумай, самим цыганам сумел полумертвую кобылу всучить! А еще говорят и пишут в нашей районной газетке «Советский Дон», что наш председатель — плохой хозяин.

* * *

Знала бы Клавдия, что ожидает ее за дверью с табличкой «Председатель колхоза Тимофей Ильич Ермаков», ни за что не пренебрегла бы предупреждением накудрявленной, как барашек, девушки и круто повернула бы от этой двери назад. Но было поздно, она не только уже вошла в кабинет и закрыла за собой дверь, уже и Тимофей Ильич успел ее заметить и коротким кивком головы дал понять, что ей придется подождать, пока он освободится. При этом он ни на секунду не прервал своего разговора с цыганом.

— Но, но, ты меня жуликом не величай, ты ищи жуликов где-нибудь в другом месте.

Бухгалтер ввернул:

— За это можно и статью припаять. Как за клевету.

— Что такое жулик? — глубокомысленно спросил председатель. И сам же ответил: — Это тот, кто для своей личной выгоды старается с другого человека семь шкур спустить. А я не лично для себя, а для колхоза беспокоюсь. Вон хоть у этой женщины спроси, она за колхоз кому угодно горло перервет. Как ты, Клавдия Петровна, считаешь?

Еще этого ей недоставало. Но и не могла же она согласиться с тем, с чем никогда не соглашалась в жизни. Ее ответ прошелестел от двери чуть слышно:

— Если, Тимофей Ильич, по правде, то надо бы эти лопаты людям вернуть.

Черноволосый мужчина полуобернулся и бросил на нее через плечо взгляд. Она не могла его заметить, потому что отвечала, не поднимая глаз от пола. А Тимофей Ильич, услышав ее слова, поморщился. Не такого, видимо, ответа ожидал он от Клавдии Пухляковой.

— Что такое, между прочим, правда? Это не что-нибудь вообще. Если для колхоза получается польза, то, значит, наша правда.

Горькое презрение и насмешка вместе сплелись в словах цыгана:

— Ты, что же, председатель, надеешься так свой колхоз поднять?

Тимофей Ильич встал за столом во весь рост, выпрямился.

— Цыган меня марксизму учит?! А где ты был, борода, когда я эти штуки зарабатывал?

И с этими словами он широко распахнул свой пиджак. Искрами блеснули у него на груди боевые медали.

Цыган слегка подался вперед, с уважением всматриваясь в его награды.

— Молодец, не зря воевал. Где я был? Там же, председатель, где и ты.

И он спокойно отвернул обеими руками борта своего темно-синего пиджака, ослепив всех в комнате, в том числе и Клавдию, блеском целого, что называется, иконостаса орденов и медалей. Перед ними сразу померкли три медали председателя, потому что у цыгана было их неизмеримо больше и из них внушительно выступали два самых уважаемых ордена: Орден Красного Знамени и солдатский Орден Славы.

Даже бухгалтер, зажмуривая глаза, не удержался от восклицания:

— Вот это ну!

А Тимофею Ильичу ничего другого не оставалось, как незаметно запахнуть пиджак, пряча более скромную позолоту своих наград. Не скрывая восхищения, он вышел из-за стола, чтобы поближе рассмотреть ордена и медали на груди у цыгана.

— Так вот ты, оказывается, какой цыган! Где же ты их сразу столько заслужил?

Цыган сухо ответил:

— В разведке. Но это, председатель, к делу совсем не относится. У нас тут с тобой не вечер воспоминаний боевых друзей. Сперва отдай распоряжение, чтобы вернули лопаты, а потом уже спрашивай.

Тимофей Ильич положил руку ему на плечо.

— Погоди, с этим всегда успеется. Ты, оказывается, грамотный парень, и язык у тебя неплохо подвешен. А все-таки не можешь обуздать свою цыганскую кровь. Горяч. Я все же постарше тебя и по возрасту и по своему званию старшины запаса, а ты на меня здесь кричишь и в присутствии других людей подрываешь мой авторитет. В нашем колхозе и без тебя есть кому на председателя кричать.— И Тимофей Ильич не взглянул, а только чуть заметно повел бровью в сторону двери, где стояла Клавдия Пухлякова.

Спокойным движением цыган снял его руку со своего плеча.

— Я на тебя не кричу, а вот ты здесь действительно кричал. Если ты и с другими людьми так обращаешься, то это еще хорошо, что никто из них тебя не побил. И наши воинские звания мы тоже не будем здесь разбирать. Не место.

С беспокойством в голосе Тимофей Ильич спросил:

— Что ты хочешь этим сказать? Если уж ты начал говорить, то договаривай до конца.

Все в колхозе знали, что Тимофей Ильич далеко не лишен был тщеславия и очень гордился тем, что на фронте дослужился до звания старшины.

Все так же спокойно цыган ответил:

— Ничего такого я не хочу сказать. Старшина — хорошее звание. Но есть, председатель, и другие звания.

— Например?

— Например, лейтенант.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что среди вас, цыган, тоже бывают лейтенанты?

— Кто знает, может быть, и бывают.

— Ну, уж это ты врешь,— с уверенностью заявил председатель.— Ордена и медали еще можно личным геройством заслужить, а чтобы лейтенанта заработать,— для этого одного геройства мало. Тут надо, брат, и образование иметь или по крайней мере талант. Конечно, случается, что человеку образование заменяет талант, но это редко. Для этого надо не цыганскую голову на плечах иметь.

Совсем тихим голосом цыган поинтересовался:

— Почему же не цыганскую? У цыган голова тоже круглая.

— Это ты мне не объясняй. Дружба народов, знаю... Не об этом речь. У цыган в голове всю жизнь только и было, как бы половчее честного человека обмануть, а этой одной науки на войне, как ты сам должен знать, еще мало. В разведке эта наука, понятно, еще могла тебе службу сослужить и даже помочь заработать один-два лишних ордена, а вот чтобы в бою командовать, тут совсем другая наука нужна.

И Тимофей Ильич ушел на свое место за стол, очень довольный, что ему наконец удалось подобрать подходящее объяснение, почему орденам и медалям цыгана посчастливилось несколько притушить блеск его собственных медалей. Из-за стола он насмешливо-победоносно поглядывал на цыгана и на бухгалтера. Бухгалтер не замедлил оценить его находчивость достойным образом:

— Да, это тебе не у наковальни плясать.

— И не присваивать чужое,— в тон ему добавил цыган.

— Но-но! — угрожающе повысил голос бухгалтер.

Цыган на него и внимания не обратил. Он обращался только к председателю:

— Один раз, председатель, ты уже ошибся. А что будет, если ты ошибешься и во второй раз?

Переглядываясь с бухгалтером, председатель торжественно пообещал:

— Если я совершу эту ошибку, то вот тебе мое слово: прикажу заплатить деньги за твои лопаты — и дело с концом.

Цыган покачал головой.

— Одного твоего слова мало.

Председатель искренне возмутился:

— Отказываешься верить председателю колхоза?

— Ему-то я верю, да вдруг он опять скажет, что для пользы колхоза не запрещается и обмануть.

— Этого я не говорил. Я говорил по-другому. Ну, если мало тебе моего честного слова, то можно и при свидетелях. Вот тебе уже свидетель номер один.— Тимофей Ильич повел рукой в сторону бухгалтера.— Подходит?

— Нет! — кратко сказал цыган.

— А! Ну, если не хочешь, то вот тебе другой свидетель.— И председатель повел рукой в сторону Клавдии.

— Вот если эта женщина согласится, то тогда и я, пожалуй, согласен.

И, поворачиваясь, цыган в упор взглянул на Клавдию. До этого она не видела его лица. Разговаривая с председателем, он стоял к ней спиной и только иногда немного поворачивался так, что она видела его острую кудрявую бородку. Теперь же она встретилась с его взглядом. И Клавдии вдруг показалось, что он заглянул своими ярко-черными глазами прямо ей в душу.

— Слышишь, Пухлякова, эта борода пожелала тебя свидетельницей иметь,— насмешливо сказал Тимофей Ильич.— Нам он, получается, не доверяет, а вот ты ему, должно быть, приглянулась. Чем-то ты ему понравилась. Постой, постой, куда же ты?! — в неподдельном изумлении закричал председатель, привстав со стула.

Но Клавдия уже не слышала.

* * *

Она не помнила, как открыла спиной дверь и мимо удивленной девушки-счетовода стремглав бросилась вниз по ступенькам правления. Накудрявленная девушка и другие сотрудники бухгалтерии прилипли к окнам. Еще никто не наблюдал, чтобы Клавдия Пухлякова ретировалась из кабинета председателя колхоза подобным способом. Обычно всегда он, едва заметив ее мелькнувший в окне силуэт, через другой ход спасался от нее на задний двор и отсиживался там в гараже до той минуты, пока шофер не возвращался из разведки с известием, что гроза в образе этой яростной женщины прошла и скрылась за станицей, за холмами.

Опомнилась Клавдия и смогла взглянуть на свое поведение как бы со стороны уже на береговой тропинке, наторенной сквозь заросли репейника вдоль Дона из станицы в хутор. Почему-то она избрала не верхнюю, горовую дорогу, где ее за четверть часа могла подвезти домой любая попутная машина, а эту глухую, пешеходную стежку. Сбежала со ста-

ничного крутогорья, как от погони. Кофточка билась у нее на груди так, будто под нею был спрятан голубь.

И вообще это ее бегство из кабинета председателя должно было показаться всем людям до крайности нелепым. Клавдия вспомнила, как округлились изумрудные глаза на личике у этой девчонки. Страшно должен был удивиться и сам председатель, который, конечно же, при появлении Клавдии в правлении не мог не догадаться, что неспроста она проделала сегодня свой путь из хутора в станицу.

И вот теперь она неизвестно почему возвращается в хутор, не раскрыв даже рта для разговора, к которому готовилась не один месяц. Что она скажет на ферме другим свинарям и свинаркам, ожидающим результатов предпринятого ею похода? Скажет, что зерно и дерть так по-прежнему и будут уплывать «налево»?!

И чего она так испугалась? Этого цыгана с кудрявой острой бородкой? Но неужели она всю свою жизнь так и будет бояться цыган и каждый из них всегда будет внушать ей панический страх, будто он непременно должен принести ей несчастье, что-нибудь над ней сделать или же что-то у нее отнять? Глупые, детские страхи! И этот цыган совсем не такой страшный. Даже наоборот, он довольно красивый мужчина с добрыми, словно бы чем-то опечаленными глазами. И с Тимофеем Ильичом он разговаривал рассудительно, ни разу не повысив голоса. Между тем у него были все основания повысить голос и даже стукнуть кулаком по столу. На его месте Клавдия так бы и поступила. Обидели человека, да еще и насмехаются. Особенно бухгалтер, который так все время и вьется вокруг председателя, как уж, так и нашептывает ему на ухо, что похитрее сказать да как погаже ответить...

А ведь Клавдия очень хорошо знала, что нужно сказать этому бухгалтеру про дерть и зерно, чтобы он еще побыстрее завертелся, как настоящий уж, когда ему наступят на хвост каблуком. Знала, что ему сказать, и собиралась сделать это сегодня в присутствии председателя — и не сказала. Вместо того, чтобы наслаждаться сейчас тем, как этот главный расхититель извивается под каблуком неумолимых фактов, убегает от него прочь по тропинке вдоль Дона. Еще немного, и сердце, разорвав кофту, выскочит на свободу, как горячая птица.

Успокаиваясь, она пошла медленнее, подставляя лицо и грудь ветру, тянувшему из-за Дона. Узкая тропинка исчезала впереди в зеленых кустах репейника, появляясь из них на пригорках. Жесткие, уже затвердевающие к осени репьи кусали ей ноги.

Мягкий, предупреждающий звонок велосипеда за спиной заставил Клавдию сойти с тропинки и посторониться. Велосипедист в развевающемся от ветра пиджаке быстро промчался мимо нее и, проехав еще немного вперед, вдруг остановился. Соскакивая с велосипеда и придерживая его за руль, он повернул к Клавдии голову с черной кудрявой бородкой, и она сразу же узнала того самого цыгана. Она оказалась наедине с ним. Ни впереди, ни позади на тропинке никого не было.

Описав с велосипедом полукруг прямо по кустам репейника, он подошел к Клавдии и сказал, протягивая ей руку:

— Это вы? А председатель потом вас искал. Спасибо, что хоть вы заступились. Будем знакомы, меня зовут Будулаем.

Еще в кабинете у председателя Клавдия обратила внимание, что говорит он по-русски совсем чисто. Странно, что теперь вблизи от него она не испытывала никакого страха. Он дружелюбно смотрел на нее своими черными, как будто чем-то опечаленными глазами и улыбался, обнажая ослепительно белые зубы. Ничего пугающего не было в его лице, не портила его и эта небольшая бородка. Что ж поделаешь, если эти люди все еще не могут отвыкнуть носить бороды! Значит, такой у них обычай.

И все же от растерянности она ничего не сказала ему в ответ, не назвала даже своего имени, а только позволила ему пожать свою безвольную руку. Его рукопожатие было бережным и коротким.

— Но все-таки и ваше заступничество не помогло,— не столько с ожесточением, сколько с веселым огорчением сказал он, не замечая растерянности Клавдии.— Отказался от своего честного слова и после того, как заставил меня показать ему свой военный билет. Ну, хорош у вас председатель! Не хотелось, а, видно, придется мне пожаловаться на него в райком. Вы мне не скажете, сколько еще осталось до райцентра?

— Через наш хутор проедете, а там, мы считаем, не больше шести километров,— обретая дар речи, ответила Клавдия.

— Спасибо. До свидания.

И, вскочив на велосипед, он вскоре скрылся за первым поворотом тропинки, оставив ее наедине с запоздалым раскаянием, что она холодно обошлась с этим человеком. Не растолковала даже ему как следует, что ехать до районной станицы все время нужно низом, по-над виноградными садами, и никуда не сворачивать, еле выдавила из себя два слова... А он ничем не заслужил подобного обращения. И в правлении он разговаривал с председателем культурно, за справедливость стоял, и здесь не стал набиваться на более близкое знакомство с Клавдией, а только вежливо поблагодарил ее, спросил о дороге и сразу уехал.

Так что же, что он цыган? И наружностью он ничуть не хуже других мужчин. Ему даже идет эта, конечно, непривычная для Клавдии бородка. Ей давно уже пора отбросить все свои никчемные страхи.

И впоследствии Клавдия вспоминала об этой встрече не иначе как с угрызениями совести. Впрочем, вскоре она, вероятно, и совсем бы забыла о своем мимолетном знакомстве с цыганом, если бы ей не напомнила о нем Лущилиха.

Как всегда, она наведалась к Клавдии в вечер того дня, когда лучшим свинарям и свинаркам на ферме выдавали в порядке дополнительной оплаты премиальных поросят. У Клавдии почти не проходило месяца, чтобы она не получила одного, а то и двух поросят. Привезла она и на этот раз из-за Дона, куда на лето перевозили из хутора свиней, месячного поросенка.

— Я, Клавочка, за это время за тобой просто ужас как соскучилась,— переступая через порог дома Клавдии, говорила Лущилиха.— Ты, считай, там за Доном целое лето как в ссылке живешь, все Америку догоняешь... А нонче, слышу, на вашем краю хутора поросеночек визжит, значит, думаю, наша передовая колхозница теперь дома. Дай, думаю, хоть одним глазочком взгляну на нее.— Она по-родственному звонко расцеловала Клавдию в обе щеки.— А у меня для тебя, Клавочка, как новостей, как новостей!..

И, усаживаясь без приглашения, закрывая широкой сборчатой юбкой весь табурет, она не по-старушечьи зоркими глазами вглядывалась, какое впечатление произведут ее новости на Клавдию. Бабка Лущилиха не сомневалась, что Клавдия не сможет остаться к ним безразличной.

Еще бы ей остаться безразличной! По самым точным сведениям, принесенным Лущилихой, тот самый цыган, которого так ловко обманул председатель колхоза, оказался не таким-то простым цыганом. Оказывается, из правления он нашел дорогу прямо в райком партии и на другой же день туда вызвали Тимофея Ильича. Лущилиха имела сведения об этом от двоюродного племянника, что возил на «Победе» самого секретаря райкома. Вчера племянник попутно заехал к ней порожняком на полчаса, она угостила его ладанным виноградным вином, и он разговорился. Прогостевал не полчаса, а целых два.

К тому часу, когда председателя колхоза вызвали в райком, племянник Лущилихи как раз зашел к секретарю райкома Ивану Дмитриевичу Еремину узнать, поедут они сегодня после обеда в командировку по колхозам района или нет, и все, что происходило в кабинете у секретаря, видел своими глазами. В ожидании, когда Иван Дмитриевич освободится, присел на уголочек дивана и весь его разговор с Тимофеем Ильичом и с цыганом слышал слово в слово...

* * *

Когда председатель колхоза Тимофей Ильич Ермаков вошел к секретарю райкома, у того в кабинете уже был цыган. Нашлись добрые люди, указали ему дорогу прямо в райком. Увидев цыгана у секретаря райкома, председатель сразу потускнел и небрежно буркнул:

— А, это ты, борода...

Цыган промолчал, сидя сбоку письменного стола секретаря райкома на стуле.

Секретарь Иван Дмитриевич Еремин встретил председателя с улыбочкой, вышел из-за стола, протянув ему руку.

— Давненько, Тимофей Ильич, не виделись... А вы разве не знакомы? — с удивлением спросил он, указывая глазами на цыгана.

Пришлось председателю подать руку и цыгану.

— Немного знакомы.

Цыган ничего, пожал ему руку. Тогда секретарь райкома потушил на лице улыбочку и сразу же огорошил председателя словами:

— Ну, а если знакомы, то тогда и совсем хорошо. Как ты, Тимофей Ильич, располагаешь: лопаты вернуть или же деньгами за них расплатиться?

Тимофей Ильич коротко взглянул на цыгана и покраснел так, что наголо бритая голова у него стала как бурак.

— Вы, Иван Дмитриевич, должно быть, не совсем в курсе.— И он тут же подошел к большой карте, занимавшей всю стену в кабинете у секретаря райкома.— Вот нашего колхоза земля. Она, борода, эта несчастная кобыла, где упала? У кургана? — не оборачиваясь, через плечо спросил он у цыгана.

Подошел к карте и цыган. Они все трое остановились у стены.

— Нет, она только стала проходить мимо него и легла.

Тимофей Ильич обрадованно переспросил:

— Ты этот факт лично подтверждаешь?

— Лично подтверждаю,— спокойно ответил цыган.

— Ну, тогда тебе и никакой райком не сможет помочь. Как это в песенке поется: «Понапрасну, Ваня, ходишь, понапрасну ножки бьешь...»

Тут секретарь райкома сурово перебил председателя:

— Почему?

— Да потому, что, дорогой Иван Дмитриевич, до Володина кургана, как вы знаете, нашего колхоза земля, а за курганом — уже «Труженика». Раз она, перейдя этот курган, упала, мы за нее уже не ответчики. Вот если бы она на нашей земле пожелала упасть, то тогда бы другое дело.

И он уже взялся за свою соломенную шляпу, но секретарь тихонько придержал его за локоть.

— Не спеши, Тимофей Ильич. Давай теперь послушаем, что скажет твой приятель.

— Черт ему приятель! — поворачиваясь к цыгану боком, отрезал Тимофей Ильич, за что секретарь райкома тут же наградил его сердитым взглядом.

Он легонько взял Тимофея Ильича обеими руками за плечи и повернул лицом к цыгану. Цыган пояснил:

— Зашаталась-то она, еще не доходя до кургана. Когда она в оглоблях мимо него шла, она, считай, уже была мертвая.

Наголо бритая голова председателя опять стала красной, как бурак.

— Ты что, ветеринарный доктор, чтобы точно знать, живая она была тогда или мертвая?! Факт, что упала она после кургана.

— Нет, она его не перешла. Прямо перед ним и легла. Здесь.

И, взяв из стаканчика на столе у секретаря райкома толстый красный карандаш, цыган твердо указал это место на карте. Тимофей Ильич немедленно вырвал у него из руки карандаш.

— И это еще не все. Там еще межевой столб есть. Полосатый.

— У этого столба и упала,— сказал цыган.— При свидетелях. Там электрики линию тянули.

— А куда она головой легла? — прищуривая один глаз, спросил председатель.

Цыган взял на столе из стаканчика другой, синий, карандаш и показал:

— Вот сюда!

На этот раз Тимофей Ильич и свою соломенную шляпу успел надеть.

— Опять, стало быть, на земле «Труженика».

Цыган засмеялся, открывая все свои белые зубы.

— Должно быть, она перед смертью с тобой посовещалась, куда ей лучше упасть.

Не обращая на его слова ровным счетом никакого внимания, Тимофей Ильич только плечами пожал и протянул руку секретарю.

— Вот видите, Иван Дмитриевич, теперь вы полностью в курсе.

Но секретарь райкома как будто не заметил его протянутой руки и сказал совсем официально, уходя от карты в угол за свой стол:

— Стыдитесь, товарищ Ермаков. Так или иначе, придется вам эти лопаты вернуть.

Председатель как стоял, так, не сняв шляпы, и опустился на стул.

— А чем же, разрешите, Иван Дмитриевич, узнать, мы будем на зиму виноградные лозы зарывать?

Секретарь развел руками.

— Вот этого я не знаю. Но, конечно, за своевременную укрывку лоз мы в первую очередь будем спрашивать с тебя. Вот если хочешь, договаривайся с ним. Может быть, товарищ согласится и деньгами взять.

Цыган отозвался:

— Полюбовно все можно.

Тимофей Ильич из себя вышел, даже руки к небу возвел.

— Да ты понимаешь, чертов сын, что без акта о причине смерти этой проклятой кобылы я не имею на это никакого полного права?! Она у меня значится на балансе как живая.

Цыган вытащил из нагрудного кармана пиджака какую-то бумагу.

— Акт есть.

Тимофей Ильич прочитал этот акт и заметно повеселел:

— Все по форме. Да ты, действительно, грамотный, цыган. А шкуру сняли? Вы еще должны нам шкуру вернуть.

— Сняли и шкуру. Вернем,— успокоил его цыган.

Тогда председатель и совсем развеселился:

— В самом деле ты, цыган, с головой. В первый раз такого встречаю. Сейчас, так и быть, напишу бухгалтеру, за эти проклятые лопаты деньги получишь. И стоило тебе из-за них в райком ходить, человека от важных государственных дел отрывать! Нет, ты, оказывается, хозяйственный, цыган. В заместители ко мне не пойдешь? Мне как раз хороший заместитель нужен.

Он опять потускнел после краткого ответа цыгана.

— Не пойду.

— Почему?

— Боюсь, не сработаемся.

— Вот это ты напрасно,— подписывая распоряжение бухгалтеру, сказал Тимофей Ильич.— Я человек не злопамятный. И ты мне понравился. У нас колхоз хороший, скоро виноград в садах срежем и своего вина надавим.— И, отдавая бумагу цыгану, он засмеялся: — На, крепче держи. Ветер выхватит!

Засмеялся и цыган, опять показывая все свои зубы:

— У меня не выхватит.

Секретарь райкома Иван Дмитриевич Еремин смотрел на них из-за своего большого стола под зеленым сукном и тоже улыбался.

Продолжение следует.

Цыган

Анатолий КАЛИНИН

Повесть

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Наслаждаясь тем впечатлением, которое произвел ее рассказ на Клавдию, бабка Лущилиха сложила на груди руки и поджала губы, всем своим видом показывая, что это еще всего-навсего цветики в сравнении с тем, что еще ей известно. Самую главную новость она приберегла напоследок, и Клавдии еще предстоит по достоинству оценить всю ее осведомленность.

Лущилиха хотела выждать время, чтобы возбудить любопытство Клавдии, но не выдержала, придвинулась к ней вместе с табуретом.

— Будто и грамотный оказался этот цыган, а все же с какой-то придурью. От хорошей должности отказался и тут же попросился простым кузнецом в наш хутор. Чем-то, значит, понравился ему наш хутор.—Лущилиха придвинулась вместе с табуретом к Клавдии еще ближе и, зачем-то оглядываясь на окна, перешла на звенящий полушепот:

— А знаешь, Клава, чем понравился? Мой племянник слышал, как он рассказывал потом секретарю райкома и нашему председателю, что как будто где-то в наших местах его жену раздавили немецкие танки и теперь он нашел тут, в степи, ее могилку... А сейчас, когда я проходила балочкой мимо нашей кузни, с нее замок уже снятый, и мальчишки туда сбежались со всего хутора. Я там и твоего Ваню видела.

Теперь она имела право в полной мере насладиться тем впечатлением от ее рассказа, которое не замедлило отразиться на лице Клавдии. Впечатление было настолько сильным, что это даже не на шутку обеспокоило старуху.

— Да что с тобой, Клавочка, на тебе ни кровинки нет! Сразу сделалась белее этой стены. Ты, случаем, не заболела? Там, за Доном, от этих проклятых комарей в два счета можно лихоманку схватить.

— Нет, ничего, я не больная,— глухим и каким-то сдавленным голосом отвечала ей Клавдия. Она вскользь провела ладонью по шее, будто ее что-то душило.— Ты, бабушка, возьми там во дворе в катухе поросенка и, пожалуйста, уходи. Я прошлую ночь что-то плохо спала, мне сегодня раньше лечь нужно.

— Ложись, милая, ложись! А за поросеночка тебе спасибо. То-то мой дедушка возрадуется, он ведь жареную поросятинку дюжей всего уважает. Ах ты, господи! — Лущилиха сокрушенно взмахнула широченными рукавами кофты.— А мешок-то я, старая, и забыла. Ты мне, Клавочка, разрешишь твой взять?

Клавдия разрешила:

— Возьми там, в сенцах.

Вечером, когда пришел с улицы сын Клавдии, она спросила у него:

— Ваня, где ты сегодня задержался так поздно? И рубашка на тебе вся в каком-то мазуте.

— Это не мазут, мама. Это мы с ребятами помогали нашему новому кузнецу горн устанавливать,— ответил Ваня.

— Тебе незачем, Ваня, туда ходить,— сказала Клавдия.

Он повернул к ней черноглазое лицо:

— Почему, мама?

— Нечего тебе там делать.

— Мне, мама, уже шестнадцать лет, я не маленький. Надо мной и так ребята сегодня смеялись: «Смотри, как бы цыган тебя в мешок не посадил!»

— Глупые, потому и смеются. Если ты, Ваня, не хочешь с матерью поссориться, не ходи больше туда.

— Небось, Нюрке ты не запрещаешь.

— А Нюра туда и сама не пойдет. Она девочка.

* * *

Прошло около года. За это время в Дону между суглинистыми ярами много утекло воды. Волнение, вызванное тем, что в хуторе поселился новый человек, к тому же цыган, постепенно улеглось. К Будулаю стали привыкать, тем более что он от раннего утра до позднего вечера напоминал о своем существовании ударами молотка по наковальне, жаркими, то веселыми, то жалобными, то дробными, то редкими и тягучими всплесками металла, разносящимися из балки. Ожила хуторская кузница. Теперь замок на ней появлялся только к вечеру, а все остальное время дня ее большие двери были распахнуты настежь, и скользящими отблесками пламени освещало высокую черную фигуру с рукой, поднятой к рычагу кузнечного меха. Из окон хуторских домиков, разбросавшихся по склонам придонских бугров, было видно, как светятся двери кузницы.

Поселился Будулай во флигельке у самого Дона, отведенном ему правлением колхоза, и что он там делал один по вечерам, было неизвестно. Готовил пищу себе он сам, вероятно, обученный этому, как догадывались в хуторе, своей прошлой цыганской и солдатской жизнью. Чему только не научат человека дорога и война! Иногда, чаще всего на восходе или на закате солнца, видели Будулая за хутором в степи у одинокой могилки, где была похоронена добрыми людьми погибшая под гусеницами немецкого танка цыганка. Со своей кибиткой она отстала во время отступления от табора, кочующего в потоке других беженцев за Волгу, и здесь ее настигли танки. О том, что это была именно его жена, Будулай, как говорили, догадался по конской, цыганской работы подкове, найденной им после долгих поисков там, на окраине кукурузного поля.

Хуторские женщины жалели Будулая и, когда он, спускаясь из степи, проходил мимо них по улице вниз к Дону, переговаривались в огороженных плетнями и частоколом дворах, что он совсем еще не старый и довольно симпатичной наружности, даже можно прямо сказать, красивый цыган. Женщин особенно располагало к Будулаю, что он, проходя мимо, никогда не забудет вежливо поздороваться, как иные мужчины.

Уже и ребятишки не дежурили дни напролет, как зачарованные, у дверей кузницы. Острота нового ощущения прошла, и армия ребятишек понемногу рассеялась по другим объектам, возбуждавшим их любопытство. И только Клавдию Пухлякову женщины, переезжая из хутора за Дон поливать и пропалывать огороды, спешили обрадовать:

— Твой Ванька к этому Будулаю, должно, в подмастерья записался. То, бывало, целыми днями все в двери кузни заглядывал, а сейчас его цыган уже и в кузню допустил. Когда ни пройди мимо, он там. Уже и сам что-то потюкивает молоточком. Тоже стоит у наковальни, такой же черномазый, ну, чистый цыганенок!.. И чего ты, дурная, пугаешься?! Ты же знаешь, какие цыгане хорошие кузнецы, погоди, этот Будулай еще и из твоего Ваньки мастера сделает! Будет тогда мать кормить.

Что́ могла ответить на это Клавдия? Если бы она весной и в летние месяцы находилась по целым дням, а то и по неделям не за Доном, а в хуторе, дома, она имела бы возможность присмотреть за своим сыном и удостовериться, как он держит слово, данное матери,— не ходить в кузню. Как-то она еще раз заговорила с Ваней об этом и, убедившись, что он уклончиво отвечает на ее вопросы, больше к нему не приступала. В конце концов он уже вышел из того возраста, когда она водила его с собой за ручку.

Однажды председатель колхоза, побывав за Доном на летнем свинарнике, заехал в хутор, нашел в кузнице Будулая и сказал, чтобы тот тоже съездил за Дон и своими глазами посмотрел, как сделать, чтобы хряки не разбивали ворота загонов.

— Грызут, проклятые, дерево, как солому! Каждую неделю приходится дверцы менять, не настачишься. Посмотри, может, лучше их раз и навсегда толстым железом оковать. Пусть тогда точат свои клыки сколько влезет. Да не забудь смерок снять... А это у тебя что за цыганенок? Родня? — поинтересовался председатель, разглядев в полумгле кузницы тоненькую фигурку полуголого мальчика.

Раздетый до пояса, он раздувал огонь в горне. Смуглая, покрытая кузнечной копотью кожа мальчика вспотела и тускло лоснилась. Два глаза светились из темноты почти с такой же яркостью, как и раскаленные угли, раздутые мощным дуновением кузнечного меха.

— Это Клавдии Петровны Пухляковой сын,— ответил Будулай.

При этом имени легкая судорога пробежала по лицу председателя. Всего час назад на свинарнике за Доном ему пришлось выдержать очередную атаку этой женщины, и еще так свежо было воспоминание, как она корила его в присутствии других свинарей и свинарок за то, что до сих пор никто не догадается обить дверцы в загоне у хряков железом. После этого председатель и поспешил из-за Дона прямо в кузницу к Будулаю. Потому-то столь неуместным показалось ему теперь лишнее напоминание об этой женщине, услышанное из уст Будулая. Встречаясь со взглядом сына Клавдии, председатель заключил, что и глаза у него сверкают точь-в-точь, как у его матери. Не мог в полутьме кузницы рассмотреть председатель, что глаза у мальчика совсем черные, в то время как у его матери они были серыми с зеленоватым отливом.

— А я подумал, что он с тобой одного племени,— сурово сказал председатель.— Какой-нибудь твой младший брат или, скажем, племянник.

— Вы же знаете, что у меня никакой родни не осталось,— тихо напомнил ему Будулай.

— Сколько ему лет?

— Шестнадцать,— сказал Будулай.

— Явное нарушение Кодекса законов о труде. Ты знаешь, что подросткам работа на вредном производстве категорически запрещена,— начал было выговаривать Будулаю председатель, но его перебил звонкий, смелый голос мальчика:

— Через месяц, двадцать пятого июля, мне уже исполнится семнадцать.

— А тебя никто об этом не спрашивает! — круто оборвал председатель.— Твое дело телячье.

Не хватало еще, чтобы и здесь его стал учить уму-разуму сынок той самой Клавдии, которая только что публично поучала его там, за Доном. Если так всех распустить, то скоро и грудные младенцы начнут указывать председателю, как руководить колхозом.

— Короче, езжай завтра же и сними там смерок,— бросил председатель Будулаю. И, обращаясь к мальчику, но глядя не на него, а в сторону, добавил: — А ты с завтрашнего дня пойдешь в бригаду на прицеп. У нас в поле не хватает прицепщиков. Сюда я пришлю настоящего молотобойца.

Продолжение. См. «Огонек» № 50.

И он повернулся к выходу, заслонив своей могучей спиной открытую дверь кузницы. На минуту в кузнице стало совсем темно.

Внезапно его догнал высокий, вздрагивающий голос мальчика:

— Дяденька председатель, пожалуйста, не отсылайте меня из кузни!

Вслед за этим и Будулай успел ввернуть слово столь не свойственным ему просительным тоном:

— Не стоит, Тимофей Ильич, обижать мальчика. Он и так сюда бегает тайком от матери. Она почему-то ему запрещает. А мальчик смышленый.— Будулай положил свою большую руку на мягкую, как мерлушка, голову сына Клавдии.— Так все на лету и схватывает. Если он еще тут полгода-год покрутится, из него может настоящий кузнец получиться. У него как будто в крови что-то есть. Как, скажем, у него отец или дед тоже были кузнецами. А двери на свинарнике, Тимофей Ильич, я сделаю такие, что их из пушки не разобьешь. В этом не сомневайтесь.

Председатель колхоза Тимофей Ильич, в сущности, не был жестокосердым человеком. И не будет ли похоже, что он сводит счеты с мальчиком из-за того, что не поладил с его матерью? Оказывается, что и ему приходится воевать с нею. Вот невозможная женщина, родному сыну нет от нее жизни! Теперь же может получиться, что в этой войне из-за кузни она приобретает такого могучего союзника, как он, председатель. Нет, этому не бывать! А если мальчонка и в самом деле такой способный? Хорошие кузнецы колхозу всегда будут нужны. К тому же Тимофей Ильич не выносил детских слез, а в голосе у этого мальчугана, когда он крикнул ему вдогонку «дяденька», явственно зазвенели слезы. У Тимофея Ильича были свои дети.

Не оборачиваясь, он бросил:

— Ну, как знаете. А отец его, между прочим, был не кузнецом, а трактористом.

И он вышел из кузницы.

Продолжая держать руку на мерлушковой голове мальчика, Будулай задумчиво спросил:

— Когда ты, Ваня, говоришь, тебе исполнится семнадцать лет?

— Двадцать пятого июля, теперь уже меньше чем через месяц.— И мальчик пояснил просто: — Нас с Нюркой мамка преждевременно родила. В кукурузе. Она там с женщинами от немцев спасалась. Она увидела, как немецкий танк цыганскую палатку прямо с людьми раздавил, и тут же нас родила...

И, внезапно ощутив, как задрожала у него на голове рука Будулая, он с удивлением поднял глаза. Будулай отвернул лицо в сторону и тихонько снял с черного кудрявого гнезда его волос свою большую руку.

* * *

Выполняя распоряжение председателя, Будулай поехал за Дон. Первым человеком, которого он там встретил, была Клавдия Пухлякова. Он переправился на лодке и шел по тропинке среди деревьев к свинарнику, а она с двумя порожними ведрами в одной руке шла по тропинке к Дону.

Будулай увидел ее раньше, чем она успела его увидеть. Редко можно наблюдать человека со стороны, когда он, думая, что остался наедине с самим собой, ведет себя так, как он никогда не повел бы себя в присутствии людей. Будулаю довелось увидеть Клавдию именно в такую минуту. Она шла по тропинке, вьющейся под вербами, и на лице у нее играло тихое, задумчивое выражение.

Она не сразу увидела Будулая, потому что шла, низко наклонив голову, как будто внимательно рассматривала что-то у себя под ногами. В одной руке она держала за дужки два порожних ведра, а другой рукой слегка отстраняла ветви деревьев. Шла медленно, о чем-то думая. То ли тень этой задумчивости, то ли трепещущие тени леса окутывали ее лицо тонкой дымкой. Ей шел этот белый халат, который Будулай видел на ней впервые. Ее лицо как-то смягчилось. С этим новым выражением на лице она вдруг показалась ему совсем молодой и почему-то беззащитной. Он очень хотел бы узнать, о чем она могла думать, отодвигая заслонявшие ей дорогу ветки.

Чтобы нечаянно не спугнуть этого ее настроения, Будулай осторожно отступил с тропинки в сторону за ствол старой вербы. И надо же было так случиться, чтобы, проходя мимо этой вербы, Клавдия подняла на Будулая серые, затуманенные глаза. Внезапно увидев его, она остановилась и, роняя ведра, прижимая руки к груди, вскрикнула:

— Ой!

Всего второй раз они встречались и каждый раз на глухой тропинке.

— Неужели же я такой страшный? — выступая из своего укрытия, с горькой укоризной спросил Будулай.— Почему вы так меня боитесь?

— Я вас не боюсь,— тихо ответила Клавдия.

Она и в самом деле сейчас его не боялась. Она вскрикнула только от неожиданности.

— Значит, это мне показалось,— с облегчением сказал Будулай. Он достал и подал ей скатившиеся с дорожки под куст ведра.— А я давно хотел у вас спросить...— Его глуховатый голос стал еще глуше, и черные глаза как подернулись лаком.— Вы, говорят, видели, как за хутором немецкий танк наехал на цыганскую кибитку. Вы не помните, кто там был, возле этой кибитки?

Не поднимая опущенного к земле взгляда, Клавдия ответила:

— Там были старик и молодая цыганка.— И она поспешно добавила: — Но больше я ничего не могла видеть...

— Я знаю,— сказал он с сочувственной, понимающей улыбкой.— И еще я хотел бы вас просить, чтобы вы не запрещали вашему сыну Ване приходить в кузню. Он у вас очень способный и, может, научится там чему-нибудь хорошему.

И так же, как в первый раз, не задерживая больше Клавдию, он с полупоклоном обошел ее стороной и скрылся в лесу на тропинке.

* * *

Приезжему человеку всегда не так-то просто бывает заручиться доверием у людей в новом, незнакомом для него месте, к тому же заручиться доверием у крестьян, которые никогда не спешат раскрывать кому-нибудь навстречу свою душу. Прежде нужно не одно поле вместе вспахать, не один, как говорится, пуд соли съесть и не один, нечего греха таить, литр вина вместе выпить.

Тем труднее бывает обживаться новому человеку среди придирчивых и острых на язык казаков, да к тому же если человек этот — цыган. В каждом цыгане люди по издавна укоренившемуся убеждению всегда прежде всего склонны видеть бродягу и лодыря. Конечно, в меру своих сил способствовали укреплению подобной репутации и сами цыгане.

И если Будулая очень скоро стали считать в этом казачьем хуторе своим человеком, то лишь потому, что люди так же безошибочно умеют распознавать в человеке трудягу, мастера своего дела.

Ожила старая колхозная кузница в балке. Когда на ее дверях висел внушительный замок-гиря, будто бы и не очень заметно было отсутствие в хуторе кузнеца, а теперь, когда с утра до вечера растекались из балки звоны-перезвоны, стали натаптывать сюда тропинки и от молочнотоварной фермы, и из колхозных виноградных садов, и с полевого стана. Весь день тянулись по этим тропинкам люди. Несли, конечно, в кузницу не что-нибудь крупное, а больше всего лопаты, тяпки, железные грабли и разные шкворни. На первый взгляд не очень существенную и тем не менее незаменимую в большом хозяйстве мелочь.

Не станет же, понятно, колхоз сдавать на ремонт в хуторскую кузницу, где едва могут повернуться кузнец со своим подручным, большие тракторные плуги, которые скорее и проще отремонтировать в новой большой мастерской в станице! Не было в кузнице у Будулая и приспособлений для отковки осей и валов с тракторов и автомашин, не было прессов, тисков и станков для обточки и расточки.

Зато закалить Будулай умел и в своей маленькой кузнице какого угодно размера деталь. И закалить так, как не умели это сделать и в большой мастерской. Отец передал ему этот секрет сверхпрочного закаливания металла, унаследованный им, в свою очередь, от своего отца, тоже кузнеца. И даже сам главный механик из большой мастерской, инженер, обращался к Будулаю за консультацией по этому вопросу. Тут, оказалось, одних инженерных знаний было недостаточно, тут необходимо было и еще нечто такое, что нужно, скажем, музыканту, артисту или художнику, — одним словом, талант...

Пробовал Будулай передать свой секрет закалки металла другим кузнецам, не отказывался повозиться с ними, когда его просил об этом главный механик больших мастерских, но так ничего из этого и не получилось. Вот, казалось бы, и совсем уже постиг человек, спроси у него — и он наизусть расскажет, что с деталью нужно делать сначала и что потом, а начнет это делать сам и где-то обязательно ошибется. Даст промашку на самую малость, сделает почти что так и все же не так. А без этого-то «почти» и нельзя. Без «почти» ось или вал получаются либо совсем мягкими, как воск, либо хрупкими, как сахар-рафинад. В «почти»-то, оказывается, и вся загвоздка. В этом и есть талант. А талант, должно быть, содержится у человека в самой крови, и, вероятно, только с кровью можно перелить его в жилы другого человека.

И все-таки Будулай не терял надежды, что в конце концов удастся ему передать свои знания кузнечного мастера кому-нибудь другому. Не уносить же ему их с собой в могилу! Раньше надеялся он, что сумеет передать их своему сыну. Когда ранней весной в степи, под пологом шатра, его жена Галя объявила ему, что у нее под сердцем затрепетал огонек новой жизни, Будулай так сразу и рассудил, что это может быть только сын. В их роду кузнецов все первенцы были сыновьями. А как же могло быть иначе?! Иначе некому было бы передавать из рук в руки щипцы, молотки и прочие орудия кузнечного ремесла.

С этой глубочайшей уверенностью Будулай и на войну уходил, застигнутый посреди степи в шатре верхоконным милиционером с повесткой из ближайшего сельсовета. И, расставаясь в тот же день с Галей среди холмов, пуще всего просил он ее сберечь к его возвращению с фронта сына, а для этого, не мешкая, уходить в своей кибитке вместе с потоком беженцев туда, откуда встает солнце, в заволжские степи. «Я вас там и найду, цыган цыгану всегда дорогу укажет»,— говорил Будулай, прощаясь со своей Галей, с великим трудом разомкнув ее руки, петлей захлестнувшиеся вокруг его шеи. Не оглядываясь, он поскакал на своем верховом коне вслед за милиционером, не видя и того, как рухнула Галя на колени, протягивая вдогонку ему руки, и как потом каталась растрепанной головой по золе потухшего костра, а старый, глухой отец с серьгой в ухе склонился над ней с бутылкой воды.

И потом на войне, совершая по ее дорогам и бездорожью весь долгий переход с казаками Донского кавалерийского корпуса от Терека до Австрийских Альп, покачиваясь в жестком седле, ерзая по-пластунски животом по снегу, по траве и по кремнистой почве трансильванских предгорий, бодрствуя в разведке, засыпая у огня у коновязей и отдирая от пробитой осколком груди бинты в госпитале, все время жил Будулай в ожидании того часа, когда наконец возьмет он за смуглую ручонку своего первенца, которого он и Галя договорились назвать хорошим русским именем Ваня, впервые подведет его к наковальне и очарует его взор призрачным сиянием искр, брызжущих из-под кувалды. С той секунды и должно будет начаться посвящение его сына в тайны древнего ремесла деда, прадеда и пращура.

Твердо верил Будулай, что удастся ему сделать из своего Вани не только кузнеца, умеющего превратить кусок железа в подкову, в зуб бороны, в буравчик и в клещи, которые можно сбыть в воскресный день на базаре по десять рублей за штуку, но и такого, что однажды снимет перед отцом картуз, бросит его на землю и скажет: «Спасибо, батя, за науку, но с меня хватит. Теперь я у тебя уже ничему не смогу научиться. Дальше я пойду учиться на механика-инженера».

Вот какие мысли роились в голове у Будулая, когда он слышал на фронте вокруг разговоры однополчан об их детях, что учились в больших городах на врачей, инженеров и да-

же на морских капитанов. Почему же его сын Ваня, вместо того, чтобы тоже учиться, должен плясать и кривляться на базаре посреди гогочущей толпы, выпрашивая у нее за это копейки? При мысли об этом кровь вином бросалась в лицо Будулаю. И однополчанин-дружок начинал будить его посреди ночи у потухшего огня, сердито спрашивая, почему он так по-страшному кричит и скрежещет во сне зубами. Не знал однополчанин, что вовсе и не спит Будулай, не мог знать и того, какие горькие воспоминания и какие лучезарные надежды не дают спать его фронтовому побратиму-цыгану.

И когда оказалось, что все его надежды похоронены под невысокой, совсем неприметной насыпью супесного чернозема в степи, там, на окраине кукурузного поля, ему почудилось, как будто чья-то безжалостная рука до отказа качнула рычаг его горна и выдула из мехов лучшую часть его жизни. Война не только отняла у него Галю, его верную подругу и жену. Не сбылось, никогда не сбудется теперь и то, о чем мечтал он на походном марше в казачьем седле и бессонными ночами под терскими, кубанскими, донскими, украинскими, молдавскими, румынскими и венгерскими небесами. Некому будет ему передать из рук в руки фамильную кувалду.

Разумеется, еще в состоянии он будет передать кому-нибудь свои навыки кузнеца, но, очевидно, так никогда и не сможет передать то, что переливается из жил в жилы только с родной кровью. Он уже убедился в этом на собственном опыте. Он пытался от самого чистого сердца, и пока ничего путного из его попыток не получилось. Люди, которых он брался обучать, уходили из его кузницы более или менее сносными кузнецами, но ни у одного из них металл не звучал под руками, как бубен и как живая песня. Не вздыхал, не смеялся, не рыдал, не нашептывал Будулаю на ухо вещи, подобные тем, что, бывало, нашептывала ему под сенью шатра его Галя. И ничего такого так и не успели сделать из куска металла эти добропорядочные кузнецы, о чем можно было бы сказать только одним словом: сказка!

Так и оставался Будулай с горьким разочарованием в своих лучших надеждах и мечтах, пока не появился рядом с ним его новый добровольный подручный Пухляков Ваня.

* * *

После разговора с Будулаем в лесу Клавдия уже не приказывала своему сыну стороной обходить кузницу. Теперь Ваня, уже не таясь матери, каждое утро открыто собирался туда, как на работу. Да это и в самом деле была его работа, потому что при очередной встрече с председателем колхоза Будулай уговорил его начислять Ване по полтора трудодня за смену, как младшему молотобойцу. Без старшего молотобойца Будулай предпочитал обходиться, а когда требовалось обработать большим молотом какую-нибудь вещь, он приглашал на время Володьку Царькова, невзрачного, просто даже квелого на взгляд парня из огородной бригады, наделенного могучей физической силой. Когда Володька Царьков поднимал молот, мышцы выступали у него из-под желтоватой кожи, обвивая его руки и грудь, как змеи.

Но со временем Будулай отказался и от помощи Царькова. Отказался не только потому, что тот, когда его звали в кузницу, всегда капризничал и непременно требовал, чтобы по окончании смены кузнец ставил ему на наковальню пол-литра водки. Настало время, когда Будулай мог уже сам взяться за молот, а держать, поворачивать в щипцах и обрабатывать металл небольшим кузнечным молотком мог доверить своему юному подручному Ване. Ваня просил доверить ему и самый большой молот; несмотря на свои семнадцать лет, он был рослый, вровень с самим Будулаем, парень, и молодые мускулы у него под гладкой, блестящей кожей так и играли. Но на это Будулай согласия не давал. Хребет у парня был еще жидкий.

И красивый был парень! Часто, поглядывая на него в кузнице, Будулай думал, что его матери и с этой стороны могла позавидовать любая другая мать. Нет, Ваня совсем не был похож на свою мать, хотя о ней тоже никто не осмелился бы сказать, что она некрасива. По мнению Будулая, она была самой красивой в

хуторе женщиной. Но вот может же быть, что у красивой русоволосой матери с серыми глазами родится тоже красивый, но только совсем черноволосый, черноглазый сын. И не похож был Ваня на свою мать не только, как говорят, мастью. Увидев их рядом, сразу можно было сказать, что не унаследовал он от нее ни единой черточки. И совсем другого рисунка были у него большие, будто чем-то навсегда удивленные глаза, и крылья бровей уходили далеко к вискам совсем по-другому, чем у Клавдии, и ноздри тонкого, хрящеватого носа были вырезаны так причудливо, как больше ни у кого другого во всем хуторе.

Смуглой, горячей и немного дикой красоты был юноша. Слыхал Будулай, что и на погибшего, тоже русоволосого, мужа Клавдии он не был похож. Оставалось лишь думать, что не иначе, как пошел Ваня в кого-нибудь из своих далеких предков — казаков.

Вот о сестренке его, Нюре, сразу можно было сказать: мамина дочка. И такая же к семнадцати годам выкохалась сероглазая красавица. Только, не в пример матери, тихая и застенчивая. И такая же прилежная. В работе дома и летом на винограднике в колхозе она была как огонь, а в школе она всегда помогала брату решать задачки. Учились они в одном классе и любили друг друга без памяти. Во всяком случае, никто из ребят-сверстников никогда не рисковал дернуть Нюру за косичку, не говоря уже о более серьезной обиде. Утром вместе шли они в школу под вербами берегом Дона в станицу, где находилась десятилетка, вместе и возвращались. Даже ближайшие их товарищи и подруги ни разу не видели, чтобы они поссорились или тем более подрались, как нередко бывает между братьями и сестрами.

И только, как догадывались их товарищи и подруги, нового увлечения своего брата Нюра, так же, как и мать, не одобряла, хотя она и не говорила об этом ни слова. Догадывались об этом проницательные дети по тем взглядам, что, бывало, украдкой бросала Нюра со склона в виноградном саду, где она работала летом, на хуторскую кузницу, где в это время работал ее брат.

* * *

Все чаще подумывал Будулай, что без юного подручного ему ни за что бы не справиться с выполнением многочисленных заказов в кузнице. Все чаще приходилось им задерживаться там до темноты, дня не хватало. То женская виноградарская бригада Дарьи Сошниковой принесет сразу целый ворох тяпок, которые необходимо подклепать и заострить немедленно — и ни часом позже. То из огородной бригады привезут целую телегу лопат, которые тоже нужно наладить в первую очередь, потому что не станет же ждать в земле за Доном картошка «ранняя роза». То, вместо того чтобы ехать в мастерскую в станицу, спустится из степи, из бригады, на грузовой машине шофер, знающий, что никто так не сумеет сварить лопнувшую стальную рессору, как этот цыган. Сварит так, что рессора потом служит лучше новой. «Должно быть, он какую-то цы-

ганскую молитву знает или же для крепости стали особый порошок подсыпает!» — будет потом восхищаться шофер в кругу своих товарищей по профессии.

Когда доходили такие разговоры до Будулая, он внутренне усмехался. И порошка он не подсыпал и во всех богах давно уже разуверился. С тех самых пор разуверился, как еще в ранней молодости полгода пролежал в больнице в городе со сломанной при падении с лошади ногой и выучился там с помощью своего соседа по койке — учителя — основам грамоты. Из-за этого потом пошла у него вражда со старостой их цыганского табора — его двоюродным дядей Данилой. В тот вечер, когда дядя Данила вырвал у него из рук книжку и бросил ее в костер, Будулай ушел из табора. И потом пришлось Будулаю совсем отколоться от соплеменников, вплоть до самой войны кочевать со своей семьей отдельно.

Примирение состоялось уже после войны, когда дяди Данилы уже не было в живых и цыгане, покоренные при встрече с Будулаем ослепительным блеском его орденов и медалей, уговорили его возглавить их табор. Не без тайной корысти действовали они, надеясь, что с таким заслуженным вожаком им проще будет иметь дело с милицией, сельсоветами и прочими органами власти. Не каждый цыганский табор имеет своим вожаком кавалера ордена Красного Знамени и ордена Славы. И цыгане надеялись извлечь из этого максимум выгод. Во всяком случае, они не сомневались, что теперь-то сельская милиция не посмеет диктовать им условие: не задерживаться у населенного пункта более суток.

И как же впоследствии были ошеломлены цыгане, когда их новый вожак Будулай, добровольно избранный ими на этот пост по всем правилам цыганской демократии, сразу же повернул все порядки в таборе так, что они вскоре и думать перестали, как бы спрятаться за его спиной от чересчур придирчивых органов власти, а думали теперь лишь о том, как бы в один прекрасный день не въехать всеми своими кибитками во главе с вожаком прямо в колхоз! Порядки, заведенные Будулаем в таборе, показались его соплеменникам столь непривычными, что они взроптали...

Это же неслыханное дело, чтобы вожак не только отказывался защитить своего соплеменника, которого прихватила милиция за нехорошим делом, но и сам спешил предать в руки правосудия цыгана, виновного только в том, что он захотел приумножить богатство табора еще одной лошадью! Виданное ли дело, чтобы малых детишек — цыганят — поселяли на зиму в городах и станицах, снимали для них квартиры и тратили большие деньги на то, чтобы снарядить их в школу! А старые и молодые цыганки в это время вынуждены были промышлять на базарах и на станциях без своих верных помощников и помощниц. Одно дело, когда твой маленький черноглазый сын или маленькая черноглазая дочка спляшут перед нетребовательной базарной публикой какой-нибудь тут же сочиненный вихревой танец или же лукаво споют на потеху толпе что-нибудь вроде «Цыган ходит — трубку курит, а цыганка людей дурит», а другое — пробавляться одним лишь гаданьем, ждать, когда тебе захочет посеребрить руку кто-нибудь из тех людей, что давно уже не верят ни в бога, ни в черта.

Обычные доходы, которые цыганки к вечеру должны были сносить в общий котел, резко уменьшились, и цыганки, как правило, стали возвращаться с промысла в табор голодными и до последней степени злыми — конечно, в первую очередь на своего вожака, на Будулая. А он как будто бы только и ждал, чтобы самая беспокойная — женская — половина населения табора до предела накалилась в бесплодных усилиях заработать на хлеб и на мониста. И однажды, когда вечером у центрального костра, полыхавшего посреди кибиток на выгоне за большой станицей, цыганки организованно подняли ропот, он повернул дело так, что весь огонь их ожесточенных слов обратился не против него, а против их мужей, в которых ему сравнительно легко было распознать главных подстрекателей этого женского бунта.

Это они, их мужья, говорил цыганкам Будулай, обленились настолько, что давно уже живут, как байбаки, на содержании у своих жен и детей. Это они ослепли и не хотят видеть, что на попрошайничестве да на воровстве лошадей теперь не проживешь, другое настало время, да и лошадей осталось уже столько, что скоро совсем нечего будет воровать. Разве они не видят, что коня почти совсем уже заменила машина? И раньше цыгане хоть действительно знали толк в лошадях; если были при таборах табуны, так первоклассные, и сами цыгане были наездниками хоть куда, а теперь они дошли до того, что скупают в самых отстающих колхозах худоконок, подкармливают их и сдают в «Заготскот» на колбасу. Такого позора еще не было. А про цыганского барона кто-нибудь в таборе знает? Нет. И не мудрено, что не знает, потому что почти все цыгане неграмотные.

И Будулай вынул из кармана газетку под названием «Советская Россия», чтобы прочитать притихшему табору при свете костра об этом самом цыганском бароне, у которого отобрали чемоданы с двумя миллионами рублей. Женщины собрали ему эти миллионы по гривеннику, гадая и попрошайничая, а где можно, то и обворовывая людей, чтобы он разъезжал на собственном автомобиле по курортам... Что ж, если хотите и дальше попрошайничать, то покупайте и вашему вожаку Будулаю автомобиль, набивайте чемоданы деньгами, он тоже будет бароном, станет разъезжать по большим городам и курортам, а неграмотные дети ваши пусть в это время пляшут перед толпами людей на базарах и поют позорные для цыган песни! Цыгане, нечего греха таить, всегда дурили людей, но чтобы они заставляли своих детей петь песни, как они дурят людей,— этого тоже еще не было.

И Будулай повернул все дело так, что гроза, которая должна была разразиться в этот вечер над его головой, миновала его и разразилась над головами всех остальных мужчин, которые надеялись остаться во всей этой истории в сторонке. Никогда еще не было в цыганском роду, чтобы те самые женщины, что испокон веку были безропотно покорны своим мужьям, что и попрошайничали, и гадали, и учили своих детей воровать только ради того, чтобы их мужья не испытывали недостатка ни в водке, ни в других удовольствиях, те женщины, что всегда соперничали одна с другой, кто больше монет и бумажек принесет своему мужу, а сами довольствовались лишь теми ломтями хлеба и черствыми пирожками, которые подавали им мягкосердечные, глупые люди,— никогда еще не было в таборе, чтобы эти же самые цыганки пошли в такую яростную атаку на своих мужей и, сверкая глазами, бренча монистами и серьгами, скаля зубы, сразу постарались выместить на них все свои и давние и совсем свежие обиды.

Долго пылал в этот вечер большой цыганский костер на выгоне за станицей. Долго не умолкал гомон, и люди в станице, просыпаясь в своих постелях, с испугом и с удивлением думали, о чем это так размитинговались среди своих шатров эти бродяги. Не иначе, как замышляют они какую-нибудь новую крупную пакость против честных людей!

И люди, вставая с постелей, шли проверять запоры и спускать с цепей кобелей. А сторожа на фермах, на птичниках и при табунах спешили перезарядить свои двустволки более крупной дробью. Всю ночь удивлялись и беспокоились люди в станице.

Но еще более удивились они, когда рано утром пришла в их станицу прямо в правление колхоза целая делегация цыган из того самого табора, откуда ночью доносились тревожные звуки, набилась до отказа в кабинет к председателю колхоза и совсем ошарашила его, сбила с толку своим заявлением, сделанным от их имени главным цыганом с грудью, сплошь увешанной боевыми орденами и медалями:

— Принимайте в колхоз. Не хотим больше кочевать. Садимся на землю.

* * *

— Весь наш табор еще до указа о цыганах уговорил жить на одном месте в колхозе, а сам вскоре опять снялся с места и стал колесить в поисках своего семейства... Пока не пристал к этому вашему берегу, — рассказывая обо всем этом Ване, невесело усмехался Будулай.— Сейчас все цыгане, мои родичи и другие, каждый месяц пишут мне письма, ругаются и зовут к себе. Но куда же мне отсюда ехать? Теперь здесь мой корень...

Только ему, своему единственному слушателю, Будулай и не боялся приоткрыть свое сердце. Ваня умел так хорошо слушать, широко распахнув свои черные глазенки.

А в последнее время привязанность Будулая к Ване еще больше окрепла. На это была своя причина. Издавна существует мнение, что цыгане — горячий народ и что они не склонны прощать человеку обиды. Но меньше знают о том, как цыгане умеют ценить малейшее проявление участливого сочувствия и дружбы. Между тем Будулай, как-никак, оставался сыном своего племени. В хуторе давно уже заметили, что если с Будулаем поговорить помягче, посердечнее, он, не считаясь ни со временем, ни с усталостью, сделает для человека все, что угодно, окажет ему любую услугу.

Кое-кто этой чертой его характера даже пользовался в своекорыстных целях. Иной шофер, сломав на своей автомашине рессору в каком-нибудь «левацком» ночном рейсе, не стеснялся среди ночи разбудить Будулая и уговорить его помочь горю, чтобы утром на машине опять можно было выполнять в колхозе обычную работу. И Будулай, ни слова не говоря, вставал с койки и шел раздувать огонь в кузнице. В глухую полночь ее двери освещались ярким пламенем. Наутро бабка Лущилиха осведомляла через заборы соседку справа и соседку слева, что опять этот чертогон посреди ночи служил какой-то свой цыганский молебен в балке.

У Будулая давно было намерение обнести одинокую, дорогую ему могилку в степи железной оградой, и его растрогало, какое горячее участие принял в этом Ваня. Будулай давно уже и рисунок будущей оградки начертил углем на большом листе картона, да все никак не мог собраться с временем, чтобы приступить к этой работе. Все время колхоз загружал его самой неотложной работой. Ему оставалось только вздыхать, поглядывая на сложенные в углу кузницы остроугольные полосы и круглые прутья заготовленного железа. Успокаивал он себя единственной надеждой, что председатель Тимофей Ильич все-таки сдержит свое слово и даст ему наконец хотя бы двухнедельный отпуск.

Тимофей Ильич выполнение своего слова откладывал, и взгляды Будулая, бросаемые в угол кузницы, становились все мрачнее. Их-то, эти тоскующие взгляды, и подметил Ваня. Однажды он бесхитростно поинтересовался у Будулая, зачем это железо. Узнав, зачем, он так и загорелся. Он стал горячо упрашивать Будулая позволить ему попытаться исполнить по рисунку на картоне решетки для ограды. Это будет его первая самостоятельная работа. И он убеждал Будулая так настойчиво, что тот не смог отказать ему в просьбе. Конечно, лучше было бы, если бы Будулай от начала до конца исполнил эту работу своими руками, но ведь и Ваня будет работать под его руководством и по его рисунку. Галя и ее престарелый отец не вправе будут остаться в обиде. И брался его юный друг за эту работу так горячо, будто Галя и ее отец были не посторонние ему, чужие, а самые близкие и родные люди.

Так и засверкали его глазенки, когда Будулай после долгих раздумий уступил наконец его просьбам. Невозможно было отказать этим глазам, живым, как ртуть, столь же темным, сколь и светлым, то и дело меняющим свое выражение, и всегда таким чистым, что, казалось, сквозь них можно заглянуть прямо в эту юную душу.

Теперь Ваня стал уходить в кузницу, едва лишь за левобережным лесом солнце начинало показывать свою горбатую красную спину, и возвращался, когда за правобережными буграми, в степи, уже совсем догорал костер заката. Теперь мать и сестренка Нюра почти совсем не видели его дома.

Чуть поодаль от большой наковальни, на которой работал Будулай, поставили в кузне наковальню поменьше, на которой стал выполнять свою первую в жизни большую и тонкую кузнечную работу Ваня. Теперь из дверей кузницы неслись удары двух молотков. А иногда Будулай становился и в подручные к Ване. От всех сомнений Будулая, что эта тонкая работа может оказаться Ване не по плечу, вскоре не

осталось и следа. Все чаще Будулай ловил себя на том, что он начинает любоваться его работой. Эти семнадцатилетние руки уже научились делать то, что не всякий мастер сделает. Поворачивая в щипцах прут железа, Ваня умел не только с точностью исполнить тот затейливый нежный узор, что был углем начертан Будулаем на листе картона, а делал это с той мягкостью, будто эта цыганка Галя, для которой предназначалась оградка, доводилась ему кем-то вроде матери.

По чертежу Будулая, со всех четырех сторон ограды в решетки должны были быть вделаны откованные из железа кони, и оставалось только подивиться, как Ване удалось справиться с этим. Из-под его молотка конские силуэты выходили такими, будто он только с лошадьми и имел в жизни дело. Ему даже удавалось развеять им гривы так, как делает это ветер, когда лошадь скачет по степи. И Будулай почти отказывался верить словам Вани, что ему за все семнадцать лет так ни разу и не пришлось поездить верхом на лошади. В их колхозе верховых лошадей не было, все грузы и людей давно уже перевозили на автомашинах.

— А хотелось бы тебе поездить верхом? — интересовался Будулай у своего юного друга.

И почему-то он необъяснимо радовался его немедленному ответу:

— Еще бы!

— Вот в этом я тебе, пожалуй, ничем помочь не смогу,— грустновато-насмешливо говорил Будулай.— На велосипеде моем езди сколько угодно, а другого транспорта с седлом у меня теперь нет. Мы, цыгане, Ваня, теперь народ навсегда спешенный.

— И не жалко было вам? — допытывался Ваня, поблескивая в полутьме кузницы лучащимися черными глазами.

— Чего, Ваня, нам должно быть жалко?

— Вашей прежней жизни. То куда вам вздумалось, туда вы и поехали, а теперь должны всегда жить на одном месте.

Мерно покачивая рычаг кузнечного меха, Будулай отвечал ему с сосредоточенной задумчивостью:

— Как тебе сказать... Конечно, не без того, чтобы и пожалеть. Даже я, Ваня, и сейчас, как где увижу хорошую лошадь, так во мне кровь и зазвенит. А у других цыган, я знаю, и без горючих слез не обошлось, когда они расставались с лошадьми. Недаром, если где вступает старый цыган в колхоз, то обязательно просится в конюхи или же в степи стеречь лошадей, а в городе он тоже пристраивается куда-нибудь ездовым на повозку. Трудно отвыкать, как-никак наше племя всегда было на колесах. И отцы наши, и деды, и прадеды всегда кочевали. Об этом в каждой цыганской песне поется. Но надо, Ваня, отвыкать, другое теперь время. У молодых цыган со старыми давно уже из-за этого война шла. Ты вот зимой в школу ходишь, может быть, на агронома или на инженера выучишься, а чем цыганские дети хуже? Среди них тоже есть такие же способные, как ты или твоя сестренка Нюра. Молодые цыгане и цыганки доказывали старым, что давно уже пора нам жить такой же жизнью, как все другие люди живут, мужчины должны не воровать, а работать, и женщинам надо переставать честных людей дурить. Ты, Ваня, видел когда-нибудь наших цыганок?

— Толечко один или два раза. Меня мамка, как увидит где цыганку, сразу же запирала в доме.

— Но, может быть, Ваня, ты все-таки успел рассмотреть, что женщины у нас очень красивые. Правда?

С зарумянившимися от юношеского смущения скулами Ваня отвечал:

— Это я успел рассмотреть.

— Вот видишь, такие красивые, хорошие женщины — и такие всегда были обманщицы. Твоя мама не зря прятала тебя от них. Она боялась, как бы ты по детской глупости не попался на их обман. Конечно, все эти разговоры, что цыганки крадут чужих детей, были выдумкой. Этими сказками бабки сперва своих внучат пугали, а потом и сами стали пугаться. Но вообще-то, если цыганка не обманет, то, значит, она и не цыганка. И самое главное, Ваня, что их даже нельзя в этом винить. Они ведь с детства привыкли, что только так и можно было жить, как жили их матери и бабки. Они даже не понимали, что можно жить как-то и по-другому, и если, Ваня, обманывали людей, то это вовсе не потому, что имели против них какое-нибудь зло. Каждое утро они уходили из табора гадать, побираться и воровать, как на работу. А цыганята, Ваня, такие же дети, как ты и Нюра, в это время плясали под бубен и тоже тянули ручонки за подаянием. И попробуй цыганка к вечеру не принести мужу денег на водку или на табак, он с нее батогом шкуру спустит. Ты, Ваня, никогда не видел, как женщин батогами бьют?

Ваня наивно переспрашивал Будулая:

— А что такое ба-тог?

— Вот видишь, ты даже не знаешь, что это большой кнут. А я не раз видел, как этим батогом мой отец мою бедную мать до полусмерти истязал за то, что она возвращалась в табор с малой добычей. И мне, Ваня, этого большого кнута перепадало, хотя мой отец — и не самый злой цыган в нашем таборе. Из-за этого в нашем народе и шла война между молодыми и старыми цыганами. Молодые, особенно те, которые успели в армии послужить, были за то, чтобы бросить кочевать, а старые и слышать об этом не хотели. Все чаще до кровопролития стало доходить, сыновья и отцы между собой дрались. И еще неизвестно, Ваня, сколько бы продолжалась эта война, все-таки старые цыгане во всех таборах еще крепко держали в своих руках власть, неизвестно, сколько бы еще жили цыгане в нужде, во вшах и в грязи, если бы Советская власть не сказала им: «Покочевали — и хватит! С этого дня вы больше не бездомные бродяги, а такие же, как и все, советские люди...» И если, Ваня, тебе кто скажет, что я когда-нибудь брошу колхоз и опять пойду по земле цыганское счастье искать, ты этому человеку не верь. Может быть, кто из других цыган и посматривает еще в поле, шевелит ноздрями на ветер, но только не я. Я этого ветра уже нанюхался. Я к этому берегу до конца своей жизни пристал. Здесь родная для меня могилка, здесь, Ваня, и мне свой век доживать.

На это Ваня тихо замечал:

— Вы еще не старый.

— Тот человек долго живет, который знает, что ему еще нужно на ноги своих детей поднять. А мне, Ваня, некого на ноги поднимать. И детей у меня больше не будет...

И, умолкая, Будулай начинал громче стучать по наковальне. Все больше сближали его эти разговоры с юным другом, которому можно было открыть душу без боязни, что он обратит откровенность во вред. Все другие люди в хуторе считали Будулая малоразговорчивым, скрытным человеком. Таинственная улыбка пробегала по губам Вани, когда ему приходилось слышать такие речи. Сумели бы они, эти люди, быть такими же откровенными и рассказывать так же интересно, как умел Будулай. В свою очередь, Будулай часто внутренне удивлялся, как это Ване удалось заставить его разоткровенничаться, чего никогда не удавалось другим людям. Может быть, виной этот его взгляд, который всегда как-то по-особенному беспокоил Будулая?.. Особенно, когда Ваня стоял прямо против него и, о чем-нибудь спрашивая, вдруг в упор взглядывал на Будулая своими глазами, черными и вместе с тем прозрачно-светлыми, как вода в быстро текущей речке.

И как участливо он слушал, страдальчески

изламывая брови и тонкие, чуткие ноздри именно тогда, когда и у Будулая под влиянием нахлынувших скорбных воспоминаний начинало постанывать сердце!

Но больше всего ценил Будулай в своем юном друге, что уж очень способным оказывался он учеником, начисто опровергая мнение, будто талант кузнеца может переливаться из жил одного человека в жилы другого только с родной кровью. А когда Ваня взялся сделать решетку для ограды вокруг могилки, можно было подумать, он только и ждал этого часа, чтобы окончательно доказать, на что способен.

Как-то Будулай спросил у него:

— А ты не знаешь, Ваня, кто это посадил на могилке за хутором кочетки?

Металлический кованый конь в руке у Вани вздрогнул и сдвинулся со своего изображения на картоне, с которым юноша сверял свою работу.

— Знаю. Только я вам этого не могу сказать.

Будулай удивился:

— Почему?

— Если я вам скажу, меня мамка заругает.

Молоток остановился в руке у Будулая, и потом он не сразу и как-то нетвердо опустил его на грудь наковальни.

— Ну, если тебе мамка запретила, то ты тогда и не говори.

С горечью задумываясь о причинах столь неприязненного отношения к нему матери Вани, он чуть не пропустил мимо ушей тихо прошелестевший в кузнице виноватый вопрос юноши:

— А вы ей не скажете?

Будулай не мог удержать невеселой улыбки.

— Как же, Ваня, я ей могу сказать, если мы с ней совсем не разговариваем. Твоя мамка меня почему-то за три версты обходит.

— Это она вообще цыган боится. Но вы на нее не обижайтесь. Это ее в детстве напугали.

— Я, Ваня, и не обижаюсь. Какое я имею право обижаться на твою мамку!

— Это она кочетки посадила.

Молоток во второй раз застыл в воздухе над плечом у Будулая. Вот этого он никак не ожидал!

— Твоя мамка?

— Да. Она и кочетки посадила и могилку два раза в год, перед Маем и Октябрем, ходит убирать.

Молоток и щипцы задрожали в руках у Будулая, он отложил их в сторону, не в силах продолжать работу. Непонятная тревога заползла ему в грудь, стеснила сердце.

— А ты не знаешь, Ваня, почему она это делает?

— Она говорит, что нехорошо одинокую могилку без всякого присмотра оставлять.— И, пугаясь, что в своей откровенности он зашел чересчур далеко, Ваня счел необходимым опять предупредить Будулая: — Только вы, пожалуйста, не проговоритесь ей. Она не хочет, чтобы об этом узнали в хуторе. Она говорит, что такими делами нехорошо хвалиться. Не скажете?

— Будь спокоен, Ваня, не скажу.

— Честное комсомольское?

Улыбаясь, Будулай смотрел на него омытыми радостной влагой глазами.

— Что-то, Ваня, я не видел комсомольцев с такой бородой, как у меня.

— Все равно. Я когда мамке рассказываю что-нибудь секретное, она сперва мне всегда комсомольское слово дает.

— Честное комсомольское! — твердо сказал Будулай.

Так вот еще какой могла быть эта женщина, о которой все, едва лишь поселился Будулай в хуторе, стали говорить ему, что у нее невозможный характер. Он и раньше начал подозревать, что все это не так просто. И Будулай вспомнил то задумчивое, мягкое выражение, которое он случайно подсмотрел на лице у Клавдии в лесу. Он не мог тогда обмануться. И своему сыну она вложила такое же доброе, отзывчивое сердце.

— Хорошая, Ваня, у тебя мамка! — заканчивая этот разговор, тихо сказал Будулай и в награду получил быстрый, исполненный горячей признательности взгляд юноши.

Окончание следует.

Цыган

Анатолий КАЛИНИН

Повесть

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Не знал Ваня, что в этот день, разговаривая со взрослыми людьми, он не в последний раз заручается самой священной в его глазах клятвой.

Как всегда, он задержался в кузнице и пришел домой, когда мать уже приехала из-за Дона. С некоторых пор, к немалому удивлению Вани, она не только смирилась с тем, что он целые дни проводит в кузнице, но как будто даже и заинтересовалась тем, что он там делает. И в этот вечер, собрав Ване на стол ужин и с улыбкой наблюдая, как он в третий раз подливает себе уполовником из кастрюли борщ в тарелку, она спросила:

— Что же ты там такое делаешь, если тебе одному кастрюли борща мало?

Не женское это было дело — допытываться, чем могут заниматься в колхозной кузнице мужчины, и Ваня не очень вежливо ответил:

— Что придется. Одним словом, разное.

Продолжая улыбаться, она окинула его взглядом. Он и в самом деле за последнее время повзрослел, видно, ему на пользу идет эта новая работа. Он раздался в плечах, покрупнел, и под смуглой кожей у него переливались теперь точно такие трепещущие змеи мускулов, как у Царькова. Ее сын становился мужчиной.

— Скоро тебе мать и совсем не будет нужна, — сказала она с невольной грустью. — Уже сейчас у тебя от нее появились секреты.

Он перестал выбирать из тарелки ложкой гущу и поднял на нее смущенный, укоризненный взгляд:

— Мама!

Она засмеялась и, поднимая вверх указательный палец, торжественно поклялась:

— Честное комсомольское!

И, охватываясь горделивым румянцем, он рассказал ей в этот вечер о своей работе, доверенной ему Будулаем. Рассказал о железных кованых конях с развевающимися гривами, что с четырех сторон должны будут увенчать решетку ограды. Третьего коня Ваня уже заканчивал, на очереди был четвертый. И потом останется только сделать калитку и еще нечто такое, что Ваня хотел бы сохранить в тайне от Будулая до конца всей работы.

В ответ на молчаливый вопрос матери, высоко взметнувшей брови, он потребовал от нее особой клятвы. Он заметил, что, давая эту клятву, поднимая указательный палец, она улыбается какой-то насильственной, вымученной улыбкой. Ее лицо омывала бледность. Он забеспокоился:

— Мама, что с тобой? Ты не заболела?

— Н-нет... Но мне, сыночек, что-то, правда, нехорошо. Что-то вдруг в голову ударило. Это я, должно быть, перегрелась сегодня за Доном на солнце.

— А ты, мама, скорей иди ложись. Я у коровы сам почищу и травы ей на ночь брошу.

И она послушно ушла в соседнюю комнату, легла на кровать, отвернувшись лицом к стенке.

Ночью ему почудилось, что она плачет, и он, приподняв от подушки голову, тихо окликнул:

— Мама!

Она не отозвалась. Тогда он решил, что это ему приснилось. Иногда, бывает, приснится и такой сон, как будто это ты увидел или услышал наяву.

Утром Ваня спросил у Нюры:

— Ты ночью ничего не слышала?

— Нет. Я вчера как натанцевалась на площадке, так сразу и уснула, как убитая. А что?

— Нет, ничего, — ответил Ваня, избегая ее взгляда.

Вероятно, ему действительно все это почудилось. Все-таки он пришел к выводу, что мать могла расстроиться, узнав с его слов, как переживает Будулай потерю своей жены, и решил в дальнейшем избегать разговоров с нею на эту тему. Однако, к его удивлению, она сама стала каждый вечер интересоваться, как справляется он с работой, доверенной ему Будулаем, далеко ли еще до конца и удастся ли Ване сохранить от Будулая свою маленькую тайну. Ей почему-то хотелось знать об этом в мельчайших подробностях: и какой должен быть узор на решетках ограды, и как будет выглядеть калитка, и скоро ли Ваня закончит последнего, четвертого коня. Волей-неволей Ване приходилось удовлетворять ее любопытство. Он не мог бы сказать, что это было ему неприятно. Ему льстило, что мать вдруг воспылала таким горячим интересом к его работе и разговаривает с ним об этом, как с мужчиной.

Отвечая ей, он говорил, что работа совсем подходит к концу, уже закончен и четвертый конь, осталось лишь сварить калитку. Он воспроизводил ей на листке бумаги карандашом, какой получается узор. А свою маленькую тайну ему пока удавалось от Будулая сохранить, хотя это и нелегко, потому что буквально приходится улучать те редкие минуты, когда Будулая не бывает в кузне. Да и кузня такая маленькая, что в ней трудно что-либо спрятать.

— Это ты очень хорошо придумал, — говорила мать, относясь с неподдельным уважением к его тайне.

Кроме того, она спрашивала у Вани, о чем они говорят в кузне, оставаясь долгие дни наедине с Будулаем. Не может же быть, чтобы они все время только и говорили о своей работе?! Ваня снисходительно, по-мужски усмехался.

— Конечно, нет. Только честное комсомольское?!

Она немедленно поднимала указательный палец.

Рассказывая, Ваня искоса любовался ею, не без сыновней гордости отмечая про себя, какая, значит, у него еще совсем молодая мать, если она с такой жадностью, как девочка, раскрыв большие серые глаза и приподняв брови, слушает все те истории из жизни цыган, что сам Ваня узнал из уст Будулая. Поставит локти на стол и слушает, не перебивая. А на другой половине большого обеденного стола точно так же поставила свои локти Нюра и тоже, распахнув глаза, слушает. Вылитая мать. Ее Ваня тоже заставлял давать комсомольское слово, и, зная, характер своей сестры, он ничуть не сомневался, что она сдержит клятву. Она была похожа на мать не только внешне. Иногда ему начинало казаться, что Нюра не сестра ему, а младшая сестра его матери.

Когда же Ваня стал рассказывать, как Будулай, уезжая в армию, прощался в степи со своей женой, он увидел, как по щекам матери текут крупные слезы. Внезапным движением она притянула Ваню к себе и, крепко обнимая, прижала к своей груди его кудрявую голову. Он не на шутку испугался, услыхав, как по-страшному гулко и тяжело колотится у него под ухом ее сердце.

— Мама, ты опять расстроилась! Я не буду больше рассказывать, — с упреком сказал он, поворачивая лицо у нее на груди и заглядывая ей в глаза своими черными, прекрасными глазами.

Она наклонилась и стала целовать их короткими, острыми поцелуями. Нюра с холодным неодобрением смотрела на эти телячьи нежности матери и сына.

— Нет, нет, рассказывай. А слезы я сейчас же вытру. Это я просто вспомнила, как мне самой приходилось расставаться. Много война принесла горя людям. — И тщательно, насухо вытерев глаза подушечками ладоней, она спросила у Вани с полушутливой улыбкой: — Ну, а про меня у тебя никогда не спрашивал твой Будулай?

— Нет, мама, не спрашивал.

Ее орошенное слезами лицо немного потускнело.

— И никогда ничего про меня не говорил?

Ваня со смущением вспомнил:

— Говорил.

— Что?

— Он говорил, что ты, мама, у меня хорошая.

Она недоуменно подняла брови.

— Так он сказал?

— Да. Ты напрасно, мама, его боишься. Он совсем не такой страшный.

— А я его, сыночек, не боюсь. Ты можешь так ему и сказать. Откуда ты взял? Если тебе с ним хорошо, то чего же ради я буду его бояться?

После этого она ушла в другую комнату, и вскоре Нюра стала насмешливо подмигивать брату, молча, знаками показывая ему что-то у себя за плечом. Ваня заглянул через ее плечо в соседнюю комнату и увидел, что мать стоит у стены и внимательно рассматривает свое отражение в зеркале. Подковки бровей у нее приподняты и вообще на лице такое выражение, будто она хочет и никак не может понять, почему это она вдруг сразу стала хорошей. До этого ее в хуторе не баловали такими словами.

А утром Ваня опять шел в кузницу, и у него продолжались там свои разговоры с Будулаем. В самом деле, не весь же день они там раздували огонь в горне и стучали по наковальням. Молоток не игрушка, надо же и дух перевести. Ваня, конечно, поспешил сообщить Будулаю, что мать теперь уже совсем перестала его бояться.

— Она мне разрешила и вам об этом сказать.

Если бы Ваня был не так молод и простосердечен, он бы заметил, что Будулай не остался к этому известию равнодушен. Он заметно повеселел и захотел узнать от Вани, какими именно словами говорила его мать об этом.

— Да какими?.. Самыми обыкновенными. И еще она давно просила вам передать, что вы очень хорошие сделали на свинарнике дверцы. Теперь хряки их никогда не разобьют. Сразу, говорит, видно, что мастер.

Ему доставляло удовольствие передавать эти слова матери своему другу. Ваня испытывал явное облегчение, что теперь ему не нужно было играть в молчанку и в прятки с этими двумя близкими ему людьми, и тще-

---

Окончание. См. «Огонек» №№ 50, 51.

славно радовался, что сумел, кажется, перекинуть некое подобие моста между ними. Во всяком случае, если Будулай и Клавдия по-прежнему и не встречались друг с другом, то при посредстве Вани они уже успели узнать друг о друге много такого, чего они не знали раньше.

И если Клавдия, расспрашивая по вечерам сына, все больше узнавала о прошлой жизни Будулая среди цыган и его военной фронтовой жизни, то и Будулай немало уже узнал о том, как ей пришлось одной жить в военные и первые послевоенные годы с двумя детьми-двойняшками. Как она вынуждена бывала брать их с собой за Дон, потому что дома их совершенно не на кого было оставить, а детские ясли в колхозе тогда еще только строились. Покормит грудью, положит их под большую вербу и потом поглядывает на них между делом. А вокруг бродят по лесу свиньи. Один раз, по словам Вани, племенной хряк вырвался из загона и уже было поднял на клыки Нюру. Женщины еле отбили.

Будулай, слушая рассказы Вани об этом, мрачнел и надолго замолкал. Он начинал стучать по наковальне с таким ожесточением, будто намеревался вогнать ее в землю.

* * *

Между тем Ваня уже сварил, звено по звену, и калитку для оградки. Наступил солнечный день середины октября, когда в грузовую автомашину, с шофером которой договорился до этого Будулай, погрузили все, что за это время сделано было в кузнице Ваней, поднялись из хутора в степь и там разгрузились у одинокой могилы на окраине кукурузного поля.

— А это что у тебя в мешке? — с удивлением спросил Будулай у Вани.

Ваня молча стал развязывать мешок, брошенный им при погрузке в кузов машины. Теперь он мог открыть Будулаю свою тайну. Это был ажурный, с красной звездочкой шпиль, потихоньку от Будулая сваренный Ваней из железных прутьев.

Будулай растерялся, чувствуя, как сердце вдруг зазвучало у него в ушах, как молот по наковальне, и сумел только сказать:

— Звездочки, Ваня, ставят только на могилах героев.

Но Ваня как будто бы предвидел это возражение и отвел его уверенным жестом:

— Мама сказала, что можно ставить и всем тем, кого убили фашисты.

Против этого Будулай не смог ничего возразить.

Ограду вокруг невысокого холмика земли поставили быстро. Врыли четыре железных столба и связали на них ажурные решетки. Теперь Будулай мог одним взглядом охватить все, что было сделано его юным другом.

И вдруг на какое-то мгновение почудилось Будулаю, что эти вкованные в решетки с четырех сторон железные кони с развевающимися гривами сейчас сорвутся с места и понесут оградку с могилкой по осенней степи, как когда-то они носили кибитку с его Галей...

Отпустив Ваню домой, он остался в степи наедине с воспоминаниями о том, дороже чего не было у него в его прошедшей жизни. Теперь все это было позади, как и сама его прошлая, полудикая жизнь с ее кочующими по степи кибитками, с шатрами и смрадно дымящими подле них кострами.

Может быть, больше всего сегодня могла напомнить ему о ней эта серая лента дороги, что, огибая шелестящее золото кукурузного поля, уходила мимо обнесенной оградой насыпи земли к туманной линии предвечернего горизонта. Да еще, пожалуй, могло показаться, что это нелегкое белое облачко движется там вдали над мягкой чертой, а запоздалый шатер на колесах спешит по степному пыльному шляху, догоняя свой табор.

Он спустился из степи в хутор уже перед сумерками. Три или четыре человека уступили ему дорогу и проводили его удивленными взглядами, потому что он, кажется, не узнавал знакомых людей и, вопреки обыкновению, ни с кем не хотел здороваться. Особенно негодовали на него женщины, которые за это время уже успели внушить своим мужьям, что во всем хуторе нет другого такого же вежливого и культурного мужчины. Теперь женщинам предстояло подыскивать объяснения в ответ на язвительные вопросы мужей о том, какая это оса укусила сегодня их распрекрасного цыгана. Ни знакомых людей он не узнает, ни дороги, как видно, не разбирает перед собой. Иначе он вдруг не свернул бы круто в сторону с улицы, по которой всегда ходил домой, и не пошел бы по-за хутором, прямо по глухому, бурьянистому пустырю, между окраинными домиками и виноградными садами.

Но Будулая меньше всего интересовало сейчас, что могут сказать и подумать о нем люди. И лишь привлеченный словами долетевшего до его слуха громкого разговора, он поднял голову и огляделся, искренне недоумевая, как он вдруг мог очутиться там, где он очутился.

Так это же дом Клавдии Пухляковой! Он стоял на самой окраине хутора и смотрел одним своим окном на пустырь и на виноградные сады. И разговор, обративший на себя внимание Будулая, донесся сейчас до него из этого окна, открытого на пустырь и задернутого легкой колеблющейся занавеской.

За тонкой занавеской громко разговаривали, не боясь, что кто-нибудь услышит их на глухом пустыре, два женских голоса. Первый — глубокий и как бы плещущийся — он сразу узнал бы из тысячи всех других голосов: он мог принадлежать только Клавдии Пухляковой. Второй был постарше и погрубее, он, скорее всего, принадлежал старухе. Ее голос, несомненно, тоже был Будулаю знаком, он лишь не сразу смог сообразить, какой из хуторских старух он принадлежит.

Донесшийся до Будулая разговор оказался настолько интересным, что он невольно придержал шаги и вскоре совсем остановился.

— Креста на тебе, бабушка, нет, — говорила Клавдия, на что старушечий голос тотчас же ей отвечал:

— Нет, я крещеная, а вот ты уже лет двадцать в церкву дорогу забыла. Ты меня, Клавочка, не совести, я христианскую веру в аккурате соблюдаю. У нас в доме батюшка каждый год кадилом углы освящает, а вот ты и последнюю иконку в сарай отнесла. Нехорошо, от моих глаз ничего не укроешь. У меня они даром что старые, а я очков не носила и носить не собираюсь. Я без них все примечаю.

— Я тебе этим летом уже всех своих премиальных поросят попередавала, да двух овечек, да еще валушка. Откуда же мне еще взять? Последнего кабанчика тебе отдать, что ли? — глухо говорила Клавдия.

Будулаю показалось, что усталость, с трудом сдерживаемый гнев и бессилие — все сразу смешалось в ее голосе. Он почувствовал, как сердце остановилось у него под рубахой и заныло. Судя по всему, она вынуждена была терпеть какую-то обиду, и он не мог, не вправе был прийти ей на помощь.

— А я на твоего кабанчика, Клавочка, и не зарюсь. Спаси Христос! Это ты на меня напраслину возводишь.

Будулай уже узнал, чей это голос, — узнал Лущилиху. Неужели это она, злая и лживая старуха, от которой давно уже отвернулся весь хутор, имеет такую власть над Клавдией, и та, вместо того, чтобы немедленно указать ей на порог, разговаривает с ней таким смиренным тоном? И это она, Клавдия Пухлякова, «сатана в юбке», как ее называет бухгалтер. Кстати, Будулай однажды взял его после таких слов за воротник рубахи и тряс до тех пор, пока не услышал от него заверения, что он всего-навсего пошутил и больше никогда не позволит в адрес Клавдии подобных шуток. «Чуть все пуговицы не пообрывал,— ощупывая воротник и горло, сердился бухгалтер,— нашел за кого заступаться. Что она тебе, жена или невеста?»

Ни невестой не приходилась Будулаю эта женщина, ни, тем более, женой (жена его вот уже семнадцать лет лежит под холмиком земли за хутором), но почему-то острой жалостью и еще каким-то другим чувством наполнялось сердце Будулая, когда он слышал сейчас, как она с печальными, покорными интонациями отвечает Лущилихе:

— Ты же знаешь, что у меня у самой двое больших детей.

Старуха немедленно согласилась:

— Еще бы мне не знать!

Почудилось, что ли, Будулаю, что какой-то и другой еще, скрытый смысл вкладывала старуха в эти слова. Скорее всего, почудилось, потому что Клавдия, кажется, не уловила в них никакого скрытого смысла.

— Мне их тоже надо накормить.

— Я, Клава, твоим деткам не враг. Ты это сама очень хорошо понимаешь, — тут же отпарировала старуха.

— У вас и сейчас два кабана в катухе на откорме. Скоро на ноги не будут вставать. Куда вам еще двух поросят? Опять твоему деду в городе на базаре ими торговать? По триста рублей за поросенка?

— Это, Клава, не твоя печаль, по триста рублей он их на базаре продаст или сам съест, — с холодной враждебностью ответила старуха. — И про твоего кабанчика ты мне толкуешь совсем зря, он мне задаром не нужен. Ты нонче, Клавдия, как будто не с той ноги поднялась, никак не хочешь понять, о чем я тебе говорю. — Старуха ненадолго примолкла и продолжала, понизив голос так, что теперь Будулаю пришлось к ее словам прислушиваться.— Тебе, Клава, ничего не стоит эту парочку поросят и там, за Доном, взять. Кто их там усчитывает? То ли в лесу они заблудились, то ли в Дону утопли. В колхозе ты пока что, слава богу, из доверия не вышла. Если бы все такие колхознички были, мы бы уже и до коммунизмы дошли... — Старуха еще больше понизила голос: — Ты, Клава, только вынеси их в мешке на берег, как стемнеет, под ту большую вербу, а мой дед подъедет на лодке, и вся. А хочешь, потом можно и с ветеринаром акт оформить. Нашему ветеринару пол-литру поставь, и он не токмо на поросеночка — и на целую свинью акт подпишет.

Даже Будулаю, который был только невольным слушателем их разговора, чудовищным показалось это предложение зловредной старухи, и большого усилия стоило ему удержаться от того, чтобы не выступить из своего укрытия и не крикнуть ей, чтобы она немедленно убиралась отсюда подобру-поздорову. Успев за это время достаточно узнать Клавдию, он ничуть не сомневался, что так она и поступит. Он уже знал, что в более безобидных случаях она впадала в ярость, и тогда горе было тому, кто осмеливался ее затронуть. Недаром же и сам председатель старается правдами и неправдами поддерживать с нею видимость добрых отношений. «Мирное сосуществование», как выражался бухгалтер.

Тем большим было удивление Будулая, когда он услышал, как она всего-навсего ответила старухе на ее чудовищное предложение:

— Ты же хорошо знаешь, что об этом меня бесполезно просить.

Что-то зловещее послышалось Будулаю в последующих вкрадчивых словах Лущилихи:

— Ты, должно, уже забыла, Клавочка, как мы с тобой в кукурузе вместе от немцев хоронились.

И опять глубокая, затаенная боль и бессильная ярость почудились Будулаю в усталом голосе Клавдии:

— Нет, я это хорошо помню.

— Ну, тогда, значит, ты забыла, как мы потом проходили мимо той разбитой кибитки и ты нашла...

После молчания чуть слышно упали слова Клавдии:

— И это я помню.

Вслед за этим неприкрытая угроза прозвучала в тихом вопросе Лущилихи:

— А ежели, скажем, Клава, и он как-нибудь узнает, что ты там тогда нашла?

Никакая сила теперь не заставила бы Будулая сойти с того места, где стоял он, слушая этот разговор. Сердце его затаилось в непонятном, тревожном предчувствии. И он вздрогнул, как от выстрела, прозвучавшего у него над ухом, от внезапного громкого крика Клавдии, колыхнувшего кисею занавески. Не боясь, что ее могут услышать, Клавдия кричала на весь пустырь голосом, исполненным боли и гнева:

— Вон из моего дома, проклятая старуха! Да до каких же пор я буду страдать? И за что?!

— Успокойся, Клавочка, я ведь это сказала просто так, я пошутила, — испуганно лепетала Лущилиха.

Она явно не ожидала такого исхода их разговора и теперь спешила исправить какую-то свою оплошность. Но плотина уже была прорвана.

— Иди и говори ему, — в исступлении кричала Клавдия, — я уже ничего не боюсь! Пусть и он с тобой приходит меня терзать! Ты уже меня до последней нитки обобрала, только эту кофтенку с юбкой на мне и оставила! Всю кровь из меня выпила!.. Пусть и он теперь тоже приходит пьет! Вон, проклятая кулачка, а то я тебя!!

Что-то загремело в доме у Клавдии, и вслед за дурноголосым, истошным вскриком Лущилихи хлопнула дверь. Будулай едва успел прыгнуть под кручу и, пригибаясь, затаиться в выемке, из которой хуторские женщины брали глину, как у него над головой тяжело пробежала Лущилиха.

— Ох ты, господи, ох, страсти какие! — дыша, как паровоз, и всхлипывая, бормотала бабка.

Из-под ее ног на голову Будулая посыпались комья сухой глины.

* * *

Вечером у Лущилихи, после того, как она ни с чем вернулась от Клавдии, был долгий разговор со своим дедом. Соседка, копая позднюю картошку у себя на усадьбе, примыкавшей к лущилинскому двору, слышала, как они о чем-то гудели у себя в кухне, но из всего их разговора сумела разобрать всего лишь несколько фраз. Говорили Лущилины тихо, к тому же соседка, контуженная, когда фронт проходил через хутор, взрывом немецкой авиабомбы, была глуховата.

Бабка кормила в летней кухне ужином и снаряжала деда на дежурство на задонский огород. Каждое лето Лущилин нанимался в колхоз сторожить за Доном капусту, помидоры и другие овощи, о чем, бывало, хуторские женщины недвусмысленно говорили: «Пустили козла в огород». Слова эти как нельзя более кстати подходили к деду Лущилину не только потому, что он ухитрялся за Доном, вступая в сделки с шоферами проезжих автомашин, приторговывать колхозными овощами, но и потому, что своей наружностью он действительно смахивал на козла: высокий, худой до последней степени и с длинной пегой бородкой. Недаром такого же худого старого козла в хуторском стаде с чьей-то легкой руки стали называть «дед Лущилин».

Шаркая по земляному полу летней кухни от плиты до столика, погромыхивая чашками и ложками, Лущилиха спрашивала у деда:

— Так что же нам теперь делать?

Дед помалкивал, усердно выскребывая в чашке остатки какого-то варева. Соседка не могла знать, о чем спрашивала Лущилиха деда, но хорошо знала, что во всех случаях жизни он оставлял первое и последнее слово за своей бабкой. Он считал и всегда говорил, что у его бабки голова, как у министра, и обычно ограничивался только тем, что поддакивал ей, подтверждая уже принятые ею решения.

Прилипнув ухом к стенке лущилинской кухни, соседка услышала, как старуха сердито загремела на плите конфорками и поставила перед дедом на стол что-то тяжелое. Должно быть, чугунок с вареным мясом, потому что душистый запах, просачиваясь из-под чаканковой крыши лущилинской кухни, уже давно щекотал чуткие ноздри соседки... Она сглотнула слюну... И всегда у Лущилиных было на столе что-нибудь мясное.

— Молчишь, — презрительно сказала в кухоньке Лущилиха, — а небось, молодую поросятинку уважаешь. А где мне ее теперь брать?

Только после этого дед Лущилин нарушил молчание и примирительно заметил:

— А может, Пашенька, она еще того, одумается... Вот поглядишь, она еще одумается и сама же к нам прибегит.

В ответ на это Лущилиха решительно заявила:

— Как же, жди! Прибегит! Ты бы поглядел, как она на меня с кочергой пошла. Как с цепи сорвалась. Зубы оскалила. И какая гадюка ее ужалила?

Дед опять замолчал, явно предпочитая, чтобы она сама же и ответила на этот вопрос. Не мог же он одновременно заниматься двумя делами. А похрустыванье и чавканье в лущилинской кухоньке безошибочно свидетельствовали, что у него сейчас было куда более интересное занятие, чем отвечать на докучливые вопросы бабки.

Однако и она сегодня, по-видимому, не намерена была терпеть его молчанку.

— Я тебя спрашиваю! Аль оглох?! — И, должно быть, она тут же перешла к репрессивным действиям, убирая со стола чугунок с мясом. — Хватит уже! Натрескался!

Дед взмолился:

— Еще, Пашенька! Только трошечки. Мне ведь всю ночь на дежурстве стоять.

Чугунок опять стукнулся об стол.

— Ну, гляди, на завтра оставь.

В ответ на эту милость дед решил внести в обсуждаемый вопрос и свою лепту.

— А что, если, Пашенька, ее еще раз того!

— Чего?

— Припугнуть. Ультиматум ей предъявить.

— Это какой такой ультиматум? — подозрительно спросила бабка.

— Так прямо ей и сказать, что, ежели, значит, она не того, то, значит, и другим не обязательно ее секреты соблюдать.

— Это без пользы. Али я ей не предъявляла? Раз ей шлея под хвост попала, то теперь ее уже ничем не испугаешь. Я же тебе говорю, что она сейчас как с цепи сорвалась.

Дед подавил вздох и почти совсем перешел на шепот:

— Ну, тогда, значит, остается пойти к нему.

Бабка быстро проговорила:

— За это я не берусь.

— Почему?

— Я его сама боюсь. У него взгляд пронзительный. Нет, это ты должен сам.

— Я, Пашенька, сейчас занятый. У меня ночью дежурство, а днем ведь и отдохнуть надо.

— Ничего, хватит тебе время и отдохнуть. Весь день после дежурства спишь, как суслик. — И, не давая больше деду сказать ни слова, Лущилиха перешла в наступление: — Завтра до полден поспишь и прямо к нему. Только ты с дурной головы сразу ему все не открывай. У него деньги хорошие должны быть: он и с войны, должно, не с пустыми руками пришел и за это время уже успел заработать. — Инструктируя деда, она все больше понижала голос, и любопытной соседке приходилось все глубже влипать ухом в глинобитную стенку кухни. — Ты ему сперва только самую махонькую щелочку открой, а всего, спаси бог, не говори. Его подоить нужно.

Заинтригованной соседке страшно хотелось узнать, кого это собираются подоить Лущилиха с дедом. Осторожно перемещаясь вдоль кухни поближе к тому месту, где бубнили дед и бабка Лущилины, она не удержала равновесия и, покачнувшись, зашуршала по стенке растопыренными руками. Лопата выпала у нее из руки и шлепнулась об землю.

Тотчас же в кухне у Лущилиных установилась мертвая тишина, и потом голос бабки с преувеличенной громкостью произнес:

— Ты же гляди, дедуня, получше стереги, сейчас охотников до колхозной капусты много развелось. Особенно доглядай за шоферами, какие мимо огородов едут. Эти шофера — самые первые воры и есть.

— Да уж это так, — кашлянув, подтвердил дед.

Страшась полного разоблачения, соседка, подхватив лопату, где ползком, а где на полусогнутых ногах добежала до другого угла двора и опять усиленно стала копать картошку. Вскоре она искоса увидела, как голова Лущилихи в зеленом платке заглянула к ней через плетень.

— Доброго здоровьица, Ананьевна. Копаешь?

— Копаю, Семеновна, копаю, — не поднимая головы, ответила соседка.

— А у нас в нонешнем году картошка вся чисто погорела. Самая мелкота уродилась, как горох. И не знаю, с чем я буду своему деду борщ готовить...

Соседка искренне посочувствовала Лущилихе, они еще перебросились через плетень несколькими словами, и каждая опять занялась своим делом. Лущилиха через полчаса проводила деда по стежке до самой лодки и стояла на яру, провожая его глазами, пока он не причалил к левому берегу и не скрылся там под вербами. После этого Лущилиха ушла к себе в дом и заперлась на чугунный засов. А соседка, закончив копать картошку и перетаскав ее ведрами в земляной погреб, тоже ушла в дом и легла на кровать, раздумывая над теми словами, что сегодня донеслись до нее из лущилинской летней кухни. Ей очень хотелось доискаться до смысла этих слов, и она долго лежала, пытаясь связать в единое целое разрозненные фразы подслушанного разговора, размышляя над тем, кого из хуторских женщин и мужчин имели в виду Лущилины. Но это ей оказалось не под силу. К тому же эта немолодая уже женщина, копая картошку, притомилась за сегодняшний день, глаза у нее слипались, и она не помнила, как уснула. На морщинистом лбу у нее, освещенном светом молодого месяца, так и осталась задумчивая складка.

Так крепко уснула она, что даже не услыша-

ла, как вскоре свирепо взлаял у нее во дворе, загремев цепью, чуткий Дружок. Не слышала и того, как в окно к соседям кто-то два раза стукнул.

* * *

Проводив деда за Дон и закрыв по обыкновению дверь на чугунный засов, Лущилиха повернула ручку радиоприемника, чтобы узнать на сон грядущий, что происходит в окружающем мире. В окно постучали. За голосом радио Лущилиха первого стука не услышала, а когда постучали во второй раз, обрадовалась, подумав, что, оказывается, иногда и ее дед может говорить не совсем глупые вещи. Вероятно, Клавдия и в самом деле успела за это время опомниться и теперь в раскаянии прибежала с повинной! Еще бы! «Но теперь ей ни за что не отделаться только двумя поросятами»,— подумала старуха.

В полной уверенности, что, кроме Клавдии, некому больше стучаться в их дом в этот поздний час, она отодвинула засов и отшатнулась. На пороге ее дома, ярко облитый сиянием молодого месяца, стоял цыган.

Если бы она знала, что откроет дверь такому гостю! Увидев Будулая, она, что называется, остолбенела. Ее первым движением было тут же и захлопнуть дверь, но Будулай легко отодвинул ее плечом и вошел в дом. Тогда, придушенно вскрикнув, старуха бросилась в комнаты к небольшому, окованному полосовым железом сундучку, где, как говорили в хуторе, хранились немалые деньги, нажитые правдами и неправдами Лущилихой и ее дедом. Добежав до сундучка, она тяжело плюхнулась на него, поворачиваясь лицом к Будулаю и намереваясь, несмотря на испытываемый страх, защищать от него свое состояние грудью.

— Успокойся, — полубрезгливо, полупечально сказал Будулай, проходя вслед за нею в комнату и без приглашения опускаясь против Лущилихи на табурет. — Мне не твои деньги нужны, я тебе могу и своих денег дать. Мне только нужно, чтобы ты рассказала все, что ты знаешь.

— Ничего такого я не знаю,— на всякий случай быстро сказала Лущилиха.

— Нет, знаешь, — твердо повторил Будулай. — Ты понимаешь, о чем я говорю. Ну?!

Он говорил спокойно и без малейшей угрозы в голосе, но бывают такие интонации, которые действуют сильнее всякой угрозы. Черные глаза цыгана, взгляда которых так боялась Лущилиха, в упор смотрели на нее и пронизывали ее насквозь. Никого не было в доме, кроме нее и Будулая. Из невыключенного приемника лилась негромкая музыка, падала на пол полоса слабого света.

И, сотрясаемая на сундуке непреоборимой дрожью, не попадая зуб на зуб, Лущилиха стала ему рассказывать...

Будулай ни разу не переспросил ее, не перебил и даже не пошевелился. Ни тогда, когда Лущилиха рассказывала ему, как они вдвоем с Клавдией Пухляковой, спасаясь от артиллерийских снарядов и от немецкой бомбежки, поднялись из хутора в степь, чтобы спрятаться там в кукурузе, и увидели на прогалинке одинокую цыганскую кибитку... Ни тогда, когда Лущилиха присовокупила к этому, что кибитка, должно быть, по какой-то причине отстала от своего табора, уходившего от немцев на восток. Уже потом, прячась с Клавдией в зеленой кукурузной чаще, они сумели разглядеть оттуда, что сбоку кибитки лежала на разостланном красном одеяле молодая цыганка, а возле нее суетился высокий седой старик цыган, завертывая в цветные тряпки новорожденного младенца. Он что-то бормотал, но из всех его слов можно было разобрать только одно русское: Ваня.

В этот-то момент и вывернулись из-за Володиного кургана немецкие танки от станицы Раздорской.

Будулай слушал молча. Голова его с острой

кудрявой бородкой и плечи купались в ручье месячного света, падавшего из окна в комнату, а на груди из-под расстегнутого пиджака тускло светились ордена и медали. Не пошевелился он и тогда, когда Лущилиха стала рассказывать, как самый передний немецкий танк вдруг развернулся и наехал на цыганскую кибитку. Тут и беременная Клавдия от великого страха преждевременно разрешилась в кукурузе дочкой.

В продолжение всего рассказа Лущилихи цыган, слушая ее, неподвижно горбился на табуретке, опустив голову, и она просмотрела тот момент, когда он после ее слов о том, каким голосом закричала цыганка, внезапно резко качнулся и свалился лицом вперед с табурета. Уже на полу он перевернулся на спину и вытянулся во весь рост в полосе бледно-голубого света.

Потрясенная Лущилиха, бросив на него взгляд, решила, что он скоропостижно умер у нее в доме, и, закричав дурным голосом, опрокидывая стулья и ведра, кинулась из комнаты на улицу, к соседке.

* * *

Нет, он был жив. Опытная соседка, прибежав к Лущилихе в дом, кухонным ножом растворила цыгану крепко сцепленные белые зубы и влила ему в рот полстакана молока. В горле у него забулькало, он захлебнулся и, открывая глаза, тут же пружинисто вскочил на ноги, опираясь одной рукой об пол.

Любопытной соседке страшно не терпелось узнать, каким образом Будулай мог очутиться в доме у Лущилиных в такой поздний час и что такое из ряда вон выходящее могло произойти у него с бабкой, если это завершилось для него таким страшным припадком. Но Будулай, едва оказавшись опять на ногах, движением руки молча указал соседке на дверь, и ей не оставалось ничего другого, как повиноваться. Обиженно поджав губы, она удалилась. Вот и оказывай после этого неблагодарным людям услуги, спасай их от верной смерти...

Лущилиха тоже было ринулась вслед за соседкой к выходу, страшась снова остаться наедине со своим мрачным гостем, но Будулай остановил ее словами:

— Нет, ты мне еще не все рассказала. Ты еще должна рассказать, что было после этого. — И, видя, что она молчит, глядя на него расширенными ужасом глазами, он с кривой усмешкой заверил ее: — Нет, ты не бойся, это со мной больше не повторится.

И опять что-то было в интонациях его тихого голоса и в устремленном на нее взгляде такое, чему она не в силах была противоречить.

— После этого мы с Клавдией пролежали в кукурузе почти до самого вечера, — прерывающимся голосом сказала старуха, — а когда стали обратно спускаться в хутор и проходили мимо того места, тут она его и увидела.

— Кого? — в упор взглядывая на Лущилиху пронзительными черными глазами, резко спросил цыган.

— Младенца, — непритворно всхлипывая, ответила бабка. — Все там было как перепахано, вся чисто трава была в крови, а он лежал, завернутый в тряпки, сбоку. Его, должно, или танкой отбросило, или же старик успел откинуть его от себя перед смертью. Ну, Клавдия взяла его и принесла домой вместе со своей дочкой.

Если бы Лущилиха осмелилась при этом поднять глаза на цыгана, она немедленно убедилась бы, что ей совсем нечего его бояться. Слезы двумя потоками струились по его черному лицу, освещенному месяцем, и крупными каплями повисали на его кудрявой бородке. А потом кочующий по небу молодой месяц уже завернул за угол дома, на лицо цыгана надвинулась тень, и его обильные мужские слезы так и остались для старухи тайной.

— Вот, возьми, — сказал он, протягивая ей в полутьме какой-то небольшой мягкий сверток.

Она отшатнулась.

— Что это?

— Деньги. Тут десять тысяч. Это все, что у меня есть. Тысячу рублей возьмешь себе, а остальные отдашь ей.

— Кому? — ощупывая руками сверток, спросила Лущилиха.

— Клавдии.

— А как она не захочет взять? — с забившимся сердцем спросила Лущилиха.

— Должна взять. Это деньги не только ее, сиротские. Смотри, старуха, отдай, я все равно узнаю. И скажи ей, чтобы она меня больше не боялась. Я сделаю так, что ей теперь не нужно будет меня бояться. И ты, старуха, смотри, ее больше не терзай. Пусть она живет с детьми спокойно.

Лущилиха не успела открыть рта, чтобы спросить у него, почему это она должна отдавать эти деньги, в то время как лучше всего будет сделать это ему самому, и для нее в таком случае не будет никакого соблазна. Но он уже вышел. Она не успела даже сосчитать деньги. А наутро она узнала, что цыган Будулай и вообще уехал из хутора так же внезапно, как появился.

* * *

На самой ранней заре, когда еще только начинало зеленеть небо над задонским лесом, сторож полевого колхозного стана, возвращаясь с ночного дежурства из степи домой, разминулся с ним на повороте дороги, огибающей красную глиняную кручу. Сторож спускался по дороге налегке, с двустволкой на плече, а Будулай, поднимаясь из хутора в степь, катил за рукоятки руля в гору велосипед. Поздоровавшись, сторож посмеялся:

— Еще неизвестно, кто на ком больше ездит.

В ответ на его приветствие Будулай коротко кивнул и прошел мимо. Оглядываясь, сторож заметил у него за плечами вещевой, армейского образца мешок, а на раме велосипеда прикрученный телефонной проволокой сундучок с ручкой и удивился. Впору было подумать, что человек навсегда покидает хутор.

Останавливаясь, сторож только собрался расспросить об этом самого Будулая, как тот уже скрылся за кручей.

Сторож не ошибся. Будулай поднялся на бугор в степь и, перед тем как сесть на велосипед, остановился у одинокого холмика земли — у одинокой могилки, обнесенной новой, еще не покрашенной оградкой. Солнце, еще не успев показаться над задонским лесом, а только просияв сквозь его осенние ветви, уже зажгло на могиле маленькую красную звездочку и слегка позолотило гривы лошадей, вкованных в решетки ограды. А внизу, под горой, хутор еще был укрыт лиловой густой тенью.

Перед тем, как сесть на велосипед, Будулай нашел глазами самый крайний справа дом у колхозного виноградного сада. Нет, то, что могло бы сейчас заставить его немедленно изменить свое решение и вернуться вниз, туда, где стоял этот дом, было несбыточно, неосуществимо. Он это хорошо понимал. Он до сих пор не мог забыть ее испуганного возгласа «ой» и ее побледневшего лица, когда она встретилась с ним в задонском лесу на тропинке.

И ничто отныне не должно будет омрачить ее покой и счастье. Она их заслужила. Было бы чудовищно, если бы он отблагодарил ее подобным образом за все то, за что он будет благодарен ей до конца жизни. Он знает, что нужно сделать, чтобы ее никогда больше не мучил страх перед ним. Он сделает для этого все, что от него зависит.

А эту оградку покрасит без него Ваня.

Анатолий КАЛИНИН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ЦЫ

Читателю хорошо известна повесть Анатолия Калинина «Цыган» (первая часть этой повести печаталась в журнале «Огонек» №№ 50—52, 1960 г.). Мы начинаем публикацию второй ее части.

2

Наверняка можно сказать, что, сколько бы ни нанизывались на асфальтовые нити больших автодорог неоновые радуги всевозможных закусочных, ресторанов и кафе, сердце шофера, как и прежде, будет отдано не им, а все тем же одиноким хижинам на окраинах сел и станиц, на которые, обшаривая по непогоде степь, неизбежно набредают фары. Не потому ли, что как раз и прорезываются сквозь завесу снега или дождя окна этих хижин в тот самый момент, когда в борьбе со стихией вконец изнемогли и твоя машина и ты сам: и у нее и у тебя что-то внутри уже не стучит и даже не всхлипывает, а только вздыхает и скулит — вот-вот порвется? И не потому ли еще, что потом, при твоем возвращении из-под гостеприимного крова к своему самосвалу, оставленному у ворот, тебе не угрожает, что прямо перед тобой вдруг вынырнет, как из страшной сказки, кто-нибудь из тех, с кем ты всю жизнь находишься в состоянии необъявленной войны, и, принюхиваясь, вкрадчиво приложит пальцы к козырьку фуражки, опеpенной красным кантом: «Права!»?

Если же непогода на всю ночь, то и у ворот такой придорожной з а е з ж а л о в к и иногда сбиваются не менее полдюжины автомашин и стоят, подкрашивая пурпуром стоп-сигналов ночную тьму, пока не развиднеется или же не подойдет какой-нибудь тягач. За окном ливень или пурга, а здесь, в хижине, сухо, тепло, на столе вино и все остальное, включая только что вынутый из бочки ахиновский моченый арбуз, и рядом за столом твои товарищи, такие же шоферы, а иногда, если повезет, окажется среди них и тот, с кем вместе наматывали на спидометр памяти все дороги войны, и теперь, если их разматывать, надо вместе посидеть не одну ночь.

Если хозяйка не из закоренелых, то из угла комнаты еще и светится экран и под удары степного ветра еще даже лучше, чем дома, послушать ту же Людмилу Зыкину или посмотреть чемпионат мира по хоккею. И тому, ко́го застигла посреди ночи непогода, веселее ее в хорошей компании пережидать, и хозяйке неплохо. В предвкушении выручки она так и мечется, так и пляшет между столом и печкой.

Но в этот августовский вечер ничто не предвещало тех перемен в погоде к худшему, из которых, оказывается, можно извлекать и выгоду. И даже шофер одной-единственной за весь день машины, притормозившей у ворот домика на окраине поселка, видимо, никак не мог прервать своего рейса. Он только на минуту и приоткрыл дверцу кабины, чтобы ссадить свою пассажирку, и тут же нажал на ж е л е з к у.

— Говорят, бабушка, вы на ночлег пускаете?

— Кто это тебе сказал?

— Шофер. Который меня подвез сюда.

— И надолго тебе?

— Нет, только до утра.

— А утром ты, что же, дальше поедешь?

— Как вам сказать... Может, дальше, а может...

— Не хочешь, так и не говори. Мне чужих секретов не нужно, это я просто так спросила.

Женщина, как видно, попалась не из разговорчивых, и хозяйка расспрашивать ее больше не стала. Спешить некуда. Обзнакомится и, небось, сама все расскажет.

— Я за ночь по рублю беру.— И хозяйка пояснила, отдергивая цветастую желтую шторку: — У меня простыня и наволочки всегда стиреные, я их после каждого постояльца меняю.

Женщина коротко ответила:

— Хорошо.

— Но если для тебя дорого, тут через два дома Анфиса Мягконосова по пятьдесят копеек берет,— сочла необходимым предупредить хозяйка.— Без телевизера.— И великодушно предложила: — Могу проводить.

— Не нужно, бабушка.

— Ну, тогда раздевайся. Тебя как величать?

— Дома меня зовут Петровной.

— Для Петровны ты еще молодая. Ты с какого года?

Приезжая женщина то ли не расслышала, развязывая концы туго затянутого на подбородке зеленого платка, то ли не захотела отвечать, и хозяйка попеняла:

— Скрытная ты. А я с моими постояльцами поговорить люблю. Мне при моей одинокой жизни иначе нельзя, я, может, из-за этого и надумала к себе постояльцев пускать. Если разобраться, заботы с ними больше, чем прибытка. С одним поговоришь, с другим — и знаешь, как кругом люди живут. Если бы я знала, что ты такая, я бы и не пустила тебя к себе, но теперь уже ничего не поделаешь, раздевайся и садись. Петровна так Петровна, а меня, значит, Макарьевной зови. А может, ты сразу, с дороги, и отдохнуть захочешь? У меня это как раз и есть женская койка. Тут, за грубкой, спокойно и ничего не видно, когда за столом мужчины сидят. Для них я за той занавеской три места держу.— И она отдернула на другой половине комнаты другую шторку, за которой рядком стояли три узкие койки.— Когда в степи пурга, они у меня и по два на одной койке спят. Тогда и я с человека по пятьдесят копеек беру. А за стенкой в зале у меня постоянно одна молодая цыганочка живет. Но сейчас ее дома нету.

У приезжей женщины, укрепляющей шпильками рассыпавшийся венец темно-русых волос, замедлились движения рук, и она повернула к хозяйке голову. Та успокоила ее:

— Да ты не пугайся. Я раньше тоже цыганов боялась, а теперь сблизи рассмотрелась, что среди них тоже разные люди есть. У нас их тут, как им запретили кочевать, понаехало много, есть и бродяги, так и норовит прихватить под сюртук что плохо лежит, а от их ворожей попервости и не отобьешься, но теперь ничего, пообвыкли и от местных жителей отстали. Командируются на промысел в чужие места. Но моя квартираночка Настя, видно, к этому непривычная. Грамотная и за квартиру всегда за месяц вперед отдает.— И только тут хозяйка спохватилась, что она совсем заговорила новую постоялицу: — Да ты, Петровна, если притомилась в дороге, не стесняйся, ложись.

— Я не устала.

— Ну, тогда давай с тобой поснедаем.

— Я уже, бабушка, пообедала.

Но хозяйка так и замахала на нее руками...

— Об этом и слухать не хочу. У меня не какая-нибудь шкуродеровка, и по рублю я не за одну же постель беру. Садись. У меня сегодня лапшица с куренком, а на второе я плацынду спекла. У вас дома плацынду пекут?

— А что это такое?

— Сама узнаешь. Это навроде слоеного пирога со сладким кабаком, но еще вкуснее. Не стесняйся, садись.

— У тебя детей много?

— Двое.

Хозяйка обрадовалась:

— И у меня двое. Девочки. Теперь обе в городе живут. Как повырастают, выскочат замуж, так, считай, и нет у тебя больше детей. Они и ласковые у меня, а все равно при матери не захотели жить. Мы с покойным мужем хотели еще и мальчика иметь, но не привелось. А у тебя?

— Девочка и...— женщина только чуточку помедлила,— мальчик.

Но от многоопытного взора хозяйки и это промедление не могло укрыться:

— Ты что-то вроде замкнулась. Не обижает он тебя? Бывают сыновья: оторви да брось. У нас тут один, Васька Пустошкин, как напьется, так на родную матерю с кулаками лезет, из дому гонит. А как протрезвеет, опять, правда, ничего.

Но приезжей, видимо, захотелось поскорее внести в это ясность, и она твердо сказала:

— Нет, мой не обижает меня. Он совсем другой.

— Ну и слава богу. Вот и хорошо.

— Вот только я и не знаю, Петровна, как мне с тобой быть. Вечер у меня сегодня занятый, у нас в клубе товарищеский суд, а ты хоть, видно, и хорошая женщина, но для меня чужая, я не могу же я вот так сразу, с бухты-барахты на тебя все свое достояние кинуть. Оно у меня не дармовое. Ты на меня не серчай.

— Я не серчаю. Хорошо, я пока могу где-нибудь на дворе побыть. На улице походить или за воротами на лавочке посидеть.

— Нет, это не годится! — сразу же отвергла хозяйка.— Что же это ты будешь по улице чисто какая-нибудь сирота слоняться? — Глядя на постоялицу, хозяйка колебалась: — Я вижу, ты женщина честная...— Но тут же, очевидно, другие, более практические соображения одержали в ней верх над иными, и она вдруг предложила: — А то, может, и ты на это время со мной пойдешь? — И не давая женщине возразить, убеждающе заговорила: — Ты нисколечко не пожалеешь. У нас тут на товарищеский суд все лучше, чем в кино, любят ходить. Из-за одного председателя Николая Петровича стоит пойти. Хоть и пенсионер, а любит справедливость.— И она снова заколебалась: — Но если, конечно, ты наморилась с дороги...

— Хорошо, бабушка, я пойду,— быстро сказала женщина.

Хозяйка повеселела:

— Вот и спасибо. Я и сама, признаться, дюжей, чем, бывало, в церковь, люблю туда ходить. Мы тут в степи далеко от станции живем, артисты из города к нам не ездят, и по телевизеру то одним футболом, то хоккеем душат. А на товарищеском суде и поплакать и посмеяться можно.

— Что же ты так мало ешь? Али не нравится моя лапша?

— Нет, лапша хорошая.

— Спасибо, что похвалила, будто я и сама не знаю. Мои постоянные клиенты, шофера и другие проезжие, всегда ее требуют. А ты еле поворачиваешь ложкой.

— Просто мне с дороги что-то не хочется.

— С дороги люди всегда лучше едят. Ну, если не хочешь лапши, то давай тогда с тобой плацынду есть.— И хозяйка метнула с кровати на стол завернутую в пуховый платок тарелку и развернула ее.— Я ее в летнице спекла, еще горячая. Сейчас я из погреба свежей сметаны достану.

ГАН

Но постоялица остановила ее движением руки:

— Не беспокойтесь, пожалуйста. Я больше не буду есть.

— Ну, как хочешь. А может, ты обиделась на меня?

Приезжая женщина с искренним удивлением подняла от стола глаза.

— За что?

— А что я побоялась на тебя свою квартиру бросить. Но ты и сама в мое положение войди. Мы тут всегда жили без запоров и замков, хаты и погреба держали раскрытыми, и, слава богу, у нас не было никакого воровства, пока не понаехали эти цыганы. И какой только черт их в наши табунные степя пихнул! Нет, я ничего такого напрасно не могу про них сказать, и, говорят, они там, где живут, не позволяют баловства, такой у них закон, но только под видом цыганей теперь кое-кто и из своих повадился по сараям и погребам шуршать и чужие нажитые денежки в сундуках считать. Мне-то бояться нечего, я свои, если заводятся, на книжку кладу, там на них и проценты текут, но не побежишь же на почту каждый божий день. Так что уж ты, пожалуйста, не обижайся на меня.

Постоялица отодвинула от себя тарелку на столе.

— Я и не думала, бабушка, обижаться. С чего вы взяли?

— Ну и хорошо. Значит, давай будем собираться. Я толечко другую кофту надену, и можно выходить. Время уже не маленькое, да и клуб отсюда далеконько, пока мы до него дотелепаем, оно и будет как раз. У тебя с собой в узелке никакой другой одежки нет?

— Я в этой пойду.

— И то ладно. Ты еще молодая, и тебя тут никто не знает, а мне нельзя. У меня может клиентура пострадать. Сейчас я новую кофту надену и пойдем.

Еще не совсем стемнело. Белые домики поселка, как пиленый сахар на зеленой скатерти, лежали посреди табунной степи, со всех сторон доступные взору.

— У нас тут ровнехонько, кругом видать,— хвалилась по дороге хозяйка.

Несмотря на то, что все, что только могло подлежать плугу, распахано было за эти последние годы, не исключая и задонских табунных земель, и на конскую колбасу — на к а з ы — пошли косяки заарканенных на луговом приволье полудиких лошадей, кое-где еще оставались посреди буйно зеленого разлива одинокие острова конных заводов, и иногда еще можно было увидеть в степи золотистым облаком пропорхнувший по кромке табун жеребцов и кобылиц, еще не попавших в поле зрения Заготскота. Забрызганный росой и солнечной пыльцой вынырнет из высоких зеленей, прядая ушами, и тут же нырнет обратно. Только силуэт верхового табунщика и будет двигаться, отбрасывая гигантскую тень по предвечернему сизому лугу.

Вот и стягивались сюда, к этим островам, обложенным со всех сторон гулом тракторов, из окрестных придонских степей те, у кого до того вся жизнь прошла при лошадях и чье сердце теперь уже, вероятно, до конца своих дней не смогло бы освободиться из этого добровольного плена. И те старые табунщики с перепаханных под кукурузу лугов, которые решили, что им уже поздно переучиваться на воловников и дояров; и те вышедшие на пенсию ветераны казачьих дивизий Селиванова и Горшкова, которые так и не смогли смириться с мыслью, что конница уже навсегда отжила свой век. А вместе с ними и отлученные от лошадей по иной причине цыгане.

— Ты, Петровна, только приглядись. Сразу можно угадать, где они живут,— говорила хозяйка.

Но ее спутница и сама уже в этом убедилась. И не только потому, что там, где жили цыгане, обязательно из конца в конец двора тянулась веревка и на ней, как знамена, проветривались на вольном воздухе красные, синие, оранжевые и всевозможных неслыханных цветов и оттенков одеяла. Но и потому, что неполотые лебеда, татарник, осот выше заборов стояли в этих дворах, а из-за плотно прикрытых дверей сарайчиков можно было услышать, проходя мимо, и то, как отфыркиваются кони, которых их хозяева, вероятно, в надежде на лучшие времена, прятали от чужих взоров. Но разве можно было их до конца спрятать? Тем более что по привычке или же по своей беспечности цыган нет-нет и забудет на колышке забора то ли дологи [1], то ли совари[2], а иногда где-нибудь посреди двора и бангу [3]. И ни с каким же иным не спутаешь этот смешанный теплый душок, которым потягивает из-за забора. Так могут пахнуть только конский навоз и степное сено.

И на большой улице, прорезавшей поселок конезавода с севера на юг, среди людей, тянувшихся все в одном и там же направлении — к сверкающему на закате окнами из зелени тополей зданию клуба,— нетрудно было угадать цыганок и цыган, хоть и одетых, казалось бы, в то, во что одевались и все остальные, но все же в каком-то таком сочетании цветов, что те же самые кофты и юбки у женщин выглядели неизмеримо ярче и такие же, как на других, пиджаки и брюки у мужчин оказывались иными. Не говоря уже о платках и шляпах, которые никто иной не сумеет так повязать и заломить, как цыганка и цыган.

Большая площадь, упираясь в которую улица раздваивалась на рукава, обтекая ее вместе с клубом, как река обтекает остров, уже почти забита была автомашинами и мотоциклами, но и не только ими, а и верховыми лошадьми, с которых спешивались подъезжавшие с отделений конезавода табунщики, зоотехники, ветеринары. Спешиваясь, они накрепко привязывали лошадей к стволам тополей и акаций, потому что это все-таки были не какого-нибудь, а табунного содержания лошади, полуобъезженные и только привыкающие ходить под седлом. Натягивая ремни поводьев, они так и норовили порвать их и тут же упорхнуть в степь, по которой вокруг поселка катались из края в край различаемые их чуткими ушами копытные вешние громы табунов, пасущихся на приволье. И не вокруг машин и мотоциклов, как это обычно бывает в сельской местности у клубов в часы стечения народа, а вокруг них, бунтующих на привязи, очарованно собирались люди, чтобы перебрать их с головы до копыт по косточке и по шерстинке, не с поверхностным, а с придирчивым знанием оценивая и неоспоримые их достоинства и возможные изъяны. Впрочем, только самому опытному взору и дано было найти изъяны, а вообще-то, казалось, и не может их быть под этой выкупанной росами и вылощенной ветром и солнцем шкурой, розовеющей теперь под закатным солнцем. И все это была донская элита. Все новые и новые верховые подъезжали из степи. И вот уже вся площадь пофыркивала, стучала копытами, прядала ушами. Колыхались над нею длинные глазастые морды. Вот где можно было смягчиться взору, истосковавшемуся по лошадям в век всеобщего торжества моторов.

Хозяйка придорожной корчмы заметила, как даже ее молчаливая спутница не осталась равнодушной, когда наискось от них, через площадь, так и взвился на дыбы еще под одним подскакавшим из степи всадником конь и некоторое время даже потанцевал на месте, пока хозяин — какой-то цыган — не утихомирил его.

— Кто это? — спросила приезжая у хозяйки.

— Должно, какой ся из табунщиков,— ответила хозяйка.— У меня, жалкая моя, к вечеру зрения совсем стала слабеть, а тут через всю площадь и вовсе не вижу. Одна мошкара перед глазами и вроде бы радуга.— И тут же она вдруг обрадованно ринулась вперед.— А вот эту я очень даже хорошо вижу. Сейчас я и тебя с ней познакомлю. Это и есть моя квартирантка Настя.

Но они не успели. Из-за угла, из проулка, вывернулась и, круто осадив свой мотоцикл у самого крыльца клуба, стала быстро взбегать по его ступенькам девушка в оранжевой кофточке и в синих брюках. Большие карманы так и лепились на них со всех сторон. И местные женщины и цыганки, цветным кружевом опоясавшие подножие крыльца, молча расступались, давая ей дорогу и провожая ее взглядом. Когда она, вся какая-то прямая и тонкая — но не в бедрах, а в поясе.— взбегала по ступенькам, узкие, с рубиновым кантом по швам модные брючки с каждым ее шагом натягивались, казалось, вот-вот лопнут. Но она, ничуть не опасаясь этого, взбежала на самый верх, все так же прямо, даже чересчур прямо держась и чуть-чуть, почти надменно откинув назад черноволосую голову, так и не взглянув по сторонам. Это-то, вероятно, больше всего и задевало расступившихся перед нею женщин, среди которых отдельно кучкой стояли цыганки. И одна из них, молодая и полная, не удержалась:

— Настя уже и на людей не глядит. Выше голов летает.

Девушка мгновенно обернулась на самой верхней ступеньке, и глаза ее, обежав толпу женщин, безошибочно выхватили из нее эту цыганку.

— Это ты, Шелоро? А я и не знала, что ты уже вернулась из своего коммерческого рейса.

Легкая, как от брошенного в воду камня, зыбь всколыхнула толпу женщин, и молодая полная цыганка, принимая вызов, выступила из нее, не переставая шелушить большой, надломленный с края круг подсолнуха и, не глядя, с привычной ловкостью забрасывая себе в рот семечки. Глянцевито блестящая змейка так и тянулась в воздухе, не прерываясь, от ее руки к одному углу рта, а из другого угла свисала шелуха, ползла на подбородок.

Она притворно ужаснулась:

— Ах, уж ты, пожалуйста, извиняй меня, Настя, что я позабылась тебе доложить.

— Ничего, Шелоро, ты еще успеешь отчитаться об этом там.

И движением подбородка девушка повела в сторону раскрытых настежь дверей клуба и, не задерживаясь, тут же скрылась в них.

А вслед за нею, как будто до этого ее одной только и недоставало здесь, как по команде, хлынули в клуб все остальные.

Продолжение следует.

---

[1] Вожжи.
[2] Уздечка.
[3] Конская дуга.

ЦЫГАН

Анатолий КАЛИНИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки
П. ПИНКИСЕВИЧА.

Продолжение.
См. «Огонек» № 47.

* * *

Под потолком, медленно накаляясь от движка, застучавшего на окраине поселка, забрезжили все сто матовых свечечек большой люстры и затопили желтоватым половодьем неяркого света заполненный людьми зал клуба. Не успевшие захватить места на откидных стульях располагались стоя вдоль стен, а ребятишки устраивались прямо на полу. В наступающей тишине хлопнула спинка последнего стула.

За столом встал председатель — темнолицый, с ежиком жестких, как проволока, седых волос учитель — пенсионер Николай Петрович, и на пиджаке у него, сталкиваясь, колыхнулись медали на муаровых подвесках.

— Уважаемые заседатели товарищеского суда приглашаются на свои места, а защитник с обвинителем — на свои.

Хозяйка придорожной хижины-корчмы, поясняя, наклонилась к постоялице:

— У нас все честь по чести, хоть и называется товарищеский суд. Николай Петрович не любит, чтобы абы как.

Еще два стула прохлопали спинками. Мужчина с ковыльно белыми, но еще не завядшими, а молодечески подкручиваемыми кверху усами и женщина с иссеченным морщинами грустным лицом учительницы поднялись из первого ряда по ступенькам на сцену и сели по обе руки от председателя за столом, покрытым сукном мышастого цвета. Хозяйка корчмы и тут проворчала над ухом у соседки:

— Уж не догадались для этого дела какого-нибудь другого матерьялу набрать. Я каждый раз как на эту серую шкуру взгляну, так сразу же и немецкие шинеля вспоминаю. А вот и моя Настя на свое прокурорское место идет.— И она больно ткнула постоялицу под ребро костяшками пальцев.

Девушка в оранжевой кофточке и в синих брюках, колыхая на затылке жгутом черно-смолистых волос, перехваченных белой ленточкой, спустилась по проходу из глубины покатого зала и села перед столом президиума в первом ряду.

— Несмотря что в штанах, она и своим цыганам спуску не дает.

— А это с ней рядом кто? — спросила постоялица.

— Тоже цыган. Прокурор и защитник у нас цыгане, а суд — весь русский. Вот подожди, как она еще с ним резаться начнет.

— А Василия Пустошкина мы попросим на свое...— И, не договорив «место», председатель Николай Петрович пояснил остальное гостеприимным жестом в сторону одинокой скамьи, стыдливо приютившейся между первыми рядами и сценой. Обыкновенную лавку, сколоченную из досок и перекладин, должно быть, только в эти судные дни и вносили сюда. И человеку, очутившемуся на ней, вероятно, не очень-то уютно было чувствовать себя здесь, как между двух огней: между неукоснительным в своем следовании всем правилам судейской процедуры столом президиума и не менее, если не более непреклонной, а чаще всего и беспощадной публикой. Вот почему теперь не очень-то спешил занять ее и тот здоровенный, с круглыми детскими глазами Василий Пустошкин, которого столь широким жестом приглашал председатель. Но в конце концов увещевания Николая Петровича подействовали, и от самого входа, где Пустошкин стоял, прислонившись могучим плечом к дверной притолоке, он медленными и как будто занкающимися шагами направился через весь зал к злополучной лавке. Николай Петрович отечески подбадривал его:

— Иди, Вася, иди. Не стесняйся.

И публика, поддерживая председателя, сопровождала Пустошкина репликами вплоть до самого места:

— А за курочками, Вася, ты попроворнее бегал.

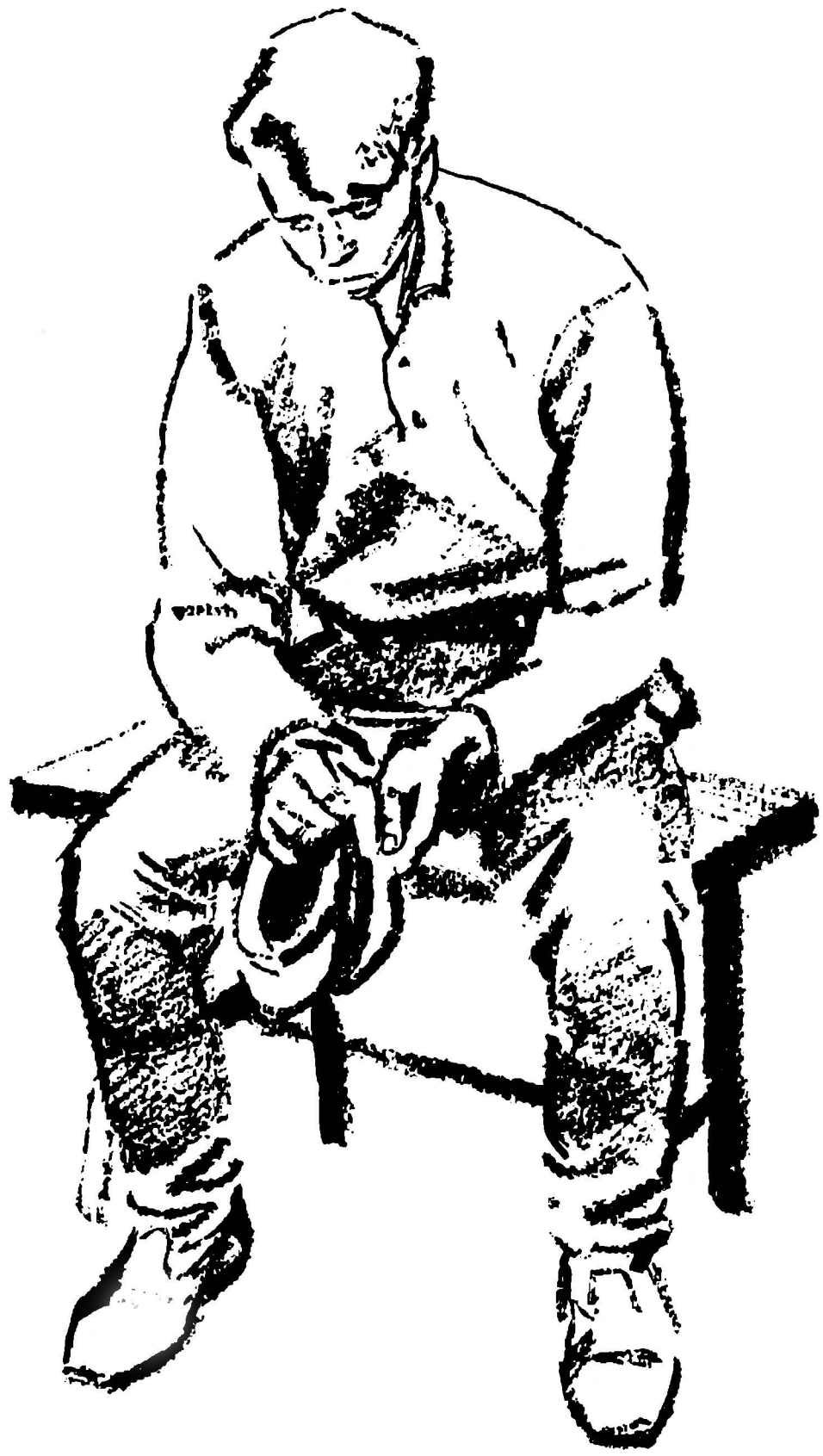
— Нет, он их сонными брал.

— Садись, Вася, на лавочку и не падай.

— Она по нему давно плачет.

— Любишь курятинкой закусывать, люби и косточки считать.

И вплоть до того самого момента, пока не плюхнулся он на скамью, его неотступно сопровождал этот враждебно-насмешливый огонь. Опускаясь на лавку, он опустил и голову, согнул плечи. Однако и здесь он меньше всего мог надеяться, что его оставят в покое.



Сразу и все тем же учительски дружелюбным тоном Николай Петрович попросил его:

— А теперь, Вася, ты, пожалуйста, расскажи нам, как ты к бабушке Медведевой в курятник залез.

Но тут Вася Пустошкин с недоумением поднял голову и чистосердечно-прямо взглянул на своего бывшего школьного учителя детскими голубыми глазами.

— Я, Николай Петрович, в курятник к ней не лазил.

Николай Петрович, судя по всему, был искренне удивлен:

— Вот как! А мне, Вася, люди наговорили, что будто бы это ты у бабушки Медведевой цыплят взял. Значит, наклеветали на тебя.

Хозяйка придорожной корчмы пообещала постоялице:

— Сейчас начнется первое действие спектакля. Николай Петрович всегда любит издалька.

— Значит, Вася, это кто-то другой у бабушки Медведевой цыплят покрал?

Могучую грудь Василия Пустошкина колыхнул глубокий вздох.

— Нет, Николай Петрович, я.

— Тогда ты, пожалуйста, нам получше все это поясни. Вот и другие члены суда тоже хотят знать.

И члены товарищеского суда, с которыми при этом по очереди переглянулся Николай Петрович, солидно покивали ему головами.

— Они у нее летом не в курятнике, а во дворе на большой груше спят,— застенчиво пояснил Вася.

— И поэтому тебе тоже пришлось за ними

на грушу полезть...— с явным сочувствием в голосе подхватил Николай Петрович.— А ветка возьми и подломись. Ты не помнишь, Вася, какой у тебя вес?

Вася вдруг застыдился так, что девический розовый румянец выступил у него на скулах, и не сразу ответил:

— Сто один.

— Ну, и в мешке с цыплятами было, по-твоему, килограммов двадцать или нет?

Но здесь Вася почему-то впервые решился твердо возразить:

— Меньше.

— Тогда нам придется с тобой точно посчитать. В мешке, как ты знаешь, было двадцать цыплят, а потерпевшая бабушка Медведева утверждает, что на ее безмене они вытягивали по килограмму. Правда, мамаша?

Тоненький дребезжащий голос ответил Николаю Петровичу из полутьмы зала:

— Я их, родненький, одной пшеничкой кормила.

С учительской укоризной в голосе Николай Петрович пожурил Пустошкина:

— Тут тебе, Вася, надо было лучше посчитать.

И тоже, как на уроке в школе, Пустошкин с подкупающей искренностью заверил своего старого учителя:

— Я, Николай Петрович, хорошо посчитал. Но я же им всем еще на груше головки поотрывал.

Смешок, как первый снежок, давно уже срывался и перепархивал по рядам в зале, но аудитория пока еще явно сдерживалась, по тону и по всему поведению Николая Петровича предвкушая, что главное наслаждение вечера ее ожидает еще впереди. И надо пока преодолевать в себе этот поднимающийся откуда-то из самой глубины смех, давить его и загонять обратно. Но с каждым новым ласковым вопросом Николая Петровича и новым покорным ответом Васи Пустошкина делать это становилось все труднее, и смех срывался все чаще, иногда прокатываясь по рядам сплошным гулом. Старый учитель Николай Петрович вел своего бывшего ученика Васю Пустошкина по тонкой кромке за руку, и тот послушно следовал за ним, как будто ему было уже не тридцать лет, а все еще двенадцать.

— Почему же ты, Вася, не убежал, когда упал?

— Я бы, Николай Петрович, убег, да мне память отшибло.

Кто-то из ребятишек, увязавшихся со своими отцами и матерями в клуб, звонким голосом сочувственно сообщил:

— Я эту грушу у Медведевых знаю. Дюже высо...

Но Николай Петрович при этом так глянул в зал, что последний слог у этого единственного нарушителя установленной судебной процедуры тут же и булькнул, застрял где-то в горле. Вслед за этим услышали все, как в тембре вкрадчивого голоса Николая Петровича заструилась прямо-таки неземная ласка, и затаились в уверенности, что вот оно наконец-то и начинается, то самое, ради чего стоило убить вечер. Вот когда можно было услышать, как тончайшими сверлами просверливают под потолком тишину налетевшие в раскрытые форточки с надворья комары.

— А теперь ты, пожалуйста, скажи нам, Вася, на что все-таки ты надеялся, когда собирался посчитать у бабушки Медведевой кур. Ты только не спеши отвечать, подумай. Ты ведь, Вася, и раньше всегда был сообразительным и должен был понимать, что за это, если попадешься, по головке тебя не погладят.

На шишковатом лбу у сообразительного тридцатилетнего Васи Пустошкина отражалась мучительная работа мысли, кожа собиралась складками и, опять расправляясь, натягивалась на кость, по красному лицу, по щекам давно уже струились ручьи пота. И все-таки он так и не мог понять, чего же хочет от него его старый учитель, Терпеливый Николай Петрович продолжал подкладывать ему мосток за мостком для перехода через эту трясину на берег истины.

— Ты, Вася, не нервничай и постарайся вспомнить все по порядку с той самой минуты, когда ты взял мешок и вышел из дому. Я вижу у тебя на руке часы «Победа», хорошие часы, у меня тоже такие. И когда мне нужно куда-нибудь идти, я всегда смотрю на них. Ты, Вася, посмотрел на свои часы перед тем, как выйти из дому?

— Посмотрел.

— Сколько на них было?

— Час,— расправляя на лбу морщины, твердо ответил Вася.

— И ты, конечно, догадался, что в это время у нас в поселке все уже должны были... Ты всегда был сообразительным, Вася.

И Вася не замедлил радостно подтвердить:

— Спать!

— Правильно,— похвалил его Николай Петрович.— Потому что к этому времени в нашем поселке и танцплощадка давно уже закрыта и все телевизоры по домам выключают. Ну, а теперь давай с тобой выясним: после того, как человек уже выйдет из дома, на что он обязательно должен посмотреть?

— На часы! — без запинки подхватил Вася.

— Нет, Вася, на этот раз ты недостаточно подумал, и я уже просил тебя не спешить. Вот я, например, когда выхожу из своего двора, то по привычке поднимаю голову и смотрю на...

— Небо! — не давая ему договорить, радостно рявкнул Вася.

Эхо его голоса гулом смеха откликнулось в зале клуба, но тут же и замерло, потому что не наступило еще время для всевластного смеха. Еще надо было дать Николаю Петровичу время, чтобы он до конца извлек право на этот смех из самых глубин послушно стоявшего перед ним Васи.

— И ты, Вася, увидел, что ночь была темная, месяц уже зашел и тебе нечего бояться. А наутро, когда бабушка Медведева должна будет хватиться своих цыплят, ей и в голову не должно будет прийти подумать на тебя, а, конечно, она подумает прежде всего на своих соседей. Ты не поможешь нам, Вася, припомнить здесь, кто в прошлом году въехал в новый домик по соседству с бабушкой Медведевой?

— Цыгане,— упавшим голосом припомнил Вася.

Может быть, впервые изнанка собственного умысла начинала открываться ему в ее истинном свете, на лбу у него усиленно задвигалась кожа, собираясь в складки и расправляясь, и глаза его с беспокойством забегали по рядам зала. Но знакомая рука продолжала вести его до конца.

— А про цыган, Вася, тебе всегда было известно, что они... Дальше, Вася, ты можешь и без моей подсказки обойтись...

И, повинуясь ему, тридцатилетний мужчина, как на уроке в школе, докончил:

— Курей воруют.

— Молодец, Вася. Только не курей надо говорить, а кур... И после этого ты решил, что если ты пощупаешь курочек у бабушки Медведевой, то никто, конечно, не должен будет подумать на тебя, а все могут подумать только на...

— Цыганей,— с ненавистью взглядывая на своего старого наставника круглыми голубыми глазами, выговорил весь красный и мокрый от только что перенесенного умственного напряжения Вася Пустошкин.

И сразу же после этого в клубе грянул такой оглушительный хохот, что, казалось, лопнуло небо. Зазвенели стеклянные подвески на люстре. Навзрыд плачущими голосами люди — и мужчины и женщины — обрушили на голову Васи целый град одобрительных реплик:

— Ой, Васечка, сообразил.

— Мала детина, а ума палата.

— Пятерку ему за это поставить.

— От штрафа освободить.

— А еще брехали, будто он в каждом классе по три года сидел.

— Неправильно, значит, сидел.

— Учителя придирались.

— Это вы, Николай Петрович, затирали Васю.

— Ой, люди добрые, надо сделать перерыв.

Плачущая вместе со всеми слезами смеха хозяйка придорожной корчмы загордилась перед постоялицей:

— А что я тебе говорила?! Подожди, еще не то будет.

Но вскоре стало выясняться, что смеялась хоть и подавляющая, но только часть аудитории, а другая ее часть все это время молчала. И больше того, она не просто молчала, а презрительно и даже враждебно. Вот тут-то и можно было установить, какую не столь уж незначительную часть населения этого поселка конезавода составляют цыгане. Потому что они-то, оказывается, и сохраняли молчание все как один, не исключая и цыганок, с нескрываемым презрением наблюдали, как хохочут и беснуются все остальные. Зато ж, как только схлынула в клубе волна смеха, расплеснувшись ручейками по рядам, и вознаградили они себя с лихвой тем всеобщим торжествующим воплем, на который, пожалуй, никто, кроме них, не был способен. Все остальные в зале, услышав его, так и притихли. Это кричали цыгане. Изливая свои чувства, они многоцветной волной так и выплеснулись из рядов к сцене, в то время как все другие, коренные жители этого поселка, в растерянности остались на своих местах. Еще бы! Часто ли им, цыганам, вообще приходится и придется ли еще когда-нибудь вознаградить себя таким торжеством за весь тот позор, ту напраслину и поклепы, которые от века привыкли возводить на них люди! Как только где-нибудь что-нибудь пропало, то, значит, украл цыган, и если кого поблизости обманули, то ищи непременно цыганку. Агрессивнее всего, конечно, теперь и стремилась выразить свои чувства эта́ — женская — половина оскорбленного племени. Подскакивая к оставшемуся на своем месте, на скамье, и совершенно ошеломленному Пустошкину, цыганки совали ему в лицо кулаки и брызгали на него слюной: «Цыгане воры, да, а ты честный, да?!» И еще что-то они кричали ему по-цыгански и, сплевывая тут же на пол и растерев это место на полу подошвой, отходили от него, изображая крайнюю степень возмущения, чтобы тут же опять вернуться к нему с воздетыми кулаками. «Тьфу на тебя, тьфу!» — плевалась рядом с Пустошкиным та самая молодая и толстая цыганка Шелоро, которая до этого обменялась нотами с Настей у крыльца клуба. Однако и мужчины цыгане ни за что не хотели упустить столь редко выпадавшего на их долю случая. Особенно муж той же Шелоро, столь же тщедушный и маленький, сколь внушительной была по всем своим объемам и формам его супруга. Он уже успел не меньше десяти раз подскочить к бедному Пустошкину все с одними и теми же словами: «Курочка — в мешок, а я за тебя — в тюрьму, да?!» Длинное красное кнутовище торчало у него из-за голенища сморщенного, как гармошка, сапога, полы черного и короткого ему сюртучка развевались. Рыжие маленькие усики грозно топорщились на верхней губе.

Цыганские слова склубились с русскими во всеобщем гвалте. Только, пожалуй, двое из всех цыган и не принимали в нем никакого участия, оставаясь все это время сидеть на своих местах в первом ряду: Настя и ее сосед с сутуло сгорбленной спиной и низко склоненной головой, с опущенными между колен руками. С тем же презрением, с каким обходились теперь цыгане с Пустошкиным, и, пожалуй, даже с жалостью Настя смотрела на своих соплеменников, а ее сосед так ни разу за все время и не поднял головы.

Пустошкин затравленно озирался. Но и сам председатель товарищеского суда Николай Петрович, судя по всему, не очень-то уверенно чувствовал себя в этом окружении бренчащих цыганских мериклэ[1] и сверкающих черных глаз. Наверно, он и сам уже не рад был тому, что по неосмотрительности развязал эти страсти. А теперь попробуй-ка, загони их обратно, если у этих так легко воспламеняющихся людей оказалась задетой их самая больная струнка. Вот когда ему приходилось убеждаться, что на старости лет он оказался не очень-то хорошим педагогом. И теперь ничего больше не оставалось, как положиться на время в надежде, что все эти страсти улягутся сами собой. Помощи ждать было неоткуда.

Внезапно Настин сосед, цыган с небольшой кудрявой бородкой, впервые за весь вечер поднял голову и что-то по-цыгански крикнул своим соплеменникам, столпившимся в просвете между первым рядом зрительного зала и сценой. Не очень-то громко и крикнул, тем более, что голос у него был глуховатый, но, оказывается, все другие цыгане его услышали. И тут же весь гвалт в клубе прекратился. А еще через минуту все цыгане уже вернулись на свои места. Опять стало слышно, как сверлят тишину комары.

---

[1] Монисто.

— Ты что это вся задрожала? — с удивлением спросила хозяйка придорожной корчмы у своей квартирантки.

— Очень холодно у вас в клубе,— ответила квартирантка.

— А мне ничего. А когда этот цыган свою аспидную бороду поднял, так даже жарко стало. И где он ее себе такую дремучую добыл?

Теперь и Николай Петрович мог без всяких помех продолжать заседание товарищеского суда. Однако на этот раз он, по-видимому, решил воздержаться от любых неосторожных шуток, чреватых опасностью нежелательного взрыва. Еще не вполне оправившийся от растерянности голос его, когда он вновь поднялся за столом, прозвучал чуть смущенно и серьезно:

— Есть, граждане, мнение по данной мелкой краже прения сторон не открывать, поскольку обвиняемый Пустошкин, помимо чистосердечного раскаяния и полного возмещения убытков потерпевшей бабушке Медведевой, добровольно согласился внести положенный штраф в сумме десяти рублей.— И Николай Петрович опять поочередно переглянулся за столом с членами товарищеского суда, которые и на этот раз авторитетно покивали ему головами.— Деньги, Вася, ты через сельсовет будешь вносить или с собой принес?

— С собой.

Пустошкин привстал со своего места, положил на стол пачку новеньких рублей и опять сел. Но председательствующий Николай Петрович тут же опять и поднял его.

— Нет, теперь тебе, Вася, не обязательно на этом почетном месте сидеть.

Чуткий зал незамедлительно откликнулся на это целым роем реплик:

— А если ему там понравилось?

— Нехай еще трошки посидит.

— Пусть привыкает.

Как всегда, особенно беспощадны были женщины:

— На груше ему, конечно, еще почетнее было сидеть.

— Теперь тебе, Вася, прямой расчет в цыганскую веру переходить.

— Без бороды его не примут.

— Бороду мы ему в драмкружке какую угодно подберем.

— А усы он пускай свои отпустит.

— Усы будут рыжие, а борода черная.

Под градом этих реплик Пустошкин, пригнувшись, пробирался по проходу в глубь зала, выискивая себе место поскромнее, куда не так достигал скуповатый свет, ниспадавший сверху, от люстры. На помощь ему пришел все тот же Николай Петрович, постучавший карандашом по горлышку графина на столе:

— Попрошу реагирование прекратить. И тем, которые явились сюда с малыми детишками, предлагаю покинуть зал. Сколько еще раз можно предупреждать?!

В глубине полуосвещенного зала началось какое-то смутное движение: что-то замелькало, зашмыгало между рядами, зашелестели юбки, и несколько женских голосов неуверенно возразили Николаю Петровичу:

— Детишек тут давно уже нет.

— Они уже спят давно.

Николай Петрович, распрямляясь за столом, раздул ноздри.

— Я по воздуху слышу.

Засмеявшись, публика опять настроилась было на игривую волну, но председатель поспешил в самом зародыше пресечь неуместное веселье:

— Открыть окна. А Шелоро Романовой предлагаю занять свое место на скамье.

Добровольцы бросились открывать большие окна с двух сторон зала, и тотчас же в клуб из окружающей степи, как из большой чаши, пролилась свежесть летнего августовского вечера и стал наплывать отдаленный гул кукурузоуборочных комбайнов, иногда перебиваемый более близким гулом автомашин со шляха, а под потолком, вокруг люстры, радужным венчиком закружились ночные жучки и бабочки.

Хозяйка придорожной корчмы спросила у своей новой постоялицы:

— Кого ты там все время выглядаешь? Так и егозишь на своем месте.

— Просто мне интересно на ваших цыган посмотреть.

— А... Ну, смотри, смотри. Я же тебе говорила, что у нас не нужно и в театр ходить. Сиди спокойно. Сейчас начнется второе действие спектакля.

На груди у Николая Петровича вновь пришли в движение все его военные и гражданские медали.

— Вас, Шелоро Романова, еще сколько раз можно приглашать?

Нисколько не обескураженный суровыми интонациями его голоса женский голос спокойно ответил откуда-то из полутьмы зала:

— А мне и отсюда хорошо видно.

Николай Петрович наискось через грудь и поперек пояса провел легким движением пальцев, как если бы на нем был сегодня надет не штатский учительский пиджак, а гимнастерка, перехваченная портупеей и офицерским ремнем, и награды у него на груди прогремели совсем недобро.

— А суду ничуть неинтересно, чтобы вам было видно. Суду интересно, чтобы все люди могли на вашу личность посмотреть. Но, конечно, если вы протестуете, мы можем и заочно решить.

— Ты меня, Николай Петрович, не стращай. Я не из пугливых.

Но все же к сцене, на которой заседал товарищеский суд, Шелоро вышла. Она, кажется, и в самом деле не настроена была бояться всей этой грозной процедуры суда. Иначе она не нарядилась бы сегодня так, как если бы пришла сюда не в качестве обвиняемой, а на какое-нибудь торжество: в свою, несомненно, лучшую красную индараку[1], из-под которой выглядывала широкая кайма еще более красной юбки с выглядывающими, в свою очередь, из-под нее совсем уже алыми кружевами. И когда, останавливаясь перед сценой и подбочениваясь, она независимо встряхнула головой, ее крупные черные мерикла, тремя низками ниспадавшие с шеи на ее желтую думалы[2], прогремели, пожалуй, ничуть не тише, чем благородный металл заслуженных наград на груди у Николая Петровича. Нельзя сказать, чтобы она красива была, но была у нее та вызывающая, с крупными глазами, крупными же губами и ярко нарумяненными щеками внешность, мимо которой нельзя было проскользнуть взору.

Хозяйка опять подтолкнула свою постоялицу острым кулачком.

— Теперь и смотри и слушай.

Николай Петрович, видя, что Шелоро остановилась перед столом и не торопится занять место на скамье, освобожденное для нее Пустошкиным, напомнил:

— Садитесь же, Шелоро Романова. В ногах, как вы знаете, правды нет.

На что последовал немедленный ответ:

— У кого нет, а у кого и есть.

И, не садясь на скамейку, а лишь покосившись в ту сторону влажно блестящим зрачком, она быстро сунула руку за вырез своей думалы и, вынув оттуда что-то, положила на стол перед Николаем Петровичем.

— Это что еще такое?

Шелоро спокойно пояснила:

— Тут десять рублей.— И, помолчав, добавила: — Десятка.

Николай Петрович впервые за весь вечер вдруг коршуном вытянул из-за стола жилистую шею:

— Какая десятка?

— Мой штраф. Записывай за мной и распускай людей по домам. Тут все по рублю. Не веришь, можешь пересчитать. Какими мне люди подают, такими и я расплачиваюсь, а если мало...— И она опять было полезла рукой за вырез своей желтой думалы.

У Николая Петровича верхняя губа, приподнимаясь, обнажила вставные зубы, и затаившийся зал услышал, как он с высвистом выдохнул воздух:

— А вы знаете, гражданка Романова, что вам может быть за подобное вопиющее неуважение товарищеского суда?!

Шелоро неподдельно удивилась:

— Почему неуважение? Если б я не уважала, вы бы тут со мной до рассвета не разошлись, цыгане поговорить умеют. А я свой штраф тоже желаю добровольно уплатить. Записывай его, Николай Петрович, и распускай людей.

Брезгливым движением Николай Петрович отодвинул ее рубли от себя так резко, что они едва не слетели на пол и лишь чудом задержались на краешке стола зыбкой, трепещущей стопкой.

— Вы что же, надеетесь от товарищеского суда своими нечестно заработанными деньгами откупиться?

Глядя на раздувшиеся ноздри Шелоро, можно было предположить, что сейчас она разразится бурей, но она лишь с сожалением посмотрела на Николая Петровича.

— Нехорошо, Николай Петрович. Тебя в нашем поселке и русские и цыгане уважают, а ты меня обидеть решил. Почему нечестными? Каждый человек получает деньги за ту работу, какую он умеет делать. Люди зря платить не станут. И ты, Николай Петрович, этими моими деньгами не гребуй. Тут за все мною прогуленные пять дней. На кукурузе я и зарабатывала не больше чем по два рубля в день.

Еще неизвестно было, как стал бы отвечать на все это Николай Петрович, потому что, судя по всему, такого поворота и он не ожидал. И он явно обрадовался, когда сидевший по правую руку от него член суде, мужчина с пушистыми ковыльными усами, грубовато бросил Шелоро из-за стола:

— А ты бы поменьше в кукурузе карты раскладала. Могла бы, как другие, зарабатывать и больше.

Шелоро покачала головой с большими серьгами в ушах.

— Нам эта работа не подходит.

— Чем же она тебе плохая?

— Ты меня, бригадир, на слове не поймаешь, не думай, что только ты один тут самый умный. Если хочешь поймать, бери штраф, а если хочешь от меня правду узнать, то послушай. Я же не говорю, плохая работа, а не цыганская она. Под нашу природу не подходит. Кто смотря к чему от рождения привыкал. Мы люди из природы, и нам еще нужно время, чтобы к этой работе привыкнуть.

И здесь, уже в третий раз за вечер, хозяйка придорожной корчмы ткнула под бок соседку кулачком.

— Слушай, слушай! Сейчас ей за эту природу моя квартиранточка Настя и врежет. Как цыганка цыганке. Видишь, она уже поднимается.

Над первым рядом заколыхался куст черноблестящих волос, перехваченных белой ленточкой. И почему-то в зале сразу же прекратилось всякое движение и самый невинный шум: полушепот переговаривающихся соседей, стыдливый кашель. Высокий и гортанный голос с насмешливой презрительностью поинтересовался у Шелоро:

— И от своей полдюжины беспризорных детишек ты тоже думаешь откупиться этой десяткой, Шелоро?

Ни на одну секунду не промедлила Шелоро со столь же насмешливо-презрительным ответом:

— Мои дети, Настя, тут совсем ни при чем. Вот ты, когда себе заимеешь своих, тогда и будешь ими, как захочешь, торговать. Но до этого тебе еще придется хорошего муженька подобрать. А то ты, бедная, так еще и не решила, из каких себе выбрать — из бородатых или из молодых.

Почему-то при этих словах Шелоро какой-то гул или, скорее, ропот прокатился по залу клуба, и Настя на минуту потупилась — не для того ли, чтобы скрыть краску, так и прихлынувшую к ее щекам. Но тут же она опять вздернула головку с модным начесом, и все увидели, что на лице у нее уже ни кровинки.

— Об этом не беспокойся, Шелоро, тебя с бубном я на свою свадьбу все равно не позову, а вот твоих при живой матери сироток, пока ты ездишь людей дурить, мне, правда, и купать приходится, и расчесывать, и глаза им цыганскими и русскими сказками на ночь закрывать. И это бы еще ничего...

Шелоро низко поклонилась Насте, так что ее мерикла достали до самого пола, и серьезно сказала:

— За своих детишек, Настя, я тебе уже говорила спасибо и еще раз не поленюсь сказать, но это же, Настя, такая твоя должность за нашими детишками в детском садике глядеть, и тебе за это тоже немалые деньги платят.

Новая волна ропота, прокатившаяся при этих

---

[1] Юбка.
[2] Кофта.

словах Шелоро, явно не свидетельствовала в ее пользу, угрожая затрпить ее всплесками взметнувшихся в разных концах зала реплик:

— А у тебя какая должность?!

— Вот это называется маты!

— Может, тебе за это тоже зарплату платить?

А у жены Василия Пустошкина, которая даже привскочила со своего места, чтобы наконец-то взять реванш за позор, только что перенесенный их семейством, стремительный залп слов невольно для нее самой сложился, как в частушке:

— Она, значит, будет ездить ворожить, а мы, значит, будем ее деток сторожить?

И этого оказалось достаточно, чтобы вслед за взрывом смеха не израсходованная еще часть огня, предназначавшегося Шелоро, переключилась на нее:

— Вот это у Васи жена!

— Отомстила Малаша.

— Ждала, ждала и подстерегла.

— Так их, Малаша, этих цыганей!

— Чтобы они не обижали твоего Васю.

— За такой, Вася, такой и ты не пропадешь.

Даже Шелоро заулыбалась. Все еще не садясь на свое место, Малаша Пустошкина попыталась было противостоять этому натиску и даже перекричать его своим натренированным в словесных баталиях с соседками басом, но даже и ей с ее могучим и рослым под стать своему Васе телосложением это оказалось не под силу.

— А, да ну вас!

И она села. Супругам Пустошкиным сегодня явно не везло на трибуне. И лишь тем они могли считать себя частично вознагражденными, что по залу, по рядам, от человека к человеку еще долго передавалась вместе со смешками непредумышленная Малашина прибаутка: «Она, значит, будет ездить ворожить, а мы, значит, будем ее деток сторожить?» Пока эти часто повторяющиеся слова не вызвали у кого-то в зале и совсем других, исполненных глубокой задумчивости слов:

— А на чем же они теперь могут ездить на свою ворожбу?

Не таким-то и громким голосом они были оброненны, но ни от кого не укрылось, как вздрогнула Шелоро и улыбка тут же замерзла у нее на губах. Как будто в зале щелкнул цыганский кнут. Глаза ее, как два больших лохматых шмеля, зачем-то метнулись в полутьму зала и стали там шарить, выискивая что-то по рядам. Она совсем не умела и даже не пыталась скрыть, как ее напугал этот нежданно подкравшийся вопрос. Но, кажется, и не только ее, потому что и та самая громкоголосая часть аудитории, которая только что столь яростно атаковала Васю Пустошкина, сразу же оказалась безголосой и смиренной. Цыгане понурились и сидели молча. И только Настя, колыхнув кустом волос, отчетливо сказала:

— Об этом нужно спрашивать не у нее. Об этом лучше всего может рассказать ее муж Егор.

Николай Петрович поднялся из-за стола.

— Егор Романов здесь?

Очень скоро выяснилось, что Егор Романов, муж Шелоро, внезапно потерялся в полутемном зале клуба, как иголка в стогу сена. Должно быть, потому, что он был здесь, пожалуй, самым маленьким из всех мужчин — и не только из цыган. Правда, совсем недавно его, несмотря на это, и видно и слышно было больше всех, и яростнее всех он, как ястреб, нескакивал на Пустошкина, развевая полами своего сюртучка,— и вот Егор исчез. Жена его, Шелоро, с бледным тревожным лицом стояла у сцены, и глаза ее метались из стороны в сторону, как два больших шмеля, но самого Егора не было. И уже отчаявшийся вызвать его из полутьмы зала Николай Петрович так, должно быть, и махнул бы на него рукой, если б не тот же Пустошкин. Встав с места, он долго буравил глазами зал, неярко освещенный светом от движка, и все-таки, высмотрев то, что ему надо было, вдруг торжествующе завопил:

— Так вот же он где! Его же сами цыгане в своем темном кутке и хоронят.

И после этого там же цыганам, которые надеялись спрятать Егора Романова от ищущих его взоров, ничего другого не оставалось, как самим и вытолкнуть его из темноты своих тел на свет, как пробку из бочки.

Невольным новым взрывом смеха сопровождалось появление его перед столом, малорослого и щуплого, с торчащим из-за голенища кнутовищем, рядом со своей супругой Шелоро. Так она подавляла его внушительностью всех своих форм и объемов. Единственным, кто не мог сейчас позволить себе засмеяться или хотя бы улыбнуться, был председатель товарищеского суда Николай Петрович. Судорожно преодолевая улыбку, дергающую мускул щеки, он с преувеличенной официальностью спросил у Егора:

— У вас, Егор Романов, лошади есть?

В своем коротеньком сюртучке Егор стоял лицом к столу суда, спиной к залу.

— Есть, Николай Петрович.

— Сколько?

— Две, Николай Петрович. Конь и кобыла.

— Откуда же они у вас могли взяться, Егор?

Егор дотронулся до кнутовища у своей ноги и даже вытащил его до половины из сапога, но тут же засунул обратно.

— Они, Николай Петрович, завсегда были моими.

Зачем-то понижая голос и отбрасывая свою официальную вежливость, Николай Петрович перешел на «ты»:

— Ты что же, их от государства скрыл?

Медали на груди у Николая Петровича отражали свет люстры, и ослепленный ими Егор учащенно моргал веками.

— Скрыл.

— Где же ты мог их все эти годы скрывать?

— Я их, Николай Петрович, сперва-начала в степу при табуне держал, а теперь домой в сарайчик перевел.

— А с Указом Верховного Совета, Романов Егор, ты знаком или нет?

И тут вдруг все присутствующие увидели то, чего никто не мог предположить. Этот маленький, тщедушный цыган, муж Шелоро, вдруг повалился на колени прямо перед столом, за которым заседал товарищеский суд.

— Не забирайте, граждане-товарищи, у меня коней! Мы же цыгане!

Вот когда все увидели, как может совсем выйти из себя всегда такой уравновешенный и спокойный Николай Петрович. Все лицо у него бурачно побагровело до самых корней седых, как перекаленная проволока, волос, и, когда он выпрямился за столом, медали, сталкиваясь, угрожающе загремели. Он крикнул срывающимся тенором:

— Встань сейчас же! Это ты перед кем же посмел свою комедию ломать, перед советским товарищеским судом?! А ты знаешь, что мы тебя за эти рабские привычки можем настоящему суду предать?! Встань, тебе говорю, ну?!

Даже и на всех остальных присутствующих этот бурный взрыв ярости у Николая Петровича произвел впечатление, все притихли и съежились, но Егор Романов не подчинился.

— Не забирайте коней,— твердил он, оставаясь на коленях.

И только лишь резкий возглас Шелоро мгновенно поднял его.

— Бэсчауру!— крикнула она.

Вставая и утирая рукавом слезы, Егор поплелся к выходу с вишневым красным кнутовищем за голенищем сапога. Никто не задерживал его. Лишь один несказанно удивленный басок сочувственно бросил вдогонку ему:

— Чудак человек. Да у нас же их, коней, здесь целая тьма. Садись на любого и паси табун.

Другой же, еще совсем мальчишеский, на переломе, голос, после того как закрылась за Егором Романовым дверь, мечтательно поинтересовался вслух:

— А что это такое может значить «бэсчауру»?

Ему бы должна была ответить Шелоро, но она или не захотела отвечать, или не слышала его. Стоя у сцены и повернувшись спиной к столу, она смотрела на длинный проход между рядами стульев, по которому только что ушел из клуба Егор, таким же взглядом, каким обычно смотрят на расстилающуюся впереди по степи дорогу. И тогда после долгого молчания решила ответить на вопрос любопытствующего парнишки Настя:

— Бэсчауру, Миша, это по-цыгански «садись-ка, мальчик, на коня».

Однако тот, кого она назвала Мишей, оказался из упорных. Настин ответ не вполне удовлетворил его.

— Нет, а что же это, тетя Настя, еще должно значить?

На этот раз Настя, медля почему-то с ответом, бросила быстрый взгляд на Шелоро. Та, казалось, не замечая ее взгляда, продолжала тягуче смотреть на проход и лишь слегка повернула к Насте ухо с полумесяцем большой серьги.

— У цыган, Миша, это иногда еще может означать, когда они что-нибудь натворят, «давай-ка, мальчик, скорей отсюда удирать, пока еще не поздно».

Внезапно Шелоро резко повернулась к Насте, и красивое полное лицо ее исказилось.

— Врешь!— крикнула она.— Ты все, проклятая, врешь!— И с растопыренными руками, потрясая кулаками и своими мериклэ на могучей груди, она двинулась к Насте.— Это из-за тебя все! Ты уже и не цыганка совсем, у тебя от цыганки ничего не осталось! Погляди-ка на себя: ни мужик, ни баба. Цыганка своих никогда не станет продавать!— Мериклэ прыгали у нее на груди, и обезображенное яростью лицо уже вплотную приближалось к лицу Насти.— Я давно знаю, что ты хочешь забрать у меня детей. Ты свою природу уже забыла и теперь хочешь, чтобы они тоже забыли свою мать.

Даже Николай Петрович при этом внезап-

ном взрыве ярости Шелоро растерялся и, ничего не предпринимая, только молча переводил взгляд с ее лица на лицо Насти. У Насти же оно лишь чуть-чуть побледнело, но она как стояла, так и продолжала стоять на своем месте, ни на шаг не отступая перед надвигавшейся на нее Шелоро. И, глядя на нее в упор, не повышая голоса, она холодно бросила ей:

— Ты сама, Шелоро, забыла своих детей.

— Ты!..— Так с поднятыми кулаками Шелоро и остановилась перед Настей. Если бы она увидела, что Настя испугалась ее, она, возможно, и не замедлила бы пустить кулаки в ход, но Шелоро хорошо видела, что Настя ее не боится. И Шелоро вдруг схватилась руками за голову.— A-a!— закричала она.— Деточки мои, деточки, как же я теперь без вас останусь?! A-a-a!!— И дергая себя руками за волосы, но не очень сильно, и за нитки с мерикле, однако тоже не настолько резко, чтобы они могли бы порваться, она закачалась из стороны в сторону. Настя с презрительной понимающей улыбкой смотрела на нее.

И здесь всего лишь во второй раз за весь вечер послышался голос того, пожалуй, самого молчаливого из цыган, Настиного соседа с небольшой кудрявой бородкой, который до этого все время так и просидел, не поднимая головы, с опущенными между колен руками.

— Тебе нужно успокоиться, Шелоро,— глуховатым, но звучным голосом сказал он.— Никто пока не собирается отнимать у тебя детей. Ты совсем не поняла Настю. Правда, Настя?

Так получилось, что, встав со своего места, он невольно оказался между ними — между Настей и Шелоро — и, говоря, то к одной, то к другой поворачивал лицо с кудрявой черной бородкой. Но такой же черноты пучок колыхнулся и над головой у Насти.

— Для детей было бы лучше, Будулай, если бы их взяли у нее,— непримиримо сказала Настя.

Перестав кричать и прислушиваясь к их словам, Шелоро с жгучим вниманием бегала глазами по их лицам. И в зале клуба стало так тихо, что было слышно каждое слово их разговора.

— Надо, Настя, очень серьезную причину иметь, чтобы мать и отца их родных детей лишить.

— А если, Будулай, она своим же детям враг?

— С такими словами, Настя, никогда не надо спешить.

— Ты ее еще не знаешь, Будулай. Она сегодня еще не все показала.

— A-a!— как бы в подтверждение этих слов вдруг опять закричала Шелоро, и ее мерикле, как отборные крупные вишни, посыпались на пол. Срывая их с себя, она жменями разбрасывала их по полу вокруг, не забывая при этом искоса наблюдать за Настей и Будулаем.

И тогда он впервые тоже повысил голос:

— Перестань же, Шелоро, сейчас тут никто не собирается у тебя твоих детей отнимать, хоть ты и плохая мать. Но скоро, ромы, если вы не опомнитесь, они и сами начнут от вас уходить.

Теперь уже получалось, что он говорил все это не только одной Шелоро, но и всем тем другим своим соплеменникам, которые смотрели на него из безмолвного зала, слушая его. Комары сверлили воздух под потолком, и вокруг люстры мельтешил радужный венчик. Электрические матовые свечечки горели вполнакала, и не то чтобы совсем темно было в зале клуба, а как-то не светло. И, вытягивая вперед голову с кудрявой бородкой, он все время как будто силился что-то разглядеть в зале и понять, какое впечатление производят на них его слова. Бородка его, попадая в черту заревного полусвета, вспыхивала и становилась рыжей, а белки глаз и зубы еще резче белели на темном лице.

Продолжение следует.

Анатолий КАЛИНИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ЦЫГ

— А среди цыган тоже красивые мужчины есть,— сказала своей новой постоялице хозяйка придорожной корчмы.— А вот кончики своих усов он уже где-то поморозил. Но это ему не мешает, а даже наоборот.— И, не встречая со стороны своей соседки никакого, ну хотя бы малейшего сочувствия этим словам, она покосилась на нее.— А чего это ты, Петровна, то все время вытягивала шею, как гуска через плетень, а то схоронила лицо в ладоши и сидишь?

— Очень голова у меня разболелась. Как сразу что-то ударило в нее.

— С чего бы?

— Не знаю. Я за всю прошлую ночь в дороге так и не могла заснуть.

— А я еще потянула тебя с собой сюда. Не проходит?

— Нет.

— А ты откинь-ка ее на спинку стула, чтобы кровь отлила.

— Нет, лучше мне будет, Макарьевна, на воздух выйти.

— Ну ладно, выйди, побудь на дворе и ворочайся. Надо же тебе до конца добыть.

— Вы мне потом все расскажете, а теперь я пойду.

— Ах ты, господи,— искренне опечалилась хозяйка.— Надо же было тебе заболеть, когда еще ничего не кончилось. Куда же ты сейчас пойдешь?— И рука ее все время то дотрагивалась, то опять отдергивалась от бокового карманчика своей старушечьей бархатной кофты.

— Я дойду до дома и там вас на лавочке подожду.

— Нет, это не годится,— решительно сказала хозяйка.— Так ты совсем замерзнешь, и у меня тут будет об тебе душа болеть. А у нас здесь после этого еще всегда бывает концерт.— И на этом ее последние колебания кончились, уступив в сердце место порыву великодушия.— На вот, возьми,— сказала она, доставая из карманчика кофты и протягивая постоялице большой дверной ключ.— Бери, бери. Я эти цыганские концерты страсть как люблю.

Сзади, прямо у нее за спиной, негодующий бас рявкнул:

— Да тише ты! Тебе бы, старуха, в это время давно уже пора спать, а ты раскудахталась, как яйцо снесла.

Обескураженная, она на мгновение съежилась, но и не могла же она отпустить свою новую квартирантку домой без соответствующих директив. И, переходя на дробный полушепот, она все-таки сумела закончить их:

— Ложись на свою койку и спокойно спи, а на крючок не запирайся, чтобы мне не пришлось тебя будить. Сейчас я толечко чуть привстану и выпущу тебя. Да ты не дюже пригинайся, тебя же тут все равно никто не знает.

Но ее постоялица, несмотря на этот совет, не менее чем полпути пробиралась до наружных дверей клуба между рядами стульев, согнувшись и втянув голову в плечи. И только на полпути она распрямилась и уже не пошла, а почти побежала к выходу все более быстрыми шагами, как будто подталкиваемая в спину этим голосом:

— И тогда уже никто не поможет вам, ромы, вернуть ваших детей. Никто.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 47, 48.

* * *

Хозяйка возвращалась из клуба домой, переполненная впечатлениями вечера так, что если ей не поделиться ими с кем-нибудь теперь же, не откладывая, то, пожалуй, и не уснуть ей сегодня. И голова и ноги гудели, как телеграфный столб на морозе в степи. Теперь уже она жалела, что все-таки не отговорила свою новую постоялицу уходить из клуба, а сама же и вручила ей ключ от дома. Много эта женщина потеряла такого, чего ей, может быть, и даже наверняка, больше не доведется увидеть и узнать. Не всюду же среди русских и цыгане живут. И если все самое главное, что произошло на товарищеском суде, ее постоялица успела захватить, то такого цыганского концерта ей уже негде будет увидеть и услышать. Если бы все они так же и работали, как танцуют и поют! Все, как один, артисты. И даже у этой Шелоро такой голос, что она как будто бы вынет из груди сердце, подержит на ладошке и опять на место вложит. Как ни в чем не бывало, тоже выступала со всеми, и сам Николай Петрович ей хлопал. А до этого все ж таки не погнушался с нее за прогулянные пять дней штраф взять и предупредил, как бы ей дальше не было еще хуже. Но она только засмеялась ему в лицо и вернулась на свое место... И так умеет жалостливо своим цыганским голосом поиграть, что вот-вот вывернет душу. Но они же, эти артисты, и развеселить умеют своими плясками так, что люди опять уже от смеха плачут. А квартиранточка Настя, несмотря на то, что она до конца сражалась с этим Будулаем на суде, так и вытанцовывала перед ним, чтобы его с места сорвать, так и вызывала, но он не поддался. Серьезный цыган. А все другие цыганские мужчины плясали, а потом и с русскими смешались. И тогда уже ничего нельзя было разобрать — все закружились в клубке. Из зала так и выскакивали на сцену один за другим. Русские начали по-цыгански плясать, а цыгане — по-русски. Ничего не поймешь. Ну, а раз так, то пора уже было и убираться домой. А ее квартиранточка Настя, должно быть, и теперь еще перед ним выплясывает. Из всех самый почему-то невеселый цыган. Борода у него еще черная, а усы уже посеребрило. Она, бедняжечка, перед ним и с одного бока зайдет и с другого, а он — ни с места. Даже не улыбнется. Мишка Солдатов, на нее глядючи, раза три отлучался с концерта и каждый раз вертался еще дюжее пьяный.

Многоголосый шум клуба и свет его окон все больше отдалялись от нее, оставшись за спиной, и она все глубже вступала в темноту безмесячной августовской ночи, но всеми своими мыслями она была еще там и никак не могла освободиться от этих мыслей. И уже почти перед самым домом она внезапно даже остановилась посреди дороги, пораженная одной из них: «А может быть, и правду сказала Шелоро, что им трудно к нашей работе привыкать. Может, если б их всех и к работе такой приспособить, чтобы людей веселить, цыганские песни играть и плясать, то и люди бы на них не так обижались. Что же делать, если они к этому больше всего способны... Такой, значит, народ. Пусть бы и ездили, если захотят, из станицы в станицу, из поселка в поселок своими цыганскими бригадами, но чтобы без всякого баловства. Тогда бы и за незаконное содержание лошадей их перестали привлекать, все равно же они их потихоньку держат...»

И, настигнутая этой мыслью, она так призадумалась, стоя посреди дороги, что шофер трехтонки, нагруженной кукурузной силосной массой, внезапно увидев ее в свете фар, завизжав тормозами, едва успел вывернуть руль и, круто вильнув, до половины высунулся из кабины, недвусмысленно погрозив ей кулаком и подкрепляя этот жест соответствующей порцией соответствующих этому дорожному происшествию выражений. Только после этого она и шарахнулась прочь с дороги к своей калитке, нисколько не обидевшись на невоспитанного шофера и считая, что он обошелся с нею еще сравнительно мягко. «Так тебе и надо, старая дура, чтобы ты не строила из себя министра посреди дороги. Развесила уши».

* * *

В доме было темно. Она повернула выключатель и сразу же поняла, что надежде ее, которую она еще продолжала лелеять, не суждено осуществиться. Постоялица, так и не дождавшись ее возвращения из клуба, уже улеглась спать, и, значит, на слушательницу, с которой можно было бы поделиться тем, чем непременно нужно было поделиться, не откладывая на завтра, рассчитывать нечего.

Снедаемая нетерпеливым желанием хотя бы малую частицу перелить из того, что ее переполняло, в кого-нибудь другого, хозяйка, поколебавшись, даже за шторку рискнула заглянуть: а может быть, ее постоялица вовсе и не успела еще уснуть, а, как это бывает с людьми на новом месте, все еще лежит с открытыми глазами, всматриваясь в темноту и вслушиваясь в незнакомую тишину? Нет, и глаза у нее были закрыты, и даже не шелохнулась она, не забеспокоилась от присутствия другого человека. Ни единая черточка не дрогнула у нее в лице. И веки и губы у нее были сомкнуты сном. Еще совсем не старая и хорошая женщина, а уже привыкла, что ее зовут Петровной. Что значит солдатская вдова. Со своей наружностью и всем остальным она бы еще вполне могла устроить себе жизнь, да, видно, не захотела — из-за детей. Из-за них чего только не сделаешь — только бы им было лучше. Иногда, бывает, приходится и от самой себя отказываться, да не всегда они, деточки, это ценят. Вот и этот цыган на суде говорил, что, бывает, дети и отказываются от своих матерей и отцов.

Но все-таки что-то уж очень румяные щеки у нее во сне, прямо огнем горят, а в клубе, перед тем, как уйти, она была совсем бледной. Еще и в самом деле разболеется, бедная, вдали от родного дома, да и ухаживать за ней здесь некогда, когда у самой на руках и дом, и клиенты, и все остальное хозяйство.

Хозяйка осторожно попробовала ладонью лоб женщины не без тайной, впрочем, надежды, что если бы нечаянно проснулась она, то можно было бы и присесть на краешек ее кровати... Но и после этого постоялица не проснулась. А лоб у нее был совсем горячий и черствый. И румянец такой, что вот-вот кровь брызнет... Ну, да что же теперь поделаешь, придется отложить этот разговор до утра, хотя куда как интереснее делиться новостями посвежему, когда все еще так и маячит перед глазами, как нарисованное, так и роится в голове, как растревоженные пчелы в улье.

И долго еще после того, как легла она на свою кровать и тоже крепко зажмурила глаза с твердым намерением уснуть, не мог успокоиться этот улей. Пчелы так и просились наружу и, рассерженные тем, что леток закрыт, начинали жалить. И тогда опять перед глазами с явственной отчетливостью, как если бы она уже не в постели у себя дома лежала, а все еще оставалась там, в клубе, вспыхивали и набегали одна на другую картины только что уви-

А Н

денного и слышанного: и Шелоро, вихляющая бедрами и подрагивающая плечами не перед кем-нибудь, а перед самим Николаем Петровичем; и сам Николай Петрович, не устоявший все-таки перед ее вызовом и с каким-то вороньим клекотом ринувшийся ко всеобщему восторгу вприсядку, несмотря на свою раненую ногу; и сверкающие кружочки его медалей, заметавшихся из стороны в сторону на ленточках со звуком, перебивающим звон ее цыганского монисто. А ее квартиранточке Насте все же так и не удалось сорвать со своего места, вытащить в круг того строгого цыгана — как сидел он, положив большие руки на колени, так и остался сидеть. И выходит, что напрасно Мишка Солдатов ревновал ее и налакался за этот вечер молодой кукурузной бражки так, что неизвестно, допустит ли его утром завгар за руль самосвала.

И все больше перед ее глазами все это смешивалось и свивалось в какой-то пестрый клубок или вихрь из отплясывающих «русскую» и «цыганочку» ног, раздувающихся юбок и развевающихся монист, бородатых лиц и медалей на муаровых лентах. Усталость брала свое. Привычно убаюкивали и автомашины, проносившиеся мимо по шляху. Пророкочет мотор — и еще безраздельнее властвует вокруг тишина.

Самую границу между сном и бодрствованием еще никому не удавалось застолбить. Улей еще некоторое время погудел и замер. Пчелам тоже приходит время спать.

* * *

В тишине летней ночи, окаймленной безграничностью степи, отдаленный треск мотоцикла подобен стрекоту большого кузнечика, летящего из тьмы на огонь. И только приблизившись вплотную, распадается он на скрежет стальных шестеренок и оглушительные выстрелы выхлопной трубы.

Свет единственной фары полоснул по окнам домика и тут же померк. Сразу же захлебнулся и мотор. Но вслед за этим только что оборвавшимся звуком появился и стал приближаться по дороге издалека какой-то новый. Только теперь уже не скрежещущий металлический, а рассыпчато-дробный и четкий... Так и есть: это скачет лошадь по насухо затвердевшей дороге, и гулкое ночное эхо приумножает цокот ее копыт. Нарастая, он быстро приближается и тоже вдруг сразу обрывается в том же самом месте, за стеной.

— А все-таки ты меня так и не догнал, Будулай!— торжествующе смеется женский голос.

— Лошадь не машина, но еще бы немного — и догнал, Настя.

— Да, хороший у тебя грай[1]. Ну, а теперь привязывай его вот сюда к огороже и зайдем ко мне.

— Уже поздно, Настя. Как-нибудь я загляну к тебе в другой раз. Твоя хозяйка теперь уже спит.

— Ну и что из того? Ей сейчас хоть над самым ухом стреляй. Семьдесят лет, а ни одного вечера в клубе не хочет пропустить. А другой раз, Будулай, так другим разом и останется, это я от тебя уже слыхала. Или ты боишься, как бы завтра й той же Шелоро на язычок не попасть?

— Этого, Настя, как ты знаешь, я меньше всего боюсь.

— Ну, а если нет, то входи, посидим у меня и доспорим с тобой до конца. Комната у меня отдельная, и никому мы мешать не будем. У меня, кажется, и бутылка вина есть. Не откажешься?

— Стакан вина я бы сейчас выпил.

Почти совсем беззвучно отворились и затворились заботливо смазанные хозяйкой в петлях подсолнечным маслом одна, другая и третья двери, пробуксовали под шагами половицы, и щелчок выключателя донесся из-за перегородки с другой половины дома. Из-под двери, плотно прикрытой, на ту половину дома просочились, разбавляя темноту передней комнаты, оранжевые лучики, прихватив на подушке кровати и все еще обуреваемое страстями минувшего вечера, дергающееся бровями и губами лицо спящей хозяйки, и угол желтой цветастой шторки, за которой лежала на своей кровати та, другая женщина, ее временная квартирантка.

Перегородка, которой разделен на две половины дом, совсем тонкая и даже не саманная или же набивная, а дощатая, всего в две доски. И на хозяйскую половину дома из-за нее слышны не только шаги в другой комнате или как отодвигаются и скрипят стулья, но и разговор, даже если там говорят негромко. И только если там начинают говорить совсем тихо, услышать что-нибудь можно, лишь приподняв голову от подушки.

— О чем же, Настя, мы еще должны доспорить с тобой?

— Ты, Будулай, не улыбайся, как будто не знаешь. Конечно, ты у меня сегодня гость, а хозяева гостям всегда должны только самые ласковые слова говорить, но на это у нас еще будет время. Что-то ты сегодня показался мне слишком добрым, Будулай.

— А каким же, Настя, по-твоему, должен быть защитник на товарищеском суде?

— Я уже сказала, чтобы ты не улыбался, я не собираюсь шутить. Ты здесь человек сравнительно новый и еще не успел как следует людей узнать.

— Люди, Настя, везде люди.

— Вот-вот, я же и говорю: ко всем добрый. А он и тебе тут же на шею скок — и вези. Да еще и погоняет: тебе за это зарплату платят.

— Не к каждому слову надо придираться, Настя.

— А я бы на месте нашего товарищеского суда передала дело в настоящий суд, чтобы отобрали у нее детей.

— Если бы, Настя, у тебя были свои дети, ты бы не решала это так быстро.

— У меня их, может быть, и вообще не будет.

— Это почему же? Ты еще совсем молодая.

— Ну, а если будут, я их не стану на чужих людей бросать.

Молчание, наступившее после этих слов за стеной, так затянулось, что постоялица, приподнявшая голову на кровати за шторкой, устала ждать и опять опустилась на подушку. Наконец виновато замскивающий голос сказал:

— Я тебя не хотела обидеть, Будулай. Это нечаянно вышло.

— Я, Настя, знаю. Ты говорила, что у тебя найдется что-нибудь выпить?

— Ох, и дура же я! Вот тебе и хозяйка.

За перегородкой прошелестели шаги, скрипнула дверца шкафа, и тихонько звякнуло о стекло бутылки стекло стакана.

— А почему же только один стакан?

— Не хочу, Будулай. Я сегодня почему-то и без этого как пьяная. Ты наливай себе, а я лучше схожу во двор, из колодца холодной воды напьюсь.

Она вышла во двор и, погремев там у колодца цепью с ведром, вскоре вернулась, не очень-то беспокоясь о том, чтобы сделать все это без стука, а скорее наоборот, двигаясь резко и быстро, без всяких предосторожностей открывая и закрывая двери. Но и хозяйка ее, как и предполагала Настя, не обнаружила ни малейших поползновений к тому, чтобы проснуться, и о том, что в доме может находиться еще кто-нибудь, Насте тоже ничего не было известно. Даже ни на секунду не прервался густой мужской храп, как из решета рассыпаемый хозяйкой по дому.

— Ты мне так больше про Ваню ничего и не рассказал, Будулай. А ведь я ему не кто-нибудь, а, получается, тетка, его родной матери меньшая сестра. Какой он? Совсем уже большой? Я же так его и не знаю. Я и Галю только по песням помню — ну сколько мне было тогда?!

— Четыре года.

— На Галю он похож?

— Как тебе сказать?.. Немного, должно быть, на нее, немного на меня. А вот уже здесь мне иногда стало казаться и что-то совсем странное. Ночью, когда его вспомню и вдруг так ясно услышу его «честное комсомольское» и как он при этом повернет голову и вот так сделает рукой, мне начинает казаться, что он похож и еще на кого-то.

За перегородкой бурно спросили:

— На кого? На эту женщину, да?

— Ты, пожалуйста, потише, Настя, а то хозяйка твоя и правда может проснуться.

Но он зря тревожился. Старая хозяйка этого придорожного домика вообще не страдала бессонницей, а сегодня, уставшая от впечатлений минувшего вечера, заснула на своей пуховой перине особенно крепко. И разбудить ее теперь было не так просто. Со своими добровольно принятыми на себя обязанностями содержательницы ночной, как ее называли шоферы, корчмы — ресторана «Дружба», она уже давно приучила себя ловить для сна короткие паузы между звездами клиентов. В иную непогодную ночь — не такую, как эта,— тормоза то и дело стонали у ее двора и потоки света, вливаясь в окна, начинали требовательно шарить по дому. И, только что прикорнувшая, она мгновенно пробуждалась, готовая услужить новому клиенту. А тут за весь день одна лишь машина и притормозила у двора, одну только и привезла клиентку. По хорошей летней дороге машины бегут и бегут мимо, некогда водителю и стаканчик опрокинуть. Зато и спи себе, сколько хочешь.

И совсем не она теперь могла услышать, о чем разговаривали за перегородкой Будулай и Настя. На передней половине дома, за шторкой, была поставлена, как объясняла сегодня хозяйка своей единственной за этот день клиентке, кровать специально для проезжих женщин. Там они могли и раздеваться и спокойно спать, не боясь нескромных взоров. Там теперь и лежала на спине, вперив невидящие глаза в темноту, та самая единственная за весь день клиентка, которую перед вечером довез шофер мимолетной машины до ворот этого гостеприимного дома.

— Я и сам, Настя, понимаю, что этого, конечно, не может быть, но ведь она же его и своим молоком выкормила. Недаром же если о человеке хотят сказать что-нибудь хорошее или плохое, то говорят, что он это с молоком матери впитал.

— И больше ты так ничего и не знаешь о нем?

— С тех пор, как уехал из хутора, не знаю. Откуда же я могу узнать?

— Ну, в письме спросить. Или еще как-нибудь.

— Зачем, Настя, людей зря письмами беспокоить, когда они своей жизнью живут.

— Вот ты как ее покой бережешь! Ну, а какая она, Будулай, из себя?

— Кто?

— Эта... женщина.

— Ее Клавдией зовут.

— Эта... Клавдия, красивая она?

— Разве, Настя, только в красоте дело?..

— Все ж таки и в ней. А глаза у нее тоже такие же, как у Вани, черные или какие-нибудь еще?

— Как тебе, Настя, сказать...

— Да так прямо и скажи, если еще не забыл.

...Вот они уже и по имени называют ее. Странно и как-то страшно бывает человеку, когда о нем говорят почти тут же, при нем — всего лишь за тонкой перегородкой,— и даже разбирают его по косточкам, а он совсем не вправе вмешаться, чтобы прекратить это. Лежи и слушай, как о тебе расспрашивают, какие у тебя глаза, и не смей ответить: «Ну да, серые, серые, а теперь замолчите и не смейте обо мне говорить, как будто я совсем бессловесная вещь...» Нет, нельзя, лежи и молчи. И никто тебе не виноват, если ты сама так и приподнимаешь, так и тянешь голову от подушки, чтобы не пропустить ни единого слова.

---

[1] конь.

— Ну, тогда скажи, как она, по-твоему, лучше или хуже меня?

— Вы, Настя, совсем разные.

— Хитрый ты, Будулай. Если мы разные, то, значит, она из себя русая, да? Я давно замечала, что почему-то наши цыгане больше на русых женщин любят смотреть. И ты, Будулай, такой же?

— Мне, Настя, уже поздно на женщин смотреть.

— Это ты или притворяешься, или наговариваешь на себя.

— И притворяться мне ни к чему.

— Значит, наговариваешь. А по-моему, некоторые наши молодые парни старее тебя. Скучно с ними, Будулай.

— Почему? Тебе, конечно, лучше знать, я, как ты сама сказала, человек здесь новый и еще не успел как следует познакомиться с людьми, но мне кажется, и здесь немало хороших парней.

— Хороших — да, но только у них, Будулай, нет чего-то такого, что есть, например, у тебя.

— А что же такое, по-твоему, есть у меня?

— Опять ты улыбаешься. Этого я не смогу тебе объяснить.— И тут же, противореча себе, объявила:— Нет, смогу. Вот я сегодня и на суде с тобой спорила и до сих пор не согласна, что таких, как Шелоро, надо добротой лечить, а все-таки чувствую, что в чем-то таком, чего я еще не совсем понимаю, ты, Будулай, больше прав.

— В чем же?

— Вот этого я пока и не могу объяснить.

...А этого тебе и невозможно пока понять, хоть ты, кажется, и не совсем простая цыганочка, грамотная и острая не по годам. Но тут одной твоей остроты мало. Ты хочешь напролом, а тут напролом нельзя. И надо, чтобы у человека за плечами не одна только грамотность была.

— Значит, Будулай, так ты и не знаешь, где он теперь может быть?

— Если ничего не помешало, он должен был в институт поступить.

— А что ему могло помешать? Или он, по-твоему, мог узнать как-нибудь?

— Нет, Настя, он не должен был узнать.

И что ей, этой цыганке, надо от него, мало, что ли, она сегодня уже надопрашивалась там, на суде?! Как с ножом к горлу. И что же он может ей ответить, если и сам ничего не знает, не может знать. Проклятая перегородка, такая тонюсенькая, а голос через нее нельзя подать, чтобы подсказать... Нет, слава богу, Ваня так и не узнал ничего, но это еще не значит, что ничто другое уже не могло бы ему помешать. Потому что в его годы, может быть, самое страшное, когда кажется, что обманул тот самый человек, которому больше всего верил. И как же ему было объяснить, что за этим человеком нет никакой вины. «Если, мама, Будулаю нельзя верить, то кому же тогда еще верить?! Он же мне сам говорил, что больше уже не уйдет из нашего хутора, не будет кочевать». И Ванины черные глаза тревожно впивались в лицо матери, ожидая от нее ответа. «А может быть, Ваня, он и не собирался уходить, но так получилось? Человек не всегда располагает собой. Может быть, он и какое-нибудь известие получил!» «Но забежать всего лишь на одну минуту, чтобы попрощаться, одно только слово сказать, он мог!» «Может, Ваня, у него и на это не оставалось времени». Но Ванины глаза все так же лихорадочно-недоверчиво искали ее взгляда. «Нет, этого я не могу понять. Мне он казался совсем другим. И уж если он после этого не напишет нам, не объяснит, я окончательно поставлю на нем крест». «Ты только, Ваня, не горячись, поставить на человеке крест легче всего, но спешить никогда не надо». И при этом странное чувство начинало шевелиться у нее против Будулая: как будто он и в самом деле мог и должен был догадаться и все-таки остаться в хуторе, несмотря ни на что, но не захотел. Но тут же она и отгоняла от себя это чувство.

Все, слава богу, обошлось, и экзамены Ваня благополучно сдал, правда, не на механический, куда он собирался, обсуждая это с Будулаем, а, как будто наперекор этому, в военно-инженерное училище. Но эта цыганочка не зря допытывается, могло получиться и хуже. Никто так и не узнает, сколько и еще состоя-

лось таких разговоров у матери с сыном, и чего это могло стоить, чтобы он постепенно начал успокаиваться, отходить сердцем и уже мог говорить о своем родном отце, хоть и не зная, что это его отец, не так наотрез. А потом Ваня уже и подсмеиваться над своей матерью стал: «Ты, мама, стоит мне только заикнуться, так нападаешь на меня, что тут, по-моему, что-то нечисто. Смотри-ка, Нюра, смотри, как наша мать краснеет».

Что бы они с Нюрой сказали, если б узнали, как их матери теперь приходится лежать за перегородкой и что она слышит.

— Не сердись на меня, Будулай, но я так и не могу понять, зачем ты сюда приехал.

— Должно быть, за тем же, Настя, за чем и другие цыгане.

— Нет, это ты не всю правду говоришь. Ты давно уже и от коней и от цыганской жизни отвык.

— Ты, Настя, и со мной разговариваешь здесь, как с Шелоро на суде. Тебе обязательно нужно учиться на прокурора.

— Напрасно ты смеешься. Я уже не девочка, Будулай.

— Места тут, Настя, глухие.

— Вот это правильно. Хочешь спрятаться?

Какое она имеет право его стыдить?! И правда, ей бы только прокурором быть. Какая-то уж очень отчетливая она. Конечно, совсем молодая еще, а молодые теперь хотят сразу на все свои вопросы ответы получить. И словами ведь можно ударить человека так, что ему будет больно. А если ему и самому еще нужно время, чтобы правильно ответить, если он и сам еще твердо не знает, что оно дальше будет и как?!

— Вряд ли, Настя, я кому-нибудь так буду нужен, чтобы захотели меня искать.

А вот это он совсем напрасно спешит за других сказать, этого ему бы и вовсе не следовало говорить. А старуха храпит, как дрова пилит. Правда, хоть над ухом стреляй. И почему это старые люди всегда так храпят? Хоть бы на другой бок повернулась. Тут и так они совсем тихо стали говорить, а тут еще она. Но и подслушивать то, что тебя не касается, никто не заставляет тебя. А если касается, касается оно?! Если он твердо не знает, а только так думает, то и незачем ему было это говорить. Так можно и наговорить на другого человека и даже обидеть его. Но и откуда же он может это знать? Разве это его вина, что он думает, будто никому на этой земле уже больше не нужен и никто не захочет его искать? И все-таки ему не надо было спешить вот так отвечать, поддаваться ей. Но и отделаться от нее не так-то просто, даже Шелоро не смогла. Так и допытывается, так и норовит ковырнуть под самое сердце.

— И на самое дальнее отделение запросился, а в мастерские к большому новому горну не захотел... Кто тебя там обстирывает, ну, и все остальное?

— С этим, Настя, я давно уже привык сам справляться.

— А что это у тебя в вагончике за карты всегда расстелены на столе? Как ни заеду к тебе на отделение на мотоцикле, а ты над ними шепчешь. Как вроде школьные. Может, тоже надумал на заочное поступать?

— Это, Настя, карты не школьные. И на заочное мне уже поздно. Они у меня еще с тех пор сохранились, как я в разведке служил.

— Зачем же они тебе понадобились теперь?

— На них, Настя, осталась вся моя стежка на войне.

— Пора уже об этом забывать.

— Об этом, Настя, никогда не нужно забывать.

— А то, может, они тебе тоже бэсчауру говорят?

— Нет, кочевать, Настя, я уже больше никогда не стану, это совсем другое, а к своим товарищам — и какие живые и какие давно уже мертвые лежат — меня иногда тянет. Сам не знаю почему.

— А я знаю. И с чего это ты вдруг вздумал, что совсем уже старый? Ты что же, умирать собрался?

— Откуда, Настя, ты это взяла?

— Это только к старости и перед смертью люди начинают всю свою прошедшую жизнь ворошить. Вспоминают и начинают своих бывших товарищей искать.

— Не совсем старый, Настя, но и не молодой уже.

— А вот я тебя, дура, все еще молодым считаю.

— Спасибо тебе, Настя.

За стеной помолчали, и потом она глухо сказала:

— Мне твое спасибо ни к чему.

Неужели же он так и не понимает, чего она добивается от него, чего хочет?! Или же он хоть и отвечает, а не слышит ее, она говорит ему о своем, а он думает свое. Так бывает. Но для того, чтобы понять, чего она добивается, вовсе и не обязательно вслушиваться в смысл ее слов, а только в голос. Как будто у нее в горле какой-то комок или струна. То вся так и натянется, то опять ослабнет.

— Иногда может показаться, что ты сюда приехал насовсем, а иногда поглядеть на тебя — тот же приблудный гусь при чужой стае. Каждую минуту можешь подняться и опять полететь. Что ты сам об этом думаешь?

— Чтобы на это ответить, Настя, нужно время.

— Сколько же тебе для этого еще надо времени?

— Этого я не могу сказать!

— Лучше бы ты сюда совсем не приезжал.

— Почему, Настя?

— Тебе хорошо: приехал, пожил и опять уехал, а до других, кто за это время к тебе мог привыкнуть, тебе нет дела.

Его голос за стеной покорно сказал:

— Хорошо, Настя, я могу и теперь уехать.

— Куда?

— Куда-нибудь.

— Значит, тебе уже не нравятся эти места?

— Нет, места хорошие.

— Или люди?

— Как ты сам будешь к людям, так и они к тебе.

— Уехать, конечно, легче всего... А ты думаешь, мне легко здесь от своих же цыганок терпеть? Да и некоторые цыгане уже в глаза не глядят. Говорят, что я из-за своей выгоды могла бы и родную мать в ложке утопить. А какая мне от всего этого выгода, какая?! Бывает, и мне иногда хочется завязать глаза и бежать от всего этого в город и жить там, как все люди живут, да не могу. Мне детишек жаль бросить. И цыганских и нецыганских. Я за это время уже успела привыкнуть к ним. У той же Шелоро одних только дошкольников шестеро. Двух она, Мишу и Машу, когда уезжает на промысел, с собой берет, а еще четверо клубятся, когда они дома, некормленые и в грязи. Приходится их и на ночь в детском саду оставлять и самой с ними оставаться. А тут и главный бухгалтер конезавода ругается. У нас, говорит, детсад, а не круглосуточный интернат, и по смете нет такой статьи, чтобы детей от живых родителей на полное государственное обеспечение брать. Но что же с ними делать? Они же не виноваты, что у них такие мать и отец!

— Ты, Настя, славная. Ты на меня, пожалуйста, не обижайся.

— За что же мне на тебя обижаться, Будулай?

— За то, что я тебя прокурором назвал.

— Так это же правда. Вот подожди, окончу заочный юридический и еще начну своих же цыган за бродяжничество судить. Тогда берегись и ты меня, Будулай.

А хозяйка храпит на весь дом. И машины, не задерживаясь, пробегают мимо, возят силосную массу к траншеям из степи. То как полуденной знойной донской водой затопят хатенку светом своих огней, то опять уносят их в глубь ночной степи. Нанизываются на нитку шляха, как желтые и красные, большие и маленькие монисто у Шелоро.

Все-таки она за стеной дождалась от него этих слов: «Ты, Настя, славная». Нет, это хорошо, что Клавдия тогда удержалась, так ничего и не рассказала Ване. Если бы она не удержалась и рассказала вгорячах, еще бы неизвестно, что бы теперь было. Хорошо, что в этот момент Вани как раз не было дома, уехал за Дон, и так получилось, что Нюра, встревоженная ее бурными слезами, стала успокаивать ее, как подружку, и невольно заставила рассказать ей все. И если даже на Нюру тогда так подействовало, когда она узнала, что Ваня ей не брат, то есть брат, но совсем по-другому, то что же тогда могло произойти с Ваней, если б он узнал. Но Нюра же, умница, и уговорила ее не рассказывать пока Ване. «А там, мама, видно будет». И Ваня, ни о чем не подозревая, уехал сдавать экзамены, и вообще в хуторе так никто и не узнал ничего, хоть и страшно удивлялись внезапному отъезду Будулая, и рассудили, что это он, значит, к своим подался. Цыганская кровь потянула, голос крови. Если бы они узнали, что Будулай из хутора от родного сына ушел, что бы они тогда говорили об этом?! И Лущилиха молчит, как воды в рот набрала, хоть и допытывались у нее женщины, как это Будулай перед самым своим бегством из хутора оказался у нее в доме и с какой бы это радости там случился с ним приступ. «Это вы у него спросите, а ко мне он заходил моего сибирькового выпить»,— упорно отвечала всем Лущилиха одними и теми же словами, пока от нее не отстали. Но и к Клавдии она с того самого дня не показывает глаз, а, завидев издали, где-нибудь на улице, спешит свернуть в ближайшую калитку. Должно быть, на всю жизнь напугалась тогда старуха.

Никто ничего не знает и не должен знать. Умница Нюра!

— Ну хорошо, я тоже с тобой выпью, налей мне, Будулай. А то, хочешь, сядем с тобой на мой мотоцикл и поедем в степь!

— Зачем?

— Я там знаю одно хорошее место, ягорй разожжем. Я тебе наши песни буду петь и, если только захочешь, станцую для тебя. Для одного тебя, и не в клубе, а в степи, хочешь?!

Так, значит, я г о р и — это по-нашему костер. Вот так можно жизнь прожить и не узнать того единственного слова, от которого, оказывается, может зависеть очень многое. Надеется, значит, что если так и не сумела его здесь словами приворожить, то, может быть, сумеет там, у цыганского костра. Думает, там ей помогут и ее песни, и пляски, и сама степь. Цыгане же испокон степные люди, и все у них всегда происходит в степи. И родятся, и любятся, и умирают. Там они, конечно, на своем языке скорее друг дружку смогут понять. Ох, и хитрая же она, хоть и молодая совсем! И слово-то какое: я г о р и! Так и впивается в сердце! А тут ни единого цыганского словечка не знаешь. Да и вообще не имеешь права что-нибудь сказать, только лежи и слушай. Но что же все-таки он ответит ей?..

Вся жизнь, оказывается, может уйти в минуту ожидания, и от одного только слова может зависеть, что с человеком будет дальше. А хозяйка со своей койки поливает, как немецкий пулемет с бугра по степи. И машины проносятся мимо, как смерчи. Ш-ш-шарк — и уже не слышно.

— Уже совсем поздно, Настя, но если ты хочешь, то давай съездим.

— Ты только отвернись на минутку, Будулай. Я индараку надену. Не могу же я у ягори по-цыгански в этих стильных штанах танцевать!

За перегородкой зашелестело, щелкнул выключатель, опять пробрунжали под шагами половицы, и почти беззвучно открылись и закрылись двери. Почти сразу же вслед за этим во дворе прямо под окнами ослепительно, бело вспыхнуло, оглушительно затрещало и тут же стало меркнуть и затихать, стремительно удаляясь.

— Ты что ворочаешься? Должно, моя квартирантка со своим Будулаем побудили тебя? Гудят и гудят за стенкой.

Вот это новость! Старуха, оказывается, тоже не спит. Только теперь проснулась или уже давно?

— Нет, бабушка, душно у вас.

— А я под ватным одеялом мерзну. Это у тебя еще кровь горячая, не то что у меня. А то, может, тебе из погреба холодного компоту достать?

— Спасибо, бабушка, я не хочу.

— Затвердила: спасибо да спасибо. Ну, а я тогда и подавно не знаю, чего ты хочешь. Спи. Теперь она до самого света будет ему у этого цыганского костра песни играть и плясать. И чего она в нем нашла! Я бы от одной его бороды на край света забежала. Что значит тоже цыганка. Спи. Теперь уже никто не помешает тебе.

И тут же, поворачиваясь на бок, опять засопела. Опять ничто не нарушало тишину, и только машины время от времени проносились мимо по шляху, и свет их, бурно вливаясь в окна, то заполнял домик текучей желтизной, то, вылившись из окон, снова убегал в темную степь.

Ах, как нестерпимо душно в прогревшихся за день набивных стенах этой хатенки! Влажный воздух так и липнет к лицу и к груди, давит на нее. Желтая шторка, за которой лежала на своей кровати Клавдия, отогнулась, и она в рубашке вышла во двор. И тотчас же ее босые ноги окутались ласковым, мягким холодком увлажненной росой травы. Густо засеянное по фиолетовой пашне зелеными крупными звездами небо опрокинулось над табунным Задоньем. И, вероятно, нигде больше еще не могло быть такой оглушающей полной тишины. Но если прислушаться, то была соткана она из этого ни на секунду не прерывающегося звона, издаваемого и слегка колеблемыми ветром лезвиями высоких трав, затопивших окрестную степь, и всем тем живым и невидимым, населяющим эти травы, что обычно пробуждается только ночью. И, должно быть, только здесь еще и можно было услышать это радостно-рыдающее эхо конского ржания, прорывающееся сквозь покров немоты откуда-то из самых глубин степи.

Туда же стремительно удалялось теперь по шляху и верещание крыльев большого кузнечика, тонким лучиком света, как иглой, прошивающего бархат ночи. Вскоре верещание превратилось в невнятный шорох, и сверкающая стежка, оставляемая иглой, стала меркнуть. Но вот вдруг она и совсем оборвалась вместе с шорохом крыльев. И вскоре после этого в том месте, в глубине табунной степи, засветилась и стала разгораться, разбрызгивая искры, рдяная звездочка.

Ничего нельзя было увидеть отсюда, из поселка, кроме этой маленькой звездочки и какого-то смутного колебания теней вокруг нее, а может быть, и они только чудились взору. И радужными подсветами этого далекого цыганского костра лишь слегка озарялись крылья паривших над ним ночи. Но отголосок какой-то гортанной женской песни, возникшей там, все-таки донесся оттуда по руслу безмолвия, хотя ни мелодии ее, ни тем более слов, как ни прислушивайся, уловить было невозможно. Однако почему-то и без этого можно было догадаться, о чем эта цыганская песня. И вдруг эта рдяная звездочка, ягоди, стремительно приближаясь и разрастаясь, начинала охватывать душу, и она тоже начинала пылать на костре невыносимо жаркой августовской ночи.

Отсветами автомашин, пробегавших по шляху с ворохами молодого сена и только что скошенной комбайнами кукурузы, захватывало и на мгновение обрисовывало белую фигуру женщины, стоявшую посреди двора. Но Клавдия не замечала их и не двигалась с места. Это только в первый момент, когда она вышла из дома, ее освежила и могла даже показаться прохладной летняя августовская ночь, а на самом деле она была изнуряюще жаркой. И такой безветренной, что воздух, казалось, громадным удушливым стогом, сметанным из сладких и горьких запахов трав, навалился на землю. Тело покрылось испариной, и ночная рубашка облипала грудь и бедра. А скорее всего и от этой рдяной звездочки, горевшей далеко в степи, исходил и распространялся вокруг жар. Все так же ничего нельзя было понять из той песни, которую эта цыганка пела ему там, у костра, как будто в клочья рвался ее приглушаемый расстоянием голос, и все-таки можно было понять, чего она домогается от него. И ничего, что могло бы смягчить жар этой августовской ночи, не было в безгранично распростертой вокруг чужой табунной степи, и Дон был отсюда далеко.

В сруб колодца, черневшего у изгороди на краю двора, Клавдия опустила притороченную к его журавлю цепь с ведром и, достав воды, долго пила ее прямо через край ведра, запрокинув голову и радуясь тем холодным струям, что проливались из него на ее разгоряченные плечи и грудь под тонкой ночной рубашкой. Но когда, напившись, она вновь подняла голову от ведра, из-под его дужки, опоясавшей своим полукружьем дальний край неба и степи, еще ярче, чем до этого, так и ударила ей по глазам, ослепляя ее, рдяная звездочка, ягоди, расплываясь перед ее взором и разрастаясь в огромное зарево.

Нет, ни одной больше минуты нельзя позволять им оставаться там вдвоем, в степи. Там у нее столько друзей и помощников: и эти, такие крупные, зеленые звезды над головой, и цыганская песня, и ягоди, огонь которого достигает до самого сердца! А если она еще и начнет по-своему, по-цыгански плясать, увиваться вокруг него у костра, он уже совсем ничего не сможет сделать с собой. Недаром же она и решила увезти его с собой туда, в степь. Она хорошо знала, зачем ей это нужно, не такая она простая, эта цыганка, хоть и совсем молодая еще.

...И тогда она со своей молодостью и с этими острыми звездами, которые вонзаются в самую душу, совсем возьмет над ним верх. Мужчины, говорят, слабые. Конечно, он не такой, как все, но ведь и она цыганка и он цыган. И все сегодня как сговорились ей помочь: и эти звезды на фиолетовой пашне неба, и звон неисчислимой армии кузнечиков, осаждающих тишину, и все эти наплывающие со всех сторон из степи запахи трав, от которых кружится голова и томится сердце.

А тут одна, совсем одна посреди этой чужой степи, и никто тебе не поможет, не захочет помочь.

Но зачем же и стоит здесь этот, привязанный к стояну огорожи конь?! Блестят лука седла, стремена, а на морду ему заботливый хозяин не забыл повесить торбу с зерном. Вот и стоит он совсем смирно, дожидает его. Роса падает ему на спину, на круп. Только иногда переступит ногами и шумно вздохнет.

Его конь. Не зря же его оставили тут стоять! И только он, единственный, и может сейчас ей помочь в то время, как той сговорились помогать все: и эта необъяснимо тревожная цыганская песня и нестерпимо яркий и жаркий ягоди, при свете которого она может показаться ему еще лучше со своей молодостью и со всем тем, чего еще не успело отнять у нее время.

Не одни же цыгане всю свою жизнь имели дело с лошадьми, а и казаки. И не только мужчины, но и женщины. Конечно, то время уже отошло, и она уже не помнит, когда в последний раз садилась на лошадь, но в детстве ей не раз приходилось и кувшины с молоком и с квасом, перекинутые через спину коня, возить из хутора отцу на покос и даже гонять лошадей на Дон купать: ребят у них в семье не было. Вот так же в одной рубашке охлюпкой заведет с песчаной косы в воду и купает.

А этот конь стоит подседланный и даже со стременами... Надо бы на минуту вернуться в дом, чтобы накинуть хотя бы юбчонку, но можно нечаянно разбудить хозяйку, и тогда уже она от тебя не отстанет. Прицепится, как репей. А костер горит, и она там, должно быть, уже пляшет перед ним, и он смотрит на нее своими — тоже цыганскими — глазами. А зеленые крупные звезды гроздьями висят над ними, как виноград в придонских хуторских садах. Все в этой глухой табунной степи сговорилось, чтобы ей помочь. И вся надежда теперь только на этого коня.

Но и заходить к нему надо потихоньку, а то еще он опять вздумает взвиться на дыбки, как давеча под ним на площади.

...Тпружень-тпруженька, ты на меня не шибко косись и не относи в сторону зад, я ведь твоему хозяину не совсем чужая. Я же его родному сыну мать. Ну вот и хорошо, вот и умница, а теперь неси к нему. Только побыстрее, так, как ты еще никогда не бегал. Если я опоздаю, то тогда уже всему и навсегда будет конец. И никакой другой надежи, кроме как на тебя, у меня больше нет. Плёти у меня нет, чтобы тебя подгонять, но ты и без этого должен все понимать. Вот только так и не знаю я, как тебя твой хозяин кличет.

Окончание следует.

Анатолий КАЛИНИН

ПОВЕСТЬ

ЦЫГ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Стук копыт гулом прошел по окнам поселка и вырвался в степь, но никто из спящих за окнами людей и не подумал проснуться, а тем более удивиться ему. Здесь, в этой табунной степи, чуть ли не у всех людей жизнь проходит в седле. И мало ли кому и по какой надобности сейчас нужно ехать верхом, скажем, на самое дальнее отделение конезавода или еще куда! А то, может, кто и возвращается от своей возлюбленной, от невесты или молодой вдовы, и от подмывающего его счастливого веселья озорует — вон как гонит коня!

Думала ли она, что вот так будет скакать за ним в погоню на его же коне! И выходит, значит, что сперва она сына у него украла, а теперь коня. И на нем же к нему и спешит.

«Ты лети, лети, мой конь, через чисто поле»,— любил когда-то петь ее отец старую казачью песню. Лети, мой жалкий, мой тпруженька. Твой хозяин и не ждет нас сейчас, он думает, что никто его не станет искать и никому он, кроме этой цыганки Насти, не нужен на земле. А степя здесь и правда ровные, днем здесь кругом на все стороны видно, а сейчас — одну только эту звездочку, ягори. Могла ли она еще три дня назад представить себе там, в хуторе, что будет вот так почти телешом скакать верхом ночью по чужой степи?.. Если бы ей самой сказал кто-нибудь она бы засмеялась ему в лицо. И что на его же коне она будет скакать к нему! Ваня и Нюра, посмотрели бы вы сейчас на свою мать. Рубашка сбилась у нее выше колен, и, спасибо, темная ночь от нее же самой прикрывает весь этот срам. А растрепавшиеся волосы так и вьются вокруг головы. И все ради этой рдяной звездочки, этого жаркого цветка, который встречно разрастается, приближаясь к ней из степи.

Ты лети, лети, мой тпруженька! Но он как будто и сам понимает, к кому ее везет, его не надо понукать. По обочинам дороги уносятся назад какие-то деревья, столбы, стога. И уже не так стало душно, и вся ночь пропахла одним только молодым сеном. Где-то здесь, в степи, и он пасет свой табун на этом коне. «Ты лети, лети...»

Самого, должно быть, быстрого и умного выбрал себе из табуна. Конь донской, а хозяин у него цыган. И ничего не нужно ему приказывать, сам понимает, что пора уже сворачивать с большого шляха на проследок, наторенный редкими машинами и подводами по траве, туда, где тонкими колеблющимися стеблями ветвится пламя костра. Знает, где своего хозяина искать. В самую степную глушь она его завезла, хоть кричи. Думала, что там уже никто не станет его искать.

...Ну, а теперь ты уже скачи, пожалуйста, потише, тпруженька,— так и не знаю, как тебя звать,— а то копыта у тебя, как весенний гром. Так и катится по степи. И негде ему задержаться, не за что зацепиться на этой ровени, недаром же здесь выгуливаются табуны. Ни холмика, не говоря уже о том, чтобы какой-нибудь курган. Это тебе не по правому берегу Дона, где они, как какие-то большие птицы со смеженными крыльями, стоят.

Нет, вот там, правее костра, кажется, тоже темнеет и тускло серебрится полынью что-то наподобие курганчика или какого-то бугра. Вот мы, тпруженька, давай к нему и свернем и заедем к ихнему ягори с той стороны. И чтобы по бездорожью, по мягкой траве. Еще тише иди, умница, а теперь стой! Привязать тебя тут не за что, но все-таки мы придавим конец твоего повода этим валуном, и, смотри ты, стой совсем смирнехонько, не навостряй уши на голос своего хозяина и не вздумай, по-

Окончание.
См. «Огонек» №№ 47—49.

жалуйста, ударить копытом или же, еще чего доброго, заржать. Теперь они тут от нас совсем рядом, прямо за курганом, и хозяин твой голос может узнать. Трава тут прямо под тобой, щипи ее сколько хочешь, а я полезу наверх.

* * *

— Ты слышал, Будулай, кажется, вроде лошадь проскакала.

— Должно быть, кто из табунщиков едет из поселка, загулял. Да мало ли кто может ехать!

— Но сейчас уже не слышно.

— А то еще бывает, Настя, отобьется от табуна какой-нибудь недоросток и шляется по степи, пока его не найдут.

Сверху, из-за тупой, округлой вершины курганчика, хорошо видны и сам костер и весь зыбко очерченный его пламенем круг полусвета-полумглы. Жарко и ярко горит к у р а й, клубки которого ветер нагреб к подножию кургана с той стороны — надо только руку протянуть за черту красновато-синего круга. И Будулай, который, поджав под себя ноги и сгорбившись, как большой беркут, сидит к кургану спиной, так и делает, время от времени протягивая руку в темноту и бросая в огонь косматую траву клубок за клубком.

А Настя во весь рост стоит прямо против него по ту сторону костра и даже не стоит на одном месте, а все время движется, вихляется всем своим тонким телом, как и жаркие стебли пламени этого цыганского ягори. Из-за ее спины поблескивает оправа ее металлического коня, на котором она привезла сюда Будулая.

— Ну, а ту песню, которую всегда пела Галя, ты не забыл, Будулай? Хоть я и была тогда совсем маленькая, а она еще не замужем, я хорошо помню, как вот так же горит я к перед вашим большим шатром, а ты смотришь на нее и улыбаешься, и как она стоит перед тобой и хлопает в ладоши, чтобы раздразнить тебя. А то еще возьмет и вынесет из нашего шатра старый бабушкин бубен, чтобы поскорее тебя раздразнить. Ты всегда любил, Будулай, чтобы она подольше перед тобой погремела бубном, любил на нее посмотреть. Но у меня с собой сейчас бубна нет, я его в наш драмкружок отдала, и придется обойтись без него.

И вдруг грубым гортанным голосом, который был так непохож на ее обычный, она запела:

Пошомару цину кхер
Дайбагана очая
Чаурынга тэнхэлэн.

При этом она не танцевала, а сама же ладошами и подхлопывала себе, извиваясь, как и пламя костра. Но с вершины кургана можно было видеть, как ее широкая и н д а р а к а, колоколом раздуваясь вокруг ее бедер, временами почти закрывала собой весь огонь и, подсвеченная им снизу, становилась ярко-багровой. Будулай сидел перед костром с сутуло опущенными плечами, а она все чаще хлопала перед ним в ладоши:

Мар жанжи тыра тыра ха
Тэдык хэн очал! [1]

Мягкая молодая полынь на склоне кургана, увлажненная росой, охлаждает разгоряченную грудь, но от ее густого, резкого запаха, ударяющего прямо в ноздри, кружится голова. А может быть, еще и оттого, что так и кружится перед глазами там, внизу, эта индарака, пурпурно вспыхивая над костром... Незнакомая, совсем непонятная песня и чужая, очерченная призрачным кругом этого полукрасного-полусиреневого света жизнь. И он в черте этого круга вместе с ней, А с другой стороны кургана, тоже внизу, похрустывает молодой травой его конь.

Внезапно и это багровое кружение и ее песня оборвались, и уже не грубым гортанным голосом, а своим обычным Настя разочарованно сказала:

— А ты совсем и не смотришь на меня и не слушаешь, Будулай. Ты все время смотришь только на огонь.

— Не обязательно, Настя, смотреть, чтобы слышать. Я эту песню хорошо помню.

Конечно же, он ее помнит, как, должно быть, и всю свою прошлую цыганскую жизнь. И есть ли на земле такая сила, чтобы она смогла выхватить его из круга этих воспоминаний, подобного неверному призрачному кругу полусвета-полутьмы, в котором он сейчас находится вдвоем с нею, лишь изредка протягивая руку за его черту, в темноту, за топливом для костра!

— А еще ты помнишь, какой у цыган был один обычай, Будулай?

— Не знаю, Настя, о каком ты говоришь.

— Если у рома умирала жена, ее младшая сестра должна была пойти за него замуж.

— У цыган, Настя, было много таких диких обычаев.

— Конечно, Будулай.

— И почти все они были против женщин. С женщиной, Настя, не считались. За кого скажут, за того и должна пойти. Даже если он уже почти старик, ну, как я, а она, как ты, еще совсем ребенок.

— Я уже не ребенок, Будулай.

— Это я, Настя, к примеру сказал.

— И ты, как я уже тебе говорила, еще не старый. Конечно, среди наших цыганских обычаев много диких. Но есть же среди них и хорошие, Будулай?

Земля возвращает гулкие удары тесно прижавшегося к ней сердца, и опять они уходят в землю, чтобы, приумножившись там, снова вернуться, так что потом уже и не понять, где же они рождаются, откуда они. Так вот еще, оказывается, какие у них есть обычаи. И чего же она еще у него спрашивает, забыл он про них или не забыл, если хорошо знает, что он все помнит и никогда не сможет забыть, как помнит и ту песню, которую когда-то пела ему его Галя! И все же, что же он теперь станет отвечать?..

И тут из-за кургана, из-за его скрытой от них и темной стороны, не освещенной отблесками костра, коротко заржал конь. Почуял, должно быть, близость своего хозяина, услышал его голос и решил отозваться. Совсем тихо заржал, но достаточно, чтобы его хозяин забеспокоился и, вставая у костра, повернул в ту сторону голову.

— Чудно.

— Ничего чудного в моих словах нет, Будулай.

— Да нет, Настя... Ты что-нибудь слышала?

— А что я должна была слышать?

— Я помню, что я моего Грома хорошо к стожку привязал, а-сейчас мне послышался его голос.

Впервые и его самого, озаряемого отсветами костра так хорошо видно сверху, с кургана, во весь рост, и то, как он уже подносит ко рту руку, чтобы свистнуть, как это всегда делают табунщики, когда зовут лошадей. Боже ж мой, ведь всего этого могло и не быть, если бы она, Клавдия, не шарахалась его тогда в хуторе! Ничего бы теперь этого не было: ни костра, ни Насти. И все было бы совсем иначе. А сейчас он заложит в рот пальцы, конь его сорвется с непрочной привязи, и тогда так можно и остаться здесь, на кургане, посреди чужой степи, в одной рубашке.

— Это тебе и правда почудилось, Будулай. Успокойся, твой Гром стоит сейчас в нашем дворе, а если бы он даже и сорвался, то там же и бродит, никуда не уйдет, я сама накинула на калитку обруч. Садись.

И с кургана видно, как поднявшаяся было рука после некоторого колебания опускается, а потом он и сам опять опускается на землю у костра, опять начиная подкармливать его кураем. Огонь разгорается ярче и чадит. На вершину кургана доносится едкая горечь.

— Хочешь, Будулай, я теперь станцую тебе?— говорит Настя, но тут же сама и отказывается: — Нет, не буду. Опять ты и не глядишь в мою сторону, а только киваешь головой. Все на огонь и на огонь... А я-то, дура, выламываюсь перед тобой. Кого ты там хочешь увидать?

— Просто смотрю.

— Я знаю. Опять эта женщина. Ради нее ты и от родного сына отказался, а теперь она и тебя самого за душу держит. Виданное ли дело, чтобы цыган своего кровного сына отказался признать?!

— Настя!

— Вот когда поеду на Галину могилу, найду и ее и обо всем этом ей сама скажу.

— Ты этого не сделаешь, Настя.

— Почему? Поехать на могилу моей сестры мне никто не может запретить.

— Ты же знаешь, что все это неправда и ты сама, Настя, не такая, как сейчас говоришь.

— Вон, значит, как ты ее жалеешь! Даже и меня ради ее покоя не забыл похвалить! Спасибо и на этом. Ненавижу я ее! — вдруг крикнула она так громко, что Клавдия на кургане вздрогнула. И Настя еще что-то добавила по-цыгански, но его испуганно-негодующий голос перебил ее:

— Как тебе не стыдно, Настя! Ты же ее не знаешь совсем!

— А ты что же хочешь, чтобы я ее тоже стала любить?! Это ты от меня очень многого захотел! Я ведь еще и цыганка, хоть Шелоро и говорит, будто я совсем забыла об этом. Ненавижу, хоть бы она, проклятая, сдохла!

— Настя! — еще громче и строже повторил Будулай.

А может быть, встать сейчас на кургане и крикнуть им, что она здесь и чтобы они прекратили, не смели больше в ее же присутствии говорить все эти слова. Вот не будет ее здесь, и тогда пусть говорят все что угодно. Она ведь не совсем бесчувственная, не деревянная или каменная, и с нее уже довольно того, что она уже наслушалась. И за что же, за то, что она тогда подобрала в кукурузе и вырастила Ваню? Нет, она, конечно, сделала это не ради благодарности, а из-за Вани, и что бы теперь эта Настя ни говорила, а он сын ей, сын, такой же, если даже и не больше родной, чем Нюра. Она только хочет, чтобы ее оставили в покое и не говорили тут же, под курганом, о ней всех этих слов, от которых у нее в душе уже не осталось ни одного живого места.

Но ведь не они же искали ее и звали ее сюда, а она сама бросилась за ними в д о г о н! Они и не подозревают о ее присутствии, если бы они только знали... Не хочешь слушать, так и не слушай, никто не заставляет тебя, не приподнимай и не тяни голову, вбирая в себя каждое слово с горькой отрадой и сладкой болью.

— Теперь, Настя, уже и совсем поздно. То есть рано, скоро утро. И мне уже пора на отделение ехать, на смену заступать.

— Нет, нет, Будулай, я еще не успела тебе самое главное сказать.— И укоризна сплелась в ее голосе с грустью.— А ты даже и не поинтересуешься у меня, что я хочу сказать.

— Поздно, Настя.

— Что ты заладил все одно и то же! Это я и без тебя знаю. Ну, если не хочешь спросить, то я все равно тебе сама скажу. Ты только не куда-то в сторону смотри, там никого нет, а на меня. Это мне должно быть стыдно, а не тебе. Хочешь, бери меня так, Будулай!

— Лучше нам сейчас отсюда уехать, Настя.

С кургана видно и то, как там, внизу, он поднимается с земли и делает шаг в сторону, к мотоциклу, поблескивающему своей оправой из-за черты призрачного круга, и то, как она заступает ему дорогу.

— Нет, после того, что я тебе сказала, ты не можешь уехать,— жалобно и жарко гово-

[1] Возле нашего маленького домика
Девушки песни играют, а парни танцуют.
А девушки говорят: «Танцуй, парень, и бей свои сапоги.
Чтобы на тебя девки смотрели».

А Н

рит она.— Еще ни одна цыганка никому не говорила таких слов. Теперь ты слышал, я на все согласна. Не надо никакой свадьбы, ничего не надо, будем жить просто так, а там, может быть, ты и полюбишь меня. Ты почему молчишь? Я ведь не совсем тебе противная, да? Я тебя буду любить еще больше, чем Галя. Я знаю, что ты об этой женщине думаешь из-за Вани, но он уже совсем большой вырос, а у нас с тобой тоже будут дети. А если все же не полюбишь, то я тебя неволить не стану, как другие своих мужей. Ты не думай, что это я по своей молодости, я уже все давно обдумала, и жалеть я потом не стану. Ты, пожалуйста, не в сторону смотри, Будулай, а на меня. Разве я такая уж совсем никудышная? Хуже ее, да?

И, вихрь перед ним, протягивая руки, она шла к нему. Юбка кружилась и вспыхивала у нее вокруг бедер. А он стоял, не двигаясь, и смотрел на нее в черте призрачного круга, раздвинувшего темноту августовской ночи, и озаряемый его полукрасным-полусиреневым пламенем.

Нет, на это она, Клавдия, уже ни за что не станет смотреть. Это уже не для ее глаз и выше ее сил. Довольно, она уже заглянула за черту этого круга, за которой была совсем другая, чужая и непонятная для нее жизнь. И по какому праву она должна вторгаться в круг этой жизни?! О н и цыган, и о н а цыганка, у них одни и те же обычаи, один язык, они все равно друг друга поймут.

Прочь с этого кургана, прочь! Смоченная росой полынь скользит под босыми ногами, навстречу чутко поднял голову конь... Этого она не должна видеть. Если еще и оглянуться на них, то только один раз, в самый последний раз. И отныне уже навсегда, на всю жизнь останутся перед глазами, как вчеканенные дымным заревом костра в фиолетовое небо, эта цыганка с протянутыми вперед руками, в развевающейся красной юбке и он, не сводящий с нее взора, как вросший в землю.

А теперь, Громушка, неси обратно. Теперь-то я уже знаю, как тебя твой хозяин зовет. Но это уже не имеет значения. И пусть, тпруженька, он так и не узнает, что мы с тобой тоже были здесь. Нам бы совсем не нужно было этого делать, но разве человек всегда и все знает наперед, как захочет распорядиться им жизнь?! Теперь уже можешь не бояться, что они услышат ч о к о т твоих копыт.

— Подожди, Настя, слышишь, кто-то скачет.

— Ну и пусть. Это мимо. Ничего я не хочу больше слышать, Будулай.

* * *

Предрассветная степь отлетает назад с ее темными лохматыми шапками сметанных по сторонам стогов сена, и частая дробь копыт по дороге, сливаясь, и правда, катится, как гром. Все дальше позади остается и я г о р и и эта чужая жизнь, в которую ей совсем не надо было заглядывать, никто ее не просил. И почему же она всегда должна становиться поперек чужого счастья? Достаточно с нее, что она уже отца разлучила с сыном. Так нет же, не она их разлучила, а все война. И теперь уже ничего не поправить, не нужно и нельзя. Тогда еще можно было, когда он не уходил еще из хутора, и тогда не было бы теперь ни этого ягори, ни Насти, ни этой скачки по ночной табунной степи, но тому, что в свое время не случилось, уже не случиться и, значит, не суждено.

Мой Ваня, мой! Но все равно уже она больше никого не станет разлучать. И эта цыганочка Настя совсем ни в чем не виновата перед ней, ни в чем.

Ты лети, лети, мой Гром... Все как-то мешается, путается в голове, и как будто это он не ее, Клавдию, везет, а кого-то другого. А Клавдия смотрит на нее, как она скачет, со стороны.

Нет, она не должна об этой Насте плохо думать и не будет. Она, Клавдия, одного только Ваню подобрала и воспитала, а эта цыганочка вон для скольких детишек стала как та же мать.

А сама тоже несчастная. И что это она за жизнь так распоряжается: то один другого любит без всякого ответа, а то и обое, может быть, любят друг друга, а чтобы вместе им жить начинать, одной семьей,— поздно уже, поздно. Вон и никакие цветы осенью не цветут. Одна только дереза. Так это же сорняк! Бедная: такая молодая, так его любит и...

Вот, значит, как они умеют любить. Даже своих цыганских законов не побоялась и согласна на все. А он, и правда, как будто бы смотрит на нее и не видит.

Но теперь это ей, Клавдии, уже все равно. Все осталось позади. И что там теперь происходит у этого ягори, ей совсем не нужно знать.

Как по-страшному холодно перед зарей в этой табунной степи! И густая роса падает на плечи почти как дождь... Пожалуйста, еще шибче, Гром, а то вот-вот р а с с в е н е т, а я еду на тебе в е р х и в одной рубашке. Вот бы Ваня с Нюрой поглядели на свою мать! И если бы кому-нибудь в хуторе рассказать — ни за что не поверит.

Ну и что ж, что она молодая! Разве только одни молодые и умеют любить? И не та ведь любовь самая сильная, какая вся сверху, наружу. У молодой и вся жизнь еще впереди — и любовь еще будет и все остальное, а вот как быть, если никакой другой любви уже не остается, не может быть?! И теперь уже наверняка ее не будет, Гром, хоть ты и вез меня туда хорошо, а теперь везешь обратно. Еще прибавь рыси.

* * *

Ворвавшийся в поселок конский топот крупным градом прошелся по окнам домиков из конца в конец улицы и оборвался у самого крайнего двора. Тпруженька, спасибо тебе — и не ты виноват, что все так кончилось, некого тут винить. А теперь стой и отдыхай, вон ты какой горячий и даже взмыленный, но воды я пока тебе не дам, нельзя, а только опять повешу торбу. Напоит тебя потом хозяин. Смотри, береги его.

И она два раза коротко поцеловала коня в чуткие ноздри. На губах у нее остался солоноцевато-горький привкус.

А теперь надо только не разбудить хозяйку, тихо одеться — и на первую же машину, что бегут и бегут мимо по шляху. Боже ж мой, а ведь она туда и обратно проскакала почти т е л е ш о м! А до этого она искала его по всей степи — и по правому и по левому берегу Дона. И все это для того, чтобы увидеть то, что ей совсем не надо было видеть. Не надо было заглядывать в чужую и загадочную жизнь.

А рубль за ночлег надо положить под ту вазочку с бумажными розочками, которая стоит на столе. Шаря в темноте руками по клеенке стола, она неосторожно зацепила вазочку и опрокинула ее набок. Ах ты, господи, еще этого недоставало! Но и стук упавшей вазочки хозяйка заглушила своим густым, мужским храпом. Видно, перед зарей ей, старой, особенно хорошо спится, и она по-детски чмокает губами во сне.

Зато хорошо смазанные двери ее домика отворяются и затворяются совсем беззвучно. Пусть не обижается, что Клавдия так и не простилась с ней.

Теперь только надо перед дорогой попить. Напившись из стоящего на срубе колодца ведра и поднимая глаза, Клавдия сквозь ведерную дужку увидела, что рдяной звездочки в том месте степи, откуда она только что прискакала, уже не было. Выпрямляясь, она лучше поискала глазами по степи: нет, костер погас. И еще прежде, чем она успела что-нибудь подумать, она уловила нарастающий с той стороны из степи знакомый звук. Как будто оттуда большой кузнечик летел. Вокруг нее верещала неисчислимая армия других ночных кузнечиков, но только этот один и был для нее сейчас опасен, только в этом одном и таилась сейчас для нее угроза. И если ей не поспешить, опять она может опоздать.

Только из машин, что бегут и бегут мимо, надо выбрать не ту, чьи огни выворачиваются прямо из-за поселка, с кукурузного поля, а сквозную, еще издали напоминающую о себе заревом по шляху.

Как на грех, идут одни только местные. Только что скошенная кукуруза пахнет не так, как молодое степное сено, но все же и после нее над дорогой еще долго веет какой-то сладостной свежестью и как будто м о л о з и в о м.

Но вот, кажется, и сквозная... Прощай, тпруженька, прощай, Гром! С поднятой рукой она метнулась на шлях.

Анатолий КАЛИНИН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Ц

Опять зашевелились цыгане. Не то чтобы и до этого они так и оставались сидеть там, где застал их Указ. Не в силах задержаться где-нибудь чересчур долго, томимые беспокойством, они так и пробирались от хутора к хутору, от села к селу на одиноких телегах, чаще всего ночами и по глухим проселкам, еще и ныне устланным золотом соломы. Но только теперь так сразу и высыпали на все дороги.

И опять невнятно шлепают копыта по пыльной дороге, ю з ж и т колесо, и умная собака, спасаясь от палящего солнца, прячет сзади между колесами голову в тени брички.

Вблизи городов колеса цыганских бричек съезжают с мягкой степной дороги на асфальт. Обгоняя их, ревут и теснят их на обочины могучие самосвалы, междугородные экспрессы и легковые автомашины, набитые празднично одетыми людьми, глазеющими на них сквозь толщу стекол. Там, за этими стеклами, совсем иная жизнь. Непонятная, как и этот пластмассовый чертик, прыгающий на шнуре за козырьком шоферской кабины. А из-за тылового стекла «Волги» сонный бульдог тоже презрительно поглядывает на цыганскую собаку, неотступно бегущую у колеса брички.

На больших перекрестках и при въездах в города милиция, начавшая было отвыкать от подобного зрелища, строго останавливает цыган, спрашивая паспорта:

— Опять ударились кочевать?

Посыпавшись с бричек, цыгане и цыганки, обступая блюстителей порядка, поднимали многоголосый гомон, как грачи на весенних ветлах:

— Нет, мы не кочуем, товарищ начальник!

— Мы к сродственникам едем!

— Откуда?

— С под Мариуполя.

— А где же ваши родственники живут?

— На Кубани.

Паспорта у них оказывались в порядке, и самому придирчивому взору нельзя было придраться: еще совсем новенькие и с соответствующим штампом на соответствующем месте.

— Ну а что же вы скажете насчет ваших коней?

Цыгане с грустным достоинством поправляли:

— Это, товарищ начальник, не наши, а колхозные. У нас теперь своих собственных коней не бывает, а этих за нами колхоз на время командировки закрепил. Заместо премии за нашу работу на кукурузе.

— Все вы, конечно, врете,— с суровым восхищением заключал страж законов.

Но и придраться не было оснований: и на лошадей документы были выписаны у них

См. «Огонек» №№ 50—52 за 1960 год, 47—50 за 1968 год.

ПОВЕСТЬ

ЫГАН

по форме. За подписью председателя колхоза и с круглой печатью.

А в ногах у блюстителя порядка так и вились, шныряли черноголовые и все кудрявые, как на подбор, цыганские ребятишки. И сердце его смягчалось. Тем более что и в этом цыганском Указе нигде не было сказано, что им запрещается ездить друг к дружке в гости. И вообще он и сам теперь толком не знал, остается ли в силе этот Указ. Может быть, самим цыганам об этом лучше известно, если они все сразу так бесстрашно ринулись в дорогу. Как прорвало их.

И всемогущий жезл в руке у блюстителя порядка поднимался, открывая им дорогу. А если это было перед шлагбаумом, то, значит, он медленно вздымал перед их кибитками свою полосатую шею.

Иногда, пересекая степь кратчайшим путем, перебираясь напрямик от одного большого тракта к другому, оказывались они и поблизости от того глухого, отдаленного от людских взоров урочища, где пас свой табун Будулай. Проезжая мимо, завороженно поворачивали головы к золотистому живому облаку, прильнувшему к зеленой груди луга, и кричали Будулаю:

— Бэсчауру! Бэсчауру!!

Будулай отшучивался:

— У меня нет коня.

Его соплеменники удивлялись:

— А этот, тонконогий, под тобой чей?

— Этот чужой.

Они непритворно восхищались, ощупывая глазами Грома:

— Хороший калистрат [1]. А мы-то думали, если цыган сел на коня, значит, он уже его собственный.

— Раньше я тоже так думал. Езжайте, ромы, своей дорогой.

— Вот ты какой. Ну, тогда давай мы украдем для тебя этого коня из табуна. А заодно и для себя.

— Лучше не надо, ромы.

— Почему? Нам их всего трошки надо, а тут их тыща.

— При этом табуне сторож глазастый.

— А мы ночью.

— А он по ночам еще лучше видит.

Соплеменники Будулая белозубо скалились:

— Да ты, видать, и сурьезно поверил, будто нам твои неуки нужны. Не бойся, у нас свои одры есть. Выгуливай своих, сколько тебе влезет, может, тебе за это орден дадут. Ром у рома коня не украдет. Ты тут в глуши, должно быть, совсем от цыганских законов отвык.

Но своих одров они тем не менее принимались нахлестывать кнутами, оглядываясь на двух страшнейших серых псов, лежавших у ног его калистрата. Не дай бог, кинутся вдогон. Откуда они могли знать, что эти свирепые по их виду псы обучены были только против волков, наведывающихся в этой глухой степи к табунам не только в зимнее время. Еще не хватало, чтобы собаки рвали людей.

Увозя соплеменников Будулая, беззвучно катились брички по травянистой дороге. Молодые цыганки, выпростав из кофт груди, кормили на солнцепеке своих смуглых младенцев. А головки других их детей шляпками подсолнухов свешивались из-за бортов бричек, и прощальный блеск их глаз осыпался на сердце Будулая пеплом необъяснимой печали.

Чего они ищут? Опять серая пряжа дороги будет наматываться и наматываться на колеса их телег. И с этих черноголовых подсолнушков ветром времени будут вылущиваться семена, из которых опять будут вырастать прямо на дорогах все такие же неизлечимые бродяги. Как будто за чем-то гонятся или же кто-то гонится за ними. Как будто хотят уйти от настигающего их времени, чтобы остаться такими, какими были всегда.

И даже в самый безоблачный день, когда ничто вокруг не угрожает им и их жалким шатрам, раскинутым между оглобель бричек в тихой степи — цыганки спят, а их дети тут же кувыркаются на зеленой траве,— вдруг, по одному только слову, по знаку старшего, мгновенно снимаются, даже не затушив костров. И скрипят колеса, наматывается на них серая пряжа, которой нет конца.

Но Будулай весь этот серый клубок, который назначено было ему намотать за свою жизнь, уже намотал и теперь уже разматывать его не станет, хватит. А если и есть из всех, избороздивших эту степь, дорога, которая иногда вдруг как будто вздрогнет струной и простегнется через его сердце от того места, где она начинается, то возврата по этой дороге уже нет, не может быть. Теперь здесь и закончится его нить.

И когда начальник конезавода, генерал, объезжающий по субботам табуны, выкатываясь из своего старенького, еще фронтового «виллиса», начинал иронически допытываться у Будулая:

— Как, а ты, цыган, все еще здесь?

Будулай спокойно отвечал:

— Здесь.

— И, может быть, скажешь, не собираешься в бега?

— Не собираюсь, товарищ генерал.

Маленькому, квадратного телосложения генералу надо было изворачивать шею, чтобы снизу вверх заглянуть в лицо Будулаю.

— Какой же ты после этого цыган?

Не раз подмывало Будулая ответить на это как-нибудь порезче. Во-первых, чтобы наконец отучить его от этой привычки всем говорить «ты» и, во-вторых, чтобы он не смел вот так пренебрежительно говорить обо

[1] Верховой конь.

всех цыганах, даже если это и правда, что многие из них уже опять зашевелили ноздрями на ветер.

Но каждый раз Будулай сдерживался. Может быть, и потому, что это был не какой-нибудь тыловой, а заслуженный и к тому же кавалерийский, казачий генерал, а Будулай и сам служил в кавалерии на фронте. Но скорее всего потому, что из его слов еще не следовало, что он и вообще так относится к цыганам. Надо было войти и в его положение начальника конезавода, к столу которого в один прекрасный день соплеменники Будулая — табунщики, коневоды, ездовые — так сразу и выстроились в очередь за расчетом. Как будто их всех одна и та же бродячая собака укусила. И теперь каждому, укушенному ею, надо было срочно найти в этой табунной степи замену. Попробуй найди, когда тут и поселки разбросаны друг от друга на пятьдесят, на сто километров.

И на конезаводе место начальника он занимал не из-за одних только своих звезд, вышитых на его плечах золоченой ниткой. Не для того, чтобы слепить ими подчиненных, совершал и свои регулярные объезды табунов. Сам умел отбраковать лошадей для продажи колхозам и сам же — безошибочно отобрать из элитной массы для службы на границе, на экспорт и на племя. А нередко и, пересаживаясь со своего «виллиса» в седло, ездил из отделения на отделение, ревизуя состояние лугов, водопоев, конюшен. И нелегко при этом приходилось тому из табунщиков, кого прихватывал он с собой в сопровождающие в поездке по степи. К вечеру, к концу этого кольцевого маршрута от табуна к табуну, сопровождающий от усталости уже валился с седла, а генерал держался все так же прямо, как вырубленный вместе со своей англо-донской кобылой из одной золотистой глыбы. Не упуская при этом случая попенять: «Не верхом бы тебе ездить, парень, а волам хвосты крутить».

Но к Будулаю он, кажется, претензий не имел. А как-то даже, когда уже замыкался круг их инспекторского объезда под изнурительным солнцем, вскользь заметил:

— А у тебя, цыган, посадка казачья.

И спрыгнул с лошади так, что земля охнула под тяжестью его тела. Высшей похвалы для человека он, кажется, не знал.

Однажды Будулай, пообедав у себя в домике на отделении и тихо настраивая радиоприемник, не услышал, как подкатил за стеной «виллис», и обернулся только тогда, когда генерал уже остановился у него за спиной, тяжко дыша.

— А это у тебя откуда?—спросил он, заглядывая через его плечо. И не успел Будулай ответить, вдруг так и вонзился в расстеленную на столике карту, прочеркнутую с угла на угол красной стрелой с нанизанными на нее синими кружками: — Постой, постой, а откуда же тебе все это может быть известно?!

Будулай встал.

— Оттуда же, откуда и вам, товарищ генерал.

— Ну, это ты потише. По этому маршруту все-таки моя дивизия шла.

— Да, товарищ генерал.

— И что-то я не помню, чтобы кто-нибудь из цыган в моей дивизии служил.

— В вашей дивизии, может быть, и нет, а в соседней служили, товарищ генерал.

— В двенадцатой?

— В двенадцатой.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что ты и есть тот самый цыган, который в разведке двенадцатой служил?

Будулай бросил взгляд на золотое шитье погон на плечах его кителя и по привычке опустил руки:

— Так точно, товарищ генерал.

Начальник конезавода махнул рукой:

— Это теперь не обязательно. Хотя вообще-то я придерживаюсь другого мнения. Из-за этого, да еще из-за лошадей, и на конезавод согласие дал. Так, значит, и меня ты помнишь?

Будулай еще раз украдкой взглянул на его погоны.

— Но тогда вы были...

— Правильно, полковником. Это,— скособочив короткую шею, он тоже скосил глаза себе на плечо,— я уже вместе с приказом об отставке получил. Когда расформировывали наш пятый донской корпус. Списывали конницу в архив...— Взгляд его долго блуждал по зеленовато-бурому полю расстеленной на столе карты и с видимым усилием оторвался от нее.— Ну, а если ты и есть тот самый цыган, значит, ты должен знать, как это вам в двенадцатой удалось тогда из конюшни румынского короля Михая жеребца увести?

— Об этом мне неизвестно, товарищ генерал.

— Как же так? Я же лично присутствовал, когда командующий фронтом Федор Иванович Толбухин приказал нашему новому комкору Горшкову и его замполиту Привалову в наказание за то, что так и не разыскали королевского жеребца, по громадному бокалу спирта осушить. Дело уже старое, и теперь ты мне можешь как на духу признаться. Все равно дипломатического скандала из-за этого теперь уже не может быть. Да и самого Михая наши румынские союзники давно престола лишили.

Будулай улыбнулся.

— Мне признаваться не в чем, товарищ генерал.

— Вы же, цыгане, всегда были конокрады.

— Когда-то и меня отец хотел к этому приучить, но только не успел.

Генерал был явно разочарован:

— Получается, зря два моих хороших товарища пострадали. Горшков еще догадался тут же спирт водой запить, а Привалов чуть не задохнулся... И после войны я еще долго интересовался у знакомых начальников конезаводов, не повелось ли где-нибудь у них от этого жеребца королевское племя. Вполне могло быть, что казачки потом переправили его по тылам домой.— И он осуждающе посмотрел на Будулая, как если бы на нем и в самом деле лежала вина за то, что этого не случилось.

Не откладывал он свои инспекторские объезды и зимой, когда с соседних Черных земель налетали на табунную степь снежные бури. С шофером, который водил его «виллис» еще на фронте, будет выбираться из заносов весь день и нагрянет уже ночью с обмерзшими усами, в бурке, покрытой ледяной коркой. Возьмет фонарь и идет в конюшни, где бились в конвульсиях, освобождаясь от бремени, чистокровные донские кобылицы.

Но, пожалуй, еще чаще наезжал на отделения, нервничая и придираясь ко всему, когда на заводском ипподроме, разутюженном бульдозерами посреди сочно-зеленой майской степи, начинались ежегодные з о н а л ь н ы е скачки.

* * *

Каких только мастей лошади не вкрапливались накануне дня скачек в этот луг, волнами набегающий из степи на чашу ипподрома: и караковой, и гнедой, и вороной, и рыжей, и серой, и темно-серой. Не только местных — донской и буденновской, но и кабардинской, чистокровной верховой, терской, английской и даже арабской пород. О чем бы только ни вздохнул и чему бы, наверное, ни улыбнулся тот, кому захотелось бы получше прислушаться к их кличкам: Электрон, Радиограмма, Загадка, Гладиатор, Азимут, Пантера, Бабетта, Экран, Ангара, Интеграл, Гавана, Эпоха... И впору поверить было, что с самими тюльпанами, цветущими в эту пору по всей окрестной степи, намеревались поспорить их жокеи цветами камзолов: и зеленых с желтыми рукавами, и розовых, опоясанных красными лентами, и алых, и темно-бордовых, и иных. Как и картузами, обязательными и для спустившихся сюда с кавказских отрогов на своих скакунах карачаевцев, кабардинцев, балкарцев, адыгейцев, черкесов, чеченцев, ингушей, осетин; и для хозяев этих степей — казаков; и для непременных участников скачек — цыган.

Без них не обходились скачки.

Два года подряд как-то ухитрялся у самого финишного столба урывать у именитых наездников Весенний приз для полукровных трехлеток маленький и тщедушный Егор Романов. Скакали и другие цыгане. Но Будулая, хоть он и был табунщиком, среди них не было. Ему больше нравилось находиться в это время среди зрителей.

Должно быть, после многомесячного зимнего одиночества нравилось ему вдруг очутиться среди веселой суеты и многоцветной толпы, испещренной блестками парадных погон и фуражек заслуженных кавалеристов, которых, оказывается, так много жило в окрестных городах и станицах. Прямо в степи играет духовая музыка, и от прекрасных лошадей не оторвать взор, а вокруг майский луг. И так ли трудно поверить, если при этом взору вдруг явственно может почудиться, что это не сейчас стелется облако скачущих лошадей по разутюженной бульдозерами дорожке, а двадцать лет назад на ипподроме, расчищенном казаками саперными лопатами, когда кавкорпус после боев под Ростовом отвели на отдых в Задонье. И это не кто-нибудь иной вырывает победу у самого финишного столба, а он, Будулай, и получает из рук комкора генерала Селиванова заслуженный приз — верхового коня.

Но теперь он только стоит, смеясь и радуясь вместе с другими зрителями тому, как, стоя на седле во весь рост, совершает по ипподрому положенный круг почета счастливый Егор Романов под звуки оркестра и громкие крики не одних только цыган. Однако громче всех, конечно, кричит его разнаряженная и нарумяненная Шелоро, а рядом с нею стоит и тоже машет Егору рукой Настя.

* * *

Если не считать хутора Вербного, где он согласился бы, если б это возможно было, остаться до конца своих дней, из всего, что ему встретилось на пути, когда искал он свою семью, никакое другое место, пожалуй, не пришлось ему так по душе. И не только тем, что оно вообще было такое спокойное, затерянное среди шорохов и запахов трав, а лошади, с которыми он проводил все свое время, только говорить не умели. Иногда и это спокойствие вдруг сметалось теми же ч е р н ы м и бурями, и табуны, обезумев от ужаса, начинали метаться в пыльной мгле из края в край степи... Но больше всего тем, что с людьми, с которыми он вместе пас лошадей в этой степи, можно было жить не опасаясь, что они начнут о чем-нибудь расспрашивать или же что-нибудь советовать, прежде чем сам придешь к ним за советом. А это со временем Будулай все больше начинал ценить в людях.

И если он теперь до конца своих дней так и останется один, то все же не так будет чувствовать свое одиночество среди этих людей. Вот и «виллис» начальника конезавода уже не только по еженедельному

графику появляется на его отделении, а и в другие дни, когда генералу особенно не терпелось отвести свою душу в воспоминаниях с кем-нибудь из бывших конников.

Но от треска Настиного мотоцикла Будулай уже стал отвыкать. С той самой поры, когда так и не захотел остаться у костра в ночной степи, на чем тогда настаивала она, Настя.

* * *

Искупав перед вечером в озере табун и конвоируя его на усадьбу, он издали увидел, что у него гости. У домика, где он жил, стояла пароконная подвода, и на ступеньках крыльца сидели какие-то мужчина и женщина. Его ждали. Когда они бросились со ступенек ему навстречу, он с удивлением узнал Егора и Шелоро. Раньше они никогда его здесь не навещали.

— Здравствуй, здравствуй, Будулай,— радостно говорила Шелоро,— а мы вот с Егором надумали проведать, как ты тут живешь в глуши.

— Да,— подтвердил и Егор, по привычке шмыгнув кнутовищем за голенищем своего сапога.

Будулай поклонился, коснувшись ладонью груди:

— Спасибо.

Шелоро засмеялась:

— Это мы тебе давно собирались спасибо сказать. Вот.— И она обеими руками протянула Будулаю что-то завернутое в газету.

Взяв от нее этот сверток, он так и остался держать его на протянутых руках, не зная, что с ним делать. Шелоро еще веселее засмеялась, трепыхнув серьгами.

— Да ты разверни...— И, не дожидаясь, сама поспешила развернуть на две стороны газету у него на протянутых руках. Красная цыганская рубашка лежала на них. У него даже затрепетали веки: такой она была яркой.

— За что, Шелоро?

— Я ее еще с осени пошила, да все подходящих пуговиц не могла достать. За то, что ты не позволил тогда у нас детишек забрать.

— Их бы все равно у вас не взяли, Шелоро.

Но она серьезно покачала головой.

— Забрали бы. Раз за это Настя взялась, она бы добилась.— И Шелоро тщеславно спросила: — Правда, хорошая получилась рубашка?

Рубашка и в самом деле была хорошая, с густым рядом серебряных пуговиц на планке высокого воротника, хоть и чересчур яркая, уже не по возрасту ему. О такой он мечтал когда-то очень давно, когда еще только ухаживал за Галей, но тогда это так и осталось мечтой. Он еще раз поклонился Шелоро:

— Спасибо тебе.

— Носи до самой свадьбы,— по обычаю,— сказала Шелоро.

И Егор поддакнул:

— Носи, Будулай.

Но ему почему-то казалось, что они еще чего-то недоговаривают. И Егор все время, как в чем-то провинившийся, отводит глаза в сторону. Туда, где грелся в загоне под лучами закатного солнца только что выкупанный Будулаем табун.

Все равно он был рад им. Не так-то уж часто навещали его здесь гости. И по-цыгански он скоро уже совсем разучится говорить.

— А я-то думал, что вы тогда сразу же и уехали. Это хорошо, что вы остались.

Под его взглядом Егор опять шмыгнул кнутовищем в сапоге.

— Да...

Но Шелоро сразу же пожелала внести ясность.

— Ты его не слушай, Будулай,— чистосердечно сказала она,— мы бы и уехали, кровя давно тянут, да разве на этих наших клячах куда-нибудь далеко уедешь?!

Лошади и правда были у них ненадежные: мерин с бельмом на глазу и старушечьего возраста кобыла, у которой, как ни пестовал ее хозяин, ребра выступали из-под изношенной шкуры, как обручи бочки.

И вдруг Шелоро, зачем-то оглянувшись по сторонам и придвигаясь к Будулаю, горячо и заискивающе заговорила, переходя на полушепот, хотя ее и так никто не мог услышать здесь, в степи.

— А тебе ничего не будет стоить, Будулай, пустить их в свой табун, а нам их молодыми заменить. Никто и не узнает.

Так вот, значит, чем объяснялся их неожиданный приезд! Предчувствие не обмануло Будулая. И сшитая для него Шелоро рубашка тоже должна была сослужить свою службу. Будулай сочувственно развел руками:

— Этого я никак не могу сделать.

Они по-своему истолковали его сочувственный жест и наперебой заговорили, убеждая его:

— Никто и не кинется их искать в табуне.

— Ты нам как цыган цыганам уважь.

— А потом их можно будет какому-нибудь колхозу продать.

— Или же в Заготскот сдать.

Между тем мерин и кобыла, о которых шла речь, понуро дремали рядом у крыльца, не подозревая о том, какая могла быть уготована им участь.

Будулай виновато протянул рубашку:

— Возьми, Шелоро.

Она так и отпрянула от него.

— Ты что же думаешь, это мы хотели купить тебя?!

— Не сердись, но лошадей я не могу вам поменять.

— Лучше скажи, что не хочешь.

— Ты же сама знаешь, что нельзя, Шелоро.

— Нет, это ты выслуживаешься. А нам по твоей милости с детишками хоть пéши по степи иди.

— Вам, Шелоро, тоже незачем уезжать.

Она захохотала:

— Ты что же думаешь, это мы приехали к тебе советоваться, уезжать нам или нет?! Ты совсем загордился перед своими цыганами, Будулай.

Он стоял с подаренной ею рубашкой в руках и не знал, что ему на это отвечать.

— Нет, это ты сам сиди тут в глуши, стереги чужих коней. Через эту твою гордость и Настя от тебя...

Но тут даже Егор прикрикнул на Шелоро:

— Молчи!

Но ее уже нельзя было остановить:

— И правильно сделала, что она от тебя, такого, к Мишке Солдатову ушла. Ты тут сиди и дожидайся, а они уже на той неделе и свадьбу будут играть.— И гнев ее переметнулся на голову Егора: — А тебе, старому дураку, не я говорила, что его без пользы об этом просить? Дурак ты и есть.

Но тут вдруг ее маленький и тщедушный Егор выдернул из-за голенища свой кнут и занес над ее головой. Ругаясь, Шелоро прыгнула в бричку. Придремавшие под закатным солнцем лошади испуганно вздернули головы.

На минуту Егор вернулся к Будулаю с виноватым лицом.

— Ты из-за этого не обижайся на нее.

Бричка тронулась, и Шелоро, оглядываясь, еще долго что-то кричала и размахивала руками.

Он и не обижался. Он знал, что такое для цыган кони.

Продолжение следует.

Анатолий КАЛИНИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ЦЫГАН

* * *

По табунной степи еще долго потом катилось эхо этой русско-цыганской свадьбы.

По личному распоряжению генерала сыграть ее решили за счет конезавода. И ключи от одного из новых кирпичных домов, построенных на краю поселка, должны были вручать молодым прямо на свадьбе. За вином же Михаил Солдатов, жених, сам съездил на своем самосвале с письмом от генерала к его бывшему адъютанту, а ныне председателю колхоза, на правый берег Дона.

Секретарша совсем уже отказалась пропустить Михаила в кабинет к председателю, пока там заседало правление колхоза, но, после того как Михаил все же настоял, чтобы она передала ему письмо, председатель сам его вызвал.

Прервав заседание правления колхоза, он с плохо скрываемым удовольствием прочел письмо членам правления вслух и присовокупил:

— Вот ведь как бывает. На фронте я ему, случалось, и постель стелил и даже сапоги иногда чистил, а теперь мы с ним на равных. Еще неизвестно, что легче — дивизией командовать или колхозом руководить.— И, обводя членов правления взглядом, он остановился на одном из них, женщине: — Например, лично тебя, Пухлякова, мы тут уже битых три часа всей коллегией уговариваем, а ты как заняла круговую оборону, так и ни с места.

— Меня, Тимофей Ильич, и не нужно уговаривать.

— Но и с решением этого проклятого куриного вопроса мы тоже больше не можем тянуть. Золотые получаются яички, скоро эти леггорны нам весь колхоз съедят.— И, переводя сердитый взгляд на терпеливо дожидавшегося его ответа Михаила Солдатова, он неожиданно заключил: — За гвардейский привет передай генералу тоже мою гвардейскую благодарность, но скажи, что за вином ему раньше надо было присылать. За зиму и за весну мы его все какое проторговали, а какое с гостями попили по случаю нашего близкого месторасположения к райцентру и регулярного приезда иностранных делегаций в наш колхоз. Если бы я знал, я бы у нас потихоньку всю виноградную лозу под топор пустил, потому что эта драгоценная культура скоро нас тоже по миру пустит. Так Михаилу Федоровичу и передай. Конечно, жаль мне тебя, парень, обратно порожняком отправлять, но что же делать...— Вставая из-за стола, он развел руками: — Езжай.

Но Михаил Солдатов наотрез объявил:

— Покуда вы не наложите резолюцию о продаже вина, никуда я из этой комнаты не уйду!

Председатель возмутился:

— То есть как это не уйдешь?! Вон ты какой! Ты что же, хочешь нам из-за двух бочек вина заседание правления сорвать?

Михаил Солдатов взмолился:

— От этих двух бочек, может, у человека вся будущая жизнь зависит.

Председатель иронически осведомился:

— У какого такого человека? Ты нам тут, парень, демагогию не разводи. Езжай себе подобру-поздорову.

Не мог же Михаил принародно признаться, что не чья-нибудь, а его собственная будущая жизнь зависит, может быть, от этих двух бочек виноградного вина.

— Если я порожняком вернусь, меня наш генерал, как за невыполнение приказа, может совсем от машины отстранить.

Председатель колхоза неожиданно улыбнулся. Этот довод показался ему убедительным. Крутость характера бывшего командира казачьей дивизии была ему хорошо известна.

— И отстранит. За невыполнение приказа он и раньше не умел по головке гладить. А ты как же хотел, чтобы он тебя за холостой пробег машины именными часами наградил? До вашего конезавода сколько отсюда километров?

— Пятьсот.

— И обратно пятьсот. Не говоря уже о затрате времени в горячую пору года, это сколько бы ты дефицитного горючего сжег!.. Ты, Пухлякова, что?

— Ничего, Тимофей Ильич.

— Жаль мне тебя, парень, и, если бы я твоего начальника лично не знал, так бы и уехал ты от меня не солоно хлебавши. Но двух бочек вина я тебе все равно не дам. У нас у самих осталось всего десять бочек, но это железный эн-зе. На случай какой-нибудь дегустации или же межрайонного семинара. Хватит вам для вашей свадьбы и одной бочки.— И, склоняясь над столом, он прямо на письме генерала, с угла на угол, размашисто наложил резолюцию красным карандашом. Но прежде чем вернуть Михаилу Солдатову письмо, он еще раз перечитал его, частью про себя, а частью вслух, покачивая головой и недоверчиво усмехаясь: — Это какую же вы там передовую цыганочку замуж выдаете? Значит, у вас там еще и передовые цыгане есть?

— Есть,— не отрывая глаз от письма с резолюцией, ответил Михаил.

— Не все разбежались?.. Нет, ты, Пухлякова, еще не спеши уходить. Сейчас я этого орла отпущу, и мы с тобой закончим... Бери,— сказал он, вручая наконец Михаилу желанное письмо.— Сперва зайдешь в бухгалтерию, это прямо тут,— он постучал костяшками пальцев по стене,— оплатишь и оттуда уже на винцех.— Но и после этого, уже отдав Михаилу письмо, он все-таки придержал его за уголок: — А бракованная пара-другая лошадей у вас для нас найдется, если мы нагрянем к вам на конезавод?

В руке у Михаила Солдатова пока был только один уголок письма с резолюцией, а другой все еще оставался в пальцах у председателя, и надо было поскорее завладеть им целиком.

— Найдется,— твердо заверил Михаил.

— Ну, езжай. Да смотри не вздумай по дороге с вина пробу снимать, а то вместо свадьбы прямо в милицию попадешь.— И все-таки он не удержался, чтобы еще раз не окликнуть Михаила, когда тот уже взялся за ручку двери: — А генерал, значит, у вас строгий?

— Строгий,— полуоборачиваясь, подтвердил Михаил.

— И вы его очень боитесь?

Теперь драгоценная бумажка была крепко зажата в руке у Михаила и он согласен был отвечать все что угодно, лишь бы сделать приятное этому человеку.

— Очень.

И Михаил закрыл за собой дверь.

Глядя ему вслед, председатель от души смеялся. Вдруг улыбка сразу погасла у него на лице.

— А в нашем колхозе каждый, кто захочет, может без стука вломиться в кабинет к председателю в любое время дня и ночи. И все могут трясти его прямо за грудки, кому не лень. Каждый сам себе генерал. Демо-кра-тия. Я тебе, Пухлякова, по-русски говорю, что, кроме тебя, нам больше некого на птичник поставить. Или же мне самому надо замыкать правление и переходить туда высиживать цыплят.

— Хорошо, Тимофей Ильич, я согласна.

Председателю показалось, что он ослышался, и он с недоумением уставился на нее из-за стола.

— Что-то я тебя, Клавдия Петровна, сегодня никак не могу понять. А только что ты здесь наотрез отказывалась. У тебя как будто сегодня и голоса совсем нет. Скажи, пожалуйста, громче. Ты что же, передумала за это время?

— Передумала, Тимофей Ильич.

— Вот и пойми после этого вашу женскую породу. Но вообще-то я очень рад.— И председатель даже из-за стола вышел.— Вот и давно бы так. Если бы ты, Клавдия Петровна, и всегда была такая. Теперь я насчет яйценоскости и воровства кормового зерна могу быть вполне спокоен.— Рассуждая вслух, он расхаживал посреди своего кабинета между рядами стоявших у стен стульев, на которых сидели члены правления колхоза.— И если, Клавдия Петровна, тебе что-нибудь нужно будет для птичника,

Продолжение. См. «Огонек» № 24.

ты заходи ко мне прямо без стука, в любое время дня и ночи. Не стесняйся. Нюру я тебе разрешаю в помощницы взять, я знаю, ты там семейственность не разведешь. А на заочную сессию в институт мы ее будем с сохранением содержания отпускать.— Он вдруг остановился:— Что же ты, Клавдия Петровна, плачешь? Вот и пойми после этого тебя. Никто же тебя без твоего добровольного согласия не может заставить на эту должность пойти, ты не плачь...

— Я, Тимофей Ильич, согласна.

— Да будь он неладен, этот проклятый птичник, чтобы из-за него такими слезами рыдать! Чем из-за него колхозу убытки терпеть, лучше я его самолично запалю. И рядом с виноградниками нам его никак нельзя держать. Они же на кустах не только ягоду, но и молодые листочки клюют. Если ты, Клава, не согласна...

— Я, Тимофей Ильич, теперь на все согласна.

А залитое слезами лицо ее говорило совсем другое. Председатель колхоза Тимофей Ильич совсем растерялся. Его и вообще всегда выводили из равновесия женские слезы. И почему эти женщины плачут так, что рвут душу...

* * *

Возвращаясь на конезавод и спрямляя путь по степи, Михаил поехал через отделение, где пас свой табун Будулай. Свернув на луговое бездорожье к табуну, поравнялся с Будулаем и, затормозив, высунул из оконца кабины свой пшеничный чуб.

— Здравствуй.

— Здравствуй.

Будулай хотел спешиться, но Михаил опередил его словами:

— Я сразу же и еду.—И, вскользь окидывая взглядом ссутулившегося в седле Будулая, холодно пояснил:— У меня две просьбы. На свадьбе без посаженого отца никак нельзя, а у Насти, кроме тебя, других родичей нет.— Будулай хотел ответить ему, но Михаил нетерпеливо колыхнул чубом:— Это не я прошу. Я только передаю... А теперь и я. Но только не прошу. На свадьбе ты, как ее родственник, можешь побыть. Но после свадьбы тебе сразу же придется уехать отсюда.

Сверху вниз, с седла, Будулай тихо уронил:

— Куда?

— Этого я не знаю.

Еще тише Будулай спросил:

— А если я не уеду?

— Мне Настя все рассказала.

— Ничего она тебе не могла рассказать, потому что ничего и...

Михаил резко мотнул чубом:

— А мне и до лампочки знать, что там между вами могло быть. Это не мое дело. Но если ты не уедешь...— И Будулай увидел, как пальцы на руке у Михаила, продетые сквозь оконце кабины, побелели, вдавливаясь с наружной стороны в листовую обшивку дверцы.

Под Будулаем конь переступил ногами.

— Тогда что?

Михаил Солдатов здоровый был, сильный парень. Когда ему приходилось грузить в свой самосвал большие, называемые чувалами, мешки с зерном, он забрасывал их в кузов так, будто это были пуховые подушки. И рука у него, впечатанная теперь в листовую обшивку дверцы, была почти квадратная, большая. Но он взглянул на руку Будулая, в которой тот держал небольшую конскую плеть, и невольно вспомнил, как Настя рассказывала ему, что до приезда на конезавод этот человек работал где-то в колхозе кузнецом. Однако и не это, а, пожалуй, другое удержало Михаила от тех слов, которые уже готовы были сорваться у него. То, как этот человек посмотрел на него с седла сурово и, как показалось Михаилу, печально.

И, задрожав чубом, Михаил неожиданно для себя закончил:

— Тогда ни тебе, ни нам с Настей не будет здесь жизни.

И он включил скорость.

* * *

Ни клуб, ни какое-либо другое помещение в поселке при конезаводе не смогли бы вместить всех, желающих погулять на этой первой русско-цыганской свадьбе, и наконец кто-то догадался поставить свадебные столы прямо под белолиственными тополями, когда-то посаженными здесь посреди табунной степи еще при старом коннозаводчике Королькове. С тех пор они вымахали такие, что теперь над столами, составленными квадратом в квадрате же тополей, почти сомкнулись их ветви. И только в самом центре, вверху, оставался не закрытый листвой колодец, в который заглядывал с высоты колосистый месяц.

Обычно посаженые отцы на свадьбах в белых рубашках и при галстуках сидят, но это же была русско-цыганская свадьба, и Будулай в красной рубашке, подаренной ему Шелоро, занимал за столом, поблизости от молодых, положенное ему место.

Посаженому отцу на свадьбе полагалось знать многое: и не только на каком ему месте сидеть, но и когда надо встать, и как выйти из-за стола, чтобы встретить жениховy родню, как при этом поклониться и что сказать, и Будулаю ни за что бы не справиться было со всеми этими обязанностями, если бы не его соседка по столу и посаженая мать, которой Настя взяла себе свою квартирную хозяйку Макарьевну.

Вот когда развернулась старуха. Уж она-то знала все, что надо было, до мельчайших подробностей, и теперь явилась взорам во всем блеске своей многоопытности и сознания важности возложенной на нее задачи. Будулаю оставалось только не спускать с нее глаз и придерживаться ее указаний.

Еще не окончательно перевелись такие никем не заменимые старухи. Они и при совершении великого таинства появления новой жизни тут как тут. И на страже соблюдения всех тех обычаев и обряда, без которых и свадьба не может быть свадьбой. И, быть может, особенно незаменимы у изголовья разлуки всех разлук. Все родные будут в беспамятстве лежать, а они и воды согреют, чтобы смыть с мертвого последний прах земли, и оденут его в то, во что только и можно одевать, снаряжая человека в последний путь. И будет счастлив тот, при ком в минуту этой разлуки всех разлук окажется такая старуха...

Но теперь была свадьба, и вожжи от нее находились в руках у Макарьевны, соседки Будулая по столу.

Это была ее стихия, и никому бы не смогло прийти в голову покуситься на ее авторитет в этой области, в которой ей здесь не было сколько-нибудь равных. Даже сам начальник конезавода, генерал, явившийся на свадьбу при всех своих орденах, не посмел ослушаться, когда она указала ему отведенное место на другом конце стола, напротив жениха и невесты. В то время, как ей самой положено было находиться при женихе и невесте на этом конце, безотлучно. Тут она была генералом. Все неукоснительно повиновались ее указаниям, и все, что ни происходило на свадьбе, исходило от нее и сходилось к ней, как к магниту. Официантки из поселкового ресторана по одному шевелению ее бровей понимали, когда им нужно разносить по столам лапшу с курицей, а когда шашлык, и на какой стол добавить графинов с виноградным вином, а на какой бутылок с армянским коньяком и со «Столичной».

И не только доморощенные поселковые баянисты, но и цыгане со своими гитарами начинали играть или же умолкали только по ее команде. Специальные курьеры, назначенные комитетом комсомола, то и дело подбегали к ней и разбегались от нее во все концы во всеоружии ее самоновейших инструкций.

На больший почет в ее годы она и рассчитывать не могла. И тот же цыган Будулай, ее свадебный дружок, теперь, вблизи, показался ей совсем не таким, как прежде. Несмотря на свою аспидную бородку.

Весь вечер он просидел с нею рядом за столом вежливо и культурно, ни разу не назвал ее «бабка» или «старуха», а только «Дарья Макарьевна», не спешил, как иные, напиваться и не тянулся к каждому губами. Вскоре она уже настолько с ним освоилась, что между ними, пока остальные шумели молодым «горько», звенели бокалами и играли песни, завязалась застольная беседа.

— За такую свадьбу потом и вспомнить будет не стыдно,—сказала она ему, оглянув щедро убранные столы взглядом хозяйки.

Он охотно согласился:

— Хорошая свадьба.

Но ей захотелось, чтобы он оценил все в подробностях:

— За одну только водку с вином плачено больше трехсот, не считая продуктов из кладовой. Генерал приказал ничего не жалеть. А по его виду никак не подумаешь, что он такой.— И она нашла взглядом начальника конезавода, пылавшего своими орденами на противоположном конце стола под фонарем:— Сурьезный.

— Да,— и на этот раз согласился ее сосед.

Столы и в самом деле ломились. Конезавод распахнул для первой в здешних местах такой свадьбы двери своих птичников, кладовых и погребов. Но и не только это: вскоре молодые — Настя и Михаил Солдатов — уже почти спрятались за отрезами, коробками с обувью, выкладываемыми перед ними на стол от имени парткома, месткома и комитета комсомола, от жениховой родни и от Настиных подружек. А от лица всех цыган самый старый из них, с седой бородой, но с еще дегтярно-черными усами и бровями, поднес Насте и ее нареченному в раскрытых коробочках, на лиловых бархатных подушках серьги и часы. Малаша Пустошкина, сидевшая рядом со своим Васей, так и ахнула на всю площадь:

— Батюшки! Золотые!!

Но особенно долго вспоминалось потом гостям, что им давно уже не приходилось гулять на такой веселой свадьбе. За исключением, правда, самого конца ее, когда Николаю Петровичу, старому учителю-пенсионеру, вздумалось вдруг з а и г р а т ь под баян совсем не свадебную песню. Но и это уже ничего не могло испортить, а лишь как бы влило в общее веселье каплю необходимой грусти.

И тон этому веселью задавал не кто-нибудь иной, а сама невеста. Вопреки общепринятому правилу, что на своей свадьбе невесте полагается быть самой скромной, смиренной.

При взгляде на поющую, хохочущую и даже пьющую не меньше других Настю совсем нетрудно было убедиться, что правило это, как и многие другие, уже безнадежно устарело. Ее и прежде нельзя было заподозрить в чрезмерной смиренности, а сейчас только и услышать можно было, как она то требует от баянистов, чтобы они все сразу заиграли «По Дону гуляет», то вдруг засмеется так, что, кажется, вот-вот в горле у нее что-то порвется, то, ничуть не смущаясь, громко подхватывает недвусмысленные намеки:

— А может, их у нас с Михаилом и вся дюжина будет?! — И, поворачиваясь к своему жениху, огорошивает его, вгоняя в густую краску: — Правда, Миша?

— Вот и давно бы так,— наблюдая за Настей, говорила ее посаженая мать Макарьевна своему соседу, посаженому отцу Будулаю.— А то до этого почитай с самой осени, как вернется вечером с работы, упадет лицом в подушку и лежит. А он до полночи без всякой пользы слоняется под ее окнами, дожидает.

И все сходились на том, что с такой женой Михаилу Солдатову скучать не придется.

...За исключением самого Михаила. Не нравилось ему это Настино веселье. Но искоса, сбоку, взглядывая на нее, может быть, самое тревожное улавливал Михаил в том, что за весь вечер его невеста так ни разу и не посмотрела в сторону своего посаженого отца Будулая, хотя он и сидел от нее совсем близко. Как если бы там было пустое место. И Михаил видел, что Будулай

отвечает ей тем же. Но это-то и связывало их друг с другом невидимой нитью. За все время они не обменялись ни единым взглядом. Как сговорились. И тем не менее Михаил не сомневался, что все это время они видели и ни на минуту не упускали из поля зрения друг друга. И Настя, когда она вдруг начинала хохотать или же хлопать в ладоши, не теряла из виду его красную рубашку, в которой он пришел на свадьбу. И Будулай, конечно, не мог не слышать, как у нее в горле все время трепещет какой-то клубок или натягивается струна, когда она начинает громко, через весь стол сама заказывать музыку, чтобы через минуту самой же и отменить на полуслове песню, которую по ее приказанию запоет было под гитару своим рыдающим голосом главный певчий из клубного хорового кружка, молодой цыган: «Ай да зазнобила ты ж мою головушку».

— Нет, Митя, эта скучная, давай другую.— И сама же первая начнет прихлопывать в ладоши: — «Дайбогану очая...» — что совсем уже не пристало невесте.

Но все другие гости были довольны. Цыгане думали, что, значит, все это обязательно на русской свадьбе и Настя, умница, не хочет ударить в грязь лицом. А русские и все остальные склонны были отнести это за счет того, что она цыганка. Такой у них обычай. И все громко хвалили Настю:

— Ай да, Настя!
— Вот это невеста!
— Молодец, Настя!

И Михаил все больше мрачнел, совсем не дотрагиваясь до поставленных перед ним на столе и налитых до краев стопок и фужеров, хотя в иное время никто из присутствующих не стал бы упрекать его в чрезмерной трезвенности, о чем, кстати, свидетельствовал и прокол, сделанный автоинспектором на его шоферском талоне незадолго до свадьбы.

Ему бы надо было радоваться, что наконец-то исполняется то его желание, с которым он так и не смог справиться с того дня — два года назад,— когда первый раз познакомился на танцах в клубе с Настей, но это была какая-то не такая радость.

— Тебе, Миша, сейчас лучше выпить,— грустно советовал ему, наклоняясь из-за его спины, все понимающий дружок и такой же водитель самосвала Федор Касаткин.

Уж ему ли было не знать, что в другое время Михаилу Солдатову не надо было бы об этом напоминать, и Федор не мог не догадываться, какие сейчас когти впиваются в сердце его лучшего друга. Сам-то Федор Касаткин, конечно, не мог теперь отказать себе в удовольствии от души выпить на вполне законном основании и тем более на свадьбе у друга, но уж лучше бы ее и вовсе не было, этой свадьбы. А погулять в конце концов ничуть не хуже можно и на свои трудовые, конечно, в послерабочее время.

Ему, Федору, и тогда все это не понравилось, когда Михаил еще только настраивался на эту Настю. Он и тогда советовал другу отступиться от нее, пока не поздно. Ничего хорошего из этого не должно было получиться. И разве он не говорил Михаилу, что ей бы еще только из ноздрей пламя. Вот и теперь невесте полагается только сидеть на своей свадьбе рядышком с женихом и ожидать, когда он по всеобщему требованию поцелует ее, а она и разговаривает, и смеется громче всех, и пьет наравне с гостями — рюмка за рюмкой,— и даже уходит из-за стола, бросая жениха одного, как сироту, чтобы потанцевать под радиолу в центре свадебных столов с одним, с другим и с третьим. Фата так и вьется у нее за спиной. И потом, когда опять закричат «горько», сама первая спешит к Михаилу и не просто, чтобы поцеловаться с ним ради приличия, а сама же кинет ему руки на плечи да так и вопьется ему в губы, как будто она ему еще не невеста, а уже лет пять или все десять жена. Да и хорошая жена не станет вот так, на виду у всех облизывать своего мужа.

И не успеет от него оторваться — опять за рюмку. От этого и лицо у нее то вдруг займется огнем, то как будто сразу кто выжмет из него все до кровинки.

Но при возгласах «горько» Михаил Солдатов покорно вставал за столом и покорно целовался с невестой, вздрагивая своим пшеничным чубом. С этим пышным, кудрявым чубом, в своем свадебном строгом костюме, с розоватым загаром на бледном лице, он был и прямой противоположностью и ничуть не хуже своей ярко-смуглой невесты, и все любовались на такую пару.

— Хоть куда пара,— говорила и посаженая невестина мать Макарьевна посаженому отцу Будулаю.— А ведь до самого последнего она не хотела его и на порог пускать. А потом вдруг сама заявилась к нему в гараж белым днем и прямо при всех объявила: «На той неделе сыграем, Михаил, нашу свадьбу!» Сказывают, он от радости совсем ошалел, и она даже засмеялась: «А может, не хочешь?» Куда там, он еще и сейчас в себя не пришел.

Как хозяйка свадьбы, досматривала Макарьевна и за тем, чтобы вовремя восполнялась на столах убыль в бутылках и графинах. Где же еще людям и попить-погулять, как не на свадьбе. Да еще и на русско-цыганской. При этом, конечно, «Столичную» и купленные в городе дорогие вина официантки по ее указанию больше носили на стол, за которым сидели вокруг начальника конезавода особо заслуженные гости, а «Московскую» и разливное виноградное — на столы, занятые более молодыми, которым здоровье позволяло пить все подряд, что перед ними ни поставят.

Откуда же ей было знать, что у разливного виноградного, привезенного Михаилом Солдатовым из колхоза, букет, как об этом немедленно догадались более опытные ценители, был ничуть не хуже, если не лучше, чем у марочных вин, специально закупленных к свадьбе в фирменных магазинах Ростова и Новочеркасска.

И даже сосед Макарьевны, цыган Будулай, к ее удивлению, предпочитал доливать в свой стакан это простое виноградное вино.

* * *

И вообще все шло, как и положено быть на свадьбе, вплоть до той самой минуты, пока не захмелел и не уронил отяжелевшую голову прямо на стол один из баянистов, Егор, муж Шелоро, и его баяном завладел учитель-пенсионер Николай Петрович.

До этого баян Егора ни разу не нарушил, не выбился из заблаговременно отрепетированного в клубе распорядка, согласно которому поселковые баянисты, закрепленные за каждым столом, вступали в игру и все вместе, вчетвером, и каждый по отдельности, и сопровождая старинную казачью песню «Ехали казаки со службы домой», и охотно уступая место цыганам, которые пели свою «Ехали цыгане с ярмарки домой» исключительно только под драмкружковские гитары. И, должно быть, потому так хорошо уживались и чередовались за свадебными столами эти песни, что и та и другая зародились когда-то в степи, в дороге.

После обо всем этом напечатано было в районной газете «Табунные степи» на всю страницу под названием «Наглядное торжество идеи дружбы народов», как и о том, что начальник передового в области конезавода, заслуженный ветеран трех войн, генерал Стрепетов лично вручил счастливым молодым ключи от коттеджа, построенного за счет государства, и что столы на этой комсомольской свадьбе наглядно свидетельствовали о том изобилии, к которому уже пришли наши славные труженики сельского хозяйства.

Егор Романов ничуть не хуже других нес возложенные на него обязанности свадебного баяниста, ни разу не выскочил вперед и не отстал со своим баяном, когда подходило его время, хотя после первых же стаканов виноградного вина, опустошаемых им в минуты музыкальных пауз, он и начал уже придираться к своему соседу по столу Николаю Петровичу.

— Ты меня судил? — допытывался он у Николая Петровича, по-заячьи приподнимая верхнюю губу с кустиком рыжеватых усов.

Николай Петрович, улыбаясь, миролюбиво отговаривался:

— Тебя, Егор, не лично я, а товарищеский суд судил.

Но Егор после каждого нового стакана, наполняемого из придвинутого им к себе графина, настраивался все более воинственно:

— Нет, ты меня за нарушение Указа оштрафовал, да?!

И вновь Николай Петрович терпеливо поправлял его:

— И не тебя же, Егор, а супругу твою.

Егор мотал головой.

— Это ты брось! Мы все понимаем. И сам же ты нарушил закон, да?! Ты не имел права с меня прямо на суде деньги брать, а?! Ты думаешь, мы, цыгане, не знаем законов? Нет, мы их должны знать очень хорошо. Как ко мне какой крючок, так я ему тут же и... вот.— И, доставая из широкого кармана своих цыганских штанов какую-то серую книжицу, он тыкал ею в лицо Николаю Петровичу.— Я ее завсегда при себе вожу. Тут все и про твой товарищеский суд есть. Но ты меня не по ней судил...

Шелоро, сидевшая рядом с Егором с другой стороны, пыталась придержать его руку своей, когда он опять начинал тянуться к графину с вином.

— Хватит. Сразу наберешься и потом всю свадьбу проспишь. Знаю я тебя.

Егор гневно отбрасывал ее руку.

— Не бойсь!

Все же на какое-то время он укрощался, мужественно оставляя нетронутым свой стакан, наполненный вином, в то время как все другие, звеня бокалами, добросовестно поддерживали все тосты, провозглашаемые за столами и во здравие молодых, и за незамедлительное приумножение их семейства, и во славу конезавода, лучше которого нет и никогда не будет по всей табунной степи.

Но потом внимание присматривающей за своим мужем Шелоро было отвлечено ее соседом справа, Василием Пустошкиным, который потихоньку положил ей на колено руку под столом. И, затаившись в ожидании, что будет дальше, она на какое-то время упустила из поля зрения Егора. А привезенное Михаилом Солдатовым с Дона и теперь до краев налитое в стакан Егора вино так и пылало перед его взором. Было оно как квасок. И, выпрастывая руку из-под ремня баяна, Егор опять начинал тянуться своим стаканом и мокрыми губами к Николаю Петровичу:

— Но все-таки ты справедливый человек, и я желаю с тобой выпить.

А донское виноградное вино только с виду было как квасок. И вскоре Егор так набрался этого кваска, что его пальцы вдруг, внезапно так и замерли, одеревенели на клавишах баяна посредине слов цыганской песни:

Ой, загулял, загулял, загулял
Парнишка молодой, молодой,
В красной рубашоночке,
Хорошенький такой...

И сам Егор так и уронил на стол голову, мгновенно засыпая. И уже не услышал он, как его жена, Шелоро, вдруг отчетливо звонко позвала, прижимая руку соседа Василия Пустошкина у себя на колене своей рукой:

— Малаша!

Жена Василия Пустошкина, сидевшая по правую руку от него, с другой стороны, и безмятежно занятая в этот момент обгладыванием ребрышек молодого поросенка, сердито вздрогнула:

— Ты чего?

— Твой Вася просится сходить с ним в кусты. Сходи-ка ты заместо меня,— невинно сказала Шелоро.

...И уже совсем не чувствовал сморенный сном Егор, как его баяном постепенно завладел его сосед по столу Николай Петрович.

Продолжение следует.

ПОВЕСТЬ

Анатолий КАЛИНИН

Рисунки П. ПИННИСЕВИЧА.

ЦЫГАН

* * *

Николай Петрович вовсе и не намеревался при этом играть на баяне. Он просто осторожно высвободил из-под пальцев Егора клавиши и скинул с его плеча ремень баяна, когда Егор уронил на стол отягощенную хмелем голову. Но, высвобождая из пальцев Егора ряды клавишей, он невольно положил на них свои пальцы и, когда мехи баяна отозвались под ними, задержал баян в своих руках. Прислушиваясь и склонив над баяном голову, он продолжал рассеянно перебирать пальцами. Пальцы его явно не хотели слушаться. Они уже страшно давно не лежали на клавишах баяна. Еще с тех самых дней, когда впервые появились у него на груди и эти самые медали, которые теперь свесились на муаровых ленточках, касаясь ребер баяна. И Николаю Петровичу почему-то очень захотелось, чтобы пальцы все-таки послушались его. Совсем тихо, так, чтобы никто не мог услышать его, он перебирал ими по клавишам, растягивая и сжимая баян и почти положив на него голову. И никто не услышал то, что он при этом заиграл. За свадебными столами все более вразнобой пели, кричали «горько», а в квадрате столов продолжались под радиолу танцы. И никто не мог услышать Николая Петровича и не слушал его, пока он, подыгрывая себе на баяне и незаметно для себя, не начал петь, а скорее негромко выговаривать давно зачерствевшим голосом:

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Это была совсем неподходящая к случаю, не свадебная песня, и Макарьевна, посаженая Настина мать, ревниво следившая за неукоснительным соблюдением всех правил обряда, услышав ее, сразу же поманила к себе одного из своих вестовых — комсомольцев, чтобы передать с ним Николаю Петровичу распоряжение немедленно прекратить, но тут вдруг ее сосед по столу и дружок, посаженый отец Насти, глянул на нее такими глазами, что она так и застыла на полуслове, потеряв дар речи. Оказывается, рано она перестала его бояться.

И с этой секунды, чуть отодвинувшись от него, она уже неотрывно, хотя и не поднимая глаз, наблюдала за ним, пока он слушал, а Николай Петрович, ничего не замечая вокруг себя и почти прислонив к баяну ухо, пел своим надтреснутым голосом:

Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог,
Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.

* * *

Вверху, над головой Будулая, шелестел своей листвой, начеканенной ветром и солнцем из белого серебра, тополь. И вокруг тоже было широкое поле, необозримая степь. Так, значит, это про него, про его жизнь Николай Петрович не то поет, не то рассказывает словами этой песни. И как так могло случиться, что до этого Будулаю так и не пришлось услышать ее? А скорее всего и потому, что всегда было некогда, недосуг ему за поисками этого бугорка, потерявшегося в безбрежно широком поле.

Постепенно стал убывать и глохнуть за свадебными столами веселый шум. Но раньше всех заглох он за теми столами, которые заняты были людьми постарше. Теми самыми, которые и шаровары с лампасами подоставали, снаряжаясь на свадьбу, и довоенного еще фасона кофты и юбки. Но также и по протезам их можно было бы узнать. И по той серой, пепельной бледности, которая вдруг так и осыпала их щеки, когда у Николая Петровича на мгновение как будто бы совсем пропал голос:

Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.

Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам...
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.

Но перед Будулаем стоял нетронутым его стакан с вином. Никто не обращал внимания на него. Даже его соседка, посаженая мать Насти, которая уже перестала сердиться на Николая Петровича за то, что он испортил свадьбу совсем неподходящей песней, и, забыв о своих обязанностях, тоже слушала его вместе со всеми.

И только лишь Настя, которая до этого за весь вечер так и не взглянула в сторону Будулая, теперь, не отрываясь, смотрела на него. Вверху шелестели тополя своей чеканной листвой. То ли от света электрических матовых фонарей, то ли еще от чего, но лицо Будулая казалось теперь совсем бледным, а бородка особенно черной. И сидел он за столом на своем месте посаженого отца, как замер.

Настя, не отрываясь, смотрела на него, а на нее смотрел ее молодой муж Михаил Солдатов и переводил взгляд на красную рубашку Будулая.

Но больше никто так ничего этого и не видел, потому что внимание всех в это время было занято совсем другим. Ну, кому в самом деле интересно наблюдать, какое могло быть лицо у одного из присутствующих на свадьбе цыган — таких здесь было много,— когда куда как интереснее было смотреть на генерала, который был здесь один.

Подыгрывая себе, Николай Петрович заканчивал уже почти шепотом:

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

Никаких признаков шума уже не осталось за свадебными столами — даже за теми, за которыми сидела одна молодежь. Только лопотали тополя вверху. И все гости, повернув головы, смотрели в одну и ту же сторону. Туда, где сидел начальник конезавода, генерал.

На груди у него тоже светились медали и ордена, а по щекам его катились слезы. И, все крепче сжимая пальцами свой стакан с вином, сквозь пелену их совсем не замечал генерал, что все давно уже смотрят только на него.

Не исключая и Егора Романова, который вдруг проснулся и поднял голову от воцарившейся за столами тишины.

Макарьевна, всхлипывая, повернулась к своему соседу.

— А я думала, что генералы никогда не...— И последнее слово так и осталось у нее на губах.

Ее соседа, посаженого Настиного отца, на своем месте и вообще на свадьбе уже не было.

Настя рванулась из-за стола. Но рука молодого мужа, сжав ее локоть, не пустила ее.

* * *

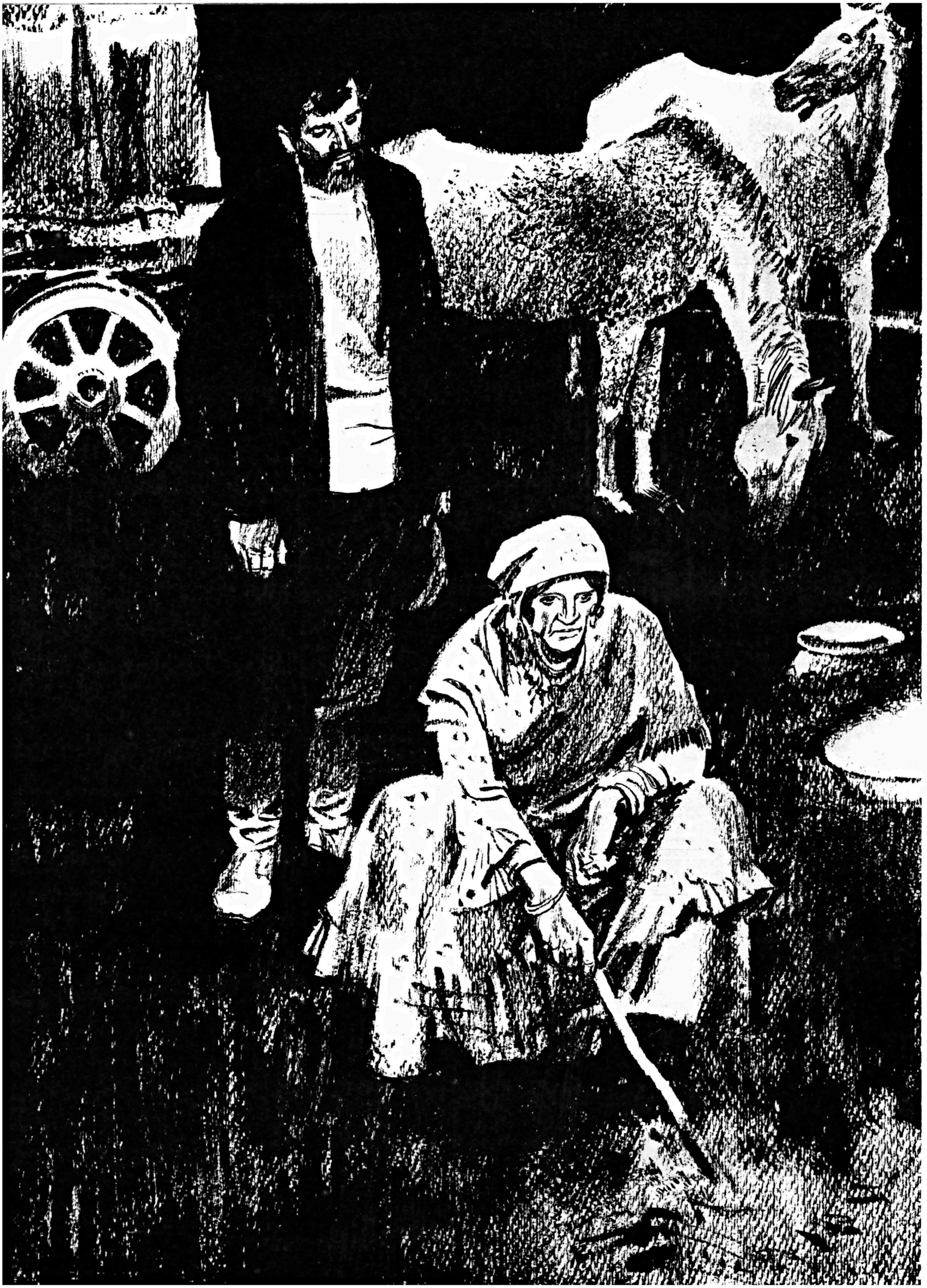
Начальник конезавода, несмотря на то, что он оставался вместе со всеми на свадьбе до конца и вернулся домой уже за полночь, проснулся по своей всегдашней привычке еще в пять часов утра, но вставать с постели на этот раз против обыкновения медлил. И в голове после всего этого шума, а может быть, и после выпитого вина оставалась тяжесть, и вообще вся эта перегрузка была ему уже не по летам.

Однако и без этого у него были основания уже с утра чувствовать себя сегодня неважно. Связано это было с намеченной им сегодня поездкой в город, в область. Приподнимая от подушки голову, он видел в окно уже дожидавшийся его под акациями «виллис».

Та часть этой предполагаемой поездки, которая, судя по всему, обещала быть приятной, приходилась на вторую половину дня, на вечер, когда должна была состояться в областном драмтеатре встреча ветеранов Первой Конной. Не только со всего Дона, но и из других смежных казачьих областей должны были съехаться его товарищи, с которыми будет что вспомнить и из времен гражданской и из времен Великой Отечественной войн. Но в том-то и дело, что предшествующая этому первая половина дня обещала для него стать куда менее приятной. И связано это было все с теми же объяснениями, которые ему опять придется давать в сельхозотделе обкома, почему во вверенном ему конезаводе и в этом году, судя по всему, кукуруза не удастся на зерно. Мало того, что пять лет назад ему приходилось врукопашную отбивать от распашки под эту королеву полей каждый гектар ничем не заменимых табунных лугов. Теперь из-за нее же еще и дер-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 24 и 25.



жи каждый год ответ, как мальчик. А если он и сам не знает, почему эта королева оказывается такой бесплодной при малейшем дуновении на нее юго-восточного заволжского суховея?..

Ночью, ложась спать, генерал поставил у своего изголовья на стуле кувшин с огуречным рассолом и теперь, предаваясь невеселым размышлениям, отпивал из него глоток по глотку, освежаясь. За этим занятием и застала его жена, вошедшая сказать, что к нему пришел какой-то человек.

Из-за края кувшина он взглянул на нее сердитыми глазами:

— Что еще за человек в такую рань? Ты что же до сих пор не научилась, как надо отвечать?! Пусть ждет в конторе.

— Я ему так и сказала, а он вежливо извиняется и говорит, что не может ждать. У него срочное дело. Это какой-то цыган.

При этом слове генерал, как ужаленный, сбросил с кровати ноги:

— Цыган?!

Недостаточно, оказывается, того, что все последнее время ему от этих цыган на работе отбоя нет. Все сразу как с цепи сорвались: рассчитывай, да и только! Теперь же они и дома до него добрались. Но и всякому терпению есть предел. Этот цыган, который не постеснялся прийти к нему ни свет ни заря, раз и навсегда забудет дорогу к его дому.

Разъяренный, он, как ураган, промчался мимо отшатнувшейся жены к двери, в шлепанцах на босу ногу и в полосатой ночной пижаме, не забыв, впрочем, накинуть на плечи свой летний китель с вышитыми на погонах звездами генерал-майора. Ярость его удвоилась, когда, распахнув дверь на крыльцо, он увидел перед собой Будулая. Не кого-нибудь иного, а того самого Будулая, который заверял генерала, что лично он, не так как другие цыгане, уже не собирается ни в какие бега и, даже больше того, решил окончательно поселиться на конезаводе. Теперь же достаточно было лишь взглянуть на его виноватое лицо, чтобы тут же догадаться, зачем он пожаловал в этот ранний час к генералу на дом.

Генерал так и задохнулся:

— И ты?!

Будулай не стал отрицать:

— И я, товарищ генерал.

Но прежде чем генерал успел обрушить на его голову все то, что только и должен был ожидать от него этот цыган, он быстро сказал:

— Но вы сперва, пожалуйста, дайте мне сказать, а потом уже кричите на меня.

— У меня нет такого свободного времени, чтобы с каждым дезертиром в беседы вступать,— отчетливо отрезал генерал и круто повернулся к нему спиной, чтобы опять скрыться в доме. Но его догнали слова:

— Я, как вы знаете, товарищ генерал, никогда дезертиром не был и не могу позволить так меня называть.

Генерал, как на оси, повернулся к нему с неожиданной легкостью для его тучного тела:

— А как же ты еще прикажешь тебя называть?! Дезертир и есть. Я же сразу увидел, что ты ко мне за расчетом пришел. Или, может быть, нет?

— За расчетом, товарищ генерал.

— А раньше, ты помнишь, что мне говорил?

— Помню.

— И после этого ты еще хочешь, чтобы я с тобой здесь, на крыльце, в душеспасительную беседу вступил?

— Нет, на крыльце об этом не стоит, товарищ генерал,— серьезно ответил Будулай.

Генерал с неподдельным любопытством заглянул ему в глаза снизу вверх: уж не смеется ли над ним этот цыган? Нет, в его глазах не видно было и тени насмешки.

— Может быть, мне тебя к себе домой на утренний чай пригласить?

— Можете не беспокоиться, товарищ генерал,— с грустным сожалением, глядя на него сверху вниз, сказал Будулай.— Я уже пил чай.

И, встречаясь с его взглядом, генерал чего-то устыдился. Толкнув плечом дверь и кособоко поворачиваясь на тесном крыльце, чтобы пропустить Будулая в дом впереди себя, буркнул:

— Но только ты учти, что машина меня долго не может ждать.

Шофер «виллиса» успел и дозоревать, склонив голову на руль, и дважды прослушать по радио сводку погоды, но дверь, выходившая на крыльцо домика генерала, так и не отворялась. И посигналить под окнами, чтобы напомнить начальству о своем существовании, ни в коем случае не разрешалось. Генерал сам не любил опаздывать, и если он теперь задерживался, значит, была причина. Хотя вообще-то трудно было представить, что за причина могла заставить начальника конезавода столько времени — битых два часа — оставаться с глазу на глаз с этим цыганом, чей велосипед приткнулся сбоку крыльца к стволу клена. Солнце уже и в багровой краске успело выкупать его листву, и в оранжевой, и в желтой, а теперь перебирало ее своим перламутровым гребнем.

Наконец дверь открылась, и вслед за своим необычным гостем генерал вышел на крыльцо.

— А я было совсем уже подумал, что и тебя опять потянуло гоняться за ветром,— говорил он, грузновато спускаясь рядом с цыганом по ступенькам и застегивая на груди свой пыльник,— и совсем уже настроился развернуть тебя на все сто восемьдесят градусов, как дезертира чистейшей воды, но это же получается другое дело. И, я бы даже сказал, великодушно с твоей стороны. Может быть, и я на твоем месте поступил бы точно так же.— Генерал приостановился на последней ступеньке, на мгновение придержав Будулая рукой за плечо и тут же отпуская его.— А может, и нет.— И, уже сойдя с крыльца и останавливаясь перед ним под густой кроной клена, вздохнул: — Я всю жизнь, даже в карты, не любил оставаться в дураках. Нет, ты не обижайся, я уже сказал, что все это с твоей стороны благородно, ну и так далее, но тем не менее у тебя есть время еще раз все взвесить и перерешить. Никто же тебя отсюда в шею не гонит. — И, не дождавшись от Будулая ответа на эти слова, он догадливо заключил: — Значит, твердо?

— Твердо, товарищ генерал.

— И ты думаешь, они все это смогут оценить?

— Я об этом не думал, товарищ генерал.

— Ну что ж, как говорится, вольному воля. Откровенно говоря, не очень мне хочется в твоем лице и такого табунщика терять. Но и отговаривать тебя, как я уже сказал, не вправе. Во всяком случае, если не теперь, а потом ты передумаешь и захочешь вернуться, место для тебя на нашем конезаводе всегда найдется.

— Спасибо.

Но генерал, не хотевший, чтобы его хоть сколько-нибудь могли заподозрить в проявлении сентиментальности, тут же и пояснил:

— С табунщиками, как ты сам знаешь, у нас негусто. Так что можешь пока считать себя в долгосрочном отпуску без сохранения оклада.

— Спасибо, товарищ генерал,— повторил Будулай.

И опять начальник конезавода отвел его благодарность жестом:

— И что же ты теперь так от самого начала по этим своим картам и махнешь?

— По ним, товарищ генерал.

— А потом?

— Не знаю. Потом видно будет.

— Может быть, как твоих сородичей, опять потянет кочевать?

— Нет, я уже свое откочевал.

— Ну тогда запомни то, что я тебе сказал. И не спеши опять со своими благодарностями. Я начальник конезавода, а у нас с табунщиками дефицит.— И генерал круто повернул разговор в другое русло: — Если откровенно говорить, завидую я тебе. Я бы и сам давно уже во время отпуска вместо всяких там Цхалтубо и Сочей...— Он безнадежно махнул рукой.— Да, видно, так и не соберусь. Если бы я тоже, как ты, был один...— И он оглянулся на занавешенные зыбким, колеблющимся тюлем окна своего дома.— На чем же ты думаешь ехать?

Будулай положил смуглую руку на поблескивающий никелем руль своего велосипеда, прислоненного к стволу клена:

— Вот мой конь.

— Ну, на нем-то тебе далеко не уехать.— Генерал на секунду о чем-то задумался.— У вас, по-моему, на отделении два мотоцикла?

— Два, товарищ генерал.

— А деньги у тебя, надеюсь, есть?

— Мне их некуда тратить, товарищ генерал.

— Ну тогда вот что...— Пошарив у себя на груди под пыльником, генерал достал маленькую записную книжку и карандаш и, что-то коротко, размашисто написав на развернутой книжке прямо на весу, протянул Будулаю вырванный листок.— Внесешь в бухгалтерию все, что положено, и возьмешь мотоцикл себе.— Будулай хотел что-то сказать, но генерал не дал.— Без тебя знаю... И смотри мне, пока свой табун по акту не сдашь, не уезжай. Все поголовье пересчитать. В присутствии главного зоотехника и ветеринара. У вас за это время никаких ЧП не было? Все лошади целы?

— Все, товарищ генерал.

— А то я вас, цыган, знаю. Ну и прощай.

Но и после того, как он уже направился к своему «виллису», в котором шофер уже так и вкогтился в руль, как беркут в свою жертву перед взлетом, он еще раз оглянулся:

— А как ты все-таки думаешь насчет конницы, цыганский казак?

Будулай встретился с устремленным на него нетерпеливым взглядом и не мог ответить иначе, чем ответил:

— Жаль, товарищ генерал.

Бывший командир кавалерийской казачьей дивизии даже сделал шаг назад, к Будулаю:

— Вот и мне...— Но тут же он сурово махнул рукой и, запахивая свой пыльник, опять отвернулся к «виллису».

Из-под взревевшего «виллиса» вместе с синим дымом выпорхнула целая туча жирной черноземной пыли. И только после того, как она рассеялась, мазутными хлопьями оседая на придорожной траве, покатился по той же дороге на своем велосипеде к центру поселка и Будулай.

* * *

Сдвинулись цыгане. То по мягкой степной дороге нашептывают что-то невнятное копыта их лошадей, то вблизи городов опять выезжают на асфальт. В знойный полдень они оставляют на растопленном солнцем черном месиве дороги полукруглые чашечки следов, а зимой цокают по твердому четко и как-то даже горделиво. И опять, вынырнув из подворотен, бежит, приплясывая, вдогонку этому цокотанью начавшая было забываться людьми не очень веселая придумка о цыганах, заночевавших в морозной степи под рыбачьим бреднем: «А с чего это ты, сынок, так дрожишь?» «Ой, стужа, батя!» «Тю, а ты вот просунь палец скрозь бредень наружу. Вот где стужа».

Едут цыгане и по ночам. Над их головами созревают и осыпаются с колосьев галактики звезды, а иногда и свет спутника просверкнет в полумесяце серьги цыганки, приуснувшей под мягкий гул колес на ворохе тряпья в окружении своих детишек.

Не спит лишь цыган да его собака, не отстающая от колеса брички ни на шаг.

* * *

...Целая тьма шатров стоит по обеим сторонам веселой зеленой балки, вокруг вразброд пасутся на лугу лошади, и среди них

неразумные разномастные жеребята, а на дне балки не меньше дюжины цыган устроилось на корточках у своих маленьких дорожных наковален, и отец впервые позволил Будулаю подкачивать мех горна, и железо поет под молотками на всю степь, но это не может заглушить и той знакомой с детства песни, которую поют у большого костра цыганки.

Да, это та самая песня, которую ему когда-то часто пела Галя, а недавно напомнила и Настя. Славная девочка, но в эти годы еще нельзя до конца знать свое сердце и может показаться, что любишь, когда только хочешь любить. И он не мог поступить иначе. Если бы не это, то он бы, наверно, так и остался жить в этой табунной степи. Люди там хорошие, кругом тишина, и травы, травы...

Дайбогану очая...

Нет, это совсем не похоже на сон и не чудится ему. Глаза его давно уже открыты, вон скворец раскачивается на ветке, весь взъерошился, растопырил крылышки и закинул головку, сейчас должен затрещать, а вон удод неслышно, как призрачная тень, скользнул в листве. И совсем рядом, у щеки, красный муравей, как грузчик, ворочает втрое большую его самого личинку. А зеленая гусеница ползет к такой же зеленой кобылке.

Какой же это сон, если, кроме песни, еще так явственно потягивает и запахом дыма! И голос не Галин и не Настин, а совсем низкий, как мужской, хотя и женщина поет. Притом совсем близко, рядом.

Будулай сел и, еще не поднявшись, раздвинул ветки молодого, но уже густолистого дуба. Вдоль дубовой государственной лесополосы, которая с вечера приютила его, когда он обнаружил в своем мотоцикле небольшую поломку, тянулась грунтовая, хорошо наезженная и почищенная грейдером дорога, а через дорогу, сквозь седловину между двумя буграми, розовел далеко внизу под утренним ранним солнцем Дон и за ним почти сплошь задернутое сейчас пеленой тумана Задонье, откуда он вечером переправился на пароме. Лишь кое-где сквозь туман пробивались, расплываясь, еще не всюду погашенные по раннему времени огни левобережных станиц, полевых станов.

И вот в этой-то седловине, между двумя придонскими буграми, в падинке, и стояли три телеги с воздетыми кверху оглоблями, а посредине них курился дымок. Женщина, сидя у костра на корточках, что-то ворочала в нем палкой и вполголоса пела знакомую Будулаю цыганскую песню. Разбредшиеся вокруг лошади похрустывали травой.

Она не испугалась, когда Будулай, мягко ступая по траве, остановился у нее за спиной и по-цыгански сказал:

— Здравствуй.

Она спокойно повернула голову, и он увидел, что у нее уже лицо немолодой женщины, почти старухи, но глаза еще яркие и взгляд у них острый.

— Здравствуй, ром.— И опять продолжала ворошить палкой в костре, в котором у нее что-то пеклось.

— А где же ваши другие люди? — спросил Будулай.

— Там станица.— Коротко показала она палкой между буграми по уходившей под гору ложбине, считая излишним объяснять ему то, что он должен был и сам знать, как цыган.

И он больше ничего не спросил у нее, тоже присев против нее на корточки у костра. Выкатив из костра палкой печеное яйцо, она подкатила его Будулаю:

— Бери.

Он не стал отказываться, так как заметил, что в золе костра еще пекутся яйца, и, прежде чем очистить яйцо, стал перекатывать его, раскаленное, из ладони в ладонь. Она посоветовала:

— А ты положи его в траву. Роса.

И правда, в смоченной росой и сизой от нее траве яйцо сразу же остыло, и когда он стал очищать его, корка сама отделилась. Цыганка молча протянула ему ломоть хлеба с насыпанной на него кучкой соли и, выкатив из костра другое яйцо, для себя продолжала, хотя он ничего больше не спрашивал у нее:

— Но все равно они опять вернутся оттуда с пустыми руками. Не послушались меня.

Если бы он полюбопытствовал у нее, в чем же именно не послушались ее те, которые спустились в станицу, она бы, возможно, не стала больше откровенничать с ним, незнакомым ей цыганом. Но он, надкусывая яйцо вместе с ломтем хлеба, лишь взглянул на нее и этим, видимо, больше всего и внушил ей доверие:

— Я им говорила, что по задонским глухим хуторам можно скорее мел променять, но они же теперь старых и слушать не хотят. И моего тоже сбили.— И, отвечая на молчаливый вопрос в глазах у Будулая, пояснила: — Мы по-за Шахтами из-под Белой горы кирками мел вырубаем, мелем его и меняем по три блюдца за блюдце муки и по две цыбарки за цыбарку картошки. А если деньгами, то можно иногда за бричку мела и двадцать рублей наторговать. Но на этом берегу мы за два дня и полбрички еще не успели расторговать.— И, кивнув на подводы с мешками. туго набитыми чем-то белым, добавила: — Тут из-под придонских круч они привыкли сами какую угодно глину добывать: и желтую, и красную, и мел. А там, по-за Доном, глушь, там могут и за блюдце мела блюдце пшеничной муки дать.

После такой ее откровенности не возбранялось, пожалуй, и самому спросить:

— А как же вы теперь, так опять все время и будете с места на место переезжать?

Впервые она с сомнением и остропроницательно посмотрела на него:

— Ты или прямо с луны упал, или у тебя от цыгана одна только борода осталась. Кто же нам теперь позволит кочевать? — Она порылась рукой где-то за вырезом своей кофты и протянула Будулаю раскрытый на ладони паспорт, впрочем, не отдавая его ему в руки.— Видишь, тут штамп. Я теперь каждому могу доказать, что не где-нибудь, а в Бессергеневском совхозе живу. А это,— она кивнула в сторону бричек с мешками,— мне никто не запретит своей родной сестре для цикатурки дома отвезти... Мы, ром, в станице Бессергеневской, правда, на виноградниках работаем, а мужчины кто сторожует, а кто при лошадях.— И она с некоторой даже гордостью добавила: — У нас в совхозе жить можно. И свое вино есть.

Нехорошо было злоупотреблять чужой доверчивостью, но цыганке, видимо, наскучило одиночество у костра, и она сама рада была приоткрыться незнакомому человеку. А вокруг от травы под лучами утреннего солнца испарялась роса. Паслись на траве цыганские лошади. Внизу, сквозь седловину между буграми, виднелся Дон. И в огне костра весело сгорал прошлогодний бурьян. Будулай спросил:

— Зачем же вы опять ездите, если там можно жить?

И снова она бросила на него свой остропроницательный взгляд из-под быстро взметнувшихся век:

— Нет, тебе пора уже и цыганскую бороду постричь. Как будто ты и сам не знаешь. Я вот трошки посидела в степи у костра, поворошила память, и мне как-то легче. Не все то лучше, что лучше.— Она вдруг мимолетно заглянула ему за борт пиджака.— Так это, значит, ты и есть Будулай?

— Откуда ты меня знаешь? Я раньше никогда не видел тебя.

— Ты еще молодой, а я уже старая цыганка.— И она загадочно улыбнулась, на миг приоткрыв еще совсем крепкие и белые зубы.

Так он и не понял, что могла означать ее улыбка. Похрустывали травой лошади. Она повернула голову:

— А вот и наши идут.

Из-под горы, куда спускалась лощинка, донеслись голоса. Цыганка прислушалась:

— И, сдается, опять на дурницу. Вон как гомонят. Грызутся, должно. А моего Мирона что-то не слышно. Это, значит, они на него всем гуртом напали, что опять не туда их повел. Сами его сбили, и он же теперь виноватый.

Голоса снизу приближались, и вот уже из-под горы на серебристо-сизом от полыни склоне показалось многоцветное пятно. Будулай встал. Не хотелось ему оказаться сейчас среди своих соплеменников в этот час раздоров между ними.

— Уходишь?

— Спасибо тебе.

— А то бы, может, остался с нами, Будулай?

— Зачем? Ты же сама сказала, что мне пора уже и цыганскую бороду постричь.

— А ты уже и обиделся.— Она задумчиво пожевала губами.— Хочешь вместо моего Мирона к нам в старшие пойти? Моего молодые давно уже не хотят понимать. Ты, говорят, дед, для нас уже не ав-то-ри-тет, теперь другое время. А с молодыми цыганками и совсем сладу нет. Им говоришь, чтобы они больше юбки не подшивали, какая же это цыганка, если у нее будут коленки сверкать, а они скалятся: вот ты, бабушка, и закрывайся, все равно тебе уже нечего показать... Может, и правда, им нужен авторитет. Такой цыган, как ты. Еще нестарый и...— она снова заглянула за борт пиджака Будулая,— при орденах. Хоть ты, говорят, и слишком честным цыганом хочешь быть.— И она снова улыбнулась, на миг обнажив свои молодые зубы.— А моему Мирону уже пора освобождение дать. И с милицией в его года уже как-то совестно дело иметь. Оставайся, Будулай!

Из-за гребешка склона сквозь кусты шиповника уже завиднелись и головы поднимающихся из-под горы цыганок и цыган. Ссора между ними, должно быть, и действительно разгорелась нешуточная. Они все сразу кричали, размахивая руками.

— Нет, прощай.

— Ну, как знаешь.

И она сердито отвернулась от него.

Окончание следует.

Анатолий КАЛИНИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ЦЫГАН

* * *

Конечно, можно было и дальше ехать с этой поломкой — всего лишь надтреснутой тягой, как до этого, должно быть, зная о ней, ездил пол-лета на свидания со своей пасечницей второй табунщик. Но ехать на свидание и начинать опять весь тот путь, который был проложен на картах Будулая, все-таки не одно и то же. Тем более что и прямо здесь же, справа за лесополосой, дымится в низине труба какой-то мастерской, стоит лишь немного отклониться от шляха.

— Дело тут совсем пустяковое, и я бы не прочь,— откинув с лица эбонитовую маску, виновато говорил Будулаю сварщик,— но если наш директор совхоза узнает, что я цыгану уважил, он меня со света сживет.

— Почему?

— Потому что у нас директор тоже цыган.

— Непонятно.

— А вот ты попробуй сходи к нему за разрешением, и сам, может быть, поймешь. Тут всего через десять домов. А мне заварить нетрудно.

И захотелось Будулаю своими глазами посмотреть на этого самого цыгана, который может человека со света сжить, если тот захочет помочь другому цыгану. Что-то это мало было похоже на правду. Какая только слава не катилась за цыганами по земле, и самая горькая правда о них переплеталась с жестоким вымыслом, но о таком он слышал впервые.

Никакого цыгана в кабинете директора совхоза, куда вошел Будулай, не оказалось. Просто смуглый человек в темно-синем костюме со звездочкой Героя на груди сидел за письменным столом, почти утонув в глубоком кожаном кресле, и что-то старательно писал, низко скособочив голову, как ученик за партой. Тем более что и в сплошь седых волосах его, крупными кольцами упавших на лоб, нельзя было увидеть ни одного черного волоса.

Должно быть, этому сварщику из совхозной мастерской захотелось подшутить над Будулаем, цыганом, и теперь он там с товарищами дает волю смеху.

Громадные многоколосые снопы безостой пшеницы стояли по углам кабинета, справа и слева от письменного стола, за которым сидел директор. И Будулая он выслушал, не поднимая головы, продолжая писать. Лишь чуть-чуть замедлилось движение его авторучки по листу бумаги, лежавшему перед ним на столе.

— Ну и что же,— спросил он,— какой это умник мог вас с такой мелочью к директору послать? Пусть бы и заварили.

— Они говорят, что это ваш приказ,— по-цыгански сказал Будулай.

И только после этого директор поднял голову, взглядывая на него. Тут же Будулай и сомневаться перестал. У кого же еще и бывают такой густой черноты и такого горячего блеска глаза! Как расплавленная смола.

— Так бы ты сразу и сказал, это действительно мой приказ, и отменять его для тебя я не намерен. Можешь не просить.

— Я и не собираюсь,— сказал Будулай.

Директор опять с удивлением поднял глаза.

— А зачем же ты тогда заявился ко мне?

Он говорил Будулаю «ты», и Будулай решил отвечать ему тем же:

— Чтобы как следует посмотреть на тебя.

Директор совхоза насмешливо улыбнулся:

— Ага, значит, ты на меня обиделся, ром. Ну и теперь отваливай. Езжай и рассказывай по дороге всем другим цыганам, что есть, оказывается, среди нас один такой сукин сын, которого нужно за сто верст объезжать.

Будулай покачал головой:

— Нет, я скажу им, что ты действительно герой.

Директор невольно дотронулся ладонью до золотой звездочки у себя на груди и тут же, отдергивая руку, с угрозой сказал:

— Ну, ну, этого ты касаться не смей.

— Не грози никому, и сам не будешь бояться,— опять по-цыгански ответил ему Будулай.

Властный окрик остановил его уже у самой двери:

— Нет, подожди!

И когда Будулай вновь обернулся, он увидел, что директор совхоза уже не сидел в своем кресле, а стоял в углу, где были пшеничные снопы, и рылся в них.

— Вот.— И в руке у него вдруг сверкнул кнут. Обыкновенный, на вишневом кнутовище кнут, такой же, какой всегда носил за голенищем своего сапога тот же Егор, муж Шелоро.— Ты знаешь, это что?

Будулай спокойно сказал:

— Знаю также и то, зачем ты его у себя в кабинете держишь.

Стоя, директор совхоза оказался совсем небольшого роста человеком в темно-синих гимнастерке и брюках, заправленных в мягкие шевровые сапоги. Такие, какие обычно любят носить цыгане. Закидывая голову и закладывая палец за широкий желтый ремень, он с интересом уставился на Будулая.

— Ну и зачем же, по-твоему?

— Чтобы все могли видеть, как ты от этого цыганского кнута до звезды Героя дорос. И теперь можешь этим самым кнутом выгонять из своего кабинета всех других цыган.

— Вот ты, оказывается, какой, ром, догадливый.— Директор неожиданно улыбнулся.— Но только наполовину. Из кабинета я этим кнутом пока еще их не выгонял, а вот по степи действительно гнал. Вплоть до самой границы совхоза. Хотел бы я знать, как бы ты на моем месте поступил, если бы они украли у тебя одиннадцать лошадей? И не какие-нибудь проезжие цыгане, а те же самые, которых ты же и призрел, в новые кирпичные дома с ваннами и всеми прочими удобствами вселил, а их детишек одел и обул за счет директорского фонда. Конечно, после всего этого надо было бы их по всей строгости наших законов проучить, но я их по-цыгански проучил. Догнал на «Победе» в степи и...— Цыганский кнут коротко щелкнул у директора совхоза в руке.

— И после этого ты, конечно, считаешь себя очень добрым,— в тон ему сказал Будулай.

— А ты что же, хотел, чтобы я их в руки милиции передал? — с удивлением спросил директор.— И потом бы их за конокрадство лет на пять, а то и на все десять упекли? А детишки их за это время пусть хоть с голода перемрут, а? Небось, они мне же теперь и спасибо говорят. По-моему, лучше под кнутом побывать, чем под судом.

— Не все то, ром-директор, лучше, что лучше...— И, лишь сказав эти слова, Будулай вспомнил, что он и сам только что услышал их от старой цыганки. Вот, оказывается, они уже и пригодились ему, хотя она и имела в виду совсем другое.— И еще смотря, кто как на это смотрит. А по-моему, уж лучше под советский суд попасть, чем опять под кнут. Но, но, ты не сердись, ром-директор, и скажи, чтобы он не вздрагивал у тебя в руке. Жалею, что меня тогда не было в степи среди этих цыган. До этого они хоть и отсталые были цыгане и даже конокрады, но они уже были приучены советской властью, что на них никто не может руку поднять. А ты с них сразу всю эту науку своим кнутом сбил. А их дети в это время стояли и смотрели, как их отцов бьют. И теперь ты ждешь, когда тебе за это спасибо скажут. За то, что ты их сначала в своем совхозе воспитывал, а потом довоспитывал в степи кнутом.

Директор совхоза встревоженно спросил:

— Ты что же этим хочешь сказать?..

Но Будулай не дал ему продолжить:

— Только то, ром-директор, что ты уже можешь позволить себе быть таким добрым. Потому что ты уже не простой цыган, а герой. Ты уже вышел из цыган. А те другие цыгане так себе и остались, какими были. И ты уже можешь за то, что они еще кочуют, лошадей крадут и доверчивых людей дурят, не отвечать. Это уже не твоя печаль. У тебя совесть может быть спокойной.

— Ого, ты куда загнул,— с угрюмой насмешливостью сказал директор.— Я вижу, что ты подкованный ром. На все четыре ноги. Уж ты-то, понятно, не кочуешь?

Окончание. См. «Огонек» №№ 24—26.

— Не кочую,— твердо ответил Будулай.

— А если и передвигаешься сейчас куда-нибудь, то не иначе, как, например, в отпуск?

Должно быть, потому, что с самого детства Будулая приучили к мысли о невозможности для цыгана прожить без обмана, ему теперь так ненавистно было всякое подобие обмана, но он вспомнил свой последний разговор с начальником конезавода и, не колеблясь, подтвердил:

— В отпуск.

Директор совхоза прищурился:

— А может быть, ром, и к сродственникам в гости?

— Может, ром-директор, и к ним.

— И, конечно, при этом паспорт и все остальное, на всякий случай, при тебе?

Будулай весело подхватил, обнажая в улыбке все зубы:

— С печатью и со штампом, можешь в этом не сомневаться. Потому что для таких, как ты, самое главное, чтобы прописка была. Есть у тебя, цыган, в паспорте штамп — и, пожалуйста, кочуй дальше. Езжай хоть к родственникам, хоть в отпуск. Есть в твоем паспорте печать с государственным гербом — и, значит, ты не какой-нибудь злостный нарушитель Указа Верховного Совета, а хороший цыган. И даже сам милиционер возьмет тебе под козырек. А в душе все равно не поверит, что ты едешь к родственникам или в отпуск. Ведь даже и ты, ром-директор, сейчас мне ни капельки не веришь. Стоишь передо мной, закинув голову, и хочешь ослепить меня своей Золотой Звездой, а ни единому моему слову не веришь. Потому что я цыган. А значит, по-твоему, у меня ничего другого за душой не может быть, как у других людей. Ни какой-нибудь другой радости, кроме той, как бы получше кого обмануть, и никакой такой печали, какая бывает у всех других людей. Мы тут с тобой славно поговорили, ром-директор, и очень хорошо поняли друг друга. Роста ты хоть и небольшого, но голова у тебя, я вижу, хорошая на плечах, и ты с нею еще вполне свободно можешь вторую такую же звезду получить. Нет, ты ее ладошкой не прикрывай, не стыдись. Не у всех же цыган на груди звезды. И когда ты поедешь за второй звездой в Москву, не забудь туда с собой этот кнут прихватить. Выйди на трибуну прямо в Кремле, вытащи его из-за голенища своего шевровового сапога и скажи: «Смотрите, как я от этого батога до чего дошел! И теперь вы все можете любоваться на меня. В то время как другие цыгане все еще щелкают на дорогах кнутом. Несмотря на Указ. И неумытые, нечесаные детишки их все так же пляшут, поют и кувыркаются на базарах перед толпой. В то время как другие советские дети в формочках сидят за партами в школе. Опять раздается «бэсчауру» и щелкает кнут. И опять скрипят кибитки, мокнут эти цыганские детишки под дождем и мерзнут под открытым небом в степи. И пусть. Никто не виноват, что их отцы и матери нарушают Указ Верховного Совета. Главное, чтобы был Указ, а на нем круглая печать с гербом. А там каждый человек сам кузнец своего счастья. Лично я за себя спокоен». Так ты там, ром-директор, и скажи. Каждый сам по себе. Мы с тобой очень хорошо поняли друг друга. Но если бы...— тут Будулай сделал шаг к директору совхоза, взял его руку своей железной рукой и поднял ее вместе с зажатым в ней кнутом, слегка заламывая назад,—...если бы ты и со мной тогда встретился, гражданин директор, в степи, ты бы после этого уже никогда на человека кнут не поднял.

Со слегка заломленной назад рукой директор совхоза молча смотрел на него.

— А теперь спеши к своему телефону. Слышишь, звонит? Спасибо за внимание.

И, отпуская его руку, Будулай шагнул к двери.

Директор совхоза ринулся было за ним вдогонку, что-то объясняя... Но телефонный звонок, не умолкающий за его спиной, оказался сильнее, и он с полпути вернулся.

Возвращаясь домой той же дорогой, Будулай все-таки притормозил у раскрытой двери мастерской. Знакомый сварщик, обо всем догадавшись по его лицу, решил было посочувствовать ему:

— Я же говорил...

Но Будулай холодно прервал его:

— Проводи меня к вашему кузнецу.

В дальнем углу мастерской гудел большой горн с механическим дутьем. Громадного роста кузнец в роговых очках, только взглянув на руки Будулая и обменявшись с ним тремя словами, признал в нем тоже кузнеца и молча уступил ему место у своего трона. Конечно, сваренный газом на месте надлома металл схватывается крепче, но это еще зависит и от того, какой мастер. Оценивающим взглядом из-под вздетых на лоб очков хозяин этой кузницы наблюдал, как его гость берется за щипцы и за молоток, мысленно заключая, что хоть он, конечно, и мастер, но почему-то уже давно не держал в руках инструмент, а поэтому чересчур осторожно приступает к делу. Все делает правильно, не придерешься, но как-то несвободно. И украдкой захватывает ноздрями смешанный запах раскаленного металла и курного угля так, как если бы это был запах молодого степного сена.

— Включи-ка, Ваня, вентиляцию!—крикнул хозяин кузницы своему подручному, тоненькому, лет двадцати пареньку, работавшему из-за духоты в кузнице без рубахи. В полумраке его кожа смугло лоснилась.

Щипцы вдруг задрожали в руке у Будулая, и обыкновенный кузнечный молоток налился в другой его руке такой тяжестью, словно это был самый большой молот.

Хорошо, что к тому времени он уже кончил свою работу. И, конечно, этот подручный кузнеца был совсем другой Ваня.

Теперь он мог ехать и дальше, не опасаясь, что его подведет в пути его конь. На прочность своей кузнечной сварки он надеялся твердо.

И если в пути начнет подводить его память, он всегда сможет сверить ее с теми старыми военными картами, которые лежат у него в чемодане, притороченном за седлом к раме мотоцикла.

* * *

Как гонимые ветром клубки п е р е к а т и-п о л я, движутся по кромке степи цыганские брички.

И опять по пути их кочевья появляются на последних страницах районных газет «Советский Дон», «Звезда Придонья» или же еще каких-нибудь «Донских огней» стыдливые объявления: «Пропала кобыла. Масть гнедая. Белая звездочка на взлобье и в чулках на передних ногах. Кто найдет, просьба сообщить за вознаграждение по адресу...»

Куда там найти! И не могут же цыгане читать газет во всех тех местах, через которые проезжают они, почти не задерживаясь. Мимо и мимо. Как гонимые по степи ветром клубки перекати-поля.

— Кони уже пристали, Шелоро. Надо им дать попастись.

— Вот доедем до станицы и пустим. А тут нигде и поджиться нельзя. Дети с самого вечера не евши.

— Нет, там, под горой, тоже какие-то хатки есть.

— Да цытьте вы, горластые! Где я вам возьму?!

— А этот косой скоро и совсем упадет.

— Ну и зараза же твой Будулай. Из-за него мы теперь как на волах едем. Ничего не стоило ему обменять.

— А ты думаешь, генерал не доглядел бы? От него ничего не скроешь.

— Я кому сказала? Вот я вас сейчас батогом накормлю! Навязались на мою душу!

— Никто тебе не виноват, что ты их каждый год по двойне катаешь.

— Другие цыганки за своими мужьями как у Христа за пазухой живут. В своих домах.

— И у нас был свой.

— То казенный.

— А тебе оно воняло, казенный или нет!

— В любой момент могли попросить.

— Люди всю жизнь живут, и никто их не просит.

— Вот бы ты и жил.

— А ты уже забыла, кто первый «бэсчауру» сказал?

— Другие мужья из Москвы на самолетах чемоданы с заграничными кофтами возят, а цыганки только торгуют.

— Вот ты у меня скоро тоже схватишь батога.

— Ты только это и умеешь.

— Тпрр-у! Всё! Они уже совсем не хотят идти. Что-то это место мне будто знакомое? Не узнаешь?

— Ничего я не узнаю.

— Но тут же еще должна и могилка быть. А может, это и другое место.

— Хоть бы вы повыздыхали все! Только бы жрать и жрать.

— И их с собой возьми. Все-таки, когда с ними, лучше подают.

— Я сама не пойду!

— Не могу же я коней бросить!

— Все равно тут везде одно казачье. У них зимой снегу не выпросишь.

— Такие же люди, как и везде.

— А казачки аж еще злее.

— От этого нового птичника на том краю и заходи.

— А мешок мне зачем?

— Они больше без зерна не могут идти.

— Все я да я. А ты тут будешь под бричкой в холодке лежать.

— Ступай, Шелоро.

— Кабы мы не одни ездили, было бы на кого и коней бросить.

— Ты сегодня выпросишь у меня!

— Я же ни при чем, что ко мне все другие цыгане пристают.

— Ну!

— Не грозись. Я и так уже иду. Будь она проклята, эта жизнь!

* * *

Молодые цыплята хлопьями снега застлали вокруг птичника зеленый склон. Но две женщины в такой же девственной белизны халатах следили, чтобы они не отбегали слишком далеко. А против коршунов у них лежало на врытом в землю столике охотничье ружье.

Из двух женщин Шелоро сразу же, еще только спускаясь из степи по склону, выбрала старшую, потому что издали услышала, как другая испуганно крикнула ей:

— Смотрите, мама, цыганка идет!

И Шелоро тут же отметила, как старшая сказала на это:

— Ну и пусть себе, Нюра, идет.

— Она, мама, прямо к нам идет.

Теперь уже и Шелоро сочла возможным вмешаться:

— Не бойся, красавица, ты уже в мой мешок не влезешь.

Сероглазая девушка, вылитая мать, так и залилась краской, прикрывая лицо рукавом халата. И потом уже все время, пока Шелоро разговаривала с ее матерью, она держалась от них поодаль.

Шелоро поскорее надо было избавиться от тяготившей ее со вчерашнего вечера заботы, и она сразу же предложила женщине, едва увидела лежавшую на столике рядом с ружьем буханку хлеба:

— Ты мне отдай эту хлебину, а я тебе погадаю на твоего короля.

И, доставая из кармана юбки, она веером распустила на ладони карты. А ее черноглазые детишки, уцепившиеся за ее юбки со всех сторон, так и впились глазами в буханку хлеба. И не успела женщина молча протянуть их матери хлеб, как они тут же своими цепкими ручонками разорвали буханку на части.

— Какой у тебя король? — складывая веер и тасуя карты, спросила Шелоро.

Ей все время казалось, что эта женщина как будто присматривается к ней, узнавая и не узнавая, и под ее взглядом Шелоро с беспокойством старалась вспомнить, не приходилось ли им, и правда, как говорил Егор, уже бывать в этих местах и оставить здесь после себя какой-нибудь след, как

это иногда случалось... Но нет, по верху, когда-то давно, они действительно проезжали, а в хутор не спускались.

— Мне не нужно гадать. Я и без этого все знаю о себе,— отказалась женщина.

И с лица Шелоро она переводила взгляд на ее детишек, которые так и рвали зубами хлеб. От Шелоро не укрылось, как при этом страдальчески изламываются ее брови.

— Ты бы мне насыпала зерна,— сказала Шелоро, развязывая обмотанный вокруг пояса мешок.

Женщина покачала головой.

— У меня здесь нет моего зерна.

— А курей ты кормишь чем?

— Это все — колхозное.

— Ну тогда яичек дай для них, а они за это для тебя и для твоей дочки по-цыгански споют и спляшут.

И тотчас же по ее знаку серебряным хором зазвенели голоса ее детей, и они начали плясать, кувыркаясь у ее ног. Даже самый маленький, ползунок, которого Шелоро спустила с рук на траву, загудел, надувая щеки, и завертел ладошками, не желая отставать от своих старших сестер и братьев.

— Нет, нет! — испуганно замахала руками женщина.

И тут же по знаку Шелоро ее дети перестали петь и плясать.

От всего она отказывалась, что могло сегодня принести заработок Шелоро. Не из-за одной же буханки хлеба она спустилась из степи в хутор! А наверху лежал под бричкой Егор и поджидал ее с добычей.

И все-таки Шелоро не могла отделаться от ощущения, что эта женщина все время присматривается к ней и даже, похоже, о чем-то хочет ее спросить. Но не спрашивает. И когда потом взгляд ее опять соскальзывал к детям Шелоро, она тоже как будто всматривалась в них, жалостливо изломав брови. От буханки хлеба, которую они разорвали между собой, только и оставалась еще маленькая корочка в руке у ползунка, но глаза у них все еще лихорадочно блестели.

Внезапно женщина крикнула, повернув голову к своей дочке:

— Ты, Нюра, побудь тут одна, а я схожу домой.— И она кивнула Шелоро: — Пойдем со мной. Я тут недалеко живу.

Все люди на окраинной улочке хутора так и поприлипали к окнам и даже повысыпали во дворы к заборам, увидев, как вслед за Клавдией Пухляковой шествует к ее дому цыганка с целым выводком детишек, подметая своими юбками хуторскую пыль... За той самой Клавдией Пухляковой, которая раньше всегда боялась цыган больше всего на свете.

Ничуть не смущаемая этим всеобщим вниманием, Шелоро спрашивала по пути, поворачивая головой по сторонам:

— А это у вас не кузня?

— Кузня.

— А почему замок на ней?

— Кузнеца нет.

— И давно?

— Второй год.

— Уволили его или сам ушел?

Ответы ее спутницы становились все более неохотными и глухими:

— Сам.

— Значит, мало платили ему?

— Нет, не мало.

— А почему же тогда он ушел? — И не получив на этот вопрос никакого ответа, Шелоро вздохнула: — У меня муж тоже хороший кузнец. У вас тут колхоз или уже совхоз?

— Колхоз.

— А председатель дюже строгий или ничего?

Женщина опять не ответила Шелоро, и та продолжала спрашивать:

— Как ты думаешь, он мог бы моего мужа к вам в колхоз взять?

На это ее спутница твердо ответила:

— Нет.

— Почему? — И не получая ответа, Шелоро даже приостановилась, сообразив: — Может быть, у вас и до этого кузнецом цыган был?

Ее спутница только коротко кивнула, прибавляя шаг. Но Шелоро все поняла:

— А!

На этом все ее расспросы и прекратились. И всю остальную часть пути до дома этой женщины они шли уже молча.

Все, что только может быть наготовлено в доме на несколько дней вперед, было извлечено из погреба и выставлено на стол под большой яблоней во дворе перед этими ребятишками, черными, как грачата. И все же еще окончательно так и не угасал в их глазенках этот сухой блеск, хватающий за самое сердце. И до чего же вдруг могли напомнить они те, другие глаза, принадлежащие когда-то такому же, но теперь уже совсем большому, грачонку.

Всё подобрали: и целую большую кастрюлю борща, разогретого ею для них на летней плите во дворе, и две сковороды жареной картошки, залитой двумя десятками яиц. И теперь кружка за кружкой поглощали молоко, которое у нее всегда отстаивалось в погребе в махотках на сливки. Даже грудному ползунку и тому оказалось мало одной кружки.

А Шелоро тоже сидела рядом со своими детьми под яблоней за столом, почти не ела ничего, чтобы им досталось больше, и потихоньку наблюдала за хозяйкой, удивляясь этой щедрости и теряясь в догадках. За свою многоопытную жизнь ей приходилось встречаться с разными людьми: и с добросердечными, и со скаредными до последней степени, и с теми, доверчивыми, которых ничего не стоило обмануть, и, наоборот, с другими, которые натравливали на нее и ее детей собак. Но с подобным она сталкивалась впервые. К такому обращению она не привыкла. Как если бы она приехала в гости к своей родной сестре и та не знает, как же ее еще получше угостить вместе с ее многочисленным потомством.

Какая-то женщина, проносившая мимо по улице на коромысле ведра, с любопытством заглядывая через забор, крикнула хозяйке:

— Нюра приказала, чтобы ты сейчас же верталась на птичник!

Шелоро понимающе усмехнулась:

— Строгая у тебя дочка. Боится, как бы ее мать цыгане с собой не увели.

Но все-таки пришло наконец время насытиться и для этих грачат, и они уже могли отвечать на вопросы:

— Тебя как зовут?

— Егор.

— А тебя?

— Таня.

— Ну, а вас, конечно, Миша и Маша, да?

Шелоро, улыбаясь, подтвердила:

— Смотри, как ты угадала.

Ничего, понятно, необычного в этом не было: почти в каждой цыганской семье детишкам давали такие имена. И люди об этом знали.

И только самый маленький еще не мог принимать участия в этой беседе с чужой тетей. Мать спустила его с колен, и он теперь проворно путешествовал на четвереньках под столом, пуская молочные пузыри и радуясь чистому серебру донского песка, устилавшего землю.

Дети были как дети. Наелись и вот уже болтают под столом ногами, исподтишка, незаметно для материнских глаз, подзуживая и шпыняя друг дружку. И даже имена у них такие же, как у русских детей. Но, оказывается, что эти грачата, отвечая на вопросы, еще приучены были не забывать и той запретной черты, за которую чужим взрослым не полагалось переступать, испытывая их откровенность:

— А как же, Егорка, твоего отца зовут?

Грачонок только на одно мгновение сверкнул своими глазенками в сторону матери, переставая болтать под столом ногами. Шелоро поощрительно улыбалась. Но он все же на всякий случай ответил так, как был приучен отвечать:

— Не знаю.

— Может быть, и ты, Таня, не знаешь, как зовут отца?

Тот же стремительный просверк в сторону матери, и тот же ответ:

— Нет.

— Ну, тогда, значит, мне самой придется отгадать, как вашего отца зовут.

Теперь уже грачата, вступив в игру, с нескрываемым веселым любопытством смотрят на эту тетю, наперед зная, что ей, конечно, ни за что не удастся отгадать.

— Его зовут так же, как и тебя: Егор.

Улыбка, играющая на губах у Шелоро, останавливается как приклеенная. Во второй раз эта женщина угадала правильно. Но в конце концов ничего необычного и в этом нет. Кому же не известно, что почти во всех семьях мальчикам-первенцам чаще всего дают имена их отцов!

— Тебе бы надо цыганкой быть,— смеется Шелоро.

— А в школу, Егорка, ты уже начал ходить?

И снова этот просверк черной молнии. Шелоро подхватывает:

— Нет, им с Таней еще только осенью идти. Они у меня двояшки. Но в детский садик там, где мы завсегда живем, они ходят.— Шелоро заискивающе поясняет: — Это мы только на летнее время трогаемся трошки поездить по степи, вспоминаем старинную жизнь, а зимой постоянно на конезаводе живем, за Доном.— И, боясь, что ей могут не поверить, она начинает нанизывать подробности, какой у них там на конезаводе за Доном, где они постоянно живут, детский сад: — Двухэтажный, как городской.— Она горделиво кладет руки на кудрявые спутанные головки Миши и Маши.— Их там и под пианину учат танцевать. И во дворике наш начальник, генерал, приказал специально для них бассейну сделать. У нас там такой речки нету, как у вас, одни озера и ставки. А свою заведующую они не иначе, как мамкой Настей зовут. Своих детишек у нее пока нету, еще не нажила, так она об чужих еще дюжей беспокоится, чем родная мать, хоть и тоже цыганка. Но теперь она, слава богу, уже замуж вышла и у нее пойдут свои дети.

Чисто женское желание высказаться на эту тему до конца мешает наблюдательной Шелоро обратить внимание, как при этих словах окаменевает лицо ее слушательницы, взгляд ее убегает куда-то в сторону, и губы смыкаются твердой складкой. С заблестевшими глазами Шелоро поближе наклоняется к ней через стол:

— Все там у нас так и ожидали, что она за одного замуж выйдет, а она взяла и выскочила за другого.

Шелоро польщена, что ее рассказ не оставляет эту женщину равнодушной:

— За кого же?

— Не за цыгана, а за одного русского шофера.

— А тот как же?

— Кто?

— Тот... цыган.

— Так ему и надо,— мстительно говорит Шелоро.— Нехай долго не перебирает. А то он хочет самым честным цыганом быть.— И вдруг Шелоро умолкает, обиженная тем, что ее слушательница, эта женщина, неожиданно смеется каким-то странным смехом.— Ты что же думаешь, среди цыган совсем и честных не может быть?

— Нет, нет! — испуганно отмахивается женщина обеими руками.— Это я совсем не о том.— И, к удивлению Шелоро, она неожиданно предлагает: — Пойдем со мной.— Ко все большему удивлению Шелоро, она ведет ее с собой в сарайчик, в котором у нее стоит большая кадушка, до краев насыпанная зерном, пшеницей.— Держи-ка свой мешок.

И сама же ведро за ведром начинает пересыпать из кадушки в подставленный Шелоро мешок отборное, чисто провеянное зерно до тех пор, пока Шелоро не говорит с жалобным вздохом:

— Больше мне не унести с собой.

Вот когда ей особенно приходится пожалеть, что ее Егор так и не пошел с ней в хутор, а лежит теперь под бричкой в холодке и дрыхнет.

Но, оказывается, и это еще не все. Женщина достает из-под яслей круглую плетеную корзинку с ручкой, полную крупных яиц, и протягивает Шелоро:

— Бери.

— А во что же я их пересыплю?—растерянно спрашивает Шелоро.

— Бери с корзинкой. У меня еще другая такая же есть.

Все это похоже на сон. И вообще Шелоро начинает казаться, что эта женщина както не в себе. Еще пять минут назад она была совсем другая. Только что разговаривала совсем спокойно, расспрашивала детей Шелоро, а теперь и руки, которыми она передает корзинку, трясутся и лицо все время меняется: как будто ураганы проносятся по нему. Не поймешь, заплачет она сейчас или засмеется. И вообще это все не может предвещать ничего хорошего. Надо, пока не поздно, убираться отсюда, а то она же потом еще и закричит, что ее обокрала цыганка. И люди, увидев у Шелоро эту корзинку с яйцами и полмешка с зерном, конечно, ей поверят.

Но и отказаться от всего этого добра Шелоро не в силах, когда за ее юбку уцепилось столько ее грачат, а там, в степи, поджидает ее Егор, тоже с самого вечера ничего не евший.

И уйти Шелоро не может, так и не отблагодарив эту женщину хоть чем-нибудь.

— Все-таки дай я тебе погадаю на твоего короля,— говорит она, снова доставая из кармана своей юбки цыганские карты.

Женщина со своим — непонятно — смеющимся или плачущим лицом отстраняет от себя ее карты.

— Ты мне и так уже все нагадала. Я теперь тебя никогда не забуду. Спасибо тебе.

Совсем какая-то чудная. Накормила ее с детишками до отвала, насыпала полмешка пшеницы и отдала корзинку яиц да еще же и спасибо говорит. Нет, надо поскорей уходить.

А еще говорят, что казачки злые. Если все такие же злые, то, может быть, Егору и правда наняться в этот колхоз кузнецом. И место здесь красивое, Дон. Но пока нужно подобру-поздорову отсюда убираться. Пока еще не кончилась эта сказка.

Поднимая с земли ползунка, Шелоро лишь слегка щелкнула языком, и вся стайка ее грачат так и выпорхнула за ворота на улицу.

— До свидания. Счастливо тебе оставаться.

— До свидания, до свидания,— говорила женщина, помогая ей получше умостить перекинутый через плечо перевязанный надвое мешок с зерном.— Как же ты с ним и с дитем на гору пойдешь? Может, подсобить тебе?

— Нет, не надо, своя ноша не тянет,— отказывается Шелоро.— А корзинку Егорка с Таней вдвоем понесут.

Уже у калитки ее догоняют слова женщины:

— Еще, Шелоро, чуток подожди.

Шелоро невольно вздрагивает, оборачиваясь. Почти суеверный ужас охватывает ее. Откуда этой женщине может быть известно ее имя? И до этого она, значит, неспроста отгадала, как зовут ее мужа и детей. Шелоро привыкла к тому, что доверчивые люди верят ее отгадываниям их прошлой, настоящей и будущей жизни, а тут, оказалось, ее собственная жизнь известна этой женщине, с которой она встречается впервые.

Тем временем эта женщина уже и поднялась по ступенькам к себе в дом и уже вернулась с чем-то в руках, завернутым в бумагу.

— А это для твоих Тани с Егоркой форточки, когда они в школу пойдут.— И виновато добавляет: — Конечно, не новые, но еще хорошие. Это у меня осталось от моих Нюры с Ваней еще с тех пор...— Но тут она, очевидно, обо всем догадывается по лицу Шелоро и спохватывается: — Ах ты, господи! Да ты, кажется, испугалась, Шелоро?! Это я, дура, виновата. Ты-то меня не знаешь, а я тебя видела, когда приезжала к вам в поселок и попала к вам в клуб. Я тебя теперь не забуду, Шелоро.

...И все-таки Шелоро еще долго потом оглядывается и почти рысью взбирается со своей ношей по склону в степь, где ее ждет Егор.

* * *

— Тебе, мама, не спится.

— Не спится, Нюра... А может быть, мне теперь обо всем Ване написать?

— Нет, мама, в письме, вот так сразу, об этом нельзя. Ну, сама посуди, получит он письмо и вдруг так сразу и прочитает, что ты ему не родная мать. Об этом в письме нельзя, это надо как-то не так объяснить, может быть, даже лучше, мама, если я сама за это возьмусь, когда опять поеду его проведывать в том месяце. А то еще, может, он и раньше сам к нам заявится, у них тут где-то близко учения должны быть. Но только он мне сказал, что это военная тайна.

— Ты, Нюра, права. Что бы я без тебя делала? А все-таки, может быть, мне легче будет в письме? Ну как это я ему в глаза скажу, что он мне не сын?

— Как же, мама, не сын, если он такой же сын, как родной. Даже еще роднее должен быть для тебя, чем я, потому, что ты столько натерпелась из-за него. Нет, нет, не говори, я же знаю, что ты любишь меня, но мне и самой теперь Ваня, после того как ты рассказала, как-то еще роднее стал... А вот Будулаю, мама, ты обязательно напиши. Он же так ничего и не знает, а время идет. Напиши и про то, как ты по всему правому и левому берегу Дона искала его, и как нашла, и потом...

— Ты, Нюра, думаешь, это будет хорошо, если я ему сама напишу?

— А ты думаешь, это лучше, когда два человека давно уже любят друг друга и сами же как будто этого стыдятся? Он ведь там все еще думает, что ты по-прежнему боишься его, и совсем не знает ничего. А время, мама, идет.

— Да, да, Нюра, идет. И если ты говоришь, что это надо, то я ему теперь же напишу. Сегодня ночью. А завтра утром письмо уже уйдет. Все равно я эту ночь не буду спать. Господи, я, Нюра, и сама не знаю, что это такое творится со мной. Ты меня, пожалуйста, прости, я ведь уже не девочка, а как будто с ума сошла. Открой, Нюра, окно, смотри, какой по Дону большой пароход идет, сколько разных огней! И молодой месяц уже прорезался над островом, видишь? Ты ложись, доченька, спать, а мне, пожалуйста, два листка из своей тетрадки вырви.

Давно спит Нюра, а снизу, из-под яра, блестит вода. Ох, как это трудно, оказывается, написать письмо! Учиться Клавдия дальше семилетки так и не пошла, а потом замужество, и так оно уже и осталось на всю жизнь. И пальцы ее всегда не карандаш сжимали, а держак лопаты, которой она убирала за свиньями, и ножки секатора, когда она ходила вместе с другими вдовами на обрезку лоз в виноградный сад. Да и не приходилось, некому ей было писать письма потому, что ее мужа, Нюриного отца, сразу же, как только взяли его на фронт, и убило там в первом же бою, так она ни одного треугольника и не получила от него. И теперь, когда Ваня поступил в училище, письма ему обычно пишет Нюра, а она только сидит рядом и иногда подсказывает, заглядывая ей через плечо.

Совсем не слушаются пальцы, сжимающие карандаш. Да и легко ли писать такое письмо женщине, которой уже под сорок лет?

* * *

Письмо около месяца пролежало на почте в поселке конезавода и потом письмоносица занесла его утром вместе с газетой «Табунные степи» Насте Солдатовой.

— Может, этот Будулай напишет тебе или еще кому-нибудь из ваших цыган, а нам его девать некуда. И обратного адреса на нем нет.

Насте еще никогда не приходилось читать чужих писем, да и не было у нее для этого случая. И весь день, дотемна, она, борясь с искушением, носила письмо с собой, ощупывая пальцами пухлый конверт в кармане кофты. И иногда украдкой вынимая его, она приходила к заключению, что адрес на нем написан женской рукой.

Но к вечеру она уже не смогла с собой бороться. Искушение было слишком велико. А на конверте ведь и правда обратного адреса не было.

И уже поздно вечером, накормив своего мужа Михаила после его возвращения из дальнего рейса и уложив спать, она все-таки вскрыла конверт. Помочила его козырек по шву и с облегчением обнаружила, что отклеивается он совсем легко. Наморившийся за время трудной поездки Михаил непробудно спал в соседней комнате, не зная и не подозревая, о чем это плачет и что оплакивает его молодая жена, поставив на стол локти и читая какое-то письмо.

До утра Настя не раз перечитала письмо этой женщины, которую она так никогда и не видела, но которая, оказалось, видела ее у костра в ту ночь.

Уснула уже под самое утро, впервые пропустив и ту минуту, когда Михаил уходил в гараж. И он пожалел будить ее, решив, что позавтракает в столовой во время перерыва.

И еще два дня Настя не расставалась с письмом, доставая его из кармана кофты и в детском саду, когда всех ее беспокойных подопечных укладывал по их кроваткам м е р т в ы й ч а с. Вскоре она уже знала его на память, и перед ее глазами, когда она купала в ванночках детишек, возвращалась после работы на мотоцикле домой или же собирала Михаилу на стол, то явственно вставала картина, как эта женщина скачет верхом на Громе ночью по степи, то ее слова, что Ване за хорошую службу обещали досрочно дать отпуск домой, то как перехоронили Галю с отцом из одинокой могилы в степи в общую, братскую, в центре хутора.

Все эти дни Михаил смутно чувствовал, что Настя какая-то не такая была, как до этого, и со вновь вспыхнувшими сомнениями спрашивал у нее:

— Что с тобой?

— Я тебе потом все расскажу,— отвечала Настя.

За эти два дня она и две жизни прожила: чужую и свою. На утро третьего дня, когда Михаил уходил на работу, протянула ему вновь заклеенный домашним клейстером конверт.

— Возьми, Миша, это письмо и держи его всегда при себе. Только не потеряй. Ты все время ездишь на своей машине по степи и, может, когда-нибудь встретишь его.

— Кого?

— Будулая.

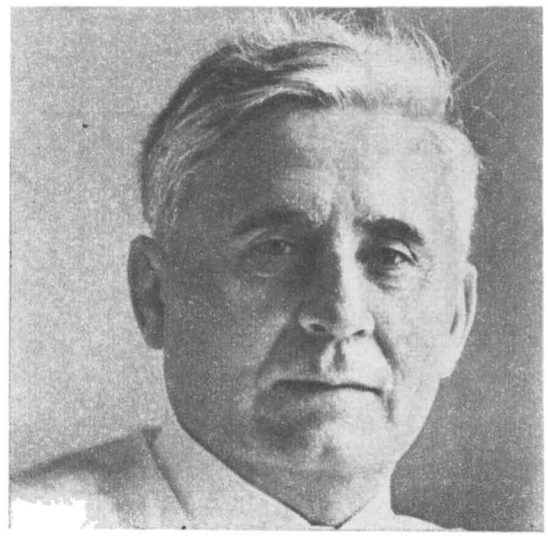
Михаил нахмурился, но она выдержала его взгляд.

— Не дури. Мы уже с тобой переговорили об этом все. А это и для тебя хорошее письмо. Оно ему от той женщины, о которой я рассказывала тебе.— Настя помедлила и словно бы пересохшим голосом продолжала: — Она его зовет к себе, а он и не знает ничего.

Анатолий КАЛИНИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.



ЦЫГАН

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Перед вечером он обычно шуршал своими старыми военными картами где-нибудь в домике дорожного ремонтера, в вагончике трактористов или же в пустой сторожке, приютившей его на ночь, а с утра, с самого рассвета, дорога опять начинала шуршать под колесами его мотоцикла зерном, просыпанным при перевозке из кузовов автомашин и смешанным с пылью астраханским песком,— это когда из-за Волги опять, как с цепи, срывалась черная буря и набрасывалась на степь, догладывая ее. Тогда и днем только с включенной фарой надо было пробиваться сквозь завесу мглы.

И сразу же оказалось неправдой, что не было на земле места, где могли бы его ждать, и никому уже не нужен он был, как перекати-поле, гоняемое из края в край степи ветром.

Тот же полковник Привалов, едва завидев его на пороге, уже кричал своей жене, заставляя при ее имени Будулая невольно вздрогнуть:

— А-а, тебя-то мне и нужно! Ты, Клава, только посмотри на него! Теперь он у меня ответит, как пленного повара за генерала выдавать.

Как если бы расстался он с Будулаем только вчера, а не двадцать лет назад. И вышедшая на его крик из кухни жена, вытирая о передник испачканные в муке руки, тоже с ходу заступалась за Будулая:

— Но сперва он должен поесть. У меня как раз обед готов.

— Ты у него и раньше заступницей была. Пусть скажет спасибо, что тогда не под горячую руку к Селиванову, а прямо к тебе в госпиталь попал. Он теперь сполна отчитается, как ротного повара за самого Штеммермана выдавать.

— Зачем же ему отчитываться, если он тут совсем ни при чем?

Привалов непритворно изумлялся:

— Как это ни при чем? Может быть, ты еще скажешь, что и в разведке тогда не он, а какой-то другой цыган служил?!

Пришло время и Будулаю вставить свое слово:

— Нет, Никифор Иванович, это я служил.

— Вот видишь! — И Привалов торжествующе поворачивался к жене.

— Но этого повара не наша, а шестьдесят третья дивизия в плен брала,— с улыбкой заканчивал Будулай.

У Привалова еще больше округлялись глаза.

— Разве? — Но тут же он отмахивался:— Все равно я вас, разведчиков, знаю, подлецов.

Теперь уже его жена не на шутку ужасалась.

— Как тебе не стыдно! Вы его не слушайте,— говорила она Будулаю,— а садитесь за стол, вот сюда.

А Будулай, улыбаясь, смотрел на Привалова через стол, слушал, с какой он отчетливостью выговаривал «подлецы», и последние сомнения покидали его. Если бы у него до этого и оставались еще сомнения, то теперь уже не было ни малейших: все тот же. Несмотря на то, что уже два десятка лет прошло и ни одной черной искорки не простегивало теперь в его некогда густом казачьем чубе, а глаза уже воссияли тускло хрустальным блеском, как будто подплавились они.

— Пусть говорит что угодно, а вы ешьте борщ,— говорила его жена, подвигая Будулаю тарелку.

Однако и Привалова не так-то легко было сбить с ноги, наступившей на стремя излюбленной темы.

— Самого Конева чуть в заблуждение не ввели.— И все еще густые брови двумя кустами поднимались у него кверху.— Совсем было от него со своим начразведки получили по ордену Красного Знамени за доставку в штаб фронта самого командующего окруженной группировки, когда кто-то досмотрелся, что руки у этого командующего из рукавов мундира по локти торчат... Нет, пусть он сам же и рассказывает тебе.— Привалов спешил расстегнуть воротник своего чесучового, без погон кителя.

Но взором бывшего разведчика Будулай уже успел заметить и другой китель, с погонами и в латах орденов, поблескивающих из-за приоткрытой в соседнюю комнату двери. А его жены, казалось, и вообще не коснулось время. Может быть, и потому, что, так заиндевев тогда на фронте за одну ночь, она теперь только дотягивалась до самой себя. Прерывая Привалова, она лишь подстегивала его:

— Достаточно с меня и того, что я через два дня на третий слышу это от тебя. Ты же не даешь человеку слова сказать. Вы, Будулай, расскажите нам о себе. Мы же не виделись столько лет, и, конечно, за это время вы уже успели найти...

Все так и напрягалось в Будулае. К его облегчению, Привалов тут же и отводил ее слова решительным жестом.

— Об этом вы еще успеете наговориться, ночь впереди.— Он и прежде, бывало, если начинал что-нибудь рассказывать, должен был выговориться до конца. Но перед этим ему требовалось немного помолчать, глядя в одну точку перед собой и заглатывая полуоткрытым ртом воздух, чтобы справиться с разбирающим его смехом.— Вот тут-то и выяснилось, что это всего-навсего повар... «Как же вы, подлецы, могли его за генерала принять?» «Так они же, товарищ комфронта, из-под Корсуня в одном белье спасались, а этот из них был самый гладкий». «А как же на нем оказался генеральский мундир?» «Неудобно же было, товарищ командующий, его в штаб фронта телешом представлять».— И, задыхаясь, Привалов рвал на воротнике своего кителя крючки.— А ротного повара за командующего группировкой этим подлецам удобно было выдавать...

Теперь Будулай наверняка знал, что сегодня еще не раз ему придется услышать это слово. И только тот, кто не знал Привалова, мог бы и не понять, что оно далеко не всегда совпадало у него со своим первоначальным смыслом.

— А ты знаешь, где теперь этот твой начразведки Жук живет? (Нет, Будулай не знал, он только молча ответил на взгляд Привалова своим взглядом.) Он, оказывается, подлец, еще когда корпус от Кизляра наступал, себе для своей будущей послевоенной жизни Ставрополь присмотрел. Там у них с сыном Парамона Самсоновича Куркина целое братство. И нас с Клавдией Андриановной в каждом письме зовут. Но если бы нам теперь поехать по месту жительства всех бывших донцов...— Не договорив, Привалов коротко бросил жене: — Принеси-ка!

И на этот раз без малейшей попытки вступить в пререкания, молча повинуясь его почти

См. «Огонек» №№ 50—52 за 1960 год, 47—50 за 1968-й и 24—27 за 1969 годы.

фронтовому приказанию, она вышла в соседнюю комнату и, вернувшись, высыпала перед ним из своего передника на клеенку стола целый ворох почтовых открыток и надорванных конвертов. Пальцы Привалова сразу же и зарылись в них, как в песке.

— Многих из них ты, конечно, знаешь, Будулай, но кое-кого можешь и не знать. Иногда у нас в корпусе и до тридцати тысяч находилось в строю. А теперь уже скоро и несколько сот не наберешь.— Пальцы Привалова шелестели в этой почтовой россыпи на столе.— Если теперь к Гайфулину, комэску из шестьдесят четвертого кавполка, перебираться в Армавир, то почему же тогда не к Дудникову в Туапсе, комполка из шестьдесят третьей каде, он тоже из героев герой. А если в Махачкалу к Асенову из разведдивизиона, ты его лучше меня знаешь, Будулай, то, значит, отказать Фролову, который от самого Терека шел и умудрился, подлец, перед концом войны ноги потерять, теперь по Киеву на протезах ходит. И полковник Чебураков, бывший начоперотдела, клянется, что у него в Москве тоже лишняя жилплощадь есть. А Тихон Томахин, участник трех войн, вот что теперь пишет мне из Усть-Бузулука.— Поднимая в неуловимо дрожащей руке листок к глазам, Привалов медленно прочел:— «Вспоминаем, Никифор Иванович, те короткие минуты, когда пошли мы на «тигры». Только шумнул мне казак «Прикрывай огнем!»— и пошли в наступ. Пожуда подошел эскадрон, у нас восемь горят, а потом мы потеряли друг друга. Я вернулся — ни Зотова, ни Носиченко нету...» — И суровыми глазами Привалов взглянул на Будулая поверх листка.— Героя Корсуня, гвардии сержанта двести двадцать третьего кавполка, шестьдесят третьей каде, Носиченко ты помнишь, Будулай?

Нет, об этом гвардии сержанте Будулай впервые услышал только сейчас, за этим столом, ведь Привалов только что и сам сказал, что в корпусе было тридцать тысяч человек, а Будулай в другой дивизии служил. Но под взглядом Привалова он ответил:

— Помню.

Листки писем просыпались сквозь пальцы Привалова на клеенку стола совсем как речной песок. Вот так же и тогда он в корпусе всех поименно знал. Недаром же, как и тогда, при взгляде на Привалова опять выплывает перед Будулаем это воспоминание: много людей сгрудились вокруг костра, пылающего под ночным небом в степи, много разных мужских и женских смуглых лиц выхватывает он своими отблесками из темноты, и только одна рука, время от времени протягиваясь из невидимости в светлый круг, подкладывает в огонь сухие ветки, курай. Разгораясь, он ярче освещает лица всех, но лица того, кто поддерживает в костре огонь, так и не видно.

Он и на фронте все, бывало, беспокоился и ратовал перед вышестоящим командованием, чтобы как-нибудь не обошли орденом или воинским званием того, кто его заслужил, никогда при этом не напоминая о самом себе и неизменно отступая в тень. Не из-за этого ли и от начала до конца войны все в одном и том же звании проходил в то время, как рядом на погоны к другим одна за другой сходили генеральские звезды? Глядя на Привалова и слушая его, припоминал Будулай, как менялись командиры их казачьего корпуса, дивизий и полков, на пути от Кизляра до Австрийских Альп убывал и пополнялся рядовой и офицерский состав, кто остался лежать под бугорками свежих насыпей, кого по тяжелому ранению списали вчистую, кто откочевал в другие части на повышение, а кого и на самом переломе войны рукой жестокого недуга вдруг могло выхватить из седла, как того же первого комкора Селиванова, но Привалов, никем не заменяемый, все так же оставался на своем месте замполита и начальника политотдела и все так же подбрасывал из тени дрова, чтобы огонь, разгораясь, освещал лица тех, кого он, как и теперь, любовно называл подлецами.

— Ну, а Парамона Самсоновича Куркина ты и подавно должен был знать.

— Его же, Никифор Иванович, в нашем корпусе все знали,— сказал Будулай.

— Еще бы,— подхватил Привалов,— если он только одной своей бородой на гитлеровцев страх нагонял. Но при случае и своему родному сыну, с которым служил, не спускал. Несмотря на свои семьдесят три года, из казаков был казак.

И еще ярче пылал костер. Жена Привалова уже совсем не перебивала мужа, то ли потому, что знала, как теперь будет опасно его перебить, то ли и сама подхваченная теми воспоминаниями, которые тоже нахлынули на нее. Между тем как тот, кто питал топливом этот костер, упорно продолжал оставаться невидимым, лишь рука его, поддерживающая огонь, время от времени выдвигалась в круг призрачного света, тут же и отдергиваясь в темноту.

— Но один раз пришлось мне и слезы увидеть у него на глазах, это когда смертельно ранило под ним коня, на котором он из самой Нижне-Чирской с казачьим ополчением в корпус пришел. Раненый конь себе рыдает, а он себе, как какая-нибудь слабая женщина или малое дите.

И тут вдруг неудержимо захотелось Будулаю самому, протянув руку за черту круга, подбросить топлива в этот огонь, чтобы он, вспыхнув, осветил и лицо того, кто все время, вспоминая о других, наглухо забыл о себе. Захотелось напомнить ему:

— Под вами, Никифор Иванович, под Первомайском тоже убило коня.

Привалов опечалился.

— Это, Будулай, уже третьего. Первого — еще под Вязьмой, когда я в семьдесят пятой кавдивизии служил, а второго — под Армавиром у моста через Кубань. Но этого Мая, из бывшего Сальского колхоза имени Сталина, мне особенно жаль — без каких-нибудь примесей дончак. Он меня по одному взгляду понимал.

Теперь бы еще надо было, чтобы он вдруг вспомнил о чем-нибудь совсем другом и, прервав нить рассказа, закатился смехом. Так и есть, он уже приостановился на полуслове:

— А ты помнишь, Клава, как под Матвеев-Курганом эта трехлетняя девчушка в хате, где только что стояли немецкие офицеры, вдруг так и отчеканила: «Гитлел, Геббельс, Либентлоп, заказите себе глоб...» Такой сверчок,— он показал над полом рукой,— а тоже почуяла перемену, когда увидела, что дяди с погонами уже не гонят ее из хаты, а сажают с собой за стол.— И опять, подражая этой трехлетней девчушке:— «Гитлел, Геббельс, Либентлоп...» — Привалов закинул назад голову в раскатистом смехе.

Клавдия Андриановна даже прикрыла ладонями уши.

— Не шуми так.

Но и то, чего не замечал прежде, теперь заметил за ним Будулай: этот смех сочетался у него с несмеющимся, неподвижным взглядом. Как будто с тех пор глазам его труднее стало ворочаться в орбитах, песок времени им мешал или же еще что-нибудь другое.

* *
*

Если б не председательские обязанности, Тимофей Ильич предпочел бы совсем с Клавдией Пухляковой дела не иметь. Никогда нельзя было заранее знать, какая ее ужалит пчела. Хоть специальный барометр в правлении заводи, чтобы подсказывал, на какой козе к ней можно подъехать с утра, а на какой — после обеда. Когда она вдруг может разразиться бурей, а когда соизволит разговаривать с тобой, как все нормальные люди.

Несколько месяцев ходила, как в воду опущенная, и вдруг опять стала набирать голос. Ненадолго хватило ее в смирных побыть. И, если бы не крайняя необходимость, никогда бы и никто не увидел его лично открывающим калитку к ней во двор. Особенно после сегодняшнего заседания правления колхоза, на котором она изголялась над ним как только могла. Как будто председатель колхоза бесчувственный чурбан, которого можно безнаказанно обливать какой угодно демагогией, как дегтем, и вываливать во всяких словах и выражениях, как в перьях. А потом попробуй их отлепи.

Тимофей Ильич даже плечами передернул, опять ощутив всей своей кожей, как она обкладывала его словами одно хлестче другого. Минут пятнадцать снимала стружку за то, что он, видите ли, не спросился у нее перед тем как поехать на конезавод за этим несчастным жеребцом, выбракованным для колхоза из племенного табуна самим генералом Стрепетовым по старой фронтовой дружбе с Тимофеем Ильичом. И хоть бы один из членов правления заступился при этом за своего председателя, когда она отчитывала его в присутствии представителя райкома так, что до сих пор горят уши. Напрасно он сгоряча взялся было доказывать ей, что на совещания передовиков сельского хозяйства и на пленумы лучше, конечно, на «Волге» ездить, а вот по полям — верхом на лошади, чтобы не из окошка все увидеть и пощупать своими руками. Его же слова она и повернула против него. Так и оскалила все свои зубы: «Ну да, а с Дона, с катера еще в лучшем виде все можно будет обозревать. А то еще давайте мы нашему Тимофею Ильичу на колхозные деньги персональный вертолет купим». Все правление хохотало, а ему только оставалось наливать воду из графина стакан за стаканом.

И после этого еще не хватало встретиться с ней не где-нибудь, а на ее же территории, в ее доме. Но и какого-нибудь иного выхода у него сейчас не было, если начальнику того самого военного училища, которому приглянулся для полевых занятий хутор Вербный, вздумалось поселиться именно в ее доме. Как будто не нашлось для него других, более подходящих, из тех же кирпичных, которые за последний год целой улицей вытянулись по-над Доном. В то время как Клавдия Пухлякова живет все в том же, что и до войны, доме, а точнее, в курене, унаследованном ею от отца, которому он, в свою очередь, достался от деда. Как-то и для колхоза совестно, что такой гость, полковник, квартирует под такой ветхой крышей. Но тут уже ничего изменить невозможно, раз за рулем у этого полковника сидит не кто-нибудь иной, а Клавдин сын, который сразу же и поспешил подкатить своего начальника прямо к дому. И теперь по милости ее Вани тоже в ее дом изволь командироваться... Если бы не эта вечная нужда колхоза в технике, он не позволил бы себе этого и в мыслях. А этому полковнику, который поселился у Клавдии Пухляковой, ровным счетом ничего не будет стоить списать и передать колхозу одну-две бортовые машины, взамен которых его училище, конечно, незамедлительно получит новые, потому что наша армия пока, слава богу, ни в чем не знает отказа. Не из-за этого ли, между прочим, и колхозы мирятся с этим проклятым автомобильным дефицитом.

Не может быть, чтобы на такую, в сущности, скромную просьбу колхоза мог последовать от полковника отказ после того, как от колхоза с первого же дня ни он сам, ни подчиненные ему офицеры и курсанты ни в чем не знают отказа. Ни в помидорах и арбузах прямо с огорода и с бахчи, ни в парном молоке, которое по распоряжению Тимофея Ильича отпускается для военной столовой с фермы без всяких наценок. Конечно, не Тимофея Ильича надо агитировать, что помощь защитникам Родины — священный долг, но не мешало бы, чтобы и они помогли колхозу. Хотя бы в порядке взаимности за то, что проводят свои полевые занятия на землях колхоза, безвозмездно пользуясь и Доном, через который то и дело их амфибии шныряют как черепахи взад и вперед, так что его берега теперь будут сплошь перепаханы гусеницами, пока полая цимлянская вода опять не затянет их илом; и Вербным островом, с которого скоро все талы уйдут на маскировку их раций и бронетранспортеров; и задонским лугом, где из-под каждой вербы сверкают, обшаривая небо, локаторы, а между стогами чадят кашеварки. Так недолго колхозу остаться и без сена.

Не говоря уже о гостеприимстве местных казачек, из-за которого потом еще долго будет продолжаться брожение в семьях. С того дня, как военная колонна спустилась с горы, в хуторе не стало покоя мужьям. Если не дочка на глазах у родителей затеяла любовь с кем-нибудь из курсантов, то, смотри, как бы ее мать чересчур не загляделась своими казачьими глазами на квартирующего у нее в доме офицера. Да так, что ее муж потом среди бела дня бросает в борозде трактор и бежит из степи наводить ревизию в хутор. Из-за этого в колхозе и трудовая дисциплина стала хромать.

Все проулки, разделяющие сады, забиты машинами, какие только и можно увидеть по телевизору с Красной площади Седьмого но-

ября, в каждом доме — по квартиранту, а то и по два, по три. И попробуй отец с матерью уследить за своей дочкой или же ревнивый муж за женой, если и весь хутор — в садах и берег Дона — в вербах, а стоит только подняться по балке в степь — государственная лесополоса. А расплачиваться за это — все тому же председателю колхоза, к которому, что ни утро, если не жена чья-нибудь прибегает с синяком на скуле, то чей-нибудь муж с заявлением о выходе из колхоза по случаю безотлагательного отъезда в Кулунду.

Но и все эти неприятности в целом ничего не стоили для Тимофея Ильича перед одной только перспективой встретиться теперь с Клавдией Пухляковой в ее же доме. Почти крадучись подбирался он к ее дому верхом на том самом злополучном жеребце, из-за которого она сегодня утром и подняла на заседании правления весь этот гай. Правда, объезжая стороной птичник, он лично удостоверился, что еще не меньше часа пройдет, прежде чем куры захотят с зеленого лужка на насесты перекочевать, но могла же Клавдия и на Нюрку их оставить, чтобы прийти домой пораньше. Недаром она теперь лишнюю минуту боится задержаться на птичнике, чтобы, чего доброго, не упустить эту минуту полюбоваться на своего Ваню.

Через час Тимофей Ильич вышел из дома Клавдии Пухляковой в настроении, о котором лучше всего говорило, что он весело вдруг рассмеялся наедине с самим собой и, спускаясь по скрипучим ступенькам во двор, подумал, что надо бы выписать хозяйке этого дома из председательского резерва с полкубометра леса на ремонт ее обветшавшего крылечка. Задержавшись на ступеньке, Тимофей Ильич даже обратил внимание, какие сегодня зеленые и крупные высыпали над Доном звезды.

Сверх ожидания его визит к полковнику оказался на редкость удачным, даже не одну или две, а четыре бортовых машины тот пообещал в пользу колхоза списать по акту после окончания военных занятий. Что значит тоже бывший фронтовик — они сразу смогли понять друг друга. Молодец и Ваня, вовремя вставил слово, не побоялся поддержать перед начальником свой родной колхоз. Ничего не скажешь, порода, но и не зря же для поступления в училище колхоз его такой характеристикой снабдил... А может, и вообще стоило бы поставить на очередном правлении вопрос о ремонте этого никуда уже не годного дома, не ожидая, пока его хозяйка сама, по своей чрезмерной гордости соизволит попросить об этом колхоз.

...И счастливый женский смех вперемешку со сдержанным, мужским доносился сегодня с Дона в хутор по тихому воздуху вместе с песнями и скрипом весел с такой звучностью, как будто смеялись, пели и хлюпали веслами по воде совсем рядом.

Но тут же это настроение, навеянное Тимофею Ильичу столь удачным исходом его визита к полковнику, квартиранту Клавдии Пухляковой, и безвозвратно испарилось. Он уже хотел оторвать свою руку от железной трубы, приспособленной под перильца для крыльца, как вдруг рука его так и прилипла к отполированному металлу. Холодок от трубы, пробежав по руке вверх, окутал его плечи ознобом. Так и есть, все-таки не уберегся он, не рассчитал за этими чаями с гостеприимным полковником время и по своей же вине напоролся на нежелательную встречу. Потянув в себя воздух, Тимофей Ильич явственно ощутил ноздрями запах гари. Потому что это, несомненно, не чей-нибудь другой, а ее, Клавдии, голос донесся до него с улицы, из-за калитки.

— Вот, значит, где мы с тобой встретились,— говорила она.— А я как только признала тебя, так сразу же и покатилось куда-то вниз мое сердечко.

Заинтригованный Тимофей Ильич так и замер, полуопустив-полунавесу держа над ступенькой ногу, чтобы под ней случайно не пропела доска...

* *
*

Не раз Будулаю казалось, что разговор вот-вот наткнется на острие, когда Клавдия Андриановна, виновато взглядывая на него, опять предпринимала попытку прервать Привалова:

— Подожди, Никифор, мы еще так ничего и не услышали от Будулая...

И Будулай уже начинал сжиматься под ее взглядом, так и не зная, что ему надо будет отвечать. Полуправды он не хотел, а вся правда с тех пор, как ушел он из хутора Вербного, уже принадлежала не только ему одному. Но каждый раз в самый последний момент ему опять, сам того не ведая, приходил на помощь Привалов.

— Ах, подлец! — вдруг дернувшись от внезапного воспоминания, гремел он, и глаза у него загорались мрачным светом. Это означало, что наступило у него время вернуть этому слову смысл, который вкладывали в него все другие люди. А уж если он возвращал ему его смысл, наверняка невесело должен был почувствовать себя тот, кого брал он на мушку своего взгляда.

— Так бы сразу и сказал мне, что тут замешаны не только финансы.

Клавдия Андриановна напомнила ему:

— Но Будулаю же неизвестно, о чем идет речь.

Привалов и ее пригвождал взглядом.

— Как это неизвестно? Напрасно ты так думаешь. Конечно, не о четвертом кубанском корпусе, памятник которому давно уже стоит на месте Кущевского боя. В то время как память о донцах, героях Ага-Батыря, Корсуня и Будапешта, зарастает травой из-за того самого деятеля, который заявил мне в Москве, что перед лицом неотложных народнохозяйственных нужд мемориал какому-нибудь казачьему корпусу может подождать. И при этом с улыбочкой добавил, что еще неизвестно, с какой стороны к этому правильнее всего будет подойти. А сам смотрит на меня голубым взглядом и кнопочкой на своем карандашике: щелк, щелк.

Клавдия Андриановна с беспокойством прервала его:

— Ты только не волнуйся. Не забывай, что тебе сказали врачи.

— Я и не волнуюсь, откуда ты взяла. Много было бы чести для него... Щелк — и памятника павшим героям на будущую пятилетку опять в смете нет. Но, несмотря на это, я понимаю, что надо себя держать в руках и постараться по мере возможности из берегов своего характера не выйти. «Как же,— говорю,— неизвестно. С того же самого бока, с какого наши донцы брали и Ростов и Будапешт». «За это,— отвечает,— им, конечно, вечная слава и низкий поклон, но не кажется ли вам, товарищ бывший начальник политотдела, что у этой проблемы есть еще и другой разрез?» «Что еще,— спрашиваю,— за разрез?» Чувствую, как чем-то знакомым и подленьким потянуло от этого слова, но вида не подаю. «Исторический. Если взглянуть на это не только с благородных позиций увековечения доблестного донского корпуса, а в масштабе всей казачьей проблемы в целом». У меня так и екнуло, но я и ухом не повел, а терпеливо жду, когда эта голубоглазая рыба поглубже в вентерь войдет.— Привалов как-то хорошо хмыкнул, веселая усмешка заиграла у него в углу рта. «Что-то,— говорю,— я о такой проблеме в целом ничего не знаю». И сам смотрю на него круглыми глазами. Тут же слышу, как еще дальше посунулся в вентерь этот сазан, потому что он своим шариковым пистолетиком три раза подряд: щелк, щелк, щелк... «Я,— говорю,— только знаю, что мой отец, Иван Филиппович, казак с хутора Рябичевского, и до революции не каждый день борщ с мясом ел, и в двадцать девятом году тоже не от жирного навара поспешил со своим братом Михаилом ухватиться за колхоз. А до этого во главе нашего приваловского звена всю гражданскую в Красной Армии отслужил». «Все это,— отвечает,— прекрасно и такие факты, в порядке исключения, на Дону, конечно, могли быть, но согласитесь, что для поведения казачьей массы в целом они не характерны». «Нет,— говорю,— мы всем нашим приваловским звеном в целом в Красную Армию и пошли: отец с тремя братьями, Михаилом, Алексеем и Поликарпом, и с единственным сыном, то есть со мной, которого тогда еще Никишкой звали. Но и тогда мы об этой казачьей проблеме не знали ничего. От вас первого слышу». «А вам бы,— говорит,— как бывшему политработнику, не мешало знать. Тогда бы вы поскорее догадались, когда так безнадежно было скомпрометировано и само слово «казак». Нет, каков подлец?! — И Привалов с сокрушением повинился: — Вот тут я его и спугнул. Не выдержал роль до конца. Тихонечко спрашиваю: «Это когда же оно могло так безнадежно скомпрометировать себя? Уж не тогда ли, когда карательные сотни генералов Каледина и Краснова порубили, расстреляли и запороли на смерть на станичных майданах за приверженность Ленину сто сорок тысяч донских казаков?! Или же тогда, когда лампас нашего корпуса на всем пути от Терека до Австрийских Альп своей и чужой кровушкой намокал?!» Тут я и спугнул его,— виновато повторил Привалов,— он дернулся из вентеря назад: «Я конкретно вешенское восстание девятнадцатого года имею в виду». «А я,— говорю,— против этого самого восстания вместе с нашим приваловским звеном и с другими красными казаками Хоперского округа полтора месяца фронт держал, вплоть до подхода частей регулярной Красной Армии. Что же, и мне теперь ложиться под косогон вашей казачьей проблемы в целом?»

— Вот здесь бы, Никифор, тебе не надо было... — с укоризной заметила Клавдия Андриановна.

— За этим столом легко говорить. А там попробовала бы, когда он по самому живому режет. И при этом из своего карандашика как будто вторично расстреливает тех, кого уже расстреляла война: щелк, щелк...

Будулаю теперь явственно почудилось, как из того же самого костра вдруг вырвались языки совсем другого, черного пламени. И уже не лица товарищей выхватывали они скользящими отблесками из тьмы забвения, а как будто хотели испепелить, выжечь какую-то тень, которая надвигалась на них, заслоняя их собой и пряча от взоров.

— Тогда он захотел отделаться шуткой: «Ого, да вы, оказывается, казакоман». Но мне уже было не до шуток. Какие могут быть шутки, когда на глазах всю историю переиначивают шерстью наверх, всех подряд казаков, бедняков и середняков с кулаками заодно гребут одним и тем же бреднем. Чувствую, как что-то горячее вот отсюда,— Привалов подушечкой ладони коснулся груди,— так и шибануло мне сюда,— он дотронулся до затылка,— как будто меня ударили молотком. Как тогда под Гниловской фугасной волной, когда ты, Будулай, нашел меня в камышах и на своей кобыле, как чувал, в корпусной госпиталь повез.

— На полпути вы, Никифор Иванович, пришли в память и пригрозили меня расстрелять, если я не поверну назад.

— А ты что же хотел, чтобы я тут же орден тебе выдал за вынос контуженого комиссара с поля боя?

Клавдия Андриановна от возмущения даже руками всплеснула. Но Будулай лишь молча улыбнулся, и, поощряемый его улыбкой, Привалов как ни в чем не бывало продолжал:

— Но я и после этих его слов сдержался. Потому что от волнения мое давление может сразу до двухсот подскочить, и, если не сдержаться, то и нашим внукам памятника пятому донскому корпусу не видать. В вежливой форме говорю ему, что, во-первых, чистокровными бывают только жеребцы и кобылы, а, во-вторых, если я казакоман, то он стопроцентный казакоед, которому ничего не стоит советских генералов Селиванова и Горшкова с белоказачьими атаманами Калединым и Красновым в одну кучу свалить. Вот когда он и щелкать перестал. «Лично я,— говорит,— ничего не сваливаю, я всего-навсего чиновник, но вы, может быть, слыхали, что есть еще такая штука — государственный бюджет, и по этому бюджету, кроме монументов мертвым, мы должны еще строить школы и детские сады для их живых потомков. Мертвые, как говорится, сраму не имут, в то время как живые ни единого лишнего дня не желают ждать». Вот так прямо мне в глаза и отпечатал этот подлец. «И вообще,— говорит,— я бы не советовал вам так нервничать, в вашем возрасте это может здоровью повредить, особенно, если у человека уже гипертония или даже просто склероз».

— Здесь ты опять...— начала Клавдия Андриановна.

На этот раз Привалов не обиделся на нее.

Его тяжеловатый взгляд впервые как-то осветился.

— Нет, я даже голоса не возвысил. «Вы,— говорю,— товарищ казакоед, пожалуйста, о моем здоровье не беспокойтесь, я и сам постараюсь, чтобы мне его хватило, пока на славных братских могилах живые гадюки еще будут яйца класть». И тут же, пока он еще не успел перебледнеть, спрашиваю у него: «У вас во время войны, конечно, бронь была?» Должно быть, от растерянности он мне как по уставу начал отвечать: «Так точно, была». «А в Новосибирске за этой бронью осенью сорок первого вам случайно не приходилось пребывать?» «Нет,— говорит,— я в Ташкенте был». «Вот,— говорю,— и жаль». К этому времени он уже успел себя в руки взять и высокомерно спрашивает: «Это почему же, собственно говоря, жаль?» «А потому, собственно говоря, что тогда бы я с великим удовольствием помог вам избавиться от этой ненавистной брони, как я одному такому же ответственному деятелю помог».— И, обрывая, Привалов гулко захохотал, колыхая грудью и всем телом. Только глаза у него при этом совсем не смеялись. Так же внезапно он оборвал свой смех.— Ты помнишь, Клава?

— Как же не помнить, если это было при мне, и потом я об этом тоже слышала от тебя не меньше ста раз.

Привалов возмутился:

— Но Будулаю я еще рассказывать не мог. Откуда же он может знать? — И тут же, игнорируя ее насмешливый взгляд, он стал рассказывать Будулаю:— Я там с генералом Конинским семьдесят пятую сибирскую дивизию формировал. У нас уже на руках приказ под Москву выступать, а половина личного состава дивизии по милости вот такого же подлеца с бронью, какого-то швейпрома, при сорокаградусном морозе еще щеголяет в цивильных пальто. Пришлось мне договориться с военкомом, чтобы с этого швейпрома для видимости на некоторое время сняли бронь и с мобпредписанием направили к нам в строевую часть. А там ему на выбор предложили один из двух вариантов: или через пять дней вся дивизия будет обута-одета, или же мы его прямо в его цивильных брючках прихватываем с собой в эшелон. Ты, Будулай, конечно, догадываешься, какой он для себя предпочел вариант.

— Догадываюсь,— глуховато сказал Будулай.

Привалов вздохнул.

— Еще и теперь иногда жалею, что мы тогда все-таки не прихватили его с собой на фронт. Но военком согласился всего на пять дней с него бронь снять.— И, еще раз вздохнув, Привалов присовокупил: — Но казакоеду я, конечно, всю эту историю без благополучного конца рассказал.

Клавдия Андриановна с вкрадчивостью поинтересовалась:

— И что же он тебе после этого сказал?

Никифор Иванович с досадой мотнул головой.

— Ты и так знаешь...

— Но ведь Будулай не знает,— затрепетав ноздрями, напомнила она.

Уводя свой взгляд в сторону, Привалов неохотно пояснил:

— То сказал, что от этого подлеца и можно было ожидать. «Теперь,— говорит,— не военное время, и вы не запугаете меня. И вообще,— говорит,— вам лучше приберечь подобные истории для какого-нибудь вечера воспоминаний фронтовых ветеранов».— И вдруг Привалов набросился на Клавдию Андриановну так, что она даже отстранилась от него: — Да, да, я знаю, ты теперь скажешь, что я сам же испортил все.

Клавдия Андриановна запротестовала:

— Успокойся, ничего такого я и не думала сказать.

— Но и смолчать этому подлецу я не мог.— Он жалобно взглянул на Будулая.— Потому что бывает, когда уже нельзя промолчать, если не хочешь сам быть подлецом.— Но тут же он беспощадно заключил:— И теперь из-за того, что мне, старому дураку, попала шлея под хвост, нам при жизни так и не дождаться памятника тем, кто на озере Балатон...— Что-то булькнуло у него в горле, как будто перехватило его. С видимым усилием он вытолкнул из себя:

— А Григорий Александрович Воронов, командир сорок седьмого полка двенадцатой дивизии, ты его помнишь, Будулай, пишет мне.— Дотронувшись ладонью до вороха писем на столе, он на память прочел: «Ведь нас уже осталось совсем немного...»

И впервые за этот день Будулай увидел, как в уголках его безулыбчивых глаз выступили скупые капельки влаги.

Но Привалов явно не хотел, чтобы это заметил кто-нибудь другой... Отмахнувшись, как от чего-то постороннего, коротким жестом, он с преувеличенной живостью бросился рыться в ворохе открыток и конвертов на столе и, извлекая из них один листок, приблизил его к глазам.

— А вот что, Будулай, еще пишет мне этот подлец Томахин: «Ты бы, Никифор Иванович, теперь меня не угадал, борода, как у Фиделя Кастро. Уже четыре месяца ношу, она растет быстро, и, когда мороз, тепло на рыбалку ходить...» — Голос у Привалова прервался, листок письма затрясся в руке.— Ну и подлец!

Но теперь уже этот смех не мог обмануть Будулая. Теперь он, кажется, понял, почему при этом глаза у Привалова никогда не смеялись. И почему как сизым пеплом все время подернут их взгляд. Как давно погасший в степи костер. Лишь изредка вырвется из-под этого пепла и хлынет наружу свет от огня, раздуваемого ветром скорбных воспоминаний, и тут же стыдливо спрячется, уйдет вглубь. Снова сизой мглой дымятся они, дотла выжженные скорбью.

* *
*

— Ох, и напугал же ты меня, милый! Как же ты мог здесь очутиться? Каким тебя занесло ветром?

За все время своего председательствования Тимофею Ильичу ни разу не довелось услышать, чтобы Клавдия разговаривала с кем-нибудь таким тоном. Вот тебе и Пухлякова! Зацепило, оказывается, и ее крылом этого циклона. И сразу же оказалось, что ничем она не отличается от всех других хуторских женщин.

Но с кем же, более или менее подходящим для нее и ее возраста, она может так любезничать, если с ее квартирантом-полковником Тимофей Ильич только что пил чай, тот остался в доме. В другое время Тимофей Ильич никогда бы не узнал ее голос. Не разговаривает, а прямо-таки стелет.

— Ведь я уже совсем было мимо тебя прошла, когда ты догадался обозваться,— радостно говорила она за калиткой.— Я тебя по голосу и узнала.

Вот даже какие крепости начинают шататься, когда под их стенами протрубят военные трубы. Но коль так, то и не Тимофею Ильичу тогда нужно избегать этой встречи. Еще неизвестно, кому теперь первому придется отводить свой взгляд в сторону. И не до утра же ему было здесь стоять, подслушивая, это уже было бы похоже на подлость. Пусть этим занимается кто-нибудь другой.

Но когда, потянув к себе за кольцо дверцу калитки и перешагивая через порожек на улицу, Тимофей Ильич очутился лицом к лицу с Клавдией, она, к его удивлению, ничуть при его появлении не смутилась, даже не сделала попытки сдвинуться с того места, где стояла. Она целиком была поглощена другим. У нее над головой колыхалась длинная и глазастая голова того самого жеребца, которого Тимофей Ильич, подъехав сюда, привязал к забору, и это, оказывается, не с кем-нибудь другим, а с ним беседовала она под звездным небом.

— Постой, постой, так это значит,— голос ее прервался,— это же из-за тебя сегодня нашему председателю от меня досталось... Бедный он, бедный, но откуда же я могла знать? И теперь, получается, мне надо будет у него прощения просить. Ну, ничего, пусть это ему будет аванец...— Тимофей Ильич услышал, как она просто-таки залилась смехом.— Это, Громушка, прямо как в сказке... Так это, значит, из-за тебя... Ох, и сейчас еще оно никак не хочет успокоиться, нельзя так пугать. Так вот где, оказывается, нам назначено было встречаться. Но как же ты, Громушка, с ним мог расстаться?.. Взял бы и привез с собой. А для меня он тебе ничего не велел передать?

(Продолжение следует.)

ЦЫГАН

Анатолий КАЛИНИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

И Тимофей Ильич видел, как при этих словах, взяв Грома обеими ладонями за морду, она поворачивает ее к себе, заглядывая в глаза, и Гром безропотно позволяет ей все это делать, по-собачьи пригибая назад уши. Чем больше Тимофей Ильич на все это смотрел, тем меньше понимал.

Но тут вдруг Клавдия сама обернулась к нему.

— Если вы, Тимофей Ильич, ко мне, то я сейчас,— сказала она тоном гостеприимной хозяйки, как будто бы ничего не произошло между ними сегодня утром.

Однако Тимофей Ильич не захотел принимать от нее этот подарок.

— Нет, Пухлякова, не к тебе,— ответил он сухо.

Не замечая или же делая вид, что не замечает этой сухости в его голосе, она продолжала все в том же несвойственном ей тоне:

— Так бы вы, Тимофей Ильич, сразу и сказали, что это не какой-нибудь, а чистокровный донской жеребец.— Зарываясь рукой в гриву жеребца, она струила ее между пальцев.— Это же совсем другое дело.

— По-моему, я так и говорил,— буркнул Тимофей Ильич.

— Значит, надо было потверже, а то, я помню, вашего голоса сегодня на правлении совсем не было слышно.

— Зато тебя, Клавдия Петровна, было слышно. С тобой не шибко разговоришься.

Она воркующе засмеялась.

— Какой же вы председатель колхоза, если не умеете при надобности других членов правления к порядку призвать. Значит, нужно было свою власть употребить.

— С тобой употребишь!

Клавдия охотно согласилась:

— Я, как женщина, иногда, конечно, могу и из берегов выйти, а ваша обязанность — меня в них обратно завести. Для того вас и избрали.

Она явно издевалась над ним, он хорошо видел, как зубы у нее вспыхивали в темноте в неудержимой улыбке. И самое лучшее было после того, что он уже наслушался от нее утром, пропускать ее слова мимо ушей, что бы она ни говорила. Пусть себе тренируется перед новыми выпадами на предстоящем отчетно-выборном собрании в колхозе.

— Некогда мне с тобой еще и здесь прения разводить,— сказал он, отвязывая уздечку от стояна забора.

— Нет, Тимофей Ильич, еще попреем немножко.— Одной рукой она перехватила уздечку, в то время как другой не переставала оглаживать гриву и морду Грома мягкими прикосновениями ладони. С той же уступчивостью в голосе она предупредила: — Не надо, Тимофей Ильич, так дергать. Раз он племенной, то, значит, и соответствующее обхождение с ним должно быть. Не так, как со всеми другими нашими лошадьми.

Все больше не нравилась Тимофею Ильичу эта ее уступчивость. Пусть кого-нибудь другого попытается обмануть, он же предпочитал иметь дело с той Клавдией Пухляковой, которая обычно разговаривает с ним не таким журчащим голосом. Так по крайней мере привычнее, хотя, конечно, тоже не сладко. Все же он решил выяснить, что за всем этим может скрываться и, не отпуская уздечку, которую Клавдия тянула у него из руки, спросил:

— Например?

— Например, если на других лошадях у нас в колхозе моторы от тракторов возят, нагрузят на подводу и стегают коней всю дорогу до «Сельхозтехники», то он не для этого назначен.

— Для чего же он, по-твоему, назначен? — с трудом сдерживаясь, спросил Тимофей Ильич.

— Вы и сами должны знать, раз за него такие деньги решились заплатить,— бесхитростно ответила она, все так же лаская жеребца, даже прижимаясь к его морде щекой. И он, этот без году неделя появившийся в колхозном табуне Гром, тоже норовил потереться своей мордой о ее плечо.— Да, Громушка, да,— разговаривала она еще и с ним между словами разговора с Тимофеем Ильичом.— Я тоже все помню, но об этом мы еще успеем с тобой потом, после...— Она возвращалась к Тимофею Ильичу.— И под седлом по нашей жаре, как вы знаете, ему вредно ходить.

— Что же мне теперь его ради мебели держать?

Еще больше его возмущало, выводило из себя, что иногда она, казалось, и совсем не слышала его слов, целиком занятая своими нежностями с этим Громом.

— Если бы, Громушка, я могла знать, я бы прихватила для тебя хлеба или глудочку сахара, а теперь наш председатель вряд ли мне позволит сходить за ними в дом. Он на меня сегодня злой. Но если он когда-нибудь вздумает плетку на тебя поднять, ты, Гром, пожалуйста, мне только глазом моргни. Мы на него тоже уздечку найдем.

Это было уже слишком. Тимофей Ильич взорвался:

— Вот, вот ты еще проведи тут со мной семинар по конскому вопросу, Пухлякова. Поучи, какое мне нужно обхождение с лошадьми иметь, а то я в этих вещах совсем ничего не понимаю.

Тут же он и пожалел, что не сдержался, закатил перед нею целую речь, а она и не слышала ее. В то время как он выступал, она продолжала ласково бормотать на ухо жеребцу:

— А может быть, Громушка, он и разрешит, если мы его, конечно, получше попросим. Это он только снаружи такой неподступный, я его давно знаю.

И при этом зрачок ее глаза, скошенного в сторону Тимофея Ильича, искрился в полумгле звездной ночи рядом с искрящимся зрачком Грома. Но эта подкупающая нежность в ее голосе теперь уже явно предназначалась не только Грому. Тимофей Ильич хорошо это понимал. А потому и убираться надо было отсюда немедленно, пока эта вероломная женщина еще не успела растопить ему своей ласковостью сердце. Тимофей Ильич сильнее потянул к себе из руки Клавдии уздечку, дернул к себе и полностью завладел ею. Не мешкая, тут же и повел жеребца от двора Клавдии. Тогда она мстительно прокричала вдогонку:

— Так, Громушка, и запиши, прибегай жаловаться прямо ко мне. Я там не знаю, тыщу или две тыщи за тебя наш председатель отдал, но если он и в самом деле захочет попробовать твою шкуру плеткой, я с него принародно не шкуру, а кое-что другое спущу.

Предпочитая совсем ничего не отвечать на эти слова, Тимофей Ильич молча вскинул в седло свое грузноватое тело. Жеребец только вздохнул под ним... И спустит, за этим у нее не станет. Знал бы он, как может обернуться дело, ни за что бы не связывался с этой покупкой. У него, слава богу, и без этого есть пока на чем совершать свои объезды полей и ферм, особенно после того, как удалось наконец заменить отслужившую все свои сроки «Победу» на «Волгу». А со своей тайной печалью, что от «Волги», конечно, пахнет совсем не конским духом, он как-нибудь справится сам, как справлялся до сих пор. В конце концов это действительно и слабость его и блажь, а он еще не пенсионер, чтобы распускать нюни.

Но, разворачивая Грома перед двором Клавдии, он все же не мог отказать себе в удовольствии мимоходом притиснуть ее к забору и был крайне раздосадован, когда этот жеребец, не послушав движения поводьев и взмотнув головой, осторожно обошел ее стороной. Клавдия захохотала:

— Смотрите, Тимофей Ильич, я теперь за него буду с вас на правлении персональную стружку снимать.

Вот же вздорная баба! Тимофей Ильич удержался от ругательства в самый последний момент, но все же прошептал его маленьким язычком. Знает и насчет этой стружки, которую с председателя колхоза старается содрать всякий, кому не лень. Как только новая перестройка в сельском хозяйстве, так и новая стружка. Скоро уже до костей доберутся, особенно если и на местах каждому давать право фуговать руководителей колхозов почем зря. А теперь еще из-за этого жеребца решила его на мушке держать. Ради этого он, оказывается, и уговаривал генерала Стрепетова его продать. Если так, то недолго эту дорогостоящую покупку и обратно вернуть.

Вдогонку она кричала ему еще какие-то явно угрожающие слова вперемешку с ласковыми словами Грому, но, к счастью, их относило в сторону ветром с Дона. И все это в благодарность за то, что он только что думал, как бы отремонтировать, а может, и построить ей за счет колхоза дом, хотя она, конечно, и не знала об этом. Но если б и знала, все равно рассчитывать на ее благодарность не пришлось бы. Скорее можно дождаться чего-нибудь другого. Еще тебе же и расхохочется на заседании правления в лицо: «С чего это вы, Тимофей Ильич, вдруг сделались для меня таким благодетелем? Уж не думаете ли вы этими досками мою критику зашить, чтобы и я вам только головой кивала, как ваш заместитель или главный бухгалтер? Нет, уж лучше вы поскорей зашейте этими досками щели в той же школе, где детишки зимой и в теплых шубах зубами лязгают, и залатайте этим шифером крыши одиноким старухам, чтобы они не считали звезды сквозь потолок. А я как-нибудь и без вашей доброты обойдусь. У меня, слава богу, еще свои руки есть».

И Тимофею Ильичу с такой осязаемой выразительностью представилось, как она публично одергивает и отчитывает его за его же заботу о ней, что он тут же мысленно отру-

Продолжение. См. «Огонек» № 5.

бил: нет, нарываться на ее благодарность он не станет. У председателя колхоза тоже своя гордость должна быть. И раз она сама не просит, значит, у нее не горит. А куренек у нее не такой уж никудышный. Эти казачьи курени под чаканом только на вид бывают ветхие, а стоят по сто лет. И тот же полковник, как умный человек, должен понять, что для колхоза еще не подошло время на общественные средства людям хоромы отстраивать. Еще неизвестно, как на это захочет общее собрание посмотреть: у Клавдии Пухляковой за ее язык тоже найдутся враги. Тем более что у колхоза действительно столько самых вопиющих прорех: та же школа и те же одинокие старухи, которые в своих флигельках почти как под открытым небом живут. На этот счет Тимофей Ильич полностью с Клавдией Пухляковой согласен.

Он окончательно подытожил: «Подождет». Но какой-то червячок все время, пока он берегом Дона ехал из хутора в станицу, шевелился где-то у него внутри и всю дорогу ему не хватало еще какого-то звена в логической цепи его рассуждений, пока перед самой станицей он вдруг не ухватился за него: а там и Ваня, ее сын, в офицеры выйдет, начнет своей родной матушке из своего военного жалованья помогать. Захочет, отремонтирует, а захочет, так и новый кирпичный дом ей поставит, с низами. У нас в армии кадровым офицерам, доблестным защитникам мирного труда своего народа, хорошо платят.

Останавливаясь на этом выводе, Тимофей Ильич совсем повеселел, мысли его вернулись в первоначальное русло. Он и Грома уже не дергал за поводья, как первую половину пути, когда перед его мысленным взором выплывало насмешливое, улыбающееся лицо Клавдии. Как-никак, а день, начавшийся с таких неприятностей по ее вине, окончился для него более чем успешно в ее же доме. И за это спасибо. Четыре почти новых бортовых машины по нынешнему времени для колхоза находка. Теперь будет на чем и стройматериалы для клуба и минеральные удобрения со станции Артем возить, а ту, что с двумя ведущими осями, можно будет выделить специально для транспортировки доярок на ферму. Давно уже пора перестать им в любую погоду, часто по грязи и в пургу, два раза на день по четыре километра туда и обратно курсировать.

Продолжая планировать, как лучше будет распорядиться этими чуть ли не с неба свалившимися машинами, Тимофей Ильич второй раз за вечер засмеялся наедине с самим собой. Тот, кто повстречался бы с ним на береговой дороге в этот момент, наверняка бы встречно улыбнулся, увидев, как смеется, даже начинает что-то чертить рукой в воздухе председатель колхоза, оживленно беседуя с самим собой. Но от хутора вплоть до самой станицы так и не произошло у него никаких встреч потому, что уже было поздно, совсем темно. К этому времени обычно уже замирало всякое движение на придонском проследке. Все давно уже утонуло в теплом осеннем тумане, из которого едва светился слева Дон.

Но этот новокупленный жеребец, из-за которого Тимофею Ильичу пришлось пережить сегодня столько горьких минут, уверенно находил дорогу и в тумане. Несмотря на то, что возить по ней своего нового хозяина ему до этого пришлось совсем немного. Задумавшись, Тимофей Ильич давно уже бросил поводья на луку седла. Умная лошадь; пожалуй, действительно будет грех использовать ее под седлом, лучше пустить жеребца в колхозный табунок, пусть улучшает племя. Только уж очень глубоко вздыхает иногда, задрожит от головы до ног, как о чем-то вспомнит, и опять идет спокойно, не сбиваясь с дороги. Глазастый, видит и сквозь туман. А может, и потому, что до этого, по словам генерала Стрепетова, побывал в руках у какого-то цыгана-табунщика, у него науку прошел. Они по этой части мастера. Недаром генерал Стрепетов согласился и расстаться с ним только потому, что после разлуки со своим прежним хозяином, который в один прекрасный день сбежал с конезавода вместе с другими цыганами за ветром, совсем испортился жеребец. На версту никого к себе не подпускал, грыз и людей и всех других жеребцов в табуне, а новому табунщику при первом же знакомстве устроил такой экзамен, что тот и теперь еще в гипсе лежит. «Если бы не какой-то дьявол в него вселился, ни за что бы его тебе не видать,— откровенно сказал Тимофею Ильичу на прощание генерал Стрепетов.— Но смотри, как бы он и с тобой не сделал того, чего не удалось сделать фрицам».

При воспоминании об этом напутствии сво-

его бывшего комдива Тимофей Ильич не без тщеславия улыбнулся, подумав, как изумился бы тот, увидев его спокойно разъезжающим по полям колхоза на этом цыганском дьяволе. Понятно, и без урона не обошлось, никто не знает, сколько до этого раз Тимофею Ильичу пришлось кувыркаться через голову жеребца. Приучая его к себе, Тимофей Ильич заезжал в степи в самую глушь, в Исаевскую балку, и там пикировал из седла без всяких свидетелей. Но поводьев из своих рук он так ни разу и не выпустил. Если лошадь умная, то она прежде всего должна оценить твердую руку. У этого же Грома ума хватит на целый табун, и он вскоре уже перестал позволять себе свои номера: внезапно останавливаться на всем скаку или же носить седока на дыбках, как в цирке. Хотя и теперь еще иногда нападает на него буйство, стоит только потерять бдительность, он сразу замечает.

А пока пусть себе улучшает в небольшом колхозном табуне племя. Но когда Тимофею Ильичу будет становиться совсем невтерпеж, он все-таки будет брать этого цыганского жеребца под седло, чтобы поездить на нем. Невзирая на всякие возможные выпады со стороны той же Клавдии Пухляковой. Пусть говорит, что хочет, тут он ей не уступит, да это и не в его силах. Потому что никакой женщине не дано понять, как исподволь может подкрасться и навалиться эта тоска на человека, у которого самая главная часть его жизни — от первого до последнего дня войны — прошла в седле. Как не понять и того, что воспоминания о товарищах, которые навсегда остались лежать под Кизляром, под Ростовом и в венгерском ущелье Ойтоз, ни в какое иное время не посещают с такой обжигающей яростью, как под это поскрипывание седла в такт конскому шагу.

* *
*

Рано утром, укладывая в сундучок Будулая сумку с харчами, Клавдия Андриановна пожалела его:

— Он вас своим казакоедом совсем замучил. Поспать не дал.

— Где-нибудь под лесополосой отосплюсь,— успокоил ее Будулай.

Оглянувшись на дверь дома, из которой еще не выходил Привалов, она коснулась щеки Будулая облачком своих дымчатых, как паутинка, волос.

— Но вы за это слишком сильно не обижайтесь на него, хорошо? Это он оттого, что боится.— Встречаясь со взглядом Будулая, она подтвердила: — Да. Никогда и ничего не боялся, а теперь стал бояться одного: как бы нечаянно не дали в обиду и не утратили того, что он привык защищать всю свою жизнь. От того самого дня, когда со своим приваловским звеном в Красную Армию ушел, и до Дня Победы. Вот и выходит из себя, когда ему начинает казаться, что кто-нибудь может этому причинить ущерб, и сразу же со своей защитой спешит. Как будто, если он теперь не подставит свою грудь, завтра уже будет некому. А жизнь уже почти прожита. Это у него в крови. Вы, Будулай, не обижайтесь на него.

В этом месте насмешливый голос Привалова переспросил у нее:

— Это за что же, по-твоему, он может обидеться на меня?

Почему-то вышел он проводить Будулая в дальнейший путь не в своем чесучовом кителе без погон, а в том самом, с полковничьими погонами, который Будулай видел из-за двери, приоткрытой в соседнюю комнату, при всех своих орденах и медалях. Между ними четыре ордена Красного Знамени теснились друг к другу в особом ряду.

К удивлению Будулая, сама же Клавдия Андриановна и разоблачила себя:

— За то, что ты, как гостеприимный хозяин, ему спать не дал.

Привалов встретил ее упрек спокойно.

— Ничего. На то он и бывший фронтовой разведчик, чтобы по ночам не спать. Я, может быть, по его милости вообще чуть не погиб, когда из-за этого коня, украденного из конюшен бывшего румынского короля Михая, вынужден был из рук маршала Толбухина штрафной кубок чистого спирта выпить. Ты бы хоть теперь признался мне, Будулай.

С седла мотоцикла Будулай покачал головой.

— Мне, Никифор Иванович, признаваться не в чем.

— Может быть, и теперь еще станешь уверять, что это не твоих рук дело?

— Не моих.

— А кто же тогда, по-твоему, мог этого жеребца из-под носа королевской стражи увести?

— Этого я, Никифор Иванович, не знаю.

— Всегда я тебе верил, Будулай, а тут, извини, не могу поверить. И ты, конечно, знаешь, почему.

Будулай вспомнил, как о том же самом спрашивал его на конезаводе генерал Стрепетов.

— Знаю. Потому что лучше цыган конокрадов не может быть.

— Ну вот, видишь, какой он догадливый.— Удовлетворенный, Привалов повернулся к Клавдии Андриановне.— А ты еще боялась, как бы он не обиделся на меня. Еще неизвестно, кому обижаться нужно. Верно, Будулай?

И, не дождавшись ответа, Привалов закатился своим детским смехом так, что ордена и медали, сталкиваясь, забренчали у него на груди.

Но теперь Будулай безошибочно знал, почему при этом глаза совсем не смеялись у него.

* *
*

Как некогда, когда проходил через хутор фронт и в доме у Клавдии стоял штаб одной из наступавших от Волги частей, так и теперь зеленая, в лиственных бликах машина стояла у ее двора, на подоконнике журчал телефон, и на той половине дома, которую занимал полковник, за полночь горел свет. Подъезжали и отъезжали запыленные мотоциклы, ступеньки стонали под ногами офицеров, приходивших к полковнику на доклад рано утром и в поздние вечерние часы, а на все остальное время дня Ваня увозил его в степь и за Дон. Возвращались они оттуда почти всегда потемному.

Заметно прибавилось у Клавдии и хлопот. Время у нее теперь было рассчитано не по часовой, а по минутной стрелке премиального будильника, стоявшего на столе. Еще раньше ей теперь надо было вставать, чтобы перед уходом на птичник успеть наготовить сразу на двух оказавшихся у нее на попечении больших и здоровых мужчин, которые, особенно когда возвращались вечером со своих занятий, все, что ни поставь перед ними на стол, как за себя бросали. Правда, полковник в первый день, когда Ваня ввел его в дом, объявил, что питаться они будут в своей военной столовой, но Клавдия встречно спросила:

— Неужто Ване и в своем доме нельзя на материнских харчах побыть?

Под ее жалобным взглядом полковник смягчился.

— Ну, хорошо, его мы на это время можем на ваше довольствие перевести, а я...

Но тут уже Клавдия решительно перебила его:

— А вы у нас тоже за это время не оторвете последний кусок. Все равно мне не два борща варить, и у нас, слава богу, не какой-нибудь отстающий колхоз.

— Ну, если не отстающий...— Полковник склонил голову, окончательно сдаваясь. Ни одного волоса не было у него на голове с пятнистыми следами давнего сплошного ожога.

С того часа, как спустилась с бугра колонна военных машин, сразу повеселел хутор Вербный. Казалось, наперекор самой осени не теми блеклыми цветами, какие пристали этому времени года, а теми, какие обычно вызывает к жизни весна, сразу и заиграли все его улицы и подворья. Все хуторские женщины как сговорились в одно и то же утро достать свои самые яркие платья и платки, которые обычно приберегались у них в шифоньерах и на дне сундуков для больших праздников и поездок в город. Не только молодые девчата, которым не привыкать уже было щеголять с голыми ляжками, но и замужние женщины, нащелкавшись за день на виноградниках секаторами, теперь еще и по ночам усиленно щелкали ножницами, срочно подгоняя длину своих юбок под новейшую моду.

Пришлось и Клавдии распахивать дверцы своего диктового шифоньера, купленного ровно за день до того июньского дня, когда мужу ее принесли из сельсовета повестку. Ей, конечно, нельзя было, как другим женщинам, похвалиться чересчур богатым выбором своих нарядов, но и не могла же она и теперь, когда в доме появился чужой человек, продолжать ходить все в одном и том же ситцевом халатике или в кофточке с грубошерстной юбкой. Хотя бы ради того, чтобы не уронить в глазах начальника своего сына Ваню.

Но когда наутро, после того как он привез полковника, она вышла из спаленки в своем, как всегда считала, лучшем бордовом платье с кружевным воротничком, которое обычно надевала только на районные слеты передовиков животноводства, она увидела вдруг, как Ваня, бегло окинув ее взглядом, зловещим полушепотом ополчился на Нюру:

— Ты здесь совсем запустила нашу мать. Ей за своим драгоценным птичником некогда в зеркало на себя глянуть, так хоть бы ты ей подсказала, что такие платья теперь носят только...

— Кто, Ваня? — перебила его Клавдия.

Из матово-смуглого лицо его сделалось медно-красным. Но и не в его характере было отказываться от своих слов.

— Старухи, мама, вот кто,— хмуро закончил он, избегая встречаться с ее взглядом.

— А я, Ваня, разве еще не старуха? — с улыбкой спросила Клавдия.

От возмущения он чуть не задохнулся и, оглядываясь на дверь в соседнюю комнату, за которой шелестел своими картами полевых занятий полковник, снова набросился на Нюру:

— Слышала?

Нюра спокойно ответила:

— Я это уже не первый раз слышу.

— И ты с этим тоже согласна?

Увидев, что она только молча пожала плечиком, он разразился целым потоком обвинений:

— Вот, вот, я и говорю, запустила так, что она уже и сама на себе поставила крест. Как будто она и в самом деле та же Лущилиха или же какая-нибудь еще более древняя бабка. За этими лехгорнами она на свою личную жизнь совсем махнула рукой, а ты ей потакаешь.

Терпеливо дослушав его до конца и откусывая зубами нитку, которой она подшивала проволочный абажур под свою укороченную выходную юбку, Нюра осведомилась:

— Что же, по-твоему, мне ее с собой на танцульки брать?

Слушая их перепалку, Клавдия тихо улыбалась — и не столько тому, что для них, оказывается, небезразлично было, старая или молодая у них мать, сколько тому, что, несмотря на свои расхождения, они, похоже, не прочь были объединиться в своем критическом отношении к матери. Вот уже и общие секреты от нее появились у них. Пристроятся где-нибудь в уголке и подолгу о чем-то шепчутся, а когда она, управляясь по дому, ненароком приблизится к ним, сразу замолкают и смотрят на нее с таким откровенным выжиданием, которое не оставляло сомнений, что еще лучше будет, если она поскорее догадается опять оставить их вдвоем. Нет, из-за этого она не собиралась обижаться на них: какая же это и молодость, если у нее нет секретов от взрослых. Тем более, что и Ваня за это время, за какой-нибудь год, вдруг сразу так развернулся в плечах и вообще возмужал, что при встрече она ахнула, и Нюра по вечерам уже бесстрашно ездит с Петькой Чекуненком на мотоцикле в степь, и если не начнет вдруг смеяться без всякой причины, то упадет на подушку вниз лицом и беззвучно плачет, пока мать не приласкает ее.

Пусть секретничают и даже обсуждают свою, по их мнению, отстающую от времени мать, ее не убудет. И ее материнское сердце не могло не радоваться тому, что, повзрослев, они стали еще ближе друг к другу, как не всегда бывают между собой родные братья и сестры. Несмотря на то, что Нюра уже знала о том, о чем так и не знал еще ничего Ваня.

Но все равно: вооружаться ножницами, чтобы тоже, как другие женщины, начинать укорачивать свое платье, она, Клавдия Пухлякова, не станет.

(Продолжение следует.)

Анатолий КАЛИНИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ЦЫГАН

Вот и дождалась она. Почему-то особенно приятно было ей услышать от других женщин, как совсем возмужал и вообще стал парень хоть куда ее сын Ваня.

— Если б я хоть лет на десять помоложе была, я бы его слопала вместе с его жгучими глазами,— откровенно сокрушалась в ее присутствии Катька Аэропорт, нареченная так в хуторе за то, что у нее на подворье мог при всякой погоде приземлиться любой приезжий мужчина. Но и не только приезжий.

При этом она поигрывала своими изумрудно-зелеными глазами так, что другие женщины ни на минуту не могли усомниться:

— Ты бы, Катька, и теперь не прочь. От тебя всего можно ожидать.

— Куда уж мне до него. Он по сравнению со мной еще совсем дите. На сегодняшний день мне и моего рыжего сержанта-квартиранта хватит,— не очень активно возражала Катька Аэропорт, смиренно прикрывая свои удлиненные ресницы с хлопьями жирной краски.

Еще более встревоженные ее смирением женщины наперебой предупреждали Клавдию:

— Ты получше за своим сыном смотри.

— А то ты не знаешь ее.

— Она никого не пропустит.

Они-то Катьку Аэропорт знали, у них были с нею свои счеты. С тем большим ожесточением поднимались они теперь на защиту совсем еще не искушенного Вани Пухлякова.

— Ты, Клавдия, не скалься, а, правда, приглядай.

— Видишь, как она своими глазюками заиграла.

— Как где плохой замок, там и она.

Против этого Катька Аэропорт протестовала совсем вяло:

— А вы получше замыкайте.

Чем вызывала подлинный приступ ярости у хуторских женщин. Сломав очередь у водопроводной колонки, у которой они обычно обсуждали свои злободневные дела, и, окружая Катьку, они начинали припоминать ей все, что было и чего не было, не замечая, что вода давно уже впустую хлещет из хоботка чугунной трубы на землю.

Смеясь, Клавдия восстанавливала у колонки порядок:

— Глядите, вся из бассейна уйдет, Тимофей Ильич вам за это спасибо не скажет.— И, подождав, пока они опять выстраивались с ведрами в очередь, заключала: — А мой Ваня уже может и сам за себя постоять.

В глубине души ее материнскому чувству льстило такое отношение к ее сыну. Значит, он того заслуживает, если к его судьбе так неравнодушны. Но Катьку Аэропорт она как-то вдали от посторонних ушей отвела в сторону и коротко поинтересовалась у нее:

— Ты вчера вечером зачем его зазывала к себе?

Катька попробовала было независимо ворохнуть глазами:

— Я уже давно вышла из тех годов, чтобы каждому отчет давать...

Но Клавдия тут же одернула ее:

— Со мной ты можешь своими изумрудами не играть. На русские слова по-русски отвечай.

— Я его просила электропроводку мне починить,— ответила Катька.

— А своего сержанта ты не могла об этом попросить?

— Он как раз на дежурстве был, а у меня свет потух.

Катька хотела обойти Клавдию стороной, но та придержала ее за рукав.

— Гляди, если он еще раз у тебя так потухнет, я к тебе сама приду его засветить. Ты знаешь, я зря говорить не стану.

В этом Катька не сомневалась. Кого-кого из хуторских женщин, только не Клавдию Пухлякову можно было упрекнуть в том, что она склонна бросать слова на ветер. И поэтому, несмотря на всю свою независимость, Катька Аэропорт предпочла от пререканий с Клавдией воздержаться, пока не отошла от нее на такое расстояние, откуда уже безбоязненно могла прокричать:

— Ты бы ему еще нашейник купила.

Клавдия грозно обернулась к ней:

— Что ты сказала?

Но Катька уже успела отойти от нее еще дальше и могла вполне безнаказанно насладиться своей местью:

— И своего полковника заодно тоже на цепок примкни.

Увидев, как дернувшаяся при этих словах к ней Клавдия остановилась и, отмахнувшись от нее рукой, пошла прочь, Катька Аэропорт захохотала. Безошибочным чутьем она почувствовала, что в последний момент ей каким-то образом удалось вырвать в этом словесном поединке с Клавдией Пухляковой победу.

Уходившая же от нее по улице Клавдия уже ругала себя за то, что затронула ее. Лучше было бы ограничиться разговором с самим Ваней, чем давать Катькиному языку материал на весь год. Во всем хуторе не сыскать было никого другого, кто сумел бы вот так же перетасовать то, что было, с тем, чего не было, и так искусно перемешать все вместе, что потом уже невозможно бывало отличить, где кончаются ее наговоры, а где начинается правда. Как и с тем же полковником, постояльцем Клавдии, которого она вдруг ни с того ни с сего пристегнула к их разговору. Еще не хватало, чтобы какая-нибудь частица ее слов коснулась его ушей, тогда Клавдии хоть сквозь землю провались перед чужим человеком.

И начинать доказывать что-либо ей, все равно что добавлять масла в огонь, потому что она все на свой салтык мерит. Ей и невдомек понять, как это чужой мужчина в доме может быть не больше, чем временным квартирантом. Не заворачивать же было обратно от ворот машину, на которой Ваня полковника привез.

Тем более что Клавдия с первых же слов поняла, как он относится к ее сыну. Какой матери было бы не по душе, если б начальник ее сына относился к нему так, что иногда даже незаметно для самого себя начинал называть его не курсантом Пухляковым, а по-домашнему просто Ваней. Хотя, судя по всему, человек он не из слишком мягких. Лишнего слова не скажет, как будто кто его и в самом деле когда-то на замок замкнул. Не тогда ли, когда он, по словам Вани, еще на фронте узнал, что жену его с малым дитем фашисты загубили в Киеве, в каком-то Бабьем Яру. За то, что она еврейкой была.

И когда бывает дома, молча шелестит за дверью своими разостланными на столе военными картами, и когда выйдет во двор покурить на ступеньке крыльца, молча смотрит, как Клавдия управляется по хозяйству. Или спустится с крылечка, отберет у Вани топор и начинает колоть дрова так, что вскоре между лопатками на его военной блузе проступает мокрое пятно. Но снять свою блузу стыдится, должно быть, из-за того, что, по рассказам Вани, с войны у него так и остался по всему телу след от ожога после того, как он чуть не сгорел в танке.

Вдвоем с Ваней успели уже нарубить и сложить за летней кухней столько дров, что топить теперь ей на две зимы хватит.

Но Катьке Аэропорт знать об этом, конечно, совсем незачем, иначе она из этих дров сумеет запалить такой костер, что потом на весь район будет видно.

* * *

В степи за Доном, как некогда, то и дело ухало, и как по листовому железу кто-то пригоршнями рассыпал зерно, между хутором и островом покачивались на волне понтоны. И все это, будившее воспоминания, прокрадывалось в сердце такой тревогой, что однажды у нее, когда после очередного совещания у полковника Клавдия проветривала его комнату, выпуская из раскрытых окон клубы табачного дыма, вырвалось:

— Неужели, Андрей Николаевич, еще опять может быть война?

Сворачивающий со стола военные карты Ваня так и вспыхнул:

— Что это тебе, мама, вздумалось спрашивать об этом?!

Продолжение. См. «Огонек» №№ 5, 6.

Но у полковника оказалось на этот счет совсем другое мнение, и, взглянув на Ваню, он сухо выговорил ему, называя его не по имени, как позволял себе, когда в доме не было посторонних.

— А о чем же ей больше у нас спрашивать, курсант Пухляков, если не успела еще у вашей матери зажить память о той войне, как мы опять уже заявились сюда со своими гусеницами и всем прочим? О чем же еще спрашивать ей и тем другим женщинам, которые не только в кино видали войну?—И, поворачивая к Клавдии голову, он совсем другим, подкупающе бережливым тоном признался ей:— Я, Клавдия Петровна, хоть по профессии и военный человек, не знаю, как мне сейчас ответить вам. Но и успокаивать вас, как женщину, пускать дым в глаза не хочу. По моей догадке, пора бы уже людям и поумнеть, но, как видите, я и сам пока на эту свою догадку не очень надеюсь. Не только сам еще продолжаю эти штуки носить,— он скосил глаза себе на погон,— но и вашего сына пытаюсь к этому приучить. Чтобы он, между прочим, и своей матери не так стыдился, когда она, по его мнению, неуместные вопросы начинает задавать.— Он повернул голову к Ване.— Еще и как уместные, курсант Пухляков.

И Клавдия не сказала бы, что это его заступничество было неприятно ей, хотя и жаль было Ваню, который все это время, пока полковник выговаривал ему, стоял перед ним, вытянувшись в струнку.

Но тут вдруг полковник, улыбнувшись одними глазами, сказал:

— Вольно, Ваня, вольно.

Наконец-то у хуторских женщин появилась возможность посмеяться над Клавдией, чего раньше они никогда не могли себе позволить. Теперь же и она оказалась перед ними уязвимой. Еще бы, если ей вдруг вздумалось и встречать и провожать этого купленного за Доном племенного жеребца, когда дед Муравель утром прогонял мимо ее дома свой табун в степь, а вечером возвращался с ним в хутор. И чуть ли не каждый день покупает для этого Грома в сельпо по кило сахара.

Смеялись соседки Клавдии, когда она, едва завидев табун, по-мужски заложив пальцы в рот, подзывала к себе жеребца свистом и начинала угощать его, к неудовольствию деда Муравля.

— Балуй, балуй,— подъезжая к Клавдии на своей смирной гнедой кобылке, говорил старый табунщик,— он и без этого никакой над собой власти не желает признавать. Чисто граф.

— А вы, дедушка Муравель, попробовали бы к нему с лаской,— советовала Клавдия.

— Ну да, а он в этот момент или своими зубищами за плечо тебя тяпнет или копытой отблагодарит. Может, за все это и мне его начинать с ладошки сахаром кормить?

— И это бы хорошо,— серьезно подхватывала Клавдия.— Вы и сами увидите, что так он к вам быстрее привыкнет. Вы только посмотрите, как он глудочку берет. Ах ты, мой ласковый.— И она гладила Грома.

— Тогда ты, Клавдия Петровна, как член правления, поставь, чтобы мне и на всех других лошадей по полтонны сахару отпускали из кладовой на каждый день,— язвительно говорил дед Муравель под смех соседок Клавдии, наблюдающих из-за своих заборов эту сцену.— Чем они хуже твоего Грома?

— Но и не такие, как он...— Своей щекой Клавдия мимолетно прикасалась к морде Грома.

Соседки пуще прежнего смеялись над ней, а старый табунщик ругался:

— Ты эти шутки брось. Этому цыганскому зверю ничего не стоит тебе полголовы отгрызть, а отвечать, как за нарушение безопасной техники, все равно придется мне.

— Ничего, я, дедушка Муравель, как-нибудь сама отвечу. Иди, Громушка, иди, видишь, как с тобой и посвиданничать нельзя. Иди в Дон покупайся, пока еще не захолодала вода; за день она нагрелась и теперь те-еплая.— И, легонько подталкивая жеребца, она отпускала его от себя.

Но бывало и так, что она вдруг подтыкала подол платья и, не успевал старый табунщик рта открыть, оказывалась на спине у Грома. И тот, как будто того ждал, рысью трогался с места, заезжая с нею впереди табуна в Дон, и там она купала его, полоскалась вместе с ним в воде прямо в платье. Возвращалась по улице верхом, вся мокрая и веселая, на зависть своим соседкам, которым ничего иного не оставалось, как иронически прохаживаться по ее адресу из-за заборов, потому что сами они на подобные выходки, конечно, были не способны. Это только одна на весь хутор Клавдия Пухлякова и могла позволить себе охлюпкой скакать, как какая-нибудь девчонка, да теперь и не каждую девчонку уже заставишь взобраться на лошадь. Как будто больше не на чем другом в наше время ездить.

Но тут вдруг дед Муравель, замыкавший на своей кобылке искупанный в донской воде табун, начинал во всеуслышание восхищаться Клавдией, а заодно и стыдить зазевавшихся за заборами женщин.

— Видали живую казачку, а?! — победоносно кричал он.— А вас, толстозадых, теперь нужно на лошадь краном подсаживать. Вы теперь только на «Москвичах» да на «Волгах» привыкли. Эх вы, курицы! Курицы вы, а не казачки!!

И под огнем этой уничтожающей критики женщины спешили скорее попрятаться за свои заборы. Но потом, перегруппировав силы и дождавшись подходящего момента, они прибегали к коварному контрманевру.

— Гляди-кось, Клава, как он уже знает тебя,— хвалили они ее, когда дед Муравель опять прогонял свой табун по улице.— Только издаля завидит и уже мчится к тебе, шарит, стервец, по карманам. А вот к дедушке Муравлю никак не хочет привыкать.

Услышав это, старый табунщик коршуном взвивался над своей кобыленкой:

— Ты, Клавдия Пухлякова, своими взятками уже окончательно ему отбила аппетит. Вечером, когда насыплю овса, и не смотрит на него. Я председателю буду жаловаться на тебя.

Клавдия великодушно разрешала:

— Жалуйтесь, дедушка Муравель. А вот за то, что у вас все лошади слепнями побитые и в хвостах у них неизвестно чего больше, волосьев или репьев, вас на правлении могут совсем от табуна отстранить.

Дед Муравель выходил из себя:

— Что я им буду своими руками репьи выбирать?!

И под его возмущенную ругань женщины опять спешили взять реванш не только за свое недавнее поражение, но и за те прежние годы, когда они без риска для собственной репутации не смели прикоснуться к Клавдии дерзким словом. Катька Аэропорт кричала ей, поднимавшейся от Дона верхом на Громе в мокрой, как хлющ, юбке:

— Теперь тебе, Клавдия, осталось только на юбку лампасы нашить.

Клавдия отговаривалась:

— Что ж мне делать, если мой родной батюшка всю жизнь в колхозе конюхом был и меня сызмальства этой же болезнью заразил?

Подбочениваясь, Катька Аэропорт начинала притоптывать:

Мне бы, мóлодой, да ворона коня,
Мне бы, мóлодой, да ворона коня,
Я бы добрая казачка была,
Я бы добрая казачка была.

Клавдия все еще надеялась отшутиться от нее:

— Мой же Гром не вороной...

Но Катька уже входила в роль:

— Какой же вороной, если он такой же красный, как мой сержант-квартирант. А вот твоего, Клавдия, квартиранта-полковника и масть не разберешь, потому что он кругом лысый. Но зубы у него еще невставные.

Незаметно понукая Грома ладонью по гладкой, выкупанной шее, Клавдия спешила проехать мимо ее двора.

— Я ему, Катерина, в зубы не заглядывала.

— И зря. Я своему сержанту первым делом заглянула. Смотри, не промахнись. Мне недолго от моего квартиранта и к твоему перемет-нуться.

Женщины покрывали ее слова смехом. Спешиваясь возле своего двора с Грома и на прощание скармливая ему из карманов кофты последние кусочки сахара, Клавдия объясняла ему:

— Ты, пожалуйста, Громушка, слишком не серчай на них, надо же им свою душу хоть чем-нибудь от тяжелой работы отвести. Но и не слушай их, никто нам с тобой не нужен, это ты и сам знаешь.

Но только не так-то и просто было отделаться от Катьки Аэропорт.

— Из-за твоего жеребца, Клавдия, в нашем сельпо скоро с сахаром будет дефицит. По полкило в каждом кармане носишь. Хоть бы одну глудочку для своего полковника приберегла. Чтобы можно было его зубам ревизию навести.

Закатываясь, женщины валились за заборами на грядки.

— Пусть, Громчик, пусть,— говорила Клавдия, вычесывая у него своим гребешком репьи из гривы.— Все равно она не знает и никогда не узнает про то, что знаем мы с тобой.

Грива, струясь между пальцами у Клавдии, потрескивала под ее гребешком, и даже при дневном свете можно было увидеть, как из-под него осыпаются искры. Такие же, как и те, что золотистой пыльцой осыпались из глаз Грома, когда он, прислушиваясь к словам Клавдии, вздрагивал своими чуткими ушами.

Если бы Катька Аэропорт могла слышать, какие еще иногда бывают у Клавдии разговоры с этим Громом, когда где-нибудь в степи, сморенный своей старостью, дед Муравель безмятежно предавался сновидениям в тени, отбрасываемой кустом татарника, в то время как лошади паслись вокруг на отаве!

— Ты не знаешь, Гром, почему это твой бывший хозяин так ничего и не отвечает мне? За это время уже могли бы десять, нет, сто писем туда и обратно сходить и столько же раз он мог бы приехать сюда, если б захотел. Но он, как видно, не хочет или же не может, но тогда бы он тоже должен был вестку подать. Если, конечно, Шелоро не набрехала мне насчет этой Насти, но похоже, что нет. Никакого ей не было расчета мне брехать, хоть, правда, и цыганка она. А ты не знаешь, Гром, правду она тогда мне сказала или нет? Ей, понятно, и без всякого расчета, а просто по привычке ничего не стоило сбрехать, потому что она этим живет... И что я ему такого могла сделать, что он не хочет знаться со мной? Или же ему кто чего-нибудь наплел на меня, но что же можно наплести? И не такой он человек, чтобы зря наговорам поверить...

Но тут в эту ее беседу с Громом внезапно вмешивался голос табунщика, который за это время уже успел передремнуть в тени куста, сколько ему нужно было и, проснувшись, обняв руками колени, давно уже прислушивался к словам Клавдии, тараща на нее свои заспанные глазки.

— Клавдия, а, Клавдия?! — испуганно окликал он.

Рассердившись на нее за то, что она, увлеченная своей задушевной беседой с этим цыганским жеребцом, даже не слышит его слов, табунщик гаркал у нее за спиной во всю мощь своих легочных мехов:

— Клавдия Пухлякова, что с тобой?!

Вздрогнув, Клавдия оборачивалась к нему.

— Ой, дедушка Муравель, не шумите так.

— Как же мне не шуметь, если я уже битый час тут сижу и слушаю, что ты перед этим жеребцом несешь с Дону и с ветру. Спервак я подумал, что это мне выпал такой сон, но потом вижу, что ты же своими словами и побудила меня. Ох, что-то не нравятся мне, Клавдия Пухлякова, твои разговоры с этим цыганским жеребцом! Так недолго и до чего-нибудь нехорошего дойти.

— Вы, пожалуйста, чуточку потише, дедушка Муравель,— увещевала его Клавдия, оглядываясь, нет ли поблизости, среди шпалер виноградных кустов, кого-нибудь из женщин.— Тут у меня с собой для вас кое-что есть.

— Ну что еще там у тебя может быть,— с неприступностью в голосе говорил старый та-

бунщик, прекрасно зная, что могла иметь в виду Клавдия. Но и не покуражиться при исполнении своих обязанностей он не мог.— Ни, ни!! — обеими руками отмахивался он от бутылки с виноградным вином, которую она извлекала из своей харчевой сумки.— Ты, Клавдия, в своем уме?! Как будто тебе неизвестно, что я на службе совсем его в рот не беру. Ай-я-яй, Клавдия Петровна, а еще член правления, вот я сейчас Тимофею Ильичу шумну, что он тебе за все это может прочесть?— Но тут же, увидев, что Клавдия начинает засовывать бутылку обратно в сумку, он перехватывал ее руку своей: — Ладно уж, не обратно же ее тебе с собой домой нести. По такой жаре в твоей сумке оно свободно прокиснуть может. Потому что виноградное вино, как ты сама должна знать, температуры не любит. На кой же ляд оно тогда будет нужно, кто его станет пить?

И с видом человека, единственно озабоченного тем, как бы предотвратить эту беду, он тут же припадал к горлышку бутылки. Запрокинув голову, катая хрящеватым кадыком, за один раз, не отрываясь, опустошал бутылку до дна и обмякшим голосом затевал с Клавдией нравоучительный разговор:

— Мне-то что, мне от этого ни холодно, ни жарко. Хочешь, беседуй с этим цыганским жеребцом, а хочешь, хоть целуйся с ним. Меня при моих годах уже трудно чем-нибудь удивить. Мало ли, бывает, на человека какое затемнение может напасть, а ты, если ненароком услыхал, сиди да помалкивай. Но только если кто-нибудь другой, например, Катька Аэропорт, захочет прислушаться к твоим речам, она, можешь быть уверена, не станет молчать. Она тут же и постарается до каждого довести, что у Клавдии Пухляковой, члена правления нашего колхоза, не иначе завелась какая-то серьезная болезнь, если она с бессловесным животным по целым дням может беседы вести. И по этой самой причине на предбудущем отчетно-выборном собрании в состав правления ее уже никак нельзя выдвигать. А на свободное место можно выбрать, например, ее же, Катьку Аэропорт.

Выслушав эти предостережения старого табунщика, Клавдия устало улыбалась:

— А может быть, дедушка Муравель, у меня и в самом деле болезнь?

Он не на шутку сердился:

— Так тебе кто-нибудь и поверил. Хочешь, я тебе скажу, чем ты больна?

— Чем же, дедушка Муравель?

— Тебе давно уже замуж надо. Вон ты какая справная баба, аж шкура трещит. Хватит уже тебе по ночам похоронной шуршать. Ну, если за какого-нибудь несамостоятельного или горького пьяницу не хочешь выходить, то хотя бы себе для нужды завела. Детей ты, слава богу, уже на ноги подняла, и теперь никто тебя не имеет права попрекнуть. Если б не мои года, я и сам бы не позволил такому товару пропадать, да что теперь говорить...— И вдруг ста-

рый табунщик бесхитростно интересовался:— А что, Клавдия, этот твой квартирант, полковник, женатый или холостой?

Терпеливо слушавшая до этого его болтовню, Клавдия грустно качала головой:

— И вы туда же, дедушка Муравель.— Поворачиваясь к Грому, она обхватывала его шею руками, прижимаясь к ней.— И некому мне, Громушка, на них пожаловаться, кроме тебя. Ты у меня один. Но и ты мне ничего не можешь сказать.

При этой ласке по шкуре Грома пробегала волна, и под щекой у Клавдии стремительно трепетала какая-то жилка.

• • •

— Что-то, мама, ты вчера долго не ложилась спать?...

— Я, Нюра, хотела тебя дождаться с танцев.

— Вот спасибо. И Андрей Николаевич тоже за компанию с тобой меня дожидался на крыльце.

— Нет, он, Нюра, сам по себе. Душно в доме.

— Ну да. А на крылечке так и обвевает ветерком с Дона. Хорошо. И поэтому вы рядышком просидели на одной приступочке до полночи. Каждый сам по себе.

— Ох, Нюра, и язычок у тебя. Почти как у Катьки Аэропорт.

— Не при мачехе росла.

Прежде она никогда бы не позволила себе говорить с матерью в таком тоне, и Клавдия сразу бы указала ей место. Но, должно быть, безвозвратно ушло то время и наступило в их взаимоотношениях другое, когда дочь уже начинает чувствовать себя скорее подружкой своей матери, и между ними становятся возможными такие разговоры, о которых и подумать нельзя было раньше.

Неизмеримо труднее приходилось Клавдии, когда Нюра объединялась против нее с Ваней. Исподволь они начинали плести свой невод, и надо было не прозевать момента, чтобы ненароком не угодить в него.

Обычно поначалу и заподозрить ничего нельзя было, когда Нюра издалека осведомлялась у своего брата:

— И долго же вы еще будете тут в свои солдатики играть?

— Сколько нужно будет, столько и будем,— в тон ей отвечал Ваня.

Нюра спохватывалась:

— Ах, да, я же и забыла, что это военная тайна. Мне бы, глупой, давно пора раз и навсегда это зарубить. Играйте себе на здоровье, мне какое дело. Вот только наша бедная мать из-за этой военной тайны так и не знает, как ей дальше быть.

Еще только смутно улавливая в ее словах какую-то опасность для себя, Клавдия не удерживалась от вопроса:

— А что, Нюра, я, по-твоему, должна была знать?

Она едва успевала заметить, как Ваня при ответе Нюры стремительно отворачивался, пырская в кулак.

— А то, что выписывать в правлении на зиму еще машину дров или нет.

Удивление Клавдии еще больше возрастало:

— Это зачем же?

Она видела, как у Вани трясутся от смеха плечи, когда Нюра начинала серьезно пояснять ей:

— Чтобы Андрей Николаевич и на другую зиму нам их наколол.

— Они с Ваней и так уже успели на две зимы наколоть.

Но теперь уже Ваня, справившись с одолевающим его смехом, решительным образом опровергал:

— Это ты зря, мама. Я не успею и топором махнуть, как он уже его из моих рук рвет. Все, что сложено за лестницей и в сарае,— его работа. Мне чужой славы не надо, я и так проживу.

Клавдия оглядывалась на неплотно прикрытую на другую половину дома дверь.

— Вы бы хоть человека постеснялись.

Нюра вступалась за брата:

— А чего бы нам его стесняться, если он и сам уже не стесняется при тебе по утрам в одних трусах к Дону бегать. Несмотря на свои безобразные шрамы.

Но тут уже Ваня с неподдельным возмущением напускался на сестру:

— Не безобразные, а боевые. Ничего ты, Нюрка, в этом не понимаешь, а тоже берешься рассуждать. Ты бы лучше у матери узнала, что за эти самые шрамы женщины больше всего и любят мужчин. Правда, мама?

Смеясь, Клавдия обеими руками отмахивалась от них.

— Может быть, Ваня, и правда, но об этом тебе надо будет у Катьки Аэропорт спросить. Она в этом не хуже, чем ты в электропроводке, понимает.

Теперь для Вани наступила очередь краснеть под ее взглядом. Он бросался за помощью к сестре:

— При чем здесь, Нюра, какая-то электропроводка?! Что-то наша мать последнее время совсем...— И он многозначительно вертел пальцем у виска.

Но тут Нюра начинала бурно хохотать, наотрез отказывая ему в своей защите. А Клавдия устало улыбалась, ей уже было жаль Ваню. Но и не было у нее какого-нибудь другого средства, чтобы наверняка отбиться от его атак.

Иногда после таких разговоров ей хотелось сесть между ними, взять каждого за руку и сказать:

— Детушки мои, оказывается, вы не шибко хорошо знаете свою мать. Она ведь у вас не совсем слепая и видит, с какого бока вы подкатываетесь к ней. Вам, конечно, кажется, что это вы ей хотите добра, но это вы хотите спокойствия для себя, чтобы потом радоваться, как с вашей помощью хорошо устроилась мать. Но разве только в таком спокойствии и вся радость? И не его, не этой радости нужно ей. Не нужно бы и вам вмешиваться во все это, потому что у каждого человека может быть в душе такой уголок, куда никому другому заглядывать нельзя. Куда, может быть, ему и самому боязно бывает заглянуть. Вот я как только чуточку позволила тебе, Нюра, туда заглянуть, разоткровенничалась с тобой, и тебе уже показалось, что ты уже знаешь больше самой матери и все можешь за нее сама решить. В то время как она и сама не знает, что ей делать. А тебе, Ваня, не успели еще у тебя только самые первые перышки отрасти, уже тоже возмечталось впереди своей неразумной матери лететь и указывать ей, как ей нужно дальше жить. Нет, не спешите, детушки, ничего за нее решать и не смотрите на нее такими глазами, как будто она вам чего-то должна или же сама не хочет себе счастья...

Вот так бы посадить их обоих с одного и с другого бока от себя и все это высказать им. Но они продолжали смотреть на нее своими хорошими, жалостливыми глазами, и у нее не хватало духу, не поворачивался язык. Тем более, что ни за что другое она не могла бы их упрекнуть, вон и другие люди говорят, что ей только радоваться на таких детей.

Но однажды она невольно затаилась у себя в комнате, услыхав, как Ваня, о чем-то по обыкновению секретничавший с Нюрой у нее в каморке, вдруг так и ахнул:

— Да ну-у! — И потом, видимо, забывшись, с уверенностью громко заявил: — Это ты совсем, Нюрка, забрехалась.

И обида Нюры на эти его слова тоже, видно, настолько была велика, что она, тоже позабыв об осторожности, возмутилась:

— Если не веришь, то и не спрашивай. Но только так и знай, что об этом с ней бесполезно говорить.

Клавдия слышала, как после этого Ваня стал уговаривать ее:

— Ты, пожалуйста, не обижайся на меня. Я, конечно, верю каждому твоему слову, но я всегда думал, что знаю нашу мать, и теперь мне просто не верится, чтобы какой-то...

Дальше они опять перешли на шепот, а потом Ваня даже не постеснялся встать и плотно прикрыть дверь в Нюрину каморку. И Нюра даже не попыталась его остановить, хотя до этого никогда не водилось у них в доме, чтобы они закрывались от своей матери.

Конечно, на то и молодость, чтобы ревниво оберегать от глаз и ушей взрослых свои секреты, и ей, как матери, нравилось, что Нюра с Ваней так доверяются друг другу. Пусть они при этом и покритикуют между собой свою мать, как всегда критикуют своих родителей дети. Но тут ей показалось и что-то другое. Особенно чем-то царапнуло это небрежно недосказанное Ваней «какой-то...», за которым вдруг почудился Клавдии такой смысл, до которого не захотелось и докапываться ей.

Утром по дороге на птичник она спросила у Нюры:

— О чем это, дочушка, вы вчера шептались с Ваней?

Шагавшая рядом с ней Нюра беспечно ответила:

— Мало ли, мама, о чем. Я и не помню уже.

— В другой раз вы еще лучше дверь закрывайте за собой. А то мать нечаянно может подслушать, как вы решаете за нее, как ей нужно дальше жить.

Нюра вспыхнула до корней волос, светло-русых, как ковыль на суглинистом склоне за хутором.

— Ничего мы не решаем,— запротестовала она.— Но и нельзя же тебе, мама, из-за какого-то цыгана так и похоронить себя...

Клавдия быстро переспросила:

— Как ты сказала?

— Ты меня прости, это у меня совсем нечаянно сорвалось. Я, конечно, все понимаю, и он, должно быть, хороший человек, если ты так...— Под пристальным взглядом Клавдии она окончательно смешалась, покраснев так, что лицо ее стало совсем под цвет ее новой розовой кофточки. Но все-таки она выправилась: — Если ты считаешь так.

— А ты сама, Нюра, как считаешь?

Нюра тут же заверила ее:

— Так же, как и ты. Тебе виднее.— Клавдия видела, что ей и мать не хотелось обидеть и солгать она не могла.— Но это ведь, мама, было уже совсем давно, и я уже почти ничего не помню. Это Ваня каждый день бегал к нему в кузню, а я и не интересовалась им: цыган и цыган.

— Ты сейчас, Нюра, сказала «какой-то цыган». Раньше я от тебя не слышала таких слов.

— Но ведь он же, мама, так и не захотел ответить на твое письмо.

Против этого Клавдии нечего было возразить. Все это была правда. И если разобраться, как бы ни отбивалась она от всех этих атак собственных детей, где-то в глубине души она вынуждена была согласиться с тем, что по-своему они правы. Нет, не только о своем собственном спокойствии думали они. Выросли ее дети и скоро, конечно, отлетят от нее. А дальше что? За ними она никуда отсюда не поедет. Она всю жизнь здесь прожила и уже не сможет без всего того, к чему привыкла так же, как к самой себе.

А Нюра, приободренная ее молчанием, уже опять впадала в свой покровительственный тон:

— Ты только не вздыхай. Я же знаю, о чем ты вздыхаешь. Он тебе на письма не изволит отвечать, а ты тут из-за него должна, как в монастыре, сидеть. Мы с Ваней уже взрослые, и ты, мама, человек вполне свободный. Теперь двадцатый век.

• • •

Вот и опять он в седле. Конечно, не в цыганском, плоском, и не в казачьем с высокой лукой, которое при необходимости могло и за подушку побыть, но так же поскрипывает оно, и так же неотступно скользит сбоку сгорбленная тень. Иногда же в полудреме может почудиться, что и ноги опять упираются в стремена.

И ничего еще подобного не испытывал он: как будто за этими фронтовыми картами и в самом деле надо было признать власть сразу смахнуть с плеч двадцать лет. Опять вернуть в ту пору, когда все еще было впереди, как и эта серая лента, уползающая под колесо назад. Но, оказывается, есть дороги, увлекающие в одно и то же время и вперед и назад, а вернее, в глубь самого себя. Той поры жизни, когда все, что теперь уже безвозвратно осталось за спиной, еще только начинало брезжить перед взором сквозь утренний молодой туман.

(Продолжение следует.)

ЦЫГАН

Анатолий КАЛИНИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Со своими цыганами за это время он почти не встречался, если не считать тех повозок, встречаемых или обгоняемых им на степных дорогах, которые тотчас же и оставались позади его мотоцикла. Чаще же совсем издали виделись его взору их силуэты, крадучись, скользящие в стороне от больших шоссе на серой холстине неба.

Но, признаться, и не искал он этих встреч, совсем наоборот. Не очень-то ему хотелось встречаться с теми из соплеменников, которые с недавних пор опять будто с цепи сорвались. А если и не миновать было их, этих грустных встреч, то, еще издали завидев знакомые телеги с трепещущими над ними под ураганным ветром, испещренными заплатами лантухами, а то и не прикрытые ничем, с ворохами тряпья, в котором копошились детишки, он нажимал на педаль мотоцикла, спеша прошмыгнуть мимо. Пока еще кто-нибудь, чего доброго, не окликнул его. Особенно невыносимым было бы для него теперь встретиться с блестящими глазенками этих одетых в грязные лохмотья несмышленышей, полностью подвластных воле своих отцов, матерей и бабок и не ведающих, какая их в будущем может ожидать участь. Как будто они могли заглянуть этими черными глазенками ему прямо в душу и опять разбередить в ней то, что и без этого непереставаемо тлело там, как жар под пеплом.

И что бы он теперь мог сказать своим соплеменникам: что вся эта кочевая жизнь, опять потянувшая их к себе,— это сплошная нужда, обман и в конце концов непереставаемая война со всеми другими людьми, не говоря уже о блюстителях закона? В то время как рядом есть другая, большая жизнь, из которой они исключили себя сами. Но все это они знали и без него. И все же опять выплеснулись на все дороги в степи, едва лишь почудилось им, что под ржавчиной времени уже потерял, утратил свою силу и этот повергший их в трепет указ, как со временем обычно теряют силу и все другие самые грозные указы. И чтобы ему самому пришлось отвечать на их неминуемый встречный вопрос: «А как же это ты сам, Будулай, опять тоже очутился на колесах?»

Нет, уж лучше сразу же, при появлении на горизонте этих печальных телег, до отказа нажать на послушную тебе педаль и, окутываясь облаком дыма, не взглянув в их сторону,— мимо. Чтобы только промелькнули эти цветные заплаты на мешковине нахлобученных на телеги шатров. Вж-жик — и нет их. Мимо этих черных глазенок, чтобы не успели они царапнуть по сердцу. И чтобы цыганские кони едва успели шарахнуться от его металлического коня, промчавшегося мимо них с ревом.

А там пусть вскакивает во весь рост на телеге цыган и, свирепо ругаясь вдогонку, крутит над головой кнутом. Пусть цыганка от ярости хоть на всю степь визжит, посылая на его голову проклятия.

Но недаром же, кроме обычного, еще и цыганское радио есть. Неизвестно, каким образом, опережая мотоцикл Будулая, бежал, катился по степи слух о том одиноком цыгане при полном иконостасе боевых орденов, который то больше всех раздирался за то, чтобы всех сразу цыган на землю посадить, а то вдруг его самого как будто этой самой черной бурей с места сорвало, и он уже никак не мо-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 5 — 7.

жет остановиться, колесит и кружит по всем дорогам с утра до ночи.

Но кочует всегда только один-одинешенек и даже чурается своих же цыган, видать, слишком гордый. Вообще, какой-то странный цыган. То пристанет дня на три к какой-нибудь старушке, давно брошенной богом и людьми, залатает ей худую крышу и перекопает весь огород, то побудет при какой-нибудь тракторной бригаде за кузнеца-слесаря или же за водопроводного мастера в детском саду. Но от платы за свою работу наотрез отказывается и даже пол-литрами не берет, довольствуясь тем, что покормят его обедом,— и тут же опять перекидывает ногу через седло своего мотоцикла. Еще не старый, но уже волосьями, как стиляга, оброс. Говорят, он и раньше какой-то чокнутый был. А теперь, слышно, взялся всех своих товарищей, с какими на фронте в казаках служил, объезжать.

И катившееся по степи цыганское радио вдруг заключало: но, может быть, он совсем и не цыган.

Но однажды ему пришлось и перед наглухо запертыми воротами подождать. Что-то слишком рано за ними отходили ко сну хозяева и спали так крепко, что даже и овчарка, давно почуявшая чужого, долго не могла разбудить их своим лаем. Наконец, выпущенная из дома в глубине двора, она так и ударилась об забор, встав на дыбки, и Будулай прямо перед собой почувствовал ее дыхание сквозь щели в досках. Вслед за этим услышал он и то, как препирались за воротами голоса: мужской с женским.

— Ты за своей бухгалтерией в подвале совсем стала глухой.

— А ты бы еще громче храпел. Хоть за ноги выноси.

— И покуда всю эту механику отопрешь, человек может плюнуть и уйти.

— Самостоятельный в такое время не станет по гостям шляться, а кто-нибудь из твоих каплюжников и подождать может.

Кажется, и Будулаю надо было поворачивать обратно. Скорей всего, он так бы и поступил, если бы в эту минуту не заиграли за воротами с тягучим лязгом запоры.

— Вр-рата замка...— сердито бормотал мужской голос.

— Нет, сперва надо узнать...— И не замеченная Будулаем в калитке задвижка отодвинулась у него прямо перед лицом с таким стуком, что он отшатнулся. В проеме форточки забелело лицо:

— Кто?

— Будулай.

— Какой такой Будулай? — подозрительно переспросила женщина.

Но теперь уже мужской голос рявкнул за воротами так, что Будулай сразу же узнал своего фронтового друга Шелухина.

— Что значит, какой?! Да цыц ты! — прикрикнул он на охрипшую от горлового клекота собаку. И под его руками пал последний запор. Женская фигура тут же повернулась и пошла прочь от них в глубь двора, где светились окна дома.— Видал? — впуская Будулая в калитку, спросил его фронтовой друг.

— Нет, так у нас с тобой не пойдет разговор,— решительно заявил он через десять минут, когда они уже сидели вдвоем в комнате за накрытым бархатной красной скатертью столом.— Если хозяйка сама не изволит догадываться, как ей следует фронтового друга своего мужа встречать, значит, мне самому придется нанести ей в ее крепости визит.— Ногой в белом шерстяном носке он глухо постучал по застланному толстым ворсистым ковром полу.— Ты только, Будулай, старайся тут без меня не шевелиться, чтобы на тебя, чего доброго, не захотел попробовать свои клыки этот зверь. Я сейчас вернусь.

И все время, пока он отсутствовал, лежащая в углу комнаты серая овчарка не сводила с Будулая своих узко поставленных глаз. Еще с тех самых пор, когда ему, бывая в разведке, приходилось с такими овчарками дело иметь, не очень внушали ему доверие эти волчьей породы псы. На всякий случай он стал припоминать, как ему, в случае надобности, надо будет повести себя с этим зверем. Тем более что и ждать пришлось довольно долго. Из-под пола той самой комнаты, где сидел Будулай, еще долго доносились до него все те же два сердитых голоса, пока наконец его фронтовой друг Шелухин не появился в дверях с графином красного виноградного вина в руке и с почти столь же красным лицом.

— Как говорится, преодолевая яростное сопротивление противника...— весело сказал он, ставя графин на стол перед Будулаем. И тут же, без промедления разливая вино по бокалам, с удивлением покрутил головой.— И хоть бы, скажем, магазинное, а то ведь полный подвал своего. Красностоп золотовский,— не без гордости объявил он, поднимая в руке свой бокал. Языком красного пламени плеснулось в нем вино.— За все доброе! — Но тут же голос его и потускнел, когда он поставил пустой бокал на стол.— Хотя и где оно, доброе? Как бывший разведчик, ты сразу должен был увидеть, Будулай, как я живу.— И ногой в домашней вязки носке он опять постучал по застланному ковром полу.— Слышишь, булькает...— Из-под пола действительно доносились какие-то булькающие звуки вперемежку с отрывистыми щелчками.— А это она кидает на счетах свой дебет-кредит,— отвечая на взгляд Будулая, пояснил Шелухин.— Теперь почти до утра будет из бочек в баллоны переливать и подсчитывать будущий доход. Ты не шути, у нее, брат, там и раскладушка стоит. Что же ты не пьешь? Все-таки, должен же ты моего собственного производства вино оценить.

Пришлось и Будулаю из своего бокала отпить. Нет, он не взялся бы о себе сказать, что сколько-нибудь понимает в винах. Как-то не успел привыкнуть к ним за свою жизнь. Но здесь, кажется, и несведущему можно было понять, каким было это красное виноградное вино.

— А я что говорю! — с удовлетворением понаблюдав за ним, заключил Шелухин.— Я же сказал, что это красностоп. В чем, в чем, а в этом я, слава богу, научился разбираться. Могу хоть перед Организацией Объединенных Наций экзамен держать. Потому что это не какое-нибудь фирменное, а свое. Но с этого-то все и началось...— неожиданно подытожил он, снова наливая себе из графина в бокал.

От своего бокала Будулай его руку отвел.

— У меня еще есть.

— Ну, как хочешь. Как говорится, была бы честь предложена.— Не отрываясь, Шелухин тут же и выпил свое вино. Будулай невольно заметил, что рука у него, сжимавшая ножку бокала, дрожит мелкой, прерывистой дрожью. И на щеках у его фронтового друга всего после двух выпитых бокалов уже появился лиловый, сизый румянец.— С того началось, что привез я ее на этот берег двадцать лет назад и сказал: «Вот здесь мы и заложим сад нашей будущей счастливой жизни.— Он криво дернул одной стороной подстриженных усов.— А еще по прошествии некоторого времени будем здесь с тобой с этого сада свое собственное вино пить». И как ты видишь, Будулай, все это в точности сбылось. Теперь те из товарищей, которым еще удается прорваться ко мне сквозь эти врата замка, восхищаются: «У тебя здесь цветущий эдем, оазис благополучия и любви. В таких условиях ты обязан не меньше ста лет прожить...»

В углу комнаты захрапела убаюканная голосом своего хозяина овчарка, положив на вытянутые лапы волчью морду. Однако стоило Будулаю лишь резче обычного скрипнуть стулом, как тут же и напряглись у нее хрящеватые уши, замерцали из угла зрачки. Ее хозяин снова усмехнулся под усами одним углом рта.

— Видал? На войне твой друг думал, что от этих серых призраков фашизма потом не останется и следа, а теперь в городе в собачьем ряду под руководством своей молодой женушки собственноручно этого цербера отбирал.— Он снова взялся рукой за горлышко графина. Будулай дотронулся до его руки своей.

— Может, уже не стоит?

— Ты, что же, боишься, как бы твой фронтовой друг не спился, да? — Полуприкрыв веки, Шелухин смотрел в свой бокал, как будто видел там что-нибудь, и вдруг вскинул на Будулая черточки острых, как у кота, зрачков.— А если он уже спился, тогда что? — Но тут же он и успокоил Будулая, поднимая кустистую губу над подковкой вставных золотых зубов.— Ты не бойся, я и сам, если захочу, могу в любой момент прекратить. Если не веришь, могу тебе клятву дать.

— Я тебе и так верю,— поспешил сказать Будулай.

— Но в том-то и дело, что я не хочу. Не то что не могу, а вот не хочу, и все! — повторил Шелухин с угрозой в голосе.— А вот теперь уже не булькает,— склоняя голову набок, опять прислушался он. Из-под ковра и в самом деле уже не доносилось никаких звуков. Он с уверенностью добавил: — Шабаш. Все до последнего литра разлито, и все она уже разнесла в своей бухгалтерской книге по графам и сортам и теперь умаялась так, что у нее даже не осталось сил подняться наверх. Я же тебе сказал, у нее на этот случай и раскладушка стоит. А на неделе мы с ней повезем на своем «Москвиче» все это добро в Шахты в радужные бумажки превращать, спаивать рабочий класс. Да, да, не смотри на меня такими глазами, у нас там на базаре и свое специальное место есть и своя клиентура, оценившая за эти годы качество нашего натурального вина. У меня, Будулай, даже спецодежда есть, я ее скафандром зову: белый халат с колпаком и клеенчатый фартук. Ты бы хоть раз посмотрел на своего старого боевого друга, как он в воскресный день стоит в этом скафандре посреди базарной толпы и зазывает покупателей.— Шелухин вдруг стал выкрикивать речитативом: — Сибирьковое, ладанное, пухляковское, раздорское! — Пружинисто вскакивая, зарычала в углу овчарка.— Лежать! — скомандовал ей хозяин, и она опять улеглась, укладывая на лапы морду.— И хотя бы ради чего было обвешиваться всеми этими коврами! — Полукругом поворачивая голову, он исподлобья обвел стены комнаты взглядом.— Тогда бы хоть можно было тешиться, что все это наживается не для себя, а для счастливого будущего своих детей...— Рука его, тоже описывающая полукруг, как неживая, упала на стол, стукнув костяшками пальцев.— Но у нас с ней, Будулай, теперь уже наверняка не будет детей.— Он дернул одним усом.— Нет, она баба, несмотря на свою угрюмую злость, вполне здоровая, ей бы только рожать, и я, невзирая на свой возраст, еще не такой, чтобы на стороне подкрепления просить, но ей, видите ли, не улыбается остаться одной с дитем на руках. Хотя с тех пор, когда она первый раз сказала это мне, мы уже вполне смогли бы и сына в армию проводить и дочку замуж выдать. Еще и теперь бы нам не поздно, люди в этом возрасте только в брак вступают, но она и слышать не хочет. Теперь уже говорит, что об этом надо было раньше думать. А уже если она себе затвердила что-нибудь, то нет такого чело...— Язык уже отказывался ему повиноваться, и лишь после явного усилия он смог раздельно договорить: — Че-ло-века, чтобы ее пере... пере-го...— Но перешагнуть через это новое препятствие ему уже оказалось явно не под силу. Голова его, склоняясь над столом, заколыхалась из стороны в сторону. Он спал, как маятником покачивая ею на безвольной шее. Но вдруг он, резко вздергивая ее, совсем трезво взглянул на Будулая.— А у тебя, цыган, уже большие дети? — Будулай не сомневался, что рано или поздно стрелка их разговора обязательно должна будет набрести на эту волну, и все же растерялся в первый момент. Однако тут же и выяснилось, что Шелухин и не ждал от него ответа на свои слова, а сам же и ответил на них, блеснув из-под усов своей вставной улыбкой: — Нашел у кого спрашивать... У вас же, если и есть дети, все равно что их нет. Вы только и умеете их сразу по дюжине плодить, а там пусть сами же и цепляются своими ручонками за жизнь, а если у кого не хватило для этого силенок, значит, не судьба. Взамен одного слабого можно еще полдюжины наплодить, чтобы они на базарах батрачили на своих отцов и матерей. Ты, надеюсь, на меня не обиделся, Будулай, лично тебя я не имею в виду, потому что о присутствующих, как известно, не говорят. Но если все-таки обиделся, то мне недолго свои слова и обратно взять.— Будулай ничего не ответил ему, и он, поколыхав над столом головой, опять поднял ее.— В городе Новочеркасске, где я рос, весной всегда акация так цвела, что крыши домов плавали, как льдины в снегу, и просто уже нечем было от этих гроздей душистых дышать. И все, помню, мне хоте-

лось поскорее уехать из этого белого дурмана куда-нибудь подальше. Вот и теперь, Будулай, иногда на меня такая муть нахлынет, что прямо-таки завязал бы глаза и бежал куда-нибудь из этого оазиса благополучия и любви. Старые товарищи к нам давно уже не ездят, и мы не ездим к ним, а какая же это любовь без людей? Бежал бы из этого эдема на сто донских виноградных чаш и вообще от всей этой полной чаши с ее двумя сторожами в лице этого волка и молодой красивой жены. Так бы надвинул на глаза шоры и не оглянулся назад.

— Что же тебе...

Будулай спохватился. Но уже поздно было. Вопреки его ожиданию Шелухин ничуть не обиделся, даже поощрительно взглянул на него:

— Мешает?.. Да? Это ты хотел сказать? А никто, я сам. Тебе, Будулай, когда вздумалось, ничего не стоит прыгнуть на своего коня и опять расчесывай бороду ветром, потому, кроме этого сундучка на твоем мотоцикле, у тебя ничего нет. А мне уже не прыгнуть. Легко ли расстаться и с этим кирпичным домом, в котором, если захочешь, можно хоть в фугбол играть? И с этой усадьбой на сто виноградных кустов, каждый из которых своими же руками посадил? Свое вино... Хотя и конца всему этому нет. Чем больше у тебя есть, тем, оказывается, еще больше давай. И обратного хода из этого вентеря не бывает. Если смолоду, когда это рабское благополучие еще только начало затягивать тебя, вовремя не пресек, то потом уже поздно. Самому же бывает и боязно с ним расстаться, мне это лично известно.— Он быстро дотронулся до руки Будулая, лежавшей на столе.— Ну, а как бы все-таки ты на моем месте поступил?

Будулай убрал свою руку под стол.

— Ты это лучше меня должен знать.

По лицу Шелухина пробежала тень.

— Я у тебя, как у друга, спрашиваю, а ты мне отвечаешь, как Чжоу Энь-лай. Но ты прав, кроме меня самого, этот узелок никто не сможет разрубить. И я, бывало, совсем уже начну собираться, потихонечку начинаю со своего чемодана смахивать пыль — и в самый последний момент сам же даю отбой. Как вспомню, что она мне всю свою молодость отдала, и становится мне ее жаль. Если разобраться, из-за меня же она и сделалась такой. Сам же я затянул ее в этот круг, а теперь уже она не отпускает меня из него.— Склонив голову набок, он внимательно прислушался.— Нет, оказывается, я ошибся, с розливом и подсчетом будущих барышей у нее покончено, но теперь она, высунув язычок, выводит на этикетках: «Гамбургский черный», «Донской мускат», «Рислинг»...— Убаюканная голосом хозяина, храпела в своем углу овчарка.— К тому же и поклепом было бы с моей стороны сказать, что все эти годы она была мне плохая жена. Несмотря на то, что я вдвое ее старше, а для молодой женщины не очень-то веселое занятие растирать и отхаживать своего мужа, когда он начинает разъезжаться по всем швэм. Другая от одного моего храпа сбежала бы на другой день. И что самое непонятное, она, судя по всему, любит меня! — С изумлением поднимая от бокала свои светлые навыкате глаза, он уставился на Будулая.— Вот и попробуй после всего этого от нее сбежать, если ты не последняя сволочь. Если к тому же и в глубине души ты сознаешь, что некого тебе в своих бедах винить, кроме самого себя. Никто же не виноват, если тебе самому захотелось своего вина.— И, усмехнувшись под усами своей кривой улыбкой, он спросил: — Ну, а как же все-таки, по-твоему, хорошее оно или нет?

— Не очень я в этом разбираюсь,— сказал Будулай.

— А я и не спрашиваю, разбираешься ты или нет. Не увиливай, цыган. Лично тебе оно понравилось или нет?

— Понравилось.

Шелухин обиженно засопел:

— Это же не из какой-нибудь разносортицы смесь, а чистой пробы красностоп. Этой лозы скоро будет на Дону днем с огнем не сыскать. И на глаз,— поворачиваясь к электрической лампочке, он поднял в руке бокал,— как самая сверхранняя заря, и на вкус...— Прихлебнув из бокала, он поставил его на стол,— тут тебе и полынь, и донник, и вообще помесь радости с грустью. Если бы я захотел, я бы за это вино мог на всяких там дегустациях золотые медали с дипломами получать. Да мне они ни к чему. Ну, а раз оно тебе нравится, Будулай, то, значит, пей.— Он опять взялся за графин.

Будулай поспешил прикрыть свой бокал рукой.

— С меня хватит.

У Шелухина дернулся ус на одной стороне губы.

— Насильно я тебя не собираюсь заставлять. Что-то ты слишком мудрый стал, Будулай. Ну, тогда и я не стану больше пить. От этого золотовского меня сегодня совсем развезло.— Он покачал за горлышко графин.— Ложись здесь на диване, а я заберусь куда-нибудь в самый дальний куток, чтобы тебе не слышен был мой храп. Нормальному человеку со мной под одной крышей невозможно уснуть.

Но, уходя, он все-таки не забыл прихватить с собой и графин с остатками красного вина. Вставшая со своего места в углу овчарка, сонно потягиваясь, поплелась за своим хозяином на другую половину дома.

Все-таки утром на прощание Шелухин еще раз требовательно спросил у Будулая:

— Вчера ты так и не ответил прямо на мой прямой вопрос, что мне, по-твоему, надо делать?

Не хотелось Будулаю и на этот раз ему отвечать. С какой стати было записываться в судьи чужой жизни, если и себя самого не всегда можешь до конца понять.

Но тут из-за обшитой белой цинковой жестью двери винного подвала, из низов дома появилась жена Шелухина и остановилась на пороге, с откровенной неприязнью глядя на то, как прощаются они друг с другом. Это впервые Будулай увидел ее. Да, конечно, сразу можно было сказать, что она на много лет моложе была его фронтового друга и еще хороша собой, статна. Но и что-то неуловимо старило ее, может быть, эта складка губ, сомкнувшихся чересчур плотно, а может, и откровенно неласковый взгляд из-под черных густых бровей. С седла мотоцикла Будулай кивнул ей, дотрагиваясь рукой до края своей шляпы, но она не ответила ему ни каким-нибудь, пусть самым легким, движением, ни единым словом. Клеенчатый, с бурыми пятнами и подтеками передник был на ней, а в руке она держала связку больших и маленьких ключей. Одним из них, должно быть, запирался и этот большой полукруглый замок, выглядывающий из-за ее плеча на обитой цинковой жестью двери винного подвала.

И тут Будулай, уже надавив ногой на педаль мотоцикла, неожиданно для самого себя сказал всего одно слово своему фронтовому другу:

— Бежать.

* * *

По ночам в прибрежных талах за Доном и в вербном лесу на острове шуршало и трещало так, как будто там стадами бродили забытые нерадивыми хозяевами телята, и ни единой лодки не оставалось на приколе у хуторского берега, неутомимо хлюпали весла, раздавался над водой откровенно счастливый воркующий женский смех вперемежку со стыдливо приглушенным, мужским. И хотя бдительные старшины, соблюдая строжайший приказ своего начальства, зорко стерегли расквартированных по хутору курсантов, у каждого дома не поставишь по старшине, а этот большой казачий хутор, на километр растянувшийся по берегу Дона, смахивал скорее на станицу.

А наутро на осенних огородах и виноградниках женщины обменивались между собой самыми последними известиями и сводками с переднего края этой минувшей ночи любви. Катька Аэропорт, состригая секатором с виноградной лозы гроздья и укладывая их в плетеную корзину, то и дело разгибалась и потягивалась, похрустывая всеми косточками.

— Э-эх, подруженьки, мне бы сейчас наподобие Валентины Терешковой вокруг Земли полетать.

Подруженьки недоумевали:

— С какой же стати?

— Чтобы вы за это время заместо меня норму выполняли, а про меня по радио сообщали: «У космонавта Екатерины Колмыковой в данный момент по графику отдых».

Подружки советовали:

— Ты бы лучше, Катька, попросила сельсовет тебе твоего сержанта на какого-нибудь другого квартиранта сменить.

Катька Аэропорт наотрез отказывалась:

— Не могу.

— Почему?

— Потому что злее рыжих никого не бывает в любви.— И, сочно зевая, Катька прикрывала ладонью накрашенный рот.— Все равно я бы согласна была, чтобы эти военные учения проводились в нашем хуторе круглый год. Мне с такими подобными квартирантами никогда не бывает скучно. Это вот только временная напарница моя не знает, куда ей себя со своим квартирантом от скуки девать.— И Катька скашивала глаза в сторону Клавдии Пухляковой, тоже обстригающей секатором с куста гроздья.— Я бы, Клавдия, на твоем месте знала, что мне делать. Какого же тебе еще нужно, а? Еще моложавый, недурной и при таком чине. А самое главное, неженатый.— С игрового Катька переходила на деловитый и горячо убеждающий тон: — Какого тебе еще рожна?! Тебе счастье привалило прямо в дом, осталось только руки протянуть, а ты еще чего-то ждешь. Везет же людям! Уж я бы на твоем месте знала, как надо с твоим полковником обойтись.

Взглянув на ее раздувшиеся ноздри, на приоткрывшийся рот, обнаживший влажные зубы, можно было не сомневаться, какая бы участь могла ожидать этого самого полковника, окажись он на квартире у Катьки. Хорошо зная ее характер, Клавдия только улыбалась, и, разочарованная ее молчанием, Катька Аэропорт заключала:

— Ну, а если ты такая бесчувственная, то повыполняй тут пока норму за меня, а я полчаса передремну. Моченьки моей больше нету. И, смотри, не забудь меня под бок ногой ширнуть, если наш драгоценный бригадир или же сам председатель, не дай бог, нагрянет.

И, повалившись ничком на землю в тень виноградного рядка, она тут же мгновенно засыпала. А через минуту, сморенная внезапным приступом сна, валилась на теплую землю какая-нибудь женщина в соседнем рядке, не выпустив из руки секатор. То и дело то в одном, то в другом рядках колхозной виноградной плантации, как подкошенные, падали под кусты женщины и молодые девушки, а их верные подружки в это время начинали вдвое быстрее щелкать секаторами, выполняя и за них норму, чтобы вскоре также повалиться на землю. Посменно одни валились между рядами, а другие оставались на посту, сторожа короткий сон друг дружки от взоров бригадиров и другого начальства, которому ровным счетом никакого не было дела до того, что женщинам обязательно надо было хоть немного набраться сил перед очередным бодрствованием на переднем крае новой ночи любви. Известно, что бригадирам и агрономам только норму подавай.

А в теплой осенней степи, среди позолоченных солнцем спелых гроздьев, под мелодичное пощелкивание секаторов так сладко спалось!

Напрасно Тимофей Ильич, объезжая виноградники и фермы, грозил, что специальным решением правления раз и навсегда прекратит эти ночи любви, будет лично патрулировать по Дону на моторке, а по кустам краснотала ревизию наводить, иначе так до заморозков и останется висеть на лозах виноград. Никто не пугался его угроз. Катька Аэропорт, когда он как-то принародно постыдил ее, что у нее скоро останутся кожа да кости, а глаза совсем провалятся от этих бесконечных дежурств на воде и за Доном в кустах, ничуть не обидевшись на него, заиграла своими изумрудами и отпарировала:

— Это вы какую-нибудь другую, Тимофей Ильич, постыдите, а мне, слава богу, незачем прятаться по кустам. Мне и дома на моей кровати с пуховой периной хорошо. И насчет моей кожи да костей, если вам лично неизвестно, вас полностью может в курс дела мой рыженький квартирант ввести. Это я только на вид худая, а так у меня все на месте.

И для убедительности она так извернулась перед Тимофеем Ильичом бедрами и всем телом, что он даже попятился.

— Тьфу, бессовестная! С тобой только связжись.

Присутствующие при этом разговоре женщины садовой бригады смеялись, а Катька Аэропорт серьезно соглашалась:

— Вот это верно. По этому сугубо личному вопросу вам лучше не связываться со мной. Потому что никто мне не может запретить и за всю мою прошлую одинокую жизнь теперь отлюбить и для запаса на будущее прихватить. Вот скоро уедут курсантики, и тогда я опять начну говеть. Тогда вы меня можете за мое примерное поведение хоть на доску почета под стекло помещать.

— Как же, поговеешь ты,— захлопывая дверцу «Волги», бормотал сконфуженный Тимофей Ильич. Даже он, привыкший к остроязычию хуторских казачек с детства, к этой неприкрытой откровенности Катьки Аэропорт привыкнуть не мог. Но все-таки на прощание, откручивая боковое стекло «Волги», он еще раз высовывал голову: — Но, смотрите, если вы мне на винограде нормы завалите, я из вас душу вон!

Катька Аэропорт охотно подхватывала:

— Вот это другое дело. Тут вы над нами вправе свою власть показать. И мы вам должны подчиняться, на то вы и предколхоза. Но вы, Тимофей Ильич, можете не беспокоиться, мы и на этом виноградном фронте вас с нормами не подведем. У нас и на это еще хватит сил. Все будет сделано, Тимофей Ильич.

И,. провожая отъезжающую председательскую «Волгу», Катька Аэропорт по-военному лихо козыряла, но только прикладывая руку не туда, куда обычно положено, а к своему выпнутому далеко в сторону бедру. У женщин от смеха падали из рук на землю секаторы, и по губам отъехавшего от них на «Волге» Тимофея Ильича еще долго блуждала улыбка. Вот и попробуй после всего этого обидеться на Катьку Аэропорт.

И чем ближе подходил срок окончания этих военных учений, тем, казалось, неистовее раздавалось хлюпанье весел на Дону, откровенней звучал молодой счастливый смех на воде и в задонском лесу, а в прибрежных кустах краснотала опять до самого утра шуршало, как будто бродили там телята, забытые их хозяевами на ночь.

А тут еще опять вернулось тепло. Наконец-то отбушевали черные бури, и опять стало не просто, а по-летнему тепло, даже жарко. Днем под крутыми склонами бугров, отгородивших хутор от степи, в улочках и проулках застаивалась духота, а ночью она сползала с горы к Дону. Клавдия, которая из-за духоты в доме перешла спать во двор под вишни, вздрагивала, разбуженная песней, отражаемой Доном так, как будто ее запевали над самым ухом:

«Потерял, потерял я свой голосочек...»

И, обрывая песню, Катька Аэропорт начинала дурашливо смеяться и шлепать веслом по воде так, что сверху из хутора было видно, как вспыхивают при месячном свете капли. После этого Клавдия уже до самого утра не могла глаз сомкнуть. Проклятая Катька Аэропорт! С глаз Клавдии как будто чья-то рука срывала повязку сна, и он уже больше не возвращался к ней. Начисто пропадал, как если бы назавтра на рассвете ей не надо было опять идти на птичник, а оттуда, оставив кур на Нюру, бежать на виноградник в степь.

Слышала она и то, как возвращался с последнего киносеанса в клубе Ваня, стараясь бесшумно прошмыгнуть мимо матери в дом; и то, как уже далеко за полночь Петька Чекуненок подвозил до угла улицы на своем мотороллере Нюру и потом они еще долго топтались там на углу, целуясь при невыключенном моторе. Даже и во дворе под одной простыней нестерпимо жарко было спать, она облипала тело, и Клавдия сбрасывала ее с себя. Но тут после полуночи с берега Дона тучей налетали на хутор комары. Со своего места из-под вишен Клавдия видела, что и Андрею Петровичу, полковнику, не спалось, он выходил из дома и стоял, белея майкой на крыльце и тоже, конечно, слыша это шлепанье весел по воде, заливчатый смех Катьки Аэропорт, шуршание в талах. Почему-то Клавдия уверена была, что при этом он тоже думает о том же, о чем думала и она: что безвозвратно проходит жизнь, те ее годы, когда человек еще может на что-то надеяться и чего-то ждать... Вот кончатся эти учения, откочуют из хутора курсанты, уедет и Ваня с полковником, и опять Клавдия останется в доме вдвоем с Нюрой. Опять не слышно будет в доме мужских голосов, тяжелых шагов и этого солонцеватого терпкого запаха, к которому она успела привыкнуть за это время. Днем еще ничего, еще можно забыться среди людей, а вечером, когда Нюра будет уходить на гулянки, опять одна, совсем одна. А потом, может быть, и Нюра уедет, увезет ее с собой тот же Петька Чекуненок, который собирается в архангельские леса зарабатывать себе деньги на «Волгу»,— не век же ей при матери сидеть. И тогда уже наступит совсем полное одиночество. Она насмотрелась, хорошо знает, как в хуторе одинокие, бездетные вдовы живут или же те женщины, от которых уже отлетели их дети. Слоняйся по дому и по двору, готовь сама себе и убирай сама за собой, разговаривай тоже сама с собой, а если хочешь, то еще с курами или же с коровой, которая будет смотреть на тебя ласковыми глазами, но так ничего и не скажет, и кошка тоже будет ходить за тобой по дому и по двору, тереться об ноги. А потом зашуршит бесконечный дождь по окнам, опять придут нескончаемо длинные зимние ночи. И тогда хоть кричи. А если, не дай бог, заболеешь и сляжешь, некому даже будет воды подать.

Конюшня, в которой ночевали колхозные лошади, была через балку от двора Клавдии, и ночами она, слыша, как постукивают копытами по дощатому настилу и шумно отфыркиваются лошади, поклясться могла, что это громче всех вздыхает и не стучит, а прямо-таки с неистовой яростью ломает стенки своей деревянной клети конь Будулая. Вот-вот вырвется он наружу и умчится в степь — вдогонку тому, о ком он так тяжко вздыхает.

Продолжение следует.

Анатолий КАЛИНИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ЦЫГАН

* * *

Еще выпадали росы, но уже предвещающие, что однажды, разомкнув глаза под сенью куста, не мудрено будет увидеть на листве вместо прозрачных слезинок и твердые блестки инея. И сколько бы ни намащивал он с вечера под бока мягкой палой листвы, как бы ни натягивал на себя свою старую плащ-палатку, к рассвету мурашками так и осыпало его всего, и, забираясь всюду, они щекотали и кусали, как будто иголочками пропарывая кожу.

Ветер, продувающий стенки придорожных лесополос, нагребал перед мотоциклом на дороге сугробы косматых клубков перекати-поле. Уже почти на излете оказалась и эта стрела, вспарывающая своим жалом его карты. И чем дальше забиралась она в глубь памяти, чем больше нанизывалось на нее встреч с мертвыми и с живыми, тем как будто круче становился этот путь, и то ли это мотор его мотоцикла начинал временами захлебываться на этом крутом подъеме, то ли еще что-то другое...

— Я тебе завидую, Будулай. Если бы у меня тут не своя война, я бы тоже попросился к тебе на раму. Взял бы?

— Если ты не будешь против, чтобы мой сундучок к тебе на спину перекочевал.

— На моей спине, как ты помнишь, и не такой груз себе место находил.

— Это я помню.

И, окидывая взглядом могучие плечи своего друга, невольно вспоминал Будулай, какой тот приволок на себе груз в самый последний раз, когда корпус уже вышел к Австрийским Альпам. Доставленный сержантом разведки Ожогиным в дивизию «язык» весил за сто килограммов, и тащить его надо было на спине два километра.

— Как на передовой живу,— отвечая на взгляд Будулая, пояснил Ожогин.— Но то была война с врагами, а тут попробуй пойми. Браконьер ходит где-то рядом с тобой и даже выступает на собраниях за коммунизм, а где-нибудь в лесной глуши он хуже, чем волк. У волка только и оружия — его природные зубы и ноги, а у него — мотор, бензопила «дружба», ружье с оптическим прицелом и даже самодельная граната для глушения рыбы. По сравнению с ним твои сородичи, Будулай, которые опять стали приворовывать по пути своего кочевья колхозных лошадей, жалкие кустари. Не какое-нибудь бревнышко на стропила дома норовит уволочь, а целый лесовоз кругляка. Не копешку для своей буренки, а сразу десять тонн госфондовского сена, затюкованного и уложенного на зиму в скирды. Не два-три вентерька поставить, а капроновой сетью или сотней переметов перехватить горло Донца, а то и выглушить за какие-нибудь полчаса в лесу озеро с карпами.

На стенах мезонина, где с утра уже далеко за полдень засиделись они, вспоминая фронт, трепетали отблески волнуемого легким ветром леса, а по некрашеным бревнам скользили тени тех, чье посвистывание, пиликанье, ржавый скрип врывались в раскрытое наружу окно. Из окна сквозь стволы молодых сосен, обступивших дом, сквозила синева Северского Донца.

— Никогда не думал, что и после войны на земле эта пакость может быть.

Ожогин даже встал и заходил по тесному мезонину взад и вперед, круто разворачиваясь на месте. Половицы прогибались под тяжестью его шагов. И только когда он, останавливаясь, начинал к чему-то прислушиваться, слабая улыбка вдруг расползалась по его лицу, сплошь обросшему, как, должно быть, и полагалось ему по его должности лесника, клочьями бурого моха. Вот и этот друг Будулая склонял голову набок, прислушиваясь к тем звукам, которые тоже доносились до него из низов дома, но это были совсем другие звуки. Как будто там, в низах, все время что-то катали по полу или же какой-то зверек бегал по коридору и по всем комнатам взад и вперед на упругих лапках. И опять, круто развернувшись на месте, Ожогин заглушал этот гул своими шагами.

— У меня даже уши стали шевелиться на каждый шорох в лесу. Особенно после того, как мы с Северного Кавказа фазанов завезли. И лосей никогда здесь раньше не было, а теперь даже приходится отстреливать их ежегодно по восемь—десять штук, потому что и колхозы уже стали жаловаться: сады грызут. Но лично у меня, Будулай, после войны как-то не налегает рука. Совсем уже поднимешь ружье, а из-под этих расчудесных рогов вдруг глянут на тебя прямо-таки человеческие, с поволокой, глаза, и будто кто снизу твое ружье подобьет. А он тут же повернется — и от тебя в лес вот так...— И по волнообразному движению его руки Будулай явственно представил себе, как уходил в лес этот лось.— Но браконьеру, конечно, все равно, с поволокой или без поволоки, ему как раз и не терпится влепить из своего нового карабина прямо между этих глаз.— Ожогин махнул рукой и, возвращаясь на свой стул, круто повернулся к Будулаю, меняя разговор: — Неужто и донскую элиту на вашем конезаводе удалось сохранить?

— Да,— подтвердил Будулай.

— А я, признаться, как услышал по радио, что уже и до распашки задонских лугов дошло, так и решил, что теперь она тоже на колбасу пойдет. На казы́. А какие всегда по Задонью были займища, какие травы! Ты там, конечно, прилепился к генералу Стрепетову из нашего корпуса не один.

— Не один.

— Но ты у него, как табунщик, на вес золота должен быть. Как-никак помесь цыгана с казаком. Вот уляжется эта перестроечная черная буря, и вас за сохранение донской чистокровной еще будут орденами награждать. В наше время это подвиг. Так и надо, сцепи зубы и, несмотря ни на что, каждый на своем месте делай свое дело. Каждый при своем табуне.

При этом впервые в жизни странное чувство раздвоенности испытывал Будулай: как будто с того дня, как уехал он с конезавода, потерял он право и на то, чтобы слушать все эти слова. Но и не сказал ли ему тот же Стрепетов, чтобы все это время он чувствовал в отпуске себя, пока будет совершать свой путь по фронтовым картам. И не мог же Будулай теперь вдруг нанести удар своему другу, который, глядя на него своими далеко запрятанными под склоны бровей глазками, растроганно говорил:

— Вдвойне тебе завидую, Будулай, потому что ты там не только при своем деле, но и среди тех же самых людей, с которыми вместе войну прошел. Хотя, конечно, и мне тут не приходится жаловаться на свою жизнь. Другие и ропщут на свою судьбу и все чего-то ищут, а мне было бы грех. От добра добра не ищут. Как приехал после демобилизации на этот кордон, огляделся вокруг и сам же себе сказал: больше тебе нечего искать. Ты же помнишь, что я и на фронт прямо с выпускного вечера в лесном техникуме попал...

— Помню.

— Не хочу хвалиться, но всю эту сосну, которую ты видишь перед собой, уже я насадил. То есть, конечно, не я один, но весь этот лес по берегу Донца появился уже при мне. А ведь тут были одни сыпучие буруны, совсем как под Кизляром, откуда наш корпус свой путь начинал. А тебе тут нравится, Будулай?

— Нравится.

— И никакой другой жизни для себя я не хочу. Но... как бы тебе получше объяснить. Оказывается, может быть у тебя и любимая работа и такая подруга жизни, что сам удивляешься, за что тебе могло такое счастье привалить, а все же это еще не все счастье. Особенно когда вдруг незаметно подкрадется день, когда из окна машины твоя первая и твоя единственная дочь на прощание сделает тебе рукой вот так...— И Ожогин снова, но уже не волнообразно, а как-то надломленно показал это своей рукой.— И когда после этого ты вернешься в свой дом, а он совсем пустой. Только вчера лопотали по всему дому ее ножки, что ни день, приносила она из леса то какого-нибудь зайчонка, то скворчонка, выпавшего из дупла, и елку ты своими руками убирал для нее каждый год. И вот больше уже в твоем доме никогда не будет елки.— Неожиданно он спросил Будулая: — А цыгане устраивают елки для своих детей?

Продолжение. См. «Огонек» №№ 5—8.

Будулай покачал головой. Из давнего своего детства только и запомнил он, как, будучи однажды с матерью в каком-то городе, долго стоял перед большим окном, за которым что-то сияло и переливалось на все цвета сквозь затянутое морозом стекло. По словам матери, это и была русская елка. Но сколько он помнил, цыгане никогда не устраивали таких елок для своих детей, да и где бы они могли это сделать — не в декабрьской же степи среди шатров, обледенелых под лютой стужей? Но почему же, слушая теперь своего фронтового друга, с такой остротой представил себе Будулай, как это должно быть страшно, когда в том доме, где всегда устраивали елки, больше уже никогда не будет детских елок.

— Короче, мы с женой так и завяли в один прекрасный день, когда один студент из лесного института, который тут у нас на кордоне свою преддипломную практику проходил, уезжая, вдруг взял и прихватил с собой на крыло нашу Олю. Из-за его плеча она только взмахнула на прощание.— В третий раз он повторил свое движение рукой.— И как будто не было ее совсем. Вот тогда-то, Будулай, впервые и понял я, до чего беззащитным может оказаться человек перед лицом неминуемой судьбы. И тогда хоть кричи, хоть стены грызи. А разве мы сами не такими были? Разве оглядывались на родителей тех, кого спешили зацепить своим крылом?— И, не дождавшись от Будулая ответа на свой вопрос, сказал:— Вот тебе и любимая работа и жена, с которой прожил больше двух десятков лет, ну и все остальное, что обычно называют семейным счастьем. Мне-то еще ничего, у меня есть мой лес, посадки и порубки, лоси и фазаны, пожары и браконьеры. Как с зари завеюсь, так и возвращаюсь уже к ночи, а каково потом было моей жене по целым дням одной в доме Олины игрушки перебирать, платьица и тетрадки. Ничего другого не оставалось, как потихоньку одну за другой уносить их к себе в мезонин и прятать в этом диване.— Он показал рукой.— Но и на самого, бывало, когда останешься со своими воспоминаниями наедине, такое нападет, что хоть своим воем волков из леса вызывай. Ты, Будулай, там на конезаводе все время среди людей, и тебе, должно быть, неизвестно, что это за штука тоска одиночества. И еще неизвестно, задержались бы мы после этого с женой на этом кордоне, если бы ровно через год... Но сейчас ты и сам поймешь...

И, склоняя голову, он опять прислушался к тому гулу, который давно уже улавливал и слух Будулая. При этом улыбка опять забрезжила под усами на широком, почти квадратном лице его фронтового друга, которое с первого взгляда могло бы показаться и угрюмым. Нет, это не катали что-то под полом мезонина, а, скорее всего действительно, бегал какой-то лесной зверек. Ничего удивительного не было бы, если бы в этом доме на кордоне и жил среди людей кто-нибудь из четвероногих обитателей леса. Из тех, что или отбивались от своих маток, или же лишались их после выстрелов браконьеров и лесник приносил их на руках в дом, чтобы отогреть и откормить до поры, когда их опять можно было отпустить в лесную чащу.

И что же это за неутомимый молодой зверь может быть, если он, ни на секунду не останавливаясь, так и мотается по всем коридорам и комнатам дома? Так, что и дробный топот его лап сливается в этот сплошной гул. Ожогин с таинственным видом приложил к губам палец.

— Еще немного подождем.— Улыбка, раздвинувшая его губы, опять блеснула озерцом со дна дремучего оврага.— Ах, обезьяна, уже и по лестницам начинает шастать.— Но и после этих слов Будулаю еще трудно было что-нибудь понять до конца, а под усами его друга продолжала блуждать эта таинственная улыбка. Оставалось ждать развития событий. Сперва какой-то шорох послышался в самом низу лестницы, поднимающейся в мезонин, и потом под чьими-то мягкими, но упругими толчками стали поскрипывать ступеньки. Можно было догадаться, что нелегким оказался для какого-то четвероногого существа этот подъем, потому что чем громче раздавался скрип перебираемых его лапами ступенек, тем громче оно пыхтело. Будулай увидел, что улыбка на лице его друга сменилась тревогой.— Так недолго и спину сломать.— Вставая со стула, он сделал шаг к двери, но тут же и махнул рукой.— Там всего одиннадцать ступенек. Когда-то и привыкать надо.— И все-таки до конца он так и не смог выдержать свою роль. Когда пыхтение уже вплотную приблизилось к двери-ляде в мезонин и что-то снаружи как будто коготками поскреблось об нее, он нагнулся и, раскидывая створки ляды на две стороны, торжественно объявил:

— Ну, а теперь пожалуйте, принцесса.

Из отверстия ляды сперва появилась круглая, как кочан, русая головка совсем крохотной девчушки, а потом закраснело и ее платьице. Так вот, оказывается, кто все время неутомимо бегал внизу взад и вперед по дому и теперь отважился добраться сюда по крутым ступенькам. Ну и чем же не зверек, если у этой девчушки в красном платьице, которой было от роду не больше двух лет, оказались такие коготки, что она, цепляясь ими за ступеньки, все-таки сумела одолеть на четвереньках этот непростой для нее подъем. И, еще не встав на ножонки, поднимая голову и бесстрашно взглядывая снизу вверх на деда своими глазенками, будто подкрашенными изнутри густой синькой, оповестила:

— Дедуся, Лена пришла.

— Ну и кто же это ей позволил? — строго спросил у нее дед.

— Я сама.— И, вставая с четвереньек, обнимая ногу деда, она вкрадчиво попросила:— Не нужно, дедуся, Лену ругать.

Тут ее взгляд зацепился за бороду Будулая, и испуг, вспыхнувший у нее в глазах, сделал их еще более синими. Она крепче прижалась к ноге деда. Тот поспешил положить свою руку на ее ярко-желтую, как спелый подсолнух, головенку:

— Это, Лена, хороший дядя.

Еще минуту она пытливо изучала бороду Будулая и потом, решительно согласившись со своим дедом: «Это хороший дядя»,— оторвалась от его ноги, чтобы тут же и вступить во владение всеми теми богатствами, которые таила для нее эта зеленая комната. Сразу можно было увидеть, что власть ее здесь была безгранична и ей не надо было подсказывать, как распорядиться всеми этими пеньками, обрубками и чучелами, которыми между книгами были заставлены все полки в комнате ее деда. Тут же она и начала распоряжаться ими, по-хозяйски двигая и перетасовывая их, явно озабоченная поисками чего-то такого, что, несомненно, в данный момент интересовало ее больше всего на свете. Ее обдавало пылью, вспорхнувшей с потревоженных полок, и она то и дело чихала. Все это время дед неотрывно наблюдал за ней такими же сине вспыхнувшими глазами.

Но вот она, кажется, нашла то, что ей нужно было. Из-за чучел и снопов сухих лесных трав она извлекла большую плоскую коробку и, победоносно взглянув на своего деда еще больше просиявшим синим взглядом, тут же уселась посреди комнаты на цветную дерюжку. Раскрывая перед собой коробку, она засмеялась журчащим смехом при виде того сокровища, которое открылось ее взору: многоцветной россыпи маленьких и больших жуков, которых, по ее убеждению, только для нее и мог насобирать в лесу ее дед. И, судя по всему, он совсем не намеревался разуверять ее в этом, наблюдая за тем, как она, высыпав на половичок жуков, играет и любуется ими.

— Но это, Будулай, ты теперь ее видишь такой,— сказал Ожогин,— а посмотрел бы, какая она была, когда ее непутевые мать с отцом только привезли к нам. Еще вся красная и такая худенькая, что, когда мне на вокзале в Шахтах дали ее подержать, страшно стало. Звереныш. И наша Оля, еще сама дитя, совсем не знает, что с ней делать. Еще к тому же и молоко у нее пропало, вся черная стала, из стороны в сторону шибает. А когда этот залетный гусь увозил ее от нас — как лесное яблоко была. Ну, какая же после всего этого из нее могла быть счастливая мать. Мы с женой только переглянулись друг с другом, и жена тут же за нас обоих заявляет им: «Вам надо пока доучиваться и вообще на ноги стать, а она будет с нами жить». Вот так с тех пор и живем тут на лесном кордоне опять втроем...

Краснело посредине комнаты пятно платьица на ковре-половике. Лесное солнце, пробиваясь сквозь лиственную зыбь, подкрашивало круглую, как кочан, головенку зеленцой. Лишь изредка, вспомнив о Будулае, девчушка подползала к своему деду, чтобы удостовериться:

— Это хороший дядя, да?

— Конечно, Лена, хороший. Это у него только борода страшная,— приласкав ее русую головенку своей большой рукой, отвечал дед.

И, успокоенная, она опять отползала к своим жукам.

— Но не такое это простое дело, Будулай, с ребенком в глухом лесу. Конечно, основные заботы легли на плечи Маруси, моей жены, ей надо и кашку сварить, и пеленки постирать, и, кроме как в бабушкиной постели, эта принцесса, видите ли, не согласна спать... Но и у меня уже свой круг обязанностей есть. У нас с женой разделение труда. Я должен вовремя ногти и волосы подстричь, занозу вытащить, а если надо, то и клизму поставить. Не знаю, откуда только у меня все эти способности взялись, но все это считается моим делом, и отношусь я к нему вполне серьезно. И ничего мне не надо, как знать, что она и поела и управилась кое с чем хорошо, а если еще подойдет и, заглядывая снизу вверх своими синими глазенками, скажет: «Дедуся»,— то ты уже больше чем Герой Советского Союза. Женился я не как-нибудь, а по довоенной еще любви, и работа, как я уже сказал, у меня любимая, но только теперь, когда она вот так прижмется к коленке и скажет: «Дедуся»,— я могу сказать, что это лучшие минуты моей жизни. Тут я одну французскую пословицу вычитал: «Первый ребенок — последняя кукла. Первый внук — первый ребенок». Так и есть. И все бы теперь, Будулай, было хорошо, если б в этом не было еще и другой стороны,— внезапно заключил Ожогин.— Но в этом ты, может быть, меня и не поймешь, и знаешь почему?

Будулай, не отвечая, смотрел на него.

— У вас, цыган, все проще. Должно быть, и к своим детям вы не так привязываетесь, не говоря уже о внуках, все потому же, почему и к одному месту не можете привязаться никак. А я теперь уже больше всего боюсь, как бы отец с матерью в один прекрасный день не приехали за ней и не увезли с собой. Так ведь оно когда-нибудь и должно быть. Поживут немного по своей молодости ради самих себя и о своей дочушке вспомнят. А ее к тому времени тоже может к своим молодым родителям потянуть, не век же ей при дедах жить. И тогда неизбежно наступит тот день, когда эти топотушки перестанут по дому лопотать. Сколько ни прислушивайся, не слышно будет их. Опять станет пусто в доме.— Он взглянул на внучку, которая, ни о чем не подозревая, играла лесными жуками у его ног, и вдруг зажмурился так, будто солнце ударило ему в глаза. Когда он снова открыл их, взгляд у него оказался совсем померкшим.— Но до этого пусть меня лучше на бугор отвезут.— Отвечая на вопрос в глазах у Будулая, он пояснил:— Так у нас тут эту самую конечную остановку зовут. Конечно же, глупо так говорить, но это же не зависит от меня.

Он мимолетно дотронулся ладонью до груди, и Будулаю явственно почудилось, как там, под ладонью, что-то хлюпнуло у него. И вдруг у самого Будулая что-то заныло в том же самом месте. Вставая, он молча протянул Ожогину руку.

Тот страшно удивился:

— Что это ты заспешил?

— Нужно мне ехать,— сказал Будулай.

Ожогин искренне опечалился.

— Ты же собирался заночевать у меня.

— Нет, мне пора,— твердо сказал Будулай.

Нет, он совсем не намеревался кого-нибудь обманывать: ни Ваню, когда говорил ему в кузнице, что накочевался уже на всю свою жизнь, ни генерала Стрепетова, начальника конезавода, но почему же чем дальше втягивался в дорогу, тем все привычнее его уху эта неумолчная песня степного ветра и тем ярче разгораются тлеющие на самом дне памяти угли из-под праха времени, сдуваемого этим ветром.

Не помнил он и того, чтобы когда-нибудь раньше так беспокоили его сны. Разве что в самом раннем детстве, когда, внезапно пробудившись от сновидения на ворохе тряпья,

как от толчка, всегда можно было увидеть, как трепещут между ушами лошадей звезды, а иногда по дороге прямо навстречу катилась луна и, разрастаясь, вплывала под полог кибитки, все заполняя собой. Окончательно проснувшись, он кричал «Мама!», судорожно нащупывая подле себя ее руку. Сонным голосом успокаивая его, мать давала ему руку, и он, уцепившись за нее, опять засыпал под мягкий гул колес и под все одну и ту же песню, с которой никогда не расставался его правивший лошадьми отец.

А вот теперь его стали одолевать и такие сны, что, пробудившись под скирдой или под лесополосой от ударов собственного сердца, он долго не мог ощутить и себя и время своей жизни. Где он и когда мог очутиться там, где очутился, и то ли это розовое молоко молодой лунной ночи сочится сквозь истлевшее под дождем и ветром рядно шатра, которое матери уже не под силу было заштопать своей толстой цыганской иглой, то ли это со всех сторон уже занялись от немецких зажигалок камыши Кугейского лимана под Азовом, а он лежит в разведке и под ним подтаивает лед, к которому он прижимается грудью. А как-то вдруг пробудился он от мгновенного испуга, что земля, с непостижимой скоростью мчавшаяся до этого в пустоте, внезапно остановилась, намертво затормозив, и он лежал, обхватив ее руками, на какой-то полуосвещенной сумеречным светом закругленной равнине совсем один. Не было больше никого.

Вот когда впору было пожалеть, что, разуверившись еще в самой ранней молодости во всяких предсказаниях, которыми обычно угощали цыганские гадалки доверчивых людей, не верил он теперь и в сбыточность сновидений. Мало ли какое наваждение может нахлынуть на человека, когда ему неподвластен его собственный разум. Но почему же тогда с таким упорством повторяется все один и тот же сон, будто он — конь, а Клавдия и Настя попеременно пасут его. И каждый вечер, собираясь на ночлег, он ждет продолжения этого сна и потом, в дороге, ловит себя на том, что размышляет и тревожится по поводу увиденного во сне, как если бы увидел все это наяву, и допытывается сам у себя, что бы это могло значить. Так недолго и до беды в дороге, когда такое движение. Так и снует взад и вперед, встречаясь с ним и обгоняя его, всевозможный транспорт...

Вот бабка его, чтобы справиться с подобным наваждением, ни на минуту не задумалась бы, как ей поступить. Она взяла бы и выдернула из конского хвоста волос, обмотала его вокруг пальца и ровно в полночь бросила в огонь ягори, прошептав при этом соответствующую молитву.

Но и у коня того, на котором теперь едет Будулай, ни единого волоса не выдрать, и все цыганские молитвы он давно позабыл, да и, посмеиваясь, заключал он, пожалуй, уже поздно ему было бы возвращаться в тот мир сказок и гаданий, из которого он давно уже бежал, от которого отлучила его жизнь. Все, что когда-то так манило его и так пленяло его доверчивую детскую душу, уже давно утратило для него свою прелесть. Никакого от жизни обмана он уже не хотел. Никакого обмана не надо, это все для слабых душой, которые утешают себя надеждами на то, что никогда не сбывается и не может сбыться.

Не только кому-нибудь другому, но и ему самому уже впору было спросить у себя: «Так что же это в конце концов с тобой происходит, Будулай, и кто ты такой? Если ты уже не кочевой, а вполне сознательный и на все сто процентов советский цыган, то каким же это ветром все время подхватывает тебя и опять ты мчишься на своем мотоцикле по осенней степи. Конечно, это уже не цыганский конь и не копыта выцокивают по затвердевшему грунту дороги какую-то древнюю песню, навевающую сон, но все равно ведь под тобой седло и как там ни объясняй, а это все та же дорога с шорохом наматывается на колесо и все та же убегает по сторонам степь с ее обагренными осенью лесополосами. И как же в конце концов вышло, что ты теперь спешишь промчаться мимо своих соплеменников, ни на секунду не задерживаясь, боясь, что они могут спросить у тебя: «А не ты ли громче всех агитировал нас, чтобы мы, темные рома, раз и навсегда бросили бродяжничать и сели на землю, как все другие люди, и при этом бренчал перед нами, особенно перед цыганками, своими боевыми орденами, надеясь ослепить их, растопить их сердца, а через них добраться и до сердец цыган. И что же после всего этого нам, темным рома, думать о тебе, передовой ром Будулай, если ты теперь самый кочующий из всех нас цыган. Вон как рвет и рвет голубое полотно воздуха твой бензиновый зверь, и пока мы доскрипим на своих телегах от одного шлагбаума до другого, ты уже целую сотню их оставишь позади. А твои ордена при этом позвенькивают на ухабах дороги, наглухо запертые на замок в дорожном сундучке, притороченном к раме мотоцикла».

А что, если и в самом деле правду сказала Настя и это он едет не куда-нибудь, а просто бежит от самого себя?

* * *

— Ох, мой Громушка-Гром, научи меня, как мне дальше быть? Мои же родные детушки все шибче шатают меня, как ветер вербу, и какая-то я бываю совсем не своя. Месяц за месяцем, Гром, как на крыльях, все летят и летят куда-то назад, и теперь мне вдруг иногда начинает казаться, что я твоего бывшего хозяина, этого несчастного цыгана Будулая, никогда не видела в лицо, а придумала его себе или же приснился он мне когда-то уже очень давно. А сейчас-то он мне и нужен больше всего, пусть и не он сам и даже не письмо от него, а хоть бы какая-нибудь самая маленькая весточка, чтобы я только знала, что он живой и здоровый.

Нет, Гром не оставался равнодушным к ее словам. Собрав своими шершавыми влажными губами с ладони Клавдии крошки сахара, он все еще не отпускал ее руку и не отходил от нее. Он все, конечно, понимал, а если и не так, то откуда же эти протяжные вздохи и это не сильное, но требовательное постукивание ногой по земле, как будто он настаивал перед кем-то: «Ну скорей же...»

Земля отвечала ему порожним звоном.

* * *

С подножки самосвала спрыгнула на ранней заре перед хутором смуглая молодая женщина в летнем платье, засеянном красным горошком по белому полю, и пошла наискось от дороги к кукурузному массиву, желтеющему сквозь просвет в лесополосе. Из шоферской кабинки вдогонку высунулся пшеничный чуб, вспыхивая под октябрьским солнцем, и суровый голос одернул ее:

— Тебе, Настя, пора уже привыкать полегче скакать.

Не оглядываясь, она только отмахнулась белой плетеной сумочкой в смуглой руке, и тот же голос, но уже примирительно, предложил ей:

— А то давай я тебя прямо в хутор доставлю.

Но и на этот раз она не оглянулась, только чуть полуоборачивая голову, с досадой мотнула ею:

— Нет, я же сказала, что сразу туда не пойду. Мне еще надо тут побыть.

Сдвинувшийся с места самосвал, съезжая на обочину, догнал ее, и чуб свесился из дверцы, приоткрытой с обратной стороны.

— Ну, тогда я на обратном пути за тобой спущусь.

Только после этого она, не останавливаясь, подняла голову, заглядывая под этот пшеничный чуб своими сердитыми черными глазами.

— Незачем. На этом же месте я тебя и буду ждать.

Михаилу Солдатову нужно было спешить на товарную станцию Артем за срочным грузом для конезавода, и поэтому у него не было лишнего времени для разговора с женой на развилке дорог.

— Ну, как знаешь.

Его чуб спрятался в кабину, дверца обиженно захлопнулась. Самосвал взревел, стороной объезжая Настю.

Ни единой души не было в этот сверхранний час перед хутором в степи, за исключением какой-то старухи, промышлявшей с мешком на кукурузном поле, которая, завидев Настю, тут же и шмыгнула в изжелта-зеленую чащу... Из неоднократно перечитанного письма Клавдии, которое Михаил так и вернул Насте, нигде не наткнувшись во время своих поездок на Будулая, знала она, что могилу своей сестры Гали ей теперь надо было искать не здесь, на горе, а в хуторе. И даже малейшего признака, где раньше могла быть эта могила, теперь не обнаружил ее взор. Все было перепахано вокруг, и оставлен был из расположенного под горой хутора лишь узкий прогон для скота в степь, истолченный копытами и сплошь унавоженный коровьими лепешками вперемешку с яблоками конского помета. Уже с самого раннего утра воробьи деловито выклевывали из него овсяные зерна. И после того, как эта старуха с мешком наломанных ею початков при приближении Насти поспешила спрятаться от нее в кукурузе, никого больше пока не было видно вокруг в этот час, чтобы расспросить... Видно, еще зоревали люди в хуторе под горой.

В том месте кукурузного поля, куда нырнула старуха, слегка шевелилась сухая листва, и Настя, по грудь забредая в золотистую чащу, окликнула:

— Бабушка, вы меня не бойтесь, я не местная.

Махровые метелки там, где затаилась старуха, зашевелились быстрее, и голова, закутанная серым пуховым платком, как куль, показалась было из них, но тут же и схоронилась обратно. Настя приободрила старуху:

— Мне только спросить у вас надо.

Теперь серый куль, раздвигая кукурузные будылья, выглянул из них больше, и не старческой зоркости глаза настороженно блеснули на Настю из-под надвинутого на самые брови платка. Настя подошла ближе. Дородная старуха стояла среди низкорослых будыльев на коленях, заслоняя собой мешок с початками.

— Мне, бабушка, надо узнать, где тут на цыганскую кибитку немецкий танк...

Договорить Настя не успела. Старуха метнулась от нее в сторону с проворством испуганной ящерицы и, привставая с коленей, рысью побежала в глубь кукурузного массива, волоча за собой по земле мешок с початками.

— Куда же вы, бабушка?!— в недоумении крикнула ей вдогонку Настя.

Но старуха, даже не оглянувшись, вдруг легко вскинула себе на загорбок большой мешок и побежала от нее прочь, хрустя будылями, оставляя за собой по кукурузе извилистый след. Неописуемая злость ударила в голову Насте:

— Ах ты, старая воровка!— устрашающе закричала она вслед старухе.— Вот я сейчас тебя догоню и прямо в милицию сдам. Шибче беги, а то я сейчас же догоню! — И, развеселившись, засунув пальцы в рот, Настя протяжно свистнула по-мужски.— Улюлю, догоню! — грозила она и топала ногами.

Куда там догнать было, за бедной старухой едва успевали смыкаться будылья. Но свой мешок она не бросила, и оттого казалось, что два шара катятся по кукурузному полю между махорчатых метелок, маленький и большой. Закутанная в теплый пуховой платок голова старухи и ее туго набитый кукурузными початками мешок.

Всплывающее из-под горы, из-за Дона, солнце еще только начинало шарить своими первыми лучами по степи, подкрашивая и метелки кукурузы, перестаивающей на корню свой срок. Разлученная в самом раннем возрасте со своей старшей сестрой и с отцом, Настя почти не удержала их в своей памяти и, должно быть, поэтому, жалея о них, все-таки как-то вчуже, отстраненно представляла себе, какой смертью им довелось умереть на этом кукурузном поле. Тем более, что и Будулай рассказывал Насте об этом совсем кратко. Теперь же, окидывая медленным взглядом предутреннюю степь, она вдруг впервые воочию представила себе, как все это должно было происходить. Как безуспешно пытались уйти на своей жалкой цыганской кибитке ее сестра Галя и ее престарелый отец от танка и как по-страшному умирали они, настигнутые его гусеницами на этом ку-

курузном поле. Леденящий ужас, объявший Настю, сплелся в ее сердце с доселе не испытанной мучительной скорбью, а какое-то мгновение вдруг даже почудилось ей, что это не утренней степной зарей окрашены острые лезвия кукурузы, иссушенной и приклоненной к земле астраханской черной бурей. И, объятая почти суеверным страхом, Настя бегом бросилась в ту сторону, где лежал под горой хутор.

Уже на половине спуска из степи в хутор она услышала впереди себя на дороге дробную россыпь множества копыт. Из-за нависающей над дорогой глиняной кручи прямо на нее вдруг надвинулся конский табун, и не успела она посторониться, как длинная теплая морда уже уткнулась ей в плечо и задышала над самым ухом, щекоча ей своим дыханием шею. Инстинктивно отшатываясь, Настя хотела отступить с дороги, но эта глазастая атласная морда настойчиво последовала за ней, толкая ее в плечо. И, поднимая глаза, Настя с радостным испугом ахнула:

— Гром?!

Замыкавший табун верхом на пегой лошади старик в фуражке с казачьим околышем тоже испуганно закричал, угрожающе щелкнув над головой длинным кнутом:

— Гром! Ах ты, цыганское отродье! — И он издали предупредил Настю: — Ты, гражданочка, не бойся его, а только на месте стой.

— А я и не боюсь,— улыбаясь сквозь затуманившую вдруг ей глаза пленку, радостно говорила Настя. Знакомая, с длинными чуткими ушами морда расплывалась перед ее глазами, и она видела только желтое пятно.— Так это ты, мой Гром?! Ну, здравствуй!

— Это у него такая дурная привычка к женщинам приставать, и он вас, должно быть, за другую женщину признал,— подъезжая, объяснил Насте табунщик. И вдруг подозрительно осведомился у нее:— А тебе откуда может быть известно, как его кличут?

— Вы ведь сами, дедушка, только что так называли его,— ответила Настя, лаская Грома, который настойчиво искал мягкими влажными губами у нее на ладони то, что привык всегда находить, и, не найдя, обиженно, шумно вздыхал.— Ничего, Гром, у меня для тебя нет,— виновато говорила Настя.— Если бы я могла знать, я бы, конечно, припасла для тебя, но откуда бы я могла знать.— И в доказательство она привычно вывернула перед ним карманы своей вязаной кофты, надетой сверх платья, как всегда это делала, когда приезжала, бывало, на отделение к Будулаю и, скормив Грому весь припасенный для него сахар, позволяла потом ему производить у нее обыск, пока он не убеждался, что у нее и в самом деле уже ничего не осталось.— Ни единой, Гром, крошечки.

Хмуро наблюдавший за всем этим со своего высокого казачьего седла табунщик возмутился:

— Ах ты, бабий прихвостень, мало тебе попрошайничать по всему нашему колхозу! Я тебе покажу, как у чужих людей на дороге ревизию делать.

И, подъехав вплотную, он раскружил над головой свой длинный кнут. Но Настя поспешила встать между его лошадью и Громом так, что табунщик в последний момент едва успел пронести кнут чуть выше ее головы.

— Это же я, дедушка, виновата.— И она сама шлепнула Грома ладонью по боку.— Беги, Гром, беги. А то из-за тебя и мне еще от твоего нового хозяина может достаться.— Недоумевая, Гром топтался возле нее, обдавая ее своим влажным теплом, и Насте пришлось повторить, с силой отпихивая его от себя:— Ну беги же скорей!!

Только после этого он обиженно отошел от нее и, оглянувшись еще раз, выкатывая яблоко глаза, рысцой потрусил догонять табун, поднимавшийся из хутора в гору.

— А ты к кому же в наш хутор? — внимательно оглядывая Настю с головы до ног, спросил у нее табунщик.— К сродственникам или в гости?

— К родственникам,— ответила Настя.

Приглядываясь к ней, табунщик усомнился:

— У нас в хуторе вроде цыганей нет. Один завелся было на развод и того в одночасье как ветром сдуло.

Настя весело возразила ему:

— Это вы просто, дедушка, не знаете. Есть в вашем хуторе и цыгане.

Старый табунщик не на шутку обиделся, и даже небольшие седые усы у него приподнялись над желтыми зубами.

— Как это я могу не знать, если я тут от самого пупка живу.— Вдруг его осенила догадка: — Так это же у тебя, должно быть, какой-ся из военных. Их у нас сейчас понапихано полный хутор.

— Из военных, дедушка, из военных,— с готовностью подхватила Настя, обрадованная тем, что, как оказалось, солгала она этому табунщику только наполовину. Из того же прочитанного ею письма этой женщине к Будулаю знала она, что его сын Ваня пошел учиться по военной части, а ведь она, Настя, как-никак была ему не чужой.

— Ну тогда другое дело,— сказал табунщик.

Так он ей и поверил. Медленно поворачиваясь на седле всем корпусом, он провожал Настю взглядом, пока она не скрылась за поворотом дороги, огибающей нависшую над хутором глиняную кучу. Ни единому слову этой молодой цыганки он, конечно, не поверил. Пусть она поищет простачков где-нибудь в другом месте, а он, слава богу, уже седьмой десяток разменял. Если судить по одежде и вообще по наружному виду, эта молодая цыганочка вполне может за какую-нибудь образованную врачиху или же за агрономшу сойти, но это еще ничего не значит. А ее драгоценные родичи последнее время что-то опять стали по степям шуровать и колхозных лошадей щупать. И очень может быть, что вот таких молодых да красивых цыганок они как раз и высылают впереди себя на разведку, чтобы те заранее прицелились, где что лежит и где кони стоят. Не миновать, пожалуй, на эти две-три ночи переселиться от старухи в каморку при конюшне, да и ей приказать, чтобы на ночь не бросала незамкнутыми курей. На теперешних колхозных сторожей, особенно после того, как у каждого в погребе уже отыграло свое вино, надежда плохая. И от председателя надо завтра же потребовать, чтобы натянули наконец хотя бы какую-нибудь железную сетку вокруг конского двора, сколько же еще можно напоминать. От вора, понятно, не может быть запора, но все же. С цыганами шутки плохие. И раз им опять приспичило кочевать, то надо же им свой транспорт иметь.

И, окидывая обеспокоенным взглядом поднимающийся в гору табун, он невольно поискал среди лошадей Грома. Нет, Гром, как всегда, шел на своем месте впереди табуна.

Во всяком случае, стоит ему там в степи, на вольном воздухе, пока лошади будут на последней молодой отаве пастись, все это как следует обдумать. Ничего хорошего эта встреча с молодой красивой цыганкой, разнаряженной, как какая-нибудь городская краля, не могла предвещать.

Уже на окраине хутора, перед птичником, встретились Насте две женщины в белых халатах. Та из них, что была постарше, внимательно взглянула на нее и даже посмотрела вслед, провожая глазами. Но все это Настя лишь косвенным зрением отметила про себя и тут же забыла об этом, потому что она уже увидела большую братскую могилу в проеме улицы, которая, разрезая хутор надвое, выходила к Дону.

Как и над многими другими такими могилами, которые Насте до этого не раз приходилось видеть в других местах, над этой бронзовый солдат тоже, преклонив колено, приспускал к земле тяжелое знамя. Но то ли потому, что на приспущенном крыле этого бронзового знамени еще оставался отблеск задонской зари, то ли потому, что из-за плеча солдата почти такими же складками переливался потревоженный утренним ветром Дон, сердце у Насти вдруг затосковало так, как никогда еще в жизни.

Продолжение следует.

ЦЫГАН

Анатолий КАЛИНИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Откочевали последние тракторы из осенней степи. Черно зияла развороченная ими земля. Грачи выбирали червей из холодеющих борозд свежей зяби.

Невесело в это время на дороге, рассекающей почти совсем безмолвную и безлюдную степь. А этим старым военным картам все еще не видно конца. И то и дело выплывающих впереди из-под траурной пыльной кромки могил твоих товарищей уже нанизалось на дорогу столько, что ты уже как будто несешь их на своем плече, и все ниже клонит тебя к земле этот груз. Но и остановиться нельзя. И все больше растет твоя перед ними вина, что не ты, а они остались лежать под тяжелыми плитами и под совсем малоприметными бугорками земли в стылой степи. Хоть ты перед ними и не виновен ни в чем.

Все так же о чем-то шепчется с дорогой колесо мотоцикла, поскрипывает седло и сбоку, чуть наискось, неотступно скользит по-беркутиному сгорбленная тень.

Вот так недолго и пропустить тот момент, когда вдруг прямо поперек твоего пути вырастет будто из-под земли человек, и едва успеть надавить на тормозную педаль, когда он что-то закричит и нелепо, суматошно замашет перед тобой руками.

Сперва Будулай подумал, что это какой-нибудь дорожный ремонтер показывает ему объезд. Тем более, что нечто похожее на красный лоскут трепыхнулось у него в руке. Должно быть, поставили на дороге предупредить, что впереди подломился мостик или же что-нибудь другое преградило путь. И только тогда убедился в своей ошибке Будулай, когда этот совсем маленького роста человек в картузе вдруг проворно вспрыгнул сзади него на багажник мотоцикла и обжег его ухо цыганской скороговоркой:

— Налево, рома, сворачивай и слускайся прямо в овраг. Там уже все наши собрались.

Недоумевающий Будулай хотел было тут же нажать на тормоз и объяснить этому неожиданному провожатому, что произошла явная ошибка и он меньше всего рассчитывал теперь на встречу с какими-нибудь цыганами, но провожатый не дал ему открыть рта, тут же восторженно сообщив:

— И Тамила уже приехала на своей новой «Волге». Она, когда опаздывают, шибко не любит.

А тут и тормозить уже было поздно, потому что сразу же, налево от дороги, и начался спуск в тот самый овраг, о котором упомянул его неожиданный провожатый. Такой крутой, почти отлогий спуск, что и на педаль тормоза было бы бесполезно нажимать. И такое зрелище распахнулось перед взором Будулая на дне этого оврага, что он сразу же и забыл о своем провожатом. Впрочем, стоило Будулаю лишь притормозить на дне оврага, как этот маленький цыганок тут же и спрыгнул из-за его спины с мотоцикла, куда-то бесследно исчез. Больше Будулай так и не видел его.

Весь этот большой и невидимый от дороги овраг, укрытый от взоров зелеными волнами шиповника, был заставлен повозками с цветными брезентовыми шатрами, похлопывающими под ветром, и без всяких шатров и бурлил людьми, одетыми так, что их нельзя было бы спутать ни с какими другими людьми: это были цыгане. Давно уже не приходилось видеть Будулаю, чтобы сразу столько их собралось в одном месте. Десятки, а может быть, и сотни выпряженных из телег и стреноженных лошадей разбрелись по оврагу, поросшему по обе стороны ручья курчавой и еще зеленой травой. Но и мотоциклы стояли между этими цыганскими бричками, и даже несколько «Москвичей» и «Побед» затесалось между ними. И этого оказалось достаточно, чтобы к чистому конскому запаху, к аромату травы и овражной сырости уже примешалась какая-то едкая горечь.

Теперь только начал догадываться Будулай, что он, кажется, на большой цыганский совет попал, подобный тому, какие ему приходилось видеть в детстве. Обычно тогда со всей окружной степи съезжались цыгане в одно место, чтобы посовещаться и решить, как им дальше жить: как получше приспособиться к обстоятельствам быстро меняющегося времени и успешнее уходить от его законов. И помнилось Будулаю, как тогда его родители, собираясь на этот совет, и сами одевались во все наилучшее и детей своих, несмотря на нищету, одевали так, чтобы их не стыдно было показать своим близким и дальним родичам. Бывало, еще за месяц и за два месяца мать, шнырявшая по вокзалам, по базарам и дворам, начинала брать с людей в оплату за свое гадание не деньгами, а детскими платьицами, штанишками и обувкой и потом кроила и перешивала все это у костра перед шатром до поздней ночи. В то время как отец перековывал лошадей, выделывал шкуры, выкраивал и шил из них седла, уздечки и прочую сбрую. И откармливать своих лошадей он начинал чуть не за полгода до этого, купал и чистил их скребницей так, что шкура у них начинала лосниться, а гривы и хвосты хоть косами заплетай. Чем же еще и похвалиться было цыгану перед своими соплеменниками, если не лошадьми!

И, вероятно, какая-то важная теперь причина собрала всех этих цыган и цыганок в овраге, потому что никто ведь не отменял и тот строжайший указ, по которому с некоторых пор запрещалось им кочевать с места на место, раскидывать в степи свои полотняные таборы. Но к самому началу этого совета Будулай, судя по всему, уже опоздал. Он сразу же догадался об этом, как только, мимолетно оглянувшись на его мотоцикл, сердито прицыкнули на него самые крайние из толпы цыган, сбившихся вокруг одного места посредине оврага. Как догадался и по всеобщему молчанию, сохраняемому этими цыганами и цыганками, которых в иное время никакая причина не смогла бы заставить соблюдать такую тишину.

При этом лишь одному-единственному голосу и позволено было безнаказанно нарушать ее в овраге, хотя это был и не мужской голос. Между тем в памяти Будулая сохранилось, что по всем обычаям в подобных случаях им мог быть только мужской голос. И не какой-нибудь молодой, только набирающий силу, а безоговорочно властный и привычный к тому, чтобы говорил он один, в то время как все другие цыгане слушали его молча. Потому что и старейшиной у большого я г о р и мог быть только самый старый цыган. Не говоря уже о том, что цыганкам не позволялось присутствовать на этом совете и они могли лишь издали прислушиваться к доносившимся до них оттуда словам и украдкой выглядывать из-под шатров на то, как мечутся языки пламени над большим костром, выхватывая из ночной мглы суровые лица их мужей, отцов и дедов.

Так, значит, неумолимое время внесло свои изменения и в этот железный обычай, потому что тот единственный голос, который услышал Будулай, был, несомненно, женский. Серебристая «Волга» с распахнутыми на две стороны дверцами, должно быть, та самая, о которой сообщил Будулаю его провожатый, стояла посредине оврага в тесном окружении толпы цыган и цыганок, а возле нее стояла тоже цыганка. Но только совсем не такая, как все остальные. Не с темнокожим или медно-красным, прежде времени состарившимся лицом, а с не тронутым ни степным солнцем, ни ветром розово-белым, лишь слегка притененным дымчатыми круглыми очками. И одетая не так, как все другие цыганки в овраге: не в широчайшую д у м а л ы и добрую дюжину столь же просторных и н д а р а к, под которыми при необходимости можно было укрыть от постороннего глаза и всю дневную выручку, добытую с помощью колоды карт и всеми иными путями, а в городской модный костюм белого цвета. И так же, как у всех цветущих молодых женщин, живущих в городе в достатке, круглые, белые коленки сверкали из-под подола ее короткой юбки, в то время как все эти цыганки, обступившие ее, мели подолами своих юбок землю.

Несомненно, это и была та самая Тамила, о которой Будулай впервые услышал от своего неожиданного провожатого. И это ей, женщине, одной не возбранялось теперь говорить перед всеми другими цыганами у большого ягори в то время, как они должны были только слушать то, что говорила она, поставив ногу в туфельке с точеным каблучком на буфер своей «Волги».

Тем не менее они, не перебивая, слушали то, что она говорила им. Несмотря даже на то, что говорила она почему-то не по-цыгански, а по-русски.

— Вы меня уже, слава богу, знаете не первый год,— говорила она,— и уже должны знать, что я всегда стараюсь не только для своей, но и для вашей же пользы.

Как видно, приехала сюда эта Тамила на своей «Волге» не одна. Два смуглых, спортивного вида молодца с пушистыми смуглыми усиками стояли по правую и по левую руку от нее в одинаковых черных кожаных куртках, наглухо, до горла, застегнутых на змейки, как два ангела-хранителя, и, поворачивая из стороны

Продолжение. «См. «Огонек» №№ 5—9.

в сторону головы, бдительно рыскали глазами по оврагу.

И, судя по всему, эта городская цыганка умела заставить себя слушать. Что-то даже похожее на жалость к своим соплеменникам шевельнулось в груди у Будулая, когда он, окидывая скользящим взглядом с седла своего мотоцикла толпу цыган, увидел, как они, запрокинув головы, ловили каждое ее слово. Чье-то мужское лицо с приоткрывшимся под рыжими усами ртом на мгновение показалось взору Будулая смутно знакомым, а неподалеку зацепился он взглядом за клюку какой-то старой цыганки, надетую ею на плечо, но тут же, не задерживаясь, и скользнул дальше, к Тамиле, чтобы ничего не пропустить из того, что она говорила цыганам.

— Разве это тогда не я говорила вам, что не на буравчиках лучше всего можно заработать и не на краденых колхозных лошадях, которых надо было хорошо кормить, чтобы потом сдать на колбасу в «Заготскот», а на узких мужских галстуках и на золотых дамских поясах, пока кооперация еще не догадалась завести их в деревню из больших городов, а у молодых русских дурочек и дурачков еще не прошла на них мода. Но теперь и они уже вышли из моды.

В ответ на ее поощрительно выжидающую улыбку над оврагом всплеснулся рой выкриков:

— Теперь этих галстуков и поясов в каждом сельпо навалом!

— То совсем не было, а то на три года завезли!

— С одним пояском надо по целому дню по степи шнырять!

— Хоть уздечки из них шей!

— Молодые давно по полдюжине набрали, а какие постарше казачки, привыкли каждую лишнюю копейку на книжки класть.

Вот теперь Будулай, кажется, понял, какая причина могла собрать вместе сразу столько цыган в этом овраге, укрытом зелеными волнами шиповника от чужих взоров. И та, которая созвала их на этот совет, сейчас со снисходительной улыбкой слушала их возбужденный гомон, терпеливо ожидая, когда они выплеснутся до конца. Когда же они наконец то ли выплеснулись, то ли замолчали, обезоруженные ее улыбкой, она, улыбнувшись им еще дружелюбнее, сказала:

— Вот я и приехала посоветоваться с вами, с каким новым товаром нам теперь лучше будет по станицам и хуторам этих скупых казачек подойть, чтобы и у вас, цыгане, всегда свободная копейка была, и для того, чтобы вы могли одеть-накормить ваших детишек.

Если она рассчитывала на встречное сочувствие к ее словам той части цыганской толпы, которую еще не подхватило первой волной криков, то не ошиблась. Первыми, как по команде, оценили ее остроумие ее адъютанты, обнажая из-под стрелочек своих усиков ослепительно белые зубы, а вслед за этим и по всей толпе, обступившей «Волгу», прокатился гул мужских голосов:

— К ним хоть с какого бока заходи.

— Их можно подоить.

— Каза́чки, они здоровые.

— После войны они опять выкормились на колхозных хлебах.

Но тут вдруг как будто щелкнул над оврагом большой цыганский кнут или упал с безоблачного неба раскат грома:

— А на какие же тогда деньги эти казачки смогут накормить и одеть своих детей?

Ни на секунду не задержав своего внимания на этих словах, Тамила небрежно ответила:

— Это уже не наша печаль. Каждому своя рубашка ближе. Пусть они о своих детях думают, а мы должны думать, чтобы цыганским детям было лучше.

Но ее адъютанты при этом единственном голосе, осмелившемся прервать ее, явно забеспокоились, забегали по-рысьи глазами по оврагу, обшаривая толпу, а кисточки их усов зашевелились, как усики радиоантенн, настраиваясь на ту волну, откуда мог раздаться этот голос.

— Не все то лучше, что лучше.

И тут Будулай увидел, как знакомая клюка высунулась в его сторону из цыганской толпы.

— Вот это верно.

Что-то как будто лязгнуло за ушами у Тамилы.

— Здесь есть чужой.

Тотчас же ее адъютанты так и напряглись. Даже усики у них встали торчком, запрядав из стороны в сторону. Весь овраг в движение пришел. Из-за всех повозок вынырнули цыгане и цыганки, рыская по оврагу, струясь и распадаясь на ручейки, и вскоре плотное живое кольцо замкнулось вокруг мотоцикла Будулая. Сутулясь в седельце, он чуть возвышался над всеми, как беркут.

— Кто тебя сюда звал? — издали спросила у него Тамила.

— Никто не звал,— ответил Будулай.

С властной деловитостью она приказала адъютантам:

— Присмотрите, чтобы он отсюда не ускользнул. Если он уйдет, он нас всех продаст.

Тут же Будулай и смог оценить, как по-военному четко исполняются ее команды. Немедленно молодцы в кожаных куртках попрыгали с бугорка, на котором стояла посредине оврага «Волга», и заняли посты: один впереди, а другой позади мотоцикла Будулая. И все остальные цыгане еще теснее сдвинулись вокруг него. Все совершалось почти по правилам военного искусства.

И, похоже, выхода из этого молчаливого кольца не было. Ему ли было не знать своего народа, столь же простосердечно наивного, сколь и непреклонно беспощадного, когда кто-нибудь непрошено вторгался в пределы его жизни.

Какая-то древняя цыганская старуха, заглядывая снизу вверх в лицо Будулая, приподняла его подбородок крючком своей отполированной клюки и разочарованно сказала:

— Какой же это чужой? Это Будулай.

Тогда вдруг неизвестно откуда вынырнула рядом с мотоциклом Шелоро и тоже радостно закричала так, что ее голосу стало тесно в овраге:

— Пусть меня гром разразит, это он! Егор, где ты, это же Будулай! Здравствуй, Будулай.— И она заквохтала вокруг него, всплескивая руками, донельзя счастливая этой встречей, как если бы внезапно встретилась со своим родным, безвестно пропавшим братом или же с кем-нибудь, кто был ей еще роднее.— Егор, где же ты? Это он!

Вынырнувший из-за повозки Егор, узнав Будулая, тоже осклабился ему из-под своих жиденьких рыжих усов, как лучшему другу, не забыв шмыгнуть за голенищем сапога кнутовищем:

— Здравствуй, Будулай!

— Какой же это чужой,— громко ликовала Шелоро,— если это Будулай?!

Ее торжествующие крики прервал презрительный окрик Тамилы:

— Перестань визжать на всю степь! Как будто тут, кроме тебя, все слепые.

Нет, эта Тамила была явно не из тех цыганок, что в городах на базарах, на вокзалах и на тротуарах у магазинов сметают подолами с асфальта пыль. Недаром же не трехъярусные индарэки складками ниспадали по ее ногам к земле, а голые круглые коленки смугло розовели из-под короткой юбки ее сшитого по новейшей моде костюма. Но свои дымчатые очки она тут же сняла, как будто они мешали ей получше рассмотреть Будулая, и, спустившись от «Волги» к его мотоциклу, с нескрываемым любопытством сказала:

— Так это ты и есть? Я по цыганскому радио давно уже слышала о тебе, Будулай.

Клюка старой цыганки, подпиравшая подбородок Будулаю, мешала ему говорить, и он отвел ее рукой в сторону.

— А я ни разу не слышал о тебе.

Тамила воркующе засмеялась.

— Вот и познакомились. Но все-таки я не думала, что ты такой идейный цыган. Да мало ли еще о чем наше цыганское радио может набрехать? — И, покончив с осмотром Будулая, обойдя его мотоцикл, она снова надела свои очки.— Но даже если ты так и есть тот самый Будулай, то почему же ты разжалобился из-за русских детей, как будто тебе мало цыганских?

— Потому что все дети есть дети,— сказал Будулай.

— Правильно,— согласилась Тамила.— Но что-то мне не приходилось до сих пор знать, чтобы эти твои казачки вот так же побеспокоились о наших детях. Как будто все они давно уже и накормлены и одеты, как все другие дети.

И сразу же после этих слов вокруг Будулая поднялся враждебный ропот, цыганки замахали руками.

— Наших некому жалеть!

— Сами должны кусок хлеба добывать!

— Над ними только смеяться можно!

— Все дети как дети, а цыганские хуже щенков!

— Это он так говорит, потому что у него своих нет детей!

При этих словах вдруг что-то как будто толкнуло Будулая куда-то под лопатку, в спину. Он даже качнулся на седле мотоцикла вперед и сам не мог понять, как у него вырвалось:

— Есть.

Почти совсем беззвучно вырвалось — так, что большинство цыган, даже самые ближние к нему, и не расслышали его слов, не исключая Тамилы, на ярко накрашенных губах у которой играла небрежная улыбка. Но у Шелоро Романовой, кроме безошибочно острого слуха, был еще и безошибочно острый глаз. То, чего она недослышала у Будулая, она тут же своим цепким взглядом схватила с его губ, и высокие крылья бровей у нее вспорхнули в непритворном изумлении еще выше.

— Что-то я никогда на конезаводе не слышала от тебя, Будулай, чтобы у тебя были дети. И Настя говорила, будто твою жену Галю с младенцем на руках задавило немецкой танкой.

Много голосов с разных сторон наперебой подхватили ее слова:

— Это по-за станицей Раздорской!

— Там и цыганская могилка есть.

— Была, а сейчас уже нету.

— Его Галя теперь в братской могиле лежит.

И негодование соплеменников обрушилось на Будулая с удвоенной силой:

— Хоть бы на память о покойнице помолчал!

— За ради своей агитации и ее не пожалел!

— А еще говорили: из всех честный цыган!

Слишком хорошо знал своих соплеменников Будулай, чтобы не сомневаться, что теперь уже их хватит надолго. И пока они не перебурлят, не выкипят в этом овраге до дна, нечего было и надеяться, чтобы они захотели слушать его дальше. Только Тамила, с полупрезрительной улыбкой наблюдавшая за происходящим, не сочла для себя нужным добавлять в этот котел свою долю, а ее адъютанты с ленивым выжиданием полуоблокотились с двух сторон от нее о крылья «Волги», ничуть не сомневаясь в конечном исходе развертывающихся перед ними событий. На какое-то мгновение Будулай встретился со взглядом Тамилы, и они поняли друг друга. С нарочитым равнодушием она отвела свой взгляд в сторону. Теперь ей уже незачем было добавлять свое масло в кипящий котел, когда со всем этим с успехом могли справиться другие цыгане. Та же Шелоро, которая с тем большим негодованием набрасывалась теперь на Будулая, что искренне считала себя обманутой им в своих лучших чувствах:

— Что-то я сегодня совсем не угадываю тебя, Будулай. Ты или совсем запутался, или...

И Егор, ее неотступная тень, с явным разочарованием шмыгнул кнутом за голенищем сапога:

— Да, нехорошо у тебя получилось, Будулай. Совсем плохо.

Тем теснее сдвигались вокруг Будулая и все другие цыгане, для которых он и вообще был не просто чужой цыган, а чужак, переступивший за черту круга их жизни, всегда ревниво оберегаемой ими от чужих взоров. И они видели в этом опасность для себя, которую теперь можно было предотвратить лишь единственным способом, уже подсказанным Тамилой: не дать ему уйти обратно из этого круга. В том же, что они ничуть не сомневаются в своем праве на это, Будулай был уверен: он знал свое племя.

Лишь одна его мимолетно знакомая старуха с клюкой смотрела теперь на него из толпы не враждебным, а скорее недоверчивым взглядом.

— Может быть, я и запутался, Шелоро, но Галю мою правда тогда задавило танком, а сына — нет.

Шелоро быстро спросила:

— Где же он?

Вот теперь наверняка не должно было обойтись и без вмешательства Тамилы. Небрежным движением руки она опять сняла свои круглые очки, покачивая их за дужку, а ее телохранители, отваливаясь от крыльев «Волги», сделали стойки.

— Может быть, ты не откажешь и нам об этом рассказать, Будулай?

С седла мотоцикла он окинул толпу цыганок и цыган медленным взглядом. Он хорошо видел, что из этого живого кольца ему уже не уйти. И он также знал, что их угрюмое молчание ничего хорошего не обещает ему.

Шелоро с язвительной вкрадчивостью подхватила слова Тамилы:

— Да, да, а нам будет интересно тебя послушать. Я смерть как люблю разные истории слушать. Правда, Егор?

Егор шаркнул кнутом.

Что ж, может быть, и в самом деле настало для этого время... Слишком долго Будулай невысказанно носил все это в себе, эта ноша уже гнет его к земле, и то ли некому было передать кому-нибудь хотя бы часть ее, то ли он сам же все время и укрощал себя. А теперь глаза своих же цыган с беспощадной требовательностью смотрят на него, выворачивая душу.

Вверху над оврагом проносились по дороге машины, но оттуда из-за дремучего шиповника ни за что нельзя было догадаться, что здесь овраг. Адъютанты Тамилы, собиравшие на этот пленум из окружной степи цыган, знали свое дело.

Второй раз за это время что-то жесткое он почувствовал у себя на горле. Старая цыганка опять пустила в ход свою крючковатую палку, поднимая его подбородок и с настойчивой ласковостью заглядывая ему в лицо.

— Теперь уже, Будулай, тебе придется рассказать все до конца.

Вот этого она могла бы и не говорить ему. Если начинать, то только до конца.

Но клюка этой старухи, подпирая подбородок Будулая, прихватывала ему горло, и ему пришлось — тоже второй раз за это время — отвести ее рукой в сторону.

* * *

В хуторе Вербном привыкли уже, что время от времени, чаще весной или осенью, на большую братскую могилу у Дона приезжают из разных мест разные люди—родственники тех, кого некогда настигла в этих местах смерть. И обычно жители, проходившие мимо могилы по своим делам, старались нечаянно не спугнуть одиночества этих людей, все еще скорбящих по своим сыновьям, мужьям и отцам. Никто и теперь из проходивших мимо хуторских жителей не потревожил эту явно нездешнюю молодую женщину, которая, как только пришла сюда еще совсем ранним утром, села на суглинистом откосе, так и застыла, положив на колени руки. Вода, нагоняемая на берег низовкой, плескалась у ее ног, и ветер трепал ее черные волосы. Из-за острова солнце давно уже перекочевало через Дон и прицеливалось уже к тому проему между горбами нависших над хутором бугров, куда оно всегда уходило на ночь, а эта женщина так и сидела все на том же месте. Только перед самым вечером она вдруг очнулась и провела рукой по глазам, вставая.

За своими горестными размышлениями на могиле у сестры Настя и не заметила, как день прошел. А ведь ей до возвращения Михаила еще надо было успеть и то письмо вернуть, которое ему так и не удалось вручить Будулаю.

Когда Настя увидела, как открывшая ей дверь Клавдия изменилась в лице и страх заметался у нее в глазах, она поспешила предупредить ее, сунув руку за вырез платья:

— Ты не бойся, я ни с чем плохим не приехала к тебе. Просто мне нужно тебе отдать твое же письмо.

Вот они наконец и встретились лицом к лицу, хотя за это время и многое уже успели узнать друг о друге. Но если Клавдия все-таки уже видела Настю, пусть издалека, то Насте теперь довелось увидеть ее впервые. И с внезапно уколовшей ее сердце ревностью Настя отметила про себя: она была еще моложе, чем Настя думала, и вообще собой лучше. А это бордовое платье с белым кружевным воротничком особенно шло к ней.

— Что же ты на пороге стоишь? Входи,— сторонясь и пропуская Настю в дом, сказала Клавдия.

Уже в доме, отдавая ей замасленный пальцами Михаила конверт, Настя решила объяснить ей:

— Только ты не подумай, что письмо не попало к нему из-за меня. Он уже давно уехал с конезавода, и его не смогли найти.

— А я уже и ждать перестала,— с нескрываемой радостью сказала Клавдия.

Теперь и она могла вблизи как следует рассмотреть ту, которую до этого только издали видела в клубе на конезаводе и потом у цыганского костра в степи. Но и к клубу эта молодая цыганка подъехала тогда на мотоцикле в мужских штанах, из-за которых ее не сразу можно было и за женщину признать, и с того кургана, на котором лежала ночью Клавдия, ее нельзя было как следует разглядеть, неуловимо скользящую вокруг Будулая при полусвете костра в своем, тоже неуловимо вьющемся вокруг нее, как дым, цыганском платье. Теперь же перед взором Клавдии была совсем другая, молодая и красивая женщина в широко сшитом полусарафане-полуплатье с оборками, из-за которых не сразу можно было и догадаться, что она уже ждет ребенка. Но ни

единого пока пятнышка не заметила Клавдия на ее не по-цыгански белом лице.

— Я бы на твоем месте никогда его не переставала ждать,— сказала Настя.

И тут вдруг как знакомый отблеск скользнул по лицу Насти, и Клавдии даже показалось, что она опять отчетливо услышала: «Ненавижу ее». Взглядывая на живот Насти и сама брезгуя своими словами, Клавдия сказала:

— Об этом тебе уже поздно думать.

Настя улыбнулась.

— А он, оказывается, не так хорошо тебя знал.

Испуг и раскаяние, смешавшись, залили лицо Клавдии краской такого стыда, какого она, может быть, еще никогда не испытывала в жизни. Ей пришлось наклонить голову и, смаргивая слезы, переждать, прежде чем ответить Насте:

— Если сможешь, то, пожалуйста, прости меня. Я и сама не знаю, что это сейчас со мной.

Тут же она с удивлением подняла голову, не услышав в словах Насти ожидаемого торжества.

— Не будем сейчас считаться, кто перед кем больше виноват. Я вон и это твое письмо не стерпела прочитать.

И после этих слов вдруг будто какая-то невидимая перегородка, разделявшая их, рухнула, упала, и им обеим сразу стало легко и — проще смотреть в глаза друг другу. Клавдия вспомнила о своих обязанностях хозяйки.

— Что же ты стоишь? — сказала она, подвигая стул Насте.— Сейчас я на стол соберу.

— Нет, ничего не нужно,— отказалась Настя, хотя с самого раннего утра у нее маковой росинки не было во рту.— Мне долго рассиживаться нельзя.— Но на стул, подвинутый к ней Клавдией, она села.

— А куда же он уехал? — будто издалека услышала она обращенный к ней вопрос Клавдии.

— Вот этого я тебе не смогу сказать. Я и сама не знаю,— сказала Настя.

В окна дома, выходившие во двор, ей видно было, как солнечный диск уже начинает соскальзывать за нависшую над хутором гору. Если Михаил еще не вернулся со станции Артем с грузом, то скоро уже должен будет подъехать и ждать ее там, в степи. Но и не могла же она уйти из этого дома, так ничего и не узнав о том, кто сперва был сыном ее родной сестры, а потом стал сыном этой женщины. И спросить у нее об этом Насте было не так-то просто. Наконец с нарочитой небрежностью она, как бы мимолетно, спросила у нее:

— А что Ваня, все еще при тебе живет или уже учится где-нибудь?

— Учится,— отвечала Клавдия. Но и солгать под ее взглядом она не смогла.— Но сейчас у них тут военные учения, и он дома.

Ее смятение при Настином вопросе было столь явно, что не надо было догадываться о причине его, и Настя заискивающе сказала:

— Мне ничего другого не нужно, как только взглянуть на него. Если, конечно, ты разрешишь. Все-таки и мне он не совсем чужой.

Ответные слова Клавдии прошелестели чуть слышно:

— Он сегодня обещал приехать раньше. Ты подожди чуток.

И все-таки, когда вскоре прошуршала на улице под окнами машина и простонали тормоза, смятение опять отразилось на лице у нее с такой силой, что Насте пришлось еще раз сердитой скороговоркой напомнить:

— Я ведь уже сказала, что бояться тебе нечего. Ничего я ему не собираюсь говорить, а хочу только посмотреть на него.

Еще не успела после этих ее слов погаснуть на губах у Клавдии виновато-жалкая улыбка благодарности, как тяжелые шаги послышались на крыльце и открылась дверь.

— А вот и мы,— весело сказал молодой ломкий голос.

Вот и еще раз за этот день сердце у Насти вдруг подкатилось к самому горлу. Если бы не готовила она себя к этой встрече, она все равно бы сразу безошибочно сказала, что этот черноглазый молодой военный, который, переступая через порог в комнату, пропустил впереди себя другого, пожилого военного, и есть Ваня. Ей достаточно было только встретиться с его глазами.

Тут и Клавдия суетливо бросилась знакомить их.

— Это и есть Ваня, мой сын, а это...— Она с трудом справлялась с собой, слова ее рвались в клочья: — Это...

Насте невыносимо стало и дальше смотреть на нее, слушая, как она комкает слова под удивленным взглядом этого другого, пожилого военного, и она поспешила закончить за Клавдию:

— ...сестра той цыганки, которая тут у вас в братской могиле лежит.

— Здравствуйте.— Сверху вниз Ваня внимательно заглянул в лицо Насте и тут же спросил у нее: — А случайно с этим Будулаем, ну, с ее мужем, вам не приходилось встречаться где-нибудь?

Взгляд Клавдии, устремленный на Настю, был так тревожно-зыбок, что она тут же с преувеличенной твердостью ответила ему:

— Нет, не приходилось.

— Жаль,— с небрежностью в голосе сказал Ваня и, поворачиваясь к Клавдии, поинтересовался у нее: — Там, мама, у тебя нет чего-нибудь такого поесть, чтобы не слишком долго ждать? Мы с Андреем Николаевичем еще и на ночь за Дон поедем.

Если бы не эта небрежность в голосе у Вани, резанувшая слух Насти, она наверняка не стала бы переспрашивать у него, в то время как Клавдия ринулась к коробу и к посудной полке, меча на стол кастрюли и тарелки.

— Почему же тебе жаль, Ваня?

Громыхая рукомойником, он полуобернул к ней голову, явно удивленный тем, что ей, совсем незнакомой женщине, вздумалось продолжить этот разговор, и, тщательно вытирая руки полотенцем, ответил:

— Потому что тогда я хоть бы с вами мог передать этому Будулаю то, что мне давно уже надо было ему сказать.

То ли эта небрежность в голосе, то ли еще что-то другое подсказывало Насте, что не надо бы ей и дальше продолжать этот разговор. Все же она не могла удержаться:

— Но, может быть, мне и доведется еще когда-нибудь повидать его.

Михаил, конечно, давно уже поджидал ее в степи на горе, высунув из кабины свой чуб, но теперь уже Настя не стала отказываться, когда Клавдия поставила и перед ней на стол тарелку с борщом. Теперь они все вчетвером сидели в комнате за столом: Настя — против Вани, а Клавдия — против этого второго, немолодого военного, приехавшего с Ваней на машине. Сев за стол, он тут же и склонился над своей тарелкой, поставленной перед ним Клавдией, в то время как Ваня, медленно помешивая в тарелке ложкой борщ, отвечал Насте:

— В таком случае вы не забудьте передать ему, что у нас здесь кое-кто еще помнит его цыганские сказки. И то, как он хвалился, что уже навсегда нахватался ноздрями этого кочевого ветра, и еще кое-что.

Нет, он, конечно, не только своими глазами так напоминал сейчас Насте того, о ком все это говорил, но и звуком своего голоса: как будто какой-то ком навсегда остановился у него в горле. И еще чем-то, особенно когда он этой презрительной улыбкой пытался подкрепить свои слова, но она не удавалась ему, и лицо его оставалось все таким же юношески добрым.

— Этого я ему не стану передавать,— сказала Настя.

Ложка остановилась в руке у Вани, и он поднял от тарелки глаза:

— Почему?

— Потому что этот Будулай,— в тон ему сказала Настя,— никогда не хвалится и вообще не умеет рассказывать сказки.

При этом на Клавдию она избегала смотреть.

Не смотрела и Клавдия на нее, а смотрела на Ваню. Но он или не замечал устремленного на него взгляда матери, или же не хотел замечать. Последнее время стоило лишь нечаянно напомнить ему о том, о чем теперь напомнило ему появление у них в доме Насти, как его уже невозможно было остановить. Как будто бес вселялся в него. И не его надо было за это винить. Это, конечно, она, только она одна виновата во всем. И теперь она расплачивается за все это тем, что должна молча слушать из его уст эти жестокие слова, произносимые им с тем большей настойчивостью, чем настойчивее просил его замолчать умоляющий взгляд матери. И не было здесь Нюры, задержавшейся на птичнике, которая одна могла бы удержать его от этих слов.

— Вам, конечно, и как цыганке и как его родственнице, положено его защищать, но и нам тут кое-что может быть известно о нем. Лично из меня, например, он даже пытался здесь в нашей кузне тоже кузнеца сделать.

Он говорил, а Настя смотрела на него через стол, не столько вслушиваясь в смысл его слов, сколько все больше сравнивая и поражаясь: одно лицо. Теперь уже и полковник, Ванин начальник, подняв от тарелки свою пересыпанную солью седины голову, с удивлением смотрел на него.

От Дона, из открытых на хуторскую улицу окон доносились голоса ребятишек, весело плескавшихся в воде у подножия братской могилы.

Продолжение следует.

Анатолий КАЛИНИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ЦЫГАН

Если цыгане, окружившие Будулая, все время, слушая его, молчали, ни разу не перебив, и только похоже было, что кнуты вдруг сразу оказались лишними у них в руках, они и вертели их перед глазами, рассматривая кожаные махры, и начинали постукивать ими по голенищам сапог, то их менее сдержанные подруги начали сморкаться уже с того самого места, когда Будулай стал рассказывать, как чужая русская женщина подобрала в кукурузе и дала грудь его внезапно осиротевшему сыну. А когда Будулай кончил, над оврагом взметнулся их плач. Плакали все как одна цыганки, и, потрясенные, немо молчали цыгане.

Вдруг, озаренная догадкой, закричала Шелоро:

— Я эту женщину знаю...— От мотоцикла, на котором сидел Будулай, она метнулась к «Волге», подле которой стояла со своими адъютантами Тамила.— Я, Тамила, ее знаю, он правду рассказал.

Но тут один из телохранителей Тамилы заступил ей путь.

— Но, но! — угрожающе предупредил он, и кисточки черных усов вздыбились у него на губе.

Тогда Шелоро бросилась к Егору, напоминая ему:

— Егорушка, ты ее тоже должен помнить, это я от нее тогда мешок пшеницы принесла.

Егор поначалу безропотно согласился:

— Может, и от нее.— Но тут же ему почему-то захотелось доказать своим цыганам, что его мнение может и не зависеть от мнения его подруги жизни.— Но в глаза я ее не видел тогда.— И он шмыгнул кнутовищем за голенищем сапога.

Теперь уже и другой адъютант Тамилы, стоявший по правую руку от нее, презрительно пошевелил стрелками усов.

— Ты где-нибудь это в другом месте, Шелоро, поищи дурачков, чтобы они поверили тебе, а цыгане все эти сказки знают.— И, взглянув на Будулая, он повел в его сторону стрелочками усов.— Ему, рома, тоже ничего не стоит вас по дешевке купить. Это он отрабатывает свои ордена.

Но при этих словах ропот прокатился по оврагу, смывая женский плач, и рассыпался на злые выкрики:

— Нет, он правду рассказал!

— Мы эту могилку все видели!

— Ты его орденов своими руками не цапай!

Однако и этот многоголосый гомон удалось перекрыть своим криком Шелоро.

— Я эту Клавдию знаю, я знаю ее,— смеясь и плача, доказывала она, хватая за руки Тамилу.

Та брезгливо отдергивала от нее свои руки. Вслед за Шелоро и все другие цыгане, отхлынув от мотоцикла Будулая, прихлынули к «Волге», наступая на адъютантов Тамилы:

— Ему нам не к чему брехать!

— Он с наших детишек проценты не берет!

— Ты сперва попробуй сама хоть один орден заслужить!

— Они только на «Волгах» умеют кататься!

Еще раз Будулай воочию мог убедиться, как неуловимо изменчив в смене самых противоположных настроений характер его племени. Вот уже руки цыганок, а первыми среди них руки Шелоро, потянулись к адъютантам Тамилы, дергая их за борта и карманы кожаных курток. У Шелоро были и свои счеты с ними, особенно с этим, который только что пытался затянуть ей рот. Теперь он вместе со своими усиками так и влип в дверцу «Волги», а Шелоро нащупала уже и замочек змейки-«молнии» на его дорогой куртке с явным намерением распахнуть ее. Другого же адъютанта Тамилы старалась достать крючком своей палки старая цыганка. Дело приобретало совсем плохой оборот. Но Тамила со спокойным лицом продолжала стоять между своими адъютантами, как будто все происходившее с ними совсем не касалось. ее. Однако не успел Будулай подумать, что теперь, пожалуй, и ей не так-то просто будет прийти им на помощь, как она тут же заставила его убедиться в обратном.

— Так вам и надо! — вдруг презрительно крикнула она, расталкивая их руками от себя на две стороны и выступая из-под их охраны вперед.— За то, что вы так и не научились разбираться, когда вас обманывают, а когда человек захотел свою душу открыть. Все это правда, что он рассказал. Этого придумать нельзя.

Нет, для этой Тамилы многое надо было, чтобы выбить ее из седла. Еще и как сумела она в самый последний момент прийти на помощь своим молодцам, которые уже совсем было растерялись перед лицом разъяренно наступавшей на них толпы. Но для этого ей сперва потребовалось отречься от них. И теперь уже она могла безбоязненно продолжать в уверенности, что разбушевавшиеся цыгане не останутся равнодушными к ее словам. Теперь уже они захотят к ним прислушаться получше, как привыкли всегда прислушиваться к ней. Та же Шелоро невольно повернула голову, выпуская свою жертву с усиками, которую она уже обеими руками держала и трясла за воротник кожаной куртки. Ее примеру последовала старая цыганка, успевшая уже зацепиться своей клюкой за воротник другой, точно такой же куртки. А после этого и Егору, мужу Шелоро, ничего другого не оставалось, как тоже стыдливо вернуть на место свой кнут, извлеченный им было на всякий случай из его кожаных ножен.

Тамиле ничего другого и не надо было, чтобы эту разбушевавшуюся стихию окончательно ввести в ее берега. Оставалось только дать ей выход в другую сторону, чтобы она добушевала до конца, и она прекрасно знала, что для этого надо сделать. Наблюдавшему за ней с седла мотоцикла Будулаю ничего не оставалось, как восхищаться, видя, как она, зевая и прикрывая ладошкой рот, уже говорила цыганам в своем привычном снисходительном тоне:

— А теперь, рома, с нас на сегодняшний день уже вполне хватит всяких грустных и умных речей, теперь мы гулять будем. А там посмотрим. Из этого оврага нас никто в шею не гонит, и у тех же таких русских, Будулай, хорошая поговорка есть: утро вечера мудренее. Правильно, Будулай? А если правильно, то поскорей слезай со своего железного коня и докажи всем другим цыганам, что ты все еще тоже цыган. Зажигайте, рома, на всю ночь костры, мне там в городе на асфальте негде плясать.

О, она хорошо знала, за какую нужно дернуть струну. Те же самые цыгане, повинуясь ее команде, со всех ног бросились в разные стороны по оврагу в поисках топлива для костров. Еще совсем немного времени прошло, и над первым из них уже взметнулся куст пламени, раздвигая темноту осеннего вечера. Задрожав по-цыгански плечами, Тамила в своем модном городском костюме первая вышла в круг. Еще одно только слово ей оставалось бросить назад через плечо своим верным адъютантам, донельзя обрадованным тем, что буря уже пронеслась над ними:

— Музыку!

И тут же неизвестно откуда появившиеся у них в руках гитары бурно взрокотали, с места беря разбег. А Егор Романов уже бежал к ним от повозки со своим стареньким баяном. Так же внезапно по мимолетному знаку Тамилы гитары в руках у ее адъютантов смолкли, и она с беспокойством крикнула вдогонку Будулаю, покатившему за рукоятки свой мотоцикл из светлого круга костра куда-то в сторону:

— А ты, что же, уезжаешь, Будулай?

— Нет, я только немного отъеду. Я тут недалеко,— не оглядываясь, ответил Будулай.

— А-а! — Она догадливо захохотала.— Если по твоим речам судить, то ты еще молодой, Будулай, а так, оказывается, ты уже старик. И какой же ты после этого цыган, если кобылка перед тобой ногой землю бьет, а ты от нее убежать спешишь? Боишься, как бы она тебе голову не закружила, да? — И видя, что Будулай, не оглядываясь, все дальше уводит свой мотоцикл, она захохотала еще громче.— Это тебе не лекции перед темными цыганами толжать.— Хотя бы отчасти она хотела выместить на нем за только что пережитое поражение, и то, что он не оглядывался, еще больше подогревало ее: — Ну, тогда спокойной ночи, бывший цыган, а я теперь танцевать буду. Мне там, в городе, негде по-цыгански танцевать, и я сегодня танцевать буду до утра.

И по ее знаку опять бурно взыграли в руках у ее адъютантов гитары, прервавшие свой разбег.

* * *

— В общем, цыган есть цыган,— дочерпывая из тарелки ложкой борщ, с уверенностью заключил Ваня.

И это не при ком-нибудь, а при ней, при Насте, и глядя ей прямо в глаза, с такой вопию-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 5 — 10.

щей несправедливостью отзываются о том, кого она еще совсем недавно так любила, а может быть, еще и теперь... Но об этом она твердо поклялась самой себе никогда больше не вспоминать и никогда уже к этому не возвращаться. Теперь ей уже поздно думать об этом... И кто же все это говорит, его же собственный, кровный сын, хоть он до сих пор и не знает об этом. Но это уже из другой песни. И совсем не обязательно быть сыном Будулая, а достаточно просто увидеть его хоть раз, чтобы тут же поверить, что он не мог заслужить ни одного из тех слов, которые сейчас произносятся о нем за столом. И если эта женщина, ради спокойствия которой Будулай отказался от своего сына, теперь, сидя здесь же и молча слушая, не перечит тому, что говорит он о своем отце, то ей, Насте, уже не под силу молчать. Надо только набраться спокойствия, чтобы до конца выдержать эту взятую на себя роль.

— Ты же, Ваня, не можешь всех цыган знать, а говоришь о них так, будто знаешь,— тихо сказала Настя.

— А зачем мне их всех знать? Достаточно хорошо узнать одного, чтобы понять, чего они стоят.

Еще тише она спросила:

— Чего же они, по-твоему, стоят?

— А того, если вам хочется знать...— Ваня остановился.— Нет, вы обидитесь на меня. Лично вас я, конечно, не имею в виду.

— А ты, Ваня, не бойся, что я обидеться могу. Если уж начал, то говори... Договаривай до конца.

— Ну, если не обидитесь...— И тут Настя с тайной болью и невольным любованием увидела, как в глазах, в лице и во всей выходке его выступило то, что было так знакомо ей.

Как будто это сам Будулай, но еще совсем молодой, юный, сидел перед ней за столом и бросал все эти слова. Но только злой Будулай, а того Будулая, какого знала Настя, ей еще никогда не приходилось видеть злым. И при этом природное, цыганское так обозначилось в лице у Вани и осветило его откуда-то изнутри, что Настя на мгновение даже прикрыла ресницы и, не глядя на Клавдию, не увидела, а скорее почувствовала, как та тоже испуганно опустила глаза. Этот же полковник, ее квартирант, наоборот, подняв от стола свои глаза, смотрел на Ваню так, будто и видел и слышал его впервые.

— А того стоят, что нельзя верить ни единому их слову. Ни одному. Даже самому лучшему из них. Он тебе наговорит...— Ваня глубоко втянул в себя воздух, и что-то клокотнуло у него в горле...— Он тебе даже на своих же собственных цыган может наговорить за то, что они опять и кочуют и не работают, как все другие люди, а обманывают, или, попросту говоря, дурят других людей. Он тебе даже может поклясться, что сам уже никогда больше этого не позволит, никогда, а потом в один прекрасный день свой цыганский картуз в руку и — тоже за теми же самыми цыганами, которых только что ругал, тю-тю! — Что-то опять клокотнуло у него в горле, он смолк и, опуская голову, сказал: — Но только лично вас я ничуть обидеть не хотел. А если обидел, то вы, пожалуйста, извините меня.

У Насти, смотревшей на него, так и сжалось сердце. Бедный мальчик! Как же долго, должно быть, копилась в нем вся эта горечь, если теперь она с такой силой, почти с ненавистью выплеснулась из него! И ничем нельзя было его разуверить, ничем, кроме одного-единственного. Но даже и не глядя на Клавдию, чувствовала Настя, как кричало из ее глаз: «Только не это! Этого нельзя касаться!»

А этот полковник, ее квартирант, продолжал внимательно смотреть на Ваню неузнающими глазами и ничегошеньки, конечно, не понимал.

Но и не могла же Настя так и оставить безответными все эти слова.

— Все-таки, Ваня, ты не имеешь права так о цыганах говорить, потому что ты по своей молодости не можешь их знать. Среди цыган тоже, как и среди русских, разные люди есть. И вообще за глаза никогда, Ваня, не стоит говорить о человеке того, чего ты не смог бы ему в глаза сказать.

Если лицу Вани Пухлякова и вообще не надо было природной смуглости занимать, то за эти дни военно-полевых занятий в степи оно сделалось совсем черным. И все же при последних словах Насти краска обиды так густо прихлынула к его лицу, что проступила и сквозь эту черноту, а глаза Вани как будто подернулись пленкой. Опять таким знакомым показался для Насти этот взгляд, охвативший ее черным огнем.

— Если бы можно было, я бы ему и в глаза сказал, что даже и для цыгана должно быть стыдно, когда люди поверили ему, наплевать им в самую душу,— вздрагивающим голосом сказал Ваня.

Вот когда и эта женщина, его теперешняя мать, осмелилась наконец подать свой голос.

— Ваня, что ты говоришь?! — в непритворном ужасе сказала Клавдия.

Вслед за тем и полковник, быстро взглянув на ее побледневшее лицо, впервые вмешался в разговор:

— А вот я, Ваня, после войны так и не смог найти того самого цыгана, который под селом Успенским вытащил меня из горящего танка и три километра до госпиталя на себе тащил.

Настя увидела, как Клавдия так и ухватилась за эти его слова:

— Вот видишь, Ваня!

Но и понять эту странную женщину нельзя было до конца. Только что слово боялась вымолвить наперекор Ване, который так говорил о своем отце, и вот уже с явной благодарностью смотрит на этого полковника, когда тот заступился за цыган. И тут внезапно острая ревность за Будулая, который где-то теперь скитался по осенней степи, не зная ни о чем, проколола Настино сердце. Все больше поддаваясь этой ревности, но и с какой-то тайно забрезжившей надеждой Настя начала больше присматриваться к Клавдии и к этому полковнику. Конечно, она давно уже не верила всяким цыганским гаданиям, но кто знает, может быть, и правда, у ее соплеменниц есть что-то такое, что позволяет им с полуслова и с полувзгляда ставить в связь и понимать то, что бывает недоступно заметить и понять всем другим людям. И как бы ни смеялась она над своими темными соплеменницами, она ведь тоже цыганка была. Лучше присматриваясь к Клавдии и к ее квартиранту, она теперь все больше начинала замечать и ставить в связь то, чего не видела раньше и чему до этого не придавала значения, поглощенная разговором с Ваней. И то, что этот полковник все время молчал за столом, не вмешиваясь в разговор до тех пор, пока не вскрикнула при последних Ваниных словах Клавдия, а после этого, взглянув на нее, так и бросился к ней на помощь. И, конечно же, бросился не столько ради того, чтобы заступиться перед Ваней за цыган, а чтобы успокоить ее, Клавдию, и тем самым заслужить ее благодарность. Вот она и смотрит теперь на него, как на свет в окне, блеснувший посреди темной ночи. Конечно, Настины соплеменницы всё врут доверчивым людям, угадывая их прошлую и будущую жизнь по картам, по линиям руки, но здесь не надо было ни карт, ни каких-либо иных гаданий. Все было налицо. И все больше Насте казалось, что она улавливает эту связь, незамеченную ею прежде... С какой бы стати Клавдия в обычный, будничный день вырядилась и в это явно выходное бордовое платье с кружевным воротничком и щеголяла в нем, хлопоча по дому? Никакого другого мужчины, за исключением этого полковника, Ваниного начальника, здесь больше не было, и, судя по всему, он уже не первый день живет у нее в доме. А ниточкой, все более скреплявшей эту связь, понятно, должен быть Ваня, который и привез этого полковника к себе домой на военной машине. Все сходилось без всяких карт и каких-нибудь других гаданий, в которые давно уже не верила Настя. И все, что ей надо было выяснить, она теперь выяснила до конца, больше ей нечего было делать в этом доме. Михаилу, должно быть, уже не один раз и спутало и расчесало ветром его казачий чуб, пока он, высовываясь из кабины, выглядывает ее там, на окраине кукурузного поля.

Она поднялась из-за стола, прощаясь.

— Вы все-таки не сердитесь на меня, если я нечаянно обидел вас,— дотрагиваясь до ее руки своей рукой, виновато сказал Ваня.

Снова из его глаз глянуло на Настю такое нестерпимо знакомое, что она не удержалась и, притягивая руками его голову к себе, поцеловала его в лоб:

— Мне, Ваня, не за что сердиться на тебя.

В самом деле, за что ей было сердиться на него, если он так ничего и не знал, если это ему по его неведению казалось, что он так жестоко обманут.

И все же ей надо было поскорее отсюда уходить, иначе она не отвечала за себя.

Но, уходя, еще надо было выяснить кое-что. И, когда Клавдия вышла на крыльцо проводить ее, Настя как бы между прочим спросила у нее:

— А у этого твоего квартиранта есть семья или нет?

Не подозревая в ее вопросе никакого вероломства, Клавдия с грустным простосердечием ответила:

— Нет, Ваня рассказывал, будто его жену с малым дитем немцы в Киеве загубили, она еврейка была.

— И с той самой поры он так один и живет?

— Один.

И вдруг под пристальным взглядом Насти она вся так и облилась румянцем.

— А мужчина он еще совсем нестарый,— не сводя с нее взгляда, с удовлетворением заключила Настя. И неожиданно для самой себя добавила: — За таким мужем можно, как за печкой, жить.

Было похоже, что Клавдия намеревалась что-то ответить ей, но Насте уже ничего больше не нужно было. Семя догадки, запавшей ей в сердце, проклюнулось и дало росток. Попрощавшись с Клавдией, она повернулась и пошла от нее прочь по дороге, поднимающейся из хутора в степь, в гору.

Она уже стала огибать глиняную красную кручу, когда услышала за собой быстрые шаги и, оглянувшись, с удивлением увидела, что это Клавдия. Не накинув на голову платок, в чувяках на босу ногу, она почти бегом догоняла Настю.

— Подожди-ка! — крикнула она, взмахнув рукой. И, добежав до Насти, пошла рядом с ней, тяжело дыша.— Я немного провожу тебя, ладно?

Уловив в ее голосе что-то новое, пока еще непонятное, Настя повела плечом.

— Провожай.

Некоторое время Клавдия шла рядом с нею молча, мелкие камешки, нанесенные на дорогу из степи дождевой водой, с шорохом осыпались из-под их ног под откос дороги. Потом она тронула Настю за рукав.

— Ты не шибко спеши, мне еще надо у тебя спросить...— Полуобгоняя Настю, она зашла впереди нее.— Ты зачем приезжала сюда?

— Ты же знаешь, зачем,— не останавливаясь и обходя ее стороной, ответила Настя.

— Нет, еще подожди! — крикнула Клавдия, опять догоняя ее и опять заступая дорогу.— Ты, что же, думаешь, что я без тебя не знаю, за кого мне замуж выходить?!

— Ничего я такого не...— начала Настя.

Но Клавдия перебила ее. Загораживая Насте дорогу, она выкрикнула ей в лицо:

— А ты разве не знаешь, что я уже искала его по всей степи?! Разве ты не читала мое письмо?

Ни одной, должно быть, женщине не дано до конца понять свое сердце. А Настя еще и цыганка была. И, остановившись посреди дороги перед Клавдией, она сказала, глядя ей в глаза:

— Если б я знала, что он ко мне так же, как к тебе, и при мне был бы его сын, я бы с этим пузом все бросила, всю степь перевернула, а нашла его.

— Вот ты какая! — с изумлением сказала Клавдия.— Это что же ты хочешь сказать, что ты одна такая и любишь его больше всех, а другие ни капельки, да? Вот ты какая хорошая, но что ты в этом можешь понимать? И что же ты от меня требуешь, чтобы я сейчас стала рвать на себе кофту и тоже побожилась тебе, что без него для меня белого света нет?! Или же чтобы поднялась на эту глиняную кручу над Доном и крикнула всем людям, чтобы они мне разыскали его? — Клавдия передохнула и перешла почти на шепот: — А если об этом нельзя никому говорить, тогда что? Если об этом ни одна душа не имеет права знать, кроме тебя самой! — Она снова глубоко вздохнула, и к ней вернулся ее прежний голос.— Молодая ты, Настя, еще и не можешь этого понять.— Прислушавшись к шороху камешка, покатившегося из-под ее ног под откос дороги, Клав-

дия вслух как бы согласилась с какими-то своими мыслями.— А может быть, у вас, у цыган, и это все как-то по-другому. Я же тогда видела, как ты кружилась перед ним, и слышала, что ты говорила ему. Нет, я не обидеть тебя хочу. Каждый, видно, по-своему бьется за свое счастье. Но и бросить сейчас все, чтобы его по степи искать, я тоже не могу, это ты понимаешь? Чтобы все бросить и днем с фонарем свое счастье искать, а другие в это время пусть все делают за тебя? Ты совсем еще молодая, Настя, и, может быть, привыкла с места на место кочевать, а мне так жить нельзя. Я не могу за чужой спиной свое счастье искать. Только ты не обижайся, я ничего худого про тебя не хотела сказать. Видно, у каждого своя жизнь. Я ведь уже искала его, и если бы я только знала...

Но в этом месте Настя, все время терпеливо слушавшая Клавдию, прервала ее. Все время, пока Клавдия сбивчиво бросала ей в лицо эти слова, она смотрела не на нее, а куда-то в сторону, в туманное Задонье, а теперь повернула к ней голову и встретилась с ее взглядом. Непередаваемую усталость увидела вдруг Клавдия у нее в глазах. Как будто она только что несла на эту гору тяжелейшую ношу, и Клавдия услышала, как под тяжестью этой ноши до неузнаваемости изнемог ее голос.

— Ну чего ты пристала ко мне, я же его не стану тебе искать. Я уже ушла с твоей дороги, а ты хоть теперь с моей уйди.

И, отстранив Клавдию рукой, она, больше не оглядываясь, пошла вперед, в гору.

Вскоре ей послышались звучно рассыпающийся по сухой дороге топот, похрапывание и сердитый старческий голос:

— Тише вы, окаянные, еще подшибете кого-нибудь.

На всякий случай Настя отступила под кручу, прижимаясь к ней спиной. Она сделала это как раз вовремя, потому что тут же и выплеснулась из-за глиняной кручи горячая живая волна. Возвращался из степи в хуторские конюшни на ночь табун. И как бы, должно быть, ни хорошо было ему там, на степном, хотя и скудном уже осеннем приволье, возвращался он оттуда в обжитые стены нетерпеливой дробной рысью, отказываясь повиноваться своему табунщику, кричавшему дребезжащим голосом:

— Тихо, говорю, тихо! Я кому сказал!

Сбивая табун на это ослушание, впереди него, по-лебяжьи выгибая головы, неслись сосунки, заставляя и своих матерей срываться со степенного шага. Когда лошади поравнялись с Настей, ее так и опахнуло запахами степи. В спутанных своих гривах, на лоснящихся шкурах лошади несли их к Дону.

На этот раз Гром, должно быть, не заметил Настю, отступившую в выемку под глиняной кручей, а она не успела рассмотреть его в поднятом табуном облаке пыли. Ну и пусть, может быть, и к лучшему. Один раз утром встретились — и на том спасибо. На сегодня Насте уже достаточно всех этих встреч. Все как будто сговорились сегодня напоминать ей о том, что она сама давно уже поклялась выдернуть из своего сердца. И незачем, чтобы теперь это бессловесное животное с говорящими глазами лишний раз напомнило ей об этом.

Табун давно уже ссыпался под гору, а над дорогой все еще витало оставленное им теплое облако. И на губах у Насти, одолевающей крутой подъем, долго оставалась вяжущая сладость этого степного нектара, смешанного с солонцеватой горечью горячего конского пота.

Михаил с грузом минеральных удобрений в кузове самосвала давно уже поджидал ее, и его выглядывающий из кабины чуб пламенел под вечерней зарей.

* * *

По всему оврагу разгорались костры, не было только между ними, как некогда в раннем детстве Будулая, шатров, но и теперь все тот же опрокинулся над его головой беспредельный шатер, на котором колосились и осыпались звезды и трепетали просверки отдаленных сухих молний. Неплохое, оказывается, он выбрал себе место для сна на опушке лесной полосы, над самым краем оврага, источающего свет и звуки бурного веселья, которому теперь по-детски предавались цыгане. Сверху переливался над его головой большой звездный путь, а внизу метались вокруг костров тени. И он не сомневался, что самая быстрая из них, метавшихся посредине оврага вокруг большого костра, была Тамила. Не может быть, чтобы она вот так просто и отказалась от того, ради чего сегодня приехала сюда на своей серебристой «Волге». Нет, она, конечно, постарается оттанцевать себе у цыган согласие на то, к чему ей так и не удалось склонить их словами. С пустыми руками она не захочет отсюда уезжать, а если ей не удастся теперь взять за свое поражение реванш, то, может быть, и Будулаю придется ждать от нее послов. Кого-нибудь из тех же ее ангелов-хранителей, понимающих ее с полуслова и на лету подхватывающих ее взгляды. Но, может быть, обойдется и без этого и ей удастся станцеваться с цыганами там, в овраге, откуда теперь доносился до него вместе со звуками музыки тот гортанный гомон, по которому его соплеменников можно узнать за сто верст. Теперь им до утра хватит танцевать и, слоняясь по оврагу от повозки к повозке, собираясь кучками, обсуждать то, что они услышали от него сегодня. Особенно женщинам. Но и после, когда они уже опять разъедутся по степи и пристанут на зимовку на окраинах городов и поселков, эта история будет сопутствовать им, разделяя и ввергая в тот непримиримый спор, в котором находился и Будулай с самим собой с того дня, как ушел он из хутора Вербного: правильно или нет поступил он, оставив там навсегда своего единственного сына?

Но теперь, что бы там ни было, а ему перед дальнейшей дорогой нужно поспать. Он давно уже не помнил, чтобы отходил ко сну с таким легким сердцем. Как будто свалился с него камень после того, как он наконец открыл свою душу людям, рассказал обо всем цыганам. Все это время он нес эту ношу сам, не разделяя ее ни с кем и ревниво оберегая от посторонних глаз, но от этого она становилась лишь тяжелее, и уже невмоготу ему стала эта тяжесть. И вот когда он неожиданно для самого себя открылся людям, они поняли его. Те самые цыгане поняли, о которых он до этого думал как о людях, чуть ли не самых слепых на земле. Сравнимых с тем же перекати-поле, которое, оторвавшись от своих корней, мчится по степи неведомо куда. А эти слепые вдруг заглянули ему своими глазами в самую душу, и впервые свалился с нее этот камень. Как будто они взяли и переложили на свои плечи самую тяжелую часть его ноши, а от этого неизвестно каким образом вдруг восстановилась у него и прервавшаяся внутренняя связь с Ваней, его сыном.

Давно уже не было ему так легко, покойно. Ах, как хорошо, отчетливо передаются по чистому воздуху ночи и эти баяны с гитарами и этот свет от костров из оврага. Даже отсюда можно представить, какая там сейчас разбушевалась буря, как мечутся по кругу, плещут крыльями и вихляются, выхваляясь одна перед другой, цыганки. А пуще всех, конечно, Тамила. Уж ее-то сегодня никто не сможет перетанцевать.

Позже, погрузившись в сон, скорее не услышал он, а своим чутьем разведчика уловил какое-то беспокойство неподалеку от того места, где лежал. Открыв глаза, отчетливо услышал, как мягко щелкнула дверца подъехавшей машины и от нее в его сторону зашелестели по траве легкие шаги. Сперва несколько человек направились к нему, но потом они остановились, и от них отделились только эти легкие шаги. Тонкая тень проскользнула между Будулаем и оврагом, со дна которого струился, переливаясь через его края, свет от костров.

— Ты еще не выспался, Будулай? — насмешливо спросил его голос Тамилы.

Нет, она не стала присылать к нему послов, а сама пришла. Значит, совсем плохи ее дела, так и не удалось ей дотанцеваться с цыганами до чего-нибудь в овраге. И это, в свою очередь, означало, что разговор, с которым она теперь вынуждена была прийти к Будулаю, предстоял не простой. Он невольно отодвинулся, когда она бесшумно опустилась рядом с ним на край его старой плащ-палатки, которая служила ему в дороге и подстилкой и одеялом.

— Ты не возражаешь, Будулай, если я посижу тут рядом с тобой, чтобы не намочить свою юбку в росе? — И, почувствовав в темноте его движение, засмеялась: — Да ты не бойся, я к тебе совсем не за тем пришла, о чем ты подумал. Мне этого добра и в другом месте хватает, а к тебе, как я вижу, все равно за этим было бы бесполезно приходить.— Не услышав от него ответа, она снова засмеялась.— Но, конечно, ты догадываешься, почему я к тебе пришла.

— Догадываюсь,— сказал Будулай.

— Вот и хорошо. Значит, и мне не нужно будет искать к тебе какой-нибудь подход. Ты на меня не обижаешься за то, что я тебя просто Будулаем зову?

— Меня все так зовут.

— А меня можешь тоже Тамилой звать. Я думаю, мы с тобой сможем быстро договориться друг с другом. Но сперва мне надо будет закурить. Ты, конечно, не куришь, Будулай?

Он промолчал, и она, достав откуда-то пачку сигарет, закурила, на миг осветив себя пламенем спички. Совсем близко от себя он увидел ее полные, чуть вывернутые губы, сжимавшие стебелек сигареты.

— Но, конечно, ты понимаешь и то, что если бы там, перед цыганами, не взял надо мной верх, я бы сейчас не пришла к тебе?

— И это я понимаю,— сказал Будулай.

Он не увидел, а почувствовал, как она усмехнулась в темноте.

— А теперь мне деваться некуда и надо было идти. Потому что без твоей помощи теперь мне никак не обойтись, Будулай. Те же самые цыгане не станут и слушать меня. А если бы я, скажем, вернулась к ним вдвоем с тобой, они, может быть, еще захотели бы меня слушать. Ты теперь у них герой. У меня к тебе, Будулай, одно деловое предложение есть.— Он пошевелился, и она, быстро дотрагиваясь рукой до его плеча, пыхнула в темноте сигаретой.— Только ты не спеши отказываться, это ты всегда успеешь. Сперва хорошенько выслушай, что я тебе скажу.

— Я, Тамила, слушаю тебя.

Ее глаза мерцали прямо перед ним, и он слышал запах каких-то духов, исходивший от нее.

— После того, как ты моих цыган совсем с толку сбил, я, конечно, уже не могла с ними говорить, на какой теперь выгодный товар лучше всего перейти. Но тебе, Будулай, скажу. Ну, например, на те же консервные... кришки.

По-русски она говорила совсем чисто, только это единственное слово и затесалось к ней, но сама она не замечала его, с деловитостью в голосе поясняя ему:

— Да, да, на кришки, Будулай. Какая-нибудь маленькая круглая жестянка, три копейки ей государственная цена, а когда сезон, люди согласны за нее по пятнадцать копеек платить. Теперь посчитай-ка, Будулай, только в одном этом овраге сейчас не меньше ста цыганских телег, а в каждую можно по десять тысяч таких кришек погрузить. Я уже подсчитала: сто двадцать тысяч рублей за один только рейс. Еще и с руками оторвут. Никому же не интересно, когда урожай с личного сада гниет. И мне тут близко от Ростова известно одно местечко, где эти жестянки в складе навалом лежат. Их уже лет десять никто не считал. Ты что-то хотел сказать?

— Когда-нибудь, Тамила, их должны будут сосчитать.

Она откачнулась от него.

— Обэхээс, да? Ты, кажется, хочешь меня тюрьмой напугать?

— Нет. Если бы я и захотел, тебя невозможно напугать.

Не без тщеславия в голосе она согласилась:

— Это правда. Мне ведь и по специальности бухгалтера-товароведа положено весь уголовный кодекс РСФСР на память знать, а у русских еще одна хорошая поговорка есть: от тюрьмы и от сумы отказаться нельзя. Я, Будулай, и не откажусь, когда придет мой срок, но я постараюсь, чтобы он не слишком быстро пришел. По моим годам мне еще пожить надо. Вот еще почему я пришла к тебе. Если бы ты согласился, ты бы мог мне и в этом помочь. Но только, Будулай, пожалуйста, не надо мне тут мораль читать, хорошо?.. Не люблю, когда мне начинают лекции на моральные темы читать.

Дотлевали на дне оврага костры, дотлевало

вместе с ними веселье. Среди голосов, доносившихся оттуда, уже не слышно стало голосов пожилых цыган, они, должно быть, уже разошлись к своим повозкам на покой, оставив у огня одну молодежь. И старые баяны свои они унесли с собой, оставив молодежь дотанцовывать ее новые танцы под музыку транзисторов, к которой прислушивались бродившие по овражу кони. Сверху видно было, как они то и дело поворачивали головы к огню и уши у них беспокойно шевелились.

— Я и не собираюсь, Тамила, тебе лекции читать,— сказал Будулай.

— Вот и хорошо, так мы еще скорей сможем друг друга понять.— Она опять придвинулась к нему.— А теперь ты и сам, Будулай, можешь сосчитать, сколько на эти сто телег можно сразу кришек погрузить.— И тут же торжествующе сообщила: — Миллион! Если даже всем другим цыганам и полвыручки отдавать, то и тогда бы на нашу с тобой долю...— По-своему истолковывая его молчание, она тут же уступчиво предложила: — Но если для тебя это не подходит, Будулай...

— Не подходит,— подтвердил Будулай.

Должно быть, что-то в его голосе насторожило ее, потому что она требовательно переспросила:

— Только с кришками не подходит, Будулай, или вообще? Ты мне за мою откровенность тоже откровенностью плати.

— Нет, не только, Тамила, с ними.

— А!— Она снова отодвинулась от него.— Теперь я вижу, что цыганское радио не брехало, ты и в самом деле идейный ром. Но все равно я тебе не советую, Будулай, спешить. Еще неизвестно, может быть, и тебе сейчас еще больше, чем мне, нужна моя помощь. И я, кажется, знаю, чем смогу тебе помочь. Не хуже, чем та хитрая казачка, которой ты нашим глупым цыганам теперь на всю ночь голову забил. Не бойся, ничего плохого я о ней не хочу сказать, раз она твоему сыну заменила мать. Но если эта казачка его подобрала и отпоила своим молоком, то теперь уже, может быть, пришло время, когда ему больше нужна своя, цыганская мать. Чтобы она лучше помогла ему для будущей жизни свою природу открыть.— И, безошибочно перехватывая в темноте движение Будулая, она поправилась: — Ну, если не мать, то можно это и каким-нибудь другим словом назвать. Никто, конечно, не собирается его от этой колхозницы отрывать. Но и не должен же он теперь из благодарности к ней и себя на всю жизнь к деревенской жизни приговорить. Во всяком случае, уже не такая малограмотная женщина ему нужна, а городская, чтобы она помогла ему для будущей жизни и образование получить и все остальное.— И, опять подстерегая протестующее движение Будулая, она опередила его: — Знаю, что ты сейчас обо мне подумал. А я не хочу скрывать, что не от какой-нибудь своей доброты твоего сына вспомнила сейчас. Я, Будулай, и сама слишком добрых людей не люблю, по-моему, лучше от них подальше быть. Еще нечаянно и сам как-нибудь заразишься от них этой добротой и начнешь не так, как сам хочешь, жить, а как все другие, лямку тянуть. Гораздо лучше, по-моему, когда люди не этой ненадежной веревочкой связаны между собой. Вот почему и твоего сына я вспомнила, Будулай. Если бы не нужда, мне бы его можно было и еще сто лет не знать. Я в тебе нуждаюсь, Будулай, и если ты сегодня согласишься мне помочь, то завтра и я сумею тебя отблагодарить в том, в чем ты, по-моему, сейчас нуждаешься больше всего. Я ведь, когда тебе вздумалось перед нашими глупыми цыганами свое сердце открыть, прислушивалась не только к твоим словам, но и к твоему голосу, как он каждый раз спотыкался, когда ты имя своего Вани называл. И я, кажется, знаю, что тебе теперь больше всего нужно для жизни. Хоть ты и не хочешь в этом признаться самому себе, а больше всего боишься, как бы не обидеть эту свою казачку. Что же ты на все это мне скажешь, Будулай? — Она снова предупредила его: — Только не спеши и, прежде чем отказаться, подумай хорошо.

Будулай молчал. И что бы он мог ответить ей? Во всяком случае, она была откровенна с ним. Не скрывала за какими-нибудь лишними словами то, чего хотела от него. Но и вряд ли ему было бы теперь под силу разубедить ее в чем-нибудь. Она знала, что ей нужно от жизни. Ему всегда было жаль людей, которые своими же руками и уродовали свою жизнь, а она еще молодая была. Единственно он и мог сказать ей:

— Сына моего, Тамила, ты здесь зря вспомнила. И ты опоздала уже.

Она немедленно поинтересовалась:

— Почему?

— Потому что он уже не такой, чтобы его можно было заставить одну мать на другую поменять.

Она осведомилась:

— Сколько ему теперь?

— Уже двадцать почти.

Она согласилась:

— Да, поздно. И, кроме этого, ты ничего мне не скажешь, Будулай?

— Ты же сама не хочешь, чтобы я тебе лекции читал.

— Не хочу. Я и сама хорошо знаю все то, что мне могут сказать. Что-нибудь наподобие того, что женщина я еще молодая и даже красивая, но вступила на опасный путь. И это меня не может привести к добру. Так, Будулай?

— Может быть, и так.

— Вот это-то и скучно. Я когда и сама себе начинаю все это говорить, меня тоска берет. И не за этим же я к тебе сюда пришла. Как я понимаю, мы с тобой не договоримся, Будулай?

— Не договоримся.

— И это все, что ты можешь сказать?

— Все.

— А может быть, ты все-таки еще захочешь на закуску мне какую-нибудь лекцию прочесть? Так и быть, валяй, я слушаю тебя.

— Нет.

— Почему же? Ведь ты же, Будулай, умеешь так заговаривать своими жалостливыми словами доверчивых цыган, что потом они и заснуть не могут. Видишь, еще и сейчас слоняются по оврагу, как овцы без пастуха. Ты и меня своими словами о потерянном и найденном сыночке сумел так разжалобить, что еще немного — и потекла бы драгоценная заграничная краска с моих ресниц.— Голос у нее упал, как будто какая-то струна все время натягивалась в горле у нее и внезапно ослабла.— А может, и правда, Будулай, нам с тобой лучше будет договориться так, как ты подумал, когда я только что пришла к тебе. Я, конечно, здесь твоего Ваню совсем зря приплела, ты прости меня. Мне теперь без твоей помощи с этими овцами ни за что не справиться, Будулай, и я совсем потеряла разум. Мы с тобой люди взрослые, и я уверена, что ты потом не будешь жалеть. У тебя на самом деле с самых тех пор так и не было жены?

Он молчал. Отблесками меркнущих на дне оврага огней освещало ее. Никто не мог бы сказать, что некрасива она была с этой своей модной прической, с цыганскими глазами на не цыгански белом лице и с приподнявшейся в ожидании его ответа полной губой, из-под которой поблескивали белые зубы. Но тут память подсунула Будулаю другое женское лицо. Тогда тоже была ночь, озаряемая отблесками костра, и совсем другая женщина тоже была совсем откровенна с ним, предлагая себя. Только она ничего не потребовала взамен, а просто протянула ему на ладони свое сердце. И чувство вины перед Настей с новой силой охватило Будулая, хотя он и знал, что ни в чем не виноват перед ней. А эту женщину, которая сейчас сидела перед ним в ожидании его ответа, ему опять стало жаль, как всегда бывало жаль тех людей, особенно женщин, которые своими же ногами и затаптывали себя, свою душу.

Его затянувшееся молчание не обмануло ее.

— Ты только не вздумай меня жалеть, я больше всего ненавижу, когда меня начинают жалеть.— Уголек сигареты озарил ее лицо розовым светом.— И если тебе, Будулай, еще никто не говорил, то, значит, я должна сказать: не цыган ты, а выродок из цыган и, значит, самый опасный для них человек. Вот такие, как ты, добрые и есть самые опасные люди. Из-за своей доброты они ни себе, ни другим людям жить не дают. А я, Будулай, хочу жить так, как я хочу.

— Для этого, Тамила, ты и со своих цыган проценты стрижешь?

— На то и глупые овцы, чтобы стригли их. Но я им тоже даю жить. А такие, как ты, не дают им жить так, как они хотят. До этого дня все цыгане в этой степи были у меня в руках. Я для них в этой местности все равно, что княгиня была, а теперь из-за тебя стала чужой. Такое не прощается, Будулай.

— Не надо меня, Тамила, пугать.

— А я-то подумала, что ты еще не забыл цыганскую жизнь.

— Ни цыганской, ни русской жизни отдельно не может быть.

Ничего больше не ответив на его слова, она гибким движением поднялась, на миг заслонив собой слабое розовое пятно на дне оврага от последнего костра, и вот уже ее легкие, быстрые шаги, удаляясь, зашелестели по траве...

Окончание следует.

ЦЫГАН

Анатолий КАЛИНИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

* * *

Все меньше сочился светом и музыкой овраг, и лишь изредка языком запоздалого пламени озаряло конскую морду, дышло телеги, чью-то тень. Все цыгане уже спали, только самые упорные, молодые, иногда оглашали овраг взрывами смеха, гулким топотом.

Теперь, когда Будулай открылся им и они поняли его, ему было стыдно, что он чуждался их прежде. Какая гордыня до этого заставляла его спешить мимо их повозок и чуть ли не презирать их за то, что они, отворачиваясь от оседлого своего счастья, сами же, по его мнению, и отказывались от той жизни, которая была для них лучше? А если это потому, что они сами все еще так никак и не могут разобраться, что же для них лучше? И разве честнее было бы, если бы они целиком положились на мнение тех, кто за них уже все рассудил, не зная их жизни. Не все то лучше, что лучше. И разве он сам, живя среди русских, тоже за это время не стал больше русским цыганом, который теперь и наблюдает и судит жизнь своего народа со стороны? Что знает он об этой жизни, кроме того, что вынес из ранней поры своей молодости? Древнее племя со все еще детской душой и по-детски столь же беззащитной, сколь и суровой. Может быть, поэтому и внутри других народов ему так удается сохранить себя и оно почти нетронуто мчится сквозь все народы и времена, прикасаясь по дороге к разной жизни, но так и не успевая выбрать для себя ту, которая была бы лучше. А может быть, и само время все быстрее мчится вместе с ними, как цыган.

Свистит по сторонам ветер, а внутри все остается таким же нетронутым. Все с той же наивной полудикостью и с вечным страхом попасть в зависимость от других людей. А поэтому и нельзя задерживаться чересчур долго на одном месте. «Бэвш чаворо!» Щелкает кнут, свистит ветер. И взору того, кто, давно уже выпав из этой повозки, смотрит на нее со стороны, тоже ни за что не успеть заглянуть под ее шатер и что-нибудь рассмотреть.

Вот они собрались вместе, и им хорошо, а потом опять разъедутся, разбредутся по всем дорогам и опять будут как чужие друг другу.

* * *

Все меньше колебалось на дне оврага теней, и там, где догорел последний костер, скупо рдели угольки жара. Только одинокий транзистор все еще не хотел замолкать. И, вероятно, убаюканный его глуховатой странной музыкой и шорохом падавших на плащ-палатку капелек росы, Будулай опять не заметил, как он переступил за грань сна. Никогда еще в жизни ему не было так хорошо, как теперь, и даже от разговора с Тамилой уже не осталось следа. Трудно было так долго держать душу на замке, а теперь вдруг сразу стало совсем легко.

* * *

Как будто откуда-то совсем издалека, из-под какой-то неслыханно тяжелой толщи пробился к нему испуганный возглас Тамилы:

— Так уж вы убьете его!

И тогда уже до его слуха не так, как бывает во сне, а явственно донесся другой голос, отвечавший Тамиле прямо над головой у него:

— Нет, зачем же убивать. Он и без этого теперь забудет, как его зовут.

Голос другого адъютанта Тамилы подтвердил:

— Его ведь еще и на фронте контузить могло.

Тяжелый сон кончился, и на миг сознание Будулая, как сквозь щель, вырвалось наружу

Окончание. См. «Огонек» №№ 5—11.

из-под пелены забытья. Краем его же плащ-палатки, которую он подстилал под себя, когда его заставала в степи ночь, его накрыли эти дюжие молодцы Тамилы и деловито, сосредоточенно избивали, уже оглушенного чем-то во сне. Один держал его ноги, всем своим телом придавив их к земле, а другой бил по голове чем-то тяжелым. Но не острым, а плоским, тупым, может быть, одним из тех диких серых камней, которых всегда много валяется по степи. И тут впервые Будулай ощутил, как сквозь ту же щель невыносимая, никогда не испытанная им до этого боль ворвалась ему в голову, разрывая ее. Его содрогание, должно быть, передалось этим двум убийцам, потому что тут же они еще крепче прижали его к земле.

— Еще копошится,— с удивлением произнес у него над головой первый голос.

— Ты только песиком не бей,— с беспокойством предупредил тот, что держал Будулая за ноги.

— Ученого учить...

Они беззлобно переговаривались, добросовестно выполняя свою работу. Опять начала захлопываться эта щель, сквозь которую ворвалась боль. Будулай уже почти не чувствовал ее, когда снова услышал голос Тамилы:

— Скоро начнет рассветать.

В той стороне, откуда донесся ее голос, приглушенно бормотал невыключенный мотор машины. И ответивший Тамиле другой голос теперь тоже донесся до Будулая совсем издалека:

— Сейчас.

— Только ничего не брать.

— Я и не беру. Но и эти цацки ему с отбитой памятью теперь тоже совсем ни к чему.

Дальше Будулай уже ничего не услышал, потому что совсем захлопнулась щель. Но от прикосновения чужих холодных ладоней, по-хозяйски зашаривших у него на груди, она на мгновение разомкнулась еще раз. Режущая боль, хлынувшая в голову, опять разломила ее на части, и под чужими руками, обшаривающими его, что-то как будто ожило в нем. Как пружина напряглась. Еще нестерпимее боли было прикосновение этих рук, по-хозяйски шаривших у него на груди. До этого он всего один-единственный раз в своей жизни вот так же почувствовал у своего горла чужие руки, когда его вдруг подмял под себя тот немецкий ефрейтор под Будапештом, которого он хотел взять живьем, и ничего другого не оставалось, как зубами дотянуться до его горла.

Голос второго адъютанта Тамилы сказал у него в ногах:

— Вот теперь шабаш.

И тут же Будулай почувствовал, что ноги его стали свободны. Та пружина, которая ожила в нем, напряглась до отказа. И голова, несмотря на боль, разрывавшую ее, стала совсем ясной.

Все-таки он когда-то разведчиком был. Ему даже пришлось в фронтовой разведшколе всю специальную науку пройти, и потом она не однажды выручала его... Еще немного бы надо подождать, пока эта рука, обшаривающая его грудь, сама наткнется на его руку. Но опять начинает смыкаться эта совсем узкая щель, и, значит, уже нельзя больше ждать. Неуловимо вкрадчивым движением своей руки он вдруг встречно перехватил запястье чужой руки своими пальцами кузнеца и, сразу же поворачиваясь со спины на бок, заломил ее в локте так, что услышал хруст кости, заглушенный криком:

— A-a-a!!!

— Ты что? — испуганно спросил у первого адъютанта Тамилы ее второй адъютант и тут же сам по-страшному закричал от того удара ногами под живот, которому когда-то учили Будулая в разведшколе. Вслед за этим и тревожный голос Тамилы донесся от того места, где верещал мотор «Волги»:

— Рома, рома, бэш чаворо!

Вот когда и она вспомнила, как это называется по-цыгански. Теперь только нужно было встать и поскорее добраться до мотоцикла, пока они еще не пришли в себя. Волоча на себе плащ-палатку и качаясь на непослушных ногах, Будулай почти ощупью нашел мотоцикл и, перекидывая ногу в седло, нащупал рукой газ.

Умница мотоцикл не подвел его и на этот раз, завелся сразу. Резким рокотом его мотора огласилась тишина предрассветной степи.

Но света он пока не станет включать и поедет не к дороге, а в глубь степи, чтобы они не смогли догнать его на своей «Волге». Темнота столько же помогала ему, сколько и мешала, скрывая на бездорожье степи брустверы старых окопов и борозды свежей зяби. Перед зарей всегда особенно бывает темно в степи.

Глухо темнел и овраг, оставшийся у него за спиной. Давно дотлели и померкли последние угли костров, вокруг которых спали в своих повозках и прямо на земле крепчайшим предрассветным сном цыгане и цыганки.

* * *

Теперь у него оставался лишь единственный путь. Но перед этим ему нужно было отлежаться где-нибудь в стороне от больших дорог. Эти с усиками телохранители Тамилы так умело обработали своими чугунными кулаками его, что, когда он потом выбрался на шоссе, его мотоцикл сразу же завилял из стороны в сторону и первая же встречная машина испуганно шарахнулась от него в сторону.

И перед тем как ехать дальше, ему еще нужно было о многом подумать, а для этого уединиться в каком-нибудь старом сарае в степи или под скирдой. Ему было о чем подумать.

Там, в овраге, который теперь уже остался далеко за спиной, все как будто сразу перевернулось в нем. Какой-то переворот произошел, и он не только увидел себя со стороны, но и как будто от кого-то другого услышал свои же слова: «Все дети есть дети». И вот уже при вспышках этих все ярче разгоравшихся слов он судил себя своим же собственным судом и не находил для себя пощады за то самое, что когда-то бросила ему в лицо и Настя: «Это ты от самого себя бежишь».

Но от себя, как теперь вдруг с ослепительной яркостью увидел и понял он, невозможно было убежать. И от собственного суда не уйти. Как бы там ни оправдываться перед самим собой, неизбежно наступает момент, когда на пути должен появиться тот милиционер — твоя же совесть,— который, взяв под козырек, спросит: «А чем же ты все это время занимался, уважаемый цыган Будулай?» Конечно, все, что ты можешь в свое оправдание сказать, и прекрасно и даже благородно, но разве у всех других людей, пока ты занимался собой и своим одиночеством, ничего не случалось за это время, никакого горя? Не теряли они своих близких и не были тоже столь же одиноки или несчастливы в любви? И тем не менее никто из них не бросался бежать куда глаза глядят, не бросал своего дела. Потому что у каждого человека обязательно свое дело в жизни есть и никто другой не может исполнить за него того, что может исполнить только он сам. И чем же в таком случае ты лучше тех своих соплеменников, которые снова ринулись кочевать по степи? Разве только тем, что не приворовываешь по пути своего кочевья и не торгуешь модными поясами и галстуками, не обманываешь доверчивых людей. Но почему же, и не прибегая к обману, ты все-таки спешишь проскользнуть мимо своих соплеменников, боясь поднять на них глаза, а больше всего боясь встретиться с глазенками этих черноголовых подсолнушков, которые провожают взглядами твоего железного коня, свешиваясь через борта цыганских бричек? Уж не потому ли, что они все с тем же вопросом заглядывают тебе в душу, а ты, занятый своим одиночеством и самим собой, так и не можешь дать им того самого ответа, который они уже отчаялись получить от своих отцов и матерей: «Когда же придет всему этому конец и цыганские дети тоже начнут жить, как все остальные дети? Не будут больше и рождаться прямо в дороге на куче грязного тряпья; и мокнуть под дождем, проникающим сквозь лантухи цыганских бричек; и кувыркаться перед базарной толпой; и тянуть к костерку в угрюмой осенней степи иззябшие ручонки в чешуе цыпок...»

Не получая этого ответа от своих все еще полудиких отцов и матерей, они ждут его от таких цыган, как ты, Будулай, а ты проносишься мимо, не поднимая глаз. Но когда-нибудь тебе все же придется их поднять и дать тот ответ, которого этим несчастным цыганским детишкам пока еще не могут дать по своему невежеству их отцы и матери и который должны будут дать такие, Будулай, цыгане, как ты. Если только, конечно, для тебя болит не только своя боль. Если ты еще не считаешь, что со своими орденами теперь уже раз и навсегда вышел из цыган, как тот же ром-директор со своей Золотой Звездой, и тебе тоже никакого нет дела до них и до их детей.

Рано или поздно, тебе все равно придется поднять глаза, но время не ждет, а черноголовые подсолнушки, провожая тебя, все так же свешиваются через борта жалких кибиток, и будет лучше, если ты это сделаешь раньше. Все потому же, что никто другой не сможет сделать за человека того, что может сделать только он. Если такие цыгане, как ты, Будулай, сами не побеспокоятся о судьбе своей и своих детей, никто другой — ни русские, ни какие-нибудь иные люди не сделают это за них. Если сами же рома, и прежде всех такие рома, как ты, Будулай, не начнут своими же руками развязывать этот древний узел, эту петлю на горле у своего народа, то ни русские, ни какие-нибудь иные люди не развяжут ее за вас, а смогут только помочь вам это сделать, когда вы призовете их на помощь. Каждый в своей жизни обязан исполнить свой долг, но не каждому в жизни отмерена одна и та же мера долга. Если тебя, Будулай, твои соплеменники сегодня, может быть, послушают больше, чем других цыган, то ты поспеши к ним теперь же, не откладывая на завтра, когда это, может быть, уже будет поздно. Никто за тебя не сделает того, что только ты сможешь сделать для своих цыган.

Кончился его затянувшийся отпуск.

* * *

Уже за станицей Бессергеневской, после того как свернул Будулай с асфальта в Раздорскую степь, догнал он одинокую бричку. Какой-то цыган в желтой рубашке сидел на вожжах, а цыганка полулежала в бричке в окружении полдюжины своих детей, невидящим взглядом провожая уползающую под колеса ленту дороги. Но когда от мотоцикла Будулая, объезжавшего бричку стороной, шарахнулись лошади, цыганка, как подброшенная пружиной, вскочила на куче тряпья во весь рост и заголосила на всю степь. За рокотом мотоцикла слов ее нельзя было разобрать, но и без этого все было понятно Будулаю из ее более чем красноречивых жестов. И вдруг неожиданно для самого себя он нажал на педаль тормоза: так это ведь только одна-единственная цыганка из всех, кого он знал, и умеет так размахивать руками. Теперь можно было разобрать и ее слова:

— Чтоб тебя самого шарахнуло! Чтоб тебя об землю вдарило!! Чтоб тебя!..

Полдюжины ее ребятишек присоединили к ее голосу свои звонкие голоса.

И только у одного из всех цыган, каких знал Будулай, мог быть на вишневом кнутовище такой длинный кнут, который теперь свивался сразу в несколько колец, когда он, поддерживая свою подругу, угрожающе защелкал им над головой.

— Чтоб тебя! — Соскакивая с брички, цыганка бросилась к мотоциклу Будулая и остановилась: — Это ты, Будулай?

— Я, Шелоро,— улыбаясь, подтвердил Будулай.

— А я уже думала, что это кто-то другой чуть нас с детишками не подавил.— И Шелоро, истинная цыганка, тут же как ни в чем не бывало сменила гнев на милость. Будто кто-то мгновенно сменил пластинку, только что оглашавшую степь яростным визгом, на другую.— Егор, Егор! — уже кричала она, оглядываясь.— Это Будулай.

Но Егор, съехав на обочину, и сам уже соскочил с брички, улыбаясь Будулаю. В искренности его радости, вызванной их новой встречей, тоже не приходилось сомневаться.

— Вот и опять здравствуй, Будулай,— повторял он, преданно заглядывая ему в глаза, держа одной рукой за борт пиджака, а другой закладывая свой кнут за голенище.

— А рубашечку мою, значит, тоже не гребуешь надевать. Я еще и в овраге заметила,— радовалась Шелоро.— Кыш, кыш! — крикнула она на детишек, облепивших мотоцикл Будулая, и они воробьиной стайкой вспыхнули прочь.

— Да, это конь,— без малейшей зависти похвалил Егор, лаская ладонью крыло мотоцикла.

— А у вас, я вижу, тоже завелся новый одр,— сказал Будулай, указывая глазами на невыпряженных лошадей, пощипывающих скудную осеннюю траву у дороги.

Запнувшегося с ответом Егора опередила Шелоро, опасливо порхнув куда-то за Дон своими черно-мохнатыми глазами и потом, честно округлив их, встречаясь со взглядом Будулая:

— Нет, того, что ты думаешь, Будулай, не было. За этого нового коня Егор в колхозе сарай сложил. Вот тебе крест.

И она так истово перекрестила рукой свою запыленную, грязную думалы, что Будулаю тоже захотелось поверить ей.

— Теперь вам можно не бояться в дороге.

Но у Егора все лицо вдруг сморщилось, и рыжий кустик усов задрожал на губе.

— Э, да теперь уже все равно.— Вытянув из-за голенища кнут, он взбил им на дороге столбик пыли.

Шелоро добавила:

— Люди дюже скупые стали. Какие гроши с собой были, все уже вышли, а их вон сколько...— И она вновь прикрикнула на своих цыганят, облепивших мотоцикл Будулая: — Кыш, кыш, вот я вам покручу!

Будулай спросил:

— Куда же вы теперь?

— Уже по ночам холодно в степи, Будулай,— жалобно ответила Шелоро,— а когда начнутся дожди, еще хуже будет. И ночевать с такой оравой никто не будет пускать.— Она оглянулась на детей и тут же, спохватившись, добавила: — Нет, и этого ты не подумай, будто мы с конезавода уже съехали насовсем. От добра добра не ищут, а с нашим генералом Стрепетовым еще и цыгане могут жить. И Егорке с Машей уже скоро два месяца как надо было в школу ходить.— Она не удержалась от тщеславного сообщения: — У меня для них уже и формочки есть. А пока мы тут в совхоз под Раздорами к одному знакомому конюху едем. Если бы ты тогда, Будулай, не отказал нам коней поменять,— она смягчила эти слова виноватой улыбкой,— то мы бы и теперь...— Но в эту минуту Егор стал постукивать кнутовищем по голенищу сапога, и она догадливо скомкала, поворачивая разговор в другое русло: — Ох и скрытный ты, Будулай! Я ведь и правда тогда не знала, что у тебя есть сын. Ты не к нему теперь едешь?

Теперь уже Будулаю нечего было скрывать:

— И к нему.

— Вот и хорошо,— искренне одобрила Шелоро.— А хорошо ты тогда этой Тамилке перья пощипал. Она тебя долго будет помнить.

Тут Егор, понуро чертивший кнутом какие-то узоры на сером бархате дорожной пыли, поднял голову, с тревогой взглядывая на Будулая.

— Как, по-твоему, Будулай, примет нас обратно генерал Стрепетов на конезавод или нет?

Будулай хотел было ответить, что и он с конезавода уехал уже давно, но его ведь не об этом спрашивал Егор. Нельзя было и обнадеживать людей, чтобы они, послушав его, не забились напрасно с такой кучей детишек в глухую табунную степь. Но тут же вспомнил он и свою последнюю встречу с генералом и то, как тот на свадьбе Насти слушал песню, совсем не замечая своих слез.

— Должен принять. Только сперва вам нужно будет к Насте сходить.

Шелоро бурно обрадовалась его словам:

— Слыхал, Егор, я тебе тоже говорила, что это она только снаружи, как железная, а детей она любит, и генерал ее из всех наших цыган уважает. Спасибо тебе, Будулай. Надо, Егор, подаваться домой.

Заметно повеселел и Егор, опять затыкая кнут за голенище сапога.

— А ты уже на конезавод не вернешься, Будулай?

Надо было отвечать и на этот вопрос:

— Это зависит не только от меня.

— Конечно,— деликатно согласилась Шелоро.— На месте тебе все виднее будет.

И еще долго, отъехав от них, оглядываясь, видел он, как машут они ему руками с брички, а Егор, стоя во весь рост на передке, как бывало стоял он на седле лошади, совершая круг почета после скачек, умудрялся и лошадьми править, зажав вожжи в одной руке, и, подбрасывая картуз другой рукой, ловить его на лету. Как будто какая-то птица кружилась над их бричкой. И розовое пятно кофты Шелоро еще долго сквозило между придорожными лесополосами, пока не померкло в тумане.

* * *

В тот переломный час между днем и вечером, когда задонские вербы уже скрадывались зеленой мутью, но еще не улеглось за буграми солнце, вытягивалась из хутора Вербного в степь колонна военных машин; и под брезентовыми навесами, из-под которых выглядывали дочерна загоревшие за это время лица курсантов, и зачехленных радаров, и амфибий, расписанных под водоросли, под серебро речного песка и желтые блики солнца.

Все хуторские женщины повисли на кольях заборов и, поворачивая вслед движению колонны головы, провожали ее, как на фронт. И почти так же кто украдкой смаргивал слезы, а кто и в открытую, ничего не стыдясь, закатывался в безутешном плаче. Катька Аэропорт долго неотступно бежала рядом с военной рацией, за рулем которой сидел ее рыжеволосый сержант, пока машина, взревев, не набрала скорость.

Кончились военные полевые занятия, и пришло для курсантов время с обжитых хуторских квартир переезжать в казенные казармы, в город. И когда последний, замыкающий колонну вездеход мелькнул и скрылся за глиняной кручей, в хуторе сразу стало так тихо, как будто и в самом деле все ушли на фронт.

На задворках этого события как-то незамеченно проскользнула смерть бабки Лущилихи. Правда, обмениваясь у водопроводной колонки этой новостью, женщины с единодушием пришли к заключению, что могла бы она и еще пожить: еще крепкая старуха была, набузует мешок кукурузы и волокет на горбу из степи в хутор. Еще бы пожила, если бы за это время ей дважды не довелось пережить испуг. Сперва от какой-то цыганки, которая гонялась за ней по всему кукурузному полю, а вскоре и от другой еще большей страсти, когда Лущилиха по обыкновению грелась перед вечером на солнышке у себя на лавочке по – над садом, и прямо перед ней из забурлившего Дона вдруг всплыла громадных размеров зеленая черепаха, из-под панциря которой одна за другой показались три круглые, как арбузы, головы. Соседка Семеновна видела, как Лущилиха на карачках добралась из-под яра до дома, влезла на кровать и потом уже не встала. Хрипела, что нету ей дыху. К утру у нее начали синеть ногти на руках, а из выпученных глаз безостановочно катились по щекам мутные слезы. Поворачивая желтые белки глаз к Семеновне, она силилась что-то сказать, но как та ни приникала ухом к ее губам, разобрать она смогла лишь одно слово:

— Ва-аню.

Все дети у Лущилихи жили где-то далеко и отношения со своей матерью возобновляли обычно только к осени, когда у нее в бочках начинало играть молодое виноградное вино. Но Вани среди детей у нее не было, это Семеновна знала твердо. Единственного сына Лущилихи, который летось умер в городе от падучей болезни, звали Алексеем.

И еще соседка увидела, как все время дергались у Лущилихи руки, ссовываясь по одеялу с кровати, а глаза поворачивались все в одну и ту же сторону, где стоял ее обитый полосовым железом сундук. Но тут же Семеновна и отшатнулась, увидев, как желтые белки у старухи начинают закатываться под брови и такая же запузырилась у нее в уголках обескровленных губ желтая пена.

* * *

Ни могилы теперь не было на окраине кукурузного, уже убранного комбайнами поля, ни рассмотреть что-нибудь внизу под склоном горы нельзя было сквозь эту сумеречную сиреневую мглу, которая уже заклубилась по всем балкам от Дона в степь. В порожней, ничем не нарушаемой тишине только и слышал Будулай удары своего сердца.

Но вот по этому беззвучию, по гулкой земле ему передалась какая-то дрожь. Как будто где-то вырвалась из запруды вода и теперь катилась по степи валом. И чем ближе накатывался он, тем больше стал дробиться, превращаясь в разрозненный топот. Вскоре Будулай увидел и ушастые головы лошадей, скользившие над степью в оранжевом облаке взбитой ими пыли.

Ах, каким знакомым вдруг может показаться силуэт этой длинной морды с чуткими ушами, плывущей над степью выше всего табуна. Но еще прежде чем Будулай увидел ее, до слуха его донеслись голоса сопровождавших табун людей: мужской и женский. Слова их ему не были слышны, как не видны были и сами люди, пока вдруг они не вынырнули прямо перед его взором из лощинки, озаряемые со спины заревом заката.

— А правда по хутору брешут, будто у тебя с этим полковником намечается кое-что? Да ты не таись, а так прямо и скажи, я тебе не Катька Аэропорт, и стыдиться тебе нечего, детей ты уже на ноги подняла. Ваня уже, считай, отрезанный кусок, да и Нюрке в невестах недолго сидеть. Пора тебе и самой подумать, как без них лучше прожить.

— Не все, дедушка Муравель, лучше, что лучше.

— Только ты тогда не забудь меня на свою свадьбу позвать. Я на свадьбах давно не гулял, а на твоей очень даже не прочь. Несмотря на протез, буду плясать. Смотри, Клавка, не забудь.

— Не забуду. Но сперва, дедушка Муравель, мне еще нужно дожить до своей свадьбы. А ты как, Громушка, считаешь, доживем мы когда-нибудь до нее или нет? Если ты сейчас ответишь мне, у меня, может быть, и еще что-нибудь найдется для тебя...

— Я к тебе, Клавдия, по-серьезному, а ты обратно за свое. Ты мне за это время совсем испортила жеребца. А потом, когда на легковой военной машине завеешься в город, мне, значит, надо будет для него каждый день по кило сахару покупать, да? И как ты его не задабривай, он тебе все равно не ответит, это ты себе сама должна отвечать. Я бы на твоем месте и думать не стал, полковники у нас под яром не валяются. Не до смерти же тебе горько-соленой вдовой доживать.

— Ничего вы не знаете, дедушка Муравель.

* * *

До чего же иногда похожи бывают лошади! Но и такого совпадения не может быть. А что, если...

И, заложив два пальца в рот, Будулай лишь слегка, почти неслышно свистнул, как всегда это делал на конезаводе, когда ему нужно было вызвать из табуна Грома. И тут же сам с головы до ног затрепетал, как струна, явственно услышав восклицание:

— Гром, ты куда?

Другой, грозный голос закричал:

— Эй, Гром, не балуй! Ну-ка назад!

Отделившийся от табуна Гром кособоко нес Клавдию через скошенное кукурузное поле к лесополосе, и ей не под силу было удержать этого полуобъезженного коня, повинующегося властному, только им услышанному зову. Напрасно она уговаривала его, цепляясь за гриву руками:

— Ну куда же ты, Громушка, куда?

* * *

А Будулай до этого уже совсем почти согласился поверить, что так и не бывает на земле счастья и люди только бесполезно гоняются за ним всю жизнь. И это Гром нес ее к нему, все больше вырастая на закатном небе, в то время как она протестующе спрашивала у него:

— Куда же ты меня несешь, Гром? Да что с тобой?!

И все-таки Клавдии удалось справиться с ним и отвернуть его опять к табуну всего в двадцати шагах от Будулая. Но и не мог же Будулай теперь с этим согласиться, когда то, к чему он с такой силой стремился, было уже от него совсем близко. Ему оставалось только

навстречу шагнуть и окликнуть ее. И он уже поднял руку, чтобы сделать это, но не смог. Ноги у него вдруг стали так тяжелы, как никогда еще в жизни, а горло как будто сдавило обручем. Странная и страшная немота вдруг овладела им. Ни руки, ни ноги, ни голос не повиновались ему. Его счастье проносилось мимо него, а у него не осталось сил, чтобы протянуть руку и взять его. Только дробное эхо конских копыт, удаляясь по насухо затвердевшей дороге, замирало внизу под склоном.

Но разве не бывает и так: после неслыханно трудного подъема взойдет наконец на желанную крутизну человек и ляжет. В самый последний момент уже не хватит у него сил даже для того, чтобы, оглянувшись, ощутить всю высоту своего счастья.

* * *

Еще не рассвело, а лишь начал угадываться за Доном лес, когда из осеннего густого тумана, из степи вырвалась перед хутором на развилок дорог одинокая бричка. Лошади так и забушевали в постромках, когда ездовой заломил им головы вожжами. По дну брички шарахнулись от борта к борту смуглые головки спящих детишек.

Мать, испуганно пересчитывая их, набросилась на ездового:

— Ты что, коней не можешь удержать?!

— Сама бы попробовала. Кабы она хоть немного привыкла ко мне,— огрызнулся он, озираясь.

— Куда ты хочешь повертать, Егор? — с беспокойством спросила она, когда он потянул было за левую вожжу.— А как они наперерез?

Но когда он потянул за правую вожжу, она испугалась еще больше:

— Нет, туда нельзя.

— Ты у меня погавкаешь.— И, оборачиваясь, он щелкнул у нее над головой кнутом так, что она взвизгнула, закрывая собой детей.

Казалось, только этого и не хватало ему, чтобы прибавить решимости, он потянул за левую вожжу. Но едва только лошади стали повиноваться ему, как он тут же круто осадил их.

— Тут что-то лежит.

— Это что же еще тут может лежать?..— начала она, но он оборвал ее:

— Молчи.— И, пошевелив кнутовищем что-то у колеса брички, он тут же отдернул кнут.— Надо, Шелоро, поскорей отсюда. Тут нехорошим пахнет.

И он опять уже занес над лошадьми кнут, если бы не женское любопытство ее:

— А вдруг как это с машины потеряли мешок?

— Как же, потеряют...

Но она уже перекинула ногу через борт брички.

— Дай-ка мне твой фонарик.— Круглое желтое пятно, вспыхнув у нее в руке, прошмыгнуло по дороге, и теперь Шелоро вдруг сама шарахнулась прочь от того места.

— Это человек лежит.

— А я что сказал?! Это тебе не за краденую кобылу отвечать. А ну-ка, скорей в бричку.

— А может, и какой-то пьяный до дома не дошел.

Всхрапывающие лошади рвали из рук Егора вожжи. Но женское любопытство снова одержало верх. Пятнышко света еще раз вспыхнуло у колеса брички, и тут же своим возгласом Шелоро как бы погасила его:

— Это он!

— Кто?

— Будулай!

Егор громко возмутился.

— С чего бы это Будулаю пьяному поперек дороги лежать?!

— Нет, он, Егор, не пьяный, он, должно быть, с седла упал, когда к сыну спешил.— Она всхлипнула.— Проклятые деточки!

— Тогда тут и мотоцикл должен быть.

— Вот он.— И неизвестно было, чему вдруг так обрадовалась она, когда на дороге опять засветилось пятно.— И рубашка на нем моя. Живой он.

— Из-за него нас теперь в два счета могут догнать.

— Но и не бросать же нам его тут в степи.— Она уже взяла команду в свои руки.— Ты бери его за плечи, а я — за ноги. А на конезаводе мы его Насте сдадим. Она и его сыну отпишет.

— А мотоцикл, значит, бросим?

— Нет, ты поедешь на нем, а мне дай вожжи.

— Тебе их не удержать.

— Не первый раз. Только ты следом поезжай.

Все так же беспробудно спали их дети, безвольно болтая головками, когда отец и мать перекатывали их, высвобождая место в бричке. И вот уже мотор мотоцикла застрекотал в безмолвной степи.

Лошади опять метнулись в постромках.

— Я вам побунтую.— Кнут Шелоро заходил по их спинам.— Какая же, Егор, она краденая, если ты взамен свою оставил?

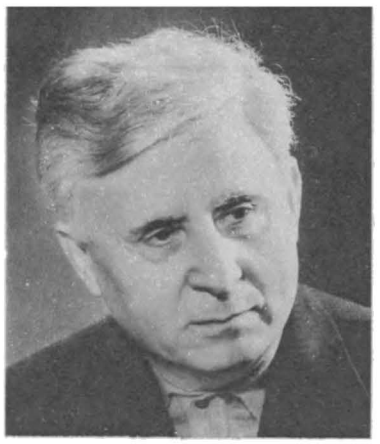
— Ты ей получше голову крути, а то еще не хватает, чтобы заиграла она.

— Я ей заиграю!

И тут же, будто наперекор этим словам, гнедая кобыла, шедшая в упряжке справа, огласила степь своим ржанием. Качнувшись вперед, Шелоро стегнула лошадь кнутом между ушей, и рыдающий звук застрял у нее в горле. Совсем коротко, слабо продрожал и замер.

Но оказалось, что все-таки он услышан был. Из-под горы, где заревал в конюшне табун, донесся по предутреннему воздуху другой, точно такой же звук, только более грубый. Как будто где-то ветер зацепился за басовую струну, и она прорыдала над степью.

Не часто теперь можно услышать это рыдание в степи.



Предлагаем вниманию читателей пятую и шестую части второй книги романа Анатолия Калинина «Цыган». Первая книга в четырех частях была опубликована в нашем журнале в 1960, 1968, 1969, 1974 годах.

В 1980 году на телевидении с успехом прошел многосерийный фильм «Цыган», созданный по этому роману.

...После войны спешит домой бывший разведчик цыган Будулай. Он хотел найти свою семью, а находит могилу на окраине далекого хутора Вербного, где немецкий танк раздавил цыганскую кибитку. Многими дорогами пришлось прошагать Будулаю, и среди них очень непростой — к счастью своему, которое не может состояться без Клавдии Пухляковой, воспитавшей его сына, найденного возле раздавленной кибитки.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Своя жизнь у ночной степи. Даже с отдаления можно безошибочно узнать, что это задонское сияние — от машин, которые всю ночь шастают по асфальту из Ростова в Цимлу и обратно. Если прислушаться, можно уловить и сплошной однотонный гул. А ближе, между асфальтом и Доном, какие-то охотники опять, должно быть, умудрились поджечь на озерах камыш, выгоняя из него секачей. Но, может быть, это переметнулся огонь на камыш и со стерни, которую трактористы осенью зачем-то выжигают за собой. Ветром наносит оттуда соломенную гарь.

Над палубой раздорского парома, который медленно движется через Дон к левому берегу, тоже плывет легкое розовое свечение от стоп-сигналов автомашин. Ему пересекает путь целый венок света над полуночным рейсовым «омом». Но вот и над паромом, уткнувшимся в левый берег, так же ослепительно вспыхивает и двумя большими рукавами протягивается в Задонье, раздвигая мглу. Автомашины, съезжая с парома, одна за другой включают фары, нащупывая дорогу, по которой им нужно будет ехать дальше, в глубь табунных степей.

Когда-то ездила по этой дороге и Клавдия Пухлякова. Давно это было.

Еще тише, чем всегда, стало в хуторе. Не стояли в простенках домов, под заборами и в садах амфибии и рации. Не носились по улочкам в облаках красной пыли мотоциклы. Не зазывали с наступлением сумерек на танцплощадку девчат трубы курсантского духового оркестра.

И у ревнивых мужей не осталось больше причин гоняться вокруг дома за женами с жердинами, выдернутыми из огорожи, а у жен их — делиться через забор с соседками тем, о чем так бы хотелось узнать их мужьям. Только и развлечения, ненароком оглянув живот соседки, прикидывать и сопоставлять, не с того ли самого дня начал он округляться у нее, когда председатель Совета привел к ней на постой бравого старшину или же совсем молоденького, с цыплячьей шеей курсанта.

Одна лишь Катька Аэропорт не испытывала ни малейшего поползновения втягивать под чужими взглядами или же прятать в оборках платья свой живот и другим не позволяла заноситься.

— Вот скоро мы с тобой, Тамарочка, и ровесников дождемся,— с преувеличенной бурностью начинала она выражать свою радость той, которой, по ее мнению, пора уже было указать место, чтобы она не слишком выхвалялась благополучием своей семейной жизни.

— Ты, Катька, совсем сбесилась,— оглядываясь, шипела на нее подружка.— У меня, слава богу, муж есть.

Катька Аэропорт хохотала:

— Мужья, Томочка, на то и существуют, чтобы с квартирантами в подкидного дурачка играть.

Клавдии же Пухляковой она однажды повинилась:

— Вот только чего не знаю, того не знаю, с той ли это ночки, когда я моего рыжего сержанта попросила помочь мне койку от духоты в сад вынести или когда позвала твоего Ваничку проводку в летнице починить.

— Смотри, Катерина, не забрехивайся,— пригрозила ей Клавдия.

Катька Аэропорт охотно пошла на мировую.

— Успокойся, безгрешный твой Ваничка, как молочный теленок. Он даже собирался от меня в окно сигануть. Правда, намерялась я его в тот день невинности лишить, да твою материнскую гордость пожалела. А не надо было.— Катька переключалась на мстительную волну:— Вон ты какой хочешь быть — из всех самой чистой. Даже начальники с тремя большими звездочками не смогли твою крепость взять.

Клавдия обещала:

— Когда-нибудь, Катерина, вырвут тебе твой язык.

— Ничего, скоро у меня тоже будет защитник. А ты, Клавдия, если правду сказать, со всех сторон круглая, хоть ты член правления и мой персональный бригадир. Сама себя счастья лишила. Еще какая круглая. Мой сержант говорил, что твоему бывшему квартиранту к октябрьской годовщине вместо трех серебряных звездочек должны будут на погонах одну золотую засветить. Я бы за него с закрытыми глазами пошла. Шутка ли, из нашего зарастающего бурьяном хутора прямо в генеральши попасть!

И она, вытянув шею уточкой, сделав руку калачиком, семенила рядом с воображаемым генералом, наглядно демонстрируя, как бы все это могло у нее получиться. Но, не выдерживая роль до конца, разражалась бурным смехом. Глядя на нее, смеялась Клавдия и тут же осекалась, обезоруженная ее столь же бурными слезами.

— Что ты, Катя, нельзя, чтобы другие видели наши слезы,— успокаивала она Катьку, обнимая ее плечи.— Нам гордыми надо быть.

— Я-то согласна быть гордой, а как ему будет, когда родится, безотцовщину терпеть?

— Я же, Катя, двоих вырастила сама.

— Твои всегда знали, что их отец на фронте погиб, а я своему, когда подрастет, что буду отвечать?

— К тому времени еще обязательно найдется хороший человек и станет ему отцом.

Катька Аэропорт отнимала ладони от глаз, слезы мгновенно высыхали у нее, и она начинала ожесточенно кричать, не боясь, что еще кто-нибудь может услышать ее:

— Не нужно мне больше никого! Всех их, какие были хорошие, поубивали на войне. Им бы только свое от бабы получить. Не хочу, чтобы и у моего маленького такой же был отец. Лучше, когда подойдет срок, уеду за Дон в роддом к знакомой медсестре и брошу его там государству на воспитание.

Клавдия содрогалась.

— Перестань, Катя. Ты еще пожалеешь о своих словах.

Но Катька Аэропорт бунтовала уже не на шутку.

— Ни капельки не пожалею. А он меня с будущим младенцем пожалел, этот, который...— Она дотрагивалась рукой до своего живота.— Все равно государство лучше воспитает, у него денег много. Рожу и брошу прямо в больнице. Теперь, говорят, многие так делают.— Она вдруг опять начинала бурно хохотать.— Буду и я, как та же кукушка, чем я хуже других?! О-ох, Клавочка, и развеселую я себе устрою жизнь! Сколько буду рожать, столько и буду государству свою безотцовщину оставлять. И ему будет прибыль, чтобы русский народ на убыль не шел, и мне без забот. Ох, и устрою, Клавочка, я... Ха-ха, кукушка...

Теперь уже никакими силами было не укротить этот смех.

Что ж, может быть, по-своему, она и права была, эта сумасбродная и несчастная Катька. Пора было и Клавдии раз и навсегда расстаться со своими несбыточными надеждами и мечтами. Довольно с нее, она уже не девочка, чтобы поддаваться глупым бабьим чувствам. Идет время, и чувства, они, как земля, тоже зарастают травой. Не брать же тяпку и не выпалывать раз за разом эту траву из души, как она это делает у себя в саду. Да и никому, оказывается, не нужен ее сад.

Пора и подумать о себе, если, конечно, еще не поздно. Пока при ней были дети, она еще могла тешить себя этими надеждами, да и детям был нужен отец, а теперь они уже и без матери могут обойтись. Раз и навсегда надо решить, иначе одиночество догрызет ее.

Только теперь она и поняла, что это такое, одиночество. Нет, это совсем не то, когда тебя, особенно по ночам, снедает тоска, но с тобой все-таки они, дети, ни на минуту не позволяя оставаться наедине с жалостью к самой себе, потому что тогда некогда будет их жалеть, и заполняя собой тебя и все твое время без остатка. Теперь же не на кого и накричать, когда совсем уже выбьешься из сил: «Да навязались вы на мою душу!»

Но нет, навсегда уже отзвучали они в доме. Пусто и тихо, одни их школьные карточки остается перебирать, где они с портфеликами лепятся вокруг своих учителей и бесстрашно

Анатолий КАЛИНИН

РОМАН

Книга вторая

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ЦЫГАН

таращатся на мир широко раскрытыми глазенками.

Пора и карточки эти убирать туда же, где, завернутая в похоронную, лежит махонькая, с вишневый лист, карточка ее мужа. А вот от другой, несостоявшейся любви у нее и самой маленькой карточки не осталось. И с какой бы радости ей быть, если даже на это у нее нет никаких прав. Теперь вот и Ваня, живая его карточка, если и будет иногда появляться перед глазами матери, то уже как гость, а правильнее сказать, как новорожденный месяц, который тут же и спешит откочевать в другие края, никогда надолго не задерживаясь на одном месте.

Несбыточной оказалась и надежда, которой она до недавнего времени еще тешила себя, что, может, хоть Нюра, родная кровь, не позволит молодому мужу увезти себя далеко от матери, а там, смотри, и наградит ее внуком или внучкой, чтобы можно было на закате лет попытаться опять начать все сначала. Есть же вокруг такие счастливые, уже не молодые, но и не старые еще женщины, которые и смеются и плачут, гоняясь во дворах с хворостинами за своими непослушными внуками: «Да навязались вы на мою душу!»

Никакая родная кровь не в силах удержать молодость под родительским крылом, когда у нее вырастают крылья. Недаром и Нюра, бывало, когда Клавдия принималась ругать ее за то, что она за полночь возвращается домой с гулянок, невинно осведомлялась:

— Ты, мама, в мои годы, конечно, вместе с курами ложилась спать, да?!

Слава богу, она так ничего и не рассказала Ване. Не решилась девочка, боясь, должно быть, потерять в нем брата, а может быть, тоже не в силах согласиться с тем, что он ей не брат. Еще неизвестно, какими бы глазами он на все это посмотрел. И неизвестно, как бы для него было лучше: узнать правду или же так и жить, как жил до сих пор. Уже поздно ему узнавать.

Давно уже Клавдия не чувствовала себя такой рассудительно-умиротворенной. Она и раньше больше всего нравилась самой себе, когда после бурь и терзаний входила в эти грустно-спокойные берега. Знала за собой и то, что в такие дни из нее можно было веревки вить.

И председатель Тимофей Ильич как будто тоже знал, что у нее такой день. Из окна Клавдия увидела, как он подъехал к ее дому на новенькой кофейной «Волге».

Но, когда проскрипев ступеньками, он ототкрыл дверь, Клавдия с удивлением обнаружила, что и оделся он сегодня не так, как всегда,— не в свой рябенький костюм и брезентовые туфли, а в военные тщательно отутюженные китель и брюки с лампасами, какие перестали носить в хуторе и самые старые люди. Даже дед Муравель уже напялил свои на мешок с соломой, который торчит у него посреди виноградного сада на опоре в устрашение сорокам.

Еще больше Клавдия удивилась, когда брызнул на нее из-за бортов его расстегнутого плаща целый водопад фронтовых наград. Она не помнила, чтобы он когда-нибудь не по праздникам надевал их.

Как видно, заметив все эти вопросы у нее в глазах, он сразу же поспешил предупредить:

— Ладно, ладно, Клавдия Петровна, не спеши меня презирать. Мне и самому с непривычки совестно. А чего же, спрашивается, стыдиться? До чего же это мы дошли, если уже и заслуженные награды начинаешь от чужих глаз ладошкой прикрывать. Как будто ты украл их или в карты выиграл. Так и боишься, как бы кто-нибудь с молодыми усиками не посмеялся: «Нацепил, дед, свои цацки». До чего дошли, а?— с изумлением повторил Тимофей Ильич. Только после этого он протянул Клавдии руку: — А теперь здравствуй.

Клавдия подвинула ему стул.

— Садитесь, Тимофей Ильич.

— Я у тебя долго не задержусь, мне прямо от твоего двора длинный маршрут предстоит. Из-за этого, между прочим, пришлось и все их надеть.— На секунду он прикрыл свои фронтовые награды ладонью, но тут же с негодованием отдернул ее от груди:— Вот видишь, уже приучили молокососы. Ты, Клавдия Пет-

ровна, знаешь, что я и сам не люблю старыми заслугами новые грехи прикрывать. В другие дни они у меня в правлении в сейфе в коленкоровых коробочках лежат, но теперь мне без них никак нельзя появляться туда, где я сегодня к вечеру должен быть. Потому, что все мои товарищи, с которыми я в донском корпусе служил, должны будут съехаться сегодня туда, на конезавод, и я должен вместе с ними быть.

Клавдия вдруг негромко прервала Тимофея Ильича:

— На какой, Тимофей Ильич, конезавод?

— Это далеко за Доном, почти триста верст, ты там никогда не была,— небрежно пояснил Тимофей Ильич.— Там начальником мой бывший комдив генерал Стрепетов.— Тимофей Ильич не удержался:— Какие у него лошади, какие лошади! Это оттуда я и твоего разлюбимого Грома, за которого ты с меня не одну стружку сняла, привез. Теперь-то, когда он сдезертировал, ты, кажется, сама поняла, что за него не жалко было и все десять тысяч отдать.

У Клавдии чуть вздрогнули руки на клеенке стола. Тимофей Ильич великодушно успокоил ее:

— Еще неизвестно, то ли это действительно работа каких-нибудь проезжих цыган, то ли дед Муравель под бахусом прослал, когда он стенки конюшни копытами громил. Еще найдется твой Гром.

Тимофей Ильич не договорил, вдруг услышав от Клавдии то, что он меньше всего ожидал услышать от нее.

— А меня, Тимофей Ильич, вы не смогли бы с собой взять?

Он обиделся.

— Ты, Клавдия, шутишь, а у меня для этого совсем свободного времени нет.— Он взглянул на окно.— Видишь, дождь находит, еще могу до вечера не успеть. И с какой же, извини, радости я бы тебя на конезавод с собой привез?

— Мне, Тимофей Ильич, тоже интересно лошадей посмотреть.

— Как будто тебе мало нашего табуна. Смотри сколько хочешь. Я, стало быть, тебя на своей «Волге» покачу, а моя драгоценная Валентина Никифоровна нам вслед ручкой помашет, да? Это же персональное дело в чистом виде. Ты смеешься надо мной.

Она серьезно покачала головой.

— Не смеюсь, Тимофей Ильич. Думаете, только вам разрешается лошадей любить? Меня к ним отец с детства приучил.

— Поэтому ты и всю свою зарплату на рафинад для Грома тратила, да? А он взял и отблагодарил тебя.

— Значит, не возьмете, Тимофей Ильич?

— Даже если и захотел бы, то не смог. Мне тогда совсем не на кого будет в колхозе эту штуку оставить.— Он отвернул борт своего плаща, роясь в нагрудном кармане.— Как ты знаешь, мой заместитель — на семинаре в Ростове, и я в отлучке пробуду не меньше трех дней. Из-за этого я к тебе, как к старейшему члену правления, и заехал.— Он наконец достал из кармана и положил перед Клавдией на стол круглую медную коробочку.— Вот.

Клавдия взяла коробочку в руки, с недоумением поворачивая перед глазами.

— Это что?

— Гербовая!— Отбирая у Клавдии коробочку, Тимофей Ильич не без торжественности извлек из нее за петельку медный кружок.— Она здесь без меня каждую минуту может понадобиться. Мало ли зачем: то кому-нибудь из специалистов на командировочное удостоверение по вызову в область, то на пенсионную справку о среднем заработке в райсобес или завгару на письмо в «Сельхозтехнику» о запчастях. Без гербовой печати и колхоза нет. Вся жизнь замрет...

Клавдия прервала его:

— А при чем здесь я?

— Ни при чем,— сразу же заверил ее Тимофей Ильич.— От тебя только потребуется покрепче надавить на нее, когда к тебе бухгалтер с чеком или с накладной подойдет. Я на этот счет все распоряжения отдал.

— Вот пусть он сам и надавливает. У него силы больше.

Тимофей Ильич вздохнул.

— Ему я не могу доверить печать. Ты же сама хорошо знаешь, что он жулик, если за ним не смотреть. Конечно, из всех наших членов правления ты, Клавдия Петровна, больше всего мне портишь кровь, но, может быть, поэтому я больше всего и доверяю тебе.— Вкладывая печать в коробочку, Тимофей Ильич громко защелкнул ее и решительно придвинул к Клавдии.

С той же решительностью она ребром ладони отодвинула ее от себя.

— Я, Тимофей Ильич, не согласна прикладывать ее к тому, что мне будут жулики подносить.

— Я же имел в виду, что он не вообще стопроцентный жулик, а только может быть жуликом, если за ним не доглядать.

— Вот пусть и доглядают, кому нужно. Я почти на каждом правлении твержу, что гнать нужно такого главного бухгалтера вместе с главным кладовщиком в шею.

Против такого довода Тимофею Ильичу нечего было возразить. Он лишь развел руками, с тоской взглянув в окно, где его ожидала новая кофейная «Волга», которой он в глубине души надеялся похвалиться и перед своими фронтовыми друзьями.

— В таком случае мне придется отказаться от этой поездки на задонский конезавод. Конечно, я понимаю, что тебе уже не до колхоза, раз ты собираешься из хутора уезжать...

Клавдия тихо спросила:

— Куда же это я, Тимофей Ильич, по-вашему, собираюсь уезжать?

— Весь хутор об этом говорит.

Грустная усмешка тронула уголки ее рта.

— А вы и обрадовались! Может быть, вы и свою персональную «Волгу» прикажете к моему крылечку подать?

Тимофей Ильич попробовал обеими руками защититься от нее:

— Что ты, Клавдия! Разве ты не знаешь, что я к тебе со всей душой?

Клавдия жестко перебила:

— Знаю. Из-за этого и не дождетесь, когда я к вам с заявлением приду. Чтобы не портить вам больше кровь.

Тимофей Ильич оскорбился в лучших чувствах. Вот и распахни свою душу. Он даже из-за стола встал, оглаживая ремень, как перед выступлением на заседании правления колхоза.

— Такие слова я отказываюсь от тебя выслушивать даже в твоем собственном доме. Если думаешь, что я хочу от тебя избавиться за твой язык, то я не какой-нибудь зажимщик и прохвост, который не умеет делать скидок на женский характер и неудачную личную жизнь.

Теперь и Клавдия встала за столом.

— Откуда это вам известно, что у меня неудачная жизнь? Детей своих я, слава богу, без чужой помощи на ноги подняла и вообще никогда вам не жаловалась на свою несчастную долю.— Тимофей Ильич хотел вставить слово, но она не дала: — А если я своей долей довольна, тогда что? Если я самая счастливая в нашем хуторе и никуда не собираюсь уезжать?! Может, кому-нибудь и хочется, чтобы я уехала, а я вот возьму и не уеду.— Она отвернулась, глядя в окно на Дон, над которым ползли, набухая, низкие темно-синие тучи.

Тимофей Ильич окончательно вышел из себя. Все, что угодно, он мог позволить наговаривать на себя, мало ли чего не придет одинокой вдове в голову, а ты, председатель, терпи и не ее в первую очередь вини, а все ту же мачеху-войну, которая так непоправимо, на всю жизнь обворовала ее. И Тимофей Ильич давно уже научился терпеть от хуторских солдаток все, что ни припасали они на его голову бессонными ночами, но только не это. Да что он, действительно какой-нибудь душегуб, которому ничего не стоит стереть с лица земли беззащитную женщину?! Он, сам от себя не ожидая, вдруг так стукнул ладонью по крышке стола, что из подпрыгнувшей на нем солонки высыпалась на клеенку соль.

— Утри слезы!— крикнул он на Клавдию таким голосом, каким, пожалуй, только на фронте кричал, когда требовалось безоговорочно покорить растерявшихся в трудную минуту подчиненных одним словом.— Я кому сказал! — повторил он, нисколько при этом не удивляясь, что Клавдия, на которую никто во всем хуторе не смел повысить голоса, тут же и подчинилась ему. Вдруг быстро-быстро, как заяц лапками, она стала вытирать мокрые глаза кулаками и, вытерев, уставилась на Тимофея Ильича снизу вверх испуганными глазами. На мгновение ему стало жаль ее, но справедливый гнев пересилил жалость:— Ты что же, глупая баба, думаешь, если меня насильно на пенсию увольняют, так, значит, можно теперь на меня все, что вздумается, нести?! С Дона и с моря?! Ты думаешь, если я нашей сельхозуправе поперек горла встал, так, значит...

Его привел в себя удивленный вопрос Клавдии:

— На какую, Тимофей Ильич, пенсию?

В искренности ее удивления он не мог усомниться. Два тревожных язычка вспыхнули у нее в глазах, как будто кто две спички зажег.

— Как будто ты не знаешь ничего. Не только весь хутор, но и весь район об этом говорит.

Два огонька, еще больше заостряясь, замерли у Клавдии в глазах.

— И что же они, например, говорят?— не столько спросила она, сколько проворкотала тем голосом, который, он хорошо знал, не мог предвещать ничего хорошего.

— Например, что товарищу Ермакову Тимофею Ильичу четырнадцатого декабря, то есть через два месяца, уже исполнится шестьдесят, а раз так, то вот тебе ровно четырнадцатого декабря персональная пенсионная книжка. Хочешь, положи ее себе под подушку и спи, как зимний суслик, а хочешь, загородись ею, как забором, от всякого беспокойства и разводи себе кроликов на мясо и на мех.

Вдруг Клавдия в тон ему заметила:

— Кролики, Тимофей Ильич, это уже дело устаревшее. Гораздо выгоднее на мех и на мясо нутрий разводить.

От возмущения Тимофей Ильич онемел. И это может советовать ему она, Клавдия Пухлякова! Та самая Пухлякова, от которой он, после того как почти четверть века с переменным успехом сражался с ней на пользу колхоза, все что угодно мог ожидать, но только не этого немигающего злорадства по случаю его вынужденного ухода на пенсию.

— А еще выгоднее, Тимофей Ильич, песцы. Теперь не только престарелые пенсионеры от кроликов и нутрий на песцов переходят.

Глядя на Клавдию и слушая ее, говорившую все это серьезным, проникновенным голосом, Тимофей Ильич полузадушенно выкрикнул:

— И это ты, подлая, смеешь советовать мне, бывшему фронтовику?!— Неожиданно для самого себя у него вырвалось из глубины оскорбленной души: — Да знаешь ли ты, что я только ранен был целых семь раз?!

В ответ на эти слова лишь глубочайшее презрение прочел он на ее лице.

— Тот фронтовик, какой был ранен семь раз, там же и остался, где его ранили, а этот добровольно соглашается, чтобы его под ручки вывели за ворота колхоза, какому он всю свою послевоенную жизнь отдал.

Тимофея Ильича вдруг осенило. Ему стал понятен истинный смысл этих острых огоньков в глазах Клавдии.

— Так, по-твоему, я должен...— обрадованно начал Тимофей Ильич.

— Не знаю, кому там вы в нашей сельхозуправе должны,— холодно сказала Клавдия,— но если вы сами не поедете в район и не откажетесь от этих нутрий, я до обкома дойду, чтобы они первым делом у нас поинтересовались, какой нам нужен председатель колхоза — старый или новый.

— А я-то, старый дурак, подумал...

Тимофей Ильич вдруг схватил руки Клавдии в свои и стал целовать их жесткими трясущимися губами. Как бы это ни было непривычно для Клавдии, она молча смотрела на его склоненную голову, не отрывая рук.

— Какой же вы председатель,— наконец сказала она,— если так плохо знаете в своем колхозе людей.

— Плохой, совсем плохой,— охотно согласился с ней Тимофей Ильич.

Она осторожно высвободила свои руки из его рук.

— А вам, Тимофей Ильич, очень нужно на эту встречу со своими бывшими друзьями попасть?

— Теперь у нас, Клавдия Петровна, осталось уже совсем немного таких встреч.

— Хорошо, Тимофей Ильич, я согласна три дня за этим жуликом понаблюдать.— Она остановила рукой его движение.— Только и мне придется вас просить.

— Проси, Клава, что угодно,— заверил ее Тимофей Ильич, даже не заметив, что он только по имени называет ее.

— Если случайно увидите на конезаводе того цыгана Будулая,— медленно сказала Клавдия,— который в кузне моего Ваню учил, передайте ему, что теперь Ваня уже лейтенант и скоро уедет от матери на службу в свою часть.

Вряд ли может быть еще что-нибудь радостнее, но и печальнее, чем встречи старых фронтовых друзей, когда взоры еще живущих раз за разом недосчитываются за празднично накрытым столом тех, кто еще год назад вот так же делил с ними и дорогое воспоминание и веселую шутку, взрывался еще совсем молодым гулким смехом и ревниво скашивал глаза на боевой иконостас своего соседа.

— Здравствуйте, товарищ гвардии генерал-лейтенант!

— Здесь, Ожогин, ни генералов нет, ни рядовых...

— Здравствуйте, Сергей Ильич.

— А вы, Нина Ивановна, все такая же молодая и красивая.

— Нет, уже не такая. И не буду больше такой... Нет Алексея Гордеевича... Нету его...

— А-а, подлец, теперь ты узнаешь, как мимо своего бывшего комиссара на курорт проезжать...

— Я вижу, Стрепетов, ты в этой табунной степи как король живешь...

— И Малеева уже нет.

— И Григоровича.

— По вашему приказанию гвардии старший сержант...

— Не шуми, Ермаков, на всю область, я и так помню, что у тебя голос, как труба.

Но, пожалуй, на самом наивысочайшем вершину блаженства был сегодня сам генерал Стрепетов. Вот когда могла вдоволь натешиться его гордость. Шутка ли, краса и слава всего донского кавкорпуса съехалась сегодня со всех концов к нему на конезавод. И среди них тот самый генерал-лейтенант Горшков, который, будучи еще полковником, потрепал со своей дивизией Клейста под Кущевкой в 1942 году, а потом всегда был по правую руку от первого комкора Селиванова, пока сам не принял от него корпус. И тот полковник Привалов, который прошел комиссаром корпуса до Австрийских Альп. А с ними съехались к нему, Стрепетову, на конезавод со всех концов страны и те конной гвардии командиры и рядовые казаки, с которыми он взламывал Корсунь-Шевченковский котел, купался под огнем в Дунае, брал Будапешт.

Но теперь здесь все — и генералы и рядовые — сидели за одним столом. До этого Стрепетов приказал перенести из клуба в новую столовую конезавода и повесить под потолком большую люстру, чтобы ни один орден и ни одна медаль на груди у его товарищей не остались в тени. Пусть они все вместе сольются в один сплошной свет, и пусть он осветит прощальным вечным блеском их воспоминания о последнем казачьем походе.

Никто не должен был помешать им при этом. По распоряжению Стрепетова сторожевое охранение из водителей «Волг» и «Москвичей», на которых съехались ветераны корпуса, было выставлено вокруг столовой, чтобы ни один человек не смог просочиться сквозь этот заслон. За исключением ребятишек, которым разрешено было безвозбранно заглядывать в окна, им это не вредно будет. Все остальные же пусть и не суются к начальнику конезавода с той каждой мелочью, с которой они привыкли, кому не лень, идти прямо к нему, как будто им мало было на заводе других начальников — агрономов, зоотехников и всяких подобных ветеринаров. Имеет же он право один раз в году на один день и одну ночь выключиться из привычного круга, чтобы с самыми близкими его сердцу людьми отвести душу и хотя бы частично утолить тоску о невозвратном.

Тем более что у генерала Стрепетова никогда не бывало праздников, как у всех других людей. В то время как все другие люди стараются не упустить ни одного случая попраздновать и погулять то ли на свадьбе, то ли в День рыбака, а то и просто потому, что нельзя не обмыть новорожденного племенного жеребенка или же выпавшего на лотерейный билет «Москвича», он давно уже не признавал никаких границ между черными и красными числами в отрывном настенном календаре, а если и невозможно было избежать веселой компании, секретарь в конторе или жена дома всегда знали, где его можно найти в любое время суток.

Но сегодня был его день. Давно уже он не испытывал этого ни с чем не сравнимого чувства. Нет, не в глухой табунной степи все это происходит, а там, где четверть века назад он навсегда оставил вместе со своей молодостью и свое сердце. Временами ему даже начинало казаться, что это всего лишь сон и, как всякий хороший сон, он вот-вот оборвется.

Купаясь в электрическом свете многосвечовой люстры, струили золото и серебро боевые награды ветеранов той самой конницы, от которой уже и копытных следов не осталось на пути ее громких походов. Тускло светился ковыль их волос, точь-в-точь как светится он теперь лишь на взлобьях редких курганов посреди сплошь распаханных полей. И все они еще находились во власти того могучего очарования, которым их щедро одарил старый фронтовой друг, до этого целый день лично сопровождая их в поездке по всем табунам, чтобы дать им всласть налюбоваться каждым жеребцом и каждой кобылицей несравненной донской элиты.

— Ну, спасибочка тебе, Михаил,— растроганно, по-казачьи говорил теперь Стрепетову бывший комкор Горшков, сидя рядом с ним во главе сдвинутых большой подковой обеденных столиков и мерцая под люстрой своей наголо обритой головой.— Утешил. Я теперь конским духом надышался на десять лет.

Тут же как разноголосое эхо откликнулось на его слова со всех сторон зала:

— Скоро на лошадей только в зоопарке будем смотреть.

— Я на всем пути от Ставрополя до Ростова только и видел на одном переезде пару кляч.

— У нас их и в колхозах днем с огнем не найти.

— Чтоб ящик гвоздей или мешок картошки подвезти, трактор запрягаем.

Генерал Стрепетов поискал глазами на дальнем краю сдвинутых подковой столов.

— Расскажи, Ермаков, как ты этот вопрос с трибуны межзонального совещания поднимал.

— А из президиума меня и одернули, что это еще старая казачья отрыжка. Не дадим, говорят, разбазаривать землю под посевы малоурожайного овса.

Загремел полковник Привалов, покрывая другие голоса:

— Казакоеды!

Ни единой души приказал генерал Стрепетов не допускать к нему в столовую конезавода, пока он будет находиться там со своими фронтовыми друзьями. Довольно с него. Не возбраняется никому не только в любое время дня вломиться к нему в кабинет по самому ничтожному поводу, но и в ночь-полночь поднять дома с постели потому, что, видите ли, именно в этот момент приспичило какой-нибудь из местных женщин осчастливить человечество будущим космонавтом, а ты, изволь, добудь ей машину с красными крестами, или же на дальнее отделение опять нагрянули на «ЗИЛе» с Черных земель конокрады, связали сторожа и увезли на колбасу племенную кобылу — и тут уже больше некому другому мчаться вдогон на старом фронтовом «виллисе» со старым же фронтовым автоматом. Еще никому не удавалось уйти от «виллиса» генерала Стрепетова, который за послевоенные четверть века успел здесь узнать степь так, что мог самому искусному конокраду заехать по бездорожью наперерез и вдруг грозно вынырнуть перед ним из бурьянов, когда он уже решил, что ему не страшна никакая погоня.

Продолжение следует.

Анатолий КАЛИНИН

РОМАН

Книга вторая

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ЦЫГАН

●

Поздней осенью в табунной степи машины по ступицу зарываются в черноземную грязь. Только и слышно со всех сторон, как завывают моторы. Ночью же лучше всего не рисковать пускаться не только в дальний путь.

Но и отказаться от того рейса, который выпал на долю Михаила Солдатова посреди такой ночи, он не мог. Вот когда ему на собственном опыте пришлось убедиться, что, оказывается, за одну только единственную ночь в жизни человека может произойти столько перемен, сколько до этого не произошло у него за все предшествующие тридцать лет.

Нет, Настя не будила Михаила, а только прошелестела возле его кровати рубашкой.

— Ты чего? — спросил он спросонок, пошарив на тумбочке рукой и включая лампу.

— Я, Миша, думала, что это пройдет, но...— Настя схватилась за бок.

— Сдурела?! Тебе же еще целый месяц.

— Я и сама так думала... Ой!

— Что же ты раньше молчала?

— Мне, Миша, жалко было тебя будить.

— Вот и допрыгалась! — всовывая ноги в резиновые сапоги, зло бросил Михаил.— Смотри, не роди, пока я за фельдшерицей сбегаю.

Так он и знал. Ровно за месяц до положенного срока началось. Допрыгалась в хороводах с чужими детишками в садике и доездилась за Дон на могилу, в которой была похоронена то ли ее сестра, то ли еще какая-то другая цыганка.

И фельдшерицы, как водится, не оказалось на месте, уехала на машине с красными крестами в Семикаракоры отметить сорок дней по двоюродной тетке. Когда Михаил через полчаса подъехал домой на своем самосвале и, взбежав на крыльцо, рывком открыл дверь, Настя уже корчилась в темной луже на крашеном полу в зале их премиального коттеджа для молодоженов.

А вокруг не было ни души, хоть кричи. Полуночная мгла стеной обступила поселок. Даже уличные фонари не разбавляли, а лишь прокалывали ее, как точечками булавок. Лишь одно серебристо-матовое облачко зависло над самым центром поселка, над новой столовой конезавода, где, должно быть, еще с вечера засиделся генерал Стрепетов со своими фронтовыми друзьями, которые всегда съезжались к нему в это время года.

И, уже отъехав от поселка, еще раз оглянулся Михаил на это призрачное облачко, реющее над темной степью, подумав, что вот теперь они там, конечно, сидят в тепле вокруг столиков, сдвинутых буквой «П» под большой люстрой, сверкая золотом и серебром своих наград, и никак не могут наговориться о том, о чем им, должно быть, хватило бы говорить не на одну ночь. Особенно под этот упорный, мелкий дождь, который тоже, видно, зарядил на всю ночь, а может, и больше.

Во всяком случае, Михаилу со своим прильнувшим к его плечу грузом все время надо было быть на скользкой дороге начеку, чтобы на повороте или на ухабе руль вдруг не вырвался из-под его власти и самосвал не сполз в кювет, из которого потом совсем не просто будет выбраться без посторонней помощи в этой глухой степи.

Но даже и на самых нежных рессорах машины с красными крестами никому бы не удалось везти этот груз так мягко, как вез его Михаил в кабине своего самосвала, несмотря на то, что ему нужно было, выворачивая одной рукой тяжелые колеса, успевать другой переключать скорости и поддерживать притулившуюся к его плечу Настю, чтобы она тоже не сползла с сиденья на пол кабины. После он и сам удивлялся, как ему удавалось со всем этим справляться.

Сквозь рев мотора глухо пробивались стоны Насти. Уже лежала она на плече у Михаила, как тяжелая каменная плита.

— Потерпи, девочка, еще немного,— увидев в зеркальце ее желтое, с закрытыми глазами и с закушенными губами лицо, дрогнувшим голосом сказал Михаил.

Вдруг он увидел в зеркальце, подпрыгивающем перед его глазами в кабине, как она открыла веки и, приподнимая с его плеча голову, пошевелила распухшими губами.

— Я хочу, Миша,— сказала она,— чтобы у нас с тобой все было по-честному до конца. Я виновата перед тобой. Да, да, когда я вдруг согласилась за тебя замуж выйти, я все еще любила не тебя, а его. Нет, ты, конечно, и тогда мне нравился, я знаю, из наших девушек любая бы за тебя пошла, но я не хочу и теперь тебя обманывать, будто по любви вышла. И потом, когда уже мы были вместе, я все еще больше любила его, хотя и тебя тоже...— Должно быть, увидев в зеркальце, как при этих словах окаменело лицо Михаила, она поспешила добавить: — Но теперь я только одного тебя люблю. Пожалуйста, Миша, не смотри на меня из зеркальца такими глазами. Я и сама знаю, что зря тебе это рассказываю, но еще хуже и дальше все это при себе носить. Я так понимаю, что между нами ничего скрытого не должно быть. А там как хочешь.

И, закрывая глаза, она опять опустила голову ему на плечо.

Михаил молча смотрел прямо перед собой. Вдруг колеса самосвала сразу оборвались в глубокую выбоину, скрытую набежавшей в колею водой, и целый столб жидкой грязи обрушился на кабину, сплошь залепив переднее стекло.

Но и ослепленный, Михаил сумел все-таки удержать руль. А неутомимые ползунки, соблюдающие чистоту смотрового стекла, тут же раздвинули перед его глазами черную муть. Опять открылась взору при свете бегущих фар заполненная водой колея в пузырьках дождя.

Лишь однажды, еще на полпути до райцентра, все-таки чуть не вырвало самосвал Михаила из разъезженной колеи, когда ему на повороте вдруг потребовалось разъехаться с какой-то дурной бричкой, которая раскорячилась по самой середине мокрой дороги со своей латанной-перелатанной цыганской халабудой.

— Егор, ты где? Заснул, что ли, на своем троне?!

— Здесь я, не голоси на всю степь. Детишек побудишь. Как же, заснешь по такой дороге. Больше он на тебе едет, чем ты на нем. Это сверток на Мартыновку, туда нам нельзя. Там обязательно милиция должна быть.

— Скоро уже нам никуда нельзя будет. И генерал Стрепетов может от ворот развернуть. А где, спросит, вас в самое горячее время мордовало? Давай, Егор, поедем напрямки через Мартыновку, а там до конезавода и рукой подать.

— Ты что же, соскучилась мне передачу за конокрадство в тюрьму носить?

— Ничего я не соскучилась. Нет мочи, руки болят. Как чужие. Нехай вместо тебя меня забирают. Это, скажу, я украла кобылу в Придонском совхозе. На малых детишек мне и срок поменьше дадут.

— Так тебе и поверили! Гляди, Шелоро, навстречь какая-то машина прет.

— А вдруг это правда милиция?

— Там под сиденьем нож. Сразу же и руби с этого бока постромки. А я — с другого.

— Я тебе перерублю! А детишек с Будулаем, значит, тут бросим. Нет, это какая-то грузовая. И чего их по ночам носит?! То-то государственного бензина не жалко. Сейчас он нас с головы до ног в грязи выполоскает. Да потуши ты свою чертову фару!

И трудно сказать, сумел бы самосвал Михаила разъехаться на мокрой дороге с этой злополучной бричкой, если бы не возница ее, который до этого скорее всего придремал с вожжами в руках под шорох дождя под наклобученной на голову клеенчатой венцерадой. Едва лишь щупальца фар дотянулись до конских морд, как он вдруг круто свернул в сторону, к лесополосе. Но когда Михаил, проезжая мимо этого места, пошарил боковой фарой среди голых и мокрых ветвей, там никого не оказалось.

— Тр-р, растреклятые, навязались на мою душу! Далась ему в зубы эта старая цыганская сказка. Да теперь уже и все умные цыгане давно на своих личных машинах кочуют. А ты, жена, погоняй, дергай за вожжи.— Кнут Шелоро остервенело обрушился на конские спины.— Егор,— жалобным голосом позвала она,— где ты там?

Тотчас же голова Егора в картузе с блестящим от дождя козырьком вынырнула из мглы рядом с передним колесом брички. Он все время неотступно следовал за ней на мотоцикле. Мотор чуть слышно шелестел на малых оборотах.

Шелоро накинулась на него:

— Тебе, конечно, хорошо, ты на нем красуешься, как какой-нибудь царь, а мне из-под конских хвостов нюхать. Они мне уже все глаза позаляпали грязью. Все руки повыворачивали уже. Я, Егор, больше не в силáх.— В голосе у нее зазвенели слезы.

— Еще немного потерпи, ласточка. Скоро доедем до парома, а там, считай, дома.

Продолжение. См. «Огонек» № 22.

— А где он, наш дом? С детишками под лесополосой, да? Небось, генерал Стрепетов уже какому-нибудь другому ключи от нашего коттеджа отдал.

— Не имеет права! — Егор даже голос возвысил, как будто генерал Стрепетов мог теперь быть где-нибудь поблизости в ночной степи.

— А ты, значит, Егор, имел право государственный табун бросить, да? Пусть доглядает за ним кто хочет. И я за тобой.

с брички, она метнулась с дороги в сторону, в темноту.

Егор не на шутку испугался. Она всерьез обиделась на него. Бросив посреди дороги мотоцикл, он побежал в степь догонять ее.

Нет, генерал Стрепетов решительно не помнил, чтобы он еще когда-нибудь был так счастлив. Мало кто из подчиненных ему на конезаводе узнал бы теперь его, всегда сурово-сдержанного, с тупо обточенными, как у скифского каменного божества, скулами, чем-нибудь хорошим запахло, ни за что не пропустит. Адъютант уже знает, что в поездку по частям надо с собой тару брать. «А что это у вас, казаки, в сапетке шебуршит?» «Раки, товарищ генерал». «Адъютант, пересыпь половину. Они себе еще наловят». «Наловим, товарищ генерал, берите все». «Нет, все нам ни к чему».

— Он и с чужой тарой брал! — с восхищением кричит полковник Привалов. И, несмотря на то, что рядом Клавдия Андриановна, его неотступная фронтовая подруга и жена,

— Нет, это ты же первая и сбесилась: дыма хочу понюхать. Тебе первой взбрело.

— Такие цыганки, как Тамила, в кольцах и в браслетах ходят, а я у тебя всю жизнь из-под них нюхаю. Ты мне всю жизнь поломал.

— Вон ты как заговорила! Правильно мой отец говорил, что все бабы из гадючьих спинок сделаны. Гадюка будет с тобой в одной постели лежать, а потом возьмет и ужалит.

Шелоро вдруг протянула ему с брички кнут:

— Все! Сам погоняй коней. Сам теперь и детишек корми. Это, значит, я, по-твоему, гадюка, да?! Все, все, ехай! — И спрыгнув

в этом гостеприимном и веселом хозяине, который так и сыпал случаями из фронтовой жизни:

— А он уставился на него исподлобья и представляется через час по столовой ложке: «Заместитель... командира... пятого... донского... казачьего... кавалерийского...» Буденный не выдержал: «Что ты на меня волком смотришь?» «У меня, товарищ маршал, взгляд такой».

От хохота табачный дым облаком взмывает под потолок, на столиках бокалы звенят. Один Стрепетов остается серьезным, зная, что ему смеяться еще рано.

— Еле глазами повернет. Но когда где

предостерегающе толкает его в бок кулачком, перехватывает нить разговора: — Когда в Ольгинке стояли, Клавдия Андриановна купила у хозяйки гуся и поставила на печку во дворе, а он, проезжая мимо, не поленился заглянуть: «Адъютант!» «Нам, товарищ генерал, уже не во что брать». «Бери с кастрюлей». А потом по телефону хохочет и на гусятину зовет. Но и над своим тоже не дрожал. За храбрость мог с собственного плеча бекешу подарить.

Не один, а сразу несколько разговоров схлестываются за столиками в зале столовой. У каждого столика, за которым кучками сидят ветераны донского корпуса, своей пружинкой

поддерживается разговор. Для непосвященного человека не было бы никакой возможности хоть что-нибудь понять из этого роя возгласов, взрывов смеха, перекликов от стола к столу. Но в том-то и дело, что здесь собрались те, кто научился понимать друг друга не только с полуслова, но и с полувзгляда еще с того времени, когда они на длительном марше поскрипывали рядом седлами в Терских бурунах или же спали на одной бурке, укрывшись другой, в Ойтозском ущелье, в горах Венгрии.

— Я собираюсь «крякнуть», а мне говорят «хрюкай». Я хочу «му-у», а от меня требуют «кукареку». В облсельхозуправе всегда лучше знают, какую в нашем колхозе ферму держать.

— Мы,— говорит,— не против, плыви. Выплывешь — героем будешь, а нет — на себя пеняй.

— Молчи, Никиша.

— А что же в Москве Павел смотрит?

— Ему некогда смотреть. Я когда пробился к нему в кабинет, чтобы на нашу встречу пригласить, он руками замахал: «Куда мне! — И календарь на столе полистал.— У меня на этот день одних только выступлений три: на коллегии, на симпозиуме и на приеме иностранной делегации». Пробежал глазами пригласительный билет и вздохнул. «Спасибо,— говорит,— но ты же сам видишь, что я нарасхват».

— Сам же и нахватал.

— Потому что своим заместителям не доверяет.

— Боится, кто-нибудь из них умнее выступит.

— Не захотел, значит, снизойти с высоты.

— Был Павел, и нету Павла.

— А по-моему, просто задергали его. Что мы, не знаем Павла?

— Чтобы, говорят, по-настоящему человека узнать, надо дать ему власть.

— Все-таки завидую я тебе, Стрепетов. Действительно король табунных степей.

— Вот-вот, как в Англии. Вот тебе дворец, вот жалованье, а решать все будет парламент.

— Не прибедняйся. Всего у тебя, я вижу, навалом.

— Вы, Сергей Ильич, поинтересуйтесь у моего фронтового ординарца, а теперь председателя колхоза Ермакова, как ему приходится те же запчасти к машинам добывать.

Польщенный вниманием своего бывшего комдива, Тимофей Ильич Ермаков не замедлил отозваться из-за столика в дальнем углу зала:

— Для этого я еще с вечера ставлю перед своей супругой Валентиной Никифоровной боевую задачу: организовать к утру новый сувенир. Тут ведь тоже нельзя отстать, потому что на каждый день должен быть новый сувенир. Если вчера за коробку скоростей достаточно было гуся с четвертью вина отдать, то сегодня уже давай канистру цимлянского с дюжиной рыбцов. На гуся и краем глаза не поведет. А за мотор к трактору отвези в придачу к накладной барана не меньше чем на полсотни шашлыков.

Крышка столика затрещала под кулаком полковника Привалова:

— Дустом их, подлецов!

Если и в самом деле отныне ничему живому или мертвому уже не укрыться от заоблачного космического ока, обшаривающего лицо земли, то ничего не стоило ему набрести в табунной ночной степи и на одинокую бричку с шатром. Все на земле давно уже спали, а ей сейчас во что бы то ни стало надо было продираться куда-то сквозь дождливую мглу и хватающий с обочин дороги за колеса своими лапами репейник.

Хорошо еще хоть Егор все время светит из-за брички фарой, иначе колеса давно уже провалились бы в какую-нибудь пропасть, разрытую скатами «МАЗов». Мимолетно прочесав золотым гребнем гривы лошадей, одинокий луч бежит впереди них, упираясь в ярко-синюю, сотканную из тончайших нитей стенку влажной мглы.

— Ты чего это опять стала, Шелоро?

— Две дороги тут.

Егор выехал на мотоцикле из-за брички. При свете фары сверкнули заполненные водой колеи, расходясь друг от дружки парами в разные стороны.

— Я же тебе сказал: пока только прямо держать.

— А ты не мог бы, Егор, ко мне пересесть?

— Что же я, мотоцикл на дороге брошу?

— Может, как-нибудь его сзади за бричку привязать...

— Вот и дура ты, Шелоро. А за рулем кто?

Понижая голос, Шелоро оглянулась на мокро мерцающий своими ребрами шатер над бричкой.

— А вдруг, Егор, мы его...— она запнулась..— уже неживого везем? Ты бы туда фонариком посветил.

— Сколько можно светить? У меня батарейка села.

— Ну тогда поезжай хоть немножко рядом.— Она снова оглянулась, передернув плечами.— А то иногда кажется, что он из-под шатра прямо мне в спину смотрит.

— Значит, живой, если смотрит. Я же и говорю, что ты у меня дура. Пока мы тут будем с тобой растабарывать, милиция...

Взвизгнул в тишине ночи кнут. Лошади дернули бричку вперед, окатив Егора грязной водой.

— Дура, дура! — вдогонку закричал Егор.

Но бричка уже уехала вперед. Вскоре и он заелозил за ней на мотоцикле по размытой дороге, то и дело соскакивая с него и выруливая его из низин на подъемы.

Опять одинокий тусклый луч бежал впереди шатра на колесах.

— Вот ты, Егор, всегда меня моей дуростью шпыняешь, а сам, если что, норовишь из-за моей юбки выглядать. Так спокойней тебе. На словах какая-нибудь полурусская цыганка Настя у тебя и самая грамотная и самая умная, а без Шелоро ты ни шагу. Знаешь, что она в любой иголке дырочку найдет и скорее сама десять раз обманет, чем кто-нибудь сможет ее обмануть. Ты развесишь свои лопухи и веришь всему, что тебе лепят, а Шелоро, кто чего стóит, сразу может понять. Вот, например, генерал Стрепетов для тебя как?

— Все они, начальники, одинаковые.

— Вот и нет. Я знаю, что ты его больше всего боишься, Егор. Не отворачивайся, знаю я.

— Смотри, бричку перекинешь.

— Стыдно тебе сказать, как будто я тебе не жена. А вот я его ни капельки не боюсь. Совсем не боюсь.

— Ну и радуйся. Еще поглядим, как ты будешь радоваться, когда на место приползем.

— Поглядим. Но только я и сейчас могу тебе сказать, что бывает просто начальник, а генерал Стрепетов — человек.

— А еще обижаешься, когда я тебя дурой назову. Я бы тоже человеком был, если бы мне генеральская пенсия каждое двадцатое число по почте приходила. Да в придачу еще за свою должность гребет.

— Ох и сволочной же ты, Егор!

— Но, но!

— Не грози. У меня свой есть.— Она легонько помахала перед ним кнутом.—Он ведь лично тебе, Егор, ничего, кроме хорошего, не сделал.

— Разве я чего-нибудь набрехал на него? Я только сказал, что за такие червонцы тоже всем бы только одно хорошее делал.

— Он свои червонцы не в карты выиграл. И орденов у него на груди за целых три войны набралось.

— Может, ты еще что-нибудь про него знаешь?

— Пока еще не знаю.

— Смотри.

— Но я давно уже знаю, что тебе ничего не стоит мне любые штаны прицепить.

— Ладно, хвали дальше.

— И похвалю. Ты же за своими кобылами не видишь, как он чуть ли не каждое утро по дороге на работу первым делом в детский садик заходит с детишками за их столиками посидеть. Беседует с ними, как со взрослыми. И с нашим Данилкой тоже.

— Своих внуков не нажил, вот и тешит свою старость.

— А ты знаешь, что у него первая жена с двумя близнецами в эшелоне сгорела?

— Откуда ты и это можешь знать?

— Цыганское радио сказало. И еще оно передавало, как он прошлым летом за ради нашего конезавода воздержался звездочку героя получить.

— У него и так уже есть.

— Это за войну. А мог бы и за геройский труд иметь. Тогда бы у него на родине в станице еще при жизни памятник из меди стоял.

— Не из меди, а из бронзы.

— Главное, что при жизни. Подумать только, человек стоит и на памятник смотрит, а памятник на него. Но генерал Стрепетов ответил, что полтора плана зерна он государству уже вывез, а на два своего согласия не может дать, чтобы не оголодить на зиму племенные табуны.

— Лучше бы тебе, Шелоро, об этом поменьше знать. За такие разговоры по головке не гладят. Генерала Стрепетова я, может, не меньше твоего уважаю, только я не какая-нибудь баба, чтобы об этом на всю степь звонить. Не мужское это дело — начальство хвалить. А памятник в своей станице он еще успеет заслужить. Лучше нашего конезавода по всей области нет. И ключи от нового коттеджа он нам с тобой лично вручил,— неожиданно заключил Егор.

Впереди сквозь дождь едва выступали гривы лошадей. Шелоро оглянулась на шатер.

— Ты батареек не жалей, Егор, посвети еще разок, глаза у него открытые или нет. Я больше всего боюсь, что наши детишки у него, уже мертвого, на плечах спят. Я потом тебе десять батареек из Ростова привезу.

Луч фонарика, вспыхнув в руке у Егора, забирается под брезентовый полог, но так ничего и не успевает осветить в глубине шатра, потому что тут же и слабеет, гаснет.

— Смотрит? — тревожно спрашивает Шелоро.

— Еще и как! — уверенно отвечает Егор.— Ты же сама видела, что он всю дорогу с открытыми глазами лежал.— Для вящей убедительности Егор добавляет: — Как у волка горят.

Еще почмокали копыта по грязи.

— Жалко его, но сам же он и сделал себя одиноким. Сам от своего сына бежал. Сам не захотел жить, как все другие люди живут. Сам все время отказывается от своего счастья.

— Нет, Шелоро, он не одинокий. Какой же он был бы своему Ване отец, если бы взял и всю ему жизнь поломал? До этого Ваня всегда знал, что он русский, и уже привык, что его отец на войне погиб. По-моему, Шелоро, и от всех других цыган он тоже не откололся, а просто...

Шелоро поощрила:

— Говори, говори, я все пойму.

— Ну вот,— подхватил Егор.— Ты ведь знаешь, за что он свои ордена получил?

— Это все цыгане знают. За то, что из всех разведчиков самым смелым был.

— Вот, вот,— еще больше обрадовался Егор,— а теперь, значит, наши цыгане его, как бывшего разведчика, тоже послали по дороге чуток впереди посмотреть, как надо дальше жить.

— Никто его не посылал, Егор.

— А божилась, что все-все поймешь. Значит, должны были послать, это все равно. Потому что, Шелоро, многие из нас еще тянут не за ту вожжу. А он знает, за какую надо тянуть.

— И мы же сами ему за это вместо ордена...— догадалась Шелоро.

— Да. Еще много времени должно пройти, пока и все другие цыгане поймут, потому что...— Егор не договорил, устав от этого трудного для него разговора.

На этот раз не сразу собралась с мыслями и его подруга, а когда она наконец заговорила, откровенная гордость сплелась в ее голосе с восхищением.

— Вон ты как все это придумал, Егор. Всем людям за один раз не докажешь что к чему. Все, Егор, на конезаводе — и цыгане

и русские — думают, будто ты у меня всю жизнь под каблуком, а ты...

— Погоди, Шелоро, ты слышала что-нибудь?

— А что? — Она испуганно оглянулась.

— Нет, это показалось мне.

Вот он наконец и отыскался, тот долгожданный ответ на вопрос, который мучает каждого, особенно в детстве, когда так хочется знать, что же бывает с человеком после смерти, и предвкушение ни с чем не сравнимого восторга объемлет душу, как ты лежишь и, уже мертвый, слышишь, как вокруг жалеют и понимают тебя именно так, как всегда хотелось тебе при жизни.

— Присвети-ка фарой, Егор, что там впереди темнеет. Нет, правее.— Шелоро сама же, когда справа из дороги зазолотилось пятно, выхваченное из влажного мрака лучом света, и ответила: — Скирда! Давай, Егорушка, подвернем к ней. Я уже до последней косточки промерзла. Лошади тоже пощиплют соломки и передохнут чуток.— Она предупредила его колебания: — Никакой тут ни милиции, ни полиции нет на сто верст кругом. Вся она теперь по своим полосатым будкам спит.

Последний довод подействовал на Егора сильнее всего. Он решительно сверкнул кнутом.

— Подвертай!

Как арбузы, безвольно катались по корыту брички от борта к борту беспробудные головки, когда она переезжала через кювет, пока опять не успокоились на широких и теплых плечах, на которых им было так удобно спать. Только и светились во мраке глаза того, кто все это время и все так же неподвижно продолжал лежать навзничь, на спине, то ли совсем не в силах пошевелиться, то ли боясь спугнуть глубокий и счастливый сон доверчиво прильнувших к нему детей.

Зеленые, острые звезды проре́зались сквозь рядно туч и трепетали над табунной степью в недосягаемой вышине, пока под ними внизу вершилась любовь. И никто бы в присутствии этих беспристрастных свидетелей вечности не посмел сказать, что в эту глухую, ненастную ночь остановилась жизнь на земле.

Но потом вдруг зашевелился брезентовый полог шатра на колесах, черная взлохмаченная голова, вся в соломенных иголках, показалась из-под него. Безвольно болтая ею, как пьяный, человек выбрался из-под шатра и, судорожно цепляясь руками за борта брички, неуверенно доставая ногой колесо, стал сползать с нее. Так и не достав колеса, он мешком свалился на мокрую землю, но тут же встал и, держась за борт брички, пошел вокруг нее на другую сторону. Его шатало и все время отрывало от борта, но он все-таки обошел шатер. Лошади, воткнувшиеся мордами в бок теплой соломенной скирды, повернули к нему головы и захрапели.

— Тр-р, проклятые! — прикрикнул на них из-под скирды сонный голос Шелоро.

От звезд, все больше разрывающих тучи, светлее стало в степи, но, похоже, человек только ощупью сумел набрести на мотоцикл на другой стороне брички, и тут же он стал заносить ногу на седло. Ему это никак не удавалось, и все так же не слушалась его голова, болтаясь из стороны в сторону, как сухой подсолнух под ветром, а когда удалось, он сразу же и запрокинулся с седла навзничь, падая с мотоцикла. Сонный голос Шелоро опять грозно прикрикнул на лошадей:

— Стоять!

Одни только звезды и наблюдали с недосягаемой высоты, как, выбиваясь из сил, барахтался на мокрой холодной земле человек, стараясь опять подняться на ноги. Так и не смог он подняться. Тогда, хватаясь за обод и спицы колеса, он стал все выше подтягиваться на руках опять в бричку, пока не переломился через борт и не рухнул в нее вниз лицом. Теперь ему осталось только проползти по корыту брички под шатер, пока опять не сомкнулся за ним брезентовый полог.

Сладким и чистым теплом беспробудно спавших детей дохнуло на него.

Продолжение следует.

Анатолий КАЛИНИН

РОМАН

Книга вторая

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ЦЫГАН

Через час Шелоро первая же и толкнула кулаком под бок Егора, который намертво привалился к ней в теплой пещере, вырытой ими в соломенной скирде. Но он лишь глубже зарылся головой в солому. Никак не хотелось пробуждаться ему.

Тогда, вспомнив, Шелоро порылась в складках своих юбок, извлекая из них маленькую глиняную свистульку, купленную ею на новочеркасском базаре у древнего деда для своего последыша Данилки.

Давно уже так не смеялась она, наблюдая, как ее супруг, подброшенный со своей соломенной постели заливистой милицейской трелью, лихорадочно шарит спросонок вокруг себя руками в поисках картуза. Между приступами смеха Шелоро вновь и вновь прикладывала к губам детскую свистульку. Опережая движение Егора, она увернулась от его карающего кнута.

— А ты, Егорушка, не серчай. Я теперь эту скирду долго буду помнить.

С силой оттягивая ненаевшихся лошадей от скирды, Егор все-таки отомстил ей за свой позорный испуг.

— После каждой такой скирды у тебя как раз и получается по двойне.

Стряхивая с кофты соломинки и зажимая в зубах шпильки, она покачала головой.

— Нет, Егорушка, это не скирда виновата. Это потому, что на соломе ты всегда бываешь такой ласковый.

Приподняв в руке кнут, он оглянулся на зияющий темным отверстием шатер на бричке. Снова уворачиваясь, она тут же бесстрашно вынырнула из-под оглобли лицом к лицу со своим грозным спутником жизни.

— Я теперь опять согласна с тобой хоть до самой Москвы пеши бечь.

И у Егора сама собой опустилась рука. Сердце его смягчилось. В самом деле, много ли надо было его подруге. Вот она только чуть-чуть передремнула и отогрелась на соломе, полежала у него на руке и уже опять готова ехать с ним хоть на край света. Что значит цыганка.

Темнела и дышала горячим хлебом дыра, выеденная лошадьми под скирдой. Но по-прежнему никакого шевеления не было заметно под шатром.

— Ты бы, Егор, опять фонариком,— робко попросила Шелоро.

Отворачивая угол полога, Егор пошарил фонариком в шатре. Снова ровным счетом ничего он не сумел рассмотреть в темном ворохе тряпья, только увидел, как светлая курчавая головка их самого маленького, Данилки, приподнялась, ослепленно поморгала большими сонными глазами и плюхнулась обратно. Егор поспешил выключить фонарик.

— Ну как? — невнятно, со шпильками в зубах, спросила у его плеча Шелоро. Изумрудные камушки, вделанные в гребешок, искрились у нее в руке.

— Все как и было. Что им сделается! Как дрыхли, так и дрыхнут. А все-таки Данилка, как хочешь, не моей масти.

Вынимая изо рта шпильки и закалывая ими волосы, Шелоро довольно рассмеялась:

— Далась тебе эта масть! Помнишь, как Будулай на цыганском собрании в овраге говорил, что теперь ни своих, ни чужих детей нет. Все они после войны наши.

— В другой раз я тебя не пущу ветлечебницу убирать.

Шелоро еще веселее засмеялась.

— Значит, ты все еще любишь меня, да? А я-то думала, что тебе уже, кроме этих краденых коней, и не нужен никто. Ну и глупый же ты, Егор. Вот погоди, у Данилки через два года масть совсем переменится, и тогда ты узнаешь, что я у тебя самая честная жена. Разве ты забыл, какой у нас Таня тоже была? Если бы люди знали, сколько я тогда наплакалась от твоего батога. Уйду в степь одна и плачу.— Старая обида вдруг сплелась в ее голосе со вспыхнувшей злобой.— И совсем мне необязательно перед ветеринаром рассыпаться, если я туда на работу хожу. Не за это он мне каждый раз по мешку ячменя дает.— Егор зарычал, она на всякий случай перешла от него на другую сторону брички.— Ходила и буду ходить! Кроме хорошего, ничего он мне плохого не сделал. Твои же паршивые кони и жрут этот ячмень.— Резко затягивая на подбородке свой платок узлом, она вдруг вскочила на передок брички: — Гей!

Вздремнувшие было лошади испуганно сорвались с места и понеслись через кювет по дороге вскачь, разбрызгивая воду. Растерянный Егор остался с мотоциклом у скирды.

Но вскоре он догнал бричку и остался не позади нее, а, заехав сбоку, поравнялся с Шелоро. Некоторое время они ехали рядом, колесо к колесу.

— Я знаю, что ты у меня честная,— заговорил Егор,— но все-таки, Шелоро, больше не ходи туда. Ячмень для лошадей я буду с отделения привозить.

— Так генерал Стрепетов и позволит тебе. Совсем глупый ты, Егор. Данилка у нас получился, когда вот такая же хорошая солома была.

— Да, солома ячменная,— согласился Егор.— Надо будет запомнить это место и приехать за ней по свободе.

— Запомни, Егор, запомни,— загадочно сказала Шелоро.

— Ласточка моя! — Потянувшись с седла мотоцикла, он дотронулся до ее колена рукой.

Опять зачмокали копыта лошадей. Никаких иных звуков не слышно было вокруг. Блестели ребра шатра.

— Ну, а как же ты все-таки решаешь, Егор, отдаст нам генерал Стрепетов ключи от дома или нет?

— Раньше надо было об этом думать. Должно быть, шибко он теперь сердитый на нас. Как бы не пришлось просить Настю к нему сходить.

— Да, ее он уважает из всех цыган.

— Кого же ему еще уважать?

— Что ж, по-твоему, я хуже ее?

— Ты лучше за конями гляди.

— А в соломе, небось, ты меня больше ее уважал.

— Хоть бы ты его посовестилась, Шелоро. Может, он сейчас, правда, слышит нас, только сказать не в силах.

— Совесть, Егорушка, не роса. Не до нас ему теперь.

— Пора уже вам, казаки, и стременную пить,— укоризненно напомнила Клавдия Андриановна Привалова.

Встал со своего места бывший комкор Горшков с бокалом.

— Но до этого давайте еще раз Алексея Гордеевича помянем.— Голос у него осекся, но тут же выправился: — Когда у него уже пошла горлом кровь, он мне сказал: «Только бы до победы дотянуть». Это я единственный раз видел у него слезы.— И, запрокидывая круглую, как обточенную, голову, Горшков, не отрываясь, осушил свой бокал. Но другой рукой он все-таки успел придержать за плечо свою белокурую, с золотыми погонами капитана соседку, когда она вдруг покачнулась на стуле. Она уткнулась головой ему в бок, и он, как ребенку, гладил ей волосы, уговаривая: — Не надо, Нина Ивановна... Ну не надо же!

С другой стороны молча сжала своими пальцами локоть вдовы Селиванова бывший военфельдшер Привалова, тоже капитан, но только с серебристыми погонами, такими же, как и ее волосы, подстриженные коротко, по девической моде.

У самой двери за одним столиком с водителем Стрепетова сидел бывший водитель первого комкора Селиванова, сжимая рукой свой тоже только что осушенный бокал. Вполголоса, скорее всего для себя, а не для других, он обронил:

— А мог бы и не дотянуть.

Но у генерала Стрепетова был острый слух охотника. Он громко возмутился:

— Как это не дотянуть?! Он, слава богу, и после победы почти три года жил. Ты, Бурков, лучше помолчи, если перебрал.

Бывший водитель Селиванова порозовел.

— Я, Михаил Федорович, и так молчу уже больше двадцати лет. Алексей Гордеевич с меня слово взял, что я даже собственной жене не расскажу, как мы с ним попали...

— Начал, так договаривай до конца. Мало ли кто из нас со своими фронтовыми шоферами в переплет не попадал! Если есть что рассказать, не тяни, у нас здесь, кроме тебя, найдется послушать кого.

Бывший водитель Селиванова быстро и до самых краев налил из графина в свой бокал вино, но оставил его перед собой нетронутым. Так до самого конца своего рассказа и продержался пальцами за бокал.

— Уже за Днепром выехали мы с Алексеем Гордеевичем на стык с танкистами. До этого я слышал на КП, как из трубки сам Ротмистров кричал ему: «Пора уже нам встретиться! Лично хочу на донского походного атамана посмотреть!» Ехать было не больше часа, а если на пути зеленый гай не объезжать, еще меньше. Алексей Гордеевич, как вы знаете, и на лошади и на машине медленной езды не признавал: «Давай, Зиновий, сокращай через лес». Я было засомневался: «Его же еще не успели прочесать». «Нет,— говорит,— я еще вчера приказал прочесать». И посмотрел на меня так, что дальше уже я не стал с ним этот вопрос обсуждать.

— Да,— заметил Привалов,— кричать он никогда не кричал, а посмотреть умел.

— Но проскочили мы этот зеленый гай

Продолжение. См. «Огонек» №№ 22, 23.

почти до самой опушки спокойно. До шлагбаума КПП, где лейтенант вдвоем с автоматчиком проверили у нас документы и попросились довезти их по пути до ихней комендатуры. Алексей Гордеевич, если было в машине место, никогда не отказывал: «Только садитесь побыстрее». «Мы вас не задержим, товарищ генерал»,— весело сказал лейтенант. Что-то мне в его словах или же в голосе не понравилось, но я еще не успел сообразить, что же именно, как они уже оказались в машине у нас за спиной и этот лейтенант вдруг перевешивается с заднего сиденья и снимает с меня маузер генерала, который я всегда при себе носил. Другого оружия мы с собой не возили. Тут и автоматчик подал голос: «Да, доброго каплуна мы подобрали».

Клавдия Андриановна Привалова громко ахнула, ухватив Никифора Ивановича за руку:

— Бандеровцы!

— Они,— коротко подтвердил Бурков.— Гай-то наши прочесали, да не всех вычесали. Первый раз за всю войну я тогда так испугался. Шутка ли, самого Селиванова прямо им в лапы доставил.

— Да-а,— бросил из-за своего столика, из дальнего угла зала, Тимофей Ильич Ермаков.— За это ты тогда не орден Славы должен был получить.

Бурков кивнул.

— Веду машину, а руки на руле как будто не мои. И Алексея Гордеевича, когда сбоку посмотрю на него, не могу узнать. Я его всякого видел: и бледного, как мел, когда на него под Корсунем командующий фронтом по телефону кричал, и красного, когда он бывшего начразведки корпуса Левита разжаловать грозил, и совсем желтого — это когда он уже стал с кровью кашлять. Но черного увидел в первый раз. Как, скажем, чугунное сделалось лицо. Вижу, полез он рукой в карман. «Нельзя!» — крикнул этот бандеровский лейтенант, но Алексей Гордеевич спокойно ему возразил: «Это портсигар». И тут вдруг меня страшное зло взяло, когда этот бандеровец наклоняется через его плечо и хватает своей лапой из раскрытого портсигара целую горсть папирос «Беломор». Алексей Гордеевич всегда «Беломор» курил. «У кого же,— думаю,— ты, подлюга, смеешь хватать!» В эту же минуту вспомнил я о своем кинжале, сделанном из немецкого штыка, который с собой за голенищем сапога носил. Вроде наклоняюсь, чтобы переключить скорости, а сам выхватываю его из-за голенища и, пока этот бандеровский лейтенант делился папиросами с автоматчиком, с крутого оборота его по горлу и тут же без остановки другого под дых. Алексей Гордеевич еле успел брошенный мною руль придержать.

— Получается, ты одним махом...

Бывший водитель Селиванова виновато улыбнулся:

— Сам не знаю как... Если бы он папиросы из портсигара не схватил, я бы, может, и не вспомнил про кинжал.

— Что-то от самого Алексея Гордеевича мне никогда не приходилось об этом слышать,— строго заметил Горшков.— Судя по всему, и Нина Ивановна ничего не знает.

— Первый раз слышу,— сухо и решительно сказала вдова Селиванова.

Нехорошее молчание воцарилось за столиками в зале. Под осуждающими взглядами бывший водитель Селиванова втянул голову в плечи.

— Моя жена тоже до сих пор ничего не знает. Я, Сергей Ильич, сейчас уже жалею, что рассказал. Но я думал, что время уже прошло и теперь уже...

Перебивая Буркова, за него напомнил Привалов:

— Это же, Сергей Ильич, еще когда было! Шутка ли, генерал, командир корпуса, в руках у врага побывал.

Сергей Ильич Горшков, сразу потвердев лицом, отвел под взглядом Никифора Ивановича взгляд. Из окружения ему, еще до того как он оказался в донском кавкорпусе, пришлось выходить...

Теперь уже взгляды всех присутствующих, устремленные на Зиновия Буркова, просветлели. Нет, он, конечно, не мог ничего наговорить на Алексея Гордеевича, с которым прошел три года войны, хотя, может быть, за давностью лет и необязательно было теперь вспоминать всю эту историю за праздничным столом.

Но почему бы и нет? Где же еще, если не в кругу фронтовых товарищей, Алексея Гордеевича вспомнить, на чье же еще доверие мог так рассчитывать Бурков? Нет, молодец, он и тогда своего генерала Селиванова от верной гибели и позора спас и теперь правильно сделал, что не утаил от его соратников то, что они о своем командире обязательно должны знать. Все-все они должны знать о нем, и ничто никогда уже не сможет уронить его в их глазах. Наоборот, теперь, когда они только что снова пережили такую тревогу за него, он стал им еще ближе. Молодец Бурков!

И все потянулись к нему своими бокалами, каждому захотелось с ним чокнуться. Изменчиво настроение людей, даже если это и друзья, с которыми не один раз вместе смотрел в лицо смерти.

Между тем Зиновий Бурков, не замечая этой перемены, вдруг быстро нагнулся, почти скрываясь с головой под столом, и, когда разогнулся, все увидели, как что-то голубоватое и острое блеснуло у него в руке. Это был кинжал, кем-то выточенный или выкованный из трофейного немецкого штыка.

— Вот,— сказал Бурков,— я его и теперь, когда в сапогах, по привычке за голенищем ношу. Мне его один цыган из разведки двенадцатой дивизии подарил.

Сделанный из трофейного штыка кинжал ходил от столика к столику по рукам, рассматриваемый присутствующими так, как будто они до этого ничего подобного не видали еще. Они и поворачивали его из стороны в сторону, и подносили к глазам, и пробовали пальцами острие. Гость из далекого, но незабытого мира явился. Враждебно мерцала при электрическом свете голубоватая сталь.

Кочуя от столика к столику, дошел кинжал и до рыжебородого гиганта с дубовыми веточками на зеленых петлицах. Бывший разведчик, а ныне лесничий, Ожогин недолго рассматривал его.

— У меня тоже точно такой же был. Удобная штука, сунешь за сапог и хоть иди, хоть ползи за языком — не мешает. И когда пощекочешь им горло фрица, он сразу же понимает, что надо сдаваться молча. Он весь наш разведвзвод такими кинжалами снабдил.

— Кто снабдил? — спросил Горшков.

Ожогин с искренним недоумением посмотрел на него.

— Да этот же цыган. Будулай. Мне с ним не один раз приходилось в разведку ходить. Надежный цыган. А недавно он ко мне на кордон на мотоцикле заезжал.

Озаренный запоздалой догадкой, во всю мощь своих легких закричал Никифор Иванович Привалов — так, что жена его Клавдия Андриановна, вздрогнув, опрокинула на скатерть фужер с вином:

— Как же я сразу не сообразил!

Клавдия Андриановна одернула его:

— Замолчи, Никифор! Разве можно так пугать.— Она опечалилась: — Такую хорошую скатерть залить...

Тимофей Ильич Ермаков успокаивающе посоветовал ей:

— А вы ее солью посыпьте. Следа не останется. У меня, как у председателя виноградарского колхоза, на этот счет опыт есть. Каждый месяц приезжают из области или из Москвы гости дегустации проводить. Соль, она все вино в себя забирает.

Когда же и до Тимофея Ильича докочевал наконец передаваемый из рук в руки кинжал, он, бегло осмотрев его, заключил:

— Да, его работа. У наших садоводов теперь тоже хорошие ножи из подобранных по всем балкам немецких штыков завелись. Если, конечно, это тот же Будулай, который нанимался к нам кузнецом.

— А потом исчез, áки дым в поле,— подсказал насмешливый голос.

Его немедленно поддержали из разных концов зала:

— Прихватив, конечно, с собой на память пару колхозных кляч.

— Или на худой конец верхового коня.

— Из благодарности хозяевам за приют и ласку.

— Нет, это был честный цыган,— твердо ответил Тимофей Ильич.— Я сам не поверил: ни одного молотка из нашей кузни не взял.— Тимофей Ильич развел руками.— Но сбежать в один прекрасный день сбежал. Не знаю, какая его оса ужалила. А на фронте мне его не приходилось встречать. В нашем корпусе много служило людей.

Генерал Стрепетов уточнил:

— Иногда до тридцати тысяч рядовых и комсостава набиралось.

— Ну вот. Если бы каждого узнать, надо было, чтобы война еще десять лет тянулась.

Клавдия Андриановна Привалова издали, как школьнику, погрозила Тимофею Ильичу Ермакозу пальцем:

— Типун вам на язык.

— Да нет, Клавдия Андриановна, это я к тому, что в нашем корпусе не меньше, чем природных казаков, служило узбеков, грузин, кабардинцев и даже цыган. Вот и он, оказывается, служил. Правда, об этом я уже здесь узнал. Как-то не пришлось мне с этим Будулаем разговориться у нас в колхозе. И он, признаться, не очень-то к себе с расспросами подпускал. Вообще какой-то странный был цыган, все больше молчит.

— Если бы, Ермаков, у тебя вся семья под немецким танком погибла, ты бы тоже, наверно, был странным.

Тимофей Ильич еще не успел разобраться, кому принадлежала эта холодная реплика из дальнего угла, как за него заступился Ожогин:

— Не скажи, Шелухин, все-таки он и до этого был какой-то не такой, как все. Хоть и надежный цыган. Я ведь его немножко раньше тебя узнал. Из одного и того же сочинского госпиталя вместе в ноябре сорок второго в корпус попали. И потом уже, помнишь, в разведвзводе он никакой осторожности не признавал.

— К тому времени он уже все узнал про свою семью. Какой-то другой цыган через фронт перешел и ему рассказал.

Сощуриваясь и глядя куда-то далеко впереди себя, бывший комкор Горшков задумчиво напомнил Привалову:

— У меня, Никифор Иванович, в одиннадцатой, когда стояли в бурунах, тоже какой-то молодой цыган лошадей ковал. А потом куда-то исчез.

— Их, Сергей Ильич, тогда почти в каждом полку было по цыгану. Лучше и быстрее их никто не умел коня подковать,— подтвердил Привалов.— А этот Будулай, из разведки двенадцатой дивизии, мог и через игольное ушко языка протащить.

У бывшего комкора Горшкова вдруг вспыхнули выпуклые серые глаза.

— Но если так, то и эта загадочная история с жеребцом короля Михая не могла без его участия обойтись.

Никифор Иванович оживился:

— И увели-то, подлецы, без всяких следов. По приказанию Толбухина всю контрразведку фронта на ноги поставили — как в воду канул. Раньше так только цыгане и умели лошадей красть.

— Ну и наших-то, Никифор Иванович, казачков не стоит обижать. Если, бывало, захотят, у самих цыган уведут.

И тут же Горшков повернул голову на голос, донесшийся от самой дальней приставки к составленному подковой из маленьких столиков большому праздничному столу, за которой сидели те, у кого были воинские звания и награды поскромнее.

— Нет, это не он королевского жеребца увел.

— А тебе, Шелухин, откуда это может быть известно? Если не он, то тогда, может быть, ты?

На звук его голоса Шелухин тотчас же встал и привычно вытянулся за своим столиком.

— И не я, товарищ гвардии генерал-лейтенант. Но я с ним до конца войны в одном разведвзводе служил и хорошо знаю, что он в краже этого жеребца из королевской конюшни участия не принимал. Он только...

— Ты, Шелухин, сядь,— жестом усадил его Горшков.— Я уже сказал, что за этим столом мы все независимо от званий и остального прочего равны. Ты, кажется, еще что-то хо-

тел сказать? Не бойся, за давностью времени тебе теперь не придется, как нам с полковником Приваловым, из рук маршала Толбухина штрафной кубок спирта пить.

При этом напоминании Никифор Иванович замотал головой и, давя в себе смех, затряс грудью так, что пришел в движение, зазвенел весь его иконостас орденов и медалей.

Набираясь мужества, Шелухин выпалил одним духом:

— Он, товарищ гвардии генерал-лейтенант, не участвовал, он только помог, когда попросили казаки перекрасить каким-то цыганским составом этого арабского жеребца в вороного. Чтобы его можно было на Дон переправить.

От хохота, грянувшего вслед за этими словами, теперь уже пришел в движение, всколыхнулся благородный металл боевых наград у всех присутствующих, звон его слился в сплошную музыку. И за нею вряд ли кто-нибудь мог услышать, как бывший водитель Селиванова за своим столиком вполголоса добавил к тому, что только что рассказал своим фронтовым товарищам:

— Я,— говорит,— как разведчик, советую тебе, Зиновий, этот кинжал всегда в придачу к личному оружию иметь. Его можно незаметно за голенищем носить. От тебя, может быть, больше всего зависит, чтобы Алексей Гордеевич до победы дожил.

Колеса то переваливаются со стороны на сторону, с бугорка на бугорок, то обрываются в яму и опять скребутся наверх. Прямо под головой, под ухом грохочет порожнее ведро, привязанное к грядушке брички. Из-за отворачиваемого ветром угла полога всего лишь одна-единственная красная звездочка виднеется на угрюмом небе.

И, конечно, это Гром толкается мягкой мордой в плечо и, небольно покусывая, выпрашивает добавок к своему пайку сахара, хотя Будулай точно помнит, что, когда он попал в двенадцатую дивизию, у него еще не то что Грома, вообще никакого не было коня. До зачисления в дивизионную разведку ему только чужих лошадей приходилось ковать. А до встречи с Громом и подавно было далеко, совсем далеко. С Громом они познакомились уже на конезаводе.

А вообще-то, если порыться в карманах, можно было бы найти для него еще одну глудочку, не жалко. Если б можно было хоть чуточку пошевелить руками, на которых с двух сторон лежит какая-то немыслимая, просто-таки чугунная тяжесть. И на груди тоже. Как будто кто-то на самое сердце наступил каблуком и давит, давит. Сволочи, что же вы делаете, так же нельзя бить человека!

Проклятое ведро совсем не дает спать, а Гром в ожидании сахара горячо и влажно дышит прямо в лицо. Если бы можно было хоть одной рукой пошевелить. Душно, душно... Ваня, скорей открой дверь кузни, впусти ветра!

— Ты ничего, Егор, не слышал?

— Это ветер в лесополосе. Как бы к утру мороза не натянуло.

— А это, должно быть, над нашим клубом свет.

— На дорогу смотри. Сейчас будет мост через овраг.

— Но, может, и над столовой.

— Лучше здесь я сам переведу по мосту лошадей, а потом вернусь за мотоциклом.

Был уже тот послеполуночный час, когда и самые последние из припозднившихся в рейсах машин успели добраться до своих гаражей, а те, у которых не одними сутками исчерпывались их путевые листы, давно предусмотрительно стабунились возле постов ГАИ. За все время обратного пути Михаила Солдатова из роддома до конезавода ни один луч встречного света не скрестился с его самосвалом.

Михаилу, когда он, налегая на баранку, удерживал самосвал в разъезженной колее, так и не понять было, то ли это перед глазами у него все время было так непроглядно темно, то ли на душе, измученной и потрясенной событиями этой ночи. На всем пути от райцентра домой его настигал изнемогающий, как по мертвому, крик Насти:

— Ни сыночка, ни дочушки не будет у нас, Миша-а! Это я во всем виновата, я!

Но ведь и в самом же деле уже не поживому она так кричала, поворачивая на носилках к Михаилу голову, когда ее уносили санитары:

— Брось меня, брось! Так мне и надо, что позарилась на чужое счастье! Мало мне было своего.

Нет, это не она, бедная девочка, была во всем виновата, а все тот же проклятый цыган, за которым до этого гонялась она по всей степи. Думала, должно быть, что не догадывался Михаил, зачем она ездила и на могилу к сестре на правый берег Дона. Доездилась. И теперь ее душераздирающий крик всю дорогу сопровождает его по безглазой ночной степи.

Дождь уже не струйками стекал по лицевому стеклу машины, а позвенькивал белыми крупками. Голубые елочки первых снежинок налипали на стекло, а мгновенно обмерзающие на холодном ветру кусты шиповника вспыхивали по обочинам дороги под фарами красными огоньками ягод.

Так на всем обратном пути ни одна встречная машина и не перемигнулась с самосвалом Михаила. Но вот наконец и толпа белых домиков, выбежав навстречу из темноты, закружилась, затанцевала в скользящем потоке света. Теперь оставалось только перемахнуть по насыпи через овраг и повернуть направо в новую улочку кирпичных коттеджей, построенных начальником конезавода Стрепетовым для молодоженов. Теперь уже машина сама найдет здесь дорогу, как лошадь, почуявшая запах дома.

Но Михаилу уже не под силу будет отогнать самосвал на ночь в гараж. Ничего ему не сделается, если постоит до утра у двора. Отяжелевшая бессонная голова так и падает на руль.

Вдруг голова Михаила вскидывается над баранкой руля, мгновенно трезвея от пронзительного вопля:

— Куда же ты, паразит, прямо на бричку прешься?!

Михаил едва успевает намертво затормозить перед двумя взметнувшимися конскими мордами с ощеренными зубами. Лошади шарахаются от самосвала в сторону.

— Стоять! — кричит на них все тот же голос. И еще что-то добавляет, но не по-русски. Женщина в мокрой венцераде, воздев в руке кнут, бесстрашно втискивается между самосвалом и лошадьми. Схватившись за оглоблю, она хлещет лошадей кнутом по мордам. У них фиолетовые обезумевшие глаза выкатились из орбит.

Обтянутая серым брезентом бричка прямо перед домом Михаила стоит. А вот уже Михаил узнает голос цыганки Шелоро, которая, вскочив на подножку самосвала и заглядывая в кабину, как ни в чем не бывало, говорит ему:

— Мы тебя тут уже полночи ждем. Смерзли. Где тебя носит?

Михаил тупо смотрит на нее из кабины. Все лицо у Шелоро в родинках налипшей на него грязи и в размазанных подтеках, как будто кто-то возил ее за цыганскую косу по мокрой земле. Но зубы сверкают сквозь грязь.

— Теперь мы его можем тебе спокойно на руки сдать. Там, на верандочке, он пока без памяти лежит, потому что с мотоцикла упал. А нам уже тоже давно пора домой.— Соскакивая с подножки самосвала, Шелоро сердито зовет: — Егор!

Все еще ничего не понимая, Михаил видит, что и Егор, муж этой Шелоро, тоже находится здесь. Но он почему-то не при лошадях, как всегда, а поодаль от брички рядом с мотоциклом стоит, скрадываемый полумглой.

— Принимай, принимай, Михаил, от нас своего родича,— весело требует Шелоро.

— У меня здесь никаких родичей нет,— на всякий случай говорит Михаил. Ничего хорошего от этой ворожеи он не может ожидать.

— Ну, так, значит, у твоей молодой жены есть. Разве твою жену, Михаил Солдатов, не Настей зовут?

— Ее сейчас нет дома.

Желтый парус света, падающего от невыключенных фар самосвала, наискось пронизывают серебристые нити изморози, опять переходящей в дождь. На бричке выгнулись ребра шатра. За спиной Шелоро топчется, хлюпая водой в сапогах, Егор.

— Егору уже сказали в гараже,— сочувственно говорит Шелоро. Тут же она деловито интересуется: — Сын или дочь? А может, она тебе сразу двойню принесла?

— Об этом еще рано говорить,— сухо отвечает Михаил.

— Бедная,— догадливо заключает Шелоро,— это она мучается сейчас. Но ты не дюже печалься. Это всегда по первости так бывает, а потом она начнет их тебе каждый год катать. Полные углы накидает. Правда, Егор?

За спиной у нее стыдливо хлюпает. Взор Михаила неотвратимо притягивают к себе большие ноги в сапогах с резиновыми рубчатыми подошвами, торчащие из-под старой армейской плащ-палатки на верандочке коттеджа. Лицо накрытого плащ-палаткой человека прячется под навесом верандочки в темноте.

— Ничего, к тому времени, когда Настя вернется из роддома, он уже будет на ногах,— перехватывая взгляд Михаила, успокаивает Шелоро.

Чертова ворожея! Мало того, что она издевается над своими же собственными детишками, которые сейчас мокнут и мерзнут в бричке под дырявым шатром, ей еще захотелось поиздеваться и над ним. Всю жизнь Михаил мечтал о такой родне! С первого же дня после свадьбы с Настей у него вдруг сразу объявилась целая армия таких родичей, которые ему раньше и не снились. Редкий вечер обходился без того, чтобы не подворачивал к их крыльцу сын этого смуглого племени верхом на коне или не въезжала в ворота их усадьбы вот такая же, с халабудой, телега с ворохом чернокурчавых детишек, и никому нельзя было отказать в ночлеге во избежание кровной обиды. Но такого еще не было.

— Вот и хорошо,— по-своему истолковывая его молчание, с удовлетворением говорит Шелоро.— Теперь и нам можно к своему коттеджу ехать. Трогай, Егор! Нет, нет, ты теперь на бричку садись, мотоцикл останется здесь. Он при своем хозяине должен быть, нам чужого не нужно. Ты оглох, Егор?! Сколько раз можно повторять?!

Только теперь Михаил соображает, что сейчас уже совсем уедут они. И тогда ничего нельзя будет исправить.

— Вы его подобрали, вы и берите с собой,— хрипло говорит Михаил.

Шелоро, уже наступившая на ступицу колеса, удивленно оборачивается.

— Вот ты, оказывается, какой! Вы с Настей всего вдвоем в большом доме живете, а нас— десять.

Голос Егора уточняет из полутьмы:

— Восемь.

Грозно оглядываясь на него, Шелоро выпячивает под свет невыключенных фар самосвала свой живот.

— К лету опять не меньше двойни будет. Ему, как больному, покой нужен, а у нас по нем детишки будут ползать.

Впервые Егор высовывается из полумглы в нахлобученном на уши картузе с блестящим козырьком.

— Я им поползаю! Пусть только попробуют.

— Ну, тогда я его с собой положу.

На эту тему Егор шуток не терпит. Он поднимает свой кнут с махром вровень с лицом Шелоро и, встряхнув, водит им прямо перед глазами у нее.

— А это ты не видала?!

Некоторое время она как завороженная тоже водит глазами вслед за движением махра и потом заявляет:

— Ну и черт с тобой! У меня дети уже насквозь промокли. Если их родному отцу какой-то чужой человек дороже, пусть он с ним и остается, а я им родная мать. У них, слава богу, еще мать есть.

И, вспрыгнув на передок брички, она натягивает вожжи. Егор едва успевает прыгнуть вслед за ней. Круто разворачиваясь на месте, бричка брызгает из-под колес на стекло самосвала смесью земли со снегом и пропадает в темноте.

Продолжение следует.

Книга вторая

ЦЫГАН

Анатолий КАЛИНИН

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

...Ох, и тяжелый этот цыган. Как из железа. Это тебе не Настя, которую Михаил без чужой помощи смог поднять с пола в зале и донести на руках до своего самосвала, хотя и она тоже обвисла у него на руках, как неживая. Правда, от самосвала до роддома ее уже несли на носилках санитары.

И почему это люди, когда они без памяти, всегда становятся тяжелее? А Егор, как ни в чем не бывало, тоже поспешил улизнуть, сдав его на руки Михаилу. Как будто он и в самом деле родня этому цыгану. Всю свою жизнь Михаил прожил без такой родни — и вот теперь радуйся.

Ничего другого не остается, как сзади, со спины взять его под мышки и попробовать втянуть в дом волоком. Голова у него свесилась набок, вот-вот оторвется. А борода на бледном, без кровинки лице — как тот же куст чернобыла на белом снегу.

Теперь же пусть он пока посидит, прислоненный спиной к стене. Пока для его цыганского величества постелят на диване постель в зале. И надо с него снять сапоги перед тем, как втаскивать на диван. Гляди-ка, а нога у него совсем маленькая, хоть сам он и не мелкий. Ничего себе мужик, кило на сто потянет. Недаром отец Михаила хвалился матери, что у казаков ноги маленькие потому, что они от века больше верхом ездили. Значит, и у цыган потому же. Всю жизнь только и знают кататься, пёши не ходят.

Ну вот, а теперь можно и одежку снимать. Так ему будет вольнее дышать. Сколько же, интересно, он еще собирается вот так с открытыми глазами лежать?! Смотрит, а не видит. Как будто у Михаила никаких других дел нет, чтобы сидеть возле него и дежурить, когда он придет в память.

— Эй, дядя! — Михаил затряс Будулая за плечо.

Ничто не дрогнуло на все так же бескровном, белом лице. Тогда Михаил стал трясти его за оба плеча — и снова не услышал в ответ ни звука. Только голова перекатывалась на постели с бока на бок. Даже ничуть не вздрогнули веки. Глаза смотрели все так же туманно и отчужденно.

Михаилу стало не по себе. Он оказался в доме один на один с человеком, который совсем не хотел отзываться на его слова и не подавал признаков жизни. И все из-за нее же, из-за Насти. Но она, слава богу, не знает ничего. Еще не хватало ей об этом знать.

Значит, никак не обойтись без того, чтобы израсходовать на этого родича тот спирт, которым поделился с Михаилом в прошлом месяце на паромной переправе через Дон знакомый шофер из Раздорского винсовхоза. Ни-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 22—24.

чего не поделаешь! Жаль было Михаилу этой бутылки с виноградным ректификатом, сберегаемой им в кладовке до дня рождения первенца. Но теперь и это уже ни к чему. Поздно было жалеть.

Он сходил в кладовку за спиртом, смочил им суровое полотенце и, закатывая нижнюю сорочку на груди у Будулая, даже вздрогнул: вот это ну! Кто же это его учил так с мотоцикла падать?! Ребра, кажется, остались у него целые, а шкура вся вздулась и почернела, как овечий кожух. И под нею в груди у него булькает и клокочет так, что страшно слушать. Ничего, потерпи, цыган, сейчас спирт начнет и эту черноту в себя забирать и дыхание откроет. Вообще он тебя должен согреть. Конечно, лучше, когда он согревает изнутри, но тут уже ничего не попишешь. Нельзя тебе. Чистый спирт — не какое-нибудь церковное вино, не кагор, чтобы им можно было с ложечки поить, от него задохнуться можно. А ты и без того почти не дышишь. Давайка лучше я на бок тебя поверну и вотру его еще между лопаток.

Легко сказать «поверну», если сам он никак не ворочается, как мертвый. Так Михаил и поверил этой ворожее, что он с мотоцикла упал. А почему же тогда и голова у него вся вспухшая, как шар, хотя ни единой царапинки нет на ней? Как будто ею подсолнухи молотили. Кто его так обработал?

Хорошо еще, что не при Насте его привезли. Вот бы полюбовалась. Умеют бить, подлецы. Кому-то, значит, ты поперек дороги оказался, цыган Будулай.

Терпи, чертов родич. Конечно же, больно, если шкура на тебе так и вздрагивает под пальцами, но зато потом будет легче. Мне еще осталось тебе ноги растереть — и как раз всей бутылке будет конец. Чистейший ректификат приходится тебе в твою цыганскую шкуру втирать. Вместо того, чтобы выпить его за здоровье своего первенца и его матери. Бедная Настя, как она кричала: «Не будет у нас, Миша, ни сына, ни дочери!»

Теперь он, должно быть, и до твоих внутренностей достиг и ты уже весь в моих руках пьяненький, а это значит, что скоро пройдет и твоя боль. Терпи. Было время, когда и мне ты белый свет заслонял, но сейчас беда не со мной, а с тобой. И я по милости Егора с Шелоро обязан теперь возжаться с тобой, как будто ты и в самом деле мне какой-нибудь брат. После сочтемся, хотя, если разобраться, у меня против тебя ничего уже не осталось, раз ты тогда после свадьбы с моей дороги ушел. Ты, оказывается, не совсем бессовестный цыган, и поэтому, должно быть, я теперь вожусь с тобой. Видела бы Настя, как я тебя растираю чистейшим виноградным спиртом вместо того, чтобы его по случаю рождения нашего первенца пить.

Нет и больше никогда уже не будет у нас с Настей первенца, потому что...

Тут вдруг в сознании Михаила с такой обжигающей отчетливостью связалось, что он задрожал: потому что добегалась она по всей степи за этим цыганским кузнецом, которого он же, Михаил, и отогревает сейчас своими руками от смерти. Вот ведь какие узлы завязывает жизнь!

Но ты все равно должен до конца оставаться человеком, Солдатов Михаил, а там видно будет. Сейчас, цыган, сейчас, проклятый родич, я вотру в твою шкуру последние капли, и ты будешь жить. Пьянствуй, я не жадный. По твоей наружности никак нельзя сказать, чтобы ты на кузнеца был похож, а вот теперь-то я уже лично убедился: кузнец. И тело у тебя такое, как будто его тоже кто-то из железа отковал. Вот еще почему они не смогли тебя до смерти забить. Неужели же ты им так просто дался, цыган?!

Давай-ка переворачивайся опять на спину и теперь хочешь закрывай свои черные гляделки, хочешь с открытыми лежи. Все равно от тебя до самого утра уже ничего не добьешься. Целая бутылка ректификата на тебя, чертова родича, до последней капли ушла. Спи. А утром я к тебе докторов привезу.

Уже вызрели и начали осыпаться над табунной стелью последние звезды, а над поселком конезавода все еще реяло перламутрово-матовое облако света. Давно улегся звон столкнувшихся при встрече фронтовых друзей — грудь к груди — золотых и серебряных наград, высохли слезы. Выпито было цимлянское, которое всю ночь полыхало в бокалах над столиками, когда вставали для тостов.

Можно было размягченно откинуться на спинки стульев, незаметно расстегнув мундиры и чекмени.

— А этот жеребец на четвертом отделении только что не говорит. Так и ковыряет своими глазами под сердце. Ни одного пятнышка. Из чистого золота слит.

Генерал Стрепетов поискал глазами среди столиков.

— О нем вам, Сергей Ильич, мой бывший ординарец еще кое-что может рассказать.

И опять Тимофей Ильич не заставил себя ждать:

— Мало того, что он у нас вдребезги своими копытами стенку новой конюшни разгромил, он потом еще, оказывается, сумел вплавь переправиться через Дон и прямым ходом представиться на конезавод. А я теперь изволь по этой распутице транспортируй его обратно.

— Ну нет,— отрубил генерал Стрепетов,— назад ты его у меня не получишь. Стеречь надо было. У меня здесь, несмотря на круговую осаду конокрадов, еще ни одна голова не пропала. А деньги за него я могу тебе хоть сейчас вернуть.— Поворачиваясь всем туловищем к своему бывшему корпусному начальнику Горшкову, генерал Стрепетов пояснил: — Этот Гром у них там за своим бывшим табунщиком тосковал. Даже через Дон переплыл.

Общий разговор за столиками все больше рассыпáлся на мелкие осколки:

— Ты бы, Ермаков, нас тоже к себе на дегустацию повез.

— Мы с тебя дорого не возьмем.

— А Шелухин что-то крылья опустил.

— Скучает без молодой жены.

— Надо было дерево по силе ломать.

Должно быть, этот-то момент и счел наи-

более подходящим водитель генерала Стрепетова, чтобы приблизиться к своему начальнику и наклониться к его уху для какого-то не терпящего отлагательства сообщения. Тот самый водитель, который возил генерала еще на фронте. Но тогда он был черный, как майский грач, а теперь младенчески розовое темя уже просвечивало у него сквозь тщательно зачесанные на один бок волосы.

Генерал Стрепетов рассеянно слушал его, слегка повернув голову, и вдруг зловеще переспросил:

— Какая такая цыганка? Я же русским языком приказал никого не пускать.

— Это Шелоро Романова,— пояснил шофер.

— А-а!—торжествующе воскликнул генерал Стрепетов и, сунув руку в карман, чем-то там побренчал.— Гони ее к коменданту.

— Она говорит, ей только начальник конезавода нужен.

Генерал Стрепетов поднял глаза к круглым электрическим часам на противоположной стене, на которых стрелки уже показывали два часа ночи, и иронически осведомился:

— А еще так часика через два она не могла подойти?

Водитель нерешительно топтался возле не-

го, намереваясь еще что-то сказать, но тут вмешался бывший комкор Горшков, который, повернув горбоносое лицо, давно уже прислушивался к их разговору:

— Ты, Михаил,— попенял он Стрепетову,— или зажал их всех тут в кулак, или разбаловал совсем. За каждой мелочью, как к няньке, идут.

Уязвленный этим замечанием бывшего фронтового начальника, генерал Стрепетов набросился на своего водителя так, что тот отшатнулся.

— Могу я со своими товарищами хоть одну ночь спокойно посидеть?!

Пристыженный водитель поспешил удалиться от него на цыпочках, но генерал Стрепетов остановил его властным окриком:

— Открыть окна!

Красными парусами, выплеснутыми ветром из настежь распахнувшихся окон, захлопали шторы. Тотчас же вторглась снаружи влажная свежесть табунной степи. Сладостью первого заморозка и прелью трав задышала она.

— А в городе можно и от запаха сена отвыкнуть,— почмокав губами, сказал Привалов.

Вдруг Шелухин, который давно пасмурно горбился за своим столиком над пустым графином, громко заявил:

— Все! Решаюсь, Михаил Федорович! Бросаю свой дом с виноградным эдемом на сто кустов и переезжаю сюда. Никакого моего терпения больше не хватает.— Он угрожающе добавил: — А тот, кто со мной не захочет сюда поехать, может остаться в эдеме.

Генерал Стрепетов, не скрывая удовлетворения, приподнял щеточку седых усов над белыми молодыми зубами.

— И ты что-то весь вечер ко мне прицеливаешься, Ожогин? Думаешь, не вижу. Али тоже посвататься хочешь?

Но Ожогин, не принимая его шутливого тона, ответил:

— Хочу.

Такого оборота даже генерал Стрепетов, как видно, не ожидал. Оказывается, сразу двоих фронтовых сослуживцев он, сам не подозревая, завербовал на конезавод.

— Ты же обещал меня в лично тобой выращенный сосновый бор свозить.

— Я и теперь, Михаил Федорович, не отказываюсь. Но, во-первых, после того как...— Ожогин так и не стал пояснять, что он имел в виду,— мне в этом сосновом бору никак оставаться нельзя, а во-вторых, мне уже надоело, когда из главка приезжают гости, к ним на выстрел кабанов и лосей гнать. Я, Михаил Федорович, согласен хоть в помощники табунщика пойти.

Начальник конезавода генерал Стрепетов обиделся.

— Что значит ты согласен? Это еще надо проверить, какой из тебя помощник табунщика будет. По-твоему, Ожогин, выходит, раз ты в кавалерии служил, то тебе сразу же можно и табун племенных лошадей доверить. Нет, это не так просто. Табунщик в коневодстве фигура, можно сказать, главная...

— Правильно, Михаил Федорович,— прерывая его, вмешался Шелухин.— Мне вы можете самую незаметную должность поручить. Я согласен хоть из конских хвостов репьи выбирать, только бы при лошадях быть. Берите меня, Михаил Федорович, чтобы я там,— он неопределенно мотнул головой,— совсем не погиб.

Генерал Стрепетов больше всего в жизни не терпел двух вещей: когда в обращении с ним нарушали субординацию и когда кто-нибудь позволял себе прерывать его.

— Молчать, Шелухин! Вы, должно быть, забыли, с кем...— И тут вдруг генерал Стрепетов вспомнил: нет сегодня на этой встрече ни генералов, ни рядовых. Все равны. Вспомнил и поспешил загладить перед старыми товарищами вспышку своего гнева.— Разве я лично против? Я, наоборот, Шелухин, очень рад. Мне такое пополнение в твоем и Ожогина лице в настоящий момент очень кстати. После того, как на трех из четырех отделений у меня разбежались все цыганские табунщики во главе с известным всем Будулаем.

— Тоже, значит, потянуло покочевать,— возмегодовал полковник Привалов.— А еще меня, своего бывшего комиссара корпуса, заверял, что это он взял себе отпуск.

Генерал Стрепетов, спохватываясь, решил восстановить справедливость:

— Он, Никифор Иванович, действительно значится у меня в отпуске без сохранения оклада.

Но возмущенный Никифор Иванович Привалов уже не слушал и его.

— Знаем мы эти цыганские отпуска. У нас на терском конезаводе, где я сразу после войны замполитом служил, тоже такие были. Зимой еще ничего, вращается с табуном, а чуть только весенним духом потянуло, поминай как звали... И даже на эту встречу ветеранов нашего корпуса не соизволил прибыть.

Негодующий женский голос внезапно перебил в этом месте Никифора Ивановича Привалова:

— Нет, он здесь!

И снаружи, из распахнутых настежь створок окна, высунулась голова в ярком, цветастом платке. Шелоро Романова, которую все время не допускало к генералу Стрепетову предусмотрительно выставленное вокруг новой столовой конезавода сторожевое охранение, все-таки сумела улучить минуту и прорвалась.

Генерал Стрепетов побагровел до корней своих остриженных ежиком седых волос.

— Это еще что за привидение среди ночи? Кто тебя сюда приглашал?

— А я без приглашения.— Путаясь в своих юбках, Шелоро уже перелезала снаружи через подоконник прямо в столовую.— Потому что пока ваша стража допустит меня до вас, Михаил Федорович, он уже может помереть.

Генерал Стрепетов поднялся со своего места.

— Что ты мелешь?! Кто это может умереть?

Поднявшийся рядом с ним Никифор Иванович Привалов дотронулся ему до локтя.

— Будулай.— И Шелоро в упоении продолжала, как если бы это была чистая правда: — Он как раз на встречу с вами спешил, а эти фашисты ему не дали. Теперь он у своего родственника Михаила Солдатова без памяти лежит.

Теперь ей можно было и удалиться с гордым сознанием исполненного долга. Подбирая свои юбки, Шелоро уже стала заносить ногу на подоконник, чтобы тем же путем вернуться обратно, но приказание генерала Стрепетова остановило ее:

— А ну-ка подожди! Только за этим ты и явилась сюда?

— Только за этим.

— И больше тебе ничего не нужно мне сказать?

Полуоборачиваясь, Шелоро независимо фыркнула:

— Очень мне нужно.

Но все-таки ногу, уже занесенную было на подоконник, она опустила, оставаясь с приподнятыми кончиками пальцев юбками над смуглой, без чулка ногой. Она презрительно улыбнулась, увидев, как все присутствующие мужчины так и воззрились на ее ногу с белой каемкой незагоревшей кожи под коленкой.

— А ты подумай лучше,— настаивал генерал Стрепетов.

— Пускай кобыла думает,— привычно отпарировала Шелоро.

— Не будешь потом жалеть?

Шелоро дернула плечом, между тем как юбки над своей ногой, привлекшей внимание мужчин, она продолжала поддерживать, не забывая при этом зорко следить за движениями генерала Стрепетова, который что-то шарил рукой у себя в кармане. Что-то там звякало и звенело у него. Глаза у Шелоро на мгновение расширились, но тут же она равнодушно отвернулась.

— Мне не о чем жалеть.

— И, значит, это все, зачем я понадобился тебе?

Шелоро вдруг с вызовом повернулась к нему лицом.

— Да, все!

— Видите, какие мы гордые.—Генерал Стрепетов обвел взглядом присутствующих, приглашая их в свидетели.— А вы там забились по своим куткам кто в Ростове, кто в Краснодаре, а кто в Москве и не знаете, какие они теперь у нас сознательные пошли.— Взгляд его опять вернулся к Шелоро.— Ты что же думаешь, я по старости уже совсем ослеп и не знаю, что вокруг меня происходит на территории конезавода?

— Ничего я такого не думала,— начала Шелоро.

Но генерал не стал ее слушать:

— ...и как ты требовала посреди ночи от коменданта поселка, чтобы она выдала тебе, вынь да положь, ключи?

Шелоро непритворно удивилась:

— Какие ключи?

Брови у нее, как две мохнатые гусеницы, поползли кверху.

И снова генерал Стрепетов пренебрег ее удивлением, повышая голос, но все же удерживая свой гнев в берегах:

— А твой Егор в это самое время разбивает под лесополосой свою дырявую халабуду, чтобы ваши голодные детишки не совсем замерзли под дождем и ветром?!

Шелоро невольно вздрогнула: откуда ему могло быть известно, где теперь находились ее детишки? После того как комендантша, которую подняли с теплой постели, раскричалась на весь поселок, чтобы за ключами от коттеджа обращались лично к начальнику конезавода, для Шелоро действительно ничего иного не оставалось, как приказать Егору разбить до утра под лесополосой их шатер. Не могло же об этом генералу Стрепетову цыганское радио донести?

Вдруг генерал Стрепетов, задохнувшись от гнева, резким движением дернул себя за воротник мундира, расстегивая его. Голос у него взрокотал так, что старые фронтовые товарищи невольно сдвинулись вокруг него, а рука Никифора Ивановича Привалова легла ему на плечо.

— И ты им, конечно, будешь объяснять потом, что начальник конезавода генерал Стрепетов зверь и людоед, который лежит на пороге их дома, подложив под голову ключи, да?!

Он уже не сдерживал свой гнев, лицо у него налилось кровью. Шелоро, несмотря на свое бесстрашие, отступила от него на два шага.

— Да знаешь ли ты, ради кого я с моими товарищами все четыре года войны...— Одним взглядом он охватил строго побледневшие лица своих фронтовых товарищей и, пошарив рукой в кармане, выбросил ее вперед, к Шелоро, так, что она еще больше отшатнулась от него: — Возьми.— На ладони у него вспыхнула связка ключей.— Я ждал, когда ты сама за ними придешь.

Мгновенным безошибочным движением Шелоро схватила у него с ладони ключи и тут же повернулась, чтобы на этот раз уйти окончательно и бесповоротно, но властный окрик генерала снова пригвоздил ее к месту:

— Не уходи! — Никаких следов волнения уже не оставалось у него на лице. Своим обычным, насмешливо недоверчивым голосом он напомнил ей: — Ну, а когда пригреет весеннее солнышко, смотри не забудь их опять мне вернуть.

Самые противоречивые чувства распирали грудь Шелоро. Ей и плакать хотелось так, что только величайшим усилием она давила и загоняла обратно клокотавшие в горле слезы; и почему-то стыдно было, как никогда еще в жизни; и гордое желание отомстить за этот стыд вставало в ней на дыбы. Она облизнула кончиком языка пересохшие губы, враждебно пообещав генералу Стрепетову:

— Не забуду.

— Ты ведь, когда пригреет солнышко, опять скажешь своему драгоценному Егору «бэш чаворо», да?

Если бы не эта явная насмешливость в тоне и словах генерала Стрепетова, то Шелоро, пожалуй, было бы и не справиться с собой. Никогда еще не испытанное чувство благодар-

ности к этому суровому человеку застилало ей глаза и душило ее за горло, но он же, этот человек, хотел и обидеть ее, возмущая ее гордость, в этого она еще никому не прощала.

— Скажу! — выплеснула она ему в лицо с такой яростью, что теперь уже он попятился от нее.— А вы как же думали, товарищ генерал, вам здесь можно перед друзьями своими конями хвалиться и слезы над ними проливать, а цыгану на лошадь теперь и взглянуть нельзя?! Как, значит, посадили тебя на землю, так и про свою природу забудь?! Как будто ее не было у тебя. Вот тебе лопата, вот мастерок, можно и трактор или даже машину, а про то, чтобы у тебя был свой собственный конь, и не думай. Над генералом Стрепетовым и его фронтовыми дружками, когда они обливают своими горючими слезами коней, никто не посмеет смеяться, а над цыганом с уздечкой может каждый. У казака может быть своя печаль о коне, а у цыгана нет. Он на нее не имеет права. И на свою цыганскую природу он должен раз и навсегда наступить ногой, пусть она не плачет. Прямо ей на горло, чтобы ни одной слезинки — ни-ни! Наступил — и дави до конца, чтобы она никогда уже не воскресла. Что же вы замолчали со своими боевыми друзьями, товарищ генерал, и все время отступаете от меня, как будто я какой-нибудь вражеский танк? Я, может быть, эти слова берегла для вас всю жизнь. Вот и дождались. А за ключи спасибо.

И, круто поворачиваясь на месте, овеяв всех присутствующих ветром своих юбок, она шагнула к распахнутому в ночную табунную степь окну и исчезла в нем так же быстро, как появилась. Генерал Стрепетов всего лишь и успел обвести своих товарищей изумленным взглядом!

— Видали?!

Никифор Иванович стиснул его плечо рукой.

— Но спасибо тебе за своих детей, сказала она.

Михаил Солдатов собрался уже выключить свет, чтобы наконец-то позволить себе уйти в свою комнату и там зевалиться на кровать, когда, еще раз скользнув взглядом по лицу Будулая, заметил в нем перемену. Цыган все так же навзничь лежал на диване со вздетой кверху бородой, и все-таки это уже был совсем не тот Будулай, которого Михаил только что раздевал и укладывал на постель. Что-то в его лице и во всем облике неуловимо изменилось. По лицу его пробегали судороги, брови шевелились и, сдвигаясь к переносице, стягивались в узел, как будто он силился и никак не мог вспомнить что-то необычайно важное. Кисти больших рук, выпростанных поверх одеяла, вздрагивали.

Но веки теперь у Будулая были плотно сомкнуты, как у крепко и спокойно спящего человека. Постояв над ним, но так и не решившись окликнуть его, Михаил на цыпочках отошел от дивана.

Что ж, если он и без памяти или во сне, а так волнуется, значит, не вся ушла из него жизнь. И что-то не похоже, чтобы этот могучий кузнец согласился так просто с ней расстаться. Может, еще и оклемается.

Во всяком случае, Михаил не против. В данный момент у него совсем не оставалось свободного времени, чтобы отхаживать этого новоявленного родича. Еще не хватает взять у генерала Стрепетова отпуск без сохранения содержания и превращаться в милосердного брата.

Выключив свет, Михаил едва успел добраться до своей кровати и бесчувственно рухнул на нее.

...И все это за одну только ночь.

С первого же часа после отъезда Тимофея Ильича на конезавод Клавдия не могла найти себе места. Знала, что никак не успеет он вернуться оттуда раньше, чем к вечеру следующего дня, и все-таки уже с самого утра, заступив на свою смену на птичнике, подстерегала каждую машину из-за кручи на спуске из степи в хутор. Так и вздрагивала каждый раз, заслышав рокотанье мотора, и всякий раз, когда на повороте появлялась машина, испытывала страшное разочарование, что это или самосвал, или техпомощь, или же рейсовый шахтинский автобус, а не председательская кофейная «Волга». От жгучей и непонятной обиды ей хотелось плакать.

Катька Аэропорт, которую она, после того как уехала Нюра, взяла себе в помощницы на птичнике, долго наблюдала за ней и не выдержала:

— Шла бы ты лучше домой, стиркой или чем-нибудь другим занялась, смотреть на тебя тошно. Курам зерно сыплешь, а у самой слезы сыплются. Убиваешься по своим деточкам, как по мертвым. Никуда они от тебя не денутся, как были твоими, так и остались. Жди, они еще начнут тебе своих цыплят на воспитание подбрасывать, за этим дело не станет.— Катька Аэропорт вырывала из рук Клавдии ведро с зерном.— Ступай, ступай, скоро и я, на тебя глядючи, как летошная телка зареву.

Но Клавдия, молча борясь с Катькой, не отдавала ей свое ведро, даже из-за ее плеча продолжая наблюдать за дорогой. В конце концов Катька Аэропорт отставала от нее.

— Ну и черт с тобой, квочка несчастная! До каких же пор ты их собиралась под своими крыльями греть?! Скоро уже твои глаза от слез совсем выцветут и никому ты уже не будешь нужна — ни цыганам, ни русским.

И за всю ночь Клавдия не сомкнула глаз. Еще не начинала она топить зимнюю печь, а в доме, особенно по ночам, было невыносимо жарко. Накинув на голые плечи платок, она выходила на крыльцо и долго стояла, не отрывая глаз от Задонья. Там гривы далекого света то и дело взметывались над темной степью, похоже, над той самой дорогой, по которой и она когда-то ездила на конезавод. Ох, и давно же это было! Целая вечность прошла.

Красные и зеленые звезды скатывались с высокого и холодного неба. Иногда собака за Доном, на скотном базу, подавала голос, иногда в соседском дворе гуси начинали тревожно бормотать, а иногда и конское ржание доносилось из конюшни. Лошади беспокоились, с трудом отвыкая от летней воли.

Но такого голоса, как у Грома, ни у одной из них не было. Его и в степи было слышно, как самую большую трубу в духовом оркестре.

Утром она, встав раньше, зашла по дороге на птичник в старую кузню. Ее давно уже не замыкали. С дневного света глаза медленно привыкали к полумраку. Даже и теперь еще не выветрился из бездействующей кузницы запах курного угля, горелого железа. Но похозяйски обжившие ее воробьи безбоязненно влетали и вылетали в раскрытую фортку, колеблемую дуновением ветра.

Тускло светилось выработанное кузнечными молотками и молотами до зеркальной синевы ложе наковальни. Самый большой из них, торчмя оставленный на земле, прислонился к ней гладко отполированным деревянным плечом.

У Клавдии бурно забилось сердце. Когда-то она строго-настрого заказывала Ване сюда ходить. Вот и заказала.

День тянулся мучительно медленно. До обеда одна лишь хлебовозка из Мелиховского сельпо и сползла из-за кручи по крутому спуску в хутор. Не в силах больше справиться с собой, Клавдия вдруг сама сунула в руки Катьки Аэропорт свое ведро с зерном для несушек и почти бегом стала подниматься по дороге наверх, в степь.

— Куда ты? — удивленно крикнула вслед ей Катька.

Но Клавдия не оглянулась.

Тимофея Ильича она дождалась на горе, в степи, уже в сумерки. Завидев его заляпанную грязью «Волгу», вышла из лесополосы поперек ей прямо на середину дороги. Тимофей Ильич едва успел вильнуть, объезжая ее, и, затормозив, выскочил из машины с воздетыми кулаками.

— Да я тебя сейчас, чертова раззява! — в ярости закричал он с добавлением соответствующей моменту приправы и, узнав Клавдию, опустил кулаки.

Он бы не пожалел и ее в этот момент потому, что вина ее перед ним была несомненна, и еще неизвестно, чем бы все это могло кончиться, не окажись он на высоте своего положения за баранкой. Но ему достаточно было лишь взглянуть на лицо Клавдии, чтобы он все понял. Тимофей Ильич не считал себя большим знатоком человеческого, а тем более женского сердца. И когда бы ему успеть было разбираться в этих тонкостях, если даже спать приходилось не больше четырех-пяти часов в сутки, да и то главным образом на семинарах и симпозиумах в районе и в области.

Но ему и не надо было особенно разбираться, чтобы еще вчера, перед поездкой на конезавод, понять, зачем это Клавдии Пухляковой тоже вдруг вздумалось запроситься с ним в эту поездку. Не из любви же в самом деле к лошадям, в чем она с таким жаром старалась его уверить. В хуторе не то, что в большом городе, у каждого человека вся жизнь на виду, и не требовалось быть особенно сообразительным, чтобы догадаться о том, что давно уже было у всех притчей во языцех. Скажем, о том, с какой бы это стати одинокой и уже не первой молодости женщине не так долго раздумывать, когда ей вдруг улыбается счастье выйти замуж чуть ли не за генерала. Несмотря на семинары и симпозиумы, Тимофей Ильич все-таки находил время и для того, чтобы сопоставить кое-какие другие факты. И теперь, едва он взглянул на Клавдию, все они сразу всплыли в его памяти и соединились. Как будто кто включил большую лампочку и все осветилось.

Еще никогда он не видел ее такой потерянной, жалкой. Лицо у нее было измучено, глаза блуждали. Ему стало обидно за эту гордую и сильную женщину, которая до этого всю свою жизнь умела, чего бы это ей ни стоило, прятать от чужих глаз свои чувства. Теперь же она, как видно, уже отчаялась, и они вырвались из-под ее власти. Она вся была перед ним нараспашку.

Но она еще сделала над собой усилие, чтобы не выдать себя.

— А я, Тимофей Ильич, искала тут свою дурную корову, как вижу, ваша машина идет...

И в доказательство прижала к груди выломанную в лесополосе небольшую сухую ветку.

Жалость и ярость сплелись в голосе Тимофея Ильича, когда он, предупреждая вопрос, застывший в глазах Клавдии, почти выкрикнул ей в лицо:

— Дался тебе этот цыган! Еще секунда, и ты могла бы погибнуть под моей «Волгой», как под танком. Да вернулся он, вернулся, не плачь! Это его генерал Стрепетов без сохранения содержания с конезавода отпускал. Правда, поговорить с ним мне так и не удалось, потому что не до этого было. Шутка ли, почти весь донской корпус съехался на конезавод. А потом мне уже надо было ехать. Что же ты плачешь? Он еще объявится, твой Будулай.

Тимофей Ильич ни единого слова Клавдии не соврал. Все оно так и было. Но и всей правды он ей не сказал. Не мог он, глядя в ее страдающие глаза, этого сделать.

Цыганское радио, которое, опережая людей и события, вприпрыжку бежит по степи от костра к костру, от телеги к телеге, не замедлило присовокупить: этого и следовало ожидать. Все-таки доигралась и Настя, которая захотела над своими же цыганами прокурором быть, а потом взяла и выскочила замуж за русского шофера с конезавода. Не считай себя самой умной. Догордился и этот идейный Будулай. Не будет забегать впереди своего народа и учить его, как ему дальше жить. На это есть Советская власть. Вот и получил, что те же самые цыгане, мимо которых он проносился на своем железном коне, подобрали его, когда он выпал из седла на крутом повороте.

Продолжение следует.

Анатолий КАЛИНИН

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ЦЫГАН

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Генерал Стрепетов поклялся себе, что ни капли не позволит уступить того настроения, которое осталось у него с прошедшей ночи. Не такой был у него возраст, чтобы пренебречь тем давно не испытанным чувством, когда человек вдруг может проснуться в непоколебимой уверенности, что ничего, кроме только самого хорошего, наступающий день ему не обещает. И полусонная жена улыбнулась ему с подушки, как не улыбалась уже лет двадцать. И погоны с золотыми звездами вспыхнули на плечах встречного раннему солнцу совсем так же, как тогда под Белой Глиной в первый раз, когда комкор Селиванов по возвращении из штаба фронта достал их из своего планшета и выложил перед ним. И по дороге в контору конезавода молодой первый снег ухватил за ноздри так, будто кто-то рассыпал на нем люцерну.

Обычно, не задерживаясь и не глядя по сторонам, генерал Стрепетов проходил к себе в кабинет через приемную, где его с утра ожидали люди. Теперь же он орлом взглянул на них из-под серой папахи и даже кивнул им, в том числе и Шелоро, которая никак не могла рассчитывать на амнистию после их встречи ночью.

Проводив его взглядом, Шелоро поправила на груди новые мерикле, купленные ею на прошлой неделе в Новочеркасске, и, открыв сумочку, провела красным тюбиком по губам. Здесь ей можно было не бояться, что ревнивый Егор достанет ее своим кнутом, а на улице надо будет не забыть опять стереть краску.

Через пять минут генерал Стрепетов коротким звонком вызвал из приемной в кабинет свою секретаршу и, к немалому ее удивлению, сказал:

— Пусть первая войдет Шелоро Романова.— И когда Шелоро уже предстала перед ним, указал ей глазами на стул: — Ну, а теперь толком объясни, что ты там наговорила ночью. И что тебе еще от меня нужно?

Расправляя вокруг стула складки раздувшихся юбок, Шелоро скромно ответила:

— Я и вчера вам сказала, Михаил Федорович, что лично мне от вас ничего не нужно.

— Пусть будет так.— Генерал Стрепетов даже позволил себе улыбнуться.— Тогда зачем же ты раньше всех явилась ко мне на прием? Только говори без всяких цыганских подходов. Ты же знаешь, что через двадцать минут у меня летучка.

— Я бы вам еще ночью все могла рассказать, но вы...— Шелоро деликатно поправилась: — У вас не было времени.— Она придвинулась к столу генерала Стрепетова вместе со стулом.— Он сейчас на квартире у Солдатовых между жизнью и смертью лежит.

У генерала Стрепетова брови слились на переносице в один большой изморозно седой куст.

— Как это между жизнью и смертью?

Шелоро подвигалась, получше расправляя вокруг стула складки юбок, оглянулась на дверь.

— Я боюсь, что нам с вами опять не дадут договорить до конца.

Надавив на кнопку звонка, генерал Стрепетов вызвал секретаршу в кабинет.

— До летучки никого ко мне не впускать.— Он повернулся к Шелоро: — Ну?

У Шелоро вдруг сморщились губы.

— И что это за жизнь! Дома на меня Егор всю дорогу нукает, из-под кнута у него не выходишь, а теперь вот и вы, товарищ генерал...

Генерал Стрепетов не то чтобы смутился, но все-таки отвел свой взгляд от ее жалобных глаз и буркнул куда-то в сторону:

— Ладно, я совсем не хотел тебя обидеть. Но если хочешь, чтобы нам не помешали, то, пожалуйста, не тяни, пока у нас еще остается до летучки время.

Еще через два часа прилетел по вызову генерала Стрепетова из Ростова врач. С помощью местного фельдшера долго выслушивал и выстукивал Будулая, переворачивая его, покорно безвольного, со спины на бок и с бока на живот, белыми тонкими пальцами ощупывая ему голову и покалывая кожу на лице, на руках и ногах острием иголки. Ни одна при этом жилка не вздрогнула, не встрепенулась у безропотно послушного его рукам Будулая.

С привычной тщательностью вымыв над раковиной руки, врач доверительно обратился к своему младшему коллеге:

— Любая из этих травм могла бы привести к летальному исходу, и только своему могучему организму он обязан тем, что еще дышит. Но трогать его пока не будем, и я попрошу вас строго придерживаться всех моих назначений.— Тщедушный голубоглазый фельдшер в заштопанном белом халате, боясь лишний раз вздохнуть, ловил каждое его слово: — Все же я не стал бы утверждать, что все это только результат падения с мотоцикла.

При этих словах врача из груди Шелоро, которая все это время молча стояла у него за спиной, вырвался сдавленный всхлип:

— Я знаю, кто его убивал. Если надо, подтвердить могу.

Перехватывая взгляд врача, генерал Стрепетов поспешил предостеречь:

— Эта женщина все что угодно может подтвердить.

Шелоро с грустью сказала:

— Как я цыганка, так, значит, и ни единого разочка не могу правду сказать!

Генерал Стрепетов только покосился на нее. Но врачу захотелось разуверить Шелоро:

— Это вы напрасно. Если вы действительно хотите помочь следствию, то мили...

— Нет! — выкрикнула Шелоро так стремительно, что врач, не договорив, осекся на полуслове. Еще больше его удивило, когда эта красивая, хорошо одетая цыганка, которая только что жаловалась, что ей отказываются верить, даже когда она говорит правду, сама же и заявила: — Милиции тут нечего делать. Она здесь совсем ни к чему. Мало ли, если кому добровольно вздумается со своего собственного мотоцикла спикировать. Как будто у милиции никаких других дел нет. И за то, что она перед каждой цыганкой будет уши развешивать, ей тоже не станут жалованье платить. Цыганка все что угодно может наговорить. Наш начальник конезавода это очень хорошо знает.

Врачу только и осталось руками развести. Генерал Стрепетов беззвучно смеялся.

Оказывается, можно все до единого слова слышать, все-все, и быть не в состоянии ответить ни на одно слово, даже если это склоняются и говорят над тобой те, ближе которых у тебя уже никого не будет в жизни.

— А кто тут за ним, кроме фельдшера, будет досматривать?

Будулай мог бы поклясться, что он узнаёт и этот голос, хотя прежде и слышал его всего один-единственный раз. Это в тот день под Ага-Батырем, в терских бурунах, когда перед наступлением к его наковальне выстроилась целая очередь казаков с лошадьми. В этот час как раз и проезжал мимо него верхом на своем рыжем англо-венгерце комкор Селиванов с другими генералами и полковниками. Тот же самый голос, что и теперь, но не приглушенно хрипловатый, а тугой и звонкий, хвалился Селиванову:

— А как же Алексей Гордеевич, тут со всего тихого Дона и есть. И верхних, и среднего течения станиц, и низовские казаки. Как, Никифор Иванович, ваших зотовских дразнили?

— Неженатые наперед. Одна бабка прибежала к нашему атаману без памяти: «Из жита голова змея торчит». Атаман со всем станичным войском окружил этого змея и командует: «Неженатые наперед!» А когда подползли по-пластунски ближе, видят — верблюд.

И полковник Привалов, который тогда был совсем молодой, первый гулко захохотал на всю степь.

— Он, Алексей Гордеевич, про все станицы наизусть знает.— Будулай на всю жизнь запомнил, как комдив одиннадцатой Горшков, склоняясь с седла, обратился к нему: — Ты какой станицы, кузнец?

Как запомнил Будулай и тот взрыв смеха, от которого взметнулся песок:

— Я, товарищ генерал, цыган.

Теперь же Будулай должен был только слушать, ни слова не говоря, как начальник конезавода генерал Стрепетов отвечал на вопрос Горшкова:

— Не беспокойтесь, Сергей Ильич, здесь у него полно и цыганской и русской родни. Будет кому досмотреть.

Сразу два женских голоса подтвердили:

— Я с утра буду дежурить.

— А я после обеда.

Генерал Стрепетов, оглядываясь, нашел глазами Макарьевну.

— А, и ты здесь! Я еще поговорю с тобой, как водителей в своей корчме спаивать.

Макарьевна поджала губы оборочкой.

— Я за стакан своего неподмесного на двадцать копеек меньше беру, чем в кафе за плодововыгодное.

Еще потоптались они у постели Будулая. Генерал Стрепетов сказал на прощание:

— Смотри, Солдатов, ты теперь за него не только как за своего родича, но и как за луч-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 22—25.

шего табунщика будешь отвечать. А если что потребуется, скажем, те же продукты из нашей кладовой,— прямо ко мне.

После этого стали удаляться от постели Будулая шаги. Еще лишь явственно донеслось до него:

— Я бы этих подлецов сам перестрелял.

Хлопнула дверь. Все голоса сразу смолкли.

Как голоса самой молодости его.

Уже на улице генерал Стрепетов набросился на Михаила Солдатова:

— А самосвал у тебя почему по ночам перед домом стоит? Это что, твой персональный транспорт? В левые рейсы гоняешь?

При этих словах генерала Стрепетова все события минувшей ночи вдруг с мгновенной яркостью ожили и пронеслись перед взором Михаила. Комок жесточайшей обиды подступил ему к горлу, и он так ничего и не смог сказать, хотя у него было что ответить генералу Стрепетову.

Но в утреннем чистом воздухе уже раздался отчетливый ответ Шелоро:

— Вы бы лучше поинтересовались, Михаил Федорович, на каком персональном транспорте он этой ночью свою Настю рожать отвез.

Однако генерал Стрепетов не захотел пощадить Михаила Солдатова.

— Тем хуже! Как будто для этого, кроме самосвалов, у нас нет никаких других машин. Если той же «Скорой помощи» не нашел на месте, должен был прямо идти в гараж и брать мою «Волгу». Ты что же, первый день на конезаводе и не знаешь наших порядков?

И генерал Стрепетов из-под своего крутого лба взглянул на Михаила колючим, осуждающим взглядом.

Михаил поспешил отвернуться.

— Какая там ворожба! — обеими руками отмахивалась теперь Шелоро от цыганок, когда они на раннем рассвете по обыкновению заходили за ней домой по дороге на автобусную остановку.— Я же теперь по трехсменному графику живу. Откуда он только свалился прямо под колеса нашей брички?! Вот и сейчас, как только провожу своих школьников, а младшеньких доставлю в садик, так сразу же и надо к нему на дежурство бечь. И до самых двух часов, пока Макарьевна будет за воротами клиентов вербовать, пои этого идейного цыгана куриным супом или теплым молоком с ложечки, потому что ничего другого он не может есть. Но все равно надо ему зубы ножом разжимать. И еще за смену до пяти разов с бока на бок перевернуть, а в нем не меньше центнера. А после обеда обратно детишек из школы встрень, из садика забери, накорми и обстирай. Я раньше двенадцати никогда не ложусь, после весь день как в тумане хожу. И Егор у меня уже как беспризорный стал, сунешь ему какой-нибудь пирожок — и ладно. Он уже меня и к нему начинает ревновать, еще неизвестно, говорит, что ты там с ним делаешь по целым дням.— У Шелоро блестели глаза.— А что я с ним могу делать, когда он как бревно? — Доставая из-за выреза кофты обтерханную колоду карт, Шелоро вздыхала: — Нет, и в воскресенье я поехать не смогу. У нас этот трехсменный график без выходных: мы с Макарьевной по полдня дежурим, а Михаил по ночам. Ему тоже дыхнуть некогда, женился на свою голову на цыганке.— Шелоро ласкала в руке колоду карт.— Скоро я совсем ворожить разучусь.— Она решительно прятала колоду за вырез кофты, напутствуя подруг: — Побольше вам наворожить, детишкам гостинцев привезти, но чужого лучше не берите, с милицией не связывайтесь. На нашем конезаводе, слава богу, можно и без этого обойтись. Пора уже от воровства отвыкать.

В ответ подруги Шелоро невинно интересовались у нее:

— А чьи это две лошади у вас из сарая выглядывают? У вас же, кажется, не гнедые были.

— Приблудные,— не сморгнув отвечала Шелоро.— Они пристали к нам еще под совхозом Придонским. Утром проснулись, а они с нашей брички сено щиплют. Егор и запряг их вместо наших. А если в Придонском кинутся табун пересчитывать, все равно сойдется. У нас тоже добрые одры были.— До конца выдержав взгляды своих подруг, Шелоро переключила их внимание на другое: — Вечером с остановки не забудьте опять ко мне зайти. Я с этим несчастным Будулаем скоро совсем ничего не буду знать. Как там американцы, еще не нападают на нас? Я теперь как в темном колодце живу, не забывайте меня,— заискивающе просила Шелоро подруг.

Те дружно заверяли ее:

— Зайдем.

— Можешь не беспокоиться, Шелоро.

— И твоим детишкам гостинцев привезем.

Но уже на пороге какая-нибудь из них, самая острая, не забывала обернуться:

— Ты только поскорей выхаживай этого кузнеца, да смотри, чтобы Егор тебя с ним не застал.

С визгом они исчезали за дверью.

Как бы и вообще ни была изнурительна повседневная жизнь за рулем, особенно в ненастное время года, Михаил Солдатов не помнил, чтобы еще когда-нибудь ему приходилось укладываться в такой жесткий режим. Все у него теперь было рассчитано даже не по часам, а по минутам. Хорошо еще, что маршрут на станцию Атаман, откуда он последнее время возил железобетонные плиты для новых конюшен, лежал близко от райцентра, и ему приходилось делать лишь небольшой крюк, чтобы на обратном пути заехать на свидание с Настей. Но для этого надо было и выезжать из дому еще по-темному, чтобы надолго не застрять на станции в очереди других машин, и даже завтракать, не бросая руля, одной рукой выворачивая его, а другой нащупывая рядом на сиденье и развязывая тормозок с котлетами и пирожками, которыми снабжала Михаила в дорогу Макарьевна. Охота пуще неволи. Оказалось, можно было даже при этом наловчиться запивать пирожки горячим кофе из термоса. Никто, должно быть, кроме Шелоро, не смог бы заварить такой кофе, который тут же и сдергивает с глаз предательскую дрему, возвращая бодрость. Заваривать такой кофе, по словам Шелоро, ее научила знакомая ростовская цыганка Тамила.

И все-таки к концу обратного пути, когда запас кофе в термосе уже иссякал, Михаилу то и дело приходилось ловить себя на том, что он, внезапно вздрагивая и судорожно цепляясь руками за баранку, размыкает тяжелые веки. Никакой, даже цыганский кофе не сможет помочь человеку, если до этого ему целую неделю так ни разу и не пришлось выспаться от души. Чтоб ни единого раза не вскакивать, испуганно прислушиваясь к чужому прерывистому хрипению в доме. Не поднимать от подушки голову, всматриваясь в циферблат ходиков на стене и в синеву окон, разбавленную отблеском молодого снега.

Тем большей наградой было для Михаила, когда на обратном пути, свернув с трассы в окраинную улочку райцентра, он еще издали находил глазами в угловом окне второго этажа роддома — каждый раз в четыре нольноль — знакомый черный платок с крупными красными цветами. Настя уже выглядывала его. И мог ли он, что бы ни случилось в дороге с ним или с его самосвалом, хоть раз позволить себе не успеть к этим четырем часам нольноль минутам?

Но пока, слава богу, ничего не случилось за всю неделю. Даже ни разу не поймал скатом гвоздь на трассе, по которой днем и ночью нескончаемо двигался взад и вперед всевозможный транспорт, теряя по пути и оставляя за собой на асфальте все-все: от острых обломков проволоки, к которой подвязывают виноградную лозу, до хищно загнувшихся зубьев стальных переметов, которыми браконьеры перехватывают течение Дона.

На все, и даже на большее, был теперь согласен Михаил Солдатов. И на то, чтобы за ночь не меньше десяти раз на цыпочках подходить к постели беспамятного Будулая, вслушиваясь, как что-то булькает и скрипит у него в груди. И на то, чтобы после этого опять чуть свет мчаться за грузом через всю табунную степь под снегом или дождем. Только бы на обратном пути, подъезжая к двухэтажному кирпичному зданию районного роддома, увидеть наконец в угловом окне на бледном лице Насти, окаменевшем с того часа, как привез он ее сюда, хотя бы слабый проблеск улыбки.

Рано утром Клавдия разомкнула веки и тут же прикрыла их: режуще белый свет выжал из них слезы. Приподняв от подушки голову, увидела в окно, что за одну только ночь молодой пушистый снег все выбелил вокруг. Только Дон внизу, у подножия хутора, блестел вороненой спиной.

Едва успела накинуть на плечи кофту, как застучали на крыльце шаги, звякнула щеколда. С клубами морозного пара ввалилась Катька Аэропорт с оплетенной краснталом четвертью под мышкой. Гулко стукнув четвертью об стол, сразу же по-хозяйски нашарила в шкафчике у двери два стакана и стала наливать в них темно-красное, почти черное вино.

— Давай, Клава, с тобой за мою дорожку выпьем.— И, не ожидая Клавдии, запрокинув голову, она до донышка выцедила свой стакан, промокнула губы кружевным платочком.— Ну что ты так воззрилась на меня, я же, кажется, ясно сказала: за мою дорогу.— Наклоняя горлышко четверти, Катька опять наполнила свой стакан и опять, не отрываясь, выцедила его. Только после этого она развязала и откинула на плечи свой зеленый полушалок, расстегнула новое, с меховым воротником пальто и нашла глазами стул.— Видишь, какая я уже с утра набратая. Да, да, кончается моя хуторская жизнь, а что там дальше будет, слепой сказал, посмотрим. Ты только не подумай, что я собираюсь опять у тебя на груди рыдать. И не вздумай поверить всему, что я тут наговорила тебе прошлый раз. Мало ли что беременной бабе взбредет. Я тут тебе с тоски нагородила сама не знаю чего, а ты и разжалобилась.— Катька Аэропорт угрожающе повысила голос: — А я больше всего не хочу, чтобы меня кто-нибудь на прощанье стал жалеть. Видишь, какая я уезжаю из хутора веселая?! Ты мне не веришь?

Клавдия поспешила успокоить ее:

— Верю, Катя.

У Катьки Аэропорт упал голос:

— Врешь. Я по твоим честным глазам вижу, так и не научилась брехать за всю свою жизнь. Но рожать своего ребеночка я все равно буду не здесь.— Опять она повысила голос.— Я же тебе говорила, что у меня за Доном одна хорошая знакомая работает в роддоме медсестрой, к ней и поеду. И вообще...— Она запнулась.

Клавдия внимательно посмотрела на нее.

— Что-нибудь случилось, Катя?

Катька Аэропорт усмехнулась, глядя куда-то в окно.

— Больше того, что со мной уже случилось, ничего не может быть.— Тут же она твердо пояснила: — Но я ни о чем не жалею.— И еще тверже добавила, глядя прямо в глаза Клавдии жестким взглядом: — Чем скорее ты забудешь, о чем я наговорила прошлый раз, тем лучше будет.— Неожиданно она улыбнулась.— Я бы согласна, чтобы у нас тут опять военные учения были. Чтобы все до капельки повторить. И на лодке опять с моим рыжим квартирантом по ночам ездить, и на острове вместе с ним сено для коровы косить, ну и все остальное. Я на него, Клава, нисколько не серчаю. Он ведь сразу же и сказал мне, что для семейной жизни не подходит. И за что же мне теперь на него серчать, если он всегда со мной такой ласковый был? Он меня не силой взял, я еще за всю свою жизнь никогда такой веселой, как этим летом, не была. Наигралась за все прошлые, а может, и на будущие года. Я и сама сразу же поняла, что никакой он для меня не муж, на это нечего было и надеяться, из таких не бывает мужей. Но если ему на шею хомутом не вешаться, он для тебя все что угодно сделает. Хоть на Володин курган на руках доставит. Да, да, Клава, так оно и было. И он же ни за что не хотел, чтобы я потом матерью-одиночкой осталась. Не из-за него же, Клава, я теперь решила из хутора уезжать. Бедный сержант, если бы он только мог знать, что ни в чем не виноват передо мной!

Катька остановилась. Дальше она не стала пояснять, что именно должен был знать и не знал ее сержант. А Клавдия не расспрашивала. Что-то в последний момент удержало ее

от неизбежного в подобных случаях вопроса, уже готового сорваться с губ. Что-то подсказало, что лучше ей и совсем не знать того, о чем могла бы рассказать ей Катька Аэропорт.

Вдруг Катька низким голосом спросила у нее:

— Ты что же, совсем ослепла, что я уже вот-вот рассыпаться должна? — Она положила руку на свой живот.— Я думала, что ты еще перед летом могла сообразить, когда я купила себе в Шахтах широкий халат. Так при чем же здесь, скажи, пожалуйста, этот рыжий сержант? Если бы это он, мне бы еще почти до будущего мая ходить. Это я со зла на всех мужчин плела тебе, и на него, и на твоего совсем невинного мальчика. Не смотри на меня такими глазами, я и без этого знаю, что ты лучше меня. Но тебе, Клавдия, легко быть хорошей, с тобой всегда были дети, а я всегда одна. Хуже одиночества ничего не может быть. Особенно когда калмыцкий ветер задует на целый месяц. Под этот-то момент и подкатился ко мне тут один наш хуторской с такой же бутылью.— Она презрительно покачала на столе за красноталовую плетеную ручку четверть с вином.— А на другой день взял и посмеялся при всех перед киносеансом в клубе, что благодаря мне он на спор с дружками такую бутыль выиграл...— Катька налила из четверти вина в свой стакан, выпила его до дна и вытерла губы кружевным платочком.— Вот и закрутила я потом у него на глазах с моим рыжим квартирантом на все лето... Бедный сержант, еще немного, и я его действительно могла бы полюбить.— Катька Аэропорт вдруг встала.— Но больше я тебе, Клавдия, ничего не скажу. Теперь ты знаешь, почему я из нашего хутора уехать должна. Выпьем за мою дорожку.— Еще раз она налила из четверти темного, почти черного вина в свой стакан, в другой, давно налитый до краев, подвинула на столе к Клавдии. Клавдия взяла его.— А потом, когда все случится, завербуюсь, должно быть, на Цимлу, там, говорят, какой-то завод собираются строить. Там мне легче будет и квартиру получить. Наймусь посудомойкой в столовую или на крановщицу выучусь и буду из-под самого неба на все поглядывать да денежки ковшом грести. Крановщицам, говорят, хорошо платят. Как ты думаешь, Клавдия, смогу я на крановщицу выучиться или нет?

Ни капельки не лукавя, Клавдия ответила:

— Сможешь. Ты теперь, Катя, ради него, своего маленького, все должна суметь.

Катька Аэропорт поморщилась.

— Это ты брось! А за то, что тоже выпила за мою дорогу, спасибо тебе.— В третий раз она промокнула платочком губы, поставила на стол пустой стакан.— Значит, я все-таки не зря тут все утро выступала перед тобой. Но эту проклятую бутыль, извини, я заберу с собой. Она мне еще понадобится, когда я выйду на гору проезжим шоферам голосовать. И там мы еще посмотрим, товарищ бывший мой бригадир, кто из нас скорее станет героем соц... соц...

Язык уже не повиновался Катьке Аэропорт. Пошатываясь, она пошла к двери с оплетенной красноталом бутылью под рукой.

Клавдия не остановила ее.

Теперь и Клавдия уже твердо знала, как ей нужно будет поступить.

Тимофей Ильич сказал, что вернулся Будулай на конезавод, но после этого ничего не изменилось в ее жизни. И ничто не предвещает, что может измениться. Уже и перед мысленным взором расплываются его черты. Скоро совсем растают.

Как будто и не было его совсем. И теперь уже ни Ваня, который вот-вот уедет совсем далеко, ни Гром больше не напомнят о нем. Никто не напомнит и не подскажет, как ей дальше быть.

Так, значит, и надеяться больше не на кого. С той ночи, как она осталась на кукурузном поле одна с двумя совсем маленькими детьми, ей все и всегда самой приходилось решать. Что же ей теперь может помешать?

Продолжение следует.

Анатолий КАЛИНИН

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ЦЫГАН

Если и вообще надо набраться терпения, чтобы по целым дням не отлучаться от постели больного ни на шаг, то куда как весело, когда при этом нельзя еще и перемолвиться с ним ни словом.

Но и не такая была та же Шелоро, чтобы хоть минуту выдержать рядом с другим человеком, так и не раскрыв рта. Даже если он сам лежит перед тобой как бревно и ничего не отвечает на твои слова. Ну и пусть не отвечает.

С первого же дня, как только Шелоро стала оставаться на дежурстве наедине с Будулаем, она взяла за правило усаживаться, колоколом раскинув юбки, на маленькую скамеечку у его ног и вплоть до появления своей сменщицы Макарьевны разговаривать с ним так, как если бы он не только слушал ее, но и поддерживал эту беседу.

— Вот так-то и бывает, Будулай,— на первом же своем дежурстве начала высказываться она,— ты себе думаешь, как вскочил на лошадь, так теперь уже всегда и будешь держать ее за уши, а она вдруг подстережет свой момент — и об землю тебя. Чтобы не гордился. И скажи спасибо, что не до смерти. Ты уже понадеялся, Будулай, что до конца жизни сможешь обойтись без темных и несознательных цыган, а они же взяли и подобрали тебя на том самом месте, где ты со своего железного коня загремел. И надо же было тебе так вдариться об землю, Будулай. Погляди-ка на себя.

Порывшись в складках юбок, Шелоро извлекла большое круглое зеркало с алюминиевой ручкой и держала его перед лицом Будулая, пока он не прикрывал тяжелые синие веки.

— Не нравится, да? Еще бы — черный, как чугунок. Конечно, и Тамилкины молодые любовники постарались. Шибко она тогда в овраге осерчала на тебя за то, что ты чуток ее власти над всеми нашими цыганами не лишил. Такого не прощают. Как они еще не добили тебя? Но чернота до твоей свадьбы с этой казачкой еще может пройти, а вот то, что они, похоже, тебе личность отшибли, хуже. Кому ты после всего этого будешь нужен? Ты что же думаешь, эта твоя несчастная казачка примет такого тебя? Да ты не беспокойся, я ничего плохого о ней не хочу сказать. Она женщина хорошая и совсем даже не скупая. Да, да, не моргай глазами, Будулай, я ее, пока она мою ораву обедом кормила, успела рассмотреть. Но и ей ведь мужчина нужен в доме не для того, чтобы она всю жизнь ухаживала за ним, как вот теперь я за тобой. После того как она без своего погибшего мужа всю свою молодую жизнь на детей потратила, ей уже нужно, чтобы кто-нибудь ухаживал за ней. И зачем же ей теперь, скажи, пожалуйста, связываться с тобой? Чтобы из-под тебя горшки выносить? Тебе обо всем этом теперь, на свободе, надо хорошенько подумать, Будулай. Времени у тебя будет много. Если ты пока не в силах разговаривать, то лежи себе молчком, гляди прямо перед собой в потолок и соображай. У тебя есть о чем подумать, Будулай. А теперь дай я попробую повернуть тебя на бок, чтобы у тебя кровь не застыла.

Руками и коленкой Шелоро поворачивала Будулая на бок лицом к стене, безжалостно ругая его:

— Да ты бы хоть как-нибудь постарался мне помочь, женское ли это дело — такие тяжести ворочать. Если надорвусь, кто тогда моих детишек будет доглядать, ты, что ли? Ты вон и своего одного-единственного сына совсем чужой женщине на воспитание бросил. Опять заморгал. Правда, она всегда глаза колет. Ладно, не моргай и не вздрагивай, дай-ка я заодно тебе спину этой мазью смажу, какую Егор вчера целый день в летней кухне варил.

Закатывая на спине у Будулая нижнюю сорочку, она пальцем доставала из пол-литровой банки густую черную мазь и ладонями втирала ему.

— Всю черноту заберет. Егор ею коней от всех болячек лечит. В один момент проходят. Считай, Будулай, что тебе повезло, от верной смерти ушел. Эти Тамилкины полюбовники свое дело знают. Гляди-ко, какие метки оставили, как они только тебе ребра не поломали. Но, может быть, и повредили, снаружи не видно. А она, конечно, стояла рядом и только инструктаж давала. Она свои белые ручки ни за что не станет пачкать. Но и тебе, Будулай, тогда, в овраге, тоже не надо было на рожон лезть. Думал со своего мотоцикла сразу всех цыган за новую жизнь сагитировать, да? А сразу никогда и ничего не получается, Будулай. За это ты и пострадал. Мой Егор с того дня тоже стал какой-то другой. И об этом тебе тоже надо подумать, Будулай. Времени у тебя хватит. Ну вот, а теперь лежи и спи, если ты еще не спишь. Конечно, конская мазь воняет не очень хорошо, но зато она кровь разгоняет.

Макарьевна, которая заступала на свою смену у постели Будулая после обеда, первые дни старалась заходить к нему в комнату лишь в случаях самой крайней необходимости, когда нужно было сменить у него на голове компресс или же помочь фельдшеру, который приходил делать ему уколы. Все остальное время она предпочитала находиться в кухне, стряпая там и стирая.

Один вид его бороды, вздыбленной на белой подушке, ввергал ее в трепет.

Но постепенно, оставаясь наедине с Будулаем в большом доме, она осмелела. Ничего худого за все это время не случилось с ней, и совсем непохоже было, чтобы он, такой беспомощный, мог причинить ей хоть какой-нибудь вред. А вскоре ей даже стало казаться, что при появлении ее в комнате глаза у него чуть-чуть оживали.

И однажды она сама не заметила, как задержалась у его постели и тоже устроилась на скамеечке со своим вязаньем. За дремотным мельканием спиц у нее вдруг само собой вырвалось:

— Гляди, выздоравливай, цыган, пока Настя не вернулась домой.

Она сама испугалась своих слов. Спицы остановились у нее в пальцах.

Нет, это ей только показалось, что он пошевелился. Все так же неподвижно лежал он, устремив взгляд вверх, одеяло у него на груди еле видимо вздымалось и опускалось. Можно было подумать, что спит он с открытыми глазами.

Макарьевна успокоилась, спицы опять пришли в движение. Со своей дворовой собаки она настригла большими ножницами шерсти, ссучила ее на старой прялке в нитки и теперь спешила связать из нее себе пояс, который, говорят, хорошо помогает при радикулите.

Из-под ее стула молодой рыжий кот лениво пытался достать лапой шерстяной клубок. Время тянулось медленно, как и нитка из этого клубка. Но за годы своей одинокой старости Макарьевна давно уже научилась разговаривать сама с собой. Сама у себя спрашивала и сама же себе отвечала. И теперь под шелест своих спиц она незаметно для себя втягивалась в такую беседу:

— От кого хотел убежать, к тому же и попал.

— Человек хочет на гору, а черт его за ногу.

— Хоть и кузнец, а сам себе счастья не отковал.

— Так всегда и бывает.

— Но и нельзя же теперь других молодого счастья лишать.

...При этом Макарьевне опять почудились на постели Будулая то ли какое-то движение, то ли шорох. Она так и вонзилась в него глазами. За это время он успел закрыть глаза и, судя по всему, действительно спал. Лишь чуть-чуть у него вздрагивали пальцы на больших руках, вытянутых сверху одеяла вдоль тела.

Что-то хлюпало и скрежетало у него в груди. Сон или беспамятство его, а может, то и другое вместе, были глубоки и тяжки. И, конечно, вряд ли какими-нибудь словами можно добудиться его.

Все же Макарьевне во что бы то ни стало надо было договорить начатое до конца. Она наклонилась над Будулаем и тихо спросила:

— Но ты-то сам хоть понимаешь, цыган, что тебе долго залеживаться в этом доме никак нельзя?

Будулай вдруг открыл глаза и глянул на нее в упор сурово и печально. Макарьевна отпрянула от него.

В эту минуту снаружи дома прогремели по ступенькам тяжелые шаги, открылась дверь и вошел Михаил, который только что вернулся из очередного рейса.

У Михаила Солдатова, когда он, обычно уже поздно вечером, возвращался домой из своих дальних рейсов с заездом на обратном пути в роддом на свидание с Настей, ни для чего другого уже не оставалось времени, кроме как для короткого сна. Тем более что и спать ему теперь приходилось, как тому же зайцу под кустом — со все время прижатыми и вздрагивающими при каждом шорохе ушами. Он даже кровать свою передвинул из спальни в зал, где лежал на диване Будулай, чтобы не прозевать, когда может понадобиться ему помощь.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 22—26.

Теперь они проводили ночи почти рядом, на двух, одна против другой, постелях, и тяжелое прерывистое дыхание одного смешивалось с усталым и здоровым храпом другого.

Будулай не стонал и вообще не беспокоил Михаила по ночам. Но ведь у спящего зайца все равно настороже уши. До рассвета Михаил то и дело отрывал от подушки голову, всматриваясь сквозь лунный полумрак и вслушиваясь.

На рассвете ему опять надо было спешить в гараж.

По субботам Макарьевне приходилось с утра до вечера одной дежурить у постели Будулая, потому что Шелоро на весь день отлучалась из поселка.

Обычно за день до этого в доме у Солдатовых пахло жареной курятиной и сдобным тестом. Михаил, возвращаясь из рейса, втягивал ноздрями воздух.

— С какой это радости у нас сегодня праздник?

— Надо же на всю неделю наготовить,— отвечала Макарьевна.— Чтобы и ты здесь без хозяйки не отощал.

Шелоро, которая в этот день, сбегав домой, тоже до вечера помогала ей по кухне, добавляла:

— Не то Настя нас со свету сгонит.

И, наперебой ставя перед ним на стол тарелки, они возмущались, что он, едва дотронувшись, тут же и отодвигал их от себя.

— Поглядел бы в зеркало, на кого стал похож.

— Не мужик, а одно название. Одни скулы торчат.

— Думаешь, такого она тебя больше будет любить?

— Поубивался — и хватит. Не вы первые, не вы последние.

— У нас с Егором через одного умирают.

— Она тебе еще дюжину произведет.

Но и до этого они знали, что Михаил все равно не поддастся на их уговоры. Еще до возвращения его домой они обменивались на этот счет между собой мнениями:

— Ему теперь хоть райскую птицу зажарь.

— Уставится в одну точку на стене и глядит. Что он там видит?

— Это он все ту же задачку своей будущей семейной жизни решает.

— Трудная ему досталась задачка. Какой только черт его с ней сосватал?

Шелоро глубокомысленно замечала:

— Судьба. Вы же, бабушка, у них на свадьбе сами за посаженую мать были.

— Я и говорю, что черт меня посадил.— Макарьевна оглядывалась на дверь, за которой лежал на диване Будулай.

При этом она обычно замешивала или уже раскатывала скалкой на большой, чисто вымытой доске тесто для пирожков, а Шелоро за тем же столом, рядом, закатывала в крутую глину ощипанного цыпленка. Искоса наблюдая за ее действиями, Макарьевна интересовалась:

— И что же ты после этого будешь с ним делать?

— Положу его в огонь.

— Прямо в печку?

— Прямо в печку.

— А потом?

— А потом его можно будет есть.

— С глиной?

— Вы что же, бабушка, думаете, цыгане совсем дурные? Вы разве печеную картошку прямо с горелой шкуркой едите?

— То совсем другое. Но ты хоть, ради Христа, Михаилу не проговорись. Он тогда совсем его не станет есть.

— Ну и пусть не ест. Для него вы можете по-вашему сжарить.

Перекладывая слепленные пирожки с доски на железный лист, Макарьевна сокрушалась:

— Неужто ты и пирожки совсем не умеешь печь?

— Зачем же, бабушка, мне уметь, если люди нам их готовые дают?

— И курей?

Шелоро принималась хохотать:

— Нет, мы их с собой в клетушках возим.

Макарьевна невольно отодвигалась от нее. Но вскоре, пока пеклось и жарилось у них на плите, между ними опять возобновлялся разговор.

— Как бы эту задачку им теперь опять не пришлось втроем решать?

— Там видно будет,— сухо отвечала Шелоро.— Все вам, бабушка, нужно.

— И вздумалось вам его сюда привезть.

— Куда же нам было его везть?

— Хотя бы и ко мне. У меня после Насти спальня и теперь пустует.

— Вы же, бабушка, и здесь боитесь оставаться с ним на ночь.

Макарьевна, оглядываясь на дверь, прикрытую в зал, признавалась:

— Боюсь. Днем уже привыкла, а ночью одна бы с ним ни за какие тысячи не осталась. Может, он и хороший человек, но борода у него дюже черная.

— Хуже, бабушка, когда не борода у человека черная, а душа.

— Да, это только звери могли такое с человеком сделать.— Вынимая из духовки железный лист с огнедышащими пирожками, Макарьевна принималась уговаривать Шелоро: — Ты бы хоть на своих картах погадала на него.

Шелоро решительно отказывалась:

— Нет, на мертвого нельзя гадать.

Макарьевна пугалась:

— Какой же он мертвый?!

— Все равно без согласия человека карты правду не скажут.

— Это у вас какой-то цыганский закон, а у нас...— Перекладывая с железного листа пирожки в большую кастрюлю, Макарьевна вытирала краем фартука вспотевший лоб, готовясь вступить в дискуссию по этому поводу, но Шелоро не позволяла ей:

— У каждой нации свой закон. Еще не хватало, чтобы теперь и цыганок стали учить, как им на картах гадать. Вы бы лучше, бабушка, поискали мне корзинку, в какой я пирожки и куренка повезу. Так я могу и на автобус опоздать.

И Макарьевна, прерывая дискуссию, со всех ног бросалась выполнять ее приказание. Но когда все уже было уложено в плетеную круглую корзинку и Шелоро — в новом красном с синими кружевами платке — надевала ее на согнутую в локте руку, Макарьевна все-таки кричала вдогонку:

— Смотри, Шелоро, не проговорись. Ни-ни!

Шелоро отмахивалась от нее, как от слепня, открывая на улицу дверь. Вместе с нею вываливались на улицу из дверей дома Солдатовых запахи печеного сдобного теста и другой всевозможной снеди. Большой рыжий кот бежал за Шелоро почти до самой автобусной остановки, вставая на дыбки и касаясь лбом ее корзинки.

Макарьевна, которая давно должна была заступить на дежурство у постели Будулая, что-то задерживалась, и Шелоро уже несколько раз выходила за калитку. Она опаздывала и самого младшего, Данилку, из садика взять и всех своих остальных детишек из школы встретить. То ли чересчур долго рассчитывались с Макарьевной ее поночевщики, то ли внезапный клиент затормозил у ее корчмы. Но еще хуже, если опять пронзил старуху ее радикулит, как это с нею случалось.

Никакая другая причина не смогла бы заставить ее пренебречь своими добровольно принятыми на себя обязанностями медицинской сиделки. Но и ждать ее Шелоро больше не могла. Вглядываясь в конец улицы, она видела, что все машины уже разъехались от придорожной корчмы, а хозяйка ее как сквозь землю провалилась. Между тем все женщины уже прошли мимо Шелоро из центра поселка с детьми за руку.

И она решилась. Постояв около Будулая, который спокойно спал на диване, далеко откинув назад голову, она надела теплую плюшевую кофту и платок и, стараясь не скрипнуть дверью, выскользнула на улицу. Ничего не должно было случиться за тот самое большее час, пока она будет находиться в отлучке.

Ей бы, пожалуй, и часа не потребовалось, если б не тревога о Макарьевне, которая скорее всего теперь тоже нуждалась в ее помощи. Лежит, должно быть, старуха, со своим радикулитом, и ни одной живой души нет рядом с ней. На клиентов ее надеяться не приходилось. Им бы только прикорнуть накоротке в тепле, запить хороший сытный завтрак, несмотря на все запреты ГАИ, стаканом хорошего виноградного вина и опять в путь.

Макарьевна и правда лежала на своей высокой деревянной кровати одна-одинешенька, сложив руки на животе. Но когда исполненная глубочайшего сочувствия Шелоро, всматриваясь, наклонилась над ней, неописуемая злость обуяла ее. Знакомый кисло-сладкий душок ударил ей в лицо. За многие годы семейной жизни она, слава богу, нанюхалась его. Егор приучил. Теперь ей достаточно было лишь перевести свой взгляд на стол, на котором стояли три порожние бутылки и три граненых стакана, чтобы у нее уже не осталось сомнений.

Видно, среди клиентов Макарьевны оказались на этот раз такие обходительно-настойчивые, что старуха не сумела устоять перед их уговорами разделить с ними ужин. То ли желая посмеяться над хозяйкой придорожной корчмы, то ли просто от широкой души они упоили ее со вчерашнего вечера так, что она и теперь еще никак не может очнуться.

Шелоро чуть не задохнулась от ярости. Разгулялась старая хрычовка, позабыв обо всем на свете. Вон сколько и сала, и домашней колбасы, и всяких соленьев понаволокла на стол из своих кладовок и погребов. А когда трезвая, ни одного огурчика не выпустит без копейки из своих цепких пальцев.

Шелоро потрясла ее за плечо. Только на один миг Макарьевна выкатила на нее из-под сумчатых век свои оловянные глазки и, почмокав губами, снова смежила их.

А потом будет неделю хвататься за свой радикулит. И Шелоро без смены за нее у постели этого идейного Будулая дежурь. Как будто у нее своей семьи нет. Очень просто, если некормленый-немытый и вообще запущенный ею за это время Егор скоро даст ей развод. И будет прав. Какой другой муж столько будет терпеть! Всему бывает предел.

Но перед уходом Шелоро все-таки брезгливо закрыла старухе лицо марлечкой от мух, которые и в это зимнее время стадами ползали по всем столам в натопленной хате и назойливо жужжали, как мелкий густой дождь.

Михаил уже совсем было пал духом, не зная, как растопить каменное отчаяние Насти, когда с неожиданной стороны пришла помощь. В начале третьей недели пребывания ее в роддоме, заехав к ней на обратном пути из поездки на Сальский элеватор за овсом для конематок, он нашел ее не такой, как обычно. Она встретила его не так, как в прежние дни, едва выглядывая из окна палаты на втором этаже роддома, а сама раскрыв обе половинки рамы.

Михаил сразу же снизу предостерег ее:

— Закрой окно! Еще не хватало тебе застудиться здесь.

Но она лишь стянула рукой на груди байковый синий халат.

— Нет, Миша, это мне сам главврач приказал дышать свежим воздухом.— Она с жалостью оглядела сверху Михаила.— Бедный, как же ты похудел за эти дни. Ты бы хоть через день заезжал ко мне, а можно и вообще реже. Я на той неделе уже отпрашиваться домой буду.

Михаил и обрадовался и испугался. Обрадовался тому, что она вдруг явно повеселела, и испугался тут же промелькнувшей мысли, что́ ее ожидает дома.

— Не спеши, Настя, как бы хуже не сделать.

Она вымученно улыбнулась:

— Хуже, Миша, уже не может быть.

Но он уже твердо решил всеми средствами воспрепятствовать ее намерению.

— Нет, нет, пока еще нельзя.

Она взмахнула бровями.

— Почему? Не век же мне тут лежать? Надо и в палате место освобождать.

Лихорадочно соображая, как ему надо будет поступить в дальнейшем, Михаил уже составил себе план обязательно улучить момент, чтобы незаметно от Насти встретиться с главврачом и во что бы то ни стало уговорить его подольше задержать ее в роддоме. Даже если для этого и пришлось бы посвятить его в то, во что Михаил никого не хотел посвящать.

— А разве ты уже не одна лежишь?

Он знал, что после операции ее по распоряжению главврача одну поместили в двухместную палату.

Настя зачем-то оглянулась в палату и побольше высунулась из окна, стягивая на груди халат.

— Ночью новенькую положили.

Михаилу захотелось уточнить:

— Она... уже?

Снова быстро оглядываясь, Настя приложила палец к губам.

— Я к тебе завтра во двор выйду.— И тут же с преувеличенным оживлением она перевела разговор на другое: — Ты там, должно быть, и в столовую не успеваешь. На сухой паек перешел.

— Нет, успеваю.

— Ну тогда докладывай мне, как положено, по порядку.— Она приготовилась загибать пальцы.— Сегодня на первое у вас что было?

Окончательно сбитый с толку столь резкой переменой в ее настроении, Михаил послушно ответил:

— Котлеты.

— Ну, допустим.— Настя загнула один палец.— А на второе?

— Сырники,— храбро продолжал Михаил, зная, что если он вынужденно и врет ей, то лишь наполовину. Не успевая по утрам в столовую, он и сегодня, как всегда, брал с собой в рейс то, что наготовили для него Шелоро с Макарьевной. На этот раз они действительно уложили ему с вечера на дорогу котлеты и сырники.

— Будем считать два.— Настя загнула второй палец.— А на третье, небось скажешь, компот?

— Нет,— включаясь в игру, ответил Михаил,— кофе.

Он твердо выдержал ее взгляд. Уже перед роддомом, он, борясь с дремотой, отвинтил пробку в своем термосе и прямо из горлышка с наслаждением допил остаток почти уже совсем остывшего кофе, заваренного для него Шелоро по рецепту знакомой ростовской цыганки. И он готов был теперь ответить на все вопросы Насти. Пусть она загибает все свои десять пальцев, только опять бы не вернулось к ней это безысходное отчаяние, которое уже начало передаваться и ему.

Но она не стала загибать очередной палец, а погрозила ему из окна со второго этажа роддома.

— Смотри, Михаил, вернусь и специально зайду к Надежде Федоровне в столовую, чтобы вывести тебя на чистую воду. Будут тебе и котлеты, будет и кофе.

Глаза у нее смеялись. Теперь уже Михаил не сомневался, что она окончательно на пути к выздоровлению. Иначе чем же можно было и объяснить эту ее веселость.

На всем пути от райцентра до конезавода он гнал свой самосвал по накатанной зимней дороге так, что овес для племенных лошадей так и шарахался в кузове от борта к борту. И еще неизвестно, довез бы он этот груз в целости и сохранности до места, если бы кузов его самосвала не был бы им, как всегда, наглухо обтянут, обшит брезентом в предвидении ухабов на дороге. Так тщательно, что ни единой щелочки не оставалось в нем и ни одно зернышко не должно было просыпаться из него на дорогу на поживу грачам, зимующим в придорожных лесополосах и наготове расхаживающим в ожидании таких случаев по обочинам хлебных маршрутов.

На другой день, когда Настя в сером пуховом платке и в длинной цигейковой куртке, из-под которой виднелся больничный халат, спустилась к нему на свидание во двор, он нашел ее еще более оживленной и веселой. Кажется, время начинало свое делать. С первой же минуты она взяла Михаила за рукав и, оглянувшись наверх, заговорщически отвела его из-под окна своей палаты в сторону.

— Вчера, Миша, я не могла тебе всего сказать, потому что она могла услышать.

Михаил не сразу понял:

— Кто?

— Новенькая. Ее, бедную, привезли к нам уже с ребеночком, которого она прямо на семикаракорском пароме родила. Но девочка здоровенькая и большая — три кило шестьсот грамм.— Оглядываясь на второй этаж, Настя еще дальше отвела Михаила из-под окна, и глаза у нее стали страдальческими.— Только ее уже второй день нянечка из бутылочки кормит.

Михаил догадался:

— Это бывает. Меня, рассказывали, мать тоже из бутылочки выкормила, молоко пропало. Но как видишь...— Он повел широкими плечами.

Съеживаясь и запахивая свою цигейковую куртку, Настя как-то кособоко дернула головой в сторону второго этажа.

— Нет, Миша, у нее молоко прямо сквозь рубашку льется наружу. Она сама отказалась давать ей грудь. Я из-за этого даже поругалась с ней. Если, говорит, ты такая жалостливая, то бери и сама корми.

Михаил покрутил пальцем у головы:

— Она что, с приветом?

— Без всякого, Миша, привета. И здоровая, как прошлогодняя телка.— Настя снова оглянулась, понизила голос:— А если, говорит, хочешь, то можешь и совсем ее к себе взять. Я ее, говорит, безотцовскую, все равно здесь на воспитание государству брошу.— Снизу вверх Настя робко взглянула на Михаила.— Знаешь, Миша, что я решила...

Михаил улыбнулся:

— Еще, Настя, не знаю.

— Давай, Миша, и правда, возьмем эту бедную девочку к себе. Мне здесь сказали, что это можно будет по закону оформить. Никто потом и не узнает ничего. Что же ты, Миша, молчишь?

Михаил не знал, что и отвечать. Все что угодно мог ожидать он от Насти, но такого оборота их разговора не предвидел.

— Пусть она тогда не думает, что лучше всех,— вдруг мрачно заблестев глазами и глядя через плечо Михаила куда-то вдаль, сказала Настя.

Михаил испуганно спросил:

— О ком ты, Настя?

— Не делай таких глаз, как будто ты совсем не понимаешь меня. Будулай, тот сразу бы догадался. Можно подумать, что никакая другая женщина на месте этой Клавдии тогда бы младенца не подобрала.

Михаил побледнел.

— И, значит, из-за этого ты теперь?..

— Спасибо тебе, Миша.— Прикладывая ладонь к груди, Настя поклонилась ему.— Вот как ты обо мне думаешь. Конечно же, я цыганка и не способна...

— Настя! — Михаил примирительно положил руку ей на плечо.

Но она гневно вывернулась.

— Зато она здесь на всю Россию самая добрая. И тебе тоже затмила глаза. Но если она могла цыганского младенца в кукурузе подобрать, то почему же я теперь русскую сиротку не могу взять? Что же, по-твоему, я бессердечная совсем, да? — Снизу вверх Настя проницательно взглянула на него воспаленно блестящими глазами: — А может, это ты сам не хочешь на шею чужой хомут надевать?

Михаил попытался обнять ее за плечи.

— Успокойся, Настя, что это с тобой?

Опять она вырвалась от него.

— Она всех вас ослепила, всех! Самая добрая, самая красивая, самая...

Михаил растерянно уговаривал ее:

— Я же ее совсем не знаю, Настя, ни разу в глаза не видел. Для меня ты лучше всех. И разве я против, чтобы взять? Я во всем согласен с тобой.

Не слушая, Настя вырывалась из его рук.

— А если не хочешь, я и сама без тебя обойдусь, сама...

В эту минуту старшая медсестра в белом халате поверх пальто и в больших роговых очках строго выглянула из дверей роддома во двор.

— Как вам не стыдно, гражданин! — прикрикнула она на Михаила.— Если вы здесь так обращаетесь со своей больной женой, то как же вы с ней дома?! Я вас больше не буду сюда пускать.

У Насти вдруг мгновенно высохли слезы, она круто повернулась к медсестре:

— А вы не имеете права на него кричать! Он не ваш муж. Это я во всем виновата, я! Если бы все мужья со своими женами так обращались!..

У старшей медсестры за стеклами очков плеснулся страх. Еще, чего доброго, эта сумасбродная молодая цыганка перейдет от слов к действиям. Но, захлопывая за собой дверь, старшая медсестра все же не захотела остаться в долгу.

— Вы сами не знаете, что вам нужно. С вами лучше дела не иметь.

Продолжение следует.

Анатолий КАЛИНИН

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ЦЫГАН

Когда Настя, проводив Михаила, вернулась к себе в палату, ее соседка лежала на койке, отвернувшись лицом к стене. То ли спала то ли хотела дать понять, что ей не до разговоров.

Настя не стала ее беспокоить. Она уже привыкла к таким приливам и отливам в настроении новенькой. Или неудержимо рассказывает что-нибудь о своей жизни в хуторе на правом берегу Дона и смеется так, что, кажется, вот-вот заплачет, или же молчит, как камень,— слова не выдавить за целый день.

Насте и самой хотелось помолчать. Недовольна она была собой сегодня. Нехорошо все получилось с Михаилом да и со старшей медсестрой, на которую она обрушилась ни за что ни про что. Она вспомнила, какие у Михаила были растерянно-пристыженные глаза, когда отчитывала его старшая медсестра, и какие испуганно-обиженные были у старшей медсестры, когда неожиданно набросилась на нее Настя. Чего доброго, и в самом деле решила, что самое лучшее — немедленно спасаться бегством от этой больной с черными сверкающими глазами.

Настя невесело усмехнулась: не могла совладать со своей природой и напугала хорошего человека.

Скрипнула дверь, в палату робко заглянула молоденькая нянечка с завернутым в простынку младенцем на руках. Подошел час кормления новорожденных, и, как обычно, нянечки разносили их по палатам. Каждый раз в такие часы упорно заглядывала нянечка и в палату к Настиной соседке, и всякий раз та встречала ее приход все в одной и той же позе — отвернувшись лицом к стене. Никак не хотела подпускать ребенка к своей груди, хотя Настя и видела потом, как она украдкой пальцами отдаивает молоко в тазик и при этом глухо, сдавленно стонет. Молока у нее было много, и, приливая, оно беспокоило ее.

Не шелохнувшись, она лежала с закрытыми глазами спиной к двери. Как всегда, постояв у ее койки и ни слова не сказав, а только покачав головой, нянечка уже совсем собралась удалиться со своей ношей на руках, как вдруг новенькая резко повернулась и, протягивая к ней руки, хриплым голосом потребовала:

— Давай! Ну давай же скорей!

И когда растерянно-обрадованная нянечка суетливо, дрожащими руками поспешила положить ей под бок девочку, она быстрым движением выпростала из ворота больничной рубашки большую белую грудь, надавливая на нее пальцем и нащупывая тугим коричневым соском губы ребенка.

— Бери! — приказала она все тем же грубым голосом.— Ну, я кому сказала: бери! Ты что же это, свою мать не хочешь слушать?! Ага! — И она торжествующе рассмеялась, глаза у нее засветились так, будто зимнее солнце, заглядывающее в окно палаты, зажгло их изнутри. Сперва прерывистое, жадное, а потом равномерное и все более уверенное чмоканье разнеслось по палате.— Вот то-то и оно. Не спеши, молока у твоей матери на двоих хватит. Это тебе не из бутылочки по выдаче получать. Ты только посмотри, чего эти две здоровые дуры, как беспривязные коровы, ревут. Или они совсем уже разучились шутки понимать? Как будто и в самом деле найдется такая мать, которая согласится свое дите на чужое воспитание бросить. Скажи им, дочка, пусть они, проклятые, меня не расстраивают своим ревом, не сушат у меня молоко.— Она подняла от ребенка мокрые, счастливые глаза: — Марш, марш из палаты, чтобы вашего духу здесь не было! Немедленно марш! У матери с родным дитем свои дела. И ты, цыганочка, пока что уходи. Ты, должно быть, из всех ваших цыганок самая добрая и красивая девочка, но я же тебе все равно мою маленькую никогда не отдам. Откуда ты это взяла? И не думай, ты себе еще не одного родишь, вон у тебя мужик какой. Я его приметила, когда он еще в наш хутор за вином приезжал. Пожалуйста, уходи, Настя!

Настя, не двигаясь, сидела на своей кровати, закрыв лицо руками. Жгучая скорбь и жгучая радость переполняли ее. По всем общепринятым между людьми неписаным правилам и законам ей теперь следовало бы раз и навсегда обидеться на эту женщину. Мало того, что она почти целых два дня на глазах у Насти так неслыханно обходилась со своим только что родившимся ребенком, не признавая его и отказывая ему, еще совсем беспомощному, в том, в чем не позволила бы отказать своему дитю ни одна мать на земле. Она теперь едва ли не хочет свалить свою вину за это жестокосердие на чужую голову, откровенно издеваясь над лучшими чувствами и побуждениями Насти. И, конечно, ничего иного, кроме глубочайшего презрения к себе, не заслуживала она.

Но в залитой ярким солнечным светом палате слышно было, как ребенок все громче и громче почмокивал у груди своей матери, занимаясь самым первым и наиглавнейшим делом в своей жизни. А мать, ревниво скосив глаза, как завороженная, смотрела на него. И Настя, в свою очередь, глядя на них сквозь влажный и горячий туман, испытывала к этой странной и недоступной ее пониманию женщине совсем другие чувства, чем те, которые по всем правилам и законам, общепринятым у людей, она должна была бы испытывать к ней в своем оскорбленном и негодующем сердце.

Еще никогда она не была так же счастлива, как и несчастна.

Вконец измученный не столько тяжелым рейсом, сколько последним разговором с Настей в роддоме, Михаил вернулся домой совсем поздно. Заждавшаяся его Макарьевна уже была в стеганке и в теплом платке и, едва Михаил переступил порог, побежала к себе в корчму, где ее, как всегда в это время, должна была ожидать клиентура. Оглянувшись с порога, она только и успела сообщить ему:

— Какой-то он сегодня совсем другой. Стонет и беспокоится. Все время кулаки сжимает, как будто грозит, хотя я сегодня ему ничего такого не говорила. Я уже хотела соседского мальчишку Касаткина за фельдшером посылать, чтобы он ему укол сделал...

Не заглядывая в кухню, где стоял на столе накрытый полотенцем обед, Михаил прошел прямо в зал. Будулай лихорадочно мерцал на подушке глазами. Кажется, и в самом деле что-то новое появилось в его лице, во взгляде. Впервые за все время, пока он лежал здесь, он вдруг как-то осмысленно скрестился со взглядом Михаила. Но, возможно, всему причиной была и луна, набрасывающая на его лицо из окна сетку неверного света.

Михаил подошел к нему ближе.

— Говорят, ты совсем пошел на поправку, цыган, уже кулаками начал грозить. Давай, давай для комплекта, от вашей породы все можно ожидать. Я с твоей родичкой Настей уже почти два года как на вулкане живу и никогда с вечера не знаю, что она мне утром преподнесет. Вот привезу ее на днях домой, и тогда уже вы вдвоем возьмете меня в оборот.— Михаил вдруг осекся: — Что?

Ему показалось... Нет, он не ошибся. Будулай, который все эти дни неподвижно лежал на диване навзничь, приподнял голову на подушке. Михаил скорее догадался, чем услышал, как слетело с его губ:

— Где я?

— Что, что? — переспросил Михаил, быстро наклоняясь над ним и впиваясь в его лицо своими глазами.

На этот раз он совсем отчетливо услышал, как Будулай отчужденно спросил у него:

— Кто ты такой?

И тут же закрыл глаза, откидываясь назад, на подушку. Но губы у него продолжали шевелиться. Михаил увидел, как зашевелились у него и пальцы на выпростанных поверх одеяла больших руках, сжимаясь и разжимаясь.

С испуганной радостью Михаил закричал:

— Молчи, молчи, скоро все узнаешь! Тебе еще нельзя говорить.

Больше всего он боялся теперь, чтобы этот внезапно свалившийся на его голову и так осложнивший всю его жизнь цыган не провалился опять в беспамятство. Он схватил руку Будулая и крепко сжал ее. Будулай ответил ему, хотя и совсем слабо. Его пожатие было зыбким и ускользающим.

— Молчи!—повторил Михаил.—Теперь главное, чтобы ты хоть одним коготком зацепился, а там пойдет.

И вдруг он сам подумал о себе, что, странное дело, до этого никогда и никакому другому человеку так не желал он, чтобы тот еще крепче зацепился за краешек этой несчастной жизни и наконец-то выплыл из темной ямы, в которую свалила его безжалостная судьба.

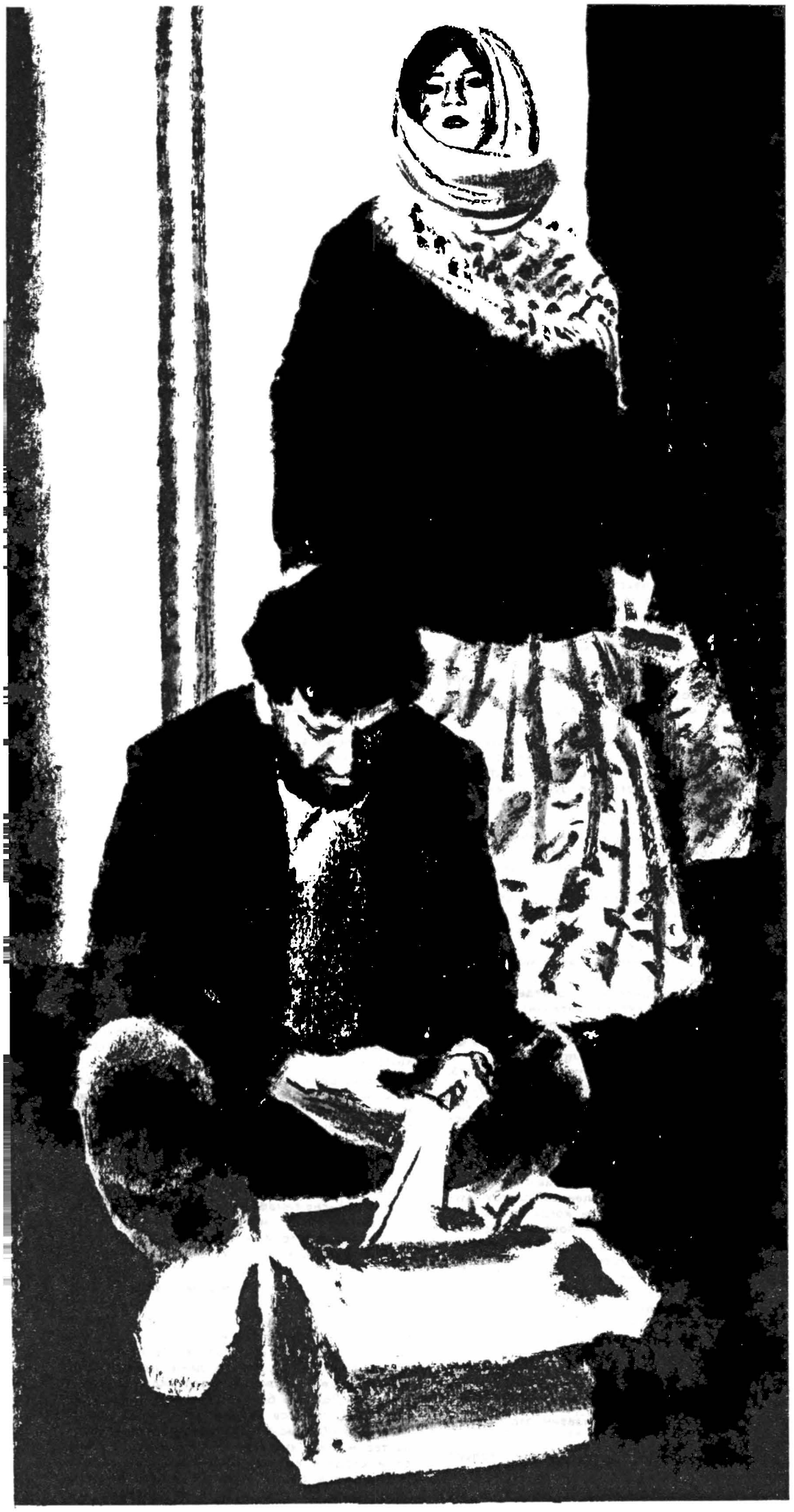
— Молчи! — еще раз грозно крикнул Михаил, увидев, что губы Будулая опять зашевелились, а вместе с ними пришли в движение и его могучие черствые руки кузнеца. Как будто он и в самом деле хотел за что-то схватиться.

— Молчу,— покорно и внятно сказал Будулай.

Михаил мог бы поклясться, что при этом понимающая усмешка пробежала по его губам. Будулай закрыл глаза, глубоко вздохнул, надолго задержав в груди воздух, и потом уже задышал ровно и спокойно.

Ему снился сон: две красные рубашки плывут на двух паромах через Дон навстречу друг другу. Но, оказывается, это он мимо самого себя плывет. Только на одном пароме он совсем еще молодой Будулай, а на другом — уже с фронтовыми наградами. На том пароме, на котором молодой Будулай, сплошь плывут цыгане и только он — единственный среди них — русский, а на другом он среди русских один цыган. И в то самое время, когда молодая цыганка пристает к русскому Будулаю: «Дай, красавчик, руку»,— у Будулая, который цыган, строго требует милиционер: «Предъяви документы на свои ордена». Между тем паромы уже вот-вот встретятся и разойдутся в разные стороны. Молодая цыганка уговаривает русского Будулая: «Пойдем вместе с нами, ты вполне за цыгана сойдешь»,— но он отвечает: «Мне еще кузнечному делу научиться надо». «Ну хорошо,— говорит она,— давай

Продолжение. См. «Огонек» №№ 22—27.



вместе подумаем. Ты свою свадьбу на год отложи, а я свою с рыжим цыганом тоже отложу». А тот Будулай, который с орденами, отвечает милиционеру: «Отстань! Если тебе нужны мои документы, то ищи их в блиндаже на острове».

Две красные рубашки уже проплывают мимо друг друга так близко, что до последнего слова слышно, как люди говорят на обоих паромах по-цыгански и по-русски:

— Теперь надо в Казахстан подаваться. Там еще есть кони.

— Думали, после войны спокойно заживем, а она как сдвинула людей с места, так и кружатся по земле. Кто ищет мать, кто мужа, а кто и самого себя никак не может найти.

Два красных пятна, наплывая одно на другое посредине Дона, превращаются в одно сплошное и опять расходятся каждый к своему берегу. «Подожди! — кричит Будулай одному и другому.— Подожди!»

— За кем это ты гоняешься? — насмешливо спрашивает над ним голос Михаила Солдатова.

Открыв глаза, Будулай вдруг садится на диване, приближая лицо к Михаилу, и совсем отчетливо спрашивает у него:

— А на Дону много островов?

Зрачки у него блестят. Михаилу не нравится этот тревожный, тяжелый блеск.

— Почти у каждой станицы,— с удивлением отвечает он.— А какой тебе нужен?

— В сорок втором году,— медленно говорит Будулай,— когда мы отходили за Дон, наш взвод с острова у станицы...

— Раздорской? — подсказывает Михаил.

Будулай проводит ладонью по лбу, как будто смахивая паутинку.

— Я тогда не успел узнать.

— Там недалеко цыганку танк раздавил,— осторожно напоминает Михаил.

Но Будулай отчужденно взглядывает на него.

— Ты меня перебил.— Он снова проводит ладонью по лбу.

— Ты говорил, что ваш взвод...

— Да,— обрадованно подхватывает Будулай,— переправу племенных табунов через Дон прикрывал. Три дня мы под минометным и пулеметным огнем все склоны держали.— Голос у него становится виноватым.— Но из всего взвода только мне одному удалось выплыть. Какая-то умная лошадь, когда меня ранило, ко мне подвернула.

Михаил решается повторить:

— После войны у станицы Раздорской цыганская могила была.

— Я там никогда не был,— спокойно отвечает Будулай.

При этом ничто не вздрагивает у него в изможденном болезнью лице. Глаза смотрят на Михаила, как сквозь стеклянную пленку.

Михаил сам ужасается своей догадке: он, кажется, помнит только то, что было с ним на войне.

— Что-то твоего Егора давно не видать?— осведомлялась Макарьевна у Шелоро.— Опять где-нибудь рыщет?

— Нет, он теперь на отделении. При табуне,— отвечала Шелоро.

— И не проведывает тебя. Вот уже третья неделя проходит. Смотри, как бы он там себе тоже какую-нибудь казачку не завел.

Шелоро уверенно улыбалась:

— Пускай, бабушка, заводит. Надо с голодными делиться.

— Зря ты так надеешься на него. Как будто он хуже других мужчин.

Шелоро продолжала улыбаться. Сама мысль, что с ее Егором может случиться что-нибудь подобное, тешила ее.

— Заведет по этому холодному времени, так, значит, меньше в своем вагончике на отделении кизяков сожжет.

Макарьевна обижалась:

— Ты что же, в нашей местности считаешь себя красавицей из всех?

Шелоро поводила плечами:

— Напрасно вы, бабушка, беспокоитесь. Как будто у нас с вами никаких других дел нет.

— Странные вы, цыгане, люди. Ему можно тебя к каждому пеньку ревновать, а ты не имеешь права.

И на это у Шелоро был ответ:

— Ревнует, значит, любит.

Но не такая была Макарьевна, чтобы ее могли удовлетворить такие ответы. Сдав дежурство Шелоро, она по пути домой наведалась к своей племяннице, которая работала кухаркой на том же самом отделении, где и Егор помощником табунщика, и на другой день, едва появившись на пороге, сообщила Шелоро:

— Вот и нет твоего Егора на отделении. Все это прошлогодняя брехня.

— А где же он? — спокойно спросила Шелоро.

Ее тон окончательно вывел Макарьевну из себя.

— Это тебе лучше знать. Я ему не жена. На три дня, говорят, договорился со своим подменщиком. И цыганских коней своих с собой из табуна забрал.

Только на короткое мгновение смутилась при этих словах Шелоро.

— Значит, так нужно было.

— Дикий вы, цыгане, народ. И живете както промеж себя не по-людски. Вместе и врозь. Ни он у тебя не интересуется, куда ты можешь из дому на целые недели пропадать, ни ты не беспокоишься, куда твой Егор бесплатную командировку взял.

— Не дикие, бабушка, а вольные,— поправила ее Шелоро.— Это я по картам могу какому-нибудь глупому и слабому человеку набрехать, а между собой мы не брешем. Какая же после этого будет семейная жизнь, если мы друг дружке не будем верить?

— Тогда и ему не след тебя ревновать.

— Это совсем другое дело. На то он и мужчина.

Макарьевна не успокаивалась:

— А что, если твой Егор за это время уже успел в тюрьму попасть?

У Шелоро только чуть дрогнули брови.

— Не стращайте меня, бабушка. Над тюрьмой тоже крыша есть. Пусть ее кто-нибудь другой боится.

Но если бы Макарьевна была понаблюдательней, она заметила бы, что все-таки этот разговор не прошел бесследно для Шелоро. Вплоть до своего ухода с дежурства она не проронила больше ни слова. Быстро сложила в свою большую клеенчатую сумку пирожки, напеченные и отложенные Макарьевной для ее детей, и, уже уходя, вдруг заявила как о чем-то безоговорочно решенном:

— Прошлый раз, бабушка, тебя не было целый день, а завтра тебе придется до вечера с ним одной побыть. Мне так нужно. Все равно твоя шоферня по выходным дням дома телевизоры смотрит.

Макарьевна было протестующе рванулась за ней, но цветастый платок Шелоро уже мелькнул за окном.

Она спешила на последний рейсовый «Икарус», чтобы с утра в Ростове к открытию воскресного базара успеть. Там она надеялась потолкаться среди приезжих со всей области цыган и от них что-нибудь о Егоре узнать. Как бы ни отговаривалась она от назойливых вопросов Макарьевны, а внезапное его исчезновение с отделения конезавода и столь длительное отсутствие начинали беспокоить ее. И подменщик его, к которому Шелоро еще до разговоров с Макарьевной ездила на отделение на ветеринарной летучке, сказал ей, что договаривался с Егором подежурить за него при табуне не на всю неделю, а только на три дня.

Мало ли что за эту неделю могло случиться. Тем более что отсутствовал он все это время вместе с лошадьми. Милиции, которая последнее время на каждом перекрестке стала требовать конские паспорта, так и чудятся всюду конокрады.

Из цыган же, которые по воскресеньям съезжались на ростовский базар со всей степи, хоть кто-нибудь, а должен был видеть Егора. Человек не иголка. Не провалился же он сквозь землю вместе с лошадьми.

Однако, к великому разочарованию Шелоро, ей пришлось убедиться, что никто из них так и не видел его. Ни один цыган не видел. Почти до самого закрытия базара она по одному выуживала их в толпе и выспрашивала, особенно цыганок, которые скорее всего могли навести ее на след,— и все напрасно. Даже Тамила, с которой Шелоро столкнулась лицом к лицу, когда та только что подкатила к мясному павильону на своей серебристой «Волге», ничего не могла ей сказать. Ничего не знали и ее разодетые в новенькие кожаные пальто адъютанты. У кого же тогда еще было спрашивать?

Но и ни разу еще не было такого случая, чтобы Шелоро вернулась домой из поездки в город с пустыми руками. Какая бы после этого она цыганка была! Она решила хотя бы частично вознаградить себя за безрезультатно пропавший день покупкой нового платка в универмаге. Платки всегда были ее страстью, и, куда бы ни забрасывало ее цыганское ремесло, она обязательно возвращалась домой в новом, неизмеримо более ярком, чем предыдущий. А последнее время ее мечтами целиком завладел темно-синий с золотыми листочками платок, который она летом видела на одной проезжей курортнице на ростовском вокзале.

И когда теперь, дотолкавшись сквозь женскую толпу до прилавка в универмаге, Шелоро увидела, что именно такой платок рассматривают двое военных, она сразу поняла, что мечте ее суждено наконец осуществиться. Тончайшего, но густого и по виду тяжелого шелка платок так и проливался сквозь пальцы молоденького, с новыми погонами, лейтенанта, как морская вода, блистая золотистой рябью под лампой дневного света.

— Нет, это уже не для нее,— с сомнением говорил лейтенант другому, пожилому, военному в серой высокой папахе.

Тот с осуждением отвечал ему:

— Разве, Ваня, твоя мать уже старая?

— Я боюсь, она не станет его носить.

Заглядывая через плечо молоденького лейтенанта на прилавок, Шелоро дружески подмигнула продавщице:

— Вынь-ка, чернявая, и мне такой же платок.

Не удостоив ее ответом, продавщица предупреждала военных:

— Учтите, что это уже последний и вряд ли у нас скоро еще будут такие.

Услышав ее слова, Шелоро испугалась. Еще минута, и от платка, за которым она гонялась чуть ли не полгода, останется один золотисто-синий блеск. Она протянула руку через плечо лейтенанта.

— Раз он им не понравился, я его беру.

— Эй, тетя, так нельзя! — отстраняя ее руку движением плеча, решительно заметил лейтенант, а его спутник бросил продавщице:

— Выписывайте чек!

Но не могла же Шелоро так просто расстаться со своей мечтой. Она еще дальше протянула руку через плечо лейтенанта, чтобы успеть схватить платок.

— А тебе, племянничек, значит, можно с бабами в очереди воевать, да?

— Так это же цыганка! — оглядываясь на нее, разочарованно сказал лейтенант.

И ее рука вдруг сама собой разжалась, выпуская конец платка, который продавщица тут же и спрятала куда-то под прилавок. То, что молоденький, с новыми погонами лейтенанта, тоже был цыганом, Шелоро поняла сразу, но не это вдруг смутило ее, а его взгляд. Не далее как сегодня утром, в крайнем случае вчера вечером ее уже окутывало вот таким же темным тревожным облаком, но в это же время это взглядывал на нее не он, а кто-то другой. И все-таки это были те же глаза.

Пока она, забыв про желанный платок, мучительно вспоминала, где и когда это могло быть, военные уже и взяли покупку и, оживленно разговаривая друг с другом, спустились по лестнице со второго этажа универмага. Она догнала их уже на улице и шла за ними вплоть до переулка, где стояла за углом зеленая, с тупым носом, машина.

— Еще минута, товарищ полковник, и платок тю-тю! — весело говорил своему спутнику лейтенант.

— Теперь, Ваня, тебе уже не обязательно меня так называть,— отвечал ему пожилой военный.

— Виноват, Андрей Николаевич, это по привычке.

Но в машину стал садиться один только лейтенант.

— А на обратном пути, Ваня, прямо к Дому офицеров подъезжай. Завтра к пяти у нас уже кончится.— Пожилой военный сердито оглянулся на Шелоро.— И не забудь, пожалуйста, передать своей матери...

Дальше Шелоро не расслышала, потому что лейтенант, устраиваясь за рулем машины, включил мотор. Но, выворачивая машину из переулка на улицу и проезжая мимо Шелоро, он все-таки заметил ее и весело помахал ей свертком с платком. Блеснул у него на плече новенький погон.

Всю дорогу до дома глаза Шелоро рассеянно блуждали за окнами автобуса по заснеженной табунной степи, а из головы не шел этот молоденький лейтенант. О платке она совсем забыла. Лишь однажды и промелькнуло перед ее мысленным взором синее, с золотыми листочками пятно, и тут же сквозь него опять проступил его разочарованный взгляд, она явственно услышала: «Так это же цыганка!» А ведь он и сам был из цыган, в этом Шелоро никто бы не смог переубедить, напрасно он отказывался от своей природы. Ни у кого, кроме цыган, больше не может быть таких глаз. Но и не только этим были так знакомы его глаза Шелоро, а еще чем-то другим, пугающим и тревожным.

Всю дорогу до самого конезавода эта тревога не покидала ее. Не доехав до своего дома, она попросила шофера автобуса ссадить ее против дома Солдатовых, надеясь еще застать там Макарьевну, чтобы поделиться с ней этой непонятной тревогой.

Но Макарьевны уже не было. Должно быть, нетерпеливые гудки автомашин у ворот ее придорожной корчмы донеслись до нее сюда, и она поспешила к своим клиентам. Не вернулся еще и Михаил со свидания с Настей.

Будулай был в доме один. Теперь, когда он уже начал вставать с постели, его больше не боялись бросать одного в доме.

Он сидел на корточках, спиной к двери, у своего раскрытого дорожного сундучка и что-то перекладывал в нем. На звук шагов Шелоро он, не вставая, повернул голову, из-за плеча взглянул на нее.

У Шелоро вдруг обрушилось и покатилось куда-то вниз сердце. Теперь она уже точно знала.

— Будулай,— сказала она,— я видела в городе Ваню.

Брови у него над удивленными и такими же, как у этого молоденького лейтенанта, как будто чем-то затуманенными, глазами сошлись вместе. Он переспросил:

— Какого Ваню?

— Твоего сына!— торжествующе сказала Шелоро.

Будулай встал и провел ладонью по лбу, как паутинку смахнул.

— О чем ты говоришь? У меня нет сына.

— Будулай, Будулай,— протестующе закричала Шелоро,— ты же сам рассказал нам о нем в овраге!

— В овраге?— Он нахмурился, опять провел ладонью по лбу.— Ты что-то перепутала, цыганка.

Она встретилась с его недоуменным взглядом и отчетливо поняла, что в эту минуту он полностью верил в то, что ей говорил. Слезы душили ее. Он отказывался от своего родного сына.

Уже на полдороге от дома Солдатовых к своему дому ее обогнал на своем стареньком «виллисе» генерал Стрепетов. Шелоро даже шарахнулась на обочину — так быстро промчался он по самой кромке дороги совсем близко от нее, опахнув ее горячим ветром, бензиновой гарью.

Когда генералу Стрепетову хотелось по фронтовой привычке самому побыть за рулем, он садился не в свою персональную «Волгу», а в «виллис» и ездил на нем так, что гуси с кагаканьем разлетались из-под его колес. Шелоро не успела даже рассмотреть, что это еще за человек сидел рядом с ним в машине. Должно быть, начальник конезавода генерал Стрепетов дальние отделения объезжал и на обратном пути захватил кого-нибудь из табунщиков повидаться с семьей, погреться и сходить в баню. Одиноко и холодно в это время в степи. Может быть, и Егору от этой тоски захотелось хоть на неделю вырваться на лошадях к людям и огням.

Начальникам, которые могут в любое время дня и ночи разъезжать на своих машинах из края в край степи, конечно, незнакома эта тоска, а цыган сиди на месте. Где тебя мама произвела на белый свет, там и будь. Ни тебе ветра, ни костра.

Между этими размышлениями Шелоро зашла взять на ночь домой из воскресной группы детского садика своего последыша Данилку, который теперь понуро семенил рядом с матерью на толстых кривых ножках, размазывая кулаком по лицу слезы вместе с грязью. Никак не хотел, стервец, уходить из садика домой на одну только ночь, и пришлось Шелоро отбузовать его прямо на глазах у воспитательницы, чтобы не спешил из пеленок прямо в начальники вылезать. С таких пор хотят устанавливать над родителями свою власть.

— Смотри, как бы довесок не получить! — пригрозила она Данилке, который, оттягивая ей руку, едва тащился за ней.

Упрямый, как отец. Хоть Егор и сомневается еще. Не нравится, видите ли, ему масть. Но если бы это и в самом деле была правда насчет ветеринара, то тогда бы и Данилке надо быть лысым. А он весь курчавый, как белый барашек, и такой же по всей ухватке сволочной, как отец. Только еще за голенищем вишневого кнута с махром не хватает.

Ох, и досталось же ей от этого кнута за свою супружескую жизнь! Шелоро передернула лопатками, даже кожа у нее заныла на спине. Это теперь Егор только больше намеряется кнутом, а смолоду он не любил тратить лишних слов.

— Я кому сказала!

И, коротко нагнувшись, Шелоро влепила Данилке так, что он, взревев и подпрыгнув, затанцевал у нее в руке. Ну, подвернулся бы ей теперь и Егор, она бы показала ему, как по целым неделям, не сказавшись, пропадать и кому на ком нужно свою ревность срывать. Показала бы, как перед чужими людьми ее срамить.

Но когда через минуту Егор вдруг действительно вывернулся ей навстречу прямо в калитке их двора, весь ее гнев сразу же испарился, едва она взглянула на него. Волной мгновенного испуга смыло с сердца Шелоро всю злобу. Таким она за всю совместную жизнь с Егором еще никогда не видела его. Изжелта-бледный и весь какой-то сморщенный, как свалявшийся старый валенок, он был сам на себя не похож. Картуза на нем не было, и знакомое кнутовище не торчало из-за голенища сапога. Еще большим страхом опахнуло Шелоро, когда она, привычно взглянув через плечо Егора, не увидела в раскрытых дверях сарая на своем месте лошадей. Что-то совсем из ряда вон выходящее должно было случиться с Егором, если он первый раз за всю их жизнь возвращался домой со своего цыганского промысла без них.

— Всё! — опережая ее вопрос, крикнул Егор незнакомым ей голосом.— Теперь уже совсем всё. Шелоро! Нет у нас больше коней.— Его, должно быть, испугали глаза Шелоро, которая, не отрываясь, смотрела на него, и он опять поспешил опередить ее: — Нет, милиция здесь ни при чем. Я их сам вернул. Не серчай на меня, Шелоро, что я столько пропадал. Мне под Придонским совхозом пришлось две ночи в балке дежурить, чтобы их обратно в табун запустить. И за то, что я тебе ничего не сказал, тоже не серчай. Я боялся разжалобиться от твоих слез, а мне этих лошадей обязательно надо было вернуть. Я уже перед людьми не мог терпеть.

В этом месте Шелоро насмешливо перебила его:

— Ты еще долго будешь нам с Данилкой загораживать калитку в дом? На кого ты похож? Сына напугаешь. И чего же теперь о них слезы лить, все равно они были краденые.— Взяв его за плечо рукой, она, как маленькому, поочередно вытерла ему своим рукавом глаза.— Пойдем скорей в дом, я тебя хоть накормлю чем-нибудь. Скулы у тебя торчат, хоть ножи точи. Снявши голову, по волосам не плачут.

Окончание см. в № 30.

Совсем рано утром Михаил Солдатов подъехал на своем самосвале к конторе конезавода. В приемной генерала Стрепетова секретарь-машинистка, оглядываясь на дверь в кабинет, предупредила его:

— Если у тебя не срочное дело, лучше завтра приходи. Его к трем часам вызывают в область на ковер.

Михаил обреченно взмахнул своим пшеничным чубом.

— Срочное у меня...

В кабинете генерал Стрепетов выслушал его, не поднимая головы, и спросил:

— А на воскресенье ты со своей Настей договориться не мог?

Михаил переступил ногами на месте:

— Я ей то же самое говорил, но она погрозилась, что сама пешком домой придет.

— Да, жаль ее,— сочувственно сказал генерал Стрепетов,— говорили мне. Ничего, вы еще молодые. У меня в начале войны сразу двое вместе со своей матерью...— Генерал Стрепетов как будто сам устыдился своей откровенности.— Но все равно с утра я тебя не могу отпустить. Слишком жирно будет на целый день. До обеда ты вполне успеешь сделать два рейса на кирпичный завод и тогда езжай.

Михаил взмолился:

— Она же с утра ждет!

— А у меня бригада из десяти человек кирпич будет ждать. Об этом бы вам с Настей, как комсомольцам, тоже не мешало подумать. Из-за ваших капризов я не могу график строительства школы нарушать.

Уже у самой двери Михаила догнали его слова:

— Ты что же, решил на самосвале ее и домой привезти?

Полуоборачиваясь, Михаил пожал плечами. Подняв голову от стола, генерал Стрепетов с любопытством смотрел на него.

— Передай моему водителю, чтобы тебе ключи от «Волги» отдал. В Ростов, скажи, мы на «виллисе» поедем.

От конторы Михаил рывком сорвал с места свой самосвал и помчался на кирпичный завод. Уже десять лет проработал он под началом генерала Стрепетова, но за это время так и не успел узнать, как и с какого бока надо было к нему заходить. Ни за что нельзя было заранее угадать, когда он соизволит дать тебе зеленый свет, а когда включит перед тобой красный.

Сделав до обеда три рейса на кирпичный завод и загнав в гараж самосвал, Михаил на «Волге» генерала Стрепетова заехал к себе домой переодеться. Не мог же он так и ехать за Настей в роддом — в комбинезоне, припудренном кирпичной пылью. Кроме Будулая, никого в доме не было. Теперь, когда он уже начал ходить и предпочитал без посторонней помощи управляться со всеми своими остальными делами, Шелоро и Макарьевна все чаще на пересменах оставляли его в доме одного. Но и нельзя было за это на них обижаться. У каждой из них дом, свое хозяйство, а у Шелоро еще целая дивизия ребятишек на руках, которых, когда они возвращались из школы и детского садика, нельзя было оставлять без присмотра. Михаил давно уже видел, и как Шелоро все это время металась, стараясь успеть повсюду, и как Макарьевна тоже разрывалась между дежурством у постели Будулая и своей клиентурой. Еще не знал Михаил, сумеет ли он когда-нибудь должным образом вознаградить их за то, что они пришли ему на помощь в трудный момент жизни.

Будулай сидел на стуле у окна, выходившего в степь, брился простой опасной бритвой. У ноги его стоял сундучок с откинутой крышкой. До крайности некогда было теперь Михаилу разговаривать с ним о чем-нибудь. Под окном пофыркивала невыключенным мотором «Волга», а Настя, конечно, давно уже стоит за воротами роддома. Но вдруг Михаил в открытом сундучке Будулая увидел аккуратно уложенную сверху красную рубашку с серебряными пуговицами, в которой он сидел на свадьбе на месте посаженного отца. Что-то кольнуло его.

— К приезду хозяйки наводишь марафет? — спросил он, надевая пиджак и никак не попадая в рукав.

Будулай встал со стула и, подержав ему рукав, серьезно взглянул на него.

— Спасибо тебе, но, пожалуйста, передай своей хозяйке, что я никак не смогу дождаться ее.

Радость смешалась в голосе Михаила с раскаянием.

— Это ты зря,— неуверенно сказал он, застегивая пиджак.— Рано тебе еще.

Будулай улыбнулся:

— Я уже на своих ногах.

Чисто выбритое лицо его то ли после болезни, то ли потому, что Михаил уже привык видеть его сплошь заросшим, пугало бледностью. Но из глаз уже исчез стеклянный блеск. Смотрели они спокойно.

— Если ты захочешь поехать на своем мотоцикле, то он...— отводя свой взгляд в сторону, начал Михаил.

— У меня мотоцикла нет,— не дал договорить ему Будулай и, в свою очередь, спросил:— Разве до автобусной остановки не по дороге тебе?

По-правильному, надо было бы распить посошок. Как-никак, не одну ночь провел Михаил с Будулаем почти бок о бок, и, если разобраться, они действительно родичи. Неизвестно, встретятся ли еще когда-нибудь.

Но за окном пофыркивала «Волга». И Настя теперь, конечно, уже заждалась Михаила за воротами роддома. Еще, чего доброго, пойдет навстречу ему по степи пешком. Ни одной минуты передышки не давала последнее время Михаилу жизнь. Он махнул рукой:

— Только скорей собирайся.

— Я уже все собрал,— наклоняясь над своим сундучком и защелкивая его на замок, сказал Будулай.

Но по пути до автобусной остановки у Михаила еще достаточно оставалось времени, чтобы спросить у него:

— Куда же ты теперь думаешь маршрут держать?

— Устроюсь где-нибудь. Были бы руки.— Михаил, скосив глаза, невольно посмотрел на его большие смуглые руки, положенные на колени.— А пока...

— Все-таки думаешь этот свой остров найти?

Будулай провел ладонью по лбу, туманно посмотрел на него.

— У каждого человека в жизни какой-нибудь остров есть.

В ту самую минуту, когда Михаил притормозил у автобусной остановки, большой рейсовый «Икарус» подошел.

Вот теперь Михаил опять начинал узнавать Настю. Никакого сравнения не могло быть с той, другой Настей, которая, рыдая, билась у него в руках: «Ни сыночка, ни доченьки, Миша, у нас нет и уже не будет больше!» — и с той, которая первое время с окаменелым лицом выглядывала ему навстречу из окна роддома, безучастная ко всему окружающему. Прежняя, прежняя Настя возвращалась теперь рядом с ним в «Волге» генерала Стрепетова. И даже, может быть, еще более быстрая в словах и в движениях, чем до болезни.

Поворачивая голову из стороны в сторону и не переставая удивляться, она просила Михаила:

— Ты, Миша, пожалуйста, не так быстро гони. Когда так мелькает, ничего по дороге и рассмотреть нельзя. Смотри, смотри, Миша, как цыганский костер! Притормози.

А чего особенного было рассматривать? Все та же степь, которую он, Михаил, давно уже пропечатал елочками протекторов своего самосвала вдоль и поперек. Конечно, она изменилась с тех пор, как Михаил отвозил Настю в роддом, все-таки месяц прошел, и по затвердевшей под морозным ветром дороге можно было выжать скорость, без опаски заночевать в кювете, но если теперь тормозить у каждого куста шиповника, на котором сверкали под зимним солнцем красные ягоды, то и до полуночи им не добраться до дома.

И все-таки Михаил согласен был тормозить, только бы не покидали Настю эти оживление и веселость, не вернулась к ней та окаменелость, от которой у него всякий раз, когда он подъезжал к роддому, тоже застывала кровь в жилах. Хочет, пусть хоть танцует возле каждого такого кустика, которых и в самом деле так много пылало своими огненными ягодами в заснеженной табунной степи.

Но все же надо было ему успеть по дороге домой и выбрать момент, чтобы подготовить Настю к тому, чего он теперь уже не имел права скрывать от нее. И лучше, с учетом ее характера, если она заблаговременно узнает об этом от него, чем от кого-нибудь из чужих людей уже дома.

Ему показалось, что как раз наступил подходящий момент.

— Теперь, должно быть, и все наши цыгане уже опять подтянулись на конезавод,— окидывая взглядом степь, сказала Настя.

Не отрывая глаз от дороги, Михаил небрежно начал:

— Знаешь, Настя...

Она вдруг с насмешливой ласковостью дотронулась до его плеча.

— Знаю, знаю, Миша. Я даже больше, чем ты думаешь, знаю. Можешь ничего не рассказывать мне.— Она рассмеялась под его удивленно-недоверчивым взглядом: — Да, да, не смотри на меня такими глазами. Ты бы ими

Окончание VI части. См. «Огонек» №№ 22—28.

Анатолий КАЛИНИН

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

Книга вторая

ЦЫГАН

хорошенько смотрел, когда решил себе в жены цыганку выбрать.— Но тут же она и великодушно смилостивилась над недоумевающим Михаилом, пояснив:— Душа у тебя, Миша, как у самого малого малыша из нашего детского сада. Его тоже ничего не стоит обмануть. Ты что же думаешь, Шелоро так бы и вытерпела целый месяц не наведываться ко мне, пока ты ездил в свои рейсы?

Только тут Михаила озарила догадка. Так вот, оказывается, почему у них в доме по субботам всегда непременно что-нибудь вкусное жарилось и пеклось и каждый раз его встречал запах сдобного теста.

Настя не была бы его женой, к тому же цыганкой, если бы по его лицу не сумела прочитать его мысли.

— Вот, вот, теперь ты догадался правильно, хотя уже и поздно. Макарьевна готовила, а Шелоро возила мне передачи. Ими у нас весь роддом кормился.

Возмущенный до глубины души, Михаил вскричал:

— Ах, проклятые бабы, я же им строго-настрого!..

Настя еще веселее рассмеялась.

— Так они, Миша, тебя и испугались. Ты у меня, оказывается, совсем не знаешь женщин — ни русских, ни цыганских. Я же и говорю, детская у тебя душа.— Вдруг, посерьезнев, Настя окинула его изумленно-внимательным взглядом и положила голову ему на плечо:— Но за это-то, Миша, я тебя и люблю. Вот ты, оказывается, какой. Я и не знала.

Всю жизнь Михаил ждал от нее этих слов.

Так бы и ехать сколько угодно по этой сверкающей перламутровым блеском степи, мимо пылающих холодным пурпурным пламенем костров шиповника, среди мелькающих и зыбко подламывающихся в струях морозного марева обнаженных лесополос, сквозь которые виднелся изумруд озимых полей. Не это ли и называют люди счастьем? Ничего подобного не испытывал прежде Михаил. Ни до, ни после свадьбы с Настей. Жизнь не баловала его.

Но, должно быть, поэтому же и так быстротечно оно, это счастье. Впереди замелькали сквозь стволы обнесенных ветром лесополос зеркальные зайчики окон поселка конезавода, и, пока еще не доехали до него, Михаилу надо было успеть досказать Насте то, что он не успел досказать. Он неуловимо-бережно пошевелил плечом у нее под головой. Подняв голову, она вопрошающе взглянула на него.

Вдруг почему-то не по себе сделалось Михаилу под ее взглядом, и слова, как колючие репьи, стали обдирать его горло, когда он сбивчиво заговорил:

— Но ты можешь не беспокоиться, Настя, тебе уже не придется ухаживать за ним.— Если бы при этом Михаил смотрел не на дорогу, а на нее, он бы увидел, как удивленно-протестующее выражение заступило место вопросительно-счастливому у нее на лице. Но ему никак нельзя было оторваться от обледенелой дороги, скатывающейся под уклон, к поселку, и он, чувствуя на себе взгляд Насти, продолжал теми самыми словами, которые на прощание услышал от Будулая: — Теперь он уже на своих ногах.

Настя молча выслушала его, ни разу не прервав. Только в лице у нее по мере того, как рассказывал он, что-то все больше замыкалось, и взгляд ее все дальше ускользал в глубь степи, туда, где на зеленой груди большого озимого поля кудрявыми овечками паслись белые легкие тучки. Не отрываясь от этих тучек, глаза ее как будто что-то искали среди них. Но Михаил не сомневался, что Настя внимательно слушала каждое его слово.

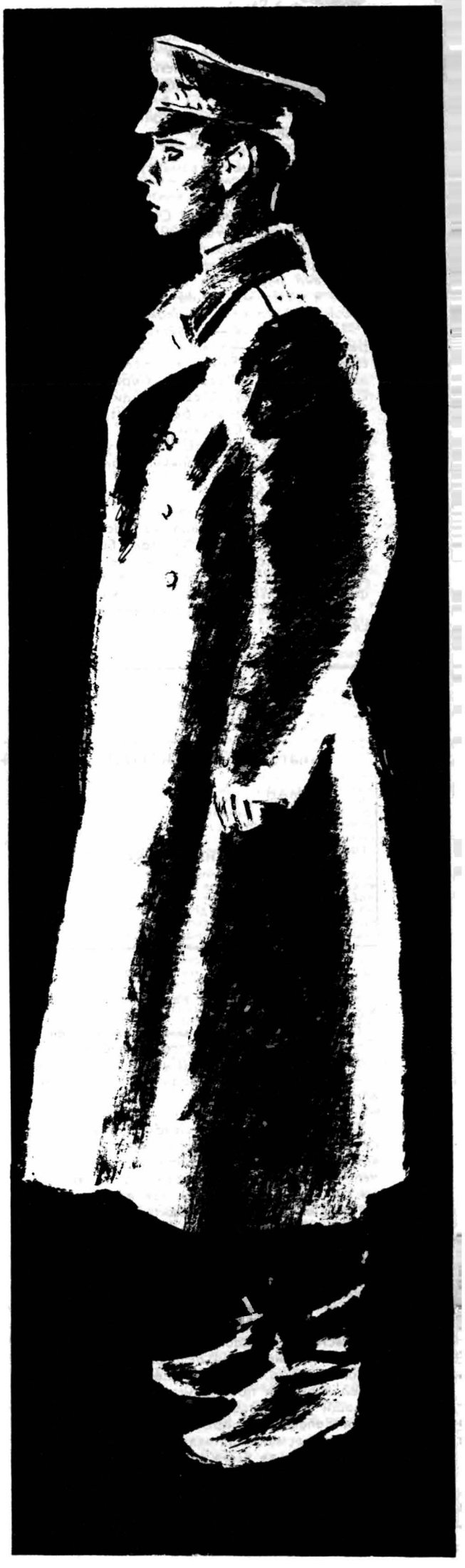
Чтобы успеть все-все рассказать ей до конца и не возвращаться потом к этому разговору дома, он перед самым поселком съехал на обочину, притормозил машину под лесополосой. Но и после того, как он уже смолк, она еще долго ничего не спрашивала у него, пока вдруг не очнулась, поворачивая к нему лицо.

— Все?

— Все,— эхом отозвался Михаил.

Снизу вверх она заглянула ему в глаза.

— И ты мог его такого отпустить? Он же теперь совсем как дитя. Ему все заново надо начинать. Его теперь каждый может оби-



деть.— Она вдруг горячо предложила: — Давай, Миша, догоним его.

Михаил покачал головой.

— Мы уже не сможем его догнать.

Она схватила его за руку:

— Почему? Это же у генерала Стрепетова совсем новая «Волга».

— Он уже теперь на правом берегу Дона.

У нее враждебно заблестели глаза.

— Ты думаешь, он поехал к ней?

— Не знаю, Настя, но...

Она не дослушала его:

— Он тебе говорил?

— Нет, я сам подумал. Куда же ему еще?

— А! — Она исподлобья взглянула на него.— Теперь я знаю, почему ты его отпустил.

Михаилу вдруг вспомнилось, как Федор Касаткин предостерегал его до свадьбы: «Ты все время будешь с ней как на вулкане жить».

— Мы еще долго здесь будем стоять? — спросила Настя. И когда «Волга» опять тронулась с места, спускаясь по обледенелой дороге в поселок, предупредила Михаила: — Но у дома Макарьевны ты останови.

Он тупо спросил:

— Зачем?

— Я там сойду. Нам с тобой, Михаил, пока надо отдельно пожить.

Михаилу вдруг явственно почудилось, как яркая красная рубашка вспыхнула у него прямо перед глазами на повороте к поселку, и он даже круто вильнул, объезжая ее. Но это опять оказался куст шиповника, осыпанный ягодами.

У него вырвалось:

— А только что ты говорила!..

— Я и сейчас не отказываюсь,— подхватила Настя.— Ближе тебя, Миша, у меня здесь никого нет. И лучше тебя я никого больше не знаю. Ты даже сам не знаешь, какой ты...— Она не стала договаривать.— Но как бы тебе лучше объяснить то, что я и сама не могу до конца понять? Я к тебе, Миша, за это время почти совсем привыкла, иначе я не захотела бы от тебя ребеночка иметь, а потом я надеялась и полюбить тебя. А когда я узнала от Шелоро, как ты поступил, когда они с Егором привезли его, я уже полюбила тебя. И пока он лежал у нас в доме, а ты ухаживал за ним, я все больше любила тебя. Это правда, Миша, я знаю, что кругом виновата перед тобой и не стою тебя, но все это правда. Пусть Шелоро тебе расскажет когда-нибудь, как я гордилась тобой, что ты никому больше не позволял купать его и достал для него пчелиного молочка... Ты меня слушаешь, Миша?

Михаил не отвечал. Новая «Волга» генерала Стрепетова, спускаясь к поселку конезавода, сама собой бежала под его руками по дороге, изученной им за этот месяц, пока он каждый день ездил на свидание с Настей, так что он мог бы уже ехать по ней с закрытыми глазами. Но еще никогда эта дорога не казалась ему такой невыносимо трудной и долгой. Руль почти не подчинялся Михаилу, и это, видно, не укрылось от глаз Насти. Она дотронулась до его плеча.

— Успокойся, Миша. Мы же не навек расстаемся. Он ведь моей погибшей родной сестры муж, и я теперь должна подумать, как им отплатить за то, что они сделали с ним. Я пока отдельно поживу, а там... Ты, Миша, слушаешь меня?

Михаил не отвечал. Молча он довел машину до поселка. Молча довез Настю до дома Макарьевны. Молча, ни разу не оглянувшись, уехал по дороге к своему дому.

За один только вечер в доме у Клавдии Пухляковой чуть ли не весь хутор перебывал. Каждому хотелось лично на ее лейтенанта посмотреть, которого все знали еще с тех пор, как мать под бомбежкой принесла его вместе с Нюрой в фартуке с горы, из кукурузы.

Первый пристучал на своем протезе дедушка Муравель. С порога потребовал:

— Грех тебе будет, Клавдия, станови на стол. Погоны следует обмыть.

Катька Аэропорт, которая явилась со своей завернутой в сиреневое одеяльце дочкой, передала ее Клавдии, а сама положила Ване на плечи обе руки.

— Здесь, товарищ новорожденный лейтенант, будем целоваться или у меня дома? — Не дожидаясь его ответа, сама же решила: — Сперва здесь, а потом и у меня дома. — Но тут же, посерьезнев, она взяла у Клавдии свою девочку.— Не бойся, Настя, никто твою мамку у тебя не отнимет, никто теперь ей, кроме тебя, не нужен.

Даже Тимофей Ильич перед заседанием парткома нашел минуту забежать.

— А я, Клавдия Петровна, вижу, перед твоим двором знакомый военный «газик» стоит, и испугался. Ты что же, Ваня, и мать решил с собой забрать?

Не успевая всем отвечать, Ваня улыбался откровенно счастливой улыбкой и невольно поигрывал плечами, охотно подставляя под чужие взоры новенькие свои погоны. Они еще не успели как следует улечься у него на плечах и топорщились, как крылышки.

За весь вечер Клавдия едва ли двумя словами успела перемолвиться с ним. А потом с веселым смехом ворвался к ним почти весь бывший десятый класс, в котором учились Ваня с Нюрой, и утащил его с собой в новый клуб на танцы.

Просидев до полуночи в ожидании его на диване и внезапно подкараулленная сном, Клавдия так и пропустила тот момент, когда он со своими офицерскими ботинками в руках, которые снял в сенцах, прокрался к себе в боковушку.

Утром за завтраком она, глядя на него через стол, грустно сказала:

— Вчера нам с тобой так и не дали поговорить, а теперь ты уже скоро...— У нее задрожал голос.

— Еще, мама, почти целый день впереди,— успокоил ее Ваня.

— Мне, Ваня, все время вчера казалось, будто ты собираешься что-то мне сказать.

Ваня уклончиво засмеялся:

— А мне, мама, казалось, что это ты хочешь...— Он спохватился: — Я еще должен тебе с острова сушняка привезти.

Она запротестовала:

— Вы же с Андреем Николаевичем на всю зиму нарубили мне дров.

Но Ваня уже застегивал шинель.

— Зима, мама, говорят, будет долгая. Я мигом вернусь.

С крыльца она наблюдала, как он впрягался в большие сани, на которых они обычно возили из-за Дона и с острова сено для коровы и порушенный буреломом сухостой на топку. Вдогонку, когда он уже выехал за ворота, напомнила:

— Там перед островом Дон не замерзает. Ключи бьют.

— Как будто я, мама, не знаю,— обиженно откликнулся Ваня.

Огрузший в глубоком снегу островной лес потрескивал на морозе. Вербы и тополя сплошь чернели в косматых грачиных гнездах.

Сняв шинель, Ваня налегке и с охотки вскоре, за какой-нибудь час, вдвое больше, чем можно было увезти на санях, насобирал наломанного черными астраханскими бурями леса вокруг старого военного блиндажа, в котором он еще совсем недавно прятал со своими хуторскими дружками найденные под вербами в траве и под палой листвой немецкие и русские автоматы. Уже навалив на сани жердины и надевая шинель, вдруг с удивлением обратил внимание, что почему-то вытаял на кровле блиндажа вокруг жестяной печной трубы снег и, похоже, призрачно колыхался над трубой воздух. А потом, быстро глянув вниз, он увидел и продавленный к входу в блиндаж по голубоватому снегу темный свежий след.

Ему захотелось узнать, кому еще и теперь он мог понадобиться, этот старый блиндаж. Спустившись по ступенькам, он открыл бревенчатую дверь.

Только привыкнув глазами к желтому сумраку, разбавленному отблеском раскаленной чугунной печки и скудным светом, сочившимся снаружи из узкой амбразуры, он разглядел в глубине блиндажа склоненного над деревянным столиком человека. Расстелив на столике газету, он что-то резал на ней ножом.

На шорох он повернул голову к двери, и Ваня вздрогнул, узнав глуховатый голос:

— Закрывай за собой дверь, блиндаж остудишь. Ты из местных? Я в твои годы уже тоже лейтенантом был. Ты как раз к завтраку попал. Правда, у меня, кроме хлеба и сала, ничего нет. Что же ты на пороге застыл, входи и садись. Ты не знаешь, лейтенант, здесь где-нибудь поблизости есть кузня?

Все остальные подробности цыганское радио поспешило взять на себя.

И то, как Клавдия, которая уже забеспокоилась, что Ваня слишком долго не возвращается с острова, выглянув в окно, увидела его вытягивающим на постромках от Дона в проулок сани с дровами. И то, как, всматриваясь, она никак не могла сообразить, кто же из хуторских мужчин, при этом добровольно, взялся помочь ему, подталкивая сани и поддерживая ворох сушняка, чтобы не рассыпался он. И то, как, вдруг отстраняясь от окна и обессиленно опускаясь на месте, она, как слепая, стала нащупывать сзади себя табуретку.

ЧЕРНЫЕ ПТИЦЫ

Петр ПРОСКУРИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

Посвящается Лиле

1

Тревожный знакомый свет прорезался неровным, дрожащим бликом и исчез, чтобы снова появиться через мгновение, и она даже во сне потянулась на этот свет; это было предупреждение, предчувствие счастья, одного из тех немногих мгновений, таких редких в ее предыдущей жизни; где-то в самых отдаленных глубинах ее существа уже копилась таинственная, как подземная река, музыка, и, как всегда, она начиналась с одной и той же мучительно рвущейся ноты. Было такое чувство, словно боль сердца, не высказанная за всю ее трудную и уже долгую жизнь, высвобождалась, делалась открытой для всех, и все удивлялись и жалели ее; но и это тоже было не главное — это тоже мимолетно и бесследно исчезало. Оставалась иная боль, боль освобождения — тихая, щемящая, что-то вроде неслышного, скользящего полета над ночной землей, с редкими вкраплинами огней внизу. И вот уже музыка заполнила все вокруг: и звезды в черном бархатном небе, и редкие огни внизу, и сама она, и ее неслышный полет были музыкой. Она еще сдерживала себя, еще боялась вдохнуть всей грудью резкий ночной воздух, но подземная река в ней все ширилась и рвалась наружу, она узнала свой голос, он лился свободно и широко, легко перекрывая пространство и все посторонние звуки; ничего больше не оставалось в мире, кроме этого мучительного и победно-торжествующего голоса; в небе ответно разгоралась все та же болезненно яркая звезда; синевато-лучащаяся, огромная, она появлялась всякий раз, как только начинал звучать во сне ее голос; так было всегда. Вот и теперь, разрастаясь, сиреневая звезда неостановимо неслась ей в зрачки, слепила, было невыносимо переносить ее нестерпимый, все обострявшийся свет; и мир вот-вот готов был рухнуть; она изнемогала... И было еще одно очень странное чувство — она всегда знала, что поет во сне, что слышит себя, свой голос в далекой молодости, но остановиться не могла,— границы времени смещались; только каждый раз она открывала глаза, чувствуя себя окончательно разбитой, измученной, еще большей старой развалиной, чем до сих пор.

Все обрывалось неожиданно, оставалась лишь тупая боль в сердце, и каждый раз Тамара Иннокентьевна боялась конца, каждый раз она обессиленно долго лежала, боясь шевельнуться, и широко открытыми глазами невидяще глядела в темноту, мучаясь желанием остановиться на чем-нибудь привычном, хотя бы на старом резном шкафу черного дерева; это приходило всегда ближе к рассвету и поэтому особенно обессиливало; сегодня же к опустошенности присоединилось еще и чувство незавершенности, на этот раз недоставало чего-то главного.

До сознания Тамары Иннокентьевны вдруг явственно донесся совершенно посторонний, не имеющий к ней и ее сну никакого отношения, просторный вольный шум; она удивилась, что в этом убогом и тесном мире есть что-то еще постороннее. Она заставила себя приподняться и прислушаться и с облегчением опустилась на подушку. Ничего таинственного и загадочного, всего лишь сильный ветер, и как раз со стороны окна; теперь она почувствовала, что в комнате очень свежо; как хорошо, подумала она, впереди еще полностью месяц зимы (она любила зиму), и улицы завалены снегом, февраль нынче выдался снежным, вьюжным, как в добрые, старые времена, когда много снегу и морозно, и на воздух выйти приятно, и сразу улучшается настроение, до оттепелей еще далеко.

Заставив себя встать, Тамара Иннокентьевна забралась в теплый халат и, плотно запахнувшись, зябко придерживая ворот у горла, подошла к окну, раздвинула шторы. Тотчас в комнату потек неверный, все время меняющийся свет фонаря, раскачивающегося во дворе напротив, и от окна ощутимо потянуло зимой, холодом. Тамара Иннокентьевна тихо улыбнулась; она угадала, так и есть, на улице был сильный ветер, вернее, вьюга, в свете фонаря непрерывно и густо несло массы снега, а высокие старые тополя, сейчас метавшиеся от ветра, росшие во дворе с тех самых пор, как Тамара Иннокентьевна помнила себя, казались живыми существами, обреченными на гибель; они-то и производили тот непрерывный, стонущий звук, заставивший ее подняться с постели и подойти к окну. Стоя у настывшего окна, Тамара Иннокентьевна почувствовала себя как-то бодрее и крепче; ей давно не приходилось видеть такой злой и беспощадной метели, и она, забыв о холоде, идущем от окна, никак не могла заставить себя оторваться от сплошных ливневых потоков снега и беспомощно раскачивающихся верхушек тополей. Ей представилось, что это по всей земле метет вьюга, и никакого города нет, а есть только бешено и неостановимо льющиеся с неба потоки снега, дремучие, стонущие леса (когда-то, много-много лет тому назад, еще до войны, Глеб взял ее в гастрольную поездку в Архангельск и дальше на север, она видела такие леса), дикие звери, застывшие реки с синим льдом, и вся земля — в потоках лохматого снега, вся — от края до края. Она улыбнулась своим детским мыслям, но тотчас досада на себя взяла верх. Все было иначе, значительнее и таинственнее, и много проще; вслушиваясь в кипящую душу вьюги, она подумала, что сегодня, когда она пела, ни в начале, ни в конце Глеб не позвал ее, как всегда, не остановил... За что-то он на нее сердится сегодня, а ведь она ничего плохого за собой не знает... Во всяком случае, за последние годы... Что же она проглядела? И потом, Глеб никогда не таил зла, Глеб не мог быть жестоким к ней, он вообще не мог быть жестоким.

Теперь за окном в самом характере вьюги что-то неумолимо переменилось; впрочем, все это она уже когда-то чувствовала, видела, переживала, и вот такой же тихой, щемящей болью болела у нее душа; все это было, было! Что же изменилось в несущихся за окном потоках снега за последние несколько минут? Ветер усилился, еще усилился, и свет фонаря стал беспокойнее, резче, летит, рассекает тьму...

Тамара Иннокентьевна зябко поежилась: все эти выдуманные страхи — от одиночества, от долгой, несостоявшейся жизни. Фонарь по-прежнему раскачивался, все так же весело и бешено неслись слепые снежные потоки. Тамара Иннокентьевна прошла на кухню, на ходу прикоснувшись ладонью к двери в другую комнату, хранившую все самое дорогое в ее жизни. На какую-то долю минуты она задержалась возле этой двери, преодолевая острое желание толкнуть ее, войти, погладить крышку старого, верного рояля, самую дорогую память о Глебе, бросить взгляд на знакомые корешки книг; но в последнюю минуту передумала. После неожиданного пробуждения что-то необратимо стронулось с привычных мест, изменилось, словно в ней поселилось два непохожих, не очень умеющих поладить друг с другом человека. «Ах, да, да, опять эти страхи,— Тамара Иннокентьевна расстроенно потерла себе виски,— а причина-то пустяковая, вполне объяснимая, обыкновенная, мороз вчера очень сильный был, а я ходила в магазин, а можно было обойтись и без простокваши один день. Очевидно, простудилась, так — легкое недомогание. День-другой хорошенько прогреться, лечь в постель. Девочки придут, извиниться перед ними. Лучше позвонить им домой, зачем им зря в такую погоду ехать. Они очень симпатичные, девчушки десяти и двенадцати лет, и, кажется, не без способностей, особенно младшая, Наташа, удивительно восприимчивая, и руки хорошие, особенно правая...»

Тамара Иннокентьевна медленно, ощупью прошла темным неосвещенным коридором на кухню и тут сразу же опять услышала, как неистово рвется в окно ветер; за стеклами металась белесая, мутная, беспросветная тьма. Перевалило всего лишь за полночь, и все было еще во власти глухой вьюжной бесконечной ночи; Тамара Иннокентьевна все время ощущала на себе чей-то цепкий, осторожный, испытующий взгляд, взгляд был враждебный, неотпускающий и непрощающий. Тамара Иннокентьевна нетвердой рукой нащупала выключатель, щелкнула им; яркий свет ударил в глаза, и привычные вещи обозначились на своих местах. Все так же с легким ознобом и неприятным ощущением ломоты, особенно в суставах ног, Тамара Иннокентьевна зажгла горелку на плите, с удовольствием подержала руки у веселого напористого огня, поставила на огонь чайник. Вскоре чайник энергично запел, готовясь вскипеть, и сразу стало теплее; Тамара Иннокентьевна приготовила заварку (она любила смешивать разные, хорошие сорта чая), а когда чайник на плите забулькал, резво подбрасывая крышку, щедро заварила чай, достала из шкафчика, встроенного в выемку стены рядом с подоконником, банку с малиновым вареньем. Сомнения и страхи кончились; с удовольствием отпивая горячий, душистый чай, она даже слегка улыбалась своей минутной слабости, кожа лица потеплела и порозовела, спать совсем не хотелось, и тем не менее, угревшись и откинувшись на высокую гнутую спинку старого любимого кресла у стола, она незаметно задремала. Ей даже что-то приснилось, что-то далекое, неясное, размытое и, несомненно, приятное; но, едва погрузившись в сон, она тотчас испуганно вскинулась. Сердце глухо и часто колотилось. Тамара Иннокентьевна торопливо осмотрелась. Все оставалось словно бы и на своих местах, ничего не изменилось, только яркий свет лампочки в стареньком ситцевом абажурчике приобрел какой-то мглистый оттенок, и от этого и стены, и полки, и посудный шкафчик, и стол, и полотенце над мойкой — все как-то разом потускнело; Тамара Иннокентьевна поднесла ладонь к глазам, рассматривая. Кожа на руке тоже была серой, словно бы густо припорошенной сухой дорожной пылью; Тамара Иннокентьевна даже попыталась стряхнуть ее. Да, да, что-то случилось не то со светом, не то с глазами. Она не успела удивиться, в коридоре послышались возбужденные

знакомые голоса, и на кухню первым ворвался Глеб, за ним Саня, очень стройный, как всегда, элегантный; в глаза метнулось расстроенное, вконец потерянное лицо Сани, хотя он изо всех сил старался принять непринужденный вид, но задержаться на этом не было времени. Ее подхватил, закружил по комнате Глеб; много крепче тонкого в кости Сани, слегка сутуловатый, он был очень сильным.

— Томка! Томка! Наконец-то! Наконец! — кричал он, обдавая ее жарким, прерывистым, знакомым дыханием.— Наконец... есть разрешение! А Димке Горскому отказали наотрез... Так ему и надо, а то он даже в этом не захотел уступить! Я заявление в военкомат, и он следом! А? Представляешь, с его хроническим бронхитом... Каков, а?

— Не смей! Не смей! — попросила Тамара пропадающим шепотом и сильно бледнея.— В такой момент нельзя кощунствовать над самым святым... что ты, Глеб! Дима ведь прекрасный человек, очень талантливый... нельзя! Он сам по себе — он ведь очень честный и совестливый...

— Томка, ты что? — шумно запротестовал Глеб.— Неужели ты подумала, что я всерьез? Я сам Димку во как люблю... ты же знаешь. Только ведь не с его же здоровьем на фронт... Зато Солоницыну разрешили, мы с ним просились в одну часть...

Почувствовав внезапное головокружение, она обмякла, ноги подломились, и вместе с распространяющейся в груди пустотой комната поплыла у нее перед глазами — стены, потолок, блестящие глаза Глеба. Из последних сил она отчаянно попыталась справиться с собой, но тяжело повисла на руках Глеба. Он удивленно и бережно усадил ее, сам опустился перед ней на колени и, взяв ее враз похолодевшие руки в свои, стал часто целовать их, стараясь согреть, то и дело тревожно взглядывая ей в лицо; от немой, невыразимой любви, от какого-то почти животного, непереносимого страха за него она не могла заставить произнести себя ни слова; если бы она разжала губы, у нее вырвался бы один непрерывный, нескончаемый безобразный стон.

— Томка, Томка,— пробился к ней наконец откуда-то очень издалека до обморочного состояния знакомый, родной и в то же время опять куда-то ускользающий голос.— Ты же все знала, Томка... Ну что ты так? Что в этом для нас с тобой нового? А, Томка?

Замолчав, Глеб оборвал на полуслове; их глаза встретились. Впервые после женитьбы да и за всю свою прежнюю жизнь они поняли, почувствовали, ощутили с такой убивающей силой, как они любят и как они необходимы друг другу; они смотрели, смотрели в глаза друг другу, и уже не было ни его, ни ее отдельно, уже было одно существо, одно чувство, одна боль и одна надежда, но слабая-слабая, как еле теплящийся огонек, еле ощутимый за тем, беспощадным, огромным, безжалостным, все сметающим на своем пути, что надвигалось на них. И Тамара увидела мелькнувшее у него в глазах смятение; оно мелькнуло и исчезло, но одного этого мгновения было достаточно. Он не мог больше смотреть ей в глаза и опустил тяжелую лобастую голову ей в колени, словно прося помощи и защиты. «Конечно, милый, я знала, я давно ждала этой минуты,— сказала она где-то глубоко в себе, в только-только начинавшей устанавливаться тишине,— только ты никогда не узнаешь, как я этого ждала. С таким ужасом и своей смерти не ждут, как я ждала этого дня... Ну, что теперь? Должно же было так быть, кем-то так назначено... Я все вынесу, лишь бы ты вернулся».

«У нас почти не осталось времени,— словно растворяясь в теплой темноте, идущей от ее коленей, с неожиданной силой сказал Глеб; по крайней мере, хотя он не произнес ни звука, она ясно услышала неожиданно гулко, пустынно прозвучавшие в ней эти его мысли. — Несколько часов наши, еще вся ночь наша! Наша, слышишь?»

«Слышу, слышу! — беззвучно отозвалась она, боль и обреченность в ее глазах погасли, сменившись горячим, живым блеском; Глеб всегда поражался мгновенности этих переходов.— Да, Глеб, эта ночь наша. Наша... Пусть всего одна, но наша...»

«Не имеет значения! — Она почувствовала,

что от него исходит незнакомая властная сила.— И потом — что значит одна? Жизнь тоже одна, она может свершиться и в один день и в тысячу дней, а может не уместиться и в сто лет, неожиданно оборвется, останется только чувство незавершенности, тоски, оборванности в самом начале».

«Да, Глеб, да»,— торопливо согласилась она, не думая уже ни о чем другом, кроме того, что надвигается какая-то душная, все поглощающая тьма; разбирая пальцами его густые пшеничные волосы, она подумала, что эти живые, упругие волосы завтра будут выброшены куда-нибудь на помойку, как ненужный мусор; почему-то именно это потрясло ее больше всего, хотя она отлично знала и раньше, что всех новобранцев стригут. Почувствовав на себе что-то мешающее, постороннее, она подняла глаза и увидела стоявшего в дверях кухни Саню, неотрывно глядевшего на нее, в его глазах и в полуулыбке застрял какой-то мучительный вопрос. Подчиняясь еле заметному движению ее напрягшихся рук, Глеб встал и шагнул к Сане.

— Давай попрощаемся, Саня.

— Понимаю, понимаю,— заторопился Саня, опуская глаза и заметно бледнея, щеки и шея у него сделались мучнистыми и неприятными. Глеб и Саня молча попрощались, стиснув друг друга в объятиях, но она уже забыла о Сане; она вспомнила, что Глеба весь день не было дома и его надо накормить, что он, конечно же, голоден; надо отойти, отвлечься от своего панического настроения. Надо успеть собрать его, две пары нижнего белья надо, носовых платков не забыть положить, теплые носки,— до замужества она жила в старинной артистической семье, хорошо обеспеченной, никогда раньше не сталкивалась с подобными заботами, и теперь ее мысли растерянно заметались; она не знала, что еще требуется мужчине, если он идет на войну.

— Томка, наконец-то! Мы одни! — отвлек ее от неспокойных мыслей голос Глеба; он подошел к ней, тяжело обнял, прижал к себе; и в ее сознании возникло ощущение острой, нестерпимо яркой вспышки света; она крепко зажмурилась и обессиленно припала к нему; дрожа от нетерпения, от избытка переполнявшей его силы и боли, Глеб взял ее на руки и осторожно опустил на широкую, еще дедовскую кровать из резного черного дерева, в отрочестве вселявшую в него непонятный ужас и даже отвращение своей сопричастностью с каким-то глухим, душным, губительным мраком. Он стал медленно раздевать ее, и она впервые совершенно не стыдилась...

И потом была какая-то первобытная, свирепая по мучительно яркому, то и дело повторявшемуся наслаждению ночь. Ближе к утру от усталости и изнеможения она провалилась в стремительно навалившийся сон; она не знала, час она спала или всего лишь несколько минут, она лишь все время хотела проснуться и помнила, что ей необходимо проснуться, и не могла. Потом к ней прорвался знакомый, родной голос, заставивший даже во сне сжаться и замереть сердце.

— Томка, Томка... Слышишь? Часы бьют... Пора. Не спи. Слышишь? Нельзя больше спать.

Она рывком села в кровати и сразу попала в тесное кольцо родных сильных рук, они окружали ее со всех сторон, и не было ничего мучительнее и надежнее этого плена. Время исчезло, а когда они опомнились, из кухни в приоткрытые двери доносились позывные радио и голос Левитана читал последние сообщения с фронта.

Опять в висках настойчиво застучало: «Уедет, уедет, уедет! — Она вжалась в подушку. — И ничем нельзя остановить, задержать, заслонить!»

— У нас обязательно будет мальчик, маленький Глеб,— не терпящим возражения голосом убежденно сообщила она, пересиливая тяжесть в сердце, отбрасывая со лба его пшеничные спутанные волосы и разглаживая кончиком пальцев его брови.

— Маленький Глеб — это хорошо... Представляешь, вырастет, и станут его называть Глеб Глебович, Глеб в квадрате, хороший подарочек мы ему приготовим, ты не думаешь?

— Все равно он будет Глеб,— повторяла и повторяла она, все время ощущая его большое, разгоряченное тело, разметавшееся рядом.

— Ну и ладно, будь по-твоему. Да, Томка, не забудь, собери и спрячь куда-нибудь в ящик мои бумаги,— негромко сказал Глеб после недолгого молчания,— возможно, еще пригодится... жаль, у меня так мало законченного... Несколько вальсов, квартет... одна симфония, а вторая так и осталась в основном в голове, в кусках. Вот война пройдет, потом закончу все по-другому... Рояль береги, он уникальный и очень старый, таких в стране только два. За ним так хорошо думается... А самое главное, береги себя, не простужайся, у тебя золотое горло. Ты вырастешь в громадную певицу, у тебя будет мировая слава, вот посмотришь... Я напишу для тебя самую лучшую оперу... Лучшая в мире опера и лучшая в мире певица... Представляешь? Ты что? Не надо, зачем же плакать? У нас ведь уже все есть, даже имя сыну, даже то, чего никогда не будет... Не надо, ты же сильная, Том,— попросил он, по-прежнему не шевелясь.

— Ты лежи, Глеб. — Время теперь все убыстряло и убыстряло свой бег.— Я сама все сделаю. Ты лежи. Я еще платки тебе должна выгладить. Еда есть, только разогреть.

— Мы все сделаем вместе,— остановил он ее.— Слышишь, кажется, ветер, метель, что ли, усилилась... Ты меня не провожай, тебе нельзя простуживаться...

Тамара быстро оделась, стараясь по возможности выбирать любимые его вещи (он должен запомнить ее красивой); ее теперь все время подгоняла мысль, что она не успевает; Глеб ходил за ней и бестолково совался во все углы; наконец и это закончилось. В квартире было очень холодно, топили плохо; позавтракали, выпили горячего чаю, согретого на примусе. Напряжение в сети было совсем слабым, лампочки в люстре еле светили красноватыми нитями. Глеб бездумно и счастливо засмеялся.

— Что ты, Глеб? — опешила Тамара.

— Ты меня никогда не забудешь, вот о чем я подумал, мне стало хорошо...

— Ты смешной, Глеб, ни на кого не похожий. Ты это знаешь? Откуда ты такой, я тебя боюсь. Вернее, раньше, до этой ночи, боялась. Я тебя не понимала раньше...

— А теперь?

— Ночь была... Такие ночи делают человека зорче. Теперь не боюсь, я поняла сегодня что-то такое, что не умею назвать...

— И не называй, не надо называть, не надо, Томка... Томка, у нас остался час, нет, даже меньше.— Голос у него переменился, во всем лице проступило что-то резкое, угрожающее.— Я недавно записал одну тему. Грандиозная мысль... Сейчас тебе проиграю... Пойдем.— Он схватил ее за руку и потащил к большому концертному роялю, покрытому каким-то особым старинным лаком, черным, с пепельной изморозью; лицо Глеба горело, точно в лихорадке.

— Глеб, Глебушка...

— Молчи! — остановил он ее.— Слушай...

Какую-то долю секунды он еще медлил, словно еще боролся с собой, и, решившись, властным обнимающим движением взял первые аккорды. Она отпрянула в кресле, ей послышался свист крыльев, точно два сильных шумных крыла развернулись и легко взмыли в воздух. И уже следующие долгие, уже откровенно ликующие всполохи звона заполнили ее какой-то светлой щемящей тоской: вырвавшись на свободу, опьяненный простором, радостью движения, он стремительно уносился все дальше,— где ей было догнать его, боже мой, всю жизнь только тянуться к нему, только быть где-то рядом уже награда и счастье; сердце окончательно оборвалось и стало падать, падать в мучительно желанную пропасть.

У нее текли по щекам слезы, но она их не замечала; она уже почти не чувствовала себя — «сиянье мрака погасит рассветы», нет, никогда, никогда! Этого не может быть, чтобы когда-нибудь ее не было, что ее никогда не будет. Не в силах больше выносить эту музыку, сдерживая дыхание, чтобы не разрыдаться, она стиснула грудь руками, чтобы как-то остановить, задержать рушащийся на нее мир скорби, обновления и солнца...

Когда она очнулась, Глеб сидел, бессильно уронив руки на клавиши; почувствовав ее взгляд и подойдя ближе, он, ничего не спрашивая, долго смотрел ей в глаза.

— Всегда мечтал написать цикл славянских языческих молитв,— словно пожаловался он с потухшим тяжелым лицом.— Молитву земли, молитву воды, молитву леса... То, что ты сейчас слышала,— выделяя, сказал он,— это молитва солнца...

— А я думала, молитва любви,— сказала она, беря его тяжелую руку и целуя еще и еще раз.— Боже мой, откуда ты такой?.. Молитва любви...

— Солнце и любовь—одно и то же,—полуспросил он вслух, потому что еще был далеко-далеко, где-то в своем, куда он не допускал даже ее, и она никогда не протестовала.

— Надо же, а я ничего не знаю. Существую рядом с тобой и ничего не знаю. Какой ты жадный! Хоть бы словечко! — упрекнула она его, уже чисто по-женски; он взглянул на нее, не понимая, затем совсем по-домашнему улыбнулся.

— Да, кажется, что-то получилось... Только это ведь так, первая запись... Будет гораздо лучше... Вот посмотришь! — Он спохватился, у них ни на что уже не оставалось времени, даже на сборы...

— Глеб, подожди,— решилась она наконец высказать беспокоившую ее мысль.— Ты записал?

— Я хочу, чтобы это осталось только со мной,— ответил он как что-то решенное и даже с оттенком враждебности, освобождая свои руки от ее рук; и уловив боль и смятение в ее глазах, он опустил голову и тут же стремительным злым рывком резко вскинул ее.

— Ты обещаешь, что это будет только для тебя? — Он пристально и, как ей показалось, не видя, всматривался сейчас в ее лицо.

Она опять молча и сосредоточенно поцеловала ему руку, повернув ее ладонью вверх.

— Хорошо,— сказал он, вынимая из внутреннего кармана пиджака свернутые вчетверо листы нот, и осторожно положил на крышку рояля.— Обещай одно... Никто никогда не должен услышать этого... если... ты понимаешь, если....

— Не смей,— оборвала она его,— не смей! Ты не имеешь права так думать... Не смей! Не надо ничего, забери все, только вернись сам!

И тут она не выдержала, обвяла в его руках, рыдания прорвались помимо ее воли, и он, усадив ее на диван и опустившись рядом, стал гладить ее по голове, по плечам, целуя мокрое лицо, щеки, губы, глаза, лоб, почти физически чувствуя, что каждая новая минута становится короче и короче.

Она проводила его до подъезда и, едва они открыли дверь, им в лицо ударил веселый, сухой, бешено крутящийся снег; Глеб торопливо поцеловал ее последний раз, затолкал назад в подъезд и исчез; клубы резво крутящегося, сухого снега мгновенно поглотили его; быстрота случившегося ошеломила, и она никак не могла заставить себя сдвинуться с места, на нее нашло какое-то странное оцепенение. Она вдруг поняла, что никогда, никогда уже не увидит его и что поэтому нужно бежать за ним вслед, чтобы попытаться его задержать, остановить, физически не пустить на эту войну; задушенный крик вырвался у нее; с ненавистью отбросив от себя дверь, так что лязгнули пружины, она вырвалась на улицу, в белые, слепившие, валившие с ног, крутящиеся вихри, с веселым визгом и шелестом заполнявшие пространство вокруг.

— Гл-е-е-б! Гл-е-е-б! — отчаянно закричала она, пытаясь сообразить, куда бежать, и борясь с напористыми, валившими с ног порывами ветра; спасаясь от него, она вдоль стены дома, ощупью, кое-как выбралась в сплошную мутную круговерть, несущуюся куда-то в одном направлении. Вход в метро был неподалеку, метрах в двухстах, но в противоположном ветру направлении, и она, напрягая все силы, стала пробиваться навстречу ветру, подумав, что и Глеб мог пойти только к метро, и надеясь догнать его или еще захватить на станции. Скоро по знакомой угловой аптеке, где с неделю назад ей удалось достать немного ваты, она обнаружила, что идет в другую сторону, метнулась назад и попала в неразбериху арбатских переулков и тупиков. И тогда, смахивая с лица злые бессильные слезы, подумала, что все это давно кем-то предопределено и предназначено и что ей уже ничего не изменить и не исправить.

Продолжение следует.

Петр ПРОСКУРИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ЧЕРНЫЕ ПТИЦЫ

II

Тамара Иннокентьевна резко вскинулась в кресле и открыла глаза; сердце сильно частило, она уже привыкла к этому за последнее время и не особенно испугалась; на плите пронзительно свистел выкипавший чайник. Вот и новое свидетельство старости, недовольно сдвинула брови Тамара Иннокентьевна: забыла погасить плиту, еще немного, и чайник мог бы распаяться или, еще хуже того, залил бы газ.

Помогая себе руками, она встала и погасила огонь, резво и весело шипевший. У нее опять было закружилась голова, она решила не обращать внимания, прошла к окну. За окном ничего не переменилось, по-прежнему бились в стекла мутные, снежные, бесконечные потоки. Метель, самая настоящая зимняя метель, точно, как тогда, подумала она, вспоминая, из какой сказочной дали только что вернулась. Так уж оно устроено, и даже гениальный человек не может быть пророком в отношении себя, ничего не получилось из задуманного. Ни сына она не родила, ни певицы из нее не вышло; жизнь распорядилась по-своему: вскоре после ухода Глеба на войну простудилась, несколько жестоких ангин — и голоса не стало, жизнь даже самые сложные задачи решает просто, даже с каким-то примитивным изяществом. Кто знает, все это, возможно, к лучшему; к счастью, она не тщеславна, с гибелью Глеба ей все стало безразлично; что же ей еще надо, работа концертмейстера ей нравится, аккомпанирует в сольных концертах, имеет нескольких учениц, поет себе во сне сколько вздумается... Без Глеба она все равно бы не пробилась в большой вокал... Куда уж с ее-то робостью... Скорей бы только кончилась эта ночь, может быть, опять выпадет какая-нибудь нечаянная радость: девочки удачно сыграют или случится сходить на талантливый спектакль,— на работу иногда приносят приличные билеты... Метель вот только бы утихомирилась, тогда и давление уляжется, и сердце перестанет щемить.

Непостижимо крутящиеся снежные вихри, злая поземка — все точно так, как сорок лет назад, словно и не было никаких сорока лет, словно ничего вообще не было. А может, и в самом деле ничего не было и нет? Ни отца с матерью, ни консерватории, ни Глеба с Саней, ни войны, ни музыки... Нет, музыка всегда была, как же без музыки, музыка и сейчас есть — в снежных потоках, в вихрях, в метели.

Тамара Иннокентьевна снова ощутила неясный, настойчивый зов мятущегося, охваченного бурей пространства, словно кто-то позвал ее откуда-то из страшного далека...

Веселая, грозная пляска метели внезапно оборвалась; Тамара Иннокентьевна заставила себя оглянуться; кто-то пристально и тяжело смотрел ей в спину; она зябко поежилась, мистика какая-то, надо выпить снотворное и лечь, решила она, нельзя так распускаться. Все уже давно кончено, все когда-то должно кончиться, еще никто этого не избежал, неизбежность есть неизбежность, и нужно отнестись к ней трезво, как к неизбежности. Но другая, слабая половина ее души запротестовала, незачем было и приходить и ввязываться в эту игру, если тебе уготован такой жалкий исход — в полном одиночестве, если все, что тебе было положено оставить в жизни, так и осталось неизрасходованным и уйдет с тобою.

Снова с трудом, с усилием вернувшись с зыбкой, уводящей во тьму, в провал тропинки, Тамара Иннокентьевна попыталась уверить себя, что она ни в чем не виновата, раз случилась такая ужасная, беспощадная война и эта война отняла у нее единственное, что составляло счастье и смысл ее жизни,— Глеба. Без Глеба ничто не имело смысла и не о чем было жалеть.

Ушла молодость, ушла красота, и пусть, пусть, какая разница, вот и руки становятся старыми, безобразными; как она ни ухаживала за ними, годы берут свое; по форме кисти по-прежнему оставались красивыми, пальцы все еще были сильными, но суставы распухли, кожа уже начинала жухнуть, менять цвет, кое-где уже появились коричневые пигментные пятна; Тамара Иннокентьевна опять испуганно вскинулась; она могла бы поклясться, что минуту назад видела его лицо — метнувшуюся в коридоре неясную тень, всего лишь всплеск тени, но видела, видела! И слышала его голос, ничтожную долю мгновения, но видела и слышала, и никто не смог бы разубедить ее в обратном. Его крупная лобастая голова мелькнула в проеме кухонных дверей, она даже уловила насмешливый блеск его глаз. Теперь она точно знала, что ей нужно делать. Движением плеч сбросив халат, оставшийся лежать на полу, она перешагнула через него, распахнула дверцы шкафа и долго выбирала, во что одеться, хотя выбор был достаточно скромным. Остановилась она на вязаном шерстяном платье, она любила надевать его с редкой темно-вишневой окраски крупными янтарными бусами — свадебным подарком Глеба; надев платье, она осторожно достала бусы из деревянной, старой, с почти стершейся инкрустацией шкатулки, надела их и подошла к зеркалу. Она осталась довольна; присев тут же перед зеркалом, она тщательно расчесала щеткой свои коротко стриженные седые, все еще густые, упругие волосы; волосы ложились легкой шелковистой волной, после мытья она слегка в цвет глаз их подсинивала; затем она попудрилась и подкрасила губы, с удовольствием вспоминая запах дорогой помады.

Быстро и привычно закончив свой туалет, Тамара Иннокентьевна надела теплые сапоги, поверх платья натянула собственной вязки пуловер из дорогой заграничной, кажется, шотландской шерсти, еще с минуту поколебалась, раздумывая, надеть ли меховую подстежку под шубу. Решив, что оделась достаточно тепло, проверив, не забыла ли ключи от квартиры, она вышла на лестничную площадку.

Одиноко и тускло горевшая запыленная лампочка и сумеречные, зыбкие тени в углах, исцарапанных самыми различными надписями, от признаний в любви до длинных колонок цифр, настраивали на привычный лад. Лифт еще не работал, Тамара Иннокентьевна неторопливо сошла по лестнице, почти не прилагая усилий, и только у входной двери ей пришлось задержаться, тяжелая двойная дверь поддалась с трудом, очевидно, пристыла в петлях. Налегая на неподатливую дверь всем телом, Тамара Иннокентьевна все-таки выбралась во двор. Стоя под козырьком, она привыкала к фантастической пляске метели; но что-то мешало, было лишним. Ах да, фонари, догадалась наконец она,— новые, удлиненные, Тамара Иннокентьевна таких раньше не видела; испуская мертвенно-белый, болезненный свет, они ввинчивались в клубящееся снежное месиво, отвоевывая у хаоса часть освещенного организованного пространства: ствол дерева, балкон, залепленную снегом вывеску, контейнер для мусора. Тогда таких модных фонарей не делали, тогда кругом была просто снежная, непроницаемая тьма. Тамара Иннокентьевна поежилась, опять в ней ожил застарелый страх заблудиться, как тогда, в декабре сорок первого, и она почти заставила себя сделать первый шаг, сразу утонув в снегу. Снег плотно залепил лицо, глаза; упрямо пригнув голову, она обогнула угол дома, и сразу же стало легче дышать, здесь было затишье; присматриваясь к бешено пляшущему кружеву снега вокруг фонарей, она немного передохнула, запоминая. Все, все, что она видела, все, что было вокруг нее сейчас, ей было необходимо; проверив застежки видавшей виды енотовой шубы, купленной лет двадцать назад, в пору относительного благополучия, стянув плотнее узел теплой мохеровой шали (ее она тоже сама связала), Тамара Иннокентьевна подумала, что поступила правильно, выбрав именно шаль, а не шапку. В самом неистовстве метели уже незримо присутствовала предвесенняя легкость и подвижность, тогда же все было иначе, зима только начиналась и холод был ужасный...

Кое-как одолев большой сугроб, нанесенный у самого выхода со двора, Тамара Иннокентьевна выбралась на улицу, совершенно пустынную; времени было что-то около часа или чуть больше. Здесь дорогу ветру и снегу заслоняли старые многоэтажные, плотно, один подле другого стоящие дома, и снег падал почти отвесно; только где-то высоко вверху весело грохотало и металось небо. Тамара Иннокентьевна неслышно пошла по мягкому тротуару; редко и одиноко светились окна домов, и Тамаре Иннокентьевне почудилось, что она совершенно одна в бесконечном городе, безвозвратно и наглухо заколдованном, и что здесь можно встретиться только с теми, кого уже давно нет. И такой метели до конца зимы, а возможно, и вообще в ее жизни больше не будет, эта метель последняя. Скоро начнет таять, снег превратится в дурную, грязную воду и уйдет в реки, в моря. Придут весна, лето, и в Москве станет душно, пыльно, опять начнутся у нее приступы стенокардии...

Тамара Иннокентьевна пошла быстрее, ей почему-то все время казалось, что она опаздывает; она все ускоряла и ускоряла шаг, ей стало жарко; на ходу, не сбавляя шага, она размотала шаль и отбросила концы ее за спину. Она и не заметила, как вышла в более людную часть города. «Я, кажется, нездорова,— подумала было она, пытаясь остановить себя, свой безудержный бег по спящему городу.— Нужно вернуться домой, вызвать «Скорую»... Или обратиться к первому постовому, попросить помощи...» Она даже стала внимательнее оглядываться по сторонам и тут же возмутилась своему малодушию. Вернуться домой и навсегда расстаться с красотой этой ночи! Нет, вернуться она всегда успеет...

Она не заметила, как подземным, тускло освещенным, но в метель уютным коридором

Продолжение. См. «Огонек» № 11.

вышла в Александровский сад и остановилась, завороженная длинными белыми языками снега, с тихим шелестом, змеино соскальзывающими с зубцов кремлевской стены, разбойничьим посвистом ветра в деревьях, окутанных плотными, несмотря на метель, снежными коконами; ведь они живые, подумала она, еще немного, и все они проснутся, покроются зелеными листьями, и им станет тепло и не голо.

Недоуменно подняв голову, прислушиваясь к неожиданному, рокочущему гулу, опоясавшему небо, Тамара Иннокентьевна помедлила. Было похоже на гром, на грозу, но она решила, что где-нибудь поблизости идут строительные работы, что-нибудь взрывают, Москва никогда ведь не знает успокоения. Грозовые раскаты, да еще с характерным ворчанием, повторились снова, и теперь Тамара Иннокентьевна успела заметить вспыхнувшее в небе белесое свечение, на мгновение вырвавшее из тьмы быстро бегущие тучи.

Неловко и как-то забыто перекрестившись и уже ничему не удивляясь, Тамара Иннокентьевна медленно шла вдоль кремлевской стены по Александровскому саду; что ж, о таких явлениях она когда-то читала; и у природы случаются несовместимости, несоответствия, катаклизмы. Вот и Кремль сегодня проступает из снежной бури, как фантастический корабль; сильные огни фонарей на его стенах только усиливают сходство с фантастическим кораблем, неизвестно из какой тьмы вырвавшимся и неизвестно куда плывущим.

Красную площадь она прошла всю до Василия Блаженного; она хотела сказать что-то теплое стоявшим у входа в Мавзолей часовым, но она знала, что этого делать нельзя,— своим бдением в ночи они выполняли необходимое, нужное дело. Но она все же подошла ближе, порадовалась их молодости; хорошо, что всегда где-то есть молодые, что они могут стоять вот так на метели, на холоде, всю ночь, им совсем и не холодно.

Попрощавшись взглядом с юными серьезными лицами, бледными в мертвенном электрическом свете, Тамара Иннокентьевна двинулась дальше, не заметив милиционера, появившегося из метели и державшегося в тени, позади нее; милиционер проводил ее до Исторического музея и вернулся, а Тамара Иннокентьевна, пройдя длинным тихим подземным переходом, опять окунулась в метель и ветер, уже больше нигде не останавливаясь, прошла прямо к Большому театру; идти дальше ей было некуда.

Выбрав место потише, Тамара Иннокентьевна остановилась в портике между двумя уходящими вверх, в белую кипень ночи колоннами, и от ощущения дарованной ей неожиданной удачи всей грудью глубоко вздохнула. Она сейчас видела это здание внутренним взором, и не только парадную его часть, партер, блещущие золотом ложи и ярусы, заполнявшиеся празднично одетой публикой, она слышала запах кулис, непередаваемый запах декораций и сцены, когда-то предназначенной для нее. Ей так и не пришлось выйти на прославленную сцену; Тамара Иннокентьевна сквозь слезы улыбнулась, каким-то чудом увидев себя на сцене в длинном бархатном темно-вишневом платье и ощутив сдержанное доверительное ожидание зала. И она опять услышала возникающий где-то у самых отдаленных горизонтов благовест молитвы солнца, и дирижерская палочка, на мгновение взлетев, коротко кивнула, указывая ей вступление; подчиняясь и приглашающему знаку, и собственной душевной необходимости раствориться в сияющей дали, она уже готова была ответить всем откровением сердца, на которое была способна, но тут же в ней все оборвалось,— дирижер, встряхнув головой, освобождаясь от упавших на глаза неправдоподобно густых волос, взглянул на нее горячими, немигающими глазами, взглянул призывно, властно; и это было лицо Глеба. Тотчас все смешалось, закружилось и исчезло. Опять в колоннах портика гудела метель, и мимо в потоках снега осторожно проходили редкие машины. Свершилось главное, ради чего она и оказалась здесь среди метели и беспробудной ночи,—ведь именно здесь, в этих колоннах она впервые увидела Глеба, вернее, он увидел ее, подошел и спросил, не хочет ли она послушать «Хованщину», прибавив, что у него есть возможность провести ее. Удивленно подняв на него глаза, она хотела ответить, что может предложить ему то же самое, но как объяснить судьбу? Сердце у нее под его растерянным и восхищенным взглядом покатилось, она смогла лишь утвердительно кивнуть в ответ, совершенно забывая о подруге, которая вот-вот должна была прийти в условленное место...

Теперь Тамара Иннокентьевна была спокойна, дальнейшее уже не касалось ее и не волновало. По-прежнему не чувствуя холода, охлаждая разгоревшиеся щеки настывшими ладонями без перчаток, она мысленно в последний раз попрощалась с театром, с колоннами, с квадригой коней, бешено несущихся сейчас в расходившейся вакханалии метели, и тихо, больше по привычке, пошла назад, ведь нужно же было идти куда-то дальше, а другого пути, кроме дома, она не знала. С каждым шагом и поворотом на нее все больше наваливалась усталость, начинали мерзнуть ноги, и временами тискало сердце и не хватало дыхания; добравшись до собственной двери и увидев знакомую, кое-где прорвавшуюся обивку и тусклый от старости медный номер «37», ставший за многие годы неотъемлемой ее частью, она обессиленно прислонилась к двери и, чувствуя начинающийся озноб, долго отыскивала ключ в сумочке. «Ничего, ничего,— успокаивала она себя,— сейчас нагрею чаю, выпью с медом, погорячее, пройдет, главное, что я уже дома и не надо идти на холод».

Она по-прежнему была покойна, в той редкой душевной уравновешенности, когда человеку ничего, решительно ничего не надо — он все узнал и все имеет. Скинув шубу и с трудом сняв сапоги, она с наслаждением сунула ноги в теплые войлочные шлепанцы, поставила чайник на огонь и в ожидании, пока он нагреется, прошла по всем комнатам и везде зажгла свет. Теперь квартира, до самых потаенных уголков, была ярко, празднично освещена. «Сегодня мой день, мой праздник,— с некоторым вызовом в отношении того, что она сама себе его устроила, подумала Тамара Иннокентьевна.— Кто знает, сколько мне осталось... Определено было так прожить, а не иначе, я и прожила, ничего страшного... Не стала певицей, стала просто хорошим аккомпаниатором, многим детям привила настоящую любовь к музыке — тоже немало. Мне грех обижаться на жизнь, а сегодня у меня снова светлый день, праздник — я Глеба увидела, на душе как все светится, он хорошо со мной говорил...»

Тамара Иннокентьевна обнаружила, что не одну уже, вероятно, минуту находится в ярко освещенном коридоре и рассуждает сама с собой. С досадой она уловила в коридоре и характерный запах газа; чайник давно успел закипеть и залить горелку. Заварив крепкий чай, она с наслаждением, обжигаясь, выпила целых две чашки и сразу почувствовала предательскую слабость, у нее опять закружилась голова и поплыло перед глазами, озноб возобновился, но это длилось всего несколько минут, пока она не решилась встать. Ей пришлось выдержать упорную борьбу с собой: безуспешно пытаясь выбраться из старенького кресла, она все оставалась на месте; ее словно кто насильно усаживал назад. «Я, очевидно, в самом деле простудилась и больна,— мелькнула у нее туманная, как бы посторонняя мысль,—надо позвонить...»

И опять ноги отказали, на лице ее отразилась растерянная, виноватая улыбка; все-таки, превозмогая слабость, она встала и тяжело дыша, помогая себе руками, шаг за шагом, медленно, по стеночке выбралась из кухни. Силясь вспомнить что-то важное, необходимое, она бесцельно трогала знакомые вещи и с сердцем оставляла их; чувства прежней прочности жизни не возникало; очередной, более сильный приступ слабости и головокружения застал ее в комнате, возле рояля.

С трудом добравшись до широкого кожаного дивана, Тамара Иннокентьевна неловко, боком опустилась на него, и тут словно кто накрыл ее непроницаемым глухим колпаком. Она слабо позвала на помощь и провалилась в пустоту; приходя в себя, еще ничего не видя и не различая, она услышала тоненький, щемящий звук, похожий на плач ребенка или на поскуливание беспомощного, попавшего в беду щенка. Она инстинктивно не открывала глаз, свет, вызывая боль, и без того режуще проникал в мозг. Рядом кто-то был, она услышала сдерживаемое покашливание и почувствовала знакомый табачный запах. Она слабо удивилась; возвращаясь, она захлопнула за собой и проверила дверь, но кто знает, могла и ошибиться. Возможно, воры, будет совсем смешно. Но что они могут взять? Уволочь рояль? Такой большой и тяжелый?

Решившись открыть глаза и преодолевая страх боли, Тамара Иннокентьевна, насколько смогла, повернула голову и от режущего света, отвесно хлынувшего на нее, слабо вскрикнула. Над ней тотчас наклонился большой, грузный человек с холеным, внушительным лицом и, внимательно всматриваясь, сказал что-то ласковое. Тамара Иннокентьевна не испугалась, невидяще глядя перед собой широко открытыми глазами, она едва пошевелила сухими губами, силясь что-то сказать, и не смогла; она уже твердо знала, что это не бред, а явь.

— Саня, Саня,— прошептала она, готовая снова потерять сознание от затраченных, мучительных сейчас для нее усилий.— Опять бред... боже мой...

— Успокойся, Тамара, я с тобой... Все будет хорошо... Теперь уже скоро утро, а утро всегда облегчает. Ну, правда же, это я, в самом деле я... Выпей немного... вот так... умница... Еще немного, давай помогу.

— Как ты здесь оказался?— больше для того, чтобы хоть что-нибудь сказать, слабо удивилась Тамара Иннокентьевна, сделав с помощью Александра Евгеньевича несколько глотков из чашки.

Грустно и недоверчиво взглянув на нее, Александр Евгеньевич ничего не ответил; в карих глазах, до этого ждущих, встревоженных, со всей силой устремленных на нее, что-то словно захлопнулось и затвердело.

— Хотел вызвать «Скорую», не могу дозвониться, очевидно, с телефоном что-то случилось,— сказал Александр Евгеньевич.— А пойти позвонить из автомата боялся... Теперь могу спуститься позвонить.

— Не надо, Саня, спасибо...

— Как же не надо? Очевидно, не тот случай, шутить не приходится.

— Я не больна...

— Не больна?— Александр Евгеньевич пододвинул стул и сел совсем близко.— Ты утверждаешь, что ты не больна?

— Да, утверждаю. Это не болезнь,— вслух подумала Тамара Иннокентьевна.— Совершенно другое, медицина здесь ни при чем.

— Ну, как знаешь.— У Александра Евгеньевича обиженно дрогнули углы рта.— Я хотел сделать лучше.

— Дай мне еще чаю,— попросила Тамара Иннокентьевна.— Сушит внутри, все время хочется пить...

— Просто у тебя температура,— сказал Александр Евгеньевич, успокаивающе оглаживая совершенно теперь седую ухоженную, коротко постриженную бородку, мягко обрамляющую его рыхлое, полноватое, но все еще холеное лицо.— Возможно, грипп, сейчас по Москве ходит дорогой гость... многие болеют.

— Нет же, Саня, нет,— опять с досадой возразила она.— Я всегда безошибочно чувствую температуру. Совсем другое. Помоги мне сесть...

— Погоди, погоди, что за нетерпение...

— Помоги мне сесть, раз ты уж здесь,— повторила она.— Принеси, пожалуйста, из другой комнаты подушку...

Согласно кивнув, он, непривычный к домашним мелочам, всегда раздражавшим его, некоторое время неловко хлопотал, выполняя все, о чем Тамара Иннокентьевна его просила, сама она, устроившись на диване удобнее (Александр Евгеньевич вместе с подушкой принес и шерстяной плед, укрыл ей ноги), скоро почувствовала себя значительно крепче и увереннее; время от времени появляясь в дверях, чтобы убедиться, все ли в порядке, Александр Евгеньевич торопливо находил ее глаза; Тамара Иннокентьевна сдержанно улыбалась в ответ. Она очень давно его не видела и вначале внутренне съежилась от его явно проступавшей сквозь все благополучие и ухоженность физической и, главное, духовной дряхлости, но это был страх первой минуты и скорее от неожиданности.

Теперь, когда Тамара Иннокентьевна немного оправилась, она снова начинала читать в

его лице видные только ей приметы обуревавших его, глубоко запрятанных страстей; посторонние даже не догадывались о безостановочной, разрушительной работе, идущей в нем под маской вечной респектабельности и сдержанного доброжелательного равнодушия. Так, очевидно, ей выпало, и сколько бы ни прошло времени, боль, связанная с этим человеком, никуда не могла уйти; она никуда и не уходила, только ждала своего часа, чтобы снова и снова напомнить о себе, обжечь стыдом ненужного, бесполезного раскаяния. Тамаре Иннокентьевне казалось, что сколько она помнила себя, столько она знала и Саню. Их семьи (старые московские фамилии) были знакомы с незапамятных времен. Она помнила Саню миловидным мальчиком в белой крахмальной рубашечке с шелковым черным бантом в горошек и нотной папкой. И ухаживать за ней, несмотря на то, что был двумя годами моложе, он начал задолго до появления Глеба. Она знала его высокомерным, очень красивым юношей; знала молодым человеком с определившимся характером баловня судьбы; знала способным музыкантом и сочинителем, сравнительно рано получившим известность; знала она и годы его расцвета, совпавшие с их сближением; и теперь, столкнувшись с ним под самый занавес, в самой неприглядной житейской ситуации, она видела его жестко и без прикрас, тем глубинным внутренним беспощадным зрением, которое не дает возможности спрятаться и от себя. И все-таки теперь, когда их жизнь так далеко и безвозвратно разошлась в бесконечно разные стороны и обрела необходимую и неизбежную законченность, не оставившую больше никакой неясности и никакой надежды, Тамара Иннокентьевна не могла не удивляться фатальной настойчивости судьбы, ставившей этого человека рядом с ней в самые тяжелые, непереносимые минуты.

— Ничего, ничего,— успокаивающе приговаривал он, входя в комнату с чашкой и опережая ее торопливое встречное движение.— Я столик пододвину, отдыхай, тебе надо отойти. С сахаром? С медом? — спросил он.— Я на кухне мед нашел.

— Ничего не надо,— сказала она.— Просто хочется пить...

— Хорошо...

Он поставил чай рядом с ней на круглый ночной столик; ноздри у него слегка дрогнули, в углах рта опять появилось забытое выражение затаенной глубокой обиды.

— Разумеется, ты сидишь и мучаешься.— Он привычным охватывающим жестом погладил бородку.— Никак не можешь понять, каким образом я очутился здесь. Неужели в самом деле не помнишь?

— А что такое, Саня, я разве должна что-то помнить?— неуверенно пожала плечами она.

— Ты же сама мне позвонила и попросила прийти!— все еще присматриваясь к ней, очевидно, решая, верить или нет, доверительно сообщил Александр Евгеньевич.— У тебя был такой странный голос... Я оделся кое-как, вызвал такси... взял тот старый ключ от твоей квартиры...

— Постой, постой, ты же тогда говорил... что потерял его?

— Ну, говорил, говорил, что мне оставалось?— поддразнил Александр Евгеньевич с легкой иронией.— Какое преступление! Видишь, ключ-то пригодился... Фантастика! Подумать, столько лет! Кажется, никакой замок не может выдержать столько времени... Замки в дверях... время от времени лучше менять... да и в жизни... тоже.

— А дальше, дальше, Саня, не отвлекайся!

— Я позвонил, и ты сама мне открыла.— Чувствуя ее нетерпение и пытаясь попасть ей в тон, Александр Евгеньевич по-прежнему пытливо ощупывал ее лицо глазами.— Посмотрела на меня, повернулась, пошла назад...

Слова не сказала. Я даже не знал, входить или нет... Все-таки решился, что-то в твоем лице меня встревожило... глаза нехорошие были... Не смотри, словно ты ничему не удивляешься. Знаешь отлично... кем ты для меня была всю жизнь. Стоило услышать твой голос, все забыл. Хотя раньше поклялся никогда больше с тобой не видеться...

— Ты ведь, я слышала, опять женился,— сказала, помолчав, Тамара Иннокентьевна, неловко отхлебывая горячий чай.— Это правда? Говорили, что к тебе вроде бы ушла Фаня, жена того самого Димы Горского...

— Что значит — того самого?— сразу встопорщился Александр Евгеньевич.— Что ты имеешь в виду?

— Ничего особенного, пришла в память, спросила. Диму Горского я хорошо знала... музыка у него удивительная, щедро одаренный человек...

— Был,— задумчиво уронил Александр Евгеньевич.

— Не понимаю...

— Пятый год в доме для престарелых. Родные от него отказались... очень уж пил,— сдержанно сообщил Александр Евгеньевич и помедлил.— Да и у меня ничего не вышло с той женитьбой... От злости на тебя случилась, но что об этом теперь... Да... Год назад похоронил уж и Демьяна Андреевича... Помнишь Солоницына? Конечно же, помнишь... Единственный, пожалуй, преданный мне человек... Друг... Да, да, друг!— повысил он голос, заметив слабую усмешку, тронувшую губы Тамары Иннокентьевны.— Ты всегда к нему предвзято относилась, он же был настоящий музыкант... негромкий, но истинный... Хотя что у нас за разговор... прости...

— Было, было... И опять из этого ничего не вышло,— продолжал Александр Евгеньевич как-то равнодушно, первый порыв раздражения у него уже прошел.— Как и из всего остального,— добавил он, и взгляд у него застыл на одной точке.— У меня почти ничего не вышло... Замах был огромный, а пролетело мгновенно. Теперь, пожалуй, поздно размышлять... Зачем?— Он задумчиво оглаживал бородку длинными, по-прежнему холеными пальцами, их тыльной стороной потирая таким знакомым Тамаре Иннокентьевне жестом высокий, сильно открытый с боков лоб.— Стоит ли сейчас сводить счеты, поздно и глупо. Что же искать виноватых? И я ни в чем не виноват... в этом не закажешь. Я ей все отдал, дачу, машину, квартиру... жить я с ней больше не мог...

— У вас был ребенок?

— Сын... да... сын... Я уже дважды дед,— сообщил Александр Евгеньевич, и невольно получилось, что он словно неосознанно похвастал; Тамара Иннокентьевна ничего не сказала, потому что в следующую минуту ей стало страшно; она ясно вспомнила Диму Горского, его лицо, его улыбку, его одержимость, его музыку...

— Я все-таки думаю вызвать врача, — дошел до нее голос Александра Евгеньевича, и она удивленно посмотрела на него, подумала, что он, как всякий мужчина, так ничего и не понимает.

— Нет, нет, не надо,— остановила она его поспешно и метнулась глазами в сторону.— Надо же, с бородой ты не расстался... О чем это мы? О тебе. Как всегда — о тебе. Это у тебя ничего не вышло? Тогда у кого вышло? У Димы Горского-то? У твоего любимого Демьяна Андреевича Солоницына? Что же, у этого, пожалуй, вышло... с твоей помощью, разумеется...

— Суета, суета, если ты имеешь в виду славу, деньги... Жизни не вышло, счастья не вышло.— Александр Евгеньевич неуверенно оглянулся, точно кто-то третий мешал ему быть откровенным до конца, мешал сделать хотя бы один фальшивый жест, произнести одно неверное слово; он опять беспокойно покосился на рояль, скорее всего, неуверенность и беспокойство шли о т т у д а; настоящий инструмент всегда хранит д у ш у хозяина.— Все так, так!— опережая новый вопрос Тамары Иннокентьевны, торопливо добавил он.— Ничего не вышло у меня без тебя... Жизни не вышло.

Продолжение следует

ЧЕРНЫЕ ПТИЦЫ

Петр ПРОСКУРИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

Слушая Александра Евгеньевича и все больше узнавая забытые интонации, Тамара Иннокентьевна подумала, как он прав, что пришел сегодня, и что он не мог не прийти; он всегда приходил, когда ей было плохо, и сегодня он не мог не появиться здесь у нее, и, если бы даже она не позвонила ему, как он утверждает, он все равно бы пришел к ней, сам бы пришел.

— Что за самобичевание, Саня? Двадцать лет жизни сильного, умного мужчины прошло впустую? Не кокетничай,— укорила она.— Кто же тогда состоялся, если не ты... Стоишь у руля столько лет, столько раз лауреат.

— Я сказал тебе правду. Я часто теперь задумываюсь, почему людям не верят, если они говорят правду.— Сейчас в словах Александра Евгеньевича чувствовалась тяжесть.— Вот если честно смотришь в глаза и откровенно лжешь, тогда тебе верят и все уважают. Стиль жизни теперь такой удивительный... А вообще-то в жизни ничто не имеет смысла, пустая суета. Нечаянный интерес из казенного дома...

— Саня, Саня, говоришь смиренно, а кипишь-то, кипишь! Гордыня твоя в тебе бунтует.— Тамара Иннокентьевна заломила мешавший ей угол подушки.— Сколько судеб тебе пришлось поломать, перешагнуть ради этого, как ты изволишь выразиться, нечаянного интереса! Суета суетой, но никто еще добровольно не отказался ни от славы, ни от денег. А для этого нужна власть, чтобы всех держать и никого вперед себя не пущать. Все ведь в жизни так примитивно. Не хочется говорить жестокие слова, но ты ведь умный, Саня... На твоей высоте нельзя остаться хорошим для всех, напрасный труд... Зачем же из кожи лезть, стараться делать вид?

— Ты же не все, Тамара.

Она видела, что он борется с собой и изо всех сил старается сохранить мир, и, вероятно, все бы и кончилось миром, если бы не ее последняя фраза; она все еще сводила с ним счеты за старое; тут Александр Евгеньевич должен был повременить, чтобы успокоиться и не сорваться; подумать только, сказал он себе, прошло столько лет, а с какой расчетливой жестокостью она ранит. Это чисто женское, так может только женщина, если она глубоко уязвлена. Ну, да полно, она сейчас больна и не в себе, не стоит обращать внимания на этот выпад.

— Хорошо, хорошо, Тамара,— попытался он подойти с другой стороны, но это не значило, что он не запомнил ее жестокости.— Вы ведь с Глебом всегда держали меня за нищего... Это для меня не новость. Если бы не он и не ты, скорее всего я прожил бы нормальную, здоровую, счастливую жизнь, в счастливом неведении сочинял бы свою музыку — вон ее сейчас сколько нужно! Всей компанией не можем обеспечить, и всем хватает, зачем тут кого-то держать и не пущать?

— Ты о музыке, точно о колбасе...

— Ну, давай, давай бичуй, ты же в этом находишь удовлетворение!— против воли чувствуя себя уже втянутым в этот ненужный, бесполезный спор, огрызнулся Александр Евгеньевич, и полные щеки его напряглись.— Смог же я вопреки вашим пророчествам сделать себе имя!

— Ну смог, Саня, смог, кто в этом сомневается! Ну перестань кипятиться,—запоздало спохватилась Тамара Иннокентьевна и поспешила услать его на кухню, где ненужно гремело забытое радио.

Выключив радио, Александр Евгеньевич бессильно привалился к спинке старого диванчика, втиснутого в немыслимо узкий проем ниши. Он устал, и ему захотелось заплакать, он уже чувствовал подступающие старческие, противные слезы и стал нежно поглаживать вытертую спинку диванчика. Нельзя ему было сюда приходить, даже вещи имеют над людьми страшную власть. Стоило ощутить ладонью шероховатости и потертости этого старого друга — дивана, и точно волной смыло все годы, точно их не было... А сколько усилий, сколько борьбы, сколько жестокости... Тамара права, столько всего она еще не знает, на его высоте вообще ни с кем нельзя быть добрым. Вот и дважды лауреат, в руках власть, и орденами не обойден, а то, ради чего стоило родиться и жить, так и не пришло. И вершина так же недоступна и манит своей слепящей холодной белизной...

— Вы меня с Глебом обессилили!— неожиданно вырос Александр Евгеньевич в проеме дверей перед Тамарой Иннокентьевной, выпрямившись, развернув плечи, точно действительно стал выше ростом; глаза его, вдумчиво-карие, осторожные, сейчас светились прежним, молодым, непримиримым блеском. Тамара Иннокентьевна попыталась было возразить, но замолчала, понимая, что его теперь не остановишь.

— Молчи, дай договорить! Знаю, смешно, нелепо рыться в прошлом, искать виноватого, да еще в мои-то годы! Но ведь было, было! Мне было двадцать, и я тебя любил всегда, всю жизнь, с самого начала, еще до того, как ты родилась, задолго до Глеба, до того, как ты с ним познакомилась... Ты тоже это знаешь... Не бойся, я не скажу ничего оскорбительного... Я хочу напомнить, ты знаешь, были моменты, когда... Ну, хорошо, не буду, не имеет значения... Но в тот вечер, помнишь, мы пришли вместе, с Глеба сняли как раз бронь, он добился, на другой же день он должен был уйти. Помнишь? А через месяц он погиб... Ну, и что он доказал? Он не имел права так глупо, так бездарно распорядиться собой, своим даром. У него был именно дар. Он был призванным человеком. Он один из нас был призван. Способных много. Призванных единицы. И человечество и его любимая Россия неизмеримо бы выиграли, останься он в живых, дай до конца развернуться своему чудесному дару! И все это понимали... Как я его отговаривал от этой глупости, от этого шага, впрочем, не один я! Что толку теперь сокрушаться! Помнишь, я знаю, ты помнишь все, каждую мелочь, не спорь!— повысил он голос, хотя Тамара Иннокентьевна и не думала возражать.— Помнишь, Глеб сказал тогда, что времени мало и вам нужно остаться одним... Ну, конечно, ты это помнишь, я ловил хотя бы твой взгляд, хотя бы одно движение в мою сторону. Удивительно, как от любви человек слепнет... Ты попросту забыла, что, кроме вас двоих, на свете существует еще кто-то. Я вышел, как побитая собака... Что со мной было! Вот когда я поклялся доказать тебе, чего бы это мне ни стоило, что я существую. Пускай для этого понадобилось бы взорвать земной шар! Я никуда не ушел тогда, сотни раз подходил я к вашей двери, точно сам сатана толкал меня к дверям, чтобы ворваться, сделать что-то безобразное... Сатана кружил меня возле ненавистных мне дверей, толкал прервать ваш прощальный пир... сделать именно что-нибудь безобразное, непоправимое... Не помню, как пришло утро, я был в каком-то бреду, помню только, я опять оказался у ваших дверей,— голос Александра Евгеньевича пресекся, он с трудом протолкнул в себя воздух.— И вдруг я у с л ы ш а л, Глеб сел за рояль... Ах, боже мой, боже мой, что это была за музыка... что-то божественно нечеловеческое! Я весь дрожал, я опять был уничтожен, сравнен с дерьмом! Вы опять победили! Я плакал от наслаждения, от зависти, от бессилия... Какая ревность может сравниться с этим чувством! Я понял, что погибаю, хотел зажать уши и убежать и не мог, не мог... пока не выпил весь яд до конца, до последней капли... Многое потом забылось, но э т о вошло в меня, как боль, продолжало мучить, я знал, что, если я смогу э т о хотя бы вспомнить, я спасусь... сколько же я бился, так никогда и не смог... Э т о жило во мне, а стоило сесть за рояль, в с е исчезало... Скажи, что он тогда играл? Ты ведь знаешь...

— Нет! Нет! Нет!— ответила Тамара Иннокентьевна поспешно, пытаясь отодвинуться подальше в глубь подушек и чувствуя, что кожа на груди словно взялась легкой изморозью. Боясь, что он заметит ее страх и смятение (он был сейчас точно убийца, сторживший каждое ее движение), она отвлекающе улыбнулась и потянулась было к круглому столику за стершимися от старости, доставшимися ей еще от бабушки аметистовыми четками и... точно споткнулась о злую неверящую усмешку Александра Евгеньевича. Мелькнула мысль о собственной беспомощности, да полно, что это за распущенность, прикрикнула она на себя. Несмотря на все свои внешние успехи и видимость душевного равновесия, на весь прочно устоявшийся маскарад, раз и навсегда заведенный кем-то, не самым умным, ритуал заседаний, президиумов, представительств, где Александр Евгеньевич был постоянным, необходимым лицом, где ему приходилось лицемерить, изворачиваться, он, в сущности, никогда не был злым по отношению к ней и всегда сохранял свою зависимость от нее. Он бывал разный, но он всегда был ей предан, и что теперь винить друг друга за неудавшуюся жизнь. Конечно, она тоже неправа и виновата, и видит все не так, как обстоит в реальности, на самом деле; но в любом случае она не должна оставаться неблагодарной, отвечать злом на его добро. Он всегда приходил по первому ее зову и без зова; приходил в самые тяжелые минуты, возился с нею, вызывал врачей, устраивал в лучшие клиники, отправлял в санатории и каждый раз встречал нежностью и молчаливым обожанием. Такой преданности позавидует любая женщина. Ведь и он по-своему прав, и у него одна жизнь, и он потратил ее в основном на нее, и если он сейчас не в себе, его надо отвлечь, успокоить, смягчить его боль. Ведь, в сущности, он единственный во всем белом свете близкий ей человек...

Предательская теплота подступила к глазам Тамары Иннокентьевны; глаза ее, обычно серые, еще посветлели, снопы лучистого света преобразили тяжелые, начинавшие грузнеть черты, и лицо ее стало почти прекрасным. Не отрываясь от этого внезапно преобразившегося, тонкого, одухотворенного лица и весь погружаясь в свет и теплоту, исходившие от нее, Александр Евгеньевич присел рядом на краешек дивана, легко, совсем не горбясь, и в какой-то предательской опустошенности прижался к ее рукам в таких знакомых, потускневших от времени кольцах.

Вот и все, решил он, и ничего не надо, услышать знакомый горьковатый запах, исчезнуть, раствориться в мягком свете ее глаз. Ему не может быть отказано в этом праве, он ведь обыкновенный человек, никто его не проклинал. От прошлого не избавиться, но с

Продолжение. См. «Огонек» №№ 11, 12.

ним можно примириться, тем более сейчас, хотя где-то глубоко продолжает тлеть уголек, в любой момент готовый вспыхнуть и выжечь у него в душе последние остатки тепла и нежности. Он незаметно отодвинулся от нее, и не потому, что в борьбе со своим дьяволом был бессилен и лишь на время мог придержать его. Он сейчас с невыносимой ясностью понял, что и она и сам он стоят в преддверии еще одной, скорее всего самой последней дали. Она возникла в нем как какой-то повторяющийся, усиливающийся мотив, вместивший с начала и до конца всю его жизнь; он возникал из мрака и, заставив вздрогнуть сердце от ужаса, от предчувствия скорого исчезновения, сливался с мраком; это надо запомнить, надо как-то сосредоточиться и запомнить, сказал себе Александр Евгеньевич, бессознательно стремясь уйти в другую, привычную и безопасную плоскость жизни.

— Саня,— окликнула Тамара Иннокентьевна, тихонько притрагиваясь к его плечу; он в этот момент не смог ответить, но вялым движением руки дал понять, что слушает.— Саня, скажи, после смерти действительно больше ничего не будет?— спросила она, и он взглянул на нее испуганно и дико.— Вот так, кончено, отсечено... больше ничего, ничего, совсем ничего?

— И слава богу, что ничего,— с трудом выдохнул он из себя.— Ты бы и там устроила себе муку...

— Саня, ты напрасно сердишься,— Тамара Иннокентьевна опять попыталась наладить относительное равновесие.— Говорю тебе, я не помню, ничего не помню.

— Не сержусь, не сержусь, у тебя просто удивительная способность замыкать все только на себе. Как будто вокруг тебя никого и ничего...

— Я, Саня, действительно не помню,— заставила себя вернуться к тому, что было между ними запретного и тайного, Тамара Иннокентьевна.

— Не верю, нет, нет, не верю,— не принимая ее тона, покачал головой Александр Евгеньевич,— э т о г о нельзя забыть. Не пытайся же отрицать, в тебе живет т а музыка...

Тамара Иннокентьевна отстраненно понимала, зачем он так настойчиво пробивается к запретному и самому сокровенному в ее душе, но не разрешила себе продумать свою мысль до конца; она ничего не хотела менять, живое пусть оставалось живым, но давний запрет Глеба, наложенный им на м о л и т в у с о л н ц а, был для нее свят всегда. Это единственное, что она сохранила в своей жизни в чистоте и неприкосновенности, чем всегда тайно гордилась. Она великая грешница, она безобразно плохо распорядилась своей жизнью, и все же она никогда не сделает последнего шага, а он, этот человек, ждал, ждал такого момента, всю жизнь ждал, вот он сидит, совсем уже старик, а в глазах дьявол, самый настоящий дьявол. Ее душа нужна ему полностью, без остатка, без единой тайны.

Тамара Иннокентьевна сама не заметила, что смотрит на своего гостя в упор; ее глаза, незнакомые, горящие от открывшейся слепящей истины, почти парализовали Александра Евгеньевича.

— С твоего разрешения, я пойду на кухню, покурю,— он торопливо отвел глаза, и она поняла, что не ошиблась в своих мыслях.

— Кури здесь...

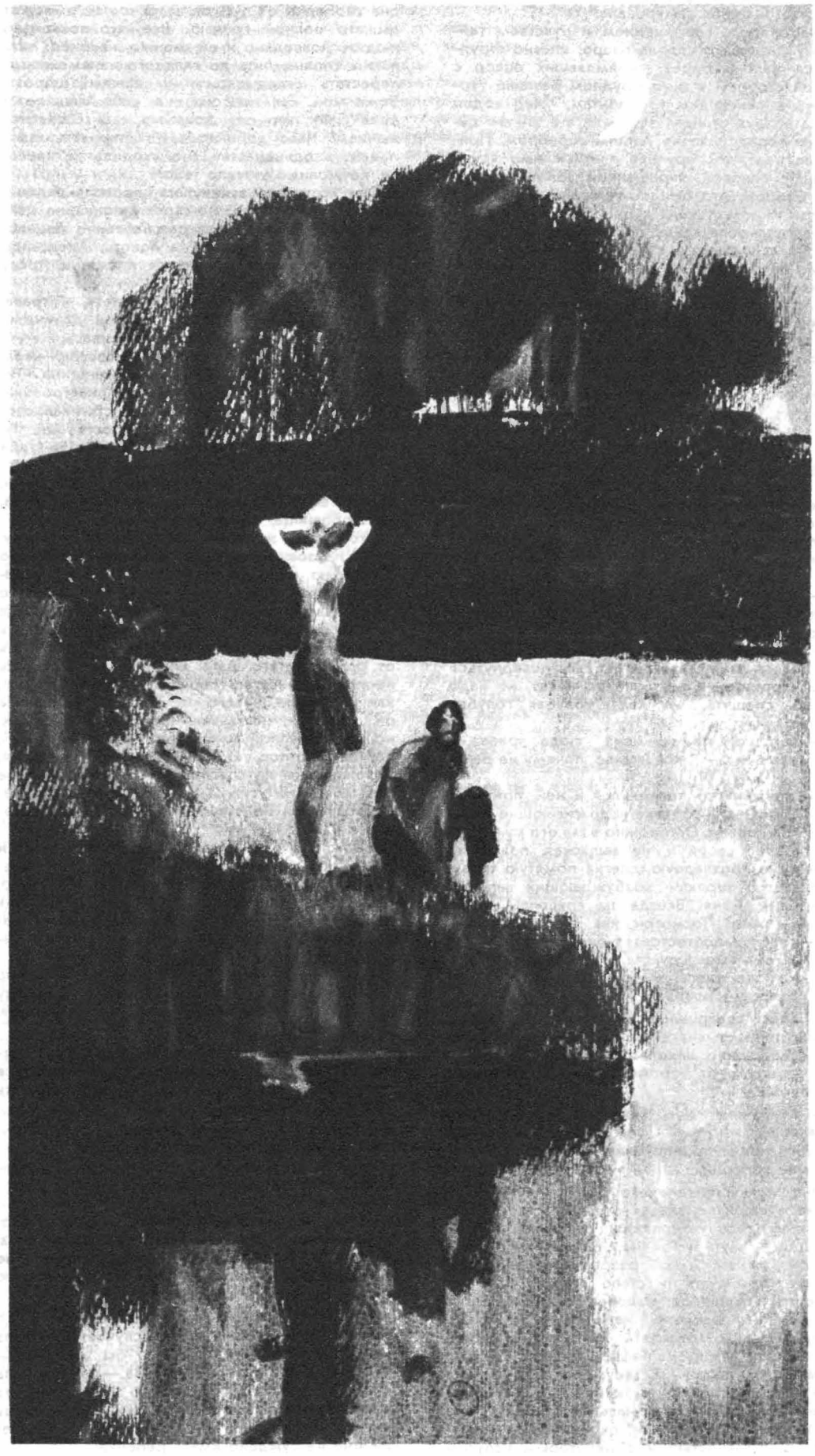
— Зачем же... Тебе вредно,— не принял Александр Евгеньевич попытки к примирению; в который раз ее верность мертвому испугала и больно ранила его, он подумал, что незачем было приходить, если он за столько лет ничего не мог добиться.

— Саня, там холодная курица и печеные яблоки. Поешь, ты, наверное, голоден,— предложила Тамара Иннокентьевна ему вслед; не оглядываясь, он молча кивнул; оставшись одна, Тамара Иннокентьевна обессиленно откинулась на подушку. Она знала, о чем он думал уходя, он никогда не умел скрывать своих мыслей, и сейчас она попыталась взглянуть на себя со стороны. Действительно, что ей мешало нормально жить и быть счастливой, если не она сама? Немного терпения, там, где иначе нельзя, где нельзя идти напролом, чуть-чуть уступить; где-то, напротив, настоять на своей женской прихоти, капризе, даже в ущерб здравому смыслу, вот в чем мудрость жизни; все сейчас могло быть по-другому, и она сама не была бы так ожесточена, и Саня бы пришел к итогу жизни с другой душой, без излишней, ненужной горечи и жестокости...

Опять почувствовав подступающую теплоту к глазам и ненавидя себя, Тамара Иннокентьевна сильнее вжалась в подушку, постаралась совсем не шевелиться, сердечный приступ всегда нес расслабляющую слезливость; почему-то встал перед глазами громадный одинокий дуб, весь в молодой, с шумящей в солнечных потоках листве — такая листва бывает только в начале лета, во время стремительных и бурных гроз и ливней. Ей вспомнился запах цветущего леса — запах меда и солнца, запах лесной прели, стелящийся над самой землей, и ощущение свежести молодого, здорового, разгоряченного желанием тела, это воспоминание было мучительно в ожидании еще большей пустоты.

III

Дуб, насчитывающий не одно столетие, пророс из желудя, укоренился на невысоком холме и разросся до размеров, уже с трудом воспринимавшихся, он стоял, царствуя над всем остальным лесом, и во всей своей сказочной мощи отражался в ласковой сумрач-



ности небольшого озера, подступавшего к холму.

День выдался ясный; с наслаждением прищуриваясь, Тамара Иннокентьевна чувствовала голыми плечами начинавший потягивать порой легкий теплый ветерок, доносивший до нее какие-то неведомые лесные тайны; лес потому волнует, что он — весь тайна; и вся жизнь — тайна, и никогда не надо давать клятв и обещаний, рано или поздно все оказывается ложью. Она невольно покосилась на лежавшего рядом в густой изумрудной траве Саню, вновь прижмурила глаза; о пронесшихся годах лучше не думать, разрешила она себе, в конце концов Саня прав, жизнь, считай, прошла, уже за тридцать, а что хорошего в том, что она себя замуровала?

Она опять с восхищением и чувством тайного узнавания оглядела озеро, плавно струящуюся зелень берез, окаймлявших озеро с другой стороны и в изумрудном разливе уходящих к синеющим горизонтам. Над водой озера воздух отливал зеленью, а в листве дуба, наоборот, сквозил легким серебром. Прилетела какая-то крупная, немыслимо яркая птица, с головой, украшенной золотисто-черным веером; это был обыкновенный удод, но Тамара Иннокентьевна с радостным изумлением разглядывала удода, пока он радужным пятном не вспорхнул с дуба и не улетел. Затем внимание Тамары Иннокентьевны привлекли порхающие над водой озера большие прозрачные стрекозы с выпуклыми изумрудно-светящимися глазами. Она удивилась их способности зависать в воздухе, трепеща крыльями, на одном месте и затем стремглав, скачком бросаться вперед; Тамара Иннокентьевна даже отдаленно не могла предположить, что это никакая не игра и не причудливый танец, а самая настоятельная жестокая необходимость, что таким образом стрекозы добывают себе пищу, ловят комаров и мошек. На какой-то миг Тамара Иннокентьевна ощутила и в себе ни на минуту не обрывающееся движение жизни; ей показалось, что она не сидит под дубом, а парит высоко-высоко над зеленым океаном леса и поет, звенит в ней пространство и что так хорошо ей еще никогда не было.

— Ты спишь?— спросила она Саню, бездумно погруженного в плывущее марево полуденного июльского зноя.

— Нет, блаженствую,—он даже причмокнул от удовольствия, даже не пытаясь повернуться в ее сторону.— Куда-то несет, несет, не надо думать, спешить... Ах, какая голубая, голубая страна...

— Хорошо, что ты меня сюда привез,— вздохнула она.— Я все жалею, почему не раньше!

Он пружинисто повернулся к ней, притянул к себе, положив горячие вздрагивающие пальцы ей на колени. Осторожно взяв его руку, она накрыла ее своей и, не выпуская, положила рядом, на прохладную, слегка помятую траву, источавшую терпкий, возбуждающий запах.

— Саня, Саня! Всегда ты спешишь! Разве здесь можно? Посмотри, как тут торжественно!— слабо запротестовала она, опять ощущая его настойчивые, ждущие ответной волны руки.— Как же здесь? Вокруг тысячи глаз... На нас отовсюду смотрят...

— Здесь совершенно никого нет,— засмеялся он, приоткрывая влажные, крепкие зубы.— Ну, совершенно никого! Мы ушли километров за шесть от дороги... Неужели тебе сейчас плохо?

— Ах, Саня, мне слишком хорошо,— она потянулась к нему всем телом, сбрасывая с себя долгое оцепенение.— Даже страшно, так мне хорошо...

Она почувствовала его разгоряченное дыхание и закрыла глаза, отдаваясь во власть его рук и его нетерпения, отдаваясь надвигающейся мутной волне, разрывающей все внутри слепой мукой разрешения. Казалось, он во что бы то ни стало должен был наверстать упущенное, наконец-то безжалостно и до конца разорвать невидимую преграду, продолжавшую отделять их друг от друга даже в эти темные, тайные моменты; он был ненасытен, настойчив, неумерен, он решил раз навсегда подчинить в ней все до конца и, едва ощутив первоначальное, правда, еле уловимое сопротивление, окончательно обезумел. С готовностью и с некоторым испугом подчиняясь неумеренности его желаний и идя ему навстречу в каждом движении, она и в самом деле переступала в себе некий давний запрет, теперь она сама стремилась освободиться от него. Темная, душная волна снова накрыла ее, и она застонала сквозь стиснутые зубы, и когда центром всего, что было, стала она и то, что с ней происходило, в ней резко прозвучала тревожная останавливающая нота, прозвучала и оборвалась; она вспомнила об этом лишь погодя, когда тело начало возвращаться к ней, но не сделала ни малейшей попытки что-либо переменить. Не хотелось двигаться, а тем более заставлять себя искать несуществующие вины... Боже мой, как хорошо, ободрила она себя. Наконец-то, наконец она свободна от пут, от условностей и может дышать полной грудью. Все, что позволено людям, позволено и ей, можно, наконец, пить жизнь сполна, пить до сладкого изнеможения, перестать оглядываться на каждый шорох... Боже мой, как многого она себя лишила, и прав Саня, что она доказала своим воздержанием? Чего добилась? Что старилась, пропадала в одиночестве, что уходила ее красота, неумолимо угасало тело?

Она испуганно вскинулась, провела ладонями по голой груди; по-своему поняв ее движение и несколько раз расслабленно поцеловав ее, приподнявшись на локоть, Александр Евгеньевич опять откинулся в смятую траву навзничь.

Солнце уже клонилось к закату, и трава, насквозь пронизанная его косыми длинными лучами, изумрудно и мягко светилась.

— Смотри, день пролетел совсем незаметно. Ты порази-и-ительная женщина, Тамара.— Как всегда в хорошем настроении, Александр Евгеньевич сильно растягивал слова...—Такой второй на свете просто нет. Ты себе цены не знаешь. Чем больше я тебя узнаю, тем больше удивляюсь.

— А ты, Саня, ни о чем не думай. Живи. Кто я тебе? Два года мы вместе... Ни жена, ни любовница, ни добрая знакомая...

Это было жестоко: по первому ее зову, даже не зову, а едва осознанному ею самою движению к нему он оставил семью, налаженный дом и безоговорочно и бесповоротно связал свою судьбу с нею; всякий раз, когда он заводил разговор о том, чтобы узаконить их отношения, именно сама она уклонялась от решительного шага. Она мало тяготилась неопределенностью своего положения, жила, как и раньше, ничего не загадывая; сначала он сердился, настаивал, требовал, обижался, но, наталкиваясь всякий раз на уклончивый, ласковый отпор, в конце концов отступился, положившись на спасительное время, которое без излишних усилий и нервных затрат перерабатывает и не такие жизненные переплетения и узлы.

Не желая быть втянутым в бесполезный и ненужный в этот счастливый для обоих день, больной для своего самолюбия разговор, Александр Евгеньевич без всякого усилия перебросил по траве свое большое полноватое тело ближе к ней и легко, почти не касаясь, как кошку, погладил ее по плечу.

— Ты — любимая. Все о себе великолепно знаешь, знаешь, что относишься к разряду любимых. Великолепно этим пользуешься. У-у, хитрюга!

— Да, Саня, я женщина капризная и опасная, вот возьму, заколдую тебя, превращу в черного лебедя... Навсегда оставлю плавать здесь, в лесном озере!

— Почему в черного, Тамара?

— Ты же черный, давно известно...

— А ты, конечно, белая,— по-детски обиделся он.— Чистая и безгрешная!

— Именно чистая и безгрешная!

— Ну, конечно! Поэтому ты и не загораешь. Нехорошо быть такой белокожей... Ах, Тамара, Тамара, царица Тамара, мне все не верится, что ты со мной, мне все кажется, что я тебя вот-вот потеряю...

— Значит, мы с тобой останемся вместе до самой старости. В жизни все случается как раз наоборот. Ах, Саня, Саня, вот бы мне ребенка, вот была бы я счастлива,— перескочила она чисто по-женски с одного на другое; эта ее особенность всегда его восхищала.— Я ведь ничего хорошего в жизни не сделала, неужели мне не суждено иметь ребенка?

— У нас теперь обязательно будет ребенок, ты сегодня была вся моя.

— Нет,— ответила она, не задумываясь.— Чего-то было слишком много. От такого безумия детей не бывает...

— Ты жалеешь? — спросил он, приближая к ней лицо с близорукими, красивыми глазами, сейчас выражавшими напряжение.

— Ни о чем, Саня, я не жалею. Я тебе благодарна, ты меня от самой себя освободил, я ничего больше не боюсь. Пошли к озеру, искупаемся. Представляешь, русалки нас давно ждут не дождутся,— потянула она его в сторону тихого сумеречного озера, сильно затененного опрокинутой в его глубину листвой дуба. Солнце должно было скоро сесть, и, как всегда летом, краски быстро менялись, под деревьями начинали копиться сумерки, и только посредине озера, на его гладкой зеркальной поверхности одиноко розовело, отражаясь, легкое воздушное, точно взбитое облачко.

Взявшись за руки, они пустились вниз с холма, все убыстряя и убыстряя бег; Александр Евгеньевич от восторга что-то кричал, что-то бесшабашное, невразумительное, отчаянное. Они с трудом остановились у самой воды; чтобы удержаться и не упасть, она обхватила его за плечи, ткнулась в грудь, и Александр Евгеньевич быстро, воровато поцеловал ее разгоревшееся лицо раз и другой; она засмеялась от полноты счастья, оттолкнула его руки, выбрав место — чистую, нетронутую, изумрудную траву, донага разделась, переколола волосы и осторожно вошла в воду, вблизи казавшуюся зеленой.

— Ледяная! — задохнувшись, охнула она, придерживая одной рукой грудь, сделала еще шаг, резко опустилась в воду и поплыла; Александр Евгеньевич видел ее скользящие белые плечи под водой, и какое-то странное предчувствие стиснуло его холодом.

— Не заплывай далеко, слышишь? — закричал он.— Озеро лесное, там глубоко... Тамара! Слышишь?

— Слышу! — отозвалась она, оборачивая к нему смеющееся лицо, но продолжая, теперь уже на спине, плыть к противоположному берегу.— Плыви сюда, вода чудесная! Уже не холодная! Только сначала прохладно!

Чувствуя все ту же молодцеватую приподнятость и решимость, он быстро сбросил одежду, попробовал воду пальцами ноги, сделал несколько гимнастических упражнений, шлепнулся прямо у берега в мелководье и, неестественно высоко держа голову, близоруко щурясь, поплыл короткими саженками.

На самой середине озера они долго лежали на спине, обо всем забыв и всматриваясь в глубоко,—по-вечернему синее, бездонное небо; теперь озеро, со всех сторон окруженное дубами, березами, в низких местах — зарослями черемухи, ивы и ольхи, было как бы частью неба, его продолжением; начинавшее темнеть пространство текло им в глаза, все синее и зеленое, и Тамаре Иннокентьевне вспомнилось забытое ощущение тепла и полной защищенности, близость матери уже в полусне, в начинавшихся мягких грезах и белых облаках. Ласковые бережные руки легко, точно пушинку, переносили ее из кроватки на такое облако; оно медленно плыло в вечернее, мягко пламенеющее небо, где бесшумно воздвигались и рушились розовые замки и дворцы.

Тамара Иннокентьевна закрыла глаза; ну, вот наконец минула ужасная пустыня одиночества, длившаяся столько лет, она все еще не верила, что для нее может начаться новая жизнь, а ведь эта новая жизнь давно началась и длится-длится, только надо суметь в нее поверить. Вот и подтверждается старая мудрость, живым — живое, но как же долго она к этому шла! Тамара Иннокентьевна оборвала себя; нельзя кощунствовать в такой день — всему свой срок и свой путь, и раз так случилось, значит, так тому и быть; ничего нельзя вернуть из прошлого, была война, и Глеб погиб на этой страшной войне, и что удивительнее всего, сама она выжила, только голос пропал, подумаешь, голос, кому нужен ее голос, ко всему можно привыкнуть, и к Сане можно привыкнуть, он ее любит, что еще нужно женщине?

— Тамара, холодно, я на берег,— раздался

в это время голос Александра Евгеньевича, она рывком ушла под воду, и, пока он близоруко оглядывался и щурился, она поднырнула, скользнула по нему прохладным длинным телом и вынырнула уже в другом месте. Он было погнался за ней, скоро отстал, и она опять стала кружить вокруг, подныривая все ближе; защищаясь, он беспорядочно бил руками и ногами по воде, и лес гулко и звонко гасил их голоса и всплески.

— Ты отпускаешь бороду! — поддела она его, когда они, обсохнув и согревшись, устроились под тем же дубом выпить вина, перекусить жареной курицей, свежими огурцами, луком, помидорами, колбасой,— Тамара Иннокентьевна набрала с собой еды полную корзинку.

— Тебе не нравится?

— Как-то непривычно... И потом в воде она ужасно похожа на старую растерзанную тряпку,— рассмеялась Тамара Иннокентьевна.

— Сбрею к черту! — угрожающе зарычал Александр Евгеньевич, с хрустом разгрызая огурец, он залпом выпил целый стакан вина, ее присутствие продолжало возбуждать его.

— Поспи,— предложила Тамара Иннокентьевна,— а я, как пещерная женщина, буду тебя караулить...

— Нет,— отказался он, хотя его действительно тянуло в дрему.— Нет,— повторил он упрямо, теперь больше самому себе. — Сон— это удел нищих, а я сейчас слишком богат... Я не могу спать... слишком расточительно... Знаешь, с тех пор, как ты рядом, у меня все переменилось. Был мир серый, тусклый, все в одну краску, а сейчас... боже мой, какая радуга! Поразительное многоцветье! Знаешь, ради тебя я сделаю все, даже невозможное, напишу самую прекрасную музыку на свете, получу все премии, ах, Тамара, Тамара, сколько времени мы потеряли!

— Не слишком ли на многое ты замахнулся? — поддразнила она, глядя на него исподлобья блестящими, поощряющими глазами.

— Не слишком, ради тебя не слишком! — повысил он голос.— Посмотришь, я все получу...

— Я рада за тебя,— сказала Тамара Иннокентьевна с тенью грусти в глазах; она вспомнила Глеба и точно обожглась радостью Сани, но тотчас испугалась: ведь это грех думать так после того, что между ними только что было, Саня ведь так долго ждал своего часа и слава богу, что он ничего, кажется, не заметил.

— Ты приносишь счастье,— сказал Александр Евгеньевич, прижимаясь головой к ее груди, как ребенок; украдкой вздохнув, она погладила его мягкие волнистые волосы, едва касаясь их ладонью; приказывая себе не думать больше ни о чем, кроме Сани, прочь, прочь все призраки, сказала она, вот он, живой, понятный, ее Саня...

Быстро темнело, воздух становился ощутимее и гуще.

— Тамара, слышишь, так боюсь двадцатого,— признался вдруг Александр Евгеньевич, глядя ей в глаза снизу вверх до неловкости преданно и любяще.— Мой концерт в консерватории. Не первый же! А вот сейчас волнуюсь, как в первый раз. Вероятно, из-за тебя... Из-за того, что ты будешь. Ты всегда заставляешь меня выложиться до дна, больше чем я могу, чем я умею...

— Как знать,— задумчиво произнесла она,— я тоже жду многого от твоего концерта...

— Банкетный зал я уже заказал, а людей приглашать пока не будем, подождем, у меня предчувствие...

— Вот не знала, что ты такой суеверный. Ну, не будем, так не будем. Пригласить можно и в тот же день и на день позже... Вот посмотришь, пройдет отлично. Утихни же, смотри, тишина-то в природе! Боже мой, какое блаженство! Что может быть прекраснее лесной тишины?

— Только музыка и ты,— Саня прижался лицом к ее рукам, не целуя.

Тамара Иннокентьевна недоверчиво улыбнулась, она знала свое лицо с начинавшими уже кое-где проступать морщинками; просто сейчас она не хотела думать о неприятном, ведь она действительно была счастлива и весь этот чудесный день и все следующие.

Продолжение следует.

Петр ПРОСКУРИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. Пинкисевича

ЧЕРНЫЕ ПТИЦЫ

С тем же чувством глубокого внутреннего покоя, приходящего в душу лишь в случае полного, безоговорочного счастья, она заранее попросила свою старую приятельницу заменить ее на занятиях в среду. Нужно было успеть отдохнуть и подготовиться к концерту; ей нужно было и хотелось быть красивой. Она выбрала свое лучшее темно-вишневое тонкого бархата платье с закрытым воротом; две бриллиантовые капли в ушах подчеркивали строгую изысканность линий фигуры, начинавшей уже чуть-чуть полнеть. Александр Евгеньевич был занят, и она приехала к консерватории одна; она обрадовалась нарядной толпе у входа, заинтересованно отметив, что многие пришли с цветами, и Тамаре Иннокентьевне постепенно вспомнилось приятное ощущение праздничной приподнятости и своей сопричастности к предстоящему событию, приятно было ощущать на себе пристальные, просто любопытные и восхищенные взгляды; последнее время их с Александром Евгеньевичем часто видели вместе, и общественное мнение уже прочно связало их имена; на концерт пришло много общих знакомых, ей то и дело приходилось раскланиваться; заранее поздравляли с успехом, обменивались дежурными, расхожими любезностями и похвалами в адрес таланта Александра Евгеньевича и ее внешности, как это водится в подобных случаях. Она едва отвязалась от невесть откуда взявшегося Демьяна Андреевича Солоницына — популярного песенника, к тому же еще и поэта. Солоницын был преданным сторонником Сани в его делах, и поэтому они сближались все больше; часто, обсуждая предстоящие дела, они любили спокойно посидеть за чашкой кофе или бутылкой вина, но Солоницын обладал удивительным и редким качеством. Он всегда умел остаться где-то на втором плане, он был незаметен, тогда как Саня главенствовал, был старшим, в присутствии Солоницына Саня казался всегда более талантливым, значительным, чем на самом деле, Тамара Иннокентьевна была убеждена в том, что Солоницын своим поклонением портит Саню, но ничего не могла поделать с его влиянием; податливый во всех других случаях, Саня становился ужасно грубым и нетерпимым, как только она упоминала о Солоницыне, он начинал кричать, ругаться, выходить из себя. Тамара Иннокентьевна в конце концов научилась переносить присутствие Солоницына и раз и навсегда не принимать его всерьез. Вот и теперь она с ничего не выражающей, остраненной улыбкой повернула к нему голову и приготовилась слушать; улыбка ее относилась не к Солоницыну, а скорее к необходимости ей слушать, а ему говорить слова, в которые оба не верили, но принуждали себя слушать и говорить. Густо-красная, почти черная роза в суховатых руках Солоницына только подчеркивала это несоответствие, и, почувствовав взаимную неловкость, Солоницын поспешил отдать розу Тамаре Иннокентьевне.

— Вам, Тамара Иннокентьевна,— сказал Солоницын с легким полупоклоном, в котором, однако, проступало неоскорбительное лукавство, как бы указывающее на то, что он отлично все чувствует и понимает, знает также и о ее отношении к нему, но ничего сделать не может, и что она со временем поймет свою ошибку и переменит свое мнение о нем.

Тамара Иннокентьевна взяла розу, молча поблагодарила; глаза ее и в самом деле потеплели.

— Если вы не возражаете, я к вам в ложу пристроюсь,— сказал Солоницын,— мне место там указано... но если...

— Что вы, Демьян Андреевич. — Тамара Иннокентьевна невольно засмотрелась в его широкое, выражавшее сейчас предельное благодушие лицо и опять не удержалась от улыбки.— Конечно, садитесь, конечно, буду рада...

— Сегодня все недруги Александра Евгеньевича будут повержены к ногам его дарования,— не стесняясь, громко сказал Солоницын, пытаясь вызвать ее на разговор; Тамара Иннокентьевна не стала ему отвечать, сделала вид, что заинтересовалась кем-то в зале. Она хорошо знала цену этим любезностям и похвалам; все дело в высоком положении Сани, а следовательно, в зависимости от него по многим и многим вопросам многих людей, и, когда прозвенел первый звонок, Тамара Иннокентьевна с облегчением оставила гудящее фойе и с напряженным, не допускавшим ничего постороннего в свой мир взглядом прошла в ложу. Она любила именно эти недолгие минуты перед началом: настраивался оркестр, публика неторопливо рассаживалась, люди сбрасывали с себя груз дневных, мелких, житейских забот и готовились приобщиться к высокому и прекрасному. Тамара Иннокентьевна любила наблюдать за людьми в эти недолгие затаенные минуты, за их размягченными лицами, заранее настроенными на сосредоточенность и внутреннюю тишину. Вот идет девочка с огромными распахнутыми глазами, рядом с ней тоже несколько непривычное в своей сосредоточенности юношеское лицо; мальчишеская, изо всех сил сдерживаемая улыбка счастья; а вот знакомый, музыковед Парьев, живой, как ртуть, с вечной озабоченностью в лице, быстрыми движениями и невнятной речью. Тамара Иннокентьевна не знала, какой он критик, хороший или плохой, но что его присутствием всегда определялась степень значимости концерта или любого другого события, было известно всей музыкальной Москве. Наблюдая со стороны взвинченное оживление Парьева, обладавшего почти женской способностью самовозбуждаться, словно весталка, и особенно проявлявшего это свое качество в присутствии рядом нужного и важного человека, Тамара Иннокентьевна постаралась, сколько могла, притушить собственную раздерганность и успокоить лицо; она тоже готовилась к должному свершиться таинству. С наслаждением вслушиваясь в узнаваемый звук настраиваемых инструментов, возвращавший ее в далекие годы юности, в годы недолгой, шумной славы Глеба, она загоревшейся кожей лица и шеи чувствовала на себе пристальные взгляды оркестрантов, в директорской ложе было просто некуда деться от этого липкого въедливого интереса к ее особе — люди оставались людьми. Каким-то непостижимым образом у нее за спиной почти тотчас оказался Солоницын; он словно прошел сквозь стену: не было его — и есть. Тамара Иннокентьевна этой его поразительной особенности боялась и, ощутив у себя за спиной его присутствие, с трудом заставила себя не думать о нем. Солоницын, словно почувствовав ее состояние, сидел спокойно, отдыхая после утомительной работы в фойе, где пришлось рассчитывать каждое движение и слово. Он подумал, что стал подозрительно быстро уставать, что, очевидно, пора на два-три месяца исчезнуть из Москвы. Он старался не смотреть на тяжелый узел волос, на высокую и чистую шею Тамары Иннокентьевны, чтобы не будить в себе застарелое неприязненное чувство к этой женщине, неизвестно за что его презиравшей и даже ненавидевшей. Он никогда не позволял себе обижаться, тем более высказывать каким-либо образом свою обиду, это было ему не по карману, а следовательно, не существовало для него, но вот сейчас он не узнавал себя, проснулось что-то мальчишеское, ненужное, и он никак не мог с этим сладить. «Тоже мне, строит из себя первозданный кристалл, непорочная дева да и только, из подмышки рожать думает, без зачатия,— раздраженно и грубо думал он, в то же время ничего не выпуская из виду и сохраняя на лице любезное выражение.— Что же ее Санечка, не знает что ли она, по каким гекатомбам он бодро шагает вверх? Что за непостижимое ханжество, какое уважение к своей особе! Посмотреть бы, смогла бы она сохранить вот такое царственное спокойствие, не будь рядом с ее наполеончиком таких вот, как я, незаметных, серепьких, не замечающих оскорблений и все прощающих, ведь ее-то наполеончик только на таких и держится; такие, как он, всегда были, есть и должны быть. Мы ему делаем славу, мы его подножие, а он нас соответственно подкармливает, бросает нам время от времени кусок, другой! Мы сила, потому что мы умеем организоваться, подчиняться, мы умеем постоять друг за друга, а все те, мыслящие себя гениями, вроде Горского, надеются лишь на божью искру, один другого, как черта, сторонятся. Фу-у-у, и нету такой искры: сколько их уже погасло, достаточно кое-кому подуть или вовремя не подбросить самого примитивного горючего: дровишек там или солярочки... Хе-хе-хе!»— с удовольствием мысленно потер руки Солоницын, ощущая свое могущество в единении с тем же Александром Евгеньевичем и восхищаясь именно неизвестно откуда взявшимся ласковым словом «солярочки».

Тут появился ловкий, с широкой лысиной знаменитый дирижер Лолий Вайксберг, снискавший себе славу не без деятельного участия и покровительства Александра Евгеньевича, и это тоже было сделано не без дальнего прицела — последние годы Лолий Вайксберг широко пропагандировал музыку Александра Евгеньевича в своих частых поездках и гастролях за границей...

Солоницын стал смотреть, как прославленный дирижер незряче и привычно поклонился в зал, выпрямился, повернулся, напружинил жирный затылок и демонически вознес руки над ждущим оркестром. Программу Солоницын знал наизусть, он сам составлял ее по указаниям Александра Евгеньевича, и поэтому мог себе позволить сейчас как бы отключиться от концерта, сплошь составленного из произведений Александра Евгеньевича, отрывков из его патриотической оперы «Высокое небо», получившей самую лестную оценку на самых высших уровнях, музыки из кинофильма «Великий путь»; сюда Александр Евгеньевич умело пустил в дело отходы от оперы,

Продолжение. См. «Огонек» №№ 11—13.

затем шло несколько народных песен в обработке Александра Евгеньевича и его же романсы на стихи современных поэтов. Одним словом, Солоницын мог позволить себе заниматься все тем же блестящим анализом; он довел до логического конца мысль о полной своей правоте и на примере Тамары Иннокентьевны пришел к неопровержимому выводу, что сейчас люди их круга живут как бы в двух главных измерениях. В одном приходится приспосабливаться, многого не замечать, со многим соглашаться, оправдывая это все тем же старым утверждением, что такова жизнь и против нее не попрешь; в другом же горизонте совсем иной тон, необъяснимая мораль некоей разграничительной линии в одном и том же вопросе. То, что допустимо по одну сторону этой линии, по другую встречает удивление и даже негодование, вот он сам, Солоницын, сколько угодно может прислуживать, подличать во имя того же Александра Евгеньевича, но это лишь по одну, определенную сторону черты... Стоит же ему ступить на неположенную половину, и ему тут же дадут понять, что он переборщил, что от него дурно пахнет; что каждый должен знать свое место, и все это будет оправдано сложностью, даже диалектичностью жизни. А вся мораль здесь на ладони и выражается двумя словами — делают одно, а говорят другое и, очевидно, для этого в мире есть свои причины.

За подобными рассуждениями Солоницын совершенно забыл проследить, как раньше хотел, за Тамарой Иннокентьевной, за ее восприятием концерта, а когда вспомнил об этом, было уже поздно. Первая часть закончилась, прогремели аплодисменты (Солоницын не без тайного удовлетворения отметил, что особого энтузиазма слушатели не проявили), дирижеру принесли огромный букет алых роз. Начался антракт.

Тамара Иннокентьевна, задумчиво улыбаясь, занятая какими-то своими мыслями, вышла из ложи; Солоницын не стал ей навязываться, но, скользнув вслед за ней в фойе, некоторое время продолжал думать о ней. Впрочем, и для Тамары Иннокентьевны ничего нового или неожиданного не было, все, что исполнялось, она знала, исполнение могло быть лучше или хуже, но существенно перемениться ничего не могло. Это был Саня, это была его музыка, ничего другого никто, и тем более она сама, ожидать, а тем более требовать не могли. Нужно было прогнать чувство неловкости и растерянности, пришедшее к ней вроде бы ни с того, ни с сего, ниоткуда.

Она пожалела, что не пригласила кого-нибудь из подруг,— все сложности отступили бы, растаяли, а то ведь обязательно кто-нибудь привяжется со своими фальшивыми восторгами и будет совсем неловко. Саню же видеть тоже сейчас ни к чему; биологически он удивительно чуткий, сразу поймет, что она далеко не в восторге...

Едва она успела пожалеть о своей неосмотрительности, перед ней оказался Парьев, сказал какую-то плоскую любезность, сощурил умные, плутовские, все понимающие глаза, взял ее руку, осторожно поцеловал.

— Хорошо, хорошо, я давно хочу познакомить с вами свою жену, что-то все никак не складывается. У нее сегодня защита... Хорошо, очень хорошо!— сказал он почему-то значительным шепотом и осторожно исчез. К чему относились его слова, к Сане ли, к ней самой, Тамара Иннокентьевна не поняла; Парьев, вероятно, просто еще раз напомнил о себе, о своем присутствии на концерте. Тамара Иннокентьевна направилась к широкой мраморной лестнице с намерением выйти на улицу и побыть под темными деревьями в одиночестве, но тут же почувствовала на себе чей-то взгляд; она даже вздрогнула, но заставила себя идти прямо и не оглядываться. Она знала, что человек, неотступно следивший за нею, пошел следом. Тамара Иннокентьевна хотела обернуться и как следует отчитать наглеца, но вместо этого лишь прибавила шаг и, оказавшись в знакомом скверике перед консерваторией, облегченно вздохнула; выбирая затененные места, она медленно прохаживалась, наслаждаясь привычным слитным шумом города, одиночеством, какой-то внезапно охватившей душу легкой грустью. Ей больше не хотелось никаких перемен, то, что дано судьбой, ее вполне устраивает, большего ей и не надо, хотя в юности, в молодости, когда рядом был Глеб, все это представлялось иначе, как-то больше, возвышеннее, грознее. Но что не грезится в юности, уж такая крылатая пора, затем все получается иначе, начинаются неизбежные потери, душевная усталость, приходится мириться со многим, нужно держать себя в руках. Что же, Саня есть Саня, это не Глеб, и при всем желании и изворотливости он не может подняться до него, но он же в этом не волен, а значит, не виноват. Столько ему отпущено от бога, не всем же быть высокими творцами, он хороший человек, любит ее, что же еще надо? Мужчины вообще честолюбивы, со своим тайным дном: на этого противного Солоницына нечего особенно сердиться. Везде своя борьба, а она всего лишь женщина — не ей переделывать мир! Смешно... Стать на площади и проповедовать? А какое у нее право учить? Что она знает?

Совершенно теперь успокоившись, Тамара Иннокентьевна озабоченно подумала о предстоящем после концерта банкете и нашла просчеты в своем туалете. Нужно было одеться построже, здесь к месту был бы ее зеленый костюм без всяких украшений, но теперь уж ничего не поделаешь.

Кто-то стремительно шагнул и стал перед нею; она вздрогнула, невольно оглядываясь, как бы собираясь позвать на помощь, но тут же, различив знакомые черты лица, облегченно перевела дыхание. Меньше всего она хотела встретиться в этот вечер именно с ним, с Димой Горским, всегдашним соперником Глеба, в последнее время что-то замолчавшим,— те же странные, словно раз-навсегда изумленные жизнью глаза, то же длинное, асимметричное лицо, тот же знакомый отсвет доброй улыбки на губах — и в то же время что-то новое, страдающее, какое-то отсутствующее выражение на этом знакомом, дорогом и оттого желанном сейчас лице, заставили сжаться сердце. Тамара Иннокентьевна почувствовала легкий запах вина и сдержала неожиданный порыв, — она готова была обнять, расцеловать этого человека за то, что он есть, что он был как бы вестником Глеба, тех, грозных и прекрасных раз и навсегда отшумевших лет.

— Здравствуй, Дима... Оказывается, это ты меня преследуешь,— она протянула руку, еще и еще раз жадно окидывая его взглядом и отмечая про себя сизые, нездоровые мешки под глазами.— Вот никак не думала, что ты придешь на концерт Сани...

— Слишком много о нем говорили... любопытно,— ответил Горский.— Прости, Тома, если я допустил бестактность. Мне просто хотелось увидеть тебя.

— Что ты, Дима!— горячо возразила она.— Я понимаю, сложно все в жизни, но ведь что делать... Так уж получилось.

— Я ни в чем тебя не виню, Тома.

— Ты все такой же... Ничего не умеешь скрыть,— с еле уловимой горечью вслух подумала Тамара Иннокентьевна. Близко и как-то до неловкости доверительно поглядев ей в глаза, он не стал возражать; в свое время, когда она еще была тоненькой девушкой, он любил смотреть на нее; она была божественно красива, и у него даже в мыслях не могло возникнуть нечто плотское, грубое. Он хорошо знал, что это не было любовью и она являлась для него просто существом из иного, сказочного мира, и он ей посвятил свою самую любимую сюиту и скрипичный концерт. Он наслаждался, что он один знал об этом, и теперь, неожиданно вспомнив те давно минувшие времена, мысленно улыбнулся своей наивности; Тамара Иннокентьевна видела, как вздрогнули, напряглись его густые, торчавшие в разные стороны брови. Она обрадовалась этой незабытой его особенности.

— Расскажи о себе, Дима, что нового у тебя,— попросила она, беря его под руку и отводя подальше в сторону в густую тень, ей показалось, что где-то неподалеку мелькнуло широкое лицо Солоницына.

— Во сне сегодня тебя видел,— растерянно улыбнулся Горский, не замечая ее маленькой хитрости.— Неожиданно... давно ведь и не встречались, и не думал. Ты изумительно пела... Какая-то белая-белая гора, солнце... ветерок, а я боюсь шевельнуться... Как же ты пела, Тома... не сон, а праздник. Я сегодня весь день под очарованием этого сна! Спасибо, Тома... Я пришел тебя увидеть...

— Спасибо,— с трудом шевельнула она губами.— Я понимаю, Дима... Но я знаю, ты не за этим пришел.

— Подожди, подожди,— поспешно сказал Горский, опять близко заглядывая ей в глаза, и опять она уловила запах чужой, посторонней жизни — горечь вина, табака. Появилась какая-то обида, что эта настоящая, терпкая, в муках жизнь проносится мимо.

— Ох, Дима, Дима,— сказала Тамара Иннокентьевна все с той же горечью в душе, начинавшей перерастать в досаду.— Вот от тебя не ждала жалости.

— Тома, Тома, что ты это напридумала?— совсем смешался Горский, но глаза его выдали — вдруг заблестели, засияли.

— Вот, вот!— торжествующе обрадовалась Тамара Иннокентьевна.— Вот теперь ты настоящий, Дима! Хотел надуть... и кого? Меня! И не стыдно, до чего же люди переменились, даже самые лучшие...

— Преувеличиваешь, как всегда,— со сложным чувством досады и восхищения попытался несколько притушить неожиданную остроту Горский; ему сейчас достаточно было видеть ее и быть рядом.— А у меня сейчас доброе, доброе настроение, сам себе не верю. А что мы друг другу не все говорим, это же в порядке вещей, иначе невозможно было бы никакое общение. Ты же умная женщина.

— Умная еще не значит счастливая,— в Тамару Иннокентьевну словно вселился неведомый бес.— Но ты ведь пришел посмотреть на меня и определить, что же произошло со мной. Откуда у вас у всех право судить? Кто вам его дал?

— Тома, Тома...

— Нет, выслушай!

— Да мне уже достаточно! Не мучай ты себя, ты же не виновата, так уж сложилась жизнь...

— Вот, вот! Не мучай! Не виновата! Вот теперь, Дима, ты прежний, тот, которого я раньше знала, и который всегда был мне дорог.— Тамара Иннокентьевна с холодным ужасом чувствовала, что ее словно подхватила и безостановочно несет черная волна; она приказывала себе остановиться и не могла и, когда увидела жестко напрягшиеся складки на лице Горского, резко и зло обозначившие сжатые, слегка кривящиеся губы, ей стало легче. Когда-нибудь это должно было произойти, такова плата и такова мера за прошлое.

— Знаешь, Тома, ты все равно останешься для меня прежней,— тихо сказал Горский.— Так оно и будет, я ведь тебя когда опять увижу... А то и совсем не увижу... Вот если бог даст, я напишу твою душу, вероятно, это поможет мне... еще раз подняться... Слышишь, я заставлю звучать твою душу!

— Я же другая, Дима! Я совсем переменилась!— забывшись, с ненавистью почти закричала Тамара Иннокентьевна.— Я просто женщина, я жить хочу. Почему же вы все так безжалостны? Только потому, что был Глеб и была война? У многих все это тоже было... Все ведь живут...

— Прости, я не хотел сделать тебе больно,— Горский теперь смотрел на нее как бы издалека и думал о чем-то своем.— Ты же сама виновата, что ты на меня-то накинулась? Если я даже показался тебе призраком из прошлого... нет, виноват... такие, как я, остались где-то за роковой чертой, не смогли ее переступить. Что же на нас сердиться?

— Если бы вы только не винили в своих бедах других...

— Тебя? Саню?— быстро спросил Горский.— Ты это хочешь сказать?

— За что вы его так ненавидите?— глухо пожаловалась Тамара Иннокентьевна.— Господи, отчего люди так жестоки? Он ведь ни у кого не отнял, делает, что может и как может... Не смей на меня так смотреть, Дима!— слегка повысила она голос, но Горский, начиная подпадать под ее настроение, отвернувшись, покусывая губы, молчал. Он жалел ее, и ему не хотелось говорить ей грубых, унижающих слов; он видел, что для себя она уже давно все оправдала, но теперь ей хотелось, чтобы он, он, именно он (он улыбнулся), давний друг и соперник Глеба, всегда слывший прямым, бескомпромиссным человеком,

чтобы именно он подтвердил ее правоту и еще больше укрепил ее в этой мысли. Пытаясь пробудить в себе давнее, светлое чувство в отношении Тамары Иннокентьевны, он с какой-то мучительной настороженностью попытался прислушаться к себе; ну что же, подумал он, все меняется, переменилась и она. Почему я должен был ожидать другого? В молодости многие талантливы, это особая пора, а вот начинается повседневность, и многое меняется. Проступает и утверждается истинная суть человека. Что же на нее сердиться? Если ей хорошо и удобно рядом с Саней, кто же имеет право мешать? Зачем?

Все, вероятно, кончилось бы миром, сдержись Тамара Иннокентьевна и переведи разговор на другое. Но она чувствовала, что, если она сейчас уступит, пошатнется и рассыплется прахом весь ее с таким трудом созданный порядок, в душе у нее все сломается. Сейчас в лице этого, когда-то талантливого, одаренного молодого человека, а сейчас, по всему видно, разочаровавшегося, пьющего, в ее душу опять постучалось прошлое. Саня прав, нельзя ни на минуту поддаваться слабости.

— Вот видишь, Дима,— сухо усмехнулась Тамара Иннокентьевна,— по существу, сказать и нечего. Так уж устроена жизнь, один состоялся, другой нет... вот и завидуют успеху Сани, ненавидят за это...

— Ты имеешь в виду меня?

— Все люди одинаковы, Дима,— все так же сухо ответила она, выбирая момент попрощаться и поскорее уйти, но ее поразил и удержал его смех, какой-то захлебывающийся, больной — она никогда раньше не слышала, чтобы так смеялись. Горский хохотал, время от времени с каким-то неприятным фырканьем, с трудом произносимым в перерывах хохота на разные лады одним-единственным словом «ненависть»; глаза его, попадая в свет фонаря, влажно и дико поблескивали.

— Кажется, ничего смешного я не сказала,— неприятно удивилась Тамара Иннокентьевна.

— Ненависть? К твоему Сане? Зависть? Нет, Тома, нет.— Как бы в один момент стряхивая с себя нервный неестественный смех, Горский стал подтянутее, суше; Тамара Иннокентьевна почему-то испугалась этой перемены в нем, внутренне вся сжалась, похолодела.

— Я пойду, пойду, Дима,— заторопилась она, но Горский не пустил, схватил ее за плечо и повернул к себе.

— Не торопись, я скажу всего несколько слов, Тома. Мне жаль, но твой Саня всего лишь удобная посредственность. Всему миру удобная! Таков миропорядок! У него никогда не прорвется святой бунт страждущего духа, ни одно сердце он никогда не заставит вздрогнуть от сладкой тоски исчезновения. От его бескрылой музыки никто не захочет броситься сломя голову в огонь! Никогда бы не поверил, что ты когда-нибудь станешь защитницей посредственности! И тебе не стыдно! Ты была рядом с Глебом — рядом с вулканом, с очистительной грозой, и вот тебе — Саня! Разумеется, какая теплая сырость, как сытно!

— Молчи, молчи, ты пьян!— попыталась остановить его Тамара Иннокентьевна.— Замолчи, ради бога... Как ты можешь, ведь Саня говорит о тебе только хорошо, он так высоко отзывается о твоем таланте... Я всегда радовалась...

— Ты еще больше порадуешься, если спросишь Саню, почему я вот уже третий год не могу получить ни одного концерта, не могу записать пластинки, а в издательстве вот уже третий год без движения лежит мой сборник. И почему у самого Сани всю его серятину выхватывают, не дожидаясь, пока просохнут чернила? Знаешь, Тома, мне думается, что твой Саня одержим новой разновидностью гуманизма, знаешь, как его характеризует между собой наша братия?

— Как же?

— Постно-справедливый Саня Воробьев. Правда, здорово?

— Боже мой, какой ты стал злой, Дима!— прошептала Тамара Иннокентьевна, не прощаясь, резко повернулась и пошла.

Горский посмотрел ей вслед, воздел руки то ли к небу, то ли к приглашающему москвичей в волшебный мир музыки Чайковскому.

— Благослови заблудших, возврати их на путь праведный!— пробормотал он, не обращая никакого внимания на изумленно отшатнувшуюся от него длинноволосую девицу, проходившую в этот момент мимо.

IV

Пропустив последний звонок, Тамара Иннокентьевна едва успела занять свое место в ложе; вместе со вспыхнувшими аплодисментами она увидела Саню с бледным красивым лицом, стремительно пробиравшегося между пюпитрами к дирижерскому пульту. Он поклонился залу, и, слегка повернувшись в сторону ложи, сразу нашел глазами Тамару Иннокентьевну, словно испрашивая благословения. Бледная, еще не пришедшая в себя после неожиданного разговора, Тамара Иннокентьевна все же ответила улыбкой, и вся его высокая, резко очерченная фраком фигура, слегка начинавшая полнеть, стала законченнее и резче. Саня умел и любил дирижировать, у него была исключительная память, он часто дирижировал наизусть; с двух, трех репетиций он безошибочно исполнял любое трудное произведение. Сегодня, как и всегда, впрочем, во время авторских концертов, вся атмосфера зала была наэлектризована нетерпеливым ожиданием успеха или неуспеха, и это теперь не зависело ни от положения, ни от протекций, а зависело только от таланта.

Внутренне подобравшись, Тамара Иннокентьевна ждала начала; она не выносила диссонирующей музыки, она вызывала у нее ощущение физической боли, хаоса, распада; мир и без того был страшен, жесток и разъят. В музыке она искала утешения и надежды и была твердо убеждена, что музыка без гармонии не нужна; не боясь показаться старомодной, Тамара Иннокентьевна находила в музыке то, что искала, и ни за какие новации не собиралась расставаться с мелодией.

Начало ей показалось резким и разочаровало, она отодвинулась в глубь ложи и, полузатененная бархатной портьерой, напряженно ждала продолжения. Понемногу в разлаженном, разбегающемся хаосе разъедающих, враждующих, наталкивающихся друг на друга звуков стало восстанавливаться равновесие; время от времени все настойчивее вступала партия скрипок и легкой волной смывала с души тревогу и усталость. «Ничего,— говорили скрипки,— еще будет радость, еще не все потеряно, и это пройдет, ты узнаешь радость, потерпи». Тамара Иннокентьевна не узнавала Александра Евгеньевича; его руки, обычно изнеженные, вялые, сейчас царили над оркестром, над залом. Она не ошиблась, что поверила, и вот награда, от неожиданности тем более дорогая,— как она могла хоть на миг усомниться... Дима Горский хороший, добрый, талантливый, ему не хватило немного везения, вот он и стал скептиком. Не надо на него обижаться.

Глубже погружаясь во что-то привычное, необходимое ей, к чему все больше прирастала душа, Тамара Иннокентьевна попыталась вспомнить, когда же, где, где? Она точно знала, что такое ощущение бесконечности, продленности своего «я» она уже испытывала однажды, когда вот также все исчезло в сумасшедшем стремительном потоке, подхватившем и понесшем ее в знакомые родные дали... Каким-то подсознательным судорожным усилием пытаясь остановить этот неудержимый поток, стараясь оборвать его, она едва удержала готовый вырваться крик — случилось невозможное, она узнала тяжелую лобастую голову Глеба, резкий, юношеский профиль его лица, его характерные движения, даже его характерную манеру напевать сквозь сомкнутые зубы во время исполнения его вещей с оркестром.

Тамара Иннокентьевна боялась шевельнуться, чтобы не спугнуть мгновение, и в то же время не находила в себе сил прекратить эту муку. Теперь она знала, что испытывает человек, умирая; она сама была сейчас где-то именно на этой грани, сердце остановилось, оркестр отдалился, глухая пелена затянула все перед глазами, внезапно ее накрыла с головой непроницаемая оглушительная тишина.

Продолжение следует.

Петр ПРОСКУРИН

ЧЕРНЫЕ ПТИЦЫ

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

Она не знала, сколько прошло времени, минута, две или десять, только в ней вновь прорвался, вначале исподволь, затем нарастая, усиливающийся тоскливый крик скрипок, и сразу же понеслось к ней навстречу лицо Александра Евгеньевича. Страшное оцепенение сковало ее, не было сил даже отодвинуться в глубь ложи, чтобы положить хоть какую-то преграду между собой и этим мешающим, ненужным, ненавистным сейчас ей лицом. Со свойственной в отношении ее почти звериной чуткостью Александр Евгеньевич понял, что с ней происходит, ему передалась едва не удушившая ее волна; он твердо и отстраненно посмотрел в ее сторону и опять повернулся к оркестру. Никакого Глеба больше не было, только Александр Евгеньевич с его красивыми руками, чуть полноватым, голым (он сбрил бороду к своему концерту) женственным лицом и высокой рыхловатой фигурой, плотно затянутой во фрак, и... с его чудовищной везучестью, всепроникаемостью и безнаказанностью! Да полно, был ли Глеб вообще, если ничто больше о нем не напоминает, если его музыка ему больше не принадлежит, а значит, никогда не принадлежала; а принадлежит и отныне всегда будет связываться с именем этого овладевшего ее волей, ненавистного, преуспевающего человека. Он хладнокровно, обдуманно стер саму память о Глебе, взяв себе его музыку, почти без помарок, ничего не переменив, использовал в своей симфонии любимые мотивы Глеба; Тамара Иннокентьевна особенно любила эту тему борьбы двух влюбленных, стремившихся пробиться друг к другу сквозь разделяющую их тьму, из незаконченной сюиты Глеба.

Александр Евгеньевич высоко вскинул руки, и она отчетливо увидела его округлый затылок с длинными, плотно уложенными, напомаженными волосами; даже от резких движений в прическе (Тамара Иннокентьевна не могла вспомнить сейчас имя модного мастера из известного всей Москве салона, обычно приходившего на дом к Александру Евгеньевичу укладывать волосы по особенно торжественным случаям) не сдвинулся ни один завиток. Так же и на его лице, обычно мягком, чуть расслабленном, сейчас не двинулся ни один мускул, оно казалось вычеканенным из бронзы. Тамара Иннокентьевна была уверена, что и он испытывает сейчас точно такое же чувство. Да, он давал ей понять, что принимает вызов, что между ними с этого момента возникла и установилась какая-то совершенно новая, беспощадная связь. Он продолжал дирижировать с тем же затвердевшим отстраненным лицом, и даже если она ошибалась, это уже ничего не меняло — их захлестнуло смертельной петлей.

Тамара Иннокентьевна ощутила приближение новой удушливой волны; да, Саня решил ее сломить, заставить окончательно забыть о прошлом; она сейчас вспомнила ранее ускользавшие от ее внимания мелочи в их отношениях, они лишь ее больше утвердили в ее догадках; нарастающий же разлад в оркестре, доходящий до откровенной какофонии, должен был, по всей вероятности, означать новое слово в музыке.

Крепко сцепив побелевшие пальцы рук, Тамара Иннокентьевна приготовилась бороться до конца; подбадривая и успокаивая себя, она стала вспоминать еще студенческие времена, ухаживание Глеба. Это помогло, и она обрадовалась; теперь меня так легко не возьмешь, подумала она, имея в виду Александра Евгеньевича, теперь я тебя знаю, хоть ты самим дьяволом обернись, не поможет...

Между тем из хаоса рушащегося мира опять пробились согласные, легкие и стремительные голоса скрипок. Тамара Иннокентьевна крепче стиснула руки на коленях; Глеб не успел дописать эту сюиту, и публично она никогда не исполнялась. Тамара Иннокентьевна хорошо помнила светлую, стремительную, как бег прохладной чистой воды, мелодию, опять два родственных начала пробивались сквозь все преграды друг к другу. Тамара Иннокентьевна видела перед собой любимое запрокинутое лицо, и сквозь стиснутые зубы доносились привычные до боли, до страдания звуки, и уже новый приступ глухоты начинал сковывать ее, уже...

Еще мгновение, и она бы страшно, на весь зал закричала; в самый последний момент, собрав остатки сил, в бессильной ненависти, она встала, не оглядываясь прошла к двери, слепо толкнула ее и почти побежала к выходу; теперь она знала, в чем был весь дьявольский план концерта. Не сломись она во второй раз, был бы третий, и четвертый, и пятый; вздрагивая от нервного озноба, она остановила такси, назвала адрес и только в машине начала приходить в себя. Она попросила ехать кружным путем, движение всегда ее успокаивало; и шофер, молодой парень, выполняя ее желание, с интересом к ней приглядывался; Тамара Иннокентьевна не замечала. Первый ожог прошел, теперь ею все больше овладевало тупое отчаяние и безразличие; боже мой, зачем куда-то возвращаться, куда-то ехать, лучше всего сейчас было бы на всей скорости налететь на что-нибудь, на стену, на дерево, на бетонный столб, и все разом кончить. Она повернула голову и поглядела на шофера: молодой, лет двадцати семи, с красивым профилем мужчина, у него были крупно очерченные губы, прямой нос, длинные брови, кисти рук тоже красивые, артистичные. Шоферу начинало передаваться ее состояние, и он как-то странно завороженно, не мигая, смотрел в летящее навстречу пространство.

— Пожалуйста, быстрее!

Шофер молча кивнул, и машина плавно рванулась и скользнула вниз, точно в пропасть, в сияющую огнями улицу, но тотчас нырнула, не сбавляя хода, в какой-то темный проулок и тут же выскочила опять на открытое, залитое огнями пространство. Тамара Иннокентьевна облизнула пересохшие губы и как-то сразу успокоилась и даже взглянула на себя в косо висящее зеркальце; она уже ощутила в себе шумно ворохнувшегося знакомого беса, в ней все сильнее разгоралось желание и в самом деле удивить себя и переступить последнюю черту. Долгим приближающим взглядом она опять посмотрела на шофера и почувствовала, что он сделает все, что она захочет; он уже и без того отвечал на каждое ее движение. Выскочив на какое-то пригородное шоссе, они теперь неслись с сумасшедшей скоростью; стремительная ревущая тьма, рассекаемая узким лучом света, мчалась навстречу, уже время исчезло, уже достаточно было одного неверного движения, одного толчка...

Тамара Иннокентьевна не могла понять, отчего вдруг все оборвалось; сумасшедшее, опустошительное, успокаивающее ее движение внезапно прекратилось, разрывая все внутри. Она страшно, смертельно побледнела, но уже и машина резко сбросила скорость, взвизгнув тормозами; шофер сидел, бледный до синевы, стиснув зубы, всей тяжестью своего здорового молодого тела навалившись на руль; с трудом оторвав руки от баранки, он толкнул дверцу, и, не говоря ни слова, исчез в темноте и долго не возвращался, а когда вернулся, тотчас, не глядя в ее сторону, резко развернул машину и погнал обратно...

Сознание возвращалось медленно; просто они уже не принадлежали себе, на сумасшедшей, бешеной скорости пронеслись мимо крошечной, лет пяти девочки с поднятой ручонкой; сноп света лишь на какую-то долю мгновения вырвал из тьмы, из кипящего пространства фигурку девочки — знак провидения и предостережения, но этого было достаточно — все существо Тамары Иннокентьевны, поглощенное ожиданием предстоящего, успело, оказывается, выхватить из тьмы девочку с поднятой ручонкой, чтобы затем осознать и вздрогнуть от смертельного озноба; Тамара Иннокентьевна никак не решалась взглянуть в сторону шофера, успевшего в последнюю долю секунды опомниться, пересилить себя у самого края пропасти. Рассчитываясь, она просто выгребла на сиденье все содержимое сумочки и, выходя из машины, лишь мимоходом, с мольбой заставила себя взглянуть ему в зрачки, опять увидела в них откровенное восхищение, почти страдание, вся вспыхнула и торопливо вбежала в подъезд. Едва успев открыть дверь в квартиру, она вздрогнула — напористо и весело зазвонил телефон, и она поняла, что это звонит Александр Евгеньевич. Телефон продолжал надрываться, несколько минут она сидела вяло, без движения, без мысли, слушая настойчивые непрерывные звонки, затем тяжело встала, взяла трубку; в уши ей тотчас рванулся бурный, взвинченный голос.

— Да, это я,— отозвалась она, чувствуя смертельную, почти обморочную усталость.— Да, я тебя поздравляю... слушала, нет, не все... да, да... вернешься, поговорим... Да, да, уехала, не дождалась... Все объясню... Не понравилось? Нет, нет, не знаю.— Она с удивлением вслушивалась в свой тусклый безжизненный голос.— Пришлешь машину? Зачем? Ах, банкет... Нет, нет, я себя неважно чувствую, не надо, я подожду тебя дома. Нет, нет, не присылай, я не поеду. До встречи, Саня.— Она положила трубку и долго не снимала руки с трубки, как будто насильно заставляя телефон молчать; она уже все продумала, но никак не могла заставить себя поверить до конца, боялась сделать еще одно последнее усилие и убедиться окончательно.

В комнате, выходившей окнами на улицу, было очень душно, и Тамара Иннокентьевна, открыв окно, легла грудью на подоконник; нагретый за день воздух не освежал; прохлады и спасения от духоты по-прежнему не было; Тамара Иннокентьевна вяло оторвалась от подоконника и пошла на кухню, выходившую балконом во двор — здесь было меньше шума, движения, и сам воздух казался прохладнее и чище. Тамара Иннокентьевна села у открытой балконной двери на сквозняке; ей нужна была передышка, нужны были силы для того, что ей предстояло. И когда пришла нужная минута, она тяжело поднялась, вернулась в большую комнату и, не раздумывая, выдвинула два нижних ящика письменного стола, где всегда хранились рукописи и бумаги Глеба. Давно, может быть, уже больше года Тамара Иннокентьевна сюда не заглядывала, но сразу же увидела, что из всего хранившегося здесь осталось меньше половины. Дрожащими руками она стала перебирать знакомые листы, она физически ощущала теплоту шероховатой поверхности бумаги; под ее пальцами вспыхивали и бились стремительные, обрывочные пассажи, таинственные, явившиеся из неизвестности и ушедшие в неизвестность всплески мыслей Глеба, даже в таком незавершенном виде пронизанные необычайным чувством гармонии. Недоставало очень многого из неоконченного, исчезли почти готовые вальсы; наброски м о л и т в, как называл их Глеб, тоже исчезли...

С трудом остановив подступившую дурноту, почти не соображая, Тамара Иннокентьевна слабеющими руками рассовала бумаги по ящикам, с грохотом задвинула их, и сразу в комнате установилась мертвая тишина. Тамара Иннокентьевна поежилась, испытывая чувство полнейшей опустошенности, словно кто-то ограбил, обобрал ее до нитки, и ей стало стыдно своей наготы и невозможности куда-нибудь укрыться. Опять пришло то же чувство зияющей черной ямы, что и в машине недавно,— пустота, ни желаний, ни мыслей; нужно было заставить себя что-то сделать, сдвинуться с места, чтобы не тянуло опять заглянуть в зияющую пустоту, откуда нет возврата...

Заученно, как автомат, двигаясь, Тамара Ин-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 11—14.

нокентьевна принялась совершенно механически за уборку, протерла полы, мебель, вымыла ванную, перечистила на кухне кастрюли, до блеска надраила медный старинный чайник, разобрала грязное белье для прачечной. Было уже далеко за полночь, а она все придумывала и придумывала себе новые дела, наконец, достала откладываемое на более благоприятные времена шитье — серую шифоновую блузку (она любила шить, и это ее всегда успокаивало) и не заметила, как время подошло к двум. Щелкнул замок, хлопнула дверь, из передней послышалась оживленная возня, раздался веселый, уверенный, ликующий голос Александра Евгеньевича, а затем и сам он, без шляпы и бороды, собственной персоной появился в широко распахнутых створках стеклянных дверей с бутылкой шампанского, с огромной (едва умещалась в руках) охапкой махровых палевых хризантем. Глаза Тамары Иннокентьевны, до сих пор отрешенные, потеплели; перед нею стоял еще совершенно молодой мужчина со счастливым блеском в глазах, с гордой, свободной посадкой головы; она и раньше знала, что успех красит, теперь же это еще раз подтверждалось. Она подумала, что у нее уже нет сил на вторую жизнь, она слишком долго пробыла в горе и одиночестве, радость не приходит сама по себе, за нее нужно бороться.

— Как ты хорош, Саня... Как тебе хорошо без бороды. И это все мне?— по-детски обрадовалась она цветам.— Мои любимые!

— Все тебе, еще вот это,— он вытащил из бокового кармана длинный узкий футляр и небрежно бросил ей на колени, прямо на шитье.— За удачу!

Футляр раскрылся, и на колени Тамаре Иннокентьевне скользнула короткая нитка розового жемчуга неправильных крупных зерен, теплого густого тона, казалось, они мягко светятся изнутри. У нее на глазах показались слезы; со смешанным чувством страха, восхищения и отвращения к себе, она уже не ощущала непримиримости, негодования, оскорбленности, не ощущала всего того, что кипело в ней в ожидании встречи; хризантемы сильно пахли, остро заполняя комнату запахом свежей зелени.

— Я немного выпил, совсем немного, нельзя было отказаться, все пришли, все, кого я пригласил. Спрашивали о тебе и заметили твое отсутствие. Я уж врал, как мог. Ты бы заранее предупреждала, если у тебя каприз,— Александр Евгеньевич поставил шампанское на стол и бросился на диван рядом с нею.— Как я устал... Даже нет сил разозлиться и побить тебя. Ну что опять на тебя накатило? Пойми, ничего нет, есть мы и только мы и наша жизнь. Остальное не имеет значения. Все остальное н е с у щ е с т в у е т! Ну же, ну! Опять слезы? Мировая скорбь по несуществующему предмету?— приподняв ее лицо за подбородок, Александр Евгеньевич поцеловал ее в губы, властно, по-хозяйски, и у нее не хватило сил ни отодвинуться, ни оттолкнуть его руки; она опять с ужасом почувствовала, что ей приятно, что она уже привыкла именно к этому человеку, к этому мужчине, и ей ничего не хочется менять. Пряча глаза, она зарылась лицом в ворох хризантем, несколько раз глубоко вобрала в себя простой и, возможно, самый разумный в мире запах, запах беспечности и счастья.

— Я плохо себя почувствовала,— сказала она.— Ничего не готовила...

— А что нам надо? Что нам надо?— запел он, срываясь с дивана.— Там в коридоре еще во-о-от какая коробка со всякой всячиной. Ты плохо обо мне думаешь, разве я мог забыть главное, наш с тобой праздник? Столько вкусного. Из Армении Астмик Тевосян даже твою любимую ореховую колбасу привез и твой фирменный коньяк «Ахтамар». Астмик свое избрание отрабатывает. Трудно было его в правление провести — нужен, но не популярен, а себя он, разумеется, считает классиком современной массовой песни. Зовет нас, говорит, у него загородный дом в Цахкадзоре, фантастика, роскошь, супер и рядом горы, первозданная природа. И даже античный храм есть. Первый век до нашей эры. Махнем, а? Вот пленум проведу—и махнем! Меня попросили, для чего-то надо, чтобы провел его именно я. Сиди, сиди,—приказал он Тамаре Иннокентьевне, двинувшейся было ему помочь, и она осталась на диване, с цветами и жемчугом на коленях; Александр Евгеньевич ловко и быстро накрывал прямо в этой же комнате стол, накинув на него белоснежную хрустящую скатерть; попутно он сгреб у Тамары Иннокентьевны с колен хризантемы и воткнул всю охапку в огромную напольную вазу севрского фарфора, единственное, что он взял с собой из своего прежнего дома.

— Пусть с нами тоже празднуют.— Он небрежно, на ходу чмокнул ее в щеку и, почувствовав ответное движение, с торжествующей улыбкой опять засуетился вокруг стола.

Конечно же, каждому приятно, когда тебя любят, подумала Тамара Иннокентьевна, поглядывая на него, ей самой давно надоело одиночество, бессонные ночи, страх вступить снова в жестко очерченный круг, когда за дверью квартиры встречает мертвящая тишина...

Несколько раз она порывалась встать и помочь Александру Евгеньевичу, но он всякий раз усаживал ее обратно, говорил, что сегодня ему хочется сделать все своими руками, и она всякий раз охотно подчинялась, продолжая наблюдать за ним и ощущая замедленное течение глухой ночи. Он ведь прав, думала она, как бы разрушая последние запретные границы в своей душе, живое — живым, иначе мир не смог бы существовать и развиваться. Жизнь требует уступок, хочешь, чтобы тебя любили, лучше всего не замечать недостатков, даже пороков, особенно если рядом творческая натура, из этого тоже состоит жизнь. Те, кто идет прямо и говорит все, скорее гибнут или становятся пророками, но их гибель тоже норма для обычной жизни. Пророки хороши на отдалении, в своем времени их никто не терпит. Да и что такое в конце концов сделал Саня? Молодой, сильный мужчина, честолюбивый, дорвался наконец до власти, до славы, костер-то вон какой прожорливый, сколько ни бросай, сгорает мгновенно, вот он и подбрасывает, что под руку попадается, да и кому во вред? Если спокойно разобраться, обдумать — никому; прошлое есть прошлое, и пусть лучше все, чем пропасть, все, что осталось от Глеба, оживет хотя бы таким образом, какое дело людям до утомительных и ненужных подробностей, до кухни? Им нужен результат, изнаночная сторона их не касается; они приходят в раздражение, когда им навязывают что-то непонятное и выходящее из общих правил. Вот идиотка, запоздало спохватилась Тамара Иннокентьевна, сидит, упивается своими придуманными страданиями, а мужик кухарничает после авторского концерта. Если бы все стали заниматься самоедством, хорошая бы наступила жизнь... Кто бы, интересно, рожал и растил детей, писал музыку, строил дома?

Быстро сбросив домашнее вязаное платьице и радуясь, что не успела переменить красивое дорогое белье, надетое перед концертом, Тамара Иннокентьевна с удовольствием достала черное, расшитое серебром кимоно, купленное по случаю, после войны на барахолке; она его очень любила и редко надевала. Высоко заколов волосы и подкрасив губы, требовательно разглядывая себя в зеркало, она с удовольствием отмечала, что за последнее время посвежела и похорошела и выглядит много моложе своих тридцати пяти; она поймала себя на странном и неожиданно возникшем желании подойти к старому роялю, погладить его, но она смогла удержать себя и скоро забыла об этом.

Чуть позже они сидели друг против друга за красиво убранным столом, при зажженных свечах, держа в хрустальных бокалах шипящее шампанское,— чувствуя голой шеей продолговатую окружность жемчужин и время от времени незаметно гладя самые крупные из них, Тамара Иннокентьевна и верить не верила и думать не хотела о недавних страданиях.

— Пью за тебя, Саня!— блестящими глазами всматриваясь в искрящееся вино, сказала Тамара Иннокентьевна.— Действительно, большой день.

— А я за нас, Тамара!— Он с незнакомой ей уверенностью и даже с вызовом поднял свой бокал, затем глаза его смягчились; они чокнулись, вслушиваясь в тонкий замирающий звон.

— Ты на меня так странно посмотрел,— вопросительно и немного искательно улыбнулась Тамара Иннокентьевна.

— Посмотрел? Как посмотрел?

— О чем ты подумал?

— Пожалуй, о том, что ты наконец сделала выбор, вот только сейчас,— ответил после напряженной паузы Александр Евгеньевич и потянулся было привычным жестом огладить свою бородку; натолкнувшись на жесткую выбритость кожи, он почему-то заметно расстроился.

— Как ты почувствовал?

— Не знаю. Неожиданный ожог, изнутри... Как будто меня ударили. У-уф... неприятно!— передернул Александр Евгеньевич плечами и залпом допил шампанское.

— Что же, обиделся?

— Отлично знаешь, на тебя я не могу обижаться. Здесь другое... Когда так долго ждешь приговор, нервы сдают. Помилование даже не радует.

И она опять почувствовала к нему нежность и, ничего не отвечая, только улыбнулась, точно погладила его глазами.

— Не прикидывайся таким ручным. Ты ведь не такой, ты не домашний кот Васька. Совсем нет.

— Какой же?

— Ты только с виду мягкий, шелковый, покладистый,— сообщила Тамара Иннокентьевна почему-то шепотом,— под этой мягонькой шерсткой — сталь, я сегодня почувствовала...

— И что же?

— Странно, непривычно... Мне с таким стержнем нравится. Шелковый мужчина, да еще с красивой внешностью — ужасно, мужчина должен что-то хотеть и уметь. Главное — хотеть!

Вместе с четкой, просветленной решимостью принимать жизнь отныне без ненужной рефлексии Тамара Иннокентьевна какой-то второй половиной своей души, совершенно независимой и действующей сама по себе, механически, утомительно фиксировала происходящее, каждый штрих, интонацию, перемену в выражении лица; даже блик от свечей, отраженный в открытой крышке рояля, казалось, отпечатался в самом ее мозгу; раскрытый рояль казался черной птицей с неловко подвернутым крылом, и она опять вспомнила свое неожиданное удивительное чувство в отношении этого старого рояля. «Это от шампанского»,— тут же отбросила Тамара Иннокентьевна беспокоящую ее мысль.

Закинув руки на плечи Александру Евгеньевичу, совершенно сливаясь с ним, чувствуя голой шеей нагревшуюся округлую неправильность зерен ожерелья, Тамара Иннокентьевна двигалась под тихую музыку; это и есть счастье, говорила она себе, ни о чем не думать, ничего не менять, подчиняться плавному ритму, чужой воле, властным мужским рукам, только бы движение это длилось долго, бесконечно, плыть куда-то в неизвестность в тихом, все более слабевшем шуме ночи, переходящей в рассвет; что ж, пусть кто-нибудь попробует осудить, она найдет ответ, да, да, тысячу раз да, как и любой женщине, ей сейчас необходима древняя, как жизнь, грубая власть мужчины.

Она забылась не сразу; уже крепко заснул, уткнувшись ей в плечо головой, Александр Евгеньевич, даже во сне он не отпускал ее, и Тамаре Иннокентьевне пришлось силой убирать со своей груди его руку; он недовольно почмокал добрыми, детскими во сне губами. Легонько, чтобы не разбудить его, она отодвинулась на самый край постели и откинула штору; тотчас ночь, синяя, звездная, с таинственными, влекущими провалами лесных озер, укрытых тонкими туманами, раскинулась над ней, окутала и понесла на своих неслышных руках в неведомые просторы, и тогда она запела. Она пела все ту же, известную только ей мелодию, слова рождались сами собой, как что-то знакомое и привычное, она всегда пыталась запомнить их, чтобы потом записать; мелодия всегда жила в ней, чтобы сейчас вырваться на свободу. Голубые, лиловые, темно-бархатные облака с золотыми краями проносились мимо, они были частью ее, да и сама ночь, само движение были мелодией, и земля, лишь слегка угадываемая сквозь легкую дымку внизу, была е е м е л о д и е й. Впереди открылось невиданное зрелище — город из переливающихся воздушных куполов летел ей навстречу, он ежеминутно менял цвет и размеры, но здесь тоже был свой ритм, своя музыка. Затем что-то темное, разрушающее ворвалось в эту согласную гармонию, золотой город, летевший ей навстречу, вспыхнул в последний раз ослепительным пламенем, стал чернеть и распадаться. Чувство бесконечного падения и безысходности, отчетливый голос, одиноко звучащий в полной абсолютной непро-

ницаемой тишине, заставил ее подхватиться в кровати, как от удара; она прихватила прыгающие губы ладонью. Большие напольные часы только-только кончили бить, в воздухе еще дрожало медленно затухавшее отражение звона.

«Часы... слышишь? Часы бьют... Томка, Томка... Нельзя больше спать»,— только что услышанные во сне слова резали мозг; с отвращением путаясь в смятых простынях, она выбралась из широкой постели, на ощупь набросила скомканное кимоно и, все так же боясь разбудить Александра Евгеньевича, задыхаясь от усилий сдержать разрывавшие горло спазмы, кое-как добралась до кухни; в большую комнату с роялем ей было идти жутко, точно кто-то ждал ее там, она даже втянула голову в плечи, все время ожидая резкого, презрительного окрика,— музыка, несшая ее ночью к золотому городу, была молитвой солнца.

— Что случилось, Тамара?— услышала она хрипловатый голос Александра Евгеньевича, сонно щурившего глаза на режущий свет.— Что ты тут делаешь? Проснулся, а тебя нет...

Не поворачиваясь к нему, Тамара Иннокентьевна спиной чувствовала, что он сейчас совершенно голый; видеть его голым было сейчас выше ее сил.

— Иди оденься,— попросила она.

— Зачем? Ночь душная...

— Мне нужно с тобой поговорить.

— Сейчас?

— Да, сейчас...

— Фрак или смокинг? Ну, хорошо, хорошо!— Александр Евгеньевич зевнул, недовольно потер лоб и с легким раздражением пошел одеваться; опять причуды, сказал он себе, женщина, даже самая лучшая, все-таки останется женщиной, всегда найдет время испортить настроение, без видимой причины перевернуть все вверх дном. Лениво прошлепав в спальню, он через минуту вернулся в пижаме; Тамара Иннокентьевна уже приготовилась, глаза ее сухо блестели.

— Скажи, Саня, ты помнишь свое обещание исполнить, записать и опубликовать лучшее из наследия Глеба?— спросила она сразу же, едва только он появился в дверях.— Помнишь?

— Ты слишком торопишь события,— сухо отрезал Александр Евгеньевич, сбрасывая остатки сна и сразу же принимая вызов.— Считаешь, ты одна заботишься. Глеб и мой самый близкий, самый дорогой человек. Ну, что ты так смотришь?— почти закричал он, и у него на лбу выступила испарина.— Я завидовал ему, но тебе не понять этого... да и зависть ли это? Что-то другое, не знаю, как назвать, только не зависть. Удар, ожог, ослепление, желание выскочить куда-нибудь на перрон и броситься под колеса... Со мной так было два раза, толь-

ко я не мог шевельнуть ногами, ноги отказывали, они становились чугунными... А-а, зачем я тебе все это говорю!— безнадежно махнул рукой Александр Евгеньевич, но ее вид и ее лицо, и что-то еще, то, чего нельзя назвать словами, то, что не имело имени, снова вставшее между ними, как бы подстегнуло его; он понял, что это последняя и единственная возможность вернуть ее. В нем словно сработала безошибочная защитная система, взвесившая все «за» и «пРотив», и он понял, что главное и сейчас и в будущем заключается для него в этой женщине, что, если он ее потеряет, сама жизнь станет бессмысленной. Он заметался, пытаясь найти иной выход, но иного выхода не было и быть не могло. С застывшей, незнакомой, вымученной усмешкой он шагнул и сел недалеко от нее. Некоторое время длилась вязкая тишина.

— Чего же ты хочешь?— спросил Александр Евгеньевич, глядя себе под ноги на треснувший пол.

— Ты не ответил на мой вопрос...

— У меня нет такой возможности,— сказал он так же тихо, без всякого выражения, стараясь казаться спокойным.— Воскресить мертвого... Понимаешь, мертвого! Что дадут ему несколько публикаций? Вечер его памяти? Что? Это не сделает его тем, чем он обещал стать. Великим Глебом.

— Я тебя понимаю, жалко. Но нельзя же отнимать у человека даже память. Только потому, что он был благороден...— Чувствуя глубокую смертельную усталость, Тамара Иннокентьевна подумала, что они продираются друг к другу через какой-то бурелом, продираются и не могут сойтись, а скажи он несколько слов, и дурной сон развеется.

— Не знаю,— наконец выдавил из себя Александр Евгеньевич,— поймешь ли ты... Столько лет прошло после войны. Кажется, совсем немного, но в музыку пришло новое поколение одаренных людей. Им нет дела до нас, тем более до мертвых. Кто такой теперь Глеб Шубников? Герой, пошел добровольно и погиб, что же? Две неоконченные симфонии, несколько ораторий, незаконченных вальсов, сюит... куски, куски... все в кусках... совершенно необычное, мощное начинание... Законом искусства всегда был и остается результат. Мы потеряли, может быть, выдающегося композитора, он бы мог встать в один ряд с величайшими именами, я верю, только ведь не случилось! Понимаешь, не случилось! Не по его вине, но не случилось!— упрямо повторил Александр Евгеньевич.— Я же не бог, придет час, сам все сделаю, напоминать мне не надо, Глеб для меня тоже дорог, может быть, дороже, чем кому бы то ни было... Не смей так смотреть!— повысил он голос, отмечая начинающую проступать во всех углах какую-то жуткую красноватую мглу и относя это за счет усталости, банкета, недавнего трудного разговора; тут же опять какая-то красная волна поплыла в глаза, и он не смог сдержаться.— Ты не имеешь никакого права так смотреть! Нет, я больше не могу! Не могу! Взрослый человек в конце концов, давно должен был выбрать! Так же невозможно жить, все время под рентгеном. Ты должна наконец сделать выбор. Я мужчина, мужчина! Во всем прочем обыкновенный мужик, зверь, мне хочется иногда тебя задушить!

Выкрикнув последнее, он обессилел и умолк, все так же пусто глядя перед собой, а у Тамары Иннокентьевны от его диких слов по коже пошла изморозь; было бы так хорошо, если бы разом все кончилось и ее бы больше не было, взмолилась она, разом все оборвать, лучше невозможно придумать. Не по ее силам этот непонятный, жестокий, разъятый мир, вот и хорошо, если бы ее не стало, сразу бы кончились все ее долги и вины перед Глебом, перед Саней... Перед умершим и живущим... Или закрыть на все глаза и жить, ничего вокруг не замечая, жить—и все. Дышать, покупать красивые вещи, ходить в театры и ездить в свободное время за город; действительно, в чем виноват Саня? Что была война и Глеб погиб? Или в том, что Саня любит и что я согласилась жить с ним? И мне это приятно. Я взяла на себя ответственность; в отношениях с мужчиной женщина ведь главная пружина, что бы мужчины ни воображали о себе... Да, да, все это так, но ведь он лжет! Лжет! И потом, знать, что обворована сама память... и продолжать жить... рядом, постоянно вместе...

Окончание следует.

ЧЕРНЫЕ ПТИЦЫ

Петр ПРОСКУРИН

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

Тамара Иннокентьевна словно взглянула на себя из иного мира, в котором не существовало ни обид, ни желаний, но присутствовало нечто большее, чем сама жизнь, она медленно, остановившимися глазами с недоумением осмотрелась, затем молча встала, одним жестом заставила вскочившего было вслед за ней Александра Евгеньевича опуститься на свое место и вышла; вернулась она одетая, в глухом платье, в туфлях и причесанная. Александр Евгеньевич, ждавший ее, до предела напряженный, едва взглянув на нее, все понял; она приняла решение, игра в прятки кончилась; он еще смотрел ей навстречу с ожиданием, с готовностью все забыть и простить, но приступ еще более дикой нерассуждающей ненависти уже опять копился и поднимался в нем.

— Верни все украденное у Глеба,— бесцветным голосом потребовала Тамара Иннокентьевна, останавливаясь перед ним.— До последней строчки... Ты должен это сделать.

Он не стал ничего отрицать, пожал плечами.

— Разумеется, по твоим понятиям, лучше сидеть на куче нот и вздыхать по несостоявшейся идиллии. Нелепо? Зато чувствительно. Молчи, молчи,— остановил он пытавшуюся что-то сказать Тамару Иннокентьевну.— Я дал жизнь, воздух, свет хотя бы отдельным мыслям Глеба, я посвящу очередной концерт его памяти... Этого уже не изъять, прости... Так получилось, и уже ничего изменить нельзя. Не тебе судить. Ты, именно ты вторглась в нашу жизнь, разбила нашу дружбу, непрошеная, ненужная, все испортила, извратила, у нас были другие замыслы, единые, долгие,— перешел Александр Евгеньевич в наступление.— Слышишь, не тебе указывать, что мне делать.— Побледнев, он вскочил на ноги, неумело сжав кулаки; в первую минуту, ошеломленная, подавленная силой его ненависти, она попятилась. Но тут же, словно что бросило ее вперед, она вцепилась ему в ворот пижамы, изо всех сил стала трясти его, огромного в сравнении с ней, растерявшегося окончательно; несмотря на отчаянные усилия, Александр Евгеньевич не мог оторвать от себя ее руки.

— Вор!— кричала Тамара Иннокентьевна яростно, забыв обо всем на свете.— Вор! Обокрал, изгадил память мертвого друга! Негодяй! Бездарный подлец! Слышишь, я все расскажу, я не оставлю этого так... Я всем расскажу, какой ты негодяй и подлец! Глеба помнят в консерватории! Его там любят, тебе это так не пройдет! Верни все назад! Твой вчерашний концерт — это его концерт! Ты все украл! Негодяй! Негодяй!

Ему удалось наконец оторвать руки Тамары Иннокентьевны от себя (сухо затрещала разрываемая пижама); он грубо отшвырнул ее прочь, и она, болезненно вскрикнув, отлетела в угол кухни, ударилась об угол шкафчика плечом и затылком; с трудом переводя дыхание, едва не теряя сознание, она тяжело привалилась к стене, теперь уже приходя в себя и с удивлением глядя на бешено жестикулирующую и оттого особенно нелепую и жуткую фигуру Александра Евгеньевича в растерзанной пижаме; она с трудом удерживалась от припадка нервного, истерического смеха, душившего ее. Александр Евгеньевич продолжал что-то выкрикивать, она его не слушала, и он тогда опять было двинулся к ней.

— Не подходи! Не прикасайся ко мне!— Тамара Иннокентьевна старалась отодвинуться по стене от него как можно дальше.— Не подходи, мне гадко! Ты мне гадок! — Ее беспомощный крик отрезвил их обоих; вздрагивающими руками Александр Евгеньевич налил себе воды и, судорожно глотая, выпил, не глядя в сторону Тамары Иннокентьевны; у него сильно дрожали руки, и Тамара Иннокентьевна все еще не решалась сдвинуться с места, оторваться от стены; ей сейчас больше всего хотелось оказаться где-нибудь далеко-далеко от собственного дома, от этого проклятого места, где она столько раз теряла самое дорогое; она видела, что он был напуган случившимся больше ее самой, и опять прихлынувшее чувство собственной вины словно придало ей решимости.

— Мы не можем быть больше вместе,— твердо глядя ему в глаза, она точно бросилась в воду; больше всего она боялась опять пожалеть его.— Тебе нужно уйти.

— Знаю.— Александр Евгеньевич пригладил трясущимися руками всклокоченные волосы, запахивая на груди пижаму с почти оторванным, болтавшимся воротом; она отметила, что даже в своем растерзанном виде он все-таки умудрялся казаться респектабельным.— Я знаю, я лишь одного хочу... Успокойся, не натвори глупостей. Пожалей себя, тебе никто не поверит и никто не поможет. Ведь у меня имя... Тебе ж придется уйти из консерватории... лишишься самого дорогого... да и заработка... Подумай о себе, не горячись.

Тамара Иннокентьевна хмуро кивнула.

— Ты прав, только я уже ничего не боюсь. Проклятая ночь, она выжгла из меня все живое, последние остатки... Уходи, Саня, уходи совсем, украл и уноси... Помни, тебе не будет счастья в жизни. Такое не прощается... Живи, процветай, наслаждайся властью, спи с хористками... Пользуйся, жизнь одна. Знай, ты никогда, никогда, даже на сантиметр не приблизишься душой к Глебу! Украденное тобой погубило в тебе человека, погубит и художника, если он в тебе был. Ах, Саня, Саня, как же ты мог?— спросила она с отчаянием, не веря еще своим страшным словам.— Его кровь, его живой след на земле... Чудовищно... Как ты мог! Глеб был великий язычник, жизнелюбец, что у тебя с ним общего? Он любил солнце, небо, землю, в нее и лег. Нет, Саня, тебе не будет прощения. Ты все, все кругом ненавидишь! Кроме себя...

— Замолчи!— оборвал Александр Евгеньевич, отчаянно пытаясь направить ее внимание на другое.— Что ты из себя корчишь героиню, кто, скажи, кто ты в этом мире? Кто узнает о твоем героизме? А вот что ты спала со мной, знают все...

— Не кричи, разговаривай спокойно, ты даже расстаться не можешь по-человечески, по-мужски,— остановила она его, и в ее голосе послышалась незнакомая ему сила.— Я не твой холуй, никогда им не стану. Мы не слышим друг друга, даже если кричим. А жаль, Саня. Твои холуи только поют тебе аллилуйю. Ты удобен. Никто не скажет тебе правду. Глеб нес в мир героическое начало. За то и погиб, а ты своей музыкой разъедаешь душу, вот ты и процветаешь, тебе это очень удобно, все разъять и разъединить!

Александр Евгеньевич шагнул было к ней, невыносимо было слушать ее такую далекую и чужую, высказывающую несвойственные ей мысли. Не двигая ни одним мускулом и не опуская глаз, Тамара Иннокентьевна ждала; он не смог подойти, побито вернулся под ее взглядом на свое место.

— Если б кто знал, как я устал,— пожаловался он беспомощно.— Как я устал...

— Уходи,— попросила она, отворачиваясь от него и прислоняясь к стене; у нее уже не было сил держаться на ногах.— Уходи и только пожалуйста, больше не возвращайся... Пожалуйста, уходи... Бога ради, прости меня... Я сама виновата,— добавила она, и он точно ждал ее последних слов.

Тамара Иннокентьевна не услышала ни его шагов, ни стука двери, лишь почувствовала свое полное, безраздельное одиночество.

V

Забывшись на какое-то время, Тамара Иннокентьевна опять оказалась в удивительной зимней ночи, но она уже знала, что подступила еще одна черта; теперь все, и уже давно ушедшее и реальное, еще продолжавшее окружать ее, смешалось в ней. Она внимательно огляделась; в очертаниях знакомой мебели появилось что-то новое, контуры как бы утяжелились и в то же время стали менее определенными. Тогда Тамара Иннокентьевна поняла и тяжело, трудно, всей немощной, уставшей грудью вздохнула; кончилось временное, жалкое, раздражающее, и начиналась вечность, не подлежащая переменам. Она не испугалась, но чтобы что-то еще ощущать, взяла в руки край пледа и стала мять его пальцами. Теперь она все видела в том особом разреженном свете, как бы льющемся сразу отовсюду и совершенно не оставлявшем затененных мест. Был свет, должный в свое время смениться тьмой, и тайн больше не было; вернувшийся Александр Евгеньевич поразился ее лицу. Он принес свежий чай и, помедлив, осторожно поставил на столик, она внимательно оглядела его, отмечая белую, как первый снег, манишку с серой бабочкой, резко контрастировавшую с измученным вконец лицом.

— Прости, приводил себя в порядок.— Александр Евгеньевич слегка коснулся пальцами груди и тут же нервно отдернул руку.— Как ты себя чувствуешь, Тамара?

— Спасибо, превосходно,— сказала Тамара Иннокентьевна значительно. — Вспомнила, вспомнила...

— Все вспомнила?— спросил он с явной иронией, но Тамара Иннокентьевна посмотрела на него с грустью.

— Все,— коротко ответила она, не в силах перебраться через пропасть в двадцать с лишним лет, отделявшую сейчас в ее душе одного Саню от другого, с невольным интересом присматриваясь к нему нынешнему, сильно постаревшему и пытаясь понять, что в нем осталось от прежнего, так цепко удерживаемого в памяти, и неприятно удивилась себе, в душе опять зашевелились ненужные чувства и обиды, словно это он был во всем виноват, хотя теперь она ясно понимала, что виноват он не больше других, не больше ее самой; и сейчас нехорошо видеть в его лице, в его образе свое собственное отражение и бессилие. И он не отводил от нее упорного взгляда; она бы сейчас могла радоваться, ведь давние ее слова оправдались, но в душе у нее не оставалось места для мелкого чувства.

Окликнув Александра Евгеньевича, она попросила его сесть ближе; помедлив, он устроился рядом на диване, и старые пружины

Окончание. См. «Огонек» №№ 11—15.

под его тяжестью обессиленно застонали. Тамара Иннокентьевна поправила у себя на коленях плед.

— Я рада, Саня, вот ты опять здесь,— сказала она.— Спасибо тебе, я сейчас не одна... Ты не сердись, если я буду говорить глупо... Я ведь так ничего и не поняла в жизни, все проворонила... Мне кажется сейчас, ты вообще всегда был рядом, правда, странно?

Заставив себя взглянуть на нее, Александр Евгеньевич внутренне вздрогнул; выражение ее лица опять поразило его и испугало; она уже была отделена от него чертой, он опоздал, последнее ожидание рушилось. С трудом отведя глаза в сторону, стараясь не дать прорваться затаенной давней мысли, Александр Евгеньевич почувствовал отчаяние.

— Скажи, Саня, зачем ты пришел?— Тамара Иннокентьевна все так же светло смотрела на него.

В его напряженном сознании сверкнула спасительная мысль, он во что бы то ни стало должен убедить ее, судьба представила ему единственную возможность добиться ответа, добиться того, ради чего он жил и поднимался по ступеням все эти годы; все ведь относительно, а что, если он ошибался и в ту невероятно далекую декабрьскую ночь сорок первого ничего и не было? Или ему просто померещилось, сработала обстановка, горячечное воображение? Или что-то в нем самом прорвалось, а он приписал весь этот взрыв эмоций Глебу...

— Я пришел получить прощение,— сразу устремился к цели Александр Евгеньевич, безошибочно чувствуя необходимость именно такого пути; строго на него взглянув, Тамара Иннокентьевна, как бы укоряя его за несерьезность, даже слегка улыбнулась, и постепенно глаза ее смягчились.

— Пожалуйста, ответь еще.— Тамара Иннокентьевна старалась говорить легко, без нажима, чтобы не спугнуть установившееся между ними доверие.— Ты не боишься?

— Не понимаю.— Александр Евгеньевич, теперь полностью захваченный своей тайной мыслью, словно выдавливал из себя каждое слово.— Нужно чего-то бояться?

— Ты ведь так и не выполнил своего обещания,— напомнила Тамара Иннокентьевна, слабо грозя ему пальцем.— Ничего не напечатал у Глеба... А ведь теперь тебе ничего не стоило бы, всего ты добился, во всех президиумах сидишь, во всех комитетах значишься, вон депутатский значок носишь... только и слышно — Воробьев... Воробьев... Воробьев... Какие только чины и эпитеты на тебя не навешали, а свое обещание ты так и не сдержал. Вот почему ты сейчас у меня. Ты хочешь, чтобы я до конца молчала, никому ничего не сказала.

— Все те же ребяческие фантазии!— шумно отмахнулся от нее Александр Евгеньевич, в то же время внутренне содрогаясь от ее провидческой беспощадности; сейчас она была настолько близка к истине, что любое ее слово больно ранило. Лицо ее истончалось на глазах и начинало светиться каким-то тихим светом, и он, предпринимая отчаянное усилие, рванулся навстречу неизвестному.— Могло случиться и так, только ты ошибаешься,— сказал он горячо.— Ты лучше любого другого знаешь мою жизнь... все эти побрякушки — для болванов, для меня — побочное, второстепенное; главным для меня было творчество, вот здесь...

— Здесь у тебя пусто, Саня, здесь тебе не повезло,— спокойно закончила за него Тамара Иннокентьевна.— Впрочем, как знать! Скорее повезло. Все подравниваешь под себя, под серость. Если бы Глеб остался жить, вы бы убили его! Засосали своей тиной... Все засасывается тиной, и гениальное и ординарное. Не различишь, где истинное, где временное, сиюминутное. Всем покойно, всем удобно... утрачиваются критерии... все причесывается под одну гребенку, талант и серость приводятся к одному знаменателю. А живого, вечного вы не умеете создать... и ты тоже, Саня, хотя ты лучше других, у тебя хоть иногда гармония пробивается...

— Да, да,— подхватил он, решив больше ни в чем ей не перечить,— может быть, излишне строго... но во многом справедливо,— заторопился Александр Евгеньевич, уловив еще новое изменение в ее облике,— ты имеешь пра-

во судить, и судить по самому высокому праву. Что с тобой? Что случилось? Тамара! Что ты?— почти закричал он, бросаясь к ней; она остановила его легчайшим, почти невесомым жестом руки; черта, отделявшая их друг от друга, почувствовалась еще резче. Тамара Иннокентьевна как бы еще больше сосредоточилась в самой себе, глубже погрузилась в свое; по ее виду Александр Евгеньевич, хотя следил за малейшим ее движением, так и не догадался, что минутой назад она испытала одно из сильнейших, когда-либо выпадавших на ее долю потрясений — у нее отнялись ноги, все тело ниже пояса как бы одеревенело; время от времени она продолжала попытки шевельнуть ногами, ставшими неподвижными, пугающе мертвыми; она не хотела, чтобы неожиданную, новую беду заметил или понял Александр Евгеньевич, и сейчас больше мучилась именно по этой причине. От своей полнейшей беспомощности она было окончательно упала духом, но какое-то чувство ей тотчас подсказало, что это ненадолго. Она успокоилась так же внезапно, как и смертельно испугалась; нечто другое, более важное, мучившее ее в продолжение всей ночи, оттеснило второстепенное и ненужное; собираясь с духом, Тамара Иннокентьевна медленно и подробно оглядела комнату, громадный, удобный письменный стол (в старину люди были надежнее, основательнее и любили окружать себя такими же вещами), затаившуюся, стройную массу рояля, старые массивные шкафы с книгами, затем опять вернулась к роялю. Нужно было решиться, в ней возник какой-то обратный поток: она увидела и себя, и Александра Евгеньевича, и всю свою жизнь совершенно в ином значении; и опять словно кто-то посторонний, невидимый, но бывший теперь неотлучно рядом с ней, подсказывал ей торопиться; уже был близок рассвет, буря усиливалась; Тамара Иннокентьевна увидела сейчас Москву, метельную, притом всю сразу, в снежных клубах и в ветре.

— Саня, Саня,— строго позвала она, и когда он встал перед ней во весь рост, с длинными опущенными руками, она с сожалением подумала, что он совсем уже старый, и только в глазах у него еще таился, ожидая своего часа, дьявол. У нее сейчас не оставалось выхода (обратный поток в ней все усиливался), и она, попытавшись оправдать себя, не смогла; и в этот момент падения глаза ее вспыхнули каким-то внутренним светом; и ее состояние перекинулось Александру Евгеньевичу, он почувствовал освобождение от чего-то всю жизнь мешающего, ненужного, вся скверна жизни опадала с души тяжелой, лохматой массой; в нерассуждающем порыве благодарности он старчески неловко опустился перед ней, прижался губами к ее горячей сухой руке.

— Саня, не надо,— опять откуда-то из своего немеренного далека, отстраненно и строго попросила она.— Не надо, не время... Ты меня всегда огорчал в жизни, Саня, теперь ты должен все исправить. Встань, пожалуйста... Не плачь, мужчина должен оставаться мужчиной до конца. Встань, встань... времени совсем не остается... Встань же!

Александр Евгеньевич поднял голову, вернее, ему показалось, что кто-то посторонний и беспощадный рванул его голову до резкой боли в затылке, запрокинул ее.

— Теперь ты меня бросаешь,— пожаловался он тихо.— Сначала Глеб, теперь ты... А мне что здесь делать? Что я без вас?

В другое время Тамара Иннокентьевна поразилась бы и его словам и их безысходности, но сейчас она не обратила на них внимания, торопясь выполнить назначенное, она просто не слышала их.

— Саня, скорей! Ну что ты бормочешь?— возмутилась она.— Саня, возьми, возьми,— нетерпеливо потребовала Тамара Иннокентьевна, протягивая ему неизвестно как и откуда оказавшиеся у нее в руках ноты.— Иди... сыграй... Скорей, Саня, Санечка!.. Скорей... скорее... а то не успею...

Едва взглянув на потертую, износившуюся бумагу, Александр Евгеньевич с трудом устоял, ноги ослабли, сделались почти ватными; от радостного мучения сердца он не удержался, смахнул слезы, они застилали глаза, не давали видеть; едва взглянув, он сразу забыл обо всем на свете; перебирая дрожащими руками листы, он еще не мог поверить самому себе; свершилось, свершилось, сказал он себе, то, что мучило его всю жизнь своей недостижимостью, теперь было у него в руках, все случилось слишком просто, и он еще не мог прийти в себя; уже беглого, торопливого взгляда было достаточно, чтобы знакомые, снившиеся ему звуки вспыхнули в единый, стройный поток, исполненный высшей гармонии, высшего полета.

Александр Евгеньевич стоял потрясенный, у него в руках сейчас трепетало живым огнем само бессмертие, глаза у него горели, и целая буря была в душе; его взгляд невидяще блуждал вокруг, а руки сами собой сворачивали ноты...

— Саня! Саня!— в ужасе, бессильно закричала Тамара Иннокентьевна, и он, дико взглянув на нее, вначале не понял, затем лицо его исказилось раскаянием, он схватился за голову, приходя в себя, и бросился к роялю. По-прежнему трясущимися руками поднял крышку, раскрыл ноты и, не отнимая глаз от нот, стиснул кулаки.

— Не могу,— замотал он головой, и из него вырвался глухой стон.— Я не могу этого играть,— повторил он.— Боюсь... Меня словно держат за руки... страшно... Освободи меня.

— Играй,— раздался твердый голос Тамары Иннокентьевны,— играй, Саня... ты должен... ты обещал...

— Не могу...

— Трус! Ты должен, должен пройти через это, хоть под конец душа твоя очистится! Играй!

И такой силы был ее взгляд, устремленный ему в спину, что он не выдержал, подчинился, ударил по клавишам. И тут произошло чудо. Раздвинулись стены, распалась ночь, неведомые солнечные просторы затопили и прошлое и настоящее; водопад низвергающихся, возникающих из ничего звуков выстраивался в душе в одно единое звучание. И тогда Тамара Иннокентьевна увидела сверкающую, перекинувшуюся из края в край дорогу и, гибко, легко, молодо поднявшись на ноги, сбросив и оставив на тяжелом, вытертом, пропитанном неистребимыми запахами жизни диване свою уже немощную и ненужную оболочку, пошла по этой сверкающей дороге — свободная, гибкая, молодая...

Кончив играть, Александр Евгеньевич сидел, бессильно уронив руки, опустошенный и потрясенный, сам еще не осознавая, что с ним и где он. Тамара Иннокентьевна хотела окликнуть его, но у нее не оставалось сил; все же она окликнула его и попросила вернуть ей ноты. Александр Евгеньевич не услышал или сделал вид, что не услышал, затем стремительно обернулся к ней, и Тамара Иннокентьевна увидела его помолодевшее лицо с безумными глазами.

— Зачем тебе ноты? Это преступно... прятать такое... Это принадлежит всем, народу! Слышишь?— Он остановился как вкопанный, прислушиваясь к глухим раскатам.— Слышишь? Гроза зимой, это что-то такое значит... Я ехал, даже молнии сверкали. Шофер говорил, что ничего подобного он никогда не видел...

— Отдай, отдай мне ноты! Я обещала! Я не могу!— опять потребовала Тамара Иннокентьевна, стараясь отдалить подбирающийся к сердцу холод и чувствуя, что, поддавшись минутной слабости, совершила непоправимую ошибку.— Ты должен... сдержать слово... хоть однажды... или я тебя прокляну!

Остановившись перед ней, Александр Евгеньевич долго смотрел на нее в изумлении, затем поднял руки над головой, потряс ими и пронзительно, как-то трескуче захохотал.

— Невероятно! Невероятно!— повторял он между судорожными приступами смеха.— Отдать ноты! Невероятно! Нет! Законная плата за все, за все в жизни. Сколько я вынес от тебя, от него — Глеба! Это принадлежит народу. Прятать — значит красть. Украденное возвращается к своему законному владельцу! Не имеет значения, в какой форме это случится...

— Боже мой, какой же ты подлый... какой страшный,— теряя последние капли сил, неслышно прошелестела Тамара Иннокентьевна.— Отдай! Отдай! — закричала она, но ей лишь показалось, что она закричала: у нее пропал голос.

«Господи, где же ты? Есть ли на этом свете хоть что-нибудь святое? Глеб! Глеб!— неожиданно, как последнее спасение и прибежище, вспомнила она и увидела его, молодого, бледного, с огромной шапкой спутанных волос, стоявшего возле рояля.— Глеб, Глеб!— жалобно рванулась она к нему.— Он хочет украсть твою м о л и т в у с о л н ц у... Глеб, наконец-то ты! Глеб, я ничего не могла сделать, он...»

«Томка, Томка, ты что? Как можно украсть душу?— сказал Глеб и засмеялся.— Можно украсть бумагу, душу не похитишь, понимаешь, не украдешь. Душу можно только убить, мы ее и убьем до лучшего случая... Пока на земле не станет чище.— Он опять засмеялся и легко провел ладонью по нотам.— Все, Томка, а ты боялась...»

Жалко и радостно всхлипывая, не отрывая от него сияющих, жарких глаз, Тамара Иннокентьевна чувствовала все большее освобождение от сковывающей ее тело тяжести; Глеб шагнул к ней, и она в страхе протянула руки, останавливая.

«Не подходи,— попросила она, в то же время мучительно желая хоть на мгновение прикоснуться к нему.— Не подходи ко мне, я безобразна...»

Глаза у него по-прежнему молодо вспыхнули, он шагнул к ней, легко подхватил ее на руки, наклонился, целуя, и она узнала его запах, слегка горчащий запах молодой полыни.

«Нет, Томка, нет,— прошептал он ей, и ее лица коснулось его жаркое, свежее дыхание.— Ты прекрасна...»

Тамара Иннокентьевна прижалась к нему и в полнейшем успокоении закрыла глаза.

Комната снова озарилась вспышкой бледной зимней молнии, невнятный прерывистый гул тронул стены; Александр Евгеньевич, давно следивший за Тамарой Иннокентьевной, за ее взглядом, напряженно устремленным в сторону, мимо него, не выдержал, закричал, стараясь подбодрить себя:

— Куда ты смотришь? С кем ты разговариваешь?

Голова Тамары Иннокентьевны сильнее вжалась в кожаную обшивку дивана; глаза ее остались широко открытыми, устремленными на рояль. Затаив дыхание Александр Евгеньевич подошел ближе и попятился; он понял. Натолкнувшись спиной на угол рояля, Александр Евгеньевич резко, испуганно отскочил, оглянулся. Белое пятно нот бросилось ему в глаза, он жадно схватил их; это было спасение. В следующую минуту лицо у него исказилось, редкие седые волосы стали дыбом, и невольный, невыносимый крик разорвал ему все внутренности. В руках у него были совершенно чистые нотные листы, и сколько он ни вертел их, нигде не было ни малейшего знака. Не веря самому себе, он дрожащими руками нацепил очки, и опять ничего не изменилось,— бумага была совершенно чистой и даже какой-то новой, хрустящей. Он опустился на колени, стал ползать вокруг рояля, заглядывая в каждую щель, в каждый угол, и наконец, почувствовав на себе чей-то пристальный, тяжелый, нечеловеческий взгляд, он медленно встал. Глаза Тамары Иннокентьевны были устремлены прямо на него; с недоумением взглянув на зажатые в руке смятые листы, Александр Евгеньевич с ужасом бросил их на крышку рояля, побежал было к двери и затем, воровато оглянувшись, вернулся назад мелкими, крадущимися шагами. Ничего не изменилось, бумага оставалась по-прежнему нетронуто чистой...

Был рассвет. По заваленным снегом арбатским переулкам и тупичкам шел странный человек, старик, без шапки, без пальто, то и дело останавливаясь, он начинал что-то говорить самому себе; дворники, вставшие в это утро из-за метели очень рано, с интересом прислушиваясь, слышали только часто повторяемое одно и то же:

— Вспомню, все запишу... да, да, сам!

При этих словах он начинал хохотать, но лишь только кто-нибудь хотел приблизиться к нему, он с необычайной быстротой исчезал, так что даже дворники, народ бывалый, скептический и ко всему приученный, начинали сомневаться, уж не померещился ли им хохочущий старик из-за метели, из-за необычной зимней грозы, продолжавшейся над Москвой, то и дело испещрявшей буйное небо бледными вспышками.